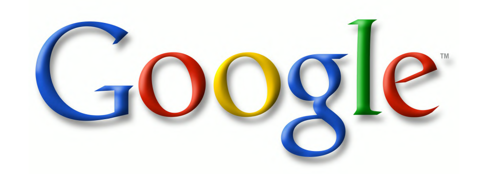


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

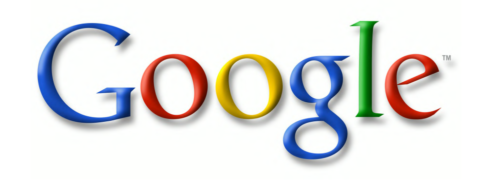
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заиоиси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

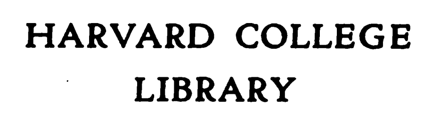
Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

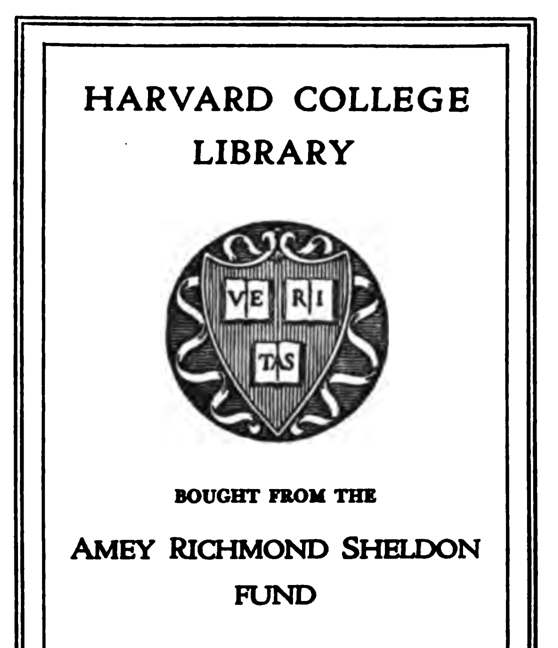
Slav 4180.955 (1)


HARVARD COLLEGE
LIBRARY

BOUGHT FROM THE

AMEY RICHMOND SHELDON
FUND

Slav 4180.955 (1)



# ИЗЪ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## *послѣгоголевскаго періода.*

СОСТАВИЛИ:

Н. Н. Городецкій,
П. Ѳ. Дворниковъ,
С. А. Дмитріевъ,
А. П. Заборскій,
Н. В. Касаткинъ,
А. Е. Корольковъ,
В. К. Крестовъ,
М. С. Семеновъ,
А. С. Толстой,
Н. В. Тулуповъ.

# ИЗЪ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## послѣгоголевскаго періода.

СОСТАВИЛИ:

Н. Н. Городецкій, П. Ѳ. Дворниковъ, С. А. Дмитріевъ, А. П. Заборскій, Н. В. Касаткинъ, А. Е. Корольковъ, В. К. Крестовъ, М. С. Семеновъ, А. С. Толстой и Н. В. Тулуповъ.

Половина чистой прибыли отъ настоящаго изданія поступитъ въ пользу Общества Взаимной Помощи при Московскомъ Учительскомъ Институтѣ.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

955

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
OCT 29 1958

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.
Москва.—1908.

*Свѣтлой памяти*

*Александра Николаевича*

*Глаголева.*

# Отъ составителей.

Составители первой части хрестоматіи «Изъ родной литературы», признавая, что въ основу преподаванія родного языка должно быть положено тщательное и всестороннее изученіе образцовыхъ произведеній словеснаго искусства, всецѣло построенное на ихъ чтеніи въ лучшемъ значеніи этого слова, т.-е. на чтеніи сознательномъ, критическомъ, воспитательномъ, — сдѣлали попытку своимъ трудомъ удовлетворить этому требованію, составивъ такую хрестоматію, которая содержала бы въ себѣ, по возможности, всѣ лучшія словесныя произведенія, обычно изучаемыя въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ различныхъ типовъ и наименованій.

Успѣхъ первой части хрестоматіи, несомнѣнно, свидѣтельствующій о назрѣвшей потребности въ такого рода книгѣ для чтенія, побудилъ составителей расширить рамки своего труда и сдѣлать новую попытку въ указанномъ выше направленіи, составивъ вторую часть хрестоматіи «Изъ родной литературы», заключающую въ себѣ лучшія произведенія тѣхъ русскихъ писателей шестидесятыхъ, семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ только что минувшаго вѣка, которые, за весьма немногими исключеніями, не находятъ себѣ мѣста въ обычномъ курсѣ нашихъ учебныхъ заведеній, но ознакомленіе съ которыми безусловно необходимо всякому образованному человѣку для пониманія многихъ явленій современной русской общественной и политической жизни.

Изъ обширнаго литературнаго матеріала пореформенной эпохи составители хрестоматіи старались выбирать такія произведенія или отрывки ихъ, которые, характеризуя, съ одной стороны, въ самыхъ основныхъ чертахъ творчество того или иного писателя, давали бы возможность, съ другой, судить о смѣнѣ настроеній въ «исканіи правды» лучшихъ представителей тогдашняго русскаго общества...

# ИЗЪ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## *послѣгоголевскаго періода.*

СОСТАВИЛИ:

Н. Н. Городецкій,
П. Ѳ. Дворниковъ,
С. А. Дмитріевъ,
А. П. Заборскій,
Н. В. Касаткинъ,
А. Е. Корольковъ,
В. К. Крестовъ,
М. С. Семеновъ,
А. С. Толстой,
Н. В. Тулуповъ.

# ИЗЪ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## послѣгоголевскаго періода.

СОСТАВИЛИ:

Н. Н. Городецкій, П. Ѳ. Дворниковъ, С. А. Дмитріевъ, А. П. Заборскій, Н. В. Касаткинъ, А. Е. Корольковъ, В. К. Крестовъ, М. С. Семеновъ, А. С. Толстой и Н. В. Тулуповъ.

Половина чистой прибыли отъ настоящаго изданія поступитъ въ пользу Общества Взаимной Помощи при Московскомъ Учительскомъ Институтѣ.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

955

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.
Москва.—1908.

*Свѣтлой памяти*

*Александра Николаевича*

*Глаголева.*

# ИЗЪ РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## послѣгоголевскаго періода.

СОСТАВИЛИ:

Н. Н. Городецкій, П. Ѳ. Дворниковъ, С. А. Дмитріевъ, А. П. Заборскій, Н. В. Касаткинъ, А. Е. Корольковъ, В. К. Крестовъ, М. С. Семеновъ, А. С. Толстой и Н. В. Тулуповъ.

Половина чистой прибыли отъ настоящаго изданія поступитъ въ пользу Общества Взаимной Помощи при Московскомъ Учительскомъ Институтѣ.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

— Полноте, какъ вамъ не грѣшно, полноте, — и она снова протянула мнѣ руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза. — Вы не можете понять, сколько добра вы мнѣ сдѣлали вашимъ посѣщеніемъ, это благодѣяніе... Будьте же снисходительны, подождите минуту... я немного выпью воды, тогда все пройдетъ,—и она улыбнулась мнѣ такъ хорошо и такъ печально...—Мнѣ давно хотѣлось поговорить съ художникомъ, съ человѣкомъ, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человѣка, и вдругъ вы,—я вамъ очень благодарна. Пойдемте въ комнату, здѣсь могутъ насъ подслушать; не думайте, чтобъ я боялась, нѣтъ, ей Богу, нѣтъ. Но это шпіонство унизительно, грязно... и не для ихъ ушей то, что я вамъ хочу сказать.

Мы вошли въ спальню; она выпила воды и бросилась на стулъ, указывая мнѣ на кресло. Гдѣ были всѣ придуманныя мною похвалы, гдѣ были эти тонкія замѣчанія, которыми я хотѣлъ похвастать? Я смотрѣлъ на нее сквозь слезы, смотрѣлъ, и грудь моя поднималась. Лицо ея, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: въ каждой чертѣ можно было прочесть ту исповѣдь, которая звучала въ ея голосѣ вчера. Къ этимъ чертамъ, къ этому лицу прибавлять много не было нужды: нѣсколько собственныхъ именъ, нѣсколько случайностей, чиселъ; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной нѣгой, а какъ-то траурно, безнадежно; огонь, свѣтившійся въ нихъ, кажется, сжигалъ ее. Худое и до невѣроятности истомленное лицо раскраснѣлось отъ слезъ какъ-то неестественно, чахоточно, она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на столъ, свою голову. Зачѣмъ тутъ не было Кановы или Торвальдсена: вотъ статуя страданья,—страданья внутренняго, глубокаго! Что за благородная, богатая натура,—думалъ я,—которая такъ изящно гибнетъ, такъ страшно и такъ граціозно выражаетъ несчастье!.. Минутами артистъ побѣждалъ во мнѣ человѣка... Я восхищался ею, какъ художественнымъ произведеніемъ.

Между тѣмъ она оправилась и говорила:

— Не правда ли, какая смѣшная встрѣча? Да еще не конецъ; я вамъ хочу разсказывать о себѣ; мнѣ надобно высказаться; я, можетъ-быть, умру, не увидѣвши въ другой разъ товарища-художника... Вы, можетъ-быть, будете смѣяться,—нѣтъ, это я глупо сказала, смѣяться вы не будете. Вы слишкомъ человѣкъ для этого; скорѣе вы сочтете меня за безумную. Въ самомъ дѣлѣ, что за женщина, которая бросается съ своей откровенностью къ человѣку, котораго не знаетъ? Да вѣдь я васъ знаю, я видѣла васъ на сценѣ: вы—художникъ.

Я жалъ ея руку и не могъ вымолвить ни слова.

— Исторія моя не длинна, очень коротка, напротивъ; я не утомлю васъ; послушайте ее хотя за то удовольствіе, которое я вамъ доставила Анетой.

— Да говорите, ради Бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вамъ откровенно, я бы могъ вамъ разсказать вашу исторію, не слыхавъ ни отъ васъ ни отъ кого другого ни слова... Я ее знаю.

— Вотъ потому-то я вамъ и разскажу ее. Я не такъ давно въ здѣшней труппѣ. Прежде я была на другомъ провинціальномъ театрѣ, гораздо меньшемъ, гораздо хуже устроенномъ; но мнѣ тамъ было хорошо, можетъ-быть, оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви къ искусству съ такимъ увлеченіемъ, что на внѣшнее не обращала вниманія, я болѣе и болѣе вживалась въ мысль, вамъ, вѣроятно, коротко знакомую, — въ мысль, что я имѣю призваніе къ сценическому искусству; мнѣ собственное сознаніе говорило, что я—актриса. Я безпрерывно изучала мое искусство, воспитывала тѣ слабыя способности, которыя нашла въ себѣ, и радостно видѣла, какъ трудность за трудностью исчезаетъ. Помѣщикъ нашъ былъ добрый, простой и честный человѣкъ; онъ уважалъ меня, цѣнилъ мои таланты, далъ мнѣ средства выучиться пофранцузски, возилъ съ собою въ Италію, въ Парижъ, я видѣла Тальму и Марсъ, я пробыла полгода въ Парижѣ, и—что дѣлать!—я еще была очень молода, если не лѣтами, то опытомъ, и воротилась на провинціальный театрикъ; мнѣ казалось, что какія-то особенныя узы долга связуютъ меня съ воспитателемъ. Еще бы годъ!.. Мало ли что могло бы быть... Онъ умеръ скоропостижно. Въ мрачной боязни ждали

мы шесть недѣль, онѣ прошли, вскрыли бумаги, но въ нихъ ничего не нашлось. Новость эта оглушила насъ; пока мы еще плакали да думали, что дѣлать, наша труппа перешла въ другія руки. Князь нашъ хорошо принялъ, хорошо помѣстилъ, какъ вы сами видите, даже положилъ большіе оклады, не стѣсняя себя, впрочемъ, точностью выдачи. Но это былъ уже не прежній директоръ, добродушный и снисходительный; онъ съ перваго разу далъ почувствовать всю необъятную разницу между имъ и его гаерами, назначенными для его удовольствія. Онъ привыкъ къ раболѣпію, онъ протягивалъ свою руку охотникамъ цѣловать; дворецкій и толпа его фаворитовъ старались подражать ему въ обращеніи. Тяжело было на сердцѣ, очень тяжело, но были еще и отрадныя минуты; меня берегли за талантъ, и я умѣла еще такъ предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тѣшило—самой смѣшно и стыдно теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло,—даже становится невѣроятнымъ, что было.

«Я стала замѣчать, что одинъ изъ любимцевъ князя особенно внимателенъ ко мнѣ, я поняла эту внимательность и— вооружилась. Князь не привыкъ къ отказамъ изъ труппы. Я дѣлала видъ, что ничего не понимаю; онъ счелъ за нужное высказывать яснѣе и яснѣе свои намѣренія; наконецъ онъ подослалъ ко мнѣ своего повѣреннаго съ разными обѣщаніями и условіями. Я прогнала повѣреннаго, и на время преслѣдованія прекратились. Разъ поздно вечеромъ, воротившись съ представленія, я читала вслухъ, одна, читала вновь переведенную съ нѣмецкаго трагедію «Коварство и Любовь». Вы знаете, вѣроятно, ее. Въ ней такъ много близкаго душѣ, такъ много негодованія, упрека, улики въ нелѣпости жизни, которую ведутъ люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Всѣ лица этой пьесы оставляютъ какое-то тяжелое впечатлѣніе—гофмаршалъ, и леди, и старикъ - камердинеръ, у котораго дѣти пошли добровольно въ Америку… и милыя дѣти Фердинандъ и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену съ Вурмомъ, гдѣ онъ заставляетъ писать письмо, если бы можно при васъ, да князь не любитъ такихъ пьесъ. Итакъ, я читала «Коварство и Любовь» и была совершенно, подъ вліяніемъ пьесы, увлечена, одушевлена ею; вдругъ кто-то сказалъ: «Прекрасно, прекрасно!» и положилъ мнѣ на раскрытое плечо свою руку. Я съ ужасомъ отскочила къ стѣнѣ. Это былъ онъ.

«— Что угодно приказать вамъ?—спросила я голосомъ, дрожавшимъ отъ бѣшенства и негодованія.

— Я слабая женщина, вы это сейчасъ видѣли, но увѣряю, я могу быть и сильной женщиной.

— Я и это видѣлъ,—возразилъ я, намекая на нѣкоторыя выраженія въ ея разсказѣ.

«—Приказывать нечего,—отвѣчалъ посѣтитель, стараясь придать плѣнительное выраженіе своему лицу: — можно ли приказывать такимъ глазкамъ: они должны приказывать.

«Я смотрѣла прямо ему въ глаза. Онъ нѣсколько смутился, онъ ждалъ какого-нибудь отвѣта. Но онъ скоро нашелся, подошелъ ко мнѣ и, сказавши: «Ne faites dons pas la prude, не дурачься, ну, посмотри же на меня не такъ; другія за счастье поставили бы себѣ»… И онъ взялъ меня за руку; я ее отдернула.

«—Вы,—сказала я,—можете сдѣлать мнѣ много зла, но есть такія блага и у самого животнаго, которыхъ у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мѣрѣ. Идите къ другимъ, осчастливьте ихъ, если вы успѣли воспитать ихъ въ такихъ понятіяхъ.

«—Mais elle est charmante!—возразилъ онъ. Какъ къ ней идетъ этотъ гнѣвъ! Да полно ролю играть.

«— Что вамъ угодно въ моей комнатѣ въ такое время?—сказала я сухо.

«— Ну, пойдемъ въ мою, — отвѣчалъ онъ:—я, не такъ грубо принимаю гостей, я гораздо добрѣе тебя.

«И онъ придалъ своимъ глазамъ видъ сладко-чувствительный. Старикъ этотъ въ эту минуту былъ безмѣрно отвратителенъ, съ дрожащими губами, съ выраженіемъ… съ гадкимъ выраженіемъ.

«— Дайте вашу руку, подите сюда.— Онъ, ничего не подозрѣвая, подалъ мнѣ руку; я подвела его къ моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его: — И вы думаете, что я пойду къ этому смѣшному старику, къ этому плѣшивому селадону?—Я расхохоталась.

«Старикъ поблѣднѣлъ отъ бѣшенства. Въ первую минуту онъ, вырвавши свою руку, поднялъ ее и, вѣроятно, ударилъ бы меня въ лицо, если бъ онъ больше владѣлъ собою. Онъ ограничился грубой бранью и вышелъ вонъ, крича:

«— Я тебя научу забываться: кому ты смѣешь говорить этимъ языкомъ? Ты воображаешь, что ты актриса!.. Ты—*прачка!*

«Я захлопнула за нимъ дверь и бросила на полъ столовый ножикъ, который безъ всякой мысли схватила, когда мнѣ помѣшали читать, и потомъ спрятала его въ рукавъ на всякій случай.

«Что я чувствовала, какъ я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вамъ разсказывать рядъ мелкихъ, оскорбительныхъ непріятностей, который начался для меня съ этого дня. У меня отняли лучшія роли, меня мучили безпрерывной игрой въ роляхъ, вовсе чуждыхъ моему таланту, со мною всѣ наши власти начали обращаться грубо, говорили мнѣ *ты*, не давали мнѣ хорошихъ костюмовъ; не хочу потому разсказывать, что это все пойдетъ въ похвалу князю; онъ не такъ бы могъ поступить со мною, онъ поделикатился, онъ меня уважилъ гоненіями, въ то время, какъ онъ могъ наказать розгами. Меня не скоро бы они добили только такими мелочами, меня добила эта любовь... Я постоянно въ лихорадкѣ, сонъ не освѣжаетъ меня, къ вечеру голова горитъ, а утромъ я какъ въ ознобѣ. Повѣрите ли, что съ тѣхъ поръ каждую недѣлю мнѣ перешиваютъ костюмы, и я радуюсь этому, а съ тѣмъ вмѣстѣ, признаюсь вамъ, страшно, страшно и больно. Да развѣ не могло иначе быть?.. Видно, что нѣтъ... Съ тѣхъ поръ, больная, въ какомъ-то горячечномъ состояніи выхожу я на сцену, и меня осыпаютъ рукоплесканіями, не понимая моей игры. Я съ тѣхъ поръ играю одну роль, зрители не догадались. Талантъ мой тухнетъ, я становлюсь одностороннѣе: есть роли, которыя я играю небрежно, которыя мнѣ сдѣлались невозможны. Итакъ, все кончено—и талантъ и жизнь... Прощай, искусство, прощайте, увлеченія на сценѣ! Поживу еще года два съ князевыми словами: ихъ бы вырѣзать на моей могилѣ.

Она умолкла. Я не нашелъ ей ничего сказать въ утѣшеніе. Помолчавши, она продолжала:

«Мѣсяца за тому назадъ былъ бенефисъ. Прошу костюма—не даютъ. Въ такомъ случаѣ, сказала я режиссеру, я куплю на свои деньги, что надобно, и сошью его себѣ. Надѣваю шляпку и хочу итти въ лавки.

«— Не велѣно никуда пускать безъ спросу; гдѣ у васъ дозволеніе?

«Я была раздражена и пошла въ контору. Князь былъ тамъ; подхожу къ нему и прошу позволенія итти въ лавки.

«—Странное время тебѣ назначаютъ любовники для свиданья—утромъ!—замѣтилъ князь, къ неописанному удовольствію управляющаго и лакеевъ.

«Кровь бросилась мнѣ въ голову; мое поведеніе было незапятнанное; оскорбленіе вывело меня изъ себя.

«— Такъ это для сбереженія нашей чести запираютъ насъ? Ну, князь, вотъ вамъ моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вамъ, что мѣры, вами избранныя, недостаточны!

«При этомъ я вышла прежде, нежели онъ успѣлъ сказать слово.

Тутъ она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просилъ успокоиться, выпить еще воды, держалъ ея холодную и влажную руку въ моей... Она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдругъ она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянувъ на меня, сказала:

«— Я сдержала слово!..

«Мой романъ не оставилъ мнѣ тѣхъ кроткихъ, сладкихъ воспоминаній счастья, упоеній, какъ у другихъ: въ немъ все лихорадочно, безумно; въ немъ не любовь, а отчаяніе, безвыходность... Я вамъ не разскажу его, потому что собственно нечего разсказывать.

— Князь знаетъ?—спросилъ я.

— Вѣроятно, знаетъ; онъ все знаетъ... Да я бы была въ отчаяніи, если бъ онъ не зналъ. Я не боюсь его; я умру въ этой комнатѣ, а ужъ проститься не пойду къ нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не видавши человѣка... Теперь вы понимаете, что́ для меня ваше посѣщеніе...

— Да нельзя ли какъ-нибудь... располагайте мною.

— Нѣтъ; вы видите, какъ насъ строго пасутъ.

«Бѣдная артистка!—думалъ я.—Что за безумный, что за преступный человѣкъ сунулъ тебя на это поприще, не подумавши о судьбѣ твоей. Зачѣмъ разбудили тебя? Затѣмъ только, чтобъ сообщить вѣсть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя въ неразвитости, и великій талантъ, неизвѣстный тебѣ самой, не мучилъ бы тебя; можетъ-быть, подчасъ и поднималась бы со дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной».

— Пора намъ разстаться,—сказала она печально.

— Прощайте, благодарю васъ; какъ бы я желалъ что-нибудь...

Она улыбнулась.

— Вспоминайте иногда, что и во мнѣ...

— Погибла великая русская актриса!..

Я вышелъ, заливаясь слезами.

— Знаешь ли, какая радость?—сказалъ мнѣ товарищъ мой, когда я возвратился домой.—Здѣсь сейчасъ былъ управляющій князя, удивлялся, что ты не приходилъ еще домой, и велѣлъ тебѣ сказать, что князь желаетъ тебя оставить на слѣдующихъ условіяхъ.—Онъ съ торжествующимъ лицомъ подалъ мнѣ бумагу.

Условія были превосходны.

— А знаешь ли ты новость?—отвѣчалъ я ему.—Идучи домой, я зашелъ къ нашему ямщику и нанялъ ту же тройку, которая насъ сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я черезъ часъ ѣду.

— Да что ты, съ ума сошелъ?

— Не знаю, но я здѣсь не останусь: климатъ нездоровъ для художника. А? Подумай-ка, да и поѣдемъ на нашъ старый театръ, съ его декораціями, въ которыхъ мудрено отличить тѣнистую аллею отъ рѣки, въ которыхъ море спокойно, а стѣны волнуются. Поѣдемъ-ка.

— Я бы и готовъ, право, воротиться,—отвѣчалъ товарищъ, беззаботнѣйшій изъ смертныхъ:—да вѣдь съ голоду тамъ умремъ.

— А здѣсь отъ сытости. Голодъ можно вылѣчить кускомъ хлѣба, а кусокъ хлѣба, слава Богу, съ нашимъ здоровьемъ выработаемъ. Болѣзни отъ сытости не такъ скоро лѣчатся.

Товарищъ задумался; я не хотѣлъ его уговаривать. Вдругъ онъ померъ со смѣху.

— Ха-ха-ха! ѣду, братецъ, ѣду; знаешь ли, что мнѣ въ голову пришло: какъ удивится Василій Петровичъ, когда мы черезъ двѣ недѣли воротимся, вотъ удивится-то!

Эта мысль о сюрпризѣ совершенно примирила моего пріятеля съ неожиданнымъ путешествіемъ. Однако онъ спросилъ:

— Ну, а управляющему какой отвѣтъ?

— Тутъ очень затрудняться нечѣмъ; не мы будемъ отвѣчать завтра, если сегодня уѣдемъ; ему скажутъ: вчера отправились обратно. Вотъ и князю сюрпризъ такой же, какъ Василію Петровичу.

— Въ самомъ дѣлѣ хорошо, оттого хорошо, что условія выгодны; пусть онъ знаетъ, что не все на свѣтѣ покупается. Сейчасъ буду укладываться!

И онъ началъ увязывать и складывать небольшіе пожитки наши, насвистывая мотивъ изъ «Калифа Багдадскаго».

Вотъ и все. Для полноты прибавлю, что черезъ два часа мы попрыгивали въ кибиткѣ. Мнѣ было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу; я пробовалъ и на дорогу смотрѣть, и по сторонамъ, и сигары курить,—ничего не помогало. Да и, какъ на смѣхъ, небо было сѣро, вѣтеръ холоденъ, даль терялась за болотистыми испареніями, всѣ виды, которыми я восхищался, ѣхавши сюда, были угрюмы, оттого ли, что я ихъ видѣлъ въ обратномъ порядкѣ, или отчего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господскіе дома съ парками и оранжереями, такъ гордо красовавшіеся между почернѣвшихъ и полуразвалившихся избъ, казались мнѣ мрачными».

— Что же сдѣлалось потомъ съ Анетой? Видѣли ли вы ее?

— Нѣтъ; она умерла черезъ два мѣсяца послѣ родовъ.

Художникъ отиралъ слезы, бѣжавшія по щекѣ. Молодые люди молчали, онъ и они представляли прекрасную надгробную группу Анетѣ.

26 января 1846 г.

**Николай Платоновичъ Огаревъ.**
(1813—1877).

## 1. Зимній путь.

(Изъ дорожныхъ воспоминаній).

1.

Въ дорогу я пустился въ ночь,
Привычки трудно превозмочь:
По утру я объятъ дремотой,
Потомъ, ходъ времени цѣня,
Люблю я съ мудрою заботой
Свершить обязанности дня,
То-есть вкусить обѣдъ и ужинъ
(Всегда порядокъ въ жизни нуженъ),
А въ ночь свободно ѣхать. Вотъ
Уже и тройка у воротъ,
И вотъ, скрипя, помчалась прытко
По снѣгу мерзлому кибитка.
Путь гладокъ, и ярка луна,
Безмолвнымъ свѣтомъ ночь полна,
Студеный воздухъ сжатъ морозомъ;
Иглистый иней по березамъ
Повисъ недвижно и блеститъ;
Поляна снѣжная лежитъ,
Мерцая отблескомъ лиловымъ,
И вѣетъ холодомъ суровымъ,
И взоръ, съ невольною тоской,
Слѣдитъ за смутною чертой,
Гдѣ небо далью блѣдно-синей
Слилося съ бѣлою пустыней.

2.

А все знакомыя мѣста!
Все тотъ же скатъ съ горы отлогой,
Сугробъ у ветхаго моста;
Все такъ же узкою дорогой
Обозъ ползетъ издалека,
Дразня лихого ямщика.
Кругомъ разбросаны селенья...
И знаю я наперечетъ,
Гдѣ сколько душъ, чьего владѣнья,
И гдѣ, и кто, и какъ живетъ;
Все знаю такъ, что даже скучно!
Но выросъ въ этомъ я краю;
Привычки дѣтской рабъ послушный,
Его, быть-можетъ, я люблю.
Даруй вамъ Боже, сны благіе,
Мои сосѣди дорогіе!
Въ дыму удушливой избы
Спи крѣпко труженикъ нашъ вѣчный—

Мужикъ лѣнивый и безпечный,
Прося немного у судьбы!
И ты сосѣдъ, хозяинъ строгой,
Который грозно, въ скорби многой,
Работаешь такъ много лѣтъ
На обязательный совѣтъ,—
И ты усни! — Во снѣ, пожалуй,
Доходъ увидишь небывалый!
Вкусите мирный сонъ и вы,
Сосѣдки, барыни лихія,
Которыхъ ручки боевыя
Легко съ узорчатой канвы
И отъ вареньемъ полныхъ банокъ—
По неизвѣданнымъ путямъ—
Перебираются къ щекамъ
Своихъ запуганныхъ служанокъ!
Да будетъ всѣмъ вамъ мирный сонъ!
Теперь я такъ расположенъ
Учтиво, даже, можетъ, нѣжно,
Что радостно бъ простить хотѣлъ
И грѣхъ, по жизни неизбѣжный,
И придурь — общій всѣхъ удѣлъ.

3.

Еще въ избахъ кой-гдѣ мерцаетъ
Лучины дымной огонекъ,
И дѣва вѣчный свой клубокъ
Въ полудремотѣ напрядаетъ.
Я живо помню, какъ порой
Спокойная картина эта
Своею милой простотой
Меня плѣняла въ прежни лѣта;
Но нынѣ дѣвы сонный ликъ,
Храпящій на печи старикъ,
И вѣчно плачущій ребенокъ
Въ дырявой люлькѣ, и теленокъ
Надъ грязнымъ мѣсивомъ — ей-ей—
Какъ жалкой образъ жизни скудной,
Тоской болѣзненной и трудной
Тревожатъ миръ души моей.
Милѣй мнѣ въ этой деревушкѣ
Воспоминанье объ одной
Сосѣдкѣ, добренькой старушкѣ,
Съ нехитрой дѣтскою душой.
Она, бывало, предъ иконой
Взываетъ въ искренней мольбѣ,
Чтобъ Богъ ему былъ обороной
И пекся о его судьбѣ;
Иль молча, сидя на диванѣ,
Гадаетъ трепетно о немъ,
И все о немъ, о миломъ Ванѣ,
О внукѣ вѣтреномъ своемъ.
«Ну, что вашъ внукъ?»—«Писалъ недавно».
«Чай денегъ проситъ милый внукъ?»
«Ну, что жъ, что проситъ. Вотъ забавно!
Ему вѣдь нужно для наукъ.
А мнѣ?.. стара я для наряда,
И ничего самой не надо!»
И вынетъ дочери портретъ,
Въ живыхъ которой больше нѣтъ,
И смотритъ съ грустною отрадой,
И смотритъ долго, и потомъ
Утретъ слезу свою тайкомъ.

4.

И вотъ еще, близъ церкви бѣлой,
На снѣжномъ холмѣ, при лунѣ,
Я вижу—крестъ осиротѣлый
Стоитъ въ печальной тишинѣ
Надъ безымѣнною могилой...
И мужа, дышащаго силой, *)
Опять на память мнѣ пришло
И величавое чело,
И умъ, наукою развитой,
И духъ насмѣшки ядовитой
Надъ всѣмъ, что подло и смѣшно.
Онъ былъ когда-то мнѣ одно,
Одно отрадное явленье
Въ глуши печальныхъ деревень,
Гдѣ торжествующая лѣнь
На умъ наводитъ усыпленье,
И ни одинъ еще вопросъ
Людей глубоко не потрясъ.
Но мимо, мимо! сердцу больно!
Не вызывай тѣней изъ тьмы!
Зачѣмъ давать слезѣ невольной
Остыть на холодѣ зимы?

5.

И далѣ въ путь! Встрѣчаютъ взоры
Равнины, горки, косогоры,
И вдоль пути рядъ глупыхъ вѣхъ,
И всюду неподвижный снѣгъ.
Вотъ здѣсь пустырь. Была недавно
Деревня. Жили въ ней исправно;
Но отъ нея теперь одни
Торчатъ обугленные пни.
Въ субботу, въ ночь, оно случилось.
Проснулась баба хлѣбы печь
И затопила, какъ водилось,
Давно надтреснутую печь.
На крышѣ вспыхнула солома,
И, подхвативъ, пошла вьюга
Носитъ огонь отъ дома къ дому

*) Поэтъ вспоминаетъ здѣсь своего друга А. И. Герцена.

Съ остервенѣніемъ врага,
И кровли, пламенемъ объяты,
Треща обрушилися въ хаты.
Со сна вскочили мужики,
Стремглавъ пустились бабы въ страхѣ
На улицу въ одной рубахѣ,
За ними дѣти, старики...
Пожаръ! пожаръ! скорѣй! спѣшите!
Багры давайте, топоры!
Ломать!.. Да гдѣ жъ ихъ взять—багры?
Воды! вези воды! тушите!..
Крикъ, бѣготня, и вопль, и шумъ;
Въ бѣдѣ исчезъ послѣдній умъ;
Хватились бабы за пожитки—
Спасать холсты, корыты, нитки,
А по дворамъ поднялся рёвъ
Въ огнѣ покинутыхъ коровъ,
Въ забытой люлькѣ визгъ ребячій
Безсильно замеръ въ общемъ плачѣ.
Спасенья нѣтъ! Толпа глядитъ
Оцѣпенѣвъ, какъ все горитъ;
Багровый блескъ въ мерцаньи длинномъ
Ложится по снѣгамъ пустыннымъ.
Такъ въ пору ранняго утра
Я не засталъ ужъ ни двора;
Безъ словъ, безъ дѣлъ, безъ помышленій
Бродили люди, словно тѣни.
Съ сѣдой всклокоченной косой
Старуха дряхлая сидѣла
У пепла и ребенка грѣла,
Мотая глупо головой.
Тамъ, гдѣ околица, бывало,
Въ сугробъ закутавшись, дремала—
Спаленный столбъ печальный видъ
Хранилъ, какъ старый инвалидъ.
Но тутъ (у выѣзда иль въѣзда),
Въ порывѣ бурнаго наѣзда,
Мнѣ повстрѣчался становой,
Пріятель закадычный мой...
. . . . хоть въ немъ душа окрѣпла
На службѣ,—передъ грудой пепла,
Какъ будто громомъ пораженъ,
Велѣлъ остановиться онъ.
Вздохнулъ, привсталъ, всплеснулъ руками
И вновь ихъ опустилъ... Потомъ
Уныло щелкнулъ языкомъ,
И мы разъѣхались...

6.

......Полями
Я ѣду долго. Скученъ путь!
Но вотъ направо повернуть,
И виденъ лѣсъ въ тиши глубокой.
Луна мерцаетъ сквозь деревъ,
И тѣни длинныя стволовъ
По снѣгу стелются. Далеко
Въ лѣсную глубь уходитъ взоръ;
Унылъ и голъ холодный боръ,
И пусто отголосокъ смутной
Блуждаетъ въ чащѣ безпріютной.
За этимъ лѣсомъ, на горѣ
Высокой, домъ стоитъ дряхлѣя.
Я зналъ его въ иной порѣ!
Къ нему вела дубовъ аллея,
Литой рѣшетчатый заборъ
Каймилъ его широкій дворъ,
Шумѣлъ прохладно садъ столѣтній—
Пріютъ роскошный нѣги лѣтней;
И было время, каждый день
Изъ городовъ и деревень
Съѣзжались гости; дверь подъѣзда
Не умолкала отъ пріѣзда,
И въ домъ богатый принималъ
Гостей радушный генералъ.
Храня временъ минувшихъ нравы,
Онъ жилъ вельможей и любилъ
Пировъ затѣйливыхъ забавы;
Свои доходы не щадилъ
И сотни слугъ рядилъ, какъ франтовъ,
Держалъ собакъ и музыкантовъ;
Неистощимъ былъ мшистый кладъ
Душистыхъ винъ въ его подвалахъ,
Достойно царственныхъ палатъ
Сіяла роскошь въ пышныхъ залахъ.
И вотъ къ нему со всѣхъ сторонъ
Спѣшили гости на поклонъ:
Спѣшилъ бѣднякъ, судьбой прижатый,
Искавшій милости богатой;
Спѣшилъ и тотъ, кто отъ него
Не ждалъ, конечно, ничего,
Но такъ—лелѣялъ, вмѣсто чести,
Наклонность къ безкорыстной лести,—
И среди нихъ торжествовалъ
Нашъ, впрочемъ, добрый генералъ.
Онъ находился ль въ убѣжденьи,
Какъ Цезарь (что извѣстно всѣмъ),
Что лучше первымъ быть въ селеньи,
Чѣмъ гдѣ бъ то ни было ничѣмъ;
Иль о покойницѣ супругѣ
Хотѣлъ поплакать на досугѣ—
Сосѣдями не рѣшено.
Извѣстно только, что давно
Онъ прибылъ жить въ свое имѣнье
И скорбь легко могъ превозмочь:
При немъ, ему на утѣшенье,
Росла единственная дочь.
И онъ любилъ ее—насколько
Любить способенъ человѣкъ,

Чей беззаботно праздный вѣкъ,
Какъ непрерывный пиръ, летѣлъ—и только!
Онъ дочь обычно цѣловалъ
Поутру, съ ложа сна вставая,
Еще — ко сну благословляя;
Какъ куклу, въ дѣтствѣ одѣвалъ,
Потомъ цѣною дорогою
Ей гувернантку нанималъ,
Чтобы обычной чередою
Учила барышню всему,
Что не полезно никому.
Еще таилася въ немъ вѣра,
Что жениха онъ сыщетъ ей,
По крайней мѣрѣ, камергера
Изъ важныхъ графовъ или князей.
Итакъ, онъ ждалъ, когда ей минетъ
Завѣтный срокъ — семнадцать лѣтъ,
Тогда деревню онъ покинетъ
И дочь введетъ въ столичный свѣтъ;
Такъ старый садоводъ ревниво
Въ смиренный прячетъ уголокъ
Нераспустившійся цвѣтокъ,
Чтобъ послѣ выставить на диво
Во всемъ плѣнительномъ цвѣту
Волшебныхъ красокъ красоту.
И срокъ насталъ. Незримымъ ходомъ,
Подкравшись тихо годъ за годомъ,
Пришла пора дѣвичьихъ грезъ,
Гдѣ дума новая мятется
Въ головкѣ юной, сердце бьется
И проситъ счастія и слезъ,
И грудь младую вздохъ подъемлетъ,
И взору снится тайный ликъ,
И ухо жаждущее внемлетъ
Любви незнаемый языкъ.
Иль попросту: пора настала,
Гдѣ барышня, окончивъ классъ,
Блеснуть желаетъ въ вихрѣ бала,
Красою свѣжею гордясь.
Благовоспитанной дѣвицѣ
Тогда одно и то же: жить
Или поклонниковъ влачить
Вослѣдъ надменной колесницѣ
Побѣдоносной красоты;
И эти гордыя мечты
Ведутъ къ прямому окончанью,
Чтобъ по сердечному желанью
И безъ дальнѣйшаго грѣха
Найти скорѣе жениха.
Отецъ, въ восторгѣ умиленья,
Обдумалъ праздникъ и нарядъ,
И въ день дочерняго рожденья
Назначилъ балъ и маскарадъ.
Ко всѣмъ сосѣдямъ близкимъ, дальнимъ,
Къ властямъ уѣздныхъ городовъ
И къ лицамъ меньше подначальнымъ
Отъ генерала посланъ зовъ.
Самъ губернаторъ приглашенье
Почелъ за честь...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я былъ тогда въ порѣ блаженной
Невинныхъ отроческихъ лѣтъ,
А генералъ былъ нашъ сосѣдъ:
Къ нему насъ, помню, неизмѣнно
Возили по воскреснымъ днямъ;
Привыкъ я къ людямъ и садамъ,
Но въ этотъ разъ меня смущала
Мнѣ чуждая тревога бала.
Оркестръ ударилъ, и тотчасъ
Всѣ въ залу ринулись тѣснясь.
И я съ подножія колонны,
Какъ будто въ сказочный удѣлъ
Внезапнымъ чудомъ занесенный,
Привставъ на цыпочки, глядѣлъ.
Все юное воображенье
Прельщало: и толпа людей,
И музыка, и блескъ свѣчей,
И масокъ пестрое движенье.
Чего тутъ не было, мой Богъ!
Паяцы, рыцари, цыганки,
Маркизъ напудренный, турчанки, —
Все нарядилось, кто какъ могъ.
Тутъ былъ судья одѣтъ матросомъ,
И скромный стряпчій—казакомъ,
Тутъ былъ исправникъ съ краснымъ носомъ
Одѣтъ индѣйскимъ пѣтухомъ;
И даже Дарья Тимоѳеевна,
Годовъ тяжелый грузъ забывъ,
Какою-то морской царевной
Явилась, плечи обнаживъ.
Шумѣло все. Старушки хоромъ
За дочками слѣдили взоромъ,
И старички, очки надѣвъ,
Степенно наблюдали дѣвъ.
Но вотъ среди толпы предстала
Сама она, царица бала,
И гулъ сорвавшихся похвалъ
По залѣ дружно пробѣжалъ.
Въ кругу наперсницъ суетливыхъ,
Дѣвицъ жеманныхъ и болтливыхъ,
Она въ безмолвьи тихомъ шла
Самодовольно и несмѣло—
Съ вѣнцомъ изъ листьевъ вкругъ чела,
Какъ Норма, вся въ одеждѣ бѣлой...
Все въ ней въ гармоніи слилось:
Движеній мягкая небрежность,
Лица мечтательная нѣжность,
И лоскъ волнистыхъ русыхъ косъ,
И взоръ, томящей ласки полный,—
Уста раскрытыя едва,

Какъ бы тающія слова,
Для слуха сладкія, какъ волны,
Когда, сокрытый отъ лучей,
Въ тѣни журча, скользитъ ручей...
И вдругъ съ улыбкой добродушной
Она, презрѣвъ толпою скучной,
Ко мнѣ, ребенку, подошла
И тихо въ польскій увела.
Ея руки прикосновенье
На трепетной моей рукѣ
Незримое напечатлѣнье
Оставило. Такъ вдалекѣ
Знакомой пѣсни голосъ милый
Тревожилъ долго слухъ унылый;
И послѣ много, много лѣтъ,
Средь жаркихъ сновъ, въ чаду томленья,
Ловилъ мой отроческій бредъ
Черты знакомаго видѣнья.
Но къ дѣлу! Въ сей юдоли слезъ
Есть люди внѣ бѣды и грозъ,
Которыхъ жгучія печали,
Богъ вѣсть, какъ въ жизни миновали;
Легко, безъ долгаго труда
Цѣль добывалась ихъ желаній
И застигала безъ страданій
Ихъ смерти срочной череда.
Покинувъ сельскую свободу,
По ожиданію точь въ точь,
Въ столицѣ не проживъ и году,
Нашъ генералъ сосваталъ дочь
За юношу породы барской,
Которому Господь послалъ
Богатства тьму, и предстоялъ
Блестящій путь на службѣ царской.
Была ль довольна дочь, иль нѣтъ,
По нраву ль былъ ей высшій свѣтъ,
Иль сердцу жить въ немъ было тѣсно,
И жаль ей было то село,
Гдѣ мирно дѣтство протекло—
Мнѣ это вовсе неизвѣстно.
Но знаю то, что генералъ,
Довольный тѣмъ, что жилъ не даромъ,
Допивъ за ужиномъ бокалъ,
Апоплексическимъ ударомъ
На ложе праотцевъ своихъ
Перескочилъ въ единый мигъ.
За гробомъ важныя шли лицы;
Дочь плакала. Тоскуя зять
Наслѣдство долженъ былъ принять.
Но, вѣчный баловень столицы,
Деревни онъ не посѣтилъ.
Сюда по волѣ барской былъ
Какой-то присланъ плутъ наемный
Сбирать и доставлять доходъ;
А баринъ самъ здѣсь не живетъ.
Домъ опустѣлъ. Сквозь ставень темный
Не улыбнется лучъ дневной,
Не взглянетъ грустно мѣсяцъ томный,
И человѣческой ногой
Не нарушаемъ мракъ сырой;
И только вѣтеръ въ дни мятели,
Врываясь въ трубы или щели,
Тоскуетъ жалобно—одинъ
Безлюдныхъ комнатъ властелинъ;
Да ночью сторожъ безполезный
Печально бродитъ до утра
Вокругъ пустыннаго двора
И сторожитъ замокъ желѣзный...
И право жаль мнѣ иногда,
Что видно, въ память дней бывалыхъ,
Мнѣ не придется никогда
Блуждать въ давно знакомыхъ залахъ
И снова видѣть по стѣнамъ
Въ прическахъ странныхъ тѣ же лицы
Старинныхъ баръ и прежнихъ дамъ,
Давно сошедшихъ въ тьму гробницы.
И право жаль, что никогда
Не доведется мнѣ лѣниво
Сидѣть на берегу пруда
Подъ старою плакучей ивой,
Глядѣть, какъ тихо съ высоты
Она зеленые листы,
Склоняясь, медленно купаетъ...
Недвиженъ прудъ; хоть бы слегка
Пронесся шелестъ вѣтерка,
И вечеръ ясный догораетъ,
Сливая мирно ночь и день
Въ одну задумчивую тѣнь;
И ловитъ чуткое вниманье
Мгновенныхъ звуковъ трепетанье:
Надъ полусонною водой
Шумъ крыльевъ птицы мимолетной
И подъ разбрызнутой волной
Плесканье рыбки беззаботной.

7.

Пошелъ! Въ ночи, какъ днемъ, свѣтло.
Мой путь лежитъ черезъ село
Огромное; въ немъ даже школа
Есть для дѣтей мужского пола.
Тутъ жилъ учитель. Съ нимъ я былъ
Давно знакомъ. Мы въ юны лѣта,
Подъ кровомъ университета,
Учились вмѣстѣ. Я шалилъ,
А онъ, неловкій и смиренный,
Душою въ бездну погруженный
Метафизическихъ началъ,
Прилежно Шеллинга читалъ.
И въ годы тѣ, когда стыдливо

Усъ пробивается едва,
Онъ душу міра горделиво
Хотѣлъ понять, какъ дважды два;
Но только смутное сомнѣнье
Ему навѣяло ученье.
Онъ сталъ де-Местра изучать
И верхъ премудрости искать
Тамъ, гдѣ—пировъ пустыя дѣти—
Не попадаясь въ оны сѣти,
Мы видѣли, махнувъ рукой,
Туманный бредъ души больной.
Такъ въ жизнь игрушкою случайной
Товарищъ юности моей
Вошелъ, своей завѣтной тайны
Не разрѣшивъ и чуждъ путей
Ко счастью. Вѣчно недовольный
И міромъ и собой самимъ,
И тяжкой бѣдностью томимъ,
Пошелъ онъ, какъ учитель школьный,
Въ нашъ край печальный и готовъ
Былъ съ добросовѣстностью милой
Учить читать тупыхъ птенцовъ
И по складамъ и безъ складовъ.
Но тщетно! Сила измѣнила:
Онъ сталъ грустить, потомъ спился
И помѣшался. Я въ то время,
Влача безпечно жизни бремя,
Подъ голубыя небеса
Иной страны благоуханной
Свободно путь держалъ желанный.
Когда же изъ чужихъ сторонъ
Вернулся я въ родныя степи
Принять обычной жизни цѣпи,
Я поспѣшилъ къ нему, и онъ
Былъ страшно радъ мнѣ, жалъ мнѣ руку
И, тайную скрывая муку,
Мнѣ говорилъ, что онъ спасенъ,
Что душу міра видитъ онъ,
Но окруженную толпами
Какихъ-то гаденькихъ дѣтей,
Должно-быть, маленькихъ чертей,
Горбатыхъ, подленькихъ, съ хвостами,
Его дразнящихъ языками.
Но этотъ жизни жалкой сонъ
Былъ скоро смертью пресѣченъ.
Я друга схоронилъ. Но сухо
На сердцѣ было; на глаза
Не пробивалася слеза,
И въ головѣ бродило глухо,
Что даже лучше для него,
Чтобъ вовсе не было его.

8.

Я съ похоронъ спѣшилъ. Желалось
Домой, скорѣй бы лечь въ постель,
Заснуть и позабыть... Смеркалось,
Была сердитая мятель.
Слѣдъ занесло. Ямщикъ крестился,
Глядя съ боязнію кругомъ;
Ступали лошади съ трудомъ,
А снѣгъ валилъ, и вѣтеръ злился.
Дрожь пробирала, и тоской
Томилась мысль, и сердце ныло...
И вдругъ мнѣ память воскресила
Иное время, путь иной:
Я уѣзжалъ—то было лѣтомъ,—
Сіяла пышная луна,
Была прозрачнымъ полусвѣтомъ
И свѣжей влагой ночь полна.
Мнѣ разставаться было трудно,
Но какъ-то молодо и чудно
На сердцѣ было! А кругомъ
Шептался въ рощѣ листъ съ листомъ,
И тихо вѣялъ воздухъ сонной
Какой-то нѣгой благовонной,
И звонко пѣлъ во мглѣ вѣтвей
Печаль и счастье соловей.

9.

Но, стой! Вотъ станція! Встрѣчаетъ
Смотритель съ заспаннымъ лицомъ,
Мундиръ потертый надѣваетъ,
Стоитъ у двери и потомъ
Выходитъ вонъ, ворча сквозь зубы.
А я, освободясь отъ шубы,
Томимъ зѣвотой и лѣнивъ,
Сажусь, сигару закуривъ.
Пока со сна ямщикъ впрягаетъ,
Пока, колеблясь и треща,
Уныло сальная свѣча
Передо мною нагораетъ—
Часы стѣнные въ тишинѣ
Одно и то же сипло, глухо
Лепечутъ въ мѣрной болтовнѣ,
Какъ сумасшедшая старуха.
И какъ-то жутко! Духъ въ груди
Тѣснится; думы смутно бродятъ:
То будто горе впереди,
То будто призраки проходятъ
Людей минувшихъ, и опять
Судьба готова повторять
Всѣ жизни тяжкія мгновенья,
Ошибки, скорби и волненья...
Но полно! Звякнула дуга;
Нѣтъ времени для грусти праздной
Подъ звукъ часовъ однообразной:
Теперь минута дорога—
Вѣдь я въ уѣздный городъ ѣду
По тяжбѣ дать отпоръ сосѣду...

. . . . . . . . . . . . . . . .

10.

Но кони мчатся на востокъ.
Луна потухла. Понемногу
Разсвѣта трепетный потокъ
Яснѣй ложится на дорогу,
И, свѣтомъ пурпурнымъ горя,
Встаетъ студеная заря,
И солнце въ выси блѣдно-синей
Блеститъ надъ бѣлою пустыней...

## 2. Прометей.

Прочь, коршунъ! больно, подлый рабъ,
Палачъ Зевеса!.. О, когда бъ
Мнѣ эти цѣпи не мѣшали,
Какъ безпощадно бъ руки сжали
Тебя за горло! Но безъ силъ,
Къ скалѣ прикованный, безъ воли,
Я грудь мою тебѣ открылъ
И каждый мигъ кричу отъ боли,
И замираю каждый мигъ...
На мой безумно-жалкій крикъ
Проснулся отголосокъ дальній,
И вѣтеръ жалобно завылъ
И прочь рванулся, что есть силъ,
И закачался лѣсъ печальный;
Испуга барсъ не превозмогъ —
Сверкая желтыми глазами,
Онъ въ чащу кинулся прыжками;
Туманъ сѣдой на горы легъ,
И море дальнее, о скалы
Дробяся, глухо застонало...
Одинъ спокоенъ царь небесъ —
Ничѣмъ не тронулся Зевесъ!
Завистникъ! онъ забыть не можетъ,
Что я творецъ, что онъ моихъ
Созданій ввѣкъ не уничтожитъ;
Что я—съ небесъ его для нихъ
Унесъ огонь неугасимый.
Ну, что же, богъ неумолимый,
Ну, мучь меня, еще ко мнѣ
Пошли хоть двадцать птицъ голодныхъ,
Неутомимыхъ, безотходныхъ,
Чтобъ рвали сердце мнѣ онѣ—
А все жъ людей я создалъ!—Твердый,
Смѣясь надъ злобою твоей,
Смотрю я, непокорный, гордый,
На красоту моихъ людей.
О! хорошо ихъ сотворилъ я,
Во всемъ подобными себѣ:
Огонь небесный въ нихъ вселилъ я
Съ враждою вѣчною къ тебѣ,
Съ гордыней вольною Титана
И непокорностью судьбѣ.
Рви, коршунъ, глубже въ сердцѣ рану—
Она Зевесу лишь позоръ!
Мой крикъ пронзительный—укоръ
Родитъ въ душахъ моихъ созданій;
За даръ томительный страданій
Дойдутъ проклятья до небесъ—
Къ тебѣ, завистливый Зевесъ!
А я, на вѣчное мученье
Тобой прикованный къ скалѣ,
Найду повсюду сожалѣнье,
Найду любовь по всей землѣ,
И въ людяхъ, гордый самъ собою,
Я наругаюсь надъ тобою!

## 3. Сосѣдкѣ.

Въ деревнѣ, въ мирномъ уголкѣ,
Я помню, въ дѣтствѣ мы играли
Въ саду весною на пескѣ,
По вечерамъ осеннимъ въ залѣ.
Меня въ столицу увезли;
Я выросъ—вы большая тоже,
Но вы въ деревнѣ расцвѣли
На блѣдный цвѣтъ полей похоже.
Я не забочусь о себѣ —
Нѣтъ нужды, что бъ со мной ни сталось;
Но въ вашей будущей судьбѣ
Прочесть страницу бы желалось.
Что? влюблены вы, или нѣтъ?
Мечтаете ли ночью звѣздной?
Иль безъ любви, не зная свѣтъ,
Взросли вы барышней уѣздной,
И просто надо, наконецъ,
Вамъ замужъ—и безъ нѣжной страсти
Вы побредете подъ вѣнецъ,
Покорны папенькиной власти?
Гадали ль вы про жениховъ?
Кто жъ вышелъ? Тотъ ли, сердцу близкій,
Или сосѣдъ, что любитъ псовъ,
Плечами дюжій, ростомъ низкій?
Да въ нашей грустной сторонѣ,
Скажите, что жъ и дѣлать болѣ,
Какъ не хозяйничать женѣ,
А мужу съ псами ѣздить въ поле!

## 4. Кабакъ.

Выпьемъ что ли, Ваня,
Съ холода да съ горя;
Говорятъ, что пьянымъ
По колѣно море.
У Антона дочь-то
Дѣвка молодая;
Очи голубыя,
Славная такая.

Да богатъ онъ, Ваня:
Наотрѣзъ откажетъ;
Вѣдь сгоришь съ стыда, братъ,
Какъ на дверь укажетъ.
Что я ей за пара?
Скверная избушка...
А оброкъ-то, Ваня,
А кормить старушку!..
Выпьемъ, что ли, съ горя?
Эхъ, братъ! да едва ли
Бѣдному за чаркой
Позабыть печали!

## 5. Дорога.

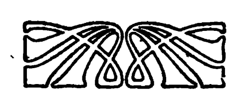
Тускло мѣсяцъ дальній
Свѣтитъ сквозь тумана,
И лежитъ печально
Снѣжная поляна.
Бѣлыя съ морозу,
Вдоль пути рядами
Тянутся березы
Съ голыми сучками.
Тройка мчится лихо,
Колокольчикъ звонокъ,
Напѣваетъ тихо
Мой ямщикъ спросонокъ.
Я въ кибиткѣ валкой
Ѣду да тоскую:
Скучно мнѣ да жалко
Сторону родную.

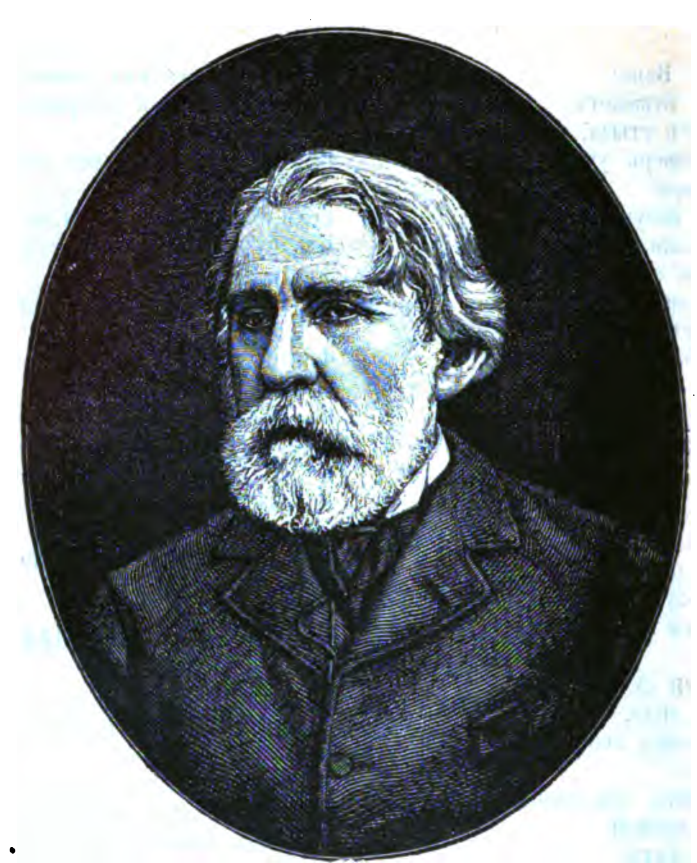
## 6. За днями идутъ дни.

За днями идутъ дни, идетъ за годомъ годъ—
Съ вопросомъ на устахъ, въ сомнѣніи печальномъ
Слѣжу я робко ихъ однообразный ходъ.
И будто гдѣ-то я затерянъ въ морѣ дальнемъ—
Все тотъ же гулъ, все тотъ же плескъ валовъ
Безъ смысла, безъ конца, не видно береговъ;
Иль будто грежу я во снѣ безъ пробужденья,
И длинный рядъ бѣсовъ мятется предо мной:
Фигуры дикія, тяжелаго томленья
И злобы полныя, враждуя межъ собой,
Въ безвыходной и безконечной схваткѣ
Волнуются, кричатъ и гибнутъ въ безпорядкѣ!
И такъ за годомъ годъ идетъ, за вѣкомъ вѣкъ,
И дышитъ произволъ, и гибнетъ человѣкъ.

## 7. Хандра.

Бываютъ дни, когда душа пуста:
Ни мыслей нѣтъ, ни чувствъ, молчатъ уста,
Ровно печаль и радости постылы,
И въ тѣлѣ лѣнь, и двигаться нѣтъ силы.
Напрасно ищешь, чѣмъ бы умъ занять —
Противно видѣть, слышать, понимать,
И только безконечно давитъ скука,
И кажется, что жить такая мука!
Куда бѣжать? чѣмъ облегчить бы грудь?
Вотъ ночи ждешь — въ постель! скорѣй заснуть!
И хорошо, что стало все беззвучно...
А сонъ нейдетъ, а тьма томитъ докучно!





**Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.**
(1818—1883).

## 1. Бурмистръ.

Верстахъ въ пятнадцати отъ моего имѣнья, живетъ одинъ мнѣ знакомый человѣкъ, молодой помѣщикъ, гвардейскій офицеръ въ отставкѣ, Аркадій Павлычъ Пѣночкинъ. Дичи у него въ помѣстьѣ водится много, домъ построенъ по плану французскаго архитектора, люди одѣты по-англійски, обѣды задаетъ онъ отличные, принимаетъ гостей онъ ласково, а все-таки неохотно къ нему ѣдешь. Онъ человѣкъ разсудительный и положительный, воспитанье получилъ, какъ водится, отличное, служилъ, въ высшемъ обществѣ потерся, а теперь хозяйствомъ занимается съ большимъ успѣхомъ. Аркадій Павлычъ, говоря собственными его словами, строгъ, но справедливъ, о благѣ подданныхъ своихъ печется и наказываетъ ихъ — для ихъ же блага. «Съ ними надобно обращаться, какъ съ дѣтьми,—говоритъ онъ въ такомъ случаѣ: — невѣжество, mon cher; il faut prendre cela en considération». Самъ же, въ случаѣ такъ называемой печальной необходимости, рѣзкихъ и порывистыхъ движеній избѣгаетъ и голоса возвышать не любитъ, но болѣе тычетъ рукою прямо, спокойно приговаривая: «вѣдь я тебя просилъ, любезный мой», или: «что̀ съ тобою, другъ мой, опомнись»; при чемъ только слегка стискиваетъ зубы и кривитъ ротъ. Роста онъ небольшого, сложенъ щеголевато, собою весьма недуренъ, руки и ногти въ большой опрятности содержитъ; съ его румяныхъ губъ и щекъ такъ и пышетъ здоровьемъ. Смѣется онъ звучно и беззаботно, привѣтливо щуритъ свѣтлые, каріе глаза. Одѣвается онъ отлично и со вкусомъ; выписываетъ французскія книги, рисунки и газеты, но до чтенія небольшой охотникъ: «Вѣчнаго жида» едва осилилъ. Въ карты играетъ мастерски. Вообще Аркадій Павлычъ счи-

тается однимъ изъ образованнѣйшихъ дворянъ и завиднѣйшихъ жениховъ нашей губерніи; дамы отъ него безъ ума и въ особенности хвалятъ его манеры. Онъ удивительно хорошо себя держитъ, остороженъ, какъ кошка, и ни въ какую исторію замѣшанъ отроду не былъ, хотя при случаѣ дать себя знать и робкаго человѣка озадачить и срѣзать любитъ. Дурнымъ обществомъ рѣшительно брезгаетъ — скомпрометироваться боится; зато въ веселый часъ объявляетъ себя поклонникомъ Эпикура, хотя вообще о философіи отзывается дурно, называя ее туманной пищей германскихъ умовъ, а иногда и просто чепухой. Музыку онъ тоже любитъ; за картами поетъ сквозь зубы, но съ чувствомъ; изъ Лючіи и Сомнамбулы тоже помнитъ, но что-то все высоко забираетъ. По зимамъ онъ ѣздитъ въ Петербургъ. Домъ у него въ порядкѣ необыкновенномъ; даже кучера подчинились его вліянію и каждый день. не только вытираютъ хомуты и армяки чистятъ, но и самимъ себѣ лицо моютъ. Дворовые люди Аркадія Павлыча посматриваютъ, правда, что-то исподлобья,—но у насъ на Руси угрюмаго отъ заспаннаго не отличишь. Аркадій Павлычъ говоритъ голосомъ мягкимъ и пріятнымъ, съ разстановкой и какъ бы съ удовольствіемъ пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляетъ много французскихъ выраженій, какъ-то: «Mais c'est impayable!», «Mais comment donc!» и пр. Со всѣмъ тѣмъ, я, по крайней мѣрѣ, не слишкомъ охотно его посѣщаю, и если бы не тетеревà и не куропатки, вѣроятно, совершенно бы съ нимъ раззнакомился. Странное какое-то безпокойство овладѣваетъ вами въ его домѣ; даже комфортъ васъ не радуетъ, и всякій разъ вечеромъ, когда появится передъ вами завитый камердинеръ въ голубой ливреѣ съ гербовыми пуговицами и начнетъ подобострастно стягивать съ васъ сапоги, вы чувствуете, что еслибы, вмѣсто его блѣдной и сухопарой фигуры, внезапно предстали передъ вами изумительно-широкія скулы и невѣроятно-тупой носъ молодого дюжаго парня, только что взятаго бариномъ отъ сохи, но уже успѣвшаго въ десяти мѣстахъ распороть по швамъ недавно пожалованный нанковый кафтанъ — вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вмѣстѣ съ сапогомъ и собственной вашей ноги вплоть до самаго вертлюга...

Несмотря на мое нерасположеніе къ Аркадію Павлычу, пришлось мнѣ однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велѣлъ заложить свою коляску, но онъ не хотѣлъ меня отпустить безъ завтрака на англійскій манеръ и повелъ къ себѣ въ кабинетъ. Вмѣстѣ съ чаемъ подали намъ котлеты, яйца всмятку, масло, медъ, сыръ и пр. Два камердинера, въ чистыхъ бѣлыхъ перчаткахъ, быстро и молча предупреждали наши малѣйшія желанія. Мы сидѣли на персидскомъ диванѣ. На Аркадіи Павлычѣ были широкія шелковыя шаровары, черная бархатная куртка, красивый фесъ съ синей кистью и китайскія желтыя туфли безъ задковъ. Онъ пилъ чай, смѣялся, разсматривалъ свои ногти, курилъ, подкладывалъ себѣ подушки подъ бокъ и вообще чувствовалъ себя въ отличномъ расположеніи духа. Позавтракавши плотно и съ видимымъ удовольствіемъ, Аркадій Павлычъ налилъ себѣ рюмку краснаго вина, поднесъ ее къ губамъ и вдругъ нахмурился.

— Отчего вино не нагрѣто?—спросилъ онъ довольно рѣзкимъ голосомъ одного изъ камердинеровъ.

Камердинеръ смѣшался, остановился, какъ вкопанный, и поблѣднѣлъ.

— Вѣдь я тебя спрашиваю, любезный мой?—спокойно продолжалъ Аркадій Павлычъ, не спуская съ него глазъ.

Несчастный камердинеръ помялся на мѣстѣ, покрутилъ салфеткой и не сказалъ ни слова. Аркадій Павлычъ потупилъ голову и задумчиво посмотрѣлъ на него исподлобья.

— Pardon, mon cher, — промолвилъ онъ съ пріятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колѣна, и снова уставился на камердинера.—Ну, ступай,— прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія, поднялъ брови и позвонилъ.

Вошелъ человѣкъ толстый, смуглый, черноволосый, съ низкимъ лбомъ и совершенно заплывшими глазами.

— Насчетъ Ѳедора... распорядиться, — проговорилъ Аркадій Павлычъ вполголоса и съ совершеннымъ самообладаніемъ.

— Слушаю-съ, — отвѣчалъ толстый и вышелъ.

— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne,—весело замѣтилъ Аркадій Павлычъ.—Да куда же вы? останьтесь, посидите еще немного.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ я:—мнѣ пора.

— Все на охоту! Охъ, ужъ эти мнѣ охотники! Да вы куда теперь ѣдете?

— За сорокъ верстъ отсюда, въ Рябово.

— Въ Рябово? Ахъ, Боже мой, да въ такомъ случаѣ я съ вами поѣду. Рябово всего въ пяти верстахъ отъ моей Шипиловки, а я-таки давно въ Шипиловкѣ не бывалъ: все времени улучить не могъ. Вотъ какъ кстати пришлось: вы сегодня въ Рябовѣ поохотитесь, а вечеромъ ко мнѣ. Ce sera charmant. Мы вмѣстѣ поужинаемъ,—мы возьмемъ съ собою повара,—вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно!—прибавилъ онъ, не дождавшись моего отвѣта.—C'est arrangé.... Эй, кто тамъ? Коляску намъ велите заложить, да поскорѣй. Вы въ Шипиловкѣ не бывали? Я бы посовѣстился предложить вамъ провести ночь въ избѣ моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы, и въ Рябовѣ въ сѣнномъ бы сараѣ ночевали... Ѣдемъ, ѣдемъ!

И Аркадій Павлычъ запѣлъ какой-то французскій романсъ.

— Вѣдь вы, можетъ-быть, не знаете,—продолжалъ онъ, покачиваясь на обѣихъ ногахъ:—у меня тамъ мужики на оброкѣ. Конституція,—что будешь дѣлать? Однако оброкъ мнѣ платятъ исправно. Я бы ихъ признаться, давно на барщину ссадилъ, да земли мало! я и такъ удивляюсь, какъ они концы съ концами сводятъ. Впрочемъ, c'est leur affaire. Бурмистръ у меня тамъ молодецъ, une forte tête, государственный человѣкъ! Вы увидите... Какъ, право, это хорошо пришлось!

Дѣлать было нечего. Вмѣсто девяти часовъ утра, мы выѣхали въ два. Охотники поймутъ мое нетерпѣнье. Аркадій Павлычъ любилъ, какъ онъ выражался, при случаѣ побаловать себя и забралъ съ собою такую бездну бѣлья, припасовъ, платья, духовъ, подушекъ и разныхъ несессеровъ, что иному бережливому и владѣющему собою нѣмцу хватило бы всей этой благодати на годъ. При каждомъ спускѣ съ горы. Аркадій Павлычъ держалъ краткую, но сильную рѣчь кучеру, изъ чего я могъ заключить, что мой знакомецъ порядочный трусъ. Впрочемъ, путешествіе совершилось весьма благополучно; только на одномъ недавно починенномъ мостикѣ телѣга съ поваромъ завалилась, и заднимъ колесомъ ему придавило желудокъ.

Аркадій Павлычъ, при видѣ паденія доморощеннаго Карема, испугался не на шутку и тотчасъ велѣлъ спросить: цѣлы ли у него руки? Получивъ же отвѣтъ утвердительный, немедленно успокоился. Со всѣмъ тѣмъ, ѣхали мы довольно долго; я сидѣлъ въ одной коляскѣ съ Аркадіемъ Павлычемъ и подъ конецъ путешествія почувствовалъ тоску смертельную, тѣмъ болѣе, что въ теченіе нѣсколькихъ часовъ мой знакомецъ совершенно выдохся и начиналъ уже либеральничать. Наконецъ мы пріѣхали, только не въ Рябово, а прямо въ Шипиловку; какъ-то оно такъ вышло. Въ тотъ день я и безъ того уже поохотиться не могъ и потому, скрѣпя сердце, покорился своей участи.

Поваръ пріѣхалъ нѣсколькими минутами ранѣе насъ и, повидимому, уже успѣлъ распорядиться и предупредить кого слѣдовало, потому что при самомъ въѣздѣ въ околицу встрѣтилъ насъ староста (сынъ бурмистра), дюжій и рыжій мужикъ въ косую сажень ростомъ, верхомъ и безъ шапки, въ новомъ армякѣ нараспашку.— «А гдѣ же Софронъ?» спросилъ его Аркадій Павлычъ. Староста сперва проворно соскочилъ съ лошади, поклонился барину въ поясъ, промолвилъ: «Здравствуйте, батюшка Аркадій Павлычъ», потомъ приподнялъ голову, встряхнулся и доложилъ, что Софронъ отправился въ Перово, но что за нимъ уже послали. — «Ну, ступай за нами», сказалъ Аркадій Павлычъ. Староста отвелъ изъ приличія лошадь въ сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку въ рукѣ. Мы поѣхали по деревнѣ. Нѣсколько мужиковъ въ пустыхъ телѣгахъ попались намъ навстрѣчу; они ѣхали съ гумна и пѣли пѣсни, подпрыгивая всѣмъ тѣломъ и болтая ногами на воздухѣ; но при видѣ нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимнія шапки (дѣло было лѣтомъ) и приподнялись, какъ бы ожидая приказаній. Аркадій Павлычъ милостиво имъ поклонился. Тревожное волненіе видимо распространялось по селу. Бабы въ клѣтчатыхъ паневахъ швыряли щепками въ недогадливыхъ или слишкомъ усердныхъ собакъ; хромой старикъ съ бородой, начи-

навшейся подъ самыми глазами, оторвалъ недопоенную лошадь отъ колодезя, ударилъ ее неизвѣстно за что по боку, а тамъ уже поклонился. Мальчишки въ длинныхъ рубашонкахъ съ воплемъ бѣжали въ избы, ложились брюхомъ на высокій порогъ, свѣшивали головы, закидывали ноги кверху и такимъ образомъ весьма проворно перекатывались за дверь, въ темныя сѣни, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью въ подворотню; одинъ бойкій пѣтухъ съ черной грудью, похожей на атласный жилетъ, и краснымъ хвостомъ, закрученнымъ на самый гребень, остался было на дорогѣ и уже совсѣмъ собрался кричать, да вдругъ сконфузился и тоже побѣжалъ. Изба бурмистра стояла въ сторонѣ отъ другихъ, посреди густого зеленаго конопляннника. Мы остановились передъ воротами. Г-нъ Пѣночкинъ всталъ, живописно сбросилъ съ себя плащъ и вышелъ изъ коляски, привѣтливо озираясь кругомъ. Бурмистрова жена встрѣтила насъ съ низкими поклонами и подошла къ барской ручкѣ. Аркадій Павлычъ далъ ей нацѣловаться вволю и взошелъ на крыльцо. Въ сѣняхъ, въ темномъ углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но къ рукѣ подойти не дерзнула. Въ такъ называемой холодной избѣ—изъ сѣней направо — уже возились двѣ другія бабы; онѣ выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одервянѣлые тулупы, масляные горшки, люльку съ кучей тряпокъ и пестрымъ ребенкомъ, подметали банными вѣниками соръ. Аркадій Павлычъ выслалъ ихъ вонъ и помѣстился на лавкѣ подъ образами. Кучерá начали вносить сундуки, ларцы и прочія удобства, всячески стараясь умѣрить стукъ своихъ тяжелыхъ сапоговъ.

Между тѣмъ Аркадій Павлычъ разспрашивалъ старосту объ урожаѣ, посѣвѣ и другихъ хозяйственныхъ предметахъ. Староста отвѣчалъ удовлетворительно, но какъ-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтанъ застегивалъ. Онъ стоялъ у дверей и то и дѣло сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Изъ-за его могущественныхъ плечъ удалось мнѣ увидѣть, какъ бурмистрова жена въ сѣняхъ втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдругъ застучала телѣга и остановилась передъ крыльцомъ: вошелъ бурмистръ.

Этотъ, по словамъ Аркадія Павлыча, государственный человѣкъ былъ роста небольшого, плечистъ, сѣдъ и плотенъ, съ краснымъ носомъ, маленькими голубыми глазами и бородой въ видѣ вѣера. Замѣтимъ кстати, что съ тѣхъ поръ, какъ Русь стоитъ, не бывало еще на ней примѣра раздобрѣвшаго и разбогатѣвшаго человѣка безъ окладистой бороды; иной весь свой вѣкъ носилъ бородку жидкую, клиномъ,—вдругъ, смотришь, обложился кругомъ словно сіяніемъ, — откуда волосъ берется! Бурмистръ, должно быть, въ Перовѣ подгулялъ: и лицо-то у него отекло порядкомъ, да и виномъ отъ него попахивало.

— Ахъ, вы отцы наши, милостивцы вы наши,—заговорилъ онъ нараспѣвъ и съ такимъ умиленіемъ на лицѣ, что вотъ-вотъ, казалось, слезы брызнутъ;—насилу-то изволили пожаловать!... Ручку, батюшка, ручку, — прибавилъ онъ, уже загодя протягивая губы.

Аркадій Павлычъ удовлетворилъ его желаніе.—Ну, что, братъ Софронъ, каково у тебя дѣла идутъ?—спросилъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Ахъ, вы отцы наши, — воскликнулъ Софронъ: — да какъ же имъ худо итти, дѣламъ-то! Да вѣдь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просвѣтить изволили пріѣздомъ-то своимъ, осчастливили по гробъ дней. Слава тебѣ Господи, Аркадій Павлычъ, слава тебѣ Господи! Благополучно обстоитъ все милостью вашей.

Тутъ Софронъ помолчалъ, поглядѣлъ на барина и, какъ бы снова увлеченный порывомъ чувства (притомъ же и хмель бралъ свое), въ другой разъ попросилъ руки и запѣлъ пуще прежняго.

— Ахъ, вы отцы наши, милостивцы... и... ужъ что! Ей-Богу, совсѣмъ дуракомъ отъ радости сталъ... Ей-Богу, смотрю да не вѣрю... Ахъ, вы отцы наши!..

Аркадій Павлычъ глянулъ на меня, усмѣхнулся и спросилъ: «N'est-ce pas que c'est touchant»?

— Да, батюшка Аркадій Павлычъ, — продолжалъ неугомонный бурмистръ: — какъ же вы это? Сокрушаете вы меня совсѣмъ, батюшка; извѣстить меня не изволили о вашемъ пріѣздѣ-то. Гдѣ же вы ночку-то проведете? Вѣдь тутъ нечистота, соръ...

— Ничего, Софронъ, ничего,—съ улыбкой отвѣчалъ Аркадій Павлычъ: — здѣсь хорошо.

— Да вѣдь отцы вы наши — для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а вѣдь вы... ахъ, вы отцы мои, милостивцы, ахъ, вы отцы мои!.. Простите меня, дурака, съ ума спятилъ, ей-Богу, одурѣлъ вовсе.

Между тѣмъ подали ужинъ; Аркадій Павлычъ началъ кушать. Сына своего старикъ прогналъ—дескать, духоты напущаешь.

— Ну, что́, размежевался, старина? — спросилъ г-нъ Пѣночкинъ, который явно желалъ поддѣлаться подъ мужицкую рѣчь и мнѣ подмигивалъ.

— Размежевались, батюшка: все твоею милостью. Третьяго дня сказку подписали. Хлыновскіе-то сначала поломались... поломались, отецъ, точно. Требовали... требовали... и Богъ знаетъ, чего требовали; да вѣдь дурачье, батюшка, народъ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича, посредственника, удоблетворили; все по твоему приказу дѣйствовали, батюшка; какъ ты изволилъ приказать, такъ мы и дѣйствовали, и съ вѣдома Егора Дмитрича все дѣйствовали.

— Егоръ мнѣ докладывалъ,—важно замѣтилъ Аркадій Павлычъ.

— Какъ же, батюшка, Егоръ Дмитричъ, какъ же.

— Ну, и, стало-быть, вы теперь довольны?

Софронъ только того и ждалъ.

—Ахъ, вы отцы наши, милостивцы наши!— запѣлъ онъ опять...—Да помилуйте вы меня... да вѣдь мы за васъ, отцы наши, денно и нощно Господу Богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пѣночкинъ перебилъ его:

— Ну, хорошо, хорошо, Софронъ, знаю, ты мнѣ усердный слуга... А что, какъ умолотъ?

Софронъ вздохнулъ.

- Ну, отцы вы наши, умолотъ-то небольно хорошъ. Да что́, батюшка Аркадій Павлычъ, позвольте вамъ доложить, дѣльцо какое вышло. (Тутъ онъ приблизился, разводя руками, къ господину Пѣночкину, нагнулся и прищурилъ одинъ глазъ). Мертвое тѣло на нашей землѣ оказалось.

— Какъ такъ?

— И самъ ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, врагъ попуталъ. Да, благо, подлѣ чужой межи оказалось; а только, что́ грѣха таить, на нашей землѣ. Я его тотчасъ на чужой-то клинъ и приказалъ стащить, пока можно было, да караулъ приставилъ и своимъ заказалъ: молчать! говорю. А становому на всякой случай объяснилъ: вотъ какіе порядки, говорю; да чайкомъ его, да благодарность... Вѣдь что́, батюшка, думаете? Вѣдь осталось у чужаковъ на шеѣ; а вѣдь мертвое тѣло, что двѣсти рублевъ— какъ калачъ.

Г-нъ Пѣночкинъ много смѣялся уловкѣ своего бурмистра и нѣсколько разъ сказалъ мнѣ, указывая на него головой: «Quel gaillard? А?»

Между тѣмъ на дворѣ совсѣмъ стемнѣло; Аркадій Павлычъ велѣлъ со стола прибирать и сѣна принести. Камердинеръ постлалъ намъ простыни, разложилъ подушки; мы легли. Софронъ ушелъ къ себѣ, получивъ приказаніе на слѣдующій день. Аркадій Павлычъ, засыпая, еще потолковалъ немного объ отличныхъ качествахъ русскаго мужика, и тутъ же замѣтилъ мнѣ, что, со времени управленія Софрона, за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки... Сторожъ заколотилъ въ доску; ребенокъ, видно, еще не успѣвшій проникнуться чувствомъ должнаго самоотверженья, запищалъ гдѣ-то въ избѣ... Мы заснули.

На другой день, утромъ, мы встали довольно рано. Я было собрался ѣхать въ Рябово, но Аркадій Павлычъ желалъ показать мнѣ свое имѣнье и упросилъ меня остаться. Я и самъ былъ не прочь убѣдиться на дѣлѣ въ отличныхъ качествахъ «государственнаго человѣка» — Софрона. Явился бурмистръ. На немъ былъ синій армякъ, подпоясанный краснымъ кушакомъ. Говорилъ онъ гораздо меньше вчерашняго, глядѣлъ зорко и пристально въ глаза барину, отвѣчалъ складно и дѣльно. Мы вмѣстѣ съ нимъ отправились на гумно. Софроновъ сынъ, трехаршинный староста, по всѣмъ признакамъ человѣкъ весьма глупый, также пошелъ за нами, да еще присоединился къ намъ земскій Ѳедосеичъ, отставной солдатъ съ огромными усами и престраннымъ выраженіемъ лица: точно онъ весьма давно тому назадъ чему-то необыкновенно удивился, да съ тѣхъ поръ ужъ и не пришелъ въ себя. Мы осмотрѣли гумно, ригу, овины,

сараи, вѣтряную мельницу, скотный дворъ, зеленя, конопляники; все было, дѣйствительно, въ отличномъ порядкѣ: одни унылыя лица мужиковъ приводили меня въ нѣкоторое недоумѣніе. Кромѣ полезнаго, Софронъ заботился еще о пріятномъ: всѣ канавы обсадилъ ракитникомъ, между скирдами на гумнѣ дорожки провелъ и песочкомъ посыпалъ, на вѣтряной мельницѣ устроилъ флюгеръ въ видѣ медвѣдя съ разинутой пастью и краснымъ языкомъ, къ кирпичному скотному двору прилѣпилъ нѣчто въ родѣ греческаго фронтона и подъ фронтономъ бѣлилами надписалъ: «Пастроен веселе Шипилофке втысеча восем Содъ саракавомъ году. Сей скотный дфоръ».— Аркадій Павлычъ разнѣжился совершенно, пустился излагать мнѣ на французскомъ языкѣ выгоды оброчнаго состоянья, при чемъ, однако, замѣтилъ, что барщина для помѣщиковъ выгоднѣе, — да мало ли чего нѣтъ!.. Началъ давать бурмистру совѣты, какъ сажать картофель, какъ для скотины кормъ заготовлять и пр. Софронъ выслушивалъ барскую рѣчь со вниманіемъ, иногда возражалъ, но уже не величалъ Аркадія Павлыча ни отцомъ ни милостивцемъ и все напиралъ на то, что земли-де у нихъ маловато, прикупить бы не мѣшало. «Что жъ, купите,— говорилъ Аркадій Павлычъ: — на мое имя, я не прочь».—На эти слова Софронъ не отвѣчалъ ничего, только бороду поглаживалъ. — «Однако теперь бы не мѣшало съѣздить въ лѣсъ», замѣтилъ г. Пѣночкинъ. Тотчасъ привели намъ верховыхъ лошадей; мы поѣхали въ лѣсъ или, какъ у насъ говорится, въ «заказъ». Въ этомъ «заказѣ» нашли мы глушь и дичь страшную, за что́ Аркадій Павлычъ похвалилъ Софрона и потрепалъ его по плечу. Г-нъ Пѣночкинъ придерживался насчетъ лѣсоводства русскихъ понятій, и тутъ же разсказалъ мнѣ презабавный, по его словамъ, случай, какъ одинъ шутникъ-помѣщикъ вразумилъ своего лѣсника, выдравъ у него около половины бороды, въ доказательство того, что отъ подрубки лѣсъ гуще не вырастаетъ... Впрочемъ, въ другихъ отношеніяхъ, и Софронъ и Аркадій Павлычъ—оба не чуждались нововведеній. По возвращеніи въ деревню, бурмистръ повелъ насъ посмотрѣть вѣялку, недавно выписанную имъ изъ Москвы. Вѣялка, точно, дѣйствовала хорошо, но если бы Софронъ зналъ, какая непріятность ожидала его и барина на этой послѣдней прогулкѣ, онъ, вѣроятно, остался бы съ нами дома.

Вотъ что случилось. Выходя изъ сарая, увидали мы слѣдующее зрѣлище. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ двери, подлѣ грязной лужи, въ которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: одинъ— старикъ лѣтъ шестидесяти, другой—малый лѣтъ двадцати, оба въ домашнихъ заплатанныхъ рубахахъ, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земскій Ѳедосеичъ усердно хлопоталъ около нихъ и, вѣроятно, успѣлъ бы уговорить ихъ удалиться, если бъ мы замѣшкались въ сараѣ, но, увидѣвъ насъ, онъ вытянулся въ струнку и замеръ на мѣстѣ. Тутъ же стоялъ староста съ разинутымъ ртомъ и недоумѣвающими кулаками. Аркадій Павлычъ нахмурился, закусилъ губу и подошелъ къ просителямъ. Оба, молча, поклонились ему въ ноги.

— Что́ вамъ надобно? О чемъ вы просите?—спросилъ онъ строгимъ голосомъ нѣсколько въ носъ. (Мужики взглянули другъ на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно отъ солнца, да поскорѣй дышать стали).

— Ну, что́ же? — продолжалъ Аркадій Павлычъ и тотчасъ же обратился къ Софрону:—изъ какой семьи?

— Изъ Тоболѣевой семьи, — медленно отвѣчалъ бурмистръ.

— Ну, что же вы?—заговорилъ опять г. Пѣночкинъ: — языковъ у васъ нѣтъ, что ли? Сказывай ты, чего тебѣ надобно?— прибавилъ онъ, качнувъ головой на старика.—Да не бойся, дуракъ.

Старикъ вытянулъ свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинулъ посинѣвшія губы, сиплымъ голосомъ произнесъ: «Заступись, государь!» и снова стукнулъ лбомъ въ землю. Молодой мужикъ тоже поклонился. Аркадій Павлычъ съ достоинствомъ посмотрѣлъ на ихъ затылки, закинулъ голову и разставилъ немного ноги.—Что́ такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсѣмъ. (Старикъ говорилъ съ трудомъ).

— Кто тебя замучилъ?

— Да Софронъ Яковличъ, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Антипомъ, батюшка.

— А это кто?

— А сынокъ мой, батюшка.

Аркадій Павлычъ помолчалъ опять и усами повелъ.

— Ну, такъ чѣмъ же онъ тебя замучилъ?—заговорилъ онъ, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорилъ въ конецъ. Двухъ сыновей, батюшка, безъ очереди въ некруты отдалъ, а теперя и третьяго отнимаетъ. Вчера, батюшка, послѣднюю коровушку со двора свелъ и хозяйку мою избилъ—вонъ его милость. (Онъ указалъ на старосту).

— Гмъ!—произнесъ Аркадій Павлычъ.

— Не дай въ конецъ разориться, кормилецъ.

Г-нъ Пѣночкинъ нахмурился.

Чтó же это, однако, значитъ?—спросилъ онъ бурмистра вполголоса и съ недовольнымъ видомъ.

— Пьяный человѣкъ-съ, — отвѣчалъ бурмистръ, въ первый разъ употребляя «слово-еръ»:—неработящій. Изъ недоимки не выходитъ вотъ ужъ пятый годъ-съ.

— Софронъ Яковличъ за меня недоимку взнесъ, батюшка,—продолжалъ старикъ:—вотъ пятый годочекъ пошелъ, какъ взнесъ, а какъ взнесъ—въ кабалу меня и забралъ, батюшка, да вотъ и...

— А отъ чего недоимка за тобой завелась? — грозно спросилъ г. Пѣночкинъ. (Старикъ понурилъ голову).—Чай, пьянствовать любишь, по кабакамъ шататься? (Старикъ разинулъ было ротъ).—Знаю я васъ, — съ запальчивостью продолжалъ Аркадій Павлычъ:—ваше дѣло пить да на печи лежать, а хорошій мужикъ за васъ отвѣчай.

— И грубіянъ тоже, — ввернулъ бурмистръ въ господскую рѣчь.

— Ну, ужъ это само собою разумѣется. Это всегда такъ бываетъ; это ужъ я не разъ замѣтилъ. Цѣлый годъ распутствуетъ, грубитъ, а теперь въ ногахъ валяется.

— Батюшка, Аркадій Павлычъ, — съ отчаяніемъ заговорилъ старикъ: — помилуй, заступись,—какой я грубіянъ? Какъ передъ Господомъ Богомъ говорю, невмоготу приходится. Не взлюбилъ меня Софронъ Яковличъ, за чтó не взлюбилъ— Господь ему судья! Разоряетъ въ конецъ, батюшка... Послѣдняго вотъ сыночка... и того... (На желтыхъ и сморщенныхъ глазахъ старика сверкнула слезинка). — Помилуй, государь, заступись...

— Да и не насъ однихъ, — началъ было молодой мужикъ...

Аркадій Павлычъ вдругъ вспыхнулъ:

— А тебя кто спрашиваетъ? А? Тебя не спрашиваютъ, такъ ты молчи... Это чтó такое? Молчать, говорятъ тебѣ! молчать!.. Ахъ, Боже мой! да это, просто, бунтъ. Нѣтъ, братъ, у меня бунтовать не совѣтую... (Аркадій Павлычъ шагнулъ впередъ, да, вѣроятно, вспомнилъ о моемъ присутствіи, отвернулся и положилъ руки въ карманы).—Je vous demande bien pardon, mon cher,—сказалъ онъ съ принужденной улыбкой, значительно понизивъ голосъ. — C'est le mauvais côté de la médaille... Ну, хорошо, хорошо, — продолжалъ онъ, не глядя на мужиковъ:—я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались). — Ну, да вѣдь я сказалъ вамъ... Хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорятъ вамъ.

Аркадій Павлычъ обернулся къ нимъ спиной.—«Вѣчно неудовольствія», прогоборилъ онъ сквозь зубы и пошелъ большими шагами домой. Софронъ отправился вслѣдъ за нимъ. Земскій выпучилъ глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнулъ утокъ изъ лужи. Просители постояли еще немного на мѣстѣ, посмотрѣли другъ на друга и поплелись, не оглядываясь, во-свояси.

Часа два спустя, я уже былъ въ Рябовѣ и вмѣстѣ съ Анпадистомъ, знакомымъ мнѣ мужикомъ, собирался на охоту. До самаго моего отъѣзда Пѣночкинъ дулся на Софрона. Заговорилъ я съ Анпадистомъ о шипиловскихъ крестьянахъ, о г. Пѣночкинѣ, спросилъ его, не знаетъ ли онъ тамошняго бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А чтó онъ за человѣкъ?

— Собака, а не человѣкъ: такой собаки до самаго Курска не найдешь.

— А что?

— Да вѣдь Шипиловка только что числится за тѣмъ, какъ бишь его, за Пѣнкинымъ-то; вѣдь не онъ ей владѣетъ: Софронъ владѣетъ.

— Неужто?

— Какъ своимъ добромъ владѣетъ. Крестьяне ему кругомъ должны; работаютъ на него, словно батраки: кого съ обозомъ по-

сылаетъ, кого куды... затормошилъ совсѣмъ.

— Земли у нихъ, кажется, немного?

— Немного? Онъ у однихъ хлыновскихъ восемьдесятъ десятинъ нанимаетъ да у нашихъ сто двадцать; вотъ-те и цѣлыхъ полтораста десятинъ. Да онъ не одной землей промышляетъ: и лошадьми промышляетъ, и скотомъ, и дегтемъ, и масломъ, и пенькой, и чѣмъ-чѣмъ... Уменъ, больно уменъ, и богатъ же, бестія! Да вотъ чѣмъ плохъ — дерется. Звѣрь — не человѣкъ; сказано: собака, песъ, какъ есть, песъ.

— Да что жъ они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! недоимокъ не бываетъ, такъ ему что? Да, поди ты, — прибавилъ онъ послѣ небольшого молчанія, — пожалуйся. Нѣтъ, онъ тебя... да, поди-ка... Нѣтъ ужъ онъ тебя вотъ какъ того...

Я вспомнилъ про Антипа и разсказалъ ему, что видѣлъ.

— Ну, — промолвилъ Анпадистъ, — заѣстъ онъ его теперь; заѣстъ человѣка совсѣмъ. Староста теперь его забьетъ. Экой безталанный, подумаешь, бѣдняга! И за что терпитъ... На сходкѣ съ нимъ повздорилъ, съ бурмистромъ-то, невтерпежъ, знать, пришлось... Велико дѣло! Вотъ онъ его, Антипа-то, клевать и началъ. Теперь доѣдетъ. Вѣдь онъ такой песъ, собака, прости Господи мое прегрѣшенье, знаетъ, на кого налечь. Стариковъ-то, что побогаче да посемейнѣе, не трогаетъ, лысой чортъ, а тутъ вотъ и расходился! Вѣдь онъ Антиповыхъ-то сыновей безъ очереди въ некруты отдалъ, мошенникъ безпардонный, песъ, прости Господи мое прегрѣшенье!

Мы отправились на охоту.

1847 г.

## 2. Изъ романа „Отцы и дѣти".

### I.

— Что, Петръ, не видать еще? — спрашивалъ 20-го мая 1859 года, выходя безъ шапки на низкое крылечко постоялаго двора на *** шоссе, баринъ лѣтъ сорока съ небольшимъ, въ запыленномъ пальто и клѣтчатыхъ панталонахъ, у своего слуги, молодого и щекастаго малаго съ бѣловатымъ пухомъ на подбородкѣ и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, въ которомъ все: и бирюзовая сережка въ ухѣ, и напомаженные разноцвѣтные волосы, и учтивыя тѣлодвиженія, словомъ, все изобличало человѣка новѣйшаго, усовершенствованнаго поколѣнія, посмотрѣлъ снисходительно вдоль дороги и отвѣтствовалъ: «никакъ нѣтъ-съ, не видать».

— Не видать? — повторилъ баринъ.

— Не видать, — вторично отвѣтствовалъ слуга.

Баринъ вздохнулъ и присѣлъ на скамеечку. Познакомимъ съ нимъ читателя, пока онъ сидитъ, подогнувши подъ себя ножки и задумчиво поглядывая кругомъ.

Зовутъ его Николаемъ Петровичемъ Кирсановымъ. У него въ пятнадцати верстахъ отъ постоялаго дворика хорошее имѣніе въ двѣсти душъ, или, какъ онъ выражается, съ тѣхъ поръ, какъ размежевался съ крестьянами и завелъ «ферму», — въ двѣ тысячи десятинъ земли. Отецъ его, боевой генералъ 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой, русскій человѣкъ, всю жизнь свою тянулъ лямку, командовалъ сперва бригадой, потомъ дивизіей, и постоянно жилъ въ провинціи, гдѣ въ силу своего чина игралъ довольно значительную роль. Николай Петровичъ родился на югѣ Россіи, подобно старшему своему брату Павлу, о которомъ рѣчь впереди, и воспитывался до четырнадцатилѣтняго возраста дома, окруженный дешевыми гувернёрами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, изъ фамиліи Колязиныхъ, въ дѣвицахъ Agathe, а въ генеральшахъ Агаѳоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала къ числу «матушекъ-командиршъ», носила пышные чепцы и шумныя шелковыя платья, въ церкви подходила первая къ кресту, говорила громко и много, допускала дѣтей утромъ къ ручкѣ, на ночь ихъ благословляла, — словомъ, жила въ свое удовольствіе. Въ качествѣ генеральскаго сына, Николай Петровичъ, хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужилъ прозвище трусишки, долженъ былъ, подобно брату Павлу, поступить въ военную службу; но онъ переломилъ себѣ ногу въ самый тотъ день, когда уже прибыло извѣстіе объ его опредѣленіи, и, пролежавъ

два мѣсяца въ постели, на всю жизнь остался «хроменькимъ». Отецъ махнулъ на него рукой и пустилъ его по штатской. Онъ повезъ его въ Петербургъ, какъ только ему минулъ восемнадцатый годъ, и помѣстилъ его въ университетъ. Кстати, братъ его о ту пору вышелъ офицеромъ въ гвардейскій полкъ. Молодые люди стали жить вдвоемъ, на одной квартирѣ, подъ отдаленнымъ надзоромъ двоюроднаго дяди съ материнской стороны, Ильи Колязина, важнаго чиновника. Отецъ ихъ вернулся къ своей дивизіи и къ своей супругѣ, и лишь изрѣдка присылалъ сыновьямъ большія четвертушки сѣрой бумаги, испещренныя размашистымъ писарскимъ почеркомъ. На концѣ этихъ четвертушекъ красовались, старательно окруженныя «выкрутасами» слова: «Піотръ Кирсановъ, генералъ-маіоръ». Въ 1835 году Николай Петровичъ вышелъ изъ университета кандидатомъ и въ томъ же году генералъ Кирсановъ, уволенный въ отставку за неудачный смотръ, пріѣхалъ въ Петербургъ съ женой на житье. Онъ нанялъ было домъ у Таврическаго сада и записался въ англійскій клубъ, но внезапно умеръ отъ удара. Агаѳоклея Кузьминишна скоро за нимъ послѣдовала: она не могла привыкнуть къ глухой столичной жизни; тоска отставного существованія ее загрызла. Между тѣмъ, Николай Петровичъ успѣлъ, еще при жизни родителей и къ немалому ихъ огорченію, влюбиться въ дочку чиновника Преполовенскаго, бывшаго хозяина его квартиры, миловидную и, какъ говорится, развитую дѣвицу: она въ журналахъ читала серьезныя статьи въ отдѣлѣ «Наукъ». Онъ женился на ней, какъ только минулъ срокъ траура, и, покинувъ министерство удѣловъ, куда по протекціи отецъ его записалъ, блаженствовалъ со своею Машей сперва на дачѣ около Лѣсного института, потомъ въ городѣ, въ маленькой и хорошенькой квартирѣ, съ чистою лѣстницей и холодноватою гостиной, наконецъ, въ деревнѣ, гдѣ онъ поселился окончательно, гдѣ у него въ скоромъ времени родился сынъ, Аркадій. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не разставались, читали вмѣстѣ, играли въ четыре руки на фортепіано, пѣли дуэты; она сажала цвѣты и наблюдала за птичнымъ дворомъ, онъ изрѣдка ѣздилъ на охоту и занимался хозяйствомъ, а Аркадій росъ да росъ—тоже хорошо и тихо. Десять лѣтъ прошло, какъ сонъ. Въ 47-мъ году жена Кирсанова скончалась. Онъ едва вынесъ этотъ ударъ, посѣдѣлъ въ нѣсколько недѣль; собрался было за границу, чтобы хотя немного разсѣяться... но тутъ настал̀ъ 48-й годъ. Онъ поневолѣ вернулся въ деревню и послѣ довольно продолжительнаго бездѣйствія занялся хозяйственными преобразованіями. Въ 55-мъ году онъ повезъ сына въ университетъ; прожилъ съ нимъ три зимы въ Петербургѣ, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства съ молодыми товарищами Аркадія. На послѣднюю зиму онъ пріѣхать не могъ, — и вотъ мы видимъ его въ маѣ мѣсяцѣ 1859 года уже совсѣмъ сѣдого, пухленькаго и немного сгорбленнаго: онъ ждетъ сына, получившаго, какъ нѣкогда онъ самъ, званіе кандидата.

Слуга, изъ чувства приличія, а можетъ-быть, и не желая остаться подъ барскимъ глазомъ, зашелъ подъ ворота и закурилъ трубку. Николай Петровичъ поникъ головой и началъ глядѣть на ветхія ступеньки крылечка: крупный, пестрый цыпленокъ степенно расхаживалъ по нимъ, крѣпко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикурнувъ на перила. Солнце пекло. Изъ полутемныхъ сѣней постоялаго дворика несло запахомъ теплаго ржаного хлѣба. Замечтался нашъ Николай Петровичъ. «Сынъ... кандидатъ... Аркаша...» безпрестанно вертѣлось у него въ головѣ; онъ пытался думать о чемъ-нибудь другомъ, и опять возвращались тѣ же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... «Не дождалась!» шепнулъ онъ уныло... Толстый сизый голубь прилетѣлъ на дорогу и поспѣшно отправился пить въ лужицу возлѣ колодца. Николай Петровичъ сталъ глядѣть на него, а ухо его уже ловило стукъ приближающихся колесъ.

— Никакъ они ѣдутъ-съ, — доложилъ слуга, вынырнувъ изъ-подъ воротъ.

Николай Петровичъ вскочилъ и устремилъ глаза вдоль дороги. Показался тарантасъ, запряженный тройкой ямскихъ лошадей; въ тарантасѣ мелькнулъ околышъ студентской фуражки, знакомый очеркъ дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричалъ Кирсановъ, и побѣжалъ и замахалъ руками... Нѣсколько мгновеній спустя, его губы уже

прильнули къ безбородой, запыленной и загорѣлой щекѣ молодого кандидата.

## II.

— Дай же отряхнуться, папаша, — говорилъ нѣсколько сиплымъ отъ дороги, но звонкимъ юношескимъ голосомъ Аркадій, весело отвѣчая на отцовскія ласки: — я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего, — твердилъ, умиленно улыбаясь, Николай Петровичъ, и раза два ударилъ рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — прибавилъ онъ, отодвигаясь, и тотчасъ же пошелъ торопливыми шагами къ постоялому двору, приговаривая: «вотъ сюда, сюда, да лошадей поскорѣе».

Николай Петровичъ казался гораздо встревоженнѣе своего сына; онъ словно потерялся немного, словно оробѣлъ. Аркадій остановилъ его.

— Папаша, — сказалъ онъ, — позволь познакомить тебя съ моимъ добрымъ пріятелемъ, Базаровымъ, о которомъ я тебѣ такъ часто писалъ. Онъ такъ любезенъ, что согласился погостить у насъ.

Николай Петровичъ быстро обернулся и, подойдя къ человѣку высокаго роста въ длинномъ балахонѣ съ кистями, только что вылѣзшему изъ тарантаса, крѣпко стиснулъ его обнаженную, красную руку, которую тотъ не сразу ему подалъ.

Душевно радъ, — началъ онъ, — и благодаренъ за доброе намѣреніе посѣтить насъ; надѣюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгеній Васильевъ, — отвѣчалъ Базаровъ лѣнивымъ, но мужественнымъ голосомъ, и, отвернувъ воротникъ балахона, показалъ Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, съ широкимъ лбомъ, кверху плоскимъ, книзу заостреннымъ носомъ, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочнаго цвѣта, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоувѣренность и умъ.

— Надѣюсь, любезнѣйшій Евгеній Васильичъ, что вы не соскучитесь у насъ, — продолжалъ Николай Петровичъ.

Тонкія губы Базарова чуть тронулись, но онъ ничего не отвѣчалъ и только приподнялъ фуражку. Его темнобѣлокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупныхъ выпуклостей просторнаго черепа.

— Такъ какъ же, Аркадій, — заговорилъ опять Николай Петровичъ, оборачиваясь къ сыну: — сейчасъ закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнемъ, папаша; вели закладывать.

— Сейчасъ, сейчасъ, — подхватилъ отецъ. — Эй, Петръ, слышишь? Распорядись, братецъ, поживѣе.

Петръ, который въ качествѣ усовершенствованнаго слуги не подошелъ къ ручкѣ барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся подъ воротами.

— Я здѣсь съ коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, — хлопотливо говорилъ Николай Петровичъ, между тѣмъ какъ Аркадій пилъ воду изъ желѣзнаго ковшика, принесеннаго хозяйкой постоялаго двора, а Базаровъ закурилъ трубку и подошелъ къ ямщику, отпрягавшему лошадей: — только коляска двухмѣстная, и вотъ я не знаю, какъ твой пріятель...

— Онъ въ тарантасѣ поѣдетъ, — перебилъ вполголоса Аркадій. — Ты съ нимъ, пожалуйста, не церемонься. Онъ чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучеръ Николая Петровича вывелъ лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаровъ къ ямщику.

— Слышишь, Митюха, — подхватилъ другой, тутъ же стоявшій ямщикъ съ руками, засунутыми въ заднія прорѣхи тулупа: — баринъ-то тебя какъ прозвалъ? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнулъ и потащилъ вожжи съ потной коренной.

— Живѣй, живѣй, ребята подсобляйте, — воскликнулъ Николай Петровичъ: — на водку будетъ!

Въ нѣсколько минутъ лошади были заложены; отецъ съ сыномъ помѣстились въ коляскѣ; Петръ взобрался на козлы; Базаровъ вскочилъ въ тарантасъ, уткнулся головой въ кожаную подушку, — и оба экипажа покатили.

## III.

Толпа дворовыхъ не высыпала на крыльцо встрѣчать господъ; показалась всего одна дѣвочка лѣтъ двѣнадцати, а вслѣдъ за ней вышелъ изъ дому молодой парень, очень

похожій на Петра, одѣтый въ сѣрую ливрейную куртку съ бѣлыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Онъ молча отворилъ дверцу коляски и отстегнулъ фартукъ тарантаса. Николай Петровичъ съ сыномъ и съ Базаровымъ отправились черезъ темную и почти пустую залу, изъ-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, въ гостиную, убранную уже въ новѣйшемъ вкусѣ.

— Вотъ мы и дома, — промолвилъ Николай Петровичъ, снимая картузъ и встряхивая волосами. — Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поѣсть, дѣйствительно, не худо, — замѣтилъ, потягиваясь, Базаровъ и опустился на диванъ.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорѣе. — Николай Петровичъ безъ всякой видимой причины потопалъ ногами. — Вотъ кстати и Прокофьичъ.

Вошелъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, бѣловолосый, худой и смуглый, въ коричневомъ фракѣ съ мѣдными пуговицами и въ розомъ платочкѣ на шеѣ. Онъ осклабился, подошелъ къ ручкѣ Аркадію, и, поклонившись гостю, отступилъ къ двери и положилъ руки за спину.

— Вотъ онъ, Прокофьичъ, — началъ Николай Петровичъ: — пріѣхалъ къ намъ наконецъ... Что? какъ ты его находишь?

— Въ лучшемъ видѣ-съ, — проговорилъ старикъ и осклабился опять, но тотчасъ же нахмурилъ свои густыя брови. — На столъ накрывать прикажете? — проговорилъ онъ внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва въ вашу комнату, Евгеній Васильичъ?

— Нѣтъ, благодарствуйте, не зачѣмъ. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить, да вотъ эту одежёнку, — прибавилъ онъ, снимая съ себя свой балахонъ.

— Очень хорошо. Прокофьичъ, возьми же ихъ шинель. (Прокофьичъ, какъ бы съ недоумѣніемъ, взялъ обѣими руками базаровскую «одежёнку» и, высоко поднявъ ее надъ головою, удалился на цыпочкахъ). А ты, Аркадій пойдешь къ себѣ на минутку?

— Да, надо почиститься, — отвѣчалъ Аркадій и направился было къ дверямъ, но въ это мгновеніе вошелъ въ гостиную человѣкъ средняго роста, одѣтый въ темный англійскій *сьютъ*, модный низенькій галстукъ, лайковые полусапожки, Павелъ Петровичъ Кирсановъ. На видъ ему было лѣтъ сорокъ пять: его коротко остриженные сѣдые волосы отливали темнымъ блескомъ, какъ новое серебро; лицо его, желчное, но безъ морщинъ, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонкимъ и легкимъ рѣзцомъ, являло слѣды красоты замѣчательной: особенно хороши были свѣтлые, черные, продолговатые глаза. Весь обликъ Аркадіева дяди, изящный и породистый, сохранилъ юношескую стройность и то стремленіе вверхъ, прочь отъ земли, которое большею частью исчезаетъ послѣ двадцатыхъ годовъ.

Павелъ Петровичъ вынулъ изъ кармана панталонъ свою красивую руку съ длинными розовыми ногтями, руку, казавшуюся еще красивѣе отъ снѣжной бѣлизны рукавчика, застегнутаго одинокимъ, крупнымъ опаломъ, и подалъ ее племяннику. Совершивъ предварительно европейское «shake hands», онъ три раза, по-русски, поцѣловался съ нимъ, то-есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щекъ, и проговорилъ:

— Добро пожаловать.

Николай Петровичъ представилъ его Базарову: Павелъ Петровичъ слегка наклонилъ свой гибкій станъ и слегка улыбнулся, но руки не подалъ и даже положилъ ее обратно въ карманъ.

— Я уже думалъ, что вы не пріѣдете сегодня, — заговорилъ онъ пріятнымъ голосомъ, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные бѣлые зубы. — Развѣ что на дорогѣ случилось?

— Ничего не случилось, — отвѣчалъ Аркадій: — такъ, замѣшкались немного. Зато мы теперь голодны, какъ волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчасъ вернусь.

— Постой, я съ тобой пойду, — воскликнулъ Базаровъ, внезапно порываясь съ дивана. Оба молодые человѣка вышли.

— Кто сей? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Пріятель Аркаши, очень, по его словамъ, умный человѣкъ.

— Онъ у насъ гостить будетъ?

— Да.

— Этотъ волосатый!

— Ну, да.

Павелъ Петровичъ постучалъ ногтями по столу:

— Я нахожу, что Аркадій s'est dégourdi—замѣтилъ онъ.—Я радъ его возвращенію.

За ужиномъ разговаривали мало. Особенно Базаровъ почти ничего не говорилъ, но ѣлъ много. Николай Петровичъ разсказывалъ разные случаи изъ своей, какъ онъ выражался, фермерской жизни, толковалъ о предстоящихъ правительственныхъ мѣрахъ, о комитетахъ, о депутатахъ, о необходимости заводить машины и т. д. Павелъ Петровичъ медленно похаживалъ взадъ и впередъ по столовой (онъ никогда не ужиналъ), изрѣдка отхлебывая изъ рюмки, наполненной краснымъ виномъ, и еще рѣже произнося какое-нибудь замѣчаніе или скорѣе восклицаніе, въ родѣ «а! эге! гм!» Аркадій сообщилъ нѣсколько петербургскихъ новостей, но онъ ощущалъ небольшую неловкость, которая обыкновенно овладѣваетъ молодымъ человѣкомъ, когда онъ только что пересталъ быть ребенкомъ и возвратился на мѣсто, гдѣ привыкли видѣть и считать его ребенкомъ. Онъ безъ нужды растягивалъ свою рѣчь, избѣгалъ слова «папаша» и даже разъ замѣнилъ его словомъ «отецъ», произнесеннымъ, правда, сквозь зубы; съ излишнею развязностью налилъ себѣ въ стаканъ гораздо больше вина, чѣмъ самому хотѣлось, и выпилъ все вино. Прокофьичъ не спускалъ съ него глазъ и только губами пожевывалъ. Послѣ ужина всѣ тотчасъ разошлись.

— А чудаковатъ у тебя дядя, — говорилъ Аркадію Базаровъ, сидя въ халатѣ возлѣ его постели и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое въ деревнѣ, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да вѣдь ты не знаешь, — отвѣтилъ Аркадій: — вѣдь онъ львомъ былъ въ свое время. Я когда-нибудь разскажу тебѣ его исторію. Вѣдь онъ красавцемъ былъ, голову кружилъ женщинамъ.

— Да, вотъ что̀! По старой, значитъ, памяти. Плѣнять-то здѣсь, жаль, некого. Я все смотрѣлъ: этакіе у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородокъ такъ аккуратно выбритъ. Аркадій Николаичъ, вѣдь это смѣшно?

— Пожалуй; только онъ, право, хорошій человѣкъ.

— Архаическое явленіе! А отецъ у тебя славный малый. Въ хозяйствѣ врядъ ли смыслитъ, но онъ добрякъ.

— Отецъ у меня золотой человѣкъ.

— Замѣтилъ ли ты, что онъ робѣетъ?

Аркадій качнулъ головою, какъ будто онъ самъ не робѣлъ.

— Удивительное дѣло,—продолжалъ Базаровъ, — эти старенькіе романтики! Разовьютъ въ себѣ нервную систему до раздраженія... ну, равновѣсіе и нарушено. Однако, прощай! Въ моей комнатѣ англійскій рукомойникъ, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — англійскіе рукомойники, то-есть, прогрессъ!

Базаровъ ушелъ, а Аркадіемъ овладѣло радостное чувство. Сладко засыпать въ родимомъ домѣ, на знакомой постели, подъ одѣяломъ, надъ которымъ трудились любимыя руки, быть-можетъ, руки нанюшки, тѣ ласковыя, добрыя и неутомимыя руки. Аркадій вспомнилъ Егоровну, и вздохнулъ и пожелалъ ей царствія небеснаго... О себѣ онъ не молился.

И онъ и Базаровъ заснули скоро, но другія лица въ домѣ долго еще не спали. Возвращеніе сына взволновало Николая Петровича. Онъ легъ въ постель, но не загасилъ свѣчки и, подперши рукою голову, думалъ долгія думы. Братъ его сидѣлъ далеко за полночь въ своемъ кабинетѣ, на широкомъ гамбсовомъ креслѣ, передъ каминомъ, въ которомъ слабо тлѣлъ каменный уголь. Павелъ Петровичъ не раздѣлся, только китайскія красныя туфли безъ задковъ смѣнили на его ногахъ лаковые полусапожки. Онъ держалъ въ рукахъ послѣдній номеръ *Galignani*, но онъ не читалъ; онъ глядѣлъ пристально въ каминъ, гдѣ, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Богъ знаетъ, гдѣ бродили его мысли, но не въ одномъ только прошедшемъ бродили онѣ: выраженіе его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бываетъ, когда человѣкъ занятъ одними воспоминаніями. А въ маленькой задней комнатѣ, на большомъ сундукѣ, сидѣла, въ голубой душегрѣйкѣ и съ наброшеннымъ бѣлымъ платкомъ на темныхъ волосахъ, молодая женщина Ѳеничка и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, изъ-за которой виднѣлась дѣтская кроватка и слышалось ровное дыханіе спящаго ребенка.

## IV.

На другое утро Базаровъ раньше всѣхъ проснулся и вышелъ изъ дома. «Эге! — подумалъ онъ, посмотрѣвъ кругомъ,—мѣстечко-то не казисто». Когда Николай Петровичъ размежевался съ своими крестьянами, ему пришлось отвести подъ новую усадьбу десятины четыре совершенно ровнаго и голаго поля. Онъ построилъ домъ, службы и ферму, разбилъ садъ, выкопалъ прудъ и два колодца; но молодыя деревца плохо принимались, въ прудѣ воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатаго вкуса. Одна только бесѣдка изъ сиреней и акацій порядочно разрослась; въ ней иногда пили чай и обѣдали. Базаровъ въ нѣсколько минутъ обѣгалъ всѣ дорожки сада, зашелъ на скотный дворъ, на конюшню, отыскалъ двухъ дворовыхъ мальчишекъ, съ которыми тотчасъ свелъ знакомство, и отправился съ ними въ небольшое болотце, съ версту отъ усадьбы, за лягушками.

— На что̀ тебѣ лягушки, баринъ?— спросилъ его одинъ изъ мальчиковъ.

— А вотъ на что́, — отвѣчалъ ему Базаровъ, который владѣлъ особеннымъ умѣньемъ возбуждать къ себѣ довѣріе въ людяхъ низшихъ, хотя онъ никогда не потакалъ имъ и обходился съ ними небрежно: — я лягушку распластаю да посмотрю, что̀ у нея тамъ внутри дѣлается; а такъ какъ мы съ тобой тѣ же лягушки, только что на ногахъ ходимъ, я и буду знать, что и у насъ внутри дѣлается.

— Да на что тебѣ это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь, и мнѣ тебя лѣчить придется.

— Развѣ ты дохтуръ?

— Да.

— Васька, слышь, баринъ говоритъ, что мы съ тобой тѣ же лягушки. Чудно̀.

— Я ихъ боюсь, лягушекъ-то, — замѣтилъ Васька, мальчикъ лѣтъ семи, съ бѣлою, какъ ленъ, головою, въ сѣромъ казакинѣ съ стоячимъ воротникомъ и босой.

— Чего бояться? развѣ онѣ кусаются?

— Ну, полѣзайте въ воду, философы,— промолвилъ Базаровъ.

Между тѣмъ Николай Петровичъ тоже проснулся и отправился къ Аркадію, котораго засталъ одѣтымъ. Отецъ и сынъ вышли на террасу подъ навѣсъ маркизы; возлѣ перилъ, на столѣ, между большими букетами сирени, уже кипѣлъ самоваръ. Явилась дѣвочка, та самая, которая наканунѣ первая встрѣтила пріѣзжихъ на крыльцѣ, и тонкимъ голосомъ проговорила:

— Ѳедосья Николавна не совсѣмъ здоровы, прійти не могутъ; приказали васъ спросить, вамъ самимъ угодно разлить чай, или прислать Дуняшу?

— Я самъ разолью, самъ, — поспѣшно подхватилъ Николай Петровичъ. — Ты, Аркадій, съ чѣмъ пьешь чай, со сливками или съ лимономъ?

— Со сливками, — отвѣчалъ Аркадій и, помолчавъ немного, вопросительно произнесъ: — папаша?

Николай Петровичъ съ замѣшательствомъ посмотрѣлъ на сына.

— Что̀? — промолвилъ онъ.

Аркадій опустилъ глаза.

— Извини, папаша, если мой вопросъ тебѣ покажется неумѣстнымъ, — началъ онъ: — но ты самъ, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не разсердишься?..

— Говори.

— Ты мнѣ даешь смѣлость спросить тебя... Не оттого ли Ѳен... не оттого ли она не приходитъ сюда чай разливать, что я здѣсь?

Николай Петровичъ слегка отвернулся.

— Можетъ-быть, — проговорилъ онъ наконецъ: — она предполагаетъ... она стыдится...

Аркадій быстро вскинулъ глаза на отца.

— Напрасно жъ она стыдится. Во-первыхъ, тебѣ извѣстенъ мой образъ мыслей (Аркадію очень было пріятно произнести эти слова), а во-вторыхъ, захочу ли я хоть на волосъ стѣснять твою жизнь, твои привычки? Притомъ, я увѣренъ, ты не могъ сдѣлать дурной выборъ; если ты позволилъ ей жить съ тобою подъ одною кровлей, стало-быть, она это заслуживаетъ: во всякомъ случаѣ, сынъ отцу не судья, и въ особенности я, и въ особенности такому отцу, который, какъ ты, никогда и ни въ чемъ не стѣснялъ моей свободы.

Голосъ Аркадія дрожалъ сначала: онъ чувствовалъ себя великодушнымъ, однако въ то же время понималъ, что читаетъ нѣчто въ родѣ наставленія своему отцу; но звукъ собственныхъ рѣчей сильно дѣйствуетъ на человѣка, и Аркадій произнесъ послѣднія слова твердо, даже съ эффектомъ.

— Спасибо, Аркаша, — глухо заговорилъ Николай Петровичъ, и пальцы его опять заходили по бровямъ и по лбу. — Твои предположенія дѣйствительно справедливы. Конечно, если бъ эта дѣвушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мнѣ нелегко говорить съ тобой объ этомъ; но ты понимаешь, что ей трудно было прійти сюда, при тебѣ, особенно въ первый день твоего пріѣзда.

— Въ такомъ случаѣ я самъ пойду къ ней, — воскликнулъ Аркадій съ новымъ приливомъ великодушныхъ чувствъ, и вскочилъ со стула. — Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

— Аркадій, — началъ онъ, — сдѣлай одолженіе... какъ же можно... тамъ... Я тебя не предварилъ...

Николай Петровичъ тоже всталъ.

Но Аркадій уже не слушалъ его и убѣжалъ съ террасы. Николай Петровичъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и въ смущеньи опустился на стулъ. Сердце его забилось... Представилась ли ему въ это мгновеніе неизбѣжная странность будущихъ отношеній между имъ и сыномъ, сознавалъ ли онъ, что едва ли не большее бы уваженіе оказалъ ему Аркадій, если бъ онъ вовсе не касался этого дѣла, упрекалъ ли онъ самого себя въ слабости — сказать трудно; всѣ эти чувства были въ немъ, но въ видѣ ощущеній — и то неясныхъ; а съ лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадій вошелъ на террасу.

— Мы познакомились, отецъ! — воскликнулъ онъ съ выраженіемъ какого-то ласковаго и добраго торжества на лицѣ. — Ѳедосья Николаевна, точно, сегодня не совсѣмъ здорова и придетъ попозже. Но какъ же ты не сказалъ мнѣ, что у меня есть братъ? Я бы уже вчера вечеромъ его расцѣловалъ, какъ я сейчасъ расцѣловалъ его.

Николай Петровичъ хотѣлъ что-то вымолвить, хотѣлъ подняться и раскрыть объятія... Аркадій бросился ему на шею.

— Чтò это? опять обнимаетесь? — раздался сзади ихъ голосъ Павла Петровича.

Отецъ и сынъ одинаково обрадовались появленію его въ эту минуту; бываютъ положенія трогательныя, изъ которыхъ все-таки хочется поскорѣе выйти.

— Чему жъ ты удивляешься? — весело заговорилъ Николай Петровичъ. — Въ кои-то вѣки дождался я Аркаши... Я со вчерашняго дня и насмотрѣться на него не успѣлъ.

— Я вовсе не удивляюсь, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ: — я даже самъ не прочь съ нимъ обняться.

Аркадій подошелъ къ дядѣ и снова почувствовалъ на щекахъ своихъ прикосновеніе его душистыхъ усовъ. Павелъ Петровичъ присѣлъ къ столу. На немъ былъ изящный утренній, въ англійскомъ вкусѣ, костюмъ; на головѣ красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучекъ намекали на свободу деревенской жизни; но тугіе воротнички рубашки, правда, не бѣлой, а пестренькой, какъ оно и слѣдуетъ для утренняго туалета, съ обычною неумолимостью упирались въ выбритый подбородокъ.

— Гдѣ же новый твой пріятель? — спросилъ онъ Аркадія.

— Его дома нѣтъ; онъ обыкновенно встаетъ рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него вниманія: онъ церемоній не любитъ.

— Да, это замѣтно. — Павелъ Петровичъ началъ, не торопясь, намазывать масло на хлѣбъ. — Долго онъ у насъ прогоститъ?

— Какъ придется. Онъ заѣхалъ сюда по дорогѣ къ отцу.

— А отецъ его гдѣ живетъ?

— Въ нашей губерніи, верстъ восемьдесятъ отсюда. У него тамъ небольшое имѣньице. Онъ былъ прежде полковымъ докторомъ.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивалъ: гдѣ слышалъ я эту фамилію: — Базаровъ?.. Николай, помнится, въ батюшкиной дивизіи былъ лѣкарь Базаровъ?

— Кажется, былъ.

— Точно, точно. Такъ этотъ лѣкарь его отецъ? Гм! — Павелъ Петровичъ повелъ усами. — Ну, а самъ господинъ Базаровъ собственно что такое? — спросилъ онъ съ разстановкой.

— Чтò такое Базаровъ? — Аркадій усмѣхнулся. — Хотите, дядюшка, я вамъ скажу, чтò онъ собственно такое?

— Сдѣлай одолженіе, племянничекъ.

— Онъ — нигилистъ.

— Какъ? — спросилъ Николай Петровичъ. А Павелъ Петровичъ поднялъ на воздухѣ ножъ съ кускомъ масла на концѣ лезвея, и остался неподвиженъ.

— Онъ — нигилистъ, — повторилъ Аркадій.

— Нигилистъ, — проговорилъ Николай Петровичъ. — Это отъ латинскаго *nihil*, *ничего*, сколько я могу судить; стало-быть, это слово означаетъ человѣка, который... который ничего не признаетъ?

— Скажи: который ничего не уважаетъ, — подхватилъ Павелъ Петровичъ, и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится съ критической точки зрѣнія, — замѣтилъ Аркадій.

— А это не все равно? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, не все равно. Нигилистъ—это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ...

— И что жъ, это хорошо? — перебилъ Павелъ Петровичъ.

— Смотря какъ кому, дядюшка. Иному отъ этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вотъ какъ. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди стараго вѣка, мы полагаемъ, что безъ принсиповъ (Павелъ Петровичъ выговаривалъ это слово мягко, на французскій манеръ. Аркадій, напротивъ, произносилъ «прынципъ», налегая на первый слогъ), безъ принсиповъ, принятыхъ, какъ ты говоришь, на вѣру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela, дай вамъ Богъ здоровья и генеральскій чинъ, а мы только любоваться будемъ, господа... какъ бишь?

— Нигилисты, — отчетливо проговорилъ Аркадій.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотримъ, какъ вы будете существовать въ пустотѣ, въ безвоздушномъ пространствѣ; а теперь позвони-ка, пожалуйста, братъ Николай Петровичъ, мнѣ пора пить мой какао.

Николай Петровичъ позвонилъ и закричалъ: «Дуняша!» Но вмѣсто Дуняши на террасу вышла сама Ѳеничка. Это была молодая женщина лѣтъ двадцати-трехъ, вся бѣленькая и мягкая, съ темными волосами и глазами, съ красными, дѣтски-пухлявыми губками и нѣжными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ея круглыхъ плечахъ. Она несла большую чашку какао и, поставивъ ее передъ Павломъ Петровичемъ, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной подъ тонкою кожицей ея миловиднаго лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцевъ. Казалось, ей и совѣстно было, что она пришла, и въ то же время она какъ будто чувствовала, что имѣла право прійти.

Павелъ Петровичъ строго нахмурилъ брови, а Николай Петровичъ смутился.

— Здравствуй, Ѳеничка, — проговорилъ онъ сквозь зубы.

— Здравствуйте-съ, — отвѣтила она не громкимъ, но звучнымъ голосомъ и, глянувъ искоса на Аркадія, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко въ развалку, но и это къ ней пристало.

На террасѣ въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній господствовало молчаніе. Павелъ Петровичъ похлебывалъ свой какао, и вдругъ поднялъ голову.

— Вотъ и господинъ нигилистъ къ намъ жалуетъ, — промолвилъ онъ вполголоса.

Дѣйствительно, по саду, шагая черезъ клумбы, шелъ Базаровъ. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы въ грязи; цѣпкое болотное растеніе обвивало тулью его старой круглой шляпы; въ правой рукѣ онъ держалъ небольшой мѣшокъ, въ мѣшкѣ шевелилось что-то живое. Онъ быстро приблизился къ террасѣ и, качнувъ головою, промолвилъ:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздалъ къ чаю; сейчасъ вернусь; надо вотъ этихъ плѣнницъ къ мѣсту пристроить.

— Что это у васъ, піявки? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, лягушки.

— Вы ихъ ѣдите или разводите?

— Для опытовъ, — равнодушно проговорилъ Базаровъ и ушелъ въ домъ.

— Это онъ ихъ рѣзать станетъ, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ. — Въ принсипы не вѣритъ, а въ лягушекъ вѣритъ.

Аркадій съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на дядю; Николай Петровичъ украдкой пожалъ плечомъ. Самъ Павелъ Петровичъ почувствовалъ, что сострилъ неудачно, и заговорилъ о хозяйствѣ и о новомъ управляющемъ, который наканунѣ приходилъ къ нему жаловаться, что работникъ Ѳома «дибоширничаетъ» и отъ рукъ отбился. «Такой ужъ онъ Езопъ», сказалъ онъ,

между прочимъ: «всюду протестовалъ себя дурнымъ человѣкомъ; поживетъ и съ глупостью отойдетъ».

## V.

Базаровъ вернулся, сѣлъ за столъ и началъ поспѣшно пить чай. Оба брата молча глядѣли на него, а Аркадій украдкой посматривалъ то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили?—спросилъ, наконецъ, Николай Петровичъ.

— Тутъ у васъ болотце есть, возлѣ осиновой рощи. Я взогналъ штукъ пять бекасовъ; ты можешь убить ихъ, Аркадій.

— А вы не охотникъ?

— Нѣтъ.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросилъ, въ свою очередь, Павелъ Петровичъ.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорятъ, германцы въ послѣднее время сильно успѣли по этой части.

— Да, нѣмцы въ этомъ наши учителя,— небрежно отвѣчалъ Базаровъ.

Слово «германцы,» вмѣсто «нѣмцы», Павелъ Петровичъ употребилъ ради иронiи. которой, однако, никто не замѣтилъ.

— Вы столь высокаго мнѣнiя о нѣмцахъ? — проговорилъ съ изысканною учтивостью Павелъ Петровичъ. Онъ начиналъ чувствовать тайное раздраженiе. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этотъ лѣкарскiй сынъ не только не робѣлъ, онъ даже отвѣчалъ отрывисто и неохотно, и въ звукѣ его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошнiе ученые—дѣльный народъ.

— Такъ, такъ. Ну, а объ русскихъ ученыхъ вы, вѣроятно, не имѣете столь лестнаго понятiя?

— Пожалуй, что такъ.

— Это очень похвальное самоотверженiе, — произнесъ Павелъ Петровичъ, выпрямляя станъ и закидывая голову назадъ.—Но какъ же намъ Аркадiй Николаичъ сейчасъ сказывалъ, что вы не признаете никакихъ авторитетовъ? Не вѣрите имъ?

— Да зачѣмъ я стану ихъ признавать? И чему я буду вѣрить? Мнѣ скажутъ дѣло, я соглашаюсь — вотъ и все.

— А нѣмцы все дѣло говорятъ? — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выраженiе, словно онъ весь ушелъ въ какую-то заоблачную высь.

— Не всѣ, — отвѣтилъ съ короткимъ зѣвкомъ Базаровъ, которому явно не хотѣлось продолжать словопренiе.

Павелъ Петровичъ взглянулъ на Аркадiя, какъ бы желая сказать ему: «учтивъ твой другъ, признаться».

— Что касается до меня, — заговорилъ онъ опять, не безъ нѣкотораго усилiя,—я нѣмцевъ, грѣшный человѣкъ, не жалую. О русскихъ нѣмцахъ я уже не упоминаю: извѣстно, что это за птицы. Но и нѣмецкiе нѣмцы мнѣ не по нутру. Еще прежнiе туда-сюда; тогда у нихъ были — ну, тамъ, Шиллеръ, что ли, *Гётте*... Братъ вотъ имъ особенно благопрiятствуетъ... А теперь пошли все какiе-то химики да матерiалисты...

— Порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта, — перебилъ Базаровъ.

— Вотъ какъ, — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и, словно засыпая, чуть-чуть приподнялъ брови.—Вы, стало-быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нѣтъ болѣе геморроя! — воскликнулъ Базаровъ съ презрительною усмѣшкой.

— Такъ-съ, такъ-съ. Вотъ какъ вы изволите шутить. Это вы все, стало-быть, отвергаете? Положимъ. Значитъ, вы вѣрите въ одну науку?

— Я уже доложилъ вамъ, что ни во что не вѣрю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, знанiя; а наука вообще не существуетъ вовсе.

— Очень хорошо-съ. Ну, а насчетъ другихъ, въ людскомъ быту принятыхъ постановленiй вы придерживаетесь такого же отрицательнаго направленiя?

— Что это — допросъ? — спросилъ Базаровъ.

Павелъ Петровичъ слегка поблѣднѣлъ... Николай Петровичъ почелъ должнымъ вмѣшаться въ разговоръ.

— Мы когда-нибудь поподробнѣе побесѣдуемъ объ этомъ предметѣ съ вами, любезный Евгенiй Васильевичъ; и ваше мнѣнiе узнаемъ и свое выскажемъ. Съ своей стороны, я очень радъ, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышалъ, что Либихъ сдѣлалъ удивительныя открытiя насчетъ удобренiя полей. Вы можете мнѣ помочь въ моихъ агрономическихъ рабо-

тахъ: вы можете дать мнѣ какой-нибудь полезный совѣтъ.

— Я къ вашимъ услугамъ, Николай Петровичъ; но куда намъ до Либиха! Сперва надо азбукѣ выучиться и потомъ уже взяться за книгу, а мы еще аза въ глаза не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилистъ», подумалъ Николай Петровичъ.

— Все-таки позвольте прибѣгнуть къ вамъ при случаѣ,—прибавилъ онъ вслухъ.— А теперь намъ, я полагаю, братъ, пора пойти потолковать съ приказчикомъ.

Павелъ Петровичъ поднялся со стула.

— Да, — проговорилъ онъ, ни на кого не глядя, — бѣда пожить этакъ годковъ пять въ деревнѣ, въ отдаленіи отъ великихъ умовъ! какъ разъ дуракъ дуракомъ станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а тамъ — хвать! — оказывается, что все это вздоръ, и тебѣ говорятъ, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются, и что ты, молъ, отсталый колпакъ. Что дѣлать! Видно, молодежь, точно, умнѣе насъ.

Павелъ Петровичъ медленно повернулся на каблукахъ и медленно вышелъ; Николай Петровичъ отправился вслѣдъ за нимъ.

— Что, онъ всегда у васъ такой?— хладнокровно спросилъ Базаровъ у Аркадія, какъ только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгеній, ты уже слишкомъ рѣзко съ нимъ обошелся,—замѣтилъ Аркадій. — Ты его оскорбилъ.

— Да, стану я ихъ баловать, этихъ уѣздныхъ аристократовъ! Вѣдь это все самолюбіе, львиныя привычки, фатство. Ну, продолжалъ бы свое поприще въ Петербургѣ, коли ужъ такой у него складъ... А, впрочемъ, Богъ съ нимъ со всѣмъ! Я нашелъ довольно рѣдкій экземпляръ водяного жука. Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебѣ его покажу.

— Я тебѣ обѣщался разсказать его исторію, — началъ Аркадій.

— Исторію жука?

— Ну, полно, Евгеній. Исторію моего дяди. Ты увидишь, что онъ не такой человѣкъ, какимъ ты его воображаешь. Онъ скорѣе сожалѣнія достоинъ, чѣмъ насмѣшки.

— Я не спорю; да что онъ тебѣ такъ дался?

— Надо быть справедливымъ, Евгеній.

— Это изъ чего слѣдуетъ?

— Нѣтъ, слушай...

И Аркадій разсказалъ ему исторію своего дяди. Читатель найдетъ ее въ слѣдующей главѣ.

## VII.

Павелъ Петровичъ Кирсановъ воспитывался сперва дома, такъ же какъ и младшій братъ его, Николай, потомъ въ пажескомъ корпусѣ. Онъ съ дѣтства отличался замѣчательною красотой; къ тому же онъ былъ самоувѣренъ, немного насмѣшливъ и какъ-то забавно-жёлченъ — онъ не могъ не нравиться. Онъ началъ появляться всюду, какъ только вышелъ въ офицеры. Его носили на рукахъ, и онъ самъ себя баловалъ, даже дурачился, даже ломался; но и это къ нему шло. Женщины отъ него съ ума сходили, мужчины называли его фатомъ и втайнѣ завидовали ему. Онъ жилъ, какъ уже сказано, на одной квартирѣ съ братомъ, котораго любилъ искренно, хотя нисколько на него не походилъ. Николай Петровичъ прихрамывалъ, черты имѣлъ маленькія, пріятныя, но нѣсколько грустныя, небольшіе черные глаза и мягкіе жидкіе волосы; онъ охотно лѣнился, но и читалъ охотно, и боялся общества. Павелъ Петровичъ ни одного вечера не проводилъ дома, славился смѣлостію и ловкостію (онъ ввелъ было гимнастику въ моду между свѣтскою молодежью) и прочелъ всего пять-шесть французскихъ книгъ. На двадцать восьмомъ году отроду онъ уже былъ капитаномъ; блестящая карьера ожидала его. Вдругъ все измѣнилось.

Въ то время въ петербургскомъ свѣтѣ изрѣдка появлялась женщина, которую не забыли до сихъ поръ, княгиня Р. У ней былъ благовоспитанный и приличный, но глуповатый мужъ, и не было дѣтей. Она внезапно уѣзжала за границу, внезапно возвращалась въ Россію, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, съ увлеченіемъ предавалась всякаго рода удовольствіямъ, танцовала до упаду, хохотала и шутила съ молодыми людьми, которыхъ принимала передъ обѣдомъ въ полумракѣ гостиной, а по ночамъ плакала и молилась, не находила нигдѣ покою, и часто до самаго утра металась по комнатѣ, тоскливо ломая руки, или сидѣла, вся блѣдная и холодная, надъ псалтыремъ. День наставалъ, и она снова превращалась въ свѣтскую даму, снова

выѣзжала, смѣялась, болтала и точно бросалась навстрѣчу всему, что могло доставить ей малѣйшее развлеченіе. Она была удивительно сложена; ея коса золотого цвѣта и тяжелая, какъ золото, падала ниже колѣнъ, но красавицей ее никто бы не назвалъ; во всемъ ея лицѣ только и было хорошаго, что глаза, и даже не самые глаза — они были не велики и сѣры — но взглядъ ихъ, быстрый и глубокій, безпечный до удали и задумчивый до унынія, — загадочный взглядъ. Что-то необычайно свѣтилось въ немъ, даже тогда, когда языкъ ея лепеталъ самыя пустыя рѣчи. Одѣвалась она изысканно. Павелъ Петровичъ встрѣтилъ ее на одномъ балѣ, протанцовалъ съ ней мазурку, въ теченіе которой она не сказала ни одного путнаго слова, и влюбился въ нее страстно. Привыкшій къ побѣдамъ, онъ и тутъ скоро достигъ своей цѣли; но легкость торжества не охладила его. Напротивъ, онъ еще мучительнѣе, еще крѣпче привязался къ этой женщинѣ, въ которой, даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще какъ будто оставалось что-то завѣтное и недоступное, куда никто не могъ проникнуть. Что гнѣздилось въ этой душѣ, — Богъ вѣсть! Казалось, она находилась во власти какихъ-то тайныхъ, для нея самой невѣдомыхъ силъ; онѣ играли ею, какъ хотѣли; ея небольшой умъ не могъ сладить съ ихъ прихотью. Все ея поведеніе представляло рядъ несообразностей; единственныя письма, которыя могли бы возбудить справедливыя подозрѣнія ея мужа, она написала къ человѣку почти ей чужому, а любовь ея отзывалась печалью: она уже не смѣялась и не шутила съ тѣмъ, кого избирала, и слушала его и глядѣла на него съ недоумѣніемъ. Иногда, большею частью внезапно, это недоумѣніе переходило въ холодный ужасъ; лицо ея принимало выраженіе мертвенное и дикое; она запиралась у себя въ спальнѣ, и горничная ея могла слышать, припавъ ухомъ къ замку, ея глухія рыданія. Не разъ, возвращаясь къ себѣ домой послѣ нѣжнаго свиданія, Кирсановъ чувствовалъ на сердцѣ ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается въ сердцѣ послѣ окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» спрашивалъ онъ себя, а сердце все ныло. Онъ однажды подарилъ ей кольцо съ вырѣзаннымъ на камнѣ сфинксомъ.

— Что это? — спросила она: — сфинксъ?

— Да, — отвѣтилъ онъ: — и этотъ сфинксъ — вы.

— Я? — спросила она, и медленно подняла на него свой загадочный взглядъ. — Знаете ли, что это очень лестно? — прибавила она съ незначительной усмѣшкой, а глаза глядѣли все такъ же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладѣла къ нему, а это случилось довольно скоро, онъ чуть съ ума не сошелъ. Онъ терзался и ревновалъ, не давалъ ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоѣло его неотвязное преслѣдованіе, и она уѣхала за границу. Онъ вышелъ въ отставку, несмотря на просьбы пріятелей, на увѣщанія начальниковъ, и отправился вслѣдъ за княгиней; года четыре провелъ онъ въ чужихъ краяхъ, то гоняясь за нею, то съ намѣреніемъ теряя ее изъ виду; онъ стыдился самого себя, онъ негодовалъ на свое малодушіе... но ничто не помогало. Ея образъ, этотъ непонятный, почти безсмысленный, но обаятельный образъ слишкомъ глубоко внѣдрился въ его душу. Въ Баденѣ онъ какъ-то опять сошелся съ нею попрежнему; казалось, никогда еще она такъ страстно его не любила... но черезъ мѣсяцъ все уже было кончено: огонь вспыхнулъ въ послѣдній разъ, и угасъ навсегда. Предчувствуя неизбѣжную разлуку, онъ хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, остаться ея другомъ, какъ будто дружба съ такою женщиной была возможна... Она тихонько выѣхала изъ Бадена, и съ тѣхъ поръ постоянно избѣгала Кирсанова. Онъ вернулся въ Россію, попытался зажить старою жизнью, но уже не могъ попасть въ прежнюю колею. Какъ отравленный, бродилъ онъ съ мѣста на мѣсто; онъ еще выѣзжалъ, онъ сохранилъ всѣ привычки свѣтскаго человѣка; онъ могъ похвастаться двумя, тремя новыми побѣдами; но онъ уже не ждалъ ничего особеннаго ни отъ себя ни отъ другихъ, и ничего не предпринималъ. Онъ состарѣлся, посѣдѣлъ; сидѣть по вечерамъ въ клубѣ, желчно скучать, равнодушно поспорить въ холостомъ обществѣ стало для него потребностію, — знакъ, какъ извѣстно, плохой. О женитьбѣ онъ, разумѣется, и не думалъ. Десять лѣтъ прошло такимъ образомъ, безцвѣтно, безплодно и быстро, страшно быстро. Нигдѣ время такъ

не бѣжитъ, какъ въ Россіи; въ тюрьмѣ, говорятъ, онъ бѣжитъ еще скорѣй. Однажды, за обѣдомъ, въ клубѣ, Павелъ Петровичъ узналъ о смерти княгини Р. Она скончалась въ Парижѣ, въ состояніи близкомъ къ помѣшательству. Онъ всталъ изъ-за стола и долго ходилъ по комнатамъ клуба, останавливаясь, какъ вкопанный, близъ карточныхъ игроковъ, но не вернулся домой раньше обыкновеннаго. Черезъ нѣсколько времени онъ получилъ пакетъ, адресованный на его имя: въ немъ находилось данное имъ княгинѣ кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту, и велѣла ему сказать, что крестъ — вотъ разгадка.

Это случилось въ началѣ 48-го года, въ то самое время, когда Николай Петровичъ, лишившись жены, пріѣзжалъ въ Петербургъ. Павелъ Петровичъ почти не видался съ братомъ съ тѣхъ поръ, какъ тотъ поселился въ деревнѣ: свадьба Николая Петровича совпала съ самыми первыми днями знакомства Павла Петровича съ княгиней. Вернувшись изъ-за границы, онъ отправился къ нему съ намѣреніемъ погостить у него мѣсяца два, полюбоваться его счастіемъ, но выжилъ у него одну только недѣлю. Различіе въ положеніи обоихъ братьевъ было слишкомъ велико. Въ 48-мъ году это различіе уменьшилось: Николай Петровичъ потерялъ жену, Павелъ Петровичъ потерялъ свои воспоминанія; послѣ смерти княгини онъ старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сынъ выросталъ на его глазахъ; Павелъ, напротивъ, одинокій холостякъ, вступалъ въ то смутное, сумеречное время, время сожалѣній, похожихъ на надежды, надеждъ, похожихъ на сожалѣнія, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднѣе для Павла Петровича, чѣмъ для всякаго другого: потерявъ свое прошедшее, онъ все потерялъ.

— Я не зову теперь тебя въ Марьино, — сказалъ ему однажды Николай Петровичъ (онъ назвалъ свою деревню этимъ именемъ въ честь жены): — ты при покойницѣ тамъ соскучился, а теперь ты, я думаю, тамъ съ тоски пропадешь.

— Я былъ еще глупъ и суетливъ тогда, — отвѣчалъ Павелъ Петровичъ: — съ тѣхъ поръ я угомонился, если не поумнѣлъ. Теперь, напротивъ, если ты позволишь, я готовъ навсегда у тебя поселиться.

Вмѣсто отвѣта, Николай Петровичъ обнялъ его; но полтора года прошло послѣ этого разговора, прежде чѣмъ Павелъ Петровичъ рѣшился осуществить свое намѣреніе. Зато, поселившись однажды въ деревнѣ, онъ уже не покидалъ ея, даже и въ тѣ три зимы, которыя Николай Петровичъ провелъ въ Петербургѣ съ сыномъ. Онъ сталъ читать, все больше по-англійски; онъ вообще всю жизнь свою устроилъ на англійскій вкусъ, рѣдко видался съ сосѣдями и выѣзжалъ только на выборы, гдѣ онъ большею частію помалчивалъ, лишь изрѣдка дразня и пугая помѣщиковъ стараго покроя либеральными выходками и не сближаясь съ представителями новаго поколѣнія. И тѣ и другіе считали его гордецомъ; и тѣ и другіе его уважали за его отличныя, аристократическія манеры, за слухи о его побѣдахъ; за то, что онъ прекрасно одѣвался и всегда останавливался въ лучшемъ номерѣ лучшей гостиницы; за то, что онъ вообще хорошо обѣдалъ, а однажды даже пообѣдалъ съ Веллингтономъ у Людовика-Филиппа; за то, что онъ всюду возилъ съ собою настоящій серебряный несессеръ и походную ванну; за то, что отъ него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что онъ мастерски игралъ въ вистъ и всегда проигрывалъ; наконецъ, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательнымъ меланхоликомъ, но онъ не знался съ дамами...

— Вотъ, видишь ли, Евгеній, — промолвилъ Аркадій, оканчивая свой разсказъ, — какъ несправедливо ты судишь о дядѣ! Я уже не говорю о томъ, что онъ не разъ выручалъ отца изъ бѣды, отдавалъ ему всѣ свои деньги, — имѣніе, ты, можетъ-быть, не знаешь, у нихъ не раздѣлено, — но онъ всякому радъ помочь и, между прочимъ, всегда вступается за крестьянъ: правда, говоря съ ними, онъ морщится и нюхаетъ одеколонъ...

— Извѣстное дѣло: нервы, — перебилъ Базаровъ.

— Можетъ-быть; только у него сердце предоброе. И онъ далеко не глупъ. Какіе онъ мнѣ давалъ полезные совѣты... осо-

бенно... особенно насчетъ отношеній къ женщинамъ.

— Ага! На своемъ молокѣ обжегся, на чужую воду дуетъ. Знаемъ мы это!

— Ну, словомъ, — продолжалъ Аркадій, — онъ глубоко несчастливъ, повѣрь мнѣ; презирать его — грѣшно.

— Да кто его презираетъ? — возразилъ Базаровъ. — А я все-таки скажу, что человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви, и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакій человѣкъ — не мужчина, но самецъ. Ты говоришь, что онъ несчастливъ: тебѣ лучше знать; но дурь изъ него не вся вышла. Я увѣренъ, что онъ не шутя воображаетъ себя дѣльнымъ человѣкомъ, потому что читаетъ Галиньяшку и разъ въ мѣсяцъ избавитъ мужика отъ экзекуціи.

— Да вспомни его воспитаніе, время, въ которомъ онъ жилъ, — замѣтилъ Аркадій.

— Воспитаніе? — подхватилъ Базаровъ. — Всякій человѣкъ самъ себя воспитать долженъ, — ну, хоть какъ я, напримѣръ... А что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня. Нѣтъ, братъ, все это распущенность, пустота! И что за таинственныя отношенія между мужчиной и женщиной? Мы, физіологи, знаемъ, какія это отношенія. Ты проштудируй-ка анатомію глаза: откуда тутъ взяться, какъ ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизмъ, чепуха, гниль, художество. Пойдемъ лучше смотрѣть жука.

И оба пріятеля отправились въ комнату Базарова, въ которой уже успѣлъ установиться какой-то медицинско-хирургическій запахъ, смѣшанный съ запахомъ дешеваго табаку.

## IX.

Въ тотъ же день и Базаровъ познакомился съ Ѳеничкой. Онъ вмѣстѣ съ Аркадіемъ ходилъ по саду и толковалъ ему, почему иныя деревца, особенно дубки, не принялись.

— Надо серебристыхъ тополей побольше здѣсь сажать да елокъ, да, пожалуй, липокъ, подбавивши чернозему. Вонъ бесѣдка принялась хорошо, — прибавилъ онъ, — потому что акація да сирень — ребята добрые, ухода не требуютъ. Ба! да тутъ кто-то есть.

Въ бесѣдкѣ сидѣла Ѳеничка съ Дуняшей и Митей. Базаровъ остановился, а Аркадій кивнулъ головою Ѳеничкѣ, какъ старый знакомый.

— Кто это? — спросилъ его Базаровъ, какъ только они прошли мимо. — Какая хорошенькая!

— Да ты о комъ говоришь?

— Извѣстно о комъ: одна только хорошенькая.

Аркадій, не безъ замѣшательства, объяснилъ ему въ короткихъ словахъ, кто была Ѳеничка.

— Ага! — промолвилъ Базаровъ: — у твоего отца, видно, губа не дура. А онъ мнѣ нравится, твой отецъ, ей-ей! Онъ — молодецъ. Однако надо познакомиться, — прибавилъ онъ, и отправился назадъ къ бесѣдкѣ.

— Евгеній! — съ испугомъ крикнулъ ему вослѣдъ Аркадій: — осторожнѣе, ради Бога.

— Не волнуйся, — проговорилъ Базаровъ: — народъ мы тертый, въ городахъ живали.

Приблизясь къ Ѳеничкѣ, онъ скинулъ картузъ.

— Позвольте представиться, — началъ онъ съ вѣжливымъ поклономъ: — Аркадію Николаевичу пріятель и человѣкъ смирный.

Ѳеничка приподнялась со скамейки и глядѣла на него молча.

— Какой ребенокъ чудесный! — продолжалъ Базаровъ. — Не безпокойтесь, я еще никого не сглазилъ. Что это у него щеки такія красныя? Зубки, что ли, прорѣзаются?

— Да-съ, — промолвила Ѳеничка: — четверо зубковъ у него уже прорѣзались, а теперь вотъ десны опять припухли.

— Покажите-ка... да вы не бойтесь, я докторъ.

Базаровъ взялъ на руки ребенка, который, къ удивленію и Ѳенички и Дуняши, не оказалъ никакого сопротивленія и не испугался.

— Вижу, вижу... Ничего, все въ порядкѣ: зубастый будетъ. Если что случится, скажите мнѣ. А сами вы здоровы?

— Здорова, славу Богу.

— Слава Богу — лучше всего. А вы? — прибавилъ Базаровъ, обращаясь къ Дуняшѣ.

не бѣжитъ, какъ въ р-
говорятъ, онъ б-
за обѣдомъ
узналъ о
лась въ
къ помѣ
стола и
остана
карто
мой
ско
ал

[illegible] очень строгая въ хо-
[illegible] и хохотунья за воротами, только
[illegible] ему въ отвѣтъ.
— Ну, и прекрасно. Вотъ вамъ вашъ богатырь.

Ѳеничка приняла ребенка къ себѣ на руки.

— Какъ онъ у васъ тихо сидѣлъ, — проговорила она вполголоса.

— У меня всѣ дѣти тихо сидятъ, — отвѣчалъ Базаровъ: — я такую штуку знаю.

— Дѣти чувствуютъ, кто ихъ любитъ, — замѣтила Дуняша.

— Это точно, — подтвердила Ѳеничка. — Вотъ и Митя, къ иному ни за что на руки не пойдетъ.

— А ко мнѣ пойдетъ? — спросилъ Аркадій, который, постоявъ нѣкоторое время въ отдаленіи, приблизился къ бесѣдкѣ.

Онъ поманилъ къ себѣ Митю, но Митя откинулъ голову назадъ и запищалъ, что очень смутило Ѳеничку.

— Въ другой разъ, когда привыкнуть успѣетъ, — снисходительно промолвилъ Аркадій, и оба пріятеля удалились.

— Какъ, бишь, ее зовутъ? — спросилъ Базаровъ.

— Ѳеничкой... Ѳедосьей, — отвѣтилъ Аркадій.

— А по батюшкѣ... Это тоже нужно знать.

— Николаевной.

— *Bene*. Мнѣ нравится въ ней то, что она не слишкомъ конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудилъ бы въ ней. Что за вздоръ? Чего конфузиться? Она мать — ну и права.

— Она-то права, — замѣтилъ Аркадій: — но вотъ отецъ мой...

— И онъ правъ, — перебилъ Базаровъ.

— Ну, нѣтъ, я не нахожу.

— Видно, лишній наслѣдничекъ намъ не понутру!

— Какъ тебѣ не стыдно предполагать во мнѣ такія мысли! — съ жаромъ подхватилъ Аркадій. — Я не съ этой точки зрѣнія почитаю отца неправымъ, я нахожу, что онъ долженъ бы жениться на ней.

— Эге-ге! — спокойно проговорилъ Базаровъ. — Вотъ мы какіе великодушные! Ты придаешь еще значеніе браку; я этого отъ тебя не ожидалъ,

Пріятели сдѣлали нѣсколько шаговъ въ молчаньи.

— Видѣлъ я всѣ заведенія твоего отца, — началъ опять Базаровъ. — Скотъ плохой, и лошади разбитыя. Строенія тоже подгуляли, и работники смотрятъ отъявленными лѣнивцами; а управляющій либо дуракъ, либо плутъ, я еще не разобралъ хорошенько.

— Строгъ же ты сегодня, Евгеній Васильевичъ.

— И добрые мужички надуютъ твоего отца всенепремѣнно. Знаешь поговорку: «русскій мужикъ Бога слопаетъ».

— Я начинаю соглашаться съ дядей, — замѣтилъ Аркадій: — ты рѣшительно дурного мнѣнія о русскихъ.

— Эка важность! Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что онъ самъ о себѣ прескверпаго мнѣнія. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

— Природа — пустяки? — проговорилъ Аркадій, задумчиво глядя вдаль на пестрыя поля, красиво и мягко освѣщенныя уже невысокимъ солнцемъ.

— И природа пустяки, въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее понимаешь. Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней — работникъ.

Медлительные звуки віолончели долетѣли до нихъ изъ дома въ это самое мгновеніе. Кто-то игралъ съ чувствомъ, хотя и неопытною рукою, *Ожиданіе* Шуберта, и медомъ разливалась по воздуху сладостная мелодія.

— Это что? — произнесъ съ изумленіемъ Базаровъ.

— Это отецъ.

— Твой отецъ играетъ на віолончели?

— Да.

— Да сколько твоему отцу лѣтъ?

— Сорокъ четыре.

Базаровъ вдругъ расхохотался.

— Чему же ты смѣешься?

— Помилуй! въ сорокъ четыре года человѣкъ, pater familias, въ ...мъ уѣздѣ — играетъ на віолончели!

Базаровъ продолжалъ хохотать; но Аркадій, какъ ни благоговѣлъ передъ своимъ учителемъ, на этотъ разъ даже не улыбнулся.

## X.

Прошло около двухъ недѣль. Жизнь въ Марьинѣ текла своимъ порядкомъ: Аркадій сибаритствовалъ, Базаровъ работалъ. Всѣ въ домѣ привыкли къ нему, къ его не-

брежнымъ манерамъ, къ его немногосложнымъ и отрывочнымъ рѣчамъ. Ѳеничка, въ особенности, до того съ нимъ освоилась, что однажды ночью велѣла разбудить его: съ Митей сдѣлались судороги; и онъ пришелъ, по обыкновенію полушутя, полузѣвая, просидѣлъ у ней часа два и помогъ ребенку. Зато Павелъ Петровичъ всѣми силами души своей возненавидѣлъ Базарова: онъ считалъ его гордецомъ, нахаломъ, цинbackномъ, плебеемъ; онъ подозрѣвалъ, что Базаровъ не уважаетъ его, что онъ едва ли не презираетъ его—его, Павла Кирсанова! Николай Петровичъ побаивался молодого «нигилиста», и сомнѣвался въ пользѣ его вліянія на Аркадія; но онъ охотно его слушалъ, охотно присутствовалъ при его физическихъ и химическихъ опытахъ. Базаровъ привезъ съ собой микроскопъ и по цѣлымъ часамъ съ нимъ возился. Слуги также привязались къ нему, хотя онъ надъ ними подтрунивалъ: они чувствовали, что онъ все-таки свой братъ, не баринъ. Дуняша охотно съ нимъ хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробѣгая мимо «перепелочкой»; Петръ, человѣкъ до крайности самолюбивый и глупый, вѣчно съ напряженными морщинами на лбу, человѣкъ, котораго все достоинство состояло въ томъ, что онъ глядѣлъ учтиво, читалъ по складамъ и часто чистилъ щеточкой свой сюртучокъ — и тотъ ухмылялся и свѣтлѣлъ, какъ только Базаровъ обращалъ на него вниманіе; дворовые мальчишки бѣгали за «дохтуромъ», какъ собачонки. Одинъ старикъ Прокофьичъ не любилъ его, съ угрюмымъ видомъ подавалъ ему за столомъ кушанья, называлъ его «живодеромъ» и «прощелыгой» и увѣрялъ, что онъ съ своими бакенбардами — настоящая свинья въ кустѣ. Прокофьичъ, по-своему, былъ аристократъ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшіе дни въ году—первые дни іюня. Погода стояла прекрасная; правда, издали, грозилась опять холера, но жители ...ой губерніи успѣли уже привыкнуть къ ея посѣщеніямъ. Базаровъ вставалъ очень рано и отправлялся версты за двѣ, за три, не гулять — онъ прогулокъ безъ цѣли терпѣть не могъ, — а собирать травы, насѣкомыхъ. Иногда онъ бралъ съ собою Аркадія. На возвратномъ пути у нихъ обыкновенно завязывался споръ, и Аркадій обыкновенно оставался побѣжденнымъ, хотя говорилъ больше своего товарища.

Однажды они какъ-то долго замѣшкались; Николай Петровичъ вышелъ къ нимъ настрѣчу въ садъ и, поровнявшись съ бесѣдкой, вдругъ услышалъ быстрые шаги и голоса обоихъ молодыхъ людей. Они шли по ту сторону бесѣдки и не могли его видѣть.

— Ты отца недостаточно знаешь,—говорилъ Аркадій.

Николай Петровичъ притаился.

— Твой отецъ добрый малый,—промолвилъ Базаровъ:—но онъ человѣкъ отставной, его пѣсенка спѣта.

Николай Петровичъ приникъ ухомъ... Аркадій ничего не отвѣчалъ.

«Отставной человѣкъ» постоялъ минуты двѣ неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьяго дня, я смотрю, онъ Пушкина читаетъ,—продолжалъ между тѣмъ Базаровъ.—Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Вѣдь онъ не мальчикъ: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтикомъ въ нынѣшнее время! Дай ему что-нибудь дѣльное почитать.

— Что бы ему дать?—спросилъ Аркадій.

— Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft» на первый случай.

— Я самъ такъ думаю, — замѣтилъ одобрительно Аркадій. — «Stoff und Kraft» написано популярнымъ языкомъ...

— Вотъ какъ, мы со тобой,—говорилъ въ тотъ же день послѣ обѣда Николай Петровичъ своему брату, сидя у него въ кабинетѣ,—въ отставные люди попали, пѣсенка наша спѣта. Что жъ? Можетъ-быть, Базаровъ и правъ; но мнѣ, признаюсь, одно больно: я надѣялся именно теперь тѣсно и дружески сойтись съ Аркадіемъ, а выходитъ, что я остался назади, онъ ушелъ впередъ, и понять мы другъ друга не можемъ.

— Да почему онъ ушелъ впередъ? И чѣмъ онъ отъ насъ такъ ужъ очень отличается?—съ нетерпѣніемъ воскликнулъ Павелъ Петровичъ.—Это все ему въ голову синьоръ этотъ вбилъ, нигилистъ этотъ. Ненавижу я этого лѣкаришку; по-моему, онъ просто шарлатанъ; я увѣренъ, что со всѣми своими лягушками онъ и въ физикѣ недалеко ушелъ.

— Нѣтъ, братъ, ты этого не говори: Базаровъ уменъ и знающъ.

— И самолюбіе какое противное, — перебилъ опять Павелъ Петровичъ.

— Да, — замѣтилъ Николай Петровичъ: — онъ самолюбивъ. Но безъ этого, видно, нельзя; только вотъ чего я въ толкъ не возьму. Кажется, я все дѣлаю, чтобы не отстать отъ вѣка: крестьянъ устроилъ, ферму завелъ, такъ что даже меня во всей губерніи *краснымъ* величаютъ; читаю, учусь, вообще стараюсь стать въ уровень съ современными требованіями, а они говорятъ, что пѣсенка моя спѣта. Да что, братъ, я самъ начинаю думать, что она точно спѣта.

— Это почему?

— А вотъ почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... Помнится, *Цыгане* мнѣ попались... Вдругъ Аркадій подходитъ ко мнѣ и, молча, съ этакимъ ласковымъ сожалѣніемъ на лицѣ, тихонько, какъ у ребенка, отнялъ у меня книгу и положилъ передо мною другую, нѣмецкую... улыбнулся и ушелъ, и Пушкина унесъ.

— Вотъ какъ! Какую же онъ книгу тебѣ далъ?

— Вотъ эту.

И Николай Петровичъ вынулъ изъ задняго кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятаго изданія.

Павелъ Петровичъ повертѣлъ ее въ рукахъ.

— Гм! — промычалъ онъ.—Аркадій Николаевичъ заботится о твоемъ воспитаніи. Что жъ, ты пробовалъ читать?

— Пробовалъ.

— Ну и что же?

— Либо я глупъ, либо это все—вздоръ. Должно-быть, я глупъ.

— Да ты по-нѣмецки не забылъ? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Я по-нѣмецки понимаю.

Павелъ Петровичъ опять повертѣлъ книгу въ рукахъ и исподлобья взглянулъ на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати, — началъ Николай Петровичъ, видимо желая перемѣнить разговоръ. — Я получилъ письмо отъ Колязина.

— Отъ Матвѣя Ильича?

— Отъ него. Онъ пріѣхалъ въ*** ревизовать губернію. Онъ теперь въ тузы вышелъ и пишетъ мнѣ, что желаетъ по-родственному повидаться съ нами и приглашаетъ насъ съ тобой и съ Аркадіемъ въ городъ.

— Ты поѣдешь? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, а ты?

— И я не поѣду. Очень нужно тащиться за пятьдесятъ верстъ киселя ѣсть. Mathieu хочетъ показаться намъ во всей своей славѣ; чортъ съ нимъ! будетъ съ него губернскаго ѳиміама, обойдется безъ нашего. И велика важность, тайный совѣтникъ! Если бъ я продолжалъ служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь былъ генералъ - адъютантомъ. Притомъ же мы съ тобой отставные люди.

— Да, братъ; видно, пора гробъ заказывать и ручки складывать крестомъ на груди, — замѣтилъ со вздохомъ Николай Петровичъ.

— Ну, я такъ скоро не сдамся, — пробормоталъ его братъ.—У насъ еще будетъ схватка съ этимъ лѣкаремъ, я это предчувствую.

Схватка произошла въ тотъ же день за вечернимъ чаемъ. Павелъ Петровичъ сошелъ въ гостиную уже готовый къ бою, раздраженный и рѣшительный. Онъ ждалъ только предлога, чтобы накинуться на врага, но предлогъ долго не представлялся. Базаровъ вообще говорилъ мало въ присутствіи «старичковъ Кирсановыхъ» (такъ онъ называлъ обоихъ братьевъ), а въ тотъ вечеръ онъ чувствовалъ себя не въ духѣ и молча выпивалъ чашку за чашкой. Павелъ Петровичъ весь горѣлъ нетерпѣніемъ; его желанія сбылись, наконецъ.

Рѣчь зашла объ одномъ изъ сосѣднихъ помѣщиковъ. «Дрянь, аристократишко», равнодушно замѣтилъ Базаровъ, который встрѣчался съ нимъ въ Петербургѣ.

— Позвольте васъ спросить, — началъ Павелъ Петровичъ, и губы его задрожали: — по вашимъ понятіямъ слова: «дрянь» и «аристократъ» одно и то же означаютъ?

— Я сказалъ: «аристократишко»,—проговорилъ Базаровъ, лѣниво отхлебывая глотокъ чаю.

— Точно такъ-съ; но я полагаю, что вы такого же мнѣнія объ аристократахъ, какъ и объ аристократишкахъ. Я считаю долгомъ объявить вамъ, что я этого мнѣнія не раздѣляю. Смѣю сказать, меня всѣ знаютъ за человѣка либеральнаго и любящаго прогрессъ; но именно потому я ува-

жаю аристократовъ — настоящихъ. Вспомните, милостивый государь (при этихъ словахъ Базаровъ поднялъ глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь, — повторилъ онъ съ ожесточеніемъ, — англійскихъ аристократовъ. Они не уступаютъ іоты отъ правъ своихъ, и потому они уважаютъ права другихъ; они требуютъ исполненія обязанностей въ отношеніи къ нимъ, и потому они сами исполняютъ *свои* обязанности. Аристократія дала свободу Англіи и поддерживаетъ ее.

— Слыхали мы эту пѣсню много разъ, — возразилъ Базаровъ: — но что вы хотите этимъ доказать?

— Я *эфтимъ* хочу доказать, милостивый государь (Павелъ Петровичъ, когда сердился, съ намѣреніемъ говорилъ: «эфтимъ» и «эфто», хотя очень хорошо зналъ, что подобныхъ словъ грамматика не допускаетъ. Въ этой причудѣ сказывался остатокъ преданій Александровскаго времени. Тогдашніе тузы, въ рѣдкихъ случаяхъ, когда говорили на родномъ языкѣ, употребляли, одни — *эфто*, другіе — *эхто*: мы, молъ, коренные русаки, и въ то же время мы вельможи, которымъ позволяется пренебрегать школьными правилами) — я *эфтимъ* хочу доказать, что безъ чувства собственнаго достоинства, безъ уваженія къ самому себѣ, — а въ аристократѣ эти чувства развиты, — нѣтъ никакого прочнаго основанія общественному... bien public... общественному зданію. Личность, милостивый государь, — вотъ главное; человѣческая личность должна быть крѣпка, какъ скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, напримѣръ, что вы изволите находить смѣшными мои привычки, мой туалетъ, мою опрятность, наконецъ, но это все проистекаетъ изъ чувства самоуваженія, изъ чувства долга, да-съ, да-съ, долга. Я живу въ деревнѣ, въ глуши, но я не роняю себя, уважаю въ себѣ человѣка.

— Позвольте, Павелъ Петровичъ, — промолвилъ Базаровъ: — вы вотъ уважаете себя и сидите, сложа руки; какая жъ отъ этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы дѣлали.

Павелъ Петровичъ поблѣднѣлъ.

— Это совершенно другой вопросъ. Мнѣ вовсе не приходится объяснять вамъ теперь, почему я сижу, сложа руки, какъ вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизмъ — принсипъ, а безъ принсиповъ жить въ наше время могутъ одни безнравственные или пустые люди. Я говорилъ это Аркадію на другой день его пріѣзда и повторяю теперь вамъ. Не такъ ли, Николай?

Николай Петровичъ кивнулъ головой.

— Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы, — говорилъ между тѣмъ Базаровъ: — подумаешь, сколько иностранныхъ... и безполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны.

— Что же ему нужно по-вашему? Послушать васъ, такъ мы находимся внѣ человѣчества, внѣ его законовъ. Помилуйте — логика исторіи требуетъ...

— Да на что намъ эта логика? Мы и безъ нея обходимся.

— Какъ такъ?

— Да такъ же. Вы, я надѣюсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей!

Павелъ Петровичъ взмахнулъ руками.

— Я васъ не понимаю послѣ этого. Вы оскорбляете русскій народъ. Я не понимаю, какъ можно не признавать принсиповъ, правилъ? Въ силу чего же вы дѣйствуете?

— Я уже говорилъ вамъ, дядюшка, что мы не признаемъ авторитетовъ, — вмѣшался Аркадій.

— Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ, — промолвилъ Базаровъ. — Въ теперешнее время полезнѣе всего отрицаніе — мы отрицаемъ.

— Все?

— Все.

— Какъ? не только искусство, поэзію... но и... страшно вымолвить...

— Все, — съ невыразимымъ спокойствіемъ повторилъ Базаровъ.

Павелъ Петровичъ уставился на него. Онъ этого не ожидалъ, а Аркадій даже покраснѣлъ отъ удовольствія.

— Однако позвольте, — заговорилъ Николай Петровичъ. — Вы все отрицаете, или, выражаясь точнѣе, вы все разрушаете... Да вѣдь надобно же и строить.

— Это уже не наше дѣло... Сперва нужно мѣсто расчистить.

— Современное состояніе народа этого требуетъ, — съ важностью прибавилъ Аркадій: — мы должны исполнять эти требованія, мы не имѣемъ права предаваться удовлетворенію личнаго эгоизма.

Эта послѣдняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; отъ нея вѣяло философіей, то-есть романтизмомъ, ибо Базаровъ и философію называлъ романтизмомъ, но онъ не почелъ за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нѣтъ, нѣтъ! — воскликнулъ съ внезапнымъ порывомъ Павелъ Петровичъ: — я не хочу вѣрить, что вы, господа, точно знаете русскій народъ, что вы представители его потребностей, его стремленій! Нѣтъ, русскій народъ не такой, какимъ вы его воображаете. Онъ свято чтитъ преданія, онъ — патріархальный, онъ не можетъ жить безъ вѣры...

— Я не стану противъ этого спорить, — перебилъ Базаровъ: — я даже готовъ согласиться, что *въ этомъ* вы правы.

— А если я правъ...

— И все-таки это ничего не доказываетъ.

— Именно ничего не доказываетъ, — повторилъ Аркадій съ увѣренностью опытнаго шахматнаго игрока, который предвидѣлъ опытный, повидимому, ходъ противника, и потому нисколько не смутился.

— Какъ ничего не доказываетъ? — пробормоталъ изумленный Павелъ Петровичъ. — Стало-быть, вы идете противъ своего народа?

— А хоть бы и такъ? — воскликнулъ Базаровъ. — Народъ полагаетъ, что когда громъ гремитъ, то Илья пророкъ въ колесницѣ по небу разъѣзжаетъ. Что жъ? Мнѣ соглашаться съ нимъ? Да притомъ — онъ русскій, а развѣ я самъ не русскій?

— Нѣтъ, вы не русскій послѣ всего, что вы сейчасъ сказали! Я васъ за русскаго признать не могу.

— Мой дѣдъ землю пахалъ, — съ надменною гордостію отвѣчалъ Базаровъ. — Спросите любого изъ вашихъ же мужиковъ, въ комъ изъ насъ, — въ васъ или во мнѣ, онъ скорѣе признаетъ соотечественника. Вы и говорить-то съ нимъ не умѣете.

— А вы говорите съ нимъ и презираете его въ то же время.

— Что жъ, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія? Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно во мнѣ случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?

— Какъ же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они, или нѣтъ — не намъ рѣшать. Вѣдь и вы считаете себя не безполезнымъ.

— Господа, господа, пожалуйста, безъ личностей! — воскликнулъ Николай Петровичъ и приподнялся.

Павелъ Петровичъ улыбнулся и, положивъ руку на плечо брату, заставилъ его снова сѣсть.

— Не безпокойся, — промолвилъ онъ. — Я не позабудусь, именно вслѣдствіе того чувства достоинства, надъ которымъ такъ жестоко трунитъ господинъ... господинъ докторъ. Позвольте, — продолжалъ онъ, обращаясь снова къ Базарову: — вы, можетъ-быть, думаете, что ваше ученіе — новость? Напрасно вы это воображаете. Матеріализмъ, который вы проповѣдуете, былъ уже не разъ въ ходу и всегда оказывался несостоятельнымъ...

— Опять иностранное слово! — перебилъ Базаровъ. Онъ начиналъ злиться, и лицо его приняло какой-то мѣдный и грубый цвѣтъ. — Во-первыхъ, мы ничего не проповѣдуемъ; это не въ нашихъ привычкахъ...

— Что же вы дѣлаете?

— А вотъ что мы дѣлаемъ. Прежде, въ недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильнаго суда...

— Ну, да, да, вы обличители, — такъ, кажется, это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но...

— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и доктринерству; мы увидали, что умники наши, такъ называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда грубѣйшее суевѣріе насъ душитъ, когда всѣ наши акціонерныя общества лопаются единственно отъ того, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману въ кабакѣ.

— Такъ, — перебилъ Павелъ Петровичъ, — такъ: вы во всемъ этомъ убѣдились и рѣшились сами ни за что серьезно не приниматься?

— И рѣшились ни за что не приниматься, — угрюмо повторилъ Базаровъ.

Ему вдругъ стало досадно на самого себя, зачѣмъ онъ такъ распространился передъ этимъ бариномъ.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмомъ?

— И это называется нигилизмомъ, — повторилъ опять Базаровъ, на этотъ разъ съ особенною дерзостью.

Павелъ Петровичъ слегка прищурился.

— Такъ вотъ какъ! — промолвилъ онъ странно спокойнымъ голосомъ. — Нигилизмъ всему горю помочь долженъ, и вы, вы — наши избавители и герои. Но за что же вы другихъ-то, хоть бы тѣхъ же обличителей, честите? Не такъ же ли вы болтаете, какъ и всѣ?

— Чѣмъ другимъ, а этимъ грѣхомъ не грѣшны, — произнесъ сквозь зубы Базаровъ.

— Такъ что жъ? вы дѣйствуете, что ли? Собираетесь дѣйствовать?

Базаровъ ничего не отвѣчалъ. Павелъ Петровичъ такъ и дрогнулъ, но тотчасъ же овладѣлъ собою.

— Гм!.. Дѣйствовать, ломать...— продолжалъ онъ.—Но какъ же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаемъ, потому что мы сила,— замѣтилъ Аркадій.

Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на своего племянника и усмѣхнулся.

— Да, сила—такъ и не даетъ отчета,— проговорилъ Аркадій и выпрямился.

— Несчастный! — возопилъ Павелъ Петровичъ; онъ рѣшительно не былъ въ состояніи крѣпиться долѣе: — хоть бы ты подумалъ, *что* въ Россіи ты поддерживаешь твоею пошлою сентенціей! Нѣтъ, это можетъ ангела изъ терпѣнія вывести! Сила! И въ дикомъ калмыкѣ и въ монголѣ есть сила — да на что намъ она?— Намъ дорога цивилизація, да-съ, да-съ, милостивый государь; намъ дороги ея плоды. И не говорите мнѣ, что эти плоды ничтожны: послѣдній пачкунъ, *un barbouilleur*, таперъ, которому даютъ пять копеекъ за вечеръ, и тѣ полезнѣе васъ, потому что они представители цивилизаціи, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вамъ только въ калмыцкой кибиткѣ сидѣть! Сила! Да вспомните, наконецъ, господа сильные, что васъ всего четыре человѣка съ половиною, а тѣхъ—милліоны, которые не позволятъ вамъ попирать ногами свои священнѣйшія вѣрованія, которые раздавятъ васъ!

— Коли раздавятъ, туда и дорога,— промолвилъ Базаровъ. — Только бабушка еще надвое сказала. Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете.

— Какъ? Вы не шутя думаете сладить, сладить съ цѣлымъ народомъ?

— Отъ копеечной свѣчи, вы знаете, Москва сгорѣла, — отвѣтилъ Базаровъ.

— Такъ, такъ. Сперва гордость почти сатанинская, потомъ глумленіе. Вотъ, вотъ чѣмъ увлекается молодежь, вотъ чему покоряются неопытныя сердца мальчишекъ! Вотъ, поглядите, одинъ изъ нихъ рядомъ съ вами сидитъ, вѣдь онъ чуть не молится на васъ, полюбуйтесь. (Аркадій отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мнѣ сказывали, что въ Римѣ наши художники въ Ватиканъ ни ногой. Рафаэля считаютъ чуть не дуракомъ, потому что это, молъ, авторитетъ; а сами безсильны и безплодны до гадости, а у самихъ фантазія дальше «Дѣвушки у фонтана» не хватаетъ, хоть ты что! И написана-то дѣвушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему, — возразилъ Базаровъ,— Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ; да и они не лучше его.

— Браво, браво! Слушай, Аркадій... вотъ какъ должны современные молодые люди выражаться! И какъ, подумаешь, имъ не идти за вами! Прежде молодымъ людямъ приходилось учиться; не хотѣлось имъ прослыть за невѣждъ, такъ они поневолѣ трудились. А теперь имъ стоитъ сказать: все на свѣтѣ вздоръ! — и дѣло въ шляпѣ. Молодые люди обрадовались. И въ самомъ дѣлѣ, прежде они просто были болваны, а теперь они вдругъ стали нигилисты.

— Вотъ и измѣнило вамъ хваленое чувство собственнаго достоинства, — флегматически замѣтилъ Базаровъ, между тѣмъ какъ Аркадій весь вспыхнулъ и засверкалъ глазами. — Споръ нашъ слишкомъ далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готовъ согласиться съ

вами, — прибавилъ онъ, вставая, — когда вы представите мнѣ хоть одно постановленіе въ современномъ нашемъ быту, въ семейномъ или общественномъ, которое бы не вызывало полнаго и безпощаднаго отрицанія.

— Я вамъ милліоны такихъ постановленій представлю, — воскликнулъ Павелъ Петровичъ: — милліоны! Да вотъ, хоть община, напримѣръ.

Холодная усмѣшка скривила губы Базарова.

— Ну, насчетъ общины, — промолвилъ онъ, — поговорите лучше съ вашимъ братцемъ. Онъ теперь, кажется, извѣдалъ на дѣлѣ, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобныя штучки.

— Семья, наконецъ, семья, такъ какъ она существуетъ у нашихъ крестьянъ! — закричалъ Павелъ Петровичъ.

— И этотъ вопросъ, я полагаю, лучше для васъ же самихъ не разбирать въ подробности. Вы, чай, слыхали о снохачахъ? Послушайте меня, Павелъ Петровичъ, дайте себѣ денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите всѣ наши сословія да подумайте хорошенько надъ каждымъ, а мы пока съ Аркадіемъ будемъ...

— Надо всѣмъ глумиться, — подхватилъ Павелъ Петровичъ.

— Нѣтъ, лягушекъ рѣзать. Пойдемъ, Аркадій; до свиданія, господа!

Оба пріятеля вышли. Братья остались наединѣ и сперва только посматривали другъ на друга.

— Вотъ, — началъ, наконецъ, Павелъ Петровичъ: — вотъ вамъ нынѣшняя молодежь! Вотъ они — наши наслѣдники!

— Наслѣдники, — повторилъ съ унылымъ вздохомъ Николай Петровичъ. Онъ въ теченіе всего спора сидѣлъ, какъ на угольяхъ, и только украдкой болѣзненно взглядывалъ на Аркадія. — Знаешь, что я вспомнилъ, братъ? Однажды я съ покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотѣла меня слушать... Я, наконецъ, сказалъ ей, что вы, молъ, меня понять не можете; мы, молъ, принадлежимъ къ двумъ различнымъ поколѣніямъ. Она ужасно обидѣлась, а я подумалъ: что дѣлать? Пилюля горька, а проглотить ее нужно. Вотъ теперь настала наша очередь, и наши наслѣдники могутъ сказать намъ: вы, молъ, не нашего поколѣнія, глотайте пилюлю.

— Ты уже черезчуръ благодушенъ и скроменъ, — возразилъ Павелъ Петровичъ: — я, напротивъ, увѣренъ, что мы съ тобой гораздо правѣе этихъ господчиковъ, хотя выражаемся, можетъ-быть, нѣсколько устарѣлымъ языкомъ, *vieilli*, и не имѣемъ той дерзкой самонадѣянности... И такая надутая эта нынѣшняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, краснаго или бѣлаго? «Я имѣю привычку предпочитать красное!» отвѣчаетъ онъ басомъ и съ такимъ важнымъ лицомъ, какъ-будто вся вселенная глядитъ на него въ это мгновеніе...

— Вамъ больше чаю не угодно? — промолвила Ѳеничка, просунувъ голову въ дверь: она не рѣшалась войти въ гостиную, пока въ ней раздавались голоса споршихъ.

— Нѣтъ, ты можешь велѣть самоваръ принять, — отвѣчалъ Николай Петровичъ, и поднялся къ ней навстрѣчу. Павелъ Петровичъ отрывисто сказалъ ему: *bon soir*, и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.

## XI.

Полчаса спустя, Николай Петровичъ отправился въ садъ, въ свою любимую бесѣдку. На него нашли грустныя думы. Впервые онъ ясно созналъ свое разъединеніе съ сыномъ; онъ предчувствовалъ, что съ каждымъ днемъ оно будетъ становиться все больше и больше. Стало-быть, напрасно онъ, бывало, зимою въ Петербургѣ, по цѣлымъ днямъ просиживалъ надъ новѣйшими сочиненіями; напрасно прислушивался къ разговорамъ молодыхъ людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово въ ихъ кипучія рѣчи. «Братъ говоритъ, что мы правы, — думалъ онъ, — и, отложивъ всякое самолюбіе въ сторону, мнѣ самому кажется, что они дальше отъ истины, нежели мы, а въ то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имѣемъ, какое-то преимущество надъ нами... Молодость? Нѣтъ, не одна только молодость. Не въ томъ ли состоитъ это преимущество, что въ нихъ меньше слѣдовъ барства, чѣмъ въ насъ?»

Николай Петровичъ потупилъ голову и провелъ рукой по лицу.

«Но отвергать поэзію, — подумалъ онъ опять, — не сочувствовать художеству, природѣ»...

И онъ посмотрѣлъ кругомъ, какъ бы желая понять, какъ можно не сочувствовать природѣ. Уже вечерѣло, солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую въ полуверстѣ отъ сада: тѣнь отъ нея безъ конца тянулась черезъ неподвижныя поля. Мужичокъ ѣхалъ рысцой на бѣлой лошадкѣ по темной, узкой дорожкѣ вдоль самой рощи: онъ весь былъ ясно виденъ, весь, до заплаты на плечѣ, даромъ что ѣхалъ въ тѣни; пріятно отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи съ своей стороны забирались въ рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осинъ такимъ теплымъ свѣтомъ, что они становились похожи на стволы сосенъ, а листва ихъ почти синѣла, и надъ нею поднималось блѣдно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; вѣтеръ совсѣмъ замеръ; запоздалыя пчелы лѣниво и сонливо жужжали въ цвѣтахъ сирени; мошки толклись столбомъ надъ одинокою, далеко протянутою вѣткою. «Какъ хорошо, Боже мой!» подумалъ Николай Петровичъ, и любимые стихи пришли было ему на уста: онъ вспомнилъ Аркадія, *Stoff und Kraft* — и умолкъ, но продолжалъ сидѣть, продолжалъ предаваться горестной и отрадной игрѣ одинокихъ думъ. Онъ любилъ помечтать; деревенская жизнь развила въ немъ эту способность. Давно ли онъ такъ же мечталъ, поджидая сына на постояломъ дворикѣ, а съ тѣхъ поръ уже произошла перемѣна, уже опредѣлились, тогда еще неясныя, отношенія... и какъ! Представилась ему опять покойница - жена, но не такою, какою онъ ее зналъ въ теченіе многихъ лѣтъ, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою дѣвушкой, съ тонкимъ станомъ, невинно-пытливымъ взглядомъ и туго закрученною косой надъ дѣтскою шейкой. Вспомнилъ онъ, какъ онъ увидалъ ее въ первый разъ. Онъ былъ тогда еще студентомъ. Онъ встрѣтилъ ее на лѣстницѣ квартиры, въ которой онъ жилъ, и, нечаянно толкнувъ ее, обернулся, хотѣлъ извиниться, и только могъ пробормотать: «pardon, monsieur», а она наклонила голову, усмѣхнулась, и вдругъ какъ будто испугалась и побѣжала, а на поворотѣ лѣстницы быстро взглянула на него, приняла серьезный видъ и покраснѣла. А потомъ первыя робкія посѣщенія, полуслова, полуулыбки, и недоумѣніе, и грусть, и порывы, и, наконецъ, эта задыхающаяся радость... Куда это все умчалось? Она стала его женой, онъ былъ счастливъ, какъ немногіе на землѣ... «Но, — думалъ онъ, — тѣ сладостныя, первыя мгновенія, отчего бы не жить имъ вѣчною, неумирающею жизнью?»

Онъ не старался уяснить самому себѣ свою мысль, но онъ чувствовалъ, что ему хотѣлось удержать то блаженное время чѣмъ-нибудь болѣе сильнымъ, нежели память, ему хотѣлось вновь осязать близость своей Маріи, ощутить ея теплоту и дыханіе, и ему уже чудилось, какъ-будто надъ нимъ...

— Николай Петровичъ, — раздался вблизи его голосъ Ѳенички, — гдѣ вы?

Онъ вздрогнулъ. Ему не стало ни больно ни совѣстно... Онъ не допускалъ даже возможности сравненія между женой и Ѳеничкой, но онъ пожалѣлъ о томъ, что она вздумала его отыскивать. Ея голосъ разомъ напомнилъ ему его сѣдые волосы, его старость, его настоящее.

Волшебный міръ, въ который онъ уже вступилъ, который уже возникалъ изъ туманныхъ волнъ прошедшаго, шевельнулся — и исчезъ.

— Я здѣсь, — отвѣчалъ онъ: — я приду, ступай. «Вотъ они, слѣды-то барства», мелькнуло у его въ головѣ. Ѳеничка молча заглянула къ нему въ бесѣдку и скрылась; а онъ съ изумленіемъ замѣтилъ, что ночь успѣла наступить съ тѣхъ поръ, какъ онъ замечтался. Все потемнѣло и затихло кругомъ, и лицо Ѳенички скользнуло передъ нимъ такое блѣдное и маленькое. Онъ приподнялся и хотѣлъ возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться въ его груди, и онъ сталъ медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себѣ подъ ноги, то поднимая глаза къ небу, гдѣ уже роились и перемигивались звѣзды. Онъ ходилъ много, почти до усталости, а тревога въ немъ, какая-то ищущая, неопредѣленная, печальная тревога, все не унималась. О, какъ Базаровъ посмѣялся бы надъ нимъ, если бы узналъ, что въ немъ тогда происходило! Самъ Аркадій осудилъ бы его. У него, у сорокачетырехлѣтняго человѣка, агронома и хозяина, навертывались слезы, безпричинныя слезы; это было во сто разъ хуже віолончели.

Николай Петровичъ продолжалъ ходить и не могъ рѣшиться войти въ домъ, въ

это мирное и уютное гнѣздо, которое такъ привѣтно глядѣло на него всѣми своими освѣщенными окнами; онъ не въ силахъ былъ разстаться съ темнотой, съ садомъ, съ ощущеніемъ свѣжаго воздуха на лицѣ и съ этою грустью, съ этою тревогой...

На поворотѣ дорожки встрѣтился ему Павелъ Петровичъ.

— Что съ тобой? — спросилъ онъ Николая Петровича: — ты блѣденъ, какъ привидѣніе; ты нездоровъ; отчего ты не ложишься?

Николай Петровичъ объяснилъ ему въ короткихъ словахъ свое душевное состояніе и удалился. Павелъ Петровичъ дошелъ до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднялъ глаза къ небу. Но въ его прекрасныхъ, темныхъ глазахъ не отразилось ничего, кромѣ свѣта звѣздъ. Онъ не былъ рожденъ романтикомъ, и не умѣла мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французскій ладъ мизантропическая душа...

## XXIII.

Базаровъ уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. Съ Павломъ Петровичемъ онъ уже не спорилъ, тѣмъ болѣе, что тотъ въ его присутствіи принималъ черезчуръ аристократическій видъ и выражалъ свои мнѣнія болѣе звуками, чѣмъ словами. Только однажды Павелъ Петровичъ пустился было въ состязаніе съ *нигилистомъ* по поводу моднаго въ то время вопроса о правахъ остзейскихъ дворянъ, но самъ вдругъ остановился, промолвивъ съ холодною вѣжливостью:

— Впрочемъ, мы другъ друга понять не можемъ; я, по крайней мѣрѣ, не имѣю чести васъ понимать.

— Еще бы! — воскликнулъ Базаровъ.— Человѣкъ все въ состояніи понять—и какъ трепещетъ эѳиръ, и что на солнцѣ происходитъ; а какъ другой человѣкъ можетъ иначе сморкаться, чѣмъ онъ самъ сморкается, этого онъ понять не въ состояніи.

— Что, это остроумно? — проговорилъ вопросительно Павелъ Петровичъ и отошелъ въ сторону.

Впрочемъ, онъ иногда просилъ позволенія присутствовать при опытахъ Базарова, а разъ даже приблизилъ свое раздушенное и вымытое отличнымъ снадобьемъ лицо къ микроскопу, для того, чтобы посмотрѣть, какъ прозрачная инфузорія глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней въ горлѣ. Гораздо чаще своего брата посѣщалъ Базарова Николай Петровичъ; онъ бы каждый день приходилъ, какъ онъ выражался, «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Онъ не стѣснялъ молодого естествоиспытателя: садился гдѣ-нибудь въ уголокъ комнаты и глядѣлъ внимательно, изрѣдка позволяя себѣ осторожный вопросъ. Во время обѣдовъ и ужиновъ, онъ старался направлять рѣчь на физику, геологію или химію, такъ какъ всѣ другіе предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политическихъ, могли повести если не къ столкновеніямъ, то ко взаимному неудовольствію. Николай Петровичъ догадывался, что ненависть его брата къ Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердилъ его догадки. Холера стала появляться кое-гдѣ по окрестностямъ и даже «выдернула» двухъ людей изъ самаго Марьина. Ночью съ Павломъ Петровичемъ случился довольно сильный припадокъ. Онъ промучился до утра, но не прибѣгъ къ искусству Базарова — и, увидѣвшись съ нимъ на слѣдующій день, на его вопросъ: «Зачѣмъ онъ не послалъ за нимъ?» — отвѣчалъ, весь еще блѣдный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: «Вѣдь вы, помнится, сами говорили, что не вѣрите въ медицину?» — Такъ проходили дни. Базаровъ работалъ упорно и угрюмо... а между тѣмъ въ домѣ Николая Петровича находилось существо, съ которымъ онъ не то чтобы отводилъ душу, а охотно бесѣдовалъ... Это существо была Ѳеничка.

Онъ встрѣчался съ ней большею частью по утрамъ рано, въ саду или на дворѣ; въ комнату къ ней онъ не захаживалъ, и она всего разъ подошла къ его двери, чтобы спросить его, купать ли ей Митю, или нѣтъ. Она не только довѣрялась ему, не только его не боялась, она при немъ держалась вольнѣе и развязнѣе, чѣмъ при самомъ Николаѣ Петровичѣ. Трудно сказать, отчего это происходило; можетъ-быть, оттого, что она безсознательно чувствовала въ Базаровѣ отсутствіе всего дворянскаго, всего того высшаго, что и привлекаетъ и пугаетъ. Въ ея глазахъ онъ и докторъ былъ отличный и человѣкъ простой. Не

стѣсняясь его присутствіемъ, она возилась съ своимъ ребенкомъ, и однажды, когда у ней вдругъ закружилась и заболѣла голова, изъ его рукъ приняла ложку лѣкарства. При Николаѣ Петровичѣ она какъ-будто чуждалась Базарова: она это дѣлала не изъ хитрости, а изъ какого-то чувства приличія. Павла Петровича она боялась больше, чѣмъ когда-либо; онъ съ нѣкоторыхъ поръ сталъ наблюдать за нею, и неожиданно появлялся, словно изъ земли выросталъ за ея спиною въ своемъ *сьютѣ*, съ неподвижнымъ зоркимъ лицомъ и руками въ карманахъ.—«Такъ тебя холодомъ и обдастъ», жаловалась Ѳеничка Дуняшѣ, а та въ отвѣтъ ей вздыхала и думала о другомъ «безчувственномъ» человѣкѣ. Базаровъ, самъ того не подозрѣвая, сдѣлался *жестокимъ тираномъ* ея души.

Ѳеничкѣ нравился Базаровъ; но и она ему нравилась. Даже лицо его измѣнялось, когда онъ съ ней разговаривалъ: оно принимало выраженіе ясное, почти доброе, и къ обычной его небрежности примѣшивалась какая-то шутливая внимательность. Ѳеничка хорошѣла съ каждымъ днемъ. Бываетъ эпоха въ жизни молодыхъ женщинъ, когда онѣ вдругъ начинаютъ расцвѣтать и распускаться, какъ лѣтнія розы; такая эпоха наступила для Ѳенички. Все къ тому способствовало, даже іюльскій зной, который стоялъ тогда. Одѣтая въ легкое, бѣлое платье, она сама казалась бѣлѣе и легче: загаръ не приставалъ къ ней, а жара, отъ которой она не могла уберечься, слегка румянила ея щеки да уши, и, вливая тихую лѣнь во все ея тѣло, отражалась дремотною томностью въ ея хорошенькихъ глазкахъ. Она почти не могла работать, руки у ней такъ и скользили на колѣни. Она едва ходила и все охала да жаловалась съ забавнымъ безсиліемъ.

— Ты бы чаще купалась, — говорилъ ей Николай Петровичъ.

Онъ устроилъ большую, полотномъ покрытую, купальню въ томъ изъ своихъ прудовъ, который еще не совсѣмъ ушелъ.

— Охъ, Николай Петровичъ! Да пока до пруда дойдешь—умрешь, и назадъ пойдешь—умрешь. Вѣдь тѣни-то въ саду нѣту.

— Это точно, что тѣни нѣту, — отвѣчалъ Николай Петровичъ и потиралъ себѣ брови.

Однажды, часу въ седьмомъ утра, Базаровъ, возвращаясь съ прогулки, засталъ въ давно отцвѣтшей, но еще густой и зеленой сиреневой бесѣдкѣ Ѳеничку. Она сидѣла на скамейкѣ, накинувъ, по обыкновенію, бѣлый платокъ на голову; подлѣ нея лежалъ цѣлый пукъ еще мокрыхъ отъ росы красныхъ и бѣлыхъ розъ. Онъ поздоровался съ нею.

— А! Евгеній Васильичъ! — проговорила она, и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, при чемъ ея рука обнажилась до локтя.

— Что вы это тутъ дѣлаете? — промолвилъ Базаровъ, садясь возлѣ нея.—Букетъ вяжете?

— Да; на столъ къ завтраку. Николай Петровичъ это любитъ.

— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цвѣтовъ!

— Я ихъ теперь нарвала, а то станетъ жарко, и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсѣмъ я разслабѣла отъ этого жару. Ужъ я боюсь, не заболѣю ли я?

— Это что за фантазія! Дайте-ка вашъ пульсъ пощупать. — Базаровъ взялъ ея руку, отыскалъ ровно бившуюся жилку, и даже не сталъ считать ея ударовъ.—Сто лѣтъ проживете, — промолвилъ онъ, выпуская ея руку.

— Ахъ, сохрани Богъ!-воскликнула она.

— А что? Развѣ вамъ не хочется долго пожить?

— Да вѣдь сто лѣтъ! У нась бабушка была восьмидесяти-пяти лѣтъ — такъ ужъ что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себѣ только въ тягость. Какая ужъ это жизнь!

— Такъ лучше быть молодой?

— А то какъ же?

— Да чѣмъ же оно лучше? Скажите мнѣ!

— Какъ чѣмъ? Да вотъ я теперь, молодая, все могу сдѣлать, — и пойду, и приду, и принесу, и никого мнѣ просить не нужно... Чего лучше?

— А вотъ мнѣ все равно: молодъ ли я, или старъ.

— Какъ это вы говорите — все равно? это невозможно, что вы говорите!

— Да вы сами посудите, Ѳедосья Николаевна, на что мнѣ моя молодость? Живу я одинъ, бобылемъ...

— Это отъ васъ всегда зависитъ.

— То-то что не отъ меня! Хотя бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Өеничка сбоку посмотрѣла на Базарова, но ничего не сказала.—Это что у васъ за книга? — спросила она, погодя немного.

— Это-то? Это ученая книга, мудреная.

— А вы все учитесь? И не скучно вамъ? Вы ужъ и такъ, я чай, все знаете.

— Видно, не все. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

— Да я ничего тутъ не пойму. Она у васъ русская? — спросила Өеничка, принимая въ обѣ руки тяжело переплетенный томъ.—Какая толстая!

— Русская.

— Все равно, я ничего не пойму.

— Да я и не съ тѣмъ, чтобы вы поняли. Мнѣ хочется посмотрѣть на васъ, какъ вы читать будете. У васъ, когда вы читаете, кончикъ носика очень мило двигается.

Өеничка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозотѣ», засмѣялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

— Я люблю тоже, когда вы смѣетесь,— промолвилъ Базаровъ.

— Полноте!

— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеекъ журчитъ.

Өеничка отворотила голову.

— Какой вы! — промолвила она, перебирая пальцами по цвѣтамъ.—И что вамъ меня слушать? Вы съ такими умными дамами разговоръ имѣли.

— Эхъ, Өедосья Николаевна! повѣрьте мнѣ: всѣ умныя дамы на свѣтѣ не стόятъ вашего локотка.

— Ну, вотъ еще что выдумали!—шепнула Өеничка, и поджала руки.

Базаровъ поднялъ съ земли книгу.

— Это лѣкарская книга, зачѣмъ вы ее бросаете?

— Лѣкарская? — повторила Өеничка, и повернулась къ нему.—А знаете что? Вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ вы мнѣ тѣ капельки дали, помните? ужъ какъ Митя спитъ хорошо! Я ужъ не придумаю, какъ мнѣ васъ благодарить; такой вы добрый, право.

— А по-настоящему надо лѣкарямъ платить,—замѣтилъ съ усмѣшкой Базаровъ.— Лѣкаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Өеничка подняла на Базарова свои глаза, казавшіеся еще темнѣе отъ бѣловатаго отблеска, падавшаго на верхнюю часть ея лица. Она не знала — шутитъ ли онъ, или нѣтъ.

— Если вамъ угодно, мы съ удовольствіемъ... Надо будетъ у Николая Петровича спросить...

— Да вы думаете, я денегъ хочу?—перебилъ ее Базаровъ.—Нѣтъ, мнѣ отъ васъ не деньги нужны.

— Что же? — проговорила Өеничка.

— Что?—повторилъ Базаровъ.—Угадайте.

— Что я за отгадчица!

— Такъ я вамъ скажу; мнѣ нужно... одну изъ этихъ розъ.

Өеничка опять засмѣялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавнымъ желаніе Базарова. Она смѣялась и въ то же время чувствовала себя польщенною. Базаровъ пристально смотрѣлъ на нее.

— Извольте, извольте, — промолвила она, наконецъ, и, нагнувшись къ скамейкѣ, принялась перебирать розы.—Какую вамъ, красную или бѣлую?

— Красную и не слишкомъ большую.

Она выпрямилась.

— Вотъ возьмите, — сказала она, но тотчасъ же отдернула протянутую руку и, закусивъ губы, глянула на входъ бесѣдки, потомъ приникла ухомъ.

— Что такое? — спросилъ Базаровъ.— Николай Петровичъ?

— Нѣтъ... Они въ поле уѣхали... да я и не боюсь ихъ... а вотъ Павелъ Петровичъ... Мнѣ показалось...

— Что?

— Мнѣ показалось, что *они* тутъ ходятъ. Нѣтъ... никого нѣтъ. Возьмите.— Өеничка отдала Базарову розу.

— Съ какой стати вы Павла Петровича боитесь?

— Они меня все пугаютъ. Говоритъ— не говорятъ, а такъ смотрятъ мудрено. Да вѣдь и вы его не любите. Помните, прежде вы все съ нимъ спорили. Я и не знаю, о чемъ у васъ споръ идетъ, а вижу, что вы его и такъ вертите и такъ...

Өеничка показала руками, какъ, по ея мнѣнію, Базаровъ вертѣлъ Павла Петровича.

Базаровъ улыбнулся.

— А если бъ онъ меня побѣждать сталъ, — спросилъ онъ, — вы бы за меня заступились?

— Гдѣ жъ мнѣ за васъ заступаться? да нѣтъ, съ вами не сладишь.

— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочетъ и пальцемъ меня сшибетъ.

— Какая такая рука?

— А вы, небось, не знаете? Понюхайте, какъ славно пахнетъ роза, что вы мнѣ дали.

Ѳеничка вытянула шейку и приблизила лицо къ цвѣтку... Платокъ скатился съ ея головы на плечи; показалась мягкая масса черныхъ, блестящихъ, слегка растрепанныхъ волосъ.

— Постойте, я хочу понюхать съ вами,— промолвилъ Базаровъ, нагнулся, и крѣпко поцѣловалъ ее въ раскрытыя губы.

Она дрогнула, уперлась обѣими руками въ его грудь, но уперлась слабо, и онъ могъ возобновить и продлить свой поцѣлуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Ѳеничка мгновенно отодвинулась на другой конецъ скамейки. Павелъ Петровичъ показался, слегка поклонился и, проговоривъ съ какою-то злобною унылостью: «вы здѣсь» — удалился. Ѳеничка тотчасъ подобрала всѣ розы и вышла вонъ изъ бесѣдки.— «Грѣшно вамъ, Евгеній Васильичъ», шепнула она, уходя. Неподдѣльный упрекъ слышался въ ея шопотѣ.

Базаровъ вспомнилъ другую недавнюю сцену, и совѣстно ему стало, и презрительно досадно. Но онъ тотчасъ же встряхнулъ головой, иронически поздравилъ себя «съ формальнымъ поступленіемъ въ селадоны», и отправился къ себѣ въ комнату.

А Павелъ Петровичъ вышелъ изъ саду и, медленно шагая, добрался до лѣса. Онъ остался тамъ довольно долго, и когда онъ вернулся къ завтраку, Николай Петровичъ заботливо спросилъ у него, здоровъ ли онъ,—до того лицо его потемнѣло.

— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитіемъ желчи, — спокойно отвѣчалъ ему Павелъ Петровичъ.

## XXIV.

Часа два спустя, онъ стучался въ дверь къ Базарову.

— Я долженъ извиниться, что мѣшаю вамъ въ вашихъ ученыхъ занятіяхъ,— началъ онъ, усаживаясь на стулѣ у окна и опираясь обѣими руками на красивую трость съ набалдашникомъ изъ слоновой кости (онъ обыкновенно хаживалъ безъ трости): — но я принужденъ просить васъ удѣлить мнѣ пять минутъ вашего времени... не болѣе.

— Все мое время къ вашимъ услугамъ, — отвѣтилъ Базаровъ, у котораго что-то пробѣжало по лицу, какъ только Павелъ Петровичъ переступилъ порогъ двери.

— Съ меня пяти минутъ довольно. Я пришелъ предложить вамъ одинъ вопросъ.

— Вопросъ? О чемъ это?

— А вотъ извольте выслушать. Въ началѣ вашего пребыванія въ домѣ моего брата, когда я еще не отказывалъ себѣ въ удовольствіи бесѣдовать съ вами, мнѣ случалось слышать ваши сужденія о многихъ предметахъ; но, сколько мнѣ помнится, ни между нами ни въ моемъ присутствіи рѣчь никогда не заходила о поединкахъ, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнѣніе объ этомъ предметѣ?

Базаровъ, который всталъ было навстрѣчу Павлу Петровичу, присѣлъ на край стола и скрестилъ руки.

— Вотъ мое мнѣніе, — сказалъ онъ:— съ теоретической точки зрѣнія дуэль—нелѣпость; ну, а съ практической точки зрѣнія — это дѣло другое.

— То-есть вы хотите сказать, если я только васъ понялъ, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрѣніе на дуэль, на практикѣ вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовавъ удовлетворенія.

— Вы вполнѣ отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-съ. Мнѣ очень пріятно это слышать отъ васъ. Ваши слова выводятъ меня изъ неизвѣстности...

— Изъ нерѣшимости, хотите вы сказать.

— Это все равно-съ; я выражаюсь такъ, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляютъ меня отъ нѣкоторой печальной необходимости. Я рѣшился драться съ вами.

Базаровъ вытаращилъ глаза.

— Со мной?

— Непремѣнно съ вами.

— Да за что? Помилуйте.

— Я бы могъ объяснить вамъ причину, — началъ Павелъ Петровичъ,—но я предпочитаю умолчать о ней. Вы на мой вкусъ здѣсь лишній; я васъ терпѣть не могу, я васъ презираю, и если вамъ этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-съ, — проговорилъ онъ.—Дальнѣйшихъ объясненій не нужно. Вамъ пришла фантазія испытать на мнѣ свой рыцарскій духъ. Я бы могъ отказать вамъ въ этомъ удовольствіи, да ужъ куда ни шло!

— Чувствительно вамъ обязанъ,—отвѣтилъ Павелъ Петровичъ: — и могу теперь надѣяться, что вы примете мой вызовъ, не заставивъ меня прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ.

— То-есть, говоря безъ аллегоріи, къ этой палкѣ? — хладнокровно замѣтилъ Базаровъ. — Это совершенно справедливо. Вамъ нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсѣмъ безопасно. Вы можете остаться джентльменомъ... Принимаю вашъ вызовъ тоже по-джентльменски.

— Прекрасно, — промолвилъ Павелъ Петровичъ и поставилъ трость въ уголъ.— Мы сейчасъ скажемъ нѣсколько словъ объ условіяхъ нашей дуэли; но я сперва желалъ бы узнать, считаете ли вы нужнымъ прибѣгнуть къ формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогомъ моему вызову?

— Нѣтъ, лучше безъ формальностей.

— Я самъ такъ думаю. Полагаю также неумѣстнымъ вникать въ настоящія причины нашего столкновенія. Мы другъ друга терпѣть не можемъ. Чего больше?

— Чего же больше? — повторилъ иронически Базаровъ.

— Что же касается до самыхъ условій поединка, то такъ какъ у насъ секундантовъ не будетъ,—ибо гдѣ жъ ихъ взять?...

— Именно, гдѣ ихъ взять?

— То я имѣю честь предложить вамъ слѣдующее: драться завтра рано, положимъ, въ шесть часовъ, за рощей, на пистолетахъ; барьеръ въ десяти шагахъ...

— Въ десяти шагахъ? это такъ; мы на это разстояніе ненавидимъ другъ друга.

— Можно и восемь, — замѣтилъ Павелъ Петровичъ.

— Можно; отчего же?

— Стрѣлять два раза; а на всякій случай каждому положить себѣ въ карманъ письмецо, въ которомъ онъ самъ обвинитъ себя въ своей кончинѣ.

— Вотъ съ этимъ я не совсѣмъ согласенъ, — промолвилъ Базаровъ.—Немножко на французскій романъ сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть-можетъ. Однако согласитесь, что непріятно подвергнуться подозрѣнію въ убійствѣ?

— Соглашаюсь. Но есть средство избѣгнуть этого грустнаго нареканія. Секундантовъ у насъ не будетъ, но можетъ быть свидѣтель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петръ.

— Какой Петръ?

— Камердинеръ вашего брата. Онъ—человѣкъ, стоящій на высотѣ современнаго образованія, и исполнитъ свою роль со всѣмъ необходимымъ въ подобныхъ случаяхъ *комильфо*.

— Мнѣ кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложеніе, вы убѣдитесь, что оно исполнено здраваго смысла и простоты. Шила въ мѣшкѣ не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащимъ образомъ и привести на мѣсто побоища.

— Вы продолжаете шутить,—произнесъ, вставая со стула, Павелъ Петровичъ.—Но послѣ любезной готовности, оказанной вами, я не имѣю права быть на васъ въ претензіи... Итакъ, все устроено... Кстати, пистолетовъ у васъ нѣтъ?

— Откуда будутъ у меня пистолеты, Павелъ Петровичъ? Я не воинъ.

— Въ такомъ случаѣ, предлагаю вамъ мои. Вы можете быть увѣрены, что вотъ уже пять лѣтъ, какъ я не стрѣлялъ изъ нихъ.

— Это—очень утѣшительное извѣстіе.

Павелъ Петровичъ досталъ свою трость...

— За симъ, милостивый государь, мнѣ остается только поблагодарить васъ и возвратить васъ къ вашимъ занятіямъ. Честь имѣю кланяться.

— До пріятнаго свиданія, милостивый государь мой, — промолвилъ Базаровъ, провожая гостя.

Павелъ Петровичъ вышелъ, а Базаровъ постоялъ передъ дверью и вдругъ воскликнулъ: «Фу ты, чортъ! какъ красиво и какъ глупо! Экую мы комедію отломали! Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ. А отказать было невозможно; вѣдь онъ меня, чего добраго, ударилъ бы и тогда... (Базаровъ поблѣднѣлъ при одной этой мысли; вся его гордость такъ и поднялась на дыбы). Тогда пришлось бы задушить его, какъ котенка». Онъ возвра-

тился къ своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствіе, необходимое для наблюденій, исчезло. «Онъ насъ увидѣлъ сегодня,—думалъ онъ:—но неужели жъ это онъ за брата такъ вступился? Да и что за важность, поцѣлуй? Тутъ что-нибудь другое есть. Ба! да не влюбленъ ли онъ самъ? Разумѣется, влюбленъ; это ясно, какъ день. Какой переплетъ, подумаешь!... Скверно! — рѣшилъ онъ, наконецъ:—скверно, съ какой стороны ни посмотри. Во-первыхъ, надо будетъ подставлять лобъ, и во всякомъ случаѣ уѣхать; а тутъ Аркадій... и эта божья коровка, Николай Петровичъ.. Скверно, скверно».

День прошелъ какъ-то особенно тихо и вяло. Ѳенички словно на свѣтѣ не бывало; она сидѣла въ своей комнаткѣ, какъ мышенокъ въ норкѣ. Николай Петровичъ имѣлъ видъ озабоченный. Ему донесли, что въ его пшеницѣ, на которую онъ особенно надѣялся, показалась головня. Павелъ Петровичъ подавлялъ всѣхъ, даже Прокофьича, своею леденящею вѣжливостью. Базаровъ началъ было письмо къ отцу, да разорвалъ его и бросилъ подъ столъ. «Умру, - подумалъ онъ, — узнаютъ, да я не умру. Нѣтъ, я еще долго на свѣтѣ маячить буду». Онъ велѣлъ Петру прійти къ нему на слѣдующій день чуть свѣтъ, для важнаго дѣла; Петръ вообразилъ, что онъ хочетъ взять его съ собой въ Петербургъ. Базаровъ легъ поздно, и всю ночь его мучили безпорядочные сны... Кружилась передъ нимъ его мать, за ней ходила кошечка съ черными усиками, и эта кошечка была Ѳеничка; а Павелъ Петровичъ представлялся ему большимъ лѣсомъ, съ которымъ онъ все-таки долженъ былъ драться. Петръ разбудилъ его въ четыре часа; онъ тотчасъ одѣлся и вышелъ съ нимъ.

Утро было славное, свѣжее; маленькія пестрыя тучки стояли барашками на блѣдно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьяхъ и травахъ, блистала серебромъ на паутинкахъ; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный слѣдъ зари; со всего неба сыпались пѣсни жаворонковъ. Базаровъ дошелъ до рощи, присѣлъ въ тѣни на опушку, и только тогда открылъ Петру, какой онъ ждалъ отъ него услуги. Образованный лакей перепугался на-смерть; но Базаровъ успокоилъ его увѣреніемъ, что ему другого нечего будетъ дѣлать, какъ только стоять въ отдаленіи да глядѣть, и что отвѣтственности онъ не подвергается никакой. «А между тѣмъ,—прибавилъ онъ,—подумай, какая предстоитъ тебѣ важная роль!» Петръ развелъ руками, потупился и, весь зеленый, прислонился къ березѣ.

Дорога изъ Марьина огибала лѣсокъ; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашняго дня ни колесомъ ни ногою. Базаровъ невольно посматривалъ вдоль той дороги, рвалъ и кусалъ траву, а самъ все твердилъ про себя: «Экая глупость!» Утренній холодокъ заставилъ его раза два вздрогнуть... Петръ уныло взглянулъ на него, но Базаровъ только усмѣхнулся: онъ не трусилъ.

Раздался топотъ конскихъ ногъ по дорогѣ... Мужикъ показался изъ-за деревьевъ. Онъ гналъ двухъ спутанныхъ лошадей передъ собою и, проходя мимо Базарова, посмотрѣлъ на него какъ-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, какъ недоброе предзнаменованіе. «Вотъ этотъ тоже рано всталъ,—подумалъ Базаровъ:—да, по крайней мѣрѣ, за дѣломъ; а мы?»

— Кажись, они идутъ-съ, — шепнулъ вдругъ Петръ.

Базаровъ поднялъ голову и увидалъ Павла Петровича. Одѣтый въ легкій клѣтчатый пиджакъ и бѣлые, какъ снѣгъ, панталоны, онъ быстро шелъ по дорогѣ; подъ мышкой онъ несъ ящикъ, завернутый въ зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставилъ васъ ждать, — промолвилъ онъ, кланяясь сперва Базарову, потомъ Петру, въ которомъ онъ въ это мгновеніе уважалъ нѣчто въ родѣ секунданта.—Я не хотѣлъ будить моего камердинера.

— Ничего-съ, — отвѣтилъ Базаровъ:— мы сами только что пришли.

— А! тѣмъ лучше!—Павелъ Петровичъ оглянулся кругомъ.—Никого не видать, никто не мѣшаетъ... Мы можемъ приступить?

— Приступимъ.

— Новыхъ объясненій вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вамъ заряжать?—спросилъ Павелъ Петровичъ, вынимая изъ ящика пистолеты.

— Нѣтъ; заряжайте вы, а я шаги отмѣривать стану. Ноги у меня длиннѣе,— прибавилъ Базаровъ съ усмѣшкой.—Разъ, два, три...

— Евгеній Васильевичъ, — съ трудомъ пролепеталъ Петръ (онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ): — воля ваша, я отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братецъ, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глазъ не закрывай; а повалится кто — бѣги подымать. Шесть... семь... восемь...—Базаровъ остановился.— Довольно?—промолвилъ онъ, обращаясь къ Павлу Петровичу: — или еще два шага накинуть?

— Какъ угодно, — проговорилъ тотъ, заколачивая вторую пулю.

— Ну, накинемъ еще два шага.—Базаровъ провелъ носкомъ сапога черту по землѣ.—Вотъ и барьеръ. А кстати: на сколько шаговъ каждому изъ насъ отъ барьера отойти? Это тоже важный вопросъ. Вчера объ этомъ не было дискуссіи.

— Я полагаю, на десять, — отвѣтилъ Павелъ Петровичъ, подавая Базарову оба пистолета.—Соблаговолите выбрать.

— Соблаговоляю. А согласитесь, Павелъ Петровичъ, что поединокъ нашъ необычаенъ до смѣшного. Вы посмотрите только на физіономію нашего секунданта.

— Вамъ все желательно шутить,—отвѣтилъ Павелъ Петровичъ.—Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгомъ предупредить васъ, что я намѣренъ драться серьезно. A bon entendeur, salut!

— О, я не сомнѣваюсь въ томъ, что мы рѣшились истреблять другъ друга; но почему же не посмѣяться и не соединить utile dulci? Такъ-то: вы мнѣ по-французски, а я вамъ по-латыни.

— Я буду драться серьезно, — повторилъ Павелъ Петровичъ, и отправился на свое мѣсто. Базаровъ, съ своей стороны, отсчиталъ десять шаговъ отъ барьера и остановился.

— Вы готовы? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Совершенно.

— Можемъ сходиться.

Базаровъ тихонько двинулся впередъ, и Павелъ Петровичъ пошелъ на него, заложивъ лѣвую руку въ карманъ и постепенно поднимая дуло пистолета... «Онъ мнѣ прямо въ носъ цѣлитъ,—подумалъ Базаровъ:—и какъ щурится старательно, разбойникъ! Однако это непріятное ощущеніе. Стану смотрѣть на цѣпочку его часовъ...» Что-то рѣзко зыкнуло около самаго уха Базарова, и въ то же мгновенье раздался выстрѣлъ. — «Слышалъ, стало-быть, ничего», успѣло мелькнуть въ его головѣ. Онъ ступилъ еще разъ и, не цѣлясь, подавилъ пружинку.

Павелъ Петровичъ дрогнулъ слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его бѣлымъ панталонамъ.

Базаровъ бросилъ пистолетъ въ сторону и приблизился къ своему противнику.

— Вы ранены? — промолвилъ онъ.

— Вы имѣли право подозвать меня къ барьеру, — проговорилъ Павелъ Петровичъ, — а это пустяки. По условію, каждый имѣетъ еще по одному выстрѣлу.

— Ну, извините, это до другого раза,— отвѣчалъ Базаровъ и обхватилъ Павла Петровича, который начиналъ блѣднѣть.— Теперь я уже не дуэлистъ, а докторъ, и прежде всего долженъ осмотрѣть вашу рану. Петръ! поди сюда, Петръ! куда ты спрятался?

— Все это вздоръ... Я не нуждаюсь ни въ чьей помощи, — промолвилъ съ разстановкой Павелъ Петровичъ: — и... надо... опять...—Онъ хотѣлъ было дернуть себя за усъ, но рука его ослабѣла, глаза закатились, и онъ лишился чувствъ.

— Вотъ новость! Обморокъ! Съ чего бы! — невольно воскликнулъ Базаровъ, опуская Павла Петровича на траву.—Посмотримъ, что за штука? — Онъ вынулъ платокъ, отеръ кровь, пощупалъ вокругъ раны... «Кость цѣла,—бормоталъ онъ сквозь зубы:—пуля прошла неглубоко насквозь, одинъ мускулъ, vastus externus, задѣтъ. Хоть пляши черезъ три недѣли!.. А, обморокъ! Охъ, ужъ эти мнѣ нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая».

— Убиты-съ? — прошелестилъ за его спиной трепетный голосъ Петра.

Базаровъ оглянулся.

— Ступай за водой поскорѣе, братецъ, а онъ насъ съ тобой переживетъ.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понималъ его словъ и не двигался съ мѣста. Павелъ Петровичъ медленно открылъ глаза. «Кончается!» шепнулъ Петръ и началъ креститься.

— Вы правы... Экая глупая физіономія! — проговорилъ съ насильственною улыбкой раненый джентльменъ.

— Да ступай же за водой, чортъ!— крикнулъ Базаровъ.

— Не нужно... Это былъ минутный vertige... Помогите мнѣ сѣсть... вотъ такъ... Эту царапину стоитъ только чѣмъ-нибудь прихватить, и я дойду домой пѣшкомъ, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вамъ угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня — замѣтьте.

— О прошломъ и вспоминать не зачѣмъ, — возразилъ Базаровъ: — а что касается до будущаго, то о немъ тоже не стоитъ голову ломать, потому что я намѣренъ немедленно улизнуть. Дайте, я вамъ перевяжу теперь ногу; рана ваша не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертнаго привести въ чувство.

Базаровъ встряхнулъ Петра за воротъ и послалъ его за дрожками.

— Смотри, брата не испугай,—сказалъ ему Павелъ Петровичъ: — не вздумай ему докладывать.

Петръ помчался; а пока онъ бѣгалъ за дрожками, оба противника сидѣли на землѣ и молчали. Павелъ Петровичъ старался не глядѣть на Базарова; помириться съ нимъ онъ все-таки не хотѣлъ; онъ стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затѣяннаго имъ дѣла, хотя и чувствовалъ, что болѣе благопріятнымъ образомъ оно кончиться не могло. «Не будетъ, по крайней мѣрѣ, здѣсь торчать,— успокоивалъ онъ себя:—и на томъ спасибо». Молчаніе длилось, тяжелое и неловкое. Обоимъ было нехорошо. Каждый изъ нихъ сознавалъ, что другой его понимаетъ. Друзьямъ это сознаніе пріятно, и весьма непріятно недругамъ, особенно когда нельзя ни объясниться ни разойтись.

— Не туго ли я завязалъ вамъ ногу?— спросилъ, наконецъ, Базаровъ.

— Нѣтъ, ничего, прекрасно,—отвѣчалъ Павелъ Петровичъ и, погодя немного, прибавилъ: — брата не обманешь, надо будетъ сказать ему, что мы повздорили изъ-за политики.

— Очень хорошо, — промолвилъ Базаровъ.—Вы можете сказать, что я бранилъ всѣхъ англомановъ.

— И прекрасно. Какъ вы полагаете, что думаетъ теперь о насъ этотъ человѣкъ?— продолжалъ Павелъ Петровичъ, указывая на того самаго мужика, который за нѣсколько минутъ до дуэли прогналъ мимо Базарова спутанныхъ лошадей и, возвращаясь назадъ по дорогѣ, «забочилъ» и снялъ шапку при видѣ «господъ».

— Кто жъ его знаетъ! — отвѣтилъ Базаровъ: — всего вѣроятнѣе, что ничего не думаетъ. Русскій мужикъ — это тотъ самый таинственный незнакомецъ, о которомъ нѣкогда такъ много толковала госпожа Ратклиффъ. Кто его пойметъ! Онъ самъ себя не понимаетъ.

— А! вотъ вы какъ! — началъ было Павелъ Петровичъ и вдругъ воскликнулъ:— посмотрите, что вашъ глупецъ Петръ надѣлалъ! Вѣдь братъ сюда скачетъ!

Базаровъ обернулся и увидалъ блѣдное лицо Николая Петровича, сидѣвшаго на дрожкахъ. Онъ соскочилъ съ нихъ, прежде нежели онѣ остановились, и бросился къ брату.

— Что это значитъ? — проговорилъ онъ взволнованнымъ голосомъ: — Евгеній Васильичъ, помилуйте, что это такое?

— Ничего, — отвѣчалъ Павелъ Петровичъ: — напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили съ господиномъ Базаровымъ, и я за это немножко поплатился.

— Да изъ-за чего все вышло, ради Бога?

— Какъ тебѣ сказать? Господинъ Базаровъ непочтительно отозвался о сэръ Робертѣ Пилѣ. Спѣшу прибавить, что во всемъ этомъ виноватъ одинъ я, а господинъ Базаровъ велъ себя отлично. Я его вызвалъ.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагалъ, у меня вода въ жилахъ? Но мнѣ это кровопусканіе даже полезно. Не правда ли, докторъ? Помоги мнѣ сѣсть на дрожки и не предавайся меланхоліи. Завтра я буду здоровъ. Вотъ такъ; прекрасно. Трогай, кучеръ.

Николай Петровичъ пошелъ за дрожками; Базаровъ остался было назади...

— Я долженъ васъ просить заняться братомъ, — сказалъ ему Николай Петровичъ, — пока намъ изъ города привезутъ другого врача.

Базаровъ молча наклонилъ голову.

Часъ спустя, Павелъ Петровичъ уже лежалъ въ постели съ искусно забинтованною ногой. Весь домъ переполошился: Ѳеничкѣ сдѣлалось дурно. Николай Петровичъ втихомолку ломалъ себѣ руки, а Павелъ Петровичъ смѣялся, шутилъ, осо-

бенно съ Базаровымъ; надѣлъ тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволилъ опускать шторы оконъ, и забавно жаловался на необходимость воздержаться отъ пищи.

Къ ночи съ нимъ, однако, сдѣлался жаръ; голова у него заболѣла. Явился докторъ изъ города. (Николай Петровичъ не послушался брата, да и самъ Базаровъ этого не желалъ; онъ цѣлый день сидѣлъ у себя въ комнатѣ, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забѣгалъ къ больному; раза два ему случилось встрѣтиться съ Ѳеничкой, но она съ ужасомъ отъ него отскакивала). Новый докторъ посовѣтовалъ прохладительныя питья, а впрочемъ подтвердилъ увѣренія Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петровичъ сказалъ ему, что братъ самъ себя поранилъ по неосторожности, на что докторъ отвѣчалъ: «гм!»—но, получивъ тутъ же въ руку 25 рублей серебромъ, промолвилъ:

— Скажите! это часто случается, точно.

Никто въ домѣ не ложился и не раздѣвался. Николай Петровичъ то и дѣло входилъ на цыпочкахъ къ брату и на цыпочкахъ выходилъ отъ него: тотъ забывался, слегка охалъ, говорилъ ему по-французски: «couchez-vous»—и просилъ пить. Николай Петровичъ заставилъ разъ Ѳеничку поднести ему стаканъ лимонаду; Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на нее пристально и выпилъ стаканъ до дна. Къ утру жаръ немного усилился, показался легкій бредъ. Сперва Павелъ Петровичъ произносилъ несвязныя слова; потомъ онъ вдругъ открылъ глаза и, увидавъ возлѣ своей постели брата, заботливо наклонившагося надъ нимъ, промолвилъ:

— А не правда ли, Николай, въ Ѳеничкѣ есть что-то общее съ Нелли?

— Съ какою Нелли, Паша?

— Какъ это ты спрашиваешь? Съ княгинею Р.... Особенно въ верхней части лица. C'est de la même famille.

Николай Петровичъ ничего не отвѣчалъ, а самъ про себя подивился живучести старыхъ чувствъ въ человѣкѣ.

«Вотъ когда всплыло», подумалъ онъ.

— Ахъ, какъ я люблю это пустое существо! — простоналъ Павелъ Петровичъ, тоскливо закидывая руки за голову.—Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглецъ посмѣлъ коснуться...—лепеталъ онъ нѣсколько мгновеній спустя.

Николай Петровичъ только вздохнулъ; онъ и не подозрѣвалъ, къ кому относились эти слова.

Базаровъ явился къ нему на другой день, часовъ въ восемь. Онъ успѣлъ уже уложиться и выпустить на волю всѣхъ своихъ лягушекъ, насѣкомыхъ и птицъ.

— Вы пришли со мной проститься?—проговорилъ Николай Петровичъ, поднимаясь ему навстрѣчу.

— Точно такъ-съ.

— Я васъ понимаю и одобряю васъ вполнѣ. Мой бѣдный братъ, конечно, виноватъ: за то онъ и наказанъ. Онъ мнѣ самъ сказалъ, что поставилъ васъ въ невозможность иначе дѣйствовать. Я вѣрю, что вамъ нельзя было избѣгнуть этого поединка, который... который до нѣкоторой степени объясняется однимъ лишь постояннымъ антагонизмомъ вашихъ взаимныхъ воззрѣній. (Николай Петровичъ путался въ своихъ словахъ). Мой братъ—человѣкъ прежняго закала, вспыльчивый и упрямый... Слава Богу, что еще такъ кончилось. Я принялъ всѣ нужныя мѣры къ избѣжанію огласки...

— Я вамъ оставлю свой адресъ на случай, если выйдетъ исторія, — замѣтилъ небрежно Базаровъ.

— Я надѣюсь, что никакой исторіи не выйдетъ, Евгеній Васильичъ... Мнѣ очень жаль, что ваше пребываніе въ моемъ домѣ получило такое... такой конецъ.

Но Базаровъ не дождался конца его фразы и вышелъ.

Узнавъ объ отъѣздѣ Базарова, Павелъ Петровичъ пожелалъ его видѣть и пожалъ ему руку. Но Базаровъ и тутъ остался холоденъ какъ ледъ; онъ понималъ, что Павлу Петровичу хотѣлось повеликодушничать. Съ Ѳеничкой ему не удалось проститься: онъ только переглянулся съ нею изъ окна. Ея лицо показалось ему печальнымъ. «Пропадетъ, пожалуй!» сказалъ онъ про себя... «Ну, выдерется какъ-нибудь!»—Зато Петръ расчувствовался до того, что плакалъ у него на плечѣ, пока Базаровъ не охладилъ его вопросомъ: «Не на мокромъ ли мѣстѣ у него глаза?», а Дуняша принуждена была убѣжать въ рощу, чтобы скрыть свое волненіе. Виновникъ всего этого горя взобрался на телѣгу, закурилъ сигару, и когда на четвертой верстѣ, при

поворотѣ дороги, въ послѣдній разъ предстала его глазамъ развернутая въ одну линію Кирсановская усадьба съ своимъ новымъ господскимъ домомъ, онъ только сплюнулъ и, пробормотавъ: «барчуки проклятые», плотнѣе завернулся въ шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчало; но въ постели пришлось ему пролежать около недѣли. Онъ переносилъ свой, какъ онъ выражался, *плѣнъ*, довольно терпѣливо, только ужъ очень возился съ туалетомъ и все приказывалъ курить одеколономъ. Николай Петровичъ читалъ ему журналы; Ѳеничка ему прислуживала попрежнему, приносила бульонъ, лимонадъ, яйца всмятку, чай; но тайный ужасъ овладѣвалъ ею каждый разъ, когда она входила въ его комнату. Неожиданный поступокъ Павла Петровича запугалъ всѣхъ людей въ домѣ, а ее больше всѣхъ; одинъ Прокофьичъ не смутился и толковалъ, что и въ его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, и этакихъ прощелыгъ они бы за грубость на конюшнѣ отодрать велѣли».

Совѣсть почти не упрекала Ѳеничку; но мысль о настоящей причинѣ ссоры мучила ее по временамъ; да и Павелъ Петровичъ глядѣлъ на нее такъ странно... такъ, что она, даже обернувшись къ нему спиною, чувствовала на себѣ его глаза. Она похудѣла отъ непрестанной внутренней тревоги и, какъ водится, стала еще милѣй.

Однажды — дѣло было утромъ — Павелъ Петровичъ хорошо себя чувствовалъ и перешелъ съ постели на диванъ, а Николай Петровичъ, освѣдомившись объ его здоровьи, отлучился на гумно. Ѳеничка принесла чашку чаю и, поставивъ ее на столикъ, хотѣла было удалиться. Павелъ Петровичъ ее удержалъ.

— Куда вы такъ спѣшите, Ѳедосья Николаевна, — началъ онъ: — развѣ у васъ дѣло есть?

— Нѣтъ-съ... Нужно тамъ чай разливать.

— Дуняша это безъ васъ сдѣлаетъ; посидите немножко съ больнымъ человѣкомъ. Кстати, мнѣ нужно поговорить съ вами.

Ѳеничка молча присѣла на край кресла.

— Послушайте, — промолвилъ Павелъ Петровичъ, и подергалъ свои усы: — я давно хотѣлъ у васъ спросить, вы какъ-будто меня боитесь?

— Я-съ?..

— Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у васъ совѣсть нечиста.

Ѳеничка покраснѣла, но взглянула на Павла Петровича. Онъ показался ей какимъ-то страннымъ, и сердце у ней тихонько задрожало.

— Вѣдь у васъ совѣсть чиста? — спросилъ онъ ее.

— Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.

— Мало ли отчего! Впрочемъ, передъ кѣмъ можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невѣроятно. Передъ другими лицами здѣсь въ домѣ? Это тоже дѣло несбыточное. Развѣ передъ братомъ? Но вѣдь вы его любите?

— Люблю.

— Всей душой, всѣмъ сердцемъ?

— Я Николая Петровича всѣмъ сердцемъ люблю.

— Право? Посмотри-ка на меня, Ѳеничка (онъ въ первый разъ такъ назывalъ ее...). Вы знаете — большой грѣхъ лгать!

— Я не лгу, Павелъ Петровичъ. Мнѣ Николая Петровича не любить, да послѣ этого мнѣ и жить не надо.

— И ни на кого вы его не промѣняете?

— На кого жъ могу я его промѣнять?

— Мало ли на кого! Да вотъ хоть бы на этого господина, что отсюда уѣхалъ.

Ѳеничка встала.

— Господи, Боже мой, Павелъ Петровичъ, за что вы меня мучите? Что я вамъ сдѣлала? Какъ это можно такое говорить?..

— Ѳеничка, — промолвилъ печальнымъ голосомъ Павелъ Петровичъ, — вѣдь я видѣлъ...

— Что вы видѣли-съ?

— Да тамъ... въ бесѣдкѣ.

Ѳеничка зардѣлась вся до волосъ и до ушей.

— А чѣмъ же я тутъ виновата? — произнесла она съ трудомъ.

Павелъ Петровичъ приподнялся.

— Вы не виноваты? Нѣтъ? Нисколько?

— Я Николая Петровича одного на свѣтѣ люблю и вѣкъ любить буду! — проговорила съ внезапною силой Ѳеничка, между тѣмъ какъ рыданья такъ и поднимали ея горло. — А что вы видѣли, такъ я на страшномъ судѣ скажу, что вины моей въ томъ нѣтъ и не было, и ужъ лучше мнѣ умереть сейчасъ, коли меня въ такомъ дѣлѣ подозрѣвать могутъ, что я пе-

редъ моимъ благодѣтелемъ, Николаемъ Петровичемъ...

Но тутъ голосъ измѣнилъ ей, и въ то же время она почувствовала, что Павелъ Петровичъ ухватилъ и стиснулъ ея руку... Она посмотрѣла на него, и такъ и окаменѣла. Онъ сталъ еще блѣднѣе прежняго; глаза его блистали, и что всего было удивительнѣе, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щекѣ.

— Ѳеничка! — сказалъ онъ какимъ-то чуднымъ шопотомъ: — любите, любите моего брата! Онъ такой добрый, хорошій человѣкъ! Не измѣняйте ему ни для кого на свѣтѣ, не слушайте ничьихъ рѣчей! Подумайте, что можетъ быть ужаснѣе, какъ любить и не быть любимымъ! Не покидайте никогда моего бѣднаго Николая!

Глаза высохли у Ѳенички, и страхъ ея прошелъ, — до того велико было ея изумленіе. Но что сталось съ ней, когда Павелъ Петровичъ, самъ Павелъ Петровичъ прижалъ ея руку къ своимъ губамъ, и такъ и приникъ къ ней, не цѣлуя ея и только изрѣдка судорожно вздыхая...

«Господи,—подумала она,—ужъ не припадокъ ли съ нимъ?..»

А въ это мгновеніе цѣлая погибшая жизнь въ немъ трепетала.

Лѣстница заскрипѣла подъ быстрыми шагами. Онъ оттолкнулъ ее отъ себя прочь, и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась, — и веселый, свѣжій, румяный, появился Николай Петровичъ. Митя, такой же свѣжій и румяный какъ отецъ, подпрыгивалъ въ одной рубашечкѣ на его груди, цѣпляясь голыми ножками за большія пуговицы его деревенскаго пальто.

Ѳеничка такъ и бросилась къ нему и, обвивъ руками и его и сына, припала головой къ его плечу. Николай Петровичъ удивился: Ѳеничка, застѣнчивая и скромная, никогда не ласкалась къ нему въ присутствіи третьяго лица.

— Что съ тобой? — промолвилъ онъ и, глянувъ на брата, передалъ ей Митю.— Ты не хуже себя чувствуешь? — спросилъ онъ, подходя къ Павлу Петровичу.

Тотъ уткнулъ лицо въ батистовый платокъ.

— Нѣтъ... такъ... ничего... Напротивъ, мнѣ гораздо лучше.

— Ты напрасно поспѣшилъ перейти на диванъ. Ты куда? — прибавилъ Николай Петровичъ, оборачиваясь къ Ѳеничкѣ; но та уже захлопнула за собою дверь.—Я было принесъ показать тебѣ моего богатыря; онъ соскучился по своемъ дядѣ. Зачѣмъ это она унесла его? Однако, что съ тобой? Произошло у васъ тутъ что-нибудь, что ли?

— Братъ! — торжественно проговорилъ Павелъ Петровичъ.

Николай Петровичъ дрогнулъ. Ему стало жутко, онъ самъ не понималъ почему.

— Братъ, — повторилъ Павелъ Петровичъ: — дай мнѣ слово исполнить одну мою просьбу.

— Какую просьбу? Говори.

— Она очень важна; отъ нея, по моимъ понятіямъ, зависитъ все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлялъ о томъ, что я хочу теперь сказать тебѣ... Братъ, исполни обязанность твою, обязанность честнаго и благороднаго человѣка, прекрати соблазнъ и дурной примѣръ, который подается тобою, лучшимъ изъ людей!

— Что ты хочешь сказать, Павелъ?

— Женись на Ѳеничкѣ... Она тебя любитъ; она — мать твоего сына.

Николай Петровичъ отступилъ на шагъ и всплеснулъ руками.

— Ты это говоришь, Павелъ? ты, котораго я считалъ всегда самымъ непреклоннымъ противникомъ подобныхъ браковъ! Ты это говоришь! Но развѣ ты не знаешь, что единственно изъ уваженія къ тебѣ я не исполнилъ того, что ты такъ справедливо назвалъ моимъ долгомъ!

— Напрасно жъ ты уважалъ меня въ этомъ случаѣ, — возразилъ съ унылою улыбкою Павелъ Петровичъ.—Я начинаю думать, что Базаровъ былъ правъ, когда упрекалъ меня въ аристократизмѣ. Нѣтъ, милый братъ, полно намъ ломаться и думать о свѣтѣ: мы люди уже старые и смирные; пора намъ отложить въ сторону всякую суету. Именно, какъ ты говоришь, станемъ исполнять нашъ долгъ; и посмотри, мы еще и счастье получимъ въ придачу.

Николай Петровичъ бросился обнимать своего брата.

— Ты мнѣ окончательно открылъ глаза,— воскликнулъ онъ.—Я не даромъ всегда утверждалъ, что ты—самый добрый и умный человѣкъ въ мірѣ; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, какъ и великодушный.

— Тише, тише, — перебилъ его Павелъ Петровичъ. — Не разбереди ногу твоего благоразумнаго брата, который подъ пятьдесятъ лѣтъ дрался на дуэли, какъ прапорщикъ. Итакъ, это дѣло рѣшено: Ѳеничка будетъ моею... belle-soeur.

— Дорогой мой Павелъ! Но что скажетъ Аркадій?

— Аркадій? онъ восторжествуетъ, помилуй! Бракъ не въ его принсипахъ, зато чувство равенства будетъ въ немъ польщено. Да и дѣйствительно, что за касты au dix-neuvième siècle?

— Ахъ, Павелъ, Павелъ! дай мнѣ еще разъ тебя поцѣловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

— Какъ ты полагаешь, не объявить ли ей твое намѣреніе теперь же? — спросилъ Павелъ Петровичъ.

— Къ чему спѣшить? — возразилъ Николай Петровичъ.—Развѣ у васъ былъ разговоръ?

— Разговоръ у насъ? Quelle idée!

— Ну, и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это отъ насъ не уйдетъ, надо подумать хорошенько, сообразить...

— Но вѣдь ты рѣшился?

— Конечно, рѣшился, и благодарю тебя отъ души. Я теперь тебя оставлю; тебѣ надо отдохнуть; всякое волненіе тебѣ вредно... Но мы еще потолкуемъ. Засни, душа моя, и дай Богъ тебѣ здоровья!

«За что онъ меня такъ благодаритъ?— подумалъ Павелъ Петровичъ, оставшись одинъ.—Какъ-будто это не отъ него зависѣло! А я, какъ только онъ женится, уѣду куда-нибудь подальше, въ Дрезденъ или во Флоренцію, и буду тамъ жить, пока околѣю».

Павелъ Петровичъ помочилъ себѣ лобъ одеколономъ и закрылъ глаза. Освѣщенная яркимъ дневнымъ свѣтомъ, его красивая, исхудалая голова лежала на бѣлой подушкѣ, какъ голова мертвеца... Да онъ и былъ мертвецъ.

## XXVII.

Старики Базаровы тѣмъ больше обрадовались внезапному пріѣзду сына, чѣмъ меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и избѣгалась по дому, что Василій Ивановичъ сравнилъ ее съ «куропатицей»: куцый хвостикъ ея коротенькой кофточки дѣйствительно придавалъ ей нѣчто птичье. А самъ онъ только мычалъ, да покусывалъ съ боку янтарчикъ своего чубука, да, прихвативъ шею пальцами, вертѣлъ головою, точно пробовалъ, хорошо ли она у него привинчена, и вдругъ разѣвалъ широкій ротъ и хохоталъ безо всякаго шума.

— Я къ тебѣ на цѣлыхъ шесть недѣль пріѣхалъ, старина, — сказалъ Базаровъ:— я работать хочу, такъ ты ужъ, пожалуйста, не мѣшай мнѣ.

— Физіономію мою забудешь, вотъ какъ я тебѣ мѣшать буду! — отвѣчалъ Василій Ивановичъ.

Онъ сдержалъ свое обѣщаніе. Помѣстивъ сына въ кабинетъ, онъ только что не прятался отъ него, и жену свою удерживалъ отъ всякихъ лишнихъ изъявленій нѣжности. Арина Власьевна видѣла сына только за столомъ и окончательно боялась съ нимъ заговаривать. «Енюшенька!» бывало скажетъ она, а тотъ еще не успѣетъ оглянуться, какъ ужъ она перебираетъ шнурками ридикюля и лепечетъ: «ничего, ничего, я такъ», а потомъ отправится къ Василію Ивановичу и говоритъ ему, подперши щеку: «какъ бы, голубчикъ, узнать, чего Енюша желаетъ сегодня къ обѣду: щей или борщу?»—«Да что жъ ты у него сама не спросила?»—«А надоѣмъ!» Впрочемъ, Базаровъ скоро самъ пересталъ запираться: лихорадка работы съ него *соскочила* и замѣнилась тоскливою скукой и глухимъ безпокойствомъ. Василій Ивановичъ нѣсколько разъ пытался самымъ осторожнымъ образомъ разспросить Базарова объ его работѣ, объ его здоровьѣ, объ Аркадіи... Но Базаровъ отвѣчалъ ему нехотя и небрежно. Такъ же безплодны остались его политическіе намеки. Заговоривъ однажды по поводу близкаго освобожденія крестьянъ, о прогрессѣ, онъ надѣялся возбудить сочувствіе своего сына; но тотъ равнодушно промолвилъ: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здѣшніе крестьянскіе мальчики, вмѣсто какой-нибудь старой пѣсни, горланятъ: *Время вѣрное приходитъ, сердце чувствуетъ любовь...* вотъ тебѣ и прогрессъ».

Иногда Базаровъ отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновенію, вступалъ въ бесѣду съ какимъ-нибудь мужикомъ. «Ну,—говорилъ онъ ему,—излагай мнѣ свои воззрѣнія на жизнь, братецъ:

вѣдь въ васъ, говорятъ, вся сила и будущность Россіи, отъ васъ начнется новая эпоха въ исторіи, — вы намъ дадите и языкъ настоящій и законы». Мужикъ либо не отвѣчалъ ничего, либо произносилъ слова въ родѣ слѣдующихъ: «А мы могимъ... тоже, потому значитъ... какой положенъ у насъ, примѣрно, придѣлъ».

— Ты мнѣ растолкуй, что такое есть вашъ міръ? — перебивалъ его Базаровъ: — и тотъ ли это самый міръ, что на трехъ рыбахъ стоитъ?

— Это, батюшка, земля стоитъ на трехъ рыбахъ, — успокоительно, съ патріархально-добродушною пѣвучестью, объяснялъ мужикъ: — а противъ нашего, то-есть, міру, извѣстно, господская воля; потому вы наши отцы. А чѣмъ строже баринъ взыщетъ, тѣмъ милѣе мужику.

Выслушавъ подобную рѣчь, Базаровъ однажды презрительно пожалъ плечами и отвернулся, а мужикъ побрелъ во-свояси.

— О чемъ толковалъ? — спросилъ у него другой мужикъ среднихъ лѣтъ и угрюмаго вида, издали, съ порога своей избы, присутствовавшій при бесѣдѣ его съ Базаровымъ. — О недоимкѣ, что ли?

— Какое о недоимкѣ, братецъ ты мой! — отвѣчалъ первый мужикъ, и въ голосѣ его уже не было слѣда патріархальной пѣвучести, а, напротивъ, слышалась какая-то небрежная суровость: — такъ, болталъ кое-что; языкъ почесать захотѣлось. Извѣстно, баринъ; развѣ онъ что понимаетъ?

— Гдѣ понять! — отвѣчалъ другой мужикъ и, тряхнувъ шапками и осунувъ кушаки, оба они принялись разсуждать о своихъ дѣлахъ и нуждахъ. Увы! презрительно пожимавшій плечомъ, умѣвшій говорить съ мужиками Базаровъ (какъ хвалился онъ въ спорѣ съ Павломъ Петровичемъ), этотъ самоувѣренный Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ ихъ глазахъ былъ все-таки чѣмъ-то въ родѣ шута гороховаго...

Впрочемъ, онъ нашелъ, наконецъ, себѣ занятіе. Однажды въ его присутствіи Василій Ивановичъ перевязывалъ мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и онъ не могъ справиться съ бинтами; сынъ ему помогъ, и съ тѣхъ поръ сталъ участвовать въ его практикѣ, не переставая въ то же время подсмѣиваться и надъ средствами, которыя самъ же совѣтовалъ, и надъ отцомъ, который тотчасъ же пускалъ ихъ въ ходъ. Но насмѣшки Базарова нисколько не смущали Василія Ивановича; онѣ даже утѣшали его. Придерживая свой засаленный шлафрокъ двумя пальцами на желудкѣ и покуривая трубочку, онъ съ наслажденіемъ слушалъ Базарова, и чѣмъ больше злости было въ его выходкахъ, тѣмъ добродушнѣе хохоталъ, выказывая всѣ свои черные зубы до единаго, его осчастливленный отецъ. Онъ даже повторялъ эти, иногда тупыя или безсмысленныя, выходки и, напримѣръ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, ни къ селу ни къ городу, все твердилъ: «ну, это дѣло девятое!» потому только, что сынъ его, узнавъ, что онъ ходилъ къ заутренѣ, употребилъ это выраженіе. «Слава Богу! пересталъ хандрить! — шепталъ онъ своей супругѣ: — какъ отдѣлалъ меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что онъ имѣетъ такого помощника, приводила его въ восторгъ, наполняла его гордостью. «Да, да, — говорилъ онъ какой-нибудь бабѣ въ мужскомъ армякѣ и рогатой кичкѣ, вручая ей склянку Гулярдовой воды или банку беленной мази: — ты, голубушка, ты должна ежеминутно Бога благодарить за то, что сынъ мой у меня гоститъ: по самой научной и новѣйшей методѣ тебя лѣчатъ теперь, понимаешь ли ты это? Императоръ французовъ, Наполеонъ, и тотъ не имѣетъ лучшаго врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значенія этихъ словъ она, впрочемъ, сама растолковать не умѣла), только кланялась и лѣзла за пазуху, гдѣ у ней лежали четыре яйца, завернутыя въ конецъ полотенца.

Базаровъ разъ даже вырвалъ зубъ у заѣзжаго разносчика съ краснымъ товаромъ, и хотя этотъ зубъ принадлежалъ къ числу обыкновенныхъ, однако Василій Ивановичъ сохранилъ его, какъ рѣдкость, и, показывая его отцу Алексѣю, безпрестанно повторялъ.

— Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгенія! Краснорядецъ такъ на воздухъ и поднялся... Мнѣ кажется, дубъ, и тотъ бы вылетѣлъ вонъ!..

— Похвально! — промолвилъ, наконецъ, отецъ Алексѣй, не зная, что отвѣчать и какъ отдѣлаться отъ пришедшаго въ экстазъ старика.

Однажды мужичокъ сосѣдней деревни привезъ къ Василію Ивановичу своего брата, больного тифомъ. Лежа ничкомъ на связкѣ соломы, несчастный умиралъ; темныя пятна покрывали его тѣло; онъ давно потерялъ сознаніе. Василій Ивановичъ изъявилъ сожалѣніе о томъ, что никто раньше не вздумалъ обратиться къ помощи медицины, и объявилъ, что спасенія нѣтъ. Дѣйствительно, мужичокъ не довезъ своего брата до дома: онъ такъ и умеръ въ телѣгѣ.

Дня три спустя, Базаровъ вошелъ къ отцу въ комнату и спросилъ, нѣтъ ли у него адскаго камня.

— Есть; на что тебѣ?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себѣ.

— Какъ, себѣ! Зачѣмъ же это? Какая это ранка? Гдѣ она?

— Вотъ тутъ, на пальцѣ. Я сегодня ѣздилъ въ деревню, знаешь, откуда тифознаго мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно въ этомъ не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вотъ я попросилъ уѣзднаго врача, ну, и порѣзался.

Василій Ивановичъ вдругъ поблѣднѣлъ весь и, ни слова не говоря, бросился въ кабинетъ, откуда тотчасъ же вернулся съ кусочкомъ адскаго камня въ рукѣ. Базаровъ хотѣлъ было взять его и уйти.

— Ради самого Бога, — промолвилъ Василій Ивановичъ, — позволь мнѣ это сдѣлать самому.

Базаровъ усмѣхнулся.

— Экой ты охотникъ до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палецъ. Ранка-то не велика. Не больно?

— Напирай сильнѣе, не бойся.

Василій Ивановичъ остановился.

— Какъ ты полагаешь, Евгеній, не лучше ли намъ прижечь желѣзомъ?

— Это бы раньше надо сдѣлать; а теперь, по настоящему, и адскій камень не нуженъ. Если я заразился, такъ ужъ теперь поздно.

— Какъ... поздно... — едва могъ произнести Василій Ивановичъ.

— Еще бы! съ тѣхъ поръ четыре часа прошло слишкомъ.

Василій Ивановичъ еще немного прижегъ ранку.

— Да развѣ у уѣзднаго лѣкаря не было адскаго камня?

— Не было.

— Какъ же это, Боже мой! Врачъ — и не имѣетъ такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрѣлъ на его ланцеты, — промолвилъ Базаровъ, и вышелъ вонъ.

До самаго вечера и въ теченіе всего слѣдующаго дня Василій Ивановичъ придирался ко всѣмъ возможнымъ предлогамъ, чтобы входить въ комнату сына, и хотя онъ не только не упоминалъ объ его ранѣ, но даже старался говорить о самыхъ посторонниxъ предметахъ, однако онъ такъ настойчиво заглядывалъ ему въ глаза, такъ тревожно наблюдалъ за нимъ, что Базаровъ потерялъ терпѣніе и погрозился уѣхать. Василій Ивановичъ далъ ему слово не безпокоиться, тѣмъ болѣе, что и Арина Власьевна, отъ которой онъ, разумѣется, все скрылъ, начинала приставать къ нему, зачѣмъ онъ не спитъ и что съ нимъ такое подѣялось? Цѣлыхъ два дня онъ крѣпился, хотя видъ сына, на котораго онъ все посматривалъ украдкой, ему очень не нравился... но на третій день за обѣдомъ не выдержалъ. Базаровъ сидѣлъ потупившись и не касался ни одного блюда.

— Отчего ты не ѣшь, Евгеній? — спросилъ онъ, придавъ своему лицу самое беззаботное выраженіе. — Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, такъ и не ѣмъ.

— У тебя аппетиту нѣту? А голова? — прибавилъ онъ робкимъ голосомъ: — болитъ?

— Болитъ. Отчего ей не болѣть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не разсердись, пожалуйста, Евгеній, — продолжалъ Василій Ивановичъ: — но не позволишь ли ты мнѣ пульсъ у тебя пощупать?

Базаровъ приподнялся.

— Я, и не щупая, скажу тебѣ, что у меня жаръ.

— И ознобъ былъ?

— Былъ и ознобъ. Пойду, прилягу; а вы мнѣ пришлите липоваго чаю. Простудился, должно-быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлялъ, — промолвила Арина Власьевна.

— Простудился, — повторилъ Базаровъ и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовленіемъ чая изъ липоваго цвѣту, а Василій Ивановичъ вошелъ въ сосѣднюю комнату и молча схватилъ себя за волосы.

Базаровъ уже не вставалъ въ тотъ день, и всю ночь провелъ въ тяжелой, полузабывчивой дремотѣ. Часу въ первомъ утра онъ, съ усиліемъ раскрывъ глаза, увидѣлъ надъ собою при свѣтѣ лампадки блѣдное лицо отца, и велѣлъ ему уйти; тотъ повиновался, но тотчасъ же вернулся на цыпочкахъ и, до половины заслонившись дверцами шкапа, неотвратимо глядѣлъ на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворивъ дверь кабинета, то и дѣло подходила послушать, «какъ дышитъ Енюша», и посмотрѣть на Василія Ивановича. Она могла видѣть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло нѣкоторое облегченіе. Утромъ Базаровъ попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носомъ; онъ легъ опять. Василій Ивановичъ молча ему прислуживалъ; Арина Власьевна вошла къ нему и спросила его, какъ онъ себя чувствуетъ. Онъ отвѣчалъ: «лучше», и повернулся къ стѣнѣ. Василій Иванювичъ замахалъ на жену обѣими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вонъ. Все въ домѣ вдругъ словно потемнѣло; всѣ лица вытянулись, сдѣлалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластаго пѣтуха, который долго не могъ понять, зачѣмъ съ нимъ такъ поступаютъ. Базаровъ продолжалъ лежать, уткнувшись въ стѣну. Василій Ивановичъ пытался обращаться къ нему съ разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старикъ замеръ въ своихъ креслахъ, только изрѣдка хрустя пальцами. Онъ отправлялся на нѣсколько мгновеній въ садъ, стоялъ тамъ какъ истуканъ, словно пораженный несказаннымъ изумленіемъ (выраженіе изумленія вообще не сходило у него съ лица), и возвращался снова къ сыну, стараясь избѣгать разспросовъ жены. Она, наконецъ, схватила его за руку, и судорожно, почти съ угрозой промолвила: «да что съ нимъ?» Тутъ онъ спохватился и принудилъ себя улыбнуться ей въ отвѣтъ; но, къ собственному ужасу, вмѣсто улыбки, у него откуда-то взялся смѣхъ. За докторомъ онъ послалъ съ утра. Онъ почелъ нужнымъ предувѣдомить объ этомъ сына, чтобы тотъ какъ-нибудь не разсердился.

Базаровъ вдругъ повернулся на диванѣ, пристально и тупо посмотрѣлъ на отца и попросилъ напиться.

Василій Ивановичъ подалъ ему воды и кстати пощупалъ его лобъ. Онъ такъ и пылалъ.

— Старина,—началъ Базаровъ сиплымъ и медленнымъ голосомъ: — дѣло мое дрянное. Я зараженъ, и черезъ нѣсколько дней ты меня хоронить будешь.

Василій Ивановичъ пошатнулся, словно кто по ногамъ его ударилъ.

— Евгеній! — пролепеталъ онъ: — что ты это!.. Богъ съ тобою! Ты простудился...

— Полно, — не спѣша перебилъ его Базаровъ. — Врачу непозволительно такъ говорить. Всѣ признаки зараженія, ты самъ знаешь.

— Гдѣ же признаки... зараженія, Евгеній?.. Помилуй!

— А это что? — промолвилъ Базаровъ и, приподнявъ рукавъ рубашки, показалъ отцу выступившія зловѣщія, красныя пятна.

Василій Ивановичъ дрогнулъ и похолодѣлъ отъ страха.

— Положимъ,—сказалъ онъ, наконецъ, положимъ... если... если даже что-нибудь въ родѣ... зараженія...

— Піэміи, — подсказалъ сынъ.

— Ну, да... въ родѣ... эпидеміи...

— *Пізміи*, — сурово и отчетливо повторилъ Базаровъ: — аль уже позабылъ свои тетрадки?

— Ну, да, да, какъ тебѣ угодно... А все-таки мы тебя вылѣчимъ.

— Ну, это дудки. Но не въ томъ дѣло. Я не ожидалъ, что такъ скоро умру; это случайность, очень, по правдѣ сказать, непріятная. Вы оба съ матерью должны теперь воспользоваться тѣмъ, что въ васъ религія сильна; вотъ вамъ случай поставить ее на пробу.

Онъ опять тяжело повернулся къ стѣнѣ; а Василій Ивановичъ вышелъ изъ кабинета и, добравшись до женинной спальни, такъ и рухнулся на колѣни передъ образами.

— Молись, Арина, молись! — простоналъ онъ: — нашъ сынъ умираетъ.

Докторъ, тотъ самый уѣздный лѣкарь, у котораго не нашлось адскаго камня, пріѣхалъ и осмотрѣлъ больного, посовѣтовалъ держаться методы выжидающей, и

тутъ же сказалъ нѣсколько словъ о возможности выздоровленія.

— А вамъ случалось видѣть, что люди въ моемъ положеніи *не* отправляются въ Елисейскія? — спросилъ Базаровъ и внезапно схватилъ за ножку тяжелый столъ, стоявшій возлѣ дивана, потрясъ его и сдвинулъ съ мѣста.

— Сила-то, сила, — промолвилъ онъ, вся еще тутъ, а надо умирать!.. Старикъ, тотъ, по крайней мѣрѣ, успѣлъ отвыкнуть отъ жизни, а я... Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицаетъ, и баста! Кто тамъ плачетъ? — прибавилъ онъ, погодя немного.—Мать? Бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщемъ? А ты, Василій Иванычъ, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христіанство не помогаетъ, будь философомъ, стоикомъ, что ли! Вѣдь ты хвастался, что ты философъ?

— Какой я философъ! — завопилъ Василій Ивановичъ, и слезы такъ и закапали по его щекамъ.

Базарову становилось хуже съ каждымъ часомъ; болѣзнь приняла быстрый ходъ, что обыкновенно случается при хирургическихъ отравахъ. Онъ еще не потерялъ памяти и понималъ, что ему говорили; онъ еще боролся. «Не хочу бредить, — шепталъ онъ, сжимая кулаки: — что за вздоръ!» — И тутъ же говорилъ: «Ну, изъ восьми вычесть десять, сколько выйдетъ?» — Василій Ивановичъ ходилъ какъ помѣшанный, предлагалъ то одно средство, то другое, и только и дѣлалъ, что покрывалъ сыну ноги. «Обернуть въ холодныя простыни... рвотное... горчишники къ желудку... кровопусканіе», говорилъ онъ съ напряженіемъ. Докторъ, котораго онъ умолилъ остаться, ему поддакивалъ, поилъ больного лимонадомъ, а для себя просилъ то трубочки, то «укрѣпляющаго-согрѣвающаго», то-есть водки. Арина Власьевна сидѣла на низенькой скамеечкѣ возлѣ двери, и только по временамъ уходила молиться; нѣсколько дней тому назадъ туалетное зеркальце выскользнуло у ней изъ рукъ и разбилось, а это она всегда считала худымъ предзнаменованіемъ.

Ночь была нехороша для Базарова... Жестокій жаръ его мучилъ. Къ утру ему полегчало. Онъ попросилъ, чтобъ Арина Власьевна его причесала, поцѣловалъ у ней руку и выпилъ глотка два чаю. Василій Ивановичъ оживился немного.

— Слава Богу! — твердилъ онъ: — наступилъ кризисъ... пришелъ кризисъ.

— Эка, подумаешь! — промолвилъ Базаровъ: — слово-то что значитъ! Нашелъ его, сказалъ: «кризисъ», и утѣшенъ. Удивительное дѣло, какъ человѣкъ еще вѣритъ въ слова. Скажутъ ему, например, дурака и не прибьютъ, онъ опечалится; назовутъ его умницей и денегъ ему не дадутъ — онъ почувствуетъ удовольствіе.

Эта маленькая рѣчь Базарова, напоминавшая его прежнія «выходки», привела Василія Ивановича въ умиленіе.

— Браво! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнулъ онъ, показывая видъ, что бьетъ въ ладоши.

Базаровъ печально усмѣхнулся.

— Такъ какъ же по-твоему, — промолвилъ онъ: — кризисъ прошелъ или наступилъ?

— Тебѣ лучше, вотъ что я вижу, вотъ что меня радуетъ, — отвѣчалъ Василій Ивановичъ.

— Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо.

Перемѣна къ лучшему продолжалась недолго. Приступы болѣзни возобновились. Василій Ивановичъ сидѣлъ подлѣ Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Онъ нѣсколько разъ собирался говорить — и не могъ.

— Евгеній! — произнесъ онъ наконецъ: — сынъ мой, дорогой мой, милый сынъ!

Это необычайное воззваніе подѣйствовало на Базарова... Онъ повернулъ немного голову и, видимо стараясь выбиться изъ подъ бремени давившаго его забытья, произнесъ: «Что, мой отецъ?»

— Евгеній, — продолжалъ Василій Ивановичъ, и опустился на колѣни передъ Базаровымъ, хотя тотъ не раскрывалъ глазъ и не могъ его видѣть. — Евгеній, тебѣ теперь лучше; ты, Богъ дастъ, выздоровѣешь; но воспользуйся этимъ временемъ, утѣшь насъ съ матерью, исполни долгъ христіанина! Каково-то мнѣ это тебѣ говорить, это ужасно; но еще ужаснѣе... вѣдь навѣкъ, Евгеній... ты подумай, каково-то...

Голосъ старика прервался, а по лицу его сына, хотя онъ и продолжалъ лежать

съ закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить, — промолвилъ онъ, наконецъ: — но, мнѣ кажется, спѣшить еще не къ чему. Ты самъ говоришь, что мнѣ лучше.

— Лучше, Евгеній, лучше; но кто знаетъ, вѣдь это все въ Божьей волѣ, а исполнивши долгъ...

— Нѣтъ, я подожду, — перебилъ Базаровъ.—Я согласенъ съ тобою, что наступилъ кризисъ. А если мы съ тобой ошиблись, что жъ! вѣдь и безпамятныхъ причащаютъ.

— Помилуй, Евгеній...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мѣшай мнѣ.

И онъ положилъ голову на прежнее мѣсто.

Старикъ поднялся, сѣлъ на кресло и, взявшись за подбородокъ, сталъ кусать себѣ пальцы...

Базарову уже не суждено было просыпаться. Къ вечеру онъ впалъ въ совершенное безпамятство, а на слѣдующій день умеръ. Отецъ Алексѣй совершилъ надъ нимъ обряды религіи. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, одинъ глазъ его раскрылся, и, казалось, при видѣ священника въ облаченіи, дымящагося кадила, свѣчъ передъ образомъ, что-то похожее на содроганіе ужаса мгновенно отразилось на помертвѣломъ лицѣ. Когда же, наконецъ, онъ испустилъ послѣдній вздохъ и въ домѣ поднялось всеобщее стенаніе, Василія Ивановича обуяло внезапное изступленіе. «Я говорилъ, что я возропщу,—хрипло кричалъ онъ, съ пылающимъ, перекошеннымъ лицомъ, потрясая въ воздухѣ кулакомъ, какъ бы грозя кому-то:—и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся въ слезахъ, повисла у него на шеѣ, и оба вмѣстѣ пали ницъ.

Но полуденный зной проходитъ, и настаетъ вечеръ и ночь, а тамъ и возвращеніе въ тихое убѣжище, гдѣ сладко спится измученнымъ и усталымъ...

## XXVIII.

Есть небольшое сельское кладбище, въ одномъ изъ отдаленныхъ уголковъ Россіи. Какъ почти всѣ наши кладбища, оно являетъ видъ печальный: окружавшія его канавы давно заросли; сѣрые деревянные кресты поникли и гніютъ подъ своими когда-то крашеными крышами; каменныя плиты всѣ сдвинуты, словно кто ихъ подталкиваетъ снизу; два-три ощипанныхъ деревца едва даютъ скудную тѣнь; овцы безвозбранно бродятъ по могиламъ... Но между ними есть одна, до которой не касается человѣкъ, которую не топчетъ животное: однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ: Евгеній Базаровъ похороненъ въ этой могилѣ. Къ ней, изъ недалекой деревушки, часто приходятъ два уже дряхлые старичка — мужъ съ женою. Поддерживая другъ друга, идутъ они отяжелѣвшею походкой; приблизятся къ оградѣ, припадутъ и станутъ на колѣни, и долго и горько плачутъ, и долго и внимательно смотрятъ на нѣмой камень, подъ которымъ лежитъ ихъ сынъ; помѣняются короткимъ словомъ, пыль смахнутъ съ камня да вѣтку елки поправятъ, и снова молятся, и не могутъ покинуть это мѣсто, откуда имъ какъ-будто ближе до ихъ сына, до воспоминаній о немъ... Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи «равнодушной» природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной...

1861 г.

**Алексѣй Θеофилактовичъ Писемскій.**
(1820—1881).

## Плотничья артель.

(Въ сокращеніи.)

### I.

Зиму прошлаго года я прожилъ въ деревнѣ, какъ говорится, въ четырехъ стѣнахъ, въ старомъ, мрачномъ домѣ, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленныхъ кабинетныхъ трудовъ, имѣя для своего развлеченія однѣ только трехверстныя поѣздки по непромятой дорогѣ, и потому читатель можетъ судить, съ какимъ нетерпѣніемъ встрѣтилъ я весну. И — Боже мой, какъ хороша показалась мнѣ оживающая природа, и какую тонкую способность получилъ я наслаждаться ею, способность, которая — не могу скрыть — была мною утрачена въ городской жизни, посреди чиновничьихъ и другого рода мірскихъ треволненій. Настоящимъ образомъ таять начало съ апрѣля, и я ужъ цѣлый день оставался на воздухѣ, походя на больного, которому, послѣ полугодичнаго заключенія, разрѣшены прогулки, съ тою только разницею, что я не боялся ни катара ни ревматизма, ходилъ въ легкомъ платьѣ, смѣло промачивалъ ноги и свободно вдыхалъ свѣжій и сыроватый воздухъ. Протаявшій на пригоркѣ лугъ сдѣлался для меня предметомъ неистощимаго вниманія; по нѣскольку разъ въ день я наблюдалъ, какъ онъ больше и больше расширяется, свѣжѣй и свѣжѣй зеленѣетъ; появившіяся на садовыхъ вербахъ почки я почти пересчитывалъ, какъ-будто бы въ нихъ было все мое богатство. Съ какимъ живымъ чувствомъ удовольствія поѣхалъ я, едва пробираясь верхомъ по проваливающейся на каждомъ шагу дорогѣ, посмотрѣть на свою родовую рѣчку, которую лѣтомъ курица перейдетъ, но которая теперь, несясь широкимъ разливомъ, уносила льдины, руша и ломая все попадающееся ей навстрѣчу: и сухое дерево, поваленное въ ея русло осеннимъ вѣтромъ, и накатъ съ моста, и даже вершу, очень бы, кажется, старательно прикрѣпленную старымъ поваромъ, ради заманки въ нее неопытныхъ щурятъ. Цѣлую недѣлю на небѣ хоть бы облачко; солнце съ каждымъ днемъ обнаруживаетъ больше и больше свою теплотворную силу и припекаетъ гдѣ-

нибудь у стѣны, точно лѣтомъ. И сколько птицъ появилось, и какъ онѣ ожили, откуда прилетѣли, и всѣ поютъ: токуютъ на своихъ сладострастныхъ ассамблеяхъ тетерева, свищетъ по временамъ соловей, кукуетъ однообразно и печально кукушка, чирикаютъ воробьи; тамъ откликнется иволга, тамъ прокричитъ коростель... Господи! сколько силы, сколько страстности, и въ то же время сколько гармоніи въ этихъ звукахъ оживающаго міра! Но вотъ снѣгу больше нѣтъ: лошадей, коровъ и овецъ, къ большому ихъ, сколько можно судить по наружности, удовольствію, сгоняютъ въ поля — наступаетъ рабочая пора; впрочемъ, весной работы еще ничего — не такъ торопятъ: съ Христова дня по Петровъ постъ воскресенья называются *гулящими*; въ поляхъ возятся только мужики; а бабы и дѣвки еще ткутъ кросна, и которыя изъ нихъ помоложе и повеселѣй да посвободнѣй въ жизни, такъ ходятъ въ сосѣднія деревни или въ усадьбы на гульбища; ихъ обыкновенно сопровождаютъ мальчишки въ ситцевыхъ рубахахъ и непремѣнно съ крашенымъ яйцомъ въ рукѣ. Гульбища эти по нашимъ мѣстамъ нельзя сказать, чтобъ были одушевленны: бабы и дѣвки больше стоятъ, переглядываются другъ съ другомъ и, долго-долго сбираясь и передумывая, станутъ, наконецъ, въ хороводъ и запоютъ безсмертную «Какъ по морю, какъ по морю»; при чемъ одна изъ дѣвокъ, надѣвъ на голову фуражку, представитъ парня, убившаго лебедя, а другая — красну дѣвицу, которая подбираетъ перья убитаго лебедя дружку на подушечку; или, раздѣлясь на два города, ходятъ другъ къ другу навстрѣчу и поютъ — однѣ: «А мы просо сѣяли, сѣяли», а другія: «А мы просо вытопчемъ, вытопчемъ». Самой живой сценой бываетъ, когда какой-нибудь мальчишка покатится вдругъ колесомъ и врѣжется въ самый хороводъ, при чемъ какая-нибудь баба, посердитѣе на лицо, не упуститъ случая, проговоря: «я тѣ, песъ-баловникъ этакой!» — толкнуть его ногой въ бокъ, а тотъ повалится на землю и начнетъ дрягать ногами; дѣвки смѣются... Иногда привяжется къ хороводу только что воротившійся съ базара пьяный мужиченко, и туда же лѣзетъ цѣловаться съ дѣвками, которыя покрасивѣе; но этакого срамного кто ужъ поцѣлуетъ? И онъ начнетъ выкидывать другія штуки: возьметъ, напримѣръ, двѣ палки, изъ которыхъ одну представитъ будто смычокъ, а изъ другой скрипку и начнетъ наигрывать языкомъ «*Барыню*», или нагонитъ какого-нибудь мальчишку, стащитъ съ него сапогъ силой, возьметъ этотъ сапогъ, какъ балалайку, и, тоже наигрывая языкомъ, пустится плясать, и, поднявъ на улицѣ своими лаптями страшную пыль, провалится, наконецъ, куда-нибудь; хороводницы послѣ этого еще постоятъ, помолчатъ, пропоютъ иногда «Калинушка съ малинушкой лазоревой цвѣтъ», мальчишки еще подерутся между собой, и затѣмъ начнутъ расходиться по домамъ... Вотъ вамъ и игрище все!

Между тѣмъ, время идетъ: яровое допахиваютъ. Вечеръ ясный, теплый. Я сижу на задней галлереѣ дома, обращенной во дворъ. Въ залѣ шумятъ двое маленькихъ сыновей: старшему, Павлу, четвертый, а младшему, Николаю, второй годъ. Они всѣми силами стараются перекричать другъ друга, вскрикивая: «пли, пли, пли!» Это они играютъ въ солдаты и воюютъ съ турками. Вдругъ одинъ заревѣлъ. «Поля! ты опять брата дразнишь?» кричу я, напередъ зная, что старшій, буянъ, обидѣлъ младшаго, и хочу итти, но слышу, пришла мать: она лучше возстановитъ миръ. Поля пренаивно объявилъ, что онъ братца пикой закололъ; ему объясняютъ, что братца стыдно колоть пикой, потому что братецъ маленькій, и, въ наказанье, уводятъ въ гостиную, говоря, что его не пустятъ гулять больше на улицу и что онъ долженъ сидѣть и смотрѣть книжку съ картинками; а Колю, между тѣмъ, успокоивъ леденцомъ, выносятъ ко мнѣ на галлерею. Онъ такъ огорченъ, что все еще продолжаетъ всхлипывать; большіе голубые глазенки полны слезъ.

— Что, Коля, тебя обидѣли? — говорю я, беря его за подбородокъ.

Онъ нѣсколько времени смотритъ на меня, потомъ прижимаетъ головку къ плечу няньки и, какъ бы вспомнивъ тяжко нанесенную ему обиду, горько, горько опять заплачетъ.

— Полно, батюшка, полно! Вонъ, посмотри, какая идетъ кошка, а-а-а, кошка!.. кисъ, кисъ, кисъ!.. — говоритъ ему въ утѣшенье нянька, показывая на перебирающуюся по забору кошку.

Ребенокъ занялся.

— Кисъ, кисъ, кисъ,— шепчетъ онъ тихонько.

— Да, батюшка, кисъ, кисъ, кисъ,— повторяетъ за нимъ нянька, и оба, очень довольные другъ другомъ, отправляются въ залу баюкаться.— Бай, бай, бай!— начинаетъ напѣвать старуха. «О, о, о», окается ребенокъ, а я все еще продолжаю сидѣть: не хочется въ комнаты, отрадно на воздухѣ, хоть и становится свѣжо. Однако дѣдушка Ѳаддей прошелъ ужъ за квасомъ — значитъ, девятый часъ въ исходѣ. Дѣдушка Ѳаддей только три раза въ день (передъ завтракомъ, обѣдомъ и ужиномъ) слѣзаетъ съ печи и ходитъ за квасомъ и — не безпокойтесь, никогда не опоздаетъ, всегда первый нацѣдитъ изъ общественной квасницы въ свой буракъ: не любитъ жидкаго квасу, ну, а дворня не маленькая, какъ разъ сольютъ и набурятъ водой. Чалый меринъ, которому дозволено гулять въ саду по дряхлости лѣтъ и за заслуги, оказанныя еще въ юности, по случаю секретныхъ поѣздокъ верхомъ, верстъ за шесть, за пять, въ самую глухую полночь и во всевозможную погоду,— чалка этотъ вдругъ заржалъ; это значитъ, слышитъ лошадей — такой ужъ конь табунный, живъ-сгорѣлъ по своемъ братѣ: значитъ, это съ поля ѣдутъ. Сначала показываются боронщики-мальчишки, верхами на лошадяхъ; Васька, сынъ кучера, обыкновенно впереди всѣхъ и, что есть духу, мчится, но, завидѣвъ меня, поѣхалъ шагомъ. Этакого сорванца-мальчишки и вообразить трудно: его пошлютъ, напримѣръ, за грибами, а онъ поймаетъ въ полѣ чью-нибудь чужую лошадь, взнуздаетъ ее веревкой, да верстъ въ десять конецъ и дастъ взадъ и впередъ.

«Однако что жъ это оральщики не шабашатъ?» думаю я самъ съ собою; но и оральщики отшабашали, ѣдутъ. Это можно догадаться по крику задѣльнаго мужика, Петра Завирохи; не зная, можно подумать, что онъ съ кѣмъ-нибудь бранится, а вовсе нѣтъ: онъ только говоритъ, и безпрестанно говоритъ, и все крикомъ кричитъ; поэтому его Завирохой и прозвали. Отъ оральщиковъ отдѣлился староста, худощавый и съ озабоченнымъ лицомъ мужикъ, отличающійся отъ прочихъ только тѣмъ, что въ сапогахъ и съ палочкой, но, какъ и всѣ другіе, сильно загорѣлый и перепачканный въ грязи; онъ входитъ на красный дворъ, снимаетъ шапку и подходитъ къ периламъ галлереи.

— Здравствуй, Семенъ, надѣвай шапку. Что скажешь хорошаго?— говорю я.

— Овесъ выкидали,— отвѣчаетъ Семенъ неторопливо.

— Ну, и слава Богу! во-время, значитъ, управляемся; теперь, стало-быть, ячмень и ленъ только остался,— продолжаю я.

— Ленъ и ячмень остался теперь,— подтверждаетъ Семенъ.

Нѣсколько времени мы оба молчимъ.

— Теперь бы дождичка надо — замѣчаю я.

Семенъ вздыхаетъ.

— Не мѣшало бы и дождичка,— соглашается онъ.

Вообще онъ говоритъ какъ-то лѣниво: видно, усталъ, да и... Я, впрочемъ, понимаю, что это значитъ.

— Эй! кто тамъ?— кричу я:— скажите ключницѣ, чтобъ дала старостѣ водки.

Лицо Семена въ минуту освѣщается удовольствіемъ; ключница выноситъ стаканъ водки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, полъ-ломтя густо насоленнаго хлѣба. Она, по разнымъ сношеніямъ, большая пріятельница Семену и всѣхъ почти дѣтей у него крестила.

Семенъ беретъ стаканъ, крестится и, проговоря:

— Съ засѣвомъ, батюшка, поздравляю!— выпиваетъ сразу и потомъ морщится.

— Закусите,— говоритъ ключница, подавая ему хлѣба.

Семенъ отламываетъ небольшой кусочекъ, съѣдаетъ и откашливается.

— Озими, сударь, нынче, слава Богу, хорошо подымаются,— заговариваетъ ужъ онъ самъ.

— Хороши, братецъ, хороши, видѣлъ я, и травы, кажется, тоже будутъ порядочныя.

— Травы важныя засѣли-съ,— подтверждаетъ Семенъ,— весна-то нынче, сударь, что Богъ дастъ впередъ, вольготна для всего идетъ; оно, выходитъ, тепло, да и дождички перепадаютъ.

— Заморозковъ чтобъ не было — это вотъ скверно для всего,— замѣчаю я.

Семенъ усмѣхается.

— Пожалуй, что того и жди,— подтверждаетъ онъ.— Покойный вашъ папенька тоже говаривалъ, какъ, этакъ, съ весны

теплая погода начнетъ: «ну, говоритъ, будетъ вычетъ; какъ подуетъ отъ Николы, любезный, такъ и ходи недѣли двѣ въ шубахъ».

(Никола — приходъ, отъ насъ въ сѣверной сторонѣ).

— Неужели каждый годъ это бываетъ?

— Почесть, что каждый годъ, что вотъ я ни живу: Богъ знаетъ, отчего это; кто говоритъ, что пахать начнутъ, пластъ поднимутъ, такъ земля изъ себя холодъ дастъ, а кто и на черемуху приходитъ: что какъ черемуха цвѣтетъ, такъ отъ нея сиверко дѣлается... Богъ знаетъ, какъ и сказать.

— А куда завтра народъ пошлешь? — спрашиваю я его.

— Завтра на дороги надо выгнать: выбиваютъ. Сотскій два раза прибѣгалъ: исправникъ его хлестать хочетъ, что дороги долго не чинятъ.

— Ну, на дороги, такъ на дороги, откладывать нечего въ дальній ящикъ, не отвертишься!

— Извѣстно-съ,—соглашается Семенъ.— За нами хоть бы и безъ васъ,—прибавляетъ онъ,—хошь кого извольте спросить, никогда супротивъ прочихъ ни въ чемъ остановки нѣтъ; какъ другіе вышли, такъ и мы.

— Это хорошо; такъ и надо. Ступай, однако, отдыхай,—заключаю я. Семенъ сначала пошелъ было, но потомъ пріостановился, подумалъ немного и опять воротился ко мнѣ.

— Насчетъ плотника вы приказывали...— проговорилъ онъ.

— Ну, да, что жъ?

— Наказывалъ я; на этой недѣлѣ обѣщался побывать.

— И хорошо, только сдѣлаетъ ли онъ ригу-то?

— Какъ бы, кажись, не сдѣлать: по мужикамъ здѣсь на всемъ околоткѣ работаетъ; рига не какая хитрость, не барскія хоромы.

Тѣмъ разговоръ мой съ Семеномъ и кончился.

## II.

Дня черезъ три, я сижу въ кабинетѣ, который, какъ водится въ помѣщичьихъ вомахъ, прилегаетъ къ лакейской; слышу, дто-то вошелъ. Я окрикнулъ; вмѣсто отвѣта, въ сопровожденіи Семена, вошелъ мужикъ небольшого роста, съ татарскимъ отчасти окладомъ лица: глаза угловатые, лицо корявое, на бородѣ нѣсколько волосковъ; но мужикъ хоть и изъ простыхъ, а должно быть франтоватъ: голова расчесанная, намасленная, въ сурмленой поддевкѣ нараспашку, въ пестрядинной рубашкѣ, съ шелковымъ поясомъ, на которомъ висѣлъ мѣдный гребень, въ новыхъ сапогахъ и съ поярковой шляпой въ рукахъ. Какъ вошелъ, такъ и началъ молиться, и молился долго, потомъ вдругъ подошелъ ко мнѣ, и не успѣлъ я опомниться, какъ онъ схватилъ и поцѣловалъ у меня руку. Мнѣ это съ перваго раза не понравилось.

— Что это за глупости?—сказалъ я съ сердцемъ, отнимая руку.

Онъ отступилъ нѣсколько шаговъ назадъ.

— Это, ваше высокоблагородіе, такъ слѣдствуетъ, когда выходитъ господинъ, значитъ, опосля Бога и царя первый, ваше высокопривосходительство, — проговорилъ онъ съ умилительной физіономіей.

— Да кто ты такой? Что за человѣкъ?

— Пузичъ, ваше привосходительство.

— Что такое Пузичъ?

— Фамилья такая у меня, значитъ, ваше привосходительство, и таперича наслышанъ я, что работа у васъ имѣется, ваше привосходительство, что ежель таперича вамъ мастера хорошаго надобно, чтобъ въ настоящемъ видѣ могъ представить, ваше привосходительство...

— Плютникъ это-съ, что этта говорили,—разрѣшилъ, наконецъ, Семенъ.

— А! Плотникъ! Я и не догадался. Красно ужъ очень говоришь ты, братецъ,— сказалъ я.

Похвалу эту Пузичъ принялъ за чистую монету.

— Нельзя, ваше высокопривосходительство, намъ разговору не знать: ежель таперича дѣла имѣемъ мы съ господами хорошими, значитъ, компанію имъ должны сдѣлать завсегда, ваше привосходительство.

— Конечно,—сказалъ я,—только такъ ли ты хорошо строишь, какъ говоришь?

— Работа моя, ваше привосходительство, извольте хоть вашего Семена Яковлича спросить, здѣсь на-знати; я не то, что плутъ какой-нибудь али мошенникъ,

я одного этого безчестья совѣстью не подниму взять на себя, а какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами, должо́нъ сказать: колесо мое большое, ваше привосходительство, должо́нъ благодарить Владычицу нашу, Сѣнновскую Божью Матерь, тѣмъ, что могу угодить господамъ. Таперича, хоша бы карандашомъ рисовка на планѣ, али, примѣрно, циркулемъ, али теперь по ватерпасу прикинуть — все въ разумѣ моемъ имѣть могу, ваше привосходительство.

Семенъ усмѣхался и качалъ головой.

— Какъ же, братецъ, ты вотъ все это въ разумѣ имѣешь, а работаешь больше по мужикамъ? — замѣтилъ я.

— Нѣтъ, ваше привосходительство, какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами, говорю: за безчестье себѣ считаю у мужика работать. Что мужикъ? — дуракъ, такъ сказать, больше ничего! — возразилъ Пузичъ.

— Да вѣдь и ты не княжескаго рода. Говори дѣло-то, а не то что...— вмѣшался Семенъ.

— Извѣстно, слово твое настоящее, Семенъ Яковличъ, коли говорить, такъ говорить надо дѣло,— отвѣчалъ не сконфузясь Пузичъ.

Онъ началъ производить на меня окончательно непріятное впечатлѣніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ я съ удовольствіемъ смотрѣлъ на нѣсколько лѣнивую и флегматическую фигуру моего Семена, который слушалъ все это съ тѣмъ худо скрытымъ невниманіемъ и презрѣніемъ, съ какимъ обыкновенно слушаетъ хорошій мужикъ плутоватую болтовню своего брата.

— Брать ли намъ его? — спросилъ я Семена.

Онъ посмотрѣлъ въ потолокъ.

— Возьмите. Здѣсь ишь какая сторонка — глушь: хоть бы изъ ихъ брата, первой, другой, да, пожалуй, и обчелся.

— Безъ сумлѣнія будьте, ваше привосходительство, сдѣлайте такую милость! — подхватилъ Пузичъ.

— Что̀ жъ ты возьмешь? Какъ твоя цѣна будетъ? — спросилъ я.

— Цѣна моя, ваше привосходительство,— началъ Пузичъ,— будетъ деревенская, не то что съ запросомъ какимъ-нибудь, али тамъ прочее другое, а какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами, для перваго знакомства, удовольствіе, значитъ, хочу сдѣлать: на вашихъ харчахъ, выходитъ, двѣсти рублёвъ серебромъ.

При этомъ Семенъ мой даже попятился назадъ.

— Что ты, паря, сблаговалъ, что ли? — сказалъ онъ, устремивъ глаза на Пузича.

— Меньше одной копейки, Семенъ Яковличъ, взять не могу,— отвѣчалъ тотъ.

Я, съ своей стороны, понялъ, что имѣю дѣло съ однимъ изъ тѣхъ мелкихъ плутишекъ, которые запрашиваютъ рубль на рубль барыша, и хотѣлъ разомъ съ нимъ раздѣлаться.

— Твоя цѣна двѣсти рублей, а моя — сто,— сказалъ я, думая, что снесъ, сколько возможно, много. По лицу Пузича быстро промелькнулъ какой-то оттѣнокъ удовольствія, а Семена опять подернуло.

— Сто — много, помилуйте! семидесяти рублевъ съ него за глаза будетъ,— произнесъ онъ съ укоризною.

Пузичъ усмѣхнулся.

— Не то что объ семидесяти, а и объ ста рубляхъ, Семенъ Яковличъ, разговаривать нечего. Этой цѣны малой ребенокъ не возьметъ! — сказалъ онъ съ такой ужъ физіономіей, какъ будто скорѣй готовъ былъ умереть, чѣмъ работать за сто рублей.

— Полно врать, Пузичъ! полно! Что языкъ понапрасну треплешь! — возразилъ Семенъ, начинавшій выходить изъ терпѣнья.

— Може вы сами языкъ понапрасну треплете, Семенъ Яковличъ. Здѣсь идетъ разговоръ съ господиномъ, а не съ мужикомъ: значитъ, понимаемъ, съ кѣмъ и передъ кѣмъ говоримъ, — возразилъ Пузичъ.

— Сто рублей, больше не дамъ; согласенъ — хорошо, а нѣтъ — такъ можешь убираться, — сказалъ я и нарочно сталъ заниматься своимъ дѣломъ.

Пузичъ не уходилъ.

— Позвольте, ваше привосходительство,—началъ онъ, прикладывая руку къ сердцу: — такъ какъ таперича я оченно желаю, чтобъ знакомство промежъ насъ было; значитъ, полтораста серебромъ вы извольте положить, и то въ убытокъ — вѣрьте Богу.

— Больше ста не дамъ, убирайся! — рѣшилъ я.

— Ваше высокородіе, позвольте!—продолжалъ Пузичъ, еще крѣпче прижимая

руку къ сердцу:—кому таперича свое тѣло не мило, а лопни, значитъ, мои глаза, ваше привосходительство, ежели кто хоть копейку противъ меня уваженья сдѣлаетъ.

— Ломается еще туда же, дура-голова,— проговорилъ Семенъ.

— Ломаться мы, не ломаемся, Семенъ Яковличъ, ужъ это вы сдѣлайте такое ваше одолженіе, а, значитъ, дѣло выходитъ неподходящее.

— Неподходящее?—повторилъ Семенъ сердито.—Мало тебѣ, жиду, ста рублёвъ! Двадцать-пять серебромъ и то лишнихъ передано.

Пузичъ какъ будто бы не слыхалъ этого замѣчанія и обратился ко мнѣ:

— Накиньте, ваше высокопривосходительство, хоть четвертную еще; ей Богу, безобидно будетъ.

Я молчалъ.

— Это что̀ говоритъ,—продолжалъ Пузичъ:—сработать можно всякое; только я худого слова, значитъ, заслужить не хочу, а желаю такъ, чтобъ меня и напередки знали... Може, ваше привосходительство, изволите знать по Буйскому уѣзду генерала Семенова: господинъ, осмѣлюсь, такъ, по своей глупости, сказать, строжайшій, въ настоящемъ видѣ, значитъ... когда у него эта стройка дома была, пятеро подрядчиковъ, съ позволенія доложить вашему привосходительству, бѣгомъ-сбѣжали отъ него; и теперича, когда онъ сталъ требовать меня: «что жъ, думаю, буди воля Царя Небеснаго! а я готовъ завсегда служить господамъ», ваше привосходительство. И какъ передъ Богомъ, такъ и передъ вами потаить не могу: первыя двѣ недѣли всѣ мои ребра палкой пересчитаны были; разъ пять, можетъ статься, кровянилъ меня; но я, по своему чувствію, ваше привосходительство, не то что бралъ въ обиду, а еще въ удовольствіе—значитъ, насъ, дураковъ, уму-разуму учатъ; когда теперича мужикъ надъ тобой куражится и ломается, а отъ барина всегда снести могу.

«Экая подлая натуришка!» подумалъ я и молчалъ.

— Таперича при раздѣлкѣ, когда дѣло это было, продолжалъ опять Пузичъ,— генералъ сейчасъ сдѣлалъ мнѣ отличнѣйшее угощенье и выкинулъ пятьдесятъ рублёвъ серебромъ лишнихъ. «На, говоритъ, тебѣ, Пузичъ, за то, что нраву моему, значитъ, угодилъ». И эти деньги мнѣ, ваше высокопривосходительство, дороже капитала милліоннаго: значитъ, могу служить господамъ.

Я все молчалъ. Выждавъ немного, Пузичъ снова заговорилъ:

— А насчетъ вашей работы я такъ полагаю, что мое особенное стараніе быть должно. Таперича, когда моя работа у васъ пойдетъ, вы извольте лечь на вашъ диванчикъ и почивать—больше того ничего сказать не могу.

Я взглянулъ на Семена: въ лицѣ его изображались досада и презрѣніе.

— Не дамъ больше ста,—сказалъ я рѣшительно.

Пузичъ перенялъ свою шляпу изъ одной руки въ другую.

— Этой цѣны, ваше высокородіе, никому взять несообразно,—проговорилъ онъ и потомъ, постоявъ довольно долго, присовокупилъ вздохнувъ:—прощенья, значитъ, просимъ,—и сталъ молиться, и молился опять долго.—Только то выходитъ, что за пятнадцать верстъ сапоги понапрасну топталъ,—пробунчалъ онъ.

— Эка, паря, что ты сапоги потопталъ, такъ и дать тебѣ тысячу!—возразилъ Семенъ.

Пузичъ, ничего на это не возразивъ, повторилъ еще разъ:

— Прощенья просимъ, ваше высокородіе,—и пошелъ; Семенъ—за нимъ; но я видѣлъ, что Пузичъ не уйдетъ и воротится, потому что шелъ онъ очень медленно по красному двору и все что-то толковалъ Семену. Черезъ нѣсколько минутъ они, дѣйствительно, опять воротились.

— Сто беретъ,—сказалъ Семенъ.

— Хоша три рублика серебромъ, ваше высокородіе, набавьте: по крайности, я на артель ведро вина куплю,—присовокупилъ Пузичъ съ подло-просительнымъ выраженіемъ въ лицѣ.

— На артель, братецъ, я самъ куплю ведро вина, а тебѣ копейки не прибавлю,—возразилъ я.

Пузичъ грустно покачалъ головой.

— Какъ нынче и на свѣтѣ стало жить— не знаемъ,—началъ онъ:—господа, выходитъ, пошли скупые, работы дешевыя... Задаточку ужъ, ваше высокородіе, извольте мнѣ пожаловать,—прибавилъ онъ еще болѣе просящимъ голосомъ.

— Сколько жъ тебѣ?

— Двадцать пять рубликовъ серебромъ,—отвѣчалъ Пузичъ совершенно ужъ неестественнымъ тономъ.

Видимо, что онъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ людей, которые о деньгахъ покойно и безъ нервнаго раздраженія не могутъ даже говорить. Я подалъ ему двадцать пять рублей; Семену это не понравилось.

— Что въ задатокъ-то хватаешь? не убѣжимъ отъ твоихъ денегъ! — сказалъ онъ Пузичу.

— Ахъ, Семенъ Яковличъ, Богъ съ тобой! Выходитъ, словно ты нашихъ дѣловъ не знаешь,—проговорилъ тотъ, засовывая дрожащею рукою бумажку въ кожаную кису, висѣвшую у него на шеѣ.

— Ты самъ, паря, свои дѣла лучше нашего знаешь,—отвѣчалъ Семенъ. — Теперь, вотъ ты у насъ работу берешь, а тебѣ при баринѣ говорю, чтобъ очередь, Семенъ: не на одной нашей работѣ, а и на всякой Петруху отъ тебя требуютъ — знаемъ тоже.

Пузичъ еще насмѣшливѣе покачалъ головою.

— Ежели теперича, чтобъ барину сдѣлать удовольствіе, Семенъ Яковличъ, мы о Петрухѣ не постоимъ, за Петруху намъ стоять много нечего: артель моя большая.

— Артель твою, Пузичъ, и мы тоже знаемъ; я опять при баринѣ говорю: окромѣ Петрухи, другой прочій може у тебя только съ нынѣшняго Николы топоръ въ руки взялъ, такъ ужъ съ того спросить много нечего.

— А Петруха-то кто жъ такой?—спросилъ я Семена.

— Уставщикъ; по всей артели парень надежный,—отвѣчалъ онъ.

— Кто про это говоритъ! мастеръ отличнѣйшій, въ лучшемъ видѣ, значитъ. Ежели теперича, ваше привосходительство, съ позволенія такъ сказать, по нашимъ дѣламъ онъ человѣкъ, значитъ, больной, а мы держимъ его безъ пролежекъ, ваше привосходительство, жалованье, значитъ, кладемъ ему сполна,— проговорилъ Пузичъ, но такимъ голосомъ, по тону котораго ясно было видно, что похвала Петрухѣ была ему ножъ острый, и онъ ее поддерживалъ только по своимъ торговымъ расчетамъ.

При прощаньи Пузичъ сталъ просить у меня полтинничка въ придачу ему на чай. Въ полтинникѣ мнѣ ужъ совѣстно было отказать —я ему далъ, но Семенъ противъ этого протестовалъ:

— Ну, паря, славная ты выжима! — проговорилъ онъ Пузичу, на что тотъ отвѣчалъ только вздохомъ.

## III.

Сдѣлать ригу я задумалъ не столько по необходимости, сколько для развлеченія. Помѣщики, обреченные на постоянную жизнь въ деревнѣ, очень хорошо знаютъ, что стройка въ деревнѣ — благодать, самое живое развлеченіе; точно должность получилъ приличную своимъ способностямъ: каждое утро сходишь посмотрѣть, потолкуешь; послѣ обѣда опять идешь посмотрѣть; вечеромъ тоже.

Все это дѣлалъ, конечно, и я.

Пузичъ пришелъ ко мнѣ работать самъчетвертъ: съ молодымъ парнемъ, Матюшкой, толсторожимъ и глупымъ на лицо, съ Сергѣичемъ, старикомъ очень благообразнымъ, который обратилъ особенно мое вниманіе на себя тѣмъ, что рубилъ какими-то маленькими и очень красивыми щепочками и говорилъ самымъ мягкимъ теноромъ, и все въ складъ. Уставщикъ Петруха былъ высокаго роста, сухой, съ строгимъ выраженіемъ въ глазахъ и съ ироническимъ складомъ въ губахъ. Онъ говорилъ мало, но рѣзко и насмѣшливо. Самъ Пузичъ оказался на работѣ совершенная дрянь: онъ суетился, кричалъ, бранилъ, впрочемъ, одного только Матюшку, который принималъ его брань съ простодушной и глупой улыбкой.

— Всегда тебя такъ бранитъ подрядчикъ?—спросилъ я его.

— Завселды... дядюшка вѣдь онъ мнѣ, завселды все лается,—отвѣчалъ онъ мнѣ и засмѣялся.

Надъ Сергѣичемъ Пузичъ только важничалъ, но передъ Петрухой—другое дѣло: тотъ его видимо уничтожалъ своею личностью и чувствовалъ, кажется, особое наслажденіе топтать его въ грязь по всѣмъ распоряженіямъ въ работѣ. Достаточно было Пузичу выбрать какое-нибудь бревно и положить его на углы для пригонки, какъ Петръ подходилъ, осматривалъ и распоряжался, чтобъ бревно это сбросили, а тащили другое.

— Что? аль неладно?—спрашивалъ при этомъ Пузичъ какимъ-то робкимъ голосомъ; но Петръ даже не удостоивалъ его отвѣтомъ, молча размѣчалъ, и Пузичъ смиренно усаживался и начиналъ рубить по отмѣткамъ работника.

На другой или на третій день, какъ стали они у меня работать, я подошелъ и сѣлъ на бревнѣ около Сергѣича, на долю котораго выпало тесать полъ и, слѣдовательно, онъ работалъ вдали отъ прочихъ.

— Что, дѣдушка, старъ бы ты по чужой сторонѣ ходить,—заговорилъ я.

— Что дѣлать-то, батюшка, —отвѣчалъ старикъ мягкимъ голосомъ: — нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ—да! Хоть бы и мое дѣло, не молодой бы молодикъ, а на седьмой десятокъ валитъ... Пора бы не бревна катать, а лыко драть да на печкѣ лежать—да!

— Отчего это ты все вотъ въ складъ говоришь?—замѣтилъ я ему.

Сергѣичъ усмѣхнулся.

— Изъ молоду, государь мой милостивый, — отвѣчалъ онъ: — такая ужъ моя рѣчь; гдѣ и языкъ-то набилъ на то — не помню; съ хороводовъ да пѣсенъ, видно, дѣло пошло; ну и тоже, грѣшнымъ дѣломъ, дружничалъ по свадебкамъ.

— Дружкой ты былъ?—сказалъ я.

Старикъ самодовольно улыбнулся.

— Я былъ, може, изъ дружекъ дружка, а не то что просто дружка; меня ажно изъ Ярославля богатые мужички ссягали дружничать у нихъ на сыновнихъ свадебкахъ, по сту рублевъ мнѣ за то платили; я былъ дорогой дружка— да! Ты вотъ, государь милостивый, въ замѣчанье взялъ, что я рѣчь въ складъ говорю; а кабы ты посмотрѣлъ еще меня на свадебномъ дѣлѣ, такъ что твой колоколецъ подъ дугой али гусли многострунныя!

— А ужъ нынче развѣ ты не дружничаешь? — спросилъ я.

— Нѣтъ, государь мой милостивый, давно ужъ отсталъ; что-то съ рожи-то цвѣтенъ да румянъ, а глаза больно плохи. Вотъ и рубишь теперь все больше по памяти; кажинный годъ раза три со-слѣпа-то обрубишься, а ужъ гдѣ дружничать, тутъ надо глаза быстрые, ноги прыткія!

— Ты семейный али одинокій?

— Какое, другъ сердечный, одинокій,— возразилъ Сергѣичъ: — родомъ-то, видно, изъ кустовой ржи. Было въ избѣ всякаго колосья — и мужиковъ и дѣвья; пятерыхъ дочекъ однѣхъ возвелъ, да чужой человѣкъ пенья копать увелъ, въ замужства, значитъ, роздалъ — да! Двухъ было сыновьевъ возрастилъ, да и тѣмъ что-то мало себѣ угодилъ. За грѣхи наши, видно, Богъ насъ наказываетъ. Іовъ праведный былъ, да и на того Богъ посылалъ испытанье; а намъ, окаяннымъ, еще мало, что по ребрамъ попало — да!

— А сыновья гдѣ жъ у тебя?

— Сыновья, другъ сердечный, старшій, волей Божьею, на Низу холеркой померъ, а другого больно ужъ любилъ да ласкалъ, въ чужи люди не пускалъ, думалъ, въ старые наши годы будутъ отъ него подмоги, а выходитъ, видно, такъ, что человѣкъ на батькиныхъ съ маткой пирогахъ хуже растетъ, чѣмъ на чужихъ кулакахъ — да!

— Гдѣ жъ онъ? Спился, что ли?

— Я ужъ и сказать тебѣ не знаю какъ, въ кою сторону онъ дуракъ; недолго бы, кажись, пилъ, да много въ кабакъ отвалилъ. Добросовѣстнымъ онъ, государь мой милостивый, при конторѣ нашей былъ, и послали его, гдѣ грѣху-то быть, съ мірскими деньгами въ городъ; уѣхать уѣхалъ въ поддевкѣ, а оттель привели на веревкѣ — да! Всѣ денежки, двѣсти съ хвостикомъ, и ухнулъ тамъ; добрые люди, спасибо, подсобили — да! Онъ-то благовалъ, а батька въ отвѣтъ попалъ: мірскіе рублики, батюшка, не простятъ. На сходкѣ такое положенье сдѣлали, что али бы я деньги за него клалъ, али бы его, разбойника, на поселенье здалъ — да! Не стерпѣлъ я этого: дѣтки-то къ намъ сердцами не падки, а они намъ — худы ли, добры — все сладки. Дѣлать неча, пошелъ къ Пузичу; сталъ ему въ ноги кланяться...

— А развѣ Пузичъ у васъ деньги въ ростъ отдаетъ?

— Нешто, нешто, сударь, одолжаетъ кой-кого на знати, — отвѣчалъ старикъ вздохнувъ: — изстари еще у нихъ въ дому это заведенье идетъ; дѣды его еще этимъ промышляли.

— Помилуй! самъ Пузичъ дуракъ какой-то, болтушка! — замѣтилъ я.

Сергѣичъ усмѣхнулся.

— Да, то-то вотъ, что-что разумомъ мелокъ, да какъ сердцемъ-то крѣпокъ, такъ и богатѣе насъ съ тобой, государь

милостивый, живетъ. Гривной одолжитъ, а рубль сорвать норовитъ; мало Бога знаетъ; неча похвалить татарскій родъ проклятый, что-что крещеные! Хоша бы и мое дѣло: тѣмъ временемъ слова не сказалъ и далъ, только въ конторѣ заявилъ, а теперь и держитъ, словно въ кабалѣ; старъ — не старъ, а все въ эту пору рубль серебра стою, а онъ на кругъ два съ полтиной кладетъ.

— Ну, а прочіе какъ же живутъ у него? — спросилъ я.

— А что, государь мой милостивый, прямо тебѣ скажу: вся артель у насъ на одномъ порядкѣ, — отвѣчалъ старикъ тихо. — Всѣ въ кабалѣ у него состоимъ. Вонъ хоть бы этотъ Матюшка, дурашный, дурашный парень, а все бы въ недѣлю не рублемъ ассигнаціями надо цѣнить!

— Неужели же онъ рубль ассигнаціями только кладетъ ему въ недѣлю? — воскликнулъ я.

— Али больше! — отвѣчалъ Сергѣичъ. — Онъ тоже пригульный: дѣвка по лѣсу шла да его нашла, бобылка согрѣшила — землицы, значитъ, и не было у нихъ; хлѣбцемъ-то и бились... Ну, Пузичъ и дѣлалъ имъ это одолженіе; давалъ на пропитаніе, а теперь и разсчитываетъ, какъ надо: парень круглый годъ колачика не уболитъ съѣсть; лапотокъ новыхъ не на что купить, а все денегъ нѣтъ — да! Каковы наши богатые-то мужички, а нашъ ужъ, пожалуй, изо всѣхъ хватъ, чорту братъ.

— Ну, а этотъ Петръ, уставщикъ, вѣрно, на особомъ у Пузича положеніи нанятъ, по настоящей рядѣ?

— А какое, сударь, по настоящей рядѣ! Тоже въ кабалѣ, еще больше нашего. Триста рублевъ ему должнымъ состоялъ, отъ родителя тоже поотдѣлился, а тутъ гдѣ бы разживаться, въ болѣсть впалъ, словно бы года два хворалъ, и ужъ это до кого не доведись: хозяинъ лежитъ, нужду въ домѣ творитъ.

— Отчего жъ Пузичъ трусить его, кажется?

— Ну, да, батюшка, по работѣ-то нужный ему человѣкъ: что бы онъ безъ него? — какъ безъ рукъ, самъ видишь! А еще и то... послѣ болѣсти, что ли, съ нимъ это сдѣлалось, сердцемъ-то Петруха неугожъ, гнѣвенъ, значитъ. Теперича, что маленько Пузичъ сдѣлаетъ не по немъ, онъ сейчасъ ему и влѣпитъ: «ты, баетъ, меня въ грѣхъ не вводи; у меня твоей головѣ давно мѣсто въ лѣсу пріискано».

— Неужели же онъ это вправду говоритъ? — спросилъ я.

Сергѣичъ засмѣялся.

— Нѣту, сударь, какое, кажись, вправду, — отвѣчалъ онъ: — мужикъ богобоязливый, сдѣлаетъ ли экое дѣло! Сердце только срываетъ, стращаетъ. Ну, а Пузичъ тоже плутовать-плутовать, а вѣдь заячьяго разуму человѣкъ: на ружье глядитъ, а отъ воробья бѣжитъ, и боится этого самаго, не прекословствуетъ ему много.

Петръ сталъ меня очень интересовать, и я хотѣлъ было о немъ подробнѣе спросить Сергѣича, но въ это время подошелъ Пузичъ и началъ нести какую-то чушь о работѣ, и я, чтобъ отдѣлаться отъ него, ушелъ въ комнаты.

## IV.

Когда срубы были срублены, Пузичъ, къ большому моему удовольствію, отправился на другую какую-то работу. Въ тотъ же день Семенъ подошелъ ко мнѣ.

— Винца-то ребятамъ обѣщали; прикажите хоть штофчикъ имъ выставить — и будетъ съ нихъ! — проговорилъ онъ.

— Хорошо, — сказалъ я: — что жъ ты мнѣ давно не напомнишь? Я было и забылъ.

— Пережидалъ, чтобъ собака эта куданибудь убѣжала, а то вѣдь рыло свое тутъ же сталъ бы мочить, — отвѣчалъ Семенъ, подразумѣвая, конечно, подъ собакой Пузича.

— Когда жъ имъ дать? — спросилъ я.

— Да вотъ хоть ужо вечеромъ, какъ отшабашатъ.

— Хорошо... Зайди ты передъ тѣмъ въ горницу за виномъ, и я выйду къ нимъ, — сказалъ я.

— Слушаю-съ, — отвѣчалъ Семенъ, и неторопливо пошелъ къ своему дѣлу.

Вечеромъ, я, дѣйствительно, въ сопровожденіи Семена, вооруженнаго штофомъ и нѣсколькими ломтями хлѣба, вышелъ къ плотникамъ. Они, вѣроятно, ужъ предувѣдомленные, сидѣли на бревнахъ. При моемъ приходѣ Сергѣичъ и Матюшка привстали было и сняли шапки.

— Сидите, братцы; винца я вамъ принесъ, выпейте, — сказалъ я, садясь около

нихъ тоже на бревно. Петръ, сидѣвшій потупившись, откашлялся.

— Благодарствуй, государь нашъ милостивый, благодарствуй, — проговорилъ Сергѣичъ.

Матюшка глупо улыбнулся. Я велѣлъ подать первому Петру. Онъ выпилъ, откашлялся опять и проговорилъ:

— Вотъ кабы этимъ лѣкарствомъ почаще во рту полоскать, словно здоровѣе былъ бы.

— Будто? — спросилъ я.

— Право, словно бы такъ; мужику вино, что мельницѣ деготь: смазалъ и ходчѣй на ходу пошелъ, — отвѣчалъ Петръ.

— Вино сердце веселитъ, вино разумъ творитъ, — присовокупилъ Сергѣичъ, беря дрожащими руками стаканъ.

Матюшка, выпивъ, только сталъ облизываться, какъ теленокъ, которому на морду посыпали соли.

Изъ принесеннаго Семеномъ хлѣба Сергѣичъ взялъ ломоть, аккуратно посолилъ его и началъ жевать небольшимъ числомъ оставшихся зубовъ.

Матюшка захватилъ два сукроя, почти въ два пріема забилъ ихъ въ ротъ и сталъ, какъ говорится, уплетать за обѣ щеки. Петръ не бралъ.

— Что ты и не закусываешь? — сказалъ я ему.

— Нѣтъ, не закусываю. Мы вѣдь не чайники, а водочники: пососалъ языкъ — и баста! — отвѣчалъ онъ и опять закашлялся, а потомъ обратился ко мнѣ: — Я, баринъ, батьку еще твоего зналъ: старикъ былъ важный.

— Важный?

— Важный; лучше тебя.

— Чѣмъ же лучше? — спросилъ я.

— Да словно бы умнѣй тебя былъ, — отвѣчалъ безъ церемоніи Петръ.

— Почему жъ онъ умнѣй меня былъ?

— А потому онъ умнѣй тебя былъ, что ужъ онъ бы, братъ, Пузичу за немшоныя стѣны не далъ ста серебромъ — шалишь! Денегъ, видно, у тебя благихъ много.

— То-то и есть, что не много, а мало, — сказалъ я.

— И денегъ-то мало. Ну, братъ, видно, ты взаправду не больно уменъ, — подхватилъ Петръ. Выпитый стаканъ водки очень, кажется, подѣйствовалъ на его разговорчивость.

Матюшка при этомъ засмѣялся. Сергѣичъ покачалъ головой.

— Ты по городамъ вѣдь больше финтилъ, — продолжалъ Петръ, — и батькинымъ денежкамъ, чай, глаза протеръ. Какъ бы старика теперь поднять, онъ бы задалъ перцу и тебѣ и приказчику твоему Семену Яковличу. Что, черномазое рыло, водки-то не подносишь? али не любо, что противъ шерсти глажу? — обратился онъ къ Семену.

Тотъ поднесъ ему водки и проговорилъ:

— Эко мелево ты, Петруха! — но совсѣмъ не тѣмъ тономъ, какимъ онъ говорилъ Пузичу.

— То-то мелево. Свернули вы, ребята, съ бариномъ домокъ нечего сказать. Прежде, бывало, при старикѣ: хлѣба нѣтъ, куда ѣхать позаимоваться? въ Раменье... А нынче, посмотришь, кто въ Карцовѣ хлѣба покупаетъ? все раменскій Семенъ Яковличъ.

— Божья воля; колькой годъ все неурожаи, да червь побиваетъ, — замѣтилъ Семенъ; но Петръ какъ бы не слыхалъ этого и продолжалъ, обращаясь къ Сергѣичу:

— Прежде, бывало, въ Вонышевѣ работаешь: еще въ воскресенье во второмъ уповодѣ мужики почнутъ сбираться. «Куда, ребята?» спросишь. «На задѣлье». — «Да что рано?» — «Лучше за-время, а то баринъ забранится»... А нынче, голова, въ понедѣльникъ, послѣ завтрака, только еще запрягать начнутъ. «Что, плуты, поздно ѣдете?» — «Успѣемъ-ста. Семенъ Яковличъ проститъ».

Семена начинало за живое, наконецъ, трогать.

— Что, паря, больно ужъ конфузишь? и еще передъ бариномъ? — проговорилъ онъ.

Петръ сначала засмѣялся, потомъ закашлялся.

— Что мнѣ тебя, голубчикъ, конфузить? — началъ онъ, едва отдыхая отъ кашля: — не за что! Ты вѣдь выдался не изъ плутовъ, а только изъ дураковъ.

Семенъ махнулъ рукой. Мнѣ стало ужъ жаль его.

— Я, напротивъ, очень доволенъ Семеномъ; мнѣ такого смирнаго и добраго приказчика и надо, — сказалъ я.

Петръ посмотрѣлъ мнѣ въ лицо.

— У тебя какой чинъ-то: большой али нѣтъ? — спросилъ онъ вдругъ.

— Титулярный совѣтникъ — капитанъ, значитъ, — отвѣчалъ я.

— Не чиновенъ же ты, братъ! Вонъ у насъ баринъ, такъ генералъ; а ты, видно, и служить-то не охочъ. Барыню-то въ замужество хошь богатую ли взялъ?

— Нѣтъ, не богатую, а по сердцу.

— По сердцу, ну, да! — возразилъ Петръ.—Пропащее твое дѣло, какъ я посмотрю на тебя. А ты бы дослужился до большихъ чиновъ, невѣсту бы взялъ богатую, въ вотчину бы свою пріѣхалъ въ каретѣ осьмерикомъ, усадьбу бы сейчасъ всю каменную выстроилъ, дурака бы Сеньку своего въ лисью шубу нарядилъ.

— Это кому какъ Богъ дастъ. Ты вотъ и самъ не богатъ, — сказалъ я.

— Что тебѣ примѣры-то съ меня брать? А пожалуй, выходитъ, что и взаправду въ меня пошелъ — такой же дурашный,—отрѣзалъ начисто Петръ.

— Больно ужъ смѣло, Петръ Алексѣичъ, говоришь! — замѣтилъ Сергѣичъ, опасавшійся, кажется, чтобъ я не обидѣлся.

— Что смѣло-то? Али по-твоему, лиса безхвостая, лясы да балясы гладкія точить? — отвѣчалъ ему Петръ и отнесся ко мнѣ, показывая на Сергѣича:—Вѣдь прелукавый старичишко, кто его знаетъ: еще по сю пору за дѣвками бѣгаетъ, уговоритъ да умаслитъ ловчѣй молодого.

Сергѣичъ слегка покраснѣлъ.

— Полно, другъ сердечный! — возразилъ онъ: — что тебѣ на меня воротить, лучше объ себѣ открыть; теперь-то на седьмую версту носъ вытянулъ, а молодымъ тоже помнимъ: высокій да пригожій, только дѣвкамъ и угожій.

При этихъ словахъ, неизвѣстно почему, Матюшка вдругъ засмѣялся. Петръ на него посмотрѣлъ.

— Ты чему, дуракъ, смѣешься? али знаешь, какъ дѣвки любятъ? — спросилъ онъ.

— Нѣту, дяденька, я этого не знаю, нѣту-ти, — отвѣчалъ тотъ простодушно.

— И ладно, что нѣту; дуракова рода, говорятъ, нынче разводить не приказано. Пузичевъ сынишко послѣдній въ племя пущенъ, проговорилъ Петръ, и потомъ прибавилъ, какъ бы самъ съ собою: — было, видно, и наше времечко; бывало, може такъ, что молодицы въ Семеновскомъ-лапотномъ, на базарѣ, изъ-за Петрушки шлыками дирались — подопьютъ тоже.

— Изъ-за кости съ мозгомъ, Петръ Алексѣичъ, и собаки грызутся... Хорошую ягоду издалече ходятъ брать, — сказалъ Сергѣичъ.

— Стало-быть, ты смолоду, Петръ, волокита былъ? — спросилъ я его.

Онъ усмѣхнулся.

— Волокитствовалъ, сударь, — отвѣчалъ за него Сергѣичъ: — сторонка наша, государь мой милостивый, не противъ здѣшнихъ мѣстъ: веселая, гулливая, дѣвки толстыя, изъ-себя пригожія, нарядныя; Петръ Алексѣичъ поначалу въ нѣгѣ жилъ, молвить такъ: на пивѣ родился, на лепешкахъ поднялся — да!

— Въ Дьяковѣ, голова, была у меня главная притона, слышь,—началъ Петръ:— день-то денской, вѣстимо, на работѣ, такъ ночью, братецъ ты мой, по этой хрюминской пустынѣ и лупишь. Теперь, голова, днемъ идешь, такъ боишься, чтобы на звѣря не наскочить, а въ тѣ поры ни страху ни устали!

— Значитъ, сердцемъ шелъ, а не ногами, — замѣтилъ Сергѣичъ.

— Какое тутъ къ ляду сердцемъ! — возразилъ Петръ: — я на это былъ крѣпокъ собой, привязки у меня никогда не было, а такъ, баловство, вонъ какъ и у Сеньки же.

— Что тебя Сенька-то трогаетъ? Все бы тебѣ Сеньку задѣть! — отозвался Семенъ.

— Ты молчи лучше, клинья борода, не серди меня, а не то сейчасъ обличу,— сказалъ ему Петръ.

— Не въ чемъ, братъ, меня обличать,— проговорилъ кротко, но не совсѣмъ спокойно Семенъ.

— Не въ чемъ? А ну-ка сказывай, какъ молодымъ бабамъ десятины мѣряешь? Что? потупился? Самъ вѣдь я своими глазами видѣлъ: какъ, голова, молодой бабѣ мѣрять десятину, все коловъ на двадцать, на тридцать проститъ, а она и помни это; получка послѣ будетъ!

Семенъ не вытерпѣлъ и плюнулъ.

— Тьфу, грѣховодникъ! мели больше!— проговорилъ онъ.

— Ты не плюйся, а водки-то поднеси,— сказалъ Петръ.

— Мелево мелево и есть, — говорилъ Семенъ, поднося водку.

Петръ, выпивъ, опять надолго закашлялся какимъ-то глухимъ, желудочнымъ кашлемъ.

— Вели подносчику-то своему выпить; у него давно слюнки текутъ, — обратился онъ ко мнѣ, едва отдыхая отъ кашля, и замѣчаніемъ этимъ сконфузилъ и меня и Семена.

— Выпей, Семенъ; что жъ ты самъ не пьешь? — поспѣшилъ я сказать.

— Слушаю-съ, — отвѣчалъ растерявшійся Семенъ, налилъ себѣ черезъ край стаканъ и выпилъ.— Я теперь пойду и отнесу штофъ въ горницу, — прибавилъ онъ.

— Ступай, — сказалъ я.

Семенъ ушелъ. Онъ, кажется, нарочно поспѣшилъ уйти, чтобъ избавиться отъ колкихъ намековъ Петра; тотъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ съ насмѣшкою и обратился ко мнѣ:

— Ты, баринъ, взаправду не осердись, что я просто съ тобой говорю; коли хочешь, такъ я и отстану.

— Напротивъ, я очень люблю, когда со мной говорятъ просто.

— Это вѣдь ужъ мы съ этимъ старымъ дѣвушникомъ, Сергѣемъ, давно смекнули.

— Смекнули? — спросилъ я.

— Смекнули, — отвѣчалъ Петръ. — Ты не смотри, что мы съ нимъ въ лаптяхъ ходимъ, а вѣдь на три аршина въ землю видимъ. Коли ты не сердишься, что съ тобой просто говорятъ, я, пожалуй, тебя прощу и на ухо тебѣ скажу: ты не дурашный, а умный — слышь? А все, братецъ ты мой, управляющему своему, Сенькѣ, скажи отъ меня, чтобъ онъ палку-понукалку не на полатяхъ держалъ, а и на полосу временемъ выносилъ: нашъ братъ мужикъ — плутъ; какъ узнаетъ, что въ передкѣ плети нѣтъ, такъ мало, что не повезетъ, да тебя еще осѣдлаетъ. Я это тебѣ говорю, сочти хоть такъ, за вино твое! Скажемъ по мужикѣ, да надо сказать и по баринѣ.

— За совѣтъ твой спасибо, — сказалъ я: — только самъ вотъ ты отчего все кашляешь?

— Боленъ я, братецъ ты мой.

— Чѣмъ же?

— Нутромъ, порченый я, — отвѣчалъ Петръ, и лицо его мгновенно приняло, вмѣсто насмѣшливаго, какое-то мрачное выраженіе.

— Кто жъ это тебя испортилъ?—спросилъ я. Петръ молчалъ.

— Кто его испортилъ? — отнесся я къ Сергѣичу.

— Не знаю, государь милостивый; его дѣла! — отвѣчалъ уклончиво старикъ.

— Не знаетъ, сѣдая крыса, словно и взаправду не знаетъ, — отозвался Петръ.

— Знать-то, другъ сердечный, може и знаемъ, да только то, что много переговоришь, такъ тебѣ, пожалуй, не угодишь,— отвѣчалъ осторожный Сергѣичъ, который, кажется, чувствовалъ къ Петру если не страхъ, то, по крайней мѣрѣ, замѣтное уваженіе.

— Что не угодить-то? не на дорогу ходилъ! — сказалъ Петръ и задумался.

— Что такое съ нимъ случилось?—спросилъ я Сергѣича.

— По дому тоже, государь милостивый, вышло, — отвѣчалъ опять непрямо старикъ.—Мы, вѣдь, батьки-мужики—дураки, мотуновъ да шатуновъ дѣтокъ, какъ и я же, грѣшный, жалѣемъ, а коли парень хорошъ, такъ давай намъ всего: и денегъ въ домъ посылай и хозяйку приведи работящую и богатую, чтобъ было батькѣ гдѣ по праздникамъ гостить да вино пить.

— Въ моемъ, голова, дѣлѣ, батька ничего, — возразилъ Петръ: — все отъ Ѳедоски идетъ. Въ самую еще мою свадьбу за краснымъ столомъ въ обиду вошла...

— Что жъ такъ неугодно ей было?— спросилъ Сергѣичъ.

— Неугодно ей, братецъ ты мой, показалось, что наливкой не угощали; для дѣдушки Сидора старухи была, слышь, наливка куплена, такъ зачѣмъ вотъ ей уваженья не сдѣлали и наливкой тоже не потчевали, — отвѣчалъ Петръ. (Въ лицѣ его ужъ и тѣни не оставалось веселости).

Сергѣичъ покачалъ головой.

— Кто такая эта Ѳедосья?—спросилъ я.

— Мачеха наша,—отвѣчалъ Петръ, и продолжалъ: — стола-то, голова, не досидѣла, выскочила; батька, слышь, унимаетъ, проситъ: ничего не властвуетъ — выбѣжала, знаешь, на дворъ, сама лошадь заложила и удрала; иди, батька, значитъ, пѣшкомъ, коли ей не угодили. Смѣхоты, голова, да и только въ тѣ поры было!

Сергѣичъ опять покачалъ головой.

— Командирша была, другъ сердечный, надъ старикомъ; слыхали мы это и видывали.

— Командирша такая, голова, была, что синя пороха безъ ея воли въ домѣ не слу-

валось. Бывало, голова, не то ужъ хозяйка моя, приведенная въ домъ, а дѣвки-сестры придутъ иной разъ изъ лѣсу голодныя, не смѣютъ вѣдь, братецъ ты мой, безъ спросу у ней въ лукошко сходить да конецъ пирога отрѣзать; все батькѣ въ уши, а тотъ сейчасъ и оговоритъ: такъ изъ куска-то хлѣба, голова, принимать кому это складно?

— Злая баба въ дому хуже чорта въ лѣсу — да: отъ того хоть молитвой да крестомъ отойдешь, а эту пестомъ не отобьешь,— проговорилъ Сергѣичъ, и потомъ, вздохнувъ, прибавилъ:—ваша Ѳедосья Ивановна, другъ сердечный, Петръ Алексѣичъ, у сердца у меня лежитъ. Сережка мой, може, изъ-за нея и погибаетъ. Много народу видѣло, какъ она въ Галичѣ съ нимъ въ харчевнѣ деньгами руководствовала.

Петръ махнулъ рукой.

— Говорить-то только неохота, — пробунчалъ онъ про себя.

— Да, то-то,—продолжалъ Сергѣичъ:— было ли тамъ у нихъ что — не вѣдаю, а болтовни про нее тоже много шло. Вотъ и твое дѣло: за краснымъ столомъ въ обиду вошло, а може не съ наливки сердце ея надрывалось, а жаль было твоего холоства и свободушки — да.

Петръ еще больше нахмурился.

— Песъ ее, голова, знаетъ! А пожалуй, на то смахивало, — отвѣчалъ онъ и замолчалъ.

Я видѣлъ, что Сергѣичъ и Петръ такъ разговорились, что ихъ не надобно уже было спрашивать, а достаточно было предоставить имъ говорить самимъ, и они многое разсказывали бы; но мнѣ хотѣлось направить разговоръ на предметъ, по преимуществу меня интересовавшій, и потому я спросилъ.

— Тебя мачеха твоя, вѣроятно, и испортила?

Петръ, вмѣсто отвѣта, кивнулъ мнѣ головой.

— Какимъ же образомъ она тебя испортила?

Петръ посмотрѣлъ на меня съ насмѣшкой и отвѣчалъ съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ:

— Да я почемъ знаю! Какой ты, баринъ, право!

— Что жъ такое?

— Да какъ же! Скажи ему, какъ портятъ? Я не колдунъ какой.

— Почему жъ ты думаешь, что тебя испортили?

— Перестань-ка: разговаривать что-то съ тобой не охота; больно ужъ ты любопытенъ!—отвѣчалъ Петръ съ досадою.

Предыдущій разговоръ замѣтно возбудилъ въ немъ желчное расположеніе.

— Не собою, государь милостивый, узналъ,—вмѣшался хитрый Сергѣичъ, видѣвшій, что мнѣ любопытно знать, а Петръ не хочетъ отвѣчать и начинаетъ сердиться:—самому гдѣ экое дѣло узнать!— продолжалъ онъ:—тоже хворалъ, хворалъ, значитъ, и выискался хорошій человѣкъ— да!—сказалъ, какъ и отчего.

— Кто же это такой хорошій человѣкъ?— спросилъ я.

— Колдунъ у насъ, батюшка, былъ въ деревнѣ Печурахъ,—отвѣчалъ Сергѣичъ:— такъ прозывался «печурскій старичище».

— Плутомъ, голова, въ народѣ обзывался, а мнѣ все сказалъ, — перебилъ Петръ.

— Плутъ ли тамъ, али нѣтъ, кто про то знаетъ?— возразилъ Сергѣичъ: —а что старикъ былъ мудрый, это что говорить! Что вѣдь народу къ нему ѣздило всякаго: и простого, и купества, и господъ — другой тоже съ болѣстью, другой съ порчей этой, иной погадать, гдѣ пропащее взять, или поворожиться, чтобы съ женкой подружиться. И такое, государь, заведенье у него было,—продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—жилъ онъ тоже бобылькомъ, своимъ домкомъ, въ избушкѣ, далече отъ селенья, почесть что на полѣ: и все калитка назаперти. Теперича, другое иное время, народъ видитъ, что онъ подъ окошечкомъ сидитъ, лапотки поковыриваетъ, али тамъ около печки кряхтитъ, стряпаетъ тоже кое-что про себя; а какъ кто, сударь, подъѣхалъ, онъ калитку отперъ и въ голбецъ сейчасъ спрятался; ты, примѣрно, въ избу идешь, а онъ отколь изъ голбца и лѣзетъ: сѣдой, старый, бородища нечесаная; волосищи на головѣ какъ овинъ, носъ красный, голосище сиплый. Я тоже старшую сношку посылалъ къ нему: овцы у насъ запропали; такъ въ избу-то войти вошла, а какъ увидѣла его, взвизгнула и бѣжать — испугалась, значитъ. И кто бы теперь къ нему ни пришелъ, сейчасъ и ставь штофъ вина, а то и разговаривать не станетъ: ломъ былъ такой пить, что на удивленіе только!

— Штофъ купить не разоренье,—возразилъ Петръ:—я тѣмъ временемъ въ Галичѣ рублевъ полтораста пролѣчилъ; бралъ-бралъ у Пузича денегъ, да и полно! Дошелъ до того, голова, ни хлѣба въ домѣ ни одежи ни на себѣ ни на хозяйкѣ; на работу силы никакой не стало; голодный еще кое-какъ маешься, а какъ поѣлъ, смерть да и только: у сердца схватитъ, съ души тянетъ; бывало, иной разъ на работѣ али въ полѣ, повалишься на лугъ, да и катаешься часъ-два, какъ лошадь въ чимерѣ. Не смогъ, братецъ ты мой, до Печуръ-то дойти, хозяйкѣ велѣлъ ужъ телѣгу заложить, повалился, словно пластъ; до чего бы дошелъ, и Богъ вѣдаетъ. Пріѣхали въ тѣ поры къ нему; хозяйка подала ему полштофчика, вылилъ, голова, въ ковшикъ, выпилъ сразу и тутъ же ворожить сталъ. «Поди, говоритъ хозяйкѣ, почерпни въ этотъ ковшикъ въ сѣняхъ изъ кадки воды; вино, говоритъ, не споласкивай, а такъ и черпай, какъ я пилъ». Принесла та, братецъ ты мой; онъ подалъ мнѣ: «гляди, говоритъ, отъ кого твоя болѣсть идетъ»; тутъ, голова, мачеху мнѣ въ водѣ и показалъ.

— Какъ же ты, въ ковшѣ ее и видѣлъ?—спросилъ я.

— Въявь, словно въ зеркалѣ,—отвѣчалъ Петръ.

— Полно, Петръ; ты это думалъ, такъ тебѣ такъ и показалось,—сказалъ я.

— Ну, да, показалось. Вы, баря, все не вѣрите; больно ужъ умны! Не пьяному показалось: у меня въ тѣ поры, не то что вина, куска во рту не бывало. Смотрю, голова, и вижу. «Видишь ли?» говоритъ онъ мнѣ.—«Вижу, говорю, дѣдушка». — «Ну, братъ, ладно, говоритъ, что на меня наскочилъ. Твой лихой человѣкъ себя на сорока травахъ заговорилъ, никто бы тебѣ, окромя меня, не открылъ бы его.»

— Осилилъ, значитъ,—замѣтилъ Сергѣичъ.

— Осилилъ, голова. «Я, говоритъ, знаю пятьдесятъ три травы; теперь, говоритъ, клади на столъ сколько денегъ привезъ, а тутъ и скажу, что надо». Хозяйка, голова, положила четвертакъ—удовольствовался.

— Капиталы не жадный былъ копить: вино чтобъ было только пить, а денегъ сколько-нибудь дай—доволенъ,—замѣтилъ Сергѣичъ.

— Какое, голова, жадный! взялъ, хоша бы тутъ четвертакъ, и все сдѣлалъ. «Теперь, говоритъ, ступай ты домой, слышь? Пять зорь умывайся росой, на шестую зорю ступай къ третьимъ отъ здѣшняго селенья воротцамъ, и иди ты все вправо, по перегородкѣ; тутъ ты увидишь, что всѣ колья, что подпираютъ, нескобленые; одинъ только колъ скобленый; ты этотъ колъ переруби, обкопай его кругомъ, и найдешь ты тутъ ладанку, и на этой ладанкѣ наговоръ противъ тебя и сдѣланъ».

— Онъ, вѣроятно, самый этотъ колъ и воткнулъ,—сказалъ я.

Петръ разсердился.

— Да, да, разсудилъ, какъ размазалъ!—возразилъ онъ.—Вотъ онъ тоже этакаго хватика баринка, какъ ты—тотъ тоже все смѣялся да не вѣрилъ, такъ онъ такъ ему отшутилъ, что хозяйка опосля любить и не стала, да и въ люди еще пошла.

— Было, было это дѣло,—подтвердилъ Сергѣичъ,—а теперича,—продолжалъ онъ обращаясь ко мнѣ,—коли свадьбы облизъ его были, всѣ ужъ забезпремѣнно звали его да угощали, а то навѣкъ жениха не человѣкомъ сдѣлаетъ...

— Да что, голова,—перебилъ Петръ,—пять лѣтъ вѣдь, братецъ ты мой, я ходилъ и колъ этотъ видѣлъ, только ничего не помекалъ на него. Всю перегороду опосля хозяйка обѣжала: всѣ колья на подборъ нескобленые, одинъ только онъ оскобленый. Для ча?... для какой надобности?..

— Такъ ужъ, видно, надо имъ было,—возразилъ Сергѣичъ.

— А окромя кола,—продолжалъ Петръ,—все, до послѣдней малости, нашелъ по его сказанью, какъ по писаному. «Какъ, говоритъ, ты эту ладанку сыщешь, въ ней, говоритъ, бумажка зашита—слышь? Бумажку эту ты вынь и дай кому хошь грамотному прочесть, и какъ, говоритъ, тебѣ ее причитаютъ, ты ее часу при себѣ не оставляй, а пусти на вѣтеръ отъ себя». А про ладанку, братецъ ты мой, сказалъ: «Перелѣзь, говоритъ, ты черезъ огородъ и закопай ее на какомъ хошь мѣстѣ и воткни новый колъ, оскобленый, и упри его въ перегородку; пять зорь опосля того опять умывайся росой, а на шестую ступай къ перегородѣ: коли коликъ твой не перерубленъ и ладанка тутъ—значитъ, весь заговоръ ихъ пропалъ; а коли твое дѣло попорчено—значитъ, и съ

той стороны сила большая». Все сдѣлалъ, голова, по его: однако на шестую зорю пришелъ: колъ мой перерубленъ, и вся земля кругомъ взрыта, словно медвѣдь съ убоиной возился.

— Осердились, значитъ!—проговорилъ Сергѣичъ.

— То-то, видно, не по нраву пришлось, что дѣло ихъ узнано, — отвѣчалъ Петръ; потомъ, помолчавъ, продолжалъ:—Удивительнѣе всего, голова, эта бумажка: въ ней было всего только четыре слова: *напади тоска на душу раба Петра*. Какъ мнѣ ее, братецъ, одинъ человѣкъ прочиталъ, я всталъ подъ вѣтромъ и пустилъ ее отъ себя—такъ, голова, съ версту летѣла, изъ глазъ-на-ли пропала, а на землю не падаетъ.

Проговоривъ это, Петръ задумался. Нѣкоторое время разговоръ между ними прекратился.

— Я все, другъ сердечный, дивуюсь,— началъ Сергѣичъ глубокомысленно: — отъ кого это ваша Ѳедосья науки эти произошла! По нашимъ мѣстамъ, окромя этого старичищи, не отъ кого заняться.

— Э, голова, нѣтъ, не то!—возразилъ Петръ:—я ужъ это дѣло опосля узналъ, у нихъ въ роду это есть.

— Въ роду? вотъ те что!—воскликнулъ Сергѣичъ.

— Да, въ роду,—продолжалъ Петръ.— Може, не помнишь ли ты, отъ Парѳенья старушонка къ намъ въ селенье переѣхала, нашей Ѳедоскѣ сродственница? Ну, у насъ въ избѣ, братецъ ты мой, и поселилась, на голбцѣ у насъ и околѣла—въ тѣ поры никому невдомекъ, а она была колдунья сильная...

— Вотъ те что!..—повторилъ еще разъ Сергѣичъ.

— Батька, ты думаешь, спроста женился? — продолжалъ Петръ: — какъ бы, голова, не такъ! Самъ посуди: старику былъ шестой десятокъ, пять лѣтъ вдовствовалъ, дѣвки на возрастѣ, я тоже въ подросткахъ не малый — пошто было жениться?

— Еще какъ, другъ сердечный, пошто-то!—замѣтилъ Сергѣичъ.

— Вдругъ, голова, пожила у насъ Ѳедоска лѣто въ работницахъ, словно сблаговалъ старикъ, говоритъ: «Я еще въ норѣ, мнѣ безъ бабы не жить!» Такъ возьми ровню; мало ли у насъ въ вотчинѣ вдовъ пожилыхъ! А то, голова, взялъ изъ чужой вотчины дѣвку двадцати лѣтъ; въ тѣ поры скрылъ, а опосля узналось: двѣсти пятдесятъ выкупу за нее далъ—отъ какихъ, паря, денегъ!..

Сказавъ это, Петръ опять впалъ въ раздумье.

— Что жъ, тебѣ лучше стало послѣ, какъ ты былъ у старичищи?—спросилъ я его.

— Лучше не лучше, по крайности живъ остался,—отвѣчалъ онъ.

— Ты, однако, Петръ Алексѣичъ, долго про нее не сказывалъ да не оказывалъ!— сказалъ Сергѣичъ.

— Я ее совсѣмъ не оказывалъ, такъ и скрылъ: батьку все жалѣлъ, — отозвался Петръ, не измѣняя своего задумчиваго положенія.

Проговоривъ это, Петръ вздохнулъ и потомъ вдругъ поднялъ голову.

— Будетъ! баста!—сказалъ онъ:—пора ужинать. Барину, я вижу, любо наше каляканье слушать, а намъ все пѣтуховъ будить придется. Матюшка, дуракъ! подай шапку: вонъ лежитъ на бревнахъ.

Матюшка подалъ ему.

— Спасибо, — продолжалъ Петръ: — я тебя за это въ первый разъ, какъ хлестать станутъ, за ноги подержу, и ужъ крѣпко, не бойся, не вывернешься.

— Да за что меня хлестать станутъ?— спросилъ Матюшка.

— И по-моему, братецъ, не за што! душа ты кроткая, голова крѣпкая, — проговорилъ Петръ и постучалъ Матюшку въ голову.—Вона, словно въ пустомъ овинѣ. Ничего, Матюха, не печалься. Проживешь ты вѣкъ, словно кашу съѣшь. Маршъ, ребята! — заключилъ онъ вставая.

— За угощенье твое благодаримъ, государь милостивый, — сказалъ Сергѣичъ кланяясь.

— Да ты ниже кланяйся, старый хрѣнъ! всю жизнь спину гнулъ, а не изловчился на этомъ! — подхватилъ Петръ, нагиная старику голову.

Сергѣичъ засмѣялся, Матюшка тоже захохоталъ.

— Прощай, баринъ, — продолжалъ Петръ, надѣвая шапку.—Правда ли, дворовые твои хвастаютъ, что ты книги печатныя про мужиковъ сочиняешь? — прибавилъ онъ пріостановясь.

— Сочиняю, — отвѣчалъ я.

— Ой ли? — воскликнулъ Петръ. — Въ грамотѣ я не умѣю, а почиталъ бы. Коли такъ, братецъ, такъ сочини и про меня, а о дѣдушкѣ Сергѣичѣ напиши такъ: «шестьдесятъ, молъ, восьмой годъ, слышь! ни одного зуба во рту, а за дѣвками бѣгаетъ».

— Полно, балагуръ, полно! Пойдемъ ужинать, коли собрался! — сказалъ Сергѣичъ, слегка толкнувъ Петра въ спину.

— Пойдемте, — отвѣчалъ тотъ и обнялъ одною рукой Матюшку.

Веселость Петра, впрочемъ, вспыхнула на минуту: онъ опять потупилъ голову. Всѣ они пошли неторопливо, и я еще долго смотрѣлъ имъ вслѣдъ, глядя на нетвердую и заплетающуюся походку Сергѣича, на безпечную, но здоровую поступь кривоногаго Матюшки, наконецъ, на задумчивую и сутуловатую фигуру Петра.

## V.

Успеньевъ день — у насъ въ приходѣ праздникъ. Это можно ужъ догадаться по тому, что кучеръ мой, Давыдъ, между нами сказать, сильный бахвалъ и большой охотникъ до парадныхъ выѣздовъ, еще въ семь часовъ утра, едва успѣлъ я встать, пришелъ въ горницу.

— Что тебѣ? — спрашиваю я.

— Изволите ѣхать молиться къ обѣднѣ, или нѣтъ-съ? Коли поѣдете, такъ лошадей надо припасти.

Собственно говоря, лошадей совершенно нечего припасать, а стоитъ только вывести изъ конюшни и заложить, и Давыдъ, я знаю, пришелъ спрашивать, чтобъ скорѣе успокоить свое ожиданіе насчетъ того, удастся ли ему проѣхать и пофорсить.

— Поѣду, — говорю я.

У Давыда отъ удовольствія кровь бросается въ лицо.

— Жеребцовъ вѣдь припасти? — спрашиваетъ онъ.

— Нѣтъ, братецъ, разгонныхъ бы, — говорю я.

— На разгонныхъ нельзя, вся ваша воля: разгонныя лошади совсѣмъ смучены; а что эти одры стоятъ только да овесъ ѣдятъ! Хошь мало-мальски промнутся, — возражаетъ Давыдъ съ вытянувшимся лицомъ, и я убѣжденъ, что одна мысль: ѣхать на разгонныхъ къ празднику — была для него мученьемъ.

— Ну, хорошо, на жеребцахъ поѣдемъ, — говорю я: — только уговоръ лучше денегъ: въ сараѣ не изволь ихъ муштровать и хлестать, а то они у тебя выскакиваютъ, какъ бѣшеные, и, подъѣзжая къ приходу, не скакать благимъ матомъ, а то, пожалуй, или себѣ голову сломишь, или задавишь кого-нибудь.

— Не извольте безпокоиться. Господи, Боже мой! не первый годъ ѣзжу! — говоритъ Давыдъ и потомъ, постоявъ немного, присовокупляетъ: — Кафтанъ синій надо надѣть-съ?

— Конечно, — говорю я.

— Кушакъ тоже шелковый? — прибавляетъ онъ.

— Конечно, конечно, — подтверждаю я, не понимая еще, къ чему онъ ведетъ этотъ разговоръ: синій кафтанъ и шелковый кушакъ находятся совершенно въ его распоряженіи.

— Вы, этта, изволили говорить, перчатки зеленыя купить мнѣ въ Чухломѣ.

— Ну, да! Что жъ?

— Не для чего покупать-съ... У Семена Яковлича еще послѣ папеньки вашего лежатъ кучерскія перчатки; не даетъ только безъ вашего приказанія, а перчатки важныя еще! — разрѣшаетъ, наконецъ, Давыдъ, къ чему онъ клонилъ разговоръ.

— Хорошо; скажи, чтобъ далъ, — говорю я.

И Давыдъ, очень довольный, отправляется. Надобно сказать, что онъ очень хорошій кучеръ и вообще малый трезваго поведенія и добраго нрава, но имѣетъ одну слабость: прихвастнуть и прихвастнуть не о себѣ, а все какъ бы въ мою пользу. Вдругъ, напримѣръ, разскажетъ гдѣ-нибудь на станціи, на которой насъ обоихъ съ нимъ очень хорошо знаютъ, что я графъ, генералъ, и что у меня тысяча душъ, или ошибетъ какого-нибудь сосѣда-мужика, что у насъ двадцать жеребцовъ на стойлѣ стоятъ. Когда я бываю съ нимъ иногда въ городѣ и даю ему полтинникъ на чай, онъ этотъ полтинникъ никогда не издержитъ, но, воротившись домой, выброситъ его на столъ передъ своей семьей и скажетъ: «на-те-ста: только и осталось отъ пяти серебромъ баринова подареньица». Кромѣ этихъ внѣшнихъ достоинствъ, онъ любилъ меня украшать и внутренними, нравственными качествами; такъ, напримѣръ, припишетъ мнѣ храбрость неимо-

вѣрную, въ разсказѣ такого рода, что разъ будто бы мы ѣхали съ нимъ ночью и встрѣтили медвѣдя, и онъ, испугавшись, сказалъ: «баринъ, я пущу лошадей», а я ему на это сказалъ: «подержи немного, жалко медвѣжьей шкуры», и убилъ медвѣдя изъ пистолета; тогда какъ я въ жизнь свою воробья не застрѣливалъ.

Давыдъ, несмотря на мои просьбы и наставленія, распорядился по-своему: лошади, весьма добронравныя и хорошо проѣзженныя, вылетѣли изъ сарая, какъ бѣшеныя, такъ что онъ, повалившись совершенно назадъ, едва остановилъ ихъ у крыльца. Я убѣжденъ, что онѣ жесточайшимъ образомъ нахлестаны; кромѣ того, коренную онъ, по обыкновенію, взнуздалъ бечевкой, чтобъ круче шею держала, а бѣднымъ пристяжнымъ притянулъ головы совершенно къ землѣ, такъ что у нихъ глаза и ноздри налились кровью. Напрасно я возставалъ противъ этой его системы закладыванья, на всѣ мои замѣчанія онъ отвѣчалъ: «господа всѣ такъ ѣздятъ, красивѣе этакъ!..» Въ настоящемъ случаѣ я ничего ужъ и не говорилъ, и только просилъ его, ради Бога, не гнать лошадей, а ѣхать легкой рысью: онъ сначала какъ будто бы послушался; но въ нашемъ же полѣ, увидѣвъ, что идутъ изъ Утробина двѣ молоденькія крестьянки, не могъ удержаться и, вскрикнувъ: «эхъ вы, миленькія!» понесся, что есть духу.

— Неужели ты, Давыдъ, думаешь, что насъ молодцами за это сочтутъ? Напротивъ, дураками! — принимался я было ему втолковывать, но все напрасно! Подъѣзжая къ приходу, онъ весь какъ-то ужъ изломался, шапку свернулъ набекрень, самъ тоже перегнулся, вожжи натянулъ, какъ струны, а между тѣмъ пошевеливаетъ ими, чтобъ горячить лошадей. День былъ свѣтлый, отъ прихода несся говоръ народа, и раздавался благовѣстъ во вся; по дорогѣ шло пропасть народу, и всѣ мнѣ кланялись.

— Матка, чей баринъ-то? — говоритъ одна старуха другой.

— Ѳилата Гаврилыча, матка, сынъ, али не узнала? — отвѣчаетъ ей та.

— Ну, вотъ, какой хорошій да пригожій! — говоритъ первая старуха.

На худой лошаденкѣ, которыя обыкновенно называются вертохвостками, гарцуетъ нѣкто Ѳомка Козыревъ, лакей и управляющій одной вдовы-помѣщицы. Ужъ три года, какъ Ѳомка сталъ являться на всѣхъ праздникахъ, въ плисовыхъ штанахъ, въ плисовой поддевкѣ, съ серебряными часами; путемъ поклониться ни съ кѣмъ не хочетъ, простого вина не пьетъ, а все давай ему наливокъ. Жареныхъ пышекъ на иной ярмаркѣ на рубль серебра съѣстъ въ день, а орѣхи безъ перемежки въ карманѣ насыпаны. За это, и по другимъ уважительнымъ причинамъ, его и прозвали *полубариномъ*. Завидѣвъ меня и замѣчая, что я начинаю его обгонять, онъ также, въ свою очередь, начинаетъ горячить лошадь, а самъ представляетъ, что совладѣть съ ней не сможетъ. Лошаденка завертѣла хвостомъ и пошла бокомъ забирать, все дальше и дальше, въ сторону.

Чѣмъ ближе къ селу, тѣмъ больше обгоняешь народу. Какія у всѣхъ довольныя лица, а между тѣмъ какъ мало надобно, чтобъ доставить этимъ людямъ это удовольствіе! Придетъ иной верстъ за десять пѣшкомъ къ приходу, помолится, а тутъ и отправится въ деревню, гдѣ празднуютъ. Хорошо еще, у кого есть родные: тотъ прямо идетъ гоститься, т.-е. выпить, пообѣдать, поболтать; а у кого нѣтъ, такъ взойдетъ въ избу несмѣло и проговоритъ какимъ-то страннымъ голосомъ: «съ праздникомъ, хозяева честные, поздравляемъ». Хозяинъ, который ужъ дѣйствительно ничего не жалѣетъ, но котораго въ то же время одолѣваютъ гости, проговоривъ: «сейчасъ, голубчикъ, сейчасъ», поспѣшитъ ему дать рюмку водки, пирога и пива; гость это все выпьетъ, съѣстъ и отправится въ другую избу, и такимъ образомъ къ вечеру наберется порядочно.

Къ величайшему неудовольствію Давыда, я не допустилъ его произвести эффектъ, проѣзжая по улицѣ села, а велѣлъ ѣхать задами и пошелъ самъ пѣшкомъ. У церковныхъ воротъ пересѣкъ мнѣ дорогу маленькій семинаристикъ, въ длиннополомъ нанковомъ зеленомъ сюртучкѣ.

— Здравствуйте, папенька крестный, — проговорилъ онъ.

Когда я его крестилъ? — совершенно не помню.

— Здравствуй, милый! Ты чей?

— Отца дьякона, папенька крестный, — отвѣчалъ онъ.

— А! отца дьякона! Это хорошо... Что, обѣдня идетъ или нѣтъ?

— Начинается, папенька крестный, — отвѣчаетъ онъ и, какъ человѣкъ привычный, пошелъ впереди, расталкивая для меня народъ.

Въ церкви, у лѣваго клироса, стоятъ двѣ барышни, небогатыя прихожанки. Я убѣжденъ, что до моего появленія онѣ молились усердно, но какъ увидали меня, такъ и начали модничать. Мнѣ всегда нѣсколько грустно видѣть ихъ у прихода. Зачѣмъ онѣ не ходятъ въ просто причесанныхъ волосахъ, а какъ-нибудь всегда ихъ взобьютъ? Зачѣмъ онѣ носятъ эти собственнаго рукодѣлья шляпы изъ полинялой шелковой матеріи, съ полинялыми лентами? Зачѣмъ такъ безбожно крахмалятъ свои кисейныя платья и, наконецъ, зачѣмъ по преимуществу старшая произноситъ все въ носъ? Я подозрѣваю, что, говоря такимъ образомъ, она воображаетъ, что говоритъ по-французски.

Послѣ обѣдни я хотѣлъ было пройтись по ярмаркѣ, но меня остановила проживающая въ селѣ немолодая тоже дѣвица изъ духовнаго званія, по имени Арина Семеновна, дѣвица большая краснобайка и очень неглупая.

— Позвольте, батюшка Алексѣй Өеофилактычъ, — начала она, — просить васъ осчастливить меня вашимъ посѣщеніемъ. Я еще пользовалась милостями вашего папеньки, маменьки; по добротѣ своей и великодушію, они никогда не брезговали посѣщать мою сиротскую хижину. Слухъ тоже, батюшка, и про васъ идетъ, что вы въ папеньку — не гордые.

— Съ большимъ удовольствіемъ, сударыня; но меня звалъ отецъ Николай, чтобъ мнѣ туда не опоздать, — сказалъ я.

— Отецъ Николай, батюшка, долго еще изволятъ пробыть въ церкви, такъ какъ теперича простой народъ молебны будетъ служить, а вы, по крайности, тѣмъ временемъ чайку или кофейку у меня откушаете.. Богато-небогато сударь, живу, а все на пріемъ такихъ дорогихъ гостей имѣю.

— Очень хорошо, сударыня, извольте.

— Не знаю, какъ и благодарить за ваши милости, — сказала мнѣ съ поклономъ Арина Семеновна и отнеслась къ идущимъ за мной двумъ барышнямъ: — Нимфодора Михайловна, Минодора Михайловна, позвольте и васъ просить къ себѣ на чашку чаю: я у васъ частая гостья; гощу, гощу, и стыда не знаю, а васъ въ своемъ домѣ давно не имѣла счастія видѣть.

— О, нѣтъ, вы этого не можете сказать: мы у васъ тоже частыя гостьи! — произнесла совершенно въ носъ старшая сестра Нимфодора.

— Кабы еще чаще, еще бы я была больше осчастливлена, — сказала Арина Семеновна.

Всѣ мы такимъ образомъ пошли къ ней. Я видѣлъ, что барышнямъ очень хочется заговорить со мной, но я, признаюсь, побаивался этого.

— Какъ здоровье вашей супруги? — сказала, наконецъ, младшая Минодора, говорившая меньше въ носъ, но зато, судя по выраженію лица, должно-быть, болѣе желчная, чѣмъ старшая. Впрочемъ, обѣ онѣ, какъ уже не молодыя дѣвицы, были немного злы и на меня, какъ я слышалъ, питали большую претензію за то, что я не знакомился съ ними. Предчувствуя, что вопросъ этотъ былъ сдѣланъ съ ядовитой цѣлью, я поспѣшилъ отвѣчать:

— Слава Богу, здорова, и мы съ ней все сбираемся къ вамъ.

Что-то въ родѣ улыбки пробѣжало по губамъ обѣихъ барышень.

— И скоро исполните ваше обѣщаніе? — сказала старшая, Нимфодора, еще болѣе въ носъ.

— На той недѣлѣ непремѣнно, непремѣнно, — опять поспѣшилъ я отвѣчать.

— Очень пріятно, конечно, будетъ намъ видѣть васъ у себя, хоть, можетъ-быть, вамъ будетъ у насъ и скучно, — ядовито замѣтила младшая, Минодора; но потомъ, какъ бы желая смягчить это замѣчаніе, прибавила: — мы хоть не имѣли еще удовольствія видѣть вашу супругу, но ужъ очень много слышали о нихъ лестнаго.

— А я, матушка, счастливѣе васъ: имѣла честь видѣть супругу Алексѣя Өеофилактыча, и вотъ при нихъ скажу, не показалась она мнѣ: старая, беззубая, нехорошая...

— О, нѣтъ, вы шутите! — произнесла старшая Нимфодора въ носъ.

Арина Семеновна лукаво засмѣялась.

— Неужели, матушка, вправду говорю? — отвѣчала она, — красавица, писаной красоты дама. Вотъ вы, барышни, больно у насъ хорошія, а она, пожалуй, лучше васъ.

Въ такого рода разговорахъ мы шли, и я замѣтилъ, что если младшая, Минодора, язвила смертныхъ больше словомъ, то старшая уничтожала ихъ презрительнымъ и гордымъ видомъ, особенно кланявшихся намъ мужиковъ и бабъ.

Когда мы пришли къ Аринѣ Семеновнѣ, она, конечно, захлопотала о приготовленіи угощенія намъ. У нея, впрочемъ, были ужъ въ гостяхъ двѣ попадьи и дьяконица, которыя намъ церемонно поклонились. Барышни, чтобъ не уронить своего достоинства, сѣли на диванъ, а я, признаться, чтобъ избѣгнуть разговора съ ними, нарочно помѣстился у окна; но вдругъ, къ ужасу моему, старшая, Нимфодора, встала и сѣла около меня.

— Что вы теперь сочиняете? — сказала она съ улыбкою и слегка наклоняя голову.

Вопросъ этотъ обыкновенно и при другихъ обстоятельствахъ и отъ другихъ людей всегда меня конфузитъ.

— Нѣтъ, я теперь ничего не сочиняю,— отвѣчалъ я потупившись.

— Въ деревенскомъ уединеніи, я думаю, такъ пріятно сочинять,— продолжала пытать меня Нимфодора, устремивъ прямо мнѣ въ лицо пристальный взглядъ.

— Да, но я занимаюсь больше хозяйствомъ,— отвѣчалъ я, чтобъ что-нибудь сказать ей.

— О, такъ вы и хозяинъ хорошій! Какъ пріятно это слышать! — воскликнула Нимфодора.

Почему это ей пріятно слышать — не понимаю.

— Я недавно читала, не помню чье, сочиненье, «*Вѣчный Жидъ*» называется, какъ прелестно и безподобно написано!— продолжала моя мучительница.

«Что жъ это такое?» думалъ я, не зная, что съ собой дѣлать и куда глядѣть.

— Нынче, такъ это грустно,— снова продолжала Нимфодора, не спуская съ меня пристальнаго взгляда,—мы не имѣемъ, гдѣ книгъ доставать. Когда здѣсь жилъ, въ деревнѣ, Рафаилъ Михайлычъ, съ которымъ мы были очень хорошо знакомы и почти каждый день видались и всегда у нихъ брали книги. Тутъ я у нихъ читала и ваше сочиненіе — «*Тюфякъ*» называется — какъ смѣшно написано!

Я начиналъ приходить въ совершенное ожесточеніе. Чтобъ спасти себя хоть какъ-нибудь отъ дальнѣйшихъ разговоровъ съ Нимфодорой, я высунулъ голову въ окно и сталъ будто бы съ большимъ вниманіемъ глядѣть на толпящійся тутъ и тамъ народъ. Изъ толпы, окружающей кабакъ, вышелъ Пузичъ съ Козыревымъ; оба они успѣли, видно, порядочно выпить. Я еще прежде слышалъ, что Пузичъ подрядился у Ѳомкиной госпожи строить новый флигель, и у нихъ, вѣроятно, были поэтому литки. Пузичъ, увидѣвъ меня, остановился и поклонился, а Козыревъ, нахмуренный и мрачный, немного пошатываясь и засунувъ руки въ карманы плисовыхъ шароваръ, прошелъ было сначала мимо, но потомъ тоже остановился и, продолжая смотрѣть на все исподлобья, сталъ поджидать товарища.

— Ваше высокоблагородіе, позвольте съ вами компанію имѣть! — проговорилъ Пузичъ пьянымъ голосомъ.

— Нѣтъ, братецъ, въ другое ужъ время,— сказалъ я, показывая ему рукой, чтобъ онъ отправился, куда шелъ.

— Баринъ!.. Писемскій!.. Господинъ! позвольте съ вами компанію имѣть! — прокричалъ Пузичъ на всю ужъ улицу, такъ что Арина Семеновна, какъ хозяйка, обезпокоилась этимъ и подошла къ окну.

— Нехорошо, нехорошо, Пузичъ, — сказала она,— мужикъ вы хорошій, богатый, а безпокоите господъ. Ступайте, ступайте.

— Арина Семеновна, позвольте компанію имѣть!—воскликнулъ опять Пузичъ.— Ежели теперича барину, господину Писемскому, деньги теперича нужны — сейчасъ! Позови только Пузича: «Пузичъ, дай мнѣ, братецъ, денегъ, тысячу цѣлковыхъ» — значитъ, сейчасъ, ваше высокопривосходительство. Что мнѣ деньги! Денегъ у меня много. Мнѣ баринъ, господинъ Писемскій, его привосходительство, значитъ, отдалъ теперича всѣ деньги сполна, и я благодарю, должонъ благодарить. Теперича, господинъ Писемскій мнѣ скажетъ: «Подай мнѣ, Пузичъ, деньги назадъ!» — «Изволь, бери...» Позвольте, ваше привосходительство, компанію мнѣ съ вами имѣть!..

Въ это время вышелъ изъ-за угла Матюшка, что-то съ несвойственнымъ ему печальнымъ лицомъ, и робко подошелъ къ Пузичу.

— Дядюшка, дай два рублика-то,— пробормоталъ онъ.

Физіономія Пузича въ минуту измѣнилась: изъ глупо-подлой она сдѣлалась строгой.

— Какіе твои два рубля? — сказалъ онъ, обернувшись къ Матюшкѣ лицомъ и уставивъ руки въ бока.

— Мамонька наказывала серпъ купить, жать нечѣмъ, — проговорилъ тотъ.

— Какія твои деньги у меня? За какія услуги? Говори! Ежели теперича ты пришелъ у меня денегъ просить, какъ ты смѣешь передо мной и господиномъ въ шапкѣ стоять? Тебѣ было сказано, на носу зарублено, чтобъ ты не смѣлъ передъ господами въ шапкѣ стоять, — проговорилъ Пузичъ и сшибъ съ Матюшки шапку. Тотъ только посмотрѣлъ на него.

— Что дерешься? И на тебѣ шапка не притаченная, — проговорилъ онъ, поднимая шапку.

— Молчать! Поговори еще у меня! — продолжалъ Пузичъ. — Когда, значитъ, подрядчикъ съ тобой разговариваетъ, какой разговоръ ты можешь имѣть?

— Пузичъ, идемте! — проговорилъ октавой Козыревъ, которому ужъ, видно, наскучило ждать.

— Идемъ, идемъ, Флегонтъ Матвѣичъ, — отвѣчалъ Пузичъ, — дураковъ, значитъ, надо учить, ваше привосходительство, коли они неумны! — отнесся онъ ко мнѣ и, очень довольный, что удалось ему передъ всѣмъ народомъ покуражиться надъ Матюшкой, пошелъ съ Козыревымъ опять, кажется, въ кабакъ. Бѣдняга Матюшка издали послѣдовалъ за нимъ.

— Что? Тебя не разсчитываетъ подрядчикъ? — спросилъ я его.

— То-то-тка все вотъ жилитъ да дерется еще, — отвѣчалъ онъ уходя.

Не прошло четверти часа послѣ этой сцены, мы сидѣли еще съ барышнями у Арины Семеновны, въ ожиданіи отца Николая, который присылалъ изъ церкви съ покорнѣйшею просьбою подождать его, приказывая, что какъ онъ освободится, такъ самъ зайдетъ просить достопочтенныхъ гостей. Чтобъ отклонить для Нимфодоры всякую возможность вступить со мною въ разговоръ о литературѣ, я продолжалъ упорно смотрѣть въ окно. «Однако отецъ Николай что-то долго нейдетъ, — думалъ я: — неужели онъ все еще молебны служитъ?» Около церкви никого ужъ не видать, а между тѣмъ въ противоположной сторонѣ, къ кабаку, масса народа дѣлается все гуще и гуще. Наконецъ я увидѣлъ ясно, что туда идутъ и бѣгутъ.

— Кажется, пожаръ! — сказалъ я, вставая.

— Ахъ, Боже мой! — воскликнула Нимфодора и даже Минодора съ довольно, повидимому, твердыми нервами. Въ это время вошелъ отецъ Николай, блѣдный и запыхавшійся.

— Батюшка! что такое случилось? Откуда вы? — спросилъ я.

— Что, сударь! случилось несчастье: убійство въ кабакѣ! Сейчасъ ходилъ напутствовать дарами, да ужъ поздно — злодѣи этакіе!

— Скажите! — произнесли опять Нимфодора и Минодора въ одинъ голосъ.

— Кто такіе? Кто кого убилъ? — спросилъ я.

— Плотники... стали пьяные въ кабакѣ съ хозяиномъ раздѣлываться... слово за слово, да и драка... одинъ молодецъ и уходилъ подрядчика на-смерть, — отвѣчалъ отецъ Николай, садясь и утирая катившійся съ лица его крупными каплями потъ.

— Не Пузича ли это? — сказалъ я.

— Его, его, Пузича, коли знаете. Плутоватый былъ мужичонко.

— Кто жъ его убилъ? Онъ сейчасъ здѣсь былъ.

— Да я ужъ и не знаю. Петромъ, кажется, зовутъ парня, высокій этакой, худой.

— Батюшка! нельзя ли еще какъ-нибудь помочь убитому? — воскликнулъ я.

— Врядъ ли! — отвѣчалъ отецъ Николай, сомнительно покачивая головой. Но я, схвативъ попавшійся мнѣ на глаза перочинный ножикъ, чтобъ пустить Пузичу кровь, пошелъ, какъ могъ, проворно, къ кабаку. Мѣсто происшествія, какъ водится, окружала густая толпа; я едва могъ пробраться къ небольшой площадкѣ передъ кабакомъ, на которой, посрединѣ, лежалъ вверхъ лицомъ убитый Пузичъ, съ почернѣвшимъ, какъ утопленникъ, лицомъ, съ слѣдами пѣны и крови на губахъ. У поддевки его правый рукавъ былъ оторванъ, рубаха вся изорвана въ клочки, правая рука изсѣчена цырюльникомъ, но кровь ужъ не пошла. Въ сторонѣ стоялъ весь избитый Матюшка и плакалъ, утирая слезы кулакомъ связанныхъ рукъ. Сидѣв-

шему на лавочкѣ Петру, тоже съ обезображеннымъ лицомъ и въ изорванномъ кафтанѣ, сотскій вязалъ ноги.

— Злодѣй, что ты надѣлалъ? — сказалъ я ему.

Онъ взмахнулъ на меня глазами, потомъ посмотрѣлъ на церковь.

— Давно ужъ, видно, мнѣ дорога туда сказана! — проговорилъ онъ и прибавилъ сотскому: — что больно крѣпко вяжешь? Не убѣгу.

Въ толпѣ, между тѣмъ, нѣсколько бабъ ревѣло, или, сказать, голосило:

— Батюшка, кормилецъ мой! — завывала одна.

— Что ты надсажаешься? Али родня! — говорилъ ей мужской голосъ.

— Ну, батюшка, какъ не надсажаться! все человѣческая душа, словно пробка выскочила! — отвѣчала женщина.

— Пускай пореветъ; у бабъ слезы не купленныя, — замѣтилъ другой мужской голосъ.

— О, о, о, ой, — стонала еще другая баба, — куда теперь его головушка поспѣла?

— Удивительная вещь, удивительная вещь! — толковалъ клинобородый мужикъ съ умнымъ лицомъ и, должно-быть, изъ торговцевъ.

— Какъ у нихъ это случилось? — отнесся я къ нему.

— Пьяные, сударь, — отвѣчалъ онъ: — Пузичъ съ утра съ Ѳомкой пьетъ; пьяны-съ! Поначалу они принялись вдвоемъ въ кабакѣ этого толсторожаго парня бить; не знаю, про што его и связали: онъ ничѣмъ не причиненъ!.. Цѣловальникъ видитъ, что дѣло плохо: бьютъ человѣка не на животъ, а на смерть, караулъ закричалъ. Мы въ кабакъ-то и вбѣжали, и Петруха-то вошелъ. «За што, говоритъ, парня бьете?» — и сталъ отымать, вырвалъ у нихъ его, да и на улицу; они за нимъ, да и на него. Пузичъ за волосы его сгребъ, а Ѳомка подъ ногу подшибаетъ, и Петруха — на моихъ глазахъ это было — раза два ихъ отпихивалъ, такъ Ѳомка и поотсталъ, а Пузичъ все лѣзетъ: сила-то не беретъ, такъ кусаться сталъ, впился въ плечо зубами да и замеръ. Мы было съ сотскимъ начали разнимать ихъ — гдѣ тутъ! за ноги хотѣли было ихъ растащить, такъ Пузичъ какъ съѣздилъ сапогомъ по головѣ, такъ шабашъ — на-ли шабалка затрещала. Сотскій сталъ ужъ кричать: «воды! водой разливайте!» Я было побѣжалъ зачерпнуть — прихожу: все ужъ порѣшено.

«Петруха, говорятъ, оборанивался, оборанивался, и какъ ухватитъ его за поперекъ, на аршинъ приподнялъ, да и хрясь о землю — только проохнулъ. А Козыревъ испугался, вскочилъ на своего живодернаго коня и лупмя началъ его лупить плетью, чтобъ ускакать. Ребята тутъ смѣются ему: «Возьми, говорятъ, колъ: ишь плетью-то не пробираетъ его бока, больно толсты». Такой дуракъ: угналъ — словно не найдутъ.

Я вышелъ изъ толпы; мнѣ попался старикъ Сергѣичъ, проворно туда шедшій своей заплетающейся походкой.

— Дѣдушка! слышалъ ли, что вашъ Петръ начудилъ? — сказалъ я ему.

— Ой, государь милостивый! слышалъ, слышалъ! За то его, батюшка, Богъ наказалъ, что родителя мало почиталъ. Тогда бы стерпѣлъ — слюбилось теперь бы, — отвѣчалъ старикъ и прошелъ.

Потомъ меня нагнали барышни, перебиравшіяся отъ Арины Семеновны къ отцу Николаю. По просьбѣ ихъ, я разсказалъ имъ всѣ подробности.

— Гм!.. — глубокомысленно произнесла младшая, Минодора.

— Что за народъ эти мужики! — сказала въ носъ старшая Нимфодора.

1855. Іюля 30.

**Θеодоръ Михаиловичъ Рѣшетниковъ.**
(1841—1871).

## Изъ разсказа „Подлиповцы".

Деревня Подлипная очень непривлекательна на видъ. Она состоитъ изъ шести домиковъ, построенныхъ по лѣвую сторону дороги, идущей отъ другихъ деревень, и разбросанныхъ по неровной мѣстности такъ, что одинъ домикъ стоитъ выше другого, другой около дороги, а третій и прочіе пятятся къ лѣсу. Домики эти,—четыре съ крышами, два безъ крышъ, съ соломой на потолкѣ, съ слюдой въ оконныхъ рамахъ, съ стайками и плетушками, — огорожены такъ: вколотили въ землю нѣсколько тонкихъ березовыхъ кольевъ, да и связали за нихъ, параллельно къ землѣ гдѣ по двѣ, гдѣ по три березки, и назвали плетнемъ. Воротъ въ Подлипной вовсе нѣтъ. Добро бы лѣсу не было, а то кругомъ деревни лѣсъ высокій и густой, все береза да сосна, можно бы э-во какіе дома построить и заплоты дощаные съ воротами сдѣлать... «А пошто?—спроситъ подлиповецъ, не понимая. — А и такъ, тожно, баско!».. За дворами не видится ригъ или зародовъ сѣна, нѣтъ огородовъ съ овощами. Только направо замѣтны гряды съ капустой, морковью и преимущественно картофелемъ.

Самая мѣстность тоже непривлекательна, хоть зимой, хоть лѣтомъ. Противъ домиковъ, черезъ дорогу, за грядами, большое поле, ничѣмъ не огороженное, потомъ лѣсъ, а въ лѣвой сторонѣ тоже поле, а за полемъ тянется большое болото, поросшее мелкими кустарниками березы, ели и липы. Лѣтомъ досадно становится, какъ посмотришь на поля: земля кое-какъ вспахана, кое-гдѣ на засохшихъ кочкахъ видится травка, да развѣ двѣ-три лошади шатаются по полю, да и то недолго: онѣ идутъ въ лѣсъ, тамъ больше травы. «Пробовали, — сказывали подлиповцы,—ужъ какъ вспахивали землю: и поздно и рано, да проку нѣтъ. Вспахаешь, — стужа настанетъ либо дождь,

потомъ жара; все окоченѣетъ, а тамъ дождь, иней, снѣгъ... Пробовали и за хлѣбушкомъ ходить, да все не въ толкъ: только начинаетъ созрѣвать хлѣбъ, — баско! вдругъ дожди, заморозки, снѣгъ... Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку Божью, измелешь и ѣшь такъ съ горячей водой, либо настоящей мучки смѣшаешь, али коры осиновой либо липовой наскоблишь»... Зимой частые вѣтры да вьюги по полю, снѣга большіе до полъокон заметаютъ домики, а которые ниже, то и до крышъ, а дороги и слѣдъ простылъ.

Мало въ этой деревнѣ видится жизни. Лѣтомъ еще можно увидать мужчину, или женщину, или ребятъ на полѣ или около домиковъ, но зато не слышится веселаго говора, не слышится пѣсенъ, у всѣхъ точно какое-то горе, какое-то болѣзненное состояніе. На что дѣти, — и тѣ рѣзвятся какъ-то словно нехотя: побѣжитъ, упадетъ, заплачетъ и побѣжитъ домой; даже лошади, коровы и свиньи ходятъ какъ-то сонно; однѣ только девять курицъ да два пѣтуха бѣгаютъ скоро, и воздухъ оглашается крикомъ крестьянъ на животныхъ, лаемъ одной собаки, единственнаго деревенскаго сторожа, уцѣлѣвшей какимъ-то чудомъ отъ бойни хозяина, желавшаго употребить ея шкуру на шапку, крикомъ куръ, маленькихъ ребятъ да чириканьемъ коростелей въ болотѣ... Зимой еще хуже. Тогда всѣ дома точно погребены снѣгомъ, на дорогѣ цѣлую недѣлю не видать слѣдовъ человѣческихъ, все какъ-будто спряталось, только кой-гдѣ корова промычитъ, да рыщетъ по полю собака. Такъ вотъ и кажется, что люди вымерли или напала на нихъ спячка.

Въ самыхъ домахъ тоже не лучше. Самое худое время это—зима. Вездѣ бѣдная обстановка, нечистота, плачъ и стоны; половина лежитъ, половина сидитъ молча или что-нибудь дѣлаетъ, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Словно всѣмъ имъ жизнь опротивѣла, всѣ чѣмъ-то мучатся, всѣмъ постылъ свѣтъ Божій... А есть между ними и молодые ребята и молодыя дѣвушки; правда, нѣтъ красивыхъ, но все-таки и у нихъ есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая...

Живутъ въ этой деревнѣ государственные крестьяне, Чудиновской волости, Чердынскаго уѣзда, бѣдные люди, какихъ много въ сѣверной части этого уѣзда, но еще бѣднѣе прочихъ крестьянъ. У крестьянъ прочихъ деревень есть какая-нибудь промышленность, природа даетъ имъ что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудомъ. Ужъ какъ они ни воздѣлывали землю, какъ ни молились своимъ пермяцкимъ богамъ, чтобы хлѣбушко свой былъ, — нѣтъ ничего. Такъ и бросили поле, и вотъ уже второй годъ, какъ поле стоитъ нетронутымъ и даетъ только небольшую травку животнымъ. Купить хлѣба подлиповцамъ не на что. Положимъ, они нарубятъ лѣсу, но куда везти? — городъ отъ нихъ въ ста верстахъ. Положимъ, скосятъ въ лѣсу траву, и можно будетъ излишекъ продать,—опять-таки городъ далеко; а въ другихъ деревняхъ и селахъ свое сѣно, свои дрова и свой лѣсъ, — каждый бы самъ продалъ. Вотъ они, сдѣлавъ кадки, наберухи, лапти, везутъ это на продажу въ городъ; но тамъ и безъ нихъ много такихъ горемыкъ, какъ подлиповцы, и всякій сбываетъ за безцѣнокъ, лишь бы хлѣбушка купить. Занимаются они и стрѣляніемъ рябковъ, ходятъ на медвѣдей; но на порохъ надо деньги, а медвѣдя хотя и можно убить ломомъ чугуннымъ или чѣмъ инымъ, такъ медвѣдей нынѣ мало. Сбыта очень мало, и рѣдкій много-много получитъ въ лѣто или зиму рубля три. Отъ этого у нихъ явилась апатія, всѣ они потеряли надежду на сбытъ чего-нибудь, и рѣдкаго вытащишь изъ его избы...

Каждый мужчина взрослый и женщина или дѣвушка носятъ по одной рубахѣ круглый годъ, ходятъ лѣтомъ въ рубахахъ, зимой надѣваютъ полушубокъ изъ овечьей, телячьей и собачьей шкуръ, мужчины надѣваютъ на голову такія же шапки, а лапти носятъ всѣ, кромѣ дѣтей, которыя едва-едва прикрываютъ тѣло чѣмъ-нибудь. Это еще ничего, но самое главное—пища мучитъ всѣхъ. Настоящій хлѣбъ ѣдятъ рѣдкіе съ мѣсяцъ въ годъ, остальное время всѣ ѣдятъ мякину съ корой, и отъ этого у нихъ является лѣнь къ работѣ, болѣзнь, и часто всѣ подлиповцы лежатъ больные, сами не зная, что съ ними дѣлается, а только ругаются и плачутъ. Надо замѣтить, что и въ Чердыни хлѣбъ слишкомъ дорогъ, потому что его привозятъ туда только зимой изъ

другихъ городовъ или доставляютъ на судахъ бечевники лѣтомъ изъ Вятской губерніи—изъ Сарапула или Елабуги.

Подлиповцы уже привыкли къ такой жизни, свыклись и съ своими болѣзнями. Они знаютъ, что помочь имъ некому; даже самые люди противъ нихъ. Всѣ они, жители своей деревни, родня другъ другу—отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родни у нихъ много и въ другихъ деревняхъ, но тѣ не любятъ ихъ, не знаются съ ними, потому что и сами-то они голые и отъ подлиповцевъ нечего взять. Съ своей стороны, и подлиповцы не любятъ ихъ и не ходятъ къ нимъ. Подлиповцевъ не любятъ жители другихъ деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермяцкой вѣры держатся, слывутъ за лѣнивыхъ, самыхъ бѣдныхъ, и ихъ называютъ колдунами.

Зачѣмъ же подлиповцы живутъ тутъ?— спроситъ читатель. — Подлиповцамъ не растолкуешь этого; они сами не знаютъ, откуда они взялись. Извѣстно только нѣкоторымъ изъ другихъ деревень крестьянамъ, что сюда, когда еще не было поля и не было ни одного дома, давно переселился одинъ крестьянинъ-звѣроловъ изъ какой-то сосѣдней деревни. Ему хотѣлось жить одному съ своимъ семействомъ, такъ какъ онъ перессорился съ своими однодеревенцами. Онъ построилъ домъ и жилъ съ женой и дѣтьми нѣсколько лѣтъ, не сообщаясь съ прочими крестьянами. Послѣ его смерти два сына женились и построили еще два домика, дочь вышла замужъ въ другую деревню. Такимъ образомъ люди расплодились до тридцати человѣкъ и живутъ теперь въ шести домахъ. Сначала они находились подъ управленіемъ старшихъ лицъ въ семействѣ, и къ нимъ не заглядывало никакое начальство. Понятія ихъ были такія: есть какой-то богъ, а какой—и сами не знали, и только по преданіямъ своихъ отцовъ справляли свои праздники, молились чучеламъ. О существованіи земли они знали только то, что земля даетъ пищу, да въ землю покойниковъ зарываютъ. Увидятъ они, что солнце ярко свѣтитъ, и думаютъ: это богъ, молятся ему; свѣтитъ ли ночью луна—тоже богъ; и дождь, и снѣгъ, и молнія — все богъ. Знали они, что есть городъ Чердынь, только потому, что бывали тамъ, а есть ли еще за Чердынью что-нибудь — дѣло темное. Въ городѣ они видѣли разныхъ людей, но никакъ не могли понять, что это за люди, этихъ людей они боялись, не вѣрили имъ, и только ѣздили туда затѣмъ, чтобы сбыть необходимое для обмѣна на пищу. Но вотъ начальство заглянуло къ нимъ; деревню ихъ назвали Подлипною, обложили всѣхъ ихъ податью, стали брать по одному въ рекрута, пріѣхалъ къ нимъ священникъ и сталъ уговаривать принять православную вѣру. Подлиповцы ничего не понимали, никого не слушали и хотѣли разбѣжаться, но струсили: пріѣхалъ становой приставъ, обласкалъ всѣхъ; подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что отъ нихъ требовали. Сколько священникъ ни толковалъ имъ о Богѣ, они ничего не могли понять; хотя имѣли образа, но прятали ихъ подъ лавки и вынимали, когда являлся священникъ; окрестившись, они изъ боязни стали отдавать крестить дѣтей; вѣнчались сначала по-своему, потомъ ѣхали въ село къ попу, везли къ нему покойниковъ... Ничего бы этого они не дѣлали, да священникъ становымъ ихъ пугалъ, а подлиповцы помнятъ становаго, какъ онъ, когда въ Подлипной умерло съ голоду шесть человѣкъ, обласкалъ не только мужчинъ, но и женщинъ, самъ не зная за что; а отрывши въ лѣсу мертвое тѣло, увезъ трехъ главныхъ стариковъ въ село, потомъ—въ городъ, и съ тѣхъ поръ подлиповцы не видали своихъ стариковъ.

При своей бѣдности подлиповцы постоянно въ долгу: съ нихъ требуютъ подати, но имъ негдѣ взять денегъ, и на нихъ растутъ недоимки съ каждымъ годомъ.

Неужели они не умѣютъ работать? Подлиповецъ, родившійся въ Подлипной, прожившій въ своей деревнѣ дѣтство и имѣя взрослыхъ дѣтей, умѣетъ дѣлать то, чему научили его отецъ и родня: онъ умѣетъ домъ построить; но заставьте его, читатель, построить домъ въ городѣ, онъ вамъ построитъ такъ, что вы и посмѣетесь надъ нимъ и прогоните его. Отчего? Оттого, что подлиповецъ строилъ для себя домъ по своему умѣнію, собственно съ той цѣлью, чтобы ему была защита отъ холода, дождя. Понятно, ему никакихъ удобствъ не надо. А вы любите, чтобы домъ вашъ былъ теплый и существовалъ

долго, чего подлиповецъ не сумѣетъ сдѣлать. Заставьте вы подлиповца печь скласть, онъ вамъ складетъ по-своему. У себя дома онъ сложитъ печь, какъ ему отецъ передалъ: «эй, ты, пуцело, подь тамока... Гдѣ каменья увидишь—волоки». Сынъ притащилъ каменья. Достали изъ ручейка воды, вскипятили, разварили съ глиной... «Мастюжь!» кричитъ отецъ и самъ работаетъ.—Черезъ двѣ недѣли печь готова, а черезъ годъ она проваливается, нужно класть снова... Но растолкуй этимъ людямъ, какъ слѣдуетъ, по-человѣчески, что нужно дѣлать, они примутся и сдѣлаютъ еще крѣпче городского мастера. Въ этомъ я ручаюсь. Есть въ Перми одинъ печникъ; онъ кладетъ печки дешево; но если склалъ, такъ печь и тепла всегда, и угара нѣтъ, и крѣпка. Его призываетъ только бѣдный классъ, но богачи, само собой разумѣется, надѣются на архитектора и поправляютъ печки черезъ пять лѣтъ, а нѣкоторые раньше. Господинъ этотъ изъ Подлипной, только подлиповцы думаютъ, что онъ безъ вѣсти пропалъ или его медвѣди съѣли. Онъ былъ работникомъ у одного печника шесть лѣтъ, теперь семнадцатый годъ работаетъ самъ, безъ работниковъ, и имѣетъ въ Мотовилихинскомъ заводѣ свой домъ.

Подлиповцевъ нельзя винить ни въ чемъ: они глупы, необразованы, но кто ихъ вразумитъ, куда они пойдутъ?.. «Ужъ помру тожно, а тамока гдѣ ужъ!» Подъ этими словами можно понимать, что подлиповцамъ нравится своя деревня; а дальше, кто знаетъ, что такое творится.— «Уйти изъ Подлипной? куда пойдешь?— Вонъ ушелъ изъ Подлипной Митюкъ Ковычка, еще молодой, и жену съ двумя дѣтьми оставилъ, да такъ и пропалъ. Поди тамока, и тютю!.. Пошелъ Терешка Вятка куда-то лѣсъ сплавлять и утонулъ, сказываютъ. Мишка Гайва ушелъ въ городъ какой-то, да такъ и пропалъ»... Все это напугало подлиповцевъ до того, что они и замкнулись въ своей деревнѣ и живутъ по-своему, какъ живется: вѣдь растетъ же дерево, живутъ же лошади и коровы... Знаютъ подлиповцы, что безъ жены неловко, надо бабу — и живутъ съ бабами. Про идеальную любовь они вовсе не знаютъ, у нихъ своя любовь: играли вмѣстѣ, вмѣстѣ росли, вмѣстѣ и жить надо. Такъ и дѣлается въ Подлипной. Умретъ тотъ или другой, они хотя и думаютъ, что такъ и надо умереть, но имъ обидно, досадно, что умеръ такой-то, что опять надо къ попу ѣхать вѣнчаться. О любви подлиповцевъ я разскажу въ слѣдующей главѣ. Досадно имъ: зачѣмъ это дѣти родятся отъ нихъ, и съ маленькими дѣтьми обращаются, какъ люди съ котятами; однѣ только матери немножко присматриваютъ за дѣтьми. Съ пятилѣтняго возраста дѣти растутъ на произволъ судьбы...

Подлиповцы говорятъ по-пермяцки. Плохо понимая наши слова, они хотя и выговариваютъ ихъ, но въ исковерканномъ видѣ. Выговоръ ихъ походитъ на выговоръ крестьянъ Вятской и Вологодской губерній.

Ноябрь мѣсяцъ въ началѣ. Зима свирѣпствуетъ немилосердно, какъ-будто все зло свое хочетъ выместить надъ Подлипной и ея обитателями. Утро. Холодъ въ тридцать градусовъ; вѣтеръ свиститъ по полю; деревья скрипятъ; верхушки ихъ то и дѣло съ шумомъ пошатываетъ направо и налѣво, и впрямь и вкось. Вѣтеръ рыщетъ по полю и гонитъ снѣгъ, какъ назло, къ самымъ домамъ, до половины уже занесеннымъ снѣгомъ. Дороги вовсе не видать—она сравнялась съ полемъ. Больше всего достается крайнему домику, безъ крыши, съ однимъ окномъ, со слюдой въ рамахъ, до половины заваленному снѣгомъ. Вѣтеръ такъ и рветъ съ домика, что ему подъ силу: вонъ доску, высунувшуюся съ потолка, оторвало; вонъ посыпались высунувшіеся изъ-подъ снѣга каменья, составляющіе трубу; вонъ четверть крыши со стайки оторвало, вонъ и слюда треснула въ одной рамѣ—пошелъ вѣтеръ гулять по избѣ...—Ни одного человѣка не видно; не видно и животныхъ, даже собака куда-то спряталась... Но вотъ вышелъ изъ одного дома крестьянинъ, въ полушубкѣ изъ овечьей и телячьей шкуръ, въ шапкѣ изъ такой же шерсти съ длинными ушами, въ огромнѣйшихъ собачьихъ рукавицахъ, въ синихъ нанковыхъ штанахъ и въ лаптяхъ. Онъ уже не молодъ: ему годовъ сорокъ.

Крестьянинъ дошелъ до крайней избушки и вошелъ въ нее. Въ избѣ холодъ страшный, вѣтеръ такъ и дуетъ въ окно сквозь раму; противъ окна снѣгъ на полу, на столѣ и на лавкѣ. Изба очень

бѣдна; кромѣ стѣнъ, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющагося среди пола, и небольшого корыта съ корой и двумя большими ложками, въ ней ничего не видно... Только на полатяхъ да на печкѣ кто-то стонетъ.

— Эй, вы, цуцелы! Померли али нѣтъ?..

Съ полатей раздался стонъ.

— Ошшо живы!—сказалъ онъ весело.

— Пила, подь сюда!..—сказалъ съ полатей мужской голосъ.

Вошедшій, бросивъ на полъ рукавицы, не торопясь полѣзъ на печь. На печкѣ лежала старуха.

— Скоро помрешь? — спросилъ онъ ее съ участіемъ.

Старуха стонала. На полатяхъ лежалъ Сысой Степанычъ Сысоевъ, прозванный по-подлиповски Сысойкомъ. Ему 20-й годъ, но онъ худъ и блѣденъ. Онъ лежалъ въ полушубкѣ, въ шапкѣ, въ лаптяхъ и дрожалъ.

— Печку бы... пали, братанъ ... А? Ишь стужа, витеръ! — говорилъ Сысойко.

— Ну, ужъ и времена!.. На̀ картошки!—сказалъ Пила и подалъ Сысойкѣ четыре печеныхъ картофелины.

— Я тожно-бѣда. Нутро... — Сысойко хотѣлъ объяснить свою болѣзнь и разжалобить Пилу, но не умѣлъ. Вдругъ онъ спросилъ Пилу:—А Апроська?

— Апроська помиратъ.

— А можетъ представляется?.. Не помретъ?

— Кто ее знаетъ. А канючитъ больно: «подь, баетъ, къ Сысойку, снеси картошки, да пусть, баетъ, придетъ молочка потрескать».

— Охъ, не говори, — не могу, — моченьки нѣтъ...—стонетъ Сысойко.

Пила молчалъ. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слѣпая и сумасшедшая.

— Истопить ужъ печь-ту! А гдѣ ребята-те?—Пила слѣзъ съ печки.

— Въ печкѣ,—сказалъ Сысойко.

Пила подошелъ къ окну, сталъ сгребать рукой снѣгъ съ полу; постоялъ у окна,—вѣтеръ дуетъ: надо бы заткнуть, а чѣмъ? ничего нѣтъ такого. Онъ взялъ съ полу лапоть, приладилъ его въ раму, а вѣтеръ все дуетъ.

— Нѣтъ ли чего затыкать-то?

— Нѣту, братанко,—сказалъ Сысойко.

— Да хоть рукавицъ, што ли, дай!

— Жалко!..

— Чортъ!.. успѣешь околѣть-то... Боровъ! лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросилъ съ полатей рукавицы и шапку. Пила затыкалъ ими раму; вѣтеръ пересталъ дуть, зато въ избѣ темно сдѣлалось.

Пила пошелъ на улицу; вѣтеръ все дулъ. Пила отскребъ немного снѣгу отъ окна рукавицами и пошелъ искать дровъ около стайки, въ которой лежала лошадь, не ѣвшая ничего два дня. Пила долго удивлялся вѣтру: «Экой какой, сила какая!.. Эвонъ что разворочалъ». Онъ досталъ съ потолка стайки сѣна и соломы, снесъ ихъ лошади.

— Ужо я овсеца тебѣ принесу... Скотинка ты, скотинка экая!—жалобно говорилъ Пила, смотря на лошадь, какъ она принялась охобачивать сѣно и солому.

Гаврило Гавриловичъ Пилинъ, по-подлиповски Пила, былъ человѣкъ добрый, пробойный и работящій. Онъ одинъ изъ подлиповцевъ понялъ, что, ничего не дѣлая, жить нельзя; онъ какъ-нибудь старался пріискать себѣ работу, сбыть ее, а главное,—услужить своимъ подлиповцамъ. Назадъ тому годъ Пила постоянно стрѣлялъ дичь и сбывалъ ее въ городѣ; хлѣбъ у него водился; но какъ-то разъ утопилъ ружье въ рѣкѣ, самъ простудился и, пролежавъ два мѣсяца, обѣднѣлъ до того, что ему съ семействомъ привелось ѣсть кору, а коровѣ и лошадямъ вовсе нечего было ѣсть. Оправившись послѣ болѣзни, Пила насобиралъ у подлиповцевъ надѣланныхъ кадокъ, кузовковъ и лаптей, отправился за больныхъ продавать въ селѣ и городѣ. У Пилы въ городѣ былъ знакомый хозяинъ постоялаго двора, и онъ черезъ посредство его находилъ себѣ покупателей. Онъ и раньше возилъ вещи, но теперь постоянно сталъ заставлять подлиповцевъ работать, и для него ничего не значило съѣздить за сто верстъ: онъ одну половину денегъ отдавалъ крестьянамъ или покупалъ муки, а другую бралъ себѣ и покупалъ для себя пищи. Если въ городѣ ничего не покупали, Пила шелъ сбирать ради Христа и потомъ дѣлился съ подлиповцами. Своимъ подлиповцамъ онъ помогалъ, чѣмъ только могъ. Бывало, скажетъ подлиповцамъ: «чево сидите, робь; я буду робить»—и подлиповцы работаютъ съ Пилой; нѣтъ Пилы, — подли-

повцы лежатъ. Скажетъ подлиповцамъ: «смотри, траву надо косить» — здоровые идутъ косить, а не скажи Пила, что надо траву косить, подлиповцы не догадаются. Всѣ подлиповцы любили Пилу, и каждый спрашивалъ его совѣта или просилъ полѣчить, такъ какъ Пила лѣчилъ больныхъ травами, хотя самъ не понималъ никакого толку въ травахъ. Мысль лѣчить травами пришла ему въ голову тогда, какъ онъ увидалъ въ городѣ крестьянина съ травами. Пила не понималъ, для чего, крестьянинъ травы продаетъ. — «Это што?» спросилъ Пила крестьянина. — «Это лѣкарствіе». — Слово «лѣкарство» для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское.—«А какъ это дѣлаютъ?» спросилъ онъ крестьянина. — «Да такъ. Коли кто захвораетъ, ну, и пьетъ траву, коя идетъ на такую болѣсть. Тутъ всякія есть: затрясетъ тебя, лихоманка забьетъ, брюхо заболитъ, ну, и лѣчатся такой травой».—«Лиже ты! А гдѣ онѣ растутъ?»— «Въ лѣсу да въ болотахъ»... Вотъ Пила и сталъ собирать лѣтомъ въ лѣсу да въ болотѣ разныя травы съ цвѣточками, вырывалъ съ кореньями и лѣчилъ подлиповцевъ.—«Ну-ка съѣшь эту травку, хворать не станешь», говорилъ Пила больному. Больной ѣлъ, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки всѣ просили у Пилы травы. Пила давалъ, не требуя за это ничего. Священникъ требовалъ, чтобы крестьяне непремѣнно крестили дѣтей, везли въ село умершихъ, вѣнчались; первое подлиповцы не исполняли до тѣхъ поръ, пока священникъ не пріѣзжалъ самъ за сборомъ; за умершихъ они боялись и везли всѣ покойника въ село; свадьбы вѣнчались рѣдко; подлиповцы жили до тѣхъ поръ, пока опять не пріѣдетъ священникъ за сборомъ; а какъ пріѣхалъ—бѣда: «возитъ съ собой штуку какую-то (метрическую книгу) и давай считать да пугать—бѣда!» говорятъ подлиповцы и ѣдутъ вѣнчаться въ село, но только съ Пилой. Причтъ проситъ денегъ либо масла за свадьбу, и Пила пойдетъ сбирать ради Христа, жениху и невѣстѣ велитъ тоже сдѣлать, и, насобиравъ чего-нибудь, идутъ къ причту. Всѣ подлиповцы удивлялись Пилѣ: какъ это онъ всегда успѣваетъ, все умѣетъ сдѣлать, всегда веселъ и рѣдко хвораетъ, даже и съ семьей его ничего не дѣлается. Поэтому его прозвали колдуномъ и боялись. Пила никогда не былъ колдуномъ, но слово это его забавляло.

Пила ужъ третью недѣлю не выѣзжалъ изъ деревни. Всѣ подлиповцы сдѣлались больны отъ мякины и коры; продавать нечего; дочь Пилы, Апроська, тоже захворала, жена его, Матрена, и парень Иванъ третьи сутки не встаютъ. Пила не знаетъ, что и дѣлать, кому и какъ помочь, — травы его не дѣйствуютъ; надо бы купить муки, да уѣхать Пила боится: какъ да всѣ безъ него помрутъ? Наконецъ и у Пилы не стало муки, и онъ принялся мѣшать въ мякину кору, и его тошнить стало. Хорошо еще, у него картофель есть да корова даетъ немного молока: для себя достаетъ, а если другимъ удѣлишь—у самого ничего не будетъ. «Экая бѣда,— думаетъ Пила.—Что теперь дѣлать — не знаю. Уѣдь я—всѣ помрутъ, и Апроська и Сысойко»...

Жена Пилы, Матрена, была такая же, какъ и прочія подлиповскія женщины, часто хворающая, но нѣсколько крѣпче прочихъ: она скоро выздоравливала. Работы у Матрены никакой не было, кромѣ того, что она доила корову. Она спала и во всемъ надѣялась на мужа. Пила на нее смотрѣлъ, какъ на какую-то потребность; часто возилъ онъ ее съ собой въ лѣсъ и въ городъ, пріучалъ къ какой-нибудь работѣ, но Матрена ничего не хотѣла дѣлать, за что Пила билъ ее во время своей злости, какъ лошадь, чѣмъ попало.

Всѣ дѣти ихъ: Апроська 19 лѣтъ, Иванъ 16, Павелъ 14 и Тюнька 3 лѣтъ, росли на произволъ судьбы. Апроська была некрасивая дѣвушка, худая, часто хворающая, ничего не дѣлающая, какъ и мать. Отецъ билъ ее, Ивана и Павла, какъ и свою жену, за то, что ему не нравилось; но Апроську Пила любилъ какъ-будто даже болѣе, нежели дочь.

Сысойко живетъ рядомъ съ Пилой, и дома ихъ не отдѣлены другъ отъ друга даже плетнемъ. Сысойко былъ самый бѣдный въ деревнѣ и рѣдко бывалъ здоровымъ. Отецъ его ходилъ на медвѣдей съ чугуннымъ ломомъ и бралъ его съ собой. Но медвѣдей было мало, такъ что въ годъ они убивали много медвѣдя три. Мясо медвѣжье они ѣли, а шкуру продавали въ село за дешевую цѣну. Тогда, при отцѣ,

можно было жить, но вотъ уже два года, какъ отца загрызъ медвѣдь, а Сысойко, бывшій съ отцомъ, хотя и убилъ этого медвѣдя, но медвѣдь исцарапалъ ему плечо. Сысойко едва-едва дошелъ до своей деревни, сказалъ о бѣдѣ Пилѣ и вмѣстѣ съ нимъ повезъ отца въ село, захвативши съ собой и убитаго медвѣдя. Священникъ не сталъ хоронить отца Сысойки, а почему-то призвалъ станового пристава. Становой привязался къ Сысойкѣ и Пилѣ, говоря, что не медвѣдь загрызъ отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медвѣдя. Становому хотѣлось взять себѣ убитаго медвѣдя, и онъ взялъ-таки его и попросилъ священника отпѣть покойника... Съ той поры Сысойко живетъ очень бѣдно: въ лѣсъ бить медвѣдей не ходитъ, стрѣлять дичь — пороху нѣтъ, продавать кадки и прочее не стоитъ, да и Сысойко умѣлъ только лапти плести. И вотъ Сысойко помогалъ въ чемъ-нибудь Пилѣ, то-есть вмѣстѣ съ нимъ искалъ лѣкарственную траву, ѣздилъ по нуждѣ въ село и въ городъ, за что и пользовался отъ Пилы подачками хлѣбомъ и мясомъ; но такъ какъ онъ часто хворалъ, то и не могъ всегда бывать съ Пилой, и Пила навѣщалъ его. Пила и Сысойко такъ привыкли другъ къ другу, что по цѣлымъ днямъ проводили вмѣстѣ, ничего не дѣлая, а лежа; если Пила хворалъ, а Сысойко былъ здоровъ, Сысойкѣ казалось, что и онъ хвораетъ, и наоборотъ. Пила и Сысойко въ болѣзняхъ всячески старались угодить другъ другу, а если Сысойко былъ здоровъ, то цѣлую недѣлю жилъ у Пилы.

Сысойкѣ страшно опротивѣла жизнь въ своемъ дому: каждый день и даже ночь ревѣли его маленькіе братъ Петръ 4-хъ и сестра Пашка 2-хъ лѣтъ, которые мерзли съ холоду и постоянно голодали. Эти маленькія дѣти, не умѣющія еще выговаривать и ходить, постоянно лежали или сидѣли полунагія, одѣтыя въ нѣсколько тряпокъ, сшитыхъ наподобіе мѣшковъ. На нихъ не обращалось вниманія ни Сысойкомъ ни матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печкѣ и охала. Куда Сысойко ни посадитъ дѣтей, тамъ они сидятъ, тамъ и ползаютъ. А если Сысойко садилъ ихъ на полати, что случалось очень рѣдко, то ребята то и дѣло получали колотушки... Онъ даже нарочно садилъ ихъ на голый полъ для того, чтобы они скорѣе умерли, нарочно не давалъ ѣсть, думая, что они помрутъ; но ребята кричали съ каждымъ днемъ хуже,—Сысойко злился, хотѣлъ ихъ пришибить чѣмъ-нибудь, но ему было жалко, онъ чего-то боялся... Пила жалѣлъ дѣтей и всегда приносилъ имъ что-нибудь; при появленіи Пилы дѣти начинали плакать и махали ему руками. Сысойко, когда бывалъ здоровъ, по недѣлѣ не заглядывалъ въ свою избу, а терся у Пилы или гдѣ-нибудь съ Пилой; объ сестрѣ и братѣ и, наконецъ, о своей матери онъ не думалъ въ это время; онъ радъ былъ, что наконецъ-то нѣтъ ихъ, не слышатся крики, не ворчитъ и не охаетъ старуха.

Хотѣлось Сысойкѣ жить у Пилы; да Пила говорилъ: «нѣтъ, бать, изба моя махонькая, куды же я тебя пущу съ ребятами и матерью?»

— Да я одинъ... — напрашивался Сысойко.

— Ужъ не говори. Тѣ ребята-то все же братъ да сестра... Ну, да хоть помрутъ, не жалко, а мать-то? Она, бать, родила тебя. А ты лучше живи тамъ, да сюда ходи,—замѣтила Матрена.

Сысойкѣ еще хотѣлось жить одному съ Апроськой да съ Пилой. Но гдѣ жить? Въ своемъ домѣ нельзя—мать и ребята; Пила не пускалъ, да у него жена и дѣти. Долго Сысойко ломалъ голову на этотъ счетъ, да ничего не выдумалъ. Пила тоже думалъ: какъ бы устроить, чтобы Сысойкѣ было лучше? Хоть и жаль Апроськи, и надо же ей жить съ Сысойкомъ, потому что попъ такъ *велитъ* [1]), да и отъ Апроськи будутъ дѣти рождаться, но гдѣ жить? Жить въ его домѣ нельзя, потому что у него свое семейство; парни, того и гляди, приведутъ въ домъ по дѣвкѣ, а какъ попъ велитъ имъ жениться, то и самому тѣсно будетъ. Отдать Апроську Сысойкѣ, чтобы она жила въ Сысойковомъ домѣ,—тамъ мать сумасшедшая, ребята ревутъ маленькіе... Но до того, чтобы выстроить Сысойкѣ избушку, Пила не додумался. Онъ на томъ и рѣшилъ: ужъ пусть живутъ такъ, какъ теперь; а какъ помретъ старуха Сысойкова да маленькіе ребята, тогда и можно Апроську Сысойкѣ отдать. А попъ пріѣдетъ, ну, и вѣнчать

---

[1]) То-есть велитъ вѣнчаться.

можно. И ребята пойдутъ отъ Апроськи. Все же лучше, опять къ попу можно съѣздить. «Только тѣ не помираютъ. Ужъ померли бы скорѣе, пользы-то отъ нихъ нѣтъ,— только мука одна», думалъ про себя Пила и сообщалъ объ этомъ Апроськѣ и Сысойкѣ, которые, съ своей стороны, тоже соглашались въ этомъ мнѣніи съ Пилой, и стали ждать да ждать, чтобы тѣ умерли.

---

Пила принесъ въ избу Сысойки охапку дровъ. Бросивъ ихъ на полъ около печи, онъ заглянулъ въ печку. Тамъ лежали мальчикъ и дѣвочка нагіе.

Эй, вы, лѣшіе! Вылѣзайте!.. спалю тожно!..— кричалъ Пила.

Изъ печки не слышно было ни голоса ни движенія,

Пила потащилъ изъ печки за ногу мальчика.

Мальчикъ былъ мертвый.

— Ишь ты! — сказалъ Пила и сталъ щупать мальчика.—Померъ.

— Кто?—спросилъ Сысойко.

— Парень.

— Ну, и ладно... А дѣвка-то?—спросилъ Сысойко и высунулъ голову съ полатей.

Пила вытащилъ за ногу и дѣвочку. Она была мертвая. Лѣвый високъ ея былъ чѣмъ-то проломленъ; лица ея незамѣтно было: все оно запеклось отъ крови, и на немъ засохъ мусоръ отъ печки.

— Сысойко, гли (смотри)!

Сысойко плохо видѣлъ съ полатей.

— А што, померла?

— Слѣпъ ты, што ли! Гляди, убита!

— Вре?!

Пила положилъ мальчика и дѣвочку на лавку и долго смотрѣлъ на нихъ жалобно.

— Слышь, Сысойко? Ты убилъ дѣвку-то?

— А пошто?

— Право, ты?

— Цуцело ты, Пила! Што я медвѣдь, што ли, экъ ты! — Сысойко не сталъ и говорить больше, а спряталъ голову въ полушубокъ.

Пила нащепалъ березовой лучины, досталъ на трутъ кремнемъ огня, зажегъ лучину и сталъ смотрѣть на печку. Въ ней лежалъ большой камень, отвалившійся съ неба печки. Теперь Пила понялъ, что не Сысойко убилъ дѣвку, а этотъ камень самъ отвалился. Только какъ же на парня камень не упалъ, а на одну дѣвку?..

— Смотри-кась, экой камень-то!—сказалъ Пила Сысойкѣ, показывая ему камень.

Сысойко посмотрѣлъ и разинулъ ротъ отъ удивленія, но ничего не сказалъ.

Пила склалъ въ печку дрова, зажегъ. Въ избѣ сдѣлалось свѣтлѣе.

Пила опять подошелъ къ ребятамъ. Жалко ему стало ребятъ. «Эхъ, голова-то какъ раскроена... Мальчонки, мальчонки! Жить бы вамъ долго, да што жить-то? Лучше, какъ померли. Вотъ, Сысойко, и померли ребята!..»

— Померли. Теперь я къ тебѣ пойду.

— А мать?

— Помретъ.

Въ это время простонала на печкѣ старуха и что-то несвязно пробормотала. На это ни Пила ни Сысойко не обратили вниманія.

Пила сталъ разсуждать, что дѣлать съ ребятами. Зарыть ихъ такъ—попъ узнаетъ, и тогда — бѣда; ѣхать къ попу — будетъ денегъ просить... Пилѣ хотѣлось ѣхать въ село; у него не было хлѣба, и онъ ждалъ только удобнаго случая ѣхать туда. Случай этотъ выпалъ—везти хоронить дѣтей.

— Ну, пошто ребятъ туда везти? Зарыть бы здѣсь въ лѣсу, такъ нѣтъ ишшо; деньги давай,—сердился Пила.

— Ты не вози,—сказалъ Сысойко.

— Ишь ты! Какъ наѣдетъ—лучше будетъ? Нѣтъ ужъ, свезу.

Въ избу прибѣжалъ Павелъ.

— Апроська зоветъ! ись, баетъ, хочу.

— А ты што? Нѣту, што ли, картошки-то?

— Молока проситъ.

— Поди, подой корову-то.

— Я доилъ, да нѣту молока-то.

Пила ушелъ въ свой дворъ. Сталъ доить корову, у той не было молока.

— Родить тожно хочетъ,—сказалъ про себя Пила.

Пила ушелъ въ свою избу. Въ его избѣ было много чище и свѣтлѣе. Отсутствіе одежды и другихъ вещей здѣсь было такое же, какъ и у Сысойки. На печкѣ лежала Апроська, некрасивая, худая дѣвушка. На полатяхъ сидѣла Матрена, Иванъ и Тюнька. Всѣ они ждали молока. Матрена жевала картофель.

— Ты ушелъ и утонулъ; дома хоть помирай...—ворчала Матрена.

— Чево помирай! Вонъ ребята Сысойкины померли... Сысойко, гляди, помретъ, а старуха ужъ поди теперь померла.

— А Сысойко? хворатъ? — спросила Апроська.

— Сказано, помиратъ.

— А молока принесъ?

— Гдѣ возьму? Вонъ корова-то родить тожно хочетъ, нѣту молока-то.

Матрена заворчала. — Ужъ у тебя все такъ. Когда я дою, всегда молоко есть... Ужъ излѣнился ты совсѣмъ.

— Я те, стерво! Поворчи, што я тебя не отщепаю!

Пила ушелъ изъ избы разсерженный. Онъ вошелъ въ третью избу, къ сосѣду Морошкѣ. Морошка былъ нездоровъ, нездоровы и дѣти. Жена его плела лапти.

— Нѣтъ ли продать чего? — спросилъ Пила жену Морошки.

— А ты въ городъ?

— Въ городъ. Вонъ у Сысойки ребята померли; надо къ попу везти.

— Ладно, вонъ тамо лапти складены, возьми.

Пила взялъ двѣ пары лаптей и пошелъ домой.

— Нѣтъ ли у те травки? — просила жена Морошки.

— Какъ нѣту!

— Дай, родной!

— Ну, погоди, Пашку пошлю. А Агашка какъ?

— Ой, и не говори!

— Ванька у меня тоже... Вонъ съ Пашкой ничего не дѣлается.

Иванъ былъ женихъ Агашки.

На другой день Пила сдѣлалъ ящикъ въ видѣ гроба, положилъ въ него два маленькіе трупа, завернутые въ мѣшки, заколотилъ ящикъ досками и повезъ на дровняхъ въ село вмѣстѣ съ двумя парами лаптей и тремя берестяными бураками отъ Морошки.

---

Въ село Пила пріѣхалъ ночью. Переночевавъ у знакомаго крестьянина, онъ утромъ отправился къ священнику. Извѣстно, что въ сельскихъ церквахъ служатъ только по воскресеньямъ и въ большіе праздники. Такъ и теперь, церковь была заперта, и къ ней не было даже дороги проложено, т.-е. незамѣтно было слѣдовъ человѣческихъ съ дороги. Священникъ долго не соглашался хоронить дѣтей. Пила нѣсколько разъ ѣздилъ къ нему, и вотъ уже въ пятый разъ пріѣхалъ къ нему. Священника это, просто, до слезъ проняло.

Онъ сталъ надѣвать худенькую, съ заплатами рясу.

— Вотъ что, Пила: ты въ пятый разъ ко мнѣ пріѣхалъ, а ничего не привезъ. Смотри, у меня на ногахъ-то лапти!

Священникъ былъ въ лаптяхъ. Пила въ этомъ не видѣлъ ничего удивительнаго; ему смѣшно показалось.

— Тебѣ смѣшно, а мнѣ плакать хочется. Вотъ ужъ шестой годъ живу здѣсь, а ничего не пріобрѣлъ. Просилъ, чтобы перевели, да выговоръ получилъ.

Пила плохо понялъ.

— Такъ мнѣ надоѣло жить съ вами! Уѣду я таки отъ васъ.

— А ты уѣдь, право! — сказалъ Пила.

— И уѣду.

— А ты теперь уѣдь.

— Не пускаютъ. Да и что толку въ томъ, что я уѣду! Пошлютъ другого на мое мѣсто, и тогда вамъ хуже будетъ.

— Ишь ты. А ты не поѣдешь?

— Не пускаютъ.

Священникъ кликнулъ дьячка и послалъ его съ Пилой въ церковь.

— Ну-ко, Пила, открой гробъ!

— А пошто?

— Такъ нельзя.

— Да ты ужъ совсѣмъ 'зарой, а то земля-то въ глаза насыплется.

— Ну, открой. Тебѣ говорятъ, нельзя такъ... Кто тебя знаетъ, что ты привезъ тутъ.

Пилѣ обидно стало. — Цуцело ты, какъ я погляжу! Сказано, Сысойковы ребята.

— Хочешь, становаго призову?

Пила струсилъ и открылъ топоромъ одну доску.

— Ты другую открой.

Дьячокъ раскрылъ одинъ мѣшокъ. Мальчикъ лежалъ лицомъ кверху, дьячокъ осмотрѣлъ его всего — мертвый. Жалко ему стало мальчика. Раскрылъ другой мѣшокъ. Дѣвочка лежала на животѣ. Сталъ и дѣвочку осматривать дьячокъ, и, какъ взглянулъ на лицо, съ ужасомъ отступилъ.

— А, такъ ты такъ-то хочешь насъ провести! Что это такое?

Пила испугался.—Батшко, не я!..

— Врешь! Кайся, разбойникъ!

— Ты не кричи—экъ испугались! Медвѣдей бивалъ!

— Такъ ты еще запираешься? Сейчасъ станового призову.

Пила повалился въ ноги.

— Батшко, не губи!.. Камнемъ дѣвку-то пришибло въ печкѣ! Што хошь возьми... не губи.

— Разсказывай, какъ было!

Пила разсказалъ все. Дьячокъ вѣрилъ и не вѣрилъ. Онъ сталъ еще смотрѣть на лицо дѣвочки: кажется, и камнемъ изъ печки пришибло, кажется, и другой кто-нибудь убилъ. Онъ затруднялся: повѣрить Пилѣ или нѣтъ?

— Не вѣрю я тебѣ; я пойду къ становому.

— Батшко, не губи! Я те все сказалъ... Што я—звѣрь, што ли?.. Сысойко хворатъ, старуха тоже... А эти въ печкѣ дрыхнули... Я такъ и увидѣлъ камень на лицѣ-то.

— Цѣлуй крестъ!

Пила поцѣловалъ.

— Клянись, что ты не убилъ.

— Эхъ, ты! Я вонъ и Сысойка спрашивалъ, онъ заревѣлъ только, жалко стало... А ты говоришь: убилъ, убилъ!.. Эхъ, ты!.. Я вонъ только восемь медвѣдевъ убилъ.

Дьячокъ опѣшилъ. Къ подобнымъ выходкамъ онъ уже привыкъ.

Пила опять повалился въ ноги.

— Не погуби, батшко!

Черезъ два часа Пила везъ въ Подлипную на своей и поповской лошадяхъ, запряженныхъ въ поповскія сани, попа и дьячка.

---

Дорогой въ Подлипную Пила долго ругался. Священникъ съ дьячкомъ разсуждали, какъ поступить съ подлиповцами: никакіе страхи ихъ не берутъ, и вѣровать-то они по-христіански не хотятъ...

Наконецъ пріѣхали въ Подлипную. Священникъ и дьячокъ вошли въ избу Пилы и влѣзли на полати, потому что въ избѣ было холодно, да къ тому же они хорошо прозябли. У дьячка былъ въ запасѣ буракъ съ водкой. Семейство Пилы осталось на печкѣ. Апроськѣ было немного легче, но она все лежала. Иванъ все хворалъ, Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай намъ закусить,—просилъ священникъ.

— Да что я тебѣ дамъ-то? Хлѣбушка нѣтъ, молока нѣтъ. Кору нынче ѣдимъ...

— Поди, посбирай въ деревнѣ.

— Гдѣ ужъ, тамъ ни у кого нѣтъ хлѣбушка. Вонъ Пила не привезъ ли...— Пила, дѣйствительно, привезъ двѣ ковриги хлѣба и нѣсколько фунтовъ муки. Пила распрягалъ лошадей, ругая дьячка. Павла онъ послалъ къ подлиповцамъ: «Бѣги ко всѣмъ, скажи: попъ, молъ, наѣхалъ»... Павелъ ушелъ и сдѣлалъ такъ, какъ велѣлъ Пила. У подлиповцевъ до сей поры всѣ образа были гдѣ-то на полатяхъ; теперь Павелъ поставилъ ихъ на полки въ переднихъ углахъ.

Пила принесъ въ избу хлѣба, отрѣзалъ нѣсколько ломтей и роздалъ священнику, дьячку и своему семейству. Въ нѣсколько минутъ одной ковриги не стало.

— Ты, тятька, снеси Сысойку-то,—просила Апроська Пилу.

— Эй, ты, Пила, хошь водки?—кричалъ съ полатей дьячокъ, ужъ опьянѣвшій.

— Давай.

Пила хлебнулъ изъ бурака.

— Ну, пойдемъ къ подлиповцамъ,— сказалъ священникъ, слѣзая съ полатей.—А ты, дѣвка, все еще не замужемъ?— спросилъ онъ Апроську.

— Нѣтъ, батшко.

— То-то, смотри. Найду ребятъ, бѣда тебѣ будетъ!

— Ужо тепло будетъ, повезу ее,—сказалъ Пила.

— Ты давно мнѣ говоришь. Съ кѣмъ ты ее хочешь свѣнчать?

— А съ Сысойкомъ.

— То-то. Ну, пойдемъ.

Пила повелъ священника и дьячка къ Сысойкѣ. Съ собой онъ захватилъ полковриги хлѣба. Сысойкѣ было легче, но онъ все еще лежалъ. Въ избѣ холодно и темно.

— Зажигай лучину! — командовалъ дьячокъ.

Лучину зажгли.

Священникъ сталъ смотрѣть въ передній уголъ: есть ли икона?

Икона была.

— Эй, вы! Отчего никого нѣтъ?—кричалъ дьячокъ.

— Да больны они, больно больны,— сказалъ Пила. Сысойко спрятался въ уголъ на полатяхъ и молчалъ. Мать его попрежнему стонала.

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Переночевавъ у Пилы, священникъ и дьячокъ поѣхали въ село. Пила ѣхалъ за ними на дровняхъ; за дровнями шла Пилина корова съ веревкой на шеѣ.

Какъ ни горько было Пилѣ вести корову въ село, но онъ изъ боязни, чтобы не погубилъ его становой, рѣшился-таки отдать ее. «Ужо, какъ помретъ Пантелей, возьму его корову себѣ. А не помретъ, изъ другой деревни уволоку», думалъ Пила.

Матрена, какъ Пила сталъ привязывать корову къ дровнямъ, полѣномъ ударила Пилу, дьячка обругала, какъ только могла, и, можетъ-быть, убила бы Пилу за корову, да у нея силы не было: Пила и дьячокъ до того избили ее, что она едва-едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего въ своей жизни любила корову. Корова для нея была больше, нежели дѣти: дѣти ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молокомъ и лѣтомъ не просила ѣсть, а питалась въ лѣсу, сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей сѣна каждое утро. А теперь какъ она будетъ жить безъ коровы?..

---

Пила пріѣхалъ въ село вечеромъ. Заплакалъ Пила, какъ заперли его корову въ чужую стайку. Хотѣлъ онъ увести корову ночью, да двери стайки были заперты. На другой день отпѣли умершихъ, а Пила съ церковнымъ сторожемъ едва-едва сдѣлали на кладбищѣ маленькую ямку и свалили туда гробъ, потомъ завалили яму землей и снѣгомъ. Послѣ этого Пила пошелъ къ дьячку просить денегъ. Дьячокъ сжалился надъ Пилой, далъ ему пятнадцать коп. сер. Пила былъ очень доволенъ этими деньгами и даже повалился въ ноги.

Выйдя изъ двора дьячковскаго, Пила долго стоялъ у своей лошади. Его сильно давило горе. Онъ лишился коровы, которая кормила его. Какъ онъ теперь безъ коровы будетъ жить? Какъ семья его пробьется до лѣта? Не корова бы, что бы было съ ними?.. Пилѣ все теперь опротивѣло, проклялъ онъ свою жизнь, долго билъ свою лошадь, самъ не зная за что; сѣлъ на дровни, стегнулъ лошадь, лошадь пошла по улицѣ. Пила не зналъ, куда ѣхать, и пустилъ лошадь на произволъ. Лошадь дошла до лѣсу. Дорога вела въ деревню. Пила не поѣхалъ въ деревню, а поѣхалъ въ городъ.

Въ городѣ Пила шатался двѣ недѣли. Жилъ онъ подаяньемъ добрыхъ людей. Придетъ въ домъ, попроситъ ради Христа, ему даютъ, кто ломтикъ хлѣба, кто грошикъ. Ломтей у Пилы накопилось много: деньги шли на водку. Хотѣлъ онъ купить на рынкѣ корову, да просили десять рублей. Видѣлъ онъ и дьячка своего сельскаго; тотъ сказалъ ему, что корову онъ подарилъ по начальству. Узнавши, гдѣ корова, Пила сряду двѣ ночи ходилъ къ воротамъ новаго ея хозяина, да все ворота заперты; перелѣзъ онъ и черезъ заплотъ, да и тамъ не нашелъ коровы, а зарубивъ топоромъ двухъ свиней и перебросивъ ихъ черезъ заборъ, увезъ въ лѣсъ и тамъ зарылъ въ снѣгу.

Пила собрался ѣхать, какъ увидѣлъ около питейной лавочки толпу мужиковъ: зырянъ, вотяковъ, пермяковъ и крестьянъ Вологодской и Архангельской губерній. Пилу любопытство взяло, и онъ спросилъ одного изъ толпы:

— Што, ребята?

— Ништо,—сказалъ одинъ крестьянинъ.

— Ты откедова? — спросилъ Пилу другой крестьянинъ.

— А подлиповечъ! А вы-то?

— А мы бурлацить.

— Лиже! А пошто?

— Баютъ: баско, богачество, баютъ...

Пила задумался. Каждую зиму онъ видѣлъ около этого кабака толпу мужиковъ, каждую зиму онъ слышитъ, что они идутъ бурлачить, — богачество, баютъ, отъ бурлачества получаютъ. Прежде Пила не вѣрилъ мужикамъ, говорящимъ про богачество, и не спрашивалъ, что такое бурлачество: теперь ему опротивѣла жизнь, мужики раззадорили его: не лучше ли бурлачить? — спросилъ самъ себя Пила. «А Сысойко?.. а Апроська?.. Ну ихъ къ лѣшимъ и съ бурлачествомъ!»... Апроська показалась Пилѣ милѣе бурлачества... «Уйди тамъ, а куда?.. Ну, уйди—и тютю»... думалъ Пила. Однако онъ снова подошелъ къ бурлакамъ.

— А васъ много?

— Не всѣ ошшо.—Ихъ было человѣкъ тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што робить?

— Плыть.

— Э! А скоро итти-то?

— Скоро.

Пила ушелъ отъ бурлаковъ и поѣхалъ въ Подлипную. Дорогой онъ думалъ: «итти въ бурлаки или нѣтъ? Бурлачество, баютъ,— хлѣба много... А въ деревнѣ што! тотъ боленъ, другой помираетъ, третьяго везти хоронить надо. Эхъ!.. надоѣла эта жизнь!.. Дай, пойду въ бурлаки... Надоѣли подлиповцы: пусть помираютъ, мнѣ не пособить. Только выздоровѣетъ Сысойко и Апроська, возьму ихъ съ собой»... Пилѣ эта мысль хорошею показалась, онъ захохоталъ и рѣшился, во что бы то ни стало, уйти съ Апроськой и Сысойкомъ бурлачить, самъ не зная, что это за дѣло такое, вѣря въ слово богачество и въ надежду имѣть всегда много хлѣбушка... «Уйду же я, уйду! Ужъ не поклонюсь болѣ никому, не дамъ коровы. Что я безъ коровы-то? Вонъ везу двѣ свиньи, да что толку — не живыя... И станового теперь не боюсь»... При мысли о томъ, что онъ будетъ бурлачить, Пила чувствовалъ какую-то легкость, свободу, удовольствіе и никого не боялся.

До Подлипной Пила ѣхалъ четыре дня. Ночи онъ спалъ въ деревняхъ. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество, или онъ идетъ куда-то на гору съ Сысойкомъ, Апроськой и всѣми подлиповцами. Сердится Пила: зачѣмъ это прочіе подлиповцы идутъ, зачѣмъ и Матрена тутъ, и старуха Сысойкова тутъ?.. Идутъ они долго-долго, все гора, и конца нѣтъ. Вотъ одинъ свалился съ горы, за нимъ другой и прочіе, и Пила въ страхѣ кричитъ и пробуждается. «Не дошли»... ворчитъ Пила и силится заснуть, чтобы увидать что-нибудь получше — хорошо ли бурлачить... Ему опять кажется: опять онъ съ своимъ семействомъ и подлиповцами на полѣ, и всѣ рубятъ дрова. Рубятъ, рубятъ, а дровъ нѣтъ... Гдѣ же Сысойко и Апроська?.. Жалко стало Пилѣ, сталъ онъ искать ихъ, нашелъ: лежатъ въ подлиповскомъ болотѣ мертвые— медвѣдемъ изгрызены... Заплакалъ Пила, заревѣлъ... Проснулся, на глазахъ слезы... Живы ли Сысойко и Апроська?.. Сердце дрогнуло у Пилы: «а что, если померли?».. Пила не могъ придумать, что будетъ съ нимъ, если помрутъ Апроська и Сысойко. Онъ только и придумалъ: «а пошто я-то не помру? Я-то на што живу»... Въ первый разъ въ жизни Пила почувствовалъ сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойко и Апроська...

Мысль о Сысойкѣ и Апроськѣ всю дорогу мучила Пилу; всю дорогу онъ не находилъ покоя. Золъ сдѣлался Пила, и боялся онъ пріѣхать въ деревню, точно въ ней сто медвѣдей засѣли.

---

Пріѣхавъ въ деревню, Пила прямо отправился къ Сысойкѣ. Домой онъ побоялся прійти. Въ избѣ было темно и холодно, не слышно ни звука ни шороха... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли? — сказалъ Пила.

Пила не получилъ отвѣта. Хотѣлось ему удостовѣриться, залѣзши на полати, да боялся Пила. Въ первый разъ въ жизни Пила побоялся покойниковъ. Однако Пила залѣзъ на печку. Тамъ лежала мать Сысойки. Пила заглянулъ на полати—никого нѣтъ. Полегче сдѣлалось Пилѣ: «Теперь Сысойко у меня... мать, вѣрно, померла», сказалъ онъ весело. Сталъ онъ щупать старуху: старуха холодная, не дышитъ, лицо зеленокрасное, глаза открыты, такъ строго смотрятъ... Пила струсилъ старухи, соскочилъ съ полатей, плюнулъ на печку и убѣжалъ на улицу... «Ишно загрызетъ стерва», ворчалъ Пила.

Въ свою избу Пила вошелъ весело. Какъ только онъ вошелъ, на него закричала Матрена:

— Што, дьяволъ!.. Всѣхъ насъ уморить, што ли, захотѣлъ?.. Вонъ Апроська-то померла!..

Пилу какъ обухомъ кто ударилъ по головѣ, онъ ротъ разинулъ и тупо смотрѣлъ на печку, гдѣ сидѣлъ Сысойко, блѣдный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишно не околѣлъ ты, чортъ?!. Другіе мрутъ, а ему и смерти нѣтъ!

Пилѣ горько сдѣлалось. Ударилъ онъ жену и полѣзъ на печку. На полатяхъ лежала Апроська. Она была такая же, какъ и двѣ недѣли тому назадъ, только не дышала. Пила не вѣрилъ, что она умерла; сталъ онъ ее толкать, она не шевелится... Взвылъ Пила, убѣжалъ на улицу, забрался въ стайку и долго тамъ плакалъ... Въ стайкѣ спали Павелъ и Иванъ. «Помру ли я?» спросилъ самъ себя Пила. «Уйду отсель! уйду!».. закричалъ онъ и вышелъ изъ стайки. Пила хотѣлъ ѣхать, но ему жалко стало Сысойки, да и что дѣлать съ Апрось-

кой? Везти надо ее, опять надо къ попу ѣхать...

Пила вошелъ въ свою избу. Матрена выла на печкѣ. Сысойко дико смотрѣлъ на Апроську. Онъ не плакалъ, а видно было, что его страшно мучило горе. Онъ любилъ Апроську сильно, хотѣлъ съ ней всегда жить; вотъ умерли ребята его матери, умерла и мать... Зачѣмъ же Апроська померла? Онъ-то зачѣмъ не померъ? Дикъ и золъ сдѣлался Сысойко, теперь онъ походилъ на собаку, лишившуюся своего дѣтища, онъ готовъ былъ, Богъ знаетъ, что сдѣлать, только бы Апроська была жива, готовъ былъ помереть, но не зналъ, какъ помереть...

Пила такъ же мучился, какъ и Сысойко. Онъ сѣлъ съ Сысойкомъ на полати и долго смотрѣлъ на Апроську, потомъ вскричалъ: «Апрось!».. Апроська не двигалась. Пила заревѣлъ, заплакалъ и Сысойко. Долго плакалъ Пила, да не помогъ слезами горю. Онъ опять вышелъ на улицу, сѣлъ на крылечко и сталъ думать... Сначала ничего онъ не придумалъ, все Апроська мучила его; потомъ ему опротивѣла своя изба, вся деревня. Пила вскочилъ, какъ бѣшеный, и сказалъ самъ себѣ: «Что я за чучело? Что мнѣ жить-то? пойду изъ Подлипной, наплюю на нихъ всѣхъ... Безъ Апроськи что за жизнь». Онъ вошелъ въ избу.

— Сысойко! айда отсель! Пойдемъ бурлачить!

— Не пойду.—Сысойко еще не вѣрилъ тому, что Апроська умерла. «А можетъ, она такъ»... думалъ онъ.

— Э, дура голова! Пойдемъ! бурлачество—баская штука, богачество получимъ, а хлѣбушка эво! ужасти!..

Сысойкѣ не хотѣлось итти. Пила сталъ уговаривать его; Сысойко только ругался.

— Ну, и околѣвай, чортъ! Я одинъ пойду, ребятъ съ собой возьму.

Пила сталъ думать, что теперь дѣлать съ Апроськой. Матрена ругается за корову, говоритъ: вези опять, отдай лошадь... «Ну, ужъ теперь съ меня онъ шишъ возьметъ!» Однако онъ все-таки рѣшилъ везти Апроську и мать Сысойки къ попу... «Коли просить чего станетъ, я и къ набольшему его пойду... Баетъ, у меня начальство есть».

На другой день по пріѣздѣ въ Подлипную онъ принялся дѣлать гробъ съ Сысойкомъ, Иваномъ и Павломъ. На третій день они уложили въ гробъ мать Сысойки и Апроську въ такой одеждѣ, въ какой онѣ умерли. На обѣихъ ихъ были худенькіе полушубки, худые лапти; Сысойко надѣлъ на руки Апроськи свои рукавицы и положилъ ей на грудь коврigу хлѣба. Въ этотъ же день Пила съ женой, дѣтьми и Сысойкомъ, положивъ гробъ на Пилины дровни, отправились въ село. Гробъ былъ прикрытъ досками и обвязанъ веревкой. На немъ сидѣли Пила и Сысойко. На Сысойковыхъ дровняхъ, запряженныхъ въ Сысойкову лошадь, ѣхали Матрена, Павелъ, Иванъ и Тюнька.

Дорогой Пила уговаривалъ Сысойку итти бурлачить. Сосойко ругался и, наконецъ, понявъ, что въ деревнѣ ему тошно жить, согласился итти съ Пилой туда, гдѣ хлѣба много. Только какъ же безъ Апроськи?

— Ужъ не воротишь. Жалко, а нешто дѣлать,—говорилъ Пила вздыхая.

— У, Апроська! стерво ты... лѣшій!..— вскричалъ со злостью Сысойко. Ему слишкомъ было обидно, что Апроська померла.

Священникъ удивился, когда увидалъ передъ своимъ домомъ подлиповцевъ.

Этотъ день былъ теплый, какихъ въ этомъ краю мало бываетъ зимой. Солнце грѣло, съ крышъ капало, вѣтру не было. Пила подумалъ, что лѣто скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то! — говорилъ Пила, весело указывая на солнце.—Лѣто тожно скоро... Ишь, какъ баско.

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Онъ все думалъ объ Апроськѣ.

— А пошто она издохла?.. Пошто,— вскричалъ Сысойко.

— Пошто? — спросилъ и Пила, и ему тоже обидно сдѣлалось.

Вышелъ священникъ а:—Ну, что, братцы?

— Што! Знамо што... — сказалъ Пила съ сердцемъ. Онъ и Сысойко теперь походили на звѣрей. Вокругъ нихъ собралось много крестьянъ, которымъ Матрена и Павелъ толковали, какъ померла Апроська, и которые жалѣли и умершихъ и Матрену.

— Кто опять умеръ? — спросилъ священникъ.

— Кто? какъ бы не ты, жива бы Апроська-то была... — ворчалъ Пила.

— Ну, полно, Пила... Она теперь покойная...

— Знамо... Зажмурила шары-те. Отъ того и померла.

Крестьяне между тѣмъ съ участіемъ разспрашивали Матрену и Сысойку, отчего умерла Апроська.

— Ступайте въ церковь, я сейчасъ буду.—Священникъ ушелъ къ становому, крестьяне—по своимъ домамъ, а Пила и Сысойко поѣхали къ церкви. Церковь была отперта сторожемъ. Поставивши гробъ среди церкви, Пила и Сысойко съ Павломъ и Иваномъ отправились на кладбище.

— Неужели тутъ все люди? — спросилъ Сысойко.

— А кто не то. А ты помнишь, гдѣ отецъ-то твой лежитъ?

— Кто ево знаетъ!

— А вонъ на той сторонѣ, — туда и пойдемъ копать; а вонъ тамо ребята.

Пила и Сысойко отгребли снѣгъ, потомъ топорами прорубили неглубокую яму. Эта работа продолжалась съ часъ, до тѣхъ поръ, пока за ними не прибѣжалъ сторожъ.

Въ церкви священникъ и дьячокъ начинали уже отпѣванье. Дьячокъ стоялъ около священника, на которомъ была надѣта ветхая риза. Въ рукахъ у священника было кадило. Въ церкви теплилась одна лампада и горѣли двѣ свѣчки. Гробъ былъ открытъ. Пила и Сысойко стояли около гроба и смотрѣли на Апроську. Они не молились, а думали; жалко имъ было и досадно, что Апроська умерла, что ее въ землю скоро зароютъ; а какъ да старуха-то съѣстъ ее?..

— Надо бы другой гробъ-то, — сказалъ Сысойко.

— Поздно ужъ.

Пилу и прежде и теперь одно занимало: зачѣмъ это священникъ какой-то штукой съ дымомъ такимъ баскимъ машетъ? Это занимало и дѣтей его и Сысойку.

— Батюшко, ты не хлесни Апроську-то, — сказалъ Пила.

Священникъ молчалъ.

— Право, брось! Ишшо вырвется.

Священникъ сталъ убѣждать Пилу, что онъ дѣлаетъ нехорошо, что это такъ закономъ установлено. Наконецъ священникъ кончилъ отпѣванье, посыпалъ трупы землей и велѣлъ подлиповцамъ нести гробъ.

Съ полчаса Пила возился съ Сысойкомъ. Сысойко просилъ еще посмотрѣть на Апроську, а Пила хочетъ закрыть гробъ и увязать веревкой.

— Пила! я ошшо погляжу!

— Ишшо не наглядѣлся!

— Пила, я Апроськѣ носъ откушу!..

— А это вишь? — Пила показалъ Сысойкѣ кулакъ.

— Пра откушу!

— Не тронь!

— Дай.

Сысойко расцапался съ Пилой. Дьячокъ и сторожъ выпроводили подлиповцевъ изъ церкви и съ двумя крестьянами вытащили гробъ на улицу.

На кладбищѣ Пила увязалъ гробъ веревкой, покапалъ еще яму и съ Сысойкомъ и ребятами опустилъ гробъ въ яму.

— Пила, дай погляжу!

— Ну, ужъ развязывать не стану.

— Я завяжу.

Пила толкнулъ Сысойку и сталъ засыпать гробъ землей. Засыпавъ землей и снѣгомъ яму, Пила и Сысойко воткнули въ курганъ два топора.

— На, Апроська!.. Не жалуйся, што обижали тебя...

Дѣти Пилы ушли къ матери за церковную ограду. Матрена не пошла на кладбище; она плакала у церкви.

Пила и Сысойко съ полчаса стояли у кургана. Они большую часть времени молчали, смотрѣли на топоры; жалко имъ топоровъ-то, а можетъ, Апроськѣ понадобятся они. Надо бы съ ней положить... «Вѣдь вотъ, Апроська-то жила, жила, а теперь лежитъ вотъ тутъ»...—говорилъ Пила и плакалъ.

— Какъ бы ее старуха не съѣла. Пошто же это въ землю-то зарыли? — говорилъ Сысойко.

— Пошто! што съ ней, мертвой-то?

— А мы возьмемъ уволокемъ!

— Ну-ко возьми! Ужъ теперь ужъ ихъ нѣтъ тута.

— Вре?!

— Попъ баетъ, улетѣли!

— Ахъ, ватаракша! да мы зарыли-то, не попъ?

— Ну, баетъ, какъ зароемъ — и тютю...

Вдругъ Сысойкѣ послышался стонъ изъ земли, онъ пустился бѣжать и, запнувшись о пень, упалъ.

— Экъ те бросило! — захохоталъ Пила.

— Пишшитъ!.. Ай, пишшитъ! — кричалъ Сысойко.

Пила струсилъ.—Кто пишшитъ? — крикнулъ онъ.

Пила услыхалъ изъ могилы стонъ и стукъ... Пилу морозомъ обдало, онъ не могъ двинуться съ мѣста... Изъ могилы раздался еще глухой протяжный стонъ, похожій на визгъ. Пила побѣжалъ. Добѣжавъ до воротъ, онъ закричалъ: «Сысойко! бѣда!» Сысойко лежалъ на своемъ мѣстѣ, боясь встать... Ему слышался еще стонъ. Пила тоже не шелъ къ Сысойкѣ. Оправившись отъ испуга, онъ сжалъ кулаки и сталъ ворчать: «попишши ты у меня! Я те ужо... Экъ те взяло!.. Сысойка!»

Сысойко опять пустился бѣжать и, прибѣжавъ къ Пилѣ, кричалъ: «ай, бѣда! пишшитъ! все пишшитъ»...

— И теперь?

— Теперь... Сысойкѣ и теперь казалось, что пишшитъ. Пила уже не слыхалъ стона.

— Кто же пишшитъ-то!.. Витеръ? — спрашивалъ Пила.

— Апроська.

— Ужъ молчалъ бы... Знаешь ты черну немочь.

— Апроська!

— Ну, нѣтъ, Апроська улетѣла... Вотъ такъ штука!..

Обоихъ ихъ любопытство брало, что это за штука такая? Итти развѣ послушать,— да боялись они, ихъ трясло.

— Ужъ не Апроська ли?—сказалъ вдругъ Пила.

— Я те баялъ...

— Потти туда?

Сысойко побѣжалъ за ограду, Пила пошелъ за нимъ.

— Лѣшій! право... чортъ! подемъ, поглядимъ тамока, — уговаривалъ Сысойку Пила.

Сысойко не шелъ.

Пила и Сысойко сказали объ этомъ Матренѣ и ребятамъ, и тѣ испугались. Сказали они и крестьянамъ, тѣ сначала не повѣрили, потомъ пошли на кладбище, но такъ какъ тамъ ничего уже не слыхали, то и обругали Пилу и Сысойку.

Предметъ любви Пилы и Сысойки, Апроська, была живая похоронена. Интересно было бы знать, чтобы сталось съ ними тогда, когда бы она пробудилась отъ летаргіи въ то время, какъ Пила ладилъ веревку обвязывать гробъ. Вѣроятно, они разбѣжались бы, а можетъ-быть, и убили бы ее.

---

Послѣ зарытія Апроськи въ землю и послѣ слышаннаго Пилой и Сысойкомъ стона изъ могилы, горе обоихъ усилилось. Они ходили, какъ полоумные, взбѣшенные, и какъ ни были глупы оба, но у обоихъ явилось въ ихъ мозгахъ сомнѣніе насчетъ смерти Апроськи. Оба они сильно любили Апроську.

Наконецъ Пила и Сысойко увѣрились въ томъ, что Апроська умерла. Имъ сдѣлалось легче. «Апроська умерла, убилась. А я-то пошто живу!» думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня, — сказалъ Сысойко.

— Э!.. ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоимъ имъ казалось страшно умереть, обоимъ хотѣлось еще пожить...

— Поѣдемъ, Сысойко!.. Поѣдемъ,— говорилъ Пила.

— Куда къ лѣшимъ?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество тамъ... Ну, что въ деревнѣ? Апроськи нѣтъ! Эхъ, горе!—Пила заплакалъ.

Сысойко изругался, въ ругани онъ хотѣлъ излить все зло на эту жизнь, — на все, чего онъ не понималъ...

— Пойди ты въ Подлипную... Ну, что тамъ? помремъ.

— Пойдемъ, Пила, пойдемъ, братанъ... Эхъ, Пила!

Горе обоихъ велико было. Для обоихъ міръ этотъ казался тяжелымъ, невыносимымъ. У нихъ не было отрады. При всей бѣдности, безъ Апроськи они думали: какъ жить теперь?

— Пойдемъ вмѣстѣ, — сказалъ Сысойко.—Веди, а въ Подлипную шабашъ!

— Ужъ ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты — бѣда мнѣ...

— Мнѣ тоже!..

До утра оба они не спали. Когда они заснули, то имъ померещилась Апроська съ искусанными руками, и они слышали откуда-то стонъ. Они спали не долго и, пробудившись, стали звать Матрену, Павла и Ивана въ городъ.

---

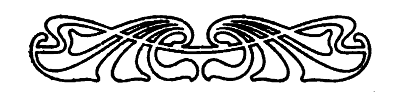
Когда была жива Апроська, Матренѣ было все равно, что есть у нея дочь; не будь дочери, Матренѣ было бы тоже все равно: есть человѣкъ — ладно, а впрочемъ,

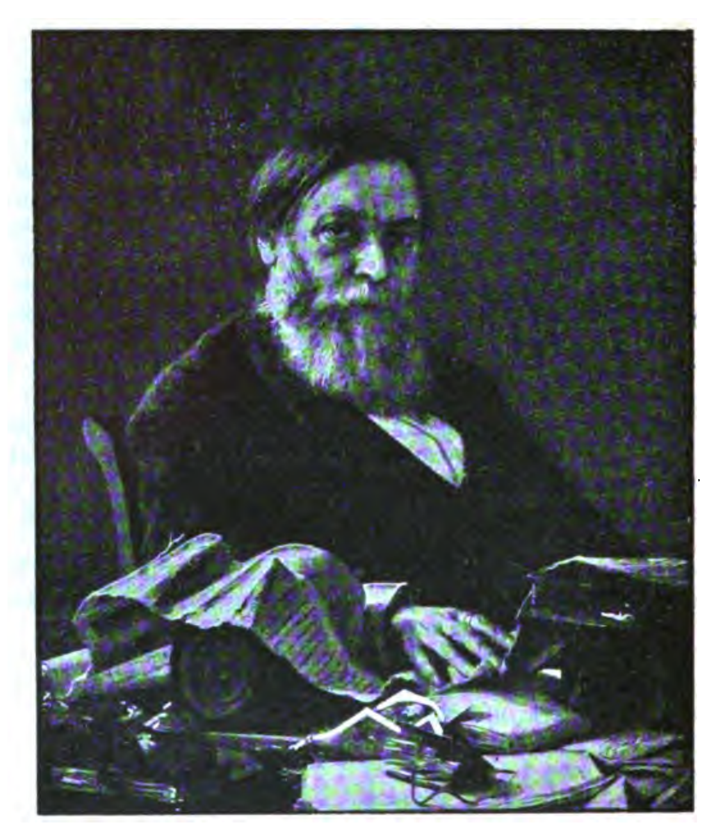
пожалуй, и не надо бы: хлѣбъ лишній идетъ; только ровно веселѣе съ дѣвкой-то, да и грудью ее Матрена кормила, какъ кормила и прочихъ дѣтей. Только въ этомъ и заключалась любовь матери къ дочери. Когда умерла Апроська, Матренѣ жалко стало ее, а почему жалко, она сама не могла понять. Она плакала, что не увидитъ уже Апроськи, не будетъ говорить съ ней, и сама не знала, чего бы такого попросить у Бога, а только со слезами говорила: «Апроська померла!.. Ахъ, пошто ты померла!.. Пожила бы ошшо чуточку, поглядѣла бы ошшо на красно солнышко»... Слова эти были заимствованы Матреной у другихъ женщинъ, плакавшихъ и причитавшихъ по усопшимъ, и все-таки они были искреннія, задушевныя: больше этихъ словъ Матрена ничего не придумала хорошаго. Матренѣ жалко стало Апроськи, а потому ей тоже не хотѣлось ѣхать въ деревню. Безъ Апроськи пусто теперь дома. Подумай Матрена объ этомъ при жизни Апроськи, представь себѣ то, что Апроська, какъ и всѣ, можетъ умереть, теперь бы ей не такъ жалко было Апроськи. Но Матрена никакъ объ этомъ не думала: она хотя и видѣла умершихъ женщинъ, но никакъ не могла представить себѣ того, что Апроська можетъ умереть; она не могла до сихъ поръ понять: что это такое дѣлается съ людьми, когда умираютъ, и зачѣмъ ихъ зарываютъ въ землю? Матрена даже не вѣрила, что и она можетъ умереть, а если говорила о своей смерти, такъ только такъ себѣ, зря, и то когда сердилась. Скажи ей кто-нибудь: «и ты, Матрена, тоже помрешь, и тебя въ землю зароютъ», Матрена тому бы въ лицо плюнула и обругала бы.

Когда Пила сталъ звать Матрену бурлачить, она думала, что бурлачить — баско, и согласилась.

Итакъ, подлиповцы, Пила съ женой и дѣтьми и Сысойко, отправились бурлачить.

1864 г.





**Павелъ Ивановичъ Мельниковъ.**
(1819—1883.)

## Изъ романа „Въ лѣсахъ“.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

### I.

Верховое Заволжье — край привольный. Тамъ народъ досужій, бойкій, смышленый и ловкій. Таково Заволжье сверху отъ Рыбинска внизъ до устья Керженца. Ниже не то: пойдетъ лѣсная глушь, луговая, черемиса, чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народъ тамъ другой: хоть русскій, но не таковъ, какъ въ Верховьѣ. Тамъ новое заселеніе, а въ заволжскомъ Верховьѣ Русь изстари усѣлась по лѣсамъ и болотамъ.—Судя по людскому нарѣчному говору, новгородцы въ давнія Рюриковы времена тамъ поселились. Преданья о Батыевомъ разгромѣ тамъ свѣжи. Укажутъ и «тропу Батыеву» — и мѣсто невидимаго града Китижа на озерѣ Свѣтломъ Ярѣ. Цѣлъ тотъ городъ до сихъ поръ — съ бѣлокаменными стѣнами, златоверхими церквами, съ честными монастырями, съ княженецкими узорчатыми теремами, съ боярскими каменными палатами, съ рублеными изъ кондоваго, негніющаго лѣса домами. Цѣлъ градъ, но невидимъ. Не видать грѣшнымъ людямъ славнаго Китижа. Сокрылся онъ чудесно, Божьимъ повелѣньемъ, когда безбожный царь Батый, разоривъ Русь суздальскую, пошелъ воевать Русь китижскую. Подошелъ татарскій царь ко граду Великому Китижу, восхотѣлъ дома огнемъ спалить, мужей избить либо въ полонъ угнать, женъ и дѣвицъ въ наложницы взять. Не допустилъ Господь басурманскаго поруганья надъ святыней христіанскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китижа и не могли сыскать, ослѣпленные. И досель тотъ градъ невидимъ стоитъ, — откроется передъ страшнымъ Христовымъ судилищемъ. А на озерѣ Свѣтломъ Ярѣ, тихимъ лѣтнимъ вечеромъ, виднѣются отраженные въ водѣ стѣны, церкви, монастыри, терема княженецкіе,

хоромы боярскія, дворы посадскихъ людей. И слышится по ночамъ глухой, заунывный звонъ колоколовъ китижскихъ.

Въ лѣсистомъ Верховомъ Заволожьѣ деревни малыя, зато частыя, одна отъ другой на́ версту, на́ двѣ. Земля холодна, неродима, своего хлѣба мужику развѣ до масленой хватитъ, и то въ урожайный годъ. Какъ ни бейся на надѣльной полосѣ, сколько страды надъ ней ни принимай, круглый годъ трудовымъ хлѣбомъ себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на мѣсте заволжа́нина давно бы съ голода померъ, но онъ не лежебокъ, человѣкъ досужій. Чего земля не дала, умѣньемъ за дѣло взяться беретъ. Не побрелъ заволжскій мужикъ на заработки въ чужу-дальню сторону, какъ сосѣдъ его вязниковецъ, что съ пуговками, съ тесемочками и другимъ товаромъ кустарнаго промысла шагаетъ на край свѣта семьѣ хлѣбъ добывать. Не побрелъ заволжанинъ по бѣлу свѣту плотничать, какъ другой сосѣдъ его галка [1]). Нѣтъ. И дома сумѣлъ онъ приняться за выгодный промыселъ. Вареги началъ вязать, поярокъ валять, шляпы да сапоги изъ него дѣлать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, вѣсовыя коромысла чуть не па всю Россію дѣлать. А коромысла-то какія! Хоть въ аптеку бери— сдѣланы вѣрно.

Лѣса заволжанина кормятъ. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанинъ точитъ да краситъ; гребни, донца, веретена и другой щепной товаръ работа́етъ, ведра, ушаты, кадки, лопаты, коробья, весла, лейки, ковши—все, что изъ лѣсу можно добыть, рукъ его не минуетъ. И смолу съ дегтемъ сидитъ, а заплативъ попенныя, рубитъ лѣсъ въ казенныхъ дачахъ и сгоняетъ по Волгѣ до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, слеги и всякій другой лѣсной товаръ. Волга подъ бокомъ, но заволжанинъ въ бурлаки не хаживалъ. Послѣднее дѣло въ бурла́ки итти! По Заволжью такъ думаютъ: «честнѣй подъ оконьемъ Христовымъ именемъ кормиться, чѣмъ бурлацкую лямку тянутъ». И правда.

Живетъ заволожа́нинъ хоть въ трудѣ, да въ достаткѣ. Съ изстари за Волгой мужики въ сапогахъ, бабы въ котахъ. Лаптей видомъ не видано, хоть слыхомъ про нихъ и слыхано. Лѣсу вдоволь, лыко нипочемъ, а въ рѣдкомъ домѣ кочедыкъ найдешь. Развѣ гдѣ такой дѣдушка есть, что съ печки ужъ лѣтъ пятокъ не слѣзаетъ, такъ онъ, скуки ради, лапотки иной разъ ковыряетъ, нищей братьѣ подать либо самому обуться, какъ станутъ его въ домовину обряжать. Таковъ обычай: лѣтомъ въ сапогахъ, зимой въ валенкахъ, на тотъ свѣтъ въ лапоткахъ...

Заволжанинъ безъ горячаго спать не ложится, по воскреснымъ днямъ хлебаетъ мясное, изба у него пятистѣнная, печь съ трубой; о черныхъ избахъ да соломенныхъ крышахъ онъ только слыхалъ, что есть такія гдѣ-то «на Горахъ» [1]). А чистота какая въ заволжскихъ домахъ!.. Славятъ нѣмцевъ за чистоту, русскаго корятъ за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тѣмъ славильщикамъ, не то бы сказали. Кто знакомъ съ нашими степными да черноземными деревнями, въ голову тому не придетъ, какъ чисто, опрятно живутъ заволжа́не.

Волга рукой подать. Что̀ мужикъ въ недѣлю наработаетъ, то̀тчасъ на пристань везетъ, а полѣнился—на сосѣдній базаръ. Большихъ барышей ему не нажить; и за Волгой не всякъ въ тысячники лѣзетъ, зато, какъ ни плоха работа, какъ работниковъ въ семьѣ ни мало, заволжанинъ вѣкъ свой сытъ, одѣтъ, обутъ, и подат-ныя за нимъ не стоятъ. Чего же еще?.. И за то слава Те, Господи!.. Не всѣмъ же въ золотѣ ходить, въ рукахъ серебро носить, хотя и каждому русскому человѣку такую судьбу мамки да няньки напѣваютъ, когда еще онъ въ колыбели лежитъ.

Не мало за Волгой и тысячниковъ. И даже очень не мало. Плохо про нихъ знаютъ по дальнимъ мѣстамъ потому, что заволжанинъ про себя не кричитъ, а если деньжонокъ малу толику скопитъ, не въ банкъ кладетъ ее, не въ акціи, а въ родительску кубышку, да въ подпольѣ и зароетъ. Милліонщиковъ за Волгой нѣтъ, тысячниковъ много. Они по Волгѣ своими пароходами ходятъ, на своихъ паровыхъ мельницахъ сотни тысячъ четвертей хлѣба перемалываютъ. Много за Волгой такихъ, что десятками тысячъ капиталы считаютъ. Они больше скупкой «горянщины» [2]) да

[1]) Крестьяне Галицкаго и другихъ уѣздовъ Костромской губерніи.

[1]) „Горами" зовутъ правую сторону Волги.
[2]) Горянщиной называется крупный щепной товаръ: обручи, дуги, лопаты, оглобли и т. п.

деревянной посуды промышляютъ. Накупятъ того, другого у сосѣдей, да и плавятъ весной въ Понизовье. Барыши хорошіе! На иныхъ акціяхъ, пожалуй, столько не получишь.

Одинъ изъ самыхъ крупныхъ «тысячниковъ» жилъ за Волгой въ деревнѣ Осиповкѣ. Звали его Потапомъ Максимычемъ, прозывали Чапуринымъ.

Почетъ Потапу Максимычу ото всѣхъ былъ великій. По Заволжью никто его безъ поклона не миновалъ; окольные мужики, у которыхъ Чапуринъ посуду скупалъ, въ глаза и за глаза звали его «нашъ хозяинъ». Довѣріе имѣлъ не въ одномъ крестьянствѣ, но и въ купеческомъ обществѣ.

Потапъ Максимычъ съ семьей старинки придерживался, раскольничалъ, но закоснѣлымъ изувѣромъ никогда не бывалъ. Не держался правила: «съ бритоусомъ, съ табашникомъ, щепотникомъ и со всякимъ скобленымъ рыломъ не молись, не водись, не дружись, не бранись». И раскольничалъ то Потапъ Максимычъ потому больше, что за Волгой издавна такой обычай велся, отъ людей отставать ему не приходилось.

Семья была у него небольшая, самъ съ женой да двѣ дочери: старшей, Настасьѣ, восемнадцать минуло, другая, Прасковья, годомъ была помоложе. Только что воротились онѣ въ родительскій домъ отъ тетки родной, матери Манефы, игуменьи одной изъ Комаровскихъ обителей. Гостили дѣвушки у тетки безъ мала пять годовъ, обучались божественному писанію и скитскимъ рукодѣльямъ: бисерны лѣстовки вязать, шелковы кошельки да пояски ткать, по канвѣ шерстью да синелью вышивать, и всякому другому бѣлоручному мастерству. Отецъ «тысячникъ» выдастъ замужъ въ дома богатые, не у квашни стоять, не у печки дѣвицамъ возиться, на то будутъ работницы; оттого на бѣлой работѣ да на книгахъ больше онѣ и сидѣли. Настя да Параша въ обители матушки Манефы и «Часовникъ» и всѣ двадцать каѳизмъ «Псалтыря» наизусть затвердили, отеческія книги читали бойко, безъ запинки, могли справлять уставную службу по «Минеи Мѣсячной», пѣть по крюкамъ, даже «разводъ демественному и ключевому знамени» разумѣли. Выучились уставомъ писать и, живя въ скиту, не мало «Цвѣтниковъ» да «Сборниковъ» переписали и передъ великими праздниками посылали ихъ родителямъ въ подаренье. А Потапъ Максимычъ любилъ на досугѣ душеспасительныхъ книгъ почитать, и куда какъ любо сердцу его родительскому перечитывать «Златоструи» и другія сказанья, съ золотомъ и киноварью переписанныя руками дочерей-мастерицъ. Какія «заставки» рисовала Настя въ началѣ «Цвѣтниковъ», какіе «финики» по бокамъ золотомъ выводила — любо-дорого посмотрѣть!

Настя съ Парашей, воротясь къ отцу, къ матери, расположились въ свѣтлицахъ своихъ, а разукрасить ихъ отецъ не поскупился. Вечеркомъ, какъ онѣ убрались, пришелъ къ дочерямъ Потапъ Максимычъ поглядѣть на ихъ новоселье, и взялъ рукописную тетрадку, лежавшую у Насти на столикѣ. Тутъ были «стихи объ Іоасафѣ-царевичѣ», «объ Алексѣѣ, Божьемъ человѣкѣ», «Древянъ гробъ сосновый» и рядомъ съ этой псальмой «Похвала пустыни». Она начиналась словами:

Я въ пустыню удаляюсь
Отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ.
Сколько горести напрасно
Я въ разлукѣ съ милымъ должна снесть...

Перевернулъ Потапъ Максимычъ листокъ—тамъ другая псальма:

Сизенькій голубчикъ,
Армейскій поручикъ...

Поморщился Потапъ Максимычъ, сунулъ тетрадку въ карманъ и, ни слова не сказавъ дочерямъ, пошелъ въ свою горницу. Говоритъ женѣ:

— Ты, Аксинья, за дочерьми-то приглядывай.

— Чего за ними, Максимычъ, приглядывать? Дѣвки тихія, озорства никакого нѣтъ,—отвѣчала хозяйка, глядя удивленными глазами на мужа.

— Не про озорство говорю, — сказалъ Потапъ Максимычъ,—а про то, что дѣвки на возрастѣ, стало-быть, отъ грѣха на вершокъ.

## IV.

Къ именинамъ Аксиньи Захаровны пріѣхала въ Осиповку золовка ея, комаровская игуменья, мать Манефа. Привезла она съ собою двухъ послушницъ: Фленушку да Анафролію.

Молодая, красивая, живая, какъ огонь, Фленушка, пріятельница дочерей Потапа Максимыча, была дѣвица-бѣлоручка, любимица игуменьи, обительская баловница. Она взросла въ обители, будучи отдана ребенкомъ. Выучилась въ скиту Фленушка грамотѣ, рукодѣльямъ, церковной службѣ, и хоть ничѣмъ не похожа была на монахиню, а приводилось ей, безродной сиротѣ, вѣкъ оставаться въ обители. Изъ скитовъ замужъ въявь не выходятъ — позоромъ пало бы это на обитель, но свадьбы «уходомъ» и тамъ порой-временемъ случаются. Слюбится съ молодцемъ бѣлица, выдастъ ему свою одежу и убѣжитъ вѣнчаться въ православную церковь; раскольничій попъ такую чету ни за что не повѣнчаетъ. Матери засуетятся, забѣгаютъ, погони разошлютъ, но дѣла поправить нельзя. Посердятся на бѣглянку съ полгода, иногда и цѣлый годъ, а послѣ смирятся. Бѣглянка послѣ мировой почасту гоститъ въ обители, живетъ тамъ, какъ въ родной семьѣ, получаетъ отъ матерей вспоможеніе, дочерей отдаетъ къ нимъ же на воспитаніе, а если овдовѣетъ, воротится на старое пепелище, въ старицы пострижется и станетъ вѣкъ свой доживать въ обители. Такихъ примѣровъ много бывало, и Фленушка, поминая эти примѣры, думала было обвѣнчаться «уходомъ» съ молодымъ казанскимъ купчикомъ Петрушей Самоквасовымъ, но матушки Манеѳы было жалко ей — убило бы это ея воспитательницу.

Другая послушница, привезенная Манеѳой въ Осиповку, Анафролія, была простая крестьянская дѣвка. Въ келарнѣ больше жила, помогая матушкѣ-келарю кушанье на обитель стряпать и исправляя черныя работы въ кельяхъ самой игуменьи Манеѳы. Это была изъ себя больно некрасивая, рябая, неуклюжая, какъ ступа, зато здоровенная дѣвка, работала за четверыхъ и ни о чемъ другомъ не помышляла, только бы сытно пообѣдать да вечеромъ, поужинавъ вплотную, выспаться хорошенько. Въ обители дурой считали ее, но любили за то, что сильная была работница и, куда ни пошли, что ей ни вели, все живой рукой обдѣлаетъ безо всякаго ворчанья. Безотвѣтна была, голоса ея мало кто слыхалъ.

Мать Манеѳу Аксинья Захаровна помѣстила въ задней горницѣ, возлѣ моленной, вмѣстѣ съ домашней канонницей Евпраксіей да съ Анафроліей. Манеѳа, напившись чайку съ изюмомъ, — была великая постница, сахаръ почитала скоромнымъ и съ роду не употребляла его, — отправилась въ свою комнату и тамъ стала разспрашивать Евпраксію о порядкахъ въ братниномъ домѣ: усердно ли Богу молятся, строго ли посты соблюдаютъ, по скольку каѳизмъ въ день она прочитываетъ; каждый ли праздникъ службу правятъ, приходятъ ли на службу сторонніе, а затѣмъ свела рѣчь на то, что у нихъ въ скиту большое разстройство идетъ изъ-за австрійскаго священства: однѣ обители желаютъ принять епископа Софронія, а другія считаютъ новыхъ архіереевъ обливанцами и слышать про нихъ не хотятъ.

— На прошлой недѣлѣ, Евпраксеюшка, грѣхъ-отъ какой случился. Не знаю, какъ и замолятъ его. Матушка Клеопатра, изъ Жжениной обители, пришла къ Глафиринымъ и стала про австрійское священство толковать: оно де правильно, надо де всѣмъ принять его, чтобъ съ Москвой не разорваться, потому де, что съ Рогожскаго пишутъ, по Москвѣ де всѣ епископа приняли. Измарагдушка заспорила: обливанцы, говоритъ, они — архіереи-то. Спорили матери, спорили, да обѣ горячія, слово за слово, ругаться зачали, другъ съ дружки иночество сорвали, въ косы. Такой грѣхъ — насилу розняли! И пошли съ той поры ссоры да свары промежъ обителей, другъ съ дружкой не кланяются, другъ дружку еретицами обзываютъ, изъ одного колодца воду брать перестали. Грѣхъ да и только!

— А вы какъ, матушка, насчетъ австрійскаго священства располагаете? — робко спросила Евпраксія.

— Мы бы, пожалуй, и приняли, — сказала Манеѳа. — Какъ не принять, Евпраксеюшка, когда Москва приняла? Чѣмъ станемъ кормиться, какъ съ Москвой разорвемся? Ко мнѣ же самъ батюшка Иванъ Матвѣичъ съ Рогожскаго писалъ: принимай, дескать, матушка Манеѳа, безо всякаго сумнѣнья. Какъ же духовнаго отца ослушаться?.. Какъ наши-то располагаютъ, на чемъ рѣшаются?.. По-моему, и имъ бы надо принять, потому что въ Москвѣ и въ Казани, на Низу и во всѣхъ городахъ приняли. Разориться Потапушка можетъ, коль не приметъ новаго священства. Никто дѣлъ не захочетъ вести съ нимъ; кредиту не будетъ, разорвется съ покупателями. Такъ-то!

— Потапъ Максимычъ, кажется мнѣ, пріемлетъ,— отвѣчала Евпраксія.

— Думала я поговорить съ нимъ насчетъ этого, да не знаю, какъ приступиться, — сказала Манеѳа. — Крутенекъ. Не знаешь, какъ и подойти. Прямой медвѣдь.

— Онъ всему послѣдуетъ, чему самарскіе,—замѣтила Евпраксія. — А въ Самарѣ епископа, сказываютъ, приняли. Аксинья Захаровна сумнѣвалась спервоначала, а теперь, кажется, и она готова принять, потому что самъ велѣлъ. Я вотъ ужъ другу недѣлю поминаю на службѣ и епископа и отца Михаила; сама Аксинья Захаровна сказала, чтобъ поминать.

— Какого это отца Михаила? — съ любопытствомъ взглянувъ на канонницу, спросила мать Манеѳа.

— Михайлу Корягу изъ Колоскова,— сказала канонница.— Вѣдь онъ въ попы ставленъ.

— Коряга! Михайло Коряга! — сказала Манеѳа, съ сомнѣніемъ покачивая головой.— И нашимъ сказывали, что въ попы ставленъ, да вѣры неймется. Больно до денегъ охочъ. Стяжатель. Какъ такого поставить?

— Поставили, матушка, истинно, что поставили, — говорила Евпраксія. — На Богоявленье въ Городцѣ воду святилъ, самъ Потапъ Максимычъ за вечерней стоялъ и воды богоявленской домой привезъ. Вонъ буракъ-отъ у святыхъ стоитъ. Великимъ постомъ Коряга, пожалуй, сюда наѣдетъ, исправлять станетъ, обѣдню служить. Ему, слышь, епископъ-отъ полотняную церковь пожаловалъ и одиконъ, рекше путевой престолъ Господа Бога и Спаса нашего...

— Коряга! Михайло Коряга! Попомъ! Да что жъ это такое! — въ раздумьѣ говорила мать Манеѳа, покачивая головой и не слушая рѣчей Евпраксіи.— А, впрочемъ, и самъ-отъ Софроній такой же стяжатель — благодатью Духа Святаго торгуетъ... Если иного епископа, благочестиваго и Бога боящагося не поставятъ — Софронія я не приму... Ни за что не приму!..

Межъ тѣмъ въ дѣвичьей свѣтлицѣ у Насти съ Фленушкой шелъ другой разговоръ. Настя разспрашивала про скитскихъ пріятельницъ и знакомыхъ, гостья чуть успѣвала отвѣты давать. Про всѣхъ переговорили, про всѣ новости бойкая, говорливая Фленушка разсказала. Разспросамъ Насти не было конца.

## XI.

Весело, радостно встрѣтили дорогихъ гостей въ Осиповкѣ. Сначала, какъ водится, уставные поклоны гости передъ иконами справили, потомъ здороваться начали съ хозяевами. Привѣтамъ, обниманьямъ, цѣлованьямъ, казалось, не будетъ конца.

Послышался ямской колокольчикъ. Ближе и ближе. Кто-то къ дому подъѣхалъ.

— Не исправникъ ли, чтобъ ему пусто было, аль не становой ли?—съ досадой сказалъ Потапъ Максимычъ, вставая съ мѣста и направляясь къ двери. Вотъ ужъ, поистинѣ, незваный гость хуже татарина.

И всѣмъ стало неловко при мысли объ исправникѣ. Исправникъ и становой, въ самомъ дѣлѣ, никогда не объѣзжали Осиповки, зная, что у Чапурина всегда готово хорошее угощенье. Матушка Манеѳа хоть и въ пріязни жила съ полицейскими чинами, однако поспѣшно вышла изъ горницы. Была она во всемъ иночествѣ, даже въ наметкѣ [1]), а въ такомъ нарядѣ на глаза исправнику показываться нехорошо. Скитницы были обязаны подпиской иноческимъ именемъ не зваться, иноческой одежи не носить. Фленушка осталась въ горницѣ: на ней ничего запретнаго не было.

Минуты черезъ двѣ Потапъ Максимычъ ввелъ въ горницу новыхъ гостей. То былъ удѣльный голова Песоченскаго приказа Михайло Васильичъ Скорняковъ, купецъ изъ города Сампсонъ Михайловичъ Дюковъ да пожилой человѣкъ, въ черномъ кафтанѣ съ мелкими пуговками и узенькимъ стоячимъ воротникомъ, — кафтанъ, какой обыкновенно носятъ рогожскіе, отправляясь къ службѣ въ часовню.

— Узналъ стараго пріятеля? — поздоровавшись со всѣми бывшими въ горницѣ, спросилъ Дюковъ у Потапа Максимыча.

Чапуринъ не узнавалъ.

— И я не призналъ бы тебя, Потапъ Максимычъ, коли бъ не въ дому у тебя встрѣтился,—сказалъ незнакомый гость.— Постарѣли мы, братъ, оба съ тобой, ишь и тебя сѣдиной, что инеемъ, подернуло...

---

[1]) Черный крепъ, что накидывается поверхъ шапочки (иночество), спускается вроспускъ по плечамъ и спинѣ, закрывая лобъ черницы.

Здравствуйте, матушка Аксинья Захаровна!.. Не узнали?.. Да и я бы не узналъ... Какъ последній разъ виделись, цвела ты, какъ маковъ цветъ, а теперь, гляди-ка, какая стала!.. Да... Время идетъ да идетъ, годы человека не красятъ... Не узнаете?..

— Никакъ не признать,—сказалъ Потапъ Максимычъ.—Голосъ будто знакомый, а вспомнить не могу.

— Стуколова Якима помнишь?—молвилъ гость.

— Якимъ Прохорычъ!.. Дружище!.. Да неужель это ты?.. — вскрикнулъ Потапъ Максимычъ, обнимаясь и целуясь со Стуколовымъ.—А мы думали, что тебя и въ живыхъ-то давнымъ-давно нетъ... Откудова?.. Какими судьбами?..

— Якимъ Прохорычъ!—подходя къ нему, сказала Аксинья Захаровна.—Сколько летъ, сколько зимъ? И я не чаяла тебя на семъ свете. Ахъ, сватушка, сватушка! Чать не забылъ: сродни маленько бывали.

— Бывало такъ въ старые годы, Аксинья Захаровна, —отвечалъ Стуколовъ.— Считались въ сватовстве.

Стуколову было летъ подъ шестьдесятъ. Былъ высокъ ростомъ, сухощавъ, и съ перваго взгляда было заметно, что, обладая большой телесной силой, былъ одаренъ неистомною силой воли и необычайною твердостью духа. Худощавое смуглое лицо его было обрамлено густою, черною бородой, съ сильною проседью. Раскаленными углями светились черные глаза его, и не всякій могъ долго выдерживать пристально устремленный на него взглядъ Стуколова. По всему было видно, что человекъ этотъ много видалъ на своемъ веку, а еще больше испыталъ треволненій всякаго рода.

Началъ разспросы Стуколовъ, спрашивалъ про людей былого времени, съ которыми, живучи за Волгой, бывалъ въ близкихъ сношеніяхъ. И про всехъ почти, про кого ни спрашивалъ, давали ему одинъ ответъ: «померъ... померъ... померла».

Сиделъ Стуколовъ, склонивъ голову и глядя въ землю, глубоко вздыхалъ при такихъ ответахъ. Сознавалъ, что, воротясь после долгихъ странствій на родину, сталъ онъ въ ней чужаниномъ. Не то, что людей, домовъ-то прежнихъ не было; городъ, откуда родомъ былъ, два раза до тла выгоралъ и два раза вновь обстраивался. Ни родныхъ ни друзей не нашелъ на старомъ пепелище — всехъ прибралъ Господь. И тутъ-то спозналъ Якимъ Прохорычъ всю правду стараго русскаго присловья: «не временемъ годы долги,—долги годы отлучкой съ родной стороны».

— Где жъ пропадалъ ты все это время, Якимъ Прохорычъ? — спросилъ у странника Потапъ Максимычъ.

Маленько помолчавъ и окинувъ беглымъ взоромъ сидевшихъ въ горнице, Стуколовъ сталъ говорить тихо, истово, отчеканивая каждое слово.

— Не мало государствъ мною исхожено, не мало морей переехано, много всякихъ народовъ очами моими видано. Привелъ Господь во святой реке Іордане погружаться, Спасовъ живоносный гробъ целовать, всемъ святымъ местамъ поклониться... Много было странствій моихъ...

— Неужели все двадцать пять летъ ты въ странстве пребывалъ? Чай, поди, где и на месте живалъ?

— Какъ не живать! Жилъ и на месте,—сказалъ Стуколовъ.—За Дунаемъ не малое время у некрасовцевъ, въ Молдавіи у нашихъ христіанъ, въ Сибири, у казаковъ на Урале... Опять же довольно годовъ выжилъ я въ Беловодье, тамъ, далеко, въ Опоньскомъ государстве...

— Какое же это государство? Про такое я что-то не слыхивалъ,—спросилъ у паломника Потапъ Максимычъ.

— Немудрено, что про Опоньское царство ты не слыхивалъ,—сдержанно ответилъ Якимъ Прохорычъ.—То государство не простое, не у всехъ на виду. Государство сокровенное...

— Сокровенное?—въ недоуменьи спросилъ Чапуринъ у Стуколова, а сидевшіе въ горнице съ изумленьемъ глядели на паломника.

Замолкъ Якимъ Прохорычъ. Не далъ ответа. Черезъ малое время спросилъ его Потапъ Максимычъ.

— Помнится, ты въ Москву уехалъ тогда, потомъ пали къ намъ слухи, что въ монастыре какомъ-то проживаешь, а после того и слуховъ про тебя не стало.

— Постой, погоди... все странства по ряду вамъ разскажу,—молвилъ Стуколовъ, выходя изъ раздумья и поднявъ голову.— Люди свои, земляки, старые други-пріятели. Вамъ можно сказать. Только не при женахъ говорить бы...

— Ахъ! батька! Уйти можемъ, — воскликнула Аксинья Захаровна. — Настя, вели-ка Матренѣ заѣдки-то въ заднюю нести. Пойдемте.

Обведя собесѣдниковъ глазами, Стуколовъ началъ:

— Вотъ вы тысячники, богатѣи: пересчитать только деньги ваши, такъ не одинъ разъ устанешь... А я что передъ вами?.. Убогій странникъ, нищій, калика перехожій... А стоитъ мнѣ захотѣть, всѣхъ милліонщиковъ богаче буду... Не хочу. Отрекся отъ міра и отъ богатства отказался...

— Научи насъ, какъ сдѣлаться милліонщиками,—слегка усмѣхнувшись, сказалъ удѣльный голова.

— Научу... И будете милліонщиками,— отвѣчалъ Стуколовъ. — Безпремѣнно будете... Мнѣ не надо богатства... Передъ Богомъ говорю... Только маленько работы отъ васъ потребуется.

— Какой же работы?—спросилъ голова.

— Не больно тяжелой: управиться сможете. Да не о томъ теперь рѣчь... Покамѣстъ...—съ запинками говорилъ Стуколовъ — Земляного масла хотите?—примолвилъ онъ шопотомъ.

Всѣ переглянулись.

— Что за масло такое?—спросилъ Чапуринъ.

— Не слыхалъ?..—съ лукавой усмѣшкой отвѣтилъ паломникъ. — А изъ чего это у тебя сдѣлано? — спросилъ онъ Потапа Максимыча, взявши его за руку, на которой для праздника надѣты были два дорогіе перстня.

— Изъ золота.

— По-нашему, по-сибирски, это — земляное масло. Видалъ ли кто изъ васъ, какъ въ землѣ-то сидитъ оно?

— Кому видѣть? Никто не видѣлъ,— отозвался Чапуринъ.

— А я видалъ,—сказалъ паломникъ.— Бывало, какъ жилъ въ сибирскихъ тайгахъ, самъ доставалъ это маслице, все это дѣло знаю вдоль и поперекъ. Не въ проносъ будь слово сказано, знаю, какимъ способомъ и въ Россію можно его вывозить... Смекаете?

— Да вѣдь это далеко,—замѣтилъ Потапъ Максимычъ. — Въ Сибири. Намъ не рука.

— Ближе найдемъ, — отвѣчалъ паломникъ... — По золоту ходите, по серебру бродите... Понимаете вы это?

— Развѣ есть за Волгой золото? Быть того не можетъ! Шутки ты шутишь надъ нами,—сказалъ удѣльный голова.

— Что жъ, нашелъ?—съ нетерпѣньемъ спросилъ Потапъ Максимычъ.

— Видимо-невидимо! — отвѣтилъ Стуколовъ.—Всю Сибирь вдоль и поперекъ изойди, такого богатства не сыщешь. Золото само изъ земли лѣзетъ... Глядите!

И, вынувъ изъ кармана замшевый мѣшокъ, въ какихъ крестьяне носятъ деньги, Стуколовъ развязалъ его, и густая струя золотого песку посыпалась на чайное блюдечко.

Всѣ столпились вокругъ стола и жадно смотрѣли на золотую струю. Ни слова ни звука... Даже дыханье у всѣхъ сперлось. Одинъ маятникъ стѣнныхъ часовъ мѣрно чикалъ за перегородкой.

## XIV.

Проводивъ гостей, пошелъ Потапъ Максимычъ въ подклѣтъ и тамъ усѣлся съ паломникомъ и молчаливымъ купцомъ Дюковымъ. Шли разговоры про земляное масло.

— Такъ и въ самомъ дѣлѣ въ нашихъ мѣстахъ такая благодать водится? — спрашивалъ Потапъ Максимычъ паломника.

— Есть, — отвѣчалъ Якимъ Прохорычъ. — Въ большомъ даже изобиліи. И чудное дѣло,—прибавилъ онъ,—сколько странъ, сколько земель исходилъ я на своемъ вѣку, а такой слѣпоты въ людяхъ, какъ здѣсь, нигдѣ я не видывалъ! Люди живутъ — хоть бы Ветлугу взять — бѣднота одна, лѣсъ рубятъ, лубъ дерутъ, мочало мочатъ, смолу гонятъ — бьются сердечные вѣкъ свой за тяжелой работой: днемъ не доѣдятъ, ночью не доспятъ... О, какъ бы не ихняя слѣпота!.. Стоитъ только землю лопаткой копнуть, и такое тутъ богатство, что цѣлый свѣтъ можно бы обогатить. По золоту ходятъ, а его не примѣчаютъ... Бабы у нихъ дресвой полы моютъ. Не дресвой онѣ моютъ, червоннымъ золотомъ... Вотъ вѣдь что значитъ, какъ человѣкъ-отъ въ понятіи не состоитъ!.. Извѣстно: живутъ въ лѣсахъ, людей, которы бы до всего доходили, не видывали... Гдѣ имъ знать?

— Гдѣ жъ эти самыя мѣста? — спросилъ Потапъ Максимычъ.

— На Ветлугѣ,— отвѣчалъ Стуколовъ.

— Ветлуга-то велика. Ты скажи, которо мѣсто,—приставалъ къ паломнику Потапъ Максимычъ.

— Гдѣ именно тѣ мѣста, покамѣстъ не скажу,— отвѣчалъ Стуколовъ.— Возьмешься за дѣло какъ слѣдуетъ, вмѣстѣ поѣдемъ, либо вѣрнаго человѣка пошли со мной.

— Я хоть сейчасъ готовъ,— сказалъ Потапъ Максимычъ.

— Сейчасъ нельзя,— замѣтилъ Стуколовъ.— Чего теперь подъ снѣгомъ увидишь? Надо вѣдь землю копать, на днѣ малыхъ рѣчонокъ смотрѣть... Какъ можно теперь? Коли условіе со мной подпишешь, поѣдемъ по веснѣ и примемся за работу, а еще лучше ѣхать около Петрова дня, земля къ тому времени просохнетъ... Болотисто ужъ больно по тамошнимъ мѣстамъ.

— Лѣтомъ нельзя мнѣ, — замѣтилъ Потапъ Максимычъ. Теперь-то что же надо дѣлать?

— Капиталомъ войти, потому расходы,— сказалъ Якимъ Прохорычъ.— Условіе надо писать, потомъ въ сроки деньги вносить. Чтобъ начать дѣло, нуженъ капиталъ, примѣромъ, тысячъ въ пятьдесятъ серебромъ.

— Въ пятьдесятъ?—воскликнулъ Потапъ Максимычъ.— Экъ тебя!.. Ровно про полтину сказалъ. — Пятьдесятъ тысячъ деньги, братъ, не малыя, зря не валяются... Эко слово молвилъ!— Пятьдесятъ тысячъ!..

— Меньше нельзя, равнодушно отвѣчалъ Стуколовъ.— Пятидесяти тысячъ не пожалѣешь—милліонами будешь ворочать... Слыхалъ, какъ въ Сибири золотомъ разживаются?

— Слыхать-то слыхалъ, — отвѣчалъ Потапъ Максимычъ.— Да вѣдь то Сибирь, мѣсто по этой части насиженное, а здѣсь вновѣ, еще Богъ знаетъ, какъ пойдетъ.

— Ветлужскіе пріиски богаче сибирскихъ — вѣрь моему слову,— сказалъ Стуколовъ.— Гляди...

И вынулъ паломникъ изъ замшеваго мѣшка полгорсти золотого песку и сталъ пересыпать его. Глаза такъ и загорѣлись у Потапа Максимыча. Закусилъ онъ губу.

— Этой благодати на Ветлугѣ больше, чѣмъ въ Сибири,— говорилъ Стуколовъ,— а главное, здѣшня сторона нетронутая, не то, что Сибирь... Мы первые, мы сметанку снимемъ, а послѣ насъ другіе хлебай простоквашу...

— Да впрямь ли ты это на Ветлугѣ нашелъ?—спросилъ Потапъ Максимычъ, не спуская глазъ съ золотой струи, падавшей изъ рукъ паломника.

— Божиться, что ль, тебѣ?.. Образъ со стѣны тащить? — вспыхнулъ Стуколовъ.— И этимъ тебя не увѣришь... Коли хочешь увѣриться, ѣдемъ сейчасъ на Ветлугу. Тамъ я тебя къ одному мужичку свезу, у него такое же маслице увидишь, и къ другому свезу и къ третьему.

— Что жъ, это можно,— сказалъ Потапъ Максимычъ.

---

На первой недѣлѣ Великаго поста Потапъ Максимычъ выѣхалъ изъ Осиповки со Стуколовымъ и съ Дюковымъ на Ветлугу прямою дорогой черезъ Лыковщину. Надобно было верстъ восемь — десять ѣхать лѣсами, гдѣ проѣзжихъ дорогъ не бывало, только однѣ узкія тропы межъ высокихъ сугробовъ проложены. По тѣмъ тропамъ лѣсники въ зимницы ѣздятъ и вывозятъ къ Керженцу для сплава нарубленный лѣсъ. Сторона та совсѣмъ не жилая, лѣтомъ нѣтъ по ней ни ѣзду конного ни ходу пѣшаго, только на зиму переселяются туда лѣсники и живутъ въ дремучихъ дебряхъ до лѣсного сплава въ половодье.

Поѣхали путники въ двоихъ саняхъ, каждыя тройкой гусемъ запряжены. Иначе и ѣздить нельзя по лѣснымъ тропамъ. Сначала путь шелъ торный, но когда переѣхали Керженецъ и попали въ лѣсную глушь, что тянется до самой Ветлуги и дальше за нее, ѣзда стала затруднительна. Сѣдоки то и дѣло задѣвали головами за вѣтви деревьевъ, и ихъ засыпало снѣгомъ, которымъ, точно въ саваны окутаны, стояли сосны и ели, склонясь надъ тропою. Чуть не черезъ каждыя полторы—двѣ версты приходилось останавливаться и отгребаться отъ снѣга. Тропа была неровная, сани то и дѣло наклонялись то на одну, то на другую сторону, и сѣдокамъ частенько приходилось вываливаться и потомъ, съ трудомъ выбравшись изъ сугроба, общими силами поднимать свалившіяся на бокъ сани. Тропа все одна, нѣтъ свороотовъ ни направо ни налѣво, и нѣтъ никакихъ признаковъ близости человѣка: ни осѣка [1]),

[1]) Изгородь, или прясла, отдѣляющая лѣсъ отъ поля. Ее городятъ въ лѣсныхъ мѣстахъ, чтобы пасущійся скотъ не забрелъ на хлѣбъ.

ни просѣки, ни даже деревяннаго двухсаженнаго креста, какихъ много наставлено по заволжскимъ лѣсамъ, по обычаю благочестивой старины [1]). И никакого звука. Развѣ только затрещитъ рябчикъ, перелетая съ дерева на дерево, либо забурчитъ вдали глухарь, да заскрипитъ надломленное дерево, качаемое вѣтромъ. Заячьи и волчьи слѣды частенько пересѣкаютъ тропу, иногда попадается слѣдъ раздвоенныхъ копытъ дикой коровы [2]) либо широкой лапы лѣсного боярина Топтыгина, согнаннаго съ берлоги охотниками.

— Да туда ли мы ѣдемъ? — спросилъ Потапъ Максимычъ сидѣвшаго на козлахъ работника. — Коимъ грѣхомъ не заблудились ли?

Работникъ остановилъ лошадей. Понуривъ головы, онѣ тяжело дышали, паръ такъ и валилъ съ нихъ. Потапъ Максимычъ вылѣзъ изъ своихъ саней и подошелъ къ заднимъ, гдѣ сидѣлъ Стуколовъ. Молчаливый Дюковъ, уткнувъ голову въ широкій лисій малахай, спалъ мертвымъ сномъ.

— Такъ и есть, заблудились, — сказалъ Потапъ Максимычъ паломнику. — Что тутъ станешь дѣлать?

— Да самъ-то ты ѣзжалъ ли прежде по этимъ дорогамъ? — спросилъ его Стуколовъ.

— Сроду впервые, — отвѣчалъ Потапъ Максимычъ.

— И работники не ѣзжали? — спросилъ Стуколовъ.

— Како ѣзжать? — отозвался Потапъ Максимычъ. — Кого сюда лѣшій понесетъ? Вѣдь это, самъ ты видишь, что такое: выѣхали — еще не брезжилось, а гляди-ка ужъ смеркаться зачинаетъ. — Гдѣ мы, куда заѣхали, самъ лѣшій не разберетъ... Бѣда, просто бѣда... Ахъ, чтобы всѣхъ васъ прорвало! — ругался Потапъ Максимычъ. — И понесло же меня съ тобой: тутъ прежде смерти животъ положишь!

— Да поѣдемъ, куда дорога ведетъ; тропа видная, торная, куда-нибудь да выведетъ, — говорилъ Стуколовъ.

— Вѣстимо, выведетъ, — отозвался Потапъ Максимычъ. — Да куда выведетъ-то? Ночь на дворѣ, а лошади, гляди, какъ пріустали. Придется въ лѣсу ночевать... А волки-то?

— Богъ милостивъ, — отвѣчалъ Стуколовъ. — Топоръ есть съ нами?

— Какъ топору не быть? Есть, — сказалъ Потапъ Максимычъ.

— Сучьевъ нарубимъ, костры зажжемъ, волки не подойдутъ: всякій звѣрь боится огня.

Такъ и рѣшили заночевать. Лошадей выпрягли, задали имъ овса. Утоптали вокругъ снѣгъ и сдѣлали привалъ. Топоровъ оказалось два, работники зачали сучья да валежникъ рубить, костры складывать вокругъ привала, и когда стемнѣло, зажгли ихъ. Потапъ Максимычъ вытащилъ изъ саней большую кожаную кису, вынулъ изъ нея хлѣба, пироговъ, квашеной капусты и мѣдный кувшинъ съ квасомъ. Устроили постную трапезу: тюри съ лукомъ накрошили, капусты съ квасомъ, грибовъ соленыхъ. Хоть невкусно, да здорово поужинали. И бутылочка нашлась у запасливаго Потапа Максимыча. Роспили...

Ночь надвигалась. Красное зарево костровъ, освѣщая низину лѣса, усиливало мракъ въ его вершинахъ и по сторонамъ. Съ трескомъ горѣвшихъ вѣтвей ельника и фырканьемъ лошадей смѣшались лѣсные голоса... Ровно плачущій ребенокъ, запищалъ гдѣ-то сычъ, потомъ вдали послышался тоскливый крикъ, будто человѣкъ въ отчаянномъ бореньи со смертью зоветъ къ себѣ на помощь: то были крики пугача [1])... Поближе завозилась въ вершинѣ сосны векша, проснувшаяся отъ необычнаго свѣта, едва слышно перепрыгнула она на другое дерево, потомъ—на третье и все дальше и дальше отъ людей и пылавшихъ костровъ... Чуть стихло, и вотъ ужъ доносится издали легкій хрустъ сухого валежника: то кровожадная куница осторожно пробирается изъ своего дупла къ дереву, гдѣ задремалъ глупый красноглазый тетеревъ. Еще минута тишины—и въ вершинѣ раздался отрывистый, жалоб-

[1]) За Волгой, на дорогахъ, въ поляхъ и лѣсахъ, особенно на перекресткахъ, стоятъ высокіе, сажени въ полторы или двѣ, осьмиконечные кресты, иногда по нѣскольку рядомъ. Есть обычай тайно отъ всѣхъ срубить крестъ и ночью поставить его на перекресткѣ. Кто передъ тѣмъ крестомъ помолится, того молитва пойдетъ за срубившаго крестъ.

[2]) Такъ за Волгой называютъ лосей.

[1]) Филинъ.

ный крикъ птицы, хлопанье крыльевъ, и затѣмъ все смолкло: куница поймала добычу и пьетъ горячую кровь изъ перекушеннаго горла тетерева... Опять тишь, опять глубокое безмолвіе, и вдругъ слышится точно кошачье прысканье: это рысь, привлеченная изъ чащи чутьемъ, заслышавшая присутствіе лакомаго мяса въ видѣ лошадей Потапа Максимыча. Но огонь не допускаетъ близко звѣря, и вотъ рысь сердится, мурлычитъ, прыскаетъ, съ досадой сверкая круглыми, зелеными глазами, и прядаетъ кисточками на концахъ высокихъ, прямыхъ ушей... Опять тишь, и вдругъ либо заверещитъ бѣдный зайчишка, попавшій въ зубы хищной лисѣ, либо завозится что-то въ вѣтвяхъ: это сова поймала спавшаго рябчика... Лѣсные обитатели живутъ не по-нашему — обѣдаютъ по ночамъ...

Но вотъ вдали, за версту или больше, заслышался вой, ему откликнулся другой, третій вой — все ближе и ближе. Смолкъ, и послышалось пряданье звѣрей по насту, ворчанье, стукъ зубовъ... Ни одинъ звукъ не пропадетъ въ лѣсной тиши.

— Волки! — боязно прошепталъ Потапъ Максимычъ, толкая въ бокъ задремавшаго Стуколова.

Дюковъ и работники давно ужъ спали крѣпкимъ сномъ.

— А?.. что!.. — промычалъ, приходя въ себя, Стуколовъ. — Что ты говоришь?

— Слышишь? Воютъ, — говорилъ смутившійся Потапъ Максимычъ.

— Да, воютъ... — равнодушно отвѣчалъ Стуколовъ. — Экъ, ихъ что тутъ! Чуютъ мясо, стервецы!

— Бѣда! — шопотомъ промолвилъ Потапъ Максимычъ.

— Какая жъ бѣда? Никакой бѣды нѣтъ... А вотъ побольше огня надо... Эй, вы, ребята! — крикнулъ онъ работникамъ. — Проснись!.. Эка заспались!.. Вали на костры больше!

Работники встали неохотно и вмѣстѣ со Стуколовымъ и самимъ Потапомъ Максимычемъ навалили громадные костры. Огонь сталъ было слабѣе, но вотъ заиграли пламенные языки по хвоѣ, и зарево разлилось по лѣсу пуще прежняго.

— Видимо невидимо!.. — говорилъ оторопѣвшій Потапъ Максимычъ, слыша со всѣхъ сторонъ волчьи голоса.

Звѣрей ужъ можно было видѣть. Освѣщенные заревомъ, они сидѣли кругомъ, пощелкивая зубами. Видно, въ самомъ дѣлѣ они справляли именины звѣринаго царя.

— Ничего, — успокоивалъ Стуколовъ, — огонь бы только не переводился. То ли еще бываетъ въ сибирскихъ тайгахъ!..

Въ самомъ дѣлѣ волки никакъ не смѣли близко подойти къ огню, хоть ихъ, голодныхъ, и сильно тянуло къ лошадямъ, а пожалуй, и къ людямъ.

— Эхъ, ружья-то нѣтъ: пугнуть бы сѣрыхъ, — молвилъ Стуколовъ.

— Молчи-ка ты, какое тутъ еще ружье! Того и гляди сожрутъ... — тревожно говорилъ Потапъ Максимычъ. — Глянь-ка, глянь-ка, со всѣхъ сторонъ навалило!.. Ахъ ты, Господи, Господи!.. Знать бы да вѣдать, ни за что бы не поѣхалъ... Пропадай ты и съ Ветлугой своей!..

А волки все близятся, было ихъ до пятидесяти, коли не больше. Смѣлость звѣрей росла съ каждой минутой: не дальше, какъ въ трехъ саженяхъ, сидѣли они вокругъ костровъ, щелкали зубами и завывали. Лошади давно покинули торбы съ лакомымъ овсомъ, жались въ кучу и, прядая ушами, тревожно озирались. У Потапа Максимыча зубъ на зубъ не попадалъ; вездѣ и всегда безстрашный, онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ. Растолкали Дюкова; тотъ потянулся въ своей лисьей шубѣ, зѣвнулъ во всю сласть и, оглянувшись, промолвилъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ:

— Волки никакъ!

Безъ малаго часъ времени прошелъ, а путники все еще сидѣли въ осадѣ. До свѣту оставаться въ такомъ положеніи было нельзя: тогда, пожалуй, и костры не помогутъ, да не хватитъ и заготовленнаго валежника и хвороста на поддержаніе огня. Но паломникъ—человѣкъ бывалый, недаромъ много ходилъ по бѣлу свѣту. Когда волки были ужъ настолько близко, что до любого изъ нихъ палкой можно было добросить, онъ разставилъ спутниковъ своихъ по мѣстамъ и велѣлъ, по его приказу, разомъ бросать въ волковъ изо всей силы горящія лапы [1]).

---

[1]) Горящія вѣтви хвойнаго лѣса; во время лѣсныхъ пожаровъ онѣ переносятся вѣтромъ на огромныя разстоянія.

— Разъ... два... три!..—крикнулъ Стуколовъ, и горящія лапы полетѣли къ звѣрямъ.

Тѣ отскочили и сѣли подальше, щелкая зубами и огрызаясь.

— Разъ... два... три!..— крикнулъ паломникъ,—и, выступивъ за костры, путники еще пустили въ стаю по горящей лапѣ.

Завыли звѣри, но, когда Стуколовъ, схвативъ чуть не саженную пылающую лапу, бросился съ нею впередъ, волки порскнули вдаль, и черезъ нѣсколько минутъ ихъ не было слышно.

— Теперь не прибѣгутъ, — молвилъ паломникъ, надѣвая шубу и укладываясь въ сани.

— Дошлый же ты человѣкъ, Якимъ Прохорычъ,—молвилъ Потапъ Максимычъ, когда опасность миновалась. — Не будь тебя, сожрали бы они насъ.

Паломникъ не отвѣчалъ. Завернувшись съ головой въ шубу, онъ заснулъ богатырскимъ сномъ.

## XVI.

Проѣхали путники въ Урень, подъ видомъ закупки дешеваго яранскаго хлѣба. И въ самомъ дѣлѣ Потапъ Максимычъ сдѣлалъ тамъ небольшую закупку. Потомъ отправились въ лѣсную деревушку, къ знакомому Якима Прохорыча, оттуда—въ другую, Лукерьиной прозывается, къ зажиточному баклушнику [1]) Силантью. Оба знакомца Стуколова завѣряли Потапа Максимыча, что по ихнимъ лѣсамъ вправду золотой песокъ водится. Силантій показалъ даже стеклянный пузырекъ съ такимъ добромъ. На видъ песокъ, ни дать ни взять, такой же, какъ Стуколовскій.

— Пробовали плавить его,—сказывалъ Силантій, — топили въ горну на кузницѣ, однако толку не вышло, гарь одна остается.

Къ великой досадѣ паломника, разболтавшійся Силантій показалъ Потапу Максимычу и гарь, вовсе не похожую на золото.

Какъ ни старался Стуколовъ замять Силантьевы рѣчи, на Потапа Максимыча напало сомнѣнье въ добротности ветлужскаго песка... Онъ купилъ у Силантья пузырекъ, а на придачу и гарь взялъ.

Когда совершалась эта покупка, Стуколовъ съ досадой всталъ съ мѣста и, походивъ по избѣ спѣшными шагами, вышелъ въ сѣни. Дюковъ осовѣлъ, сидя на мѣстѣ.

На другой день, рано поутру, Потапъ Максимычъ случайно подслушалъ, какъ паломникъ съ Дюковымъ ругательски ругали Силантья за «лишнія слова»... Это навело на него еще больше сомнѣнья, и, сидя со спутниками и хозяиномъ дома за утреннимъ самоваромъ, онъ сказалъ, что ветлужскій песокъ ему что-то сумнителенъ.

— У меня въ городу дружокъ есть, баринъ, по всякой наукѣ человѣкъ дошлый, — сказалъ онъ.—Семъ-ка я съѣзжу къ нему съ этимъ пескомъ да покучусь ему испробовать, можно ль изъ него золото сдѣлать... Если выйдетъ изъ него заправское золото — ничего не пожалѣю, что есть добра, все въ оборотъ пущу... А до той поры, гнѣвись, не гнѣвись, Якимъ Прохорычъ, къ вашему дѣлу не приступлю, потому что оно покамѣстъ для меня потемки... Да!

— Съѣзди, пожалуй, къ своему барину...— молвилъ паломникъ.—Только не проболтайся ради Бога, гдѣ эта благодать родится. А то разнесутся вѣсти, узнаетъ начальство, тогда намъ за наши хлопоты шишъ и покажутъ...

— Малаго ребенка, что ли, вздумалъ учить?—вспыхнулъ Потапъ Максимычъ.— Развѣ мы этого не понимаемъ?.. Баринъ вѣрный: дружокъ мнѣ—не выдастъ. Отсюда прямо въ городъ къ нему.

— А вотъ что, Потапъ Максимычъ,— сказалъ паломникъ.—Городъ городомъ, и ученый твой баринъ пущай его смотритъ, а вотъ я что еще придумалъ. Торопиться тебѣ вѣдь некуда. Съѣздили бы мы съ тобой въ Красноярскій скитъ къ отцу Михаилу. Отсель рукой подать, двадцати верстъ не будетъ. Не хотѣлъ я прежде про него говорить, — а вѣдь онъ у насъ въ долѣ, — съѣздимъ къ нему на денекъ, ради увѣренья...

— По мнѣ, пожалуй — для че не съѣздить,—сказалъ Потапъ Максимычъ.— Да что это за отецъ Михаилъ?

---

[1]) Тотъ, что баклуши дѣлаетъ. Баклуши— чурки для токарной выдѣлки ложекъ и деревянной посуды.

— Игуменъ Красноярскаго скита, — отвѣтилъ Стуколовъ. — Увидишь, что за человѣкъ, — поискать такихъ старцевъ!..

По совѣту Стуколова, уговорились ѣхать въ скитъ пообѣдавши. Передъ самымъ обѣдомъ паломникъ ушелъ въ заднюю, написалъ тамъ письмецо и отдалъ его Силантію. Черезъ полчаса какіе-нибудь хозяйскій сынъ верхомъ на лошади съѣхалъ со двора задними воротами и скорой рысью погналъ къ Красноярскому скиту.

---

Совсѣмъ уже стемнѣло, когда путники добрались до скита Красноярскаго.

— Повечеріе на отходѣ, — чуть не до земли кланяясь Потапу Максимычу, сказалъ отецъ Спиридоній, монастырскій гостинникъ, здоровенный старецъ, съ лукавыми, хитрыми и быстро, какъ мыши, бѣгающими по сторонамъ глазками.—Какъ угодно вамъ будетъ, гости дорогіе — въ часовню прежде, аль на гостиный дворъ, али къ батюшкѣ отцу Михаилу въ келью? Получаса не пройдетъ, какъ онъ со службой управится.

— По мнѣ все едино, — сухо отвѣтилъ Потапъ Максимычъ.—Въ часовню, такъ въ часовню, въ келью, такъ въ келью.

— Такъ ужъ лучше въ часовню пожалуйте. Посмотрите, какъ мы, убогіе, Божію службу по силѣ возможности справляемъ... А пожитки ваши мы въ гостиницу внесемъ, коней уберемъ... Пожалуйте, милости просимъ.

Войдя въ часовню, Потапъ Максимычъ пораженъ былъ благолѣпіемъ убранства и стройнымъ чиномъ службы. Старинный, ярко раззолоченный иконостасъ возвышался подъ самый потолокъ. Передъ мѣстными въ золоченыхъ ризахъ иконами горѣли ослопныя свѣчи, всѣ паникадила были зажжены, и синеватый клубъ ладана носился между ними. Старцы стояли рядами, всѣ въ соборныхъ мантіяхъ съ длинными хвостами, всѣ въ опущенныхъ низко, на самые глаза, камилавкахъ и кафтыряхъ. За ними ряды послушниковъ и трудниковъ изъ мірянъ; всѣ въ черныхъ суконныхъ подрясникахъ съ широкими черными усменными поясами. На обоихъ клиросахъ стояли пѣвцы; славились они не только по окрестнымъ мѣстамъ, но даже въ Москвѣ и на Иргизѣ. Среди часовни, предъ аналогіемъ, въ соборной мантіи, стоялъ высокій, широкій въ плечахъ, съ длинными сѣдыми волосами и большой окладистой, какъ серебро, бѣлой бородой, старецъ и густымъ голосомъ дѣлалъ возгласы. Это былъ самъ игуменъ — отецъ Михаилъ.

Служба шла такъ чинно, такъ благоговѣйно, что сердце Потапа Максимыча, до страсти любившаго церковное благолѣпіе, разомъ смягчилось. Съ сіявшимъ на лицѣ довольствомъ разсматривалъ онъ красноярскую часовню.

«Вотъ это служба такъ служба», думалъ, оглядываясь на всѣ стороны, Потапъ Максимычъ. «Мастера Богу молиться, нечего сказать... Эко благолѣпіе-то какое!.. Рогожскому мало чѣмъ уступитъ... А нашей городецкой часовнѣ — куда! тѣхъ же щей, да пожиже влей... Божье-то милосердіе какое, иконы-то святыя!... Просто загляденье, а служба-то, служба-то — первый сортъ!.. Въ Иргизѣ такой службы не видывалъ!..»

Наружность игумна тоже понравилась Потапу Максимычу. Еще не сказавъ съ нимъ ни слова, полюбилъ ужъ онъ старца за порядки.

«Эка здоровенный игуменъ-отъ какой, ровно изъ матераго дуба вытесанъ...—думалъ глядя на него Потапъ Максимычъ.— Ему бы не лѣстовку въ руку, а пудовый молотъ... Да этакому старцу хоть на пару медвѣдей въ одиночку итти. Лапища-то какая!.. А молодецъ Богу молиться!.. Какъ это все у него стройно да чинно выходитъ»...

Кончилось повечеріе. Проговорилъ отпустъ отецъ Михаилъ и обратился къ старцамъ.

— Отцы и братіе и служебницы сея честныя обители!.. Возвѣщаю вамъ радость велію: убогое жительство наше посѣтили благочестивые христолюбцы, крѣпкіе ревнители святоотеческой вѣры нашея древляго благочестія. Чѣмъ воздадимъ за таковую милость къ намъ бывшую? Помолимся убо о здравіи ихъ и спасеніи и воспоемъ Господу Богу молебное пѣніе за милости творящихъ и заповѣдавшихъ намъ, недостойнымъ, молиться о нихъ.

Братія, обернувшись, за разъ, чуть не до земли поклонилась гостямъ, а отецъ Михаилъ замолитвовалъ канонъ о здравіи и спасеніи. Головщикъ праваго клироса звон-

кимъ голосомъ поаминилъ и дробно началъ чтеніе канона.

Тутъ ужъ совсѣмъ растаялъ Потапъ Максимычъ. Любилъ почетъ, особенно почетъ церковный. Пуще всего дорожилъ онъ тѣмъ, что съ самой кончины родителя, многіе годы бывшаго попечителемъ городецкой часовни, самъ постоянно былъ выбираемъ въ эту должность. Льстило его самолюбію, когда, бывая въ той часовнѣ за службой, становился онъ впереди всѣхъ, первый подходилъ къ цѣлованію Евангелія или креста, получалъ отъ бѣглаго попа въ крещенскій сочельникъ первый кувшинъ богоявленской воды, въ вербну заутреню первую вербу, въ Свѣтло Воскресенье перву свѣчу... Но такого почета, какой былъ оказанъ ему въ Красноярскомъ скиту, никогда ему и во снѣ не грезилось. Какъ было не растопиться сердцу? Слеза даже прошибла Потапа Максимыча.

«Сторублевой мало!— подумалъ онъ.— Игуменъ человѣкъ понимающій. По крайности, сторублевую съ двумя четвертными надо вкладу положить».

Слушаетъ, а отецъ Михаилъ поминаетъ о здравіи и спасеніи рабовъ Божіихъ: Потапія, Ксеніи, дѣвицы Анастасіи, дѣвицы Параскевы, инокини Манеѳы.

«Глядь-ка, глядь-ка,—удивлялся Патапъ Максимычъ,— всѣхъ по именамъ такъ и валяетъ... Отъ кого это провѣдалъ онъ про моихъ сродниковъ?.. Двѣ сотенныхъ надо, да къ Христову празднику муки съ масломъ на братію послать».

Когда же, наконецъ, сталъ отецъ Михаилъ поминать усопшихъ родителей Чапурина и перебралъ ихъ чуть не до седьмого колѣна, Потапъ Максимычъ, какъ баба, расплакался и рѣшилъ на обитель три сотни серебромъ дать и каждый годъ мукой съ краснораменскихъ мельницъ снабжать ее.

Такимъ раемъ, такимъ богоблагодатнымъ жительствомъ показался ему Красноярскій скитъ, что не будь жены да дочерей, такъ хоть вѣкъ бы свѣковать у отца Михаила. «Нѣтъ,—думалъ Потапъ Максимычъ,—не чета здѣсь Городцу, не чета и бабьимъ скитамъ!.. Съ Рогожскимъ потягается!.. Вотъ благочестіе-то!.. Вотъ они, земные ангелы, небесные же человѣки»...

Послѣ службы, игуменъ, подойдя къ Потапу Максимычу, познакомился съ нимъ.

— Любезненькой ты мой! Касатикъ ты мой! — привѣтствовалъ онъ, ликуясь съ гостемъ.—Давно была охота повидаться съ тобой. Давно наслышанъ, много про тебя наслышанъ, вотъ и привелъ Господь свидѣться.

— Случая до сей поры не выдавалось, отецъ Михаилъ, — отвѣчалъ Потапъ Максимычъ.—Рѣдко бываю въ здѣшнихъ мѣстахъ, а на Устѣ совсѣмъ впервой.

— Ну, спаси тебя, Господи, что надумалъ насъ, убогихъ, посѣтить, — говорилъ игуменъ.—Матушка-то Манеѳа комаровская по плоти сестрица тебѣ будетъ?

— Сестра родная, — отвѣчалъ Потапъ Максимычъ.

— Дивная старица! — сказалъ отецъ Михаилъ.—Духовной жизни, опять же отъ Писанія какая начетчица, а ужъ домостроительница какая!.. Поискать другой такой старицы, во всемъ христіанствѣ не найдешь!.. Ну, гости дорогіе, въ трапезу не угодно ли?.. Сегодня день недѣльный, а ради праздника Сорока Мучениковъ поліелей — по уставу вечерняя трапеза полагается: разрѣшеніе елея. А въ прочіе дни святыя Четыредесятницы ядимъ единожды въ день.

Пошли въ келарню игуменъ, братія, служебницы, работные трудники и гости. Войдя въ трапезу, всѣ разомъ положили уставные поклоны передъ иконами и сѣли по мѣстамъ. Потапа Максимыча игуменъ посадилъ на почетное мѣсто, рядомъ съ собой. Между соборными старцами усѣлись Стуколовъ и Дюковъ. За особымъ столомъ съ бѣльцами и трудниками сѣли работники Потапа Максимыча.

Трапеза совершалась по чину. Чередовой чтецъ заунывнымъ голосомъ, протяжно, нараспѣвъ читалъ «Синаксарь». Келарь, подойдя къ игумну, благословился первую яству ставить братіи, отецъ чашникъ благословился квасъ разливать, отецъ будильникъ на разносномъ блюдѣ принялъ пять деревянныхъ ставцевъ съ гороховой лапшей, келарь взялъ съ блюда ставецъ и съ поклономъ поставилъ его передъ игуменомъ. Отецъ Михаилъ и тутъ воздалъ почетъ Потапу Максимычу: ставецъ передъ нимъ поставилъ, себѣ взялъ другой. Также и чашу съ квасомъ, и кашу соковую, поданную келаремъ,—все отъ себя переставлялъ гостю.

Когда Потапъ Максимычъ, проголодавшись дорогой, принялся было уписывать гороховую лапшу, игуменъ наклонился къ нему и сказалъ потихоньку:

— Ты, любезненькой мой, на лапшицу-то не больно налегай. Въ гостиницѣ наказалъ я самоварчикъ изготовить да закусочку ради гостей дорогихъ.

— Зачѣмъ это, отче, — отозвался Потапъ Максимычъ. — Были бы сыты и за трапезой, ишь какая лапша-то у васъ вкусная. Напрасно безпокоился.

— Нѣтъ, касатикъ, ужъ прости меня Христа ради, а у насъ ужъ такой уставъ: мірскимъ гостямъ учреждать особную трапезу во утѣшеніе... Вы же путники, а въ пути и постъ разрѣшается...

Трапеза кончилась. Отецъ будильникъ съ отцомъ чашникомъ собрали посуду, оставшіеся куски хлѣба и соль. Игуменъ ударилъ въ кандію, всѣ встали и, стоя на мѣстахъ, гдѣ кто сидѣлъ, въ безмолвіи прослушали благодарныя молитвы, прочитанныя канонархомъ. Отецъ Михаилъ благословилъ братію, и всѣ попарно, тихими стопами пошли вонъ изъ келарни.

— Ну, гости дорогіе, любезненькіе вы мои, — сказалъ отецъ Михаилъ, оставшись съ ними въ опустѣвшей келарнѣ, — теперь я васъ до гостинаго двора провожу, тамъ и упокоитесь... А ты, отецъ будильникъ, гостямъ-то баньку истопи, съ дороги-то пускай завтра попарятся... Да пожарче, смотри, топи, чтобъ и воды горячей и щелоку было довольно, а вѣники въ квасу распарь съ мяткой, а въ воду и въ квасъ, что на каменку поддавать, тоже мятки положь да калуферцу... Чтобъ все у меня было хорошо... Не осрами, отче, передъ дорогими гостями, порадѣй, чтобъ возлюбили убогую нашу обитель.

— Въ исправности будетъ, отче святый, — смиренно отвѣчалъ будильникъ, низко кланяясь. — Постараюсь гостямъ угодить.

— Конямъ-то засыпалъ ли овсеца-то, отецъ казначей? — спрашивалъ игуменъ, переходя изъ келарни въ гостиницу. — Засыпалъ бы безъ мѣры, сколько съѣдятъ... Да молви, не забудь, отцу Спиридонію пріѣзжихъ-то работниковъ хорошенько бы упокоилъ... Ахъ вы, мои любезненькіе! Ахъ вы, касатики мои!.. Какихъ гостей-то мнѣ Богъ даровалъ!.. Бѣги-ка ты, Трофимушка, — молвилъ игуменъ проходившему мимо бѣльцу, — бѣги въ гостиницу, поставь фонарь на лѣстницѣ, да молви самоваръ бы на столъ ставили, да отецъ келарь медку бы сотоваго прислалъ, да клюковки, да яблочковъ, что ли, моченыхъ... Ненарокомъ пріѣхали-то вы ко мнѣ, гости любезные, — не взыщите... Не изготовился принять васъ, какъ надобно.

Въ гостиницѣ, въ углу большой, небогато, но опрятно убранной горницы, поставленъ былъ столъ, и на немъ кипѣлъ ярко вычищенный самоваръ. На другомъ столѣ отецъ гостиникъ Спиридоній разставлялъ тарелки съ груздями, мелкими рыжиками, волнухами и вареными въ уксусѣ бѣлыми грибами, тутъ же явились и сотовый медъ, и моченая брусника, и клюква съ медомъ, моченыя яблоки, пряники, финики, изюмъ и разные орѣхи. Среди этихъ закусокъ и заѣдокъ стояло нѣсколько графиновъ съ настойками и наливками, бутылка рому, другая съ мадерой ярославской работы.

Выпили по чашкѣ чаю, налили по другой. Передъ второй выпили и закусили рыбными снѣдями. И что это были за снѣди! Только въ скитахъ и можно такими полакомиться. Мѣшечная осетровая икра точно изъ черныхъ перловъ была сдѣлана, такъ и блеститъ жиромъ, а зернистая какъ сливки — сама во рту таетъ, балыкъ величины непомѣрной, жирный, сочный, такой, что самому донскому архіерею не часто на столѣ подаютъ, а бѣлорыбица, присланная изъ Елабуги, бѣла и глянцовита, какъ атласъ. Хорошо ѣдятъ скитскіе старцы, а лучше того угощаютъ нужнаго человѣка, коли Богъ въ обитель его принесетъ. Мѣдной копейки не тратитъ обитель на эти «утѣшенія» — все усердное даяніе христолюбцевъ.

Покончивъ съ рыбными снѣдями, принялись за чай съ постнымъ молокомъ, то-есть съ ромомъ. Тутъ старцы отъ міранъ не отстали, воздержнѣй другихъ оказался паломникъ.

Поразвеселились, языки развязались, пошла бесѣда откровенная, даже Дюковъ помаленьку началъ разговаривать.

— Что, отецъ Михаилъ, скучно, чай, въ лѣсу-то жить? — спросилъ Потапъ Максимычъ у игумна.

— Распрелюбезное дѣло, касатикъ ты мой, — отвѣчалъ онъ. — Придетъ лѣто, птичекъ Божьихъ налетитъ видимо-невидимо;

отъ зари до зари распѣваютъ онѣ на разные гласы, прославляютъ Царя Небеснаго... Въ воздухѣ таково легко да прiятно, благоуханiе несказанное, цвѣточки цвѣтутъ, травки растутъ, звѣрки бѣгаютъ... А выйдешь на Усту, бредень закинешь, окуньковъ наловишь, линей, щучекъ, налимъ иной разъ въ вершу попадетъ... Какого еще житья?.. Зимней порой поскучнѣе, а все же нашего лѣсного житья не промѣнять на ваше городское... Вѣдь я, любезненькой мой, пятьдесятъ годовъ въ здѣшнихъ-то лѣсахъ живу. Четырнадцати лѣтъ въ пустыню пришелъ; неразумный еще былъ, голоусый, грамотѣ не зналъ... Такъ промежъ людей въ мiру-то болтался: бѣдность, нужда, нищета, выросъ сиротой, самый послѣднiй былъ человѣкъ, а привелъ же вотъ Богъ обителью править: безъ году двадцать лѣтъ игуменствую, а допрежъ того въ келаряхъ десять лѣтъ высидѣлъ... Какъ же не любить мнѣ лѣсовъ, болѣзный ты мой, какъ мнѣ не любить ихъ?.. Вѣдь они родные мои.

— Конечно, привычка, — замѣтилъ Потапъ Максимычъ.

— А посмотрѣлъ бы, касатикъ мой, Потапъ Максимычъ, что въ нѣдрахъ-то земныхъ сокрыто, отдалъ бы похвалу нашимъ палестинамъ.

— А что такое? — спросилъ Потапъ Максимычъ.

— Отъ другихъ потаю, отъ тебя не скрою, любезненькой ты мой, — отвѣчалъ игуменъ.—Опять же у васъ съ Якимомъ Прохорычемъ, какъ вижу, дѣла-то одни... Золото водится по нашимъ лѣсамъ—брать только надо умѣючи.

— Слыхалъ я про ваше ветлужское золото, — сказалъ Потапъ Максимычъ, — только вѣры что-то неймется, отче святый... — Пробовали, слышь, топить его, одна гарь выходитъ.

— Это ему вечоръ Силантiй насудачилъ, — вступился Стуколовъ.

— Какой Силантiй?—спросилъ игуменъ.

— Да въ деревнѣ Лукерьинѣ Силантья Петрова развѣ не знаешь? — молвилъ паломникъ.

— А, лукерьинскiй!.. Коротенька-Ножка?.. Какъ не знать! — отозвался игуменъ.—Да чего жъ онъ въ этомъ дѣлѣ смыслитъ! Навалилъ, поди, песку въ горшокъ, да и ну калить!.. Извѣстно, этакъ, окромѣ гари, не выйдетъ ничего... Тутъ, любезненькой мой, Потапъ Максимычъ, науку надо знать.

— Вотъ и я то же говорю Якиму Прохорычу: прежде испытать надо, а потомъ за дѣло браться.

— Справедлива рѣчь твоя, любезненькой ты мой, — отвѣчалъ игуменъ, — справедливая рѣчь!.. «Искуси и познай», въ Писанiи сказано. Безъ испытанiя нельзя.

— Вотъ и думаю я съѣздить въ городъ,—сказалъ Потапъ Максимычъ,—тамъ дружокъ у меня есть, по эвтой самой наукѣ доточный. На царскихъ золотыхъ промыслахъ служилъ... Дамъ ему песочку, чтобъ испробовалъ, можно ли изъ него золото дѣлать.

— Что жъ, съѣзди, съѣзди, любезненькой ты мой!.. Увѣрься!.. Не соваться же и въ самомъ дѣлѣ въ воду, не спросясь броду? — говорилъ игуменъ.

Пѣтухи запѣли, отецъ Михаилъ съ мѣста поднялся.

---

Въ думахъ о ветлужскихъ сокровищахъ сладко заснулъ Потапъ Максимычъ, богатырскiй храпъ его скоро раздался въ гостиницѣ. Паломникъ и Дюковъ еще не спали и, заслышавъ храпъ сосѣда, тихонько межъ собою заговорили.

— Экъ его, стараго хрѣна, дернуло!— шепталъ паломникъ. — Чѣмъ бы завѣрять да уговаривать, а онъ въ городъ совѣтуетъ: «Поѣзжай, увѣрься!» Кажется, все толкомъ писалъ къ нему съ Силантьевымъ сыномъ—такъ вотъ поди же ты съ нимъ... Совсѣмъ съ ума выступилъ.

— Что жъ, пущай его съѣздитъ,—молвилъ Дюковъ.

— Пущай съѣздитъ!—передразнилъ паломникъ прiятеля. — А что Силанiй-отъ продалъ ему? Какой у него песокъ-отъ?

— Мяконькой?—улыбнувшись, спросилъ Дюковъ.

— То-то и есть,—отвѣтилъ Яковъ Прохорычъ.—Надо дѣло поправлять.

— Надо,—согласился Дюковъ.

— Ты вотъ что сдѣлай,—говорилъ паломникъ.—Въ баню съ нимъ вмѣстѣ ступай, подольше его задерживай, я управлюсь тѣмъ временемъ. Смекаешь?

— Ладно,—сказалъ Дюковъ.

— Сибирскимъ подмѣню, настоящимъ.

— Понимаю.

— Цѣлковыхъ на триста отсыпать придется,—ворчалъ Стуколовъ.—Ишь оно, пу-

стое-то мелево, что стоитъ!.. Триста цѣлковыхъ не щепки... Поди-ка, выручай потомъ.

— Выручишь!—сказалъ Дюковъ.

Поднялись ранехонько, на зарѣ, часу въ шестомъ. Только узналъ игуменъ, что гости поднимаются, самъ поспѣшилъ въ гостиницу, а тамъ отецъ Спиридоній ужъ возится вкругъ самовара.

— Что, гости дорогіе, каково спали-ночевали, весело ли вставали? — радушно улыбаясь, привѣтствовалъ Потапа Максимыча съ товарищами отецъ Михаилъ.

— Важно спали, честный отче!—отвѣтилъ Потапъ Максимычъ.—Ужъ такъ ты насъ упокоилъ, такъ уважилъ, что вовѣки не забуду.

— А въ баньку-то? — спросилъ игуменъ Потапа Максимыча.—Ужъ опарили... Коли жарко любишь, теперь бы шелъ. Мы, грѣшные, за часы пойдемъ, а ты тѣмъ временемъ попарься.

По строгому монастырскому уставу, что содержится въ скитахъ, баня не дозволяется. Мыться въ банѣ, купаться въ рѣкѣ, обнажать свое тѣло — великій грѣхъ, а ходить вѣкъ свой въ грязи и всякой нечистотѣ — богоугодный подвигъ, подъятый ради умерщвленія плоти. Возненавидь тѣло свое, смиряй его постомъ, бдѣніемъ, безсчетными земными поклонами, наложи на себя тяжелыя вериги, веселись о каждой ранѣ, о каждой болѣзни, держи себя въ грязи и съ радостью отдавай тѣло на кормленіе насѣкомымъ — вотъ завѣтъ византійскихъ монаховъ, перенесенный святошами и въ нашу страну. Но не весь этотъ завѣтъ исполняется. Старые народные обычаи крѣпко держатся, и баня съ вѣниками, которымъ, говорятъ, еще апостолъ Андрей дивовался на Ильмени, удержалась и въ пустыняхъ и въ монастыряхъ, несмотря на греческія проклятья. Не ходятъ въ баню лишь тѣ скитскіе жители, что самое подвижное житіе провождаютъ, да и тѣ ину пору не могутъ устоять противъ «демонскаго стрѣлянія» — парятся.

Въ Красноярскомъ скиту отъ бани никто не отрекался, а самъ игуменъ ждетъ, бывало, не дождется субботы, чтобъ хорошенько пропарить грѣшную плоть свою. Оттого банька и была у него построена на славу: большая, свѣтлая, просторная, съ липовыми полками и лавками, мѣнявшимися чуть не каждый годъ.

Узнавъ изъ письма, присланнаго паломникомъ изъ Лукерьина, что Потапа Максимыча хоть обѣдомъ не корми, только выпарь хорошенько, отецъ Михаилъ тотчасъ послалъ въ баню троихъ трудниковъ съ скобелями и рубанками и велѣлъ имъ, какъ можно чище и глаже, выстрогать всю баню — и полки, и лавки, и полъ, и стѣны, чтобы вся была какъ новая. Чуть не съ полночи жарили баню, варили щелоки, кипятили квасъ съ мятой для распариванья вѣниковъ и поддаванья на каменку.

Диву дался Потапъ Максимычъ, войдя въ баню; уваженіе его къ отцу Михаилу удвоилось. Такой баней сроду никто не угощалъ его. Въ передбанникѣ на лавкахъ высоко, въ нѣсколько рядовъ, наложены были кошмы, покрытыя бѣлыми простынями; весь полъ устланъ войлоками, а на нихъ раскидано пахучее сѣно, крытое тоже простынями. Въ банѣ на полкахъ и на лавкахъ настланы были обданные кипяткомъ калуферъ, мята, чаберъ, донникъ и другія пахучія травы. На лавкахъ лежали вѣники, стояли мѣдные луженые тазы со щелокомъ и взбитымъ мыломъ, а рядомъ съ ними большіе туеса, налитые подогрѣтымъ на мятѣ квасомъ для окачиванія передъ тѣмъ, какъ лѣзть на полокъ. На особомъ, крытомъ скатертью столикѣ разложены были суконки, мелко расчесанныя вехотки и куски казанскаго яичнаго мыла.

— Сумѣлъ банькой употчевать отецъ игуменъ, — молвилъ Потапъ Максимычъ дюжимъ бѣльцамъ, посланнымъ его парить.—Вотъ баня, такъ баня, хоть царю въ такой париться. Ай да отецъ Михаилъ!

Двѣ пары вѣниковъ отхлыстали бѣльцы о Потапа Максимыча, а онъ таялъ въ восторгѣ да покрикивалъ:

— Поддавай, поддавай еще!.. Прибавь парку, миленькіе!.. У, жарко!.. Поддавай, а ты поддавай!..

И дюжіе бѣльцы, не жалѣя мятнаго кваса, плескали на спорникъ туесъ за туесомъ и, не жалѣя Потапа Максимыча, изо всей силы хлыстали его, какъ огонь, жаркими вѣниками.

Вдругъ Потапъ Максимычъ прыгнулъ съ полка и стремглавъ кинулся къ дверямъ. Распахнувъ ихъ, вылетѣлъ вонъ изъ бани и бросился въ сугробъ. Снѣгъ обжегъ раскаленное тѣло, и съ громкимъ гоготаньемъ началъ Чапуринъ валяться по

сугробу. Минуты черезъ двѣ вбѣжалъ назадъ и прямо на полокъ.

— Хлыщи жарче, ребятушки!.. Поддавай, поддавай, миленькіе!..—кричалъ онъ во всю мочь, и бѣльцы принялись хлыстать еще пуще прежняго.

Три раза валялся въ сугробѣ Потапъ Максимычъ, дюжину вѣниковъ охлыстали объ него здоровенные бѣльцы, цѣлый жбанъ холоднаго квасу выпилъ онъ, запивая банный паръ, насилу-то, насилу отпарился.

И когда легъ въ передбанникѣ на разостланныя кошмы, совсѣмъ умилился душой, вспоминая гостепріимнаго игумна.

— Ну, банька же у тебя, отче!..—сказалъ Потапъ Максимычъ, низко кланяясь отцу Михаилу.—Спасибо... Вотъ уважилъ, такъ уважилъ!..

— Ахъ ты, любезненькой мой! Ахъ ты, касатикъ мой!—восклицалъ игуменъ, обнимая Потапа Максимыча.—Ужъ не взыщи Христа ради на убогихъ нашихъ недостаткахъ... Мы ото всей души, родненькой... Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады.

— Не ложно скажу тебѣ, отче: сроду такъ не паривался. Ужъ такая у тебя банька, такая банька, что разсказать невозможно...—говорилъ Потапъ Максимычъ.

— Послѣ баньки-то выкушать надо,—молвилъ игуменъ, наливая рюмку сорокотравчатой,—да и за столъ милости просимъ. Не взыщи только, любезненькой ты мой Потапъ Максимычъ.

Обѣдъ былъ поданъ обильный, кушаньямъ счету не было.

Насилу перетащились отъ стола до постелей. Потапъ Максимычъ, какъ завелъ глаза, такъ и пустилъ храпъ и свистъ на всю гостиницу. Отецъ Михей да отецъ Спиридоній едва въ силу убрались по кельямъ, возсылая хвалу Создателю за дарованіе гостя, ради котораго разрѣшили они надокучившее сухоядѣніе, смѣнили гороховую лапшу на диковинныя стерляди и другія лакомыя яства. Отецъ Михаилъ, угощая другихъ, и себя не забывалъ. Не пошелъ онъ къ себѣ въ келью, а, кой-какъ дотащившись до постели паломника, заснулъ богатырскимъ сномъ, поохавъ передъ тѣмъ маленько и сотворивъ не одинъ разъ молитву: «Согрѣшихъ передъ Тобою, Господи, чревоугодіемъ, піанственнаго питія вкушеніемъ, объяденіемъ, невоздержаніемъ»...

Часа черезъ полтора игуменъ и гости проснулись. Отецъ Спиридоній притащилъ огромный мѣдный кунганъ съ холоднымъ игристымъ малиновымъ медомъ: его не замедлили опорожнить. Послѣ того отецъ Михаилъ сталъ показывать Потапу Максимычу скитъ свой...

— Погости у насъ, убогихъ, гость нежданный да желанный, побудь съ нами денекъ-другой, дай наглядѣться на себя, любезненькой ты мой,—уговаривалъ отецъ Михаилъ.

Но Потапъ Максимычъ не внималъ уговорамъ и велѣлъ запрягать лошадей.

На разставаньи написалъ онъ записочку и подалъ ее отцу Михаилу.

— Пошли ты, отче, съ этой запиской работника ко мнѣ въ Красную Рамень, на мельницу,—сказалъ онъ,—тамъ ему отпустятъ десять мѣшковъ крупчатки... Это честной братіи ко Христову дню на куличи, а вотъ это на сыръ да на красны яйца.

И вручилъ отцу Михаилу четыре сотенныхъ.

— Ахъ ты, любезненькой мой!.. Ахъ ты, кормилецъ нашъ!—восклицалъ отецъ Михаилъ, обнимая Потапа Максимыча и цѣлуя его въ плечи.—Пошли тебѣ, Господи, добраго здоровья и успѣха во всѣхъ дѣлахъ твоихъ за то, что памятуешь сира и убога... Ахъ ты, касатикъ мой!.. Да что это, право, мало ты погостилъ у насъ? Проглянулъ, какъ молодой мѣсяцъ, глядь, анъ ужъ и нѣтъ его.

— Нельзя, отче, нельзя, пора мнѣ, и то замѣшкался... Дома есть нужныя дѣла,—отвѣчалъ Потапъ Максимычъ.

Отецъ игуменъ со всею братіей соборнѣ провожалъ новаго монастырскаго благодѣтеля. Сначала въ часовню пошли, тамъ канонъ въ путь шествующихъ справили, а тутъ до воротъ шли пѣши. За воротами еще разъ перепрощался Потапъ Максимычъ съ отцомъ Михаиломъ и со старшими иноками. Напутствуемый громкими благословеньями старцевъ и громкимъ лаемъ бросавшихся за повозками монастырскихъ псовъ, рѣзво покатилъ онъ по знакомой уже дорожкѣ.

## XVII.

Пріятель, къ которому изъ Красноярскаго скита проѣхалъ Потапъ Максимычъ, былъ отставной горный чиновникъ Колышкинъ. Громко и честно держалось на Волгѣ имя его.

После обычныхъ привѣтствій и разспросовъ, Потапъ Максимычъ молвилъ Колышкину:

— А вѣдь я къ тебѣ съ докукой, Сергѣй Андреичъ. Нарочно для того и въ городъ меня примчало.

— Приказывай, крестный, что ни велишь, мигомъ исполнимъ, только бы мочи да умѣнья хватило,—отвѣчалъ Колышкинъ.

— Видишь ли: у насъ въ лѣсахъ, за Волгой, рѣка есть, Ветлугой зовется... Слыхалъ?

— Знаю, — отвѣчалъ Колышкинъ. — Какъ Ветлугу не знать?..

— Ладно, хорошо, — сказалъ Потапъ Максимычъ. — Такъ въ эту самую рѣку Ветлугу пала рѣка Уста.

— И Усту знаю и изъ Усты воду пивалъ, — отозвался Колышкинъ.

— Такъ вотъ что: межъ Ветлуги и Усты золото объявилось, золотой песокъ,— полушопотомъ молвилъ Потапъ Максимычъ.

А Колышкинъ такъ и помираетъ со смѣху.

— Ветлужское золото!.. Ха-ха-ха!.. Розсыпи за Волгой!.. Ха-ха-ха!.. Не растутъ ли тамъ яблоки на березѣ, груши на соснѣ?.. Рѣки молочныя въ кисельныхъ берегахъ не текутъ ли?.. Ахъ ты, крестный, крестный—уморилъ совсѣмъ!.. Ха-ха-ха!..

— Зачѣмъ гоготать? — молвилъ нахмурясь Чапуринъ.—Не выспросивъ дѣла путемъ, гогочешь, ровно гусь на проталинѣ!.. Не слѣдъ такъ, Сергѣй Андреичъ, не ладно... Ты напередъ выспроси, узнай по порядку, вдосталь, да потомъ и гогочи... А то на-ка поди!.. Не пустыя рѣчи говорю — самъ видѣлъ.

Видя досаду Чапурина, Колышкинъ сдержалъ свой смѣхъ.

— Нестаточное дѣло, Потапъ Максимычъ,—молвилъ онъ.—Покажи мнѣ пѣгаго коня, чтобъ одной масти былъ, тогда развѣ повѣрю, что на Ветлугѣ нашлось золото.

— А это что? — рѣзко сказалъ Потапъ Максимычъ, ставя передъ Сергѣемъ Андреичемъ пузырекъ.

Колышкинъ взялъ и только что успѣлъ приподнять, какъ смѣющееся лицо его думой подернулось. Необычный вѣсъ изумилъ его. Попробовавъ песокъ на оселкѣ, пуще задумался.

— Что? — спросилъ Потапъ Максимычъ.

Колышкинъ ни слова въ отвѣтъ.

Глазъ не спускаетъ съ него Потапъ Максимычъ. Вынулъ Колышкинъ изъ стола вѣски какіе-то, свѣсилъ песокъ, потомъ на тѣхъ же вѣсахъ свѣсилъ его въ водѣ.

— Что? — спросилъ Потапъ Максимычъ, вставая съ дивана. Колышкинъ опять ни слова.

Видитъ Потапъ Максимычъ—«крестникъ» взялъ какую-то кастрюльку, налилъ въ нее чего-то, песку подсыпалъ, еще что-то подѣлалъ и, отдавая пузырекъ, сказалъ:

— Золото.

Просіялъ Потапъ Максимычъ.

— Видишь! — сказалъ онъ.—А гогочешь!.. Теперь, баринъ, кому надъ кѣмъ смѣяться-то?.. Ась?..

— Гдѣ жъ его промывали? — спросилъ Колышкинъ.—Промыто хорошо.

— Какъ промывали? — молвилъ Потапъ Максимычъ. Никто не мылъ... Изъ земли такое берутъ.

— Такъ-таки и сказывали, что въ этомъ самомъ видѣ песокъ изъ земли копанъ?— продолжалъ свои спросы Колышкинъ.— Ни про какую промывку не было рѣчи?

— Да, — подтвердилъ Потапъ Максимычъ.

— Мошенники это тебѣ говорили—вотъ что!.. — съ сердцемъ крикнулъ Сергѣй Андреичъ.

— Какъ мошенники? — вскочивъ съ мѣста, еще громче вскрикнулъ Потапъ Максимычъ.—Развѣ стану я водиться съ мошенниками? На Ветлугѣ говорили, что этотъ песокъ не справское золото; изъ него, дескать, надо еще черезъ огонь топить настоящее-то золото... Такіе люди въ Москвѣ, слышь, есть. А неумѣлыми руками зачнешь тотъ песокъ перекаливать, одна гарь останется... Я и гари той добылъ, — прибавилъ Потапъ Максимычъ, подавая Колышкину взятую у Силантья изгарь.

Икнулось ли на этотъ разъ Стуколову, нѣтъ ли, зачесалась ли у него лѣвая бровь, загорѣлось ли лѣвое ухо — про то не вѣдаемъ. А подошла такая минута, что Силантьевская гарь повернула затѣи паломника внизъ покрышкой. Не даромъ шарилъ онъ ее въ чемоданѣ, когда Потапъ Максимычъ въ банѣ нѣжился, не даромъ пытался подмѣнить ее кускомъ изгари съ обительской кузницы... Но нельзя было всѣхъ концовъ въ воду упрятать — Силантьевская гарь у Потапа Максимыча о ту пору въ карманѣ была...

Колышкинъ испробовалъ гарь и сказалъ:

— Не отъ того песку... Это отъ сѣрнаго колчедана... Теперь ихнюю плутню насквозь вижу...

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

### I.

Вотъ сказанье нашихъ праотцевъ о томъ, какъ богъ Ярило возлюбилъ Мать-Сыру-Землю и какъ она породила всѣхъ земнородныхъ.

Лежала Мать-Сыра-Земля во мракѣ и стужѣ. Мертва была—ни свѣта, ни тепла, ни звуковъ, никакого движенья.

И сказалъ вѣчно юный, вѣчно радостный свѣтлый Яръ: «Взглянемъ сквозь тьму кромѣшную на Мать-Сыру-Землю, хороша ль, пригожа ль она, придется ли по мысли намъ?»

И пламень взора свѣтлаго Яра въ одно мгновенье пронизалъ неизмѣримые слои мрака, что лежали надъ спавшей землею. И гдѣ Ярилинъ взоръ прорѣзалъ тьму, тамо возсіяло солнце красное.

И полились черезъ солнце жаркія волны лучезарнаго Ярилина свѣта. Мать-Сыра-Земля отъ сна пробуждалася и въ юной красѣ, какъ невѣста на брачномъ ложѣ, раскинулась... Жадно пила она золотые лучи живоноснаго свѣта, и отъ того свѣта палящая жизнь и томящая нѣга разлились по нѣдрамъ ея.

Несутся въ солнечныхъ лучахъ сладкія рѣчи бога любви, вѣчно юнаго бога Ярилы: «Охъ ты гой еси, Мать-Сыра-Земля! полюби меня, бога свѣтлаго, за любовь за твою я украшу тебя синими морями, желтыми песками, зеленой муравой, цвѣтами алыми, лазоревыми; народишь отъ меня милыхъ дѣтушекъ число несмѣтное...»

Любы землѣ Ярилины рѣчи, возлюбила она бога свѣтлаго, и отъ жаркихъ его поцѣлуевъ разукрасилась злаками, цвѣтами, темными лѣсами, синими морями, голубыми рѣками, серебристыми озерами. Пила она жаркіе поцѣлуи Ярилины, и изъ нѣдръ ея вылетали поднебесныя птицы, изъ вертеповъ выбѣгали лѣсные и полевые звѣри, въ рѣкахъ и моряхъ заплавали рыбы, въ воздухѣ затолклись мелкія мушки да мошки... И все жило, все любило, и все пѣло хвалебныя пѣсни: отцу—Ярилѣ, матери—Сырой Землѣ.

И вновь изъ краснаго солнца любовныя рѣчи Ярилы несутся: «Охъ ты гой еси, Мать-Сыра-Земля! разукрасилъ я тебя красотою, народила ты милыхъ дѣтушекъ число несмѣтное, полюби меня пуще прежняго, породишь отъ меня дѣтище любимое».

Любы были тѣ рѣчи Матери-Сырой-Землѣ, жадно пила она живоносные лучи и породила человѣка... И когда вышелъ онъ изъ нѣдръ земныхъ, ударилъ его Ярило по головѣ золотой вожжей—ярой молніей. И отъ той молніи умъ въ человѣкѣ зародился. Здравствовалъ Ярило любимаго земнороднаго сына небесными громами, потоками молній. И отъ тѣхъ громовъ, отъ той молніи вся живая тварь въ ужасѣ встрепенулась: разлетались поднебесныя птицы, попрятались въ пещеры дубравные звѣри—одинъ человѣкъ поднялъ къ небу разумную голову и на рѣчь отца громовую отвѣчалъ вѣщимъ словомъ, рѣчью крылатою... И услыша то слово и узрѣвъ царя своего и владыку, всѣ древа, всѣ цвѣты и злаки передъ нимъ преклонились, звѣри, птицы и всяка живая тварь ему подчинилась.

Ликовала Мать-Сыра-Земля въ счастьи, въ радости, чаяла, что Ярилиной любви ни конца ни края нѣтъ... Но по маломъ времени красно солнышко стало низиться, свѣтлые дни укоротились, дунули вѣтры холодные, замолкли птицы пѣвчія, завыли звѣри дубравные, и вздрогнулъ отъ стужи царь и владыка всей твари дышащей и не дышащей...

Затуманилась Мать-Сыра-Земля и съ горя-печали оросила поблекшее лицо свое слезами горькими—дождями дробными.

Плачется Мать-Сыра-Земля: «О вѣтре вѣтрило!.. Зачѣмъ дышишь на меня постылою стужей?.. Око Ярилино—красное солнышко!.. Зачѣмъ грѣешь и свѣтишь ты не попрежнему?.. Разлюбилъ меня Ярило-богъ—лишиться мнѣ красоты своей, погибать моимъ дѣтушкамъ, и опять мнѣ во мракѣ и стужѣ лежать!.. И зачѣмъ узнавала я свѣтъ, зачѣмъ узнавала жизнь и любовь?.. Зачѣмъ спознавалась съ лучами ясными, съ поцѣлуями бога Ярилы горячими?..»

Безмолвенъ Ярило.

«Не себя мнѣ жаль, плачется Мать-Сыра-Земля, сжимаясь отъ холода,—скорбитъ сердце матери по милымъ по дѣтушкамъ».

Говоритъ Ярило: «Ты не плачь, не тоскуй, Мать-Сыра-Земля: покидаю тебя не надолго. Не покинуть тебя на время— сгорѣть тебѣ до тла подъ моими поцѣлуями. Храня тебя и дѣтей нашихъ, убавлю я на-время тепла и свѣта, опадутъ на деревьяхъ листья, завянутъ травы и злаки, одѣнешься ты снѣговымъ покровомъ, будешь спать-почивать до моего приходу... Придетъ время, пошлю къ тебѣ вѣстницу— Весну Красну, слѣдомъ за Весною я самъ приду».

Плачется Мать-Сыра-Земля: «Не жалѣешь ты, Ярило, меня, бѣдную, не жалѣешь, свѣтлый боже, дѣтей своихъ!.. Пожалѣй хоть любимое дѣтище, что на рѣчи твои громовыя отвѣчало тебѣ вѣщимъ словомъ, рѣчью крылатою... И нагъ онъ и слабъ— сгинуть ему прежде всѣхъ, когда лишишь насъ тепла и свѣта...»

Брызнулъ Ярило на камни молніей, облилъ палючимъ взоромъ деревья дубравныя.

И сказалъ Матери-Сырой-Землѣ: «Вотъ я разлилъ огонь по камнямъ и деревьямъ. Я самъ въ томъ огнѣ. Своимъ умомъ-разумомъ человѣкъ дойдетъ, какъ изъ дерева и камня свѣтъ и тепло брать. Тотъ огонь—даръ мой любимому сыну. Всей живой твари будетъ на страхъ и ужасъ, ему одному на службу».

И отошелъ отъ земли богъ Ярило... Понеслися вѣтры буйные, застилали темными тучами око Ярилино—красное солнышко, нанесли снѣга бѣлые, ровно въ саванъ окутали въ нихъ Мать-Сыру-Землю. Все застыло, все заснуло, не спалъ не дремалъ одинъ человѣкъ—у него былъ великій даръ отца Ярилы, а съ нимъ и свѣтъ и тепло...

Такъ мыслили старорусскіе люди о смѣнѣ лѣта зимою и о началѣ огня.

Оттого наши праотцы и сожигали умершихъ: заснувшаго смертнымъ сномъ Ярилина сына отдавали живущему въ огнѣ отцу. А послѣ стали отдавать мертвецовъ ихъ матери, опуская въ лоно ея.

Оттого наши предки и чествовали великими праздниками дарованіе Ярилой огня человѣку. Праздники тѣ совершались въ долгіе лѣтніе дни, когда солнце, укорачивая ходъ, начинаетъ разставаться съ землею. Въ память дара, что даровалъ богъ свѣта, жгутъ купальскіе огни. Что Купало, что Ярило—все едино, одного бога званія.

И донынѣ въ Иванову ночь пылаютъ на Руси купальскіе огни, и донынѣ по полямъ и перелѣскамъ слышатся веселыя пѣсни:

Купала на Ивана!
Гдѣ Купала ночевала?
Купала на Ивана!
Купала на Ивана!
Ночевала у Ивана!

Теперь въ лѣсахъ за Волгой купальскихъ костровъ не жгутъ. Не празднуютъ свѣтлому богу Ярилѣ. Въ конецъ истребился старорусскій обрядъ.

На скитскихъ праздникахъ, на келейныхъ сборищахъ за трапезами, куда сходится народъ во множествѣ, боголюбивые старцы и пречестныя матери истово и учительно читаютъ изъ святочтимаго Стоглава объ Ивановѣ днѣ: «Сходятся мужи и жены и дѣвицы на нощное плещеваніе и безстудный говоръ, на бѣсовскія пѣсни и плясанія и на богомерзкія дѣла... И тѣ еллинскія прелести отречены и прокляты...»

И отъ грознаго слова «прокляты» содрогаются ядущіе и піющіе.

«Такова святыхъ отецъ заповѣдь, таково благочестиваго царя Іоанна Васильича повелѣніе!..» возглашаютъ народу келейные учители... И возглашаютъ они такія словеса не годъ и не два, а съ тѣхъ поръ, какъ зачинались въ лѣсахъ за Волгой скиты Керженскіе, Чернораменскіе. И вотъ теперь, черезъ двѣсти лѣтъ послѣ ихъ основанія, въ тѣхъ лѣсахъ про Ярилу помину нѣтъ, хоть повсюду кругомъ и хранится память о немъ, и чествуется она огнями купальскими.

## II.

Почти совсѣмъ ужъ стемнѣло, когда комаровскія поклонницы подъѣзжали къ Свѣтлому Яру. Холмы невидимаго града видны издалека. Лишь завидѣла ихъ мать Аркадія, тотчасъ велѣла стать. Вышли изъ повозокъ, сотворили уставной семипоклонный началъ невидимому граду и до земли поклонились чудному озеру, отражавшему розовые переливы догоравшей вечерней зари...

— Пѣшкомъ надо — мѣсто бо свято есть,—сказала уставщица Василію Борисычу (московскому гостю).

Пошли въ строгомъ, глубокомъ молчаньи... Въ воздухѣ тишь невозмутимая. Гуще и гуще надвигается черный покровъ ночи на небо, ярче и ярче сверкаютъ на холмахъ зажженныя свѣчи, тусклѣй и туск-

лей отражает въ себѣ недвижное, будто изъ стекла вылитое, озеро темно-синій небосклонъ, розовыя полосы зари и поникшія вѣтвями въ воду береговыя вербы... Все дышитъ таинственностью, все кажется ровно очарованнымъ... Крестясь и творя молитву, взошли комаровскія путницы на холмъ... Народу видимо-невидимо. Сошлись поклониться граду Китижу и ближніе и дальніе, старые и молодые, мужчины и женщины. Женщинъ гораздо больше мужчинъ. Келейныя матери и бѣлицы были почти изо всѣхъ обителей, иноковъ мало, и то все такіе, что зовутся «перехожими» [1]). Людей много, но громкихъ рѣчей не слыхать... И каноны поютъ, и книги читаютъ, и межъ собой говорятъ все потихоньку, чуть не шопотомъ... По рощѣ будто пчелиный рой жужжитъ...

Изобрали комаровскія богомолицы мѣстечко у раскидистаго дуба, мрачно чернѣвшаго въ высотѣ густолиственной вершиной. Вынула Аркадія изъ дорожнаго пещера икону Владимирской Богородицы въ густо позлащенной ризѣ съ самоцвѣтными каменьями, повѣсила ее на сучкѣ, прилѣпила къ дубу нѣсколько восковыхъ свѣчекъ и съ молитвой затеплила ихъ. И она и мать Никанора, обѣ въ полномъ иночествѣ, въ длинныхъ соборныхъ мантіяхъ съ креповыми, наметками на камилавкахъ, стали передъ иконой и, положивъ началъ, вполголоса стали пѣть утреню.

— Комаровскія пріѣхали!.. Отъ Манеѳиныхъ!..—зашептали въ многочисленныхъ кучкахъ, разсыпанныхъ по обоимъ холмамъ. Пяти минутъ не прошло, какъ Манеѳины окружены были густой толпой богомольцевъ.

Отойдя въ сторону, пошелъ Василій Борисычъ по рощѣ бродить. Любопытно было ему посмотрѣть, что на Китижѣ дѣлается, любопытно послушать, какое писаніе читаютъ грамотеи жадно слушавшему ихъ люду.

Видитъ: ста два богомольцевъ кучками разсыпались по рощѣ и по берегу озера. На половину деревьевъ увѣшано иконами, облѣплено горящими свѣчами... Здѣсь Псалтырь читаютъ, тамъ канонъ Богородицѣ поютъ [1]), подальше утреню справляютъ... И вездѣ вполголоса.

Видитъ Василій Борисычъ—у подошвы холма, на самомъ берегу озера, стоитъ человѣкъ съ двадцать народу: мужчины и женщины. Мужчины безъ шапокъ. Средь кружка высокій худощавый старикъ съ длинной, бѣлой, какъ лунь, бородой и совсѣмъ голымъ черепомъ. Держа тетрадку, унылымъ, гнусливымъ голосомъ читаетъ онъ нараспѣвъ. Двое молодыхъ стоятъ по сторонамъ и свѣтятъ ему зажженными восковыми свѣчами... Подошелъ поближе Василій Борисычъ, слышитъ, читаетъ онъ о благовѣрномъ князѣ Георгіи, положившемъ животъ за Христову вѣру и за Русскую землю въ битвѣ съ Батыемъ при Сити-рѣкѣ. Называетъ старикъ благовѣрнаго князя Георгія внукомъ равноапостольнаго Владимира, читаетъ, какъ ѣздилъ онъ по русской землѣ и по всѣмъ городамъ ставилъ соборы Успенскіе: въ Новгородѣ, въ Москвѣ, въ Ростовѣ и Муромѣ.

— Охъ, искушеніе!.. Вотъ чепухи-то нагородили!..—едва слышнымъ голосомъ промолвилъ Василій Борисычъ, и тотчасъ замѣтилъ, что слушатели стали кидать на него недобрые взгляды.

«И бысть попущеніемъ Божіимъ, грѣхъ ради нашихъ,—протяжно читаетъ старикъ,— пріиде нечестивый и безбожный царь Батый на Русь воевать; грады и веси разоряше, огнемъ ихъ пожигаше, людіе мечу предаваше, младенцевъ ножемъ заколаше; и бысть плачъ великій!..»

Двѣ старушки всплакнули, двѣ другія навзрыдъ зарыдали.

«Благовѣрный же князь Георгій, слышавъ сія, плакаше горькимъ плачемъ и, помоляся Господу и Пречистой Богородицѣ, собра вои своя, поиде противу нечестиваго царя Батыя... И бысть сѣча велія и кровопролитіе многое. Тогда у благовѣрнаго князя Георгія бысть воевъ мало и побѣже отъ нечестиваго царя внизъ по Волгѣ въ Малый Китижъ ..»

Охаютъ и стонутъ старушки, слезы такъ и текутъ по морщинистымъ ланитамъ ихъ. Уныло поникнувъ головами, молчатъ мужчины. Старикъ примолвилъ:

— Малый Китижъ теперь Городцомъ именуется, вотъ что на Волгѣ, повыше

[1]) Перехожими старцами зовутъ старообрядскихъ монаховъ, живущихъ не въ монастыряхъ, а по домамъ въ селеніяхъ. Между ними немало и произвольно надѣвшихъ на себя иноческое одѣяніе.

[1]) Іюня 23-го, на день Аграфены Купальницы, празднуютъ иконѣ Владимирской Богородицы.

Балахны, пониже Катунокъ стоитъ!.. А здѣсь, на озерѣ Свѣтломъ Ярѣ, Большой Китижъ — оба строенье благовѣрнаго князя Георгія.

Не стерпѣлось Василью Борисычу. Досадно стало великому начетчику слушать басни, что незнаемые писатели наплели въ китижскомъ Лѣтописцѣ... Обратился къ стоявшему рядомъ старику почтенной наружности, судя по одеждѣ, заѣзжему купцу.

— Въ старыхъ книгахъ не то говорится, — довольно громко промолвилъ онъ.—Князя Георгія въ томъ бою на рѣкѣ Сити убили... Какъ же ему, мертвому, было внизъ по Волгѣ бѣжать?

Сурово вскинулъ глазами купецъ на Василья Борисыча... Не сказавъ ни полслова, молча отвернулся онъ... Старушки заахали, а одинъ красивый такой, видный изъ себя парень въ красной рубахѣ и синей суконной чуйкѣ, крѣпко стиснувъ плечо Василья Борисыча, вскрикнулъ:

— Да ты кто таковъ будешь?.. Откудова?.. Какъ смѣешь смущать божественное чтеніе?

Глянулъ Василій Борисычъ — у парня лицо скривилось, побагровѣло, глаза огнемъ пышутъ, кулакъ пудовой.

— Охъ, искушеніе!.. пискнулъ Василій Борисычъ, дрожа со страху и блѣднѣя.

— Прекрати, — повелительно молвилъ читавшій старикъ, и парень, пустивъ Василья Борисыча, смиренно склонилъ голову.

— А тебѣ бы, господинъ честной, слушать святое писаніе въ молчаніи и страхѣ Божіемъ... Святые отцы лучше тебя знали, что писали, — учительно проговорилъ старикъ оторопѣлому Василью Борисычу, и продолжалъ чтеніе:

«И много брася благовѣрный князь Георгій съ нечестивымъ царемъ Батыемъ, не пущая его во градъ... Егда же бысть нощь, изыде тайно изъ Малаго Китижа на озеро Свѣтлый Яръ, въ Большой Китижъ. На утріе же воззва нечестивый царь, и взя Малый Китижъ, и всѣхъ во градѣ томъ поруби, и нача мучити нѣкоего человѣка града того Гришку Кутерьму, и той, не могій мукъ терпѣти, повѣда ему путь ко озеру Свѣтлому Яру, идѣ же благовѣрный князь Георгій скрыся. И пріиде нечестивый царь Батый ко озеру, и взя градъ Большой Китижъ, и уби благовѣрнаго князя Георгія...»

Пуще прежняго заплакали старухи; закрыла платкомъ лицо и вся трепетно задрожала отъ сдерживаемыхъ рыданій нарядно одѣтая молодая красивая женщина, стоявшая почти возлѣ Василія Борисыча. Вздыхали и творили молитвы мужчины.

Возвысивъ голосъ, громко и протяжнѣй прежняго сталъ читать старикъ.

«И послѣ того разоренія запустѣша грады тѣ, и лѣсомъ порасте вся земля Заузольская, и съ того времени невидимъ бысть градъ Большой Китижъ, и пребудетъ онъ невидимъ до послѣднихъ временъ. Сію убо книгу Лѣтописецъ написали мы по стѣ лѣтѣхъ послѣ нечестиваго и безбожнаго царя Батыя, уложили соборомъ и предали святѣй Божіей Церкви на увѣреніе всѣмъ православнымъ христіанамъ, хотящимъ прочитати или послушати, а не поругатися сему божественному писанію. Аще ли же который человѣкъ поругается или посмѣется сему, да вѣсть таковый, что не намъ поругается, но Богу самому и Пресвятѣй Богородицѣ. Слава иже въ Троицѣ славимому Богу, соблюдающему и хранящему мѣсто сіе ради блаженнаго пребыванія невидимымъ святымъ своимъ во вѣки вѣкомъ. Аминь».

Всѣ стали креститься и потомъ, благодаря за чтеніе, низко пренизко поклонились старику.

Почесалъ въ затылкѣ Василій Борисычъ, постоялъ маленько на мѣстѣ и пошелъ вдоль по берегу.

Видитъ, въ углубленьи межъ холмовъ, подъ вѣтвистымъ дубомъ, сидитъ человѣкъ съ десятокъ мужчинъ и женщинъ, не поютъ, не читаютъ, а о чемъ-то тихонько бесѣду ведутъ. Возлѣ нихъ небольшой костеръ сушника горитъ. Тускло горитъ онъ, курится, дымится, и нѣтъ веселья вокругъ... то не купальскій костеръ.

Подошелъ Василій Борисычъ, снялъ шапку, низенько поклонился и молвилъ:

— Миръ честной бесѣдѣ.

— Просимъ милости на бесѣду, —привѣтно отвѣтили ему и раздвинулись, давая мѣсто пришедшему собесѣднику.

Сѣлъ Василій Борисычъ.

— Такъ видишь ли, —продолжалъ свою рѣчь сѣденькій, маленькій, добродушный съ виду старичокъ въ изношенномъ заплатанномъ кафтанишкѣ изъ понитку, облокотясь на лежавшую возлѣ него дорожную котомку, — видишь ли: на этомъ на са-

момъ мѣстѣ, гдѣ сидимъ, — городскія ворота... Отселева направо вдоль озера сто саженъ городу и налѣво сто саженъ городу, а въ ширину мѣра городу полтораста саженъ. А кругомъ всего города рвы копаны и валы насыпаны, а на валахъ—дубовыя стѣны съ башнями... Вотъ мы, грѣшные, слѣпыми-то очами ровнехонько ничего не видимъ, а они тутъ, всѣ тутъ, здѣсь, вотъ на этомъ на самомъ мѣстѣ... На правомъ холму соборъ Воздвиженья Честнаго Креста, а рядомъ Благовѣщенскій, а на лѣвомъ холму Успенскій соборъ, а межъ соборовъ все дома — у бояръ каменныя палаты, иныхъ чиновъ у людей деревянны хоромы изъ кондоваго негніющаго лѣса... Вотъ мы, грѣхами ослѣпленные, деревья только видимъ, а праведный, очи имѣя отверсты, все видитъ: и градъ, и церкви, и монастыри, и боярскія каменны палаты.

— Премудрости Господни! — глубоко вздохнула старушка въ темносинемъ сарафанѣ съ набойчатыми рукавами, покрытая чернымъ платкомъ въ роспускъ. А вѣдь сказываютъ, видятъ же иные люди ту святыню Божію.

— Какъ не видать, бабушка, видятъ,— отвѣтилъ старикъ.—Не всякому только дано.

— Какъ же бы, батюшко, такую благодать получить?.. Какъ бы узрѣть невидимый градъ да сокровенныхъ-то Божьихъ святыхъ повидать?.. Хоть бы глазкомъ взглянуть на нихъ, родимый ты мой, посмотрѣть бы на Божьи-то чудеса.

— А ты, раба Христова, послушай, что прочитаю, тогда и узнаешь, какими способами невидимый градъ Китижъ возможно узрѣти...— молвилъ старикъ и, вынувъ изъ-за пазухи ветхую тетрадку, сталъ читать по ней:

«Аще ли который человѣкъ обѣщается итти въ той градъ Китижъ, и неложно отъ усердія своего поститися начнетъ, и пойдетъ во градъ, и обѣщается тако: аще гладомъ умрети, аще ины страхи претерпѣти, аще и смертію умрети, не изыти изъ него,— и таковаго человѣка приведетъ Господь силою своею въ невидимый градъ Китижъ, и узритъ онъ той градъ не гаданіемъ, но смертныма очима, и спасетъ Богъ того человѣка, и стопы его изочтены и записаны агнелами Господними въ книзѣ животнѣй».

— Вотъ оно какъ, старушка Божія!..— промолвилъ старичокъ.—Вотъ такимъ людямъ дается божественная благодать невидимый градъ видѣти и въ немъ со блаженными пребывати.

— Охъ, Господи Исусе Христе, Сыне Божій!.. Пресвятая Владычица Богородица!.. Илья пророкъ!.. Никола милостивый!..— умиленно взывала старушка, не зная, про что бы еще спросить у грамотея.

— А ты вотъ слушай-ка еще,—молвилъ онъ ей, перевернувши въ тетрадкѣ два-три листочка: «Аще кто нераздвоеннымъ умомъ и несумнѣнною вѣрою обѣщается и пойдетъ къ невидимому граду тому, не повѣдавъ ни отцу съ матерью, ни сестрамъ съ братіями, ни всему своему роду-племени — таковому человѣку открыетъ Господь и градъ Китижъ и святыхъ, въ немъ пребывающихъ».

— Ну, а если кто не снесетъ?—послѣ недолгаго общаго молчанья спросилъ у старика-грамотея пожилой крестьянинъ, повидимому, дальній, передъ тѣмъ внимательно слушавшій чтеніе.

— И про таковыхъ въ Лѣтописцѣ помянуто,—молвилъ грамотей и продолжалъ: «Аще же кто пойдетъ, обаче мыслити начнетъ сѣмо и овамо, или, пойдя, славити начнетъ о желаніи своемъ, и таковому Господь закрываетъ невидимый градъ: покажетъ его лѣсомъ или пустымъ мѣстомъ... И ничто же таковый человѣкъ получитъ себѣ, токмо трудъ его всуе пропадетъ. И будетъ ему соблазнъ, и поносъ, и укоръ, и отъ Бога казнь пріиметъ здѣ и въ будущемъ вѣцѣ... Осужденіе пріиметъ и тьму кромѣшную всякъ человѣкъ, иже такому святому мѣсту поругается. Понеже на конецъ вѣка сего Господь чудо яви — невидимымъ сотвори градъ Китижъ и покры его десницею своею, да въ немъ пребывающіе не узрятъ скорби и печали отъ звѣря антихриста... Кому же примѣнится человѣкъ, поругавшійся чудеси тому, и кому будетъ онъ службу приносити?.. Воистину самому діаволу примѣнится и всеяростному звѣрю антихристу послужитъ, съ нимъ же въ гееннѣ огненной пребудетъ въ нескончаемые вѣки!..»

— Охъ, Господи Владыко милостивый!.. Вотъ оно—грѣхи-то, грѣхи-то наши тяжкіе!.. Ой, тяжкіе, не замоленые!.. Не замоленые, не прощеные!.. — со слезами стала причитать старушка...

И другіе послѣ того чтенія вздыхали съ сокрушеннымъ сердцемъ и слезами.

И на долгое время было молчаніе... Задумался и Василій Борисычъ.

— Изъ нашихъ мѣстовъ, изъ-за Ветлуги, паренекъ въ пастухи здѣсь, на Люндѣ, нанимался,—послѣ нѣкотораго молчанья началъ тотъ старичокъ, что читалъ Лѣтописца.—Заблудился ли онъ, такое ли ужъ ему отъ Господа было попущеніе, только самъ онъ не знаетъ, какими судьбами попалъ въ тотъ невидимый градъ. На краю града, сказывалъ паренекъ, стоитъ монастырь, вошелъ онъ туда, сидятъ старцы, трапезуютъ, дѣло-то подъ вечеръ было. Посадили старцы пастушонка, дали ему укрухъ хлѣба, и тотъ хлѣбъ таково вкусенъ да сладокъ ему показался, что ломтикъ-другой утаилъ, спряталъ за пазуху, значитъ. Послѣ трапезы единъ изъ старцевъ повелъ того паренька по монастырямъ и церквамъ, весь градъ ему показалъ... А живутъ въ томъ градѣ мужи и жены, и не токмо въ иночествѣ, но и въ разныхъ чинахъ, всякъ у своего дѣла. И, показавъ градъ и домы, сказалъ тотъ старецъ пареньку: «Не своею волею, не своимъ обѣщаньемъ пришелъ ты въ безмятежное наше жилище, потому и нельзя тебѣ съ нами пребыти, изволь итти въ міръ». И указалъ дорогу... Вышелъ въ міръ паренекъ, сталъ разсказывать, гдѣ былъ и что видѣлъ... Не вѣрятъ ему, и онъ во увѣреніе хотѣлъ показать хлѣбъ, за трапезой у старцевъ утаенный... И явился не хлѣбъ, а гнилушка... Потомъ тотъ паренекъ и обѣщанья давалъ и волей хотѣлъ итти въ невидимый градъ, но какъ ни искалъ дороги, ея не нашелъ.

— Господи! хотя бы часокъ одинъ въ томъ градѣ пребыть, посмотрѣть бы, какъ живутъ тамъ блаженные-то... Чать, тоже хозяйствуютъ? Прядутъ бабы-то тамъ?.. Коровушки-то есть у нихъ?..—сердечно вздыхая, спрашивала у людей старушка въ синемъ сарафанѣ и черномъ платкѣ.

— Иная тамъ жизнь, не то что наша,—отозвался старичокъ-грамотей.—Тамъ тишина и покой, веселіе и радость... Духовная радость, не тѣлесная... Хочешь грамотку почитаю про то, какъ живутъ въ невидимомъ градѣ?.. Изъ Китижа прислана.

— Почитай, кормилецъ, открой очи, научи меня, темную,—молила старушка.

И другіе стали просить грамотея прочитать китижскую грамотку про житье-бытье блаженныхъ святыхъ.

Вынулъ тетрадку старичокъ и не развертывая сталъ говорить:

— Недалеко отъ Городца, въ одной деревнѣ, жилъ нѣкій христолюбецъ... Благочестивъ, богобоязненъ, труды его были велики и праведны, жилъ ото всѣхъ людей въ любви и почетѣ. И было у того христолюбца единое чадо, единый сынъ, при младости на поглядѣнье, при старости на сбереженье, при смертномъ часу на поминъ души. Вырастало то чадо въ страхѣ Божіемъ, поучалось заповѣдями Господними, со седьмого годочка грамотѣ научено отъ родителей — божественному писанію, евангельскому толкованію. Достигъ же тотъ отрокъ возраста, что пора и законъ принять, съ честною дѣвицей бракомъ честнымъ сочетаться. Искали ему родители невѣсту, и нашли дѣвицу доброличну и разумну, единую дочь у отца, а отецъ былъ великій тысячникъ, много достатковъ имѣлъ и былъ почтенъ ото всѣхъ людей... Не восхотѣлъ сынъ жениться, восхотѣлъ Богу молиться, со младыхъ лѣтъ Господу трудиться... Родители тому не внимали, гостей на свадьбу созывали, сына своего съ той дѣвицей вѣнчали... И когда наутрѣ надо было молодыхъ поднимать, новобрачнаго не нашли — невѣдомо куда сокрылся... Во слезахъ родители пребываютъ, а пуще ихъ жена молодая... Стали пропавшаго за упокой поминать, стала молода жена по мужѣ псалтырь читать... И прошло въ тѣхъ слезахъ и молитвахъ три годочка, на четвертомъ году отъ пропавшаго сына изъ Китижа грамотка приходитъ... Вотъ она!

И поднялъ высоко тетрадку...

Всѣ привстали, молчатъ, благоговѣйно на нее смотрятъ... По маломъ молчаньи сталъ грамотей читать велегласно:

«Пишу азъ къ вамъ, родители, о семъ, что хощете меня поминати и друга моего совѣтнаго заставляете псалтырь по мнѣ говорить. И вы отъ сего престаньте, азъ бо живъ еще есмь, егда же пріидетъ смерть, тогда вамъ вѣдомость пришлю; нынѣ же сего не творите. Азъ живу въ земномъ царствѣ, въ невидимомъ градѣ Китижѣ со святыми отцы, въ мѣстѣ злачнѣ и покойнѣ. Поистинѣ, родители мои, здѣсь царство земное — покой и тишина, веселіе и радость; а святіи отцы, съ ними же азъ пребываю, процвѣтоша, аки крины сельные, и яко финики, и яко кипарисы. И отъ устъ ихъ непрестанная молитва ко

Отцу Небесному, яко ѳиміамъ благоуханный, яко кадило избранное, яко миро добровонное. И егда нощь пріидетъ, тогда отъ устъ ихъ молитва бываетъ видима: яко столпы пламенные со искрами огненными къ небу поднимается... Въ то время книги честь или писати можно безъ свѣчного сіянія... Возлюби они Бога всѣмъ сердцемъ своимъ и всею душею и всѣмъ помышленіемъ, потому и Богъ возлюбилъ ихъ, яко мати любимое чадо. И хранитъ ихъ Господь и покрываетъ невидимою дланію, и живутъ они невидимы въ невидимомъ градѣ. Вы же обо мнѣ сокрушенія не имѣйте и въ мертвыхъ не вмѣняйте...»

Вздыхали богомольцы, умилялись и много благодарили старичка, что потрудился онъ ради Бога, прочелъ на поученье людямъ грамотку изъ невидимаго града.

— Да, вотъ оно что значитъ праведна-то молитва! — замѣтилъ молодой парень. — Огненными столбами въ небо-то ходитъ!.. Вотъ тутъ и поди!..

— Да ты пазори-то видѣлъ ли когда?— спросилъ у него грамотей.

— Какъ не видать! Не диковина,— отозвался парень.

— Не диковина, а чудное Божіе дѣло,— сказалъ на то грамотей.—Тѣ столбы, что въ небѣ «багрецами наливаются», сходятся и расходятся, не другое что, какъ праведныхъ молитва... Кто таковы тѣ праведники, въ коемъ мѣстѣ молятся, намъ, грѣшнымъ, знать не дано, но въ поученіе людямъ, ради спасенія душъ нашихъ, всякому дано тѣлесными очами зрѣти, какъ праведная молитва къ Богу восходитъ...

— Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ!— величаво приподнимаясь съ земли, проговорилъ молчавшій дотолѣ инокъ, еще не старый, изъ себя дородный, здоровый, какъ кровь съ молокомъ. Низко нахлобучивъ камилавку съ чернымъ кафтыремъ, обшитымъ красными шнурками, и медленно перебирая лѣстовку, творилъ онъ шопотомъ молитву. Затѣмъ, поклонясь собесѣдникамъ, пошелъ дальше вдоль берега. Василій Борисычъ за нимъ.

— Отче святый! изъ какого будете монастыря? — спросилъ онъ, равняясь съ инокомъ.

— Азъ, многогрѣшный, изъ преходящихъ, — отвѣтилъ ему старецъ.

— Изъ преходящихъ? — молвилъ Василій Борисычъ.— Значитъ, никоего монастыря?

— Никоего, родименькій,—сказалъ тотъ. Гдѣ день, гдѣ ночь проживаемъ у христолюбцевъ... Странствуемъ, града настоящаго не имѣя, грядущаго взыскуя.

— А какъ имя ваше ангельское?

— Варсонофій грѣшный, — отвѣтилъ преходящій инокъ, надвигая камилавку на самыя брови.

— Мѣста-то какія здѣсь чудныя!—молвилъ Василій Борисычъ, стараясь завести бесѣду.

— Земля и небеса исполнены Господней премудрости... На всякомъ мѣстѣ владычествіе Его, — сказалъ Варсонофій.

— Такъ-то оно такъ, отче; однакожъ не всѣ мѣста Господь равно прославляетъ... А здѣсь столько дивнаго, столько чудеснаго!..— говорилъ Василій Борисычъ.

— Мѣсто свято, что про то говорить. Поискать такихъ мѣстовъ, не скоро найдешь; одно слово — Китижъ... — сказалъ Варсонофій.

— Вы впервой здѣсь, честный отче?— спросилъ Василій Борисычъ.

— Кажный годъ... Мы вѣдь преходящіе, гдѣ люди, тутъ и мы, — отвѣтилъ Варсонофій.—Вотъ отсель къ Петрову дню въ Комаровъ надо, на Казанску въ Шарпанъ, на Илью-пророка въ Оленево, на Смоленску въ Чернуху, а тутъ ужъ къ Макарью на ярмарку.

— Такъ весь годъ и путешествуете?— спросилъ его Василій Борисычъ.

— Въ странствѣ жизнь провождаемъ,— отвѣтилъ Варсонофій.— Зимнимъ дѣломъ больше по деревнямъ, у жиловыхъ христолюбцевъ, а лѣтомъ въ странствѣ, потому— не холодно... Вѣдь и Господь на землѣ-то во странствѣ тоже пребывалъ, оттого и намъ, грѣшнымъ, странство подобаетъ... Опять же теперь послѣдни времена, отъ козней антихриста подобаетъ хранити себя — въ горы бѣгати и въ пустыни, въ вертепы и пропасти земныя.

— Въ Комаровѣ-то въ какой обители пристанете? — спросилъ Василій Борисычъ.

— У Манеѳиныхъ. Нигдѣ какъ у Манеѳиныхъ, — быстро отвѣтилъ Варсонофій.—Столы большіе, трапеза довольная, рыба отмѣнная... По этой части лучше Манеѳиныхъ по всему Керженцу нѣтъ. У

отца Михаила въ Красноярскомъ тоже хорошо.

Подошелъ Варсонофій съ Васильемъ Борисычемъ къ кучкѣ народа. Цѣлая артель расположилась на ночевую у самаго озера, по указанью приведшаго ее старика съ огромной котомкой за плечами и съ кожаной лѣстовкой въ рукѣ. Были тутъ и мужчины и женщины.

— Тутъ вотъ ложитесь, тутъ, на этомъ на самомъ мѣстѣ, — говорилъ имъ старикъ.

— Ладно ль такъ-то будетъ, дѣдушка?.. Услышимъ ли, родной?.. Мнѣ бы хоть не самой, а вотъ племянинкѣ услыхать, грамотная вѣдь...-хныкала пожилая худощавая женщина, держа за рукавъ курносую дѣвку съ широко расплывшимся лицомъ и заспанными глазами.

— Ложись, тетка, ложись во славу Божію, — торопилъ ее старикъ. — Говорятъ тебѣ, лучше этого мѣста нѣтъ... Подъ самыми колоколами... Вонъ гляди къ верху-то: тутъ Вздвиженскій соборъ, а тутъ Благовѣщенскій... Услышишь...

— А баюкать-то будутъ насъ? — спрашивала она.

— А ты знай ложись, праздныхъ рѣчей не умножай... Станешь умножать, ни насколько благодати не получишь, — уговаривалъ ее старикъ. Да ухомъ-то прямо къ землѣ, прямо... Ничего не подкладывай, слышишь?

— Слышу, дѣдушка, слышу, родной... Слышь, Даренка, голымъ ухомъ къ землѣ-то приткнись, ничего не клади подъ голову.

— Ложитесь, а вы ложитесь, православные, — нараспѣвъ заговорилъ старикъ.— Ложитесь, раби Христовы, ото всего своего усердія... Аще кто усердія много имѣетъ, много и узритъ, аще же нѣсть усердія, тщетенъ трудъ, — ничего тотъ человѣкъ не узритъ, ничего не услышитъ...

— Что жъ надо дѣлать-то, родимый, чтобъ сподобиться здѣшней благодати?— спросилъ у старика кто-то изъ артели.

— Первое дѣло — усердіе, — сталъ говорить старикъ.—Лежи и бди, сонъ да не снидетъ на вѣжди твоя... И въ безмолвіи пребывайте, православные: что бы кто ни услышалъ, что бы кто ни увидѣлъ — слагай въ сердцѣ своемъ; никому же повѣждь. Станетъ усерднаго святый брегъ Свѣтлаго Яра качать, аки младенца въ зыбкѣ, твори мысленно молитву Исусову и ни словомъ ни воздыханіемъ не моги о томъ ближнимъ повѣдать... И егда пріидетъ часъ блаженнымъ утреню во градѣ Китижѣ пѣти, услышите звонъ серебряныхъ колоколовъ... Густой звонъ, малиновый— вѣкъ слушай, не наслушаешься... А лежи недвижно и безмолвно, ничто же земное въ себѣ помышляя... Заря въ небѣ заниматься зачнетъ — гляди на озеро,— узришь золотые кресты, церковныя главы... Лежи со усердіемъ, двинуть перстомъ не моги, дыханье въ себѣ удержи... И тогда въ озерѣ, ровно въ зерцалѣ, узришь весь невидимый градъ: церкви, монастыри и градскія стѣны, княжескія палаты, и боярскія хоромы съ высокими теремами, и дома разныхъ чиновъ людей... А по улицамъ, увидишь, Алконастъ, райская птица, ходитъ и дивные единороги, а у градскихъ воротъ львы и ручные драконы, замѣсто стражи, стоятъ...

— Не пожертвуете ли, православные, на свѣчи, на ладанъ благовѣрному князю Георгію, преподобнымъ отцамъ сего града Китижа? — раздался густой, нѣсколько осиплый голосъ надъ расположившимися по берегу озера слушать ночной звонъ китижскихъ колоколовъ. Оглянулся Василій Борисычъ — отецъ Варсонофій.

— Ступай, отче, ступай къ своему мѣсту, не тревожь православныхъ, — торопливо заговорилъ укладывавшій богомолицъ старикъ.

— На свѣчи, на ладанъ...— вздумалъ было продолжать Варсонофій, но старикъ сильной рукой схватилъ его за рукавъ и, потащивъ въ сторону, грозно сказалъ:

— Свою артель набери, подлецъ ты этакой, да у ней и проси... Экъ навыкли вы, шатуны, въ чужія дѣла носъ-отъ свой совать!.. Гляди-ка-сь!..

— Да ты не больно того, — заворчалъ Варсонофій.

— Сказано: прочь поди!.. Чего еще?— крикнулъ старикъ.— Что камилавку-то хлобучишь?.. Мѣтку, что ли, хоронишь?

— Я те дамъ мѣтку! — огрызнулся Варсонофій, но поспѣшными шагами пошелъ прочь отъ старика.

— Что нонѣ этихъ шатуновъ развелось, не приведи Господи!..— молвилъ старикъ, когда Варсонофій удалился.—И не боятся вѣдь — смѣлость-то какая!

— Чего жъ бояться отцу Варсонофью?— спросилъ Василій Борисычъ.

— Какой онъ отецъ?.. Какой Варсонофій?.. — отозвался старикъ. — По нашей сторонѣ онъ у всѣхъ на примѣтѣ. Волей иночество вздѣлъ, шапки бы не скидать, не видно бы было, что его на площади палачъ желѣзомъ въ лобъ цѣловалъ.

— Полно ты! — удивились прилегшіе послушать звона китижскихъ колоколовъ.

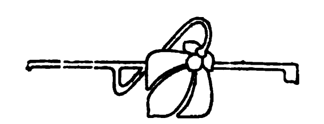
— Чего полно? Не вру... Знамо, съ каторги бѣглый, — сказалъ старикъ. — За фальшивы бумажки сосланъ былъ, въ третій разъ теперь бѣгаетъ... Ну, да Богъ съ нимъ — лежите, братіе, со усердіемъ, ничто же земное въ себѣ помышляя.

---

Когда Василій Борисычъ воротился къ комаровскимъ спутницамъ, онѣ допѣвали свѣтильны [1]). Утренѣ скоро конецъ...

Межъ тѣмъ людской гомонъ въ рощѣ стихъ совершенно. Костры догорѣли; вѣтеркомъ, потянувшимъ подъ утро, слегка зарябило гладь озера... Одна за другой гасли на деревьяхъ догоравшія свѣчи. На востокѣ заря занималась...

1872—1873.



---

[1]) Стихи заутрени послѣ канона.

**Александръ Николаевичъ Островскій.**

(1823—1886).

## Гроза.

Драма въ пяти дѣйствіяхъ.

---

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

**Савелъ Прокофьевичъ Дикой,** купецъ, значительное лицо въ городѣ [1]).
**Борисъ Григорьевичъ,** племянникъ его, молодой человѣкъ, порядочно образованный.
**Марфа Игнатьевна Кабанова** (Кабаниха), богатая купчиха, вдова.
**Тихонъ Иванычъ Кабановъ,** ея сынъ.
**Катерина,** жена его.
**Варвара,** сестра Тихона.
**Кулигинъ,** мѣщанинъ, часовщикъ-самоучка, отыскивающій перпетуумъ-мобиле.
**Ваня Кудряшъ,** молодой человѣкъ, конторщикъ Дикова.
**Шапкинъ,** мѣщанинъ.
**Ѳеклуша,** странница.
**Глаша,** дѣвка въ домѣ Кабановой.
**Барыня съ двумя лакеями,** старуха 70-ти лѣтъ, полусумасшедшая.
**Городскіе жители обоего пола.**

Дѣйствіе происходитъ въ городѣ Калиновѣ, на берегу Волги, лѣтомъ. Между 3-мъ и 4-мъ дѣйствіями проходитъ 10 дней.

---

[1]) Всѣ лица, кромѣ Бориса, одѣты по-русски.

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Общественный садъ на высокомъ берегу Волги; за Волгой сельскій видъ. На сценѣ двѣ скамейки и нѣсколько кустовъ.

---

### ЯВЛЕНІЕ I.

**Кулигинъ** *(сидитъ на скамьѣ и смотритъ за рѣку).* **Кудряшъ и Шапкинъ** *(прогуливаются).*

Кулигинъ (*поетъ*). «Среди долины ровныя, на гладкой высотѣ...» *(Перестаетъ пѣть).* Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряшъ! Вотъ, братецъ ты мой, пятьдесятъ лѣтъ я каждый день гляжу на Волгу и све наглядѣться не могу.

Кудряшъ. А что?

Кулигинъ. Видъ необыкновенный! Красота! Душа радуется.

Кудряшъ. Нешто!

Кулигинъ. Восторгъ! А ты: «нешто»! Приглядѣлись вы либо не понимаете, какая красота въ природѣ разлита.

Кудряшъ. Ну, да вѣдь съ тобой что толковать! Ты у насъ антикъ, химикъ.

Кулигинъ. Механикъ, самоучка механикъ.

Кудряшъ. Все одно. *(Молчаніе).*

Кулигинъ *(показывая въ сторону).* Посмотри-ка, братъ Кудряшъ, кто это тамъ руками размахиваетъ?

Кудряшъ. Это? Это Дикой племянника ругаетъ.

Кулигинъ. Нашелъ мѣсто!

Кудряшъ. Ему вездѣ мѣсто. Боится, что ль, онъ кого! Достался ему на жертву Борисъ Григорьичъ, вотъ онъ на немъ и ѣздитъ.

Шапкинъ. Ужъ такого-то ругателя, какъ у насъ Савелъ Прокофьичъ, поискать еще! Ни за что человѣка оборветъ.

Кудряшъ. Пронзительный мужикъ!

Шапкинъ. Хороша тоже и Кабаниха.

Кудряшъ. Ну, да та хоть, по крайности, все подъ видомъ благочестія, а этотъ какъ съ цѣпи сорвался!

Шапкинъ. Унять-то его некому, вотъ онъ и воюетъ!

Кудряшъ. Мало у насъ парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили.

Шапкинъ. А что бы вы сдѣлали?

Кудряшъ. Постращали бы хорошенько.

Шапкинъ. Какъ это?

Кудряшъ. Вчетверомъ этакъ, впятеромъ въ переулкѣ гдѣ-нибудь поговорили бы съ нимъ съ глазу на глазъ, такъ онъ бы шелковый сдѣлался. А про нашу науку-то и не пикнулъ бы никому, только бы ходилъ да оглядывался.

Шапкинъ. Не даромъ онъ хотѣлъ тебя въ солдаты-то отдать.

Кудряшъ. Хотѣлъ, да не отдалъ, такъ это все одно, что ничего. Не отдастъ онъ меня: онъ чуетъ носомъ-то своимъ, что я свою голову дешево не продамъ. Это онъ вамъ страшенъ-то, а я съ нимъ разговаривать умѣю.

Шапкинъ. Ой ли?

Кудряшъ. Что тутъ: ой ли! Я грубіянъ считаюсь; за что жъ онъ меня держитъ? Стало-быть, я ему нуженъ. Ну, значитъ, я его и не боюсь, а пущай же онъ меня боится.

Шапкинъ. Ужъ будто онъ тебя и не ругаетъ?

Кудряшъ. Какъ не ругать! Онъ безъ этого дышать не можетъ. Да не спускаю и я: онъ—слово, а я—десять; плюнетъ, да и пойдетъ. Нѣтъ, ужъ я передъ нимъ рабствовать не стану.

Кулигинъ. Съ него, что ль, примѣръ брать! Лучше ужъ стерпѣть.

Кудряшъ. Ну вотъ, коль ты уменъ, такъ ты его прежде учливости-то выучи, да потомъ и насъ учи! Жаль, что дочери-то у него подростки, большихъ-то ни одной нѣтъ.

Шапкинъ. А то что бы?

Кудряшъ. Я бъ его уважилъ. Больно лихъ я на дѣвокъ-то! *(Проходятъ Дикой и Борисъ. Кулигинъ снимаетъ шапку).*

Шапкинъ *(Кудряшу).* Отойдемъ къ сторонкѣ: еще привяжется, пожалуй. *(Отходятъ).*

## ЯВЛЕНІЕ II.

**Тѣ же, Дикой и Борисъ.**

Дикой. Буклуши ты, что ль, бить сюда пріѣхалъ! Дармоѣдъ! Пропади ты пропадомъ!

Борисъ. Праздникъ; что дома-то дѣлать!

Дикой. Найдешь дѣло, какъ захочешь. Разъ тебѣ сказалъ, два тебѣ сказалъ: «не смѣй мнѣ навстрѣчу попадаться»; тебѣ все неймется! Мало тебѣ мѣста-то? Куда ни поди, тутъ ты и есть! Тьфу, ты, проклятый! Что ты, какъ столбъ, стоишь-то! Тебѣ говорятъ аль нѣтъ?

Борисъ. Я и слушаю, что жъ мнѣ дѣлать еще!

Дикой *(посмотрѣвъ на Бориса).* Провались ты! Я съ тобой и говорить-то не хочу, съ езуитомъ. *(Уходя).* Вотъ навязался! *(Плюетъ и уходитъ).*

## ЯВЛЕНІЕ III.

**Кулигинъ, Борисъ, Кудряшъ и Шапкинъ.**

Кулигинъ. Что у васъ, сударь, за дѣла съ нимъ? Не поймемъ мы никакъ. Охота вамъ жить у него да брань переносить.

Борисъ. Ужъ какая охота, Кулигинъ! Неволя.

Кулигинъ. Да какая же неволя, сударь, позвольте васъ спросить. Коли можно, сударь, такъ скажите намъ.

Борисъ. Отчего жъ не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?

Кулигинъ. Ну, какъ не знать!

Кудряшъ. Какъ не знать!

Борисъ. Батюшку она вѣдь не взлюбила за то, что онъ женился на благородной. По этому-то случаю батюшка съ матушкой и жили въ Москвѣ. Матушка разсказывала, что она трехъ дней не могла ужиться съ родней, ужъ очень ей дико казалось.

Кулигинъ. Еще бы не дико! Ужъ что̀ говорить! Большую привычку нужно, сударь, имѣть.

Борисъ. Воспитывали насъ родители въ Москвѣ хорошо, ничего для насъ не жалѣли. Меня отдали въ Коммерческую Академію, а сестру въ пансіонъ, да оба вдругъ и умерли въ холеру; мы съ сестрой сиротами и остались. Потомъ мы слышимъ, что и бабушка здѣсь умерла и оставила завѣщаніе, чтобы дядя намъ заплатилъ часть, какую слѣдуетъ, когда мы придемъ въ совершеннолѣтіе, только съ условіемъ.

Кулигинъ. Съ какимъ же, сударь?

Борисъ. Если мы будемъ къ нему почтительны.

Кулигинъ. Это значитъ, сударь, что вамъ наслѣдства вашего не видать никогда.

Борисъ. Да нѣтъ, этого мало, Кулигинъ! Онъ прежде наломается надъ нами, наругается всячески, какъ его душѣ угодно, а кончитъ все-таки тѣмъ, что не дастъ ничего или такъ, какую-нибудь малость. Да еще станетъ разсказывать, что изъ милости далъ, что и этого бы не слѣдовало.

Кудряшъ. Ужъ это у насъ въ купечествѣ такое заведеніе. Опять же, хоть бы вы и были къ нему почтительны, нешто кто ему запретитъ сказать-то, что вы непочтительны?

Борисъ. Ну да. Ужъ онъ и теперь поговариваетъ иногда: «у меня свои дѣти, за что я чужимъ деньги отдамъ? Черезъ это я своихъ обидѣть долженъ!»

Кулигинъ. Значитъ, сударь, плохо ваше дѣло.

Борисъ. Кабы я одинъ, такъ бы ничего! Я бы бросилъ все да уѣхалъ. А то сестру жаль. Онъ было и ее выписывалъ, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здѣсь жизнь была, и представить страшно.

Кудряшъ. Ужъ само собой. Нешто они обращеніе понимаютъ?

Кулигинъ. Какъ же вы у него живете, сударь, на какомъ положеніи?

Борисъ. Да ни на какомъ: «живи, говоритъ, у меня, дѣлай, что прикажутъ, а жалованья, что положу». То-есть черезъ годъ разочтетъ, какъ ему будетъ угодно.

Кудряшъ. У него ужъ такое заведеніе. У насъ никто и пикнуть не смѣй о жалованьѣ, изругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ. «Ты, говоритъ, почемъ знаешь, что я на умѣ держу? Нешто ты мою душу можешь знать! А можетъ, я приду въ такое расположеніе, что тебѣ пять тысячъ дамъ». Вотъ ты и поговори съ нимъ! Только еще онъ во всю свою жизнь ни разу въ такое-то расположеніе не приходилъ.

Кулигинъ. Что жъ дѣлать-то, сударь! Надо стараться угождать какъ-нибудь.

Борисъ. Въ томъ-то и дѣло, Кулигинъ, что никакъ невозможно. На него и свои-то никакъ угодить не могутъ; а ужъ гдѣ жъ мнѣ!

Кудряшъ. Кто жъ ему угодитъ, коли у него вся жизнь основана на ругательствѣ? А ужъ пуще всего изъ-за денегъ; ни одного расчета безъ брани не обходится. Другой радъ отъ своего отступиться, только бы онъ унялся. А бѣда, какъ его поутру кто-нибудь разсердитъ! Цѣлый день ко всѣмъ придирается.

Борисъ. Тетка каждое утро всѣхъ со слезами умоляетъ: «батюшки, не разсердите! голубчики, не разсердите!»

Кудряшъ. Да нешто убережешься! Попалъ на базаръ, вотъ и конецъ! Всѣхъ мужиковъ переругаетъ. Хоть въ убытокъ проси, безъ брани все-таки не отойдетъ. А потомъ и пошелъ на весь день.

Шапкинъ. Одно слово: воинъ!

Кудряшъ. Еще какой воинъ-то!

Борисъ. А вотъ бѣда-то, когда его обидитъ такой человѣкъ, котораго онъ обругать не смѣетъ; тутъ ужъ домашніе держись!

Кудряшъ. Батюшки! Что смѣху-то было! Какъ-то его на Волгѣ, на перевозѣ гусаръ обругалъ. Вотъ чудеса-то творилъ!

Борисъ. А каково домашнимъ-то было! Послѣ этого двѣ недѣли всѣ прятались по чердакамъ да по чуланамъ.

Кулигинъ. Что это? Никакъ народъ отъ вечерни тронулся? *(Проходятъ нѣсколько лицъ въ глубинѣ сцены.)*

Кудряшъ. Пойдемъ, Шапкинъ, въ разгулъ! Что тутъ стоять-то? *(Кланяются и уходятъ.)*

Борисъ. Эхъ, Кулигинъ, больно трудно мнѣ здѣсь, безъ привычки-то! Всѣ на меня какъ-то дико смотрятъ, точно я здѣсь лишній, точно мѣшаю имъ. Обычаевъ я здѣшнихъ не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никакъ.

Кулигинъ. И не привыкнете никогда, сударь.

Борисъ. Отчего же?

Кулигинъ. Жестокіе нравы, сударь, въ нашемъ городѣ, жестокіе! Въ мѣщанствѣ, сударь, вы ничего, кромѣ грубости да бѣдности нагольной, не увидите. И никогда намъ, сударь, не выбиться изъ этой коры! Потому что честнымъ трудомъ никогда не заработать намъ больше насущнаго хлѣба. А у кого деньги, сударь, тотъ старается бѣднаго закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денегъ наживать. Знаете, что вашъ дядюшка, Савелъ Прокофьичъ, городничему отвѣчалъ? Къ городничему мужички пришли жаловаться, что онъ ни одного изъ нихъ путемъ не разочтетъ. Городничій и сталъ ему говорить: «Послушай, говоритъ, Савелъ Прокофьичъ, разсчитывай ты мужиковъ хорошенько! Каждый день ко мнѣ съ жалобой ходятъ!» Дядюшка вашъ потрепалъ городничаго по плечу да и говоритъ: «Стоитъ ли, ваше высокоблагородіе, намъ съ вами объ такихъ пустякахъ разговаривать! Много у меня въ годъ-то народу перебываетъ; вы то поймите: не доплачу я имъ по какой-нибудь копейкѣ на человѣка, а у меня изъ этого тысячи составляются, такъ оно мнѣ и хорошо!» Вотъ какъ, сударь! А между собой-то, сударь, какъ живутъ! Торговлю другъ у друга подрываютъ и не столько изъ корысти, сколько изъ зависти. Враждуютъ другъ на друга; залучаютъ въ свои высокія-то хоромы пьяныхъ приказныхъ, такихъ, сударь, приказныхъ, что и виду-то человѣческаго на немъ нѣтъ, обличье-то человѣческое истеряно. А тѣ имъ, за малую благостыню, на гербовыхъ листахъ злостныя кляузы строчатъ на ближнихъ. И начнется у нихъ, сударь, судъ да дѣло, и нѣсть конца мученіямъ. Судятся, судятся здѣсь, да въ губернію поѣдутъ, а тамъ ужъ ихъ и ждутъ, да отъ радости руками плещутъ. Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается; водятъ ихъ, водятъ, волочатъ ихъ, волочатъ; а они еще и рады этому волоченью, того только имъ и надобно. «Я, говоритъ, потрачусь, да ужъ и ему станетъ въ копейку». Я было хотѣлъ все это стихами изобразить...

Борисъ. А вы умѣете стихами?

Кулигинъ. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрецъ былъ Ломоносовъ, испытатель природы... А вѣдь тоже изъ нашего, изъ простого званія.

Борисъ. Вы бы и написали. Это было бы интересно.

Кулигинъ. Какъ можно, сударь! Съѣдятъ, живого проглотятъ. Мнѣ ужъ и такъ, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговоръ разсыпать! Вотъ еще про семейную жизнь хотѣлъ я вамъ, сударь, разсказать; да когда-нибудь въ другое время. А тоже есть, что послушать. *(Входятъ Ѳеклуша и другая женщина.)*

Ѳеклуша. Бла-алѣпіе, милая, бла-алѣпіе! Красота дивная! Да что ужъ говорить! Въ обѣтованной землѣ живете! И купечество все народъ благочестивый, добродѣтелями многими украшенный! Щедростью и подаяніями многими! Я такъ довольна, такъ, матушка, довольна, по горлышко! За наше неоставленіе имъ еще больше щедротъ пріумножится, а особенно дому Кабановыхъ. *(Уходитъ).*

Борисъ. Кабановыхъ?

Кулигинъ. Ханжа, сударь! Нищихъ одѣляетъ, а домашнихъ заѣла совсѣмъ *(Молчаніе.)* Только бъ мнѣ, сударь, перпету мобиль найти!

Борисъ. Что жъ бы вы сдѣлали?

Кулигинъ. Какъ же, сударь! Вѣдь англичане милліонъ даютъ; я бы всѣ деньги для общества и употребилъ, для поддержки. Работу надо дать мѣщанству-то. А то руки есть, а работать нечего.

Борисъ. А вы надѣетесь найти перпетуумъ-мобиле?

Кулигинъ. Непремѣнно, сударь! Вотъ только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! *(Уходитъ.)*

### ЯВЛЕНІЕ IV.

**Борисъ** *(одинъ).*

Жаль его разочаровывать-то! Какой хорошій человѣкъ! Мечтаетъ себѣ и счастливъ. А мнѣ, видно, такъ и загубить свою молодость въ этой трущобѣ. Ужъ вѣдь совсѣмъ убитый хожу, а тутъ еще дурь въ голову лѣзетъ! Ну, къ чему пристало! мнѣ ли ужъ нѣжности заводить? Загнанъ, забитъ, а тутъ еще сдуру-то влюбляться вздумалъ. Да въ кого! Въ женщину, съ которой даже и поговорить-то никогда не удастся. *(Молчаніе.)* А все-таки нейдетъ она у меня изъ головы, хоть ты что хочешь. Вотъ она! Идетъ съ мужемъ, ну, и свекровь съ ними! Ну, не дуракъ ли я! Погляди изъ-за угла, да и ступай домой. *(Уходитъ. Съ противоположной стороны входятъ Кабанова, Кабановъ, Катерина и Варвара.)*

### ЯВЛЕНІЕ V.

**Кабанова, Кабановъ, Катерина** *и* **Варвара**.

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, такъ ты, какъ пріѣдешь туда, сдѣлай такъ, какъ я тебѣ приказывала.

Кабановъ. Да какъ же я могу, маменька, васъ ослушаться!

Кабанова. Не очень-то нынче старшихъ уважаютъ.

Варвара *(про себя.)* Не уважишь тебя, какъ же!

Кабановъ. Я, кажется, маменька, изъ вашей воли ни на шагъ.

Кабанова. Повѣрила бы я тебѣ, мой другъ, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтеніе родителямъ отъ дѣтей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ.

Кабановъ. Я, маменька...

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести! А, какъ ты думаешь?

Кабановъ. Да когда же я, маменька, не переносилъ отъ васъ?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

Кабановъ *(вздыхая).(Въ сторону.)* Ахъ ты, Господи! *(Матери.)* Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранятъ-то, все думаютъ— добру научатъ. Ну, а это нынче не нравится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать прохода не даетъ, со свѣту сживаетъ. А, сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить, ну, и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совсѣмъ.

Кабановъ. Нешто, маменька, кто говоритъ про васъ?

Кабанова. Не слыхала, мой другъ, не слыхала, лгать не хочу. Ужъ кабы я слышала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила. *(Вздыхаетъ.)* Охъ, грѣхъ тяжкій! Вотъ долго ли согрѣшить-то! Разговоръ близкій сердцу пойдетъ, ну, и согрѣшишь, разсердишься. Нѣтъ, мой другъ, говори, что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить: въ глаза не посмѣютъ, такъ за глаза станутъ.

Кабановъ. Да отсохни языкъ...

Кабанова. Полно, полно, не божись! Грѣхъ, я ужъ давно вижу, что тебѣ жена милѣе матери. Съ тѣхъ поръ, какъ женился, я ужъ отъ тебя прежней любви не вижу.

Кабановъ. Въ чемъ же вы, маменька, это видите?

Кабанова. Да во всемъ, мой другъ! Мать чего глазами не увидитъ, такъ у нея сердце вѣщунъ, она сердцемъ можетъ чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводитъ отъ меня, ужъ не знаю.

Кабановъ. Да нѣтъ, маменька! что вы, помилуйте!

Катерина. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихонъ тоже тебя любитъ.

Кабанова. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашиваютъ. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Вѣдь онъ мнѣ тоже сынъ; ты этого не забывай! Что ты выскочила въ глазахъ-то поюлить! Чтобы видѣли, что ли, какъ ты мужа любишь? Такъ знаемъ, знаемъ, въ глазахъ-то ты это всѣмъ доказываешь.

Варвара *(про себя).* Нашла мѣсто наставленіе читать.

Катерина. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людяхъ, что безъ людей, я все одна, ничего я изъ себя не доказываю.

Кабанова. Да я объ тебѣ и говорить не хотѣла; а такъ, къ слову пришлось.

Катерина. Да хоть и къ слову, за что жъ ты меня обижаешь?

Кабанова. Экая важная птица! Ужъ и обидѣлась сейчасъ.

Катерина. Напраслину-то терпѣть кому жъ пріятно!

Кабанова. Знаю я, знаю, что вамъ не по нутру мои слова, да что жъ дѣлать-то, я вамъ не чужая, у меня объ васъ сердце болитъ. Я давно вижу, что вамъ воли хочется. Ну, что жъ, дождетесь, поживете и на волѣ, когда меня не будетъ. Вотъ ужъ тогда дѣлайте, что хотите, не будетъ надъ вами старшихъ. А можетъ, и меня вспомянете.

Кабановъ. Да мы объ васъ, маменька, денно и нощно Бога молимъ, чтобы вамъ, маменька, Богъ далъ здоровья и всякаго благополучія и въ дѣлахъ успѣху.

Кабанова. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Можетъ-быть, ты и любилъ мать, пока былъ холостой. До меня ли тебѣ: у тебя жена молодая.

Кабановъ. Одно другому не мѣшаетъ-съ: жена сама по себѣ, а къ родительницѣ, я само по себѣ почтеніе имѣю.

Кабанова. Такъ промѣняешь ты жену на мать? Ни въ жизнь я этому не повѣрю.

Кабановъ. Да для чего же мнѣ мѣнять-съ? Я обѣихъ люблю.

Кабанова. Ну да, да, такъ и есть, размазывай! Ужъ я вижу, что я вамъ помѣха.

Кабановъ. Думайте, какъ хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный такой человѣкъ на свѣтъ рожденъ, что не могу вамъ угодить ничѣмъ.

Кабанова. Что ты сиротой-то прикидываешься? Что ты нюни-то распустилъ? Ну, какой ты мужъ? Посмотри ты на себя! Станетъ ли тебя жена бояться послѣ этого?

Кабановъ. Да зачѣмъ же ей бояться? Съ меня и того довольно, что она меня любитъ.

Кабанова. Какъ, зачѣмъ бояться? Какъ, зачѣмъ бояться! Да ты рехнулся, что ли. Тебя не станетъ бояться, меня и подавно. Какой же порядокъ-то въ домѣ будетъ? Вѣдь ты, чай, съ ней въ законѣ живешь. Али, по-вашему, законъ ничего не значитъ? Да ужъ коли ты такія дурацкія мысли въ головѣ держишь, ты бы при ней-то, по крайней мѣрѣ, не болталъ, да при сестрѣ, при дѣвкѣ; ей тоже замужъ итти: этакъ она твоей болтовни наслушается, такъ послѣ мужъ-то намъ спасибо скажетъ за науку. Видишь ты, какой еще умъ-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить.

Кабановъ. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Гдѣ ужъ мнѣ своей волей жить!

Кабанова. Такъ, по-твоему, нужно все лаской съ женой? Ужъ и не прикрикнуть на нее и не пригрозить?

Кабановъ. Да, я маменька...

Кабанова (*горячо*). Хоть любовника заводи? А? И это, можетъ-быть, по-твоему, ничего? А? Ну, говори!

Кабановъ. Да, ей-Богу, маменька...

Кабанова (*совершенно хладнокровно*). Дуракъ! (*Вздыхаетъ.*) Что съ дуракомъ и говорить! Только грѣхъ одинъ! (*Молчаніе.*) Я домой иду.

Кабановъ. И мы сейчасъ, только разъ-другой по бульвару пройдемъ.

Кабанова. Ну, какъ хотите, только ты смотри, чтобы мнѣ васъ не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.

Кабановъ. Нѣтъ, маменька! Сохрани меня Господи!

Кабанова. То-то же! (*Уходитъ.*)

## ЯВЛЕНІЕ VI.

**Тѣ же** *безъ* **Кабановой.**

Кабановъ. Вотъ видишь ты, вотъ всегда мнѣ за тебя достается отъ маменьки! Вотъ жизнь-то моя какая!

Катерина. Чѣмъ же я-то виновата?

Кабановъ. Кто жъ виноватъ, я ужъ не знаю.

Варвара. Гдѣ тебѣ знать!

Кабановъ. То все приставала: «женись да женись, я хоть бы поглядѣла на тебя, на женатаго». А теперь поѣдомъ ѣстъ, проходу не даетъ—все за тебя.

Варвара. Такъ нешто она виновата! Мать на нее нападаетъ, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мнѣ глядѣть-то на тебя. *(Отворачивается.)*

Кабановъ. Толкуй тутъ! Что жъ мнѣ дѣлать-то?

Варвара. Знай свое дѣло — молчи, коли ужъ лучше ничего не умѣешь. Что стоишь—переминаешься? По глазамъ вижу, что у тебя и на умѣ-то.

Кабановъ. Ну, а что?

Варвара. Извѣстно что. Къ Савелу Прокофьичу хочется, выпить съ нимъ. Что, не такъ, что ли?

Кабановъ. Угадала, братъ.

Катерина. Ты, Тиша, скорѣй приходи, а то маменька опять браниться станетъ.

Варвара. Ты проворнѣй, въ самомъ дѣлѣ, а то знаешь вѣдь!

Кабановъ. Ужъ какъ не знать!

Варвара. Намъ тоже не велика охота изъ-за тебя брань-то принимать.

Кабановъ. Я мигомъ. Подождите! *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ VII.

**Катерина *и* Варвара.**

Катерина. Такъ ты, Варя, жалѣешь меня?

Варвара *(глядя въ сторону.)* Разумѣется, жалко.

Катерина. Такъ ты, стало-быть, любишь меня? *(Крѣпко цѣлуетъ.)*

Варвара. За что жъ мнѣ тебя не любить-то!

Катерина. Ну, спасибо тебѣ! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти. *(Молчаніе.)* Знаешь, мнѣ что въ голову пришло?

Варвара. Что?

Катерина. Отчего люди не летаютъ?

Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.

Катерина. Я говорю: отчего люди не летаютъ такъ, какъ птицы? Знаешь, мнѣ иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горѣ, такъ тебя и тянетъ летѣть. Вотъ такъ бы разбѣжалась, подняла руки и полетѣла. Попробовать нешто теперь? *(Хочетъ бѣжать).*

Варвара. Что ты выдумываешь-то?

Катерина *(вздыхая.)* Какая я была рѣзвая! Я у васъ завяла совсѣмъ.

Варвара. Ты думаешь, я не вижу?

Катерина. Такая ли я была! Я жила — ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ. Маменька во мнѣ души не чаяла, наряжала меня, какъ куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкахъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ разскажу. Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключикъ, умоюсь, принесу съ собою водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ и странницы — у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странницы станутъ разсказывать: гдѣ онѣ были, что видѣли, житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть лягутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вечеромъ опять разсказы да пѣніе. Таково хорошо было!

Варвара. Да вѣдь и у насъ то же самое.

Катерина. Да здѣсь все, какъ будто, изъ-подъ неволи. И до смерти я любила въ церковь ходить! Точно, бывало, я въ рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, какъ все это въ одну секунду было. Маменька говорила, что всѣ, бывало, смотрятъ на меня, что со мной дѣлается! А знаешь: въ солнечный день изъ купола такой свѣтлый столбъ внизъ идетъ, и въ этомъ столбѣ ходитъ дымъ, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы въ этомъ столбѣ летаютъ и поютъ. А то, бывало, дѣвушка, ночью встану—у насъ тоже вездѣ лампадки горѣли—да гдѣ-нибудь въ уголкѣ и молюсь до утра. Или рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходитъ, упаду на колѣни, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу; такъ меня и найдутъ. И объ чемъ я молилась тогда, чего просила—не знаю; ничего мнѣ ненадобно, всего у меня было довольно. А какіе сны мнѣ снились, Варенька, какіе сны! Или храмы золотые, или сады какіе-то необыкновенные, и все поютъ невидимые голоса, и кипарисомъ пахнетъ, и горы, и деревья, будто не такія, какъ обыкновенно, а какъ на образахъ пишутся. А то будто

я летаю, такъ и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да рѣдко, да и не то.

Варвара. А что же?

Катерина (*помолчавъ*). Я умру скоро.

Варвара. Полно, что ты!

Катерина. Нѣтъ, я знаю, что умру. Охъ, дѣвушка, что-то со мной недоброе дѣлается, чудо какое-то. Никогда со мной этого не было. Что-то во мнѣ такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или... ужъ и не знаю.

Варвара. Что же съ тобой такое?

Катерина (*беретъ ее за руку*). А вотъ что, Варя: быть грѣху какому-нибудь! Такой на меня страхъ, такой-то на меня страхъ! Точно я стою надъ пропастью, и меня кто-то туда толкаетъ, а удержаться мнѣ не за что. (*Хватается за голвоу рукой.*)

Варвара. Что съ тобой? Здорова ли ты?

Катерина. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лѣзетъ мнѣ въ голову мечта какая-то. И никуда я отъ нея не уйду. Думать стану — мыслей никакъ не соберу, молиться — не отмолюсь никакъ. Языкомъ лепечу слова, а на умѣ совсѣмъ не то: точно мнѣ лукавый въ уши шепчетъ, да все про такія дѣла нехорошія. И то мнѣ представляется, что мнѣ самое себя совѣстно сдѣлается. Что со мной? Передъ бѣдой передъ какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мнѣ, все мерещится шопотъ какой-то: кто-то такъ ласково говоритъ со мной, точно голубитъ меня, точно голубь воркуетъ. Ужъ не снятся мнѣ, Варя, какъ прежде, райскія деревья да горы; а точно меня кто-то обнимаетъ такъ горячо, горячо, и ведетъ меня куда-то, и я иду за нимъ, иду...

Варвара. Ну?

Катерина. Да что же это я говорю тебѣ: ты—дѣвушка.

Варвара (*оглядываясь.*) Говори! Я хуже тебя.

Катерина. Ну, что жъ мнѣ говорить? Стыдно мнѣ.

Варвара. Говори, нужды нѣтъ!

Катерина. Сдѣлается мнѣ такъ душно, такъ душно дома, что бѣжала бы. И такая мысль придетъ на меня, что кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волгѣ, на лодкѣ, съ пѣснями, либо на тройкѣ на хорошей, обнявшись...

Варвара. Только не съ мужемъ.

Катерина. А ты почемъ знаешь?

Варвара. Еще бы не знать!..

Катерина. Ахъ, Варя, грѣхъ у меня на умѣ! Сколько я, бѣдная, плакала, чего ужъ я надъ собой ни дѣлала! Не уйти мнѣ отъ этого грѣха. Никуда не уйти. Вѣдь это нехорошо, вѣдь это страшный грѣхъ, Варенька, что я другого люблю!

Варвара. Что мнѣ тебя судить! У меня свои грѣхи есть.

Катерина. Что же мнѣ дѣлать! Силъ моихъ не хватаетъ. Куда мнѣ дѣваться; я отъ тоски что-нибудь сдѣлаю надъ собой!

Варвара. Что ты! Что съ тобой! Вотъ, погоди, завтра братецъ уѣдетъ, подумаемъ; можетъ-быть, и видѣться можно будетъ.

Катерина. Нѣтъ, нѣтъ, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани Господи!

Варвара. Чего ты такъ испугалась?

Катерина. Если я съ нимъ хоть разъ увижусь, я убѣгу изъ дому, я ужъ не пойду домой ни за что на свѣтѣ.

Варвара. А вотъ погоди, тамъ увидимъ.

Катерина. Нѣтъ, нѣтъ, и не говори мнѣ, я и слушать не хочу!

Варвара. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай съ тоски, пожалѣютъ, что ль, тебя! Какъ же, дожидайся. Такъ какая жъ неволя себя мучить-то! (*Входитъ барыня съ палкой и два лакея въ треугольныхъ шляпахъ сзади*).

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

**Тѣ же *и* барыня.**

Барыня. Что, красавицы? Что тутъ дѣлаете? Молодцовъ поджидаете, кавалеровъ? Вамъ весело? Весело? Красота-то ваша васъ радуетъ? Вотъ красота-то куда ведетъ. (*Показываетъ на Волгу.*) Вотъ, вотъ, въ самый омутъ! (*Варвара улыбается.*) Что смѣетесь! Не радуйтесь! (*Стучитъ палкой.*) Всѣ въ огнѣ горѣть будете неугасимомъ. Всѣ въ смолѣ будете кипѣть неутолимой. (*Уходя.*) Вонъ, вонъ, куда красота-то ведетъ! (*Уходитъ.*)

## ЯВЛЕНІЕ IX.

**Катерина *и* Варвара.**

Катерина. Ахъ, какъ она меня испугала! я дрожу вся, точно она пророчитъ мнѣ что-нибудь.

Варвара. На свою бы тебѣ голову, старая корга!

Катерина. Что она сказала такое, а? Что она сказала?

Варвара. Вздоръ все. Очень нужно слушать, что она городитъ. Она всѣмъ такъ пророчитъ. Всю жизнь смолоду-то грѣшила. Спроси-ка, что объ ней пораз-скажутъ! Вотъ умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тѣмъ и другихъ пугаетъ. Даже всѣ мальчишки въ городѣ отъ нея прячутся, грозитъ на нихъ палкой да кричитъ *(передразнивая):* «всѣ горѣть въ огнѣ будете!»

Катерина *(зажмуриваясь).* Ахъ, ахъ, перестань! У меня сердце упало.

Варвара. Есть чего бояться! Дура старая...

Катерина. Боюсь, до смерти боюсь! Все она мнѣ въ глазахъ мерещится. *(Молчаніе.)*

Варвара *(оглядываясь).* Что это братецъ нейдетъ? вонъ, никакъ, гроза заходитъ.

Катерина *(съ ужасомъ).* Гроза! Побѣжимъ домой! Поскорѣе!

Варвара. Что ты, съ ума, что ли, сошла! Какъ же ты безъ братца-то домой покажешься?

Катерина. Нѣтъ, домой, домой! Богъ съ нимъ!

Варвара. Да что ты ужъ очень боишься: еще далеко гроза-то.

Катерина. А коли далеко, такъ, пожалуй, подождемъ немного; а, право бы, лучше итти. Пойдемъ лучше!

Варвара. Да вѣдь ужъ коли чему быть, такъ и дома не спрячешься.

Катерина. Да все-таки лучше, все покойнѣе; дома-то я къ образамъ, да Богу молиться!

Варвара. Я и не знала, что ты такъ грозы боишься. Я вотъ не боюсь.

Катерина. Какъ, дѣвушка, не бояться! Всякій долженъ бояться. Не то страшно, что убьетъ тебя, а то, что смерть тебя вдругъ застанетъ, какъ ты есть, со всѣми твоими грѣхами, со всѣми помыслами лукавыми. Мнѣ умереть не страшно, а какъ я подумаю, что вотъ вдругъ я явлюсь передъ Богомъ такая, какая я здѣсь съ тобой, послѣ этого разговору-то! вотъ что страшно. Что у меня на умѣ-то! Какой грѣхъ-то! страшно вымолвить! *(Громъ.)* Ахъ! *(Кабановъ входитъ.)*

Варвара. Вотъ братецъ идетъ. *(Кабанову).* Бѣги скорѣй! *(Громъ.)*

Катерина. Ахъ! Скорѣй, скорѣй!

---

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Комната въ домѣ Кабановыхъ.

---

### ЯВЛЕНІЕ I.

**Глаша** *(собираетъ платье въ узлы)* и **Ѳеклуша** *(входитъ).*

Ѳеклуша. Милая дѣвушка, все-то ты за работой! Что дѣлаешь, милая?

Глаша. Хозяина въ дорогу собираю.

Ѳеклуша. Аль ѣдетъ куда свѣтъ нашъ?

Глаша. Ѣдетъ.

Ѳеклуша. Надолго, милая, ѣдетъ?

Глаша. Нѣтъ, не надолго.

Ѳеклуша. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяйка-то станетъ выть аль нѣтъ?

Глаша. Ужъ не знаю, какъ тебѣ сказать.

Ѳеклуша. Да она у васъ воетъ когда?

Глаша. Не слыхать что-то.

Ѳеклуша. Ужъ больно я люблю, милая дѣвушка, слушать, коли кто хорошо воетъ-то! *(Молчаніе.)* А вы, дѣвушка, за убогой-то присматривайте, не стянула бъ чего.

Глаша. Кто васъ разберетъ, всѣ вы другъ на друга клеплете. Что вамъ ладно-то не живется? Ужъ у насъ ли, кажется, вамъ, страннымъ, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь; грѣха-то вы не боитесь.

Ѳеклуша. Нельзя, матушка, безъ грѣха: въ міру живемъ. Вотъ что я тебѣ скажу, милая дѣвушка: васъ, простыхъ людей, каждаго одинъ врагъ смущаетъ, а къ намъ, къ страннымъ людямъ, къ кому шесть, къ кому двѣнадцать приставлено; вотъ и надобно ихъ всѣхъ побороть. Трудно, милая дѣвушка!

Глаша. Отчего жъ къ вамъ такъ много?

Ѳеклуша. Это, матушка, врагъ-то изъ ненависти на насъ, что жизнь такую праведную ведемъ. А я, милая дѣвушка, не вздорная, за мной этого грѣха нѣтъ. Одинъ грѣхъ за мной есть, точно; я сама знаю, что есть. Сладко поѣсть люблю. Ну, такъ что жъ! По немощи моей Господь посылаетъ.

Глаша. А ты, Ѳеклуша, далеко ходила?

Ѳеклуша. Нѣтъ, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слыхать — много слыхала. Говорятъ, такія страны есть, милая дѣвушка, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а салтаны землей правятъ. Въ одной землѣ сидитъ на тронѣ салтанъ Махнутъ турецкій, а въ другой — салтанъ Махнутъ персидскій; и судъ творятъ они, милая дѣвушка, надо всѣми людьми, и что ни судятъ они, все неправильно. И не могутъ они, милая, ни одного дѣла разсудить праведно, такой ужъ имъ предѣлъ положенъ. У насъ законъ праведный, а у нихъ, милая, неправедный; что по нашему закону такъ выходитъ, а по ихнему все напротивъ. И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ, милая дѣвушка, и въ просьбахъ пишутъ: «суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами.

Глаша. Отчего жъ такъ съ песьими?

Ѳеклуша. За невѣрность. Пойду я, милая дѣвушка, по купечеству поброжу: не будетъ ли чего на бѣдность. Прощай покудова!

Глаша. Прощай! *(Ѳеклуша уходитъ.)* Вотъ еще какія земли есть! Какихъ-то чудесъ на свѣтѣ нѣтъ! А мы тутъ сидимъ, ничего не знаемъ. Еще хорошо, что добрые люди есть; нѣтъ-нѣтъ, да и услышишь, что на бѣломъ свѣту дѣлается, а то бы такъ дураками и померли. *(Входятъ Катерина и Варвара.)*

## ЯВЛЕНІЕ II.

**Катерина** *и* **Варвара**.

Варвара *(Глашѣ.)* Тащи узлы-то въ кибитку, лошади пріѣхали. *(Катеринѣ.)* Молоду тебя замужъ-то отдали, погулять-то тебѣ въ дѣвкахъ не пришлось; вотъ у тебя сердце-то и не уходилось еще. *(Глаша уходитъ.)*

Катерина. И никогда не уходится.

Варвара. Отчего же?

Катерина. Такая ужъ я зародилась, горячая! Я еще лѣтъ шести была, не больше, такъ что сдѣлала! Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять!

Варвара. Ну, а парни поглядывали на тебя?

Катерина. Какъ не поглядывать!

Варвара. Что же ты, неужто не любила никого?

Катерина. Нѣтъ, смѣялась только.

Варвара. А вѣдь ты, Катя, Тихона не любишь.

Катерина. Нѣтъ, какъ не любить! Мнѣ жалко его очень.

Варвара. Нѣтъ, не любишь. Коли жалко, такъ не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты отъ меня скрываешься! Давно ужъ я замѣтила, что ты любишь одного человѣка.

Катерина *(съ испугомъ).* Почемъ же ты замѣтила?

Варвара. Какъ ты смѣшно говоришь! Маленькая я, что ли! Вотъ тебѣ первая примѣта: какъ ты увидишь его, вся въ лицѣ перемѣнишься. *(Катерина потупляетъ глаза.)* Да мало ли...

Катерина. *(потупившись).* Ну, кого же?

Варвара. Да вѣдь ты сама знаешь, что называть-то?

Катерина. Нѣтъ, назови! По имени назови!

Варвара. Бориса Григорьича.

Катерина. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради Бога...

Варвара. Ну, вотъ еще! Ты сама-то, смотри, не проговорись какъ-нибудь.

Катерина. Обманывать-то я не умѣю; скрыть-то ничего не могу.

Варвара. Ну, а вѣдь безъ этого нельзя; ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ весь домъ на томъ держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, такъ его видѣла, говорила съ нимъ.

Катерина *(послѣ непродолжительнаго молчанія, потупившись).* Ну, такъ что жъ?

Варвара. Кланяться тебѣ приказалъ. Жаль, говоритъ, что видѣться негдѣ.

Катерина *(потупившись еще болѣе).* Гдѣ же видѣться! Да и зачѣмъ...

Варвара. Скучный такой...

Катерина. Не говори мнѣ про него, сдѣлай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша, голубчикъ мой, ни на кого тебя не промѣ-

няю! Я и думать-то не хотѣла, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто жъ тебя заставляетъ?

Катерина. Не жалѣешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Развѣ я хочу объ немъ думать; да что дѣлать, коли изъ головы нейдетъ. Объ чемъ ни за умаю, а онъ такъ и стоитъ передъ глазами. И хочу себя переломить, да не могу никакъ. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять врагъ смущалъ. Вѣдь я было изъ дому ушла.

Варвара. Ты какая-то мудреная, Богъ съ тобой! А по-моему: дѣлай, что хочешь, только бы шито да крыто было.

Катерина. Не хочу я такъ. Да и что хорошаго! Ужъ я лучше буду терпѣть, пока терпится.

Варвара. А не стерпится, что жъ ты сдѣлаешь?

Катерина. Что я сдѣлаю?

Варвара. Да, что сдѣлаешь?

Катерина. Что мнѣ только захочется, то и сдѣлаю.

Варвара. Сдѣлай, попробуй, такъ тебя здѣсь заѣдятъ.

Катерина. А что мнѣ! Я уйду, да и была такова.

Варвара. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

Катерина. Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера! Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостынетъ, такъ не удержатъ меня никакою силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь! *(Молчаніе).*

Варвара. Знаешь что, Катя! Какъ Тихонъ уѣдетъ, такъ давай въ саду спать, въ бесѣдкѣ.

Катерина. Ну, зачѣмъ, Варя?

Варвара. Да нешто не все равно?

Катерина. Боюсь я въ незнакомомъ-то мѣстѣ ночевать.

Варвара. Чего бояться-то! Глаша съ нами будетъ.

Катерина. Все какъ-то робко! Да я пожалуй.

Варвара. Я бъ тебя не звала, да меня-то одну маменька не пуститъ, а мнѣ нужно.

Катерина *(смотря на нее).* Зачѣмъ же тебѣ нужно?

Варвара *(смѣется).* Будемъ тамъ ворожить съ тобой.

Катерина. Шутишь, должно-быть?

Варвара. Извѣстно, шучу; а то неужто въ самомъ дѣлѣ? *(Молчаніе.)*

Катерина. Гдѣ жъ это Тихонъ-то?

Варвара. На что онъ тебѣ?

Катерина. Нѣтъ, я такъ. Вѣдь скоро ѣдетъ.

Варвара. Съ маменькой сидятъ, заперши́сь. Точитъ она его теперь, какъ ржа желѣзо.

Катерина. За что же?

Варвара. Ни за что, такъ, уму-разуму учитъ. Двѣ недѣли въ дорогѣ будетъ, заглазное дѣло! Сама посуди! У нея сердце все изноетъ, что онъ на своей волѣ гуляетъ. Вотъ она ему теперь и надаетъ приказовъ, одинъ другого грознѣй, да потомъ къ образу поведетъ, побожиться заставитъ, что все такъ точно онъ и сдѣлаетъ, какъ приказано.

Катерина. И на волѣ-то онъ словно связанный.

Варвара. Да, какъ же, связанный! Онъ какъ выѣдетъ, такъ запьетъ. Онъ теперь слушаетъ, а самъ думаетъ, какъ бы ему вырваться-то поскорѣй. *(Входятъ Кабанова и Кабановъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ III.

**Тѣ же, Кабанова** *и* **Кабановъ.**

Кабанова. Ну, ты помнишь все, что я тебѣ сказала? Смотри жъ, помни! На носу себѣ заруби!

Кабановъ. Помню, маменька.

Кабанова. Ну, теперь все готово. Лошади пріѣхали, проститься тебѣ только, да и съ Богомъ.

Кабановъ. Да-съ, маменька, пора.

Кабанова. Ну!

Кабановъ. Чего извольте-съ?

Кабанова. Что жъ ты стоишь, развѣ порядку не знаешь? Приказывай женѣ-то, какъ жить безъ тебя. *(Катерина потупила глаза въ землю.)*

Кабановъ. Да она, чай, сама знаетъ.

Кабанова. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтобъ и я слышала, что ты ей приказываешь! А потомъ пріѣдешь, спросишь, такъ ли все исполнила.

Кабановъ *(становясь противъ Катерины).* Слушайся маменьки, Катя.

Кабанова. Скажи, чтобъ не грубила свекрови.

Кабановъ. Не груби!

Кабанова. Чтобъ почитала сверковь, какъ родную мать!

Кабановъ. Почитай, Катя, маменьку, какъ родную мать!

Кабанова. Чтобъ, сложа ручки, не сидѣла, какъ барыня!

Кабановъ. Работай что-нибудь безъ меня!

Кабанова. Чтобъ въ окна глазъ не пялила!

Кабановъ. Да, маменька, когда жъ она...

Кабанова. Ну, ну!

Кабановъ. Въ окна не гляди!

Кабанова. Чтобъ на молодыхъ парней не заглядывалась безъ тебя.

Кабановъ. Да что жъ это, маменька, ей-Богу!

Кабанова *(строго)*. Ломаться-то нечего! Долженъ исполнять, что мать говоритъ. *(Съ улыбкой.)* Оно все лучше, какъ приказано-то.

Кабановъ *(сконфузившись)*. Не заглядывайся на парней! *(Катерина строго взглядываетъ на него.)*

Кабанова. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдемъ, Варвара! *(Уходятъ.)*

## ЯВЛЕНIЕ IV.

**Кабановъ** *и* **Катерина** *(стоитъ, какъ будто въ оцѣпенѣнiи)*.

Кабановъ. Катя! *(Молчанiе.)* Катя, ты на меня не сердишься?

Катерина *(послѣ непродолжительнаго молчанiя, покачавъ головой)*. Нѣтъ!

Кабановъ. Да что ты такая? Ну, прости меня!

Катерина *(все въ томъ же состоянiи, слегка покачавъ головой)*. Богъ съ тобой! *(Закрывъ лицо рукою.)* Обидѣла она меня!

Кабановъ. Все къ сердцу-то принимать, такъ въ чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей вѣдь что-нибудь надо жъ говорить! Ну, и пущай она говоритъ, а ты мимо ушей пропущай. Ну, прощай, Катя!

Катерина *(кидаясь на шею мужу)*. Тиша, не уѣзжай! Ради Бога, не уѣзжай! Голубчикъ, прошу я тебя!

Кабановъ. Нельзя, Катя. Коли маменька посылаетъ, какъ же я не поѣду!

Катерина. Ну, бери меня съ собой, бери!

Кабановъ *(освобождаясь изъ объятiй)*. Да нельзя.

Катерина. Отчего же, Тиша, нельзя?

Кабановъ. Куда какъ весело съ тобой ѣхать! Вы меня ужъ заѣздили здѣсь совсѣмъ! Я не чаю, какъ вырваться-то, а ты еще навязываешься со мной.

Катерина. Да неужели же ты разлюбилъ меня?

Кабановъ. Да не разлюбилъ, а съ этакой-то неволи отъ какой хочешь красавицы-жены убѣжишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина; всю жизнь вотъ этакъ жить, какъ ты видишь, такъ убѣжишь и отъ жены. Да какъ знаю я теперича, что недѣли двѣ никакой грозы надо мной не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены ли мнѣ?

Катерина. Какъ же мнѣ любить-то тебя, когда ты такiя слова говоришь?

Кабановъ. Слова, какъ слова! Какiя же мнѣ еще слова говорить! Кто тебя знаетъ, чего ты боишься! Вѣдь ты не одна, ты съ маменькой останешься.

Катерина. Не говори ты мнѣ объ ней, не тирань ты моего сердца! Ахъ, бѣда моя, бѣда! *(Плачетъ.)* Куда мнѣ, бѣдной, дѣться? За кого мнѣ ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!

Кабановъ. Да полно ты!

Катерина *(подходитъ къ мужу и прижимается къ нему)*. Тиша, голубчикъ, кабы ты остался, либо взялъ ты меня съ собой, какъ бы я тебя любила, какъ бы я тебя голубила, моего милаго! *(Ласкаетъ его)*.

Кабановъ. Не разберу я тебя, Катя! То отъ тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то такъ сама лѣзешь.

Катерина. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть бѣдѣ безъ тебя! Быть бѣдѣ!

Кабановъ. Ну, да вѣдь нельзя, такъ ужъ нечего дѣлать.

Катерина. Ну, такъ вотъ что! Возьми ты съ меня какую-нибудь клятву страшную...

Кабановъ. Какую клятву?

Катерина. Вотъ какую: чтобы не смѣла я безъ тебя ни подъ какимъ видомъ ни говорить ни съ кѣмъ чужимъ, ни видѣться, чтобы и думать я не смѣла ни о комъ, кромѣ тебя.

Кабановъ. Да на что жъ это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня!

Кабановъ. Какъ можно за себя ручаться, мало ль что можетъ въ голову прійти.

Катерина *(падая на колѣни)*. Чтобъ не видать мнѣ ни отца ни матери! Умереть мнѣ безъ покаянія, если я...

Кабановъ *(поднимая ее)*. Что ты! Что ты! Какой грѣхъ-то! Я и слышать не хочу! *(Голосъ Кабановой: «Пора, Тихонъ!» Входятъ Кабанова, Варвара и Глаша.)*

## ЯВЛЕНІЕ V.

**Тѣ же, Кабанова, Варвара** *и* **Глаша.**

Кабанова. Ну, Тихонъ, пора! Поѣзжай съ Богомъ! *(Садится.)* Садитесь всѣ! *(Всѣ садятся. Молчаніе.)* Ну, прощай! *(Встаетъ и всѣ встаютъ.)*

Кабановъ *(подходя къ матери)*. Прощайте маменька!

Кабанова *(жестомъ показываетъ на землю)*. Въ ноги, въ ноги! *(Кабановъ кланяется въ ноги, потомъ цѣлуется съ матерью.)* Прощайся съ женою!

Кабановъ. Прощай, Катя! *(Катерина кидается ему на шею.)*

Кабанова. Что на шею-то виснешь, безстыдница! Не съ любовникомъ прощаешься! Онъ тебѣ мужъ — глава! Аль порядку не знаешь? Въ ноги кланяйся! *(Катерина кланяется въ ноги.)*

Кабановъ. Прощай, сестрица! *(Цѣлуются съ Варварой.)* Прощай, Глаша! *(Цѣлуется съ Глашей.)* Прощайте, маменька! *(Кланяется.)*

Кабанова. Прощай! Дальніе проводы — лишнія слезы. *(Кабановъ уходитъ, за нимъ Катерина, Варвара и Глаша.)*

## ЯВЛЕНІЕ VI.

Кабанова *(одна)*. Молодость-то что значитъ! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ! Кабы не свои, насмѣялась бы досыта: ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть, ими домъ-то и держится, пока живы. А вѣдь тоже, глупые, на свою волю хотятъ, а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на покоръ да смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя. Гостей позовутъ, посадить не умѣютъ, да еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ, да и только. Такъ-то вотъ старина-то и выводится. Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь, да вонъ скорѣе. Что будетъ, какъ старики перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего. *(Входятъ Катерина и Варвара.)*

## ЯВЛЕНІЕ VII.

**Кабанова, Катерина** *и* **Варвара.**

Кабанова. Ты вотъ похвалялась, что мужа очень любишь; вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воетъ, лежитъ на крыльцѣ; а тебѣ, видно, ничего.

Катерина. Не къ чему! Да и не умѣю. Что народъ-то смѣшить!

Кабанова. Хитрость-то не великая. Кабы любила, такъ бы выучилась. Коли порядкомъ не умѣешь, ты хоть бы примѣръ-то этотъ сдѣлала; все-таки пристойнѣе; а то, видно, на словахъ-то только. Ну, я Богу молиться пойду; не мѣшайте мнѣ.

Варвара. Я со двора пойду.

Кабанова *(ласково)*. А мнѣ что! Поди! Гуляй, пока твоя пора придетъ. Еще насидишься! *(Уходятъ Кабанова и Варвара.)*

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

Катерина *(одна задумчиво)*. Ну, теперь тишина у насъ въ домѣ воцарится! Ахъ, какая скука. Хоть бы дѣти чьинибудь! Эко горе! Дѣтокъ-то у меня нѣтъ: все бы я и сидѣла съ ними да забавляла ихъ. Люблю очень съ дѣтьми разговаривать — ангелы, вѣдь, это. *(Молчаніе.)* Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядѣла бы я съ неба на землю, да и ра-

довалась всему. А то полетѣла бы невидимо, куда захотѣла. Вылетѣла бы въ поле и летала бы съ василька на василекъ по вѣтру, какъ бабочка. *(Задумывается.)* А вотъ что сдѣлаю: я начну работу какую-нибудь по обѣщанію; пойду въ гостиный дворъ, куплю холста, да и буду шить бѣлье, а потомъ раздамъ бѣднымъ. Они за меня Богу помолятъ. Вотъ и засядемъ шить съ Варварой, и не увидимъ, какъ время пройдетъ; а тутъ Тиша пріѣдетъ. *(Входитъ Варвара.)*

## ЯВЛЕНІЕ IX.

**Катерина** *и* **Варвара.**

Варвара *(покрываетъ голову платкомъ передъ зеркаломъ).* Я теперь гулять пойду, а ужо намъ Глаша постелетъ постели въ саду, маменька позволила. Въ саду, за малиной, есть калитка, ее маменька запираетъ на замокъ, а ключъ прячетъ. Я его унесла, а ей подложила другой, чтобъ не замѣтила. На вотъ, можетъ - быть, понадобится. *(Подаетъ ключъ.)* Если увижу, такъ скажу, чтобъ приходилъ къ калиткѣ.

Катерина *(съ испугомъ, отталкивая ключъ).* На что! На что! Не надо, не надо!

Варвара. Тебѣ не надо, мнѣ понадобится; возьми, не укуситъ онъ тебя.

Катерина. Да что ты затѣяла-то, грѣховодница! Можно ли это! Подумала ль ты? Что ты! Что ты!

Варвара. Ну, я много разговаривать не люблю; да и некогда мнѣ. Мнѣ гулять пора. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ X.

Катерина *(одна, держа ключъ въ рукахъ).* Что она это дѣлаетъ-то? Что она только придумываетъ? Ахъ, сумасшедшая, право, сумасшедшая! Вотъ погибель-то! Вотъ она! Бросить его, бросить далеко, въ рѣку кинуть, чтобъ не нашли никогда! Онъ руки-то жжетъ, точно уголь! *(Подумавъ.)* Вотъ такъ-то и гибнетъ наша сестра-то. Въ неволѣ-то кому весело! Мало ли что въ голову-то придетъ. Вышелъ случай, другая и рада: такъ, очертя голову, и кинется. А какъ же это можно, не подумавши, не разсудивши-то! Долго ли въ бѣду попасть! А тамъ и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горьчѣе покажется. *(Молчаніе.)* А горька неволя, охъ, какъ горька! Кто отъ нея не плачетъ! А пуще всѣхъ мы, бабы. Вотъ хоть я теперь! Живу, маюсь, просвѣту себѣ не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этотъ грѣхъ-то на меня. *(Задумывается.)* Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... отъ нея мнѣ и домъ-то опостылѣлъ; стѣны-то даже противны. *(Задумчиво смотритъ на ключъ.)* Бросить его? Разумѣется, надо бросить. И какъ онъ это ко мнѣ въ руки попалъ? На соблазнъ, на нагубу мою. *(Прислушивается.)* Ахъ, кто-то идетъ. Такъ сердце и упало. *(Прячетъ ключъ въ карманъ.)* Нѣтъ!.. Никого!.. Что я такъ испугалась! И ключъ спрятала... Ну, ужъ знать тамъ ему и быть! Видно, сама судьба того хочетъ! Да какой же въ этомъ грѣхъ, если я взгляну на него разъ, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, такъ все не бѣда! А какъ же я мужу-то?.. Да вѣдь онъ самъ не захотѣлъ. Да, можетъ, такого и случая-то еще всю жизнь не выйдетъ. Тогда и плачься на себя: былъ случай, да не умѣла пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мнѣ хоть умереть, да увидѣть его. Передъ кѣмъ я притворяюсь-то?.. Бросить ключъ! Нѣтъ, ни за что на свѣтѣ! Онъ мой теперь... Будь, что будетъ, а я Бориса увижу! Ахъ, кабы ночь поскорѣе!..

---

# ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

**Сцена 1-я.**

**Улица. Ворота дома Кабановыхъ, передъ воротами скамейка.**

---

## ЯВЛЕНІЕ I.

**Кабанова** *и* **Өеклуша** *(сидятъ на скамейкѣ).*

Өеклуша. Послѣднія времена, матушка, Марѳа Игнатьевна, послѣднія, по всѣмъ примѣтамъ послѣднія. Еще у васъ въ городѣ рай и тишина, а по другимъ городамъ такъ просто Содомъ, матушка: шумъ, бѣготня, ѣзда безпрестанная! Народъ-то такъ и снуетъ, одинъ туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда намъ торопиться-то, милая, мы и живемъ не спѣша.

Өеклуша. Нѣтъ, матушка, оттого у васъ тишина въ городѣ, что многіе

люди, вотъ хоть бы васъ взять, добродѣтелями, какъ цвѣтами, украшаются; оттого все и дѣлается прохладно и благочинно. Вѣдь это бѣготня-то, матушка, что значитъ? Вѣдь это суета! Вотъ хоть бы въ Москвѣ: бѣгаетъ народъ взадъ да впередъ, неизвѣстно зачѣмъ. Вотъ она суета-то и есть. Суетный народъ, матушка, Марѳа Игнатьевна, вотъ онъ и бѣгаетъ. Ему представляется-то, что онъ за дѣломъ бѣжитъ; торопится, бѣдный, людей не узнаетъ: ему мерещится, что его манитъ нѣкто; а придетъ на мѣсто-то, анъ пусто, нѣтъ ничего, мечта одна. И пойдетъ въ тоскѣ. А другому мерещится, что будто онъ догоняетъ кого-то знакомаго. Со стороны-то свѣжій человѣкъ сейчасъ видитъ, что никого нѣтъ; а тому-то все кажется отъ суеты, что онъ догоняетъ. Суета-то, вѣдь она въ родѣ тумана бываетъ. Вотъ у васъ въ этакой прекрасный вечеръ рѣдко кто и за ворота-то выйдетъ посидѣть; а въ Москвѣ-то теперь гульбища да игрища, а по улицамъ-то индо грохотъ идетъ; стонъ стоитъ. Да чего, матушка, Марѳа Игнатьевна, огненнаго змія стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.

Ѳеклуша. А я, матушка, такъ своими глазами видѣла; конечно, другіе отъ суеты не видятъ ничего, такъ онъ имъ машиной показывается, они машиной и называютъ, а я видѣла, какъ онъ лапами-то вотъ такъ *(растопыриваетъ пальцы)* дѣлаетъ. Ну, и стонъ, которые люди хорошей жизни, такъ слышатъ.

Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови; народъ-то глупъ, будетъ всему вѣрить. А меня хоть ты золотомъ осыпь, такъ я не поѣду.

Ѳеклуша. Что за крайности, матушка! Сохрани Господи отъ такой напасти! А вотъ еще, матушка, Марѳа Игнатьевна, было мнѣ въ Москвѣ видѣніе нѣкоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу на высокомъ, превысокомъ домѣ, на крышѣ стоитъ кто-то, лицомъ черенъ. Ужъ сами понимаете кто. И дѣлаетъ онъ руками, какъ будто сыплетъ что, а ничего не сыплется. Тутъ я догадалась, что это онъ плевелы сыплетъ, а народъ днемъ въ суетѣ-то въ своей невидимо и подберетъ. Оттого-то они такъ и бѣгаютъ, оттого и женщины-то у нихъ всѣ такія худыя, тѣла-то никакъ не нагуляютъ, да какъ будто онѣ что потеряли либо чего ищутъ въ лицѣ печаль, даже жалко.

Кабанова. Все можетъ быть, моя милая! Въ наши времена чего дивиться!

Ѳеклуша. Тяжелыя времена, матушка, Марѳа Игнатьевна, тяжелыя. Ужъ и время-то стало въ умаленіе приходить.

Кабанова. Какъ такъ, милая, въ умаленіе?

Ѳеклуша. Конечно, не мы, гдѣ намъ замѣтить въ суетѣ-то! А вотъ умные люди замѣчаютъ, что у насъ и время-то короче становится. Бывало, лѣто и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся, а нынче и не увидишь, какъ пролетятъ. Дни-то и часы все тѣ же, какъ будто, остались; а время-то, за наши грѣхи, все короче и короче дѣлается. Вотъ что умные-то люди говорятъ.

Кабанова. И хуже этого, милая, будетъ.

Ѳеклуша. Намъ-то бы только не дожить до этого.

Кабанова. Можетъ и доживемъ. *(Входитъ Дикой.)*

## ЯВЛЕНІЕ II.

**Тѣ же *и* Дикой.**

Кабанова. Что это ты, кумъ, бродишь такъ поздно?

Дикой. А кто жъ мнѣ запретитъ?

Кабанова. Кто запретитъ! кому нужно!

Дикой. Ну, и значитъ нечего разговаривать. Что я, подъ началомъ, что ль, у кого? Ты еще что тутъ! Какого еще тутъ чорта водяного!..

Кабанова. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты найди подешевле меня. А я тебѣ дорога! Ступай своей дорогой, куда шелъ. Пойдемъ, Ѳеклуша, домой. *(Встаетъ.)*

Дикой. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще успѣешь дома-то быть; домъ-отъ твой не за горами. Вотъ онъ.

Кабанова. Коли ты за дѣломъ, такъ не ори, а говори толкомъ.

Дикой. Никакого дѣла нѣтъ, а я хмелёнъ, вотъ что!

Кабанова. Что жъ, ты мнѣ теперь хвалить тебя прикажешь за это?

Дикой. Ни хвалить ни бранить. А значитъ, я хмелёнъ; ну, и кончено дѣло. Пока не просплюсь, ужъ этого дѣла поправить нельзя.

Кабанова. Такъ ступай, спи!

Дикой. Куда же это я пойду?

Кабанова. Домой. А то куда же!

Дикой. А коли я не хочу домой-то?

Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить?

Дикой. А потому, что у меня тамъ война идетъ.

Кабанова. Да кому жъ тамъ воевать-то? Вѣдь ты одинъ только тамъ воинъ-то и есть.

Дикой. Ну, такъ что жъ, что я воинъ? Ну, что жъ изъ этого?

Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь съ бабами. Вотъ что.

Дикой. Ну, значитъ, онѣ и должны мнѣ покориться. А то я, что ли, покоряться стану.

Кабанова. Ужъ не мало я дивлюсь на тебя: столько у тебя народу въ домѣ, а на тебя на одного угодить не могутъ.

Дикой. Вотъ поди жъ ты!

Кабанова. Ну, что жъ тебѣ нужно отъ меня?

Дикой. А вотъ что: разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всемъ городѣ умѣешь меня разговорить.

Кабанова. Поди, Ѳеклуша, вели приготовить закусить что-нибудь. *(Ѳеклуша уходитъ.)* Пойдемъ въ покои!

Дикой. Нѣтъ, я въ покои не пойду, въ покояхъ я хуже.

Кабанова. Чѣмъ же тебя разсердили-то?

Дикой. Еще съ утра съ самаго.

Кабанова. Должно-быть, денегъ просили.

Дикой. Точно сговорились, проклятые; то тотъ, то другой цѣлый день пристаютъ.

Кабанова. Должно-быть, надо, коли пристаютъ.

Дикой. Понимаю я это; да что жъ ты мнѣ прикажешь съ собой дѣлать, когда у меня сердце такое! Вѣдь ужъ знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу. Другъ ты мнѣ, и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдамъ — отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю нутренную разжигать станетъ; всю нутренную вотъ разжигаетъ, да и только; ну, и въ тѣ поры ни за что обругаю человѣка.

Кабанова. Нѣтъ надъ тобой старшихъ, вотъ ты и куражишься.

Дикой. Нѣтъ, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вотъ какія со мной исторіи бывали. О посту какъ-то, о Великомъ, я говѣлъ, а тутъ нелегкая и подсунь мужичонка; за деньгами пришелъ, дрова возилъ. И принесло жъ его на грѣхъ-то въ такое время! Согрѣшилъ-таки: изругалъ, такъ изругалъ, что лучше трёбовать нельзя, чуть не прибилъ. Вотъ оно, какое сердце-то у меня! Послѣ прощенья просилъ, въ ноги кланялся, право, такъ. Истинно тебѣ говорю, мужику въ ноги кланялся. Вотъ до чего меня сердце доводитъ: тутъ на дворѣ, въ грязи ему и кланялся; при всѣхъ ему кланялся.

Кабанова. А зачѣмъ ты нарочно-то себя въ сердце приводишь? Это, кумъ, нехорошо.

Дикой. Какъ такъ нарочно?

Кабанова. Я видала, я знаю. Ты коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотятъ, ты возьмешь да нарочно изъ своихъ на кого-нибудь и накинешься, чтобы разсердиться; потому что ты знаешь, что къ тебѣ сердитому никто ужъ не пойдетъ. Вотъ что, кумъ!

Дикой. Ну, что жъ такое? Кому своего добра не жалко! *(Глаша входитъ.)*

Глаша. Марѳа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйте!

Кабанова. Что жъ, кумъ, зайди! Закуси, чѣмъ Богъ послалъ!

Дикой. Пожалуй.

Кабанова. Милости просимъ! *(Пропускаетъ впередъ Дикого и уходитъ за нимъ. Глаша, сложа руки, стоитъ у воротъ.)*

Глаша. Никакъ Борисъ Григорьичъ идетъ. Ужъ не за дядей ли? Аль такъ гуляетъ? Должно, такъ гуляетъ. *(Входитъ Борисъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ III.

**Глаша, Борисъ,** *потомъ* **Кулигинъ.**

Борисъ. Не у васъ ли дядя?

Глаша. У насъ. Тебѣ нужно, что ль, его?

Борисъ. Послали изъ дому узнать, гдѣ онъ. А коли у васъ, такъ пусть сидитъ: кому его нужно. Дома-то рады-радехоньки, что ушелъ.

Глаша. Нашей бы хозяйкѣ за нимъ быть, она бъ его скоро прекратила. Что жъ я, дура, стою-то съ тобой! Прощай. *(Уходитъ.)*

Борисъ. Ахъ ты, Господи! Хоть бы однимъ глазкомъ взглянуть на нее! Въ домъ войти нельзя: здѣсь незваные не ходятъ. Вотъ жизнь-то! Живемъ въ одномъ городѣ, почти рядомъ, а увидишься разъ въ недѣлю и то въ церкви либо на дорогѣ, вотъ и все! Здѣсь что вышла замужъ, что схоронили—все равно. *(Молчаніе.)* Ужъ совсѣмъ бы мнѣ ее не видать, легче бы было! А то видишь урывками да еще при людяхъ; во сто глазъ на тебя смотрятъ. Только сердце надрывается. Да и съ собой-то не сладишь никакъ. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здѣсь, у воротъ. И зачѣмъ я хожу сюда? Видѣть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговоръ какой выйдетъ, ее-то въ бѣду введешь. Ну, попалъ я въ городокъ! *(Идетъ, ему навстрѣчу Кулигинъ.)*

Кулигинъ. Что, сударь? Гулять изволите?

Борисъ. Да, такъ гуляю себѣ, погода очень хороша нынче.

Кулигинъ. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздухъ отличный, изъ-за Волги, съ луговъ, цвѣтами пахнетъ, небо чистое...

Открылась бездна звѣздъ полна,
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ—дна.

Пойдемте, сударь, на бульваръ, ни души тамъ нѣтъ.

Борисъ. Пойдемте!

Кулигинъ. Вотъ какой, сударь, у насъ городишко! Бульваръ сдѣлали, а не гуляютъ. Гуляютъ только по праздникамъ, и то одинъ видъ дѣлаютъ, что гуляютъ, а сами ходятъ туда наряды показывать. Только пьянаго приказнаго и встрѣтишь, изъ трактира домой плетется. Бѣднымъ гулять, сударь, некогда, у нихъ день и ночь забота. И спятъ-то всего часа три въ сутки. А богатые-то что дѣлаютъ? Ну, что бы, кажется, имъ не гулять, не дышать свѣжимъ воздухомъ? Такъ нѣтъ. У всѣхъ давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены... Вы думаете, они дѣло дѣлаютъ либо Богу молятся. Нѣтъ, сударь! И не отъ воровъ они запираются, а чтобъ люди не видали, какъ они своихъ домашнихъ ѣдятъ поѣдомъ да семью тиранятъ. И что слезъ льется за этими запорами невидимыхъ и неслышимыхъ! Да что вамъ говорить, сударь! По себѣ можете судить. И что, сударь, за этими замками разврату темнаго да пьянаго! И все шито да крыто—никто ничего не видитъ и не знаетъ, видитъ одинъ только Богъ! Ты, говоритъ, смотри въ людяхъ меня да на улицѣ, а до семьи моей тебѣ дѣла нѣтъ; на это, говоритъ, у меня есть замки, да запоры, да собаки злыя. Семья, говоритъ, дѣло тайное, секретное! Знаемъ мы эти секреты-то! Отъ этихъ секретовъ-то, сударь, ему только одному весело, а остальные волкомъ воютъ. Да и что за секретъ? Кто его не знаетъ! Ограбить сиротъ, родственниковъ, племянниковъ, заколотить домашнихъ такъ, чтобы ни объ чемъ, что онъ тамъ творитъ, пикнуть не смѣли. Вотъ и весь секретъ. Ну, да Богъ съ ними! А знаете, сударь, кто у насъ гуляетъ? Молодые парни да дѣвушки. Такъ эти у сна воруютъ часикъ-другой, ну, и гуляютъ парочками. Да вотъ пара! *(Показываются Кудряшъ и Варвара. Цѣлуются.)*

Борисъ. Цѣлуются.

Кулигинъ. Это у насъ нужды нѣтъ. *(Кудряшъ уходитъ, а Варвара подходитъ къ своимъ воротамъ и манитъ Бориса. Онъ подходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ IV.

**Борисъ, Кулигинъ** *и* **Варвара**.

Кулигинъ. Я, сударь, на бульваръ пойду. Что вамъ мѣшать-то? Тамъ и подожду.

Борисъ. Хорошо, я сейчасъ приду. *(Кулигинъ уходитъ.)*

Варвара *(закрываясь платкомъ)*. Знаешь оврагъ за Кабановымъ садомъ?

Борисъ. Знаю.

Варвара. Приходи туда ужо попозже.

Борисъ. Зачѣмъ?

Варвара. Какой ты глупый! Приходи: тамъ увидишь зачѣмъ. Ну, ступай скорѣй, тебя дожидаются. *(Борисъ уходитъ.)* Не узналъ вѣдь! Пущай теперь подумаетъ. А ужотка я знаю, что Катерина не утерпитъ, выскочитъ. *(Уходитъ въ ворота.)*

———

**Сцена 2-я.**

Ночь. Оврагъ, покрытый кустами; наверху заборъ сада Кабановыхъ и калитка; сверху тропинка.

---

## ЯВЛЕНІЕ I.

Кудряшъ *(входитъ съ гитарой)*. Нѣтъ никого. Что жъ это она тамъ! Ну, посидимъ да подождемъ. *(Садится на камень.)* Да со скуки пѣсенку споемъ, *(Поетъ.)*

Какъ донской-то казакъ, казакъ велъ коня поить,
Добрый молодецъ, ужъ онъ у воротъ стоитъ,
У воротъ стоитъ, самъ онъ думу думаетъ,
Думу думаетъ, какъ будетъ жену губить.
Какъ жена-то, жена мужу возмолилася.
Во скоры-то ноги ему поклонилася:
Ужъ ты, батюшка, ты ли милъ сердечный другъ!
Ты не бей, не губи меня со вчера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моимъ малымъ дѣтушкамъ,
Малымъ дѣтушкамъ, всѣмъ ближнимъ сосѣдушкамъ.

*(Входитъ Борисъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ II.

**Кудряшъ** *и* **Борисъ.**

Кудряшъ *(перестаетъ пѣть)*. Ишь ты! Смиренъ, а тоже въ разгулъ пошелъ.

Борисъ. Кудряшъ, это ты?

Кудряшъ. Я, Борисъ Григорьичъ.

Борисъ. Зачѣмъ это ты здѣсь?

Кудряшъ. Я-то? Стало - быть, мнѣ нужно, Борисъ Григорьичъ, коли я здѣсь. Безъ надобности бъ не пошелъ. Васъ куда Богъ несетъ?

Борисъ *(оглядывая мѣстность)*. Вотъ что, Кудряшъ: мнѣ бы нужно здѣсь остаться, а тебѣ вѣдь, я думаю, все равно, ты можешь итти и въ другое мѣсто.

Кудряшъ. Нѣтъ, Борисъ Григорьичъ, вы, я вижу, здѣсь еще въ первый разъ, а у меня ужъ тутъ мѣсто насиженное, и дорожка-то мной протоптана. Я васъ люблю, сударь, и на всякую вамъ услугу готовъ; а на этой дорожкѣ вы со мной ночью не встрѣчайтесь, чтобы, сохрани Господи, грѣха какого не вышло. Уговоръ лучше денегъ.

Борисъ. Что съ тобой, Ваня?

Кудряшъ. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вотъ и все. Заведи себѣ самъ, да и гуляй себѣ съ ней, и никому до тебя дѣла нѣтъ. А чужихъ не трогай! У насъ такъ не водится, а то парни ноги переломаютъ. Я за свою... да я и не знаю, что сдѣлаю! Горло перерву!

Борисъ. Напрасно ты сердишься; у меня и на умѣ-то нѣтъ отбивать у тебя. Я бы и не пришелъ сюда, кабы мнѣ не велѣли.

Кудряшъ. Кто жъ велѣлъ?

Борисъ. Я не разобралъ, темно было. Дѣвушка какая-то остановила меня на улицѣ и сказала, чтобы я именно сюда пришелъ, сзади сада Кабановыхъ, гдѣ тропинка.

Кудряшъ. Кто жъ бы это такая?

Борисъ. Послушай, Кудряшъ. Можно съ тобой поговорить по душѣ, ты не разболтаешь?

Кудряшъ. Говорите, не бойтесь! У меня все одно, что умерло.

Борисъ. Я здѣсь ничего не знаю, ни порядковъ вашихъ ни обычаевъ; а дѣло-то такое...

Кудряшъ. Полюбили, что ль, кого?

Борисъ. Да, Кудряшъ.

Кудряшъ. Ну, что жъ, это ничего. У насъ насчетъ этого слободно. Дѣвки гуляютъ себѣ, какъ хотятъ, отцу съ матерью и дѣла нѣтъ. Только бабы взаперти сидятъ.

Борисъ. То-то и горе мое.

Кудряшъ. Такъ неужто жъ замужнюю полюбили?

Борисъ. Замужнюю, Кудряшъ.

Кудряшъ. Эхъ, Борисъ Григорьичъ, бросить надоть!

Борисъ. Легко сказать—бросить! Тебѣ это, можетъ-быть, все равно: ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого! Ужъ я коли полюбилъ...

Кудряшъ. Вѣдь это значитъ вы ее совсѣмъ загубить хотите, Борисъ Григорьичъ!

Борисъ. Сохрани, Господи! Сохрани меня, Господи! Нѣтъ, Кудряшъ, какъ можно! Захочу ли я ее погубить! Мнѣ только бы видѣть ее гдѣ-нибудь, мнѣ больше ничего не надо.

Кудряшъ. Какъ, сударь, за себя поручиться! А вѣдь здѣсь какой народъ! Сами знаете. Съѣдятъ, въ гробъ вколотятъ.

**Борисъ**. Ахъ, не говори этого, Кудряшъ! пожалуйста, не пугай ты меня!

**Кудряшъ**. А она-то васъ любитъ?

**Борисъ**. Не знаю.

**Кудряшъ**. Да вы видались когда аль нѣтъ?

**Борисъ**. Я одинъ разъ только и былъ у нихъ съ дядей. А то въ церкви вижу, на бульварѣ встрѣчаемся. Ахъ, Кудряшъ, какъ она молится, кабы ты посмотрѣлъ! Какая у ней на лицѣ улыбка ангельская, а отъ лица-то какъ-будто свѣтится.

**Кудряшъ**. Такъ это молодая Кабанова, что ль?

**Борисъ**. Она, Кудряшъ.

**Кудряшъ**. Да! Такъ вотъ что! Ну, честь имѣемъ проздравить!

**Борисъ**. Съ чѣмъ?

**Кудряшъ**. Да какъ же! Значитъ, у васъ дѣло на ладъ идетъ, коли сюда приходить велѣли.

**Борисъ**. Такъ неужто она велѣла?

**Кудряшъ**. А то кто же?

**Борисъ**. Нѣтъ, ты шутишь! Этого быть не можетъ. *(Хватается за голову.)*

**Кудряшъ**. Что съ вами?

**Борисъ**. Я съ ума сойду отъ радости.

**Кудряшъ**. Вота! Есть отъ чего съ ума сходить! Только вы смотрите, себѣ хлопотъ не надѣлайте, да и ее-то въ бѣду не введите! Положимъ, хоть у нея мужъ и дуракъ, да свекровь-то больно люта. *(Варвара выходитъ изъ калитки.)*

## ЯВЛЕНІЕ III.

**Тѣ же** *и* **Варвара**, *потомъ* **Катерина**.

**Варвара** *(у калитки, поетъ)*.

За рѣкой, за быстрою мой Ваня гуляетъ,
Тамъ мой Ванюша гуляетъ...

**Кудряшъ** *(продолжаетъ)*.

Товаръ закупаетъ. *(Свищетъ)*.

**Варвара** *(сходитъ по тропинкѣ и, закрывъ лицо платкомъ, подходитъ къ Борису)*. Ты, парень, подожди. Дождешься чего-нибудь. *(Кудряшу.)* Пойдемъ на Волгу.

**Кудряшъ**. Ты что жъ такъ долго? Ждать васъ еще! Знаешь, что не люблю! *(Варвара обнимаетъ его одною рукою и уходятъ.)*

**Борисъ**. Точно я сонъ какой вижу! Эта ночь, пѣсни, свиданія! Ходятъ обнявшись. Это такъ ново для меня, такъ хорошо, такъ весело! Вотъ я жду чего-то! А чего жду—и не знаю, и вообразить не могу; только бьется сердце да дрожитъ каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей, духъ захватываетъ, подгибаются колѣни! Вотъ пока у меня сердце глупое раскипится вдругъ, ничѣмъ не унять. Вотъ идетъ. *(Катерина тихо сходитъ по тропинкѣ, покрытая большимъ бѣлымъ платкомъ, потупивъ глаза въ землю. Молчаніе.)* Это вы, Катерина Петровна? *(Молчаніе.)* Ужъ какъ мнѣ благодарить васъ, я и не знаю. *(Молчаніе.)* Кабы вы знали, Катерина Петровна, какъ я люблю васъ! *(Хочетъ взять ее за руку.)*

**Катерина** *(съ испугомъ, но не подымая глазъ)*. Не трогай, не трогай меня! Ахъ, ахъ!

**Борисъ**. Не сердитесь!

**Катерина**. Поди отъ меня! Поди прочь, окаянный человѣкъ! Ты знаешь ли: вѣдь мнѣ не замолить этого грѣха, не замолить никогда! Вѣдь онъ камнемъ ляжетъ на душу, камнемъ.

**Борисъ**. Не гоните меня!

**Катерина**. Зачѣмъ ты пришелъ? Зачѣмъ ты пришелъ, погубитель мой? Вѣдь я замужемъ, вѣдь мнѣ съ мужемъ жить до гробовой доски...

**Борисъ**. Вы сами велѣли мнѣ прійти...

**Катерина**. Да пойми ты меня, врагъ ты мой: вѣдь до гробовой доски!

**Борисъ**. Лучше бъ мнѣ не видать васъ!

**Катерина** *(съ волненіемъ)*. Вѣдь что я себѣ готовлю! Гдѣ мнѣ мѣсто-то, знаешь ли?

**Борисъ**. Успокойтесь! *(Беретъ ее за руку.)* Сядьте!

**Катерина**. Зачѣмъ ты моей погибели хочешь?

**Борисъ**. Какъ же я могу хотѣть вашей погибели, когда я люблю васъ больше всего на свѣтѣ, больше самого себя!

**Катерина**. Нѣтъ, нѣтъ! Ты меня загубилъ!

**Борисъ**. Развѣ я злодѣй какой?

**Катерина** *(качая головой)*. Загубилъ, загубилъ, загубилъ!

**Борисъ**. Сохрани меня Богъ! Пусть лучше я самъ погибну!

**Катерина**. Ну, какъ же ты не загубилъ меня, коли я, бросивши домъ, ночью иду къ тебѣ.

Борисъ. Ваша воля была на то.

Катерина. Нѣтъ у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я къ тебѣ. *(Поднимаетъ глаза и смотритъ на Бориса. Небольшое молчаніе.)* Твоя теперь воля надо мной, развѣ ты не видишь! *(Кидается къ нему на шею.)*

Борисъ *(обнимаетъ Катерину)*. Жизнь моя!

Катерина. Знаешь что? Теперь мнѣ умереть вдругъ захотѣлось!

Борисъ. Зачѣмъ умирать, коли намъ жить такъ хорошо?

Катерина. Нѣтъ, мнѣ не жить! Ужъ я знаю, что не жить.

Борисъ. Не говори, пожалуйста, такихъ словъ, не печаль меня.

Катерина. Да, тебѣ хорошо, ты вольный казакъ, а я!..

Борисъ. Никто и не знаетъ про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалѣю!

Катерина. Э! Что меня жалѣть, никто не виноватъ—сама на то пошла. Не жалѣй, губи меня! Пусть всѣ знаютъ, пусть всѣ видятъ, что я дѣлаю! *(Обнимаетъ Бориса.)* Коли я для тебя грѣха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорятъ, даже легче бываетъ, когда за какой-нибудь грѣхъ здѣсь, на землѣ, натерпишься.

Борисъ. Ну, что объ этомъ думать, благо намъ теперь-то хорошо!

Катерина. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще успѣю на досугѣ.

Борисъ. А я было испугался; я думалъ, ты меня прогонишь.

Катерина *(улыбаясь)*. Прогнать! Гдѣ ужъ! Съ нашимъ ли сердцемъ! Кабы ты не пришелъ, такъ я, кажется, сама бы къ тебѣ пришла.

Борисъ. Я и не зналъ, что ты меня любишь.

Катерина. Давно люблю. Словно на грѣхъ ты къ намъ пріѣхалъ. Какъ увидѣла тебя, такъ ужъ не своя стала. Съ перваго же раза, кажется, кабы ты поманилъ меня, я бы и пошла за тобой; иди ты хоть на край свѣта, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы.

Борисъ. Надолго ль мужъ-то уѣхалъ?

Катерина. На двѣ недѣли.

Борисъ. О, такъ мы погуляемъ! Времени-то довольно.

Катерина. Погуляемъ. А тамъ... *(Задумывается.)* Какъ запрутъ на замокъ, вотъ смерть! А не запрутъ, такъ ужъ найду случай повидаться съ тобой! *(Входятъ Кудряшъ и Варвара.)*

## ЯВЛЕНІЕ IV.

**Тѣ же, Кудряшъ *и* Варвара.**

Варвара. Ну что, сладили? *(Катерина прячетъ лицо у Бориса на груди.)*

Борисъ. Сладили.

Варвара. Пошли бы, погуляли, а мы подождемъ. Когда нужно будетъ, Ваня крикнетъ. *(Борисъ и Катерина уходятъ. Кудряшъ и Варвара садятся на камень.)*

Кудряшъ. А это вы важную штуку придумали, въ садовую калитку лазить. Оно для нашего брата оченно способно.

Варвара. Все я.

Кудряшъ. Ужъ тебя взять на это. А мать-то не хватится?..

Варвара. Э! Куда ей! Ей и въ лобъ-то не влетитъ.

Кудряшъ. А ну, на грѣхъ?

Варвара. У нея первый сонъ крѣпокъ; вотъ къ утру, такъ просыпается.

Кудряшъ. Да, вѣдь, какъ знать! Вдругъ ее нелегкая подниметъ.

Варвара. Ну, такъ что жъ! У насъ калитка-то, которая со двора, изнутри заперта, изъ саду; постучитъ, постучитъ, да такъ и пойдетъ. А поутру мы скажемъ, что крѣпко спали, не слыхали. Да и Глаша стережетъ; чуть что, она сейчасъ голосъ подастъ. Безъ опаски нельзя! Какъ же можно! Того гляди, въ бѣду попадешь. *(Кудряшъ беретъ нѣсколько аккордовъ на гитарѣ. Варвара прилегаетъ къ плечу Кудряша, который, не обращая вниманія, тихо играетъ. Варвара зѣвая.)* Какъ бы это узнать, который часъ?

Кудряшъ. Первый.

Варвара. Почемъ ты знаешь?

Кудряшъ. Сторожъ въ доску билъ.

Варвара *(зѣвая)*. Пора. Покричи-ка! Завтра мы пораньше выдемъ, такъ побольше погуляемъ.

Кудряшъ *(свищетъ и громко запѣваетъ)*.

Всѣ домой, всѣ домой,
А я домой не хочу.

Борисъ *(за сценой)*. Слышу!

Варвара *(встаетъ)*. Ну, прощай! *(Зѣваетъ, потомъ цѣлуетъ холодно, какъ давно знакомаго.)* Завтра, смотрите, приходите пораньше! *(Смотритъ въ ту сторону, куда пошли Борисъ и Катерина.)* Будетъ вамъ прощаться-то, не навѣкъ разстаетесь, завтра увидитесь. *(Зѣваетъ и потягивается. Вбѣгаетъ Катерина, за ней Борисъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ V.

**Кудряшъ, Варвара, Борисъ** *и* **Катерина.**

Катерина. Ну, пойдемъ, пойдемъ! *(Всходятъ по тропинкѣ. Катерина оборачивается.)* Прощай!

Борисъ. До завтра.

Катерина. Да, до завтра! Что во снѣ увидишь, скажи! *(Подходитъ къ калиткѣ.)*

Борисъ. Непремѣнно.

Кудряшъ *(поетъ подъ гитару)*.

Гуляй, млада, до поры,
До вечерней до зари!
Ай, лели, до поры,
До вечерней до зари!

Варвара *(у калитки)*.

А я, млада, до поры,
До утренней до зари!
Ай, лели, до поры,
До утренней до зари! *(Уходитъ)*.

Кудряшъ.

Какъ зорюшка занялась,
А я домой поднялась, и т. д.

---

# ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

На первомъ планѣ узкая галлерея со сводами старинной, начинающей разрушаться, постройки; кой-гдѣ трава и кусты; за арками берегъ и видъ на Волгу.

---

## ЯВЛЕНІЕ I.

*Нѣсколько гуляющихъ обоего пола проходятъ за арками.*

1-й. Дождь накрапываетъ, какъ бы гроза не собралась?

2-й. Гляди, сберется.

1-й. Еще хорошо, что есть гдѣ схорониться. *(Входятъ всѣ подъ своды.)*

Женщина. А что народу-то гуляетъ на бульварѣ! День праздничный, всѣ повышли. Купчихи такія разряженныя.

1-й. Попрячутся куда-нибудь.

2-й. Гляди, что теперь народу сюда набьется!

1-й *(осматривая стѣны)*. А вѣдь тутъ, братецъ ты мой, когда-нибудь, значитъ, расписано было. И теперь еще мѣстами означаетъ.

2-й. Ну, да, какъ же! Само собой, что расписано было. Теперь, ишь ты, все впустѣ оставлено, развалилось, заросло. Послѣ пожару, такъ и не поправляли. Да ты и пожару-то этого не помнишь, этому лѣтъ сорокъ будетъ.

1-й. Что бы это такое, братецъ ты мой, тутъ нарисовано было; довольно затруднительно это понимать.

2-й. Это геенна огненная.

1-й. Такъ, братецъ ты мой!

2-й. И ѣдутъ туда всякаго званія люди.

1-й. Такъ, такъ, понялъ теперь.

2-й. И всякаго чину.

1-й. И арапы?

2-й. И арапы.

1-й. А это, братецъ ты мой, что такое?

2-й. А это Литовское разореніе. Битва! видишь? Какъ наши съ Литвой бились.

1-й. Что жъ это такое Литва?

2-й. Такъ она Литва и есть.

1-й. А говорятъ, братецъ ты мой, она на насъ съ неба упала.

2-й. Не умѣю тебѣ сказать. Съ неба, такъ съ неба.

Женщина. Толкуй еще! Всѣ знаютъ, что съ неба, и гдѣ былъ какой бой съ ней, тамъ для памяти курганы насыпаны.

1-й. А что, братецъ ты мой! Вѣдь это такъ точно. *(Входятъ Дикой и за нимъ Кулигинъ безъ шапки. Всѣ кланяются и принимаютъ почтительное положеніе.)*

## ЯВЛЕНІЕ II.

**Тѣ же, Дикой** *и* **Кулигинъ.**

Дикой. Ишь ты, замочило всего. *(Кулигину.)* Отстань ты отъ меня! Отстань! *(Съ сердцемъ.)* Глупый человѣкъ!

Кулигинъ. Савелъ Прокофьичъ, вѣдь отъ этого, ваше степенство, для всѣхъ вообще обывателей польза.

Дикой. Поди ты прочь! Какая польза! Кому нужна эта польза?

Кулигинъ. Да хоть бы для васъ, ваше степенство, Савелъ Прокофьичъ. Вотъ бы, сударь, на бульварѣ, на чистомъ мѣстѣ, и поставить. А какой расходъ? Расходъ пустой: столбикъ каменный *(показываетъ жестами размѣръ каждой вещи),* дощечку мѣдную, такую круглую, да шпильку, вотъ шпильку прямую *(показываетъ жестомъ),* простую самую. Ужъ я все это прилажу, и цифры вырѣжу уже всё самъ. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочіе которые гуляющіе, сейчасъ подойдете и видите, который часъ. А то этакое мѣсто прекрасное, и видъ и все, а какъ будто пусто. У насъ тоже, ваше степенство, и проѣзжіе бываютъ, ходятъ туда наши виды смотрѣть, все-таки украшеніе — для глазъ оно пріятнѣй.

Дикой. Да что ты ко мнѣ лѣзешь со всякимъ вздоромъ. Можетъ, я съ тобой и говорить-то не хочу. Ты долженъ былъ прежде узнать, въ расположеніи ли я тебя слушать, дурака, или нѣтъ. Что я тебѣ — ровный, что ли? Ишь ты, какое дѣло нашелъ важное! Такъ прямо съ рыломъ-то и лѣзетъ разговаривать.

Кулигинъ. Кабы я со своимъ дѣломъ лѣзъ, ну, тогда былъ бы я виноватъ. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну, что значитъ для общества какихъ-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.

Дикой. А можетъ, ты украсть хочешь; кто тебя знаетъ.

Кулигинъ. Коли я свои труды хочу даромъ положить, что же я могу украсть, ваше степенство? Да меня здѣсь всё знаютъ; про меня никто дурно не скажетъ.

Дикой. Ну, и пущай знаютъ, а я тебя знать не хочу.

Кулигинъ. За что, сударь, Савелъ Прокофьичъ, честнаго человѣка обижать изволите?

Дикой. Отчетъ, что ли, я стану тебѣ давать! Я и поважнѣй тебя никому отчета не даю. Хочу такъ думать о тебѣ, такъ и думаю. Для другихъ ты честный человѣкъ, а я думаю, что ты разбойникъ, вотъ и все. Хотѣлось тебѣ это слышать отъ меня? Такъ вотъ слушай! Говорю, что разбойникъ, и конецъ! Что жъ ты судиться, что ли, со мной будешь? Такъ ты знай, что ты—червякъ. Захочу помилую, захочу раздавлю.

Кулигинъ. Богъ съ вами, Савелъ Прокофьичъ! Я, сударь, маленькій человѣкъ, меня обидѣть не долго. А я вамъ вотъ что доложу, ваше степенство: «и въ рубищѣ почтенна добродѣтель!»

Дикой. Ты у меня грубить не смѣй! Слышишь ты!?

Кулигинъ. Никакой я грубости вамъ, сударь, не дѣлаю, а говорю вамъ потому, что, можетъ-быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сдѣлать. Силы у васъ, ваше степенство, много; была бъ только воля на доброе дѣло. Вотъ хоть бы теперь то возьмемъ: у насъ грозы частыя, а не заведемъ мы громовыхъ отводовъ.

Дикой *(гордо).* Все суета!

Кулигинъ. Да какая же суета, когда опыты были.

Дикой. Какіе такіе тамъ у тебя громовые отводы?

Кулигинъ. Стальные.

Дикой *(съ гнѣвомъ).* Ну, еще что?

Кулигинъ. Шесты стальные.

Дикой *(сердясь все болѣе и болѣе).* Слышалъ, что шесты, аспидъ ты этакой; да еще-то что? Наладилъ: шесты! Ну, а еще что?

Кулигинъ. Ничего больше.

Дикой. Да гроза-то что такое по-твоему? А? Ну, говори!

Кулигинъ. Электричество.

Дикой *(топнувъ ногой).* Какое еще тамъ елестричество! Ну, какъ же ты не разбойникъ! Гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что, ты татаринъ, что ли? Татаринъ ты? А, говори! Татаринъ?

Кулигинъ. Савелъ Прокофьичъ, ваше степенство, Державинъ сказалъ:

Я тѣломъ въ прахѣ истлѣваю,
Умомъ громамъ повелѣваю.

Дикой. А за эти вотъ слова тебя къ городничему отправить, такъ онъ тебѣ задастъ! Эй, почтенные! прислушайте-ка, что онъ говоритъ.

Кулигинъ. Нечего дѣлать, надо покориться! А вотъ, когда будетъ у меня милліонъ, тогда я поговорю. *(Махнувъ рукой, уходитъ.)*

Дикой. Что жъ, ты украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужиченко! Съ этимъ народомъ какому надо быть человѣку? Я ужъ не знаю. *(Обращаясь къ народу)*. Да вы, проклятые, хоть кого въ грѣхъ введете! Вотъ не хотѣлъ нынче сердиться, а онъ, какъ нарочно, разсердилъ-таки. Чтобъ ему провалиться! *(Сердито)*. Пересталъ, что ль, дождикъ-то?

1-й. Кажется, пересталъ.

Дикой. Кажется! А ты, дуракъ, сходи да посмотри. А то: кажется!

1-й *(выйдя изъ-подъ сводовъ)*. Пересталъ! *(Дикой уходитъ и всѣ за нимъ. Сцена нѣсколько времени пуста. Подъ своды быстро входитъ Варвара и, притаившись, высматриваетъ)*.

## ЯВЛЕНІЕ III.

**Варвара** *и потомъ* **Борисъ.**

Варвара. Кажется, онъ! *(Борисъ проходитъ въ глубинѣ сцены)*. Ссъ-ссъ! *(Борисъ оглядывается)*. Поди сюда. *(Манитъ рукой, Борисъ входитъ)*. Что намъ съ Катериной-то дѣлать? Скажи на милость!

Борисъ. А что?

Варвара. Бѣда, вѣдь, да и только. Мужъ пріѣхалъ, ты знаешь ли это? И не ждали его, а онъ пріѣхалъ.

Борисъ. Нѣтъ, я не зналъ.

Варвара. Она просто сама не своя сдѣлалась.

Борисъ. Видно, только я и пожилъ десять деньковъ, пока его не было. Ужъ теперь и не увидишь ее!

Варвара. Ахъ, ты какой! Да ты слушай! Дрожитъ вся, точно ее лихорадка бьетъ; блѣдная такая, мечется по дому, точно чего ищетъ. Глаза, какъ у помѣшанной! Давеча утромъ плакать принялась, такъ и рыдаетъ. Батюшки мои! что мнѣ съ ней дѣлать?

Борисъ. Да, можетъ-быть, пройдетъ это у нея!

Варвара. Ну, ужъ едва ли. На мужа не смѣетъ глазъ поднять. Маменька замѣчать это стала, ходитъ да все на нее косится, такъ змѣей и смотритъ; а она отъ этого еще хуже. Просто мука глядѣть-то на нее! Да и я боюсь.

Борисъ. Чего же ты боишься?

Варвара. Ты ее не знаешь! Она вѣдь чудная какая-то у насъ. Отъ нея все станется! Такихъ дѣлъ надѣлаетъ, что...

Борисъ. Ахъ, Боже мой! Что же дѣлать-то? Ты бы съ ней поговорила хорошенько. Неужли ужъ нельзя ее уговорить?

Варвара. Пробовала. И не слушаетъ ничего. Лучше и не подходи.

Борисъ. Ну, какъ же ты думаешь, что она можетъ сдѣлать?

Варвара. А вотъ что: бухнетъ мужу въ ноги, да и разскажетъ все. Вотъ чего я боюсь.

Борисъ *(съ испугомъ)*. Можетъ ли это быть!

Варвара. Отъ нея все можетъ быть.

Борисъ. Гдѣ она теперь?

Варвара. Сейчасъ съ мужемъ на бульваръ пошли, и маменька съ ними. Пройди и ты, коли хочешь. Да нѣтъ, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется. *(Вдали ударъ грома)*. Никакъ гроза? *(Выглядываетъ)*. Да и дождикъ. А вотъ и народъ повалилъ. Спрячься тамъ, гдѣ-нибудь, а я тутъ на виду стану, чтобы не подумали чего. *(Входятъ нѣсколько лицъ разнаго званія и пола)*.

## ЯВЛЕНІЕ IV.

**Разныя лица** *и потомъ* **Кабанова, Кабановъ, Катерина** *и* **Кулигинъ.**

1-й. Должно-быть, бабочка-то очень боится, что такъ торопится спрятаться.

Женщина. Да ужъ какъ ни прячься! Коли кому на роду написано, такъ никуда не уйдешь.

Катерина *(вбѣгая)*. Ахъ! Варвара! *(Хватаетъ ее за руку и держитъ крѣпко)*.

Варвара. Полно, что ты!

Катерина. Смерть моя!

Варвара. Да ты одумайся! Соберись съ мыслями!

Катерина. Нѣтъ! Не могу. Ничего не могу. У меня ужъ очень сердце болитъ.

Кабанова *(входя)*. То-то вотъ, надо жить-то такъ, чтобы всегда быть готовой ко всему; страху-то бы такого не было.

Кабановъ. Да какіе жъ, маменька, у нея грѣхи такіе могутъ быть особенные?

Все такіе же, какъ и у всѣхъ у насъ, а это такъ ужъ отъ природы боится.

Кабанова. А ты почемъ знаешь? Чужая душа потёмки.

Кабановъ *(шутя)*. Ужъ развѣ безъ меня что-нибудь, а при мнѣ, кажись, ничего не было.

Кабанова. Можетъ-быть, и безъ тебя.

Кабановъ *(шутя)*. Катя, кайся, братъ, лучше, коли въ чемъ грѣшна. Вѣдь отъ меня не скроешься: нѣтъ, шалишь! Все знаю.

Катерина *(смотритъ въ глаза Кабанову)*. Голубчикъ мой!

Варвара. Ну, что ты пристаешь! Развѣ не видишь, что ей безъ тебя тяжело. *(Борисъ выходитъ изъ толпы и раскланивается съ Кабановымъ).*

Катерина *(вскрикиваетъ)*. Ахъ!

Кабановъ. Что ты испугалась! Ты думала, чужой? Это знакомый! Дядюшка здоровъ ли?

Борисъ. Слава Богу!

Катерина *(Варварѣ)*. Чего ему еще надо отъ меня?.. Или ему мало этого, что я такъ мучаюсь. *(Приклоняясь къ Варварѣ, рыдаетъ.)*

Варвара *(громко, чтобы мать слышала)*. Мы съ ногъ сбились, не знаемъ, что дѣлать съ ней; а тутъ еще посторонніе лѣзутъ! *(Дѣлаетъ Борису знакъ, тотъ отходитъ къ самому выходу.)*

Кулигинъ *(выходитъ на середину, обращаясь къ толпѣ)*. Ну, чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цвѣточекъ радуется, а мы прячемся, боимся точно напасти какой! Гроза убьетъ! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У васъ все гроза! Сѣверное сіяніе загорится — любоваться бы надобно да дивиться премудрости: «съ полночныхъ странъ встаетъ заря!» А вы ужасаетесь да придумываете, къ войнѣ это или къ мору. Комета ли идетъ—не отвелъ бы глазъ! красота! звѣзды-то ужъ приглядѣлись, все однѣ и тѣ же, а это обновка; ну, смотрѣлъ бы да любовался! А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь васъ беретъ! Изо всего-то вы себѣ пугалъ надѣлали. Эхъ, народъ! Я вотъ не боюсь. Пойдемте, сударь!

Борисъ. Пойдемте! Здѣсь страшнѣе! *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ V.

**Тѣ же** *безъ* **Бориса** *и* **Кулигина.**

Кабанова. Ишь, какія рацеи развелъ! Есть что послушать, ужъ нечего сказать! Вотъ времена-то пришли, какіе-то учители появились. Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать!

Женщина. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, такъ и накрыло.

1-й. Эко, братецъ ты мой, точно клубкомъ туча-то вьется, ровно что въ ней тамъ живое ворочается. А такъ на насъ и ползетъ, такъ и ползетъ, какъ живая!

2-й. Ужъ ты помяни мое слово, что эта гроза даромъ не пройдетъ. Вѣрно тебѣ говорю: потому знаю. Либо ужъ убьетъ кого-нибудь, либо домъ сгоритъ; вотъ увидишь: потому смотри, какой цвѣтъ необнакновенный!

Катерина *(прислушиваясь)*. Что они говорятъ? Они говорятъ, что убьетъ кого-нибудь.

Кабановъ. Извѣстно, такъ городятъ, зря, что въ голову придетъ.

Кабанова. Ты не осуждай постарше себя! Они больше твоего знаютъ. У старыхъ людей на все примѣты есть. Старый человѣкъ на вѣтеръ слова не скажетъ.

Катерина *(мужу)*. Тиша, я знаю, кого убьетъ.

Варвара *(Катеринѣ тихо)*. Ты ужъ хоть молчи-то!

Кабановъ. Ты почемъ знаешь?

Катерина. Меня убьетъ. Молитесь тогда за меня. *(Входитъ барыня съ лакеями. Катерина съ крикомъ прячется.)*

## ЯВЛЕНІЕ VI.

**Тѣ же** *и* **барыня.**

Барыня. Что прячешься! Нечего прятаться! Видно, боишься: умирать-то не хочется! Пожить хочется! Какъ не хотѣться!—видишь, какая красавица! Ха-ха-ха! Красота! А ты молись Богу, чтобъ отнялъ красоту-то! Красота-то, вѣдь, погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вотъ тогда и радуйся красотѣ-то своей. Много, много народу въ грѣхъ введешь! Вертопрахи на поединки выходятъ, шпагами колютъ другъ друга. Весело!

Старики старые, благочестивые, объ смерти забываютъ, соблазняются на красоту-то! А кто отвѣчать будетъ? За все тебѣ отвѣчать придется. Въ омутъ лучше съ красотой-то! Да скорѣй, скорѣй! *(Катерина прячется.)* Куда прячешься, глупая! Отъ Бога-то не уйдешь! *(Ударъ грома.)* Всѣ въ огнѣ горѣть будете въ неугасимомъ! *(Уходитъ.)*

Катерина. Ахъ! Умираю!

Варвара. Что ты мучаешься-то, въ самомъ дѣлѣ! Стань къ сторонкѣ да помолись: легче будетъ.

Катерина *(подходитъ къ стѣнѣ и опускается на колѣни, потомъ быстро вскакиваетъ)*. Ахъ! Адъ! Адъ! Геенна огненная! *(Кабанова, Кабановъ и Варвара окружаютъ ее.)* Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпѣть! Матушка! Тихонъ! Грѣшна я передъ Богомъ и передъ вами! Не я ли клялась тебѣ, что не взгляну ни на кого безъ тебя! Помнишь, помнишь! А знаешь ли, что я, безпутная, безъ тебя дѣлала? Въ первую же ночь я ушла изъ дому...

Кабановъ *(растерявшись, въ слезахъ, дергаетъ ее за рукавъ)*. Не надо, не надо, не говори! Что ты! Матушка здѣсь!

Кабанова *(строго)*. Ну, ну, говори, коли ужъ начала.

Катерина. И всѣ-то десять ночей я гуляла... *(Рыдаетъ. Кабановъ хочетъ обнять ее.)*

Кабанова. Брось ее! Съ кѣмъ?

Варвара. Вретъ она, она сама не знаетъ, что говоритъ.

Кабанова. Молчи ты! Вонъ оно что! Ну, съ кѣмъ же?

Катерина. Съ Борисомъ Григорьичемъ. *(Ударъ грома.)* Ахъ! *(Падаетъ безъ чувствъ на руки мужа.)*

Кабанова. Что, сынокъ! Куда воля-то ведетъ! Говорила я, такъ ты слушать не хотѣлъ. Вотъ и дождался!

---

## ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

Декорація перваго дѣйствія. Сумерки.

### ЯВЛЕНІЕ I.

**Кулигинъ** *(сидитъ на лавочкѣ)*, **Кабановъ** *(идетъ по бульвару)*.

Кулигинъ *(поетъ)*.

Ночною темнотою покрылись небеса.
Всѣ люди для покою закрыли ужъ глаза, и проч.

*(Увидавъ Кабанова.)* Здравствуйте, сударь! Далеко ли изволите?

Кабановъ. Домой. Слышалъ, братецъ, дѣла-то наши? Вся, братецъ, семья въ разстройство пришла.

Кулигинъ. Слышалъ, слышалъ, сударь.

Кабановъ. Я въ Москву ѣздилъ, ты знаешь? На дорогу-то маменька читала, читала мнѣ наставленія-то, а я какъ выѣхалъ, такъ загулялъ. Ужъ очень радъ, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пилъ, и въ Москвѣ все пилъ, такъ это кучу, что на-поди! Такъ чтобы ужъ на цѣлый годъ отгуляться. Ни разу про домъ-то и не вспомнилъ. Да хоть бы и вспомнилъ-то, такъ мнѣ бы и въ умъ не пришло, что тутъ дѣлается. Слышалъ?

Кулигинъ. Слышалъ, сударь.

Кабановъ. Несчастный я теперь, братецъ, человѣкъ! Такъ ни за что я погибаю, ни за грошъ!

Кулигинъ. Маменька-то у васъ больно крута.

Кабановъ. Ну, да. Она-то всему и причина. А я за что погибаю, скажи ты мнѣ на милость? Я вотъ зашелъ къ Дикому, ну, выпили; думалъ—легче будетъ; нѣтъ, хуже, Кулигинъ! Ужъ что жена противъ меня сдѣлала! Ужъ хуже нельзя...

Кулигинъ. Мудреное дѣло, сударь. Мудрено васъ судить.

Кабановъ. Нѣтъ, постой! Ужъ на что еще хуже этого. Убить ее за это мало. Вотъ маменька говоритъ: ее надо живую въ землю закопать, чтобъ она казнилась! А я ее люблю, мнѣ ее жаль пальцемъ тронуть. Побилъ немножко, да и то маменька приказала. Жаль мнѣ смотрѣть-то на нее, пойми ты это, Кулигинъ. Маменька ее поѣдомъ ѣстъ, а она, какъ тѣнь какая, ходитъ безотвѣтная. Только плачетъ да таетъ, какъ воскъ. Вотъ я и убиваюсь, глядя на нее.

Кулигинъ. Какъ бы нибудь, сударь, ладкомъ дѣло-то сдѣлать! Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то, чай, тоже не безъ грѣха!

Кабановъ. Ужъ что говорить!

Кулигинъ. Да ужъ такъ, чтобы и подъ пьяную руку не попрекать! Она бы вамъ, сударь, была хорошая жена; гляди—лучше всякой.

Кабановъ. Да пойми ты, Кулигинъ: я-то бы ничего, а маменька-то... развѣ съ ней сговоришь!..

Кулигинъ. Пора бы ужъ вамъ, сударь, своимъ умомъ жить.

Кабановъ. Что жъ, мнѣ разорваться, что ли! Нѣтъ, говорятъ, своего-то ума. И, значитъ, живи вѣкъ чужимъ. Я вотъ возьму да послѣдній-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со мной, какъ съ дуракомъ, и няньчится.

Кулигинъ. Эхъ, сударь! Дѣла, дѣла! Ну, а Борисъ-то Григорьевичъ, сударь, что?

Кабановъ. А его, подлеца, въ Кяхту, къ китайцамъ. Дядя къ знакомому купцу какому-то посылаетъ туда въ контору. На три года его туды.

Кулигинъ. Ну, что же онъ, сударь?

Кабановъ. Мечется тоже; плачетъ. Накинулись мы давеча на него съ дядей, ужъ ругали, ругали—молчитъ. Точно дикій какой сдѣлался. Со мной, говоритъ, что хотите, дѣлайте, только ее не мучьте! И онъ къ ней тоже жалость имѣетъ.

Кулигинъ. Хорошій онъ человѣкъ, сударь.

Кабановъ. Собрался совсѣмъ, и лошади ужъ готовы. Такъ тоскуетъ, бѣда! Ужъ я вижу, что ему проститься хочется. Ну, да мало ли чего! Будетъ съ него. Врагъ вѣдь мнѣ, Кулигинъ! Расказнить его надобно на части, чтобы зналъ...

Кулигинъ. Врагамъ-то прощать надо, сударь!

Кабановъ. Поди-ка, поговори съ маменькой, что она тебѣ на это скажетъ. Такъ, братецъ Кулигинъ, все наше семейство теперь врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги другъ другу. Варвару маменька точила, точила; а та не стерпѣла, да и была такова—взяла, да и ушла.

Кулигинъ. Куда ушла?

Кабановъ. Кто ее знаетъ. Говорятъ, съ Кудряшомъ съ Ванькой убѣжала, и того также нигдѣ не найдутъ. Ужъ это, Кулигинъ, надо прямо сказать, что отъ маменьки; потому стала ее тиранить и на замокъ запирать. «Не запирайте, говоритъ, хуже будетъ!» Вотъ такъ и вышло. Что жъ мнѣ теперь дѣлать, скажи ты мнѣ! Научи ты меня, какъ мнѣ жить теперь! Домъ мнѣ опостылѣлъ, людей совѣстно, за дѣло возьмусь—руки отваливаются. Вотъ теперь домой иду: на радость, что ль, иду? *(Входитъ Глаша.)*

Глаша. Тихонъ Иванычъ, батюшка!

Кабановъ. Что еще?

Глаша. Дома у насъ нездорово, батюшка!

Кабановъ. Господи! Такъ ужъ одно къ одному! Говори, что тамъ такое?

Глаша. Да хозяюшка ваша...

Кабановъ. Ну, что жъ? Умерла, что ль?

Глаша. Нѣтъ, батюшка; ушла куда-то, не найдемъ нигдѣ. Сбились съ ногъ, искамши.

Кабановъ. Кулигинъ! надо, братъ, бѣжать, искать ее. Я, братецъ, знаешь, чего боюсь? Какъ бы она съ тоски-то на себя руки не наложила! Ужъ такъ тоскуетъ, такъ тоскуетъ, что ахъ! На нее-то глядя, сердце рвется. Чего жъ вы смотрѣли-то? Давно ль она ушла-то?

Глаша. Недавнушка, батюшка! Ужъ нашъ грѣхъ, не доглядѣли. Да и то сказать: на всякой часъ не остережешься.

Кабановъ. Ну, что стоишь-то, бѣги! *(Глаша уходитъ.)* И мы пойдемъ, Кулигинъ! *(Уходятъ. Сцена нѣсколько времени пуста. Съ противоположной стороны выходитъ Катерина и тихо идетъ по сценѣ.)*

## ЯВЛЕНІЕ II.

Катерина *(одна)* [1]. Нѣтъ, нигдѣ нѣтъ! Что-то онъ теперь, бѣдный, дѣлаетъ? Мнѣ только проститься съ нимъ, а тамъ... а тамъ хоть умирать. За что я его въ бѣду ввела? Вѣдь мнѣ не легче отъ того! Погибать бы мнѣ одной! А то себя погубила, его погубила, себѣ безчестье—ему вѣчный покоръ! Да! Себѣ безчестье—ему вѣчный покоръ. *(Молчаніе).* Вспомнить бы мнѣ, что онъ говорилъ-то? Какъ онъ жалѣлъ-то меня? Какія слова-то говорилъ? *(Беретъ себя за голову.)* Не помню, все забыла. Ночи, ночи мнѣ тяжелы! Всѣ пойдутъ спать, и я пойду; всѣмъ ничего, а мнѣ, какъ въ могилу. Такъ страшно въ потемкахъ! Шумъ какой-то сдѣлается, и поютъ, точно кого хоронятъ; только такъ тихо, чуть слышно, далеко - далеко отъ меня... Свѣту-то такъ рада сдѣлаешься! А вставать не хочется, опять тѣ же люди,

[1] Весь монологъ и всѣ слѣдующія сцены говоритъ, растягивая и повторяя слова, задумчиво и какъ будто въ забытьи.

тѣ же разговоры, та же мука. Зачѣмъ они такъ смотрятъ на меня? Отчего это нынче не убиваютъ? Зачѣмъ такъ сдѣлали? Прежде, говорятъ, убивали. Взяли бы, да и бросили меня въ Волгу; я бы рада была. «Казнить-то тебя, говорятъ, такъ съ тебя грѣхъ снимется, а ты живи да мучайся своимъ грѣхомъ». Да ужъ измучилась я! Долго ль еще мнѣ мучиться!.. Для чего мнѣ теперь жить, ну, для чего? Ничего мнѣ не надо, ничего мнѣ не мило, и свѣтъ Божій не милъ! А смерть не приходитъ. Ты ее кличешь, а она не приходитъ. Что ни увижу, что ни услышу, только тутъ *(показывая на сердце)* больно. Еще кабы съ нимъ жить, можетъ-быть, радость бы какую-нибудь я и видѣла... Что жъ: ужъ все равно, ужъ душу свою я вѣдь погубила. Какъ мнѣ по немъ скучно! Ахъ, какъ мнѣ по немъ скучно! Ужъ коли не вижу я тебя, такъ хоть услышь ты меня издали! Вѣтры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мнѣ, скучно! *(Подходитъ къ берегу и громко во весь голосъ.)* Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись! *(Плачетъ. Входитъ Борисъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ III.

**Катерина** *и* **Борисъ**.

Борисъ *(не видя Катерины)*. Боже мой! Вѣдь это ея голосъ! Гдѣ же она? *(Оглядывается.)*

Катерина *(подбѣгаетъ къ нему и падаетъ на шею)*. Увидала-таки я тебя! *(Плачетъ на груди у него. Молчаніе.)*

Борисъ. Ну, вотъ и поплакали вмѣстѣ, привелъ Богъ.

Катерина. Ты не забылъ меня?

Борисъ. Какъ забыть, что ты!

Катерина. Ахъ, нѣтъ, не то, не то! ты не сердишься?

Борисъ. За что мнѣ сердиться?

Катерина. Ну, прости меня! Не хотѣла я тебѣ зла сдѣлать; да въ себѣ не вольна была. Что говорила, что дѣлала, себя не помнила.

Борисъ. Полно, что ты! что ты!

Катерина. Ну, какъ же ты? Теперь-то ты какъ?

Борисъ. Ѣду.

Катерина. Куда ѣдешь?

Борисъ. Далеко, Катя, въ Сибирь.

Катерина. Возьми меня съ собой отсюда!

Борисъ. Нельзя мнѣ, Катя. Не по своей я волѣ ѣду: дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы; я только отпросился у дяди на минуточку, хотѣлъ хоть съ мѣстомъ-то тѣмъ проститься, гдѣ мы съ тобой видѣлись.

Катерина. Поѣзжай съ Богомъ! Не тужи обо мнѣ. Сначала только развѣ скучно будетъ тебѣ, бѣдному, а тамъ и позабудешь.

Борисъ. Что обо мнѣ-то толковать! Я — вольная птица. Ты-то какъ? Что свекровь-то?

Катерина. Мучаетъ меня, запираетъ. Всѣмъ говоритъ и мужу говоритъ: «не вѣрьте ей, она хитрая». Всѣ и ходятъ за мной цѣлый день и смѣются мнѣ прямо въ глаза. На каждомъ словѣ все тобой попрекаютъ.

Борисъ. А мужъ-то?

Катерина. То ласковъ, то сердится да пьетъ все. Да постылъ онъ мнѣ, постылъ, ласка-то его мнѣ хуже побоевъ.

Борисъ. Тяжело тебѣ, Катя?

Катерина. Ужъ такъ тяжело, такъ тяжело, что умереть легче!

Борисъ. Кто жъ это зналъ, что намъ за любовь нашу такъ мучиться съ тобой! Лучше бъ бѣжать мнѣ тогда!

Катерина. На бѣду я увидѣла тебя. Радости видѣла мало, горя-то, горя-то что! Да еще впереди-то сколько! Ну, да что думать о томъ, что будетъ! Вотъ я теперь тебя видѣла, этого они у меня не отымутъ; а больше мнѣ ничего не надо. Только вѣдь мнѣ и нужно было увидать тебя. Вотъ мнѣ теперь гораздо легче сдѣлалось; точно гора съ плечъ свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня...

Борисъ. Что ты, что ты!

Катерина. Да нѣтъ, все не то я говорю, не то я хотѣла сказать! Скучно мнѣ было по тебѣ, вотъ что; ну, вотъ я тебя увидала...

Борисъ. Не застали бъ насъ здѣсь!

Катерина. Постой, постой! Что-то я тебѣ хотѣла сказать! вотъ забыла! Что-то нужно было сказать! Въ головѣ-то все путается, не вспомню ничего.

Борисъ. Время мнѣ, Катя!

Катерина. Погоди, погоди!

Борисъ. Ну, что же ты сказать-то хотѣла?

Катерина. Сейчасъ скажу. *(Подумавъ.)* Да! Поѣдешь ты дорогой, ни одного ты нищаго такъ не пропускай, всякому подай да прикажи, чтобъ молились за мою грѣшную душу.

Борисъ. Ахъ, кабы знали эти люди, каково мнѣ прощаться съ тобой! Боже мой! Дай Богъ, чтобъ имъ когда-нибудь такъ же сладко было, какъ мнѣ теперь. Прощай, Катя! *(Обнимаетъ ее и хочетъ уйти.)* Злодѣи вы! Изверги! Эхъ, кабы сила!

Катерина. Постой, постой! Дай мнѣ поглядѣть на тебя въ послѣдній разъ. *(Смотритъ ему въ глаза.)* Ну, будетъ съ меня! Теперь Богъ съ тобой, поѣзжай. Ступай, скорѣе ступай!

Борисъ *(отходитъ нѣсколько шаговъ и останавливается)*. Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавши о тебѣ.

Катерина. Ничего, ничего! Поѣзжай съ Богомъ! *(Борисъ хочетъ подойти къ ней.)* Не надо, не надо, довольно.

Борисъ *(рыдая)*. Ну, Богъ съ тобой! Только одного и надо у Бога просить, чтобъ она умерла поскорѣе, чтобы ей не мучиться долго! Прощай! *(Кланяется.)*

Катерина. Прощай! *(Борисъ уходитъ. Катерина провожаетъ его глазами и стоитъ нѣсколько времени задумавшись.)*

## ЯВЛЕНІЕ IV.

Катерина *(одна)*. Куда теперь? Домой итти? Нѣтъ, мнѣ что домой, что въ могилу—все равно. Да, что домой, что въ могилу!.. что въ могилу! Въ могилѣ лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо!.. Солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочитъ... весной на ней травка выростетъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ пѣть, дѣтей выведутъ, цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе *(задумывается)*, всякіе... Такъ тихо! такъ хорошо! Мнѣ какъ будто легче! А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ, не надо... не хорошо! И люди мнѣ противны, и домъ мнѣ противенъ, и стѣны противны! Не пойду туда! Нѣтъ, нѣтъ, не пойду! Придешь къ нимъ, они ходятъ, говорятъ, а на что мнѣ это? Ахъ, темно стало! И опять поютъ гдѣ-то! Что поютъ? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поютъ? Все равно, что смертъ придетъ, что сама... а жить нельзя! Грѣхъ! Молиться не будутъ? Кто любитъ, тотъ будетъ молиться... Руки крестъ-накрестъ складываютъ... въ гробу! Да, такъ... я вспомнила. А поймаютъ меня, да воротятъ домой насильно... Ахъ, скорѣй, скорѣй! *(Подходитъ къ берегу. Громко.)* Другъ мой! Радость моя! Прощай! *(Уходитъ. Входятъ Кабанова, Кабановъ, Кулигинъ и работникъ съ фонаремъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ V.

**Кабанова, Кабановъ** *и* **Кулигинъ.**

Кулигинъ. Говорятъ, здѣсь видѣли.

Кабановъ. Да это вѣрно?

Кулигинъ. Прямо на нее говорятъ.

Ну, слава Богу, хоть живую видѣли-то.

Кабанова. А ты ужъ испугался, расплакался! Есть о чемъ. Не безпокойся: еще долго намъ съ ней маяться будетъ.

Кабановъ. Кто жъ это зналъ, что она сюда пойдетъ! Мѣсто такое людное. Кому въ голову придетъ здѣсь прятаться.

Кабанова. Видишь, что она дѣлаетъ! Вотъ какое зелье! Какъ она характеръ-то свой хочетъ выдержать! *(Съ разныхъ сторонъ собирается народъ съ фонарями.)*

Одинъ изъ народа. Что, нашли?

Кабанова. То-то что нѣтъ. Точно провалилась куда.

Нѣсколько голосовъ. Эка притча! Вотъ оказія-то! И куда бъ ей дѣться!

Одинъ изъ народа. Да найдется!

Другой. Какъ не найтись!

Третій. Гляди, сама придетъ. *(Голосъ за сценой: „Эй, лодку!“)*

Кулигинъ *(съ берега)*. Кто кричитъ? Что тамъ? *(Голосъ: «Женщина въ воду бросилась!» Кулигинъ и за нимъ нѣсколько человѣкъ убѣгаютъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ VI.

**Тѣ же** *безъ* **Кулигина.**

Кабановъ. Батюшки, она вѣдь это! *(Хочетъ бѣжать. Кабанова удерживаетъ его за руку.)* Маменька, пустите,

смерть моя! я ее вытащу! а то такъ и самъ... Что мнѣ безъ нея!

Кабанова. Не пущу, и не думай! Изъ-за нея да себя губить, стоитъ ли она того! Мало намъ она страму-то надѣлала, еще что затѣяла!

Кабановъ. Пустите!

Кабанова. Безъ тебя есть кому. Прокляну, если пойдешь.

Кабановъ *(падая на колѣни)*. Хоть взглянуть-то мнѣ на нее!

Кабанова. Вытащатъ—взглянешь.

Кабановъ *(встаетъ. Къ народу)*. Что, голубчики, не видать ли чего?

1-й. Темно внизу-то, не видать ничего. *(Шумъ за сценой.)*

2-й. Словно кричатъ что-то, да ничего не разберешь.

1-й. Да это Кулигина голосъ.

2-й. Вонъ съ фонаремъ по берегу ходятъ.

1-й. Сюда идутъ. Вонъ и ее несутъ. *(Нѣсколько народу возвращается.)*

Одинъ изъ возвратившихся. Молодецъ Кулигинъ! Тутъ близехонько, въ омуточкѣ, у берега: съ огнемъ-то оно въ воду-то далеко видно; онъ платье и увидалъ, и вытащилъ ее.

Кабановъ. Жива?

Другой. Гдѣ ужъ жива! Высоко бросилась-то: тутъ обрывъ, да, должно-быть, на якорь попала, ушиблась бѣдная! А точно, ребята, какъ живая! Только на вискѣ маленькая ранка и одна только, какъ есть одна, капелька крови. *(Кабановъ бросается бѣжать; навстрѣчу ему Кулигинъ съ народомъ несутъ Катерину.)*

### ЯВЛЕНІЕ VII.

**Тѣ же *и* Кулигинъ.**

Кулигинъ. Вотъ вамъ ваша Катерина. Дѣлайте съ ней, что хотите! Тѣло ея здѣсь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь передъ Судіей, Который милосерднѣе васъ! *(Кладетъ на землю и убѣгаетъ.)*

Кабановъ *(бросается къ Катеринѣ)*. Катя! Катя!

Кабанова. Полно! Объ ней и плакать-то грѣхъ!

Кабановъ. Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы...

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забылъ съ кѣмъ говоришь!

Кабановъ. Вы ее погубили! Вы! вы!

Кабанова *(сыну)*. Ну, я съ тобой дома поговорю. *(Низко кланяется народу.)* Спасибо вамъ, люди добрые, за вашу услугу! *(Всѣ кланяются.)*

Кабановъ. Хорошо тебѣ, Катя! А я-то зачѣмъ остался жить на свѣтѣ да мучиться! *(Падаетъ на трупъ жены.)*

1860 г.

Кулигинъ. Пора бы ужъ вамъ, сударь, своимъ умомъ жить.

Кабановъ. Что жъ, мнѣ разорваться, что ли! Нѣтъ, говорятъ, своего-то ума. И, значитъ, живи вѣкъ чужимъ. Я вотъ возьму да послѣдній-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со мной, какъ съ дуракомъ, и няньчится.

Кулигинъ. Эхъ, сударь! Дѣла, дѣла! Ну, а Борисъ-то Григорьевичъ, сударь, что?

Кабановъ. А его, подлеца, въ Кяхту, къ китайцамъ. Дядя къ знакомому купцу какому-то посылаетъ туда въ контору. На три года его туды.

Кулигинъ. Ну, что же онъ, сударь?

Кабановъ. Мечется тоже; плачетъ. Накинулись мы давеча на него съ дядей, ужъ ругали, ругали—молчитъ. Точно дикій какой сдѣлался. Со мной, говоритъ, что хотите, дѣлайте, только ее не мучьте! И онъ къ ней тоже жалость имѣетъ.

Кулигинъ. Хорошій онъ человѣкъ, сударь.

Кабановъ. Собрался совсѣмъ, и лошади ужъ готовы. Такъ тоскуетъ, бѣда! Ужъ я вижу, что ему проститься хочется. Ну, да мало ли чего! Будетъ съ него. Врагъ вѣдь мнѣ, Кулигинъ! Расказнить его надобно на части, чтобы зналъ...

Кулигинъ. Врагамъ-то прощать надо, сударь!

Кабановъ. Поди-ка, поговори съ маменькой, что она тебѣ на это скажетъ. Такъ, братецъ Кулигинъ, все наше семейство теперь врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги другъ другу. Варвару маменька точила, точила; а та не стерпѣла, да и была такова—взяла, да и ушла.

Кулигинъ. Куда ушла?

Кабановъ. Кто ее знаетъ. Говорятъ, съ Кудряшомъ съ Ванькой убѣжала, и того также нигдѣ не найдутъ. Ужъ это, Кулигинъ, надо прямо сказать, что отъ маменьки; потому стала ее тиранить и на замокъ запирать. «Не запирайте, говоритъ, хуже будетъ!» Вотъ такъ и вышло. Что жъ мнѣ теперь дѣлать, скажи ты мнѣ! Научи ты меня, какъ мнѣ жить теперь! Домъ мнѣ опостылѣлъ, людей совѣстно, за дѣло возьмусь—руки отваливаются. Вотъ теперь домой иду: на радость, что ль, иду? *(Входитъ Глаша.)*

Глаша. Тихонъ Иванычъ, батюшка!

Кабановъ. Что еще?

Глаша. Дома у насъ нездорово, батюшка!

Кабановъ. Господи! Такъ ужъ одно къ одному! Говори, что тамъ такое?

Глаша. Да хозяюшка ваша...

Кабановъ. Ну, что жъ? Умерла, что ль?

Глаша. Нѣтъ, батюшка; ушла куда-то, не найдемъ нигдѣ. Сбились съ ногъ, искамши.

Кабановъ. Кулигинъ! надо, братъ, бѣжать, искать ее. Я, братецъ, знаешь, чего боюсь? Какъ бы она съ тоски-то на себя руки не наложила! Ужъ такъ тоскуетъ, такъ тоскуетъ, что ахъ! На нее-то глядя, сердце рвется. Чего жъ вы смотрѣли-то? Давно ль она ушла-то?

Глаша. Недавнушка, батюшка! Ужъ нашъ грѣхъ, не доглядѣли. Да и то сказать: на всякой часъ не остережешься.

Кабановъ. Ну, что стоишь-то, бѣги! *(Глаша уходитъ.)* И мы пойдемъ, Кулигинъ! *(Уходятъ. Сцена нѣсколько времени пуста. Съ противоположной стороны выходитъ Катерина и тихо идетъ по сценѣ.)*

## ЯВЛЕНІЕ II.

Катерина *(одна)* [1]. Нѣтъ, нигдѣ нѣтъ! Что-то онъ теперь, бѣдный, дѣлаетъ? Мнѣ только проститься съ нимъ, а тамъ... а тамъ хоть умирать. За что я его въ бѣду ввела? Вѣдь мнѣ не легче отъ того! Погибать бы мнѣ одной! А то себя погубила, его погубила, себѣ безчестье—ему вѣчный покоръ! Да! Себѣ безчестье—ему вѣчный покоръ. *(Молчаніе).* Вспомнить бы мнѣ, что онъ говорилъ-то? Какъ онъ жалѣлъ-то меня? Какія слова-то говорилъ? *(Беретъ себя за голову.)* Не помню, все забыла. Ночи, ночи мнѣ тяжелы! Всѣ пойдутъ спать, и я пойду; всѣмъ ничего, а мнѣ, какъ въ могилу. Такъ страшно въ потемкахъ! Шумъ какой-то сдѣлается, и поютъ, точно кого хоронятъ; только такъ тихо, чуть слышно, далеко-далеко отъ меня... Свѣту-то такъ рада сдѣлаешься! А вставать не хочется, опять тѣ же люди,

---

[1] Весь монологъ и всѣ слѣдующія сцены говоритъ, растягивая и повторяя слова, задумчиво и какъ будто въ забытьи.

тѣ же разговоры, та же мука. Зачѣмъ они такъ смотрятъ на меня? Отчего это нынче не убиваютъ? Зачѣмъ такъ сдѣлали? Прежде, говорятъ, убивали. Взяли бы, да и бросили меня въ Волгу; я бы рада была. «Казнить-то тебя, говорятъ, такъ съ тебя грѣхъ снимется, а ты живи да мучайся своимъ грѣхомъ». Да ужъ измучилась я! Долго ль еще мнѣ мучиться!.. Для чего мнѣ теперь жить, ну, для чего? Ничего мнѣ не надо, ничего мнѣ не мило, и свѣтъ Божій не милъ! А смерть не приходитъ. Ты ее кличешь, а она не приходитъ. Что ни увижу, что ни услышу, только тутъ *(показывая на сердце)* больно. Еще кабы съ нимъ жить, можетъ-быть, радость бы какую-нибудь я и видѣла... Что жъ: ужъ все равно, ужъ душу свою я вѣдь погубила. Какъ мнѣ по немъ скучно! Ахъ, какъ мнѣ по немъ скучно! Ужъ коли не вижу я тебя, такъ хоть услышь ты меня издали! Вѣтры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мнѣ, скучно! *(Подходитъ къ берегу и громко во весь голосъ.)* Радость моя, жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись! *(Плачетъ. Входитъ Борисъ.)*

### ЯВЛЕНІЕ III.

**Катерина** *и* **Борисъ**.

Борисъ *(не видя Катерины)*. Боже мой! Вѣдь это ея голосъ! Гдѣ же она? *(Оглядывается.)*

Катерина *(подбѣгаетъ къ нему и падаетъ на шею)*. Увидала-таки я тебя! *(Плачетъ на груди у него. Молчаніе.)*

Борисъ. Ну, вотъ и поплакали вмѣстѣ, привелъ Богъ.

Катерина. Ты не забылъ меня?

Борисъ. Какъ забыть, что ты!

Катерина. Ахъ, нѣтъ, не то, не то! ты не сердишься?

Борисъ. За что мнѣ сердиться?

Катерина. Ну, прости меня! Не хотѣла я тебѣ зла сдѣлать; да въ себѣ не вольна была. Что говорила, что дѣлала, себя не помнила.

Борисъ. Полно, что ты! что ты!

Катерина. Ну, какъ же ты? Теперь-то ты какъ?

Борисъ. Ѣду.

Катерина. Куда ѣдешь?

Борисъ. Далеко, Катя, въ Сибирь.

Катерина. Возьми меня съ собой отсюда!

Борисъ. Нельзя мнѣ, Катя. Не по своей я волѣ ѣду: дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы; я только отпросился у дяди на минуточку, хотѣлъ хоть съ мѣстомъ-то тѣмъ проститься, гдѣ мы съ тобой видѣлись.

Катерина. Поѣзжай съ Богомъ! Не тужи обо мнѣ. Сначала только развѣ скучно будетъ тебѣ, бѣдному, а тамъ и позабудешь.

Борисъ. Что обо мнѣ-то толковать! Я — вольная птица. Ты-то какъ? Что свекровь-то?

Катерина. Мучаетъ меня, запираетъ. Всѣмъ говоритъ и мужу говоритъ: «не вѣрьте ей, она хитрая». Всѣ и ходятъ за мной цѣлый день и смѣются мнѣ прямо въ глаза. На каждомъ словѣ все тобой попрекаютъ.

Борисъ. А мужъ-то?

Катерина. То ласковъ, то сердится да пьетъ все. Да постылъ онъ мнѣ, постылъ, ласка-то его мнѣ хуже побоевъ.

Борисъ. Тяжело тебѣ, Катя?

Катерина. Ужъ такъ тяжело, такъ тяжело, что умереть легче!

Борисъ. Кто жъ это зналъ, что намъ за любовь нашу такъ мучиться съ тобой! Лучше бъ бѣжать мнѣ тогда!

Катерина. На бѣду я увидѣла тебя. Радости видѣла мало, горя-то, горя-то что! Да еще впереди-то сколько! Ну, да что думать о томъ, что будетъ! Вотъ я теперь тебя видѣла, этого они у меня не отымутъ; а больше мнѣ ничего не надо. Только вѣдь мнѣ и нужно было увидать тебя. Вотъ мнѣ теперь гораздо легче сдѣлалось; точно гора съ плечъ свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня...

Борисъ. Что ты, что ты!

Катерина. Да нѣтъ, все не то я говорю, не то я хотѣла сказать! Скучно мнѣ было по тебѣ, вотъ что; ну, вотъ я тебя увидала...

Борисъ. Не застали бъ насъ здѣсь!

Катерина. Постой, постой! Что-то я тебѣ хотѣла сказать! вотъ забыла! Что-то нужно было сказать! Въ головѣ-то все путается, не вспомню ничего.

Борисъ. Время мнѣ, Катя!

Катерина. Погоди, погоди!

Борисъ. Ну, что же ты сказать-то хотѣла?

Катерина. Сейчасъ скажу. *(Подумавъ.)* Да! Поѣдешь ты дорогой, ни одного ты нищаго такъ не пропускай, всякому подай да прикажи, чтобъ молились за мою грѣшную душу.

Борисъ. Ахъ, кабы знали эти люди, каково мнѣ прощаться съ тобой! Боже мой! Дай Богъ, чтобъ имъ когда-нибудь такъ же сладко было, какъ мнѣ теперь. Прощай, Катя! *(Обнимаетъ ее и хочетъ уйти.)* Злодѣи вы! Изверги! Эхъ, кабы сила!

Катерина. Постой, постой! Дай мнѣ поглядѣть на тебя въ послѣдній разъ. *(Смотритъ ему въ глаза.)* Ну, будетъ съ меня! Теперь Богъ съ тобой, поѣзжай. Ступай, скорѣе ступай!

Борисъ *(отходитъ нѣсколько шаговъ и останавливается)*. Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавши о тебѣ.

Катерина. Ничего, ничего! Поѣзжай съ Богомъ! *(Борисъ хочетъ подойти къ ней.)* Не надо, не надо, довольно.

Борисъ *(рыдая)*. Ну, Богъ съ тобой! Только одного и надо у Бога просить, чтобъ она умерла поскорѣе, чтобы ей не мучиться долго! Прощай! *(Кланяется.)*

Катерина. Прощай! *(Борисъ уходитъ. Катерина провожаетъ его глазами и стоитъ нѣсколько времени задумавшись.)*

## ЯВЛЕНІЕ IV.

Катерина *(одна)*. Куда теперь? Домой итти? Нѣтъ, мнѣ что домой, что въ могилу—все равно. Да, что домой, что въ могилу!.. что въ могилу! Въ могилѣ лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо!.. Солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочитъ... весной на ней травка выростетъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ пѣть, дѣтей выведутъ, цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе *(задумывается)*, всякіе... Такъ тихо! такъ хорошо! Мнѣ какъ будто легче! А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ, не надо... не хорошо! И люди мнѣ противны, и домъ мнѣ противенъ, и стѣны противны! Не пойду туда! Нѣтъ, нѣтъ, не пойду! Придешь къ нимъ, они ходятъ, говорятъ, а на что мнѣ это? Ахъ, темно стало! И опять поютъ гдѣ-то! Что поютъ? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поютъ? Все равно, что смерть придетъ, что сама... а жить нельзя! Грѣхъ! Молиться не будутъ? Кто любитъ, тотъ будетъ молиться... Руки крестъ-накрестъ складываютъ... въ гробу! Да, такъ... я вспомнила. А поймаютъ меня, да воротятъ домой насильно... Ахъ, скорѣй, скорѣй! *(Подходитъ къ берегу. Громко.)* Другъ мой! Радость моя! Прощай! *(Уходитъ. Входятъ Кабанова, Кабановъ, Кулигинъ и работникъ съ фонаремъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ V.

**Кабанова, Кабановъ *и* Кулигинъ.**

Кулигинъ. Говорятъ, здѣсь видѣли.

Кабановъ. Да это вѣрно?

Кулигинъ. Прямо на нее говорятъ. Ну, слава Богу, хоть живую видѣли-то.

Кабанова. А ты ужъ испугался, расплакался! Есть о чемъ. Не безпокойся: еще долго намъ съ ней маяться будетъ.

Кабановъ. Кто жъ это зналъ, что она сюда пойдетъ! Мѣсто такое людное. Кому въ голову придетъ здѣсь прятаться.

Кабанова. Видишь, что она дѣлаетъ! Вотъ какое зелье! Какъ она характеръ-то свой хочетъ выдержать! *(Съ разныхъ сторонъ собирается народъ съ фонарями.)*

Одинъ изъ народа. Что, нашли?

Кабанова. То-то что нѣтъ. Точно провалилась куда.

Нѣсколько голосовъ. Эка притча! Вотъ оказія-то! И куда бъ ей дѣться!

Одинъ изъ народа. Да найдется!

Другой. Какъ не найтись!

Третій. Гляди, сама придетъ. *(Голосъ за сценой: „Эй, лодку!“)*

Кулигинъ *(съ берега)*. Кто кричитъ? Что тамъ? *(Голосъ: «Женщина въ воду бросилась!» Кулигинъ и за нимъ нѣсколько человѣкъ убѣгаютъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ VI.

**Тѣ же *безъ* Кулигина.**

Кабановъ. Батюшки, она вѣдь это! *(Хочетъ бѣжать. Кабанова удерживаетъ его за руку.)* Маменька, пустите,

смерть моя! я ее вытащу! а то такъ и самъ... Что мнѣ безъ нея!

Кабанова. Не пущу, и не думай! Изъ-за нея да себя губить, стоитъ ли она того! Мало намъ она страму-то надѣлала, еще что затѣяла!

Кабановъ. Пустите!

Кабанова. Безъ тебя есть кому. Прокляну, если пойдешь.

Кабановъ *(падая на колѣни)*. Хоть взглянуть-то мнѣ на нее!

Кабанова. Вытащатъ—взглянешь.

Кабановъ *(встаетъ. Къ народу)*. Что, голубчики, не видать ли чего?

1-й. Темно внизу-то, не видать ничего. *(Шумъ за сценой.)*

2-й. Словно кричатъ что-то, да ничего не разберешь.

1-й. Да это Кулигина голосъ.

2-й. Вонъ съ фонаремъ по берегу ходятъ.

1-й. Сюда идутъ. Вонъ и ее несутъ. *(Нѣсколько народу возвращается.)*

Одинъ изъ возвратившихся. Молодецъ Кулигинъ! Тутъ близехонько, въ омуточкѣ, у берега: съ огнемъ-то оно въ воду-то далеко видно; онъ платье и увидалъ, и вытащилъ ее.

Кабановъ. Жива?

Другой. Гдѣ ужъ жива! Высоко бросилась-то: тутъ обрывъ, да, должно-быть, на якорь попала, ушиблась бѣдная! А точно, ребята, какъ живая! Только на вискѣ маленькая ранка и одна только, какъ есть одна, капелька крови. *(Кабановъ бросается бѣжать; навстрѣчу ему Кулигинъ съ народомъ несутъ Катерину.)*

## ЯВЛЕНІЕ VII.

**Тѣ же *и* Кулигинъ.**

Кулигинъ. Вотъ вамъ ваша Катерина. Дѣлайте съ ней, что хотите! Тѣло ея здѣсь, возьмите его; а душа теперь не ваша: она теперь передъ Судіей, Который милосерднѣе васъ! *(Кладетъ на землю и убѣгаетъ.)*

Кабановъ *(бросается къ Катеринѣ)*. Катя! Катя!

Кабанова. Полно! Объ ней и плакать-то грѣхъ!

Кабановъ. Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы...

Кабанова. Что ты? Аль себя не помнишь! Забылъ съ кѣмъ говоришь!

Кабановъ. Вы ее погубили! Вы! вы!

Кабанова *(сыну)*. Ну, я съ тобой дома поговорю. *(Низко кланяется народу.)* Спасибо вамъ, люди добрые, за вашу услугу! *(Всѣ кланяются.)*

Кабановъ. Хорошо тебѣ, Катя! А я-то зачѣмъ остался жить на свѣтѣ да мучиться! *(Падаетъ на трупъ жены.)*

1860 г.

**Николай Семеновичъ Лѣсковъ.**

(1831—1895).

## Человѣкъ на часахъ.

Событіе, разсказъ о которомъ ниже сего предлагается вниманію читателей, трогательно и ужасно по своему значенію для главнаго героическаго лица пьесы, а развязка дѣла такъ оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно гдѣ-нибудь, кромѣ Россіи.

Это составляетъ отчасти придворный, отчасти историческій анекдотъ, недурно характеризующій нравы и направленіе очень любопытной, но крайне бѣдно отмѣченной эпохи тридцатыхъ годовъ совершающагося девятнадцатаго столѣтія.

Вымысла въ наступающемъ разсказѣ нѣтъ нисколько.

———

Зимою, около Крещенія, въ 1839 году, въ Петербургѣ была сильная оттепель. Такъ размокропогодило, что совсѣмъ какъ будто веснѣ быть: снѣгъ таялъ, съ крышъ падали днемъ капели, а ледъ на рѣкахъ посинѣлъ и взялся водой. На Невѣ, передъ самымъ Зимнимъ дворцомъ, стояли глубокія полыньи. Вѣтеръ дулъ теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стрѣляли пушки.

Караулъ во дворцѣ занимала рота Измайловскаго полка, которою командовалъ блестяще образованный и очень хорошо поставленный въ обществѣ молодой офицеръ, Николай Ивановичъ Миллеръ (впослѣдствіи полный генералъ и директоръ лицея). Это былъ человѣкъ съ такъ называемымъ «гуманнымъ» направленіемъ, которое за нимъ было давно замѣчено и немножко вредило ему по службѣ во вниманіи высшаго начальства.

На самомъ же дѣлѣ, Миллеръ былъ офицеръ исправный и надежный, а дворцовый караулъ въ тогдашнее время и не представлялъ ничего опаснаго. Пора была самая тихая и безмятежная. Отъ дворцоваго караула не требовалось ничего, кромѣ точнаго стоянія на постахъ, а между тѣмъ какъ разъ тутъ, на караульной очереди капитана Миллера при дворцѣ, произошелъ весьма чрезвычайный и тревожный случай, о которомъ теперь едва вспоминаютъ немногіе изъ доживающихъ свой вѣкъ тогдашнихъ современниковъ.

---

Сначала въ караулѣ все шло хорошо: посты распредѣлены, люди разставлены, и все обстояло въ совершенномъ порядкѣ. Государь Николай Павловичъ былъ здоровъ, ѣздилъ вечеромъ кататься, возвратился домой и легъ въ постель. Уснулъ и дворецъ. Наступила самая спокойная ночь. Въ кордегардіи тишина. Капитанъ Миллеръ прикололъ булавками свой бѣлый носовой платокъ къ высокой и всегда традиціонно засаленной сафьянной спинкѣ офицерскаго кресла и сѣлъ коротать время за книгой.

Н. И. Миллеръ всегда былъ страстный читатель, и потому онъ не скучалъ, а читалъ и не замѣчалъ, какъ уплывала ночь; но вдругъ, въ исходѣ второго часа ночи, его встревожило ужасное безпокойство: предъ нимъ является разводный унтеръ-офицеръ и, весь блѣдный, объятый страхомъ, лепечетъ скороговоркой:

— Бѣда, ваше благородіе, бѣда!

— Что такое?!

— Страшное несчастіе постигло!

Н. И. Миллеръ вскочилъ въ неописанной тревогѣ и едва могъ толкомъ дознаться, въ чемъ именно заключались «бѣда» и «страшное несчастіе».

---

Дѣло заключалось въ слѣдующемъ: часовой, солдатъ Измайловскаго полка, по фамиліи Постниковъ, стоя на часахъ снаружи у нынѣшняго Іорданскаго подъѣзда, услыхалъ, что въ полыньѣ, которою противъ этого мѣста покрылась Нева, заливается человѣкъ и отчаянно молитъ о помощи.

Солдатъ Постниковъ, изъ дворовыхъ господскихъ людей, былъ человѣкъ очень нервный, очень чувствительный. Онъ долго слушалъ отдаленные крики и стоны утопающаго и приходилъ отъ нихъ въ оцѣпенѣніе. Въ ужасѣ онъ оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здѣсь ни на Невѣ, какъ назло, не усматривалъ ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не можетъ, и онъ непремѣнно зальется...

А между тѣмъ тонущій ужасно долго и упорно борется.

Ужъ одно бы ему, кажется, — не тратя силъ, спускаться на дно, такъ вѣдь нѣтъ! Его изнеможденные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнутъ, то опять начинаютъ раздаваться, и притомъ все ближе и ближе къ дворцовой набережной. Видно, что человѣкъ еще не потерялся и держитъ путь вѣрно, прямо на свѣтъ фонарей, но только онъ, разумѣется, все-таки не спасется, потому что именно тутъ на этомъ пути онъ попадетъ въ іорданскую прорубь. Тамъ ему нырокъ подъ ледъ и конецъ... Вотъ и опять стихъ, а черезъ минуту снова полощется и стонетъ: «спасите, спасите!» И теперь уже такъ близко, что даже слышны всплески воды, какъ онъ полощется...

Солдатъ Постниковъ сталъ соображать, что спасти этого человѣка чрезвычайно легко. Если теперь сбѣжать на ледъ, то тонущій непремѣнно тутъ же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестикъ, или подать ружье,— и онъ спасенъ. Онъ такъ близко, что можетъ схватиться рукою и выскочить. Но Постниковъ помнитъ и службу и присягу; онъ знаетъ, что онъ часовой, а часовой ни за что и ни подъ какимъ предлогомъ не смѣетъ покинуть своей будки.

Съ другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: такъ и ноетъ, такъ и стучитъ, такъ и замираетъ... Хоть вырви его да самъ себѣ подъ ноги брось,— такъ безпокойно съ нимъ дѣлается отъ этихъ стоновъ и воплей... Страшно вѣдь слышать, какъ другой человѣкъ погибаетъ, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, къ тому есть полная возможность, потому что будка съ мѣста не убѣжитъ и ничто иное вредное не случится. «Иль сбѣжать? А?.. Не увидятъ?.. Ахъ, Господи, одинъ бы конецъ! Опять стонетъ»...

За одинъ получасъ, пока это длилось, солдатъ Постниковъ совсѣмъ истерзался сердцемъ и сталъ ощущать «сомнѣнія разсудка». А солдатъ онъ былъ умный и исправный, съ разсудкомъ яснымъ и отлично понималъ, что оставить свой постъ есть такая вина со стороны часового, за которую сейчасъ же послѣдуетъ военный судъ, а потомъ гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а можетъ-быть, даже и «разстрѣлъ»; но со стороны вздувшейся рѣки опять наплываютъ все ближе и ближе стоны и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

— Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тутъ вотъ сейчасъ и есть іорданская прорубь... Конецъ!

Постниковъ еще разъ-два оглянулся во всѣ стороны. Нигдѣ ни души нѣтъ, только фонари трясутся отъ вѣтра и мерцаютъ, да по вѣтру, прерываясь, долетаетъ этотъ крикъ... можетъ-быть, послѣдній крикъ...

Вотъ еще всплескъ, еще однозвучный вопль—и въ водѣ забулькотало.

Часовой не выдержалъ и покинулъ свой постъ.

---

Постниковъ бросился къ сходнямъ, сбѣжалъ съ сильно бьющимся сердцемъ на ледъ, потомъ въ наплывшую воду полыньи и, скоро разсмотрѣвъ, гдѣ бьется заливающійся утопленникъ, протянулъ ему ложу своего ружья.

Утопавшій схватился за прикладъ, а Постниковъ потянулъ его за штыкъ и вытащилъ на берегъ.

Спасенный и спасатель были совершенно мокры, и какъ изъ нихъ спасенный былъ въ сильной усталости и дрожалъ и падалъ, то спаситель его, солдатъ Постниковъ, не рѣшился его бросить на льду, а вывелъ его на набережную и сталъ осматриваться, кому бы его передать. А межъ тѣмъ, пока все это дѣлалось, на набережной показались сани, въ которыхъ сидѣлъ офицеръ существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впослѣдствіи упраздненной).

Этотъ столь не во-время для Постникова подоспѣвшій господинъ былъ, надо полагать, человѣкъ очень легкомысленнаго характера и притомъ немножко безтолковый и изрядный наглецъ. Онъ соскочилъ съ саней и началъ спрашивать:

— Что за человѣкъ... что за люди?

— Тонулъ, заливался, — началъ было Постниковъ.

— Какъ тонулъ? Кто, ты тонулъ? Зачѣмъ въ такомъ мѣстѣ?

А тотъ только отпырхивается, а Постникова уже нѣтъ: онъ взялъ ружье на плечо и опять сталъ въ будку.

Смекнулъ или нѣтъ офицеръ, въ чемъ дѣло, но онъ больше не сталъ изслѣдовать, а тотчасъ же подхватилъ къ себѣ въ сани спасеннаго человѣка и покатилъ съ нимъ на Морскую, въ съѣзжій домъ Адмиралтейской части.

Тутъ офицеръ сдѣлалъ приставу заявленіе, что привезенный имъ мокрый человѣкъ тонулъ въ полыньѣ противъ дворца и спасенъ имъ, господиномъ офицеромъ, съ опасностью для его собственной жизни.

Тотъ, котораго спасли, былъ и теперь весь мокрый, иззябшій и изнемогшій. Отъ испуга и отъ страшныхъ усилій, онъ впалъ въ безпамятство, и для него было безразлично, кто спасалъ его.

Около него хлопоталъ заспанный полицейскій фельдшеръ, а въ канцеляріи писали протоколъ по словесному заявленію инвалиднаго офицера и, съ свойственною полицейскимъ людямъ подозрительностью, недоумѣвали, какъ онъ самъ весь сухъ изъ воды вышелъ? А офицеръ, который имѣлъ желаніе получить себѣ установленную медаль «за спасеніе погибавшихъ», объяснялъ это счастливымъ стеченіемъ обстоятельствъ, но объяснялъ нескладно и невѣроятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тѣмъ во дворцѣ по этому дѣлу образовались уже другія, быстрыя теченія.

---

Въ дворцовой караульнѣ всѣ сейчасъ упомянутые обороты послѣ принятія офицеромъ спасеннаго утопленника въ свои сани были неизвѣстны. Тамъ измайловскій офицеръ и солдаты знали только то, что ихъ солдатъ, Постниковъ, оставивъ будку, кинулся спасать человѣка, и какъ это есть большое нарушеніе воинскихъ обязанностей, то рядовой Постниковъ теперь непремѣнно пойдетъ подъ судъ и подъ палки, а всѣмъ начальствующимъ лицамъ, начиная отъ ротнаго командира полка, достанутся страшныя непріятности, противъ которыхъ ничего нельзя ни возражать ни оправдываться.

Мокрый и дрожащій солдатъ Постниковъ, разумѣется, сейчасъ же былъ смѣненъ съ поста и, будучи приведенъ въ кордегардію, чистосердечно разсказалъ Н. И. Миллеру все, что намъ извѣстно, и со всѣми подробностями, доходившими до того, какъ инвалидный офицеръ посадилъ къ себѣ спасеннаго утопленника и велѣлъ своему кучеру скакать въ Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбѣжнѣе. Разумѣется, инвалидный офицеръ все разскажетъ приставу, а приставъ тотчасъ же доведетъ объ этомъ до свѣдѣнія оберъ-полицмейстера Кокошкина, а тотъ доложитъ утромъ государю и пойдетъ «горячка».

Долго разсуждать было некогда, надо было призывать къ дѣлу старшихъ.

Николай Ивановичъ Миллеръ тотчасъ же послалъ тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину, въ которой просилъ его какъ можно скорѣе пріѣхать въ дворцовую караульню и всѣми мѣрами пособить совершившейся страшной бѣдѣ.

Это было уже около трехъ часовъ, а Кокошкинъ являлся съ докладомъ къ государю довольно рано утромъ, такъ что на всѣ думы и на всѣ дѣйствія оставалось очень мало времени.

---

Подполковникъ Свиньинъ не имѣлъ той жалостливости и того мягкосердечія, которыя всегда отличали Николая Ивановича Миллера: Свиньинъ былъ человѣкъ не безсердечный, но прежде всего и больше всего — «службистъ» (типъ, о которомъ нынче опять вспоминаютъ съ сожалѣніемъ). Свиньинъ отличался строгостью и даже любилъ щеголять требовательностью дисциплины. Онъ не имѣлъ вкуса ко злу и никому не искалъ причинить напрасное страданіе; но если человѣкъ нарушилъ какую бы то ни было обязанность службы, то Свиньинъ былъ неумолимъ. Онъ считалъ неумѣстнымъ входить въ обсужденіе побужденій, какія руководили въ данномъ случаѣ движеніемъ виновнаго, а держался того правила, что на службѣ всякая вина виновата. А потому въ караульной ротѣ всѣ знали, что придется претерпѣть рядовому Постникову за оставленіе своего поста, то онъ и оттерпитъ, и Свиньинъ объ этомъ скорбѣть не станетъ.

Такимъ этотъ штабъ-офицеръ былъ извѣстенъ начальству и товарищамъ, между которыми были люди, не симпатизировавшіе Свиньину, потому что тогда еще не совсѣмъ вывелся «гуманизмъ» и другія ему подобныя заблужденія. Свиньинъ былъ равнодушенъ къ тому, порицаютъ или хвалятъ его «гуманисты». Просить и умолять Свиньина или даже пытаться его разжалобить — было дѣло совершенно безполезное. Отъ всего этого онъ былъ закаленъ крѣпкимъ закаломъ карьерныхъ людей того времени, но и у него, какъ у Ахиллеса, было слабое мѣсто.

Свиньинъ тоже имѣлъ хорошо начатую служебную карьеру, которую онъ, конечно, тщательно оберегалъ и дорожилъ тѣмъ, чтобы на нее, какъ на парадный мундиръ, ни одна пылинка не сѣла; а между тѣмъ несчастная выходка человѣка изъ ввѣреннаго ему батальона непремѣнно должна была бросить дурную тѣнь на дисциплину всей его части. Виноватъ или не виноватъ батальонный командиръ въ томъ, что одинъ изъ его сдѣлалъ, подъ вліяніемъ увлеченія благороднѣйшимъ состраданіемъ, — этого не станутъ разбирать тѣ, отъ кого зависитъ хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свиньина, а многіе даже охотно подкатятъ ему бревно подъ ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протежируемаго людьми въ случаѣ. Государь, конечно, разсердится и непремѣнно скажетъ полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у нихъ «люди распущены». А кто это надѣлалъ? — Свиньинъ. Вотъ такъ это и пойдетъ повторяться, что «Свиньинъ слабъ», и такъ, можетъ, покоръ слабостью и останется несмываемымъ пятномъ на его, Свиньина, репутаціи. Не быть ему тогда ничѣмъ достопримѣчательнымъ въ ряду современниковъ и не оставить своего портрета въ галлереѣ историческихъ лицъ государства Россійскаго.

Изученіемъ исторіи тогда хотя мало занимались, но, однако, въ нее вѣрили, и особенно охотно сами стремились участвовать въ ея сочиненіи.

---

Какъ только Свиньинъ получилъ около трехъ часовъ ночи тревожную записку отъ капитана Миллера, онъ тотчасъ же вскочилъ съ постели, одѣлся по формѣ и, подъ вліяніемъ страха и гнѣва, прибылъ

въ караульню Зимняго дворца. Здѣсь онъ немедленно же произвелъ допросъ рядовому Постникову и убѣдился, что невѣроятный случай совершился. Рядовой Постниковъ опять вполнѣ чистосердечно подтвердилъ своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часахъ, и что онъ, Постниковъ, уже раньше показалъ своему ротному, капитану Миллеру. Солдатъ говорилъ, что онъ «Богу и государю виноватъ безъ милосердія», что онъ стоялъ на часахъ и, заслышавъ стоны человѣка, тонувшаго въ полыньѣ, долго мучился, долго былъ въ борьбѣ между служебнымъ долгомъ и состраданіемъ и, наконецъ, на него напало искушеніе, и онъ не выдержалъ этой борьбы: покинулъ будку, соскочилъ на ледъ и вытащилъ тонувшаго на берегъ, а здѣсь, какъ на грѣхъ, попался проѣзжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковникъ Свиньинъ былъ въ отчаяніи; онъ далъ себѣ единственное возможное удовлетвореніе, сорвавъ свой гнѣвъ на Постниковѣ, котораго тотчасъ же прямо отсюда послалъ подъ арестъ въ казарменный карцеръ, а потомъ сказалъ нѣсколько колкостей Миллеру, попрекнувъ его «гуманеріей», которая ни на что не пригодна въ военной службѣ; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дѣло. Подыскать если не оправданіе, то хотя извиненіе такому поступку, какъ оставленіе часовымъ своего поста, было невозможно, и оставался одинъ исходъ — скрыть все дѣло отъ государя.

Но есть ли возможность скрыть такое происшествіе?

Повидимому, это представлялось невозможнымъ, такъ какъ о спасеніи погибавшаго знали не только всѣ караульные, но зналъ и тотъ ненавистный инвалидный офицеръ, который до сихъ поръ, конечно, успѣлъ довести обо всемъ этомъ до вѣдома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? Къ кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свиньинъ хотѣлъ скакать къ великому князю Михаилу Павловичу и разсказать ему все чистосердечно. Такіе маневры тогда были въ ходу. Пусть великій князь, по своему пылкому характеру, разсердится и накричитъ, но его нравъ и обычай были таковы, что, чѣмъ онъ сильнѣе окажетъ на первый разъ рѣзкости и даже тяжко обидитъ, тѣмъ онъ потомъ скорѣе смилуется и самъ же заступится. Подобныхъ случаевъ бывало не мало, и ихъ иногда нарочно искали. «Брань на вороту не висла», и Свиньинъ очень хотѣлъ бы свести дѣло къ этому благопріятному положенію, но развѣ можно ночью доступить во дворецъ и тревожить великаго князя? А дожидаться утра и явиться къ Михаилу Павловичу послѣ того, когда Кокошкинъ побываетъ съ докладомъ у государя, будетъ уже поздно. И пока Свиньинъ волновался среди такихъ затрудненій, онъ обмякъ, и умъ его началъ прозрѣвать еще одинъ выходъ, до сей поры скрывавшійся въ туманѣ.

Въ ряду извѣстныхъ военныхъ пріемовъ есть одинъ такой, чтобы въ минуту наивысшей опасности, угрожающей со стѣнъ осаждаемой крѣпости, не удаляться отъ нея, а прямо итти подъ ея стѣнами. Свиньинъ рѣшился не дѣлать ничего того, что ему приходило въ голову сначала, а немедленно ѣхать прямо къ Кокошкину.

Объ оберъ-полицмейстерѣ Кокошкинѣ въ Петербургѣ говорили тогда много ужасающаго и нелѣпаго, но, между прочимъ, утверждали, что онъ обладаетъ удивительнымъ многостороннимъ тактомъ и при содѣйствіи этого такта не только «умѣетъ сдѣлать изъ мухи слона, но такъ же легко умѣетъ сдѣлать изъ слона муху».

Кокошкинъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ очень суровъ и очень грозенъ и внушалъ всѣмъ большой страхъ къ себѣ, но онъ иногда мирволилъ шалунамъ и добрымъ весельчакамъ изъ военныхъ, а такихъ шалуновъ тогда было много, и имъ не разъ случалось находить себѣ въ его лицѣ могущественнаго и усерднаго защитника. Вообще онъ много могъ и много умѣлъ сдѣлать, если только захочетъ. Такимъ его знали и Свиньинъ и капитанъ Миллеръ. Миллеръ тоже укрѣпилъ своего батальоннаго командира отважиться на то, чтобы ѣхать немедленно къ Кокошкину и довѣриться его великодушію и его «многостороннему такту», который, вѣроятно, продиктуетъ генералу, какъ вывернуться изъ этого досаднаго случая, чтобы не ввести въ гнѣвъ государя, что Кокошкинъ, къ чести его, всегда избѣгалъ съ большимъ стараніемъ.

Свиньинъ надѣлъ шинель, устремилъ глаза вверхъ и, воскликнувъ нѣсколько

разъ: «Господи, Господи!», поѣхалъ къ Кокошкину.

Это былъ уже въ началѣ пятый часъ утра.

---

Оберъ-полицмейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свиньинѣ, пріѣхавшемъ по важному и не терпящему отлагательствъ дѣлу.

Генералъ немедленно всталъ и вышелъ къ Свиньину въ архалучкѣ, потирая лобъ, зѣвая и ежась. Все, что разсказывалъ Свиньинъ, Кокошкинъ выслушивалъ съ большимъ вниманіемъ, но спокойно. Онъ во все время этихъ объясненій и просьбъ о снисхожденіи произнесъ только одно:

— Солдатъ бросилъ будку и спасъ человѣка?

— Точно такъ, — отвѣчалъ Свиньинъ.

— А будка?

— Оставалась въ это время пустою.

— Гмъ... Я это зналъ, что она оставалась пустою. Очень радъ, что ее не украли.

Свиньинъ изъ этого еще болѣе увѣрился, что ему уже все извѣстно, и что онъ, конечно, уже рѣшилъ себѣ, въ какомъ видѣ онъ представитъ объ этомъ при утреннемъ докладѣ государю, и рѣшенія этого измѣнять не станетъ. Иначе такое событіе, какъ оставленіе часовымъ своего поста въ дворцовомъ караулѣ, безъ сомнѣнія, должно было бы гораздо сильнѣе встревожить энергическаго оберъ-полицмейстера.

Но Кокошкинъ не зналъ ничего. Приставъ, къ которому явился инвалидный офицеръ со спасеннымъ утопленникомъ, не видалъ въ этомъ дѣлѣ никакой особенной важности. Въ его глазахъ это вовсе даже не было такимъ дѣломъ, чтобы ночью тревожить усталаго оберъ-полицмейстера, да и притомъ самое событіе представлялось приставу довольно подозрительнымъ, потому что инвалидный офицеръ былъ совсѣмъ сухъ, чего никакъ не могло быть, если онъ спасалъ утопленника съ опасностью для собственной жизни. Приставъ видѣлъ въ этомъ офицерѣ только что честолюбца и лгуна, желающаго имѣть одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писалъ протоколъ, приставъ придерживалъ у себя офицера и старался выпытать у него истину черезъ разспросъ мелкихъ подробностей.

Приставу тоже не было пріятно, что такое происшествіе случилось въ его части и что утопавшаго вытащилъ не полицейскій, а дворцовый офицеръ.

Спокойствіе же Кокошкина объяснялось просто, во-первыхъ, страшною усталостью, которую онъ въ это время испытывалъ послѣ цѣлодневной суеты и ночного участія при тушеніи двухъ пожаровъ, а во-вторыхъ, тѣмъ, что дѣло, сдѣланное часовымъ Постниковымъ, его, г-на оберъ-полицмейстера, прямо не касалось.

Впрочемъ, Кокошкинъ тотчасъ же сдѣлалъ соотвѣтственное распоряженіе.

Онъ послалъ за приставомъ Адмиралтейской части и приказалъ ему немедленно явиться вмѣстѣ съ инвалиднымъ офицеромъ и со спасеннымъ утопленникомъ, а Свиньина просилъ подождать въ маленькой пріемной передъ кабинетомъ. Затѣмъ Кокошкинъ удалился въ кабинетъ и, не затворяя за собою дверей, сѣлъ за столъ и началъ было подписывать бумаги; но сейчасъ же склонилъ голову на руки и заснулъ за столомъ въ креслѣ.

---

Тогда еще не было ни городскихъ телеграфовъ ни телефоновъ, а для спѣшной передачи приказаній начальства скакали по всѣмъ направленіямъ «сорокъ тысячъ курьеровъ», о которыхъ сохранится долговѣчное воспоминаніе въ комедіи Гоголя.

Это, разумѣется, не было такъ скоро, какъ телеграфъ или телефонъ, но зато сообщало городу значительное оживленіе и свидѣтельствовало о неусыпномъ бдѣніи начальства.

Пока изъ Адмиралтейской части явились запыхавшійся приставъ и офицеръ-спаситель, а также и спасенный утопленникъ, нервный и энергическій генералъ Кокошкинъ вздремнулъ и освѣжился. Это было замѣтно въ выраженіи его лица и въ проявленіи его душевныхъ способностей.

Кокошкинъ потребовалъ всѣхъ явившихся въ кабинетъ и вмѣстѣ съ ними пригласилъ и Свиньина.

— Протоколъ? — односложно спросилъ освѣженнымъ голосомъ у пристава Кокошкинъ.

Тотъ молча подалъ ему сложенный листъ бумаги и тихо прошепталъ:

— Долженъ просить дозволить мнѣ доложить вашему превосходительству нѣсколько словъ по секрету...

— Хорошо.

Кокошкинъ отошелъ въ амбразуру окна, а за нимъ—приставъ.

— Что такое?

Послышался неясный шопотъ пристава и ясные покрякиванья генерала.

— Гмъ... Да!.. Ну, что жъ такое?.. Это могло быть... Они на томъ стоятъ, чтобы сухими выскакивать... Ничего больше?

— Ничего-съ.

Генералъ вышелъ изъ амбразуры, присѣлъ къ столу и началъ читать. Онъ читалъ протоколъ про себя, не обнаруживая ни страха ни сомнѣній, и затѣмъ непосредственно обратился съ громкимъ и твердымъ вопросомъ къ спасенному:

— Какъ ты, братецъ, попалъ въ полынью противъ дворца?

— Виноватъ, отвѣчалъ спасенный.

— То-то! Былъ пьянъ?

— Виноватъ, пьянъ не былъ, а былъ выпимши.

— Зачѣмъ въ воду попалъ.

— Хотѣлъ перейти поближе черезъ ледъ, сбился и попалъ въ воду.

— Значитъ, въ глазахъ было темно?

— Темно, кругомъ темно было, ваше превосходительство!

— И ты не могъ разсмотрѣть, кто тебя вытащилъ?

— Виноватъ, ничего не разсмотрѣлъ. Вотъ они, кажется.—Онъ указалъ на офицера и добавилъ:—Я не могъ разсмотрѣть, былъ испужамшись.

— То-то и есть, шляетесь, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодѣтель. Благородный человѣкъ жертвовалъ за тебя своею жизнью!

— Вѣкъ буду помнить.

— Имя ваше, господинъ офицеръ?

Офицеръ назвалъ себя по имени.

— Слышишь?

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ты православный?

— Православный, ваше превосходительство.

— Въ поминанье за здравіе это имя запиши.

— Запишу, ваше превосходительство.

— Молись Богу за него и ступай вонъ: ты больше не нуженъ.

Тотъ поклонился въ ноги и выкатился, безъ мѣры довольный тѣмъ, что его отпустили.

Свиньинъ стоялъ и недоумѣвалъ, какъ это такой оборотъ все принимаетъ милостію Божіею!

---

Кокошкинъ обратился къ инвалидному офицеру:

— Вы спасли этого человѣка, рискуя собственною жизнью?

— Точно такъ, ваше превосходительство.

— Свидѣтелей этого происшествія не было, да по позднему времени и не могло быть?

— Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кромѣ часовыхъ.

— О часовыхъ не зачѣмъ поминать: часовой охраняетъ свой постъ и не долженъ отвлекаться ничѣмъ постороннимъ. Я вѣрю тому, что написано въ протоколѣ. Вѣдь это съ вашихъ словъ?

Слова эти Кокошкинъ произнесъ съ особеннымъ удареніемъ, точно какъ будто пригрозилъ или прикрикнулъ.

Но офицеръ не сробѣлъ, а, вылупивъ глаза и выпучивъ грудь, отвѣтилъ:

— Съ моихъ словъ и совершенно вѣрно, ваше превосходительство.

— Вашъ поступокъ достоинъ награды.

Тотъ началъ благодарно кланяться.

— Не за что благодарить,—продолжалъ Кокошкинъ.—Я доложу о вашемъ самоотверженномъ поступкѣ государю императору, и грудь ваша, можетъ-быть, сегодня же будетъ украшена медалью. А теперь можете итти домой, напейтесь теплаго и никуда не выходите, потому что, можетъ-быть, вы понадобитесь.

Инвалидный офицеръ совсѣмъ засіялъ, откланялся и вышелъ.

Кокошкинъ поглядѣлъ ему вслѣдъ и проговорилъ:

— Возможная вещь, что государь пожелаетъ самъ его видѣть.

— Слушаю-съ, — отвѣчалъ понятливо приставъ.

— Вы мнѣ больше не нужны.

Приставъ вышелъ и, затворивъ за собою дверь, тотчасъ, по набожной привычкѣ, перекрестился.

Инвалидный офицеръ ожидалъ пристава внизу, и они отправились вмѣстѣ въ гораздо болѣе теплыхъ отношеніяхъ, чѣмъ когда сюда вступали.

Въ кабинетѣ у оберъ-полицмейстера остался одинъ Свиньинъ, на котораго

Кокошкинъ сначала посмотрѣлъ долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и потомъ спросилъ:

— Вы не были у великаго князя?

Въ то время, когда упоминали о великомъ князѣ, то всѣ знали, что это относится къ великому князю Михаилу Павловичу.

— Я прямо явился къ вамъ, — отвѣчалъ Свиньинъ.

— Кто караульный офицеръ?

— Капитанъ Миллеръ.

Кокошкинъ опять окинулъ Свиньина взглядомъ и потомъ сказалъ:

— Вы мнѣ, кажется, что-то прежде иначе говорили.

Свиньинъ даже не понялъ, къ чему это относится, и промолчалъ, а Кокошкинъ добавилъ:

— Ну, все равно: спокойно почивайте.

Аудіенція кончилась.

---

Въ часъ пополудни инвалидный офицеръ, дѣйствительно, былъ опять потребованъ къ Кокошкину, который очень ласково объявилъ ему, что государь весьма доволенъ, что среди офицеровъ инвалидной команды его дворца есть такіе бдительные и самоотверженные люди, и жалуетъ ему медаль «за спасеніе погибавшихъ». При семъ Кокошкинъ собственноручно вручилъ герою медаль, и тотъ пошелъ щеголять ею. Дѣло, стало-быть, можно было считать совсѣмъ сдѣланнымъ, но подполковникъ Свиньинъ чувствовалъ въ немъ какую-то незаконченность и почиталъ себя призваннымъ поставить point sur les *i*.

Онъ былъ такъ встревоженъ, что три дня проболѣлъ, а на четвертый всталъ, съѣздилъ въ Петровскій домикъ, отслужилъ благодарственный молебенъ передъ иконою Спасителя и, возвратясь домой съ успокоенною душой, послалъ попросить къ себѣ капитана Миллера.

— Ну, слава Богу, Николай Ивановичъ, — сказалъ онъ Миллеру, — теперь гроза, надъ нами тяготѣвшая, совсѣмъ прошла, и наше несчастное дѣло съ часовымъ совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можемъ вздохнуть спокойно. Всѣмъ этимъ мы, безъ сомнѣнія, обязаны сначала милосердію Божію, а потомъ генералу Кокошкину. Пусть о немъ говорятъ, что онъ и не добрый и безсердечный, но я исполненъ благодарности къ его великодушію и почтенія къ его находчивости и такту. Онъ удивительно мастерски воспользовался хвастовствомъ этого инвалиднаго пройдохи, котораго, по правдѣ, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обѣ корки выдрать на конюшнѣ, но ничего иного не оставалось: имъ нужно было воспользоваться для спасенія многихъ, и Кокошкинъ повернулъ все дѣло такъ умно, что никому не вышло ни малѣйшей непріятности, — напротивъ, всѣ очень рады и довольны. Между нами сказать, мнѣ передано черезъ достовѣрное лицо, что и самъ Кокошкинъ мною очень доволенъ. Ему было пріятно, что я не поѣхалъ никуда, а прямо явился къ нему, и не спорилъ съ этимъ проходимцемъ, который получилъ медаль. Словомъ, никто не пострадалъ, и все сдѣлано съ такимъ тактомъ, что и впередъ опасаться нечего, но маленькій недочетъ есть за нами. Мы тоже должны съ тактомъ послѣдовать примѣру Кокошкина и закончить дѣло съ своей стороны такъ, чтобъ оградить себя на всякій случай впослѣдствіи. Есть еще одно лицо, котораго положеніе не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Онъ до сихъ поръ въ карцерѣ подъ арестомъ, и его, безъ сомнѣнія, томитъ ожиданіе, что съ нимъ будетъ. Надо прекратить и его мучительное томленіе.

— Да, пора! — подсказалъ обрадованный Миллеръ.

— Ну, конечно, и вамъ это всѣхъ лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчасъ же въ казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова изъ-подъ ареста и накажите его передъ строемъ двумястами розогъ.

---

Миллеръ изумился и сдѣлалъ попытку склонить Свиньина къ тому, чтобы на общей радости совсѣмъ пощадить и простить рядового Постникова, который и безъ того уже много перестрадалъ, ожидая въ карцерѣ рѣшенія того, что ему будетъ; но Свиньинъ вспыхнулъ и даже не далъ Миллеру продолжать.

— Нѣтъ, — перебилъ онъ, — это оставьте: я вамъ только что говорилъ о тактѣ, а вы сейчасъ же начинаете безтактность! Оставьте это!

Свиньинъ перемѣнилъ тонъ на болѣе сухой и офиціальный и добавилъ съ твердостью:

— А какъ въ этомъ дѣлѣ вы сами тоже не совсѣмъ правы и даже очень виноваты, потому что у васъ есть не идущая военному человѣку мягкость, и этотъ недостатокъ вашего характера отражается на субординаціи въ вашихъ подчиненныхъ, то я приказываю вамъ лично присутствовать при экзекуціи и настоять, чтобы сѣченіе было произведено серьезно... какъ можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами сѣкли молодые солдаты изъ новоприбывшихъ изъ арміи, потому что наши старики всѣ заражены на этотъ счетъ гвардейскимъ либерализмомъ: они товарища не сѣкутъ, какъ должно, а только блохъ у него за спиною пугаютъ. Я заѣду самъ и самъ посмотрю, какъ виноватый будетъ сдѣланъ.

Уклоненія отъ какихъ бы то ни было служебныхъ приказаній начальствующаго лица, конечно, не имѣли мѣста, и мягкосердечный Н. И. Миллеръ долженъ былъ въ точности исполнить приказъ, полученный имъ отъ своего батальоннаго командира.

Рота была выстроена на дворѣ измайловскихъ казармъ, розги принесены изъ запаса въ довольномъ количествѣ, и выведенный изъ карцера рядовой Постниковъ «былъ сдѣланъ» при усердномъ содѣйствіи новоприбывшихъ изъ арміи молодыхъ товарищей. Эти неиспорченные гвардейскимъ либерализмомъ люди въ совершенствѣ выставили на немъ всѣ point sur les *i*, въ полной мѣрѣ опредѣленныя ему его батальоннымъ командиромъ. Затѣмъ наказанный Постниковъ былъ поднятъ и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его сѣкли, перенесенъ въ полковой лазаретъ.

---

Батальонный командиръ Свиньинъ, по полученіи донесенія объ исполненіи экзекуціи, тотчасъ же самъ отечески навѣстилъ Постникова въ лазаретѣ и, къ удовольствію своему, самымъ нагляднымъ образомъ убѣдился, что приказаніе его исполнено въ совершенствѣ. Сердобольный и нервный Постниковъ былъ «сдѣланъ, какъ слѣдуетъ». Свиньинъ остался доволенъ и приказалъ дать отъ себя наказанному Постникову фунтъ сахару и четверть фунта чаю, чтобъ онъ могъ услаждаться, пока будетъ на поправкѣ. Постниковъ, лежа на койкѣ, слышалъ это распоряженіе о чаѣ и отвѣчалъ:

— Много доволенъ, ваше высокородіе, благодарю за отеческую милость.

И онъ въ самомъ дѣлѣ былъ «доволенъ», потому что, сидя три дня въ карцерѣ, онъ ожидалъ гораздо худшаго. Двѣсти розогъ, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили въ сравненіи съ тѣми наказаніями, какія люди переносили по приговорамъ военнаго суда; а такое именно наказаніе и досталось бы Постникову, если бы, къ счастію его, не произошло всѣхъ тѣхъ смѣлыхъ и тактическихъ эволюцій, о которыхъ выше разсказано.

Но число всѣхъ довольныхъ разсказаннымъ происшествіемъ этимъ не ограничилось.

---

Подъ сурдинкою подвигъ рядового Постникова расползся по разнымъ кружкамъ столицы, которая въ то время печатной безголосицы жила въ атмосферѣ безконечныхъ сплетенъ. Въ устныхъ передачахъ имя настоящаго героя — солдата Постникова—утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтическій характеръ.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крѣпости плылъ какой-то необыкновенный пловецъ, въ котораго одинъ изъ стоявшихъ у дворца часовыхъ выстрѣлилъ и пловца ранилъ, а проходившій инвалидный офицеръ бросился въ воду и спасъ его, за что и получили: одинъ — должную награду, а другой — заслуженное наказаніе. Нелѣпый слухъ этотъ дошелъ и до подворья, гдѣ въ ту пору жилъ осторожный и неравнодушный къ «свѣтскимъ событіямъ» владыко, благосклонно благоволившій къ набожному московскому семейству Свиньиныхъ.

Проницательному владыкѣ казалось неяснымъ сказаніе о выстрѣлѣ. Что же это за ночной пловецъ? Если онъ былъ бѣглый узникъ, то за что же наказанъ часовой, который исполнилъ свой долгъ, выстрѣливъ въ него, когда тотъ плылъ черезъ Неву изъ крѣпости? Если же это не узникъ, а иной загадочный человѣкъ, котораго надо было спасать изъ волнъ Невы, то почему о немъ могъ знать часовой? И тогда опять не можетъ быть,

чтобъ это было такъ, какъ о томъ въ мірѣ суесловятъ. Въ мірѣ многое берутъ крайне легкомысленно и «суесловятъ», но живущіе въ обителяхъ и на подворьяхъ ко всему относятся гораздо серьезнѣе и знаютъ о свѣтскихъ дѣлахъ самое настоящее.

---

Однажды, когда Свиньинъ случился у владыки, чтобы принять отъ него благословеніе, высокочтимый хозяинъ заговорилъ съ нимъ «кстати о выстрѣлѣ». Свиньинъ разсказалъ всю правду, въ которой, какъ мы знаемъ, не было ничего похожаго на то, о чемъ повѣствовали «кстати о выстрѣлѣ».

Владыко выслушалъ настоящій разсказъ въ молчаніи, слегка шевеля своими бѣленькими четками и не сводя своихъ глазъ съ разсказчика. Когда же Свиньинъ кончилъ, владыко тихо журчащею рѣчью произнесъ:

— Посему надлежитъ заключить, что въ семъ дѣлѣ не все и не вездѣ излагалось согласно съ полною истиной?

Свиньинъ замялся и потомъ отвѣчалъ съ уклономъ, что докладывалъ не онъ, а генералъ Кокошкинъ.

Владыко въ молчаніи перепустилъ нѣсколько разъ четки сквозь свои восковые персты и потомъ молвилъ:

— Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять четки, опять молчаніе и, наконецъ, тихоструйная рѣчь:

— Неполная истина не есть ложь. Но о семъ наименьше.

— Это, дѣйствительно, такъ,— заговорилъ поощренный Свиньинъ.— Меня, конечно, больше всего смущаетъ, что я долженъ былъ подвергнуть наказанію этого солдата, который хотя нарушилъ свой долгъ...

Четки и тихоструйный перебивъ:

— Долгъ службы никогда не долженъ быть нарушенъ.

— Да, но это имъ было сдѣлано по великодушію, по состраданію и притомъ съ такой борьбой и съ опасностью: онъ понималъ, что, спасая жизнь другому человѣку, онъ губитъ самого себя... Это высокое, святое чувство!

— Святое извѣстно Богу, наказаніе же на тѣлѣ простолюдину не бываетъ губительно и не противорѣчитъ ни обычаю народовъ ни духу Писанія. Лозу гораздо легче перенесть на грубомъ тѣлѣ, чѣмъ тонкое страданіе въ духѣ. Въ семъ справедливость отъ васъ нимало не пострадала.

— Но онъ лишенъ и награды за спасеніе погибавшихъ.

— Спасеніе погибающихъ не есть заслуга, но паче долгъ. Кто могъ спасти и не спасъ — подлежитъ карѣ законовъ, а кто спасъ, тотъ исполнилъ свой долгъ.

Пауза, четки и тихоструй:

— Воину претерпѣть за свой подвигъ униженіе и раны можетъ быть гораздо полезнѣе, чѣмъ превозноситься знакомъ. Но что во всемъ семъ наибольшее — это то, чтобы хранить о всемъ дѣлѣ семъ осторожность и отнюдь нигдѣ не упоминать о томъ, кому по какому-нибудь случаю о семъ было сказывано.

Очевидно, и владыко былъ доволенъ.

---

Если бы я имѣлъ дерзновеніе счастливыхъ избранниковъ неба, которымъ, по великой ихъ вѣрѣ, дано проницать тайны Божія смотрѣнія, то я, можетъ-быть, дерзнулъ бы дозволить себѣ предположеніе, что, вѣроятно, и самъ Богъ былъ доволенъ поведеніемъ созданной имъ смирной души Постникова. Но вѣра моя мала; она не даетъ уму моему силы зрѣть столь высокаго: я держусь земного и перстнаго. Я думаю о тѣхъ смертныхъ, которые любятъ добро просто для самого добра и не ожидаютъ никакихъ наградъ за него, гдѣ бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мнѣ кажется, должны быть вполнѣ довольны святымъ порывомъ любви и не менѣе святымъ терпѣніемъ смиреннаго героя моего точнаго и безыскусственнаго разсказа.

## НА КРАЮ СВѢТА.

Въ сокращеніи.

### I.

Раннимъ вечеромъ, на святкахъ, мы сидѣли за чайнымъ столомъ въ большой голубой гостиной архіерейскаго дома. Насъ было семь человѣкъ, восьмой нашъ хозяинъ, тогда уже весьма престарѣлый архіепископъ, больной и немощный. Гости были люди просвѣщенные, и между ними

шелъ интересный разговоръ о нашей вѣрѣ и о нашемъ невѣріи, о нашемъ проповѣдничествѣ въ храмахъ и о просвѣтительныхъ трудахъ нашихъ миссій на Востокѣ. Въ числѣ собесѣдниковъ находился нѣкто флота-капитанъ Б., очень добрый человѣкъ, но большой нападчикъ на русское духовенство. Онъ твердилъ, что наши миссіонеры совершенно неспособны къ своему дѣлу, и радовался, что правительство разрѣшило теперь трудиться на пользу Слова Божія чужеземнымъ евангелическимъ пасторамъ. Б. выражалъ твердую увѣренность, что эти проповѣдники будутъ у насъ имѣть огромный успѣхъ не среди однихъ евреевъ и докажутъ, какъ два и два—четыре, неспособность русскаго духовенства къ миссіонерской проповѣди.

Нашъ почтенный хозяинъ, въ продолженіе этого разговора, хранилъ глубокое молчаніе: онъ сидѣлъ съ покрытыми пледомъ ногами въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслѣ и, повидимому, думалъ о чемъ-то другомъ; но когда Б. кончилъ, старый владыка вздохнулъ и проговорилъ:

— Не хотите ли, я вамъ разскажу нѣкоторый, можетъ-быть, не лишенный интереса, анекдотъ на этотъ случай.

— Ахъ, сдѣлайте милость, владыко; мы всѣ васъ просимъ объ этомъ!

— А, просите? — такъ и прекрасно: тогда и я васъ прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлянулись, поправились на мѣстахъ, чтобы не шевелиться, и архіерей началъ.

## II.

— Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лѣтъ назадъ: это будетъ относиться къ тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодымъ человѣкомъ, былъ поставленъ во епископы, въ весьма отдаленную сибирскую епархію. Я былъ отъ природы нрава пылкаго и любилъ, чтобы у меня было много дѣла, а оотому не только не опечалился, а даже ччень обрадовался этому дальнему назнахенію. Слава Богу, думалъ я, что мнѣ тотя для начала-то выпало на долю не долько ставленниковъ стричь да пьяныхъ дьячковъ разбирать, а настоящее живое нѣло, которымъ можно съ любовію запяться. Я разумѣлъ именно то наше малоуспѣшное миссіонерство, о которомъ господинъ капитанъ изволилъ вспомнить въ началѣ нашей сегодняшней бесѣды. Ѣхалъ я къ своему мѣсту, пылая рвеніемъ и съ планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергію остудилъ и, что еще важнѣе, чуть-чуть было самаго дѣла не перепортилъ, если бы мнѣ не данъ былъ спасительный урокъ въ одномъ чудесномъ событіи.

— Чудесное!—воскликнулъ кто-то изъ слушателей, позабывъ условіе не перебивать разсказа; но нашъ снисходительный хозяинъ за это не разсердился и отвѣчалъ:

— Да, господа, обмолвясь словомъ, могу не брать назадъ: въ томъ, что со мною случилось и о чемъ началъ вамъ разсказывать, не безъ чудесъ, и чудеса эти начали мнѣ являться чуть не съ самаго перваго дня моего прибытія въ мою полудикую епархію. Первое дѣло, съ котораго начинаетъ свою дѣятельность русскій архіерей, куда бы онъ ни попалъ, конечно, есть обозрѣніе внѣшности храмовъ и богослуженія,—къ этому обратился и я: велѣлъ, чтобы вездѣ были приняты прочь съ престоловъ лишніе евангелія и кресты, благодаря которымъ эти престолы у насъ часто превращаются въ какія-то выставки магазина церковной утвари. Заказалъ себѣ столько ковриковъ съ орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своихъ мѣстахъ, чтобы не шмыгали у меня съ ними подъ носомъ, подбрасывая ихъ подъ ноги. Съ усиліемъ и подъ страхомъ штрафовъ воздерживалъ дьяконовъ не ловить меня во время служенія за локти и не забираться рядомъ со мною на горнее мѣсто, а наипаче всего не надѣлять тумаками и подзагривками бѣдныхъ ставленниковъ, у которыхъ оттого, послѣ пріятія благодати Святаго Духа, недѣли по двѣ и загорбокъ и шея болитъ. И никто изъ васъ мнѣ не повѣритъ, сколько все это стоитъ труда и какія приноситъ досады, особенно человѣку нетерпѣливому, какимъ я тогда былъ и остаюсь таковымъ же, къ моему стыду, отчасти и доселѣ. Окончилось съ этимъ,—надо было приниматься за второе архіерейское дѣло первой важности: удостовѣриться, умѣютъ ли причетники читать, хоть ужъ если не по писанному, то, по крайней мѣрѣ, по печатному. Эти экзамены долго меня за-

няли и сильно досаждали мнѣ, а порою и смѣшили. Безграмотный или, по крайней мѣрѣ, «неписьменный» дьячокъ или понамарь и теперь еще, пожалуй, отыщется въ селѣ или въ уѣздномъ городишкѣ и внутри Россіи, что и оказалось, когда имъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ пришлось въ первый разъ расписываться въ полученіи жалованья. Но тогда, во время оно, да еще въ Сибири, это было явленіе самое обыкновенное. Я ихъ велѣлъ учить; они на меня, разумѣется, плакались и прозвали меня «лютымъ»; приходы жаловались, что нѣтъ чтецовъ, что архіерей «церкви разоряетъ». Что тутъ дѣлать! я сталъ отпускать на мѣста такихъ дьячковъ, которые хоть на память читать умѣли, и—о Боже!—что за людей я видѣлъ! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... какіе-то одержимые. Одинъ, вмѣсто «Пріидите, поклонимся Цареви Нашему Богу», закрывъ глаза, какъ перепелъ, колотилъ: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этимъ такъ, что удержать его было невозможно. Другой — уже это именно былъ одержимый,—онъ такъ искусился въ скорохватѣ, что съ какимъ-нибудь извѣстнымъ словомъ у него являлась своя ассоціація идей, которой онъ никакъ не могъ не подчиняться. Такое слово для него было, напримѣръ, «на небеси». Начнетъ читать: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси»... и вдругъ у него что-то въ головѣ защелкнетъ, и онъ продолжаетъ: «да святится имя Твое, да пріидетъ царствіе»... Что я съ этимъ тираномъ ни мучился, все было тщетно! Велѣлъ ему по книгѣ читать,—читаетъ: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси», но вдругъ закрылъ книгу и пошелъ «да святится имя Твое», и залопоталъ до конца, и возглашаетъ «отъ лукаваго». Только тутъ и остановиться могъ: оказалось, что онъ не умѣетъ читать. За грамотностью дьячковъ очередь переходитъ къ благонравію семинаристовъ, и опять начинаются чудеса. Семинарія была до того распущена, воспитанники пьянствовали и до того безчинствовали, что, напримѣръ, одинъ философъ, при инспекторѣ, кончая вечернія молитвы, прочелъ: «упованіе мое Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, покровъ мой Духъ Святый: Троица Святая,—мое вамъ почтеніе»; а въ богословскомъ классѣ другая исторія: одинъ послѣ обѣда благодаритъ, «яко насытилъ земныхъ благъ», и проситъ не лишить и «небеснаго царствія», а ему изъ толпы кричатъ: «Свинья! нажрался, да еще въ царство небесное просишься».

Надо было подыскать какъ можно скорѣе инспектора, подходящаго подъ мой духъ,— тоже лютаго; при большой спѣшности и небольшомъ выборѣ попался такой: лютости въ немъ оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

— Я, говоритъ, ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

— Хорошо, отвѣчаю, примись по-военному...

Онъ и принялся, и съ того началъ, что молитвы распорядился не читать, но пѣть хоромъ, дабы устранить всякія шалости, и то пѣть по его командѣ. Взойдетъ онъ при полномъ молчаніи, и, пока не скомандуетъ, всѣ безмолвствуютъ; скомандуетъ: «молитву!» и запоютъ. Но этотъ уже очень «по-военному» уставилъ; скомандуетъ «молит-в-у-у!» Семинаристы только запоютъ «Очи всѣхъ, Господи, на Тя упов...»—онъ на половинѣ слова кричитъ: «Ст-о-ой» и подзываетъ одного:

— Фроловъ, поди сюда!

Тотъ подходитъ.

— Ты Багрѣевъ?

— Нѣтъ-съ, я Фроловъ.

— А-а, ты Фроловъ?! Отчего же это я думалъ, что ты Багрѣевъ?

Опять хохотъ, и опять ко мнѣ жалобы. Нѣтъ, вижу—не годится этотъ съ военными пріемами и нашелъ кое-какъ цивилиста, который былъ хотя не столь лютъ, но благоразумнѣе дѣйствовалъ: передъ учениками притворялся самымъ слабымъ добрякомъ, а мнѣ все ябедничалъ и повсюду разсказывалъ ужасы о моемъ звѣрствѣ. Я это зналъ и, видя, что эта мѣра оказывается дѣйствительною, не претилъ его системѣ.

Насилу этихъ своею «лютостію» въ повиненіе привелъ; въ зрѣломъ возрастѣ чудеса пошли: доносятъ мнѣ, что въ соборнаго протоіерея возъ сѣна въ средину въѣхалъ и не можетъ выѣхать. Посылаю узнавать; говорятъ: дѣйствительно, такъ. Протопопъ былъ тучный; послѣ обѣдни крестилъ въ купеческомъ домѣ и вдоволь облѣпихою угостился, а что отъ этой облѣпихи, что отъ другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый. То и съ этимъ сталось: пришелъ домой,

часа четыре заснулъ, всталъ и, выпивъ жбанъ квасу, легъ грудью на окно, чтобы поговорить съ кѣмъ-то, кто внизу стоялъ, и вдругъ... возъ съ сѣномъ въ него въѣхалъ. Вѣдь все это глупое такое, что даже противно сдѣлается, а раздѣлается, такъ, пожалуй, еще противнѣй станетъ. На другой день келейникъ подаетъ мнѣ сапоги и докладываетъ, что «слава Богу, говоритъ, изъ отца протопопа возъ съ сѣномъ уже выѣхалъ».

— Очень радъ, говорю, таковой радости; но подай-ка мнѣ эту исторію обстоятельно.

Оказывается, что протопопъ, имѣвшій двухъэтажный домъ, легъ на окно, подъ которымъ были ворота, и въ нихъ въ эту минуту въѣхалъ возъ съ сѣномъ, при чемъ ему, отъ облѣпихи и отъ сна до одури, показалось, что это въ него въѣхало. Невѣроятно, но, однако, такъ было: credo, quia absurdum.

Какъ же сего дивотворнаго мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать онъ ни за что не соглашался, потому что въ немъ возъ сидитъ; лѣкарь не находилъ лѣкарства противъ сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертѣлась, постучала и велѣла на дворѣ возъ сѣна наложить и назадъ выѣхать; больной принялъ, что это изъ него выѣхало, и исцѣлѣлъ.

Ну, послѣ этого дѣлайте съ нимъ, что хотите, а онъ уже сдѣлалъ: и людей насмѣшилъ и шаманку призвалъ идольскими чарами его пользовать; а такія вещи тамъ не въ мѣшочкѣ лежатъ, а по дорожкѣ бѣжатъ. «Что де попы, — они ничего не значатъ и сами нашихъ шамановъ зовутъ шайтана отгонять». И идутъ себѣ да идутъ этакія глупости. Долго я приправлялъ, какъ могъ, сіи дымящія лампады, и приходская часть мнѣ черезъ нихъ невыносимо надокучила; но зато насталъ давно желанный и вожделѣнный мигъ, когда я могъ всего себя посвятить трудамъ по просвѣщенію дикихъ овецъ моей паствы, пасущихся безъ пастыря.

Забралъ я себѣ всѣ касающіяся этой части бумаги и присѣлъ за нихъ вплотную, такъ что и отъ стола не отхожу.

## III.

Ознакомясь съ миссіонерскими отчетностями, я остался всею дѣятельностью недоволенъ болѣе, чѣмъ дѣятельностію моего приходскаго духовенства: обращеній въ христіанство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этихъ обращеній значилась только на бумагѣ. На самомъ же дѣлѣ одни изъ крещеныхъ снова возвращались въ свою прежнюю вѣру—ламайскую или шаманскую; а другіе дѣлали изъ всѣхъ этихъ вѣръ самое странное и нелѣпое смѣшеніе: они молились и Христу съ Его апостолами, и Буддѣ съ его буддиситами да тенгеринами, войлочнымъ сумочкамъ съ шаманскими ангонами. Двоевѣріе держалось не у однихъ кочевниковъ, а почти и повсемѣстно въ моей паствѣ, которая не представляла отдѣльной вѣтви какой-нибудь одной народности, а какіе-то щепы и осколки Богъ вѣсть когда и откуда сюда попавшихъ племенныхъ разновидностей, бѣдныхъ по языку и еще болѣе бѣдныхъ по понятіямъ и фантазіи. Видя, что все касающееся миссіонерства находится здѣсь въ такомъ хаосѣ, я возъимѣлъ объ этихъ моихъ сотрудникахъ мнѣніе самое невыгодное и обошелся съ ними нетерпѣливо сурово. Вообще` я сталъ очень раздражителенъ, и данное мнѣ прозвище «лютаго» начало мнѣ приличествовать. Особенно испыталъ на себѣ печать моего гнѣвливаго нетерпѣнія бѣдный монастырекъ, который я избралъ для своего жительства и при которомъ желалъ основать школу для мѣстныхъ инородцевъ. Разспросивъ чернецовъ, я узналъ, что въ городѣ почти всѣ говорятъ по-якутски, но изъ моихъ иноковъ изо всѣхъ по-инородчески говоритъ только одинъ очень престарѣлый іеромонахъ, отецъ Киріакъ, да и тотъ къ дѣлу проповѣди не годится, а а если и годится, то, хоть его убей, не хочетъ итти къ дикимъ проповѣдывать.

— Что это, спрашиваю, за ослушникъ, и какъ онъ смѣетъ? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезіархъ мнѣ отвѣчаетъ, что слова мои передастъ, но послушанія отъ Киріака не ожидаетъ, потому что это уже ему не первое, что и два мои быстро другъ за другомъ смѣнившіеся предмѣстника съ нимъ строгость пробовали, но онъ уперся и одно отвѣчаетъ: «Душу за моего Христа положить радъ, а крестить тамъ (т.-е. въ пустыняхъ) не стану». Даже, говоритъ, самъ просилъ лучше сана его лишить, но туда

не посылать. И отъ священнодѣйствія много лѣтъ былъ за это ослушаніе запрещенъ, но нимало тѣмъ не тяготился, а, напротивъ, съ радостью несъ самую простую службу: то сторожемъ, то въ звонарнѣ. И всѣми любимъ: и братіей, и міряяами, и даже язычниками.

— Какъ?—удивляюсь:—неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники къ нему иные заходятъ.

— За какимъ же дѣломъ?

— Уважаютъ его какъ-то изстари, когда еще онъ на проповѣдь ѣздилъ въ прежнее время.

— Да каковъ онъ былъ въ то, въ прежнее-то время?

— Прежде самый успѣшный миссіонеръ былъ и множество людей обращалъ.

— Что же ему такое сдѣлалось? отчего онъ бросилъ эту дѣятельность?

— Понять нельзя, владыко; вдругъ ему что-то приключилось: вернулся изъ степей, принесъ въ алтарь мирницу и дароносицу и говоритъ: «Ставлю и не возьму опять, доколѣ не придетъ часъ».

— Какой же ему нуженъ часъ? что онъ подъ симъ разумѣетъ?

— Не знаю, владыко.

— Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О роде лукавый, доколѣ живу съ вами и терплю васъ? Какъ васъ это ничто дѣла касающееся не интересуетъ? Помните себѣ, что если тѣхъ, кои ни горячи ни холодны, Господь обѣщалъ изблевать съ устъ своихъ, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклезіархъ оправдывается:

— Всячески, говоритъ, владыко, мы у него любопытствовали, но онъ одно отвѣчаетъ: «Нѣтъ, говоритъ, дѣтушки, это дѣло не шутка,—это страшное... я на это смотрѣть не могу».

А что такое страшное, на это экклезіархъ не могъ мнѣ ничего обстоятельнаго отвѣтить, а сказалъ только, что «полагаемъ-де такъ, что отцу Киріаку при проповѣди какое-либо откровеніе было». Меня это разсердило. Признаюсь вамъ, я недолюбливаю этотъ ассортиментъ «слывущихъ», которые вживѣ чудеса творятъ и непосредственными откровеніями хвалятся, и причины имѣю ихъ недолюбливать. А потому я сейчасъ же потребовалъ этого строптиваго Киріака къ себѣ и, не довольствуясь тѣмъ, что уже достаточно слылъ грознымъ и лютымъ, взялъ да еще принасупился: былъ готовъ опалить его гнѣвомъ, какъ только покажется. Но пришелъ къ моимъ очамъ монашекъ, такой маленькій, такой тихій, что не на кого и взоровъ метать; одѣтъ въ облинялой коленкоровой ряскѣ, клобукъ толстымъ сукномъ покрытъ, собой черненькій, востроличенькій, а входитъ бодро, безъ всякаго подобострастія, и первый меня привѣтствуетъ:

— Здравствуй, владыко!

Я не отвѣчаю на его привѣтствіе, а начинаю сурово:

— Ты что это здѣсь чудишь, пріятель?

— Какъ, говоритъ, владыко? Прости, будь милостивъ: я маленько на ухо тугъ— не все дослышалъ.

Я еще погромче повторилъ.

— Теперь, молъ, понялъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, ничего не понялъ.

— А почему ты съ проповѣдью итти не хочешь и крестить инородцевъ избѣгаешь?

— Я, говоритъ, владыко, ѣздилъ и крестилъ, пока опыта не имѣлъ.

— Да, молъ, а опытъ получивши и пересталъ?

— Пересталъ.

— Что же сему за причина?

Вздохнулъ и отвѣчаетъ:

— Въ сердцѣ моемъ сія причина, владыко, и Сердцевѣдецъ ее видитъ, что велика она и мнѣ, немощному, непосильна... Не могу!

И съ симъ въ ноги мнѣ поклонился.

Я его поднялъ и говорю:

— Ты мнѣ не кланяйся, а объясни: что ты откровеніе, что ли, какое получилъ, или съ Самимъ Богомъ бесѣдовалъ?

Онъ съ кроткою укоризною отвѣчаетъ:

— Не смѣйся, владыко; я не Моисей, Божій избранникъ, чтобы мнѣ съ Богомъ бесѣдовать; тебѣ грѣхъ такъ думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

— Такъ что же? за чѣмъ дѣло?

— А за тѣмъ, видно, и дѣло, отвѣчаетъ, что я не Моисей, что я, владыко, робокъ и свою силу-мѣру знаю: изъ Египта-то языческаго я вывесть—выведу, а Чермнаго моря не разсѣку, и изъ степи не выведу, и воздвигну простыя сердца на ропотъ къ преобидѣ Духа Святаго.

Видя этакую образность въ его живой рѣчи, я было заключилъ, что онъ, вѣроятно, самъ изъ раскольниковъ, и спрашиваю:

— Да ты самъ-то какимъ чудомъ въ единеніе съ Церковью приведенъ?

— Я, отвѣчаетъ, въ единеніи съ нею съ моего младенчества и пребуду въ немъ даже до гроба.

И разсказалъ мнѣ препростое и престранное свое происхожденіе. Отецъ у него былъ попъ, рано овдовѣлъ; повѣнчалъ какую-то незаконную свадьбу и былъ лишенъ мѣста, да такъ, что всю жизнь потомъ не могъ себѣ его нигдѣ отыскать, а состоялъ при нѣкоей пожилой важной дамѣ, которая всю жизнь съ мѣста на мѣсто ѣздила и, боясь умереть безъ покаянія, для этого случая сего попа при себѣ возила. Ѣдетъ она,—онъ на передней лавочкѣ съ нею въ каретѣ сидитъ; а она въ домъ войдетъ,—онъ въ передней съ лакеями ее ожидаетъ. И можете себѣ вообразить человѣка, у котораго этакая была вся жизнь! А между тѣмъ онъ, не имѣя уже своего алтаря, питался буквально отъ своей дароносицы, которая съ нимъ за пазухою путешествовала, и на сынишку онъ у этой дамы какія-то крохи вымаливалъ, чтобы въ училищѣ его содержать. Такъ они и въ Сибирь попали: барыня сюда поѣхала дочь навѣстить, которая была тутъ за губернаторомъ замужемъ, и попа съ дароносицей на передней лавочкѣ привезла. Но какъ путь былъ далекій, да къ тому же еще барыня тутъ долго оставаться собиралась, то попикъ, любя сынишку, не соглашался безъ него ѣхать. Барыня подумала, подумала — и, видя, что ей родительскихъ чувствъ не переупрямить, согласилась и взяла съ собою мальчишку. Такъ онъ сзади за каретою переѣхалъ изъ Европы въ Азію, имѣя при семъ путевымъ долгомъ охранять своимъ присутствіемъ привязанный на запяткахъ чемоданъ, на которомъ и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тутъ и его барыня и его отецъ умерли, а онъ остался, за бѣдностью курса не кончилъ, въ солдаты попалъ, этапъ водилъ. Имѣя мѣткій глазъ, по приказанію начальства, не цѣлясь, въ догонъ за какимъ-то бѣглымъ пулю пустилъ и, безъ всякаго желанія, на свое горе, убилъ того, и съ той поры онъ все страдалъ, все мучился и, сдѣлавшись негоднымъ къ службѣ, въ монахи пошелъ, гдѣ его отличное поведеніе было замѣчено, а знаніе инородческаго языка и его религіозность побудили склонить его къ миссіонерству.

Выслушалъ я эту простую, но трогательную повѣсть старика, и стало мнѣ его до жуткости жалко.

— Ахъ ты, говорю, отецъ Киріакъ, отецъ Киріакъ! Расцѣловалъ я его неоднократно, отпустилъ и, ни о чемъ болѣе не разспрашивая, велѣлъ ему съ завтрашняго же дня ходить ко мнѣ, учить меня тунгузскому и якутскому языку.

## IѴ—Ѵ.

Но отступивъ со своею суровостію отъ Киріака, я зато напустился на прочихъ монаховъ своего монастырька, отъ коихъ, по правдѣ сказать, не видалъ ни Киріакова простодушія и никакого дѣла, на службу вѣры полезнаго: живутъ себѣ этакимъ, такъ сказать, форпостомъ христіанства въ краю язычниковъ, а ничего, лѣнивцы, не дѣлаютъ—даже языку туземному ни одинъ не озаботился научиться.

Щунялъ я ихъ, щунялъ келейно и, наконецъ, съ амвона на нихъ громыхнулъ словомъ царя Ивана къ преподобному Гурію, что «напрасно-де именуютъ чернецовъ ангелами,—нѣтъ имъ съ ангелами сравненія, ни какого-либо подобія, а должны они уподобляться апостоламъ, которыхъ Христосъ послалъ учить и крестить!»

Киріакъ приходитъ ко мнѣ на другой день урокъ давать и прямо мнѣ въ ноги:

— Что ты? что ты? говорю, подымая его: учителю благій, тебѣ это не довлѣетъ ученику въ ноги кланяться.

— Нѣтъ, владыко, ужъ очень ты меня утѣшилъ, такъ утѣшилъ, что я и въ жизнь не чаялъ такого утѣшенія!

— Да чѣмъ, говорю, божій человѣкъ, ты такъ мною обрадованъ?

— А что велишь монахамъ учиться, да идучи впередъ учить, а потомъ крестить; ты правъ, владыко, что такой порядокъ устроилъ, его и Христосъ велѣлъ и приточникъ поучаетъ: «идѣже нѣсть ученія души, нѣсть добра». Крестить-то они всѣ могучи, а обучить слову нетяги.

— Ну, ужъ это, говорю, ты меня, братъ, кажется шире понялъ, чѣмъ я го-

ворилъ; этакъ вѣдь, по-твоему, и дѣтей бы не надо крестить.

— Дѣти христіанскія другое дѣло, владыко.

— Ну, да; и предковъ бы нашихъ князь Владиміръ не окрестилъ, если бы долго отъ нихъ наученности ждалъ.

А онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Эхъ, владыко, да вѣдь и впрямь бы ихъ, можетъ, прежде поучить лучше было. А то, самъ, чай, въ лѣтописи читалъ,— все больно скоро варомъ вскипѣло, «понеже благочестіе его со страхомъ бѣ сопряженно». Платонъ, митрополитъ, мудро сказалъ: «Владиміръ поспѣшилъ, а греки слукавили,—невѣждъ ненаученныхъ окрестили». Что намъ ихъ спѣшкѣ съ лукавствомъ слѣдовать? вѣдь они, знаешь, «льстивы даже до сего дня». Итакъ, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это такъ крестить, владыко!

— Какъ, говорю, тщетно? Отецъ Киріакъ, что ты это, батюшка, проповѣдуешь?

— А что же, отвѣчаетъ, владыко?— вѣдь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещеніе невѣждѣ къ пріобрѣтенію жизни вѣчной не служитъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю серьезно.

— Послушай, отецъ Киріакъ, вѣдь ты еретичествуешь.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, во мнѣ нѣтъ ереси, я по тайноводству святого Кирилла Іерусалимскаго правовѣрно говорю: «Симонъ, волхвъ, въ купели тѣло омочи водою, но сердце не просвѣти духомъ, и сниде, и изыде тѣломъ, а душею не спогребеся, и не возста». Что окрестился, что выкупался, все равно христіаниномъ не былъ. Живъ Господь, и жива душа твоя, владыко,— вспомни, развѣ не писано: будутъ и крещеные, которые услышатъ «не вѣмъ васъ», и некрещеные, которые отъ дѣлъ совѣсти оправдятся и внидутъ, яко хранившіе правду и истину. Неужели же ты сіе отметаешь?

«Ну, думаю, подождемъ объ этомъ бесѣдовать», и говорю:

— Давай-ка, говорю, братъ, не іерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толковъ буду.

— Я не сердитъ, владыко, отвѣчаетъ.— И точно, удивительно былъ благодушный и откровенный старикъ и прекрасно училъ меня. Толково и быстро открылъ онъ мнѣ всѣ таинства, какъ постичь эту молвь, такую бѣдную и немногословную, что ее едва ли можно и языкомъ назвать. Во всякомъ разѣ, это не болѣе, какъ языкъ жизни животной, а не жизни умственной; а между тѣмъ усвоить его очень трудно: обороты рѣчи, краткіе и непеpіодическіе, дѣлаютъ крайне затруднительнымъ переводы на эту молвь всякаго текста, изложеннаго по правиламъ языка выработаннаго, со сложными періодами и подчиненными предложеніями; а выраженія поэтическія и фигуральныя на него вовсе не переводимы, да и понятія, ими выражаемыя, остались бы для этого бѣднаго люда недоступны. Какъ разсказать имъ смыслъ словъ: «будьте хитры, какъ зміи, и незлобивы, какъ голуби», когда они и ни змѣи и ни голубя никогда не видали и даже представить ихъ себѣ не могутъ. Нельзя имъ подобрать словъ: ни мученикъ, ни креститель, ни предтеча, а Пресвятую Дѣву, если перевести по-ихнему словами, шочмо Абя, то выйдетъ не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женскаго пола, короче сказать, богиня. Про заслуги же св. крови или про другія тайны вѣры еще труднѣе говорить, а строить имъ какую-нибудь богословскую систему или просто слово молвить о рожденіи безъ мужа, отъ Дѣвы,—и думать нечего: они или ничего не поймутъ, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо въ глаза расхохочутся.

Все это мнѣ передалъ Киріакъ и передалъ такъ превосходно, что я, узнавъ духъ языка, постигъ и весь духъ этого бѣднаго народа; и что всего мнѣ было самому надъ собою забавнѣе, что Киріакъ съ меня самымъ незамѣтнымъ образомъ всю мою напускную суровость сбилъ: между нами установились отношенія самыя пріятныя, легкія.

Губернаторъ мнѣ ставилъ на видъ, что въ сосѣдней епархіи, при тѣхъ же обстоятельствахъ, въ какихъ я находился, проповѣдь и крещеніе совершаются успѣшно, при чемъ указывалъ мнѣ на какого-то миссіонера Петра, изъ зырянъ, который цѣлыми массами креститъ инородцевъ.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросилъ сосѣдняго архіерея: такъ ли это?

Тотъ отвѣчалъ, что, дѣйствительно, у него есть зырянинъ, попъ Петръ, который два раза ѣздилъ на проповѣдь и въ первый разъ «всѣ кресты раскрестилъ», а во второй вдвое больше крестовъ взялъ и опять недостало, — съ одного на другого на шеи перевѣшивалъ.

Киріакъ, какъ это услышалъ, такъ и всплакался.

— Боже мой, говоритъ, откуда еще ко всѣмъ бѣдамъ пришелъ сюда сей коварный строитель? Онъ Христа въ Его же Церкви да Его же кровью затопитъ! Охъ, бѣда! помилосердуй, владыко, проси скорѣе архіерея, чтобы онъ унялъ своего слугу вѣрнаго, оставилъ бы въ Церкви силъ хоть на сѣмена.

— Ты, говорю, отецъ Киріакъ, вздоръ говоришь; могу ли я отъ столь хвальной ревности человѣка удерживать?

— Ахъ, нѣтъ, молитъ, владыко, проси; вѣдь это тебѣ непонятно, а я такъ знаю, что, значитъ, теперь тамъ въ степяхъ дѣлается. Это все не Христу, а вражкамъ Его служба тамъ идетъ. Зальютъ, зальютъ они Его, голубчика, кровью и на сто лишнихъ лѣтъ отъ Него народъ отпугаютъ.

Я, разумѣется, Киріака не послушалъ, а, напротивъ, написалъ къ сосѣднему архіерею, чтобы онъ далъ мнѣ своего зырянина на подержаніе или, какъ сибирскіе аристократы по-французски говорятъ: «о прока». Сосѣдъ мой, архіерей, въ это время уже, отбывъ сибирскую эпитимью, перемѣщался въ Россію и не постоялъ за своего досужаго крестителя. Зырянинъ былъ мнѣ присланъ: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслянъ. Я его сейчасъ же отправилъ въ степь, а недѣли черезъ двѣ отъ него уже и радостныя вѣсти имѣлъ: доносилъ онъ мнѣ, что креститъ народъ на всѣ стороны. Одного онъ опасался: достанетъ ли у него крестовъ, которыхъ забралъ съ собою весьма изрядную коробку? Изъ сего я, не ошибаясь, могъ заключить, что уловъ въ мережи сего счастливаго ловца попадаетъ чрезвычайно обильный.

Вотъ, думаю, когда я досталъ себѣ, наконецъ, къ этому дѣлу настоящаго мастера! И очень былъ этому радъ, да и какъ радъ-то! Откровенно скажу вамъ, — съ самой казенной точки зрѣнія, — потому что... и архіерей вѣдь тоже, господа, человѣкъ, и ему надокучитъ, когда одна власть пристаетъ: «крести», а другая — «пусти»... Ну ихъ совсѣмъ! скорѣй какъ-нибудь кончить въ одну сторону, и какъ попался ловкій крестить, такъ пусть уже заурядъ все креститъ, авось, и людямъ спокойнѣе станетъ.

Но Киріакъ не раздѣлялъ моего взгляда, и разъ иду я вечеромъ черезъ дворъ изъ бани и встрѣчаю его; онъ остановился и привѣтствуетъ меня:

— Здравствуй, владыко!

— Здравствуй, говорю, отецъ Киріакъ.

— Хорошо ли вымылся?

— Хорошо.

— А зырянина-то отмылъ ли?

Я разсердился.

— Это, говорю, что за глупость?

А онъ опять про зырянина.

— Онъ безжалостный, говоритъ, онъ и у насъ теперь такъ креститъ, какъ за Байкаломъ крестилъ; его крестниковъ черезъ это только мучаютъ, а они на Христа, батюшку, плачутся. Грѣхъ всѣмъ вамъ, а тебѣ больше всѣхъ грѣхъ, владыко!

Я Киріака счелъ за грубіяна, но слова-то его мнѣ все-таки въ душу запали. Что въ самомъ дѣлѣ? онъ вѣдь старикъ основательный, на вѣтеръ болтать не станетъ: въ чемъ же тутъ секретъ? — какъ, въ самомъ дѣлѣ, взятый мною «о прока» досужій зырянинъ креститъ? Я имѣлъ понятіе о религіозности зырянъ; они по преимуществу храмоздатели, церкви у нихъ повсюду отличныя и даже богатыя, но изъ всѣхъ глаголемыхъ христіанъ на свѣтѣ они, должно сознаться, самые внѣшніе. Ни къ кому столько, какъ къ нимъ, не идетъ опредѣленіе, что у нихъ «Богъ въ однихъ лишь образахъ, а не въ убѣжденіяхъ человѣка»; но вѣдь не жжетъ же этотъ зырянинъ дикарей огнемъ, чтобы они крестились? Быть этого не можетъ! Въ чемъ же тутъ дѣло? отчего зырянинъ успѣваетъ, а русскіе не умѣютъ, и отчего я этого о-сю пору не знаю?

«А все оттого, владыко, пришло мнѣ на мысль, что ты и тебѣ подобные себялюбивы да важны: «деньги многи» собираете, да только подъ колокольнымъ звономъ разъѣзжаете, а про дальнія мѣста своей паствы мало думаете и о нихъ по слухамъ судите. На безсиліе свое на родной землѣ нарекаете, а сами все звѣзды хва-

тать норовите, да вопрошаете: «что ми хощете дати, да азъ вамъ предамъ?» Берегись-ка, братъ, какъ бы и ты не таковъ же сталъ?»

И ходилъ я, ходилъ этотъ вечеръ съ своею думою по моей пустой скучной залѣ и до тѣхъ поръ доходился, пока вдругъ мнѣ пришла въ голову мысль: пробѣжать самому пустыню.

Такимъ образомъ я надѣялся уяснить себѣ, если не все, то, по крайней мѣрѣ, очень многое. Да, признаюсь вамъ, и освѣжиться хотѣлось.

Для совершенія этого пути мнѣ, при моей неопытности, нуженъ былъ товарищъ, который хорошо бы зналъ инородческій языкъ; но какого же товарища лучше желать, какъ Киріака? И, не откладывая этого по своей нетерпѣливости въ долгій ящикъ, я призвалъ Киріака къ себѣ, открылъ ему свой планъ и велѣлъ собираться.

Онъ не противорѣчилъ, а, напротивъ, казалось, былъ даже очень радъ и, улыбаясь, повторялъ:

— Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!

Откладывать было не зачѣмъ, и мы на другое же утро, ранымъ-рано, отпѣли обѣденку, одѣлись оба по-туземному и выѣхали, держа путь къ самому сѣверу, гдѣ мой зырянинъ апостольствовалъ.

## VI.

Лихо прокатили мы первый день на доброй тройкѣ и все бесѣдовали съ отцомъ Киріакомъ. Любезный старикъ разсказывалъ мнѣ интересныя исторіи изъ инородческихъ религіозныхъ преданій, изъ коихъ меня особенно занимала повѣсть о пятистахъ путешественникахъ, которые, подъ руководствомъ одного книжника, понихнему—«обушія», пустились путешествовать по землѣ въ то еще время, когда «побѣдившій силу бѣсовскую и отринувшій всѣ слабости» богъ Шигемуни гостепріимствовалъ «непочатыми яствами» въ Ширвасѣ. Повѣсть эта тѣмъ интересна, что въ ней чувствуется весь складъ и духъ религіозной фантазіи этого народа. Пятьсотъ путниковъ, предводимые обушіемъ, встрѣчаютъ духа, который, чтобы устрашить ихъ, принимаетъ самый ужасный и отвратительный видъ и спрашиваетъ: «есть ли у васъ такія чудовища?»—«Есть гораздо страшнѣе», отвѣчалъ обушій.—«Кто же они?»—«Всѣ тѣ, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны; они, по смерти, становятся чудовищами гораздо тебя страшнѣе и гаже». Духъ скрылся и, превратясь гдѣ-то въ человѣка, такого сухого и тощаго, что даже жилы его пристали къ костямъ, опять появился предъ путниками и говоритъ: «Есть ли у васъ такіе люди?» — «Какъ же, отвѣчаетъ обушій, гораздо суше тебя есть: таковы всѣ любящіе почести».

— Гмъ, перебилъ я Киріака: это, говорю, смотри, уже не на насъ ли, архіереевъ, мораль пущена?

— А Богъ вѣсть, владыко, и продолжаетъ: По нѣкоторомъ времени духъ явился въ видѣ прекраснаго юноши и говоритъ:—«А вотъ такіе у васъ есть ли?»—«Какъ же, отвѣчаетъ обушій: между людьми есть несравненно тебя прекраснѣе,—это тѣ, которые имѣютъ острое понятіе и, очистивъ свои чувства, благоговѣютъ къ тремъ изящесвамъ: Богу, вѣрѣ и святости. Сіи столь тебя красивѣе, что ты предъ ними никуда не годишься». Духъ разсердился и сталъ экзаменовать обушія другими манерами. Онъ зачерпнулъ въ горсть воды:—«Гдѣ, говоритъ, больше воды: въ морѣ или въ горсти?» — «Въ горсти болѣе», отвѣчалъ обушій. — «Докажи».—«Ну и докажу: по видимому судя, кажется въ морѣ, дѣйствительно, болѣе воды, чѣмъ въ горсти, но когда придетъ время разрушенія міра и изъ нынѣшняго солнца выступитъ другое, огнепалящее, то оно изсушитъ на землѣ всѣ воды, и большія и малыя: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумберъ-гора (Атласъ) разсыплется; а кто при жизни напоилъ своею горстью уста жаждущаго или обмылъ своею рукою раны нищаго, того горсть воды семь солнцъ не изсушатъ, а, напротивъ того, будутъ только ее расширять и тѣмъ самымъ увеличивать»... — Право, какъ вы хотите, а вѣдь это не совсѣмъ глупо, господа?—вопросилъ, пріостановясь на минуту, разсказчикъ.— А? Нѣтъ, взаправду, какъ вы это находите?

— Очень неглупо, совсѣмъ неглупо, владыко.

— Признаюсь вамъ, и мнѣ это показалось, пожалуй, толковѣе иной протяженной проповѣди объ оправданіи... Ну. впрочемъ, не все объ этомъ. Потомъ по-

вели мы долгія бесѣды о томъ, какой способъ надо предпочесть всѣмъ другимъ для обращенія дикарей въ христіанство. Киріакъ находилъ, что съ ними надо какъ можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кирика съ его вопросами превзойдутъ о томъ, можно ли того причащать, кто яйцомъ въ зубы постучитъ; да не надо много и догматизировать, потому что ихъ слабый умъ устаетъ слѣдить за всякою отвлеченностью и силлогизаціею, а надо имъ просто разсказывать о жизни и о чудесахъ Христа, чтобы это представлялось имъ какъ можно живообразнѣе и чтобы ихъ бѣдной фантазіи было за что цѣпляться. Но главное: все на то напиралъ, что «кто премудръ и худогъ, тотъ пусть покажетъ имъ отъ своего житія добраго,—тогда они и Христа поймутъ, а иначе, говоритъ, плохо наше дѣло, и истинная наша вѣра, хоть мы ее промежъ нихъ и наречемъ, то будетъ она у нихъ подъ началомъ у неистинной: наша будетъ нареченная, а та дѣйствующая, — что въ томъ добра-то, владыко? Посуди: къ торжеству Христовой вѣры это будетъ или къ ея униженію? А еще того горше, какъ отъ нашего что возьмутъ, да не знать, что изъ него сдѣлаютъ. Нечего спѣшить нарекать, а надо насаждать, другіе придутъ — будутъ поливать, а возраститъ самъ Богъ... Не такъ ли, владыко, апостолъ-то училъ? А? Вспомни его, должно-быть, такъ; а то, гляди, какъ бы не поспѣшить, да людей не насмѣшить и сатану не порадовать».

Я, по правдѣ сказать, внутренно во многомъ съ нимъ соглашался и не замѣтилъ, какъ въ простыхъ и мирныхъ съ нимъ разговорахъ провелъ весь день до вечера; а съ тѣмъ и нашъ конный путь кончился.

Переночевали мы съ нимъ у огонька въ юртѣ и на другое утро покатили на оленяхъ.

Погода стояла чудесная и ѣзда на оленяхъ очень меня занимала, хотя она, однако, не совсѣмъ отвѣчала моимъ о ней представленіямъ. Въ дѣтствѣ моемъ я очень любилъ смотрѣть на картинку, гдѣ былъ представленъ лапландецъ на оленяхъ. Но тѣ олени, на картинкѣ, были легкіе, быстроногіе, какъ вихри степные, неслись, закинувъ назадъ головы съ вѣтвистыми рогами, и я, бывало, все думалъ: эхъ, кабы хоть разъ такъ прокатиться! Какая это, должно-быть, пріятная быстрота при такой скачкѣ! А на дѣлѣ же оно выходило не такъ: передо мною были совсѣмъ не тѣ уносистые, рогатые вихри, а комолые, тяжеловатые увальни съ понурыми головами и мясистыми, разлатыми лапами. Бѣжали они побѣжкой нетвердою и неровною, склонивъ головы, и съ такою задышкою, что инда съ непривычки жалость брала на нихъ смотрѣть, особливо какъ у нихъ ноздри замерзли, и они рты поразинули. Такъ тяжело дышатъ, что это густое дыханіе ихъ собирается облакомъ и такъ и стоитъ въ морозномъ воздухѣ полосою. И эта ѣзда и грустное однообразіе пустынныхъ картинъ, которыя при ней открываются, производятъ такое скучное впечатлѣніе, что даже говорить не хочется, и мы съ Киріакомъ, ѣдучи два дня на оленяхъ, почти ни о чемъ и не бесѣдовали.

На третій день, къ вечеру, и этотъ путь прекратился: снѣга стали рыхлѣе, и мы замѣнили нескладныхъ оленей собаками— такія сѣренькія, мохнатыя и востроухія, какъ волчки, и по-волчьи почти и тявкаютъ. Запрягаютъ ихъ помногу, штукъ по пятнадцати, а почетному путнику, пожалуй, и больше зацѣпятъ, но салазки такія узенькія, что двоимъ рядомъ сидѣть невозможно, и мы съ отцомъ Киріакомъ должны были раздѣлиться: на однѣхъ приходилось ѣхать мнѣ съ проводникомъ, а на другихъ—Киріаку съ другимъ проводникомъ. Проводники оба казались равнаго достоинства, да и съ обличья ихъ одного отъ другого даже и не отличишь, особенно какъ своими малицами закутаются,—точно банные обмылки: что одинъ, что другой— въ обоихъ одна красота. Но Киріакъ нашелъ въ нихъ разницу и непремѣнно настаивалъ, чтобы усадить меня съ тѣмъ, который казался ему надежнѣе; а въ чемъ онъ видѣлъ эту надежность—не объяснилъ.

— Такъ, говоритъ, владыко: ты въ этомъ краѣ неопытнѣе меня, такъ ты съ этимъ поѣзжай.—За это я его не послушалъ и сѣлъ съ другимъ. Поклажу свою мы раздѣлили: я взялъ себѣ въ ноги узелокъ съ бѣльемъ да съ книгами, а Киріакъ надѣлъ на себя мирницу и дароносицу да взялъ въ ноги кошель съ толокномъ, сухой рыбкой и прочей нашей незатѣйливой походной провизіей.

Усѣлись мы такъ, подоткнулись малицами, сверху по колѣнямъ оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Ѣзда эта была гораздо быстрѣе, чѣмъ на оленяхъ, но зато сидѣть такъ худо, что у меня съ непривычки черезъ часъ же страшно спину разломило. Погляжу на Киріака, — онъ сидитъ, какъ воткнутый столбушекъ, а я такъ и вихляюсь по сторонамъ,—все балансъ хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не могъ и поговорить съ моимъ проводникомъ. Узналъ только, что онъ крещеный и окрещенъ недавно моимъ зыряниномъ, а поэкзаменовать его не успѣлъ. Къ вечеру я такъ измучился, что совсѣмъ держаться не могъ, и пожаловался Киріаку.

— Плохо, говорю: меня что-то сразу уже очень расшатало.

— А все это оттого, отвѣчаетъ, что ты меня не слушалъ,—не съ тѣмъ ѣдешь, съ которымъ я тебя сажалъ: этотъ лучше правитъ, покойнѣе. Яви ласку: пересядь завтра.

— Хорошо, говорю, изволь, пересяду,— и точно, пересѣлъ и опять ѣдемъ.

Не знаю: понавыкъ ли я за прошлый день держаться на этихъ рожнахъ, или, дѣйствительно, этотъ проводникъ лучше своимъ орстелемъ правилъ, только мнѣ спокойнѣе ѣхалось, такъ что я даже могъ и побесѣдовать.

Спрашиваю его, крещеный онъ или нѣтъ.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чѣмъ же ты такъ счастливъ?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзолъ-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бережетъ.

Дзолъ-Дзаягачи у шаманистовъ такая богиня, дарующая дѣтей и пекущаяся будто бы о счастіи и здоровьѣ тѣхъ, которыя у нея вымолены.

— Такъ что же? говорю, а почему же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не даетъ крестить.

— Кто это? Дзолъ-Дзаягачи?

— Да, бачка, не даетъ.

— Ага, ну, хорошо, что ты мнѣ это сказалъ.

— Какъ же, бачка, хорошо?

— Да вотъ я тебѣ за это, назло твоей Дзолъ-Дзаягачи, и велю окрестить.

— Что ты, бачка? зачѣмъ Дзолъ-Дзаягачи сердить? — она разсердится, дутъ станетъ.

— Очень она мнѣ нужна, твоя Дзолъ-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

— Нѣтъ, бачка, она не дастъ обижать.

— Да какая тебѣ, глупому, въ этомъ обида?

— Какъ же, бачка, меня крестить?— мнѣ много обида, бачка: зайсанъ придетъ—меня крещенаго бить будетъ, шаманъ придетъ—опять бить будетъ, лама придетъ—тоже бить будетъ и олешковъ сгонитъ. Большая, бачка, обида будетъ.

— Не смѣютъ они этого дѣлать.

— Какъ, бачка, не смѣютъ? смѣютъ, бачка, все возьмутъ; у меня дядю, бачка, уже разорили... Какъ же, бачка, разорили и брата, бачка, разорили.

— Развѣ у тебя есть братъ крещеный?

— Какъ же, бачка, есть братъ, бачка, есть.

— И онъ крещеный?

— Какъ же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Развѣ по два раза крестятъ?

— Какъ же, бачка, крестятъ.

— Врешь!

— Нѣтъ, бачка, вѣрно: онъ одинъ разъ за себя крестился, а одинъ разъ, бачка, за меня.

— Какъ за тебя? Что ты это за вздоръ мнѣ разсказываешь?

— Какой, бачка, вздоръ! — не вздоръ: я, бачка, отъ попа спрятался, а братъ за меня крестился.

— Для чего же вы такъ смошенничали?

— Потому, бачка, что онъ добрый.

— Кто это: братъ-то твой, что ли?

— Да, бачка, братъ. Онъ сказалъ: «я все равно уже пропалъ, — окрещенъ, а ты спрячься, я еще окрещусь»; я и спрятался.

— И гдѣ же онъ теперь, твой братъ?

— Опять, бачка, креститься побѣжалъ.

— Куда же это его, бездѣльника, понесло?

— А туда, бачка, гдѣ нынѣ, слыхать, твердый попъ ѣздитъ.

— Ишь ты! Что же ему до этого попа за дѣло?

— А свои у насъ тамъ, бачка, свои люди живутъ, хорошіе, бачка, люди; какъ

же? ему, бачка, жаль... онъ ихъ жалѣетъ, бачка, — за нихъ креститься побѣжалъ.

— Да что же это за шайтанъ, этотъ твой братъ? Какъ онъ это смѣетъ дѣлать?

— А что, бачка? ничего: ему, бачка, ужъ все равно, а тѣхъ, бачка, зайсанъ бить не будетъ, и лама олешковъ не сгонитъ.

— Гм! надо, однако, твоего досужаго брата на примѣту взять. Скажи-ка мнѣ, какъ его зовутъ?

— Куська-Демякъ, бачка.

— Кузьма или Демьянъ?

— Нѣтъ, бачка, — Куська-Демякъ.

— Да; по-твоему чище, — Куська-Демякъ или мѣди пятакъ, — только это два имени.

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Я тебѣ говорю — два!

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Ну, тебѣ, видно, и это лучше знать.

— Какъ же, бачка, мнѣ лучше.

— Но это его Кузьмой и Демьяномъ при первомъ или при второмъ крещеніи назвали?

Вылупился и не понимаетъ; но, когда я ему повторилъ, онъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда его стали Куська-Демякъ дразнить.

— Ну, а послѣ перваго-то крещенія вы какъ его дразнили?

— Не знаю, бачка, — забылъ.

— Но онъ-то, чай, это знаетъ.

— Нѣтъ, бачка, и онъ позабылъ.

— Быть, говорю, этого не можетъ!

— Нѣтъ, бачка, вѣрно, позабылъ.

— А вотъ я его велю разыскать и разспрошу.

— Разыщи, бачка, разыщи; и онъ скажетъ, что позабылъ.

— Да только уже я его, братъ, какъ разыщу, такъ самъ зайсану отдамъ.

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего, — онъ пропащій.

— Черезъ что же это онъ пропащій-то? Черезъ то, что окрестился, что ли?

— Да, бачка; его шаманъ гонитъ, у него лама олешки забралъ, ему свой никто не вѣритъ.

— Отчего не вѣритъ?

— Нельзя, бачка, крещеному вѣрить, — никто не вѣритъ.

— Что ты, дикій глупецъ, врешь! Отчего нельзя крещеному вѣрить? Развѣ крещеный васъ, идолопоклонниковъ, хуже?

— Отчего, бачка, хуже? — одинъ человѣкъ.

— Вотъ видишь, и самъ согласенъ, что не хуже?

— Не знаю, бачка, — ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а вѣрить нельзя.

— Почему же ему нельзя вѣрить?

— Потому, бачка, что ему попъ грѣхъ прощаетъ.

— Ну, такъ что же тутъ худого? неужто же лучше безъ прощенія оставаться?

— Какъ можно, бачка, безъ прощенія оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прощенье просить.

— Ну, такъ я же тебя не понимаю; о чемъ ты толкуешь?

— Такъ, бачка, говорю: крещеный своруетъ, попу скажетъ, а попъ его, бачка, проститъ; онъ и невѣрный, бачка, черезъ это у людей станетъ.

— Ишь ты какой вздоръ несешь! А по-твоему это, небось, не годится?

— Этакъ, бачка, не годится у насъ, не годится.

— А по-вашему какъ бы надо?

— Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и простить проси; человѣкъ проститъ, и Богъ проститъ.

— Да вѣдь и попъ человѣкъ: отчего же онъ не можетъ простить?

— Отчего же, бачка, не можетъ простить? — и попъ можетъ. Кто у попа укралъ, того, бачка, и попъ можетъ простить.

— А если у другого укралъ, такъ онъ не можетъ простить?

— Какъ же, бачка? — нельзя, бачка: неправда, бачка, будетъ; невѣрный человѣкъ, бачка, вездѣ пойдетъ.

«Ахъ, ты, думаю, чучело этакое неумытое, какія себѣ построенія настроилъ!» — и спрашиваю далѣе:

— А ты про Господа Іисуса Христа-то что-нибудь слыхалъ?

— Какъ же, бачка, — слыхалъ.

— Что же ты про Него слыхалъ?

— По водѣ, бачка, ходилъ.

— Гм! ну, хорошо — ходилъ; а еще что?

— Свинью, бачка, въ морѣ топилъ.

— А болѣе сего?

— Ничего, бачка,—хорошъ, жалостливъ, бачка, былъ.

— Но какъ же жалостливъ? Что онъ дѣлалъ?

— Слѣпому на глаза, бачка, плевалъ,— слѣпой видѣлъ; хлѣбца и рыбка народца кормилъ.

— Однако ты, братъ, много знаешь.

— Какъ же, бачка, — много знаю.

— Кто же тебѣ все это разсказалъ?

— А люди, бачка, говорятъ.

— Ваши люди?

— Люди-то? Какъ же, бачка, — наши, наши.

— А они отъ кого слышали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь ли ты, зачѣмъ Христосъ сюда на землю приходилъ?

Думалъ онъ, думалъ, — и ничего не отвѣтилъ.

— Не знаешь? говорю.

— Не знаю.

Я ему все православіе и объяснилъ, а онъ не то слушаетъ, не то нѣтъ, а самъ все на собакъ погикиваетъ да орстелемъ машетъ.

— Ну, понялъ ли, спрашиваю, что я тебѣ говорилъ?

— Какъ же, бачка, понялъ: свинью въ море топилъ, слѣпомъ на глаза плевалъ,— слѣпой видѣлъ, хлѣбца-рыбка народца далъ.

Засѣли ему въ лобъ эти свиньи въ морѣ, слѣпой да рыбка, а дальше никакъ и не поднимется... И припомнились мнѣ Киріаковы слова о ихъ жалкомъ умѣ и о томъ, что они сами не замѣчаютъ, какъ края ризы касаются. Что же? и этотъ, пожалуй, крайка коснулся; но ужъ именно только коснулся, чуть-чуть дотронулся; но какъ бы ему болѣе дать за нее ухватиться? И вотъ я и попробовалъ съ нимъ какъ можно проще побесѣдовать о благѣ Христова примѣра и о цѣли Его страданія, — но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелемъ помахиваетъ. Трудно мнѣ было себя обольщать; вижу, что онъ ничего не понимаетъ.

— Ничего, спрашиваю, не понялъ?

— Ничего, бачка, — все правду врешь; жаль Его: Онъ хорошъ, Христосикъ.

— Хорошъ?

— Хорошъ, бачка, не надо Его обижать.

— Вотъ ты бы Его и любилъ.

— Какъ, бачка, Его не любить?

— Что? ты можешь Его любить?

— Какъ же, бачка, — я, бачка, Его и всегда люблю.

— Ну, вотъ и молодецъ.

— Спасибо, бачка.

— Теперь, значитъ, тебѣ остается креститься: Онъ и тебя спасетъ.

Дикарь молчитъ.

— Что же, говорю, пріятель, что ты замолчалъ?

— Нѣтъ, бачка.

— Что такое «нѣтъ, бачка»?

— Не спасетъ, бачка; за Него зайсанъ бьетъ, шаманъ бьетъ, лама олешковъ сгонитъ.

— Да; вотъ главная бѣда!

— Бѣда, бачка.

— А ты и бѣду потерпи за Христа.

— На что, бачка, — Онъ, бачка, жалостливый: какъ я дохнуть буду, Ему самому меня жаль станетъ. На что Его обижать!

Хотѣлъ было сказать ему, что если онъ вѣритъ, что Христосъ его пожалѣетъ, то пусть вѣритъ, что Онъ же его можетъ и спасти, но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Меня замаячило; подъ темя тѣснилась дрема, и я тихо и сладко уснулъ, — уснулъ для того, чтобы проснуться въ положеніи, отъ котораго да сохранитъ Господь всякую душу живую!

## VII.

Я спалъ очень крѣпко и, вѣроятно, довольно долго, но вдругъ мнѣ показалось, что меня какъ будто что-то толкнуло и я сижу, накренясь на бокъ. Я въ полуснѣ еще хотѣлъ поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнулъ назадъ; а вокругъ все воетъ... Что такое? — хочу посмотрѣть, но нечѣмъ смотрѣть, — глаза не открываются. Зову своего дикаря.

— Эй, ты, пріятель! гдѣ ты?

А онъ на самое ухо кричитъ мнѣ:

— Прочкнись, бачка, прочкнись скорѣй! застынешь!

— Да что это, я говорю, не могу глазъ открыть?

— Сейчасъ, бачка, откроешь.

И съ этими словами — что бы вы думали? — взялъ да мнѣ въ глаза и плюнулъ, и ну своимъ оленьимъ рукавомъ тереть.

— Что ты дѣлаешь?

— Глаза тебѣ, бачка, протираю.
— Пошелъ ты, дуракъ...
— Нѣтъ, погоди, бачка, — не я дуракъ, а ты сейчасъ глядѣть станешь.

И точно, какъ онъ провелъ мнѣ своимъ оленьимъ рукавомъ по лицу, мои смерзшіяся вѣки оттаяли и открылись. Но для чего? что было видѣть? Я не знаю, можетъ ли быть страшнѣе въ аду: вокругъ игла была непроницаемая, непроглядная тѣнь — и вся она была какъ живая: она тряслась и дрожала, какъ чудовище: сплошная масса льдистой пыли была его тѣло, останавливающій жизнь холодъ — его дыханіе. Да, это была смерть въ одномъ изъ самыхъ грозныхъ своихъ явленій, и, встрѣтясь съ ней лицомъ къ лицу, я ужаснулся.

Все, что я могъ проговорить, это былъ вопросъ о Киріакѣ, — гдѣ онъ? Но говорить было такъ трудно, что дикарь ничего не слышалъ. Тутъ я замѣтилъ, что онъ, говоря мнѣ, нагибался и кричалъ мнѣ подъ треухъ въ самое ухо, и самъ я подъ треухъ ему закричалъ:

— А гдѣ наши другія сани?
— Не знаю, бачка, — насъ разбило.
— Какъ разбило?
— Разбило, бачка.

Я хотѣлъ этому не вѣрить; хотѣлъ оглянуться, но никуда, ни въ одну сторону, не видать ничего: кругомъ адъ темный и кромѣшный. Подъ самымъ моимъ бокомъ, у саней, что-то копошилось, какъ клубъ, но не было никакихъ средствъ видѣть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тотъ отвѣчаетъ:

— А это, бачка, собачки спутались, — грѣются.

И вслѣдъ за тѣмъ онъ сдѣлалъ въ этой тьмѣ какое-то движеніе и говоритъ:

— Падай, бачка!
— Куда падать?
— Вотъ сюда, бачка, — въ снѣгъ падай.
— Погоди, говорю.

Мнѣ еще не вѣрилось, что я потерялъ своего Киріака, и я привсталъ изъ саней и хотѣлъ позвать его; но меня въ то же мгновеніе и сразу же задушило, точно какъ заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился въ снѣгъ, при чемъ довольно больно ударился головой о саннюю грядку. Подняться у меня не было никакихъ силъ, да и мой дикарь мнѣ не далъ бы этого сдѣлать. Онъ придержалъ меня и говоритъ:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околѣешь: снѣгъ замететъ, тепло будетъ; а то околѣешь. Лежи!

Ничего не осталось, какъ его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а онъ сволокъ съ салазокъ оленью шкуру, бросилъ ее на меня и самъ подъ нее же подобрался.

— Вотъ теперь, говоритъ, бачка, хорошо будетъ.

Но это «хорошо» было такъ скверно, что я въ ту же минуту долженъ былъ какъ можно рѣшительнѣе отворотиться отъ моего сосѣда въ другую сторону, ибо присутствіе его на близкомъ разстояніи было невыносимо. Четверодневный Лазарь въ Виѳанской пещерѣ не могъ отвратительнѣе смердѣть, чѣмъ этотъ живой человѣкъ; это было что-то хуже трупа, — это была смѣсь вонючей оленьей шкуры, остраго человѣчьяго пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьяго жира и грязи... О Боже, о бѣдный я человѣкъ! Какъ мнѣ былъ противенъ этотъ, по образу Твоему созданный, братъ мой! О, какъ бы охотно я выскочилъ изъ этой вонючей могилы, въ которую онъ меня рядомъ съ собою укладывалъ, если бы только сила и мочь стоять въ этомъ мятущемся адскомъ хаосѣ! Но ничего похожаго на такую возможность нельзя было и ждать, и надо было покоряться.

Мой дикарь замѣтилъ, что я отъ него отвернулся, и говоритъ:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клалъ; ты вотъ сюда клади морду, вмѣстѣ дуть будемъ, — тепло станетъ.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но онъ вдругъ какъ-то напружинился, какъ клопъ, перекатился черезъ меня и легъ прямо носъ къ носу, и ну дышать мнѣ въ лицо съ ужаснымъ сапомъ и зловоніемъ. Сопѣлъ онъ тоже необычайно, точно кузнечный мѣхъ. Я никакъ не могъ этого стерпѣть и рѣшился добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, говорю, какъ-нибудь потише.
— А что? ничего, бачка, я не устану: я тебѣ, бачка, морду грѣю.

«Мордою» его я, разумѣется, не обижался, потому что не до амбиціи мнѣ было въ это время, да и, повторяю вамъ, у нихъ для оттѣнка такихъ излишнихъ тонкостей, чтобы отличать звѣриную морду отъ человѣческаго лица, и отдѣльныхъ

словъ еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда,—почему же у архіерея не быть морды? Это моему преосвященству снести было нетрудно, но вотъ что трудно было: сносить это его дыханіе съ этой смердючей юколой и какимъ-то другимъ отвратительнымъ зловоніемъ,—вѣроятно, зловоніемъ его собственнаго желудка,—противъ этого я никакъ не могъ стоять.

— Довольно, говорю, перестань, ты меня согрѣлъ, теперь болѣе не сопи.

— Нѣтъ, бачка, сопѣть—теплѣй будетъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не надо: и такъ надоѣлъ,—не надо.

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будемъ.

— Спи.

— И ты, бачка, спи.

И въ эту же секунду, какъ это выговорилъ, точно муштрованная лошадь, которая сразу въ галопъ принимаетъ, такъ и онъ сразу же уснулъ и сразу же захрапѣлъ. Да вѣдь какъ же, злодѣй, захрапѣлъ! Я, признаюсь вамъ, съ дѣтства страшный врагъ соннаго храпа, и гдѣ въ комнатѣ хоть одинъ храпливый человѣкъ есть, я уже мученикъ и ни за что уснуть не могу! Терпѣлъ, терпѣлъ я, наконецъ не выдержалъ,—толкнулъ его въ ребра.

— Не храпи, говорю.

— А что, бачка? зачѣмъ не храпѣть?

— Да ты ужасно храпишь: спать мнѣ не даешь.

— А ты самъ захрапи.

— Да я не умѣю храпѣть.

— А я, бачка, умѣю,—и опять сразу въ галопъ загудѣлъ.

Что ты съ этакимъ мастеромъ станешь дѣлать? Что ужъ тутъ съ такимъ человѣкомъ спорить, который во всемъ превосходитъ: и о крещеньи больше меня знаетъ, по скольку разъ крестятъ, и объ именахъ свѣдущъ, и храпѣть умѣетъ, а я не умѣю; во всемъ передо мною преферансъ получаетъ,—надо ему и честь и мѣсто дать.

Попятился я отъ него, какъ могъ, немножко въ сторону, провелъ съ трудомъ руку за подрясникъ и пожалъ репетиръ: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значитъ, еще былъ день; вьюга, конечно, пойдетъ на всю ночь, можетъ-быть, и больше... Сибирскія вьюги вѣдь продолжительны. Можете себѣ представить, каково имѣть все это въ перспективѣ! А между тѣмъ положеніе мое все становилось ужаснѣе: сверху насъ, вѣрно, уже хорошо укрыло снѣгомъ, и въ логовѣ нашемъ стало не только тепло, а даже душно; но зато и отвратительныя вонючія испаренія становились все гуще,—отъ этого спертаго сирада у меня занимало дыханіе, и очень жаль, что это сдѣлалось не сразу, потому что тогда я не испыталъ бы и сотой доли тѣхъ мученій, которыя ощутилъ, приведя себѣ въ память, что съ моимъ отцомъ Киріакомъ пропала и моя бутылка съ подправленною коньякомъ водою и вся наша провизія... Я ясно видѣлъ, что если я не задохнусь здѣсь, какъ въ Черной Пещерѣ, то мнѣ, навѣрно, грозитъ самая ужасная, самая мучительная изъ всѣхъ смертей—голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, какъ я теперь жалѣлъ, что не остался мерзнуть наверху и залѣзъ въ этотъ снѣжный гробъ, гдѣ мы двое лежали въ такой тѣснотѣ и подъ такимъ прессомъ, что всѣ мои усилія приподняться и встать были совершенно напрасны!

Съ величайшимъ трудомъ я доставалъ изъ-подъ своего плеча кусочки снѣгу и жадно глоталъ ихъ, одинъ за другимъ, но—увы!—это меня нимало не облегчало—напротивъ, это возбуждало у меня тошноту и несносное жженіе въ горлѣ и желудкѣ, а особенно около сердца; затылокъ у меня трещалъ, въ ушахъ стоялъ звонъ, и глаза гнело и выпирало на лобъ. А между тѣмъ докучный рой гудѣлъ все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились объ улей. Такое ужасное состояніе продолжалось, пока часовой репетиръ сказалъ семь,—и затѣмъ я больше ничего не помню, потому что потерялъ сознаніе.

Это было величайшее счастіе, какое могло посѣтить меня въ моемъ настоящемъ бѣдственномъ положеніи. Не знаю, отдыхалъ ли я въ это время сколько-нибудь физически, но я, по крайней мѣрѣ, не мучился представленіемъ о томъ, что меня ожидало впереди и что въ дѣйствительности, по ужасу своему, должно было далеко превзойти всѣ представленія встревоженной фантазіи.

## VIII.

Когда я пришелъ въ чувства, пчелиный рой отлетѣлъ, и я увидѣлъ себя на

днѣ глубокой снѣжной ямы; я лежалъ на самомъ ея днѣ, съ вытянутыми руками и ногами, и не чувствовалъ ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды — рѣшительно ничего! Только голова моя была до того мутна и безтолкова, что мнѣ порядочнаго труда стоило привести себѣ на память все, что со мною произошло и въ какомъ я теперь нахожусь положеніи. Но, наконецъ, все это выяснилось, и первая мысль, которая мнѣ пришла въ эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранѣе меня и улизнулъ одинъ, а меня бросилъ.

Оно, по здравому сужденію, ему такъ бы и стоило со мною сдѣлать, особенно послѣ того, какъ я ему вчера нагрозилъ и его крестить и брата его Кузьму-Демьяна разыскивать; но онъ, по своему язычеству, не такъ поступилъ. Чуть я, съ трудомъ двинувъ моими набрякшими членами, сѣлъ на днѣ моей разрытой могилы, какъ увидѣлъ я его шагахъ въ тридцати отъ меня. Онъ стоялъ подъ большимъ заиндивѣлымъ деревомъ и довольно забавно кривлялся, а надъ нимъ, на длинномъ суку, висѣла собака, у которой изъ распоротаго брюха ползли внизъ теплыя черева.

Я догадался, что это онъ жертву или, по-ихнему, таилгу принесъ, и, по правдѣ сказать, не вопрошалъ, что это жертвоприношеніе его здѣсь задержало, пока я проснулся, и помѣшало ему меня бросить. А я вполнѣ былъ увѣренъ, что этотъ язычникъ непремѣнно долженъ былъ имѣть такое нехристіанское намѣреніе, и завидовалъ отцу Киріаку, который терпитъ теперь свою бѣду, по крайней мѣрѣ, хоть съ человѣкомъ крещенымъ, который все же долженъ быть благонадежнѣе моего нехристя. И отъ тяжкаго ли моего положенія, что ли, во мнѣ родилось даже такое подозрѣніе, что не слукавилъ ли со мною отецъ Киріакъ и, предусматривая всѣ больше меня ему извѣстныя случайности сибирскихъ путешествій, подъ видомъ доброжелательства подсудобилъ мнѣ язычника, а себѣ отобралъ христіанина? Непохоже это, конечно, было на отца Киріака, и мнѣ даже и сейчасъ, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что дѣлать, когда она явилась?

Вылѣзъ я изъ снѣжной ямы и сталъ подбираться къ моему дикарю; онъ услыхалъ, какъ снѣгъ захрустѣлъ подъ моими ногами, и обернулся, но сейчасъ же опять сталъ продолжать попрежнему свои тайнодѣйствія.

— Ну, не довольно ли тебѣ кивать-то? — сказалъ я, постоявъ возлѣ него съ минуту.

— Довольно, бачка, — и сейчасъ же пошелъ къ санямъ и началъ цѣплять въ шорки остальныхъ собачонокъ. Закладка была готова, и мы поѣхали.

— Кому ты это тамъ таилгу далъ? — спросилъ я его, махнувъ назадъ головою.

— А не знаю, бачка.

— Да собачку-то ты кому пожертвовалъ: Богу или чорту — шайтану?

— Шайтану, бачка, какъ же, шайтану.

— За что же ты его угостилъ?

— А за то, бачка, что онъ насъ не заморозилъ: я ему, бачка, за это собачку далъ, — пусть его лопаетъ.

— Гмъ! да онъ-то пусть лопаетъ, не облопается, а собачонку жаль.

— Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро бы дохнуть стала; ничего, бачка, — пусть его беретъ, лопаетъ.

— Да; такъ ты съ расчетомъ: дохленькую ему далъ...

— Какъ же, бачка.

— А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь ѣдемъ?

— Не знаю, бачка, — слѣдъ ищемъ.

— А гдѣ мой попъ товарищъ?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же намъ его найти?

— Не знаю, бачка.

— Можетъ-быть, онъ замерзъ?

— Зачѣмъ, бачка, замерзъ: снѣгъ есть — не замерзнетъ.

Я вспомнилъ опять, что съ Киріакомъ есть еще и бутылка съ согрѣвающимъ питьемъ и провизія, и успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поѣлъ бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что неувѣренъ былъ, есть ли она съ нами.

Цѣлый день мы кружили какъ-то зря; я это видѣлъ — если не по безстрастному лицу моего возницы, то по неспокойнымъ, неровнымъ и тревожнымъ движеніямъ его собакъ, которыя все какъ-то прыгали, суетились и безпрестанно метались изъ стороны въ сторону. Моему дикарю съ ними было много хлопотъ, но его неизмѣнное безстрастное равнодушіе не покидало его ни на минуту: онъ только

работалъ своимъ орстелемъ какъ будто съ нѣсколько большимъ вниманіемъ, безъ котораго намъ, конечно, въ этотъ день сто разъ быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо гдѣ-нибудь подъ лѣсами, мимо которыхъ мы проѣзжали.

Но вотъ вдругъ одна собачка ткнулась мордою въ снѣгъ, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумѣется, лучше меня зналъ, что это значитъ и какою угрожаетъ намъ новою бѣдою, но не выразилъ ни страха ни смущенія: такъ же, какъ и всегда, онъ твердою, но безстрастною рукою застремилъ въ снѣгъ свой орстель и далъ мнѣ держать этотъ якорь нашего спасенія, а самъ поспѣшно сошелъ съ саней, вынулъ изнемогшаго пса изъ хомутика и потащилъ его взадъ, за сани. Я думалъ, что онъ хочетъ пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидѣлъ, что и эта собака уже виситъ на деревѣ и изъ нея опять ползутъ внизъ кровавыя черева. Отвратительное зрѣлище!

— Это что опять?—крикнулъ я ему.

— А шайтану ее, бачка.

— Ну, братъ, довольно будетъ съ твоего шайтана; много ему по двѣ собаки на день ѣсть.

— Ничего, бачка, пусть лопаетъ.

— Нѣтъ, не «ничего», говорю; а если ты ихъ такъ будешь колоть, то ты ихъ всѣхъ шайтану переколешь.

— Я, бачка, ему тѣхъ даю, которыя дохнутъ.

— А ты бы ихъ лучше покормилъ.

— Нечѣмъ, бачка.

— Вотъ оно что!—это оказалось то самое, чего я и боялся.

А короткій день уже опять клонился къ вечеру, и остальныя собачонки, видимо, совсѣмъ устали, изъ силъ выбились и начали какъ-то дико похаркивать и садиться. И вдругъ еще одна пала, а прочія всѣ, какъ по уговору, всѣ сразу сѣли на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили.

Дикарь мой всталъ и хотѣлъ вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей разъ уже рѣшительно не позволилъ. Такъ надоѣло мнѣ на это смотрѣть, да и казалось, что эта мерзость какъ будто увеличивала ужасъ нашего положенія.

— Оставь, говорю, и не смѣй трогать: пусть издыхаетъ, какъ ей пришлось.

Онъ и спорить не сталъ, но зато съ обычнымъ ему самымъ невозмутимымъ спокойствіемъ выкинулъ самую неожиданную штуку. Онъ молча застремилъ свой орстель впереди саней и всѣхъ собачонокъ, одну за другою, отцѣпилъ и пустилъ ихъ на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей въ одну сторону и въ минуту же скрылись въ лѣсу за дальнимъ перелогомъ. Все это сталось такъ скоро, какъ въ сказкѣ объ Ильѣ-Муромцѣ сказывается: «какъ садился Илья на коня, всѣ видѣли, а какъ уѣхалъ, того никто не видалъ». Наша двигательная сила насъ оставила: мы опѣшили; отъ десятка нашихъ, еще такъ недавно бодрыхъ, собачонокъ при насъ оставалась только одна, издохшая, которая валялась у нашихъ ногъ въ своемъ хомутишкѣ.

Дикарь мой стоялъ на этомъ позорищѣ, облокотясь на свой орстель и съ тѣмъ же безстрастіемъ смотрѣлъ себѣ на ноги.

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ?—воскликнулъ я.

— Пустилъ, бачка.

— Вижу, что пустилъ; а придутъ ли онѣ назадъ?

— Нѣтъ, бачка, не придутъ,—онѣ одичаютъ.

— Для чего же, для чего ты ихъ спустилъ?

— Лопать, бачка, хотятъ; пусть звѣрька изловятъ, лопать будутъ.

— А мы съ тобою что будемъ лопать?

— Ничего, бачка.

— Ахъ ты, извергъ!

Онъ, вѣрно, не понялъ и ничего мнѣ не отвѣчалъ, но воткнулъ въ снѣгъ свой орстель и пошелъ. Никто бы не отгадалъ, куда и зачѣмъ онъ отъ меня удалился. Я его окликалъ, звалъ его вернуться назадъ, но онъ, только взглянувъ на меня своимъ тупымъ взглядомъ, прорычалъ: «молчи, бачка», и побрелъ дальше. Скоро и онъ исчезъ за опушкой, и я остался одинъ одинешенекъ.

Надо ли вамъ распространяться о томъ, какъ ужасно было мое положеніе, или, можетъ-быть, вы лучше поймете весь этотъ ужасъ изъ того, что я не думалъ ни о чемъ, кромѣ того, что я голоденъ, что мнѣ хочется не ѣсть, въ человѣче-

скомъ смыслѣ желанія пищи, а жрать, какъ голодному волку. Я вынулъ мои часы, подавилъ репетиръ и былъ пораженъ новымъ сюрпризомъ: мои часы стояли,—чего съ ними никогда не случалось на заводѣ. Дрожащими руками я вложилъ въ нихъ ключъ и удостовѣрился, что они стали потому, что весь заводъ сошелъ; а они ходили около двухъ сутокъ на одномъ заводѣ. Это мнѣ открывало, что мы, ночуя подъ снѣгомъ, пролежали въ своей ледяной могилѣ болѣе чѣмъ сутки!.. Сколько же?—можетъ-быть, двое, можетъ-быть, трое? Я болѣе не удивлялся, что я такъ мучительно страдаю отъ голода... Я, значитъ, не ѣлъ, по крайней мѣрѣ, третьи сутки и, сообразивъ это, почувствовалъ свой терзающій голодъ еще ожесточеннѣе.

Ѣсть, что-нибудь ѣсть!—нечистое, гадкое, лишь бы ѣсть!—вотъ все, что я понималъ, отчаянно водя вокругъ себя полными нестерпимой муки глазами.

## IX.

Мы стояли на плоскомъ возвышеніи; за нами была огромная безбрежная степь, а впереди—безконечное ея продолженіе; вправо обозначалась занесенная снѣгомъ низменность и перевалъ, за которымъ далеко синѣла на горизонтѣ гряда лѣса, куда скрылись наши собаки. Влѣво шла другая лѣсная опушка, вдоль которой мы ѣхали, пока вся наша сбруя не разстроилась. Сами мы стояли какъ разъ подъ большимъ сугробомъ, который, видно, намело на пригорокъ, покрытый высокими, подъ самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодомъ, я стылъ, сидя на краю саней, и, не обращая вниманія ни на что окружающее, не замѣтилъ, когда здѣсь очутился возлѣ меня мой дикарь. Я не видалъ ни того, какъ онъ подошелъ, ни того, какъ онъ, молча, сѣлъ рядомъ со мною; теперь же, когда я обратилъ на него вниманіе, онъ сидѣлъ, поставивъ орстель въ колѣни, а руки завелъ за теплую малицу. Ни одна черта его лица не измѣнилась, ни одинъ мускулъ не двигался, и глаза не выражали ничего, кромѣ тупой и спокойной покорности.

Я взглянулъ на него и ни о чемъ его не спросилъ, а онъ, какъ до сихъ поръ никогда первый не заговаривалъ, и теперь не заговорилъ. Такъ мы и осмеркли, такъ и просидѣли рядомъ безконечную темную ночь, не сказавъ другъ другу ни одного слова.

Но чуть на небѣ начало слегка сѣрѣть, дикарь тихо поднялся съ саней, заложилъ руки поглубже за пазуху и опять побрелъ вдоль по опушкѣ. Долго онъ не бывалъ назадъ, я долго видѣлъ, какъ онъ бродилъ и все останавливался: станетъ и что-то долго-долго на деревьяхъ разглядываетъ и опять дальше потянетъ. И такъ онъ, наконецъ, скрылся съ моихъ глазъ, а потомъ опять такъ же тихо и безстрастно возвращается и прямо съ прихода лѣзетъ подъ сани и начинаетъ тамъ что-то настраивать или разстраивать.

— Что ты, спрашиваю, тамъ дѣлаешь?— и при этомъ непріятно открываю, какъ у меня спалъ и даже совсѣмъ перемѣнился мой голосъ, между тѣмъ мой дикарь какъ прежде говорилъ, такъ и теперь такъ же, перекусывая звуки, отрываетъ.

— Лыжи, бачка, достаю.

— Лыжи!—воскликнулъ я въ ужасѣ, тутъ только во всемъ значеніи понявъ, что такое значитъ «навострить лыжи». Зачѣмъ ты лыжи достаешь?

— Сейчасъ убѣгу.

«Ахъ ты, разбойникъ», думаю. Куда же ты это побѣжишь?

— На правую руку, бачка, убѣгу.

— Зачѣмъ же ты туда побѣжишь?

— Лопать тебѣ принесу.

— Врешь, говорю,—ты меня здѣсь кинуть хочешь.

Но онъ нимало не смутился и отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, я тебѣ лопать принесу.

— Гдѣ же ты мнѣ лопать возьмешь?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же не знаешь: куда же ты бѣжишь?

— На праву руку.

— Кто же тамъ на правой рукѣ?

— Не знаю, бачка.

— А не знаешь, такъ чего же ты бѣжишь?

— Примѣту нашелъ,—чумъ есть.

— Врешь, говорю, любезный, ты меня одного здѣсь бросить хочешь.

— Нѣтъ; я лопать принесу.

— Ну, ступай, только ужъ лучше не ври, а иди себѣ, куда знаешь.

— Зачѣмъ, бачка, врать,—нехорошо врать.

— Очень, братъ, нехорошо, а ты врешь.

— Нѣтъ, бачка, не вру! поди со мной: я тебѣ примѣтку покажу.

И, зацѣпивъ лыжи и орстель, онъ поволокъ ихъ за собою и меня взялъ за руку, привелъ къ одному дереву и спрашиваетъ:

— Видишь, бачка?

— Что же, говорю, дерево вижу, больше ничего.

— А вонъ, на большомъ суку, вѣтка на вѣткѣ, видишь?

— Ну, что же такое? вижу, есть вѣтка,— вѣрно, вѣтеръ ее сюда забросилъ.

— Какой, бачка, вѣтеръ; это не вѣтеръ, а добрый человѣкъ ее посадилъ,— въ ту руку чумъ есть.

Ну, очевидное дѣло, что или онъ меня обманываетъ, или самъ обманывается; но что же мнѣ дѣлать?—силой мнѣ его не удержать, да и зачѣмъ я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоемъ умирать съ холоду и голоду? Пусть бѣжитъ и спасается, если можетъ спастись,—и говорю ему по-монашески: «спасайся, братъ!»

А онъ спокойно отвѣчаетъ: «спасибо, бачка», и съ этимъ утвердился на лыжахъ, заложилъ орстель на плечи, шаркнулъ разъ ногой, шаркнулъ два,—и побѣжалъ. Черезъ минуту его уже и не видно стало, и я остался одинъ-одинешенекъ среди снѣга, холода и совсѣмъ уже изнурившаго меня мучительнаго голода.

## X.

Небольшой зимній сибирскій день я пробродилъ около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холодъ пересиливалъ несносныя муки голода. Ходилъ я, разумѣется, потихоньку, потому что и силъ у меня не было, да и отъ сильнаго движенія скорѣе устаешь, и тогда еще скорѣе стынешь.

Бродя все вблизи того мѣста, гдѣ меня кинулъ мой дикарь, я не разъ подходилъ и къ тому дереву, на которомъ онъ мнѣ указывалъ примѣтную вѣтку: прилежно я ее разсматривалъ и все еще болѣе убѣждался, что это просто вѣтка, заброшенная сюда вѣтромъ съ другого дерева.

— Обманулъ, говорилъ я себѣ, обманулъ онъ меня, да и не поставится ему это въ грѣхъ: зачѣмъ ему было пропадать вмѣстѣ со мною, безъ всякой для меня пользы?

И нужно ли вамъ разсказывать, какъ тяжелъ и мучительно дологъ мнѣ казался этотъ куцый день? Я не вѣрилъ ни въ какую возможность спасенія и ждалъ смерти; но гдѣ она? зачѣмъ медлитъ и когда-то еще соберется препожаловать? Сколько я еще натерзаюсь, прежде чѣмъ она меня обласкаетъ и успокоитъ мои мученія?.. Скоро я сталъ замѣчать, что у меня начинаетъ минутами изнемогать зрѣніе; вдругъ всѣ предметы какъ бы сольются и пропадутъ въ какой-то сѣрой мглѣ, но потомъ опять вдругъ и неожиданно разъяснитъ... Всѣ предметы начали принимать невѣроятные, огромные размѣры и очертанія: наши салазки торчали, какъ корабельный остовъ; заиндивѣлая дохлая собака казалась спящимъ бѣлымъ медвѣдемъ; а деревья какъ бы ожили и стали переходить съ мѣста на мѣсто... И все это такъ живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положеніе, готовъ былъ бы во все это съ любопытствомъ всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло отъ моихъ наблюденій и, пробудя во мнѣ новый страхъ, оживило съ нимъ вмѣстѣ и инстинктъ самосохраненія. Предъ моими глазами, вдали, въ полутьмѣ, что-то мелькнуло, какъ темная стрѣла, потомъ другая, третья, и вслѣдъ за тѣмъ въ воздухѣ раздался протяжный жалобный вой.

Я мигомъ сообразилъ, что это или волки, или наши отпущенныя собаки, которыя, вѣроятно, ничего съѣдомаго не нашли и звѣря не затравили, а, истомясь голодомъ, вспомнили о своей околѣвшей подругѣ и хотятъ воспользоваться ея трупомъ. Во всякомъ случаѣ, тѣ ли это, или другіе, оголодавшіе ли псы, или волки, но они моему преосвященству спуска не дадутъ, и хотя мнѣ по разуму собственно было бы легче быть сразу растерзаннымъ, чѣмъ долго томиться голодомъ, однако инстинктъ самосохраненія взялъ свое, и я съ ловкостью и быстротою, какихъ, признаться сказать, никогда за собою не зналъ и отъ себя не чаялъ, взобрался въ своемъ тяжеломъ убранствѣ на самый верхъ дерева, какъ векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лѣзть. Передо мною открывалась цѣлая необъят-

ность и снѣга и темнаго, какъ густая накипь, неба, на которомъ, изъ далекой непроглядной тьмы, зардѣлись красноватыя безлучныя звѣзды; а пока я окинулъ все это взглядомъ, внизу, почти у самаго корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стонъ, опять потасовка и опять стонъ, и вотъ опять во тьмѣ мелькнули въ розсыпь стрѣлы, и сразу все стихло, какъ будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышалъ и свой собственный пульсъ внутри себя и свое дыханіе: оно какъ-то шумитъ, какъ сѣно, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкиваетъ въ невыносимо-разрѣженномъ морозномъ воздухѣ, такомъ сухомъ и такомъ холодномъ, что даже мои волосы на бородѣ насквозь промерзли, кололись, какъ проволоки, и ломались; я даже сейчасъ чувствую ознобъ при этомъ воспоминаніи, которому всегда помогаютъ мои съ той поры испорченныя ноги. Внизу, можетъ-быть, было немножко теплѣе, а можетъ-быть, и нѣтъ; но я, во всякомъ случаѣ, не вѣрилъ, что нашествіе хищниковъ тамъ не повторится, и рѣшилъ до утра не сходить съ дерева. Это было не страшнѣе, чѣмъ закопаться подъ снѣгомъ съ моимъ зловоннымъ товарищемъ, да и вообще что уже могло быть страшнѣе всего моего теперешняго положенія? Я только выбралъ поразбросистѣе развѣтвленіе и усѣлся на немъ, какъ въ довольно спокойномъ креслѣ, такъ что если бы даже мнѣ и вздремнулось, то я ни за что не упалъ бы; а впрочемъ, для большей безопасности, я крѣпко обхватилъ одинъ сукъ руками и завелъ ихъ обѣ поглубже за малицу. Позиція была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидѣлъ, какъ примерзлый старый сычъ, на котораго, вѣроятно, похожъ былъ и съ виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Оріонъ и Плеяды— эти небесные часы, по которымъ я теперь могъ вести счетъ времени моихъ мученій. Я этимъ и занялся: сначала вычислилъ себѣ приблизительно данную минуту, а потомъ, такъ, просто, безъ всякой цѣли, долго-долго глядѣлъ на эти странныя звѣзды на совершенно черномъ небѣ, пока онѣ стали слабѣть и изъ золотыхъ сдѣлались мѣдяными и, наконецъ, совсѣмъ потемнѣли и сгасли.

Настало утро, такое сѣрое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по расположенію Плеядъ, показали девять. Голодъ все ожесточался, мучилъ меня неимовѣрно: я уже не чувствовалъ ни томящаго запаха яствъ и никакого воспоминанія о вкусѣ пищи, а у меня просто была голодная боль: мой пустой желудокъ сучило и скручивало, какъ веревку, и причиняло мнѣ мученія невыносимыя.

Безъ всякой надежды найти что-нибудь съѣстное, я спустился съ дерева и сталъ бродить. Въ одномъ мѣстѣ я поднялъ на снѣгу еловую шишку. Сначала думалъ, не кедровая ли и нѣтъ ли въ ней орѣшковъ, но оказалось просто-напросто обыкновенная еловая шишка. Я разломилъ ее, досталъ изъ нея зернышко и проглотилъ, но смолистый запахъ былъ такъ противенъ, что и пустой желудокъ не принялъ этого зерна, и оттого боли мои только усилились. Въ это время я замѣтилъ, что около нашихъ брошенныхъ саней въ разныхъ направленіяхъ было множество недавнихъ слѣдовъ и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, былъ на очереди мой трупъ, на который сбѣгутся тѣ же волки и такъ же скоро и хищно его между собою раздѣлятъ. Только когда же это будетъ? Неужели еще сутки? А ну, какъ еще болѣе?—Нѣтъ. Я припомнилъ себѣ одного фанатика запощеванца, который заморилъ себя голодомъ во славу Христову; онъ имѣлъ духъ отмѣчать дни своего томленія и насчиталъ ихъ девять... Это ужасно! Но тотъ голодалъ въ теплѣ, а я подвергаюсь всему при жестокомъ холодѣ, — это, конечно, должно дѣлать большую разницу. Силы мои меня совсѣмъ оставили, я уже не могъ согрѣвать себя движеніемъ и сѣлъ на сани. Даже сознаніе моей участи меня какъ будто покинуло: я чувствовалъ на вѣкахъ моихъ тѣнь смерти и томился только тѣмъ, что она такъ медленно уводитъ меня въ путь невозвратный. Вы поймете, что я такъ искренно желалъ уйти изъ этой мерзлой пустыни въ сборный домъ всѣхъ живущихъ и нимало не сожалѣлъ, что здѣсь, въ этой студеной тьмѣ, я постелю постель мою. Цѣпь мыслей моихъ порвалась, кувшинъ разбился, и колесо надъ колодцемъ обрушилось: ни мыслей ни даже обращенія къ небу въ самыхъ привычныхъ формахъ,—нечего, негдѣ и нечѣмъ стало

почерпнуть. Я это созналъ и вздохнулъ.

Авва Отче! не могу даже изнести Тебѣ покаянія, но Ты Самъ сдвинулъ свѣтильникъ мой съ мѣста, Самъ и поручись за меня передъ Собою!

Это была вся моя молитва, которую я могъ собрать въ умѣ моемъ, и затѣмъ ничего не помню, какъ шелъ этотъ день. Всеконечно, съ твердостію могу уповать, что онъ былъ такой же точно, какъ и тотъ, что минулъ. Казалось мнѣ только, что я въ этотъ день видѣлъ будто бы вдали отъ себя два живыя существа, и это будто были двѣ какія-то птицы; онѣ мнѣ казались ростомъ съ сорокъ и статью похожія на сороку, но съ сквернымъ лохматымъ перомъ, въ родѣ совинаго. Передъ самымъ закатомъ солнца онѣ слетѣли откуда-то съ дерева на снѣгъ, походили и улетѣли. Но, можетъ-быть, мнѣ это только казалось въ моихъ предсмертныхъ галлюцинаціяхъ; однако казалось это такъ живо, что я слѣдилъ за ихъ полетомъ и видѣлъ, какъ онѣ гдѣ-то вдали скрылись, какъ будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого мѣста, такъ на немъ и стали, и остолбенѣли. Но что бы вамъ думалось? Вдругъ я начинаю замѣчать въ этомъ направленіи какую-то странную точку, которой, кажется, здѣсь прежде не было. Притомъ же казалось, что она какъ будто движется: хоть это было такъ незамѣтно, что движеніе ея скорѣй можно было отличать внутреннимъ чутьемъ, а не глазами, но я былъ увѣренъ, что она движется.

Надежда на спасеніе заговорила, и всѣ муки мои не въ силахъ были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснѣе и яснѣе опредѣлялась на этомъ удивительно нѣжно-розовомъ фонѣ. Миражъ ли это, столь возможный въ семъ пустынномъ мѣстѣ, при такомъ капризномъ освѣщеніи, или это дѣйствительно что-то живое спѣшитъ ко мнѣ, но оно во всякомъ случаѣ летитъ прямо на меня, и именно не идетъ, а летитъ: я вижу, какъ оно чертитъ, наконецъ, различаю фигуру — вижу у нея ноги, — я вижу, какъ онѣ штрихуютъ одна за другою и... вслѣдъ за тѣмъ снова быстро перехожу отъ радости къ отчаянію. Да, это не миражъ — я его слишкомъ явно вижу, но зато это и не человѣкъ, какъ и не звѣрь. Вообще на землѣ нѣтъ во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видѣніе, какое на меня надвигало, словно сгущаясь, складываясь, или, какъ господа спириты говорятъ нынѣ, «матеріализуясь» изъ игривыхъ тоновъ мерзлой атмосферы. Или меня обманываетъ мой глазъ и мое воображеніе, или, кто что ни говори, а это духъ. Какой? Кто ты? Неужто это мой отецъ Киріакъ спѣшитъ мнѣ навстрѣчу изъ царства мертвыхъ... А можетъ-быть, мы оба уже тамъ?.. Неужто я уже и кончилъ переходъ? Какъ хорошо! Какъ любопытенъ этотъ духъ, этотъ мой новый согражданинъ въ новой жизни! Опишу его вамъ, какъ умѣю: ко мнѣ плыла крылатая, гигантская фигура, которая вся, съ головы до пятъ, была облечена въ хитонъ серебряной парчи и вся искрилась; на головѣ огромнѣйшій, казалось, чуть ли не въ сажень вышины, уборъ, который горѣлъ, какъ будто весь сплошь усыпанъ былъ бриллiантами или точно это цѣльная бриллiантовая митра... Все это точно у богато-убраннаго индійскаго идола, и, въ довершеніе сего сходства съ идоломъ и съ фантастическимъ его явленіемъ, изъ-подъ ногъ моего дивнаго гостя брызжутъ искры серебристой пыли, по которой онъ точно несется на легкомъ облакѣ, по меньшей мѣрѣ, какъ сказочный Гермесъ.

И вотъ, пока я его разсматривалъ, онъ, этотъ удивительный духъ, все ближе, ближе и вотъ, наконецъ, совсѣмъ близко, и еще моментъ—и онъ, обрызгавъ всего меня снѣжной пылью, воткнулъ передо мною свой волшебный жезлъ и воскликнулъ:

— Здравствуй, бачка!

Я не вѣрилъ ни своимъ глазамъ ни своему слуху: удивительный духъ этотъ былъ, конечно, онъ, мой дикарь! Теперь въ этомъ нельзя было болѣе ошибаться: вотъ подъ ногами его тѣ же самыя лыжи, на которыхъ онъ убѣжалъ, за плечами—другія; передо мною воткнутъ въ снѣгъ его орстель, а на рукахъ у него цѣлая медвѣжья ляжка со всѣмъ—и съ шерстью и со всей когтистой лапой. Но во что онъ убранъ, во что онъ преобразился?

Не ожидая съ моей стороны никакого отвѣта на свое привѣтствіе, онъ сунулъ мнѣ къ лицу эту медвѣжатину и, промычавъ: «лопай, бачка!» самъ сѣлъ на сани и началъ снимать съ своихъ ногъ лыжи.

## XI.

Я припалъ къ окороку и грызъ, и сосалъ сырое мясо, стараясь утолить терзавшій меня голодъ, и въ то же время смотрѣлъ на моего избавителя.

Что это такое было у него на головѣ, которая оставалась все въ томъ же дивномъ блестящемъ высокомъ уборѣ, — никакъ я этого не могъ разобрать, и говорю:

— Послушай, что это у тебя на головѣ?

— А это, отвѣчаетъ, то, что ты мнѣ денегъ не далъ.

Признаюсь, я не совсѣмъ понялъ, что онъ мнѣ этимъ хотѣлъ сказать, но всматриваюсь въ него внимательнѣе — и открываю, что этотъ его высокій брилліантовый головной уборъ есть не что иное; какъ его же собственные длинные волосы: всѣ ихъ пропушило насквозь снѣжною пылью, и какъ они у него на бѣгу развѣвались, такъ ихъ снопомъ и заморозило.

— А гдѣ же твой треухъ?

— Кинулъ.

— Для чего?

— А что ты мнѣ денегъ не далъ.

— Ну, говорю, я тебѣ, точно, забылъ денегъ дать,—это я дурно сдѣлалъ, но какой же жестокій человѣкъ этотъ хозяинъ, который тебѣ не повѣрилъ и въ такую стыдь съ тебя шапку снялъ.

— Съ меня шапки никто не снималъ.

— А какъ же это было?

— Я ее самъ кинулъ.

И разсказалъ мнѣ, что онъ по примѣткѣ весь день бѣжалъ, юрту нашелъ, — въ юртѣ медвѣдь лежитъ, а хозяевъ дома нѣтъ.

— Ну?

— Думалъ, тебѣ долго ждать, бачка,— ты издохнешь.

— Ну?

— Я медвѣдь рубилъ, и лапу взялъ, и назадъ бѣжалъ, а ему шапку клалъ.

— Зачѣмъ?

— Чтобы онъ дурно, бачка, не думалъ.

— Да вѣдь тебя этотъ хозяинъ не знаетъ.

— Этотъ, бачка, не знаетъ, а другой знаетъ.

— Который другой?

— А Тотъ Хозяинъ, Который сверху смотритъ.

— Гмъ! который сверху смотритъ?..

— Да, бачка, какъ же: вѣдь Онъ, бачка, все видитъ.

— Видитъ, братецъ, видитъ.

— Какъ же, бачка? Онъ, бачка, не любитъ, кто худо сдѣлалъ.

«Ну, братъ, подумалъ я, однако и ты отъ царства небеснаго недалеко ходишь». А онъ во время сей краткой моей думы кувыркнулся въ снѣгъ.

— Прощай, говоритъ, бачка, ты лопай, а я спать хочу.

И засопѣлъ своимъ могучимъ обычаемъ.

Это уже было темно; надъ нами опять разостлалось черное небо, и по немъ, какъ искры по смолѣ, засверкали безлучныя звѣзды.

Я тогда уже немножко препитался, то-есть проглотилъ нѣсколько кусочковъ сырого мяса, и стоялъ съ медвѣжьимъ окорокомъ на рукахъ надъ спящимъ дикаремъ и вопрошалъ себя:

— Что за загадочное странствіе совершаетъ этотъ чистый, высокій духъ въ этомъ неуклюжемъ тѣлѣ и въ этой ужасной пустынѣ? Зачѣмъ онъ воплощенъ здѣсь, а не въ странахъ, благословенныхъ природою? Для чего умъ его такъ скуденъ, что не можетъ открыть ему Творца въ болѣе пространномъ и ясномъ понятіи? Для чего, о Боже, лишенъ онъ возможности благодарить Тебя за просвѣщеніе его свѣтомъ Твоего Евангелія? Для чего въ рукѣ моей нѣтъ средствъ, чтобы возродить его новымъ торжественнымъ рожденіемъ съ усыновленіемъ Тебѣ Христомъ Твоимъ? Должна же быть на все это воля Твоя; если Ты, въ семъ печальномъ его состояніи, вразумляешь его какимъ-то дивнымъ свѣтомъ свыше, то я вѣрю, что сей свѣтъ ума его есть даръ Твой! Владыко мой, како уразумѣю: что сотворю, да не прогнѣвлю Тебя и не оскорблю сего моего искренняго?

И въ этомъ раздумьѣ не замѣтилъ я, какъ небо вдругъ вспыхнуло, загорѣлось и облило насъ волшебнымъ свѣтомъ: все приняло опять огромные, фантастическіе размѣры, и мой спящій избавитель представлялся мнѣ очарованнымъ могучимъ сказочнымъ богатыремъ. Прости меня, блаженный Августинъ, а я и тогда разномыслилъ съ тобою и сейчасъ съ тобою

не согласенъ, что будто «самыя добродѣтели языческія суть только скрытые пороки». Нѣтъ; сей, спасшій жизнь мою, сдѣлалъ это не по чему иному, какъ по добродѣтели, самоотверженному состраданію и благородству; онъ, не зная апостольскаго завѣта Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавалъ душу свою въ благотвореніе». Онъ покинулъ свой треухъ и бѣжалъ сутки въ ледяной шапкѣ, конечно, движимый не однимъ естественнымъ чувствомъ состраданія ко мнѣ, а имѣя также religio, дорожа возсоединеніемъ съ Тѣмъ Хозяиномъ, «Который сверху смотритъ». Что же я съ нимъ сотворю теперь? Возьму ли я у него эту религію и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнѣйшей, я лишенъ возможности дать ему, доколѣ «слова путаютъ смыслъ смертнаго», а дѣлъ, для плѣненія его, показать невозможно? Неужто я стану страхомъ его нудить или выгодою защиты обольщать? Ей, гряди, Христосъ, ей, гряди Самъ въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную; а доколѣ медлишь, доколѣ не изволишь сего... пусть милы ему будутъ эти снѣжныя глыбы его долинъ, пусть въ свой день онъ скончается, сброся жизнь, какъ лоза дозрѣвшую ягоду, какъ дикая маслина цвѣтокъ свой... Не мнѣ ставить въ колоды ноги его и преслѣдовать его стези, когда Самъ Сый написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ его и отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва. Авва Отче, сообщай Себя любящему Тебя, а не испытующему, и пребудь благословенъ до вѣка такимъ, какимъ Ты по благости Своей дозволилъ и мнѣ, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нѣтъ больше смятенія въ сердцѣ моемъ: вѣрю, что Ты открылъ ему Себя, сколько ему надо, и онъ знаетъ Тебя, какъ и все Тебя знаетъ,— и я поклонился у изголовья моего дикаря лицомъ донизу и, ставъ на колѣни, благословилъ его и, покрывъ его мерзлую голову своею полою, спалъ съ нимъ рядомъ такъ, какъ бы я спалъ, обнявшись съ пустыннымъ ангеломъ.

## XII.

Досказывать ли вамъ конецъ? Онъ не мудренѣе начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладилъ подъ меня принесенныя имъ лыжи, выручилъ мнѣ шестъ, всунулъ въ руки и научилъ, какъ его держать; потомъ подпоясалъ меня веревкою, взялъ ее за конецъ и поволокъ за собою.

Спросите: куда?—Прежде всего за медвѣжатину долгъ платить. Тамъ мы надѣялись взять собакъ и ѣхать далѣе; но поѣхали не туда, куда вначалѣ влекла меня моя неопытная затѣя. Въ дымной юртѣ нашего кредитора ждало меня еще одно поученіе, имѣвшее весьма рѣшительное вліяніе на всю мою послѣдующую дѣятельность. Въ томъ было дѣло, что хозяинъ, которому мой дикарь шапку покинулъ, совсѣмъ не на охоту въ то время ходилъ, когда прибѣгалъ мой избавитель, а онъ выручалъ моего Киріака, котораго обрѣлъ брошеннаго его крещенымъ проводникомъ среди пустыни. Да, господа, тутъ въ юртѣ, близъ тусклаго вонючаго огня, я нашелъ моего честнаго старца, и въ какомъ ужасномъ, сердце сжимающемъ, положеніи! Онъ весь обмерзъ; его чѣмъ-то смазали, и онъ еще живъ былъ, но ужасный запахъ, который обдалъ меня при приближеніи къ нему, сказалъ мнѣ, что духъ, стерегшій домъ сей, отходитъ. Я поднялъ покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отдѣлила все мясо его ногъ отъ кости, но онъ еще смотрѣлъ и говорилъ. Узнавъ меня, онъ пролепталъ:

— Здравствуй, владыко!

Въ несказанномъ ужасѣ я глядѣлъ на него и не находилъ словъ.

— Я ждалъ тебя, вотъ ты и пришелъ; ну, слава Богу. Видѣлъ степь? Какова показалась?.. Ничего, — живъ будешь, опытъ имѣть будешь.

— Прости, говорю, меня, отецъ Киріакъ, что я тебя сюда завелъ.

— Полно, владыко. Благословенъ будь приходъ твой сюда; опытъ получилъ и живи, а меня скорѣй исповѣдуй.

— Хорошо, говорю, сейчасъ; гдѣ же у тебя Святые Дары,—они вѣдь съ тобой были?

— Со мной были, отвѣчаетъ, да нѣтъ ихъ.

— Гдѣ же они?

— Ихъ дикарь съѣлъ.

— Что ты говоришь!

— Да!.. съѣлъ. Ну, что, говоритъ, — темный человѣкъ... спутанъ умъ... Не могъ его удержать... Говоритъ: «Попа

встрѣчу,—онъ меня проститъ». Что говорить?.. Все спуталъ...

— Неужто же, говорю, онъ и миро съѣлъ!

— Все съѣлъ, и губочку съѣлъ, и дароносицу унесъ, и меня бросилъ... Вѣритъ, что «попъ проститъ»... Что говорить?.. спутанъ умъ... Простимъ ему это, владыко, — пусть только насъ Христосъ проститъ. Дай слово мнѣ не искать его, бѣднаго, или... если отыщешь его...

— Простить?

— Да; Христа ради, прости и... какъ пріѣдешь домой, гляди, вражкамъ ничего о немъ не сказывай, а то они, лукавые, пожалуй, надъ бѣднякомъ-то свою ревность покажутъ. Пожалуйста, не сказывай.

Я далъ слово и, опустясь возлѣ умирающаго на колѣни, сталъ его исповѣдывать; а въ это самое время въ полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила въ свой бубенъ; ей пошли подражать на деревянномъ камертонѣ и еще на какомъ-то непонятномъ инструментѣ, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всякаго рода муссикіи, повергались ницъ передъ истуканомъ деирскаго поля,— и началось дикое торжество.

Это моленіе шло за насъ и за наше избавленіе, когда имъ, можетъ-быть, лучше было бы молиться за свое отъ насъ избавленіе, и я, архіерей, присутствовалъ при этомъ моленіи, а отецъ Киріакъ отдавалъ при немъ свой духъ Богу и не то молился, не то судился съ Нимъ, какъ Іеремія-пророкъ, или договаривался, какъ истинный свинопасъ евангельскій, не словами, а какими-то воздыханіями неизглаголанными.

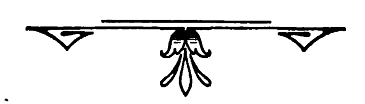
— Умилосердись, — шепталъ онъ. — Прими меня теперь, какъ одного изъ наемниковъ Твоихъ! Настаkъ часъ... возврати мнѣ мой прежній образъ и наслѣдіе... не дай мнѣ быть злымъ дьяволомъ въ адѣ; потопи грѣхи мои въ крови Іисуса, пошли меня къ Нему!.. Хочу быть прахомъ у ногъ Его... Изреки: «Да будетъ такъ»...

Перевелъ духъ и опять зоветъ:

— О доброта!... о простота... о любовь!.. о радость моя... Іисусе!.. Вотъ я бѣгу къ Тебѣ, какъ Никодимъ, ночью; вари ко мнѣ, открой дверь... дай мнѣ слышать Бога, ходящаго и глаголющаго!.. Вотъ... риза Твоя уже въ рукахъ моихъ... сокруши стегно мое... но я не отпущу Тебя... доколѣ не благословишь со мной всѣхъ.

Люблю эту русскую молитву, какъ она еще въ двѣнадцатомъ вѣкѣ вылилась у нашего Златоуста, Кирилла въ Туровѣ, которою онъ и намъ завѣщалъ «не токмо за свои молитися, но и за чужія, и не за единыя христіаны, но и за иновѣрныя, да быша ся обратили къ Богу». Милый старикъ мой, Киріакъ, такъ и молился,— за всѣхъ дерзалъ: «Всѣхъ, говоритъ, благослови, а то не отпущу Тебя!» Что съ такимъ чудакомъ подѣлаешь?

Съ сими словами потянулся онъ, точно поволокся за Христовою ризою, и улетѣлъ... Такъ мнѣ и до сихъ поръ представляется, что онъ все держится, виситъ и носится за Нимъ, прося: «Благослови всѣхъ, а то не отстану». Дерзкій старичокъ этотъ своего, пожалуй, допросится; а Тотъ по добротѣ Своей ему не откажетъ. У насъ вѣдь это все in sancta simplicitate семейно со Христомъ дѣлается. Понимаемъ мы Его или нѣтъ, объ этомъ толкуйте, какъ знаете, но а что мы живемъ съ Нимъ запросто—это-то уже очень, кажется, неоспоримо. А Онъ простоту сильно любитъ»...



**Константинъ Михайловичъ Станюковичъ.**

(1844 — 1903).

## Бѣглецъ.

### I.

Чуть - чуть покачиваясь на затихавшей зыби и вздрагивая отъ быстраго хода, подходилъ нашъ клиперъ къ берегамъ Калифорніи.

Было прелестное сентябрьское утро. Солнце ужъ высоко поднялось на ярко голубомъ небѣ, подернутомъ бѣлоснѣжнымъ кружевомъ убѣгающихъ перистыхъ облаковъ, и заливало палубу яркимъ блескомъ. Отъ присмирѣвшаго океана вѣяло свѣжестью и прохладой. Дышалось полною грудью.

Обрывистые красные берега, окутанные по верхамъ золотистой дымкой тумана, ужъ отчетливо видны простымъ глазомъ. Вдали, на высокомъ холмѣ, у входа въ бухту, бѣлѣется башня маяка. Все чаще и чаще попадаются навстрѣчу суда, и малютка-пароходикъ, съ яркимъ флагомъ на мачтѣ, поднимаясь съ волны на волну, несется къ клиперу. Это—лоцманъ, и съ нимъ, конечно, пачка послѣднихъ американскихъ газетъ.

Всѣ вышли наверхъ изъ душныхъ каютъ, и палуба забѣлѣла множествомъ матросскихъ чистыхъ рубахъ. Всѣ празднично настроены. Всѣ просвѣтлѣли, охваченные радостнымъ ожиданіемъ «берега».

Послѣ тридцатидневнаго бурнаго перехода, съ постоянной качкой, тревожными вахтами со шквалами, дождемъ и нерѣдкими окриками боцмана среди ночи: «Пошелъ всѣ наверхъ третій рифъ брать!»—послѣ прискучившихъ консервовъ за обѣдомъ и однообразныхъ разговоровъ въ каютъ-компаніи, надоѣвшихъ всѣмъ, какъ и физіономіи другъ друга, послѣ скучныхъ стоянокъ въ китайскихъ портахъ,—эта «жемчужина Тихаго океана», какъ называютъ янки Санъ-Франциско, сулила немало удовольствій. Всѣмъ хочется поскорѣй увидать этотъ диковинный городъ,

выросшій со сказочной быстротой, и среди молодыхъ офицеровъ уже идутъ оживленные толки о съѣздѣ на берегъ.

И на бакѣ [1])—этомъ матросскомъ клубѣ, гдѣ устанавливаются репутаціи и обсуждаются всѣ выдающіяся явленія судовой жизни—вокругъ кадки съ водой для курильщиковъ (въ другомъ мѣстѣ курить матросамъ нельзя) собралась толпа. И тамъ разговоры, разумѣется, о «берегѣ».

Общій любимецъ, добродушный, веселый и смѣлый до отчаянности марсовой Якушинъ, котораго всѣ почему-то зовутъ Якушкой, хотя Якушкѣ ужъ подъ сорокъ лѣтъ,—передаетъ свои впечатлѣнія о Санъ-Франциско, гдѣ онъ былъ три года тому назадъ, когда въ первый разъ ходилъ въ кругосвѣтное плаваніе.

По словамъ Якушки, городъ веселый, народъ бойкій и живетъ вольно, кабаковъ много, и водка хорошая — виска по-ихнему; табакъ—дрянь противъ нашего, зато шерстяныя рубахи можно похвалить: носки и дешевы.

Молодой бѣлобрысый матросикъ съ большими добрыми голубыми глазами, не успѣвшій еще потерять на службѣ своей деревенской складки, все время необыкновенно внимательно слушавшій Якушку, вдругъ спросилъ, застѣнчиво улыбаясь:

— А какой державы, Якушка, народъ?

— Американской, паря, державы.

И хотя этотъ отвѣтъ ровно ничего не объяснилъ молодому матросу, тѣмъ не менѣе онъ кивнулъ головой съ видомъ удовлетворенія, затянулся окуркомъ и, бросая его въ кадку, замѣтилъ въ формѣ вопроса:

— Тоже, значитъ, у нихъ свой король есть?

— То-то вотъ, братцы, нѣту!—отвѣчалъ Якушка, обращаясь ко всѣмъ, такимъ тономъ, словно бы онъ извинялся за американцевъ.—Оголтѣлый народъ! — неожиданно прибавилъ онъ, какъ бы вдругъ самъ проникаясь странностью сообщеннаго факта.

— Нечего сказать, народъ! — замѣтилъ кто-то въ толпѣ.

— Однако тоже и у нихъ есть свое начальство. Выберутъ промежъ себя какого-нибудь сапожника, въ родѣ будто начальника, вотъ тебѣ и вся недолга!

— Безъ начальства шалишь, братъ!— раздался чей-то голосъ.

— А живутъ, надо правду говорить, хорошо. Хо-ро-шо, братцы, живутъ!—продолжалъ Якушка. — Взять къ примѣру: простая мастеровщина, а харчъ у него завсегда мясной, и виску трескаетъ, и хлѣбъ пшеничный... И насчетъ одежи чистый народъ! Этто шляпу на затылокъ надѣлъ, самъ въ пинджакѣ и щиблеткахъ, куритъ себѣ цигарку и поплевываетъ. Думаешь, господинъ какой, а онъ всего на все — рабочій, человѣкъ!.. Да у нихъ и не узнать, кто изъ господъ, кто изъ простыхъ...

— Ишь ты! Видно, житье? — дивуются матросы.

— Житье и есть! Земли много у нихъ— земля вольная. И опять же: копаютъ золото. Копай, кто хочетъ, заказу нѣтъ. Раздобылъ — твое счастье... Вольная сторона! Въ эти мѣста, сказываютъ, со всего свѣту народъ бѣжитъ.

— Который человѣкъ ежели Бога забылъ, тотъ и бѣжитъ!—проговорилъ строгимъ, внушительнымъ тономъ старикъ-плотникъ Захаровъ. — Правильный человѣкъ не побѣжитъ... Ты живи, гдѣ тебѣ назначено... На своей сторонѣ живи... вотъ что!

— Да и пропадешь у этихъ идоловъ! Ни онъ тебя не пойметъ ни ты его! — вставилъ другой матросъ. — Не даромъ говорится: «На чужбинкѣ словно въ домовинкѣ!»

— И какъ это бросить свою сторону да въ этакую даль! — раздумчиво промолвилъ бѣлобрысый матросикъ. — Небойсь, нашъ россійскій сюда не побѣжитъ?

— Бога еще помнятъ наши-то!—опять строго произнесъ плотникъ.

— Однако одинъ и нашъ сбѣжалъ, когда мы во Францискахъ стояли! — значительно проговорилъ Якушка.

— Нашъ!?

— Нашъ и есть... Поди жъ ты!

Въ эту минуту подходилъ лоцманскій пароходикъ, и всѣ обратили на него вниманіе.

Клиперъ пріостановилъ ходъ. Пароходикъ подлетѣлъ къ борту, принявъ на ходу брошенный съ клипера «конецъ» [1]),

---

[1]) Передняя часть судна.

[1]) „Концомъ" называется на морскомъ жаргонѣ веревка.

и, ссадивъ лоцмана, пошелъ прочь. Поднявшись по трапу, на палубу выскочилъ высокій сухощавый янки въ черномъ сюртукѣ и высокомъ цилиндрѣ, кивнулъ головой, проговоривъ привѣтствіе, и поднялся на мостикъ. Тамъ онъ поздоровался, первый протягивая руку, со стоявшими офицерами, отдалъ пачку газетъ, радостно сообщилъ, что на-дняхъ вздули южанъ (дѣло было во время междоусобной войны), и, заложивъ руки назадъ, зашагалъ по мостику.

Клиперъ снова пошелъ полнымъ ходомъ.

— Ишь вѣдь мужланъ! — сердито проговорилъ старый плотникъ, видимо недовольный американцемъ за его слишкомъ свободное обращеніе съ капитаномъ. — А еще образованные люди!

И многіе среди матросовъ были, повидимому, шокированы, хотя и ничего не сказали.

— Такъ какъ же нашъ-то сбѣжалъ? Сказывай, Якушка! — нетерпѣливо спросилъ кто-то.

Якушка оглянулся. Я стоялъ подлѣ. Но присутствіе юнаго гардемарина не смутило матроса. Онъ, не спѣша, выбилъ золу изъ трубки, сунулъ ее въ штаны, обвелъ взглядомъ тѣснѣе сдвинувшійся кружокъ и началъ.

## II.

— Былъ, братцы вы мои, у нашего у перваго лейтенанта Прокудинова взятъ съ собой изъ Россіи крѣпостной лакей. Максимкой звали. Паренекъ молодой и, ничего себѣ, башковатый, но только, надо правду сказать, много онъ отъ своего барина понапрасну бою принялъ.

— Сердитъ баринъ былъ?

— Какъ есть цѣпная собака! Чуть что не по немъ или ежели какая неисправка, сейчасъ лѣзетъ въ морду и норовитъ, чтобы до крови... И вовсе не жалѣлъ нашего брата — лютъ этто былъ на порку. У насъ тогда, братцы, не то что теперь, при нашемъ «голубѣ» [1]), шкуры матросской не жалѣли! Ребята такъ и звали Прокудинова Мордобоемъ... Мордобой и былъ! Многіе изъ господъ, которые пожалостливѣй, бывало, довольно даже срамили его за звѣрство... Да ничего не брало — сердцемъ былъ золъ Мордобой! Другой хоша и вдаритъ тебя, такъ съ пылу, а этотъ дьяволъ всегда дрался отъ злого сердца, съ мучительствомъ...

— Да... Есть такіе... У насъ вотъ былъ тоже одинъ, такъ все перстенемъ тыкалъ въ зубы... Много ихъ повышибъ! — авторитетно вставилъ одинъ коренастый пожилой матросъ.

— Ну, и часто-таки попадало Максимкѣ въ кису, потому Максимка молчитъ, молчитъ, какъ покорный слуга, да вдругъ и сдерзничаетъ. А ужъ тогда только держись! Сейчасъ этто Максимку на бакъ и прикажетъ всыпать... Максимка воемъ воетъ, а Мордобой линьки считаетъ про себя да приговариваетъ: «Жарь его, подлеца!» И разъ, я вамъ скажу, здорово Максимкѣ всыпали — очень ужъ онъ согрубилъ, и вовсе заскучилъ съ той поры Максимка. Пришелъ этто онъ вечеромъ ко мнѣ, смотритъ на море и плачетъ, какъ дитё малое, слезами. «Рѣшусь, говоритъ, лучше жизни... Окіянъ, говоритъ, глыбокъ!» Извѣстно, парнишко молодой, двадцати годовъ еще не было! А до того жилъ онъ у портного нѣмца въ обученьѣ, и былъ этотъ нѣмецъ, сказывалъ Максимка, жалостливый и справедливый нѣмецъ. Максимкѣ, значитъ, и терпко послѣ хорошей жизни да къ Мордобою! Ну, я всячески обнадеживаю человѣка: потерпи, молъ, Максимка, скоро, говорю, выйдетъ вамъ вольная воля—ужъ тогда про волю слухъ прошелъ—а пока знай себѣ молчи и не дерзничай... Что, молъ, съ этимъ звѣремъ связываться! И пустяковъ не ври, говорю. Рѣшиться жизни—большой грѣхъ. Богъ далъ, Богъ и возьметъ ее, когда захочетъ! Мы, молъ, не хуже тебя, а тоже терпимъ. Слушалъ этто онъ, утеръ слезы, да и говоритъ: «Я, говоритъ, потерплю, но только долго, говоритъ, терпѣть, Якушка, не согласенъ. Силушки моей на то, говоритъ, нѣтъ!» Хорошо. Ходили мы такимъ родомъ, братцы, по разнымъ мѣстамъ и пришли этто во Франциски. Въ скорости послѣ того побывалъ Максимка на берегу, и какъ вернулся — диковина: совсѣмъ будто другой сталъ Максимка — веселый такой. Пришелъ онъ на бакъ, у самого подъ глазомъ синякъ — Мордобой вечоръ съѣздилъ—а Максимка куражится.

---

[1]) Такъ звали матросы капитана за его человѣчное отношеніе къ матросамъ.

— «Что, Максимка, смѣются ребята, никакъ твой Мордобой доларь тебѣ на гулянку далъ?» — «Дасть, дьяволъ, жди!» а самъ скалитъ зубы... Въ тѣ поры мнѣ и невдомекъ, что онъ выдумалъ.

Якушка помолчалъ, затянулся наскоро, взявъ у сосѣда трубку, сплюнулъ и продолжалъ:

— Ладно. Простояли мы этакъ денъ пять, вытянули ванты, выкрасились, и, какъ справились, отпустили нашу вахту на берегъ. Отпросился у своего Мордобоя и Максимка. Обрядился въ новый пинджакъ, какъ слѣдуетъ—любилъ онъ форснуть — и на баркасъ. Сѣлъ около меня, а самъ глядитъ на «конвертъ» [1]) и будто глазъ отвести не можетъ. «Что, говорю, буркалы уставилъ? Конверта, что ли, не видалъ?» Смѣется. Отвалили отъ борта, а Максимка шляпу снялъ и кланяется. «Кому ты, дуракъ?» — «А всѣмъ, говоритъ, землякамъ родимымъ». Куражится, думаю, парень. Радъ, что на берегъ урвался. А онъ и взаправду тогда прощался!.. Хорошо. Пристали мы къ пристани. Ребята разбрелись по салунамъ—это у нихъ въ родѣ какъ кабаки наши, только почище будутъ нашихъ — тутъ же по ближности, а я съ двумя товарищами собрался перво-на-перво въ лавки — покупать рубахи. Максимка увязался съ нами. И только чудной онъ былъ какой-то въ тотъ день! Идемъ этто мы по улицамъ, глаза пялимъ, а онъ вдругъ объ Россіи вспоминаетъ, про деревню, какъ при матери росъ, какая у него мать была... совсѣмъ не къ мѣсту разговоръ... Купили мы себѣ рубахи, пошлялись малость по городу и пошли назадъ къ пристани и зашли въ салунъ, гдѣ наши собрались. Народу пропасть! Шумятъ, гуляютъ, значитъ, матросики! Ну сейчасъ этто мы потребовали виски этой самой, сѣли за столикъ, сидимъ, пьемъ и рыбкой сладкой закусываемъ, слушаемъ, какъ наши пѣсни поютъ, а Максимка ничего въ ротъ не беретъ. «Не хочу», говоритъ. Сидитъ и все только на двери поглядываетъ. Только спросилъ: «Когда на конвертъ велѣно ворочаться?» Къ восьми, говорю. Прошло этакъ съ часъ времени. Отошелъ я къ ребятамъ, вернулся, а ужъ Максимки нѣтъ. «Гдѣ Максимка?» Товарищи не знаютъ. Кто-то говоритъ: «Вѣрно, Маскимка-съ ребятами къ мамзелямъ ушелъ». Ну, ладно. Выпили мы еще бутылку и тоже пошли мамзелей здѣшнихъ смотрѣть... Хороши, шельмы!

Якушка усмѣхнулся, повелъ глазомъ и продолжалъ:

— Къ вечеру повалили на пристань... По дорогѣ еще выпили. Идемъ этто человѣкъ пять... Я иду, маленько поотставши, и вдругъ слышу, кто-то тихо окликаетъ: «Якушка!» Гляжу, а сбоку, въ узкомъ такомъ проулочкѣ, у фонаря, стоитъ Максимка. Я къ нему, и хоть былъ я, братцы, здорово треснувши, а вижу, что съ Максимкой что-то неладное: съ лица побѣлѣлъ, весь ровно дрожитъ, а только все зубы скалитъ — себя куражитъ. «Ты что тутъ дѣлаешь, Максимка? Валимъ, говорю, на баркасъ. Опоздаешь — Мордобой не погладитъ, небойсь!» — «Тише, говоритъ, Якушка... Я, говоритъ, давно поджидаю тебя, хочу проститься, потому ты доберъ былъ. Давече я побоялся при другихъ открыться, а теперь откроюсь: на баркасъ я не пойду, и на конвертъ меня больше не ждите!» Весь хмель выскочилъ у меня изъ головы. «Ополоумѣлъ ты, что ли, Максимка. Идемъ скорѣй, глупая голова!» А онъ свое: «Не пойду, довольно, говоритъ, съ меня Мордобоя. Здѣсь, говоритъ, останусь!» Тутъ я давай его уговаривать: «Опомнись, Максимка! Что выдумалъ? Пропадешь, говорю, какъ собака на чужой сторонѣ!»—«Не уговаривай, говоритъ, Якушка. Ужъ я, говоритъ, сговорился здѣсь съ однимъ полякомъ... Я, говоритъ, не пропаду, а вольнымъ человѣкомъ стану, буду по портной своей части. И есть, говоритъ, у меня прикопленныхъ сорокъ доллеровъ, что за починку отъ господъ насбиралъ. Нарочно, говоритъ, для такого случая копилъ. А затѣмъ прощай, говоритъ, голубчикъ... догоняй своихъ и не поминай лихомъ!..» И не успѣлъ я, братцы, Максимку силкомъ удержать, какъ онъ фукнулъ въ проулокъ, и слѣдъ его простылъ.

— Эка отчаянный, прости Господи! — вырвалось чье-то восклицаніе среди притихшихъ слушателей.

— Догналъ я, братцы, своихъ и ничего не сказываю. И самому боязно, какъ бы въ отвѣтѣ не быть, и Максимку жалко: пропадетъ, думаю, ни за грошъ. Хорошо. Пришли на пристань. Мичманъ провѣ-

---

[1]) Вмѣсто „корветъ“.

рилъ. «Всѣ кажется?» — «Всѣ, ваше благородіе, окромя Максимки, лейтенантскаго камардина!» отвѣчаетъ унтерцеръ. «Его, видно, баринъ ночевать отпустилъ!—смѣется мичманъ.—Не казенный онъ челокѣкъ— садись, ребята, на баркасъ!» Сѣли и отвалили. Пристали къ конверту, и сейчасъ же намъ роздали койки. Спустился я въ палубу, подвѣсилъ койку, раздѣлся, легъ спать, но только нѣтъ у меня сна, братцы... Все Максимка въ мысляхъ. А какъ бѣднягу поймаютъ? Вѣдь Мордобой не проститъ.

— Шкуру спустилъ бы! — вставилъ кто-то.

— Шкуру—шкурой, да потомъ въ Сибирь или въ солдаты... Злопамятный онъ, Мордобой... Только лежу это я въ койкѣ и слышу въ скорости онъ кричитъ: «Максимку послать!» (Мичманъ-то былъ добрый и не сказалъ, что Максимка не пріѣхалъ). «Такъ и такъ, ваше благородіе, доложилъ вѣстовой, Максимка съ берега еще не вернулся». — «Ахъ, онъ, такой сякой! Завтра узнаетъ, какъ безъ спросу опаздывать! Какъ вернется, тую жъ минуту ко мнѣ послать подлеца!» Ему и не въ догадку, что Максимка вовсе остался. Ладно. Прошелъ этакъ день!.. Максимки нѣту, и тутъ ужъ, доложно, Мордобой догадался, что дѣло не ладно. Вѣстовые послѣ сказывали, что озвѣрѣлъ онъ въ тѣ поры совсѣмъ, забѣгалъ по каютъ-компаніи и кричитъ: «Со дна морского достану и на смерть запорю невѣрнаго раба!» Другіе офицеры ему по-французски, стыдили, значитъ. Послѣ того онъ шарахнулся въ каюту, какъ угорѣлый—давай провѣрять, цѣлы ли деньги и вещи...

— Цѣлы?--вырвался нетерпѣливый вопросъ у многихъ слушателей.

— Все, какъ есть, цѣлехонько...

— То-то! — вдругъ проговорилъ бѣлобрысый матросикъ, и все его доброе лицо озарилось радостной улыбкой.

— Не такой Максимка былъ человѣкъ... Бывало, окурка попросишь, и то отказывалъ, чтобъ не связываться, а не то, чтобы... Хорошо. Вышелъ этто Мордобой изъ каюты и маршъ къ капитану съ докладомъ, что камардинъ, молъ, пропалъ. Что они тамъ съ капитаномъ говорили— никому неизвѣстно, но только вышелъ онъ отъ него, какъ говядина, красный. Видно: напѣлъ ему. Командиръ хоть и самъ любилъ драться, но отходчивый былъ и зря не обижалъ, нечего говорить... Сейчасъ послѣ того сталъ Мордобой доискиваться: съ кѣмъ да съ кѣмъ былъ Максимка на берегу. Призвалъ и меня. «Видѣлъ, говоритъ, Максимку?»—«Видѣлъ, говорю, ваше благородіе, вмѣстѣ въ салунѣ сидѣли».—«А потомъ?»—«Не видалъ, говорю, ваше благородіе!»—«Куда онъ послѣ ушелъ?»—«Не могу, молъ, знать!»— «Сказывалъ тебѣ, что бѣжать собирается?»— «Никакъ нѣтъ!» отвѣчаю. «Ой, говоритъ, правду показывай, а не то сидорову козу изъ тебя сдѣлаю, такъ твою такъ!» И съ этимъ словомъ въ зубы... Разъ... другой... Молчу. «Всѣ вы, говоритъ, подлецы!» И опять чешетъ. Кровь идетъ... «Не могу знать!» Насилу отсталъ, спустился внизъ, одѣлся въ вольную одежу [1]) и на берегъ, къ концырю, чтобъ объявку въ полицію подать... Ну, думаю, бѣда... поймаютъ теперича Максимку... Однако къ вечеру Мордобой вернулся ни съ чѣмъ... сердитый такой... Послѣ ужъ узналъ я отъ людей, что здѣсь, братцы, не такъ-то легко разыскать человѣка. Пачпортовъ нѣтъ, прозывайся, какъ знаешь. И если ты убѣжалъ да ничего не укралъ—живи съ Богомъ, твоя воля!

— Ишь ты... Такъ и не искали Максимку?

— Искали. Мордобой, сказывали, сотни двѣ доллеровъ извелъ сыщикамъ, чтобы Максимку заманить и силкомъ привезти на конвертъ. Каждый день съѣзжалъ на берегъ, да только даромъ деньги извелъ. Въ скорости пріѣхалъ концырь и говоритъ этому самому Мордобою: «Плюньте вы на вашего Максимку, ежели, говоритъ, онъ такая каналья, что отъ своего барина убѣжалъ,—не стоитъ онъ, подлецъ, чтобъ изъ-за него хлопотать. И напрасно, говоритъ, вы меня не послушались, какъ я вамъ раньше объяснялъ. Денежки-то ваши ухнули, у васъ ихъ сыщики взяли, да Максимки не нашли. И не могли, говоритъ. Здѣсь, говоритъ, свои права».—«Какія-такія права?» Мордобой спрашиваетъ. «А такая, говоритъ, ужъ сторона американская, что всякаго къ себѣ принимаютъ. Ничего, молъ, не подѣлаешь!» А Мордобой въ отвѣтъ: «Довольно подлая, говоритъ, господинъ концырь, сторона, ежели

[1]) Такъ матросы называютъ статское платье.

не могутъ мнѣ возвратить собственнаго лакея!»

— Такъ, братцы вы мои, простояли послѣ этого денъ шесть и ушли изъ Франциcокъ безъ Максимки!—заключилъ Якушка и сталъ набивать трубку.

## III.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Всѣ были подъ впечатлѣніемъ разсказа.

— И рѣшился, подумаешь, человѣкъ!—въ раздумьѣ, подавивъ вздохъ, проговорилъ, наконецъ, бѣлобрысый матросикъ.—Не сустерпѣлъ, значитъ!

— Дда... Видно, невмоготу было, ежели рѣшился!—замѣтилъ кто-то.

— Поляки сбили!—промолвилъ Якушка.

— Поляки?

— Тутъ есть ихъ!—сказалъ Якушка и прибавилъ:—Скоро, братцы, и бухта! Вотъ только въ проливчикъ войдемъ.

Всѣ стали смотрѣть впередъ. Клиперъ, плавно разсѣкая воду, быстро подходилъ къ такъ называемымъ Золотымъ Воротамъ, соединяющимъ океанъ съ заливомъ.

Толпа раздвинулась, пропуская боцмана Щукина. Онъ подошелъ къ кадкѣ, протянулъ руку къ Якушкѣ за трубкой и, сдѣлавъ двѣ затяжки, спросилъ:

— Ты это про что, Якушка?

— Да про Максимку Прокудиновскаго... Помните, Матвѣй Нилычъ...

— Какъ не помнить? Еще твой пріятель былъ!—усмѣхнулся боцманъ.

— А что жъ?.. Максимка парень былъ тихій... Ничего себѣ...

Боцманъ помолчалъ и, передавая трубку Якушкѣ, проговорилъ:

— Тихой? Жалко, тихого тогда не поймали! Прокудиновъ по - настоящему бы раздѣлалъ шкуру твоему Максимкѣ... Тогда еще нынѣшнихъ вольностевъ не было... Всыпали бы штукъ ста три линьковъ—закаялся бы бѣгать... А то ишь ты... выдумалъ!

И Якушка и другіе матросы молчали, но на многихъ лицахъ появились улыбки, не свидѣтельствовавшія о довѣріи къ мнѣнію боцмана насчетъ спасительности «раздѣлыванія» шкуры. Щукинъ отлично это зналъ и раздражительно прибавилъ, махнувъ головой по направленію къ берегу:

— Поди, сдохъ у этихъ анаѳемъ?.. Тоже... баринъ какой... бѣгать!

Опять всѣ молчали. Только чей-то льстивый голосъ раздался изъ толпы:

— Это вы вѣрно, Матвѣй Нилычъ... Это вы правильно... ей-Богу...

Старый боцманъ повелъ презрительнымъ взглядомъ на выдвинувшагося Трошкина, извѣстнаго лодыря и подлипалу, имѣвшаго репутацію скверкаго матроса, и, видимо нарочно не обращая ни малѣйшаго вниманія на его слова, напустилъ на себя строгій видъ и завелъ рѣчь съ подошедшимъ покурить фельдшеромъ.

— Извѣстно... пропасть долженъ человѣкъ!—лебезилъ Трошкинъ, желая подслужиться боцману и обратить на себя вниманіе.—Ты разсуди самъ, Якушка! Чтò онъ будетъ здѣсь дѣлать? И опять же совѣсть... это какъ?.. Потому, ежели человѣкъ нарушилъ присягу и убѣжалъ отъ своего господина...

— Ну... ты... ври больше, шканечная мельница! Нешто Максимка присягалъ?—крикнулъ на Трошкина Якушкинъ.

И Трошкинъ тотчасъ же умолкъ.

— Бога, я говорю, забылъ человѣкъ и пропалъ, какъ нечистый песъ. И по дѣломъ! Не бѣгай... Живи, гдѣ показано. Терпи... Помни, что сказано въ писаніи: блаженни страждущіе... Вотъ что! — проговорилъ снова назидательнымъ тономъ плотникъ, грамотей, любившій читать священныя книги, и вышелъ изъ толпы.

— Ты-то терпѣливъ очень, — проговорилъ кто-то ему вслѣдъ.

— Разсудили!?—раздался вдругъ тихій, отчетливый, нѣсколько взволнованный голосъ, и всѣ обратили вниманіе на низенькаго бѣлокураго человѣка, выдѣлившагося изъ толпы. Это былъ унтеръ-офицеръ Лютиковъ.

— Разсудили!? Ужъ, по-вашему, и пропалъ? А по-моему, онъ долженъ Бога молить, что сподобилъ его Господь человѣкомъ стать, а не то что пропалъ! По вашему понятію, видно, только и жизни, гдѣ шкуру спускаютъ? — иронически прибавилъ онъ, взглядывая своими большими сѣрыми, смотрѣвшими куда-то вдаль, глазами на боцмана.—Человѣка тиранили, а онъ... терпи! Въ писаніи сказано? Сказано въ писаніи, да не то... Эхъ... народъ... народъ!

Бросивъ эти слова и не дожидаясь отвѣта, словно бы на нихъ и не могло быть отвѣта, Лютиковъ, взволнованный и слегка поблѣднѣвшій, вышелъ изъ круга и, облокотившись о бортъ, сталъ смотрѣть жаднымъ взоромъ на приближавшіеся берега.

Старикъ Щукинъ побагровѣлъ и насупился. Онъ исподлобья бросилъ взглядъ на матросовъ и, принимая вдругъ строгій начальническій видъ, крикнулъ:

— Сейчасъ на якорь становиться, а вы тутъ лясы точите... Пошелъ по мѣстамъ!

Матросы стали расходиться.

— Тебѣ, что ли, говорятъ, Трошкинъ!— неожиданно накинулся онъ на лебезившаго матроса.—Что ползешь, какъ мокрая вошь! Пшелъ! — прошипѣлъ онъ, внезапно раздражаясь и разсыпаясь тою артистическою руганью, въ которой не зналъ себѣ соперниковъ.

— Иду... Ишь дарма ругается!—проговорилъ себѣ подъ носъ, отходя, Трошкинъ, обиженный не столько руганью, сколько невниманіемъ къ его льстивымъ словамъ.

Это замѣчаніе привело боцмана въ ярость. Онъ коршуномъ налетѣлъ на Трошкина и, поднося къ его лицу свой здоровенный кулакъ, прошипѣлъ:

— Я-те поговорю!..

Но Трошкинъ отскочилъ въ сторону и, замѣтивъ подходившаго офицера, проговорилъ нарочно громко, искусственно обиженнымъ голосомъ:

— Нонче правовъ этихъ нѣтъ, чтобы зря драться!

— Ахъ ты... правовъ!?

И Щукинъ ужъ хотѣлъ было показать «права», но въ эту минуту увидалъ офицера. Онъ только сердито крякнулъ, опуская кулакъ, и въ безсильномъ гнѣвѣ, пропустивъ сквозь зубы «анаѳему», заходилъ взадъ и впередъ по баку, бросая по временамъ на Лютикова взгляды, полные ненависти.

— Свистать всѣхъ наверхъ, на якорь становиться! — раздался съ мостика звучный, довольный, молодой голосокъ вахтеннаго мичмана.

Боцманъ на ходу сдѣлалъ скачокъ назадъ, рысью подбѣжалъ къ люку и, разставивъ ноги и нагнувъ впередъ голову, засвисталъ протяжнымъ свистомъ въ дудку и затѣмъ гаркнулъ во всю глотку своимъ осипшимъ, надорваннымъ басомъ:

— Пошелъ всѣ наверхъ на якорь становиться!

На клиперѣ воцарилась та благоговѣйная тишина, которая бываетъ на военныхъ судахъ при входѣ на рейдъ.

— Приготовиться къ салюту!

Безшумно ступая по безукоризненно чистой палубѣ, матросы стали у заряженныхъ орудій, готовыхъ привѣтствовать гостепріимныхъ хозяевъ.

## IV.

Черезъ нѣсколько дней мнѣ пришлось вступить на ночную вахту.

Рейдовыя вахты, когда рѣшительно нечего дѣлать и не за чѣмъ смотрѣть, тянутся какъ-то особенно долго и скучно. Ходишь себѣ взадъ и впередъ по мостику, обойдешь палубу, провѣришь часовыхъ и снова ходишь, пока не утомишься и не задремлешь, прислонившись къ поручнямъ.

Скоро полночь. Послѣ дневной суеты рейдъ стихъ. Корабли, слабо освѣщенные блѣднымъ свѣтомъ молодой луны, казалось, дремлютъ на серебристой глади водъ. Каждые полчаса съ кораблей раздаются тихіе удары колокола, отбивающіе склянки, и снова тишина. Только изъ ярко освѣщеннаго города доносится неясный гулъ, да по временамъ долетаютъ звуки музыки. На клиперѣ давно всѣ спятъ. Нѣсколько человѣкъ вахтенныхъ, примостившись къ орудію, коротаютъ вахту, лясничая вполголоса, да сигнальщикъ похаживаетъ по юту, въ ожиданіи скорой смѣны.

Давно уже чья-то маленькая, худощавая фигура словно приросла къ борту. Это— Лютиковъ. Хоть онъ и не на вахтѣ, а бодрствуетъ и все поглядываетъ на берегъ. Наканунѣ онъ былъ на берегу, и городъ, судя по его восторженнымъ, отрывистымъ словамъ, произвелъ на него сильное впечатлѣніе.

— Понравилось, видно, здѣсь? — спросилъ я, подходя къ Лютикову.

Онъ повернулъ голову. Лицо его было блѣдно и задумчиво.

— А то какъ же! — проговорилъ онъ своимъ тихимъ, внушительнымъ голосомъ.—Вамъ хорошо, а намъ и подавно!

И, видимо отвѣчая на занимавшія его мысли, усмѣхнувшись, прибавилъ:

— А дураки вотъ говорятъ, что здѣсь пропадешь... Не бойсь, онъ не пропалъ...

— Кто это?

— Да этотъ самый бѣглецъ... Максимка.

— Онъ здѣсь?

— Здѣсь. Съ тѣхъ поръ, какъ ушелъ, здѣсь живетъ.

— Ты видѣлъ его?

— Видѣлъ!

Обыкновенно сдержанный и молчаливый, не любившій «лясничать» съ офицерами, и если обращавшійся къ нашему брату, юнцу гардемарину, то по большей части съ просьбой дать почитать книжки (до книгъ Лютиковъ былъ охотникъ), онъ этотъ разъ удивилъ меня сообщительностью. Съ какимъ-то, тогда непонятнымъ мнѣ возбужденіемъ, расхваливалъ онъ жизнь бѣглеца на чужбинѣ. По словамъ Лютикова, Максимъ («а по-здѣшнему мистеръ Максъ») живетъ отлично: зарабатываетъ портнымъ мастерствомъ болѣе ста долларовъ въ мѣсяцъ, ни отъ кого обиды не терпитъ, недавно женился на чешкѣ и не перестаетъ благодарить Господа за то, что наставилъ его на путь. И Прокудинова добромъ поминаетъ: не будь, говоритъ, онъ такой звѣрь, не видать бы мнѣ хорошей жизни.

— Какъ есть, человѣкомъ сталъ! И съ понятіемъ, не то, что нашъ братъ... Здѣсь понялъ онъ, какова воля, и каково безъ нея людямъ жить! А вы думали какъ? Нельзя этого понять темному мужику?— вдругъ прибавилъ Лютиковъ съ вызывающей, насмѣшливой ироніей, обычной у него въ бесѣдахъ, которыми онъ изрѣдка удостоивалъ нѣкоторыхъ гардемариновъ и—чаще другихъ—меня.

— А по Россіи не скучаетъ?—спросилъ я.

— Можетъ, и скучаетъ, да Мордобоя не хочетъ. И куликъ чужу сторону знаетъ, и журавль тепла ищетъ—человѣкъ и подавно. Сладко, что ли, съ Прокудиновымъ было жить? Въ Россіи что̀ нашъ братъ? Послѣдній опорокъ, помыкай кто хочетъ... А здѣсь онъ — вольный человѣкъ, свои права имѣетъ. Всякому это лестно, какъ вы думаете?.. Это вотъ развѣ Щукину въ обиду... Ему—плюй въ глаза—все Божья роса!

— Развѣ ты не скучалъ бы по родинѣ?

— А не знаю, не пробовалъ!—усмѣхнулся Лютиковъ и продолжалъ:—По аглицки такъ и чешетъ теперь Максимка... И газеты и книжки читаетъ... одно слово, человѣкъ съ разсудкомъ! При охотѣ, чай, не мудрость языку научиться. Какъ вы полагаете?

— Полагаю, не мудрено.

— То-то и я думаю... Дда... живутъ же люди!—вздохнулъ онъ.—Какъ хочешь молись Господу, никто твоей совѣсти не неволитъ...—прибавилъ Лютиковъ строго.—И люди у нихъ всѣ равны... Президентъ-то ихній дровосѣкомъ былъ... Наши и не повѣрятъ!

Лютиковъ замолчалъ и, немного погодя, спросилъ:

— Долго мы простоимъ здѣсь?

— Кажется, недѣли полторы. А что?

— Ничего... Такъ спросилъ.

И затѣмъ Лютиковъ опять задалъ вопросъ:

— Вѣрно, команду еще отпустятъ на берегъ?

— Я думаю, отпустятъ.

— Не слыхали, когда?

— Не знаю... Да если тебѣ хочется на берегъ, отпросись у старшаго офицера. Тебя во всякое время и не въ очередь отпустятъ. Хочешь, я скажу завтра старшему офицеру?—предложилъ я, зная щепетильность Лютикова.

— Нѣтъ, благодарю васъ... Ужъ я со всѣми съѣду...

— Когда еще отпустятъ!

— Подожду...

Я хотѣлъ было продолжать разговоръ, но Лютиковъ, видимо, не желалъ этого. Онъ неохотно и скупо подавалъ реплики, подъ конецъ смолкъ и ушелъ внизъ. Я опять зашагалъ по мостику и, наконецъ, задремалъ. Бой склянокъ пробудилъ меня. Я отправился на бакъ провѣрить часовыхъ, гляжу—Лютиковъ стоитъ у борта, не спуская глазъ съ берега.

— Что это ты не спишь, Лютиковъ?.. Ужъ не собираешься ли остаться въ Санъ-Франциско?—пошутилъ я.

Лютиковъ рѣзко отвѣтилъ, что ему нездоровится, ушелъ скоро внизъ и больше наверху не показывался.

Мнѣ показалось, что шутка моя смутила его. Но въ ту пору я не обратилъ на это вниманія. Только потомъ я невольно припоминалъ и его смущеніе и его разговоръ въ эту ночь.

## V.

Оригинальный человѣкъ былъ этотъ Лютиковъ. Онъ рѣзко выдѣлялся изъ общаго уровня. И взгляды его, и сужденія, вырывавшіяся случайно, и пытливый, нѣсколько озлобленный умъ, и характеръ его отношеній къ офицерамъ и матросамъ— все это было не совсѣмъ обыкновенно въ матросѣ, да еще въ матросѣ крѣпостного времени. Не даромъ и дальнѣйшая его судьба была тоже не совсѣмъ обычайна.

Это былъ молчаливый, необыкновенно сдержанный человѣкъ, лѣтъ тридцати пяти, худощавый, низенькій, крѣпкій блондинъ, съ русыми волосами, окаймлявшими самое обыкновенное, скорѣе некрасивое, чѣмъ красивое, простое русское лицо. Обличьемъ онъ совсѣмъ не походилъ на обычные типы матросовъ. Въ его маленькой, словно подобранной въ себя, фигурѣ не было ни выраженія удали ни того особаго забубеннаго матросскаго шика въ манерахъ, рѣчахъ, ношеніи костюма, который бываетъ у долго прослужившихъ лихихъ матросовъ. Съ виду Лютиковъ казался даже не бравымъ, но въ первый же штормъ, выдержанный клиперомъ въ Нѣмецкомъ морѣ, онъ показалъ находчивость и безстрашіе видавшаго виды моряка. Онъ не бралъ въ ротъ ни капли вина, не курилъ, никогда не ругался, держалъ себя строго и серьезно и нерѣдко въ свободное время читалъ Евангеліе и житія святыхъ, пока впослѣдствіи не увлекся и другими книгами. Ходили слухи, что Лютиковъ раскольникъ, но о религіозныхъ вопросахъ онъ никогда не говорилъ и терпимо относился къ чужимъ вѣроисповѣданіямъ. Однажды онъ съ сердцемъ упрекалъ двухъ матросовъ, вздумавшихъ какъ-то смѣяться надъ религіозными обрядами матроса-татарина.

Но болѣе всего поражало въ Лютиковѣ это чувство собственнаго достоинства, съ какимъ онъ держалъ себя со всѣми и особенно съ офицерами. Въ его сдержанныхъ манерахъ, въ твердомъ, серьезномъ выраженіи взгляда, въ толковыхъ, короткихъ отвѣтахъ было что-то такое, что невольно внушало уваженіе; въ то же время чувствовалось, что подъ наружной сдержанностью Лютикова возможна буря, что этотъ, смирный съ виду, человѣкъ не снесетъ безнаказанно оскорбленія. И всѣ обращались съ Лютиковымъ не такъ, какъ съ другими. Даже тѣ офицеры, которые не привыкли стѣсняться въ выраженіяхъ съ матросами, стѣснялись съ Лютиковымъ и никогда не бранили его площадной бранью.

Впрочемъ, и трудно было придраться къ нему. Своимъ безукоризненнымъ поведеніемъ. онъ, словно щитомъ, прикрывался отъ возможности какихъ бы то ни было столкновеній. Натура самолюбивая, онъ точно всегда былъ настороже, особенно первое время плаванія, пока Лютикова не узнали, и къ нему не установились извѣстныя отношенія.

Онъ былъ лучшій унтеръ-офицеръ, отличный рулевой, первый стрѣлокъ. Всякая работа какъ-то спорилась у него въ рукахъ и подъ его присмотромъ. На гротъ-марсѣ, гдѣ онъ завѣдывалъ, работали лучше, чѣмъ на другихъ марсахъ, и работали основательно, а не на показъ. Лютиковъ былъ исполнителенъ до педантизма и усерденъ, но въ его усердіи не было и тѣни угодливости или желанія отличиться въ глазахъ начальства. Онъ избѣгалъ всякой похвалы или принималъ ее съ суровымъ равнодушіемъ человѣка, не придающаго ей никакой цѣны.

Онъ держался особнякомъ, не сближаясь съ «баковой аристократіей», т.-е. съ боцманами, унтеръ-офицерами, фельдшеромъ и писарями; не сходился Лютиковъ и со старыми матросами, зато онъ необыкновенно мягко и тепло относился къ молодымъ матросамъ, попавшимъ отъ сохи въ море. Какъ-то случилось само собою, что онъ взялъ ихъ въ началѣ плаванія подъ свое покровительство. Онъ училъ ихъ морскому дѣлу, ободрялъ трусливыхъ во время непогоды и нерѣдко защищалъ безотвѣтныхъ отъ нападокъ боцмана, при чемъ громко говорилъ, что они сами виноваты, если позволяютъ боцману драться, несмотря на категорическое запрещеніе капитана. Къ Щукину, отчаянному ругателю и любителю драться, Лютиковъ относился съ нѣкоторымъ презрѣніемъ и не удостаивалъ его споровъ. Въ свою очередь, и старикъ боцманъ ненавидѣлъ отъ всей души Лютикова.

— Ему, подлецу, въ арестантскихъ ротахъ быть за его понятія, а не то что унтеръ - офицеромъ! — говорилъ онъ, бывало, въ интимныхъ бесѣдахъ съ такими

же стариками, возмущавшимися, какъ и онъ, новыми порядками.

Эта ненависть, помимо разницы взглядовъ, питалась еще и подозрительностью Щукина, видѣвшаго въ Лютиковѣ конкурента. Не разъ ужъ старшій офицеръ стращалъ боцмана, что его за пьянство разжалуютъ изъ боцмановъ... Кому же въ такомъ случаѣ быть боцманомъ, какъ не Лютикову? Его хорошо зналъ и капитанъ по прежней службѣ, онъ же его и взялъ на клиперъ, и была молва, что Лютикову еще давно предлагали быть боцманомъ, но онъ отказался отъ этой чести.

Среди матросовъ Лютиковъ пользовался большимъ авторитетомъ, его уважали, но онъ былъ нѣсколько чужой имъ, и эта разница чувствовалась сама собой въ осторожно почтительныхъ отношеніяхъ, установившихся къ нему со стороны матросовъ.

— Башковатый человѣкъ, что и говорить!—говорилъ про него Якушка. — И жизни правильной... Ему бы не матросомъ быть...

— А кѣмъ?—спрашивалъ я.

— Да по другой какой части.

— Почему?

— Уменъ онъ очень для матросской жизни... это не годится... И гордыня въ немъ есть, даромъ, что тихъ... Нашего брата обидь — оботремся, а Лютиковъ — нѣтъ!

— Развѣ это худо?

— Хорошо ли, худо, да не къ нашему рылу!—отвѣчалъ Якушка.

Лютиковъ былъ изъ зажиточной раскольничьей семьи архангельскихъ поморовъ. Отецъ его, человѣкъ строгаго благочестія, былъ однимъ изъ видныхъ и вліятельныхъ сектантовъ. Съ юныхъ лѣтъ Лютиковъ выѣзжалъ съ отцомъ на рыбачій промыселъ. Эти плаванія на карбасѣ въ открытомъ морѣ развили въ мальчикѣ энергію, пріучили къ опасностямъ, заставили полюбить природу. По зимамъ онъ жилъ въ глухомъ лѣсномъ скиту, гдѣ нерѣдко подолгу живали бѣглецы, скрывавшіеся отъ преслѣдованій за вѣру. Тамъ, у старой тетки, начетчицы, суровой фанатички, мальчикъ выучился грамотѣ и письму и тамъ же, въ долгіе зимніе вечера, слушалъ, бывало, нескончаемые разсказы гонимыхъ странниковъ и бѣгуновъ о притѣсненіяхъ, испытываемыхъ русскими людьми, искавшими религіозной правды. Въ этой-то средѣ религіознаго фанатизма, подвижничества и озлобленія крѣпъ религіозный пылъ впечатлительнаго мальчика и питалась ненависть...

Лютиковыхъ долго не трогали. Благодаря взяткамъ мѣстнымъ властямъ, скитъ держался, и раскольники покупали право молиться по - своему. Лютиковъ, жившій съ отцомъ въ ближней деревнѣ, собирался, было, жениться, какъ въ 1852 году, совершенно для раскольниковъ неожиданно, случился погромъ. Ночью налетѣли чиновники, запечатали скитъ, арестовали жившихъ тамъ, а на утро арестовали и всю семью Лютикова. Дѣло тянулось долго при старыхъ судахъ. Три года высидѣли Лютиковы въ острогѣ.

— Въ тѣ поры обо многомъ передумалъ я,—разсказывалъ однажды Лютиковъ, вспоминая эти годы. — Признаться, ужъ тогда я начиналъ смущаться въ нашей вѣрѣ... Очень ужъ мы были къ другимъ строги... Кто не по-нашему молился, того ровно поганымъ считали... Не то Спаситель нашъ проповѣдывалъ...

Лютиковъ замолчалъ и посматривалъ на даль темнѣвшаго океана. Ночь была чудная, нѣжная, одна изъ тѣхъ прелестныхъ ночей, какія бываютъ въ тропикахъ. Мы стояли съ Лютиковымъ на вахтѣ. Дѣлать на вахтѣ было нечего. Не приходилось шевелить «брасомъ». Подымаясь съ волны на волну, шелъ себѣ клиперъ подъ всѣми парусами, подгоняемый ровно дующимъ пассатомъ, узловъ по восьми, и вахтенные матросы, усѣвшись кучками, коротали вахту въ тихихъ разговорахъ. Только вахтенный офицеръ ходилъ взадъ и впередъ по мостику, посматривая по временамъ на горизонтъ, не темнѣетъ ли гдѣ шквалистое облачко, да покрикивая изрѣдка часовымъ на бакѣ: «впередъ смотрѣть!»

— Чѣмъ же кончилось дѣло?—спросилъ я послѣ того, какъ Лютиковъ смолкъ.

— Извѣстно, чѣмъ кончались такія дѣла!..—съ озлобленіемъ промолвилъ Лютиковъ.—Много народу пошло въ Сибирь, а меня сдали въ матросы...

— Живы отецъ съ матерью?

— Умерли... Никого почти изъ родныхъ не осталось въ живыхъ. Братъ

старшій есть, ну, да тотъ давно Бога забылъ...

Все это Лютиковъ разсказывалъ ужъ послѣ того, какъ между нами установились болѣе или менѣе близкія отношенія. Въ началѣ плаванія, когда я, заинтересованный Лютиковымъ, обратился было къ нему съ разными вопросами, онъ отвѣчалъ сухо и неопредѣленно съ насмѣшливой улыбкой, говорившей, казалось: «тебѣ какое дѣло?»

Это меня обидѣло нѣсколько. Въ качествѣ либеральнаго юнца, искавшаго сближенія съ матросами, я наивно полагалъ, что выражаю сочувствіе, и не сообразилъ тогда, сколько было грубой неделикатности въ этихъ разспросахъ молодого барчука. Всѣ дальнѣйшія мои попытки вызвать Лютикова на разговоръ не имѣли успѣха. Лютиковъ, видимо, относился ко мнѣ съ тѣмъ же подозрительнымъ недружелюбіемъ, сдерживаемымъ различіемъ положеній, въ формѣ сухой почтительности, съ какимъ относился вообще ко всѣмъ офицерамъ. Только къ одному капитану онъ, повидимому, питалъ нѣжныя чувства, и когда капитанъ обращался иногда къ Лютикову съ привѣтливымъ словомъ, Лютиковъ бывалъ доволенъ.

Вскорѣ, однако, непріязненность его мало-по-малу прошла. Онъ сдѣлался сообщительнѣе, самъ вступалъ въ разговоры, просилъ книжекъ и требовалъ объясненій, если не понималъ прочитаннаго.

Эта перемѣна въ Лютиковѣ произошла послѣ того, какъ онъ побывалъ первый разъ въ своей жизни въ иностранномъ портѣ. Это былъ Лондонъ, куда клиперъ зашелъ на нѣсколько времени для починки въ доки.

Лондонъ произвелъ на Лютикова громадное впечатлѣніе. Онъ вернулся на клиперъ очарованный. На другой же день онъ первый заговорилъ со мной, восторгаясь всѣмъ видѣннымъ и разспрашивая, какъ живутъ люди въ чужихъ земляхъ, и почему все тамъ не такъ, какъ у насъ.

Онъ побывалъ на берегу еще разъ и вскорѣ послѣ этого обратился съ просьбой «дать ему почитать книжку о чужихъ земляхъ». Я далъ ему какое-то путешествіе, бывшее въ библіотекѣ. Черезъ нѣсколько дней онъ возвратилъ книгу и просилъ другихъ. Послѣ того онъ то и дѣло обращался то ко мнѣ, то къ кому-нибудь изъ гардемариновъ съ вопросами. Достойно вниманія для характеристики Лютикова, что вопросы его, главнымъ образомъ, касались общественнаго и религіознаго устройства. Видно было, что мысль его дѣятельно работала.

Другіе европейскіе порты усиливали первое впечатлѣніе. Лютикову все нравилось, все казалось не похожимъ на то, что онъ видѣлъ прежде. Онъ пристрастился къ чтенію и особенно любилъ книги историческаго содержанія. Въ его умѣ все видѣнное и прочитанное складывалось въ представленіе чего-то яркаго и необычайнаго, и въ разговорахъ его чаще прежняго прорывалась нота озлобленія при разсказахъ о жизни на родинѣ. Я не разъ вступалъ съ нимъ въ споры, доказывая, что онъ слишкомъ увлекается видимымъ блескомъ заграничной жизни, и что не все тамъ такъ хорошо, какъ кажется, но онъ не вѣрилъ моимъ словамъ. Лютиковъ принадлежалъ къ числу тѣхъ самостоятельныхъ натуръ, которыя до всего доходятъ пытливостью своего ума.

Когда я, бывало, спрашивалъ Лютикова, чѣмъ думаетъ онъ заняться по выходѣ въ отставку (срокъ его службы кончался по возвращеніи въ Россію), онъ обыкновенно отвѣчалъ, что и самъ не знаетъ.

— А въ офицеры?.. Выдержать экзаменъ не важность...

— Нѣтъ ужъ куда... Ни пава ни ворона... Видалъ я ластовыхъ и шкиперовъ... Тоже офицеры изъ нижнихъ чиновъ... Ѳедотъ, да не тотъ!..

## VI.

Цѣлую недѣлю на клиперѣ была работа. Перемѣнили и вооружили новую гротъ-марса-рею. Лютиковъ былъ занятъ съ утра до вечера и работалъ съ обычнымъ своимъ усердіемъ. Тѣмъ не менѣе, я замѣчалъ въ немъ какую-то перемѣну. Нерѣдко, проработавши весь день на марсѣ, Лютиковъ, вмѣсто того, чтобы итти спать, долго ходилъ наверху серьезный, задумчивый, словно бы удрученный какими-то думами. Я спросилъ, что съ нимъ. Онъ коротко и сухо отвѣчалъ, что ничего, видимо избѣгая разговоровъ.

Когда работы были окончены, и я узналъ, что черезъ нѣсколько дней команду спустятъ на берегъ, я поспѣшилъ сообщить объ этомъ Лютикову, разсчитывая обрадовать его этой новостью. Но, къ изумленію моему, онъ принялъ это сообщеніе не только безъ радости, а, напротивъ, какъ будто съ непріятнымъ чувствомъ.

— Развѣ тебѣ не хочется на берегъ? Санъ-Франциско тебѣ такъ понравился.

Онъ промолчалъ и спросилъ:

— Правда—сегодня на бакѣ разсказывали—будто капитанъ отъ насъ уходитъ?

Дѣйствительно, пришедшій наканунѣ корветъ привезъ слухъ, будто нашъ капитанъ получаетъ другое назначеніе, и что къ намъ на клиперъ будетъ назначенъ капитаномъ одинъ изъ старшихъ офицеровъ, извѣстный на эскадрѣ, какъ человѣкъ крутой, суровый, школившій матросовъ по обычаю прежняго времени. Я передалъ Лютикову, что слухи были.

— Другіе порядки, значитъ, пойдутъ!— проговорилъ Лютиковъ. — Такого, какъ нашъ капитанъ, рѣдко найдешь... Хорошій капитанъ, и людямъ жить можно, а какъ попадетъ какой-нибудь звѣрь—мука пойдетъ... Опять пороть людей будутъ...

— Вѣдь ты знаешь, что тѣлесныя наказанія отмѣнены. Недавно приказъ читали...

— Мало ли что отмѣнены, а не бойсь, на другихъ судахъ и порютъ и въ зубы бьютъ! И тѣснить людей по закону запрещено, а люди людей и тѣснятъ и грабятъ! И старовѣрамъ по закону посвоему молиться можно, а не бойсь, коли не заткнешь пасть деньгами, нельзя... Все можно, только не нашему брату!—прибавилъ онъ съ какимъ-то страстнымъ озлобленіемъ. — Да и вамъ, господамъ, все можно, да не очень!—съ ироніей продолжалъ онъ.

Черезъ день въ Санъ - Франциско пришелъ адмиралъ, и слухи о новомъ назначеніи капитана подтвердились. Всѣ, и офицеры и матросы, искренно сожалѣли, что капитанъ оставляетъ клиперъ. Только одинъ Лютиковъ, повидимому, не раздѣлялъ общаго сожалѣнія. Послѣ этого извѣстія, онъ даже повеселѣлъ, что крайне удивило меня въ ту пору.

Въ тотъ же день команду отпустили на берегъ. Лютиковъ уѣхалъ, необыкновенно веселый. Никогда не видалъ я его въ такомъ хорошемъ настроеніи.

Вечеромъ, когда мы сидѣли въ каютъ-компаніи за чаемъ, гардемаринъ, ѣздившій съ командой на берегъ, доложилъ старшему офицеру, что всѣ вернулись, исключая Лютикова.

Старшій офицеръ удивился, зная пунктуальную аккуратность Лютикова. Онъ предположилъ, что случилось что - нибудь особенное, если Лютиковъ опоздалъ на шлюпку, и приказалъ одному изъ офицеровъ завтра пораньше ѣхать въ городъ навести справки о Лютиковѣ черезъ консула. Никто, разумѣется, и не подозрѣвалъ, что Лютиковъ могъ дезертировать.

Посланный офицеръ вернулся, не узнавши ничего.

Прошелъ еще день. Старшій офицеръ начиналъ безпокоиться. Ужъ не заболѣлъ ли Лютиковъ?.. Онъ хотѣлъ было снова посылать офицера на берегъ за справками, какъ капитанскій вѣстовой доложилъ ему, что его проситъ къ себѣ капитанъ. Черезъ четверть часа нашъ милѣйшій Василій Ивановичъ вернулся взволнованный. Нѣсколько времени онъ сидѣлъ молча, нервно теребя усы, и, наконецъ, таинственно сообщилъ на скверномъ французскомъ діалектѣ, что Лютиковъ бѣжалъ.

Это извѣстіе поразило всѣхъ. Въ первую минуту никто не хотѣлъ вѣрить, что Лютиковъ могъ бѣжать.

— И я, господа, никогда не повѣрилъ бы... Такой отличный былъ унтеръ - офицеръ и вдругъ...

Онъ разсказалъ, что капитанъ только что получилъ письмо отъ Лютикова. Въ письмѣ онъ проситъ у капитана прощенія за свой поступокъ и — вообразите! — сообщаетъ, что давно задумалъ бѣжать, и что намѣреніе это ускорилось извѣстіемъ объ уходѣ капитана.

Старшій офицеръ просилъ насъ держать бѣгство Лютикова въ секретѣ отъ матросовъ, чтобы не произвести дурного впечатлѣнія.

— Если бы бѣжалъ какой-нибудь негодяй, а то лучшій унтеръ-офицеръ. Чортъ знаетъ что такое!—прибавилъ въ недоумѣніи старшій офицеръ.

На слѣдующій день Василій Ивановичъ объявилъ боцману Щукину, что Лютиковъ утонулъ, купаясь на берегу. Боцманъ выслушалъ молча, но съ видимой недовѣрчивостью.

## VII

Дня черезъ три послѣ этого, клиперъ раннимъ утромъ снимался съ якоря. Опять всѣ были наверху, но настроеніе всѣхъ было не такое праздничное, какъ при входѣ въ рейдъ. Выйдя изъ оживленной бухты, клиперъ на минуту остановился, чтобы спустить лоцмана, затѣмъ мы прекратили пары и вступили подъ паруса. Съ ровнымъ свѣжимъ вѣтромъ клиперъ быстро уходилъ отъ обрывистыхъ красныхъ береговъ Калифорніи.

Когда подвахтенныхъ просвистали внизъ, кучка матросовъ по обыкновенію собралась на бакѣ, вокругъ кадки съ водой. Молча посматривали матросы на убѣгающій берегъ, изрѣдка перекидываясь краткими замѣчаніями. Кто-то изъ молодыхъ матросовъ заговорилъ было о Лютиковѣ, но ни одна душа не поддержала разговора. Всѣ сердито взглянули на говорившаго, видимо избѣгая высказывать свои мнѣнія.

— Безпремѣнно сбѣжалъ, анаѳема! — проговорилъ вдругъ Щукинъ, обращаясь къ одному старику-плотнику но, очевидно, говоря для всѣхъ. — Чѣмъ отплатилъ за доброту, подлецъ! Сраму сколько одного... Русскій унтерцеръ и поди ты!.. Вотъ они эти порядки новые... Распутъ одинъ!—съ злорадствомъ прибавилъ боцманъ, окидывая суровымъ взглядомъ матросовъ...—Прежде матросы не бѣгали... не срамили флага... Какъ же! Грамотей былъ, тоже книжки читалъ... А выходитъ—сволочь!

И расходившійся боцманъ продолжалъ костить ненавистнаго ему Лютикова.

Но матросы слушали боцмана въ угрюмомъ молчаніи. Одинъ за однимъ уходили они прочь, и скоро Щукинъ остался въ компаніи двухъ-трехъ человѣкъ.

— Такъ Григорьичъ, значитъ, не утонулъ, Якушка?—тихо спросилъ у Якушки тотъ самый бѣлобрысый молодой матросикъ, который интересовался знать, какой державы американцы.

— А ты и повѣрилъ, простота, что господа говорили?—усмѣхнулся Якушка. — Григорьичъ не даромъ на берегу съ Максимкой путался!..

— Помоги ему Господь! — прошепталъ въ отвѣтъ матросикъ и перекрестился.

— Не бойсь, Григорьичъ не пропадетъ у мериканцевъ... Башковатый онъ человѣкъ, Григорьичъ. Онъ, братецъ ты мой, до всего дойдетъ... Однако свѣжѣетъ!.. Ишь зайцы-то расходились!—вдругъ круто перемѣнилъ разговоръ Якушка, увидавъ подходившаго офицера.

Вѣтеръ крѣпчалъ, посвистывая въ снастяхъ. Словно птица, расправившая могучія крылья, клиперъ, накренившись на бокъ, несся все быстрѣе и быстрѣе, легко перепрыгивая съ волны на волну и раскачиваясь. Сѣдые гребешки волнъ, съ шумомъ разбивающихся о бока вздрагивающаго клипера, все чаще и чаще обдавали брызгами палубу... Скоро берега скрылись изъ глазъ. Кругомъ— одна безпредѣльная холмистая равнина бушующаго океана да небо, покрытое бѣгущими облаками... Вдали, на горизонтѣ, собирались тяжелыя свинцовыя тучи.

**Павелъ Ивановичъ Якушкинъ.**

(1820 — 1872).

## Небывальщина.

(Въ сокращенiи).

Никто столько не видывалъ видовъ, сколько нашъ братъ—странникъ: чего только не увидишь, чего не услышишь? И всё впечатлѣнiя новы, встрѣчи неожиданны. Оттого-то на Руси такъ много путешественниковъ или, какъ ихъ народъ называетъ, странниковъ. Большинство, и огромное большинство, странниковъ-богомольцевъ, странствуетъ по монастырямъ и церквамъ, прикрываясь только душеспасительною цѣлью, а въ самомъ дѣлѣ ихъ прельщаетъ перемѣна впечатлѣнiй; а впослѣдствiи эта жажда новизны доходитъ до какой-то нравственной распущенности: хочется мѣсто перемѣнить и только; какъ ни хорошо жить дома, а все куда-то хочется; просто— на мѣстѣ не сидится. Простой человѣкъ объясняетъ свое желанiе шляться тѣмъ, что онъ *хочетъ Богу трудиться,* хочетъ этими трудами пользу душѣ принести, а странники, заподозрѣнные въ большей развитости, бродяжничество свое прикрываютъ пользой наукѣ; они тоже объявляютъ, что хлопочутъ о наукѣ. Какъ странники-богомольцы, такъ и странники съ *ученой цѣлью* совершенно не приготовлены для своихъ трудовъ. Возьмите вы хоть путешественниковъ — собирателей нашихъ народныхъ пѣсенъ, сказокъ и тому подобнаго; думали ли они когда-нибудь заниматься своимъ дѣломъ? Собирателю пѣсенъ, напримѣръ, кромѣ умѣнья читать и писать, должно знать музыку; пѣсня, записанная безъ голоса, теряетъ половину своего значенiя, а изо всѣхъ собирателей нѣтъ ни одного, который бы могъ записать самый простой мотивъ. При изданiи пѣсенъ необходимо сравнить ихъ съ другими, по крайней мѣрѣ, славянскими пѣснями, а изъ насъ никто не знаетъ ни одного славянскаго нарѣчiя... Если вы спросите каждаго изъ странствующей братiи, ученыхъ ли наблюдателей надъ русской народностью, или странниковъ-богомольцевъ, вамъ разскажутъ много и много такихъ встрѣчъ и приключенiй, о которыхъ человѣку, не странствовавшему никогда, и въ голову не можетъ прiйти.

Едва вы вышли изъ дому въ путь, какъ васъ ожидаютъ встрѣчи съ простымъ людомъ и начальствомъ. Съ простымъ

людомъ встрѣтиться не бѣда: отъ него отдѣлаться было въ прежнее крѣпостное время легко, несмотря на его любопытство.

Идете вы путемъ-дорогой въ мѣстахъ, въ которыхъ васъ никто не знаетъ, да и ближайшій вашъ знакомый живетъ верстахъ въ двухстахъ, а то и больше. Попадется вамъ попутчикъ изъ ближайшей деревни.

— Здравствуй, почтеннѣйшій!—заговариваете вы съ нимъ.—Куда Богъ несетъ?

— А мы вотъ въ ту деревню,—отвѣтитъ вамъ мужикъ.—Мы тутошніе...

— Тутошніе?—спросите вы, чтобы какъ-нибудь вызвать его на разговоры.

— Тутошніе, родимый! Мы изстари тутошніе... А ты отколь идешь? Ты вѣдь не здѣшній?

— Не здѣшній, почтенный, не здѣшній.

— Отколь же идешь?

— Да я изъ-за Москвы.

— Изъ-за Москвы?.. Знаю... А по какимъ такимъ дѣламъ идешь? — спроситъ онъ, не для того, чтобъ узнать съ полицейской цѣлью, кто вы, зачѣмъ идете, а единственно изъ любопытства, если не для того только, чтобъ не молчать дорогой, а поболтать отъ скуки.—По какимъ такимъ дѣламъ идешь?

— А по своимъ, добрый человѣкъ.

— А? По своимъ!—скажетъ онъ, какъ будто совершенно понялъ, откуда, куда и зачѣмъ вы идете, нимало не обидясь вашимъ, въ такой степени яснымъ отвѣтомъ.

Потомъ вы съ нимъ разговоритесь; онъ вамъ будетъ благодаренъ, если вы примете или хоть покажете участіе въ его горѣ, о которомъ русскій человѣкъ любитъ потолковать со всякимъ; а если вы ему покажетесь и его изба будетъ по пути,—зазоветъ васъ къ себѣ обѣдать или ночевать. Впрочемъ, это было сперва, еще до 19 февраля, теперь не то. Въ былыя времена поймаешь бродягу, поведешь къ начальству, самого затаскаютъ по судамъ, станутъ спрашивать: какъ поймалъ, гдѣ поймалъ, да и сдѣлаютъ причастнымъ къ дѣлу, не радъ будешь, что и поймалъ недобраго человѣка; а теперь начальство—мировой посредникъ, а мировой посредникъ свой человѣкъ: приведешь къ нему или хоть къ сельскому старостѣ—тебѣ ничего не будетъ: сдалъ на руки—тебя сейчасъ же и отпустятъ. А потому встрѣча съ простымъ мужикомъ, кому бы то ни было, какъ бы кто ни былъ извѣстенъ за нехорошаго человѣка, ни для кого не опасна, тогда какъ въ старые годы встрѣтиться въ деревенской глуши съ начальствующимъ лицомъ иногда значило попасться въ бѣду, а чѣмъ ниже было начальство, тѣмъ было хуже. Напримѣръ, у меня была встрѣча съ сотскимъ... Но я долженъ сказать нѣсколько словъ о тогдашнемъ моемъ путешествіи.

Я тогда былъ еще студентомъ Московскаго университета. Въ одинъ прекрасный день купилъ рублей на десять разнаго товара, уложилъ въ коробку и отправился въ путь; и съ этой коробкой коробейникомъ пришелъ въ одно большое село, одной изъ неблизкихъ отъ Москвы губерній. Въ этомъ селѣ я и положилъ имѣть свою главную квартиру. Познакомившись съ сыномъ моего хозяина, парнемъ лѣтъ 20-ти, мы съ нимъ не разставались недѣли двѣ. Пообѣдавши часу въ 9-мъ поутру, мы съ нимъ отправились *торговать* по сосѣднимъ деревнямъ, и, надо правду сказать, пѣсенъ собрали много, денегъ же наторговали одинъ двугривенный, потому что мой товаръ былъ *безцѣнный*. Такъ, напримѣръ, какъ вы опредѣлите цѣну этому товару: 3 пары серегъ стоили мнѣ двѣ копейки ассигнаціями, по тогдашнему—грошъ; сколько я долженъ былъ брать за одну пару? Поэтому я за свой товаръ разсчитывался пѣснями, и одной только неотвязчивой попадьѣ за двугривенный продалъ платокъ; и по сю пору не знаю, дорого или дешево отдалъ этотъ платокъ.

Поторговавши такимъ образомъ часовъ до четырехъ, мы возвращались домой, гдѣ уже собрался веселый народъ: парни, дѣвки, старики, старухи... всѣхъ возрастовъ людъ, кто только желалъ выпить, сколько кому хотѣлось; всѣ ждали, вѣроятно, съ большимъ нетерпѣніемъ моего возвращенія, чтобы веселить и веселиться...

Повадился ко мнѣ, на мою главную квартиру, какой-то сотскій; правда, сидѣлъ онъ у меня не долго: придетъ, выпьетъ и уйдетъ. Но при этомъ благоразуміи онъ оказывалъ мнѣ страшную непріятность: люди, желающіе выпить,—народъ веселый,

а этотъ народъ веселый податей платить, разумѣется, не совсѣмъ былъ охотникъ.

Не придетъ, бывало, этотъ господинъ,— всѣ веселы, всѣ радостны... а придетъ это начальство—всѣмъ неловко, всѣ видятъ себя не такъ, какъ они должны себя про себя понимать, и какъ они должны себя держать передъ начальствомъ.

— Не ходи ты, братъ, когда у меня поютъ и пляшутъ,—говорилъ я не разъ,— а приходи одинъ на одинъ, я тебѣ сколько хочешь водки дамъ. Вѣдь ты видишь— ты мнѣ мѣшаешь...

— Хорошо, хорошо!—обыкновенно говаривалъ онъ мнѣ; а между тѣмъ прихаживалъ ко мнѣ всякій разъ на вечеръ, когда были у меня гости веселые, не забывая въ то же время приходить ко мнѣ и поутру.

Сижу я разъ въ избѣ за столомъ. Избранный на ту пору мой пріятель сидѣлъ съ правой руки и распоряжался штофомъ, стоявшимъ на столѣ, а пѣсни пѣвшій— съ лѣвой, и, какъ теперь помню, лѣвый мой сосѣдъ пѣлъ:

А и я то, православный царь,
Не хочу мужиками ругатися,
А татарамъ потѣшатися!
Не добро татарамъ тѣшиться
Надъ русскими православными,
А тѣшиться ли не тѣшиться—
Мужику ли надъ татарами.

Едва успѣлъ кончить пѣсню мой сосѣдъ, вошелъ сотскій... Всѣ замолчали...

— Здравствуй!—обратился ко мнѣ сотскій, взявшись за штофъ, стоявшій на столѣ.—Здравствуй, братъ!

— Здорово!—отвѣчалъ я съ большимъ и очень съ большимъ неудовольствіемъ: на ту пору этотъ сотскій былъ до крайности лишнимъ.

Сотскій сталъ наливать изъ штофа въ стаканъ водку, потихоньку, не торопясь.

— Зачѣмъ пьешь водку? — спросилъ я не совсѣмъ любезно сотскаго.

— А вотъ, Иванычъ, водочки хочу пить,—отвѣчалъ тотъ, нѣсколько смѣшавшись.

— А водка-то твоя?

— Молчи, человѣкъ любезный!—заговорилъ, еще больше смѣшавшись, сотскій.

— Молчать можно, а ты водки все-таки не трогай; водка не твоя, да тебя никто и не потчевалъ.

Представьте себѣ положеніе этого господина: онъ—сотскій—все-таки начальство, хоть малое, а какъ ни разсуждай, все начальство, и это начальство опозорено передъ подначальственными людьми, самыми гуляками, за которыми накопилось пропасть недоимокъ, и которыхъ это начальство каждое утро за эти недоимки драло за вихоръ.

Начальство обидѣлось.

— Такъ водки не дашь? — спросилъ сотскій. — Водки твоей и попробовать нельзя?

— И пробовать нельзя. Я тебѣ сколько разъ говорилъ: приходи по утрамъ и пей сколько хочешь, а только по вечерамъ не мѣшай.

— Ну, ладно! — заговорилъ пріосанясь сотскій. — А за какимъ такимъ дѣломъ, парень, ты здѣсь шатаешься?

— Да вѣдь ты знаешь, что я торгую?

— Какая чортъ торговля? Гроша мѣднаго ни отъ кого не бралъ.

— Ну, ужъ это мое дѣло.

— А, пожалуй, и не совсѣмъ твое! Ты, на-первыхъ, скажи: отколь ты сюда забрался?

— Это дѣло ты заговорилъ, господинъ сотскій, на это можно отвѣчать.

— Да ты дѣло говори: откелева ты пріѣхалъ.

— Изъ Москвы, господинъ сотскій.

— А пашпортъ есть?

— И пашпортъ есть.

— А покажи!

Я досталъ свой видъ и передалъ сотскому. Тотъ взялъ, разложилъ его на столѣ и сталъ внимательно въ него всматриваться; долго, очень долго глубокомысленно на него глядѣлъ, и только глядѣлъ, а не читалъ, потому что онъ былъ неграмотный, и потомъ заключилъ такъ:

— А пашпортъ-то твой, парень, фальшивый!

— Это какъ ты узналъ?

— Узналъ!

— Вѣдь ты грамотѣ не знаешь, какъ же ты могъ узнать, если бы и въ самомъ дѣлѣ пашпортъ былъ фальшивый?

Сотскій этимъ замѣчаніемъ еще больше обидѣлся.

— Да что съ тобой много толковать!— рѣшилъ сотскій.—Пойдемъ къ становому, онъ тебя разберетъ.

Такого результата отъ моего отказа въ водкѣ сотскому я никакъ не ожидалъ, но какъ дѣло уже было сдѣлано и пардону просить было нельзя,—сотскій могъ подумать и Богъ знаетъ что,—то я, собравши все свое имущество, отправился къ становому. Сотскій изъ моихъ же пріятелей выбралъ четверыхъ конвоировать меня; но это было лишнее: за нами пошли всѣ, кто только былъ въ избѣ: болѣе двадцати человѣкъ; а какъ вышли изъ избы, къ намъ стали приставать всѣ встрѣчные, такъ что мы вышли изъ деревни толпою человѣкъ во сто, и всѣ ввалились въ другую деревню, версты за четыре, въ которой жилъ становой приставъ. Въ этой деревнѣ тоже всякій встрѣчный приставалъ къ нашей толпѣ.

Деревня, въ которой жилъ становой, выстроена была въ одну линію, передъ рѣчкою, на полугорѣ. Почти середи деревни, въ избѣ съ крашеными окнами, квартировалъ становой, и передъ этой избой мы и остановились.

— Береги ловчѣй! — приказывалъ сотскій мужикамъ, меня конвоировавшимъ.— Я знаю этого парня: плутъ; какъ разъ стречка дастъ! Поди послѣ лови!

Отдавъ это приказаніе, сотскій пошелъ къ становому, а меня, какъ по чину недостойнаго войти въ комнату начальства, оставили со всей толпой у крыльца. Толпа хоть говорила и вполголоса, но все-таки шумѣла; но когда черезъ четверть часа вышелъ становой, все замерло. Всѣ скинули шапки; одинъ только я, поклонившись становому, надѣлъ опять шапку. Становой вышелъ въ халатѣ, и замѣтно было, что онъ возсталъ отъ послѣобѣденнаго сна; и еще было замѣтнѣе, что онъ за обѣдомъ *время проводилъ не праздно*, другими словами сказать: за обѣдомъ господина становаго выпито было не мало.

— Что за человѣкъ? — спросилъ меня становой, благоразумно избѣгая мѣстоименія: *ты* сказать, можетъ - быть, и неловко, а *вы*, можетъ-быть, и не стоитъ.— Что за человѣкъ?

— *Императорскаго Московскаго университета университантъ*, — отвѣчалъ я, желая придать себѣ болѣе значенія, а потому и не назвался студентомъ университета, думая, отчасти справедливо, что становой слыхалъ только о студентахъ семинарій, съ которыми церемониться нечего.

— Что же вы здѣсь дѣлаете?—спросилъ меня становой, болѣе благосклоннымъ голосомъ.

— Собираю остатки нашей національной поэзіи,—отвѣтилъ я.

— Какъ?

— Остатки нашей національной поэзіи,— опять отвѣчалъ я недоумѣвающему становому.

— Какой поэзіи?

— Національной.

— Да вы говорите просто: что такое вы дѣлаете?

— Я вамъ сказалъ.

— Ну, а какъ вы собираете эту поэзію?

— Записываю.

— Что записываете?

— Пѣсни, сказки...

— А ты откуда пришелъ?—вопросилъ, пріосанившись, становой.

— Изъ Москвы.

— Изъ Москвы за пѣснями?

— Изъ Москвы за пѣснями.

— Какъ, такой-сякой! Пословица говоритъ: въ Москву за пѣснями ѣздятъ, а ты изъ Москвы сюда за пѣснями пріѣхалъ!

И пошелъ и пошелъ мой становой. Обижаться мнѣ было нечѣмъ: становой ругалъ, собственно говоря, не меня; я былъ въ то время въ качествѣ декораціи; толпа вся безъ шапокъ, одинъ только человѣкъ стоитъ въ шапкѣ, и этого-то шапочнаго ругаютъ нецензурными словами.

Бабы, мужики мнѣ сочувствовали и гораздо болѣе меня принимали къ сердцу то оскорбленіе, которое мнѣ дѣлалъ своею бранью становой.

— Да за что же онъ надъ тобою такъ измывается, голубчикъ ты мой?—говорила одна баба, приложа правую руку къ щекѣ, а лѣвой поддерживая локоть правой.

— Ты, родненькій, не горюй, — говорила другая,—онъ у насъ добрый, только сердце свое сорветъ, а то ничего... Отойдетъ сердце, самъ послѣ жалѣть тебя будетъ...

Такъ продолжалось около получаса. Вижу я—ѣдетъ на бѣговыхъ дрожкахъ одинъ *столичный* помѣщикъ (столичнаго помѣщика отъ деревенскаго легко отличить), лѣтъ 25.

— Кто это ѣдетъ?—спросилъ я у одного мужика, конвоировавшаго меня.

— Да это князь Н—ій,—отвѣчалъ тотъ.

Князь Н—скій ѣхалъ крупной рысью, но, увидѣвъ большую толпу, поѣхалъ шагомъ.

— Князь!—крикнулъ я.—Князь, пожалуйте сюда.

— Князь подъѣхалъ.

— Увѣрьте, пожалуйста, князь, господина станового пристава, что студенту Московскаго университета можно ходить собирать мужицкія пѣсни.

Становой замолчалъ въ ту же минуту, какъ подъѣхалъ князь Н—ій.

— А вы студентъ Московскаго университета?—спросилъ князь, вѣжливо мнѣ поклонясь.

— Да, студентъ.

— Ваша фамилія?

— Якушкинъ.

— Не угодно ли вамъ будетъ отдохнуть у меня нѣсколько времени?

— Сдѣлайте одолженіе!

— Такъ садитесь!—сказалъ онъ, подвигаясь ближе къ передку дрожекъ.

Я, не торопясь, поставилъ на дрожки свою коробку съ товаромъ, потомъ самъ сѣлъ на дрожки; князь тронулъ лошадь, поклонился становому, я, въ свою очередь, также поклонился, и мы поѣхали... Становой только улыбался.

Это было давно, по крайней мѣрѣ, лѣтъ двадцать тому назадъ. Съ тѣхъ поръ становые перемѣнились; а чтобы не сказать голословно, я вамъ разскажу слѣдующій казусъ.

У одного, очень хорошаго и образованнаго помѣщика сосѣдніе мужики хлѣбъ лошадьми побивали, и онъ спустилъ разъ, спустилъ другой... Наконецъ, ему не— втерпежъ стало: послалъ за становымъ.

Пріѣхалъ становой, разобралъ дѣло и рѣшилъ, что мужики, точно, виноваты.

— Прикажете наказать мужиковъ розгами?—спросилъ становой помѣщика.

— Нѣтъ; избави Господи!—отвѣчалъ тотъ.—А вы возьмите себѣ съ нихъ по полтиннику... или, тамъ, сколько...

— Вамъ или себѣ?

— Да... разумѣется... себѣ! Мнѣ ихъ денегъ совсѣмъ не надо! Возьмите для себя.

— Взялъ бы по полтиннику,—отвѣчалъ становой,—да полтинниковъ-то у нихъ у самихъ мало!.. Нѣтъ, ужъ въ другой разъ мнѣ этого, батюшка, не говорите!..

— Что жъ, братецъ ты мой,—говорилъ мнѣ этотъ помѣщикъ:—со стыда сгорѣлъ!.. Вотъ, мы съ тобой и учились, а вѣдь не умѣемъ понять, что хорошо и что дурно...

Наученный опытомъ, я съ начальствомъ никогда не ссорился.

Разъ приходитъ ко мнѣ сотскій, съ которымъ я уже завелъ большую дружбу.

— Павелъ Иванычъ,—таинственно заговорилъ онъ.—Павелъ Иванычъ!

— Что тебѣ?

— Тебя велѣно поймать!

— Это за что?

— А чортъ ихъ знаетъ, Павелъ Иванычъ! Исправникъ говоритъ: поймать!

— Да за что же?

— Онъ, говоритъ исправникъ, не торгуетъ, а товары такъ раздаетъ; вѣрно, недобрый человѣкъ!

— А ежели бы я и даромъ раздавалъ?

— Онъ, говоритъ исправникъ, или лавку обокралъ, или отъ солдатчины бѣгаетъ!

— Съ чего же онъ взялъ?—спросилъ я не совсѣмъ покойнымъ голосомъ.

— Онъ, говоритъ исправникъ, по всѣмъ деревнямъ дебоширства дѣлаетъ.

— Какія же?

— А чортъ его знаетъ.

— Что же теперь дѣлать?

— И ума не приложу.

— Да вѣдь ты меня не будешь ловить?—спросилъ я, очень сомнѣваясь, что получу для себя выгодный отвѣтъ.— Не будешь меня ловить?

— Избави Господи!

— Что же дѣлать?

— Найми лошадь; я тебѣ въ этомъ дѣлѣ помогу,—ступай въ губернію!

Сотскій мнѣ нанялъ лошадь, и я, по его совѣту, отправился въ губернскій городъ. Въ губернскомъ городѣ жилъ мой пріятель, у котораго я и остановился.

Послѣ разспросовъ о моихъ успѣхахъ мы сѣли обѣдать. Едва начался обѣдъ, какъ къ крыльцу нашей квартиры летомъ подлетѣла тройка.

— Это мой дядя пріѣхалъ,—сказалъ мнѣ мой хозяинъ,—исправникъ, отъ котораго ты только что такъ успѣшно убѣжалъ... но онъ добрый человѣкъ.

— А! Ко щамъ! ко щамъ!—закричалъ дядя-исправникъ еще изъ передней.

— Милости просимъ, дядя, милости просимъ!—проговорилъ хозяинъ.

— Да какъ не просить милости?—отвѣчалъ на это приглашеніе дядя-исправникъ.—Право, братъ, голоденъ, какъ самая голодная собака!

Дядя-исправникъ сѣлъ за столъ.

— Ну, что жъ водки?—спросилъ дядя.

— Кушай, дядя, кушай! — привѣтливо отвѣчалъ хозяинъ.—Водка на столѣ.

Онъ выпилъ рюмку водки и, не успѣвъ съѣсть нѣсколькихъ ложекъ щей, остановился.

— Знаешь что? — обратился дядя къ своему племяннику-хозяину.—Знаешь что?

— А что?

— Появился въ нашемъ уѣздѣ мошенникъ, да вѣдь какой, когда бъ ты зналъ!

— Какой же?

— Просто, братецъ ты мой, поймать не могъ: ускользаетъ да ускользаетъ!

— Да что же онъ такое сдѣлалъ?

— Пока еще ничего!.. А ты подумай: цѣлый мѣсяцъ ходитъ по нашему уѣзду разносчикомъ, товаровъ хоть бы на грошъ тебѣ продалъ, а такъ, товаръ разбрасываетъ дѣвкамъ да молодымъ бабамъ. Пить, говорятъ, пьетъ, а этимъ дѣломъ не занимается.

— А хочешь, дядя, я тебѣ покажу этого человѣка? — спросилъ, смѣясь, хозяинъ, которому я уже успѣлъ разсказать про собиравшуюся падо мной грозу.

— Да какъ же?!!

— Да вотъ онъ самый!—смѣясь отвѣчалъ хозяинъ своему дядѣ-исправнику.

Дядя-исправникъ даже вздрогнулъ.

— Ну, батюшка, Павелъ Ивановичъ,—сказалъ дядя-исправникъ, когда ему разсказали, въ чемъ дѣло, — ежели бы васъ поймали, не знаю—заковалъ бы я васъ или не заковалъ?.. Право, не знаю, но ужъ, вѣрно, пріѣхали бы вы сюда на казенный счетъ, а не нанимать бы вамъ лошадей: непремѣнно прислалъ бы васъ прямо къ губернатору. Кто васъ, теперешній народъ, кто васъ знаетъ—зачѣмъ вы ходите?

## Великъ Богъ земли русской.

(Въ сокращеніи).

„Ничѣмъ же враги гонимы, только властію Божіею; мудрость бо плотская, что содѣяла?"

Кто живалъ въ деревняхъ далеко отъ столицъ, тотъ помнитъ, какою неожиданностію для всѣхъ былъ знаменитый высочайшій рескриптъ виленскому военному генералъ-губернатору; всѣ встрепенулись и съ судорожнымъ смиреніемъ ждали съ минуты на минуту: одни — всѣхъ благъ земныхъ, другіе—всѣхъ бѣдъ. Этихъ ожидающихъ, принадлежащихъ двумъ противнымъ лагерямъ, вы нашли бы во всѣхъ классахъ, во всѣхъ сословіяхъ. Въ рядахъ и того и другого лагеря было много дворянъ-помѣщиковъ и крѣпостныхъ мужиковъ. Одно мнѣ кажется въ особенности замѣчательнымъ: вольные изстари крестьяне (государственные, экономическіе), рѣшительно всѣ вольноотпущенные, а также рѣшительно всѣ аристократы-крѣпостные крестьяне смотрѣли на ожидаемое улучшеніе крестьянскаго быта съ страшною непріязнію; отъ этого улучшенія они видѣли для себя совершенную гибель, и— не знаю, искренно ли, — тоже для крѣпостныхъ.

Толки дворянъ, сочувствовавшихъ этому преобразованію крестьянъ, извѣстны: чего они ждали и чего еще и теперь ждутъ отъ освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, мы знаемъ изъ литературныхъ статей, появлявшихся безъ счету во всѣхъ нашихъ журналахъ. Надежды освобождаемыхъ высказывались не такъ громко. Многіе прислушивались къ недосказаннымъ рѣчамъ крѣпостныхъ крестьянъ и выводили свои рѣшительныя заключенія.

Большею частью толки крестьянъ вращались около одного пункта: земля будетъ наша. Они говорили, что землю «Самъ Богъ зародилъ, что баринъ и пахать-то не умѣетъ—что онъ съ землей будетъ дѣлать?»

Это мнѣніе, что земля будетъ крестьянская, еще крѣпче утвердилось, когда было объявлено, что дворовые люди не получаютъ надѣла землей.

— Дворовые люди не получаютъ земли,— не разъ мнѣ случалось слышать, — оттого, что дворовые люди не умѣютъ пахать земли; да вѣдь и дворяне тоже пахать не умѣютъ; зачѣмъ же имъ земля?

Съ другой стороны слышались и слухи другіе. Помѣщики говорили, что они лучшіе полицейскіе чиновники, лучшіе сборщики податей. Не будетъ этихъ чиновниковъ-помѣщиковъ, водворится безначаліе.

— Не будетъ изъ этого пути,—говорили государственные крестьяне: — какъ можно господскаго, подневольнаго человѣка вольнымъ сдѣлать?

— Вы же вольные, а вѣдь тоже мужики?

— Мы!.. Мы дворянской крови, только не пишемся дворянами!

— Съ мужикомъ безъ палки не сладишь!—говорили вольноотпущенные, только наканунѣ почти вышедшіе изъ крѣпостной зависимости.

— Какъ же съ вами ладятъ?

— Мы... мы... не всякому-то Богъ далъ...

— Какъ *я* буду ладить съ мужикомъ? Тогда *меня* и слушать не станетъ: теперь написалъ къ барину,—кто самъ воли на то отъ барина не имѣетъ,—баринъ велитъ въ солдаты отдать, въ Сибирь послать... А тогда что? пойдетъ безначальщина!

— Нѣтъ, ничего не будетъ,—говорили другіе: — не даромъ про волю и говорить перестали.

— Какъ перестали?

- Да такъ, перестали и перестали!

— Толковали про слободу, говорили еще другіе, а есть, которые и теперь еще говорятъ! толковали, толковали про слободу: слобода всѣмъ будетъ, а теперь стали въ сипацу загонять.

Эмансипація — слово, должно-быть, и хорошее; но это слово—эмансипація, перешедшее въ устахъ народа въ *сипацу*, означало что-то не совсѣмъ ладное.

Какъ бы то ни было, а пришлось волею — неволею итти въ сипацу. Послѣ извѣстныхъ рескриптовъ всѣ стали ждать манифеста объ освобожденіи крестьянъ. Тутъ-то пошли новые толки и толки уже о томъ, какъ приметъ народъ на первый разъ эту волю, да и какая будетъ воля.

Замѣчательно, какъ созрѣвалъ въ умахъ помѣщиковъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ.

— Да что же это значитъ?—спрашивала одна барыня, когда ей прочитали рескриптъ.

— Уничтожается крѣпостное право,—отвѣчали ей.

— И крѣпостныхъ крестьянъ не будетъ? Крѣпостныхъ совсѣмъ не будетъ?

— Совсѣмъ не будетъ.

— Ну, этого я не хочу!—объявила барыня, вскочивъ съ дивана.

Всѣ посмотрѣли на нее съ недоумѣніемъ.

— Рѣшительно не хочу! Поѣду *сама* къ государю и скажу: я скоро умру, послѣ меня пусть что хотятъ, то и дѣлаютъ, а пока я жива, я этого не хочу.

— Какъ у меня отнимутъ мое?—слыхал я вскорѣ послѣ объявленія рескрипта виленскому генералъ-губернатору.—Вѣдь я человѣкомъ владѣю: мнѣ мой Ванька приноситъ оброку въ годъ по пятидесят цѣлковыхъ... Отнимутъ Ваньку, кто мн за него заплатитъ, да и кто его цѣнит будетъ?

— Никто не споритъ, что владѣть че ловѣкомъ, какъ какою-нибудь вещью безнравственно!—говорили тѣ же самы люди, едва прошло мѣсяца два послѣ пер выхъ толковъ. За людей мы не стоимъ,— крестьянъ должно освободить, но скажит Христа-ради, за что же у меня землю от нимутъ и отдадутъ другому?

— Необходимо крестьянамъ дать землю,— заговорили еще позднѣе:—это необходим для насъ самихъ; мужику нечего будет ѣсть: поневолѣ пойдетъ на большую до рогу, сядетъ подъ мостъ, проѣзду ником не будетъ; дневной разбой пойдетъ!

Наконецъ, дозволено было просить го сударя объ освобожденіи крестьянъ. П губерніямъ собрались дворяне: надо пи сать адресы... дозволено и адресы подават

— Мы подпишемъ адресъ безуслов ный!—говорили одни.

— Не должно подписывать безуслов наго адреса!—толковали другіе.

— Дать мужикамъ землю!.. Мужиков нельзя отпустить совсѣмъ безъ земли! Не давать мужикамъ земли!—шумѣли в одномъ собраніи.

Толковали, толковали и подписали бе условный адресъ рѣшительно всѣ.

Дозволили и писать и подавать проект объ освобожденіи крестьянъ.

Стали и писать и подавать проект объ освобожденіи крестьянъ. Благородн дворяне, не бравшіеся никогда за пер стали писать проекты, стали читать э проекты; только мало охотниковъ бы слушать эти проекты.

Разсказываютъ: входитъ *нѣкто* время выборовъ въ домъ дворянскаго с бранія, заходитъ въ буфетъ и находит тамъ всѣхъ дворянъ.

— Что вы здѣсь, господа, дѣлаете?—спросилъ онъ одного изъ дворянъ.

— Водку пьемъ!—отвѣчалъ тотъ, закусывая только что выпитую рюмку соленымъ грибкомъ.

— Что же не идутъ въ залу собранія?

— Да что же тамъ дѣлать?

— Какъ что?

— Да тамъ Семенъ Петровичъ читаетъ свой проектъ, что самъ написалъ.

— Ну, такъ слушать этотъ проектъ.

— Нечего тамъ слушать, никто и не слушаетъ! Одинъ и читаетъ...

Заглянулъ этотъ *нѣкто* въ залу: тамъ одинъ баринъ читаетъ, а другой баринъ этого барина съ видимымъ вниманіемъ слушаетъ.

— Тамъ Семена Петровича кто-то слушаетъ,—сказалъ онъ,—воротившись опять въ буфетъ.

— А это, вѣрно, Петръ Семеновичъ. Ну, да, это Петръ Семеновичъ!

— Отчего же одинъ только Петръ Семеновичъ слушаетъ Семена Петровича?

— Тому нельзя не слушать!

— Отчего же?

— Нельзя: Петръ Семеновичъ долженъ Семену Петровичу...

Да и въ самомъ дѣлѣ: если Петръ Семеновичъ не станетъ слушать Семена Петровича, Семенъ Петровичъ потребуетъ долгъ съ Петра Семеновича, а у Петра Семеновича и денегъ на ту пору, можетъ-быть, нѣтъ.

А проекты были великолѣпные!.. Одни предлагали такъ, другіе иначе. Одни говорили, что, конечно, крестьянамъ, хотя и составляютъ они помѣщичью собственность, необходимо даровать свободу, но при этомъ не должно забывать и права помѣщиковъ на ихъ собственность; а потому предлагали всѣхъ крестьянъ выкупить за цѣну чрезвычайно умѣренную. А именно, такъ какъ за человѣка, отданнаго въ рекруты, казна платитъ 300 руб. сер., то и за освобожденіе слѣдуетъ заплатить по тому же расчету; а какъ, сверхъ того, крестьянамъ нужна земля, то и за землю должны дать помѣщику изъ казны: за коноплянники по 200 руб., а за распашную по 150 руб.

— Помилуйте,—говорили этому писателю:—да вѣдь вы хотите взять за часть вашего имѣнія въ десять разъ больше, чѣмъ стоитъ все имѣніе!

— Этотъ выкупъ должна произвести казна, а казна должна быть великодушна.

— При всемъ великодушіи казнѣ и деньги нужны; а ежели въ казнѣ не хватитъ столько денегъ, сколько нужно по вашимъ расчетамъ,—тогда какъ?

— Да что казна?!.. Не о томъ вопросъ!.. Вы согласны ли съ моимъ проектомъ?—спрашивалъ писатель своихъ согражданъ, сообщая имъ вкратцѣ, на словахъ, свой проектъ.

— Всѣ согласны! Всѣ согласны!—отвѣтствовали сограждане.—На этихъ условіяхъ всѣ согласны!

И проектъ объ освобожденіи крестьянъ переписывался крѣпостнымъ писаремъ и отсылался куда слѣдуетъ, а сочинитель проекта получалъ заслуженное уваженіе и начиналъ пользоваться авторитетомъ государственной головы.

— Читали вы проектъ такого-то?—спрашивалъ одинъ господинъ другого.

— А вы читали?

— Великолѣпный!.. гуманный!.. Представьте: всѣхъ крестьянъ безъ всякаго возмездія помѣщики отпускаютъ на волю. Но тутъ представляется два вопроса: первый, гдѣ мужикамъ взять землю, потому что мужикамъ земля необходима, безъ земли мужикъ пропадетъ. Второй вопросъ вытекаетъ изъ перваго. Первый вопросъ рѣшается чрезвычайно удачно и чрезвычайно просто. Земля мужикамъ нужна; а какъ земля въ нашихъ губерніяхъ вся барская и мужикамъ отдать эту землю нельзя, то переселить мужиковъ на вольныя земли въ Сибирь, разумѣется, на казенный счетъ. Теперь—мужиковъ переселили въ Сибирь, кто же намъ будетъ работать? Это второй вопросъ, который тоже совершенно рѣшается: для помѣщиковъ должно выписать работниковъ изъ Германіи и Сѣверной Америки, гдѣ, какъ извѣстно, земледѣльцы очень искусные!

Отсылался и этотъ проектъ...

Собрались губернскіе комитеты и разъѣхались; съѣздили въ Петербургъ депутаты отъ губернскихъ комитетовъ и вернулись; стали ждать манифеста. Простой народъ ждалъ этого манифеста отъ праздника до праздника: не пришелъ къ рождеству, придетъ, думалъ народъ, къ свѣтлому празднику; свѣтлый праздникъ обманулъ, не обманетъ петровъ день... Образованный классъ ждалъ манифеста къ

какому-нибудь высокоторжественному дню: ко дню коронаціи, тезоименитства государя или наслѣдника. И тутъ-то пошли толки, какъ приметъ народъ на первый разъ желанную волю.

— Скажите, пожалуйста,—спрашивалъ меня тогда одинъ мой знакомый литераторъ:—скажите, успѣетъ мать моя пріѣхать въ Москву изъ деревни?

— Отчего же не успѣетъ?

— Да вѣдь будутъ безпорядки послѣ объявленія крестьянамъ свободы... Какъ вы думаете?

— Безпорядковъ, вѣроятно, никакихъ не будетъ,—отвѣчалъ я, хоть мнѣ и очень не хотѣлось отвѣчать:—вы сами изучаете и русскую исторію и бытъ русскаго народа, вамъ должно быть это лучше извѣстно...

Встрѣтился я на одномъ постояломъ дворѣ съ господиномъ, ѣхавшимъ въ своемъ тарантасѣ.

— Что, хозяинъ, народъ ждетъ, чай, не дождется воли?—спросилъ онъ дворника.

— Какъ, родной, ваше благородіе, не ждать: тогда мужички сподобятся свѣтъ увидать!—отвѣчалъ хозяинъ-дворникъ.

— То-то пойдетъ потѣха!—заговорилъ посмѣиваясь баринъ.

— На что потѣха! Отъ этого спаси Богъ!.. Дай, Господи, эту благодать съ миромъ, съ любовью принять!

— Надо бы съ любовію,—продолжалъ баринъ, а безъ потѣхи дѣлу не обойтись.

— Обойдется, Богъ дастъ!

— Нѣтъ, не обойдется!

— Обойдется: спроси, кого хочешь! утверждалъ хозяинъ-дворникъ.

— А давай спросимъ! Какъ ты думаешь,—спросилъ онъ меня.—Станутъ тѣшиться?

— Нѣтъ, не станутъ.

— Ты это почемъ знаешь?—спросилъ онъ меня уже гораздо болѣе строгимъ голосомъ.

— Да я не знаю почему должна произойти какая-то потѣха... и что такое эта «потѣха»?

— Эй, малый!—крикнулъ онъ проѣзжавшему съ возомъ мужику, не обращая больше вниманія на меня.—Милый! ты изъ какихъ? Господскій, что ли, или вольный?

— Былъ господскій,—угрюмо и какъ-то нехотя отвѣчалъ проѣзжій мужикъ.

— А теперь?

— Да и теперь пока господскій.

— Какъ «пока» господскій?

— Пока царь волю всѣмъ пришлетъ, по тѣхъ поръ и мы господскіе...

— Хорошъ у васъ баринъ?

— Хорошъ!.. господа развѣ бываютъ плохи? господа всѣ хороши!

— Все бы, чай, погулять надъ бариномъ?—продолжалъ приставать господинъ.

— Тѣшиться, не тѣшиться было прежде, а на послѣдяхъ и толковать объ этомъ нечего!

Въ этомъ вопросѣ партіи рѣзко отличались классами: извѣстнаго сорта помѣщики увѣрены были, что произойдетъ нѣчто такое, что извѣстно было подъ таинственнымъ наименованіемъ «потѣхи»; весь народъ зналъ, что не изъ-за чего даромъ въ Сибирь итти.

Около 10 марта 1861 года былъ прочитанъ манифестъ 19-го февраля. Но прочитанъ онъ былъ не вездѣ толково и ясно: отсюда толкованья, отсюда нелѣпицы.

Такъ, напримѣръ, мнѣ случалось слышать, что «воля отъ трехъ царей пришла». Оказывалось, что такое пониманіе отъ того произошло, что высочайшій титулъ былъ невнятно прочитанъ...

Въ одномъ селѣ старикъ-попъ сталъ читать съ амвона въ церкви манифестъ; разбиралъ плохо и, плохо разбирая, прочиталъ:

— О сѣни... о сѣни... нѣтъ, ребята! Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, православный народъ!..

Народъ вообразилъ, что въ манифестѣ сказано что-то о сѣнѣ, чего священникъ не хочетъ читать. Заставили читать дьякона, но о сѣнѣ все-таки ничего не было. Взяли манифестъ, вышли изъ церкви и стали читать сами.

Всѣ единогласно говорятъ, что царская воля вездѣ принята со страхомъ и трепетомъ, какъ что-то священное, святое, несмотря на то, что она была объявлена чиновниками, которые, неизвѣстно по чьему приказанію, составляли разныя легенды:

— Помѣщики знали, что вамъ на волѣ лучше будетъ; вотъ они и просили государя дать вамъ волю, а вашъ баринъ прежде всѣхъ!—вразумлялъ одинъ такой чиновникъ, объявляя волю мужикамъ.

Зачѣмъ все это говорилось? Затѣмъ ли, чтобы мужики, видя явную реторику въ одномъ, не вѣрили ничему вообще?

— Какъ прослышали мы эту волю,—говорили мужики,—сами себѣ не вѣримъ!.. Столько прежде говорили, что ужъ и всякую вѣру потеряли! Одначе воля пришла: самъ чиновникъ изъ губерніи пріѣхалъ; привезъ волю, собралъ сходку, съ каждаго двора по человѣку, а и два ничего. Сталъ толковать сходкѣ; толковалъ тотъ чиновникъ много пустого. Потолковавши сколько ему было нужно, говоритъ: «А кто у васъ, ребята, старше всѣхъ?» Мы глянули другъ на дружкуда и говоримъ:—«Старше старосты у насъ человѣка нѣту».—«Нѣтъ,—говоритъ чиновникъ:—староста старше всѣхъ васъ чиномъ, а мнѣ укажите, кто старше всѣхъ годами?» Мы опять переглянулись промежъ собою. «Годами старше Арсенія Петрова у насъ старика нѣту; Арсеній Петровъ самый старый у насъ старикъ!»—«Ну, подойди сюда ко мнѣ, Арсеній Петровъ!» кликнулъ чиновникъ. Подошелъ этотъ самый Арсенъ Петровъ. «На, — говоритъ чиновникъ, — на тебѣ волю: держи! А самъ суетъ ему въ руки книгу,—ту самую волю: Арсенъ такъ и упалъ на колѣночки!—«Я человѣкъ, говоритъ, старый, не смогу сдержать воли!» Какъ загогочетъ чиновникъ, а Арсенъ еще пуще заробѣлъ!.. Кланялся, кланялся, а всетаки волю ему на руки сдали!.. Взяли эту волю: читать надо, что въ той волѣ сказано. У насъ дьячокъ есть, Ѳонькой зовутъ: малый шустрый и письменный тоже; порядили того дьячка Ѳоньку волю читать; запросилъ полтинникъ денегъ, полштофа водки—дали! Только сталъ читать дьячокъ эту волю—не могитъ читать ту волю!.. А для того не могитъ, что та воля на четыре грани написана: и туда верни, и сюда верни, а намъ читай всю волю сряду!.. Такъ даромъ и отдали водку и деньги!.. Можетъ, знаешь, у Афросимовскихъ садовникъ есть, въ Москвѣ учился: вотъ тотъ можетъ волю читать!.. Тотъ объявилъ штофъ водки и цѣлковый денегъ... Что же ты думаешь? — вѣдь еще полштофа надбавили!.. Какъ сталъ читать съ утра, такъ только на другой день къ вечеру кончилъ: половина барщины спитъ, другая слушаетъ!.. Половина барщины спитъ, другая слушаетъ... Такъ и прочиталъ!..

— Что же вы поняли?—спрашивалъ я тѣхъ мужиковъ.

— А что поняли?!.. Тебѣ говорятъ: та воля на четыре грани написана!

— Для чего же вы читали ту волю, коли изъ васъ никто и понять ее не можетъ?

— А такъ, другъ любезный, законъ велитъ! А мы, другъ любезный, отъ закону не прочь!..

Я бы не сталъ разсказывать этого случая, если бы онъ былъ рѣдкимъ исключеніемъ; но, къ несчастью, воля была прочитана почти повсемѣстно такимъ образомъ... Чиновникамъ и помѣщикамъ крестьяне не вѣрили; поневолѣ имъ пришлось нанимать выгнанныхъ дьячковъ, подьячихъ да промотавшихся помѣщиковъ. И должно сказать правду: эти люди читали *волю* добросовѣстно; желаніе ли добра крестьянамъ, боязнь ли страшной отвѣтственности за ложное толкованіе, то ли и другое вмѣстѣ дѣйствовало на чтецовъ, но я не встрѣчалъ ни одного умышленнаго толкователя изъ этихъ грамотеевъ-чтецовъ; да и чтецовъ вообще было мало и толкователей: всѣ боялись ошибиться, а ошибиться было легко!.. Многихъ изъ этихъ чтецовъ ловила полиція, но, кажется, ни одного не нашли виновнымъ.

Весной въ 1861 году я былъ у П—ва въ Мценскомъ уѣздѣ. П — въ, попотчевавъ своихъ мужиковъ водкой, повелъ съ ними такую рѣчь:

— Вы знаете, что я васъ никогда не обманывалъ ни въ чемъ?

— Знаемъ, батюшка Иванъ Васильичъ, знаемъ!.. Ни въ чемъ, какъ есть ни въ чемъ никогда ты насъ не обманывалъ! — загомонили мужики.

— Ну, такъ вотъ что я вамъ скажу: по положенію приказано въ два года уставныя грамоты написать...

— Такъ-съ!..

— Въ этихъ грамотахъ должно сказать, сколько вамъ дано земли, какая земля и сколько съ васъ оброку за ту землю, по закону, слѣдуетъ, или какая работа за землю, вмѣсто оброка, положена.

— Такъ-съ!..

— Да вѣдь вамъ читали новое положеніе?

— Читать-то читали!—какъ-то недовольно заговорили мужики.

— Ну, такъ вѣдь въ положеніи объ этихъ грамотахъ прямо сказано!

— Развѣ сказано?

— Да вѣдь вы сами же читали? Какъ же вы спрашиваете, сказано ли?

— Да что жъ, что читали!..

— Развѣ плохо вамъ читали! Развѣ не все поняли въ положеніи?

— Да ничего не поняли! Гдѣ тамъ понять?!.. Мы люди не письменные!

— Ну, такъ я же вамъ говорю правду: приказано уставныя грамоты написать. Ежели мы согласимся сами объ землѣ, какая вамъ отойдетъ, какая мнѣ, сами напишемъ грамоту, а не сойдемся, заспоримъ,—пріѣдетъ отъ казны чиновникъ, тотъ насъ разведетъ.

— Нѣтъ, Иванъ Васильичъ! До казны не пущать! Расходиться самимъ! Какъ ни на есть, а расходиться промежъ собой безъ казны! До казны доводить—послѣднее дѣло!

— Отчего же?

— Оттого: ты заплатишь, — тебѣ землю нашу отрѣжутъ; наша пересилитъ,— тебя обидятъ!

— Ну, такъ давайте сами въ землѣ разберемся. Вамъ отдамъ всю землю ближнюю, а себѣ беру дальнюю: такъ хорошо будетъ?

— Какъ не хорошо! Чего жъ лучше, Иванъ Васильичъ! Намъ вся ближняя!

— Такъ и грамоту сейчасъ напишемъ. Старики! станемъ грамоту писать!

— Грамоту-то, Иванъ Васильичъ, грамоту-то ты писать погоди!

— Отчего же?

— Да такъ, погоди: вѣдь надъ нами не каплетъ! Куда намъ спѣшить?

— Чего же ждать?

— Да посмотримъ, какъ люди станутъ дѣлать, такъ и мы съ тобой тогда ужъ! Вѣдь самъ знаешь: теперь дѣло на цѣлый вѣкъ идетъ; стало, надо хорошенько пораздумать да поразмыслить!

— Да вы сами говорите, что я васъ не обману, сдѣлаю по закону...

— Какъ тебѣ, Иванъ Васильичъ, не вѣрить! Безпремѣнно по закону сдѣлаешь! Объ этомъ и толку нѣтъ!

— Отчего же теперь не хотите грамоты писать, когда мнѣ всѣ вы вѣрите?

— А надо правду сказать!—заговорилъ одинъ старикъ, попьянѣе, а потому, можетъ-быть, пооткровеннѣе другихъ:—это точно, что ты доселева насъ не обманывалъ, да теперь вѣдь дѣло-то вѣковое! Посмотримъ, какъ другіе, такъ и мы!..

Послѣ этого и говорить было нечего, и мой хозяинъ ушелъ не только со сходки, но и совсѣмъ со двора къ своимъ сосѣдямъ въ гости, а я пошелъ въ домъ. Спустя нѣсколько времени, ко мнѣ въ комнату вошли человѣка четыре мужиковъ, съ волей подъ мышкой у одного; за этими мужиками стали входить и еще по одному, по два, такъ что въ нѣсколько минутъ въ моей комнатѣ собрались всѣ мужики, пировавшіе до этихъ поръ на дворѣ.

— Что вамъ, старики, надо?—спросилъ я вошедшихъ ко мнѣ мужиковъ.

— Да вотъ, Павелъ Иванычъ, сдѣлай такую милость, покажи намъ въ нашей волѣ тое мѣсто, гдѣ сказано: кто эту книгу будетъ читать, того безпремѣнно сѣчь!—предложилъ мнѣ одинъ изъ пришедшихъ стариковъ, подавая свой экземпляръ положенія или, по-ихнему, свою волю.

— Нѣту, братцы, такого мѣста въ вашей волѣ,—отвѣчалъ я старикамъ.

— Есть! право, есть!..

— Да нѣту, во всей книгѣ нѣтъ такого мѣста.

— Поищи, пожалуйста, право найдешь! настаивали подгулявшіе старики.

— Нѣту такого мѣста во всей книгѣ; эту книгу я сколько разъ читалъ, — такого мѣста не видалъ! Да и для чего же было бы вамъ давать такую книгу, которую читать не велѣно; эту книгу и дали всѣмъ нарочно съ тѣмъ, чтобы ее всѣ читали!

— Вѣрное тебѣ слово говоримъ, что есть такое мѣсто, гдѣ сказано: кто эту книгу будетъ читать, безпремѣнно сѣчь... Ужъ сдѣлай же такую твою милость, покажи намъ тое только мѣстушко; намъ больше ничего не надобно! пожалуйста, возьми эту самую книгу да поищи это намъ мѣстушко.

— Этого мѣста во всей книгѣ этой нѣтъ; стало-быть, и искать нечего.

— Такъ нѣтъ этого мѣста во всей книгѣ?—спросилъ одинъ изъ мужиковъ.

— Нѣтъ!..

— А такое мѣсто есть, что всѣ сады, всѣ амбары барскіе намъ слѣдуютъ?

— И такого мѣста нѣтъ; а если ты будешь это говорить, то безпремѣнно будуть пороть.

— Такъ нѣтъ такого мѣста во всей этой книгѣ, говоришь ты?

— Нѣту!

— Дай же, я тебѣ покажу!—И съ этими словами онъ поднесъ мнѣ положеніе, сталъ перевертывать листы и нашелъ послѣднюю страницу манифеста по клейму, приложенному вмѣсто печати (мужики были неграмотные).—На, читай эту страницу!

— Я сталъ читать: «... Дабы вниманіе земледѣльцевъ не было отвлечено отъ ихъ необходимыхъ земледѣльческихъ занятій...»

— Читай еще!.. читай еще!.. Тутъ!... тутъ оно! Читай!—заговорили радостно въ толпѣ.—Тутъ оно сказано...

— «... Пусть они тщательно воздѣлываютъ землю...»

— Это мѣсто!.. Это мѣсто!.. Читай, читай!

— «... и собираютъ плоды ея...»

— Ну, что?—спросилъ съ торжествомъ мужикъ.

— А что?

— Да что ты прочиталъ?

— Прочиталъ: чтобъ вы хорошенько работали землю и собирали тогда...

— Плоды?

— Ну, да: будешь хорошо пахать, посѣешь рожь, — рожь и родится хорошо; вотъ тебѣ и плоды...

— Нѣтъ, Павелъ Иванычъ! посѣешь рожь, рожь и родится, а плодовъ все-таки не будетъ! Плоды въ садахъ, а сады то барскіе; а какъ плоды намъ, стало и сады къ намъ отойдутъ!.. Вотъ что!

— Пустое, братцы, болтаете!.. Здѣсь не такъ сказано...

— Читай! читай еще!

— «... чтобы потомъ изъ хорошо наполненной житницы взять сѣмена для посѣва на землѣ...»

— Ну, а это что?

— А это вотъ что: будете хорошо работать, будутъ у васъ житницы полныя, вы и берите сѣмена...

— Ишь куда!.. не туда, баринъ, прешь!.. Какія у насъ житницы?!.. Амбаришки! Куда тутъ житницы!.. Амбаришки!.. А то полныя житницы! — заговорили въ толпѣ.

— Правду вамъ говорю, старики, сущую правду...

— Правду!.. Хороша правда!.. Читай еще!.. читай! читай!

— «... на землѣ постояннаго пользованія или на землѣ, пріобрѣтенной въ собственность...»

— А это что, по-твоему?

— Это значить: засѣвай землю, которую даетъ тебѣ баринъ пользоваться, или ту землю, которую самъ купишь, пріобрѣтешь въ собственность.

— Про барскую землю тутъ и помину нѣтъ, а говорятъ: постоянно ты землей пользуйся, а коли хочешь, купи. Только для чего же я покупать стану землю, коли и такъ можно ее пахать? Хочешь пахать — бери землю; а не хочешь пахать—покупай!.. А намъ не пахать — и дѣлать съ землей нечего!..

— Не такъ вы, братцы, толкуете...

— Читай-ко еще, такъ будетъ!.. Ты знай свое дѣло: читай, а мы ужъ розберемъ!.. Читай!...

— «... Осѣни себя крестнымъ знаменіемъ, православный народъ, и призови съ Нами Божіе благословеніе на твой свободный трудъ...»

— Это какъ, по-твоему, Павелъ Иванычъ, обозначаетъ?

— Вы теперь свободные люди: сперва ходили на барщину, а теперь, какъ землю выкупите, такъ свободно, какъ хочешь, такъ и работай; вотъ тебѣ и свободный трудъ...

— Такъ, да не такъ! Сказано: перекрестись и только!—тамъ, значитъ, и пошелъ сейчасъ свободный трудъ! Какая тутъ купля?

— Ой, братцы, будутъ васъ за эти ваши толки больно наказывать!..

— Наказывать долго ли? Было бы за что!

— За самые за эти ваши толки...

— За эти слова сѣчь не за что: это царская воля!

Этимъ-то мужикамъ написано было положеніе...

Ну-съ, хорошо. Только наѣхали отовсюду особы разныя и начали дѣйствовать. Ну, извѣстно, особа народъ знаетъ мало, а знаетъ ли, нѣтъ ли, одних пейзанъ. И за всѣмъ тѣмъ—либералы. Поэтому были очень частыя сцены... Попробуемъ изобразить одну. Дѣйствующія лица: 1) го-

сподинъ, пріѣхавшій было къ пейзанамъ, но послѣ узнавшій, что онъ дѣло имѣетъ не съ пейзанами, а съ простыми мужиками, и потому въ первый періодъ своей дѣятельности принимавшій пейзанъ съ жалобами безъ всякаго разбора и безъ разбора же распекавшій и помѣщиковъ и чиновниковъ (исправника хотѣлъ, какъ носились слухи, къ позорному столбу прибить!), а потомъ, когда пейзане надоѣли, круто повернувшій къ системѣ сѣченья; 2) барыня, увѣренная, что *у холопа не душа, а паръ, все равно, какъ у коровы,* и непонимающая невозможности ей самой сѣчь людей—своихъ холоповъ и необходимости досыта кормить ихъ. Дѣйствіе происходитъ въ Орлѣ въ 1861 году, въ первый періодъ дѣятельности, то-есть въ пейзанскій.

*Особа.* Почему вы, сударыня, не явились ко мнѣ по первому требованію?

*Барыня.* Ахъ, отецъ родной! Да я думала, что ты самъ ко мнѣ пожалуешь: вѣдь я дама, какъ чесной человѣкъ! Думала, самъ ко мнѣ пріѣдешь!

*Особа.* На васъ, сударыня, ваши люди жалуются, что вы ихъ совсѣмъ не кормите.

*Барыня.* Ахъ они, хамы!.. Да я ихъ въ Сибирь, хамовъ! Какъ они смѣютъ жаловаться, какъ чесной человѣкъ! Да я, какъ чесной человѣкъ, десяти тысячъ рублей серебромъ не пожалѣю...

*Особа* (вспыливъ). Какъ?!. Такъ вы меня считаете взяточникомъ?!.

(Идутъ распеканціи, угрозы барынѣ; барыня удаляется со стыдомъ).

Сцена вторая, тамъ же и въ тотъ же пейзанскій періодъ.

Мужики приходятъ съ просьбой защитить ихъ отъ обидъ и притѣсненій.

— Кто же васъ обижаетъ? — спрашиваетъ особа, принявъ ихъ, какъ истыхъ пейзанъ, въ залѣ, а не въ передней.

— Да вотъ, твоя свѣтлая свѣтлость! Въ уѣздномъ судѣ съ насъ взятку просятъ! Помилуй!..

— Сколько съ васъ просятъ?

— Просятъ девять рублей тридцать одну копейку съ половиной, твоя свѣтлая свѣтлость *)!

— Кто съ васъ проситъ?

— Да всѣ въ судѣ просятъ! Говорятъ, что слѣдуетъ съ насъ столько требовать.

— Это грабежъ! Дневной грабежъ, братцы!

— Грабежъ!.. Какъ есть грабежъ дневной, твоя свѣтлая свѣтлость!

— Позвать сюда полицмейстера! — гаркнула особа.

Сейчасъ же явился полицмейстеръ.

— Какъ! у васъ взятки берутъ?

— Какъ, гдѣ, ваше сіятельство?—спрашиваетъ оторопѣвшій полицмейстеръ, зная, что нѣтъ такой полиціи въ мірѣ, въ которой бы не брали взятокъ.

— У васъ берутъ!—кричитъ особа.—У васъ, въ уѣздномъ судѣ!..

— Какъ, ваше сіятельство? Въ уѣздномъ судѣ? — говоритъ полицмейстеръ, у котораго совершенно отлегло отъ сердца, какъ только онъ услыхалъ, что дѣло идетъ объ уѣздномъ судѣ, а не о полиціи.

— Да! у васъ, въ уѣздномъ судѣ!..

— Да помилуйте, ваше сіятельство, я не судья, я полицмейстеръ!

— Это все равно; это у васъ въ городѣ, а въ городѣ вы за всѣмъ должны смотрѣть!

— Меня изъ суда выгонятъ, ваше сіятельство, если я стану тамъ кричать о взяткахъ.

— Знать ничего не хочу!.. Вы виноваты, не оправдывайтесь! Ступайте сейчасъ въ уѣздный судъ, узнайте, кто смѣетъ требовать деньги съ этихъ несчастныхъ мужиковъ?

Полицмейстеръ уѣхалъ и черезъ минуту воротился изъ уѣзднаго суда.

— Ну что? — кричитъ опять особа.— Узнали, кто просилъ съ мужиковъ взятку?

— Узналъ, ваше сіятельство; только съ мужиковъ не взятку просятъ, а въ пользу казны деньги, которыя съ нихъ слѣдуютъ по закону.

— Какъ по закону?

— Такъ, по закону съ мужиковъ слѣдуетъ взыскать девять рублей съ копейками.

— Не можетъ быть такого закона, который бы приказывалъ съ бѣдныхъ мужичковъ требовать столько денегъ! Нѣтъ такого закона!

— Есть, ваше сіятельство; не было бы такого закона, секретарь не осмѣлился бы

*) Цифру я поставилъ для красоты слога; настоящей не помню, но только вѣрно, что были рубли съ копейками. *Авт.*

такъ рѣшительно отвѣчать вашему сіятельству, скорѣе бы отперся...

— Что вы мнѣ говорите!.. Поѣзжайте, привезите ко мнѣ секретаря съ закономъ...

Привезли секретаря, который, въ свою очередь, привезъ съ собою томъ свода законовъ.

— Какъ вы смѣете требовать взятки съ бѣдныхъ мужичковъ?—крикнула справедливо разсерженная особа на секретаря, едва успѣвшаго ввалиться въ комнату.

— Помилуйте, ваше сіятельство....

— Что тутъ миловать!.. Какъ вы смѣли требовать взятку съ мужиковъ?

— Я не требовалъ никакой взятки, ваше сіятельство...

— Что же вы требовали?

— Съ нихъ по закону должно взыскивать; имъ и объявлено это въ присутствіи суда.

— Покажите мнѣ законъ.

— Извольте смотрѣть, ваше сіятельство,—сказалъ секретарь, указывая на статью свода законовъ.

— А въ моемъ есть?—спросила особа.

Этотъ вопросъ обозначалъ, что особа, предположивъ себѣ, что ее въ провинціи непремѣнно будутъ обманывать, привезла изъ Петербурга свой экземпляръ свода законовъ, въ которомъ, разумѣется, никакой фальши быть не могло.

— А въ моемъ есть?—спросилъ онъ секретаря, подавая ему свой экземпляръ свода законовъ, ибо самъ отыскать, хотя и въ своемъ законѣ, не могъ.

— Есть и въ вашемъ, ваше сіятельство,—объявилъ секретарь и, къ великому удивленію, нашелъ этотъ законъ и въ его петербургскомъ законѣ.

— Ну, хорошо!—сказала, немного озадаченная, особа. — Вотъ вамъ, братцы, деньги,—прибавила она, обращаясь къ мужикамъ и отдавая имъ свои деньги...

Таково было положеніе вещей въ такое время, когда старый порядокъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и старыя власти, которыми онъ держался, разомъ рухнули. Помѣщики отъ власти были сейчасъ же устранены, съ предоставленіемъ имъ права посылать своихъ людей (временнообязанныхъ) къ становому; становымъ приставамъ, какъ разнеслись тотчасъ же слухи, прислано было секретное предписаніе не сѣчь людей, присылаемыхъ для этой операціи помѣщиками. Помѣщики стали присылать людей для наказанія къ становымъ и, къ величайшему своему недоумѣнію, съ примѣсью негодованія, увидали, что самъ становой NN, любимый и уважаемый именно за искусство смирять строптивыхъ рабовъ, даже этотъ становой не наказываетъ присланныхъ къ нему. Мужики то же замѣтили, и изъ любопытства охотно ѣздили къ становому съ посланнымъ отъ барина, и не безъ удовольствія сообщали барину, что становой ихъ наказывать не сталъ!.. И такова вышла задача, что станового совсѣмъ бояться перестали.

— И что за оказія такая, братцы мои!—говорили мужики.—Бывало, ѣдетъ становой, всѣ поджилки дрожатъ; а теперь пріѣдетъ—ничего, уѣдетъ—тоже ничего!..

Въ это время вдругъ разыгралась страшная комедія. Всѣ мужики, рѣшительно всѣ, которыхъ загоняли въ сипацу или, говоря высокимъ слогомъ, освобождали отъ крѣпостной зависимости, всѣ хотѣли *справлять царскую волю*, то-есть отбывать барщину по положенію, и часто, не понимая положенія, совершенно неумышленно грѣшили противъ него, за что были усмиряемы. Если къ этому прибавить, что многимъ изъ господъ не нравилась и самая работа по положенію, то сдѣлается понятнымъ, почему такъ часто мужики считались возмутившимися.

Первый бунтъ, происшедшій по случаю сипацы, про который мнѣ удалось слышать, былъ въ Орловской губерніи, въ Малоархангельскомъ уѣздѣ, во многихъ деревняхъ. Мужики вычитали въ положеніи *трехденку*: три дня работать на барина, три на себя. Воля пришла въ началѣ Великаго поста, а въ это время въ деревняхъ работъ почти никакихъ нѣтъ. Вдругъ являются на барскій дворъ всѣ крестьяне поголовно, отъ мала до велика, и старые старики, и старухи, и дѣти и взрослые — всѣ, сколько есть!

— Что вамъ, братцы, надо?—спрашивалъ ихъ помѣщикъ.—Зачѣмъ пришли?

— Работать, батюшка, работать!—отвѣчали и мужики и бабы.

— Теперь работать нечего,—отвѣчалъ имъ баринъ:—работы нѣтъ никакой.

— Что хочешь, заставь дѣлать, батюшка!

— Я же вамъ говорю, что теперь работы у меня для васъ нѣтъ никакой.

— Теперь, батюшка, нельзя не работать! Заставь хоть что-нибудь работать...

— Не нужна мнѣ нынче ваша работа; ступайте домой.

— Нельзя этого сдѣлать: это дѣло не твое, это казна! Царь указалъ быть трехденкѣ, мы на трехденку и пришли... Сдѣлай милость, заставь что-нибудь работать!..

— Ну, чистите дворъ, когда хотите! приказалъ баринъ и ушелъ отъ нихъ.

Народу собралось до 200 человѣкъ, дворъ былъ до 200 квадратныхъ саженъ; дворъ былъ вычищенъ въ одну минуту, но работники не уходили съ барщины, а тутъ же копались на дворѣ.

— Ступайте домой, ребята!—сказалъ имъ помѣщикъ, опять выходя къ нимъ.—Кончили работу?

— Давай работы еще!

— Да нѣту, братцы,— работы никакой нынче,—отвѣчалъ имъ помѣщикъ.

— Можно ли итти домой?—спрашивали мужики недовѣрчиво.

— Можно, можно, братцы!—уговаривалъ ихъ баринъ.

— Не было бы намъ худо? Не было бы намъ бѣды отъ этого какой?

— Не будетъ бѣды, не будетъ никакого худа; ступайте домой!

Мужики разошлись по домамъ.

Въ другой деревнѣ пришедшихъ мужиковъ заставили (тоже человѣкъ до 200) прорыть нѣсколько саженъ канавки въ снѣгу для стока вешней воды, чѣмъ мужики остались тоже довольны. Эти два бунта остались безъ усмиренія. Впрочемъ, не всегда обходилось такъ благополучно.

— Ну, какъ, братцы, у васъ воля идетъ?—спросилъ я разъ въ кабакѣ мужиковъ, сперва попотчевавъ ихъ водкой.

— Что ты, братъ? — отвѣчали мнѣ съ испугомъ мужики.—Про волю не толкуй!

— Отчего же?

— Наказывать будутъ!

— За что же?

— А за то: про волю, сказано, никто толковать не смѣй! Вотъ тебѣ и вся недолга.

— Неправду вы, братцы, говорите; про волю не запрещено говорить, только надо говорить дѣло, надо говорить то, что сказано въ положеніи; а, конечно, если станешь толковать что-нибудь не такъ, станешь нарочно народъ смущать...

— Это все едино!.. Сказано тебѣ: объ волѣ толковать никакъ не моги!.. Объ волѣ станешь толковать, безпремѣнно сѣчь станутъ! Все тутъ теперь тебѣ сказано...

— Во-первыхъ, мы не станемъ пустого болтать,—настаивалъ я: — а во-вторыхъ, межъ нами, кажется, ни одного пустого и человѣка нѣтъ, и въ доносъ итти некому...

— Теперь, можетъ, и нѣту, а зайдетъ кто... тутъ кабакъ... А мы вотъ тебѣ что скажемъ: бери ты съ собой свою водку, пойдемъ къ намъ; ты у насъ и переночуешь... Дома и толкуй, о чемъ знаешь: дома свои стѣны не выдадутъ!

— Живите, братцы, посмирнѣе!—сказалъ я, войдя съ ними въ избу и садясь за столъ.

— Какъ, братецъ ты мой, не смирно жить? На послѣдяхъ передъ волею бунтовать не приходится; что и не такъ,—лучше смолчать, на себѣ перенесть; мы и зарокъ такой сдѣлали: кто станетъ бунтовать, своимъ судомъ съ тѣмъ расправиться, а до суда дѣлу не доходить.

— Такъ-то лучше, братцы,—продолжалъ я:—а то вѣдь будетъ для васъ же хуже...

— Знамое дѣло, что хуже!

— Чуть мало что—приведутъ къ вамъ солдатъ....

— Да и теперь сѣкутъ,—перебилъ меня одинъ изъ мужиковъ съ изумительнымъ хладнокровіемъ.

— Какъ? за что?.. за бунтъ?

— Какой тамъ бунтъ!.. Бунта никакого нѣтъ!

— Не можетъ-быть, чтобъ ни за что, ни про что наказывали; вѣроятно, за какое-нибудь дѣло?

— А можетъ-быть, и за дѣло какое; только это никому неизвѣстно.

— Развѣ что-нибудь случилось?

— Видишь, пріѣхалъ чиновникъ, согналъ окольныхъ людей со всего околотка... человѣкъ триста нагналъ... собралъ сходку, вышелъ, да какъ крикнетъ: «Хочешь голову срубить, — голову срублю; хочешь повѣсить, — повѣшу; хочешь такъ сказнить,—такъ сказню!.. Тебѣ и не надо въ Сибири быть,—въ Сибирь пошлю, въ Сибири будешь!..» Да и долго, долго онъ толковалъ.

— Да объ чемъ же?

— А все объ томъ же!.. А тамъ какъ крикнетъ: «Всѣхъ сѣчь!..» Какъ сказалъ

онъ то слово... а ребята всѣ въ полѣ пахали, въ своемъ клину подъ паръ землю подымали... Что ты будешь дѣлать?.. Поймали Матюшку, такъ мальчонко лѣтъ одиннадцати... «Садись, молъ, Матюшка, верхомъ, бѣги въ поле скорѣй, кличь народъ съ поля сѣчься!» Побѣжалъ верхомъ Матюшка въ поле, кличетъ: «Ступай сѣчься.» Ну, кто услышитъ, сейчасъ лошадь изъ сохи, да и домой — сѣчься... А тутъ еще, на счастье, ѣдетъ Матюшка мимо сусѣдскаго поля, и тамъ тоже поднимаетъ парину батракъ изъ-подъ Орла, Васильемъ звать.—«Бѣги, Василій,—кричитъ ему Матюшка:— бѣги, зови народъ сѣчься! Ты бѣги въ тотъ клинъ, я въ этотъ!..» Василій, знамо дѣло, выпрягъ изъ сохи лошадь, погналъ тоже сзывать народъ, вдвоемъ живо собрали. Пріѣхали всѣ домой, ихъ передрали, они опять уѣхали въ поле пахать, а чиновникъ въ Орелъ поѣхалъ...

— Какъ? Всѣхъ наказывали?

— А кто ихъ знаетъ: много сѣкли! Василій - батракъ... и дѣловъ-то его всѣхъ было, что въ деревню пріѣхалъ, отработали!—А вѣдь и другіе окольные были... тѣмъ ничего! значитъ, не попались на глаза!

— Да онъ бы сказалъ, что его не за что, что онъ не виноватъ.

— Вотъ такъ!.. стоитъ изъ дерьма тамъ толковать?

— Онъ бы сказалъ, что онъ не здѣшній!

— Скажи!.. Скажутъ — «бунтуешь!..» А у насъ, братъ, бунтовать никто не соглашается!

У одного помѣщика Орловской губерніи А*** на 106 верстъ въ длину и на 40—60 верстъ въ ширину сплошного имѣнія, въ томъ числѣ 75.000 десятинъ лучшаго въ Россіи лѣсу; и на всемъ этомъ огромномъ пространствѣ разоренные въ конецъ крестьяне. Въ 1861 году, послѣ объявленія положенія 19 февраля, А*** созываетъ своихъ мужиковъ, объявляетъ имъ *волю*, говоритъ, что царь указалъ впередъ мужикамъ работать только три дня на барщину. Мужики, разумѣется, обрадовались такой царской милости, потому что имъ случалось работать на барщинѣ не три дня въ недѣлю, а всѣ дни, сколько ихъ есть въ недѣлѣ, и притомъ считая день въ 24 часа; работали и день и ночь, а семь дней на барщину было дѣломъ почти постояннымъ. Потомъ А*** было предложено работать не три дня на барщину, какъ сказано въ положеніи, а взять годовой урокъ; всякій дворъ [1]) долженъ былъ обработать въ каждомъ клину по 10 десятинъ; кромѣ того, сѣнокосы и проч. Крестьяне отказывались отъ годового урока.

— Намъ нельзя брать годовую работу,— говорили мнѣ крестьяне А***.

— Отчего же?

— Какъ намъ можно? Царь указалъ быть трехденкѣ, а мы не станемъ трехденки сполнять?!!

— Когда баринъ говоритъ, тогда можно и царской трехденки не справлять.

— Какъ же это такъ? Царь указалъ одно; баринъ указываетъ другое; станемъ мы сполнять барскую, не царскую волю. Хорошо!.. Не станемъ мы сполнять царской воли, станемъ мы работать по барскому приказу. Пріѣдетъ кто, спроситъ: «Работаете ли вы, ребята, по-царски, какъ царь указалъ; справляете ли трехденку?» Мы скажемъ: нѣтъ, царской трехденки не справляемъ. «Отчего же вы царской воли не сполняете?» спроситъ онъ; а мы опять: баринъ не приказалъ справлять по-царски, а приказалъ работать по-своему, по-барски. «А кто больше: царь или баринъ твой?» Царь больше. «Какъ же вы, скажетъ онъ, какъ вы смѣете не справлять царской воли, царскаго указу, а послушались барина?» Что ты тутъ ему скажешь?!. Вотъ и будетъ бѣда!..

И вышелъ изъ этого бунтъ съ усмиреніемъ.

Мнѣ случилось видѣть самому, какъ эти же мужики хлопотали не итти *прочь отъ закона*. Шелъ я поздно вечеромъ въ одну изъ деревень А***, вижу, стоитъ за огородами, позади деревни, толпа мужиковъ... Э! думаю, сходка!.. Въ настоящее время, когда сходки раздѣлены на законныя и незаконныя, мужики часто собираютъ сходки по ночамъ, въ какомъ-нибудь скрытномъ мѣстѣ, чтобы кто не провѣдалъ, кому знать не должно, чтобы послѣ всему міру въ отвѣтъ не итти...

— Объ чемъ, старики, сходка?—спросилъ я, подойдя и поклонясь сходкѣ.

[1]) Домашнее раздѣленіе на дворы: у А*** дѣлились рабочіе на дворы; 8 тяголъ составляли дворъ. *Авт.*

— Да все объ своихъ дѣлахъ, человѣкъ любезный,—отвѣчалъ мнѣ одинъ, тогда какъ остальные, отвѣтивъ на мой поклонъ, осматривали меня молча.

— Объ какихъ же дѣлахъ такихъ?— опять спрашивалъ я, входя въ самую сходку.

— Да вотъ видишь, человѣкъ любезный! До царской воли барину мы каждую весну носили яйца, съ каждаго тягла приказано было носить. Вышла царская воля, яйца запрещено намъ, мужикамъ, барину давать. Только намъ все словно опасно!.. Вотъ собрали мы сходку, положили собрать барину яйца, отдать кому слѣдуетъ... хорошо. Забрали, снесли... ничего: Богъ помиловалъ!.. За тѣ яйца никакого намъ наказанія не было!.. Проходитъ малое время—выдаютъ намъ за тѣ яйца деньги... Теперь, что съ тѣми деньгами дѣлать?..

— Что же, мало, что ли, заплатили за тѣ вамъ яйца?—спрашивалъ я.

— Да не объ томъ рѣчь... Пропади пропастью совсѣмъ и деньги тѣ!.. А что съ тѣми деньгами дѣлать? Возьмешь тѣ деньги—бѣда!.. понесешь тѣ деньги въ барскую контору—опять бѣда!

— Баринъ самъ прислалъ деньги?

— Самъ, самъ! Никто не просилъ!.. самъ прислалъ!.. Куда просить!—заговорила сходка.

— А самъ прислалъ, и толковать нечего; берите себѣ деньги,—сказалъ я.

— Хорошо тебѣ говорить, берите!.. А какъ ты ихъ, эти-то деньги, возьмешь?..

Такъ на этой сходкѣ и не было рѣшено, что съ этими деньгами дѣлать; вѣроятно, были и еще сходки, и столь же беззаконныя, какъ и эта, и объ этомъ же самомъ предметѣ; только я не былъ на другихъ сходкахъ и не знаю, чѣмъ кончилось дѣло о деньгахъ за яйца.

Въ самый развалъ этой сумятицы, не спѣша, мѣсяца черезъ четыре послѣ объявленія манифеста, были понемножку назначаемы мировые посредники: скажутъ нѣсколькимъ помѣщикамъ, что мировые посредники въ такомъ-то уѣздѣ, они — потомъ въ томъ же уѣздѣ назначутъ еще, а тамъ еще, такъ что, наконецъ, и набралось достаточное число посредниковъ. Посредники открыли сельскія общества, выбраны были старосты, волостные головы. Посредники были благодѣтелями народа: едва мировые посредники вступили въ должность, какъ порядокъ началъ установляться. Хотя многіе мировые посредники и сѣкли мужиковъ, да въ одиночку. Судъ мировыхъ посредниковъ пришелся по сердцу русскому народу. Этотъ судъ тѣмъ хорошъ, что скоръ: мировой посредникъ сейчасъ разсудитъ, ежели нужно, здѣсь же и накажетъ и дѣло кончитъ безъ всякихъ проволочекъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о сельскихъ властяхъ: о волостныхъ старшинахъ и сельскихъ старостахъ.

Эти новые казенные чиновники рѣзко дѣлятся на два разряда: къ первому и лучшему принадлежатъ люди, выбранные въ эти должности изъ молодежи, не искушенные еще властію, не бывшіе до этого времени никакими начальниками; ко второму—люди и до этого времени бывшіе начальниками по назначенію помѣщиковъ, бывшіе старостами, бурмистрами, приказчиками. Первые строго смотрятъ, чтобъ *законъ былъ соблюденъ*, строго смотрятъ, чтобъ барскія и казенныя повинности были исполнены, не позволяютъ взятокъ ни подъ какимъ видомъ ни подъ какимъ названіемъ, не позволяютъ ни себѣ ни другимъ. Одному малоархангельскому волостному старшинѣ, молодому человѣку лѣтъ 27—28, помѣщикъ предлагалъ десять цѣлковыхъ за исполненіе своихъ обязанностей; тотъ, исполнивши должное требованіе помѣщика, не взялъ этой взятки, обидѣлся и принесъ жалобу на помѣщика мировому посреднику. Въ нѣкоторыхъ волостяхъ наняты писаря съ тѣмъ, чтобы они учили крестьянскихъ дѣтей грамотѣ; волостные старшины не позволяли *принимать* этимъ учителямъ никакой *благодарности* не только съ временно-обязанныхъ крестьянъ своей волости, но и за ученіе дѣтей государственныхъ крестьянъ. Съ крестьянами они справедливы, строго требуютъ отъ нихъ должнаго; но не поддаются и помѣщикамъ, хотя никогда не позволяютъ себѣ никакой дерзости въ отношеніи къ нимъ.

— Какъ же вы ладите съ господами? Вотъ хоть съ Н. или съ М.?—спрашивалъ я не разъ, указывая на такихъ помѣщиковъ, которые отличались своею требовательностію и уже нѣсколько разъ жаловались на своихъ мировыхъ посредниковъ.

— Да съ тѣми ладить легко! Исполняй все, что онъ скажетъ тебѣ дѣльное по закону...

— Ну, а ежели онъ скажетъ тебѣ что недѣльное, вѣдь ты долженъ отказать?

— Зачѣмъ отказывать? — ненужно: господа этого страхъ какъ не любятъ.

— Да какъ же ты сдѣлаешь незаконное, чего по закону не слѣдуетъ?

— И отказать не откажу и сдѣлать не сдѣлаю. Мнѣ господъ не выучить, такъ и читать имъ проповѣдь не стоитъ; а скажешь ему: я бы для васъ съ превеликою радостію все сдѣлалъ, да боюсь, такъ ли оно выйдетъ? Я спрошу мирового посредника... Какой и побоится посредника...—«Нѣтъ, скажетъ, не говори посреднику, я и такъ обойдусь», а рѣдкій скажетъ «спроси»; спросишь посредника, тотъ не прикажетъ, ты опять-таки правъ: барину тому ты отказа не дѣлалъ, ему и сердиться на тебя нѣтъ причины.

Совсѣмъ другимъ характеромъ отличаются сельскіе чиновники, выбранные изъ прежнихъ чиновниковъ, бывшихъ при помѣщикахъ. Они выбраны или по требованію, или по указанію, или *по желанію* мировыхъ посредниковъ, или изъ боязни ослабить прежнюю власть. Вѣрнѣй всего, что на будущихъ выборахъ мало будетъ изъ этихъ людей выбрано вновь на должности. Они держатъ себя съ простыми смертными величаво, а съ начальниками униженно; они ужъ разбираютъ людей: къ первымъ, то - есть къ простымъ смертнымъ, они относятъ не однихъ мужиковъ, но и бѣдныхъ или въ чемъ-нибудь ищущихъ у нихъ помѣщиковъ; къ другимъ—всѣхъ власть имѣющихъ: своихъ начальниковъ, сильныхъ помѣщиковъ, богатыхъ поповъ, даже мужиковъ, когда въ нихъ нужда есть. Съ такимъ господиномъ ссориться не слѣдуетъ: онъ можетъ, какъ человѣкъ знакомый съ властью, и наказать и помиловать.

— Да какъ же, Арсенъ Васильичъ,— говорилъ я одному волостному старшинѣ, бывшему сперва барскимъ бурмистромъ:— такъ вѣдь, пожалуй, и дѣлать нельзя; все-таки ты долженъ по закону дѣлать?

— Я и сдѣлаю по закону, — отвѣчалъ Арсенъ Васильичъ:—я сдѣлаю по закону, и отъ закона не отступлю и барину уважу. Человѣкъ самъ тебя уважаетъ, какъ же ты его не уважишь?..

— Какъ же ты уважишь человѣку?

— Да вотъ хоть баринъ, который того стоитъ, хоть, къ примѣру, на мужиковъ тебѣ жалуется: разберешь дѣло, и хоть мужики правы, а все на тѣхъ мужиковъ штрафъ наложишь, потому баринъ самъ того стоитъ; а не стоитъ того баринъ, такъ хоть и виноваты мужики — ничего не сдѣлаешь.

— Да какъ же, Арсенъ Васильичъ, на правыхъ мужиковъ штрафъ накладывать? Ну, какъ тѣ мужики обидятся да жаловаться пойдутъ?

— Въ штрафахъ мнѣ никто запретить не можетъ; штрафъ въ законѣ указанъ.

— Ну, а какъ жаловаться пойдутъ къ мировому посреднику или еще къ кому?

— Нѣтъ, не пойдутъ, — отвѣчалъ рѣшительно Арсенъ Васильичъ:—не пойдутъ! Мужикъ жаловаться по судамъ не любитъ.

— Ну, а если съ мужика возьмутъ взятку? Вѣдь у васъ берутъ взятки?

— Ни мировой посредникъ ни одинъ волостной старшина — ни-ни!.. Избави Господи!..

— Ну, а волостной писарь?

— Тѣ... Да вѣдь я думаю, чтó взятка? Взятку я своему писарю позволю взять, самъ позволю, потому знаю, какую взятку и какому писарю. Писарь мое дѣло исполняетъ, меня слушаетъ, у меня находится въ повиновеніи — какъ же я ему не позволю взять?!. Ну, а сталъ изъ повиновенія выходить, я такому писарю не позволю ни съ кого ни одной копеечки взять.

— Какую же взятку, по-твоему, Арсенъ Васильичъ, можно дозволить взять?

— Мало ли!.. Да вотъ хоть билеты мужики берутъ, въ заработки идутъ... Что жъ, можно!.. По четвертаку, по двугривенному можно взять: я своему позволилъ и слова не говорю.

И мужики видятъ, что съ нихъ берутъ взятки и тоже ничего, не обижаются; мужики видятъ, что волостному писарю не брать взятокъ—придется умирать съ голоду: на 60—90 рублей, при купленномъ хлѣбѣ и всемъ съѣстномъ, жить нельзя и простому мужику; а волостной писарь хоть и плохонькой, но все-таки въ родѣ чиновника. Мужики даютъ взятки волостнымъ писарямъ и не обижаются; но строго смотрятъ, чтобы сельскій староста, волостной старшина не брали взятокъ *отъ барина*, чтобы отъ того ихъ дѣлу

порухи какой не вышло. А потому если помѣщикъ позволитъ что-нибудь сельскому старостѣ, напримѣръ, лошадь, на которой ѣздитъ староста на барскія работы, пустить къ барскому корму, то всѣ мужики тотчасъ же пустятъ всѣхъ своихъ лошадей къ барскому корму, думая, что имѣютъ на это право.

И несмотря на такое устройство сельскихъ управленій и сельскихъ властей, мужики мировыми посредниками болѣе довольны, чѣмъ государственные крестьяне—окружными.

— Какой судъ лучше?—спрашивалъ я одного временно-обязаннаго крестьянина Мценскаго уѣзда:—вашъ судъ или однодворческій, то-есть судъ у государственныхъ крестьянъ?

— Нашъ все-таки получше будетъ супротивъ однодворческаго суда,—отвѣчалъ мужикъ.

— Чѣмъ же лучше?

— А тѣмъ: короче. У однодворцевъ придешь жаловаться, ужъ тебя тягаютъ-тягаютъ, тягаютъ-тягаютъ... и туда сходи, и сюда поди... къ тому поди съ просьбой—бумагу подай; другому такъ, на словахъ скажи... всю твою душеньку измучаютъ; а послѣ все-таки накажутъ. А у насъ пришелъ къ мировому посредственнику съ какой жалобой: онъ тебя сейчасъ же разсудитъ, сейчасъ же взыщетъ, и ступай домой!.. Держать не станетъ!

— Чѣмъ же лучше вашъ судъ, когда все-таки ведетъ къ одному концу?

— Какъ же можно равнять мирового посредственника и окружного твоего?

— Отчего же нельзя равнять?

— Нашъ мировой посредственникъ — здѣшній житель; мировой посредственникъ здѣсь и родился, здѣсь и умретъ, а пока живъ, здѣсь ему жить придется; сдѣлаетъ что ужъ сильно противъ закону, ему на міръ и глазъ показать нельзя будетъ; гдѣ помирволитъ своему брату барину, а гдѣ и побережется... да и барину помирволитъ, все хоть одной сторонѣ лучше сдѣлаетъ... А окружной твой... съ вѣтру пришелъ, что ему? — нынче здѣсь, завтра тамъ!.. Кто узнаетъ, какія чудеса онъ выдѣлывалъ?

Помѣщики тоже, насколько могутъ, довольны судомъ; случается, остаются недовольны мировымъ посредникомъ, желаютъ перемѣны мирового посредника, но рѣдко хотятъ перемѣнить судъ мировыхъ посредниковъ на болѣе организованный, болѣе улучшенный уѣздный или земскій судъ. И, конечно, они еще скорѣе бы помирились съ своимъ настоящимъ положеніемъ, если бы у нихъ были деньги или хоть кредитъ. При наступившей насущной необходимости въ деньгахъ, денегъ найти рѣдко можно; казенныя кредитныя учрежденія всѣ закрыты, и именно въ ту минуту, когда застала нужда въ деньгахъ; изъ частныхъ рукъ занять подъ залогъ имѣнія или нельзя совсѣмъ, или же заемъ сопряженъ съ большими препятствіями, а безъ залога рѣдко удается, и то за большіе проценты. Да у кого и есть капиталы, тотъ тоже сидитъ безъ денегъ: помѣщикамъ нужно съ вольнонаемными работниками разсчитываться иногда каждый день чистыми деньгами, на это нужны мелкія деньги; а у насъ еще до начала эмансипаціи нельзя было размѣнять большой ассигнаціи не только на серебро, но и на мелкія ассигнаціи. Денегъ у помѣщиковъ нѣтъ, крестьяне исполняютъ трехденку, и баринъ хоть что хочешь дѣлай,—мужики не станутъ работать семи дней въ недѣлю. Это все такъ подѣйствовало на помѣщиковъ, что они даже не скрываются.

— Слышали вы, мой Ванька не могъ мѣста найти въ городѣ?.. Пущай его... небось, вспомнитъ господъ. Кто его съ такой семьей возьметъ?—говорила барыня о своемъ бывшемъ выѣздномъ лакеѣ, которому, по его спеціальности, довольно трудно отыскать себѣ мѣсто.

— Слышали вы, — спрашивалъ одинъ баринъ другого барина, — слышали вы, мужики вернулись назадъ?

— Какіе мужики?

— А тѣ, что пошли на заработки за Харьковъ, на Донъ! Вернулись назадъ! Тамъ все выгорѣло, весь хлѣбъ, вся трава... дождей не было, все и выгорѣло...

— Ну, и пускай ихъ нужду узнаютъ!

— Пускай, пускай ихъ нужду узнаютъ: къ намъ же придутъ—поклонятся!

Въ такое-то время мировыми посредниками пишутся и повѣряются уставныя грамоты, при чемъ требуется отъ мужиковъ, чтобъ, они подписались подъ уставной грамотой. Мужики, зная, что гдѣ рука, тамъ и голова, не подписываются.

— Отчего не подписываетесь, рукъ не даете?—спрашивалъ я не разъ.

— А какъ руки дать? Кабы мы знали что, для чего рукъ не дать! А то тамъ напишутъ Богъ знаетъ что, а тебя заставляютъ руки давать; дашь руки, повороту не будетъ; скажутъ, сами мужики такъ захотѣли!

— На то законъ есть: что сказано, то должно сдѣлать.

— Былъ бы законъ, сталъ бы нашъ посредственникъ много толковать!

— Посредникъ хочетъ согласія вашего.

— На чорта ему наше согласіе! Теперь вотъ отрѣжутъ землю у мужиковъ, да какъ мужики рукъ не дадутъ, опять отдадутъ.

— Нѣтъ, не отдадутъ той земли, которая отойдетъ отъ мужиковъ къ барину.

— А ты не врешь?

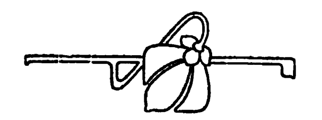
— Нѣтъ, не вру.

— Ой-ли? А у насъ ужъ которымъ вернули; мировой посредственникъ сперва отрѣзалъ, а тамъ и самъ вернулъ.

— Это какъ же?

— Сказалъ посредственникъ: еще годъ владѣйте, мужики, всей землей.

И по всей Орловской губерніи такое дѣло случилось: у мужиковъ отрѣзали землю, сколько приходилось болѣе высшаго душевого надѣла, и отдали барину съ посѣяннымъ хлѣбомъ, а потомъ губернское присутствіе приказало дозволить мужикамъ посѣянный хлѣбъ взять въ свою пользу...



**Сергѣй Николаевичъ Терпигоревъ.**

(1841—1895).

## ИЗЪ ОЧЕРКОВЪ «ОСКУДѢНІЕ».

### Увертюра.

Плакала Саша, какъ лѣсъ вырубали.
*Некрасовъ.*

Медленно, душно, мрачно прошли томительные три года, въ которые писалось, редактировалось и печаталось Положеніе 19-го февраля.

Но за полгода до объявленія «воли», кое-что стало выясняться. Такъ, напримѣръ, стало извѣстнымъ, что мужики будутъ надѣлены землею и что за эту землю они должны будутъ заплатить помѣщикамъ или работой, или выкупить ее, въ чемъ имъ поможетъ казна. Немного спустя, стало извѣстно, что дворовыхъ можно будетъ пустить «на вѣтеръ» и что нѣсколько лѣтъ они должны будутъ работать на помѣщиковъ постарому.

Всѣ эти новости нѣсколько оживили нашъ умственный духъ. «Бѣда» начала представляться далеко не такой ужъ безвыходной, какой она померещилась сначала. И, наконецъ, привычка: вѣдь живутъ же люди на Везувіи. Сегодня страшно, завтра страшно, а тамъ и привыкнешь помаленьку.

Оно, конечно, въ зобу дыханіе спиралось и руки тряслись, когда въ первый разъ коснулись мы знаменитой книги «Положенія» 19-го февраля; но смертнаго приговора себѣ въ ней ужъ не разсчитывали прочитать. А когда начали читать, вдумываться и перечитывать безъ конца, усмотрѣли даже возможность устройства съ «пейзанами», какъ называли тогда мужиковъ, при помощи нѣкоторыхъ болѣе или менѣе остроумныхъ экспериментовъ. Вообще, раскинувъ, какъ слѣдуетъ, умомъ, мы пришли къ тому заключенію, что «шалить» «имъ» не дадутъ, а когда прошло еще съ полгодика, то увидали, что «мужички» и сами никакихъ поползновеній

на шалости не выказывають. Тогда и совсѣмъ ужъ успокоились и стали заниматься своимъ дѣломъ, какъ слѣдуетъ. Это «свое дѣло» въ то время заключалось въ заботѣ, какъ бы поставить «мужиковъ» въ такое положеніе, чтобы они всегда «чувствовали» и чтобы мы сами, напротивъ, совсѣмъ не чувствовали. Дворню, «этихъ тунеядцевъ», мы, конечно, держали положенный срокъ у себя, но были очень рады, что имъ «совершенно справедливо» не дали земли. И дѣйствительно, зачѣмъ дворовому человѣку земля? Вѣдь дворовые, какъ предполагалось, все спеціалисты, мастеровые: столяры, маляры, печники и проч. Что же касается вопроса о томъ, куда дѣнутся крѣпостные скрипачи, крѣпостные балетмейстеры, доѣзжачіе, борзятники, выжлятники и проч.—мы его себѣ не задавали.

Съ этихъ размышленій, соображеній и плановъ собственно и начинается пробужденіе «духовной», такъ сказать, жизни помѣщика. Мѣсто страха заняло чувство желчной мелочности, и хотя это чувство вообще не похвальное, но оно было тогда такъ присуще, что было причиной, что многія утѣсненія «мужичкамъ» произошли безъ всякой надобности, а такъ себѣ, и, благодаря этому чувству, мы испортили очень много благородной крови. Впрочемъ, нѣкоторымъ это чувство принесло и пользу. Такъ, напримѣръ, тѣ изъ насъ, которые сумѣли тогда спустить мужикамъ въ надѣлъ землю «съ песочкомъ», ничего противъ этого не имѣютъ и теперь, потому что «мужички» нарасхватъ арендуютъ ихъ землю, по цѣнѣ гораздо болѣе «приличной», чѣмъ у сосѣдей.

Но вообще весь этотъ начальный, такъ сказать, періодъ нашего пробужденія слѣдуетъ назвать кляузнымъ. Помѣщики изучали «Положеніе» 19-го февраля до изступленія. Были такіе, которые знали его чуть не наизусть, и все-таки ровно ничего не понимали. Съ этой же цѣлью, т.-е. чтобы понять «Положеніе», ѣздили въ городъ сами и изъ города привозили или выписывали отставныхъ секретарей уѣзднаго и земскаго судовъ, отставныхъ квартальныхъ, писцовъ и проч., которые не только получали содержаніе и водку въ достаточномъ количествѣ, но и посылали провизію своимъ семьямъ. И надо правду сказать, многіе изъ нихъ проявили, при истолкованіи статей «Положенія» 19-го февраля, замѣчательное остроуміе, но зато не малое число ихъ и было отдано впослѣдствіи подъ судъ за излишнее усердіе при составленіи приговоровъ отъ имени мужиковъ.

Когда такимъ образомъ «Положеніе» 19-го февраля было основательно изучено подъ извѣстнымъ угломъ и даже сдѣланы были нѣкоторыя удачныя попытки къ примѣненію его на практикѣ, и когда, во всякомъ случаѣ, былъ установленъ характеръ будущихъ взаимныхъ отношеній господъ къ мужикамъ и «тунеядцамъ», наша «духовная» дѣятельность, такъ сказать, расщепилась. Мы ясно увидали и даже почувствовали, что передъ нами двѣ задачи. Во-первыхъ, мы должны во что бы то ни стало и какимъ бы то ни было способомъ ухитриться сохранить хоть то, что «намъ оставили», что «не отняли у насъ», т.-е. отдать «мужикамъ» какъ можно меньше земли въ надѣлъ и притомъ, чтобы эта отданная въ надѣлъ земля была самая худшая и дальняя. И во-вторыхъ, мы должны приладить хозяйство къ новому положенію. Эта вторая задача, какъ увидимъ ниже, оказалась гораздо труднѣе первой.

Обойтись въ хозяйствѣ безъ мужика или, правильнѣе, имѣть въ своемъ распоряженіи мужика не съ утра до ночи каждый день, какъ было прежде, а всего только (при издѣльной повинности) три дня въ недѣлю, да притомъ и въ эти-то три дня опредѣленное число часовъ,—вотъ что было трудно. И ко всему этому цѣлый рядъ огорченій. Во-первыхъ, «они» сразу узнали, какія мѣры побужденія разрѣшаются и какія не разрѣшаются, такъ какъ было даже нѣсколько примѣровъ, когда, по старой привычкѣ, будучи отправлены за непослушаніе къ исправнику, для «наказанія на тѣлѣ», они возвращались оттуда ненаказанными и, вслѣдствіе сего, проѣзжая обратно мимо барскаго дома, смѣялись и не ломали шапокъ, а на другой день, на работѣ въ полѣ, при встрѣчѣ съ бариномъ, показывали видъ, что совершенно его не замѣчаютъ. Затѣмъ, при исполненіи работъ, лѣность выказывали чрезвычайную, можно сказать, даже невѣроятную, и работали не только мало, но и эта малая работа была достоинства самаго низшаго.

Мысли и думы, вызванныя такими порядками, были, понятно, самыя тяжелыя. Ничего не могло быть естественнѣе желанія избѣгнуть всѣхъ этихъ непріятностей, такъ что ощущалась, наконецъ, справедливая потребность забыть ее и отдохнуть. Шутка сказать — вѣдь цѣлые года прожили въ ожиданіи Богъ знаетъ чего. Отъ «нашего народа» всего вѣдь можно ожидать—развѣ это люди! и т. п. И, наконецъ, надо же подумать о дѣтяхъ, надо же и имъ дать воспитаніе, а изъ какихъ это, спрашивается, доходовъ?

И такъ соблазнительно, такъ желанно представлялась возможность получить деньги: стоило только пустить мужиковъ на фюить, т.-е. на выкупъ, и денежки тутъ какъ тутъ. Конечно, онѣ являются въ видѣ выкупныхъ свидѣтельствъ, но маленькая скидочка—и у васъ тѣ же деньги...

Я не знаю, кто онъ, но мнѣ ужасно хотѣлось бы взглянуть хоть разъ въ лицо того, кто получилъ первое выкупное свидѣтельство и проѣлъ его. Гдѣ оно было проѣдено, и притомъ, одинъ ли онъ его проѣлъ, или съ «безстыдницей»,—все это, конечно, вопросы совершенно праздные и, пожалуй, даже къ дѣлу не идущіе, но все-таки любопытные.

Съ увѣренностью можно сказать, что какъ только помѣщику эти мысли и соображенія разъ пришли въ голову, онъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе подчинялся имъ и, наконецъ, въ одинъ прекрасный день не выдерживалъ и пускалъ «ихъ» на выкупъ. Такъ поступила, по крайней мѣрѣ, половина помѣщиковъ, не будучи въ силахъ, во-первыхъ, устоять противъ искушенія получить сейчасъ же деньги, а во-вторыхъ, противостоять желанію дать «воспитаніе дѣтямъ». Но «благоразумные» и дальновидные характеры смотрѣли на дѣло иначе.

— Нѣтъ, голубчикъ, на обязательный выкупъ не соглашусь—дудки! Не хотите-ка по согласію, да рубликовъ этакъ по сту за десятину-то.

И дѣйствительно, дальновидные и энергичные люди, при помощи штрафовъ, условій и контрактовъ, доводили до того, что «они» соглашались на что угодно, лишь бы раздѣлаться. Но такихъ прозорливцевъ было немного, ибо энергичныхъ людей у насъ вообще мало.

И съ этого самаго времени, т.-е. съ того момента, какъ родилась мысль объ «отдыхѣ» и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ сказать, кстати ужъ, созрѣла другая мысль—о необходимости дать дѣтямъ «приличное воспитаніе», и для всего этого ѣхать въ городъ,—съ этого самаго времени, повторяю, для многихъ и началась быстрая наклонность къ упадку.

Почему?

Много причинъ. Во-первыхъ, бумажки, полученныя за выкупныя свидѣтельства, отличались замѣчательной способностью уплывать между пальцами гораздо скорѣе и легче, чѣмъ когда онѣ получались, бывало, за пшеницу, овесъ и т. д. Многіе объясняли это тѣмъ, что первыми кинувшимися за «выкупными», т.-е. «пустившими» мужиковъ на выкупъ, были самые легковѣрные, самые истомленные, и потому ничего нѣтъ удивительнаго, что они поддались искушеніямъ, увлеченіямъ и, «воспитывая дѣтей», сдѣлались жертвами своей нерасчетливости. И вотъ, когда всѣ «выкупныя» отъ первой до послѣдней были съѣдены и когда, въ то же время, ни потребность въ «отдыхѣ» ни «воспитаніе дѣтей» не позволяли еще оставить столицы и вообще города, то, понятно, слѣдовало прибѣгнуть къ кредиту. Кредитъ же не представлялся опаснымъ, потому что предполагалось повести хозяйство «по-новому», а это, несомнѣнно, должно было поднять доходность имѣнія.

Трудно опредѣлить, до чего была тверда вѣра въ будущую доходность, и сколько бы они, эти легкомысленные, накредитовались, если бы общее тогдашнее безденежье не положило предѣла ихъ мечтаніямъ и кредиту.

Такъ какъ веденіе «по-новому» хозяйства было еще только вначалѣ и, даже можно сказать, существовало болѣе въ принципѣ, чѣмъ въ дѣйствительности, а кредитъ былъ уже захлопнутъ, то естественнымъ выходомъ изъ затруднительнаго положенія представлялось продолженіе реализаціи или, лучше сказать, ликвидаціи оставшагося имущества. Меню проѣданія этого имущества было вообще однообразно. Вся разница была только въ томъ порядкѣ, въ которомъ подавались блюда. У однихъ, напримѣръ, подавали, вслѣдъ за выкупными, лѣса, у другихъ — многолѣтнюю аренду, у третьихъ — вторую за-

кладную, и все это подавалось подъ соусомъ изъ векселей, сохранныхъ расписокъ и проч.

При такой обстановкѣ продолжались «отдыхъ» и «воспитаніе дѣтей». Само собою разумѣется, что положеніе было отвратительное, и если бы не удивительная наша способность принимать мечтанія за дѣйствительность, то съ увѣренностью можно сказать, что многіе не вынесли бы такого порядка и сами наложили бы на себя руки. И если этого не случилось, то единственно благодаря мечтательной надеждѣ, что, съ предстоящимъ введеніемъ «раціональнаго хозяйства», деньги польются рѣкой.

Но деньги, занятыя для введенія «раціональнаго хозяйства», какимъ-то непостижимымъ путемъ уходили туда-сюда, а «раціональное хозяйство» не вводилось...

Только люди безчувственные, вспоминая это тяжелое время для многихъ, не понимавшихъ, куда влечетъ ихъ легкомысліе, могутъ издѣваться надъ ними.

Становится неловко, когда подумаешь, что почти половина нашего сословія сошла уже «на нѣтъ», или ужъ непремѣнно сойдетъ на нѣтъ въ ближайшемъ будущемъ, и что случилось это, главнѣйше, благодаря легкомысленному и несвоевременному «отдыху» и «воспитанію дѣтей».

Это очень тяжелый фактъ, и въ настоящее время мы не можемъ еще, какъ слѣдуетъ, оцѣнить всѣ его послѣдствія. Да не заподозрятъ меня въ ироніи—нѣтъ, я говорю совершенно серьезно и называю фактъ тяжелымъ вотъ почему.

«Воспитаніе дѣтей», о которомъ мнѣ приходится упоминать такъ часто, было довольно странное и ужъ во всякомъ случаѣ несообразное. Люди, состояніе которыхъ, можно сказать, таяло, какъ снѣгъ весной, находили себѣ утѣшеніе въ надеждѣ на неслыханные доходы отъ предполагавшагося введенія «раціональнаго хозяйства», и они же, эти же люди, обманывали себя еще разъ, восторгаясь въ то же время видомъ сыновей своихъ, одѣтыхъ въ привилегированные мундирчики, въ которыхъ ходили и дѣти сановниковъ, ихъ товарищи. Они восторгались и млѣли отъ одной мысли, что сынъ ихъ, привезенный изъ какой-то тамбовской глуши, носящій именную фамилію, за девятьсотъ рублей годовой платы, сидитъ въ училищѣ рядомъ съ сыномъ министра, и они говорятъ другъ другу ты и по субботамъ вечеромъ вмѣстѣ ужинаютъ у Бореля, и оба будутъ служить въ одномъ и томъ же департаментѣ, и «почемъ знать», можетъ-быть...

Обѣ мечты шли рядомъ и были у нихъ неразлучны. Золотыя горы «раціональнаго хозяйства» и Петенькина карьера... Какъ ни трудно было, а по письму Петеньки, въ которомъ онъ просилъ немедленно прислать ему пятьсотъ рублей, такъ какъ завтра онъ долженъ быть тамъ-то на балу и для этого предстоятъ такіе-то расходы,— деньги посылались «немедленно» или привозились въ училище самимъ родителемъ или родительницей, если таковые, для «воспитанія дѣтей», находились въ Петербургѣ. Такимъ образомъ росли Петеньки, не подозрѣвая о той горькой участи, какая имъ предстоитъ въ случаѣ неудачи «раціональнаго хозяйства».

Сколько драмъ, комедій и водевилей завязывалось тогда, а мы и не подозрѣвали, что героями ихъ будемъ мы, наши дѣти, наши племянники. Намъ тогда и въ голову не приходило, что результатомъ нашихъ заботъ о «воспитаніи дѣтей» будетъ разведеніе въ Россіи великаго количества празднолюбцевъ, которые въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи уже сами выработаютъ изъ себя совершенно самостоятельный типъ прохвоста, и не будетъ въ Россіи отъ нихъ никому проходу, и вездѣ заведутъ они небывалую духоту.

Дѣти окончили свое воспитаніе и получили аттестаты немного ранѣе того, какъ было доѣдено послѣднее блюдо, т.-е. когда имѣніе было продано съ аукціона за долгъ банку или во второй закладной купцу второй гильдіи Подугольникову. Отъ окончанія курса Петеньки въ училищѣ до продажи имѣнія прошло всего года два съ чѣмъ-то. Да и эти два года хотя имѣньемъ и владѣлъ еще папенька, но онъ владѣлъ имъ ужъ до такой степени конституціонно, что такое владѣніе не стоитъ собственно и называть владѣніемъ. Лѣсъ проданъ на срубъ Подугольникову, земля сдана въ аренду племяннику Подугольникова и деньги за время получены впередъ. Садъ фруктовый и даже огородъ сданы другому племяннику Подугольникова, который, «со скидочкой», тоже всѣ деньги уплатилъ впередъ. И такъ все и

во всемъ, куда ни оглянись. Тѣснота въ деньгахъ была такая уже тяжкая и при окончаніи курса доходило уже до того, что когда Петенькѣ, причисленному къ Министерству Иностранныхъ дѣлъ, надо было прилично одѣться и онъ поѣхалъ къ Тедески и началъ намекать стороной о кредитѣ, то послѣдній наотрѣзъ отказалъ и только уже благодаря какой-то необыкновенно остроумной комбинаціи согласился экипировать будущаго дипломата, въ чемъ, разумѣется, не разъ впослѣдствіи раскаивался. Очень естественно, что Петенька всѣ денежныя затрудненія родителей немедленно же началъ критиковать, строго осуждая ихъ за то, что они упустили столько времени, не заводя раціональнаго хозяйства, и пр.

Такое жестокое отношеніе къ родителямъ «своего же дѣтища», конечно, глубоко ихъ огорчало и, можно сказать, даже убивало.

— Ты знаешь самъ, Петенька, что для твоего воспитанія мы ничего не жалѣли; всѣ твои прихоти исполняли... Кажется, можно быть благодарнымъ.

— Вы, маменька, совершенно заблуждаетесь. За мое воспитаніе вамъ слѣдовало бы платить въ училище, и больше ничего. Но для чего вы переѣхали изъ Осиновки въ Петербургъ—этого, кажется, и сами вы не знаете.

— Какъ, мой другъ, для чего? А развѣ, ты думаешь, можно было оставить тебя здѣсь одного, безъ надзора?

— Вотъ это-то, маменька, и было вашей ошибкой. Вмѣсто того, чтобы вводить въ имѣніи раціональное хозяйство и устраивать его, вы все бросили и пріѣхали слѣдить за мной. Во-первыхъ, въ училищѣ у насъ есть воспитатели, спеціально для этого приставленные, а потомъ за чѣмъ собственно хотѣли вы слѣдить? Чтобы я долговъ не надѣлалъ? Но вѣдь я еще и теперь несовершеннолѣтній, слѣдовательно, долги для меня не могли быть опасными. Чтобы я не завелъ какой-нибудь связи, не увлекся? Но вѣдь вы должны знать, что это немыслимо ни съ однимъ изъ насъ. Вы, маменька, должны были бы знать, что наше училище хоть закрытое, но двери въ жизнь для насъ всегда открыты. И, кажется, не было примѣра, чтобы хоть одинъ изъ насъ увлекся. Спрашивается: что же мы будемъ дѣлать теперь, когда мы разорены? Вы знаете, что на мое годовое жалованье я не могу и мѣсяца прожить. Гдѣ же средства? Моя карьера, значитъ, зарѣзана.

— Мой другъ, что отъ насъ зависѣло, мы исполнили; самое главное было дать тебѣ образованіе—теперь ты ужъ на своихъ ногахъ. Съ такимъ образованіемъ, которое ты получилъ, съ такимъ блестящимъ знакомствомъ...

Но ничего изъ этихъ собесѣдованій не выходитъ, потому что и сами бесѣдующіе внутренно сознаютъ, что говорятъ неправду. Петенька правъ, по крайней мѣрѣ, хоть въ томъ, что если не поддержать его, пока онъ не взберется кому-нибудь на плечи, или пока плотно къ кому-нибудь не присосется, то изъ всего его «блестящаго» образованія ни чорта не выйдетъ.

---

Съ такими мыслями и соображеніями рѣшено было поѣхать всѣмъ вмѣстѣ въ Осиновку и тамъ, на мѣстѣ, тщательно высмотрѣвъ и сообразивъ, извлечь изъ имѣнія послѣдніе соки и этими соками полить то растеніе, которое должно будетъ распуститься роскошными цвѣтами на петербургской департаментской почвѣ. Не полагаясь болѣе на опытъ родителей, не питая къ нимъ довѣрія, Петенька съ какимъ-то ожесточеніемъ ѣхалъ въ Осиновку. Фактъ необходимости достать денегъ во что бы то ни стало и откуда бы то ни было былъ констатированъ, и всѣ помышленія были сосредоточены только на средствахъ и способахъ достать ихъ.

— Вѣдь вы, маменька, всю землю сдали въ аренду?

— Всю, мой другъ.

— Въ такомъ случаѣ зачѣмъ же вамъ всѣ эти постройки—риги, амбары —вѣдь ихъ тоже можно продать? Вѣдь дадутъ же за нихъ что-нибудь?

— Во-первыхъ, мой другъ, что же это такое будетъ? Это ужъ значитъ, ты хочешь просто разорить имѣніе. И потомъ вѣдь это все сдано Подугольникову въ аренду...

— Я, маменька, вашего имѣнія разорять не хочу и ѣду туда только потому, что вы просили меня сами вмѣстѣ съ папенькой пріѣхать туда, осмотрѣть все и постараться найти источники новыхъ доходовъ. Я вамъ ихъ указываю, а если

это вамъ не нравится, то я могу или совсѣмъ туда не ѣхать, или, пріѣхавъ, буду въ моихъ сужденіяхъ воздержанъ и ничего не буду высказывать...

— Да ты пойми же, наконецъ, — ужъ болѣе раздраженнымъ тономъ отвѣчаетъ маменька:—развѣ это доходы — продажа хозяйственныхъ построекъ? Я такого образованія, какъ ты, не получила, а все-таки понимаю, что это «разореніе отчаго гнѣзда» — и только. Мы съ отцомъ про новые источники доходовъ тебѣ говорили, а ты...

Такого рода недоразумѣнія и несогласія во взглядахъ еще до пріѣзда въ Осиновку уже непріятно дѣйствовали на Петеньку, представившаго было себѣ Осиновку какъ бы объятою пламенемъ, изъ котораго онъ, какъ смѣлый и ловкій пожарный, все будетъ извлекать, и что бы онъ ни извлекъ— все его будетъ. Но Петенька, несмотря на свое несовершеннолѣтіе, былъ уже мальчикомъ съ ноготкомъ и совершенно справедливо говорилъ маменькѣ, что хотя училища ихъ и закрытыя, но онъ въ нѣкоторомъ родѣ прошелъ уже и огонь, и воду, и мѣдныя трубы.

Такимъ образомъ разногласіе съ маменькой относительно способовъ извлеченія доходовъ изъ имѣнія хотя и подѣйствовало на него непріятно, но онъ твердо рѣшилъ, что, такъ или иначе, безъ денегъ въ Петербургъ не вернется, хотя бы пришлось продать для этого не только амбаръ и ригу, но даже самый домъ... И вдругъ—сюрпризъ! Огромный шкапъ съ образами въ серебряныхъ и золоченыхъ ризахъ, испоконъ-вѣку стоявшій въ спальнѣ, вспомнился ему довольно отчетливо, и онъ, не сообразивъ всей безтактности своего вопроса, ляпнулъ его маменькѣ прямо и безъ всякихъ обиняковъ...

— Маменька, мой другъ, а почемъ серебро продаютъ въ ломъ?..

— Это тебѣ, мой другъ, зачѣмъ же нужно знать? У тебя развѣ есть такое серебро?

— Нѣтъ, я говорю это, если бы въ Осиновкѣ нашлось что-нибудь изъ стараго серебра...

Маменька вскинула на него глаза и уставилась.

— Ужъ не къ образамъ ли ты подъѣзжаешь?

— Вы, кажется, маменька, хотите, просто, доставить мнѣ удовольствіе прожить у васъ въ деревнѣ нѣсколько лѣтнихъ мѣсяцевъ, и затѣмъ, давъ мнѣ на дорогу сто рублей, позволите ѣхать въ Петербургъ. Такъ, мой другъ?—кротко и даже ласково испытывалъ онъ и взялъ материну руку, чтобы поцѣловать.

Но мать, разумѣется, сейчасъ же поняла все ехидство, отняла руку и глубоко огорчилась, даже до слезъ.

— И гдѣ у тебя сердце послѣ этого, и въ кого это ты родился!..—крикнула она на весь вагонъ, такъ что всѣ оглянулись на нихъ.

Съ такими неестественными, можно сказать, чувствами злобы они, наконецъ, пріѣхали въ Осиновку, гдѣ, какъ сказано, самымъ конституціоннымъ образомъ правилъ дѣлами теперь папенька, т.-е. собственно не правилъ даже ничѣмъ, а каждый день изобрѣталъ все новые и новые проекты полученія отъ Подугольникова впередъ еще денегъ; но тотъ всѣ бесѣды на этотъ счетъ кончалъ однимъ полнѣйшимъ отказомъ. Встрѣчу Петеньки съ отцомъ можно назвать тоже странною.

Маменька, по пріѣздѣ, тотчасъ же ушла въ спальню, тамъ заперлась и начала молиться передъ упомянутымъ выше шкапомъ съ образами въ серебряныхъ ризахъ. Папенька же взялъ Петеньку за бока и не то чтобы пристыженно, а какъ-то приниженно-заискивающе, какъ бы извиняясь, проговорилъ:

— Ну, очень радъ—теперь ты самъ... теперь все увидишь, теперь дѣлай, какъ знаешь... Мнѣ, старику... мнѣ горсть земли!

Петенька обнялъ его и, трижды поцѣловавъ, сказалъ:

— Папенька! живите, живите и живите. Надо только быть твердымъ и благоразумнымъ. Поддержите меня только теперь. Вы понимаете, отъ первыхъ моихъ шаговъ въ обществѣ все зависитъ. Не надо только имѣть предразсудковъ. Средства мы найдемъ—мы найдемъ, что продать...

— Другъ мой! ужъ все продано, что можно было продать. Не обманывайся на этотъ счетъ. Трудно намъ.

— Поищемъ — найдемъ, — кротко и успокаивающе сказалъ Петенька, и, ласково обнявъ отца, повелъ его на балконъ.

— Папенька, что это за личности ходятъ тамъ въ цвѣтникѣ?—спросилъ онъ, увидѣвъ двухъ мѣщанъ съ бородками, въ синихъ длиннополыхъ разстегнутыхъ сюртукахъ, позволявшихъ видѣть выпущенныя изъ-подъ жилетовъ розовыя ситцевыя рубашки.

— Ахъ, мой другъ, не спрашивай! видѣть я ихъ не могу — это племянники Подугольникова. Они сняли фруктовый садъ въ аренду — ну, цѣлый день вотъ тутъ вертятся передъ глазами.

— А деньги у нихъ есть? Они, можетъ-быть, будутъ намъ полезны!

— Нѣтъ, мой другъ, это ужъ испробовано — они ничего не дадутъ. Вчера, повѣришь ли, просилъ пятьдесятъ рублей—не дали! Говорятъ, денегъ нѣтъ; а я положительно знаю, что у нихъ у обоихъ тысячъ десять капиталу.

— Нѣтъ, папенька, я не про заемъ у нихъ говорю, а такъ, вообще. Можетъ-быть, они согласятся на какую-нибудь комбинацію.

— На какую же, мой другъ?

Въ это время взоръ Петеньки совершенно случайно остановился вдали на широкой длинной липовой аллеѣ.

— А что, папенька, вѣдь здѣсь лѣсовъ мало, все степи?

— Да, мой другъ, степи, да и были у кого лѣса, такъ тоже, какъ и мы, пораспродали.

— Такъ что, папенька, лѣсъ у насъ, значитъ, вообще въ цѣнѣ?

— Еще бы!

— А почемъ, напримѣръ, можно купить (онъ чуть-чуть не сказалъ продать, но не сказалъ потому, что для чего же вызывать пошлую сцену?) большое толстое липовое дерево?

— Т.-е. какъ это толстое?

— Ну, вотъ хоть такое, какъ вотъ эти липки?

— Да тебѣ зачѣмъ это нужно? Ты ужъ говори лучше прямо: ты думаешь продать садъ на срубъ? Такъ, что ли? А?..

— Вотъ видите, папенька... Надо на что-нибудь рѣшиться, надо что-нибудь дѣлать. Вы рѣшите сами про себя, одни, въ душѣ, что для васъ дороже: я ли, мое счастье, моя карьера, или старыя постройки, старый, безтолковый, запущенный садъ, въ которомъ если есть что хорошаго, такъ, конечно, только то, что его можно дорого продать, благодаря здѣшнему безлѣсному мѣсту.

Папенька стоялъ неподвижно, какъ-то недоумѣло, поднявъ брови и уставивъ глаза куда-то вдаль, въ ту сторону, гдѣ темнѣла широкая темно-зеленая липовая аллея съ позлащенными заходящимъ солнцемъ вершинами.

— Впрочемъ, папенька, если это васъ... Если для васъ это такъ дорого...

— А? что?.. Что ты сказалъ?—очнулся старикъ.

— Я говорю, папенька, что если это для васъ...

— А мнѣ что?.. Мнѣ горсть земли — и больше ничего. Это ты вотъ ужо съ матерью объ этомъ. А мнѣ что—моя пѣсня спѣта!

И папенька часто-часто заморгалъ глазами; по щекамъ потекли слезы.

— Я повторяю, папенька, что если это для васъ тяжело, если...

— Ахъ, дѣлай, что хочешь!

Остатокъ этого дня Петенька провелъ въ осмотрѣ сада, усадьбы, хозяйственныхъ построекъ, всюду заглядывая, все вынюхивая.

А папенька съ маменькой все это видѣли изъ окна и бесѣдовали промежъ себя:

— Вѣдь это онъ все высматриваетъ, чтобы продать что-нибудь!— говорила маменька.—И въ кого это онъ у насъ уродился такой ненасытный и жестокій!

Вечеръ провели бурно. Хотя Петенька и былъ почтителенъ и вѣжливъ къ родителямъ, но эта почтительность «только масло въ огонь». Маменька горячилась до того, что одинъ разъ хотѣла было даже проклясть его, и только вмѣшательство папеньки утишило бурю. Слѣдующій день и еще одинъ день Петенька посвятилъ тому же, т.-е. болѣе подробно все высмотрѣлъ и вынюхалъ и ко всему прицѣнился. Племянники Подугольникова во всѣхъ этихъ экспедиціяхъ ему сопутствовали, и онъ отъ нихъ много полезныхъ свѣдѣній и указаній заимствовалъ.

Когда такимъ образомъ Петенька все вынюхалъ и даже составилъ «карандашикомъ» опись всему съ оцѣнкою, то рѣшился приступить къ дѣйствію. Дѣло происходило вечеромъ. Какъ «благовоспитанный» и «приличный» мальчикъ, Петенька, разумѣется, терпѣть не могъ сценъ,

и потому передъ началомъ разговора заручился обѣщаніемъ папеньки и маменьки, что они не будутъ горячиться, а, напротивъ, выслушаютъ спокойно, благоразумно обсудятъ и приступятъ къ дѣйствіямъ.

Какъ и слѣдовало ожидать, Петенька на этотъ разъ побѣдилъ. Рѣшено было, ничего не жалѣя, все распродать, а самимъ переѣхать въ городъ, гдѣ папенька поступитъ на какую-нибудь службу. При выборѣ города, въ которомъ должны были поселиться папенька съ маменькой, вышелъ, конечно, споръ, который чуть-чуть было не испортилъ всего дѣла. Папенька съ маменькой хотѣли переѣхать въ Петербургъ и нанять квартиру хоть на Петербургской сторонѣ, гдѣ подешевле, но лишь бы Петенька былъ у нихъ на глазахъ. Онъ же, напротивъ, настаивалъ, чтобы они жили гдѣ угодно, только не въ Петербургѣ, ибо если они будутъ тамъ жить, то товарищи его это непремѣнно пронюхаютъ, и всѣ узнаютъ, что они впали въ бѣдность, а это можетъ окончательно испортить всю его карьеру.

Это взбѣсило опять маменьку.

— Да что же это за карьера твоя такая подлая, если для нея сынъ отъ родного отца съ матерью отказывается?

И какъ ясно и справедливо Петенька ни доказывалъ, что онъ настаиваетъ на этомъ не отъ жестокости своего сердца и не отъ недостатка чувствъ къ родителямъ, а дѣйствительно въ интересахъ карьеры, маменька все-таки ничего не поняла. Наконецъ было порѣшено такъ: они будутъ жить и скромно, но «прилично» на Петербургской сторонѣ и показываться въ его квартирѣ не будутъ. Онъ же будетъ пріѣзжать къ нимъ на Петербургскую по воскресеньямъ къ пирогу.

— Вѣдь вы, маменька, такіе славные пироги дѣлаете, что я бы одинъ, кажется, все съѣлъ... съ пальчиками вашими! — необыкновенно кротко и любовно сказалъ Петенька, и совсѣмъ было ужъ взялъ руку матери, но она и на этотъ разъ отняла.

— Да ты и такъ все одинъ съѣлъ. Изъ-за кого же мы и разорились-то, какъ не изъ-за тебя!

Но онъ не обидѣлся и кротко сказалъ:

— Это, маменька, съ вашей стороны несправедливо, но Богъ съ вами, не будемъ объ этомъ говорить!

Разореніе «отчаго дома» началось на другой же день. «Гнѣздо» буквально растащили въ какую-нибудь недѣлю. Изъ города пріѣхали еще два племянника Подугольниковыхъ, которые, вмѣстѣ съ бывшими двумя, и купили всю рухлядь. Амбаръ, ригу, конюшню и домъ, а равно и садъ на срубъ купилъ самъ старикъ Подугольниковъ, разумѣется, купилъ онъ это все за «полцѣны».

Петенька былъ при этомъ неутомимъ. Самъ лазалъ на чердакъ, составилъ всему инвентарь, до того подробный, что включилъ въ него даже и ночныя вазы самой грубой горшечной работы. Самъ сосчиталъ и смѣрилъ въ толщину всѣ липы, клены и сосны въ саду.

Папенька ходилъ какъ лишившійся разсудка и на все соглашался, только повторялъ: «Мнѣ—горсть земли. Я — что?»

Маменька, напротивъ, видя, какъ хлопочетъ, торгуется, пишетъ и лазаетъ Петенька, приходила, просто, въ ожесточеніе.

— Да онъ вѣдь радуется, ты не видишь развѣ?—говорила она папенькѣ.— И въ кого онъ только уродился!

Наконецъ все было продано, увезено, такъ что Петенька, обойдя пустыя комнаты, не нашелъ рѣшительно ни одного предмета, который можно бы было продать хоть за копейку. Подали карету (ее также купилъ самъ старикъ Подугольниковъ, а потому теперь «отъ себя» приказывалъ кучеру привезти ее обратно въ сохранности). Петенька предчувствовалъ, что при отъѣздѣ будетъ сцена, и потому, чтобы избѣжать ея, нарочно раньше ушелъ и сѣлъ въ карету. Но онъ ошибся. Отъ маменьки не такъ легко было отдѣлаться.

— Гдѣ жъ онъ? Позовите его,—говорила она.—Пусть хоть лобъ-то перекреститъ, выѣзжая изъ «отчаго дома».

— Вы, маменька, кажется, звали меня?—началъ было онъ, появляясь передъ ней.

— Да-съ, звала-съ. Уѣзжая, надо присѣсть и Богу помолиться. Ты въ этомъ домѣ родился, и для тебя теперь его продали—такъ хоть лобъ перекрести въ немъ послѣдній разъ.

Понимая, что никакія пререканія ни къ чему не приведутъ, Петенька все это пропустилъ мимо ушей и опустился на стулъ возлѣ папеньки. Когда, наконецъ, помолившись Богу, всѣ встали, а маменька по-

шла въ послѣдній разъ обойти комнаты, въ которыхъ, кромѣ голыхъ стѣнъ, ничего не было, и когда она вошла въ спальню, гдѣ зачала и потомъ родила «его», съ ней чуть-чуть не сдѣлалось дурно.

Здѣсь мы должны будемъ разстаться съ Петенькой. Онъ намъ дальше уже не нуженъ ни на что. Онъ могъ интересовать насъ въ данномъ случаѣ только какъ одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ «разоренія»—и только. «Отчій домъ» разоренъ общими усиліями. Кѣмъ, какъ и во имя чего—это мы сейчасъ видѣли, а что до того, заказалъ ли Петенька на вырученныя деньги сто паръ штановъ Тедески или только пятьдесятъ, и гдѣ, на Выборгской или на Петербургской сторонѣ, поселились папенька съ маменькой—это ужъ къ нашему дѣлу не идетъ.

Но вотъ вопросы для насъ интереснѣе. Сколько Осиновокъ, Покровскихъ, Ивановскихъ, Семеновокъ и проч. продано съ аукціона и по вольной цѣнѣ исключительно въ силу только этихъ причинъ, т.-е. «отдыха» и «воспитанія дѣтей»?!

Воспитаніе и образованіе, даваемое помѣщичьимъ дѣтямъ, то ли воспитаніе, которое нужно, чтобы быть хорошимъ, развитымъ хозяиномъ въ своемъ имѣніи; не наоборотъ ли?

Такъ какъ Петенька, вслѣдствіе Положенія 19-го февраля, утратившій возможность сосать сокъ изъ Осиновки, перенесъ это занятіе на болѣе обширную арену, общественную, то какая изъ этихъ операцій лучше?

---

Такъ погибли помѣщики малодушные и легкомысленные; энергичные же обратили свое вниманіе на «раціональное хозяйство», земельные банки, концессіи и проч. и проч.

## „Новый баринъ“.

Новая метла чище мететъ.

Прежде, т.-е. до начала нашего оскудѣнія, городъ и деревня были совсѣмъ въ другихъ отношеніяхъ, чѣмъ теперь. Прежде вся сила была въ деревнѣ, несмотря даже на то, что начальство и подьячіе жили въ городѣ. Начальство, т.-е. исправниковъ и подьячихъ для земскаго и уѣзднаго судовъ, мы выбирали сами, и такъ какъ, по правдѣ говоря, хорошій человѣкъ на эти должности не шелъ, то набирали мы себѣ это начальство изъ всякой что ни на есть горечи: изъ самыхъ захудалыхъ дворянчиковъ, даже не помѣщиковъ, а такъ, просто, дворянчиковъ, изъ дѣтей умершихъ или подъ судъ попавшихъ подьячихъ, служившихъ прежде въ нашемъ уѣздѣ, изъ дѣтей городскихъ поповъ, почему-нибудь непринявшихъ ангельскаго чина, и пр. и пр. Понятно, что вся эта голь была голодна, прожорлива и ужасно плодуща. Уже по одному этому она была у насъ въ полной зависимости и покорности. Кто дастъ ей муки, крупы, овса, масла, гусей, кто, хотя и заочно, восприметъ отъ купели у ней ребенка? Кто, если она проворуется и попадетъ, наконецъ, подъ судъ, заступится за нее передъ губернаторомъ? Не кто иной, какъ помѣщикъ, представитель деревни.

Ясно, что со всей этой братіей нечего было церемониться, и мы, дѣйствительно, не церемонились. Надо почему-нибудь ѣхать въ судъ, т.-е. въ городъ, а не хочется, лѣнь—ну, и пошлешь, бывало, за засѣдателемъ или за какимъ-нибудь непремѣннымъ членомъ. И дѣло сдѣлано: и я спокоенъ, и онъ радъ, потому, ему за труды дали и гусятины, и мучки, и овса для той кривой кобылы, на которой онъ ѣздитъ въ городѣ и которая подарена на зубокъ его дѣтенышу при крещеніи. А затѣмъ хотя было и другое начальство, но до насъ оно не касалось, если не считать почтмейстера, который отъ насъ же бывалъ сытъ. Городничій, квартальные, казначей, стряпчій, протопопъ, штатный смотритель уѣзднаго училища и еще какихъ-то два-три чина—эти до насъ совершенно ужъ ничего не имѣли, и потому были на попеченіи не у насъ, а у купцовъ и «гражданъ», а мы если и давали имъ, то больше по привычкѣ давать всякому мундирному человѣку. Такимъ образомъ надобности ѣздить въ городъ по дѣламъ у насъ прежде почти что не было. Каждую недѣлю ѣздилъ въ городъ одинъ только предводитель, считающійся, какъ извѣстно, предсѣдателемъ дворянской опеки. Да и онъ ѣздилъ аккуратно тогда только, если у него была заведена тамъ

метресса, потому что за протоколистомъ опеки можно было и послать, а подписать бумаги нетрудно и дома. Въ этомъ отношеніи было отлично жить: и покойно и почетно. На именины, на рожденія, а также въ большіе праздники и безъ того всѣ судьи и вообще начальство непремѣнно пріѣзжали изъ города. Иные осмѣливались (разумѣется, съ позволенія) привозить съ собою своихъ женъ и дѣтей. И, какъ живые, они у меня и теперь передъ глазами—жалкіе, худые... Совсѣмъ неправда, что подьячіе, т.-е. вообще стряпчіе, засѣдатели, непремѣнные члены и проч., были жирные и толстые. Напротивъ, всѣ они были блѣдные, сутуловатые, со впалой грудью, съ узкими плечами. Только одни животы у всѣхъ были огромные, оттого и казались тѣломъ толсты...

Гораздо крѣпче была другая наша связь съ городомъ: бакалейныя лавки и трактиры.

И теперь одурь возьметъ, если проживешь въ деревнѣ безвыходно два-три мѣсяца, а тогда ужъ и говорить нечего, какая была скука. Теперь и газеты завелись, и желѣзныя дороги, и все такое, а пятнадцать-двадцать лѣтъ назадъ все это было еще въ самомъ зародышѣ и существовало гдѣ-то тамъ, а не у насъ.

Возьметъ тебя, бывало, скука, и ѣдешь въ городъ. Тамъ и икра, и осетрина свѣжая, и семга, и на бильярдѣ можно поиграть, и съ арфистками попутаться. И потомъ непремѣнно какого-нибудь ремонтера встрѣтишь. А съ кѣмъ же лучше можно отвести душу отставному штабсъ-ротмистру, какъ не съ служащимъ штабсъ-ротмистромъ? Это, повидимому, пустое обстоятельство не слѣдуетъ упускать изъ виду. Никогда не слѣдуетъ забывать, что не только дѣды, но и отцы и дяди наши—всѣ сплошь почти были армейскіе и гвардейскіе отставные поручики и штабсъ-ротмистры. Привыкли они къ бродячей походной жизни и хотя съ лѣтами и осѣдали въ деревнѣ и подчинялись нашимъ маменькамъ и тетенькамъ, но и городъ и привычки брали-таки свое. Тайкомъ или открыто, подъ какимъ-нибудь предлогомъ, они удирали въ городъ и отводили тамъ свою душеньку.

Но и кромѣ этихъ незаконныхъ, такъ сказать, причинъ городъ обязательно посѣщался во время ярмарокъ, т.-е. разъ или два въ году. Въ это время всегда почти пріѣзжали съ женами и дѣтьми. Тутъ закупалась провизія, т.-е. чай, сахаръ, кофе, лавровый листъ, зеленый горошекъ и проч. и проч. Тутъ же покупались и обновки для всей семьи.

Затѣмъ всѣ разъѣзжались по своимъ Ивановкамъ и Осиновкамъ, увозя съ собою обновки, провизію и пріятныя воспоминанія до слѣдующаго раза.

Такимъ образомъ городомъ мы, такъ сказать, лакомились, ѣздили туда, какъ на пикникъ какой; увлекались, легкомысленничали тамъ одни или всесемейно и, возвращаясь домой, возвращались *къ дѣлу*. Совсѣмъ иначе относился къ намъ городъ. Онъ смотрѣлъ на насъ серьезно, съ почтеніемъ, даже подличалъ передъ нами. Мы были ему *необходимы*, потому что онъ нами жилъ. Онъ покупалъ у насъ пшеницу, рожь, овесъ, лошадей, птицъ, масло и проч.; торговалъ всѣмъ этимъ, наживался, и въ то время, когда мы лакомились икрой, семгой, заказывали и ѣли селянки и играли на бильярдѣ, онъ, городъ, получалъ и копилъ барыши, низко раскланиваясь съ нами.

Тогдашній представитель города, купецъ, такъ же мало походилъ на теперешняго купца, какъ теперешній ощипанный помѣщикъ походитъ на прежняго помѣщика. Товаръ свой, хлѣбъ и проч., мы къ купцу въ городъ для запродажи не возили тогда, какъ теперь. «Купецъ» самъ къ намъ пріѣзжалъ и пріѣзжалъ не такъ, какъ теперь, а скромно, на бѣговыхъ дрожкахъ или въ тележкѣ.

Подъѣдетъ, бывало, не прямо къ крыльцу барскаго дома, а къ флигелю, гдѣ живетъ приказчикъ, или у конюшни остановится. И съ приказчикомъ поговоритъ, и съ тѣмъ, и съ другимъ, и потомъ ужъ, часа черезъ три, пойдетъ въ домъ.

— Ермила Антонычъ пріѣхалъ.

— А! Ну, пошли его въ кабинетъ. Самоваръ поставить.

Дальше кабинета Ермила Антоновъ, которому говорили, разумѣется, «ты» и не проникалъ никогда. Тамъ онъ сторговывалъ пшеницу или что другое, тамъ «напузыривали» его чаемъ, тамъ онъ отдавалъ деньги и оттуда уходилъ спать къ приказчику; скуки ради, его оставляли ночевать, чтобы было съ кѣмъ поболтать завтра утромъ на конюшнѣ.

На «купца» смотрѣли не то чтобы съ презрѣніемъ, а такъ, какъ-то чудно. Гдѣ, дескать, тебѣ до насъ! Такой же ты мужикъ, какъ и всѣ, только вотъ синій сюртукъ носишь да пообтесался немного между господами, а посадить обѣдать съ собой вмѣстѣ все-таки нельзя: въ салфетку сморкаешься.

Не знаю, понимали ли или, лучше сказать, чувствовали ли «купцы», что на нихъ такъ «господа» смотрятъ, но если и понимали, они этого все-таки не показывали. Они дѣлали свое дѣло, покупали и продавали, садились на ближайшій стулъ отъ двери, вставали съ него каждую минуту, улыбались, потѣли, утирались, будучи совершенно не въ состояніи понять нашихъ разсужденій о политикѣ и всякой чертовщинѣ, составлявшей предметъ нашихъ безконечныхъ разсужденій, какъ только мы, бывало, съѣдемся. Не будетъ ошибкой, если мы допустимъ, что, слушая наши разсужденія о томъ, что́ предприметъ Наполеонъ и какіе планы у Пальмерстона, и наслушавшись утромъ у приказчика его разсказовъ о той путаницѣ и безтолковщинѣ, какая идетъ у насъ въ хозяйствѣ, они думали: э-эхъ, далось имъ въ руки сокровище—земля, да еще работники къ ней даровые, а они, вмѣсто дѣла, чертовщину несутъ!

Таковы были взаимныя отношенія города и деревни вплоть до 19-го февраля.

Тутъ все сразу измѣнилось.

Впопыхахъ и въ заботахъ о своей безопасности, мы и не сообразили даже, что «городъ», т.-е. купцы—почти всѣ сплошь дѣти нашихъ же отпущенниковъ, а очень многіе и сами были когда-то крѣпостными, откупались, записывались въ мѣщане, расторговывались и дѣлались купцами. Хотя все это ни для кого изъ насъ не было новостью, но мы, тѣмъ не менѣе, съ удивленіемъ и даже съ какимъ-то больнымъ чувствомъ въ сердцѣ стали явственно замѣчать, что всѣ ихъ, купцовъ, симпатіи не на нашей сторонѣ, а на мужицкой. Начнешь, бывало, жаловаться какому-нибудь Ермилѣ Антонову на свое положеніе, начнешь разсказывать, какъ «распустили» народъ, а онъ слушаетъ-слушаетъ, икнетъ да и скажетъ:

— Великую милость даровали народу!..

Такое же точно грустное и даже обидное разочарованіе намъ преподносили и «попы». Какъ ни благодѣтельствовали мы имъ — я не говорю, разумѣется, объ исключеніяхъ, — они всѣ поголовно были тоже на мужицкой сторонѣ; но о нихъ здѣсь нечего распространяться, и если я упомянулъ объ этомъ, то потому только, чтобы показать, въ какомъ изолированномъ положеніи мы вдругъ очутились.

Конечно, чувство зависти у тѣхъ и другихъ къ нашему привилегированному сословію было причиной ихъ злорадства, когда они увидѣли насъ «въ бѣдѣ»; но намъ, лишившимся этихъ привилегій, узнать, что мы окружены врагами, что люди, которые всегда называли насъ своими благодѣтелями и потомъ нажились отъ насъ, теперь радуются нашему «несчастію»,—узнать это, повторяю, было тяжело и обидно.

И ничего нѣтъ страннаго, что добрая половина изъ насъ была не въ состояніи перенести всѣхъ этихъ обидъ, огорченій, волненій, оскорбленій, плюнула на все и уѣхала кто «отдыхать» и «воспитывать дѣтей», кто «подышать чистымъ воздухомъ за границу», да къ тому же «тамъ и жизнь дешевле, не говоря ужъ объ удобствахъ». Болѣе же энергичные пытались скорѣе завести «заграницу» у себя дома, въ своихъ Ивановкахъ и Осиновкахъ, накупили машинъ, завели нѣмцевъ, выписали вестфальскихъ свиней и сѣмена пшеницы, найденныя въ египетскихъ муміяхъ, продѣлали невѣроятные, по смѣлости, эксперименты надъ наукой и логикой, но въ концѣ-концовъ, «уходились» и они. И они плюнули на все, бросили кому попало на руки или вовсе продавали свои Осиновки и Ивановки и сдѣлали то же, что и «легкомысленные», т.-е. уѣхали «отдыхать». А между тѣмъ для оставшихся жизнь, выбитая изъ прежней колеи, тащилась по какой-то новой, совсѣмъ невѣдомой дорогѣ, гдѣ, что ни шагъ, то сюрпризъ. Явились мировые посредники, начальникомъ сталъ свой же братъ-сосѣдъ. Исправниковъ стали назначать губернаторы, а не выбирать. Прошло еще столько-то времени, и словно изъ земли выросли судебные слѣдователи, а тамъ ужъ и пошло... Каждый, какъ споконъ вѣку заведено это у насъ, дудилъ въ свою, разумѣется, дудку, и началось чортъ знаетъ что. Недѣли не проходило, чтобы не было

надобности ѣхать въ городъ то къ тому, то къ другому начальнику.

И такое обиліе начальства явилось вдругъ послѣ совершеннаго, можно сказать, отсутствія его!

А «попы», между тѣмъ, злорадствуютъ и хоть называютъ насъ попрежнему «благодѣтелями», но это «одинъ обманъ»: по глазамъ видно, что злорадствуютъ... А съ другой стороны подмигиваютъ, глядя на насъ, купцы и якобы изъ участія, а на дѣлѣ по злорадству же, разспрашиваютъ у насъ о нашихъ «несчастіяхъ» и затрудненіяхъ.

— Да, баринъ, житье-то не прежнее, я вижу. Трудно, что и говорить!

И вслѣдъ за этимъ вдругъ:

— Великая милость дана народу!..

Спрашивается: какую безстыжую силу воли надо было имѣть, чтобы вынести все это?.. А «городъ» тѣмъ временемъ все болѣе и болѣе тяжко насѣдалъ на «деревню», т.-е. на насъ. Всѣ эти поѣздки и мытарства требовали денегъ, а онѣ развѣ были у кого въ запасѣ? И потомъ, какъ ни плохо и глупо велось хозяйство, все-таки, когда хозяинъ жилъ въ деревнѣ, хоть воровства-то, по крайней мѣрѣ, не было, а теперь, когда чуть не круглый годъ пришлось жить въ тарантасѣ или въ городѣ, въ гостиницѣ, понятно, все стало разваливаться и «прахомъ итти».

Всѣмъ намъ въ это время до зарѣзу нужны были деньги. А деньги были у «купца». Надо, стало-быть, за ними обратиться къ «нему». Мы обращались, и «онъ» давалъ. Сначала, сгоряча, эту податливость его и ту охоту, съ которой «онъ» давалъ намъ деньги, мы приняли было за дань его уваженія и благодарности къ намъ, такъ какъ «вѣдь онъ отъ насъ же нажился», но эти идиллическіе взгляды на «кулака» продержались очень недолго. Подугольниковъ далъ разъ, два, три, подождалъ, и порядочно-таки подождалъ, да вдругъ и пріѣхалъ самъ.

Хотя этотъ разъ попрежнему его дальше кабинета не пустили, но онъ уже самъ попросилъ, чтобы подали ему водочки, и спать на ночь къ управляющему во флигель не пошелъ, а спалъ въ кабинетѣ на диванѣ.

Утромъ же, вставши чуть ли не на зарѣ, обошелъ и осмотрѣлъ все хозяйство, обо всемъ разспросилъ и хотя, уѣзжая, склонился на просьбу и далъ еще денегъ взаймы, но это былъ уже не тотъ; не прежній Подугольниковъ, который, бывало, только потѣлъ и утирался... А когда онъ пріѣхалъ еще слѣдующій разъ, то его не только пришлось опять положить спать въ кабинетѣ на диванѣ, но надо было позвать обѣдать въ столовую, строго-настрого приказавъ дѣтямъ не смѣяться, если Подугольниковъ станетъ сморкаться въ салфетку.

Конецъ едва ли надо разсказывать. Онъ такъ понятенъ и естественъ. Онъ долженъ былъ оказаться именно такимъ, какимъ онъ и вышелъ, т.-е. Подугольниковъ долженъ былъ «слопать» насъ и — слопалъ.

Такимъ образомъ руки, подхватившія Осиновки и Ивановки, которыя мы «бросали» на аренду или вовсе на «вѣчныя времена», были вначалѣ руки по преимуществу купеческія. Мнѣ, конечно, нечего говорить, что здѣсь все время подъ общимъ именемъ купца я разумѣю и кулака-мѣщанина, и кабатчика, и пр.

Что же начали дѣлать эти руки, когда онѣ подхватили Осиновки и Ивановки?

Я вовсе не апологистъ стараго строя; но изъ этого не слѣдуетъ, что я обязанъ восторгаться новымъ деревенскимъ строемъ, если вижу, что на смѣну одного безобразія являлось другое, и Богъ вѣсть еще, которое изъ нихъ хуже и ядовитѣе. Помѣщикъ, лишенный крѣпостного права, на самый худой конецъ, былъ только безполезный человѣкъ. «Купца», въ томъ смыслѣ, какой онъ постарался присвоить себѣ, «занявшись» Осиновкой или Ивановкой, мало назвать безполезнымъ. И потомъ еще: пятнадцать лѣтъ назадъ у всѣхъ владѣльцевъ этихъ Осиновокъ и Ивановокъ вы, навѣрно, встрѣтили бы и газеты и журналы, увидали бы и гравюры, услыхали бы и рояль, и спать бы вы легли на чистое бѣлье. Теперь, когда поселились купцы 2-й гильдіи, Подугольниковъ и кабатчикъ Луповъ, кромѣ вонючей солонины, тешки севрюжьей, водки и позеленѣлаго самовара, вы ничего не найдете. Поэтому я и не думаю, чтобы въ данномъ случаѣ отечественный прогрессъ что-либо выигралъ отъ такой замѣны.

Читатель извѣстнаго закала, пожалуй, готовъ уже погладить меня за это по го-

ловкѣ, въ надеждѣ, что я вотъ-вотъ сейчасъ начну сѣтовать, отчего «не поддержали во-время помѣщиковъ».

Нѣтъ, дорогой мой, нельзя было. Еще не было такого примѣра, чтобы то, что не имѣетъ въ самомъ себѣ живой силы, будучи поддержано, оживилось и окрѣпло. Мы изуродовали себя своимъ образованіемъ и воспитаніемъ, и, повторяю, такой силы нѣтъ, которая могла бы насъ поднять на ноги и спасти. Кромѣ насъ самихъ, насъ никто не спасетъ и спасти не можетъ.

---

Не дождавшись, когда бывшій владѣлецъ Осиновки выѣдетъ окончательно и навсегда изъ своего гнѣзда, Подугольниковъ уже началъ въ него перебираться. Пріѣхали «молодцы», приказчикъ пріѣхалъ, какой-то «родственникъ». Хотя и глупъ онъ, но «дядинькинова» добра не растратитъ; у него и ключи.

На другой же день по пріѣздѣ, вся эта честная компанія начала свою дѣятельность. Одинъ «молодецъ» съѣздилъ въ деревню, выставилъ у кабака «четверть», угостилъ «стариковъ», поднесъ молодымъ, и деревня прислала даромъ десять подводъ, на которыхъ Подугольниковъ и отправилъ въ городъ всю ту рухлядь, которую онъ купилъ вмѣстѣ съ Осиновкой. «Родственникъ», между тѣмъ, тоже не дремалъ и успѣлъ загнать одного борова крестьянскаго, который зашелъ на бывшій господскій выгонъ и началъ тамъ что-то рыть носомъ; потомъ загналъ еще быка изъ мужицкаго стада, который, увидавъ бывшихъ господскихъ коровъ, а нынѣ принадлежащихъ Подугольникову, не утерпѣлъ и прибѣжалъ къ нимъ на свиданіе. И борова и быка вечеромъ мужики выкупили. Такимъ образомъ, въ первый же день, на первыхъ, можно сказать, порахъ, было получено уже «доходу» около красненькой. Что же дальше-то будетъ, если хорошенько ко всему присмотрѣться?

И дѣйствительно, доходность имѣнія увеличивалась съ каждымъ днемъ все въ томъ же вкусѣ. Такъ, напримѣръ, на краю усадьбы, какъ разъ возлѣ проѣзжей дороги, стояла довольно просторная изба, и въ ней жили ни на что не нужные три старика: бывшій дядька прежняго владѣльца, слѣпой доѣзжачій и разбитый параличомъ буфетчикъ.

— Это вы, старички, ужъ къ своему барину идите, а мнѣ эта изба самому нужна.

— Да куда же, милостивый купецъ, мы пойдемъ къ барину нашему, когда и самъ онъ на вѣтру остался?

— Ну, это ужъ не мое дѣло, а изба мнѣ нужна, и вотъ вамъ недѣля сроку на очистку ея.

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ недѣлю надъ избой висѣла на палкѣ грязная красная тряпка, а надъ тѣми окнами, что выходятъ на дорогу, была прибита вывѣска съ надписью: «Питейный домъ». А такъ какъ кабакъ былъ за двѣ версты отъ деревни, и водка тамъ была дороже, чѣмъ у Подугольникова, то «мужички» и стали ѣздить за ней «на барскій дворъ», чѣмъ, кромѣ оживленія ландшафта, приносили и несомнѣнный доходъ «новому барину».

И много такихъ усовершенствованій Подугольниковъ ввелъ въ «запущенномъ» имѣніи, и всѣ эти усовершенствованія и нововведенія его ничего, кромѣ выгоды, не давали. Все мало-по-малу приняло, и даже довольно быстро, совершенно другой видъ. Садъ и паркъ были вырублены и распаханы плугами подъ бахчи. Та же самая участь, разумѣется, постигла и огороды съ парниками и цвѣтникъ, чортъ знаетъ для чего занимавшій почти десятину земли. Домъ былъ сломанъ и перевезенъ въ городъ, гдѣ его опять собрали, оштукатурили, покрыли, выкрасили и пустили туда жильца, а самъ Подугольниковъ, для «лѣтняго пріѣзда», оставилъ себѣ флигель, въ которомъ до него жили гувернеръ-нѣмецъ и семинаристъ Скворцовъ, преподававшій дѣтямъ «русскіе предметы».

Одну только штуку пощадилъ Подугольниковъ — тріумфальную арку, Богъ ужъ знаетъ для чего выстроенную при въѣздѣ во дворъ. Очень ужъ «прекрасна» была эта арка, сколоченная изъ тесу и выкрашенная въ желтую краску, съ распластанными наверху бѣлыми дѣвами, трубящими славу. Онъ даже влюбился въ нее. Просто глазъ отъ нея оторвать не могъ. Какъ выйдетъ на дворъ, такъ сейчасъ на эту арку и посмотритъ.

— И вѣдь что имъ, прости, Господи, господамъ этимъ, въ голову лѣзло? Въ грѣхъ меня ввели! Когда я первый разъ въѣзжалъ, вѣдь я ихъ за херувимовъ при-

нялъ и крестное знаменіе сдѣлалъ, а они вонъ даже и не ангелы совсѣмъ,— говорилъ онъ «батюшкѣ», пріѣхавшему служить благодарственный молебенъ.

Тѣмъ не менѣе, все-таки арка ему до того нравилась, что онъ, желая сдѣлать ее еще болѣе прекрасной, повѣсилъ на ней зеленый флагъ.

— И какой это здѣсь духъ для дыханія чистый и легкій! — удивлялся все вначалѣ Подугольниковъ, когда пилъ чай послѣ обѣда на крыльцѣ.

— Это оттого, что здѣсь, дяденька, со всѣхъ концовъ вѣтеръ продуваетъ,— отзывался «родственникъ».

— И видно, что дуракъ! У насъ въ городскомъ домѣ отчего такая вонища? Оттого, что свиная бойня на дворѣ. А вотъ, при Божьей помощи, на будущій годъ, какъ устроимъ это самое заведеніе и здѣсь, такъ тоже за версту носы затыкать станутъ.

---

Но, кромѣ Подугольниковыхъ и Луповыхъ, городъ далъ деревнѣ, для сформированія новаго помѣщичьяго сословія, кандидатовъ другого образца. Такъ, почти всѣ бывшіе секретари уголовной и гражданской палаты, губернскіе прокуроры, секретари консисторій, уѣздные стряпчіе, инспекторы врачебной управы, даже штатные смотрители уѣздныхъ училищъ — люди ужъ на что, казалось, маленькіе — и тѣ купили себѣ, каждый по достатку своему, по «имѣньицу».

Весьма естественно, что они, каждый съ своей точки зрѣнія, находили, что бывшій владѣлецъ имѣнія «запустилъ» его, и поэтому, каждый по-своему, принялись выводить запустѣніе, т.-е. предались реформаторской дѣятельности какъ относительно усадьбы, такъ ровно, пораженные невѣжествомъ мужиковъ, не замедлили принять мѣры, которыя могли бы обуздать ихъ своеволіе. И въ то время, когда Подугольниковъ ломалъ и дралъ силой, эти послѣдніе въ свои отношенія къ «мужикамъ» внесли, такъ сказать, нравственно-воспитательный элементъ.

— Видишь, милый мой,— кротко говорилъ мужику, попавшемуся съ нарубленными въ «барской» рощѣ оглоблями, секретарь консисторіи: — я самъ съ тебя штрафу не беру — это будетъ самоуправство, а пусть насъ по закону разсудитъ волостной старшина. Какъ онъ разсудитъ, такъ пусть и будетъ. Можетъ, даже еще и мнѣ тебѣ придется заплатить, какъ смѣлъ я тебя поймать въ моей рощѣ. Я нынѣшнихъ законовъ не знаю. Прежде у насъ, когда я служилъ въ консисторіи, воровать не позволялось, а теперь, можетъ-быть, и разрѣшено...

— Да ужъ не тяни ты мою душеньку по судамъ-то,-- молится мужикъ, хорошо впередъ зная, что если, избави, Господи, дойдетъ дѣло до старшины, то придется втрое заплатить: и «барину», и старшинѣ, и писарю. А времени-то что понапрасну пропадетъ.

— Нѣтъ, ихъ надо къ закону пріучать. Я люблю все по закону. Я самъ привыкъ и ихъ пріучу. Это для ихъ же пользы.

И батюшка, пріѣхавшій сюда служить благодарственный молебенъ, прослушавъ такія совершенно справедливыя замѣчанія и сентеціи бывшаго секретаря консисторіи, а нынѣ помѣщика деревни Осиновки, конечно, не можетъ съ нимъ не согласиться, ибо нашъ мужикъ, дѣйствительно, такъ распущенъ, ахъ, какъ распущенъ!..

Конечно, времени прошло еще слишкомъ мало съ тѣхъ поръ, какъ секретарь консисторіи Сладкопѣвцевъ купилъ Осиновку, и потому еще трудно замѣтить, насколько, благодаря его наставленіямъ и стараніямъ, мужикъ успѣлъ усвоить себѣ понятія о правахъ собственности вообще; но все-таки уваженіе къ священной собственности «новаго барина» замѣтно ужъ и теперь.

И это Сладкопѣвцева сперва даже радовало.

— У меня чуть что — сейчасъ штрафъ. Сперва маленькій, ну, хоть рубль; второй попался — вдвое; въ третій разъ — втрое. Мужика надо учить не дубьемъ, а рублемъ. И т. д. и т. д.

Но въ то же время, чтобы показать мужику, что онъ не изъ корысти единственно штрафуетъ, но и для его же пользы нравственной, Сладкопѣвцевъ всѣ полученные штрафы началъ заносить въ особо-заведенную для сего книжку, и однажды, выходя въ воскресный день изъ церкви, остановился на паперти и кротко обратился къ народу:

— Православные мужички! — сказалъ онъ, — вы негодуете на меня за мою строгость, но я проявляю ее для вашего же усовершенствованія. Вы думаете, я стя-

жалъ — анъ ошибаетесь, и я вамъ это сейчасъ докажу. Батюшка! — обратился онъ къ вышедшему въ это время тоже на паперть служителю церкви, — будьте посредникомъ и свидѣтелемъ. Отнынѣ я объявляю мужичкамъ, что со всякаго налагаемаго на нихъ штрафа два процента жертвую въ пользу бѣднѣйшихъ дѣвицъ духовнаго званія въ нашемъ уѣздѣ. Вы, батюшка, будете получать отъ меня эти деньги, согласно штрафной книжкѣ, и время отъ времени пересылать ихъ къ отцу благочинному. Я никогда не отказывался отъ добраго дѣла,— заключилъ онъ, и голосъ его дрожалъ, а на глазахъ блистали слезы.— Вы думаете, мнѣ легко васъ наказывать?

Тронутые этимъ, мужики молчали и въ знакъ согласія чесали въ затылкахъ.

Но этого мало. Желая еще болѣе доказать свое несребролюбіе и вообще усовершенствовать крестьянъ, Сладкопѣвцевъ началъ каждое воскресенье, послѣ обѣдни, на паперти объявлять прощеніе штрафа одному изъ попавшихся на прошлой недѣлѣ...

---

Но всѣ эти подвиги Подугольникова и Сладкопѣвцева — представителей «новаго барина» — относятся, какъ видитъ читатель, больше къ области сельской и даже, правильнѣе, вотчинной администраціи и очень мало знакомятъ съ ихъ сельскохозяйственной дѣятельностью.

Неужели и Подугольниковъ и Сладкопѣвцевъ, покупая Осиновки, такъ-таки ничего другого въ виду не имѣли, кромѣ обузданія мужиковъ и ихъ усовершенствованія?

Повидимому, такъ.

Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, принять вырубку лѣса, распашку выгоновъ, заведеніе кабаковъ и свиной бойни, чѣмъ ознаменовалъ себя Подугольниковъ, и обширную, удивительно разработанную систему штрафовъ и вымогательствъ, введенную Сладкопѣвцевымъ, за сельскохозяйственную дѣятельность.

Нельзя; но ничего другого, поселившись въ Осиновкахъ, они, тѣмъ не менѣе, не дѣлаютъ.

Конечно, эта дѣятельность иногда разнообразится. Такъ, вмѣсто свиной бойни, иногда Подугольниковъ накупитъ у мужиковъ, во время взысканія податей и недоимокъ, телятъ, коровъ, гусей, утокъ, откормитъ все это, порѣжетъ и свезетъ на продажу въ городъ или на базаръ. Но и это вѣдь какое же сельское хозяйство? Такъ же точно нельзя назвать сельскимъ хозяйствомъ и варіанты занятій Сладкопѣвцева: ростовщичество и кляузничанье.

Вообще надо принять за несомнѣнный фактъ то обстоятельство, что и Подугольниковъ и Сладкопѣвцевъ, сдѣлавшись «господами», обратили гораздо больше вниманія на усовершенствованія мужиковъ, чѣмъ на землю. Землю они оба очень охотно отдаютъ въ аренду мужикамъ, но дѣлаютъ это не такъ, какъ дѣлали прежніе помѣщики, т.-е. отдаютъ не сразу, не всю, за круговой порукой, цѣлому селу, а враздробь, по десятинѣ, по двѣ, по три, и притомъ не иначе, какъ на годъ. И это, какъ показалъ опытъ, несравненно выгоднѣе. Постарому, заплатилъ мужикъ два раза въ годъ аренду или, если онъ неисправный, то заплатило за него село — и конецъ. Они, мужики, свои люди, сочтутся другъ съ другомъ, но помѣщику отъ этой единичной чьей-нибудь неисправности ни тепло ни холодно. При новомъ же способѣ отдачи земель въ аренду это обстоятельство всегда имѣется въ виду, и всегда, кромѣ выгоды, ничего не приноситъ. Положимъ, мужикъ снялъ у «барина» три десятины «подъ озимые»; это значитъ ему слѣдуетъ заплатить (я возьму цѣны Козловскаго уѣзда, Тамбовской губерніи) «барину» 54 рубля (18 рублей за десятину).

— Да вѣдь у тебя, Гриша,— ласково говоритъ ему Сладкопѣвцевъ, — денегъ нѣтъ, и сразу ты мнѣ «всю сумму» отдать за землю не можешь?

— Извѣстно, какіе наши достатки, гдѣ же намъ!

— Ну, вотъ такъ бы и говорилъ. Нечего дѣлать, я тебѣ разсрочу, но только ты вѣдь самъ мужикъ неглупый и понимаешь, что это тебѣ дороже будетъ стоить. Вѣдь тѣ деньги, которыя ты бы мнѣ заплатилъ, въ карманѣ у меня не лежали бы, а были бы въ оборотѣ и приносили бы проценты...

Мужикъ чешетъ въ затылкѣ и, зная очень хорошо, что ему и думать нечего обойтись безъ найма земли, соглашается и платитъ рубля два или три за десятину лишнихъ.

— Да вотъ еще,— какъ бы вспоминая, говоритъ Сладкопѣвцевъ,— у меня вѣдь, ты знаешь, жена безплодная, такъ мнѣ хотѣлось бы на лѣто взять къ себѣ племянничковъ изъ семинаріи. Ужъ ты, голубчикъ, съѣзди за ними, привези ихъ. Я тебѣ дамъ письмо, тогда ты и привезешь ихъ. Лошадки у тебя, слава Богу, есть, и тебѣ вѣдь это ничего не будетъ стоитъ, а имъ, сиротамъ, радость будетъ!

— А въ какое время ѣхать-то за ними надо будетъ? Вѣдь если въ рабочую пору...

— Не скрою отъ тебя, мой милый, въ рабочую.

— Туда день, да тамъ день, да оттуда день...— считаетъ мужикъ.

— Нехорошо, этого не дѣлай. Кто для сиротъ не жалѣетъ, того Богъ не оставитъ.

Въ концѣ-концовъ мужикъ, разумѣется, соглашается ѣхать въ семинарію за племянниками; но, при уходѣ, Сладкопѣвцевъ, опять какъ бы припоминая, останавливаетъ его.

— Совсѣмъ было позабылъ. Жена у меня, ты знаешь, женщина больная, такъ гдѣ ужъ ей по хозяйству заниматься! Вотъ я и сдалъ огороды... Сами мы, такимъ образомъ, останемся на зиму, значитъ, и безъ капустки, и безъ огурчиковъ, и безъ картофельку...

— Это точно, ежели теперь...

— Ну, вотъ то-то и дѣло. Ты самъ понимаешь, самъ мужикъ неглупый. Отъ того, что не сажалъ, сытъ не будешь, а ѣсть зимой и намъ захочется. Такъ ужъ ты, голубчикъ, насчетъ картофеля и прочаго — понимаешь? Это, впрочемъ, я съ тѣмъ и всѣмъ землю роздалъ, чтобы овощами подѣлились. Съ міру по ниткѣ, а голенькому рубашка. Такъ вѣдь, Гриша? Хе-хе...

И такихъ «ниточекъ» голенькому на рубаху выговорить, при сдачѣ земли по новому способу, можно довольно-таки. Но это не все. Наступаетъ срокъ уплаты денегъ; у мужика ихъ, разумѣется, нѣтъ, или если и есть, то не вся «сумма».

— А вотъ это ужъ нехорошо; этого я не люблю. Условіе надо строго держать. Что жъ я теперь буду дѣлать? Я на тебя понадѣялся, а ты вотъ какой...

Мужикъ божится, клянется, что въ слѣдующій взносъ все аккуратно «предоставитъ», но Сладкопѣвцевъ, какъ настоящій современный «сельскій хозяинъ», разумѣется, соблюдаетъ свой интересъ и выговариваетъ себѣ за отсрочку арендной платы еще нѣсколько «ниточекъ».

А такъ какъ мужикъ «для легкости» платитъ ему аренду раза четыре въ годъ, и такъ какъ подобныя сцены повторяются почти всякій разъ, при каждой уплатѣ, то изъ «ниточекъ» образуется иной разъ у Сладкопѣвцева клубочекъ, равный по цѣнности всей арендной суммѣ.

Не менѣе можетъ приносить дохода въ современномъ помѣщичьемъ «сельскомъ хозяйствѣ» и раздача денегъ взаймы. Эта отрасль «хозяйства» тоже очень прибыльна, если вести ее, какъ слѣдуетъ, и имѣть при этомъ мужественный и непреклонный характеръ. Здѣсь этихъ ниточекъ, о которыхъ сейчасъ говорилъ Сладкопѣвцевъ, можно набрать еще больше, и ихъ, дѣйствительно, съ каждымъ годомъ собираютъ все больше и больше.

Самое лучшее здѣсь то обстоятельство, что этой отрасли, несомнѣнно, предстоитъ блестящая будущность. И вотъ почему.

Мужики, какъ извѣстно, повинуются тѣмъ же законамъ и указаніямъ природы, какъ и мы, всѣ прочіе люди. Отсюда ясно, что и имъ, хотя бы инстинктивно, но присуща забота о продолженіи своего рода. Кому и для чего ихъ родъ нуженъ,— это вопросъ другой, но фактъ, тѣмъ не менѣе, остается фактомъ. Что же касается земли, на которой они сидятъ, которая ихъ кормитъ и которая, кромѣ того, должна еще произращать «ниточки» для Сладкопѣвцевыхъ, то въ количествѣ и въ качествѣ своемъ остается она тою же самою, какою была и при подписаніи «мужичками» уставной грамоты. Понятно, что съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе ея «не хватаетъ». А отсюда ясно, что нужда въ займахъ у Сладкопѣвцева растетъ и должна расти точно такъ же прогрессивно, какъ арендная цѣна его земли.

Все это, какъ извѣстно, не ново: это ужъ на всѣ манеры всю прошлую осень жевали наши газеты, и на эту же тему заговаривались въ Вольно-Экономическомъ Обществѣ. Тѣмъ не менѣе, отъ всего этого вопросъ ни на волосъ не подвинулся впередъ и въ своемъ современномъ практическомъ положеніи, кромѣ вышеразсказанныхъ упражненій Сладкопѣвцева, изъ себя ничего не представляетъ.

Чѣмъ все это кончится — вопросъ другой, и рѣшить его я не берусь; но теперь, въ данный моментъ, дѣло стоитъ именно такъ, какъ разсказано. Если принять во вниманіе, что вопросъ такой огромной государственной важности не можетъ быть рѣшенъ ни въ годъ ни въ два, и что для этого разрѣшенія потребуется пройти ему многое множество фазисовъ и инстанцій, то я и не думаю, что мое предсказаніе Сладкопѣвцеву блестящей «сельскохозяйнной» карьеры неосновательно. Напротивъ. Пока что и какъ, а онъ будетъ преспокойно собирать себѣ «ниточки» и наматывать ихъ въ клубочекъ; будетъ долго еще ни жать ни сѣять, и долго еще разные Ѳедьки Корявые, Егорки Кривые и проч. и проч. будутъ ѣздить за «сиротами» въ семинаріи, полагаясь на слова Сладкопѣвцева, что Богъ ихъ не оставитъ за это.

Такое же точно предсказаніе, мнѣ кажется, можно сдѣлать и еще одной отрасли современнаго «сельскаго хозяйства» — сельскимъ аукціонамъ.

Всякій становой, даже самый либеральный и просвѣщенный, долженъ, конечно, наблюдать, чтобы подати и недоимки во ввѣренномъ ему станѣ не накоплялись, а вносились обывателями полностью и своевременно. Это съ одной стороны. А съ другой — всякій, жившій даже не подолгу въ деревнѣ, знаетъ, какое существуетъ у мужиковъ на сей конецъ предубѣжденіе.

Когда, напримѣръ, становой пріѣдетъ за какими-пибудь земскими, земельными и иными платежами къ Подугольникову, тотъ спроситъ «бумагу», по которой съ него «слѣдуетъ», посмотритъ ее, покряхтитъ, вздохнетъ изъ глубины живота своего, вынетъ бумажникъ и заплатитъ деньги. Сладкопѣвцевъ же мало того что заплатитъ, но дастъ еще бумажки все новенькія, чистенькія.

— Это для меня святое дѣло! Знаете ли, — скажетъ онъ становому, — я теперь только вздохнулъ свободно. Ей-Богу.

И всѣмъ пріятно. Никакихъ споровъ, никакихъ угрозъ, никакихъ описей и продажъ — ничего этого у новыхъ помѣщиковъ нѣтъ. Оттого и становой всегда съ удовольствіемъ останется у нихъ и закусить и вообще «пріятно провести время».

— Ну, а какъ получаете съ осиновскихъ мужиковъ? — спроситъ его при этомъ Сладкопѣвцевъ. — Народъ, я знаю, все мошенники.

— Т.-е., какъ вамъ сказать, оно, положимъ... Но все-таки, что жъ я стану дѣлать — не свои же за нихъ платить — назначилъ аукціонъ!

— А когда?

— На пятницу назначенъ. Будете?

— Въ пятницу? Пожалуй. Да стоитъ ли пріѣзжать? Можетъ, такъ же, какъ прошлый разъ.

— Да вѣдь прошлый разъ вы же имъ дали взаймы.

— Вотъ это-то и бѣда моя: не могу я видѣть этихъ страданій. Вѣдь въ ногахъ валяются, а дашь — не платятъ, жди. Оно, конечно... А не знаете, Подугольниковъ будетъ?

— Подугольниковъ-то ужъ навѣрное будетъ. Вы съ нимъ вдвоемъ все и купите.

И тянутся такимъ образомъ они, эти «новые помѣщики», за становыми съ одного аукціона на другой, какъ шакалы за героями на войнѣ. Но и тутъ, въ этой отрасли сельскаго хозяйства, Подугольниковы и Сладкопѣвцевцы держатся совершенно разныхъ пріемовъ. Подугольниковъ, какъ пріѣдетъ въ село, гдѣ назначенъ аукціонъ, сейчасъ прежде всего въ кабакъ, а молодцовъ запуститъ во дворы къ мужикамъ.

— Вы меня слушайте! Лучше отдавайте по вольной цѣнѣ. Теперь дамъ рубль, а ужо на аукціонѣ четвертака не дамъ—все единственно за мной останется. Это я васъ жалѣючи дѣлаю. А какой упрямиться станетъ... Ужъ супротивъ меня вѣдь никто не пойдетъ. Вы на этого Іуду Сладкопѣвцева не смотрите, не зарьтесь на него. Онъ изъ васъ всю кровь высосетъ своими процентами. Я что? Купилъ овцу или корову, и прощай — наживай съ Богомъ другую, мнѣ дѣла нѣтъ, а вѣдь онъ своими процентами обѣихъ слопаетъ.

— Что и говорить,—соглашается мужикъ.—Только ужъ и ты-то больно дешево даешь. Набавь, милый другъ; ну, развѣ слыхано овцу за полтинникъ покупать?

Сладкопѣвцевъ же покупаетъ совершенно иначе. Пріѣхавъ въ село, гдѣ будетъ аукціонъ, остановится тамъ, гдѣ ужъ стоитъ, или гдѣ непремѣнно остановится и становой, если онъ еще не прибылъ. «Мужички» это знаютъ, т.-е. знаютъ, зачѣмъ пріѣхалъ Сладкопѣвцевъ, и потому

возлѣ становой квартиры сейчасъ же собирается толпа. Сладкопѣвцевъ, какъ будто ничего не вѣдая, преспокойно сидитъ себѣ подъ окошкомъ и посматриваетъ на улицу.

— Что это, мужички, вы собрались?

— Да вотъ къ твоей милости. Выручи, заставь Богу молить.

— Что такое?—удивляется онъ. — Иль опять неисправность?

— Опять, родименькій.

— Нехорошо, нехорошо. Какъ же это я васъ выручать стану, когда вы и въ казну-то неаккуратно платите? Вѣдь мнѣ вы и подавно не отдадите.

И долго - долго тянетъ онъ эту канитель, пока, наконецъ, вымотаетъ у нихъ всю душу и добьется какихъ ему нужно условій. А условія эти обыкновенно заключаются въ отдачѣ ему мужиками засѣянной уже земли въ залогъ, съ тѣмъ, что они должны все, что на этой землѣ родится, убрать, обмолотить и урожай пополамъ съ нимъ раздѣлить, да еще, кромѣ того, кстати ужъ заодно, и «ниточекъ» намотаетъ себѣ клубочекъ.

— Только смотрите, мужички, выручить васъ я выручилъ, но и вы зато ужъ будьте аккуратны. Я у васъ ничего не взялъ. Я не этотъ разбойникъ Подугольниковъ. Онъ человѣка раздѣть готовъ; а отъ меня вы уходите—все у васъ цѣло. Вѣдь ни одной овцы у васъ не продали — все за васъ заплатилъ.

— Такъ-то, такъ,—чешутся мужики:— только ужъ больно ты насъ насчетъ посѣвовъ-то нагрѣлъ: смотри вѣдь, половина всего урожая твоя.

— Это, мужички, теперь еще Божье дѣло. Объ этомъ вы не говорите. Посмотримъ еще, какъ хлѣбушка-то въ руки намъ дастся, а теперь что! Развѣ это хлѣбъ — трава одна! Все Богъ.

— Это правда — Его святая воля... А вотъ насчетъ магарычика, если бы твоя милость была...

— Можно. Я развѣ для васъ жалѣю? Я вѣдь не Подугольниковъ. Онъ жидоморъ, а я хоть сейчасъ. Сколько же? Четверти довольно будетъ?

— Что же, милый человѣкъ, на цѣлое село да четверть даешь. Это и по шкалику не хватитъ.

— Ну, хорошо, хорошо. На-те на полведра.

— Да не жадничай ужъ, дай на ведро-то.

— На-те, православные, на-те, Богъ съ вами! Развѣ мнѣ для васъ жалко. Развѣ я, и т. д.

Вокругъ кабака стонъ стоитъ. Съ этимъ «казеннымъ» ведромъ пропивается еще «свое» ведро, которое ужъ добывается въ кредитъ всѣми неправдами отъ кабатчика, и всѣ довольны.

Доволенъ и становой, потому что недоимки получены сполна и ему ужъ по этому дѣлу не надо вновь пріѣзжать въ Осиновку. Доволенъ и Подугольниковъ, потому что, въ виду аукціона, хоть и немного, но все-таки успѣлъ купить по четвертаку за рубль двѣ-три коровы, двѣ-три свиньи и десятка два-три овецъ. Доволенъ и Сладкопѣвцевъ, ибо «небезвыгодно» и съ небольшимъ рискомъ «помѣстилъ капиталъ».

— Теперь вы отсюда куда же? — спрашиваетъ онъ становою, когда выпили, закусили, напились чайку, и имъ подали лошадей.

— Теперь-съ? Теперь къ Ивану Петровичу въ Ивановку. У него опись назначена завтра. Совсѣмъ ужъ, кажется, готовъ. Вотъ бы вамъ Ивановку-то купить. Золото имѣнье.

— Знаю; но боюсь. Откровенно говорю— боюсь. Разбросаться боюсь. Много и такъ денегъ по добрымъ людямъ разбросалъ, а нынче платятъ-то, сами видите, какъ...

И какое бы «золотое дно» эта Ивановка ни была, но Сладкопѣвцевъ ея не купитъ, потому что она ему дѣйствительно ни на что не нужна. Ему нуженъ былъ pied à terre для своей «сельскохозяйственной» дѣятельности, и онъ уже имѣетъ его въ своей Петровкѣ. Изъ нея онъ протянулъ паутину надъ всѣмъ уѣздомъ, такъ зачѣмъ же ему нужна еще Ивановка? Развѣ, сидя въ Петровкѣ, онъ не можетъ высасывать соки изъ ивановскаго помѣщика, изъ его земли и изъ его бывшихъ крѣпостныхъ? Мы видѣли сейчасъ, какъ это легко и удобно дѣлается.

— Ну, такъ вы дайте ему взаймы,— сводничаетъ становой.

— Это скорѣй. Объ этомъ можно поговорить. Только знаете, не люблю я давать взаймы этимъ прежнимъ помѣщикамъ. Однѣ только непріятности. Въ срокъ не отдастъ и начнетъ канючить. Всѣхъ приплететъ. И предводитель упрашиваетъ. Вы,

дескать, новый помѣщикъ у насъ, поддержите стараго, и все такое. Не люблю.

Но, разумѣется, кончается тѣмъ, что онъ даетъ, беретъ имѣніе въ залогъ по второй и даже третьей закладной, съ правомъ вырубки лѣса, сада, распашки выгоновъ и проч. Словомъ, высасываетъ Ивановку и все живущее или растущее въ ней, и когда отрывается, наконецъ, отъ нея, всегда почти тутъ же, прямо, накидывается на сосѣднюю Семеновку, съ которой, конечно, повторяется то же самое, и т. д., до безконечности, или, лучше сказать, до тѣхъ поръ, пока не источитъ и не высосетъ всѣхъ еще оставшихся, уцѣлѣвшихъ какими-то судьбами «прежнихъ» Ивановъ Петровичей и Петровъ Иванычей.

Но вотъ вопросъ: когда-нибудь и даже, по всей вѣроятности, очень скоро «они» всѣ будутъ «слопаны» Подугольниковымъ и высосаны Сладкопѣвцевымъ. «Мужички» достаточно, можно сказать, усовершенствованы ужъ и теперь, а если дозволить имъ похѣрить общинное землевладѣніе, то Сладкопѣвцеву и Подугольникову «не хватитъ» ихъ и на десять лѣтъ,—кого «новые господа» тогда будутъ сосать и лопать?.. и, если въ концѣ-концовъ кинутся другъ на друга, кто кого одолѣетъ?

Теперь трудно, конечно, предугадать, что будетъ, но, по-моему, будущее все-таки принадлежитъ Сладкопѣвцеву.

Затѣмъ, въ заключеніе, мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ въ отвѣтъ на очень деликатный, но и очень естественный вопросъ. Я чувствую, что меня могутъ спросить: ну, а что же, изъ прежнихъ-то помѣщиковъ никто развѣ не соблазнился примѣромъ Подугольникова и Сладкопѣвцева и не пошелъ по указанному ими пути?

— И да и нѣтъ.

Блестящіе успѣхи, которыхъ достигли въ «сельскомъ хозяйствѣ» «новые помѣщики», само собою разумѣется, не могли остаться незамѣченными, такъ же точно, какъ не могло не найтись и охотниковъ попробовать свои силы и на этомъ новомъ для нихъ поприщѣ. И, дѣйствительно, такіе охотники нашлись и силы свои начали пробовать; но вся бѣда въ томъ, что они и на это дѣло не годились. Какъ ни проста и ни малосложна вновь вводимая система «сельскаго хозяйства», но и она оказалась имъ не по плечу. Для нея, какъ было это замѣчено выше, непремѣнно требовалась сила характера и непреклонная воля; а кто же изъ всѣхъ этихъ отставныхъ штабъ-ротмистровъ и поручиковъ обладалъ такими качествами? Были между ними люди, несомнѣнно, храбрые, были невозможные самодуры, были сластолюбцы, даже, можно сказать, ненасытные, но всѣ эти качества не только уступали въ достоинствѣ своемъ качествамъ Сладкопѣвцева, но даже и качествамъ Подугольникова.

Оттого и всѣ попытки ихъ завести у себя это новое «сельское хозяйство» не только ни чему не привели, но даже еще способствовали ихъ оскудѣнію. Подражая Подугольникову, они, являясь на аукціоны, хотя и покупали свиней, коровъ и овецъ, но, во-первыхъ, покупали ихъ не такъ «сходно», а во-вторыхъ, покупали зря, т.-е. не зная настоящаго толка ни въ свиньѣ ни въ овцѣ. Подугольниковъ взглянетъ на свинью, напримѣръ, и сразу скажетъ, «какихъ она поросятъ», т.-е. сколько разъ она уже поросилась, сколько ей лѣтъ и сколько она «вытянетъ», если ее «посадитъ» на кормъ. Тоже и про овцу. Онъ ее всю насквозь видитъ. Возьметъ подъ заднія ноги, помнетъ, пощупаетъ, плюнетъ на пальцы, вытретъ ихъ о полушубокъ и сразу все скажетъ. А развѣ «прежній помѣщикъ» этимъ дѣломъ когда занимался? Подугольникову хорошо: онъ съ малолѣтства привыкъ, а извольте-ка учиться всей этой грамотѣ въ сорокъ или въ пятьдесятъ лѣтъ...

Такіе же точно печальные результаты получались, когда пробовали заводить свиныя бойни, кабаки, трактиры, постоялые дворы и проч. Ничего не выгорало. Да и какъ же могло у нихъ выгорѣть, когда они прежде понятія ни о чемъ этомъ не имѣли. Ужъ если не удалось и не могло удаться намъ «раціональное хозяйство», которое все-таки было для насъ дѣломъ болѣе подходящимъ, такъ сказать, своимъ, то какъ же можно было пускаться намъ на такія-то дѣла? Очевидно, кромѣ неудачи, нечего было и ожидать другого. Отъ того, что накупили мы себѣ полушубковъ, смазныхъ сапогъ, серебряныхъ часовъ съ длинной шейной цѣпочкой — всѣхъ этихъ принадлежностей костюма Подугольникова, — мы не дѣлались и не могли имъ сдѣ-

латься. Сила Подугольникова не въ полушубкѣ, который на немъ, а въ опытѣ, въ знаніи, въ закваскѣ, которая въ немъ. Онъ и въ пальто прощупаетъ овцу или свинью такъ же хорошо и такъ же вѣрно опредѣлитъ и «какихъ она поросятъ» и что «вытянетъ», какъ если бы онъ продѣлалъ это все не въ пальто, а въ полушубкѣ. А это-то, самое-то главное, «мы» и упустили изъ виду.

Подражаніе Сладкопѣвцеву вышло еще менѣе удачно. Одной алчности еще недостаточно, чтобы возвыситься до него. Надо обладать его опытомъ, надо вынести все то, что онъ вынесъ, когда былъ еще въ архіерейскихъ пѣвчихъ, когда былъ потомъ писцомъ, пока, наконецъ, не сдѣлался секретаремъ консисторіи. Да и тогда сами развѣ жареные рябчики летѣли ему въ ротъ? Сколько униженія, сметки и ловкости надо было пустить ему въ ходъ, чтобы заманить въ свои сѣти даже такую скудную жертву, какъ какой-нибудь деревенскій попъ, чтобы высосать его и спустить съ рукъ, а потомъ уберечь и подѣлиться своей добычей съ остальными участниками облавы? И все это вѣдь крохи, чуть не гроши! Сколько разъ душа уходила у него въ пятки, сколько разъ на волоскѣ висѣлъ онъ, оберегая эти крохи, пока, наконецъ, не одолѣли его другіе, болѣе его голодные и смѣлые. Кто же изъ насъ проходилъ такую школу? Куда же было кидаться намъ въ конкуренцію съ нимъ, когда онъ явился среди насъ и началъ свою работу? Онъ былъ во всеоружіи знанія, опыта, закаленнаго характера. А мы? Какими жалкими пошляками должны мы были показаться ему, когда стали подражать!

И въ тысячу первый разъ подтвердилась тутъ великая истина: «Въ мѣхи старые не вливаютъ вино новое»...

Намъ оставалось только удивляться ему и отступить передъ нимъ.

И мы отступили.

1880 г.

**Ѳедоръ Дмитріевичъ Нефедовъ.**

(1847 — 1902).

## Іонычъ.

**(Въ сокращеніи).**

Заволжская сторона — весь этотъ суровый, съ перваго взгляда непривѣтливый, но не лишенный своеобразныхъ красотъ и прелести край, начинающійся съ лугового берега Волги и простирающійся до Бѣлаго моря и печальныхъ тундръ сѣвера — до сихъ поръ еще представляетъ громадныя лѣсныя пространства, съ разбросанными кое-гдѣ деревнями и селами. Вблизи сплавныхъ рѣкъ, прилегающихъ къ бассейну Волги и Камы, лѣса уже порѣдѣли, а мѣстами и совсѣмъ истреблены безжалостной рукою промышленника; но чѣмъ дальше отъ сплавныхъ рѣкъ, чѣмъ глубже забираешься на сѣверъ, тѣмъ меньше слѣдовъ опустошенія.

Высокіе и могучіе, тамъ гордо вздымаютъ къ блѣдно-голубому небу свои вѣчно зеленыя вершины сосновые боры, а дремучіе еловые лѣса темны, какъ осеннія ночи; здѣсь свободно разгуливаютъ олень, лось и медвѣдь; беззаботно и стаями перелетаютъ съ дерева на дерево рябчики; сверху доносится мелодичное курлыканье вальдшнеповъ, а съ болотъ — протяжный крикъ журавлей; по спокойнымъ, словно заснувшимъ, водамъ озеръ и рѣкъ величаво плаваютъ лебеди и ныряютъ тысячами гуси, утки и гагары, оглашая своими веселыми голосами воздухъ и прибрежные кусты, и большими стадами ходитъ никѣмъ не вспугиваемая рыба.

Сохранились такіе лѣса и въ верховьяхъ Унжи, Ветлуги и Вятки, не перевелись и по водораздѣламъ этихъ рѣкъ, хотя широко разинутая пасть хищника и къ нимъ уже приближается; можетъ-быть, черезъ двадцать-тридцать лѣтъ эта пасть поглотитъ и послѣдніе лѣса, какъ поглотила она ихъ по Мологѣ, Шекснѣ, Керженцу, Камѣ и даже по всему южному Уралу, такъ что теперь вездѣ стало чисто, точно прошелъ непріятель и до тла истребилъ.

Въ лѣсахъ, за Волгою, съ издавнихъ поръ находили себѣ пристанище и безопасный кровъ люди, не хотѣвшіе поступиться своими вѣрованіями и взглядами; они постепенно заселяли дикій край, ведя неустанную борьбу съ окружающею природою и завоевывая свою независимость; въ теченіе двухъ съ половиною вѣковъ здѣсь складывался особый бытъ, свое міро-

воззрѣніе и свои отношенія. Несмотря на послѣдовавшіе затѣмъ разгромы скитовъ и моленъ въ такъ называемой «черной и красной рамени», въ лѣсахъ керженскихъ и уренскихъ, самостоятельно развившаяся жизнь не подалась, она только ушла въ себя и тихо продолжаетъ свою работу. Нельзя не отмѣтить факта, что «духъ времени», въ образѣ кулака и кабатчика, успѣлъ проникнуть и въ эту жизнь, распространяя свое тлетворное вліяніе...

До сихъ поръ въ уренскихъ лѣсахъ обитаютъ «старовѣры» и сектанты, а между ними и православные. Старовѣры и сектанты, всѣ безъ различія, называются «уренцами», а православные—«кукарами» (крестьяне, переселившіеся сюда только въ шестидесятыхъ годахъ изъ Я—го уѣзда). Большинство населенія — старообрядцы, преимущественно безпоповцы, изъ которыхъ особенно выдѣляются поморцы филипповскаго и ѳедосеевскаго согласа.

### Первое знакомство.

Что прежде всего останавливаетъ ваше вниманіе, когда вы въѣзжаете въ селенія поморцевъ,—это хорошая стройка, высокіе, изъ крупнаго соснового лѣса дома, съ «подклѣтами» и мезонинами, или пяти-семи-стѣнные, вязью по улицѣ, нерѣдко въ два этажа; большія окна и рѣзные ставни; съ улицы или съ заулка крытыя, на столбикахъ и съ балясинами крыльца. Почти передъ каждымъ домомъ насажены березы, дубки, липы и рябина, а передъ нѣкоторыми — густо разросшіеся палисадники. Сараи, амбары, погреба и всѣ надворныя строенія — изъ бревенъ и крыты тесомъ; ворота большія, съ узорчатыми подзорами, на которыхъ врѣзаны мѣдные образки. Усадьбы обнесены заборомъ, частоколомъ или плетнемъ. Правда, стройка эта больше старая, давнишняя; новая уступаетъ ей и по размѣрамъ и по качеству матеріала, но и она какъ-то не бьетъ рѣзко въ глаза, благодаря ласкающей глазъ зелени доревьевъ, изъ-за которыхъ выглядываютъ чистыя окна съ свѣтящимися наличниками. Далѣе, въ огородахъ, на задахъ, чуть не каждой усадьбы, замѣчаете избушку, а съ боку ея, въ глухой стѣнѣ, прорубленное маленькое окошечко съ придѣланной къ нему снаружи деревянной полочкою; иногда вы увидите, что на полочкѣ стоитъ берестяный бурачокъ и лежатъ хлѣбъ и колобки. Если вы незнакомы съ бытомъ поморцевъ или попадаете къ нимъ въ первый разъ, то непремѣнно обратитесь съ вопросомъ къ ямщику:

— Для чего это полочки сдѣланы?

— А въ кельяхъ старички живутъ.

— Я о полочкахъ спрашиваю.

Если возница человѣкъ скрытный или мнительный, то въ отвѣтъ онъ только промолвитъ:

— Такой ужъ по здѣшней сторонѣ обычай.

Но человѣкъ болѣе откровенный, ничего въ васъ не подозрѣвающій, или «кукаренинъ», объяснитъ вамъ, что на полочки кладутъ пищу и ставятъ бурачки съ квасомъ.

— Старички эти — христіане, они не мірщатся, ни въ какія по хозяйству дѣла не вступаются, живутъ, какъ пустынники, только молятся. Для Бога трудятся. Міръ объ ихъ продовольствіи и заботится.

Въ огородахъ, на грядкахъ, зеленѣютъ картофель, морковь и разные овощи, ярко алѣетъ макъ, и золотомъ горитъ подсолнечникъ. Въ концѣ или серединѣ огородовъ—бревенчатыя и свѣтлыя бани. На гумнахъ виднѣются одонья хлѣба и стога сѣна. По заулкамъ и среди улицы поднимаются надъ колодцами очепы съ болтающимися толстыми брусьями, на тѣневой сторонѣ отдыхаютъ овцы, и по всѣмъ направленіямъ, съ вилами на шеяхъ, шныряютъ свиньи и подбираютъ на ходу все, что ни попало.

Почти въ каждомъ селеніи, гдѣ-нибудь въ переулкѣ или другомъ глухомъ мѣстѣ, прячется старая и большая изба съ наглухо закрытыми ставнями и большою иконою надъ запертою снаружи дверью: это—молитвенный домъ, или часовня. Если въ селѣ, то передъ вами выступитъ небольшая деревянная церковь съ низенькою колоколенкою и скромною оградою.

Точно такой видъ имѣло и первое поморское селеніе, въ которомъ я намѣренъ былъ остановиться—село Темново. Начинаясь отъ запада съ равнины, оно двумя посадами вскидывалось наверхъ по отлогой возвышенности и тянулось больше чѣмъ на версту.

Стоялъ май. День былъ праздничный и ясный.

Проѣзжая по улицѣ, я замѣтилъ играющихъ на травѣ бѣлоголовыхъ мальчугановъ съ выстриженными маковками; около нихъ важно стояли и снисходительно поглядывали дѣвочки, лѣтъ восьми-десяти, въ синихъ сарафанахъ и въ большихъ черныхъ платкахъ на головѣ, повязанныхъ по-старушечьи, въ кромку; на завалинкахъ посиживали старики съ подстриженными напередъ скобкою волосами и съ маковицами на головахъ, въ длинныхъ бѣлыхъ рубахахъ; они вставали и почтительно кланялись мнѣ въ поясъ.

— Почему дѣвочки такъ одѣваются?— спрашиваю ямщика.

— Да вѣдь онѣ жъ христіанками почитаются,—отвѣтилъ тотъ,—а христіанки всѣ этакъ одѣваются. И парнишки тоже христіане: рѣпа у нихъ на головахъ растетъ.

— Какъ рѣпа?

— А маковицы-то выстрижены. Сходственно вѣдь съ рѣпой-то?

Какъ только лошади взнесли телѣжку наверхъ, я увидалъ впереди большую и пеструю толпу.

Въ красныхъ, голубыхъ, желтыхъ и зеленыхъ сарафанахъ, съ бѣлыми рукавами и ситцевыми передниками, стояли посреди улицы попарно, обширнымъ кругомъ дѣвушки, а за ними выступали парни, бабы и мужики; головы дѣвушекъ были покрыты маленькими цвѣтными платочками, изъ-подъ которыхъ спускались назадъ косы съ вплетенными въ нихъ разноцвѣтными лентами. Мужики ничѣмъ не отличались въ своихъ костюмахъ отъ другихъ крестьянъ, не старообрядцевъ: тотъ же понитокъ, или короткій кафтанъ, тѣ же пестрядинные штаны и лапти или сапоги на ногахъ, только низенькія поярковыя шляпы съ загнутыми полями представляли нѣчто своеобразное. Но костюмъ парней билъ на эффектъ: точно такія же шляпы съ лентами вокругъ, красныя и голубыя, шерстяныя или ситцевыя рубашки, опоясанныя шелковыми плетеными шнурками съ густыми кистями на концахъ, плисовыя шаровары, заправленныя за свѣтлые бураки сапогъ; на болѣе франтовитыхъ красовались жилетки со множествомъ стеклянныхъ пуговокъ въ мѣдныхъ ободкахъ.

— Это все мірскіе, — объяснилъ ямщикъ.—А дѣвки «въ столбы» играютъ.

Игра позамедлилась. Всѣ съ любопытствомъ смотрѣли, многіе кланялись. Мы проѣхали, миновали ужъ и деревянную, выкрашенную сиреневою краскою церковь съ крохотными, покрытыми бѣлой жестью главками, а толпа все еще провожала насъ и глядѣла вслѣдъ за экипажемъ. Навстрѣчу попадались мужики, казавшіеся въ довольно веселомъ расположеніи духа.

— А вонъ и домъ объѣздчика! —ткнулъ кнутовищемъ ямщикъ на двухъэтажный деревянный домъ, стоявшій особнякомъ почти на самомъ краю села...

Телѣжка остановилась у второго крыльца.

— Не туда,—раздался голосъ съ перваго крыльца.—Сюда пожалуйте. Въ той половинѣ живетъ окружный надзиратель.

Ко мнѣ подбѣжалъ русоволосый мужчина въ черномъ суконномъ кафтанѣ, туго затянутомъ въ таліи ремнемъ, въ высокихъ сапогахъ и съ кожаной сумкою черезъ плечо.

—Здравствуйте, ваше высокоблагородіе! Пожалуйте вещи!

— Вы—Григорій Ивановичъ?

— Точно такъ, хозяинъ здѣшняго дома. Фатера готова-съ.

Слѣзая съ телѣжки, я взглянулъ въ верхній этажъ и въ одномъ изъ открытыхъ оконъ увидалъ молодого человѣка съ привѣтливо смотрѣвшимъ на меня лицомъ.

— Это господинъ надзиратель,—вполголоса проговорилъ Григорій Ивановичъ.— Вверхъ пожалуйте, направо!

Двѣ чистыя и свѣтлыя комнаты, окнами на улицу, были предоставлены въ мое распоряженіе.

Не желая даромъ терять времени, я черезъ полчаса отправился къ окружному надзирателю.

— Сюда, на террасу прямо!—встрѣтилъ онъ меня радушно въ сѣняхъ.—Борисъ Михайловичъ Кедровъ, — назвалъ онъ себя.—А о васъ я ужъ слыхалъ,—говорилъ онъ на ходу.—Ну, вотъ и мой уголокъ! Просимъ милости, садитесь, Дмитрій Павловичъ.

Съ террасы открывался видъ на лѣса и поле, а внизу былъ небольшой, только что разбитый садикъ, за которымъ, на самомъ выѣздѣ, у полевыхъ воротъ, свѣтился, точно свѣчка, новый бревенчатый домъ—питейное заведеніе.

— Матеріалъ хорошій соберете. Особенно любопытна бытовая сторона. Надо будетъ васъ познакомить съ Іонычемъ—поморскимъ архіереемъ, какъ называетъ его отецъ Петръ. Не знаю, поправился ли только старикъ—хворалъ!

— А онъ не приметъ меня за чиновника?

— Нѣтъ, онъ не изъ такихъ: будетъ вамъ разсказывать про все, что знаетъ и помнитъ... Да, кромѣ него, еще найдемъ, отъ кого можно будетъ узнать, что васъ интересуетъ.

## На міру.

Кондратью Іонычу восемьдесятъ лѣтъ. Родни у него почти никого нѣтъ: всего роду и племени одна дочь, да и та живетъ не съ нимъ, а съ мужемъ въ Коптѣловѣ, изрѣдка навѣщая старика. Отдалъ ей отецъ домъ, благословилъ усадомъ и хозяйствомъ, а самъ перебрался на постоянное жительство въ Темново. Начетчикъ онъ большой и памятью до сихъ поръ обладаетъ изумительною. Выучился онъ по-церковнославянски самъ, будучи уже лѣтъ шестнадцати; грамота далась ему скоро. Оставшись совершенно одинъ послѣ отца съ матерью, онъ всѣ зимы и свободные часы лѣтомъ посвящалъ книгамъ; въ немъ открылась большая страсть къ чтенію «божественнаго». Въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ онъ читалъ неустанно и все, что только могъ достать, читалъ и перечитывалъ по нѣскольку разъ. Несмотря на свой преклонный возрастъ, онъ и теперь на память прочтетъ цѣлыя страницы изъ Ветхаго завѣта и Евангелія. Часы, вечерню и полунощницу знаетъ наизусть. «Твердъ въ разумѣ дѣдушка Іонычъ,—отзываются о немъ прихожане:—за службой ни въ одномъ словѣ не дастъ читальщику прошибиться, сейчасъ поправитъ и скажетъ, что за чѣмъ слѣдуетъ, и порядокъ у него за службой настоящій». Старикъ имѣетъ понятіе объ исторіи, географіи и миѳологіи (послѣднюю, надо замѣтить, онъ совсѣмъ отрицаетъ); свѣдѣнія по этимъ предметамъ онъ почерпнулъ изъ нѣкоего «фронографа» (хронографъ) — книги, довольно распространенной между старообрядцами и считаемой ими за «мірскую» книгу, хотя написана она уставомъ и съ красными строками. Въ этомъ «фронографѣ» дѣйствительныя событія и описанія странъ до того переплелись и перепутались съ разными легендами и миѳами, что разобраться въ нихъ подъ силу развѣ только ученому.

Поморецъ и строгій блюститель старой вѣры, Іонычъ—не притворно, а искренне—съ замѣчательной терпимостью относился къ другимъ толкамъ и религіямъ. «Всякій вѣруй по-своему, только будь въ душѣ-то истинный христіанинъ: Богъ у всѣхъ одинъ. Вотъ язычники, тѣ Бога не знаютъ, у нихъ боги... Но, можетъ, и они добро промежъ себя творятъ, угодное Богу дѣлаютъ... Мѣнять только свою вѣру не подобаетъ человѣку».

Памятуя пословицу, что «ученье — свѣтъ, а неученье — тьма», и вдумываясь въ явленія жизни, Іонычъ изъ всѣхъ силъ старался, чтобы отъ сельскаго общества добиться согласія на открытіе въ Темновѣ земской школы; приговоръ онъ у міра «вырвалъ», но возбудилъ противъ себя неудовольствіе своихъ и деревенскихъ. Больше всѣхъ высоковскій Артамонъ опрокинулся на Іоныча и называлъ его даже «отступникомъ».

Вліянія на міръ Кондратій Іонычъ не искалъ; оно само годами пришло. Одинъ печальный фактъ впервые заставилъ многихъ иначе взглянуть на коптѣловскаго Кондратія. Бывали въ жизни цѣлой волости «случаи», гдѣ Іонычъ обнаруживалъ вѣрное пониманіе мірскихъ интересовъ; но тогда онъ былъ еще «молодъ», и старики не давали ему ходу. Только впослѣдствіи, когда Іонычу подъ шестьдесятъ ужъ подступало, и когда міръ отказался отъ полнаго надѣла земли и вскорѣ увидалъ свою ошибку, авторитетъ Іоныча сразу выросъ: заговорили, сколько міръ потерялъ, не послушавшись во-время Іоныча, вспомнили, что тридцать лѣтъ онъ состоялъ въ должности читальщика (псаломщика), оцѣнили его всегдашнюю справедливость и безкорыстіе, — словомъ, всѣ достоинства Іоныча были признаны и поставлены ему въ великія заслуги. Въ это время послѣдній уставщикъ умеръ, и Кондратія Іоныча единогласно избрали въ духовные руководители. «Справедливѣе у насъ никого нѣтъ», рѣшили единогласно на собраніи. И вотъ ужъ болѣе двадцати лѣтъ онъ уставщикомъ, къ нему собирались молиться

со всѣхъ деревень и селеній; только Артамонъ съ высоковскими откололись, а другіе, роптавшіе на старика за школу, снова возвратились къ «батюшкѣ-дѣдушкѣ Іонычу». Онъ не дѣлалъ различія между «христіанами» и «мірскими», всѣхъ пускалъ къ себѣ молиться, что также не нравилось уставщикамъ села Токаева.

За всю свою жизнь старикъ всего разъ былъ въ Нижнемъ и больше никуда изъ своей округи не отлучался. Разсказывали, впрочемъ, что, будто бы, и въ Москвѣ онъ побывалъ, но за послѣднее трудно поручиться. Когда въ сороковыхъ годахъ и началѣ пятидесятыхъ за Волгою, по лѣсамъ керженскимъ и уренскимъ, шелъ разгромъ старообрядческихъ скитовъ и моленъ, — разгромъ, про который въ стихѣ безпоповцевъ поется, что все несчастье произошло оттого, что «на Москвѣ купцы испужалися строгаго приказа царскаго и отъ ужасти подписалися нарушить древнее благочестіе», — то во время общаго перебора, въ числѣ другихъ «ревнителей», былъ захваченъ и Кондратій Іонычъ, увезенъ въ Москву и цѣлый годъ высидѣлъ тамъ въ острогѣ. «Пострадалъ батюшка нашъ за правую вѣру!» сообщилъ мнѣ разъ и подъ секретомъ одинъ изъ почитателей старика. Но самъ Іонычъ ни разу объ этомъ не проговорился. Однажды я попробовалъ спросить Іонычa, но онъ далъ уклончивый отвѣтъ:

— Мало ли что люди праздно толкуютъ... А ежели бы случилось, что взаправду человѣкъ пострадалъ за вѣру, такъ развѣ про это слѣдуетъ разглашать?.. Да велико ли дѣло—годъ въ замкѣ просидѣть на казенныхъ харчахъ!

Старикъ живетъ у глухого Аѳонюшки, съ которымъ неразлученъ, помогаетъ его семьѣ и всѣмъ, кто нуждается: одной рукой принимаетъ отъ своихъ прихожанъ «Бога ради», а другой также все «Бога ради» отдаетъ. Кромѣ Аѳонюшки, у него еще любимецъ—псаломщикъ Яша.

---

Кондратій Іоновичъ сидѣлъ на своемъ лычномъ стулѣ, въ сѣняхъ; видимо, старикъ поджидалъ меня и потому заранѣе выбрался изъ хижины.

— Здравствуйте, батюшка, Дмитрій Павловичъ! — громко и радушно встрѣтилъ меня старикъ. — Просимъ покорно, бесѣдуйте... Аѳоня! скамейку для барина поставилъ?

— Поставилъ, батюшка,—любовно заглядывая мнѣ въ лицо, отвѣтилъ Аѳонюшка и присѣлъ на чурбашекъ.

— Какъ съѣздилъ Борисъ Михайловичъ? Не перешагнулъ разбойникъ-отъ красный въ наши дачи?

— Кажется, успѣли отстоять—не дали перебраться... Но дымъ еще видно — горитъ...

— Скоро ли огонь уймется! Вишь, сушь-то какая стоитъ. Какъ бы ужо въ торфъ не забрался, тогда — бѣда, подземный много дѣловъ натворитъ!.. А ну-тка, Димитрій Павловичъ, Господь-то, батюшка, какъ о насъ, грѣшныхъ, печется: ведреную погоду послалъ! Это все для мужичковъ, чтобъ они во благовременіи съ сѣнокосомъ управились.

Аѳонюшка успѣлъ, какъ всегда, превратиться въ слухъ и благодарно вздыхалъ, подпершись ладонями.

— Хотѣлъ я тебя поспрошать,—началъ Іонычъ нерѣшительно. — Какъ вы полагаете, батюшка: если теперь міръ отъ себя бумагу напишетъ, попроситъ вышнее начальство, чтобы намъ земли и лѣсу нарѣзали — не даромъ, за деньги, на выкупъ, — будетъ ли это наше прошенье принято и уважено?

— Просить не возбраняется...

— Мужикамъ за это, чай, ничего не достанется?..

— Если вы будете просить въ установленномъ закономъ порядкѣ и съ соблюденіемъ формы, то чего же тутъ бояться?

— То-то вотъ, форма-то эта — сокрушенье для насъ великое! Гдѣ намъ, людямъ непоученымъ, знать про что да вѣдать.

— Поговорили бы съ Борисомъ Михайловичемъ: онъ укажетъ путь.

— Съ нимъ поговорить? — Іонычъ позадумался.—Вотъ напередъ съ тобой и хотѣлъ я потолковать, какъ ты посовѣтуешь намъ поступить... Такъ къ нему, говоришь, надо обратиться?

Іонычъ помѣшкалъ. Онъ, видимо, колебался, хотѣлъ еще что-то сказать, но затаилъ въ себѣ...

— А теперь я вотъ о чемъ хочу тебѣ повѣдать, — свернулъ онъ въ сторону: — ежели Богъ намъ поможетъ, такъ отъ кабака мы себя освободимъ.

— Очень пріятно слышать.

— Я у стариковъ нашихъ побывалъ, со всѣми переговорилъ, а вчера къ Петру Григорьеву ѣздилъ—это староста здѣшній. Плутъ онъ мужикъ, самъ любитъ вино, а ничего, много упорствовать не сталъ: «ежели міръ будетъ согласенъ, такъ и я не отстану, говоритъ: у меня самого три сына, тоже, пожалуй, научатся пьянствовать, надо мнѣ кровь свою пожалѣть»...

— На Петруньку, старосту-то, надежа плоха, а христіане-старики поддержать, міръ послушается ихъ...

— Объясни ты мнѣ, Кондратій Іонычъ,— воспользовался я благопріятнымъ случаемъ:—вотъ ты и старики-христіане, отъ всего мірского вы удалились и живете только для Бога...

— Такъ, батюшка, такъ.

— Какъ же вы въ общественныя дѣла входите, мірскимъ-то занимаетесь?

Аѳоня поглядѣлъ на меня съ выраженіемъ не то испуга, не то изумленія: ухо его привыкло къ моему голосу, и онъ слышалъ, что я говорилъ.

— А тебѣ любопытно про это знать?— спросилъ поморскій уставщикъ.—Христіане не міршатся, не пьютъ, не ѣдятъ съ другими, всяку заботу о своемъ мамонѣ откинули, ни въ какія дѣла частныя не входятъ—грѣха сторонятся, чистоту помысловъ и душу блюдутъ. Это самое, по-нашему, и будетъ то, что зовемъ — «не міршиться»... А ежели силы хватитъ работать — христіанинъ поработаетъ, надо гдѣ помочь человѣку—онъ поможетъ, не оставитъ другого въ несчастіи али въ нуждѣ: это ты для Бога, а не для себя дѣлаешь, ибо сказано: «Возлюби ближняго своего, какъ самого себя». А если восхваляется любовь къ одному человѣку,—прибавилъ старикъ, понижая голосъ,—то какъ же не возлюбить всѣхъ-то человѣковъ, Димитрій Павловичъ!..

Посмотрѣвъ на меня тусклыми глазами, Іонычъ повелъ рѣчь дальше, и рѣчь его лилась какъ-то цѣломудренно тихо, точно онъ передо мною открывалъ святая святыхъ непорочнаго своего сердца.

— Святые отцы - подвижники жили въ пустыняхъ, отъ всего-то свѣта отмежили себя, угодники Божіи, а и тѣ, когда неправда али утѣсненіе постигали народъ, покинувъ свои обители, шли къ земнымъ владыкамъ и увѣщавали ихъ... Преподобный Ѳеодосій Печерскій не разъ самого князя Святослава обличалъ. Вотъ, болиринъ, почему мы, христіане, за міръ стоимъ,—дѣло міра общинное, а не свое,— не корысти какой ради. Какъ намъ святые отцы показали, такъ и мы, грѣшные, по силамъ своимъ малымъ, должны поступать.

Въ голосѣ Іоныча и во всей его сухой фигурѣ, съ положенными на тонкія колѣни руками, было столько истиннаго смиренія и правды, что я почувствовалъ въ себѣ что-то новое или, вѣрнѣе сказать,—старое, но давно уже заглохшее подъ тиною всевозможныхъ житейскихъ неправдъ и безобразій... Я сразу какъ будто возродился, поднялся выше къ свѣтлому небу, и всѣ люди представились мнѣ въ иномъ свѣтѣ,—не алчными, злыми и бездушными, а добрыми, способными любить и участливо относиться къ человѣческимъ страданіямъ.

— На пользу ближняго али міра потрудишься,—Богу угодное сдѣлаешь. Человѣкъ больше печется о себѣ, а Богъ обо всѣхъ. Значитъ, ежели другихъ не позабываешь, ты Ему, Царю царствующихъ, служишь! — заключилъ Іонычъ и и опустилъ сѣдую свою голову.

Аѳанасій Терентьевичъ, безмолвно и, по обыкновенію, съ благоговѣніемъ слушавшій, отеръ рукавомъ свои красные глаза.

— А вотъ о гоненіяхъ нынѣ что-то ужъ не слышно, — заговорилъ вдругъ обычнымъ своимъ тономъ старикъ: — должно-быть, ужъ совсѣмъ прекратились?

— О какихъ гоненіяхъ?

— Да развѣ ты не слыхалъ: вѣру-то старую искореняли? А теперь нѣшь тихо: батюшка-царь далъ намъ льготы... Спаси и помилуй его, Господь, Царь небесный!— Іонычъ истово перекрестился.—Какъ лѣтось, по веснѣ, манифестъ вычитывали, такъ и о милостяхъ людямъ древняго благочестія объявили. Довольны мы. Теперь безбоязненно молимся.

— А у васъ тоже нарушали молельни?

— Коли не нарушали! Зорили прытко. У тайнаго священства, у поморцевъ, у всѣхъ зорили; отбирали древніе книги и образа. Помню, поотбирали у насъ по всей округѣ да въ амбаръ свалили, заперли на замокъ и сторожей приставили; а на другой день пришли,—анъ тамъ все

чисто, ничего не нашли, только яму большую увидали: подобрались мужики да въ ночь, съ Божіею помощію, святыню и вынесли... Въ Токаевѣ-то ты былъ али нѣтъ еще?

— Не былъ.

— Ну, коли будешь, такъ увидишь тамъ Ефима Евграфова—уставщика. Давно онъ завелся, годовъ на десятокъ будетъ меня постарше, но здоровый, могутный старикъ. Такъ вотъ его тогда потаскали. Пріѣхалъ къ нимъ въ село чиновникъ, а одёжа на немъ простая, вездѣ ходитъ, до всего допытывается... «Ты, спрашиваютъ, по какимъ дѣламъ будешь, добрый человѣкъ? Въ наше село по что пріѣхалъ?» — «А я, говоритъ, насчетъ чугунной дороги: правительство желаетъ по вашей сторонѣ чугунку провести, такъ я мѣстность осматриваю—удобно ли будетъ». Побылъ да и уѣхалъ, а, малоповременя, со становымъ, ужъ въ мундирѣ, чиновникъ-отъ наѣхалъ, часовни всѣ нарушилъ, иконы и книги отобралъ, а Ефима Евграфова въ острогъ увезъ. Тогда въ Семеновскомъ уѣздѣ зорили, а оттуда и къ намъ въ гости пожаловали. Трепетъ великій по всему міру шелъ.

— Ну, а послѣ не тревожили?

— Пощипывали, да ужъ не такъ... Скиты нарушили, моленныя закрыли, стариковъ поразсовали да въ замокъ заключили. Собирались на молитву по избамъ: сегодня у одного, завтра у другого. Невзначай становой али исправникъ когда наѣдетъ, застанетъ насъ молящимися, сорветъ и уѣдетъ. Такъ мы и откупались всякій разъ за тайное служеніе Богу. Нонѣ хоша посвободнѣе стало, а все же отъ прежняго страха народъ не отдѣлался: чуть заслышитъ колокольчикъ, сейчасъ всполошится да на улицу: «Что такое? По какимъ дѣламъ?..» Сказывалъ я,—напужались, какъ ты объявился... Допреже народъ былъ застращенъ, обмана да горя всякаго много извѣдалъ, ну, за все и опасаются. Страхъ-то вѣдь больно живущъ въ человѣкѣ, родимый мой!.. Ну, молодой народъ не такой ужъ будетъ, ежели пьянство да распутство только не сомнутъ...

— Пьяныхъ я у васъ частенько видаю...

— Пьянствуютъ, родной! Отцовъ съ матерями не слушаютъ, противу стариковъ норовятъ шабаршить и озорство оказывать. Да чего: за мужиками и бабы которыя потянулись!.. А ужъ ежели бабы да въ пьянство ударятся, то погибель народу будетъ: и домъ, и хозяйство рушатся, а что всего горше—духовное растлѣніе произойдетъ.

— Развѣ такъ далеко?..

— Ужъ и не говори, батюшка!.. Да вотъ, припомнилъ я: бывало, въ усопшей персти родительница моя выдетъ на крыльцо да цѣлый уповодъ съ сосѣдкой и стрѣляетъ. А какъ запалъ великъ, такъ и другого уповода прихватитъ. Разбранятся до послѣдняго, а на другой день, глядишь, и прошло сердце; сойдутся да въ ноги другъ къ дружкѣ: «Прости меня, Христа ради,—скажетъ одна:—обидѣла я тебя вечоръ словомъ-то». А та: «Богъ тебя проститъ, родимая, и ты меня прости, не попомни слова». И опять живутъ въ согласіи да любви. А нонѣ же бабы-то какъ вцѣпятся, такъ по мѣсяцу али болѣ на глаза одна другую къ себѣ не подпускаютъ, аки бы аспиды лютые али змѣи подколодныя шипятъ. А всему причиною вино: отуманитъ голову и въ сердце злобу, ненависть вселитъ, неволенъ ужъ тогда въ себѣ человѣкъ...

Іонычъ помолчалъ...

— Не слыхалъ, написалъ о выгонѣ въ контору-то Борисъ Михайловичъ, али еще нѣтъ?

— Кажется, написалъ.

Я снова подмѣтилъ въ старикѣ колебаніе: что-то въ немъ поднималось, хотѣлось ему сказать, но онъ не рѣшался. Надо было положить конецъ этому томленію.

— Зайду къ тебѣ въ другой разъ, Кондратій Іонычъ, а теперь—прощай!

— Развѣ ужъ ты уходишь?—подался онъ впередъ.—А я думалъ, ты подольше у меня посидишь, побесѣдуемъ мы съ тобою.

— Сейчасъ некогда. Побываю. За тобой еще долгъ—про Мокееву-то межу хотѣлъ разсказать!.. Не нужно ли чего окружному передать?

Старикъ пришелъ въ волненіе.

— Батюшка! да вотъ о чемъ я собирался тебѣ покучиться: не напишешь ли намъ бумагу-то о землѣ да объ лѣсѣ? Вѣдь мы не сумѣемъ, какъ нужно, обсказать нужды своей да кому эту бумагу подать!

Мнѣ ужасно неловко сдѣлалось.

— Съ удовольствіемъ бы написалъ, да я въ такихъ дѣлахъ человѣкъ неопытный... Попроси лучше Бориса Михайловича: онъ не откажетъ, дастъ совѣтъ и направитъ, куда слѣдуетъ... А я, признаться, и писать-то кому не знаю.

Старикъ притихъ и понурился, а Ѳоня повелъ глазами и такъ печально на меня посмотрѣлъ.

— Ну, инъ оставимъ это, ежели ты не можешь. Поговори коли Борису Михайловичу, онъ тебя послушается. Пожалѣй хоть ты міръ-то...

Я старался увѣрить, что Кедровъ все, что отъ него зависитъ, сдѣлаетъ, что онъ человѣкъ хорошій и добрый.

— Знаю, что хорошій онъ человѣкъ,— согласился Іонычъ.—Только нужды нашей онъ никакъ понять не можетъ... А ты ему—свой братъ, онъ лучше твоихъ словъ послушаетъ...

— Поговорю, будь покоенъ.

— Спаси тебя за это Богъ!.. Прощай, Димитрій Павловичъ!

Ѳонюшка отворилъ мнѣ на волю дверь, посмотрѣлъ на меня ласково и промолвилъ:

— Ходи къ намъ. Мы рады тебѣ.

### „Мокеева межа"

Было около пяти часовъ дня. Мы съ Борисомъ Михайловичемъ расположились въ саду за послѣобѣденный чай. Жаръ немного посвалилъ, хотя на солнцѣ все еще пекло. Мы устроились на площадкѣ, усыпанной пескомъ, близъ самаго крыльца, выходившаго въ садъ, и сидѣли въ широкой косой тѣни, отбрасываемой боковою стороной двухъэтажнаго дома нашей квартиры. Куртины тонули въ цвѣтахъ, пахло розой, левкоями и резедой. За плетнемъ сада золотилась высокая рожь—неподвижная, словно въ сладкой дремотѣ. Созрѣвающую ниву широкимъ полукругомъ замыкалъ лѣсъ, залитый горячими лучами солнца; верхушки высокихъ сосенъ и темныхъ елей съ удивительной отчетливостью выдѣлялись на голубомъ сводѣ неба; сквозь густую зелень просвѣчивали красные стволы сосенъ. Вездѣ царили тишина, покой...

— Славный будетъ вечеръ,—проговорилъ Борисъ Михайловичъ.—Теперь погода надолго установилась.

Онъ посмотрѣлъ вдаль, на лѣсъ.

— Знаете что,—началъ онъ, немного подумавъ:—не пойти ли намъ послѣ чаю на Отломку? Можетъ, утокъ постреляемъ, а то такъ, на лодкѣ покатаемся.

— Что же? Отлично.

Только я успѣлъ сказать, какъ около частокола, которымъ былъ обнесенъ садъ, со стороны безлюдной улицы, послышались какіе-то робкіе звуки: точно по сухой землѣ катилась дѣтская колясочка. У садовой калитки звуки затихли, и вслѣдъ за тѣмъ раздался знакомый голосъ.

— Дома баринъ?

— Іонычъ пріѣхалъ,—въ полголоса произнесъ Борисъ Михайловичъ, поднялся со стула и въ нѣсколько шаговъ очутился у калитки.

— Добро пожаловать, Кондратій Іонычъ! Добро пожаловать...

— Это вы, Борисъ Михайловичъ? Здравствуй же, батюшка, ваше высокоблагородіе!

— Здравствуй, здравствуй!— отворилъ калитку хозяинъ.—Съ визитомъ пріѣхалъ?

— Нѣшто, батюшка, такъ точно: вы у меня были, и я къ вамъ... какъ ты сказалъ-то: съ визитомъ? Ну, вотъ съ визитомъ и прикатилъ.

Кондратій Іонычъ пріѣхалъ въ собственной коляскѣ; только въ обручѣ не Ѳоня, а женщина стояла въ черномъ платкѣ, крашенинномъ сарафанѣ и босоногая. Она слушала старика и улыбалась.

— Ну, въ садъ пойдемъ, Кондратій Іонычъ!

— Да какъ же, батюшка, я пойду-то? Вѣдь палки-то мои, дуры, не служатъ.

— Въ коляскѣ ввеземъ... Ну-ка, милая, позволь!

Женщина перекинула черезъ голову обручъ и стала съ боку телѣжки.

— Что у тебя сегодня въ упряжи не Ѳоня?—спросилъ Борисъ Михайловичъ, взялъ обѣими руками переднюю ось, и сразу перекатилъ Іоныча черезъ калитку въ садъ.

— Ай, батюшка, да никакъ ты самъ утруждаешься,—замѣтилъ старикъ, почувствовавъ быстрое перенесеніе съ улицы въ садъ.—Спасибо!.. Да вѣрный-то конь мой скопытился: нѣшто занездоровилось моему Ѳонькѣ, такъ вотъ ужъ она возитъ меня...

— Здравствуй, Кондратій Іоновичъ! — сказалъ я, подходя къ старику.

— Кто это?.. Ахъ, батюшка, Димитрій Павлычъ! Здравствуйте! И вы тутъ? Ну, слава Богу, что опять вижу васъ.

— Какъ твое здоровье?

— Теперь совсѣмъ здоровъ. Ежели бы не дуры ноги, такъ я бы какимъ молодцомъ былъ!

Дѣйствительно, онъ смотрѣлъ молодцомъ: поздоровѣлъ и сдѣлался еще живѣе.

«Старая, изъ крѣпкаго дерева вырубленная кочерга!..» подумалъ я объ Іонычѣ.

— Гдѣ для тебя удобнѣе будетъ?—спрашивалъ между тѣмъ заботливый хозяинъ.— Въ тѣни или на солнышкѣ?

— А посади меня супротивъ себя, чтобы я васъ обоихъ видѣлъ... Экой у васъ садъ прекрасный! Давно хотѣлось мнѣ поглядѣть... Слышу, говорятъ: «Окружной сады развелъ». Ну, вотъ, Богъ и привелъ: налюбуюсь теперъ на цвѣты-то...

— Да ты развѣ видишь что?

— Слышу, батюшка, пахнетъ хорошо. А глазами не вижу—затуманило все...

— Чѣмъ тебя угощать, Кондратій Іонычъ? Не хочешь ли чаю съ вареньемъ?

— Отродясь я не пивалъ его. Покорно благодарю, ничѣмъ меня не потчуй... Я посижу съ вами, поболтаю... Новенькаго чего у васъ нѣтъ ли? Можетъ, въ газетахъ что пишутъ? Просвѣтите насъ, неразумныхъ!

— Батюшка, — перебила женщина, — коли такъ, ты посидишь тутъ, я домой схожу, а послѣ за тобой приду. Черезъ сколько времени мнѣ приходить-то?

— Да ты ступай, дѣлай, что тебѣ нужно, — сказалъ Борисъ Михайловичъ. — Ежели запоздаешь, такъ у насъ есть кому довезти.

— Ну, такъ я пойду.

— Ступай, Афимьюшка... Да не забудь, провѣдай Ѳоньку-то!—крикнулъ Іонычъ, когда женщина подошла къ калиткѣ. — Про войну ничего не пишутъ въ газетахъ?—обратился къ намъ старикъ.

— Нѣтъ, пока все тихо, — отвѣчалъ хозяинъ.

— Ну, а насчетъ крестьянъ что въ газетахъ печатаютъ?

— Да пишутъ много разнаго... про раздѣлы семейные говорятъ, про крестьянскій банкъ...

— А не пишутъ, скоро ли намъ землю по Мокееву межу отдадутъ?

Внутри Іоныча какъ будто что засмѣялось.

Я уцѣпился за послѣднія слова, напомнилъ старику объ его обѣщаніи—разсказать про Мокееву межу.

— Аль ужъ тебѣ очень любопытно?— кинулъ мнѣ Іонычъ.—Исторія-то эта большая, Димитрій Павловичъ... Да не знаю, любо ли будетъ Борису Михайловичу?..

— Полно, старикъ... ты вѣдь знаешь меня: правду я люблю слушать.

— Что жъ, за мной дѣло не станетъ... Я всю старину подыму, стану по порядку разсказывать... Ежели въ случаѣ заврусь малость, разбѣгусь шибко, дерните за удила-то, придержите прытъ скакуна.

— Ладно. Да хорошо ли тебѣ сидѣть-то Не передвинуть ли коляску-то поближе къ столу?

— Не безпокойся, батюшка... голосъ вашъ я хорошо слышу, а мой-то, поди, съ конца села чуть... Хорошо мнѣ такъ.

Іонычъ поправился на мѣстѣ и устремилъ на насъ свои выцвѣтшіе глаза.

---

— Допрежде, не больно еще чтобы такъ давно, годовъ тридцать али сорокъ, по нашей сторонѣ вездѣ лѣса были,—издалека началъ Кондратій Іонычъ.—Столько этого лѣса тогда росло, что — Господи ты Боже мой! — уму человѣческому непостижимо; куда ни взглянешь—лѣсъ, куда ни выйдешь, куда ни поѣдешь—все лѣсъ да лѣсъ, ровно бы темная туча обложила. По трахтамъ, гдѣ почту гоняютъ, на сто верстъ жила не увидишь, одна станція въ лѣсу гдѣ-нибудь ютится... и посейчасъ, мѣстами, волоки на шестьдесятъ-семьдесятъ верстъ тянутся, только ужъ немного такихъ мѣстъ осталось—повырубили рамени, оголили. А лѣсъ-то какой въ тѣ времена былъ—вонъ на селѣ, поглядите, у стариковъ хоромы: дерева въ обхватъ, снаружи почернѣли, а войди въ домъ—стѣны свѣтятся... Говорятъ, отъ самаго города Колы вплоть до Волги сплошными гривами лѣса вздымались... Съ Бѣлаго моря наши прапрадѣды вышли. Чай, въ книгахъ-то читывали о гоненіи при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ противъ Соловецкаго монастыря?

— Читали. Знаемъ.

— Какъ ужъ вамъ не знать—люди вы ученые, вамъ, должно, все извѣстно... Отъ Соловецкихъ угодниковъ наша вѣра зачалась, по старинному жительству своему поморцами зовемся. Ушли съ Бѣлаго моря наши сюда, въ красную да черную рамень, когда близъ поморья жить стало трудно—отъ гоненій бѣжали. Первыя поселенія здѣсь нашими были утверждены: Большая Присгань, что на вятскомъ трахту, да село Токаево... Рыбново на Устѣ тоже давнишнее село. А Темново и прочія послѣ основались—отъ Большой Пристани, какъ отъ корня, отросточки выбѣжали... Тѣсновато старикамъ показалось, и стали починочки да выселочки заводиться, а послѣ въ цѣлыя деревни выросли. На моей памяти Высоковка поднялась, Завражье выстроилось, Собакино, Широкое, Иваниха усилились, Вершинино вылупилось. Да чего: наше Темново, какъ я молоденькимъ, годковъ двадцати бѣгалъ, деревнишечкой наплеванной было—знаешь ты, ваше высокоблагородіе, Борисъ Михайловичъ,—отъ рѣчишки, гдѣ изба Михея Протасова на дорогу выперлась, да вотъ до хоромъ бабы Елизаръ всего и жительства было, а теперь чуть ли ужъ не Московой глядитъ!.. Не показалось тебѣ житье въ деревнѣ, — выбирай любое мѣсто, расчищай дубраву и селись, гдѣ тебѣ по сердцу. Дичь была страшная, а жили въ полномъ довольствѣ, да и промежду собою больше согласья, меньше грѣха было. И чудное дѣло, Борисъ Михайловичъ: рубили тогда мужики лѣсу, сколько хотѣли, деготь, смолу гнали, мочало производили безвозбранно, на всякаго звѣря и птицу охотились, а лѣсъ все преумножался, звѣрь и птица не переводились, рѣки тогда—глубокія да широкія—рыбой кишмя кишѣли. Нонѣ же мужики во всемъ ограничены,—глянь-ка ты, лутошки изъ лѣса не смѣй взять, скотину не пускай гонять, — а лѣса, то и знай, уничтожаются; птица полезная и звѣрь добрый покидаютъ наши мѣста; рѣки годъ отъ году мелѣютъ, и всякое твореніе, на потребу человѣка Богомъ предназначенное, умаляется да рѣдѣетъ... Какая бы тому причина, ваше высокоблагородіе?

— А причина та, что безтолково распоряжались,—объяснилъ окружный надзиратель.—Вотъ и довели до такого положенія.

— Такъ, такъ... Извѣстно, народъ мы глупый, ничего не понимаемъ... Сколько времени я вотъ ломаю голову: отчего въ удѣлѣ и казнѣ сухостойный лѣсъ появился, съ каждымъ годомъ онъ преумножается? Не могъ своимъ умомъ дойти, не осилилъ, а какъ ты вотъ сказалъ, такъ разомъ въ башкѣ у меня и прояснилось. Спасибо, батюшка, просвѣтилъ дурака.

Мы съ Борисомъ Михайловичемъ переглянулись.

— Каковъ старикъ? — кивнулъ онъ на Іоныча.

— Али что не ладно я сказалъ?..—ни одинъ мускулъ лица у старика не дрогнулъ, и голосъ не измѣнился.—Ужъ вы извините, ваше высокоблагородіе, иное слово молвишь—и самъ послѣ не радъ.

— Ничего, Іонычъ, разсказывай!

— Ну, инъ и такъ, жерновъ опять заворочаетъ. О чемъ, бишь, я говорилъ-то?.. Да, какъ мы въ прежніе-то годы за удѣломъ барствовали... Жили хорошо, исправно, всякъ по своей волѣ, оброка съ тягла сходило рубля по три, и знать больше ничего не знали; урожаи Богъ посылалъ хорошіе, сусѣки и закромы въ амбарахъ ломились отъ хлѣба, а скотины, живота всякаго, у крестьянина полонъ дворъ,—было гдѣ скотинѣ гулять, и множилась она, добрѣла родимая. При каждомъ селеніи, при самомъ маленькомъ починочкѣ отводились поля для общественной запашки; хлѣбъ сѣяли, убирали всѣмъ міромъ и ссыпали его въ особые магазеи. Случись у мужика или въ цѣломъ селеніи неурожай—изъ магазеи отпустятъ, сколько кому надобно. Только на рѣдкость, кто изъ общественной магазеи бралъ—не требовалось, а когда скоплялось хлѣба черезъ мѣру—продавали, деньги отъ выручки въ общественную казну поступали... Сказывали, общественныхъ суммъ въ правленьяхъ нашихъ много тысячъ лежало...

— Вѣроятно, общественный капиталъ у васъ цѣлъ,—замѣтилъ Борисъ Михайловичъ.—Когда отъ удѣла вы отходили, то всѣ крестьянскія дѣла и общественныя суммы изъ приказовъ въ волостныя правленія были переданы.

— Не слыхалъ, батюшка, Борисъ Михайловичъ! Можетъ, взаправду передали, да наши дураки-то набитые не умѣли сохранить: должно, разные гады общественную казну изгрызли да и слопали...

При этихъ словахъ клокъ волосъ у Іоныча вскинулся на маковку и распушился, а самъ онъ весь смѣялся, хотя выраженіе лица попрежнему оставалось неизмѣннымъ. Никогда я не видывалъ подобнаго лица: я не замѣтилъ, чтобы хотя разъ Іонычъ усмѣхнулся, дажа губы у него никогда не складывались въ улыбку; постоянно одинаковое, неподвижное, словно отлито изъ бронзы было это лицо. А между тѣмъ, какъ-то само собою, невольно чувствовалось, что этотъ восьмидесятилѣтній старикъ былъ исполненъ жизни, что въ немъ еще не истощился запасъ энергіи, вспыхивали силы и таились глубокія думы.

— Экая глупая башка!—хлопнулъ себя по лбу Іонычъ.—Куда заѣхалъ. Пожалуй, взадъ-то и дороги теперь не сыщешь.

— Повороти къ общественной запашкѣ и выѣдешь на то мѣсто, откуда въ сторону забралъ, Кондратій Іонычъ.

— А вѣдь такъ, ты вѣрно показалъ дорогу,—подхватилъ старикъ.—Ну, теперь ужъ я не собьюсь, Димитрій Павловичъ... Блаженная наша жизнь была, святая, батюшка... Зависти, вражды али злобы другъ противъ друга не имѣли, завсегда совѣтъ и дружбу промежъ себя держали; міръ стоялъ нерушимо и твердо. Случалось,—не ангелы же вѣдь мы,—волостной голова отпоретъ, но не изъ-за чего-нибудь корыстнаго али съ сердцовъ, нѣтъ, изъ расположенія, добра человѣку желаючи: позапуститъ хозяйство мужикъ, къ дому, семьѣ станетъ не рачителенъ, ну, такому, сколько надобно, и всыплютъ для памяти. Да рѣдко это бывало, въ случаѣ чего, десятокъ вѣдался: вызовутъ нерачителя, станутъ ему выговаривать — не дерзко, не срыву, по-собачьему, а тихо, совѣстливо, чтобы человѣка словомъ-то не убить. Раскается мужичокъ, въ ноги міру: «Спасибо, родимые, головушку съ меня не сняли, а словомъ добрымъ научили: въ жизнь вашей добродѣтели не позабуду». Судовъ—какіе они тамъ есть—мы не вѣдывали, дѣлъ до нихъ никакихъ не касалось. А ежели уѣздный судъ али тамъ другой какой захотѣлъ бы кого ссягнуть, такъ сперва долженъ удѣльнаго начальства спросить: дозволитъ ли еще оно свово крестьянина на судъ-то волочить. А коли дозволитъ, такъ одного не отпуститъ, а депутата съ нимъ пошлетъ, чтобы судейскіе не запугали, не завинили понапрасну мужика,—суды были разбойные, человѣка загубить имъ ничего не стоило. Ну, а депутатъ въ обиду ужъ не дастъ мужика. Потому удѣльныхъ суды и не трогали,—безъ толку бы протаскали и только себя обезпокоили. Опора, значитъ, намъ во всемъ была! И жили мы, какъ у Самого Христа за пазушкой!..

---

— Ну, а вотъ въ сороковомъ или въ тридцать девятомъ — не упомню точно— подулъ вѣтеръ съ холодной, полунощной стороны. Послышимъ, — чиновникъ къ намъ изъ Питера. Пріѣхалъ чиновникъ, ѣздитъ по волостямъ, разспрашиваетъ, гдѣ какое селеніе, починокъ али выселокъ, кто чѣмъ владѣетъ и давно ли; спрашиваетъ, а самъ въ книжку записываетъ. Былъ и въ нашемъ городѣ Коптѣловѣ— въ тое пору я жилъ въ починкѣ, прозывался онъ городомъ Коптѣловымъ... Мѣсяца два гонялъ да писалъ чиновникъ. Подъ конецъ всего спрашиваетъ:

«— Кулигами пользуетесь? [1])

«— Какъ же не пользоваться: на кулигахъ доберъ хлѣбъ родится.

«— Пріятно слышать,—говоритъ:—больше мнѣ отъ васъ ничего не требуется. Подпишитесь, что владѣете кулигами».

— Надивились на міру: испоконъ вѣка хозяйствовали, отцы, дѣды владѣли, а подписей никакихъ не знавали!

«— Теперь для васъ новыя права выдадутъ,—говоритъ. — Если вы откажетесь, кулиги у васъ отнимутъ...

«— Что же намъ дѣлать?

«— Подпишитесь. Все постарому останется: чѣмъ владѣли, тѣмъ и будете владѣть. Начальству только желательно узнать, какими вы землями и угодьями пользуетесь: то за вами и оставятъ».

— Подписались... Съ этого вотъ самаго неустройство и началось. Сперва, черезъ годъ времени, изъ удѣла пришло: назначить съ тягла оброкъ въ тридцать рублей, а за кулиги взыскать съ мужиковъ за всѣ года. Денегъ уйму такую потребовали, что у крестьянъ все продать съ животами—и того не хватитъ!

Всколыхнулся міръ.

---

[1]) *Кулигами* называются мѣста, вычищенныя изъ-подъ лѣса, или участки земли, никѣмъ не обрабатываемые, залежи и новь.

«— Какъ? Что такое?.. Погибель, братцы!»

— Живо сходъ собрали. Со всей волости народъ сошелся, ребята-подростки, бабы прибѣжали. Дѣло большое, общинное!.. Стали думать, толковать, какъ бѣду избыть? Семенъ Гавриловъ—умный мужикъ—посовѣтовалъ ходоковъ въ Питеръ послать. Разомъ выбрали—и Семена Гаврилова въ ходоки, потому онъ главный! Вышли они изъ дворовъ въ самый Покровъ Богородицы, какъ съ хлѣбомъ совсѣмъ управились, а назадъ объявились только передъ Пасхой... Близкій ли путь до Питера—на лошадяхъ и то не скоро обернешь, а наши взадъ и впередъ пѣшкомъ отмахали.

«— Съ благополучіемъ, — докладываетъ міру Семенъ Гавриловъ.—Молитесь Богу! Съ самими генералами видѣлись: «ваше дѣло право,—сказали:—будете ублаготворены»...

«— Слава Царю небесному!—закрестился весь народъ.—Взыску, значитъ, съ насъ не будетъ за кулиги?

«— Ни слова про взыскъ не упомянули. Только промолвили: «Ожидайте къ себѣ по скорости начальника».

— Міръ полегче вздохнулъ, отъ сердца у всѣхъ поотлегло... Ожидаемъ чиновника. Погодя, даютъ знать: пріѣхалъ. Стали мужиковъ въ Рыбново вызывать,—начальникъ тамъ остановился. Сбѣжались, глядимъ: съ лица молодой, здоровый да высокій баринъ. Вышелъ на крылечко, поклонился народу.

«— Я пріѣхалъ къ вамъ съ тѣмъ, чтобы ублаготворить и суспокоить васъ. Отъ взысканія за кулиги начальство васъ освобождаетъ: не воспрещалось раньше пользоваться, значитъ, и платежа за нихъ не полагалось.

«— Покорно благодаримъ. Дай Богъ здоровья начальникамъ.

«— Теперь слушайте,— говоритъ.— Доселя вы жили безъ всякаго закона: угодьями, землей пользовались, гдѣ и кто чѣмъ хотѣлъ. Теперь вамъ будетъ ограниченіе: чѣмъ вы пользовались, останется за вами, и никто стѣснительства вамъ въ томъ дѣлать не будетъ, потому какъ вы въ своихъ правахъ. Поняли?

«— Кажись, понимаемъ.

«— Согласны вы землю, какой пользуетесь, принять и дать въ томъ приговоры?»

— Позамялись мужички. «А ну, какъ, думаютъ, и онъ тоже съ подвохомъ какимъ,—подъ кулиги-то въ прошломъ году подписались», вспомнили мужички. Стоятъ, покряхтываютъ да этакъ другъ на дружку косятся.

«— Что же, братцы, принимаете?

«— Ежели мы примемъ, надо будетъ подписываться, ваше высокоблагородіе?

«— Безпремѣнно. Составите поселенно, отъ каждаго общества, приговоры и приложите къ нимъ руки.

«— Такъ. Понимаемъ... А нельзя ли бы постарому: какъ у насъ испоконъ вѣку велось, такъ бы и на будущее время?

«— Нѣтъ, объ этомъ вы ужъ лучше не упоминайте: для самихъ нехорошо будетъ, да и начальству одна непріятность. Я для того къ вамъ присланъ, чтобы дѣло съ землей уладить и все къ обоюдному удовольствію покончить. Оброкъ, какой съ васъ положенъ, вы ужъ знаете. Да я еще посмотрю, нельзя ли поуменьшить. Вы мнѣ повѣрьте, братцы, худого вамъ я не пожелаю..

«— Мы вѣримъ, только бы желали постарому, какъ предки наши,—говорятъ:—и безъ подписки, ваше высокоблагородіе...

«— Выслушайте же, братцы... Только напередъ вамъ скажу: зовутъ меня Мокей, а по отцу величаютъ Ивановичъ. Такъ вы и зовите меня: не люблю я, когда высокоблагородіемъ меня попрекаютъ»...

«Усмѣхаются на міру: чуденъ нѣшто баринъ, послушаемъ, что онъ еще станетъ обсказывать. А Мокей Ивановичъ:

«— Я,—говоритъ,—сверхъ той земли и угодій, какими вы доселѣ пользовались, изъ удѣльныхъ дачъ прирѣжу лѣса, луговъ и пахоты, сколько пожелаете, чтобы только вы были вполнѣ ублаготворены и добрымъ словомъ поминали меня, Мокея Ивановича. Положитесь на меня,—не обложитесь, братцы»...

— Ну-ка, ваше высокоблагородіе, что я примѣчалъ, — перервалъ свой разсказъ Іонычъ:—иное слово молвишь — ничего, слово, какъ слово; а другое слово человѣкъ скажетъ—анъ оно, глядишь, и много значитъ: сердца людскія смягчаетъ, умы человѣческіе покоряетъ. Таково слово было и Мокея Ивановича: промолвилъ онъ, а мужики въ одинъ голосъ:

«— Принимаемъ, батюшка, принимаемъ, согласны!»

«Просвѣтлѣло чело у Мокея Ивановича, повеселѣлъ нашъ баринъ.

«— Хоша сейчасъ земли у васъ много,— говоритъ, — но годовъ черезъ тридцать, когда народъ преумножится, будетъ недостача. Берите теперь земли больше, чтобы не только дѣтямъ, а внукамъ и правнукамъ вашимъ хватило. Народъ вы здоровый, плодущій,—шутитъ:—сколько отъ вашихъ сѣмянъ за это время молодыхъ побѣговъ примется да вырастетъ!»

— По нраву пришлась эта шутка. Экой онъ простой, совсѣмъ ровно бы и на чиновника-то не похожъ.

«— Завтра мѣрщики за работу примутся, — сказалъ: — нарѣзку сдѣлаютъ и обмежуютъ все, какъ слѣдуетъ. Велю нарѣзать по окружности, къ теперешнимъ вашимъ владѣніямъ, чтобы не было черезполосицы, да чтобы все подъ руками у васъ приходилось.

«— Спасибо, Мокей Иванычъ! Пошли тебѣ Богъ многіе годы!»

— Народъ ублаготворенъ. Живетъ, благоденствуетъ... Мѣрщики за свое дѣло принялись, ходятъ съ цѣпью, нарѣзываютъ да на планъ снимаютъ... А по народу—молва: скоро у господъ крестьянъ отымутъ, на волю мужиковъ отпустятъ и землю всю имъ даромъ отдадутъ. И допрежде помѣщичьи-то поговаривали: «Безпремѣнно насъ царь освободитъ», а тутъ ужъ больно прытко начали шумѣть... Ну, намъ что? Мы за удѣломъ, не господскіе, насъ дѣло не касается...

— Нарѣзку окончили. Какъ посмотрѣли, что намъ Мокей Иванычъ отвелъ, такъ даже ахнули! Луга заливные, земля хорошая, лѣсъ крупный, кондовой, рѣки тоже въ нашу черту включены. Приволье, богатство!

— Время приговоры бы писать, а въ народѣ замѣшательство. Дураки наши рады бы обѣими руками взять, а умники-то на попятную, начали другихъ смущать.

«— Вы,—заговорили,—небольно зарьтесь на приволье-то. Какъ бы послѣ не плакаться.

— «Чего плакаться? Жалятся люди на тѣсноту да недостачи, а намъ Мокей вонъ какую уйму земли нарѣзалъ.

«— То-то,—говорятъ,—нарѣзалъ. А про обязательство-то, видно, позабыли?

«— Про какое обязательство?

«— Вотъ самые дураки вы и есть. Оброкъ съ насъ большой пойдетъ, а мы подпишемся, что приняли землю, значитъ, навѣчно себя въ кабалу запропастимъ. Вы на слова Мокеевы прельстились, а не подумали, что въ мѣшокъ съ головой и ногами лѣзете.

«— Да какъ же это такъ,—не догадываются дураки:—оброкъ мы все равно несемъ, Мокей намъ вдвое земли прибавляетъ, а тягло обѣщалъ убавить?!

«— Пускай его убавляетъ да земли, сколько хочетъ, нарѣзываетъ. Только не надо подписываться. Мы на своей землѣ останемся. Чай, слышали, барскихъ скоро на волю отпустятъ, землю имъ даромъ отдадутъ. Отъ удѣла мы тоже отломимся»...

— Что же вы думаете? Вѣдь, поворотили міръ-то! Забрали себѣ мужики въ головы про волю, и зачалось сомущеніе. «Не подписываться, даромъ получимъ!» Одно селеніе отказывается, другое не принимаетъ. Мокей Иванычъ самъ выѣхалъ. Ѣздитъ по деревнямъ, починкамъ, уговариваетъ мужиковъ, ублажаетъ, чтобы приняли.

«— Отъ земли мы не отказываемся, только приговоровъ давать не желаемъ.

«— Да вѣдь тогда вы опять безъ правовъ останетесь, — вразумляетъ Мокей:— оброкъ вы такой же будете платить, а прирѣзкой не станете владѣть. Притомъ начальство требуетъ, чтобы владѣнія были въ границахъ: что, примѣрно, по эту сторону межи — ваше, а что по другую— удѣла. Въ своей межѣ вы полные хозяева, никто клочка у васъ не отниметъ, и никакого притѣснительства вы знать не будете».

— Никакихъ словъ не принимаютъ: уперлись, какъ быки, и, знай, свое твердятъ: «Землю принимаемъ, а приговора не даемъ». Бился-бился Мокей Иванычъ— не подаются мужики, стоятъ на своемъ: разъ по двое наѣзжалъ, уговаривалъ, инда измучился, седрешный, съ лица спалъ, осунулся.

«— Послушайтесь же меня, — упрашиваетъ Мокей: — пишите приговоры. Мнѣ дана власть: что я сдѣлаю, то и останется ужъ навсегда, перемѣны никакой больше не будетъ. Послушаетесь меня, —вы, весь родъ вашъ будете счастливы; не послушаетесь — я отпишу по начальству, тогда вы и себя и дѣтей своихъ обездолите. сдѣлаете безсчастными... Земли столько вы уже не получите, сколько я отвелъ, а приговоры отъ васъ все-таки потребуютъ—

силой возьмутъ, ежели добровольно не дадите.

«— Ну, тамъ что будетъ, поглядимъ».

«— Братцы! послѣднее слово вамъ говорю: берите, спокаетесь, да поздно, назадъ не воротите, — говорилъ Мокей, а самъ даже побѣлѣлъ, голосъ не твердъ...— Я вамъ добра желаю. Не вѣрите вы словамъ моимъ, такъ повѣрите ли Богу?— снялъ Мокей Иванычъ фуражку свою и правой рукой на небо показалъ.—Я желаю васъ по вѣкъ облагодѣтельствовать! Говорю вамъ правду-истину передъ самимъ Господомъ... Вы не глядите, что я въ мундирѣ да чиновникъ,—отецъ мой самъ за сохой ходилъ, а я, по милости Божіей и добрыхъ людей, по наукамъ своимъ, въ чиновники вышелъ и благороднымъ сталъ. Батюшка, родитель мой, когда умиралъ, наказъ мнѣ такой далъ: «Смотри, Мокей, когда будешь во времени да во власти, не забудь, смотри, кто твой отецъ и откуда ты самъ есть пошелъ! Подыми мужика: онъ на себѣ всю тягу земли несетъ. Помни, сынокъ, мои слова»... Благословилъ меня и скончался»...

— Покраснѣли мужики, слушаючи эти слова, въ потъ даже многихъ вдарило. А Мокей Иванычъ поотвернулся эдакъ немножко къ сторонкѣ, вытерся платкомъ да опять къ народу:

«— Что же, мужички? —спрашиваетъ и глядитъ таково-то жалостливо, словно онъ помилованія себѣ отъ міра ожидаетъ.— Соглашаетесь принять?»

«— Что же, мы, пожалуй,—заговорили дураки-то. — Видимъ, ты человѣкъ справедливый... Дадимъ приговоръ».

«— Дай немного еще подумать, —умные подаютъ голосъ:—дѣло большое...

«— Хорошо. Думали вы долго, подумайте еще,—говоритъ.—Даю вамъ сроку на недѣлю».

— Побѣжалъ я въ свой городъ Коптѣловъ, прибѣгъ и разсказалъ, что слышалъ. Говорю: «Ежели мы не примемъ, прогнѣвимъ чиновника, то намъ худо будетъ. Не согласимся, пришлютъ другого начальника, а что отъ него будетъ, мы не знаемъ, а что Мокей намъ даетъ—у всѣхъ передъ глазами и на видимости. А ежели ждать, когда помѣщичьихъ освободятъ, такъ, може, къ тому времени и мы всѣ помремъ». Коптѣловцы народъ гордый—не даромъ же изъ Карпова выселились, свой городъ основали! Слушать меня собрались людно, все общество привалило — городъ Коптѣловъ не малый, жителей въ немъ тогда ровно четыре человѣка было, опричь того, сколько еще бабъ съ ребятишками.

«— Что же, — говорятъ, — другіе какъ хотятъ, а мы примемъ, ежели Мокей оброку сбавитъ. Мы своимъ умомъ живемъ».

— Порѣшили черезъ недѣлю всѣмъ обществомъ къ Мокею итти, а мнѣ съ нимъ говорить. Ты хоша моложе насъ, разсудили, но шустрѣе, на словахъ боекъ».

«— Ну, что жъ, — говорю,—я для міра радъ послужить».

— Прошло время три дня. Жнемъ въ полѣ рожь, слышимъ—колокольчикъ, звенитъ-звенитъ и все, словно бы, къ намъ ближе отдаетъ... Опустили серпы, головы привзняли, глядимъ—точно, въ нашу сторону пыль взвивается!.. Близехонько... Видимъ—повозка, на козлахъ Иванка—Гаврила Степанова съ Широкова—парень лошадьми правитъ; подскакали къ намъ и— тпрр! остановились. Мокей Иванычъ!.. Мы къ нему.

«— Коптѣловскіе?—спрашиваетъ.

«— Точно такъ, — говоримъ: — мы самые.

«— Ну, хорошо,—говоритъ.—Я хотѣлъ въ вашъ починокъ заѣхать, потолковать... Вы всѣ тутъ?

«— Всѣ, батюшка, все общество налицо.

«— Ну, а коли все общество, такъ я здѣсь съ вами и переговорю. Согласны вы принять нарѣзку?

«— А сколько ты оброку съ насъ положишь?—выступилъ я.

«— Оброкъ двадцать пять рублей съ тягла.

«— Трудно, Мокей Иванычъ, справы не хватитъ.

«— Если трудно, я сбавлю: двадцать рублей въ силахъ платить?

«— Нѣтъ, батюшка, не поднять и этого міру.

«— Ну, вотъ вамъ послѣднее слово: семнадцать рублей. Поднимете?

«— Ой, батюшка! нельзя ли ужъ пятнадцать.

Подумалъ маленько Мокей Иванычъ.

«— Ладно,—говоритъ: — платите пятнадцать, Богъ съ вами. Хоша ниже семнадцати я не уполномоченъ спускать, да я начальству свои резоны представлю.

Приходите въ Рыбново приговоръ писать. Вы всѣ согласны?—спрашиваетъ нашихъ.

«— Всѣ, батюшка, всѣ согласны, Мокей Иванычъ.

«— Ну, очень радъ за васъ: будете навѣкъ спокойны и довольны. Можетъ, на васъ глядя, и другіе надумаются. Приходите же въ Рыбново. Прощайте, братцы!»

Сказалъ и уѣхалъ. Сѣли мы полдничать. А тутъ, глядимъ, хромыляетъ старикъ Мотыгинъ—старый кобель съ Вершинина.

«— Былъ у васъ Мокей?

«— Былъ.

«— Согласились?

«— Приняли.

«— Ахъ вы, коптѣлята!—закричалъ.— Да что вы надѣлали? Изъ-за васъ, ошалѣлыхъ, весь міръ-те долженъ порѣшиться.

«— Да вѣдь Мокей оброкъ малый назначилъ: пятнадцать рублей съ тягла.

«— Даромъ отдадутъ! Ахъ вы, подлые, своеобышники, міру всему супротивники».

— Что же, вѣдь сбилъ насъ Мотыгинъ-то! Весь Коптѣловъ возсталъ: «Даромъ отдадутъ, а мы что надѣлали?»... Дождался я воскресенья и покатилъ въ Рыбново,—изъ своихъ никому не сказался. Ума-то у меня теперь нѣтъ и въ молодости была нехватка.

«— Что, приговоръ писать?—встрѣтилъ Мокей.

«— Да нѣтъ, Мокей Иванычъ, мы ужъ раздумали. Ослободи.

Какъ вскочитъ съ лавки.

«— Вотъ тебѣ, — разъ по скулѣ, вотъ тебѣ!—по другой скулѣ,—вотъ тебѣ...

«Вылетѣлъ я на улицу, небо съ овчину показалось! Однако поопамятовался — домой! Навстрѣчу высоковскіе мужики идутъ.

«— Что, принялъ?—спрашиваютъ.

«— Отказался, —говорю: —вотъ и фонари. Теперь надо поспѣшать въ Коптѣлово—своихъ оповѣстить.

«— Съ Богомъ!

Хлопнули себя по шапкамъ и дальше. Поглядѣлъ: куда пойдутъ? Вижу, поворачиваютъ къ Мокею... Дай, вернусь, послушаю, что они будутъ говорить. Потихоньку вошелъ за высоковскими. Мокей бѣгаетъ взадъ и впередъ по избѣ, самъ изъ лица мѣняется.

«— Добраго здоровья, Мокей Иванычъ!— кланяются высоковскіе.

«— Здравствуйте!.. Что, надумали?

«— Надумали: ослобони».

— Какъ сгребетъ обѣими руками за волосы перваго:

«— Вотъ вамъ, вотъ вамъ!..

— Оттаскалъ одного, за другого принялся. Не успѣлъ онъ этого кинуть,—въ дверь темновскіе ввалились... Остановился. Смотритъ на тѣхъ, самъ весь красный, горитъ.

«— Ну?

«— Къ твоей милости, батюшка. Міръ послалъ...

«— Приговоръ писать?

«— Ослобони. Міръ постарому желаетъ остаться.

— Гляжу: изъ краснаго весь бѣлый сдѣлался Мокей Иванычъ, стоитъ, батюшка, точно къ смерти приговоренный, и ни словечушка не выронитъ. У меня, коптѣловца, сердце токнуло отъ жалости!

«— Смѣяться, что ли, вы надо мной?— вспыхнулъ и опять зардѣлся.—Мѣрщики!— кричитъ.—Отрѣжьте у нихъ по Отломку!

«— Твоя воля,—темновскіе ему:—коли не грѣхъ, обидѣть можешь.

«— Такъ я васъ обижаю? Обижаю? Ахъ вы»...

— Стоялъ я у самой двери,—отворить долго ли? —толкнулъ ногою и очутился на улицѣ! Покатилъ я въ свой городъ Коптѣловъ, лечу и ногъ подъ собою не слышу—легко, словно на крыльяхъ... Прискакалъ я съ бубенцами-то въ починокъ, а тамъ однѣ бабы.

«— Гдѣ мужики?

«— Да съ утра ушли. Глядѣть—не въ Рыбново ли надумали.

— Такъ и есть: коптѣловцы большой дорогой къ Мокею пошли. Обошелъ всѣ избы, потолковалъ и домой, къ своей бабѣ собираюсь. Только я попрощался, заношу ногу за порогъ, а каптѣловцы навстрѣчу лѣзутъ... О-о-о! съ какими фонарями. Уставились мы другъ на дружку и глядимъ.

«— Получили?—спрашиваю.

«— Видишь—бубенцы. А тебя гдѣ разукрасили?

«— А гдѣ вамъ привѣсили, тамъ и меня разукрасили. Въ одномъ мѣстѣ надѣлъ-то приняли»...

— Нельзя ли водицы испить? — прервалъ свой разсказъ Іонычъ. — Посудинка у меня есть,—прибавилъ онъ и досталъ изъ-за пазухи деревянную чашечку.

Напившись воды, старикъ продолжалъ:

— Всѣ отказались, ни одно селеніе не приняло. Земля наша, никуда она не дѣнется, даромъ отдадутъ... Опять показались мѣрщики, мужики за ними цѣпь волочатъ... Значитъ, отрѣзка пошла. Точно такъ, ближе къ нашему владѣнію подступаютъ, межу по Отломку ведутъ... Мы, коптѣлята, испугались... Что дѣлать? Пойти къ Мокею, — не подпуститъ, а то, пожалуй, не такихъ еще фонарей навѣшаетъ... Сталъ я уламывать: Мокей—человѣкъ добрый, пожалѣетъ насъ и за покорность больше наградитъ. Послушались... Можетъ, черезъ насъ, коптѣлятъ, думаю я дорогой въ Рыбново, міръ себѣ благополучіе навѣкъ получитъ... Пришли. Коптѣловцы толкаютъ меня: впередъ ступай, ты рѣчистъ и смѣлъ.

— Что жъ, я пожалуй, мнѣ не впервой съ чиновникомъ говорить!.. Входимъ, молитву про себя читаемъ. Мокей за большимъ столомъ расположился, планы разглядываетъ и нѣшто пишетъ... Узналъ.

«— А, коптѣловскіе!

«— Здравствуйте, ваше высокоблагородіе!—говорю я, смѣлый-то коптѣловецъ.— Съ поклономъ къ твоей милости: прости насъ, неразумныхъ!.. Мы согласны, явились къ тебѣ приговоръ писать».

— Посмотрѣлъ на насъ Мокей, головой вотъ эдакъ покачалъ.

«— Какой вы чудной народъ,—промолвилъ.—Вѣдь я какъ потчевалъ землею, какъ васъ уговаривалъ взять,—сами добра себѣ не захотѣли; жаль мнѣ васъ, но я обо всемъ ужъ по начальству отписалъ, и самъ отъ васъ уѣзжаю. Приговоръ вашъ я приму,—дадутъ ли вамъ земли по первую межу, не знаю... Вотъ,—говоритъ и на планѣ намъ указываетъ,—первая межа, а вотъ эта—вторая... Земли по второй у васъ убавилось (чего тутъ—вдвое супротивъ прежняго отхватилъ!), а оброкъ платить станете такой же».

— Велѣлъ писарю отъ нашего общества приговоръ написать, а самъ по избѣ началъ ходить, о чемъ-то думаетъ...

«— Дивлюсь я, —пріостановился: — народъ вы грамотный, а пользы своей не понимаете!

«— Ой, батюшка!—говорю,—какіе мы грамотеи! по старымъ-то своимъ книгамъ умѣемъ читать да евангельскими словесами имя свое нацарапать. Вотъ и все наше ученье!

«— А жалко мнѣ васъ, очень жалко,— походитъ да пріостановится Мокей Иванычъ.—Отъ какого богатства отказались!.. Ну, да ежели мужики не заартачатся, приговоры дадутъ,—ожидайте, начальство другого чиновника къ вамъ пришлетъ,— такъ и по Отломку съ васъ земли довольно будетъ. Не обидѣлъ я васъ!»

— Уѣхалъ Мокей. Провѣдали окольные мужики, что мы приговоръ дали. Принялись насъ срамить! Выйдемъ на работу, а они къ намъ, пригрудятъ да и честятъ:

— Что, подлые коптѣлята, приняли, дали приговоръ? На выскочку захотѣли сдѣлать, передъ чиновникомъ выслужиться. Жаль, мало онъ васъ колотилъ!»

— Засрамили, озорники! Проходу не даютъ, житья не стало. Перестали съ ними и работать: они покончатъ, а мы начинать. Ѣдемъ въ поле, а они навстрѣчу и кричатъ:

«— Гляди, приговорщики ѣдутъ. Должнобыть, на свои новыя угодья покатили. Вишь, подлые коптѣлята!»

— Особенно доставалось намъ отъ Мотыгина.

«— Отпоремъ ихъ,—говоритъ,—да приговоръ дадимъ на поселенье сослать, — паршивая овца изъ стада вонъ!»

— Всю осень мы безвыходно, ровно въ замкѣ, на починкѣ висѣли—никуда глазъ не показывали. Уставимся другъ на дружку да и любуемся. Боязко! выслать насъ хоша не властны, а отодрать, когда имъ угодно, за всякое время отдерутъ... Бесѣдуемъ такъ-то разъ,—дѣло ужъ зимою было, послѣ Николина дня, — а въ дверь шасть посылокъ... За нами, видно, — пороть... Испужались!.. Таращимъ глаза на посылка и не шелохнемся, какъ есть чурбаны деревянные...

— Здравствуйте, — говоритъ: — на воскресенье въ Темново приходите. Начальникъ изъ Питера наѣхалъ».

— Не сразу, однако, мы опамятовались.

«— Что такъ? По какимъ еще дѣламъ?— спрашиваемъ.

«— Да, полагаютъ, насчетъ Мокеевой межи».

— Вотъ тебѣ на, радуйтесь! Насъ поносили, розгами стращали, а теперь какъ сами-то будутъ расхлебывать?.. Духомъ-то,

знаешь, мы пріободрились, головы и больно высоко подняли!..

— Дождались воскресенья, и всѣмъ городомъ въ Темново повалили. Глядимъ— село запружено, а передъ избой Димитрія Потапова, что нонѣ бабы Елизаръ, народу-народу собралось — протолкаться невозможно. Старики, извѣстно, почетныя мѣста заняли; Мотыгинъ напередъ всѣхъ выдвинулся... Семенъ Гавриловъ съ мужиками переговариваетъ.

«— Не согласиться если,—говоритъ, — кончится тѣмъ, что насъ приневолятъ».

— Куда! Мужики слышать не хотятъ:

«— Не принимать! — Особливо Мотыгинъ:—Даромъ отдадутъ!—кричитъ.

«— Сейчасъ выйдетъ! слышимъ, и на крыльцо сотскій выбѣжалъ.—Какъ можно, чтобы тише. Чиновникъ важный».

— Слѣдомъ за сотскимъ *самъ* показался, за нимъ, безъ шапокъ, нашъ волостной голова и писарь. Видимъ, баринъ важный, собой полный, съ бакенбардой, въ енотовой шубѣ — генералъ, что ли, какой онъ былъ, ужъ не знаю. Мы шапки поскидали, кланяемся.

«— Здравствуйте, — тряхнулъ свысока головой.—Поздравляю васъ съ правами: вамъ нарѣзали земли со всѣми угодьями, и вы будете всѣмъ владѣть безпрепятственно, какъ, примѣрно сказать, настоящіе собственники. Пишите отъ каждаго поселенія приговоры, что нарѣзку приняли и оброкъ тридцать рублей съ тягла обязуетесь платить.

«— Мы бы желали, какъ у насъ изстари велось,—заговорили было старики.

«— Пустое не мелите,—перебилъ.— А вотъ завтра, чтобы отъ всѣхъ селеній приговоры мнѣ были представлены. Писарь здѣсь, онъ вамъ напишетъ.

«— Мы не согласны! — вырѣзался Мотыгинъ.

«— Согласны вы или несогласны, мнѣ до этого никакого дѣла нѣтъ. Если завтра, къ одиннадцати часамъ, приговоровъ не доставите,—я силой вытребую... Команда пришла?»

— Глядимъ: изъ воротъ солдаты высыпали съ ружьями и при тесакахъ; выстроились передъ избой и намъ честь отдаютъ.

«— Видѣли?»

— Посмотрѣлъ на міръ, повернулся, показалъ намъ свою широкую спину и скрылся, только мы и видѣли его!

— Хошь бы слово кто промолвилъ ровно языки у всѣхъ отнялись или онѣмѣли люди — круто больно поворотилъ. Постояли еще, подождали, не выйдетъ ли,—нѣтъ, и повалили цѣлымъ міромъ на край села, къ общественнымъ магазеямъ.

«— Надо принять, — уговариваетъ Семенъ Гавриловъ: — противъ силы ничего мы не подѣлаемъ.

«— Оброкъ зарѣжетъ, —опасаются: — тридцать рублей не сможемъ поднять.

«— Семенъ Гаврилычъ, — выступилъ я,— съ насъ тягло пятнадцать рублей Мокей Иванычъ установилъ.

«— Вѣрно,—сказалъ:—намъ тоже Мокей въ пятнадцать назначалъ.

«— И намъ за пятнадцать всю нарѣзку отдавалъ.

«— Вотъ, люди честные, — Семенъ повелъ рѣчь,—бранили каптѣловскихъ, а они, на повѣрку, умнѣе другихъ вышли».

— Я еще выше выросъ, какъ услыхалъ эти слова; извѣстно: хвалятъ,—ума прибавляютъ, а хаютъ—послѣдній отнимаютъ!

«— Теперь,—говоритъ Семенъ Гавриловъ,—мы на коптѣловскихъ обопремся, поторгуемся: можетъ, на пятнадцати сойдемся? Пошлемъ къ чиновнику выборныхъ».

— Отправили. По ломтю хлѣба не съѣли, анъ тѣ, глядимъ, взадъ ужъ прутъ, живой рукою обернули.

«— Что больно скоро? Аль съ двухъ словъ поладили?

«—Поладили,—говорятъ:—сказано вамъ тридцать рублей — и никакихъ вашихъ глупыхъ разговоровъ слышать не хочу, я противъ закона не пойду. Выгналъ. Писарь нашъ приговоры тамъ пишетъ.

«— Вотъ какъ! не на шутку, значитъ, дѣло-то... Заколодило! Эхъ, маху дали!— каются:—напрасно мы тогда Мокея не послушались; теперь конецъ нашей погибели наступилъ».

— А по улицѣ, должно, чтобы еще пуще мы чувствовали да помнили, эта самая команда съ ружьишками маршируетъ, — солдатишки народъ плохонькій, изъ убогихъ да увѣчныхъ понабраны,—а только начальникъ, ундеръ, бравый молодчина, усы покручиваетъ да глазами на дѣвокъ поводитъ. А все же мы страху много наспринимались: инвалиды, а воинство!

«— Соберемъ міромъ по два рубля съ души и отнесемъ чиновнику, — сдогану-лись кто поумнѣе-то. — Можетъ, помягче станетъ, какъ не съ пустыми-то руками къ нему придемъ!»

— Собрали, а на утро къ начальнику. Доложились. Приказалъ до себя допустить.

«— Надумались?

«— Надумались, ваше превосходительство, — и прямо на столъ передъ нимъ казну выложили».

— Ни слова не сказалъ. Принялъ.

«— Нельзя ли,—говорятъ, — поуменьшить оброкъ! Тягостно намъ тридцать рублей.

«— Сколько же?

«— Да хоть бы на половинку.

«— Много хотите.

«— Сколько Мокей Иванычъ назначилъ. Коптѣловскіе приняли: съ нихъ пятнадцать тягло».

— Порылся на столѣ, вынулъ листъ, пробѣжалъ глазами.

«— Будь по-вашему,—сразу подался.— Хорошо, что у меня бумага коптѣловскихъ сыскалась, а то бы ниже двадцати рублей никакъ не возможно»...

— Взялъ наши денежки, положилъ къ себѣ въ сафьяновую сумку и кликнулъ писаря.

«— Дѣло покончено,—объявилъ:—впиши въ приговоры, гдѣ пропуски оставлены, что съ тягла крестьяне обязуются платить оброкъ по пятнадцати рублей. Прочитай сперва имъ приговоръ».

— Слушаютъ: все какъ слѣдуетъ, правильно, только нарѣзка земли не по Мокееву межу—первую-то, а по вторую, что по Отломку мѣрщики отрѣзали. Никто не заикнулся, что, молъ, дай ты намъ по первую Мокееву межу!

«— Молите Бога за коптѣловскихъ, — сказалъ чиновникъ:—они міръ выручили!»

— Уѣхалъ... Ну, вотъ тутъ настоящее-то и пошло... Подождите, родимые, дайте маненько передохнуть...

---

Отдохнувши, Іонычъ продолжалъ:

— Первый завороху эту поднялъ Мотыгинъ:

«— Дѣло нечисто,—началъ смущать.— Какъ! сперва тридцать назначилъ, а дали ему подарки, — спустилъ на половину. Може, поторговаться, онъ бы еще снесъ. Безпремѣнно міру глаза отводятъ: начальствомъ вышнимъ приказано даромъ землю отдать, а чиновники свою выгоду соблюдаютъ: одинъ пріѣхалъ, сорвалъ по два рубля съ души; теперь жди другого, прискачетъ да сорветъ. Эдакъ мы денегъ не напасемся!

«— А кто знаетъ,—вступился Димитрій Потаповъ:—не сошлись мы на Мокея, не спустилъ бы, пожалуй, на половину, а Мокей съ насъ денегъ не бралъ.

«— Не бралъ!—передразнилъ его Мотыга.—Не давали, такъ и не взялъ; а принесли бы ему, положили на столъ, такъ небойсь, не отвернулся бы, слизнулъ, какъ корова языкомъ».

— Дальше да больше, всѣ кричатъ, галда такая поднялась, что хошь бѣги. Опровергаютъ, «приговоръ обманомъ вынудили», кричатъ, отъ оброка пятятся.

— Не встрѣвайся тутъ въ дѣло Семенъ Гавриловъ, все, можетъ, пустяками бы кончилось: пошумѣли, повопили, да и угомонились. А онъ далъ ходъ: молодой еще былъ мужикъ, а народъ его слушался.

«— По-моему,—говоритъ,—дѣла этого не слѣдуетъ такъ оставлять. Поначалу баринъ говорилъ: законъ на васъ тридцать рублей налагаетъ, и разговаривать съ нами больше не хотѣлъ, а на другой день взялъ деньги—и законъ испровергъ... А развѣ одинъ человѣкъ,—будь хоть онъ десять разъ генералъ,—можетъ законъ нарушить? По-моему, на чиновника надо жаловаться.

«— Безпремѣнно! — обрадовался Мотыгинъ.— Сенаторамъ подадимъ бумагу, а ежели отъ нихъ толку не будетъ, то до самого государя дойдемъ!

«— Надо жаловаться. А то житья намъ не будетъ!»

Семенъ Гавриловъ бумагу писать вышнему начальству: мастеръ былъ писать... Такую-то ли бумагу составилъ,— ни одинъ человѣкъ лучше не придумаетъ! Грамотные сичасъ руку прикладывать, меня тоже заставляютъ.

— Да слѣдуетъ ли мнѣ подписываться?— говорю: — я до васъ отъ Мокея принялъ.

«— Ахъ ты, негодный мужичонка! — напустился Мотыга.— Ослушникъ ты всего міра! Прикладывай руку! не то — здѣсь же тебя десяткомъ отхлестаемъ!»

«Съѣлъ бы меня старый песъ, да, спасибо, Семенъ Гаврилычъ замолвилъ слово:

«— Коптѣловскіе до насъ приговоръ дали. значитъ, они вольны не подписываться.

— Взглянулъ на меня Мотыгинъ, аки бы на ворога своего лютаго, зубами эдакъ вотъ скрипнулъ и плюнулъ, не прибавивши больше ни одного слова!..

— Опять ходоковъ въ Питеръ, Семена Гаврилова съ ними главнымъ послали: разумный и справедливый мужикъ!

— Долго нѣшто въ этотъ разъ ходоки въ Питерѣ зажились: ушли тоже около Покрова, а и на Пасху ихъ домой нѣтъ... Егорьевъ день минулъ, скотину въ поле изъ дворовъ выгнали, а ходоки еще не подъявляются. Вездѣ ужъ наземъ подъ паръ вывезли, яровое принялись сѣять, а про ходоковъ и слуха нѣтъ... Домашніе безпокоются, бабы воютъ: «Померли, должно, сердешные!» Пошелъ я въ Троицынъ день помолиться,—въ Темновскую часовню мы ходили. Съ моленья завернулъ къ Димитрію Потапову. У него человѣкъ пятокъ гостей было. Пообѣдали. Сидимъ, калякаемъ, про ходоковъ своихъ вспомнили,—слышимъ топотъ по улицѣ. Глядимъ — вершникъ скачетъ: весь въ пыли — лица невозможно распознать. Подскакалъ къ дому Потапыча. Разглядѣли: Савельичъ съ Большой Пристани.

«— Съ чѣмъ, Савельичъ? — Потапычъ ему изъ окошка кричитъ.

«— Бѣда! — махнулъ рукой Савельичъ и въ избу. Вбѣжалъ, помолился образамъ.

«—Здорово живете, честные люди! Здравствуй, хозяинъ, съ праздникомъ! — промолвилъ.— Что, не съ добромъ я къ вамъ.

«— Аль ходоки скончались?

«— Я къ вамъ прямо изъ Рыбнова. Ѣздилъ туда по своему дѣлу. Такая-то заворoха тамъ идетъ! Комисья наѣхала, батальёнъ пригнали... У тайносвященцевъ молельную очищаютъ, иконы святыя велятъ уносить, а то грозятъ выкинуть; солдаты подъ селомъ палатки разбили, а погодя, слышь, разведутъ по деревнямъ.

«— Что же это за божеское попущеніе?— спрашиваемъ.

«— А бумага-то на барина къ вышнему начальству!

«— Чего намъ теперь ожидать?

«— А ожидайте къ себѣ посылка; всѣхъ, кто руку къ жалобной бумагѣ прикладывалъ, въ Рыбное вытребуютъ».

Никто шагу за порогъ не ступилъ, сидимъ мы, носы-то повѣсивши, а ужъ на селѣ провѣдали. Привзнялъ я голову, немного эдакъ лицомъ къ окошку пооборнулся посмотрѣть,—что на улицѣ вдругъ тихо сдѣлалось. Парни, дѣвки насупротивку въ лапту играли, мірскіе у лабаза Никиты Прохорова сидѣли, бабы, мужики. Ни души нѣтъ! Повысунулся я въ окошко,— куда они всѣ поспрятались? анъ народъ близехонько, наискось, у избы Финогеновой сгрудился. Стоятъ, и хоть бы слово какое донеслось,— ничего не слышно.

«— Что ты, на кого тамъ засмотрѣлся? Аль посылка видишь? — спрашиваетъ Потапычъ.

«— Да нѣтъ, посылка еще не знать, а у Финогенова дома народа больно людно собралось. Должно, не вѣсть ли какая пала...

«— Похоже на то, — заглянулъ въ окошко и хозяинъ.

«— Вонъ баба Семена Гаврилова къ сходбищу бѣжитъ».

— Никакія слова съ языка нейдутъ, только прислушиваемся. Инда сердце перестало биться... Вдругъ какъ заверещи-и-итъ!.. Видимъ, Семенову хозяйку бабы подхватили: головушкой она мотаетъ,— то опуститъ, то вскинетъ, — ноженьки нейдутъ, а сама голоситъ:

«— Ой, родимые! ой, болѣзные! — убивается.— Сгибъ мой добрый лада, сгибъ мой свѣтъ, Семенъ Гаврилычъ! — Ударилась внизъ головушкой, повисла на рукахъ у бабъ и памяти рѣшилась»...

Іонычъ замолкъ. Позабылъ ли онъ что и припоминалъ, или тяжелое чувство шевельнулось въ его изсохшей груди,— по лицу разсказчика трудно было догадаться.

— Слухъ такой въ село палъ, что ходоковъ нашихъ навѣчно въ замокъ заключили... Направилъ я свои лыжи въ Коптѣловъ. Прохожу Собакиной — пусто на улицѣ, иду Вершининымъ — что за диво дивное — опять ни одного человѣка въ жилѣ! Ужъ не примеръ ли народъ?.. Не утерпѣлъ, постучался у крайней избы. Не отвѣчаютъ! Постучался вдругорядь.

«— Жива ли хошь одна человѣческая душа? — и заглядываю въ окошко-то.

— Изъ-за простѣнка словно бы человѣческое лицо мелькнуло и спряталось.

«— Чего тебѣ, Іонычъ? — слышу.

«— Да ты выглянь на волю-то!

— Отодвинулъ нехотя мужикъ половинку.

«— Какое у тебя до меня есть дѣло?— спрашиваетъ.

«— Что у васъ: на дворѣ праздникъ большой, а на улицѣ народъ не гуляетъ?

«— Да праздникъ ли? — отвѣчаетъ.— Кара Господня на міръ идетъ... Всѣ по своимъ избамъ забились, свѣчи затеплили, Богу молятся, чтобы онъ, царь нашъ милосердный, тучу эту грозную въ сторону отвелъ... Прости меня, Христа ради, Кондратій Іонычъ, — и захлопнулъ окошко».

— Наши тоже ужъ спознали. Выбѣжали навстрѣчу. «Что слышалъ, какъ дѣло?» — Я все обсказалъ.

«— Чего бы и намъ не было? — испугались.

«— Намъ чего бояться? Мы раньше приняли, отъ самого Мокея, къ бумагѣ жалобной рукъ не прикладывали. Дѣло насъ не касается».

— Суспокоилъ. Недѣля минула, двѣ; слышимъ, народъ по сторонѣ таскаютъ, острогъ биткомъ набитъ,— молельную-то у рыбновскихъ въ тюрьму повернули: кто руку прикладывалъ — всѣхъ въ замокъ. По деревнямъ кое-гдѣ солдатъ поставили: пьютъ, ѣдятъ... всего требуютъ на фатерахъ! Немного погодя, съ почина Кондратія Іоныча вызываютъ... Такъ, добрались!..

— Отправился. Иду черезъ Артемиху — дорога на нее хошь и небольно ладна: все шахрой итти,— болота да кочки,— зато много ближе до Рыбнова: спѣшилъ очень...

«— Куда?

«— Въ комисью. Вызывали.

«— Поспѣшай,— говорятъ: —тебя тамъ ждутъ. Узнали словеса-то евангельскія».

— Думаю: что бы это означало?.. Иду... Дорогой кой-кого повстрѣчалъ. И отъ всѣхъ, съ кѣмъ ни столкнусь, однѣ и тѣ же рѣчи: «Поспѣшай, тебя тамъ ожидаютъ: узнали словеса евангельскія»... Никакъ въ башку свою глупую не возьму, на что они мѣтятъ?.. Иду, шагу прибавляю, тороплюсь — нельзя, ждутъ, — а самъ все о словесахъ евангельскихъ раздумываю... Показалось Рыбново, шатры въ полѣ забѣлѣлись, и что-то будто на солнышкѣ сверкаетъ...

— Иду селомъ, по улицѣ солдаты попадаются, офицеры верхами разъѣзжаютъ, на крыльцѣ хоро́мъ, гдѣ комисья, два жандарма съ пистолетами и при сабляхъ...

«— Сюда, что ли, почтенные, у васъ въ комисью-то ходятъ?

«— Прямо ступай».

— Взошелъ въ сѣни, за дверную скобку берусь, а самъ псаломъ царя Давыда читаю: «не внидеши въ судъ съ рабомъ твоимъ»... Полна изба народу! За столомъ начальники сидятъ, сурьезные, строгіе на видъ, особливо набольшій-то, — какъ я послѣ ужъ узналъ: ужъ очень грозенъ мнѣ показался! По сторонамъ два жандарма. Всталъ я, повыдвинувшись эдакъ къ столу, чтобъ имъ видко-то меня было, и жду своей очереди. Запримѣтили, и скоро главному-то сказали. Тотъ вылѣзъ изъ-за стола, — роста высоченнаго мужчина, — подошелъ ко мнѣ.

«— Ты Кондратій Іоновъ?

«— Такъ точно, я самый.

«— Ну, — говоритъ жандарму, — проводи его: послѣ разберемъ!»

— Жандармъ проводилъ меня. Довелъ до молельной, отворилъ дверь, да какъ толкнетъ — я такъ и уткнулся головой!.. Ничего, скоро опамятовался, приподнялся, глаза протираю... Ба! люди все знакомые... Вершининскіе, темновскіе, высоковскіе да со всей, знать, волости грамотные-то: Димитрій Потаповъ, Андрей Финогеновъ, Прохоръ Максимовъ,— дружковъ много, люди все хорошіе сидятъ... Старикъ Мотыгинъ въ общей же компаніи. Ну, думаю, на міру и смерть красна.

«— Давно вы тутъ? — освѣдомляюсь.

«— Да больше ужъ двухъ недѣль.

«— Сколько же времени еще васъ протомятъ?

«— Богъ вѣдаетъ: каждый, почитай, день въ комисью требуютъ.

«— Вотъ и ты къ намъ угодилъ,— говоритъ Мотыгинъ: — даромъ, что руки не прикладывалъ.

«— Ничего, — говорю: — посижу съ добрыми людьми.

«— То-то посижу. Отъ міра ты откололся, а судьбы своей не миновалъ. Видно, Богъ-отъ вкупѣ съ міромъ велитъ страдать»...

— Слышимъ, кто-то у двери снаружи рявкнулъ... Притихли острожники. Погодя: «ахъ, вы»... и ни слова больше; только еще рявкнулъ.

«— Кто это? — потихонечку спросилъ.

«— Начальникъ главный; каждый день такъ: подойдетъ къ двери да и рявкнетъ».

— Утромъ — я еще головы не подымалъ — опять начальникъ рявкнулъ. Повременя, начали перекликать да въ ко-

мисью требовать; до меня очередь скоро дошла.

«— Кондратій Іоновъ?..

«— Я самый.

«— Въ комисью!..»

— Являюсь. Набольшій уставился на меня — самъ ревунъ-то:

«— Подписывался?

«— Никакъ нѣтъ.

«— А это что? — по-медвѣжьи взревнулъ и жалобную бумагу съ подписями мнѣ тычетъ.

— Гляжу: мое имя выставлено и починокъ Коптѣловъ, а рука не моя: я уставомъ, а тутъ скорописью.

«— Хоша, — говорю, — подписанъ я, а рука чужая.

«— Ладно!

— Опять въ острогъ. Такъ вотъ оно что «словеса-то евангельскія», уразумѣлъ я, вотъ за что меня притянули! Да вѣдь я же уставомъ, а въ бумагѣ скорописью?.. Ничего, сижу... Бесѣдуемъ.

«— Какъ-то у насъ теперь съ работою поспѣваютъ? — переговариваются заключенные. — Сѣно, поди, принялись косить, а тутъ, не увидишь, жнитво подоспѣетъ — страда самая наступитъ».

— Пища намъ — одинъ черствый хлѣбъ да вода; родственники изъ домовъ приносили, да никого не подпускали. Моя баба навѣдывалась — прогнали. Только начальникъ аккуратно раза по два, по три къ двери подходилъ да рявкалъ, а ину пору и скажетъ:

«— Ахъ вы, противники!.. Живыми въ тюрьмѣ сгною! — и зубами заскрябаетъ».

— Примѣчаю, неладно что-то съ мужиками дѣется: по домашнимъ, дѣтишкамъ встосковались...

«— Господи! долго ли намъ еще мучиться-то?»

— Вздыхаютъ... Между собою шушукаются, о чемъ — не разберешь. Помолчатъ, вздохнутъ, да опять шопоткомъ. Сдоганулся: ослабѣваютъ люди. Насилу новаго вызова дождались! Меня послѣднимъ кликнули. Въ улицѣ солдаты въ двѣ ширинки выстроены. Офицеры на коняхъ красуются, и прутья грудами навалены — много, возовъ съ десятокъ будетъ. Провелъ меня жандармъ ширинками-то...

— Втолкнули меня въ присутствіе. Осмотрѣлся... У стола, за коимъ начальники сидятъ, какой-то человѣкъ съ двумя солдатами стоитъ; понитчишка на немъ весь истасканный, портчишки рваные и лаптишки истоптанные, худые. Пообернулся только этотъ человѣкъ, на меня посмотрѣлъ, я тоже на него взглянулъ... Господи, Владыка праведный! Съ того свѣта живой мертвецъ воротился — передо мной Семенъ Гаврилычъ стоитъ!.. Такъ еле только на ногахъ удержался, — вся внутренняя во мнѣ перевернулась! А онъ смотритъ...

«— Ты не подписывался? — начальникъ меня спрашиваетъ.

«— Никакъ нѣтъ, — говорю.

«— Врешь! — заревѣлъ».

— Молчу. А Семенъ Гаврилычъ:

«— Правду-истину онъ показалъ, ваше превосходительство, — замолвилъ слово».

— Звѣремъ на него воззрился начальникъ, но ничего не сказалъ.

«— Такъ не подписывался? — опять меня спрашиваетъ.

«— Никакъ нѣтъ.

«— Хорошо, — говоритъ: — пиши, что руки не прикладывалъ и доволенъ».

— Я нацарапалъ. Набольшій посмотрѣлъ, другимъ начальникамъ показалъ. Переглянулись.

«— Ступай съ Богомъ! — отпускную мнѣ далъ. — Теперь ничего не бойся. Дѣло твое правое».

— Я поклонился. Вижу: Семенъ Гаврилычъ на меня взираетъ, — и улыбка у него на устахъ свѣтлая, радостная, словно ангельская, — провожаетъ меня глазами. Хотѣлъ я поклониться ему, да начальниковъ шибко забоялся»...

Кондратій Іонычъ попросилъ водицы... Почему-то чашка дрожала въ его рукахъ, когда онъ подносилъ ее къ своимъ блѣднымъ и сухимъ губамъ.

— Спасибо, батюшка, Димитрій Павловичъ. Прими-ка, на чашечку-то, поставь ее на свое мѣсто... Ну, отошелъ я вздадь, къ стѣнкѣ, посхоронился отъ взоровъ начальниковъ: хотѣлось больно узнать, какая развязка всему дѣлу будетъ, а пуще — на Семена Гаврилыча наглядѣться... Начали другихъ перебирать.

«— Давалъ ты деньги чиновнику? — спрашиваютъ одного.

«— Собирали тогда...

«— Ты давалъ? — къ другому.

«— Помню, была тогда сходка...

«— А ты? — третьяго пытаютъ.

«— Дѣлу тому ужъ голомя будетъ... Пошли мы отъ барина того къ магазеямъ...

«— Ну, а ты?»

— Я слушаю; примѣчаю: заминаться, ослабѣвать начали... Семенъ Гаврилычъ смотритъ на нихъ, глаза у него таково-то ли широко раскрылись... «Господи! — молюсь про себя: — не оставь, дай ты крѣпости духовной міру!..» А допросы идутъ, никто прямо отвѣта не даетъ, бродятъ около да плутаютъ, словно въ чужомъ лѣсу.

«— Можетъ, собирали съ васъ на что-нибудь другое? — главный надоумилъ. — Вспомните-ка, подумайте хорошенько! Не забывайте, что васъ ожидаетъ... Вѣдь у васъ семейства, дѣти»...

— Мужички потѣютъ, глаза отъ Семена Гаврилыча прячутъ — не могутъ выдержать его взора праведнаго... Совсѣмъ ослабѣли — чуточку ужъ въ нихъ духу осталось. «Царь Небесный, Творецъ Всемилостивый! Не попусти ты плоти духъ побороть, — молюсь я. — Не дай безвинно человѣку пропасть!»

— Ну, что же, надумались? Вспомнили? — слышу ревуна-то опять голосъ».

— Ме-ертвая тишина наступила, родимые вы мои... Первый выступилъ старикъ Мотыгинъ, красный весь, какъ вареный ракъ.

«— Надумалъ, — выговорилъ. — Вспомнилъ я»...

— Опять—ме-ертвая тишина! Духъ во мнѣ занялся... Начальники глазами своими такъ и впились въ Мотыгина.

«— Ну?

«— Деньги мы тогда собирали... только не на чиновника, а на мірскія надобности».

«— Подпишись».

— Іуда Искаріотскій! предалъ... Старикъ, одной ногой уже въ гробу стоитъ, а что сдѣлалъ! У Семена Гаврилыча глаза еще шире раскрылись, лицо еще будто бѣлѣе стало.

«— Прохоръ Максимовъ! ты что покажешь?»

«— Повиненъ...—говоритъ, а съ самого потъ градомъ, градомъ такъ и катится. — Деньги собирали... на мірскую нужду... Прости меня Богъ»!...

— И Прохоръ грѣхъ на душу принялъ, правду святую попралъ... Ну, теперь потопятъ, весь міръ за ними въ адъ пойдетъ!.. А Семенъ Гаврилычъ, горемычный, стоитъ, глаза у него большіе-большіе, на щекахъ кровь алыми пятнами выступила, волосы на головѣ мокрые сдѣлались, ко лбу и вискамъ прилипли...

— Не одинъ-то человѣкъ, родимые вы мои, не показалъ совѣстливо, всѣ отъ дѣла ума своего отреклись!

«— Мы,—говорятъ,—ничего не давали».

— Отказались! Утопили человѣка. Презрѣлъ міръ правду, отвратила и она свое лицо отъ міра...

«— Ну, коли вы такъ показали,—Богъ съ вами! — промолвилъ Семенъ Гаврилычъ»...

— Не вытерпѣлъ я—и гаркнулъ:

«— Міръ лживый... Предатели!»..

— Хотѣлъ, какъ должно обсказать, за Семена Гавриловича вступиться, — анъ меня повернули невидимой рукой, тресънули по загривку, и я ужъ — гдѣ? — далеко за крыльцомъ очутился!..

Примолкъ Кондратій Іонычъ, не хватило у него голоса. Въ глазахъ его что-то блеснуло, и мнѣ показалось, что изъ нихъ выронились двѣ слезинки.

— Ну, тутъ ужъ и развязка скорая наступила. Награды посыпались: кого перепороли, кого на работу угнали, кто высидѣлъ, а человѣкъ пятокъ, въ томъ числѣ и двоихъ ходоковъ, на вольное поселеніе сослали; а куда Семена Гаврилыча законопатили — такъ и слуха о немъ, сердечномъ, никакого къ намъ не дошло. Мотыгинъ, за то, что первый ложно показалъ, всего двадцать лозановъ получилъ!..

---

Въ калиткѣ показалась Афимья. Она ступила нѣсколько шаговъ, остановилась и, обращаясь въ сторону телѣжки, тихо спросила:

— Наговорился ли, дѣдушка Іонычъ?

— Аль ты ужъ за мной пришла? — быстро повернулъ къ ней голову Кондратій Іонычъ.—Ну, коли пришла, такъ подожди малость, посиди тутъ гдѣ-нибудь—въ саду больно хорошо. А я еще поговорю съ господами.

— Ну, ладно. Я посижу,—покорно отвѣтила Афимья, отошла къ сторонкѣ и опустилась на песокъ; обхвативши руками колѣни и спрятавъ подъ сарафанъ свои босыя ноги, съ въѣвшеюся въ нихъ пылью, она начала прислушиваться, о чемъ мы говоримъ.

— Что же дальше-то, Кондратій Іонычъ?

— Ты про Мокееву-то межу спрашиваешь?

— Да, ты еще не кончилъ.

— А сейчасъ доскажу, батюшка. Вотъ ушли отъ насъ всѣ, оставили народъ въ спокоѣ. Нарѣзку мы получили по Мокееву межу—не по ту, что раньше давали, а по другую, по Отломку... Не пожалуемся, нечего напрасно Бога гнѣвить—земли довольно намъ отвелъ Мокей Иванычъ—живъ ли онъ теперь, не знаю, — всѣмъ были ублаготворены. Ну, да и времена-то вѣдь тогда были попроще: владѣли наши по Мокееву межу, а скотину распускали по всей дачѣ, лѣсъ тоже рубили, гдѣ хотѣли, на звѣря всякаго и птицу вездѣ охотились—запрета намъ ни въ чемъ не было. Жили, какъ прежде, знали одно тягло, платили въ годъ по пятнадцати рублей на ассигнаціи. Просторно и тогда еще за удѣломъ жили, а вотъ какъ совсѣмъ-то отошли—утѣснительно стало. Народа много новаго прибавилось, а лѣсъ и угодья отъ насъ ушли. Опять наша глупость несусвѣтимая: отдавали по Мокееву межу, а мы отказались! Баринъ, посредственникъ, али кто иной,—насъ спрашиваетъ:

«— Желаете по Мокееву межу получить?

«— Вѣстимо,—говоримъ.

«— Такъ и будетъ,—говоритъ посредственникъ:—у васъ есть на то право, и никто вашего права отнять не можетъ.

«— Покорнѣйше благодаримъ, — говорятъ.—А какъ оброкъ?

«— Теперь оброка не будетъ, а положатъ выкупные: станете платить съ души, а не потягольно.

«— А по скольку, примѣрно, съ души полагается?

«— Это опредѣлится по оцѣнкѣ земли: рублей такъ шесть-восемь на серебро,—не больше!

«— Значитъ, на волю-то отойдемъ, такъ оброку станемъ больше платить?

«— Нельзя иначе,—баринъ-то:—теперь новыя права. Черезъ сорокъ девять лѣтъ вы землю выкупите, и она будетъ ужъ тогда вашей собственностью.

«— А теперь земля не наша, не собственная?

«— Удѣльная. Когда выкупите, будетъ собственная.

«— Такъ. А нельзя ли, чтобы оброкъ поменьше былъ?

«— Нельзя. У васъ земли много. Ежели желаете принять половинный надѣлъ, тогда выкупныхъ съ васъ меньше сойдетъ.

«— Значитъ, по новымъ-то правамъ отказаться отъ земли можно?

«— Можете. Принуждать не станутъ.

«— Такъ, — говорятъ мужики. — Надо подумать».

— Собрали сходъ. Учали думать. Кто по Мокееву межу желаетъ, кто половинный. Орутъ, галдятъ. Петрушка Иванковъ, Васька Сидоръ—старые псы, въ родѣ Мотыгина,—покрываютъ весь сходъ.

«— Куда намъ по Мокееву межу?—шабаршатъ.

«— Возьмемъ половинный, оброку меньше будемъ платить.

«— Такъ вѣдь тогда земли и лѣсу отрѣжутъ.

«— Возьмемъ себѣ одну пахоту. На что намъ лѣсъ?

«— Какъ безъ лѣсу-то?..

«— Лѣсъ отъ насъ никуда не уйдетъ: останется на своемъ мѣстѣ. Что въ пещуръ, что ли, его положатъ, да съ собой унесутъ?

«— Міряне честные,—говорю я:—народа у насъ умножилось, а земли-то вѣдь не прибавилось. Куда же мы дѣнемся, когда еще больше людей народится?

«— Али ты хочешь большое потомство развести?—смѣются Петька-то да Васька,—знамо, озорники!—Кажется, пора бы тебѣ перестать объ этомъ думать, ты не моложенькій?

«— Не токма что убавлять добровольно себѣ земли, а надо просить начальника, чтобы надѣлъ дали по старую Мокееву межу!—уперся я на своемъ.

«— Хочешь оброкъ въ пять десятковъ али въ цѣлую сотню вогнать? Что пустое зря городишь! Развѣ кто запретитъ намъ лѣсъ рубить али траву на поймѣ косить? Ничто отъ насъ не отойдетъ, все будетъ наше».

— Осилили вѣдь шабаршилы-то!

«— Какъ можно! выкупъ великъ!»

— Приняли надѣлъ половинный. Въ оброкѣ выгадали на рубль съ души, а лѣсъ и угодья всѣ отошли... Спохватились послѣ, да ужъ поздно: близко вотъ локоть-то, да его не укусишь. Народъ умножается, а приволы—никакой. Порядки за-

велись престрогіе, вездѣ лѣсная стража да объѣздчики рыщутъ. Ну-тка, ни дровецъ-то нельзя стало нарубить, ни лутошки на мочало взять, ни скотинки въ лѣсъ али въ лужавинку выпустить!.. Трудное, крутое время для нашего брата, крестьянина, подошло... И все годъ отъ году хуже, тяжелѣе становится; не знаемъ, какъ впередъ-то и жить ужъ будемъ!.. А всему причина—наша темнота да неразуміе!—заключилъ Кондратій Іонычъ.

Во время разсказа, я раза два посмотрѣлъ на Афимью. Она попрежнему, обхвативши крѣпко обѣими руками свои колѣни, сидѣла и внимательно слушала; лицо ея по временамъ принимало такое же точно выраженіе, какое я видѣлъ у Аѳонюшки: то же самое умиленіе, доходящее почти до благоговѣнія, и иногда младенчески кроткая улыбка на губахъ.

— А что, ваше высокоблагородіе, Борисъ Михайловичъ,—заговорилъ Іонычъ:—ты помнилъ али нѣтъ мое прошеньице-то?

— Написалъ.

— Такъ дозволь теперь скотинку-то въ лѣсъ гонять. Вѣдь заморилася она безъ корму-то, день-то денской по сухой землѣ бродивши: только приволья ей, что одно прошлогоднее яровое поле... Дозволь, батюшка!

Борисъ Михайловичъ подумалъ.

— Хорошо, старикъ,—сказалъ онъ:—для тебя я это сдѣлаю. Пускай гоняютъ, но только скажи мужикамъ, чтобы они лѣсъ берегли отъ порчи и пожаровъ, иначе будутъ отвѣчать.

— Сберегутъ, родимый, станутъ охранять. Спасибо тебѣ, Борисъ Михайловичъ!

— Но ты объясни толкомъ, что допускаю только на нынѣшнее лѣто. Я не знаю, какой отвѣтъ изъ конторы получу.

— Такъ, такъ, батюшка... Извѣстно дѣло, ты самъ подъ началомъ, что набольшіе велятъ... А не дозволишь ли ужъ, батюшка, мужичкамъ покосить, что на маленькомъ крутомъ лужавиночка-то клинчикомъ вдалась?

— Ну, ты пойдешь теперь канючить!—махнулъ рукой Борисъ Михайловичъ.

— Али нельзя? Ну, спасибо и на томъ, что дозволилъ скотинкѣ въ лѣсу гулять. Много благодарны... Афимьюшка! не пора ли намъ ко дворамъ? Чай, Аѳонька-то одинъ безъ меня затосковался.

— Какъ ты хочешь, батюшка,—отвѣчала женщина, подходя къ телѣжкѣ.—Время-то ужъ много: солнышко, того гляди, за широковскій лѣсъ опустится.

— Коли такъ,—пора ѣхать... Вывезешь ли ты коляску мою изъ сада?

— Я помогу,—сказалъ Борисъ Михайловичъ.—Да это чья молодица-то, Іонычъ?

— А ты нѣшь не знаешь ее? Это жена Василка, Аѳонькина-то сына! Да что онъ, Аѳонька-то, живъ?

— Живъ, дѣдушка. Лежитъ на печи, не жалуется на хворь-то.

— Ну, ладно. Поѣдемъ домой... Да чашечку-то бы какъ мнѣ не забыть? Гдѣ она?

— Взяла ужъ я... Али тебѣ ее подать?

— Давай. Я за рубаху спрячу.

Кедровъ вывезъ старика изъ сада, приладилъ къ передней оси снова обручъ и передалъ экипажъ въ распоряженіе Афимьи.

— Надо впрягаться,—проговорила она, улыбаясь, и встала въ обручъ.

— Ну, совсѣмъ, что ли?—спросилъ Іонычъ, вытягивая свои ноги и приготовляясь къ окончательному отъѣзду.

— Я запряглась.

— Хорошо. Прощайте, Борисъ Михайловичъ! Прощай, Димитрій Павловичъ! Спасибо вамъ... Жалуйте ко мнѣ въ гости...

— Везти, что ли, батюшка?—спросила Афимья.

— Трогай... Постой! Такъ дозволишь, батюшка, Борисъ Михайловичъ, на маненькомъ крутомъ травки покосить?.. Поѣзжай... Спасибо, батюшка! Димитрій Павловичъ! приходите ко мнѣ.

Коляска покатилась. Мы провожали ее, стоя у калитки, и смотрѣли, какъ Іонычъ, сидя на подушкѣ, покачивался взадъ и впередъ, точно маятникъ, и сѣдой клокъ его волосъ леталъ въ воздухѣ. Солнце садилось, и розоватые лучи его обливали фигуру и бѣлую голову Іоныча.

Въ концѣ августа я оставилъ село Темново.

**Тарасъ Григорьевичъ Шевченко.**

(1814 — 1861).

## 1. Работница.

### Поэма.

(Посвящено И. С. Тургеневу).

ПРОЛОГЪ.

Поле, утреннимъ туманомъ
Все покрытое, лежитъ,
А въ туманѣ, надъ курганомъ,
Словно деревце, стоитъ
Молодица-молодая,
Что-то къ сердцу прижимая,
И съ туманомъ говоритъ:

«Что меня ты не задавишь,
Что не скроешь подъ землей;
Что мнѣ вѣку не убавишь,—
Не убавишь доли злой?
Или нѣтъ, голубчикъ мой,
Не дави, а только въ полѣ
Спрячь, чтобы люди не нашли;
Чтобъ моей несчастной доли
Знать и видѣть не могли!

«Не одна, не сирота я:
Мать съ отцомъ еще живутъ;
И еще, туманъ, мой братецъ,
Есть сыночекъ; вотъ онъ тутъ...

«Ты, дитя мое родное,
Некрещеное дитя!
Въ часъ недобрый, на невзгоду,
Горемычнаго тебя
Окрестятъ чужіе люди;
А твоя родная мать,
Можетъ-быть, и не узнаетъ,
Какъ сыночка будутъ звать.
Ахъ! вѣдь я была богата...
Не вини ты мать свою!
Стану Богу я молиться,
Много горькихъ слезъ пролью—
Съ неба выплачу я долю
И къ тебѣ ее пошлю!»

И пошла она полемъ, рыдая,
Укрываясь въ туманѣ, пошла;
И тихонько, сквозь слезы запѣла—
Про вдову эта пѣсня была:

Какъ вдова на Дунай выходила,
Какъ въ Дунаѣ дѣтей схоронила...

«Во чистомъ полѣ могила.
Къ той могилѣ приходила
Молода вдова гулять,—
Злого зелья поискать.
Злого зелья не нашла,
Двухъ сыночковъ принесла.
Въ китаечку повила—
На Дунай-рѣку пошла.
Тихій, тихій мой Дунай,
Моихъ дѣтокъ забавляй.
Ты, песочекъ золотой,
Подъ собою ихъ укрой,
Накорми моихъ дѣтей,
Искупай ихъ и повей».

I.

Былъ старикъ, была старушка;
Съ давнихъ поръ они вдвоемъ
Надъ прудомъ, за рощей жили,
Въ хуторочкѣ небольшомъ;
И, бывало, всюду вмѣстѣ,
Словно парочка ребятъ.
Подружились съ малолѣтства,
Какъ пасли еще ягнятъ;
А потомъ себѣ женились
И хозяйничать пошли:
Хуторъ, мельницу, садочекъ
Понемножку завели.
Было пчелъ у нихъ не мало,
И во всемъ порядокъ былъ;
Только дѣточками, бѣдныхъ,
Ихъ Господь не наградилъ.

А ужъ смерть-то за спиною,
Косу точитъ ужъ свою.
Кто жъ ихъ старость приголубитъ?
Кто имъ будетъ за семью?
Кто схоро́нитъ, кто поплачетъ,
Кто помянетъ ихъ добромъ?
Распорядится, какъ должно,
Всѣмъ, что нажито трудомъ?
Тяжело въ некрытой хатѣ
Малыхъ пестовать дѣтей;
Но состарѣться въ довольствѣ,
Да бездѣтнымъ,—тяжелѣй!
Тяжелѣй между чужими
Одиноко умирать,
Въ посмѣянье, на растрату
Все добро имъ покидать!

II.

Въ воскресенье разъ сидѣли
Старички мои рядкомъ,
Въ чистыхъ, бѣленькихъ сорочкахъ,
На скамьѣ, предъ хуторкомъ;
Небо радостно сіяло,
Тучекъ не было на немъ;
И спала далеко въ сердцѣ
Грусть, какъ звѣрь въ лѣсу глухомъ.

Что жъ въ раю такомъ печалитъ
Стариковъ? Какое зло?
Горе старое, быть-можетъ,
Снова въ хату къ нимъ пришло?
Или въ сердцѣ шевельнулось,
Что подавлено вчера?
Или новая невзгода
Повстрѣчалась имъ съ утра?
Я не знаю, что тоскуютъ
Старики, что ихъ гнететъ:
Собрались, быть-можетъ, къ Богу.
Кто же въ дальнюю дорогу
Имъ лошадокъ запряжетъ?
«Настя! кто насъ похоронитъ?»
— Знаетъ Богъ... Спроси его.
Я ужъ думала не мало,
Да такъ горько, горько стало.
Много есть у насъ всего,
А кому мы накопили?
Одинешеньки съ тобой
Мы состарѣлись...—
«Постой!
Мнѣ сдается, кто-то плачетъ
У воротъ... Никакъ дитя!
Вотъ опять... пойдемъ скорѣе...
Что? Не правду молвилъ я?»

Поднялись, бѣжать пустились;
Прибѣгаютъ къ воротамъ
И, какъ вкопанные, встали,
Увидавъ ребенка тамъ.
Передъ самымъ перелазомъ,
Свиткой новенькой покрытъ
И легко-легко повитъ,
Онъ лежалъ. Знать, повивала
Мать своей рукой его...
И хоть лѣто, все же свитку
Положила на него.

И дивились и молились
Старики мои... У нихъ
Сердце выпрыгнуть хотѣло.
А ребеночекъ притихъ:
Не кричалъ ужъ и не плакалъ,

Улыбаясь, лишь глядѣлъ
И ручонками, казалось,
Стариковъ достать хотѣлъ.

«Вотъ и доля, вотъ и счастье!
Видишь, какъ я угадалъ!
Не одни теперь мы, Настя—
И сыночка Богъ послалъ!
Пеленай его да въ хату...
Ишь, какъ смотритъ,—молодцомъ!
Ну! скорѣй за кумовьями
Въ городъ я пущусь верхомъ».

Чудно, право, какъ посмотришь,
Бѣлый свѣтъ нашъ сотворенъ!
Этотъ сына проклинаетъ
И изъ дому гонитъ вонъ;
Тѣ, съ молитвой и слезами,
Передъ образомъ святымъ,
Ставятъ свѣчку, добытую
На копейку трудовую,
Чтобъ Господь далъ дѣтокъ имъ!

III.

Вотъ ребенка окрестили,
Маркомъ назвали его;
Кумовьевъ три пары было
На крестинахъ у него.
Маркъ растетъ. Его лелѣютъ,
Холятъ, нѣжатъ, берегутъ:
Что и дѣлать съ нимъ, не знаютъ,
Положить гдѣ—не найдутъ;
Даже дойная корова
Въ страшной роскоши живетъ.
Маркъ растетъ, проходитъ годъ.
И въ работницы на хуторъ
Наниматься разъ пришла
Молодица-молодая,
Черноброва и бѣла.

«Не взять ли, Настенька?»
— Пожалуй,
Возьмемъ, Трохимушка. Хотя
И подросло теперь дитя,
А все жъ заботы съ нимъ не мало:
Мы стары, хилы, захворать
Мы оба можемъ.—Надо взять.
«И у меня ужъ силъ-то мало!
Пожить и мнѣ-таки пришлось...
Ну что жъ? какую бы желала
Отъ насъ ты плату? въ годъ, небось,
Иль въ мѣсяцъ, что ли?»—Какъ хотите.
Вы лучше сами положите.
«Э! нѣтъ! Святое дѣло трудъ,
И счетъ, голубка, нуженъ тутъ.
Кто не считаетъ, у того
Весь вѣкъ не будетъ ничего.
А развѣ такъ уговориться:
Ты поживи, да насъ узнай,
И намъ къ себѣ привыкнуть дай,
А тамъ и станемъ ужъ рядиться.
Ну, что же, дочка, по рукамъ?»
— Идетъ! — «Такъ просимъ въ хату къ намъ».

Дѣло слажено; довольна
Молодица, весела,
Точно съ паномъ породнилась
Иль деревню нажила.
Все трудится, все хлопочетъ,
Ввечеру и на зарѣ:
То скребетъ и моетъ въ хатѣ,
То съ скотинкой на дворѣ.
А ребенка какъ лелѣетъ!
Лучше матери родной.
Въ праздникъ, въ будни головенку
Моетъ тепленькой водой.
Мальчикъ въ чистенькой рубашкѣ
Щеголяетъ каждый день;
Передъ нимъ молодкѣ нашей
И плясать и пѣть не лѣнь.
Научилась и телѣжки
Вырѣзать она ему;
А ужъ въ праздникъ съ рукъ не спуститъ,
Не уступитъ никому.
Старики не надивятся,
Бога все благодарятъ,
Что послалъ имъ на подмогу
Не работницу, а кладъ;
А не знаютъ, что проводитъ
Ночи цѣлыя безъ сна,
Злую долю проклиная,
Горемычная она!
И никто того не знаетъ...
Развѣ Маркъ... но для него
Не понятно, отчего
Такъ надъ нимъ она рыдаетъ
И цѣлуетъ такъ его!
Въ хлопотахъ сама нерѣдко
Не доѣстъ и не допьетъ,
А малютку не забудетъ,
Покормитъ его придетъ!
Ахъ! не знаетъ Маркъ, что ночью,
Какъ застонетъ онъ подъ часъ.
И она съ постели вскочитъ
И съ него не сводитъ глазъ,
Покачаетъ и прикроетъ,
И молитву сотворитъ...

Каждый вздохъ младенца слышитъ,
Хоть въ другомъ покоѣ спитъ.

Раннимъ утромъ, чуть проснувшись,
Мальчикъ тянется скорѣй
Къ неусыпной, доброй Ганнѣ
И лепечетъ «мама» ей...
Такъ идетъ за годомъ годъ.
Маркъ и крѣпнетъ и растетъ.

IV.

Съ тѣхъ поръ не мало лѣтъ минуло,
Воды не мало утекло,
На хуторъ горе завернуло
И слезъ не мало принесло.
Не стало тамъ бабуси Насти,
Чуть не отправился во слѣдъ
За нею, съ горя, старый дѣдъ.
Промчалось страшное несчастье
Подобно вихрю—и потомъ
Опять заснуло крѣпкимъ сномъ;
И изъ-за лѣсу благодать
Вернулась въ хуторъ отдыхать.

Маркъ давно ужъ чумакуетъ
И осеннею порой
Дома вовсе не ночуетъ.
«Время сватать!» самъ съ собой
Разсуждаетъ старый дѣдъ.
У кого бы? На совѣтъ
Ганну надобно позвать;
А она не прочь заслать
Сватовъ къ царскимъ дочерямъ.
— Спросимъ Марка. Скажетъ самъ.—
«Ладно, спросимъ. И потомъ
Тотчасъ сватовъ позовемъ».
Разспросили. Согласились,
И спровадилъ въ тотъ же мигъ
Къ сватамъ Марка нашъ старикъ.

Скоро сваты воротились,
Рушники и хлѣбъ святой
Принесли они съ собой.
Марку высватали кралю
Да такую, что не знали,
Какъ объ ней и разсказать:
Хоть бы гетману подъ стать;
И въ жупанѣ, словно панна!
Радъ Трохимъ, и рада Ганна.

«Ну, спасибо, молодцы!
Такъ сведемъ же мы концы:
Надо тутъ же порѣшить,
Гдѣ и скоро ль свадьбѣ быть.
Да еще,—промолвилъ дѣдъ,—
Кто же матерью у насъ
Будетъ?.. Насти бѣдной нѣтъ,
Нѣтъ ея! не дождалась...»
По лицу у сѣдого Трохима
Покатилися слезы рѣкой;
А межъ тѣмъ у дверей недвижима,
За косякъ ухватившись рукой,
Какъ убитая, Ганна стояла;
Въ хатѣ стихло... рѣчей не слыхать,
И работница только шептала:
«Кто же матерью будетъ?.. гдѣ мать?»

V.

Коровай мѣситъ на хуторъ
Молодицъ гурьба сошлась.
Старый дѣдъ развеселился
И пустился съ ними въ плясъ;
Такъ и топаетъ, и скачетъ,
И ногами дворъ мететъ;
И прохожихъ и проѣзжихъ
Всѣхъ во дворъ къ себѣ зоветъ:
Варенухой угощаетъ
И на свадьбу проситъ всѣхъ.
На дворѣ и въ хатѣ слышны
Пѣсни, говоръ, шумъ и смѣхъ.
Старый мечется, хоть ноги
Измѣняютъ ужъ совсѣмъ;
А изъ погреба за бочкой
Бочку катятъ между тѣмъ.
Напекли и наварили
Много всякаго добра;
И скребутъ и выметаютъ
Всюду съ самаго утра.

Только все чужіе люди...
Что жъ работница не тамъ?
Въ Кіевъ Ганна поклониться
Побрела къ святымъ мощамъ.
Не пускалъ старикъ, и плакалъ
Маркъ, прося, чтобы за мать
У него она на свадьбѣ
Оставалась. Удержать
Не могли, однакожъ, Ганны.
— Нѣтъ ужъ, Маркъ, пусти меня.
Мнѣ за мать сидѣть не ладно...
Богачи твоя родня,
Я работница... Пожалуй,
Осмѣютъ тебя, какъ разъ.
Помоги вамъ Богъ. Молиться
Лучше я пойду за васъ...
Если примете, оттуда
Къ вамъ опять я ворочусь

И, покуда силы хватитъ,
Въ вашей хатѣ потружусь.

И ему благословенье
Съ сердцемъ искреннимъ дала
И заплакала... и тихо
Изъ воротъ она пошла.

Пиръ на хуторѣ въ разгарѣ:
Не смолкаетъ шумъ и гамъ,
Достается музыкантамъ,
Достаётся каблукамъ,
Варенухой лавки моютъ.
А межъ тѣмъ свой дальній путь
Ужъ работница кончаетъ;
Не успѣла отдохнуть
И къ хозяйкѣ, гдѣ пристала,
Нанялась ужъ поскорѣй—
И таскаетъ воду ей.
На пути деньжонки вышли;
Надо что-нибудь скопить,
Чтобъ Варварѣ преподобной
Хоть молебенъ отслужить:
Работаетъ, воду носитъ;
Накопила семь рублей.
Марку шапочку купила
У святыхъ она мощей,
Голова чтобъ не болѣла...
Для жены его потомъ
Отъ Варвары преподобной
Запаслася перстенькомъ;

И, святымъ всѣмъ поклонившись,
Побрела опять домой.
Воротилась. Маркъ встрѣчаетъ
У воротъ ее, съ женой;
Входятъ въ хату и сажаютъ
Нашу странницу за столъ.
Накормили, и про Кіевъ
Разговоръ у нихъ пошелъ.
Отдохнуть ей Катерина
Постлала сама постель.
— Что они меня такъ любятъ?
О, мой Боже! Неужель
Обо всемъ они узнали...
Догадалися, кто я?..
Нѣтъ, а добрыми родились!..

И изъ глазъ у ней катились
Слезы, слезы въ три ручья!

VI.

Рѣка ужъ трижды замерзала,
И трижды уносились льдины;
И въ дальній Кіевъ провожала
Ужъ трижды Ганну Катерина,
Какъ мать родную провожала.
Въ четвертый разъ далеко съ нею
Прошлася полемъ до кургана
И все просила, чтобъ скорѣе
На хуторъ возвращалась Ганна;
Какъ бы безъ матери—уныло
У нихъ въ семьѣ безъ Ганны было.

Послѣ Троицы, однажды
Въ воскресенье, дѣдъ Трохимъ
На дворѣ сидѣлъ у хаты;
И съ собакой передъ нимъ
Внукъ игралъ, а внучка юбку
Катеринину нашла
И, въ нее одѣвшись важно,
Тихо въ гости къ дѣду шла.
Засмѣялся старый, внучку
Рядомъ сѣсть онъ пригласилъ,
Будто вправду молодицу,
И потомъ ее спросилъ:
«А куда ты хлѣбъ дѣвала?
Можетъ, отнялъ кто въ лѣсу?
Иль испечь его забыла?
Такъ вотъ я тебя, лису!»

А работница въ ворота
Входитъ въ этотъ самый мигъ;
Ей съ внучатами навстрѣчу
Живо бросился старикъ.
— Гдѣ же Маркъ?—спросила Ганна.
Видно, все въ дорогѣ?—
«Да».

— Охъ! насилу я, насилу
Дотащилась къ вамъ сюда.
Умирать-то не хотѣлось,
Мнѣ въ далекой сторонѣ.
Хоть бы Маркъ скорѣй вернулся.
Что-то больно, тяжко мнѣ.—

И гостинцы изъ лукошка
Вынимаетъ для ребятъ:
Внучкѣ старшенькой Аришѣ
Крестикъ, бусы и дукатъ;
Въ золотой, изъ фольги, ризѣ,
Образочекъ тоже ей;
И для Карпа есть игрушки:
Два коня и соловей.
Катеринѣ съ богомолья
Ужъ четвертый разъ съ собой
Перстенекъ она приноситъ
Отъ Варвары, отъ святой.
Вотъ три свѣчки изъ святого
Воску, дѣду отдала.

А себѣ и Марку нынче
Ничего не принесла:
Денегъ больше не хватило,
А работать нѣту силы.
— Да! вѣдь бубличка кусочекъ
У меня есть гдѣ-то тамъ... —
Отыскала и внучатамъ
Раздѣлила пополамъ.

VII.

Въ хатѣ тотчасъ ей умыла
Ноги Маркова жена,
Принесла потомъ ей полдникъ;
Но не ѣстъ, не пьетъ она.
— Катерина! Послѣзавтра
Воскресенью надо быть;
Хоть бы вынуть часть за здравье
Да молебенъ отслужить
Чудотворцу Николаю.
Что-то Маркъ у насъ пропалъ...
Какъ бы гдѣ-нибудь въ дорогѣ,
Бѣдный, онъ не захворалъ.—

И катились тихо слезы
Изъ потухшихъ, старыхъ глазъ:
Изнуренная, насилу
Съ мѣста Ганна поднялась.
— Охъ, не та ужъ, Катерина,
Стала я. Хила, стара,
На ногахъ едва держуся;
На покой мнѣ, знать, пора.
Хоть въ теплѣ, а тяжко, Катря,
Умирать въ дому чужомъ.—

Захворала крѣпко Ганна.
Посылали за попомъ
И соборовали масломъ,
Но не стало легче ей.
Катерина не спускала
Съ умирающей очей,
День и ночь надъ ней сидѣла,
Грустно голову склонивъ.
Дѣдъ бродилъ все по надворью,
И унылъ и молчаливъ.
По ночамъ надъ хатой слышенъ
Былъ зловѣщій крикъ совы.
Съ каждымъ часомъ становилось
Ганнѣ хуже. Головы
Ужъ она не подымала
И не ѣла ничего,
Только Марка вспоминала...
— Катря! охъ, когда бъ я знала,
Что увижу я его...
Я еще бы подождала...

VIII.

Беззаботно съ чумаками
Степью Маркъ себѣ идетъ;
Не спѣшитъ онъ, распѣваетъ
И воловъ въ степи пасетъ.
Онъ сукна везетъ въ гостинецъ
Дорогого два куска
Для жены и поясъ алый
Для Трохима-старика,
Парчевой очипокъ Ганнѣ,
Да еще купилъ онъ ей
Съ расписной каймой платочекъ;
А для маленькихъ дѣтей
Черевички, винограду, —
Всѣмъ же вмѣстѣ изъ Царьграду
Въ бочкѣ красное вино;
И икры не мало съ Дону
У него запасено.
Онъ идетъ да распѣваетъ,
А что дома ждетъ, не знаетъ.

Дотащился понемногу;
Вотъ и дома онъ опять.
Помолившись прежде Богу,
Сталъ ворота отворять.
— Катря, Катря! Иль не слышишь?
Воротился Маркъ. Иди
Поскорѣй ему навстрѣчу
Да сюда его веди.
Слава Господу! Дождаться
Грѣшной мнѣ сподобилъ Онъ...—
И читала Ганна тихо
«Отче нашъ», какъ бы сквозь сонъ

На дворѣ ярмо снимаетъ
Расписное дѣдъ съ воловъ.
Вышла къ мужу Катерина,
На него глядитъ безъ словъ.
«Катря! гдѣ же наша Ганна?
Что нейдетъ ко мнѣ сюда?
Не случилась ли бѣда?»
Ужъ, помилуй Богъ, жива ли,
— Нѣтъ! А крѣпко захворала...
Ужъ давно она лежитъ,
Все тебя зоветъ... Когда же
Маркъ вернется, говоритъ.
Поскорѣй пойдемъ, а батько
За волами приглядитъ.—

Входятъ въ хату. Маркъ не смѣетъ
Перейти черезъ порогъ.
— Слава Богу!—шепчетъ Ганна.—
Не пугайся, Маркъ, дружокъ,

Подойди; а ты, Катруся,
Выйдь изъ хаты и вдвоемъ
Съ нимъ оставь насъ. Нужно Марка
Разспросить мнѣ кой о чемъ. —

Вонъ выходитъ Катерина;
Маркъ нагнулся надъ больной.
— Маркъ, голубчикъ! подивися,
Посмотри ты что со мной!
Видишь, я какая стала?..
Вся измучилась, больна...
Не работница, не Ганна
Я... —

И стихла вдругъ она.
Маркъ и плакалъ, и дивился,
И стоялъ не шевелясь.
Вдругъ глаза она открыла
И слезами залилась.
— Не вини меня! Казнилась
Я весь вѣкъ въ чужой избѣ.
Не вини меня, сыночекъ,
А прости: я мать тебѣ.—

Земля какъ будто разступилась
Подъ бѣднымъ Маркомъ въ этотъ мигъ.
Онъ съ воплемъ къ матери приникъ...
Но сердце матери не билось.

## 2. Дума.

Проходятъ дни... проходятъ ночи;
Прошло и лѣто; шелеститъ
Листъ пожелтѣвшій; гаснутъ очи;
Заснули думы; сердце спитъ.
Заснуло все... Не знаю я—
Живешь ли ты, душа моя?
Безстрастно я гляжу на свѣтъ,
И нѣту слезъ, и смѣха нѣтъ!
И доля гдѣ моя? Судьбою,
Знать, не дано мнѣ никакой...
Но если я благой не стою,
Зачѣмъ не выпало хоть злой?
Не дай, о Боже, какъ во снѣ
Блуждать... остынуть сердцемъ мнѣ.
Гнилой колодой на пути
Лежать меня не попусти.

Но жить мнѣ дай, Творецъ небесный!
О, дай мнѣ сердцемъ, сердцемъ жить!
Чтобъ я хвалилъ твой міръ чудесный,
Чтобъ могъ я ближняго любить!
Страшна неволя; тяжко въ ней!
На волѣ жить и спать—страшнѣй!
Прожить ужасно безъ слѣда:
И смерть и жизнь—одно тогда.

## 3. Пѣсни.

1.

И долину, и курганы,
И вечерній тихій часъ —
Все, что снилось, говорилось,
Вспоминалъ я много разъ!

Разошлись мы, будто вовсе
И не знались никогда!
И минули невозвратно
Наши лучшіе года!
Отцвѣли мы... Я въ неволѣ,
Ты вдовой: мы не живемъ,
Только бродимъ, вспоминая,
Какъ живалось намъ въ быломъ!

2.

Проторила я дорожку
Черезъ яръ,
Черезъ горы, мой сердешный,
На базаръ.
Парнямъ бублики носила
Вечеркомъ;
Продала—и воротилась
Съ пятакомъ.
Я два гроша, охъ, два гроша
Пропила,
На копейку музыканта
Наняла.
Ты сыграй-ка мнѣ на дудкѣ
На своей...
Чтобъ забыла я кручину —
Горе съ ней.
Вотъ какая, мой сердешный,
Дѣвка я!
Сватай — выйду я, пожалуй,
За тебя!

3.

Не вернулся изъ походу
Молодой гусаръ въ село:
Что же я по немъ горюю,
Что мнѣ больно жаль его?
За кафтанъ короткій, что ли,
Иль за черный усъ такъ жаль?
Иль за то, что не Марусей,

Машей звалъ меня москаль?
Нѣтъ, мнѣ жаль, что пропадаетъ
Даромъ молодость моя;
Не хотятъ меня и замужъ
Брать ужъ люди за себя.
Да къ тому еще и дѣвки
Мнѣ проходу не даютъ:
Не даютъ онѣ проходу,
Все гусарихой зовутъ!

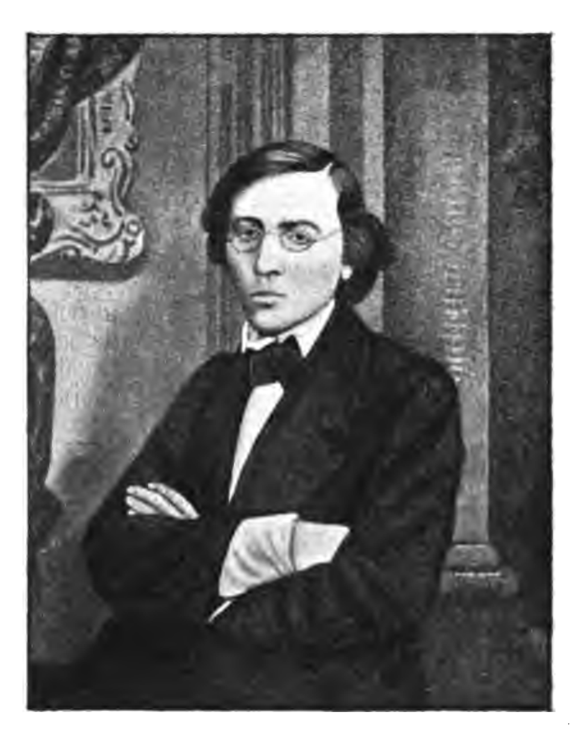
4.

Хороша, богата
Я — да толку мало!
Видно, безталанна:
Друга не сыскала.
Тяжко, тяжко сердцу
Безъ любви томиться;
Скучно одинокой
Въ бархатъ мнѣ рядиться.
Съ парнемъ чернобровымъ,
Круглымъ сиротою,
Мы бы полюбились —
Да глядятъ за мною
Мать съ отцомъ такъ зорко,
Даже сна не знаютъ,
И гулять подъ вечеръ
Въ садикъ не пускаютъ.
А когда и пустятъ —
Такъ все съ нимъ, съ проклятымъ,
Съ недругомъ противнымъ,
Старикомъ богатымъ...

5.

Полюбила я,
На печаль свою,
Сиротинушку
Безталаннаго.
Ужъ такая мнѣ
Доля выпала!

Разлучили насъ
Люди сильные;
Увезли его,
Сдали въ рекруты...
И солдаткой я,
Одинокой я,
Знать, въ чужой избѣ
И состарѣюсь...
Ужъ такая мнѣ
Доля выпала.



**Николай Гавриловичъ Чернышевскій.**
(1828—1889).

## ИЗЪ РОМАНА «ЧТО ДѢЛАТЬ?»

### Особенный человѣкъ.

Такихъ людей, какъ Рахметовъ, мало: я встрѣтилъ до сихъ поръ только восемь образцовъ этой породы (въ томъ числѣ двухъ женщинъ); они не имѣли сходства ни въ чемъ, кромѣ одной черты. Между ними были люди мягкіе и люди суровые, люди мрачные и люди веселые, люди хлопотливые и люди флегматическіе, люди слезливые (одинъ съ суровымъ лицомъ, насмѣшливый до наглости; другой съ деревяннымъ лицомъ, молчаливый и равнодушный ко всему; оба они при мнѣ рыдали нѣсколько разъ, какъ истерическія женщины, и не отъ своихъ дѣлъ, а среди разговоровъ о разной разности; наединѣ, я увѣренъ, плакали часто) и люди, ни отъ чего не перестававшіе быть спокойными. Сходства не было ни въ чемъ, кромѣ одной черты, но она одна уже соединяла ихъ въ одну породу и отдѣляла отъ всѣхъ остальныхъ людей. Надъ тѣми изъ нихъ, съ которыми я былъ близокъ, я смѣялся, когда бывалъ съ ними наединѣ; они сердились или не сердились, но тоже смѣялись надъ собою. И дѣйствительно, въ нихъ было много забавнаго; все главное въ нихъ и было забавно, все то, почему они были людьми особой породы. Я люблю смѣяться надъ такими людьми.

Рахметовъ былъ изъ фамиліи, извѣстной съ XIII вѣка, то-есть одной изъ древнѣйшихъ не только у насъ, а въ цѣлой Европѣ. Въ числѣ татарскихъ темниковъ, корпусныхъ начальниковъ, перерѣзанныхъ въ Твери вмѣстѣ съ ихъ войскомъ, по словамъ лѣтописей, будто бы за намѣреніе обратить народъ въ магометанство (намѣреніе, котораго они, навѣрное, и не имѣли), а по самому дѣлу, просто, за угнетеніе, находился Рахметъ. Маленькій сынъ этого Рахмета отъ жены русской, племянницы тверскаго дворскаго, то-есть оберъ-гофмаршала и фельдмаршала, насильно взятой Рахметомъ, былъ пощаженъ, для матери, и перекрещенъ изъ Латыфа въ Михаила. Отъ этого Латыфа-Михаила Рах-

метовича пошли Рахметовы. Они въ Твери были боярами, въ Москвѣ стали только окольничими, въ Петербургѣ въ прошломъ вѣкѣ бывали генералъ-аншефами, — конечно, далеко не всѣ: фамилія развѣтвилась очень многочисленная, такъ что генералъ-аншефскихъ чиновъ не достало бы на всѣхъ. Прапрадѣдъ нашего Рахметова былъ пріятелемъ Ивана Ивановича Шувалова, который и возстановилъ его изъ опалы, постигнувшей было его за дружбу съ Минихомъ. Прадѣдъ былъ сослуживцемъ Румянцова, дослужился до генералъ-аншефства и убитъ былъ при Нови. Дѣдъ сопровождалъ Александра въ Тильзитъ, и пошелъ бы дальше всѣхъ, но рано потерялъ карьеру за дружбу съ Сперанскимъ. Отецъ служилъ безъ удачи и безъ паденій, въ 40 лѣтъ вышелъ въ отставку генералъ-лейтенантомъ и поселился въ одномъ изъ своихъ помѣстій, разбросанныхъ по верховью Медвѣдицы. Помѣстья были, однакожъ, не очень велики, всего душъ тысячи двѣ съ половиною, а дѣтей на деревенскомъ досугѣ явилось много, человѣкъ восемь; нашъ Рахметовъ былъ предпослѣдній, моложе его была одна сестра; потому нашъ Рахметовъ былъ уже человѣкъ не съ богатымъ наслѣдствомъ: онъ получилъ около 400 душъ да 7.000 десятинъ земли. Какъ онъ распорядился съ душами и съ 5.500 десятинъ земли, это не было извѣстно никому, не было извѣстно и то, что за собою оставилъ онъ 1.500 десятинъ, да не было извѣстно и вообще то, что онъ помѣщикъ и что, отдавая въ аренду оставленную за собою долю земли, онъ имѣетъ все-таки еще до 3.000 руб. дохода,—этого никто не зналъ, пока онъ жилъ между нами. Это мы узнали послѣ, а тогда полагали, конечно, что онъ одной фамиліи съ тѣми Рахметовыми, между которыми много богатыхъ помѣщиковъ, у которыхъ, у всѣхъ однофамильцевъ вмѣстѣ, до 75.000 душъ по верховьямъ Медвѣдицы, Хопра, Суры и Цны, которые безсмѣнно бываютъ уѣздными предводителями тѣхъ мѣстъ, и не тотъ, такъ другой постоянно бываютъ губернскими предводителями то въ той, то въ другой изъ трехъ губерній, по которымъ текутъ ихъ крѣпостныя верховья рѣкъ. И знали мы, что нашъ знакомый Рахметовъ проживаетъ въ годъ рублей 400; для студента это было тогда очень не мало, но для помѣщика изъ Рахметовыхъ уже слишкомъ мало; потому каждый изъ насъ, мало заботившихся о подобныхъ справкахъ, положилъ про себя безъ справокъ, что нашъ Рахметовъ изъ какой-нибудь захирѣвшей и обезпомѣстившейся вѣтви Рахметовыхъ, сынъ какого-нибудь совѣтника казенной палаты, оставившаго дѣтямъ небольшой капиталецъ. Не интересоваться же, въ самомъ дѣлѣ, было намъ этими вещами!

Теперь ему было 22 года, а студентомъ онъ былъ съ 16 лѣтъ; но почти на 3 года онъ покидалъ университетъ. Вышелъ изъ 2-го курса, поѣхалъ въ помѣстье, распорядился, побѣдивъ сопротивленіе опекуна, заслуживъ анаѳему отъ братьевъ и достигнувъ того, что мужья запретили его сестрамъ произносить его имя; потомъ скитался по Россіи разными манерами: и сухимъ путемъ и водою, и тѣмъ и другою по обыкновенному и по необыкновенному,—напримѣръ, и пѣшкомъ, и на расшивахъ, и на косныхъ лодкахъ, имѣлъ много приключеній, которыя все самъ устраивалъ себѣ; между прочимъ, отвезъ двухъ человѣкъ въ Казанскій, пятерыхъ въ Московскій университетъ, — это были его стипендіаты, а въ Петербургъ, гдѣ самъ хотѣлъ жить, не привезъ никого, и потому никто изъ насъ не зналъ, что у него не 400, а 3.000 р. дохода. Это стало извѣстно только уже послѣ, а тогда мы видѣли, что онъ долго пропадалъ, а за два года до той поры возвратился въ Петербургъ, поступилъ на филологическій факультетъ,—прежде былъ на естественномъ, и только.

Но если никому изъ петербургскихъ знакомыхъ Рахметова не были извѣстны его родственныя и денежныя отношенія, зато всѣ, кто его зналъ, знали его подъ двумя прозвищами. Одно изъ нихъ—«ригористъ»; его онъ принималъ съ обыкновенною своею легкою улыбкою мрачноватаго удовольствія. Но когда его называли Никитушкою, или Ломовымъ, или, по полному прозвищу, Никитушкою Ломовымъ, онъ улыбался широко и сладко, и имѣлъ на то справедливое основаніе, потому что не получилъ отъ природы, а пріобрѣлъ твердостью воли право носить это славное между милліонами людей имя. Но оно гремитъ славою только на полосѣ въ 100 верстъ шириною, идущей по восьми губерніямъ; читателямъ остальной Россіи

надобно объяснить, что это за имя. Никитушка Ломовъ, бурлакъ, ходившій по Волгѣ лѣтъ 20—15 тому назадъ, былъ гигантъ геркулесовской силы; 15 вершковъ ростомъ, онъ былъ такъ широкъ въ груди и въ плечахъ, что вѣсилъ 15 пудовъ, хотя былъ человѣкъ только плотный, а не толстый. Какой онъ былъ силы, объ этомъ довольно сказать одно: онъ получалъ плату за 4 человѣка. Когда судно приставало къ городу, и онъ шелъ на рынокъ, по-волжскому—на базаръ, по дальнимъ переулкамъ раздавались крики парней: «Никитушка Ломовъ идетъ, Никитушка Ломовъ идетъ!», всѣ бѣжали на улицу, ведущую съ пристани къ базару, и толпа народа валила вслѣдъ за своимъ богатыремъ.

Рахметовъ въ 16 лѣтъ, когда пріѣхалъ въ Петербургъ, былъ съ этой стороны обыкновеннымъ юношею довольно высокаго роста, довольно крѣпкимъ, но далеко не замѣчательнымъ по силѣ: изъ десяти встрѣчныхъ его сверстниковъ, навѣрное, двое сладили бы съ нимъ. Но на половинѣ 17-го года онъ вздумалъ, что нужно пріобрѣсть физическое богатство, и началъ работать надъ собою. Сталъ очень усердно заниматься гимнастикою; это хорошо, но вѣдь гимнастика только совершенствуетъ матеріалъ, надо запасаться матеріаломъ, и вотъ, на время, вдвое большее занятій гимнастикою, на нѣсколько часовъ въ день, онъ становился чернорабочимъ по работамъ, требующимъ силы: возилъ воду, таскалъ дрова, рубилъ дрова, пилилъ лѣсъ, тесалъ камни, копалъ землю, ковалъ желѣзо; много работъ онъ проходилъ и часто мѣнялъ ихъ, потому что отъ каждой новой работы, съ каждой перемѣной получаютъ новое развитіе какіе-нибудь мускулы. Онъ принялъ боксерскую діэту: сталъ кормить себя,—именно кормить себя,—исключительно вещами, имѣющими репутацію укрѣплять физическую силу, больше всего бифштексомъ, почти сырымъ, и съ тѣхъ поръ всегда жилъ такъ. Черезъ годъ послѣ начала этихъ занятій, онъ отправился въ свое странствованіе и тутъ имѣлъ еще больше удобства заниматься развитіемъ физической силы: былъ пахаремъ, плотникомъ, перевозчикомъ и работникомъ всякихъ здоровыхъ промысловъ; разъ даже прошелъ бурлакомъ всю Волгу, отъ Дубовки до Рыбинска. Сказать, что онъ хочетъ быть бурлакомъ, показалось бы хозяину судна и бурлакамъ верхомъ нелѣпости, и его не приняли бы; но онъ сѣлъ просто пассажиромъ; подружившись съ артелью, сталъ помогать тянуть лямку и черезъ недѣлю запрягся въ нее, какъ слѣдуетъ настоящему рабочему; скоро замѣтили, какъ онъ тянетъ, начали пробовать силу,—онъ перетягивалъ троихъ, даже четверыхъ самыхъ здоровыхъ изъ своихъ товарищей; тогда ему было 20 лѣтъ, и товарищи его по лямкѣ окрестили его Никитушкою Ломовымъ, по памяти героя, уже сошедшаго тогда со сцены. На слѣдующее лѣто онъ ѣхалъ на пароходѣ; одинъ изъ простонародія, толпившагося на палубѣ, оказался его прошлогоднимъ сослуживцемъ по лямкѣ, и такимъ-то образомъ его спутники-студенты узнали, что его слѣдуетъ звать Никитушкою Ломовымъ. Дѣйствительно, онъ пріобрѣлъ и, не щадя времени, поддерживалъ въ себѣ непомѣрную силу. «Такъ нужно,—говорилъ онъ:—это даетъ уваженіе и любовь простыхъ людей. Это полезно, можетъ пригодиться».

Это ему засѣло въ голову съ половины 17-го года, потому что съ этого времени и вообще начала развиваться его особенность. 16 лѣтъ онъ пріѣхалъ въ Петербургъ обыкновеннымъ, хорошимъ, кончившимъ курсъ гимназистомъ, обыкновеннымъ добрымъ и честнымъ юношею и провелъ мѣсяца три, четыре по-обыкновенному, какъ проводятъ начинающіе студенты. Но сталъ онъ слышать, что есть между студентами особенно умныя головы, которые думаютъ не такъ, какъ другіе, и узналъ съ пятокъ именъ такихъ людей,—тогда ихъ было еще мало. Они заинтересовали его, онъ сталъ искать знакомства съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ; ему случилось сойтись съ Кирсановымъ [1]), и началось его перерожденіе въ особеннаго человѣка, въ будущаго Никитушку Ломова и ригориста. Жадно слушалъ онъ Кирсанова въ первый вечеръ, плакалъ, перерывалъ его слова восклицаніями проклятій тому, что должно погибнуть, благословеній тому, что должно жить. «Съ какихъ же книгъ мнѣ начать читать?» Кирсановъ указалъ. Онъ на другой день ужъ съ 8 часовъ утра ходилъ по

---

[1]) Кирсановъ—одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа, по профессіи врачъ.

Невскому, отъ Адмиралтейской до Полицейскаго моста, выжидая, какой нѣмецкій или французскій книжный магазинъ первый откроется, взялъ, что нужно, и читалъ больше трехъ сутокъ сряду, — съ 11 часовъ утра четверга до 9 часовъ вечера воскресенья, 82 часа; первыя двѣ ночи не спалъ такъ, на третью выпилъ восемь стакановъ крѣпчайшаго кофе, до четвертой ночи не хватило силы ни съ какимъ кофе: онъ повалился и проспалъ на полу часовъ 15. Черезъ недѣлю онъ пришелъ къ Кирсанову, потребовалъ указаній на новыя книги, объясненій; подружился съ нимъ, потомъ черезъ него подружился съ Лопуховымъ [1]). Черезъ полгода, хоть ему было только 17 лѣтъ, а имъ ужъ по 21 году, они ужъ не считали его молодымъ человѣкомъ сравнительно съ собою, и ужъ онъ былъ особеннымъ человѣкомъ.

Какіе задатки для того лежали въ его прошлой жизни? Не очень большіе, но лежали. Отецъ его былъ человѣкъ деспотическаго характера, очень умный, образованный и ультра-консерваторъ, но честный... Однако, чтобы стать такимъ особеннымъ человѣкомъ, конечно, главное — натура. За нѣсколько времени передъ тѣмъ, какъ вышелъ онъ изъ университета и отправился въ свое помѣстье, потомъ въ странствованіе по Россіи, онъ уже принялъ оригинальные принципы и въ матеріальной, и въ нравственной, и въ умственной жизни, а когда онъ возвратился, они уже развились въ законченную систему, которой онъ держался неуклонно. Онъ сказалъ себѣ: «Я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь къ женщинѣ». А натура была кипучая. «Зачѣмъ это? Такая крайность вовсе не нужна». — «Такъ нужно. Мы требуемъ для людей полнаго наслажденія жизнью, — мы должны своею жизнью свидѣтельствовать, что мы требуемъ этого не для удовлетворенія своимъ личнымъ страстямъ, не для себя лично, а для человѣка вообще, что мы говоримъ только по принципу, а не по пристрастію, по убѣжденію, а не по личной надобности».

Поэтому же онъ сталъ и вообще вести самый суровый образъ жизни. Чтобы сдѣлаться и продолжать быть Никитушкою Ломовымъ, ему нужно было ѣсть говядину, много говядины, — и онъ ѣлъ ея много. Но онъ жалѣлъ каждой копейки на какую-нибудь пищу, кромѣ говядины; говядину онъ велѣлъ хозяйкѣ брать самую отличную, нарочно для него самые лучшіе куски, но остальное ѣлъ у себя дома все только самое дешевое. Отказался отъ бѣлаго хлѣба, ѣлъ только черный за своимъ столомъ. По цѣлымъ недѣлямъ у него не бывало во рту куска сахару, по цѣлымъ мѣсяцамъ никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки. На свои деньги онъ не покупалъ ничего подобнаго: «не имѣю права тратить деньги на прихоть, безъ которой могу обойтись», — а вѣдь онъ воспитанъ былъ на роскошномъ столѣ и имѣлъ тонкій вкусъ, какъ видно было по его замѣчаніямъ о блюдахъ. Когда онъ обѣдалъ у кого-нибудь за чужимъ столомъ, онъ ѣлъ съ удовольствіемъ многія изъ блюдъ, въ которыхъ отказывалъ себѣ въ своемъ столѣ; другихъ не ѣлъ и за чужимъ столомъ. Причина различенія была основательная: «То, что ѣстъ, хотя по временамъ, простой народъ, и я могу ѣсть при случаѣ. Того, что никогда недоступно простымъ людямъ, и я не долженъ ѣсть! Это нужно мнѣ для того, чтобы хотя нѣсколько чувствовать, насколько стѣснена ихъ жизнь сравнительно съ моею». Поэтому, если подавались фрукты, онъ абсолютно ѣлъ яблоки, абсолютно не ѣлъ абрикосовъ; апельсины ѣлъ въ Петербургѣ, не ѣлъ въ провинціи, — видите, въ Петербургѣ простой народъ ѣстъ ихъ, а въ провинціи не ѣстъ. Паштеты ѣлъ, потому что «хорошій пирогъ не хуже паштета, и слоеное тѣсто знакомо простому народу», но сардинокъ не ѣлъ. Одѣвался онъ очень бѣдно, хоть любилъ изящество, и во всемъ остальномъ велъ спартанскій образъ жизни; напримѣръ, не допускалъ тюфяка, и спалъ на войлокѣ, даже не разрѣшая себѣ свернуть его вдвое.

Было у него угрызеніе совѣсти, — онъ не бросилъ курить: «Безъ сигары не могу думать; если дѣйствительно такъ, я правъ; но, быть-можетъ, это слабость воли». А дурныхъ сигаръ онъ не могъ курить, — вѣдь онъ воспитанъ былъ въ аристократической обстановкѣ. Изъ 400 р. его расхода до 150 выходило у него на сигары. «Гнусная слабость», какъ онъ выражался. Только она и давала нѣкоторую возможность отбиваться отъ него; если ужъ на-

---

[1]) Лопуховъ — главное дѣйствующее лицо романа.

чнетъ слишкомъ доѣзжать своими обличеніями, и доѣзжаемый скажетъ ему: «Да вѣдь совершенство невозможно — ты же куришь», — тогда Рахметовъ приходилъ въ двойную силу обличенія, но большую половину укоризнъ обращалъ уже на себя, обличаемому все-таки доставалось меньше, хотя онъ не вовсе забывалъ его изъ-за себя.

Онъ успѣвалъ дѣлать страшно много, потому что и въ распоряженіи временемъ положилъ на себя точно такое же обузданіе прихотей, какъ въ матеріальныхъ вещахъ. Ни четверти часа въ мѣсяцъ не пропадало у него на развлеченіе, отдыха ему не было нужно... «У меня занятія разнообразны; перемѣна занятій есть отдыхъ». Въ кругу пріятелей, сборные пункты которыхъ находились у Кирсанова и Лопухова, онъ бывалъ никакъ не чаще того, сколько нужно, чтобы остаться въ тѣсномъ отношеніи къ нему: «Это нужно; ежедневные случаи доказываютъ пользу имѣть тѣсную связь съ какимъ-нибудь кругомъ людей, — надобно имѣть подъ руками всегда открытые источники для разныхъ справокъ». Кромѣ какъ въ собраніяхъ этого кружка, онъ никогда ни у кого не бывалъ иначе, какъ по дѣлу, и ни пятью минутами больше, чѣмъ нужно по дѣлу; и у себя никого не принималъ и не допускалъ оставаться иначе, какъ на томъ же правилѣ; онъ безъ околичностей объявлялъ гостю: «Мы переговорили о вашемъ дѣлѣ; теперь позвольте мнѣ заняться другими дѣлами, потому что я долженъ дорожить временемъ».

Въ первые мѣсяцы своего перерожденія онъ почти все время проводилъ въ чтеніи; но это продолжалось лишь немного болѣе полугода: когда онъ увидѣлъ, что пріобрѣлъ систематическій образъ мыслей въ томъ духѣ, принципы котораго нашелъ справедливыми, онъ тотчасъ же сказалъ себѣ: «Теперь чтеніе стало дѣломъ второстепеннымъ; я съ этой стороны готовъ для жизни», и сталъ отдавать книгамъ только время, свободное отъ другихъ дѣлъ, а такого времени оставалось у него мало. Но, несмотря на это, онъ расширялъ кругъ своего знанія съ изумительною быстротою: теперь, когда ему было 22 года, онъ былъ уже человѣкомъ очень замѣчательно основательной учености. Это потому, что онъ и тутъ поставилъ себѣ правиломъ: роскоши и прихоти — никакой; исключительно то, что нужно. А что нужно? Онъ говорилъ: «По каждому предмету капитальныхъ сочиненій очень немного; во всѣхъ остальныхъ только повторяется, разжижается, портится то, что все гораздо полнѣе и яснѣе заключено въ этихъ немногихъ сочиненіяхъ. Надобно читать только ихъ; всякое другое чтеніе — только напрасная трата времени. Беремъ русскую беллетристику. Я говорю: прочитаю всего прежде Гоголя. Въ тысячахъ другихъ повѣстей я уже вижу по пяти строкамъ съ пяти разныхъ страницъ, что не найду ничего, кромѣ испорченнаго Гоголя, — зачѣмъ я стану ихъ читать? Такъ и въ наукахъ, — въ наукахъ даже еще рѣзче эта граница. Если я прочелъ Адама Смита, Мальтуса, Рикардо и Милля, я знаю альфу и омегу этого направленія, и мнѣ ненужно читать ни одного изъ сотенъ политико-экономовъ, какъ бы ни были они знамениты; я по пяти строкамъ съ пяти страницъ вижу, что не найду у нихъ ни одной свѣжей мысли, имъ принадлежащей, все заимствованія и искаженія. Я читаю только самобытное и лишь настолько, чтобы знать эту самобытность». Поэтому никакими силами нельзя было заставить его читать Маколея; посмотрѣвъ четверть часа на разныя страницы, онъ рѣшилъ: «Я знаю всѣ матеріи, изъ которыхъ набраны эти лоскутья». Онъ прочиталъ «Ярмарку Суеты» Теккерея съ наслажденіемъ, а началъ читать «Пенденниса», закрылъ на 20 страницѣ: «Весь высказался въ «Ярмаркѣ Суеты»; видно, что больше ничего не будетъ, и читать ненужно». «Каждая прочтенная мною книга такова, что избавляетъ меня отъ надобности читать сотни книгъ», говорилъ онъ.

Гимнастика, работа для упражненія силы, чтеніе — были личными занятіями Рахметова, но, по его возвращеніи въ Петербургъ, они брали у него только четвертую долю его времени, остальное время онъ занимался чужими дѣлами или ничьими въ особенности дѣлами, постоянно соблюдая то же правило, какъ и въ чтеніи: не тратить времени надъ второстепенными дѣлами и съ второстепенными людьми, заниматься только капитальными, отъ которыхъ уже и безъ него измѣняются второстепенныя дѣла и руководимые люди. Напримѣръ, внѣ своего круга онъ знакомился только съ людьми, имѣющими влія-

ніе на другихъ. Кто не былъ авторитетомъ для нѣсколькихъ другихъ людей, тотъ никакими способами не могъ даже войти въ разговоръ съ нимъ. Онъ говорилъ: «Вы меня извините, мнѣ некогда», и отходилъ. Но точно такъ же никакими средствами не могъ избѣжать знакомства съ нимъ тотъ, съ кѣмъ онъ хотѣлъ познакомиться. Онъ просто являлся къ вамъ и говорилъ, что ему было нужно, съ такимъ предисловіемъ: «Я хочу быть знакомъ съ вами; это нужно. Если вамъ теперь не время, назначьте другое». На мелкія ваши дѣла онъ не обращалъ никакого вниманія, хотя бы вы были ближайшимъ его знакомымъ и упрашивали его вникнуть въ ваше затрудненіе: «Мнѣ некогда», говорилъ онъ и отворачивался. Но въ важныя дѣла вступался, когда это было нужно, по его мнѣнію, хотя бы никто этого не желалъ: «Я долженъ», говорилъ онъ. Какія вещи онъ говорилъ и дѣлалъ въ этихъ случаяхъ, уму непостижимо. Да вотъ, напримѣръ, мое знакомство съ нимъ. Я былъ тогда уже не молодъ, жилъ порядочно, потому ко мнѣ собиралось по временамъ человѣкъ пять-шесть молодежи изъ моей провинціи. Слѣдовательно, я уже былъ для него человѣкъ драгоцѣнный: эти молодые люди были расположены ко мнѣ, находя во мнѣ расположеніе къ себѣ; вотъ онъ и слышалъ по этому случаю мою фамилію. А я, когда въ первый разъ увидѣлъ его у Кирсанова, еще не слышалъ о немъ: это было вскорѣ по его возвращеніи изъ странствія. Онъ вошелъ послѣ меня; я былъ только одинъ незнакомый ему человѣкъ въ обществѣ. Онъ, какъ вошелъ, отвелъ Кирсанова въ сторону и, указавши глазами на меня, сказалъ нѣсколько словъ. Кирсановъ отвѣчалъ ему тоже немногими словами, и былъ отпущенъ. Черезъ минуту Рахметовъ сѣлъ прямо противъ меня, всего только черезъ небольшой столъ у дивана, и съ этого-то разстоянія какихъ-нибудь полутора аршинъ началъ смотрѣть мнѣ въ лицо изо всей силы. Я былъ раздосадованъ: онъ разсматривалъ меня безъ церемоніи, будто передъ нимъ не человѣкъ, а портретъ,— я нахмурился. Ему не было никакого дѣла. Посмотрѣвши минуты двѣ - три, онъ сказалъ мнѣ: «Господинъ N., мнѣ нужно съ вами познакомиться. Я васъ знаю, вы меня — нѣтъ. Спросите обо мнѣ у хозяина и у другихъ, кому вы особенно вѣрите изъ этой компаніи», всталъ и ушелъ въ другую комнату. «Что это за чудакъ?»— «Это Рахметовъ. Онъ хочетъ, чтобы вы спросили, заслуживаетъ ли онъ довѣрія,— безусловно, и заслуживаетъ ли онъ вниманія,— онъ поважнѣе всѣхъ насъ здѣсь, взятыхъ вмѣстѣ», сказалъ Кирсановъ, другіе подтвердили. Черезъ пять минутъ онъ вернулся въ ту комнату, гдѣ всѣ сидѣли. Со мною не заговаривалъ и съ другими говорилъ мало,— разговоръ былъ не ученый и не важный. «А, десять часовъ уже,— произнесъ онъ черезъ нѣсколько времени:—въ 10 часовъ у меня есть дѣло въ другомъ мѣстѣ. Господинъ N., онъ обратился ко мнѣ,— я долженъ сказать вамъ нѣсколько словъ. Когда я отвелъ хозяина въ сторону спросить его, кто вы, я указалъ на васъ глазами, потому что вѣдь вы все равно должны были замѣтить, что я спрашиваю о васъ, кто вы; слѣдовательно, напрасно было бы не дѣлать жестовъ, натуральныхъ при такомъ вопросѣ. Когда вы будете дома, чтобъ я могъ зайти къ вамъ?» Я тогда не любилъ новыхъ знакомствъ, а эта навязчивость ужъ вовсе не нравилась мнѣ. «Я только ночую дома; меня цѣлый день нѣтъ дома», сказалъ я. «Но ночуете дома? Въ какое же время вы возвращаетесь ночевать?»—«Очень поздно».— «Напримѣръ?»—«Часа въ два, въ три».— «Это все равно, назначьте время».—«Если вамъ непремѣнно угодно,—утромъ послѣзавтра, половина четвертаго».—«Конечно, я долженъ принимать ваши слова за насмѣшку и грубость; а можетъ быть и то, что у васъ есть свои причины, можетъ-быть, даже заслуживающія одобренія. Во всякомъ случаѣ, я буду у васъ послѣзавтра, поутру, въ половинѣ четвертаго».— «Нѣтъ, ужъ если вы такъ рѣшительны, то лучше заходите попозднѣе: я все утро буду дома, до 12 часовъ».—«Хорошо, зайду часовъ въ 10. Вы будете одинъ?»—«Да».— «Хорошо». Онъ пришелъ и точно такъ же безъ околичностей приступилъ къ дѣлу, по которому нашелъ нужнымъ познакомиться. Мы потолковали съ полчаса; о чемъ толковали, это все равно; довольно того, что онъ говорилъ: «надобно», я говорилъ: «нѣтъ»; онъ говорилъ: «вы обязаны», я говилъ: «нисколько». Черезъ полчаса онъ сказалъ: «Ясно, что продолжать безполезно. Вѣдь вы убѣждены, что я человѣкъ, заслуживающій безусловнаго довѣрія?»—«Да,

мнѣ сказали это всѣ, и я самъ теперь вижу». — «И все-таки остаетесь при своемъ?»—«Остаюсь».—«Знаете вы, что изъ этого слѣдуетъ? То, что вы или лжецъ, или дрянь!» Какъ это понравится? Что надобно было бы сдѣлать съ другимъ человѣкомъ за такія слова? вызвать на дуэль? но онъ говорилъ такимъ тономъ, безъ всякаго личнаго чувства, будто историкъ, судящій холодно не для обиды, а для истины, и самъ былъ такъ страненъ, что смѣшно было бы обижаться, и я только могъ засмѣяться.–«Да вѣдь это одно и то же», сказалъ я.—«Въ настоящемъ случаѣ не одно и то же».—«Ну, такъ, можетъ-быть, и то и другое вмѣстѣ».—«Въ настоящемъ случаѣ то и другое вмѣстѣ невозможно. Но одно изъ двухъ — непремѣнно: или вы думаете и дѣлаете не то, что говорите: въ такомъ случаѣ вы лжецъ; или вы думаете и дѣлаете дѣйствительно то, что говорите: въ такомъ случаѣ вы дрянь. Одно изъ двухъ непремѣнно. Я полагаю, первое».—«Какъ вамъ угодно, такъ и думайте», сказалъ я, продолжая смѣяться. «Прощайте. Во всякомъ случаѣ, знайте, что я сохраняю довѣріе къ вамъ и готовъ возобновить нашъ разговоръ, какъ вамъ будетъ угодно».

При всей дикости этого случая Рахметовъ былъ совершенно правъ: и въ томъ, что началъ такъ, потому что вѣдь онъ прежде хорошо узналъ обо мнѣ и только тогда уже началъ дѣло, и въ томъ, что такъ кончилъ разговоръ; я, дѣйствительно, говорилъ ему не то, что думалъ, и онъ, дѣйствительно, имѣлъ право назвать меня лжецомъ, и это нисколько не могло быть обидно, даже щекотливо для меня «въ настоящемъ случаѣ», по его выраженію, потому что такой былъ случай, и онъ, дѣйствительно, могъ сохранить ко мнѣ прежнее довѣріе и, пожалуй, уваженіе.

Да, при всей дикости его манеры, каждый оставался убѣжденъ, что Рахметовъ поступилъ именно такъ, какъ благоразумнѣе и проще всего было поступить, и свои страшныя рѣзкости, ужаснѣйшія укоризны онъ говорилъ такъ, что никакой разсудительный человѣкъ не могъ ими обижаться, и, при всей своей феноменальной грубости, онъ былъ въ сущности очень деликатенъ. У него были и предисловія въ этомъ родѣ. Всякое щекотливое объясненіе онъ начиналъ такъ: «Вамъ извѣстно, что я буду говорить безъ всякаго личнаго чувства. Если мои слова будутъ непріятны, прошу извинить ихъ. Но я нахожу, что не слѣдуетъ обижаться ничѣмъ, что говорится добросовѣстно, вовсе не съ цѣлью оскорбленія, а по надобности. Впрочемъ, какъ скоро вамъ покажется безполезно продолжать слышать мои слова, я остановлюсь; мое правило: предлагать мое мнѣніе всегда, когда я долженъ, и никогда не навязывать его». И дѣйствительно, онъ не навязывалъ; никакъ нельзя было спастись отъ того, чтобъ онъ, когда находилъ это нужнымъ, не высказалъ вамъ своего мнѣнія настолько, чтобы вы могли понять, о чемъ и въ какомъ смыслѣ онъ хочетъ говорить; но онъ дѣлалъ это въ двухъ-трехъ словахъ и потомъ спрашивалъ: «Теперь вы знаете, каково было бы содержаніе разговора; находите ли вы полезнымъ имѣть такой разговоръ?» Если вы сказали «нѣтъ», онъ кланялся и отходилъ.

Вотъ какъ онъ говорилъ и велъ свои дѣла, а дѣлъ у него была бездна, и все дѣла, не касавшіяся лично до него; личныхъ дѣлъ у него не было, это всѣ знали; но какія дѣла у него, этого кружокъ не зналъ. Видно было только, что у него множество хлопотъ. Онъ мало бывалъ дома, все ходилъ и разъѣзжалъ, больше ходилъ. Но и у него безпрестанно бывали люди, то все одни и тѣ же, то все новые; для этого у него было положено: быть всегда дома отъ 2 до 3 часовъ; въ это время онъ говорилъ о дѣлахъ и обѣдалъ. Но часто по нѣскольку дней его не бывало дома. Тогда, вмѣсто него, сидѣлъ у него и принималъ посѣтителей одинъ изъ его пріятелей, преданный ему душой и тѣломъ и молчаливый, какъ могила.

Года черезъ два послѣ описываемаго времени онъ уѣхалъ изъ Петербурга, сказавши Кирсанову и еще двумъ-тремъ самымъ близкимъ друзьямъ, что ему здѣсь нечего дѣлать больше, что онъ сдѣлалъ все, что могъ, что больше дѣлать можно будетъ только года черезъ три, что эти три года теперь у него свободны, что онъ думаетъ воспользоваться ими, какъ ему кажется нужно для будущей дѣятельности. Мы узнали потомъ, что онъ проѣхалъ въ свое бывшее помѣстье, продалъ оставшуюся у него землю, получилъ тысячъ 35, заѣхалъ въ Казань и Москву, роздалъ около 5 тысячъ своимъ стипендіатамъ, чтобы

они могли кончить курсъ,—тѣмъ и кончалась его достовѣрная исторія. Куда онъ дѣвался изъ Москвы, неизвѣстно. Когда прошло нѣсколько мѣсяцевъ безъ всякихъ слуховъ о немъ, люди, знавшіе о немъ что-нибудь, кромѣ извѣстнаго всѣмъ, перестали скрывать вещи, о которыхъ, по его просьбѣ, молчали, пока онъ жилъ между нами. Тогда-то узналъ нашъ кружокъ и то, что у него были стипендіаты, узналъ большую часть изъ того о его личныхъ отношеніяхъ, что я разсказалъ, узналъ множество исторій, далеко, впрочемъ, не разъяснявшихъ всего, даже ничего не разъяснявшихъ, а только дѣлавшихъ Рахметова лицомъ еще болѣе загадочнымъ для всего кружка, исторій, изумлявшихъ своею странностью или совершенно противорѣчившихъ тому понятію, какое кружокъ имѣлъ о немъ, какъ о человѣкѣ совершенно черствомъ для личныхъ чувствъ, не имѣвшемъ, если можно такъ выразиться, личнаго сердца, которое билось бы ощущеніями личной жизни. Разсказывать всѣ эти исторіи было бы здѣсь неумѣстно. Приведу лишь двѣ изъ нихъ, по одной на каждый изъ двухъ родовъ: одну дикаго сорта, другую—сорта, противорѣчившаго прежнему понятію кружка о немъ. Выбираю изъ исторій, разсказанныхъ Кирсановымъ.

За годъ передъ тѣмъ, какъ во второй и, вѣроятно, окончательный разъ, уѣхать изъ Петербурга, Рахметовъ сказалъ Кирсанову: «Дайте мнѣ порядочное количество мази для заживленія ранъ отъ острыхъ орудій». Кирсановъ далъ огромнѣйшую банку, думая, что Рахметовъ хочетъ отнести лѣкарство въ какую-нибудь артель плотниковъ или другихъ мастеровыхъ, которые часто подвергаются порѣзамъ. На другое утро хозяйка Рахметова въ страшномъ испугѣ прибѣжала къ Кирсанову: «Батюшка-лѣкарь, не знаю, что съ моимъ жильцомъ сдѣлалось: не выходитъ долго изъ своей комнаты, дверь заперъ, я заглянула въ щель: онъ лежитъ весь въ крови; я какъ закричу, а онъ мнѣ говоритъ сквозь дверь: «ничего, Аграфена Антоновна» — какое, ничего! Спаси, батюшка - лѣкарь, боюсь смертнаго случаю. Вѣдь онъ такой до себя безжалостный!» Кирсановъ поскакалъ. Рахметовъ отперъ дверь съ мрачною широкою улыбкою, и посѣтитель увидѣлъ вещь, отъ которой и не Аграфена Антоновна могла развести руками: спина и бока всего бѣлья Рахметова (онъ былъ въ одномъ бѣльѣ) были облиты кровью, подъ кроватью была кровь, войлокъ, на которомъ онъ спалъ, также въ крови; въ войлокѣ были натыканы сотни мелкихъ гвоздей шляпками съ исподи, остреями вверхъ, они высовывались изъ войлока чуть не на полвершка; Рахметовъ лежалъ на нихъ ночь. «Что это такое, помилуйте, Рахметовъ?» съ ужасомъ проговорилъ Кирсановъ. «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно, однакоже, на всякій случай нужно. Вижу, могу». Кромѣ того, что видѣлъ Рахметовъ, видно изъ этого также, что хозяйка, вѣроятно, могла бы разсказать много разнаго любопытнаго о Рахметовѣ; но, въ качествѣ простодушной и простоплатной, старуха была безъ ума отъ него, и ужъ, конечно, отъ нея нельзя было бы ничего добиться. Она и въ этотъ-то разъ побѣжала къ Кирсанову потому только, что самъ Рахметовъ дозволилъ ей для ея успокоенія: она слишкомъ плакала, думая, что онъ хочетъ убить себя.

Мѣсяца черезъ два послѣ этого, дѣло было въ концѣ мая, Рахметовъ пропадалъ на недѣлю или больше, но тогда никто этого не замѣтилъ, потому что пропадать на нѣсколько дней случалось ему нерѣдко. Теперь Кирсановъ разсказалъ слѣдующую исторію о томъ, какъ Рахметовъ провелъ эти дни. Они составляли эротическій эпизодъ въ жизни Рахметова. Любовь произошла изъ событія, достойнаго Никитушки Ломова. Рахметовъ шелъ изъ перваго Парголова въ городъ, задумавшись и больше глядя въ землю, по своему обыкновенію, по сосѣдству Лѣсного института. Онъ былъ пробужденъ отъ раздумья отчаяннымъ крикомъ женщины; взглянулъ: лошадь понесла даму, катавшуюся въ шарабанѣ, дама сама правила, и не справилась, вожжи волочились по землѣ — лошадь была уже въ двухъ шагахъ отъ Рахметова; онъ бросился на середину дороги, но лошадь ужъ пронеслась мимо, онъ не успѣлъ поймать повода, успѣлъ только схватиться за заднюю ось шарабана — и остановилъ, но упалъ. Подбѣжалъ народъ, помогли дамѣ сойти съ шарабана, подняли Рахметова; у него была нѣсколько разбита грудь, но, главное, колесомъ вырвало ему порядочный кусокъ мяса изъ ноги. Дама уже опомнилась и приказала отнести его къ себѣ на дачу,

въ какой-нибудь полуверстѣ. Онъ согласился, потому что чувствовалъ слабость, но потребовалъ, чтобы послали непремѣнно за Кирсановымъ, ни за какимъ другимъ медикомъ. Кирсановъ нашелъ ушибъ груди не важнымъ, но самого Рахметова уже очень ослабѣвшимъ отъ потери крови. Онъ пролежалъ дней десять. Спасенная дама, конечно, ухаживала за нимъ сама. Ему ничего другого нельзя было дѣлать отъ слабости, а потому онъ говорилъ съ нею,—вѣдь все равно, время пропадало бы даромъ, — говорилъ и разговорился. Дама была вдова лѣтъ 19, женщина не бѣдная, и вообще совершенно независимаго положенія, умная, порядочная женщина. Огненныя рѣчи Рахметова, конечно не о любви, очаровали ее: «Я во снѣ вижу его окруженнаго сіяньемъ», говорила она Кирсанову. Онъ также полюбилъ ее. Она, по платью и по всему, считала его человѣкомъ, не имѣющимъ совершенно ничего, потому первая призналась и предложила ему вѣнчаться, когда онъ, на 11 день, всталъ и сказалъ, что можетъ ѣхать домой. «Я былъ съ вами откровеннѣе, чѣмъ съ другими; вы видите, что такіе люди, какъ я, не имѣютъ права связывать чью-нибудь судьбу съ своею».—«Да, это правда,—сказала она:—вы не можете жениться. Но пока вамъ придется бросить меня, до тѣхъ поръ любите меня».—«Нѣтъ, и этого я не могу принять,—сказалъ онъ:— я долженъ подавить въ себѣ любовь: любовь къ вамъ связывала бы мнѣ руки, онѣ и такъ не скоро развяжутся у меня,— ужъ связаны. Но развяжу. Я не долженъ любить». Что было потомъ съ этою дамою? Въ ея жизни долженъ былъ произойти переломъ; по всей вѣроятности, она и сама сдѣлалась особеннымъ человѣкомъ. Мнѣ хотѣлось узнать. Но я этого не знаю, Кирсановъ не сказалъ мнѣ ея имени, а самъ тоже не зналъ, что съ нею: Рахметовъ просилъ его не видаться съ нею, не справляться о ней: «Если я буду полагать, что вы будете что-нибудь знать о ней, я не удержусь, стану спрашивать, а это не годится». Узнавъ такую исторію, всѣ вспомнили, что въ то время, мѣсяца полтора или два, а можетъ-быть, и больше, Рахметовъ былъ мрачноватѣе обыкновеннаго, не приходилъ въ азартъ противъ себя, сколько бы ни кололи ему глаза его гнусною слабостью, то-есть сигарами, и не улыбался широко и сладко, когда ему льстили именемъ Никитушки Ломова. А я вспомнилъ и больше: въ то лѣто, три - четыре раза, въ разговорахъ со мною, онъ, черезъ нѣсколько времени послѣ перваго нашего разговора, полюбилъ меня за то, что я смѣялся (наединѣ съ нимъ) надъ нимъ, и въ отвѣтъ на мои насмѣшки вырывались у него такого рода слова: «Да, жалѣйте меня, вы правы, жалѣйте: вѣдь и я тоже не отвлеченная идея, а человѣкъ, которому хотѣлось бы жить. Ну, да это ничего, пройдетъ», прибавлялъ онъ. И точно, прошло. Только однажды, когда уже я слишкомъ много расшевелилъ его насмѣшками, даже позднею осенью, все еще вызвалъ я изъ него эти слова.

Проницательный читатель, можетъ-быть, догадывается изъ этого, что я знаю о Рахметовѣ больше, чѣмъ говорю. Можетъ-быть. Я не смѣю противорѣчить ему, потому что онъ проницателенъ. Но если я знаю, то мало ли чего я знаю такого, чего тебѣ, проницательный читатель, во вѣки-вѣковъ не узнать. А вотъ чего я, дѣйствительно, не знаю, такъ не знаю: гдѣ теперь Рахметовъ, и что съ нимъ, и увижу ли я его когда-нибудь. Объ этомъ я не имѣю никакихъ другихъ ни извѣстій ни догадокъ, кромѣ тѣхъ, какія имѣютъ всѣ его знакомые. Когда прошло мѣсяца три-четыре послѣ того, какъ онъ пропалъ изъ Москвы, и не приходило никакихъ слуховъ о немъ, мы всѣ предположили, что онъ отправился путешествовать по Европѣ. Догадка эта, кажется, вѣрна. По крайней мѣрѣ, она подтверждается вотъ какимъ случаемъ. Черезъ годъ послѣ того, какъ пропалъ Рахметовъ, одинъ изъ знакомыхъ Кирсанова встрѣтилъ въ вагонѣ по дорогѣ изъ Вѣны въ Мюнхенъ молодого человѣка, русскаго, который говорилъ, что объѣхалъ славянскія земли, вездѣ сближался со всѣми классами, въ каждой землѣ оставался постольку, чтобы достаточно узнать понятія, нравы, образъ жизни, бытовыя учрежденія, степень благосостоянія всѣхъ главныхъ составныхъ частей населенія, жилъ для этого въ городахъ и въ селахъ, ходилъ пѣшкомъ изъ деревни въ деревню, потомъ точно такъ же познакомился съ вунурами и венграми, объѣхалъ и обошелъ сѣверную Германію, оттуда пробрался опять къ югу, въ нѣмецкія провинціи Австріи, теперь ѣдетъ

въ Баварію, оттуда въ Швейцарію, черезъ Вюртембергъ и Баденъ во Францію, которую объѣдетъ и обойдетъ точно такъ же, оттуда за тѣмъ же проѣдетъ въ Англію, и на это употребитъ еще годъ; если останется изъ этого года время, онъ посмотритъ и на испанцевъ и на итальянцевъ, если же не останется времени,—такъ и быть, потому что это не такъ «нужно», а тѣ земли осмотрѣть «нужно» — зачѣмъ же?— «для соображеній»; а что черезъ годъ во всякомъ случаѣ ему «нужно» быть уже въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ, изучить которые болѣе «нужно» ему, чѣмъ какую-нибудь другую землю, и тамъ онъ останется долго, можетъ-быть, болѣе года, а можетъ-быть, и навсегда, если онъ тамъ найдетъ себѣ дѣло, но вѣроятнѣе, что года черезъ три онъ возвратится въ Россію, потому что, кажется, въ Россіи, не теперь, а тогда, года черезъ три-четыре, «нужно» будетъ ему быть.

Все это очень похоже на Рахметова, даже эти «нужно», запавшія въ память разсказчика. Лѣтами, голосомъ, чертами лица, насколько запомнилъ ихъ разсказчикъ, проѣзжій тоже подходилъ къ Рахметову; но разсказчикъ тогда не обратилъ особеннаго вниманія на своего спутника, который къ тому же недолго и былъ его спутникомъ, всего часа два: сѣлъ въ вагонъ въ какомъ-то городишкѣ, вышелъ въ какой-то деревнѣ; потому разсказчикъ могъ описать его наружность лишь слишкомъ общими выраженіями, и полной достовѣрности тутъ нѣтъ: по всей вѣроятности, это былъ Рахметовъ, а, впрочемъ, кто жъ его знаетъ? Можетъ-быть, и не онъ.

Былъ еще слухъ, что молодой русскій, бывшій помѣщикъ, являлся къ величайшему изъ европейскихъ мыслителей XIX вѣка, отцу новой философіи, нѣмцу, и сказалъ ему такъ: «У меня 30,000 талеровъ; мнѣ нужно только 5,000; остальные я прошу васъ взять у меня» (философъ живетъ очень бѣдно). «Зачѣмъ же?»—«На изданіе вашихъ сочиненій». Философъ натурально не взялъ; но русскій, будто бы, все-таки положилъ у банкира деньги на его имя и написалъ ему такъ: «Деньгами распоряжайтесь, какъ хотите, хоть бросьте въ воду, а мнѣ ихъ уже не можете возвратить, меня вы не отыщете»,— и будто бы эти деньги такъ и теперь лежатъ у банкира. Если этотъ слухъ справедливъ, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что къ философу являлся именно Рахметовъ.

Да, особенный человѣкъ былъ этотъ господинъ, экземпляръ очень рѣдкой породы. И не за тѣмъ описывается мною такъ подробно одинъ экземпляръ этой рѣдкой породы, чтобы научить тебя, проницательный читатель, приличному (неизвѣстному тебѣ) обращенію съ людьми этой породы: тебѣ ни одного такого человѣка не видать; твои глаза, проницательный читатель, не такъ устроены, чтобы видѣть такихъ людей; для тебя они невидимы; ихъ видятъ только честные и смѣлые глаза; а для того тебѣ служитъ описаніе такого человѣка, чтобы ты хоть по наслышкѣ зналъ, какіе люди есть на свѣтѣ. Къ чему оно служитъ для читательницъ и простыхъ читателей, это они сами знаютъ.

Да, смѣшные это люди, какъ Рахметовъ, очень забавные. Это я для нихъ самихъ говорю, что они смѣшны, говорю потому, что мнѣ жалко ихъ; это я для тѣхъ благородныхъ людей говорю, которые очаровываются ими: не слѣдуйте за ними, благородные люди, говорю я, потому что скуденъ личными радостями путь, на который они зовутъ васъ; но благородные люди не слушаютъ меня и говорятъ: нѣтъ, не скуденъ, очень богатъ, а хоть бы и былъ скуденъ въ иномъ мѣстѣ, такъ не длинно же оно, у насъ достанетъ силы пройти это мѣсто, выйти на богатыя радостью, безконечныя мѣста. Такъ видишь ли, проницательный читатель, это я не для тебя, а для другой части публики говорю, что такіе люди, какъ Рахметовъ, смѣшны. А тебѣ, проницательный читатель, я скажу, что это недурные люди; а то вѣдь ты, пожалуй, и не поймешь самъ-то; да, недурные люди. Мало ихъ, но ими расцвѣтаетъ жизнь всѣхъ; безъ нихъ она заглохла бы, прокисла бы; мало ихъ, но они даютъ всѣмъ людямъ дышать, безъ нихъ люди задохнулись бы. Велика масса честныхъ и добрыхъ людей, а такихъ людей мало; но они въ ней — теинъ въ чаю, букетъ въ благородномъ винѣ; отъ нихъ ея сила и ароматъ; это—цвѣтъ лучшихъ людей, это—двигатели двигателей, это—соль соли земли.

1863 г.

**Николай Александровичъ Добролюбовъ.**

(1836—1861).

## 1. Милый другъ, я умираю.

Милый другъ, я умираю
Оттого, что былъ я честенъ;
Но зато родному краю,
Вѣрно, буду я извѣстенъ.
Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею!

## 2. Еще работы въ жизни много.

Еще работы въ жизни много,—
Работы честной и святой:
Еще тернистая дорога
Не залегла передо мной.
Еще пристрастьемъ ни единымъ
Своей судьбы я не связалъ
И сердца полнымъ господиномъ
Противъ соблазновъ устоялъ.
Я вашъ, друзья, хочу быть вашимъ,
На трудъ и битву я готовъ,—
Лишь бы начать въ союзѣ нашемъ
Живое дѣло, вмѣсто словъ;
Но если нѣтъ,—мое презрѣнье
Меня далеко оттолкнетъ
Отъ тѣхъ кружковъ, гдѣ словопренье
Опять права свои возьметъ.
И сгибну ль я въ тоскѣ безумной,
Иль въ мирѣ съ пошлостью людской,
Все лучше, чѣмъ заняться шумной,
Надменно праздной болтовней.
Но знаю я,—работа наша
Ужъ пилигримовъ новыхъ ждетъ,
И не минетъ святая чаша
Всѣхъ, кто ее не оттолкнетъ.

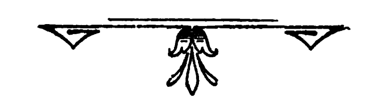
## 3. Жалоба ребенка.

Для чего связали вы мнѣ руки?
Для чего спеленали меня?

Для чего на житейскія муки
Обрекли меня съ перваго дня?
Еще много носить мнѣ придется
На душѣ и на тѣлѣ цѣпей;
Вкругъ кипучей груди обовьется
Много-много губительныхъ змѣй.
Стариной освященный обычай,
Человѣка пристрастный законъ,
Предписанія модныхъ приличій—
Ими буду всю жизнь я стѣсненъ...
Дайте жъ мнѣ хотя въ дѣтствѣ свободу,
Дайте вольно всей груди вздохнуть,
Чтобъ я послѣ, въ тяжелые годы,
Могъ хоть дѣтство добромъ помянуть.

### 4. Въ прусскомъ вагонѣ.

По чугуннымъ рельсамъ
Ѣдетъ поѣздъ длинный,
Не свернетъ ни разу
Съ колеи рутинной.
Часомъ въ часъ разсчитанъ
Путь его помильно...
Воля моя, воля!
Какъ ты здѣсь безсильна!
То ли дѣло съ тройкой!
Мчусь, куда хочу я,
Безъ нужды, безъ цѣли
Землю полосуя.
Не хочу я прямо —
Забирай налѣво,
По лугамъ направо,
Взадъ черезъ посѣвы.
Но—увы!—ужъ скоро
Мертвая машина
Стянетъ и раздолье
Руси-исполина.
Сыплютъ иностранцы
Русскіе мильоны,
Чтобы русской волѣ
Положить препоны.
Но не поддадимся
Мы слѣпой рутинѣ:
Мы дадимъ духъ жизни
И самой машинѣ.
Не пойдетъ нашъ поѣздъ,
Какъ идетъ нѣмецкій:
То соскочитъ съ рельсовъ
Съ силой молодецкой;
То обвалитъ насыпь,
То мостокъ продавитъ,
То на встрѣчный поѣздъ
Ухарски направитъ,
То пойдетъ потише,
Опоздаетъ вволю,
За мятелью станетъ
Сутки трое въ полѣ;
А иной разъ, просто,
Часика четыре
Подождетъ особу,
Сильную въ семъ мірѣ.
Да, я вѣрю твердо:
Мертвая машина
Произволъ не свяжетъ
Руси-исполина.
Вѣрю: всѣ машины
Съ русскою природой
Сами оживятся
Духомъ и свободой!



**Иннокентій Васильевичъ Ѳедоровъ-Омулевскій.**

(1836—1883).

## ИЗЪ РОМАНА «ШАГЪ ЗА ШАГОМЪ».

### Владимирко собесѣдничаетъ.

Около двухъ часовъ пополудни, пріѣзжій Свѣтловъ открылъ, наконецъ, глаза и съ пріятностью потянулся. Александръ Васильичъ отлично выспался и былъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Въ домѣ царствовала теперь невозмутимая тишина. Старики Свѣтловы, утомленные отчасти радостью, отчасти хлопотами этого утра, тоже легли вздремнуть передъ обѣдомъ; они разсчитали, что отдыхъ дастъ имъ возможность вполнѣ воспользоваться вечеромъ, чтобъ поговорить съ сыномъ. Подъ вліяніемъ тишины, Александръ Васильичъ только что сталъ впадать въ раздумье, какъ вблизи отъ него кто-то робко сморкнулся. Онъ повернулся на другой бокъ и съ удивленіемъ увидѣлъ Владимирку. Мальчуганъ преважно возсѣдалъ на креслѣ у письменнаго стола и смотрѣлъ во всѣ глаза на брата, полуоткрывъ по обыкновенію ротъ. Онъ очень сконфузился, увидя, что братъ проснулся, сталъ было слѣзать съ креселъ.

— Постой, куда же ты? — засмѣялся Александръ Васильичъ.

Владимирко еще больше сконфузился, но остался на мѣстѣ. Дѣло въ томъ, что старики никакъ не могли уложить его спать въ это утро. Какъ только сами они заснули, онъ на цыпочкахъ пробрался въ комнату брата, заглянувъ предварительно въ щелку, спитъ ли тотъ, и все время, пока Александръ Васильичъ спалъ, имѣлъ терпѣніе просидѣть, не шелохнувшись, на креслѣ, съ любопытствомъ разглядывая то спавшаго брата, то вещицы на его письменномъ столѣ.

— Итакъ, Владимиръ Васильичъ, здравствуйте!—сказалъ ему старшій братъ, еще разъ засмѣявшись и протягивая руку.

Владимирко робко слѣзъ съ своихъ креселъ и какъ-то нерѣшительно пожалъ протянутую ему руку.

— Мама еще спитъ, и папа также, — сказалъ онъ, очевидно, желая оправиться.

— А ты развѣ не ложился спать?

— Нѣтъ, не ложился; я ночью лягу... Да мнѣ и спать-то не хочется...

— Что же, братъ, такъ?—зѣвнулъ Александръ Васильичъ.

— Не хочется...—коротко отвѣтилъ Владимирко и самъ невольно зѣвнулъ, глядя на брата.—У насъ сегодня макароны будутъ,—сказалъ онъ для храбрости.

— Значитъ, мое любимое кушанье,— отлично! А еще что будетъ?

— Супъ съ колобками да тетерька, да еще мама кремъ сдѣлаетъ.

— Батюшки! какая роскошь: все мои любимыя блюда. Да я просто объѣмся сегодня.

— А вы любите красную икру?—спросилъ Владимирко, который былъ страшный охотникъ до всякой икры.

— Красную и черную, всякую люблю,— засмѣялся Александръ Васильичъ, къ полному удовольствію брата.

Послѣдній, по поводу такого очевиднаго сочувствія его вкусамъ, рѣшился даже присѣсть на кончикъ постели.

— А вы красную съ лукомъ любите?— продолжалъ онъ выпытывать.

— Непремѣнно съ лукомъ.

— И я тоже съ лукомъ люблю,—окончательно повеселѣлъ Владимирко. — А вотъ Ванька, такъ тотъ прямо у рыбы изъ брюха ѣстъ.

— Неужели?

— Ей-Богу-ну, ѣстъ; онъ ее оттуда выдавливаетъ. Мама ему не даетъ икры, такъ онъ, какъ съ базару рыбу несетъ, и выдавитъ.

— Вотъ какой хитрецъ!—засмѣялся Александръ Васильичъ.—Только зачѣмъ ты его называешь «Ванькой»?—спросилъ онъ серьезно черезъ минуту.—Развѣ тебя кто-нибудь зоветъ «Володькой»?

— Нѣтъ. Да его мама такъ зоветъ, и всѣ такъ зовутъ...

— Значитъ, мама нехорошо дѣлаетъ. Зачѣмъ же его обижать? вѣдь онъ такой же, какъ и ты, человѣкъ, такой же мальчикъ.

Владимирко широко раскрылъ глаза: онъ еще отъ перваго человѣка слышалъ, что его мама можетъ что-нибудь «дѣлать нехорошо», а его «наилюбезный камердинеръ»—такой же мальчикъ, какъ и онъ самъ.

— У Ваньки ни отца ни матери не было,—пояснилъ онъ въ оправданіе себя и мамы.

— Вотъ ты и опять его такъ назвалъ. Скажи: «у Вани».

— Ну, у Вани...

— Вотъ видишь ли ты, это неправда, что у него ни матери ни отца не было. Нѣтъ такого человѣка на свѣтѣ, у котораго бы ихъ не было; иначе онъ бы и родиться не могъ,—сказалъ Александръ Васильичъ очень серьезно.

— Да вѣдь Ваньку-то на улицѣ нашли,—возразилъ Владимирко.

— Опять «Ваньку»! А еще мнѣ писали, что ты его очень любишь...

— Ну, Ваню, Ваню...—конфузливо поправился Владимирко.

— Что жъ такое, что на улицѣ нашли? Все-таки у него и мать была и отецъ; только нехорошіе, видно, люди они были, коли ребенка на улицу выбросили,—замѣтилъ Александръ Васильичъ.

— Зачѣмъ же они его выбросили?

— А ужъ этого я не могу тебѣ сказать. Это надо у нихъ спросить.

Владимирко задумался и нѣсколько недовѣрчиво покосился на брата.

— У нашей Милашки тоже мать была, а отца не было,—сказалъ онъ, какъ бы желая уяснить себѣ новую мысль.

— У какой это Милашки? Ахъ, да! у собаки... И у ней непремѣнно отецъ былъ, только ты, видно, не видалъ, какъ онъ къ Милашкиной матери бѣгалъ.

— А къ Милашкѣ отчего же онъ не прибѣгалъ?

— Да онъ, можетъ-быть, и къ ней прибѣгалъ, а ты не замѣтилъ.

— У воробья тоже отецъ и мать есть,— сказалъ Владимирко, на этотъ разъ уже не съ вопросомъ, а совершенно утвердительно.

— И у воробья есть,—подтвердилъ, въ свою очередь, Александръ Васильичъ.

— Смѣшно воробей скачетъ. Онъ— воръ.

— Это отчего?

— А какъ же? Они все овесъ изъ конюшни у лошадей воруютъ.

— Отчего же непремѣнно «воруютъ»? Просто, знаютъ, что тамъ овесъ есть, и прилетаютъ клевать.

— А вотъ же въ кухню не прилетаютъ: я на окошко насыпалъ.

— Да въ кухнѣ всегда кто-нибудь есть, они и боятся.

— Нѣтъ, воробей — воръ, — сказалъ Владимирко съ убѣжденіемъ.

— Значитъ, по-твоему, и голубь тоже воръ?

— Нѣтъ, онъ не воръ: онъ не такъ людей пугается.

— Стало-быть, воробей только похитрѣе будетъ, а голубь къ людямъ больше привыкъ, все же, по-твоему, воръ выходитъ.

— Голубя убивать нельзя...—схитрилъ Владимирко.

— Да и воробья не слѣдуетъ убивать.

— А клопа?

— И клопа не слѣдуетъ убивать.

— А мама убиваетъ клоповъ...

— Это еще не значитъ, что ихъ слѣдуетъ убивать; а надо такъ сдѣлать, чтобъ въ комнатѣ они не разводились,—держать комнаты чисто.

— Да они въ диванѣ сидятъ...

— Надо сдѣлать, значитъ, чтобъ ихъ и тамъ не было.

— Да голубь вѣдь чистая птица?

— Чистая, коли не зачапается.

— Да нѣтъ! не то... — замялся Владимирко.

— А! знаю. Ну, чистая, чистая.

— А клопъ чистый?

— И клопъ чистый.

— Онъ пахнетъ...

— Что жъ такое, что клопъ клопомъ пахнетъ? И голубь пахнетъ голубемъ; ты понюхай-ка когда-нибудь.

Владимирко на минуту задумался, и затѣмъ лицо его приняло самое лукавое выраженіе.

— А мышь... чистая? — спросилъ онъ съ очевиднымъ коварствомъ.

— Разумѣется, чистая.

— Вотъ и врешь: мышь поганая!— засмѣялся Владимирко, торжествуя.

— Что же это значитъ «поганая»?— смиренно схитрилъ, въ свою очередь, Александръ Васильичъ, прикидываясь, что не понимаетъ значенія этого слова.

— Поганая-то что значитъ?—переспросилъ Владимирко, очевидно, затрудняясь отвѣтомъ.

— Да.

— Ее ѣсть нельзя...

— Какъ нельзя? Ты развѣ пробовалъ?

— Чего вы еще выдумали!

Владимирко даже обидѣлся.

— Такъ какъ же ты говоришь, что ѣсть нельзя, коли не пробовалъ?

— Мама говоритъ...

— А мама пробовала?

Владимирко еще больше обидѣлся и сдѣлалъ гримасу человѣка, котораго начинаетъ тошнить.

— Ну ужъ, чего вы говорите...—сказалъ онъ нѣсколько сердито.

— Такъ почему же ты думаешь, что мышь нельзя ѣсть, коли никто и не попробовалъ, можно ли ее, въ самомъ дѣлѣ, ѣсть?

— А вы ѣли?—оправился Владимирко.

— Я тоже не ѣлъ, только не потому, что ее нельзя ѣсть, а потому, что у нея мясо невкусное, пахнетъ скверно жиромъ.

— А вкусно было бы,—съѣли?

— Съѣлъ бы.

Владимирко повторилъ свою гримасу.

— А какъ же вы знаете, что она невкусная, когда и сами ее не ѣли?—спросилъ онъ лукаво.

— А вотъ, видишь, есть такіе люди, ученые, которые стараются все испробовать,—пробовали и мышиное мясо, и нашли, что оно невкусно. Все-таки ѣсть его можно; китайцы вонъ ѣдятъ.

— Они сами вамъ это разсказывали?

— Кто? Китайцы-то?

— Нѣтъ, другіе-то...

— Ахъ, ученые! Нѣтъ, не сами. То-есть сами же, пожалуй, да только въ книгахъ, а не лично мнѣ.

Владимирко посматривалъ на брата крайне недовѣрчиво. Александръ Васильичъ замѣтилъ это и сказалъ:

— Да вотъ лучше всего мы когда-нибудь сами поймаемъ мышь, сваримъ ее, да и попробуемъ, какой у ней вкусъ. Вкусной окажется — съѣдимъ, а коли не вкусная—выбросимъ.

Владимирко опять скорчилъ было прежнюю гримасу, но сейчасъ же и прояснился.

— А вы гдѣ будете мышь ловить? Въ подпольѣ лучше; тамъ ихъ много: вотъ какія!..—показалъ онъ двумя пальцами.

— Можно и въ подпольѣ поймать.

— А вотъ ужъ таракана, такъ никто не съѣстъ: онъ съ усищами...—захохоталъ Владимирко.

— Я, братъ, однажды съѣлъ таракана.

— Съѣ-ѣ-ли? — растянулъ удивленно Владимирко.—Зачѣмъ съѣли?

— Да такъ, дурачился; хотѣлъ показать одной барынѣ, что можно и таракана съѣсть не поморщившись, коли захочешь.

— Невку-у-сный? — снова растянулъ Владимирко, отчаянно сморщивъ носъ.

— Нѣтъ, ничего; почти никакого вкуса нѣтъ.

— Вы мертваго или живого съѣли?

— Мертваго.

— А живой въ брюхѣ будетъ ползать?

— Нѣтъ. Онъ сейчасъ же переварится въ желудкѣ, такъ что отъ него и слѣдовъ не останется.

— Какой вы смѣшной!—сказалъ Владимирко.—А я умѣю по-вороньи каркать,— прибавилъ онъ вдругъ.

— Ну-ка, каркни.

Владимирко каркнулъ очень похоже.

— А вы умѣете? — спросилъ онъ у брата.

Александръ Васильичъ тотчасъ же приподнялся на постели, уморительно покачалъ головой, подражая воронѣ, и такъ мастерски каркнулъ, что у Владимирки даже слюнки потекли. Онъ, по крайней мѣрѣ, съ минуту послѣ этого смотрѣлъ брату въ ротъ, признавъ себя рѣшительно побѣжденнымъ.

— А сороку...—попросилъ онъ.

Александръ Васильичъ не менѣе мастерски изобразилъ ему и сороку, даже какъ-то особенно забавно подпрыгнулъ для этого нѣсколько разъ на постели. Тутъ ужъ Владимирко пришелъ въ совершенный восторгъ и, какъ бы въ знакъ начавшейся дружбы, вскарабкался на брюхо къ брату.

— А ты умѣешь, Саша, ракетки дѣлать?— спросилъ онъ съ замирающимъ сердцемъ.

— Еще какія, братъ, умѣю дѣлать-то!— засмѣялся Александръ Васильичъ.

— Врешь?—допытывался Владимирко.— А красный огонь... умѣешь?

— И красный огонь сдѣлаю.

Красный огонь былъ для Владимирки своего рода демоническимъ призракомъ, преслѣдовавшимъ его воображеніе съ того послѣдняго фейерверка, на которомъ онъ въ первый разъ увидѣлъ этотъ огонь.

— А ты какъ ракетки научился дѣлать?—спросилъ мальчуганъ съ самымъ живымъ любопытствомъ, при чемъ его маленькое личико, обыкновенно довольно угрюмое, сіяло полнѣйшимъ торжествомъ.

— Сперва прочелъ въ книгѣ, какъ дѣлаются ракеты; послѣ попробовалъ самъ сдѣлать, раза три испортилъ, а потомъ ничего, хорошо вышло.

— А книга эта у тебя есть?

— Нѣтъ, не взялъ съ собой.

— А красный огонь тоже по книгѣ научился дѣлать?

— Тоже по книгѣ.

— А изъ чего онъ, Саша, дѣлается?

— Ты не поймешь: въ него разныя вещи входятъ, все мудреныя названія.

— Ска-а-жи, Саша!.. — уморительно упрашивалъ Владимирко.

— Ну... азотнокислый стронціанъ входитъ, бертоллетова соль входитъ, сѣрнистая сурьма...

Лицо Владимирки мгновенно омрачилось: онъ смекнулъ сразу, хоть и смутно, что это ужъ не чета его селитрѣ. «У-ухъ, сколько!» подумалъ онъ съ полнѣйшей безнадежностью приготовить красный огонь.

— А вотъ постой,—сказалъ Александръ Васильичъ, замѣтивъ на его лицѣ эту безнадежность:—вонъ тамъ у меня въ чемоданѣ книга есть, въ красномъ переплетѣ, толстая такая... дай-ка ее мнѣ сюда.

Владимирко опрометью бросился къ чемодану и мигомъ досталъ оттуда книгу.

— Химія!—не утерпѣлъ онъ не объявить громко, пробѣжавъ глазами заглавіе.

— Да, химія,—подтвердилъ Александръ Васильичъ и сталъ перелистывать книгу.

— Что это значитъ «химія», Саша?— полюбопытствовалъ Владимирко.

— Наука такая... Если выучишься ей, будешь знать, изъ чего, напримѣръ, соль состоитъ,—вотъ что къ обѣду подаютъ,— какъ желѣзо получается, отчего оно ржавѣетъ... однимъ словомъ, я разскажу тебѣ когда-нибудь объ этомъ поподробнѣе, а теперь вотъ смотри, прочти вотъ здѣсь...

«Славная, должно-быть, книжка!» весело подумалъ Владимирко и съ жадностью прочелъ указанное мѣсто, подтвердившее ему слова брата о составѣ краснаго огня.

— Ты дашь мнѣ, Саша, почитать эту книжку... А?—попросилъ онъ умильно.

— Возьми, да только ты ничего не поймешь въ ней.

— Ничего, я почитаю...

— Почитай, почитай.

— А эти... какъ они называются?.. для краснаго-то огня... здѣсь нельзя достать?— опять съ замирающимъ сердцемъ спросилъ Владимирко.

— Отчего нельзя достать? Въ любой аптекѣ можно купить.

Владимирко пришелъ было въ неописанный восторгъ, но вдругъ подумалъ о чемъ-то и омрачился.

— Безъ лѣкаря не дадутъ въ аптекѣ...— сказалъ онъ печально.

— Дадутъ и такъ, — утѣшилъ его братъ:—безъ рецепта только ядовитыя вещества не отпускаются, а эти продадутъ.

— А дорого, поди?

— Не особенно.

— Поди, три рубля, Саша?

Три рубля всегда представлялись почему-то Владимиркѣ роковой финансовой единицей, разбивавшей въ прахъ всѣ его планы и надежды.

— Экъ куда хватилъ: три рубля!—засмѣялся Александръ Васильичъ. — Развѣ нѣсколько копеекъ.

У Владимирки совсѣмъ повеселѣло на душѣ. Онъ безцеремонно принялся тормошить брата, но при этомъ какъ-то нерѣшительно все поглядывалъ ему въ глаза.

— Саша! А Саша!..—робко проговорилъ онъ наконецъ.

— Что?

Владимирко вдругъ покраснѣлъ весь, какъ ракъ, застыдился чего-то и мгновенно исчезъ изъ комнаты, оставивъ брата въ полнѣйшемъ недоумѣніи. Минуты черезъ двѣ онъ вернулся съ какой-то бумажкой въ рукахъ, попрежнему красный, какъ ракъ, и робко всунулъ ее Александру Васильичу. Но едва тотъ сталъ развертывать бумажку, Владимирко закрылся халатикомъ, закричалъ: «Не читай при мнѣ, Саша!»—и убѣжалъ снова. Бумажка оказалась запиской, лаконически молившей: «зделай мне севодни красной огонь». Прочитавъ ее, Александръ Васильичъ расхохотался до слезъ.

— Володя!—позвалъ онъ громко Владимирку, который, притаясь въ сосѣдней комнатѣ, въ углу, просто умиралъ отъ нетерпѣнія.

— Володя! Поди же сюда!—повторилъ Александръ Васильичъ еще громче.

Владимирко появился, наконецъ, въ кабинетѣ брата, но съ такимъ сконфуженнымъ и разстроеннымъ лицомъ, что Александръ Васильичъ и на этотъ разъ не могъ удержаться отъ смѣха, глядя на его комично съежившуюся фигурку.

— Ахъ ты, проказникъ этакій! — сказалъ онъ, все еще смѣясь, и притянулъ къ себѣ Владимирку за обѣ руки.—Дѣлать, братъ, нечего,—надо исполнить.

Владимірко такъ и запрыгалъ на мѣстѣ.

— Сегодня, Саша? А? Сегодня? А?— приставалъ онъ къ брату, обвивъ руками его шею.

— Сегодня, сегодня; вотъ только встану—и распоряжусь.

Владимирко захлопалъ въ ладоши, порывисто чмокнулъ брата въ щеку и опрометью удралъ изъ комнаты. Ему, по всей вѣроятности, захотѣлось сейчасъ же подѣлиться своей неописанной радостью... кто бы подъ руку ни подвернулся первый.

Прямымъ результатомъ этой нехитрой бесѣды было слѣдующее. «Наилюбезному камердинеру» стало въ тотъ же день доподлинно извѣстно, что у него были и мать и отецъ, только нехорошіе, оттого что выбросили его на улицу; что они, можетъ-быть, потомъ и приходили посмотрѣть на своего сына, а онъ ихъ не видалъ, или и видѣлъ, да не узналъ. Въ этотъ же день «наилюбезный камердинеръ», къ удивленію своему, узналъ, что его слѣдуетъ называть «Ваней», а не «Ванькой», потому что онъ такой же мальчикъ, какъ и Владимирко. Вечеромъ, около десяти часовъ, маленькая зала свѣтловскаго флигелька освѣтилась на нѣсколько минутъ ярко-краснымъ огнемъ азотнокислаго стронціана, и запиравшій ворота работникъ, пораженный такимъ необыкновеннымъ освѣщеніемъ въ окнахъ хозяевъ, заглянувъ въ одно изъ нихъ, видѣлъ торжественно сидящаго на полу, на корточкахъ, Владимирку, смотрѣвшаго съ широко-разинутымъ ртомъ на какую-то горѣвшую передъ нимъ диковинку. Ночью же, когда все въ домѣ спало крѣпкимъ сномъ, совершилась никѣмъ не подмѣченная тайна: Владимирко выложилъ на ладонь свою маленькую душу и отдалъ ее старшему брату...

**Встрѣча съ старыми товарищами.**

Александръ Васильичъ вдругъ услыхалъ, почти рядомъ съ собой, громкій голосъ:

— Сто-о-й! Свѣтловушка!

Не успѣлъ онъ обернуться въ сторону голоса, какъ къ нему подбѣжалъ, быстро соскочивъ съ дрожекъ, молодой человѣкъ въ парадной формѣ лѣкаря горнаго вѣдомства.

— Батюшки! Ельниковъ! Ты какими судьбами?—закричалъ радостно Свѣтловъ и, въ свою очередь, радостно бросился къ пріятелю.

Они дружно обнялись и поцѣловались.

— Вотъ не думалъ-то!..—сказалъ Александръ Васильичъ, весь покраснѣвъ отъ удовольствія.

— Я, братъ, и самъ не думалъ такъ скоро тебя увидѣть... Ѣду—гляжу: что за чудо! неужели Свѣтловъ? Такъ и есть: онъ! — проговорилъ впопыхахъ Ельниковъ, сіяя тѣмъ же удовольствіемъ.

— Ѣдемъ ко мнѣ, — пригласилъ Свѣтловъ.

— Нѣтъ, братъ, ко мнѣ. Я сегодня цѣлое утро съ офиціальными визитами таскаюсь, усталъ страшно, а у тебя вѣдь семья: не сразу растянешься, какъ дома. Отпускай свое судно, авось и на моемъ доберемся до пристани, хоть оно немножко и не того... не изъ паровыхъ.

— Значитъ, надо заказать, что и обѣдать дома не буду?—улыбнулся Свѣтловъ.

— Полагается.

Александръ Васильичъ отпустилъ своего кучера съ заказомъ, что обѣдать дома не будетъ, и поѣхалъ съ Ельниковымъ. Дорогой Свѣтловъ вкратцѣ разсказалъ ему, какъ выдержалъ экзаменъ, сообщилъ самыя свѣжія петербургскія новости, разсказалъ, что отыскивалъ его въ Москвѣ, но тамъ сказали, что онъ, Ельниковъ, тоже выдержалъ экзаменъ и уѣхалъ на службу, лѣкаремъ, въ Сибирь.

— Я и думалъ, что ты теперь гдѣ-нибудь въ нерчинскихъ краяхъ пребываешь,— заключилъ Александръ Васильичъ, слѣзая съ дрожекъ у воротъ квартиры Ельникова.

— Да оно такъ бы и случилось, пожалуй, если бъ я не похлопоталъ здѣсь у начальства. Не хотѣлось, братъ, мнѣ забираться въ такую глушь,—сказалъ Ельниковъ, и въ голосѣ его послышалась тоскливая нота.

Анемподистъ Михайлычъ Ельниковъ представлялъ собой фигуру средняго роста, до крайности сухощавую. Чрезвычайно серьезное лицо его смотрѣло мрачно, какъ иная сентябрьская ночь; но когда это лицо освѣщала рѣдкая улыбка, оно было въ высшей степени добродушно и привлекательно. Особенно хороши были у Ельникова глаза: большіе, черные, глубоко впавшіе въ свои орбиты, такіе же мрачные, какъ и лицо; они обнаруживали сильный самобытный умъ и постоянно какъ-то лихорадочно блестѣли. Съ перваго взгляда манеры Анемподиста Михайлыча казались грубыми, угловатыми; но, попривыкнувъ къ этимъ манерамъ, въ нихъ нетрудно было подмѣтить ту своеобразную, суровую мягкость, которая какъ будто говоритъ встрѣчному: «Ты смѣлѣе подходи ко мнѣ, я—человѣкъ хорошій». Тѣмъ не менѣе наружность Ельникова производила на каждаго, съ первой же встрѣчи, весьма тяжелое, тоскливое впечатлѣніе: неизлѣчимымъ недугомъ чахотки вѣяло отъ каждой ея черты.

Въ настоящую минуту, когда пріятели усѣлись рядомъ на диванѣ въ маленькой, въ одну комнату, квартиркѣ Ельникова, Свѣтловъ, пристально смотря на него, чувствовалъ именно такое впечатлѣніе.

— Да, братъ,—сказалъ докторъ, первый прерывая молчаніе, — скверно живется на свѣтѣ...

— Разумѣется, скверно; да вѣдь ничего не подѣлаешь съ этимъ.

— Именно ничего не подѣлаешь; только обманываешь и себя и другихъ. Я вонъ всю эту премудрость, кажется, насквозь прогрызъ, — Ельниковъ сердито указалъ глазами на два большихъ чемодана, туго набитыхъ книгами: — а что она, премудрость-то эта? Какъ и мы же, безнадежно разводитъ руками...

— Ты, видишь ли, слишкомъ горячо все принимаешь,—сказалъ Свѣтловъ.

— Да я ужъ, братъ, пробовалъ и не горячо принимать — все ни къ чорту не годится.

— Не хуже же теперь, чѣмъ прежде...

— И не лучше, чѣмъ прежде! Экое утѣшеніе сказалъ!—горько улыбнулся Ельниковъ.

Товарищи помолчали.

— А ты знаешь, кто здѣсь еще изъ нашихъ? — спросилъ вдругъ Ельниковъ, прилегая головой на ручку дивана.

— Нѣтъ. А кто?

— «Крыса» здѣсь.

Подъ именемъ «крысы» слылъ у нихъ одинъ общій товарищъ по гимназіи, получившій тамъ это прозвище за свою лукавую юркость и особенную манеру держать себя въ классѣ.

— Неужели «крыса» здѣсь же? — обрадовался и удивился Свѣтловъ.

— А вотъ подожди; ты его увидишь, вѣроятно, черезъ нѣсколько минутъ: онъ каждый день въ это время ко мнѣ заѣзжаетъ.

— Что же онъ здѣсь дѣлаетъ? Служитъ?

— Какъ же, лѣкаремъ при казачьемъ полку. У него, братъ, огромная практика здѣсь частная; особенно у дамъ онъ въ ходу, — улыбнулся Анемподистъ Михайлычъ.

— Что жъ онъ имъ сиропы да варенья, вѣрно, прописываетъ?—захохоталъ Свѣтловъ.

— Ну нѣтъ, братъ, я этого не скажу,— отвѣтилъ Ельниковъ серьезнымъ голосомъ:—онъ знаетъ свое дѣло отлично. Но, кромѣ того, у него, дѣйствительно, есть какое-то особенное умѣнье ладить съ барынями.

Въ эту минуту въ комнату робко и неуклюже вошелъ, низко кланяясь, господинъ весьма страннаго вида. Судя по наружности, это былъ очень молодой еще человѣкъ, но въ лицѣ у него выражалось какое-то преждевременное старчество, что-то непріятное и жалкое до крайности. Длинные, какъ у дьячка, волосы и длиннополый суконный не то сюртукъ, не то халатъ, какъ у семинариста, придавали всей фигурѣ вошедшаго еще болѣе жалкій, аскетическій видъ; только меланхолическая улыбка, какъ-то неопредѣленно блуждавшая у него на губахъ, нѣсколько смягчала эту нелѣпую, суровую фигуру.

— А! Созоновъ!—быстро проговорилъ Ельниковъ, подходя къ новому гостю и радушно протягивая ему руку.— Садитесь-ка, батюшка. Очень кстати пришли: вотъ и еще вашъ товарищъ — Свѣтловъ, — пояснилъ Анемподистъ Михайлычъ, указывая глазами на пріятеля.—Не узнаешь?—спросилъ онъ у того:—Созоновъ.

Александръ Васильичъ буквально оторопѣлъ. «Какъ! Неужели этотъ странный, низко кланяющійся человѣкъ, эта жалкая фигура—тотъ самый Созоновъ, мой товарищъ по гимназіи, подававшій когда-то такія блестящія надежды?» подумалось ему. Свѣтловъ глазамъ своимъ не вѣрилъ.

— Онъ сильно перемѣнился,—замѣтилъ Ельниковъ, стараясь не смотрѣть на крайне озадаченнаго и совсѣмъ растерявшагося пріятеля.

— Боже мой!.. Никакъ бы не узналъ! — усиленно выговорилъ, наконецъ, Александръ Васильичъ и протянулъ руку старому товарищу. Онъ только теперь узналъ его, смутно вызвавъ изъ памяти прежній образъ Созонова.

— Садитесь-ка, батюшка,— снова пригласилъ Ельниковъ гостя.

Созоновъ стоялъ и какъ-то нерѣшительно переминался. Ельниковъ подвинулъ ему стулъ.

— Вотъ въ монастырь поступить собирается,—сказалъ онъ угрюмо Свѣтлову.

— Что это вы, Созоновъ? Что вамъ хочется? — почти съ испугомъ спросилъ Александръ Васильичъ.

— Спасеніе души побуждаетъ-съ,—тихо и застѣнчиво-робко проговорилъ Созоновъ.

— Далось ему это «спасеніе души»!— сердито проговорилъ Ельниковъ.

Они въ гимназіи были большими пріятелями.

— Вы этого влеченія, Анемподистъ Михайлычъ, не можете понимать; это кому откроется свыше, тотъ можетъ,—тѣмъ же застѣнчиво-робкимъ голосомъ выговорилъ Созоновъ.

— Экую, братъ, ты чушь несешь! Да развѣ въ томъ, что ли, спасеніе души состоитъ, чтобъ вотъ въ этакомъ халатѣ ходить да по недѣлямъ не мыться? — еще сердитѣе сказалъ Ельниковъ.

— Подвиги многообразны... какой кому по силамъ, Анемподистъ Михайлычъ.

— Такъ неужели, Созоновъ, васъ ужъ ни на что больше не хватитъ?—вмѣшался Александръ Васильичъ.

— Вы меня хотите искусить, господинъ Свѣтловъ, человѣческой мудростью? Я и самъ нѣкогда, въ помраченіи ума моего, дерзалъ проникать въ тайны Божіи; знаю, сколь плѣнительно наважденіе сіе... Но Всевышній просвѣтилъ нынѣ мой разумъ и закрылъ его отъ мірскихъ соблазновъ,— медленно и съ глубокимъ убѣжденіемъ произнесъ Созоновъ, тяжело вздохнувъ.

— Мнѣ кажется,—сказалъ Свѣтловъ,— угоднѣе Богу долженъ быть тотъ, кто больше приноситъ пользы ближнему; а какъ же вы достигнете этого, если добровольно закроете глаза на жизнь, отъ условій которой именно и зависитъ на каждомъ шагу вашъ ближній?

— Любовь къ ближнему слѣдуетъ приносить въ жертву любви къ Богу, сказано въ писаніи...

— Положимъ. Но вѣдь это что значитъ? Это значитъ, по-моему, просто, что, увлекаясь любовью къ ближнему, вы не должны противорѣчить евангельскимъ заповѣдямъ. Если бъ, напримѣръ, для спасенія ближняго потребовалось клятвопреступленіе, тогда, разумѣется, писаніе учитъ васъ пожертвовать ближнимъ, — замѣтилъ Александръ Васильичъ!

— Нѣтъ, господинъ Свѣтловъ, не искушайте меня вотще: младенцамъ открыто— сказано—то, что отъ мудрыхъ сокрыто... Я только, господа, согрѣшаю съ вами, — вздохнулъ Созоновъ.

Свѣтлова что-то больно кольнуло въ сердце.

— Я только добра вамъ желаю, Созоновъ, какъ вашъ бывшій товарищъ, а не искушаю васъ,—молвилъ онъ съ горечью.

— Вѣдь вотъ,—желчно сказалъ Ельниковъ,—третью недѣлю я съ нимъ такъ бьюсь; и книгъ-то ему предлагалъ, и спорить съ нимъ пробовалъ, и доказывалъ,—право, кажется, въ няньки бы къ нему пошелъ, — а онъ все свое, все у него *наважденіе* какое-то; даже медицину считаетъ грѣхомъ... Вѣдь вотъ вы до чего доработались, Созоновъ! — чуть не сквозь слезы заключилъ Анемподистъ Михайлычъ.

— Вы что же, собственно, теперь подѣлываете-то, Созоновъ?—спросилъ мягко Свѣтловъ.

— Молюсь о своемъ спасеніи-съ...

— Цѣлый день все только молитесь?

— И день и нощь...

— Откуда же вы берете средства? Вѣдь одной молитвой не напитаетесь же вы?

— Милостью Божіей отъ монастырской трапезы довольствуюсь...

— Тамъ, при монастырѣ, и живете теперь?

— Да, тамъ-съ...

Пріятели помолчали. Созоновъ присѣлъ было на кончикъ стула, но сейчасъ же опять и всталъ.

— Я къ вамъ... собственно... Анемподистъ Михайлычъ, вотъ зачѣмъ... пришелъ съ... вы не разсердитесь на меня?— спросилъ онъ смиренно у Ельникова, запинаясь на каждомъ словѣ и вынимая что-то изъ-за пазухи.

— За чѣмъ бы вы ни пришли, Созоновъ, я вамъ очень радъ; стало-быть, и толковать объ этомъ нечего, — сказалъ искренно Ельниковъ.

— Я вотъ зачѣмъ-съ... я вамъ просфору принесъ, за здравіе ваше вчерась вынулъ,—проговорилъ, краснѣя, Созоновъ и подалъ Ельникову тщательно завернутую въ бумагу просфору.

— Ну, что жъ... спасибо вамъ!

Анемподистъ Михайлычъ взялъ изъ рукъ Созонова просфору, развернулъ ее и поставилъ на угольный столъ.

— Вы, можетъ, обидѣлись, Анемподистъ Михайлычъ? — робко спросилъ Созоновъ.

— За что же? Всякій по-своему выражаетъ вниманіе. У васъ свои убѣжденія, у меня тоже свои, а жить мы можемъ дружно.

— Вы если хвораете чѣмъ-нибудь, такъ она много можетъ облегченія вамъ принести; вы ее скушайте ужо...

— Ладно, съѣмъ.

Созоновъ нѣсколько минутъ постоялъ молча, переминаясь на мѣстѣ и нерѣшительно поглядывая на Александра Васильича.

— Я бы и за ваше здравіе, господинъ Свѣтловъ, вынулъ просфору, коли вамъ не во гнѣвъ,—боязливо выговорилъ онъ наконецъ.

— Ахъ да, Созоновъ, пожалуйста, заходите ко мнѣ. Я бы и самъ попросилъ васъ объ этомъ, хоть бы вы и не напоминали мнѣ. Смотрите, заходите же. У насъ съ вами много найдется о чемъ потолковать: слава Богу, давнишніе товарищи; такъ вы безъ церемоніи,—сказалъ Свѣтловъ привѣтливо.

Какая-то странная полуулыбка освѣтила суровое лицо Созонова.

— Истинно у меня къ вамъ душа лежитъ,—сказалъ онъ, тяжело вздохнувъ и ни къ кому въ особенности не обращаясь: — пошли вамъ, Господь, просвѣтлѣніе!..

Анемподистъ Михайлычъ порылся въ чемоданѣ и досталъ оттуда литографированный экземпляръ лекцій Фейербаха о сущности христіанской религіи.

— Вотъ вамъ, Созоновъ, отъ меня на память, — сказалъ онъ, подавая старому товарищу книжку.—Пусть это будетъ моей

просфорой. Я съѣмъ вашу, а вы зато прочтете вотъ это, дайте мнѣ слово.

— Да это вѣдь, вѣрно, свѣтская книжка, Анемподистъ Михайлычъ? — спросилъ Созоновъ, нерѣшительно принимая подарокъ изъ рукъ Ельникова.

— Все равно, какая бы ни была, вы ее прочтете. Я же вѣдь не отказался отъ вашей просфоры, а все-таки остаюсь при своемъ убѣжденіи. Такъ и вы сдѣлайте. Прочтете? Даете слово?

— Грѣха бы мнѣ какого отъ этого не послѣдовало?..

— Гдѣ же, въ такомъ случаѣ, стойкость-то вашихъ убѣжденій? Въ томъ-то и заслуга, чтобъ всякія искушенія вынести бодро, — сказалъ серьезно Ельниковъ.

— Врагъ вѣдь рода человѣческаго силенъ-съ...—потупился Созоновъ.

— Вотъ вы и закалите себя противъ него, — замѣтилъ ему Анемподистъ Михайлычъ. — Впрочемъ, меня-то вы ужъ, вѣрно, не считаете «врагомъ рода человѣческаго»?

— Сохрани, Господи! — встрепенулся Созоновъ и бережно спряталъ книгу за пазуху.—Да будетъ надъ вами благодать Божія!

Онъ сталъ торопливо прощаться. И Ельниковъ и Свѣтловъ нѣсколько разъ крѣпко пожали ему руку, прося не забывать ихъ и заглядывать къ нимъ почаще. Созоновъ ушелъ, попрежнему низко кланяясь.

— Вотъ она, жизнь-то наша, что производитъ!—весь взволнованный, проговорилъ Ельниковъ, едва затворилась дверь за Созоновымъ.—Счастье, братъ, наше съ тобой, что мы во-время выкарабкались отсюда; вѣдь это душу рветъ на части... Проклятая!..—затрясся онъ, весь поблѣднѣвъ.

— Ты успокойся,—сказалъ Свѣтловъ:— тебѣ это вредно.

— Вредно!.. А не вредно мнѣ каждый день задыхаться отъ злости, зная, что подобныя явленія встрѣчаются у насъ на каждомъ шагу? Ужъ лучше, братъ, пластомъ растянуться! — горячо замѣтилъ Анемподистъ Михайлычъ и въ изнеможеніи опустился на диванъ.

Свѣтловъ молчалъ... Онъ самъ чувствовалъ то же самое.

— И ничего вѣдь не подѣлаешь противъ такихъ явленій; ходишь смиренно, какъ какая-нибудь собака съ ошпареннымъ хвостомъ!—продолжалъ Ельниковъ, судорожно сжимая кулаки. — Тфу ты! — плюнулъ онъ озлобленно.

— Вотъ потому-то мыслящимъ людямъ, какъ ты, и надо беречь себя, — сказалъ успокоительно Свѣтловъ.

— Много мы съ тобой намыслимъ! — саркастически улыбнулся Ельниковъ.

— Скажи, пожалуйста,—спросилъ Александръ Васильичъ: — ты разспрашивалъ Созонова? Знаешь, какъ это все съ нимъ случилось? Вѣдь не ни съ того же ни съ сего...

— Чортъ, братъ, знаетъ какъ! Насъ просто, кажется, съ самой утробы матерней уродуютъ. Онъ и прежде былъ немного меланхоликомъ, тосковалъ по родинѣ, даже учиться одно время изъ-за этого пересталъ. Пороть, разумѣется, стали... ну, и выпороли изъ человѣка весь здравый смыслъ. Эхъ, и говорить-то не хочется! — отвѣтилъ сквозь зубы Анемподистъ Михайлычъ.

— Онъ вѣдь классомъ ниже насъ шелъ, такъ что я лично-то мало его знаю, а только слышалъ о немъ многое, особенно отъ тебя; вы съ нимъ вѣдь пансіонеры были, такъ видѣлись каждый день,— сказалъ Свѣтловъ, помолчавъ.

— Ты не повѣришь, когда онъ въ первый разъ пришелъ ко мнѣ сюда, я просто голову потерялъ. Этакая свѣтлая голова пропала! Тутъ, разумѣется, причинъ много было; только я теперь не въ состояніи разсказывать... Это меня, просто, бѣситъ, рветъ... понимаешь? рветъ!—проговорилъ Ельниковъ, съ кашлемъ приподнимаясь на диванѣ.

— На меланхоликовъ, братъ, всегда плоха надежда.

— Да вѣдь и меланхолію можно направить въ хорошую сторону, а тутъ чортъ знаетъ что такое вышло! — снова закашлялся Анемподистъ Михайлычъ.

— Видишь ли, душа моя... — началъ было Свѣтловъ, но стукъ подъѣхавшаго экипажа остановилъ его.

Ельниковъ всталъ и заглянулъ въ окошко.

— «Крыса», — сказалъ онъ лаконически.

Минуту спустя, въ переднюю весело и шумно вошелъ докторъ Евгеній Петровичъ Любимовъ, именовавшійся нѣкогда въ гимназіи попросту «крысой».

— Вотъ потѣха-то! чуть не упалъ на крыльцѣ... — слышался еще оттуда его звонкій голосъ, говорившій, вѣроятно, съ хозяйкой квартиры Ельникова.

Въ комнату Любимовъ почти вбѣжалъ; но, встрѣтивъ тамъ новое лицо, онъ на минуту остановился, пристально взглянулъ на Свѣтлова, мгновенно просіялъ весь и кинулся къ нему со всѣхъ ногъ...

— Вотъ что, господа,—сказалъ Ельниковъ, когда Евгеній Петровичъ успѣлъ ужъ надавать Свѣтлову сотню торопливыхъ вопросовъ:—мы вѣдь, конечно, обѣдаемъ всѣ вмѣстѣ; а такъ какъ я самъ хозяйства не держу и обѣдаю въ гостиницѣ, то приглашаю и васъ туда же...

— Et cetera, et cetera...—перебилъ со смѣхомъ Любимовъ.—Нѣтъ, постой, Ельниковъ; право угощать принадлежитъ сегодня, по старшинству, мнѣ: я раньше васъ обоихъ оріентировался на этой почвѣ,— заключилъ онъ, весело потирая руки.

— А по-моему, господа, по-студенчески: у кого сколько хватитъ, тотъ столько и заплатитъ,—вмѣшался Свѣтловъ.

— Что тутъ толковать долго,—замѣтилъ Ельниковъ,—грядемъ!

— Вотъ кстати вспомнилъ, — сказалъ вдругъ Ельниковъ Свѣтлову, отыскивая фуражку: — ты вѣдь уроки хочешь давать?

— Да; а что?

— Стоитъ только сказать Любимову: у него чортова пропасть знакомыхъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ Свѣтловъ.

— У него, братъ, это духомъ обдѣлается.

— Разумѣется, обработаю; хоть завтра же,—сказалъ Любимовъ.—Вотъ чучелъ-то онъ поразведетъ тутъ! — расхохотался Евгеній Петровичъ.

Товарищи взяли извозчика и поѣхали обѣдать. Любимовъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на свой форменный военный костюмъ, усѣлся рядомъ съ кучеромъ на козлахъ...

Поздно вернулся домой Александръ Васильичъ. Онъ былъ въ такомъ веселомъ расположеніи мыслей, что у стариковъ не доставало духу сдѣлать ему какое-нибудь замѣчаніе по поводу его неисправности, хотя у Ирины Васильевны нѣчто и вертѣлось на языкѣ; ее обидѣло то, что сынъ на второй день пріѣзда обѣдалъ не дома. Владимирко, совсѣмъ было приготовившійся спать, съ радостью узнавъ о возвращеніи брата, забрался тотчасъ же къ нему въ кабинетъ и преважно объявилъ:

— Я, Саша, знаю, изъ чего водка дѣлается: изъ спирта съ водой.

— А я, братъ, сегодня еще лучше тебя знаю, какъ спиртъ на человѣка дѣйствуетъ, и потому сейчасъ же лягу спать,—засмѣялся Александръ Васильичъ, цѣлуя брата.

Владимирко пристально посмотрѣлъ на него, тоже засмѣялся, чмокнулъ его ни съ того ни съ сего въ щеку и побѣжалъ было къ мамѣ, но въ дверяхъ остановился.

— Ты сегодня, Саша, совсѣмъ смѣшной!— хихикнулъ онъ, повернувшись на одной ногѣ на порогѣ, и опрометью умчался.

Минутъ черезъ пять Свѣтловъ богатырски заснулъ.

### Матвѣй Николаевичъ Варгунинъ.

Прошла еще недѣля.

Однажды, часовъ около восьми вечера, когда стариковъ Свѣтловыхъ не было дома, а молодой Свѣтловъ только что собрался куда-то итти и уже надѣвалъ въ передней пальто, туда вошелъ или, вѣрнѣе сказать, вбѣжалъ, запыхавшись, мужчина огромнаго роста, въ безпорядочно накинутомъ черномъ плащѣ. Это былъ Матвѣй Николаевичъ Варгунинъ.

— Кричите, батенька: побѣда! — замахалъ онъ руками Свѣтлову, торопливо и небрежно сбрасывая на полъ свой плащъ.

— Побѣда!—закричалъ шутливо Свѣтловъ.

Они смѣясь поздоровались и прошли въ кабинетъ къ Александру Васильичу.

— Дайте папироску; пока я ее не выкурю, ни о чемъ меня не спрашивайте: часа два не курилъ! — замѣтилъ Варгунинъ хозяину, безцеремонно растянувшись на его диванѣ во весь свой исполинскій ростъ.

Мы воспользуемся этой минутой и познакомимся съ наружностью гостя. Варгу-

нинъ прежде всего былъ какъ-то весь пропорціоналенъ въ своихъ массивныхъ частяхъ. Оттого огромная косматая голова его съ перваго взгляда нисколько не казалась огромной; только увидѣвши Матвѣя Николаича рядомъ съ другимъ человѣкомъ, можно было усмотрѣть это качество во всей полнотѣ. Небрежно зачесанные назадъ, черные, съ частой просѣдью, длинные волосы вились у него въ безпорядкѣ по плечамъ, рельефно оттѣняя высокій, чрезвычайной бѣлизны лобъ, перерѣзанный надъ самыми бровями глубокой морщиной. Изъ-подъ этихъ тонкихъ, совершенно еще черныхъ бровей задумчиво смотрѣли прелестные голубые глаза, удивительно сохранившіе юношескую свѣжесть; выраженіе ихъ было перемѣнчиво и нѣсколько странно: то въ нихъ проглядывала робкая, почти женственная мягкость, то гордость и отвага знающаго себѣ цѣну мужчины. Но замѣчательнѣе всего была у Варгунина улыбка: такая же непостоянная, какъ и выраженіе глазъ, она то чуть змѣилась насмѣшливо гдѣ-то около скулъ, то до самыхъ этихъ скулъ добродушно открывала широкій ротъ, окаймленный крупными, но очень красивыми и правильными губами. Вообще же наружность Матвѣя Николаича, оригинальная и привлекательная, представляла изъ себя смѣсь чего-то дѣтски простодушнаго съ умнымъ и сильнымъ.

— Слушайте, Свѣтловъ,—сказалъ онъ вдругъ, затянувшись въ послѣдній разъ папироской:—сколько, вы говорите, платятъ въ годъ вашему отцу за большой домъ? Я позабылъ.

— Двѣсти пятьдесятъ рублей. А что?—отвѣтилъ Александръ Васильичъ, не придавая, очевидно, никакого особеннаго значенія вопросу Варгунина.

Тотъ улыбнулся своей широкой улыбкой.

— Видите, что это такое? — спросилъ онъ, вынимая изъ кармана толстую пачку денегъ и показывая ее Александру Васильичу.

— Деньги, разумѣется!—сказалъ, спокойно улыбнувшись, Свѣтловъ.

— Это и слѣпой, батенька, скажетъ, что деньги. А я вамъ скажу, что эта наша... или, лучше сказать, ваша... безплатная школа! — торжественно проговорилъ Варгунинъ.

Свѣтловъ замѣтно измѣнился въ лицѣ и посмотрѣлъ на гостя такимъ взглядомъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «Не грѣхъ вамъ шутить подобными вещами?»

— Да вы что, въ самомъ дѣлѣ! не вѣрите?—сказалъ Матвѣй Николаичъ, потрясая ассигнаціями.

— Но...—возразилъ было, покраснѣвъ, Александръ Васильичъ.

— Теперь эта грамматическая частичка совершенно лишняя... Слушайте-ка, батенька, лучше! — быстро прервалъ его Варгунинъ, откидывая назадъ волосы движеніемъ головы.—Когда вы мнѣ въ прошлый разъ сообщили планъ своей безплатной школы, я тогда же вошелъ во вкусъ его, только промолчалъ: что попусту языкъ мозолить? Вы намекнули... или нѣтъ—что я!—вы просто соображали, что хорошо бы было, если бъ вамъ заработать поскорѣе столько деньжонокъ, чтобъ имѣть возможность переѣхать въ большой домъ, а здѣсь, во флигелѣ, устроить школу... такъ ли? Ну-съ, хорошо-съ. Денегъ этихъ вы еще не скоро дождетесь, а между тѣмъ мнѣ припала охота примазаться къ вамъ въ компанію... Постойте, не перебивайте меня,—остановилъ Матвѣй Николаичъ Свѣтлова, замѣтивъ, что тотъ собирается что-то сказать. — Припала, я говорю, и мнѣ охота... А охота, батенька, дѣло великое. У меня самого такихъ денегъ, разумѣется, не нашлось лишнихъ. Ну-съ, хорошо-съ. Такъ вотъ-съ я и обратился къ одному... подходящему человѣчку... Да уберите, пожалуйста, съ вашего лица ненужныя черты удивленія!.. къ подходящему человѣчку, говорю, обратился. Подходящій человѣчекъ оказался не скотъ, что я и предполагалъ, впрочемъ: далъ мнѣ вотъ эти триста рублей на школу,—чувствуете? Стало-быть, батенька, вамъ остается только переговорить со своими стариками, уломать ихъ переѣхать въ большой домъ, а рѣчь насчетъ убытковъ прикрыть двумястами пятьюдесятью рублями изъ этихъ денегъ. Теперь можете даже многоглагольствовать.

Свѣтловъ, весь встревоженный и обрадованный, бросился сперва на шею къ Варгунину, а потомъ сталъ крѣпко жать ему руку.

— Я не знаю, какъ васъ и благодарить! Какъ это вы ухитрились такъ скоро все обработать? Не повѣрите, я просто

самъ не свой отъ удовольствія!—говорилъ Свѣтловъ, продолжая отъ времени до времени пожимать гостю руку.—Чѣмъ же бы намъ отпраздновать сегодняшній замѣчательный для меня вечеръ? А непремѣнно стоитъ отпраздновать! Давайте-ка, выпьемте какого-нибудь вина. А?

— А что же, отчего бы и нѣтъ? Выпьемте. Вспрыски, стало-быть, устроимъ по русскому обыкновенію. Обычай старый... да вѣдь и все не ново. Идетъ!

— Кстати, вы познакомитесь сейчасъ и съ моимъ старымъ товарищемъ, Ельниковымъ: помните, я вамъ еще говорилъ о немъ? Я за нимъ послалъ, — сообщилъ Александръ Васильичъ гостю, вернувшись къ нему черезъ нѣсколько минутъ.

— И умно, батенька, сдѣлали: у меня сегодня есть-таки охота покалякать,—замѣтилъ Варгунинъ.

Начались толки о будущей школѣ. Свѣтловъ увлекся и говорилъ очень много, развивая Матвѣю Николаичу подробности своего плана; онъ только одного боялся, что старики сильно заупрямятся. Варгунинъ доказывалъ, что это собственно пустяки, а главное — разрѣшатъ ли школу? Порѣшили, между прочимъ, устроить литературный вечеръ на первое обзаведеніе школы всѣмъ необходимымъ; Варгунинъ взялся выхлопотать для этого залу благороднаго собранія и раздать половину билетовъ. Перебрали всѣхъ, кто можетъ быть у нихъ учителями; оказалось, что недостатка въ послѣднихъ не будетъ. Тѣмъ временемъ на столѣ появились три бутылки рейнвейна, а почти вслѣдъ за ними пришелъ Ельниковъ.

— Эге! Да ты никакъ пьянство, Свѣтловушка, учиняешь? — спросилъ онъ у пріятеля, здороваясь съ нимъ и искоса поглядывая на бутылки.

Александръ Васильичъ объяснилъ доктору причину ихъ сегодняшняго торжества и, какъ главнаго виновника этого торжества, представилъ ему Матвѣя Николаича.

— Васъ, батюшка, за этакое дѣло на томъ свѣтѣ горячей сковороды избавятъ, а на этомъ поджарить могутъ... — весело сказалъ Анемподистъ Михайлычъ Варгунину и крѣпко пожалъ ему руку.

— Ну, батенька, меня какъ ни поджаривай, а все бифштексъ-то съ кровью выйдетъ... — широко улыбнулся тотъ. Онъ сказалъ это съ такимъ юношескимъ задоромъ, что трудно было бы повѣрить, что старику ужъ за пятьдесятъ стукнуло.

Свѣтловъ розлилъ вино въ стаканы и пригласилъ гостей къ столу. Усѣлись. Но не прошло и минуты, какъ Ельниковъ снова всталъ и, поднявъ высоко кверху свой стаканъ, какъ-то шутливо и вмѣстѣ съ тѣмъ горько-воодушевленно сказалъ:

— Милостивые государи! Надѣюсь, что вы не взыщете съ меня, если я не буду рѣчистъ. Краснорѣчивымъ ораторомъ я былъ только тогда, когда меня драли въ школѣ. Я не хочу этимъ сказать, чтобъ то былъ самый лучшій способъ развитія дара слова, но я желаю напомнить вамъ, изъ какой школы пришлось выйти намъ самимъ. Смѣю думать, что сохраненіемъ нашихъ мозговъ въ порядкѣ мы исключительно обязаны слѣпому случаю: одинъ изъ моихъ умнѣйшихъ товарищей, къ которому не пришелъ на выручку этотъ слѣпышъ, уже помѣшанъ. Вашъ покорный слуга... да не смѣши, Свѣтловушка!.. если и вынесъ изъ школы нѣкоторыя серьезныя знанія, то, во-первыхъ, онъ откопалъ ихъ тамъ самостоятельно, гдѣ-то въ заднемъ углу, чуть ли не подъ печкой, а во-вторыхъ, розыски сіи довели его до... кровохарканья. Да, милостивые государи, если я теперь о чемъ-нибудь больше всего сожалѣю, такъ именно о томъ, что не могу плюнуть этой самой кровью въ лицо нѣкоторымъ... сошедшимъ со сцены моимъ наставникамъ!.. Съ теперешнимъ умомъ я бы даже мою собаку не поручилъ имъ воспитывать!.. Приглашаю васъ серьезно подумать обо всемъ мною сказанномъ и пью отъ всего сердца за то, чтобъ школа наша вносила умъ и душу въ человѣка, а не отнимала ихъ у него.

Ельниковъ звонко чокнулся съ компаніей, залпомъ выпилъ свой стаканъ и закашлялся.

— Аминь!—сказали въ одинъ голосъ Свѣтловъ и Варгунинъ и дружно послѣдовали его примѣру; затѣмъ каждый изъ нихъ поочередно обнялъ, по-братски, встревоженнаго доктора.

— Эхъ, господа, я чувствую, что помолодѣлъ съ вами сегодня! — замѣтилъ Варгунинъ задушевнымъ тономъ. — Дай Богъ, чтобъ это почаще случалось... Залѣзайте-ка когда-нибудь, докторъ, вотъ съ нимъ,—Матвѣй Николаичъ указалъ Ель-

никову на Свѣтлова, — въ мою хатку... потолковать, поспорить. У меня дома просторно, да и дивана два лишнихъ найдутся, чтобъ не тащиться ночью домой: я, надо вамъ замѣтить, за рѣкой живу—въ деревнѣ, такъ сказать...

— Развѣ вамъ не удобнѣе жить въ городѣ?—спросилъ Ельниковъ.

— Удобнѣе-то удобнѣе, да я, признаться, не люблю городской жизни средней руки; по мнѣ, батенька, либо ужъ столица со всей ея толкотней, а не то такъ деревенская тишина. Злитъ меня эта провинціальная городская жизнь: всё точно какъ сонныя мухи ходятъ. А главное, знаете, я люблю съ мужиками возиться, весело мнѣ съ ними. У меня, батенька, тутъ кругомъ, верстъ на двадцать отъ города, все пріятели; да такіе, батенька, пріятели, что, пожалуй, при случаѣ, и вилами за меня постоятъ, живого-то ужъ не выдадутъ. Это я вѣрно знаю; не шутите съ ними. Вотъ ужо пріѣзжайте, посмотрите-ка...

— А далеко это? — полюбопытствовалъ докторъ, насторживъ уши.

— Да сейчасъ же за рѣкой, первая деревня на горѣ, версты четыре, не больше, будетъ. Хатка у меня своя, чуть не своими руками срубленная; хозяйство маленькое водится, а въ банѣ... ну-ка, вотъ догадайтесь-ка вы, умный человѣкъ, что у меня въ банѣ?—спросилъ Матвѣй Николаичъ съ широкой улыбкой, обратившись къ Ельникову.

— Ну... трудновато угадать,—замѣтилъ Анемподистъ Михайлычъ, почувствовавшій вдругъ большое уваженіе къ Варгунину.

— Ужъ именно, батюшка, трудновато; школа у меня тамъ деревенская помѣщается.

— Такъ вы, стало-быть, по части разведенія школъ-то дока ужъ, Матвѣй Николаичъ? А вѣдь ни слова мнѣ не сказалъ раньше объ этомъ; въ первый разъ слышу. Недобрый какой! — сказалъ Свѣтловъ съ ласковой укоризной.

— Не случалось, батенька; давно ли мы и знакомы: въ четвертый или пятый разъ, кажется, и видимся-то всего; а вотъ теперь къ слову пришлось, такъ и сказалъ.

— Какая же это школа? — спросилъ Ельниковъ: — то-есть на чей счетъ она содержится?

— Да моя собственная школа. Кстати, вы не проговоритесь гдѣ-нибудь объ этомъ... Чувствуете?

— А! Вонъ оно что...—замѣтилъ Свѣтловъ, съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ посмотрѣвъ на Варгунина.

— Да вы не представляйте себѣ, что это и въ самомъ дѣлѣ школа, со всѣми атрибутами, т.-е. Это просто, батенька, баня—говорю я; чистенькая, разумѣется, вотъ и все. Мальчуганы босоногіе сидятъ,—кто на лавку, а кто и на полокъ заберется; иной разъ между ними и дѣдъ съ сѣдой бородой торчитъ да тоже тычетъ указкой въ книгу... всякіе у меня водятся. Зато въ деревнѣ теперь только шестеро всего и неграмотныхъ-то, не считая бабъ да совсѣмъ малолѣтнихъ ребятишекъ. Въ послѣднее время, впрочемъ, и бабъ пріохотилъ, начинаютъ похаживать, особливо красныя дѣвушки; теперь и ихъ довѣріе на моей сторонѣ, а то сначала все какъ будто опасались чего-то. Я потому школу въ банѣ устроилъ, что въ хату-то ко мнѣ частенько посторонніе изъ города заглядываютъ, — такъ чтобъ дѣла пустяками не испортить...

— Значитъ, Свѣтловушка у васъ еще не былъ? Вы гдѣ же познакомились-то съ нимъ?—спросилъ Ельниковъ.

— Въ библіотекѣ встрѣтились.

Долго еще длилась въ этотъ вечеръ ихъ оживленная бесѣда.

### Мысль Свѣтлова осуществилась.

Наконецъ-то осуществилась давно лелѣемая мысль Александра Васильича: вотъ уже третья недѣля пошла съ тѣхъ поръ, какъ школа его открыта. Василій Андреичъ [1]), отправляясь по обыкновенію утромъ на рынокъ, каждый день встрѣчаетъ у своихъ воротъ очень бѣдно одѣтыхъ мальчиковъ и дѣвочекъ, съ узелками и сумочками въ рукахъ. Иныя изъ этихъ дѣтей такъ плохо защищены отъ осенняго холода, что, смотря на ихъ съежившіяся фигурки и красныя руки, старику Свѣтлову становится иногда жутко пройти мимо безъ ласковаго слова.

Василій Андреичъ самъ зашелъ въ школу.

Пока онъ сидѣлъ да соображалъ, стараясь понять, въ чемъ дѣло, урокъ уже кончился. Ребятишки, повскакавъ со ска-

1) Отецъ Александра Васильевича Свѣтлова.

меекъ, цѣлой гурьбой окружили учительницу, предлагая ей наперерывъ различные вопросы; но никто изъ нихъ не обнаруживалъ особеннаго желанія убѣжать поскорѣе домой. Это невольно бросилось въ глаза старику и чрезвычайно удивило его.

«Вишь вѣдь, разбойники, и домой не хотятъ! Мой Володька теперь бы ужъ давно дулъ изъ гимназіи во всѣ лопатки», подумалъ онъ, и его точно смутило что-то.

Дома, на разспросы жены, что онъ думаетъ о школѣ, старикъ сдержанно отвѣтилъ:

— Кто ихъ знаетъ! можетъ, и путное что выйдетъ...

Однако какъ ни темны были представленія стариковъ объ этомъ предметѣ, они въ ту ночь уснули оба съ одинаковой мыслью: «А вѣдь Санька-то, кажись, вправду доброе дѣло дѣлаетъ».

Но если кто былъ въ восторгѣ отъ школы, такъ это Варгунинъ. Звуковая метода, о практичности которой Матвѣй Николаичъ до того времени не имѣлъ никакого яснаго понятія, просто очаровала его.

— Да это, батенька, прелесть вѣдь!.. Вѣдь это, батенька, сокращеніе времени-то какое—вы подумайте!—говорилъ онъ съ жаромъ Александру Васильичу, разъ шесть навѣстивъ его школу.—Я теперь тоже свои азбуки по боку... ну ихъ къ праху! Давайте-ка, батенька, катнемте скорѣе въ Ельцинскую: мы тамъ живо эти порядки устроимъ.

— Да вотъ, пусть только школа покрѣпче встанетъ на ноги,—отозвался Свѣтловъ.

— Ну-съ, хорошо-съ. Когда же?—приставалъ Матвѣй Николаичъ.

— Можетъ-быть, съ недѣлю, а можетъ-быть, и съ мѣсяцъ еще придется подождать.

— Эка вы, батенька, хватили—съ мѣсяцъ! Въ мѣсяцъ-то можно, этакимъ манеромъ, всю фабрику грамотной сдѣлать.

— Это только сгоряча такъ кажется, Матвѣй Николаичъ,—возразилъ, улыбнувшись, Свѣтловъ.

— Сгоряча-то, батенька, и надо дѣйствовать,—сказалъ пылко Варгунинъ:—а какъ простынетъ—и кусай губы!

— Въ этомъ случаѣ я не совсѣмъ согласенъ съ вами,—замѣтилъ спокойно Александръ Васильичъ:—губы-то именно тогда и приходится кусать, когда слишкомъ поторопишься; поэтому я предпочитаю итти до времени *шагъ за шагомъ*.

— Такъ-то, батенька, и черепахи плетутся.

— Итти шагъ за шагомъ не значитъ, по-моему, плестись; напротивъ, это значитъ итти рѣшительно и неуклонно къ своей цѣли, безъ скачковъ, по крайней мѣрѣ, я именно въ такомъ смыслѣ употребилъ это выраженіе. Самая суть-то вѣдь не въ скорости шаговъ, а въ ихъ твердости и осмысленности, мнѣ кажется. Войско такъ же идетъ...

— А еще лучше, батенька, какъ и то и другое есть.

— Ужъ это само собой разумѣется; да вѣдь мало ли чего нѣтъ... У насъ если даже и плестись-то къ порядочной цѣли, такъ надо поминутно оглядываться да подъ ноги смотрѣть, какъ бы на гнилую колоду не наткнуться, либо чтобъ какой-нибудь звѣрь ноги тебѣ сзади не подставилъ; а ужъ о скачкахъ-то и говорить нечего—сейчасъ шею сломишь: непроходимыми дебрями вѣдь мы идемъ...—сказалъ задумчиво Свѣтловъ.

— На то, батенька, мы и піонеры... шея-то ужъ не въ счетъ,—улыбнулся широкой улыбкой Варгунинъ.

— Такъ какъ же вы въ дѣвственной-то трущобѣ побѣжите, хотѣлъ бы я знать? Кто говоритъ о шеѣ! да было бы за что ее ломать; не на потѣху же гнилыхъ колодъ она предназначается...—попрежнему задумчиво возразилъ Александръ Васильичъ.

— А вы думаете цѣлой донесете, батенька, вашу шкуру?—спросилъ Матвѣй Николаичъ, и въ скулахъ его мелькнула ироническая улыбка.

Свѣтловъ пристально посмотрѣлъ на Варгунина.

— Одно изъ двухъ, Матвѣй Николаичъ,—сказалъ онъ необыкновенно серьезно:—или быть практическимъ дѣятелемъ, или ходить по ворожеямъ...

Варгунинъ искоса посмотрѣлъ на него и смущенно умолкъ.

А дѣло школы между тѣмъ шло своимъ порядкомъ. Сначала, впрочемъ, дѣятельность во флигелѣ кипѣла только по утрамъ—съ дѣтьми; что же касается воскресныхъ вечернихъ уроковъ для чернорабочихъ, то на нихъ въ первое время никто не являлся. Потомъ Свѣтлову удалось, черезъ посред-

ство горничной Маши, залучить на воскресный урокъ и еще трехъ-четырехъ молоденькихъ горничныхъ. Онѣ сперва явились въ школу изъ простого любопытства, а затѣмъ уже имъ понравилось и самое ученье. Но, главнымъ образомъ, поддержкѣ этихъ вечернихъ занятій помогъ Анемподистъ Михайлычъ. Стяжавъ себѣ понемногу въ Ушаковскѣ довольно громкую репутацію «лѣкаря для бѣдныхъ», онъ то и дѣло сталкивался въ послѣднее время съ разнымъ рабочимъ людомъ, забираясь иногда съ своей медицинской помощью въ самые глухіе закоулки города. Здѣсь, въ этихъ пустынныхъ закоулкахъ, въ этомъ темномъ мірѣ невѣжества, нужды и чаще всего непосильной работы, ему удалось завербовать, наконецъ, сперва немногихъ, но зато вполнѣ надежныхъ учениковъ для свѣтловской школы. Примѣръ ихъ соблазнилъ и еще кое-кого изъ подобныхъ тружениковъ, такъ что въ послѣднее воскресенье, когда Ельникову же и учительствовать приходилось, во флигель порядочно-таки набралось чернаго народа, несмотря на дождливый сентябрьскій день.

### Вся фабрика на ногахъ.

Ельцинская фабрика состояла собственно изъ двухъ казенныхъ заводовъ—стеклянного, выдѣлывавшаго посуду низшаго разбора, и суконнаго, производившаго одно только грубое, такъ называемое солдатское сукно. Заводы эти управлялись отъ казны директоромъ, которому уже непосредственно подчинены были смотритель и конторщикъ, тоже числившійся на коронной службѣ. Теперешній директоръ всего только годъ тому назадъ поступилъ на мѣсто прежняго, но въ это короткое время онъ успѣлъ уже возбудить къ себѣ единодушную ненависть фабричнаго люда. Для полной характеристики теперешняго директора Ельцинской фабрики достаточно было бы разсказать, что во время производства какого-то слѣдствія о поддѣлкѣ кредитныхъ билетовъ онъ, чтобъ добиться сознанія отъ одного татарина, приказывалъ производить надъ нимъ въ своемъ присутствіи операцію примѣрнаго повѣшенія и продолжалъ ее до тѣхъ поръ, пока у несчастнаго не начинало багровѣть лицо. Таковъ былъ полковникъ Оржеховскій. Въ фабрикѣ сей почтенный мужъ началъ свою дѣятельность съ того, что прибавилъ лишній часъ работы на заводахъ, само собою разумѣется, въ пользу собственнаго кармана, а отнюдь не въ интересахъ казны, и до крови избилъ какого-то фабричнаго, осмѣлившагося протестовать противъ такого незаконнаго распоряженія. Затѣмъ, несмотря на данный ему при этомъ урокъ тѣмъ, что многіе фабричные не пошли на другой день на работу, теперешній директоръ сталъ отъ времени до времени наказывать рабочихъ розгами сперва за однѣ крупныя вины, а потомъ и за мелочи иногда. Подобная мѣра изстари считалась здѣсь верхомъ позора для всей фабрики, не говоря уже о томъ, къ кому она примѣнялась: за высѣченнаго обыкновенно даже не шла замужъ ни одна порядочная фабричная дѣвушка. Къ этой мѣрѣ могли безнаказанно прибѣгать только «дѣды», не иначе, какъ съ общаго согласія, и притомъ въ весьма рѣдкихъ случаяхъ: за послѣднія пять лѣтъ передъ управленіемъ Оржеховскаго такъ наказаны были всего только трое. Уже къ концу перваго полугодія его директорства вся фабрика стояла къ нему въ открытой оппозиціи; ни одного привѣтливаго лица не встрѣчалъ онъ на заводахъ. Но когда новый директоръ позволилъ себѣ дать десять розогъ за грубость одному изъ «дѣдовъ», оппозиція эта стала до такой степени очевидна, что Оржеховскій поздно вечеромъ не рѣшался даже и съ казаками показываться на улицахъ деревни. На него пожаловались въ городъ, однако безуспѣшно, мало того, двое мірскихъ ходоковъ по этому дѣлу за свою смѣлость были внезапно переведены на другой заводъ.

«Дѣды», въ числѣ пяти человѣкъ, выбирались пожизненно всѣми безъ исключенія фабричными изъ самыхъ умныхъ, честныхъ и стойкихъ стариковъ деревни, помимо всякаго вмѣшательства мѣстнаго начальства, и, въ свою очередь, точно такимъ же образомъ избирали, уже сами себѣ, старосту. Согласно укоренившемуся обычаю, кандидатами на эту послѣднюю, хлопотливую должность могли быть только молодые или не очень пожилые еще, самые ловкіе и смѣтливые фабричные. Староста тоже избирался пожизненно. Мѣстное начальство, впрочемъ, и не признавало de jure этихъ общественныхъ властей, но

de facto пользовалось ими на каждомъ шагу, ясно видя, какимъ почетнымъ значеніемъ пользуются они въ глазахъ своихъ выборщиковъ и какое огромное вліяніе имѣютъ на нихъ.

Фабрика не могла, разумѣется, стерпѣть кровнаго оскорбленія, нанесеннаго ей въ лицѣ одного изъ этихъ выборныхъ, и рѣшилась сама наказать директора, чтобъ худо ли, хорошо ли отдѣлаться отъ него разъ навсегда. Варгунинъ, пріѣзжавшій сюда довольно часто, пользовавшійся здѣсь неограниченнымъ довѣріемъ и общей привязанностью, зналъ очень хорошо объ этомъ рѣшеніи; но, любя вообще народъ и предвидя дурныя послѣдствія, онъ совѣтовалъ фабричнымъ не пускаться на такое рискованное дѣло, а лучше обождать, пока смѣнятъ директора, и даже обѣщалъ похлопотать объ этомъ частнымъ образомъ у кого слѣдуетъ. Добрый совѣтъ Матвѣя Николаича на этотъ разъ, однакожъ, не былъ принятъ; фабричные рѣшительно объявили ему, что сами проучатъ директора. Тогда Варгунинъ ухватился за послѣднее средство: онъ уговорилъ «дѣдовъ» и взялъ съ нихъ слово, что они ничего не предпримутъ до слѣдующаго его пріѣзда на фабрику, думая этимъ выиграть время, пока поулягутся страсти. Дѣйствительно, раза два ему удалось, такимъ образомъ, отсрочить катастрофу, но въ предпослѣдній его пріѣздъ «дѣды» внушительно и напрямикъ объявили старику:

— Тоже и намъ теперече нельзя супротивъ міра итти... Ужъ ты тамъ какъ хошь, Матвѣй Миколаичъ, еще разъ мы тебя обождемъ, сдѣлаемъ тебѣ уваженіе, только чуръ—на другой день быть переполоху, какъ ты опять пожалуешь; да больно-то не мѣшкай въ городѣ: пожалуй, не утерпятъ наши робята, тогда ужъ не прогнѣвайся...

— Варгунинъ принужденъ былъ дать слово пріѣхать какъ можно скорѣе. У Матвѣя Николаича была одна изъ тѣхъ любящихъ и стойкихъ натуръ, которыя мало думаютъ о себѣ, когда дѣло идетъ о судьбѣ ихъ любимцевъ. Онъ зналъ, что «дѣды» ни въ какомъ случаѣ уже не измѣнятъ своего послѣдняго слова, и рѣшился лично участвовать въ фабричномъ движеніи, надѣясь своей опытностью и вліяніемъ на народъ отклонить отъ него какое-нибудь непредвидѣнное несчастіе, а можетъ-быть, и преступленіе. Такова была роль, которую Варгунинъ добровольно назначилъ себѣ въ этомъ дѣлѣ. Матвѣй Николаичъ, самъ всю жизнь протестовавшій въ пустынѣ, былъ настолько опытенъ, что мало могъ предвидѣть хорошаго впереди отъ подобной попытки, но опять и не въ его характерѣ было сомнѣваться въ возможности достигнуть чего-нибудь этимъ путемъ. Передъ отъѣздомъ изъ города онъ сообщилъ обо всемъ Свѣтлову, прося его совѣта и, если можно, помощи, т.-е. личнаго присутствія въ фабрикѣ. Въ чемъ другомъ, а въ этомъ Александръ Васильичъ не могъ отказать никому, тѣмъ болѣе Варгунину.

— Да что же они думаютъ сдѣлать-то?— спросилъ онъ только, сейчасъ же согласившись ѣхать.

— Хотятъ, батенька, потребовать всей фабрикой отъ директора, чтобъ онъ немедленно ее оставилъ, или, въ противномъ случаѣ, всѣ прекратятъ работы. Пускай, говорятъ, пріѣзжаетъ городское начальство, такъ мы ужъ съ нимъ потолкуемъ. Вотъ все, что, по крайней мѣрѣ, я знаю, батенька.

Варгунинъ не притворялся: онъ, дѣйствительно, только это и зналъ.

---

Уже съ ранняго утра стало обнаруживаться особенное движеніе на улицахъ фабрики: то и дѣло встрѣчались группы рабочихъ въ пять-шесть человѣкъ, хотя день былъ и не праздничный. Одни изъ нихъ, постарше, остановясь гдѣ-нибудь у забора, серьезно и съ жаромъ разговаривали между собою вполголоса; другіе, помоложе, взявшись дружно за руки, съ вызывающимъ видомъ расхаживали взадъ и впередъ, заломивъ набекрень шапки и напѣвая, тоже вполголоса, любимыя фабричныя пѣсни. «Ужъ какъ въ фабрикѣ у насъ»... слышалось часто и въ разныхъ концахъ деревни. Ближайшія сосѣдки безпрестанно обмѣнивались между собою торопливыми визитами, спѣша подѣлиться ихъ результатомъ съ другими. Въ такъ называемой «сборной избѣ» степенно и угрюмо совѣщались «дѣды», разсылая съ разными порученіями во всѣ концы фабрики любопытныхъ ребятишекъ, одаренныхъ непобѣдимымъ свойствомъ всегда торчать тамъ, гдѣ соберутся взрослые.

Одного изъ такихъ гонцовъ перехватилъ на улицѣ смотритель. Онъ шелъ сегодня ранѣе обыкновеннаго на заводы по распоряженію директора: приказано было тщательно переписать на другой день всѣхъ, кто не явится на работу въ срокъ, минута въ минуту.

— Ты куда бѣжишь, чертенокъ?—строго остановилъ смотритель вострoглазаго гонца «дѣдовъ».

— Тятька послалъ за рукавицами къ Софронихѣ,—отвѣтилъ тотъ смѣло, не шевельнувъ ни одной рѣсницей.

— Своихъ-то мало ему, что ли? Да ты мнѣ, чертенокъ, говори правду, а то вѣдь я тебя и за вихры возьму!—пригрозилъ смотритель.

— Да я не знаю. Мнѣ тятька сказалъ: спроси у Софронихи рукавицы, которыя она мнѣ новыя сошила,—я и бѣгу.

— Пропилъ, видно, старыя-то...—ѣдко замѣтилъ убѣжденный смотритель и пошелъ дальше.

Онъ завернулъ сперва на суконный заводъ: хоть бы одинъ человѣкъ явился!—пустехонько; зашелъ на стеклянный—та же исторія; а между тѣмъ обычный часъ работъ уже наступилъ, и даже прошло минутъ двадцать лишнихъ. Обстоятельство это было особенно поразительно въ отношеніи стекляннаго завода: тамъ всегда оставалось на ночь нѣсколько человѣкъ дежурныхъ рабочихъ, поддерживавшихъ огонь плавильной печи, которая на однѣ сутки гасилась только раза два или три въ мѣсяцъ, передъ начатіемъ новой серіи работъ. Смотритель обыкновенно заглядывалъ сюда не каждую ночь, а изрѣдка, больше для виду, во всемъ полагаясь на старосту; вчера онъ тоже не былъ здѣсь и теперь, къ величайшему своему изумленію, нашелъ плавильную печь совершенно остывшей, даже безъ малѣйшаго намека на ночную работу. Необходимо замѣтить, что директоръ держалъ этого господина въ черномъ тѣлѣ и на тугихъ вожжахъ; за право поживляться иногда малою толикой на счетъ заводовъ, онъ подчинилъ его себѣ безпрекословно. Какъ и всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, смотритель, разыгрывая, съ одной стороны, роль вѣрнаго директорскаго пса, съ другой явился весьма убыточнымъ паразитомъ въ отношеніи рабочихъ; поэтому онъ не на шутку струсилъ теперь за свою оплошность и со всѣхъ ногъ кинулся къ старостѣ.

Семенъ Ларіонычъ (фабричный староста) преспокойно сидѣлъ у себя на завалинкѣ, беззаботно поколачивая въ нее сучковатой палкой, всегда такъ магически созывавшей, бывало, фабричныхъ на обычное заводское дѣло.

— Что же ты не гонишь людей на работу? Али одурѣлъ со вчерашней-то вечорки? — крикнулъ на него впопыхахъ смотритель, почти прибѣжавшій бѣгомъ.

— И самъ не пойду и людей гнать не стану,—отвѣчалъ староста убійственно-холоднымъ тономъ, не допускавшимъ возраженія.

Смотритель растерялся.

— Вѣдь они, мошенники этакіе, плавильную погасили! Ты чего смотришь?—спросилъ онъ снова, не давъ еще себѣ отчета въ значеніи отвѣта старосты.

— Погашена,—знаю.

Семенъ Ларіоновъ былъ невозмутимъ.

— Такъ ты что же?..—какъ-то глухо уже и будто машинально проговорилъ смотритель.

— Видишь—сижу, палкой балую...

«Жила» растерялся еще больше и, повидимому, не зналъ, что сказать.

— П-шолъ за мной къ директору!—крикнулъ онъ черезъ минуту на всю улицу, выведенный изъ себя равнодушіемъ старосты.

— Неспопутно; мнѣ и тутъ ладно.

У смотрителя потемнѣло въ глазахъ отъ досады и сознанія своего начальническаго безсилія.

— Ахъ вы... сволочь этакая!—проговорилъ онъ сквозь зубы.

Староста неторопливо поднялся съ завалинки.

— Погляди-ка сюды, ваше благородіе,—сказалъ онъ безстрастно: — вишь ты эту палку, сколько на ней зубцовъ? Ежели я теперече этой самой палкой рожу тебѣ смажу... что будетъ?—знаешь?

И Семенъ Ларіонычъ, пристально посмотрѣвъ на собесѣдника, опять такъ же неторопливо присѣлъ на завалинку.

Смотритель, какъ угорѣлый, кинулся со всѣхъ ногъ къ директору.

Оржеховскій еще спалъ; ему, можетъ-быть, снились теперь тѣ новыя тысячи,

которыя отложитъ онъ въ свой карманъ на будущій годъ, въ ущербъ казнѣ и благосостоянію рабочихъ. По запертымъ ставнямъ и наружной тишинѣ въ домѣ смотритель догадался, что начальство почиваетъ, и, не осмѣливаясь тревожитъ его покоя, усѣлся въ ожиданіи на одной изъ ступенекъ высокаго крыльца; «жена... семеро дѣтей...» такъ и сквозило у него на лицѣ. Этотъ человѣкъ велъ жестокую борьбу за свое и ихъ существованіе: на сколькихъ заводахъ ни приходилось ему служить, вездѣ онъ былъ вѣрной собакой, и вездѣ на его долю перепадали однѣ только крохи. Въ Ельцинской фабрикѣ дѣла смотрителя пошли какъ будто лучше; правда, что онъ и здѣсь игралъ ту же самую жалкую роль, но зато на этомъ новомъ мѣстѣ его беззастѣнчивая рука стала ощупывать иногда между крохами и цѣлый лакомый кусокъ.

«А вотъ теперь и смѣнятъ, пожалуй, директора: опять кусай пальцы...» безотрадно думалось ему.

Какой-то глухой, все болѣе и болѣе усиливающійся шумъ вывелъ смотрителя изъ глубокаго, продолжительнаго забытья; онъ испуганно мотнулъ головой, вскочилъ на ноги и быстро поднялся до самой верхней ступеньки крыльца. Крыльцо вело со двора прямо во второй этажъ и оканчивалось широкой площадкой передъ входной дверью; оттуда, сверху, открывался просторный видъ на улицу. Теперь, стоя на этой самой площадкѣ и держась дрожащими руками за ея перила, смотритель былъ пораженъ необыкновенной, невиданной картиной: огромная толпа фабричныхъ медленно подвигалась вдоль улицы по направленію къ директорскому дому; разноцвѣтные головные платки женщинъ оживляли до нѣкоторой степени однообразный и сплошной сѣрый тонъ дубленыхъ полушубковъ; фабричные мальчишки густыми кучками юркали сзади. Всмотрѣвшись въ эту исполинскую волну головъ, смотритель, хорошо знавшій численность мѣстнаго населенія, не могъ не прійти къ тому ужасному выводу, что тутъ была поставлена на ноги буквально вся фабрика. Растерянный до отупѣнія, онъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, опрометью кинулся внизъ и со всего размаха заперъ отворенную имъ при входѣ калитку, какъ будто эта убогая дверца могла разыграть роль неприступной скалы въ борьбѣ съ надвигавшейся все болѣе народной волной. Едва захлопнулась калитка, какъ изъ углового окна верхняго этажа высунулась въ форточку черноволосая курчавая голова директора въ вышитой бисеромъ ермолкѣ, и его, блѣдное, съ неподвижно-холодными глазами, лицо прямо уставилось на смотрителя, оторопѣло державшагося обѣими руками за желѣзный засовъ.

— Что у васъ тамъ опять?.. Что вы тутъ дѣлаете?—недовольнымъ тономъ крикнулъ ему Оржеховскій.

Изъ чуткаго утренняго сна его именно и вывелъ отчаянный стукъ, надѣланный смотрителемъ.

— Бѣда, Григорій Николаичъ: вся фабрика взбунтовалась!—доложилъ тотъ, выбѣжавъ на середину двора и подобострастно снимая фуражку.

Присутствіе высшаго начальства нѣсколько ободрило его.

— Какъ «взбунтовалась?» Это еще что такое?.. Это еще что за новости?!..—вспылилъ директоръ, хотя и слышавшій шумъ, но не разобравшій сначала, откуда онъ происходитъ, и вдругъ глаза его упали на громадную толпу, которая величаво подвигалась впередъ, теперь въ какихъ-нибудь саженяхъ двадцати отъ него.

Несмотря на обычную блѣдность, лицо Оржеховскаго замѣтно побѣлѣло еще сильнѣе.

— Разбудить казаковъ!.. Всѣхъ разбудить! Чтобъ лошади были мигомъ осѣдланы!.. и мнѣ! Слышите?—скомандовалъ онъ смотрителю, и голова его въ ту же минуту исчезла изъ форточки.

Конвой директора состоялъ изъ двѣнадцати конныхъ казаковъ, жившихъ на томъ же дворѣ, въ такъ называемой «конвойной», налѣво отъ крыльца; одинъ изъ нихъ—дежурный—спалъ постоянно въ директорской кухнѣ, въ нижнемъ этажѣ дома. Смотритель разбудилъ сперва его и остальную прислугу, немилосердно постучавъ къ нимъ въ дверь, и потомъ уже кинулся въ «конвойную». Минутъ черезъ пять весь домъ былъ поднятъ на ноги; прислуга обоего пола, какъ водится при всякой подобной внезапной суматохѣ, безцѣльно шныряла теперь взадъ и впередъ по двору, воображая, что ужъ и этимъ она кое-что дѣлаетъ; казаки торопливо сѣдлали лошадей, отрывочно перебрани-

ваясь между собою. Испуганный, должно-быть, всей этой кутерьмой, какой-то гусь съ крикомъ выбѣжалъ, махая крыльями, на середину двора и съ недоумѣніемъ поводилъ во всѣ стороны вытянутой, какъ палка, шеей. Неимовѣрно суетившійся смотритель нечаянно набѣжалъ на него, запнулся, сказалъ: «Тфу ты, пропастина!»—и кинулся наверхъ къ директору.

Директорскій домъ выходилъ своимъ фасадомъ на небольшую площадь, примыкавшую справа къ той самой улицѣ, по которой двигался народъ. Теперь эта толпа занимала уже всю площадь, обратясь лицомъ къ фасаду; «дѣды» и рядомъ съ ними староста стояли впереди, отдѣльно, недалеко отъ оконъ нижняго этажа. Несмотря, однакожъ, на близкое присутствіе такой огромной толпы, шуму на этотъ разъ не было слышно: она точно застыла въ молчаливомъ, упорномъ ожиданіи.

Оржеховскій, въ полковничьемъ мундирѣ съ густыми серебряными эполетами (которыхъ—скажемъ въ скобкахъ—онъ не имѣлъ ужъ больше права носить, но которые берегъ, вѣроятно, для непредвидѣнныхъ оказій, въ родѣ согодняшней), показался на минуту казакамъ съ площадки крыльца.

— Совсѣмъ?—спросилъ онъ у нихъ, очевидно, только для шику.

— Точно такъ, васкородіе!—отвѣтилъ ему за всѣхъ урядникъ.

— Сейчасъ же сѣсть на коней и... ждать моихъ приказаній!—распорядился директоръ и ужъ переступилъ было порогъ двери, какъ вдругъ снова показался на площадкѣ.—Пики, винтовки—все взять!.. зарядить!... И лошадь мнѣ! Живо!—громко скомандовалъ онъ.

Минуты черезъ три казаки сидѣли уже на коняхъ, вооруженные согласно приказанію; урядникъ держалъ за поводья осѣдланную директорскую лошадь. Еще черезъ минуту Оржеховскій, стоя передъ дверью балкона, выходившаго прямо на площадь, самоувѣренно говорилъ смотрителю, рисуясь передъ нимъ густыми эполетами:

— Я имъ покажу... бунтовать! Вотъ посмотрите, какъ они у меня осядутъ...

Онъ принялъ надменную позу и вышелъ на балконъ.

При его появленіи толпа на минуту заволновалась и вдругъ снова утихла; густые эполеты только въ эту первую минуту произвели на нее нѣкоторое впечатлѣніе. Глава Ельцинской фабрики чувствовалъ себя въ сильномъ смущеніи, когда «дѣды» и староста, выступивъ немного впередъ, отвѣсили ему степенный поклонъ, слегка дотронувшись до шапокъ, между тѣмъ какъ остальная часть толпы недвижно стояла съ покрытыми головами.

— Вы-ы... что?.. бунтовать вздумали? а? Шапки долой!—крикнулъ на нее грозно директоръ.

Толпа хоть бы шевельнулась.

— А-а! вы... пьянствовать! вы... начальству не повиноваться! Да я васъ запорю... мерзавцевъ!!.—опять закричалъ Оржеховскій, уже изо всей мочи.

— Ты, господинъ дилехторъ, не лайся безъ пути,—холодно сказалъ ему, наконецъ, старѣйшій изъ «дѣдовъ», выступивъ впередъ еще на одинъ шагъ:—а изволь насъ выслушать, какъ подобаетъ. Мы къ тебѣ пришли, слышь, вотъ зачѣмъ...

— Да вы-то сами что за люди? что за птицы? Подстрекатели! коноводы!.. Первые у меня въ острогъ пойдете!—не далъ ему договорить директоръ и злобно ткнулъ пальцемъ въ ту сторону, гдѣ стояла кучка «дѣдовъ».

Они о чемъ-то перешепнулись между собой и обратились къ старостѣ.

— А мы—выборные...—сказалъ Семенъ Ларіонычъ, многозначительно выступая впередъ.

— Я знать ничего не хочу! Кто васъ выбралъ? Съ чьего разрѣшенія? По какому праву?—перебилъ его директоръ.

— Ужъ это ты у «міра» спроси: «міръ» выбиралъ—«міру» про то и знать,—отвѣтилъ невозмутимо Семенъ Ларіонычъ.—А ежели ты теперече не хочешь по-добру насъ выслушать, такъ опосля, значитъ, не пеняй: оглобли-то мы, пожалуй, и поворотимъ, да какъ бы твою милость не ушибить,—велики больно.

— Ты... каторгу знаешь? бывалъ?—безстрастнымъ, металлическимъ голосомъ обратился Оржеховскій къ старостѣ, неподвижно уставивъ на него свои холодные глаза.

— Нѣтъ, не вѣдаю,—не бывалъ; а любопытенъ знать: разскажи...—будто льдомъ обдалъ его, въ свою очередь, Семенъ Ларіонычъ.

— Ну, такъ вотъ узнаешь ее скоро!—только и нашелся сказать озадаченный ди-

ректоръ.—Что вамъ отъ меня надо?— крикнулъ онъ, помолчавъ, толпѣ.

Староста неторопливо кашлянулъ въ руку.

— А намъ вотъ чего нужно,—заговорилъ Семенъ Ларіонычъ, отчеканивая каждое слово:—чтобъ ты, значитъ, айда отсюда, чтобъ севодне же, значитъ, духу твоего у насъ въ фабрикѣ не было... потому—ужъ оченно ты «міръ» изобидѣлъ: выборнаго посѣкъ; теперече тоже обобралъ кругомъ фабришныхъ,— обсчитываешь ихъ... Мы тебѣ, значитъ, честью сказываемъ: не хочемъ мы тебя; и честью же просимъ: уѣзжай отъ насъ какъ можно поскорѣй,—вишь, народъ остервенился...

Директоръ стоялъ, какъ пораженный громомъ, слушая эту краткую, выразительную рѣчь; такой отчаянно-смѣлой дерзости онъ не ожидалъ и чувствовалъ, какъ у него отъ злости задрожали губы и колѣни.

— Такъ хорошо... поборемся!..—тихо, но злобно сказалъ Оржеховскій, оглянувъ сверкающимъ взглядомъ толпу.—Господинъ смотритель!—позвалъ онъ громко.

Смотритель робко высунулся въ дверь.

— Готовы у васъ казаки? Прикажите имъ отворить ворота и выстроиться... Я сейчасъ буду,—распорядился директоръ.— Теперь вы у меня держитесь!.. уносите шкуры! Я знаю, кто васъ подучилъ,—не уйдутъ и они... Маршъ на работу! всѣ!!— попытался онъ еще разъ употребить начальническое вліяніе.

Но народъ попрежнему не двигался съ мѣста.

— Береги лучше свою-то шкуру: она у тя севодне незаконная...—крикнулъ кто-то въ толпѣ, намекая, очевидно, на густые эполеты...

Оржеховскій весь позеленѣлъ, но промолчалъ и быстро удалился въ комнаты. Онъ машинально обошелъ ихъ кругомъ, зарядилъ въ кабинетѣ шестиствольный револьверъ, задумчиво повертѣлъ его въ рукахъ и вышелъ съ нимъ на площадку крыльца. Внизу, у послѣдней его ступеньки, поджидалъ теперь директора одинъ урядникъ, держа за поводья двухъ лошадей—свою и директорскую; остальные казаки, верхами, выстроившись въ шеренгу, стояли уже за открытыми настежь воротами, а смотритель, тоже верхомъ, боязливо держался позади ихъ.

Оржеховскій торопливо сѣлъ на лошадь и, въ сопровожденіи урядника, выѣхалъ за ворота, держа передъ собой въ правой рукѣ револьверъ.

— Видите вы эту штучку?—показалъ онъ его толпѣ, круто остановивъ передъ ней лошадь.—Вотъ она какъ дѣйствуетъ...

Директоръ обернулся, прицѣлился въ ставень и выстрѣлилъ.

— Видѣли?—насмѣшливо спросилъ онъ, подъѣхавъ къ окну и указывая пальцемъ народу круглое отверстіе, насквозь пробитое пулей въ ставнѣ.—Вотъ то же самое будетъ и съ тѣми лбами, кто осмѣлится меня ослушаться... Маршъ всѣ на работу!

Но толпа и теперь была неподвижна.

— Казаки!—скомандовалъ директоръ, желая окончательно постращать ее,—прицѣлься въ переднихъ!

Казаки, не торопясь, достали изъ-за плечъ винтовки, медленно взвели курки и, безъ малѣйшаго смущенія, стали цѣлиться въ «дѣдовъ»: винтовки были заряжены одними холостыми зарядами; по разстоянію между командой и народомъ, они никому опасностью не угрожали.

Толпа, однакожъ, не знала этого; тѣмъ не менѣе въ ней только на одинъ мигъ пробѣжало сильное движеніе, послышался глухой ропотъ, и она снова окаменѣла.

— А когды такъ,—вскричалъ староста Семенъ, быстро обернувшись и подмигнувъ ближайшимъ фабричнымъ,—такъ айда же за мной, робяты!

И онъ кинулся на казаковъ, какъ разъяренный звѣрь, котораго оцарапала шальная пуля.

Растерявшись отъ внезапности его движенія, казаки успѣли только дать безполезный залпъ по воздуху. Толпа загудѣла и застонала. Передніе ряды ея съ крикомъ налетѣли на казаковъ, окружили ихъ, стащили съ сѣделъ, нѣкоторымъ связали кушаками руки на спинѣ, отвели всѣхъ въ «конвойную» и заперли тамъ. Все это было сдѣлано въ какія-нибудь три минуты. Впрочемъ, сказать по правдѣ, если казаки сперва немного и сопротивлялись, то, разумѣется, больше для виду, чтобъ оградить себя на всякій случай въ глазахъ начальства; они съ фабричными постоянно жили въ ладу, водили хлѣбъ-соль, даже имѣли между ними своихъ зазнобушекъ,—ссориться имъ, стало-быть, не приходилось—невыгодно было.

Между тѣмъ какъ одна часть толпы распоряжалась такимъ безцеремоннымъ образомъ съ казаками, другая окружила самого Оржеховскаго, сильнымъ натискомъ приперевъ его къ стѣнѣ дома, межъ ставнями. Директоръ былъ обезоруженъ: какой-то здоровенный фабричный, въ первую же минуту свалки, вышибъ у него изъ руки револьверъ; другой тотчасъ же отыскалъ этотъ револьверъ въ снѣгу, осторожно поднялъ его и, подавая старостѣ, сказалъ:

— На-кось, Семенъ Ларіонычъ, припрячь хорошенько эвту штуку: пускай набольшіе въ городѣ поглядятъ, какими онъ гостинцами намъ сулился...

Блѣдный, какъ полотно, съ безсильно стиснутыми зубами, Оржеховскій испуганно ждалъ неизвѣстной развязки этихъ бурныхъ сценъ.

— Худо вамъ... очень вамъ худо будетъ!—говорилъ онъ, тяжело дыша.

— Ничего; сами въ дѣлѣ—сами, значитъ, и въ отвѣтѣ, — успокоилъ его высѣченный имъ «дѣдъ».

— Чего коня-то мучишь напрасно? Слѣзай!—замѣтилъ кто-то директору.

Директоръ инстинктивно ухватился руками за ставень.

— Что вы хотите дѣлать со мной!?.— въ ужасѣ закричалъ онъ, теряя послѣднее мужество, когда кучка рабочихъ протянула къ нему здоровенныя руки.—Дайте мнѣ только подводу, и я сейчасъ же уѣду... вотъ вамъ Богъ свидѣтель!—указалъ Оржеховскій рукой на небо.

Но онъ нѣсколько поздно предложилъ эту полюбовную сдѣлку: въ толпѣ послышался сдержанный смѣхъ.

— Знамо, что уѣдешь, коли сами хочемъ тебя отправить; да только ты маленько рано каяться-то вздумалъ: надоть бы еще пострѣлять въ насъ,—сострилъ кто-то.

— Мы тѣ давече добромъ сказывали: уходи; не послушался,—теперече пеняй на себя, коли поучимъ тебя маленечко. Слѣзавай, слышь!—лукаво прищурившись, объявилъ директору одинъ изъ «дѣдовъ».

— Слушайте, братцы!—ухватился Оржеховскій за послѣднее средство,—никого я изъ васъ не выдамъ... все забуду, скажу въ городѣ просто, что самъ не хочу здѣсь служить — надоѣло... что хотите, то и скажу, только пустите меня...

— Ишь! теперь такъ и «братцы» стали,— саркастически замѣтилъ одинъ кудреватый парень, раза два высѣченный директоромъ:—теперь такъ онъ на насъ, собака, словно какъ на образа молится...

— А ты чего лаешься?—важно и строго остановилъ его староста.—Ты говори дѣло, а не ругайся!

Парень сконфузился и стушевался.

— Слѣза-ай, господинъ дилехторъ! супротивъ «міра» все едино ничего не подѣлаешь,—увѣщательно обратился Семенъ Ларіонычъ къ Оржеховскому.

Но тотъ не трогался съ мѣста и еще крѣпче ухватился за ставень. Онъ, однакожъ, недолго удержался въ этомъ положеніи: небольшая кучка фабричныхъ снова протянула къ нему руки и безъ особеннаго труда стащила его съ лошади.

— Веди его тепериче, робята, въ сборную; мы сейчасъ туды прибудемъ,—распорядился одинъ изъ «дѣдовъ».

Директора взяли подъ руки и повели, несмотря на всѣ его просьбы и сопротивленія. Народъ съ оглушительнымъ шумомъ хлынулъ за нимъ, какъ одна бурная волна; бросившіеся вслѣдъ за ней ребятишки выказывали почему-то непомѣрную радость, толкая другъ друга въ снѣгъ и заливаясь звонкимъ, беззаботнымъ смѣхомъ.

— Ну васъ! чего разбѣсились, черти? Ужо вамъ староста-то дастъ знать!—унимали ихъ, оборачиваясь, пожилыя бабы.

Смотритель, верхомъ ускользнувшій въ суматохѣ общей свалки за «конвойную» и притаившійся тамъ возлѣ забора, теперь кубаремъ скатился съ лошади, привязалъ ее за скобку калитки и — ни живъ ни мертвъ—пустился улепетывать домой по задворкамъ.

— Ишь ка-акъ!.. Ишь ка-акъ жа-аритъ чиновникъ-отъ нашъ!—добродушно смѣялись между собой замѣтившіе его побѣгъ фабричные, и не помышляя, разумѣется, пускаться въ погоню за этимъ зайцемъ, особливо теперь, когда настоящій звѣрь былъ пойманъ.

Пока толпа шумно подвигалась впередъ, Варгунинъ и Жилинскій [1]), поравнявшись съ «дѣдами», стали уговаривать ихъ—отпустить директора поскорѣе въ городъ, «безъ всякой расплаты»,—какъ выразился

[1]) Друзья Свѣтлова.

Матвѣй Николаичъ. Немного погодя, къ нимъ присоединился Свѣтловъ; узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ тоже совѣтовалъ «дѣдамъ» принять этотъ добрый совѣтъ. Но «дѣды» твердо стояли на своемъ.

— Поучимъ маленечко, тогды и отправимъ,—говорили они.

— Ну-съ, хорошо-съ. Да какъ вы его поучите?—нетерпѣливо приставалъ къ нимъ Варгунинъ.

— А такъ и поучимъ: постегаемъ маленько,—сказалъ староста.

— Смотрите, батенька! это вѣдь острогомъ пахнетъ...—предупредилъ его Матвѣй Николаичъ.

— Самъ знаю, Матвѣй Миколаичъ, что не пряниками пахнетъ, да какъ же быть-то? «Міръ», значитъ, такъ рѣшилъ, а намъ супротивъ «міра» итти не почему нельзя...

Семенъ Ларіонычъ погладилъ бороду, заложилъ за спину руки и задумчиво уставился въ землю.

— Въ острогъ, такъ въ острогъ!—съ отчаянной рѣшимостью махнулъ онъ вдругъ рукой и опять задумался.

— Какъ «міръ» хочетъ, такъ тому и быть!—единодушно поддержали его «дѣды».

Варгунинъ не счелъ деликатнымъ настаивать долѣе на своемъ совѣтѣ; однако Матвѣю Николаичу удалось какъ-то склонить выборныхъ—дать ему честное слово, что они накажутъ директора только слегка, для одного виду,—это была съ ихъ стороны хоть и небольшая, но все-таки уступка. Тѣмъ не менѣе расходившаяся не на шутку толпа думала совсѣмъ иначе; оказалось, что ее не такъ легко уговорить, какъ «дѣдовъ».

— Чего съ нимъ попусту-то валандаться!—кричали въ толпѣ, окружавшей директора.—Вали его, робяты, прямо въ пролубь! Это дѣло вѣрнѣе будетъ!

— Туда собакѣ и дорога!—рѣзко подхватилъ кто-то.

И толпа, увлекаемая передней кучкой рабочихъ, сопровождавшей Оржеховскаго, ринулась было въ сторону фабричной плотины, гдѣ, дѣйствительно, находилась узкая прорубь, откуда обыкновенно брали воду.

При этомъ неожиданномъ движеніи народа въ Свѣтловѣ внезапно проснулась вся его энергія. Александръ Васильичъ быстро отыскалъ глазами Варгунина, выразительно махнулъ ему бѣлымъ платкомъ и въ одинъ мигъ забѣжалъ впередъ толпы.

— Стой на минуту, братцы!—съ необычайной силой крикнулъ онъ разъяренной кучкѣ рабочихъ, тащившей Оржеховскаго, и остановилъ ее движеніемъ широко распростертыхъ рукъ.—Если вы только безъ согласія выборныхъ тронете директора хоть пальцемъ,—мы съ Матвѣемъ Николаичемъ первые бросимся въ прорубь. Такъ и знайте!

— Да! ужъ тогда не поминайте лихомъ...—рѣшительно поддержалъ Свѣтлова догнавшій его Варгунинъ.

Толпа на минуту какъ будто опѣшила; она, очевидно, была поражена такимъ неожиданнымъ оборотомъ дѣла. Оржеховскій изумленно смотрѣлъ во всѣ глаза на своего нечаяннаго защитника въ полушубкѣ. Наступило угрюмое молчаніе.

— Какъ же тутъ тепериче быть, робяты? Сказывайте...—надумался проговорить, наконецъ, одинъ изъ главныхъ зачинщиковъ буйства, нерѣшительно обернувшись назадъ.

Но Варгунинъ не далъ ему дождаться отвѣта.

— Какъ знаете, такъ и дѣлайте, а мы отъ своего слова не отступимъ,—еще рѣшительнѣе сказалъ Матвѣй Николаичъ.—Пойдемте, батенька!—торжественно обратился онъ къ Свѣтлову, подавая ему руку.

Они быстро отдѣлились отъ толпы и твердо зашагали рука объ руку по направленію къ плотинѣ.

— Эй!.. Матвѣй Миколаичъ!.. По-олно... Воротитеся!..—торопливо закричало имъ вслѣдъ нѣсколько взволнованныхъ голосовъ.

Варгунинъ остановился, слегка обернувшись.

— Въ сборную?—спросилъ онъ строго и холодно.

— Въ сборную, въ сборную!—загудѣла разомъ толпа и въ одну минуту измѣнила направленіе, хлынувъ по первоначальному пути.

— Молодецъ вы, батенька! Какъ это вамъ пришло въ голову?—шопотомъ говорилъ Матвѣй Николаичъ Свѣтлову, горячо пожимая ему руку и медленно поворачивая за толпой.—Безъ васъ—прощай директоръ!

— Врядъ ли бы дѣды допустили до этого?—какъ бы вопросительно замѣтилъ Александръ Васильичъ.

— Да ужъ тамъ они хоть допускай, хоть нѣтъ—все равно. Э, батенька, вѣдь

и дѣды не застрахованы, коли народъ захочетъ...—пояснилъ Варгунинъ и вдругъ задумался.

Толпа между тѣмъ все быстрѣе и быстрѣе подвигалась впередъ, и, наконецъ, передніе ряды ея остановились противъ крыльца «сборной избы». Туда немедленно вошли сперва «дѣды», а за ними—староста и нѣкоторыя другія, болѣе вліятельныя, фабричныя личности. Они совѣщались тамъ не больше десяти минутъ, но Оржеховскому эти десять минутъ показались длиннѣе цѣлыхъ сутокъ. Къ концу ожиданія развязки ему даже сдѣлалось дурно, и онъ только тогда очнулся, когда его, по распоряженію вернувшагося изъ «сборной» старосты, раздѣли и положили на скамью у воротъ. Толпа на мигъ заволновалась, и вдругъ замерла, притаила дыханіе...

На глазахъ всей этой многолюдной толпы, нарушая только своими отчаянными криками ея угрюмое молчаніе, директоръ былъ наказанъ двадцатью ударами розогъ...

На Оржеховскомъ, какъ говорится, лица не было, когда онъ всталъ съ роковой скамейки; густая краска стыда покрывала его вспотѣвшія щеки, зубы были лихорадочно стиснуты, а руки въ безсильной злобѣ сжимались въ кулаки. Ни за что въ мірѣ не поднялъ бы онъ теперь глазъ на эту, обсчитанную имъ и такъ позорно наказавшую его, толпу! Она, дѣйствительно, и теперь стояла выше директора: ни во время наказанія ни послѣ Оржеховскій не услыхалъ отъ нея ни одной шутки ни одной неприличной выходки, между тѣмъ какъ самъ онъ постоянно острилъ, наказывая другихъ. Толпа ограничилась тѣмъ, что молча проводила его обратно до дому.

Здѣсь, въ какіе-нибудь два часа времени, все имущество директора, за исключеніемъ казенной мебели да извѣстнаго револьвера, было подъ личнымъ надзоромъ старосты осторожно запаковано фабричными въ тюки и сложено на три парныя подводы, заранѣе приготовленныя; впереди ихъ стоялъ во дворѣ собственный возокъ Оржеховскаго, запряженный тройкой. Пока шли въ домѣ всѣ эти приготовленія къ отъѣзду директора, «дѣды» потребовали отъ него, чтобъ онъ на каждую дверь, за которой хранилось какое-либо имущество казны, наложилъ воскомъ казенную и именную печати. Оржеховскій на этотъ разъ повиновался, какъ ребенокъ; безучастно понуривъ свою совсѣмъ сбитую съ толку голову, онъ шелъ вездѣ, куда ему указывали выборные. Такимъ образомъ сперва были опечатаны директорскій домъ и оба завода, а потомъ все остальное. Когда и эти формальности кончились, староста распорядился, чтобъ на каждую изъ трехъ подводъ усѣлось по казаку, и послалъ сказать директору, что «задержки больше нѣту».

— Лошади, смотри, даны вамъ казенныя, — громко обратился въ заключеніе Семенъ Ларіонычъ къ уряднику, сидѣвшему уже на облучкѣ возка:—чтобъ въ цѣлости, значитъ, были доставлены обратно, а не то сами за нихъ и отвѣтите...

Староста вдругъ остановился и, понизивъ до шопота свой голосъ, сталъ торопливо говорить что-то уряднику, который въ отвѣтъ только кивалъ ему согласливо головой.

Наконецъ показался директоръ. Непримиримая злоба сверкала въ его опущенныхъ глазахъ, когда онъ, не проронивъ ни слова, садился въ свой экипажъ. Толпа такъ же молча, но какъ-то внушительно смотрѣла на него нѣсколькими сотнями зоркихъ глазъ. Семенъ Ларіонычъ, степенно перекрестясь, взялъ подъ-уздцы тройку, осторожно вывелъ ее за ворота и пробѣжалъ съ ней рядомъ нѣсколько шаговъ по улицѣ.

— Вали теперече съ Богомъ!—крикнулъ онъ уряднику, пуская лошадей и отскочивъ въ сторону.

Тройка быстро помчалась.

— Счастливо оставаться!—не оборачиваясь, успѣлъ закричать Оржеховскій толпѣ своимъ рѣзкимъ, металлическимъ голосомъ.

Глубокій сарказмъ, злоба и ненависть явственно дрожали въ этомъ послѣднемъ привѣтствіи директора.

Когда отъѣхала послѣдняя подвода, народъ нѣсколько минутъ оставался еще на мѣстѣ, молчаливо слѣдя за удалявшимися экипажами, и, только потерявъ ихъ изъ виду, сталъ медленно, будто нехотя, расходиться. Опять образовались отдѣльныя группы; слышался споръ, шли толки. Какой-то фабричный парень отыскалъ во дворѣ директорскаго дома метлу и торопливо, съ самымъ серьезнымъ видомъ, замелъ на снѣгу свѣжіе слѣды начальническаго отступленія.

Несмотря, однакожъ, на отсутствіе директора, фабрика всю остальную часть дня вела себя самымъ приличнымъ образомъ, хотя и не принималась за работу. Вечеръ прошелъ такъ же тихо: нигдѣ не затѣвалось вечорки, даже не видно было, противъ обыкновенія, ни одного пьянаго на улицахъ; напротивъ, все это время на лицахъ рабочихъ лежала какая-то сосредоточенная озабоченность, крѣпкая сдержанная дума. «Дѣды» почти не выходили изъ «сборной»; староста Семенъ, вооружась своей сучковатой палкой, поминутно заглядывалъ то туда, то сюда, горячо толковалъ съ молодыми парнями и, видимо, предупреждалъ ихъ о чемъ-то. Самый ловкій изъ этихъ парней былъ командированъ, на собственной «сорви-голова лошадкѣ» Семена Ларіоныча, верстъ за пять отъ деревни стеречь дорогу въ городъ; тройка такихъ же лихихъ лошадей стояла во дворѣ старосты, готовая пуститься въ путь по первому его приказу. Словомъ, по всему замѣтно было, что въ фабрикѣ ждали чего-то необыкновеннаго.

Почти въ самую полночь или много что нѣсколькими минутами позднѣе, когда Жилинскіе съ гостями только что встали изъ-за ужина, все еще толкуя о происшествіяхъ сегодняшняго утра,—въ столовую къ нимъ торопливо вошелъ староста Семенъ, весь красный и, очевидно, сильно встревоженный.

— Рота идетъ!.. версты за три отсюда... съ жандармскимъ...—объявилъ онъ, едва переводя духъ.

— Скорехонько собрались!—замѣтилъ саркастически Варгунинъ и улыбнулся, но какъ-то тревожно.

— Теперече вотъ какое дѣло,—сказалъ Семенъ Ларіонычъ, обращаясь къ Жилинскому и отирая съ лица потъ:—тутъ, у твоего крылечка, троечка стоитъ... лихая, такъ надо вамъ всѣмъ айда отсюда поскорѣ... Время теперече нельзя проволочить ни минуты... Собирайтесь!

— Я никогда ни отъ кого не бѣгалъ!—величаво проговорилъ Жилинскій.—И моя дочь тоже.

— Да и мы останемся,—твердо сказалъ Свѣтловъ, посмотрѣвъ на Варгунина.

— Разумѣется, батенька, останемся,—подтвердилъ Матвѣй Николаичъ.

Староста нетерпѣливо и какъ-то досадливо махнулъ лѣвой рукой.

— Да ты не артачься, Каземиръ Антонычъ,—опять обратился онъ къ Жилинскому:—я не о тебѣ хлопочу, а о своихъ... о своей шкурѣ... Ежели васъ теперече здѣсь накроютъ—намъ же хуже будетъ; скажутъ: не своимъ, значитъ, умомъ орудовали дѣло... Одни-то мы еще такъ и сякъ раздѣлаемся, а ужъ какъ съ вами-то застанутъ—пропадай голова! Ты теперече разсуди: у насъ ужъ это все уговорено между своими, какъ быть надо. Коли что пронюхаютъ, скажемъ, что, молъ, къ тебѣ точно пріѣзжали гости, и значитъ, изъ любопытства вы всѣ ходили смотрѣть, какъ наши у дилехторскаго дома выстаивали, а опосля, молъ, надо-быть, испужались, что ихъ робяты наши изобидѣть могутъ, да и дали лыжи въ городъ... Понимаешь? Ужъ эту мы механику начисто подведемъ... А коли вы теперече останетесь тутъ, значитъ, молъ, не боялись, снюхались съ фабришными... Я тебѣ, ей-Богу, дѣло говорю!

Послѣ минутнаго совѣщанія рѣшено было ѣхать всѣмъ вмѣстѣ.

— Ну, Лександръ Васильичъ, благодаримъ тебя покорно: вѣдь *ты* нашихъ-то выручилъ; а то во какой бы мы бѣды нажили—смертоубивство вѣдь!—говорилъ староста, усаживая Свѣтлова послѣднимъ.

— Не за что, Семенъ Ларіонычъ...—взволнованно отозвался Александръ Васильичъ, горячо пожавъ его мозолистую руку.

— Ну, ладно, свидимся еще, Богъ дастъ... Ты, Петроваша, мотри! лѣскомъ ужо объѣзжай, да ухо-то востреѣ держи... Ну... до пріятнаго повиданія! Вали, парень, съ Богомъ!—напутствовалъ староста отъѣзжавшихъ друзей.

Тройка быстро помчалась. Объѣхавъ по задамъ фабрику, она круто повернула въ лѣсъ и стала искусно нырять между кочекъ и сугробовъ. Среди этихъ снѣжныхъ волнъ Петрованъ оказался настоящимъ опытнымъ и закаленнымъ морякомъ. Передъ тѣмъ, какъ надо было своротить на торную дорогу, онъ вдругъ нырнулъ съ тройкой въ какой-то глубокій ухабъ, задержалъ лошадей и притаился. Варгунинъ осторожно выглянулъ на дорогу.

— Видите, батенька?—сказалъ онъ шопотомъ Свѣтлову, указавъ на темную продолговатую массу, которая медленно по-

двигалась въ полуверстѣ отъ нихъ, по направленію къ фабрикѣ.

— Да, вижу,—такъ же тихо отвѣтилъ Александръ Васильичъ, разглядѣвъ впереди этой темной массы слегка отдѣлившагося отъ нея всадника.

Черезъ минуту они явственно услышали сперва глухой топотъ конскихъ копытъ, а потомъ мѣрные и тяжелые человѣческіе шаги. Это рота переходила мостикъ на Ельцѣ.

Переждавъ еще минутъ десять, Петрованъ осторожно выѣхалъ на большую дорогу, молодцевато прибралъ вожжи, и тройка полетѣла во весь духъ, обдавая всѣхъ снѣжной пылью.

### Подводится общій итогъ.

И только? спроситъ, пожалуй, неудовлетворенный, а можетъ-быть, и недоумѣвающій читатель.

Да, другъ-читатель! здѣсь мы должны поневолѣ остановиться... Какъ неоттаявшая почва мѣшаетъ зрѣть брошеннымъ въ нее сѣменамъ, какъ не могутъ отливать всѣми красками солнца подснѣжные цвѣты, такъ точно задерживаются ростъ и краски художественнаго произведенія суровымъ дыханіемъ нашей сѣверной непогоди. Что было возможно, однакожъ, то сдѣлано нами, и да не поставится никому въ укоризну посильный трудъ. Если въ нашемъ первомъ опытѣ ты останешься недоволенъ блѣдностью интриги, чуждой той завлекательной формы, къ какой пріучили тебя болѣе даровитые воздѣлыватели отечественной мысли; если его завязка покажется тебѣ однообразной и скучной или нѣсколько туманной, а развязка—совершенно ничтожной, то и въ этомъ не вполнѣ виноватъ одинъ авторъ. Не до блестящихъ интригъ теперь намъ съ тобой, читатель, когда безвозвратно миновала золотая пора сказокъ, и жизнь предъявляетъ на каждомъ шагу свои настоятельныя нужды. Наступаетъ нѣчто лучшее,—лучшая и завязка требуется для романа; за развязку же никто не можетъ поручиться тебѣ въ наше переходное, обильное всякими недоразумѣніями, время. Въ одномъ только принимаемъ мы на себя полную отвѣтственность: не Свѣтловъ будетъ виноватъ, если эта личность не заслужитъ твоей серьезной симпатіи; считай тогда просто, что у автора — не хватило пороху. Глубокое убѣжденіе подсказываетъ пишущему эти строки, что во сто разъ честнѣе ему самому провалиться передъ публикой, нежели невѣжественно уронить въ ея глазахъ ту либо другую восходящую на общественномъ горизонтѣ силу, когда эта сила, хотя бы даже и въ своихъ заблужденіяхъ, неизмѣнно направлена къ благу и преуспѣянію родины.

Предѣлы, ограничивающіе дѣйствіе нашего разсказа, не составляютъ и года. Ты согласишься, конечно, что въ такой короткій промежутокъ времени, даже и при самыхъ лучшихъ силахъ, едва ли возможно сдѣлать многое, едва ли успѣютъ онѣ развернуться настолько, чтобъ захватывать духъ у посторонняго зрителя. Дѣлая подобную оговорку, мы имѣли въ виду твое неотъемлемое право спросить насъ: а гдѣ же она, эта проповѣдуемая Свѣтловымъ практическая дѣятельность?

Да, дѣйствительно, ея какъ будто не видно въ романѣ, какъ будто даже и нѣтъ ея тамъ совсѣмъ. Однакожъ, когда ты соразмѣришь, читатель, ничтожныя средства отдѣльнаго честнаго человѣка съ цѣлымъ полчищемъ темныхъ силъ, на каждомъ шагу преграждающихъ ему мирное, цивилизующее шествіе, когда ты убѣдишься, что и въ названный нами короткій промежутокъ времени кое-что хорошее сдѣлано нашимъ героемъ, — тогда твое уже дѣло вывести отсюда, какова будетъ или какова можетъ быть его дальнѣйшая дорога. И мы не даемъ зарока, что ты опять когда-нибудь не встрѣтишься съ Свѣтловымъ на болѣе широкой аренѣ дѣятельности.

А теперь, при разставаньи, быть-можетъ, на долгое время, другъ-читатель, позволь, въ свою очередь, и автору спросить у тебя: да пришло ли у насъ еще, полно, то желанное время, когда дѣятельность личности, подобной Свѣтлову, можетъ быть всецѣло выведена передъ твоими глазами? Возблагодаримъ небеса и за то, если передъ тобой, какъ бы еще въ утреннемъ туманѣ, уже скользитъ иногда ея далеко не окрѣпшее начало. Мы не скажемъ, что у насъ невозможна подобная дѣятельность; но гдѣ — укажи намъ—та широкая общественная арена, на которой она могла бы показать свои

дѣйствительныя силы, борясь открыто, лицомъ къ лицу, съ своими исконными врагами—тьмой и невѣжествомъ? Только еще въ далекой радужной перспективѣ носится передъ нами такая борьба... За неимѣніемъ ея, Свѣтловъ ведетъ иную: это борьба пролетарія въ подземныхъ каменноугольныхъ копяхъ, — борьба тяжелая и неблагодарная, иногда безнадежная, но чаще всего опасная. Долго ли обрушиться сводамъ этихъ извилистыхъ коридоровъ, прорытыхъ въ земляныхъ глыбахъ? Долго ли раздавить имъ упорнаго труженика, съ одной только киркой въ рукѣ, неутомимо прокладывающаго въ этихъ грубыхъ пластахъ дорогу будущему торжеству идеи, на благоденствіе грядущихъ поколѣній?

Мы, однакожъ, утѣшимся: если Свѣтловъ и падетъ въ такой неравной борьбѣ, то на смѣну ему уже и теперь подрастаетъ другой, быть-можетъ, столь же неутомимый работникъ въ лицѣ Владимирки. Да, другъ-читатель! замѣна найдется, борьба не изсякнетъ... И не намъ, разумѣется, приходится извиняться передъ тобой, что мы не осмѣлились изобразить тебѣ того, что лежитъ еще въ близкомъ будущемъ и не существуетъ пока въ дѣйствительности. Поживемъ, увидимъ, — тогда и опишемъ Свѣтловыхъ еще много будетъ впереди....

1870 г.

**Николай Герасимовичъ Помяловскій.**

(1835 — 1863).

## Зимній вечеръ въ бурсѣ.

Классъ кончился. Дѣти играютъ.

Огромная комната, вмѣщающая въ себѣ второуѣздный классъ училища, носитъ характеръ казенщины, выражающей полное отсутствіе домовитости и пріюта. Стѣны, съ промерзшими насквозь углами, грязны,— въ чернобурыхъ полосахъ и пятнахъ, въ плѣсени и ржавчинѣ; потолокъ подпертъ деревянными столбами, потому что онъ давно погнулся и безъ подпорокъ грозилъ паденіемъ; полъ въ зимнее время посыпался пескомъ, либо опилками: иначе на немъ была бы постоянная грязь и слякоть отъ снѣгу, приносимаго учениками на сапогахъ съ улицы. Отъ задней стѣны идутъ парты (учебные столы); у передней стѣны, между окнами, столъ и стулъ для учителя; вправо отъ него—черная учебная доска; влѣво, въ углу у дверей, на табуретѣ—ведро воды для жаждущихъ; въ противоположномъ углу—печка; между печкой и дверями вѣшалка, на спицахъ которой виситъ цѣлый рядъ тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разнаго рода, все перешитое изъ материныхъ капотовъ и отцовскихъ подрясниковъ, — нагольное, крытое сукномъ, шерстяное и тиковое; на всемъ этомъ виднѣются клочья ваты и дыры, и много въ томъ мѣстѣ, злачнѣмъ и прохладнѣмъ, паразитовъ, поѣдающихъ тѣло плохо кормленнаго бурсака. Въ пять оконъ съ пузырчатыми и зеленоватыми стеклами пробивается мало свѣта. Вонь и копоть въ классѣ; воздухъ мозглый, какой-то прогорьклый, сырой и холодный.

Мы беремъ училище въ то время, когда кончался періодъ насильственнаго образованія и начиналъ дѣйствовать законъ великовозрастія. Были года—давно они прошли—когда не только малолѣтнихъ, но и бородатыхъ дѣтей по приказанію начальства насильно гнали изъ деревень, часто съ дьяческихъ и понамарскихъ мѣстъ, для наученія ихъ въ бурсѣ письму, чтенію, счету и церковному уставу. Нѣкоторые были обручены съ своими невѣстами и сладостно мечтали о медовомъ мѣсяцѣ, какъ нагрянула гроза и повѣнчала ихъ съ Пожарскимъ, Морскимъ, псалтыремъ и обиходомъ церковнаго пѣнія, познакомила съ майскими (розгами), проморила голодомъ и холодомъ. Въ тѣ времена и въ приходскомъ классѣ большинство было взрослыхъ, а о другихъ классахъ, особенно семинарскихъ, и говорить нечего. Достаточно пожилыхъ долго не держали, а поучивъ грамотѣ года три-четыре, отпускали дьячить; а ученики помоложе и поусерднѣе къ наукѣ, лѣтъ подъ тридцать, часто слишкомъ, достигали богословскаго курса (старшаго класса семинаріи). Родные съ плачемъ, воемъ и причитаньями отпра-

вляли своихъ птенцовъ въ науку; птенцы съ глубокой ненавистью и отвращеніемъ къ мѣсту образованія возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. Въ общество мало-помалу проникло сознаніе не пользы науки, а неизбѣжности ея. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы имѣть право даже на понамарское мѣсто въ деревнѣ. Отцы сами везли дѣтей въ школу, парты замѣщались быстро, число учениковъ увеличивалось и, наконецъ, доросло до того, что не помѣщалось въ училищѣ. Тогда изобрѣли знаменитый законъ великовозрастія. Отцы не всѣ еще оставили привычку отдавать въ науку своихъ дѣтей взрослыми и нерѣдко привозили шестнадцатилѣтнихъ парней. Проучившись въ четырехъ классахъ училища по два года, такіе дѣлались великовозрастными; эту причину отмѣчали въ титулѣ ученика (въ аттестатѣ) и отправляли за ворота (исключали). Въ училищѣ было до пятисотъ учениковъ; изъ нихъ ежегодно получали титулку человѣкъ сто и болѣе; на смѣну прибывала новая масса изъ деревень (большинство) и городовъ, а черезъ годъ отправлялась за ворота новая сотня. Получившіе титулку дѣлались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но на половину шатались безъ опредѣленныхъ занятій по епархіи, не зная, куда дѣться со своими титулками, и не разъ проносилась грозная вѣсть, что всѣхъ безмѣстныхъ будутъ верстать въ солдаты. Теперь понятно, какимъ образомъ поддерживался училищный комплектъ, и понятно, отчего это въ темномъ и грязномъ классѣ мы встрѣчаемъ наполовину сильно взрослыхъ.

На дворѣ слякоть и рѣзкій вѣтеръ. Ученики и не думаютъ итти на дворъ. Съ перваго взгляда замѣтно, что ихъ въ огромномъ классѣ болѣе ста человѣкъ. Какое разнохарактерное населеніе класса, какая смѣсь одеждъ и лицъ?.. Есть двадцатичетырехгодовалые, есть и двадцати лѣтъ. Ученики раздробились на множество кучекъ; идутъ игры—оригинальныя, какъ и все оригинально въ бурсѣ; нѣкоторые ходятъ въ одиночку, нѣкоторые спятъ, несмотря на шумъ, не только по полу, но и по партамъ, надъ головами товарищей. Стонъ стоитъ въ классѣ отъ голосовъ.

Большая часть лицъ, которыя встрѣтятся въ нашемъ очеркѣ, будутъ носить тѣ клички, которыми нарекли ихъ въ товариществѣ, напримѣръ: Митаха, Элпаха, Тавля, Шестиухая-Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Ерраноксга, Катька и т. п., но этого не можемъ сдѣлать съ Семеновымъ: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропуститъ никакая цензура—крайне неприличное.

Семеновъ былъ мальчикъ хорошенькій, лѣтъ шестнадцати. Сынъ городского священника, онъ держитъ себя прилично, одѣтъ чистенько; сразу видно, что училище не успѣло стереть съ него окончательно слѣдовъ домашней жизни. Семеновъ чувствуетъ, что онъ городской, а на городскихъ товарищество смотрѣло презрительно, называло бабами; они любятъ маменекъ да маменькины булочки и пряники, не умѣютъ драться, трусятъ розги, народъ безсильный и состоящій подъ покровительствомъ начальства. Для товарищества рѣдкій городской составлялъ исключеніе изъ этого правила. Странно было лицо у Семенова—никакъ не разгадать его: грустно и въ то же время хитро; боязнь къ товарищамъ смѣшана съ затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и онъ, шатаясь изъ угла въ уголъ, не знаетъ, чѣмъ развлечься. Онъ усиливается удержать себя вдали отъ товарищей, въ одиночку; но всѣ составили партіи, играютъ въ разныя игры, поютъ пѣсни, разговариваютъ; и ему захотѣлось раздѣлить съ кѣмъ-нибудь досугъ свой. Онъ подошелъ къ играющимъ въ камешки и робко проговорилъ:

— Братцы, примите меня.

— Гусь свиньѣ не товарищъ, — отвѣчали ему.

— Этого не хочешь ли?—проговорилъ другой, подставивъ подъ самый носъ его сытый свой кукишъ съ большимъ грязнымъ ногтемъ на большомъ пальцѣ.

— Пока по шеѣ не попало, убирайся!—прибавилъ третій.

Семеновъ отошелъ уныло въ сторону; но на него не произвели особеннаго впечатлѣнія слова товарищей. Онъ точно привыкъ и стерпѣлся съ грубымъ обращеніемъ.

— Господа, съ пылу горячихъ!

— Кому, Тавля?—отозвались голоса.

— Гороблагодатскому.

Семеновъ вмѣстѣ съ другими направился къ столу, около котораго тоже шла игра въ камешки между двумя великовоз-

растными, при чемъ Гороблагодатскій былъ второй силачъ въ классѣ, а Тавля—четвертый. Лица, окружавшія игроковъ, пріятно осклаблялись, ожидая увеселительнаго зрѣлища.

— Ну!—сказалъ Тавля.

Гороблагодатскій положилъ на столъ руку, растопыривъ на ней пальцы. Тавля размѣстилъ на рукѣ его пять небольшихъ камней самымъ неудобнымъ образомъ.

— Валяй,—сказалъ онъ.

Тотъ вскинулъ кверху камни и поймалъ изъ нихъ только три.

— За два!—подхватили окружающіе.

— Пиши, братъ, къ родителямъ письма,—прибавилъ Тавля, съ своей стороны.

Гороблагодатскій, ничего не отвѣчая, положилъ лѣвую руку на столъ. Тавля кинулъ камень въ воздухъ, во время его полета успѣлъ съ страшной силой щипнуть руку Гороблагодатскаго и опять поймалъ камень.

Толпа захохотала.

Игра въ камешки, вѣроятно, всѣмъ извѣстна, но въ училищѣ она имѣла оригинальныя дополненія: здѣсь она со щипчиками, и притомъ щипчиками холодненькими, тепленькими, горяченькими и съ пылу горячими, которые доставались проигравшему. Безъ щипчиковъ играла самая молодая, самая зеленая приходчина, а при щипчикахъ «съ пылу горячихъ» присутствуетъ теперь читатель.

Между тѣмъ матка (главный камень) летала въ воздухѣ, а Тавля своими здоровенными руками скручивалъ кожу на рукѣ партнера и дергалъ ее съ ожесточеніемъ. Послѣ двадцати щипчиковъ рука сильно покраснѣла; послѣ пятидесяти—появилась синева.

— Любо ли?—спрашиваетъ Тавля, заглядывая ему въ глаза.

Противникъ молчитъ.

— Любо ли?

Опять отвѣта нѣтъ.

— Взъерепень, взъерепень его!—говорятъ окружающіе.

— Заплачь, такъ прощу! — говоритъ Тавля.

— Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! — отвѣтилъ Гороблагодатскій. Здоровый дѣтина выносилъ сильную боль въ рукѣ, но только мрачный взглядъ обнаруживалъ, что онъ чувствуетъ.

— Что, дядя, больно?

Тавля далъ такого щипка, что Гороблагодатскій невольно стиснулъ зубы. Всѣ захохотали.

— Живота аль смерти?

Сильный щипокъ повторился при хохотѣ зрителей. Въ этомъ хохотѣ не слышалось злорадованья или непріязненной насмѣшки; товарищи видѣли во всемъ только комическую сторону. Одинъ лишь Семеновъ улыбался какъ-то особенно, его удовольствіе не походило на удовольствіе другихъ; и дѣйствительно, онъ затаенно повторялъ въ душѣ:

«Такъ и надо, такъ и надо!»

Дошло до ста...

— Ну, чортъ съ тобой! — заключилъ, наконецъ, Тавля.

Гороблагодатскій глубоко ненавидѣлъ Тавлю и рѣшился на игру съ нимъ въ надеждѣ остаться побѣдителемъ и задать ему болѣе, чѣмъ съ пылу горячихъ. Оба они были второкурсные. Каждое учебное заведеніе имѣетъ свои преданія. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали изъ себя товарищество, которое стало въ враждебное отношеніе къ начальству и завѣщало своимъ потомкамъ ненависть къ нему. Начальство, съ своей стороны, также стало во враждебныя отношенія къ товариществу и, чтобы сдерживать его въ границахъ училищной инструкціи (кодексъ правилъ для поведенія и ученія), изобрѣло цѣлую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздѣльшееся на ся, не устоитъ, оно отдало однихъ товарищей подъ власть другимъ, желая внести въ среду ихъ междоусобіе. Такими властями были: старшіе спальные—изъ второуѣздныхъ; старшіе дежурные—изъ спальныхъ, справляя недѣльную очередь по своему училищу; цензоры—надзирающіе за поведеніемъ въ классѣ; авдитора — выслушивающіе по утрамъ уроки и отмѣчающіе баллы въ нотатахъ (особой тетради для балловъ), наконецъ послѣдняя власть и едва ли не самая страшная — сѣкундаторъ, ученикъ, который, по приказанію учителя, сѣкъ своихъ товарищей. Всѣ эти власти выбирались изъ второкурсныхъ. Ученикъ, просидѣвъ за партою два года, за лѣность и малоуспѣшность оставался въ томъ же классѣ еще на два, — этотъ и назывался второкурснымъ. Очень естественно, что

такой ученикъ что-нибудь да выносилъ изъ уроковъ учителей и потому больше зналъ, чѣмъ первокурсный; это бралось начальствомъ во вниманіе, и расчетъ былъ вѣренъ: второкурсные, желая удержать власть въ рукахъ, учились усердно, и большинство изъ нихъ заняло первыя мѣста, потому что не бездарность, а лѣнь дѣлала ихъ второкурсными. Вотъ основы училищной бюрократіи, при помощи которой начальство хотѣло разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Къ второкурснымъ было полное довѣріе начальства: жалоба на нихъ была оскорбленіемъ для смотрителя и инспектора; деспотизмъ ихъ развился въ высшей степени, и ничто такъ не оподляетъ духъ учебнаго заведенія, какъ власть товарища надъ товарищемъ; цензоры, авдиторы, старшіе и сѣкундаторы получили полную возможность дѣлать что угодно. Цензоръ былъ чѣмъ-то въ родѣ царька въ своемъ царствѣ, авдиторы составляли придворный штатъ, а второкурсные — аристократію. Притомъ второкурсные, просидѣвъ лишнихъ два года, понятно, сдѣлались взрослыми, а потому и физическая сила была на ихъ сторонѣ. Наконецъ по той же причинѣ они знали обряды и формы своего класса, характеръ учителей, умѣнье надувать ихъ. Новичокъ безъ помощи второкурснаго не умѣлъ ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизмъ, думало, что оно поселитъ въ товариществѣ ябеду и доносъ. Случилось совсѣмъ не то: при училищномъ второкурсіи только народились въ товариществѣ такія гадины, отвратительныя гадины, какъ Тавля, и такіе дикіе характеры, какъ Гороблагодатскій. Они ненавидѣли другъ друга, потому что воспользовались данною имъ властью для разныхъ цѣлей. Тавлю ненавидѣли и другіе силачи—Лашезинъ и Бенелявдовъ; его всѣ ненавидѣли и презирали.

Тавля, въ качествѣ второкурснаго авдитора, притомъ въ качествѣ силача, былъ нестерпимый взяточникъ, дралъ съ подчиненныхъ деньгами, булкой, порціями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля былъ ростовщикъ. Ростъ въ училищѣ, при нелѣпомъ его педагогическомъ устройствѣ, былъ безсовѣстенъ, наглъ и жестокъ. Въ такихъ размѣрахъ онъ нигдѣ и никогда не былъ и не будетъ. Вовсе не рѣдкость, а, напротивъ, норма, когда десять копеекъ, взятыя на недѣльный срокъ, оплачивались пятнадцатью копейками, т.-е., по общепринятому займу на годъ, это выйдетъ двадцать пять разъ капиталъ на капиталъ. При этомъ должно замѣтить, если должникъ не приносилъ, по условію, долга черезъ недѣлю, то черезъ слѣдующую недѣлю онъ обязанъ былъ принести, вмѣсто пятнадцати, двадцать копеекъ. Такой ростъ неизвѣстно съ какихъ поръ вошелъ въ обычай бурсы; не одинъ Тавля живодерничалъ, онъ былъ только виднѣе другихъ. Необходимость въ займѣ всегда существовала. Цензоръ или авдиторъ требовали взятки; не дать—бѣда, а денегъ нѣтъ, вотъ и идетъ первокурсный къ своему же товарищу, но ростовщику, согласенъ на какой угодно процентъ, лишь бы избавиться отъ прежестокихъ грядущихъ розгачей. Кредитъ обыкновенно гарантируется кулакомъ, либо всегдашнею возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на ростъ только второкурсники. Надо замѣтить, что большая часть тягостей въ этомъ отношеніи падала на городскихъ, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили съ собой деньжонки; поэтому на городскихъ налегали всѣ, хотя и изъ нихъ считался уже богачомъ, кто получалъ на недѣлю какой-нибудь гривенникъ. Поэтому многіе были въ неоплатномъ долгу и нерѣдко состояли въ бѣгахъ. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизмѣ второкурсія. Онъ жилъ бариномъ, никого знать не хотѣлъ; ему писались записки и вокабулы, по которымъ онъ учился; самъ не встанетъ для того, чтобы напиться воды, а кричитъ: «эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велитъ взять перочинный ножъ и скоблить ему между волосами въ головѣ, очищая эту поганую голову отъ перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлялъ говорить ему сказки, да непремѣнно страшныя, а не страшно, такъ отдуетъ; да и чѣмъ только при глубокомъ развратѣ Тавли не служили для него подавдиторные! При всемъ этомъ онъ былъ жестокъ съ тѣми, кто служилъ ему.—«Хочешь, говоритъ, Катька, рябчика съѣсть?» и начинаетъ щипать подчиненнаго за волосы.—«Тебя маменька вотъ такъ гладила по головкѣ; постой же,

я покажу, какъ папенька гладитъ»; послѣ этого, уставивъ палецъ противъ шерсти (волосъ), онъ плотно проводилъ имъ отъ начала лба и до конца затылка.—«Видалъ ли ты Москву?» спрашиваетъ онъ ученика и прикладываетъ свои широкія, плотныя, скверныя ладони къ ушамъ подавдиторнаго, сжимаетъ между ними голову его и потомъ, приподнявъ на воздухъ, говоритъ: «теперь видишь ли Москву? вонъ она!» Онъ загибалъ своимъ товарищамъ салазки, т.-е. положитъ ученика на сидѣнье парты, лицомъ вверхъ, подниметъ его ноги и гнетъ ихъ къ лицу. Плюнуть въ лицо товарищу, ударить его и всячески изобидѣть составляло потребность его души. Извѣстно было товарищамъ, что онъ однажды добылъ изъ гнѣзда неоперившихся воробьиныхъ птенцовъ, взялъ за тонкія ноги и разорвалъ воробьевъ на части. Меньшинство его ненавидѣло; большинство боялось и ненавидѣло.

Гороблагодатскій былъ сильная, но дикая натура. Второкурсіе отразилось на немъ совершенно иначе, нежели на Тавлѣ. Онъ былъ положительнымъ доказательствомъ, что начальство ошиблось въ расчетѣ, вводя деспотизмъ ученика надъ ученикомъ и черезъ то желая ввести въ товарищество ябеду и доносъ. Товарищество въ самомъ деспотизмѣ нашло себѣ опору. Второкурсные сдѣлались хранителями преданій и, получивъ по наслѣдству ненависть къ начальству, употребляли власть, имъ данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензоръ, авдиторы, секундаторъ стали на сторонѣ товарищества, а во главѣ ихъ всѣхъ, въ тотъ курсъ, который описываемъ мы, стоялъ Гороблагодатскій. Пьянство, нюханье табаку, самовластныя отлучки изъ училища, драки и шумъ, разныя нелѣпыя игры — все это было запрещено начальствомъ и все это нарушалось товариществомъ. Нелѣпая долбня и спартанскія наказанія ожесточали учениковъ, и никого они такъ не ожесточали, какъ Гороблагодатскаго.

Онъ былъ отпѣтый.

Отпѣтый характеристиченъ и по внутреннему и по внѣшнему складу. Онъ ходитъ, заломивъ козырь на шапкѣ, руки накрестъ, правымъ плечомъ впередъ, съ отважнымъ переваломъ съ ноги на ногу; вся его фигура такъ и говоритъ: «Хочешь, тресну въ рожу? думаешь, не посмѣю!»—рѣдко даетъ кому дорогу; обойдетъ начальника далеко, чтобы только избѣжать поклона. Гороблагодатскій поддерживаетъ самое неприличное дѣло, если оно относится ко вреду высшихъ властей, отмачиваетъ дикія штуки. Онъ—ревнитель старины и преданій, стоитъ за свободу и вольность бурсака, и, если нужно будетъ, не пощадитъ для этого священнаго дѣла ни репутаціи ни титулки. Онъ основной столбъ товарищества. Бурсаки съ такими доблестями обыкновенно звались отпѣтыми. Но отпѣтые были разнаго рода; одни изъ нихъ назывались благими: это были дураковатые господа, но держащіеся тѣхъ же принциповъ; другіе назывались отчвалыми: эти были вообще не глупы, но лѣнтяи безнабашные; Гороблагодатскій же былъ отпѣтый башка; онъ шелъ въ первыхъ по ученію и въ послѣднихъ по поведенію. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: напримѣръ, вдругъ захочетъ учителю въ лицо и покажетъ ему кукишъ; вздерутъ благого, а черезъ нѣсколько времени онъ опять выкинетъ какую-нибудь глупую дерзость. Но никто изъ отпѣтыхъ такъ не солилъ начальству, какъ Гороблагодатскій. Если вымазали эконому двери нестерпимой размазней (жидкая гречневая каша), нелюбимому учителю вшей [1]) напустили въ шубу, свиньѣ инспектора переломали ноги или оторвали хвостъ, обокрали погребъ смотрителя, выбили ночью цѣлый рядъ стеколъ—все это были дѣла Гороблагодатскаго, который смѣло велъ за собою на пакость начальству благихъ и отчвалыхъ. Когда требовалось устроить стачку противъ начальства, то опять коноводомъ былъ Гороблагодатскій: подъ его вліяніемъ отпѣтые настраивали недавно сѣченныхъ и вообще недовольныхъ; эти волнуютъ весь классъ, самые смиренные и кроткіе начинаютъ шумѣть и грозить, товарищество возбуждено — и зрѣетъ бурсацкій скандалъ, который на

---

[1]) Этихъ насѣкомыхъ было огромное количество въ бурсѣ. Не повѣрятъ, что одинъ ученикъ былъ почти съѣденъ ими: онъ служилъ какимъ-то огромнымъ гнѣздомъ для паразитовъ; цѣлыя стада на виду ходили въ его нестриженой и нечесаной головѣ; когда однажды сняли съ него рубашку и вынесли ее на снѣгъ, то снѣгъ зачернѣлся отъ нихъ. Вообще неопрятность бурсы была поразительна: золотуха, чесотка и грязь ѣли тѣло бурсака.

мѣстномъ языкѣ называется бунтомъ. Протестанты напередъ знаютъ, что они ничего не добьются отъ начальства: если, напримѣръ, ихъ кормили убоиной, похожей на падаль, то они увѣрены, что и послѣ возмущенія будутъ ѣсть ту же убоину; но они, по крайней мѣрѣ, гнѣвъ сорвутъ, а тамъ пори себѣ десятаго.

Гороблагодатскому, какъ отпѣтому, часто доставалось отъ начальства; въ продолженіе семи лѣтъ онъ былъ сѣченъ разъ триста и безконечное число разъ подвергался другимъ разнообразнымъ наказаніямъ бурсы; но во всякомъ случаѣ, должно сказать, что его все-таки мало сѣкли: за его разныя продѣлки ему слѣдовало бы подвергнуться наказаніямъ, по крайней мѣрѣ, въ пять разъ болѣе, но онъ былъ ловокъ и хитеръ. Въ бурсѣ отпѣтыми было изобрѣтено много способовъ, чтобы надувать начальство. Особенно замѣчателенъ былъ пріемъ подъ названіемъ—пустить въ круговую. Напримѣръ, отнимутъ табакерку у А; А говоритъ что она не его, а В; В ссылается на Д, Д на А, А опять на В—вотъ и круговая: разыщите, чья табакерка. Въ круговую вводилось человѣкъ тридцать, и тогда самъ Соломонъ не разберетъ, кого слѣдуетъ выпороть. При бунтахъ всегда прибѣгали къ круговой.—«Ты зачѣмъ кричалъ во время класса?»—«Меня научилъ такой-то».—«А ты зачѣмъ?» — Тотъ ссылается на другого, и пошла коловоротица, въ которой самъ чортъ ногу сломитъ. Надуть товарищество считалось преступленіемъ, надуть начальство—подвигомъ и добродѣтелью. Случалось, что сѣкли не того, кого слѣдуетъ, но наказываемый рѣдко выдавалъ виноватаго. Добровольное сознаніе въ проступкѣ ученики признавали за пошлость и трусость; напротивъ, кто больше и наглѣе лгалъ передъ начальникомъ, безсовѣстно запирался, путалъ дѣло мастерски, божился и клялся на чемъ свѣтъ стоитъ, тотъ высоко стоялъ въ глазахъ бурсацкой общины. Но и въ этомъ отношеніи Гороблагодатскій стоялъ выше всѣхъ; послѣ долгой практики въ скандалахъ разнаго рода онъ навыкъ въ самомъ изворотливомъ запирательствѣ. Другіе только не сознавались въ проступкѣ, а онъ съ самоувѣренной дерзостью, глядя прямо въ глаза начальству, огрызался, и въ то время такая оскорбленная невинность была написана на его лицѣ, что опытный физіономистъ и психологъ сбился бы съ толку. Онъ входилъ до того въ роль невиннаго, что самъ считалъ себя невиннымъ и подъ лозами никогда не сознавался. Все, что исходило отъ начальства, онъ презиралъ и ставилъ ни во что: поэтому розги, оплеухи, лишенія обѣда, стоянье на колѣняхъ, земные поклоны и т. п. для него положительно не имѣли никакого моральнаго значенія. Наказаніе было до такой степени дѣло не позорное, лишенное смысла и полное только боли и крика, что Гороблагодатскій, сѣченный публично въ столовой, предъ лицомъ пятисотъ человѣкъ, не только не стѣснялся сряду же послѣ порки явиться передъ товарищами, но даже похвалялся передъ ними. Полное безстыдство предъ начальнической розгой создало мѣстную поговорку: не рѣпу сѣютъ, а сѣкутъ только. Да чего лучше: сѣкундаторъ, товарищъ, сѣкущій своихъ товарищей, уважаемъ и любимъ былъ ими, потому что и онъ служилъ въ ихъ видахъ: искусный въ своемъ дѣлѣ, онъ сильно升 дралъ своихъ товарищей, и свистѣли лозы по воздуху, когда подъ ними лежала добрая голова. Гороблагодатскаго много сѣкли; случалось ему вкушать даже до ста ударовъ, и потому онъ переносилъ розги легче, нежели его товарищи, вслѣдствіе чего съ абсолютнымъ презрѣніемъ относился къ какому бы то ни было наказанію. Ставили его колѣнями на покатой доскѣ парты, на выдающееся ребро ея, заставляли въ двухъ шубахъ волчьихъ дѣлать до двухсотъ земныхъ поклоновъ, приговаривали держать въ поднятой рукѣ, не опуская ее, тяжелый камень по получасу и болѣе (нечего сказать, изобрѣтательно было начальство), жарили его линейками, били по щекамъ, посыпали сѣченное тѣло солью (вѣрьте, что это фактъ)—все онъ переносилъ спартански; лицо его дѣлалось послѣ наказанья свирѣпо и дико, а на душѣ копилась ненависть къ начальству. Мы видѣли въ Гороблагодатскомъ переносчивость физической боли, когда Тавля задавалъ ему съ пылу горячихъ.

Но кража, сплетни, порча чужихъ вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а въ себѣ самомъ товарищество было честно, и съ этой стороны Гороблагодатскій является въ новомъ свѣтѣ. Онъ не

взялъ ни одной взятки, безпристрастно и справедливо отмѣчалъ подавдиторнымъ баллы, не куражился надъ ними, часто защищалъ слабосильныхъ, любилъ вмѣшиваться въ ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо рѣшалъ ихъ; онъ постоянно солилъ ростовщикамъ и взяточникамъ. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатскій глубоко ненавидѣлъ Тавлю за его гнусную натуру; но онъ съ нимъ играетъ въ камешки; ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончивъ щипчики, Тавля предложилъ лукаво:

— Не хочешь ли еще?

Тавля отлично игралъ въ камешки и надѣялся на себя.

— Давай!—упорно отвѣчалъ Гороблагодатскій.

Камни опять защелкали.

Семеновъ издали наблюдалъ за игроками. Семеновъ былъ третій типъ училищный, созданный тою же бурсацкою администраціею. Товарищество сегодня огласило его фискаломъ.

Начальство понимало, что черезъ свое педагогическое устройство бурсы оно не достигло цѣли, но, вмѣсто того, чтобы отказаться отъ училищныхъ порядковъ, оно пошло по пути нелѣпостей далѣе. Явилось новое должностное лицо — фискалъ, который тайно сообщаетъ начальству все, что дѣлалось въ товариществѣ. Понятно, какую ненависть питали ученики къ наушнику; и дѣйствительно, требовался громадный запасъ подлости, чтобы рѣшиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда: они и безъ того занимали видное мѣсто въ спискѣ; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькіе трусы; за низкую послугу начальство переводило ихъ изъ класса въ классъ, какъ дѣльныхъ учениковъ. Но мы сказали, что товарищество само въ себѣ было честно и потому не уважало тѣхъ учениковъ, которые, за взятку начальству, по родственнымъ связямъ, по протекціи, а тѣмъ болѣе за фискальство, занимали не свое мѣсто въ спискѣ. Кромѣ того, ученики вполнѣ справедливо были увѣрены, что наушникъ переносилъ не только то, что въ самомъ дѣлѣ было въ товариществѣ, но и клеветалъ на нихъ, потому что фискалъ долженъ былъ всячески доказать свое усердіе къ начальству. Но когда онъ передавалъ инспектору или смотрителю даже правду, и тогда онъ возбуждалъ въ классѣ ненависть и злобу: напримѣръ, дѣти собираются устроить попойку, оторвать хвостъ экономской свиньѣ, улизнуть къ знакомой прачкѣ или чѣмъ инымъ развлечься, и вдругъ инспекторъ, предувѣдомленный заранѣе, вмѣсто развлеченія, дралъ ихъ не на животъ, а на смерть. Правда, въ большинствѣ случаевъ, при непобѣдимомъ упорствѣ бурсаковъ, доносы не вели къ наказанію, но начальство изъ доносовъ все-таки умѣло сдѣлать полезное для себя употребленіе. Какъ объяснить, отчего инспекторъ за одинаковое преступленіе двоихъ учениковъ наказывалъ неодинаково? Это большею частью объяснилось тѣмъ, что на ученика, сильно наказаннаго, были доносы отъ фискаловъ. Начальство особенно не терпѣло тѣхъ лицъ, которыя ненавидѣли и преслѣдовали наушниковъ. Всякая ябеда, добытая черезъ наушниковъ, вносилась въ черную книгу. Эта книга имѣла огромное значеніе при переводѣ изъ класса въ классъ; тогда многимъ неожиданно вручались волчьи паспорты; это тѣ же титулки, только съ отмѣткою въ нихъ о дурномъ поведеніи: такія титулки объяснялись единственно черною книгою.

Семеновъ чувствовалъ, но страшно вѣрить ему было, что товарищество догадалось, что онъ фискалъ. Онъ ясно замѣтилъ, что съ нимъ никто не хочетъ слова сказать, а первой мѣрой противъ наушника было молчаніе: цѣлый классъ, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, съ фискаломъ. Положеніе ужасное: жить цѣлыя недѣли среди живыхъ людей и не услышать ни одного привѣтливаго звука, видѣть на всѣхъ лицахъ отталкивающее презрѣніе и отвращеніе, вполнѣ быть увѣрену, что никто ни въ чемъ не поможетъ, а, напротивъ, съ радостью сдѣлаетъ зло. И дѣйствительно, фискалъ становится въ товариществѣ внѣ покровительства всякихъ законовъ: на него клеветали, подводили подъ наказанія, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведеніе относительно фискала считалось безчестнымъ.

Но начальство все-таки напрасно развратило навѣки нѣсколько десятковъ человѣкъ, сдѣлавъ изъ нихъ наушниковъ: училищная жизнь развивалась въ своихъ нелѣпыхъ формахъ, и товарищество дѣлало, что хотѣло.

Семеновъ, смотря на играющихъ въ камешки, злорадно усмѣхнулся.

— Съ пылу горячіе! закричалъ Гороблагодатскій.

Въ его голосѣ было что-то зловѣщее. Тавля струсилъ и поблѣднѣлъ на минуту. Около стола опять толпа. Опять камень летаетъ въ воздухѣ, но теперь Тавлина рука лежитъ на столѣ; напрасно онъ понадѣялся на себя: Гороблагодатскій въ одинъ пріемъ взялъ всѣ восемь коновъ, а Тавля срѣзался на пятомъ...

— Конца не будетъ!—сказалъ сурово Гороблагодатскій.

Тавля видимо струсилъ. Окружающіе не смѣялись: они видѣли, что дѣло идетъ не на шутку, что Гороблагодатскій мститъ.

Дошло до ста. Отъ здоровенныхъ щипчиковъ вспухла рука Тавли. Онъ выносилъ страшную боль, наконецъ, не вытерпѣлъ и проговорилъ просительно:

— Да ну, полно же!..

— Послѣ двухсотъ проси пощады,—отвѣчалъ Гороблагодатскій.

— Вѣдь больно!..

— Еще больнѣе будетъ.

На сто семидесятомъ щипкѣ у Тавли рука покрылась темно-синимъ цвѣтомъ. Онъ чувствовалъ ломъ до самаго плеча...

— Довольно же, Ваня... что же это будетъ?

Гороблагодатскій, вмѣсто отвѣта, съ ожесточеніемъ щипнулъ Тавлю.

Тавля зналъ, что слово Гороблагодатскаго ненарушимо, однако онъ ощущалъ до того сильную боль во всей рукѣ, что не могъ не просить:

— Оставь... Вѣдь натѣшился.

— Скажи только слово, еще двѣсти закачу!..

Гороблагодатскій далъ щипокъ, болѣе чѣмъ съ пылу горячій. Тавля не вынесъ: по щекамъ его потекли слезы.

Наконецъ двѣсти.

— Теперь прощенья проси!

Какъ ни больно Тавлѣ, а стыдно прощенья просить.

— Да ну, оставь же!

— Зачѣмъ насмѣхался давеча!

— Такъ то вѣдь шутка!

— Такъ ты смѣешь, животное, надо мной шутить?

Жестоко щипнулъ онъ Тавлю.

— Ну, прости меня, Ваня...

Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мученія ненавистнаго для него Тавли. Онъ собралъ всѣ силы, и отъ послѣдняго щипка рука Тавли почернѣла.

— Будетъ съ тебя. Сытъ ли?..—спросилъ Гороблагодатскій.

Лишь только освободился Тавля, страхъ въ душѣ его смѣнился бѣшенствомъ и злостью.

— Подлецъ!—проговорилъ онъ.

— Слышь, не задѣвай! въ зубы съѣзжу!

— Ты?

— Я. А вотъ и харя, съѣзди,—сказалъ Гороблагодатскій, подставляя свое лицо...

Тавля забылся въ бѣшенствѣ и залѣпилъ оглушительную плюху своему врагу, но въ отвѣтъ получилъ еще здоровѣйшую. Завязалась драка...

«Такъ и надо, такъ и надо!..» шевелилось въ душѣ Семенова...

Тавля такъ ошалѣлъ отъ злости, что, несмотря на истерванную свою руку, не уступалъ Гороблагодатскому, хотя тотъ былъ сильнѣе его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было рѣшить, на чьей сторонѣ осталась побѣда... Гороблагодатскій затаилъ и эту обиду въ душѣ.

Гороблагодатскій послѣ драки пошелъ къ ведру напиться; на дорогѣ ему попался Семеновъ. Онъ далъ Семенову затрещину и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ свой путь. Семеновъ со злостью посмотрѣлъ на него, но не смѣлъ пикнуть слова.

Постоявъ немного посреди класса, Семеновъ сталъ безцѣльно шляться изъ угла въ уголъ и между партами, останавливаясь то здѣсь, то тамъ.

Посмотрѣлъ онъ, какъ играютъ въ чехарду—игра, вѣроятно, всѣмъ извѣстная, а потому и не будемъ ее описывать. Въ другомъ мѣстѣ два парня ломали пряники, т.-е., вставъ спинами одинъ къ другому и сцѣпившись руками около локтей, поочередно взваливали себѣ на спину другъ друга; это дѣлалось быстро, отчего и составлялась изъ двухъ лицъ одна качающаяся фигура. У печки сѣкундаторъ, по прозванію Супина, учился своему ма-

стерству; въ рукахъ его отличныя лозы; онъ помахивалъ ими и выстегивалъ въ воздухѣ полосы, которыя должны будутъ лечь на тѣло его товарища. На третьей партѣ играли въ швычки: эта деликатная игра состоитъ въ томъ, что одному игроку закрываютъ глаза, наклоняютъ голову и сыплютъ въ голову щелчки, а онъ долженъ угадать, кто его ударилъ; не угадалъ—опять ложись; угадалъ — на смѣну его ляжетъ угаданный. Семеновъ увидѣлъ, какъ его товарищу пустили въ голову цѣлый рядъ швырковъ и какъ тотъ, вставая, хватился руками за голову.

«Такъ и надо!» повторилъ онъ въ душѣ и пошелъ къ пятой партѣ.

Тамъ одна партія дулась въ три листика, а другая въ носки: извѣстная игра въ карты, въ которой проигравшему бьютъ по носу колодой картъ.

Семеновъ перешелъ къ седьмой партѣ и полюбовался, какъ шесть нахаживали. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взадъ и впередъ.

На слѣдующей партѣ Митаха выдѣлывалъ богородиченъ на швычкахъ, т.-е. онъ пѣлъ благимъ гласомъ «Всемірную славу» и въ тактъ подщелкивалъ пальцами. Тутъ же Ерундія (прозвище) игралъ на белендрясахъ, перебирая свои жирныя губы, которыя, шлепаясь одна о другую, по мѣстному выраженію, белендрясили. Третій артистъ старался возможно быстро выговаривать: «подъ потолкомъ полкомъ полколпака гороху», «нашего понамаря не перепонамаривать стать», «сыворотка изъ подъ простокваши».

Наконецъ Семеновъ пробрался до стѣны. Здѣсь Омега и Шестиухая - Чабря играли въ плевки. Оба старались какъ можно выше плюнуть на стѣну. Игра шла на смазь. Шестиухая-Чабря плюнулъ выше.

— Подставляй! — сказалъ онъ, расправляя въ воздухѣ свою пятерню.

Омега выпятилъ свою лупетку (лицо).

— Надувайся! сказалъ Чабря.

Омега надулъ щеки.

— Шире бери!

Омега до того надулся, что покраснѣлъ.

— Верховая,—началъ Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги: — низовая,—прикладывая къ подбородку, — двѣ боковыхъ,—прикладывая къ одной и другой щекѣ.—Надувайся!

Омега надулся.

— И всеобщая!—торжественно воскли нулъ Шестиухая-Чабря.

Послѣ этого онъ забралъ лицо Оме въ пясть, такъ что оно между пальца проступило жирными и лоснящимися ска ками, и трясъ его за упитанные морда и кверху и книзу.

Семенову было скучно. Онъ не зна что дѣлать...

— Леденцовъ, пряниковъ! Пряниковъ леданчиковъ!

Это былъ голосъ Элпахи, которы обыкновенно торговалъ пряниками и ле дянцами, отъ чего получалъ не малу выгоду, потому что покупалъ фунтами, продавалъ по мелочи.

Семеновъ очутился около него.

— На сколько?—спросилъ его Элпаха оглядываясь вокругъ и около, потому чт товарищество запрещало говорить съ Се меновымъ, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.

— На пять копеекъ.

— Деньги?

— Вотъ!

— Держи.

— Что жъ ты обсосанныхъ даешь?

— Лучшій сортъ.

— Перемѣни, Элпаха.

— Леданчиковъ, пряниковъ! — закричалъ Элпаха, отворачиваясь въ сторону.

Семеновъ, держа на ладони, разсматривалъ леданцы, не зная, съѣсть ихъ или бросить, и уже рѣшился съѣсть, какъ кто-то сзади подкрался, схватилъ съ руки лакомство и быстро скрылся. Семеновъ со злобой посмотрѣлъ на товарищей, но безсильна была его злоба, и въ то же время одурь брала его отъ скуки.

— Давай играть въ костяшки, сказалъ ему Хорь.

Семеновъ самъ удивился, что съ нимъ заговорилъ товарищъ.

Онъ недовѣрчиво смотрѣлъ на Хоря.

— Что глядѣлки-то пучишь? не бойся!

— Надуешь...

— Ну, вотъ, дуракъ... что ты!

— Побожись.

— Ей-Богу, вотъ-те Христосъ!

— Право, не надуешь?

— Побожился, чего жъ тебѣ еще?

— Ну, ладно,—отвѣтилъ Семеновъ,— отъ души обрадовавшись, что съ нимъ заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.

Въ училищѣ была своя монета — костяшки отъ брюкъ, жилетовъ и сюртуковъ. За единицу принималась однодырочная костяшка; двѣ однодырочныхъ равнялись четырехдырочной или парѣ; пять паръ—кучѣ или грошу, пять кучъ—великой кучѣ. Костяшки имѣли цѣну, опредѣленную разъ навсегда, и во всякое время за пять паръ можно было получить грошъ. Огромное количество костяной монеты обращалось въ бурсѣ. Ею платили при игрѣ въ юлу и въ четъ-нечетъ. Бывали владѣтели сотни великихъ кучъ и болѣе; ихъ можно узнать по тому, что они всегда держатъ руку въ карманѣ и роются тамъ въ костяномъ богатствѣ. Употребленіе костяной монеты породило особаго рода промышленниковъ, которые по ночамъ обрѣзывали костяшки на одеждѣ товарищей или дѣлали это во время классовъ, подъ партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуковъ.

Хорь былъ одинъ изъ такихъ промышленниковъ. У Хоря ничего не было своего—все казенное, и если бы не казна, вы увидѣли бы въ лицѣ его возможность на Руси совершенно голаго человѣка. У него почти никогда не водилось денегъ. Въ продолженіе семи лѣтъ у него не перебывало и семи рублей, такъ что настоящая монета для него была менѣе дѣйствительна, чѣмъ костяшки. Это былъ нищій второуѣзднаго класса, и мастеръ же онъ былъ кальячить. Узнавъ, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, онъ приставалъ къ нему, какъ съ ножомъ къ горлу, канючилъ и выпрашивалъ до тѣхъ поръ, пока не удовлетворятъ его желаніе. Будучи безъ роду и племени, круглый сирота, онъ безвыходно жилъ въ училищѣ, на каникулы никогда не ѣздилъ и до того втянулся во всѣ формы бурсацкой жизни, что, кромѣ ея, другой не существовало для него. Только въ каникулярное время посѣщалъ онъ базаръ сосѣдній, рѣку да лѣсъ: здѣсь былъ конецъ его свѣта. Учиться Хорь терпѣть не могъ, но учился, потому что не могъ терпѣть и розги: изъ двухъ золъ (а бурсацкое ученье — зло) приходилось выбирать меньшее. Онъ былъ страстный игрокъ въ костяшки; но, наживши кое-какъ великую кучу, онъ либо вымѣнивалъ ее на деньги и проѣдалъ ихъ съ жадностью нищаго, либо опять проигрывалъ, потому что игралъ не совсѣмъ счастливо. Тогда съ перочиннымъ ножомъ онъ промышлялъ подъ партами, либо по ночамъ подъ подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища, такимъ образомъ, онъ споролъ съ одежды всѣ костяшки, такъ что не на что было застегнуться—все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдовъ, первый силачъ класса, во время урока, при учителѣ, поймалъ его за волосы подъ партой и задалъ ему волосянку. Просить пощады нельзя было, замѣтитъ учитель. Послѣ долго смѣялись надъ Хоремъ, говоря, что у него волосы распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, т.-е. однодырочная.

— Четъ аль нечетъ?—спросилъ онъ, загадывая.

— Пусть нечетъ,—отвѣчалъ Семеновъ.

— Твое. Теперь ты.

Семеновъ загадалъ; но лишь только открылъ онъ ладонь, чтобы сосчитать, вѣрно ли Хорь сказалъ «нечетъ», какъ хищный Хорь схватилъ костяшки и спряталъ ихъ къ себѣ въ карманъ.

— Что же это, Хорь?—говорилъ Семеновъ.

— Я тебѣ Хорь?.. а въ ухо хочешь?

— Оплетохомъ,—сказалъ одинъ изъ товарищей.

— Беззаконноваxомъ,—прибавилъ другой.

— И неправдоваxомъ,—заключилъ третій.

— Отдай, Хорь! право, отдай.

— Опять Хорь!.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

Семеновъ не сталъ болѣе разговаривать. Несчастный отошелъ въ сторону. Нигдѣ не было для него пріюта. Онъ вспомнилъ, что у него въ партѣ есть горбушка съ кашей. Семеновъ хотѣлъ позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновеніями съ товарищами, онъ обратился къ нимъ со словами:

— Господа, это подло, наконецъ!

— Что такое?

— Кто взялъ горбушку?

— Съ кашей?—отвѣчали ему насмѣшливо.

— Стибрили?

— Сбондили?

— Сляпсили?

— Сперли?

— Лафа, братъ!

Всѣ эти слова въ переводѣ съ бурсацкаго на человѣческій языкъ означали: «украли», а лафа—лихо!

— Комедо!—раздался голосъ Тавли.

— Иду!—было отвѣтомъ.

Семеновъ еще послѣ обѣда подслушалъ, что у Комеды съ Тавлей состоялся странный споръ на пари, и потому поспѣшилъ на голосъ Тавли, забывъ о своей горбушкѣ.

— Готово?—спросилъ Комедо.

— Есть,—отвѣчалъ Тавля и развязалъ узелъ, въ которомъ оказалось шесть трехкопеечныхъ булокъ.

— Сожрешь?

— Сказано.

Толпа любопытныхъ обступила ихъ. Комедо былъ парень лѣтъ девятнадцати, высокаго роста, худощавый, съ старообразнымъ лицомъ, сгорбленный.

— Условія?

— Не стрескаешь—за булки деньги заплати, а стрескаешь — съ меня двадцать копеекъ.

— Давай.

— Смотри, ничего не пить, пока не съѣшь.

Вмѣсто отвѣта Комедо сталъ уплетать бѣлый хлѣбъ, который такъ рѣдко ѣдятъ бурсаки.

— Разъ!—считали въ толпѣ:—два, три, четыре...

— Ну-ка пятую...

Комедо улыбнулся и съѣлъ пятую.

— Хоть на шестой-то подавись!

Комедо улыбнулся и съѣлъ шестую.

— Прорва!—говорилъ Тавля, отдавая двадцать копеекъ.

— Теперь и напиться можно,—сказалъ Комедо.

Когда онъ напился, его спрашивали:

— А еще можешь съѣсть что-нибудь?

— Хлѣба съ масломъ съѣлъ бы.

Достали ломоть хлѣба, и масла достали.

— Ну-ка, попробуй!

Онъ съѣлъ.

— А еще?

— Горбушку съ кашей съѣлъ бы.

Добыли и горбушку. Его кормили изъ любопытства. Онъ съѣлъ и горбушку.

— Эка тварь!.. Куда это лѣзетъ въ тебя, животина ты этакая? Скотъ! Какъ ты не лопнешь, подлецъ?

— А что брюхо?—спросилъ кто-то.

— Тугое,—отвѣчалъ Комедо, тупо глядя на всѣхъ.

— Очень?

— Пощупай.

Стали брюхо щупать у Комедо.

— Ишь ты, стерва!.. какъ барабанъ!..

— А что, два фунта патоки съѣшь?

— Съѣмъ...

— А четыре миски каши?

— Съѣмъ...

— А пять рѣдекъ?

— А четыре ковша воды выпьешь?

— Не знаю... не пробовалъ... Я спать хочу...

Комедо отправился въ Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески...

Между тѣмъ Тавля, накормивъ на свой счетъ Комеду, по обыкновенію озлился. Одному изъ первокурсныхъ попала отъ него затрещина, другому онъ загнулъ салазки, третьему сдѣлалъ смазь. Гороблагодатскій видѣлъ это и въ душѣ называлъ Тавлю скотиной. Потомъ Тавля посмотрѣлъ на игру въ скоромные. Васенда наводилъ: онъ выставлялъ руку на партѣ, а Гришкецъ со всего размаху ладонью бьетъ его по рукѣ. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкецъ далъ промахъ: тогда уже будетъ подставлять руку Гришкецъ. Это Тавлю не развлекло.

— Не садануть ли въ постные?—пробормоталъ онъ.

Онъ сталъ оглядываться, желая узнать, не играютъ ли гдѣ въ постные.

— А, вонъ гдѣ!—сказалъ онъ, отыскавъ то, что требовалось.

Около заднихъ партъ, подлѣ Камчатки, собралось человѣкъ восемь. Одинъ изъ нихъ, положивъ голову на руки, такъ что не могъ видѣть окружающихъ, наводилъ: спина его была открыта и выпячена впередъ. Поднялись надъ спиной руки и съ трескомъ опустились на нее. Къ ударамъ другихъ присоединился и ударъ Тавли. По силѣ удара наводившій догадался, чей онъ былъ...

— Тавля ударилъ,—сказалъ онъ.

Тавля легъ подъ удары.

Гороблагодатскій между тѣмъ направлялся правымъ плечомъ впередъ, по-медвѣжьи къ той же кучкѣ. Увидѣвъ, что

Тавля наводить, онъ присоединился къ играющимъ.

Ударили Тавлю.

— Хлестко!—говорили въ толпѣ.

— Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!

— Кто ударилъ?

— Ты.

— Вали его... вали снова!..

Тавля наклонился...

— Взбутетень его!

— Взъерепень его.

— Чтобъ насквозь прошло!

Трехпудовый ударъ упалъ на спину Тавли.

— Гороблагодатскій,—сказалъ Тавля, едва переводя духъ...

— Растянуть его снова!

Опять повторился ударъ.

— Бенелявдовъ,—указалъ Тавля.

— Вали еще!..

— Что жъ, братцы, этакъ убить можно человѣка...

— Зачѣмъ мало каши ѣлъ.

— Жарь ему въ становой!

Опять сильный ударъ, и опять не угадалъ Тавля.

— Что жъ это, братцы?.. убить, что ли, хотите?

— Значитъ, любимъ тебя, почитаемъ,—сказалъ Гороблагодатскій.

— Братцы, я не лягу... что же такое!.. другихъ такъ не бьютъ...

— А тебя вотъ бьютъ!

— Жилить?

— Вздуемъ!

— Морду раскващу!—сказалъ Гороблагодатскій.

— Братцы...

— Ну,—крикнулъ грозно Бенелявдовъ.

Тавля угадалъ наконецъ... Игроки захохотали, когда онъ сказалъ:

— Я не хочу больше играть.

— Отчего же, душа моя?—спросилъ Гороблагодатскій.

Тавля взглянулъ на него съ ненавистью, но, не сказавъ ни слова, удалился потѣшаться надъ первокурсными... Кучка продолжала игру въ постные. Но вдругъ одинъ изъ играющихъ поднялъ носъ и понюхалъ воздухъ.

— Кто это?—спросилъ онъ.

Поднялись носы и другихъ игроковъ. Потомъ всѣ подозрительно посмотрѣли на Хорька.

— Ей-Богу, братцы, не я... вотъ те Христосъ, не я... хоть обыщите...

— Чичеръ!..—провозгласилъ Гороблагодатскій.

Человѣкъ десять вцѣпились Хорьку въ волоса, а одинъ изъ нихъ запѣлъ:

— Чичеръ, ячеръ, собирайтесь на вечеръ; кто не былъ на пиру, тому волосы деру; съ кровью, съ мясомъ, съ печенью, перепеченью. Кочана или пирога?

— Пирога,—пищалъ Хорь.

— Не проси пирога, мука дорога. Чичеръ, ячеръ, на вечеръ; кто не былъ на пиру, тому волосы деру: съ кровью, съ мясомъ, съ печенью, перепеченью... Кочана или пирога?

— Кочана.

Снова почали, и опять пропѣли «чичеръ»...

— Кокъ или вилки въ бокъ?

— Кокъ!—отвѣчалъ истасканный Хорь.

Послѣ этого, отпустивъ въ его голову нѣсколько щелчковъ, отпустили его съ миромъ, говоря:

— Не безчинствуй!..

— Черти этакіе!—отвѣчалъ Хорь:—я въ другой разъ еще не такъ!

Семеновъ, видя какъ таскали Хоря, шепталъ:

— Такъ и надо, такъ и надо!

Но Гороблагодатскій схватилъ Семенова сзади и положилъ на парту вмѣсто того, кто долженъ былъ наводить; съ другой стороны придержали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшіе удары. Онъ шатался, когда поднялся. Не его спинѣ было переносить такую тяжесть здоровыхъ ладоней. Осмотрѣлся онъ безсмысленно кругомъ. Кто билъ? за что? Семеновъ упалъ на парту и зарыдалъ. Темнѣло въ классѣ; еще нѣсколько минутъ и зги не увидишь.

— Братцы,—заговорилъ Семеновъ опомнившись:—за что вы меня ненавидите?.. всѣ!.. всѣ!...

Голосъ его былъ заглушенъ хоровою пѣсней. Сумерки развивались быстро; едва можно разсмотрѣть лица; цвѣта и линіи пропадаютъ въ воздухѣ, остаются одни звуки.

Семеновъ пробрался къ окну и съ гнетущей тоской и злобой на сердцѣ смотрѣлъ на непривѣтливый дворъ въ непроглядную тьму зимняго сквернаго вечера. Припомнилась ему родная семья.

Отецъ давно уже всталъ отъ послѣобѣденнаго сна; добрая мать, которой онъ былъ любимцемъ, вноситъ теперь самоваръ въ гостиную; братъ и двѣ сестренки уже около стола, щебечутъ и смѣются; звенятъ чайныя ложки и блюдца, и легкій паръ идетъ отъ живительной влаги. «Домой бы теперь!».. Онъ закрылъ лицо руками, прислонился къ стеклу и опять зарыдалъ... Но вдругъ плачъ его пресѣкся... Ужасъ напалъ на него, и онъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ. Страшна такая жизнь, какую онъ испыталъ сегодня. Онъ забылъ физическую боль тѣла, лишь только въ груди залегло что-то и мѣшало дышать. Отупѣлъ онъ отъ страха, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженецъ!.. тебя всѣ ненавидятъ! и даже предвидѣть нельзя, что съ тобой сдѣлаютъ! быть-можетъ, сейчасъ ударятъ въ спину, вырвутъ клокъ волосъ изъ головы, плюнутъ въ лицо»... Въ классѣ совершенно темно, потому что начальство изъ экономическаго расчета зажигало лампу только въ часъ занятій. Въ этой темнотѣ могутъ сдѣлать съ нимъ что угодно, и не узнаешь, кто надъ тобой сорветъ гнѣвъ свой и отомститъ за товарищество. «Не буду больше», прошепталъ онъ, и не было тѣни злобы въ его душѣ. «Того и стою!» прокрадывалось въ его сознаніи. Онъ желалъ примириться съ товариществомъ и душевно просилъ пощады. Онъ уже ненавидѣлъ начальство, сдѣлавшее его фискаломъ, и готовъ былъ самъ вырвать клокъ волосъ изъ головы того товарища, который займетъ его мѣсто. Семеновъ рѣшился просить у всего класса прощенія и публично отказаться отъ шпіонства. Но вдругъ онъ услышалъ, что будто кто-то крадется къ нему; онъ въ страхѣ поспѣшно оставилъ окно и неизвѣстно куда скрылся въ темнотѣ.

Въ классѣ такъ темно, что за два шага не распознать лица человѣческаго. Всякія игры прекращались въ эти часы, и бурсакъ могъ развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатлѣніе было дико...

Звуки мѣшаются и переплетаются. Раздается крикъ какого-то несчастнаго, которому, вѣроятно, въѣхали въ загорбокъ; слышенъ напѣвъ на «Господи воззвахъ, гласъ осьмый»; вырывается изъ концерта патетическая нота въ верхнее ре; кого-то еще треснули по рожѣ; у печки поютъ: «отроцы семинарстіи, посреди кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадимъ тебѣ деньги отдадимъ»; слышенъ плачъ; грегочетъ какая-то тварь, т.-е. ржетъ по лошадиному, выдѣлывая «и-и-го-го-го-го!» Ругань виситъ въ воздухѣ, крики и хохотъ, козлоглагольствуютъ, грегочутъ, и поютъ на гласы, и вкушаютъ затрещины. Въ Камчаткѣ, подъ управленіемъ заматорѣлаго Митахи, хранителя училищныхъ преданій, поется стихъ, сложенный еще аборигенами бурсы:

Сколь блаженны тѣ народы,
Коихъ крѣпкія природы
    Не знали нашихъ мукъ,
    Не вѣдали наукъ!
Тутъ въ столовую заглянешь,
Щей негодныхъ похлебаешь,
    Опять въ свой классъ идешь,
    Идешь, хоть и воешь...
Тутъ архангелы подскочатъ,
Изъ-за парты поволочатъ,
    Давай раба терзать,
    Лозой его стегать...

Бѣдняги! не даромъ же такъ дико въ вашемъ классѣ.. Васъ волочатъ, терзаютъ, стегаютъ... Сочувственно подстаютъ къ голосу Митахи голоса его товарищей. Къ сожалѣнію, конецъ пѣсни, которая пѣлась какимъ-то замогильнымъ, грустнымъ напѣвомъ, забылся и не дошелъ до насъ...

Въ другомъ мѣстѣ слышно:

На поповой-то на дачѣ
Мужичокъ ѣдетъ на клячѣ,
    Хлибушку везе,
    Хлибушку везе.
Мужичье къ возью бѣжали.
Кулачьемъ въ возье совали:
    — Ще, бра, продаешь?
    Ще, бра, продаешь?
Имъ сказали, що овесъ;
Мужикъ вынулъ да потресъ
    На горсти своей,
    На горсти своей.

Еще слышно:

А какъ взяли козла
Поперекъ живота,
    Какъ ударили козла
    О сырую мать-землю:
Его ноженьки
При дороженькѣ,
    Голова его, языкъ
    Подъ колодою лежитъ...

Послѣ каждаго двустишія припѣвалось:

Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли

и потомъ повтореніе второго стиха.

А вотъ и еще отрывокъ:

Любимцы .. Аполлона
Сидятъ безпечно in caupona [1]),
Ѣдятъ селедки, vinum [2]) пьютъ
И Вакху дѳирамбъ поютъ:
„О, какъ ты силенъ, добрый Вакхъ!
„Мы tuum regnum [3]) чтимъ въ мозгахъ;
„Dum caput nostrum [4]) посѣщаешь,
„Оттуда curas [5]) выгоняешь,
„Блаженство въ наши льешь сердца,
„И dignus domini [6]) отца.
„Мы любимъ Феба, любимъ музъ:
„Онѣ съ богами насъ равняютъ,
„Онѣ путь къ счастью пролагаютъ,
„Онѣ даютъ намъ лучшій вкусъ;
„Sed omnes haec [7]) плоды ученья
„Conjunctae sunt [8]) всегда съ томленьемъ...
„Давно бъ нашъ юный цвѣтъ увялъ,
„Когда бъ ты насъ не подкрѣплялъ!"

Восьмипѣсенная «Семинаріада» составлена давно и переходитъ по преданію изъ одного поколѣнія къ другому. Въ мѣстныхъ пѣсняхъ и стихахъ отразилось, какъ товарищество смотрѣло на науку и на своихъ начальниковъ...

Изъ общаго же всѣмъ репертуара пѣвались здѣсь либо жестокіе романсы: «Стонетъ сизый голубочекъ», «Ночною темнотою», «Я, бѣдная пастушка», «Ужъ солнце зашло, вверхъ горя» и т. п., либо чисто народныя пѣсни: «Ахъ вы, сѣни», «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», «Какъ за рѣченькою, какъ за быстрою», «Полно, полно намъ, ребята, чужо пиво пити» и т. п.

Но вотъ какой-то отпѣтый возглашаетъ еще стихъ домашняго издѣлія:

Въ девятомъ часу по утрамъ,
Лишь лампы блеснутъ на стѣнахъ,
Мужикъ Суковатовъ несется,
Несется въ личныхъ сапогахъ...

Повисли въ воздухѣ хохотъ, остроты и крѣпкая ругань противъ начальства... Опять какая-то шельма грегочетъ... десятеро загрегэтали... двадцать человѣкъ... счету нѣтъ... Появились лай, мяуканье и кряканье, свистъ и визгъ... Ко всей этой ерундѣ присоединилась голосовъ въ сорокъ бурсацкая разноглaсица: участвующіе въ ней разбираютъ между собой всѣ тоны, употребляемые въ пѣніи, и всѣ ноты берутъ сразу. Между тѣмъ сырость и холодъ пронимаютъ приходчину до костей; благимъ матомъ затягивается: «холодно, холодно!»—это призывный къ согрѣванію звукъ, послѣ котораго ученики начинаютъ махать руками наподобіе того, какъ грѣются извозчики, и стонутъ, душу надрываютъ: «холодно, холодно!» — «Домового ли хоронятъ, вѣдьму ль замужъ выдаютъ?»—Пастей во сто вырабатывается безшабашный гвалтъ, и все это совершается въ непроглядной темнотѣ. Если бы привести въ классъ свѣжаго человѣка, не слыхавшаго стенаній бурсака, онъ подумалъ бы, что это грѣшныя души воютъ въ аду. Грегочутъ, тянутъ «холодно», дуютъ разноголосицу во всѣ ноты; въ вопіющихъ и взывающихъ звукахъ растутъ, разрастаются голоса и отдаются дрожью въ оконныхъ стеклахъ... Существуетъ ли на свѣтѣ еще какой-нибудь нелѣпый звукъ, который не отыскался бы въ этой массѣ крика, пѣнья и гудѣнья? Но вотъ что-то новое зарождается въ душномъ, промозгломъ воздухѣ кромѣшнаго класса; что-то встало надъ всѣми головами. Заслышали товарищи знаменитый громадный басъ Великосвятскаго, гласящаго «благоденственное и мирное житіе»; съ неудержимою силою оглушаются товарищи послѣдними словами: «благополучно нынѣ почивающему на лаврахъ курсу многая лѣта!»— На необъятной нотищѣ разрѣшается послѣдній звукъ... Въ одно мгновеніе, точно по одному темпу, смолкли всѣ... Товарищество наслаждается, оно страстно любитъ крѣпкій звукъ... Но минута—и стоголосное «многая лѣта!» отвѣчало басу... Надо замѣтить, что товарищество уважало, кромѣ отпѣтыхъ, потомъ силачей, потомъ головъ, выносящихъ многоградусный хмель— уважало и обширныхъ басовъ. Бурса любитъ хорошіе голоса, бережетъ ихъ, лелѣетъ, выручаетъ изъ всякой бѣды. Ученики еще дома привыкли пѣть въ церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостолы, отчего у нихъ развиваются голоса и любовь къ пѣнію. Въ училищахъ часто бываютъ превосходные пѣвческіе хоры. Около Великосвятскаго слышно одобреніе.

— Господа, концертъ! — предложилъ кто-то.

---

[1]) Въ кабакѣ.
[2]) Вино.
[3]) Твое владычество.
[4]) Пока голову нашу.
[5]) Заботу.
[6]) И чтимъ хозяина отца.
[7]) Но всѣ эти.
[8]) Соединены.

— «На рѣкахъ вавилонскихъ».
— Да нотъ нѣтъ!..
— На память!
— Зови маленькихъ пѣвчихъ.

Черезъ нѣсколько минутъ поется концертъ: ни одного дикаго звука нѣтъ въ классѣ. Дисканты плачутъ дѣтскими голосами; басъ, какъ подавленная сила, гудитъ и сдержанно ропщетъ; слышенъ крикъ вавилонянина: «воспойте намъ отъ пѣсней сіонскихъ!», чудится, какъ въ гнѣвѣ и нетерпѣніи топаетъ ногами грозный деспотъ... «Како воспоемъ на землѣ чуждѣй пѣснь Господню?» отвѣчаютъ плачущіе робкіе голоса дѣтей; женскія слезы слышны въ грудныхъ дискантахъ. Высокими, тихими и страстными нотами восходитъ плачъ и, наконецъ, переходитъ въ сильные, грозные голоса: «дщи вавилоня, окаянная! блаженъ, кто возьметъ твоихъ младенцевъ и расшибетъ ихъ головы о камень».

Послѣ концерта все стихло. Ученики, укрощенные на время стройнымъ пѣніемъ, разсказываютъ другъ другу сказки, вспоминаютъ каникулы, толкуютъ о начальствѣ и товариществѣ. Изрѣдка кого-нибудь треснутъ по шеѣ. Митаха, хранитель преданій, поетъ заунывнымъ голосомъ:

А какъ взяли козла
Поперекъ живота.

Но ученики недолго сидѣли скромно и тихо.

— Приходчину дуть!—раздался чей-то голосъ.

— Идетъ!—отвѣчаютъ на голосъ.

Собирается партія человѣкъ въ двадцать, и ноябрьскимъ вечеромъ крадутся черезъ дворъ въ классъ приходскихъ учениковъ. Приходчина, тоже сидящая въ сѣни смертнѣй, ничего не ожидала. Второуѣздные, сдѣлавши набѣгъ, разсыпались по классу, бьютъ приходчину въ лицо, загибаютъ ей салазки, дѣлаютъ смази, разсыпаютъ постные и скоромные, шевычки и подзатыльники. Кто бьетъ? за что бьетъ? чортъ ихъ знаетъ, и чортъ ихъ носитъ... Плачъ, вопль, избіеніе младенцевъ! На партахъ и подъ партами уничтожается горезлосчастная приходчина. Больно ей. Въ этихъ дикихъ побіеніяхъ приходчины, совершаемыхъ въ потемкахъ, выражалась, съ одной стороны, какая-то нелѣпая удаль: «раззудись, плечо! размахнись, кулакъ!», а съ другой стороны — «трепещи, приходчина, и покоряйся!» Впрочемъ, въ такихъ случаяхъ большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалять, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что въ твоихъ рукахъ пищитъ что-то живое, страдаетъ и проситъ пощады,—и все это дѣлается не изъ мести, не изъ вражды, а просто изъ любви къ искусству. Натѣшившись вдоволь и всласть, рыцари съ торжественнымъ хохотомъ отправляются во-свояси. Истрепанная приходчина охаетъ и щупаетъ бока свои.

Когда рыцари вернулись въ классъ, тамъ шла новая забава.

— Мала куча!—кричало нѣсколько человѣкъ.

Среди класса, въ темнотѣ, шла какая-то возня—не то игра, не то драка... Смѣхъ и брань раздавались оттуда.

Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча», то это значило, что кого-нибудь повалили на полъ, на этого— другого, потомъ—третьяго и т. д. Упавшимъ не даютъ вставать. Человѣкъ тридцать роются въ кучѣ, сплетаясь руками и ногами и тиская другъ другу животы. Успѣвшіе выбиться изъ кучи и встать на ноги стараются повалить другихъ, еще не упавшихъ на полъ, и постоянно раздается въ нѣсколько голосовъ:

— Мала куча!

Не окончилась еще эта возня, какъ затѣялась новая.

— Масло жать,—кричали изъ угла у печки.

Слышно, какъ толпа пробирается въ уголъ, напираетъ и давитъ своею массою попавшихъ къ стѣнѣ, при крикахъ:

— Михалка, вали!
— Васенда, при!
— Работай, Шестнуха-Чабря...
— Тисни, Хорь, тисни!

Попавшіе къ стѣнѣ еле дышатъ, силятся выбиться наружу, а выбившись, въ свою очередь, жмутъ масло.

Но обѣ игры неожиданно прекратились... Раздался пронзительный, умоляющій вопль, который, однако, слышался не оттуда, гдѣ игралась «мала куча», и не оттуда, гдѣ «жали масло».

— Братцы, что это? братцы, оставьте!.. караулъ!..

Товарищи не сразу узнали, чей это голосъ... Кому-то зажали ротъ... вотъ повалили на полъ... слышно только мычанье... Что тамъ такое творится? Прошло минуты три мертвой тишины... потомъ ясно обозначился свистъ розогъ въ воздухѣ и удары ихъ по тѣлу человѣка. Очевидно, кого-то сѣкутъ. Сначала была мертвая тишина въ классѣ, а потомъ едва слышный шопотъ...

— Десять... двадцать... тридцать.

Идетъ счетъ ударовъ.

— Сорокъ, пятьдесятъ...

— А-я-яй! вырвался крикъ...

Теперь всѣ узнали голосъ Семенова и поняли, въ чемъ дѣло...

— Ты, сволочь, кусаться!—Это былъ голосъ Тавли.

— Ай, братцы, простите!.. не буду!.. ей-Богу, не буду!..

Ему опять зажали ротъ...

— Такъ и слѣдуетъ,—шептались въ товариществѣ...

— Не фискаль впередъ!

Уже семьдесятъ...

Боже мой, наконецъ-то кончили!

Семеновъ рыдалъ сначала, не говоря ни слова... Въ классѣ было тихо, потому что всячески совершилось дѣло изъ ряду вонъ... Облегчившись нѣсколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семеновъ, потерявъ всякій страхъ отъ обиды и позора, кричалъ на весь классъ:

— Подлецы вы этакіе!.. Чтобы вамъ всѣмъ...—и при этомъ онъ прибавилъ непечатанную брань.

— Полайся!

— Назло же разскажу все инспектору... про всѣхъ...

Неизвѣстно, отъ кого онъ получилъ затрещину, и опять зарыдалъ на весь классъ благимъ воемъ. Нѣкоторые захохотали, но многимъ было жутко... отчего? потому что при подобныхъ случаяхъ товарищество возбуждалось сильно, отыскивало въ потемкахъ своихъ нелюбимцевъ и крѣпко било ихъ.

Между тѣмъ рыдалъ Семеновъ. Невыразимая злость на обиду душила его; онъ въ клочья разорвалъ чью-то попавшуюся подъ руку книгу, кусалъ свои пальцы, дралъ себя за волосы и не находилъ словъ, какими бы слѣдовало изругаться, на чемъ свѣтъ стоитъ. Измученный, избитый, изсѣченный, нѣсколько разъ въ продолженіе вечера оскорбленный и обиженный, онъ теперь совершенно одурѣлъ отъ горя. Жалко и страшно было слушать, какъ онъ шепталъ:

— Сбѣгу... сбѣгу... зарѣжусь... жить нельзя...

Надобно честь отдать товарищамъ: большая часть, особенно первокурсные, въ эту минуту сочувствовали горю Семенова. У нѣкоторыхъ были даже слезы на глазахъ—благо, темно, не замѣтятъ. Второкурсные храбрились, но и на нихъ напала тоска, смѣшанная со страхомъ. Всѣ понимали, что такое дѣло даромъ не пройдетъ и что великаго сѣченья должна ожидать бурса. Тихо было въ классѣ: лишь Семеновъ рыдалъ... Что-то злое было въ его рыданіяхъ... но вотъ они вдругъ прекратились, и настала мертвая тишина.

— Что съ нимъ? — спрашивали ученики.

— Не случилось ли бѣды?

— Да живъ ли онъ?

— Братцы, — закричалъ Гороблагодатскій, освидѣтельствовавъ парту, на которой сидѣлъ Семеновъ:—онъ пошелъ жаловаться!

— Опять фискалить! — раздалось нѣсколько голосовъ.

Расположеніе товарищей мгновенно перемѣнилось; посыпалась на Семенова злая брань.

— Смотрите,—не выдавать, ребята!

— Э, не рѣпу сѣять!..—слышались отвѣтные голоса.

— А ты какъ же, Тавля?

— Я скажу, что хотѣлъ заступиться за него, и въ то время, какъ отдергивалъ отъ его рта чью-то руку, онъ и укусилъ мою.

— Молодецъ, Тавля!

Однако Тавля дрожалъ, какъ осиновый листъ.

— А что цензоръ будетъ говорить? Онъ долженъ донести, а то ему придется отвѣчать.

— А скажу, что меня не было въ классѣ—вотъ и все!

Въ это время раздался звонокъ, возвѣстившій часъ занятій. Отворилась дверь, и въ комнату внесли лампу о трехъ рожкахъ. Отъ столбовъ полосами легли тѣни по классу, и освѣтились неуклюжія здоровенныя парты, голыя и ржавыя стѣны,

грязныя окна,— освѣтились угрюмымъ и непривѣтливымъ свѣтомъ.

Второкурсные собрались на первыхъ партахъ и вели совѣщанія о текущихъ событіяхъ. Начались занятія; но странно, несмотря на прежестокія розги учителей, по крайней мѣрѣ, человѣкъ сорокъ и не думали взяться за книжку. Иные надѣялись получить въ нотатѣ хорошую отмѣтку, подкупивъ авдитора взяткой; иные думали безпечно: «авось-либо, и такъ сойдетъ!»; а человѣкъ пятнадцать, на заднихъ партахъ, въ Камчаткѣ, ничего не боялись, зная, что учителя не тронутъ ихъ: учителя давно махнули на нихъ рукой, испытавъ на дѣлѣ, что никакое сѣченье не заставитъ ихъ учиться; эти счастливцы готовились къ исключенію и знать ничего не хотѣли. Лѣнь была развита въ высшей степени, а отсутствіе всякой дѣятельности во время занятныхъ часовъ заставило ученика выработать тотъ элементъ училищной жизни, который извѣстенъ подъ именемъ школьничества,— элементъ, общій всякому воспитательному заведенію, но который здѣсь, какъ и все въ бурсѣ, является въ оригинальныхъ формахъ.

Сидящіе въ Камчаткѣ пользовались нѣкоторыми привилегіями: на ихъ шалости цензоръ, наблюдающій тишину и порядокъ, смотрѣлъ сквозь пальцы, лишь бы не шумѣли камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы развлекались, какъ умѣли. Гришкецъ толкаетъ Васенду и шепчетъ: «слѣдующему»; Васенда толкаетъ Карася, Карась—Шестиухую-Чабрю, передавая то же слово; этотъ передаетъ дальнѣйшему, толчокъ переходитъ на другую парту, потомъ—на третью и такъ перебираетъ всѣхъ учениковъ. Вонъ Комедо, объѣвшись, спитъ, а Хорь, нажевавъ бумаги, сдѣлалъ комокъ, который называется жевкомъ, и пустилъ его въ лицо спящаго товарища. Комедо проснулся и пишетъ къ Хорю записку: «Послѣ занятія тебѣ я спину сломаю, потому что не приставай, если къ тебѣ не пристаютъ», и опять засыпаетъ. Записокъ много пересылается по комнатѣ; въ одной можно читать: «дай ножичка или карандаша», въ другой: «эй, Рабыня! (прозвище ученика) я ужо съ тобой на маткахъ въ чехарду»; въ третьей: «пришли, дружище, табачку понюшку, послѣ, ей-Богу, отдамъ»; а вотъ Хитоновъ получилъ безыменную ругательную записку: «ты, Хитоновъ, рыжій, а рыжій-красный—человѣкъ опасный; рыжій-пламенный сожегъ домъ каменный». Отвѣты и требуемыя вещи идутъ по той же почтѣ. Дѣти развлекаются по мѣрѣ возможности. Многіе корчатъ гримасы, ловятъ носъ языкомъ, косятъ глаза, пялятъ ротъ пальцами, показывая искривленное лицо другимъ или разсматривая его въ трехкопеечное зеркальце. Плюнь умѣетъ корчить рожу на номера: онъ высунулъ языкъ въ лѣвую сторону, носъ подперъ пальцемъ къ правой щекѣ, глаза выпучилъ, щеки отдулъ—это номеръ пятый. Всѣхъ номеровъ двѣнадцать. Авдиторъ, по прозванью Богиня, жуетъ резину, третій день не выпуская ее изо рта; она скоро превратится въ мягкую массу; потомъ надо надуть ее воздухомъ, сжать пальцами, вслѣдствіе чего образуется пузырекъ; пузырькомъ великовозрастный ударитъ себя по лбу и услышитъ легкій трескъ; чтобы насладиться такимъ счастьемъ, онъ работаетъ усердно, не щадя своихъ челюстей, а когда устанетъ, то даетъ пожевать подавдиторному. Мямля сдѣлалъ панораму изъ конфетныхъ картинокъ и любуется ею цѣлый часъ и въ сотый разъ; у него же изъ билетиковъ отъ леденцовъ сдѣланъ оракулъ: по леденечнымъ билетикамъ красны дѣвицы гадаютъ о женихахъ, а онъ—вспорютъ его завтра или нѣтъ. Сосѣдъ его сдѣлалъ пильщика, т.-е. деревянную куклу съ пилою, и, отыскавъ равновѣсіе, поставилъ ее на краю парты и заставляетъ качаться. Чеснокъ запихнулъ себѣ въ носъ нитку, потомъ сильнымъ дыханіемъ воздуха проводитъ ее въ ротъ, и, передвигая нитку взадъ и впередъ, показываетъ эту штуку своему закоперщику (другу) Мямлѣ. Одинъ великовозрастный камчадалъ оттачиваетъ перочинный ножъ и потомъ бреетъ верхнюю губу и щеки. Выбрившись, онъ начинаетъ долбить въ партѣ ящичекъ. Другой великовозрастный дѣлаетъ цѣпочку изъ сутуги. Третій великовозрастный свернулъ бумагу въ тонкую трубочку и щекочетъ ею себѣ въ носу; рожа его сморщилась, онъ чихнулъ громко, и ему весело. Двое камчадаловъ учатся иностраннымъ языкамъ; одинъ говоритъ: «херъ-я, херъ-ни, херъ-че, херъ-го, херъ-не, херъзна, херъ-ю, херъ-къ зав, херъ-тра, херъ-

му»; слѣдуетъ лишь вставить послѣ каждаго слога «херъ», и выйдетъ не по-русски, а по херамъ. Другой отвѣчаетъ ему еще хитрѣе: ши-чего, ни-цы, ши-йся не бо-цы», т.-е. «ничего не бойся». Это опять не по-русски, а по ши-цы; здѣсь слово дѣлится на двѣ половины, напримѣръ: ро-зга, къ послѣдней прибавляется ши и произносится она сначала, а въ первой цы, и произносится она послѣ; выходитъ ши-зга ро-цы. Пентюхъ на послѣдней партѣ занимается типографскимъ искусствомъ: онъ слюнитъ кость на суставѣ пальца, прикладываетъ суставъ на печатную бумагу въ учебникѣ и потомъ вырываетъ ее; снявши букву съ пальца, онъ переводитъ ее на бумагу; такимъ образомъ печатается какое-нибудь слово. Подъ послѣдними партами улеглись на постланныя на полъ шубы человѣкъ пять и разсказываютъ сказки и побывальщины. На многихъ скучное, монотонное, безъ всякаго содержанія занятное время нагнало непобѣдимый сонъ; спятъ на пятой партѣ, спятъ на седьмой, спятъ на двѣнадцатой, спятъ подъ партами. Такъ камчатники и второкурсные, приготовившіе уроки, проводятъ занятные часы. Веселая жизнь!

Но только записные, безнадежные лѣнтяи, готовящіеся получить титулку, пользовались правомъ развлекаться въ занятные часы. Кромѣ нихъ, было еще много лѣнтяевъ, кандидатовъ въ камчадалы, но еще не камчадаловъ. Провожденіе времени этими учениками было еще безцвѣтнѣе. Они тоже развлекались по-своему, но такъ какъ имъ необходимо было притворяться, будто они дѣло дѣлаютъ, то и развлеченія ихъ были другія. Цапля со всеусердіемъ пишетъ что-то; со стороны посмотрѣть, онъ — прилежнѣйшій ученикъ, а между тѣмъ, онъ вотъ что дѣлаетъ: напишетъ цифру, подъ ней другую, потомъ умножитъ ихъ; подъ произведеніемъ опять подпишетъ первую цифру, опять умножитъ числа и т. д., желая узнать, что изъ этого выйдетъ. Порося придавилъ глазъ пальцемъ и любуется, какъ передъ нимъ двоятся и троятся предметы; потомъ, затыкая и оттыкая уши, слушаетъ жужжанье и легкій говоръ въ классѣ, какъ оно прерывающимися звуками отдается въ его ушахъ; а не то онъ приставитъ ухо къ партѣ и разсуждаетъ, отчего это черезъ дерево усиливается звукъ. Одинъ первокурсный нащипываетъ себѣ руку, желая пріучить ее хоть къ тепленькимъ щипчикамъ. Другой завязалъ конецъ пальца ниткой и любуется на затекшійся кровью палецъ. Третій насасываетъ руку до крови... Изобрѣтаютъ самыя пустыя и, кажется, неинтересныя занятія: напримѣръ, прислушиваются, какъ бьется пульсъ; заберутъ въ легкія воздуха и усиливаются какъ можно дольше удержать его въ груди; задаютъ себѣ задачу — не мигнуть ни разу, пока не сосчитаютъ тысячу, сбираютъ слюну во рту и потомъ выплевываютъ на полъ, читаютъ страницу сзади напередъ и притомъ снизу вверхъ, положатъ натаскать изъ головы сотню волосъ—и натаскаютъ; кто болтаетъ ногами, кто ковыряетъ въ носу, перемигиваются, передаютъ другъ другу разные знаки, руками выдѣлываютъ разныя акробатическія штуки... Иной сидитъ, положивъ голову на ладони, и смотритъ въ воздухъ безпредметно: онъ мечтаетъ о матери, сестрахъ, о сосѣднемъ садѣ помѣщика, о прудѣ, въ которомъ ловилъ карасей... и урокъ ему нейдетъ на умъ. Нѣкоторые, зажмуривъ глаза и стараясь попасть пальцемъ на палецъ, гадаютъ, будетъ ли сѣчь завтра учитель или нѣтъ, и когда выходитъ — будетъ, то соображаютъ, гдѣ бы взять денегъ въ долгъ, чтобы подкупить авдитора, а за книжку и не думаютъ браться. Иные сидятъ обезсмыслѣвши и млѣютъ въ тоскѣ неисходной, ожидая, скоро ли пройдутъ три узаконенныхъ часа и ударитъ благодатный звонокъ, возвѣщающій ужинъ, тупо глядя на тускло-горящую лампу. У этихъ бурсаковъ не хватаетъ силы воли взяться за урокъ. Но что это значитъ? спроситъ читатель: неужели занимательнѣе читать страничку снизу вверхъ, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые для развлеченія, нежели сверху внизъ?.. Да, пожалуй, что и занимательнѣе. Не даромъ же сложилась въ бурсѣ пѣсня, которая говоритъ, что «блаженны народы, не вѣдающіе наукъ», что нужно имѣть «крѣпкую природу» для училищныхъ «мукъ», что ученикъ, идя въ классъ, «воетъ», онъ—«рабъ», его «терзаютъ». Пѣсня, переходящая отъ поколѣнія къ поколѣнію, не даромъ сложилась.

Главное свойство педагогической системы въ бурсѣ — это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникла въ кровь и

кости ученика. Пропустить букву, переставить слово — считалось преступленіемъ. Ученики, сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смысла: «стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ потомъ постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока навѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика «стыдъ и срамъ». Сильно мучился воспитанникъ во время урока, такъ что ученье здѣсь является физическимъ страданьемъ, которое и выразилось въ пѣснѣ: «сколь блаженны тѣ народы». При глухой долбнѣ замѣчательны въ училищной наукѣ возраженія. Педагоги получали воспитаніе схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, остреемъ священной хріи вскормлены, воспитаны тою философіей, которая учитъ: «всѣ люди смертны, Кай — человѣкъ, слѣдовательно, Кай смертенъ», или что «всѣ люди безсмертны, Кай — человѣкъ, слѣдовательно, Кай безсмертенъ», что «душа соединяется съ тѣломъ по однажды установленному закону», что «законы тожества и противорѣчія неукоснительно вытекаютъ изъ нашего *я* или изъ нашего самосознанія», что «гдѣ является свѣтъ, тамъ уничтожается тьма», что «смиреніе есть источникъ всякаго блага, а вольнодумство пагубно и зазорно» и т. п. Они упражнялись въ діалектикѣ, разрѣшая такіе, напримѣръ, вопросы: «Можетъ ли діаволъ согрѣшить?» «Сущность духа подлежитъ ли въ загробной жизни мертвенному состоянію?» «Первородный грѣхъ содержитъ ли въ себѣ, какъ зародышѣ, грѣхи смертные, произвольные и невольные?» «Что чему предшествуетъ: вѣра любви или любовь вѣрѣ?» и т. п. Окончательно же окрѣпли ихъ мозги въ диспутахъ, когда они побѣдоносно витійствовали на одну и ту же тему pro и contra, смотря по тому, какъ прикажетъ начальство, при чемъ пускались въ дѣло всѣ сто формъ схоластическихъ предложеній, всѣ роды и виды софизмовъ и паралогизмовъ. Еще во время дѣтства у нихъ явилось расположеніе разрѣшать: «что такое сущность?», «что такое цѣлое?» «Спасется ли Сократъ и другіе благочестивые философы язычества, или нѣтъ?», и имъ очень хотѣлось, чтобы нѣтъ. Особенно же любили учителя доказывать, что человѣкъ есть существо безсмертное, одаренное свободно-разумной душою, царь вселенной,— хотя странно, въ дѣйствительной жизни они едва ли не обнаруживали того убѣжденія, что человѣкъ есть ни болѣе ни менѣе, какъ безперый пѣтухъ. Все это слышалось въ возраженіяхъ педагоговъ. Ученикъ до боли въ вискахъ напрягалъ голову, когда приходилось разрѣшать великіе вопросы педагоговъ-философовъ, но, къ благополучію его, возраженія давались рѣдко и вообще считались ученою роскошью. Надъ всѣмъ царил авсепоглощающая долбня... Что же удивительнаго, что такая наука поселяла только отвращеніе въ ученикѣ и что онъ скорѣе начнетъ играть въ плевки или продѣнетъ изъ носа въ ротъ нитку, нежели станетъ учить урокъ? Ученикъ, вступая въ училище изъ-подъ родительскаго крова, скоро чувствовалъ, что съ нимъ совершается что-то новое, никогда имъ не испытанное, какъ будто передъ глазами его опускаются сѣти одна за другою, въ безконечномъ рядѣ, и мѣшаютъ видѣть предметы ясно; что голова его перестала дѣйствовать любознательно и смѣло и сдѣлалась похожа на какой-то препаратъ, въ которомъ стоитъ пожать пружину — вотъ ротъ раскрывается и начинаетъ выкидывать слова, а въ словахъ— удивительно! — нѣтъ мысли, какъ бывало прежде. Только ученики, соединившіе въ себѣ способность долбить со способностью отвѣчать на возраженія, никогда не задумывались надъ урокомъ. Но для этого надо было родиться башкой. Бывали удивительные башки. Такъ, нѣкто Свѣтозаровъ выучилъ изъ латинскаго лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы; начавъ съ «A, ab, abs», онъ охватывалъ нѣсколько печатныхъ листовъ, не пропуская ни одного слова, и такой подвигъ былъ предпринятъ единственно изъ любви къ искусству. Но немногіе были способны къ училищнымъ работамъ; большинству онѣ давались трудно, и лишь розги заставляли заниматься. Вонъ Данило Песковъ, мальчикъ умный и прилежный, но рѣшительно неспособный долбить слово въ слово, просидѣвъ надъ книгой два часа съ половиной, поводитъ помутившимися глазами... и что же?.. онъ видитъ, многіе измучились еще болѣе, чѣмъ онъ, многіе еще доканчиваютъ свою порцію изъ учебниковъ, озабоченно вычитывая урокъ и поднявъ голову кверху, какъ пьющія куры.

Иные чуть не плачуть, потому что невысокій баллъ будетъ выставленъ противъ фамиліи въ нотатѣ. Одинъ, желая возбудить въ себѣ энергію, треплетъ самъ себя за волоса... Э, бѣдняга, хоть самъ-то пожалѣй себя! брось ты книгу подъ парту, либо наплюй въ нее — все равно, завтра твое тѣло будетъ страдать подъ лозами... Ступай-ка, дружище, въ Камчатку — тамъ легче живется; а дѣльныхъ знаній у камчатниковъ, право, не меньше, нежели у самаго закаленнаго башки. Ученикъ, вглядываясь въ измученныя долбнею лица товарищей, невольно спрашиваетъ себя: «зачѣмъ эти труды и страданія? къ чему эта возня съ утра до вечера надъ опротивѣвшимъ учебникомъ? развѣ мы не люди?» Среди такихъ размышленій выскочитъ безъ спросу, самъ собою, кончикъ урока и простучитъ всѣми словами въ головѣ. Подъ конецъ занятій у прилежнаго ученика голова измается; въ ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются онѣ, послушныя сцѣпленію идей, какъ это бываетъ съ человѣкомъ во снѣ. Не весела картина класса... Лица у всѣхъ скучныя и апатическія, а послѣдніе полчаса идутъ тихо, и кажется, конца не будетъ занятію... Счастливъ, кто уснуть сумѣлъ, сидя за партой: онъ и не замѣтитъ, какъ подойдетъ минута, возвѣщающая ужинъ.

Но вечеръ кончился очень занимательно. Минутъ за тридцать до звонка явился въ классъ Семеновъ. Блѣдный и дрожащій отъ волненія, вошелъ онъ въ комнату и, потупясь, ни на кого не глядя, отправился на свое мѣсто. Занятная оживилась: всѣ смотрѣли на него. Семеновъ чувствовалъ, что на него обращены сотни любопытныхъ и злобныхъ глазъ, холодно было у него на душѣ, и замеръ онъ въ какомъ-то окаменѣломъ состояніи. Онъ ждалъ чего-то. Минуты черезъ черезъ четыре снова отворилась дверь; среди холоднаго пара, ворвавшагося съ улицы въ комнату, показались четыре солдатскія фигуры — служителя при училищѣ: одинъ изъ нихъ былъ Захаренко, другой Кропченко — на нихъ была обязанность сѣчь учениковъ; двое другихъ, Цѣпка и Еловый, обыкновенно держали учениковъ за ноги и за голову во время сѣченія. Мертвая тишина настала въ классѣ... Тавля поблѣднѣлъ и тяжело дышалъ. Скоро явился инспекторъ, огромнаго роста и мрачнаго вида. Всѣ встали. Онъ, ни слова не говоря, прошелся по классу, по временамъ останавливаясь у партъ, и ученикъ, около котораго онъ останавливался, дрожалъ и трепеталъ всѣмъ тѣломъ... Наконецъ инспекторъ остановился около Тавли. Тавля готовъ былъ провалиться сквозь землю.

— Къ порогу! — сказалъ ему инспекторъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Я... — хотѣлъ было оправдаться Тавля.

— Къ порогу! — крикнулъ инспекторъ.

— Я заступался за него... онъ не понялъ...

Инспекторъ былъ сильнѣе всякаго бурсака. Онъ схватилъ Тавлю за волосы и далъ ему трепку; потомъ наклонилъ его за волосы лбомъ къ партѣ, а другой рукой, кулакомъ, ударилъ ему въ спину, такъ что гулъ раздался отъ здороваго удара по крѣпкой спинѣ, потомъ, откинувъ Тавлю назадъ, инспекторъ закричалъ:

— Къ порогу!

Тавля послѣ этого не смѣлъ рта разинуть. Онъ отправился къ порогу, раздѣлся медленно, легъ на грязный полъ голымъ брюхомъ; на плечи и ноги его сѣли Цѣпка и Еловый...

— Хорошенько его! — сказалъ инспекторъ.

Захаренко и Кропченко взмахнули съ двухъ сторонъ лозами; лозы впились въ тѣло Тавли, и онъ, дико крича, сталъ оправдываться, говоря, что онъ хотѣлъ заступиться за Семенова, а тотъ не понялъ, въ чемъ дѣло, и укусилъ ему руку. Инспекторъ не обращалъ вниманія на его вопли. Долго сѣкли Тавлю и жестоко. Инспекторъ съ сосредоточенной злобой ходилъ по классу, ни слова не говоря, а это былъ дурной признакъ: когда онъ кричалъ и ругался, тогда крикомъ и руганью истощался гнѣвъ... Ученики шопотомъ считали число ударовъ и насчитали уже восемьдесятъ. Тавля все кричалъ «не виноватъ!», божился Господомъ-Богомъ, клялся отцомъ и матерью подъ лозами. Гороблагодатскій злобно смотрѣлъ то на инспектора, то на Семенова; Семеновъ не понималъ самъ себя: и тѣни наслажденія местью не было въ его сердцѣ, онъ почти трясся всѣмъ тѣломъ отъ предчувствія чего-то страшнаго, необъяснимаго. Богъ знаетъ, на что бы онъ согласился, чтобы только не сѣкли Тавлю въ эту минуту.

Тавля вынесъ уже болѣе ста ударовъ, голосъ его отъ крика началъ хрипнуть, но все онъ продолжалъ кричать: «Не виноватъ, ей-Богу, не виноватъ... напрасно!» Но онъ долженъ былъ вынести полтораста.

— Довольно,— сказалъ инспекторъ и прошелся по комнатѣ. Всѣ ожидали, что будетъ далѣе.

— Цензоръ! — сказалъ инспекторъ.

— Здѣсь!— отозвался цензоръ.

— Кто еще сѣкъ Семенова?

— Я не знаю... меня...

— Что? — крикнулъ грозно инспекторъ.

— Меня не было въ классѣ...

— А, тебя не было, скотъ этакой, въ классѣ?.. Завтра буду сѣчь десятаго, а начну съ тебя...— И тебя отнорю, — сказалъ онъ Гороблагодатскому,— и тебя,— сказалъ онъ Хорю. Потомъ инспекторъ указалъ еще на нѣсколько лицъ. Гороблагодатскій грубовато отвѣтилъ:

— Я не виноватъ ни въ чемъ...

— Ты всегда виноватъ, подлецъ ты этакой, и каждую минуту тебя драть слѣдуетъ...

— Я не виноватъ ни въ чемъ...

— Ты грубить еще вздумалъ, скотина?— закричалъ инспекторъ съ яростью.

Гороблагодатскій замолчалъ, но все-таки, стиснувъ зубы, взглянулъ съ ненавистью на инспектора...

Выругавъ весь классъ, инспекторъ отправился домой. На товарищество напалъ паническій страхъ. Въ училищѣ бывали случаи, что не только сѣкли десятаго, но сѣкли поголовно весь классъ... Никто не могъ сказать навѣрное, будутъ его завтра сѣчь или нѣтъ. Лица вытянулись; нѣкоторые были блѣдны; двое городскихъ тихонько отъ товарищей плакали: что если по счету придешься въ спискѣ инспектора десятымъ?.. Только Гороблагодатскій проворчалъ: «не рѣпу сѣять!», и остервенился въ душѣ своей, и съ наслажденіемъ смотрѣлъ на Тавлю, который не могъ ни стать ни сѣсть послѣ экзекуціи. Гороблагодатскій намѣревался итти къ Семенову и избить его окончательно; онъ уже сказалъ себѣ: «Семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ»; но вдругъ лицо его озарилось новой мыслью, онъ злорадостно усмѣхнулся и проговорилъ:

— Пфимфа!

Семеновъ совершенно замеръ... Онъ былъ въ томъ состояніи, когда человѣкъ чувствуетъ, что надъ нимъ поднятъ кулакъ, готовый упасть на его темя каждую минуту, и онъ каждую минуту ждетъ удара тяжелаго. Онъ былъ точно стиснутъ и сдавленъ со всѣхъ сторонъ... дышать почти нельзя... Черти, черти! какія минуты приходилось переживать бурсаку...

— Пфимфа!—сказалъ Гороблагодатскій, подходя къ цензору, и стали они шептаться...

Ударилъ звонокъ къ ужину. Сердца нѣсколько повеселѣли...

— Становись въ пары! — закричалъ цензоръ.

Минуты черезъ двѣ ученики отправились въ столовую и, пропѣвши въ пятьсотъ голосовъ «Отче нашъ», принялись за скудную пищу... Когда толпа обратно валила изъ столовой, цензоръ подошелъ къ Бенелявдову и повторилъ загадочное слово:

— Пфимфа!

— Слѣдуетъ! — отвѣтилъ Бенелявдовъ.

. . . . . . . . . . . . . . . .

„Уже въ обители священной
Привратникъ заперъ крѣпко входъ,
И схимникъ въ кельѣ единенной
На сонъ грядущій presses чтетъ.
Морфей на городъ сыплетъ маки,
Заснулъ народъ мастеровой;
Однѣ не дремлютъ лишь собаки,
Да кой-гдѣ вскрикнетъ часовой.
Вторично пѣтухи кричали.
Былъ ночи часъ; всѣ крѣпко спали“.

Такъ «Семинаріада» описываетъ ночь...

---

Во второмъ этажѣ, по правую руку огромнаго училищнаго двора, помѣщаются 6, 7, 8, 9 и 10 номера спаленъ. Эти спальни соединены между собою. Задній отдѣлъ трехъ номеровъ носилъ названіе «Сапога». Это были спальни своекоштныхъ; поэтому утромъ и вечеромъ, особенно въ первыя недѣли послѣ большихъ праздниковъ, въ Сапогѣ и другихъ двухъ комнатахъ открывался чисто обжорный рядъ. Сюда стекалось все училище, толпами переходили отъ одной кровати къ другой; изъ-подъ кроватей, числомъ до двухсотъ въ этихъ номерахъ, выдвигались сундуки, наполненные, кромѣ книгъ, разными съѣстными припасами. Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромные бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченыя яблоки. Отъ этихъ

припасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурные міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ зимою въ сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальныя свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькою и ѣдкою, и ко всему этому надо прибавить, что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какою-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистотъ. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать ученикъ, и повѣритъ ли кто, что большинство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало, наконецъ, способность чувствовать отвращеніе къ нему!.. Другая бѣда, холодъ, былъ для ученика болѣе невыносимъ. Начальство печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромныя комнаты спаленъ, со столбами посрединѣ, какъ и въ классахъ, слабо освѣщались, и темныя тѣни ложились полосами по кроватямъ. Ученики храпѣли и бредили; нѣкоторые во снѣ скрипѣли зубами.

Доскажемъ послѣднія событія зимняго вечера въ бурсѣ. Изъ комнатъ Сапога неожиданно появилась фигура и отправилась въ уголъ девятаго номера; тамъ поднялись еще двѣ фигуры. Между ними начались совѣщанія:

— У тебя пфимфа?—спрашивалъ одинъ.

— У меня.

— Давай сюда.

Всѣ три фигуры отправились въ уголъ и тамъ остановились около кровати Семенова... Одинъ изъ учениковъ держалъ въ рукахъ свертокъ бумаги, въ видѣ конуса, набитый хлопчаткою. Это и была пфимфа,— одно изъ варварскихъ изобрѣтеній бурсы. Державшій пфимфу босыми ногами подкрался къ Семенову. Онъ зажегъ вату съ широкаго отверстія свертка, а узкимъ осторожно вставилъ въ носъ Семенову. Семеновъ было сдѣлалъ во снѣ движеніе, но державшій пфимфу сильно дунулъ въ горящую вату; густая струя сѣрнаго дыма охватила мозги Семенова; онъ застоналъ въ безпамятствѣ. Послѣ второго, еще сильнѣйшаго дуновенія, онъ соскочилъ какъ сумасшедшій. Онъ усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымомъ. Задыхаясь, онъ упалъ на кровать. Участники этого инквизиторскаго дѣла тотчасъ же скрылись. Слышалось глубокое храпѣнье Семенова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его замертво стащили въ больницу. Докторъ понять не могъ, что такое случилось съ Семеновымъ, а когда самъ Семеновъ очувствовался и получилъ способность говорить, то оказалось, что онъ самъ не помнитъ, что съ нимъ было. Начальство подозрѣвало, что враги Семенова что-нибудь да сдѣлали съ нимъ, но разыскать ничего не могли. На другой день были многіе пересѣчены въ училищѣ, и многіе напрасно...

1862 г.

## ИЗЪ ПОВѢСТИ «МѢЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».

### Воспитаніе Молотова.

Егоръ Иванычъ Молотовъ думалъ о томъ, какъ хорошо жить помѣщику Аркадію Иванычу на бѣломъ свѣтѣ, жить въ той деревнѣ, гдѣ онъ, помѣщикъ, родился, при той рѣкѣ, въ томъ домѣ, подъ тѣми же липами, гдѣ протекло его дѣтство. При этомъ у молодого человѣка невольно шевельнулся вопросъ: «А гдѣ же тѣ липы, подъ которыми прошло мое дѣтство?—Нѣтъ тѣхъ липъ, да и не было никогда». Припомнился ему отецъ-мѣщанинъ, слесарь, жизнь въ темной конурѣ, грязь и бѣдность, и первыя дѣтскія радости, смѣхъ и горе, и молитвы. Матери онъ не помнилъ: отецъ же ему представлялся очень живо. Онъ помнилъ, какъ, бывало, отецъ долго работаетъ, потъ выступитъ на его широкомъ лицѣ, а онъ, Егорка, тутъ же копается. Отецъ вдругъ оставитъ работу, вздохнетъ на всю комнату, ущипнетъ ребенка за щеку и скажетъ: «А поди ко мнѣ, чертенокъ», посадитъ его къ себѣ на колѣни, любуется на сынишку, цѣлуетъ его крупными губами, поднимаетъ къ потолку, хохочетъ.

— Чего ржешь, тятька?

— Что, Егорка? А?

— Ржешь чего?

— А стихъ такой нашелъ.

— Ишь ты!—отвѣчаетъ Егорка.

— А спѣть тебѣ пѣсню?—спрашиваетъ отецъ.

— Спой, тятька.

И поетъ отецъ дряннымъ голосомъ пѣсню.—Дѣтская жизнь Егора Иваныча совершилась въ грязи и бѣдности, а вотъ и теперь онъ вспоминаетъ ее съ добрымъ чувствомъ. Егорушка былъ мальчикъ бойкій: подпилки, клещи, бурава, отвертки, обрѣзки желѣза и мѣди — замѣняли ему дома игрушки.

— Изъ тебя, Егорка, лихой выйдетъ мастеръ; много у тебя будетъ денегъ?

— О!—говоритъ Егорка.

— Тогда не забудешь своего тятьку?

— Я тебя, тятька, не забуду...

Отецъ бесѣдовалъ съ Егоркой, какъ со взрослымъ, разговаривалъ обо всемъ, что занимало его: побранится ли съ кѣмъ, получитъ ли новый заказъ, болитъ ли у него съ похмелья голова,—все разскажетъ сыну.

— Башка трещитъ, Егорка: вчера хватилъ лишнее. Выростешь, не пей много.

— Я, тятька, пиво буду пить...

— И молодецъ!.. Ты у меня молодецъ вѣдь?

— Еще бы!—отвѣчаетъ сынъ.

Иногда отецъ совѣтуется съ нимъ.

— Вотъ, Егорка, деньги получилъ за работу, а завтра праздникъ; такъ мы щей сваримъ, пирогъ загнемъ, да еще чего бы? Киселя аль каши?

— Каша не въ примѣръ лучше...

— Ну, такъ каши,—соглашается отецъ.

И во всемъ такъ: идетъ ли отецъ гулять, въ церковь, въ гости—вездѣ съ нимъ Егорка. Мальчикъ свободно относился къ отцу, точно взрослый, да и живетъ онъ дома не безъ пользы: онъ и въ лавочку сбѣгаетъ, и заказъ отнесетъ, сумѣетъ и кашу сварить, и инструментъ отточить, и пьянаго отца раздѣнетъ, спать уложитъ, да еще приговариваетъ:

— Ну, ложись!.. ишь ты, нарѣзался!..

— Молчи, Егорка!

— Ладно, не разговаривай, лежи себѣ...

Вотъ въ подобныхъ случаяхъ выпадали тяжелыя минуты въ жизни Егорки. Иногда придетъ отецъ сильно пьяный, злой, непокладный и ни съ того ни съ другого поколотитъ сына...

— Не озорничай, тятька!.. чортъ этакой!.. право, чортъ!—отвѣчаетъ ему сынъ.

— Врешь, каналья, врешь!.. Я тебѣ овчину-то натреплю.

При этомъ отецъ ловитъ Егорку за вихоръ и обижаетъ его. На другой день отецъ все припомнитъ: ему совѣстно, онъ не знаетъ, какъ и взглянуть на Егорку, какъ приступиться къ нему. Отецъ молчитъ, и сынъ молчитъ; у обоихъ лица пасмурныя. Подъ вечеръ, выглянувъ исподлобья, отецъ сказалъ:

— Полно, Егорка; ну тебя...

— А! Теперь и рожу въ сторону!.. стыдно, небось, стало?.. а ты не дерись!..

— Да ну тебя...

— Ишь нарѣзался, на стѣны лѣзетъ!

Отецъ замолчалъ. Прошло нѣсколько мучительныхъ минутъ. Отецъ тяжело вздохнулъ на всю комнату. Егорка выглянулъ сердито и сказалъ:

— Въ лавочку, что ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тутъ нечего молчать!

Такая уступка со стороны Егорки служила шагомъ къ примиренію, и у отца отлегло отъ сердца. Впрочемъ, случалось, что отецъ и въ трезвомъ видѣ давалъ своему сыну потасовку. Заспорятъ иногда: отецъ хочетъ киселя, а сынъ каши; отецъ закричитъ: «молчи!», а сынъ отвѣчаетъ: «чего молчи? я тебѣ дѣло говорю». Отецъ и натрясетъ ему вихоръ. Только тогда уже отцовъ верхъ, и Егорка не знаетъ, какъ подойти къ нему. Но ссоры рѣдко случались; отецъ большею частію соглашался, что «каша не въ примѣръ лучше киселя», тѣмъ дѣло и кончалось.

Слесарь былъ человѣкъ безграмотный; зналъ онъ свое ремесло, нѣсколько молитвъ на-память и безъ смысла, много пѣсенъ и много сказокъ; работу онъ любилъ и часто говаривалъ: «Богъ труды любитъ, Егорка; кто трудится, свое ѣстъ». Вотъ и весь нравственный капиталъ, который онъ могъ передать своему сыну. Богъ знаетъ, что бы вышло впослѣдствіи изъ мальчика. Вѣроятно, второй экземпляръ отца, слесаря Ивана Иванова Молотова.

Но судьба готовила ему иную жизнь. Егорушка скоро лишился отца. Тогда одинъ профессоръ, по имени Василій Иванычъ,—а фамиліи не скажемъ, у котораго слесарь работалъ и которому понравился сынъ его, взялъ Егорушку къ себѣ. Василій Ивановичъ былъ странный старикъ, и судьба его была странная. Смолоду ему трудно было побѣдить науку, но онъ побѣдилъ ее; хворалъ отъ безсонныхъ ночей, но все-таки взялъ свое, вѣря въ истину, что

терпѣніе и усидчивость все преодолѣваютъ, что въ терпѣніи геній. Онъ въ прежніе годы даже водку пилъ, на томъ основаніи, что умный человѣкъ не можетъ не пить; не любилъ женщинъ—тоже на ученыхъ основаніяхъ; былъ неопрятенъ, разсѣянъ, нюхалъ табакъ. Онъ довольно поработалъ на своемъ вѣку, много перевелъ нѣмецкихъ и французскихъ книгъ, а нѣкоторыя изъ его статей и теперь еще имѣютъ значеніе, какъ матеріалы. За наукою онъ такъ и позабылъ жениться. Но чѣмъ онъ становился старѣе, тѣмъ дѣлался опрятнѣе, водки терпѣть не могъ, и съ завистью смотрѣлъ на женатыхъ людей. Жизнь, построенная на ученыхъ основаніяхъ, сказалась; ему хотѣлось наверстать безсемейность, и онъ полюбилъ своего воспитанника страстно. Бѣда къ старой дѣвѣ попасть на воспитаніе, но если старый холостякъ полюбитъ ребенка, то онъ полюбитъ его горячо; такъ бабушки любятъ своихъ внуковъ. И Василій Иванычъ скоро превратился въ бабушку, — и то умная была бабушка, хотя довольно старопечатная, древле-славянская. Егоръ Иванычъ, какъ теперь, видитъ честное лицо старика, его широкій лобъ въ морщинахъ, его добрые глаза подъ синими очками. Но Егорушка не сразу сошелся съ своимъ воспитателемъ; онъ слушался его во всемъ, учился прилежно, но все дичился и чего-то боялся; самъ не вздумаетъ подойти къ старику, а все надобно позвать; не приласкается къ нему, ничего не попроситъ; капризовъ никакихъ, всегда скроменъ, тихъ и застѣнчивъ. Старикъ замѣтитъ ему что-нибудь,—безъ строгости, ласково и осторожно, чтобы не обидѣть, а мальчикъ все-таки испугается, съежится и потомъ усиленно слѣдитъ за каждымъ своимъ шагомъ.—«Что это значитъ?» думалъ съ безпокойствомъ старый человѣкъ. А дѣло было очень просто. То же бываетъ въ сельскихъ школахъ: онъ, въ глазахъ ребенка, былъ «на барина похожъ». Если учитель говоритъ ученикамъ-мужичонкамъ: «Эй, вы!.. тише!.. слушай!.. когда входите въ школу, то сапоги, а у кого ихъ нѣтъ, то ноги — вытирайте въ сѣняхъ; въ ладонь не сморкаться; на улицѣ должны мнѣ шапку снимать; не говорить мнѣ «ты», а «вы» и т. п., что найдетъ онъ нужнымъ замѣтить,—повѣрьте, школьникъ-мужичонокъ рѣдко заставитъ повторять сказанное, почти всегда сразу запомнитъ и потомъ строго слѣдитъ за собою. Какъ бы то ни было, учитель, если онъ только не деревенскій дьячокъ, все же ходитъ въ сюртукѣ, подчасъ въ шляпѣ и съ тростью въ рукахъ; значитъ, онъ на барина похожъ, а барина мужичонко слушаетъ полнымъ ухомъ. Сначала и Егорушка съ тѣмъ же чувствомъ относился къ своему воспитателю. Кромѣ того, у Егорушки не было товарищей. Потребность товарищества для дѣтскаго сердца старый человѣкъ упустилъ совсѣмъ изъ виду, и понятно, что вначалѣ Егорушкѣ тяжело было, дико было среди комнатъ профессора, которыя ему казались ужъ очень чистыми и громадными послѣ отцовской конуры. Ему хотѣлось бы повидаться съ Микиткой безпалымъ, съ которымъ онъ познакомился въ кабакѣ, куда, бывало, отецъ посылалъ его за виномъ,—повидаться съ Лешкой столяровымъ, съ Машуткой-подкидышемъ, которой онъ покровительствовалъ и за которую часто дирался съ уличными друзьями; хотѣлось бы, задравши лихо рваный козырь на шапкѣ, запустить свинчатку въ конъ; часто ему чудился молотъ наковальни, визгъ желѣза или мѣди; его тянуло за церковную ограду, куда цѣлыми стаями собирались оборванныя дѣти. Потому-то онъ иногда гдѣ-нибудь въ углу плакалъ потихоньку, чтобы никто не видѣлъ; онъ любилъ заходить въ кухню къ лакею профессора, человѣку старому, какъ самъ профессоръ—тамъ ему было привольнѣе.

— Что ты, Егорушка, все скучаешь?— спросилъ его однажды слуга.

— Домой хочу,—отвѣтилъ мальчикъ и вдругъ разрыдался.

— Что ты?.. что ты?.. Богъ съ тобою!— говорилъ оторопѣвшій слуга:—вѣдь ты теперь барчонкомъ сталъ.

Мальчикъ плакалъ.

— Ну, ну, голубчикъ мой, съѣшь вотъ это, съѣшь, Егорушка.

Лакей гладилъ мальчика по головѣ и совалъ ему въ ротъ кусокъ сахару; но тотъ все плакалъ.

— Экая бѣда!—сказалъ лакей и пошелъ позвать профессора.

— Домой хочу,—твердилъ Егорушка и Василью Иванычу.

— А уменя жить не хочешь?—спросилъ старикъ.

— Не хочу.

Крѣпко задумался профессоръ...

— Вѣдь здѣсь лучше, Егорушка!

— Нѣтъ, дома лучше...

— Пойдемъ же домой, — сказалъ старикъ...

И вотъ пришли они на старую квартиру, гдѣ прежде Егорушка жилъ съ отцомъ. Тамъ теперь поселился сапожникъ, все перемѣнилось; мальчикъ не узналъ своего стараго гнѣзда.

— Сходимте на ограду,—попросился онъ.

И здѣсь Егорушка не встрѣтилъ никого изъ старыхъ знакомыхъ... Тогда Егорушка остановился съ недоумѣніемъ, подумалъ, взглянулъ пытливо на профессора и потомъ застѣнчиво, потупясь въ землю, шопотомъ сказалъ:

— Къ Машуткѣ сходимте...

— Къ какой Машуткѣ?

— Вонъ тамъ живетъ.

Старикъ подумалъ, покачалъ головой, однако согласился... Но оказалось, что Машутку отдали въ науку на другой конецъ города. Тогда-то понялъ Егорушка, что старая жизнь никогда не воротится, нигдѣ ея не отыщешь, пропала она. Мальчикъ инстинктивно прижался къ старику. Это тронуло старика.

— Ты мой теперь Егорушка,—сказалъ онъ.

Много было добраго, стариковскаго чувства въ этихъ словахъ. Егорушка невольно поддался ихъ вліянію и съ той минуты сталъ довѣрчивъ къ старику и полюбилъ его. Они весь вечеръ провели вдвоемъ. Егорушка разсказывалъ о своей прежней жизни, и профессоръ подивился, какъ сильно былъ привязанъ этотъ мальчикъ къ своему углу, къ отцу, старымъ товарищамъ и играмъ.

Съ тѣхъ поръ старикъ внимательно слѣдилъ за Егорушкой, слушалъ его разсказы, выпытывалъ его понятія и наклонности, и скоро увидѣлъ, что мальчикъ имѣлъ доброе сердце и хорошія способности, но грубоватъ, неотесанъ, съ дикими понятіями о Богѣ, людяхъ, жизни и природѣ. Старикъ сталъ проводить съ нимъ вечера, разсказывалъ совершенно о иномъ Богѣ, какого онъ и не зналъ до сихъ поръ; ему не вѣрилось сначала, что Богъ совсѣмъ не тотъ старикъ, котораго онъ видѣлъ на иконѣ. То же самое случилось, когда старикъ усердно и радушно старался объяснить ему явленія природы и разсказывалъ объ историческихъ лицахъ и событіяхъ. Многія внушенія и взгляды впослѣдствіи, когда Молотовъ развился, отвѣдалъ новой науки и сталъ самостоятельно вглядываться въ природу и жизнь,—были отвергнуты имъ; тогда снова, въ третій разъ, онъ увидѣлъ, что Богъ и люди совсѣмъ не то, что онъ думалъ; но теперь все было для него въ рѣчахъ старика поразительно и ново, онъ увлекался, для него открылся новый, до тѣхъ поръ невѣдомый, роскошный, нравственный міръ. Недолго совершалась борьба въ дѣтской душѣ; Егорушка скоро бросилъ старую жизнь. Онъ не пересталъ любить своего отца, старыхъ знакомыхъ и товарищей, но ему жалко было ихъ, и онъ усердно молился за нихъ Богу. Иному невѣроятнымъ покажется, что въ дѣтской душѣ, на двѣнадцатомъ году жизни могла бы совершиться серьезная моральная борьба, какая бываетъ въ душѣ юноши. Да, невѣроятно, потому что мы родились въ болѣе или менѣе образованной средѣ и многія истины приняли обыденный характеръ въ нашей жизни; а неужели вы думаете, что двѣнадцать лѣтъ невѣжества легко уступятъ новой жизни? Онъ до сихъ поръ помнитъ, какихъ мученій моральныхъ и сомнѣній стоила ему та истина, что не Илья пророкъ производитъ громъ. Ничего сразу не давалось, ничему новому не вѣрилось, его не тому училъ отецъ. Спорить съ профессоромъ онъ не могъ, силъ не хватало, но его дѣтскія убѣжденія были органическими убѣжденіями, вошли въ него съ молокомъ матери, развились подъ вліяніемъ отца. Потому и совершалась въ его душѣ борьба серьезная, съ болью, хотя исходъ она получила скоро, потому что Егорушка былъ молодъ, а старикъ уменъ и вкрадчивъ. Нравственная работа принесла пользу Молотову: онъ научился не вѣрить старинѣ и авторитету, и то, что нами въ молодости принимается на слово,—вотъ такъ, какъ онъ принималъ на слово, что Илья гремитъ на небѣ,—у него было переварено собственной головой, онъ привыкъ къ самодѣятельности, къ умѣнью отрѣшаться отъ ложныхъ взглядовъ. Онъ сталъ человѣкомъ, способнымъ къ развитію, и потому-то впослѣдствіи онъ бросилъ многія убѣжденія, воспитанныя въ немъ старикомъ: у него стало на то силы; но онъ не посмѣялся надъ старикомъ, потому что

когда-то вѣрилъ ему. Мальчикъ полюбилъ науку; онъ инстинктивно чувствовалъ, что черезъ нее только станетъ человѣкомъ, потому что онъ не былъ породистымъ мальчикомъ. Старикъ радовался, глядя на ребенка, какъ онъ усидчиво занимался книгою, и черезъ годъ нельзя было узнать въ Егорушкѣ прежняго Егорку—грязнаго, оборваннаго, босоногаго, изъ устъ котораго нерѣдко слышалось площадное бранное слово. Микитка безпалый, увидавъ его, не повѣрилъ бы, что этотъ мальчикъ, такъ прилично, по-барски одѣтый, такъ скромно идущій по улицѣ, былъ слесарскій Егорка, прежній другъ его закадычный. Перемѣна въ жизни Егорушки, очевидно, была къ лучшему. Но у него, попрежнему не было игрушекъ: дамочекъ фарфоровыхъ и гусаровъ деревянныхъ, бубенчиковъ и лошадокъ, барабановъ и солдатскихъ киверовъ; онъ, послѣ уроковъ, что-нибудь строгалъ, лѣпилъ или рисовалъ; страсть къ такимъ занятіямъ у него осталась навсегда. Если же ему не хотѣлось ничего мастерить, онъ уходилъ въ кухню къ лакею, или садился у камина и смотрѣлъ въ огонь, или же былъ подлѣ старика. Эта уединенная жизнь въ товариществѣ старыхъ людей, рѣдкіе ученые гости, рѣдкіе выѣзды, при чемъ мальчикъ на короткое время видѣлся съ другими дѣтьми, отсутствіе женщинъ, серьезныя рѣчи положили особый отпечатокъ на личность дитяти. Жизнь въ кабинетѣ старика сдѣлала его застѣнчивымъ, противъ чего онъ послѣ долго боролся. Онъ оставался нѣсколько угловатъ и неловокъ, тѣмъ болѣе, что и самъ профессоръ не былъ свѣтскимъ человѣкомъ. Егорушка былъ не по-дѣтски серьезенъ, но въ то же время у него не было идеальной худобы въ тѣлѣ и блѣдности въ лицѣ; это былъ не заморенный мальчикъ; онъ былъ очень здоровъ.

Быстро пролетѣлъ гимназическій курсъ. Молотовъ выросъ, развился, но въ сущности жизнь его мало перемѣнилась. Онъ сталъ больше ростомъ и ученѣе, съ товарищами мало сошелся, въ гимназіи былъ только во время классовъ, считался умнымъ мальчикомъ и шелъ въ первыхъ ученикахъ. Только за полтора года до университета онъ узналъ дружбу, коротко сблизившись съ сыномъ одного чиновника, Андреемъ Негодящевымъ. Они оба попали въ университетъ казеннокоштными студентами. Дружба ихъ была оригинальная; ихъ называли «непримиримыми друзьями», потому что они постоянно бранятся и спорятъ между собою, а одинъ безъ другого жить не могутъ. Бывало, придутъ послѣ лекціи, станутъ читать какого-нибудь поэта или философскую статью, заспорятъ, раскричатся, дѣло коснется личностей, обоихъ заберетъ самолюбіе, начнутся насмѣшки, чуть не брань. Какъ ужиться при подобныхъ условіяхъ? Но въ слѣдующій разъ они опять встрѣчаются съ радостію и, нисколько не стѣсняясь, сообщаютъ одинъ другому всевозможные вопросы и свои личные взгляды, и это не по обязанности, что друзья должны быть откровенны, а просто имъ не удержаться было отъ разговора. Оба они не любили прѣсной дружбы, а потому часто выводили одинъ другого на свѣжую воду. Профессоръ удивлялся ихъ ярымъ рѣчамъ, иногда вставитъ и свое слово; тогда оба дружно сцѣпятся со старикомъ, начнутъ доказывать отсталость его идей. Добродушный Василій Иванычъ замахаетъ руками: «Ладно, ладно!—кричитъ:—мы стары!.. гдѣ намъ!»—«Такъ что жъ такое, что стары?» напустятся на него студенты. — «Отстаньте!» отвѣтитъ имъ старикъ, закроетъ уши руками и уйдетъ въ кабинетъ. Наши друзья продолжаютъ воевать. И какъ могли сойтись эти совершенно противоположные характеры? Одинъ былъ сынъ мѣщанина, другой—чиновника; одинъ выросъ въ большой семьѣ, между братьями и сестрами, другой—въ товариществѣ стараго профессора. Молотовъ любилъ говорить о широкихъ началахъ, общеміровыхъ идеяхъ и замогильныхъ вопросахъ; «жизнь, природа, человѣчество»—на этихъ предметахъ постоянно вертѣлись его мысли; онъ смотритъ идеалистомъ, хотя, странно, онъ всегда остороженъ, аккуратенъ, осмотрителенъ и всегда у него есть деньги; Негодящевъ же терпѣть не могъ общихъ разсужденій, говорилъ все о карьерѣ, называлъ себя практическимъ человѣкомъ, хотя и часто бывалъ безъ деньжонокъ, любилъ кутнуть и иногда пропускалъ лекціи, необходимыя для студента. Негодящевъ былъ на юридическомъ факультетѣ и говорилъ, что онъ пойдетъ въ чиновники; Молотовъ—на историческомъ и никогда не думалъ, что изъ него выйдетъ. Негодящевъ былъ ловокъ, рѣчистъ, иногда лгалъ немного, мастеръ поддѣлы-

ваться подъ характеръ людей; онъ былъ франтъ и всегда одѣтъ щегольски, а Молотовъ—тяжелъ, говорилъ много, но не когда угодно, а лишь въ минуту увлеченія, прямъ былъ на слова и рѣзокъ, неподатливъ; на немъ мундиръ сидѣлъ не такъ ловко. Молотовъ не сразу усвоивалъ принципы новой жизни, но они крѣпко вростали въ его душу; Негодящевъ увлекался быстро. Негодящевъ уже успѣлъ влюбиться и покляться дочери одного чиновника въ вѣчномъ и пламенномъ чувствѣ, въ чемъ и сознался другу въ задушевной бесѣдѣ; а другъ отвѣчалъ, что онъ не понимаетъ еще этого чувства, что онъ мало видѣлъ женщинъ и совсѣмъ ихъ не знаетъ. Негодящевъ говорилъ, что онъ довольно опытный человѣкъ и людей нѣсколько знаетъ. Негодящевъ былъ болѣе пессимистъ, а Молотовъ — оптимистъ. Они и наружностью не похожи: Негодящевъ высокаго роста, блѣднолицый, черномазый и съ волосами до плечъ, а Молотовъ средняго роста, плечистый, съ румянцемъ на широкомъ лицѣ, коротко остриженъ, глаза у него сѣрые... Такъ, по законамъ дружбы, существующимъ искони, сошлись между собою люди противоположныхъ характеровъ. Но дружба, основанная на этихъ законахъ, рѣдко бываетъ прочна и кончается добромъ: такая дружба обманчива, ее разъѣдаетъ постоянное противорѣчіе, въ ней зрѣетъ вражда. Случилось то, что часто случается съ такими друзьями: Молотовъ попрекнулъ чѣмъ-то Негодящева, и они разругались не на животъ, а на смерть. Тогда Молотовъ испыталъ ту молодую ненависть, когда вчерашній другъ представляется ни больше ни меньше, какъ гадиной, оскверняющей человѣчество, когда думается, что самое ужасное наказаніе другу — презрѣніе къ нему, хотя другъ то же самое думаетъ, и когда оба рады помириться, только не хочется первому просить мира. Молотовъ и Негодящевъ воображали, что они ненавидѣли другъ друга, а между тѣмъ они любили другъ друга; они еще не знали, что значитъ ненавидѣть.

Тогда же съ Молотовымъ случилось и другое несчастіе. Его старикъ опасно занемогъ. Молотовъ дни и ночи проводилъ у постели больного. Горькое настало время. На шестнадцатый день старый человѣкъ сказалъ Молотову:

— Скоро умру, Егорушка... вся грудь высохла... не забывай меня... поминай...

Молотовъ наклонился и поцѣловалъ его руку.

— Утѣшилъ ты меня... Егорушка... Спасибо... и я тебя любилъ.

Молотовъ заплакалъ.

— Полно... не плачь... что жъ дѣлать?— говорилъ шопотомъ умирающій:—пора!..

Старикъ тоскливо посмотрѣлъ на Молотова. Потомъ онъ сталъ говорить о завѣщаніи,—это бываетъ самая трудная и мучительная минута для присутствующихъ, когда человѣкъ актомъ, на гербовой бумагѣ совершонным, отказывается отъ всѣхъ правъ собственности и власти, какія успѣлъ пріобрѣсти во всю жизнь свою... Молотовъ рыдалъ, а старикъ говорилъ, что у него есть статьи, приказывалъ отослать ихъ въ Москву, деньги за нихъ назначить на раздачу нищимъ, велѣлъ поминать Евдокію, сестру его, умершую давно уже, и давалъ предсмертныя увѣщанія.

— Честно живи, Егорушка... Богу молись, старшихъ почитай.

Потомъ больной велѣлъ принести образъ и, благословивши своего воспитанника, забылся на время. Молотовъ отошелъ къ окну и долго смотрѣлъ безсмысленно на улицу. Чувство сильнаго горя и одиночества охватило душу восемнадцатилѣтняго юноши. «Одинъ во всемъ мірѣ!» — эта мысль подавляла его душу, жала мозгъ его. Но... настала развязка старой жизни. Молотовъ подошелъ къ постели: старикъ лежалъ неподвижно; глаза были открыты...

— Добрый мой учитель,—прошепталъ Молотовъ, поцѣловалъ его въ лобъ, поцѣловалъ его руку и закрылъ глаза.

Долго онъ смотрѣлъ въ лицо мертвому — оно было спокойно и безотвѣтно.

На третій день похоронили профессора. На похоронахъ была вся ученая братія, все старики, одинъ лишь молодой человѣкъ—Молотовъ, и ни одной женщины. Помянемъ добрымъ словомъ человѣка, добраго и не мало потрудившагося на вѣку своемъ.

Наслѣдства Молотовъ получилъ около четырехъ тысячъ ассигнаціями, большую часть мебели онъ продалъ, переѣхалъ на новую квартиру, гдѣ и повѣсилъ портретъ старика надъ диваномъ. На новой квартирѣ скучно проходили каникулы. Молотовъ пошелъ однажды къ товарищу, Череванину,

о которомъ говорили, что онъ «съ философскимъ направленіемъ», и у котораго любили собираться студенты. Здѣсь онъ встрѣтился съ Негодящевымъ. Въ душѣ Молотова шевельнулось все доброе старое, слезы стали къ горлу подступать. Негодящевъ отвернулся въ сторону. Молотовъ первый заговорилъ.

— Андрей, полно злиться...

Что если бы его оттолкнулъ Негодящевъ? Но этого быть не могло. Возвращеніе отъ вражды къ дружбѣ было внезапно; Негодящевъ бросился на шею къ Молотову. Они поумнѣли, вспомнили вражду, хохоту было не мало.

— Андрей, — сказалъ Молотовъ, — мы теперь будемъ осторожнѣе.

— А что?

— Опять поссоримся.

— И помиримся опять—вотъ и все.

— Опять переѣдаться будемъ.

— Будемъ.

— Ну, какъ хочешь.

Тѣмъ и кончили. Быстро понеслось время. Теперь только, во второмъ курсѣ, Молотовъ сошелся съ товарищами. Его полюбили. Молотову прекрасными людьми представлялись товарищи — бодрые, смѣлые, честные, за общее благо готовые на всѣ жертвы, оригиналы. Не думалось тогда Егору Иванычу, что многіе изъ нихъ потеряютъ и бодрость, и смѣлость, и оригинальность, и способность къ жертвамъ, а нѣкоторые даже... и честность. Но тогда вѣрилось и жилось хорошо. Вообще онъ мало зналъ жизнь, у него было мало знакомыхъ: знакомъ онъ былъ съ семействомъ Негодящева и съ семействомъ еще одного чиновника, Игната Васильевича Дорогова, съ купцомъ, у котораго училъ сына, да съ хозяйкой своей квартиры. Онъ жилъ товарищеской и университетской жизнью. Между тѣмъ Молотовъ никогда не имѣлъ претензіи на ученую или художественную карьеру; ему придется дѣйствовать въ чисто практической сферѣ, одному, безъ друзей, безъ родни, безъ знакомыхъ, безъ яснаго сознанія цѣли въ жизни, но съ дѣтски-яснымъ взглядомъ на міръ Божій. Какъ-то онъ будетъ жить въ людяхъ съ подобною подготовкою?

1861 г.

---

## ИЗЪ ПОВѢСТИ «МОЛОТОВЪ».

### Разсказъ Молотова о своей жизни.

— Завтра наша свадьба,—говорилъ Молотовъ Надѣ, сидя съ нею въ маленькой ея комнатѣ.

Она ничего не отвѣчала, хотя глубоко взволновалось ея сердце отъ словъ Молотова. Она только взглянула на него, покраснѣла, застѣнчиво улыбнулась и хотѣла, чтобы Молотовъ самъ догадался въ эту минуту поцѣловать ее.

Молотовъ поцѣловалъ ее.

— Надя,—сказалъ онъ.

— Что?

— Я все думаю, сумѣю ли сдѣлать тебя счастливою.

Она посмотрѣла на него съ удивленіемъ и спросила:

— Отчего ты такъ думаешь?

— Оттого, что я самъ только отъ тебя и научился счастью.

— Отъ меня? Что жъ я съ тобой сдѣлала?

— Жизнь мою освѣтила.

Надя глядѣла на него внимательно. Теперь она думала, что Молотовъ выскажется и наканунѣ свадьбы отдастся ей весь откровенно.

Молотову, дѣйствительно, хотѣлось разсказать Надѣ, чтобы она знала, кого завтра назоветъ своимъ мужемъ.

— Знаешь ли ты, Надя, что я до сихъ поръ человѣкъ безъ призванія?

— Какъ же это?

— Да такъ же, какъ и тысячи людей. Помнишь, я говорилъ тебѣ, какъ не хотѣлось итти въ чиновники, и, однако, я долженъ былъ надѣть мундиръ?

— Помню.

— Мнѣ захотѣлось отдѣлаться отъ службы не по призванію, и всю жизнь не могъ отъ нея отдѣлаться. Намъ говорили, что отечество нуждается въ образованныхъ людяхъ, но посмотрите, что случилось: весь цвѣтъ юношества, все, что только есть свѣжаго, прогрессивнаго, образованнаго—все это поглощено присутственными мѣстами, и когда эта бездна наполнится? Рѣдкій человѣкъ выберетъ карьеру по призванію; рѣдкій образованный человѣкъ не убѣжденъ, что онъ родился чиновникомъ. Дѣйствуетъ какой-то бюрократиче-

скій фатумъ, и все у насъ юристы!.. Лишь только кто-нибудь выдирается изъ своей среды, и думаетъ, какъ бы сдѣлаться человѣкомъ; выходятъ ли люди изъ деревни, бурсы, залавка или верстака,—куда они идутъ? Все въ чиновники! Помѣщикъ прожился въ деревнѣ и ищетъ мѣста, это значитъ — чиновнаго мѣста; военный выйдетъ въ отставку и хочетъ нести другую службу, это значитъ—чиновную службу. Но особенно надо удивляться мелкимъ чиновникамъ. Никто не работаетъ такъ усердно, какъ эти несчастные переписчики чужихъ дѣлъ. Въ надеждѣ, что, авось-либо, дадутъ наградишку, прибавку жалованья, пособіе, они трудятся, не покладывая рукъ. Сотни тысячъ живутъ единственно перепискою бумагъ, такъ что для нихъ достать частное занятіе значитъ—достать переписку. Какое странное призваніе—родиться единственно за тѣмъ, чтобы перебѣлить въ жизнь свою до милліона черняковъ и потомъ сойти со сцены! Иной лишь проснется, у него дома наемная работа, потомъ въ должности пишетъ, придетъ домой и опять работаетъ перомъ до истощенія силъ, до одурѣнія. Представьте себѣ, что человѣкъ всю жизнь только и дѣлаетъ, что, захвативъ памятью строку, написанную чужой рукой, переноситъ ее на бумагу; цѣлую жизнь держитъ въ своей головѣ чужія, не интересующія его, ненужныя ему мысли, и представьте, что за все это едва-едва существуетъ... Чиновники—самый испитой народъ. А между тѣмъ, надо сознаться, что большинство образованныхъ людей находится именно въ этомъ сословіи... Чиновничество какой-то огромный резервуаръ, поглощающій силы народныя. Вотъ и я, мужикъ по происхожденію, по карьерѣ, все-таки чиновникъ...

— Какъ же это случилось?

— Со мной и все случалось. Я не выбиралъ себѣ того или другого положенія, а оно само приходило, помимо моего выбора и воли. Случилось, что я попалъ къ профессору на воспитаніе, потомъ на губернскую службу, потомъ скитался по Россіи, перебралъ множество занятій и, наконецъ, попалъ въ архиваріусы, — все случилось! Выдѣлился я изъ народа и потерялся. Натура звала на какое-то другое дѣло; во мнѣ было полное желаніе опредѣлить себя, отыскать свою дорогу, самостоятельно выбрать родъ жизни, и ничего не могъ я сдѣлать,—судьба насильно надѣла на меня мундиръ чиновника и осудила на архивную карьеру...

— Что же за причина тому?

— Великая причина, страшная сила!

— Какая?

— Нужда, «безживотіе злое».

Молотовъ, собираясь съ силами, провелъ рукою по лбу.

— Было время, не жалѣлъ я себя, способенъ былъ на всевозможныя жертвы. Прослуживъ полтора года въ губерніи, я очень хорошо понялъ, что чиновничество— не мое призваніе. Когда снялъ мундиръ, то думалъ: «не пойду же я въ чиновники, буду заниматься частными дѣлами, не увидятъ меня болѣе въ мундирѣ никогда». Вотъ и пошелъ парень гулять по свѣту; догулялся до довольно узкаго существованія. Я поѣхалъ въ Петербургъ, думая заработать здѣсь копейку. Петербургъ мнѣ родной городъ и потому сманилъ меня къ себѣ. Но съ этого-то времени судьба и начала меня преслѣдовать: она не давала мнѣ отдыху и молодыя лѣта растратила на добываніе насущнаго хлѣба. На пути въ столицу, «домой», какъ я говорилъ тогда, хотя у меня не было въ Петербургѣ ни роду ни племени,—пьяный ямщикъ сдѣлалъ мнѣ карьеру. Онъ ударилъ телѣгу въ пень, я вылетѣлъ на землю и сломалъ себѣ ногу. Еле протащился я двѣ версты, весь разбитый, до уѣзднаго городишка, гдѣ и слегъ на наемной квартирѣ, у дьячихи. Тяжелое это было время, грустное, безпріютное и холодное, какъ русская зима... проклятое время! Лежалъ я съ затянутыми въ лубки ногами; пошелъ бы дальше, да нельзя, и безотрадно пересчитывалъ, какъ рубль за рублемъ уходили на лѣченіе изъ двухъ запасныхъ сотенъ. Вотъ когда я въ первый разъ понялъ, что значитъ въ жизни монета! Пять мѣсяцевъ я пролежалъ въ болѣзни, и когда выздоровѣлъ, то въ карманѣ всего оставалось двадцать восемь рублей, а до столицы шестьсотъ верстъ. Ну, надо подниматься и сбираться въ дорогу, какъ вѣчный жидъ, безъ цѣли, безъ назначенія. «Что же я за мнѣ?» думалось мнѣ. Горько стало на душѣ. Простился я съ дьячихой, разспросилъ путь и направился въ ближайшій губернскій городъ пѣшкомъ, сберегая каждый грошъ.

Но черезъ мѣсяцъ у меня не было ни копейки: я продалъ часы и пошелъ дальше по направленію къ Петербургу. Наконецъ скоро осталось нечего продавать; пришлось остановиться на постояломъ дворѣ, и сталъ я справляться, не нуждается ли какой помѣщикъ въ учителѣ для дѣтей. Никому не надо было. Дошло до послѣдней бѣды—платить нечѣмъ было дворнику. Что было дѣлать? Чужой хлѣбъ ѣсть? Протянуть руку Христа ради, воровать? Я здоровъ былъ и силенъ, и нисколько мнѣ не стыдно вспомнить, что я на постояломъ дворѣ кололъ дрова, рубилъ капусту и няньчилъ ребятъ хозяйскихъ, за что меня и кормили. Можетъ-быть, въ этомъ и было мое призваніе! Въ это время напала на меня апатія, и я ничего не дѣлалъ, справляя день за днемъ черную работу, а сработать я могъ больше всякаго мужика, потому что здоровъ и силенъ, какъ медвѣдь... Здѣсь я прожилъ около двухъ мѣсяцевъ. Наконецъ выпало мѣстечко. Надо было одному помѣщику приготовить сынка въ гимназію. На это ушло еще семь мѣсяцевъ... Самъ же я и отвезъ своего ученика въ столицу, гдѣ и помѣстился онъ у своего родственника; а я, употребивъ около четырнадцати мѣсяцевъ на переселеніе въ Петербургъ, долго не встрѣчалъ не только родного, но и знакомаго человѣка. Занявъ квартиру за четыре рубля, я сталъ выглядывать, гдѣ бы зашибить копейку. Одинъ университетскій товарищъ нашелъ мнѣ вакансію у генеральши Чесноковой — опять учить дѣтей. Дѣти были очень понятливы и полюбили меня; но генеральша, женщина полная, рослая, съ лошадиной комплекціей, хотѣла вызвать меня на отношенія къ ней, и жалованье даже предлагала за новую работу. Я только плюнулъ на порогъ ея дома и больше не являлся къ ней. Послѣ этого быстро смѣнялись одно за другимъ занятія. Я попалъ въ купеческую контору, жалованье хорошее положили; но здѣсь все клонилось къ злостному банкротству. Я счелъ долгомъ предупредить о томъ кредиторовъ. Коммерческіе люди такъ озлились, что наняли двухъ приказчиковъ поколотить меня... Если бы поколотили меня, я отъ тебя этого не скрылъ бы, но они струсили... Послѣ этого я нашелъ мѣсто бухгалтера при одномъ акціонерномъ обществѣ, меня и оттуда скоро выгнали. Послѣ этого добылъ корректурныя занятія при журналѣ; но скоро редактора какой-то князь, меценатъ литературный, попросилъ дать занятія одному бѣдному студенту, и меня смѣстили. Снова нашелъ учительское мѣсто,—такъ денегъ не платили. И ты думаешь, что это меня только судьба преслѣдовала, а другіе счастливѣе на занятія и вольную работу? Нѣтъ, милая моя, это общее положеніе всѣхъ чернорабочихъ. У насъ частная работа менѣе развита, чѣмъ общественная. Вольный трудъ неразвитъ и унизителенъ. Наконецъ и откупъ, открывающій объятія для многихъ нашихъ образованныхъ юношей, ласково приглашалъ къ себѣ нуждающагося человѣка, но туда я и самъ не пошелъ. Попытался переводами заняться, ничего не вышло; написалъ три фельетона, и получилъ по восьми рублей за каждый, значитъ, я былъ и литераторъ. Какія только должности не проходилъ я, бился, какъ рыба объ ледъ, а воровать не хотѣлось, хотя, испытавши, что значитъ честный трудъ, смотрѣлъ на людей снисходительно. И вышелъ изъ меня человѣкъ, порожденіе нашего времени, пролетарій, добывающій насущный хлѣбъ всевозможнымъ трудомъ, долго сбирающій собственность и въ одинъ незаработный годъ пожирающій ее.

— Боже мой, какъ тяжело жить на свѣтѣ!—проговорила Надя.

— Да, голубушка моя...

— Много же тебя оскорбляли...

— Ничего, отерпѣлся... Смѣшно вспомнить, какъ въ самой юной молодости я выходилъ изъ себя за то, что одному помѣщику вздумалось выбранить меня за глаза; а теперь хоть въ глаза брани меня,—такъ мнѣ все равно, даже лѣнь и сердиться... Мнѣ-то что за дѣло, что обо мнѣ говорятъ другіе? Я самъ себя знаю! Я прежде не понималъ самой простой вещи: господа, презирающіе насъ, просто-напросто несчастны, бѣдны умомъ, невоспитанны. Мнѣ ихъ жалко теперь. Стала появляться въ моемъ характерѣ какая-то одервянѣлость, вслѣдствіе которой меня ничѣмъ не проймешь: сплетня, дурное мнѣніе лица или кружка, сословное презрѣніе на меня не дѣйствуютъ. О чемъ тутъ хлопотать и шумѣть?.. Пусть ихъ!.. Они считаютъ себя благодѣтелями, давальцами, мецена-

тами?.. Что же я-то стану дѣлать, когда у нихъ голова скверно и уродливо устроена? Не сердиться же, въ самомъ дѣлѣ, когда, напримѣръ, лаетъ собака; изъ сотни собакъ развѣ одна не бросается на незнакомаго, на не своего, и такихъ собакъ не любятъ хозяева. Но мало ли есть непріятностей на свѣтѣ? Дождь идетъ; клопы кусаютъ, душно въ воздухѣ, прыщи на лицѣ, — и изъ-за этого волноваться? Я настолько независимъ отъ всѣхъ, что могу считать людей, презирающихъ меня, ничтожными. Что ни думай они обо мнѣ, мнѣ все равно. Моя квартира для нихъ заперта, какъ и ихъ для меня, значитъ, мы квиты. Я ихъ не пущу къ себѣ, живу безъ нихъ, и, право, оттого мнѣ не хуже. Презрѣніе ихъ ничтожно и низко. Но не сразу же я дошелъ до такого благодѣтельнаго равнодушія; постепенно и медленно утихала сокрытая ненависть, пропадали насмѣшки и дерзости; самое презрѣніе къ нимъ пропало, и наступило полное равнодушіе, такъ что обиды не шевелятъ и сердца моего. Жизнь, Наденька, вытекаетъ не изъ принципа, а изъ натуры, не изъ теоріи, а изъ причины. Поэтому у меня и должно было родиться особенное, оригинальное понятіе о чести. Я глухъ къ чужому отзыву о своей личности, — онъ даже не раздражаетъ меня нисколько; «это ваше мнѣніе, говорю я, а не мое, — я не такъ думаю»; а больше мнѣ ничего и не надо. Когда сыплются на человѣка въ продолженіе многихъ лѣтъ несправедливыя оскорбленія, онъ становится къ нимъ безчувственъ и равнодушенъ. У насъ свой гоноръ, особенный; напримѣръ, иного труса вызовутъ на дуэль, и онъ долгомъ считаетъ принять ее, не откажется ни за что, а я откажусь, хоть не трусъ вовсе; скажутъ, что это безчестно, я не обращу на то никакого вниманія; пристанутъ сильно, стащу въ полицію — вотъ и все. Иному господину стыдно сказать, что у него есть великосвѣтскіе друзья и знакомые, а я вѣдь мужикъ, и знаешь ли, нахожу особое удовольствіе, когда у княгини Зеленищевой, дѣтямъ которой даю уроки, выпадаетъ при гостяхъ ея случай вставить такое словцо: «Вотъ когда я однажды рубилъ капусту на постояломъ дворѣ», либо что-нибудь въ родѣ этого. Презанимательно выходитъ.

Передъ Надей раскрывалась дѣйствительная жизнь, раскрывался характеръ Егора Иваныча, и она съ пожирающимъ вниманіемъ слушала его разсказъ.

— Да, трудно зарабатывать въ нашемъ обществѣ хлѣбъ своими руками. Лишь откроется мѣсто учителя, корреспондента, управляющаго домомъ, секретаря и т. п.,— сейчасъ являются сотни претендентовъ. Мнѣ казалось, да и теперь часто думается, что въ самомъ честномъ-то трудѣ много нечестнаго. Отчего мнѣ работу, а не другимъ? Вѣдь и они ѣсть хотятъ? Сдѣлаютъ то же, что и я. Права одинаковы на работу. Почему же мнѣ ее дали? Потому что счастье, ловкость, случай. Работать всякій станетъ, будьте увѣрены; какъ не трудиться, когда желудокъ кричитъ: «работы, работы!» Но и самую работу надо завоевать, какъ дикарь завоевываетъ у дикаря скотъ и пожитки. Мы постоянно поѣдаемъ другъ друга. И неловко, моя Наденька, было принимать участіе въ борьбѣ изъ-за куска хлѣба, изъ-за пожитковъ. Но что жъ дѣлать? Они ѣсть хотятъ, и я хочу; они имѣютъ право на работу, и я тоже; они сдѣлаютъ хорошо дѣло, и я хорошо; я не правъ, что отбиваю работу у нихъ, и они неправы, что отбиваютъ ее у меня. Много ли людей, которые работаютъ не потому только, что ѣсть хотятъ? Чего фальшивить и становиться на ходули? Деньги всѣмъ нужны. Были когда-то побужденія иныя, высшія, а теперь пріобрѣтать хочется, копить, запасать и потреблять. Не поэтично, но честно и сытно. Честная чичиковщина настала, и вотъ сознаю, что я тоже пріобрѣтатель. И сегодня, и завтра, и цѣлые годы надо прожить, и прожить такъ, чтобы въ лицо не наплевали, значитъ, надо работать безъ призванія къ работѣ. «Злато—металлъ презрѣнный»,—кто это сказалъ такую чепуху? Деньги, монета—учрежденіе государственное; за деньги можно хлѣба купить, современныхъ идей, потому что онѣ не на улицѣ валяются, а продаются въ книгахъ, можно купить свѣчу и поставить ее какому-нибудь угоднику. «Все куплю, сказало злато; все возьму, сказалъ булатъ»—это армейскій софизмъ, потому что и самъ-то булатъ купленъ за деньги. О, если бы побольше злата, а булатовъ поменьше!

— Какъ же ты опять поступилъ чиновникомъ?—спросила Надя.

— Отвѣдавъ вольнаго труда, я нашелъ, что департаментъ вѣрнѣе обезпечиваетъ человѣка. Неутѣшительно, а справедливо. Но на этотъ разъ я пошелъ въ департаментъ безъ всякой мечты о дѣятельности общественной, а просто на казенную пищу, на государственные харчи. Не любовь къ труду, приносящему деньги, а именно любовь къ деньгамъ руководила мною. Я освоился со службой, втянулся, но, по совѣсти сказать, не люблю ее. Отношенія къ службѣ у меня тѣ же, какія у иного школьника къ уроку. Урокъ лежитъ въ головѣ—вотъ падежи, плюсы, тексты, хронологическая цифра, французскій глаголъ,—а школьнику что за дѣло до всего этого? Урокъ самъ по себѣ, школьникъ самъ по себѣ. Лишь пришелъ я изъ департамента домой, мнѣ и дѣла нѣтъ до него. Такъ ломовая лошадь тянетъ возъ, а какая ей забота до него? Плеть повисла надъ спиной. И надо мной нужда повисла плетью. Я—маленькій механизмъ въ огромной машинѣ служебной. Механикъ заведетъ машину—и всѣ механизмы, винтики, пружины, кольца и цѣпочки служебныя приходятъ въ движеніе; остановятъ машину—и мы остановимся. Главный болтъ работаетъ, а мы уже вертимся за нимъ. Денегъ не дадутъ—заниматься не стану; дѣло остановится на половинѣ—мнѣ не жалко, уничтожьте мои труды—я не буду горевать. Отерпѣлся я и занимаюсь, чѣмъ угодно, не чувствую особеннаго влеченія къ предмету труда; но не скучаю занятіями, люблю самый процессъ работы, потому что моя натура требуетъ непремѣннаго движенія. Я—мелочной торговецъ и человѣкъ безъ призванія. Но, несмотря на механизмъ труда, моею работою всегда довольны, я точенъ и исполнителенъ. Иногда и скучно, но не обращаю на то вниманія и работаю...

— Что же заставляетъ тебя быть чернорабочимъ?

— Ты думаешь, неужели одна любовь къ деньгамъ и процессу труда? Неужели ты не понимаешь, что значитъ чувство собственности? Оно можетъ развиться до щекотливости, чтобы быть независимымъ, никогда не просить, никого не благодарить за кусокъ хлѣба. Я гордъ, Надя, и не хочу, чтобы кто-нибудь служилъ для меня, а и захотѣлъ бы, такъ никто служить не станетъ. Положеніе прямо вытекаетъ изъ обстоятельствъ. Я тебѣ говорилъ, что жизнь происходитъ изъ натуры, а не принципа, изъ причины, а не теоріи. Но не сразу я добился и такого положенія въ обществѣ. Много было потрачено силъ душевныхъ, терпѣнья и выжиданья, прежде нежели я освоился, оглядѣлся, пріобрѣлъ ловкость, тактъ и изворотливость, пріобрѣлъ связи и рекомендацію и, наконецъ, обстановился. Я теперь вполнѣ обезпеченъ, потому что, при даровой квартирѣ и дровахъ за управленіе домомъ, могу проживать до полуторы тысячи рублей, сытъ всегда достаточно, одѣтъ прилично, помѣщенъ въ теплѣ. Я люблю свою квартиру... Ты увидишь въ ней, Надя, что-то семейное, домовитость, порядокъ и пріютъ. На стѣнахъ картины и канделябры, на окнахъ пальма, золотое дерево, фига, лимонъ, кактусъ и плющъ, на столахъ вазы, на полу коверъ, передъ каминомъ дорогой рѣзьбы орѣховое кресло. Я много положилъ заботъ, чтобы устроить свой кабинетъ изящно. Въ немъ мы будемъ проводить время, читать, работать. Много ты у меня найдешь серебра, фарфора, мрамора и дорогихъ бобровъ. Я постоянно пріобрѣталъ себѣ вещи, и каждая изъ нихъ куплена обдуманно, съ размышленіемъ, по личному вкусу: вещь прочная и изящная. Я долго собиралъ книги, собирая ихъ понемногу, и составилась библіотека всѣхъ моихъ любимыхъ авторовъ. У меня есть отличный микроскопъ, зрительныя трубы и другіе физическіе инструменты. Положенное число разъ я бываю въ русскомъ театрѣ и въ итальянской оперѣ, абонируюсь въ библіотекѣ и читаю все лучшее. Я понемногу свивалъ свое холостое гнѣздо и десять лѣтъ копилъ усидчиво собственность. Въ шкатулкѣ собственной работы у меня заперто болѣе пятнадцати тысячъ. Вотъ такимъ-то образомъ я одѣлъ себя, обулъ, помѣстилъ въ тепло, среди красивой обстановки, добылъ себѣ изящную въ возможныхъ размѣрахъ жизнь, и не стоитъ теперь передо мной каждый день, каждый часъ мучительный, неотразимый, изсушающій мозги вопросъ: «хлѣба, денегъ, тепла, отдыха!»

— И ты счастливъ былъ?—спросила Надя.

— Въ минуты добраго расположенія духа почти счастливъ. Мнѣ думалось тогда: достаньте вы въ столицѣ ежегодно полторы тысячи, заработайте такъ, чтобы

въ каждой копейкѣ могли дать отчетъ, за что она получена. Это трудно; у меня же есть деньги и совѣсть! Вспоминалось мнѣ пройденное поприще; сколько заботъ, трудовъ, часто унизительныхъ, пришлось вытерпѣть! Тогда я не могъ не ощутить довольства собой, душевнаго спокойствія, и радъ былъ, когда въ это время заходилъ ко мнѣ гость. Одинъ, замѣть, Надя, безъ чужой помощи, единственно себѣ я обязанъ своимъ комфортомъ. Мое сребролюбіе благородно, потому что я никогда и ничего не кралъ, ни отъ кого не получалъ наслѣдства, у меня ничего нѣтъ подареннаго, найденнаго, заработаннаго чужими руками. Все, что у меня есть въ комнатахъ, въ комодахъ, на плечахъ, въ карманѣ,—все добыто моей головой и руками. Ни матеріально ни морально я ни отъ кого не зависимъ. Меня судьба бросила нищимъ; я копилъ потому, что жить хотѣлъ, и вотъ добился же того, что самъ себѣ владыка. Я, Надя, свободенъ, и никому не дамъ отчета, какъ я живу и что думаю, кромѣ тебя, Надя. Часто, среди этихъ мыслей, возникалъ твой образъ, и я долго и задумчиво сидѣлъ въ креслѣ передъ каминомъ. Въ это время я былъ счастливъ.

Молотовъ задумался, вспомнивъ былые дни.

— Но такое расположеніе духа не часто гостило въ моей холостой квартирѣ. Большею частію время шло ровно и спокойно; послѣ труда, и отдыхъ, и обѣдъ, и пустой разговоръ—все имѣло свою прелесть. Я испытывалъ то физическое наслажденіе, которое такъ хорошо знаетъ чернорабочій, отдыхая послѣ труда. Но душа спала, и когда просыпалась, я ощущалъ страшную скуку и тоску. «Экое дѣло, думалось мнѣ, что я честенъ, не пью водки и въ квартирѣ у меня хорошо!.. Что въ томъ толку?.. И не глупъ я, и силенъ, и работать люблю, но куда пошли мои силы?.. На брюхо свое, на добываніе насущнаго хлѣба!.. Благонравная чичиковщина!..скучно!.. благочестивое пріобрѣтеніе, домостроительство, стяжаніе и хозяйственные скопы!..» Холодно становилось мнѣ въ своей квартирѣ и пусто, и нерѣдко я испытывалъ то состояніе, когда и страхъ, и точно мученія совѣсти, и отвратительная тоска тѣснились въ мою душу... «Чортъ бы побралъ, думалъ я, мое мѣщанское счастье и мою искусственную независимость въ одиночку, безъ товарищества и любви». Иногда такъ тяжело становилось, что я готовъ былъ схватить и брякнуть объ полы вазы, порвать картины, разметать цвѣты и статуи. Противно было думать, что изъ-за нихъ-то я и бился всю жизнь... Вещами наслаждаться, книгами, театрами, а съ людьми не жить! Когда-то жизнь казалась такъ широка, безпредѣльна. Я, Надя, родился космополитомъ, не былъ связанъ ни съ какою почвою, не былъ человѣкомъ сословія, кружка, семьи. Казалось, такъ легко было вступить въ свѣтъ. Но я былъ выходцемъ изъ своего сословія, и потому, какъ всѣ выходцы, не понималъ, что многаго требовать нельзя, что необходима умѣренность, тихій гласъ и кроткое отношеніе къ существующимъ интересамъ общества. Мы ломать любимъ, либо дѣлаемся отъявленными подлецами, либо благодушествуемъ, какъ я благодушествую. Съ тупымъ изумленіемъ смотримъ мы на людей, потому что они не похожи на насъ. Положеніе нелѣпое — торчать отъ всѣхъ особнякомъ; пальцами начнутъ указывать, на смѣхъ поднимутъ, возненавидятъ. Поневолѣ пришлось съежиться, обособиться, притвориться, что и ты такой же человѣкъ, какъ всѣ, а дома устроить себѣ и моральную и матеріальную жизнь по-своему, завести своихъ пенатовъ; своихъ поэтовъ, общество и друзей. Что же дѣлать, не всѣмъ быть героями, знаменитостями, спасителями отечества. Пусть какой-нибудь геній напишетъ поэму, нарисуетъ картину, издастъ законъ, а мы, люди толпы, придемъ и посмотримъ на все это. Не угодитъ намъ геній, мы не будемъ насильно восхищаться, потому что толпа имѣетъ полное право не понимать генія... Иначе простымъ людямъ жить нельзя на свѣтѣ... Правду ли я говорю, Надя?

Надя посмотрѣла на него и ничего не отвѣчала...

— Неужели запрещено устроить простое, мѣщанское счастье?..

Надя ожидала, что онъ еще скажетъ.

— Надя, милліоны живутъ съ единственнымъ призваніемъ — честно наслаждаться жизнью... Мы—простые люди, люди толпы... 1861 г.

---

**Александръ Константиновичъ Шеллеръ-Михайловъ.**

(1838 — 1900).

## Желчь.

Извините, господа, я тоже обѣщалъ вамъ разсказъ, но позабылъ объ одномъ незначительномъ препятствіи; дѣло въ томъ, что я вовсе не умѣю разсказывать... Ну, начали посмѣиваться! А, право, ничего нѣтъ смѣшного въ томъ, что разсказывать не умѣетъ человѣкъ и, сверхъ того, русскій человѣкъ, то-есть существо молчаливое, несообщительное, проводившее жизнь за перепиской бумагъ, за картами, за пляской, за попойками или въ спаньѣ, однимъ словомъ, существо, которому милліоны разъ говорилось: «да какъ ты смѣешь разговаривать!» Чтобы наказать васъ за этотъ вѣтреный смѣхъ, я прочитаю вамъ чужой разсказъ, грубый до цинизма, ѣдкій до боли. Онъ попался мнѣ въ бумагахъ (между счетомъ прачки и первымъ посланіемъ Пушкина къ Чаадаеву) послѣ смерти одного изъ моихъ дальнихъ родственниковъ, Егора Дмитріевича Благолѣпова. Егоръ Дмитріевичъ былъ человѣкъ угрюмый, желчный, съ большими причудами, всѣ называли его мизантропомъ, боялись его ядовитаго и остраго, какъ бритва, языка, и, слыша его злобныя, нерѣдко циническія выходки, съ состраданіемъ говорили, что онъ сумасшедшій. Онъ, съ обычною своею находчивостью, очень часто проявляющеюся въ сумасшедшихъ, называлъ это мнѣніе «средствомъ удобно проглотить крупную пилюлю обиды». Какой-то старикъ назвалъ его однажды Пигасовымъ. «Этотъ мальчикъ,— сказалъ Егоръ Дмитріевичъ про старика,—кажется, до сихъ поръ убѣжденъ, что всѣ лошади сдѣланы изъ дерева, какъ его старая игрушечная лошадка». Насчетъ своихъ похоронъ онъ распорядился слѣдующимъ оригинальнымъ образомъ: «На гробъ пять рублей. На могилу три, а если можно заплатить дешевле, хоть бы за общую, то тѣмъ лучше, товарищи меня не стѣснятъ. За отпѣваніе рубль. Могильщику полтинникъ. На свѣчи полтинникъ. Читальщика не надо: въ видахъ экономіи я самъ прочиталъ весь псалтырь при жизни. Гости, если таковые придутъ провожать мое тѣло и сплетничать о моемъ прошломъ, могутъ итти по своимъ домамъ и тамъ помянуть меня; если же они ничего не изготовятъ въ этотъ день, надѣясь на поминки, въ

чемъ я вполнѣ увѣренъ, то тѣмъ лучше: они узнаютъ правдивость того правила, что на чужой коровай рта не разѣвай. Все остальное имущество и деньги отдать кончающему курсъ гимназисту Ивану Андрееву Лукину; ему деньги нужнѣе, чѣмъ моему скелету приличныя похороны». Послѣ смерти чудака всѣхъ удивило то, что онъ постоянно давалъ даровые уроки шестерымъ бѣднымъ мальчуганамъ и такъ привязалъ ихъ къ себѣ, что они рыдали, какъ большіе, надъ его трупомъ. Кромѣ ихъ, выла надъ нимъ какая-то старая собака...

Потрудитесь придвинуть ко мнѣ свѣчу. Я начинаю чтеніе.

---

«Вотъ опять зима наступила, шестидесятая зима въ моей жизни, и такая же она суровая, такая же долгая, какою была и въ тотъ годъ, когда, при свѣтѣ сальнаго огарка, подъ вой мятели и проклятья пьянаго отца, я впервые почувствовалъ холодъ жизни и обрадовалъ или опечалилъ, право, не знаю навѣрное, свою бѣдную мать первымъ крикомъ существованія. Боже мой, Боже мой, сколько перемѣнъ въ средствахъ, въ чувствахъ, въ убѣжденіяхъ пережилъ я въ эти шестьдесятъ ничѣмъ не отличавшихся другъ отъ друга зимъ! Съ какимъ телячьимъ восторгомъ привѣтствовалъ я первый снѣжокъ, крутившійся въ воздухѣ, въ тѣ дни, когда, въ какомъ-то капуцинѣ—халатѣ домашняго изобрѣтенія — бѣжалъ я въ прискачку въ уѣздное училище съ ватагой Сенекъ, Ванекъ, Мишекъ, оставшихся на вѣки вѣчные Сеньками, Ваньками и Мишками... Впрочемъ, виноватъ, одного изъ нихъ уже публично признали за Симеона—при отпѣваніи его тѣла... Коньки, салазки, снѣжки, осады снѣжныхъ крѣпостей, ледяныя горы—все, все радовало маленькое, глупенькое сердчишко. Зато съ какой горечью, съ какой малодушной завистью встрѣчалъ я зиму, отправляясь въ легкомъ пальто на нелюбимую службу, не имѣя теплой одежонки и видя закутанныхъ въ енотовыя шубы богачей. Какъ я проклиналъ зиму, когда въ эту пору больная мать, завернувшись въ послѣдніе лохмотья, не могла отогрѣть своего продрогшаго въ холодной каморкѣ тѣла, и тихо, какъ догорѣвшая до конца свѣча, гасла,—гасла до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, всѣ свыклись съ мыслью о близости и необходимости ея смерти, и рѣшились по дружбѣ изъявлять мнѣ сожалѣніе, что я связанъ старухою по рукамъ и по ногамъ, что пора бы ей дать мнѣ покой и не заѣдать молодого вѣка. Эти намеки пробудили первые упреки моей совѣсти и сомнѣніе въ прочности человѣческихъ чувствъ, потому что эти же позорныя мысли, безъ моей воли, уже не разъ мелькали въ моей головѣ и заставляли создавать планы лучшей жизни, когда умретъ мать. «Нищета, нищета,—воскликнулъ я, поддаваясь отчаянію:—ты отняла у насъ все, даже сладость святой, безкорыстной любви. Твои члены любятъ другъ друга, покуда каждый можетъ добывать свою долю насущнаго хлѣба. Ты сдѣлала человѣка звѣремъ! Но, можетъ-быть, это только я такъ черствъ; можетъ-быть, только я такъ мало люблю свою мать, что въ меня закралась мысль о необходимости ея смерти? Нѣтъ, нѣтъ, тогда почему бы знали посторонніе люди, что эта мысль возможна? Какъ смѣли бы они оскорблять меня въ глаза, если бы эта мысль была нравственнымъ уродствомъ? Развѣ смѣетъ кто-нибудь сказать своему собрату: «Какъ жаль, что у тебя нѣтъ ножа, чтобы зарѣзать своего друга!» Нѣтъ, моя мысль была нормальнымъ явленіемъ. Всѣ бѣдняки думаютъ *такъ* въ подобныхъ обстоятельствахъ, и всѣ люди знаютъ это... Но вотъ мать угасла совсѣмъ, и мнѣ осталось одно: купить гробъ, чтобъ сложить въ него худой трупъ, похоронить его и на другой день, чувствуя ознобъ, позавидовать участи покойницы. Какъ искренно ненавидѣлъ я тогда зиму, такую же точно зиму, какую я хотѣлъ бы продлить безъ конца черезъ десять лѣтъ послѣ смерти матери, выбившись изъ нужды, сидя въ собственномъ домишкѣ, наслаждаясь долгими, темными вечерами съ молодой, чудной женою, любуясь рѣзвымъ огонькомъ въ печи, отдыхая подъ звуки любимаго голоса, шептавшаго мнѣ: «ты скоро будешь отцомъ»! Какимъ нѣжнымъ, чуткимъ и женственно-нервнымъ существомъ былъ я прежде, какимъ черствымъ, сухимъ и суровымъ смотрю я теперь, и только тогда, когда я проклинаю прошлое, проклинаю ту зиму, съ которой начался внутреній переворотъ; только тогда я еще чувствую, что я человѣкъ, что во мнѣ не все убито, что если

у меня нѣтъ силы спасти падшаго, то есть сила бросить комокъ грязи въ лицо его враговъ... Вы любите потрясающіе разсказы, они васъ потѣшаютъ. Оно и точно: отрадно въ теплой комнатѣ, въ кругу друзей, среди прекрасной обстановки, послушать, какъ страдаютъ, какъ гибнутъ наши братья и, дослушавъ послѣдніе крики ихъ страданій, проклятій и позора, отправиться къ мягкой постели и чувствовать, что сонъ клонитъ сильнѣй послѣ всѣхъ этихъ прослушанныхъ ужасовъ, что на душѣ дѣлается спокойнѣе. Не вздумаете отвергать этихъ словъ, не вздумаете разсмѣшить меня до колотья увѣреніемъ, что вы этими разсказами хотите смягчить свое сердце, наполнить его состраданіемъ и любовью къ ближнимъ. Вздоръ! Не смягчить его разсказомъ, если не смягчила жизнь! Она мечется въ глаза страшнѣе самыхъ страшныхъ повѣствованій; даже я, задыхающійся отъ желчи, пропитанный ею до мозга костей, не могъ бы передать вамъ милліонной частицы ужасовъ жизни. Но тебя, блестящая львица модныхъ баловъ, тѣшутъ эти разсказы, потому что ты, видя въ нихъ, какъ оскорбляютъ и позорятъ развратники твою бѣдную сестру, можешь радоваться тому, что эти же люди трепещутъ передъ тобою и едва смѣютъ коснуться твоей руки на балѣ. Ты, накопившій имѣнье отецъ, читая про раздоры въ семьѣ, неразлучные съ нищетою, радуешься своему богатству и убѣждаешься все сильнѣе и сильнѣе, что оно крѣпко и надолго привяжетъ къ тебѣ покорность твоихъ сыновей. Ты, любящая мать, слыша, что честная труженица неизбѣжно должна погибнуть въ нуждѣ, а богатая вѣтреница непремѣнно найдетъ жениха по душѣ и будетъ главою въ будущей семьѣ, ты успокоиваешься насчетъ участи своей дочери и засыпаешь съ ясной улыбкой. Да, это все такъ, это все въ порядкѣ вещей, людямъ никогда не надоѣдятъ новыя подтвержденія ихъ силы, счастья и славы. Поэтъ съ трепетомъ прочитываетъ страницы, написанныя по поводу его произведеній, и спѣшитъ убѣдиться, что онъ все попрежнему первый пѣвецъ на родинѣ, что все попрежнему раздаются сѣтованія о малочисленности талантовъ, — и благодаритъ Бога за эту малочисленность, радуется, что въ теченіе десятковъ лѣтъ продолжается застой и не является никакого другого, болѣе могучаго генія... Слушайте же горькіе разсказы, наслаждайтесь, спите сладкимъ сномъ, будьте счастливы, и, чтобы ваше счастье было еще полнѣе, даже я, у котораго нѣтъ ничего, кромѣ горя и желчи, какъ подачку, какъ милостыню, какъ обглоданную кость, бросаю вамъ мой разсказъ. Вы его возьмете, вы насладитесь имъ, и я улыбнусь своей злобной улыбкой, потому что въ эту минуту мнѣ удастся стать выше васъ, дать подаянье богачу отъ жалкой трапезы нищаго.

Я уже сказалъ, что я родился бѣднякомъ, и тутъ же имѣлъ смѣлость, глядя вамъ прямо въ глаза, замѣтить, что у меня былъ послѣ собственный домишко. Въ эту минуту—не надѣвайте своей обычной маски лицемѣрія, долой ее, скорѣе долой!—въ эту минуту въ вашихъ головахъ промелькнула мысль: «подлецъ, вѣрно, взятками нажился!» Вы добрые, вы честные люди, и потому вамъ позволительно, вамъ естественно подозрѣвать каждаго изъ окружающихъ въ подлости, во взяточничествѣ, во всѣхъ гнусныхъ порокахъ. Иначе почему бы вамъ и слыть добрыми и честными? Не считайся другіе подлецами, и васъ сволокли бы съ пьедесталовъ и назвали бы обыкновенными,— не добрыми, не злыми, не честными, не подлыми, а обыкновенными смертными, исполняющими свои обязанности—и не болѣе, исполняющими ихъ, потому что надъ всѣми есть и карающій законъ, и бдительное общественное мнѣніе, и судящій Богъ... Но вы ошиблись въ своемъ предположеніи: я не былъ подлецомъ. Теперь я въ этомъ сильно раскаиваюсь... Румянъ, скорѣе румянъ! слушатели хотятъ нарумянить свои щеки и сказать мнѣ, что они краснѣютъ за мое признаніе... Я не употребляю румянъ, и только потому говорю безъ краски на лицѣ, что раскаиваюсь въ своей честности, но поздно:, старъ я сталъ, къ новому образу жизни привыкать трудно, да и не стоитъ, некому копить деньги. Развѣ на поминовеніе души?.. Въ первые годы юности меня спасли отъ подлости не книги, не люди, не разсудокъ, но особенности моей натуры: нервность, впечатлительность, самолюбіе. То я слезъ бѣдныхъ просителей не могъ видѣть и хлопоталъ для нихъ даромъ (то-есть за казенное жалованье, что и называется даромъ); то

меня раздражала наглость сильнаго негодяя, хвалившагося возможностью согнуть въ бараній рогъ слабаго противника; то душа возмущалась тѣмъ, что люди смѣютъ бросить мнѣ взятку только потому, что я нищій и что они считаютъ меня рабомъ, готовымъ лизать ихъ ноги за ихъ проклятое богатство. Ну, вотъ и не бралъ взятокъ, а работалъ. Что работалъ? Все! Пѣшкомъ въ столицу ушелъ, въ университетѣ вольнослушателемъ былъ, бумаги переписывалъ, сапоги себѣ чинилъ, бѣлье штопалъ, за четвертаки дѣтей грамотѣ училъ, полы въ своей комнатѣ шваброй мылъ, на кандидата экзаменъ выдержалъ... Всѣ, кто меня зналъ, умные, глупые, ученые и необразованные, всѣ звали меня или скрягой, или человѣкомъ съ низкой душой, и нашлись такіе остряки, которые увѣряли, что своими глазами видѣли, какъ я шелъ въ прачечную съ корзиной грязнаго бѣлья на головѣ, какъ потомъ полоскалъ его на рѣкѣ и послѣ разносилъ накрахмаленныя и выглаженныя мною юбки давальцамъ. Нашлись и такіе, которые улыбались этимъ остротамъ, какъ улыбаетесь въ настоящую минуту и вы... До меня доходили эти слухи: вѣдь бѣднякамъ и въ глаза такія вещи говорятъ,— и я все выше и выше поднималъ голову, все смѣлѣе и тверже глядѣлъ въ глаза этимъ людямъ, и—странное дѣло!—немногіе выносили взглядъ этого человѣка съ низкой душой! Нашлась женщина, которая вынесла этотъ взглядъ, которая отдала за него всю жизнь,—поймите это!—молодую, чудную, непорочную жизнь. Веселъ былъ нашъ трудъ вдвоемъ. Еще веселѣе было намъ, когда мы вошли въ домишко, состоявшій изъ четырехъ комнатъ, и сказали: «это нашъ домъ!» Тутъ была и гордость, и радость, и надежда на свѣтлые дни. И точно, эти дни настали: я, жена и нашъ сынъ были однимъ человѣкомъ. Это былъ крѣпкій союзъ. Часто оскорбляли или огорчали того или друго изъ насъ люди, но мы сходились вмѣстѣ и весело смѣялись надъ людьми, надъ ихъ гнусной злобишкой, стараніемъ ужалить въ пятку, подкрасться сзади, обобрать соннаго, опозорить отсутствующаго. Эта злоба могла насъ лишить всего, кромѣ нашей честности, кромѣ нашей любви. Я помню, какъ-будто это было вчера, одинъ вечеръ, когда нашъ сынишка пришелъ изъ школы красный, какъ вареный ракъ, взволнованный до-нельзя, и съ раздраженіемъ началъ разсказывать о случившейся непріятности.

— Риль, — говорилъ онъ на своемъ дѣтскомъ, безсвязномъ языкѣ, похожемъ на лепетъ,—спрашивалъ классъ. Семеро не знали. Я сталъ отвѣчать. Онъ не разслышалъ, сказалъ: «Ты тоже не знаешь!» А я все зналъ. Это онъ солгалъ. Теперь у меня дурной баллъ...

— Успокойся, — промолвилъ я, слыша въ его голосѣ слезы.—Отвѣть мнѣ урокъ— вотъ и конецъ весь. Что тебѣ за дѣло до балловъ.

Сынишка отвѣтилъ отлично.

— Ну, и молодецъ!—сказалъ я, весело смѣясь.

— А какъ же въ школѣ? Я ниже другихъ буду...

— Такъ что жъ такое? Вѣдь ты знаешь, что ты лучше ихъ сдѣлалъ свое дѣло, и этого съ тебя довольно.

Я развилъ передъ сыномъ цѣлый рядъ понятій и взглядовъ, которые поддерживали меня самого въ жизни. Я показалъ ему, что человѣкъ долженъ поступать честно для самого себя, для своей совѣсти, что хорошіе поступки не требуютъ награды. Конечно, я не сказалъ ему, что до сихъ поръ въ человѣческомъ обществѣ, по большей части, правдивые страдаютъ, что негодяи торжествуютъ, что честность есть своего рода оригинальничанье... Въ то время я и самъ не совсѣмъ убѣдился въ этомъ и воображалъ, что какой-нибудь честный Иванъ блаженствуетъ, умирая съ голода за свою честность, а взяточникъ Григорій не знаетъ ни днемъ ни ночью покоя, и мучится, видя, какъ передъ нимъ ползаютъ и умные и честные, какъ всѣ его уважаютъ, какъ ему открываются всѣ житейскія наслажденія...

Ребенокъ съ этого дня сталъ бодрѣе учиться. Сначала онъ былъ робокъ передъ учителями, теперь былъ спокоенъ, твердъ, зная, что не ихъ баллы, а его совѣсть должна быть его высшимъ судьей. Когда баллы были худы, онъ прямо приходилъ ко мнѣ, отвѣчалъ урокъ и успокоивался. Съ этого дня онъ хотя и инстинктивно, но сталъ дорожить нашимъ союзомъ.

Чего бы, кажется, было нужно еще? Счастіе было полное, мы могли жить, попѣвая пѣсенки à la Béranger. Но мы

смотрѣли на жизнь болѣе трезво. Ребенокъ или Béranger, это все равно, унесенный въ лодкѣ волнами моря, можетъ спокойно плести вѣнки изъ сорванныхъ на берегу цвѣтовъ; но взрослый человѣкъ въ этомъ положеніи будетъ выносить страшную муку, зная, что лодка не колыбель, что море не твердая земля. Счастье человѣка не имѣетъ никакого будущаго, если общество не дорожитъ сохраненіемъ, цѣлостью этого счастья, если оно старается разрушить это счастье. Каждый человѣкъ долженъ самъ устраивать свое счастье, но общество должно его застраховать; иначе... иначе будетъ та же глупая жизнь наугадъ, какою всѣ живутъ до сихъ поръ, будетъ то же хожденіе впотьмахъ, ощупью, тотъ же страхъ передъ завтра. Мы всѣ это знали, и иногда бывали у насъ минуты неодолимой грусти. Разумѣется, вы не поймете этой грусти. On danse chez vous sur le volcan! Вы должны кругомъ, у васъ долговъ больше, чѣмъ волосъ на головѣ—и все-таки вы весело скачете въ бѣшеномъ вальсѣ, въ этой современной пляскѣ св. Витта, не заботясь о томъ, что завтра, послѣ этой вальпургіевой ночи, васъ могутъ стащить въ тюрьму неисправныхъ должниковъ. Она полна, но дай Богъ, чтобы въ ней нашелся уголъ и для васъ! Жена, я и сынъ были нервными, впечатлительными людьми; насъ тревожило малѣйшее горе, посѣтившее ближняго, давило безучастіе другихъ къ этому горю. Вамъ покажется это смѣшнымъ, дѣтскимъ, болѣзненнымъ малодушіемъ, негоднымъ въ обществѣ; вы всѣ знаете пословицу: на кладбищѣ живешь, такъ всѣхъ покойниковъ не оплачешь, этимъ себя только встревожишь, надо быть твердымъ. Я самъ теперь вполнѣ согласенъ съ вами, умные, твердые люди, и никто изъ васъ не можетъ похвалиться такою твердостью, какъ моя... Въ такомъ настроеніи застала насъ та роковая зима, съ которой началось мое перерожденіе. Зима была суровая; богатые люди кутались въ шубы и прятались въ каретахъ; побѣднѣе люди запасались двойнымъ бѣльемъ, фуфайками и кутались въ шинели; совсѣмъ бѣдные отогрѣвали себя водкою, откупъ торжествовалъ, у этихъ бѣдняковъ не было ни фуфаекъ, ни шубъ, ни каретъ: итакъ, слава тому, кто первый превратилъ хлѣбъ въ вино! Ставьте ему монументъ, бѣдняки, напивайтесь допьяна страшнаго зелья, заливайте имъ свое горе, разливайте имъ въ своихъ жилахъ адскій огонь, наперекоръ трескучимъ морозамъ придавайте имъ силы на зло забивающей васъ судьбѣ и, когда горе захватитъ за самое сердце, пойте веселыя пѣсни, громкія, пьяныя пѣсни, будите ими уснувшихъ дѣтей, пугайте ими запоздалаго пѣшехода, тревожьте сонъ сибарита!..

Дѣло было около Рождества; пошелъ я купить елку для сына и десятилѣтней дочери. Какъ-то особенно тяжело было мнѣ въ этотъ день, меня рѣзали по сердцу жалобные голоса изморившихся нищихъ, бродившихъ около возовъ съ провизіей и выпрашивавшихъ гроши у покупавшихъ дичину богачей. Мнѣ было просто совѣстно тащить десятокъ куръ, пробиваясь между людьми, у которыхъ, можетъ-быть, нѣтъ хлѣба. Закупивъ нужное, я поѣхалъ домой; подъѣзжаю и вижу у своего домика стеченіе празднаго народа. Я заглянулъ, на что смотрятъ любопытные, и увидалъ лежащаго на снѣгу человѣка.

— Что это, пьяный?—спросилъ я.

— Пьяный, батюшка, — отвѣчали мнѣ.

— Надо его подобрать... Гдѣ подчасокъ?

Я послалъ за подчаскомъ и, наскоро сунувъ провизію и елку въ кухню, вышелъ снова на улицу. Посланный возвратился и объявилъ, что подчаска нѣтъ, а будочникъ не можетъ отойти отъ будки. Я тотчасъ сообразилъ, что человѣкъ можетъ замерзнуть, и рѣшился внести его въ свой домъ. Въ эту минуту по улицѣ проѣхала карета и остановилась.

— Что вы смотрите? — спросилъ выпрыгнувшій изъ кареты баринъ. — Человѣкъ замерзнуть можетъ, а вы помочь не хотите, мерзавцы! Каждый изъ васъ можетъ завтра же быть въ такомъ положеніи, значитъ, надо и другихъ спасать, чтобы отъ нихъ помощи для себя требовать.

— Я его сейчасъ къ себѣ на домъ хочу отнести,—сказалъ я.

— И прекрасно сдѣлаете, — замѣтилъ господинъ.—Удивительный у насъ народъ, скоты безчувственные какіе-то: посмотрѣли бы вы за границей, тамъ общество само подаетъ помощь своимъ членамъ въ подобныхъ случаяхъ, а не ждетъ полиціи. У насъ же человѣкъ можетъ погибнуть на улицѣ, а помощи не дождется. Никто

не понимаетъ, что въ этихъ случаяхъ нужна самодѣятельность общества...

Господинъ говорилъ такъ, какъ говорятъ всѣ господа и какъ вслѣдъ за господами пишутъ всѣ журналисты, слѣдующіе своимъ обезьяньимъ наклонностямъ. Я читалъ постоянно газеты и могъ угадать впередъ, что̀ скажетъ мнѣ этотъ баринъ, а потому и поспѣшилъ, не тратя словъ, приступить къ дѣлу.

— Ну, братцы, пособите поднять его,— сказалъ я.

Бо̀льшая часть толпы торопливо разошлась при этихъ словахъ, въ остальной пробѣжалъ ропотъ.

— Охота связываться! наживете бѣды!— говорили голоса.

— Свиньи!—крикнулъ баринъ и велѣлъ сойти своему кучеру и помочь мнѣ.

Перенесли бѣднягу ко мнѣ. Я велѣлъ его оттирать, самъ побѣжалъ въ полицію дать знать. Въ кухнѣ мнѣ попались дѣти, печально ходившія около елки: ихъ встревожило появленіе въ квартирѣ пьянаго человѣка, котораго они считали за мертвеца.

— Что вы, городовой, что ли, что съ улицъ пьяныхъ подбираете? — обидчиво замѣтилъ мнѣ надзиратель, когда я пришелъ въ кварталъ.

— Не городовой; но будочникъ и подчасокъ не явились на зовъ, а человѣкъ могъ бы замерзнуть.

— Ну, и замерзъ бы, такъ не вы бы отвѣчали,—холодно отвѣтилъ надзиратель.

— Вѣдь это безчеловѣчно! Этакъ можно даже допустить убить человѣка у нашихъ оконъ, благо мы отвѣчать не будемъ, оправдываясь тѣмъ, что мы спали и не слыхали криковъ.

— Ну, это философія! — воскликнулъ надзиратель и послалъ со мною полицейскихъ солдатъ; хотя я требовалъ доктора, но его не было дома.

Пришли домой, а пьяный все еще не пришелъ въ чувство. Солдаты и я подумали-подумали и рѣшили, что надо, во что бы то ни стало, призвать доктора. Тотъ только что возвратился къ себѣ въ квартиру и разсердился, что я зову его къ пьяному.

— Это много будетъ, если я ко всѣмъ пьянымъ мужикамъ ходить буду.

— Но вы обязаны; я говорю, что онъ не приходитъ въ чувство.

— Привезите его сюда, тогда увидимъ.

— Но онъ на дорогѣ можетъ умереть.

— Это не ваше дѣло.

— Послушайте, докторъ, я на васъ жаловаться буду. Вы имѣете дѣло не съ мужикомъ, который сталъ бы молчать.

— А! вы жаловаться будете!—промолвилъ страннымъ и зловѣщимъ голосомъ докторъ.—Извольте, я пойду.

— Пришли мы. Докторъ освидѣтельствовалъ пьянаго и объявилъ, что онъ избитъ. Наѣхала полиція, составили актъ, пьянаго повезли въ больницу, на дорогѣ онъ умеръ. На другой день меня потребовали къ допросу, продержали долго; дерзости, надѣланныя мнѣ допросчиками, вызвали съ моей стороны нѣсколько желчныхъ и крайне рѣзкихъ отвѣтовъ.

— Мы пошлемъ справиться о васъ въ вашъ департаментъ,—сказалъ приставъ.— Вы дѣлаете дерзости здѣсь, то немудрено, что вы и деретесь съ людьми, которые ниже васъ.

— Не думаете ли вы, что я убилъ этого человѣка?

— Я ничего не имѣю права думать, а собираю справки, — сказалъ онъ съ иронической улыбкой.

— Кажется, дѣло ясно: напротивъ моего дома кабакъ, тамъ, вѣроятно, пьяный и былъ избитъ.

— Очень ловкое объясненіе. Но, къ сожалѣнію, цѣловальникъ говоритъ, что этотъ человѣкъ не былъ въ кабакѣ.

— Онъ можетъ врать...

— Очень можетъ быть. Найдите свидѣтелей, что онъ вретъ, мы вамъ будемъ очень благодарны, это распутаетъ дѣло.

Взбѣшенный этой сценой, я возвратился домой; конечно, о елкѣ, о веселой встрѣчѣ праздника не было и помину. На дѣтей пьяный подѣйствовалъ очень непріятно; они услыхали, что онъ умеръ на дорогѣ, и стали бояться мертвеца, не рѣшаясь пройти по темной комнатѣ. Я былъ раздраженъ и безъ того, и потому немудрено, что не попробовалъ разъяснить имъ всю глупость ихъ страха, представивъ его въ смѣшномъ видѣ, а прикрикнулъ на нихъ и еще болѣе испугалъ ихъ. Жена была молчалива и какъ-то непріятно строга. Черезъ два дня въ департаментѣ позвалъ меня къ себѣ директоръ.

— Что у васъ тамъ за дѣло съ полиціей завязалось?—спросилъ онъ съ недовольнымъ видомъ.

Это былъ баринъ чопорный, брюзгливый, отличныхъ воспитанія, тона и фамиліи; онъ относился о полиціи съ крайнимъ пренебреженіемъ и, вѣроятно, попалъ бы въ бѣду за этотъ отчаянный либерализмъ, если бы его положеніе въ свѣтѣ не позволяло ему либеральничать, какъ угодно, и не дѣлало этихъ вольностей довольно миленькимъ кокетствомъ.

Я разсказалъ ему всю исторію.

— Помилуйте, надо не имѣть ни капли смысла и такта, чтобы поднимать пьяныхъ съ улицы и тащить ихъ къ себѣ въ домъ. Вы могли бы просто послать своего дворника за этими—какъ ихъ тамъ зовутъ?—квартальными, подчасками, кажется такъ?

— Но это все было бы слишкомъ длинно, а я и то раскаиваюсь въ своей медленности и раздумьѣ.

— Я думаю, ваша жена очень вамъ благодарна за этого гостя,—улыбнулся директоръ своей тонкой, насмѣшливой улыбкой.

У него были прекрасныя манеры.

— Моя жена—женщина, а не истуканъ съ надписью: «человѣкъ»!

— То-есть, что вы этимъ хотите сказать?—прищурился директоръ, выглянувъ изъ-за бумагъ.

— То, что она понимаетъ необходимость подавать помощь ближнимъ, пьянымъ или ограбленнымъ, генераламъ или мужикамъ—это для нея все равно.

— Вотъ-съ какъ. Совершенство въ чиновническомъ мірѣ! Я преклоняюсь передъ добродѣтелями вашей жены, засвидѣтельствуйте ей мое почтеніе... Только я попрошу васъ: въ другой разъ, если вы будете имѣть дѣло съ этими слѣдственными подчасками, то не тревожьте департаментъ. Я не желаю, чтобы мои чиновники имѣли дѣло съ полиціей, и если они будутъ имѣть съ нею дѣло, то я попрошу ихъ не доводить этого до меня.

Директоръ вздохнулъ, окончивъ эту рѣчь. По своему положенію въ свѣтѣ, онъ имѣлъ полное право управлять русскими и не умѣть говорить по-русски; если онъ говорилъ: «подайте мнѣ бумагу съ карандашомъ», то это значило: «подайте бумагу, на которой написано карандашомъ».

— Надѣюсь, что вы дали обо мнѣ хорошій отзывъ?

— Я вашей частной жизни не имѣю счастья знать.

— Но вы знаете мою служебную дѣятельность и можете судить по ней о моей частной жизни.

— Помилуйте, люди такъ разны въ разныхъ положеніяхъ.

— Что вы хотите этимъ сказать?

— Ахъ, Боже мой, что я не знаю вашей частной жизни.

— Значитъ, полиція можетъ считать меня и за негодяя и за мерзавца?

— Это не мое дѣло... Извините, мнѣ крайне совѣстно, но у меня есть дѣло теперь.

Директоръ вѣжливо и сухо раскланялся со мною.

Я вышелъ отъ него въ какомъ-то чаду. Дома меня уже ждало приглашеніе изъ полиціи. Начали меня таскать... Черезъ мѣсяцъ я былъ принужденъ продать за шестьсотъ рублей свой домишко и переѣхать на вольную квартиру въ двѣ комнаты... На моей шеѣ былъ уже долгъ... Надо мной висѣла черная туча, я былъ озлобленъ, измученъ, униженъ. Жена хворала, ее душилъ кашель... Знаете ли вы, что такое бѣдность? Какъ не знать: вы на художественной выставкѣ видѣли картинку, гдѣ былъ нарисованъ нищій: помните, какъ красиво выглядѣла заплата на его зипунѣ? Но знаете ли вы, что у бѣдняковъ постоянные ссоры, раздоры, непріятности изъ-за лишняго куска хлѣба, изъ-за копейки, переданной на рынкѣ кухаркою, которую непремѣнно считаютъ воровкою? Знаете ли вы, что каждый намекъ, каждое неумышленное рѣзкое слово, произнесенное однимъ членомъ бѣдной семьи, оскорбляютъ и вызываютъ на отвѣтъ другого ея члена? Гдѣ вамъ это знать! Этого нѣтъ на художественной выставкѣ!..

— Папа, нищенка пришла, милостыни проситъ,—сказала мнѣ однажды моя дочь, когда нужда была въ полномъ своемъ развитіи.

Я стиснулъ зубы и молча продолжалъ ходить по комнатѣ.

— Пусть проситъ, мы сами скоро нищими сдѣлаемся!—съ раздражительностью сказала моя жена.

Бѣдная женщина страдала за дѣтей, зная, что теперь-то и были нужны деньги на ихъ воспитаніе, что Сашенькѣ не худо бы

имѣть и особый уголъ для выучиванія уроковъ, что въ общей комнатѣ, подъ говоръ разныхъ гостей и посѣтителей, плохое ученье.

— Что это ты пророчишь?—замѣтилъ я.—Ограбилъ я, что ли, свою семью, что меня упрекать можно?

— Я не упрекаю, но согласись самъ, что почти нечѣмъ за Сашу платить въ школу. Ты впутался въ дѣло, когда въ нашемъ положеніи надо было благодарить Бога, что насъ не трогаютъ, не замѣчаютъ.

— Хорошій ты примѣръ подаешь дѣтямъ. Эгоизмъ, самый гнусный эгоизмъ проповѣдуешь! Ты, вѣрно, изъ нихъ негодяевъ приготовить хочешь. Это, точно, поможетъ имъ нажить богатство и не разориться, какъ разорился ихъ дуракъ-отецъ. Погоди, они еще купятъ тебѣ дорогихъ нарядовъ...

Несчастная жена задрожала, ее поразила моя жёлчная выходка. Я отвернулся отъ нея и ушелъ за перегородку. На ея лицѣ я впервые замѣтилъ зловѣщія красныя пятна, и меня ужаснула мысль, что я самъ оборвалъ еще одну изъ нитей ея жизни. Я видѣлъ, какъ она прижала къ своей груди дѣтей, точно кто-нибудь хотѣлъ ихъ отнять у нея, какъ цѣловала она ихъ, какъ плакала надъ ними; я страдалъ, хватался за голову, сходилъ съ ума. Но я не могъ выйти къ ней, не могъ у ея ногъ вымолить себѣ прощеніе, настолько честности во мнѣ не было: для этого я былъ *слишкомъ мужчина*, если можно такъ выразиться. Но и въ васъ, во всѣхъ васъ, мои собратья, не нашлось бы этой готовности въ такую минуту. Дѣти, видѣвшія слезы матери, слышавшія мои гнѣвныя слова, злобный голосъ, но не знавшія, что творилось въ моей душѣ, естественно, присмирѣли и дичились меня во весь этотъ день. Это еще болѣе оскорбляло и раздражало меня; я не поцѣловалъ ихъ, какъ дѣлалъ это обыкновенно передъ отходомъ ко сну. На другой день, утромъ они поцѣловали мою руку и быстро отошли отъ меня, не дожидаясь, почти избѣгая моего поцѣлуя... Весь слѣдующій день я былъ хмурымъ и употреблялъ нечеловѣческія усилія побѣдить себя. Вечеромъ сталъ спокойнѣе.

— Маша, — сказалъ я женѣ, — прости меня!

— За что, мой другъ?— произнесла она голосомъ, который рѣзалъ мой слухъ; въ немъ была кроткая, но холодная покорность.—Ты ни въ чемъ не виноватъ...

— Нѣтъ, я знаю, что я виноватъ!

— Мой другъ, я говорю, что ты не виноватъ. Я, вѣроятно, въ самомъ дѣлѣ, такая слабая, такъ еще привыкла къ внѣшнему блеску, къ этимъ женскимъ тряпкамъ, что меня стоило попрекнуть ими.

— Нѣтъ, нѣтъ!—говорилъ я, слушая эти слова глубоко оскорбленной женщины и зная, что каждая стремящаяся къ развитію женщина, сознавая слабость своего пола, не выноситъ ни малѣйшаго намека на эту слабость со стороны мужчины.

— Я кругомъ виноватъ, я это вполнѣ чувствую...

— Ты такой добрый, мой другъ,—заговорила она.—Ты перенесъ всѣ лишенія; я знаю, какъ ты выбился изъ нужды, ты и теперь выбьешься изъ нея, не падешь духомъ; но я слаба, я не успѣла, или, лучше сказать, не умѣла закалиться; я, какъ ребенокъ, любовалась твоимъ мужествомъ и попрежнему была малодушна. Только теперь я сознаю, что дѣйствительно меня занимали, можетъ-быть, тряпки, что я не стоила быть твоей союзницей, что я въ непростительномъ самообольщеніи считала себя равною тебѣ. О, какъ бы много я дала, если бы было возможно воротить назадъ три дня и умереть тогда, а не теперь!—зарыдала она.

— Маша, Маша! — въ волненіи воскликнулъ я и припалъ къ ея рукѣ своими губами.

Она наклонилась къ мнѣ, поцѣловала мою голову, мои глаза, ея слезы катились на мои руки, на мое лицо.

Въ эту минуту мы прощались съ прошлымъ; моя Маша самовольно, безропотно, съ неодолимой грустью, выходила изъ роли союзницы и дѣлалась моей ученицей, рабой, и я не могъ всѣми силами міра передѣлать этого, возвратить былое. Эти поминки старой жизни рѣшили все. Я сталъ слѣдовать за больной женщиной-ребенкомъ, какъ нянька, какъ вѣрный песъ, какъ рабъ, и все-таки чувствовалъ, что этотъ ребенокъ считаетъ себя и есть на самомъ дѣлѣ слабѣе меня, ниже меня.

Сентиментальность! глупость! идеальничанье! Да, да, эмансипаторы женщинъ, такими словами встрѣтите вы эти строки

и будете правы, *васъ* нисколько не потревожитъ, если *ваша* жена станетъ вашимъ ребенкомъ, *вы* требуете равноправности не для нея: вы рады тѣшить ее тряпками и играть роль повелителей.

А денегъ между тѣмъ было мало... Квартира, докторъ и лѣкарства для жены—вотъ тѣ новые расходы, которые, во-первыхъ, принудили меня перемѣстить сына изъ дорогой школы въ гимназію, то-есть заставить его подлаживаться подъ характеры новыхъ учителей и подъ новую методу преподаванія; во-вторыхъ, заставили меня приняться давать уроки постороннимъ дѣтямъ, то-есть находиться постоянно внѣ дома, знать, что при лежащей въ постели, раздраженной матери дѣти постоянно будутъ безъ надзора. Черезъ два года жена умерла. Я остался одинъ съ дѣтьми, но съ какими дѣтьми? Съ сыномъ болѣзненно-раздражительнымъ въ дѣлахъ, касавшихся лично его, и холоднымъ, безстрастнымъ въ дѣлахъ, касавшихся другихъ людей. Съ дочерью капризной и лѣнивой, уже на одиннадцатомъ году думавшей о тряпкахъ, завидовавшей своимъ богатымъ подругамъ. Попробовалъ я ихъ исправить, мнѣ казалось это нетруднымъ, такъ какъ они испортились только какіе-нибудь два-три года, но дѣло оказалось неисправимымъ. Три года были для ихъ судьбы вѣчностью: дурное сѣмя, говорятъ, быстро даетъ плоды и заглушаетъ хорошее, посѣянное съ огромнымъ трудомъ, политое потомъ... Стоитъ ли говорить о семейныхъ сценахъ раздоровъ? Стоитъ ли хвастать тѣмъ, что моя дочь вышла замужъ за богатаго старика, что она имѣла важнаго любовника, что ее считали законодательницей модъ въ пошлѣйшемъ свѣтѣ, что она не замерзла безъ одежды на улицѣ, а умерла, наѣвшись мороженаго въ безпутно-блестящемъ маскарадѣ? Пожалуй, иные, услышавъ это, ночь не будутъ спать отъ зависти. Или вамъ угодно потѣшиться, какъ чиновникъ-сынъ попрекнулъ меня моею неумѣлостью?

— Помилуйте, батюшка,—сказалъ онъ:—вы кандидатъ университета, а вышли въ отставку, поссорившись съ директоромъ, не выслуживъ ничего.

— Я заслужилъ честное имя и спокойную совѣсть.

— Но этимъ вы сыты не будете. На міръ надо смотрѣть трезво. A la guerre, comme à la guerre,—говорятъ французы. Если у насъ отнимаютъ все и не даютъ ничего, то и мы не должны сентиментальничать. Вы хвалитесь своею твердостью, а въ сущности она просто слабость, непростительная слабость.

Я любовался въ это время его чиновническою, приличною наружностью, его невозмутимымъ спокойствіемъ, его умѣньемъ класть ногу на ногу, сидѣть удобно на креслѣ, ковырять перышкомъ въ зубахъ; онъ мнѣ напоминалъ нашего директора, и ужъ никакъ не могъ я признать въ немъ потомка дьякона Трофима Благолѣпова.

— Я васъ не упрекаю,—говорилъ онъ:—вы уже устарѣли для упрековъ, но согласитесь, что вы ничего не могли сдѣлать со всѣми своими гуманными идеями. На что онѣ годятся теперь, даже для васъ самихъ?

— Чтобы смѣло плевать въ глаза такимъ подлецамъ, какъ ты!—отвѣтилъ я, всталъ и...

Больше я не видалъ своего сына, больше у меня не было сына, я похоронилъ въ этотъ день своего Сашу. Тотъ Александръ Егоровичъ Благолѣповъ, котораго знаетъ весь городъ, какъ умнаго правителя канцеляріи, какъ богача, женившагося на глупой купчихѣ,—не мой сынъ. Въ этого звѣрски грубаго, огрызающагося за малѣйшую царапину, нанесенную ему, давящаго безъ состраданія слабыхъ, ловко изгибающагося передъ высшими, въ этого зашибающаго копейку человѣка я первый готовъ бросить камень: онъ мнѣ чужой! Онъ, можетъ-быть, забрызгаетъ грязью, проѣзжая въ своей каретѣ, мой заплатанный, покрытый пятнами сюртукъ, но я нагнусь до грязи и пущу ею въ его блестящій форменный мундиръ, въ его бѣлый, мастерски завязанный галстукъ, въ его приличную, выскобленную физіономію: онъ мнѣ чужой!

---

На-дняхъ, мучимый, по обыкновенію, безсонницей, я блуждалъ ночью по улицамъ Петербурга. Было около трехъ часовъ ночи. Передъ моими глазами какой-то молодой человѣкъ началъ взбираться по лѣстницѣ штукатуровъ на высоту десяти саженъ. Я зналъ, что это мошенникъ или человѣкъ, рѣшившійся на самоубійство, и не остановилъ его.

— Вонъ мазурикъ лѣзетъ, — сказалъ мнѣ дворникъ, карауливший домъ.

— Да,—отвѣтилъ я ему.

— Развѣ подчаска позвать?

— Что жъ, позови, если хочется, — промолвилъ я и продолжалъ смотрѣть, какъ неизвѣстный мнѣ человѣкъ взбирался на высоту.

Пришелъ подчасокъ, начала собираться толпа. Изъ дома высунулись отвратительныя заспанныя лица женщинъ въ ночныхъ чепцахъ, съ жиденькими косичками, съ полинявшими щеками, бровями, и пугавшія отсутствіемъ вынутыхъ на ночь зубовъ. За этими мегерами торчали еще болѣе отвратительныя физіономіи съ всклоченными волосами, съ повисшими внизъ усами; это были мужчины, не проспавшіеся отъ вчерашнихъ попоекъ, отъ вчерашняго разврата. Я продолжалъ смотрѣть и даже нашелъ силы въ себѣ злобно улыбнуться при мысли, что и эти отвратительныя въ своемъ пьяномъ безпорядкѣ головы требуютъ у кого-нибудь ласкъ и поцѣлуевъ, и требуютъ ихъ именно въ этомъ видѣ. Какъ отвратителенъ человѣкъ спросонья! Ни одинъ звѣрь не измѣняется отъ сна, и только человѣкъ въ минуту пробужденія носитъ на себѣ клеймо своей развратности, своихъ низкихъ побужденій. Въ эту минуту скверно смотрѣть на лучшаго друга! Толпа завела разговоръ съ неизвѣстнымъ человѣкомъ.

— Вотъ какъ фонари погасятъ, такъ я птицей слечу, никто и не увидитъ, какъ я слечу,—отвѣтилъ онъ и, раскачивая лѣстницу изо всей мочи, запѣлъ какую-то пѣсню.

Въ этомъ голосѣ было что-то страшное, дикое. Я понялъ, что онъ сумасшедшій, и улыбнулся, потому что вѣдь и меня зовутъ сумасшедшимъ. Минуты летѣли, никто не подостлалъ своей шинели на то мѣсто, куда могъ упасть несчастный; никто не рискнулъ взобраться на лѣстницу и, жертвуя собою, спасти ближняго. Вѣка благодѣтельныхъ самарянъ и великихъ героевъ прошли. Да и были ли когда-нибудь такіе вѣка?.. Была одна минута, когда я хотѣлъ вскарабкаться наверхъ своими старыми ногами, но это была только минута.

«Да нужна ли ему жизнь?—подумалъ я.—Или потѣшить толпу и вмѣстѣ съ нимъ слетѣть съ высоты? Нѣтъ, я хочу еще посмотрѣть на людей, потѣшить злобу, и пусть погибаетъ его молодая жизнь, если она ему не нужна! Мы всѣ чужіе, пусть гибнутъ, пусть страдаютъ, пусть проклинаютъ люди,—мы будемъ покойны, пока страданье не коснулось насъ самихъ...»

Толпа между тѣмъ уже успѣла привыкнуть къ новому событію и начала шутить и острить, точно неизвѣстный человѣкъ поселился на вѣчное житье на вершинѣ лѣстницы.

— Вонъ твой женихъ сидитъ!—крикнулъ со смѣхомъ одинъ дворникъ, показывая наверхъ вышедшей изъ дома дѣвушкѣ.

Она подняла голову, чтобы взглянуть туда, и въ то же мгновеніе въ воздухѣ раздался медленный, пронзительный вой, и къ ногамъ дѣвушки упало человѣческое тѣло. Никогда, никогда не забуду я этого страшнаго глухого звука... Я взглянулъ на тѣло, голова еще шевелилась въ предсмертныхъ судорогахъ, кровь лилась ручьемъ на средину улицы... Можетъ-быть, это былъ вашъ знакомый, можетъ-быть, это былъ вашъ сынъ, братъ? Ну, бросайте же въ меня каменья за то, что я не спасъ его! Бросайте ихъ въ эту толпу, стоявшую со мною въ теченіе трехъ часовъ! Безчеловѣчная толпа! Сегодня она не спасла этого бѣдняка, завтра не спасетъ другого. Вы видите ее каждый день, праздно глазѣющею на лежащихъ въ обморокѣ людей, вы слышите въ эти минуты ея звѣрски-бездушныя шутки... Бросайте же въ нее каменья! Чего же вы боитесь?.. Вы съ ужасомъ смотрите на меня, пятитесь назадъ въ своихъ креслахъ, вамъ кажется, что этотъ человѣкъ забрызгалъ меня своей кровью... Ну, что же? если я страшенъ, такъ идите прочь, идите спать. Я вамъ бросилъ свой разсказъ, свою подачку, вы мнѣ больше не нужны... Теперь вашъ сонъ будетъ крѣпокъ.

---

На этомъ мѣстѣ, господа, разсказъ прерывается, и слѣдуетъ счетъ бѣлья. Но это нисколько не интересно.

**Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ.**

(1836—1878).

## Спѣвка.

Очеркъ.

Часовъ въ шесть пополудни, на квартирѣ у регента собирались пѣвчіе. Отеревъ предварительно сапоги о валявшуюся въ сѣняхъ рогожку, входили они въ переднюю, въ которой помѣщался старый, провалившійся диванъ, шкапъ для платья и пузатый комодъ. По причинѣ нагороженной мебели и происходившей оттого тѣсноты, одежа сваливалась въ кучу на диванѣ и частію на комодѣ. На полу и тутъ можно было нащупать нѣчто въ родѣ рогожки, о которую пѣвчіе при входѣ обязаны были шмыгать ногами. Въ дверяхъ, изъ передней въ залу, стоялъ самъ регентъ, мужчина средняго роста, лѣтъ сорока, съ выразительнымъ лицомъ и стриженными бакенбардами. Онъ стоялъ въ халатѣ, съ трубкой въ рукахъ и наблюдалъ за тѣмъ, чтобъ сапоги у всѣхъ были достаточно вытерты. Въ залѣ, на столѣ, горѣла сальная свѣча и довольно тускло освѣщала большую печь въ углу, диванъ, фортепіано съ наваленными на немъ нотами, комодъ краснаго дерева, нѣсколько стульевъ и скрипку, висѣвшую на стѣнѣ. На другой стѣнѣ видны были: портретъ митрополита Филарета, часы и манишка. Въ залѣ было тѣсно, пахло сыростію и жуковымъ табакомъ, а когда кто-нибудь кашлялъ, то и резонансу оказывалось мало. Входя въ залу, пѣвчіе кланялись, сморкались, кто во что гораздъ, и молча садились на стулья. Собирались они не вдругъ, а по нѣскольку человѣкъ, и всякій разъ, когда въ сѣняхъ начиналось шмыганіе и сопѣніе, регентъ спрашивалъ:

— Ну, всѣ, что ли?

Изъ темной передней слышался отвѣтъ: «нѣтъ еще-съ».

— Дишканта и альта не входите въ залу; посидите тамъ, пока ноги повысохнутъ, — говорилъ регентъ, встрѣчая вновь прибывшую толпу мальчишекъ. Дисканта и альта остались въ передней и сейчасъ же начали возню. Тенора и басы частію сидѣли въ залѣ и сооружали самодѣльныя папиросы, частію прохаживались по комнатѣ и вполголоса разговаривали между собой. Въ то же время, пока собирались пѣвчіе, происходила такая сцена. Въ дверяхъ стояла женщина въ кацавейкѣ, съ большимъ платкомъ на головѣ. Она привела сына, мальчика лѣтъ четырнадцати, и просила принять его въ число пѣвчихъ. Регентъ ходилъ по залѣ, взбивалъ себѣ хохолъ, потомъ останавливался

у двери и отвѣчалъ скороговоркой: «да-да-да», «хорошо-хорошо», «это такъ» и проч. Шли переговоры о цѣнѣ. Регентъ колебался, принять пѣвчаго или нѣтъ, и утверждалъ, что мальчикъ очень старъ. Женщина, виднѣвшаяся въ полумракѣ изъ передней, слезливо посматривала на регента и покусилась было даже упасть ему въ ноги, прося не оставить сына, но регентъ удержалъ ее, говоря, что онъ не Богъ. Испитой, косоглазый мальчикъ, съ вихрами на макушкѣ, въ пестромъ ситцевомъ халатѣ и въ женскихъ башмакахъ, стоялъ у притолки и, время отъ времени потягивая носомъ, посматривалъ исподлобья на дискантовъ, которые, со своей стороны, пользуясь темнотой, начали уже его задирать, дергая исподтишка за халатъ.

— Будьте отцомъ-благодѣтелемъ!—умоляла женщина.— Мальчикъ онъ смирный и въ нотѣ твердъ, а пуще всего страхъ знаетъ. У Палъ Ѳедотыча, сами изволите знать, тоже и воды принести и дровъ наколоть, печку истопить — все мальчики. Это онъ можетъ.

— Долго ли онъ жилъ у Палъ-то Ѳедотыча?

— Годъ цѣлый жилъ. Я было его къ Калашникову еще малюточкой по десятому годочку отдала, да Палъ-то Ѳедотычъ ужъ очень просилъ, зачалъ меня сбивать: отдай да отдай ко мнѣ! Сманилъ отъ Калашникова, а на конецъ того — вотъ-те и здравствуй: голову ему и прошибъ.

— Какъ же такъ?

— Пьяный, извѣстно. Да ужъ что и говорить. Такое-то тиранство, такое... Сами извольте понять — ребенокъ: гдѣ и пошалитъ, гдѣ что; а у него одинъ разговоръ: чѣмъ ни попало по головѣ, особливо какъ ежели грѣшнымъ дѣломъ запьетъ. Опять сейчасъ съ женой поругался — хлопъ! Въ карты зачалъ играть, проигрался — хлопъ! Будьте ему замѣсто отца, батюшка, Иванъ Степанычъ. Отцы вы наши сиротскіе! Не оставьте! — И женщина опять было собралась бухнуться въ ноги.

— Полно, полно, — остановилъ регентъ. — А вотъ мы посмотримъ, какъ онъ знаетъ пѣніе. Войди сюда! Какъ тебя звать-то?

— Митріемъ, — откашливаясь, сказалъ мальчикъ и, не безъ робости ступая своими грязными башмаками, вошелъ въ залу.

Регентъ сѣлъ за фортепіано.

— Ноты знаешь?

— Знаю.

— Это какая нота?

Мальчикъ, поморщивъ брови и поглядѣвъ бокомъ на клавиши, сказалъ: *си*.

— Врешь, *фа*. А это какая?

Мальчикъ подумалъ - подумалъ и сказалъ: *до*.

— Врешь, *си*. Ну, да все равно. Пой! *А—минь*.

Мальчикъ закинулъ голову кверху и жалобно протянулъ «аминь».

— Господи поми—луй,—пѣлъ регентъ, аккомпанируя себѣ на фортепіано.

— Господи поми — луй, — протянулъ за нимъ мальчикъ.

— А кромѣ халата, одежи у тебя никакой нѣтъ?

— Ни единой ниточки нѣту: все Палъ Ѳедотычъ обобралъ,— отвѣчала мать новаго пѣвчаго, выступая изъ передней.— За лѣченіе, говоритъ. Какъ онъ это ему голову-то прошибъ, Митюшка и захворай; все въ кухнѣ лежалъ и въ церкву не ходилъ. Вотъ онъ за это самое и вычелъ. Я ему и башмаки свои ужъ дала.

— Ну, хорошо, хорошо. Такъ ты вотъ что, тетка: ты оставь его пока у меня, я посмотрю.

Женщина повалилась въ ноги.

— Ладно, ладно. Ну, ступай: мнѣ теперь некогда.— Всѣ, что ли, собрались?

— Всѣ, Иванъ Степанычъ,— отвѣчали пѣвчіе.

— Куликовъ! раздавайте *Вѣрую* Березовскаго!

Женщина ушла, и пѣвчіе стали готовиться къ пѣнію: откашливаться, поправлять галстухи, подтягивать брюки и проч.

Одинъ изъ теноровъ, исправлявшій должность помощника, раздавалъ ноты.

Мальчишки, вызванные изъ темной передней, не успѣвъ кончить тамъ возни, продолжали еще съ нотами въ рукахъ подставлять ноги одинъ другому, щипаться и плеваться. И, несмотря на то, что регентъ кричалъ на нихъ безпрестанно, по всему замѣтно было, что они плохо боялись.

— Ну, начинать, начинать, проворнѣй! По мѣстамъ! — говорилъ регентъ.— Кули-

ковъ, прошли вы съ дишкантами *Милосердія двери?*

— Прошелъ-съ, — отвѣчалъ блѣдный, курчавый теноръ.— Только я хотѣлъ вамъ доложить, Иванъ Степанычъ, насчетъ Петьки: съ нимъ просто смерть. Очень ужъ полутонитъ; силъ никакихъ нѣтъ. Только другихъ сбиваетъ.

— Петька! Долго ли мнѣ съ тобой терзаться? Вотъ постой! Я съ тобой ужо справлюсь.

Петька — бойкій, востроглазый дискантъ сдѣлалъ серьезное лицо и сталъ пристально смотрѣть въ ноты.

— По мѣстамъ! по мѣстамъ! — кричалъ регентъ, садясь за фортепіано. — Отъ кого это водкой пахнетъ? Миротворцевъ, это вы? Какъ же вамъ не стыдно?

— Это я, Иванъ Степанычъ, ноги натираю; онѣ у меня простужены, такъ мнѣ знакомый лѣкарь посовѣтовалъ.

— Смотрите: простужены. Должно-быть, на похоронахъ вчера простудили.

— Да-съ, на похоронахъ.

— То-то, я вижу: лицо-то у васъ измято.

— Нѣтъ, ей-Богу-съ.

— Ну, хорошо, хорошо. Что жъ вы, господа? Басы! развѣ не знаете? къ печкѣ.

Басы угрюмо и нехотя стали у печки.

— А вы, Павелъ Иванычъ? Точно маленькій: что говори, что нѣтъ.

Павелъ Иванычъ, небритый и мрачный октавистый басъ, задумчиво смотрѣлъ въ потолокъ.

— Павелъ Иванычъ?

— Чего-съ?

— Вамъ что говорятъ? а вы — чего-съ, Тьфу ты!.. Да гдѣ ваше мѣсто?

Павелъ Иванычъ не двигался съ мѣста и такъ же задумчиво сталъ смотрѣть въ ноты.

— Иванъ Степанычъ! Петька дерется-съ,— жаловался одинъ альтъ.

— Петька!

— Да я, Иванъ Степанычъ...

— Молчи, покуда я не всталъ. Ну-съ!— Регентъ взялъ нѣсколько аккордовъ.

— Слушайте! Начинать всѣмъ *piano*: Вѣрую во единаго Бога Отца... говоркомъ, чтобъ всякое слово было слышно; басы ворковать, вотъ такъ: *Вюрую ву юдюнаго Буга Утца*... Павелъ Иванычъ! Куда же вы смотрите?

— Я-съ?

— Нѣтъ, я-съ. Для кого же я говорю? Ахъ, Создатель мой! Такъ вотъ: начинать въ *piano*, дишканта не оттягивать! Слышите? Имъ же вся быша — раскатить! Всѣмъ разсыпаться врозь!.. Раздайся! разлетись! Имъ же *вся* быша... Понимаете? Петька! смотри сюда! И воскресшаго въ третій день по писаніемъ — *съ конфортомъ* [1]). И сидящаго одесную Отца... Фортиссимо — *ца* — *а*! Это что значитъ? Слышите? Слава, могущество, сила... небо и земля — все преклоняется во прахъ. Грядущаго со славою судити живыхъ и мертвыхъ... Трубные гласы, громъ и молнія, трескъ... все разрушается... Его же царствію не будетъ конца..: *Конца* — опять раскатить и сейчасъ же замри, уничтожься! Изобразить эту... эту, какъ ее? — премудрость, величіе, безконечность. Басы взять верха! Разсыпься на триста голосовъ! Тенора, виляй; одна октава гуди!.. Дишканта и альта: тралалалала... Стой!..

Регентъ такъ увлекся изображеніемъ того, какъ надо пѣть, что вскочилъ со стула и, вообразивъ себѣ, что все это такъ и было, какъ онъ разсказывалъ, сталъ уже махать руками и подталкивать подъ бока теноровъ, отчего они начали сторониться. Басы равнодушно нюхали табакъ, а дисканта и альта, закрывши нотами лица, фыркали и щипали другъ друга. Наконецъ пѣніе началось: всѣ откашлялись, переступили съ ноги на ногу, помычали немного и вдругъ грянули: «Вѣрую во единаго Бога Отца...» Регентъ стоялъ въ серединѣ, уставивъ глаза куда-то вверхъ, покачивалъ головой и водилъ руками по воздуху.

— Стой! стой! не такъ.

Пѣвчіе остановились.

— Что вы, какъ коровы, ревете? Басы! Павелъ Иванычъ! я вамъ что говорилъ? Точно съ цѣпи сорвались: *прежде всѣхъ вя — акъ*... Кустодіевъ! что же вы-то смотрите? А еще изъ духовнаго званія. Развѣ такъ можно?

Кустодіевъ, здоровенный, красноглазый басъ, съ шершавыми растрепанными волосами, нахмурившись смотрѣлъ въ ноты и ничего не отвѣчалъ.

— Вотъ вѣдь вамъ что хочешь толкуй — вы все свое. Стыдитесь! Кажется,

---

[1]) *Con forto* (съ силой) — музык. терминъ.

не маленькіе; пора бы понимать. Вѣдь у васъ свои дѣти есть. Имъ еще простительно, — продолжалъ регентъ срамить басовъ, указывая на дискантовъ.

Кустодіевъ что-то заворчалъ.

— Что-съ? Ну-съ, опять сначала! Помните, что я сказалъ: говоркомъ, басы не рубить, не рубить! — кричалъ регентъ, когда пѣвчіе снова начали *Вѣрую*.

— Павелъ Иванычъ, что вы рычите? Кого вы хотите испугать? Митька, не гнуси!

...«Бога истинна отъ Бога истинна, рожденна, несотворенна...»

— *Легато!* Оттяни! Брось! Басы, расходись! Павелъ Иванычъ трубой!.. «Имъ же вся бы-ша-а!..» Что жъ вы стали? Ахъ ты, Боже мой! Что мнѣ съ вами дѣлать? Да глядите же, глядите сюда. На мнѣ ничего не написано...— кричалъ регентъ, отчаянно тыкая пальцемъ въ ноты. Пѣвчіе уныло смотрѣли на него. Вновь поступившій альтъ, безсмысленно вытаращивъ свои косые глаза, пугливо присѣдалъ и прятался за другихъ. Регентъ начиналъ горячиться. Въ это время кто-то изъ дискантовъ дернулъ другого за ухо, и, вслѣдствіе этого, между ними сейчасъ же началась ссора.

— Иванъ Степанычъ!—жаловался одинъ изъ самыхъ задорныхъ,— съ Митькой пѣть нельзя: онъ все сопитъ-съ.

— Митька!

— Чего изволите?

— Что ты дѣлаешь?

— Я — ничего-съ, — отвѣчалъ новый альтъ.

— Я те дамъ — ничего. Стань сюда! Ты у меня будешь баловаться. О Господи! Вотъ мука-то! Зачѣмъ вы сюда ходите? А? Скажите на милость! Хороводы водить?— сѣли дѣвки на лужокъ? Ахъ, Боже мой! Петька, сыщи трубку!

Регентъ опять началъ ходить по комнатѣ и взъерошивать себѣ хохолъ. Дисканта бросились за трубкой и по этому случаю опять устроили драку; остальные пѣвчіе разбрелись по комнатѣ.

— Полоумный чортъ!—ворчалъ про себя шершавый басъ, свертывая изъ нотной бумаги папиросу.—Право чортъ. Что выдумаетъ!..

Въ углу сѣли два баса и одинъ тощій, чахоточный теноръ.

— Я, братцы мои,—говорилъ одинъ изъ басовъ,—нынче четыре службы отмахалъ. Вотъ какъ! Въ горлѣ даже саднитъ. Какъ дралъ, то-есть ни на что не похоже. У Воздвиженья у ранней пѣлъ; тамъ отошла,— я къ Успенію: *Милость мира* еще захватилъ. Потомъ позднюю у Знаменья, да на похоронахъ апостола читалъ. Къ Знаменью Пресвятыя Богородицы очень ужъ Кузнецовъ просилъ. «Приходи, говоритъ, безпремѣнно: мы дьякона допекаемъ; пособи!» Ну, и допекли же мы его. Т.-е. такъ мы этого дьякона разожгли — мое почтенье! Онъ выше, а мы ниже. Онъ, знаешь ты, старается *Вонмемъ* повыше взять, чтобы евангеліе не съ *октавы* начинать, потому—голосишко плохонькій, а мы какъ хватимъ *Слава тебѣ, Господи*, цѣлымъ тономъ внизъ, онъ и сѣлъ. «Во время о...» и подавился. Съ перваго слова задохнулся какъ есть. А Кузнецовъ, чортъ, стоитъ, Богу молится, точно не онъ, такъ-то усердно поклоны кладетъ. Я просто чуть не лопнулъ со смѣху. Батюшка гнѣвается... Боже ты мой! Дьяконъ послѣ евангелія пришелъ на клиросъ и говоритъ: «Ну, ужъ, говоритъ, дай срокъ: я тебѣ механику подведу». А что онъ ему сдѣлаетъ?— Наплевать.

— Что жъ батюшка-то смотритъ?—спросилъ чахоточный теноръ.

— А ему что? Онъ говоритъ: я, говоритъ, за этого дьякона никогда заступаться не намѣренъ. Ну, значитъ, и валяй.

У окна еще одна кучка. Нѣсколько человѣкъ обступили одного тенора и разспрашиваютъ его о похоронахъ.

— Ну, что же, весело было?

— Что и говорить.

— *Чайныхъ*-то много ли дали?

— Что чайныхъ? До чаю ли тутъ! Купцы сначала все сидѣли такъ, смирно, все больше про божественное, о смертномъ часѣ все разсуждали, а потомъ это какъ набузунились,—бабы-то, знаешь ты, по домамъ разошлись, купцы сейчасъ въ трактиръ; насъ туда же — пѣсни пѣть. Что тутъ было? Ахъ, т.-е., я вамъ скажу, не роди ты мать! Мальчишекъ даже всѣхъ перепоили. Одной посуды что побито — страсть! А сирота-то, сирота, что послѣ купца-покойника остался—съ горя да въ присядку. «Валяй, кричитъ, *Барыню!* Вотъ, говоритъ, когда я праздника дождался!..» Всю ночь курили; «преподобную мати-сивуху» разъ десять заставляли пѣть. Нынче

утромъ въ восьмомъ часу домой вернулись. Вотъ мы какъ.

— Да, братъ, это похороны,—не безъ зависти замѣтилъ одинъ басъ.— Это не то, что какъ на той недѣлѣ мы чиновника вѣнчали. Эдакая подлость! Только успѣли вокругъ налоя обвести, сейчасъ спать. Скареды-черти! хоть бы по рюмочкѣ поднесли; даже на чай не дали. Сволочь!

— Какъ вамъ не стыдно! — срамилъ между тѣмъ регентъ одного тенора. Вы, кажется, не въ кабакъ пришли: не можете себѣ пуговицъ пришить; спереди всегда у васъ расходится...

— Ну, по мѣстамъ! по мѣстамъ!—снова раздается голосъ регента, кончившаго распеканіе. — Куликовъ! *Тебѣ поемъ*. Дишканта, не шумѣть!

Пѣвчіе опять стали въ кучу; регентъ сѣлъ за фортепіано.

— *До-ми-ля*. Піаниссимо. Разъ!

— Те-бе по-емъ, те-бе бла...

— Стоите! сколько разъ мнѣ вамъ повторять? Что вы дѣлаете? А? Что вы дѣлаете? Я спрашиваю. Скворцовъ, что вы дѣлаете?

Скворцовъ задумался.

— Какъ что? пою-съ.

— Что вы поете?

— Тебе поемъ-съ.

— А я вамъ говорю, что вы дрова рубите.

Скворцовъ улыбнулся.

— Что вамъ смѣшно? Смѣшного ничего нѣтъ. А за жалованьемъ кто первый?—вы. Э-эхъ, дроворубы! сколько разъ говорено было: тенора, не рвать! нѣжнѣе, въ полслова бери: Ве-ве-фо-фемъ, Ве-ве вла-вофло-фимъ... А то: тебъ-бебъ поемъ тебъбебъ... На что это похоже? Опять сначала! «Тебе благодаримъ»—тенора капни и уничтожься! Альта журчи ручейкомъ! Дишканта замирай!

Наконецъ пошло дѣло на ладъ: басы не рубили, дисканта замирали, журчали альта, тенора капали и уничтожались, регентъ аккомпанировалъ. Вдругъ среди пѣнія раздался щелчокъ по лбу одного изъ альтовъ за то, что онъ сполутонилъ и плохо журчалъ; но это нисколько не помѣшало пѣнію. Альтъ заморгалъ только глазами и сейчасъ же поправился.

— И молимтися Боже нашъ...— ревѣли басы, дѣлая свирѣпыя лица.

— Бо-же на-ха-хашъ, бо-жхе нх-ашъ...— выдѣлывали тенора, закидывая головы кверху и виляя голосомъ, точно хвостомъ.

— И-мо-лим-ти-ся Бо...—гремѣлъ, какъ труба, шершавый басъ, злобно ворочая бѣлками и какъ будто собираясь растерзать кого-то.

Въ это время постучались въ дверь; пѣніе опять пріостановилось.

— Кто тамъ еще?—закричалъ регентъ, недовольный тѣмъ, что ему помѣшали.

Вошелъ дьячокъ, плотный, небольшого роста человѣкъ, лѣтъ сорока пяти, въ долгополомъ сюртукѣ и съ бакенбардами, которыя шли у него вокругъ всего лица, какъ у обезьянъ стараго свѣта.

— Мое вамъ почтеніе,—говорилъ дьячокъ, медленно кланяясь.

— А! Василь Иванычу! Прошу покорно садиться. Трубочки не прикажете ли?—говорилъ вдругъ захлопотавшійся регентъ.

— Ничего, не безпокойтесь: у меня цыгарки есть. Я вамъ, кажется, помѣшалъ?

— Нѣтъ, это мы старое проходили, чтобы не забыть. Садитесь, Василь Иванычъ. Чайку не угодно ли? Я сейчасъ велю. Это у меня живо.

Регентъ отворилъ немного дверь въ спальню, просунулъ туда свою голову и, прищемивъ ее дверью, сказалъ вполголоса своей женѣ, лежавшей на кровати:

— Василь Иванычъ пришелъ. Сама посуди! Нельзя же.

— Да, ты вотъ еще двадцать человѣкъ назовешь сюда и пой всѣхъ чаемъ,—отвѣчала она.

— Я не звалъ: онъ самъ пришелъ.

— Ну, ну. Ступай ужъ.

— Такъ сдѣлай же милость!

— Разговаривай еще!

— Ну, не буду, не буду.— И регентъ вошелъ въ залу.

— Ну-съ, почтеннѣйшій Василь Иванычъ. Такъ какъ же-съ?—сказалъ регентъ, садясь подлѣ дьячка.

— А ничего-съ. Все слава Богу,—отвѣчалъ дьячокъ и кашлянулъ.

— Такъ трубочки не угодно?

— Нѣтъ-съ, благодарю покорно.

— Да, да, вы не курите. Цыгарокъ-то у меня нѣтъ. Ахъ ты, досада! Какъ здоровье супруги вашей? дѣточки какъ?

— Слава Богу.

— Ну, и слава Богу.

— Батюшка какъ, въ своемъ здоровьи?

— Батюшка-то? Да ужъ они обыкновенно...

— Нездоровы?

— Вотъ этимъ мѣстомъ жалуется, почему, что какъ служба очень затруднительна, ну, и опять лѣта.

— Такъ, такъ; лѣта не молоденькія. Да. Жалко, жалко.— Регентъ и гость замолчали.

— Да не прикажете ли водочки?—неожиданно спросилъ регентъ.

— Что жъ? Нѣтъ-съ, благодарю покорно.

— Ну, какъ угодно. А то послать?

— Зачѣмъ же-съ... хм, безпокоиться?

— Что за безпокойство? Такъ я пошлю.

Дьячокъ откашлялся такъ, какъ будто въ горло ему попала крошка, и сталъ внимательно осматривать потолокъ.

— Ѳекла!—нерѣшительно закричалъ регентъ. Отвѣта не было.

Нѣсколько минутъ продолжалось томительное молчаніе. Тенора и басы осторожно усаживались по стѣнкѣ, въ спальнѣ сердито трещала кровать; мальчишки шептались въ передней. Регентъ смотрѣлъ на дверь, но, видя, что кухарка нейдетъ, сказалъ про себя: «что жъ это она?», и пошелъ въ спальню. Тамъ опять начался разговоръ вполголоса.

— Да ты пойми!—говорилъ регентъ своей женѣ, стараясь растолковать ей необходимость послать за водкой.

— Нечего понимать. Я знаю, ты радъ со всякимъ пьянствовать. Что ты изъ меня дурочку-то строишь?

— Тише! Да гдѣ же я строю? Ты пойми, что моя репутація отъ этого можетъ пострадать.

— Отъ водки-то? Какъ не пострадать. Ступай, ступай!

— Ну, Машенька; ну, будь же разсудительна!..

Въ то же время въ залѣ дьячокъ покровительственнымъ тономъ и отчасти въ носъ говорилъ пѣвчимъ, ни къ кому въ особенности не обращаясь:

— А что, погляжу я, нынче куды какъ стали пѣть мудрено. Иной разъ этто слушаешь, слушаешь: что жъ это, молъ, Господи! Неужели жъ это церковное пѣніе? Оказія!

Пѣвчіе внимательно молчали.

— Ну, какъ же теперича у васъ этотъ партецъ...—началъ дьячокъ.

— Что это вы, Василь Иванычъ, изволите объяснять?—перебилъ его вошедшій регентъ.

— А вотъ съ господами пѣвчими про партесное пѣніе разговорились. Мудрено что-то, говорю я имъ. Никакъ не пойму, что за дѣла за такія.

— Да, да; я знаю, вы не жалуете новой музыки.

— Нѣтъ, вѣдь что же... и въ наше время, бывало, какіе концерта пѣвали въ семинаріи: *Дивенъ Богъ во дворѣ святемъ его*, или этотъ опять: *Возведохъ*. Знатные концерта! Бывало это тенора: голосомъ-то заведетъ... Ахъ, пропади ты совсѣмъ! У насъ преосвященный любилъ пѣніе, знатокъ былъ этого дѣла. Бывало, пѣвчіе хоть на головѣ ходи, а ужъ въ церкви держись. Публики, бывало, барынь что! Вся губернія съѣзжалась слушать. Народъ все чистый; мужичья этого нѣтъ. Октава была такая, я вамъ скажу, дубина совершенная, грамотѣ даже плохо зналъ, а голосище имѣлъ здоровый; бывало, какъ хватитъ: Взбранной воеводѣ — Боже ты мой! Барыня одна, полковница, такъ и присядетъ, бывало. Этакій голосъ былъ! За голосъ собственно и въ дьякона вышелъ. Или опять многолѣтіе возглашать. Которыя барыни слабость за собой знали, всегда въ это время на дворъ выходили, потому никакъ невозможно стерпѣть. Такъ тебя и огрѣетъ, словно вотъ полѣномъ по головѣ; другіе дишканта, особливо съ непривычки,—глохли. Это пѣніе дѣйствительно. А то что это такое? Послушаешь: тили-тили, а все толку нѣтъ. Нищаго черезъ Каменный мостъ тянутъ, прости Господи.

— Оно вотъ, видите ли, Василь Иванычъ,—возразилъ ему регентъ.—Пѣніе-то, вѣдь оно, какъ бы вамъ сказать? Теперь хоть бы взять кіевскій напѣвъ или тамъ симоновскій, что ли. Какъ его понять? Нѣтъ, вы не говорите! Тутъ надо большой умъ имѣть. Напримѣръ, сартіевская штучка. Что это такое?

— Это я все довольно хорошо понимаю,—сказалъ дьячокъ.

— Нѣтъ, позвольте! Я говорю, возьмемъ, ну, хоть «Тебе Бога хвалимъ». На что лучше? Побѣдная пѣснь, мелодія, слезы умиленія исторгаетъ. А между тѣмъ я сейчасъ этотъ божественный гимнъ подъ мазурку сведу. Вотъ, слушайте! Тебе Бога

хва-га-лимъ, Тебе Господа испо-вгѣду-гу-емъ... Видите? А теперь я такъ спою: Тебъ-бебъ Богга хваль-лимъ, Тебъ-бебъ Ггоспода исповѣдуемъ... Разница? Вотъ такимъ-то манеромъ, я и говорю... Ѳекла! Что жъ это она запропала?

— Несу.

Въ дверяхъ показалась кухарка съ подносомъ, на которомъ стоялъ графинъ и тарелка съ огурцами.

— А-а, ну-ка, давай-ка его сюда! Василій Иванычъ, съ наступающимъ!

— Сами-то вы что же?

— Кушайте! кушайте! Вы — гости.

— По закону, хозяину прежде пить,— ломался дьячокъ.

— Нѣтъ, ужъ вы кушайте! Я еще успѣю.

— Ну-ну, дѣлать нечего.

Дьячокъ выпилъ, сдѣлалъ *фа* и, понюхавъ кусочекъ хлѣба, закусилъ огурцомъ.

— Да; ну, такъ вотъ насчетъ пѣнія-то...—началъ опять регентъ, наливая себѣ водки.—Тутъ, я вамъ скажу, Василь Иванычъ, ничего понять нельзя. Что жъ по другой-то?

— Нда! оно точно... да не много ли будетъ?

— Помилуйте, Василь Иванычъ!

— Да кушайте сами!

И опять пошли тѣ же церемоніи.

— Ваше здоровье.

— Будьте здоровы.

Дьячокъ выпилъ еще рюмку и задумался, глядя на огурецъ. Пѣвчіе между тѣмъ, стали, видимо, тосковать. Шершавый басъ угрюмо смотрѣлъ на графинъ и время отъ времени сплевывалъ въ уголъ, да и другихъ тоже одолѣвала слюна. Тенора, чтобы уйти отъ соблазна, занялись было разговоромъ, но бесѣда тоже какъ-то плохо клеилась.

— Куликовъ! — начиналъ одинъ изъ нихъ.

— Ну, что?

— Обѣдня-то завтра въ которомъ часу?

— Я почемъ знаю. А тебѣ на что?

— Да такъ.

Другой теноръ говорилъ своему сосѣду:

— Вы, Матвѣй Ивановичъ, когда будете ноты писать, не забудьте діэзы покрупнѣе ставить, а то я ихъ все путаю.

— Хорошо.

— Домой приду—сейчасъ спать завалюсь, — утѣшая себя, разсуждалъ одинъ басъ и зѣвалъ въ кулакъ.

Въ передней мальчишки устроили впотьмахъ какую-то игру.

Регентъ послѣ третьей рюмки раскисъ и лѣзъ къ дьячку цѣловаться.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако водка стала подходить къ концу; осталось только двѣ рюмки. Регентъ, держась одной рукой за столъ и привязываясь къ дьячку, старался другой снять со свѣчи, но не могъ. У дьячка же разыгралось самолюбіе, и онъ ничего не хотѣлъ слушать.

— Василь Иванычъ! Василь Иванычъ!— восклицалъ регентъ, наморщивая брови.

— Не стану,—отвѣчалъ разобиженный дьячокъ.

— Такъ-то, братъ, Василь Иванычъ! Хорошо же. Ну, хорошо. Ты это помни! Я тебѣ припомню, все, все припомню,— говорилъ регентъ, стращая чѣмъ-то дьячка. Но, видя, что угрозой его не проймешь, пустился въ нѣжности. Это подѣйствовало—дьячокъ выпилъ.

— Ну, вотъ. Ай да Василь Иванычъ! Поцѣлуй меня, голубчикъ! Мм, душка! Вѣдь мы, братъ, съ тобой... псалмопѣвцы, такъ, что ли? А?—говорилъ регентъ, ударяя дьячка наотмашь въ грудь.— Я, братъ, тоже, я тебѣ скажу, не лыкомъ шитъ. Ты не гляди на меня, что я такъ..! У меня, братъ, жена-то, кто она? Статскаго совѣтника дочь. Понимаешь?

— Какъ не понять? Что жъ, это не синтаксисъ, понять нетрудно.

— Ахъ, женщина, я тебѣ скажу, — ангелъ. Не стою я ея, самъ чувствую, что не стою. Пятнадцать лѣтъ въ офицерскомъ чинѣ состою и медаль у себя имѣю, ну одного все-таки мизинца ея не стою.

Въ спальнѣ послышалось легкое ворчаніе.

— Вотъ, слышишь? не нравится. Не нравится, что при людяхъ хвалю. Скромна. Т.-е. такъ скромна, я тебѣ скажу, ни на что не похоже. Повѣришь ли? Иной разъ съ глазу на глазъ... извѣстно, что происходитъ...

Ворчаніе въ спальнѣ усиливается.

— Иванъ Степанычъ, барыня гнѣваются, — сказала вдругъ вошедшая кухарка.

— Тс! Смирно! Не буду! — шопотомъ заговорилъ струсившій регентъ.

— Виноватъ! Оскорбилъ! Виноватъ!..

Дьячокъ сталъ сбираться домой.

— Василь Иванычъ! куда жъ ты? Да слушай, душа! — регентъ отвелъ его въ уголъ.

— Чего слушать? Слушать-то нечего.

— Пойми! За другимъ пошлю. Сейчасъ мальчикъ живымъ манеромъ сбѣгаетъ. Тайно, понимаешь? тайно. Безпокойства никакого. На свои. Вотъ они, братъ.— Регентъ вынулъ изъ жилетнаго кармана рублевую бумажку.—Ты только слушайся меня! Мы, братъ, на законномъ основаніи... Понялъ?

Дьячокъ кивнулъ головой и положилъ картузъ. Регентъ ударилъ по плечу и плутовски подморгнулъ.

— Петя!—шепталъ онъ въ передней, расталкивая заснувшаго дисканта.—Петя, стремись! Во мгновеніе ока. Понялъ? Въ капернаумъ. Дѣйствуй!

Черезъ пять минутъ регентъ уже наливалъ дьячку шестую, и тутъ только вспомнилъ о басахъ и тенорахъ, потому что они, потерявъ терпѣніе, стали попрашиваться домой, не имѣя болѣе силъ выносить такого зрѣлища.

— Подходите! Подходите! что вы боитесь?—говорилъ регентъ, все еще стараясь не уронить себя въ глазахъ подчиненныхъ. Пѣвчіе встрепенулись и одинъ за другимъ стали подходить къ столу. Кустодіевъ взялъ рюмку, посмотрѣлъ, посмотрѣлъ въ нее на свѣтъ и вдругъ, точно вспомнивъ что-то, разомъ опрокинулъ ее себѣ въ ротъ и закусывать не сталъ.

— Павелъ Ивановичъ! А вы-то что же?— Павелъ Ивановичъ скромно отказался.

— Отчего жъ такъ!

— Да ужъ нѣтъ-съ, Иванъ Степанычъ.

— Полноте! Что вы?

— Н-нѣтъ, ей-Богу-съ.

— Ну, вотъ!

— Нѣтъ, ужъ увольте-съ. Я зарокъ далъ.

— Давно ли?

— Да ужъ вотъ другой мѣсяцъ.

— Ну, какъ знаете.

Павелъ Ивановичъ покраснѣлъ и сѣлъ на мѣсто; остальные пѣвчіе стали надъ нимъ глумиться. Одинъ изъ теноровъ тоже не употреблялъ, но по другой причинѣ, которую онъ объяснилъ регенту на ухо, отведя его въ сторону. Регентъ, между тѣмъ, разошелся и уже не обращалъ никакого вниманія на то, что изъ спальни слышалось довольно явственно приближеніе домашней бури. И когда второй полуштофъ былъ *раздавленъ* [1]), пѣвчіе уже свободно ходили по залѣ и начали такъ громко разговаривать, что разговоръ этотъ сильно походилъ на брань. Въ комнатѣ становилось душно; свѣча нагорѣла, дымъ отъ дьячковой сигары ѣлъ глаза. Регентъ, придерживая дьячка за сюртучную пуговицу, ни къ селу ни къ городу пояснялъ ему въ десятый разъ, что жена его ангелъ и что не будь ея, онъ бы совсѣмъ погибъ. Потомъ разговоръ необыкновенно быстро свернули опять на пѣніе, при чемъ дьячокъ уже сталъ утверждать, что *цисъ-дуръ* и *же-моль* въ сущности одно и то же, что вся штука въ воздыханіи, и, наконецъ, положительно доказалъ, что всѣхъ этихъ композиторовъ давно пора бы гнать по шеямъ. Несмотря на это, регентъ еще сходилъ въ переднюю, опять растолкалъ Петьку и послалъ его за третьимъ полуштофомъ.

— Нѣтъ, ты постой! Ты слушай меня, что я тебѣ буду говорить!—кричалъ регентъ, дергая дьячка за сюртукъ.

— Все это пустыя слова.

— Нѣтъ, я тебѣ докажу,—кричалъ регентъ.—Погоди! Гдѣ тутъ у меня ноты были? А, вотъ за закуской-то и забылъ послать.

— Ѳекла!

Въ дверяхъ показалось недовольное лицо кухарки.

— Ѳекла!—строгимъ голосомъ говорилъ регентъ, стараясь въ то же время не шататься.—Ступай принеси огурцовъ!

— Барыня не велятъ.

— Такъ ты не пойдешь?

— Не пойду!

— Вотъ и выходишь за это свинья. А я самъ пойду.

— Ну, ступайте! Вотъ она васъ, барыня-то.

Однако, подумавъ немного и сообразивъ, регентъ не пошелъ, а закричалъ только:

— Пошла вонъ! У! Ябедница!

Кухарка ушла. Принесли третій полуштофъ. Баса и тенора опять стали подходить къ графину.

Вдругъ, совершенно неожиданно, регентъ сѣлъ за фортепіано, взялъ нѣсколько аккордовъ и крикнулъ: «По мѣстамъ!» Изъ пе-

---

[1]) Техническое выраженіе.

редней явились заспанные мальчишки, весь хоръ сталъ въ кучу.

Солнце на закатѣ,
Время на утратѣ,

грянулъ регентъ, отчаянно барабаня по клавишамъ.

Сѣли дѣвки на лужокъ,
Гдѣ муравка и цвѣтокъ,

подхватилъ хоръ.

— Сарафанъ мой синій,—мычалъ пьяный дьячокъ, болтая подъ столомъ ногами.

— Дѣйствуй на законномъ основаніи!—покрикивалъ регентъ.—Баса, не робѣй! Расходись, расходись!

---

Часу въ одиннадцатомъ дьячокъ искалъ въ передней свои калоши, но долго не могъ ихъ найти; наконецъ попалъ ногой въ чей-то валявшійся на полу картузъ и ушелъ домой.

## ИЗЪ ДОРОЖНЫХЪ ЗАМѢТОКЪ.

### Владимирка и Клязьма.

Часу во второмъ пополудни купилъ я сайку у Рогожской заставы и пошелъ по Владимирскому шоссе. День былъ ясный, сухой и холодный. Въ такую погоду съ небольшой ношей можно Богъ знаетъ куда уйти, а итти мнѣ было недалеко: всего верстъ 10 отъ Москвы, въ село Ивановское. Это было первое фабричное село по Владимирской дорогѣ, въ которомъ мнѣ надо было побывать. На шоссе, какъ нарочно, ни души: часъ, что ли, это такой былъ, или просто случайность, только ни по пути ни навстрѣчу никого не попадалось. Вѣтеръ дулъ прямо въ лицо. Шелъ я съ четверть часа и все думалъ, что итти пѣшкомъ вовсе не такъ скучно, и что какъ я хорошо сдѣлалъ, обдумавъ заранѣе всѣ неудобства предстоящаго мнѣ странствія, и взялъ съ собой все необходимое. А одѣтъ я былъ, надо замѣтить, совершеннымъ Робинзономъ. Былъ на мнѣ черный кожаный ранецъ, въ которомъ лежало множество разныхъ, совершенно безполезныхъ (какъ оказалось впослѣдствіи) вещей; по бокамъ, чрезъ плечи, висѣли на мнѣ двѣ сумки, и, кромѣ того, еще въ одной рукѣ я несъ дорожный мѣшокъ, а въ другой—зонтикъ. Но все это такъ было прилажено, что почти не безпокоило меня, особенно въ первое время. А въ это-то время я и былъ больше всего занятъ моей амуниціею и остался очень доволенъ тѣмъ, что ранецъ вовсе не теръ спину. Москва между тѣмъ стала совсѣмъ пропадать за пылью, которая тучею неслась на нее отъ Владимира; и шуму ужъ никакого не слышно, только телеграфная проволока гудитъ. Впереди стояло сѣрое облако, ровное, безпривѣтное, застилавшее цѣлую половину неба; однимъ угломъ своимъ оно какъ будто хотѣло захлестнуть холодное солнце; тянулось, тянулось къ нему и захлестнуло-таки. И послѣ этого точно будто посвѣжѣло въ воздухѣ, несмотря на то, что солнце и прежде свѣтило только изъ приличія и ужъ рѣшительно не грѣло. Но колоритъ на всемъ, какъ говорятъ художники, вдругъ похолодѣлъ; сѣренькимъ чѣмъ-то подернуло все: и осеннюю траву, ужъ и безъ того сѣроватую, и дорогу, и столбы, и галокъ, одиноко летящихъ противъ вѣтра и какъ будто скучающихъ, покрыло тѣмъ водянистымъ, безцвѣтнымъ колоритомъ, который такъ скверно дѣйствуетъ на человѣка, какими бы мечтами и планами ни была занята голова его.

Бойкая, коренастая лошадка съ крашеной таратайкой нагоняетъ меня. Въ таратайкѣ сидитъ сельскій священникъ и потряхиваетъ вожжами.

— Здравствуйте, батюшка!

— Ась?—отзывается священникъ, приподымая одно ухо своего капора и пріостанавливая лошадь.

— Здравствуйте!—повторяю я.

— А!.. здравствуйте,—путь добрый!

— Не подвезете ли? — кричу я ему, соблазненный его таратайкою.

— Подвезти?—не могу: извините.—Да гдѣ же вамъ сѣсть-то? Негдѣ будетъ.

— А вотъ тутъ, кажется, свободное мѣсто...

— Тутъ нельзя: куры тутъ у меня въ лукошкѣ...—кричитъ онъ, погоняя лошадь, и опять пошла пылить его таратайка; и опять я остался одинъ на дорогѣ. А мой ранецъ уже даетъ себя знать, плечи слегка занываютъ, и ноша, казавшаяся мнѣ прежде такой легкой, вдвое потяжелѣла. Присяду, отдохну, да и опять въ путь. Сѣлъ на краю дороги, свѣсилъ ноги въ канавку—вотъ прелесть-то: точно диванъ! Но вѣ-

теръ разошелся не на шутку. Терпѣть не могу я такого вѣтра. Вотъ теперь какъ заладитъ дуть, такъ и пойдетъ на цѣлую недѣлю, ровно, мѣрно, точно стѣна холодная стоитъ прямо передъ лицомъ, и волны холоднаго воздуха гудятъ, пролетая мимо ушей, и проволока принимается выть свои адскія пѣсни. Нѣтъ, ужъ лучше итти противъ вѣтра!

А вотъ опять показалось темное пятно на дорогѣ, и, должно-быть, что-то большое ѣдетъ сюда. Кого это еще посылаетъ судьба? Надежда *подъѣхать* заглушаетъ усталость, и ноги весело и бодро принимаются работать. Черезъ нѣсколько минутъ я ужъ могу разсмотрѣть, что меня нагоняетъ четверка, но что это за странная вещь,—экипажа никакого не видно. Наконецъ загадка разъясняется: четверка везетъ *обратнаго* ямщика, а сидитъ онъ на оси, просто-напросто, на передней оси съ двумя колесами. Къ этой оси привязана дощечка, которая и служитъ ему сѣдалищемъ. Экипажъ, какъ видно, немудрый, и сидѣть на немъ можетъ развѣ только птица да ямщикъ, но и эти два колеса съ перекладинкой кажутся мнѣ привлекательными, и я ни на одну минуту не могу усомниться въ томъ, что, если ужъ на то пошло, такъ и я не уступлю ямщику въ эквилибристикѣ!

— Стой, стой!—кричу я ему.

Ямщикъ, молодой малый, въ изорванномъ полушубкѣ, равнодушно посмотрѣлъ на меня и остановилъ лошадей. Онъ, кажется, спалъ, хотя, повидимому, человѣку рѣшительно невозможно было заснуть на этомъ сѣдалищѣ и не свалиться.

— Не подвезешь ли, братъ, до Ивановскаго?

— Садись,—сказалъ онъ также равнодушно и вяло, нисколько не заботясь о томъ, какъ я сяду, и вовсе не удивляясь моей неустрашимости.

Онъ самъ сидѣлъ на оси такъ покойно и безпечно, какъ будто въ креслѣ, и, должно-быть, привыкъ къ такого рода путешествію, а потому, вѣроятно, ему и въ голову не приходило, что это—птичья поза и что не всякій обладаетъ искусствомъ даже сидѣть на оси, не только что спать. И, должно-быть, я не ошибся, потому что мой ямщикъ, видя, что я задумался, простодушно спросилъ меня: «что жъ ты не садишься?»

— Да куда же я сяду?—жалобно возопилъ я, предчувствуя, что, видно, мнѣ придется опять итти пѣшкомъ.—Ты хоть подвинься, что ли, немножко.

— Куда жъ двигаться-то?

У меня было ужъ мелькнула въ головѣ мысль—дать ему четвертакъ и предложить сѣсть верхомъ на одну изъ лошадей, а самому занять его мѣсто, но въ эту минуту онъ, такъ же лѣниво и почти не просыпаясь, присѣлъ на корточки и, поджавъ подъ себя одну ногу, помѣстился на ней такимъ образомъ, какъ сидятъ, или, скорѣе, стоятъ гуси на снѣгу: онъ сидѣлъ на своей же собственной пяткѣ, т.-е. Богъ его знаетъ на чемъ сидѣлъ, но, благодаря этой новой позѣ, я кое-какъ примостился на дощечкѣ, одной рукой уперся въ дышло, другой придерживалъ вещи и, полулежа на воздухѣ, сообразилъ, что какъ бы то ни было, а все-таки лучше ѣхать, нежели итти пѣшкомъ еще около пяти верстъ. Ямщикъ подобралъ вожжи, ударилъ ладонью одну изъ лошадей, и мы поѣхали.

Я было спросилъ, кто его хозяинъ; онъ отвѣтилъ и опять погрузился въ созерцаніе хвоста.

— Ну, а жить у него хорошо?

— Нешто!—и только: больше я ничего не могъ добиться. Лошадиныя ноги мелькали тутъ же, у самыхъ моихъ ногъ; но опасаться за себя было нечего, скорѣе можно было бояться за лошадей: того и гляди, упадетъ которая-нибудь, и духъ вонъ—до такой степени онѣ были изнурены; но, несмотря на это, голодныя и опоенныя, уныло понуривъ головы, бѣжали онѣ почти безъ понуканій тою знаменитою *собачьей рысью*, которою бѣгаетъ русская почтовая лошадь, не знающая ни дня ни ночи покоя, разбитая на всѣ четыре ноги, загнанная до полусмерти безпутной гоньбою. Кроткая и безотвѣтная, равнодушно бѣжитъ она по дорогѣ отъ станціи до станціи, не заглядываясь по сторонамъ, не отвѣчая веселымъ ржаніемъ на призывный голосъ на волѣ пасущейся лошади; и нѣтъ, кажется, того кнута въ мірѣ, котораго бы испугались ея одеревянѣлые, ко всякому кнуту привычные бока.

А это, должно-быть, Ивановское показалось въ правой сторонѣ отъ шоссе съ бѣлой старинной церковью, дальше кир-

пичные корпуса новой конструкціи какой-то фабрики, правѣе—еще строеніе съ длинною трубою, тоже, должно-быть, фабрика.

— Это, что ли, Ивановское-то?—спрашиваю я ямщика.

— Оно самое.

— А чья это фабрика?

— Заводы-то?—Мазурина, купца.

— Бумажные, что ли?

— Бумажные.

— Много народу работаетъ на этой фабрикѣ?

— Много. Слѣзай, тутъ пѣшкомъ дойдешь.

И дѣйствительно, до села было ужъ недалеко, но до того мѣста, гдѣ виднѣлась церковь, добрался я нескоро.

Пошелъ къ священнику. Передъ домомъ его, въ огородѣ, копалась работница.

— Дома батюшка?

— Дома. Взойдите на крылецъ,—говорила работница, вытаскивая изъ-за пояса подоткнутый подолъ сарафана, и сама пошла впередъ.

Я вошелъ за ней слѣдомъ въ кухню; она отворила дверь въ сосѣднюю комнату и шепнула туда что-то. Сначала выглянула изъ двери полная женщина въ ситцевомъ капотѣ, а ужъ потомъ вышла въ кухню; оглядѣла меня очень подозрительно и спросила: кого вамъ?

— Батюшку мнѣ нужно видѣть.

— Зачѣмъ вамъ его?

— Да мнѣ бы хотѣлось съ нимъ переговорить объ одномъ дѣлѣ.

— Батюшка легъ было отдохнуть послѣ обѣда.

— Ну, такъ я въ другой разъ зайду.

— А то постойте: я разбужу,—сказала она и ушла. Въ другой комнатѣ послышалась возня, сонный голосъ говорилъ: кто тамъ еще? Заскрипѣла кровать, и черезъ нѣсколько минутъ пожилой священникъ, съ заспаннымъ лицомъ, выглянулъ изъ двери, откашлялся, опять притворилъ дверь, посмотрѣлъ на меня въ щелку и, наконецъ, вышелъ изъ спальни, уставивъ на меня удивленные, почти испуганные глаза.

— Что вамъ угодно?

Я объяснилъ ему цѣль моего посѣщенія; сказалъ, что надѣюсь получить отъ него какія-нибудь свѣдѣнія объ ивановскихъ фабрикахъ, а главное прошу его указать мнѣ на лица, которыя могли бы мнѣ сообщить разныя подробности о бытѣ рабочихъ, такъ какъ этихъ вещей нельзя узнать отъ самихъ фабрикантовъ, а можно вывѣдать только стороной.

Попадья, прислонившись къ двери спиною, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила за моими движеніями и безпокойно поглядывала на священника; желтый котъ терся у моихъ ногъ, работница изрѣдка потягивала носомъ; мы всѣ молчали. Священникъ соображалъ.

— Ужъ я, право, не знаю; вотъ нешто къ Мазурину понавѣдаться бы имъ?—сказалъ онъ, наконецъ, обращаясь къ попадьѣ.

— Что жъ, пущай сходятъ къ Мазурину.

— Кто тутъ у насъ еще-то фабриками занимается?

— Кузнецовъ занимается, шелковыя матеріи работаетъ,—подсказала попадья.

— Да вотъ, Кузнецовъ тоже. А всего лучше къ Мазурину обратиться, у него заведеніе большое. Именно, именно къ Мазурину.

— Благодарю васъ, батюшка, извините, что обезпокоилъ.

— Ничего, ничего; прощайте! Проводи,—сказалъ онъ работницѣ, и она бросилась къ двери.

Что тутъ дѣлать? куда итти? а между тѣмъ ужъ и примеркать начинаетъ. Попробовалъ поискать трактиръ, и, наконецъ, нашелъ его въ концѣ села. Стоитъ на юру изба, тоже въ родѣ сборной и съ вывѣской. Въ передней комнатѣ встрѣтилъ меня рыжій и косой малый лѣтъ 20-ти, въ ситцевой рубашкѣ, сейчасъ же кинулся за прилавокъ, и ужъ оттуда привѣтствовалъ меня и спросилъ, что мнѣ угодно. Я потребовалъ чаю и закусить чего-нибудь.

Пока я пилъ чай, пришли еще три *гостя:* двое (московскіе мѣщане, скупающіе прядево по деревнямъ) спросили себѣ чаю, потомъ огурцовъ и кончили водкой; а третій — фабричный, тутошній, ивановскій крестьянинъ, зашелъ *такъ посидѣть.* Мѣщане скоро напились и ушли, а фабричный остался трубочки покурить. Половой сдѣлалъ свое дѣло, мгновенно преобразился изъ полового въ очень обыкновеннаго разноглазаго мѣщанина, какимъ онъ былъ, вѣроятно, и прежде; усѣлся себѣ преспокойно за столъ, про-

тивъ фабричнаго, подперся локтями, и пошла у нихъ пріятельская бесѣда. Фабричный сидѣлъ на стулѣ, покачивая ногою, и, покуривая изъ длиннаго чубука мусатовъ, сплевывалъ на сторону. Разговоръ шелъ въ такомъ родѣ.

— Что тебѣ дома не сидится? — спрашивалъ половой.

— Да что дома-то дѣлать? Не видалъ я дома? Скоро и вовсе уйду: ищи меня тогда.

— А нешто лучше слоны-то продавать?

— Станешь продавать, какъ купить не на что. Хозяйка хвораетъ, дровъ даже ни одного полѣна, какъ есть. Не у чего дома-то сидѣть.

— Это точно,—равнодушно замѣтилъ половой,—все къ кому ни на есть на фабрику сходить бы навѣдаться.

— Ходилъ, да не берутъ. Намъ, говорятъ, съ своимъ народомъ дѣваться некуда. Вотъ ты и думай!..

— Такъ-то оно, такъ.

— То-то вотъ и есть!—завершилъ фабричный, значительно кивнувъ головой какъ-то въ бокъ.—Вотъ еще трубочкой разокъ затянуться, да пойти сходить къ Иванъ Иванычу: можетъ, что и скажетъ.

— Что жъ, сходи... Чай прикажете убрать?

— Убирай. Да нужно бы мнѣ къ Кузнецову на фабрику,—говорилъ я.—Кто бы меня проводилъ.

— А вотъ онъ проводитъ, — сказалъ половой, указывая на фабричнаго. — Рожокъ! дойди съ ними къ Кузнецову, — тебѣ все одно.

— Пойдемте, — равнодушно сказалъ тотъ, надѣвая шапку.

Я оставилъ въ трактирѣ мои дорожные доспѣхи, и мы пошли. Фабрика Кузнецова тутъ же, въ селѣ, помѣщается въ двухъ деревянныхъ одноэтажныхъ корпусахъ старинной постройки; въ нихъ же помѣщеніе и для рабочихъ; хозяйское семейство живетъ отдѣльно, въ одномъ изъ тѣхъ прочныхъ, но безобразныхъ на видъ купеческихъ домовъ, какіе строятся обыкновенно въ имѣніяхъ государственныхъ и удѣльныхъ крестьянъ на арендной или собственной землѣ. Дома эти до сихъ поръ еще носятъ на себѣ ясный отпечатокъ своего первообраза, простой русской избы, и отличаются отъ нея только величиной да множествомъ разныхъ клѣтушекъ, сѣней и свѣтелокъ, настроенныхъ безъ всякой системы, по мѣрѣ возникавшей надобности. Въ такихъ домахъ, несмотря даже на нѣкоторую роскошь и претензіи, виденъ совершенный недостатокъ пониманія истинныхъ удобствъ: низкія двери, входя въ которыя необходимо нагибаться; балконы, на которыхъ ни стать ни сѣсть; широкія неуклюжія печи съ лежанками, занимающія иногда цѣлую треть помѣщенія; низкій потолокъ, маленькія окна безъ двойныхъ рамъ, и тутъ же изукрашенные вычурной рѣзьбою наличники на окнахъ, коньки и горшки съ цвѣтами, намалеванныя по стѣнамъ суздальскія литографіи и передній уголъ, полный Божьяго милосердія. Мой провожатый сбѣгалъ предупредить хозяина о желаніи видѣться съ нимъ и повелъ меня черезъ заднія ворота. На дворѣ было почти темно, потому что тесовая крыша отъ самаго забора, съ трехъ сторонъ, круто поднималась кверху и, соединенная вверху однимъ общимъ конькомъ, закрывала весь дворъ, такъ что и въ дождливую погоду тамъ было сухо. По угламъ виднѣлись телѣги, ящики и колоды для корма лошадямъ; хлѣвы и амбары были устроены тутъ же, подъ навѣсомъ; злая собака скакала на цѣпи у воротъ. Благодаря услужливости моего проводника, въ домѣ сейчасъ же сдѣлалась тревога: работники побѣжали искать хозяина, а хозяинъ не шелъ. На крыльцѣ показалась какая-то старуха и, не пуская меня въ домъ, спросила:

— Тебѣ кого, голубчикъ, нужно?

Я говорю, что хозяина фабрики.

— На что тебѣ его?

Я сказалъ: она ушла. Черезъ нѣсколько минутъ вышла еще женщина, помоложе, и стала кричать на работника, задававшаго лошадямъ корму, зачѣмъ онъ не запираетъ воротъ, а сама все косится на меня, да такъ-то подозрительно... Она, видно, за этимъ и выходила. Немного погодя, опять вышла старуха и начала меня допрашивать; я успокоилъ ее, какъ только могъ, и былъ, наконецъ, допущенъ въ контору, а Рожка повели къ хозяину. Контора—крошечная комнатка съ однимъ окномъ, сверху до низу заваленная мотками шелка, бердами, шпульками и прочими фабричными вещами. У окна столъ и рядомъ огромный сундукъ, на столѣ тоже мотки и работническія книжки. При-

шелъ хозяинъ, полный мужчина лѣтъ 35-ти, добродушный на видъ, въ ситцевой рубашкѣ; кланяется, остановился у стола, молчитъ и, какъ видно, все еще не понимаетъ, зачѣмъ я пришелъ.

Я объяснилъ ему цѣль моего посѣщенія.

— Такъ-съ.

— Вы мнѣ позволите посмотрѣть вашу фабрику?

— Это зачѣмъ же-съ?

— А затѣмъ, чтобы видѣть, какъ она устроена.

— Понимаю-съ. Это, должно полагать, насчетъ статистики?

— Нѣтъ, не насчетъ статистики, а такъ, просто взглянуть машины, работу...

— Такъ съ. Вы, стало-быть, отъ станового?

— Нѣтъ, я самъ по себѣ.

— Такъ-съ.

— У васъ фабрика на сколько становъ?

— На тридцать становъ.

— Давно существуетъ ваша фабрика?

— Лѣтъ пятьдесятъ будетъ.

Видя, что онъ не приглашаетъ меня садиться, и въ надеждѣ какъ-нибудь завязать разговоръ, я самъ сѣлъ на сундукъ и вынулъ изъ кармана записную книжку: хозяинъ началъ вздыхать. Вошла жена его. Сѣла противъ меня на кипу шелка и начала дѣлать мужу глазами какіе-то знаки. Я опять принялся спрашивать.

— Скажите, пожалуйста, какъ великъ былъ капиталъ, положенный на фабрику?

Хозяинъ молчалъ и въ недоумѣніи смотрѣлъ на меня; жена стала отвѣчать за него.

— Намъ это неизвѣстно, — заговорила она:—фабрику заводили давно, еще покойникъ родитель заводилъ; они намъ про это не сказывали.

— Ну, по крайней мѣрѣ, годовой оборотъ долженъ же быть извѣстенъ?

— Мы тоже этихъ счетовъ не знаемъ; кто его считалъ? Что заработаемъ, то и проживемъ опять. Какіе ужъ тутъ обороты? По нонѣшнему времени, дай Богъ только бы концы съ концами свести.

— Вѣдь у васъ, вѣрно, заведены книги?

— Книгами братецъ занимаются,—продолжала она,—да они теперь въ Москвѣ. А вамъ это на что?

— Мнѣ бы хотѣлось знать, какія выгоды можетъ приносить шелково-ткацкое заведеніе недалеко отъ Москвы, и почемъ вамъ самимъ обходится производство?

Она установила на меня свои лукавые, хотя и заплывшіе жиромъ, глаза, и, помолчавъ немного, отвѣчала:

— Какіе нынче барыши? Нынче ужъ не то, что въ прежніе года. Съ нашимъ товаромъ безъ хлѣба насидишься. Наша заведенія самое пустое дѣло, какъ есть ничего не стоитъ; и то сказать, народишка дрянной, никакъ съ нимъ не сообразишь, на работу и смотрѣть не хочется, такъ съ пятаго на десятое ковыряютъ.

Хозяинъ поглядывалъ то на меня, то на жену; по лицу его видно было, что онъ началъ тосковать; я сталъ догадываться, что меня хотятъ сбыть, и, желая хоть что-нибудь вывѣдать, принялся спрашивать о чемъ ни попало.

— Какія у васъ матеріи работаются?

— Всякія работаемъ: гладкія работаемъ и клѣтчатыя, кому какія требуются,—отвѣчала хозяйка.

— А мастерамъ платите по-мѣсячно или сдѣльно?..

— Съ дѣла.

— Почемъ платите мастерамъ?

— Какъ придется,—отвѣчала она.—За гладкую по 12 копеекъ ассигнаціями съ аршина, а за клѣтчатую по двадцати но двѣ,—замѣтилъ мужъ.

Жена сейчасъ же перебила его:

— А по нынѣшнимъ цѣнамъ и этого не выручишь: только бы самимъ съ дѣтьми прокормиться. Все въ убытокъ работаешь, хоть совсѣмъ распущай народъ да закрывай фабрику.

— Зачѣмъ же вы ее держите, если работа въ убытокъ?

— Да ужъ такъ; потому наша заведенія старинная; съ испоконъ вѣку еще родителемъ заведена: попривыкли будто къ этому дѣлу, такъ и не хочется оставлять совсѣмъ. А тоже корысти не Богъ знаетъ сколько: шелкъ вонъ въ прежніе годы 260 рублей покупали, а нынче, добрые люди говорятъ, въ Москвѣ дай не дай 600 цѣлковыхъ за пудъ. Такъ ужъ тутъ около его не больно разживешься... Такъ-то-съ,—завершила она, пристально, почти насмѣшливо смотря мнѣ въ глаза; и мнѣ показалось даже, что послѣдняя фраза была сказана на мой счетъ, а у меня по этому случаю вдругъ явилось благое желаніе покраснѣть, да такъ покраснѣть,

что когда я, взявъ шапку и простившись съ хозяевами, вышелъ на дворъ, то Рожокъ, дожидавшійся меня у воротъ, посмотрѣлъ мнѣ въ лицо и спросилъ:

— Жарко, должно-быть, въ конторѣ-то?

— Да, братъ, жарко... — отвѣтилъ я ему, вздохнувъ посвободнѣе, и еще чувствовалъ, какъ у меня горѣли уши.

— Топятъ безъ ума, извѣстно... Да что имъ дровъ-то жалѣть: дрова у нихъ вольные, — разсуждалъ Рожокъ, задѣтый за живое избыткомъ топлива на фабрикѣ.

«Дебютъ не дуренъ! — думалъ я, перебирая въ памяти все, что было говорено въ конторѣ. Меня приняли за кого-то другого,—это ясно. Впрочемъ, не нужно отчаиваться. Это—первый урокъ; на будущее время, по крайней мѣрѣ, буду знать, какъ себя вести».

— Куда жъ теперь? — спросилъ меня Рожокъ, когда мы вышли на главную улицу и очутились противъ трактира.

— Ужъ и не знаю, братъ; веди кудань-нибудь еще на фабрику.

— Нешто къ Мазурину сходить, еще дойдемъ; тутъ одна дорога.

— Ну, и прекрасно. Пойдемъ къ Мазурину. Да тебѣ, можетъ-быть, некогда, такъ я попрошу другого кого-нибудь проводить меня.

— Кому некогда? Мнѣ-то, что ль?

— Ну, да.

— Да что мнѣ дѣлать-то? Я домой теперь до самаго утра не пойду: все одно въ трактирѣ бы просидѣлъ; а мнѣ съ вами-то еще охотнѣе.

— Ну, такъ пойдемъ.

Чѣмъ ближе подходили мы къ фабрикѣ, тѣмъ слышнѣе и явственнѣе становился глухой шумъ, производимый машинами, и тѣмъ рѣзче выступали ярко-освѣщенныя окна. Мы вступили въ аллею, идущую на шоссе; вправо чернѣлась роща; вокругъ было тихо, темно и безлюдно, только отъ фабрики несся несмолкаемый, однообразный гулъ, подобный гулу водопада; вся сверкающая, огромная, стояла она передъ нами, какъ-то странно и ново поражая своимъ вѣчнымъ громомъ и движеніемъ среди этой темноты и безмолвія. Немного не доходя до фабрики, мы миновали каменный двухъэтажный домъ, выстроенный въ сторонѣ отъ дороги, обсаженный кустарниками и деревьями. Рожокъ объяснилъ мнѣ, что здѣсь живетъ англичанинъ-управляющій, но что онъ долженъ быть теперь на фабрикѣ.

Мы взошли на дворъ, а оттуда въ контору. Рожокъ остался въ сѣняхъ. Въ конторѣ, освѣщенной газомъ, сидѣло нѣсколько человѣкъ за письмомъ. Главный конторщикъ очень любезно освѣдомился, зачѣмъ я пришелъ, и сказалъ, что такъ какъ управляющій въ Москвѣ, то и фабрику безъ него показать мнѣ не смѣютъ, а что онъ, въ качествѣ конторщика, свѣдѣній никакихъ мнѣ тоже сообщить не можетъ, впрочемъ, все это очень вѣжливо и съ совершенно яснымъ пониманіемъ того, что мнѣ нужно было узнать.

Послѣ пріема у Кузнецова и послѣ того неразъяснимаго недоразумѣнія, которое на меня такъ дурно подѣйствовало на первыхъ порахъ, даже и самый отказъ, но толковый, разумный отказъ, показался мнѣ тутъ, Богъ знаетъ, какой благодатью. Впрочемъ, я не тужилъ: мнѣ видѣлась впереди еще Клязьма, множество фабрикъ, заводовъ, новыхъ лицъ, новыхъ столкновеній; я отыскалъ Рожка, успѣвшаго уже разговориться съ какимъ-то солдатомъ, и мы пошли было домой.

Дорогой онъ пѣлъ про себя какую-то пѣсню; я сталъ прислушиваться.

„Вотъ мы день-атъ работаемъ,
Ночь на улицѣ гуляемъ,
По трактирамъ, кабакамъ,
По питейнымъ домамъ.

— Какую ты пѣсню поешь? фабричную, что ль?

— Фабричную.

— Ну, а лучше этой пѣсни не знаешь?

— Какъ не знать!

— Фабричной какой не знаешь ли?

— Вотъ фабричная: эта ужъ самая выходитъ коренная.

— Какая же это?

А вы, заводушки-то мои,
Заводы, значитъ, фабричные...

— Ну, а дальше-то какъ?

— Дальше все то же:

Вы фабричные мои...

— Ну!..

— А тутъ, извѣстно ужъ:

Самы горемычные

— А потомъ?

— Потомъ: кто его заводилъ, заводъ-атъ.

— Какъ поется-то, ты скажи?

— Поется?

А ужъ и кто жъ этотъ заводикъ
заводилъ?
Завела этотъ заводъ
Красна дѣвушка...

— Красна дѣвушка?

— Ну, да.

Красна дѣвица-душа.

— Какъ же надо пѣть? Красна дѣвушка? или красна дѣвица-душа?

— Все одно:

Красна дѣвушка,
Палагеюшка.

— А что я васъ хочу спросить?

— Что жъ такое?

— Не смѣю только я спросить-то.

— Полно. Чего тутъ не смѣть? Спрашивай!

— Конечно, теперь какъ я вижу, что въ васъ этой гордости нѣтъ и нашимъ братомъ вы не брезгуете, только это я такъ, про себя, значитъ, смекаю, что вы, должно, какого ни на есть высокаго лица.

— Какъ высокаго лица?

— Я еще, признаться, въ трактирѣ запримѣтилъ, что вы, должно, не простого званія будете, да вотъ и по фабрикамъ-то мы ходимъ,—тоже не всякому уваженіе такое окажутъ.

— Какое тутъ уваженіе? Меня вотъ у Кузнецовыхъ такъ чуть не за жулика сочли. Я пришелъ фабрику посмотрѣть, а они думали, что я хочу поживиться чѣмъ-нибудь.

— Это, конечно, такъ; впрочемъ, все вѣдь это больше отъ дурости нашей бываетъ; потому какъ мы къ этому дѣлу непривычны, такъ оно все и думается,—не шпіонъ ли, молъ, какой, не подослалъ ли кто?

— Чего же бояться, коли дѣла свои ведешь честно.

— Да оно точно, что бояться тутъ нечего, а все будто больно. Хоть ты теперь и на чести живешь, а ужъ *онъ* коли захочетъ найти у тебя фальшь какую ни на есть, такъ ужъ найдетъ. Нѣтъ, братъ, у него не отвертишься. Ты ни сномъ ни духомъ не чаялъ себѣ бѣды, а она тутъ и была. Вотъ потому больше и опаску имѣютъ. А насчетъ удѣльныхъ крестьянъ приказу вамъ никакого нѣтъ?

— Мнѣ никакихъ приказовъ не давали; я самъ по себѣ.

— Такъ-съ. А вѣдь тоже много бы добра можно и нашему брату оказать.

А ночь между тѣмъ уже наступила, темная, осенняя ночь; въ Ивановскомъ показались огни. Подходя къ селу, я сообразилъ, что ночевать здѣсь рѣшительно не зачѣмъ, тѣмъ больше, что ночевать-то придется въ трактирѣ, а тамъ негдѣ и лечь, да и рано же было: всего семь часовъ, а потому я счелъ за лучшее сейчасъ же ѣхать на фабрику Волкова. Я надѣялся, что въ этотъ вечеръ еще успѣю сдѣлать что-нибудь, къ тому же и ѣхать не далеко, всего верстъ семь-восемь. Я сказалъ объ этомъ Рожку, онъ взялся найти мнѣ подводу и ушелъ на село, а я въ трактиръ.

Черезъ четверть часа возвращается Рожокъ, запыхавшійся, весь въ поту:

— Готова!

— Ну, слава Богу!

Онъ срядилъ мнѣ подводу за полтинникъ, уложилъ на телѣгу мои вещи, сбѣгалъ куда-то, принесъ охапку соломы и рогожку, устроилъ мнѣ сидѣнье, нѣсколько разъ вспрыгивалъ на телѣгу, прихлопывалъ и обминалъ солому, чтобы ловчѣе было сидѣть; половой стоялъ съ фонаремъ и свѣтилъ. Сватъ Рожка, дряблый мужиченко, въ старомъ зипунѣ, тоже хлопоталъ и отъ избытка усердія притащилъ еще страшную охапку соломы и положилъ ее мнѣ въ ноги.

— Зачѣмъ? Не нужно, не нужно.

— Ничего. У насъ солома не купленная.

— Да вѣдь мнѣ такъ хуже сидѣть?

— Ногамъ теплѣе будетъ: ишь ты, сиверка какая.

Когда я совсѣмъ усѣлся и Рожковъ сватъ покрылъ мнѣ ноги своимъ дырявымъ армякомъ, Рожокъ подошелъ къ телѣгѣ и протянулъ мнѣ руку.

— Ну, съ Богомъ! Дай Богъ счастливо. Я было далъ ему за хлопоты, но онъ не хотѣлъ брать денегъ и ужъ только послѣ усиленной просьбы моей взялъ женѣ на лѣкарство; снялъ шапку и сказалъ: «Чувствительно вамъ благодаренъ».

Въ Горенки пріѣхали мы часу въ девятомъ и остановились у воротъ фабрики

Волкова. Ворота заперты; постучались,— вышелъ сторожъ, отставной солдатъ, осмотрѣлъ съ головы до ногъ...

— Кого надо?

— Управляющаго.

— За какимъ дѣломъ?

— Нужно; пусти, пожалуйста.

— Что за нужда—ночью?!

— Стало-быть, есть нужда, коли пріѣхали.

— Ночью не велѣно пущать. Завтра приходи.

— Теперь нужно. Доложи управляющему.

Солдатъ заворчалъ что-то, ушелъ на дворъ и заперъ ворота. Ждали, ждали мы, нейдетъ сторожъ, да и все тутъ.

Опять принялись стучать.

— Кто тамъ?

— Да все мы же! Отвори ворота!

— Экой народъ несговорчивый, право! Сказано, приходи завтра.

— Пусти, пожалуйста, я тебѣ на чай дамъ.

Завозился сторожъ, заворчалъ, наконецъ, отперъ калитку, высунулся оттуда, а за нимъ еще человѣкъ пять стоятъ и совѣщаются вполголоса: пустить аль нѣтъ? И что за люди ночью шатаются?

Прошу я ихъ сходить къ управляющему, доложить.

— Вотъ видишь ты, милый человѣкъ,— заговорилъ одинъ изъ нихъ, — скажу я тебѣ по душѣ, пущать-то вѣдь ночью не приказано никого.

— Скажите, по крайней мѣрѣ, обо мнѣ управляющему.

— Что жъ сказывать? Сказывать-то нечего. Ну кто ты таковъ?

— Чиновникъ.

— Хм! Чиновникъ! Чудакъ ты, погляжу я на тебя! Ей-Богу.

— Вамъ все равно, кто бы я ни былъ, вы только доложите, а ужъ тамъ управляющій узнаетъ. Чего вы боитесь? Не разбойникъ же я какой-нибудь? Вѣдь вы видите?

— Нешто такіе - то разбойники бываютъ?—не разслыша вступился мужикъ, который меня привезъ.— Ты перекстись, любезный!

— Оно точно, что насъ шестеро,—разсуждалъ про себя фабричный.

— Кто таковъ?—спрашивалъ еще кто-то за воротами.

— А Богъ его знаетъ, кто онъ таковъ? пріѣхалъ ночью, чиновникомъ, слышь, называется. Грѣха бы не было, братцы мои! И что это на нихъ сна нѣтъ: э-эхъ! спалъ бы да спалъ.

Однако, потолковавъ еще минутъ пять, послали къ управляющему, а пока ворота опять на запоръ. Управляющій велѣлъ впустить. Сторожъ сейчасъ же отмякъ и заговорилъ другимъ голосомъ.

— Для чего не пустить! да; главная вещь, ночное дѣло; опять же дорога проѣзжая, мало ли тутъ всякаго народу шатается,—безъ опаски никакъ невозможно. А то для чего не пустить? Мы это завсегда можемъ.

Фабрика эта принадлежитъ наслѣдникамъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Волкова и находится подъ администраціей; управляетъ ею механикъ Сольтеръ. Достаточно мнѣ было сказать ему нѣсколько словъ, чтобы сейчасъ же все измѣнилось. Вещи мои были принесены въ управительскую квартиру, на столѣ сейчасъ же явился самоваръ, масло, сливки. Теплая комната, лампа, мягкая мебель, а главное, нравственный отдыхъ...

Боже мой! какъ хорошо показалось мнѣ все это, послѣ мытарствъ и неудачъ, которыя я вынесъ въ этотъ день.

Вотъ что̀ я узналъ въ тотъ же вечеръ.

Бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрика Волкова основана въ 1830 году. На этой фабрикѣ работается также плисъ, но въ незначительномъ количествѣ. Нѣкоторыя обстоятельства, способствовавшія устройству и развитію этой фабрики, показались мнѣ стоящими того, чтобы ихъ записать.

До 1844 года, въ видахъ поощренія отечественнаго производства, ввозъ машинъ въ Россію былъ воспрещенъ, а потому фабриканты должны были довольствоваться или машинами, которыя дѣлались на русскихъ заводахъ, или выписывать изъ-за границы механиковъ и дѣлать машины дома, что̀ обходилось, разумѣется, неимовѣрно дорого. Г. Волковъ, основатель фабрики, о которой я говорю, поступилъ именно такимъ образомъ, т.-е. съ помощью механика, англичанина Сольтера [1]), завелъ у себя въ имѣніи чугунолитейный заводъ и принялся отливать

---

[1]) Отецъ нынѣшняго управляющаго.

ткацкіе станы, прядильные, чесальные и прочіе аппараты. Но для этого требовались модели, нужны были машинисты, слесаря и множество другихъ ремесленниковъ. Всѣ эти затрудненія преодолѣлись, но поглотили страшныя суммы, требовали много силъ и времени. Модели получались тогда контрабандою изъ-за границы и обошлись тоже не дешево. А пока изготовлялись машины, 100 человѣкъ крѣпостныхъ людей посланы были на выучку: 50 человѣкъ въ Курскую губернію, на фабрику Рахманова, и 50 къ Похвисневу. Эти люди, возвратившись къ помѣщику, обучили еще 200 человѣкъ, и такимъ путемъ образовалась артель въ 300 человѣкъ, набранныхъ изъ разныхъ имѣній Тульской, Рязанской, Костромской, Смоленской, Тверской и Нижегородской губерній. Паровыя машины изготовлялись тоже въ Россіи. Первая сдѣлана была на заводѣ Шепелевыхъ, на Выксѣ, и впослѣдствіи, при увеличеніи производства, передѣлана дома уже съ 20 силъ на 25. Вторая машина заказана была на Мышевскомъ заводѣ князя Бибарсова (Калужской губ., Тарусскаго уѣзда) и тоже увеличена домашними мастерами съ 25 силъ на 30. При самомъ началѣ было 5000 веретенъ французскихъ мюлей собственнаго издѣлія. Но что̀ всего замѣчательнѣе, такъ это то, что всѣ доморощенныя машины работаютъ и до сихъ поръ и рѣшительно ни въ чемъ не уступаютъ заграничнымъ. Только уже въ послѣднее время, а именно въ прошломъ году, выписаны были 2 паровыя машины отъ Гика, каждая по 40 силъ высокаго давленія.

Послѣ чая отправились мы на фабрику. Домъ, гдѣ она помѣщается, былъ нѣкогда чѣмъ-то въ родѣ вельможескаго дворца, и не совсѣмъ удобенъ для фабрики, но зато есть мѣсто, гдѣ разгуляться фантазіи. Огромныя залы съ паркетными полами, биткомъ набитыя прядильными аппаратами, венеціанскія окна, изъ которыхъ виденъ запущенный паркъ, и тутъ же, въ мраморныхъ стѣнахъ, шлихтовальни, запахъ деревяннаго масла и духота нестерпимая. Въ боярскихъ покояхъ трескотня и неумолкающій гулъ ткацкихъ станковъ; бамбрачницы, присучальщики, пачечники и чесальщики замѣнили прежнихъ обитателей этихъ покоевъ. Неловко какъ-то и въ то же время отрадно, Богъ знаетъ почему, показалось мнѣ это странное сближеніе остатковъ барства съ фабричной работою. Когда я проѣзжалъ между становъ, у меня все вертѣлось на умѣ:

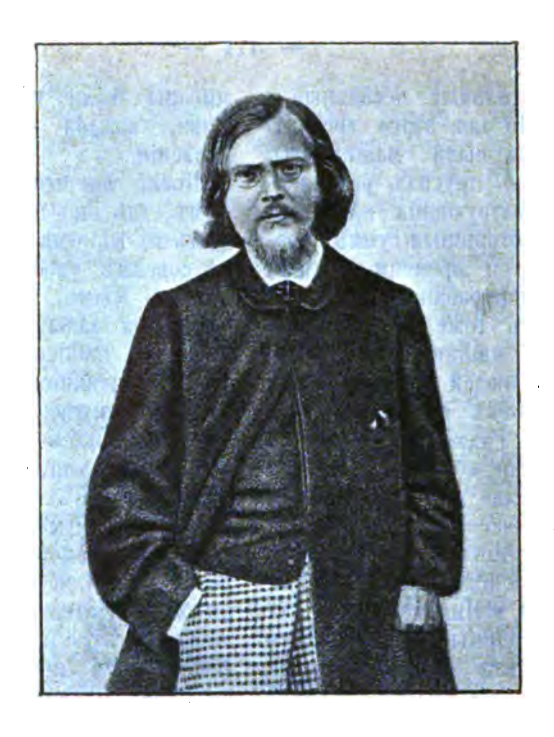
Пора была, боярская пора:
Тѣснилась знать въ роскошные покои,—
Былая знать минувшаго Двора,
Забытыхъ дѣлъ померкшіе герои.

И какъ-то весело было вспомнить, что уже

... и люди тѣ прошли,

и что

смѣнили ихъ другіе.



**Александръ Ивановичъ Левитовъ.**

(1835 — 1877).

## Степная дорога ночью.

Въ сокращенiи.

### I.

Пора была самая глухая; сѣно скошено, рожь сжата, а до уборки проса, овсовъ и гречихи было еще далеко. Къ тому же былъ какой-то большой праздникъ, чуть ли не Успеньевъ день, слѣдовательно, народу на проѣзжей дорогѣ совсѣмъ не было.

Въ воздухѣ ощутительно распространялись прохлада и тишина наступающаго вечера. Маленькiя птички, не видныя во время зноя, теперь замелькали по степи, когда какъ самая степь постепенно облекалась въ какую-то необъяснимую, мрачную тайну, обыкновенно примѣчаемую въ природѣ, когда, утружденная жизнью дня, она отходитъ къ ночному покою.

Такимъ образомъ поля, и дороги, и вѣшки — все это глубоко задумалось въ своей обычной вечерней думѣ, между тѣмъ какъ и съ высоты неба и изъ самой глубины непроницаемой дали вѣяло на васъ какимъ-то едва слышнымъ шорохомъ, сыпалось и непримѣтно вливалось къ вамъ въ душу что-то въ высшей степени сладостное и томительное, и видѣлось вамъ, что все это будто бы закрываетъ собою природу, сообщая ей то особенное выраженiе, какого не увидите вы въ ней никогда, кромѣ вечера.

На лѣвой сторонѣ дороги, по которой шелъ я, протекалъ Донъ. Безчисленными огнями сверкало въ его волнахъ догоравшее зарево; а за нимъ такъ привольно разстилалась луговая, низменная сторона, зеленѣя раздольными покосами и пестрѣясь неоглядными запашками. Изрѣдка даже и ко мнѣ на большую дорогу заносило оттуда вѣтромъ тонкiй звонъ колокольчиковъ, привязанныхъ къ жеребятамъ, и крики сельскихъ ребятъ, которые ихъ сторожили.

Пугаясь этого мрачнаго молчаливаго пространства, особенно тоскливо ныла душа моя и желала встрѣчи съ живымъ человѣкомъ; но какъ ни напряженно смотрѣли глаза, ни человѣка на дорогѣ ни крышъ деревенскихъ избъ вдали не показывалось.

Совсѣмъ свечерѣло. Заблагоухали травы и деревья, покрытыя обильною росою, загорѣлись звѣзды на совершенно безоблач-

номъ небѣ; а на всемъ видимомъ протяженіи Дона клубилось какое-то сѣдое, неопредѣленное облако, ярко освѣщенное молодымъ мѣсяцемъ. На востокѣ постоянно одинъ и тотъ же уголъ неба рѣзала, какъ обыкновенно называютъ ее въ селахъ, сухая молнія.

Ничто на этотъ разъ не нарушало молчанія ночи; только что развѣ соннаго грача шагомъ своимъ испугаешь, такъ онъ каркнетъ, съ одной вѣшки на другую перелетитъ, да тамъ на цѣлую ночь совсѣмъ ужъ и останется.

Вдругъ позади меня раздался едва слышный скрипъ колеса. Я обернулся и началъ присматриваться. Не далѣе какъ въ четверти версты отъ меня спускалась съ горы телѣга, въ которую была запряжена слонъ-лошадь, такъ называемая купецкая. Грузно ступала она по туго убитой дорогѣ, побрякивая мѣдными бляхами своей наборной сбруи.

Рядомъ съ телѣгой шли кто-то двое. До меня доносились ихъ голоса; но я не могъ ни разслушать того, что говорилось, ни ясно разсмотрѣть самихъ говорившихъ. Я закурилъ папироску и сѣлъ ожидать ихъ.

— И у этого, милый ты мой, римскаго папы всѣ цари ненашинскіе подъ началомъ находятся,—съ разстановкой говорилъ одинъ изъ подъѣзжавшихъ ко мнѣ.— И этотъ папа, такъ таперича объ немъ въ книгахъ написано, не то штобъ старъ, не то штобъ молодъ, а годовъ ему, свѣтъ ты мой ясный, ни мало ни много—всего-то двѣ тыщи. Мѣсяцъ взойдетъ молодой, и папа молодъ, мѣсяцъ къ концу, и папа старѣется — и такъ (сказываютъ вонъ, исторію-то кто читалъ) до самаго конца міра и смерти ему не будетъ. Вотъ што!..

— О Господи!—послышалось въ отвѣтъ на исторію о римскомъ папѣ.

— Да! Вотъ ты съ нимъ съ такимъ-то и совладай поди! А вотъ войну прошлую, помяни ты мое слово великое, по его наукѣ французы съ нами затѣяли, потому онъ Россію не любитъ — вѣры она не его. Истинной!..

— А Бѣлъ-Арапъ?—спрашивалъ встревоженный голосъ.

— Бѣлъ-Арапъ што? Ты Бѣлъ-Арапа не бойся. Воевать онъ на насъ пойдетъ, это я тебѣ вѣрно сказываю,—да когда? Ты вотъ о чемъ посуди. При послѣднихъ концахъ онъ пойдетъ воевать—вотъ когда, съ антихристомъ вмѣстѣ! Такъ и въ писаніи сказано: лицомъ черны и звѣрообразны, аки мурины эфіопстіи...

— Говорятъ, ужъ народился антихристъ-то?

— Это точно. Тридцать годовъ ужъ прошло, какъ народился, и держутъ его за двѣнадцатью дверьми и за двѣнадцатью замками, а держутъ его тѣ замки и тѣ двери потому, какъ младъ онъ очень таперича есть; а какъ возмужаетъ, такъ двери и замки онъ сразу расторгнетъ, а расторгнумши, ужъ на народъ бросится; а дожить намъ, грѣшнымъ, до той поры лютой не приведи Господи.

Наконецъ говорившіе подъѣхали ко мнѣ. Одинъ изъ нихъ былъ еще молодой парень, весь обсыпанный мукою, а другой—старикъ. По его широкому синему халату и по старой пуховой шляпенкѣ я принялъ его за духовнаго. Дѣйствительно, какъ оказалось, это былъ сельскій дьячокъ.

— Богъ въ помощь, земляки!—привѣтствовалъ я моихъ новыхъ спутниковъ.

Они подозрительно осмотрѣли меня съ головы до ногъ. Короткій сюртукъ мой, очевидно, привелъ ихъ въ большое недоумѣніе относительно законности моего пребыванія на степной дорогѣ въ такую позднюю пору.

— Откуда Богъ несетъ?—спросилъ меня старикъ.

— Да вотъ изъ Данкова иду. Тяжело на жарѣ стало итти,—ночью-то, думаю, не полегче ли будетъ?

— Знамо, полегче ночью-то будетъ,— подтвердилъ мои слова бѣлый парень.— Што это у тебя въ зубахъ-то, любезный?

— Курево такое,—папироской зовутъ.

— Дай попробовать, братъ, што-то хитро она сдѣлана-то.

— Поди, съ табакомъ она?—спрашивалъ старикъ.—Не пріучайся къ этому, голубчикъ. Грѣшнѣй табаку, я тебѣ скажу, ничего на всемъ свѣтѣ нѣтъ.

— Какой же тутъ грѣхъ?—полюбопытствовалъ я.

— Што жъ это вы въ городскомъ сюртукѣ ходите, а грамотѣ, надо думать, не знаете?

— Нѣтъ, благословилъ Богъ, грамоту знаю.

— Ну, такъ книгъ божественныхъ не читаете. А въ книгахъ прямо говорится,

кто табакъ-то посѣялъ. Чортъ его, для людского соблазна, на блудницыной могилѣ посѣялъ. Вотъ кто!

Между тѣмъ бѣлый парень долго и сомнительно повертывалъ папироску между пальцами, улыбался чему-то, глядя на нее, курнулъ, наконецъ, и возвратилъ мнѣ.

— Што? Ай не духовито?—спросилъ я.

— Духовито оно, духовито, да не забористо,—объяснилъ парень.

— А по-моему, чревобѣсіе это выходитъ одно...—заключилъ старикъ.

Наконецъ бѣлый парень вспомнилъ будто что-то и торопливо сталъ насъ приглашать садиться къ нему въ телѣгу.

— Пошагистѣй поѣдемъ холодкомъ-то,—говорилъ онъ.—Хошь бы улицу для праздника застать,—разошлась, поди.

— Да хошь и не застанешь, еще тебѣ лучше: соблазна не будетъ,—замѣтилъ старикъ.

— Хорошо это тебѣ говорить,—вспыльчиво возразилъ бѣлый парень.—Недѣлю-то цѣлую работаешь, рукъ не покладываешь; а тутъ еще и улицы не застань. Оно, пожалуй што, куда складно слова-то у стариковъ выходятъ, когда они объ соблазнѣ толковать начнутъ; а сами, небось, тоже встарину-то не очень на соблазнъ-то глядѣли.

— Это ты вѣрно про стариковъ говоришь; но плоть свою усмирять тоже долженъ, дабы власти надъ собою врагу не давать,—продолжалъ резонировать старикъ.

— Нечего ее усмирять-то! И такъ она у насъ, небось, не очень-то разыгрывается. Я вотъ, двое-то сутокъ на мельницѣ бымши, можетъ, двумя фунтами одного сухого хлѣба продовольствовался,—такъ ужъ какая тутъ плоть будетъ?..

— Самъ виноватъ! Отчего больше хлѣба съ собой не взялъ?

— Отчего? На полдня всего ѣхалъ-то, а мельникъ (провалиться ему!) двое сутокъ меня продержалъ. Въ сердцахъ они съ хозяиномъ моимъ, такъ вотъ онъ меня и продержалъ. На-ка, дескать, посмотри, какую я надъ твоимъ хозяиномъ власть большую имѣю.

— За што жъ они въ сердцахъ-то?

— Поди, разбери ихъ! Первое дѣло: мельникъ у нашего дочь за сына792 сваталъ. Не отдалъ нашъ-то: «я, говоритъ, дочь свою за мужика отдать не намѣренъ; а отдамъ либо, говоритъ, за попа, либо за приказнаго», потому изъ вольноотпущенныхъ онъ у насъ и живетъ какъ есть на барскую стать. А другое дѣло: вздумали у насъ церкву строить, а хозяинъ-то мой съ мельникомъ первые, сталобыть, насчетъ деньговъ обыватели во всемъ приходѣ. Вотъ міроѣды и доложились къ мельнику прежде: «сколько, говорятъ, ты на Божій храмъ жертвуешь?» А онъ имъ и говоритъ: «весь кирпичъ на свой счетъ берусь изготовить, ежели вы церкву на имя Петра и Павла состроите» (а его Петромъ зовутъ, а сына-то Павломъ,—вонъ мѣтилъ куды!).—Міроѣды и согласились, да къ нашему-то и толкнись. И такъ-то нашъ міроѣдовъ этихъ самыхъ по шеямъ со двора гналъ, такъ-то онъ ихъ ругалъ ругательски, — услыхалъ потому, какъ они къ мельнику къ первому за совѣтами ходили... Видятъ міроѣды — не изнять имъ безъ нашего церкви, всѣмъ сходомъ просить его стали, штобы, значитъ, смиловался. «Стройте, говоритъ, во имя Миколая Чудотворца»—и его-то, къ примѣру, Миколаемъ зовутъ... Тутъ на сходкѣ-то до драки чуть не дошло съ мельникомъ. Одинъ говоритъ: «Петру и Павлу»,—другой: «Миколаю». Нашъ-то,—чудакъ такой,—усовѣщивать сталъ было мельника: «куда ты, говоритъ, въ храмостроители собираешься, а грамоты не знаешь?»—«Да оно,—мельникъ-то ему,—грамотѣ-то хошь я и не знаю, одначе холопомъ несчастнымъ никогда не бывалъ, такъ ты насъ грамотой не кори»,—обидѣлся, значитъ. Нашъ опять тоже не уступилъ: «эхъ ты, говоритъ, прямой шутъ! Я тебѣ настоящее дѣло, по добротѣ души, сказалъ, а ты лаешься. Истинно, говоритъ, сказываю вамъ, братцы, не его ума эта вещь»... Кто изъ міру-то повѣрилъ нашему, кто мельнику, только съ этого времени весь приходъ надвое раскололся: одни микольскими назвались, другіе петровскими—и, годовъ съ пять ужъ прошло, тягаются все межъ собой. Драки какія насчетъ этого самаго дѣла ежечасно бываютъ — сказать невозможно; а матеріалъ на церкву-то какой сгоряча навезли, кое растащили—лѣсокъ-то да желѣзце, а кое—кирпичъ тамъ што ли али известку—все это дождемъ да снѣгами размыло... И ужъ какихъ штукъ не подпускалъ хозяинъ-то мой, чтобъ по ево сдѣ-

лалось. Соберетъ, бывало, мужиковъ со всего прихода, выставитъ имъ пѣннику ведра два и почнетъ разсказывать, какъ это къ нему во снѣ аки бы каждую ночь, почитай, Миколай угодникъ является, и какъ онъ наказываетъ ему, чтобъ церкву-то, значитъ, на его имя поставилъ. «Ничего, говоритъ, ты, рабъ, не жалѣй, только, говоритъ, волю мою исполняй, спасенье души отъ этого дѣла получишь»,— угодникъ-то будто ему растолковываетъ. «Вотъ, нашъ говоритъ, сами вы видите, православные, што я для васъ ничего не жалѣю», а самъ виномъ-то все стариковъ и накачиваетъ. Сначала и повѣрилъ народъ, и многіе изъ петровскихъ на нашу сторону перешли, а потомъ и вѣрить перестали, потому больно ужъ часто угодникъ являться ему началъ, и ходили къ намъ мужики больше какъ выпивки и смѣха одного ради. И допекли же его этими явленіями. Какъ только услыхалъ мельникъ про такія дѣла, на зубокъ его сейчасъ же взялъ: «станетъ, говоритъ, святой угодникъ холопу несчастному такую милость оказывать,—я вотъ становому про него объявлю, что народъ онъ только смущаетъ», и объявилъ. Тутъ сперва-наперво становой такую-то хозяину вещь сказалъ, таково-то тазалъ его, что онъ народу святымъ себя объявляетъ, — долго онъ съ этого случаю, повѣсимши носъ, ходилъ. А тамъ и мужичонки, кто поазартнѣй-то, захочетъ выпить, къ нашему и идетъ: «угости», говоритъ. Ну, ужъ нашъ-то и знаетъ, что ежели не угостить, такъ слушать придется, какъ онъ начнетъ тебя по всему поселку срамотить. Такъ и теперь еще не забыли этого дѣла и все опиваютъ за него хозяина-то, — простъ больно!.. Вотъ мельникъ и меня таперича за хозяина на мельницѣ проморилъ. Доведу, дескать, парня до вечера — пусть праздникъ промаячитъ въ дорогѣ. Ну, шагай, што ль, верблюдъ проклятый,—обратился бѣлый парень къ лошади и вытянулъ ее ременнымъ кнутомъ.

— Вотъ они, вражьи-то плевелы—по всему приходу разрослись,—уныло промолвилъ старикъ.—Цѣпки лапы-то у проклятаго—всѣхъ онъ ихъ къ себѣ перетаскаетъ. О-о-хо! Велики, велики, братцы мои, грѣхи-то наши.

— А вы куда ѣздили?—спросилъ я старика.

— Благочинный по селамъ съ бумагами посылалъ. Бумаги такія изъ консисторіи присланы: внушеніе духовенству о приложеніи вящшаго прилежанія относительно распространенія въ черномъ народѣ грамотности и нравственныхъ чувствъ... Очень ужъ донимаютъ нашего брата этими дежурствами. Разносишь, разносишь эти бумаги-то, а какъ я таперича понимаю, все это одни грѣхи, потому чувства у всякаго человѣка и такъ есть, а грамотѣ, кто захочетъ, самъ выучится... Вотъ хоть бы теперь: двадцать два села выходилъ—разломило, а покормить нигдѣ порядкомъ не накормили,—не то што бо кашки али убоинки старику, а и щей-ы черезъ великую силу вольютъ. Скупищіі эти сельскія попадьи!—страсть какія скупищія; всего-то у нихъ, по ихъ сказамъ, нѣтъ, всего-то имъ мало!.. Да кстати, ходимши по селамъ, къ лѣкаркѣ одной заходилъ, въ дворнѣ тутъ у одного барина живетъ, ловкая старуха, разсказываютъ. Сынины волосы къ ней носилъ, разсказывали, потому, искусница великая она напущенныя болѣзни лѣчить. Вотъ они. волосы-то,—добавилъ старикъ, вытаскивая изъ-за пазухи прядь черныхъ волосъ.

— А развѣ на сына вашего напустилъ кто-нибудь?—спросилъ я.

— Богъ его знаетъ! Онъ у меня съ самаго малолѣтства чудной какой-то былъ. Все бы ему углемъ да мѣломъ стѣны чертить; а потомъ въ семинаріи съ живописцами знакомство свелъ, рисовать отъ нихъ научился. Съ этого самаго и сталось ему, какъ я понимаю, потому учиться совсѣмъ бросилъ и хошь изъ одного класса въ другой его и перетаскивали, — пѣвчимъ онъ, видишь ли, былъ, однако, все въ третьемъ разрядѣ держали, и всегда я думалъ, что не кормилецъ онъ мнѣ, ибо изъ третьяго разряда только священниковы дѣти, и то при большихъ хлопотахъ и расходахъ, достигаютъ священства, а дьячковы никакихъ правъ не имѣютъ,— все одно, что пастухъ, даромъ что лѣтъ двѣнадцать тамъ онъ—и самъ лямку-то третъ, и родитель-то, при бѣдности при своей великой, содержитъ его въ губерніи. А тамъ вѣдь расходъ-то—о-охъ какой! Всѣ животы свои, бывало, туда перевозишь, — самъ-то хошь безъ хлѣба сиди... И никакъ таперича не могу я понять, сколь бы долго ни придумывалъ,

отчего это ему такая блажь въ голову зашла?.. И добро бы еще божественныя картинки писалъ, либо, что всего лучше и спасительнѣе, образа святые, а то Богъ знаетъ, что изображаетъ. Была тутъ у насъ въ селѣ дѣвица одна дворовая, — правду надо сказать, что ни есть прекрасная дѣвица, истинно ангельской красоты, только очень ужъ вольнымъ нравомъ и, слѣдственно, зазорнымъ поведеніемъ обладала,—такъ онъ ее листахъ на тридцати написалъ: то она у него на картинкѣ за водой идетъ, то корову гонитъ, то на яблоню по лѣстницѣ лѣзетъ. Дивомъ дивился я, откуда у него такое мастерство взялось: живая совсѣмъ на его листахъ выходила эта дѣвица,—стоитъ и смѣется... Полтора года прошло, какъ онъ совсѣмъ курсъ окончилъ, и не то, чтобъ отцу, при старости лѣтъ, помогать, онъ самъ же на моихъ хлѣбахъ живетъ. А у меня какіе хлѣба-то? Извѣстно, что двадцатая дьячковская часть—одинъ-то ротъ иной разъ куды тяжело продовольствовать. Пробовалъ я ему говорить: «што ты, молъ, Петруша, мѣста себѣ не ищешь?» Молчитъ, и вѣдь не то, чтобъ онъ молчалъ тогда только, когда его упрекать почнешь—нѣтъ! Какъ отъ молчальника какого, никогда, почитай, слова-то не добьешься, и такъ, я тебѣ сказываю, скученъ онъ у меня, такъ-то скученъ, что и мое-то сердце изболѣло да изстрадалось по немъ.

— Сначала, какъ пришелъ онъ ко мнѣ изъ губерніи, господа наши узнали какъ-то, что онъ рисуетъ хорошо, къ себѣ его стали звать,—ну, и ходилъ онъ къ нимъ, и припасы они мнѣ всякіе, ради его, присылали. Только однажды старый баринъ и говоритъ мнѣ: «хорошъ у тебя, Степанычъ, сынокъ; артистомъ даже можетъ быть по живописной части, только, говоритъ, гордъ, почтенья никакого благороднымъ лицамъ не отдаетъ, посократика, говоритъ, его немного». Ну, я было въ эту силу увѣщевать его сталъ: «помни, молъ, Петруша, кто у тебя родитель такой! Дьячокъ у тебя родитель, послѣднія мы съ тобой спицы въ колесницѣ суть,—такъ не долженъ ли ты, говорю, сугубое почтеніе дворянину и благодѣтелю отдавать?» Съ этого-то разу, какъ я таперича вспомню, онъ и помѣшался-то больше, ровно онъ на господъ озлился черезъ это, никогда къ нимъ послѣ такого случая уже и не ходилъ; а присылали они за нимъ частенько-таки, и приказы отъ стараго барина строгіе выходили, чтобы безпремѣнно дьячковъ сынъ явился на барскую усадьбу картинки писать... Вотъ, сударь ты мой, что, думаю, дѣлать? Не слушаетъ мой малый барскихъ указовъ; ѣдятъ меня за него и господа, и попъ, и дворовые—всѣ ѣдятъ. А тѣмъ временемъ сынокъ къ барину съ Кавказа пріѣзжай, молодой еще, лютый такой—все у него по военному пошло. Вотъ и пріѣзжаетъ онъ однажды къ обѣднѣ, и мой у обѣдни-то былъ. Только примѣчаю я съ клироса, что барскій сынъ такъ-то пристально въ моего взглядывается и съ матерью потихоньку что-то пошептываетъ. Передъ концомъ обѣдни выношу я барынѣ просвиру, а онъ мнѣ и говоритъ: «это твой сынъ, что ли?» — «Мой, говорю, ваше б-діе». — «Вотъ, говоритъ, посмотри, какъ я его учить буду. Ихъ, говоритъ, въ семинаріяхъ учатъ воду толочь, а теперь почтенію его поучу...»—«Ваша, молъ, власть, ваше в-діе! Што хотите надъ нами, то и дѣлайте». Отошла обѣдня, вышли въ ограду мужики, и барскій сынъ вышелъ, а мой-то впереди идетъ. Какъ зыкнетъ на него барскій сынъ: «ты отчего, говоритъ, каналья, не кланяешься мнѣ?» А мой-то (подумать-то страсть беретъ!) покраснѣлъ даже весь, дрожитъ такъ-то и говоритъ ему: «а ты, говоритъ, мнѣ отчего не кланяешься?..»— Вонъ оно—слышь? Барину-то и ляпнулъ: «а ты, говоритъ, мнѣ отчего не кланяешься?» и самъ тоже канальей его обозвалъ... Такъ и обомлѣлъ народъ-то!.. Такъ даже пополовѣлъ баричъ-то весь, какъ осиновый листъ, затрясся—и ни слова, только, значитъ, стоитъ передъ моимъ да глазами его мѣряетъ, ровно онъ его съѣсть въ это время хотѣлъ. И сынъ тоже стоитъ передъ нимъ и словно даже какъ будто улыбается ему. Только вдругъ, глазомъ моргнуть, кажется, не успѣешь, лицо баричъ сыну-то и искровяни—и такая тутъ страсть была, что народъ-то весь попрятался даже, потому случай-то этотъ очень ужъ грозенъ былъ, какъ это сынъ-то барича схватитъ за грудь да объ земь его грянетъ, такъ даже стонъ пошелъ... Таково тутъ горько барыня стонала, даже охала, таково даже самъ старый баринъ на сына моего наступалъ и мужикамъ своимъ приказывалъ бить его, что сердце

у меня замерло словно; одначе мужики не послушались,—испужались, надо полагать, потому какъ сынъ церковную скамеечку схватилъ и до смерти убить Богомъ божился, кто подступитъ къ нему... Ну, засадили тутъ его въ сумасшедшій домъ,—очень ужъ баринъ хлопоталъ объ этомъ... Больше же, дивлюсь я даже, насчетъ тамъ судовъ или инова чего—ничего не сдѣлали. За это имъ надо благодарность отдать—помиловали. Цѣлый годъ въ сумасшедшемъ домѣ держали сына, а теперь тоже опять у меня живетъ. Много колдуновъ смотрѣли его у меня—испорченъ говорятъ, и вылѣчить его нѣтъ средствъ, потому, первое дѣло какъ узнаетъ онъ, что я колдуна какого позвалъ лѣчить его, сейчасъ его вонъ гонитъ и становому жаловаться грозитъ; а второе: бѣсъ-то въ него, говорятъ, очень ужъ лютъ и силенъ посаженъ, трудно его изъ тѣла-то выжить...

— Что жъ вамъ сказала лѣкарка, къ которой вы заходили?

— Ничего почти вновѣ-то не сказала. Посмотрѣла только на волосы и говоритъ, что, дѣйствительно, по злобѣ испорченъ, и вотъ травъ какихъ-то дала, по зарямъ поить его этими травами наказывала,— можетъ, говоритъ, и пройдетъ.

— Все, это, я полагаю, вретъ она, лишь бы деньги содрать,—вмѣшался въ разговоръ бѣлый парень.—Она многихъ такъ-то надула—лѣкарка-то эта, слышалъ я про нее. Самъ посуди: какъ она про человѣческую болѣзнь по однимъ волосамъ узнать можетъ?

— Этого ты не говори, свѣтъ! Не только по волосамъ, по одному крошечному клочочку отъ рубашки всякую болѣзнь узнаютъ, на то онѣ вѣдьмами и называются. Была вонъ тоже въ нашемъ селѣ такая-то (умерла теперь); «за двадцать верстъ, говоритъ, насквозь всякаго человѣка вижу, а больше, сказывала, мнѣ не дадено». У нихъ вѣдь тоже, свѣтъ, одному одно дается, другому другое—не всякому поровну.

— Какъ это таперича они всю эту науку постигаютъ? — спрашивалъ бѣлый парень.

— Разно постигаютъ. Иные вонъ отъ старшихъ со смертной постели принимаютъ. Было это на виду у меня, славный мужикъ такой, никто про него худого-то и думать не могъ; а онъ, какъ сталъ умирать, такъ-то мучился жестоко, что некому передать науки своей, такъ-то стоналъ да скорбѣлъ! Не выдетъ у такого человѣка душа изъ тѣла безъ того, чтобъ онъ колдовства своего кому-нибудь не передалъ. Вотъ въ это время только подойди къ нему да скажи: дай, молъ, мнѣ, — онъ тебѣ и дастъ, одну руку только дастъ, и ничего въ этой рукѣ ты не ощупаешь, а колдуномъ сдѣлаешься. Послѣ этого колдунъ и умереть можетъ, потому наслѣдника по себѣ оставляетъ—есть гдѣ нечисти-то адовой усѣсться... И тутъ ты, безъ всякой помочи, звѣремъ какимъ захочешь перекинуться, — звѣремъ будешь, птицей, — такъ птицей, только, слышно, все это они черезъ ножи дѣлаютъ. А куда трудно, говорятъ, имъ черезъ ножи-то перекидываться, особенно по началу, — таково-то визжатъ они въ это время, словно рѣжутъ ихъ.

— Была и у меня бабка такая-то, сказываютъ,—добавилъ бѣлый парень:—мачехой отцу моему приходилась, такъ отецъ-то подкараулилъ, какъ она черезъ ножи въ свинью перекидывалась, да и укралъ ножи-то эти и сжегъ ихъ, такъ она свиньей навсегда и осталась. Бывало, говорятъ, подойдетъ къ избѣ-то въ полночь «хрю, хрю»: ножи-то, значитъ, свои все разъискивала; а отецъ дубиной ее и разварганитъ, такъ она въ свиномъ образѣ и издохла.

Фамильное преданіе бѣлаго парня такъ же сильно озадачило дьячка, какъ самъ онъ часъ тому назадъ озадачилъ его своими страшными разсказами про римскаго папу и про нарожденіе антихриста. Полночная тишина, очевидно, увеличивала страхъ суевѣрнаго старика. Притворяясь невѣрующимъ въ бабку, умершую въ свиномъ образѣ, онъ, тѣмъ не менѣе, судорожно-скоро шевелилъ губами.

## II.

Долго такимъ образомъ ѣхали мы. Разговоръ не клеился. Бѣлый парень началъ было разсказывать, какъ въ Ельцѣ одного мѣщанина (и вѣдь непьющій совсѣмъ человѣкъ-то былъ!) черти на мельничную сваю втащили, а свая на самой срединѣ рѣки стояла; но разсказъ вышелъ вялый какой-то. «И какъ это ухитрило его забраться туда?» — неоднократно въ глубо-

комъ раздумьѣ спрашивалъ себя бѣлый парень; но полночь не давала ему никакого отвѣта на этотъ интересный вопросъ.

— Батюшки! А вѣдь свертокъ-то къ намъ на село мы пропустили,—возопилъ старикъ.

Неподдѣльный ужасъ отразился на лицахъ моихъ спутниковъ.

— Обошелъ!—сказалъ шопотомъ бѣлый парень.

— Обошелъ! — еще тише повторилъ дьячокъ.

Оба они были рѣшительно неподвижны. Какъ будто воочію видѣли они, что эта тайная сила, которая, по ихъ выраженію. обошла ихъ, взяла лошадь за узду и ведетъ совсѣмъ не туда, куда имъ слѣдуетъ ѣхать. Выше облака ходячаго, ниже лѣса стоячаго летитъ, какъ будто, за ними сила эта, хватаетъ ихъ всею сотнею когтистыхъ рукъ своихъ и тащитъ ихъ за собою въ непроходимый и дремучій лѣсъ и гогочетъ отъ радости... Такъ великъ былъ страхъ моихъ пріятелей, съ которымъ они произносили роковое: обошелъ!

— Съ малолѣтства ѣзжу по этой дорогѣ, — заговорилъ старикъ: — каждый кустъ, почитай, заприметилъ, а теперь вотъ свертокъ потерялъ. Подержи лошадьто, свѣтъ, пойду-ка я съ Богомъ. Господи благослови! — молился старикъ, отправляясь какъ будто на вѣрную смерть.

— Иди, иди, дѣдъ! Двухъ смертей не будетъ, одной не миновать, — прервалъ бѣлый парень.

Меня очень занималъ этотъ дѣтскій страхъ, эта неколебмая ничѣмъ вѣра въ вещи, никогда и никѣмъ не видѣнныя. Я никакъ не могъ согласить фактовъ, только что видѣнныхъ мною, съ давно извѣстнымъ положеніемъ, которымъ думаютъ характеризовать русскаго человѣка: не пощупавши, дескать, не увидитъ и не повѣритъ.

Да ощупаешь ли ты эдакую степь-то страшенную? Да почемъ ты узнаешь, на какія царства пошли тѣ дороги ея безконечныя? Нѣтъ! Ничего такого ты въ степи не провѣдаешь. А ты ужъ лучше такъ ступай по ней, по кормилицѣ, со крестомъ да съ молитвой. Потомитъ тебя въ ней, какъ посудишь, и жаромъ и холодомъ, и голоду всякаго въ волю напримешься; а то на лихого человѣка, можетъ, по дорогѣ-то набѣжишь, такъ въ оврагѣ загинешь; а то и безъ лихого человѣка вьюга, какъ-нибудь, пожалуй, прихватитъ; а все-таки ничего! Все-таки она степьто, твое молодецкое счастье жалѣючи, инымъ разомъ возьметъ тебя да куда надо и выведетъ...

— Перьхрестись, братецъ ты мой! — неожиданно посовѣтовалъ мнѣ бѣлый парень. — Сторона здѣсь такая дикая—провалиться бы ей—нечистая сила надъ ней власть большую имѣетъ.

А сторона была, какъ и всякая другая сторона: огромный буеракъ, поросшій мелкимъ кустарникомъ, который, по мѣрѣ отдаленія отъ большой дороги, дѣлаясь все болѣе и болѣе крупнымъ, превращался, наконецъ, въ дремучій строевой лѣсъ, перерѣзывалъ дорогу; мостъ какой-то навозный, невѣдомо какъ и на чемъ утвержденный, пролегалъ черезъ буеракъ; верста со сбитой макушкой и, слѣдовательно, не показывающая верстъ, пестрѣлась на той сторонѣ моста, а дальше торчали вѣчно думающія вѣшки-сироты. Вотъ и все. Представляя обыкновенную дорожную картину, мѣстность эта, облитая мѣсячнымъ свѣтомъ, тѣмъ не менѣе была полна какой-то невыразимой прелести.

— Видишь, вонъ лѣсище-то какой здоровый по буераку пошелъ, — конца ему нѣтъ, сказываютъ. Въ самую, говорятъ, Сибирь тѣмъ краемъ уперся... И таперича ежели лошадь у кого сведутъ, безпремѣнно ее тутъ искать слѣдуетъ, потому раздолье тутъ конокрадамъ. И какія они дѣла встарину тутъ обдѣлывали, старики-то почнутъ разсказывать, — слушать страсть. Теперь ничего. Давно ужъ про разбойниковъ не слыхать, а только вотъ нечистая сила больно ужъ завладала этимъ мѣстомъ. Рѣдкій кто проѣдетъ, чтобъ она не издѣвалась надъ нимъ. Вотъ, оно, какое это мѣсто! Недаромъ изстари еще названье ему, проклятому, положили: *Большими Гробищами* прозвали.

— А ты не слыхалъ ли, отчего же льнетъ нечистая сила къ этому мѣсту?— спросилъ я.

— Проклято оно пустынникомъ однимъ встарину. Тутъ, видишь ли, село когда-то стояло, старики сказываютъ, — здоровое такое, говоритъ, селище было, верстъ на пять тянулось. И былъ пустынникъ ро-

домъ изъ этого самаго села, и спасался онъ въ недальнихъ мѣстахъ отсюда въ пещерѣ. Только мужики-то, родичи-то его, всѣ до единаго страшные разбойники были. Запоздаетъ, бывало, кто-нибудь на дорогѣ, попросится къ нимъ ночевать, ужъ они живого никогда не выпустятъ, потому ежели и удавалось инымъ разомъ вырваться изъ избы, такъ сосѣди ловили и опять въ ту же избу бѣглеца представляли. Такъ ужъ у нихъ заведено было—помогали другъ дружкѣ... Очень жалѣлъ ихъ пустынникъ и часто къ нимъ на село приходилъ сучинять ихъ: «оставьте, говорилъ онъ, жисть вашу беззаконную, братцы, — руки-то свои, говорилъ, вы бы помыли: въ крови онѣ у васъ, руки-то»! Колотить они его, по сказамъ выходитъ, здорово, подъ пьяную руку, колотили, а совѣтовъ не больно слушали что-то. Только видитъ пустынникъ, что ничего съ разбойниками подѣлать нельзя, взялъ однажды Богу помолился и проклялъ у нихъ рѣку. (Рѣка у нихъ тутъ, въ буеракѣ-то, протекала). Остались мужики безъ воды и завыли. Ужъ они его умоляли, умоляли, чтобъ онъ заклятіе съ рѣки снялъ, — не смиловался. Много денегъ тутъ потрачено было. Все, значитъ, разнымъ докамъ платили, чтобы разговорили рѣку. Извѣстное дѣло: колдуны любятъ съ человѣка завсегда деньгу взять—и тутъ такъ: деньги-то обирали, а съ рѣкой подѣлать ничего не могли. Вотъ разозлились мужики на пустынника и убили его, а онъ передъ смертью-то не то что рѣку, а и село-то все проклялъ. Вотъ теперича сами-то и завладѣли этимъ мѣстомъ; а село давно все запропало: коихъ, значитъ, въ Сибирь послали, кои пожаромъ выгорѣли, а то на новыя мѣста выселились... Нашъ поселокъ недалеко отъ этихъ мѣстовъ, такъ тоже и наши мужики знаютъ, что рѣка тутъ текла, затѣвали было мельницу строить. Авось, думали, родничекъ найдется, одначе тоже ужъ какихъ докъ въ оврагѣ-то не перебывало,—не нашли родничка. Англичинъ тоже одинъ изъ Питера пріѣзжалъ, колдунище, сказываютъ, единственный. Долго онъ тутъ съ горки на горку похаживалъ, канавы да ямы разныя рылъ, тоже до причиннаго-то мѣста дорыться не могъ. Только англичинъ этотъ надулъ-таки нашихъ посельщиковъ здорово. Пришелъ однажды съ похода своего изъ буерака и говоритъ мужикамъ: «заклятье, говоритъ, великое, братцы, на вашу рѣку наложено, только я, говоритъ, въ чемъ тутъ сила, сразу узналъ и безпремѣнно, по моимъ наговорамъ, рѣка опять попрежнему потечетъ. Вотъ, говоритъ, черезъ недѣлю у меня составы такіе будутъ готовы, которыми я, говоритъ, шутовъ изъ родниковъ выгонять буду, такъ вы мнѣ къ тому времени тысячу цѣлковыхъ да коня самаго лучшаго припасите». А по сказамъ-то его выходило, что самый большой родникъ, изъ какого, значитъ, рѣка, почитай, всю воду имѣла, лошадиной головою пустынникъ заткнулъ. И ежели, говоритъ, голову ту ототкнуть, такъ такой столбъ воды изъ родника засвиристѣть долженъ, что всю губернію, пожалуй, затопилъ бы, ежели бы, то-есть, заговоровъ такихъ противъ воды не зналъ онъ. Отдали ему деньги и лошадь тоже отдали. (Мужичокъ тутъ одинъ жеребчика на корму держалъ — важный жеребчикъ такой — тысячи бы двѣ за него, поди, лемонтеры на Покровской[1]) отвалили). Точитъ разныя балясы англичинъ и жеребчика пробуетъ. «Какъ бы, говоритъ, мнѣ, братцы, голову свою въ буеракѣ за васъ не сложить? Бѣда, говоритъ, если лошадь не рѣзва — и вывезть меня въ пору не вывезетъ, совсѣмъ, говоритъ, затону»... — «Авось, Богъ! Авось, вывезетъ!» — наши-то его утѣшаютъ. Только пробовалъ, пробовалъ англичинъ жеребчика, да и пропалъ вдругъ и съ деньгами, какія съ міра собралъ. Такъ родникъ-то и теперь стоитъ, лошадиной головой заткнутъ... Эхъ, ты ма!.. Всѣ-то насъ обманываютъ, всѣ-то надуваютъ...— Одначе жъ слѣзай, милъ человѣкъ, и мнѣ свертокъ пришелъ. Вишь, вонъ крыши-то завиднѣлись—тутъ нашъ поселокъ и есть. Зашелъ бы ты къ намъ ночевать-то, а то какъ ты теперича пойдешь одинъ?

— Нѣтъ, спасибо! Привыкъ я по ночамъ-то ходить. Пятачка будетъ тебѣ за труды, землячокъ?—спрашивалъ я бѣлаго парня.

— Кой тамъ пятачокъ? Свѣчу про мое здоровье поставь. Прощай! Дай Богъ путь-дорогу.

---

1) Покровская ярмарка въ г. Лебедяни.

Я остался одинъ въ ярко-свѣтлѣвшейся степи.

И была, если можно выразиться, самая глубина ночи. Ни малѣйшаго слѣда жизни нельзя было подмѣтить на этомъ неоглядномъ пространствѣ. Только по обѣимъ сторонамъ большой дороги выстроились громадные стоги сѣна, и незнакомому съ мѣстностью проѣзжающему кажутся они гигантами, быстро несущимися по степи. Слышится ему топотъ ихъ тяжелый и быстрый, и невольному чувству страха поддается пугливое сердце. То овсянникъ-медвѣдь напугалъ табунъ лошадиный. Вотъ, онѣ, вытянувшись въ струнку, полетѣли къ свѣтлому Дону...

А вотъ изъ-за густой купы вѣшекъ мелькнули бѣлокаменныя избы придонскаго села, — и тутъ тоже безпробудная тишь. Спитъ село—и спитъ, можно смѣло сказать, крѣпко и сладко, потому что лѣтнія работы, характерно называемыя въ степяхъ *страдой*, заключаютъ въ себѣ рѣдкое усыпляющее свойство.

Спитъ все; на этой общей могилѣ раздается однообразная, крикливая пѣсня сверчка. Сквозь дальній и рѣдкій перелѣсокъ, чуть замѣтной звѣздою, мелькаетъ чумацкій огонь. Густымъ клубомъ разстилается по небу сизый дымъ отъ этого огня. Смотритъ въ задымленное окно лачужки своей одинокая, безсонная старуха на дымъ этотъ и креститсн, — крестится и думаетъ: отъ чего бы это дымъ такой сильный былъ? И пришла къ ней въ старую голову мысль, что надъ тѣмъ селомъ, надо полагать, разстилается дымъ этотъ, куда отдана замужъ ея ненаглядная дочка.. И еще пуще, чѣмъ прежде, затужила и заскорбѣла старуха въ своей одинокой избенкѣ, — и такъ-то слезно взмолилась она тогда къ Матери Царицѣ Небесной, чтобъ дала Она ей крылья легкой пташки пѣвучей, чтобы полетѣла она, сирота горемычная, на тѣхъ крыльяхъ легкихъ чрезъ поля, черезъ Донъ и сверхъ лѣсу къ красавицѣ-дочкѣ своей провѣдать, не содѣлалось ли надъ ея домишкомъ горькаго горя—пожара лютаго?..

Ложись, спи, старая бабка! Еще больше, пожалуй, загорюешь и затоскуешься ты, когда ненарокомъ увидишь, какъ на дорожномъ курганѣ загорятся очи нечистаго духа, сторожа стариннаго клада, зарытаго въ этотъ курганъ; а я еще послушаю сладко - мучительнаго безмолвія ночи...

Какъ рѣка въ половодьи, заширѣла дорога при выходѣ изъ села. Гигантскою птицей вскинулась она на гигантскую гору, осеребрилъ ее тамъ, окаймленную пушистою травой, свѣтлый мѣсяцъ, и потекла она дальше, какъ рѣка какая серебряная, по неизмѣримымъ предѣламъ своимъ.

Хорошо въ это время вольному человѣку думать и знать, что воленъ онъ, какъ орелъ-птица, и что нѣтъ тебѣ конца, русская дороженька привольная!

## Нравы московскихъ дѣвственныхъ улицъ.

Писано, памятуя о погибающемъ другѣ.

По Москвѣ дѣвка гуляла,
Красоту теряла,
Красоту она теряла,
Въ острогъ жить попала!..

*Изъ народной пѣсни.*

### I.

Иванъ Сизой [1]) матушкѣ Москвѣ бѣлокаменной, по долгомъ странствованіи внѣ ея, здравія желаетъ, всѣмъ ея широкимъ четыремъ сторонамъ низкій поклонъ отдаетъ.

Годъ слишкомъ шатался я по разнымъ мѣстамъ, а все нигдѣ не видалъ того, что я такъ люблю въ Москвѣ,—это ея глухихъ, отдаленныхъ отъ центра города улицъ, которыя давно какъ-то назвалъ *дѣвственными*, съ ихъ, такъ влекущей къ себѣ сердце мое, поразительной и своеобразною бѣдностью.

Конечно, этого добра, т.-е. бѣдности, намъ не занимать стать, и, какъ я сказалъ уже, больше года шатаясь по деревнямъ и селамъ, по городамъ и краснымъ пригородамъ, я имѣлъ-таки немало случаевъ видѣть голодъ и холодъ въ мѣщанскихъ хороминахъ, молчаливое и безустанное работающее уныніе въ мужицкихъ избахъ; но это что же за бѣдность? Лица не московскія, пораженныя этою болѣзнью, не живыя лица, а какъ бы каменныя статуи, изображающія собою безпредѣльное горе, и я только плачу втихомолку, когда

---

[1]) Псевдонимъ автора.

такая статуя окинетъ меня своими впалыми, безъ малѣйшаго признака слезъ, глазами. Плачу, говорю, и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко страдаю отъ той нравственной боли, которою всегда уязвляютъ мою душу эти глаза, ибо въ нихъ мои собственные глаза имѣютъ способность читать такого рода краснорѣчивую вещь:

— Ты, братъ, тово, не гляди лучше на меня,— мнѣ и безъ тебя тошно. Мало ты мнѣ, другъ, утѣхи своимъ глядѣньемъ даешь. Ты бы тамъ иначе какъ-нибудь для меня порадѣлъ...

Всякій своею похотью влекомъ и прельщаемъ, слѣдовательно, и я, какъ всякій, имѣю свою похоть, т.-е. болѣю при видѣ бѣдности московской, ибо она молчалива и убита, ибо трудно ей спророчить, когда она разбогатѣетъ и, хоть сколько-нибудь, оживетъ. Напротивъ, бѣдность московскихъ дѣвственныхъ улицъ меня радуетъ даже, потому что она рычитъ и щетинится, когда ей покажется не очень просторно и не очень сытно въ темныхъ и тѣсныхъ берлогахъ, въ каковыхъ движеніяхъ жизни я замѣчаю несомнѣнные признаки того, что бѣдность эта скоро поправится и разбогатѣетъ, хотя, можетъ-быть, и не вдругъ, хотя богатства ея будутъ далеко не тѣ, про которыя говорятъ, что они неисчерпаемы. Ну, да ничего! Намъ и это на руку, потому что голодному рту не до горячаго,— ему бы только мало-мальски чѣмъ-нибудь тепленькимъ пораспарить свое изсохшее небо...

## II.

Въ Москвѣ у меня бездна литературныхъ и университетскихъ друзей, которые меня весьма терпятъ и у которыхъ, слѣдовательно, я удобно могъ бы сложить свой страннической посохъ, но, пославъ ихъ въ душѣ моей къ Богу въ рай, я, по прибытіи въ Москву, направился прямо въ дѣвственную улицу, гдѣ жилъ мой старинный другъ, старый отставной унтеръ-офицеръ, который былъ кумъ, т.-е. у котораго, благодареніе Создателю, мнѣ довелось привести «въ крещеную вѣру» троихъ дѣтей.

Въ дѣвственной улицѣ я не замѣтилъ никакой перемѣны. Въ сравненіи съ другими столичными улицами, она была тиха до мертвенности. Огни, свѣтлѣвшіеся изъ оконъ ея маленькихъ деревянныхъ домишекъ, были похожи на деревянныя гнилушки, которыя такъ уныло свѣтятся ночью изъ-подъ печки деревенской избы. Единственные признаки жизни показывала только единственная харчевня дѣвственной улицы. Изъ ея тусклыхъ окошекъ, освѣщенныхъ какимъ-то красноватымъ свѣтомъ, порой вырывались какіе-то неясные звуки, по которымъ рѣшительно нельзя было опредѣлить, поютъ ли тамъ пѣсни, или плачутъ,— такіе это были смѣшанные звуки. И временемъ, когда какимъ-нибудь гостемъ широко распахивалась харчевенная дверь, сердито и шумно взвизгивая на заржавѣвшихъ петляхъ, звуки дѣлались слышнѣе, и тогда человѣкъ неопытный, случайно проходящій по дѣвственной улицѣ, непремѣнно бы остановился противъ заведенія и пугливо прислушался къ этимъ звукамъ, потому что неопытному пѣшеходу въ нихъ бы заслышалось слово: караулъ,— слово, отчаянно-крикливо вырвавшееся изъ чьего-то горла, но остановленное на половинѣ своего излета и снова какъ бы впихнутое въ это горло чьимъ-то лютымъ кулачищемъ.

Но я не счелъ этого звука за такой караулъ, ради котораго слѣдовало бы остановиться около харчевни, потому что мнѣ коротко извѣстны обычаи дѣвственной улицы. Это былъ, просто, крупный разговоръ, который велъ закутившій мастеровой съ своею благовѣрной, пришедшей съ цѣлью вытащить благовѣрнаго изъ заведенія и отвести «на спокой на фатеру».

— Пош-шолъ вонъ! — кричитъ на жену повелительнымъ горловымъ баритономъ урѣзавшій здоровую муху кутила.— Пошшолъ вонъ! — повторяетъ онъ еще повелительнѣе, забывши въ подпитіи, что ежели хочешь прогнать откуда-нибудь свою жену, чтобъ она не мѣшала молодецкому разверту, такъ нужно сказать вовсе не «пошолъ вонъ», а «пошла вонъ».

Затѣмъ начинались плаксивые тоны жены:

— Иванъ Прокофьичъ! Что же мы завтра ѣсть станемъ?

— Объ этомъ ты не горюй! Что объ этомъ горевать — объ ѣдѣ-то? Эхъ ты, безстыдница! О чемъ нашла горевать, а? Гаврилъ! — обращается кутила къ фамильярно улыбавшемуся половому,— о чемъ она, дурища, горюетъ-то? Объ ѣдѣ, ха-

ха-ха-ха! Пош-шолъ вонъ! — и затѣмъ мужъ, какъ глава надъ своею женой, употребляетъ даже нѣкоторую силу и пытается пропихнуть ее въ скрипучую дверь на тихую морозную улицу.

Итакъ, вы видите теперь, что серьезнаго караула въ харчевнѣ дѣвственной улицы быть не можетъ, потому что, въ концѣ-концовъ, ежели караулъ слышится иногда изъ оконъ, веселящихъ улицу своимъ краснымъ и, примѣчено мною, какъ-то злобно и насмѣшливо моргающимъ свѣтомъ, такъ вовсе нечего прислушиваться къ нему, потому что все это ни болѣе ни менѣе, какъ «своя отъ своихъ»...

Исторію эту, съ цѣлью получить въ концѣ ея незловредный караулъ, можно продолжать такимъ образомъ:

— Остались ли деньги-то у тебя? Ай ужъ всѣ пропилъ? — спрашиваетъ жена, усѣвшись, наконецъ, съ супругомъ за одинъ столъ около грязнаго, загаженнаго мухами, графинчика изъ толстаго стекла съ мутною водкой.

— Какія, чортъ, деньги? Пропивать-то мнѣ нечего... Это ужъ я на сюртукъ валю. Вотъ добрая душа, Гаврикъ, въ двухъ серебра принялъ, а домой я и въ твоемъ платкѣ какъ-нибудь дотащусь.

Мастеровой слезливо начинаетъ обыкновенный разсказъ про то, какъ часто понесешь работу къ барину и какъ, идучи къ барину, разсуждаешь, что вотъ-де сейчасъ получу деньги, прямо на рынокъ, искуплю тамъ говядины, сапожки, можетъ, али штанишки какія-нибудь старенькія не попадутся ли, а тамъ накуплю товару — и валяй опять за работу. Чудесно! Знай денежки огребай. Разсуждаешь такимъ-то манеромъ, а потомъ и не увидишь, какъ очутишься въ кабакѣ.

— Онъ, говоритъ, баринъ-то: «Иванъ Прокофьичъ! Ты съ меня деньги-то недѣльки двѣ пообожди. Знаешь, говоритъ, за мною не пропадетъ». Я ему говорю: «знаю, что не пропадутъ, только, ваше благородіе, мнѣ деньги очень нужно. Сами изволите знать: жена, дѣтей четверо»... «—У меня, говоритъ баринъ и смѣется, у меня, можетъ, дѣтей-то этихъ штукъ съ сорокъ найдется, да вѣдь я ни къ кому не пристаю. Приходи ужъ черезъ недѣлю, что съ тобой дѣлать, а теперь мнѣ некогда, прощай». — Съ тѣмъ отъ него и ушелъ, — добавляетъ мастеровой, возвышая голосъ: — а отъ него, съ великой злости, прямо въ кабакъ, и изъ кабака сюда, потому что же я завтра безъ денегъ стану дѣлать?

Послѣ этого крикливаго вопроса и начинается, что называется, самая катавасія, потому что, кромѣ сюртука, принятаго добродушнымъ Гаврилой въ двухъ рубляхъ, чета начинаетъ валить еще на три рубля, которые съ большимъ удобствомъ олицетворяетъ истасканный шерстяной салопъ супруги.

— Видишь теперь, какая у меня супруга? — спрашивалъ мастеровой у полового, выставляя ему на видъ, собственно, то обстоятельство, что супруга, съ видимою охотой, куликнула двѣ рюмки залпомъ, какъ бы стараясь сразу сравняться съ своимъ главой.—Сласть у меня супруга, сговорчивая. Она мнѣ ни въ чемъ никогда не перечитъ. Что я скажу, то и баста.

Супруга, между тѣмъ, не безъ граціи закусила двѣ рюмки солониной съ солеными огурчиками, а супругъ продолжаетъ:

— Мы съ ней двѣнадцать годовъ душа въ душу живемъ! Гаврилъ! Слушай, я тебѣ разскажу, какъ я женился на ней. Она въ это время молодая была и изъ лица, не въ примѣръ, теперешняго красивѣе; а князь, у кого она въ то время на содержаніи была, призываетъ меня и говоритъ: «вотъ тебѣ, Иванъ Прокофьевъ, невѣста! Ты, говоритъ, съ ней не пропадешь, потому приданаго за ней даю сто рублевъ, акромя, говоритъ, постели и разныхъ вещей»... Я ему и говорю: «покорнѣйше благодаримъ, ваше сіятельство!» Сказалъ такъ-то и женился; а она, шельма этакая, цѣлый годъ послѣ законнаго брака шаталась къ нему, къ князишку-то своему. Вотъ она, Гаврилъ, какая извергъ у меня! Ты, Гаврилъ, не гляди на нее, что она такою смиренной глядитъ. Шельма она у меня преестественная, Гаврилъ! Ты думаешь, милый человѣкъ, черезъ кого я теперича погибаю — черезъ нее, черезъ анаѳему! Вотъ черезъ кого! У! Будь ты проклята! Возьму, вотъ, да какъ начну по мордѣ-то охаживать, такъ, небось, забудешь про княжество-то про свое!

Половой, слушая эти изліянія, мялся на одномъ мѣстѣ и насмѣшливо улыбался съ видомъ человѣка, который, ежели бы не

стѣснялся своимъ лакейскимъ положеніемъ, непремѣнно сказалъ бы:

«Комиссія, право, эти женитьбы нашинскія!.. Что криво да косо, то Кузьмѣ-Демьяну... Всегда ужъ нашему брату, мастеровому, бѣдному человѣку, такую-то сволочь подсунутъ, что цѣлый вѣкъ казнишься да страдаешь, глядя, какъ она кровныя мужнины деньги, на офицеровъ прохожихъ любуючись, на чаяхъ да на кофіяхъ проживаетъ!.. Идолы-бабенки, а паче тотъ идолъ, кто ихъ, тонкостямъ этимъ научимши, нашему брату на шею наваливаетъ...»

— Ты вотъ что,—отнеслась достаточно уже выпившая супруга къ мужу:—ты поменьше болтай, а то вѣдь за болтанье-то вашего брата по щекамъ лупятъ...

— Ну, ужъ ты съ этимъ дѣломъ, надо полагать, подождешь немного, по щекамъ-то. Право, подождешь!—сатирически предполагаетъ мужъ, выпивая приличный чину и званію столичнаго башмачника стакашекъ.

— Нѣтъ, не подожду, — настаиваетъ супруга, выпивая тоже приличный стаканъ.— Долго я тебя, пьянаго дурака, не учила.

— Врядъ ли выучишь. Я тебя, пожалуй, поскорѣе поучу.

— Ну, ужъ это не хочешь ли вотъ чего?—освѣдомляется супруга, повертывая передъ очами возлюбленнаго послюнявленный кукишъ.

— А ты не хочешь ли вотъ чего? — въ свою очередь, любопытствуетъ супругъ, ухвативъ супругу за жидкія космы.

Случайно отворенная въ это время дверь заведенія заскрипѣла на своихъ петляхъ, и изнутри кабака вылетѣло женски-визгливое «караулъ» и басовитыя отрывистыя слова: «вотъ тебѣ, шельма, вотъ тебѣ!» Слышно было сдержанное хихиканье полового Гаврилы, сопровождаемое протяжнымъ возгласомъ: «Охъ, и комедіанты же эти сапожникъ съ сапожницей! Право, комедіанты! Этакъ-то они у насъ цѣпляются другъ съ дружкой каждый Божій вечеръ!..»

Но дѣвственная улица ничуть не была удивлена этими выкриками. До того, должно-быть, она прислушалась къ нимъ, что даже тѣни вниманія не пробудили они на ея безжизненно-молчаливомъ лицѣ.

И, кромѣ этой, другія, болѣе крикливыя, сцены разыгрывались на улицѣ, но и онѣ не дѣлали ее веселѣе, потому что, противъ русскаго обыкновенія, онѣ не собирали около себя толпы проходящихъ зѣвакъ, дружный и шумливый говоръ которыхъ увѣрилъ бы человѣка, въ первый разъ занесеннаго въ этотъ край, въ томъ, что край этотъ вовсе не какое-нибудь заколдованное царство, осужденное могучимъ чародѣемъ на вѣчный и безпробудный сонъ.

— Кар-р-раулъ! Кар-раулъ!—оретъ какой-то молодой голосъ въ непроницаемой темнотѣ уличнаго конца.

— Ты что же это?—спрашиваетъ крикуна хрипучій басъ будочника.—Ты опять свои шутки шутишь? Мало я тебѣ онамедни шею за нихъ намылилъ? Ежели мало, скажи, я тебѣ еще прибавлю.

— Дядюшка! Да вѣдь скучно!.. День-то денской сидючи за работой, чего не придумаешь? Выбѣжишь когда на улицу-то украдкой, улица-то, сейчасъ умереть, свѣтлымъ раемъ тебѣ покажется, — ну, тогда ты не вытерпишь и въ радости заорешь...

— То-то въ радости! Гляди, ты у меня инымъ голосомъ, пожалуй, вскрикнешь, какъ вотъ ножнами начну тебя по мягкимъ-то оторачивать... Уймись, парень! Ей-Богу, уймись!

— Не буду, дядюшка, однова дыхнуть, не буду,—съ хохотомъ увѣряетъ прежній голосъ: — только теперича въ послѣдній разъ позволь...

— Ну, парень, придется мнѣ, должно-быть, съ моего мѣста встать... Разозлилъ ты меня, паренекъ!

И затѣмъ уличную тишину нарушаетъ какое-то шуршанье, словно бы какой одышливый и лѣнивый человѣкъ собирался въ дальнюю путь-дорогу.

— Кар-р-раулъ!—снова изъ всѣхъ легкихъ трубитъ паренекъ, захлебываясь отъ хохота.

Послѣ этого слышится легкое захлопываніе калитки и шлепанье босыхъ ногъ по оттеплѣвшему снѣгу.

— Экой парень-разбойникъ! Удралъ ужъ...—говоритъ будочникъ, съ прежнимъ сопѣньемъ и пыхтѣньемъ усаживаясь на покинутое было пригрѣтое мѣсто. — Кажинный день такъ-то онъ меня безпокоитъ...

Поровнялись со мной какія-то двѣ, еще не очень пожилыя, женщины, съ вѣниками подъ мышками, съ узелками въ рукахъ, съ лицами, прорѣзывавшими даже ночной, ничѣмъ не освѣщаемый мракъ дѣвственной улицы алымъ румянцемъ, которымъ, какъ пожаромъ, освѣщались ихъ пухлыя щеки.

— Что же, хороша нонича фатера-то у тебя? — спрашивала одна подруга другую.

— Эдакая ли фатера чудесная — страсть!—отвѣчала подруга.—Мы ее онамедни чудесно обновили. Пришелъ эфта въ прошлое воскресенье мой (у меня нынѣ столяръ), солдатика-пріятеля привелъ. Пришодчи, какъ слѣдуетъ, поздравили съ новосельемъ, водки полуштофъ солдатикъ-то изъ-за обшлага вытащилъ, я ему селедку съ лучкомъ оборудовала. Полштофъ выпили, другой послали; другой выпили — третій, а тамъ и за четвертымъ. И такъ-то, милая ты моя, всѣ мы нарѣзались тогда, не роди мать на свѣтъ Божій! Словно бы безумные, толкались. Нарѣзамшись, мой-то и сцѣпился съ солдатикомъ драться,—я сейчасъ же къ своему на заступу пошла; а солдатикъ видитъ, что не совладать ему съ нами, взялъ да у столяра ухо напрочь, совсѣмъ съ хрящомъ и оттяпалъ. Завизжалъ столяръ такъ-то жалостно, и кровища изъ него хлестала, аки-бы изъ свиньи зарѣзанной. И дивись, милая, съ другой фатеры, ежели не въ нашей улицѣ, такъ бы нашего брата за такую исторію, знаешь бы какъ въ шею турнули, въ три бы шеи турнули; а нашъ хозяинъ (благородный у насъ хозяинъ-то!) хошь бы словечушко вымолвилъ. «Ничего, говоритъ, Господь съ ними! На то, говоритъ, и праздникъ данъ человѣку».

— У насъ, мать, по всей нашей улицѣ хозяева всѣ страсть какъ смирны, — подтвердила другая товарка. — У меня тоже кажный праздникъ, почитай, и-ихъ какія кровопролитія сочиняютъ! Тоже одному молодчику, не хуже твоего, два пальца и половину носа скусили. Озорны эти мужики.

— Съ ними поводись только! Я ужъ, когда они такъ-то сцѣпятся, прямо имъ сказываю: «да ступайте на дворъ, лѣшаки, тамъ, говорю, просторнѣе». Такъ-то они у меня, милая ты моя, за всякое воскресенье аккуратъ не на животъ, а на смерть чешутся!..

— Это у нихъ истинно что каждое воскресенье творится неупустительно,—сказалъ мнѣ вдругъ вышедшій изъ-за угла старикъ—мой кумъ, отставной солдатъ, къ которому я шелъ. Я тоже, признаться, поджидалъ его, потому что самъ онъ, тоже неупустительно, возвращался въ это самое время изъ кабака, въ которомъ обыкновенно онъ проводилъ лѣтніе и зимніе вечерки.

— Издали еще разглядѣлъ я тебя, — продолжалъ старикъ, обнимая меня. — Смотрю этта и думаю, а вѣдь это *купъ* идетъ!

По вечерамъ, то-есть огорошивъ въ кабакѣ полуштофъ и туго набивши носъ забористымъ зеленчатымъ, старикъ пріобрѣталъ способность выговаривать буквы *м* и *н*, какъ *п* и *б*, и потому въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно звалъ меня *купъ*, а ежели въ дальнѣйшемъ разговорѣ надобилось ему употребить слово небо, онъ, просто-напросто, избѣгая грѣха сказать небо, указывалъ рукою въ потолокъ, и всѣ это понимали, какъ нельзя болѣе хорошо.

— Откуда тебя Богъ принесъ? — спрашивалъ меня старина, видимо обрадованный.—Давно ли?

— Прямо съ дороги и прямо къ тебѣ,— отвѣтилъ я.

— Вотъ за это люблю, что не забылъ друга.

— Ну, что тутъ, какъ у васъ? — любопытствовалъ я. — Новенькаго чего нѣтъ ли?

— Чему у насъ новенькому быть? — спросилъ, въ свою очередь, кумъ, какъ бы съ нѣкоторымъ унынiемъ.—Все у насъ, другъ милый, постарому. Есть, что ли, деньжонки-то у тебя? А то я, покуда лавки не заперты, что-нибудь изъ одежи бы на угощенье спустилъ...

— Есть,—утѣшилъ я старину,—и насчетъ одежи ты не безпокойся.

— То-то, ты гляди у меня: финтифлюшекъ-то, знаешь, небось, не очень-то я люблю...

И потомъ, прихвативши въ попутномъ кабакѣ нѣкоторый штофъ и въ попутной лавочкѣ два десятка соленыхъ огурцовъ, мы съ кумомъ благополучно спустились въ его плачевный подвалъ.

## III.

Въ этомъ подвалѣ цѣлыя двадцать лѣтъ тянулась печальная жизнь солдата. Въ пять лѣтъ моего съ этими интересными субъектами знакомства я не могъ подмѣтить ни въ томъ ни въ другомъ ни малѣйшей перемѣны, и какъ за годъ передъ настоящимъ моимъ посѣщеніемъ я оставилъ ихъ уныло-серьезныхъ и гнѣвно-молчаливыхъ, точно такими же нашелъ ихъ и теперь. Даже горемыки-жильцы подваловъ въ дѣвственныхъ улицахъ, наваливавшіеся на простого старика, какъ наваливаются осенніе листы на терпѣливую землю, были все тѣ же, за исключеніемъ развѣ только одного отставного капитана, тѣмъ, впрочемъ, только и замѣчательнаго, что онъ нанялъ себѣ помѣщеніе на огромной кумовой печи, куда онъ втащилъ нѣчто въ родѣ кушетки, служившей ему постелью и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сундукомъ. Капитанъ этотъ нисколько не характеризовалъ бы собою московскихъ дѣвственныхъ улицъ, если бы про него не разсказывали съ божбой, что онъ никогда ничего не ѣстъ и не пьетъ, ибо никто ни разу не видалъ, чтобъ онъ когда-нибудь удовлетворялъ этимъ простымъ требованіямъ человѣческаго организма. Кромѣ этого, заслуживавшаго вниманія обстоятельства, капитанъ бросался въ любопытные глаза тѣмъ еще, что не любилъ платить за квартиру и, говоря настоящее дѣло, не любилъ даже и того, когда ему напоминали объ этомъ. Старый, разслабленный и поросшій весь какъ бы какою щетиной, онъ по цѣлымъ днямъ молчаливо переѣзжалъ съ печи на кушетку и обратно, ничѣмъ не безпокоясь и никого не безпокоя; но какъ только кумъ заикался ему, что, дескать, ваше вышебородіе, нельзя ли, дескать, насчетъ недоимочки за фатеру,—капитанъ сначала производилъ на печи какой-то необыкновенный шумъ, смѣшанный съ визгомъ и рычаньемъ, потомъ показывалъ съ печи свое обрамленное сѣдо-бурыми волосами лицо, оскаливъ зубы, и начиналъ воевать, то-есть бросалъ съ печи въ пріютившаго его человѣка чѣмъ ни попало.

— Зар-р-ряжай ружье! — оралъ онъ старческимъ, но азартнымъ голосомъ.— Кладсь! П-ли! Я васъ, черти! Рр-рота, за мной! Д-дѣти, скорымъ шагомъ маршъ! Съ Богомъ!

— Ну, пошла писать военная кость!— съ хохотомъ толковали многочисленные кумовы жильцы, собирая съ печи, изъ-подъ капитанской храброй руки, различные тряпки и горшки, махотки и полѣшки.

— Будетъ, будетъ, ваше вышебородіе! Перестаньте только, Христа ради!—умолялъ кумъ жильца о прекращеніи батальнаго огня.

— Ур-ра! Наша взяла! — окончательно вскрикивалъ старый вояка, снова ныряя на неопредѣленное время въ запечное пространство.

— Очненно тронулись!—такими словами рекомендовалъ мнѣ кумъ своего новаго жильца.—Что будешь дѣлать съ бѣдностью? Иной разъ сунешь ему на печку-то щецъ, хлѣбца, не токма что свои деньги... Выручишь ихъ, свои-то деньги, съ моими жильцами! Надоѣдаетъ временемъ только— ужасти какъ... Раздразнять его башмашниковы ребятеньки, такъ онъ цѣлый день, лежа на печи, ртомъ-то все такъ-то выдѣлываетъ: пу! пу! п-пу! Артиллеріей, значитъ, по нимъ на дальныхъ разстояніяхъ дѣйствуетъ. Вотъ докуда спятилъ: по маленькимъ-то ребятенкамъ изъ пушекъ палитъ!..

— Ну, а изъ прежнихъ жильцовъ никто не съѣхалъ отъ тебя?—спросилъ я.

— Изъ прежнихъ?.. Нѣтъ, никто. Здѣсь ужъ все такъ-то: какъ укоренится кто на какомъ мѣстѣ, такъ ужъ или съ эстого мѣста прямо въ гробъ идетъ, или, ежели онъ—подхалюза какая, такъ фарталомъ прогоняютъ на другую фатеру. Кресты есть изъ такихъ-то для нашего брата-съемщика—и-ихъ какіе тяжелые! Потому нашъ братъ долженъ имъ потрафлять каждую минуту, чтобы только не доходили они до фартала, судиться бы только не ходили, потому они къ этому дѣлу, все равно какъ къ кашѣ съ масломъ, привыкли...

И дѣйствительно, всѣ кумовы жильцы, которыхъ я зналъ у него прежде, жили у него и теперь, какъ бы сговорившись умереть въ его темномъ подвалѣ. По-прежнему надъ всѣмъ гвалтомъ крикливой подвальной жизни властительно царилъ назойливый голосище старой свахи Акулины, трехаршинной бабы, въ ужасающихъ всякую душу лохмотьяхъ и съ рыжею

жидковатою бородой. Попрежнему эта ямщикъ-баба расшевеливаетъ во мнѣ уснувшую было глубокую антипатію къ ней тѣмъ, что къ каждому слову, съ которымъ она обращается ко мнѣ, прибавляетъ самымъ сладкимъ голоскомъ «ваше благородіе» и «сударь-баринъ», разсчитывая этими словами взять меня на удочку и слизать съ меня полуштофъ сладкой водки, особенно ею цѣнимой. А вотъ и эта старая дѣвушка, неотходно сидящая въ кухнѣ на своемъ громадномъ, окованномъ желѣзными полосами сундукѣ. Какъ назадъ тому много лѣтъ застало ее на этомъ сундукѣ извѣстіе, что человѣкъ, любившій ее, уѣхалъ на родину жениться и увезъ ея кровныхъ сто двадцать рублей, такъ она, безъ малѣйшаго слова, раскачнула тогда еще молодою головой, да такъ и теперь ею постоянно раскачиваетъ, — только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая сѣдая, сморщенная, некрасивая.

— Здравствуй, Фаламей Ильичъ! — говорю я старому пріятелю моему, башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпѣть не могъ, когда кто-нибудь называлъ его настоящимъ именемъ Варфоломея.

— Здравствуйте, сударь, Иванъ Петровичъ! — радостно привѣтствовалъ меня Фаламей, вставая съ кадушечки, на которой онъ тачалъ башмаки, и лобызаясь со мною.—Давно мы, сударь, съ вами компаніи не водили. Вы что тутъ ерзаете, мазурики?—обратился онъ къ своимъ многочисленнымъ ребятенкамъ, быстро отколупывая у нихъ на головахъ масла маслакомъ своего собственнаго большого пальца правой руки.

Толпа ребятишекъ, неутомимо сновавшая и горланившая по подвалу, какъ и все подвальное, была, въ свою очередь, такою же, какою я оставилъ ее, хотя примѣтилъ, что теперь она стала гораздо гуще, а слѣдовательно, и неугомоннѣе.

Да, все обстояло въ подвалѣ попрежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой ладъ по той простой причинѣ, что подо всѣмъ этимъ прекраснымъ небомъ нельзя найти лада, который былъ бы сколько-нибудь хуже этого. И Господи! до того шло тамъ все постарому, что самъ я, какъ и прежде, обманулъ ожиданія ребячьей стаи, облѣпившей меня, потому что былъ внѣ всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолѣтней, вѣчно голодающей братіи.

Уныло и молчаливо отошла отъ меня, какъ говорятъ поэты, розовая юность, а я, какъ и всегда, что особенно люблю, сталъ прислушиваться къ стѣнамъ подвала, которыя на сей разъ говорили мнѣ такъ:

«Ну, что, Иванъ Петровичъ? Что, кумъ ты мой золотой? Куда ходилъ? Что выходилъ? Э-эхъ ты, вѣтеръ степной, Иванъ Петровичъ! Право, вѣтеръ! Вотъ тебѣ отъ насъ первый привѣтъ. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему Божьему свѣту, хоть чуточку поумнѣешь, хоть немножко пособратишься, а онъ все такой же»...

Шептали мнѣ черныя стѣны эти слова съ какою-то особенно выразительною насмѣшкой, словно бы насмѣшкой этой онѣ меня хотѣли образумить и наставить на какой-то, совершенно неизвѣстный мнѣ, истинный путь.

Такъ я помню встарину, когда я былъ еще совсѣмъ малымъ ребенкомъ, старая бабка моя, смотря на разныя мои, какъ она говорила, дурацкія выходки, укоризненно и насмѣшливо покачивала своей сѣдою головой и язвила меня острыми стрѣлами разныхъ народныхъ пословицъ, въ родѣ, примѣрно, слѣдующей:

— Эхъ, дитя! Не будетъ въ тебѣ путя...

До слезъ, бывало, пронимали меня эти многозначительныя бабкины слова. Открывши въ шопотѣ стѣнъ кумова подвала нѣчто схожее съ ними, я бы тоже, вѣроятно, заплакалъ и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по тѣлу моему злобная желчь не вытѣснила изъ меня всѣ безъ остатка мои горячія, искреннія слезы.

## IV.

— Вотъ за это я тебя, кумъ, страсть какъ не люблю!—этимъ восклицаніемъ вывелъ меня изъ моей задумчивости старикъ-кумъ (назовемъ его давнишнимъ именемъ, пріобрѣтеннымъ имъ въ полку, гдѣ его прозвали Обгорѣлый).—Такъ вотъ за это я тебя недолюбливаю,—повторилъ Обгорѣлый. — Выпьешь ты, дружокъ, малость какую-нибудь и сейчасъ же задумаешься, лицо у тебя въ синія пятна

ударитъ, и словно бы ты въ такія времена разорвать кого на мелкія части надумываешь. Право! Это мнѣ очень не по нраву. Выпей-ка, авось, можетъ, поотпуститъ тебя злоба-то твоя.

— Что же это я все у тебя оглядѣлъ, увидалъ, что все на прежнихъ мѣстахъ стоитъ, — сказалъ я, — а про Катю не спрошу: гдѣ она у тебя?

— Помалчивай до поры до времени, — съ какою-то плутоватою улыбкой отвѣтилъ мнѣ кумъ. — Мы тутъ такую-то крутую кашу завариваемъ, и, какъ есть, братецъ ты мой, къ самой кашѣ ты подоспѣлъ. Вотъ счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволенъ!

А Катя, про которую я сейчасъ освѣдомлялся у солдата, была существомъ такого рода: во всѣхъ вообще дѣвственныхъ улицахъ существуетъ обыкновеніе распускать про всякаго человѣка, вновь основавшаго свой притонъ въ ихъ тишинѣ, молву, что будто у этого человѣка страсть сколько деньжищевъ и добрища всякаго, врядъ ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, повидимому, странному обыкновенію удивляться много не слѣдуетъ, потому что страсть поврать про чужія деньжища и добрище свойственна всей гольтепѣ вообще. По этому случаю, лишь только переѣхалъ солдатъ въ свой подвалъ, какъ сейчасъ же про него вся улица, какъ въ трубу, затрубила:

— Однѣхъ шинелей у него три, — по секрету перешептывались между собою сосѣдскія бабенки, — сапоговъ четыре пары, голенищевъ старыхъ видимо-невидимо навалено. Кому копитъ? А? Скажи, пожалуйста, кому копитъ старый идолъ? — даже съ нѣкоторымъ негодованіемъ вопрошала одна изъ бабенокъ.—Околѣетъ вѣдь старый шутъ, глазъ некому будетъ закрыть.

— Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше,—вступалась другая,—а ты вотъ что послушай: видѣли у него бумажекъ денежныхъ вона сколько!.. — И при этомъ бабенка взмахнула рукой надъ своею головой, желая означить, сколько, именно, у идола-солдатища было денежныхъ бумажекъ.—Теперича,—продолжала она,—видѣли у него также цѣлый сундукъ съ образами, и всѣ-то они — батюшки мои—въ серебряныхъ ризахъ у него разодѣты, всѣ-то въ серебряныхъ...

На основаніи этихъ разсказовъ, одна согрѣшившая дѣвочка нѣкоторою темною ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку къ богачу-солдату.

— Она у него счастлива будетъ!—разсуждала молодая мать. — А то, поди-ка, изъ воспитательнаго дома кому еще на руки попадется...

— Вона, сокровище какое Господь мнѣ, старому шуту, послалъ! — сказалъ кумъ, вывертывая ребенка изъ разныхъ лохмотьевъ. — То тридцать лѣтъ съ ружьемъ няньчился, теперь же вотъ съ чужой дитей придется поняньчиться, а тамъ ужъ, вѣрно, судьба за прялку меня усадитъ...

Поворчалъ-поворчалъ Обгорѣлый такимъ образомъ, а все-таки послушною нянькой усѣлся, наконецъ, за дѣтскую колыбель и своими пѣснями, пѣтыми хотя и на волчиный манеръ, выбаюкалъ себѣ такую прелестную дѣвочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что объ ней, все равно какъ объ царевнѣ какой, ни въ сказкѣ нельзя сказать, ни перомъ написать.

Я совершенно не знаю, какимъ образомъ и для чего именно на тощей и такъ гибельно воняющей почвѣ подваловъ родятся существа съ головками, улыбающимися и цвѣтущими, какъ улыбаются и цвѣтутъ на холстѣ прелестныя созданія великихъ художниковъ, — не понимаю, для чего даются этимъ существамъ бѣлокурые волосы,—кого въ томъ подвалѣ хотѣла природа *удовлетворить*, творя этотъ гибкій, какъ наша стройная отечественная сосна, станъ; но знаю и сказываю о томъ обстоятельствѣ, что унтеръ-офицерскій подкидышъ, прозванный горемъ подвальнымъ царевной, про которую нельзя ни въ сказкѣ сказать ни перомъ написать,—былъ, есть и будетъ царевной моего одинокаго сердца...

Повинуясь могучимъ стремленіямъ нашего времени, я долгое время шатался въ кумовъ подвалъ, внося, насколько могъ, въ мерзость его запустѣнія понятія о иномъ, внѣподвальномъ свѣтѣ. Я много разъ примѣчалъ, какъ цвѣтущая бѣлокурая головка улыбалась, радуясь такому свѣту; но улыбка эта, дававшая мнѣ столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо въ то время, когда въ ней зарождалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы—бородастой свахи Акулины, самъ подвалъ въ

этотъ моментъ, мнѣ казалось, начиналъ покачиваться, словно бы жалѣя о чемъ, и, какъ-то сокрушительно улыбаясь, шепталъ мнѣ:

«Ахъ, Иванъ Петровичъ! Голова ты эдакая болѣзная! Ну, на что *это* намъ? Ну, что мы съ *этимъ* добромъ подѣлаемъ? Помни ты мое вѣрное слово, Иванъ Петровичъ! Будетъ у насъ съ тѣмъ добромъ не въ примѣръ больше слезъ, больше и воздыханій».

И такъ крѣпко донялъ меня подвалъ такими словами, что я однажды сказалъ подвальному цвѣтку:

— Прощай, Катя! Ухожу изъ Москвы на родину. Хочу посмотрѣть, попрежнему ли наша матушка-степь своей красотой сіяетъ.

Говорю такъ и смѣюсь, и она смѣется.

— Ой, — отвѣчала она, — не ходите, Иванъ Петровичъ. Люди, Иванъ Петровичъ, перемѣннѣе степи всегда бываютъ, объ этомъ во всякой книжкѣ говорится, какую мы только съ вами читали.

Я даже хотѣлъ было остаться, смотря на ту улыбку, съ которою Катя говорила о томъ, что люди измѣнчивѣе степи. Такъ много обѣщала эта веселая, добрая улыбка! Но, къ счастію или къ несчастію, подвалъ опять зашепталъ мнѣ:

«Ты что же это, Иванъ Петровичъ, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя *тогда* своими старыми стѣнами въ прахъ раздавлю»...

Унося мою больную голову отъ гибели въ этихъ, такъ мрачно глядѣвшихъ, стѣнахъ подвала, я пошелъ. Пошелъ я, куда глядѣли мои глаза, и когда, возвратившись назадъ, спросилъ у кума, гдѣ Катя, онъ только отвѣтилъ мнѣ, что я счастливецъ, подоспѣвшій къ весьма крутой кашѣ. Отвѣтъ, какъ видите, весьма замысловатыхъ и таинственныхъ свойствъ; но я, изучившій нравы дѣвственныхъ улицъ, сразу понялъ, по какому, именно, поводу, изъ какихъ крупъ заварилась эта крупная каша,—понялъ до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и заныло отъ той страшной боли, которою подарило его это ясное понятіе о предстоящей кашѣ.

— Да, куманекъ! — снова повторилъ кумъ, задумчиво разглаживая свои усищи.— Признаться сказать: заварили хлебово! Не знаю только, какъ иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому старъ я, ну, и, значитъ, хлебывалъ вволю... Вотъ какъ хлебывалъ— до крови!.. Ну, а молодымъ какъ покажется—не знаю, и ежели, т.-е., не Божья воля, такъ лучше бы мнѣ сквозь землю провалиться, чѣмъ голубчику моему—дитѣ моей кровной — то кушанье изъ своихъ рукъ подносить...

— А вы, дяденька, не ропщите, потому судьба наша извѣстно отъ кого происходитъ...—вмѣшался въ нашу бесѣду молодой, еще неизвѣстный мнѣ, парень въ синей чуйкѣ, въ смазныхъ сапогахъ и ситцевой красной рубахѣ, видимо, мастеровой. Онъ былъ еще очень молодъ и потому сдѣлалъ старому солдату свое юное замѣчаніе весьма сконфуженнымъ тономъ, и при томъ неуклюже переминаясь на деревянномъ, выкрашенномъ черною краской, стулѣ.

— Молчи ужъ ты, голова! — сердито отозвался кумъ на замѣчаніе молодца. — Мы отъ судьбы-то въ лапахъ отъ люльки и по сю пору находимся, такъ мы ее лучше тебя, не въ примѣръ, понимаемъ, какая она до нашего брата милостивая... Кумъ! выпьемъ съ тобой, да не по рюмочкѣ, а по стаканчику, потому скорбитъ мое сердце. Охъ, какая лютая казнь одолѣла его у меня! Тебѣ, кумъ, объ этой казни своей прежде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!

Но я давно уже понялъ лютую кумову казнь и потому съ яростью истаго плебея, пріученнаго и, слѣдовательно, привыкшаго топить горе въ стаканѣ, выжралъ стаканище, предложенный мнѣ солдатомъ, опустилъ мою голову, послушно склоняющуюся предъ всякимъ несчастьемъ, и сталъ, по обыкновенію, прислушиваться къ тайному подвальному шопоту, а подвальный шопотъ на этотъ разъ былъ таковъ:

«Иванъ Петровичъ,—глухо и печально шептали стѣны,—знаешь, небось, ты нашу жизнь-то собачью? Вѣдь Катька-то у насъ задурила... Вѣдь въ степь-то тебя чортъ понапрасну таскалъ... Можетъ, она, Иванъ Петровичъ, эта самая Катька-то, такой-бы женой была вѣрной, да доброй, да умной»...

А солдатъ въ то же время съ тщетно сдерживаемымъ рыданьемъ говорилъ молодому парню, нашему собесѣднику:

— Выпей и ты, парень! Выпей сразу побольше, потому тебѣ, паренекъ, надо часъ свой великій въ полной амуниціи встрѣтить.

— А я, дяденька, какъ вы сами изволите знать,—заикнулся было молодой парень,—насчетъ хмельного ни-ни, то-есть, чтобы, то-есть, одну каплю когда—ни подъ какимъ видомъ.

— Будетъ, будетъ, женихъ, раздобары раздобарывать!—грозно крикнулъ на него кумъ.—Сами женихами бывали, знаемъ поэтому, какъ это ни капли-то ни подъ какимъ видомъ... Пей, говорю. И ты, кумъ, выпей! Повторимъ мы съ тобой, голова, потому мы постарше и знать свое дѣло завсегда мы должны во всяческой полности.

И дѣйствительно, я давно уже зналъ свое горькое всегдашнее дѣло—плакать и пить, и потому я съ еще большимъ азартомъ повторилъ громадный стаканище.

— Такъ-то вотъ лучше!—проговорилъ кумъ, когда вся наша компанія хватила по стакану. — Теперь словно бы отлегло маленько,—полегче будто бы стало...

— Это точно, что будто полегче бездѣлицу! — вступился молодой парень. — Только, дяденька, вы теперь безпремѣнно меня поддержать должны, пытаму какъ это она въ любви съ *нимъ* находится, и какъ я долженъ съ ней отъ него подъ честной вѣнецъ итти, и мнѣ это теперича вотъ въ какой ясности приставляется—страсть! Сердце у меня отъ эвтого приставленья во какъ зажгло!..

— Пей, парень, ежели приставляется!—командовалъ солдатъ.—Когда маленечко ополоумѣешь, всегда лекше становится. Ну,—прибавилъ старичина, внезапно озлобляясь,—ежели бы *онъ* мнѣ попался когда, искрошилъ бы я его въ мелкіе дребезги! Хоронится завсегда, словно знаетъ, что я бы его зубами изгрызъ.

— Нѣтъ, вотъ бы мнѣ Господь когда-нибудь подалъ его въ ручки ночкой какой-нибудь темненькою, — я бы тово... Прямо скажу: можетъ, съ живого-то врядъ ли бы и слѣзъ,—продолжалъ мастеровой солдатскую рѣчь.

— А кто это *онъ*-то? — спросилъ я, чувствуя, какъ горячая кровь обливала сердце мое и душила меня, чувствуя, что и я, даже не въ темную ночь если бы встрѣтился съ *нимъ*, такъ съ живого тоже врядъ ли бы слѣзъ съ него.

— Онъ-то кто?—переспросилъ меня парень.—Афицеръ одинъ, богатый... А я допрежь ее зналъ, какъ на родную мать издали глядѣлъ-глядѣлъ на нее и глазами своими ее любовалъ... Можетъ, ужъ года съ три той моей великой любви прошло.

Въ это время за окнами послышался глухой стукъ московской пролетки, — той шикарной, налощенной пролетки, съ фордекомъ, на которыхъ такъ называемые московскіе извозчики-лихачи катаютъ барынь, по народному говору, *вольнаго обращенія*, и вслѣдъ за этимъ стукомъ въ подвалъ вошла Катя, шурша толстымъ платьемъ изъ чернаго глясе, сіяя дорогой цвѣтистою шляпой и золотыми браслетами на ослѣпительно-бѣлыхъ и маленькихъ ручкахъ.

— Банжуръ, дяденька! — сказала она старому солдату какъ-то особенно разухабисто и фамильярно.—Ахъ, Иванъ Петровичъ,—обратилась она ко мнѣ,—какими судьбами?

— Дитя мое, дитя мое! Что ты съ нами, съ горемычными, сдѣлала? — отвѣтилъ я съ громкимъ плачемъ пьянаго и, слѣдовательно, необыкновенно тонко чувствовавшаго сердца.

Потомъ я ужъ ничего не помню о той крутой кашѣ, которая варилась въ это время въ подвалѣ.

— Акулина! Акулина!—кричалъ, какъ мнѣ помнится, мой кумъ.— Бѣги скорѣе за причтомъ,—я ужъ всѣмъ имъ говорилъ, какая у насъ исторія... А вы держите крѣпче, а то вывернется, ускачетъ.

— Ты опять тутъ, ты опять пришелъ!—кричала Катя, очевидно было и для меня пьянаго, на молодого мастерового.— Я вѣдь сказала тебѣ, что не пойду за тебя.

— Рази лучше скверной дѣвкой-то быть?—кричалъ, въ свою очередь, мастеровой.—Опомнись, Катя, опомнись!.. Вѣдь они надъ нашимъ братомъ потѣшаются только, господа-то..

— Иванъ Петровичъ,—громко кричала мнѣ Катя,—заступитесь за меня: не давайте меня благословлять, сироту, поневолѣ... Будьте свидѣтелемъ: не хочу я за него итти...

Но я уже не могъ быть свидѣтелемъ для Кати въ томъ, что ее благословляютъ

поневолѣ за немилаго замужъ, по многимъ причинамъ, изъ которыхъ самыя главныя были слѣдующія:

— Ну, ты теперь ее женихъ,—угрюмо бубнилъ солдатъ: — слѣдовательно, все равно мужъ... Прибей ее, шельму, чтобъ она отъ закона не отказывалась

— Какъ же!—истерически всхлипывала Катя.—Погляжу я, какъ вы меня прибьете...

— А ты думаешь, не прибьемъ?—оралъ мастеровой.—Ты думаешь, сердце мое не болитъ? Вотъ тебѣ, будь ты проклята! Я, можетъ, жизнь свою загублю, въ церковь Божію съ тобой идучи, а ты въ такое-то время по злодѣѣ по моемъ сокрушаешься.

Послышался звукъ пощечинъ и отчаянный крикъ женщины.

— Молодецъ, Абрамъ!—говорилъ солдатъ.—Такъ ее и слѣдуетъ. Опосля слюбится...

Но, повторяю, я ничему не могъ быть свидѣтелемъ въ это время, потому что сидѣлъ, совершенно разбитый этою сценой,—сидѣлъ я, а Катя кричала мнѣ:

— Подлецъ, подлецъ! Что же ты не заступишься? Зачѣмъ же ты иное-то всегда мнѣ говорилъ?.. Зачѣмъ же въ книжкахъ твоихъ про заступу всегда слабому говорилось?

Сидѣлъ я, говорю, нѣмѣя отъ этихъ оскорбленій, а подвалъ мнѣ, кромѣ всего этого, свою рѣчь велъ:

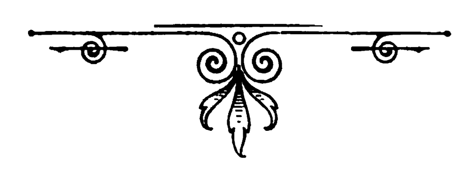
«Видишь, Иванъ Петровичъ! Всегда я тебѣ толковалъ: уйди ты отъ насъ, потому будетъ у насъ отъ твоихъ словъ большое горе... Господи,—взмолился старый подвалъ, какъ бы сподвижникъ какой святой,— когда *только* эти слова *будутъ итти мимо насъ?..»*

— Охъ, горе! Охъ, горе!—сокрушенно взывалъ мой старый кумъ.—Но, можетъ, къ хорошему, можетъ, остепенится — въ настоящій законъ и послушаніе Богомъ данному мужу войдетъ. Н-ну, ежели только *онъ* попадется мнѣ когда въ темномъ мѣстѣ!..

— Съ Бог-о-мъ, рр-ре-бята!—командовалъ съ печи старый сумасшедшій капитанъ.—Кл-ладсь! п-л-ли! Въ ш-ш-тыки на вр-рага. Ур-ра!..

Такъ смертельно раздразнили его Фаламеевы ребятишки.

Затѣмъ вся компанія безъ исключенія, вслѣдствіе ни съ чѣмъ не сообразной выпивки, потеряла сознаніе, и я уже ничего больше не помню...



**Николай Васильевичъ Успенскій.**

(1837 — 1889).

## Хорошее житье.

Въ сокращеніи.

Цѣловальникъ, съ подстриженной бородкой, одѣтый въ синюю суконную чуйку, распахнувшись и упершись лѣвой рукой въ свое колѣно, сидѣлъ за столомъ, противъ своего пріятеля, низенькаго мѣщанина, который пристально смотрѣлъ ему въ лицо и курилъ трубку. Дѣло происходило за двумя бутылками пива.

«Да, братецъ ты мой, такой жисти, кажись, не будетъ супротивъ той, какъ я служилъ цѣловальникомъ въ Покровскомъ... Нѣтъ!.. Разскажу, братецъ ты мой, я тебѣ оказію, какъ, стало-быть, нашъ мужикъ пить-то охочъ да здоровъ. Пьянствуетъ такъ, не роди мать на площади!.. ах-ти!.. Знамо, для меня эвто лучше требовать нельзя! Мнѣ какое дѣло! По мнѣ, хочь (въ разсужденіи чего избави Боже, защити Мать Пресвятая Богородица всякаго православнаго христіанина), хочь на мѣстѣ опейся... мнѣ все равно; что я, матка али дядька ихъ, что ли?

«Первымъ дѣломъ покровскій мужикъ замѣшанъ вотъ на чемъ: какъ, значитъ, утро забрезжилось, заря еще не занималась, ни росинки во рту нѣтъ, глазъ путемъ не прочистилъ, а ужъ чаухаетъ, какъ бы дерябнуть гдѣ, да какъ бы объегорить кого! Ежели надуть некого, тащитъ что-нибудь свое; а если есть, — прижидаетъ времечка. Одно слово, одинъ подъ другимъ подкапываетъ, одинъ другого поддѣваетъ. Такъ разскажу... исторій, сударь мой, не оберешься... Хочь, къ примѣру, возьмемъ такого сорта матерію: весенней порой нашей сходкѣ нужно было рѣшать, когда выѣзжать въ поле, — запахивать землю? съ котораго дня? съ легкаго али еще съ какого? У мужиковъ дѣлалось все сообща: косить ли, жать ли, колодезь ли чистить, обманывать ли кого, всегда собиралась сходка. И прежде, какъ станутъ толковать, сложатся перва на четверть, ведерку, какъ какое дѣло потребуетъ, и почнутъ судить. Тутъ тоже, касательно запахиванья. Выпили они четверти съ полторы, давай судить: какъ? что? когда? Ну, порѣшили такимъ манеромъ: запахивать, чтобы безпремѣнно въ четвергъ, не въ среду. «Смотри, молъ, ребята, въ четвергъ!» Такъ. Послѣ всѣ разошлись по домамъ. Вотъ проходитъ понедѣльникъ, вторникъ. Въ середу, батюшка мой, и выѣзжаетъ одинъ мужикъ въ поле (по чести сказать, бѣдный); помолился, занесъ соху и пошелъ пахать свою землю, самъ озирается, не видитъ ли кто его; знаетъ, что въ середу не по.

ложено. Пашетъ. Прошелъ рядъ, другой, глядитъ: идетъ мужикъ; за плечами несетъ мѣшокъ съ мукой.

«— Здорово, кумъ.

«— Здорово.

«— Богъ помочь.

«— Спасибо.

«— Что, рыхла земля-то?

«— Рыхла... ничего ... Земля добро ... Знатная.

«Прохожій мужикъ поглядѣлъ на небо:

«— А что, небось, теперя давно журавли прилетѣли? Ишь паритъ какъ!

«— Таперь прилетѣли. Мишутка сказывалъ, недѣли двѣ какъ прилетѣли.

«— Гмъ... Ну, прощавай.

«— Прощавай.

«И пошелъ мужикъ, идетъ дорогой да говоритъ:

«— Постой ты у меня, я те журавлями такими попоштвую, другу недругу закажешь по середамъ запахивать.

«Приходитъ на село — прямо къ старостѣ. Староста взялъ тросточку и ну ходить по дворамъ, постукивать подъ окнами:

«— Эй! православные! ко цареву кабачку!..

«Живо всѣ собрались.

«— Что!

«— Да что? Ѳедька запахиваетъ землю.

«— Какъ?

«— Да такъ.

«— Ребята! бѣги туда, къ нему.

«Человѣкъ шесть бросились въ поле, подхватили у Ѳедьки соху—и къ кабаку. Я сижу подъ окошкомъ, щелкаю подсолнышки, самъ ухмыляюсь: молъ, дружки!.. къ чему прицѣпились.

«— Ну-ко,—говорятъ,—Ѳадеичъ, отпусти двѣ четвертки. Богъ послалъ поживу: соху въ полѣ нашли; вишь, до четверга забралась туда.

«Я говорю: подите, возьмите (вижу, соха добрая). Двѣ четверти не велика важность. Да смѣюсь имъ: «когда вы, бояре честные, перестанете кабакъ-отъ набивать всякою упряжью?»

«— А все тогда же, говорятъ, когда насъ на свѣтѣ не будетъ.

«Хорошо. Ѳедька же, братецъ ты мой, стоитъ, смотритъ на соху, такъ и дрожитъ: умолять не можетъ сходку, а дрожитъ. Ну, ладно! Взяли мужики вино, выносятъ изъ кабака, а въ сѣнцы ко мнѣ волокутъ соху. Ѳедька глянулъ на ее, да какъ бросится всѣмъ въ ноги, кричитъ:

«— Братцы! сошникъ хочь отдайте!..

«Мужики ему баютъ:

«— Одначе ты, Ѳедоръ Зобовъ, ловокъ; словно набитыхъ дураковъ нашелъ; кабысь мы не знаемъ, что въ сошникѣ все и дѣло-то!.. Ловокъ, нечего сказать!

«Потомъ обращаются къ нему:

«— А вотъ, Ѳедоръ Зобовъ, не хочешь ли съ нами выпить? Ладнѣй будетъ.

«Мужикъ совсѣмъ отказался; стоитъ, не знаетъ, что дѣлать, растерялся. Опослѣ, выпивши, ему толкуютъ: «Э! Зобовъ... Соха куда не шла! вещія нажитая... живы будемъ, сыты будемъ!» И то дѣло! А староста успѣлъ назюзиться пережъ всѣхъ: тычетъ палочкой въ землю, себѣ бормочетъ: «живы будемъ, сыты будемъ...» (Зобовъ Ѳедька все молчитъ). Комиссія, Иванъ Иванычъ, съ эвтимъ народцемъ! Главная сила, любопытно смотрѣть на нихъ: какъ расчагокаются, какъ расчагокаются, берись за бока да покачивайся. Такъ-то иное время долгонько не видишь никого: можетъ, не повѣришь, ей же ей! скука беретъ... право! а показалась эвта сходка, чуешь, гвардія-то идетъ, размахиваетъ руками... Ге, думаешь, вотъ они, голубчики!.. и ничего...

«Одно слово, день денской шляются, то и норовятъ, какъ бы попьянствовать, взогрѣть кого. Смотрю на нихъ:. ну, корову за рога али имущество какое; чего дремать? Однова, что ты думаешь? вотъ чудо! Сидятъ они супротивъ кабака на срубленномъ дубу и говорятъ о чемъ-то; смекаютъ, должно, дерябнуть... Сидятъ, думаютъ. Думали, думали, да взяли пропили дубъ, на которомъ сидѣли, — Богъ свидѣтель! вотъ дивись, колѣно какое сотворили... Что значитъ замысловатый народъ-отъ. Мнѣ же и невдомекъ объ дубѣ; годъ цѣлый валялся, общій—ихній; его и колыхнули! Отпущаю вино, говорю:

«— Ишь, дерево-то!.. Я объ немъ словно и забылъ; безъ призору совсѣмъ валялось.

«— Мы, баютъ мужики, думали, что ты не примешь.

«— Какой? подавай знай!.. толковать тамъ!

«Опослѣ облапили меня, кричатъ: «заступитель! отецъ!» ха-ха-ха... Стало-быть, уваженіе имъ дѣлаю. А за дубъ-отъ

я въ тотъ же день далъ пятачокъ свезть въ городъ, и получилъ билетиками три цѣлковыхъ. У меня будь знакомъ, ходи дальше!

«Да, Иванъ Иванычъ, житье было хорошее, хорошее... знатное житье... Кажинный разъ продовольствіе чувствовалъ: пей, ѣшь, сколько влѣзетъ; и карманъ никогда засухи не видывалъ.

«А вотъ, доложу тебѣ, ежели у кабака не приходится имѣть дѣла, положимъ, дождь ежели идетъ, али сиверка, ненастье, такъ мужики собирались въ ригу, неподалече стоитъ она, пустая: громадища такая: на каменномъ фундаментѣ построена.

«Разъ лѣтомъ, во время дождика, мужики заключились въ эвтой самой ригѣ, сидѣли, запивали наемные луга; десятинъ пятнадцать купили, и попойка была богатая: три ведра взяли. Народу собралось много; былъ тамъ съ ними, тоже вкладчикъ, отставной дьячокъ; онъ находился для потѣхи больше: веселилъ компанію. Еще нѣкій мужикъ Еремка. Онъ слылъ запѣвалой; мухортный такой мужичонка: на видъ двѣ денежки, грошъ сдачи. Но пѣлъ ловко: какъ зальется: «сидитъ воронъ на березѣ», унеси ты мое горе! аки пѣвчій какой, и руку приложитъ къ виску. Дьячокъ же пѣть вовсе не умѣлъ; зато, говорятъ, и отставили его, что уши въ церкви дралъ до самой до болятки... А игрецъ былъ лихой: захочетъ откачать въ присядку, откачаетъ! Ну, такимъ манеромъ гуляли мужики въ своей ригѣ; я тебѣ хочу разсказать про одно воровство. Воровъ мужики больно презирали: попался воръ, аминь! лучше улепетывай куда подальше: всего оберутъ, послѣдніе сапожонки снимутъ. Когда всѣ въ ригѣ шумѣли, кричали, смѣялись на Руднева, дьячка, иные боролись, иные плясали, хозяинъ той риги вдругъ какъ заоретъ во все горло:

«— Ребята! стой! несчастіе приключилось.

«Всѣ въ одну минуту притихли.

«— Что?

«— Пропажа сдѣлалась.

«— Гдѣ? кто? гдѣ?

«— Здѣсь. Отъ воротъ замокъ пропалъ.

«— Обыскивать!

«— Обыскивать! Обыскивать!

«— Въ кружокъ!

«— Становитесь въ кружокъ!

«Пошла работа: давай обыскивать всѣхъ дочиста. Сейчасъ ворота приперли, стали въ кружокъ: «раздѣвайся!» Старосту перваго... посмотрѣли—нѣтъ! другаго — тоже нѣтъ. Третьяго, четвертаго... Съ кажиннаго снимали чекмени, сапоги, у дьячка за галстукомъ освѣдомились. Вотъ Еремка-запѣвало видитъ, что до него очередь доходитъ — шмыгъ замокъ въ сторону... отбросилъ. Самъ ни въ чемъ будто не бывало, стоитъ, кричитъ: «обыскивай кругомъ!» Анъ дѣло-то и смѣтили.

«— Ты что бросилъ?

«— Ничего.

«— Врешь! ты бросилъ вотъ замокъ.

«— Я не бросалъ.

«— Васька, ты видѣлъ? бери, держи, вяжи!..

«И ужъ какъ всѣ обрадовались вору-то, какъ батюшкѣ родному.

«— Веди къ кабаку!

«Грязь на улицѣ,—ничего! прутъ гурьбой. Доскреблись до кабака. Крѣпко держатъ вора.

«— Ну, малка, какъ?

«— Да много разговаривать нечего: бѣгите къ нему домой, везите телѣгу.

«Воръ бросился бухать въ ноги то тому, то другому. Нѣтъ, поздно. Староста далъ ему въ спину, чтобъ попусту не вякалъ. Привезли телѣгу: телѣга, Иванъ Иванычъ, новая и такая, знаешь, все съ рѣзьбой. На Миколу я продалъ ее веневскому ямщику за четырнадцать рублевъ. Важная посудина!

«— Ну, сколько же вамъ?—говорю.

«— Три ведра!

«— Ведро, больше не дамъ; повѣренный бранится, спрашиваетъ: куда такъ много вина выходитъ, слышь?

«— Давай хоть ведро, кричатъ.

«Я отпустилъ; телѣгу живо отправилъ на постоялый дворъ къ куманьку. Вотъ они у меня въ сѣняхъ принялись пить; сажаютъ съ собою Еремку-вора. Онъ не отказывается; присусѣдился къ нимъ. Дьячокъ за прибаутки взялся; поднялось веселье, куда что!.. Нѣкоторые спрашиваютъ у Еремки:

«— Ну, что? таперь не будешь воровать?

«— Я, ребята, право слово, пошутилъ,— говоритъ.

«Мужики отвѣчаютъ:

«— Да и мы шутимъ съ собой. Коли жъ не шутимъ? Вѣдь тебя бы слѣдовало драть, домового; а мы вишь что дѣлаемъ? угощаемъ твою милость. За эвто, мотри, чтобы ты намъ спѣлъ пѣсню.

«— Нѣтъ, братцы, силъ не хватаетъ.

«— Врешь, споешь, чортовъ сынъ. У насъ благимъ матомъ затянешь.

«Точно; какъ нализался Еремка, все позабылъ: игралъ пѣсни напропалую. Когда мужики роспили вино, начали они придумывать, чинить совѣтъ, что бы еще пропить у вора. Народецъ эвтотъ чѣмъ больше пьетъ, то больше ожесточается, входитъ въ настоящую силу: норовитъ натесаться до самаго нельзя... Кричатъ:

«— Ребята! иди опять къ Еремкѣ, бери, что на дворѣ увидишь.

«А воръ Еремка захмелѣлъ: кабыть ополоумѣлъ совсѣмъ, оретъ:

«— Тамъ, говоритъ, у меня передки отъ водовозки стоятъ, цопай ихъ сюда; смотри, овцу не вздумай привесть али живота какого.

«— Ладно,—говорятъ мужики.

«Гляжу въ окно: одинъ везетъ передки, другой ведетъ овцу. Помираю со смѣху:

«— Сколько?—спрашиваю.

«— Ведро!

«— Полведра!

«— Давай!

«И пошли гулять; дождикъ тутъ пересталъ маленько; вышли на улицу; вино поставили на траву, и кто во что!.. Еремку заставили пѣсню играть: онъ подбоченился, разинулъ пасть, задралъ, закатился въ вышину (голосъ звонкій), подхватили—трогай! Только по всему селу раздается. Горланили, горланили—перестали. Обратились къ дьячку.

«— Ну-ко-ся, Рудневъ, сдѣйствуй трепака! кажи намъ, гдѣ раки зимуютъ.

«Дьячокъ подобралъ полы, невзирая на грязь, ударилъ трепака. «Въ обмочку, кричатъ, въ обмочку!» Согнулъ колѣни, зачалъ въ обмочку [1]) ногами вывертывать; самъ прибираетъ: «ходи изба, ходи печь, хозяину негдѣ лечь...» Веселье поднялось такое!.. На селѣ бабы, дѣвки выступили изъ домовъ, смотрятъ... истинно праздникъ! А тутъ же, промежъ сходки, кто цалуется, кто лѣзетъ къ рылу съ кулаками; извѣстно, пьяному чего не взбредетъ на умъ!

«Между эвтимъ вино опять вышло все; спохватились они, сбились въ кучу, шумятъ. «А что, малый, почто воръ-то не поштвуетъ насъ? Забылъ? мы не токмо пропьемъ догола весь домъ его, въ острогъ упрячемъ: воровъ не приказано держать въ деревнѣ!»

«Послали въ третій разъ къ Еремкѣ на домъ. Онъ же ничего не слышитъ, не чуетъ и знать не хочетъ: топчется въ грязи ногами, покручиваетъ платкомъ на воздухѣ.

«Черезъ четверть часа, смотрю, ведутъ жеребенка (стригунокъ чаленькій,—славная скотинка). И какая, Иванъ Иванычъ, исторія: здѣсь мужики берутъ у меня вино, а Еремка, еле живъ, увидалъ своего жеребенка, подошелъ къ нему, заломилъ шапку на бокъ и кричитъ: «Ты зачѣмъ сюда? А? Вонъ пошелъ отсюда! Вина захотѣлъ? Ты у меня не смѣй... Чтобы эвтого не было... Ни-ни... Хозяинъ будетъ пьянствовать, и лошади тоже?.. прочь пошелъ!» потомъ: «коняшъ, коняшъ!..» комедія!

«А какъ разведалъ, что его жеребенка пропиваютъ, облапилъ его за шею и говоритъ: «Вотъ оно что!.. прощавай же, коняшка! Родимая моя!.. Вѣрно, судьба твоя такая... плохая... пропьютъ тебя мужики, черти... Вишь, жеребятины, дьяволы, захотѣли».

«Какъ взяли мужики еще ведро, — ну гулять! Я тебѣ говорю, праздника веселѣй.

«Къ вечеру всѣ такъ натискались, нарѣзались, ногъ не волокутъ: растянулись у кабака на грязи и хрюкаютъ... Одинъ бормочетъ, насилу языкъ поворачиваетъ: «А! говоритъ, попался... Не воруй! По дѣломъ вору мука...» Еремка же, братецъ мой, то-то разбойникъ!.. легъ носомъ въ грязь и тоже кричитъ: «не воруй!» ха-ха-ха... Чудеса!..

«Вотъ такъ-то пьянствуютъ,—коси малина! Кажинный, почесть, день гульба, кажинный день: подрался кто—выпивка! Скотина на чужой огородъ зашла—выпивка! Чья собака взбѣсилась — опять выпивка! Къ примѣру, вечеромъ пьютъ, на ранѣ идутъ опохмеляться; такимъ обычаемъ зарядятъ недѣли на три! Отъ кабака совсѣмъ не отходятъ; при немъ и днюютъ.

«Такъ-то, сударь ты мой, Иванъ Иванычъ; такія-то дѣла! Да, хорошо, очень

---

[1]) Въ присядку.

хорошо было жить въ Покровскомъ. Вспомнить любо!»

Молчаніе.

— А что, Андрей Ѳадеичъ? Слушалъ я тебя, слушалъ, знаешь ли, что пришло мнѣ въ голову? Брошу я кошатничать [1])! наймусь-ко я себѣ въ цѣловальники! такой жизни я, признаться, нигдѣ не слыхивалъ...

— И отмѣненно сдѣлаешь. Одинъ тебѣ совѣтъ отъ меня: выбирай кабакъ не тотъ, что въ полѣ стоитъ, а въ селѣ, какъ въ бывшемъ моемъ Покровскомъ; да спуску ничему не давай!..

## Обозъ.

По большой дорогѣ ѣхалъ обозъ; темнѣло; до деревни оставалось не болѣе двухъ верстъ. Въ полѣ крутилась сильная метель; вѣтеръ рвалъ съ возовъ рогожи и веретья; лошади ныряли въ ухабахъ; подъ полозьями сердито ревѣлъ снѣгъ. На переднемъ возу закутанный лакей, чтобы согрѣться, пѣлъ пѣсни, то и дѣло перемѣняя ихъ. Отставшій отъ обоза мужикъ съ занесеннымъ лицомъ отпрягалъ лошадь, а въ сторонѣ отъ него другая лошадь сидѣла въ сугробѣ, не зная, что съ собою дѣлать; между тѣмъ возки перегоняли обозъ, ямщики покрикивали; вьюга какъ будто все усиливалась. Обозъ иногда останавливался и опять трогался; вдали раздавались понуканья или тянулась съ переливами пѣсня, относимая вѣтромъ, звенѣлъ колокольчикъ и уходилъ вмѣстѣ съ мчавшейся тройкой; раздавались крики: «далеко до деревни?» вѣтеръ попрежнему вылъ, и метель заносила дорогу. Много было въ эту погоду порвано завертокъ, побито лошадей и пролито слезъ...

Вечеромъ вьюга начала затихать; колокольчики слышались яснѣе. Обозъ въѣхалъ въ деревню.

Около 11 часовъ ночи въ избѣ одного постоялаго двора, при свѣтѣ ночника, сидѣли за столомъ хозяинъ (дворникъ) и мѣщанинъ въ красной рубахѣ; они сбирались спать и лѣниво пересыпали изъ пустого въ порожнее. Работница стирала со стола. На полатяхъ и на хорахъ лежалъ рядъ человѣческихъ головъ и раздавалось храпѣніе; нѣкоторые изъ недавно пріѣхавшихъ мужиковъ разувались; иные лежа толковали про дорогу, завертки, сломанныя оглобли и пр. На печи лакей жаловался, что онъ отморозилъ ноги.

— А что, я полагаю, Митрій Егорычъ, простуда вѣдь губитъ здоровье...—говорилъ хозяинъ-мѣщанинъ, зѣвая и стуча ножомъ по столу.

— Губитъ... Вы про простуду говорите?

— Да... А то разъ, я вамъ не сказывалъ, мы съ Антипомъ куръ ѣздили покупать: ну, пріѣхали мы къ барынѣ къ одной, и я ей сейчасъ началъ доказывать, что всѣ мы созданы изъ одной глины; а намъ у ней хотѣлось подцѣпить сотенку цыплятъ...

— Ну, что же она?

— Ничего: обошлась отмѣнно; а что, какъ вы полагаете, завтра будетъ метель?

— Господь знаетъ...

— А гудетъ шибко!

Наступило молчаніе.

— Что, вы продали своего сиваго мерина-то?

— Продалъ, на Никитской ярмаркѣ.

Снова наступило молчаніе. Мѣщанинъ продолжалъ стучать по столу и зѣвать.

— Ахъ, Господи помилуй!.. Такъ-то живешь, живешь, да и умрешь.

— Не даромъ смерть пишется съ косой,—прибавилъ хозяинъ.

Хозяинъ и мѣщанинъ начали вслушиваться, какъ на печи кто-то разсказывалъ:

— У него, я тебѣ говорилъ, была только жена, мать да три лошади. И ѣздилъ онъ, этотъ извозчикъ, по большимъ дорогамъ одинъ, ни съ кѣмъ въ общество не вступалъ и никого не боялся... Лошади у него были такія, цѣны нѣту! Сила у извозчика была непомѣрная: возъ ежели взвалился на косогорѣ, взялъ, ухватилъ и поднялъ! Грудь была около пяти четвертей въ ширину, и добрѣе человѣка поискать: нищенка сидитъ,—сейчасъ подастъ копеечку; а поѣхалъ—божественное на умѣ; всякой дворникъ, мужикъ за одинъ видъ его уважали. Деньги онъ имѣлъ; но главное имущество были лошади; сказываю, животамъ цѣны нѣту!

---

[1]) Кошатникъ — мелкій торговецъ, ѣздитъ по селамъ, торгуетъ солью, дегтемъ; въ обмѣнъ на товаръ принимаетъ шкуры животныхъ, между прочимъ, кошекъ, отсюда „кошатничать".

— А давно это было?—спросилъ разсказчика лакей.

— Да недавно, тебѣ говорятъ.

— Ну, до свиданья, — сказалъ мѣщанинъ хозяину, вылѣзая изъ-за стола:— пора спать...

— До свиданія,—сказалъ хозяинъ. Мѣщанинъ началъ располагаться подъ святыми, а хозяинъ пошелъ за перегородку.

— А вы, Митрій Егорычъ,—крикнулъ мѣщанинъ хозяину, кладя себѣ подъ голову полушубокъ,—не знаете, сколько вѣковъ прошло отъ Адама?

— Должно-быть, много,—отвѣтилъ хозяинъ:—безъ счетъ трудно догадаться, на счетахъ это выложить.

— Вѣковъ, я думаю, сто двадцать будетъ?

— Это будетъ!

— Разъ лѣтомъ,—продолжалъ разсказчикъ,—въ полдень извозчикъ этотъ выѣхалъ на крутую гору и отпрягъ лошадей—кормить. Задалъ имъ корму и сталъ варить кашу. Вскорѣ къ нему подъѣхали два мѣщанина и тоже отложили лошадей. Извозчикъ сидитъ и говоритъ мѣщанамъ: «вотъ, говоритъ, хорошо бы теперь выпить вина, да поблизости кабака нѣту». Одинъ мѣшанинъ отвѣчаетъ: «давай, я привезу водки!» Извозчикъ далъ ему денегъ, и водка явилась тотчасъ. Извозчикъ угостилъ мѣщанъ, съѣлъ на доброе здоровье котелъ каши и легъ подъ телѣгу спать; жарко было. Мѣщане трубочки покуриваютъ, лежатъ, а все дивуются на лошадокъ извозчика. Только на другой горѣ вдругъ, мѣщане увидали, показалась... ѣдетъ карета шестерикомъ; такъ катитъ подъ гору-то!

Немного годя, изъ-подъ горы къ мѣщанамъ бѣжитъ кучеръ съ кнутомъ, а самъ кричитъ: «эй, эй, братцы, пособите... давайте лошадей».

Мѣщане разбудили извозчика. Говорятъ: «пойдемъ-ка, любезный, посмотримъ, что тамъ такое; должно, съ каретой что случилось». А извозчикъ пожался такъ-то и говоритъ: «какъ было я соснулъ крѣпко!»

Приходятъ къ мосту, подъ гору. Стоитъ большая карета, и спереди и сзади нагруженная; а лошади стоятъ, повѣся головы, и не отдохнутъ, будто овцы. У экипажа стоитъ толстый господинъ; усы до пояса, глаза черные; вокругъ пояса у него струменты, а подлѣ него ходятъ два маленькіе баюрченочка.

— Ну, что же вы? давайте лошадей!— закричалъ господинъ къ народу.

Извозчикъ, про котораго я говорю-то, поглядѣлъ на карету, походилъ кругомъ нея да и отвѣчаетъ:

— Вотъ что, ваше высокоблагородіе: я могу вамъ пособить, только прикажите вашихъ лошадей всѣхъ отложить; я пойду приведу свою.

— Ладно...

Всѣ думаютъ, какъ это онъ хочетъ изнять одною лошадью.

Годя нѣсколько, извозчикъ ведетъ лошадь—бураго мерина, и видно, какъ съ горы-то у лошади грудь переваливается; лошадь спокойная, уши впередъ держитъ, глядитъ на народъ.

Подводитъ извозчикъ ее къ каретѣ, повернулъ, а хвостъ у ней словно кушакъ взвился. Принялись ее запрягать, всѣ въ молчанку играютъ; баринъ, какъ вкопанный, глядитъ на мерина, даже баюрчатки подбѣжали—любуются...

А мужицкія лошади стоятъ въ сторонѣ; иная ужъ легла.

Ну, запрягъ извозчикъ... Всѣ глядятъ, извѣстно...

Слушавшій лакей дремалъ, стараясь, однако, и въ полуснѣ услѣдить за ходомъ разсказа; мало-по-малу ему, подъ говоръ разсказчика, начала рисоваться лѣтняя большая дорога: стоитъ карета, вокругъ нея—народъ. Карета поѣхала: «прощайте!» слышатся голоса; лакей вскакиваетъ на запятки и несется... «Ну, вывезъ?» шумятъ голоса. Вдругъ лакей бѣжитъ по лугу, вдали мелькаютъ разноцвѣтныя платья горничныхъ, лакей спѣшитъ за ними и тужитъ, что не захватилъ съ собою балалайки. А вотъ солнце уже закатывается, и лакей возвращается. грустный, въ барскій домъ; но на дорогѣ слышитъ выстрѣлъ и останавливается; «а! это баринъ, должно-быть, въ утку пробилъ!»

Вскорѣ лакей слегка вздрогнулъ и проснулся; вокругъ все было тихо, въ избѣ темно; лежавшій съ нимъ разсказчикъ молчалъ; по всей избѣ взапуски разносилось храпѣнье.

— Иванъ! — закричалъ лакей, толкая разсказчика.

— Чего?

— Какъ чего? Что жъ ты замолчалъ?

— Да я ужъ все разсказалъ; вы заснули и пропустили.

— Ну, что же лошадь-то?

— Да я сказалъ: проѣзжій господинъ ее застрѣлилъ...

— Какъ? За что?

— Она вывезла тарантасъ-то; а баринъ присталъ къ извозчику: «продай лошадь!» Извозчикъ говоритъ: «десять тысячъ не возьму... Жизни лишусь...» Господинъ выхватилъ пистолетъ и повалилъ ее...

— Что же извозчикъ?

— Говорятъ, уже больше не ѣздитъ по дорогамъ.

Лакей и разсказчикъ замолчали; они немного послушали, какъ въ трубѣ гудетъ вѣтеръ, и заснули. Подъ окнами хлопали ставни, на улицѣ изрѣдка слышалось: «ночевать пожалуйте...»

Въ избѣ было, какъ во тьмѣ кромѣшной; все наповалъ храпѣло; у иного въ горлѣ такіе раскаты раздавались, что представлялось, что кто-нибудь во мракѣ ночи, подкравшись къ спящему, умертвилъ его.

Рано утромъ, лишь только пропѣли вторые пѣтухи, кто-то изъ мужиковъ соннымъ голосомъ крикнулъ:

— Эй, вставай, разсчитываться пора!

Въ избѣ зажгли ночникъ.

— Что, какъ погода-то, ребята?

— Не говори, братъ!.. такая-то бушуетъ!

— Ахъ ты, Господи! Что дѣлать?

— Какъ мнѣ быть съ своею лошадью-то? Врядъ доѣдетъ...

Извозчики разбудили хозяина и мало-по-малу начали собираться вокругъ стола, медленно вытаскивая изъ-за пазухи кошели, висѣвшіе на шеѣ; иные еще умывались, молились Богу и старались не смотрѣть на садившагося за столъ хозяина, потому что расчетъ для нихъ былъ невыносимъ. Одинъ мужикъ стоялъ у двери и глядѣлъ на икону, намѣреваясь занести руку на лобъ, но хлопанье счетовъ и хозяйскій голосъ смущали его.

Мѣщанинъ, разбуженный мужиками, съ проклятьями переселился на нары, говоря тамъ: чтобъ вамъ померзнуть въ дорогѣ, горлодеры!

— Ты сколько съ меня положилъ?—простуженнымъ голосомъ спросилъ хозяина извозчикъ.

— Тридцать копеекъ.

— Ты копейку долженъ уступить для меня... Я тебѣ послѣ сослужу за это... ей-Богу...

— А кто это у васъ, ребята, вчера разсказывалъ?—вдругъ, смѣясь, спросилъ хозяинъ.

— Про извозчика-то?—заговорило нѣсколько голосовъ.

— Да.

— Это вотъ Иванъ.

Мужики всѣ нѣсколько ободрились, глядя на усмѣхавшагося хозяина, и были очень довольны, что онъ хоть на минуту отвлекъ ихъ вниманіе отъ расчета. Хозяинъ сдѣлалъ это для того, чтобы мужики не слишкомъ забивали свою голову утомительными вычисленіями, а поскорѣй разсчитывались.

— Важно, братъ, разсказываешь,—сказалъ хозяинъ.—Съ тебя приходится, Егоръ, сорокъ двѣ... Нѣтъ, у насъ былъ одинъ разсказчикъ, курскій... изъ Курска проѣзжалъ, такъ уморитъ бывало со смѣху... двѣ за хлѣбъ да сорокъ... сорокъ двѣ ..

— Евдокимъ! Нѣтъ ли у тебя пятака?

— Ну, только,—продолжалъ хозяинъ,—съ чего-то давно пересталъ ѣздить... ужъ и голова былъ! еще давай гривенникъ... За тобой ничего не останется.

...Однако мужики поняли, что все-таки надо соображать и слѣдить и за расчетомъ, хотя дворникъ завелъ рѣчь о курскомъ разсказчикѣ. Вслѣдствіе этого мужики снова приняли мрачный видъ, напрягая все свое вниманіе на вычисленія:

— Егоръ! погляди: это двугривенный или нѣтъ?

— Ну-ко... Не разберу, парень...

— Подай-ка сюда!

— Смотри, малый!

— Это фальшивый!.. у меня ихъ много было...

— Хозяинъ, ты что за овесъ кладешь?

— Тридцать серебромъ. Василій!—сказалъ хозяинъ, — ты о чемъ хлопочешь? Вѣдь ты съ Кондрашкой изъ одного села?

— Да, какъ же... одной державы...только вотъ разумомъ-то мы не измыслимъ.

— Вы такъ считайте: положимъ, щи да квасъ—сколько составляютъ? восемь серебра. Эхъ, писаря! Зачѣмъ сѣкутъ-то васъ?

— Извѣстно, сѣкутъ зачѣмъ... Ну, начинай, Кондратій: щи да квасъ...

— А тамъ овесъ пойдетъ...

— Овесъ послѣ... ты ассигнацію-то вынь: по ней будемъ смотрѣть...

— Вы, ребята, ровнѣй кошели-то держите... счетъ ловчѣй пойдетъ...

— Не сбивай!.. Э!.. вотъ тебѣ и работа вся: съ одного конца счелъ, съ другого забылъ.

Черезъ часъ, послѣ нѣсколькихъ вразумленій мужикамъ, хозяинъ, придерживая одной рукой деньги, другой счеты, вышелъ вонъ изъ избы, оставивъ всѣхъ мужиковъ съ кошелями на шеяхъ за столомъ.

— По скольку же онъ клалъ за овесъ?

— А кто его знаетъ... Ты ему гляди въ зубы-то: онъ на тебя то напоретъ, что зазимуешь здѣсь...

— Вотъ такъ!.. Чего опасаться? Ты чихверя-то знаешь? Валяй, чихверями... Пиши...

Мужики окружили пишущаго.

— Это ты что поставилъ?

— Чихверю...

— Ну, это палка что? щи?

— Нѣтъ, квасъ.

— Какой тамъ? Я пишу, что съ хозяина приходится...

— Слушай его!.. Ты, Гаврила, про что давеча мнѣ говорилъ?

— Да не помнишь, сколько ты у меня взялъ въ Ендовѣ?

— Постой! я тебѣ давно говорилъ, Гаврила, ты восчувствовать долженъ. На прошлой станціи кто платилъ?

— Ну, ты погоди говорить. Сколько за свой товаръ приказчикъ далъ на всѣхъ?

— По гривнѣ.

— Ну, ладно: ты разложи эти гривны здѣсь на лавкѣ; пойдемъ сюда къ печи...

— Что тамъ дѣлать? А ты мнѣ скажи: ты пилъ вчера вино?

— Нѣтъ.

— Нv, третеводни?

— Нѣтъ.

— Ты Бога-то, я вижу, забылъ...

— Я, братъ, Бога помню чудесно...

— Нѣтъ, ребята, лучше валяй чихверями; мы его живо обработаемъ! Нарисуй-ка сперва овесъ...

— Да что вы съ нимъ толкуете! давайте лучше жеребей кинемъ...

— Для чего жеребей?

— Развѣдать: можетъ, кто изъ насъ плутуетъ...

— Такъ и узналъ!.. Тутъ одно спасенье въ чихверяхъ... Наука вострая!

— Андрей! Сочти мнѣ, пожалуйста.

— Давай. Ты что бралъ?

— Сѣно да ѣлъ вчера убоину...

— Ну? А кашу?

— Нѣтъ... не ѣлъ... что жъ...

— А у тебя всѣхъ денегъ-то сколько?..

— Съ меня приходилось сперва сорокъ три... а всѣхъ денегъ... что такое?.. Куда я дѣвалъ грошъ-то?

— Ну, ты гляди сюда; что я-то говорю: ты убоину-то ѣлъ?

— Да про что жъ я говорю: жралъ и убоину, пропади она!

— Ну, коли такъ, дешево положить нельзя.

— Что за оказія? куда жъ это грошъ дѣвался?

— Ребята, будетъ вамъ спорить! Бросай и чихверя и разговоры; пустимъ все на власть Божью!

— Да нынче такъ пустимъ, завтра пустимъ, этакъ до Москвы десять разъ умрешь съ голоду!.. По крайности,—башку понабьешь счетами, а то смерть! Я тебѣ головой отвѣчаю, что чихверь—первая вещь на свѣтѣ!

— Ну, ребята, бросай все!

— Бросай!.. провалиться ей пропадомъ.

— Какъ провалиться!.. Эко ты!

— Нѣтъ, надо считать... какъ можно!

— Извѣстно, считать... Ай мы богачи какіе?

— Ивлій! не знаешь ли: пять да восемь—сколько?

— Пять да восемь... восемь... А ты вотъ что, малый, сдѣлай: поди острыгай лучиночку и надѣлай клепышковъ, знаешь...

Мужики въ безпорядкѣ ходили по избѣ, обращаясь другъ къ другу и придерживая кошели; кто спорилъ, кто раскалывалъ лучину; иные забились въ уголъ, высыпали деньги въ подолъ и твердили про себя, перебирая по пальцамъ: «первой, другой»... Два мужика у печи сидѣли другъ противъ друга и говорили:

— Примѣрно, ты будешь двугривенный, а я четвертакъ... этакъ слободнѣй соображать...

Одинъ будилъ на печи лакея, не зная, что дѣлать съ своею головою; другой будилъ мѣщанина, который закрывался шубой и крѣпко ругался, покрывая голоса всѣхъ мужиковъ.

Наконецъ мужики бросили всѣ расчеты и счеты и, перекрестившись, съѣхали со двора. Недоспавшій лакей укутался на возу, ни слова не говоря ни съ кѣмъ.

На улицѣ было темно; метель была пуще, чѣмъ вечеромъ; вѣтеръ такъ и силился снять съ мужиковъ армяки.—Верстахъ въ пяти отъ станціи, на горѣ, одинъ мужикъ крикнулъ:

— Эй, Егоръ!.. А вѣдь я сейчасъ дознала, что хозяинъ-то меня обсчиталъ.

— И меня, парень, тоже; ты разсуди: четверикъ овса... да я еще въ прошлую зиму на немъ имѣлъ полмѣры... вотъ и выходитъ...

— А ты что ужиналъ?

— Да хлѣбъ, квасъ и щи.

— Нѣтъ, ты вотъ что возьми,—перебилъ первый мужикъ,—и начался продолжительный споръ.

Вьюга выла немилосердно; отъ сильнаго мороза мужики часто закрывали свои лица полами армяковъ.

Недѣли черезъ три тотъ же обозъ порожній ѣхалъ обратно; двороваго человѣка тутъ не было. Мужики всѣ измѣнились за дорогу: у одного былъ подбитъ глазъ, у другого висѣла огромная шишка на щекѣ. Въ обозѣ везлись сломанныя сани; за обозомъ бѣжало нѣсколько незапряженныхъ хромыхъ лошадей въ однихъ хомутахъ; одна лошадь лежала въ саняхъ, накрытая веретьемъ.

## Экзаменъ.

Въ ясный весенній день тройка измученныхъ лошадей, запряженныхъ въ тарантасъ, медленно тащилась по грязной улицѣ села Буреломъ, расположеннаго на крутой горѣ, изрѣзанной по всѣмъ направленіямъ рытвинами и водомоинами. Несмолкаемыя пѣсни жаворонковъ, журчаніе ручьевъ, отдаленный и временами какъ бы совсѣмъ исчезавшій шумъ рѣки, отчаянный крикъ людей, толпившихся съ граблями и вилами на недавно прорванной плотинѣ—все это свидѣтельствовало о наступленіи такъ называемой весенней «распутицы», съ понятіемъ о которой соединяется все то, что можетъ дать хотя какое-нибудь представленіе о невылазной грязи, о зажорахъ и оврагахъ съ застрявшими въ нихъ экипажами, о снесенныхъ полою водою мельницахъ, амбарахъ, поромахъ съ народомъ и т. п.

Появленіе тарантаса въ селѣ Буреломахъ заставило крестьянъ выступить изъ домовъ, и они много дивились, какимъ это чудомъ баринъ добрался до ихъ села, не утонувъ гдѣ-нибудь въ оврагѣ и даже не искалѣчивъ ни одной лошади, такъ какъ они были увѣрены, что въ такую пору нигдѣ нѣтъ проѣзда ни конному ни пѣшему, и что во время распутицы «не рѣка топитъ человѣка, а лужа».

— Эй! подите кто-нибудь сюда!—крикнулъ баринъ, дѣлая знакъ рукой.

Тарантасъ немедленно окруженъ былъ народомъ, при чемъ нѣкоторые изъ крестьянъ на всякій случай запаслись дрекольями, съ цѣлью облегчить дальнѣйшее путешествіе незнакомца.

— Какъ тутъ проѣхать къ училищу?—спросилъ баринъ.

— А вотъ видишь, ваше благородіе... сейчасъ возьми ты въ поле, потомъ, значитъ, мимо барскихъ одоньевъ...

— Что городишь? Они тамъ не проѣдутъ!—перебилъ молодой парень въ бѣлой рубахѣ:—аль не знаешь, въ Ерохиномъ переулкѣ надо будетъ отпрягать пристяжныхъ, а коренная не вывезетъ... Запрежде, ваше благородіе, была прямая дорога на мельницу...

— Экій, братецъ ты мой! теперь ея и званія нѣту... теперь тамъ страшная колдобина... вотъ что...

— Надыть взять пониже кабака, а тамъ, къ примѣру, мимо старостина пчельника, забрать къ церкви...

— Къ церкви дальше! Зачѣмъ имъ туда? Вчера Митюха ѣздилъ за виномъ лугомъ... на кузню...

— Погоди, я сяду съ вами на козлы!—продолжалъ парень.

— Поѣзжай на Косолапаго! на огородника! раздались голоса, когда тарантасъ началъ трогаться.

— Ванюха! трафь на церковь!..

Когда тарантасъ уже приближался къ училищу, въ домѣ буреломскаго дьякона происходила мирная бесѣда между худощавымъ сельскимъ учителемъ, сидѣвшимъ у растворенн аго окна, и хозяиномъ, который только что возвратился изъ церкви и, помѣщаясь на трехногомъ диванѣ, курилъ папиросу. На кругломъ столѣ кипѣлъ самоваръ.

— Вѣрите, отецъ дьяконъ,—говорилъ учитель,—иногда бываетъ такая скука—не знаешь, куда дѣваться, особливо зимою...

— Отъ одиночества, — замѣтилъ хозяинъ: — а кто въ этомъ виноватъ? Женились бы...

— А средства-то гдѣ?

— Позвольте,—внушительно ударяя ладонью по столу, возразилъ хозяинъ,—о какихъ средствахъ вы говорите? Не стыдно ли вамъ? Вѣдь вы получаете жалованье?

— Да развѣ это жалованье — восемь рублей въ мѣсяцъ?

— Прекрасно! однако вы ни въ чемъ нужды не терпите: одѣты, обуты... А когда женитесь, у васъ каждый кусочекъ будетъ цѣлъ... Вы знаете пословицу: не съ богатствомъ жить, а съ человѣкомъ... Я самъ такъ-то думалъ прежде, что мнѣ съ приращеніемъ семейства не хватитъ дьяконскихъ доходовъ, а вотъ живу не хуже людей. Дѣтей всѣхъ пристроила Царица Небесная, остались на рукахъ только три дѣвки...

Въ это время на улицѣ раздался звонъ колокольца. Учитель не замедлилъ выглянуть въ окно и, спустя минуту, проговорилъ:

— Кого это Богъ несетъ? Что за притча? Батюшки! — вдругъ вскрикнулъ онъ,—да вѣдь это членъ училищнаго совѣта... ѣдетъ на экзаменъ... Прощайте, отецъ дьяконъ!..

— Выкушайте стаканчикъ чайку...

— Ну васъ со всѣмъ. До чаю ли теперь! Я побѣгу черезъ дворъ задами...

Учитель опрометью выбѣжалъ изъ горницы, а хозяинъ, подсѣвши къ окну, принялся разсматривать проѣзжаго.

Тарантасъ остановился у дома священника. По случаю наступившаго праздника, Лазарева воскресенья, въ домѣ отца Пармена происходило мытье половъ, сопровождавшееся оглушительнымъ крикомъ бабъ, гроханьемъ стульевъ, укладокъ, сундуковъ, хлясканьемъ мочалокъ и т. д. Батюшка сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, окруженный банками съ цвѣтами и въ безпорядкѣ разставленною мебелью, держа въ рукахъ епархіальныя вѣдомости. Заслышавъ колокольчикъ, онъ торопливо вышелъ въ сѣни и, тотчасъ же возвратившись въ домъ, взволнованнымъ голосомъ заговорилъ:

— Эй, дѣти! кто тамъ? Скорѣй подайте мнѣ рясу... экзаминаторъ пріѣхалъ... Примите хоть банки-то изъ кабинета... Господи-батюшка! народу полонъ домъ, а некому рясу почистить... и вѣшалка не пришита...

— Куда въ этакую грязь чистить?— обметая въ углу паутину, замѣтила хозяйка: — авось, придешь изъ училища, такой же будешь...

— Куда придешь? вѣдь членъ-то къ намъ пріѣхалъ.

— И что это, прости Господи, въ какое время выдумали экзамены: человѣкъ ѣдетъ-тонетъ, того и гляди смерть получитъ...

— Напрасно васъ не пригласили въ педагогическій совѣтъ,— возразилъ батюшка, расчесывая волосы. — Приготовьте-ко что-нибудь закусить, да къ обѣду сварите карпію... А что, черезъ оврагъ доску-то положили?

— Кому класть-то? Бабы полы моютъ, а работники свинью палятъ.

— Нѣтъ. Я вижу, ни одного моего распоряженія не исполняется...

Появившагося въ передней гостя отецъ Парменъ провелъ, черезъ узкій простѣнокъ, въ свой кабинетъ, гдѣ уже водворенъ былъ нѣкоторый порядокъ.

— Извините, пожалуйста, — говорилъ онъ заискивающимъ тономъ:—у насъ такой хаосъ... Знаете ли, праздникъ на дворѣ... по дому кое-что справляемъ...

— Напротивъ, батюшка, вы меня извините: признаться, я и не думалъ безпокоить васъ... Сначала я пріѣхалъ въ училище, но тамъ никого не нашелъ...

— Какъ? А учитель-то гдѣ же? По крайней мѣрѣ, сторожъ долженъ находиться тамъ неотлучно...

— Рѣшительно никого нѣтъ.

— Этакіе безпорядки! Эй, Марья! сходи сейчасъ къ отцу дьякону и спроси, нѣтъ ли тамъ учителя: если онъ у него сидитъ, скажи, чтобы немедленно шелъ въ училище, молъ, господинъ ревизоръ пріѣхалъ на экзаменъ... Теперь я понимаю, въ чемъ дѣло,—обратившись къ гостю продолжалъ батюшка:—вѣроятно, учитель возмечталъ, что, по случаю распутья, вы не пріѣдете, а потому отпустилъ учениковъ по домамъ и отправился къ своей невѣстѣ, такъ какъ слухъ прошелъ, что онъ сватается за дьяконову дочь... Вообще въ послѣднее время онъ частенько сталъ уклоняться отъ исполненія служебныхъ обязанностей...

— Вы мнѣ позволите закурить?—вынимая сигару, спросилъ экзаминаторъ.

— Сдѣлайте милость! Дѣти! подайте спички!.. Осмѣлюсь предложить,—понизивъ голосъ и наклонившись почти къ самому

уху гостя, произнесъ батюшка,—не соблаговолите ли съ дорожки закусить, чѣмъ Богъ послалъ?

— Если будете такъ добры... Признаюсь, порастресся-таки порядкомъ: представьте себѣ, отъ Куркина всего шесть верстъ— ѣхалъ четыре часа... Вы не можете себѣ вообразить, что за убійственная дорога! съ версту я шелъ пѣшкомъ...

— Т-с-с-с...—качая головою, произнесъ батюшка:—какъ васъ Господь донесъ!

— Ну, а что, какъ вашъ учитель насчетъ нравственности? Благонадеженъ?

Батюшка задумчиво посмотрѣлъ на потолокъ, глубоко вздохнулъ и, ближе подсѣвши къ гостю, началъ:

— Какъ вамъ сказать? Вреднаго пока ничего не замѣтно... правда, любитъ немного пофрантить, но это я объясняю тѣмъ, что онъ сватается за дьяконову дочь... Относительно спиртныхъ напитковъ нельзя сказать, чтобы онъ къ нимъ былъ приверженъ... простого онъ не употребляетъ, а красное... Но тѣмъ не менѣе недавно былъ такой случай. На второй или третьей недѣлѣ поста я пришелъ въ школу; дѣло было вечеромъ. Учителя не было дома, онъ былъ по обыкновенію у дьякона... Въ качествѣ надзирателя школы, я сталъ разсматривать ученическія тетрадки... вдругъ мнѣ попадается письмо...

— Чье?

— Рука учителя.

— Какого же содержанія?

— А вотъ я вамъ сейчасъ прочту...

Хозяинъ досталъ изъ шкатулки письмо и, снова сѣвши на стулъ, прочиталъ:

«Любезный другъ Анатолій!

Пользуясь досугомъ (по случаю масленицы), хочу описать тебѣ мое житье-бытье въ Буреломахъ, хотя жизнь сельскаго учителя тебѣ до нѣкоторой степени извѣстна. Я счастливѣе другихъ въ томъ отношеніи, что моя школа отапливается на счетъ графа Б. Жалованья (какое слово!) получаю сто рублей. Все остальное, кажется, тебѣ извѣстно: и тѣсное помѣщеніе, и атмосфера, пресыщенная сѣроводородомъ, и отсутствіе человѣческаго общества. За все это учитель долженъ быть человѣкомъ самой высокой нравственности. Познакомился было я съ однимъ ветераномъ, родившимся въ 1770 году—интереснѣйшій типъ! Но, къ сожалѣнію, онъ живетъ въ шинкѣ; чтобы не погубить своей репутаціи, я долженъ былъ бросить это знакомство. Томимый убійственной скукой, я завелъ скрипку, но настоятель церкви запретилъ мнѣ играть на ней...

— Это дѣйствительно, — сказалъ батюшка, выразительно взглянувъ на гостя:— я запретилъ... Онъ разыгрывалъ свѣтскія пѣсни, а вы изволите знать, прилично ли сельскому наставнику подавать собою дурной примѣръ ученикамъ?..

— Я съ вами согласенъ,—проговорилъ экзаминаторъ.

Батюшка продолжалъ:

«До сего времени въ моей школѣ жила, вмѣсто сторожа, старуха (она когда-то няньчила нашу попадью). Эта старуха отравляла мнѣ каждое воскресенье, когда я вздумаю напиться чаю до обѣдни. Обо всемъ, что дѣлалось въ школѣ, она доносила батюшкѣ. А между тѣмъ она сама не отличалась особенною строгостію нравственныхъ правилъ, и ее не мѣшало бы, по выраженію Гоголя, возвести въ перлъ созданія: на свадьбѣ она сумѣетъ пропѣть подблюдную пѣсню и готова пролиться въ слезахъ на похоронахъ какого-нибудь богатаго мужика. Зато, ничего не дѣлая, живетъ припѣваючи: чего только у ней нѣтъ въ кладовой? И поросячья головка, и заячья шкурка, и чаекъ, и сахарокъ, и тютюнъ, и Лафермъ. Она все эксплуатируетъ, всѣмъ заправляетъ. Прежде она заправляла школой и моимъ предшественникомъ, потомъ почти поработила меня. Не дай Богъ имѣть такой тещи... Слава Богу, ее смѣнили. На ея мѣсто поступилъ отставной солдатъ, который пьетъ горькую... Относительно моихъ занятій съ учениками не знаю, что тебѣ сказать? Гдѣ эти благіе учителя, которые бы могли исполнять священный завѣтъ: «блюдите да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ»? Самый хорошій учитель, при настоящемъ положеніи школы, довѣренной нашему апатичному земству, можетъ ли сказать, что честно служитъ родинѣ и общественному благу? Да и могутъ ли быть полезны учителя, не имѣющіе матеріальнаго обезпеченія и нерѣдко спасающіеся зимой отъ холода въ печкѣ. Это—фактъ. Я знаю одно село, гдѣ учитель преподаетъ уроки изъ печки.

— Вѣроятно, онъ намекаетъ на село Ворбоськи,— замѣтилъ отецъ Парменъ:— тамъ, дѣйствительно, есть такая школа.

— А я полагалъ, онъ говоритъ о Рогачевкѣ или Селезневѣ: въ этихъ селахъ школы тоже не отапливаются...

«Въ прошломъ году,—продолжалъ читать батюшка, — я искалъ себѣ мѣсто сельскаго учителя. Въ селѣ Замарайскомъ я зашелъ въ школу и вотъ что тамъ встрѣтилъ: скамейки для учениковъ поломаны, окна забиты тряпками, полъ земляной; среди избы стояла покрытая классной доской лохань для коровы; на учительской каѳедрѣ лежалъ кочедыкъ съ лаптемъ. За перегородкой, въ чуланѣ, служившемъ кабинетомъ учителя, стояли мѣшки съ картофелемъ, съ потолка спускалась веревка, на которой висѣла свиная туша»...

Батюшка остановился и, складывая письмо, съ усмѣшкой проговорилъ:

— Да-съ, такъ вотъ каковъ нашъ учитель... Тоже пускается въ критику... Хе-хе-хе...

— Положимъ, есть такія школы, замѣтилъ гость: но зачѣмъ же надъ ними подтрунивать?..

— Именно! объ этомъ скорбѣть надо, а не смѣяться... тѣмъ паче сельскій наставникъ долженъ вести себя тише воды, ниже травы.

— А вотъ мы посмотримъ, какъ ученики будутъ отвѣчать на экзаменѣ,—сказалъ пріѣзжій.

---

Послѣ завтрака батюшка и экзаминаторъ отправились въ школу, помѣщавшуюся на берегу рѣки, въ зданіи волостного правленія, гдѣ уже собралось сельское начальство, которое приглашено было на экзаменъ, въ качествѣ ассистентовъ.

Когда ученики съ помощью батюшки и учителя пропѣли «Царю небесный», экзаминаторъ обратился къ нимъ съ привѣтствіемъ:

— Здравствуйте, ребята!

— Здорово, дяденька!—простодушно отвѣчали ученики.

Батюшка съ укоризной покачалъ на нихъ головой и что-то шепнулъ учителю.

Учитель въ отвѣтъ на это только пожалъ плечами и съежился какъ-то, предчувствуя, видимо, что-то недоброе.

Экзаминаторы помѣстились въ переднемъ углу, за небольшимъ столомъ; старшина и сельскій староста скромно сѣли въ сторонѣ, у окна. Учитель стоялъ съ боку экзаминаторовъ, напротивъ учениковъ.

— Прикажете начать съ закона Божія?— отнесся отецъ Парменъ къ члену училищнаго совѣта.

— Я полагаю, отвѣчалъ послѣдній.

Къ столу былъ вызванъ мальчикъ лѣтъ одиннадцати.

— Пименовъ!—началъ батюшка,—скажи намъ, какъ читается первая заповѣдь?

Мальчикъ почесалъ затылокъ и едва слышно зачиталъ: «Азъ есмь Господь Богъ твой» и пр.

— Что такое «азъ»?—спросилъ батюшка и, видя, что мальчикъ не отвѣчаетъ, сталъ наводить его: — вотъ, напримѣръ, говорится въ писаніи, и ты часто въ церкви слышишь: азъ уснухъ, спахъ, возстахъ... или: азъ есмь лоза истинная.

— Спросите что-нибудь изъ священной исторіи,—предложилъ членъ совѣта батюшкѣ и шопотомъ прибавилъ:—я боюсь опоздать домой... вы знаете, какова дорога-то, ночью голову сломишь...

— Сію минуту! Какъ звали дѣтей Исаака?

— Исавъ и Іаковъ.

— Чѣмъ они отличались одинъ отъ другого?

— Исавъ былъ въ шерстѣ...

— Экой, братецъ мой, ты глупый: развѣ можно такъ говорить? Въ шерсти кто бываетъ?..

Мальчикъ упорно молчалъ, переступая съ ноги на ногу.

— Что же ты безмолвствуешь?—спросилъ священникъ.

Мальчикъ почесалъ затылокъ и пугливо взглянулъ на учителя, вздохнувъ глубокимъ вздохомъ. Учитель, казалось, хотѣлъ проникнуть глазами непосредственно въ его голову, чтобы возбудить въ немъ отвѣтъ на заданный вопросъ. Ему было едва ли не болѣе жутко, чѣмъ мальчику, такъ какъ онъ по выраженію лица экзаминатора уже предугадывалъ, чѣмъ окончится для него самого этотъ экзаменъ.

— Ну-ко, опиши мнѣ лошадь! — спросилъ членъ совѣта.

— Лошадь имѣетъ красивую голову, гибкую шею и четыре ноги съ копытами, подкованными желѣзными подковами, длинный хвостъ, которымъ она отмахивается отъ оводовъ.

— Отъ слѣпней!—поправилъ священникъ.

— Что жъ, по-твоему, лошадь такъ съ желѣзными подковами и родится? — спросилъ экзаминаторъ.

— Не знаю,—прошепталъ ученикъ.

— Этого отвѣта одобрить невозможно,— укоризненно замѣтилъ священникъ.

— А что такое квасъ?

— Напитокъ.

— А хлѣбъ?

— Наѣдки!..

Экзаминаторы разсмѣялись.

— Это наши бабы такъ говорятъ: «наѣдки»! Кто скажетъ,—обратился отецъ Парменъ къ ученикамъ,—что такое хлѣбъ?

— Пи-щ-а!—хоромъ отвѣчали ученики.

— Хорошо!..

— Спросите изъ ариѳметики,—обратился членъ совѣта къ учителю, который немедленно приказалъ мальчику написать на доскѣ задачу на вычитаніе. Мальчикъ не могъ разрѣшить ее и, потупя голову, стоялъ передъ экзаминаторами, межъ тѣмъ какъ одинъ изъ сельскихъ начальниковъ успѣлъ уже погрузиться въ объятія Морфея, всхрапывая на всю избу. Даже самъ членъ совѣта начиналъ чувствовать утомленіе; онъ пересталъ спрашивать ученика, предоставивъ повѣрку его умственнаго развитія батюшкѣ, которому сильно хотѣлось добиться рѣшенія ариѳметической задачи. Но мальчикъ упорно молчалъ; онъ былъ до того сконфуженъ, что не замѣчалъ, какъ учитель показывалъ ему два пальца, въ которыхъ заключался отвѣтъ.

— Плохо, Пименовъ, плохо!—говорилъ батюшка:—вотъ если бы ты учился хорошо, мы тебѣ дали бы свидѣтельство, и ты прослужилъ бы въ солдатахъ только четыре года, а теперь долженъ прослужить цѣлыхъ шесть...

Мальчикъ чуть не плакалъ съ горя, что онъ такъ долго будетъ отбывать воинскую повинность.

По окончаніи экзамена членъ училищнаго совѣта, пошептавшись о чемъ-то съ священникомъ, объявилъ учителю, что онъ недоволенъ результатами его занятій съ учениками и проситъ оставить буреломское училище. Въ отвѣтъ на это учитель ни слова не сказалъ и только вздохнулъ, уныло понуривъ голову.

---

Вечеромъ учитель отправился въ домъ отца дьякона проститься, такъ какъ онъ намѣренъ былъ оставить Буреломы на слѣдующій же день и уже успѣлъ приготовить дорожную сумку и палку.

— Что это значитъ?—взволнованнымъ голосомъ спрашивалъ дьяконъ:—нѣтъ ли тутъ какихъ интригъ? Вѣдь это ни на что не похоже!

— Теперь уже все кончено! Прощайте, Анемаиса Петровна,—говорилъ учитель румяной дѣвицѣ въ ситцевомъ платьѣ:—не поминайте лихомъ...

— Богъ съ вами, Анатолій Сергѣевичъ!—едва слышно произнесла дѣвушка, прикладывая къ глазамъ платокъ.

— Клянусь вамъ, что я ничѣмъ не виноватъ... Сами знаете, я человѣкъ подначальный... противъ рожна трудно прать... До свиданія, отецъ дьяконъ... Пожалуйста, не вините меня...

— Что вы, что вы! Мы любили васъ, какъ родного... Куда же вы теперь направляетесь?

— Въ село Старые Пескари... къ дядѣ... тамъ проведу Святую недѣлю...

— А потомъ?

— На Ѳоминой я отправлюсь искать себѣ мѣста на желѣзной дорогѣ...

На другой день, рано утромъ, учитель съ сумкой за плечами вышелъ изъ Буреломъ.

**Николай Николаевичъ Златовратскій.**
(Род. въ 1845 г.)

## Авраамъ.

Лѣто я провелъ въ одной деревенькѣ, верстахъ въ двадцати отъ губернскаго города, значитъ, «на дачѣ», какъ говорятъ въ провинціи, хотя вся дача моя заключалась въ свѣтелкѣ, нанятой за три рубля во все лѣто у крестьянина Абрама.

Абрамъ былъ мужикъ лѣтъ шестидесяти слишкомъ, высокаго роста, довольно плотный, съ широкою, сивою бородой и большими глазами, смотрѣвшими изъ-подъ навѣса сѣдыхъ бровей. Вообще, несмотря на лѣта, онъ очень сохранился; въ немъ не замѣчалось старческой дряхлости, но самъ онъ, замѣтно, желалъ казаться дряхлѣе, изрѣдка покряхтывая, пощупывая свою поясницу и горбясь болѣе, чѣмъ, можетъ-быть, слѣдовало. Къ такому невинному «остариванію себя», если можно такъ выразиться, онъ сталъ прибѣгать съ тѣхъ поръ, какъ выростилъ и пристроилъ сыновей и почувствовалъ, что страда крестьянской жизни, которую тянулъ онъ въ продолженіе полувѣка, какъ будто отлегла отъ него. Онъ вступалъ уже въ число «стариковъ», въ этотъ ареопагъ крестьянскаго міра. Не кряхтѣть и не горбиться было нельзя, это требовалось для поддержанія неотъемлемо принадлежащихъ этому званію правъ: права сидѣнья подъ вечеръ на завалинѣ у общинной житницы, среди сѣдовласыхъ сверстниковъ въ нахлобученныхъ по уши шляпахъ - гречневикахъ, права неторопливыхъ и солидныхъ разсужденій на темы, что «безъ Бога ни до порога», что «обычай блюди», что «старики на душу грѣха брать не станутъ» и т. п.,

наконецъ, права выпиванія съ подобающею важностью штрафной косушки, съ приличными насчетъ штрафованнаго изреченіями. Этого, впрочемъ, показалось Абраму недостаточно; ему хотѣлось закрѣпить за собой не только право на званіе «старика» просто, но еще и «благомысленнаго старика», носителя и хранителя старозавѣтныхъ «дѣдовскихъ» преданій, исконной морали и обычнаго культа. Вотъ почему, отдѣливъ младшаго сына, выдавъ замужъ дочерей и приведя, такимъ образомъ, согласно вѣковымъ традиціямъ, къ вожделѣнному концу все, что требуется по идеалу обстоятельнаго крестьянства, Абрамъ сказалъ дѣтямъ: «Ну, родные, потрудился я для васъ довольно; теперь надо мнѣ и для своей души потщиться, сколь моей силы хватитъ. Пора и объ душѣ дать старику подумать». Рѣшивъ такимъ образомъ, Абрамъ пошелъ къ священнику и принялъ отъ него благословеніе въ путь за сборомъ съ доброхотныхъ дателей на украшеніе мѣстной убогой церкви. Сбиралъ онъ, ходя по святой Руси, три года, и только мѣсяца за два до того, какъ я познакомился съ нимъ, вернулся въ свою родную деревню. Теперь онъ уже былъ вполнѣ «благомысленнымъ старикомъ»; почитаемый причтомъ, съ батюшкой во главѣ, выбранный міромъ въ помощники церковнаго старосты и въ десятскіе своей деревни, онъ могъ мирно доживать свой вѣкъ, являя собою передъ молодымъ поколѣніемъ деревни тотъ идеалъ мирнаго и трудового крестьянскаго житія, который осуществилъ онъ въ своей жизни.

Жить мнѣ у Абрама было хорошо, покойно. Въ семьѣ его старшаго сына, Антона, съ которымъ онъ жилъ, по уговору, вмѣстѣ, по отдѣленіи младшаго, была «истинно-райская тишина», какъ выражался онъ. Дѣйствительно, его сынъ Антонъ и невѣстка Степанида были очень мирные люди, молчаливые, добродушные.

Преимуществомъ вставать раньше всѣхъ, со вторыми пѣтухами, какъ извѣстно, пользуются въ деревняхъ старики, чѣмъ они обыкновенно и любятъ кольнуть глаза своимъ молодымъ невѣсткамъ. Но этимъ преимуществомъ рѣдко удавалось похвастаться Абраму. Антона не приходилось ему будить. Когда еще старикъ начиналъ только кряхтѣть на печи и расправлять свои старыя кости, Антонъ, большею частью, уже успѣвалъ умыться, разбудить жену. А когда показывался первый блѣдноватый свѣтъ, онъ уже выѣзжалъ изъ деревни, первый размахивая верею въ околицѣ, молился на виднѣвшуюся вдали колокольню погоста, надѣвалъ шляпу, тихо и ласково вскрикивалъ на лошадь и, торопливо шагая, пропадалъ вмѣстѣ съ нею въ густой мглѣ стоявшаго надъ потнымъ, болотистымъ лугомъ утренняго тумана. Когда же Абрамъ, наконецъ, соскакивалъ съ печи и, почесываясь, подходилъ къ окну, чтобы справиться о погодѣ, у Степаниды уже ярко горѣло и трещало на очагѣ пламя и кипѣлъ въ чугунѣ картофель. Пока дѣдъ молился, кладя истово, «по старинѣ», низкіе поклоны, на улицѣ раздавался пастушескій рожокъ, хлопанье и скрипъ воротъ, ревъ сбиравшейся скотины и вскрикиванье бабъ, а Степанида, съ нѣжными приговорами, выгоняла, осѣняя крестнымъ знаменіемъ, своихъ коровъ и телокъ, медленно выходившихъ изъ теплаго парного сарая на свѣжій утренній воздухъ. Послѣ молитвы дѣду Абраму не оставалось ничего больше, какъ только сердито окрикнуть чернаго кота, забравшагося на столъ. Какъ и всѣ старики, ворчливые съ утра, Абрамъ читалъ коту длинную нотацію, не упустивъ случая ругнут.. при этомъ Степаниду и продолжая нравоученіе на дворѣ, обращаясь уже къ хромоногому, старому Волчку, только что вылѣзшему изъ своей теплой конуры и сладко потягивавшемуся навстрѣчу старику.

Часамъ къ семи утра старикъ тихонько пріотворялъ дверь въ мою половину и если замѣчалъ, что я начиналъ ворочаться, то говорилъ: «не наставить ли?» и, предварительно разбудивъ своего пріемнаго внука, принимался разводить съ нимъ самоваръ. Въ продолженіе получаса я могъ слышать, какъ дѣдъ обучалъ внука «порядку». Утренній чай мы всегда пили вмѣстѣ; впрочемъ, по какому-то обѣту, Абрамъ пилъ не чай, а только кипятокъ. Я всегда приглашалъ и Васю. Старикъ недовольно покачивалъ головой, говорилъ, что это «баловство», но въ концѣ-концовъ соглашался и ограничивался тѣмъ, что обучалъ внука «учливости».

— Сядь съ глазъ подальше!.. Не егози передъ глазами у старшаго!—приговаривалъ онъ, отхлебывая кипятокъ.—Не бол-

тай ногами—бѣса тѣшишь!.. Чего сахаръ слюнявишь? Кусай учливѣй! и т. п.

Вася только бойкими взмахами своей кудрявой головы откидывалъ волосы со лба, и видно было, что онъ не особенно боялся своего названнаго дѣда. Онъ и самъ былъ не прочь сдѣлать ему выговоръ. Нерѣдко, во время увлеченія дѣда какимъ-нибудь разсказомъ, Вася вдругъ конфузилъ его замѣчаніемъ: «Утри, дѣдушка, бороду-то! Вишь, распустилъ потоки, а еще передъ бариномъ сидишь!», и дѣдъ, молча и послушно, спѣшилъ принять къ свѣдѣнію замѣчаніе шестилѣтняго внука. Такъ они и вообще мирно жили, уча и наставляя другъ друга, пока дѣло не доходило до такого явнаго непослушанія, съ одной стороны, какъ, напримѣръ, высовыванія языка въ отвѣтъ на самыя солидныя моральныя истины, и до окончательнаго рѣшенія наломать гибкихъ прутьевъ — съ другой. Впрочемъ, тѣмъ дѣло и кончалось. Шестилѣтній внукъ, конечно, умѣлъ бѣгать лучше, чѣмъ шестидесятилѣтній дѣдъ.

На другой же день моего пребыванія въ деревнѣ мы съ дѣдомъ Абрамомъ вели за чаемъ такую бесѣду:

— Ну, что, дѣдушка Авраамъ?

— Ну-у, Авраамъ! Какой я Авраамъ,— улыбаясь, перебивалъ онъ меня.—Я не отъ Авраама иду... То Авраамъ, а то Абрамій мученикъ... Такъ вотъ я откуда—отъ мученика!

Тѣмъ не менѣе, было замѣтно, что ему очень нравилось, когда я его звалъ дѣдушкой Авраамомъ.

— Что жъ, доволенъ ты своимъ положеніемъ?

— Доволенъ, — твердо произнесъ старикъ, выпрямляясь и сановито поглаживая бороду,—не хочу грѣшить, прямо говорю—доволенъ. Слава тебѣ, Господи! Потому я, Миколай Миколаичъ, что требуется отъ жизни, все исполнилъ, привелъ въ законченіе. Слабому опору оказалъ, тѣмъ, значитъ, и предѣлъ положилъ.

— То-есть какъ это слабому?

— Такъ и есть. Въ чемъ всей нашей жизни положеніе состоитъ?

Дѣдушка Абрамъ любилъ иногда порезонерствовать, вѣроятно, оттого, что придерживался негласно «старинки» и часто бесѣдовалъ съ раскольничьими начетчиками.

— Въ чемъ же?—спросилъ я.

— А въ томъ и есть, чтобы слабому опору оказывать. Пораскинь-ка умомъ-то, анъ оно такъ и выйдетъ. Съ изначала, когда я, по младенчеству своему, слабъ былъ, родители мнѣ опору оказывали. Возросъ я, родителямъ своимъ, по дряхлости ихней, подпору обязанъ оказать... Такъ ли? У самого малыши пошли, ихъ обязанъ въ возрастъ произвести, ихней слабости поддержку дать. Поставилъ ихъ на ноги— ну, и предѣлъ, значитъ, свой положилъ.

— Ну, а внучки? — кивнулъ я на Васю.

— Внучки—ужъ это сверхъ всего, это ужъ не въ примѣръ прочему. Это ужъ смотря, какъ, значитъ, приверженъ,—говорилъ онъ, поглаживая по головѣ внука, подошедшаго за стаканомъ къ столу,—это ужъ смотря по послушности да смиренству передъ дѣдомъ,—прибавилъ онъ улыбаясь.

— Правду ли я говорю, какъ по твоему?—спросилъ онъ меня и, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ:—И во всемъ такъ подобаетъ: въ начальствѣ состоишь— слабаго охрани, избыткомъ отъ Бога награжденъ—слабому поддержку окажи... Вотъ оно, значитъ, какое намъ въ жизни произволенье! Въ томъ и до конца живота твоего держись.

— И дѣтьми своими ты доволенъ?

— Дѣтьми доволенъ. Дѣти у меня, надо правду тебѣ сказать, на рѣдкость дѣти! Потому я ихъ держалъ въ послушности, въ страхѣ Божіемъ. Вотъ, примѣромъ, Антонъ—изойди всю волость, такого къ работѣ приверженнаго не найдешь. А смиренства, тихости, такъ по нынѣшнимъ временамъ и нигдѣ не встрѣтишь! Чтобы онъ кому сгрубилъ, кого обидѣлъ или обманулъ—этого никогда запомнить даже нельзя! Истинно землепашецъ! Землѣ радѣетъ. И жену ему Богъ далъ, не хочу грѣшить, бабу правильную... Тоже тихостью да смиренствомъ передъ всѣми взяла; кабы родныхъ дѣтокъ имъ, такъ и совсѣмъ бы благословенное семейство было, да вотъ не даетъ Богъ! Какъ-то ужъ у нихъ и въ работѣ-то эдакого удовольствія какъ будто не видно. Взяли вотъ мальчика, хоть и близкая родня, а все же не свой... Думается имъ: воспитаешь его, на него всю ласку положишь, а онъ, въ возрастъ придя, тебѣ же укоры дѣлать станетъ.

Отъ своего, это точно, снесешь, а отъ чужого-то какъ будто и обидно.

— А второй твой сынъ каковъ?

— Платонъ-то Абрамычъ?

— Да.

— Про Платона Абрамыча—словъ нѣтъ, вотъ онъ каковъ, Платонъ-то Абрамычъ!—говорилъ внушительно и съ разстановкой старикъ всегда, когда рѣчь заходила о младшемъ сынѣ.—Платонъ Абрамычъ—голова! Пройди по всей округѣ, спроси: знаешь Платона Абрамыча?—и нѣтъ того человѣка, чтобъ его не зналъ!

— Умомъ, значитъ, взялъ?

— Разсудкомъ! Головой взялъ! Онъ съ младости ужъ былъ отмѣченъ. Да какъ я тебѣ скажу: стояли у насъ уланы, а Платонъ-то Абрамычъ въ тѣ поры еще маленькій былъ, такъ—съ бабій наперстокъ. Вотъ эти самые уланы накупятъ пряниковъ, орѣховъ и давай кричать ребятишкамъ: «Кто въ ноги поклонится? выходи!» Ну, ребятишки глупы, сосутъ кулаки-то да смотрятъ, а мой Платошка сейчасъ—хлопъ въ землю, не въ примѣръ прочимъ, такъ всѣ только диву даются, откуда такая, значитъ, у него ко всему примѣнительность!.. Ну, и накидаютъ ему уланы полонъ подолъ гостинцевъ... Отцы-то да матери только и кричатъ: «Экое счастье этому Платошкѣ Абрамову! Даетъ же Господь такой разумъ еще въ младости! И въ кого бы онъ такой выдался?» И я вотъ тоже не придумаю...

— Побойчѣе, выходитъ, Антона?

— Гдѣ жъ Антону противъ него! Антонъ смиренenъ, душевный крестьянинъ—слова нѣтъ, только противъ Платона Абрамыча даже и помыслить ему нельзя! Платону Абрамычу отъ всѣхъ почетъ, уваженіе...

— Онъ гдѣ же теперь живетъ и чѣмъ занимается?

— Занимается онъ, братецъ ты мой, по коммерческой части. Еще вьюношей онъ къ землепашеству охоты не возъимѣлъ... Это ужъ какъ кому: у всякаго свой таланъ. Вотъ Антонъ—совсѣмъ земельный человѣкъ... Онъ только землей да крестьянскимъ обиходомъ и крѣпокъ. Отбей ты его отъ земли, отъ дома—онъ и совсѣмъ сгибъ. Его, какъ всякаго крестьянина земельнаго, забидѣть не долго. А Платонъ Абрамычъ—тотъ въ горожанина пошелъ, по матери (они вѣдь у меня отъ разныхъ матерей; вторую-то жену я изъ городской слободы взялъ). Платонъ Абрамычъ самъ себѣ, своимъ разсудкомъ, и супругу снизыскалъ: верстъ за пятнадцать отсюда, въ селѣ, вдову, денежную вдову... Ну, къ ней въ домъ и вошелъ; домъ у нея собственный, послѣ мужа остался. Я его, Платона-то Абрамыча, какъ слѣдуетъ, по обычаю *отдѣлилъ*, что, выходитъ, на его часть изъ нашего имущества приходилось.

— А ты часто у него бываешь?

— Часто. Я люблю къ нему ѣздить. Къ родителю они съ супругой почтительны, любящи. Пріѣдешь, а они оба ровно въ перегонку около тебя ухаживаютъ: «Тятенька, вы бы водочки выкушали! Да ты что, тятенька, отварную-то воду одну дуешь? Помилуйте! Да мы вамъ церковнаго винца подпустимъ въ стаканчикъ-то!» Такъ это, братецъ ты мой, своею услужливостью проймутъ, что ровно масленицу маслуешь у нихъ! Ей-Богу! Истинно обходительные люди! Конечно, по коммерческой части безъ этой повадки нельзя! А ввечеру народъ къ нимъ соберется, гости, господа не въ рѣдкомъ бываньи, и все это къ Платону Абрамычу съ уваженіемъ, ну, и къ тебѣ, къ родителю, ужъ кстати также, по сыну. Лестно.

— Отчего жъ ты съ ними не живешь? Они люди богатые, къ тебѣ услужливые... Слаще вѣдь пироги-то есть, чѣмъ тюрю съ квасомъ хлебать?

— Зовутъ... «Тятенька, говоритъ невѣстка-то, да когда же мы удостоимся васъ съ собой въ сожительствѣ имѣть?»... Зовутъ постоянно. Только я нейду.

— Что же такъ?

— Да не знаю, какъ тебѣ сказать. Ровно что вотъ не отпущаетъ отсюда, а что—не знаю. Думается,—умереть здѣсь покойнѣе будетъ... Собирался, собирался, да нѣтъ вотъ! Погостишь съ недѣльку, анъ, глядишь, и опять сюда тянетъ. А обходительны!.. Непривычны мы, что ли, къ этой обходительности, не знаю, какъ тебѣ это разъяснить! Да и то надо сказать: у Платона Абрамыча дѣло такое, что онъ и одинъ при немъ твердо состоитъ. А земледѣльчеству завсегда поддержка требуется. Хоть и старъ я, а все же по силѣ-мочи пригожусь.

Дня черезъ три, къ утреннему чаю, вдругъ является дѣдъ Абрамъ съ французскимъ хлѣбомъ въ рукахъ и улыбается.

— Съ гостинчикомъ и я! — сказалъ онъ.—Все жъ какъ будто не даромъ буду отъ тебя кипяточкомъ пользоваться.

— Гдѣ жъ это ты досталъ?

— Платонъ Абрамычъ. Кушай-ка-сь. Не забываютъ старика. Какъ только навернется отъ нихъ попутчикъ, завсегда что ни то приспособитъ съ нимъ: бараночекъ фунтъ, водочки полуштофчикъ (своя у нихъ)... Утѣшаютъ.

Черезъ недѣлю опять тащитъ дѣдъ къ чаю что-то въ небольшой берестовой набиркѣ и опять улыбается.

— Полакомься!—угощалъ онъ, высыпая на блюдце.

Оказалась малина, впрочемъ, не особенно свѣжая и отборная.

— Опять Платонъ Абрамычъ?

— Отъ нихъ. Отъ невѣстки это нищая принесла. «Отдай, говоритъ, дѣдушкѣ полакомиться... Ему, беззубому, это будетъ въ самый разъ»... Утѣшаютъ.

Старикъ перекрестился и съ особымъ удовольствіемъ сталъ жевать, деликатно отправляя въ ротъ по одной ягодкѣ.

— Это у нихъ своя?

— Своя. Большую торговлю этимъ товаромъ ведутъ. Скупаютъ у мужиковъ да въ городъ справляютъ.

— Можно бы и побольше прислать тебѣ отъ большой-то торговли.

— Ну-у! Зачѣмъ баловать? Дѣло у нихъ торговое. Эдакъ всѣмъ-то раздашь—и торговать нечѣмъ. И малымъ утѣшить хорошо.

— А помогаютъ они вамъ чѣмъ-нибудь?

— По-мо-гаютъ... ка-акже! По-могаютъ,—протянулъ какъ-то нерѣшительно старикъ,—только Господь пока миловалъ, Антонъ къ нимъ не толкался еще... Обходимся какъ-никакъ... Признаться сказать, тугоньки они на деньги, тугоньки. Дѣло торговое, въ немъ безъ этой придержки себя—нельзя.

Дѣдъ оставилъ на блюдечкѣ нѣсколько ягодъ и пошелъ съ ними искать внука. «Васютка! Ва-ась!»—кричалъ онъ на улицѣ и долго еще ходилъ по деревнѣ съ блюдцемъ въ рукахъ, разыскивая внука и говоря на вопросы любопытныхъ бабъ: «Платонъ Абрамычъ съ супругой все насъ, стараго да малаго, балуютъ! Все они утѣшаютъ... Такія дѣти у меня вышли—на рѣдкость! Слава Создателю!»

———

По вечерамъ, когда уже окончательно потухала вечерняя заря и длинныя тѣни ночи медленно наплывали изъ-за окрестныхъ холмовъ на ложбину, въ которой ютилась деревенька, мы обыкновенно сходились съ Антономъ на завалинѣ избы. Къ этому времени онъ успѣвалъ прикончить всѣ работы и считалъ уже совершенно позволительнымъ отдохнуть. Такъ какъ вмѣстѣ съ тѣнями ночи наплывали на деревеньку и холодноватыя полосы тумана, то Антонъ выходилъ всегда закутавшись въ какой-то старый, рваный шугайчикъ. Покряхтывая и безпечно улыбаясь, онъ неторопливо набивалъ и закуривалъ трубку. Онъ былъ вообще молчаливъ. На вопросы отвѣчалъ односложно; изъ него, что называется, надо было клещами вытягивать отвѣтъ. Вѣроятно, скудость интересовъ и постоянная работа въ одиночку въ полѣ окружали его умъ и душу какою-то поэтическою неподвижностью. Впрочемъ, эта неподвижность была только кажущаяся; на самомъ же дѣлѣ въ его душѣ, хотя очень медленно, словно родникъ, пробивающійся тонкою струйкой подъ мягкимъ, густымъ ковромъ травы, но все же текла таинственная струя своеобразной жизни. Вообще неразговорчивый, не умѣвшій отвѣчать на вопросы, онъ иногда вдругъ заговаривалъ и поражалъ неожиданными замѣчаніями.

— Вишь, какъ у насъ по ночамъ дымкомъ попахиваетъ! Это полевой дымокъ! У васъ, въ городахъ, такимъ дымомъ не пахнетъ,—внезапно замѣчалъ онъ, когда неожиданно съ подвѣтренной стороны доносился до насъ запахъ дыма отъ костра, разложеннаго собравшимися на выгонѣ ребятишками «въ ночное».

— Да. Это—деревенскій дымъ.

— Люблю!.. Потому, выходитъ, хотя и ночь, а все же живутъ... Кто ни то не спитъ. И не жутко.

Пролетитъ летучая мышь, и я тороплюсь захлопнуть окно въ свою комнату.

— Ты зачѣмъ отъ нея запираешься?—спрашиваетъ меня Антонъ.

— Влетитъ, непріятно.

— Непріятности отъ нея никакой нѣтъ,—замѣчаетъ онъ.—Вѣдь это та же мышка, что по полу бѣгаетъ въ избѣ... Только что крылья далъ ей Богъ... Ты знаешь ли, какъ она нарождается?

— Нѣтъ, не знаю.

— Она отъ Божьей благодати. Въ церкви священникъ, за причастіемъ, ежели уронитъ на полъ крошечку отъ просвирки и эту крошечку мышка съѣстъ, съ того времени у нея крылья проявятся. И положено ей ужъ до земли не касаться, а летать въ нощи... Она только на бѣлое и чистое садится. Разстели здѣсь холстъ, она сейчасъ и сядетъ.

Пытался я его разспрашивать о близкихъ къ нему людяхъ и интересахъ и получалъ отвѣты въ такомъ родѣ:

— Ладно вы живете, должно-быть, со Степанидой?

— Ладно. Ничего.

— Хорошая она женщина?

— Хорошая. Ничего.

— А на деревнѣ у васъ хорошій все народъ?

— Хорошій. Ничего.

— А старшина каковъ?

— Ничего... и старшина ничего.

— Писарь?

— И писарь... Надо быть, хорошій и писарь.

— А становой?

— Не знаю... Не слыхалъ нешто.

— А братъ твой, Платонъ Абрамычъ, каковъ, по-твоему, человѣкъ?

— Ничего, хорошій...

— А какъ мірскія дѣла у васъ идутъ?

— Ничего, ладно... Со всячинкой тоже бываетъ.

— Ну, а вообще-то какъ вамъ живется?

— Ничего, справляемся.

— Не тяжельше прежняго?

— Иной годъ справляемся, иной — нѣтъ... А вотъ какъ ты уѣдешь — скучно намъ будетъ,—вдругъ перебиваетъ онъ самого себя.

— Отчего же такъ? Какое отъ меня веселье?

— Такъ ужъ все какъ-то, привычка. Вотъ теперь выйдешь изъ избы, анъ ты и тутъ... Мужики тоже толкутся, ребятишки. Все одно, какъ голуби къ жилому мѣсту, такъ и мы къ хорошему человѣку. Посидишь съ тобой, и пріятно.

Странное впечатлѣніе всегда производятъ на меня подобнаго типа крестьяне. Это—типъ уже вымирающій, какъ тяжелая, неповоротливая, созерцающая кэнгуру австралійскихъ лѣсовъ, погибающая въ борьбѣ за существованіе съ ловкими, пронырливыми хищниками новѣйшихъ формацій. Онъ уже рѣдокъ въ подгородныхъ деревняхъ, хотя въ глуши встрѣчается еще во всей неприкосновенности. Чѣмъ больше вы съ нимъ знакомитесь, тѣмъ болѣе нѣжныя чувства начинаете питать къ нему, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ вашу душу забирается какая-то досадливая грусть. Неужели же суровый законъ борьбы за существованіе всевластно царитъ и въ человѣчествѣ? Неужели человѣкъ не пробовалъ противустать его ужасному, антигуманному проявленію?

---

Это было въ половинѣ августа. День смотрѣлъ какъ-то особенно весело. Весело смотрѣла и деревня, словно вѣнкомъ окружившая себя золотыми одоньями хлѣба. Душевнѣе и веселѣе смотрѣли мужики. Но еще веселѣе и благодушнѣе смотрѣли они оттого, что нынѣшнее лѣто, не въ примѣръ прочимъ годамъ, Богъ накинулъ имъ лишнихъ двѣ мѣры на мѣру посѣва. Это показалъ имъ умолотъ съ перваго же овина. Такое неожиданное приращеніе благосостоянія въ хозяйствѣ неизбалованнаго человѣка наполнило его душу несказанною радостью, которую спѣшилъ онъ выразить заявленіемъ признательности. Наканунѣ, вечеромъ, когда старики собрались посидѣть у житницы и сообщить другъ другу результатъ перваго умолота, дѣдъ Абрамъ заявилъ: «Помолиться бы надо!»—«Надо! надо! Нельзя не помолиться: когда въ бѣдѣ, такъ просимъ, а отлегло, такъ знать не хотимъ!»—подхватили умиленные мужики. Тотчасъ же стукнули по окнамъ, собрали сходъ и постановили «заказной праздникъ». Итакъ, былъ заказной праздникъ, который собственно состоялъ въ томъ, что рѣшено было не выѣзжать въ поле. Утромъ сходили къ обѣднѣ, а послѣ обѣда всѣ занялись «по домашнему обиходу» и приготовленіемъ къ началу посѣва.

Дѣдъ Абрамъ сегодня былъ особенно благодушенъ и, въ умиленіи, постоянно крестился, когда заходилъ разговоръ объ урожаѣ нынѣшняго лѣта. Крестился и Антонъ, крестилась и Степанида. Мы не можемъ составить себѣ и приблизительнаго понятія о глубинѣ той признательности, которая наполняетъ душу крестьянина при сравнительно ничтожномъ успѣхѣ его полевыхъ трудовъ. Для этого необходимо

быть такимъ же истиннымъ землепашцемъ, каковъ былъ Антонъ.

Послѣ обѣда мы всѣ собрались у избы и весело глядѣли на желтые бока холмовъ, съ которыхъ была снята благодатная жатва и по которымъ теперь, картинно раскинувшись, лѣниво паслось стадо.

— Вишь, какіе перезвоны отъ стада-то несутся!—замѣтилъ Антонъ, когда донеслись до насъ, среди невозмутимой тишины, охватившей деревню, малиновые звуки отъ колокольцовъ и бубенцовъ, навѣшанныхъ на шеяхъ коровъ. Антонъ широко улыбнулся и посмотрѣлъ мнѣ въ лицо съ дѣтскимъ ожиданіемъ сочувствія къ его словамъ.

— Хорошо будетъ теперь скотинкѣ, благодареніе Богу! Травы собрали въ пору, соломы вдосталь будетъ... вздохнетъ! Всѣ вздохнутъ—и люди и скотина!—замѣтилъ, съ своей стороны, дѣдъ Абрамъ. — И чего жъ больше надо?.. Ничего больше не надо, какъ только вздоху! Ежели полегче вздохнулъ—тутъ тебѣ и счастье!

— Ежели теперь вздохнулъ легко, всю зиму легко продышишь,—вставила и свое слово Степанида и вдругъ вся зардѣлась.

Степанида была до того молчаливое, всепоглощенное физическою работой существо, что рѣдкія фразы, которыя приходилось ей говорить, помимо отношенія къ хозяйству, бросали ее въ краску, въ особенности при постороннихъ людяхъ.

Такъ наивно-благодушно бесѣдовали мои хозяева, предвкушая ту невеликую сумму довольства, которая вся исчерпывалась словами: «только бы намъ вздоху—тутъ и счастье!»

Въ концѣ деревенской улицы вдругъ показалось облако пыли, послышался ревъ коровы и скрипъ тяжело нагруженнаго воза. Пыльное облако разросталось все больше и больше и, наконецъ, чуть не столбомъ поднялось надъ деревней.

— Экъ напустилъ какую тучу! и поселенье наше все утопилъ!—сказалъ дѣдъ, всматриваясь въ облако изъ-подъ ладони.— Кто бы это такой? Надо думать, прасолъ.

Дѣдъ поднялся и вышелъ на середину улицы.

— Антонъ! глядь-ко-сь ты, что-то мнѣ мерещится, будто наши это...

И Антонъ сталъ всматриваться.

— Платонъ Абрамычъ и есть!

— Господи, помилуй! Что за оказія— всѣмъ домомъ снялся!—проговорилъ дѣдъ, когда возъ почти уже подъѣхалъ къ нему.— Что такъ?—спросилъ онъ Платона Абрамыча, въ недоумѣніи поглядывая на возъ.

Платонъ Абрамычъ, — низенькій, коренастый, краснощекій, съ русою бородкой, въ розовой ситцевой рубахѣ, въ картузѣ и большихъ сапогахъ, сплошь покрытыхъ сѣрымъ слоемъ пыли,—шелъ вблизи лошади и нервно дергалъ ее постоянно вожжами. Въ отвѣтъ дѣду онъ только отчаянно махнулъ рукой и, сурово хлеснувъ лошадь кнутомъ, остановилъ ее у воротъ Абрамовой избы. Но въ то время, какъ Платонъ Абрамычъ собирался отвѣчать, съ возу вдругъ скатилась рыхлая, съ большими грудями, уже довольно пожилая женщина, въ ситцевомъ платьѣ, и, истерически рыдая, поочередно припадала къ груди дѣда Абрама, Антона и Степаниды. Сквозь ея рыданія только и слышно было, что: «Милые! родные наши! Нищіе мы, нищіе! Милый тятенька! Родной Антонъ Абрамычъ! Голубушка Степанидушка, невѣстушка дорогая! Не покиньте, не оставьте сиротъ горькихъ!»—причитала она и снова по очереди начинала припадать то къ одному, то къ другому изъ нихъ. Я всталъ и отошелъ въ сторону, такъ какъ замѣтилъ, что горе этой женщины, повидимому, было настолько велико, что для излiянія его ей недостаточно, казалось, было грудей родственниковъ, и она выражала уже намѣреніе броситься и къ моимъ ногамъ. Между тѣмъ Платонъ Абрамычъ уже ввелъ лошадь съ возомъ, наверху котораго сидѣлъ мальчикъ, а сзади были привязаны корова, телка и коза, подъ навѣсъ двора, и на рыданія его супруги начала сходиться къ избѣ вся деревня.

Я ушелъ къ себѣ и изъ отрывочныхъ фразъ, долетавшихъ до меня со двора, могъ, наконецъ, узнать, что сегодня утромъ Платонъ Абрамычъ погорѣлъ.

Не прошло и получаса, какъ ко мнѣ вошелъ Платонъ Абрамычъ, уже въ вытертыхъ насвѣтло сапогахъ, умытый и причесанный.

— Весьма, значитъ, пріятно... Какъ выходитъ, по-родственному... Потому мы дѣти будемъ этому самому старичку Абраму... Весьма пріятно вступить въ обхожденіе,— говорилъ онъ какъ-то особенно вычурно и съ ужимками торговаго человѣка.

— Вы погорѣли?

— Да-съ, воля Божья. Но при всемъ томъ, я не ропщу. Принимаю съ покорностью.

И Платонъ Абрамычъ присѣлъ.

Но онъ опять тотчасъ же вскочилъ и скороговоркой сказалъ:

— Стѣсненія не будетъ для васъ, ежели бы сюда самоварчикъ... по-благородному? Потому мы съ супругой все болѣе по купеческому обиходу, и было бы весьма съ непривычки затруднительно... ежели бы, по нашему несчастію, въ курной избѣ... При всемъ томъ, мы хорошее обращеніе понимаемъ. Будьте въ надеждѣ!.. Жили завсегда въ свое удовольствіе!

Я еще не успѣлъ отвѣтить, какъ въ дверь, тяжело переступая черезъ порогъ, вошла жена Платона Абрамыча съ маленькимъ семилѣтнимъ сынишкой за руку и тотчасъ заплакала.

— Ахъ, милый баринъ, не откажите сиротамъ! Вѣдь, отъ такой, можно сказать, пріятной жизни, и вдругъ чайку негдѣ съ удовольствіемъ напиться! Каково это, милый баринъ, вѣкъ-то изживши въ обхожденіи съ богатыми и благородными?— причитала она.

— Побалуй ужъ ихъ на первый разъ, Миколай Миколаичъ! Что съ ними сдѣлаешь!.. Невѣстка-то, вишь, у меня въ купеческомъ обиходѣ возросла, претитъ ей мужицкая-то кухня, — добродушно забросилъ и свое словцо дѣдушка Абрамъ.

— Сдѣлайте милость,—согласился я.

Платонъ Абрамычъ тотчасъ же побѣжалъ за самоваромъ и скоро внесъ его самъ въ комнату, пыхтя и приговаривая:

— Мы все сами!.. Мы, въ несчастіи нашемъ, никого утруждать не желаемъ! Мы скорѣе себѣ какое стѣсненіе сдѣлаемъ, нежели другихъ убезпокоить!

За самоваромъ супруга Платона Абрамыча втащила какіе-то корзиночки и узелки съ чаемъ, сахаромъ, кренделями, хлѣбомъ. Вынимая каждую вещь, она приговаривала:

— Мы все съ своимъ; мы не привыкли одолжаться, мы другихъ одолжали, а не то что самимъ одолжаться... Мы къ этому непривычны... Хотя и въ разореньи мы, и въ большомъ несчастіи, а послѣднюю рубаху лучше продадимъ, чѣмъ кого собою утѣснять рѣшимся!

Перебивая и дополняя рѣчи одинъ у другого, постоянно извиняясь, погорѣльцы, наконецъ, прочно основались около самовара и вполнѣ, кажется, вошли въ роль хозяевъ.

— Господинъ! сдѣлайте милость, искушайте! Не побрезгайте! Тятенька! да ты постой, погоди парную-то воду дуть... Ахъ, старичокъ, старичокъ! Скусу ты хорошаго не знаешь... Маланья Ѳедоровна! бутылочка-то гдѣ же?—спрашиваетъ Платонъ Абрамычъ свою супругу.

— Здѣсь, здѣсь, милый тятенька! на вашу старческую долю Господь сохранилъ церковнаго винца бутылочку... Такъ думать надо, угодили вы ему своими молитвами!—дополнила Маланья Ѳедоровна.

— Что говорить! Радѣтели завсегда были!—отзывался благодарный дѣдъ.

— Да мы, тятенька, это весьма понимаемъ, что ежели родитель! Это будьте въ надеждѣ! Престарѣлость мы всегда весьма почитаемъ,—увѣрялъ Платонъ Абрамычъ.— Гдѣ же братецъ Антонъ Абрамычъ? Пожалуйста, братецъ, за компанію...

— А невѣстушка?.. Степанидушка, да пожалуйста! вотъ крендёлечковъ... Да вы будьте по-родственному! Вы не смотрите, что мы въ несчастіи. мы послѣднюю рубаху продадимъ,—дополняла Маланья Ѳедоровна.

— Да мы даже настолько къ родителю привержены, — опять начиналъ Платонъ Абрамычъ,—что ежели ужъ Господу угодно такое произволеніе, такъ мы и землепашные труды примемъ въ помощь родителю... Окажемъ всякую трудомъ нашимъ поддержку.

Въ такомъ родѣ долго еще объяснялись супруги-погорѣльцы, соревнуя одинъ другому въ выраженіи братской и сыновней любви, пока, наконецъ, не перешли къ разговору о пожарѣ. По ихъ разсказамъ оказывалось, что у нихъ сгорѣло все «до синя пороха», что и денегъ они, которыя «праведными трудами нажили», не успѣли спасти, что если что и осталось, такъ рухлядь, которую они даже не взяли съ собой, а оставили у знакомыхъ, чтобы «не стѣснить родителя». Тема «разоренья» была настолько богата, что оказалось необходимымъ подогрѣть еще разъ самоваръ. Мнѣ надоѣло, наконецъ, это нытье, и я ушелъ. Но такъ неожиданно налетѣвшіе на нашу мирную жизнь гости долго еще продолжали чайничать «по-благородному».

— А я полагалъ, онъ говоритъ о Рогачевкѣ или Селезневѣ: въ этихъ селахъ школы тоже не отапливаются...

«Въ прошломъ году,—продолжалъ читать батюшка, — я искалъ себѣ мѣсто сельскаго учителя. Въ селѣ Замарайскомъ я зашелъ въ школу и вотъ что тамъ встрѣтилъ: скамейки для учениковъ поломаны, окна забиты тряпками, полъ земляной; среди избы стояла покрытая классной доской лохань для коровы; на учительской каѳедрѣ лежалъ кочедыкъ съ лаптемъ. За перегородкой, въ чуланѣ, служившемъ кабинетомъ учителя, стояли мѣшки съ картофелемъ, съ потолка спускалась веревка, на которой висѣла свиная туша»...

Батюшка остановился и, складывая письмо, съ усмѣшкой проговорилъ:

— Да-съ, такъ вотъ каковъ нашъ учитель... Тоже пускается въ критику... Хе-хе-хе...

— Положимъ, есть такія школы, замѣтилъ гость: но зачѣмъ же надъ ними подтрунивать?..

— Именно! объ этомъ скорбѣть надо, а не смѣяться... тѣмъ паче сельскій наставникъ долженъ вести себя тише воды, ниже травы.

— А вотъ мы посмотримъ, какъ ученики будутъ отвѣчать на экзаменѣ,—сказалъ пріѣзжій.

---

Послѣ завтрака батюшка и экзаминаторъ отправились въ школу, помѣщавшуюся на берегу рѣки, въ зданіи волостного правленія, гдѣ уже собралось сельское начальство, которое приглашено было на экзаменъ, въ качествѣ ассистентовъ.

Когда ученики съ помощью батюшки и учителя пропѣли «Царю небесный», экзаминаторъ обратился къ нимъ съ привѣтствіемъ:

— Здравствуйте, ребята!

— Здорово, дяденька!—простодушно отвѣчали ученики.

Батюшка съ укоризной покачалъ на нихъ головой и что-то шепнулъ учителю.

Учитель въ отвѣтъ на это только пожалъ плечами и съежился какъ-то, предчувствуя, видимо, что-то недоброе.

Экзаминаторы помѣстились въ переднемъ углу, за небольшимъ столомъ; старшина и сельскій староста скромно сѣли въ сторонѣ, у окна. Учитель стоялъ съ боку экзаминаторовъ, напротивъ учениковъ.

— Прикажете начать съ закона Божія?—отнесся отецъ Парменъ къ члену училищнаго совѣта.

— Я полагаю, отвѣчалъ послѣдній.

Къ столу былъ вызванъ мальчикъ лѣтъ одиннадцати.

— Пименовъ!—началъ батюшка,—скажи намъ, какъ читается первая заповѣдь?

Мальчикъ почесалъ затылокъ и едва слышно зачиталъ: «Азъ есмь Господь Богъ твой» и пр.

— Что такое «азъ»?—спросилъ батюшка и, видя, что мальчикъ не отвѣчаетъ, сталъ наводить его: — вотъ, напримѣръ, говорится въ писаніи, и ты часто въ церкви слышишь: азъ уснухъ, спахъ, возстахъ... или: азъ есмь лоза истинная.

— Спросите что-нибудь изъ священной исторіи,—предложилъ членъ совѣта батюшкѣ и шопотомъ прибавилъ:—я боюсь опоздать домой... вы знаете, какова дорога-то, ночью голову сломишь...

— Сію минуту! Какъ звали дѣтей Исаака?

— Исавъ и Іаковъ.

— Чѣмъ они отличались одинъ отъ другого?

— Исавъ былъ въ шерстѣ...

— Экой, братецъ мой, ты глупый; развѣ можно такъ говорить? Въ шерсти кто бываетъ?..

Мальчикъ упорно молчалъ, переступая съ ноги на ногу.

— Что же ты безмолвствуешь?—спросилъ священникъ.

Мальчикъ почесалъ затылокъ и пугливо взглянулъ на учителя, вздохнувъ глубокимъ вздохомъ. Учитель, казалось, хотѣлъ проникнуть глазами непосредственно въ его голову, чтобы возбудить въ немъ отвѣтъ на заданный вопросъ. Ему было едва ли не болѣе жутко, чѣмъ мальчику, такъ какъ онъ по выраженію лица экзаминатора уже предугадывалъ, чѣмъ окончится для него самого этотъ экзаменъ.

— Ну-ко, опиши мнѣ лошадь! — спросилъ членъ совѣта.

— Лошадь имѣетъ красивую голову, гибкую шею и четыре ноги съ копытами, подкованными желѣзными подковами, длинный хвостъ, которымъ она отмахивается отъ оводовъ.

— Отъ слѣпней!—поправилъ священникъ.

— Что жъ, по-твоему, лошадь такъ съ желѣзными подковами и родится? — спросилъ экзаминаторъ.

— Не знаю,—прошепталъ ученикъ.

— Этого отвѣта одобрить невозможно,—укоризненно замѣтилъ священникъ.

— А что такое квасъ?

— Напитокъ.

— А хлѣбъ?

— Наѣдки!..

Экзаминаторы разсмѣялись.

— Это наши бабы такъ говорятъ: «наѣдки»! Кто скажетъ,—обратился отецъ Парменъ къ ученикамъ,—что такое хлѣбъ?

— Пи-щ-а!—хоромъ отвѣчали ученики.

— Хорошо!..

— Спросите изъ ариѳметики,—обратился членъ совѣта къ учителю, который немедленно приказалъ мальчику написать на доскѣ задачу на вычитаніе. Мальчикъ не могъ разрѣшить ее и, потупя голову, стоялъ передъ экзаминаторами, межъ тѣмъ какъ одинъ изъ сельскихъ начальниковъ успѣлъ уже погрузиться въ объятія Морфея, всхрапывая на всю избу. Даже самъ членъ совѣта начиналъ чувствовать утомленіе; онъ пересталъ спрашивать ученика, предоставивъ повѣрку его умственнаго развитія батюшкѣ, которому сильно хотѣлось добиться рѣшенія ариѳметической задачи. Но мальчикъ упорно молчалъ; онъ былъ до того сконфуженъ, что не замѣчалъ, какъ учитель показывалъ ему два пальца, въ которыхъ заключался отвѣтъ.

— Плохо, Пименовъ, плохо!—говорилъ батюшка:—вотъ если бы ты учился хорошо, мы тебѣ дали бы свидѣтельство, и ты прослужилъ бы въ солдатахъ только четыре года, а теперь долженъ прослужить цѣлыхъ шесть...

Мальчикъ чуть не плакалъ съ горя, что онъ такъ долго будетъ отбывать воинскую повинность.

По окончаніи экзамена членъ училищнаго совѣта, пошептавшись о чемъ-то съ священникомъ, объявилъ учителю, что онъ недоволенъ результатами его занятій съ учениками и проситъ оставить буреломское училище. Въ отвѣтъ на это учитель ни слова не сказалъ и только вздохнулъ, уныло понуривъ голову.

---

Вечеромъ учитель отправился въ домъ отца дьякона проститься, такъ какъ онъ намѣренъ былъ оставить Буреломы на слѣдующій же день и уже успѣлъ приготовить дорожную сумку и палку.

— Что это значитъ?—взволнованнымъ голосомъ спрашивалъ дьяконъ:—нѣтъ ли тутъ какихъ интригъ? Вѣдь это ни на что не похоже!

— Теперь уже все кончено! Прощайте, Анемаиса Петровна,—говорилъ учитель румяной дѣвицѣ въ ситцевомъ платьѣ:—не поминайте лихомъ...

— Богъ съ вами, Анатолій Сергѣевичъ!—едва слышно произнесла дѣвушка, прикладывая къ глазамъ платокъ.

— Клянусь вамъ, что я ничѣмъ не виноватъ... Сами знаете, я человѣкъ подначальный... противъ рожна трудно прать... До свиданія, отецъ дьяконъ... Пожалуйста, не вините меня...

— Что вы, что вы! Мы любили васъ, какъ родного... Куда же вы теперь направляетесь?

— Въ село Старые Пескари... къ дядѣ... тамъ проведу Святую недѣлю...

— А потомъ?

— На Ѳоминой я отправлюсь искать себѣ мѣста на желѣзной дорогѣ...

На другой день, рано утромъ, учитель съ сумкой за плечами вышелъ изъ Буреломъ.

**Николай Николаевичъ Златовратскій.**
(Род. въ 1845 г.)

## Авраамъ.

Лѣто я провелъ въ одной деревенькѣ, верстахъ въ двадцати отъ губернскаго города, значитъ, «на дачѣ», какъ говорятъ въ провинціи, хотя вся дача моя заключалась въ свѣтелкѣ, нанятой за три рубля во все лѣто у крестьянина Абрама.

Абрамъ былъ мужикъ лѣтъ шестидесяти слишкомъ, высокаго роста, довольно плотный, съ широкою, сивою бородой и большими глазами, смотрѣвшими изъ-подъ навѣса сѣдыхъ бровей. Вообще, несмотря на лѣта, онъ очень сохранился; въ немъ не замѣчалось старческой дряхлости, но самъ онъ, замѣтно, желалъ казаться дряхлѣе, изрѣдка покряхтывая, пощупывая свою поясницу и горбясь болѣе, чѣмъ, можетъ-быть, слѣдовало. Къ такому невинному «остариванію себя», если можно такъ выразиться, онъ сталъ прибѣгать съ тѣхъ поръ, какъ выростилъ и пристроилъ сыновей и почувствовалъ, что страда крестьянской жизни, которую тянулъ онъ въ пр[illegible]долженіе полувѣка, какъ будто отлег[illegible] отъ него. Онъ вступалъ уже въ чис[illegible] «стариковъ», въ этотъ ареопагъ крестья[illegible]скаго міра. Не кряхтѣть и не горбить[illegible] было нельзя, это требовалось для подде[illegible]жанія неотъемлемо принадлежащихъ это[illegible] званію правъ: права сидѣнья подъ вечер[illegible] на завалинѣ у общинной житницы, сре[illegible] сѣдовласыхъ сверстниковъ въ нахлобуче[illegible]ныхъ по уши шляпахъ - гречневиках[illegible] права неторопливыхъ и солидныхъ разсу[illegible]жденій на темы, что «безъ Бога ни до п[illegible]рога», что «обычай блюди», что «старик[illegible] на душу грѣха брать не станутъ» и т. п.

наконецъ, права выпиванія съ подобающею важностью штрафной косушки, съ приличными насчетъ штрафованнаго изреченіями. Этого, впрочемъ, показалось Абраму недостаточно; ему хотѣлось закрѣпить за собой не только право на званіе «старика» просто, но еще и «благомысленнаго старика», носителя и хранителя старозавѣтныхъ «дѣдовскихъ» преданій, исконной морали и обычнаго культа. Вотъ почему, отдѣливъ младшаго сына, выдавъ замужъ дочерей и приведя, такимъ образомъ, согласно вѣковымъ традиціямъ, къ вожделѣнному концу все, что требуется по идеалу обстоятельнаго крестьянства, Абрамъ сказалъ дѣтямъ: «Ну, родные, потрудился я для васъ довольно; теперь надо мнѣ и для своей души потщиться, сколь моей силы хватитъ. Пора и объ душѣ дать старику подумать». Рѣшивъ такимъ образомъ, Абрамъ пошелъ къ священнику и принялъ отъ него благословеніе въ путь за сборомъ съ доброхотныхъ дателей на украшеніе мѣстной убогой церкви. Сбиралъ онъ, ходя по святой Руси, три года, и только мѣсяца за два до того, какъ я познакомился съ нимъ, вернулся въ свою родную деревню. Теперь онъ уже былъ вполнѣ «благомысленнымъ старикомъ»; почитаемый причтомъ, съ батюшкой во главѣ, выбранный міромъ въ помощники церковнаго старосты и въ десятскіе своей деревни, онъ могъ мирно доживать свой вѣкъ, являя собою передъ молодымъ поколѣніемъ деревни тотъ идеалъ мирнаго и трудового крестьянскаго житія, который осуществилъ онъ въ своей жизни.

Жить мнѣ у Абрама было хорошо, покойно. Въ семьѣ его старшаго сына, Антона, съ которымъ онъ жилъ, по уговору, вмѣстѣ, по отдѣленіи младшаго, была «истинно-райская тишина», какъ выражался онъ. Дѣйствительно, его сынъ Антонъ и невѣстка Степанида были очень мирные люди, молчаливые, добродушные.

Преимуществомъ вставать раньше всѣхъ, со вторыми пѣтухами, какъ извѣстно, пользуются въ деревняхъ старики, чѣмъ они обыкновенно и любятъ кольнуть глаза своимъ молодымъ невѣсткамъ. Но этимъ преимуществомъ рѣдко удавалось похвастаться Абраму. Антона не приходилось ему будить. Когда еще старикъ начиналъ только кряхтѣть на печи и расправлять свои старыя кости, Антонъ, большею частью, уже успѣвалъ умыться, разбудить жену. А когда показывался первый блѣдноватый свѣтъ, онъ уже выѣзжалъ изъ деревни, первый размахивая верею въ околицѣ, молился на виднѣвшуюся вдали колокольню погоста, надѣвалъ шляпу, тихо и ласково вскрикивалъ на лошадь и, торопливо шагая, пропадалъ вмѣстѣ съ нею въ густой мглѣ стоявшаго надъ потнымъ, болотистымъ лугомъ утренняго тумана. Когда же Абрамъ, наконецъ, соскакивалъ съ печи и, почесываясь, подходилъ къ окну, чтобы справиться о погодѣ, у Степаниды уже ярко горѣло и трещало на очагѣ пламя и кипѣлъ въ чугунѣ картофель. Пока дѣдъ молился, кладя истово, «по старинѣ», низкіе поклоны, на улицѣ раздавался пастушескій рожокъ, хлопанье и скрипъ воротъ, ревъ сбиравшейся скотины и вскрикиванье бабъ, а Степанида, съ нѣжными приговорами, выгоняла, осѣняя крестнымъ знаменіемъ, своихъ коровъ и телокъ, медленно выходившихъ изъ теплаго парного сарая на свѣжій утренній воздухъ. Послѣ молитвы дѣду Абраму не оставалось ничего больше, какъ только сердито окрикнуть чернаго кота, забравшагося на столъ. Какъ и всѣ старики, ворчливые съ утра, Абрамъ читалъ коту длинную нотацію, не упустивъ случая ругнут.. при этомъ Степаниду и продолжая нравоученіе на дворѣ, обращаясь уже къ хромоногому, старому Волчку, только что вылѣзшему изъ своей теплой конуры и сладко потягивавшемуся навстрѣчу старику.

Часамъ къ семи утра старикъ тихонько пріотворялъ дверь въ мою половину и если замѣчалъ, что я начиналъ ворочаться, то говорилъ: «не наставить ли?» и, предварительно разбудивъ своего пріемнаго внука, принимался разводить съ нимъ самоваръ. Въ продолженіе получаса я могъ слышать, какъ дѣдъ обучалъ внука «порядку». Утренній чай мы всегда пили вмѣстѣ; впрочемъ, по какому-то обѣту, Абрамъ пилъ не чай, а только кипятокъ. Я всегда приглашалъ и Васю. Старикъ недовольно покачивалъ головой, говорилъ, что это «баловство», но въ концѣ-концовъ соглашался и ограничивался тѣмъ, что обучалъ внука «учливости».

— Сядь съ глазъ подальше!.. Не егози передъ глазами у старшаго!—приговаривалъ онъ, отхлебывая кипятокъ.—Не бол-

тай ногами—бѣса тѣшишь!.. Чего сахаръ слюнявишь? Кусай учливѣй! и т. п.

Вася только бойкими взмахами своей кудрявой головы откидывалъ волосы со лба,. и видно было, что онъ не особенно боялся своего названнаго дѣда. Онъ и самъ былъ не прочь сдѣлать ему выговоръ. Нерѣдко, во время увлеченія дѣда какимъ-нибудь разсказомъ, Вася вдругъ конфузилъ его замѣчаніемъ: «Утри, дѣдушка, бороду-то! Вишь, распустилъ потоки, а еще передъ бариномъ сидишь!», и дѣдъ, молча и послушно, спѣшилъ принять къ свѣдѣнію замѣчаніе шестилѣтняго внука. Такъ они и вообще мирно жили, уча и наставляя другъ друга, пока дѣло не доходило до такого явнаго непослушанія, съ одной стороны, какъ, напримѣръ, высовыванія языка въ отвѣтъ на самыя солидныя моральныя истины, и до окончательнаго рѣшенія наломать гибкихъ прутьевъ — съ другой. Впрочемъ, тѣмъ дѣло и кончалось. Шестилѣтній внукъ, конечно, умѣлъ бѣгать лучше, чѣмъ шестидесятилѣтній дѣдъ.

На другой же день моего пребыванія въ деревнѣ мы съ дѣдомъ Абрамомъ вели за чаемъ такую бесѣду:

— Ну, что, дѣдушка Авраамъ?

— Ну-у, Авраамъ! Какой я Авраамъ,— улыбаясь, перебивалъ онъ меня.—Я не отъ Авраама иду... То Авраамъ, а то Абрамій мученикъ... Такъ вотъ я откуда—отъ мученика!

Тѣмъ не менѣе, было замѣтно, что ему очень нравилось, когда я его звалъ дѣдушкой Авраамомъ.

— Что жъ, доволенъ ты своимъ положеніемъ?

— Доволенъ, — твердо произнесъ старикъ, выпрямляясь и сановито поглаживая бороду,—не хочу грѣшить, прямо говорю— доволенъ. Слава тебѣ, Господи! Потому я, Миколай Миколаичъ, что требуется отъ жизни, все исполнилъ, привелъ въ закончаніе. Слабому опору оказалъ, тѣмъ, значитъ, и предѣлъ положилъ.

— То-есть какъ это слабому?

— Такъ и есть. Въ чемъ всей нашей жизни положеніе состоитъ?

Дѣдушка Абрамъ любилъ иногда порезонерствовать, вѣроятно, оттого, что придерживался негласно «старинки» и часто бесѣдовалъ съ раскольничьими начетчиками.

— Въ чемъ же?—спросилъ я.

— А въ томъ и есть, чтобы слабому опору оказывать. Пораскинь-ка умомъ-то, анъ оно такъ и выйдетъ. Съ изначала, когда я, по младенчеству своему, слабъ былъ, родители мнѣ опору оказывали. Возросъ я, родителямъ своимъ, по дряхлости ихней, подпору обязанъ оказать... Такъ ли? У самого малыши пошли, ихъ обязанъ въ возрастъ произвести, ихней слабости поддержку дать. Поставилъ ихъ на ноги— ну, и предѣлъ, значитъ, свой положилъ.

— Ну, а внучки? — кивнулъ я на Васю.

— Внучки—ужъ это сверхъ всего, это ужъ не въ примѣръ прочему. Это ужъ смотря, какъ, значитъ, привер женъ,—говорилъ онъ, поглаживая по головѣ внука, подошедшаго за стаканомъ къ столу,—это ужъ смотря по послушности да смиренству передъ дѣдомъ,—прибавилъ онъ улыбаясь.

— Правду ли я говорю, какъ по твоему?—спросилъ онъ меня и, не дожидаясь отвѣта, продолжалъ:—И во всемъ такъ подобаетъ: въ начальствѣ состоишь— слабаго охрани, избыткомъ отъ Бога награжденъ—слабому поддержку окажи... Вотъ оно, значитъ, какое намъ въ жизни произволенье! Въ томъ и до конца живота твоего держись.

— И дѣтьми своими ты доволенъ?

— Дѣтьми доволенъ. Дѣти у меня, надо правду тебѣ сказать, на рѣдкость дѣти! Потому я ихъ держалъ въ послушности, въ страхѣ Божіемъ. Вотъ, примѣромъ, Антонъ—изойди всю волость, такого къ работѣ приверженнаго не найдешь. А смиренства, тихости, такъ по нынѣшнимъ временамъ и нигдѣ не встрѣтишь! Чтобы онъ кому сгрубилъ, кого обидѣлъ или обманулъ—этого никогда запомнить даже нельзя! Истинно землепашецъ! Землѣ радѣетъ. И жену ему Богъ далъ, не хочу грѣшить, бабу правильную... Тоже тихостью да смиренствомъ передъ всѣми взяла; кабы родныхъ дѣтокъ имъ, такъ и совсѣмъ бы благословенное семейство было, да вотъ не даетъ Богъ! Какъ-то ужъ у нихъ и въ работѣ-то эдакого удовольствія какъ будто не видно. Взяли вотъ мальчика, хоть и близкая родня, а все же не свой... Думается имъ: воспитаешь его, на него всю ласку положишь, а онъ, въ возрастъ придя, тебѣ же укоры дѣлать станетъ.

Отъ своего, это точно, снесешь, а отъ чужого-то какъ будто и обидно.

— А второй твой сынъ каковъ?

— Платонъ-то Абрамычъ?

— Да.

— Про Платона Абрамыча—словъ нѣтъ, вотъ онъ каковъ, Платонъ-то Абрамычъ!—говорилъ внушительно и съ разстановкой старикъ всегда, когда рѣчь заходила о младшемъ сынѣ. — Платонъ Абрамычъ—голова! Пройди по всей округѣ, спроси: знаешь Платона Абрамыча?—и нѣтъ того человѣка, чтобъ его не зналъ!

— Умомъ, значитъ, взялъ?

— Разсудкомъ! Головой взялъ! Онъ съ младости ужъ былъ отмѣченъ. Да какъ я тебѣ скажу: стояли у насъ уланы, а Платонъ-то Абрамычъ въ тѣ поры еще маленькій былъ, такъ—съ бабій наперстокъ. Вотъ эти самые уланы накупятъ пряниковъ, орѣховъ и давай кричать ребятишкамъ: «Кто въ ноги поклонится? выходи!» Ну, ребятишки глупы, сосутъ кулаки-то да смотрятъ, а мой Платошка сейчасъ—хлопъ въ землю, не въ примѣръ прочимъ, такъ всѣ только диву даются, откуда такая, значитъ, у него ко всему примѣнительность!.. Ну, и накидаютъ ему уланы полонъ подолъ гостинцевъ... Отцыто да матери только и кричатъ: «Экое счастье этому Платошкѣ Абрамову! Даетъ же Господь такой разумъ еще въ младости! И въ кого бы онъ такой выдался?» И я вотъ тоже не придумаю...

— Побойчѣе, выходитъ, Антона?

— Гдѣ жъ Антону противъ него! Антонъ смирененъ, душевный крестьянинъ—слова нѣтъ, только противъ Платона Абрамыча даже и помыслить ему нельзя! Платону Абрамычу отъ всѣхъ почетъ, уваженіе...

— Онъ гдѣ же теперь живетъ и чѣмъ занимается?

— Занимается онъ, братецъ ты мой, по коммерческой части. Еще вьюношей онъ къ землепашеству охоты не возъимѣлъ... Это ужъ какъ кому: у всякаго свой таланъ. Вотъ Антонъ—совсѣмъ земельный человѣкъ... Онъ только землей да крестьянскимъ обиходомъ и крѣпокъ. Отбей ты его отъ земли, отъ дома—онъ и совсѣмъ сгибъ. Его, какъ всякаго крестьянина земельнаго, забидѣть не долго. А Платонъ Абрамычъ—тотъ въ горожанина пошелъ, по матери (они вѣдь у меня отъ разныхъ матерей; вторую-то жену я изъ городской слободы взялъ). Платонъ Абрамычъ самъ себѣ, своимъ разсудкомъ, и супругу снизыскалъ: верстъ за пятнадцать отсюда, въ селѣ, вдову, денежную вдову... Ну, къ ней въ домъ и вошелъ; домъ у нея собственный, послѣ мужа остался. Я его, Платона-то Абрамыча, какъ слѣдуетъ, по обычаю *отдѣлилъ*, что, выходитъ, на его часть изъ нашего имущества приходилось.

— А ты часто у него бываешь?

— Часто. Я люблю къ нему ѣздить. Къ родителю они съ супругой почтительны, любящи. Пріѣдешь, а они оба ровно въ перегонку около тебя ухаживаютъ: «Тятенька, вы бы водочки выкушали! Да ты что, тятенька, отварную-то воду одну дуешь? Помилуйте! Да мы вамъ церковнаго винца подпустимъ въ стаканчикъ-то!» Такъ это, братецъ ты мой, своею услужливостью проймутъ, что ровно масленицу маслуешь у нихъ! Ей-Богу! Истинно обходительные люди! Конечно, по коммерческой части безъ этой повадки нельзя! А ввечеру народъ къ нимъ соберется, гости, господа не въ рѣдкомъ бываньи, и все это къ Платону Абрамычу съ уваженіемъ, ну, и къ тебѣ, къ родителю, ужъ кстати также, по сыну. Лестно.

— Отчего жъ ты съ ними не живешь? Они люди богатые, къ тебѣ услужливые... Слаще вѣдь пироги-то есть, чѣмъ тюрю съ квасомъ хлебать?

— Зовутъ... «Тятенька, говоритъ невѣстка-то, да когда же мы удостоимся васъ съ собой въ сожительствѣ имѣть?»... Зовутъ постоянно. Только я нейду.

— Что же такъ?

— Да не знаю, какъ тебѣ сказать. Ровно что вотъ не отпущаетъ отсюда, а что—не знаю. Думается,—умереть здѣсь покойнѣе будетъ... Собирался, собирался, да нѣтъ вотъ! Погостишь съ недѣльку, анъ, глядишь, и опять сюда тянетъ. А обходительны!.. Непривычны мы, что ли, къ этой обходительности, не знаю, какъ тебѣ это разъяснить! Да и то надо сказать: у Платона Абрамыча дѣло такое, что онъ и одинъ при немъ твердо состоитъ. А земледѣльчеству завсегда поддержка требуется. Хоть и старъ я, а все же по силѣ-мочи пригожусь.

Дня черезъ три, къ утреннему чаю, вдругъ является дѣдъ Абрамъ съ французскимъ хлѣбомъ въ рукахъ и улыбается.

— Съ гостинчикомъ и я! — сказалъ онъ.—Все жъ какъ будто не даромъ буду отъ тебя кипяточкомъ пользоваться.

— Гдѣ жъ это ты досталъ?

— Платонъ Абрамычъ. Кушай-ка-сь. Не забываютъ старика. Какъ только навернется отъ нихъ попутчикъ, завсегда что ни то приспособитъ съ нимъ: бараночекъ фунтъ, водочки полуштофчикъ (своя у нихъ)... Утѣшаютъ.

Черезъ недѣлю опять тащитъ дѣдъ къ чаю что-то въ небольшой берестовой набиркѣ и опять улыбается.

— Полакомься!—угощалъ онъ, высыпая на блюдце.

Оказалась малина, впрочемъ, не особенно свѣжая и отборная.

— Опять Платонъ Абрамычъ?

— Отъ нихъ. Отъ невѣстки это нищая принесла. «Отдай, говоритъ, дѣдушкѣ полакомиться... Ему, беззубому, это будетъ въ самый разъ»... Утѣшаютъ.

Старикъ перекрестился и съ особымъ удовольствіемъ сталъ жевать, деликатно отправляя въ ротъ по одной ягодкѣ.

— Это у нихъ своя?

— Своя. Большую торговлю этимъ товаромъ ведутъ. Скупаютъ у мужиковъ да въ городъ справляютъ.

— Можно бы и побольше прислать тебѣ отъ большой-то торговли.

— Ну-у! Зачѣмъ баловать? Дѣло у нихъ торговое. Эдакъ всѣмъ-то раздашь—и торговать нечѣмъ. И малымъ утѣшить хорошо.

— А помогаютъ они вамъ чѣмъ-нибудь?

— По-мо-гаютъ... ка-акже! Помогаютъ,—протянулъ какъ-то нерѣшительно старикъ,—только Господь пока миловалъ, Антонъ къ нимъ не толкался еще... Обходимся какъ-никакъ... Признаться сказать, тугоньки они на деньги, тугоньки. Дѣло торговое, въ немъ безъ этой придержки себя—нельзя.

Дѣдъ оставилъ на блюдечкѣ нѣсколько ягодъ и пошелъ съ ними искать внука. «Васютка! Ва-ась!»—кричалъ онъ на улицѣ и долго еще ходилъ по деревнѣ съ блюдцемъ въ рукахъ, разыскивая внука и говоря на вопросы любопытныхъ бабъ: «Платонъ Абрамычъ съ супругой все насъ, стараго да малаго, балуютъ! Все они утѣшаютъ... Такія дѣти у меня вышли—на рѣдкость! Слава Создателю!»

———

По вечерамъ, когда уже окончательно потухала вечерняя заря и длинныя тѣни ночи медленно наплывали изъ-за окрестныхъ холмовъ на ложбину, въ которой ютилась деревенька, мы обыкновенно сходились съ Антономъ на завалинѣ избы. Къ этому времени онъ успѣвалъ прикончить всѣ работы и считалъ уже совершенно позволительнымъ отдохнуть. Такъ какъ вмѣстѣ съ тѣнями ночи наплывали на деревеньку и холодноватыя полосы тумана, то Антонъ выходилъ всегда закутавшись въ какой-то старый, рваный шугайчикъ. Покряхтывая и безпечно улыбаясь, онъ неторопливо набивалъ и закуривалъ трубку. Онъ былъ вообще молчаливъ. На вопросы отвѣчалъ односложно; изъ него, что называется, надо было клещами вытягивать отвѣтъ. Вѣроятно, скудость интересовъ и постоянная работа въ одиночку въ полѣ окружали его умъ и душу какою-то поэтическою неподвижностью. Впрочемъ, эта неподвижность была только кажущаяся; на самомъ же дѣлѣ въ его душѣ, хотя очень медленно, словно родникъ, пробивающійся тонкою струйкой подъ мягкимъ, густымъ ковромъ травы, но все же текла таинственная струя своеобразной жизни. Вообще неразговорчивый, не умѣвшій отвѣчать на вопросы, онъ иногда вдругъ заговаривалъ и поражалъ неожиданными замѣчаніями.

— Вишь, какъ у насъ по ночамъ дымкомъ попахиваетъ! Это полевой дымокъ! У васъ, въ городахъ, такимъ дымомъ не пахнетъ,—внезапно замѣчалъ онъ, когда неожиданно съ подвѣтренной стороны доносился до насъ запахъ дыма отъ костра, разложеннаго собравшимися на выгонѣ ребятишками «въ ночное».

— Да. Это—деревенскій дымъ.

— Люблю!.. Потому, выходитъ, хотя и ночь, а все же живутъ... Кто ни то не спитъ. И не жутко.

Пролетитъ летучая мышь, и я тороплюсь захлопнуть окно въ свою комнату.

— Ты зачѣмъ отъ нея запираешься?— спрашиваетъ меня Антонъ.

— Влетитъ, непріятно.

— Непріятности отъ нея никакой нѣтъ,— замѣчаетъ онъ.—Вѣдь это та же мышка, что по полу бѣгаетъ въ избѣ... Только что крылья далъ ей Богъ... Ты знаешь ли, какъ она нарождается?

— Нѣтъ, не знаю.

— Она отъ Божьей благодати. Въ церкви священникъ, за причастіемъ, ежели уронитъ на полъ крошечку отъ просвирки и эту крошечку мышка съѣстъ, съ того времени у нея крылья проявятся. И положено ей ужъ до земли не касаться, а летать въ нощи... Она только на бѣлое и чистое садится. Разстели здѣсь холстъ, она сейчасъ и сядетъ.

Пытался я его разспрашивать о близкихъ къ нему людяхъ и интересахъ и получалъ отвѣты въ такомъ родѣ:

— Ладно вы живете, должно-быть, со Степанидой?

— Ладно. Ничего.

— Хорошая она женщина?

— Хорошая. Ничего.

— А на деревнѣ у васъ хорошій все народъ?

— Хорошій. Ничего.

— А старшина каковъ?

— Ничего... и старшина ничего.

— Писарь?

— И писарь... Надо быть, хорошій и писарь.

— А становой?

— Не знаю... Не слыхалъ нешто.

— А братъ твой, Платонъ Абрамычъ, каковъ, по-твоему, человѣкъ?

— Ничего, хорошій...

— А какъ мірскія дѣла у васъ идутъ?

— Ничего, ладно... Со всячинкой тоже бываетъ.

— Ну, а вообще-то какъ вамъ живется?

— Ничего, справляемся.

— Не тяжельше прежняго?

— Иной годъ справляемся, иной — нѣтъ... А вотъ какъ ты уѣдешь — скучно намъ будетъ,—вдругъ перебиваетъ онъ самого себя.

— Отчего же такъ? Какое отъ меня веселье?

— Такъ ужъ все какъ-то, привычка. Вотъ теперь выйдешь изъ избы, анъ ты и тутъ... Мужики тоже толкутся, ребятишки. Все одно, какъ голуби къ жилому мѣсту, такъ и мы къ хорошему человѣку. Посидишь съ тобой, и пріятно.

Странное впечатлѣніе всегда производятъ на меня подобнаго типа крестьяне. Это—типъ уже вымирающій, какъ тяжелая, неповоротливая, созерцающая кэнгуру австралійскихъ лѣсовъ, погибающая въ борьбѣ за существованіе съ ловкими, пронырливыми хищниками новѣйшихъ формацій. Онъ уже рѣдокъ въ подгородныхъ деревняхъ, хотя въ глуши встрѣчается еще во всей неприкосновенности. Чѣмъ больше вы съ нимъ знакомитесь, тѣмъ болѣе нѣжныя чувства начинаете питать къ нему, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ вашу душу забирается какая-то досадливая грусть. Неужели же суровый законъ борьбы за существованіе всевластно царитъ и въ человѣчествѣ? Неужели человѣкъ не пробовалъ противустать его ужасному, антигуманному проявленію?

---

Это было въ половинѣ августа. День смотрѣлъ какъ-то особенно весело. Весело смотрѣла и деревня, словно вѣнкомъ окружившая себя золотыми одоньями хлѣба. Душевнѣе и веселѣе смотрѣли мужики. Но еще веселѣе и благодушнѣе смотрѣли они оттого, что нынѣшнее лѣто, не въ примѣръ прочимъ годамъ, Богъ накинулъ имъ лишнихъ двѣ мѣры на мѣру посѣва. Это показалъ имъ умолотъ съ перваго же овина. Такое неожиданное приращеніе благосостоянія въ хозяйствѣ неизбалованнаго человѣка наполнило его душу несказанною радостью, которую спѣшилъ онъ выразить заявленіемъ признательности. Наканунѣ, вечеромъ, когда старики собрались посидѣть у житницы и сообщить другъ другу результатъ перваго умолота, дѣдъ Абрамъ заявилъ: «Помолиться бы надо!»—«Надо! надо! Нельзя не помолиться: когда въ бѣдѣ, такъ просимъ, а отлегло, такъ знать не хотимъ!»—подхватили умиленные мужики. Тотчасъ же стукнули по окнамъ, собрали сходъ и постановили «заказной праздникъ». Итакъ, былъ заказной праздникъ, который собственно состоялъ въ томъ, что рѣшено было не выѣзжать въ поле. Утромъ сходили къ обѣднѣ, а послѣ обѣда всѣ занялись «по домашнему обиходу» и приготовленіемъ къ началу посѣва.

Дѣдъ Абрамъ сегодня былъ особенно благодушенъ и, въ умиленіи, постоянно крестился, когда заходилъ разговоръ объ урожаѣ нынѣшняго лѣта. Крестился и Антонъ, крестилась и Степанида. Мы не можемъ составить себѣ и приблизительнаго понятія о глубинѣ той признательности, которая наполняетъ душу крестьянина при сравнительно ничтожномъ успѣхѣ его полевыхъ трудовъ. Для этого необходимо

быть такимъ же истиннымъ землепашцемъ, каковъ былъ Антонъ.

Послѣ обѣда мы всѣ собрались у избы и весело глядѣли на желтые бока холмовъ, съ которыхъ была снята благодатная жатва и по которымъ теперь, картинно раскинувшись, лѣниво паслось стадо.

— Вишь, какіе перезвоны отъ стада-то несутся!—замѣтилъ Антонъ, когда донеслись до насъ, среди невозмутимой тишины, охватившей деревню, малиновые звуки отъ колокольцовъ и бубенцовъ, навѣшанныхъ на шеяхъ коровъ. Антонъ широко улыбнулся и посмотрѣлъ мнѣ въ лицо съ дѣтскимъ ожиданіемъ сочувствія къ его словамъ.

— Хорошо будетъ теперь скотинкѣ, благодареніе Богу! Травы собрали въ пору, соломы вдосталь будетъ... вздохнетъ! Всѣ вздохнутъ—и люди и скотина!—замѣтилъ, съ своей стороны, дѣдъ Абрамъ. — И чего жъ больше надо?.. Ничего больше не надо, какъ только вздоху! Ежели полегче вздохнулъ—тутъ тебѣ и счастье!

— Ежели теперь вздохнулъ легко, всю зиму легко продышишь,—вставила и свое слово Степанида и вдругъ вся зардѣлась.

Степанида была до того молчаливое, всепоглощенное физическою работой существо, что рѣдкія фразы, которыя приходилось ей говорить, помимо отношенія къ хозяйству, бросали ее въ краску, въ особенности при постороннихъ людяхъ.

Такъ наивно-благодушно бесѣдовали мои хозяева, предвкушая ту невеликую сумму довольства, которая вся исчерпывалась словами: «только бы намъ вздоху—тутъ и счастье!»

Въ концѣ деревенской улицы вдругъ показалось облако пыли, послышался ревъ коровы и скрипъ тяжело нагруженнаго воза. Пыльное облако разросталось все больше и больше и, наконецъ, чуть не столбомъ поднялось надъ деревней.

— Экъ напустилъ какую тучу! и поселенье наше все утопилъ!—сказалъ дѣдъ, всматриваясь въ облако изъ-подъ ладони.— Кто бы это такой? Надо думать, прасолъ.

Дѣдъ поднялся и вышелъ на середину улицы.

— Антонъ! глядь-ко-сь ты, что-то мнѣ мерещится, будто наши это...

И Антонъ сталъ всматриваться.

— Платонъ Абрамычъ и есть!

— Господи, помилуй! Что за оказія— всѣмъ домомъ снялся!—проговорилъ дѣдъ, когда возъ почти уже подъѣхалъ къ нему.— Что такъ?—спросилъ онъ Платона Абрамыча, въ недоумѣніи поглядывая на возъ.

Платонъ Абрамычъ, — низенькій, коренастый, краснощекій, съ русою бородкой, въ розовой ситцевой рубахѣ, въ картузѣ и большихъ сапогахъ, сплошь покрытыхъ сѣрымъ слоемъ пыли,—шелъ вблизи лошади и нервно дергалъ ее постоянно вожжами. Въ отвѣтъ дѣду онъ только отчаянно махнулъ рукой и, сурово хлеснувъ лошадь кнутомъ, остановилъ ее у воротъ Абрамовой избы. Но въ то время, какъ Платонъ Абрамычъ собирался отвѣчать, съ возу вдругъ скатилась рыхлая, съ большими грудями, уже довольно пожилая женщина, въ ситцевомъ платьѣ, и, истерически рыдая, поочередно припадала къ груди дѣда Абрама, Антона и Степаниды. Сквозь ея рыданія только и слышно было, что: «Милые! родные наши! Нищіе мы, нищіе! Милый тятенька! Родной Антонъ Абрамычъ! Голубушка Степанидушка, невѣстушка дорогая! Не покиньте, не оставьте сиротъ горькихъ!»—причитала она и снова по очереди начинала припадать то къ одному, то къ другому изъ нихъ. Я всталъ и отошелъ въ сторону, такъ какъ замѣтилъ, что горе этой женщины, повидимому, было настолько велико, что для изліянія его ей недостаточно, казалось, было грудей родственниковъ, и она выражала уже намѣреніе броситься и къ моимъ ногамъ. Между тѣмъ Платонъ Абрамычъ уже ввелъ лошадь съ возомъ, наверху котораго сидѣлъ мальчикъ, а сзади были привязаны корова, телка и коза, подъ навѣсъ двора, и на рыданія его супруги начала сходиться къ избѣ вся деревня.

Я ушелъ къ себѣ и изъ отрывочныхъ фразъ, долетавшихъ до меня со двора, могъ, наконецъ, узнать, что сегодня утромъ Платонъ Абрамычъ погорѣлъ.

Не прошло и получаса, какъ ко мнѣ вошелъ Платонъ Абрамычъ, уже въ вытертыхъ насвѣтло сапогахъ, умытый и причесанный.

— Весьма, значитъ, пріятно... Какъ выходитъ, по-родственному... Потому мы дѣти будемъ этому самому старичку Абраму... Весьма пріятно вступить въ обхожденіе,— говорилъ онъ какъ-то особенно вычурно и съ ужимками торговаго человѣка.

— Вы погорѣли?

— Да-съ, воля Божья. Но при всемъ томъ, я не ропщу. Принимаю съ покорностью.

И Платонъ Абрамычъ присѣлъ.

Но онъ опять тотчасъ же вскочилъ и скороговоркой сказалъ:

— Стѣсненія не будетъ для васъ, ежели бы сюда самоварчикъ... по-благородному? Потому мы съ супругой все болѣе по купеческому обиходу, и было бы весьма съ непривычки затруднительно... ежели бы, по нашему несчастію, въ курной избѣ... При всемъ томъ, мы хорошее обращеніе понимаемъ. Будьте въ надеждѣ!.. Жили завсегда въ свое удовольствіе!

Я еще не успѣлъ отвѣтить, какъ въ дверь, тяжело переступая черезъ порогъ, вошла жена Платона Абрамыча съ маленькимъ семилѣтнимъ сынишкой за руку и тотчасъ заплакала.

— Ахъ, милый баринъ, не откажите сиротамъ! Вѣдь, отъ такой, можно сказать, пріятной жизни, и вдругъ чайку негдѣ съ удовольствіемъ напиться! Каково это, милый баринъ, вѣкъ-то изживши въ обхожденіи съ богатыми и благородными?— причитала она.

— Побалуй ужъ ихъ на первый разъ, Миколай Миколаичъ! Что съ ними сдѣлаешь!.. Невѣстка-то, вишь, у меня въ купеческомъ обиходѣ возросла, претитъ ей мужицкая-то кухня, — добродушно забросилъ и свое словцо дѣдушка Абрамъ.

— Сдѣлайте милость,—согласился я.

Платонъ Абрамычъ тотчасъ же побѣжалъ за самоваромъ и скоро внесъ его самъ въ комнату, пыхтя и приговаривая:

— Мы все сами!.. Мы, въ несчастіи нашемъ, никого утруждать не желаемъ! Мы скорѣе себѣ какое стѣсненіе сдѣлаемъ, нежели другихъ убезпокоить!

За самоваромъ супруга Платона Абрамыча втащила какіе-то корзиночки и узелки съ чаемъ, сахаромъ, кренделями, хлѣбомъ. Вынимая каждую вещь, она приговаривала:

— Мы все съ своимъ; мы не привыкли одолжаться, мы другихъ одолжали, а не то что самимъ одолжаться... Мы къ этому непривычны... Хотя и въ разореньи мы, и въ большомъ несчастіи, а послѣднюю рубаху лучше продадимъ, чѣмъ кого собою утѣснять рѣшимся!

Перебивая и дополняя рѣчи одинъ у другого, постоянно извиняясь, погорѣльцы, наконецъ, прочно основались около самовара и вполнѣ, кажется, вошли въ роль хозяевъ.

— Господинъ! сдѣлайте милость, искушайте! Не побрезгайте! Тятенька! да ты постой, погоди парную-то воду дуть... Ахъ, старичокъ, старичокъ! Скусу ты хорошаго не знаешь... Маланья Ѳедоровна! бутылочка-то гдѣ же?—спрашиваетъ Платонъ Абрамычъ свою супругу.

— Здѣсь, здѣсь, милый тятенька! на вашу старческую долю Господь сохранилъ церковнаго винца бутылочку... Такъ думать надо, угодили вы ему своими молитвами!—дополнила Маланья Ѳедоровна.

— Что говорить! Радѣтели завсегда были!—отзывался благодарный дѣдъ.

— Да мы, тятенька, это весьма понимаемъ, что ежели родитель! Это будьте въ надеждѣ! Престарѣлость мы всегда весьма почитаемъ,—увѣрялъ Платонъ Абрамычъ.— Гдѣ же братецъ Антонъ Абрамычъ? Пожалуйста, братецъ, за компанію...

— А невѣстушка?.. Степанидушка, да пожалуйста! вотъ кренделечковъ... Да вы будьте по-родственному! Вы не смотрите, что мы въ несчастіи. мы послѣднюю рубаху продадимъ,—дополняла Маланья Ѳедоровна.

— Да мы даже настолько къ родителю привержены, — опять начиналъ Платонъ Абрамычъ,—что ежели ужъ Господу угодно такое произволеніе, такъ мы и землепашные труды примемъ въ помощь родителю... Окажемъ всякую трудомъ нашимъ поддержку.

Въ такомъ родѣ долго еще объяснялись супруги-погорѣльцы, соревнуя одинъ другому въ выраженіи братской и сыновней любви, пока, наконецъ, не перешли къ разговору о пожарѣ. По ихъ разсказамъ оказывалось, что у нихъ сгорѣло все «до синя пороха», что и денегъ они, которыя «праведными трудами нажили», не успѣли спасти, что если что и осталось, такъ рухлядь, которую они даже не взяли съ собой, а оставили у знакомыхъ, чтобы «не стѣснить родителя». Тема «разоренья» была настолько богата, что оказалось необходимымъ подогрѣть еще разъ самоваръ. Мнѣ надоѣло, наконецъ, это нытье, и я ушелъ. Но такъ неожиданно налетѣвшіе на нашу мирную жизнь гости долго еще продолжали чайничать «по-благородному».

Дѣйствительно, на слѣдующее утро Платонъ Абрамычъ пожелалъ принять «землепашные труды въ помощь родителю».

— Ну, ну, посмотримъ!—говорилъ дѣдушка Абрамъ, пока Антонъ, тоже посмѣиваясь, снаряжалъ для Платона Абрамыча борону.

Платонъ Абрамычъ при этомъ не переставалъ выражать чувства сыновней и братской любви.

— А я, милая Степанидушка, невзирая на купеческое свое обхожденіе, всякіе труды съ тобой подѣлю: и коровушекъ подою, и воды прин.су, и печь истоплю. Приказывай! какъ хозяйка, приказывай! Потому ежели такое отъ Господа произволенье, что мы въ несчастіи, то смиренно стряпухино званіе на себя примемъ, не ропща,—въ свою очередь, говорила Маланья Ѳедоровна Степанидѣ.

Казалось, миръ и любовь окончательно утвердились въ благословенной семьѣ деревенскаго патріарха. Такъ думала деревня, такъ, повидимому, думали и сами Абрамъ и Антонъ.

По крайней мѣрѣ, они благодушно молчали. Но я, какъ посторонній, и притомъ внимательный наблюдатель, могъ съ каждымъ днемъ замѣчать, какъ капля по каплѣ просачивалось въ «райскую тишину», царившую прежде въ семьѣ Абрама, нѣчто «новое», нѣчто такое, что хотя и незамѣтно, но, тѣмъ не менѣе, неотразимо могло превратить эту «райскую тишину» въ пристанище злого духа. Своей непосредственною натурой чуяла то же самое, должно-быть, и Степанида, такъ какъ на лицо ея съ каждымъ утромъ все гуще и гуще ложились сумрачныя тѣни. Это «нѣчто» замѣчалось мною въ такомъ порядкѣ: прежде всего, «чаепитіе по-благородному и съ купеческимъ обхожденіемъ» продолжалось въ моей половинѣ и на слѣдующій день, затѣмъ и еще на слѣдующій и такъ далѣе, пока не вошло въ ежедневный обиходъ, даже безъ извиненій. Я этимъ, впрочемъ, не особенно огорчался, такъ какъ большую часть времени проводилъ «на волѣ». Но не отмѣтить этого, въ сущности, ничтожнаго обстоятельства, все-таки, не могъ. Не могъ не отмѣтить и того, что Вася и Степанида, спавшіе прежде въ прохладной клѣти, противъ моей половины, вытѣснены были скоро въ стряпную половину избы, въ которой была нестерпимая жара и духота и гдѣ могли париться на печи только старыя кости дѣда Абрама. Такимъ образомъ, прохладная клѣть оказалась въ распоряженіи Маланьи Ѳедоровны, вопреки ея обѣщанію покорно подчиняться произволенію Божію—«спать ей въ сѣняхъ, какъ горькой сиротѣ». Не могъ не отмѣтить я и того, что Платонъ Абрамычъ, несмотря на столь ревностно заявленное желаніе «принять землепашные труды въ помощь родителю», въ первое уже утро работы вернулся очень скоро съ поля домой съ изорванною сбруей на лошади и съ великимъ негодованіемъ на плохой присмотръ Антона за земледѣльческими орудіями, «съ которыми развѣ только дуракъ можетъ управляться, а не то что умственный крестьянинъ». Послѣ этого Платонъ Абрамычъ больше уже не брался за землепашные труды и только резонерствовалъ да съ сожалѣніемъ пожималъ плечами, когда Антонъ и дѣдъ Абрамъ добродушно посмѣивались надъ его «неумѣлостью».

Скоро Платонъ Абрамычъ сталъ и совсѣмъ рѣдко бывать дома: то онъ цѣлый день бесѣдовалъ на деревенской улицѣ, угощался «съ нужными людьми» водкой, то ѣздилъ по сосѣднимъ деревнямъ и селамъ. Скоро въ нашемъ мирномъ житьѣ образовалась правильная торговая операція. Нерѣдко, входя въ свою половину, я находилъ за чаепитіемъ Платона Абрамыча въ компаніи съ какими-то очень льстивыми и ловкими сибирками, а по праздникамъ у нашей избы толпились мужики, что-то привозившіе Платону Абрамычу въ закладъ, мѣнявшіеся скотиной и лошадьми. Часто надъ нашею «мирною обителью» стала носиться ужасающая ругань и проклятія подпившей и обобранной кѣмъ-то бѣдности. Маланья Ѳедоровна, въ то же время, изъ своей клѣти скоро сдѣлала не то деревенскій магазинъ, не то кладовую: тихонько отъ мужей, тащили къ ней бабы яйца, масло, холстъ, куръ, ягоды, и часто я имѣлъ удовольствіе видѣть и слышать, какъ она, вся мокрая отъ пота, раскраснѣвшаяся и раскисшая, какъ будто ея рыхлое тѣло дѣлалось отъ жары еще рыхлѣе, возсѣдала въ своей кладовой на опрокинутой кадушкѣ и то торговалась или сплетничала съ бабами, то окрикивала довольно-таки повелительно свою сноshеницу Степаниду, то ругала и даже била Васю, на котораго постоянно жаловался ея

плаксивый сынишка. Изъ этого легко можно видѣть, какъ постепенно преобразовывалось и во что, въ концѣ-концовъ, могло обратиться и мое деревенское «монрепо», и мирная патріархальная обитель. И удивительное дѣло: чѣмъ шире и шумнѣе становилось торжище, чѣмъ неотвратимѣе вытѣсняло оно собою «мирное, безгрѣховное житіе» истиннаго землепашца, тѣмъ этотъ землепашецъ робѣлъ все больше и больше, тѣмъ быстрѣе какъ-то онъ стушевывался, тѣмъ сосредоточенно-молчаливѣе онъ дѣлался, и только густыя тѣни скорби и грусти все рѣзче ложились на его лицо. Въ этомъ торжищѣ, дѣйствительно, какъ-то совсѣмъ затерялись не только Антонъ и Степанида, но даже самъ дѣдъ Абрамъ. Даже я, посторонній человѣкъ, какъ-то оробѣлъ. Такова сила наглости. Наглость—это могучее орудіе въ рукахъ хищника.

Я какъ-то сказалъ дѣду Аґраму, что очень шумно и безпокойно стало у насъ.

— Прости, Миколай Миколаичъ,—отвѣчалъ онъ,—да вѣдь мы тутъ непричинны,—несчастье виновато. А съ кѣмъ оно не бываетъ? Ежели несчастье кого утѣснитъ, то и всякъ долженъ потѣсниться, на себя часть принять. Такъ ли? У насъ, при такомъ несчастьи-то, чужія семьи въ избу пускаютъ, да еще не одну, однихъ ребятишекъ куча наберется... А нельзя, надо постѣсниться, пока обиталища себѣ н·· выведутъ... Надо погодить; поди, Платонъ Абрамычъ давно ужъ объ этомъ заботу имѣетъ, чтобы къ осени опять построиться.

Но предположеніе дѣда Абрама, повидимому, не совсѣмъ оправдывалось.

Вскорѣ послѣ нашего разговора, вечеромъ, возвращаясь съ гулянья, я засталъ на моей половинѣ чаепитіе: за самоваромъ сидѣлъ Платонъ Абрамычъ, дѣдъ Абрамъ и одинъ изъ зажиточныхъ крестьянъ нашей деревни. Меня, по обыкновенію, пригласили къ чаю.

— Какову у насъ старичокъ-то избу вывелъ послѣ пожара!—говорилъ Платонъ Абрамычъ гостю, показывая рукой на стѣну,—хотя бы купцу въ пору! Хоромы!

— Пространная изба!—замѣтилъ гость.

— Весьма пространная, — подтвердилъ Платонъ Абрамычъ,—только хозяина при ней надлежащаго нѣтъ. Старичокъ ужъ немощенъ, а Антонъ Абрамычъ и самъ только при умственномъ хозяинѣ можетъ значеніе имѣть. Прикажи ему — онъ, все равно какъ лошадь, отработаетъ, а ежели что изъ своего пониманія — этого у него весьма мало имѣется!

И Платонъ Абрамычъ распространился съ сожалѣніемъ о томъ, какъ такая «пространная» изба можетъ остаться безъ всякаго приложенія.

— Ты, вотъ, Платонъ Абрамычъ, свой домъ выведи съ этими приложеніями-то, а наша-то изба и такъ, для собственнаго простора, пригодится, — замѣтилъ дѣдъ Абрамъ.

— Богъ дастъ, и свой домъ выведемъ, и на это ума хватитъ! Только къ этому говоримъ, что сердце болитъ, смотря на такую необстоятельность. Вотъ что, старичокъ!—съ горестью замѣтилъ Платонъ Абрамычъ. — И куда вамъ просторъ-то? Потомству хоть, что ли бы, его предоставить, а то и потомства въ виду никакого не имѣется...

— Ну, вымремъ всѣ—тебѣ достанется,—сказалъ, посмѣиваясь, дѣдъ Абрамъ.

— Это все воля Божія-съ. А сказано тоже: «толцыте и предоставится»...

— А ты здѣсь, Платонъ Абрамычъ, обжился. По нраву пришлась деревня-то?—замѣтилъ гость.

— Мѣста привольныя и здѣсь! А главное дѣло—въ своемъ пониманіи, — отвѣчалъ Платонъ Абрамычъ съ смиреннымъ сознаніемъ своихъ достоинствъ.

— На то онъ и Платонъ Абрамычъ! Платонъ Абрамычъ — голова!.. Платона Абрамыча на болото посади—онъ и тамъ гнѣздо разведетъ!.. Онъ не загибнетъ!—говорилъ дѣдъ уже не съ умиленіемъ, какъ прежде, а какъ будто съ возраставшимъ все больше и больше изумленіемъ передъ дѣловитостью своего молодого сына.

Такъ прошло полтора мѣсяца; начинало пахнуть осенью, наступили заморозки, ненастье; я сталъ уже подумывать о переселеніи въ городъ, тѣмъ болѣе, что и на душѣ у меня какъ-то стало тяжело, когда я видѣлъ, во что обратилось наше мирное деревенское житье, и предчувствовалъ конечную погибель слабаго патріархальнаго человѣка подъ тяжелою рукой хищника. Я начиналъ даже разочаровываться и въ патріархальной способности дѣда Абрама «устроять домы чадъ своихъ» и совсѣмъ пересталъ называть его «Авраамомъ». Но неожиданно случилось такое совпаденіе

обстоятельствъ. Дѣдъ Абрамъ вдругъ захворалъ. Стариковъ, какъ и дѣтей, недугъ охватываетъ и измѣняетъ быстро. Вчера ребенокъ былъ рѣзвъ, веселъ, пухлыя щеки пылали здоровымъ румянцемъ, и ярко сіяли быстрые глазки, но болѣзнь въ въ одну ночь дѣлаетъ изъ него хилое, дряхлое существо; на утро его не узнаешь: блѣдная, прозрачная, синеватая кожа, вмѣсто свѣтло-розовой; тусклые грустные глаза, съ синими кругами подъ глазницами; тонкія, безсильныя руки и ноги. Такъ и со стариками. Дѣдъ Абрамъ вдругъ какъ-то осунулся, глаза еще дальше ушли подъ навѣсъ сѣдыхъ бровей. Старческія руки и ноги дрожали; съ лица сошла улыбка нравственнаго спокойствія и довольства; ее замѣнило выраженіе строгаго и сдержаннаго безпокойства. Къ вечеру онъ совсѣмъ слегъ; этимъ же вечеромъ исчезъ куда-то и Платонъ Абрамычъ; на слѣдующее утро не являлись ко мнѣ чайничать ни тотъ ни другой. Но около полудня къ избѣ подъѣхалъ возъ: это Платонъ Абрамычъ перевозилъ понемногу свое имущество изъ мѣста прежняго своего жительства. Вошла Степанида и сказала, что дѣдушка проситъ меня сойти къ нему. Въ сѣняхъ, около подклѣти, я встрѣтилъ Платона Абрамыча съ супругой, которые заполняли подклѣть всякою рухлядью: сундуками, кадушками, банками и коробами съ какимъ-то товаромъ. Въ нихъ замѣтна была какая-то лихорадочная поспѣшность.

— Что это вы? совсѣмъ переселяетесь?

— На ваше мѣстечко, господинъ!.. Что жъ такому простору впустѣ находиться?.. Это и передъ Богомъ грѣхъ!— отвѣчалъ Платонъ Абрамычъ съ какимъ-то особеннымъ нахальнымъ лицемѣріемъ.

— Мы, милый баринъ, не только что себѣ, а и другимъ сумѣемъ удовольствіе составить,—дополнила Маланья Ѳедоровна.

— А какъ ваша постройка на старомъ попелищѣ?

— Постройка, господинъ, отъ умнаго человѣка никогда не уйдетъ! Мы завсегда сумѣемъ построиться, если въ этомъ надобность будетъ,—нѣсколько туманно объяснилъ онъ.

Я сошелъ къ дѣду. Онъ лежалъ на нарахъ, навзничь, сложивъ на груди руки. Лицо его было строго и даже сердито.

— Ну, что, дѣдушка, какъ можется?— спросилъ я, подсаживаясь на лавку.

Онъ отвѣчалъ не скоро.

— Смерть идетъ, Миколай Миколаичъ,— проговорилъ онъ серьезно и неторопливо.

— Поправишься, — успокаивалъ я.—А что, дѣдушка, развѣ ты боишься умереть?

— Нѣтъ, умереть я не боюсь. Я только до времени умереть боюсь.. Потому не все я въ закончаніе привелъ, въ чемъ, значитъ, человѣку произволеніе жизни.

Онъ говорилъ медленно, съ передышкой.

— Думалъ, все исполнилъ... Анъ, выходитъ, жизнь-то не скоро учтешь. Учелъ разъ, анъ она опять впередъ тебя ушла... Только въ послѣдній часъ и учтешь. Ты бы мнѣ завѣщаніе написалъ,—сказалъ онъ.— Такъ черначокъ... Для нашего обихода и этого будетъ... Да въ другое время и безъ него бы обошлось. А теперь...

— Изволь.

Я взялъ бумагу и перо и приготовился писать.

— А ты перекрестись. Перекрестимся передъ началомъ.

Слѣдовало короткое завѣщаніе, по которому онъ отказывалъ своему названному внуку, Василью, 15 рублей деньгами, которые лежали у него въ изголовьѣ, зашитые въ груди кафтана. Тѣмъ все и кончалось.

— А сыновей что же ты не упомянулъ?

— Сыновей я одѣлилъ, какъ слѣдуетъ, по дѣдовскому завѣту. А слышь?—вдругъ спросилъ онъ.—Платонъ-то Абрамычъ совсѣмъ къ намъ перевозится?

— Да.

Онъ замолчалъ.

— Не совладать *имъ* однимъ, не совладать... На меня люди скажутъ!—сталъ выговаривать онъ, словно въ бреду, смотря неподвижно въ потолокъ.—Пока живъ— ничего, а умеръ... всяко бываетъ, всяко... Не совладать имъ однимъ... До суда доведутъ... А судъ—все людской судъ, не Божій... Ты тутъ, что ли, Миколаичъ?— спросилъ онъ.

— Здѣсь, Абрамъ Матвѣичъ, здѣсь.

— Ты что жъ меня Авраамомъ-то нонѣ не зовешь? Давно ужъ что-то не звалъ... А и по деревнѣ ужъ твое прозванье пошло.

— Развѣ нравится тебѣ?

— Недостоинъ,—проговорилъ онъ, помолчавъ, и затѣмъ смолкъ совсѣмъ.

Я положилъ написанную черновую завѣщанія ему подъ изголовье и вышелъ.

---

На слѣдующій день погода разведрилась. Осеннее солнце было ярко, но холодно. Въ свѣжемъ, прозрачномъ воздухѣ медленно плыли серебряныя нити паутинника. Словно какая-то сила невольно тянула вонъ изъ дома, на волю, на просторъ. Мнѣ хотѣлось воспользоваться послѣдними хорошими днями своего деревенскаго житья, и я собрался на охоту. Хотя поднялся я утромъ очень рано, однако на половинѣ дѣда Абрама было уже сильное оживленіе — говорили громко, крупно, хлопали особенно сильно дверями. Я сначала подумалъ, не умеръ ли дѣдъ. Но строгій часъ смерти невольно сокращаетъ и смиряетъ даже самыхъ хищниковъ... Когда я вошелъ во дворъ умываться, встрѣтившаяся мнѣ Маланья Ѳедоровна не только обычно не привѣтствовала меня льстивымъ привѣтствіемъ, но какъ-то особенно сердито шмыгнула мимо меня. Самоваръ принесъ мнѣ Антонъ, какъ и всегда, благодушно-молчаливо улыбавшійся.

— Ну, что дѣдъ?—спросилъ я.

— Ничего. Слава тебѣ, Господи. Поправляется.

— Ну, вотъ и хорошо... А что это вы тамъ расшумѣлись такъ съ ранняго утра?

— Ничего. Тутъ мы не при чемъ... Дѣло родительское.

Антонъ улыбнулся и тотчасъ же перебилъ самого себя замѣчаніемъ насчетъ поэтической «пріятности», съ которою распѣвалъ пѣсни весело шумѣвшій самоваръ.

А когда я совсѣмъ одѣлся, взялъ ружье и вышелъ, то на завалинѣ нашей избы встрѣтилъ дѣда Абрама, сидѣвшаго среди четырехъ-пяти такихъ же стариковъ. Сивые или совсѣмъ бѣлые, какъ лунь, лысые или съ выстриженными по-стариковски маковицами, они ежились отъ утренней свѣжести въ своихъ дырявыхъ полушубкахъ.

Дѣдъ Абрамъ, несмотря на то, что былъ слабъ и его била лихорадка, старался шутить и глядѣть веселѣе.

На мое привѣтствіе и на мой вопросъ, о чемъ они толкуютъ, дѣдъ отвѣчалъ:

— А вотъ гадаемъ, кому раньше въ гробъ ложиться, такъ грѣхи учитываемъ, чтобъ ужъ чисто было... А коли что забудется, такъ пущай, кто вживѣ останется, за покойника справитъ. Объ чемъ намъ больше толковать-то? Нами ужъ и тына не подопрешь!—шутилъ дѣдъ Абрамъ.

Старики утвердительно кивали на его слова головами и подкрѣпляли ихъ приличными изреченіями народной мудрости.

— Разгуляться идешь?—спросилъ дѣдъ.

— Да, да.

— Ну, ступай! Побѣгай, пока молодъ. А состарѣешься, какъ мы же, такъ больше того, что грѣхи учитывать, не придется.

Я проходилъ весь день и вернулся только къ вечеру. Каково же было мое изумленіе, когда я увидалъ слѣдующую необычную сцену. Отъ воротъ, съ завалинъ и изъ оконъ избъ любопытная деревня внимательно смотрѣла по направленію къ избѣ дѣда Абрама, отъ которой неслись какія-то истерическія рыданія, пересыпаемыя руганью и всякими жесткими пожеланіями. Я узналъ голосъ Маланьи Ѳедоровны, хотя у самой избы еще не было никого замѣтно. Когда же я подошелъ на середину деревни, вдругъ навстрѣчу мнѣ изъ воротъ Абрамовой избы выѣхалъ тяжело нагруженный всякимъ скарбомъ возъ, и на немъ, какъ и раньше, сидѣла съ своимъ сыномъ Маланья Ѳедоровна. Она что-то кричала, обращаясь ко всей деревнѣ, между тѣмъ какъ самъ дѣдъ Абрамъ, спотыкаясь слабыми ногами, съ открытою головой, выводилъ торопливо лошадь подъ устцы на середину улицы. За этимъ возомъ, изъ-подъ воротъ, выѣхалъ другой. Какъ и прежде, нервно и зло дергая вожжами, шелъ за нимъ Платонъ Абрамычъ въ розовой ситцевой рубахѣ, въ жилеткѣ съ разноцвѣтными стеклянными пуговками и въ новомъ суконномъ картузѣ. Онъ былъ красенъ и весь въ поту отъ волненія, а широко открытые глаза его, какъ у помѣшаннаго, бѣгали изъ стороны въ сторону.

Дѣдъ Абрамъ поставилъ лошадь по направленію къ вереѣ, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ съ ней по дорогѣ, ударилъ ее вожжами, потомъ перебросилъ ихъ ей на спину и, отойдя, махнулъ вслѣдъ уѣзжавшимъ рукой.

— Добрые люди! Добрые люди! Посмотрите! Возлюбуйтесь! Какія дѣла-то у васъ дѣлаютъ, дѣла-то какія!—наконецъ разобралъ я, какъ причитала Маланья Ѳедоровна, подбирая брошенныя дѣдомъ вожжи.— Родители дѣтей своихъ изгоняютъ! кровь свою, кровь пьютъ! Милые, да виданное ли это дѣло? За ласку-то нѣжную! За обходительность-то нашу! Возлюбуйтесь, добрые люди!—визгливо выкрикивала она,

поворачивая постоянно къ деревнѣ свое раскраснѣвшееся лицо.

— Съ Богомъ!..—говорилъ ей въ отвѣтъ дѣдъ Абрамъ, махая рукой, когда быстро проѣхалъ мимо него Платонъ Абрамычъ, не сказавъ ни слова, и только такъ дернулъ вожжами, что лошадь шарахнулась въ сторону и чуть не упала. Онъ выругалъ ее, и оба воза скрылись за околицей. Но долго еще изъ-за околицы неслись въ деревню выкрики и причитанія Маланьи Ѳедоровны.

Въ это время уже почти совсѣмъ закатившееся солнце выглянуло въ ложбину между холмами и послѣдними красноватыми лучами облило деревенскую улицу, на серединѣ которой все еще стояла высокая, нѣсколько сгорбленная фигура сѣдаго старика, въ синей изгребной рубахѣ, посконныхъ штанахъ и лаптяхъ, съ открытою головой и широкою сивою бородой, которую раздувалъ слегка налетавшій изъ-за околицы сырой вечерній вѣтеръ. Наконецъ онъ, поглаживая бороду и задумчиво опустивъ голову, поплелся медленно къ своей избѣ.

Я уже успѣлъ раздѣться и, усталый, легъ на лавку. Какая-то безмолвная тишина воцарилась неожиданно кругомъ. Легко вздохнулось груди. Такъ послѣ мучительной, но искусной операціи трудно стонавшій больной вдругъ чувствуетъ, какъ невыносимая тяжесть свалилась съ его плечъ, и его грудь вздохнула свободно въ первый разъ послѣ долгихъ, мучительныхъ, безсонныхъ ночей. И вдругъ среди этой тишины раздался знакомый звукъ: скрипнула тихо дверь, въ нее выглянуло благодушное лицо дѣда Абрама, и раздался обычный прежде, но давно уже забытый вопросъ:

— Не наставить ли кипяточку?

— Да, да, дѣдушка Авраамъ! Непремѣнно!—вскрикнулъ я.

И затѣмъ опять услыхалъ я неторопливую хлопотню дѣда со внукомъ около самовара и обычныя обученія «порядку».

За моимъ самоваромъ опять очутились мы втроемъ: я, дѣдъ и внукъ.

— Ну, что, дѣдушка, получше ли тебѣ?— спросилъ я.

— Получше, кажись... А все плохо... Чую, что все уже не то что-то... Оборвалось!

Дѣйствительно, хотя онъ и старался попрежнему благодушно улыбаться, но что-то страдальческое виднѣлось въ этой улыбкѣ, а державшія блюдце грубыя, заскорузлыя руки дрожали такъ. что чуть не выливалась съ него вода. О Платонѣ Абрамычѣ мы не говорили больше, такъ какъ на мой вопросъ: «почему это все такъ случилось?» дѣдъ отвѣчалъ нехотя: «Что тутъ! Видимое дѣло».

Очевидно, ему было тяжело говорить объ этомъ.

Скоро я распростился съ дѣдомъ — и навсегда. Полгода спустя, въ началѣ весны, я встрѣтилъ въ городѣ пріѣхавшаго на базаръ Антона. Онъ сообщилъ мнѣ, что дѣду становилось зимой все хуже, что на Рождествѣ его похоронили, что Платонъ Абрамычъ на похоронахъ не былъ и что на деревнѣ и на селѣ, у поповъ, по сейчасъ еще, вспоминая старика, прозываютъ его не иначе, какъ дѣдушкой Авраамомъ.

1879 г.

## Безумецъ.

(Былина).

### I.

Онъ шелъ, изнеможенный и усталый, покрытый пылью. Путь его былъ дологъ, суровъ и утомителенъ. Впереди и позади его лежала желтая, высохшая, какъ камень, степь. Солнце палило ее горячими лучами; жгучій вѣтеръ, не освѣжая, носился и рвался по ней, перегоняя тучи сухого песку и пыли. Кое-гдѣ бродили только сѣрыя стада овецъ да табуны кобылъ. Селенія попадались рѣдко, да и тѣ были жалки и убоги. Онъ не надолго останавливался въ нихъ и снова торопился впередъ. Онъ чувствовалъ, что изнемогаетъ. Но то, что оставалось ему пройти и вынести теперь, было безконечно мало въ сравненіи съ тѣмъ, что было имъ пройдено и испытано позади. Это придавало ему бодрости и силы. А когда онъ прижималъ руку къ груди и чувствовалъ, что драгоцѣнный кладъ, найденный имъ, лежитъ около его сердца, ему становилось такъ легко, отрадно, какъ будто ноги его не чувствовали усталости, голова—истомы, и ему казалось, что его несли невидимыя крылья.

Онъ еще болѣе ускорялъ шаги и говорилъ себѣ: «Скорѣе! скорѣе! пора! дойду ли я? Я чувствую, что мои силы изсякаютъ съ каждымъ шагомъ... Увы, ихъ едва хватило, чтобы совершить только то, что я успѣлъ. Кого я застану *тамъ*, дома? Каковы они теперь, мои братья, сестры и дѣти? Ждутъ ли они меня, или же давно похоронили и сочли погибшимъ навѣки мечтателя-безумца? Или, можетъ-быть, они отвернутся отъ меня, отрекутся и, устыдясь своего отца и брата, скажутъ: «мы не знаемъ тебя и не хотимъ слушать твой безумный бредъ!»

При этой мысли онъ вдругъ поблѣднѣлъ, пріостановился и медленно провелъ рукою по горячему лбу.

— Бредъ!—повторилъ онъ. — И это— бредъ!?

Онъ снова приложилъ руку къ сердцу и, просіявъ младенческою радостью, быстро двинулся впередъ.

Къ концу пути какъ будто еще жесточе палило солнце; какъ будто еще злѣе крутилась вкругъ него горячая пыль; какъ будто вся степь, окутанная раскаленною дымкой, дышала зноемъ и истомой; онъ шелъ все быстрѣе и быстрѣе. Лицо его уже давно обгорѣло и стало мѣдно-краснымъ, руки были покрыты истрескавшимися сухими мозолями, на босыхъ ногахъ виднѣлись язвы; посконная рубаха взмокла отъ пота; сквозь слой пыли, покрывавшей его бороду, проступала сѣдина.

## II.

На этотъ путь онъ вышелъ рано, когда еще только занималась заря его жизни, когда горячая кровь еще ключомъ билась въ его жилахъ, когда онъ только что испыталъ первыя ласки взаимной любви, когда все сулило ему впереди покой, довольство, досугъ и блага земныхъ счастливцевъ, — вотъ еще когда безумная мысль забралась въ его душу и стала терзать его бѣдную голову.

Вначалѣ никто не замѣчалъ приступовъ его безумія, но когда онъ робко заявилъ сомнѣніе въ правотѣ и прочности сулимаго ему благополучія, его стали подозрѣвать...

Онъ ушелъ не одинъ: ихъ было много вмѣстѣ съ нимъ, такихъ же безумцевъ. Что они были безумцы,—для всѣхъ скоро стало ясно и безспорно. Когда они уходили, они дали другъ другу клятву: «мы не вернемся къ своимъ, пока не испытаемъ и не перенесемъ на себѣ всѣ язвы страждущихъ и угнетенныхъ, не сносимъ на себѣ всей проказы, разъѣдающей ихъ, не причастимся ихъ скорбей и радостей, не переживемъ ихъ печалей и упованій...» Они ушли. Это былъ путь долгій, крестный и тернистый: они шли по городамъ, спускались въ вертепы нищеты и разврата, били камни на мостовыхъ и выгребали нечистоты; страдали и валялись, какъ прокаженные, вмѣстѣ съ другими по пріютамъ и больницамъ; они входили на фабрики и стояли за станками до ломоты въ костяхъ, до отупѣнія головы, до онѣмѣнія членовъ; они спали на нарахъ, переполненныхъ паразитами, среди женъ, не знавшихъ мужей, и среди матерей и отцовъ, не узнававшихъ дѣтей; они рыдали съ запроданными въ рабство младенцами и закабаленными стариками. Они шли въ деревни—и корчевали пни, бороздили тяжелымъ плугомъ подъ палящимъ зноемъ каменистую почву; становились къ пылающимъ горнамъ кузницъ. Они шли на широкія рѣки съ толпами голодныхъ рабочихъ и тянули бурлацкую лямку; они спускались въ темныя подземныя шахты и, подъ страхомъ смерти, какъ черви, ползали по норамъ; они голодали съ переселенцами, мокли по поясъ въ грязныхъ ямахъ съ землекопами; терпѣли отъ штрафовъ, обмана и безработицы; ложились подъ розги; сидѣли по казематамъ и острогамъ.

Таково было это безуміе.

## III.

Ему оставалось немного до конца пути, всего два-три ночлега. Онъ присѣлъ отдохнуть у верстового столба, и когда взглянулъ на свои ноги, грудь и руки, когда почувствовалъ, что всѣ члены его онѣмѣли и застонали кости,—ему вдругъ вспомнился весь его добровольный крестный путь, и ему стало страшно. Онъ невольно оглянулся кругомъ себя: онъ былъ одинъ, совсѣмъ одинъ въ безпредѣльной, пылающей зноемъ степи. Немного осталось ихъ изъ этой кучки безумцевъ: одни давно измѣнили и продали себя, другіе— не вынесли, «устали впередъ итти» и

вернулись, третьи... третьи погибли, какъ безвѣстные пловцы въ безбрежномъ и глубокомъ морѣ. Ему стало тяжело, горько и больно; казалось, онъ только теперь ощутилъ всю безконечную тяжесть поднятаго креста; казалось, онъ только теперь понялъ всю глубину своего безумія... «Зачѣмъ? Зачѣмъ было все это? И кому будетъ отъ этого легче, кому прибавится хотя на ноготь счастія, силы, энергіи, славы?.. Безуміе! Безуміе!»—готовъ былъ онъ крикнуть въ отчаяніи, какъ почувствовалъ, что его сердце радостно забилось и тихая врачующая теплота разлилась по всему тѣлу: онъ не слыхалъ уже ни стона костей ни боли язвъ. Онъ схватился за грудь, почувствовалъ драгоцѣнный кладъ, лежавшій около сердца,—и отчаяніе смѣнилось трепетной боязнью: «Скорѣе, скорѣе! Только бы донести... Богъ вѣсть, будутъ ли изъ насъ еще такіе безумцы, какъ мы!.. А если... если опять и опять *тамъ* не повѣрятъ въ слѣпомъ самодовольствѣ? Если мои слезы и восторги опять и опять обзовутъ безуміемъ даже родныя дѣти?!.. О, тогда... тогда я уйду назадъ!»—И глаза его, дѣйствительно, заблистали безумнымъ огнемъ.

## IV.

«Скорѣе, скорѣе!» — твердилъ онъ и шелъ впередъ. На четвертыя сутки онъ вошелъ въ родной городъ. Робость овладѣла имъ среди шумной и многолюдной улицы. Многіе останавливались въ изумленіи и смѣялись надъ его лохмотьями. Одни говорили съ жалостью и состраданіемъ: «онъ еще все бредетъ, несчастный!» Другіе восклицали, въ недоумѣніи и испугѣ: «онъ еще живъ, безумецъ!» И среди тѣхъ и другихъ онъ примѣтилъ нѣкоторыхъ изъ своихъ друзей и близкихъ, которые не желали признать его. Третьи указывали на его грудь и кричали, самодовольные и упитанные: «онъ думаетъ, что несетъ настоящіе перлы! Не вѣрьте ему... Онъ лжецъ и смутитель. Вотъ у насъ настоящіе перлы, потому что мы сами оттуда, откуда пришелъ онъ!»—И они шумно и нагло продавали поддѣльные перлы, вынося ихъ на уличный рынокъ. То были народные Іуды.

Его охватилъ ужасъ. Но онъ скоро расслышалъ, что многіе, видя кровь, сочившуюся изъ его ранъ, робко оглядываясь, уже стали шептать другъ другу: «нѣтъ, онъ искрененъ... Его перлы не могутъ быть поддѣльны...»

Тогда въ душѣ его мелькнула искра надежды.

Смущенный и робкій, переступилъ онъ черезъ родной порогъ.

И когда онъ увидалъ своихъ близкихъ, изможденныхъ отъ труда и заботъ, грустныхъ отъ пережитыхъ потерь и измѣнъ, изнуренныхъ отъ духовной жажды и неудовлетворенности, и когда двое— юноша и дѣвушка, его дѣти—бросились къ нему, цѣлуя прахъ его ногъ, онъ, безумецъ старый, упалъ и обезсилѣвшею рукой едва успѣлъ передать съ груди своей драгоцѣнный кладъ.

— Это—перлы, которые досталъ я съ глубины народнаго моря... Въ нихъ залогъ его и вашего воскресенія и спасенія.

И когда увидалъ онъ, какъ благоговѣйно приняли они эти перлы на свои груди, онъ радостно улыбнулся имъ и едва слышно прошепталъ:

— Я чувствую, мой конецъ близокъ... Мои силы изсякли... Взлелѣйте же вы эти перлы въ своей душѣ... Освѣтите ихъ творчествомъ мысли и теплотою сердца... Когда же вы будете достойны, чтобы возвратить ихъ народу въ блескѣ и сіяніи торжества и славы,—скажите тогда: *твоя отъ твоихъ тебѣ приношу.*

Послѣ того мечтатель - безумецъ тихо скончался.

1887 г.

**Дмитрій Наркисовичъ Маминъ-Сибирякъ.**

(Род. въ 1852 г.).

## Бойцы.

(Въ сокращеніи).

Ой, дубинушка, ухнемъ!!.

### I.

Мы пріѣхали на пристань Каменку ночью. Утромъ, когда я проснулся, ласковое апрѣльское солнце весело глядѣло во всѣ окна моей комнаты; гдѣ-то любовно ворковали голуби, задорно чирикали воробьи, и съ улицы доносился тотъ неопредѣленный шумъ, какой врывается въ комнату съ первой выставленной рамой.

Весна, безспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чемъ писано и переписано поэтами всѣхъ странъ и народовъ; но едва ли гдѣ-нибудь весна такъ хороша, какъ на далекомъ, глухомъ сѣверѣ, гдѣ она является поразительнымъ контрастомъ, сравнительно съ суровой зимой. Притомъ южная весна наступаетъ исподволь, а на сѣверѣ она, наоборотъ, производитъ быстрый и стремительный переворотъ въ жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой разомъ зимнія декораціи перемѣняются на лѣтнія. Съ яснаго, голубого неба льются потоки животворящаго свѣта, земля торопливо выгоняетъ первую зелень, блѣдные сѣверные цвѣточки смѣло пробиваются черезъ тонкій слой тающаго снѣга—однимъ словомъ, въ природѣ творится великая тайна обновленія, и, кажется, самый воздухъ цвѣтетъ и любовно дышитъ преисполняющими его силами. Прибавьте къ этому освѣженную, глянцевитую зелень сѣвернаго лѣса, веселый птичій гамъ и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лѣсъ, и поля, и воздухъ. Это величайшее торжество и апоѳеозъ той великой силы, которая неудержимо льется съ голубого неба, какимъ-то чудомъ претворяясь въ зелень, цвѣты, ароматъ, звуки птичьихъ пѣсенъ, и все кругомъ наполняетъ удесятеренной, кипучей дѣятельностью. Я люблю этотъ великій моментъ въ бѣдной красками и звуками жизни сѣверной природы, когда смерть и

нѣмое оцѣпенѣніе зимы смѣняется кипучими радостями короткаго сѣвернаго лѣта. Именно такой весенній апрѣльскій день смотрѣлъ въ окна моей комнаты, когда я проснулся на Каменкѣ: весна гудѣла на улицѣ, точно въ воздухѣ катилось какое-то громадное колесо.

Распахнувъ окно, я долго любовался разстилавшейся передъ моими глазами картиной бойкой пристани, залитой тысячеголосой волной собравшагося сюда народа; любовался Чусовой, которая сильно надулась и подняла свой синевато-грязный рыхлый ледъ, покрытый желтыми наледями и черными полыньями, точно онъ проржавѣлъ; любовался густымъ ельникомъ, который сейчасъ за рѣкой, поднимался могучей зеленой щеткой и выстилалъ загораживавшія къ рѣкѣ дорогу горы. Въ логахъ еще лежалъ снѣгъ, точно изъѣденный червями: по прогалинамъ зеленѣла первая весенняя травка, но березы были еще совсѣмъ голы и печально свѣсили свои припухшія красноватыя вѣтви.

Каменка, одна изъ нижнихъ чусовскихъ пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатыхъ избъ по крутому правому берегу, въ углѣ, который образовала съ Чусовой бойкая горная рѣчка Каменка. Моя комната была во второмъ этажѣ, и изъ окна открывался широкій видъ на рѣку и, собственно, на пристань, т.-е. гавань, гдѣ строились и грузились барки, на шлюзъ, черезъ который барки выплывали въ Чусовую, лѣсопильню, пріютившуюся сейчасъ подъ угоромъ, на которомъ стоялъ домъ, гдѣ я остановился, и на красовавшуюся вдали двухъэтажную караванную контору, построенную на самомъ юру, на стрѣлкѣ между Каменкой и Чусовой. За рѣкой Каменкой, на низкомъ, отлогомъ берегу, приткнулась маленькая деревушка, точно она сейчасъ вылѣзла изъ воды своими двумя десятками избушекъ и теперь сушилась на солнечномъ пригрѣвѣ. Гавань устроена, вѣроятно, изъ островка или песчаной косы, которая образовалась въ самомъ устьѣ Каменки; нижняя часть этой косы была соединена съ крутымъ берегомъ, на которомъ раскинулась пристань широкой плотиной. Берега гавани всплошную обставлены деревянными магазинами для склада металловъ, строившимися и совсѣмъ готовыми барками; вездѣ валялись бревна, сложенныя въ желтые квадраты, свѣжій тесъ, обломки сгнившихъ барокъ, кучи пакли, козла и платформы спущенныхъ въ гавань барокъ. Нѣсколько огней, около которыхъ варили смолу для барокъ, дополняли картину. Весь берегъ былъ залитъ народомъ, который толпился, главнымъ образомъ, около караванной конторы и магазиновъ, гдѣ торопливо шла нагрузка барокъ; тысячи четыре бурлаковъ, какъ живой муравейникъ, облѣпили все кругомъ, и въ воздухѣ висѣлъ глухой гулъ человѣческихъ голосовъ, рѣзкій лязгъ нагружаемаго желѣза, удары топора, рубившаго дерево, визгъ пилъ и глухое постукиванье рабочихъ, конопатившихъ уже готовыя барки, точно тысячи дятловъ долбили сырое, крѣпкое дерево. И надъ всей этой картиной широкой волной катилась безшабашная бурлацкая «Дубинушка», съ самыми нецензурными запѣвами. Не успѣвалъ замереть въ одномъ мѣстѣ дружный окрикъ работавшихъ бурлаковъ, какъ сейчасъ же съ новой силой вставалъ въ другомъ. Могучій валъ самой пестрой смѣси звуковъ гулкимъ эхомъ отдавался на противоположномъ берегу и, какъ пѣнистая волна вешней полой воды, тянулся далеко внизъ по рѣкѣ, точно рокотъ живого человѣческаго моря. Эта картина кипучей дѣятельности тысячъ людей представляла неизмѣримый контрастъ съ тѣмъ глубокимъ, мертвымъ сномъ, какимъ покоится пристань Каменка цѣлый годъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ недѣль весенняго сплава. Еще день или два— рѣка взломаетъ ледъ, и вмѣстѣ съ водой уплыветъ вся эта бѣшеная работа, неистовый шумъ и крикъ, и опять все будетъ тихо и мертво кругомъ, вплоть до будущей весны.

— Съ весной, голубчикъ! Съ весной поздравляю!!—кричалъ хриплымъ голосомъ хозяинъ моей квартиры, врываясь въ комнату въ высокихъ охотничьихъ сапогахъ и въ короткомъ ваточномъ пиджакѣ.

— А скоро рѣка тронется, Осипъ Иванычъ?

— Э, голубчикъ, чего вы захотѣли... Да послушайте, милый человѣкъ, вы, кажется, еще не проснулись порядкомъ: это безсовѣстно!.. Слышите: безсовѣстно... Я съ четырехъ часовъ утра колочусь, какъ каторжный, а вы тутъ прохлаждаетесь.

Вы посмотрите хоть на нашу пристань—вѣдь это цѣлый адъ, пекло какое-то... Охъ, подлецы, подлецы!!!

— Кго это провинился такъ?

— Какъ кго? А бурлаки? Вѣдь ихъ четыре тысячи, анаѳемъ, а у меня горло одно... Понимаете: одно! Сразу охрипъ... Охъ, моченьки моей не стало съ этими мошенниками!..

— Да чѣмъ они васъ такъ обидѣли, Осипъ Иванычъ?

— Какъ чѣмъ?.. Сегодня какой день... А?—грозно приступилъ онъ ко мнѣ, размахивая руками.—Какой день?

— Кажется, 23-е апрѣля...

— Вотъ то-то и есть: «кажется»... Вы бы въ моей кожѣ посидѣли, тогда на носу зарубили бы этотъ денекъ... 23-го апрѣля—Егорія вешняго—поняли? Только лѣнивая соха въ поле не выѣзжаетъ послѣ Егорія... Ну, обыкновенно, сплавъ затянулся, а пришелъ Егорій—все мужичье и взбеленилось: подай имъ сплавъ, хоть роди. Давеча какъ меня обступили, такъ съ ножомъ къ горлу и лѣзутъ... А я развѣ виноватъ, что весна выпала нынче поздняя?..

Наругавшись всласть и пропустивъ еще двѣ рюмки, Осипъ Иванычъ совсѣмъ другимъ тономъ проговорилъ:

— Пойдемте со мной, посмотрите, какъ мы въ смолѣ кипимъ. Сначала надо завернуть въ кабакъ...

— Зачѣмъ?

— Народъ гнать на работу. Только отвернись—сейчасъ въ кабакъ... Я вамъ говорю: разбойники и протоканальи!! А всѣхъ хуже наши каменскіе... Заберутъ задатки—и въ кабакъ, а тамъ, какъ хочешь, и выворачивайся, хоть самъ сталкивай барки въ воду да грузи!..

## II.

Осипъ Иванычъ служилъ на пристани приказчикомъ. Это былъ русскій человѣкъ въ полномъ смыслѣ слова: безхарактерный, добрый, вспыльчивый. Онъ обладалъ счастливой способностью съ совершенно спокойной совѣстью ничего не дѣлать по цѣлымъ мѣсяцамъ и просто лѣзъ на стѣну, когда наваливалась работа. Во время сплава онъ, собственно, былъ золотой человѣкъ, потому что лѣзъ изъ кожи въ интересахъ транспортнаго общества «Нептунъ», которое отправляло металлы съ Каменки, но, какъ часто бываетъ съ такими людьми, отъ его работы выходило довольно мало толку. Осипъ Иванычъ безъ всякаго пути разносилъ въ щепы совершенно невинныхъ людей, также безъ пути снисходилъ къ отъявленнымъ плутамъ и завзятымъ мошенникамъ и въ концѣ-концовъ былъ глубоко убѣжденъ, что безъ него на пристани хоть пропадай.

— Я ихъ всѣхъ насквозь вижу, разбойниковъ, увѣрялъ онъ, когда мы шли по широкой улицѣ къ кабаку.—Это варначье только меня и боится; у меня разговоръ короткій: разъ-два и къ чорррту!! Они меня знаютъ! Да вонъ посмотрите, какъ зашевелились у кабака: завидѣли грозу... Ха-ха!

— Ишь, молодцы, только что явились на сплавъ!—ругался Осипъ Иванычъ, когда попадались бурлаки съ котомками.—Ужо я вамъ покажу кузькину мать!..

— А что же вы имъ сдѣлаете?

— Я?!.. У насъ, голубчикъ, все это оформлено: просрочилъ явку на пристань—штрафъ; не явился на спишку барокъ—штрафъ; не пришелъ на нагрузку—штрафъ...

Дорогу намъ загородила артель бурлаковъ съ котомками. Палки въ рукахъ и грязные лапти свидѣтельствовали о дальней дорогѣ. Это былъ какой-то совсѣмъ сѣрый народъ, съ испитыми лицами, понурымъ взглядомъ и неуклюжими, тяжелыми движеніями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали въ дорогѣ. Впередъ выдѣлился сгорбленный, сѣдой старикъ и, снявъ съ головы что-то въ родѣ вороньяго гнѣзда, нерѣшительно и умоляюще заговорилъ:

— Осипъ Иванычъ! мы ужъ къ твоей милости...

— Откуда вы?

— Вятскіе мы, родимой мой, вятскіе...

— Ты не въ первый разъ на сплавъ пришелъ?

— Нѣтъ, не въ первой... Разъ съ двадцать, можетъ, ужъ сплылъ.

— Ну, такъ чего тебѣ отъ меня нужно?

— Да вотъ запоздали мы, Осипъ Иванычъ... Грѣхъ такой вышелъ; непогодье насъ захватило, а дорога дальняя..

— Знать не хочу... вздоръ!.. Что у тебя въ контрактѣ сказано... А?..—заоралъ Осипъ Иванычъ, выкатывая глаза.—Я,

что ли, буду сталкивать да грузить барки за васъ?.. Задатки любите получать... А?!

— Да вѣдь задатки въ волость пошли, за подушное...—какъ-то равнодушно оправдывался старикъ, совсѣмъ подавленный величіемъ обступившихъ его нуждъ. — Подушное, Осипъ...

— А мнѣ плевать на ваше подушное! Знать не хочу!!.. Просрочилъ трое сутокъ—за трое сутокъ и штрафъ по контракту...

— Осипъ Иванычъ, родимой! мы вѣдь тысячу верстъ съ залишкомъ брели сюды .. изморились! А тутъ ростепель захватила...

— Вздоръ!.. Я не Богъ... понимаешь? Я не Богъ...

Старикъ только махнулъ рукой и пожевалъ сухими синими губами. Артель стояла, какъ вкопанная; на извѣтрившихся лицахъ трудно было прочитать произведенное этой сценой впечатлѣніе. Старикъ, перебирая въ рукахъ свое воронье гнѣздо, что-то хотѣлъ еще сказать, но Осипъ Иванычъ уже бѣжалъ къ кабаку и съ непечатной руганью врѣзался въ толпу. Около кабака народъ стоялъ стѣной; звуки гармоники и треньканье балалаекъ перемѣшивались съ пьянымъ говоромъ, топотомъ отчаянной пляски и дикой пьяной пѣсней, въ которой ничего не разберешь. Эта толпа глухо колыхнулась и загудѣла, когда Осипъ Иванычъ ворвался въ самый центръ и съ неистовымъ крикомъ принялся разгонять народъ.

— Аспиды! разбойники! мошенники!!—ревѣлъ Осипъ Иванычъ, какъ сумасшедшій, не зная, на кого броситься; по пути онъ сыпалъ подзатыльниками и затрещинами.

Послѣ долгаго неистовства вѣрнаго служаки, музыка и пѣсни смолкли, и толпа кабацкихъ завсегдатаевъ медленно начала расходиться, потянувшись длиннымъ хвостомъ къ гавани.

— Вы посмотрите только, что это за народъ!—кричалъ Осипъ Иванычъ, выскакивая изъ кабака ужъ безъ шапки.—Мошенникъ на мошенникѣ... И все наши каменскіе, либо заводскіе! Ужъ только и нарродецъ...

Дѣйствительно, большинство бурлаковъ, собравшихся около кабака, были каменскіе бурлаки и заводскіе мастеровые. И тѣхъ и другихъ отличишь сразу. Для нихъ весенній сплавъ—разливное море, вѣчный праздникъ. Каменскіе славятся по всей Чусовой, какъ лучшіе бурлаки, но зато и отчаяннѣе этихъ каменскихъ не найти по всей Чусовой. Даже заводскіе мастеровые, тоже разбитной народъ, не отличающійся особенной скромностью, далеко уступаютъ каменскимъ. Каменскаго бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распослѣдній пропойца и забулдыга, у котораго весь костюмъ состоитъ изъ однѣхъ заплатъ. Онъ такъ умѣетъ надѣть на себя свои заплаты и идетъ по улицѣ съ такимъ самодовольнымъ видомъ, что сейчасъ видно птицу по полету. А если онъ раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и мало-мальски приличнымъ чекменемъ, онъ ходитъ по пристани гоголемъ и знать ничего и никого не хочетъ. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, безконечная лѣнивая зима, когда бурлаку рѣшительно нечего дѣлать, затѣмъ водка при отвалѣ каравана, водка на каждой хваткѣ, водка на съемкѣ обмелѣвшихъ барокъ и самое кромѣшное, безпросыпное пьянство, когда караванъ привалитъ благополучно въ Пермь,—все это, взятое вмѣстѣ, создало совершенно особенный типъ. Весенній сплавъ для Каменки праздниковъ праздникъ, и всѣ одѣваются въ самое лучшее платье и ставятъ послѣдній грошъ ребромъ.

Заводскіе мастеровые отличаются отъ каменскихъ своими запеченными въ огненной работѣ лицами, изможденнымъ видомъ и тѣмъ особеннымъ, неуловимымъ шикомъ, съ какимъ умѣетъ держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на немъ не такъ сидитъ, и шляпа сдвинута на ухо, и ходитъ чортъ-чортомъ. Впрочемъ, на сплавъ идутъ съ заводовъ только самые оголтѣлые мастеровые, которымъ больше дѣваться некуда, а главное—нечѣмъ платить подати.

— Много у васъ заводскихъ?—спросилъ я Осипа Иваныча, когда онъ нѣсколько отдышался послѣ горячей сцены у кабака.

— Достаточно и этихъ подлецовъ ... Никуда не годенъ человѣкъ—ну, и валяй на сплавъ! У насъ все уйдетъ. Намъ вѣдь съ нихъ не воду пить. Нынче по заводамъ, съ печами Сименса да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно—вотъ и бредутъ къ намъ. Все же хоть изъ-за хлѣба на воду заработаетъ.

— А сколько вы платите бурлакамъ за сплавъ?

— Рублей восемь, десять, смотря по контрактамъ. У насъ вѣдь круговая порука: артелями нанимаемъ. Одинъ изъ артели не явился, вся артель въ отвѣтѣ.

— Да вѣдь такимъ образомъ при расчетѣ на руки артели можетъ ничего не достаться.

— Сплошь и рядомъ... Въ другой разъ еще съ артели слѣдуетъ получить, только взять-то съ нихъ нечего. А безъ артели—бѣда! чуть запоздалъ сплавъ —всѣ расползутся, какъ тараканы.

## III.

Отъ кабака мы пошли къ караванной конторѣ.

По пути намъ попадались тѣ же кучки бурлаковъ, которыя росли и увеличивались съ каждымъ шагомъ, пока не перешли въ сплошную движущуюся массу. Эти лохмотья, изможденныя лица, пасмурные взгляды и усталыя движенія совсѣмъ не гармонировали съ ликующимъ солнечнымъ свѣтомъ и весеннимъ тепломъ, которое гнало съ горъ веселые, говорливые ручьи.

— Осипъ Иванычъ, ослобони!—взмолился, было, давешній сѣдой старикъ, выступая изъ толпы.

— Нѣтъ, другъ мой, не могу: у меня слово — законъ!—отрѣзалъ неумолимый Осипъ Иванычъ, торопливо шагая къ караванной конторѣ.

Сейчасъ подъ угоромъ, гдѣ начиналась плотина гавани, стояла пильня. Подавленный визгъ пилъ и какой-то особенный хриплый звукъ разрѣзываемаго сырого дерева мѣшался съ всплесками и шумомъ вырывавшейся изъ-подъ водяного колеса воды. Пахло смолистымъ ароматомъ свѣжей сосны и елей, которыя, съ хрипѣньемъ умирающаго, вылѣзали изъ-подъ станка бѣлыми, правильными полосами досокъ. На плотинѣ бурлаки смѣшались въ сплошную массу, сквозь которую приходилось пробираться съ большими усиліями, причемъ Осипъ Иванычъ обратился опять къ помощи самыхъ отборнѣйшихъ ругательствъ, выборъ которыхъ у него былъ замѣчательно разнообразенъ и приводилъ въ изумленіе даже бурлаковъ.

— Съ этимъ народомъ иначе невозможно,—объяснялъ онъ, когда мы, наконецъ, продрались въ караванную контору, гдѣ Осипа Иваныча уже дожидалось много народа.—Охъ, смерть моя!—стоналъ онъ, не зная, кому отвѣчать.—У кабака съ каменскими да съ мастеровыми горло дери, а здѣсь мужичье одолѣваетъ.

Толпа колыхалась и гудѣла, какъ пчелиный улей. Здѣсь, дѣйствительно, собрались все крестьяне, пришедшіе на пристань изъ Вятской, Казанской и Уфимской губерній. Кого-кого тутъ не было!.. Но на всѣхъ лицахъ, въ выраженіи глазъ сказывалась одна общая печать: это были люди деревни, загнанные за сотни верстъ на сплавъ горькой, неотступной нуждой. Здѣсь не было и помину о той отчаянности, какою выдѣлялись каменскіе бурлаки, не было и своеобразнаго шика заводскихъ мастеровыхъ: одна общая мысль, одна общая забота связывала эти тысячи бурлаковъ въ одинъ могучій стройный аккордъ. Во всѣхъ взглядахъ можно было прочитать одну мысль,—мысль о землѣ, которая въ такую горячую вешнюю пору сиротѣетъ гдѣ-нибудь за тысячу верстъ. Общій интересъ придавалъ этому оторванному отъ родной земли уголку крестьянскаго міра совершенно своеобразную физіономію: они принесли сюда свою великую крестьянскую заботу, отъ которой давно «ослобонились» мастеровые и разный другой сбродъ, какой набирается на сплавъ. Они подавляли молчаливымъ величіемъ крикливыя «качества» вырванныхъ изъ земли съ корнемъ людей, индивидуализированныхъ въ духѣ извѣстной экономической школы.

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятамъ пробирался небольшой, взлохмаченный мужиченко, въ лаптяхъ и въ широкомъ халатѣ, какіе носятъ только вятскіе. Онъ терпѣливо и покорно выждалъ, пока Осипъ Иванычъ ругался направо и налѣво, а потомъ какъ-то вяло проговорилъ:

— А я къ твоей милости, Осипъ Иванычъ!

Осипъ Иванычъ быстро вскинулъ глазами на мужика и съ какимъ-то отчаяніемъ замахалъ руками.

— Да ты зарѣзать меня хочешь, мошенникъ!— завопилъ онъ, съ бѣшенствомъ накидываясь на несчастнаго мужика.—

Ну, чего тебѣ отъ меня нужно... А?.. Ну, говори, говори, не тяни за душу!

— Вторую недѣлю проживаемся на пристани-то...—спокойно отвѣчалъ мужикъ, переминаясь. — Обносились, хлѣбушка нѣтъ... двое изъ артели-то въ лежку лежатъ: огневица прихватила.

— Ну, и пусть лежатъ, я-то чѣмъ виноватъ... А?.. Я развѣ Богъ?.. мнѣ-то какая радость держать васъ на пристани?..

— А я къ тому говорю, што какъ бы артель не выворотилась въ деревню...

— Ахъ, Ббожже ммой!!.. А контрактъ? Что у тебя въ контрактѣ сказано: «обязуюсь ждать сплава по первое число мая мѣсяца, а свыше сего, ежели сплавъ затянется, назначается поденная плата, въ размѣрѣ»...

— Оно точно што, оно по контракту, Осипъ Иванычъ... и обвязались мы ждать, и насчетъ поденной платы... Только вотъ севодни Егорія, а черезъ недѣлю Еремѣя запрягальника. Сумлѣваюсь насчетъ артели, Осипъ Иванычъ, какъ бы со сплаву не выворотилась.

— Я вотъ вамъ, подлецамъ, такого запрягальника пропишу, что до будущаго сплава будете меня помнить!—горячился Осипъ Иванычъ, начиная жестикулировать самымъ рѣшительнымъ образомъ. — «Сумлѣваюсь, какъ бы артель не выворотилась!..» Мошенники!.. Ты — первый зажигатель и бунтовщикъ... Понимаешь? Сейчасъ позову казаковъ, руки къ лопаткамъ и всю шкуру выворочу наизнанку...

— Рѣка-то когда еще пройдетъ, а пашня не ждетъ, точно вслухъ думалъ бунтовщикъ.

— А ты все свое долбишь! а?—грозно зарычалъ Осипъ Иванычъ, бросаясь съ кулаками на бунтовщика. — Если ты мнѣ еще разъ покажешь свою рожу... да я... Ну, купи, чортъ ты этакой, гармонику или балалайку и наигрывай, въ кабакъ бы зашелъ отъ скуки... Развѣ я запрещаю?!

Мужикъ почесывался, переминался и опять начиналъ свою пѣсню про Еремѣя запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тѣмъ, что Осипъ Иванычъ, наконецъ, не вытерпѣлъ и выгналъ бунтовщика изъ конторы въ шею.

— Зачѣмъ вы его выгнали?—спросилъ я.—Вѣдь онъ совершенно вѣрно говорилъ все...

— А я развѣ спорю, что не вѣрно? Только онъ заключилъ контрактъ и долженъ его выполнить... А выгналъ я его потому, что этотъ мужичонка, коноводъ—разстраиваетъ другихъ. Такихъ молодцовъ на пристани до десятка наберется, всю душу вытянули.

Около конторы народъ попрежнему стоялъ стѣна-стѣной, и попрежнему это былъ крестьянскій людъ. Выгнанный Осипомъ Иванычемъ бунтовщикъ былъ окруженъ цѣлой толпой односельчанъ, съ нетерпѣніемъ ждавшей результатовъ ходатайства.

— Ну, чево, дядя Силантій?—спросилъ бѣлобрысый молодой парень съ рябымъ лицомъ.

— По контракту, говоритъ...—отвѣтилъ дядя Силантій, почесывая за ухомъ.

— Выворотимся!—рѣшилъ плечистый мужикъ въ рваномъ зипунѣ.

— Надо обождать, — замѣтилъ Силантій.—Много ждали, маленько обождемъ.

Толпа загалдѣла. На ходока посыпались упреки и ругательства, но онъ только моргалъ глазами и отмахивался безсильнымъ жестомъ рукъ. Къ этой артели присоединились другія, и въ воздухѣ поднялся какой-то стонъ отъ взрыва общаго негодованія. Тутъ же толклись чердынцы, кунгуряки, соликамцы и тоже галдѣли и ругались, размахивая руками.

— Ну васъ къ Богу со всѣмъ!—проговорилъ Силантій, усаживаясь на приступокъ крыльца.—Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебѣ, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили въ волости, когда со сплаву прибѣжишь, — замѣтилъ онъ, вынимая изъ котомки берестяный буракъ.

— И пусть спущаютъ,—горячился бѣлобрысый парень.—Я самъ-сёмъ въ семьѣ, а ежели пашню пропущу изъ-за вашего сплаву—всѣ по міру пойдутъ... это какъ?..

— А такъ... Осипъ Иванычъ сказываетъ: «купи, говоритъ, гармонь али балалайку и наигрывай»... Ну, будетъ тебѣ, Митрей, вотъ садись, ужо закусимъ хлѣбушка.

Митрій, олицетворенная черноземная сила, вдругъ отмякъ отъ одного ласковаго слова дяди Силантія и присѣлъ на корточки около его таинственнаго бурака.

— Зачерпни-ко-сь водицы, Митрей, бурачкомъ-то!

Пока Митрій ходилъ съ буракомъ за водой, Силантій неторопливо развязалъ небольшой мѣшокъ и досталъ оттуда пригоршню заплѣснезѣлыхъ, сухихъ, какъ камень, корокъ чернаго хлѣба.

— Что, плохи сухари-то?—спросилъ я Силантія.

— А какіе есть, баринъ. И этихъ едва раздобылся: все пріѣли бурлаки на пристани. Пристанскія-то бабы денежку наживаютъ около нашего брата. Съ лѣта начинаютъ копить пищу про бурлаковъ, значитъ, къ вешнему сплаву. Корочка хлѣбушка завалялась, заплѣснезѣла, огрызокъ ребятишки оставили— все копятъ бабы, потому бурлаки съѣдятъ все, только бы хлѣбушкомъ пахло. Тоже вотъ которая рѣдька тронется, подрябнетъ, кислы [1]) испортятся, картошка почернѣетъ — все берегутъ для насъ, а мы имъ за это деньги платимъ. Изъ дому не понесешь за тыщу-то верстъ...

Когда Митрій вернулся съ водой, Силантій спустилъ въ буракъ свои сухари и долго ихъ размѣшивалъ деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные изъ недопеченнаго, сырого хлѣба, и не думали размокать, что очень огорчало обоихъ мужиковъ, пока они не стали ѣсть свое импровизованное кушанье въ его настоящемъ видѣ. Передъ тѣмъ, какъ взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились въ восточную сторону. Я увѣренъ, что самая голодная крыса и та отказалась бы ѣсть окаменѣлые сухари изъ бурака Силантья.

— Вы издалека?—спросилъ я, когда бурлаки выхлебали изъ бурака остатки мутной воды съ плававшей плѣсенью, мелкими крошками, и опять помолились.

— Дальніе будемъ; дальніе, баринъ. Изъ-подъ Лаишева пришли... отвѣчалъ Силантій, надѣвая шапку. — Ну, Митрей, на сёдни потрапезовали, а къ завтрю тебѣ промышлять пропиталъ... Дойди до деревни, можетъ, найдешь гдѣ еще корочекъ-то.

Молодой мужикъ переминался и не шелъ.

— Што не идешь? Видно, въ карманѣ пусто... Эхъ ты, горе липовое! У меня тоже не густо денегъ-то: совсѣмъ прохарчились на этой треклятой пристанѣ, штобы ей пусто было..

Дядя Силантій изъ-за глубины пазухи добылъ пестрядевый мѣшочекъ, бережно его развязалъ и высыпалъ на ладонь нѣсколько мѣдяковъ.

— Все тутъ. На, сходи къ бабамъ, поищи.

Конфузливо собравъ деньги съ ладони дяди Силантія, Митрій исчезъ въ толпѣ.

— Зачѣмъ вы нанимаетесь на сплавъ?— спрашивалъ я Силантія.

— Нельзя, милый баринъ. Знамо, не по своей волѣ тащимся на сплавъ, а нужда гонитъ. Недородъ у насъ... подати справляютъ... Ну, а гдѣ взять? А караванные приказчики ужъ пронюхаютъ, гдѣ недородъ и по зимѣ всѣ деревни объѣдутъ. Пріѣхали—сейчасъ въ волость: кто подати не донесъ? А писарь и старшина ужъ ждутъ ихъ, тоже свою спину берегутъ и сейчасъ конграктъ... За десять-то рублевъ ты и должонъ мѣсить сперва на пристань тыщу верстъ, потомъ сплаву обжидать, а тамъ на баркѣ сбѣжать къ Пермѣ али дальше, какъ подрядился по кондракту.

— Вѣдь это для васъ невыгодно?

— Какое выгодно! ножъ вострой намъ эти сплавы, вотъ что! Разсуди самъ: самъ теперь я изъ дому должонъ выйти на сплавъ за шесть недѣль, да сплаву прождешь другой разъ всѣ двѣ недѣли, да на баркѣ бѣжишь до Перми четыре дни, а дальше клади еще недѣлю. Сколь всего-то выйдетъ?

— Почти два съ половиной мѣсяца...

— Такъ, а другой разъ и всѣ три. А деньги-то, изъ десяти-то рублей семь въ подать пошли, рупь выдали, какъ пришли на сплавъ, а два рубли получимъ, когда караванъ привалитъ къ Пермѣ. На три-то мѣсяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины [1]) въ дорогѣ приносишь, сколько обуя [2]), а пить-ѣсть само собой... Вотъ Осипъ Иванычъ-то давѣ говоритъ: купи гармонь али ступай въ кабакъ, а того не думаетъ, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три мѣсяца проболтаюсь да

---

[1]) Кислы—проквашенная мелкая капуста.

[1]) Лопотина—верхняя одёжа, вообще платье.
[2]) Обуй—обувь.

пашню опущу — ну, а какой я мужикъ безъ пашни? Вонъ Митрей-то самъ-сёмъ: вотъ тебѣ и гармонь!

— Чѣмъ же вы живете эти три мѣсяца? Неужели на одинъ рубль?

— На рупь, баринъ, на него... Пока изъ дому бредемъ, такъ свойской, домашней хлѣбушко жуешь, а на пристанѣ свой рупь и проживешь. На верхнихъ пристаняхъ даютъ бурлакамъ по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказываютъ, даютъ фунтовъ по пяти на брата...

— Все-таки рубль на три мѣсяца...

— Это еще што! и рупь деньги! А ты вотъ посуди какое дѣло: теперь мы бѣжимъ съ караваномъ, а барка возьми да и убейся... Который потонулъ—того похоронятъ на бережку, а каково тѣмъ, кто живъ-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай мѣсить свою тысячу верстъ съ пустымъ-то брюхомъ... Вотъ гдѣ нашему брату бѣда бѣдовенная!

— А тебѣ случалось такъ уходить со сплаву?

— Нѣтъ, меня Господь миловалъ, а другіе много приходятъ домой чуть не подъ Петровъ день... Ей-Богу!—Вѣдь это мужику разоръ, всю семьишку изморомъ сморишь!

— Чѣмъ же бурлаки питаются, когда бредутъ домой съ разбитой барки?

— А Богъ?..

Послѣднее было сказано съ такой глубокой вѣрой, что не требовало дальнѣйшихъ поясненій. Я долго смотрѣлъ на убѣжденное спокойное выраженіе облупившагося подъ солнцемъ лица Силантія, на его песочную бороденку и крошечные слезившіеся глазки: отъ этого лица вѣяло такой несокрушимой силой, предъ которой всѣ препятствія должны отступить.

Нашъ разговоръ и мои размышленія были прерваны появившейся ватагой пьяныхъ бурлаковъ, которая валила къ конторѣ съ пѣснями и пляской, дикимъ гиканьемъ и присвистомъ.

— Ишь, какъ камешки да мастеровые разгулялись,—задумчиво проговорилъ Силантій. — Имъ што: сполагоря — весь тутъ. Получилъ задатокъ и гуляй... Самый бросовый народъ, ежели разобрать. Никакой-то заботушки, окромя кабака... Охо-хо-хо!.. Мы каменскихъ бурлаковъ камешками зовемъ, баринъ...

— Да и они тоже не отъ радости въ кабакъ идутъ, Силантій.

— Можетъ и такъ, кто ихъ знаетъ, а я къ тому вымолвилъ, што супротивъ нашихъ деревенскихъ очень ужъ безобразничаютъ. Конечно, имъ на сплавъ рукой подать, и время они никакого не знаютъ...

## VIII.

Чусовая—одна изъ самыхъ капризныхъ горныхъ рѣкъ. Самыя заурядныя явленія, повторяющіяся періодически, не поддаются наблюденію и каждый разъ создаютъ новыя подробности, какія въ такомъ рискованномъ дѣлѣ, какъ сплавъ барокъ, имѣютъ рѣшающее значеніе. Это зависитъ отъ тѣхъ физическихъ условій, какими обставлено теченіе Чусовой на всемъ ея протяженіи. Начать съ того, что паденіе Чусовой превосходитъ всѣ сплавныя русскія рѣки: въ своей горной части, на разстояніи 400 верстъ до того пункта, гдѣ ее пересѣкаетъ уральская желѣзная дорога, она падаетъ на 80 саженъ, что составитъ на каждую версту рѣки 20 сот. сажени, а въ самомъ гористомъ мѣстѣ теченія Чусовой это паденіе достигаетъ 22 сот. сажени на версту. Для сравненія этой величины достаточно указать на паденіе Камы, Волги и Сѣверной Двины, которое равняется всего 2—3 сот. сажени. Затѣмъ, коренная вода на перекатахъ и переборахъ на межень стоитъ 4 вершка, а весной здѣсь же сплавной валъ иногда достигаетъ страшной высоты въ 7 аршинъ.

Для сплава, конечно, самое важное, когда ледъ вскроется на рѣкѣ. Но и здѣсь примѣниться къ Чусовой очень трудно; можетъ выйти даже такъ, что при малыхъ снѣгахъ рѣка сама не въ состояніи взломать ледъ, и главный запасъ весенней воды, при помощи котораго сплавляются караваны, уйдетъ подо льдомъ. Поэтому вопросъ о вскрытіи Чусовой для всѣхъ расположенныхъ на ней пристаней, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, составляетъ самую горячую злобу дня,—отъ него зависитъ все. Чтобы предупредить неожиданные сюрпризы капризной рѣки, обыкновенно взламываютъ ледъ на Чусовой, выпуская воду изъ Ревдинскаго пруда. А такъ какъ вода въ каждомъ заводскомъ прудѣ составляетъ живую двигающую силу, капиталъ, то та-

кой выпускъ изъ Ревдинскаго пруда обставленъ множествомъ недоразумѣній и препятствій, самое главное изъ которыхъ заключается въ томъ, что судоотправители не могутъ никакъ прійти къ соглашенію, чтобы дѣйствовать заодно. Однимъ нужно раньше выпустить воду, другимъ позже, идутъ безконечныя препирательства, пока ревдинское заводоуправленіе, въ видахъ отправленія собственнаго каравана, не сдѣлаетъ такъ, какъ ему угодно. Остальнымъ пристанямъ приходится уже только ловить золотыя минуты, потому что пропустилъ какой-нибудь часъ, и все дѣло можно испортить. Поэтому ожиданіе, когда Ревдинскій прудъ спуститъ воду, чтобы взломать на Чусовой ледъ, принимаетъ самую напряженную форму; всѣ разговоры ведутся на эту тему, одна мысль вертится у всѣхъ въ головѣ.

Понятно то оживленіе, какое охватило всю Каменку, когда на улицѣ пронесся крикъ:

— Вода пришла!.. Вода... Ледъ тронулся!..

Это былъ глубоко торжественный моментъ.

Все, что было живо и не потеряло способности двигаться, высыпало на берегъ. Въ сѣрой, однообразной толпѣ бурлаковъ, какъ макъ, запестрѣли женскіе платки, яркіе сарафаны, цвѣтные шугаи. Ребятишкамъ былъ настоящій праздникъ, и они метались по берегу, какъ стаи воробьевъ. Выползли старые-старые старики и самыя древнія старушки, чтобы хоть однимъ глазомъ взглянуть, какъ нынче взыграла матушка Чусовая. Нѣкоторые старики плохо видѣли, были даже совсѣмъ слѣпые, но имъ было дорого хоть послушать, какъ идетъ ледъ по Чусовой, и какъ галдитъ народъ на берегу. Вѣроятно, многіе изъ этихъ ветерановъ чусовского сплава, вдоволь поработавшихъ на своемъ вѣку на Чусовой, и пришли на берегъ съ печальнымъ предчувствіемъ, что они, можетъ-быть, въ послѣдній разъ любуются своей поилицей-кормилицей. Сюда же, на берегъ, выползли, приковыляли и были вытащены на рукахъ до десятка разныхъ калѣкъ, пострадавшихъ на весеннихъ сплавахъ: у одного ногу отдавило поноснымъ, другому руку оторвало порвавшейся снастью, третій корчится и ползаетъ отъ застарѣлыхъ ревматизмовъ. Эти печальные диссонансы какъ-то совсѣмъ исчезали въ общемъ весельи, какое охватило разомъ всю пристань. Это былъ настоящій праздникъ, нагонявшій на всѣ лица веселыя улыбки.

Нахлынувшій валъ поднялъ ледъ, какъ яичную скорлупу; громадныя льдины съ трескомъ и шумомъ ломались на каждомъ шагу, громоздились одна на другую, образуя заторы, и, какъ живыя, лѣзли на всякій мысокъ и отлогость, куда ихъ прибивало сильной водяной струей. Недавно мертвая и неподвижная, рѣка теперь шевелилась на всемъ протяженіи, какъ громадная змѣя, съ шипѣньемъ и свистомъ собирая свои ледяныя кольца. Взломанный ледъ тянулся безъ конца, оставляя за собой холодную струю воздуха; вода продолжала прибывать, съ пѣной катилась на берегъ и жадно сосала остатки лежавшаго тамъ и сямъ снѣга. Вмѣстѣ съ льдинами несло оторванныя отъ берега молодыя деревья, старые пни, какія-то доски и разный другой хламъ; на одной льдинѣ съ жалобнымъ визгомъ проплыла собачонка. Поджавши хвостъ, она долго смотрѣла на собравшійся на берегу народъ, пробовала перескочить на проходившую недалеко льдину, но оступилась и черной точкой потерялась въ бушевавшей водѣ. Вся картина какъ-то разомъ ожила, точно невидимая рука подняла занавѣсъ громадной сцены, и теперь дѣло остановилось только за актерами.

Около конторы, въ собравшейся артели сплавщиковъ, мелькали красныя рубахи и шляпы съ лентами франтовъ-косныхъ. При каждой казенкѣ, т.-е. баркѣ, на которой плыветъ караванный, полагается десятка два самыхъ отборныхъ бурлаковъ, которые помогаютъ снимать омелѣвшія барки, служатъ вѣстовыми и т. д. Это и есть косные; самое названіе произошло отъ «косной» лодки, въ которой они разъѣзжаютъ. На всѣхъ пристаняхъ они одѣваются въ цвѣтныя рубахи и щеголяютъ въ шляпахъ съ лентами. Собственно косные не исправляютъ никакой особенной должности, а существуютъ по изстари заведенному порядку, какъ необходимая декоративная принадлежность каждаго сплава.

Чусовскіе сплавщики—одно изъ самыхъ интересныхъ и въ высшей степени типичныхъ явленій своеобразной жизни чусовского побережья. Достаточно указать на то, что совсѣмъ безграмотные мужики до-

рабатываются до высшихъ соображеній математики и рѣшаютъ на практикѣ такіе вопросы техники плаванія, какіе неизвѣстны даже въ теоріи. Чтобы быть заправскимъ, настоящимъ сплавщикомъ, необходимо имѣть колоссальную память, быстроту и энергію мысли и, что всего важнѣе, нужно обладать извѣстными душевными качествами. Прежде всего, сплавщикъ долженъ до малѣйшихъ подробностей изучить все теченіе Чусовой на разстояніи 400—500 верстъ, гдѣ рѣка на каждомъ шагу создаетъ и громоздитъ тысячи новыхъ препятствій; затѣмъ, онъ долженъ основательно усвоить въ высшей степени сложныя представленія о движеніи воды въ рѣкѣ при всевозможныхъ уровняхъ, объ образованіи суводей, струй и водоворотовъ, а главное—досконально изучить законы движенія барки по рѣкѣ и тѣ исключительныя условія сочетанія скоростей движенія воды и барки, какія встрѣчаются только на Чусовой. Нужно замѣтить еще то, что каждый вершокъ лишней воды въ рѣкѣ вноситъ съ собой коренныя измѣненія въ условіяхъ: при одной водѣ существуютъ такія-то опасности, при другой—другія. При малой водѣ выступаютъ «огрудки» [1]) и «таши» [2]), а при высокой—съ баркой подъ «бойцами» невозможно никакъ справиться. Но одного знанія, одной науки здѣсь мало: необходимо умѣть практически приложить ихъ въ каждомъ данномъ случаѣ, особенно въ тѣхъ страшныхъ боевыхъ мѣстахъ, гдѣ отъ одного движенія руки зависитъ участь всего дѣла. Хладнокровіе, выдержка, смѣлость—самыя необходимыя качества для сплавщика: бываютъ такіе случаи, что сплавщики, обладающіе всѣми необходимыми качествами, добровольно отказываются отъ своего ремесла, потому что въ критическіе моменты у нихъ «не хватаетъ духу», т.-е. они теряются въ случаѣ опасности. Кромѣ всего этого, сплавщикъ съ одного взгляда долженъ понять свою барку и внушить бурлакамъ полное довѣріе и уваженіе къ себѣ. Но все сказанное вполнѣ можно понять только тогда, когда видишь сплавщика въ дѣлѣ на утломъ, сшитомъ на живую нитку суденышкѣ, которое не только должно бороться съ разбушевавшейся стихійной силой, но и выйти побѣдителемъ изъ неравной борьбы.

Понятно, что типъ чусовского сплавщика вырабатывался въ теченіе многихъ поколѣній путемъ самой упорной борьбы съ бѣшеной горной рѣкой, при чемъ ремесло сплавщика переходило, вмѣстѣ съ кровью, отъ отца къ сыну. Обыкновенно выучка начинается съ дѣтства, такъ что будущій сплавщикъ органически срастается со всѣми подробностями тѣхъ опасностей, съ какими ему придется впослѣдствіи бороться. Такимъ образомъ бурная рѣка, барка и сплавщикъ являются только отдѣльными моментами одного живого цѣлаго, одной комбинаціи.

## X.

Вода въ Чусовой спала. Ждали второго вала, того паводка, по которому сплавляются всѣ караваны. Обыкновенно, его выпускаютъ изъ Ревдинскаго пруда дня черезъ три послѣ перваго вала. Эти три дня прошли. Барки почти всѣ нагрузились. Пріѣхалъ священникъ съ ближайшаго завода и остановился у Осипа Иваныча, т.-е. въ одной комнатѣ со мной.

Мы спали, когда набѣжалъ паводокъ. Все на пристани зашевелилось и загудѣло, точно разбудили спавшій улей. Къ свѣту все и всѣ были уже на ногахъ. День выдался пасмурный. Горы казались ниже; по сѣрому небу низко ползли облака не облака, а какая-то туманная мгла, безформенная, свинцовая масса. Чусовая играла на славу, какъ вырвавшійся изъ неволи звѣрь. Съ глухимъ ревомъ и стономъ летѣлъ внизъ пѣнистый валъ, шипучей волной заливая низкіе берега и съ бѣшенымъ рокотомъ превращаясь на закругленіяхъ береговой линіи въ гряды майдановъ, т.-е. громадныхъ бѣлыхъ гребней. Картина для художника получалась самая интересная: въ этомъ сочетаніи суровыхъ тоновъ сказывалась могучая гармонія разгулявшейся стихійной силы.

Барки въ гавани были совсѣмъ готовы.

Тысячи народа ждали освященія барокъ на плотинѣ и вокругъ гавани. Весь берегъ, какъ макомъ, былъ усыпанъ человѣческими головами, вѣрнѣе, бурлацкими, потому что бабьи платки являлись только исключеніемъ, мелькая тамъ и сямъ крас-

---

[1]) Огрудки — мели въ серединѣ рѣки, гдѣ сгруживается рѣчной хрящъ.

[2]) Таши—подводные камни.

ной точкой. Молебствіе было отслужено на плотинѣ, а затѣмъ батюшка обошелъ по порядку всѣ барки, кропя направо и налѣво. На каждой баркѣ сплавщикъ и водоливъ встрѣчали батюшку безъ шапокъ и откладывали широкіе кресты.

Бурлаки живымъ роемъ копошились по палубамъ, всякій старался подальше спрятать свою котомку въ трюмѣ.

Наконецъ народъ размѣстился; убрали сходни; оставалось открыть шлюзъ, чтобы выпустить барки въ рѣку. Осипъ Иванычъ остался на берегу и, какъ шаръ, катался по горбатому мосту, подъ которымъ должны были проходить барки.

— Развѣ онъ останется?—спросилъ я Савоську (одного изъ лучшихъ сплавщиковъ).

— Нѣтъ, зачѣмъ же... Послѣ на косной догонитъ. Наша казенка пойдетъ въ послѣднихъ.

— А почему не первой?

— На всякій случай: какая барка убьется или омелѣетъ—мы сымать будемъ. Тоже вотъ съ рабочими. Всяко бываетъ. Вонъ нонѣ вода-то какъ играетъ, какъ бы еще дождикъ не ударилъ, сохрани Господи. Теперь на самой мѣрѣ стоитъ вода—три съ половиной аршина надъ меженью.

Вотъ кто-то на балконѣ махнулъ бѣлымъ платкомъ, на берегу грянулъ пушечный выстрѣлъ, и ворота шлюза растворились. Барка за баркой потянулись въ рѣку; при выходѣ изъ шлюза нужно было сейчасъ же дѣлать крутой поворотъ, чтобы струей, выпущенной изъ шлюза, не выкинуло барку на другой берегъ—и пятьдесятъ человѣкъ бурлаковъ работали изъ послѣднихъ силъ, побрасывая тяжелые потесы, какъ игрушку. Одна барка черпнула носомъ, другая чуть не омелѣла у противоположнаго берега, но во-время успѣла отуриться, т.-е. пошла впередъ кормой.

Наступила наша очередь. Савоська поднялся на свою скамеечку, поправилъ картузъ на головѣ и заученнымъ тономъ скомандовалъ:

— Отдай снасть!..

Двое косныхъ подобрали отвязанный на берегу канатъ къ огниву, и барка тихо поплыла къ горбатому мосту. Замѣтно было, что Савоська немного волнуется для перваго раза. Да и было отъ чего: другія барки вышли въ рѣку благополучно, а вдругъ онъ осрамится на глазахъ у самого Егора Ѳомича, который вонъ стоитъ на балконѣ и привѣтливо помахиваетъ бѣлымъ платкомъ. Вотъ и горбатый мостъ; вода въ открытый шлюзъ льется сдавленной струей, точно въ воронку: наша барка быстро врѣзывается въ рѣку, и Савоська кричитъ отчаяннымъ голосомъ:

— Носъ направо, молодцы!!. Сильно-гораздо, носъ направо! Направо носъ!.. Корму поддержи!!.

Барка дѣлаетъ благополучно крутой поворотъ и съ увеличивающейся скоростью плыветъ впередъ, оставляя берегъ, усыпанный народомъ. Кажется, въ первую минуту, что плыветъ не барка, а самые берега, вмѣстѣ съ горами, лѣсомъ, пристанью, караванной конторой и этими людьми, которые съ каждымъ мгновеніемъ дѣлаются все меньше и меньше.

Вотъ въ послѣдній разъ взмылъ кверху бѣлой шапкой клубъ дыма, и гулко прокатился по рѣкѣ рокотъ пушечнаго выстрѣла, а барка уже огибаетъ песчаную узкую косу, и впереди стелется безконечный лѣсъ, встаютъ и надвигаются горы, которыя сегодня, подъ этимъ сѣрымъ, свинцовымъ небомъ, кажутся выше и угрюмѣе.

Каменка быстро скрылась изъ вида. Мимо зеленой шпалерой бѣжитъ темный ельникъ, шальная вешняя волна съ захватывающимъ стономъ хлещетъ въ крутой берегъ, и барка несется впередъ все быстрѣе и быстрѣе.

— Похаживай, молодцы!—весело покрикиваетъ Савоська, прищуренными глазами зорко вглядываясь на быстро бѣгущую намъ встрѣчу синевато-сѣрую даль.

## XI.

Барка быстро плыла въ зеленыхъ берегахъ, вѣрнѣе, берега бѣжали мимо насъ, развертываясь причудливой цѣпью безконечныхъ горъ, крутыхъ утесовъ и глубокихъ логовъ. Это было глухое царство настоящей сѣверной ели, которая лѣпилась по самымъ крутымъ обрывамъ, цѣплялась корнями по уступамъ скалъ и образовала сплошныя массы по дну логовъ, точно тамъ стояло стройными рядами цѣлое войско могучихъ зеленыхъ великановъ.

Рѣка неслась, какъ бѣшеный звѣрь. Въ излучинахъ и закругленіяхъ водяная струя съ шипѣньемъ и сосущимъ свистомъ свивалась въ одинъ сплошной пѣнившійся

клубъ, который съ ревомъ лѣзъ на камни и, отброшенный ими, развивался дальше широкой клокотавшей и бурлившей лентой. Въ этомъ бѣшеномъ разгулѣ могучей стихійной силы ключомъ била суровая поэзія глухого сѣвера, поэзія титанической борьбы съ первозданными препятствіями, борьбы, не знавшей мѣры и границъ собственнымъ силамъ. Это былъ апоѳеозъ стихійной работы великаго труженика, для котораго тѣсно было въ этихъ горахъ и который точилъ и рвалъ цѣлыя скалы, неудержимо прокладывая широкій и вольный путь къ теплому южному морю. Нужно видѣть Чусовую весной, чтобы понять тѣ поэтическія грезы, преданія, саги, пѣсни, цѣлыя религіозныя системы, какія вырастаютъ около такихъ рѣкъ такъ же естественно и законно, какъ этотъ сказочный богатырь—лѣсъ.

Только когда барку подхватило струей, какъ перышко, и понесло впередъ съ неудержимой бѣшеной быстротой, только тогда я понялъ и оцѣнилъ, почему бурлаки относятся къ баркѣ, какъ къ живому существу. Это нескладное суденышко, сшитое на живую нитку, дѣйствительно, превратилось въ одно живое цѣлое, исторически сложившееся мужицкимъ умомъ, управляемое мужицкой волей и преодолѣвающее на своемъ пути почти непреодолимыя препятствія мужицкой силой,—той силой, которая смѣло вступила въ борьбу съ самой бѣшеной стихіей, чтобы побѣдить ее.

Первое впечатлѣніе отъ этой живой бурлацкой массы, которая волной шевелилась на палубѣ, получалось самое смутное: отдѣльныя фигуры исчезали, сливаясь въ безформенную кучу тряпья и рвани. Вы видите только, какъ два поносныхъ съ страшной силой распахиваютъ воду, вздымаютъ два пѣнящіеся вала и снова подымаются изъ воды. Только мало-по-малу изъ этой безформенной, шевелящейся массы начинаютъ выступать отдѣльныя фигуры и лица, и вы, наконецъ, разбираетесь въ работѣ этого муравейника. Вотъ у поносныхъ подъ губой—конецъ поноснаго съ кочетомъ — стоятъ плечистые ребята: это подгубщики, которые выбираются изъ самыхъ сильныхъ и опытныхъ бурлаковъ. У насъ всѣ четыре подгубщика были «камешки», самый отчаянный народъ и замѣчательно ловко работавшій. Не успѣвала команда сорваться у Савоськи съ языка, какъ подгубщики уже бросали поносное въ воду, налегая на губу всей грудью. На такую работу «однимъ сердцемъ» можно залюбоваться.

Мало-по-малу всѣ присмотрѣлись другъ къ другу, и на баркѣ образовалось сплоченное общество, при чемъ всѣ элементы заняли надлежащее мѣсто. Меня всегда удивляла необыкновенная способность русскаго человѣка къ быстрому образованію такого общества; достаточно нѣсколькихъ часовъ, чтобы люди, совершенно незнакомые, слились въ одну органическую массу, при чемъ образовалось что-то въ родѣ безмолвнаго соглашенія относительно достоинствъ и недостатковъ каждаго. Безъ словъ всѣ отлично понимали сущность дѣла, и общественное мнѣніе сейчасъ же вступило въ свои права. Я особенно любовался Савоськой, которому достаточно было окинуть глазомъ эту пятидесятиголовую толпу, чтобы сразу опредѣлить, кто и чего стоитъ. Настоящаго работника онъ чувствовалъ уже по тому, какъ тотъ брался за кочетъ поноснаго. Тысячи мельчайшихъ примѣтъ, пріобрѣтенныхъ постояннымъ обращеніемъ «на людяхъ», выработали у Савоськи тотъ глазомѣръ, который безошибочно опредѣляетъ микроскопическія особенности.

Я любовался этимъ Савоськой, который, разставивъ широко ноги на своей скамеечкѣ, теперь служилъ олицетвореніемъ движенія. Голосъ звучалъ увѣренно и твердо, въ каждомъ движеніи сказывалась напряженная энергія. Онъ слился съ баркой въ одно существо. Но нужно было видѣть Савоську въ трудныхъ мѣстахъ, гдѣ была горячая работа: голосъ его росъ и крѣпчалъ, лицо оживлялось лихорадочной энергіей, глаза горѣли огнемъ. Прежняго Савоськи точно не бывало; на скамейкѣ стоялъ совсѣмъ другой человѣкъ, который всей своей фигурой, голосомъ и движеніями производилъ магическое впечатлѣніе на бурлаковъ. Въ немъ чувствовалась именно та сила, которая такъ заразительно дѣйствуетъ на массы.

Савоська былъ именно такой творческой головой, какая создается только полной опасностей жизнью. Съ широкимъ воображеніемъ, съ чуткимъ, отзывчивымъ умомъ, съ поэтической складкой души, онъ неотразимо владѣлъ симпатіями разношерстной толпы.

— Гдѣ ты всему выучился? — спрашивалъ я его.

— Ученикомъ сперва плавалъ, еще съ отцомъ съ покойникомъ. Съ десяти лѣтъ, почитай, на караванахъ хожу. А потомъ ужъ самъ сталъ сплавщикомъ. Сперва-то намъ, выученикамъ, даютъ барку двоимъ и товаръ, который не боится воды: чугунъ, сало, хромистый желѣзнякъ, а потомъ желѣзо, мѣдь, хлѣбъ.

— Сколько же вы получаете за сплавъ?

— Смотря по грузу: которые съ чугуномъ плывутъ, тѣмъ 35—40 р. платятъ, а которые съ мѣдью 50—60 р. за сплавъ. Ежели благополучно привалитъ караванъ въ Пермь — награды другой разъ даютъ рублей десять.

Такое вознагражденіе работы сплавщика просто нищенское, если принять во вниманіе, какъ оплачивается всякій другой профессіональный трудъ и въ особенности то, что самый лучшій сплавщикъ въ теченіе года одинъ разъ сплыветъ весной да другой, можетъ-быть, лѣтомъ, т.-е. заработаетъ въ годъ рублей полтораста.

## XII.

Самая гористая часть Чусовой находится между пристанями Демидовой Уткой и Кыномъ. Мы теперь плыли именно въ этой живописной полосѣ, гдѣ по сторонамъ вставали одна горная картина за другой. Чусовая въ межень, т.-е. лѣтомъ, представляетъ собой въ горной своей части рядъ тихихъ плесъ, гдѣ вода стоитъ, какъ зеркало; эти плесы соединяются между собой шумливыми переборами. На нѣкоторыхъ переборахъ вода стоитъ всего на 4 вершкахъ, а теперь она поднялась на три аршина и неслась впередъ сплошнымъ пѣнистымъ валомъ, который покрылъ всѣ плёсы и переборы. Самые опасные переборы, въ родѣ Кашинскаго, сдѣлались еще страшнѣе въ полую воду, потому что здѣсь теченіе рѣки сдавлено утесистыми берегами.

Главную красоту чусовскихъ береговъ составляютъ скалы, которыя съ небольшими промежутками тянутся сплошнымъ утесистымъ гребнемъ. Нѣкоторыя изъ нихъ совершенно отвѣсно подымаются вверхъ, саженъ на шестьдесятъ, точно колоссальныя стѣны какого-то гигантскаго средневѣкового города; иногда такая стѣна тянется по берегу на нѣсколько верстъ. Представьте же себѣ размѣры той страшной силы, которая прорыла такіе коридоры въ самомъ сердцѣ горъ! Всѣ эти сланцы и известняки теперь представляютъ сплошныя отвѣсныя громады бурогрязнаго цвѣта съ ржавыми полосами и красноватыми пятнами. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ горная порода вывѣтрилась подъ вліяніемъ атмосферическихъ дѣятелей, превратившись въ губчатую массу, въ другихъ—она осыпается и отстаетъ, какъ старая штукатурка. На нѣкоторыхъ скалахъ вполнѣ ясно обрисовано расположеніе отдѣльныхъ слоевъ; иногда эти слои идутъ въ замѣчательномъ порядкѣ, точно это работа не слѣпой стихійной силы, а разумнаго существа, нѣчто въ родѣ циклопической гигантской кладки. Разорванный верхній край этихъ скалъ довершаетъ иллюзію. Пронеслись тысячи лѣтъ надъ этой постройкой, чтобы разрушить карнизы, арки и башни. Услужливое воображеніе дорисовываетъ дѣйствительность. Вотъ остатки крѣпкихъ воротъ, вотъ основаніе бойницы, вотъ заваленныя мусоромъ базы колоннъ... Вѣдь это тѣ самыя Рифейскія горы, куда Александръ Македонскій на вѣки вѣковъ заточилъ провинившихся гномовъ.

Подъ такими скалами рѣка катится черной волной, съ подавленнымъ рокотомъ, жадно облизывая всѣ выступы и углубленія, гдѣ лѣтомъ топорщится зеленая травка и гнѣздятся молоденькія ели и пихты. Все, что успѣваетъ вырасти здѣсь за лѣто, рѣка смываетъ и безжалостно уноситъ съ собой, точно слизывая широкимъ холоднымъ языкомъ всякіе слѣды живой растительности, осмѣливающейся переступить роковую границу, за которой кипитъ страшная борьба воды съ камнемъ. Барка подъ такими скалами плыветъ въ густой тѣни: свѣтъ падаетъ сверху разсѣивающейся полосой. Сыростью и холодомъ вѣетъ отъ этихъ каменныхъ стѣнъ, на душѣ становится жутко, и хочется еще разъ взглянуть на яркій солнечный свѣтъ, на широкое приволье горной панорамы, на синее небо, подъ которымъ дышится такъ легко и свободно. Малѣйшій звукъ здѣсь отдается чуткимъ эхомъ. Слышно, какъ каплетъ вода съ поднятыхъ поносныхъ, а когда они начинаютъ работать, разгребая воду — по рѣкѣ катится оглушающая волна звуковъ. Команда сплавщика повторяется эхомъ, нѣсколько разъ перекатываясь съ берега

на берегъ. Даже неистовая рѣка стихаетъ подъ этими скалами и проходитъ мимо нихъ въ почтительномъ молчаніи.

Самыя высокія и массивныя скалы—еще не самыя опасныя. Большинство настоящихъ «бойцовъ» стоятъ совершенно отдѣльными утесами, точно зубы гигантской челюсти. Опасность создается направленіемъ водяной струи, которая бьетъ прямо въ скалу, что обыкновенно происходитъ на самыхъ крутыхъ поворотахъ рѣки. Обыкновенно боецъ стоитъ въ углу такого поворота и точно ждетъ добычи, которую ему броситъ рѣка. Душой овладѣваетъ неудержимый страхъ, когда барка сдѣлаетъ судорожное движеніе и птицей полетитъ прямо на скалу... На баркѣ мертвая тишина, бурлаки прильнули къ поносньмъ, боецъ точно бѣжитъ навстрѣчу, еще одинъ моментъ — и наше суденышко разлетится вдребезги. Савоська мѣряетъ глазами быстро уменьшающееся разстояніе между бойцомъ и баркой, и когда остается всего нѣсколько саженъ, отдаетъ команду какъ-то всей грудью. Бурлаки испуганно шарахнутся по палубѣ, и поносныя, эти громадныя бревна, даже изогнутся подъ напоромъ человѣческой силы. Нужно видѣть, какъ работали бурлаки: это была артистическая работа, достойная кисти художника. Но вотъ барка быстро повернула носъ отъ бойца и вѣжливо проходитъ мимо него однимъ бортомъ: опасность такъ же быстро минуетъ, какъ приходитъ, и не хочется вѣрить, что кругомъ опять зеленые берега и барка плыветъ въ совершенной безопасности.

— Съ коня долой! — командуетъ Савоська.

Передъ каждымъ бойцомъ, какъ при отвалѣ и привалѣ, а также и послѣ прохода подъ бойцомъ бурлаки усердно молятся. Такая молитва еще увеличиваетъ торжественность критическаго момента, но она является самымъ естественнымъ проявленіемъ того напряженнаго состоянія духа, которое переживаетъ невольно каждый. Хорошо дѣлается на душѣ, когда смотришь на эту картину молящагося народа: и молитва, и трудъ, и недавняя опасность—все сливается въ одинъ стройный аккордъ. Савоська на своей скамейкѣ походитъ на капельмейстера. Не желая утрировать аналогію, мы все-таки сравнимъ бурлаковъ съ отдѣльными музыкальными нотами, изъ которыхъ здѣсь слагается живая мелодія безконечной борьбы человѣка съ слѣпыми силами мертвой природы.

Немного пониже деревни Пермяковой мы въ первый разъ увидѣли «убитую» барку. Это была громадная коломенка, нагруженная кулями съ пшеницей. Правымъ, разбитымъ, плечомъ она глубоко легла въ воду; конь и передняя палуба были снесены водой; изъ-подъ вывороченныхъ досокъ выглядывали мочальные кули. Поносныя были сорваны. Снастью она была прикрѣплена къ берегу; очевидно, это на скорую руку устроили косные; бурлаковъ не было видно на берегу.

— Гдѣ же рабочіе?—спрашивалъ я.

— Ушли, значитъ. Чего имъ теперь дѣлать у убившей барки? Водоливъ долженъ быть во всякомъ случаѣ у барки... Да вонъ и онъ. Надо полагать, за хлѣбомъ ходилъ. Теперь наладитъ себѣ на бережку шалашикъ и будетъ дожидать купца... Купеческая посудина-то, съ верхнихъ пристаней.

Водоливъ шелъ по берегу и непривѣтливо смотрѣлъ на нашу сторону.

— Чьихъ вы будете?—крикнулъ нашъ водоливъ Порша, выставляя голову изъ люка.

Водоливъ что-то крикнулъ, но его отвѣтъ былъ заглушенъ работой поносныхъ. Черезъ пять минутъ разбитая барка скрылась изъ вида.

— Съ людями несчастіевъ, значитъ, не было на убившей баркѣ,—проговорилъ Савоська въ раздумьѣ.

— Отчего ты такъ думаешь?

— Кабы кого порѣшило, такъ лежалъ бы на бережку, тутъ же; а то, значитъ, всѣ цѣлы остались. Барка-то съ пшеницей была; она какъ ударилась въ боецъ—не ко дну сейчасъ, а помаленьку и отползла отъ бойца-то. Это не то, что вотъ барка съ чугуномъ: та бы подъ бойцомъ сейчасъ же захлебнулась бы, а эта хошь на одномъ боку, да плыветъ.

Бурлаки долго галдѣли объ «убившей» баркѣ, обсуждая обстоятельства послѣдовавшаго крушенія съ пріемами завзятыхъ спеціалистовъ. Новички сплава внимательно вслушивались въ непонятную для нихъ терминологію спорившихъ.

Савоська не обращалъ никакого вниманія на эту болтовню и время отъ времени тревожно поглядывалъ кверху, на сѣрое

небо, которое будто ниже и ниже опускалось надъ рѣкой.

— Моросить... — проговорилъ онъ, выставляя руку подъ накрапывавшій мелкій дождь.

— А что?

— Худо будетъ...

Я понялъ этотъ лаконическій отвѣтъ. Какъ всякая другая горная рѣка, Чусовая отъ одного хорошаго дождя можетъ подняться на нѣсколько аршинъ, потому что всѣ безчисленные ручейки и рѣчонки, которые бѣгутъ въ нее, раздуваются въ бѣшеные потоки, принося массу шальной воды.

— А гдѣ будемъ хвататься?— спрашивалъ я.

— Подъ Кыномъ надо будетъ хватку сдѣлать.

Не доплывая до Кына верстъ пятнадцать, мы издали увидѣли вереницу схватившихся барокъ. Это былъ нашъ караванъ. Онъ привалилъ къ лѣвому берегу, гдѣ нарочно были устроены ухваты для хватки, т.-е. вкопаны въ землю толстые столбы, за которые удобно было крѣпить снасть. Широкое плесо представляло всѣ удобства для стоянки.

— За Кыномъ, по настоящему, слѣдовало бы схватиться,—объяснялъ Савоська.— Да, видишь, подъ самымъ Кыномъ переборъ сумлительный... Онъ бы и ничего, переборъ-отъ, да, вишь, кыновляна караванъ грузятъ въ рѣкѣ, ну, либо на караванъ барку снесетъ, либо на переборъ, только держись за грядки. Одинова тамъ барку вверхъ дномъ выворотило. Силища несосвѣтимая у этой воды! Другой сплавщикъ не боится перебора, такъ опять прямо въ кыновскій караванъ врѣжется: и свою барку загубитъ и кыновскимъ достанется.

Хватка — одно изъ самыхъ трудныхъ условій благополучнаго сплава, особенно въ большую воду. Намъ схватиться за готовыя барки уже не представляло особенной опасности. Порша выкинулъ снасть на самую послѣднюю барку, тамъ положили ее мертвой петлей на огниво, теперь оставалось только осторожно травить снасть, т.-е., завернувъ ее на огниво, спускать кольцо за кольцомъ, чтобы нѣсколько ослабить силу напряженія. Въ первый моментъ, когда Порша завернулъ канатъ вокругъ огнива двумя петлями, онъ натянулся, какъ струна, барка вздрогнула и точно сознательно рванулась впередъ. Въ этотъ критическій моментъ, когда натянувшійся канатъ могъ порваться, какъ гнилая нитка, Порша осторожно началъ его спускать на огнивѣ. Отъ сильнаго тренія огниво задымилось и, вѣроятно, загорѣлось бы, но Исачка во-время облилъ его водой изъ ведерка.

— Крѣпи снасть намертво!—скомандовалъ Савоська.—Съ коня долой...

Всѣ сняли шапки и помолились на востокъ.

— Спасибо, братцы!—коротко поблагодарилъ Савоська бурлаковъ.

— Тебѣ спасибо, Савостьянъ Максимычъ... Съ веселенькой хваткой!

## XIII.

Ночь я провелъ самую тревожную и просыпался нѣсколько разъ. Казалось, что около барки живымъ клубомъ шипѣла и шевелилась масса змѣй. Когда я проснулся, наша барка подплывала уже къ Кыновской пристани. Въ окошечко каюты, сквозь мутную сѣтку дождя, едва можно было разсмотрѣть неясныя очертанія гористаго берега. Кыновскій заводъ засѣлъ въ глубокой каменистой лощинѣ, на лѣвомъ берегу, гдѣ Чусовая дѣлаетъ крутой поворотъ. «Кыну» по-пермяцки значитъ холодный, и дѣйствительно, въ среднемъ Уралѣ немного найдется такихъ уголковъ, которые могли бы соперничать съ Кыномъ относительно дикости и угрюмаго вида окрестностей. Какъ-то всѣмъ существомъ чувствуешь, что здѣсь глухой, безпріютный сѣверъ, гдѣ все точно придавлено. Караванъ кыновскій успѣлъ уже отвалить до насъ; на берегу едва можно было разсмотрѣть ряды заводскихъ домиковъ, совсѣмъ почернѣвшихъ отъ дождя.

— На полъ-аршина вода прибыла за ночь, какъ-то таинственно сообщилъ мнѣ Савоська, когда барка прошла камасинскій переборъ.

— Опасно?

— Середка на половинѣ... А та бѣда, что дождикъ-то не унимается. Рѣчонки больно подпираютъ Чусовую съ боковъ: такъ разыгрались, что на, поди! А чѣмъ дальше плыть, тѣмъ воды больше будетъ.

— Три аршина три четверти!—крикнулъ Порша, мѣряя воду наметкой.

Савоська промолчалъ, а только потуже подпоясался и глубже нахлобучилъ на голову свою шляпу, точно приготовляясь вступить въ рукопашную съ невидимымъ врагомъ.

Прибывавшая вода скоро дала себя почувствовать. Барка плохо слушалась поносныхъ и неслась впередъ съ увеличивавшейся скоростью. На бойкихъ мѣстахъ она вздрагивала, какъ живая.

— Носъ налѣво! Постарайтесь, родимые! — кричалъ Савоська, стараясь вглядѣться въ мутную даль.—Голубчики, поддоржи корму! Сильно-гораздо поддоржи!..

Порша показывался на палубѣ только для того, чтобы сердито плюнуть и обругать неизвѣстно кого. Въ одномъ мѣстѣ наша барка правымъ бортомъ сильно черкнула по камню; нѣсколько досокъ были сорваны, какъ соломинки.

— Барка убившая...—послышался шопотъ.

Впереди, подъ бойцомъ, можно было разсмотрѣть только темную массу, которая медленно поднималась изъ воды. Это и была убившая барка. Двѣ косныхъ лодки съ бурлаками причаливали къ берегу; въ водѣ мелькало нѣсколько черныхъ точекъ; это были утопающіе, которыхъ стремительнымъ теченіемъ неудержимо несло внизъ.

— Наша каменская барка... Гордей плылъ,—проговорилъ Савоська, всматриваясь въ тонувшую барку.—Сила не взяла...

«Убившая» барка своимъ разбитымъ бокомъ все глубже и глубже садилась въ воду, чугунъ съ грохотомъ сыпался въ воду, поворачивая барку на ребро Палубы и конь были сорваны и плыли отдѣльно по рѣкѣ. Двѣ человѣческія фигуры, обезумѣвъ отъ страха, цѣплялись по цѣлому борту. Чтобы пройти мимо убитой барки, которая загораживала намъ дорогу, нужно было употребить всѣ наличныя силы. Наступила торжественная минута.

— Ударь носъ направо, молодцы!!! Сильно-гораздо ударь!!.—не своимъ голосомъ крикнулъ Савоська, когда наша барка понеслась прямо на убитую.

Трудно описать то ощущеніе, какое переживаешь каждый разъ въ боевыхъ мѣстахъ: это не страхъ, а какое-то животное чувство придавленности. Думаешь только о собственномъ спасеніи и забываешь о другихъ. Разбитая барка промелькнула мимо насъ, какъ тѣнь. Я едва разсмотрѣлъ блѣдное, какъ полотно, женское лицо и снимавшаго лапти бурлака.

— Какъ же они остались тамъ?—спрашивалъ я Савоську, оглядываясь назадъ.

— Ничего, косные снимутъ. Намъ вонъ тѣхъ надо переловить...

— Пять!..—кричалъ Порша, прикидывая своей наметкой.—Охъ, подымаетъ вода!..

— Придется сдѣлать хватку,—говорилъ Савоська.—Вечоръ Осипъ Иванычъ наказывалъ, ежели вода станетъ на пять аршинъ, всему каравану хвататься...

— Опасно дальше плыть?

— Опасно-то опасно, да тутъ пониже есть деревушка Кумышъ... Вотъ она гдѣ сидитъ, эта самая деревушка,—прибавилъ Савоська, указывая на свой затылокъ.

— А что?

— Больно работы много за Кумышомъ, да и мѣсто бойкое... Есть тутъ семь верстъ, такъ не приведи истинный Христосъ. Страшенные бойцы стоятъ!..

— Молоковъ?

— Онъ самый, баринъ. Да еще Горчакъ съ Разбойникомъ... Тутъ нашему брату, сплавщику, настоящее горе. Бойцы щелкаютъ наши барочки, какъ бабы орѣхи. По мѣрной водѣ еще ничего, можно пробѣжать, а какъ за пять аршинъ перевалило—тутъ держись только за землю. Какъ въ квашенкѣ, мѣситъ... Непремѣнно надо до Кумыша схватиться и обождать малость, покамѣстъ вода спадетъ хоть на полъ-аршина.

— А если придется долго ждать?

— Ничего не подѣлаешь. Не нашъ одинъ караванъ будетъ стоять... На людяхъ-то, баютъ, и смерть красна.

— Братцы, утопленникъ плыветъ... утопленникъ!—крикнулъ кто-то съ передней палубы.

Въ водѣ мимо насъ быстро мелькнуло мертвое тѣло утонувшаго бурлака. Одна нога была въ лаптѣ, другая босая.

— Успѣлъ снять одинъ-то лапоть сердяга, а другой не успѣлъ,—замѣтилъ Савоська, оглядываясь назадъ, гдѣ колыхалась въ волнахъ темная масса. — Эхъ, житье-житье! Дай, Господи, царство небесное упокойничку! Это изъ-подъ Мултыка плыветъ, тамъ была убившая барка.

Бурлаки пріуныли. Картина плывшаго мимо утопленника застазила задуматься всѣхъ. Особенно пріуныли крестьяне. Ста-

рый Силантій нѣсколько разъ принимался откладывать широкіе кресты.

— Нѣтъ, придется схватиться,—рѣшилъ Савоська, поглядывая на сѣрое небо. — Порша! приготовь снасть!.. Вонъ Лупанъ тоже налаживается хвататься.

Бурлаки обрадовались возможности обсушиться на берегу и перехватить горяченькаго.

## XV—XVI.

Въ теченіе какихъ-нибудь трехъ дней Чусовая превратилась въ бѣшенаго звѣря. Это былъ двигающійся потопъ, ломавшій и уносившій все на своемъ пути. Высота воды достигла шести съ половиной аршинъ, а вмѣстѣ съ каждымъ вершкомъ прибывавшей воды увеличивалась и скорость ея движенія. При низкой водѣ валъ идетъ по рѣкѣ со скоростью $5^1/_2$ верстъ въ часъ, а теперь онъ мчался со скоростью 8 верстъ; барка по низкой водѣ дѣлаетъ въ часъ среднимъ числомъ верстъ одиннадцать, а по высокой—пятнадцать и даже двадцать. Въ послѣднемъ случаѣ всѣ условія сплава совершенно измѣняются: тамъ, гдѣ достаточно было 40 человѣкъ, теперь нужно становить на барку цѣлыхъ 60, да и то нельзя поручиться, что вода не одолѣетъ подъ первымъ же бойцомъ.

Сила напора водяной струи была такъ велика, что нашу барку привязали къ ухвату еще вторымъ канатомъ. Кругомъ все попрежнему было сѣро. Берегъ превратился въ стоянку какихъ-то дикарей. Бурлаки не походили на самихъ себя: спали въ мокрѣ и грязи, почернѣли отъ дыма, отощали. Оказалось нѣсколько больныхъ, которые лежали подъ прикрытіемъ своихъ шалашиковъ. О медицинской помощи нечего было и думать, когда не было хлѣба и харчей. Вся надежда оставалась на то, какъ и при лѣченіи дорогихъ патентованныхъ врачей, что, авось, человѣкъ «самъ отлежится». До ближайшей деревни было верстъ двѣнадцать, но попадать туда было крайне замысловато: горой, т.-е. по берегу, нельзя было пройти—не пускали разбушевавшіяся горныя рѣчки; по Чусовой, конечно, было можно попасть, но тяжело было возвращаться назадъ, противъ теченія.

Мы простояли на одномъ мѣстѣ цѣлыхъ пять дней, что въ сплавное горячее время очень много.

— Мы севодни отваливаемъ,—говорилъ Савоська утромъ шестого дня.

— А сколько надъ меженью воды стоитъ?

— Пять аршинъ безъ вершка...

Я посмотрѣлъ на Савоську, желая убѣдиться, что онъ пошутилъ. Но Савоська смотрѣлъ совершенно серьезно и прибавилъ:

— На свѣту ревдинскій караванъ пробѣжалъ... Того гляди, съ другихъ пристаней коломенки налетятъ, тогда хуже будетъ. Осипъ Иванычъ еще вечоръ заказали, чтобы все было готово къ отвалу.

Наша барка и барка Лупапа стали готовиться къ отвалу.

Когда все было готово на обѣихъ баркахъ, всѣ стали нетерпѣливо поглядывать вверхъ по рѣкѣ, гдѣ изъ-за мыска должна была показаться барка Пашки. Какъ только она показалась, отвалилъ Лупанъ, а черезъ десять минутъ и мы.

— Ну, братцы, теперь будетъ работы досыта,—говорилъ Савоська бурлакамъ.— Постарайтесь...

Чусовая мчалась теперь въ горахъ бѣшенымъ валомъ, который точно когтями рвалъ по пути землю и уносилъ молодыя деревья десятками. Барка дѣлала въ часъ больше двадцати верстъ, что при постоянныхъ поворотахъ рѣки создавало массу новыхъ препятствій. Горы замѣтно понижались; не было такой цѣпи утесовъ, какъ до Кына. Мало-по-малу прояснилось и небо, точно надъ горами поставили голубой шатеръ, затканный всѣми переливами солнечнаго свѣта. Въ бездонной выси поплыли серебристыми грядами бѣлогрудыя облачка Наконецъ мы увидѣли солнце, которое было скрыто отъ нашихъ глазъ въ теченіе цѣлой недѣли. При яркомъ солнечномъ свѣтѣ, заливавшемъ берега струившейся волной, самыя опасности не были такъ страшны, какъ въ ненастье. Отдохнувшіе и обсохнувшіе люди молодецки срывали поносныя, точно стараясь наверстать столько потеряннаго даромъ времени.

До Кумыша мы уже встрѣтили нѣсколько разбитыхъ барокъ. Одна изъ нихъ была подрѣзана льдомъ. Нѣсколько утонленниковъ лежали на берегу подъ рогожкой. Одного откачивали на разостланныхъ зипунахъ. Бѣлое тѣло мертвымъ движеніемъ перекатывалось въ рукахъ качавшихъ, а

русая голова болталась въ тактъ раскачиваній.

— Царствіе небесное упокойничку...

Немного ниже убитой барки намъ пришлось «отуриться» подъ бойцомъ, т.-е. итти дальше кормой впередъ, что иногда дѣлается въ опасныхъ мѣстахъ. Барка была на волосокъ отъ гибели, и только присутствіе духа и находчивость Савоськи спасли ее. Лупанъ тоже отурился, а Пашка потерялъ кормовое поносное.

Передъ самымъ Кумышомъ мы набѣжали еще на двѣ убитыхъ барки. Картина была та же, что и раньше: отъ барки выставлялась только крыша, на берегу собрались кучками бурлаки, лежало нѣсколько упокойничковъ и т. д.

— Вотъ и Кумышъ!—послышались голоса, когда впереди на берегу показалась небольшая деревня.

Деревня Кумышъ не представляетъ собой ничего особеннаго среди другихъ глухихъ чусовскихъ деревушекъ. Савоська пристально посмотрѣлъ на ближайшія избушки и только покачалъ головой.

— Ни единой живой души во всей деревнѣ нѣтъ,—проговорилъ онъ.

— На сплавъ ушли?

— Мужики на сплаву, а остальной народъ убѣжалъ къ бойцамъ... Много, надо полагать, тамъ убившихъ барокъ.

Бойцы, расположенные за деревней Кумышомъ. представляютъ послѣднюю каменную преграду, съ какой борется Чусовая. Старикъ Уралъ напрягаетъ здѣсь послѣднія силы, чтобы загородить дорогу убѣгающей отъ него горной красавицѣ. Здѣсь Чусовая окончательно выбѣгаетъ изъ камней, чтобы дальше разлиться по широкимъ поемнымъ лугамъ. Въ камняхъ она едва достигаетъ 50 саженей ширины, а къ устью разливается саженъ на 300.

— Съ коня долой! — скомандовалъ Савоська, когда издали послышался глухой шумъ.

На баркѣ давно стояла мертвая тишина; теперь всѣ головы обнажились и посыпались усердные кресты. Народъ молился отъ всей души, той теплой, хорошей молитвой, которая равняетъ всѣхъ въ одно цѣлое—и хорошихъ, и дурныхъ, и злыхъ, добрыхъ. Шумъ усиливался: это ревѣлъ Молоковъ.

— Постарайтесь, братцы... носъ налѣво! Похаживай, молодцы, веселенько... Сильно-гораздо ударь носъ-отъ!!! Милые, постарайтесь!

Подъ Молоковымъ и Разбойникомъ рѣка дѣлаетъ два послѣдовательныхъ оборота, при чемъ бойцы стоятъ въ углахъ этихъ поворотовъ и струя бьетъ прямо на нихъ съ бѣшеной силой.

Скоро мы завидѣли и Молоковъ. Это была громадная скала, стоявшая къ верховьямъ рѣки покатымъ ребромъ, образуя наклонную плоскость, по которой вода взбѣгала пѣнящимся валомъ на нѣсколько саженъ и съ ужаснымъ ревомъ скатывалась обратно въ рѣку, превращаясь въ бѣлую пѣну. Вся рѣка подъ Молоковымъ представляла бѣлую вспѣненную массу, точно кипящее молоко,—отсюда и названіе бойца Молоковъ. Другимъ ребромъ боецъ выступалъ въ рѣку, точно выдвигая каменный таранъ. Отброшенная скалой вода пересѣкаетъ рѣку наискось вплоть до противоположнаго берега, образуя цѣлую гряду ревущихъ майдановъ; они далеко бѣгутъ внизъ по рѣкѣ, точно стадо бѣлыхъ овецъ. Сила движенія воды здѣсь настолько велика, что за бойцомъ образуется суводь, т.-е. вода тихимъ токомъ медленно возвращается къ бойцу, что можно замѣтить по плывущей вверхъ по рѣкѣ пѣнѣ. Такимъ образомъ, съ одной стороны—страшная гряда майдановъ, а рядомъ съ ней совершенно тихая полоса суводи. Получается поразительный контрастъ, рѣзко обозначенный водянымъ рубцомъ.

Трудность прохода подъ Молоковымъ заключается въ слѣдующемъ: водяная струя бьетъ прямо въ скалу, дѣлая здѣсь уголъ, и идетъ къ слѣдующему бойцу, Разбойнику; барка должна пересѣчь эту струю подъ Молоковымъ въ самомъ углѣ, чтобы дальше попасть въ суводь. Если она этого не успѣетъ сдѣлать и попадетъ на майданы, ее неудержимо унесетъ прямо на Разбойника. Чтобы не попасть ни на первый ни на второй боецъ, баркѣ приходится перерѣзать рѣку въ косомъ направленіи, съ одного мыса на другой, при чемъ ей необходимо переваливать черезъ рубецъ. Но разстояніе между бойцами всего двѣ версты, и барка не въ состояніи при условіяхъ своего движенія и при страшной быстротѣ теченія во-время перерѣзать струю за первымъ бойцомъ, если не перебьетъ ее подъ самымъ бойцомъ. Получается роковая дилемма: если барка

пройдетъ далеко отъ перваго бойца и не перерѣжетъ струи въ углѣ, она разобьется о второй боецъ; если барка не побоится бойца, то какое-нибудь одно просчитанное мгновеніе—и она въ щепы разобьется о каменный выступъ. При мѣрной водѣ эта мудреная задача разрѣшается сравнительно легче, но при высокой все зависитъ отъ сплавщика: нужно имѣть крѣпкую душу, чтобы не дрогнуть, когда на васъ понесется боецъ... Именно въ такихъ боевыхъ мѣстахъ начинаетъ казаться, какъ при всякомъ быстромъ движеніи, что не самъ движешься, а все другомъ летитъ мимо тебя съ увеличивающейся, захватывающей духъ скоростью.

— Три убившихъ барки...—прошепталъ Савоська, вглядываясь въ бѣжавшій навстрѣчу боецъ. — И заплавни выброшены на берегъ... Лупанъ пробѣжалъ, кажется, благополучно.

Около самыхъ опасныхъ бойцовъ въ воду спускаются деревянные брусья, составленные изъ четырехъ восьмивершковыхъ бревенъ. Они огораживаютъ боецъ подвижной деревянной рамой, которая укрѣпляется въ скалѣ деревянными пружинами, т.-е. громадными брусьями, которые при ударѣ барки о заплавни нѣсколько подаются въ бокъ и этимъ уменьшаютъ силу удара. Такіе заплавни нѣсколько предохраняютъ барки отъ крушеній, но при высокой водѣ первая налетѣвшая на боецъ барка ломаетъ ихъ и даже выбрасываетъ на берегъ. Когда мы подходили къ Молокову, заплавни не дѣйствовали: пружины были сломаны и брусья лежали на берегу.

Наша барка подходила къ бойцу въ мертвомъ молчаніи. Майданы ревѣли все сильнѣй. Въ воздухѣ висѣла водяная пыль, садившаяся на лицо паутиной. Съ каждымъ мгновеніемъ разстояніе между баркой и бойцомъ дѣлалось все меньше и меньше. Можно было разсмотрѣть всѣ впадины и трещины на ожидавшей насъ скалѣ. Бурлаки прильнули къ поноснымъ; ни одного звука ни одного движенія. Савоська застылъ на своей скамеечкѣ въ одной позѣ и не сводитъ глазъ съ шестика, который укрѣпленъ на носу нашей барки, какъ прицѣлъ на ружьѣ. Вотъ барка врѣзалась носомъ въ клокочущую гряду майдановъ и тяжело колыхнулась, точно ее подхватили тысячи могучихъ рукъ и понесли на боецъ. До страшнаго выступа всего нѣсколько сажень; чувствуешь, какъ холодѣетъ внутри, въ глазахъ рябитъ... Чувство физическаго ужаса овладѣваетъ всѣми одинаково, сознаніе едва теплится. Нѣтъ, скорѣе что-нибудь одно: или конецъ или счастливый исходъ, только не эти страшныя мгновенія страшнаго ожиданія. Кажется, что все погибло—спасенья нѣтъ... Вотъ сосенка на скалѣ, а тамъ, на берегу, мелькаютъ какіе-то люди. Гребни волнъ обдаютъ палубу до, ждемъ брызгъ... Въ какомъ-то полуснѣ слышишь сорвавшуюся команду, когда до бойца остается всего нѣсколько аршинъ, поносныя съ страшной силой падаютъ въ воду, поднимаются, опять падаютъ... Барка повернулась къ бойцу бокомъ и прошла отъ него всего на разстояніи какихъ-нибудь шести четвертей, можно рукой достать, но вѣдь это всего одно мгновеніе, и не хочется вѣрить, что опасность промелькнула, какъ сонъ, и также быстро теперь бѣжитъ отъ насъ, какъ давеча бѣжала навстрѣчу. Мы въ суводи, барка плыветъ ровно, навстрѣчу подымаются по рѣкѣ клочья пѣны. Впереди двѣ исковерканныхъ массы, около которыхъ бурлитъ вода: это убившія барки. На берегу десятки людей, которые разбились на отдѣльныя кучки. Всѣ смотрятъ на боецъ, къ которому теперь бѣжитъ Пашка.

— Охъ, Пашка не ладно отработываетъ отъ камня!..—какъ-то застоналъ Савоська, оглядываясь назадъ.—Нѣтъ, не пересѣкетъ струю...

Пашкина барка прошла дальше нашей отъ Молокова и попала на майданы. Видно, какъ бѣгаетъ по палубѣ водоливъ со своей наметкой. Поносныя судорожно загребаютъ воду, но струя отбрасываетъ барку каждый разъ, когда она хочетъ перевалить черезъ рубецъ въ суводь.

— Шабашъ, подъ Разбойникомъ зарѣжетъ барку!—говоритъ Савоська, махнувъ рукой.—Сила не беретъ...

Хорошіе сплавщики рѣдко обвиняютъ другихъ сплавщиковъ въ неудачахъ, а стараются свалить вину на что-нибудь другое.

Но намъ теперь не до Пашки, а до себя. Двѣ версты промелькнули въ пять минутъ, и впереди уже встаетъ знаменитый боецъ Разбойникъ, который подымаетъ свою каменную голову на 50 саженъ

кверху и упирается въ рѣку роковымъ острымъ гребнемъ.

— Похаживай, молодцы!—покрикиваетъ Савоська, когда барка начинаетъ подходить къ мысу.

Когда мы вывернулись изъ-за мыса и полетѣли на Разбойника, нашимъ глазамъ представилась ужасная картина: барка Лупана быстро погружалась однимъ концомъ въ воду... Палуба отстала, изъ-подъ нея съ грохотомъ и трескомъ сыпался чугунъ, обезумѣвшіе люди соскакивали съ борта прямо въ воду... Крики отчаянія тонувшихъ людей перемѣшались съ воемъ рѣки.

— О чужую, убившую барку Лупанъ убился,—объяснилъ Савоська.

Дѣйствительно, изъ-за барки Лупана теперь можно было разсмотрѣть расщепанную корму другой барки, на которой уже никого не было. Намъ пришлось пройти рядомъ съ тонувшей баркой Лупана, которую тихо заворачивало кормой внизъ. Нѣсколько человѣкъ бурлаковъ успѣли перескочить къ намъ; какой-то несчастный старикъ поскользнулся и упалъ въ воду, гдѣ и скрылся сейчасъ же подъ захлеснувшей его волной. Самъ Лупанъ оставался на баркѣ и съ замѣчательнымъ хладнокровіемъ отвязывалъ прикрѣпленную къ борту неволю. Нѣсколько черныхъ точекъ ныряло въ водѣ: это были спасавшіеся вплавь бурлаки. Рѣдкій изъ нихъ не тащилъ за собой своей котомки въ зубахъ. Разстаться съ котомкой для бурлака настолько тяжело, что онъ часто жертвуетъ изъ-за нея жизнью: барка ударилась о боецъ и начинаетъ тонуть, а десятки бурлаковъ, вмѣсто того, чтобы спасаться вплавь, лѣзутъ подъ палубы за своими котомками, гдѣ часто ихъ и заливаетъ водой.

Мы пробѣжали мимо Разбойника совсѣмъ благополучно. За Разбойникомъ весь берегъ былъ усыпанъ бурлаками съ убившихся здѣсь барокъ, которыхъ насчитывали больше десятка. Эта картина страшнаго разрушенія быстро промелькнула мимо насъ, оставя въ душѣ самое смутное впечатлѣніе. Нѣсколько утонувшихъ бурлаковъ лежали на берегу, двоихъ откачивали на холстахъ, которые притащили бабы изъ Кумыша. Среди большихъ покойниковъ выдавался только трупъ мальчика лѣтъ двѣнадцати. Онъ лежалъ на лѣвомъ боку съ голыми ногами, въ одной розовой ситцевой рубашкѣ, точно спалъ. Вѣроятно, это былъ ученикъ сплавщика. Три бабы стояли около него и съ соболѣзнованіемъ смотрѣли на бездушное дѣтское тѣло. А солнце такъ весело освѣщало весь берегъ и Чусовую, точно кругомъ была идиллія.

— Вонъ Пашка летитъ на боецъ...

Я оглянулся. Пашка дѣйствительно прямо бѣжалъ на роковой гребень. Бурлаки выбивались изъ силъ, работая поносными. Издали казалось, что по палубамъ каталась какая-то сѣрая волна, точно барка дѣлала конвульсивныя движенія, чтобы избѣжать рокового удара. Но все напрасно: еще одно мгновеніе—и барка Пашки врѣзалась однимъ бокомъ въ выступъ скалы, послышался трескъ ломавшихся досокъ, крикъ людей, грохотъ сыпавшагося чугуна, а поносныя продолжали все еще работать, пока не сорвало переднюю палубу вмѣстѣ съ поносными и людьми, и все это не поплыло по рѣкѣ невообразимой кашей. Доски, люди, бревна—все смѣшалось въ живую кучу, которая барахталась и ползала подъ бойцомъ, какъ раздавленное пятидесятиголовое насѣкомое. Отъ берега къ бойцу плыли косныя лодки, чтобы спасать погибающихъ.

— Эка страсть, милостивой Господь!—шепчетъ кто-то въ ужасѣ.—Народичку сколько погибнетъ по-занапрасну...

Мы можемъ пожалѣть только объ одномъ, что въ средѣ русскихъ художниковъ не нашлось ни одного, кто въ краскахъ передалъ бы все, что творится на Чусовой каждую весну.

## XVII.

Бойцы подъ Кумышомъ, какъ мы уже сказали выше, составляютъ послѣднюю каменистую прѣграду теченію Чусовой; дальше она течетъ въ холмистыхъ берегахъ и разливается все шире и шире. Сообразно измѣняющимся условіямъ теченія, мѣняются и условія сплава: убившія барки больше не встрѣчаются, за рѣдкими исключеніями; на сцену выступаютъ мели и огрудки, которыми усѣяно все теченіе Чусовой вплоть до самаго устья. Но впечатлѣній отъ прохода «въ камняхъ» слишкомъ много, и бурлаки долго передаютъ взаимныя наблюденія, воспоминанія

и примѣры. Героями являются все тѣ же бойцы, о которые бьются коломенки, а дѣйствующія лица, бурлаки, фигурируютъ въ этихъ разсказахъ въ формѣ специфическаго chair à boïetz...

— Одначе, здорово нонче Чусовая играетъ! — говоритъ Бубновъ, работавшій подъ Молоковымъ и Разбойникомъ за десятерыхъ.—Барокъ съ тридцать убьется въ камняхъ... Одинъ Разбойникъ залобовалъ ужъ десятокъ, да еще Лупанъ съ Пашкой нарѣзались. Ужъ наши ли каменскіе сплавщики не люты проходить подъ бойцами, а тутъ сразу двѣ барки...

— Сила не беретъ.

— Извѣстно, кабы сила... Тутъ только держись за грядки. Вѣдь пять аршинъ надъ коренной водой бѣжимъ...

Намъ скоро попалось нѣсколько обмелѣвшихъ барокъ. Около нихъ кипѣла самая горячая работа; десятки бурлаковъ стояли въ водѣ съ чегенями и подъ дружную «Дубинушку» старались столкнуть барку. Работа 50—60 человѣкъ, при пятнадцати тысячахъ груза на каждой баркѣ, крайне тяжелая и опасная.

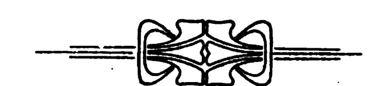
— Намъ здѣсь хуже, чѣмъ въ камняхъ,— объяснялъ Бубновъ.—Подъ бойцомъ либо панъ, либо пропалъ, а здѣсь какъ барка залѣзла на огрудокъ — проваландаешься дня три въ водѣ-то. А тутъ еще перегрузка, чтобы ей пусто было!

— Зато насчетъ водки здѣсь свободно...

— Хошь обливайся, когда гонятъ въ ледяную воду или къ вороту поставятъ. Только отъ этой работы много бурлачковъ на тотъ свѣтъ уходитъ... Тутъ лошадь не пошлешь въ воду, а бурлаки по недѣлямъ въ водѣ стоятъ.

До Чусовскихъ Городковъ отъ деревни Камасино Чусовая идетъ въ красивыхъ холмистыхъ берегахъ. Тамъ и сямъ на берегу стоятъ красивыя деревни, зеленой лентой развертываются поля. Лѣсъ является только промежутками, а не сплошной стѣной, какъ въ камняхъ. Въ заводяхъ начали попадаться стаи утокъ и пары лебедей. На Чусовой эту красивую птицу почти совсѣмъ не стрѣляютъ, и мнѣ случалось видѣть лебединыя стаи штукъ въ пятьдесятъ, притомъ въ двухъ шагахъ отъ селенья. Омелѣвшія барки были теперь такимъ же зауряднымъ явленіемъ, какъ въ камняхъ убившія. Около нихъ дыбомъ вставала «Дубинушка». Въ двухъ мѣстахъ барки перегружались, въ третьемъ снимали барку воротомъ. Глядя на этотъ каторжный трудъ, нельзя было не согласиться съ бурлаками, что ужъ лучше плыть въ камняхъ, чѣмъ здѣсь.

На девятый день нашъ караванъ привалилъ въ Пермь, не досчитывая шести убитыхъ и омелѣвшихъ барокъ.



**Николай Ивановичъ Наумовъ.**

(Род. въ 1838 г.).

## Умалишенный.

(Психологическій этюдъ).

Въ декабрѣ 187... года, въ г. Т...ъ былъ доставленъ при рапортѣ крутологовскаго волостного правленія крестьянинъ села Крутые Лога, Осипъ Дехтяревъ, для освидѣтельствованія въ губернскомъ правленіи и, для помѣщенія на излѣченіе въ домъ умалишенныхъ. На первое время Дехтярева помѣстили въ городской больницѣ, и, по наблюденію врача и прислуги, въ поведеніи больного и въ рѣчахъ его не проявлялось признаковъ, доказывавшихъ разстройство умственныхъ способностей. Живой, веселый характеръ, плавная, всегда остроумная рѣчь привлекали въ палату, въ которой помѣстили Дехтярева, слушателей изъ другихъ палатъ. Всѣ съ любопытствомъ и недоумѣніемъ смотрѣли на страннаго умопомѣшаннаго, который заткнулъ бы за поясъ любого умника, какъ выражались фельдшера и прислуга. Фельдшеровъ смущало одно только обстоятельство: Дехтяревъ ѣлъ необыкновенно много, ѣлъ почти поминутно, и все-таки чувствовалъ голодъ, но ни разу не жаловался на разстройство желудка или на боли въ немъ; притомъ онъ спалъ крайне мало, иногда двѣ, три ночи онъ не смыкалъ глазъ и не чувствовалъ усталости и упадка силъ.

Въ назначенный для освидѣтельствованія день Дехтярева привезли въ губернское правленіе и ввели въ присутственное зало, гдѣ были всѣ члены комиссіи, губернаторъ и, между прочими, два военныхъ врача. Помолившись на икону въ переднемъ углу, Дехтяревъ почтительно поклонился присутствующимъ и молча подошелъ къ столу, за которымъ сидѣли члены. На видъ ему было около сорока лѣтъ, роста онъ былъ средняго, худой. Лицо его было блѣдно. Темнорусые волосы на головѣ, остриженные въ скобку, были тщательно причесаны. Небольшая бородка и усы обрамляли красивыя губы, на которыхъ мелькала лукавая улыбка. Живые каріе глаза его выражали острый, проницательный умъ; когда же онъ задумывался, то въ нихъ просвѣчивала грусть. Онъ съ любопытствомъ осмотрѣлъ всѣхъ членовъ и, еще разъ поклонившись имъ, улыбнулся.

— Какъ тебя зовутъ, братецъ?—спросилъ его губернаторъ.

— Осипомъ! — отвѣтилъ онъ. — По сказкѣ-то пишусь Осипъ Микитинъ Дехтяревъ.

— Ты помнишь, сколько тебѣ лѣтъ?

— Не знаю, ваше почтеніе .. или какъ тебя звеличать-то? Благородіемъ, што ли?..—отвѣтилъ онъ.

— Превосходительство!—подсказалъ сидѣвшій къ нему ближе всѣхъ военный врачъ.

— Ну, присходительство, будь не то...—произнесъ Дехтяревъ.—Вишь, мы неграмотные, живемъ-то въ лѣсу; по нашей-то простотѣ, што ни пень—то икона; встрѣтишь чиновника-то, такъ не знаешь, какъ и звеличивать-то его, думашь, что всѣ они благородные, ну, и крестишь всякаго благородіемъ! Не обезсудь, что обмолвился, не тѣмъ именемъ обозвалъ тебя!—закончилъ Дехтяревъ, поклонившись. — Это ты и есть самый-то набольшій генералъ по губерніи?—спросилъ онъ.

Губернаторъ засмѣялся; засмѣялись и члены.

— Я!..—отвѣтилъ ему губернаторъ.

— Вотъ ты какой!—наивно произнесъ Дехтяревъ, съ любопытствомъ осмотрѣвъ его.—Одобряютъ тебя мужики-то... шибко, слышь, они за тебя Бога молятъ!..

— За что же они одобряютъ меня?..—спросилъ губернаторъ, слегка покраснѣвъ.

— Угодилъ ты имъ... ужъ такъ, братъ, угодилъ, што чиновниковъ-то своихъ на притужальникѣ держишь, не даешь имъ чужое-то добро по карманамъ шарить, — што не знаютъ, какому чудотворцу за тебя и свѣчу ставить!..

— Такъ теперь ужъ не шарятъ чужое добро по карманамъ, а?..—шутливо спросилъ у него губернаторъ.

— Утихли!.. Не слыхать што-то, развѣ гдѣ по малости; ну, такъ малость-то нашъ братъ и въ счетъ не кладетъ!.. И они вѣдь тоже люди, слышь, пить, ѣсть хотятъ а иному государскаго-то жалованья, сказываютъ, и на обутки не хватаетъ; надоть гдѣ-нибудь брать, ну, а коли у него подъ бокомъ овечка пасется... которую всѣ стригутъ, такъ пошто и ему, глядя на другихъ, не сорвать съ нея клочокъ-другой.

Среди членовъ снова пробѣжалъ смѣхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ шопотъ. Всѣ они съ любопытствомъ и удивленіемъ смотрѣли на Дехтярева.

— Ты грамотный?..—спросилъ его одинъ изъ членовъ.

— Нѣ-ѣ-тъ!.. Учили читать-то; родитель, покойная головушка, радѣлъ объ этомъ, и читалъ я, да забылъ... Нонѣ, пожалуй, и аза не найду въ книгѣ-то, не читаю!..

— Отчего же ты бросилъ читать?..—спросилъ его одинъ изъ врачей.

— Бросилъ то пошто? — переспросилъ онъ.—Да какъ тебѣ, братецъ, оповѣстить: не къ лицу ровно нашему брату грамота-то!

— Отчего же не къ лицу? — спросилъ губернаторъ.

— Отчего?.. Хе!.. Да вотъ отчего, твое присходительство, — улыбаясь, отвѣчалъ онъ:—коли ты всякую-то книгу читать станешь, то неровенъ грѣхъ, и умнымъ сдѣлаешься, почнешь обо всемъ судить да рядить, вотъ и бѣ-ѣда!.. Проку-то отъ пересудовъ твоихъ, пожалуй, не выйдетъ, а грѣха-то не оберешься!..

— Какого же грѣха?—спросилъ врачъ.

— Какого грѣха-то? А вотъ какого, ваше почтеніе: я вотъ и не письменный человѣкъ, а за то, што поговорилъ по правдѣ съ обчествомъ, сталъ передъ нимъ волостного голову на свѣжую воду выводить, такъ и подвели, што я будто не въ своемъ разумѣ, прислали лѣчить, вашихъ благородіевъ теперь утруждаютъ свидѣтельствомъ меня—въ разумѣ я или нѣтъ... вотъ и суди!.. А коли бы на грѣхъ да еще письменный-то былъ, книги-то читалъ, такъ чего же бы было тогда, а?.. Тогда ужъ, братъ, прямо бы на цѣпь посадили и лѣчить бы не стали!..

Члены снова вопросительно переглянулись между собой.

— Что же ты выводилъ передъ обществомъ на волостного голову?..—спросилъ губернаторъ.

— Всѣ его качества!..

— Говори яснѣе: какія качества — хорошія или худыя...

— Хорошія или худыя? — повторилъ онъ, усмѣхнувшись.—Хорошими-то развѣ кто попрекнетъ человѣка, а?.. Вѣдь только, братъ, на гнилой водѣ пузыри-то всплываютъ, а на проточной-то ты ихъ не увидишь!..

— Плутъ онъ, что ли, а?..

— Плу-у-тъ!.. — снова улыбнувшись, повторилъ Дехтяревъ.—Нѣтъ, братъ, твое присходительство, экое-то слово для него милостиво. его надоть такимъ словцомъ окрестить, чтобъ больнѣй обуха било!..

— Почему же общество терпитъ его, если, по твоимъ словамъ, онъ такой негодяй, а?

— Обчество!—презрительно произнесъ Дехтяревъ и сплюнулъ на сторону. — Добрые люди шапку-то по головѣ выбираютъ, а у насъ, братъ, голову-то по шапкѣ выбрали, вотъ и понимай!.. Обчество-о!—снова протянулъ онъ послѣ минутной паузы.—Въ нашемъ обчествѣ, што ни воръ, што ни плутъ, тотъ и первый человѣкъ, вездѣ ему и честь, и мѣсто, и сладкій кусокъ: вотъ каково наше обчество!—нѣсколько раздраженно закончилъ Дехтяревъ.

— Сердитъ же ты на свое общество. Развѣ оно что-нибудь сдѣлало тебѣ, а?..—спросилъ губернаторъ.

— Насолило, братъ, такъ насолило, што и умру, такъ не прокисну...

— Чѣмъ?.

— Неправдой своей. Продажной совѣстью! За што они меня стегали, — спроси-ко ты ихъ?..

— Кто они?..—прервалъ его губернаторъ.

— Обчественники!

— Когда?..

— Ужъ года два будетъ теперь, если не болѣ. Такъ, братъ, стегали, такъ стегали, што думалъ, съ душой прощусь. А за што, што я имъ сдѣлалъ? Въ угоду головѣ—голова науськалъ. Вишь, ему не любо стало, што я не такой муракъ, какъ всѣ мужики, што я всѣ подходы и выходы его выслѣдилъ, такъ ему надоть было безчестье на меня положить, предъ всѣмъ міромъ опозорить, а?.. А у обчества совѣсти хватило въ угоду головѣ тиранствовать надо мной, а?.. Христопродавцы они! Всю свою совѣсть рады въ ведрѣ вина утопить!.. Въ угоду богатому хошь въ могилу бѣдняка вгонять, вотъ оно наше-то обчество!—съ дрожью въ голосѣ закончилъ онъ, и на блѣдномъ лицѣ его выступилъ яркій румянецъ.

— За что же голова гонитъ тебя?..

— Нѣтъ, братъ, твое присходительство, какъ онъ не гонитъ меня, а ужъ ему меня не догн-а-ть. У меня въ пальцѣ-то больше сметки, чѣмъ въ головѣ его милости, вотъ што скажу я тебѣ! А извѣстно, ему не любо, што нашелся на міру человѣкъ съ глазами, и видитъ все впотьмахъ, гдѣ другіе ощупью ходятъ, да которому, еще къ эфтому взять — ничѣмъ рта не заткнешь. Ну, и сталъ онъ безчестить меня: сначала обчество напустилъ на меня, наговорилъ ему, что я и гультяй и бражникъ, што, кромѣ вредительности, отъ меня и ждать міру нечего, што меня-де поучить надоть; ну, и думалъ, што, какъ шкуру-то снимутъ съ меня, я и уймусь, новой-то, што наростетъ, ужъ жалко мнѣ будетъ. А я, вишь, не унялся, все свое пою. Постигъ онъ, што дѣло не ладно, што поетъ-поетъ парень да чего-нибудь вѣдь и напоетъ на него, и подвелъ струну, што я-де не въ своемъ разумѣ, его-де лѣчить надоть. Вотъ и гляди, какія дѣла въ мірѣ-то творятся! А лѣчить-то, братъ, надоть не меня, а нашего голову, да лѣчить-то его надоть базарной плетью. Вотъ пропиши-ка ему этакое средствіе, такъ міръ-то за тебя не одну свѣчу предъ Богомъ затеплитъ!

— Да что же онъ дѣлаетъ противузаконнаго, ты все-таки не сказалъ мнѣ. Ты разскажи, для примѣра, хоть одно худое дѣло его.

— Заѣлся, братъ, онъ, вотъ тебѣ, къ примѣру, чего скажу! Превыше себя и закона не знаетъ! И какъ не заѣсться человѣку—слава-те Господи!—третье трехлѣтіе дослуживаетъ, обчество-то, што паукъ, тенетами опуталъ. Когда его въ головы-то выбрали, всего двѣ скотины имѣлъ, изба-то, словно стыдясь, боченилась отъ добрыхъ людей, а теперь—и-и-и, съ Ѳедоромъ Игнатьичемъ и купцу-то не всякому въ пору тягаться!..

— Отъ чего же разбогатѣлъ онъ: отъ взяточничества, отъ незаконныхъ поборовъ?

— Фальшивые рубли обстроиться помогли!..

Между членами снова пронесся шопотъ. Предсѣдатель губернскаго правленія, нагнувшись къ губернатору, о чемъ-то горячо заговорилъ съ нимъ.

— У тебя есть какія-нибудь улики въ доказательство тѣхъ злоупотребленій, какія дѣлаетъ вашъ голова? — спросилъ губернаторъ.

— Улики! — насмѣшливо произнесъ Дехтяревъ: — развѣ хорошій воръ оставляетъ по себѣ слѣды?—спросилъ онъ, въ свою очередь.—А нашъ-то голова изъ самолучшихъ воровъ первый; его, братъ, въ трехъ огняхъ накаливали да въ трехъ водахъ отстуживали, такъ онъ теперь не токма изъ кремня, изъ глины, што-ись, огонь вырубитъ... да-а!..

— Что же вашъ голова самъ занимается дѣланіемъ фальшивыхъ денегъ или только переводитъ ихъ, а? — спросилъ предсѣдатель.

— Зачѣмъ онъ самъ будетъ дѣлать, коли клейменые мастера есть на то, — отвѣтилъ Дехтяревъ. — Слава Богу, изъ Росеи мастеровъ-то этихъ сотнями въ Сибирь шлютъ. Нашему мужику объ это рукомесло и мараться не доводится!..

— Кто же эти мастера?

— Бѣглые каторжники, кто же иной? Сторона у насъ глухая, изъ лѣсовъ да болотъ не скоро на бѣлый-то свѣтъ выглянешь, такъ лѣтомъ фабриканты-то эти по заимкамъ [1]), у головы да его прихлѣбниковъ, и мастерятъ билеты. Двойная, братъ, имъ нажива отъ самодѣльныхъ-то денегъ! Кругомъ татарва, какія деньги ни дай имъ, все за путныя идутъ! Ну, и сбываютъ имъ за скотъ, шкуры да шерсть и мужикамъ исподтиха подсовываютъ, а коли попадется мужикъ съ этакими деньгами, такъ головѣ сызнова нажива—такъ его острогомъ да слѣдствіемъ застращаютъ, што онъ послѣднюю рубаху сниметъ да отдастъ, только не заводи дѣла, не допущай до начальства, да еще за того же Ѳедора Игнатьича и Бога молитъ, што душевный человѣкъ, не подвелъ его подъ гибель. Такимъ-то, братъ, образомъ и разжился нашъ Ѳедоръ Игнатьичъ, и не онъ одинъ этимъ рукоблудствомъ занимается, много у него прихлѣбниковъ, ими онъ и въ головахъ-то держится; а бѣдность поневолѣ молчитъ, потому такъ они ее опутали, што и пикнуть не смѣетъ. Ты вотъ знаешь ли, што голова-то у насъ почитай за половину волости изъ своего кармана подати вноситъ?

— Почему?

— Догадайся-ка... какъ они людъ-то путаютъ да заѣдаютъ. Онъ вотъ за тебя подать-то внесетъ, а ты на него круглый годъ, какъ на барина какого, и робь, а пикни ты супротивъ Ѳедора Игнатьича—э-э... онъ за долгъ-то и избы и скота рѣшитъ, да еще въ контрахтную работу замурмолитъ. Вотъ, братъ, какъ у насъ мужики-то поживаютъ... всласть слезой умоется, кулакомъ оботрется, а отъ страху-то и словесный бы человѣкъ безсловеснымъ сдѣлался! Любо ли?.. Голова вотъ сказалъ обчеству: «выстегай Осипа Дехтярева, потому што препятствуетъ мнѣ... петлю на васъ забрасывать», и чуть, братъ, душу не выстегнули изъ меня! Коли кто головѣ не по взгляду пришелъ, ужъ лучше бѣги изъ волости, а то загубитъ, и обчество—ничего... только за пазуху себѣ вздыхаетъ да раболѣпствуетъ передъ нимъ, потому што опутано, ни силы ни голоса у него нѣтъ. А вотъ нашелся этакой мужикъ, какъ я, што ничѣмъ ты его въ резонъ не введешь, ни крестомъ ни пестомъ, ну, и сдѣлали неразумнымъ, прислали лѣчить. Лѣчи.

— Сколько тебѣ лѣтъ? — спросилъ его одинъ изъ военныхъ врачей, все время внимательно наблюдавшій за нимъ.

— Не считалъ... да и тебѣ закажу о мужичьихъ годахъ не справляться!.. — не глядя на него, отвѣтилъ Дехтяревъ.

— Отчего же не справляться, развѣ крестьяне не ведутъ счета прожитымъ годамъ? — спросилъ инспекторъ врачебной управы.

— Ведутъ, да по-своему, не всякій въ толкъ-то возьметъ. Мужикъ, братъ, вотъ какъ свои года спознаетъ: коли цѣлы у него зубы, перекусываетъ ленъ да дерево, стало-быть, молодъ, а коли у него зубы не выбили, а сами выпали, стало-быть, старъ, пора и изъ подушнаго въ выключку. Вотъ, братъ, какая у насъ о годахъ примѣта!

Среди членовъ пробѣжалъ смѣхъ.

— Что же еще голова дѣлаетъ противузаконнаго, а?—снова спросилъ его губернаторъ.

— А развѣ энтого мало, чего я насказалъ?—съ ироніей спросилъ, въ свою очередь, Дехтяревъ.

---

[1]) Большинство крестьянъ Сибири, у которыхъ пашни и сѣнокосы лежатъ иногда въ разстояніи десяти и пятнадцати верстъ отъ деревень и селъ, чтобы не терять въ рабочую пору времени на разъѣзды, строятъ около пашенъ жилыя избы съ печами, въ которыхъ пекутъ хлѣбъ и готовятъ пищу. Избы эти называются „заимками“.

— Можетъ-быть, ты еще что-нибудь знаешь?

— Знаю!.. Я много про него знаю. Я, братъ, знаю, гдѣ и деньги тѣ лежатъ, которыя морошкинскій староста потерялъ! За што вотъ мужика разорили, а?—Спроси-ка!

— Кого же спросить?

— Меня... я тебѣ до слова все выпишу, какъ дѣло было: прошлаго года о масленой, скажу тебѣ, морошкинскій сельскій староста Титъ Миронычъ Березниковъ привезъ сдавать въ волость деньги, девять сотенъ рублевъ, што собралъ съ крестьянства подати. Ладно! Не надоть утаить предъ тобой, што этотъ самый Титъ мужикъ бы по всѣмъ статьямъ былъ праведный, коли бы не любилъ грѣшнымъ дѣломъ со штофомъ лобызаться? Ну, пріѣхалъ онъ и говоритъ головѣ: «прими, Ѳедоръ Игнатьичъ, деньги, такъ, говоритъ, онѣ словно камнемъ на душѣ лежатъ, скорѣй бы сдать ихъ», а голова и поетъ въ отвѣтъ ему: «повремени, куда спѣшить, дѣло-то теперь праздничное, пойдемъ-ка лучше ко мнѣ, говоритъ, въ блины около сковородокъ поиграемъ». И пошли это, голова, Титъ, писарь да еще человѣка два сподручныхъ. Долго ль тамъ они въ блины играли, не скажу тебѣ, только Титъ захмелѣлъ и свалился. А голова, какъ Титъ-то очнулся на утро, и зоветъ его въ волость деньги сдавать. Пришли. Хватился Титъ денегъ— въ одномъ карманѣ нѣтъ, да и въ другомъ — пусто, и заметался туда, сюда, денегъ и слѣдъ простылъ, да такъ, братъ, и по сейчасъ мечется, ищетъ ихъ.

— А какъ же деньги, въ казну внесъ кто-нибудь?

— Титъ и заплатилъ, до копеечки выложилъ. Продалъ скотъ, скарбъ [1]), какой былъ, въ долги въѣхалъ на сажень выше росту, да... а теперь по міру ходитъ!

— Ты сказалъ, что знаешь, гдѣ лежатъ эти деньги?

— Знаю! У головы съ писаремъ.

— Почему же ты думаешь, что у нихъ именно, а?

— А гдѣ же болѣ-то?.. Вѣдь у головы въ домѣ спалъ. Неужъ со стороны человѣкъ пошелъ бы въ домъ головы мужика обворовывать, а? Онъ съ писаремъ и обдѣлалъ все дѣло, на чего-нибудь вѣдь и писаря-то обстраиваются! Изъ нашей волости ужъ двое писарей въ купцы вышли, да и третій, братъ, не сегодня, завтра за прилавокъ сядетъ. У насъ, братъ, лафа тому жить, кто совѣсть потерялъ и объявки о розыскѣ ея не сдѣлалъ. Вѣрь! А про это што ты скажешь?—снова началъ онъ.— Лѣтъ пять ужъ будетъ теперь, ѣздилъ, по нашей волости купецъ съ товаромъ и, сказываютъ, денежный; ѣздилъ, ѣздилъ, да куда-то туда Богъ его занесъ, што и не выѣхалъ! Только ужъ когда снѣга стаяли, такъ ноги его изъ-подъ ракитова куста на бѣлый свѣтъ выглянули!..

— Замерзъ или убили?

— Безъ головы оказался! Головы-то такъ и не нашли, а только по обуви да по платью признали его. Ну, слѣдствіе сейчасъ, судъ пошелъ! Мало ли тогда, милый, міръ-то встряхивали! Искали, искали, никого повинныхъ не нашли, такъ въ воду дѣло и кануло. А ужъ потомъ, братецъ, года черезъ три время, то у головы штука ситца проявится, то у писаря, и не простого ситчика, а такого, какой у купца того примѣчали, а у головы опосля еще и уздечку спознали и хомутъ, какой на лошади у купца того былъ. Ну что жъ, пошептались объ этомъ на міру, пошептались да и махнули на все рукой. Вотъ, братъ, какія дѣла-то у насъ дѣлаются. Умные-то люди ихъ и видятъ, да молчатъ, а дураки-то, какъ я, благовѣстятъ! Ну, вотъ и нелюбо, за это вотъ и посылаютъ лѣчить, чтобъ лѣкаря ума подбавили, штобъ зналъ мужикъ, про чего ему говорить и про чего молчать!..

— Ты все это и выводилъ передъ обществомъ?—спросилъ его предсѣдатель.

— Какъ на ладонкѣ, выкладывалъ!

— За это тебя и сѣкли?

— Нѣ-ѣтъ!.. За это меня въ неразумные произвели да лѣчить прислали! Снизойдите, господа честные, явите мнѣ милость: курить я свычку имѣю, а меня, слышь, когда схватили да повезли на вашъ судъ, такъ што есть зипунишка-то не дали почище надѣть, сапоговъ-то покрѣпче. Въ какой рвани былъ, въ той и прислали; руки-то скрутили мнѣ, посмотри, до синихъ рубцовъ (и, сбросивъ съ правой руки рукавъ полушубка, онъ засучилъ рубаху и показалъ синѣвшіе на рукахъ

---

[1]) Скарбъ — имущество.

слѣды отъ веревокъ); дайте мнѣ двадцать копеекъ — табачку купить, справлюсь Богъ дастъ, отдамъ.

Одинъ изъ членовъ досталъ изъ бумажника три рубля и подалъ ихъ Дехтяреву.

— Много этого, куда мнѣ столько... мнѣ бы двадцать копеекъ за глаза! — произнесъ онъ.

— Возьми, возьми!..

— Ну, дай тебѣ Богъ здоровья! — отвѣтилъ онъ, поклонившись.—А это, слышь, никакъ еще впервой на свѣтѣ, што чиновникъ мужику денегъ далъ, а то все болѣ мужики чиновниковъ ими снабжали!..— съ ироніей произнесъ онъ, держа въ рукахъ ассигнацію.

Губернаторъ засмѣялся въ отвѣтъ на выходку Дехтярева, среди членовъ также пробѣжалъ смѣхъ. Дехтярева увели. Комиссія признала его совершенно здоровымъ, или, какъ сказано было въ актѣ, «вполнѣ владѣющимъ умственными способностями»; только одинъ изъ военныхъ врачей, все время наблюдавшій за нимъ, утверждалъ, что онъ умопомѣшанный. По распоряженію губернатора, была назначена особая слѣдственная комиссія для производства дознанія по выводамъ Дехтярева, а также удостовѣренія о личности самого Дехтярева и обстоятельствахъ, вызвавшихъ звѣрское обращеніе съ нимъ сельскихъ властей и общества.

Дехтяревъ былъ сильно обрадованъ извѣстіемъ, что онъ поѣдетъ домой вмѣстѣ съ членами слѣдственной комиссіи. Во всю дорогу не покидало его веселое настроеніе; онъ потѣшалъ казаковъ, съ которыми ѣхалъ, своими прибаутками и часто пѣлъ. Въ памяти его былъ неисчерпаемый запасъ пѣсенъ, и большинство ихъ, повидимому, было его собственнаго творчества. Объ этомъ можно было судить по ихъ сатирическому складу и потому, что въ нихъ воспѣвались общественная бездѣятельность и неурядицы сельской жизни; мѣткими чертами обрисовывались волостные начальники, судьи, писаря, иногда въ нихъ звучали меланхолическія ноты, особенно когда воспѣвался какой-нибудь бѣднякъ, задавленный горемъ и общественными нападками.

На пятый день по выѣздѣ изъ города, комиссія въѣхала въ предѣлы крутологовской волости. На станціяхъ, во время перепряжки лошадей, къ экипажамъ сбѣгалось почти все населеніе деревень, привлекаемое любопытствомъ посмотрѣть на Дехтярева. Народъ съ участіемъ и состраданіемъ относился къ нему. На послѣдней станціи къ селу Крутые Лога произошла довольно оригинальная сцена. Экипажи, по обыкновенію, были окружены густою толпой. Дехтяревъ, закутанный въ шубу, сидѣлъ въ пошевняхъ.

— Здоровъ ли ты, Осипъ Микитичъ?— спрашивали его окружающіе.

— Здоровъ, братцы, вылѣчили! — съ улыбкой отвѣтилъ онъ. — Теперь Ѳедору Игнатьичу чередъ хворать пришелъ; вишь, сколько лѣкарей-то везу его милость въ разумъ вводить, а?

— Ужъ не введешь его теперича въ разумъ, Осипъ Микитичъ, — опоздалъ: вчерашняго дня онъ ужъ Богу душу отдалъ! — отвѣтили ему въ толпѣ.

— Вре-е-шь? — протянулъ съ изумленіемъ Дехтяревъ и поблѣднѣлъ.

— Скоропостижно, другъ, пришла его смерточка-то!

Дехтяревъ сидѣлъ съ минуту неподвижно, пораженный этимъ извѣстіемъ.

— А за неправды-то свои кому же завѣщалъ онъ отвѣтъ-то дать? — спросилъ вдругъ онъ.

— Ну, братъ, на экое-то наслѣдье едва ли охотники найдутся! — со смѣхомъ отвѣтили ему въ толпѣ.

— А-а-а, Осипъ, — раздался въ это время голосъ, и къ пошевнямъ подошелъ пожилой крестьянинъ весьма степенной наружности, одѣтый въ казанскій полушубокъ. При его приближеніи толпа почтительно разступилась и дала ему дорогу.— Ну, какъ поживаешь, а? — спросилъ онъ, подойдя къ Дехтяреву.

— Отмѣнно хорошо, Моисей Сильверстычъ! — отвѣтилъ, приподнимая шапку, Осипъ.

— Ну, подавай Богъ тебѣ... пора! — съ ироніей отвѣтилъ ему Моисей Сильверстычъ.

— Ручку-съ!..

— На, на...— подавая ему руку, покровительственно сказалъ онъ.— Образумился ли нонѣ?..

— Въ точности! — отвѣтилъ Дехтяревъ.— Другихъ вотъ въ разумъ вводить ѣду, Моисей Сильверстычъ!..

— О-о-о! Вотъ ты нонѣ чѣмъ занимаешься...

— Нонѣ и мы при занятіяхъ, Моисей Сильверстычъ, — насмѣшливо отвѣтилъ Дехтяревъ. — Хороводы съ чиновниками вожу, прибауточками ихъ благородія тѣшу, съ ихняго чаю ополоски спиваю... дѣла много!.. Горе, што Ѳедоръ-то Игнатьичъ померъ, а то бъ и его милость похлебкой изъ чиновниковъ угостили!.. Вы-то какъ поживаете, Моисей Сильверстычъ, все ли по добру, по здорову? — спросилъ онъ.

— Живу, пока Богъ грѣхамъ терпитъ.

— Обтерпѣлся ужъ Богъ отъ грѣховъ-то вашихъ, Моисей Сильверстычъ. Поминаете ль когда на молитвахъ Митьку - то Безпалова? — съ улыбкой спросилъ Дехтяревъ.

— А што мнѣ его поминать-то родня онъ мнѣ былъ, што ли?

— Ближній бы, кажись, свойственникъ.

— Съ которой это руки-то?..

— Съ обѣихъ бы ручекъ, кажись... Вѣдь вы, ровно, крестнымъ-то тятенькой были, когда его на морозѣ-то студеной водицей крестили, а кнутиками отогрѣвали, аль запамятовали, отъ кого онъ ума-то рехнулся да въ землю-то ушелъ?..

— Што ты мелешь-то, пустая голова твоя?..—весь вспыхнувъ, крикнулъ Моисей Сильверстычъ.

— Да вотъ грѣхи-то ваши и перемалываю, Моисей Сильверстычъ, хочу изъ нихъ крупки надрать, штобъ господа чиновники кашку сварили да расхлебывали!..

Моисей Сильверстычъ сплюнулъ и, весь поблѣднѣвъ, отошелъ отъ пошевней, сопровождаемый звонкимъ смѣхомъ Дехтярева.

— Э-э-хъ, Осипъ, Осипъ!—укоризненно пронеслось въ толпѣ, — не всякое бы ты слово съ языка-то спущалъ, въ иную бы пору и помолчать тебѣ надоть!..

— Молчать-то пусть умные, братцы, а вѣдь я дуракъ, а нонѣ время такое, што за дурью рѣчь хвалятъ, а за умную парятъ!..—отвѣтилъ Дехтяревъ.

Скоропостижная смерть волостного головы, послѣдовавшая за два дня до пріѣзда въ село Крутые Лога комиссіи, показалась весьма подозрительной членамъ ея. Былъ вытребованъ докторъ для опредѣленія ея причинъ, и, по вскрытіи трупа, оказалось, что голова померъ отъ аневризма. Прежде чѣмъ приступить къ разслѣдованію злоупотребленій по выводамъ Дехтярева, было спрошено все общество о личности самого Дехтярева. Крестьяне отозвались о немъ чрезвычайно хорошо и называли его «несчастнымъ» человѣкомъ, а одинъ изъ нихъ, старикъ Корнѣевъ, приходившійся Дехтяреву дядей по матери, подробно разсказалъ жизнь его съ самаго дѣтства.

— Балованное дитятко былъ Осипъ... нечего грѣха таить! — такъ началъ разсказъ свой старикъ Корнѣевъ.—Родитель-то его, покойная головушка, Микита Дмитричъ, души въ немъ не чаялъ. Мужикъ-то былъ онъ денежный, скупенекъ. Домъ-то былъ, какъ полная чаша, только на дѣтокъ урожаю Богъ не давалъ. Осипъ-то родился отъ сестры моей!.. она и вышла-то за него за вдоваго, ужъ почесть подъ старость его... И то опять надо въ разсудокъ взять, какой бы отецъ не радовался, глядя на умное дѣтище, да не мирволилъ ему? Супротивъ Осипа и средь погодковъ его, да кто и постарше-то его былъ, такъ едва ли ровня-то нашелся бы: онъ сызмальства, слышь, за словомъ-то въ карманъ не лѣзъ. По себѣ теперь глядя, судишь: ужъ старъ человѣкъ, какого народа не видывалъ на вѣку, какого горя на плечахъ не вынесъ, а все въ иную пору не скоро человѣка спознаешь, каковъ онъ есть, а вѣдь Оську, бывало, угораздитъ сразу смекнуть, кто чѣмъ прихрамываетъ... Диво! Ну, и озорной ужъ былъ, упаси Господи... на баловство ли, на пакость ли какую, окромя Оськи, не было молодца, и бивали его не разъ, и отецъ-то въ эфтихъ случаяхъ потачки не давалъ, да нѣтъ... не унимался! Когда ужъ въ возрастъ-то сталъ входить, такъ мало ли грѣха съ нимъ изъ-за дѣвокъ бывало. Страсть!.. Разъ это настигъ дѣвку въ лѣсу да за то, слышь, что она гдѣ-то подсмѣялась надъ нимъ, отрѣзалъ ей косу; хотѣли мы тогда міромъ унять его... постегать, но такъ только, ради слезъ отца, простили... присудили тогда отцу-то его безчестье дѣвкѣ заплатить! Отецъ-то его бралъ подряды отъ купцовъ по доставкѣ товаровъ изъ Ирбита и въ Ирбитъ, ну, и сына-то, значитъ, радѣлъ къ этому же дѣлу приручить. И задумалъ старикъ - то

отдать его въ грамоту, подговорилъ дьячка учить его; дьячокъ-то, покойникъ Антонъ Матвѣичъ, мужикъ былъ простой, къ чарочкѣ болѣе склонный, и нрава-то былъ не покойнаго, не разъ даже на священника длань поднималъ, опасались его въ нетрезвомъ-то видѣ. Ну, вотъ и сошлись они, дьячокъ да Оська, и пошла у нихъ грамота! Сколько смѣху-то на деревнѣ было!.. Однова это дьячокъ-то шибко прибилъ Осипа, а Осипъ возьми да и высмоли ему сонному бороду и голову, такъ что дьячокъ-то обстричься должонъ былъ... Нечего было дѣлать—отецъ-то заплатилъ дьячку безчестье, да на томъ и порѣшилъ съ грамотой.

«Когда ужъ Осипъ въ возрастъ вошелъ, такъ немало грѣха у него и съ отцомъ пошло. Отцу-то бы надоть было въ извозъ его пустить, оно бы, можетъ, лучше было, по крайности бы Осипъ при дѣлѣ былъ, баловство-то бы лишнее на умъ ему не шло. Парень-то онъ былъ вострый, проворный, сметкой-то въ головѣ за десятерыхъ его Господь надѣлилъ. Ознакомившись съ работой-то, пристрастку бы къ ней получилъ и человѣкъ бы вышелъ, и старики-то не разъ отцу его говаривали: пусти сына, не держи его при себѣ, приспособь къ работѣ. Ну, не хотѣлъ, покойная головушка, слушать, не спускалъ его съ своихъ глазъ, поджидалъ, пока совсѣмъ въ разсудокъ войдетъ, думалъ, что такъ-то лучше будетъ; да вышло-то не то. Девятнадцати лѣтъ исщо Осипу-то не было, какъ его ужъ спуталъ грѣхъ съ дѣвушкой, жившей по сосѣдству съ ихнимъ домомъ въ работницахъ. Матреной-сиротиной звали ее, она и по сейчасъ мыкается въ работницахъ; дѣвка-то она умная, што сказать, и работящая, да одна бѣда: на скоромную косточку падка, качествами-то этими не подходила ко двору Никиты Дмитрича. Старика-то всѣ чтили, и обидно казалось ему этакой-то невѣсткой обзавестись; не допустилъ онъ Осипа жениться на ней, а оно бы, гляди, больше толку-то было. Женилъ ег старикъ-то почесть насильно на богатой невѣстѣ изъ сосѣдней деревни, думалъ, остепенится сыночекъ, а сыночекъ-то совсѣмъ отъ рукъ отходить сталъ—попивать началъ... и пошелъ въ ихъ домѣ грѣхъ. Отецъ, бывало, слово скажетъ Осипу, а Осипъ ему два въ отвѣтъ. Особливо много грѣха пошло между ними, когда провѣдалъ старикъ, што добро его таетъ, какъ снѣгъ по веснѣ. Чего вѣдь бывало: придетъ кто-нибудь къ старику хлѣба взаймы попросить, откажетъ онъ въ ину пору, а Осипъ скрадетъ у него ключи отъ амбаровъ, нагребетъ хлѣба, да, какъ воръ, крадучись по задворкамъ, и снесетъ къ тому.

«— Тебѣ же, непутному, добра припасаю!—говаривалъ, бывало, отецъ-то, укоряя его.

«— Не топи за меня своей души! Не надоть мнѣ твоего добра, все пропью, все прахомъ пойдетъ, што останется!..—огрызался Осипъ.

«Горько плакивалъ старикъ-то отъ этакихъ словъ сына, въ которомъ души-то не чаялъ, и частенько сталъ жаловаться на непутность его. Померъ онъ... Можетъ-быть, кручина-то эта и подкосила его на старости. Похоронилъ его Осипъ, и пошло у него въ домѣ разливное море; не прогулять бы ему и за десятки годовъ добра, што припасъ отецъ. Однѣхъ лошадей болѣе сотни насчитывали, не говоря о деньгахъ и о томъ, што въ домѣ было. Ну, добрые люди помогли. Кто бы съ какой докукой ни пришелъ къ Осипу, отказа никому не было. О лошадкѣ ли кто поплачется ему — поди, выбирай любую! Денегъ ли занадобилось на подушную или на иную потребу — бери, объ отдачѣ и слова не было! «Ты што это, Осипъ, безъ пути отцовское-то добро расхищаешь?» говаривали ему старики, останавливая его отъ непутной жизни, а онъ только посмѣивался да одинъ отвѣтъ давалъ, што по тятенькѣ поминки править! Не прошло и шести годковъ, какъ все хозяйство упало, а теперь и самъ онъ нищій—ничего нѣтъ, окромя дома да двухъ лошаденокъ. Все разнесли и развезли! Много и богомольцевъ за него на мiру, да немало и такихъ, што, вдосталь поживившись отъ него, надъ его же простотой теперь глумятся! Какъ бы ни пилъ Осипъ, какъ бы ни бражничалъ, это все бы ничего, не онъ первый, не онъ послѣдній. Мало ли теперь среди насъ найдется степенныхъ людей, пособниковъ мiру, которые по молодости и-и-и въ какихъ только качествахъ не грѣшили, да оглянулся же Богъ, въ разумъ да въ лѣта вошли, и жизнь свою остепенили,—люди

теперь! А Осипъ былъ съ головой парень, пришелъ бы еще въ себя и отрезвился бъ! И бѣдность-то была бы не лиха ему, нашлись бы люди, што, памятуя добро его, и ему бы, въ свой чередъ, помочь сдѣлали.... Ну, такъ языкъ его былъ лютый ему супостатъ и ворогъ! Душа-то у него добрая, да языкъ его поперекъ его жизни сталъ и до всѣхъ напастей довелъ! Не жилось ему въ ладу съ людьми. За кѣмъ, бывало, только спознаетъ какой грѣхъ, такъ и шугаетъ его прямо въ глаза: языка его боялись, што шила,—ну, и не любили его, у всѣхъ онъ былъ, какъ бѣльмо на глазу. И увѣщали его, кто добра-то ему хотѣлъ, не разъ увѣщали: «брось-де, Осипъ, смѣшки свои, блюди, знай себя, стереги свою совѣсть да душу, а другихъ не тревожь, людей-де не переучишь, всякаго на свою колодку не передѣлаешь!» Нѣтъ! Онъ все, бывало, свое твердитъ: «оттого, говоритъ, и неурядица въ обчествѣ идетъ, што всякій правду за пазуху прячетъ! Я, говоритъ, буду молчать, другой будетъ молчать, а мошеннику-то и на руку, што всѣ языки прикусываютъ. А распояшь-ко, говоритъ, ротъ-то, не давай никому спуску, такъ, гляди-ко, чего будетъ: иной бы и смошенничалъ, да побоится, уличатъ, — такъ волей-неволей укоротитъ руки-то да будетъ по чести жить!» Ну, и договорился, за чѣмъ пошелъ, то и нашелъ! Взъѣлись на него всѣ... всѣ взъѣлись!.. Всѣ - то ждали только подходящаго часу, штобы отплатить ему свою обиду! Когда это выбирали въ головы Ѳедора Игнатьича, такъ чего, чего не пѣлъ про него Осипъ на сходѣ, и обчество-то ругалъ, што обходятъ добрыхъ людей, а честятъ мошенниковъ. Съ эстой самой поры и пошла межъ головой да Осипомъ усобица. Много лѣтъ подкапывался подъ него Ѳедоръ Игнатьичъ. Мужикъ былъ,—не тѣмъ будь помянутъ,—хитрый, исподтиха, съ усмѣшечкой рылъ свои подходы; ну, и Осипъ - то былъ не промахъ, не оставался въ долгу и зорко стерегъ за нимъ. Съ другимъ-то бы Ѳедоръ не поцеремонился, скрутилъ бы его, што и не услышалъ, ну, а Осипа-то побаивался, не другимъ онъ былъ чета: голой-то рукой не хватай, обожжешься! Ну, и выпалъ такой случай. Былъ это разъ сходъ въ волости, былъ на немъ и Осипъ, а около этого времени, сказать надо, въ сосѣдней деревнѣ Овражкахъ такой грѣхъ вышелъ: полюбилось тамошнему цѣловальнику, большому пріятелю головы, да, однако, еще и сродственнику, одно мѣсто, высокой такой пригорокъ посередь самой деревни, а свади его озерко и рощица. Въ озеркѣ-то этомъ бабы все ленъ мочили. На этомъ самомъ пригоркѣ стояла изба Мирона Сивкова, мужикъ-то онъ бѣдный, немощный. Цѣловальникъ-то и стань подбиваться къ нему, отдай ему это мѣсто подъ домъ, голова-то почни намеки дѣлать Мирону, а Миронъ-то, какъ на грѣхъ уперся, не отдаетъ мѣста. Видя, значитъ, такую неустойку, цѣловальникъ, долго не думая, закупилъ это лѣсу, порядилъ изъ той же деревни рабочихъ и давай рубить избу на пригоркѣ, загородивъ Мирону и свѣтъ и входъ. Миронъ къ головѣ, а голова нарочно уѣхалъ, штобы все это безъ него сдѣлалось, а онъ какъ, стало-быть, ни при чемъ! Миронъ къ обчеству, плачетъ: «защитите!» Собралось обчество и взялось, было, наперво пришугнуть цѣловальника и шугнуло бъ!.. А цѣловальникъ-то тоже, братъ, зналъ, какимъ подпилкомъ мужичью совѣсть подтачивать, возьми да и выкати боченокъ вина; опосля того и пошелъ ужъ судъ да расправа, и рѣшили: мирить Мирона съ цѣловальникомъ, избу цѣловальника, какъ новую, оставить на мѣстѣ, а избу Мирона, какъ старую, снести и поставить на коштъ цѣловальника на новое мѣсто! Поплакалъ, поплакалъ Миронъ, да и съѣхалъ съ насиженнаго мѣста. Опосля онъ было и въ городъ ѣздилъ, жалобу подавалъ, да гдѣ-то о сю пору застряла! А Осипъ это все провѣдалъ... и все молчалъ, да на сходѣ-то внезапу это... улучилъ минутку и говоритъ: «А вотъ бы, говоритъ, ваше почтеніе, Ѳедоръ Игнатьичъ, чего бы порѣшить намъ міромъ надо, штобы въ волости такцыю на стѣнѣ вывѣсить! Оно бы и мошенникамъ-то было виднѣй и волостнымъ-то съ руки, а то безъ такцыи-то народъ у насъ безъ ума путается!..

«— Такцыю, какую такую такцыю? — спрашиваетъ голова.

«— А вотъ бы какую, къ примѣру тебѣ сказать: коли отберетъ мошенникъ у кого-нибудь мѣсто подъ домъ, то снеси головѣ, скажемъ, двадцать рублевъ — и правъ будешь; за лошадь, не по правдѣ

отобранную, положить бы можно пять рублевъ, за корову—три, за свинью и полтины будетъ... потому, говоритъ, отъ этой животины у насъ по волости проходу нѣтъ!.. Не дорога!

«— Слышали, обчественники, што Осипъ-то Микитичъ разсказываетъ?..—спросилъ голова, безъ всякаго это сердца, да и усмѣхнулся, а ужъ коли Ѳедоръ Игнатьичъ усмѣхнулся, такъ ужъ, стало, не быть добру.—Это ты къ чему же такія-то слова мнѣ приводишь?—спросилъ онъ у Осипа.

«— Къ чему, ужъ будто не знаешь — къ чему?.. — спрашиваетъ Осипъ, — ужъ будто, говоритъ, не на твоихъ глазахъ благопріятель-то твой, овражкинскій цѣловальникъ, выжилъ Мирона-то съ избой съ насиженнаго мѣста, а?.. Ну, вотъ я и говорю, штобъ ты вывѣсилъ такцыю, за какую цѣну правду продаешь! Можетъ-быть, и мнѣ занадобится кого-нибудь съ мѣста сжить, такъ ужъ я и буду знать, што слѣдуетъ головѣ снести, штобы правымъ быть!..

«— Развѣ я судилъ Мирона-то съ цѣловальникомъ?—спросилъ его голова.

«— Обчество, знамо!..

«— Такъ къ чему же, говоритъ, ты меня чужимъ-то грѣхомъ попрекаешь?..

— А-а, и ты, говоритъ, зовешь это грѣхомъ, такъ пошто же, говоритъ, коли ты знаешь, што это грѣхъ, што у обчества совѣсть-то давно ужъ съ вина перегорѣла, такъ што и угольковъ отъ нея не осталось,—не присудилъ дѣла по-своему? Вѣдь ты голова... всему дѣлу вершитель. На твоихъ бы глазахъ я человѣка убилъ, обчество бы за вино меня оправило, а ты, гляди, и молчалъ бы, а-а?..

«— Осипъ Микитичъ, ты за што это обчество-то поносишь?..—спросили его.

«— Поношу!.. Такое развѣ вамъ поношенье-то, говоритъ, надоть? А.. Вы въявѣ, говоритъ, на себя энтотъ ярлыкъ-то навѣсили, такъ ужъ запрета не положите говорить-то объ немъ, а то гляди... не смѣй еще и поносить... Хвали... небойсь... васъ, а-а-а?..

«Съ эвтихъ самыхъ словъ Осипа и пошелъ грѣхъ... А Ѳедоръ Игнатьичъ, не будь простъ, да подъ шумокъ и подведи Осипа... натолкни обчество, штобъ составили приговоръ посѣчь его... за поношеніе головы и обчества на сходѣ, и составили, и выстегали тогда Осипа, и крѣпко выстегали; тутъ ужъ каждый выместилъ на шкурѣ его всякое словцо... натѣшились досыта, нечего правды таить!.. И жалко его было, многіе жалѣли, да ничего подѣлать-то не могли: волостной-то сходъ — сила, поспорь-ко поди съ ней!.. Долго хворалъ послѣ этой оказіи Осипъ. Съ эвтой-то ровно поры понемногу и стали примѣчать, што съ нимъ что-то неладное дѣется, не то, штобъ онъ въ словахъ или въ умѣ бы путался—нѣ-ѣ-тъ, а чудныя дѣла сталъ творить, какія бы человѣку-то въ своемъ разумѣ и не подстать бы были! Однова это сколько смѣху-то на деревнѣ было! Прибѣгъ откуда-то Осипъ домой, лошадь вся въ мылѣ, а самъ въ синякахъ и въ крови. Спрашиваемъ: откуда ты, Осипъ Микитичъ? кто тебя такъ почествовалъ?.. Смѣется!.. «Въ Мокшеевой, говоритъ, новаго старосту ставилъ, такъ благодарили!» На другой день, слышимъ, разсказываютъ, чего нашъ Осипъ натворилъ. Въ деревнѣ Мокшеевой ходилъ о ту пору въ старостахъ Гордей Савельичъ Пленкинъ, человѣкъ старый и, сказать-то коли правду, неизвышеннаго ума. Осипъ-то завсегда объ него зубы обтачивалъ. И приди жъ ему въ голову, Осипу-то: поѣхалъ въ лѣсъ, вырубилъ это осину, обтесалъ, привезъ ее въ Мокшеево и давай вколачивать посередь деревни. Извѣстное дѣло, народъ, видя это, сбѣжался, спрашиваютъ: чего ты дѣлаешь? «Старосту, говоритъ, новаго ставлю на смѣну Гордею Савельичу; оба, говоритъ, они одного пенька вѣтки, только Гордей-то, говоритъ, мохомъ обросъ, пора бъ его и на отдыхъ, а энтотъ посвѣжѣй выглядитъ, а вамъ-то, говоритъ, вѣдь все равно, было бы только, кому кланяться!..» Э-эхъ, какъ взъѣлись это мокшеевцы-то и приняли его, кто во што попало, едва онъ утекъ отъ нихъ. Сколько послѣ того смѣху-то по волости пошло! Мокшеевцы бѣда не любятъ съ тѣхъ поръ, коли спросишь, ладно ли они съ новымъ старостой живутъ. А то разъ также былъ сходъ въ волости, пріѣхалъ и Осипъ, и приди это въ волость-то съ горшкомъ горячихъ углей, да давай это ходить по волости да курить ладаномъ. Спрашиваемъ: что ты это, Осипъ, дѣлаешь? «Нечистую силу, говоритъ, изъ головы съ писаремъ выкуриваю!» Хотѣли было его тогда сызнова

поучить, да ужъ догадались, што тутъ другая наука требуется. Дня, слышь, не проходило, штобъ онъ чего-нибудь не накуралесилъ; стали его и побаиваться: долго ли до грѣха, еще убьетъ кого или деревню спалитъ, и поди суди, его тогда! Порѣшили покрѣпче поглядывать за нимъ. Иную пору недѣли двѣ живетъ тихо, какъ слѣдуетъ быть человѣку, и по дому ровно обихаживаетъ, а тамъ, гляди, ни съ чего задуритъ. Ну, да все еще полагали, что Господь пристанетъ за него, образумится онъ; што, можетъ, это и съ вина съ нимъ дѣялось, а ужъ пить-то ему въ тѣ поры стало не на што! Приглядывали только за нимъ; на ночь всегда, бывало, кто-нибудь въ домъ къ нему спать шелъ. Опасались, штобъ не сдѣлалъ чего-нибудь надъ женой да дѣтищемъ. Грѣшнымъ дѣломъ сказать, жена-то его по сторонкѣ погуливала. Примѣчалъ это Осипъ, зналъ, да только смѣясь приговаривалъ, бывало, «што чужой-то кусъ завсегда слаще своего!» Такъ вотъ шло дѣло до зимняго Миколы... пока не стряслась напасть... О Миколѣ-то въ село къ намъ гости наѣзжаютъ, потому какъ престолъ у насъ... праздникъ. Ну, вотъ и нынѣ съѣхалось также много народу. Отошла это обѣдня, разошелся народъ по домамъ, у всякаго гости... только слышимъ, около полудня ударили въ церкви въ набатъ. Все село всполыхнулось, всѣ полагали, что пожаръ въ церкви. Батюшка, отецъ Василій, съ гостями прибѣгъ, волостные; торкнулись въ церковь, а церковь на запорѣ; глядимъ, и трапезникъ тутъ же въ народѣ стоитъ да только охаетъ, да руками разводитъ; глянули на колокольню, а тамъ Осипъ глядитъ на народъ-то да смѣется. «Што это ты дѣлаешь, дурья голова твоя? — закричалъ ему батюшка и народъ-то, — што ты людей мутишь?» — «Мнѣ, говоритъ, голова велѣлъ въ колоколъ ударить да народъ собрать! — крикнулъ онъ съ колокольни, — просилъ, говоритъ, оповѣстить обчество, што онъ совѣсть гдѣ-то обронилъ, такъ въ случаѣ, кто найдетъ ее, такъ объявки бы не дѣлалъ въ волость, а притаилъ бы ее у себя, потому, говоритъ, какъ безъ совѣсти Ѳедору Игнатьичу не въ примѣръ способнѣе въ головахъ ходить!» Ну-у, и пошелъ тутъ нести про него, а голова тутъ же въ народѣ стоялъ да все это слушалъ и отпыхивался. Какъ ни было морозно, а пробилъ его въ тѣ поры потъ! Вплоть до вечера маялись мы тогда съ Осипомъ, едва-то, едва сманили его съ колокольни. Подмѣтилъ онъ это, што трапезникъ-то отлучился изъ церкви, вырвалъ кольца вмѣстѣ съ замкомъ, вошелъ въ церковь, заперъ за собой дверь на засовъ да и надѣлалъ сполоху. Въ тѣ поры ужъ и священникъ и народъ-то пристали къ волостнымъ, штобъ отправить его въ городъ: всѣхъ опаска взяла держать его на селѣ, всѣ грѣха стереглись. Не хотѣлось, признаться, головѣ-то отсылать его, боялся онъ языка его, чуялъ, што накличетъ на него Осипъ бѣды, да ужъ дѣлать-то было нечего. Съ той поры, какъ свезли Осипа въ городъ, Ѳедоръ Игнатьичъ и заскучалъ и заскучалъ, да и душу-то Богу отдалъ какъ-то внезапу, до самаго смертнаго часу на ногахъ вѣдь былъ. Признаться, и насъ-то сумленье брало, не выпилъ ли онъ чего... ну, да, видно, ужъ такъ суждено ему было, предѣлъ, знать, таковъ», закончилъ старикъ Корнѣевъ разсказъ свой и глубоко вздохнулъ.

---

Около трехъ недѣль занималась коммиссія разслѣдованіями по выводамъ Дехтярева. Большинство крестьянъ отозвалось объ умершемъ головѣ весьма дурно. Не было никакого сомнѣнія, что онъ дѣйствительно занимался переводомъ фальшивыхъ денегъ и, по общему отзыву, эксплуатировалъ крестьянъ тѣмъ, что, уплачивая за нихъ подати, скупалъ у нихъ за долгъ хлѣбъ по крайне дешевымъ цѣнамъ, сбывая его въ Киргизскую степь въ обмѣнъ на лошадей, овецъ и рогатый скотъ. Конечно, многіе факты, которые послужили бы къ разъясненію обнаруженныхъ Дехтяревымъ преступленій, такъ и остались недоказанными, благодаря давности времени и тщательно скрытымъ слѣдамъ, но что преступленія эти были совершены — едва ли можно было сомнѣваться.

Съ перваго же дня по пріѣздѣ въ Крутые Лога Дехтяревъ все чаще и чаще впадалъ въ раздраженное состояніе. Встрѣча съ антипатичными для него лицами, воспоминанія пережитыхъ страданій и нанесенныхъ ему обидъ иначе и не могли дѣйствовать на воспріимчивую и впечатлительную натуру его. Нерѣдко подъ вечеръ, когда уже кончались допросы,

онъ приходилъ къ членамъ комиссіи и выспрашивалъ, что показали крестьяне. «Э-эхъ, ваши благородья,— часто говорилъ онъ послѣ своихъ разспросовъ: — никогда вы не добьетесь отъ мужика правды, все будетъ передъ вами шито да крыто! Голова-то померъ, да вѣдь прихлѣбники-то его живы; если кто правду-то покажетъ, такъ того вѣдь съ бѣлаго свѣта сживутъ, загрызутъ, што черви; вотъ мужики-то и молчатъ, и плачутъ да молчатъ!» Въ этихъ словахъ Дехтярева было много правды. При допросахъ крестьяне, замѣтно было, во многомъ заминались, отмалчивались или давали уклончивые отвѣты.

Однажды, когда уже слѣдствіе приходило къ концу, Дехтяревъ, по обыкновенію, пришелъ вечеромъ въ квартиру, въ которой помѣщались члены комиссіи, и, поздоровавшись, сѣлъ на лавку. Ему дали чаю.

— Ну, что, Осипъ, не надумалъ ли еще чего-нибудь новаго? А? — шутя, спросилъ его уѣздный стряпчій, пожилой уже человѣкъ, который отъ скуки почти ежедневно велъ съ нимъ богословскіе споры.

— Надумалъ! — отвѣтилъ Осипъ, схлебывая съ блюдца чай. — Ты вотъ письменный человѣкъ, стряпчій, скажи-ка ты мнѣ, пошто это земля черная?..

Стряпчій, образованіе котораго не превышало программы уѣзднаго училища, замѣтно смутился при подобномъ вопросѣ Осипа, пытливо наблюдавшаго за нимъ.

— Отчего черная? — покраснѣвъ, отвѣтилъ онъ. — Оттого, братецъ, что ужъ такъ создана Богомъ.

— Анъ, врешь!—прервалъ его Осипъ.— Богъ-то создалъ ее чистенькой да бѣленькой... што пшеничное зернышко, а ужъ это она отъ человѣчьей крови почернѣла. Да-а-а!.. Съ той самой поры, какъ, значить, Каинъ убилъ брата своего Авеля, она обагрилась... и почернѣла. Съ той самой поры и непорядокъ на землѣ пошелъ! Ты вотъ видалъ ли когда Бога-то?— неожиданно спросилъ Осипъ, всегда любившій озадачить какими-нибудь неожиданностями своего собесѣдника.

— Нѣтъ, братецъ, не видывалъ!..— съ ироніей отвѣтилъ стряпчій.

— А я видѣлъ!.. Чиновнику-то, братъ, Онъ не проявится, а мужика удостоилъ, Самъ ко мнѣ пришелъ!..

— Самъ пришелъ! О-го-о!.. За что жъ Онъ тебѣ такое предпочтеніе сдѣлалъ? А?..

— А за то, братецъ ты мой, што я, по мужичьему званію, завсегда подъ бѣдой, какъ подъ шапкой, ходилъ, а поэтому, значитъ, и завсе Бога помнилъ!..

— А чиновники-то, по-твоему, развѣ не помнятъ Бога?

— Въ рѣдкость!..

— А-а... ну, будь по-твоему!—смѣясь, отвѣтилъ стряпчій.—А каковъ же Онъ изъ себя? А?..—спросилъ онъ.

— Богъ-то? А такъ, братецъ, совсѣмъ какъ бы старичокъ, сѣденькій весь... въ азямчикѣ...—отвѣтилъ Осипъ.

— Вотъ какъ!.. Получше-то ужъ, вѣрно, не нашлось чего надѣть-то на себя... А?..—спросилъ стряпчій.

— Нашлось бы, братъ... добра-то у Него, Владыки Небеснаго, много... да боязно, говоритъ, въ хорошемъ-то нарядѣ на міру ходить.

— Отчего?..

— Ограбятъ!—Потому, говоритъ, нонѣ люди шибко волю рукамъ дали... не ровенъ часъ да мѣсто, такъ и Богу-то отъ нихъ достается... и на Его добро длань простираютъ!..

— Что же Онъ Самъ тебѣ это сказалъ, или ужъ ты выдумалъ?

— Самъ мнѣ сказалъ!.. Пришелъ это и говоритъ мнѣ: потерпи, Осипъ... Стой за правду крѣпко! Много, говоритъ, грѣха и блуда на міру развелось... не соблазняйся... и скажи, говоритъ, головѣ и всѣмъ его прихлѣбникамъ, што забыли они Меня, и Я до нихъ доберусь...

— Ну, ты и сказалъ?..

— Сказалъ!.. за то, братъ, и стегали меня... какъ вѣдь, братъ, стегали-то, а-а-ахъ... Другой бы на моемъ мѣстѣ, можетъ, и съ душой бы разстался... ну, а за меня Богъ присталъ... ожилъ!.. Исщо бы вотъ мнѣ надоть до одного мужичка добраться, братъ! Зовутъ-то его Моисеемъ Сильверстовымъ, ужъ такой-то степенный на видъ мужикъ, што безъ Бога да креста и слова не скажетъ, а по качествамъ, если разобрать его, то хуже идола... Вотъ возьмись-ко его въ резонъ ввести, а-а!.. И на тебя, можетъ, Богъ оглянется!..

— Кого же въ резонъ-то ввести?..

— Моисея Сильверстова Чулкова, такъ онъ пишется... въ Панютиной деревнѣ

живетъ! Ты вотъ знаешь ли, чего онъ а-а? Работника своего убилъ!..

— Ну-у!.. Ты опять, Осипъ, за свое принялся?—замѣтилъ ему стряпчій.—Вѣдь врешь это все. А?..

— Я-то вру?.. Нѣтъ, братъ, кабы всѣ-то мужики такъ врали, какъ я, такъ на бѣломъ-то свѣтѣ царство бы небесное было, а не житье, да-а-а!—раздраженно произнесъ онъ.—Вру-у-у!.. Ты вотъ собери-ко мужиковъ и спроси ихъ: какъ, молъ, Чулковъ, Моисей Сильверстычъ, работника своего, Митьку Безпалова, кнутьями до полусмерти стегалъ да опосля того въ морозъ-то водой его изъ колодца окачивалъ? А?.. Онъ отъ этого и въ землю ушелъ... вотъ какъ я вру-то!..

— Давно это было?

— Года два ужъ будетъ теперь!.. Вру-у!.. Нѣ-ѣтъ, ты спроси-ко у обчества, какъ голова-то, покойникъ, да самый этотъ Мосейка уламывали стариковъ-то, отца и мать-то Безпалова, штобъ они не жалобились на него, не заводили дѣла?.. Мосейка старикамъ-то за это лошадь подарилъ, корову да денегъ сто рублевъ выдалъ, избу имъ новую срубилъ.

— И они взяли?

— Взяли!.. Да еще Мосейку же теперь похваливаютъ, благодѣтелемъ зовутъ, да-а-а!.. Вотъ ты говоришь: пошто Богъ-то по землѣ въ азямчикѣ ходитъ? А? Надѣнь-ко Онъ хорошій-то мундеръ, такъ чего будетъ? Средь улицы обдерутъ, и слѣдовъ не отыщешь, милый.

— Ну, ладно, ладно... вѣрю тебѣ!—прервалъ его стряпчій.—Ты вотъ скажи-ко лучше, за что же Чулковъ-то стегалъ Безпалова?

— Стегалъ-то за што?—повторилъ, по обыкновенію, Дехтяревъ.—А это видишь, братецъ, вотъ какъ дѣло-то спервоначалу вышло, сказать тебѣ. Безпаловы-то, старики-то, шибко бѣдные; самъ-то старикъ-то, братецъ ты мой, по пріискамъ все въ работу ходилъ, пьющій такой, ни скотинки у нихъ ни ворошинки въ домѣ-то не было, вотъ сынъ-то ихъ, Митька-то, значитъ, подросъ когда, такъ старики-то и отдали его въ батраки къ Мосейкѣ-то, почесть изъ-за хлѣба отдали-то. Паренекъ онъ былъ смирный такой, безотвѣтный; ему всего о ту пору девятнадцатый годъ шелъ. Ну, ладно, а Чулковъ-то этотъ, скажу тебѣ, богатей, на языкѣ у него завсе Богъ, а въ душѣ—чортъ. Вѣрь! Ну, жилъ это Митька-то никакъ съ годъ у него, все было ладно; только однова это и пріѣдь къ Мосейкѣ-то купецъ въ гости; ночь-то это онъ съ Мосейкой прохороводился, а на утро и домой собрался; вотъ Мосейка-то и подпряги ему въ повозку што ни лучшихъ коней тройку, особливо былъ жеребчикъ у него саврасенькій, самъ онъ его и выкормилъ, въ цѣнѣ былъ конь! Ну, и посади на козлы Митьку-то: Митькѣ-то и не впервой бы ямщичать-то, навыкшій былъ парень-то, да отъ грѣха-то вѣдь не убережешься, гдѣ подкатитъ. Грѣхъ-то человѣка, што воронъ добычу, караулитъ—вѣрь! Ну, то ли, слышь, савраcенькій - то жеребчикъ заранѣ ужъ испорченъ былъ, то ли, въ самомъ дѣлѣ, Митька-то, угождая купцу, коней-то гналъ, очертя голову, только, слышь, савраcенькій-то жеребчикъ и палъ па дорогѣ. Съ того и весь грѣхъ вышелъ! Какъ вернулся это Митька-то домой, услыхалъ Мосейка-то, што савраcый его подохъ, и возьми его злость на Митьку, што загналъ онъ его коня, и учни онъ его бить: би-и-илъ, би-илъ, окровянилъ всего... мало! Ногами, сказываютъ, топталъ, и этого мало!.. Почесть ужъ полумертваго, сказываютъ, привязалъ къ столбу, да и прими его съ сыномъ въ кнутья жарить... Отвязали ужъ Митьку, говорили опосля, совсѣмъ мертваго,—такъ и упалъ, не дышалъ ужъ. Увидѣлъ какъ Мосейка то, што дѣло не ладно, и давай его ледяной-то водой изъ колодца отливать! Всего только съ недѣлю опосля того Митька-то и выжилъ: такъ, какъ лежалъ безъ памяти, такъ и померъ безъ памяти! Вотъ, братъ, и послушай да мотай на усъ, какъ по буднишному-то въ деревняхъ живутъ, какіе у насъ, стало-быть, по мужичьему званію ангелы водятся...

— А днемъ или ночью онъ билъ-то его?..

— Середь бѣлаго дня, на глазахъ всей деревни... Сказываютъ, какъ Митька-то кричалъ, такъ што изъ околицы слышно было! — Вотъ братъ, каковъ у насъ народецъ-то!.. Старики-то Безпаловы шибко спервоначалу-то убивались, особливо мать-то! Ну, да голова-то съ Мосейкой урезонили ихъ; такъ, братъ, все дѣло вмѣстѣ съ Митькой въ землю и зарыли... Сказывали сначала, што батюшка-то ровно не

хотѣлъ Митьку отпѣвать... да ужъ какъ тамъ сдѣлались—Богъ ихъ знаетъ... Вотъ приголубь-ко, слышь, Мосейку-то, штобъ и другимъ наука была; вотъ и къ тебѣ тогда Господь, можетъ, зайдетъ... обѣгать не будетъ!..

Разсказъ Осипа былъ настолько важенъ, что члены комиссіи признали неудобнымъ оставить дѣло безъ разслѣдованія. Поэтому были вытребованы старики Безпаловы и крестьяне деревни Панютиной. Но на заданные вопросы отецъ и мать Дмитрія Безпалова отозвались, что ничего подобнаго не было съ ихъ сыномъ, что онъ померъ отъ огневицы, и если Чулковъ поставилъ имъ новую избу, подарилъ лошадь, корову и далъ денегъ, такъ единственно изъ снисхожденія къ ихъ сиротству и преклоннымъ лѣтамъ. Показаніе ихъ подтвердили и крестьяне деревни Панютиной. Когда уже допросъ былъ оконченъ, въ комнату неожиданно ворвался Дехтяревъ и, протолкавшись чрезъ толпу, сѣлъ въ переднемъ углу на лавкѣ.

— Скучно мнѣ, братцы, среди васъ,— началъ онъ, качая головой.—Уйду я отъ васъ... убѣгу, въ лѣса убѣгу... буду лучше жить съ волками да медвѣдями!..

— Полно, Осипъ Микитичъ, не спѣши!.. Богъ дастъ, очнешься, еще поживешь и съ нами, не гнѣви Бога, Онъ еще и на тебя оглянется!—кратко отвѣтилъ ему какой-то старикъ, среди всеобщаго молчанія, прерываемаго порою глубокими вздохами.

— На меня-то Онъ давно оглянулся, да вамъ-то это не въ примѣту,—отвѣтилъ Дехтяревъ, — а вотъ отъ васъ то Онъ отвернулся, потому вы и не люди!..

— А кто жъ мы, по-твоему?—спросилъ старикъ.

— Идолы!..

— Полно, Осипъ Микитичъ, полно... за што ты ругаешь насъ, чего мы тебѣ сдѣлали, какое зло?

— Зло-о-о!.. Вы-то мнѣ много зла сдѣлали, а себѣ-то нищо болѣ...

— А коли мы сдѣлали себѣ какое зло, такъ тебѣ-то что жъ отъ эфтого? Пущай всякій за свое зло и кается и идетъ въ отвѣтъ!—отвѣтили ему въ толпѣ.— За што ты міръ-то маешь, слѣдствія-то накликаешь на всѣхъ?—заговорили крестьяне.

— Я... я... я... васъ маю?..—вскочивъ со скамьи, раздраженно закричалъ Дехтяревъ.—Худо еще васъ маютъ-то, ху-у-удо. Всякій за свое зло въ отвѣтъ иди!.. То-то, што въ отвѣтъ-то за ваше зло другіе ходятъ, а вы только въ молчанку играете. Идолы, такъ идолы и есть... Неужто, кабы вы люди-то были, такъ не шевельнулись бы въ васъ души, глядя на то, чего дѣется кругомъ да около? Ты вотъ, Акимъ, старый человѣкъ,—обратился онъ къ старику, который первый заговорилъ съ нимъ.—Голова-то и борода у тебя бѣлѣй мельничной притолоки, ты на Бога-то при каждомъ словѣ, какъ на костыль, упираешься, а вотъ совѣсть-то свою, небойсь, ничѣмъ не подопрешь, чтобъ прямѣй держалась, а не виляла изъ стороны въ сторону, какъ собачій хвостъ. На вашихъ глазахъ середь бѣлаго дня Мосейка-то загубилъ Митьку, билъ его, топталъ ногами, полумертваго стегалъ кнутьями; вся волость знаетъ, што онъ отъ эфтого въ землю ушелъ, а вы молчите... никто и слова не пикнетъ объ этомъ душегубцѣ... потому што Мосейко бо-га-атъ... всякій изъ васъ думаетъ къ нему носъ приткнуть, а будь-ка онъ бѣдный—и-и-и, ты бы первый его въ острогъ усадилъ...

— Полно, полно, Осипъ Микитичъ, не грѣши занапрасно!..—уговаривали, желая успокоить, его крестьяне.

— Идолы!..

— Не грѣши... полно!..

— Песьи души!..—кричалъ онъ, все болѣе и болѣе разгорячаясь: — окаянные, мало у васъ своихъ-то грѣховъ, такъ вы еще и чужіе-то на себя примаете... Глянько, кто это... да скажите мнѣ?..—крикнулъ онъ, указавъ на икону, висѣвшую въ переднемъ углу.

— Икона святая... Богъ!..—тихо отвѣтилъ ему старикъ Акимъ, понуривъ глаза и голову.

Услыша это, Осипъ пришелъ въ такой азартъ, что бросился на крестьянъ и завязалъ съ ними борьбу... и только послѣ долгихъ усилій его смяли и принуждены были связать ему руки и ноги.

---

Послѣ описанной сцены Осипъ притихъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней онъ не выходилъ изъ дома, хотя ему предоставлена была полная свобода ходить вездѣ, и приставленные къ нему казаки слѣдовали за нимъ только издали. Все время онъ лежалъ на лавкѣ, уткнувшись лицомъ въ

полушубокъ, замѣнявшій ему подушку, но не спалъ,—сонъ совсѣмъ почти покинулъ его; иногда онъ что-то бормоталъ... но что именно — никто не могъ понять. Стряпчій, которому доставляло удовольствіе вести съ нимъ различные диспуты, раза два посѣтилъ его; но Осипъ на всѣ его вопросы не отвѣчалъ ему ни слова. Однажды, часу въ одиннадцатомъ вечера, когда ужъ вся деревня покоилась глубокимъ сномъ, въ квартиру, занимаемую членами комиссіи, прибѣжалъ испуганный казакъ съ извѣстіемъ, что Осипъ едва не зарѣзалъ свою малолѣтнюю дочь, но у него успѣли вырвать ножъ, и онъ нанесъ только во время борьбы легкую рану въ руку казака. Когда привели Осипа и спросили, за что онъ хотѣлъ зарѣзать дочь, онъ сѣлъ на лавку и обхватилъ голову руками.

— Добро я хотѣлъ ей сдѣлать,—отвѣчалъ онъ. — Неужто у меня не болитъ сердце-то о моемъ дѣтищѣ? Вѣдь она кровь моя; ну, какая ей услада въ жизни-то будетъ?.. Отецъ не въ своемъ разумѣ, мать потаскуха, неужто ей сладко будетъ на міру-то въ батрачкахъ мыкаться? И всякой-то будетъ глумиться надъ ней!.. Э-эхъ, въ могилѣ-то ей легче бы было... въ могилѣ-то ти-ихо, не шелохнетъ!.. Зимой-то ее снѣжкомъ укрыло бъ, а лѣтомъ-то травкой, цвѣтиками.

И Осипъ зарыдалъ... Грудь его тяжело колыхалась, а какіе-то глухіе, точно раздавленные, звуки вырывались изъ нея...

Съ этого времени за нимъ усилили надзоръ.

Когда, по окончаніи слѣдствія, Дехтярева повезли изъ деревни, онъ не простился ни съ женой, ни съ ребенкомъ и ни съ кѣмъ изъ крестьянъ, хотя все село собралось и густою толпою окружило пошевни, на днѣ которыхъ онъ легъ, закутавшись съ головою въ шубу. Многіе изъ крестьянъ заплакали, провожая его. Плакала и жена Осипа и болѣе версты шла пѣшкомъ за пошевнями, неся на рукахъ пятилѣтнюю дочь, ожидая, что Осипъ, можетъ-быть, одумается и простится съ ней. Веселое настроеніе покинуло Осипа. Всю дорогу онъ молчалъ и на станціяхъ рѣдко выходилъ изъ пошевней; когда ему давали ѣсть, онъ ѣлъ... но если о немъ забывали, то онъ не напоминалъ о себѣ. По прибытіи въ городъ, Осипа помѣстили сначала на излѣченіе въ больницу, но когда сумасшествіе его приняло бѣшеный характеръ, его перевели въ домъ умалишенныхъ, гдѣ онъ и померъ.

1878 г.

## Какъ аукнется, такъ и откликнется.

(СЦЕНЫ).

Обширная комната II-го губернскаго казначейства, раздѣленная полукруглымъ сводомъ на двѣ половины, была полна посѣтителями, принадлежавшими къ различнымъ торговымъ профессіямъ. Оставалось всего нѣсколько дней до новаго года, а потому и крупный капиталистъ, торгующій на сотни тысячъ, и мелкій разносчикъ гребешковъ и другихъ бездѣлушекъ, выдѣлываемыхъ изъ рога, спѣшили взять свидѣтельства на право торговли въ наступающемъ году. Всевозможные запахи, одинаково несшіеся отъ лисьихъ и енотовыхъ шубъ, отъ бобровыхъ бекешъ, масляныхъ полушубковъ и смурыхъ зипуновъ, дѣлали прѣлую и душную атмосферу въ комнатѣ не только невыносимой, но одуряющей до изнеможенія и тошноты. Напоръ взносителей, несмотря еще на ранній часъ утра, грозилъ уже сломить рѣшетку, отдѣлявшую контору кассира, принимавшаго торговыя свидѣтельства и другіе документы для обмѣна на новые. Два чиновника особыхъ порученій, командированныхъ на этотъ случай изъ казенной палаты, едва успѣвали подписывать массу свидѣтельствъ: приказчичьихъ, на право содержать заведенія и торговать мелочью, на право продажи табаку и куренія его, начиная съ аристократическаго ресторана и кончая скромной портерной. Человѣкъ шесть канцелярскихъ чиновниковъ, сидѣвшихъ также за рѣшеткой, за отдѣльнымъ столомъ, работали перьями, не разгибая спины, дѣлая надписи на документахъ и свидѣтельствахъ, приготовляемыхъ, смотря по достоинству и цѣнности, на желтой, красной и синей бумагѣ. Одинъ изъ этихъ чиновниковъ, заправлявшій работами другихъ и, повидимому, старшій надъ ними (говорю «повидимому» потому, что чело его было нахмурено и носило на себѣ печать заботы, какая свойственна лицамъ столоначальниковъ, экзекуторовъ и т. п. должностныхъ лицъ.

носящихъ на себѣ бремя отвѣтственности предъ высшими и ежеминутно ожидающихъ головомойки за какое-нибудь «упущеніе изъ виду»), то и дѣло вскакивалъ со стула и бѣгалъ за рѣшетку, въ толпу, вызываемый большею частью телеграфическими знаками посѣтителей.

— Какъ предъ Богомъ!—тихо говорилъ проситель, прислоняясь къ уху чиновника, поспѣшно совавшаго что-то въ свой карманъ—...и въ ночь и полночь,—заканчивалъ уже посѣтитель вслѣдъ ему и затѣмъ обводилъ толпу довольнымъ взглядомъ, какъ бы гордясь значеніемъ своихъ связей...

— Теперь, говорю, завели обыкновеніе обдирать нашего брата,—вполголоса говорилъ стоявшій поодаль отъ рѣшетки, красный отъ духоты торговецъ въ лисьей шубѣ, изъ-подъ которой виднѣлась бархатная съ разводами жилетка, сухощавому сосѣду, въ новомодномъ пальто-халатѣ,—ну, и пущай, казнѣ больше надоть, а нашъ братъ, торгующій, все снесетъ! Мы навыкли въ обдиркѣ-то, намъ, говорю, обдирка-то эта не въ навыкъ... Справедливо ли я обсуждаю-съ?..

— Безъ малѣйшей утайки! — угрюмо отвѣтилъ тотъ.

— Я вотъ долженъ десять рублей выложить за приказчичье свидѣтельство, — продолжала лисья шуба, — а у меня приказчикъ-то такой, што, если его теперича во вкусъ взять, такъ даже и тертаго пятака не стоитъ, а я за него красненькую выложилъ, а вѣдь красненькую-то заробить надоть, цѣлыя сутки высидѣть, да сколько теперича набожиться и накреститься, чтобъ въ карманъ-то ее залучить, за сутки-то у нашего брата душа-то взопрѣетъ отъ грѣховъ: вотъ оно сколь легко десять-то рублевъ добыть! Энтого правительство въ разсужденіе не беретъ, да-а-асъ!.. а подай, говоритъ, за приказчика десять рублевъ, а онъ вотъ, Продъ, и гривны-то не стоитъ, а ты его окупи!..

— Окупи!.. — съ раздумьемъ отвѣтилъ сосѣдъ, — годъ отъ году не легче... одно утягченіе!..

— Совершенно утягченіе!.. Таперича, говорю, у меня сынка забрили, не горько ли-съ?.. А я гильдеецъ, у меня и тятенька-то гильдію несъ, мы ему приспособленье-то дѣлали: не въ сѣромъ драпѣ на морозѣ маршировать! Ужъ ежели таперича, говорю, экій образецъ завели для нашего конфуза, такъ по крайности за приказчика не бери десяти рублевъ, хоть эту льготу дай, а то и сына въ солдаты, и за приказчика десять рублевъ — единственно утягченіе одно! О-о-охъ, Господи, Господи! што-то, говорю, далѣ-то будетъ!.. А вы, почтенный, не напирайте экъ-то,—огрызнулся онъ назадъ на стоявшаго за нимъ торговца, пробиравшагося къ рѣшеткѣ.

— Мнѣ бы за полученіемъ-съ... посторонитесь, пожалуйста, — отвѣтилъ тотъ.

— Постарше есть, кому ранѣ-то получить слѣдуетъ, да ждемъ-съ... а экъ-то, говорю, лягаться не приводится... въ бока-то-съ!

Сконфуженный торговецъ пріутихъ и, вынувъ изъ кармана плотокъ, крестообразно обтеръ имъ красное, какъ морковь, лицо.

— Сосипатръ Алексѣевъ!—вызвалъ въ это время одинъ изъ чиновниковъ особыхъ порученій, выдававшихъ документы.—Гдѣ Сосипатръ Алексѣевъ? — снова громко повторилъ онъ, обводя глазами притихшую толпу.

— Я-я... здѣсь... здѣсь... вашскобродіе!—отвѣтилъ вызванный, протискиваясь изъ толпы къ рѣшеткѣ.

— У тебя три заведенія? А?..—спросилъ его чиновникъ.

— Три!.. это такъ точно. Справедливо говорю, вашескобродіе, три-съ! — повторилъ онъ, остановившись невдалекѣ отъ чиновника совершенно раскраснѣвшійся, съ крупными каплями пота на лбу и вискахъ.

— А прикащичье свидѣтельство одно берешь? А?

— Одно-съ!.. это такъ точно-съ, потому намъ больше не полагается, окромя одного-съ!

— Какъ же это такъ? А?.. Ну, въ одной лавкѣ, допустимъ, ты торгуешь?

— Мы-съ... безъ упущенія торгуемъ-съ!.. потому какъ хозяева...—прервалъ онъ.

— Молчи, дай досказать!..

— Извиненья просимъ... слушаемъ-съ, обсказывайте-съ!..

— Ну, въ одномъ заведеніи ты торгуешь, а въ другомъ сидитъ у тебя приказчикъ, а кто же въ третьемъ-то у тебя сидитъ? А?..

— Мы-съ, сами хозяева!.. значитъ... Я-съ!!.

— Какъ же это такъ? значитъ, ты одинъ въ двухъ лавкахъ сидишь? А?..

— Мы во всѣхъ трехъ, вашескобродіе, поманенечку, потому какъ хозяева, безъ своего глазу нельзя. Почитай, ужъ вездѣ въ оба глядимъ, и то крутомъ тащутъ, даже способу нѣтъ...

— Да кто же у тебя въ первой-то лавкѣ сидитъ?..

— Я-съ!..

— А во второй?

— Мы-съ!..

— То-есть кто же это «мы»? ты самъ же, или братъ, сноха, теща, што ли?..

-- Мы-съ!.. значитъ, сами хозяева...

— Ну, а въ третьей?..

— Приказчикъ Подбрюхинъ, Семенъ, изъ крестьянскаго сословія...

Въ толпѣ послышался смѣхъ.

— Ты мнѣ все-таки, братецъ, не объяснилъ... кто у тебя во второй-то лавкѣ сидитъ... ты самъ или кто другой?—настаивалъ чиновникъ.

— Мы-съ!..—снова отвѣтилъ онъ при общемъ взрывѣ хохота.

— То-есть ты самъ? А?

— Такъ точно-съ... потому мы какъ хозяева... свой глазъ... — началъ было онъ.

— Ты мнѣ зубы-то, дружокъ, не заговаривай,—прервалъ его чиновникъ, — а объясни-ка толкомъ, какъ ты это въ одно и то же время въ двухъ-то лавкахъ сидишь? А?..

— Поманенечку-съ, съ Божьей помощью, потому какъ безъ Господа Бога, говорю...

— Лавки-то рядомъ у тебя? А?..—прервалъ онъ.

— Никакъ нѣтъ-съ!.. потому ужъ рядомъ двѣ лавки, такъ какая же коммерція?.. извѣстно, каждый хозяинъ выбираетъ таперя мѣсто побойчѣй... поудаленнѣй, говорю, отъ другихъ...

— Часъ отъ часу не легче!.. Лавки у тебя стоятъ не рядомъ.

— Въ различныхъ фарталахъ-съ!

— Вонъ, даже въ различныхъ кварталахъ, самъ же говоришь, и ты умудряешься, любезнѣйшій, въ одно и то же время въ двухъ лавкахъ сидѣть? А?.. Не понимаю!

Въ толпѣ снова послышался хохотъ.

— Съ Божьей помощью, говорю, вашескобродіе!..

— Ну, такъ вотъ что: такъ какъ у тебя должно быть два приказчика, такъ ты, любезнѣйшій, возьми и два приказчичьихъ свидѣтельства, а на фокусахъ-то не выѣзжай, а коли не хочешь брать, такъ я тебѣ и права на торгъ въ третьей лавкѣ не дамъ!..

— Вашескобродіе, единственно какъ предъ Богомъ говорю, одинъ въ двухъ лавкахъ сижу-съ!.. Повѣрьте, вотъ Мать Пресвятая, за што же вы таперя экое гоненіе напущаете?..—чуть не плача заговорилъ онъ.

— Какое гоненіе... въ чемъ?..

— На цѣлыхъ десять рублевъ, што это, Господи, за времена, говорю, нонѣ... А-ахъ ты, Создатель! таперича вѣдь всѣ энти расходы, если огуломъ взять, шестьсотъ рублевъ... а-ахъ ты, напасть!..

— Ужъ нонѣ, точно, всласть не поторгуешь: не прежня пора, што открылъ лабазикъ, далъ фартальному рублевъ пять за безпокойство и сиди-посиживай, балуясь чайкомъ да орѣшками, нѣ-ѣтъ, нонѣ...

— Круто!..—подхватилъ сѣдой купецъ, съ огромной лысиной на головѣ, отпотѣвшей, какъ стекло, въ ненастный день.

— Обдирка!.. одно слово... — произнесла и лисья шуба, видимо довольная раздающимся протестомъ, совпадающимъ съ ея задушевными думами.

— Э-эхъ, купцы, купцы, ужъ вамъ-то грѣшно бы жаловаться на обдирку, и сами-то крещенаго человѣка при случаѣ, какъ яичко, облупите!—вступился въ разговоръ стоящій въ толпѣ крестьянинъ.—Торгуете на тысячи, а десять рублевъ на приказчика жаль, а у нашего брата таперича и торгуто на пять рублевъ, а все три изъ нихъ за жестянку подай, да молчимъ.

— Мужикъ-то болѣе убытковъ несетъ, да не ропчетъ!..—отозвался другой, тоже, повидимому, крестьянинъ.

— Ты што голосъ-то возвышаешь! — презрительно обратился къ первому лисья шуба,—твое ли таперича дѣло чужія дѣла обсуждать, а?.. Твоему брату, мужику, и Богъ велѣлъ тяготы нести.

— А тебѣ заказалъ налегкѣ ходить?— съ желчной ироніей отозвался крестьянинъ,—окромя пуза да лисьей шубы на

плечѣ, иного и бремя не знать!.. За што же это тебѣ-то экая Господня милость... ну-ко?..

Окружающіе засмѣялись; купецъ въ лисьей шубѣ побагровѣлъ, какъ кумачъ, и какъ-то неловко крякнулъ.

— Ишь, какой излюбленный Богомъ нашелся, право,—злобно уже продолжалъ крестьянинъ,—мужики тяготы несите, а онъ за нихъ будетъ отпыхиваться да брюхо холить! Знаемъ мы васъ, какъ вы свидѣтельства-то на приказчиковъ берете, самъ сиживалъ приказчикомъ-то; свидѣтельство-то возьмешь на одного, а держишь-то ихъ троихъ; левизоръ только изъ одной лавки пошелъ въ другую, а ты задней улицей обѣжишь его, да то же свидѣтельство и въ другой лавкѣ повѣсишь, и въ третьей, да исшо на обдирку жалуешься... Нѣ-ѣтъ, худо исшо вашего-то брата выслѣживаютъ! А то исшо гляди, мужикъ тяготы неси, Богъ-де заказалъ, э-э-хъ... завернулъ бы я тебѣ словечко, кабы не публика.

— Ваше высокоблагородіе... извольте унять, тутъ вотъ энтотъ мужикъ непричинныя слова говоритъ!—возвысился голосъ изъ переднихъ рядовъ, обращаясь къ чиновнику особыхъ порученій, выдававшему билеты и свидѣтельства.

— Самыя по причинѣ... обознался... я, вашскобродіе, въ чувство ихъ привожу... потому зазнались... — крикнулъ крестьянинъ.

— Ты пьянъ!..—раздалось около него.

— Допрежъ напой, а потомъ укори!.. — огрызнулся онъ,—ты, можетъ, ранѣ меня сегодня съ бутылкой-то похристосовался, да я молчу, а то пья-я-нъ!.. Видать, што у тебя съ тверезой жизни носъ-то бодягой накрасило... а то пья-я-нъ!..

— Городовой... господинъ городовой!..

— Гдѣ городовой-то? — раздалось нѣсколько голосовъ среди общаго волненія.

—Вотъ этотъ самый крестьянинъ, господинъ городовой, изволилъ поносить купеческое сословіе, — заговорили почти въ голосъ и шубы и бекеши, указывая на него,—даже въ подлости обличаетъ...

— Я што... я ничего... я про свои дѣла...—заговорилъ крестьянинъ нѣсколько стихшимъ голосомъ при видѣ протолкавшагося къ нему городового.—За што меня... кому я чего сдѣлалъ... Господи...н-ну...— Но городовой, молча подхвативъ его подъ руку, вывелъ изъ колыхающейся отъ тѣсноты толпы.

— Ну, нонѣ и мужикъ сталъ, уйму, то-есть, не знаетъ! — заговорила лисья шуба, когда волненіе нѣсколько утихло,— словно, грыжа, говорю, какая напущена на нихъ? А?..

— Отдохли отъ барщины-то... себя теперь спознали!.. — отозвался кто-то изъ среды купцовъ.

— И отколь вѣдь это ума набрались, какъ это внезапно, говорю, осѣнило-то ихъ.

— Чѣмъ... это-съ!..

— Соображеніемъ-то касательно правъ-съ!.. такъ што съ диву, говорю, дашься!.. Да вотъ, къ слову сказать, со мной теперича случай былъ-съ, — продолжала лисья шуба, обращаясь своимъ масляннымъ взглядомъ ко всѣмъ окружающимъ.—Мы вѣдь собственно бакалеей заимствуемся, но единовременно и другихъ дѣловъ не упущаемъ, потому нонѣ не такое время, штобы капиталу лежать втуне, мы и лѣснымъ дѣломъ не брезгуемъ, и хлѣбомъ, и што, значитъ, сподручно... и какъ-то все болѣе съ мужикомъ орудуемъ... такъ истинно говорю, не спознаемъ ихъ... Энто они меня-съ на одномъ дѣлѣ поддѣли... какъ умирать будешь, такъ вспомнишь...

— Ого-о-о!.. — пронеслось въ средѣ окружающихъ, тѣснѣе сжавшихся около лисьей шубы.

— И такъ это мѣтко утрафили... а ужъ я ли не ходокъ... вѣдь ужъ двадцать шестой годъ гильдію несу... понаторѣли!..

— А прелюбопытно, однакожъ!.. — отозвалась стоящая впереди бекеша, бокомъ пятясь назадъ, поближе къ разсказчику.

— И очень даже любопытно! — продолжалъ онъ, замѣтивъ, что разсказъ его обратилъ на себя общее вниманіе.—Купилъ я это, доложу вамъ, у одного помѣщика десятинъ съ двѣсти лѣсу. Хорошо-съ!.. Условіе и все энто, какъ должно быть, съ формальной стороны обдѣлали! Дача богатѣющая, хоша по планту-то какъ будто бы клиномъ вышла, такъ какъ съ трехъ-то сторонъ таперича къ ней не было доступу, потому кругомъ была болотина, топь! А съ четвертой-то стороны къ ней, сказать вамъ, въ упоръ прилегали хлѣбопахотные участки, отошедшіе въ надѣлъ крестьянамъ, хорошо-съ... А - допрежъ

всего, сказать вамъ доводится, што объ эфтой самой лѣсной дачѣ мужичье-то вело споръ съ своимъ бариномъ, и споръ этотъ доходилъ до Правительствующаго Сената, и когда, значитъ, мужикамъ послѣдовала въ ихнемъ спорѣ неустойка, то они и приступи къ барину, къ помѣщику-то, значитъ, съ просьбой: продай имъ лѣсъ! А барина-то тѣмъ временемъ ужъ амбиція взяла, потому, какъ... холопе, рабы... и едва энто, выходитъ, глотнули воли и въ споръ... онъ имъ на энто и отруби: выжгу, говоритъ, его весь на вашихъ глазахъ, за мѣдный грошъ, говоритъ, продамъ встрѣчному, а вамъ, говоритъ, подлецамъ, и пруткомъ не дамъ изъ него попользоваться! Такъ, значитъ, на томъ и порѣшили. Обозлились это мужики, ушли... На энтотъ грѣхъ, и подвернись я; лѣсъ, вижу, подходящій и цѣна теперича умѣренная,—стало-быть, дѣло для меня по всѣмъ статьямъ круглое... и купилъ его. Купилъ и ѣду къ нимъ въ село, такъ и такъ, говорю, братцы, принимайся-ко за работу валить его! Смѣются только, замѣсто отвѣта... Што жъ, говорю, беретесь аль нѣтъ? А?..

— По чемъ, говоритъ, у барина-то его купилъ?..—спрашиваютъ меня.

Обсказалъ имъ.

— Дешево, говорятъ... съ тебя таперича штобъ наверстать наши-то кровные убытки, што по барской прихоти несемъ, слѣдуетъ за срубъ-то взять по десяти рублевъ съ лѣсины!..

— Вы, говорю, очумѣли, што ль... такъ и такъ васъ въ ребра... да тутъ за двадцать-то копеекъ въ сутки отъ работниковъ-то отбою не будетъ, ишо мнѣ же въ ноги накланяются, што хлѣбъ даю!..

— Ну, и зови, говорятъ, ихъ, а наши топоры къ кровному нашему добру не коснутся.—Грѣшнымъ дѣломъ, скажу, посмѣялся-таки я въ тѣ поры надъ ними и спокаялся опосля, да поздно. А они еще и въ тѣ поры мнѣ сказали: Ну, купецъ, рубить ты лѣсъ руби, а мы посмотримъ, какъ ты вывозить его станешь, не пришлось бы еще въ ноги намъ кланяться!..

— Наплевалъ энто я на ихнее упорство, порядилъ рабочихъ изъ сосѣднихъ деревень и почесть въ мѣсяцъ покончилъ вырубку. Пришло время вывозить; только мнѣ рабочіе и говорятъ: какъ, говорятъ, вывозить-то ты его будешь, доведется вѣдь черезъ пашни дорогу-то прокладывать; ишь лѣсъ-то, говорятъ, совсѣмъ вѣдь врѣзался въ ихъ надѣлъ, и лѣсъ-то этотъ слѣдовало бы имъ отдать, потому на ихней межѣ, да ужъ это, говорятъ, мировой за барскую хлѣбъ-соль изобидѣлъ народъ-то! А вѣдь земля-то, говорятъ, кругомъ его мужичья! Такъ мнѣ-то што жъ, говорю, за дѣло! Про то, говорятъ, разговоръ ведемъ, што какъ ты вывозить-то будешь... Кругомъ вѣдь его болотина... сунься по ней везти, и лошадей убьешь... и лѣсъ утопишь, а сухая-то дорога одна только черезъ пашни, а кто жъ те пашнями-то пустить вывозить?.. А-ахъ ты, думаю, качай-то воротомъ, вѣдь впрямь мужики-то правду говорятъ. Ну, да ладно, думаю, поправимъ дѣло, стоитъ только ведромъ поманить, да и обчелся. Пріѣхалъ энто въ село къ нимъ, такъ и такъ, говорю, други милые, пустите.

— А-а... говорятъ, ономнясь такъ глумился надъ нами, што свекровь надъ снохой, а теперь и мы стали милые други! и загалдѣли, и-и загалдѣли... Таперича, говорятъ, у кого ты покупалъ энтотъ лѣсъ, тотъ пущай тебѣ и путь указываетъ вывозить его, а мы въ энтомъ дѣлѣ не причина! У насъ, говорятъ, таперича хлѣба-то на десять тысячъ посѣяно, да мы для барскаго барыша зориться должны, вытаптывать его... нѣ-ѣтъ, нонеча, говорятъ энтимъ-то временамъ вѣчную память поютъ. У насъ, говорятъ, къ барину-то на межу скотинка зайдетъ да единую былинку потопчетъ, такъ онъ и тутъ десять рублевъ штрафу ломитъ... Ну, такъ и поди теперь къ нему... спроси его... какъ его-то добро вывозить, а мы въ сторонѣ...

— А ты, говорятъ, купецъ, вотъ чего сдѣлай: энтимъ лѣскомъ-то, што вырубилъ, мостъ на болотѣ проклади, а опосля того ужъ, говорятъ, когда на энтой дачкѣ новый-то лѣсокъ подрастетъ, и вывози его по энтой дорожкѣ, и безубытошно будетъ... Вотъ-съ какія насмѣшки допускали!..

— Ну, какъ же вы сдѣлались съ ними?— прервало его нѣсколько голосовъ.

— Жизнь проклялъ съ энтимъ лѣсомъ! Повѣрите-ли, што долженъ былъ имъ уплатить, штобъ только провезти черезъ ихнюю-то межу, двѣ тысячи, и ужъ мировой дѣлалъ соглашеніе...

— О-однакожъ!..

— Ай, ай, двѣ тысячи...

— Какъ предъ Богомъ; да сколько таперича вина этого вылакали, такъ, кажется, безъ счету, да вожжался-то я съ ними безъ малаго мѣсяцъ... ей-Богу-съ!.. даже съ тѣла спалъ за энто время. Да вы войдите таперича въ положеніе-то мое, што мнѣ все это стало: рабочіе съ лошадьми подряжены, вѣдь имъ плату-то каждый день подай — робятъ они аль не робятъ; а тамъ срокъ подходитъ подрядъ выполнять, а они ни изъ кузова ни въ кузовъ! Однова это стою, знаете, въ шапкѣ передъ ними, умасливаю ихъ, а они еще што выпалили: коли ты, говорятъ, съ обществомъ разговариваешь, такъ долженъ шапку снять, съ почтеніемъ быть! И снялъ, да вѣдь солнцемъ-то, скажу вамъ, такъ мнѣ голову нажгло въ тѣ поры, што дня два словно свинцомъ была налита, да-а-съ! Ты, говорятъ, у барина-то покупалъ, насъ не спрашивалъ, а энтотъ лѣсокъ-то кровный нашъ... мы, говорятъ, разорились, отстаивая его супротивъ барской нажимки, ну, такъ таперича ты, говорятъ, вознагради насъ за него, подай намъ десять тысячъ, тогда мы те, говорятъ, каждую лѣсинку, што-ись, своими руками вынесемъ, а возить, говорятъ, и позволенья нашего нѣтъ.

— Я къ барину... такъ и такъ, говорю, помогите, даже слеза это меня прошибла.

— Никакой, говоритъ, братецъ, помочи не могу тебѣ оказать, потому, говоритъ, пора не прежняя... Огульникъ народъ сталъ: они и ко мнѣ-то, говоритъ, за пять рублевъ въ сутки никто на работу не идетъ, ужъ изъ окольныхъ деревень нанимаю! Попробуй, говоритъ, поди къ мировому судьѣ... Послушалъ его, пошелъ-съ!.. А тотъ только руками развелъ... ничего, говоритъ, нельзя сдѣлать, окромя обоюднаго соглашенія, — даже колѣна преклонялъ!..

— Передъ кѣмъ это, предъ мировымъ-то?

— Предъ мужиками-съ!.. Предъ мировымъ-то душа бы не болѣла, потому все же лицо, власть, а то предъ мужиками-и-и-съ... такъ сказать, тьфу-съ... да въ иную пору во вниманіе не взялъ бы и плюнуть-то на нихъ-съ!..

— Хо... хо... однакожъ...—пронеслось среди слушателей.

— Д-да-съ... да глумленія-то энтого сколько было, ты, говоритъ, всемірно намъ поклонись...

— Какъ же это всемірно-съ?..

— А такъ-съ, значитъ, на площади, при всемъ ихнемъ обчествѣ, штобъ, говоритъ, не токма люди, а и птицы небесныя видѣли, какъ, значитъ, насъ, говоритъ, таперича купецъ чествуетъ. Разоръ-то, говоритъ, отъ васъ кругомъ идетъ, такъ мы, говоритъ, хоша поклономъ то съ тебя сердце сорвемъ!..

— Претерпѣли же вы!..

— Истинно говорю, другой страстотерпецъ энтого не выносилъ, што я въ тѣ поры выжилъ... Такъ вотъ они каковы нонѣ, мужики-то—точно, говорю, грыжа какая напущена на нихъ.

— Што мужику поклонился, такъ и душа изболѣла, — раздался сзади его голосъ, принадлежавшій крестьянину, только что выведенному городовымъ,—а што мужикъ вамъ повсечасно кланяется да плачетъ, такъ, небось, не болитъ душа-то!.. Нѣ-ѣтъ, худо они тебя промяли: я бъ те заставилъ ишшо по улицѣ-то борозду лбомъ провести!..

— Это што жъ такое, господа!.. — съ изумленіемъ заговорили бекеши и шубы,— ну, и порядки!

— Я говорю, што мужикъ, што муха: его выгони въ одну дверь, онъ войдетъ въ другую, да только перекрестится.

— Ни стыда ни совѣсти!..

— И какъ это напущаютъ всякій сбродъ?

— Энто што-съ, здѣсь и не то бываетъ: энтого мало, што наслушаешься всячины, еще и карманы ошарятъ...

— А-а-а...

— Да... я вамъ скажу, у моего знакомаго... въ прошломъ году...

Но въ это время раздался голосъ чиновника особыхъ порученій, приглашавшаго подходить за полученіемъ изготовленныхъ билетовъ и документовъ. Толпа хлынула къ рѣшеткѣ волной, тѣсня друга друга: «не давите, тише, Господи... не напирай... да што вы, сдурѣли?..» слышались среди нея сдавленные голоса, въ воздухѣ торчали руки съ захваченными налету документами, неся ихъ высоко надъ головами, чтобы не измять.

А чрезъ минуту околоточный надзиратель составлялъ уже актъ о потерянномъ кѣмъ-то изъ присутствующихъ бумажникѣ.

**Николай Елпидифоровичъ Петропавловскій.**

(1857—1892).

## Какъ и куда они переселились.

На берегу рѣки Парашки и донынѣ еще стоитъ одинокій столбъ, окрашенный въ черную и бѣлую краску. Онъ устоялъ, когда вокругъ него все разрушалось. Его обливалъ дождь, обдували вѣтры, черви точили его внутренности, а онъ все стоитъ. На верху его прибита доска, которая гласитъ: «Деревня Парашкино, душъ 470, дворовъ 96»; но эта надпись также устарѣла, какъ и самый столбъ, и если бы кто повѣрилъ ей и сталъ отыскивать девяносто шесть дворовъ, заключающихъ въ себѣ четыреста семьдесятъ душъ, то, вѣроятно, пришелъ бы въ недоумѣніе, потому что мѣсто, гдѣ должны быть дворы, покрыто одними развалинами.

Повсюду кругомъ вѣяло запустѣніемъ и заброшенностью. Рѣка тихо катила свои мутныя струи, берега ея поросли мелкимъ кустарникомъ, а ея поверхность покрылась лопухами и кашкой, какъ поверхность озера. Нигдѣ не видно тропинокъ, даже дорога, ведущая къ мосту, заросла травой, только самъ мостъ уцѣлѣлъ, хотя его никто больше не поправлялъ, и онъ видимо готовъ былъ запрудить собой рѣку. Гдѣ же дворы? Прежде деревня далеко тянулась въ два порядка вдоль рѣки, а теперь остались отъ улицы одни только слѣды. На мѣстѣ большинства избъ виднѣется пустое пространство, заваленное навозомъ, щепками и мусоромъ и поросшее крапивой. Кое-гдѣ, вмѣсто избъ, просто ямы. Нѣсколько десятковъ избъ—вотъ все, что осталось отъ прежней деревни. Стоялъ, безъ видимой причины, еще одинъ сортъ избъ, въ которыхъ не было ни дверей, ни оконъ, ни даже потолка, а около нихъ не находилось никакихъ строеній, такъ что издали они казались срубами, употребляющимися для ловли звѣрей. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ просто торчали, поверхъ крапивы и полыни, печи съ полуразрушенными трубами, какъ послѣ пожара, истребившаго домъ и изгнавшаго его обитателей. Въ трехъ-четырехъ мѣстахъ лежали огромныя кучи навозной золы, которая во время вѣтра поднималась вверхъ и вмѣстѣ съ остатками другого

разнаго сора носилась въ воздухѣ надъ этой пустыней.

Вдали виднѣлась барская усадьба Петра Петровича; возлѣ нея высилась церковь и погостъ, а возлѣ погоста волостное правленіе. Дальше тянулся пустырь, оканчивающійся строеніями Епифана Иваныча Колупаева, которыя только и скрашивали мерзость запустѣнія, поражая еще издалека своей обширностью. Епифанъ Иванычъ окрѣпъ отъ всеобщаго парашкинскаго несчастія и широко разросся, какъ поганый грибъ, выросшій на трупѣ.

Отъ прежней деревни, дѣйствительно, остался одинъ трупъ. Много къ этому времени разбѣжалось народу, который рѣдко показывался домой, и деревня исподволь, но непрерывно пустѣла.

И немного осталось жителей въ ней. Все это были люди, сросшіеся съ землей, на которой они жили, такъ крѣпко, что связали свою судьбу съ ней. Если земля худала, худали и жители, сидящіе на ней. Въ этой связи заключалось даже своего рода удобство, потому что для парашкинцевъ была нечувствительна собственная захудалость, когда все вокругъ нихъ носило слѣды истощенія и бѣдности. Поля вокругъ деревни уже не засѣвались сплошь, какъ прежде; во многихъ мѣстахъ желтѣли большія заброшенныя плѣшины: тамъ и сямъ земля покрылась верескомъ, кое-гдѣ вновь появились незамѣтныя раньше болота. Засѣянныя же поля были тощи по качеству и незначительны по количеству. А бродившій по кустарникамъ скотъ едва волочилъ ноги, паршивый, худой, съ ребрами наружу и съ обостренными спинами, на которыхъ часто садились галки и клевали мясо.

Но парашкинцы были равнодушны ко всему.

Это равнодушіе день ото дня дѣлалось сильнѣе и распространеннѣе, проявляясь во всемъ, что ни предпринимали они. На улицѣ, какъ сказано выше, громоздились горы щепъ, золы и всякаго сора, и никто не думалъ счистить это, хотя бы передъ своимъ домомъ. Строенія также стояли безпорядочно среди всякаго разрушенія. Если стѣна косилась, ее не думали подпирать; иная крыша ежеминутно грозила рухнуть и задавить находящихся подъ ней обитателей, но и на это не обращалось вниманія. Рушился сарай, его не поднимали, онъ такъ и лежалъ, постепенно растаскиваемый на растопку печей. Падала въ колодезь курица, ее не вытаскивали, воду начинали брать изъ мутной рѣки или изъ другого колодца. Разбивалось окно, его затыкали тряпицей, соломеннымъ чучеломъ или просто ничѣмъ не затыкали. Валилась труба, хозяинъ ея только равнодушно удивлялся такой странности: «Труба... экъ ее угораздило! Дивное это дѣло, братецъ ты мой! Все стояла аккуратно, какъ быть должно, и вдругъ— хлопъ!» Труба оставалась неисправленною, и достаточно было одной искры, вылетѣвшей изъ нея, чтобы истребить огнемъ всю деревню «отъ случайности». Въ описываемую весну рѣка Парашка почему-то очень сильно разлилась, затопила огороды, снесла много заднихъ дворовъ, повредила часть жилыхъ избъ, но это не возбудило никакого волненія среди пострадавшихъ. У солдата Ершова, какъ его называли за шинель, которую онъ носилъ, и за одну мѣдную пуговицу, которая болталась у него назади, повалило и снесло водой добрый сарай, стоившій нѣкогда много хлопотъ ему, но онъ и ухомъ не повелъ, когда ему сказали о случившемся. Придя на то мѣсто, гдѣ былъ сарай, онъ замѣтилъ только, что столбы выперло ловко, лучше не надо! «Вона! вона какъ сверлитъ!» добавилъ онъ, глядя на рѣку, бушевавшую у его ногъ, и ушелъ.

Парашкинцы были спокойны.

Это странное спокойствіе изо дня въ день становилось невозмутимѣе. Прежде они изъ-за всякихъ пустяковъ волновались, радуясь или огорчаясь, но въ послѣдніе два года передъ описываемымъ ниже событіемъ успокоились. Происходило ли какое дѣло въ ихъ селѣ, отнимали ли у нихъ свиней и овецъ, задавали ли имъ перцу въ счетъ прошедшаго и для разъясненія будущаго, грозили ли отнять у нихъ землю, находила ли хворь на ихъ дѣтей, умиравшихъ десятками, или падалъ скотъ, они оставались невозмутимы и не задавали себѣ никакихъ вопросовъ насчетъ завтрашняго дня. Даже разносимые богомольцами и солдатиками миѳы, что въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ странахъ живутъ люди съ песьими головами, или что въ Питерѣ стоитъ царскій амбаръ въ двѣ версты длиной, наполненный до верху хлѣбомъ, или что изъ-за моря приплывутъ

къ Покрову десять кораблей съ мукой, назначенной для раздачи желающимъ,— даже эти миѳическія сказанія, составлявшія значительную долю умственной пищи парашкинцевъ, перестали обращаться между ними. Когда-то эта пища возбуждала ихъ, а теперь имъ было все равно. Ничего имъ не надо. Ладно и такъ.

Парашкинцы ко всему стали приспособляться.

Положеніе ихъ давно сдѣлалось невозможнымъ, а они уже не думали изъ него выходить и употребляли всѣ силы лишь на то, чтобы приспособиться къ нему. Это не то приспособленіе, когда человѣкъ, сообразуясь съ обстоятельствами, напрягаетъ силы, чтобы улучшить свою жизнь, и выростаетъ, вытягиваясь до высоты новаго положенія; парашкинцы приспособлялись, постоянно понижаясь и понижая уровень своихъ требованій. Чѣмъ хуже становились окружающія условія, тѣмъ хуже дѣлались и они, желая лишь одного— остаться въ живыхъ. Зато въ оставшихся въ ихъ рукахъ дѣлахъ они выказывали бездну изобрѣтательности.

У мельника Якова скопилось одно время множество отрубей, которыя онъ не зналъ куда дѣть; кормилъ онъ ими гусей, куръ и свиней, но все еще ихъ оставалось много, а въ городъ везти не было расчета. Отруби гнили. Въ это время кто-то изъ жителей деревни придумалъ способъ изъ отрубей печь хлѣбъ и во всеуслышаніе хвастался превосходнымъ качествомъ этого печенія. И всѣ приняли съ радостью изобрѣтеніе и начали дѣлать улучшенія въ первоначальномъ способѣ, послѣ чего отруби Якова быстро разошлись, принеся ему значительную выгоду.

Иваниха придумала для той же цѣли употреблять клеверъ молотый, которымъ одно время она неограниченно пользовалась со двора Петра Петровича; парашкинцы усвоили и это открытіе и начали одолѣвать просьбами Петра Петровича. Такъ какъ у послѣдняго ежегодно засѣваемый клеверъ гнилъ и вообще не приносилъ никакой выгоды въ его хозяйствѣ, то онъ много роздалъ его даромъ всѣмъ парашкинцамъ и радовался, что, наконецъ, нашъ народъ начинаетъ усвоивать выгоды раціональнаго полеводства. Конечно, онъ былъ пораженъ, когда узналъ, черезъ нѣкоторое время, что парашкинцы клеверъ его сами съѣли, и даже пересталъ раздавать, ругая грязную сволочь, которая ничѣмъ не брезгаетъ, но парашкинцы долго еще шатались къ нему, а одинъ разъ даже всей деревней пришли.

— Дашь? — спросили они равнодушно, словно дѣло шло о понюшкѣ табаку.

— Не дамъ, — отвѣчалъ Петръ Петровичъ.

— Отчего не дашь?

— Потому что вы сами жрете! Ахъ вы... Чортъ знаетъ, что такое! И какъ это вы выдумали ѣсть такую мерзость?— говорилъ Петръ Петровичъ и злился.

— Ну, овса, — сказали парашкинцы. Овесъ въ это время былъ очень дешевъ.

— И овса не дамъ!—закричалъ, выведенный изъ себя, Петръ Петровичъ.

— Что ты серчаешь? Мы те заработаемъ. Хочешь канаву вырыть — выроемъ тебѣ канаву. Хочешь болото просушить— и болото просушимъ. Дашь?

Петръ Петровичъ задумался. Принятая имъ прежде система найма рабочихъ перестала удовлетворять его; онъ сталъ сомнѣваться, дѣйствительно ли онъ хорошо поступаетъ, нанимая парашкинцевъ за два, за три года впередъ и почти за безцѣнокъ. Парашкинцы давно уже продали себя ему и если не приходили въ отчаяніе отъ такого порядка, то это зависѣло лишь отъ ихъ равнодушія къ своей жизни. Поэтому, въ данномъ случаѣ, у него опустились руки, и онъ далъ просителямъ по пуду муки, какъ дѣлалъ это не одинъ разъ. Парашкинцы получили муку и съѣли.

Приходила имъ четыре раза земская ссуда, пришла и въ эту весну, при чемъ земство различило хлѣбъ, назначенный на сѣмена, отъ хлѣба, назначеннаго на пропитаніе. Но парашкинцы не различали,— они получили ссуду и съѣли ее.

Былъ у нихъ, совмѣстно съ двумя другими деревнями, хлѣбный магазинъ, случайно еще хранившій въ себѣ овесъ, на половину прогнившій, на половину изгрызенный мышами, но парашкинцы не разбирали тонкостей: они раздѣлили овесъ и съѣли его.

Ходили они къ Колупаеву, прося у него подъ работу по пуду. Отказалъ.

— Дашь?—спросили они равнодушно.

— Не дамъ, — отвѣчалъ сначала Колупаевъ.

Однако имъ овладѣла тревога. Онъ также, при взглядѣ на парашкинцевъ, дѣлался раздражительнымъ и неспокойнымъ, ибо, завлекая ихъ въ свои сѣти и общипывая поодиночкѣ, что требовало большого труда, неутомимаго наблюденія и постояннаго содержанія себя въ напряженномъ состояніи, онъ съ нѣкотораго времени чувствовалъ глухое недовольство своей медлительной дѣятельностью, въ особенности когда благосостояніе его сдѣлалось прочнымъ. Ему захотѣлось погубить ихъ сразу, чтобы уже больше не возиться съ ними; онъ только не зналъ, чего ему собственно желать: того ли, чтобы они куда-нибудь внезапно провалились, оставивъ ему землю, или того, чтобы они за недоимки подпали подъ опеку и были отданы ему на откупъ? Но на этотъ разъ, замѣтивъ необыкновенное спокойствіе просителей, онъ уступилъ. Парашкинцы получили по пуду муки и съѣли.

Такъ они жили изо дня въ день, ко всему равнодушные, кромѣ дневного пропитанія, да и на пропитаніе обращали лишь незначительное вниманіе, приспособляясь и привыкая къ такой жизни, которая въ иныя времена заставила бы ихъ жестоко убиваться. Вслѣдствіе этого трудъ ихъ сдѣлался случайнымъ, непроизводительнымъ, а потому ни для кого не пригоднымъ. Эти непригодность и непроизводительность, имѣя своей причиной отчасти ихъ апатическое спокойствіе, главнымъ образомъ зависѣли отъ того, что имъ «недосужно было» въ должной мѣрѣ заботиться о поляхъ, а равнымъ образомъ и отъ того, что они перестали понимать себя и свои нужды, вообще потеряли смыслъ. Существованіе ихъ за это время было просто сказочное; они и сами не сумѣли бы объяснить сколько-нибудь понятно, чѣмъ они жили. Попадалась имъ невзначай, какъ съ неба свалившаяся, работа, они хватались за нее и перемогались; не попадалось работы, также перемогались. Прорвало въ нынѣшнюю весну плотину у мельника Якова, и парашкинцы неожиданно получили по пуду муки за исправленіе плотины, которая въ одинъ день была приведена въ прежній порядокъ. Случайно прибѣжалъ назадъ къ своему хозяину пропавшій теленокъ — и хозяинъ немедленно же свелъ его въ городъ; а у другого хозяина вдругъ опоросилась свинья двѣнадцатью штуками, и поросята, почти мокрыми, тоже увезены были въ городъ.

Несчастіе вызвало непроизводительность, а непроизводительность еще болѣе увеличивала несчастіе. Парашкинцы жили уже не на счетъ своего труда, который или вовсе отсутствовалъ, или былъ безполезенъ и нелѣпъ, а на счетъ продолжительности своей жизни. Потомъ они стали приспособляться уже не къ сей жизни, а къ будущей, доводя до нуля признаки, по которымъ можно было догадаться, что они еще живутъ. Въ сущности, они давно съѣли все, что у нихъ было, съѣли десять лѣтъ будущаго и принялись ѣсть самихъ себя.

Между тѣмъ, о нихъ всюду начали говорить, хотя сами они ничѣмъ не заявляли о своемъ существованіи, ни на что не жалуясь. Если бы сотая доля этихъ несчастій произошла въ другомъ общественномъ слоѣ, то поднявшійся по этому поводу оглушительный вопль проникъ бы всюду, куда предназначено; но парашкинцы молчали. Ихъ осталось уже немного, и въ деревнѣ царствовала мертвая тишина. Жены ихъ ходили и работали машинально, истомленныя, угрюмыя и вялыя, дѣти не играли, совсѣмъ не показываясь на улицѣ. Мужики не собирались на сходъ, или соберутся, но молчатъ, а если начнутъ говорить, то о пустякахъ; когда же кто хотѣлъ заговорить о дѣлѣ, на того накидывались и чуть не силой затыкали ему ротъ; до такой степени они дорожили своимъ спокойствіемъ. Свѣжему человѣку просто жутко было жить среди такого народа.

Пріѣхалъ къ нимъ губернскій гласный, посланный земствомъ спеціально для того, чтобы посмотрѣть на парашкинцевъ. Еще не доѣзжая до села, онъ уже все понялъ и почувствовалъ желаніе поскорѣе уѣхать изъ зачумленнаго мѣста. Но онъ волей-неволей долженъ былъ исполнить свою обязанность и собралъ всѣхъ парашкинцевъ около волостного правленія. Парашкинцы, однако, молчали, и каждое слово надо было насильно вытягивать изъ ихъ устъ.

— Всѣ вы собрались?—спросилъ прежде всего гласный.

Парашкинцы переглянулись, потоптались на своихъ мѣстахъ, но молчали.

— Только васъ и осталось?

— А то сколько же?! — грубо отвѣчалъ Иванъ Ивановъ,

— Остальные-то на заработкахъ, что ли? — спросилъ гласный, раздражаясь.

— Остатніе-то! Эти ужъ не вернутся... нѣ-ѣтъ! Всѣ мы тутъ.

— Какъ же ваши дѣла? Голодуха?

Парашкинцы пошевелились, переступили съ ноги на ногу, но хранили глубокое молчаніе, вперивъ двадцать слишкомъ паръ глазъ въ гласнаго. Имъ видимо былъ не по нутру предметъ разговора, а въ заднихъ рядахъ слышался даже ропотъ, очень непріязненный къ гласному: «Пріѣхалъ... и чего ему надо? По какой причинѣ пріѣхалъ?»

— Такъ какъ же, — спрашивалъ: — голодуха?

— Да ужъ, должно полагать, она самая... Словно какъ бы дѣло выходитъ на эту точку... Стало-быть, предѣлъ...— отвѣчало нѣсколько голосовъ вяло и апатично.

— И давно такъ?

На этотъ вопросъ за всѣхъ отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ:

— Какъ же не давно?—сказалъ онъ.— Съ которыхъ ужъ это поръ идетъ, и мы все перемогались, все думали, авось, пройдетъ, авось, Богъ дастъ... Вотъ она слѣпота-то наша какая!

— Что же вы, чудаки, молчали?

— То-то она, слѣпота-то, и есть!

— Теперь-то хоть имѣете вы что-нибудь въ виду? Намѣрены что-нибудь предпринять? — спросилъ гласный и получилъ въ отвѣтъ одинъ ничего не значащій вздоръ.

— Да ужъ что ни на есть, а надо... Промышлять какъ ни то будемъ... Безъ этого уже нельзя... Какъ же безъ этого, безъ пропитанія-то? — И такъ далѣе, все въ томъ же смыслѣ.

Постоялъ - постоялъ на крыльцѣ гласный и самъ замолкъ. Задалъ было онъ еще нѣкоторые вопросы парашкинцамъ, да они отвѣчали ему до такой степени ни съ чѣмъ несообразную чепуху, что онъ сталъ собираться къ отъѣзду: довольно насмотрѣлся! На него нахлынуло то тяжелое, хотя и безформенное чувство, когда руки опускаются и противно глядѣть на все окружающее. И хочется закрыть глаза, все забыть и хоть на минуту забыться, а силъ на это нѣтъ. Тогда первое, что представляется уму,—это бѣжать скорѣе, если возможно...

— А что, ежели спросить вашу милость, къ примѣру, насчетъ, будемъ прямо говорить, ссуды... будетъ намъ ссуда, ай нѣтъ? — спокойно освѣдомились парашкинцы, когда гласный садился въ телѣжку.

— Ничего вамъ не будетъ! — мрачно отвѣтилъ онъ и уѣхалъ.

Не одинъ гласный губернскаго земства бѣжалъ и увозилъ отъ парашкинцевъ тяжелое чувство; всѣ, кто имѣлъ съ ними какія-либо сношенія, испытывали то же самое и потому старались не заглядывать къ чумнымъ людямъ.

Даже исправникъ и становой на эту весну ѣздили къ нимъ только по необходимости. Первый посѣщалъ ихъ изрѣдка лишь затѣмъ, чтобы посмотрѣть, тутъ ли они, живы ли? Что касается до послѣдняго, то онъ, разумѣется, волей-неволей долженъ былъ навѣщать ихъ, но дѣлалъ это уже безъ прежней увлекательности, потому что никакихъ дѣлъ съ ними у него больше не было. Приневоленный своими обязанностями отъ времени до времени появляться среди парашкинцевъ, онъ ѣхалъ къ нимъ съ отвращеніемъ, уѣзжалъ съ странной меланхоліей, какъ будто началъ сомнѣваться, дѣйствительно ли его должность и проистекающія изъ нея обязанности имѣютъ смыслъ, послѣ того, какъ выбивать было больше нечего, и можетъ ли онъ по совѣсти сказать, что получаетъ жалованье за работу? Однимъ словомъ, на всѣхъ парашкинцы наводили уныніе.

Сами парашкинцы еще болѣе притихли, когда ихъ начали чуждаться сторонніе люди; они замкнулись въ себѣ и не предпринимали никакихъ мѣръ противъ своего несчастія, уклоняясь даже отъ взаимныхъ совѣтовъ, которыми въ прежнія времена они облегчали свои души. Водворившаяся такимъ образомъ мертвая тишина дѣйствовала еще болѣе удручающимъ образомъ; рѣдко можно было увидѣть когонибудь изъ нихъ въ полѣ, на улицѣ или въ какомъ другомъ мѣстѣ; если же кто и показывался, то всѣ дѣйствія его были настолько странны, что ихъ скорѣе можно было приписать человѣку, опоенному дурманомъ. Шальное выраженіе лицъ, безцѣльность и безпричинность въ разговорѣ, полнѣйшее отсутствіе сознательности — таковы качества, отличавшія всѣхъ вообще

парашкинцевъ. Ихъ забыли, и они всѣхъ людей забыли. Тогда, не видя другихъ людей, кромѣ ошалѣвшихъ, не слыша возбуждающихъ словъ или угрозъ, поощреній или совѣтовъ, не видя вокругъ себя ничего, кромѣ дикости и запустѣнія, безъ цѣли въ жизни и безъ надеждъ, пустые и отупѣвшіе, парашкинцы одичали.

Стали они пить, чтобы чѣмъ-нибудь наполнить пустое время и пустоту въ умахъ своихъ, а такъ какъ своихъ собственныхъ средствъ у нихъ не было, то они норовили поймать перваго провинившагося противъ нихъ человѣка другой деревни, приводили его къ кабаку и брали сивухи. Здѣсь, около кабака, на заросшей полынью лужайкѣ, они и пили всѣ вмѣстѣ; здѣсь веселѣе, здѣсь же нерѣдко происходили между нѣкоторыми изъ нихъ битвы съ кровопролитіемъ; наконецъ здѣсь же, противъ кабака, нѣкоторые изъ нихъ плакали навзрыдъ, укоряя другъ друга въ глупости, въ свинствѣ и въ безбожіи.

Въ такомъ-то нравственномъ состояніи былъ возбужденъ солдатомъ Ершовымъ вопросъ о переселеніи на новыя мѣста.

Солдатъ Ершовъ числился хозяиномъ, имѣлъ одну душу, но землю давно бросилъ и началъ промышлять пропитаніе другими способами, изо дня въ день, отличаясь отъ остальныхъ жителей только тѣмъ, что былъ неизмѣримо изобрѣтательнѣе ихъ, чему немало помогала его безсемейность и знакомство со многими отдаленными странами. У него, пожалуй, и была своя семья, состоявшая изъ жены и двухъ взрослыхъ дочерей, только онъ никогда ихъ не видалъ, а часто даже не зналъ, въ какихъ мѣстахъ онѣ спасаются. Разбрелись онѣ въ разныя стороны еще въ началѣ парашкинскаго несчастія и съ тѣхъ поръ жили особнякомъ, каждая сама по себѣ: жена въ Москвѣ, одна дочь въ Питерѣ, другая дочь всюду, потому что не имѣла постояннаго мѣстожительства; самъ же солдатъ оставался дома, хотя домъ его былъ только центральнымъ пунктомъ, откуда онъ дѣлалъ экскурсіи, простиравшіяся на всѣ окрестности и продолжавшіяся иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. Какъ и дочь, онъ, въ сущности, не имѣлъ опредѣленнаго пристанища, промышляя пропитаніе подобно птицѣ небесной.

Характеръ его труда былъ въ высшей степени неопредѣленный, вслѣдствіе чего пропитаніе его зависѣло всегда отъ случайности, отъ стеченія благопріятныхъ или неблагопріятныхъ обстоятельствъ. То онъ живетъ цѣлую недѣлю у попа замѣсто кухарки, которая вдругъ заболѣла, и мѣситъ пироги, обнаруживая въ этомъ занятіи увлеченіе и близкое знакомство съ дѣломъ; то отучаетъ у барина жеребятъ отъ соски и быстро достигаетъ своей цѣли, употребляя особые намордники и перцовку; то вдругъ дѣлается нянькой у богатаго мужика, живущаго за пятьдесятъ верстъ отъ Парашкина, и въ этомъ качествѣ живетъ всю страду, выговоривъ за свой трудъ скромное вознагражденіе — «дневное пропитаніе и сапоги къ Успенію». Часто онъ уходилъ, если ужъ нигдѣ не могъ пристроиться, въ Сысойскъ, и тамъ въ подвалахъ, куда имѣлъ, по своему обширному знакомству, свободный доступъ, ловилъ крысъ, продавая шкурки на лайку. Конечно, о полезности и производительности труда здѣсь не могло быть и рѣчи.

Ершовъ былъ въ томъ же положеніи и такъ же приспособлялся, какъ и всѣ вообще парашкинцы. Тѣ приспособлялись къ смерти, сокращая свою жизнь до нуля, и онъ приспособлялся къ загробной жизни; тѣ съѣли все, что было, и все, что будетъ за десять лѣтъ впередъ, и онъ также. Только онъ былъ избрѣтательнѣе. Весной, когда онъ принужденъ былъ часто оставаться дома, что дѣлалось имъ крайне неохотно, онъ пропитывался чуть не однимъ воздухомъ, придумывая въ то же время разные способы обмануть свой голодъ: ѣлъ щавель, отыскивалъ какіе-то коренья, называя ихъ «свинымъ корнемъ», жарилъ какіе-то листья, называя ихъ «заячьей капустой» и проч. Просто было удивительно видѣть въ такомъ старомъ человѣкѣ столько неутомимости!

Наконецъ въ послѣднюю весну онъ остался навсегда дома. Сказалась ли въ немъ дряхлость—ему было уже около шестидесяти лѣть— или начала угнетать вообще усталость и безцѣльность существованія, только онъ сильно затосковалъ. Сталъ онъ частенько высказывать желаніе поселиться гдѣ-нибудь навовсе, подумывалъ также о собственномъ постоянномъ пристанищѣ, гдѣ бы можно было положить старыя кости, и о спокоѣ, который заслуженъ имъ. Когда же ему говорили, что пристанище у него есть — его домъ — то

онъ возражалъ, что дома у него можно только волка заморозить, а не то чтобы успокоить человѣка, да и вообще относительно деревни мнѣніе его было таково, что въ этомъ мѣстѣ и умереть спокойно не дадутъ.

Однажды, когда волостное начальство собрало всѣхъ парашкинцевъ на сходъ и выдало каждому изъ нихъ книжки недоимокъ, вмѣсто книжекъ податей, Ершовъ задумчиво заговорилъ о мѣстахъ, гдѣ ему пришлось бывать, и о мѣстахъ, о которыхъ онъ слыхалъ, при чемъ онъ горько плюнулъ, сравнивъ эти мѣста съ своей деревней.

— А знавалъ я,—говорилъ онъ,—нечего Бога гнѣвить, чудесныя мѣста, ну, ужъ точно что мѣста! Тамъ бы и помирать не надо; такъ бы и остался тамъ на вѣки вѣчные! Перво - наперво — лѣсъ: гущина такая, что просвѣту нѣтъ; какъ заберешься въ этакую темноту, такъ только крестишься, какъ бы выбраться да не заблудиться... одно слово—божеское произволеніе! И земля... сколько душѣ угодно; а наземъ, черноземъ, стало-быть, косая сажень вглубь; во какъ!— При этихъ словахъ Ершовъ провелъ ладонью отъ земли до своей макушки и добавилъ:— видалъ, видалъ я всякія мѣста!

Парашкинцы стали прислушиваться, заинтересованные словами Ершова, что давно ужъ не замѣчалось среди нихъ.

— Такъ вотъ, братцы, и намъ бы въ такія мѣста пробраться, — сказалъ далѣе Ершовъ и вопросительно оглядывалъ всю сходку.

— Больно ты ловокъ!—недовѣрчиво воскликнули многіе. Но было уже ясно, что интересъ къ словамъ Ершова былъ возбужденъ, что доказывалось, во-первыхъ, инстинктивною таинственностью, съ какою сходка отодвинулась подальше отъ волостного правленія, выбирая укромный уголъ, защищенный хлѣвомъ и огородомъ, во-вторыхъ, волненіемъ, пробѣжавшимъ по всѣмъ мертвымъ лицамъ.

— Да право! Взяли бы пашпорта и ушли бы такимъ манеромъ, и было бы все честь-честью,—продолжалъ между тѣмъ Ершовъ.

— Ловокъ! Уйдешь! какъ же ты уйдешь, выкрутишься-то какъ отсюда?—раздались вопросы со всѣхъ сторонъ.

Это было уже не простое любопытство, а сознаніе кровности дѣла. Сходка начала колыхаться; прежней апатіи и спокойствія не замѣчалось уже ни на одномъ лицѣ. А Ершовъ продолжалъ:

— Отселѣ-то какъ выкрутиться? Говорю, возьмемъ пашпорта и уйдемъ, по причинѣ, напримѣръ, заработковъ, — возразилъ Ершовъ и самъ началъ волноваться.

— А какъ поймаютъ?

— На кой лядъ ты нуженъ? Поймаютъ... Кто насъ ловить-то будетъ, коли ежели мы вниманія не стоимъ, по причинѣ недоимокъ? А мы сдѣлаемъ все, какъ слѣдуетъ, честь-честью, съ пашпортами...

Можно было слышать, какъ пѣло нѣсколько комаровъ, вьющихся надъ сходомъ—такова была тишина, водворившаяся среди говорящихъ. Всѣ парашкинцы плотной кучей встали и жадно слушали Ершова, устремивъ на него напряженные взоры. Ершовъ воодушевился и заговорилъ взволнованнымъ голосомъ:

— Братцы! — сказалъ онъ, снимая шапку.—Оставаться намъ здѣсь невозможно; доживемъ только до грѣха въ этомъ мѣстѣ... Уйдемъ! Побросаемъ домишки и уйдемъ. Тутъ ужъ намъ жить нельзя! Тутъ только помирать... Уйдемъ! А ежели дорогой приключится съ нами что ни на есть, такъ намъ все единственно, хуже не будетъ... Такъ ли, правильно ли я говорю?

— Такъ! Такъ! Вѣрное слово, хуже не будетъ! Справедливо! — заговорилъ весь взволнованный сходъ.

— Что жъ, поколѣвать намъ здѣсь? А? Поколѣвать, говорю? Нѣтъ, братъ, шалишь!—закричалъ Иванъ Ивановъ и грозно поводилъ сумасшедшими глазами во всѣ стороны.

Ивану Иванову закрыли ротъ шапкой, но это не значило, что сходка была несогласна съ нимъ; напротивъ, послѣ его восклицаній никто больше не колебался. Найденъ былъ выходъ, а куда онъ поведетъ, никто объ этомъ не думалъ. Стали разспрашивать Ершова о мѣстѣ, куда онъ, въ качествѣ бывалаго человѣка, намѣренъ повести деревню, но эти разспросы были поверхностны, словно это мѣсто мало кого касалось. Дѣйствительно, парашкинцы видѣли одинъ только выходъ, неожиданно открывшійся имъ, запертымъ и помирающимъ людямъ.

— Пойдемъ, куда глаза глядятъ, и до которыхъ мѣстъ дойдемъ, тамъ и сядемъ.—

сказалъ Иванъ Ивановъ, выражая общее настроеніе.

Ершовъ, однако, попытался разсказать о новыхъ мѣстахъ, которыя онъ имѣлъ въ виду, при чемъ, описывая ихъ живыми яркими красками, самъ волновался; у него у самого духъ захватывало отъ своего разсказа. Выходило такъ: хлѣба тамъ въ волю, ѣшь, сколько душа проситъ; въ лѣсу можно заблудиться; въ лугахъ можно пропасть совсѣмъ; въ рѣкахъ рыбу прямо руками бери; въ озерахъ караси кишатъ; птицы всякой—тучи; черноземъ—во! При этихъ словахъ, Ершовъ опять провелъ ладонью отъ земли до макушки своей головы. Дальше же его описанія были еще лучше: степь неоглядная, кругомъ ни души, воля! Жить можно. Только православныхъ нѣтъ, а все киргизъ.

— И нѣтъ тамъ ни одной православной души, все киргизъ?—спросилъ кто-то.

— Кругомъ киргизъ!—отвѣчалъ Ершовъ, блѣдный и едва переводя духъ.

— Ну, ну! Какъ же съ нимъ, съ собакой, совладаешь, жить-то съ нимъ какъ?

— Киргизъ — онъ ничего; киргизъ— онъ честный. Если ты его попоишь чайкомъ, онъ тебѣ лугу отвалитъ... Вотъ онъ какой киргизъ!

Это была единственная справка, наведшая смущеніе на парашкинцевъ, но, немного погодя, уже кто-то возразилъ:

— Да все одно—киргизъ, такъ каргизъ.

Дальше Ершову не зачѣмъ было и доказывать неизбѣжность переселенія. Напротивъ, онъ долженъ былъ охлаждать волненіе, охватившее всю сходку. Глаза у всѣхъ лихорадочно горѣли; лица были взволнованныя и безумныя; каждый принялся говорить, не слушая другихъ; началось смятеніе, гвалтъ. Они рѣшили немедленно разойтись по домамъ и собраться ночью, но не на открытомъ мѣстѣ, а въ лѣсу. Чтобы дѣло было вѣрнѣе, рѣшили еще втянуть въ умыселъ и старосту, для чего привели его изъ волостного правленія на сходъ и стали убѣждать пристать къ міру. Тотъ сперва отлынивалъ, путался въ словахъ и потѣлъ, но его начали стыдить:

— Что ты съ нами дѣлаешь? Гдѣ у тебя совѣсть-то? Душа-то, крестъ-то есть ли у тебя?

Старосту пристыдили, а такъ какъ положеніе его было не менѣе ужасно, чѣмъ и всѣхъ остальныхъ, то очень скоро, понявъ неизбѣжность переселенія, онъ и самъ сталъ лихорадочно сіять глазами и безумствовать.

Настала ночь, и парашкинцы собрались въ условленномъ мѣстѣ. То была прогалина, со всѣхъ сторонъ закрытая густой чащей кустарниковъ и деревьевъ. Въ ней было совершенно темно; только когда выплыла луна, то печальные лучи ея чуть-чуть освѣтили верхушки деревьевъ и середину прогалины, гдѣ стояла кучка народа; но окраины и пространство между деревьями сдѣлались еще мрачнѣе. Было тихо. Иногда вдали раздавался трескъ сухихъ вѣтвей: то перебѣжалъ заяцъ на другое мѣсто, показавшееся ему, вѣроятно, болѣе безопаснымъ; гдѣ-то выпорхнулъ изъ-подъ куста тетеревъ; одинъ разъ вблизи собравшихся сѣлъ на дерево филинъ, мрачно захохоталъ и скрылся. Подувалъ вѣтерокъ; шелестѣла листва. Парашкинцы тѣсно сбились въ кучку, имѣвшую посерединѣ солдата Ершова, чувствовали, какъ ужасъ проникаетъ въ ихъ души, но не трогались съ мѣста; они обсуждали дѣло шопотомъ, сливавшимся съ шелестомъ лѣса. Оставаться долго въ лѣсу они не могли; здѣсь, въ этомъ мрачномъ мѣстѣ, они сознавали всю серьезность и опасность затѣваемаго ими дѣла и потому рѣшали вопросы быстро, на скорую руку. Раздумывать было некогда; завтра они возьмутъ паспорты, послѣзавтра соберутся въ путь, черезъ два дня уѣдутъ.

Парашкинцы не медлили. Одинъ по одному они принялись брать паспорта, которые выдавались легко, потому что волостное начальство не подозрѣвало умысла своихъ подчиненныхъ, воображая, что они отправляются на заработки. Старшина даже радовался, что, наконецъ, зачумленные люди ожили, перестали приспособляться къ смерти и отправляются отыскивать пропитаніе. Парашкинцамъ это было на руку. Отъ нихъ отдѣлились четыре семьи, долженствовавшія положить въ недалекомъ будущемъ основаніе новой деревни, быть-можетъ, болѣе счастливой, чѣмъ старая, да еще не пошла «со всѣми» Иваниха, не пожелавшая слѣдовать въ далекій и неизвѣстный путь. Но эти обстоятельства не могли смутить парашкинцевъ. Они дѣятельно, хотя и таинственно, готовились. Хлопотъ, впрочемъ, представлялось немного; къ этому

моменту у нихъ не оставалось уже ни имущества ни скота, а потому собирать и везти было нечего, кромѣ себя самихъ. Что касается избенокъ, всѣ рѣшили побросать ихъ, не продавая, потому что трудно было найти покупателей гнилушекъ; притомъ продажа могла возбудить неожиданныя подозрѣнія. Боязнь подозрѣнія и накрытія была такъ сильна, что они приняли, ради безопасности отъѣзда, специальныя мѣры. Во-первыхъ, за деревней, на пригоркѣ, былъ нарочно поставленъ дуракъ Васька, чтобы слушать, не звенитъ ли колокольчикъ, и смотрѣть, не ѣдетъ ли кто; и Васька, радуясь предстоящей дорогѣ и новымъ впечатлѣніямъ, добросовѣстно исполнилъ порученіе—онъ съ утра до поздней ночи торчалъ на пригоркѣ и вертѣлъ головой во всѣ стороны. Во-вторыхъ, парашкинцы сочли нужнымъ выбрать старосту и въ то же время путеводителя на все время дальней дороги, и для этого годнымъ оказался одинъ солдатъ Ершовъ, человѣкъ опытный и бывалый.

Случилось еще одно исключительное обстоятельство, сильно повліявшее на ускореніе отъѣзда. Дѣдушка Титъ, сильно одряхлѣвшій, но еще находившійся въ полномъ разумѣніи, вдругъ воспротивился переселенію и не захотѣлъ лично участвовать въ немъ. Онъ уже давно жилъ въ своей избушкѣ одинъ, потому что единственный сынъ его умеръ на заработкахъ, сноха же скиталась по разнымъ городамъ, никогда не являясь въ деревню. Дѣдушка поэтому не желалъ улучшенія своей судьбы и на всѣ уговоры отправиться вмѣстѣ съ прочими на новыя мѣста отвѣчалъ упорнымъ отказомъ, грозно стуча въ землю костылемъ. Гдѣ онъ родился, тамъ и помирать долженъ; которую землю облюбовалъ, въ ту и положитъ свои кости—вотъ все, что онъ говорилъ каждому. Приходили его уговаривать всѣ парашкинцы, одинъ по одному пробуя на немъ силу своихъ просьбъ и угрозъ, но Титъ упорствовалъ.

— Титъ! Дѣдушка! Какъ ты останешься одинъ? Да тутъ тебя вороны заклюютъ одного-то! Подумай, разсуди. Уважь нашу просьбу—пойдемъ съ нами! Уважь міръ!

Но дѣдъ или молчалъ, или грозилъ.

— Не донесете вы своихъ худыхъ головъ... свернутъ вамъ шею! Помяните слово мое, свернутъ!

Это упрямство и эти угрозы подѣйствовали возбуждающимъ образомъ на парашкинцевъ, заставивъ ихъ еще лихорадочнѣе приготовляться къ переселенію и безумнѣе торопиться бѣжать. Слова Тита, который былъ уважаемымъ патріархомъ деревни, запали имъ въ самую душу. Они торопились выбраться изъ деревни, чтобы не слышать страшныхъ угрозъ, боясь, что онѣ сбудутся.

Но дѣдушка Титъ взялъ назадъ свои слова; онъ примирился и съ своимъ одиночествомъ и съ тѣми, которые покидали его. Когда настадъ назначенный вечеръ для отъѣзда и парашкинцы двинулись длинною вереницей телѣгъ за околицу, то дѣдъ вышелъ изъ своей избушки и добродушно простился.

— Прощай, Титъ!—отвѣтили ему.

— Прощай, дѣдко!

— Дай тебѣ Господи долго жить!—говорили всѣ парашкинцы, завидя бѣлую голову Тита.

Титъ совершенно расчувствовался и забылъ свою злобу.

— Прощайте, дѣтушки! — говорилъ онъ.—Дай вамъ Господи добраго пути, и чтобы все было хорошо... Съ Богомъ!

Послѣ этого Титъ отправился къ себѣ въ избушку, сѣлъ за столъ и облокотился на него. На столѣ стояла чашка съ водой, подлѣ чашки ложки и что то похожее на кусокъ хлѣба; а у ногъ дѣда терлась пестрая кошка, которая была единственнымъ существомъ, оставшимся коротать съ нимъ дни. Въ такомъ положеніи онъ просидѣлъ весь вечеръ, всю ночь и весь слѣдующій день; въ томъ же положеніи его застали и парашкинцы...

Потому что парашкинцы возвратились. Они не могли не возвратиться, охраняемые заботливостью станового, и было бы удивительно, если бы они ускользнули отъ этой заботливости и безслѣдно пропали. Простившись съ дѣдушкой, они почувствовали на сердцѣ легко и отправились безъ предчувствій. Они были въ самомъ бодромъ настроеніи духа, и всѣ прониклись одной мыслью и одной рѣшимостью, вопреки худымъ и тощимъ лицамъ, ввалившимся глазамъ и изморенным тѣламъ, на которыхъ мотались безобразныя лохмотья. Но радость ихъ была непродолжительна; не успѣли они отъѣхать пятнадцати верстъ, какъ ихъ нагналъ становой.

Кто увѣдомилъ послѣдняго объ умыслѣ парашкинцевъ—неизвѣстно, но, какъ бы то ни было, онъ узналъ и быстро пресѣкъ злой умыселъ. Въ это время онъ какъ разъ находился въ другомъ концѣ своего стана, гдѣ случилось смертоубійство, важное дѣло, вслѣдствіе котораго онъ не спалъ цѣлыя сутки. Неудивителенъ поэтому овладѣвшій имъ гнѣвъ, когда онъ узналъ о бѣгствѣ парашкинцевъ, считаемыхъ имъ самымъ неповоротливымъ и непредпріимчивымъ народомъ, который способенъ скорѣе умереть, чѣмъ причинить непріятности начальству. Бросивъ дѣло, лежавшее на его рукахъ, онъ поскакалъ догонять бѣглецовъ, нагналъ, задержалъ и сталъ смѣяться надъ дураками, хотя при немъ было только двое понятыхъ.

— Это вы куда собрались, голубчики?—спросилъ онъ, попеременно оглядывая ввалившіеся глаза, съ ужасомъ устремленные на него.

Парашкинцы въ оцѣпенѣніи молчали.

— Путешествовать вздумали? А?

Парашкинцы сняли шапки и шевелили губами.

— Путешествовать, говорю, вздумали? Въ какія же страны?—спросилъ становой и потомъ, вдругъ перемѣняя тонъ, заговорилъ горячо:—Что вы затѣяли? А? Переселеніе? Да я васъ... вы у меня вотъ гдѣ сидите! Я изъ-за васъ двое сутокъ не спавши... Маршъ домой... У! Покою не дадутъ!

Парашкинцы все еще стояли оцѣпенѣлые, но вдругъ, при одномъ словѣ «домой», заволновались и почти въ разъ проговорили:

— Какъ тебѣ угодно, ваше благородіе, а намъ ужъ все едино! Мы убѣгемъ.

Тогда становой велѣлъ понятымъ поворотить лошадей головами къ покинутой деревнѣ. Когда это приказаніе было исполнено, послѣ продолжительной и утомительной возни, въ которой сами парашкинцы не принимали никакого участія, безмолвно стоя на мѣстѣ, становой приказалъ имъ ѣхать домой, при чемъ двое понятыхъ сѣли на переднюю телѣгу переселенцевъ, а самъ онъ съ своимъ тарантасомъ всталъ послѣ задней телѣги. Парашкинцы безмолвно заняли свои мѣста, и поѣздъ тронулся въ обратный путь, изображая собою погребальное шествіе, въ которомъ везли нѣсколько десятковъ труповъ въ общую для нихъ могилу—въ деревню. Это парашкинцы, видно, и сами чувствовали, потому что прониклись поголовно безнадежной и мрачной рѣшимостью.

Такъ какъ спать становому все-таки смертельно хотѣлось, а слова парашкинцевъ пугали его своимъ таинственнымъ смысломъ, то онъ попробовалъ заручиться отъ нихъ немедленнымъ же отказомъ отъ невозможнаго предпріятія. Для этого на половинѣ дорогѣ, онъ выѣхалъ на середину поѣзда и спросилъ такъ громко, чтобы всѣмъ было слышно:

— Ну, что, ребята, надумались? Или все еще хотите бѣжать? Бросьте,—пустое дѣло!

— Убѣгемъ! — твердо отвѣчали парашкинцы.

Становой опять поѣхалъ сзади. Но передъ въѣздомъ въ деревню, куда погребальное шествіе пришло черезъ нѣсколько часовъ, онъ опять спросилъ, надумались ли они.

— Убѣгемъ! — съ тою же мрачной твердостью отвѣчали парашкинцы.

Становой окончательно растерялся. Онъ испугался, какъ бы и въ самомъ дѣлѣ парашкинцы не исполнили своей угрозы, и чтобы доказать имъ всю незаконность ихъ поступка, а также убѣдить въ невозможности привести въ исполненіе ихъ замыселъ, принялъ временную мѣру, въ одно и то же время мягкую и цѣлесообразную. Недалеко отъ деревни, возлѣ водопоя, стоялъ бревенчатый загонъ, куда пастухи Петра Петровича ночью загоняли лошадей, а въ жаркіе часы дня—рогатый скотъ. Сюда и были, съ согласія Петра Петровича, временно помѣщены съ телѣгами и лошадьми парашкинцы, съ помощью понятыхъ, взятыхъ изъ окрестныхъ деревень; помѣщены до тѣхъ поръ, пока не сознаются въ незаконности своихъ дѣйствій и не откажутся отъ желанія бѣжать.

Такъ прошли два дня, въ продолженіе которыхъ становой наблюдалъ за дѣйствіями парашкинцевъ, пытаясь отъ времени до времени вести съ ними переговоры, а парашкинцы оставались въ загонѣ и отказывались отвѣчать. Изъ мѣста ихъ стоянки поднимались испаренія; подъ ногами ихъ образовалась грязь; лошади ихъ стояли безъ корму; сами они также оставались не ѣвши. Но, не обращая вниманія ни на свое положеніе ни на увѣщанія, твердо

держались только за одну мысль и высказывали лишь одно рѣшеніе.

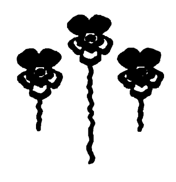
— Убѣгемъ!—говорили они на всѣ увѣщанія.

Становой прожилъ еще полтора сутокъ, задержанный въ деревнѣ неожиданнымъ происшествіемъ: умеръ дѣдушка Титъ, скоропостижно и неизвѣстно когда. Его нашли въ избушкѣ уже закоченѣлымъ; онъ сидѣлъ на лавкѣ, облокотившись на столъ; подлѣ него стояла деревянная чашка съ водой, лежала ложка и небольшой сухарь хлѣба, а у ногъ его терлась пестрая кошка. Становой волей-неволей долженъ былъ остаться въ деревнѣ, хотя на него напала такая меланхолія, что онъ съ минуты на минуту собирался ускакать изъ зачумленнаго мѣста. Дѣйствительно, истощивъ всѣ средства убѣжденія, все болѣе и болѣе одолѣваемый черными мыслями и тоской, онъ поглядѣлъ-поглядѣлъ и махнулъ на все рукой.

— Чортъ съ вами! Живите, какъ знаете!— вскричалъ онъ и уѣхалъ.

А черезъ нѣсколько дней послѣ его отъѣзда парашкинцы бѣжали. Только не вмѣстѣ и не на новыя мѣста, куда было повелъ ихъ солдатъ Ершовъ, а въ одиночку, кто куда могъ, сообразуясь съ направленіемъ, по которому въ данную минуту устремлены были глаза. Одни бѣжали въ города: такъ, солдатъ Ершовъ очутился въ Питерѣ и долгое время продавалъ на Гороховой дули, одѣтый все въ ту же шинель съ одной пуговицей, дряхлый и худой. Другіе ушли неизвѣстно куда и никѣмъ послѣ не могли быть отысканы, продолжая, однако, числиться жителями деревни. Третьи бродили по окрестностямъ, не имѣя ни семьи ни опредѣленнаго пристанища, потому что въ свою деревню ни за что не хотѣли вернуться.

Такъ кончили парашкинцы.



**Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ-Щедринъ.**

(1826 — 1889).

## ИЗЪ «ИСТОРІИ ОДНОГО ГОРОДА».

### Обращеніе къ читателю

от послѣдняго архиваріуса-лѣтописца [1]).

Ежели древнимъ еллинамъ и римлянамъ дозволено было слагать хвалу своимъ безбожнымъ начальникамъ и передавать потомству мерзкія ихъ дѣянія для назиданія, ужели же мы, христіане, отъ Византіи свѣтъ получившіе, окажемся въ семъ случаѣ менѣе достойными и благодарными? Ужели во всякой странѣ найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сіяющіе, и только у себя мы таковыхъ не обрящемъ? Смѣшно и нелѣпо даже помыслить таковую нескладицу, а не то, чтобы оную вслухъ проповѣдывать, какъ дѣлаютъ нѣкоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагаютъ, что онѣ у нихъ въ головѣ, словно мухи безъ пристанища, тамъ и сямъ вольно летаютъ.

Не только страна, но и градъ всякій, и даже всякая малая весь,—и та своихъ доблестью сіяющихъ и отъ начальства поставленныхъ Ахилловъ имѣетъ, и не имѣть не можетъ. Взгляни на первую лужу — и въ ней найдешь гада, который иройствомъ своимъ всѣхъ прочихъ гадовъ превосходитъ и затемняетъ. Взгляни на древо — и тамъ усмотришь нѣкоторый сукъ большій и противъ другихъ крѣпчайшій, а слѣдственно и доблестнѣйшій. Взгляни, наконецъ, на собственную свою персону — и тамъ прежде всего встрѣтишь главу, а потомъ уже не оставишь безъ примѣты

---

[1]) „Обращеніе" это помѣщается здѣсь дострочно словами самого „Лѣтописца". Издатель позволилъ себѣ наблюсти только за тѣмъ, чтобы права буквы ъ не были слишкомъ безцеремонно нарушены. *Прим. изд.*

брюхо и прочія части. Что же, по-твоему, доблестнѣе: глава ли твоя, хотя легкою начинкою начиненная, но и за всѣмъ тѣмъ горѣ устремляющаяся, или стремящееся долу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять... О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!

Таковы-то были мысли, которыя побудили меня, смиреннаго городового архиваріуса (получающаго въ мѣсяцъ два рубля содержанія, но и за всѣмъ тѣмъ славословящаго), купно съ троими моими предшественниками, неумытными устами воспѣть хвалу славныхъ оныхъ Нероновъ, кои не безбожіемъ и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственнымъ дерзновеніемъ преславный нашъ градъ Глуповъ преестественно украсили. Не имѣя дара стихослагательнаго, мы не рѣшились прибѣгнуть къ бряцанію и, положась на волю Божію, стали излагать достойныя дѣянія недостойнымъ, но свойственнымъ намъ языкомъ, избѣгая лишь подлыхъ словъ. Думаю, впрочемъ, что таковая дерзостная наша затѣя простится намъ въ виду того особливаго намѣренія, которое мы имѣли, приступая къ ней.

Сіе намѣреніе есть изобразить преемственно градоначальниковъ, въ городъ Глуповъ отъ россійскаго правительства въ разное время поставленныхъ. Но предпринимая столь важную матерію, я, по крайней мѣрѣ, не разъ вопрошалъ себя: по силамъ ли будетъ мнѣ сіе бремя? Много видѣлъ я на своемъ вѣку проницательныхъ сихъ подвижниковъ; много видѣли таковыхъ и мои предмѣстники. Всего же числомъ двадцать два, слѣдовавшихъ непрерывно, въ величественномъ порядкѣ, одинъ за другимъ, кромѣ семидневнаго пагубнаго безначалія, едва не повергшаго весь градъ въ запустѣніе. Одни изъ нихъ, подобно бурному пламени, пролетали изъ края въ край, все очищая и обновляя; другіе, напротивъ того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли въ удѣлъ правителямъ канцеляріи. Но всѣ, какъ бурные, такъ и кроткіе, оставили по себѣ благодарную память въ сердцахъ согражданъ, ибо всѣ были градоначальники. Сіе трогательное соотвѣтствіе само по себѣ уже столь дивно, что немалое причиняетъ лѣтописцу безпокойство. Не знаешь, что болѣе славословить: власть ли, въ мѣру дерзающую, или сей вертоградъ, въ мѣру благодарящій?

Но сіе же самое соотвѣтствіе, съ другой стороны, служитъ и немалымъ для лѣтописателя облегченіемъ. Ибо въ чемъ состоитъ собственно задача его? Въ томъ ли, чтобы критиковать или порицать? Нѣтъ, не въ томъ. Въ чемъ же? А въ томъ, легкодумный вольнодумецъ, чтобы быть лишь изобразителемъ означеннаго соотвѣтствія, и объ ономъ передать потомству въ надлежащее назиданіе.

Изложивъ такимъ манеромъ нѣчто въ свое извиненіе, не могу не присовокупить, что родной нашъ городъ Глуповъ, производя обширную торговлю квасомъ, печенкой и вареными яйцами, имѣетъ три рѣки и, въ согласность древнему Риму, на семи горахъ построенъ, на коихъ въ гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же безчисленно лошадей побивается. Разница въ томъ только состоитъ, что въ Римѣ сіяло нечестіе, а у насъ — благочестіе; Римъ заражало буйство, а насъ — кротость; въ Римѣ бушевала подлая чернь, а у насъ — начальники.

И еще скажу: лѣтопись сію преемственно слагали четыре архиваріуса: Мишка Тряпичкинъ, да Мишка Тряпичкинъ другой, да Митька Смирномордовъ, да я, смиренный Павлушка, Маслобойниковъ сынъ. А затѣмъ Богу слава и разглагольствію моему конецъ.

## О корени происхожденія глуповцевъ.

«Не хочу я, подобно Костомарову, сѣрымъ волкомъ рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизымъ орломъ ширять подъ облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезныхъ мнѣ глуповцевъ, показавъ міру ихъ славныя дѣла и предобрый тотъ корень, отъ котораго знаменитое сіе древо произросло и вѣтвями своими всю землю покрыло».

Такъ начинаетъ свой разсказъ лѣтописецъ, и затѣмъ, сказавъ нѣсколько словъ въ похвалу своей скромности, продолжаетъ.

Былъ, говоритъ онъ, въ древности народъ, головотяпами именуемый, и жилъ

онъ далеко на сѣверѣ, тамъ, гдѣ греческіе и римскіе историки и географы предполагали существованіе Гиперборейскаго моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имѣли привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встрѣтилось на пути. Стѣна попадется — объ стѣну тяпаютъ; Богу молиться начнутъ — объ полъ тяпаютъ. По сосѣдству съ головотяпами жило множество независимыхъ племенъ, но только замѣчательнѣйшія изъ нихъ поименованы лѣтописцемъ, а именно: моржеѣды, лукоѣды, гужеѣды, клюковники, куролесы, вертячіе бобы, лягушечники, лапотники, чернонѣбые, долбежники, проломленныя головы, слѣпороды, губошлепы, вислоухіе, кособрюхіе, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вѣроисповѣданія ни образа правленія эти племена не имѣли, замѣняя все сіе тѣмъ, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись другъ другу въ дружбѣ и вѣрности; когда же лгали, то прибавляли: «Да будетъ мнѣ стыдно», и были напередъ увѣрены, что «стыдъ глаза не выѣстъ». Такимъ образомъ взаимно разоряли они свои земли, взаимно надругались надъ своими женами и дѣвами и въ то же время гордились тѣмъ, что радушны и гостепріимны. Но когда дошли до того, что содрали на лепешки кору съ послѣдней сосны, когда не стало ни женъ ни дѣвъ, и нечѣмъ было «людской заводъ» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за умъ. Поняли, что кому-нибудь да надо верхъ взять, и послали сказать сосѣдямъ: будемъ другъ съ дружкой до тѣхъ поръ головами тяпаться, пока кто кого перетяпаетъ. «Хитро это они сдѣлали, — говоритъ лѣтописецъ: — знали, что головы у нихъ на плечахъ растутъ крѣпкія — вотъ и предложили». И дѣйствительно, какъ только простодушные сосѣди согласились на коварное предложеніе, такъ сейчасъ же головотяпы ихъ всѣхъ, съ Божьею помощью, перетяпали. Первые уступили слѣпороды и рукосуи; больше другихъ держались гужеѣды, ряпушники и кособрюхіе. Чтобы одолѣть послѣднихъ, вынуждены были даже прибѣгнуть къ хитрости. А именно: въ день битвы, когда обѣ стороны встали другъ противъ друга стѣной, головотяпы, неувѣренные въ успѣшномъ исходѣ своего дѣла, прибѣгли къ колдовству: пустили на кособрюхихъ солнышко. Солнышко-то и само по себѣ такъ стояло, что должно было свѣтить кособрюхимъ въ глаза; но головотяпы, чтобы придать этому дѣлу видъ колдовства, стали махать въ сторону кособрюхихъ шапками: вотъ, дескать, мы каковы, и солнышко заодно съ нами. Однако кособрюхіе не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали изъ мѣшковъ толокно и стали ловить солнышко мѣшками. Не изловили, и только тогда, увидѣвъ, что правда на сторонѣ головотяповъ, принесли повинную.

Собравъ воедино куролесовъ, гужеѣдовъ и прочія племена, головотяпы начали устраиваться внутри, съ очевидною цѣлью добиться какого-нибудь порядка. Исторіи этого устройства лѣтописецъ подробно не излагаетъ, а приводитъ изъ нея лишь отдѣльные эпизоды. Началось съ того, что Волгу толокномъ замѣсили, потомъ теленка на баню тащили, потомъ въ кошелѣ кашу варили, потомъ козла въ соложенномъ тѣстѣ утопили, потомъ свинью за бобра купили да собаку за волка убили, потомъ лапти растеряли да по дворамъ искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потомъ рака съ колокольни звономъ совстрѣчали, потомъ щуку съ яицъ согнали, потомъ комара за восемь верстъ ловить ходили, а комаръ у пошехонца на носу сидѣлъ, потомъ батьку на кобеля промѣняли, потомъ блинами острогъ конопатили, потомъ блоху на цѣпь приковали, потомъ бѣса въ солдаты отдавали, потомъ небо кольями подпирали, наконецъ, утомились и стали ждать, что изъ этого выйдетъ.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца сѣла; блины, которыми острогъ конопатили, арестанты съѣли; кошели, въ которыхъ кашу варили, сгорѣли вмѣстѣ съ кашею. А рознь да галдѣнье пошли пуще прежняго: опять стали взаимно другъ у друга земли разорять, женъ въ плѣнъ уводить, надъ дѣвами надругаться. Нѣтъ порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тутъ ничего не доспѣли. Тогда надумали искать себѣ князя.

— Онъ намъ все мигомъ предоставитъ, — говорилъ старецъ Добромыслъ. — Онъ и солдатовъ у насъ надѣлаетъ, и

острогъ, какой слѣдоваетъ, выстроитъ! Айда, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть въ трехъ соснахъ не заблудились, да, спасибо, случился тутъ пошехонецъ-слѣпородъ, который эти три сосны какъ свои пять пальцевъ зналъ. Онъ вывелъ ихъ на торную дорогу и привелъ прямо къ князю на дворъ.

— Кто вы такіе и зачѣмъ ко мнѣ пожаловали?—вопросилъ князь посланныхъ.

— Мы головотяпы! Нѣтъ въ свѣтѣ народа мудрѣе и храбрѣе! Мы даже кособрюхихъ и тѣхъ шапками закидали! — хвастали головотяпы.

— А что вы еще сдѣлали?

— Да вотъ комара за семь верстъ ловили,—начали было головотяпы, и вдругъ имъ сдѣлалось такъ смѣшно, такъ смѣшно... Посмотрѣли они другъ на дружку и прыснули.

— А вѣдь это ты, Пётра, комара-то ловить ходилъ! — насмѣхался Ивашка.

— Анъ, ты!

— Нѣтъ, не я! У тебя онъ и на носу-то сидѣлъ!

Тогда князь, видя, что они и здѣсь, передъ лицомъ его, своей розни не покидаютъ, сильно распалился и началъ учить ихъ жезломъ.

— Глупые вы, глупые!—сказалъ онъ:— не головотяпами слѣдуетъ вамъ, по дѣламъ вашимъ, называться, а глуповцами! Не хочу я володѣть глупыми! А ищите такого князя, какого нѣтъ въ свѣтѣ глупѣе — и тотъ будетъ володѣть вами.

Сказавши это, еще маленько поучилъ жезломъ и отослалъ головотяповъ отъ себя съ честію.

Задумались головотяпы надъ словами князя; всю дорогу шли и все думали.

— За что онъ насъ раскостилъ? — говорили одни: — мы къ нему всей душой, а онъ послалъ насъ искать князя глупаго!

Но въ то же время выискались и другіе, которые ничего обиднаго въ словахъ князя не видѣли.

— Что же, — возражали они, — намъ глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будетъ! Сейчасъ мы ему коврижку въ руки: жуй, а насъ не замай!

— И то правда, — согласились прочіе.

Воротились добры-молодцы домой, но сначала рѣшили опять попробовать устроиться сами собою. Пѣтуха на канатѣ кормили, чтобы не убѣжалъ, ложку съѣли... Однако толку не было. Думали-думали и пошли искать глуповскаго князя.

Шли они по ровному мѣсту три года и три дня и все никуда прійти не могли. Наконецъ, однако, дошли до болота. Видятъ, стоитъ на краю болота чухломецъ-рукосуй, рукавицы торчатъ за поясомъ, а онъ другихъ ищетъ.

— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, гдѣ бы намъ такого князя сыскать, чтобы не было его въ свѣтѣ глупѣе? — взмолились головотяпы.

— Знаю, есть такой,— отвѣчалъ рукосуй. — Вотъ идите прямо черезъ болото, какъ разъ тутъ.

Бросились они всѣ разомъ въ болото, и больше половины ихъ тутъ потопло («многіе за землю свою поревновали», говоритъ лѣтописецъ); наконецъ вылѣзли изъ трясины и видятъ: на другомъ краю болотины, прямо передъ ними, сидитъ самъ князь — да глупый-преглупый! Сидитъ и ѣстъ пряники писанные. Обрадовались головотяпы: «Вотъ такъ князь! Лучшаго и желать намъ не надо».

— Кто вы такіе и зачѣмъ ко мнѣ пожаловали?—молвилъ князь, жуя пряники.

— Мы—головотяпы! Нѣтъ насъ народа мудрѣе и храбрѣе! Мы гужеѣдовъ и тѣхъ побѣдили! — хвастались головотяпы.

— Что же вы еще сдѣлали?

— Мы щуку съ яицъ согнали, мы Волгу толокномъ замѣсили...— начали было перечислять головотяпы, но князь не захотѣлъ и слушать ихъ.

— Я ужъ на что глупъ, — сказалъ онъ, — а вы еще глупѣе меня! Развѣ щука сидитъ на яйцахъ? Или можно развѣ вольную рѣку толокномъ мѣсить? Нѣтъ, не головотяпами слѣдуетъ вамъ называться, а глуповцами! Не хочу я володѣть вами и ищите вы себѣ такого князя, какого нѣтъ въ свѣтѣ глупѣе — и тотъ будетъ володѣть вами.

И, наказавъ жезломъ, отпустилъ съ честію.

Задумались головотяпы: надулъ курицынъ сынъ рукосуй! Сказывалъ, нѣтъ этого князя глупѣе — анъ, онъ умный! Однако воротились домой и опять стали сами собою устраиваться. Подъ дождемъ онучи сушили, на сосну Москву смотрѣть лазили. И все нѣтъ какъ нѣтъ порядку,

да и полно. Тогда надоумилъ всѣхъ Петра Комаръ.

— Есть у меня,—сказалъ онъ,—другъ-пріятель, по прозванью воръ-новоторъ: ужъ если экая выжига князя не сыщетъ, такъ судите вы меня судомъ милостивымъ, рубите съ плечъ мою голову безталанную!

Съ такимъ убѣжденіемъ высказалъ онъ это, что головотяпы послушались и призвали новотора-вора. Долго онъ торговался съ ними, просилъ за розыскъ алтынъ да деньгу, головотяпы же давали грошъ да животы свои въ придачу. Наконецъ, однако, кое-какъ сладились и пошли искать князя.

— Ты намъ такого ищи, чтобъ немудрый былъ!—говорили головотяпы новотору-вору.—На что намъ мудраго-то, ну его къ ляду!

И повелъ ихъ воръ-новоторъ сначала все ельничкомъ да березничкомъ, потомъ чащею дремучею, потомъ перелѣсочкомъ, да и вывелъ прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидитъ.

Какъ взглянули головотяпы на князя, такъ и обмерли. Сидитъ это передъ ними князь да умный-преумный; въ ружьецо попаливаетъ да сабелькой помахиваетъ. Что ни выпалитъ изъ ружьеца, то сердце насквозь прострѣлитъ; что ни махнетъ сабелькой, то голова съ плечъ долой. А воръ-новоторъ, сдѣлавши такое пакостное дѣло, стоитъ, брюхо поглаживаетъ да въ бороду усмѣхается.

— Что ты! съ ума никакъ спятилъ! пойдетъ ли этотъ къ намъ? Во сто разъ глупѣе были,—и тѣ не пошли!—напустились головотяпы на новотора-вора.

— Ништо! обладимъ!—молвилъ воръ-новоторъ:—дай срокъ, я глазъ на глазъ съ нимъ слово перемолвлю.

Видятъ головотяпы, что воръ-новоторъ кругомъ на кривой ихъ объѣхалъ, а на попятный ужъ не смѣютъ.

— Это, братъ, не то, что съ «кособрюхими» лбами тяпаться! нѣтъ, тутъ, братъ, отвѣтъ подай: каковъ таковъ человѣкъ? какого чину и званія?—гуторятъ они межъ собой.

А воръ-новоторъ этимъ временемъ дошелъ до самого князя, снялъ передъ нимъ шапочку соболиную и сталъ ему тайныя слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что—не слыхать. Только и почуяли головотяпы, какъ воръ-новоторъ говорилъ: «драть ихъ, ваша княжеская свѣтлость, завсегда очень свободно».

Наконецъ и для нихъ насталъ чередъ встать передъ ясныя очи его княжеской свѣтлости.

— Что вы за люди? И зачѣмъ ко мнѣ пожаловали?—обратился къ нимъ князь.

— Мы головотяпы! Нѣтъ насъ народа храбрѣе!—начали было головотяпы, но вдругъ смутились.

— Слыхалъ, господа головотяпы!—усмѣхнулся князь («и таково ласково усмѣхнулся, словно солнышко просіяло!» замѣчаетъ лѣтописецъ):—весьма слыхалъ! И о томъ знаю, какъ вы рака съ колокольнымъ звономъ встрѣчали—довольно знаю! Объ одномъ не знаю, зачѣмъ же ко мнѣ-то вы пожаловали?

— А пришли мы къ твоей княжеской свѣтлости вотъ что объявить: много мы промежъ себя убивствъ чинили, много другъ дружкѣ разореній и наругательствъ дѣлали, а все правды у насъ нѣтъ. Иди володѣй нами!

— А у кого, спрошу васъ, вы допрежъ сего изъ князей, братьевъ моихъ, съ поклономъ были?

— А были мы у одного князя глупаго, да у другого князя глупаго жъ—и тѣ володѣть нами не похотѣли!

— Ладно. Володѣть вами я желаю,—сказалъ князь:—а чтобъ итти къ вамъ жить—не пойду! Потому вы живете звѣринымъ обычаемъ: съ безпробнаго золота пѣнки снимаете, снохъ портите! А вотъ посылаю къ вамъ, замѣсто меня, самаго этого новотора-вора: пущай онъ вами дома правитъ, а я отсель и имъ и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

— Такъ!

— И будете вы платить мнѣ дани многія,—продолжалъ князь:—у кого овца ярку принесетъ, овцу на меня отпиши, а ярку себѣ оставь; у кого грошъ случится, тотъ разломи его начетверо: одну часть мнѣ отдай, другую мнѣ же, третью опять мнѣ, а четвертую себѣ оставь. Когда же пойду на войну—и вы идите! А до прочаго вамъ ни до чего дѣла нѣтъ!

— Такъ!—отвѣчали головотяпы.

— И тѣхъ изъ васъ, которымъ ни до чего дѣла нѣтъ, я буду миловать; прочихъ же всѣхъ—казнить.

— Такъ!—отвѣчали головотяпы.

— А какъ не умѣли вы жить на своей волѣ и сами, глупые, пожелали себѣ кабалы, то называться вамъ впредь не головотяпами, а глуповцами.

— Такъ!—отвѣчали головотяпы.

Затѣмъ приказалъ князь обнести пословъ водкою, да одарить по пирогу да по платку алому, и, обложивъ данями многими, отпустилъ отъ себя съ честію.

Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали не ослабляючи, вопіяли сильно!» свидѣтельствуетъ лѣтописецъ. «Вотъ она, княжеская правда какова!» говорили они. И еще говорили: «такали мы такали, да и протакали!» Одинъ же изъ нихъ взялъ гусли и запѣлъ:

Не шуми, мати, зелена дубровшка!
Не мѣшай добру молодцу думу думати,
Какъ заутра мнѣ, добру молодцу, на допросъ итти
Передъ грознаго судью, самого царя...

Чѣмъ далѣе лилась пѣсня, тѣмъ ниже понуривались головы головотяповъ. «Были между ними, — говорилъ лѣтописецъ,— старики сѣдые, и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отвѣдали, но и тѣ тоже плакали. Тутъ только познали всѣ, какова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи-пѣсни:

Я за то тебя, дѣтинушку, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя столбами съ перекладиной...

—то всѣ пали ницъ и зарыдали.

Но драма уже совершилась безповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложивъ на ней городъ, назвали Глуповымъ, а себя по тому городу глуповцами. «Такъ и процвѣла сія древняя отрасль», прибавляетъ лѣтописецъ. Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмиреніемъ ихъ онъ надѣялся и милость князя къ себѣ снискать и собрать хабару съ бунтующихъ. И началъ онъ донимать глуповцевъ всякими неправдами, и, дѣйствительно, не въ долгомъ времени возжегъ бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потомъ сычужники. Воръ-новоторъ ходилъ на нихъ съ пушечнымъ снарядомъ, палилъ неослабляючи и, перепаливъ всѣхъ, заключилъ миръ, т.-е. у заугольниковъ ѣлъ палтусину, у сычужниковъ—сычуги. И получилъ отъ князя похвалу великую. Вскорѣ, однако, онъ до того проворовался, что слухи объ его несытомъ воровствѣ дошли даже до князя. Распалился князь крѣпко и послалъ невѣрному рабу петлю. Но новоторъ, какъ сущій воръ, и тутъ извернулся: предварилъ казнь тѣмъ, что, не выждавъ петли, зарѣзался огурцомъ.

Послѣ новотора-вора пришелъ «замѣсть князя» одоевецъ, тотъ самый, который «на грошъ постныхъ яицъ купилъ». Но и онъ догадался, что безъ бунтовъ ему не жить, и тоже сталъ донимать. Поднялись кособрюхіе, калашники, соламатники— всѣ отстаивали старину да права свои. Одоевецъ пошелъ противъ бунтовщиковъ, и тоже началъ неослабно палить, но, должнобыть, палилъ зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекали за собой чернонебыхъ и губошлеповъ. Услыхалъ князь безтолковую пальбу безтолковаго одоевца и долго терпѣлъ, но напослѣдокъ не стерпѣлъ: вышелъ противъ бунтовщиковъ собственною персоною и, перепаливъ всѣхъ до единаго, возвратился во-свояси.

— Посылалъ я сущаго вора—оказался воръ,—печаловался при этомъ князь:— посылалъ одоевца, по прозванію «продай на грошъ постныхъ яицъ»—и тотъ оказался воръ же. Кого пошлю нынѣ?

Долго раздумывалъ онъ, кому изъ двухъ кандидатовъ отдать преимущество: орловцу ли—на томъ основаніи, что «Орелъ да Кромы—первые воры»,—или шуянину, на томъ основаніи, что онъ «въ Питерѣ бывалъ, на полу сыпалъ, и тутъ не упалъ», но, наконецъ, предпочелъ орловца, потому что онъ принадлежалъ къ древнему роду «Проломленныхъ Головъ». Но едва прибылъ орловецъ на мѣсто, какъ встали бунтомъ старичане и, вмѣсто воеводы, встрѣтили съ хлѣбомъ-солью пѣтуха. Поѣхалъ къ нимъ орловецъ, надѣяся въ Старицѣ стерлядями полакомиться, но нашелъ, что тамъ «только грязи довольно». Тогда онъ Старицу сжегъ, а женъ и дѣвъ старицкихъ отдалъ самому себѣ на поруганіе. «Князь же, увѣдавъ о томъ, урѣзалъ ему языкъ».

Затѣмъ князь еще разъ попробовалъ послать «вора попроще», и въ этихъ соображеніяхъ выбралъ калязинца, который

«свинью за бобра купилъ»; но этотъ оказался еще пущимъ воромъ, нежели новоторъ и орловецъ. Взбунтовалъ семендяевцевъ и заозерцевъ и, «убивъ ихъ, сжегъ».

Тогда князь выпучилъ глаза и воскликнулъ:

— Нѣсть глупости горшія, яко глупость!

И прибыхъ собственною персоною въ Глуповъ и возопи:

— Запорю!

Съ этимъ словомъ начались историческія времена.

## Опись градоначальникамъ,

въ разное время въ городъ Глуповъ отъ вышняго начальства поставленнымъ.

(1731—1826).

1) **Клементій,** Амадей Мануиловичъ. Вывезенъ изъ Италіи Бирономъ, герцогомъ Курляндскимъ, за искусную стряпню макаронъ; потомъ, будучи внезапно произведенъ въ надлежащій чинъ, присланъ градоначальникомъ. Прибывъ въ Глуповъ, не только не оставилъ занятія макаронами, но даже многихъ усильно къ тому принуждалъ, чѣмъ себя и воспрославилъ. За измѣну битъ въ 1734 году кнутомъ и, по вырваніи ноздрей, сосланъ въ Березовъ.

2) **Ѳерапонтовъ,** Ѳотій Петровичъ, бригадиръ. Бывшій брадобрей онаго же герцога Курляндскаго. Многократно дѣлалъ походы противъ недоимщиковъ и столь былъ охочъ до зрѣлищъ, что никому безъ себя сѣчь не довѣрялъ. Въ 1738 году, бывъ въ лѣсу, растерзанъ собаками.

3) **Великановъ,** Иванъ Матвѣевичъ. Обложилъ въ свою пользу жителей данью по три копейки съ души, предварительно утопивъ въ рѣкѣ экономіи директора. Перебилъ въ кровь многихъ капитанъ-исправниковъ. Въ 1740 году, въ царствованіе кроткія Елисаветъ, бывъ уличенъ въ любовной связи съ Авдотьей Лопухиной, битъ кнутомъ и, по урѣзаніи языка, сосланъ въ заточеніе въ чердынскій острогъ.

4) **Урусъ Кугушъ-Кильдибаевъ,** Манылъ Самыловичъ, капитанъ-поручикъ изъ лейбъ-кампанцевъ. Отличался безумной отвагой и даже бралъ однажды приступомъ городъ Глуповъ. По доведеніи о семъ до свѣдѣнія, похвалы не получилъ и въ 1745 году уволенъ съ распубликованіемъ.

5) **Ламвроканисъ,** бѣглый грекъ, безъ имени и отчества и даже безъ чина, пойманный графомъ Кирилою Разумовскимъ въ Нѣжинѣ, на базарѣ. Торговалъ греческимъ мыломъ, губкою и орѣхами; сверхъ того, былъ сторонникомъ классическаго образованія. Въ 1756 году былъ найденъ въ постели, заѣденный клопами.

6) **Бакланъ,** Иванъ Матвѣевичъ, бригадиръ. Былъ роста трехъ аршинъ и трехъ вершковъ, и кичился тѣмъ, что происходитъ по прямой линіи отъ Ивана Великаго (извѣстная въ Москвѣ колокольня). Переломленъ пополамъ во время бури, свирѣпствовавшей въ 1761 году.

7) **Пфейферъ,** Богданъ Богдановичъ, гвардіи сержантъ, голштинскій выходецъ. Ничего не свершивъ, смѣненъ въ 1762 г. за невѣжество.

8) **Брудастый,** Дементій Варламовичъ. Назначенъ былъ впопыхахъ и имѣлъ въ головѣ нѣкоторое особливое устройство, за что и прозванъ былъ «Органчикомъ». Это не мѣшало ему, впрочемъ, привести въ порядокъ недоимки, запущенныя его предмѣстникомъ. Во время сего правленія произошло пагубное безначаліе, продолжавшееся семь дней, какъ о томъ будетъ повѣствуемо ниже.

9) **Двоекуровъ,** Семенъ Константиновичъ, статскій совѣтникъ и кавалеръ. Вымостилъ Большую и Дворянскую улицы, завелъ пивовареніе и медовареніе, ввелъ въ употребленіе горчицу и лавровый листъ, собралъ недоимки, покровительствовалъ наукамъ и ходатайствовалъ о заведеніи въ Глуповѣ академіи. Написалъ сочиненіе «Жизнеописанія замѣчательнѣйшихъ обезьянъ». Будучи крѣпкаго тѣлосложенія, имѣлъ послѣдовательно восемь амантъ. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна и тѣмъ много способствовала блеску сего правленія. Умеръ въ 1770 году своею смертью.

10) **Маркизъ де-Санглотъ,** Антонъ Протасьевичъ, французскій выходецъ и другъ Дидерота. Отличался легкомысліемъ и любилъ пѣть непристойныя пѣсни. Леталъ по воздуху въ городскомъ саду и чуть было не улетѣлъ совсѣмъ, какъ зацѣпился фалдами за шпицъ и оттуда съ превеликимъ трудомъ снятъ. За эту затѣю уволенъ въ 1772 году, а въ слѣдующемъ же году, не

унывъ духомъ, давалъ представленія у Излера на минеральныхъ водахъ [1]).

11) **Ѳердыщенко**, Петръ Петровичъ, бригадиръ. Бывшій денщикъ князя Потемкина. При не весьма обширномъ умѣ, былъ косноязыченъ. Недоимки запустилъ; любилъ ѣсть буженину и гуся съ капустой. Во время его градоначальствованія городъ подвергся голоду и пожару. Умеръ въ 1779 году отъ объяденія.

12) **Бородавкинъ**, Василискъ Семеновичъ. Градоначальство сіе было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовалъ въ кампаніи противъ недоимщиковъ, при чемъ спалилъ тридцать три деревни и съ помощью сихъ мѣръ взыскалъ недоимокъ два рубля съ полтиною. Ввелъ въ употребленіе игру ламушъ и прованское масло; замостилъ базарную площадь и засадилъ березками улицу, ведущую къ присутственнымъ мѣстамъ; вновь ходатайствовалъ о заведеніи въ Глуповѣ академіи, но, получивъ отказъ, построилъ съѣзжій домъ. Умеръ въ 1798 году, на экзекуціи, напутствуемый капитанъ-исправникомъ.

13) **Негодяевъ**, Онуфрій Ивановичъ, бывшій гатчинскій истопникъ. Размостилъ вымощенныя предмѣстниками его улицы и изъ добытаго камня настроилъ монументовъ. Смѣненъ въ 1802 году за несогласіе съ Новосильцевымъ, Чарторыйскимъ и Строгоновымъ (знаменитый въ свое время тріумвиратъ) насчетъ конституцій, въ чемъ его и оправдали впослѣдствіи.

14) **Беневоленскій**, Ѳеоѳилактъ Иринарховичъ, статскій совѣтникъ, товарищъ Сперанскаго по семинаріи. Былъ мудръ и оказывалъ склонность къ законодательству. Предсказалъ гласные суды и земство. Имѣлъ любовную связь съ купчихою Распоповою, у которой, по субботамъ, ѣдалъ пироги съ начинкой. Въ свободное отъ занятій время сочинялъ для городскихъ поповъ проповѣди и переводилъ съ латинскаго сочиненія Ѳомы Кемпійскаго. Вновь ввелъ въ употребленіе, яко полезные, горчицу, лавровый листъ и прованское масло. Первый обложилъ данью откупъ, отъ коего и получалъ три тысячи рублей въ годъ. Въ 1811 году, за потворство Бонапарту, былъ призванъ къ отвѣту и сосланъ въ заточеніе.

[1]) Это очевидная ошибка.—*Прим. изд.*

15) **Прыщъ**, майоръ, Иванъ Пантелеичъ. Оказался съ фаршированной головой, въ чемъ и уличенъ мѣстнымъ предводителемъ дворянства.

16) **Ивановъ**, статскій совѣтникъ, Никодимъ Осиповичъ. Былъ столь малаго роста, что не могъ вмѣщать пространныхъ законовъ. Умеръ въ 1819 году отъ натуги, усиливаясь постичь нѣкоторый сенатскій указъ.

17) **Дю-Шаріо**, виконтъ, Ангелъ Дороѳеевичъ, французскій выходецъ. Любилъ рядиться въ женское платье и лакомился лягушками. По разсмотрѣніи, оказался дѣвицею. Висланъ въ 1821 году за границу.

18) **Грустиловъ**, Эрастъ Андреевичъ, статскій совѣтникъ. Другъ Карамзина. Отличался нѣжностью и чувствительностью сердца, любилъ пить чай въ городской рощѣ и не могъ безъ слезъ видѣть, какъ токуютъ тетерева. Оставилъ послѣ себя нѣсколько сочиненій идиллическаго содержанія и умеръ отъ меланхоліи въ 1825 году. Дань съ откупа возвысилъ до пяти тысячъ рублей въ годъ.

19) **Угрюмъ-Бурчеевъ**, бывый прохвостъ. Разрушилъ старый городъ и построилъ другой на новомъ мѣстѣ.

20) **Перехватъ-Залихватскій**, Архистратигъ Стратилатовичъ, майоръ. О семъ умолчу. Въѣхалъ въ Глуповъ на бѣломъ конѣ, сжегъ гимназію и упразднилъ науки.

## Органчикъ.

Въ августѣ 1762 года въ городѣ Глуповѣ происходило необычайное движеніе по случаю прибытія новаго градоначальника, Дементія Варламовича Брудастаго. Жители ликовали; еще не видавъ въ глаза вновь назначеннаго правителя, они уже разсказывали о немъ анекдоты и называли его «красавчикомъ» и «умницей». Поздравляли другъ друга съ радостью, цѣловались, проливали слезы, заходили въ кабаки, снова выходили изъ нихъ и опять заходили. Въ порывѣ восторга вспомнились и старинныя глуповскія вольности. Лучшіе граждане собирались передъ соборной колокольней и, образовавъ всенародное вѣче, потрясали воздухъ восклицаніями: «батюшка-то нашъ! красавчикъ-то нашъ! умница-то нашъ!»

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумомъ, сколько движеніями благороднаго сердца, они утверждали, что при новомъ градоначальникѣ процвѣтетъ торговля и что подъ наблюденіемъ квартальныхъ надзирателей возникнутъ науки и искусства. Не удержались и отъ сравненій. Вспомнили только что выѣхавшаго изъ города стараго градоначальника, и находили, что хотя онъ тоже былъ красавчикъ и умница, но что, за всѣмъ тѣмъ, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что онъ новый. Однимъ словомъ, при этомъ случаѣ, какъ и при другихъ подобныхъ, вполнѣ выразились и обычная глуповская восторженность и обычное глуповское легкомысліе.

Между тѣмъ новый градоначальникъ оказался молчаливъ и угрюмъ. Онъ прискакалъ въ Глуповъ, какъ говорится, во всѣ лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился въ предѣлы городского выгона, какъ тутъ же, на самой границѣ, пересѣкъ уйму ямщиковъ. Но даже и это обстоятельство не охладило восторговъ обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаніями о недавнихъ побѣдахъ надъ турками, и всѣ надѣялись, что новый градоначальникъ во второй разъ возьметъ приступомъ крѣпость Хотинъ.

Скоро, однакожъ, обыватели убѣдились, что ликованія и надежды ихъ были, по малой мѣрѣ, преждевременны и преувеличены. Произошелъ обычный пріемъ, и тутъ въ первый разъ въ жизни пришлось глуповцамъ на дѣлѣ извѣдать, какимъ горькимъ испытаніямъ можетъ быть подвергнуто самое упорное начальстволюбіе. Все на этомъ пріемѣ совершилось какъ-то загадочно. Градоначальникъ безмолвно обошелъ ряды чиновныхъ архистратиговъ, сверкнулъ глазами, произнесъ: «не потерплю!» и скрылся въ кабинетъ. Чиновники остолбенѣли; за ними остолбенѣли и обыватели.

Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы—народъ изнѣженный и до крайности избалованный. Они любятъ, чтобъ у начальника на лицѣ играла привѣтливая улыбка, чтобы изъ устъ его, по временамъ, исходили любезныя прибаутки, и недоумѣваютъ, когда уста эти только фыркаютъ или издаютъ загадочные звуки. Начальникъ можетъ совершать всякія мѣропріятія, онъ можетъ даже никакихъ мѣропріятій не совершать, но ежели онъ не будетъ при этомъ калякать, то имя его никогда не сдѣлается популярнымъ. Бывали градоначальники истинно мудрые, такіе, которые не чужды были даже мысли о заведеніи въ Глуповѣ академіи (таковъ, напримѣръ, статскій совѣтникъ Двоекуровъ, значащійся по «описи» подъ № 9), но такъ какъ они не обзывали глуповцевъ ни «братцами», ни «робятами», то имена ихъ остались въ забвеніи. Напротивъ того, бывали другіе, хотя и не то, чтобы очень глупые—такихъ не бывало,— а такіе, которые дѣлали дѣла среднія, т.-е. сѣкли и взыскивали недоимки, но такъ какъ они при этомъ всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена ихъ не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметомъ самыхъ разнообразныхъ устныхъ легендъ.

Такъ было и въ настоящемъ случаѣ. Какъ ни воспламенились сердца обывателей по случаю пріѣзда новаго начальника, но пріемъ его значительно расхолодилъ ихъ.

— Что жъ это такое: фыркнулъ—и затылокъ показалъ! нешто мы затылковъ не видали! а ты по душѣ съ нами поговори! ты лаской-то, лаской-то пронимай! ты пригрозить пригрози, да потомъ и помилуй!—такъ говорили глуповцы и со слезами припоминали, какіе бывали у нихъ прежде начальники, все привѣтливые да добрые да красавчики — и всѣ-то въ мундирахъ! Вспомнили даже бѣглаго грека Ламврокакиса (по «описи» подъ № 5). Вспомнили, какъ пріѣхалъ, въ 1756 году, бригадиръ Бакланъ (по «описи» подъ № 6), и какимъ молодцомъ онъ на первомъ же пріемѣ выказалъ себя передъ обывателями.

— Натискъ, — сказалъ онъ: — и притомъ быстрота. Снисходительность и притомъ строгость. И притомъ благоразумная твердость. Вотъ, милостивые государи, та цѣль или, точнѣе сказать, тѣ пять цѣлей, которыхъ я, съ Божьею помощью, надѣюсь достигнуть при посредствѣ нѣкоторыхъ административныхъ мѣропріятій, составляющихъ сущность или, лучше сказать, ядро обдуманнаго мною плана кампаніи!

И какъ онъ потомъ, ловко повернувшись на одномъ каблукѣ, обратился къ городскому головѣ и присовокупилъ:

— А по праздникамъ будемъ ѣсть у васъ пироги!

— Такъ вотъ, сударь, какъ настоящіе-то начальники принимали!—вздыхали глуповцы:—а этотъ что! фыркнулъ какую-то нелѣпицу, да и былъ таковъ!

Увы! послѣдующія событія не только оправдали общественное мнѣніе обывателей, но даже превзошли самыя смѣлыя ихъ опасенія. Новый градоначальникъ заперся въ своемъ кабинетѣ, не ѣлъ, не пилъ и все что-то скребъ перомъ. По временамъ онъ выбѣгалъ въ залъ, кидалъ письмоводителю кипу исписанныхъ листковъ, произносилъ: «не потерплю!» и вновь скрывался въ кабинетѣ. Неслыханная дѣятельность вдругъ закипѣла во всѣхъ концахъ города: частные пристава поскакали; квартальные поскакали; засѣдатели поскакали; будочники позабыли, что значитъ путемъ поѣсть, и съ тѣхъ поръ пріобрѣли пагубную привычку хватать куски на лету. Хватаютъ и ловятъ, сѣкутъ и порютъ, описываютъ и продаютъ... А градоначальникъ все сидитъ и выскребаетъ все новыя и новыя понужденія... Гулъ и трескъ проносится изъ одного конца города въ другой, и надъ всѣмъ этимъ гвалтомъ, надъ всей этой сумятицей, словно крикъ хищной птицы, царитъ зловѣщее: «не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сѣченіе ямщиковъ, и вдругъ всѣхъ озарила мысль: а ну, какъ онъ этакимъ манеромъ цѣлый городъ выпоретъ! Потомъ стали соображать, какой смыслъ слѣдуетъ придавать слову «не потерплю!» — наконецъ, прибѣгли къ исторіи Глупова, стали отыскивать въ ней примѣры спасительной строгости, нашли разнообразіе изумительное, но ни до чего подходящаго все-таки не доискались.

— И хоть бы онъ дѣломъ сказывалъ, по скольку съ души ему надобно! — бесѣдовали между собой смущенные обыватели:—а то цыркаетъ, да и на поди.

Глуповъ, безпечный, добродушно-веселый Глуповъ, пріунылъ. Нѣтъ болѣе оживленныхъ сходокъ за воротами домовъ, умолкло щелканье подсолнуховъ, нѣтъ игры въ бабки! Улицы запустѣли, на площадяхъ показались хищные звѣри. Люди только по нуждѣ оставляли дома свои и, на мгновеніе показавши испуганныя и изнуренныя лица, тотчасъ же хоронились. Нѣчто подобное было, по словамъ старожиловъ, во времена тушинскаго царька да еще при Биронѣ. Но даже и тогда было лучше; по крайней мѣрѣ, тогда хоть что нибудь понимали, а теперь чувствовали только страхъ, зловѣщій и безотчетный страхъ.

Въ особенности тяжело было смотрѣть на городъ позднимъ вечеромъ. Въ это время Глуповъ, и безъ того мало оживленный, окончательно замиралъ. Густой мракъ окутывалъ улицы и дома, и только въ одной изъ комнатъ градоначальнической квартиры мерцалъ, далеко за полночь, зловѣщій свѣтъ. Проснувшійся обыватель могъ видѣть, какъ градоначальникъ сидитъ, согнувшись, за письменнымъ столомъ и все что-то скребетъ перомъ... И вдругъ подойдетъ къ окну, крикнетъ: «не потерплю!» — и опять скребетъ...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальникъ совсѣмъ даже не градоначальникъ, а оборотень, присланный въ Глуповъ по легкомыслію; что онъ по ночамъ, въ видѣ ненасытнаго упыря, паритъ надъ городомъ и сосетъ у сонныхъ обывателей кровь. Разумѣется, все это повѣствовалось и передавалось другъ другу шопотомъ; хотя же и находились смѣльчаки, которые предлагали поголовно пасть на колѣни и просить прощенья, но и тѣхъ взяло раздумье. А что, если это такъ именно и надо? Что, ежели признано необходимымъ, чтобы въ Глуповѣ, грѣхъ его ради, былъ именно такой, а не иной градоначальникъ? Соображенія эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись отъ своихъ предложеній, но тутъ же начали попрекать другъ друга въ смутьянствѣ и подстрекательствѣ.

И вдругъ всѣмъ сдѣлалось извѣстнымъ, что градоначальника секретно посѣщаетъ часовыхъ и органныхъ дѣлъ мастеръ Байбаковъ. Достовѣрные свидѣтели сказывали, что однажды, въ третьемъ часу ночи, видѣли, какъ Байбаковъ, весь блѣдный и испуганный, вышелъ изъ квартиры градоначальника и бережно несъ что-то обернутое въ салфеткѣ. И что всего замѣчательнѣе—въ эту достопамятную ночь никто изъ обывателей не только не былъ раз-

буженъ крикомъ: «не потерплю!», но и самъ градоначальникъ, повидимому, прекратилъ на время критическій анализъ недоимочныхъ реестровъ и погрузился въ сонъ.

Начались подвохи и подсылы съ цѣлью вывѣдать тайну, но Байбаковъ оставался нѣмъ, какъ рыба, и на всѣ увѣщанія ограничился тѣмъ, что трясся всѣмъ тѣломъ. Пробовали споить его; но онъ, не отказываясь отъ водки, только потѣлъ, а секрета не выдавалъ. Находившіеся у него въ ученьи мальчики могли сообщить одно: что, дѣйствительно, приходилъ однажды ночью полицейскій солдатъ, взялъ хозяина, который черезъ часъ возвратился съ узелкомъ, заперся въ мастерской и съ тѣхъ поръ затосковалъ.

Болѣе ничего узнать не могли. Между тѣмъ, таинственныя свиданія градоначальника съ Байбаковымъ участились. Съ теченіемъ времени Байбаковъ не только пересталъ тосковать, но даже до того осмѣлился, что самому градскому головѣ посулилъ отдать его безъ зачета въ солдаты, если онъ каждый день не будетъ выдавать ему на шкаликъ. Онъ сшилъ себѣ новую пару платья и хвастался, что на дняхъ откроетъ въ Глуповѣ такой магазинъ, что самому Винтергальтеру [1]) въ носъ бросится.

Среди всѣхъ этихъ толковъ и пересудовъ вдругъ какъ съ неба упала повѣстка, приглашавшая именитѣйшихъ представителей глуповской интеллигенціи, въ такой-то день и часъ, прибыть къ градоначальнику для внушенія. Именитые смутились, но стали готовиться.

То былъ прекрасный весенній день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа подъ мышками кульки, тѣснились на дворѣ градоначальнической квартиры и съ трепетомъ ожидали страшнаго судьбища. Наконецъ ожидаемая минута настала.

Онъ вышелъ, и на лицѣ его въ первый разъ увидѣли глуповцы ту привѣтливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подѣйствовали и на него (по крайней мѣрѣ, многіе обыватели потомъ увѣряли, что собственными глазами видѣли, какъ у него тряслись фалдочки). Онъ по очереди обошелъ всѣхъ обывателей, и хотя молча, но благосклонно принялъ отъ нихъ все, что слѣдуетъ. Окончивши съ этимъ дѣломъ, онъ нѣсколько отступилъ къ крыльцу и раскрылъ ротъ... И вдругъ что-то внутри у него зашипѣло и зажужжало, и чѣмъ болѣе длилось это таинственное шипѣніе, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе вертѣлись и сверкали его глаза. «П...п...плю!», наконецъ, вырвалось у него изъ устъ... Съ этимъ звукомъ онъ въ послѣдній разъ сверкнулъ глазами и опрометью бросился въ открытую дверь своей квартиры.

Читая въ «Лѣтописцѣ» описаніе происшествія, столь неслыханнаго, мы, свидѣтели и участники иныхъ временъ и иныхъ событій, конечно, имѣемъ полную возможность отнестись къ нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лѣтъ тому назадъ, поставимъ себя на мѣсто достославныхъ нашихъ предковъ, и мы легко поймемъ тотъ ужасъ, который долженствовалъ обуять ихъ при видѣ этихъ вращающихся глазъ и этого раскрытаго рта, изъ котораго ничего не выходило, кромѣ шипѣнія и какого-то безсмысленнаго звука, не похожаго даже на бой часовъ. Но въ томъ-то именно и заключалась доброкачественность нашихъ предковъ, что, какъ ни потрясло ихъ описанное выше зрѣлище, они не увлеклись ни модными идеями ни соблазнами, представляемыми анархіей, но остались вѣрными начальстволюбію, и только слегка позволили себѣ пособолѣзновать и попенять на своего болѣе чѣмъ страннаго градоначальника.

— И откуда къ намъ экой прохвостъ выискался? — говорили обыватели, изумленно вопрошая другъ друга и не придавая слову «прохвостъ» никакого особеннаго значенія.

— Смотри, братцы! какъ бы намъ тово... отвѣчать бы за него, за прохвоста, не пришлось!—присовокупляли другіе.

И затѣмъ спокойно разошлись по домамъ и предались обычнымъ своимъ занятіямъ.

И остался бы нашъ Брудастый на многіе годы пастыремъ вертограда сего, и радовалъ бы сердца начальниковъ своею распорядительностью, и не ощущали бы

[1]) Новый примѣръ прозорливости: Винтергальтера въ 1762 году не было. *Издатель.*

обыватели въ своемъ существованіи ничего необычайнаго, если бы обстоятельство, совершенно случайное (простая оплошность), не прекратило его дѣятельности въ самомъ ея разгарѣ.

Немного спустя послѣ описаннаго выше пріема, письмоводитель градоначальника, вошедши утромъ съ докладомъ въ его кабинетъ, увидѣлъ такое зрѣлище: градоначальниково тѣло, облеченное въ вицмундиръ, сидѣло за письменнымъ столомъ, а передъ нимъ, на кипѣ недоимочныхъ реестровъ, лежала, въ видѣ щегольского прессъ-папье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбѣжалъ въ такомъ смятеніи, что зубы его стучали.

Побѣжали за помощникомъ градоначальника и за старшимъ квартальнымъ. Первый прежде всего напустился на послѣдняго, обвинилъ его въ нерадивости, въ потворствѣ наглому насилію, но квартальный оправдался. Онъ не безъ основанія утверждалъ, что голова могла быть опорожнена не иначе, какъ съ согласія самого же градоначальника, и что въ дѣлѣ этомъ принималъ участіе человѣкъ, несомнѣнно принадлежащій къ ремесленному цеху, такъ какъ на столѣ, въ числѣ вещественныхъ доказательствъ, оказались: долото, буравчикъ и англійская пилка. Призвали на совѣтъ главнаго городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отдѣлиться отъ градоначальникова туловища безъ кровоизлиянія? 2) возможно ли допустить предположеніе, что градоначальникъ снялъ съ плечъ и опорожнилъ самъ свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впослѣдствіи нарасти вновь съ помощью какого-либо неизвѣстнаго процесса? Эскулапъ задумался, пробормоталъ что-то о какомъ-то «градоначальническомъ веществѣ», якобы источающемся изъ градоначальническаго тѣла, но потомъ, видя самъ, что зарапортовался, отъ прямого разрѣшенія вопросовъ уклонился, отзываясь тѣмъ, что тайна построенія градоначальническаго организма наукой достаточно еще не обслѣдована [1]).

Выслушавъ такой уклончивый отвѣтъ, помощникъ градоначальника сталъ втупикъ. Ему предстояло одно изъ двухъ: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тѣмъ начать подъ рукой слѣдствіе, или же нѣкоторое время молчать и выжидать, что будетъ. Въ виду такихъ затрудненій, онъ избралъ средній путь, т.-е. приступилъ къ дознанію, и въ то же время всѣмъ и каждому наказалъ хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народъ и не поселять въ немъ несбыточныхъ мечтаній.

Но какъ ни строго хранили будочники ввѣренную имъ тайну, неслыханная вѣсть объ упраздненіи градоначальниковой головы въ нѣсколько минутъ облетѣла весь городъ. Изъ обывателей многіе плакали, потому что почувствовали себя сиротами и, сверхъ того, боялись подпасть подъ отвѣтственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у котораго на плечахъ, вмѣсто головы, была пустая посудина. Напротивъ, другіе хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновеніе ихъ ожидаетъ не кара, а похвала.

Въ клубѣ, вечеромъ, всѣ наличные члены были въ сборѣ. Волновались, толковали, припоминали разныя обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительнаго. Такъ, напримѣръ, засѣдатель Толковниковъ разсказалъ, что однажды онъ вошелъ врасплохъ въ градоначальническій кабинетъ по весьма нужному дѣлу и засталъ градоначальника играющимъ своею собственною головой, которую онъ, впрочемъ, тотчасъ же поспѣшилъ пристроить къ надлежащему мѣсту. Тогда онъ не обратилъ на этотъ фактъ надлежащаго вниманія и даже счелъ его игрою воображенія, но теперь ясно, что градоначальникъ, въ видахъ собственнаго облегченія, по временамъ снималъ съ себя голову и вмѣсто нея надѣвалъ ермолку, точно такъ, какъ соборный протоіерей, находясь въ домашнемъ кругу, снимаетъ съ себя камилавку и надѣваетъ колпакъ. Другой засѣдатель, Младенцевъ, вспомнилъ, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, онъ увидѣлъ въ одномъ

---

[1]) Нынѣ доказано, что тѣла всѣхъ вообще начальниковъ подчиняются тѣмъ же физіологическимъ законамъ, какъ и всякое другое человѣческое тѣло, но не слѣдуетъ забывать, что въ 1762 году наука была въ младенчествѣ.
*Издатель.*

изъ ея оконъ градоначальникову голову, окруженную слесарнымъ и столярнымъ инструментомъ. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первомъ упоминовеніе о Байбаковѣ, всѣмъ пришло на память его странное поведеніе и таинственные ночные походы его въ квартиру градоначальника...

Тѣмъ не менѣе изъ всѣхъ этихъ разсказовъ никакого яснаго результата не выходило. Публика начала даже склоняться въ пользу того мнѣнія, что вся эта исторія есть не что иное, какъ выдумка праздныхъ людей, но потомъ, припомнивъ лондонскихъ агитаторовъ [1]) и переходя отъ одного силлогизма къ другому, заключила, что измѣна свила себѣ гнѣздо въ самомъ Глуповѣ. Тогда всѣ члены заволновались, зашумѣли и, пригласивъ смотрителя народнаго училища, предложили ему вопросъ: бывали ли въ исторіи примѣры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имѣя на плечахъ порожній сосудъ? Смотритель подумалъ съ минуту и отвѣчалъ, что въ исторіи многое покрыто мракомъ; но что былъ, однакоже, нѣкто Карлъ Простодушный, который имѣлъ на плечахъ хотя и не порожній, но все равно *какъ бы* порожній сосудъ, а войны велъ и трактаты заключалъ.

Покуда шли эти толки, помощникъ градоначальника не дремалъ. Онъ тоже вспомнилъ о Байбаковѣ и немедленно потянулъ его къ отвѣту. Нѣкоторое время Байбаковъ запирался и ничего, кромѣ «знать не знаю, вѣдать не вѣдаю», не отвѣчалъ; но когда ему предъявили найденныя на столѣ вещественныя доказательства и, сверхъ того, пообѣщали полтинникъ на водку, то вразумился и, будучи грамотнымъ, далъ слѣдующее показаніе:

«Василіемъ зовутъ меня, Ивановымъ сыномъ, по прозванію Байбаковымъ. Глуповскій цеховой. Въ прошломъ году, зимой,— не помню, какого числа и мѣсяца,— бывъ разбуженъ въ ночи, отправился я, въ сопровожденіи полицейскаго десятскаго, къ градоначальнику нашему, Дементію Варламовичу, и, пришедъ, засталъ его сидящимъ и головою то въ ту, то въ другую сторону мѣрно помавающимъ. Обезпамятевъ отъ страха и притомъ будучи отягощенъ спиртными напитками, стоялъ я безмолвенъ у порога, какъ вдругъ господинъ градоначальникъ поманили меня рукою къ себѣ и подали мнѣ бумажку. На бумажкѣ я прочиталъ: «не удивляйся, но попорченное исправь». Послѣ того господинъ градоначальникъ сняли съ себя собственную голову и подали ее мнѣ. Разсмотрѣвъ ближе лежащій предо мной ящикъ, я нашелъ, что онъ заключаетъ въ одномъ углу небольшой органчикъ, могущій исполнять нѣкоторыя нетрудныя музыкальныя пьесы. Пьесъ этихъ было двѣ: «разорю!» и «не потерплю!» Но такъ какъ въ дорогѣ голова нѣсколько отсырѣла, то на валикѣ нѣкоторые колки расшатались, а другіе и совсѣмъ повыпали. Отъ этого самаго господинъ градоначальникъ не могли говорить внятно, или же говорили съ пропускомъ буквъ и слоговъ. Замѣтивъ въ себѣ желаніе исправить эту погрѣшность и получивъ на это согласіе господина градоначальника, я съ должнымъ раченіемъ завернулъ голову въ салфетку и отправился домой. Но здѣсь я увидѣлъ, что напрасно понадѣялся на свое усердіе, ибо какъ ни старался я выпавшіе колки утвердить, но столь мало успѣлъ въ моемъ предпріятіи, что при малѣйшей неосторожности или простудѣ колки вновь вываливались, и въ послѣднее время господинъ градоначальникъ могли произнести только: «п-плю!» Въ сей крайности, вознамѣрились они сгоряча меня на всю жизнь несчастнымъ сдѣлать, но я тотъ ударъ отклонилъ, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью въ Санктъ-Петербургъ къ часовыхъ и органныхъ дѣлъ мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено въ точности. Съ тѣхъ поръ прошло уже довольно времени, въ продолженіе коего я ежедневно разсматривалъ градоначальникову голову и вычищалъ изъ нея соръ, въ каковомъ занятіи пребывалъ и въ то утро, когда ваше высокородіе, по оплошности моей, законфисковали принадлежащій мнѣ инструментъ. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сихъ поръ не прибываетъ — о томъ неизвѣстенъ. Полагаю, впрочемъ, что за разлитіемъ рѣкъ, по весеннему нынѣшнему времени, голова сія и нынѣ находится гдѣ-либо въ бездѣйствіи. На спрашиваніе же вашего высокоблагородія

[1]) Даже это предвидѣлъ „Лѣтописецъ“! *Изд.*

о томъ, во-первыхъ, могу ли я, въ случаѣ присылки новой головы, оную утвердить, и, во-вторыхъ, будетъ ли та утвержденная голова исправно дѣйствовать? — отвѣтствовать симъ честь имѣю: утвердить могу, и дѣйствовать оная будетъ, но настоящихъ мыслей имѣть не можетъ. Къ сему показанію Василій Ивановъ Байбаковъ руку приложилъ».

Выслушавъ показаніе Байбакова, помощникъ градоначальника сообразилъ, что ежели однажды допущено, чтобы въ Глуповѣ былъ городничій, имѣющій, вмѣсто головы, простую укладку, то, стало-быть, это такъ и слѣдуетъ. Поэтому онъ рѣшился выжидать, но въ то же время послалъ къ Винтергальтеру понудительную телеграмму [1]) и, заперевъ градоначальниково тѣло на ключъ, устремилъ всю свою дѣятельность на успокоеніе общественнаго мнѣнія.

Но всѣ ухищренія оказались уже тщетными. Прошло послѣ того и еще два дня; пришла, наконецъ, и давно ожидаемая петербургская почта, но никакой головы не привезла.

Началась анархія, то-есть безначаліе. Присутственныя мѣста запустѣли; недоимокъ накопилось такое множество, что мѣстный казначей, заглянувъ въ казенный ящикъ, разинулъ ротъ, да такъ на всю жизнь съ разинутымъ ртомъ и остался; квартальные отбились отъ рукъ и нагло бездѣйствовали; офиціальные дни исчезли. Мало того, начались убійства, и на самомъ городскомъ выгонѣ поднято было туловище неизвѣстнаго человѣка, въ которомъ, по фалдочкамъ, хотя признали лейбъ-кампанца, но ни капитанъ-исправникъ, ни прочіе члены временнаго отдѣленія, какъ ни бились, не могли отыскать отдѣленной отъ туловища головы.

Въ восемь часовъ вечера помощникъ градоначальника получилъ по телеграфу извѣстіе, что голова давнымъ-давно послана. Помощникъ градоначальника оторопѣлъ окончательно.

Проходитъ и еще день, а градоначальниково тѣло все сидитъ въ кабинетѣ и даже начинаетъ портиться. Начальстволюбіе, временно потрясенное страннымъ поведеніемъ Брудастаго, робкими, но твердыми шагами выступаетъ впередъ. Лучшіе люди ѣдутъ процессіей къ помощнику градоначальника и настоятельно требуютъ, чтобы онъ распорядился. Помощникъ градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда въ судахъ упраздняется, а резолюціи не утверждаются, обратился къ содѣйствію стряпчаго. Сей послѣдній, какъ человѣкъ обязательный, телеграфировалъ о происшедшемъ случаѣ по начальству, и по телеграфу же получилъ извѣстіе, что онъ за нелѣпое донесеніе уволенъ отъ службы.

Услыхавъ объ этомъ, помощникъ градоначальника пришелъ въ управленіе и заплакалъ. Пришли засѣдатели — и тоже заплакали; явился стряпчій, но и тотъ отъ слезъ не могъ говорить.

Между тѣмъ Винтергальтеръ говорилъ правду, и голова дѣйствительно была изготовлена и выслана своевременно. Но онъ поступилъ опрометчиво, поручивъ доставку ея на почтовыхъ мальчику, совершенно несвѣдущему въ органномъ дѣлѣ. Вмѣсто того, чтобъ держать посылку бережно на-вѣсу, неопытный посланецъ кинулъ ее на дно телѣги, а самъ задремалъ. Въ этомъ положеніи онъ проскакалъ нѣсколько станцій, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то укусилъ его за икру. Застигнутый болью врасплохъ, онъ съ поспѣшностью развязалъ рогожный кулекъ, въ которомъ завернута была загадочная кладь, и странное зрѣлище вдругъ представилось глазамъ его. Голова разѣвала ротъ и поводила глазами; мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»

Мальчишка просто обезумѣлъ отъ ужаса. Первымъ его движеніемъ было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторымъ — незамѣтнымъ образомъ спуститься изъ телѣги и скрыться въ кусты.

Можетъ-быть, тѣмъ бы и кончилось это странное происшествіе, что голова, пролежавъ нѣкоторое время на дорогѣ, была бы со временемъ раздавлена экипажами проѣзжающихъ и, наконецъ, вывезена на поле въ видѣ удобренія, если бы дѣло не усложнилось вмѣшательствомъ элемента, до такой степени фантастическаго, что сами глуповцы — и тѣ стали втупикъ. Но не будемъ упреждать событій и посмотримъ, что дѣлается въ Глуповѣ.

Глуповъ закипалъ. Не видя нѣсколько дней сряду градоначальника, граждане вол-

---

[1]) Изумительно!! *Изд.*

новались и, нимало не стѣсняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшаго квартальнаго въ растратѣ казеннаго имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякія бѣдствія. Какой-то Мишка Возгрявый увѣрялъ, что онъ имѣлъ ночью сонное видѣніе, въ которомъ явился къ нему мужъ грозенъ и облакомъ пресвѣтлымъ одѣянъ.

Наконецъ глуповцы не вытерпѣли: предводительствуемые излюбленнымъ гражданиномъ Пузановымъ, они выстроились въ карре передъ присутственными мѣстами и требовали къ народному суду помощника градоначальника, грозя въ противномъ случаѣ разнести и его самого и его домъ.

Противообщественные элементы всплывали наверхъ съ ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцахъ, о какомъ-то Степкѣ, который, предводительствуя вольницей, не далѣе, какъ вчера, въ виду всѣхъ, свелъ двухъ купеческихъ женъ.

— Куда ты дѣвалъ нашего батюшку?— завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощникъ градоначальника предсталъ передъ нимъ.

— Атаманы-молодцы! гдѣ же я вамъ его возьму, коли онъ на ключъ запертъ!— уговаривалъ толпу объятый трепетомъ чиновникъ, вызванный событіями изъ административнаго оцѣпенѣнія. Въ то же время онъ секретно мигнулъ Байбакову, который, увидѣвъ этотъ знакъ, немедленно скрылся.

Но волненіе не унималось.

— Врешь, переметная сума! — отвѣчала толпа. — Вы нарочно съ квартальнымъ стакнулись, чтобъ батюшку нашего отъ себя избыть!

И Богъ знаетъ, чѣмъ разрѣшилось бы всеобщее смятеніе, если бы въ эту минуту не послышался звонъ колокольчика и вслѣдъ за тѣмъ не подъѣхала къ бунтующимъ телѣга, въ которой сидѣлъ капитанъ-исправникъ, а съ нимъ рядомъ... исчезнувшій градоначальникъ!

На немъ былъ надѣтъ лейбъ-кампанскій мундиръ; голова его была сильно перепачкана грязью и въ нѣсколькихъ мѣстахъ побита. Несмотря на это, онъ ловко соскочилъ съ телѣги и сверкнулъ на толпу глазами.

— Разорю! — заревѣлъ онъ такимъ оглушительнымъ голосомъ, что всѣ мгновенно притихли.

Волненіе было подавлено сразу; въ этой недавно столь грозно гудѣвшей толпѣ водворилась такая тишина, что можно было разслышать, какъ жужжалъ комаръ, прилетѣвшій изъ сосѣдняго болота подивиться на «сіе нелѣпое и смѣха достойное глуповское смятеніе».

— Зачинщики впередъ!—скомандовалъ градоначальникъ, все болѣе возвышая голосъ.

Начали выбирать зачинщиковъ изъ числа неплательщиковъ податей, и уже набрали человѣкъ съ десятокъ, какъ новое и совершенно диковинное обстоятельство дало дѣлу совсѣмъ другой оборотъ.

Въ то время, какъ глуповцы съ тоскою перешептывались, припоминая, на комъ изъ нихъ болѣе накопилось недоимки, къ сборищу незамѣтно подъѣхали столь извѣстныя обывателямъ градоначальническія дрожки. Не успѣли обыватели оглянуться, какъ изъ экипажа выскочилъ Байбаковъ, а слѣдомъ за нимъ въ виду всей толпы очутился точь въ точь такой же градоначальникъ, какъ и тотъ, который, за минуту передъ тѣмъ, былъ привезенъ въ телѣгѣ исправникомъ! Глуповцы такъ и остолбенѣли.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притомъ покрытая лакомъ. Нѣкоторымъ прозорливымъ гражданамъ показалось страннымъ, что большое родимое пятно, бывшее нѣсколько дней тому назадъ на правой щекѣ градоначальника, теперь очутилось на лѣвой.

Самозванцы встрѣтились и смѣрили другъ друга глазами. Толпа медленно и въ молчаніи разошлась [1]).

1869—1870 гг.

---

[1]) Издатель почелъ за лучше закончить на этомъ мѣстѣ настоящій разсказъ, хотя „Лѣтописецъ" и дополняетъ его различными разъясненіями. Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ, что на первомъ градоначальникѣ была надѣта та самая голова, которую выбросилъ изъ телѣги посланный Винтергальтера и которую капитанъ-исправникъ приставилъ къ туловищу неизвѣстнаго лейбъ-кампанца; на второмъ же градоначальникѣ была надѣта прежняя голова, которую наскоро исправилъ Байбаковъ, по приказанію помощника городничаго, набивши ее, по ошибкѣ, вмѣсто музыки, вышедшими изъ употребленія предписаніями. Всѣ эти разсужденія положительно младенческія, и несомнѣннымъ остается только то, что оба градоначальника были самозванцы.

## ИЗЪ ОЧЕРКОВЪ «ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ».

### Что такое «ташкентцы»?

«Ташкентцы»—имя собирательное.

Тѣ, которые думаютъ, что это только люди, желающіе воспользоваться прогонными деньгами въ Ташкентъ, ошибаются самымъ грубымъ образомъ.

«Ташкентецъ»—это просвѣтитель. Просвѣтитель вообще, просвѣтитель на всякомъ мѣстѣ и во что бы то ни стало; и притомъ просвѣтитель, свободный отъ наукъ, не смущающійся этимъ, ибо наука, по мнѣнію его, создана не для распространенія, а для стѣсненія просвѣщенія. Человѣкъ науки прежде всего требуетъ азбуки, потомъ складовъ, четырехъ правилъ ариѳметики, таблички умноженія и т. д. «Ташкентецъ» во всемъ этомъ видитъ неумѣстимую придирку и прямо говоритъ, что останавливаться на подобныхъ мелочахъ — значитъ спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Онъ создалъ особенный родъ просвѣтительной дѣятельности— просвѣщенія безазбучнаго, которое не обогащаетъ просвѣщаемаго знаніями, не даетъ ему болѣе удобныхъ общежительныхъ формъ, а только снабжаетъ извѣстнымъ запахомъ. Тотъ, кто пьетъ хересъ très vieux, считаетъ себя просвѣтителемъ относительно того, кто пьетъ хересъ просто vieux; тотъ, кто пьетъ хересъ vieux, считается просвѣтителемъ всѣхъ пьющихъ настойку и водку. Разумѣется, это только примѣръ, но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятіе о градаціи. Градацію эту онъ можетъ перенести во всякую другую сферу (напримѣръ, въ сравнительную сферу сюртуковъ и поддёвокъ, ресторановъ и харчевенъ, кокотокъ, имѣющихъ ложу въ бель-этажѣ, и кокотокъ, безнадежно пристающихъ къ прохожему въ Большой Мѣщанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человѣкомъ, «который ѣстъ лебеду». Это тотъ самый человѣкъ, на которомъ окончательно обрушивается ташкентство всевозможныхъ родовъ и видовъ.

Но и здѣсь не слѣдуетъ понимать буквально, что «человѣкъ, питающійся лебедою», долженъ непремѣнно наполнять свой желудокъ этимъ суррогатомъ. «Лебеда», какъ и «голодъ», суть выраженія фигуральныя, дающія мѣсто для великаго множества представленій. Есть лебеда натуральная, которая слыветъ въ мірѣ подъ названіемъ подспорья, и отъ которой, во всякомъ случаѣ, хоть животъ у человѣка пучитъ; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьемъ ничему не служитъ. Человѣкъ, который питается этою послѣднею лебедою, есть именно тотъ человѣкъ, котораго голоду нѣтъ предѣловъ. Онъ со всѣхъ сторонъ открытъ для дѣйствія безазбучнаго. Онъ не можетъ дать отпора, потому что у него самого нѣтъ единственнаго орудія, съ помощью котораго можно отражать безазбучное просвѣтительство—нѣтъ азбуки. Какимъ образомъ ея не оказывается налицо—отъ рожденія ли онъ не имѣлъ ея, или утратилъ вслѣдствіе разныхъ историческихъ обстоятельствъ—дѣло не въ томъ; во всякомъ случаѣ, онъ стоитъ со всѣхъ сторонъ открытый, и любому охочему человѣку нѣтъ никакой трудности приложить къ нему какія угодно просвѣтительныя задачи.

Однажды я собственными ушами слышалъ слѣдующій разговоръ:

— Дайте срокъ! — говорилъ нѣкто: — вотъ тамъ-то (имя рекъ) должны произойти на-дняхъ серьезныя замѣшательства—безъ насъ дѣло не обойдется!

— Шагу безъ насъ не сдѣлаютъ!—ораторствовалъ другой: — только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не слѣдуетъ, не то какъ разъ перебьютъ дорогу!

Я полюбопытствовалъ взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нѣчто въ родѣ гориллъ, способныхъ раздробить зубами дула ружья. У каждаго изъ нихъ навѣрное воспріемницей была управа благочинія,—не та, которая имѣетъ мѣстопребываніе на Садовой улицѣ, а та, которая издревле подстерегаетъ рожденіе охочаго русскаго человѣка и тотчасъ же принимаетъ его въ свои нѣдра, чтобъ не выпустить оттуда никогда.

Въ другой разъ я слышалъ другой разговоръ:

— Слышали? нигилисты-то!.. вѣдь это, батюшка, кладъ!

— Кладъ-то кладъ; только зѣвать въ этомъ дѣлѣ не нужно, а слѣдуетъ разъ-разъ-разъ... вашему превосходительству имѣю честь явиться!

Я взглянулъ: передо мною были тѣ же гориллы.

Въ третій разъ:

— Взялъ и ухватилъ! Потому, сударь, что въ этомъ дѣлѣ главное — ухватить! Даже ума не требуется! Кому слѣдуетъ вручилъ, съ кого слѣдуетъ получилъ! Ухватилъ—и баста!

— Ухватить-то ухватилъ; только зѣвать тоже не слѣдуетъ, потому что нашего брата нонче ой-ой какъ расплодилось!

Опять гориллы...

Чего хотѣли эти человѣкообразные?

Жрать!! Жрать что бы то ни было, цѣною чего бы то ни было!

Жгучая мысль объ ѣдѣ не даетъ покоя безазбучнымъ; она день и ночь грызетъ ихъ существованіе. Какъ добыть ѣду, — въ этомъ весь вопросъ. Къ счастію, есть штука, называемая безазбучнымъ просвѣщеніемъ, которая ничего не требуетъ, кромѣ цѣпкихъ рукъ и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности; вотъ въ эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ...

Отрицать чье бы то ни было право на ѣду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разрастается до такихъ размѣровъ, за которыми уже слѣдуетъ опасность. Дѣло въ томъ, что безазбучный ташкентецъ никогда не довольствуется однимъ кускомъ, но, проглатывая этотъ кусокъ, уже усматриваетъ другой.

Ташкентъ, какъ терминъ географическій, есть страна, лежащая на юго-востокъ отъ Оренбургской губерніи. Это—классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ, что къ стрижкѣ ласковы и послѣ оголѣнія вновь обрастаютъ съ изумительной быстротой. Кто будетъ ихъ стричь—къ этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знаютъ, что стрижка есть нѣчто неизбѣжное въ ихъ жизни. Какъ только они завидятъ, что вдали грядетъ человѣкъ стригущій и бреющій, то подгибаютъ подъ себя ноги и ждутъ...

Какъ терминъ отвлеченный, Ташкентъ есть страна, лежащая всюду, гдѣ бьютъ по зубамъ и гдѣ имѣетъ право гражданственности преданіе о Макарѣ, телятъ не гоняющемъ. Если вы находитесь въ городѣ, о которомъ въ статистическихъ таблицахъ сказано: жителей столько-то, приходскихъ церквей столько-то, училищъ нѣтъ, библіотекъ нѣтъ, богоугодныхъ заведеній нѣтъ, острогъ одинъ и т. п.—вы можете сказать безъ ошибки, что находитесь въ самомъ сердцѣ Ташкента. Навѣрное вы найдете тутъ и просвѣтителей и просвѣщаемыхъ, услышите крики: «ай! ай!» — свидѣтельствующіе о томъ, что корни ученія горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классическаго, въ потѣ лица снискивающаго свою лебеду человѣка, около котораго, вѣчно его облюбовывая, похаживаетъ вѣчно несытый, но вѣчно жрущій ташкентецъ. Но училищъ и библіотекъ все-таки не найдете.

Нашъ Ташкентъ, о которомъ мы ведемъ здѣсь рѣчь, находится тамъ, гдѣ дерутся и бьютъ.

Вчера я былъ въ театрѣ, въ самомъ аристократическомъ изъ всѣхъ—въ итальянской оперѣ—и вдругъ увидѣлъ ташкентца, и что всего удивительнѣе—ташкентца-француза (оказалось, что это былъ генералъ Флёри). Скулы его были развиты необычайно, носъ орлиный, зубы стиснуты, глаза—искали. Что-то безнадежное сказывалось въ этой сухой и мускулистой фигурѣ, какъ будто тамъ, внутри, все давно застыло и умерло. Разумѣется, кромѣ чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился къ моему сосѣду и съ волненіемъ, какъ будто хотѣлъ его предостеречь, сказалъ:

— Посмотрите, какой ташкентецъ!

Сосѣдъ съ удивленіемъ взглянулъ сначала на меня, потомъ въ ту сторону, въ которую я указывалъ; затѣмъ началъ всматриваться-всматриваться и, наконецъ, пожалъ мнѣ руку, какъ будто въ самомъ дѣлѣ я избавилъ его отъ бѣды.

Изъ этого я заключилъ, что, кромѣ тѣхъ границъ, которыхъ невозможно опредѣлить, Ташкентъ существуетъ еще и за границею (каламбуръ плохой, но пускай онъ останется, благо понятенъ).

Переходя отъ одного умозаключенія къ другому, я пришелъ къ догадкѣ, что даже такія формы, которыя, повидимому, свидѣтельствуютъ о присутствіи цивилизаціи, не всегда могутъ служить ручательствомъ, что Ташкентъ изгибъ. Ташкентъ удобно мирится съ желѣзными дорогами, съ устностью, гласностью, однимъ словомъ, со всѣми выгодами, которыми по всей справедливости гордится такъ называемая цивилизація. Прибавьте только къ этимъ выгодамъ самое маленькое слово: фюить!— и вы получите такой Ташкентъ, лучше котораго желать не надо.

Истинный Ташкентъ устраиваетъ свою храмину въ нравахъ и въ сердцѣ человѣка. Всякій, кто видитъ въ семейномъ очагѣ своего ближняго не огражденное мѣсто, а арену для веселонравныхъ похожденій, есть такшентецъ; всякій, кто въ физіономіи своего ближняго видитъ не образъ Божій, а токъ, на которомъ можетъ во всякое время молотить кулаками, есть ташкентецъ; всякій, кто, не стѣсняясь, швыряетъ своимъ ближнимъ, какъ неодушевленною вещью, кто видитъ въ немъ лишь матеріалъ, на которомъ можно удовлетворять всевозможнымъ проказливымъ движеніямъ, есть ташкентецъ. Человѣкъ, разсуждающій, что вселенная есть не что иное, какъ выморочное пространство, существующее для того, чтобъ на немъ можно было плевать во всѣ стороны, есть ташкентецъ...

Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ-быть, именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто намекающее человѣку на возможность располагать своими движеніями... потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Можетъ-быть, это «нѣчто зарождающееся», «нѣчто намекающее» и дѣлаетъ особенно нестерпимою боль при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что же кому за дѣло до этого! Развѣ объясненія утѣшаютъ когонибудь? Развѣ они умаляютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи, нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей, махнувшихъ рукою, сколько ихъ видится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися— сколько людей, все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго аппетита!

Я, конечно, былъ бы очень радъ, если бъ могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри—вонъ издыхающій Ташкентъ! но, увы! я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ по истинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, вездѣ сюрпризъ. Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей, несомнѣнно скверныхъ и опасныхъ, и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «пади, задавлю!» и вижу людей, работающихъ въ пользу идей, справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «пади, задавлю!» Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы упразднять дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. Мнѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся и окрѣпшій. Пожалуй, я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ,—въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что и пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ неправы въ своей безнадежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.

Этотъ порочный кругъ не можетъ не огорчать. Когда видишь такое общественное положеніе, въ которомъ одинъ Ташкентъ упраздняется только по милости возникновенія другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и дѣлается вѣщуномъ чего-то недобраго. Говорятъ: новый Ташкентъ необходимъ только для того, чтобы стереть слѣды стараго; какъ скоро онъ выполнитъ эту задачу, то перестанетъ быть Ташкентомъ. На это я могу отвѣтить только: да, это разсужденіе очень ободрительное; но и за всѣмъ тѣмъ я ни на іоту не усилю моего легковѣрія и не надѣну узды на мои сомнѣнія. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу, съ одной стороны, упорствующую безазбучность; съ другой— увеличивающійся аппетитъ и возрастающую затѣйливость требованія для удовлетворенія его. Ничто такъ не прихотливо, какъ Ташкентъ, твердо рѣшившійся не выходить изъ безазбучности и въ то же время уже порастлившійся тонкою примѣсью цивилизаціи. Пирогъ, начиненный устностью и гласностью — помилуйте! да это такое объяденье, что вѣкъ его ѣшь—и вѣкъ сытъ не будешь! Тутъ-то и лестно раз-

махнуться, когда размахъ сопровождается какими-то пикантными видимостями, какъ будто препятствующими, а въ сущности едва ли не способствующими. Вѣдь и изъ опыта извѣстно, что нарѣзное ружье стрѣляетъ дальше, нежели ружье, у котораго дуло имѣетъ внутренность гладкую...

Милостивые государи! если вы не вѣрите въ существованіе господъ ташкентцевъ, я попросилъ бы васъ выйти на минуту на улицу. Тамъ вы навѣрное и на каждомъ шагу насладитесь такого рода разговорами:

— Я бы его, каналью, въ бараній рогъ согнулъ,—говоритъ одинъ, — да и жаловаться бы не велѣлъ!

— Этого человѣка четвертовать мало!— восклицаетъ другой.

— На необитаемый островъ-съ! пускай тамъ морошку сбираетъ-съ!—вопіетъ третій.

Не думайте, чтобъ это были приговоры какого-то жестокаго, но все-таки установленнаго и всѣми признаннаго судилища; нѣтъ, это приговоры простыхъ охочихъ русскихъ людей. Они ходятъ себѣ, гуляючи по улицѣ, и мимоходомъ ввертываютъ въ свою безазбучную рѣчь словцо о четвертованіи. Иногда они даже не понимаютъ и содержанія своихъ приговоровъ и измышляютъ всевозможныя казни единственно по простосердечію... Да, читатель, по простосердечію! и ежели ты сомнѣвался, что даже въ слово «четвертованіе» можетъ вкрасться простосердечіе, то взгляни на эти самодовольныя фигуры, устремляющіяся въ клубъ обѣдать—и убѣдись!

Меня нерѣдко занимаетъ вопросъ: можетъ ли палачъ обѣдать? Можетъ ли онъ быть отцомъ семейства? Какую картину долженъ представлять его семейный бытъ? Ласкаетъ ли онъ жену свою? Гладитъ ли по головѣ ребенка? Помнитъ ли онъ? т.-е. помнитъ ли, что онъ—заплечный мастеръ?

Признаюсь, я долгое время не могъ даже представить себѣ, чтобъ палачъ имѣлъ надобность насыщаться; мнѣ казалось, что онъ долженъ быть всегда сытъ. Но съ тѣхъ поръ какъ я увидѣлъ ташкентцевъ, которые, посуливъ кому-то четвертованіе и голодную смерть на необитаемомъ островѣ, тутъ же сряду устремлялись обѣдать—мои сомнѣнія сразу покончились. Да, сказалъ я себѣ, это вѣрно; палачъ можетъ обѣдать, можетъ имѣть семейство, ласкать жену, гладить по головѣ ребенка! Что нужды, что онъ сегодня же утромъ гладилъ кого-то по спинѣ?—былъ часъ и было дѣло; насталъ другой часъ—настало другое дѣло; въ такомъ-то часу онъ заплечный мастеръ, въ такомъ-то — отецъ семейства, въ такомъ-то—полезный гражданинъ... Всѣ часы распредѣлены, и у всякаго часа есть особенная клѣтка. Все имѣетъ свою очередь, все идетъ своимъ порядкомъ, и, слѣдовадовательно, все обстоитъ благополучно...

Но оставимъ заплечнаго мастера и займемся нашими ташкентцами изъ разряда простодушныхъ.

«Согнуть въ бараній рогъ»—ясно, что эти люди не понимаютъ, какъ это больно, если они не теряютъ даже аппетита, выразивши своему ближнему такое странное пожеланіе. Ясно также, что они и о «необитаемомъ островѣ» имѣютъ понятіе только по слышанной ими въ дѣтствѣ исторіи о Робинзонѣ Крузоэ. Можетъ-быть, имъ думается, что вотъ, дескать, Робинзонъ и въ пустынѣ нашелъ средства приготовить себѣ обѣдъ и прикрыть свою наготу... Невѣжды! они не знаютъ даже того, что эта исторія вымышленная! Но въ томъ-то и дѣло, что есть случай, когда невѣжество не только не вредитъ, но помогаетъ. Во-первыхъ, оно освобождаетъ человѣка отъ множества представленій, передъ которыми онъ отступилъ бы въ ужасѣ, если бы имѣлъ отчетливое понятіе о ихъ внутренней сущности; во-вторыхъ, оно дозволяетъ содержать аппетитъ въ постоянно-достаточной степени возбужденности. Защищенный бронею невѣжества, чего можетъ устыдиться гуляющій русскій человѣкъ? Того ли, что въ произнесенныхъ имъ сейчасъ угрозахъ нельзя усмотрѣть ничего другого, кромѣ безсмысленнаго бреха? Но почемъ же вы знаете, что онъ и самъ не смотритъ на всѣ свои дѣйствія, на всѣ свои слова, какъ на сплошной брехъ? Онъ ходитъ— брешетъ, ѣстъ — брешетъ. И знаетъ это, и нимало ему не стыдно.

Что тутъ есть брехъ—это несомнѣнно. Но дѣло въ томъ, что насъ настигаетъ не одиночный какой-нибудь брехъ, а цѣлая совокупность бреховъ. И вдругъ вамъ объявляютъ, что эта-то совокупность именно и составляетъ общественное мнѣніе. Сначала вы не вѣрите и усиливаете ваши наблюденія; но мало-по-малу сомнѣнія слабѣютъ. Проходитъ немного времени, и вы

уже восклицаете: какъ это странно, однакожъ!.. всѣ брешутъ!

Всѣ не всѣ, но это не мѣшаетъ предполагать, что если бъ при употребленіи нѣкоторыхъ выраженій мы давали мѣсто элементу сознательности, то дѣло отъ этого едва ли бы проиграло.

Возьмемъ для примѣра хоть одно такое выраженіе: «согнуть въ бараній рогъ». Что нужно сдѣлать, чтобы выполнить эту угрозу? Нужно перегнуть человѣка почти вчетверо, и притомъ такъ, чтобъ головой онъ упирался въ животъ, и чтобъ потомъ ноги черезъ голову перекинулись бы на спину. Тогда только образуется довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобіе бараньяго рога. Возможно ли подобное предпріятіе?—По совѣсти, это сказать нельзя. Я увѣренъ, что человѣкъ умретъ немедленно, какъ только начнутъ пригибать его голову съ тѣми усиліями, какія необходимы для подобной операціи. Когда онъ умретъ, конечно, уже можно будетъ и пригибать и наматывать, какъ угодно, но удовольствія въ этомъ занятіи не будетъ. Какая польза оперировать надъ трупомъ, который не можетъ даже выразить, что онъ цѣнитъ дѣлаемыя по поводу его усилія? По-моему, если ужъ оперировать, такъ оперировать надъ живымъ человѣкомъ, который можетъ и чувствовать, и слегка нагрубить, и въ то же время не лишенъ способности произвести правильную оцѣнку.

Но, скажутъ мнѣ, какъ же вы не понимаете, что выраженіе «въ бараній рогъ согнуть» есть выраженіе фигуральное? Знаю я это, милостивые государи, знаю, что это даже просто брехъ. Но не могу не огорчаться, что въ нашу и безъ того не очень богатую рѣчь постепенно вкрадывается такое ужасное множество бреховъ самыхъ пошлыхъ, самыхъ вредныхъ. По моему мнѣнію, не мѣшало бы подумать и о томъ, чтобы освободиться отъ нихъ.

Итакъ, Ташкентъ можетъ существовать во всякое время и на всякомъ мѣстѣ. Не знаю, убѣдился ли въ этомъ читатель мой, но я убѣжденъ настолько, что считаю себя даже вполнѣ компетентнымъ, чтобы написать довольно подробную картину нравовъ, господствующую въ этой отвлеченной странѣ. Такимъ образомъ я нахожу возможнымъ изобразить:

Ташкентца, цивилизующаго in partibus.

Ташкентца, цивилизующаго внутренности.

Ташкентца, разрабатывающаго собственность казенную (въ просторѣчіи—казнокрадъ).

Ташкентца, разрабатывающаго собственность частную (въ просторѣчіи—воръ).

Ташкентца промышленнаго.

Ташкентца, разрабатывающаго смуту внѣшнюю.

Ташкентца, разрабатывающаго смуту внутреннюю—и такъ далѣе, почти до безконечности.

Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всѣхъ имѣется одинъ соединительный крикъ:

Жрать!!

Нѣтъ ничего легче, какъ составить краткое извѣстіе о родопроисхожденіи любого «ташкентца».

Въ большинствѣ случаевъ, это дворянскій сынъ, не потому, чтобы въ дворянствѣ фаталистически скоплялись элементы всевозможнаго ташкентства, а потому, что сословіе это до сихъ поръ было единымъ дѣйствующимъ и, слѣдовательно, невольно представляло собой разсадникъ всего, что такъ или иначе имѣло возможность проявлять себя. Кромѣ пороковъ, тутъ были, конечно, и добродѣтели. Затѣмъ «ташкентецъ» непремѣнно получилъ такъ называемое классическое образованіе, т.-е. такое, которое имѣло свойствомъ испаряться немедленно по оставленіи паціентомъ школьной скамьи. Еще Грановскій подмѣтилъ это странное свойство россійскаго классицизма. «Студенты, — пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ («Біографич. очеркъ» А. Станкевича), — занимаются хорошо, пока не кончили курса», или, другими словами, до тѣхъ поръ, покуда можетъ потребоваться сдача экзамена. Послѣ сего, какъ и слѣдуетъ ожидать, наступаетъ полнѣйшая «свобода отъ наукъ».

И въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ молодого человѣка, который выходитъ изъ школы, предварительно сдавши свои экзамены. Приготовленіе къ нимъ стоило ему нѣсколькихъ недѣль самаго усидчиваго и назойливаго труда и немало безсонныхъ ночей. Въ теченіе курса онъ занимался всѣмъ, чѣмъ хотите, только не пріобрѣтеніемъ знанія. Инстинктъ подсказывалъ

ему, что даровая жизнь не требуетъ знанія и что знаніе, въ свою очередь, не можетъ даже имѣть никакихъ примѣненій къ даровой жизни. При такомъ положеніи вещей можетъ существовать только одинъ стимулъ для пріобрѣтенія знанія (въ особенности знанія съ точки зрѣнія классицизма, знанія, не имѣющаго немедленнаго и непосредственнаго приложенія) — это любознательность. Но развѣ можно обвинять кого бы то ни было за то, что онъ мало любознателенъ? Развѣ любознательность обязательна? Нашъ юноша очень хорошо понимаетъ это и убѣждается въ необходимости знанія только въ ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Нѣсколько недѣль сряду онъ находится въ возбужденномъ, почти восторженномъ состояніи. Въ теченіе этого времени онъ окачиваетъ себя множествомъ разнообразнѣйшихъ знаній, но понимаетъ только одно,—что знанія служатъ отвѣтомъ на печатные билеты, которые онъ долженъ будетъ брать наудачу со стола экзаминатора. Увы! этихъ билетиковъ такъ много, что на нѣкоторые изъ нихъ онъ даже не успѣлъ приготовить отвѣтовъ...

Но судьба видимо покровительствуетъ ему: онъ вынимаетъ именно тотъ билетикъ, который всего тверже вызубрилъ. Ура! онъ оставляетъ школу и получаетъ дипломъ!

Онъ во всеоружіи является на ту самую арену исторіи, на которой, по выраженію Грановскаго, онъ долженъ быть и матеріаломъ и зодчимъ («зачѣмъ же матеріаломъ?—недоумѣваетъ онъ про себя:— не лучше ли прямо зодчимъ?»).

Нимало не медля, отправляется онъ въ трактиръ, и этимъ открываетъ свое вступленіе на арену исторіи. Черезъ полчаса онъ уже смѣшиваетъ Ликурга съ Солономъ, а Мильтіада дружески называетъ Мараѳономъ. Проходитъ еще полчаса—и вотъ даже этотъ маскарадный разговоръ начинаетъ тяготить его. Изъ устъ его вылетаютъ какія-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а какой-то совсѣмъ не классической Машки...

Знаніе, которымъ онъ окатилъ себя, уже соскользнуло. Онъ помнитъ только одно,—что онъ получилъ дипломъ и имѣетъ право, отпраздновавши какъ слѣдуетъ освобожденіе отъ наукъ, быть «зодчимъ».

Гдѣ и въ какомъ смыслѣ зодчимъ?

Онъ устремляется подъ кровлю родительскаго дома, чтобъ отдохнуть послѣ неумѣреннаго окачиванья. Разумѣется, къ нему простираются всѣ объятія; его осматриваютъ, облюбовываютъ, говорятъ: «ну, вотъ, молодецъ!» Но никто не спрашиваетъ, чѣмъ онъ заручился и съ какимъ запасомъ пріѣхалъ. Среди восторговъ, увеселеній и ласкъ незамѣтно проходитъ нѣсколько мѣсяцевъ; наконецъ семейный праздникъ пріѣдается, наступаетъ забота объ устройствѣ праздника болѣе солиднаго и на иной манеръ.

— Надо, мой другъ, подумать о будущемъ,—говорятъ дворянскому сыну родители:—вѣдь ты не объѣдокъ какой-нибудь, чтобы голубей гонять!

— Да, надо подумать о будущемъ! — повторяетъ дворянскій сынъ и, пользуясь этимъ случаемъ, вновь припоминаетъ, что имѣетъ право быть зодчимъ...

Или голубей гонять, или быть зодчимъ— середины нѣтъ. Сомнѣнія, къ которой изъ этихъ двухъ должностей примкнетъ выборъ, нельзя допустить; колебанію можетъ подлежать только одинъ вопросъ: гдѣ и въ какомъ смыслѣ быть зодчимъ?

Нѣкоторое время юноша колеблется между гражданской палатой и земскимъ судомъ. Въ гражданской палатѣ существуютъ крѣпостныя дѣла («прекраснѣйшія, мой другъ, эти мѣста!» говорятъ растроганные родители), но тамъ «зодчество» ограничивается только устройствомъ и пріумноженіемъ собственнаго благосостоянія. Въ земскомъ судѣ менѣе шансовъ для зодчества имущественнаго, зато большой просторъ для зодчества историческаго. Историческое зодчество прельщаетъ юношу своимъ размахомъ, своею красивостью.

— Съ чѣмъ же я, однако, явлюсь на арену зодчества? что предстоитъ мнѣ созидать? что я знаю? — спрашиваетъ онъ себя, и съ непривычки ему дѣлается какъ будто совѣстно.

— Я знаю, что я ничего не знаю! — мелькаетъ въ его умѣ единственный афоризмъ, который онъ изучилъ вполнѣ твердо.

— Э, не боги горшки обжигали! — мелькаетъ, однакожъ, и другой афоризмъ, тоже достаточно твердо заученный.

Какъ всегда водится, истина позднѣйшая вытѣсняетъ истину предшествовав-

шую. Позднѣйшій афоризмъ даетъ молодому человѣку возможность позабыть объ афоризмѣ, прежде явившемся.

Рѣшено; онъ начинаетъ обжигать горшки, и вскорѣ убѣждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способнымъ и достойнымъ. Не только онъ самъ, но все, что его окружаетъ: товарищество, въ которое онъ вступаетъ, и даже масса, которую онъ предпринимаетъ обжигать — все въ одинъ голосъ удостовѣряетъ его, что онъ поистинѣ способенъ и достоинъ. Никто не спрашиваетъ его, что онъ знаетъ, что онъ умѣетъ дѣлать: такъ натуральнымъ кажется всѣмъ и каждому, что для обжиганія горшковъ совсѣмъ не требуются божественныя качества. Каково зод ество, таковы и зодчіе,—это безспорно. Каково зодчество?—странный вопросъ!—ухватилъ, смялъ, поволокъ...

И дѣйствительно, за что бы онъ ни взялся, все въ его рукахъ спорится, все выходитъ оттуда въ лучшемъ видѣ. Онъ удивляется только одному: отчего въ школѣ его учили какъ будто чему-то другому?

— А чему, бишь, учили меня въ школѣ?—инстинктивно спрашиваетъ онъ самого себя:—ахъ, да! res nullius caedet primo occupandi!-вѣрно!-Затѣмъ онъ успокоивается и окончательно рѣшаетъ въ умѣ, что нѣтъ въ мірѣ ничего столь безполезнаго, какъ нескромные вопросы.

Ворота Ташкента отворены настежь. Молодой человѣкъ влетаетъ въ нихъ съ гиканьемъ, со свистомъ, съ малиновымъ звономъ, надвинувши шапку набекрень... Онъ чувствуетъ, что надоѣдливая опека школы навсегда канула въ область прошлаго. Стыдиться нечего, да и некогда. Съ этой минуты онъ полноправный гражданинъ своей новой родины.

Съ этой же минуты онъ окончательно дѣлается продуктомъ принявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи и еще болѣе своеобразныя понятія, которыя закрываютъ плотною завѣсой остальные обрывки воспоминаній скуднаго школьнаго прошлаго. Безазбучность становится единственною творческою силой, которая должна водворить въ мірѣ порядокъ и всеобщее безмолвіе.

## Ташкентцы-цивилизаторы.

Цивилизующее значеніе Россіи въ исторіи развитія человѣчества всѣми учебниками статистики поставлено на такомъ незыблемомъ основаніи, что самое щекотливое самолюбіе должно успокоиться и сказать себѣ, что далѣе этого итти невозможно. Я узналъ объ этомъ назначеніи очень рано. Тому назадъ давно—я воспитывался въ то время въ одномъ изъ военно-учебныхъ заведеній, и какъ сейчасъ помню, что это было на слѣдующее утро послѣ какого-то великолѣпно удавшагося торжественнаго дня—мы слушали первую лекцію статистики. Профессоръ вошелъ на каѳедру и слѣдующимъ образомъ началъ свою бесѣду о цивилизующемъ значеніи Россіи. «А замѣтили ли вы, господа,—сказалъ онъ,—что у насъ въ высокоторжественные дни всегда играетъ ясное солнце на ясномъ и безоблачномъ небѣ, что ежели, по временамъ, погода съ утра и не обѣщаетъ быть хорошею, то къ вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставленіи обывателямъ зажечь иллюминацію никогда не встрѣчаетъ препонъ въ своемъ исполненіи?» Затѣмъ онъ вздохнулъ, сосредоточился на минуту въ самомъ себѣ и продолжалъ: «Стоя на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія призвана Провидѣніемъ» и т. д. и т. д.

Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображеніе. Для меня сдѣлалось яснымъ, что задача Россіи двойственна: во-первыхъ, установить на прочномъ основаніи принципъ безпрепятственности иллюминацій (политика внутренняя) и, во-вторыхъ, откуда-то нѣчто брать и куда-то нѣчто передавать (политика внѣшняя)! Если вѣрить московскимъ публицистамъ, то первая задача уже давнымъ-давно рѣшена. Несмотря на то, что торжества имѣютъ характеръ праздниковъ переходящихъ, наше солнце настолько дисциплинировано, что заранъше справляется съ календаремъ, когда ему слѣдуетъ играть. Тогда и играетъ. Но вторая задача уже во времена моей юности причиняла мнѣ не мало безпокойствъ. Я слышалъ и понималъ, что тутъ есть какіе-то «плоды», которые слѣдуетъ гдѣ-то принимать и куда-то передавать; но что это за «плоды», въ какихъ лѣсахъ они растутъ и какимъ порядкомъ ихъ передавать, т.-е. справа ли налѣво, или слѣва направо—этого никакъ не могъ взять себѣ въ толкъ. «Налѣво кругомъ!»—раздавалось въ моихъ ушахъ;

но и этотъ воинственный кличъ какъ-то не утѣшалъ, а еще пуще раздражалъ меня.

— Иванъ Петровичъ! — спрашивалъ я почтеннаго нашего профессора:—зачѣмъ же намъ передавать чужіе плоды, если у насъ есть свои собственные?

— Коли у тебя есть, такъ никто тебѣ не препятствуетъ!—отвѣчалъ Иванъ Петровичъ съ тѣмъ равнодушіемъ, которое въ то время одно только и одушевляло нашихъ педагоговъ, и которое, казалось, такъ и говорило: «что ты пристаешь ко мнѣ за разъясненіями? Я свое дѣло сдѣлалъ: отзвонилъ—и съ колокольни долой!»

— Но откуда брать? Куда передавать?— продолжалъ я настаивать.

— Придетъ пора да время—все узнаешь. Скажутъ: «спасибо»—значитъ, потрафилъ; надерутъ вихоръ—значитъ, проштрафился, надо начинать сызнова.—Итакъ, милостивые государи, находясь на рубежѣ отдаленнаго Запада и не менѣе отдаленнаго Востока, Россія самимъ Провидѣніемъ призвана...

Я страдалъ невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходилъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Что у насъ своихъ плодовъ нѣтъ.

2) Что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаемъ: руками взялъ, руками и отдалъ— вотъ и все.

3) Что мы рискуемъ при этомъ быть выдранными за вихоръ.

Результаты неясные, не удовлетворявшіе даже тогдашнихъ моихъ дѣтскихъ требованій.

Но съ теченіемъ времени самыя трудныя загадки разгадываются. Не буду подробно разсказывать здѣсь печальную исторію моихъ колебаній; но сознаюсь, что она была обильна всякаго рода разочарованіями. Была, напримѣръ, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогіи и видя, что солнце каждый день встаетъ на востокѣ, я заключилъ изъ этого, что восточные плоды суть тѣ самые, которые наиболѣе пригодны для Запада, и что стоитъ только насадить ихъ, чтобы положить конецъ всѣмъ гніеніямъ, броженіямъ и недоразумѣніямъ. Я ободрился. Нарѣзавши цѣлую рощу цивилизующихъ орудій и воскликнувъ: а ну-те, господа картофельники! посмотримъ, какъ-то вы тамъ гніете!—я устремился впередъ, и что жъ оказалось?—что мои цивилизующія орудія всѣ сразу заглохли! что пересаженныя съ почвы дѣвственной, но сравнительно тощей, они не только никого не плѣнили, но даже сами не выдержали изобилія туковъ, представляемаго западнымъ гніеніемъ!

Всякій пойметъ, какъ былъ непріятенъ для меня этотъ опытъ; но такъ какъ я все-таки твердо зналъ, что «стою на рубежѣ», то цивилизаціонное мое назначеніе нимало не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на Западѣ не принесла желаемыхъ результовъ,—разсуждалъ я самъ съ собою,—то это значитъ только, что я не потрафилъ, и что нужно потрафлять гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Меня начала интересовать мысль: не съѣздить ли для начала, поцивилизовать слегка, напримѣръ, въ Рязанскую или Тамбовскую губерніи? И не задумываясь долго, я набралъ съ десятокъ здоровыхъ, хотя и довольно голодныхъ ребятъ, хватилъ для храбрости очищенной и, крикнувъ: «ребята! съ нами Богъ!» ринулся...

Могу сказать смѣло: я дѣйствовалъ по всѣмъ правилимъ искусства, т.-е. цивилизовалъ все, что попадалось мнѣ по пути. Но и тутъ неудача не переставала меня преслѣдовать. Оказалось, что въ этихъ благодатныхъ краяхъ все уже до такой степени процивилизовано, что мнѣ осталось только преклониться ницъ передъ такими памятниками, какъ акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народныя бани), величественныя зданія волостныхъ и сельскихъ расправъ, вымощенныя известковымъ камнемъ улицы и проч. и проч. Однажды, видя, какъ на базарной площади безпомощно утопали возы съ крестьянскою жалкою кладью, я невольно воскликнулъ: да чего же имъ, мерзавцамъ, еще нужно?—и долженъ былъ отступить. Очевидно, тутъ сталкивались двѣ цивилизаціи совершенно равноправныя: одна, которую хотѣлъ насадить я съ своими «ребятами», и другая, которую постепенно насаждалъ цѣлый рядъ «ребятъ», начиная отъ знаменитаго своими проказами Ударъ-Ерыгина и кончая Колькой Шалопаевымъ.

Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывалъ мое огорченіе. Но товарищи мои крѣпко пріуныли. И не мудрено: весь запасъ очищенной былъ выпитъ безъ остатка,

а за минуту передъ тѣмъ мы съѣли послѣдній кусокъ колбасы. Въ долгъ никто не вѣрилъ... Куда дѣвать никому не нужную силу? Гдѣ найти секретъ, который давалъ бы возможность просвѣщать безъ просвѣщенія, палить безъ пороху, сѣчь безъ розогъ? Какое употребленіе сдѣлать изъ рукъ, которыя такъ и цѣпляются, такъ и хватаютъ? А главное, какъ добыть очищенной, не имѣя гроша за душой, спустивши все до послѣдней нитки, не зная никакого ремесла, никакихъ даже словъ, кромѣ: «ради стараться!» и — «съ нами Богъ!»? Всякій согласится, что положеніе болѣе безвыходное, болѣе трагическое трудно себѣ представить!

По временамъ мною овладѣвали движенія, совершенно безсознательныя. Я вскакивалъ съ мѣста и бѣжалъ впередъ, самъ не зная куда. Будь у меня въ рукахъ штофъ водки, я былъ бы способенъ въ одну минуту процивилизовать насквозь цѣлую палестину! Я бросался и на западъ и внутрь, все въ надеждѣ что-нибудь зацѣпить, что-нибудь ущемить... Тщетно! Я чувствовалъ, что во мнѣ сидитъ что-то такое, чему нѣтъ имени... или нѣтъ! это ужасное имя есть, и называется оно—разоренье! Неоткуда ничѣмъ раздобыться, некуда ничего нести... Все вздоръ, все обольщенье и прахъ! Ничего у меня не осталось, кромѣ ужаснаго аппетита!

Жррррать!!

И вдругъ я услышалъ слово, которое сразу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаилъ дыханіе.

— Таш-кентъ! Таш-кентъ!—слаще всякой музыки раздавалось въ ушахъ моихъ.

Жрррать!!

Сенька Броненосный! Ты, который выдумалъ это слово, ты не понималъ и самъ, какія новые пути оно открываетъ твоимъ добрымъ товарищамъ! Ты произнесъ его безсознательно, въ порывѣ отчаянія, но услуга, которую оказала твоя безсознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлялъ и соображалъ, товарищи шумѣли и спорили; слово «Ташкентъ» было у всѣхъ на языкѣ.

— Ташкентъ! — ораторствовалъ другъ мой, Аркаша Пустолобовъ:—но поймите же, messieurs, вѣдь это только географическій терминъ, вѣдь это просто пустое мѣсто, въ которомъ не только удобствъ, но даже ѣды никакой, кромѣ баранины, нѣтъ!

— Жрррать!—какъ-то особенно звонко раздавалось въ ушахъ.

— Однако, mon cher,—возражалъ Сеня Броненосный:—баранина... c'est trés succulant! on en fait du schischlik... qui n'est pas du tout à mépriser! Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а въ нашемъ положеніи даже далеко не лишняя.

— Жрррать!

— Позвольте! ну, положимъ—баранина, но общество женщинъ? Гдѣ, я васъ спрашиваю, найдемъ мы общество женщинъ?

Но я уже не слушалъ: уста мои шептали: стоя на рубежѣ...

Господи! ужели же, наконецъ, тѣ цѣли, о которыхъ говорилъ учебникъ статистики, будутъ достигнуты!

Я прогорѣлъ, какъ говорится, до тла. На плечахъ у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминаніе севастопольской брани, которой я, впрочемъ, не видалъ, такъ какъ извѣстіе о мирѣ застало насъ въ одинъ переходъ отъ Тулы; впослѣдствіи эта самая ополченка была свидѣтельницей моихъ усилій по водворенію началъ восточной цивилизаціи въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ), на ногахъ—соотвѣтствующія брюки. Затѣмъ, кромѣ голода и жажды, ничего!

Въ такомъ положеніи я на послѣднія деньги взялъ себѣ мѣсто въ вагонѣ третьяго класса, чтобы искать счастья въ Петербургѣ.

Я еще прежде замѣчалъ, что по какой-то странной случайности составъ путешественниковъ, наполняющихъ вагоны, почти всегда бываетъ однородный. Такъ, напримѣръ, бываютъ вагоны совершенно глупые, что въ особенности часто случалось вскорѣ послѣ заведенія спальныхъ вагоновъ. Однажды, помѣстившись въ спальномъ вагонѣ второго класса, я былъ лично свидѣтелемъ, какъ одинъ путешественникъ, не успѣвши еще осмотрѣться, сказалъ:

— Ну, теперича намъ здѣсь преотлично! ежели мы теперича даже совсѣмъ раздѣнемся, такъ тутъ никто ничего намъ сказать не можетъ!

И дѣйствительно, онъ скинулъ съ себя все, даже сапоги, и въ одномъ бѣльѣ началъ ходить взадъ и впередъ по отдѣленіямъ. Эта глупость до того заразила весь вагонъ, что черезъ минуту уже всѣ путешественники были въ одномъ бѣльѣ и радостно приговаривали:

— Ну, теперь намъ здѣсь преотлично! теперь ежели мы и совсѣмъ раздѣнемся, такъ никто ничего сказать намъ не смѣетъ!

И такимъ образомъ ѣхали всѣ вплоть до Петербурга, то раздѣваясь, то одѣваясь, и выказывая радость неслыханную.

Точно такъ же было и въ настоящемъ случаѣ; вагонъ, въ которомъ я помѣстился, можно было назвать по преимуществу ташкентскимъ. Казалось, люди, собравшіеся тутъ, были не отъ міра сего, но принадлежали къ числу выходцевъ какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло изъ отставныхъ служакъ, уже порядочно обколоченныхъ жизнью, хотя тамъ и сямъ виднѣлось и нѣсколько молодыхъ людей, жертвъ преждевременной страсти къ табаку и водкѣ. Никакимъ другимъ цивилизующимъ орудіемъ они не обладали, кромѣ сухихъ, мускулистыхъ и чрезвычайно цѣпкихъ рукъ, которыми они по временамъ какъ будто загребали. На многихъ были одѣты такія же ополченки, какъ и на мнѣ; отъ многихъ отдавало запахомъ овчины и водки. Но всѣ говорили безъ-устали, въ душѣ у всякаго жила надежда. Надо было видѣть, съ какою поспѣшностью проглатывали они на станціяхъ стаканы очищенной, съ какими судорожными движеніями отдирали зубами куски зачерствѣлой колбасы! Казалось, земля горѣла подъ ихъ ногами, и они опасались только одного: какъ бы не упустить времени!

— Да-съ,—говоритъ кто-то въ одномъ углу:—это, я вамъ доложу, сторонка! сверху палитъ, кругомъ песокъ... воды ни капли! Ну, да вѣдь мы люди привышные!

— Такъ-то такъ, только насчетъ ѣды... ну, и тово-воно какъ оно—и этого тоже нѣту.

— Помилуйте! до какой вамъ ѣды лучше! баранина есть, водка есть... выпилъ рюмку, выпилъ другую, съѣлъ кусокъ...

— То-то, что водка-то тамъ кусается; а хлѣбнаго такъ, сказываютъ, и въ заводѣ нѣтъ!

— Такъ что жъ! еще лучше—изъ рису ее тамъ дѣлаютъ! Отъ этой, отъ рисовой-то, и голова никогда не болитъ.

Въ другомъ углу:

— Въ этихъ-то обстоятельствахъ, доложу вамъ, я уже не въ первый разъ нахожусь...

— Ссс!..

— Да-съ, вотъ тоже въ шестьдесятъ-третьемъ году, сижу, знаете, слышу: шумятъ! Ну, думаю, люди нужны! Надѣваю вотъ эту самую дубленку, и прямо къ покойнику генералу! Вышелъ... хрипитъ!— «Ну?» говоритъ.—Такъ и такъ, говорю,—готовъ! — «Хорошо, говоритъ, мнѣ люди нужны»... Только и словъ у насъ съ нимъ было. Налѣво круг-омъ... Качай! И какую я, сударь, тамъ полечку подцѣпилъ—масло!

— Д-да... а теперь, пожалуй, объ полечкахъ-то надо будетъ забыть! Это такой край, что тутъ не то чтобы что, а какъ бы только перехватить что-нибудь!

— Что вы! да развѣ вы не слышали, какая у нихъ тамъ баранина?..

Въ третьемъ углу:

— Мнѣ бы, знаете, годикъ-другой,—а потомъ урвалъ свое, и на боковую!

— Что вы! что вы! да вы не разстанетесь! тамъ, я вамъ доложу, такая баранина...

Въ четвертомъ углу:

— Такъ вы изволите говорить, что тринадцать дѣлъ за собой имѣете?

— Тринадцать разъ, шельма, подъ судъ отдавалъ! двѣнадцать разъ изъ уголовной чистъ выходилъ — ну, на тринадцатомъ скапутился!

— Однако, теперь Богъ милостивъ!

— Теперь, батюшка, наше дѣло вѣрное!—завтра къ вечеру пріѣдемъ, послѣзавтра чѣмъ свѣтъ въ канцелярію... Отрапортовалъ... сейчасъ тебѣ въ зубы подорожную, прогоны и прочее... А ужъ тамъ-то, на мѣстѣ-то, какое житье! баранина, я вамъ скажу...

Въ пятомъ углу:

— Не посчастливилось мнѣ, mon cher!— говоритъ одинъ молодой человѣкъ другому (у обоихъ надъ губой едва пробивается пушокъ):—изъ школы выгнали... ну, и рѣшился!

— А я такъ долговъ надѣлалъ; вотъ отецъ и говоритъ: «ступай, говоритъ, мерзавецъ, въ Ташкентъ!»

— Однако вашъ родитель нельзя сказать, чтобы былъ очень учтивъ!

— Какое учтивъ! Такими словами ругается, что хоть любому вахмистру... Ну, да, впрочемъ, это все пустяки! А меня вотъ что пугаетъ: какъ-то тамъ будетъ насчетъ лакомства?!

— Говорятъ, будто ташкентскія принцессы очень недурны...

— Гм... вѣдь мы въ полку-то разбаловались. Вотъ тоже и объ ѣдѣ не совсѣмъ одобрительные слухи ходятъ!

— Однако я слышалъ, что баранину можно достать отличную...

Въ шестомъ углу:

— Такъ вы и съ супругой туда отправляться изволите?

— Конечно! нельзя же! — она у меня баба походная!

Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигиваютъ другъ другу. Одинъ изъ нихъ шопотомъ говоритъ: — «Ну, вотъ! значитъ, и насчетъ лакомства сомнѣваться нечего!»

— Только тяжеленько имъ будетъ, супругѣ-то вашей! — продолжаетъ одинъ изъ прежнихъ голосовъ: — вѣдь тамъ ни съѣсть, ни испить сладенько...

— И! что вы! — да тамъ, говорятъ, такая баранина...

Въ седьмомъ углу:

— Откровенно вамъ доложу: я ужъ маленько отъ медицины-то поотсталъ, потому что и выпущенъ-то я изъ академіи почесть что при царѣ Горохѣ. Однако травки нѣкоторыя еще знаю.

— Конечно! конечно! съ нихъ и этого будетъ!

— Народъ простой, непорченный - съ. Опять, сказываютъ, что у нихъ даже простая баранина отъ многихъ недуговъ исцѣляетъ!

Въ восьмомъ углу:

— Проповѣдовать—можно! Только, вотъ, сказываютъ, что они по постамъ баранину лопаютъ—ну, это истребимо съ трудомъ!

Однимъ словомъ, всѣ заканчиваютъ свои рѣчи бараниной, всѣ надѣются на баранину, какъ на каменную гору. Такъ что мой другъ Сеня Броненосный слушалъ, слушалъ, но, наконецъ, не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Если эта баранина хоть въ сотую долю такъ вкусна, какъ объ ней говорятъ, то я увѣренъ, что черезъ полгода въ странѣ не останется ни одного барана!

Я зналъ, что главнымъ двигателемъ по части ташкентской цивилизаціи состоитъ нѣкто Пьеръ Накатниковъ, мой старый товарищъ въ школѣ. Онъ занимался организаціей арміи цивилизаторовъ; онъ кликалъ кличъ и вербовалъ охочихъ людей; онъ отправлялъ ихъ цѣлыми транспортами къ мѣсту назначенія, распоряжался перевозочными средствами и такъ далѣе и такъ далѣе.

Каждаго человѣка судьба снабжаетъ какою-нибудь спеціальностью. Однихъ она дѣлаетъ спеціалистами по части юридическихъ вопросовъ, другихъ — спеціалистами по части вопросовъ педагогическихъ, третьихъ (большинство) — спеціалистами по части «очищенной» и т. п. Спеціальность Накатникова заключалась въ распространеніи цивилизаціи. Никто не имѣлъ права съ большимъ основаніемъ сказать: «стоя на рубежѣ», какъ Накатниковъ. Въ немъ это была страсть, до того живая и безпокойная, что онъ ни минуты не могъ посидѣть на мѣстѣ, чтобъ не озаботиться насчетъ того или другого темнаго уголка, какимъ-нибудь чудомъ ускользнувшаго отъ его цивилизующаго вліянія! Онъ неоднократно уже дѣлывалъ весьма замѣчательные въ этомъ смыслѣ походы, и потому былъ чрезвычайно опытенъ. Мало того, что онъ могъ заранѣе опредѣлить всѣ матеріальныя подробности похода (заготовленіе цивилизующихъ орудій, количество ихъ и т. д.), но инстинктивно угадывалъ, что кому требуется. Разумѣется, всего нужнѣе оказывались разные принципы. Такъ, напримѣръ, направляя стопы свои на западъ, онъ напередъ говорилъ, что первый принципъ, съ которымъ надлежитъ ближе познакомить обывателей—это le principe du stanovoy russe. Устремляясь внутрь, онъ знакомилъ невѣждъ съ принципомъ строгости и скорости во взысканіи податей. Теперь, когда дѣло шло объ отдаленномъ востокѣ, онъ, разумѣется, прежде всего задалъ себѣ вопросъ: чего имъ нужно?— и тотчасъ же, съ свойственною ему проницательностью, рѣшилъ, что прежде всего необходимо познакомить ташкентцевъ съ principe du télègue russe. Я это зналъ и, разумѣется, приготовилъ нѣсколько нелишнихъ соображеній въ этомъ смыслѣ.

Признаюсь, я не безъ волненія переступилъ порогъ канцеляріи, въ которой должна была рѣшиться моя участь. Накатниковъ былъ нѣкогда моимъ другомъ— это правда, но въ то же время я зналъ, что ему небезызвѣстна была моя цивилизующая дѣятельность въ одной изъ западныхъ губерній... Это меня смущало, потому что я велъ себя тогда... ахъ, какъ

я себя тогда велъ! Къ счастію, я могъ утѣшить себя тою мыслью, что современный контингентъ нашихъ цивилизующихъ силъ все тотъ же, который дѣйствовалъ и на западѣ, и внутри, и что, слѣдовательно, какъ ни бейся, а обойти насъ ни подъ какимъ видомъ нельзя.

Когда я вошелъ въ пріемную, всѣ мои вчерашніе спутники по вагону были уже налицо. Многіе изъ нихъ почистились; всѣ были положительно трезвы. Такія физіономіи встрѣчаешь только въ пріемные дни въ канцеляріяхъ да въ церквахъ передъ причастіемъ. Кромѣ ихъ, набралось еще много другого народа, столь же рѣшительнаго и столь же скудно, но чистенько одѣтаго. Пьеръ опрашивалъ каждаго по одиночкѣ и главное вниманіе обращалъ на спеціальности, могущія служить подспорьемъ въ дѣлѣ цивилизаціи. Въ большей части случаевъ онъ встрѣчалъ просителей, какъ старыхъ знакомыхъ, ужъ извѣстныхъ ему по цивилизующей дѣятельности на западѣ и внутри. По движенію его лица я убѣдился, что и мой приходъ не остался имъ незамѣченнымъ.

Странно играетъ судьба людьми. Я зналъ Пьера въ школѣ, и зналъ, что тамъ онъ игралъ незавидную роль. Какъ сейчасъ вижу его: сидитъ передъ складнымъ зеркальцемъ и вѣчно причесываетъ волосы. На губахъ улыбка, и около верхней губы, въ углу, шевелится кончикъ языка, изнутри слышится какое-то неопредѣленное мурлыканье. Чешется-чешется, потомъ нагнется, заглянетъ въ зеркальце, помурлычетъ, что-то поправитъ—и опять начнетъ мѣрно водить щеткой по головѣ. Никто не зналъ, о чемъ онъ думалъ, и даже думалъ ли о чемъ-нибудь. Въ тѣ минуты, когда онъ бывалъ свободенъ отъ туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда поневолѣ и всегда съ опредѣленною цѣлью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставомъ заведенія. И всегда при этомъ кончикъ языка прилизывалъ зачинающійся надъ верхнею губою усъ. Казалось, въ немъ происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтобъ очень умная. Въ улыбкѣ его (а онъ улыбался постоянно) видѣлось что-то сардоническое, вопросительное, какъ будто онъ самъ себя спрашивалъ: «чему же я, однако, улыбаюсь?»—Говорилъ онъ рѣдко, да и то односложными словами, ежели бы не обязательная сдача уроковъ, которая все-таки требовала нѣкоторой связности рѣчи, едва ли кто-нибудь изъ насъ имѣлъ бы возможность утверждать, въ состояніи ли онъ сказать кряду два слова. Онъ никогда не дрался, никогда ни къ кому не приставалъ; его можно было дразнить и даже щипать—онъ только пожимался и изрѣдка произносилъ единственное, завѣтное слово: «шутъ!» Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой мѣры, то онъ молча вскакивалъ изъ-за туалета, молча схватывалъ первый попавшійся подъ руку предметъ: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырялъ ею въ обидчика. Такимъ образомъ, молча, улыбаясь и какъ-то машинально слѣдуя за всѣми товарищескими движеніями, прожилъ онъ съ нами шесть лѣтъ. Никто не могъ назвать его своимъ другомъ, но всѣ видѣли въ немъ добраго товарища. Въ курсѣ онъ вышелъ послѣднимъ.

И вдругъ мы узнаемъ, что нашъ Петя трется около какого-то генерала, и что тотъ употребляетъ его въ качествѣ цивилизатора!..

Но счастье ужасно измѣняетъ человѣка. Въ ту минуту, какъ я пишу эти строки, Накатниковъ уже состоитъ въ чинѣ статскаго генерала, имѣетъ на груди очень почтенное украшеніе... и говоритъ! Я не могу утверждать, что онъ говоритъ разумно, но онъ говоритъ, и этого уже для меня достаточно. Слова слѣдуютъ другъ за другомъ въ порядкѣ; по временамъ можно даже различить мысленное присутствіе знаковъ препинанія. Чего больше нужно? Прежняя бродячая улыбка еще мелькаетъ на губахъ, но теперь она уже имѣетъ характеръ благосклонности; кончикъ языка попрежнему безпокойно прилизываетъ искусно заправленные концы усовъ, но теперь это движеніе уже не кажется просто инстинктивнымъ, а выражаетъ какую-то озабоченность. Голова его причесана еще тщательнѣе; безукоризненные бакенбарды обрамливаютъ блистающее свѣжестью лицо; но ничто не напоминаетъ ни о долгихъ часахъ туалета ни о томительныхъ совѣщаніяхъ по поводу какого-нибудь непокорнаго волоска. Напротивъ того, кажется, что Пьеръ исключительно поглощенъ заботами своей мис-

сіи, а прическа тутъ такъ-себѣ... пришла сама собою.

Какъ произошла эта метаморфоза, я съ точностью объяснить не могу, но несомнѣнно, что тутъ большую роль играло то случайное положеніе, которое Пьеръ умѣлъ занять. Положенія обязываютъ. Съ расширеніемъ горизонтовъ, явленія самыя общеизвѣстныя и безспорныя утрачиваютъ свою рѣзкость и даже измѣняютъ свои первоначальныя названія. Глупость начинаетъ называться благодушіемъ, коварство—дипломатіей, мошенничество—искусствомъ жить на свѣтѣ. Въ чинѣ коллежскаго регистратора Пьеръ былъ глупъ; теперь, въ чинѣ штатскаго генерала, онъ сдѣлался благодушенъ. Глупость непріятна и ежели не представляетъ положительнаго порока, то, во всякомъ случаѣ, никого не украшаетъ; напротивъ того, благодушіе есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...

Пьеръ обошелъ всѣхъ по очереди: всѣмъ сказалъ слово ободренія и надежды, и когда приблизился къ моему сосѣду, то я совершенно явственно услышалъ какъ бы случайно оброненное имъ слово: «шутъ!»

Я понялъ, что это слово было пущено по моему адресу и, признаюсь откровенно, весь вспыхнулъ отъ удовольствія. Это слово разомъ перенесло меня къ милой односложности нашего школьнаго прошлаго. Мало того, оно заключало въ себѣ отпущеніе всѣхъ моихъ недавнихъ проказъ. Я просвѣтлѣлъ и переминался съ ноги на ногу, въ ожиданіи аудіенціи. Я видѣлъ въ немъ уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшаго завидное положеніе, а какое-то высшее существо, которому я обязанъ былъ принести въ жертву все. «До послѣдней капли крови!» «не щадя живота!» «не токмо за страхъ, но и за совѣсть!» — вотъ единственныя формулы, которыя безсознательно вырабатывали мои мозги подъ вліяніемъ внезапнаго прилива преданности. Наконецъ просители были удовлетворены, и мы остались вдвоемъ.

— Шутъ!— повторилъ онъ, но такъ мило, такъ безконечно - благосклонно, что я могъ только произнести:

— Ради стараться, ваше превосходительство!

— Шутъ!

Онъ съ «небесною» улыбкой оглядѣлъ меня съ головы до ногъ и, остановившись на моемъ ополченскомъ казакинѣ, продолжалъ:

— Ба! и старый другъ на плечахъ!

Я былъ побѣжденъ и уничтоженъ. Со слезами на глазахъ я разсказалъ печальную повѣсть моихъ грѣхопаденій, признался ему во всемъ, даже...

— Ваше превосходительство! Я здѣсь передъ вами... какъ передъ отцомъ! казните, но не отнимайте отъ меня вашего расположенія!—заключилъ я прерывающимся отъ волненія голосомъ.

Такая довѣренность видимо польстила ему; онъ былъ тронутъ и съ чувствомъ пожалъ мою руку. Прошедшее было забыто; будущее открывалось, полное надеждъ и загадочныхъ предпріятій. Онъ объяснилъ мнѣ всю важность предстоящихъ задачъ, и, постепенно развивая свои мысли, de fil en aiguille, пришелъ, наконецъ, къ тому, что онъ называлъ «la question du télègue russe». Этотъ вопросъ, по его мнѣнію, долженъ былъ явиться отправнымъ пунктомъ нашей будущей цивилизующей дѣятельности.

— Первоначальный способъ передвиженія,—говорилъ онъ,—несомнѣнно, представляется намъ въ собственныхъ ногахъ человѣка. Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этимъ способомъ, удовлетворяя своимъ немногочисленнымъ нуждамъ. Тѣмъ же способомъ двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищъ нашихъ...

— Въ недавнее время заведены «посыльные», которые тоже... — осмѣлился вставить я отъ себя.

— Ну, да, мы, наши прародители и «посыльные» — все это пользуется первоначальными способами передвиженія. Но не прерывай меня, mon cher, потому что мнѣ нужно высказать мою мысль вполнѣ. Итакъ, я сказалъ, что первоначальный способъ передвиженія заключается въ пѣшковой ходьбѣ. Но по мѣрѣ того, какъ человѣкъ порабощаетъ природу и укрощаетъ звѣрей, способы передвиженія усложняются: на смѣну пѣшковой ходьбы является ѣзда верхомъ на четвероногихъ. Выступаетъ понятіе о собственности, которая, на основаніи правила: omnia mea mecum porto, навьючивается, вмѣстѣ съ всадникомъ, на одно и то же животное.

Это уже шагъ впередъ, но согласись со мной, что шагъ очень ограниченный (я сдѣлалъ знакъ головой и нѣсколько подкатилъ глаза, какъ будто хотѣлъ сказать: oh, comme je vous comprends, mon général!)... Собственность ничтожна, перевозочныя средства тоже—вотъ ключъ для объясненія существованія народовъ пастушескихъ, кочевыхъ. Они бродятъ, кочуютъ, не могутъ усидѣть на мѣстѣ... enfin, tout s'explique! Наконецъ появляется телѣга—этотъ неудобный и трясскій экипажъ! но, посмотри, какую онъ революцію произведетъ! Своею неудобностью онъ заставитъ обывателя остеречься излишнихъ передвиженій и тѣмъ самымъ привяжетъ его къ землѣ. Эта привязанность, съ своей стороны, породитъ понятіе о навозѣ. Видя постепенное накопленіе этого удобрительнаго матеріала, простодушный пастухъ спроситъ себя, что такое навозъ, и въ первый разъ задумается, въ первый разъ осѣнится мыслью, что навозъ, какъ и все въ природѣ, существуетъ не безъ цѣли. Онъ начинаетъ дорожить навозомъ, онъ видитъ въ немъ ses pénates et ses lares— и вотъ устраиваетъ около него свое жилище и незамѣтно для самого себя вступаетъ въ періодъ осѣдлости (oh! comme je vous comprends! comme je vous comprends, mon général!). Понимаешь? Человѣкъ заводитъ телѣгу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходитъ передъ нашими глазами незамѣченнымъ, совершенно достаточно, чтобъ онъ пріобрѣлъ элементарныя понятія о навозѣ и навсегда оставилъ кочевыя привычки! Но этого мало: имѣя телѣгу, онъ полагаетъ основаніе прочной цивилизаціи (oh, comme je vous comprends!). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу мы можемъ сразу произвести въ бытѣ этихъ несчастныхъ бродягъ, ничѣмъ не рискуя, ничего даже съ собою не принося... кромѣ телѣги! кромѣ простой русской телѣги! Aussi, je leur en donnerai... du télègue! Га!

Онъ кончилъ, а я стоялъ и все слушалъ. Я удивлялся только тому, какъ это мнѣ самому сто разъ не пришли въ голову мысли, столь простыя и естественныя. Каждый день я вижу сотни телѣгъ, а никогда-таки не приходило на мысль, что тутъ-то именно и сидитъ вся суть цивилизующаго русскаго дѣла. Повидимому, и Пьеръ убѣдился, что я понялъ его намѣренія, потому что прервалъ свои объясненія и ласково сказалъ мнѣ:

— Ну, на первый разъ довольно! Я сегодня же доложу о тебѣ нашему генералу, и мы запишемъ тебя въ гвардію. Да, mon cher, и у насъ, ташкентцевъ, есть свои чернорабочіе и свои гвардейцы. Que veux-tu! Первые — это такъ называемые: les pionniers de la civilisation; они идутъ впередъ, прорубаютъ просѣки, пускаютъ кровь и такъ далѣе. Всѣ эти люди, которыхъ ты сейчасъ у меня видѣлъ,—все это кровопускатели. Если они погибаютъ, то въ общемъ ходѣ дѣла это почти остается незамѣченнымъ. Этихъ кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они такъ и лѣзутъ изъ всѣхъ щелей на смѣну другъ другу. Совсѣмъ другое дѣло—наша цивилизаціонная гвардія. Люди гвардіи не прорубаютъ сами просѣкъ, а только указываютъ и дирижируютъ работами. Имъ не позволяется погибать, потому что имъ ведется подробный счетъ. Сверхъ того, они получаютъ двойныя прогонныя и порціонныя деньги!

Должно-быть, впечатлѣніе, произведенное на меня послѣдними словами, было особенно сильно, потому что Накатниковъ благосклонно улыбнулся и сказалъ:

— Понимаю! соловья баснями не кормятъ! C'est juste! Желаніе скорѣе разрѣшить вопросъ «о полученіи» съ твоей стороны совершенно естественно, особливо если принять во вниманіе, что «старый другъ», котораго ты такъ добросовѣстно хранишь на плечахъ, долженъ какъ можно скорѣе уступить мѣсто новому другу, болѣе приличной наружности. Завтра это дѣло будетъ покончено, а покамѣстъ...

Онъ далъ мнѣ некрупную ассигнацію и отпустилъ отъ себя, потому что новыя толпы просителей ожидали его. Я не шелъ домой, а летѣлъ, точно у меня выросли сзади крылья. По дорогѣ я забѣжалъ въ Палкинъ трактиръ и разомъ съѣлъ двѣ порціи бифштекса.

---

Цѣлый день я получалъ деньги.

Когда я пришелъ въ главное казначейство и явился къ тамошнему генералу (на всякомъ мѣстѣ есть свой генералъ), то даже этотъ, повидимому, нечувствительный человѣкъ изумился разнообразію парагра-

фовъ и статей, которые я сразу предъявилъ. А что всего важнѣе, денегъ потребовалась куча неслыханная, ибо я, въ качествѣ ташкентскаго гвардейца, кромѣ собственныхъ подъемныхъ, порціонныхъ и проч., получалъ еще и другія суммы, потребныя преимущественно на заведеніе цивилизующихъ средствъ...

§ 15. Цивилизующія средства.

Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ.

§ 26. Береговое довольствіе.

Ст. 14. Призрѣніе шлющихся и охочихъ людей. И т. д., и т. д.

Я считалъ деньги съ утра и до пяти часовъ. Сеня Броненосный, который получалъ при этомъ свои тощіе *ординарные* порціоны и прогоны, только облизывался.

Я помню, что въ этотъ день я все помнилъ.

Я помню, что на другой день отправился на желѣзную дорогу и взялъ мѣсто въ спальномъ вагонѣ второго класса.

Я помню, что былъ одѣтъ въ *хорошее* платье, что ѣлъ *хорошее* кушанье, что старая ополченка была спрятана въ чемоданъ. Черезъ плечо у меня висѣла дорожная сумка, въ которой хранились казенныя деньги.

Вотъ это я помню...

---

Но какимъ образомъ я очутился въ Ростовѣ-на-Дону?!! И не въ хорошемъ платьѣ, а въ моей старой ополченской поддевкѣ?!! Гдѣ моя сумка?!!

---

Ужели я пріѣхалъ сюда единственно для того, чтобъ познакомиться съ градскимъ головою Байковымъ, котораго я, впрочемъ, не видалъ?!!

Не можетъ быть!

---

Я помню: я ѣхалъ...

Я ѣхалъ, я ѣхалъ, я ѣхалъ...

Я ѣхалъ.

Вѣроятно, по дорогѣ я засмотрѣлся на какую-нибудь постороннюю губернію и...

Господи!

Тутъ есть какое-то волшебство. Злой волшебникъ превратилъ въ Ташкентъ Рязанскую губернію. Рязанскую или Тульскую?!

Я помню: я пилъ...

Въ Таганрогѣ меня арестовали.

— Откуда? куда?—спрашивали меня.

Я помню: я ѣхалъ...

— Гдѣ казенная сумка?

Я помню: я пилъ...

Что случилось? гдѣ я нахожусь?

Кругомъ меня ходятъ какія-то тѣни и говорятъ: «стоя на рубежѣ»... Потомъ приходятъ другія тѣни и говорятъ: „le principe du télègue russe“...

§ 15. Ст. 20. Заготовленіе телѣгъ!!

Но вѣдь надобны же средства, mon cher! Телѣга... конечно, это не Богъ знаетъ драгоцѣнность какая, но вѣдь надо построить ее! Гдѣ же средства... коли я ихъ всѣ пропилъ... mon cher!

## Они же.

Ахъ! какъ я тогда себя велъ!

Ташкентъ еще завоеванъ не былъ; на западѣ дѣло было покончено; мы были свободны, но страсть къ завоеваніямъ не умирала.

Ничего другого не оставалось, какъ обратиться внутрь...

Я помню, это было лѣтомъ. Петербургъ погибалъ, стихіи смѣшались. Наводненіе слѣдовало за наводненіемъ; Адмиралтейство уже уплыло; съ часу на часъ ожидали что поплыветъ Петропавловская крѣпость. Публицисты гремѣли; общественное мнѣніе требовало быстротой и дѣйствительной немезиды. Образовались, какъ водится, подъ предводительствомъ отставныхъ генераловъ, нѣсколько частныхъ компаній «для искоренія зла»; акціи разбирались нарасхватъ, тѣмъ болѣе, что цѣна имъ была назначена копейка серебромъ. Какъ въ 1612 году, общество пыталось спасти себя само, безъ разрѣшенія начальства. Объявленъ былъ походъ противъ неблагонадежныхъ элементовъ; крестоносцевъ потребовалось множество. Къ одной изъ такихъ компаній, подъ названіемъ: «Робкое усиліе благонамѣренности», приступилъ и я.

Какъ только кто-нибудь кликнетъ кличъ— я тутъ. Не успѣетъ еще генералъ (не знаю почему, но мнѣ всегда представляется, что кличетъ кличъ всегда генералъ) ротъ разинуть, какъ уже я выростаю изъ-подъ земли и трепещу предъ

его превосходительствомъ. Гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы углу ни скитался— я чувствую. Сначала меня мутитъ, потомъ начинаютъ вытягиваться ноги, — вытягиваются, вытягиваются, бѣгутъ, бѣгутъ, и едва успѣетъ вылетѣть звукъ: «Ребята! съ нами Богъ!»—я тутъ.

— Куда прикажете, ваше-ство?

— А! ты опять здѣсь!

— Точно такъ, ваше-ство!

— Благодарю, мнѣ люди нужны!

Такъ именно было и тогда. Не помню, въ какой губерніи я скитался, но помню, въ карманѣ не было ни гроша. И еще помню: мѣра беззаконій исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушакомъ, подкрѣпиться тремя-четырьмя рюмками очищенной, сѣсть въ телѣгу, перекреститься— все это было дѣломъ одной минуты. Затѣмъ скакать, скакать и скакать... И дѣйствительно, я прискакалъ въ тотъ моментъ, когда генералъ произносилъ возмутительную рѣчь. Эта рѣчь произвела на меня такое глубокое впечатлѣніе, что я теперь помню ее отъ слова до слова. «Господа!—сказалъ онъ:—не посрамимся, но ляжемъ костьми. Такъ, мм. гг., говорилъ блаженной памяти его высочество великій князь Святославъ Игоревичъ, намѣреваясь вступить въ сокрушительный бой съ Іоанномъ Цимисхіемъ»... Генералъ остановился, покраснѣлъ и прибавилъ: «Господа! я не ораторъ, но, какъ человѣкъ русскій, могу сказать: ребята, наша взяла!..»

Въ это самое время я вошелъ. Къ удивленію, пріемная зала была уже полна соискателей всѣхъ возрастовъ, состояній и націй. Очевидно, мутило меня не одного. Фонды компаніи въ одну минуту возвысились съ копейки до ломанаго гроша. Сочувствующіе, желающіе поживиться, тѣснились, толкали другъ друга, бросали кругомъ завистливые взгляды, такъ что генералъ, чтобы предотвратить несчастіе, долженъ былъ сказать: «Господа! не торопитесь! всѣмъ будетъ мѣсто! мнѣ люди нужны!» И затѣмъ, обращаясь къ одному изъ приближенныхъ, продолжалъ: «Какой однако, прекрасный наплывъ чувствъ!»

Насъ тутъ же всѣхъ поголовно переписали и велѣли немедленно явиться въ правленіе для окончательнаго распредѣленія по отрядамъ. Я помню, въ числѣ соискателей меня въ особенности поразилъ одинъ инородецъ: при трехаршинномъ ростѣ и соразмѣрной тучности, онъ выражалъ такую угрюмую рѣшительность, что самые невинные люди немедленно во всемъ сознавались при одномъ его приближеніи.

Генералъ нашъ долго любовался имъ, но, замѣтивъ, что это предпочтеніе во многихъ начинаетъ возбуждать чувство патріотической ревности, тотчасъ же поспѣшилъ разувѣрить насъ. «Господа!—сказалъ онъ:—не думайте, прошу васъ, чтобы у насъ требовались исключительно люди сверхъестественнаго роста! Нѣтъ,—въ нашемъ предпріятіи найдется мѣсто для людей всякаго роста, всякой комплекціи. Одно *непремѣнное* условіе—это русская душа!» Слово «непремѣнное» генералъ произнесъ съ особымъ удареніемъ.

— А нѣмцу можно?—раздался въ толпѣ чей-то голосъ. Небесная улыбка озарила лицо генерала.

— Нѣмцу можно! нѣмцу всегда можно! потому что у нѣмца всегда русская душа!— сказалъ онъ съ энтузіазмомъ и, обращаясь вновь къ своему приближенному, прибавилъ:—о, если бы всѣ русскіе обладали такими русскими душами, какія обыкновенно бываютъ у нѣмцевъ!

Генералъ на минуту задумался и пожевалъ губами.

— Наполеонъ III сказалъ правду, — произнесъ онъ какъ бы въ раздумьи:— «что такое истинный французъ?»—спросилъ онъ себя въ одну изъ трудныхъ минутъ, и отвѣчалъ: «истинный французъ есть тотъ, который исполняетъ приказанія генерала Пьетри!» И съ этихъ поръ, какъ онъ сказалъ себѣ это, все у него пошло хорошо!

— Такъ точно, ваше пр-ство!—прогремѣли мы хоромъ.

Инородецъ шевелилъ глазами и простиралъ руки. Наконецъ перепись кончилась. Оказалось 666 соискателей, изъ нихъ 400 (все-таки большинство!) русскихъ, 200 нѣмцевъ съ русскими душами, тридцать три инородца безъ души, но съ развитыми мускулами, и 33 поляка. Послѣднихъ генералъ тотчасъ же вычеркнулъ изъ списка. Но едва онъ успѣлъ отдать соотвѣтствующее приказаніе, какъ «безмозглые» обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся націи.

— Мы тоже русскіе!—съ наглостью говорили они.—У насъ тоже русскія души!

— Но вы католики, господа!—усовѣщивалъ генералъ:—а этого я ни въ какомъ случаѣ потерпѣть не могу!

— Какіе мы католики—мы и въ церкви никогда не бываемъ!

— А! если такъ—это другое дѣло, но, предваряю, худо будетъ тому, кто солгалъ...

И затѣмъ, приказавъ возстановить поляковъ въ правахъ и обращаясь къ намъ, прибавилъ:

— Ну, теперь съ Богомъ, господа!

Съ этими словами предсѣдатель компаніи «Робкое усиліе благонамѣренности» удалился въ кабинетъ, оставивъ всѣхъ очарованными ..

Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили отъ него и весело разговаривали.

— Ангелъ!—говорили одни.

— Какое знаніе человѣческаго сердца!—разсуждали другіе.

Я лично былъ въ такомъ энтузіазмѣ, что, подходя къ Палкину трактиру и встрѣтивши «стриженую», которая шла по Невскому, притоптывая каблучками и держа подъ мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:

— Тише! Ммеррзавка!

---

Почему я это сказалъ, я до сихъ поръ объяснить себѣ не могу. Но оказалось, что я попалъ мѣтко, потому что негодная поблѣднѣла, какъ полотно, и поскорѣе сѣла на извозчика, чтобъ избѣжать народной Немезиды. Есть какой-то инстинктъ, который въ важныхъ случаяхъ подсказываетъ человѣку его дѣйствія, и я никогда не раскаивался, повинуясь этому инстинкту. Такъ, напримѣръ, когда я цивилизовалъ на западѣ, то не иначе входилъ въ домъ пана, какъ восклицая: А ну-те вы, такіе-сякіе, «кши, пши, вши», разсказывайте! думаете ли вы, что «надзѣя» еще съ вами?

Я очень хорошо понималъ, что остроумнаго тутъ нѣтъ ничего. «Надзѣя»—надежда, «смѣтанка» — сливки, «до зобаченья»—до свиданія, — конечно, все это слова очень обыкновенныя, но—странное дѣло!—мы, просвѣтители, не могли выносить ихъ. Намъ казалось—ну, какъ не бить людей, которые произносятъ такія слова? Но въ то же время я былъ убѣжденъ, что паны найдутъ мою шутку необыкновенно веселою. И дѣйствительно, они просто надрывали животы отъ смѣха, когда я произносилъ свое привѣтствіе. (Каюсь, этому смѣху многіе даже были обязаны своимъ спасеніемъ).

— О! какой панъ миліи!—восклицали они хоромъ. Милій! замѣтьте, «милій», а не «милый!» Ахъ, прахъ васъ побери!

Точно такъ было и теперь.

Повидимому, я не сказалъ ничего, а вышло, что сказалъ очень многое. Къ несчастью, я былъ голоденъ, и къ тому не имѣлъ свободнаго времени слѣдить за негодяйкой. Однако я все-таки былъ доволенъ, что успѣлъ изубытчить ее на четвертакъ, который она должна была заплатить извозчику.

У Палкина была почти такая же давка, какъ и въ генеральской пріемной, такъ какъ всѣ мы на первый случай получили по нѣскольку монетъ и спѣшили вознаградить себя за дни недобровольнаго воздержанія, которое каждый изъ насъ передъ тѣмъ вытерпѣлъ. Но замѣчательно, что никто не спрашивалъ себѣ горячаго, а всѣ насыщались какъ-то непослѣдовательно, урывками, большею частью солеными и копчеными закусками, заѣдая ими водку. Трехаршинный инородецъ былъ тоже здѣсь, но водки не пилъ, а выпилъ жбанъ кислыхъ щей и съѣлъ четверть жеребенка. Проглотивъ послѣдній кусокъ, онъ отяжелѣлъ и долгое время не могъ даже моргнуть глазами. Многіе пользовались этимъ и безнаказанно показывали ему свиное ухо.

На всѣхъ пунктахъ шли оживленные разговоры.

— Нужно думать, что намъ придется дѣйствовать по ночамъ, — догадывались одни.

— Еще бы! Днемъ-то «его» съ собаками не сыщешь, а ночью—динь, динь! Команъ ву порте ву? Wie viel haben sie gewesen? Сейчасъ же, ракалію, за волостное правленіе—не угодно ли прогуляться? Да не топыриться, сударь мой! Н-н-е-то-пырить-ся!

— А если же онъ уфъ спальни?—спросилъ тотъ самый нѣмецъ, который сомнѣвался, какая у него душа.

— А если же онъ уфъ спальни?—поддразнилъ его одинъ изъ собесѣдниковъ:—такъ что же, что уфъ спальни! Тебѣ же,

нѣмцу, лучше—прямо туда и при! Можетъ, на стрижечку интересненькую набредешь!

Нѣмчикъ покраснѣлъ.

— Что? Побагровѣлъ? Ахъ, нѣмецъ, нѣмецъ! чувствуетъ мое сердце, что добра отъ тебя не будетъ. Ты пойми: тутъ каждая минута милліонъ триста тысячъ червонцевъ стоитъ, а ты ломаешься: «уфъ спальни!»

— О, нѣтъ! я ничего! мнѣ очень пріятно!

— То-то «ничего!» Ты иди прямо, потому дохнуть тутъ некогда!

— Это дѣло нужно умненько вести,— разсуждали въ другомъ мѣстѣ: — потому тутъ какъ разъ наскочишь!

— Не можетъ этого быть!

— Что вы говорите: «не можетъ быть!» Я самъ, сударь, на собственной своей персонѣ испыталъ! Видите это пятно? Вотъ это!.. Ну? Вы думаете, что это родимое! нѣтъ, государь мой, это...

— Я полагаю, надо сначала вызвать дворника, — ораторствовали въ третьемъ мѣстѣ:—а когда онъ обробѣетъ, то потребовать, чтобъ указалъ путь... Когда же такимъ образомъ настоящая берлога будетъ приведена въ извѣстность, то изловить «его» не будетъ составлять никакой трудности... Нужно только, знаете, съ шумомъ, съ трескомъ, чтобъ впечатлѣніе было полное...

— Но если, заслышавъ шумъ, «онъ» уйдетъ?

— Куда уйдетъ, подъ столъ, что ли, спрячется? или въ щель заползетъ? Такъ за волосы оттуда вытащимъ, государь мой, за волосы!..

— Но если «онъ» вдругъ лишитъ себя жизни?

— Те-те-те, это волосатый-то! онъ-то лишитъ себя жизни? Да вы, сударь, сталобыть, не знаете ихъ! Это благородный человѣкъ... ну, тотъ, конечно... для благороднаго человѣка жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатаго!

Словомъ сказать, всѣ шумѣли, всѣ волновались. Одинъ инородецъ былъ исключительно преданъ варенію принятой имъ пищи. Вскорѣ, впрочемъ, и онъ получилъ способность моргать глазами и поворачивать головой. Тогда онъ повернулся всѣмъ корпусомъ къ Невскому и, увидѣвъ на улицѣ жалкую собачонку, которая на трехъ ногахъ жалась около тротуара, отперъ окно, вынулъ изъ кармана небольшой камень и пустилъ имъ въ собаку. Послѣдовалъ визгъ, и на губахъ его показалась улыбка. Только тогда мы поняли, какую роль долженъ былъ играть этотъ человѣкъ въ предстоящемъ походѣ. Всѣ на мгновеніе притихли.

Я вслушивался въ эти разговоры, и желчь все сильнѣе и сильнѣе во мнѣ кипѣла. Я не знаю, испыталъ ли читатель это странное чувство самораздраженія, когда въ человѣкѣ первоначально зарождается ничтожнѣйшая точка, и вдругъ эта точка начинаетъ разрастаться, разрастаться, и, наконецъ, охватываетъ всѣ помыслы, преслѣдуетъ, не даетъ ни минуты покоя. Однажды вспыхнувъ, страсть подстрекаетъ себя сама и не удовлетворяется до тѣхъ поръ, пока не исчерпаетъ всего своего содержанія.

Что до меня, то я ощущалъ это чувство неоднократно. Обстановка, совѣщанія, ожиданіе предстоящихъ подвиговъ — все это дѣйствуетъ опьяняющимъ образомъ. Такъ было и теперь. Чѣмъ болѣе я слушалъ, тѣмъ болѣе напрягались мои душевныя силы, тѣмъ болѣе я ненавидѣлъ. Ночь, робѣющій дворникъ, бряцанія о тротуары и черныя лѣстницы, remue ménage въ бумагахъ и письмахъ—таково начало! Потомъ: краткое мерцаніе утренней зари, медленный благовѣстъ къ заутренямъ, дрожь на проникнутомъ ночною свѣжестью воздухѣ; рюмка водки въ ближайшей харчевнѣ, шумъ, смѣхъ, изумленіе раннихъ прохожихъ... стой! слу-шай! Въ комъ не произведетъ опьяненія подобная перспектива?

Въ такомъ-то возбужденномъ состояніи я вышелъ изъ Палкина трактира и уже хотѣлъ направить шаги въ свою квартиру, какъ вдругъ увидѣлъ идущаго навстрѣчу товарища по школѣ. Натурально, бросились другъ къ другу; изліянія, воспоминанія, вопросы... Радость была взаимная, потому что въ школѣ мы были очень дружны, а послѣ того потеряли другъ друга изъ вида, и, слѣдовательно, ни онъ обо мнѣ ни я объ немъ не имѣли рѣшительно никакихъ свѣдѣній... И вдругъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ задушевной бесѣды, онъ говоритъ мнѣ:

— Ахъ, какое время, мой другъ! Какое ужасное время!

Я инстинктивно взглянулъ на него; онъ уловилъ этотъ взглядъ, и вдругъ... все понялъ!

— То-есть, ты понимаешь меня,— заспѣшилъ онъ, какъ-то странно смѣясь мнѣ въ лицо:—не въ томъ смыслѣ ужасное... пожалуйста, ты не подумай... однако, прощай! Мнѣ надо по одному дѣлу!

И онъ удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я нѣсколько минутъ, какъ статуя, стоялъ на одномъ мѣстѣ и безмолвно кусалъ усы. Если бы въ эту минуту возлѣ меня развернулась пропасть, я навѣрное бросился бы въ нее!..

Меррзавецъ!

---

Pardon! Вѣдь было, однако, время... когда я былъ либераломъ!

Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня съ недовѣріемъ: да, было время, когда я не только былъ либераломъ, но былъ близокъ къ нѣкоторымъ знаменитымъ и уважаемымъ личностямъ (увы! теперь уже умершимъ!). Мы составляли тогда тѣсную, дружескую семью; у всѣхъ насъ былъ одинъ девизъ: «добро, красота, истина».

Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма съ классицизмомъ, движеніе, возбужденное Бѣлинскимъ, Луи-Бланъ, Жоржъ-Зандъ—все это увлекало насъ и увлекало совершенно искренно. Насъ трогали идеи 48 года.

Какимъ образомъ все это примирилось съ уставомъ благоустройства и благочинія?

Это сдѣлалось очень странно, но, я помню, тутъ произошелъ какой-то сумбуръ.

Была одна минута, единственная минута, когда вдругъ все перемѣнилось, когда выползли изъ норъ какіе-то волосатые люди и начали доказывать, что «добро», «красота», «истина»—все это только слова, которыя непремѣнно нужно наполнить содержаніемъ, чтобы они получили значеніе.

— Что разумѣете вы, напримѣръ, подъ «добромъ»?—спрашивали насъ эти люди, и спрашивали такъ дерзко, такъ самоувѣренно, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ возможность «распорядиться» исчезла навсегда изъ всѣхъ кодексовъ.

Однако мы были настолько любезны (замѣтьте: мы могли и не быть такими!), что отвѣчали.

Я помню, я въ первый разъ тогда покраснѣлъ. До тѣхъ поръ все это было мнѣ такъ ясно, такъ безспорно — и вдругъ... призываютъ къ допросу!

— Добро! — говорили мы: — но развѣ каждому изъ насъ не присуще это чувство? Развѣ каждый изъ насъ не трепещетъ при одномъ его имени? Развѣ не страненъ самый вопросъ: что такое добро?

Сказавъ это, мы сѣли, ибо были увѣрены, что отвѣтили.

— Ну-съ?—услышали мы вмѣсто возраженія.

— Наконецъ,— продолжали мы, — если въ трудныя минуты жизни мы жаждемъ утѣшенія, то гдѣ же мы ищемъ его, какъ не въ высокихъ идеяхъ добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняетъ достаточно, какое значеніе, какую цѣну имѣетъ добро?

Мы кончили и опять сѣли, ожидая, что «они» поймутъ. Но въ отвѣтъ на наши слова послышался холодный, какъ бы беззвучный смѣхъ. Я понялъ, что этотъ смѣхъ называется «отрицаніемъ», и впервые тогда произнесъ: «Меррзавцы»!

Послѣ этого пошло дальше и дальше; послѣ «отрицанія» пришло «неуваженіе авторитетовъ», потомъ «безвѣріе», потомъ «посягательство на чужую собственность», затѣмъ еще и еще... Теперь я чувствую, что я пришелъ, что я у пристани.

Иногда меня интересуетъ вопросъ: что было бы, если бъ былъ живъ Грановскій? Остался ли бы я его другомъ? Я понимаю, что самъ по себѣ этотъ вопросъ праздный; но сознаюсь, въ первое время моего вступленія на арену благочинія, онъ волновалъ меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагалъ этотъ вопросъ на разрѣшеніе компетентнымъ людямъ. Многіе изъ нихъ уклонялись, многіе не отвѣчали ни да ни нѣтъ; но одинъ просто-напросто сразилъ меня.

— Вы!—почти крикнулъ онъ на меня:— вы... другъ Грановскаго? Вы!.. Да онъ бы на порогъ квартиры своей васъ не пустилъ!..

Меррзавецъ!

---

Я уже сказалъ, что мы дѣйствовали отрядами.

Несмотря на позднее время, «онъ» сидѣлъ и читалъ книгу; подруга его беззаконій спала. Когда мы позвонили, «онъ» самъ отворилъ намъ дверь. «Онъ» не казался испуганнымъ, ни даже изумленнымъ, но какъ будто старался понять... Наконецъ, «онъ» понялъ.

Первымъ моимъ движеніемъ было овладѣть книгой.

Содержаніе ея было физіологическое.

— Вотъ эти-то книги и доводятъ васъ, милостивый государь, до всего! — сказалъ я, и ужъ не помню, какъ это случилось, но бросилъ книгу на полъ и началъ топтать ее ногами.

«Онъ» съ любопытствомъ и даже какъ бы съ жалостью слѣдилъ за моими непроизвольными движеніями, однако не протестовалъ.

Изъ другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.

— Это кто?—спросилъ я, указывая на нее.

— Это... моя жена.

— Около ракитоваго куста вѣнчаны?

— Къ сожалѣнію, я не настолько знакомъ съ отечественными былинами, чтобы отвѣчать на вашъ вопросъ.

Это была уже дерзость.

— Я заставлю васъ понимать себя!— вспылилъ я.

— Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выражаться яснѣе.

— Гражданскимъ бракомъ? проклятымъ гражданскимъ бракомъ?—говорилъ я, выходя изъ себя.

— Теперь понимаю... Да, гражданскимъ бракомъ!

— Такъ вотъ для нея... Сударыня... какъ васъ? Изволите получить... билетъ!

«Она» наскоро одѣлась и вышла къ намъ.

Повидимому, она еще не понимала.

— Что же! возьми!—сказалъ «онъ».

Но она все еще не рѣшалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всѣхъ разъясненія этой загадки... Вдругъ черты ея лица начали искажаться, искажаться... «Она» поняла... И что жъ? Оказалось, что это была дочь почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, увлеченная хитростью въ сонмище неблагонамѣренныхъ...

Марршъ!

---

Было еще позднѣе, и «онъ» уже спалъ. Сдѣлавши нѣсколько сильныхъ ударовъ звонкомъ, мы долго ждали на площадкѣ, прислушиваясь, какъ за дверью возились и ходили взадъ и впередъ. Litвознѣ этой, казалось, не будетъ конца.

— Да куда же, однако, дѣвались мои носки?—долетаетъ до насъ «его» голосъ.

Наконецъ носки были отысканы, и дверь отперта. «Онъ» узналъ насъ сразу, и не только не показалъ никакого изумленія, но даже принялъ гостей съ нѣкоторою развязностью.

Впослѣдствіи открылось, что «онъ» уже «травленый».

— Ба! Гости!—сказалъ «онъ» довольно весело: — да ужъ нѣтъ ли тутъ старыхъ знакомыхъ? Нѣтъ? Ну, и съ новыми познакомимся! Маріе! вставай: гости пришли!

Оказалась, что «онъ» былъ веселый малый и даже отчасти жуиръ. На столѣ, въ кабинетѣ, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыръ, балыкъ, куски холоднаго пирога... Нѣсколько початыхъ бутылокъ вина и наполовину выпитый графинъ съ водкой довершали картину.

— Господа! не угодно ли? — сказалъ «онъ», указывая на закуски:—отъ меня, съ часъ тому назадъ, ушли пріятели, такъ вотъ кстати и закуска осталась. А я покамѣстъ одѣнусь: вѣдь мнѣ придется сопровождать васъ? или, лучше, вамъ придется сопровождать меня—такъ?

— Точно такъ-съ!—отвѣчалъ я, увлеченный его добродушіемъ; и вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не подумать:—«Если бы всѣ «они» были таковы! Гостепріименъ, ласковъ, словоохотливъ!»

Это былъ единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начиналъ думать, что «они» не ѣдятъ и не пьютъ, и вдругъ... встрѣчаюсь съ картиной стариннаго дворянскаго хлѣбосольства! И гдѣ же встрѣчаюсь!

Что привело этого человѣка въ бездну вольномыслія? Непостижимо!!

Мы послѣдовали приглашенію радушнаго хозяина, и, признаюсь, даже не замѣтили, какъ прошло время въ любезной бесѣдѣ.

Говорили обо всемъ, о соціализмѣ, о коммунизмѣ, но безъ раздраженія, безъ задора и даже съ видимымъ удовольствіемъ. Одинъ только разъ я принужденъ былъ выразиться довольно строго и именно по поводу той самой Маріе, которую онъ уже вызывалъ въ началѣ нашего прихода и которая теперь съ самой изысканной любезностью потчевала насъ пирогомъ и закуской.

— Эта особа... какъ вамъ приходится?— спросилъ я его.

— А! это... моя жена! Вамъ, можетъ-быть, нужно въ спальню войти? Сдѣлайте одолженіе—не стѣсняйтесь. Я самъ вамъ все покажу.

— Нѣтъ-съ, покуда мы еще не имѣемъ въ этомъ нужды... Но жена... т.-е. какъ жена?—прибавилъ я, шутливо подмигнувъ однимъ глазомъ: — вокругъ ракитоваго куста?

— Если вы подъ ракитовымъ кустомъ разумѣете...

Но онъ не успѣлъ докончить.

— Довольно, государь мой!—сказалъ я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вѣжливое обращеніе еще не даетъ права на дерзость.

Затѣмъ, когда мы закусили и выпили, онъ самъ намъ показалъ все. Въ цѣлой квартирѣ не было ни одной книги ни одного клочка бумаги, такъ что я даже изумился.

— Васъ изумляетъ отсутствіе книгъ и бумагъ?—поспѣшилъ онъ объяснить, замѣтивъ на моемъ лицѣ недовольное движеніе: — но поймите же; наконецъ, что, начиная съ 48 года, я періодически подвергаюсь точно такимъ посѣщеніямъ, какъ въ настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить нѣкоторую опытность.

Признаюсь. во всякомъ другомъ случаѣ подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этотъ разъ она даже обрадовала: такъ мнѣ пріятно было за нашего добраго, радушнаго... и, вѣроятно, не по своей винѣ увлеченнаго хозяина!

Подъ вліяніемъ этого чувства я совершенно раскисъ.

— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ (такъ «его» звали),—сказалъ я:—но я считаю своимъ долгомъ вамъ выразить, что давно не проводилъ такъ пріятно время, какъ въ вашемъ миломъ, образованномъ семействѣ.

— За что же тутъ сердиться?

— Да-съ! Но за всѣмъ тѣмъ... моя обязанность... мой, если можно такъ выразиться, священный долгъ...

— Повелѣваетъ вамъ пригласить меня съ собою? Что жъ, вѣдь я съ перваго же раза сказалъ вамъ, что на всякомъ мѣстѣ и во всякое время готовъ!

— Да-съ; но могу васъ увѣрить, что съ своей стороны... все, что зависитъ...

— Ну, отъ такихъ курицыныхъ дѣтей, какъ вы, тутъ, пожалуй, ровно ничего зависѣть не можетъ. Однако довольно разговаривать,—идемъ!

Тутъ только я замѣтилъ, что ему все-таки не совсѣмъ пріятно было наше посѣщеніе.

Маршъ!

---

Петербургъ погибалъ! Петропавловская крѣпость уже уплыла... Послѣдній оплотъ! Это было зрѣлище ужасное: куда ни оглянись—вездѣ дыра... Публицисты гремѣли, благонамѣренные... радовались!

Всѣ чувствовали, что надо вырвать «зло» съ корнемъ, всѣ издавали дикіе вопли... Въ чемъ заключалось зло? Какое оно отношеніе имѣло къ данной минутѣ? Объ этомъ никто себя не спрашивалъ, не разсуждалъ, не говорилъ. Чувствовалось одно: что минута благопріятна, что это одна изъ тѣхъ минутъ, къ которымъ можно пріурочить какую угодно обиду, и никто въ суматохѣ ничего не разберетъ и не отличитъ. Если *теперь* упустить минуту, то кто можетъ поручиться, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвостъ?

Нѣтъ зрѣлища болѣе поразительнаго, какъ зрѣлище радости благонамѣренныхъ! это какой-то гулъ: у-у! а-а! го-го! Повидимому, тутъ нѣтъ даже необходимой, для вразумительности, членораздѣльности, а за всѣмъ тѣмъ нельзя не чувствовать, что это единственные «передовые» звуки, возможные въ извѣстныя минуты!

Еще вчера благонамѣренный жался къ сторонкѣ, ходилъ съ понурою головой, съ блѣдными щеками и потухшими взорами; еще вчера онъ клялся и божился, что отнынѣ подло быть негодяемъ — и вдругъ какая метаморфоза! Сегодня онъ цвѣтетъ; походка у него увѣренная, авторитетная; глаза блещутъ молніями; уста извергаютъ побѣдный вопль. Вы не можете объяснить, какъ совершилась побѣда, но чувствуете. что она совершилась, и что вчерашній день утонулъ навсегда. Горе тому, кто попадается въ эту минуту на глаза «благонамѣренному»! Онъ въ одно мгновеніе будетъ съ ногъ до головы обрызганъ ядовитою слюной ябеды и клеветы!

Сильныя общественныя пертурбаціи необходимы для «благонамѣреннаго»: онѣ даютъ ему возможность окрѣпнуть. Пожаръ поселяетъ въ его сердцѣ радостный тре-

петъ; наводненіе, голодъ приводятъ въ восхищеніе!

Въ обыкновенное время, когда теченіе дѣлъ не представляетъ угрозъ, когда окрестъ царствуетъ тишина, когда въ обществѣ расцвѣтаетъ надежда на лучшее будущее—«благонамѣренный» увядаетъ, ибо сознаетъ себя ненужнымъ.

Самолюбіе его страдаетъ безмѣрно; онъ мечется и ищетъ исхода для своей дѣятельности и вездѣ приходитъ не во-время, вездѣ видитъ себя лишнимъ... Тишина тлетворнымъ образомъ дѣйствуетъ на его фонды, почти что исключаетъ его изъ жизни. Притомъ это явленіе до такой степени для него ново и необычно, что невольно возбуждаетъ въ немъ подозрительность, населяетъ его воображеніе всевозможными страхами. «Тихо, стало-быть, я пропалъ», говоритъ себѣ благонамѣренный, и нѣтъ мѣры его злополучію. Чтобы пищевареніе совершалось въ немъ безпрепятственно, нужно, чтобы цѣлыя массы изнемогали подъ игомъ нравственныхъ и физическихъ истязаній, или, по крайней мѣрѣ, чтобы кто-нибудь да стоналъ.

Если этого нѣтъ, онъ чувствуетъ себя неловко и, чтобы смягчить свое горе, начинаетъ предсказывать, накликать.

И вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на его предсказанія, на горизонтѣ появляется облако, въ воздухѣ чувствуется удушливость, вдалекѣ слышатся раскаты грома...

Посмотрите, какъ постепенно онъ воскресаетъ, какъ загорается румянецъ на его блѣдныхъ щекахъ, какою страшною пастью разверзаются нѣмотствующія дотолѣ уста!

«Я говорилъ, я предсказывалъ, я зналъ впередъ, что это будетъ такъ!» хохочетъ онъ на всѣ стороны. И льется этотъ зловѣщій перекатистый хохотъ изъ края въ край, вызывая къ жизни давно уснувшія ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипѣло и безсмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умѣя найти для себя яснаго выраженія...

Наступаетъ минута какого-то адскаго откровенія. «Либералы!» раздается побѣдный кличъ, и все, что чувствуетъ себя бодрымъ,—все складывается въ одну яму и немедленно отдается на поруганіе.

Въ такомъ положеніи дѣлъ очень естественно, что какъ бы человѣкъ ни старался попасть въ тонъ минуты, онъ всегда чувствуетъ себя опереженнымъ.

Такъ было и съ нами, членами общества «Робкаго усилія благонамѣренности». Какъ мы ни бодрились, какъ ни старались сослужить службу общественную, возрастающій спросъ на благонамѣренность съ каждымъ часомъ больше и больше затоплялъ насъ. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты; мы оказывались слабыми и неумѣлыми; насъ открыто называли колпаками!! Въ концѣ-концовъ мы сдѣлались страдательнымъ орудіемъ, которое направляло свои удары почти механически.

Надо было видѣть, какіе люди встали тогда изъ могилъ! Надо было слышать, что тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!

Если вы имѣли съ вашимъ сосѣдомъ процессъ; если вы дали взаймы денегъ и имѣли неосторожность напомнить объ этомъ, если вы имѣли несчастіе доказать дураку, что онъ дуракъ, подлецу—что онъ подлецъ, взяточнику—что онъ взяточникъ; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали изъ когтей хищника добычу—это просто-напросто означало, что вы сами вырыли себѣ подъ ногами бездну. Вы припоминали объ этихъ вашихъ преступленіяхъ и съ ужасомъ ожидали. Не было закоулка, куда бы не проникла «благонамѣренность»...

Провинція колыхалась и извергла изъ себя цѣлые легіоны чудовищъ ябеды и клеветы-

От Перми до Тавриды,
Отъ хладныхъ финскихъ скалъ
До пламенной Колхиды...

Отовсюду устремлялись стада «благонамѣренныхъ», чтобы выместить накипѣвшія въ сердцахъ обиды...

Они рыскали по стогнамъ, становились на распутьяхъ и вопили. Обвинялся всякій: отъ коллежскаго регистратора до тайнаго совѣтника включительно. Вся табель о рангахъ была заподозрѣна. Сводились счеты; все прошлое ликвидировалось сразу... Дѣлалось яснымъ, что какъ бы ни тщился человѣкъ быть «благонамѣреннымъ», не было убѣжища, въ которомъ бы не настигала его «благонамѣренность» еще болѣе благонамѣренная.

Самые «благонамѣренные», наконецъ, спутались и испугались—не за общество, а за самихъ себя и за дѣтей своихъ.

Человѣкъ старался угадать не то, въ чемъ онъ когда-нибудь преступилъ противъ ходячей политической морали, а то, существовали ли какіе-нибудь пункты этой морали, въ которыхъ нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и какъ угодно, и на которомъ изъ этихъ пунктовъ обрушится обвиненіе именно на него? Тотъ, кого въ этомъ обвинительномъ омутѣ постигало забвеніе, могъ считать себя счастливымъ. Тотъ, кого не обвиняли прямо, и кому только издали грозили пальцемъ, долженъ былъ спѣшить исчезнуть, чтобы не раздражать своимъ видомъ торжествующей «благонамѣренности». Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытымъ—вотъ лучшій удѣлъ, котораго могъ желать человѣкъ...

Читатель! ты, который, пробѣгая настоящее признаніе, быть-можетъ, обвиняешь меня въ развратѣ, размысли надъ правдивой картиной, которую сейчасъ нарисовало перо мое; провѣрь ее съ твоими воспоминаніями и скажи по совѣсти: гдѣ находятся дѣйствительныя, крайнія границы нравственной распущенности — во мнѣ... или, можетъ-быть, въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ?

Ахъ, какъ я себя велъ!

Читатель можетъ спросить меня: кто допустилъ насъ такимъ образомъ нахальничать? чего смотрѣло начальство?

На это я могу отвѣчать одно: медвѣдь проснулся... Покуда медвѣдь лежитъ въ берлогѣ и сосетъ лапу, начальству легко. Съ помощью куска мяса его можно даже выманить изъ берлоги и заставить танцовать; но Боже упаси, если онъ начнетъ рычать! Нѣтъ той силы, которая могла бы усмирить его!

Слава о моихъ подвигахъ росла... Одинъ, безъ всякаго уполномочія, кромѣ частной иниціативы... Это было изумительно! Это даже было не просто изумительно, но почти волшебно! Но таково могущество охранительной идеи! Она простого, слабаго смертнаго, съ желѣзомъ въ сердцѣ, съ кремнемъ въ душѣ, вооружаетъ когтями льва! Невольнымъ образомъ голова моя закружилась. Я видѣлъ себя предметомъ восторженнѣйшихъ овацій. Въ похвалу мнѣ произносились спичи; во всѣхъ трактирахъ имперіи лилось шампанское, съ пожеланіемъ новыхъ и новыхъ подвиговъ; со всѣхъ концовъ сыпались поздравительныя телеграммы... Я пламенѣлъ, я жаждалъ, я устремлялся, я былъ готовъ! Я нѣсколько дней сряду кутилъ; ночи проводилъ безъ сна и почти не ѣлъ ничего. Глаза воспалились, ненависть разгоралась все больше и больше, такъ что можно почти сказать, что она одна поддерживала мои силы... Но цементъ былъ крѣпокъ! Я дошелъ почти до ясновидѣнія. и угадывалъ «негодяевъ» тамъ, гдѣ другіе усматривали только дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ. Но, съ другой стороны, эта же возбужденность чувства мѣшала мнѣ ясно понимать, что въ числѣ множества прихотливыхъ формъ, которыми облекается либерализмъ, есть нѣкоторыя, прикасаться къ которымъ не всегда безопасно... Особенныя трудности въ этомъ смыслѣ представляютъ формы, называемыя дѣйствительными статскими совѣтниками.

Оваціи продолжались, шампанское лилось, шарманки въ трактирахъ играли. Но были уже сферы, въ которыя проникала измѣна. Поговаривали кой-гдѣ, что у меня начинаютъ обрисовываться слишкомъ яркія убѣжденія, что это тоже нехорошо, потому, что, становясь на почву убѣжденій (даже самыхъ, что называется, пасквильныхъ), человѣкъ, самый враждебный либерализму, постепенно совращается. совращается и, наконецъ, ничего не подозрѣвая, оказывается на самомъ днѣ онаго...

Какія-то странныя предчувствія тяготили меня. Я смутно подозрѣвалъ, что эти слухи не даромъ, что откуда-то грозитъ опасность, долженствующая положить конецъ моей дѣятельности. Я старался исправиться. старался стать выше убѣжденій; но безсонница и искусственныя средства для подкрѣпленія слабѣющаго организма разрушали всѣ усилія, дѣлаемыя въ этомъ смыслѣ. Едва я приступалъ къ «работѣ», какъ мною овладѣвалъ всецѣло демонъ ненависти. Глаза наливаются кровью, въ ушахъ шумитъ, руки безпокойно подергиваются, лицо искажается судорогою.

Вотъ инородецъ, такъ тѣмъ нахвалиться не могу. Ему что!—онъ пришелъ. ни слова не сказалъ, пошевелилъ глазами, забралъ въ охапку и ушелъ... Днемъ спитъ, ночью работаетъ, и никогда ни капли! А я?!

———

Сегодня призывали меня къ генералу,— не къ тому отставному, который вручилъ мнѣ жезлъ просвѣщенія, а къ другому, настоящему, котораго я, по несчастію, совсѣмъ упустилъ изъ вида. Генералъ былъ сердитъ.

— Правда ли,—сказалъ онъ мнѣ,—что вы дошли до такой степени гнусности, что позволили себѣ потерять всякое уваженіе даже къ женской стыдливости?

Очевидно, что клевета начинала уже поднимать голову.

Я хотѣлъ оправдываться; говорилъ, что это только такъ... немного... Я заикался, переминался съ одной ноги на другую и былъ дѣйствительно жалокъ.

— Прошу отвѣчать на вопросъ! — прервалъ генералъ.

— Точно такъ, ваше пр-ство!—выпалилъ я словно изъ пушки.

— Меррзавецъ!

Странное дѣло! Сколько разъ имѣлъ я случай испытывать на себѣ дѣйствіе этого слова, сколько разъ самъ примѣнялъ его къ другимъ,—и все не могу привыкнуть къ нему! Всегда оно кажется мнѣ чѣмъ-то неожиданнымъ, совсѣмъ новымъ.

---

Однако растолковать это все-таки довольно трудно. «Меррзавецъ!» — ну, прекрасно! Но отчего же одинъ генералъ говоритъ: «молодецъ!»—а другой, при тѣхъ же точно обстоятельствахъ, кричитъ «меррзавецъ!»?

---

Но какимъ образомъ я «его» высѣкъ?! Дѣло было такъ.

Мы закусывали въ «Старомъ Пекинѣ». Выпито было изрядно, потому что стеченіе патріотовъ было неслыханное. Я разсказывалъ о подвигахъ послѣдней ночи; другіе также. Соревнованіе было общее. Не знаю, какимъ образомъ разговоръ принялъ такой странный оборотъ, но помню, что я сталъ хвастаться. Я говорилъ, что и не такъ еще поступлю, и что въ будущую же ночь непремѣнно «его» высѣку.

Каналья-нѣмецъ (тотъ самый, который не могъ сразу опредѣлить, какая у него душа) еще больше раззудилъ меня, выразивши сомнѣніе насчетъ исполнимости моего намѣренія. Слово за слово, состоялось пари...

— Сто противъ одного! — бѣсновался я:—я ставлю сто рюмокъ, ты — одну! Принимаешь, скорлупная голова? (У нѣмцевъ — я это замѣтилъ — головы всегда нѣсколько прозрачны на свѣтъ).

— О, я съ удовольствіемъ! — зудилъ проклятый нѣмецъ:—но ви можете сичасъ же начайть плятить, потому что это никакъ невозможно... ви дольшенъ «его» взять... вести... смотрѣть... но висѣчь!— это невозможно! О, нѣтъ... это другой, а не ви!

И словно бѣсъ-соблазнитель, онъ ежеминутно сновалъ мимо меня, моталъ своей бараньей головой и повторялъ:

— Висѣчь—нѣтъ! не ви!

Наступила ночь. По обыкновенію, я отправился въ походъ. Для крѣпости выпилъ. Какъ теперь помню, мы подошли къ громадному дому, вызвали дворника и назвали фамилію. Онъ со двора указалъ намъ квартиру въ самомъ верху.

Сначала, когда мы были еще неопытны, мы всегда брали съ собой дворника до самой двери квартиры. Но впослѣдствіи стали неглижировать этою предосторожностью.

Мы что-то долго поднимались по лѣстницѣ, которая вдобавокъ была тёмна, черна и скользка. Наконецъ, порядочно утомившись, пришли къ цѣли.

Едва успѣли мы одинъ разъ дернуть за ручку звонка, какъ «онъ» уже прибѣжалъ къ двери и поспѣшно отворилъ ее...

Повидимому, это былъ человѣкъ не первой молодости. Лицо его было блѣдно и разстроено. Свѣча дрожала въ рукѣ. Распахнувшіяся полы стараго, истрепаннаго халата обнаруживали пару трясущихся ногъ. Никогда я не видалъ человѣка въ такой степени виноватаго...

— Всыпьте-ка ему десятка два дѣтскихъ! — сказалъ я съ перваго абцуга, обращаясь къ своимъ товарищамъ.

Нѣмецъ былъ тутъ же и только взмахнулъ на меня глазами.

«Онъ» былъ до того виноватъ, что даже не возражалъ. «Онъ» кротко легъ и кротко же всталъ, не испустивши ни стона ни жалобы.

— Ваша фамилія, ваши занятія?—сурово спросилъ я.

— Начальникъ отдѣленія NN департамента, статскій совѣтникъ Перемоловъ!— отвѣчалъ онъ, упираясь глазами внизъ. (Очевидно, ему было стыдно).

Представьте мое изумленіе! это былъ... не «онъ»!!

Я пытался какъ-нибудь выпутаться, и запутался еще больше. Мнѣ слѣдовало просто-напросто уйти, показавъ видъ, что общественная Немезида удовлетворена. Вмѣсто того, я уперся, перерылъ всю его скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какую-нибудь, которая могла бы мнѣ послужить оправданіемъ. Разумѣется, я ничего не нашелъ, кромѣ доказательствъ его душевной невинности... Тогда я сталъ придираться...

— Но какъ же осмѣлились вы, милостивый государь, вводить меня въ заблужденіе?—накинулся я на него.

Но онъ уже понялъ и, убѣдившись въ своей невинности, началъ обнаруживать твердость души.

— Нѣтъ, это вамъ такъ не пройдетъ!—говорилъ онъ, постепенно приходя въ раздраженіе и какъ бы ободряя себя своимъ собственнымъ крикомъ.—Нѣтъ! это что же? Этакъ всякій съ улицы пришелъ, распорядился и ушелъ!.. Нѣтъ! это не такъ!.. Въ этихъ дѣлахъ надо глядѣть да и глядѣть...

— Но поймите, что тутъ вашей вины гораздо больше, нежели моей...

— Ничего я не хочу понимать! Я слишкомъ хорошо понимаю! Это чортъ знаетъ что! Пришелъ, распорядился и ушелъ! Н-н-ѣ-ѣтъ.

Онъ вдругъ остервенился, началъ скакать на меня, подставлять къ моему лицу кулаки... Такъ что даже, наконецъ, я оскорбился.

— Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорбляете? — сказалъ я съ достоинствомъ.

— Я его оскорбляю! Милости просимъ! я! Онъ со мной—какъ съ младенцемъ... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ахъ!

Словомъ сказать, загородилъ такую чепуху, что хоть святыхъ вонъ выноси! Одно мгновеніе въ моей головѣ мелькнуло: не попросить ли прощенія? Но— странное дѣло!—я вдругъ какъ-то понялъ, что это послѣдній мой подвигъ, и покорился.

---

Онъ не простилъ.

На другой день меня опять призвали къ настоящему генералу.

— Правда ли, что вы статскаго совѣтника Перемолова подвергли наказанію на тѣлѣ?—спросилъ онъ у меня.

— Точно такъ, ваше пр-ство!

Онъ взглянулъ на меня съ любопытствомъ.

— Меррзавецъ!—произнесъ онъ тихо...

Опять это слово!!!

## Ташкентцы приготовительнаго класса.

Никто не могъ сказать опредѣлительно, какимъ образомъ Порфирій Велентьевъ сдѣлался финанистомъ. Правда, что еще въ 1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, онъ уже написалъ проектъ подъ названіемъ:

Дешевѣйшій способъ продовольствія арміи и флотовъ!! или Колбаса изъ еловыхъ шишекъ съ примѣсью никуда не годныхъ мясныхъ обрѣзковъ!!

въ которомъ, описывая питательность и долгосохраняемость изобрѣтеннаго имъ продукта, требовалъ, чтобы ему отвели до ста тысячъ десятинъ земли въ плодороднѣйшей полосѣ Россіи для устройства громадныхъ размѣровъ колбасной фабрики; взамѣнъ же того предлагалъ снабжать армію и флотъ изумительнѣйшею колбасою по баснословно-дешевымъ цѣнамъ. Но—увы!—тогда время для проектовъ было тугое, и хотя нѣкоторые помощники столоначальниковъ того вѣдомства, въ которомъ служилъ Велентьевъ, соглашались, что «хорошо бы, братъ, разомъ этакой кусъ урвать», однако въ высшихъ сферахъ никто Порфирія за финансиста не призналъ и проектомъ его не соблазнился. Напротивъ того, ему было даже внушено, чтобы онъ «несвойственными дворянскому званію вымыслами впредь не занимался, подъ опасеніемъ высылки за предѣлы цивилизаціи». На томъ это дѣло и покончилось. Порфирій года четыре прожилъ смирно, состоя на службѣ въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ.

Но молчаніе его было вынужденное, и втайнѣ Велентьевъ все-таки давалъ себѣ слово во что бы ни стало возвратиться къ проекту о колбасѣ. Перечитывая стекающіяся отовсюду вѣдомости о положеніи въ казначействахъ суммъ и капиталовъ всевозможныхъ наименованій, онъ пускался въ вычисленія, доказывалъ недостаточность употреблявшихся въ то время способовъ

для извлеченія доходовъ, требовалъ учрежденія особаго министерства подъ названіемъ «министерства дивидендовъ и раздачъ» и, указывая на неисчерпаемыя богатства Россіи, лежащія какъ на поверхности земли, такъ и въ нѣдрахъ оной, восклицалъ:

— Столько богатствъ и втуне! Вѣдь это, наконецъ, свинство!

Но никто уже не вѣрилъ ему. Даже помощники столоначальниковъ — и тѣ сомнѣвались, хотя каждому изъ нихъ, конечно, было бы лестно заполучить мѣстечко въ министерствѣ дивидендовъ и раздачъ. Всѣ считали Велентьева полупомѣшанною и преисполненною финансоваго бреда головой, никакъ не подозрѣвая, что близится время, когда самый горячечный бредъ не только сравняется съ дѣйствительностью, но даже оттѣснитъ послѣднюю далеко на задній планъ...

Наконецъ наступилъ 1857 годъ, который всѣмъ открылъ глаза. Это былъ годъ, въ который впервые покачнулось пресловутое русское единомысліе и уступило мѣсто не менѣе пресловутому русскому галдѣнію. Это былъ годъ, когда выпорхнули цѣлые рои либераловъ-пѣнкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чѣмъ пахнетъ. Это былъ годъ, когда не было той скорбной головы, которая не попыталась бы хоть слегка поковырять въ нѣдрахъ русской земли, добродушно смѣшивая послѣднюю съ русской казною.

Промышленная и акціонерная горячка, послѣ всеобщаго затишья, вдругъ очутилась на самомъ зенитѣ. Проекты сыпались за проектами; акціонерныя компаніи нарождались одна за другою, какъ грибы въ мочливое время. Люди, которымъ дотолѣ присвоивались презрительныя наименованія «соломенныхъ головъ», «гороховыхъ шутовъ», «проходимцевъ» и даже «подлецовъ», вдругъ оказались геніями, передъ грандіозностью соображеній которыхъ слѣпли глаза у всѣхъ непосвященныхъ въ тайны жульничества. Всѣхъ русскихъ быковъ предполагалось посолить и въ соленомъ видѣ отправить за границу. Всѣ русскія болота представлялось необходимымъ разработать и извлеченные изъ торфа продукты отправить за границу. X указывалъ на изобиліе грибовъ и требовалъ «устройства грибной промышленности на болѣе раціональныхъ основаніяхъ»; Z указывалъ на массы тряпья, скопляющіяся по деревнямъ, и доказывалъ, что если бы эти массы употребить на выдѣлку бумаги, то бумажныя фабрики всѣхъ странъ должны были бы объявить себя несостоятельными; Y заявлялъ скромное желаніе, чтобы въ его руки отданы были всѣ русскіе кабаки, и взамѣнъ того обѣщалъ сдѣлать сивуху общедоступнымъ напиткомъ. Хмель, ленъ, пенька, сало, кожи — на все завистливымъ окомъ взглянули домашніе ловкачи-реформаторы и изъ всего изъявляли твердое намѣреніе выжать сокъ до послѣдней капли. Повсюду, даже на улицахъ, слышались возгласы:

— Ванька-то! курицынъ сынъ! скажите, какую штуку выдумалъ!

Однимъ словомъ, русскій геній воспрянулъ...

Но какъ ни грандіозны были проекты объ организаціи грибной промышленности, объ открытіи рынковъ для сбыта русскаго тряпья и проч. — они представлялись ребяческимъ лепетомъ въ сравненіи съ проектомъ, который созрѣлъ въ головѣ Велентьева. Тѣ проекты были простые, болѣе или менѣе увѣсистые булыжники. Велентьевъ же вдругъ извлекъ цѣлую глыбу и поднесъ ее изумленной публикѣ. Проектъ его былъ озаглавленъ такъ: «О предоставленіи коллежскому совѣтнику Порфирію Менандрову Велентьеву въ товариществѣ съ вильманстрандскимъ первостатейнымъ купцомъ Василіемъ Вонифатьевымъ Поротоуховымъ въ безпошлинную двадцатилѣтнюю эксплуатацію всѣхъ принадлежащихъ казнѣ лѣсовъ для непремѣннаго оныхъ, въ теченіе двадцати лѣтъ, истребленія»... Передъ величіемъ этой концессіи всѣ сомнѣнія относительно финансовыхъ способностей Порфирія немедленно разсѣялись. Всѣ тѣ, которые дотолѣ смотрѣли на Велентьева, какъ на исполненную финансоваго бреда голову, должны были умолкнуть. Столоначальники и начальники отдѣленій, встрѣчаясь на Подьяческой, въ восторгѣ поздравляли другъ друга съ обрѣтеніемъ истиннаго финансоваго человѣка минуты. Директоры департаментовъ задумывались; но въ этой задумчивости проглядывалъ не скептицизмъ, а опасеніе, сумѣютъ ли они встать на высоту положенія, созданнаго Велентьевымъ. Словомъ сказать, репутація Велентьева, какъ финансиста, установилась

на прочныхъ основаніяхъ, и ежели не навсегда, то, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не явится новый Велентьевъ, съ новымъ, еще болѣе грандіознымъ проектомъ «о повсемѣстномъ опустошеніи», и не свергнетъ своего созію съ пьедестала, на который тотъ вскарабкался.

Само собой разумѣется, что часть славы, озарившей Велентьева, должна была отразиться и на вильманстрандскомъ купцѣ Поротоуховѣ. О Поротоуховѣ еще менѣе можно было сказать, какимъ образомъ онъ сдѣлался финансистомъ. Большинство помнило его, еще подъ именемъ Васьки Поротое - Ухо, сидѣльцемъ кабака въ одной изъ великорусскихъ губерній; хотя же онъ въ этомъ положеніи и успѣлъ заслужить себѣ репутацію балагура, но такъ какъ въ тѣ малопросвѣщенныя времена никто не подозрѣвалъ, что отъ балагура до финансиста рукой подать, то никто и не обращалъ на него особеннаго вниманія. Тѣмъ не менѣе, должно полагать, что Васька занимался не одним балагурствомъ, но умѣлъ кое-что и утаить. И вотъ, въ одно прекрасное утро, онъ явился въ одно изъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ производились значительные торги на отдачу различныхъ поставокъ и подрядовъ, и подъ торговымъ листомъ совершенно отчетливо подписался: «вильмерстанскій первастатейнай купецъ Василей Велифантьяфъ Портаухафъ симъ пать Писуюсь». Присутствующіе такъ и ахнули. Поротоуховъ— первостатейный купецъ? Не можетъ быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоуховъ смотрѣлъ такъ свѣтло и ясно, какъ будто онъ такъ и родился «вильмерстанскимъ купцомъ». Повидимому, онъ расцвѣлъ въ одну ночь, расцвѣлъ тайно отъ всѣхъ глазъ, съ тѣмъ, чтобы разомъ явить міру всѣ благоуханія, которыми онъ преисполненъ. И расцвѣлъ не затѣмъ, чтобы вялѣ завянуть, а затѣмъ, чтобы явиться финансистомъ-практикомъ, правою рукой того плотоядного тѣла, душою котораго суждено было сдѣлаться Велентьеву.

Такимъ образомъ на нашемъ общественномъ горизонтѣ одновременно появились два финансовыхъ свѣтила. Другое, менѣе сильное общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьевъ и Поротоуховъ пошли въ ходъ. [illegible] [illegible] [illegible] они въ нѣдра русской земли и копаются въ нихъ доднесь, волнуя воображеніе россіянъ переспективами неслыханныхъ барышей и обѣщаніемъ какихъ-то сокровищъ, до которыхъ нужно только докопаться, чтобы посрамить остальную Европу.

Но общественное мнѣніе, справедливо угадавъ на Велентьевѣ и Поротоуховѣ людей, отвѣчавшихъ потребностямъ минуты, все-таки не совсѣмъ правильно взглянуло на тѣ условія, въ силу которыхъ они появились на аренѣ общественной дѣятельности не въ качествѣ прохвостовъ, какими бы имъ надлежало быть, но окруженные ореоломъ авторитетности. Оно увидѣло въ нихъ баловней фортуны, геніальныхъ самоучекъ, въ которыхъ идея о всеобщемъ ограбленіи явилась, какъ плодъ внезапнаго откровенія. Это было заблужденіе. Не съ неба свалилась этимъ людямъ почетная роль финансовыхъ воротилъ русской земли, а пришла издалека. Надъ ними прошло цѣлое воспитаніе, вслѣдствіе котораго они естественно развились въ финансистовъ самоновѣйшаго фасона.

---

На этотъ разъ займемся собственно Порфишей Велентьевымъ, предоставляя себѣ поговорить о Василѣ Поротоуховѣ при случаѣ.

Отецъ Порфиши, Менандръ Велентьевъ, происходилъ изъ духовнаго званія. Даже и теперь въ одной изъ подмосковныхъ губерній имѣется село Велентьево, въ которомъ Порфишинъ дѣдъ былъ въ теченіе сорока лѣтъ священникомъ. Благодаря существовавшему въ двадцатыхъ годахъ спросу на молодыхъ людей изъ духовнаго званія, Менандру посчастливилось, да къ тому же и способности у него были прекрасныя. Еще будучи въ семинаріи, онъ съ такою легкостью усвоивалъ себѣ всю книжную мудрость, отъ патристики до догматическаго богословія включительно, что отецъ-ректоръ не разъ рѣшался переименовать его въ Быстроумова, но, къ счастью для Менандра, а еще болѣе для Порфиши, почему-то не успѣлъ наложить на родъ Велентьевыхъ неизгладимое клеймо племени Левитова. Впослѣдствіи, какъ отличный, Менандръ былъ переведенъ въ духовную академію, въ Петербургѣ, гдѣ тоже блистательно кончилъ курсъ, но, при выходѣ изъ академіи, духовной карьеры

не пожелалъ, а предпочелъ ей карьеру чиновника. Обстоятельства поблагопріятствовали ему и тутъ. Въ это самое время князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ искалъ для своего сына воспитателя и, по совѣту жены, обратился къ единственному въ то время надежному источнику истиннаго просвѣщенія — къ духовной академіи. Отецъ-ректоръ порекомендовалъ князю Менандра Велентьева.

Князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ былъ первый изъ русскихъ Ферлакуровъ. Княжна Оболдуй-Щетина была послѣднею представительницей знаменитаго рода князей Оболдуевъ-Щетинъ. Дабы не дать угаснуть воспоминанію объ этомъ родѣ, княжна, вышедши замужъ за французскаго эмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобы къ фамиліи послѣдняго была присоединена и ея собственная. Такимъ образомъ устроился трисоставный князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ. Новоиспеченный князь Россійской имперіи оказался вполнѣ достойнымъ внезапно постигшаго его счастія. Онъ сразу понялъ, что настоящее отечество для праздношатающагося тамъ, гдѣ представляется возможность кататься, какъ сыръ въ маслѣ, и затѣмъ, нимало не колеблясь, принялъ православіе, и съ этой минуты не иначе говорилъ о себѣ, какъ: «мы, русскіе». Долгихъ усилій ему стоило, чтобы *полюбить севрюжину* съ хрѣномъ; но такъ какъ онъ понялъ, что безъ этого быть истинно-русскимъ нельзя, то не только полюбилъ севрюжину, но даже охотно пилъ квасъ, а о кашѣ выражался не иначе, какъ: «каша есть матерь наша». Онъ щеголялъ тѣмъ, что онъ—русскій, хотя и Ферлакуръ, и предсказывалъ, что недалеко время, когда всѣ французскіе Ферлакуры будутъ русскими. Въ разговорѣ онъ любилъ вклеивать малоупотребительныя слова, въ родѣ «токмо», «вящщій», «вмалѣ», «книжица», «иждивеніе» и т. д. Но когда онъ, наконецъ, написалъ книжицу, въ которой изобразилъ, какими неисповѣдимыми путями онъ дошелъ до сознанія истинъ святой православной вѣры, то всѣ признали, что болѣе благонадежнаго русскаго, чѣмъ этотъ русскій Ферлакуръ, и желать не надо. Пользуясь этимъ благопріятнымъ поворотомъ мнѣнія высшихъ административныхъ сферъ, князь достигъ того, что неторопливыми, но вѣрными шагами шелъ себѣ да шелъ по лѣстницѣ должностей и, наконецъ, получилъ совершенно обезпеченное положеніе въ вѣдомствѣ Святѣйшаго Синода.

Такимъ образомъ, когда Менандръ Велентьевъ вступилъ, въ качествѣ домашняго воспитателя, въ домъ князя Оболдуй-Щетина-Ферлакура, послѣдній былъ уже на верху почестей и славы.

Черезъ нѣсколько времени Менандру было объявлено, что онъ причисленъ, съ чиномъ коллежскаго секретаря, къ одной изъ канцелярій. Но такъ какъ на его рукахъ лежало болѣе важное дѣло воспитанія молодого Ферлакура, то само собой разумѣется, что всѣ его обязанности относительно государственной службы должны были ограничиваться полученіемъ за отличіе чиновъ. Это было время его перевоспитанія,—то время, когда онъ долженъ былъ совлечь съ себя ветхаго семинариста и облечься въ ризу серьезнаго молодого человѣка, до тонкости понимающаго приличія свѣта.

Въ это время молодой Ферлакуръ поступилъ въ университетъ. Затѣмъ, хотя обязанности воспитателя и продолжали попрежнему лежать на Велентьевѣ, но онъ былъ уже настолько свободенъ, что могъ безъ ущерба для этихъ обязанностей искать для себя и другихъ занятій. Вслѣдствіе этого онъ началъ порываться на дѣйствительную службу и устроилъ это дѣло такъ ловко, что сама княгиня убѣдилась, что дѣйствительно государственному механизму чего-то недостаетъ, и что этотъ пропускъ можетъ быть лучше всего восполненъ Велентьевымъ. Получить мѣсто по питейной части и затѣмъ приличнымъ образомъ пристроиться, избрать себѣ въ подруги дѣвицу не весьма знатную, но и не низкаго рода, не весьма богатую, но и не безприданницу, не весьма красивую, на и не нарочито уродливую — таковъ былъ планъ, на которомъ остановилась мысль Менандра.

Къ счастью для Велентьева, привести въ исполненіе оба эти предположенія оказалось нетруднымъ.

Если въ синодальномъ вѣдомствѣ игралъ видную роль князь Оболдуй-Ферлакуръ, то въ финансовомъ вѣдомствѣ такую же роль игралъ эйзенахскій уроженецъ фонъ-Юнгфершафтъ, въ то время уже возведенный въ графское Россійской имперіи достоинство. Франко-германской распри

еще не существовало; вопросъ о національностяхъ дремалъ подъ сѣнію вѣнскихъ трактатовъ, а потому всѣ выходцы поддерживали другъ друга безъ различія національностей. Ферлакуръ шепнетъ словечко Юнгфершафту насчетъ мѣстечка по питейной части, Юнгфершафтъ, въ свою очередь, порекомендуетъ Ферлакуру какого-нибудь архимандрита — и, благодаря взаимнымъ услугамъ, дѣла объ опредѣленіяхъ и увольненіяхъ шли, какъ по маслу. Архимандриты, совѣтники, исправники—всѣ видѣли себя агентами одной и той же короны, только по разнымъ предметамъ, распредѣленіе которыхъ хранилось въ высшей регистратурѣ. Велентьеву пришлось дожидаться не долго. Княгиня такъ усердно хлопотала, что черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ зародилась идея о мѣстѣ, Менандръ уже являлся къ самому Юнгфершафту и получалъ отъ него наставленіе, какимъ образомъ слѣдуетъ обращаться съ россійскими финансами. Графъ былъ сухой и безстрастный старикъ, говорившій глухимъ и однообразнымъ басомъ. Молва считала его безкорыстнымъ, и, повидимому, онъ, оправдывалъ это мнѣніе; но, къ сожалѣнію, изъ долговременной административной практики онъ вынесъ какое-то глубоко-безнадежное убѣжденіе о Россіи.

— Сей страна отъ природы таковъ,— говаривалъ онъ,—что въ немъ безъ грабежа существовать не есть возможно!

Велентьева графъ принялъ съ тою безличною, сухою благосклонностью, которая его отличала.

— Вы отправляетесь въ одну изъ наивыгоднѣйшихъ губерній Россійской имперіи, — сказалъ онъ ему: — но прошу васъ — я не приказываю, но прошу — имѣйте ротъ не столько широкій, какъ многіе изъ сослуживцевъ вашихъ.

— Помилуйте, ваше сіятельство! — заикнулся было Менандръ, у котораго отъ этихъ словъ душа уже начала полегоньку парить.

— Я знаю, что ви хотите сказать,— невозмутимо продолжалъ старикъ:— ви хотите сказать, что ви не таковъ. Я долженъ вамъ вѣрить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но, повторяю вамъ: сожалѣйте вашъ родной страна! Это очень добрый и хорошій страна; но нужно немного ее менажировать!

Велентьевъ продолжалъ раскрывать ротъ, видимо порываясь разувѣрить графа; но старикъ былъ невозмутимъ.

— И еще прошу васъ, — говорилъ онъ: — не будьте нетерпѣливъ! Мы для всѣхъ предлагаемъ очень хорошій обѣдъ, но много людей имѣютъ такъ мало терпѣнія, что бросаются кушать, когда еще столъ не накрытъ. И за то попадаютъ подъ судъ.

На губахъ графа играла чуть-чуть замѣтная улыбка; глаза смотрѣли ясно, какъ будто читали насквозь въ душѣ этого вскормленника гороховицы, всѣ фибры котораго въ эту минуту свѣтились вожделѣніемъ. Подъ лучомъ этого взгляда Велентьеву сдѣлалось жутко, почти стыдно.

— И еще скажу, — продолжалъ напутствовать графъ:—не все грабить! Очень большой человѣкъ грабить не надо, ибо ежели законъ говоритъ: дѣйствовать, невзирая на особъ, то практика говоритъ не такъ. Прощайте, г. Велентій!

Велентьевъ вышелъ отъ графа, словно изъ бани. Съ одной стороны, уста по привычкѣ шептали: «ангелъ, а не человѣкъ»!—съ другой стороны, онъ чувствовалъ, что ему неловко, что графъ угадалъ въ немъ нѣчто такое, въ чемъ даже онъ самъ не рѣшался дать себѣ отчета. И притомъ угадалъ съ такою чуткою проницательностью, что, говоря по совѣсти, не было возможности что-либо возразить.

Какъ бы то ни было, но предположеніе относительно мѣста осуществилось; оставалось осуществить другое предположеніе— относительно вступленія въ законный бракъ. Фортуна и на этотъ разъ не оставила Менандра своимъ покровительствомъ.

У княгини жила въ домѣ троюродная племянница, одна изъ многочисленныхъ представительницъ захудалаго грузино-осетинскаго рода князей Крикулидзевыхъ. Княжнѣ Нинѣ Ираклієвнѣ было подъ тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, съ большимъ грузинскимъ носомъ и быстрыми черными глазами, она незамѣтно копошилась въ одномъ изъ темныхъ угловъ обширнаго синодальнаго дома, не обращая на себя ничьего вниманія и, повидимому, отказавшись отъ всякой надежды на вступленіе въ брачный союзъ. Въ постоянномъ одиночествѣ она пріобрѣла одну страсть: копить деньги. Бережно прятала она небольшія подачки,

которыя давала ей по праздникомъ княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали сдѣлать въ Гостиномъ дворѣ или въ Милютиныхъ лавкахъ закупки: тогда она уэкономливала нѣсколько рублей и присовокупляла ихъ къ прочимъ. Сверхъ того, у нея было въ Пензенской губерніи небольшое имѣніе (не болѣе тридцати душъ), доходы съ котораго она тоже прятала. Никто не зналъ, въ чемъ заключается это имѣніе и приноситъ ли оно что-нибудь, но она знала это отлично, и, пользуясь въ домѣ тетки полной свободой, неслышно и незримо для всѣхъ, дѣлала очень выгодныя финансовыя операціи. Операціи эти заключались въ отдачѣ крестьянъ въ солдаты «за дурное поведеніе», въ продажѣ рекрутскихъ квитанцій, въ покупкѣ на своэъ душъ, въ продажѣ дѣвокъ и проч. Операціи не блестящія, почти незамѣтныя, но вѣрныя и прочныя. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого - нибудь Іонки-подлеца, котораго казенная палата не соглашалась принять въ рекруты по случаю искривленія позвоночнаго столба, въ домѣ надъ нею смѣялись и говорили: «cette pauvre Nina! a-t-elle du guignon!» и затѣмъ, конечно, обхлопатывали дѣло такъ, что Іонку-подлеца принимали, несмотря на искривленіе позвоночнаго столба. А она прикидывалась казанской сиротой, но черезъ мѣсяцъ или черезъ два снова возбуждала вопросъ объ отдачѣ въ солдаты подлеца Ипатьи, у котораго на правой рукѣ не оказывалось указательнаго перста.

И Прошки, Ипатки, Іонки исчезали безслѣдно въ качествѣ кашеваровъ, лазаретныхъ служителей и прочихъ фурштатскихъ чиновъ великой россійской арміи.

Но подъ конецъ и въ домѣ стали догадываться, что у княжны водятся деньги. Это случилось именно въ то время, когда ей исполнилось тридцать лѣтъ, и она, постепенно чернѣя, сдѣлалась уже совсѣмъ черною. Догадался и Велентьевъ, но, прежде чѣмъ на что-нибудь окончательно рѣшиться, онъ сталъ исподволь похаживать по коридору, въ который выходила комната княжны. Княжна, съ своей стороны, замѣтила эти прогулки и задумалась. Жажда жизни, долгое время заглушаемая заботливостью, одиночествомъ и страстью къ деньгамъ, вдругъ вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться въ зеркало, и незамѣтно для самой себя ощутила потребность рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыгивать и проч. Глаза сдѣлались томные, голосъ зазвучалъ рѣзче, носъ еще болѣе заострился и вытянулся. Наконецъ въ одно послѣ-обѣда, встрѣтившись съ Велентьевымъ въ коридорѣ, она пригласила его въ свою комнату и угостила прекраснѣйшимъ вареньемъ.

— Вы, можетъ-быть, думаете, что у меня денегъ нѣтъ? — сказала она, вдругъ приступая къ самому существу дѣла: — нѣтъ, у меня есть деньги!

Велентьева бросило въ жаръ при этомъ признаніи.

— Я недавно купила сто мужиковъ на своэъ, — продолжала княжна: — и ежели эта операція удастся, то я получу хорошую выгоду.

— Ваше сіятельство! — захлебнулся Велентьевъ.

— А когда я буду выходить замужъ, то ma tante дастъ мнѣ еще десять тысячъ. Эти деньги я думаю отдать въ ростъ.

— Ваше сіятельство! осмѣлюсь доложить...

— Вы думаете, можетъ-быть, что отдавать деньги въ ростъ — дѣло рискованное, но я могу сказать навѣрное, что тутъ никакого риску нѣтъ. Почти всѣ заложенныя вещи остаются невыкупленными и достаются мнѣ за безцѣнокъ. Посмотрите, сколько у меня прекраснѣйшихъ вещей!

И она выложила передъ нимъ цѣлый ворохъ табакерокъ, булавокъ и т. п.

— Всѣ эти вещи теперь мои,— сказала она, — потому что всѣ онѣ просрочены. Когда вы будете нюхать табакъ, то я вамъ подарю одну изъ этихъ табакерокъ.

Это былъ единственный амурный разговоръ между Велентьевымъ и княжною. Тѣмъ не менѣе, онъ заключалъ въ себѣ настолько содержательности, что участь обоихъ дѣйствующихъ лицъ была рѣшена. Черезъ мѣсяцъ княжна Нина Ираклієвна Крикулидзева уже носила фамилію Велентьевой, и молодые въ великолѣпномъ іохимовскомъ дормезѣ (подарокъ ma tante) отправлялись въ губернскій городъ Семиозерскъ. Черезъ годъ у нихъ родился сынъ Порфирій.

———

Такимъ образомъ уже съ колыбели Порфиша очутился, такъ сказать, на самомъ лонѣ финансовыхъ операцій.

Менандръ Семеновичъ взглянулъ на свою должность съ тѣмъ невозмутимымъ практическомъ смысломъ, которымъ онъ всегда отличался. Конечно, въ качествѣ бывшаго семинариста, не отвыкшаго еще во всякомъ дѣлѣ прежде всего отыскивать его отвлеченную суть, онъ увлекся было разъясненіемъ вопроса о правахъ и обязанностяхъ, сопряженныхъ съ званіемъ совѣтника казенной палаты, но къ чести его должно сказать, что увлеченіе это было непродолжительно. Онъ быстро понялъ современную ему дѣйствительность и съ свойственною ему проницательностью угадалъ, что отыскивать въ ней что-либо отвѣчающее понятію, выраженному словами: права и обязанности, было бы совершенно напраснымъ трудомъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, признать за нѣчто существенное такое, напримѣръ, право, какъ право носить мундиръ съ шитьемъ шестого класса, или такую обязанность, какъ обязанность являться въ соборъ и по начальству въ табельные дни. Все это не больше, какъ принадлежность чиновничьяго этикета, который, въ общемъ своемъ составѣ, хотя и подраздѣлялся на рубрики, носившія наименованіе «правъ и обязанностей», но очевидно, что это произошло лишь вслѣдствіе недоразумѣнія. Въ сущности всякій, какъ чиновникъ, такъ и простой обыватель, жилъ, какъ могъ, т.-е. не зналъ ни правъ ни обязанностей, а просто-напросто занимался пріобрѣтеніемъ въ свою пользу матеріальныхъ удобствъ настолько, насколько это позволяла личная возможность пріобрѣтать. И ужъ, конечно, никто не стѣснялся мыслью, что существуетъ на свѣтѣ какая-то особенная жизненная подкладка, элементы которой имѣютъ названіе правъ и обязанностей.

Итакъ, ни правъ ни обязанностей не было, а была только возможность или невозможность получить желаемое и, кромѣ того, опасеніе попасть подъ судъ. Но желаніе есть такая вещь, которая присуща природѣ человѣка, даже независимо отъ степени нравственнаго и умственнаго его развитія. И дикарь нѣчто желаетъ, несмотря на то, что онъ не имѣетъ понятія ни о правдѣ, ни о добрѣ, ни объ общественномъ интересѣ. Поэтому, если существуетъ общество, въ которомъ всѣ высшіе интересы сосредоточиваются исключительно около мундирнаго шитья и другихъ внѣшнихъ проявленій чиновничьяго этикета, то ясно, что въ этомъ обществѣ единственнымъ регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій можетъ служить только личная жадность каждаго отдѣльнаго индивидуума, и притомъ жадность эгоистичная, уровень которой немногимъ превышаетъ уровень жадности дикаря. Можетъ человѣкъ унести и спрятать, или не можетъ? можетъ заглотать облюбованный кусъ, или не можетъ? — вотъ кругъ въ которомъ вращается человѣческая жизнь, вотъ вся ея философія.

Несмотря на свою грубость, эта теорія улыбалась Велентьеву. Во-первыхъ, она не только совпадала съ его теоріей угобженія плоти (дабы духъ могъ безпрепятственнѣе воспарить), но и шла значительно дальше, предоставляя выполненіе второй половины задачи (пареніе духа) естественному ходу обстоятельствъ. Возможетъ духъ воспарить — прекрасно; не возможетъ — стало-быть, обстоятельства тому не благопріятствуютъ. И дешево и сердито.

Во-вторыхъ, ежели другой, лучшей теоріи нѣтъ, то, дѣлать нечего, надо мириться и съ тою, какая есть. Только безумцы могутъ отыскивать жемчужное зерно въ навозѣ; мудрый же довольствуется и овсянымъ зерномъ. Притомъ же и правительство одобряетъ, дабы никто жемчужнаго зерна не искалъ. Мудрый прежде всего ищетъ, чтобы у него была почва подъ ногами, и ежели эту почву составляетъ навозъ, то онъ и на навозѣ не погнушается строить зданіе своего благосостоянія. Въ-третьихъ, наконецъ, — и это самое главное, — теорія личной жадности встрѣчала на практикѣ такія приспособленія, которыя примиряли съ нею самаго взыскательнаго и щепетильнаго моралиста.

Взятая сама по себѣ, она была безнравственна — Велентьевъ охотно допускалъ это. Если бъ всѣмъ людямъ безъ различія была предоставлена возможность свободно проявлять стремленія своего аппетита, то послѣдствія этой свободы были бы самыя нагубныя. А именно: или всеобщая истребительная война, или всеоб-

щее обѣднѣніе. По крайней мѣрѣ, такъ гласитъ наука не только тогдашняго, но и нашего времени. Ни того ни другого Менандръ Семеновичъ не одобрялъ. Въ качествѣ вскормленника семинаріи, онъ ненавидѣлъ военныя упражненія и любилъ сосать свой кусъ не токмо нетревожно и несмущенно, но такъ, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славословила Подателя всѣхъ благъ. Съ другой стороны, какъ патріотъ, онъ понималъ, что ежели всѣ куски сдѣлать равными, то человѣческая дѣятельность утратитъ главнѣйшій свой стимулъ—соревнованіе. Каждый будетъ доволенъ (или вынужденъ казаться таковымъ) своей долей и не станетъ порываться урвать долю, сосомую сосѣдомъ. Люди одичаютъ, сдѣлаются лѣнивыми и безпечными, утратятъ инстинктъ предусмотрительности и запасливости — на что похоже! Фабрики и заводы прекратятъ свое дѣйствіе; промышленность придетъ въ упадокъ; торги запустѣютъ; земледѣлію будетъ нанесенъ ударъ, отъ котораго оно никогда не оправится. Что станется съ отечествомъ? — Велентьева подиралъ морозъ по кожѣ отъ этого вопроса. Но, къ счастію, ему не представлялось даже надобности разрѣшать этотъ вопросъ, ибо само отечество позаботилось о его разрѣшеніи.

Русское общество съ самаго начала XVIII вѣка порывалось создать теорію такой регламентаціи аппетитовъ, которая приличествовала бы обществу, вполнѣ цивилизованному, оберегающему себя и отъ анархіи и отъ всеобщаго обѣднѣнія. Попытки эти выразились въ формѣ очень незамысловатой, но въ то же время очень дѣйствительной, а именно—въ формѣ табели о рангахъ. Общество не лукавило: оно не прибѣгало для оправданія своихъ теорій къ помощи сложныхъ и извилистыхъ политико-экономическихъ афоризмовъ, которые, впрочемъ, не столько разрѣшаютъ вопросъ объ уравновѣшеніи человѣческихъ аппетитовъ, сколько описываютъ, какимъ образомъ въ дѣйствительности происходитъ ограниченіе однихъ частныхъ аппетитовъ въ пользу другихъ таковыхъ же. Оно поступило проще, т.-е. раздѣлило аппетиты на ранги, и затѣмъ сказало, что только дѣйствительно сильный и вполнѣ сознающій себя аппетитъ можетъ выйти изъ того ранга, въ который его помѣстила судьба. Это была своего рода цѣльная и оригинальная экономическая наука, которая въ главныхъ чертахъ раздѣляла обывателей на слѣдующіе четыре разряда. Однимъ представлялось желать, но не получать желаемаго; другимъ — желать и получать, но не сполна; третьимъ — желать и получать сполна; четвертымъ — желать и получать въ излишествѣ.

Такимъ образомъ вопросъ о безнравственности теоріи индивидуальныхъ аппетитовъ былъ устраненъ, и это тѣмъ болѣе утѣшило Велентьева, что въ большинствѣ случаевъ съ табелью о рангахъ уходилъ на задній планъ и вопросъ о силѣ аппетита, или, лучше сказать, вопросъ этотъ ставился въ полнѣйшую зависимость отъ разрядовъ. Конечно, исключенія допускались (самъ онъ, Менандръ Велентьевъ, былъ однимъ изъ такихъ исключеній), но исключенія, какъ извѣстно, только подтверждаютъ и узаконяютъ правило. По общему же правилу: будь человѣкъ хоть семи пядей во лбу, имѣй онъ хоть волчій аппетитъ, но ежели по щучьему велѣнію онъ засѣлъ въ разрядъ неполучающихъ, то и не выкарабкаться ему оттуда ни подъ какимъ видомъ.

«Да-съ, и сиди да посиживай тамъ! вотъ и хотѣлось бы тебѣ, курицыну сыну, что-нибудь стибрить — анъ врешь, руки коротки! Припасено, милый человѣкъ, да не про тебя!» мысленно говорилъ себѣ Велентьевъ, потирая руки.

Столь прекрасныя практическія приспособленія совершенно успокоили Менандра Семеновича. Онъ чувствовалъ, что аппетитъ у него сильный, что самъ онъ, по мѣрѣ возможности, готовъ пожрать все, что угодно, и что обстоятельства благопріятствуютъ не только содержанію этого аппетита въ исправности, но даже и развитію его въ будущемъ. Тѣмъ не менѣе онъ былъ настолько благоразуменъ, что на первый разъ, по собственному движенію, причислилъ себя не къ четвертому, а лишь къ третьему разряду обывателей. Четвертый разрядъ — это идеалъ, это свѣтозарный пунктъ, къ которому надлежитъ стремиться и по возможности достигать. Третій разрядъ — это «слѣдуемое», это то, что во всякомъ случаѣ должно быть. Велентьевъ понялъ, что прежде нежели требовать отъ судьбы излишковъ, человѣкъ

долженъ достигать «счастія», т.-е. такого душевнаго равновѣсія, при которомъ онъ имѣетъ право сказать: я мало имѣю, но за сіе малое восхвалю Господа моего въ тимпанахъ и гусляхъ! Достигнуть же этого блаженнаго состоянія можно лишь тогда, когда желанія человѣческія строго согласованы съ средствами ихъ осуществленія, и когда вслѣдствіе этого согласованія произойдетъ полученіе желаемаго сполна. Разумѣется, непріятно видѣть, какъ сосѣдъ держитъ во рту кусокъ (иной и держать-то путемъ не умѣетъ!), но на первыхъ порахъ и эту непріятность слѣдуетъ перенести стоически. Пускай цари живутъ въ позлащенныхъ дворцахъ—онъ, Велентьевъ, поживетъ и на Козьей улицѣ, въ собственномъ домикѣ съ садомъ и палисадникомъ. Всякому свое — вотъ правило мудраго; тотъ же мудрѣйшій, который пожелаетъ возвести это правило на ту высоту, гдѣ уже теряется различіе между твоимъ и моимъ—все-таки долженъ, хотя на время, притвориться лишь просто мудрымъ. Поэтому, совѣтнику ревизскаго отдѣленія—свое; губернскому контролеру—свое, поменѣе; губернскому казначею — свое, еще поменѣе; ему, Велентьеву, яко совѣтнику питейнаго отдѣленія—свое, противъ другихъ сугубо. Но до поры, до времени ни ему нѣтъ дѣла до чужихъ кусковъ, ни другимъ—до его куска. Всякій да сосетъ свой кусокъ подъ смоковницею своей.

Въ тѣ времена мѣста совѣтниковъ казенныхъ палатъ (въ особенности же питейныхъ отдѣленій) считались самыми завидными. Хотя грабежъ шелъ неусыпающій, но такъ какъ онъ былъ негромкій, то со стороны казалось что это не грабежъ, а только полученіе желаемаго. Поэтому, кромѣ хорошихъ доходовъ, тутъ былъ и почетъ,—какой-нибудь совѣтникъ губернскаго правленія, чтобы поставить себя въ матеріальномъ отношеніи на одну высоту съ совѣтникомъ казенной палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или войти въ паи съ убійцами, или скрасть сенатскій указъ, или сдѣлать подлогъ. Т.-е., говоря выраженіемъ того времени, долженъ былъ «замараться», ибо лишь за дѣла, сопряженныя съ «замараніемъ», онъ получалъ мзду, настолько существенную, что «не совѣстно было ее взять». Напротивъ того, совѣтникъ казенной палаты могъ не только гнушаться убійцами, но просто имѣлъ право сидѣть сложа руки и, какъ говорится, ждать у моря погоды—и ни десница ни шуйца его оттого не оскудѣвали. Ему нужно было только состоять въ званіи совѣтника—и взятка притекала къ нему сама, и притомъ взятка самая «благородная», такая, которую и «не стыдно было взять» (въ количественномъ смыслѣ), и для полученія которой не нужно было ни «мараться» ни рисковать. Немудрено, стало-быть, что мѣста эти цѣнились высоко и достигались лишь съ помощью сильной протекціи или очень значительной денежной оплаты.

Каждогодно, въ сентябрѣ, производились въ палатѣ торги на поставку вина, и каждый заводчикъ безропотно вносилъ «на братію» отъ шести до восьми копеекъ ассигнаціями съ ведра, смотря по тому, какое существовало въ губерніи «положеніе». Откупщикъ, съ своей стороны, тоже руководился «положеніемъ», внося свою дачу по третямъ года или по-мѣсячно, и притомъ всегда впередъ, такъ что даже въ случаѣ смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконецъ являлись по временамъ и отдѣльные случаи: взятіе откупа въ казенное управленіе, корчемство, пререканія между откупщиками двухъ сосѣднихъ уѣздовъ и т. д Но и эти случаи были предвидѣны «положеніемъ», и ежели не математически вѣрно, то приблизительно были имъ разрѣшены. Слѣдовательно, въ виду всегда имѣлась живая и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споровъ ни пререканій. Пріѣдетъ заводчикъ, скажетъ: «по положенію имѣю честь вручить»; совѣтникъ пожметъ ему руку и отвѣтитъ: «напрасно безпокоились, а впрочемъ»... Только всего и разговоровъ.

Затѣмъ замокъ щелкалъ, и «слѣдующее по положенію» скромно присовокуплялось къ прочимъ таковымъ.

И откупщики, и заводчики, и винные пристава—всѣ приносили отъ избытковъ своихъ, а тотъ, кто терпѣлъ, не жаловался, да врядъ ли и понималъ, что онъ терпитъ.

Менандръ Семеновичъ инстинктомъ угадалъ все, что въ его новой роли заключалось существеннаго, и потому, вступивъ въ должность, почувствовалъ себя въ ней точно такъ же свободно, какъ будто онъ двадцать лѣтъ сряду разрѣшалъ вопросы объ утечкѣ и усышкѣ. Еще передъ выѣздомъ

изъ Петербурга онъ понялъ, что главное въ этомъ дѣлѣ—это бюджетъ доходовъ, и потому прежде всего пріобрѣлъ себѣ отлично переплетенную и разлинованную тетрадь съ вытисненною на переплетѣ надписью: «Разное». На внутреннемъ же заглавномъ листѣ тетради онъ надписалъ: «Смѣта ожидаемыхъ полученій», съ эпиграфомъ: *благословиши вѣнецъ лѣта благости Твоея, Господи!* Затѣмъ, съ свойственною ему проницательностью, онъ раздѣлилъ смѣту на пять слѣдующихъ параграфовъ: § 1-й. «Содержаніе, отъ казны присвоенное *(лепта вдовицы)*». § 2-й. «Положеніе отъ откупа *(всякое даяніе благо)*». § 3-й. «Положеніе отъ господъ винокуренныхъ заводчиковъ *(и всякъ даръ совершенъ)*». § 4-й. «Слѣдуемое отъ винныхъ приставовъ *(ему же дань—дань, ему же честь—честь, ему же оброкъ—оброкъ)*». § 5-й «Разныя поступленія *(ищите и обрящете)*». Сдѣлавъ это распредѣленіе, Менандръ Семеновичъ сказалъ себѣ, что главное исполнено, что рубрики, исчерпывающія кругообращеніе совѣтника питейнаго отдѣленія, найдены, и затѣмъ остается только наблюдать, чтобъ онѣ своевременно и неупустительно наполнялись.

Когда Порфиша началъ понимать себя, репутація Менандра Семеновича въ Семиозерскѣ уже установилась. Онъ пользовался общественнымъ уваженіемъ, состоялъ въ званіи старшины мѣстнаго клуба, имѣлъ на шеѣ орденъ св. Анны и, въ довершеніе всего, обладалъ дружескимъ расположеніемъ губернатора.

Порфиша отъ природы былъ любознателенъ, но это качество развилось въ немъ еще болѣе вслѣдствіе таинственности, которою папаша облекалъ нѣкоторыя свои дѣйствія. Ежедневно, утромъ, Менандръ Семеновичъ запирался у себя въ кабинетѣ и по истеченіи нѣкотораго времени выходилъ оттуда, весь красный. Естественно, что обстоятельство это должно было заинтересовать Порфишу, и вотъ однажды, оторвавшись отъ рѣзвыхъ игръ юности, онъ подстерегъ моментъ, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался къ ней неслышными шагами, приложилъ къ замочной скважинѣ глазъ и увидѣлъ слѣдующую картину.

Отецъ сидѣлъ у письменнаго стола, задомъ къ нему, слѣдилъ по толстой разграфленной книгѣ и щелкалъ на счетахъ. Потомъ началъ перебирать какія-то бумажки, смотрѣлъ нѣкоторыя изъ нихъ на свѣтъ, щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ. Сосчитавши все, какъ слѣдуетъ, онъ приступилъ къ сортированію тѣхъ бумажекъ, которыя еще не были сложены въ пачки, подобралъ сѣренькія къ сѣренькимъ, красныя къ краснымъ и т. д. Подобравъ полную пачку, онъ клалъ ее на столъ, причемъ каждый разъ хлопалъ рукою и боязливо обертывался назадъ, какъ бы опасаясь, не наблюдаетъ ли кто за нимъ. Затѣмъ онъ выдвинулъ другой ящикъ, вынулъ оттуда мѣшокъ съ полуимперіалами и разложилъ на столѣ порядочное количество блестящихъ столбиковъ. Наконецъ, сосчитавши ассигнаціи и полуимперіалы, онъ подвелъ на счетахъ общій итогъ, потянулся, крякнулъ и призвалъ имя Господне. Финансовая операція кончилась, ассигнаціи и полуимперіалы отправлены въ надлежащіе ящики; замки защелкнулись; Порфиша отпрянулъ отъ двери и поспѣшилъ въ столовую играть.

Какъ ни однообразно было это зрѣлище, но оно полюбилось Порфишѣ: ему понравился и звонъ полуимперіаловъ и шелестъ бумажекъ, тѣмъ болѣе, что папаша, въ качествѣ члена палаты, постоянно имѣлъ ассигнаціи новенькія. Каждое утро онъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидалъ начала сеанса и, притаивъ дыханіе, выдерживалъ его до конца. Онъ научился различать интонаціи папашиныхъ покрякиваній, угадывалъ, когда папаша доволенъ результатами своего сеанса и когда недоволенъ. Мало того: никѣмъ не наставляемый, онъ въ скоромъ времени сталъ отличать сѣренькія бумажки отъ красненькихъ и синенькихъ, и, какъ ребенокъ живой и острый, угадалъ, что первымъ надлежитъ отдать предпочтеніе передъ послѣдними. Словомъ сказать, инстинктъ финансиста въ немъ заговорилъ.

Гораздо цѣльнѣе и рельефнѣе представлялся Порфишѣ образъ матери.

Нина Ираклiевна, вышедши замужъ и поселившись въ Семиозерскѣ, значительно измѣнилась. И прежде у нея было немного княжескихъ привычекъ, теперь же она предала забвенію и то немногое княже-

ское, которое сохраняла въ домѣ ma tante. Фигура ея изъ тоненькой сдѣлалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выраженіе, пріобрѣло оттѣнокъ довольства и даже добродушія. Вообще устройство ея судьбы подѣйствовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться ни пріобрѣтать исподтишка, какъ въ домѣ ma tante. Та страсть, которая была двигателемъ всей ея жизни—страсть къ пріобрѣтенію—получила себѣ вполнѣ свободный выходъ. Она могла покупать, продавать, вымѣнивать—Менандръ Семеновичъ не только не препятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на ея дѣятельность. У Менандра Семеновича было свое дѣло, у нея—свое. Она тоже создала себѣ своего рода палату, въ которой и копошилась съ утра до вечера.

На половинѣ у мамаши также шелъ процессъ созиданія, но шелъ не потаенно, а въ видѣ непрерывной и совершенно открытой сутолоки, такъ что Порфиша имѣлъ полную возможность слѣдить за всѣми его подробностями. Нина Ираклієвна вела операцію очень сложную и замысловатую: она торговала мужикомъ. Вымѣнивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказавшись лично отъ этой операціи, Менандръ Семеновичъ предоставилъ веденіе ея женѣ тѣмъ охотнѣе, что послѣдняя, какъ было всѣмъ извѣстно, имѣла свой приданный капиталъ и свою приданную деревню. Слѣдовательно, ни огласка ни опасеніе клеветы—ничто не препятствовало ей производить всѣ свойственныя благородному званію и дозволенныя закономъ операціи. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьевъ удѣляетъ своей женѣ на этотъ предметъ довольно значительные куши, которые въ расходной его книгѣ записываются подъ рубрикой: «воспособленія». Но такъ какъ никто этого собственными глазами не видалъ, а самъ Велентьевъ въ томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина Ираклієвна, не смущаясь разговорами, продолжала дѣйствовать неутомимо и ловко. Она изучала мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только съ точки зрѣнія выжиманія такъ называемаго мужицкаго сока. Не обращая вниманія на этнографическія и бытовыя стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изученіе стороны экономической, и такъ наметалась въ этой наукѣ, что съ перваго взгляда угадывала, гдѣ и что у мужика лежитъ и какую денежную цѣнность онъ собой представляетъ. Не брезгая мужикомъ барщиннымъ, она преимущественно любила мужика оброчнаго, какъ болѣе избалованнаго свободой передвиженія и, слѣдовательно, болѣе чувствительнаго ко всякимъ ограниченіямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошу плату выкупиться на волю — вотъ что стояло у нея на первомъ планѣ; затѣмъ уже слѣдовали другія мѣры: заставить откупиться отъ солдатчины, отъ барщины, отъ службы въ качествѣ бурмистра и проч.,— на все это оброчный мужикъ шелъ гораздо ходчѣе барщиннаго. Къ тому же и доходъ въ видѣ денегъ представлялся ея уму яснѣе, нежели доходъ въ видѣ произведеній мужицкаго труда. Послѣднія она допускала лишь между прочимъ, въ видѣ талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна, овчинъ и проч. Этого добра скоплялись у нея полныя кладовыя, и она охотно снабжала имъ мелкихъ семиозерскихъ торгашей.

Комната мамаши представляла цѣлый хаосъ, въ которомъ только она одна могла разобраться. Тутъ были сложены вороха талекъ, полотенъ, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до вечера перевѣшивалось, перемѣривалось, записывалось въ особыя матеріальныя книги и затѣмъ отправлялось въ кладовыя, чтобы на другой день дать мѣсто другимъ ворохамъ. Тутъ же, къ великому удовольствію Порфиши, лежали и незатѣйливыя сласти: пряники, орѣхи, леденцы и проч., приносимыя мужиками на поклонъ. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Ираклієвна каждодневно повѣряла себя, и въ это время, точно такъ же, какъ и мужъ, запиралась въ своей комнатѣ, но отъ Порфиши она не скрывалась и даже дѣлала его соучастникомъ тѣхъ наслажденій, которыя доставляла ей повѣрка. Ставши колѣнями на стулъ и навалившись всѣмъ корпусомъ на столъ, Порфиша въ какомъ-то очарованномъ забытьи всматривался въ ряды разложенныхъ пачекъ и слѣдилъ за движеніями рукъ мамаши. Въ комнатѣ дѣлалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопровождаемый чуть слышнымъ бормотаніемъ, да изрѣдка раздавалось щелканье

косточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ щелканьи слышалась ему какая-то сухая, безапелляціонная резолюція. Бумажки, въ противоположность папашинымъ, были замасленныя, рваныя, вдѣланныя въ писаную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя вниманіе Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папаши новенькія?—спрашивалъ онъ.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мѣшай, мой другъ! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивалъ руку и дотрогивался пальцемъ до одной изъ пачекъ.

— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки?—спрашивалъ онъ опять.

— Оттого, что у нихъ руки потныя... Не трогай, мой другъ! не сдвигай пачекъ съ мѣста! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкалъ и сидѣлъ смирно; но дѣтская подвижность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.

— Мамаша! у Авдея - старосты руки черныя-пречерныя! — говорилъ онъ, пытаясь отвлечь вниманіе Нины Ираклієвны.

— У Авдея - старосты... Да не тронь же, душечка, пачку! въ другой разъ запрусь и не оставлю тебя съ собой!

— Я, мамаша, только пальчикомъ!

Но вотъ и мамаша оканчивала повѣрку. «Слава Богу, все вѣрно!» говорила она и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала послѣдній ключомъ. Затѣмъ она на нѣкоторое время предавалась не то что отдохновенію, а какъ бы сладкому сознанію, что все до сихъ поръ шло и идетъ хорошо, а завтра, быть-можетъ, будетъ итти и еще лучше. Но отдохновеніе Нины Ираклієвны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужныя дѣла, въ видѣ переговоровъ съ сводчиками, конференцій съ мужиками и старостами, пріема оброка, телекъ, яицъ и т. п.

Всѣ сводчики ее знали и наперерывъ предлагали имѣнія. Всегда находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно прекрасное утро усматривали себя въ положеніи, о которомъ говорится: «хоть въ петлю полѣзай». Поэтому имѣній, которыя нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Ираклієвна зорко слѣдила за такими оказіями, имѣла на этотъ случай «руку» въ опекунскомъ совѣтѣ и находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сводчиками, которые являлись у нея чуть не каждый божій день.

— Дорого, — обыкновенно отрѣзывала она, выслушавъ предложеніе сводчика и зная, что послѣдній всегда запрашиваетъ если не вдвое, то въ полтора раза.

— Сударыня! строеніевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки мельница, лѣсъ-съ...

— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мнѣ мужика дай!

— И мужики исправные; у одного въ Москвѣ, на Таганкѣ, заведеніе, у нѣкоторыхъ смолокурни, дехтярные заводы-съ!

— Сколько душъ-то, ты говоришь?

— Триста!

— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выйдетъ?

— Не по четыреста, а по двѣсти, сударыня, въ двухстахъ они въ совѣтѣ заложены!

— Ну, инъ по двѣсти! Сто по двѣсти— это двадцать тысячъ... шестьдесятъ - то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съ ума спятилъ!

Нина Ираклієвна съ негодованіемъ отбрасывала счеты и отворачивалась отъ сводчика къ окну.

— За пятьдесятъ, можетъ-быть, отдадутъ!—заговаривалъ сводчикъ.

Молчаніе.

— Хоть сорокъ-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нѣтъ, за тридцать нельзя! Однихъ строеніевъ сколько! опять же скотъ!

— Да ты скажи мнѣ, съ какихъ ты-то радостей торгуешься? Или ужъ началъ и нашимъ и вашимъ служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попросите — вамъ послужу; другой попроситъ — другому готовъ!

— То-то «готовъ»! Обѣ стороны продать готовъ! Васъ за такія дѣла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ ли?

— Самый покорный-съ. Чтобъ это возмущеніе или бунтъ—и въ заведеніи никогда не бывало!

— Сорокъ—и ни копѣйки больше!

Сказавши это, Нина Ираклiевна уже окончательно упиралась, и результатомъ этого упорства почти всегда оказывалась купчая крѣпость, вслѣдствiе которой, черезъ мѣсяцъ или черезъ два, владѣлецъ «заведенiя» на Таганкѣ продавалъ его, а самъ, съ отпускной въ рукахъ, поступалъ въ то же «заведенiе» половымъ.

Еще чаще заставалъ Порфиша у мамаши мужиковъ. Изъ комнаты несся запахъ дегтя и сермяжины и раздавались возгласы: «гдѣ же взять-то, сударыня?» и неизбѣжный отвѣтъ на нихъ: «а мнѣ хоть роди, да подай!» Въ большей части случаевъ мужики винились, становились на колѣни и просили прощенiя, изъ чего Порфиша заключилъ, что всѣ они обманщики, и что мамаша напрасно теряетъ время, разговаривая съ такими негодяями. Но изрѣдка бывали и такiе случаи, что мужикъ спорилъ и доказывалъ.

— Вѣдь еще объ Рождествѣ я деньги-то отдалъ!—горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

— Не получала я, никакихъ я денегъ отъ тебя не получивала! — запиралась Нина Ираклiевна.

— Вотъ Владычица видѣла, какъ я на самомъ этомъ мѣстѣ всѣ деньги отдалъ!— упорствовалъ Еремка, указывая на висѣвшiй въ углу приданный образъ Богоматери, передъ которымъ всегда теплилась лампадка.

— Можетъ, и видѣла Владычица, какъ ты отдавалъ, только кому-нибудь другому, а не мнѣ!

— Оборотню, что ли, я отдавалъ?

— Пошелъ вонъ, подлецъ!

Мужикъ уходилъ; Нина Ираклiевна задумывалась, болтала ногами и нѣкоторое время избѣгала смотрѣть на Владычицу. Въ ней просыпалось что-то въ родѣ упрека, являлось колебанiе, не отдать ли?

— Никакъ и въ самомъ дѣлѣ онъ заплатилъ?—шептали уста ея.

Но Порфишу во всей этой сценѣ поражали лишь грубость Еремки и дерзость, съ которою онъ осмѣливается обличать мамашу свидѣтельствомъ Владычицы. Заключенiе, которое онъ выводилъ изъ этого случая, было то же самое, какъ и тогда, когда мужикъ винился и просилъ прощенiя. И въ первомъ случаѣ мужикъ былъ обманщикъ и во второмъ обманщикъ. «Стало-быть, онъ обманывалъ, если прощенiя запросилъ! Обманщикъ — и еще смѣетъ грубить!» — такъ говорилъ онъ себѣ, все болѣе и болѣе убѣждаясь, что формула: «какъ ты смѣешь?» есть самая удобная въ сношенiяхъ съ мужикомъ.

— Мамаша! какъ онъ смѣетъ тебѣ грубить!—восклицалъ онъ, съ воплемъ бросаясь въ объятiя Нины Ираклiевны.

Этотъ вопль окончательно улаживалъ всѣ сомнѣнiя. Нина Ираклiевна успокаивалась, и Еремка уходилъ домой, унося съ собой эпитеты нераскаяннаго и закоснѣлаго, которые не обѣщали ему ничего хорошаго въ будущемъ.

Но верхомъ торжества Нины Ираклiевны были хозяйственныя распоряженiя, выражавшiяся въ приказанiяхъ, отдаваемыхъ старостамъ и приказчикамъ.

— У Васьки Косого лошадь хороша, такъ ее на барскiй дворъ взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой!

— Слушаю, сударыня!

— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть въ людяхъ живетъ. А если хочетъ избу за собой оставить, пусть пятьдесятъ рублей отдастъ.

— Гдѣ ей эко мѣсто денегъ взять, сударыня!

— А негдѣ взять, такъ пусть не прогнѣвается! И въ людяхъ поживетъ!

— Слушаю, сударыня!

— То-то «слушаю». Ты слушай, а не разговаривай, что негдѣ ей денегъ взять. Всѣ вы потатчики!

— Кажется, стараемся, матушка!

— Всѣ вы стараетесь! Ты мнѣ вотъ что скажи: за Ѳедькой-то Долговязовымъ до сихъ поръ овца въ недоимкѣ числится... А! Скоро ли я дождусь?

— Одна у него, сударыня! Говоритъ, пущай прежде объягнится!

— А знаешь ли ты, что за такiя сло[illegible] вашего брата въ солдаты отдаютъ! [illegible] чтобъ была овца! У тебя со двора све[illegible] если черезъ недѣлю Ѳедька не приведетъ.

И такъ далѣе и такъ далѣе.

Вслушиваясь въ эти разговоры и [illegible]стоянно обращаясь среди всякаго рода [illegible]лученiй, Порфиша невольнымъ образомъ и самъ получилъ вкусъ къ финансамъ. Я не думаю, конечно, чтобы онъ от[illegible]сился къ процессу созиданiя сознатель[illegible] и чтобы въ немъ уже зародилась та [illegible]

канальства, которая въ этомъ случаѣ потребна, но едва ли ошибусь, сказавъ, что какъ бы ни было поверхностно дѣйствіе получаемыхъ въ дѣтствѣ впечатлѣній на человѣческое сознаніе, все-таки они не пропадаютъ безслѣдно. Сначала эти впечатлѣнія втѣсняются въ видѣ разрозненныхъ фактовъ, но потомъ мало-помалу одни отдѣльные факты начинаютъ цѣпляться за другіе и даютъ поводъ для сравненій и сопоставленій. Память хранитъ цѣлый запасъ фактовъ, которые, казалось, прошли въ свое время мимо, не возбудивъ даже вниманія, но на дѣлѣ оказывается, что они не только не исчезли, но выступаютъ во всей своей свѣжести и ясности, и выступаютъ именно въ ту самую минуту, когда всего болѣе чувствуется ихъ пригодность. Порфиша уже освоился съ формою денежныхъ знаковъ, онъ слышалъ щелканье счетовъ, видѣлъ мужика и хоть поверхностно, но все-таки пораженъ былъ энергическимъ выраженіемъ: «хоть роди, да подай!», къ которому любила прибѣгать Нина Ираклієвна. Этого достаточно было, чтобы въ свое время память выдвинула всѣ эти факты, и жизненный опытъ нашелъ для нихъ надлежащее мѣсто въ общей экономіи міросозерцанія.

Ни Менандръ Семеновичъ ни Нина Ираклієвна не думали сдѣлать изъ сына своего финансиста, которому впослѣдствіи суждено будетъ возвыситься до идеи о всеобщемъ ограбленіи. Да врядъ ли въ воспитательной практикѣ того времени и можно было найти примѣры подобной спеціальной подготовки. Въ то время люди воспитывались безъ всякихъ заданныхъ темъ; требовалось только, чтобъ они были понятливы, шустры и готовы на все. Что выйдетъ изъ этого впослѣдствіи, то-есть въ какомъ именно видоизмѣненіи «свободы тѣлодвиженій» найдетъ себѣ выходъ эта готовность на все — объ этомъ никто не задумывался. Всякій отецъ и всякая мать имѣли только одну заботу: чтобъ ребенку хорошо было жить на свѣтѣ. А это представлялось возможнымъ лишь тогда, когда ребенокъ твердо усвоивалъ себѣ всѣ условія окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону Божію, ариѳметикѣ, грамматикѣ, чистописанію, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не въ ней, а въ той домашней обстановкѣ, которая, независимо отъ азбучныхъ прописей, сама по себѣ отчеканивала и натуральныхъ юристовъ, и натуральныхъ администраторовъ, и натуральныхъ финансистовъ.

---

На четырнадцатомъ году Порфишу отдали въ одно изъ аристократическихъ заведеній Петербурга. Выборъ этого заведенія Менандръ Семеновичъ слѣдующимъ образомъ формулировалъ въ письмѣ къ княгинѣ Ферлакуръ: «Вы знаете, добрѣйшая моя благодѣтельница,—писалъ онъ ей, — что я не аристократъ по происхожденію. Хотя и отецъ мой и дѣды, въ теченіе можетъ-быть, многихъ столѣтій, возносили Подателю всѣхъ благъ молитву *о принесенныхъ честныхъ дарѣхъ*, но вѣдь молитва въ заслугу у насъ не принимается, слѣдовательно, если бъ я даже могъ доказать, что происхожу по прямой линіи отъ Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счелъ. Но аристократія любезна моему сердцу потому, что назначеніе ея—вливать въ государственный организмъ возвышенный духъ. Аристократія полезна даже и въ томъ случаѣ, если она ничего дѣйствительно полезнаго не совершаетъ. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, *чѣмъ* я былъ до поступленія въ вашъ почтеннѣйшій домъ, и *что* сдѣлали изъ меня вы! Вотъ почему я желалъ бы, чтобъ мой Порфирій былъ съ дѣтскихъ лѣтъ окруженъ юношами благородныхъ фамилій. Черезъ сношеніе съ ними онъ получитъ возвышенныя чувства, которыя притомъ же, будучи по матери потомкомъ древняго рода князей Крикулидзевыхъ, онъ и отъ природы весьма склоненъ имѣть. Въ особенности было бы хорошо, если бъ онъ сіи чувства могъ пріобрѣтать на казенный счетъ, къ устройству чего вы, моя незабвенная благодѣтельница, всеконечно, имѣете всѣ пути».

Порфиша былъ принятъ, но въ заведеніи участь его была не изъ завидныхъ. Во-первыхъ, товарищи скоро узнали, что отецъ его происходитъ изъ духовнаго званія и, къ довершенію всего, служитъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія, тогда какъ ихъ отцы были не только сами егермейстеры, но и дѣти дѣтей егермейстерскихъ. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое

было тѣмъ тягостнѣе, что сопровождалось приставаніями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него въ саду, снимали фуражки и крестились; другіе дѣлали видъ, что кадятъ; третьи—показывали рукой хапанца, какъ эмблему питейнаго отдѣленія; четвертые, наконецъ, рисовали хапанца на бумагѣ и утверждали, что это гербъ рода Велентьевыхъ. Во-вторыхъ, княгиня Ферлакуръ, выхлопотавши помѣщеніе Порфиши въ заведеніе на казенный счетъ, этимъ и ограничила свои попеченія о немъ.

Такимъ образомъ Порфиша росъ въ заведеніи одинокій и забытый. По праздникамъ товарищи разъѣзжались по домамъ, ѣздили на лихачахъ, лакомились въ кондитерскихъ и ресторанахъ, а онъ сидѣлъ въ заведеніи, ѣлъ говядину подъ краснымъ соусомъ, давился суконными пирогами и выслушивалъ сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостылѣли стѣны заведенія и который охотно промѣнялъ бы ихъ на стѣны ресторана Доминика, гдѣ есть бильярдъ, домино и т. д.

Это одиночество развило въ Порфишѣ мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома. Съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ рекреаціонныхъ часовъ, которые позволяли ему быть въ сторонѣ отъ товарищеской сутолоки, и какъ только звонокъ возвѣщалъ окончаніе класса — удалялся въ садъ, бродилъ по аллеямъ или садился на дерновую скамейку и мечталъ. Передъ нимъ проносился весь процессъ созиданія, видѣнный въ дѣтствѣ: столбики золота, бумажки новыя (папашины), бумажки старыя (мамашины), мужики, запахъ дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы...

Не успѣлъ совсѣмъ стихнуть звонокъ, какъ уже воображеніе Порфиши работаетъ. Онъ видитъ себя заблудившимся въ лѣсу. Онъ бродитъ, выбивается изъ силъ, молится, плачетъ — все тщетно! Вдругъ, словно изъ земли, вырастаетъ передъ нимъ старикъ и подаетъ червонецъ. Вручая червонецъ, старикъ говоритъ: «ты можешь размѣнивать его сколько угодно, онъ всегда будетъ у тебя цѣлъ». Вотъ тема, за которую хватается фантазія и по поводу которой тотчасъ же начинаетъ рисовать самыя разнообразныя практическія примѣненія. И лѣсъ и старикъ исчезаютъ; остается только волшебный червонецъ. Порфиша мысленно отправляется съ нимъ въ кондитерскую, покупаетъ пять пирожковъ и получаетъ два рубля семьдесятъ пять копеекъ сдачи. А червонецъ тутъ какъ тутъ. Потомъ онъ отправляется въ овощную лавку, покупаетъ пятокъ яблокъ и получаетъ сдачи два рубля девяносто копеекъ. Червонецъ опять тутъ какъ тутъ. Потомъ онъ идетъ въ гостиницу, съѣдаетъ бифштексъ, оттуда опять въ кондитерскую, гдѣ ѣстъ порцію мороженаго, вездѣ получаетъ сдачу и вездѣ удостовѣряется, что драгоцѣнный червонецъ неприкосновененъ. Въ этихъ мысленныхъ экскурсіяхъ застаетъ Порфишу звонокъ; онъ медленно идетъ въ классъ, но и тамъ, за урокомъ, начатая работа мысли не прекращается. Онъ складываетъ, умножаетъ, повѣряетъ и получаетъ проценты...

Ученье шло туго, несмотря на то, что Порфиша уже дома зналъ больше того, что требовалось въ томъ классѣ заведенія, въ который онъ поступилъ. Постоянно живя въ обществѣ призраковъ, онъ сдѣлался разсѣянъ, впалъ въ полудремотное состояніе. Это повліяло и на его поведеніе или, лучше сказать, на тѣ отмѣтки, которыми въ заведеніи выражалась степень внѣшняго благочинія воспитанниковъ. Онъ былъ тихъ и смиренъ, никогда не повѣсничалъ, не приставалъ, не грубилъ, но начальствующимъ почему-то казалось, что въ сердцѣ этого мальчика свилъ гнѣздо порокъ.

Съ родителями Порфиша видѣлся только лѣтомъ, во время каникулъ. Но и къ нимъ онъ поставилъ себя въ какія-то странныя, натянутыя отношенія. Пріѣзжая въ Семиозерскъ, онъ заставалъ въ родительскомъ домѣ тотъ же процессъ простого созиданія, которому онъ былъ свидѣтелемъ и до поступленія въ заведеніе. Постарому отецъ запирался каждое утро въ кабинетѣ, щелкалъ на счетахъ и, по истеченіи урочнаго времени, выходилъ изъ своего заключенія весь красный, какъ бы стыдящійся. Попрежнему мать спекулировала мужикомъ, спорила, торговалась и въ концѣ трудового дня укладывала въ пачки замасленные кредитные билеты. Но послѣ тѣхъ сновъ наяву, которые постоянно проносились передъ Порфишей,—сновъ съ кладами, неразмѣнными червонцами, разрывъ-травами и проч.,—это кро-

потливое копеечное созиданіе не могло не показаться ему просто жалкимъ.

— Вы попрежнему копеечку къ копеечкѣ прижимаете-съ?—спросилъ онъ мать въ первый же разъ, какъ увидѣлся съ ней послѣ годовой разлуки.

Въ первую минуту Нина Ираклієвна приняла эти слова за шутку; но тонъ, которымъ они были сказаны, дышалъ такой несомнѣнной язвительностью, что она вдругъ догадалась и словно замерла съ пачкой кредитныхъ билетовъ въ рукахъ.

— Курочки-съ! телечки-съ! грибки-съ!— продолжалъ между тѣмъ Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Ираклієвна переполошилась не на шутку.

— Да ты что это, щенокъ, говоришь?— крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже передъ этимъ восклицаніемъ. Нѣкоторое время онъ исподлобья, съ идіотскою ироніей, взглядывалъ на мать, шевелилъ губами и дѣлалъ видъ, что едва удерживается отъ смѣха. Наконецъ, всталъ и, удаляясь изъ комнаты, произнесъ:

— Продолжайте-съ! Что же-съ! Телечки-съ! грибочки-съ! овчинки-съ! Похвально-съ!

Вслѣдъ затѣмъ подобное же недоразумѣніе произошло у Порфиши и съ отцомъ. Однажды Менандръ Семеновичъ стоялъ въ передней и провожалъ дорогого гостя, т.-е. откупщика, который только что вручилъ «слѣдуемое по положенію».

— Напрасно безпокоились! — говорилъ Менандръ Семеновичъ.

— Помилуйте-съ! Не я, а положеніе-съ!.. святое дѣло!—расшаркивался откупщикъ.

— Положеніе—это такъ; а все-таки...— настаивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Совсѣмъ не «все-таки», а просто положеніе— и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, Богъ вѣсть откуда, награнулъ Порфиша. Но, вмѣсто того, чтобъ расшаркаться передъ откупщикомъ и пожать ему руку, онъ пробѣжалъ мимо, какъ-то странно при этомъ хихикнувъ, и вполголоса, но такъ, что всѣ слышали, произнесъ:

— Взяточки-съ!

Словомъ сказать, и въ школѣ и дома Порфиша поставилъ себя особнякомъ. И Богъ знаетъ, куда привелъ бы его этотъ финансовый идеализмъ, если бъ не случилось обстоятельство, которое разомъ возвратило его къ чувству дѣйствительности.

Съ переходомъ въ старшій курсъ умственныя силы Порфиши вдругъ пробудились снова. Совершилось нѣчто чудесное, но чудо было вполнѣ достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась «политической экономіей» и преподавалась воспитанникамъ заведенія, какъ вѣнецъ тѣхъ знаній, съ которыми они должны были явиться въ свѣтъ. Послѣ первыхъ же лекцій Порфиша вдругъ почувствовалъ себя свѣжимъ и бодрымъ. Ему показалось, что на него пахнуло чѣмъ-то знакомымъ, что то, о чемъ онъ когда-то мечталъ, уединившись въ саду, снова проходитъ передъ нимъ, но подъ другими, болѣе ясными формами. Міръ чудесъ, къ которому онъ такъ страстно стремился, но который до сихъ поръ представлялся его мысли смутно и безпорядочно, вдругъ пріобрѣлъ необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастическія видѣнія, въ формѣ волшебницъ, волшебниковъ, кладовъ, неразмѣнныхъ червонцевъ—теперь ему подавала руку сама наука; прежде процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли прійти и не прійти на помощь, смотря по тѣмъ рессурсамъ, которые представляла большая или меньшая напряженность воображенія— теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполнѣ солидные кунштюки, которые, вдобавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ. Бредъ наяву продолжался, но это былъ уже бредъ серьезный, могущій, пожалуй, послужить матеріаломъ для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

Въ заведеніи, о которомъ идетъ рѣчь, преподавалась политическая экономія коротенькая. Законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ группъ, изъ которыхъ каждая, въ свою очередь, представлялась уму въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своей напоминающей пѣсню: коли любишь—прикажи, а не любишь—откажи. Вотъ, милостивые государи, «спросъ»; вотъ «предложеніе»; вотъ «кредитъ» и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепетъ дѣйствительной, конкретной жизни, съ ея ликованіями и воплями,

съ ея сытостью и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными, не было и въ поминѣ. Откуда явились и утвердились въ жизни всѣ эти хитросплетенія, которымъ присвоилось названіе законовъ? Правильно ли присвоено это названіе, или неправильно? Насколько они могутъ удовлетворять требованіямъ справедливости, присущей природѣ человѣка? — все это оставалось безъ разъясненія. Наука — пустой пузырь, съ наклеенными на немъ безсмысленными этикетками; жизнь — арена, въ которой регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездѣльничество.

Порфишѣ эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ. Слова: «спросъ», «предложеніе», «кредитъ», «ажіотажъ», «акціонерныя компаніи» не сходили у него съ языка. Онъ скоро сдѣлался любимѣйшимъ ученикомъ профессора и отвѣчалъ на всѣ вопросы такъ быстро и несмущенно, какъ будто отвѣты давно уже таились въ немъ, а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понялъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ самомъ дѣйствіи. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дѣйствія и лично на самомъ дѣлѣ испытывалъ послѣдствія каждаго экономическаго закона. Игра въ «спросъ и предложеніе» представляла цѣлую повѣсть, исполненную разнообразнѣйшихъ эпизодовъ, игра въ «кредитъ» разросталась въ романъ, игра въ «ажіотажъ» превращалась, по мѣрѣ своего развитія, въ безконечную поэму...

И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ силу которой «спросъ» съ завязанными глазами бѣгалъ за «предложеніемъ», а «предложеніе», въ свою очередь, нащупывало, нѣтъ ли гдѣ «спроса»; но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ «ажіотажъ» и въ «акціонерныя компаніи», которая ждала Порфишу впереди. То былъ волшебный, жгучій бредъ, въ которомъ лились золотыя рѣки, обрамленныя сапфировыми и рубиновыми берегами. Съ недѣтскою проницательностью угадывалъ онъ моментъ, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ. Онъ продавалъ, и за нимъ бросались продавать всѣ. Происходила паника, вслѣдствіе которой на сцену являлось «предложеніе», а «спросъ» былъ въ отсутствіи. Тогда онъ начиналъ покупать, и за нимъ бросались покупать всѣ. Новая паника, вслѣдствіе которой на сцену являлся «спросъ», а «предложеніе» было въ отсутствіи. И всѣ эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ понималъ, что главное достоинство капитала — это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ придумывалъ новыя экономическія комбинаціи: отыскивалъ неслыханные дотолѣ источники богатствъ, устраивалъ акціонерныя общества и т. д. Мысленный взоръ его устремился всюду: и на Ледовитый океанъ, въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ и т. д., и на Скопинскій уѣздъ, въ нѣдрахъ котораго безъ вѣсти пропадали залежи каменнаго угля, и на Печорскій край, рѣки котораго кишѣли семгою, нельмою и максуномъ. Открывши новый источникъ богатствъ, онъ мысленно устраивалъ акціонерную компанію, но, выпустивъ акціи и продавъ ихъ съ преміей, не останавливался подолгу на одномъ и томъ же предпріятіи, а спѣшилъ къ другимъ источникамъ и другимъ акціонернымъ обществамъ.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая дѣятельность, тѣмъ болѣе достойная удивленія, что она носила чисто отвлеченный характеръ. Процессъ накопленія доставлялъ Порфишѣ неисчерпаемый источникъ наслажденій, независимо отъ всякихъ личныхъ практическихъ примѣненій, однѣми перипетіями, которыя его сопровождали.

Но что всего замѣчательнѣе, на глазахъ у Порфиши не было даже практическихъ примѣровъ, съ помощью которыхъ его мысль могла бы оріентироваться. Время тогда было самое глухое; изъ значительныхъ желѣзныхъ дорогъ существовала только одна; объ акціонерныхъ обществахъ и биржевой игрѣ не было и помину. Никому не приходила въ голову ни неистощимая печорская семга, ни безпримѣрныя въ лѣтописяхъ міра скопинскія залежи каменнаго угля. Ничѣмъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша

проникалъ и въ нѣдра земли и въ глубины морскихъ хлябей. и вездѣ находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что всѣ финансовыя построенія, которымъ онъ такъ неутомимо предавался, были построеніями безплотными, разлетавшимися при первомъ прикосновеніи дѣйствительности. Онъ ничего лично для себя не желалъ, а только выполнялъ свою провиденціальную задачу. Быть-можетъ, онъ уже чувствовалъ, что тотъ моментъ недалекъ, когда онъ явится съ зажатыми горстями, торжественно разожметъ ихъ, и—клацъ!— покажетъ изумленной Россіи пустыя ладони.

Былъ, однакожъ, одинъ очень важный практическій результатъ, который Порфиша извлекъ лично для себя изъ своихъ финансовыхъ сновъ: къ нему съ уваженіемъ стали относиться товарищи.

Самъ директоръ былъ изумленъ, когда однажды при немъ Порфиша бойко и безъ запинки, въ какихъ-нибудь четверть часа объяснилъ краткія правила къ познанію биржевой игры.

— Ну, Велентьевъ, не ожидалъ!—сказалъ онъ.—Судя по началу, я думалъ, что ты такъ и вырастешь дуракомъ, а ты вонъ какъ развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, повидимому, даже не понималъ ихъ. Онъ разсѣянно выслушивалъ сравненія, которыя проводились между его прошлымъ и настоящимъ, и очень можетъ быть, что въ головѣ его въ это время мелькала мысль:

«Чудаки! какъ будто что-нибудь измѣнилось! Какъ будто я не тотъ же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразмѣнные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи!»

Одинъ Менандръ Семеновичъ съ недовѣріемъ относился къ сыну, выслушивая его разсказы о самоновѣйшихъ способахъ накопленія богатствъ. Очевидно, онъ уже подозрѣвалъ въ Порфишѣ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мѣсто другому реформатору, который такъ же придетъ, насоритъ и уйдетъ...

1869—1872 гг.

## Премудрый пескарь.

(Сказка).

Жилъ былъ пескарь. И отецъ и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы вѣки въ рѣкѣ прожили, и ни въ уху, ни къ щукѣ въ хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынокъ,—говорилъ старый пескарь, умирая,— коли хочешь жизнью жуировать, такъ гляди въ оба!»

А у молодого пескаря ума палата была. Началъ онъ этимъ умомъ раскидывать и видитъ: куда ни обернется — вездѣ ему мать. Кругомъ, въ водѣ, все большія рыбы плаваютъ, а онъ всѣхъ меньше; всякая рыба его заглотать можетъ, а онъ никого заглотать не можетъ. Да и не понимаетъ: зачѣмъ глотать? Ракъ можетъ его клешней пополамъ перерѣзать, водяная блоха—въ хребетъ впиться и до смерти замучить. Даже свой братъ пескарь — и тотъ, какъ увидитъ, что онъ комара изловилъ, цѣлымъ стадомъ такъ и бросится отнимать. Отнимутъ и начнутъ другъ съ дружкой драться, только комара задаромъ растреплютъ.

А человѣкъ,—что это за ехидное созданіе такое! какихъ каверзъ онъ ни выдумалъ, чтобъ его, пескаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сѣти, и верши, и норотà, и, наконецъ, уду! Кажется, что можетъ быть глупѣе уды? — Нитка, на ниткѣ крючокъ, на крючкѣ червякъ или муха надѣты... Да и надѣты-то какъ?.. въ самомъ, можно сказать, неестественномъ положеніи! А между тѣмъ именно на уду всего больше пескарь и ловится!

Отецъ-старикъ не разъ его насчетъ уды предостерегалъ, «Пуще всего берегись уды, — говорилъ онъ, — потому что хоть и глупѣйшій это снарядъ, да вѣдь съ нами, пескарями, что глупѣе, то вѣрнѣе. Бросятъ намъ муху, словно насъ же приголубить хотятъ; ты въ нее вцѣпишься — анъ въ мухѣ-то смерть!»

Разсказалъ также старикъ, какъ однажды онъ чуть-чуть въ уху не угодилъ. Ловили ихъ въ ту пору цѣлою артелью, во всю ширину рѣки неводъ растянули, да такъ версты съ двѣ по дну волокомъ и волокли. Страсть, сколько тогда рыбы попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и

гольцы,—даже лещей-лежебоковъ изъ тины со дна поднимали! А пескарямъ такъ и счетъ потеряли. И какихъ страховъ онъ, старый пескарь, натерпѣлся, покуда его по рѣкѣ волокли—это ни въ сказкѣ сказать ни перомъ описать. Чувствуетъ, что его везутъ, а куда — не знаетъ. Видитъ, что у него съ одного боку — щука, съ другого—окунь; думаетъ: вотъ-вотъ, сейчасъ или та, или другой его съѣдятъ, а они — не трогаютъ... «Въ ту пору не до ѣды, братъ, было!» У всѣхъ одно на умѣ: смерть пришла! а какъ и почему она пришла—никто не понимаетъ. Наконецъ стали крылья у невода сводить, выволокли его на берегъ и начали рыбу изъ мотни въ траву валить. Тутъ-то онъ и узналъ, что такое уха. Трепещется на пескѣ что-то красное; сѣрыя облака отъ него вверхъ бѣгутъ; а жарко таксзо, что онъ сразу разомлѣлъ. И безъ того безъ воды тошно, а тутъ еще поддаютъ... Слышитъ — «костеръ», говорятъ. А на «кострѣ» этомъ черное что-то положено, и въ немъ—вода, точно въ озерѣ во время бури, ходуномъ ходитъ. Это—«котелъ», говорятъ. А подъ конецъ стали говорить: вали въ «котелъ» рыбу — будетъ «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнетъ рыбакъ рыбину, — та сначала окунется, потомъ, какъ полоумная, выскочитъ, потомъ опять окунется — и присмирѣетъ. «Ухи», значитъ, отвѣдала. Валили-валили сначала безъ разбора, а потомъ одинъ старичокъ глянулъ на него и говоритъ: «Какой отъ него, отъ малыша, прокъ для ухи: пущай въ рѣкѣ порастетъ!» Взялъ его подъ жабры, да и пустилъ въ вольную воду. А онъ, не будь глупъ, во всѣ лопатки—домой! Прибѣжалъ, а пескариха его изъ норы ни жива ни мертва выглядываетъ...

И что же! сколько ни толковалъ старикъ въ ту пору, что такое уха и въ чемъ она заключается, однако и поднесь въ рѣкѣ рѣдко кто здравыя понятія объ ухѣ имѣетъ!

Но онъ, пескарь-сынъ, отлично запомнилъ поученія пескаря-отца, да и на усъ себѣ намоталъ. «Надо глядѣть въ оба, — сказалъ онъ себѣ: — а не то какъ разъ пропадешь!»—и сталъ жить да поживать. Первымъ дѣломъ нору для себя такую придумалъ, чтобъ ему забраться въ нее было можно, а никому другому—не влѣзть! Долбилъ онъ носомъ эту нору цѣлый годъ, и сколько страху въ это время принялъ, ночуя то въ илѣ, то подъ водянымъ лопухомъ, то въ осокѣ. Наконецъ, однако, выдолбилъ на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному помѣститься въ нору. Вторымъ дѣломъ насчетъ житья своего рѣшилъ такъ: ночью, когда люди, звѣри, птицы и рыбы спятъ, онъ будетъ моціонъ дѣлать, а днемъ — станетъ въ норѣ сидѣть и дрожать. Но такъ какъ пить-ѣсть все-таки нужно, а жалованья онъ не получаетъ и прислуги не держитъ, то будетъ онъ выбѣгать изъ норы около полденъ, когда вся рыба ужъ сыта, и, Богъ дастъ, можетъ-быть, козявку-другую и промыслитъ, а ежели не промыслитъ, такъ и голодный въ норѣ заляжетъ и будетъ опять дрожать. Ибо лучше не ѣсть, не пить, нежели съ сытымъ желудкомъ жизни лишиться.

Такъ онъ и поступалъ. Ночью моціонъ дѣлалъ, въ лунномъ свѣтѣ купался, а днемъ забирался въ нору и дрожалъ. Только въ полдни выбѣжитъ кой-чего похватать — да что въ полдень промыслишь! Въ это время и комаръ подъ листъ отъ жары прячется, и букашка подъ кору хоронится. Поглотаетъ воды—и шабашъ!

Лежитъ онъ день-деньской въ норѣ, ночей не досыпаетъ, куска не доѣдаетъ и все-то думаетъ: «кажется, что я живъ? Ахъ, что-то завтра будетъ?»

Задремлетъ, грѣшнымъ дѣломъ, а во снѣ ему снится, что у него выигрышный билетъ, и онъ на него двѣсти тысячъ выигралъ. Не помня себя отъ восторга, перевернется на другой бокъ—глядь, анъ у него цѣлыхъ полрыла изъ норы высунулось... Что если бъ въ это время щуренокъ поблизости былъ: вѣдь онъ бы его изъ норы-то вытащилъ!

Однажды проснулся онъ и видитъ: прямо противъ его норы стоитъ ракъ. Стоитъ неподвижно, словно околдованный, вытаращивъ на него костяные глаза. Только усы по теченію воды пошевеливаются. Вотъ когда онъ страху набрался! И цѣлыхъ полдня, покуда совсѣмъ не стемнѣло, этотъ ракъ его поджидалъ, а онъ тѣмъ временемъ все дрожалъ, все дрожалъ.

Въ другой разъ, только что успѣлъ онъ передъ зорькой въ нору воротиться, только что сладко зѣвнулъ въ предвкушеніи сна — глядитъ, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоитъ и зубами хлопаетъ. И тоже цѣлый день его стерегла, словно видомъ

его однимъ сыта была. А онъ и щуку надулъ: не вышелъ изъ норы, да и шабашъ.

И не разъ и не два это съ нимъ случалось, а почесть что каждый день. И каждый день онъ, дрожа, побѣды и одолѣнія одерживалъ, каждый день восклицалъ: «слава тебѣ, Господи, живъ!»

Но этого мало: онъ не женился и дѣтей не имѣлъ, хотя у отца его была большая семья. Онъ разсуждалъ такъ: «Отцу шутя можно было прожить! Въ то время и щуки были добрѣе, и окуни на насъ, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды онъ и попалъ было въ уху, такъ и тутъ нашелся старичокъ который его вызволилъ! А нынче, какъ рыба-то въ рѣкахъ повывелась, и пескари въ честь попали, такъ ужъ тутъ не до семьи, а какъ бы только самому прожить!»

И прожилъ премудрый пескарь такимъ родомъ слишкомъ сто лѣтъ. Все дрожалъ, все дрожалъ. Ни друзей у него ни родныхъ; ни онъ къ кому, ни къ нему кто. Въ карты не играетъ, вина не пьетъ, табаку не куритъ, за красными дѣвушками не гоняется—только дрожитъ да одну думу думаетъ: «слава Богу, кажется, живъ!»

Даже щуки, подъ конецъ, и тѣ стали его хвалить: «вотъ, кабы всѣ такъ жили—то-то бы въ рѣкѣ тихо было!» Да только онѣ это нарочно говорили: думали, что онъ на похвалу-то отрекомендуется—вотъ, молъ, я,—тутъ его и хлопъ! Но онъ и на эту штуку не поддался, а еще разъ своею мудростью козни враговъ побѣдилъ.

Сколько прошло годовъ послѣ ста лѣтъ—неизвѣстно, только сталъ премудрый пескарь помирать. Лежитъ въ норѣ и думаетъ: «слава Богу, я своею смертью помираю, такъ же, какъ умерли мать и отецъ». И вспомнились ему тутъ щучьи слова: «вотъ, кабы всѣ такъ жили, какъ этотъ премудрый пескарь живетъ...» А ну-тка, въ самомъ дѣлѣ, что бы тогда было?

Сталъ онъ раскидывать умомъ, котораго у него была палата, и вдругъ ему словно кто шепнулъ: «вѣдь этакъ, пожалуй, весь пескарскій родъ давно перевелся бы!»

Потому что для продолженія пескарьяго рода прежде всего нужна семья, а у него ея нѣтъ. Но этого мало: для того, чтобъ пескарья семья укрѣплялась и процвѣтала, чтобъ члены ея были здоровы и бодры, нужно, чтобъ они воспитывались въ родной стихіи, а не въ норѣ, гдѣ онъ почти ослѣпъ отъ вѣчныхъ сумерекъ. Необходимо, чтобъ пескари достаточное питаніе получали, чтобъ не чуждались общественности, другъ съ другомъ хлѣбъ-соль бы водили и другъ отъ друга добродѣтелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь можетъ совершенствовать пескарью породу и не дозволитъ ей измельчать и выродиться въ снитка.

Неправильно полагаютъ тѣ, кои думаютъ, что лишь тѣ пескари могутъ считаться достойными гражданами, кои, обезумѣвъ отъ страха, сидятъ въ норахъ и дрожатъ. Нѣтъ, это не граждане, а, по меньшей мѣрѣ, безполезные пескари. Никому изъ нихъ ни тепло ни холодно, никому ни чести, ни безчестія, ни славы, ни безславія... живутъ, даромъ мѣсто занимаютъ да кормъ ѣдятъ.

Все это представилось пескарю до того отчетливо и ясно, что вдругъ ему страстная охота пришла: «вылѣзу-ка я изъ норы да гоголемъ по всей рѣкѣ проплыву». Но едва онъ подумалъ объ этомъ, какъ опять испугался. И началъ, дрожа, помирать. Жилъ—дрожалъ, и умиралъ—дрожалъ.

Вся жизнь мгновенно передъ нимъ пронеслась. Какія были у него радости? Кого онъ утѣшилъ? Кому добрый совѣтъ подалъ? Кому доброе слово сказалъ? Кого пріютилъ, обогрѣлъ, защитилъ? Кто слышалъ о немъ? Кто объ его существованіи вспомнитъ?

И на всѣ эти вопросы ему пришлось отвѣчать: никому, никто.

Онъ жилъ и дрожалъ—только и всего. Даже вотъ теперь: смерть у него на носу, а онъ все дрожитъ, самъ не знаетъ, изъ-за чего. Въ норѣ у него темно, тѣсно, повернуться негдѣ; ни солнечный лучъ туда не заглянетъ, ни тепломъ не пахнетъ. И онъ лежитъ въ этой сырой мглѣ, незрячій, изможденный, никому ненужный, лежитъ и ждетъ: когда же, наконецъ, голодная смерть окончательно освободитъ его отъ безполезнаго существованія?

Слышно ему, какъ мимо его норы шмыгаютъ другія рыбы—можетъ-быть, какъ и онъ, пескари—и ни одна не поинтересуется имъ, ни одной на мысль не придетъ: дай-ка, спрошу я у премудраго пескаря, какимъ онъ манеромъ умудрился слишкомъ сто лѣтъ прожить, и ни щука его не заглотала, ни ракъ клешней не перешибъ, ни рыболовъ на уду не поймалъ? Плывутъ

ское, которое сохраняла въ домѣ ma tante. Фигура ея изъ тоненькой сдѣлалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выраженіе, пріобрѣло оттѣнокъ довольства и даже добродушія. Вообще устройство ея судьбы подѣйствовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться ни пріобрѣтать исподтишка, какъ въ домѣ ma tante. Та страсть, которая была двигателемъ всей ея жизни—страсть къ пріобрѣтенію—получила себѣ вполнѣ свободный выходъ. Она могла покупать, продавать, вымѣнивать—Менандръ Семеновичъ не только не препятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на ея дѣятельность. У Менандра Семеновича было свое дѣло, у нея—свое. Она тоже создала себѣ своего рода палату, въ которой и копошилась съ утра до вечера.

На половинѣ у мамаши также шелъ процессъ созиданія, но шелъ не потаенно, а въ видѣ непрерывной и совершенно открытой сутолоки, такъ что Порфиша имѣлъ полную возможность слѣдить за всѣми его подробностями. Нина Ираклiевна вела операцію очень сложную и замысловатую: она торговала мужикомъ. Вымѣнивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказавшись лично отъ этой операціи, Менандръ Семеновичъ предоставилъ веденіе ея женѣ тѣмъ охотнѣе, что послѣдняя, какъ было всѣмъ извѣстно, имѣла свой приданный капиталъ и свою приданную деревню. Слѣдовательно, ни огласка ни опасеніе клеветы—ничто не препятствовало ей производить всѣ свойственныя благородному званію и дозволенныя закономъ операціи. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьевъ удѣляетъ своей женѣ на этотъ предметъ довольно значительные куши, которые въ расходной его книгѣ записываются подъ рубрикой: «воспособленія». Но такъ какъ никто этого собственными глазами не видалъ, а самъ Велентьевъ въ томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина Ираклiевна, не смущаясь разговорами, продолжала дѣйствовать неутомимо и ловко. Она изучала мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только съ точки зрѣнія выжиманія такъ называемаго мужицкаго сока. Не обращая вниманія на этнографическія и бытовыя стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изученіе стороны экономической, и такъ наметалась въ этой наукѣ, что съ перваго взгляда угадывала, гдѣ и что у мужика лежитъ и какую денежную цѣнность онъ собой представляетъ. Не брезгая мужикомъ барщиннымъ, она преимущественно любила мужика оброчнаго, какъ болѣе избалованнаго свободой передвиженія и, слѣдовательно, болѣе чувствительнаго ко всякимъ ограниченіямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошу плату выкупиться на волю — вотъ что стояло у нея на первомъ планѣ; затѣмъ уже слѣдовали другія мѣры: заставить откупиться отъ солдатчины, отъ барщины, отъ службы въ качествѣ бурмистра и проч.,— на все это оброчный мужикъ шелъ гораздо ходчѣе барщиннаго. Къ тому же и доходъ въ видѣ денегъ представлялся ея уму яснѣе, нежели доходъ въ видѣ произведеній мужицкаго труда. Послѣднія она допускала лишь между прочимъ, въ видѣ талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна, овчинъ и проч. Этого добра скоплялись у нея полныя кладовыя, и она охотно снабжала имъ мелкихъ семиозерскихъ торгашей.

Комната мамаши представляла цѣлый хаосъ, въ которомъ только она одна могла разобраться. Тутъ были сложены вороха талекъ, полотенъ, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до вечера перевѣшивалось, перемѣривалось, записывалось въ особыя матеріальныя книги и затѣмъ отправлялось въ кладовыя, чтобы на другой день дать мѣсто другимъ ворохамъ. Тутъ же, къ великому удовольствію Порфиши, лежали и незатѣйливыя сласти: пряники, орѣхи, ледянцы и проч., приносимыя мужиками на поклонъ. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Ираклiевна каждодневно повѣряла себя, и въ это время, точно какъ же, какъ и мужъ, запиралась въ своей комнатѣ, но отъ Порфиши она не скрывалась и даже дѣлала его соучастникомъ тѣхъ наслажденій, которыя доставляла ей повѣрка. Ставши колѣнями на стулъ и навалившись всѣмъ корпусомъ на столъ, Порфиша въ какомъ-то очарованномъ забытьи всматривался въ ряды разложенныхъ пачекъ и слѣдилъ за движеніями рукъ мамаши. Въ комнатѣ дѣлалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопровождаемый чуть слышнымъ бормотаніемъ, да изрѣдка раздавалось щелканье

юсточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ щелканьи слышалась ему какая-то сухая, безапелляціонная резолюція. Бумажки, въ противоположность папашинымъ, были замасленныя, рваныя, сдѣланныя въ писаную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя вниманіе Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папаши новенькія?—спрашивалъ онъ.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мѣшай, мой другъ! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивалъ руку и дотрогивался пальцемъ до одной изъ пачекъ.

— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки?—спрашивалъ онъ опять.

— Оттого, что у нихъ руки потныя... Не трогай, мой другъ! не сдвигай пачекъ съ мѣста! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкалъ и сидѣлъ смирно; но дѣтская подвижность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.

— Мамаша! у Авдея - старосты руки черныя-пречерныя! — говорилъ онъ, пытаясь отвлечь вниманіе Нины Иракліевны.

— У Авдея - старосты... Да не тронь же, душечка, пачку! въ другой разъ запрусь и не оставлю тебя съ собой!

— Я, мамаша, только пальчикомъ!

Но вотъ и мамаша оканчивала повѣрку. «Слава Богу, все вѣрно!» говорила она и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала послѣдній ключомъ. Затѣмъ она на нѣкоторое время предавалась не то что отдохновенію, а какъ бы сладкому сознанію, что все до сихъ поръ шло и идетъ хорошо, а завтра, быть-можетъ, будетъ итти и еще лучше. Но отдохновеніе Нины Иракліевны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужныя дѣла, въ видѣ переговоровъ съ сводчиками, конференцій съ мужиками и старостами, пріема оброка, галекъ, яицъ и т. п.

Всѣ сводчики ее знали и наперерывъ предлагали имѣнія. Всегда находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно прекрасное утро усматривали себя въ положеніи, о которомъ говорится: «хоть въ петлю полѣзай». Поэтому имѣній, которыя нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Иракліевна зорко слѣдила за такими оказіями, имѣла на этотъ случай «руку» въ опекунскомъ совѣтѣ и находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сводчиками, которые являлись у нея чуть не каждый божій день.

— Дорого, — обыкновенно отрѣзывала она, выслушавъ предложеніе сводчика и зная, что послѣдній всегда запрашиваетъ если не вдвое, то въ полтора раза.

— Сударыня! строеніевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки мельница, лѣсъ-съ...

— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мнѣ мужика дай!

— И мужики исправные; у одного въ Москвѣ, на Таганкѣ, заведеніе, у нѣкоторыхъ смолокурни, дехтярные заводы-съ!

— Сколько душъ-то, ты говоришь?

— Триста!

— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выйдетъ?

— Не по четыреста, а по двѣсти, сударыня, въ двухстахъ они въ совѣтъ заложены!

— Ну, инъ по двѣсти! Сто по двѣсти— это двадцать тысячъ... шестьдесятъ - то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съ ума спятилъ!

Нина Иракліевна съ негодованіемъ отбрасывала счеты и отворачивалась отъ сводчика къ окну.

— За пятьдесятъ, можетъ-быть, отдадутъ!—заговаривалъ сводчикъ.

Молчаніе.

— Хоть сорокъ-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нѣтъ, за тридцать нельзя! Однихъ строеніевъ сколько! опять же скотъ!

— Да ты скажи мнѣ, съ какихъ ты-то радостей торгуешься? Или ужъ началъ и нашимъ и вашимъ служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попросите — вамъ послужу; другой попроситъ — другому готовъ!

— То-то «готовъ»! Обѣ стороны продать готовъ! Васъ за такія дѣла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ ли?

— Самый покорный-съ. Чтобъ это возмущеніе или бунтъ—и въ заведеніи никогда не бывало!

— Сорокъ—и ни копейки больше!

Сказавши это, Нина Ираклiевна уже окончательно упиралась, и результатомъ этого упорства почти всегда оказывалась купчая крѣпость, вслѣдствiе которой, черезъ мѣсяцъ или черезъ два, владѣлецъ «заведенiя» на Таганкѣ продавалъ его, а самъ, съ отпускной въ рукахъ, поступалъ въ то же «заведенiе» половымъ.

Еще чаще заставалъ Порфиша у мамаши мужиковъ. Изъ комнаты неслся запахъ дегтя и сермяжины и раздавались возгласы: «гдѣ же взять-то, сударыня?» и неизбѣжный отвѣтъ на нихъ: «а мнѣ хоть роди, да подай!» Въ большей части случаевъ мужики винились, становились на колѣни и просили прощенiя, изъ чего Порфиша заключилъ, что всѣ они обманщики, и что мамаша напрасно теряетъ время, разговаривая съ такими негодяями. Но изрѣдка бывали и такiе случаи, что мужикъ спорилъ и доказывалъ.

— Вѣдь еще объ Рождествѣ я деньги-то отдалъ!—горячился какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.

— Не получала я, никакихъ я денегъ отъ тебя не получивала! — запиралась Нина Ираклiевна.

— Вотъ Владычица видѣла, какъ я на самомъ этомъ мѣстѣ всѣ деньги отдалъ!— упорствовалъ Еремка, указывая на висѣвшiй въ углу приданный образъ Богоматери, передъ которымъ всегда теплилась лампадка.

— Можетъ, и видѣла Владычица, какъ ты отдавалъ, только кому-нибудь другому, а не мнѣ!

— Оборотню, что ли, я отдавалъ?

— Пошелъ вонъ, подлецъ!

Мужикъ уходилъ; Нина Ираклiевна задумывалась, болтала ногами и нѣкоторое время избѣгала смотрѣть на Владычицу. Въ ней просыпалось что-то въ родѣ упрека, являлось колебанiе, не отдать ли?

— Никакъ и въ самомъ дѣлѣ онъ заплатилъ?—шептали уста ея.

Но Порфишу во всей этой сценѣ поражали лишь грубость Еремки и дерзость, съ которою онъ осмѣливается обличать мамашу свидѣтельствомъ Владычицы. Заключенiе, которое онъ выводилъ изъ этого случая, было то же самое, какъ и тогда, когда мужикъ винился и просилъ прощенiя. И въ первомъ случаѣ мужикъ былъ обманщикъ и во второмъ обманщикъ. «Стало-быть, онъ обманывалъ, если прощенiя запросилъ! Обманщикъ — и еще смѣетъ грубить!» — такъ говорилъ онъ себѣ, все болѣе и болѣе убѣждаясь, что формула: «какъ ты смѣешь?» есть самая удобная въ сношенiяхъ съ мужикомъ.

— Мамаша! какъ онъ смѣетъ тебѣ грубить!—восклицалъ онъ, съ воплемъ бросаясь въ объятiя Нины Ираклiевны.

Этотъ вопль окончательно улаживалъ всѣ сомнѣнiя. Нина Ираклiевна успокаивалась, и Еремка уходилъ домой, унося съ собой эпитеты нераскаяннаго и закоснѣлаго, которые не обѣщали ему ничего хорошаго въ будущемъ.

Но верхомъ торжества Нины Ираклiевны были хозяйственныя распоряженiя, выражавшiяся въ приказанiяхъ, отдаваемыхъ старостамъ и приказчикамъ.

— У Васьки Косого лошадь хороша, такъ ее на барскiй дворъ взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей, что на худой!

— Слушаю, сударыня!

— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А сама пусть въ людяхъ живетъ. А если хочетъ избу за собой оставить, пусть пятьдесятъ рублей отдастъ.

— Гдѣ ей эко мѣсто денегъ взять, сударыня!

— А негдѣ взять, такъ пусть не прогнѣвается! И въ людяхъ поживетъ!

— Слушаю, сударыня!

— То-то «слушаю». Ты слушай, а не разговаривай, что негдѣ ей денегъ взять. Всѣ вы потатчики!

— Кажется, стараемся, матушка!

— Всѣ вы стараетесь! Ты мнѣ вотъ что скажи: за Ѳедькой-то Долговязовымъ до сихъ поръ овца въ недоимкѣ числится... А! Скоро ли я дождусь?

— Одна у него, сударыня! Говоритъ: пущай прежде объягнится!

— А знаешь ли ты, что за такiя слова вашего брата въ солдаты отдаютъ! Мнѣ чтобъ была овца! У тебя со двора сведу, если черезъ недѣлю Ѳедька не приведетъ!

И такъ далѣе и такъ далѣе.

Вслушиваясь въ эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякаго рода полученiй, Порфиша невольнымъ образомъ и самъ получилъ вкусъ къ финансамъ. Я не думаю, конечно, чтобы онъ относился къ процессу созиданiя сознательно и чтобы въ немъ уже зародилась та доза

канальства, которая въ этомъ случаѣ потребна, но едва ли ошибусь, сказавъ, что какъ бы ни было поверхностно дѣйствіе получаемыхъ въ дѣтствѣ впечатлѣній на человѣческое сознаніе, все-таки они не пропадаютъ безслѣдно. Сначала эти впечатлѣнія втѣсняются въ видѣ разрозненныхъ фактовъ, но потомъ мало-помалу одни отдѣльные факты начинаютъ цѣпляться за другіе и даютъ поводъ для сравненій и сопоставленій. Память хранитъ цѣлый запасъ фактовъ, которые, казалось, прошли въ свое время мимо, не возбудивъ даже вниманія, но на дѣлѣ оказывается, что они не только не исчезли, но выступаютъ во всей своей свѣжести и ясности, и выступаютъ именно въ ту самую минуту, когда всего болѣе чувствуется ихъ пригодность. Порфиша уже освоился съ формою денежныхъ знаковъ, онъ слышалъ щелканье счетовъ, видѣлъ мужика и хоть поверхностно, но все-таки пораженъ былъ энергическимъ выраженіемъ: «хоть роди, да подай!», къ которому любила прибѣгать Нина Ираклієвна. Этого достаточно было, чтобы въ свое время память выдвинула всѣ эти факты, и жизненный опытъ нашелъ для нихъ надлежащее мѣсто въ общей экономіи міросозерцанія.

Ни Менандръ Семеновичъ ни Нина Ираклієвна не думали сдѣлать изъ сына своего финансиста, которому впослѣдствіи суждено будетъ возвыситься до идеи о всеобщемъ ограбленіи. Да врядъ ли въ воспитательной практикѣ того времени и можно было найти примѣры подобной спеціальной подготовки. Въ то время люди воспитывались безъ всякихъ заданныхъ темъ; требовалось только, чтобъ они были понятливы, шустры и готовы на все. Что выйдетъ изъ этого впослѣдствіи, то-есть въ какомъ именно видоизмѣненіи «свободы тѣлодвиженій» найдетъ себѣ выходъ эта готовность на все — объ этомъ никто не задумывался. Всякій отецъ и всякая мать имѣли только одну заботу: чтобъ ребенку хорошо было жить на свѣтѣ. А это представлялось возможнымъ лишь тогда, когда ребенокъ твердо усвоивалъ себѣ всѣ условія окружающей среды. Поэтому, ежели школа и обучала ребенка закону Божію, ариѳметикѣ, грамматикѣ, чистописанію, то главная воспитательная закваска лежала все-таки не въ ней, а въ той домашней обстановкѣ, которая, независимо отъ азбучныхъ прописей, сама по себѣ отчеканивала и натуральныхъ юристовъ, и натуральныхъ администраторовъ, и натуральныхъ финансистовъ.

---

На четырнадцатомъ году Порфишу отдали въ одно изъ аристократическихъ заведеній Петербурга. Выборъ этого заведенія Менандръ Семеновичъ слѣдующимъ образомъ формулировалъ въ письмѣ къ княгинѣ Ферлакуръ: «Вы знаете, добрѣйшая моя благодѣтельница,—писалъ онъ ей, — что я не аристократъ по происхожденію. Хотя и отецъ мой и дѣды, въ теченіе можетъ-быть, многихъ столѣтій, возносили Подателю всѣхъ благъ молитву *о принесенныхъ честныхъ дарѣхъ*, но вѣдь молитва въ заслугу у насъ не принимается, слѣдовательно, если бъ я даже могъ доказать, что происхожу по прямой линіи отъ Аарона, то и тогда никто бы меня за аристократа не счелъ. Но аристократія любезна моему сердцу потому, что назначеніе ея—вливать въ государственный организмъ возвышенный духъ. Аристократія полезна даже и въ томъ случаѣ, если она ничего дѣйствительно полезнаго не совершаетъ. Она полезна потому, что она есть. Вспомните, *чѣмъ* я былъ до поступленія въ вашъ почтеннѣйшій домъ, и *что* сдѣлали изъ меня вы! Вотъ почему я желалъ бы, чтобъ мой Порфирій былъ съ дѣтскихъ лѣтъ окруженъ юношами благородныхъ фамилій. Черезъ сношеніе съ ними онъ получитъ возвышенныя чувства, которыя притомъ же, будучи по матери потомкомъ древняго рода князей Крикулидзевыхъ, онъ и отъ природы весьма склоненъ имѣть. Въ особенности было бы хорошо, если бъ онъ сіи чувства могъ пріобрѣтать на казенный счетъ, къ устройству чего вы, моя незабвенная благодѣтельница, всеконечно, имѣете всѣ пути».

Порфиша былъ принятъ, но въ заведеніи участь его была не изъ завидныхъ. Во-первыхъ, товарищи скоро узнали, что отецъ его происходитъ изъ духовнаго званія и, къ довершенію всего, служитъ совѣтникомъ питейнаго отлѣленія, тогда какъ ихъ отцы были не только сами егермейстеры, но и дѣти дѣтей егермейстерскихъ. Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, которое

было тѣмъ тягостнѣе, что сопровождалось приставаніями и весьма недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него въ саду, снимали фуражки и крестились; другіе дѣлали видъ, что кадятъ; третьи—показывали рукой хапанца, какъ эмблему питейнаго отдѣленія; четвертые, наконецъ, рисовали хапанца на бумагѣ и утверждали, что это гербъ рода Велентьевыхъ. Во-вторыхъ, княгиня Ферлакуръ, выхлопотавши помѣщеніе Порфиши въ заведеніе на казенный счетъ, этимъ и ограничила свои попеченія о немъ.

Такимъ образомъ Порфиша росъ въ заведеніи одинокій и забытый. По праздникамъ товарищи разъѣзжались по домамъ, ѣздили на лихачахъ, лакомились въ кондитерскихъ и ресторанахъ, а онъ сидѣлъ въ заведеніи, ѣлъ говядину подъ краснымъ соусомъ, давился суконными пирогами и выслушивалъ сарказмы гувернера, которому тоже до смерти опостылѣли стѣны заведенія и который охотно промѣнялъ бы ихъ на стѣны ресторана Доминика, гдѣ есть бильярдъ, домино и т. д.

Это одиночество развило въ Порфишѣ мечтательную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома. Съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ рекреаціонныхъ часовъ, которые позволяли ему быть въ сторонѣ отъ товарищеской сутолоки, и какъ только звонокъ возвѣщалъ окончаніе класса — удалялся въ садъ, бродилъ по аллеямъ или садился на дерновую скамейку и мечталъ. Передъ нимъ проносился весь процессъ созиданія, видѣнный въ дѣтствѣ: столбики золота, бумажки новыя (папашины), бумажки старыя (мамашины), мужики, запахъ дегтя, тальки, овчины, сушеные грибы...

Не успѣлъ совсѣмъ стихнуть звонокъ, какъ уже воображеніе Порфиши работаетъ. Онъ видитъ себя заблудившимся въ лѣсу. Онъ бродитъ, выбивается изъ силъ, молится, плачетъ — все тщетно! Вдругъ, словно изъ земли, выростаетъ передъ нимъ старикъ и подаетъ червонецъ. Вручая червонецъ, старикъ говоритъ: «ты можешь размѣнивать его сколько угодно, онъ всегда будетъ у тебя цѣлъ». Вотъ тема, за которую хватается фантазія и по поводу которой тотчасъ же начинаетъ рисовать самыя разнообразныя практическія примѣненія. И лѣсъ и старикъ исчезаютъ; остается только волшебный червонецъ. Порфиша мысленно отправляется съ нимъ въ кондитерскую, покупаетъ пять пирожковъ и получаетъ два рубля семьдесятъ пять копеекъ сдачи. А червонецъ тутъ какъ тутъ. Потомъ онъ отправляется въ овощную лавку, покупаетъ пятокъ яблокъ и получаетъ сдачи два рубля девяносто копеекъ. Червонецъ опять тутъ какъ тутъ. Потомъ онъ идетъ въ гостиницу, съѣдаетъ бифштексъ, оттуда опять въ кондитерскую, гдѣ ѣстъ порцію мороженаго, вездѣ получаетъ сдачу и вездѣ удостовѣряется, что драгоцѣнный червонецъ неприкосновененъ. Въ этихъ мысленныхъ экскурсіяхъ застаетъ Порфишу звонокъ; онъ медленно идетъ въ классъ, но и тамъ, за урокомъ, начатая работа мысли не прекращается. Онъ складываетъ, умножаетъ, повѣряетъ и получаетъ проценты...

Ученье шло туго, несмотря на то, что Порфиша уже дома зналъ больше того, что требовалось въ томъ классѣ заведенія, въ который онъ поступилъ. Постоянно живя въ обществѣ призраковъ, онъ сдѣлался разсѣянъ, впалъ въ полудремотное состояніе. Это повліяло и на его поведеніе или, лучше сказать, на тѣ отмѣтки, которыми въ заведеніи выражалась степень внѣшняго благочинія воспитанниковъ. Онъ былъ тихъ и смиренъ, никогда не повѣсничалъ, не приставалъ, не грубилъ, но начальствующимъ почему-то казалось, что въ сердцѣ этого мальчика свилъ гнѣздо порокъ.

Съ родителями Порфиша видѣлся только лѣтомъ, во время каникулъ. Но и къ нимъ онъ поставилъ себя въ какія-то странныя, натянутыя отношенія. Пріѣзжая въ Семиозерскъ, онъ заставалъ въ родительскомъ домѣ тотъ же процессъ простого созиданія, которому онъ былъ свидѣтелемъ и до поступленія въ заведеніе. По-старому отецъ запирался каждое утро въ кабинетѣ, щелкалъ на счетахъ и, по истеченіи урочнаго времени, выходилъ изъ своего заключенія весь красный, какъ бы стыдящійся. Попрежнему мать спекулировала мужикомъ, спорила, торговалась и въ концѣ трудового дня укладывала въ пачки замасленные кредитные билеты. Но послѣ тѣхъ сновъ наяву, которые постоянно проносились передъ Порфишей,—сновъ съ кладами, неразмѣнными червонцами, разрывъ-травами и проч.,—это про-

потливое копеечное созиданіе не могло не показаться ему просто жалкимъ.

— Вы попрежнему копеечку къ копеечкѣ прижимаете-съ?—спросилъ онъ мать въ первый же разъ, какъ увидѣлся съ ней послѣ годовой разлуки.

Въ первую минуту Нина Иракліевна приняла эти слова за шутку; но тонъ, которымъ они были сказаны, дышалъ такой несомнѣнной язвительностью, что она вдругъ догадалась и словно замерла съ пачкой кредитныхъ билетовъ въ рукахъ.

— Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ!— продолжалъ между тѣмъ Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.

Нина Иракліевна переполошилась не на шутку.

— Да ты что это, щенокъ, говоришь?— крикнула она на него почти испуганно.

Но Порфиша не сконфузился даже передъ этимъ восклицаніемъ. Нѣкоторое время онъ исподлобья, съ идіотскою ироніей, взглядывалъ на мать, шевелилъ губами и дѣлалъ видъ, что едва удерживается отъ смѣха. Наконецъ, всталъ и, удаляясь изъ комнаты, произнесъ:

— Продолжайте-съ! Что же-съ! Талечки-съ! грибочки-съ! овчинки-съ! Похвально-съ!

Вслѣдъ затѣмъ подобное же недоразумѣніе произошло у Порфиши и съ отцомъ. Однажды Менандръ Семеновичъ стоялъ въ передней и провожалъ дорогого гостя, т.-е. откупщика, который только что вручилъ «слѣдуемое по положенію».

— Напрасно безпокоились!—говорилъ Менандръ Семеновичъ.

— Помилуйте-съ! Не я, а положеніе-съ!.. святое дѣло!—расшаркивался откупщикъ.

— Положеніе—это такъ; а все-таки...— настаивалъ Менандръ Семеновичъ.

— Совсѣмъ не «все-таки», а просто положеніе— и больше ничего!

И т. д.

На эту-то сцену, Богъ вѣсть откуда, нагрянулъ Порфиша. Но, вмѣсто того, чтобъ расшаркаться передъ откупщикомъ и пожать ему руку, онъ пробѣжалъ мимо, какъ-то странно при этомъ хихикнувъ, и вполголоса, но такъ, что всѣ слышали, произнесъ:

— Взяточки-съ!

Словомъ сказать, и въ школѣ и дома Порфиша поставилъ себя особнякомъ. И Богъ знаетъ, куда привелъ бы его этотъ финансовый идеализмъ, если бъ не случилось обстоятельство, которое разомъ возвратило его къ чувству дѣйствительности.

Съ переходомъ въ старшій курсъ умственныя силы Порфиши вдругъ пробудились снова. Совершилось нѣчто чудесное, но чудо было вполнѣ достойно той науки, которая его произвела. Наука эта называлась «политической экономіей» и преподавалась воспитанникамъ заведенія, какъ вѣнецъ тѣхъ знаній, съ которыми они должны были явиться въ свѣтъ. Послѣ первыхъ же лекцій Порфиша вдругъ почувствовалъ себя свѣжимъ и бодрымъ. Ему показалось, что на него пахнуло чѣмъ-то знакомымъ, что то, о чемъ онъ когда-то мечталъ, уединившись въ саду, снова проходитъ передъ нимъ, но подъ другими, болѣе ясными формами. Міръ чудесъ, къ которому онъ такъ страстно стремился, но который до сихъ поръ представлялся его мысли смутно и безпорядочно, вдругъ пріобрѣлъ необыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали фантастическія видѣнія, въ формѣ волшебницъ, волшебниковъ, кладовъ, неразмѣнныхъ червонцевъ—теперь ему подавала руку сама наука; прежде процессъ созиданія зависѣлъ отъ случайностей, которыя могли прійти и не прійти на помощь, смотря по тѣмъ рессурсамъ, которые представляла большая или меньшая напряженность воображенія— теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполнѣ солидные кунштюки, которые, вдобавокъ, носили названіе политико-экономическихъ законовъ. Бредъ наяву продолжался, но это былъ уже бредъ серьезный, могущій, пожалуй, послужить матеріаломъ для любой докладной записки или для газетной передовой статьи.

Въ заведеніи, о которомъ идетъ рѣчь, преподавалась политическая экономія коротенькая. Законы, управляющіе міромъ промышленности и труда, излагались въ видѣ отдѣльныхъ разбросанныхъ группъ, изъ которыхъ каждая, въ свою очередь, представлялась уму въ формѣ дѣтской игры, эластичностью своей напоминающей пѣсню: коли любишь—прикажи, а не любишь—откажи. Вотъ, милостивые государи, «спросъ»; вотъ «предложеніе»; вотъ «кредитъ» и т. д. Той подкладки, сквозь которую слышался бы трепетъ дѣйствительной, конкретной жизни, съ ея ликованіями и воплями,

съ ея сытостью и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными, не было и въ поминѣ. Откуда явились и утвердились въ жизни всѣ эти хитросплетенія, которымъ присвоилось названіе законовъ? Правильно ли присвоено это названіе, или неправильно? Насколько они могутъ удовлетворять требованіямъ справедливости, присущей природѣ человѣка?—все это оставалось безъ разъясненія. Наука—пустой пузырь, съ наклеенными на немъ безсмысленными этикетками; жизнь—арена, въ которой регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездѣльничество.

Порфишѣ эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ. Слова: «спросъ», «предложеніе», «кредитъ», «ажіотажъ», «акціонерныя компаніи» не сходили у него съ языка. Онъ скоро сдѣлался любимѣйшимъ ученикомъ профессора и отвѣчалъ на всѣ вопросы такъ быстро и несмущенно, какъ будто отвѣты давно уже таились въ немъ, а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понялъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ самомъ дѣйствіи. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дѣйствія и лично на самомъ дѣлѣ испытывалъ послѣдствія каждаго экономическаго закона. Игра въ «спросъ и предложеніе» представляла цѣлую повѣсть, исполненную разнообразнѣйшихъ эпизодовъ, игра въ «кредитъ» разросталась въ романъ, игра въ «ажіотажъ» превращалась, по мѣрѣ своего развитія, въ безконечную поэму...

И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ силу которой «спросъ» съ завязанными глазами бѣгалъ за «предложеніемъ», а «предложеніе», въ свою очередь, нащупывало, нѣтъ ли гдѣ «спроса»; но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ «ажіотажъ» и въ «акціонерныя компаніи», которая ждала Порфишу впереди. То былъ волшебный, жгучій бредъ, въ которомъ лились золотыя рѣки, обрамленныя сапфировыми и рубиновыми берегами. Съ недѣтскою проницательностью угадывалъ онъ моментъ, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ. Онъ продавалъ, и за нимъ бросались продавать всѣ. Происходила паника, вслѣдствіе которой на сцену являлось «предложеніе», а «спросъ» былъ въ отсутствіи. Тогда онъ начиналъ покупать, и за нимъ бросались покупать всѣ. Новая паника, вслѣдствіе которой на сцену являлся «спросъ», а «предложеніе» было въ отсутствіи. И всѣ эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ понималъ, что главное достоинство капитала—это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ придумывалъ новыя экономическія комбинаціи: отыскивалъ неслыханные дотолѣ источники богатствъ, устраивалъ акціонерныя общества и т. д. Мысленный взоръ его устремился всюду: и на Ледовитый океанъ, въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ и т. д., и на Скопинскій уѣздъ, въ нѣдрахъ котораго безъ вѣсти пропадали залежи каменнаго угля, и на Печорскій край, рѣки котораго кипѣли семгою, нельмою и максуномъ. Открывши новый источникъ богатствъ, онъ мысленно устраивалъ акціонерную компанію, но, выпустивъ акціи и продавъ ихъ съ преміей, не останавливался подолгу на одномъ и томъ же предпріятіи, а спѣшилъ къ другимъ источникамъ и другимъ акціонернымъ обществамъ.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая дѣятельность, тѣмъ болѣе достойная удивленія, что она носила чисто отвлеченный характеръ. Процессъ накопленія доставлялъ Порфишѣ неисчерпаемый источникъ наслажденій, независимо отъ всякихъ личныхъ практическихъ примѣненій, однѣми перипетіями, которыя его сопровождали.

Но что всего замѣчательнѣе, на глазахъ у Порфиши не было даже практическихъ примѣровъ, съ помощью которыхъ его мысль могла бы оріентироваться. Время тогда было самое глухое; изъ значительныхъ желѣзныхъ дорогъ существовала только одна; объ акціонерныхъ обществахъ и биржевой игрѣ не было и помину. Никому не приходила въ голову ни неистощимая печорская семга, ни безпримѣрныя въ лѣтописяхъ міра скопинскія залежи каменнаго угля. Ничѣмъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша

проникалъ и въ нѣдра земли и въ глубины морскихъ хлябей, и вездѣ находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что всѣ финансовыя построенія, которымъ онъ такъ неутомимо предавался, были построеніями безплотными, разлетавшимися при первомъ прикосновеніи дѣйствительности. Онъ ничего лично для себя не желалъ, а только выполнялъ свою провиденціальную задачу. Быть-можетъ, онъ уже чувствовалъ, что тотъ моментъ недалекъ, когда онъ явится съ зажатыми горстями, торжественно разожметъ ихъ, и—клацъ!— покажетъ изумленной Россіи пустыя ладони.

Былъ, однакожъ, одинъ очень важный практическій результатъ, который Порфиша извлекъ лично для себя изъ своихъ финансовыхъ сновъ: къ нему съ уваженіемъ стали относиться товарищи.

Самъ директоръ былъ изумленъ, когда однажды при немъ Порфиша бойко и безъ запинки, въ какихъ-нибудь четверть часа объяснилъ краткія правила къ познанію биржевой игры.

— Ну, Велентьевъ, не ожидалъ!—сказалъ онъ.—Судя по началу, я думалъ, что ты такъ и вырастешь дуракомъ, а ты вонъ какъ развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, повидимому, даже не понималъ ихъ. Онъ разсѣянно выслушивалъ сравненія, которыя проводились между его прошлымъ и настоящимъ, и очень можетъ быть, что въ головѣ его въ это время мелькала мысль:

«Чудаки! какъ будто что-нибудь измѣнилось! Какъ будто я не тотъ же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразмѣнные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи!»

Одинъ Менандръ Семеновичъ съ недовѣріемъ относился къ сыну, выслушивая его разсказы о самоновѣйшихъ способахъ накопленія богатствъ. Очевидно, онъ уже подозрѣвалъ въ Порфишѣ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мѣсто другому реформатору, который такъ же придетъ, насоритъ и уйдетъ...

1869—1872 гг.

## Премудрый пескарь.

(Сказка).

Жилъ былъ пескарь. И отецъ и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы вѣки въ рѣкѣ прожили, и ни въ уху, ни къ щукѣ въ хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынокъ,—говорилъ старый пескарь, умирая,— коли хочешь жизнью жуировать, такъ гляди въ оба!»

А у молодого пескаря ума палата была. Началъ онъ этимъ умомъ раскидывать и видитъ: куда ни обернется — вездѣ ему матъ. Кругомъ, въ водѣ, все большія рыбы плаваютъ, а онъ всѣхъ меньше; всякая рыба его заглотать можетъ, а онъ никого заглотать не можетъ. Да и не понимаетъ: зачѣмъ глотать? Ракъ можетъ его клешней пополамъ перерѣзать, водяная блоха—въ хребетъ впиться и до смерти замучить. Даже свой братъ пескарь — и тотъ какъ увидитъ, что онъ комара изловилъ, цѣлымъ стадомъ такъ и бросится отнимать. Отнимутъ и начнутъ другъ съ дружкой драться, только комара задаромъ растреплютъ.

А человѣкъ,—что это за ехидное созданіе такое! какихъ каверзъ онъ ни выдумалъ, чтобъ его, пескаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сѣти, и верши, и норота, и, наконецъ, уду! Кажется, что можетъ быть глупѣе уды? — Нитка, на ниткѣ крючокъ, на крючкѣ червякъ или муха надѣты... Да и надѣты-то какъ?.. въ самомъ, можно сказать, неестественномъ положеніи! А между тѣмъ именно на уду всего больше пескарь и ловится!

Отецъ-старикъ не разъ его насчетъ уды предостерегалъ, «Пуще всего берегись уды, — говорилъ онъ, — потому что хоть и глупѣйшій это снарядъ, да вѣдь съ нами, пескарями, что глупѣе, то вѣрнѣе. Бросятъ намъ муху, словно насъ же приголубить хотятъ; ты въ нее вцѣпишься — анъ въ мухѣ-то смерть!»

Разсказалъ также старикъ, какъ однажды онъ чуть-чуть въ уху не угодилъ. Ловили ихъ въ ту пору цѣлою артелью, во всю ширину рѣки неводъ растянули, да такъ версты съ двѣ по дну волокомъ и волокли. Страсть, сколько тогда рыбы попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и

съ ея сытостью и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными, не было и въ поминѣ. Откуда явились и утвердились въ жизни всѣ эти хитросплетенія, которымъ присвоилось названіе законовъ? Правильно ли присвоено это названіе, или неправильно? Насколько они могутъ удовлетворять требованіямъ справедливости, присущей природѣ человѣка?— все это оставалось безъ разъясненія. Наука—пустой пузырь, съ наклеенными на немъ безсмысленными этикетками; жизнь—арена, въ которой регуляторомъ человѣческихъ дѣйствій является даже не борьба, а просто изворотливость, надувательство и бездѣльничество.

Порфишѣ эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была какъ бы продолженіемъ его дѣтскихъ сновъ. Слова: «спросъ», «предложеніе», «кредитъ», «ажіотажъ», «акціонерныя компаніи» не сходили у него съ языка. Онъ скоро сдѣлался любимѣйшимъ ученикомъ профессора и отвѣчалъ на всѣ вопросы такъ быстро и несмущенно, какъ будто отвѣты давно уже таились въ немъ, а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понялъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ самомъ дѣйствіи. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дѣйствія и лично на самомъ дѣлѣ испытывалъ послѣдствія каждаго экономическаго закона. Игра въ «спросъ и предложеніе» представляла цѣлую повѣсть, исполненную разнообразнѣйшихъ эпизодовъ, игра въ «кредитъ» разросталась въ романъ, игра въ «ажіотажъ» превращалась, по мѣрѣ своего развитія, въ безконечную поэму...

И чѣмъ дальше шла впередъ наука, тѣмъ чудодѣйственнѣе и чудодѣйственнѣе становился открываемый ею міръ. Хороша была игра, въ силу которой «спросъ» съ завязанными глазами бѣгалъ за «предложеніемъ», а «предложеніе», въ свою очередь, нащупывало, нѣтъ ли гдѣ «спроса»; но она уже представлялась простыми гулючками по сравненію съ игрой въ «ажіотажъ» и въ «акціонерныя компаніи», которая ждала Порфишу впереди. То былъ волшебный, жгучій бредъ, въ которомъ лились золотыя рѣки, обрамленныя сапфировыми и рубиновыми берегами. Съ недѣтскою проницательностью угадывалъ онъ моментъ, когда нужно было купить бумагу и когда нужно было ее продать. Или, лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ. Онъ продавалъ, и за нимъ бросались продавать всѣ. Происходила паника, вслѣдствіе которой на сцену являлось «предложеніе», а «спросъ» былъ въ отсутствіи. Тогда онъ начиналъ покупать, и за нимъ бросались покупать всѣ. Новая паника, вслѣдствіе которой на сцену являлся «спросъ», а «предложеніе» было въ отсутствіи. И всѣ эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ понималъ, что главное достоинство капитала—это его подвижность и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ придумывалъ новыя экономическія комбинаціи: отыскивалъ неслыханные дотолѣ источники богатствъ, устраивалъ акціонерныя общества и т. д. Мысленный взоръ его устремился всюду: и на Ледовитый океанъ, въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ и т. д., и на Скопинскій уѣздъ, въ нѣдрахъ котораго безъ вѣсти пропадали залежи каменнаго угля, и на Печорскій край, рѣки котораго кипѣли семгою, нельмою и максуномъ. Открывши новый источникъ богатствъ, онъ мысленно устраивалъ акціонерную компанію, но, выпустивъ акціи и продавъ ихъ съ преміей, не останавливался подолгу на одномъ и томъ же предпріятіи, а спѣшилъ къ другимъ источникамъ и другимъ акціонернымъ обществамъ.

Это была какая-то лихорадочная, неусыпающая дѣятельность, тѣмъ болѣе достойная удивленія, что она носила чисто отвлеченный характеръ. Процессъ накопленія доставлялъ Порфишѣ неисчерпаемый источникъ наслажденій, независимо отъ всякихъ личныхъ практическихъ примѣненій, однѣми перипетіями, которыя его сопровождали.

Но что всего замѣчательнѣе, на глазахъ у Порфиши не было даже практическихъ примѣровъ, съ помощью которыхъ его мысль могла бы оріентироваться. Время тогда было самое глухое; изъ значительныхъ желѣзныхъ дорогъ существовала только одна; объ акціонерныхъ обществахъ и биржевой игрѣ не было и помину. Никому не приходила въ голову ни неистощимая печорская семга, ни безпримѣрныя въ лѣтописяхъ міра скопинскія залежи каменнаго угля. Ничѣмъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша

проникалъ и въ нѣдра земли и въ глубины морскихъ хлябей. и вездѣ находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что всѣ финансовыя построенія, которымъ онъ такъ неутомимо предавался, были построеніями безплотными, разлетавшимися при первомъ прикосновеніи дѣйствительности. Онъ ничего лично для себя не желалъ, а только выполнялъ свою провиденціальную задачу. Быть-можетъ, онъ уже чувствовалъ, что тотъ моментъ недалекъ, когда онъ явится съ зажатыми горстями, торжественно разожметъ ихъ, и—клацъ!— покажетъ изумленной Россіи пустыя ладони.

Былъ, однакожъ, одинъ очень важный практическій результатъ, который Порфиша извлекъ лично для себя изъ своихъ финансовыхъ сновъ: къ нему съ уваженіемъ стали относиться товарищи.

Самъ директоръ былъ изумленъ, когда однажды при немъ Порфиша бойко и безъ запинки, въ какихъ-нибудь четверть часа объяснилъ краткія правила къ познанію биржевой игры.

— Ну, Велентьевъ, не ожидалъ!—сказалъ онъ.—Судя по началу, я думалъ, что ты такъ и вырастешь дуракомъ, а ты вонъ какъ развернулся!

Но Порфиша не увлекался похвалами и, повидимому, даже не понималъ ихъ. Онъ разсѣянно выслушивалъ сравненія, которыя проводились между его прошлымъ и настоящимъ, и очень можетъ быть, что въ головѣ его въ это время мелькала мысль:

«Чудаки! какъ будто что-нибудь измѣнилось! Какъ будто я не тотъ же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразмѣнные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятскіе лѣса и скопинскія каменноугольныя залежи!»

Одинъ Менандръ Семеновичъ съ недовѣріемъ относился къ сыну, выслушивая его разсказы о самоновѣйшихъ способахъ накопленія богатствъ. Очевидно, онъ уже подозрѣвалъ въ Порфишѣ реформатора, который придетъ, старый храмъ разрушитъ, новаго не возведетъ и, насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мѣсто другому реформатору, который такъ же придетъ, насоритъ и уйдетъ...

1869—1872 гг.

## Премудрый пескарь.

(Сказка).

Жилъ былъ пескарь. И отецъ и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы вѣки въ рѣкѣ прожили, и ни въ уху, ни къ щукѣ въ хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынокъ,—говорилъ старый пескарь, умирая,— коли хочешь жизнью жуировать, такъ гляди въ оба!»

А у молодого пескаря ума палата была. Началъ онъ этимъ умомъ раскидывать и видитъ: куда ни обернется — вездѣ ему матъ. Кругомъ, въ водѣ, все большія рыбы плаваютъ, а онъ всѣхъ меньше; всякая рыба его заглотать можетъ, а онъ никого заглотать не можетъ. Да и не понимаетъ: зачѣмъ глотать? Ракъ можетъ его клешней пополамъ перерѣзать, водяная блоха — въ хребетъ впиться и до смерти замучить. Даже свой братъ пескарь — и тотъ, какъ увидитъ, что онъ комара изловилъ, цѣлымъ стадомъ такъ и бросится отнимать. Отнимутъ и начнутъ другъ съ дружкой драться, только комара задаромъ растреплютъ.

А человѣкъ,— что это за ехидное созданіе такое! какихъ каверзъ онъ ни выдумалъ, чтобъ его, пескаря, напрасною смертью погублять! И невода, и сѣти, и верши, и норотà, и, наконецъ, уду! Кажется, что можетъ быть глупѣе уды? — Нитка, на ниткѣ крючокъ, на крючкѣ червякъ или муха надѣты... Да и надѣты-то какъ?.. въ самомъ, можно сказать, неестественномъ положеніи! А между тѣмъ именно на уду всего больше пескарь и ловится!

Отецъ-старикъ не разъ его насчетъ уды предостерегалъ, «Пуще всего берегись уды, — говорилъ онъ, — потому что хоть и глупѣйшій это снарядъ, да вѣдь съ нами, пескарями, что глупѣе, то вѣрнѣе. Бросятъ намъ муху, словно насъ же приголубить хотятъ; ты въ нее вцѣпишься — анъ въ мухѣ-то смерть!»

Разсказалъ также старикъ, какъ однажды онъ чуть-чуть въ уху не угодилъ. Ловили ихъ въ ту пору цѣлою артелью, во всю ширину рѣки неводъ растянули, да такъ версты съ двѣ по дну волокомъ и волокли. Страсть, сколько тогда рыбы попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и

гольцы,—даже лещей-лежебоковъ изъ тины со дна поднимали! А пескарямъ такъ и счетъ потеряли. И какихъ страховъ онъ, старый пескарь, натерпѣлся, покуда его по рѣкѣ волокли—это ни въ сказкѣ сказать ни перомъ описать. Чувствуетъ, что его везутъ, а куда — не знаетъ. Видитъ, что у него съ одного боку — щука, съ другого—окунь; думаетъ: вотъ-вотъ, сейчасъ или та, или другой его съѣдятъ, а они — не трогаютъ... «Въ ту пору не до ѣды, братъ, было!» У всѣхъ одно на умѣ: смерть пришла! а какъ и почему она пришла—никто не понимаетъ. Наконецъ стали крылья у невода сводить, выволокли его на берегъ и начали рыбу изъ мотни въ траву валить. Тутъ-то онъ и узналъ, что такое уха. Трепещется на пескѣ что-то красное; сѣрыя облака отъ него вверхъ бѣгутъ; а жарко такое, что онъ сразу разомлѣлъ. И безъ того безъ воды тошно, а тутъ еще поддаютъ... Слышитъ — «костеръ», говорятъ. А на «кострѣ» этомъ черное что-то положено, и въ немъ—вода, точно въ озерѣ во время бури, ходуномъ ходитъ. Это—«котелъ», говорятъ. А подъ конецъ стали говорить: вали въ «котелъ» рыбу — будетъ «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнетъ рыбакъ рыбину, — та сначала окунется, потомъ, какъ полоумная, выскочитъ, потомъ опять окунется — и присмирѣетъ. «Ухи», значитъ, отвѣдала. Валили-валили сначала безъ разбора, а потомъ одинъ старичокъ глянулъ на него и говоритъ: «Какой отъ него, отъ малыша, прокъ для ухи: пущай въ рѣкѣ порастетъ!» Взялъ его подъ жабры, да и пустилъ въ вольную воду. А онъ, не будь глупъ, во всѣ лопатки—домой! Прибѣжалъ, а пескариха его изъ норы ни жива ни мертва выглядываетъ...

И что же! сколько ни толковалъ старикъ въ ту пору, что такое уха и въ чемъ она заключается, однако и поднесь въ рѣкѣ рѣдко кто здравыя понятія объ ухѣ имѣетъ!

Но онъ, пескарь-сынъ, отлично запомнилъ поученія пескаря-отца, да и на усъ себѣ намоталъ. «Надо глядѣть въ оба, — сказалъ онъ себѣ: — а не то какъ разъ пропадешь!» —и сталъ жить да поживать. Первымъ дѣломъ нору для себя такую придумалъ, чтобъ ему забраться въ нее было можно, а никому другому—не влѣзть! Долбилъ онъ носомъ эту нору цѣлый годъ, и сколько страху въ это время принялъ, ночуя то въ илѣ, то подъ водянымъ лопухомъ, то въ осокѣ. Наконецъ, однако, выдолбилъ на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному помѣститься въ пору. Вторымъ дѣломъ насчетъ житья своего рѣшилъ такъ: ночью, когда люди, звѣри, птицы и рыбы спятъ, онъ будетъ моціонъ дѣлать, а днемъ — станетъ въ норѣ сидѣть и дрожать. Но такъ какъ пить-ѣсть все-таки нужно, а жалованья онъ не получаетъ и прислуги не держитъ, то будетъ онъ выбѣгать изъ норы около полденъ, когда вся рыба ужъ сыта, и, Богъ дастъ, можетъ-быть, козявку-другую и промыслитъ, а ежели не промыслитъ, такъ и голодный въ норѣ заляжетъ и будетъ опять дрожать. Ибо лучше не ѣсть, не пить, нежели съ сытымъ желудкомъ жизни лишиться.

Такъ онъ и поступалъ. Ночью моціонъ дѣлалъ, въ лунномъ свѣтѣ купался, а днемъ забирался въ нору и дрожалъ. Только въ полдни выбѣжитъ кой-чего похватать— да что въ полдень промыслишь! Въ это время и комаръ подъ листъ отъ жары прячется, и букашка подъ кору хоронится. Поглотаетъ воды—и шабашъ!

Лежитъ онъ день-деньской въ норѣ, ночей не досыпаетъ, куска не доѣдаетъ и все-то думаетъ: «кажется, что я живъ? Ахъ, что-то завтра будетъ?»

Задремлетъ, грѣшнымъ дѣломъ, а во снѣ ему снится, что у него выигрышный билетъ, и онъ на него двѣсти тысячъ выигралъ. Не помня себя отъ восторга, перевернется на другой бокъ—глядь, анъ у него цѣлыхъ полрыла изъ норы высунулось... Что если бъ въ это время щуренокъ поблизости былъ: вѣдь онъ бы его изъ норы-то вытащилъ!

Однажды проснулся онъ и видитъ: прямо противъ его норы стоитъ ракъ. Стоитъ неподвижно, словно околдованный, вытаращивъ на него костяные глаза. Только усы по теченію воды пошевеливаются. Вотъ когда онъ страху набрался! И цѣлыхъ полдня, покуда совсѣмъ не стемнѣло, этотъ ракъ его поджидалъ, а онъ тѣмъ временемъ все дрожалъ, все дрожалъ.

Въ другой разъ, только что успѣлъ онъ передъ зорькой въ нору воротиться, только что сладко зѣвнулъ въ предвкушеніи сна— глядитъ, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоитъ и зубами хлопаетъ. И тоже цѣлый день его стерегла, словно видомъ

его однимъ сыта была. А онъ и щуку надулъ: не вышелъ изъ норы, да и шабашъ.

И не разъ и не два это съ нимъ случалось, а почесть что каждый день. И каждый день онъ, дрожа, побѣды и одолѣнія одерживалъ, каждый день восклицалъ: «слава тебѣ, Господи, живъ!»

Но этого мало: онъ не женился и дѣтей не имѣлъ, хотя у отца его была большая семья. Онъ разсуждалъ такъ: «Отцу шутя можно было прожить! Въ то время и щуки были добрѣе, и окуни на насъ, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды онъ и попалъ было въ уху, такъ и тутъ нашелся старичокъ который его вызволилъ! А нынче, какъ рыба-то въ рѣкахъ повывелась, и пескари въ честь попали, такъ ужъ тутъ не до семьи, а какъ бы только самому прожить!»

И прожилъ премудрый пескарь такимъ родомъ слишкомъ сто лѣтъ. Все дрожалъ, все дрожалъ. Ни друзей у него ни родныхъ; ни онъ къ кому, ни къ нему кто. Въ карты не играетъ, вина не пьетъ, табаку не куритъ, за красными дѣвушками не гоняется—только дрожитъ да одну думу думаетъ: «слава Богу, кажется, живъ!»

Даже щуки, подъ конецъ, и тѣ стали его хвалить: «вотъ, кабы всѣ такъ жили—то-то бы въ рѣкѣ тихо было!» Да только онѣ это нарочно говорили: думали, что онъ на похвалу-то отрекомендуется—вотъ, молъ, я,—тутъ его и хлопъ! Но онъ и на эту штуку не поддался, а еще разъ своею мудростью козни враговъ побѣдилъ.

Сколько прошло годовъ послѣ ста лѣтъ—неизвѣстно, только сталъ премудрый пескарь помирать. Лежитъ въ норѣ и думаетъ: «слава Богу, я своею смертью помираю, такъ же, какъ умерли мать и отецъ». И вспомнились ему тутъ щучьи слова: «вотъ, кабы всѣ такъ жили, какъ этотъ премудрый пескарь живетъ...» А ну-тка, въ самомъ дѣлѣ, что бы тогда было?

Сталъ онъ раскидывать умомъ, котораго у него была палата, и вдругъ ему словно кто шепнулъ: «вѣдь этакъ, пожалуй, весь пескарскій родъ давно перевелся бы!»

Потому что для продолженія пескарьяго рода прежде всего нужна семья, а у него ея нѣтъ. Но этого мало: для того, чтобъ пескарья семья укрѣплялась и процвѣтала, чтобъ члены ея были здоровы и бодры, нужно, чтобъ они воспитывались въ родной стихіи, а не въ норѣ, гдѣ онъ почти ослѣпъ отъ вѣчныхъ сумерекъ. Необходимо, чтобъ пескари достаточное питаніе получали, чтобъ не чуждались общественности, другъ съ другомъ хлѣбъ-соль бы водили и другъ отъ друга добродѣтелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь можетъ совершенствовать пескарью породу и не дозволитъ ей измельчать и выродиться въ снитка.

Неправильно полагаютъ тѣ, кои думаютъ, что лишь тѣ пескари могутъ считаться достойными гражданами, кои, обезумѣвъ отъ страха, сидятъ въ норахъ и дрожатъ. Нѣтъ, это не граждане, а, по меньшей мѣрѣ, безполезные пескари. Никому изъ нихъ ни тепло ни холодно, никому ни чести, ни безчестія, ни славы, ни безславія... живутъ, даромъ мѣсто занимаютъ да кормъ ѣдятъ.

Все это представилось пескарю до того отчетливо и ясно, что вдругъ ему страстная охота пришла: «вылѣзу-ка я изъ норы да гоголемъ по всей рѣкѣ проплыву». Но едва онъ подумалъ объ этомъ, какъ опять испугался. И началъ, дрожа, помирать. Жилъ—дрожалъ, и умиралъ—дрожалъ.

Вся жизнь мгновенно передъ нимъ пронеслась. Какія были у него радости? Кого онъ утѣшилъ? Кому добрый совѣтъ подалъ? Кому доброе слово сказалъ? Кого пріютилъ, обогрѣлъ, защитилъ? Кто слышалъ о немъ? Кто объ его существованіи вспомнитъ?

И на всѣ эти вопросы ему пришлось отвѣчать: никому, никто.

Онъ жилъ и дрожалъ—только и всего. Даже вотъ теперь: смерть у него на носу, а онъ все дрожитъ, самъ не знаетъ, изъ-за чего. Въ норѣ у него темно, тѣсно, повернуться негдѣ; ни солнечный лучъ туда не заглянетъ, ни тепломъ не пахнетъ. И онъ лежитъ въ этой сырой мглѣ, незрячій, изможденный, никому ненужный, лежитъ и ждетъ: когда же, наконецъ, голодная смерть окончательно освободитъ его отъ безполезнаго существованія?

Слышно ему, какъ мимо его норы шмыгаютъ другія рыбы—можетъ-быть, какъ и онъ, пескари—и ни одна не поинтересуется имъ, ни одной на мысль не придетъ: дай-ка, спрошу я у премудраго пескаря, какимъ онъ манеромъ умудрился слишкомъ сто лѣтъ прожить, и ни щука его не заглотала, ни ракъ клешней не перешибъ, ни рыболовъ на уду не поймалъ? Плывутъ

ское, которое сохраняла въ домѣ ma tante. Фигура ея изъ тоненькой сдѣлалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выраженіе, пріобрѣло оттѣнокъ довольства и даже добродушія. Вообще устройство ея судьбы подѣйствовало на нее благотворно. Она не была обязана ни скрываться ни пріобрѣтать исподтишка, какъ въ домѣ ma tante. Та страсть, которая была двигателемъ всей ея жизни—страсть къ пріобрѣтенію—получила себѣ вполнѣ свободный выходъ. Она могла покупать, продавать, вымѣнивать—Менандръ Семеновичъ не только не препятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на ея дѣятельность. У Менандра Семеновича было свое дѣло, у нея—свое. Она тоже создала себѣ своего рода палату, въ которой и копошилась съ утра до вечера.

На половинѣ у мамаши также шелъ процессъ созиданія, но шелъ не потаенно, а въ видѣ непрерывной и совершенно открытой сутолоки, такъ что Порфиша имѣлъ полную возможность слѣдить за всѣми его подробностями. Нина Ираклієвна вела операцію очень сложную и замысловатую: она торговала мужикомъ. Вымѣнивала, покупала, продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказавшись лично отъ этой операціи, Менандръ Семеновичъ предоставилъ веденіе ея женѣ тѣмъ охотнѣе, что послѣдняя, какъ было всѣмъ извѣстно, имѣла свой приданный капиталъ и свою приданную деревню. Слѣдовательно, ни огласка ни опасеніе клеветы—ничто не препятствовало ей производить всѣ свойственныя благородному званію и дозволенныя закономъ операціи. Находились, конечно, люди, которые говорили, будто Велентьевъ удѣляетъ своей женѣ на этотъ предметъ довольно значительные куши, которые въ расходной его книгѣ записываются подъ рубрикой: «воспособленія». Но такъ какъ никто этого собственными глазами не видалъ, а самъ Велентьевъ въ томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина Ираклієвна, не смущаясь разговорами, продолжала дѣйствовать неутомимо и ловко. Она изучала мужика подробно, хотя и довольно односторонне, а именно только съ точки зрѣнія выжиманія такъ называемаго мужицкаго сока. Не обращая вниманія на этнографическія и бытовыя стороны мужицкой жизни, она направила свою проницательность исключительно на изученіе стороны экономической, и такъ наметалась въ этой наукѣ, что съ перваго взгляда угадывала, гдѣ и что у мужика лежитъ и какую денежную цѣнность онъ собой представляетъ. Не брезгая мужикомъ барщиннымъ, она преимущественно любила мужика оброчнаго, какъ болѣе избалованнаго свободой передвиженія и, слѣдовательно, болѣе чувствительнаго ко всякимъ ограниченіямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошу плату выкупиться на волю — вотъ что стояло у нея на первомъ планѣ; затѣмъ уже слѣдовали другія мѣры: заставить откупиться отъ солдатчины, отъ барщины, отъ службы въ качествѣ бурмистра и проч.,— на все это оброчный мужикъ шелъ гораздо ходчѣе барщиннаго. Къ тому же и доходъ въ видѣ денегъ представлялся ея уму яснѣе, нежели доходъ въ видѣ произведеній мужицкаго труда. Послѣднія она допускала лишь между прочимъ, въ видѣ талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна, овчинъ и проч. Этого добра скоплялись у нея полныя кладовыя, и она охотно снабжала имъ мелкихъ семиозерскихъ торгашей.

Комната мамаши представляла цѣлый хаосъ, въ которомъ только она одна могла разобраться. Тутъ были сложены вороха талекъ, полотенъ, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до вечера перевѣшивалось, перемѣривалось, записывалось въ особыя матеріальныя книги и затѣмъ отправлялось въ кладовыя, чтобы на другой день дать мѣсто другимъ ворохамъ. Тутъ же, къ великому удовольствію Порфиши, лежали и незатѣйливыя сласти: пряники, орѣхи, леденцы и проч., приносимыя мужиками на поклонъ. Подобно Менандру Семеновичу, Нина Ираклієвна каждодневно повѣряла себя, и въ это время, точно какъ же, какъ и мужъ, запиралась въ своей комнатѣ, но отъ Порфиши она не скрывалась и даже дѣлала его соучастникомъ тѣхъ наслажденій, которыя доставляла ей повѣрка. Ставши колѣнями на стулъ и навалившись всѣмъ корпусомъ на столъ, Порфиша въ какомъ-то очарованномъ забытьи всматривался въ ряды разложенныхъ пачекъ и слѣдилъ за движеніями рукъ мамаши. Въ комнатѣ дѣлалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопровождаемый чуть слышнымъ бормотаніемъ, да изрѣдка раздавалось щелканье

косточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ щелканьи слышалась ему какая-то сухая, безапелляціонная резолюція. Бумажки, въ противоположность папашинымъ, были замасленныя, рваныя, вдѣланныя въ писаную бумагу, и это обстоятельство тоже обратило на себя вниманіе Порфиши.

— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папаши новенькія?—спрашивалъ онъ.

— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не мѣшай, мой другъ! пять, шесть, семь...

Порфиша протягивалъ руку и дотрогивался пальцемъ до одной изъ пачекъ.

— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки?—спрашивалъ онъ опять.

— Оттого, что у нихъ руки потныя... Не трогай, мой другъ! не сдвигай пачекъ съ мѣста! Восемь, девять, десять...

Порфиша на время умолкалъ и сидѣлъ смирно; но дѣтская подвижность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.

— Мамаша! у Авдея - старосты руки черныя-пречерныя! — говорилъ онъ, пытаясь отвлечь вниманіе Нины Ираклiевны.

— У Авдея - старосты... Да не тронь же, душечка, пачку! въ другой разъ запрусь и не оставлю тебя съ собой!

— Я, мамаша, только пальчикомъ!

Но вотъ и мамаша оканчивала повѣрку. «Слава Богу, все вѣрно!» говорила она и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала послѣдній ключомъ. Затѣмъ она на нѣкоторое время предавалась не то что отдохновенію, а какъ бы сладкому сознанію, что все до сихъ поръ шло и идетъ хорошо, а завтра, быть-можетъ, будетъ итти и еще лучше. Но отдохновеніе Нины Ираклiевны не бывало продолжительно. Ее всегда ожидали нужныя дѣла, въ видѣ переговоровъ съ сводчиками, конференцій съ мужиками и старостами, пріема оброка, талекъ, яицъ и т. п.

Всѣ сводчики ее знали и наперерывъ предлагали имѣнія. Всегда находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно прекрасное утро усматривали себя въ положеніи, о которомъ говорится: «хоть въ петлю полѣзай». Поэтому имѣній, которыя нужно было продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бывало очень достаточно. Нина Ираклiевна зорко слѣдила за такими оказіями, имѣла на этотъ случай «руку» въ опекунскомъ совѣтѣ и находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ съ сводчиками, которые являлись у нея чуть не каждый божій день.

— Дорого, — обыкновенно отрѣзывала она, выслушавъ предложеніе сводчика и зная, что послѣдній всегда запрашиваетъ если не вдвое, то въ полтора раза.

— Сударыня! строеніевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки мельница, лѣсъ-съ...

— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мнѣ мужика дай!

— И мужики исправные; у одного въ Москвѣ, на Таганкѣ, заведеніе, у нѣкоторыхъ смолокурни, дехтярные заводы-съ!

— Сколько душъ-то, ты говоришь?

— Триста!

— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выйдетъ?

— Не по четыреста, а по двѣсти, сударыня, въ двухстахъ они въ совѣтъ заложены!

— Ну, инъ по двѣсти! Сто по двѣсти— это двадцать тысячъ... шестьдесятъ - то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съ ума спятилъ!

Нина Ираклiевна съ негодованіемъ отбрасывала счеты и отворачивалась отъ сводчика къ окну.

— За пятьдесятъ, можетъ-быть, отдадутъ!—заговаривалъ сводчикъ.

Молчаніе.

— Хоть сорокъ-то пять положьте!

— Тридцать!

— Нѣтъ, за тридцать нельзя! Однихъ строеніевъ сколько! опять же скотъ!

— Да ты скажи мнѣ, съ какихъ ты-то радостей торгуешься? Или ужъ началъ и нашимъ и вашимъ служить?

— Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попросите — вамъ послужу; другой попроситъ — другому готовъ!

— То-то «готовъ»! Обѣ стороны продать готовъ! Васъ за такія дѣла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ ли?

— Самый покорный-съ. Чтобъ это возмущеніе или бунтъ—и въ заведеніи никогда не бывало!

— Сорокъ—и ни копейки больше!

Мы всѣ на томъ стоимъ пока,
Чтобъ реставрировать картину
Всей нашей жизни бытовой
И вѣковѣчную кручину
Смѣнить на праздникъ вѣковой...
А ты на чемъ стоишь, другъ мой?

Мужикъ.

На чемъ? Да на землѣ, извѣстно!..

Баринъ.

Ахъ, все не то! Ну, какъ тутъ честно
Къ нимъ относиться! Насъ поймутъ
Скорѣй колбасники изъ Риги...

Мужикъ.

Что хлѣба мало въ нашей ригѣ—
Могу сказать...

Баринъ (*наставительно*).

Хлѣбъ—тамъ, гдѣ трудъ,
И васъ, повѣрь, mon cher, спасутъ
Отъ вашей бѣдности и спячки
Ассоціаціи и стачки.
Я безъ ума отъ нихъ!..

Мужикъ.

Эхъ-ма!
Признался самъ, что безъ ума!

Баринъ.

Читалъ ли ты хотя Жоржъ Занда?

Мужикъ.

Да я, кормилецъ, не ученъ.

Баринъ.

Возможна ль съ ними пропаганда!
Намъ нужно лѣнь забыть и сонъ,
Вступить въ борьбу открыто, смѣло,
Намъ нужно всѣмъ, карая зло,
Чтобы въ рукахъ горѣло дѣло...

Мужикъ.

У насъ сгорѣло все село,
Такъ не поможешь ли мнѣ, баринъ?

Баринъ.

Ну, какъ тутъ будешь солидаренъ
Съ подобнымъ скиѳомъ? Какъ его
Встряхнуть, чтобъ онъ отъ сна проснулся?

Мужикъ (*тихо*).

Мой баринъ, кажется... того...
Немножко головой рехнулся.

—

Смущенный страннымъ языкомъ,
Мужикъ пришелъ въ недоумѣнье,
И прогрессиста съ мужикомъ
На этомъ кончилось сближенье.
Одинъ изъ нихъ пошелъ домой,
Себя бесѣдой растревожа,
Другой домой побрелъ бы тоже,
Да домъ его сгорѣлъ зимой.

## 7. Прогрессъ.

Никакого не дѣлая дѣла,
Я считаю себя мудрецомъ,
Мнѣ не надо иного удѣла —
Всѣ удѣлы съ печальнымъ концомъ.
Міръ безумцы учить приходили
И встрѣчали бичи и позоръ,
Палачи ихъ на плаху влачили,
Обливали ихъ кровью топоръ.
Мнѣ смѣшно отрицанье Вольтера.
Если вы отрицаете тьму,
Значитъ, въ свѣтѣ сохраняется вѣра,
Я жъ не вѣрю теперь ничему.
Отрицая, мы вѣримъ надменно,
Что есть въ жизни къ прогрессу тропа,
Что, очнувшись отъ сна, непремѣнно
Старыхъ идоловъ сброситъ толпа.
Отрицая, мы вѣруемъ въ чудо,
Что вернуться нельзя намъ назадъ,
Что предать не рѣшится Іуда,
Что распять не посмѣетъ Пилатъ.
Люди трудятся вѣчно впросонкахъ;
Жизнь проходитъ, и что жъ подъ конецъ?
Дѣло самое — въ тѣхъ же пеленкахъ,
И подъ саваномъ гордый мудрецъ.
Какъ евреи блуждали въ пустынѣ,
Мы блуждаемъ и нынче, какъ встарь;
На развалинахъ древней святыни
Воздвигается новый алтарь.
Безполезны рабочія руки;
Гибнутъ молодость, сила, талантъ,
И на сторожѣ противъ науки
Сталъ невѣжества грозный гигантъ.
Тамъ къ труду пропадаетъ охота,

Гдѣ, какъ дѣти, капризенъ народъ:
Онъ сегодня караетъ деспота
И — да здравствуетъ новый деспотъ!..
Докажите публично народу,
Что оковы позорны ему,
И народъ, проклиная свободу,
На рукахъ понесетъ васъ... въ тюрьму...
И надъ глыбой холоднаго трупа
Осмѣетъ благородный вашъ бредъ...
На себя намъ надѣяться глупо,
Если вѣры въ грядущее нѣтъ.
Потому-то воскликну я смѣло
Съ неподвижнымъ, холоднымъ лицомъ:
Никакого не дѣлая дѣла,
Я считаю себя мудрецомъ!

## 8. Прогрессъ.

(Изъ Барбье).

Напрасно столѣтья встаютъ передъ нами
И предковъ угрюмыя лица;
Напрасно пугаетъ кровавыми снами
Исторіи прошлой страница!
Какіе уроки въ кострахъ погребальныхъ
Отжившаго гнета и муки!
Но ту же дорогу отъ дѣдовъ печальныхъ
Наслѣдуютъ бѣдные внуки...
Давно ли, оковы обвивши цвѣтами,
Какъ дѣти, въ невѣдѣньи дивномъ,
Съ восторженнымъ плескомъ, омыты слезами,
Свободу мы встрѣтили гимномъ?
Но чудная дѣва, съ улыбкой страданья,
Прошла, какъ волшебная сказка,
Лишь памятны намъ роковыя лобзанья
И дѣвы мертвящая ласка.
Гдѣ жъ сны золотые? гдѣ новое знамя
Народнаго счастья и славы?
Надъ ними въ дыму, сквозь зловѣщее пламя,
Всталъ призракъ свободы кровавый.
Дни черные встали: свистъ ядеръ, картечи,
Вопль смерти, взывающій внятно,
И труповъ, простертыхъ безъ звука и рѣчи,
Багровыя, черныя пятна;
Кровавой рѣзней опьяненные люди,
Убійцъ не дрожавшія руки,
Штыками пробитыя женскія груди,
Дѣтей окровавленныхъ муки...
Все дряхлое, сгнившее стараго міра
Опять поднялось сквозь обломки,
И стонутъ, какъ предки, у праха кумира,
Кумиръ свой разбивши, потомки.

## 9. Пѣсня работниковъ.

(Изъ Дюпона).

Мы, чьи огни до зари зажигаются,
Только лишь крикнетъ пѣтухъ въ ночь безсонную,
Чьи истомленныя спины сгибаются
Предъ наковальней, въ огнѣ раскаленною;
Мы, у которыхъ работа гнетущая
Съ дѣтства замучила живость природную,
А впереди посулило грядущее
Холодъ, недуги да старость голодную —
Братцы! давъ отдыхъ труду и заботамъ,
Спины усталыя мы разогнемъ
И дружно копейку, облитую потомъ —
Пропьемъ.

Доля работника — чѣмъ не счастливая!
Въ грубыхъ рукахъ его — перлы да золото...
Онъ снаряжаетъ все барство спесивое
Силою мышцъ да желѣзнаго молота.
Выхолитъ въ полѣ онъ рожь золотистую,
Потомъ его вся земля обливается...
Добрыя овцы! ихъ шкурой волнистою
Сытая праздность вездѣ одѣвается.
(Припѣвъ).
Трудъ завѣщалъ намъ тоску безысходную,
Чахлыя груди да слезы горючія;
Словно какъ машину, въ дѣлѣ негодную,
Терпятъ всѣхъ насъ лишь до перваго случая.
Нашей рукой чудеса совершаются;
Словно у пчелъ — наша участь суровая:
Пчелы снесутъ только дани медовыя
И, безпріютныя, вновь разлетаются.
(Припѣвъ).
Дѣти банкировъ, больныя и блѣдныя,
Женъ нашихъ грудью здоровой питаются;
Если же вырастутъ лбы эти мѣдные,
Съ краской стыда съ ними послѣ встрѣчаются.
Насъ стерегутъ всюду — наглость безчестная,
Брань да пинки отъ любого привратника;
У дочерей нашихъ — доля извѣстная,
Доля наложницъ въ хоромахъ развратника.
(Припѣвъ).
Въ темныхъ подвалахъ, полуобнаженные,
Гдѣ лишь лохмотья намъ служатъ обновами,
Тянемъ мы жизнь, даже солнца лишенные,

Словно родились ворами иль совами,
Словно въ насъ кровь не играетъ кипучая,
Словно туда наше сердце не просится,
Гдѣ разрастаются рощи дремучія,
Гдѣ благовонное лѣто проносится.
(Припѣвъ).

Братцы! терпѣнье!.. Насъ съ дѣтства не нѣжили,
Жизнь завѣщала намъ мракъ и забвеніе...
Если въ прошедшемъ въ довольствѣ мы не жили —
Выручать въ будущемъ трудъ да терпѣніе.
Будемъ же силу беречь мы могучую,
Сладкой надеждой пусть сердце согрѣется:
Яркое солнце — за черною тучею,
Вѣтеръ подуетъ, и туча разсѣется.
(Припѣвъ).

## 10. Грозный плѣнникъ.

Въ звѣринцѣ, въ желѣзную клѣтку посаженъ,
Левъ гордый, гроза африканскихъ степей,
Въ неволѣ, на узкомъ пространствѣ двухъ саженъ,
Сживается съ участью рабской своей.
И странно смотрѣть на могучаго звѣря:
Казалось бы, могъ онъ стремительно, вмигъ,
Желѣзную клѣтку глазами измѣря,
Желѣзные прутья сломать, какъ тростникъ,
И снова стать вольнымъ, какъ въ Африкѣ знойной,—
Но звѣрь позабылъ свою силу, свой гнѣвъ
И спитъ за рѣшеткой, лѣниво-спокойный...
— Народъ! не такой ли и ты тоже левъ?..

**Николай Алексѣевичъ Некрасовъ.**
(1821 — 1877).

## Забытая деревня.

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лѣсу попросила.
Отвѣчалъ: нѣтъ лѣсу, и не жди — не будетъ!
«Вотъ пріѣдетъ баринъ — баринъ насъ разсудитъ,
Баринъ самъ увидитъ, что плоха избушка,
И велитъ дать лѣсу, — думаетъ старушка.
Кто-то по сосѣдству, лихоимецъ жадный,
У крестьянъ землицы косячокъ изрядный
Оттягалъ, отрѣзалъ плутовскимъ манеромъ.—
«Вотъ пріѣдетъ баринъ: будетъ землемѣрамъ!»
Думаютъ крестьяне: «скажетъ баринъ слово —
И землицу нашу отдадутъ намъ снова».
Полюбилъ Наташу хлѣбопашецъ вольный,
Да перечитъ дѣвкѣ нѣмецъ сердобольный,
Главный управитель. «Погодимъ, Игнаша,
Вотъ пріѣдетъ баринъ!» говоритъ Наташа.
Малые, большіе — дѣло чуть за споромъ—
«Вотъ пріѣдетъ баринъ!» повторяютъ хоромъ...
Умерла Ненила; на чужой землицѣ
У сосѣда-плута — урожай сторицей;
Прежніе парнишки ходятъ бородаты;
Хлѣбопашецъ вольный угодилъ въ солдаты,
И сама Наташа свадьбой ужъ не бредитъ...
Барина все нѣту... баринъ все не ѣдетъ!
Наконецъ, однажды середи дороги
Шестернею цугомъ показались дроги:
На дрогахъ высокихъ гробъ стоитъ дубовый,
А въ гробу-то баринъ; а за гробомъ — новый.
Стараго отпѣли, новый слезы вытеръ,
Сѣлъ въ свою карету и уѣхалъ въ Питеръ.

## Размышленія у параднаго подъѣзда.

(Писано въ 1858 г.)

Вотъ парадный подъѣздъ. По торжественнымъ днямъ,
Одержимый холопскимъ недугомъ,
Цѣлый городъ съ какимъ-то испугомъ
Подъѣзжаетъ къ завѣтнымъ дверямъ:
Записавъ свое имя и званье,
Разъѣзжаются гости домой,
Такъ глубоко довольны собой,
Что подумаешь — въ томъ ихъ призванье!
А въ обычные дни этотъ пышный подъѣздъ
Осаждаютъ убогія лица:
Прожектеры, искатели мѣстъ,
И преклонный старикъ, и вдовица.
Отъ него и къ нему, то и знай, по утрамъ
Все курьеры съ бумагами скачутъ.
Возвращаясь, иной напѣваетъ «трамъ-трамъ»,
А иные просители плачутъ.
Разъ я видѣлъ, сюда мужики подошли,
Деревенскіе, русскіе люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свѣсивъ русыя головы къ груди:
Показался швейцаръ. — «Допусти», говорятъ
Съ выраженіемъ надежды и муки.
Онъ гостей оглядѣлъ: некрасивы на взглядъ!
Загорѣлыя лица и руки,
Армячишка худой на плечахъ,
По котомкѣ на спинахъ согнутыхъ,
Крестъ на шеѣ и кровь на ногахъ,
Въ самодѣльные лапти обутыхъ
(Знать, брели-то долгонько они
Изъ какихъ-нибудь дальнихъ губерній).
Кто-то крикнулъ швейцару: «гони!
Нашъ не любитъ оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постоявъ,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцаръ не пустилъ, скудной лепты не взявъ,
И пошли они, солнцемъ палимы,
Повторяя: «суди его Богъ!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видѣть ихъ могъ,
Съ непокрытыми шли головами...
А владѣлецъ роскошныхъ палатъ
Еще сномъ былъ глубокимъ объятъ...
Ты, считающій жизнью завидною
Упоеніе лестью безстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,—
Пробудись! Есть еще наслажденіе:
Вороти ихъ! въ тебѣ ихъ спасеніе!
Но счастливые глухи къ добру...
Не страшатъ тебя громы небесные,
А земные ты держишь въ рукахъ,
И несутъ эти люди безвѣстные
Неисходное горе въ сердцахъ.
Что̀ тебѣ эта скорбь вопіющая?
Что̀ тебѣ этотъ бѣдный народъ?
Вѣчнымъ праздникомъ быстро бѣгущая
Жизнь очнуться тебѣ не даетъ.
И къ чему? Щелкоперовъ забавою
Ты народное благо зовешь;
Безъ него проживешь ты со славою,
И со славой умрешь!
Безмятежнѣй аркадской идилліи
Закатятся преклонные дни:
Подъ плѣнительнымъ небомъ Сициліи,
Въ благовонной древесной тѣни,
Созерцая, какъ солнце пурпурное
Погружается въ море лазурное,
Полосами его золотя,—
Убаюканный ласковымъ пѣніемъ
Средиземной волны, — какъ дитя,
Ты уснешь, окруженъ попеченіемъ
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей съ нетерпѣніемъ);
Привезутъ къ намъ останки твои,
Чтобъ почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты въ могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..
Впрочемъ, что жъ мы такую особу
Безпокоимъ для мелкихъ людей?
Не на нихъ ли намъ выместить злобу?
Безопаснѣй... Еще веселѣй
Въ чемъ-нибудь пріискать утѣшенье...
Не бѣда, что потерпитъ мужикъ:
Такъ ведущее насъ Провидѣнье
Указало... да онъ же привыкъ!
За заставой, въ харчевнѣ убогой,
Все пропьютъ бѣдняки, до рубля,
И пойдутъ, побираясь дорогой,
И застонутъ... Родная земля!
Назови мнѣ такую обитель,
Я такого угла не видалъ,
Гдѣ бы сѣятель твой и хранитель,
Гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ!
Стонетъ онъ по полямъ, по дорогамъ,
Стонетъ онъ по тюрьмамъ, по острогамъ,
Въ рудникахъ на желѣзной цѣпи;
Стонетъ онъ подъ овиномъ, подъ стогомъ,
Подъ телѣгой, ночуя въ степи;
Стонетъ въ собственномъ бѣдномъ домишкѣ,

Свѣту Божьяго солнца не радъ;
Стонетъ въ каждомъ глухомъ городишкѣ,
У подъѣзда судовъ и палатъ.
Выдь на Волгу: чей стонъ раздается
Надъ великою русской рѣкой?
Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется —
То бурлáки идутъ бечевой!..
Волга! Волга! весной многоводной
Ты не такъ заливаешь поля,
Какъ великою скорбью народной
Переполнилась наша земля!
Гдѣ народъ, тамъ и стонъ... Эхъ, сердечный!
Что же значитъ твой стонъ безконечный?
Ты проснешься ль, исполненный силъ,
Иль, судебъ повинуясь закону,
Все, что могъ, ты уже совершилъ,—
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно навѣки почилъ?

## Орина, мать солдатская.

День-денской моя печальница,
Въ ночь—ночная богомолица,
Вѣкова моя сухотница...
*Изъ народной пѣсни.*

Чуть живые, въ ночь осеннюю
Мы съ охоты возвращаемся,
До ночлега прошлогодняго,
Слава Богу, добираемся.
— Вотъ и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка!
Не о смерти ли задумалась?
Брось! пустая это думушка!
Посѣтила ли кручинушка?
Молви — можетъ, и размыкаю.—
И повѣдала Оринушка
Мнѣ печаль свою великую.
— Восемь лѣтъ сынка не видѣла,
Живъ ли, нѣтъ — не откликается,
Ужъ и свидѣться не чаяла,
Вдругъ сыночекъ возвращается.
Вышло молодцу въ безсрочные...
Истопила жарко банюшку,
Напекла блиновъ Оринушка,
Не насмотрится на Ванюшку!
Да недолго были радости:
Воротился сынъ больнехонекъ,
Ночью кашель бьетъ солдатика,
Бѣлый платъ въ крови мокрехонекъ!
Говоритъ: «поправлюсь, матушка!»
Да ошибся — не поправился,
Девять дней хворалъ Иванушка,
На десятый день преставился...
Замолчала — не прибавила
Ни словечка, безталанная.
— Да съ чего же привязалася
Къ парню хворость окаянная?
— Хилый, что ли, былъ съ рожденія?..
Встрепенулася Оринушка:
«Богатырскаго сложенія,
Здоровенный былъ дѣтинушка!
Подивился самъ изъ Питера
Генералъ на парня этого,
Какъ въ рекрутское присутствіе
Привели его раздѣтаго...
На избенку эту бревнышки
Онъ одинъ таскалъ сосновыя...
И вилися у Иванушки
Русы кудри какъ шелковые».
И опять молчитъ несчастная...
— Не молчи — развѣй кручинушку!
Что сгубило сына милаго —
Чай, спросила ты дѣтинушку? —
«Не любилъ, сударь, разсказывать
Онъ про жизнь свою военную,
Грѣхъ мірянамъ-то показывать
Душу, Богу обреченную!
«Говорить — гнѣвить Всевышняго,
Окаянныхъ бѣсовъ радовать...
Чтобъ не молвить слова лишняго,
На враговъ не подосадовать,
«Нѣмота передъ кончиною
Подобаетъ христіанину.
Знаетъ Богъ, какія тягости
Сокрушили силу Ванину!
«Я узнать не добивалася.
Никого не осуждаючи,
Онъ одни слова утѣшныя
Говорилъ мнѣ умираючи.
«Тихо по двору похаживалъ
Да постукивалъ топорикомъ,
Избу ветхую облаживалъ,
Огородъ обнесъ заборикомъ;
«Перекрыть сарай задумывалъ.
Не сбылись его желанія:
Слегъ — и всталъ на ноги рѣзвыя
Только за день до скончанія!
«Поглядѣть на солнце красное
Пожелалъ,— пошла я съ Ванею:
Попрощался со скотинкою,
Попрощался съ ригой, съ банею.
«Сѣнокосомъ шелъ — задумался:
— Ты прости, прости, полянушка!
Я косилъ тебя во младости! —
И заплакалъ мой Иванушка!
«Пѣсня вдругъ съ дороги грянула,
Подхватилъ, что было голосу:

— «Не бѣлы снѣжки»... закашлялся.
Задышался — палъ на полосу!
«Не стояли ноги рѣзвыя,
Не держалася головушка!
Съ часъ домой мы возвращалися...
Было время — пѣлъ соловушка!
«Страшно въ эту ночь послѣднюю
Было: память потерялася,
Все ему передъ кончиною,
Служба эта представлялася.
«Ходитъ, чиститъ амуницію,
Набѣлилъ ремни солдатскіе,
Языкомъ игралъ сигналики,
Пѣсни пѣлъ — такія хватскія!
«Артикулъ ружьемъ выкидывалъ,
Такъ, что весь домишка вздрагивалъ;
Какъ журавль, стоялъ на ноженькѣ
На одной — носокъ вытягивалъ.
«Вдругъ — метнулся... смотритъ жалобно...
Повалился — плачетъ, кается,
Крикнулъ: «ваше благородіе!»
«Ваше!..» вижу — задыхается:
«Я къ нему. Утихъ, послушался —
Легъ на лавку. Я молилася:
Не пошлетъ ли Богъ спасеніе?..
Къ утру память воротилася.
«Прошепталъ: «прощай, родимая!
Ты опять одна осталася!..»
Я надъ Ваней наклонилася,
Покрестила, попрощалася,
«И погасъ онъ, словно свѣченька
Восковая, предыконная...»

---

Мало словъ, а горя рѣченька,
Горя рѣченька бездонная!..

## Памяти Добролюбова.

Суровъ ты былъ; ты въ молодые годы
Умѣлъ разсудку страсти подчинять,
Училъ ты жить для славы, для свободы,
Но болѣе училъ ты умирать.
Сознательно мірскія наслажденья
Ты отвергалъ; ты чистоту хранилъ;
Ты жаждѣ сердца не далъ утоленья;
Какъ женщину, ты родину любилъ;
Свои труды, надежды, помышленья
Ты отдалъ ей; ты честныя сердца
Ей покорялъ. Взывая къ жизни новой,
И свѣтлый рай и перлы для вѣнца
Готовилъ ты любовницѣ суровой.
Но слишкомъ рано твой ударилъ часъ,
И вѣщее перо изъ рукъ упало.
Какой свѣтильникъ разума угасъ!
Какое сердце биться перестало!
Года минули, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты надъ нами...
Плачь, русская земля! но и гордись —
Съ тѣхъ поръ, какъ ты стоишь подъ небесами,
Такого сына не рождала ты,
И въ нѣдра не брала себѣ обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмѣщены въ немъ были благодатно...
Природа-мать! когда бъ такихъ людей
Ты иногда не посылала міру,
Заглохла бъ нива жизни...

## Пропала книга.

1.

Пропала книга! Ужъ была
Совсѣмъ готова — вдругъ пропала!
Богъ съ ней, когда идеѣ зла
Она потворствовать желала!
Читать маранье праздныхъ дуръ
И дураковъ мы не досужны,
Не нужно намъ плохихъ брошюръ,
Намъ нуженъ хлѣбъ, намъ деньги нужны!
Но, можетъ-быт , она была
Честна... а такъ рѣзка, смѣла?
Двѣ-три страницы роковыя...
О, если такъ, ее мнѣ жаль!
И, можетъ-быть, мою печаль
Со мной раздѣлитъ вся Россія!

2.

Ужъ напечатана — и нѣтъ...
Не познакомимся мы съ нею;
Дѣвица въ девятнадцать лѣтъ
Не замечтается надъ нею!
О ней не будетъ разсуждать
Ни диллетантъ ни критикъ мрачный,
Студентъ не будетъ посыпать
Ея листовъ золой табачной.
Пропала, съ ней и трудъ пропалъ,
Затраченъ даромъ капиталъ,
Пропали хлопоты большія...
Мнѣ очень жаль, мнѣ очень жаль,
И, можетъ-быть, мою печаль
Со мной раздѣлитъ вся Россія!

3.

Прощай! горька судьба твоя,
Бѣдняжка! Какъ зима настанетъ,

За чайнымъ столикомъ семья
Гурьбой читать тебя не станетъ.
Не занесешь ты новыхъ думъ
Въ глухія, темныя селенья,
Гдѣ изнываетъ русскій умъ
Вдали отъ центровъ просвѣщенья!
О, если ты честна была,
Что за бѣда, что ты смѣла?
Такъ рѣдки книги не пустыя...
Мнѣ очень жаль, мнѣ очень жаль,
И, можетъ-быть, мою печаль
Со мной раздѣлитъ вся Россія!..

* * *

Не рыдай такъ безумно надъ нимъ,
Хорошо умереть молодымъ!
Безпощадная пошлость ни тѣни
Положить не успѣла на немъ,
Становись передъ нимъ на колѣни,
Украшай его кудри вѣнкомъ!
Передъ нимъ преклониться не стыдно:
Вспомни, сколькіе пали въ борьбѣ,
Сколько разъ уже было тебѣ
За великое имя обидно!
А теперь его слава прочна:
Подъ холодною крышкою гроба,
На нее не наложатъ пятна
Ни ошибка, ни сила, ни злоба...
Не хочу я сказать, что твой братъ
Не былъ гордою волей богатъ;
Но, ты знаешь, кто ближняго любитъ
Больше собственной славы своей,
Тотъ и славу сознательно губитъ,
Если жертва спасаетъ людей.
Но у жизни есть мрачныя силы —
У кого не слабѣли шаги
Передъ дверью тюрьмы и могилы?
Русскій геній издавна вѣнчаетъ
Тѣхъ, которые мало живутъ,
О которыхъ народъ замѣчаетъ:
«У счастливаго недруги мрутъ,
У несчастнаго другъ умираетъ»...

* * *

Изъ Гейне.

Душно! Безъ счастья и воли
Ночь безконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша съ краями полна!
Грянь надъ пучиною моря,
Въ полѣ, въ лѣсу засвищи,
Чашу вселенскаго горя
Всю расплещи!..

## Дѣдушка.

I.

Разъ у отца въ кабинетѣ
Саша портретъ увидалъ:
Изображенъ на портретѣ
Былъ молодой генералъ.
«Кто это?»—спрашивалъ Саша,
«Кто?»—Это дѣдушка твой—
И отвернулся папаша,
Низко поникъ головой.
«Что же не вижу его я?»
Папа ни слова въ отвѣтъ.
Внукъ, передъ дѣдушкой стоя,
Зорко глядитъ на портретъ:
«Папа, чего ты вздыхаешь?
Умеръ онъ... живъ? Говори!»
— Выростешь, Саша, узнаешь.
«То-то... ты скажешь, смотри!..»

II.

«Дѣдушку знаешь, мамаша?»
Матери сынъ говоритъ.
«Знаю»—и за руку Саша
Маму къ портрету тащитъ.
Мама идетъ противъ воли...
«Ты мнѣ скажи про него,
Мама! Недобрый онъ, что ли,
Что я не вижу его?
Ну, дорогая! Ну, сдѣлай
Милость, скажи что-нибудь!»
— Нѣтъ, онъ и добрый и смѣлый,
Только несчастный.—На грудь
Голову скрыла мамаша,
Тяжко вздыхаетъ, дрожитъ—
И зарыдала... А Саша
Зорко на дѣда глядитъ.
«Что же ты, мама, рыдаешь,
Слова не хочешь сказать?»
— Выростешь, Саша, узнаешь.
Лучше пойдемъ-ка гулять...

III.

Въ домѣ тревога большая.
Счастливы, свѣтлы лицомъ,
Заново домъ убирая,
Шепчутся мама съ отцомъ.
Какъ весела ихъ бесѣда!
Сынъ подмѣчаетъ, молчитъ.

— Скоро увидишь ты дѣда!
Сашѣ отецъ говоритъ...
Дѣдушкой только и бредитъ
Саша, — не можетъ уснуть:
«Что же онъ долго не ѣдетъ?»
— Другъ мой! далекъ ему путь!
Саша тоскливо вздыхаетъ,
Думаетъ: «Что за отвѣтъ!»
Вотъ, наконецъ, пріѣзжаетъ
Этотъ таинственный дѣдъ.

IV.

Всѣ, ужъ давно поджидая,
Встрѣтили стараго вдругъ...
Благословилъ онъ, рыдая,
Домъ, и семейство, и слугъ,
Пыль отряхнулъ у порога,
Съ шеи торжественно снялъ
Образъ распятаго Бога
И, покрестившись, сказалъ:
«Днесь я со всѣмъ примирился,
Что потерпѣлъ на вѣку!..»
Сынъ предъ отцомъ преклонился,
Ноги омылъ старику;
Бѣлые кудри чесала
Дѣдушкѣ Сашина мать,
Гладила ихъ, цѣловала,
Сашу звала цѣловать!
Правой рукою мамашу
Дѣдъ обхватилъ, а другой
Гладилъ румянаго Сашу:
— Экой красавчикъ какой!
Дѣдушку пристальнымъ взглядомъ
Саша разсматривалъ, — вдругъ
Слезы у мальчика градомъ
Хлынули, къ дѣдушкѣ внукъ
Кинулся: «Дѣдушка! гдѣ ты
Жилъ-пропадалъ столько лѣтъ?
Гдѣ же твои эполеты,
Что не въ мундирѣ ты одѣтъ?
Что на ногѣ ты скрываешь?
Ранена, что ли, рука?..»
— Выростешь, Саша, узнаешь.
Ну, поцѣлуй старика!..

V.

Повеселѣлъ, оживился,
Радостью дышитъ весь домъ.
Съ дѣдушкой Саша сдружился,
Вѣчно гуляютъ вдвоемъ;
Ходятъ лугами, лѣсами,
Рвутъ васильки среди нивъ.
Дѣдушка древенъ годами,
Но еще бодръ и красивъ:
Зубы у дѣдушки цѣлы,
Поступь, осанка тверда,
Кудри пушисты и бѣлы,
Какъ серебро борода;
Строенъ, высокаго роста,
Но какъ младенецъ глядитъ;
Какъ-то апостольски-просто,
Ровно всегда говоритъ...

VI.

Выйдутъ на берегъ покатый
Къ русской великой рѣкѣ —
Свищетъ куликъ вороватый;
Тысячи лапъ на пескѣ;
Барку ведутъ бечевою,
Чу, бурлаковъ голоса!
Ровная гладь за рѣкою —
Нивы, покосы, лѣса.
Легкой прохладою дуетъ
Съ медленныхъ, дремлющихъ водъ...
Дѣдушка землю цѣлуетъ,
Плачетъ — и тихо поетъ...
«Дѣдушка! что ты роняешь
Крупныя слезы, какъ градъ?..»
— Выростешь, Саша, узнаешь!
Ты не печалься — я радъ...

VII.

— Радъ я, что вижу картину,
Милую съ дѣтства глазамъ.
Глянь-ка на эту равнину —
И полюби ее самъ!
Двѣ-три усадьбы дворянскихъ,
Двадцать Господнихъ церквей,
Сто деревенекъ крестьянскихъ,
Какъ на ладони, на ней!
У лѣсу стадо пасется —
Жаль, что скотинка мелка;
Пѣсенка гдѣ-то поется —
Жаль — неисходно горька!
Ропотъ: «Подайте же руку
Бѣднымъ крестьянамъ скорѣй!»
Тысячелѣтнюю муку,
Саша, ты слышишь ли въ ней?..
Надо, чтобъ были здоровы
Овцы и лошади ихъ,
Надо, чтобъ были коровы
Толще московскихъ купчихъ, —

Будетъ и въ пѣснѣ отрада,
Вмѣсто унынья и мукъ.
Надо ли? — «Дѣдушка, надо!»
— То-то! Попомни же, внукъ!..

## VIII.

Озими пышному всходу,
Каждому цвѣтику радъ,
Дѣдушка хвалитъ природу,
Гладитъ крестьянскихъ ребятъ.
Первое дѣло у дѣда
Потолковать съ мужикомъ.
Тянется долго бесѣда,
Дѣдушка скажетъ потомъ:
«Скоро вамъ будетъ не трудно,
Будете вольный народъ!»
И улыбнется такъ чудно,
Радостью весь расцвѣтетъ.
Радость его раздѣляя,
Прыгало сердце у всѣхъ.
То-то улыбка святая!
То-то плѣнительный смѣхъ!

## IX.

— Скоро дадутъ имъ свободу,
Внуку старикъ замѣчалъ:
— Только и нужно народу.
Чудо я, Саша, видалъ:
Горсточку русскихъ сослали
Въ страшную глушь, за расколъ;
Волю да землю имъ дали;
Годъ незамѣтно прошелъ—
Ѣдутъ туда комиссары,
Глядь — ужъ деревня стоитъ,
Риги, сараи, амбары!
Въ кузницѣ молотъ стучитъ,
Мельницу выстроятъ скоро,
Ужъ запаслись мужики
Звѣремъ изъ темнаго бора,
Рыбой изъ вольной рѣки.
Вновь черезъ годъ побывали, —
Новое чудо нашли:
Жители хлѣбъ собирали
Съ прежде безплодной земли.
Дома одни лишь ребята
Да здоровенные псы,
Гуси кричатъ, поросята
Тычутъ въ корыто носы...

## X.

Такъ постепенно въ полвѣка
Выросъ огромный посадъ —
Воля и трудъ человѣка
Дивныя дивы творятъ!
Все принялось, раздобрѣло!
Сколько тамъ, Саша, свиней!
Передъ селеніемъ бѣло
На полверсты отъ гусей!
Какъ тамъ воздѣланы нивы,
Какъ тамъ обильны стада!
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда,
Видно — ведется копейка!
Бабу тамъ холитъ мужикъ:
Въ праздникъ на ней душегрѣйка,
Изъ соболей воротникъ!

## XI.

Дѣти до возраста въ нѣгѣ,
Конь — хоть сейчасъ на заводъ, —
Въ кованой, прочной телѣгѣ
Сотню пудовъ увезетъ...
Сыты тамъ кони-то, сыты,
Каждый тамъ сыто живетъ,
Тесомъ тамъ избы-то крыты,
Ну, ужъ зато и народъ!
Взросшіе въ нравахъ суровыхъ,
Сами творятъ они судъ,
Рекрутовъ ставятъ здоровыхъ,
Трезво и честно живутъ,
Подати платятъ до срока,
Только ты имъ не мѣшай.
«Гдѣ жъ та деревня?» — Далеко,
Имя ей: *Тарбагатай*,
Страшная глушь; за Байкаломъ...
Такъ-то, голубчикъ ты мой!
Ты еще въ возрастѣ маломъ,
Вспомнишь, какъ будешь большой...

## XII.

— Ну... а покуда подумай,
То ли ты видишь кругомъ:
Вотъ онъ, нашъ пахарь угрюмый,
Съ темнымъ, убитымъ лицомъ:
Лапти, лохмотья, шапчонка,
Рваная сбруя; едва
Тянетъ косулю клячонка,
Съ голоду еле жива!
Голоденъ труженикъ вѣчный,
Голоденъ тоже, божусь!
— «Эй! отдохни-ка, сердечный!
Я за тебя потружусь!»
Глянулъ крестьянинъ съ испугомъ,

Барину плугъ уступилъ;
Дѣдушка долго за плугомъ,
Потъ отирая, ходилъ;
Саша за нимъ торопился,
Не успѣвалъ догонять:
«Дѣдушка! гдѣ научился
Ты такъ отлично пахать?
Точно мужикъ, управляешь
Плугомъ, а былъ генералъ!»
— Вырастешь, Саша, узнаешь,
Какъ я работникомъ сталъ!

XIII.

— Зрѣлище бѣдствій народныхъ
Невыносимо, мой другъ;
Счастье умовъ благородныхъ —
Видѣть довольство вокругъ.
Нынче полегче народу:
Стихъ, притаился въ тѣни
Баринъ, прослышавъ свободу...
Ну, а какъ въ наши-то дни!
. . . . . . . . . . . .
Словно какъ омутъ, усадьбу
Каждый мужикъ объѣзжалъ.
Помню ужасную свадьбу:
Попъ уже кольца мѣнялъ,
Да на бѣду помолиться
Въ церковь помѣщикъ зашелъ!
«Кто имъ позволилъ жениться?
Стой!» и къ попу подошелъ...
Остановилось вѣнчанье!
Съ бариномъ шутка плоха —
Отдалъ наглецъ приказанье
Въ рекруты сдать жениха,
Въ дѣвичью — бѣдную Грушу!
И не перечилъ никто!..
Кто же, имѣющій душу,
Могъ это вынести?.. кто?..

XIV.

— Впрочемъ, не то еще было!
И не одни господа,—
Сокъ изъ народа давила
Подлыхъ подьячихъ орда.
Что ни чиновникъ — стяжатель,
Съ цѣлью добычи въ походъ
Вышелъ... а кто непріятель?
Войско, казна и народъ!
Всѣмъ доставалось исправно;
Стачка, порука кругомъ:
Смѣлые грабили явно,
Трусы тащили тайкомъ.
Непроницаемой ночи
Мракъ надъ страною висѣлъ...
Видѣлъ имѣющій очи
И за отчизну болѣлъ.
Стоны рабовъ заглушая
Лестью да свистомъ бичей,
Хищниковъ алчная стая
Гибель готовила ей...

XV.

«Солнце не вѣчно сіяетъ,
Счастье не вѣчно везетъ:
Каждой странѣ наступаетъ
Рано иль поздно чередъ,
Гдѣ не покорность тупая—
Дружная сила нужна;
Грянетъ бѣда роковая —
Скажется мигомъ страна.
Единодушье и разумъ
Всюду дадутъ торжество,
Да не придутъ они разомъ,
Вдругъ не создашь ничего,—
Краснорѣчивымъ воззваньемъ
Не разогрѣешь рабовъ,
Не озаришь пониманьемъ
Темныхъ и грубыхъ умовъ.
Поздно! Народъ угнетенный
Глухъ передъ общей бѣдой.
Горе странѣ разоренной!
Горе странѣ отсталой!..
Войско одно не защита,
Да вѣдь и войско, дитя,
Было въ то время забито,
Лямку тянуло кряхтя...»

XVI.

Дѣдушка кстати солдата
Встрѣтилъ, виномъ угостилъ,
Поцѣловавши, какъ брата,
Ласково съ нимъ говорилъ:
«Нынче вамъ служба не бремя —
Кротко начальство теперь...
Ну, а какъ въ наше-то время!
Что ни начальникъ, то звѣрь!
Душу вколачивать въ пятки
Правиломъ было тогда.
Какъ ни трудись, недостатки
Сыщетъ начальникъ всегда:
«Есть въ маршировкѣ старанье,
Стойка исправна совсѣмъ,

Только замѣтно дыханье...»
Слышишь ли?.. Дышутъ зачѣмъ!

XVII.

«А не доволенъ парадомъ,—
Ругань польется рѣкой,
Зубы посыплются градомъ,
Поретъ, гоняетъ сквозь строй!
Съ пѣною у рта обрыщетъ
Весь перепуганный полкъ,
Жертвъ покрупнѣе пріищетъ
Остервенившійся волкъ;
«Франтики! Подлыя души!
Подъ карауломъ сгною!»
Слушалъ имѣющій уши,
Думушку думалъ свою.
Брань пострашнѣй караула,
Пуль и картечи страшнѣй...
Кто же, въ комъ честь не уснула,
Кто примирился бы съ ней?..»
«Дѣдушка! Ты вспоминаешь
Страшное что-то?.. Скажи!»
— Выростешь, Саша, узнаешь.
Честью всегда дорожи...

XVIII.

Дѣдъ замолчалъ и уныло
Голову свѣсилъ на грудь.
— Мало ли, другъ мой, что было?..
Лучше пойдемъ отдохнуть.
Отдыхъ не дологъ у дѣда—
Жить онъ не могъ безъ труда:
Гряды копалъ до обѣда,
Переплеталъ иногда,
Вечеромъ шиломъ, иголкой
Что-нибудь бойко тачалъ,
Пѣсней печальной и долгой
Дѣдушка трудъ сокращалъ.
Внукъ не проронитъ ни звука,
Не отойдетъ отъ стола:
Новой загадкой для внука
Дѣдова пѣсня была...

XIX.

Пѣлъ онъ о славномъ походѣ
И о великой борьбѣ;
Пѣлъ о свободномъ народѣ
И о народѣ-рабѣ;
Пѣлъ о пустыняхъ безлюдныхъ
И о желѣзныхъ цѣпяхъ;
Пѣлъ о красавицахъ чудныхъ
Съ ангельской лаской въ очахъ;
Пѣлъ онъ объ ихъ увяданьи
Въ дикой, далекой глуши,
И о чудесномъ вліяньи
Любящей женской души...
О Трубецкой и Волконской
Дѣдушка пѣлъ—и вздыхалъ,
Пѣлъ—и тоской вавилонской
Келью свою оглашалъ...
«Дѣдушка, дальше!.. А гдѣ ты
Пѣсенку вызналъ свою?
Ты повтори мнѣ куплеты—
Я ихъ мамашѣ спою.
Тѣ имена поминаешь
Ты иногда по ночамъ...»
— Выростешь, Саша, узнаешь—
Все разскажу тебѣ самъ:
Гдѣ научился я пѣнью,
Съ кѣмъ и когда я пѣвалъ...
«Ну! пріучусь я къ терпѣнью!»
Саша уныло сказалъ...

XX.

Часто каталися лѣтомъ
Наши друзья въ челнокѣ.
Съ громкимъ, веселымъ привѣтомъ
Дѣдъ приближался къ рѣкѣ:
— Здравствуй, красавица-Волга!
Съ дѣтства тебя я любилъ.—
«Гдѣ жъ пропадалъ ты такъ долго?»
Саша несмѣло спросилъ.
— Былъ я далеко, далеко...
«Гдѣ же?..» Задумался дѣдъ.
Мальчикъ вздыхаетъ глубоко,
Вѣчный предвидя отвѣтъ.
«Что жъ, хорошо ли тамъ было?»
Дѣдъ на ребенка глядитъ.
— Лучше не спрашивай, милый!
(Голосъ у дѣда дрожитъ):
— Глухо, пустынно, безлюдно,
Степь полумертвая сплошь.
Трудно, голубчикъ мой, трудно!
По году вѣсточки ждешь,
Видишь, какъ тратятся силы—
Лучшіе божьи дары;
Близкимъ копаешь могилы,
Ждешь и своей до поры...
Медленно-медленно таешь...
«Что жъ ты тамъ, дѣдушка, жилъ?..»
— Выростешь, Саша, узнаешь!—
Саша слезу уронилъ...

## XXI.

«Господи! слушать наскучитъ:
Выростешь! — мать говоритъ,
Папочка любитъ, а мучитъ:
Выростешь — тоже твердитъ!
То же и дѣдушка... Полно!
Я уже выросъ — смотри!..
(Сталъ на скамеечку чолна),
Лучше теперь говори!..»
Дѣда цѣлуетъ и гладитъ:
«Или вы всѣ заодно?..»
Дѣдушка съ сердцемъ не сладитъ:
Бьется, какъ голубь, оно.
«Дѣдушка, слышишь? Хочу я
Все непремѣнно узнать!»
Дѣдушка, внука цѣлуя,
Шепчетъ: — Тебѣ не понять.
Надо учиться, мой милый!
Все разскажу, погоди!
Пособерись-ка ты съ силой,
Зорче кругомъ погляди.
Умникъ ты, Саша, а все же
Надо исторію знать
И географію тоже. —
«Долго ли, дѣдушка, ждать?»
— Годикъ, другой, какъ случится. —
Саша къ мамашѣ бѣжитъ:
«Мама! хочу я учиться!»
Издали громко кричитъ.

## XXII.

Время проходитъ. Исправно
Учится мальчикъ всему —
Знаетъ исторію славно
(Лѣтъ уже десять ему),
Бойко на картѣ покажетъ
И Петербургъ и Читу,
Лучше большого разскажетъ
Многое въ русскомъ быту.
Глупыхъ и злыхъ ненавидитъ,
Бѣднымъ желаетъ добра,
Помнитъ, что слышитъ и видитъ...
Дѣдъ примѣчаетъ: пора!
Самъ же онъ часто хвораетъ,
Сталъ ему нуженъ костыль...
Скоро ужъ, скоро узнаетъ
Саша печальную быль...

1870 г.

— —

# РУССКІЯ ЖЕНЩИНЫ.

Бабушкины записки.

———

## Княгиня Трубецкая.

(1826 г.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Покоенъ, проченъ и легокъ
На диво сложенный возокъ;
Самъ графъ-отецъ не разъ, не два
Его попробовалъ сперва.
Шесть лошадей въ него впрягли,
Фонарь внутри его зажгли.
Самъ графъ подушки поправлялъ,
Медвѣжью полость въ ноги стлалъ;
Творя молитву, образокъ
Повѣсилъ въ правый уголокъ
И — зарыдалъ... Княгиня-дочь
Куда-то ѣдетъ въ эту ночь...

### I.

«Да, рвемъ мы сердце пополамъ
    Другъ другу, но, родной,
Скажи, что жъ больше дѣлать намъ?
    Поможешь ли тоской?
Одинъ, кто могъ бы намъ помочь
    Теперь... Прости, прости!
Благослови родную дочь
    И съ миромъ отпусти!

### II.

«Богъ вѣсть, увидимся ли вновь,
    Увы, надежды нѣтъ.
Прости и знай: твою любовь,
    Послѣдній твой завѣтъ
Я буду помнить глубоко
    Въ далекой сторонѣ...
Не плачу я, но не легко
    Съ тобой разстаться мнѣ!

### III.

«О, видитъ Богъ!.. Но долгъ другой,
    И выше и труднѣй,
Меня зоветъ: прости, родной!
    Напрасныхъ слезъ не лей!
Далекъ мой путь, тяжелъ мой путь,
    Страшна судьба моя;
Но сталью я одѣла грудь...
    Гордись — я дочь твоя!

IV.

«Прости и ты, мой край родной,
Прости, несчастный край!
И ты... о городъ роковой,
Гнѣздо всѣхъ бѣдъ... прощай!
Кто видѣлъ Лондонъ и Парижъ,
Венецію и Римъ,
Того ты блескомъ не прельстишь,
Но былъ ты мной любимъ.—

V.

«Счастливо молодость моя
Прошла въ стѣнахъ твоихъ,
Твои балы любила я,
Катанья съ горъ крутыхъ,
Любила плескъ Невы твоей
Въ вечерней тишинѣ,
И эту площадь передъ ней
Съ героемъ на конѣ...

VI.

«Мнѣ не забыть... Потомъ, потомъ
Разскажутъ нашу быль...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

Покоенъ, проченъ и легокъ,
Катится городомъ возокъ.
Вся въ черномъ, мертвенно блѣдна,
Княгиня ѣдетъ въ немъ одна;
А секретарь отца — (въ крестахъ,
Чтобъ наводить дорогой страхъ)
Съ прислугой скачетъ впереди...
Свища бичомъ, крича: «пади!»
Ямщикъ столицу миновалъ...
Далекъ княгинѣ путь лежалъ.
Была суровая зима...
На каждой станціи сама
Выходитъ путница: «Скорѣй
Перепрягайте лошадей!»
И сыплетъ щедрою рукой
Червонцы челяди ямской.
Но труденъ путь! Въ двадцатый день
Едва пріѣхали въ Тюмень.
Еще скакали десять дней.
«Увидимъ скоро Енисей»,
Сказалъ княгинѣ секретарь:
«Не ѣздитъ такъ и государь!..»

* * *

Впередъ! Душа полна тоски,
Дорога все труднѣй,
Но грезы мирны и легки —
Приснилась юность ей.
Богатство, блескъ! Высокій домъ
На берегу Невы,
Обита лѣстница ковромъ,
Передъ подъѣздомъ львы,
Изящно убранъ пышный залъ,
Огнями весь горитъ.
О радость! нынче дѣтскій балъ,
Чу! музыка гремитъ!
Ей ленты алыя вплели
Въ двѣ русыя косы,
Цвѣты, наряды принесли
Невиданной красы.
Пришелъ папаша, сѣдъ, румянъ,—
Къ гостямъ ее зоветъ.
«Ну, Катя! чудо сарафанъ!
Онъ всѣхъ съ ума сведетъ!»
Ей любо, любо безъ границъ...
Кружится передъ ней
Цвѣтникъ изъ милыхъ дѣтскихъ лицъ,
Головокъ и кудрей.
Нарядны дѣти, какъ цвѣты,
Наряднѣй старики:
Плюмажи, ленты и кресты,
Со звономъ каблуки...
Танцуетъ, прыгаетъ дитя,
Не мысля ни о чемъ,
И дѣтство рѣзвое шутя
Проносится... Потомъ
Другое время, балъ другой
Ей снится: передъ ней
Стоитъ красавецъ молодой,
Онъ что-то шепчетъ ей...
Потомъ опять балы, балы...
Она — хозяйка ихъ,
У нихъ сановники, послы,
Весь модный свѣтъ у нихъ...
«О милый! что ты такъ угрюмъ?
Что на сердцѣ твоемъ?»
— Дитя! мнѣ скученъ свѣтскій шумъ,
Уйдемъ скорѣй, уйдемъ! —
И вотъ уѣхала она
Съ избранникомъ своимъ.
Предъ нею чудная страна,
Предъ нею — вѣчный Римъ...
Ахъ! чѣмъ бы жизнь намъ помянуть —
Не будь у насъ тѣхъ дней,
Когда, урвавшись какъ-нибудь
Изъ родины своей

И скучный сѣверъ миновавъ,
Примчимся мы на югъ?
До насъ нужды, надъ нами правъ
Ни у кого... Самъ-другъ
Всегда лишь съ тѣмъ, кто дорогъ намъ,
Живемъ мы, какъ хотимъ;
Сегодня смотримъ древній храмъ,
А завтра посѣтимъ
Дворецъ, развалины, музей...
Какъ весело притомъ
Дѣлиться мыслію своей
Съ любимымъ существомъ!
Подъ обаяньемъ красоты,
Во власти строгихъ думъ,
По Ватикану бродишь ты
Подавленъ и угрюмъ;
Отжившимъ міромъ окруженъ,
Не помнишь о живомъ;
Зато какъ странно пораженъ
Ты въ первый мигъ потомъ,
Когда, покинувъ Ватиканъ,
Вернешься въ міръ живой,
Гдѣ ржетъ оселъ, шумитъ фонтанъ,
Поетъ мастеровой,
Торговля бойкая кипитъ,
Кричатъ на всѣ лады:
Коралловъ! раковинъ! улитъ!
Мороженой воды!
Танцуетъ, ѣстъ, дерется голь,
Довольная собой,
И косу черную, какъ смоль,
Римлянкѣ молодой
Старуха чешетъ... Жарокъ день,
Несносенъ черни гамъ,
Гдѣ намъ найти покой и тѣнь?
Заходимъ въ первый храмъ.
Не слышенъ здѣсь житейскій шумъ,
Прохлада, тишина
И полусумракъ... Строгихъ думъ
Опять душа полна.
Святыхъ и ангеловъ толпой
Вверху украшенъ храмъ,
Порфиръ и яшма подъ ногой
И мраморъ по стѣнамъ...
Какъ сладко слушать моря шумъ!
Сидишь по часу нѣмъ,
Неугнетенный, бодрый умъ
Работаетъ межъ тѣмъ...
До солнца горною тропой
Взберешься высоко —
Какое утро предъ тобой!
Какъ дышится легко!
Но жарче, жарче южный день,
На зелени долинъ
Росинки нѣтъ... Уйдемъ подъ тѣнь
Зонтообразныхъ пиннъ...
Княгинѣ памятны тѣ дни
Прогулокъ и бесѣдъ,
Въ душѣ оставили они
Неизгладимый слѣдъ.
Но не вернуть ей дней былыхъ,
Тѣхъ дней надеждъ и грезъ,
Какъ не вернуть потомъ о нихъ
Пролитыхъ ею слезъ!..
Исчезли радужные сны,
Предъ нею рядъ картинъ
Забытой Богомъ стороны:
Суровый господинъ
И жалкій труженикъ-мужикъ
Съ понурой головой...
Какъ первый властвовать привыкъ!
Какъ рабствуетъ второй!
Ей снятся группы бѣдняковъ
На нивахъ, на лугахъ,
Ей снятся стоны бурлаковъ
На волжскихъ берегахъ...
Наивнымъ ужасомъ полна,
Она не ѣстъ, не спитъ,
Засыпать спутника она
Вопросами спѣшитъ:
«Скажи, ужель весь край таковъ?
Довольства тѣни нѣтъ?..»
— Ты въ царствѣ нищихъ и рабовъ!
Короткій былъ отвѣтъ...
Она проснулась — въ руку сонъ!
Чу, слышенъ впереди
Печальный звонъ — кандальный звонъ!
— Эй, кучеръ, погоди!
То ссыльныхъ партія идетъ;
Больнѣй заныла грудь.
Княгиня деньги имъ даетъ,—
«Спасибо, добрый путь!»
Ей долго, долго лица ихъ
Мерещатся потомъ,
И не прогнать ей думъ своихъ,
Не позабыться сномъ!
«И та здѣсь партія была...
Да... нѣтъ другихъ путей...
Но слѣдъ ихъ вьюга замела.
Скорѣй, ямщикъ, скорѣй!..»

* * *

Морозъ сильнѣй, пустыннѣй путь,
Чѣмъ далѣ на востокъ;
На триста верстъ какой-нибудь
Убогій городокъ,
Зато какъ радостно глядишь
На темный рядъ домовъ!

Но гдѣ же люди? Всюду тишь,
Не слышно даже псовъ.
Подъ кровлю всѣхъ загналъ морозъ,
Чаекъ отъ скуки пьютъ.
Прошелъ солдатъ, проѣхалъ возъ,
Куранты гдѣ-то бьютъ,
Замерзли окна... огонекъ
Въ одномъ чуть-чуть мелькнулъ...
Соборъ... на выѣздѣ острогъ...
Ямщикъ кнутомъ махнулъ:
«Эй, вы!» — и нѣтъ ужъ городка,
Послѣдній домъ исчезъ...
Направо — горы и рѣка,
Налѣво — темный лѣсъ...
Кипитъ больной, усталый умъ,
Безсонный до утра,
Тоскуетъ сердце. Смѣна думъ
Мучительно быстра;
Княгиня видитъ то друзей,
То мрачную тюрьму,
И тутъ же думается ей,
Богъ знаетъ почему,
Что небо звѣздное — пескомъ
Посыпанный листокъ,
А мѣсяцъ — краснымъ сургучомъ
Оттиснутый кружокъ...
Пропали горы; началась
Равнина безъ конца.
Еще мертвѣй! Не встрѣтитъ глазъ
Живого деревца.
«А вотъ и тундра!» говоритъ
Ямщикъ, бурятъ степной.
Княгиня пристально глядитъ
И думаетъ съ тоской:
Сюда-то жадный человѣкъ
За золотомъ идетъ!
Оно лежитъ по русламъ рѣкъ,
Оно на днѣ болотъ.
Трудна добыча на рѣкѣ,
Болота страшны въ зной,
Но хуже, хуже въ рудникѣ,
Глубоко подъ землей!..
Тамъ гробовая тишина,
Тамъ безразсвѣтный мракъ...
Зачѣмъ, проклятая страна,
Нашелъ тебя Ермакъ?..

* * *

Чредой спустилась ночи мгла,
Опять взошла луна.
Княгиня долго не спала,
Тяжелыхъ думъ полна...
Уснула... Башня снится ей.
Она вверху стоитъ;
Знакомый городъ передъ ней
Волнуется, шумитъ;
Къ обширной площади бѣгутъ
Несмѣтныя толпы:
Чиновный людъ, торговый людъ,
Разносчики, попы;
Пестрѣютъ шляпки, бархатъ, шелкъ,
Тулупы, армяки...
Стоялъ ужъ тамъ какой-то полкъ,
Пришли еще полки,
Побольше тысячи солдатъ
Сошлось. Они «ура!» кричатъ,
Они чего-то ждутъ...
Народъ галдѣлъ, народъ зѣвалъ,
Едва ли сотый понималъ,
Что дѣлается тутъ...
Зато посмѣивался въ усъ,
Лукаво щуря взоръ,
Знакомый съ бурями французъ,
Столичный куаферъ...
Приспѣли новые полки.
«Сдавайтесь!» тѣмъ кричатъ.
Отвѣтъ имъ—пули и штыки,
Сдаваться не хотятъ.
Какой-то бравый генералъ,
Влетѣвъ въ каре, грозиться сталъ—
Съ коня снесли его.
Другой приблизился къ рядамъ:
«Прощенье обѣщаемъ вамъ!» —
Убили и того.
Явился самъ митрополитъ
Съ хоругвями, съ крестомъ.
Покайтесь, братія! гласитъ,
Падите ницъ челомъ!
Солдаты слушали, крестясь,
Но друженъ былъ отвѣтъ:
«Уйди, старикъ! молись за насъ!
Тебѣ здѣсь дѣла нѣтъ...»
Тогда-то пушки навели,
Раздалось: пер-ва-я! па-ли!..

. . . . . . . . . . . . . . . .

Княгиня, память потерявъ,
Упала съ высоты стремглавъ.
Предъ нею длинный и сырой
Подземный коридоръ,
У каждой двери часовой,
Всѣ двери на запоръ.
Прибою волнъ подобный плескъ
Снаружи слышенъ ей;
Внутри—бряцанье, ружей блескъ
При свѣтѣ фонарей,
Да отдаленный шумъ шаговъ
И долгій гулъ отъ нихъ,
Да перекрестный бой часовъ,
Да крики часовыхъ.

Съ ключами старый и сѣдой,
Усатый инвалидъ—
«Иди, печальница, за мной!»
Ей тихо говоритъ:
«Я проведу тебя къ нему,
«Онъ живъ и невредимъ...
Она довѣрилась ему,
Она пошла за нимъ...
Шли долго, долго... Наконецъ,
Дверь визгнула,—и вдругъ
Предъ нею онъ... живой мертвецъ...
Предъ нею—бѣдный другъ!
Упавъ на грудь ему, она
Торопится спросить:
«Скажи, что дѣлать? . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Достанетъ мужества въ груди,
Готовность горяча,
Просить ли надо?..»— . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«О, милый! что сказалъ ты? Словъ
Не слышу я твоихъ:
То этотъ страшный бой часовъ,
То крики часовыхъ!
Зачѣмъ тутъ третій между насъ?..»
— Наивенъ твой вопросъ.
— «Пора! пробилъ урочный часъ!»
Тотъ «третій» произнесъ...

*
* *

Княгиня вздрогнула,—глядитъ
Испуганно кругомъ,
Ей ужасъ сердце леденитъ:
Не все тутъ было сномъ!..
Луна плыла среди небесъ
Безъ блеска, безъ лучей,
Налѣво былъ угрюмый лѣсъ,
Направо—Енисей.
Темно! Навстрѣчу ни души,
Ямщикъ на козлахъ спалъ,
Голодный волкъ въ лѣсной глуши
Пронзительно стоналъ,
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ,
Играя на рѣкѣ,
Да инородецъ гдѣ-то пѣлъ
На странномъ языкѣ.
Суровымъ паѳосомъ звучалъ
Невѣдомый языкъ,
И пуще сердце надрывалъ,
Какъ въ бурю чайки крикъ...
Княгинѣ холодно: въ ту ночь
Морозъ былъ нестерпимъ;
Упали силы; ей невмочь
Бороться больше съ нимъ.
Разсудкомъ ужасъ овладѣлъ,
Что не доѣхать ей.
Ямщикъ давно уже не пѣлъ,
Не понукалъ коней,
Передней тройки не слыхать...
«Эй, живъ ли ты, ямщикъ?
«Что ты замолкъ? Не вздумай спать!»
— Не бойтесь, я привыкъ...
Летятъ... Изъ мерзлаго окна
Не видно ничего;
Опасный гонитъ сонъ она,
Но не прогнать его!
Онъ волю женщины больной
Мгновенно покорилъ
И, какъ волшебникъ, въ край родной
Ее переселилъ.
Тотъ край—онъ ей уже знакомъ,—
Какъ прежде, нѣги полнъ,
И теплымъ солнечнымъ лучомъ,
И сладкимъ пѣньемъ волнъ
Ее привѣтствовалъ, какъ другъ...
Куда ни поглядитъ:
«Да, это—югъ! Да, это—югъ!»
Все взору говоритъ...
Въ долинѣ, между цѣпью горъ
И моремъ голубымъ,
Она летитъ во весь опоръ
Съ избранникомъ своимъ.
Дорога ихъ—роскошный садъ:
Съ деревьевъ льется ароматъ,
На каждомъ деревѣ горитъ
Румяный, пышный плодъ;
Сквозь вѣтви темныя сквозитъ
Лазурь небесъ и водъ...
Вотъ вьючный мулъ идетъ шажкомъ,
Въ бубенчикахъ, въ цвѣтахъ,
За муломъ—женщина съ вѣнкомъ,
Съ корзинкою въ рукахъ.
Она кричитъ имъ: добрый путь!
И, засмѣявшись вдругъ,
Бросаетъ быстро ей на грудь
Цвѣтокъ... да! это—югъ!
Страна античныхъ смуглыхъ дѣвъ
И вѣчныхъ розъ страна...
Чу! мелодическій напѣвъ,
Чу! музыка слышна!
«Да, это—югъ! да, это—югъ!
(Поетъ ей добрый сонъ)
Опять съ тобой любимый другъ,
Опять свободенъ онъ!..»

---

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Уже два мѣсяца почти
Безсмѣнно день и ночь въ пути
На диво слаженный возокъ,
А все конецъ пути далекъ!
Княгининъ спутникъ такъ усталъ,
Что подъ Иркутскомъ захворалъ;
Два дня прождавъ его, она
Помчалась далѣе одна...
Ее въ Иркутскѣ встрѣтилъ самъ
Начальникъ городской;
Какъ мощи сухъ, какъ палка прямъ,
Высокій и сѣдой.
Сползла съ плеча его доха,
Подъ ней—кресты, мундиръ,
На шляпѣ—перья пѣтуха.
Почтенный бригадиръ,
Ругнувъ за что-то ямщика,
Поспѣшно подскочилъ
И дверцы прочнаго возка
Княгинѣ отворилъ...

КНЯГИНЯ *(входитъ въ станціонный домъ).*

Въ Нерчинскъ! Закладывать скорѣй!

ГУБЕРНАТОРЪ.

Пришелъ я встрѣтить васъ.

КНЯГИНЯ.

Велите жъ дать мнѣ лошадей!

ГУБЕРНАТОРЪ.

Прошу помедлить часъ.
Дорога наша такъ дурна,
Вамъ нужно отдохнуть...

КНЯГИНЯ.

Благодарю васъ! Я сильна...
Ужъ не далекъ мой путь...

ГУБЕРНАТОРЪ.

Все жъ будетъ верстъ до восьмисотъ;
А главная бѣда:
Дорога хуже тутъ пойдетъ,
Опасная ѣзда!..
Два слова нужно вамъ сказать
По службѣ,—и притомъ
Имѣлъ я счастье графа знать,
Семь лѣтъ служилъ при немъ.
Отецъ вашъ рѣдкій человѣкъ
По сердцу, по уму;
Запечатлѣвъ въ душѣ навѣкъ
Признательность къ нему,
Къ услугамъ дочери его
Готовъ я... весь я вашъ...

КНЯГИНЯ.

Но мнѣ не нужно ничего!
*(Отворяя дверь въ сѣни.)*
Готовъ ли экипажъ?

ГУБЕРНАТОРЪ.

Покуда я не прикажу,
Его не подадутъ...

КНЯГИНЯ.

Такъ прикажите жъ! Я прошу...

ГУБЕРНАТОРЪ.

Но есть зацѣпка тутъ:
Съ послѣдней почтой прислана
Бумага...

КНЯГИНЯ.

Что же въ ней?
Ужъ не вернуться ль я должна?

ГУБЕРНАТОРЪ.

Да-съ, было бы вѣрнѣй.

КНЯГИНЯ.

Да кто жъ прислалъ вамъ и о чемъ
Бумагу? Что же тамъ
Шутили, что ли, надъ отцомъ?
Онъ все устроилъ самъ!

ГУБЕРНАТОРЪ.

Нѣтъ... не рѣшусь я утверждать...
Но путь еще далекъ...

КНЯГИНЯ.

Такъ что же даромъ и болтать!
Готовъ ли мой возокъ?

ГУБЕРНАТОРЪ.

Нѣтъ... Я еще не приказалъ...
Княгиня, здѣсь я царь!
Садитесь! Я уже сказалъ,
Что зналъ я графа встарь,

А графъ... хоть онъ васъ отпустилъ,
По добротѣ своей,
Но вашъ отъѣздъ его убилъ...
Вернитесь поскорѣй.

Княгиня.

Нѣтъ! что однажды рѣшено —
Исполню до конца!
Мнѣ вамъ разсказывать смѣшно,
Какъ я люблю отца,
Какъ любитъ онъ. Но долгъ другой,
И выше и святѣй,
Меня зоветъ. Мучитель мой!
Давайте лошадей!

Губернаторъ.

Позвольте-съ. Я согласенъ самъ,
Что дорогъ каждый часъ;
Но хорошо ль извѣстно вамъ,
Что ожидаетъ васъ?
Безплодна наша сторона,
А та — еще бѣднѣй;
Короче нашей тамъ весна,
Зима — еще длиннѣй.
Да-съ, восемь мѣсяцевъ зима
Тамъ — знаете ли вы?
Тамъ люди рѣдки безъ клейма,
И тѣ душой черствы;
На волѣ рыскаютъ кругомъ
Тамъ только варнаки.
Ужасенъ тамъ тюремный домъ,
Глубоки рудники.
Вамъ не придется съ мужемъ быть
Минуты глазъ на глазъ:
Въ казармѣ общей надо жить,
А пища: хлѣбъ да квасъ.
Пять тысячъ каторжниковъ тамъ,
Озлоблены судьбой,
Заводятъ драки по ночамъ,
Убійства и разбой;
Коротокъ имъ и страшенъ судъ,—
Грознѣе нѣтъ суда!
И вы, княгиня, вѣчно тутъ,
Свидѣтельницей... Да!
Повѣрьте, васъ не пощадятъ,
Не сжалится никто!
Пускай вашъ мужъ — онъ виноватъ...
А вамъ терпѣть... за что?

Княгиня.

Ужасна будетъ, знаю я,
Жизнь мужа моего;
Пускай же будетъ и моя
Не радостнѣй его!

Губернаторъ.

Но вы не будете тамъ жить:
Тотъ климатъ васъ убьетъ;
Я васъ обязанъ убѣдить:
Не ѣздите впередъ!
Ахъ! вамъ ли жить въ странѣ такой,
Гдѣ воздухъ у людей
Не паромъ — пылью ледяной
Выходитъ изъ ноздрей?
Гдѣ мракъ и холодъ круглый годъ,
А въ краткіе жары
Непросыхающихъ болотъ
Зловредные пары?
Да... страшный край! Оттуда прочь
Бѣжитъ и звѣрь лѣсной,
Когда стосуточная ночь
Повиснетъ надъ страной...

Княгиня.

Живутъ же люди въ томъ краю?
Привыкну я, шутя...

Губернаторъ.

Живутъ? но молодость свою
Припомните... дитя!
Здѣсь мать водицей снѣговой,
Родивъ, омоетъ дочь,
Малютку грозной бури вой
Баюкаетъ всю ночь,
А будитъ дикій звѣрь, рыча
Близъ хижины лѣсной,
Да пурга, бѣшено стуча
Въ окно, какъ домовой.
Съ глухихъ лѣсовъ, съ пустынныхъ рѣкъ
Сбирая дань свою,
Окрѣпъ туземный человѣкъ
Съ природою въ бою.
А вы?..

Княгиня.

Пусть смерть мнѣ суждена —
Мнѣ нечего жалѣть!..
Я ѣду! ѣду! я должна
Близъ мужа умереть.

Губернаторъ.

Да, вы умрете, но сперва
Измучите того,
Чья безвозвратно голова
Погибла. Для него
Прошу: не ѣздите туда!
Сноснѣе одному,

Уставъ отъ тяжкаго труда,
Притти въ свою тюрьму,
Притти — и лечь на голый полъ
И съ черствымъ сухаремъ
Заснуть... а добрый сонъ пришелъ —
И узникъ сталъ царемъ!
Летя мечтой къ роднымъ, къ друзьямъ,
Увидя васъ самихъ,
Проснется онъ къ дневнымъ трудамъ
И бодръ и сердцемъ тихъ.
А съ вами?.. съ вами не знавать
Ему счастливыхъ грезъ,
Въ себѣ онъ будетъ сознавать
Причину вашихъ слезъ.

КНЯГИНЯ.

Ахъ!.. Эти рѣчи поберечь
Вамъ лучше для другихъ.
Всѣмъ вашимъ пыткамъ не извлечь
Слезы изъ глазъ моихъ!
Покинувъ родину, друзей,
Любимаго отца,
Принявъ обѣтъ въ душѣ моей
Исполнить до конца
Мой долгъ, — я слезъ не принесу
Въ проклятую тюрьму —
Я гордость, гордость въ немъ спасу,
Я силы дамъ ему!...

ГУБЕРНАТОРЪ.

Прекрасныя мечты!
Но ихъ достанетъ на пять дней.
Не вѣкъ же вамъ грустить?
Повѣрьте совѣсти моей,
Захочется вамъ жить.
Здѣсь—черствый хлѣбъ, тюрьма, позоръ,
Нужда и вѣчный гнетъ,
А тамъ—балы, блестящій дворъ,
Свобода и почетъ.
Какъ знать? Быть-можетъ, Богъ судилъ...
Понравится другой,
Законъ васъ права не лишилъ...

КНЯГИНЯ.

Молчите!.. Боже мой!..

ГУБЕРНАТОРЪ.

Да, откровенно говорю,
Вернитесь лучше въ свѣтъ.

КНЯГИНЯ.

Благодарю, благодарю
За добрый вашъ совѣтъ!..
Нѣтъ, въ этотъ вырубленный лѣсъ,
Меня не заманятъ,
Гдѣ были дубы до небесъ,
А нынче пни торчатъ!
Вернуться? Жить среди клеветъ,
Пустыхъ и темныхъ дѣлъ?
Тамъ мѣста нѣтъ, тамъ друга нѣтъ
Тому, кто разъ прозрѣлъ!...
Забыть того, кто насъ любилъ,
Вернуться, все простя?..

ГУБЕРНАТОРЪ.

Но онъ же васъ не пощадилъ?
Подумайте, дитя:
О комъ тоска, къ кому любовь?

КНЯГИНЯ.

Молчите, генералъ!

ГУБЕРНАТОРЪ.

Когда бъ не доблестная кровь
Текла въ васъ — я бъ молчалъ.
Но если рветесь вы впередъ,
Не вѣря ничему,
Быть-можетъ, гордость васъ спасетъ...
Достались вы ему
Съ богатствомъ, съ именемъ, съ умомъ,
Съ довѣрчивой душой,
А онъ, не думая о томъ,
Что станется съ женой,
Увлекся призракомъ пустымъ,
И — вотъ его судьба!..
И что жъ?.. Бѣжите вы за нимъ,
Какъ жалкая раба!

КНЯГИНЯ.

Нѣтъ, я не жалкая раба,
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба —
Я буду ей вѣрна!
О, если бъ онъ меня забылъ
Для женщины другой,
Въ моей душѣ достало бъ силъ
Не быть его рабой!
Но знаю: къ родинѣ любовь —
Соперница моя,
И если бъ нужно было, вновь
Ему простила бъ я!..

* * *

Княгиня кончила... Молчалъ
Упрямый старичокъ.

— Ну, что жъ? Велите, генералъ,
Готовить мой возокъ?
Не отвѣчая на вопросъ,
Смотрѣлъ онъ долго въ полъ,
Потомъ въ раздумьи произнесъ:
«До завтра» — и ушелъ...

* * *

Назавтра тотъ же разговоръ:
Просилъ и убѣждалъ,
Но получилъ опять отпоръ
Почтенный генералъ.
Всѣ убѣжденья истощивъ
И выбившись изъ силъ,
Онъ долго, важенъ, молчаливъ,
По комнатѣ ходилъ
И, наконецъ, сказалъ: «Быть такъ!
Васъ не спасешь, увы!..
Но знайте: сдѣлавъ этотъ шагъ,
Всего лишитесь вы!»
— Да что же мнѣ еще терять?
«За мужемъ поскакавъ,
Вы отреченье подписать
Должны отъ вашихъ правъ!»
Старикъ эффектно замолчалъ:
Отъ этихъ страшныхъ словъ
Онъ, очевидно, пользы ждалъ;
Но былъ отвѣтъ таковъ:
«У васъ сѣдая голова,
А вы еще дитя!
Вамъ наши кажутся права
Правами — не шутя.
Нѣтъ! ими я не дорожу,
Возьмите ихъ скорѣй!
Гдѣ отреченье? Подпишу!
И живо — лошадей!..»

ГУБЕРНАТОРЪ.

Бумагу эту подписать!
Да что вы?.. Боже мой!
Вѣдь это значитъ — нищей стать
И женщиной простой!
Всему вы скажете прости,
Что вамъ дано отцомъ,
Что по наслѣдству перейти
Должно бы къ вамъ потомъ!
Права имущества, права
Дворянства потерять!
Нѣтъ, вы подумайте сперва —
Зайду я къ вамъ опять!..

* *

Ушелъ и не былъ цѣлый день...
Когда спустилась тьма,
Княгиня, слабая, какъ тѣнь,
Пошла къ нему сама.
Ее не принялъ генералъ:
Хвораетъ тяжело...
Пять дней, покуда онъ хворалъ
Мучительныхъ прошло,
А на шестой пришелъ онъ самъ
И круто молвилъ ей:
«Я отпустить не въ правѣ вамъ,
Княгиня, лошадей!
Васъ по этапу поведутъ
Съ конвоемъ...»

КНЯГИНЯ.

Боже мой!
Но такъ вѣдь мѣсяцы пройдутъ
Въ дорогѣ?..

ГУБЕРНАТОРЪ.

Да, весной
Въ Нерчинскъ придете, если васъ
Дорога не убьетъ.
Наврядъ версты четыре въ часъ
Закованный идетъ:
Посерединѣ дня — привалъ,
Съ закатомъ дня — ночлегъ,
А ураганъ въ степи засталъ —
Закапывайся въ снѣгъ!
Да-съ, промедленьямъ нѣтъ числа,
Иной упалъ, ослабъ...

КНЯГИНЯ.

Не хорошо я поняла —
Что значитъ вашъ этапъ?

ГУБЕРНАТОРЪ.

Подъ карауломъ казаковъ
Съ оружіемъ въ рукахъ,
Этапомъ водимъ мы воровъ
И каторжныхъ въ цѣпяхъ.
Они дорогою шалятъ,
Того гляди — сбѣгутъ,
Такъ ихъ канатомъ прикрутятъ
Другъ къ другу — и ведутъ.
Трудненекъ путь! Да вотъ-съ каковъ:
Отправится пятьсотъ,
А до нерчинскихъ рудниковъ
И трети не дойдетъ!
Они, какъ мухи, мрутъ въ пути,
Особенно зимой...
И вамъ, княгиня, такъ итти?..
Вернитесь-ка домой!

КНЯГИНЯ.

О, нѣтъ! Я этого ждала...
 Но вы, но вы... злодѣй!..
Недѣля цѣлая прошла...
 Нѣтъ сердца у людей!
Зачѣмъ бы разомъ не сказать?..
 Ужъ шла бы я давно...
Велите жъ партію сбирать —
 Иду! мнѣ все равно!..

* * *

«Нѣтъ! вы поѣдете!..» вскричалъ
Нежданно старый генералъ,
 Закрывъ рукой глаза:
«Какъ я васъ мучилъ... Боже мой!..»
(Изъ-подъ руки на усъ сѣдой
 Скатилася слеза).
«Простите! да, я мучилъ васъ,
 Но мучился и самъ,
Но строгій я имѣлъ приказъ
 Преграды ставить вамъ!
И развѣ ихъ не ставилъ я?
 Я дѣлалъ все, что могъ,
Передъ судомъ душа моя
 Чиста, свидѣтель Богъ!
Острожнымъ жесткимъ сухаремъ
 И жизнью взаперти,
Позоромъ, ужасомъ, трудомъ
 Этапнаго пути
Я васъ старался напугать:
 Не испугались вы!
И хоть бы мнѣ не удержать
 На плечахъ головы,
Я не могу, я не хочу
 Тиранить больше васъ...
Я васъ въ три дня туда домчу...
 *(Отворяя дверь, кричитъ):*
 Эй, запрягать сейчасъ!..»

1871 г.

## КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО.

### Счастливые.

Въ толпѣ горластой, праздничной
Похаживали странники,
Прокликивали кличъ:
«Эй! нѣтъ ли гдѣ счастливаго?
Явись! коли окажется,
Что счастливо живешь,
У насъ ведро готовое:
Пей даромъ, сколько вздумаешь —
На славу угостимъ!..»
Такимъ рѣчамъ неслыханнымъ
Смѣялись люди трезвые,
А пьяные да умные
Чуть не плевали въ бороду
Ретивымъ крикунамъ.
Однако и охотниковъ
Хлебнуть вина безплатнаго
Достаточно нашлось.
Когда вернулись странники
Подъ липу, кличъ прокликавши,
Ихъ обступилъ народъ.
Пришелъ дьячокъ уволенный,
Тощой, какъ спичка сѣрная,
И лясы распустилъ,
Что счастіе не въ пажитяхъ,
Не въ соболяхъ, не въ золотѣ,
Не въ дорогихъ камняхъ...
— А въ чемъ же?
 «Въ благодушествѣ!
Предѣлы есть владѣніямъ
Господъ, вельможъ, царей земныхъ,
А мудраго владѣніе—
Весь вертоградъ Христовъ!
Коль обогрѣетъ солнышко,
Да пропущу косушечку,
Такъ вотъ, и счастливъ я!»
— А гдѣ возьмешь косушечку?
«Да вы же дать сулилися...»
— Проваливай! шалишь!..
 Пришла старуха старая,
Рябая, одноглазая,
И объявила, кланяясь,
Что счастлива она:
Что у нея по осени
Родилось рѣпъ до тысячи
На небольшой грядѣ:
«Такая рѣпа крупная,
Такая рѣпа вкусная,
А вся гряда — сажени три,
А поперечь — аршинъ!»
Надъ бабой посмѣялися,
А водки капли не дали:
«Ты дома выпей, старая,
Той рѣпой закуси!»
Пришелъ солдатъ съ медалями,
Чуть живъ, а выпить хочется:
«Я счастливъ!» говоритъ.
— Ну, открывай, старинушка,
Въ чемъ счастіе солдатское?
Да не таись, смотри!
«А въ томъ, во-первыхъ, счастіе,
Что въ двадцати сраженіяхъ
Я былъ, а не убитъ!
А во-вторыхъ, важнѣй того,
Я и во время мирное

Ходилъ ни сытъ ни голоденъ,
А смерти не дался!
А въ-третьихъ—за провинности,
Великія и малыя,
Нещадно битъ я палками,
А хоть пощупай — живъ!»
— На! выпивай, служивенькій,
Съ тобой и спорить нечего:
Ты счастливъ—слова нѣтъ!
Пришелъ съ тяжелымъ молотомъ
Каменотесъ-олончанинъ,
Плечистый, молодой:
«И я живу—не жалуюсь»,
Сказалъ онъ: «съ женкой, съ матушкой,
Не знаемъ мы нужды!»
— Да въ чемъ же ваше счастіе?
«А вотъ, гляди (и молотомъ,
Какъ перышкомъ, махнулъ):
Коли проснусь до солнышка
Да разогнусь о полночи,
Такъ гору сокрушу!
Случалось, не похвастаю,
Щебенки наколачивать
Въ день на пять серебромъ!»
Пахомъ приподнялъ «счастіе»
И, крякнувши порядочно,
Работнику поднесъ:
— Ну, вѣско! а не будетъ ли
Носиться съ этимъ счастіемъ
Подъ старость тяжело?..
«Смотри, не хвастай силою»,
Сказалъ мужикъ съ одышкою,
Разслабленный, худой
(Носъ вострый, какъ у мертваго,
Какъ грабли руки тощія,
Какъ спицы, ноги длинныя,
Не человѣкъ — комаръ).
«Я былъ—не хуже каменщикъ,
Да тоже хвасталъ силою,
Вотъ, Богъ и наказалъ!
Смекнулъ подрядчикъ, бестія,
Что простоватъ дѣтинушка,
Училъ меня хвалить,
А я-то сдуру радуюсь.
За четверыхъ работаю!
Однажды ношу добрую
Наклалъ я кирпичей;
А тутъ его, проклятаго,
И нанеси нелегкая;
«Что это? говоритъ,
«Не узнаю я Трифона!
«Итти съ такою ношею
«Не стыдно молодцу?»
— А коли мало кажется,
Прибавь рукой хозяйскою!
Сказалъ я, осердясь.
Ну, съ полчаса, я думаю,
Я ждалъ, а онъ подкладывалъ,
И подложилъ, подлецъ!
Самъ слышу—тяга страшная,
Да не хотѣлось пятиться.
И внесъ ту ношу чортову
Я во второй этажъ!
Глядитъ подрядчикъ, дивится,
Кричитъ, подлецъ, оттудова:
«Ай, молодецъ, Трофимъ!
Не знаешь самъ, что сдѣлалъ ты:
Ты снесъ одинъ, по крайности,
Четырнадцать пудовъ!»
Ой, знаю: сердце молотомъ
Стучитъ въ груди, кровавые
Въ глазахъ круги стоятъ,
Спина какъ будто треснула,
Дрожатъ, ослабли ноженьки...
Зачахъ я съ той поры!..
Налей, братъ, полстаканчика!»
— Налить? Да гдѣ жъ тутъ счастіе?
Мы потчуемъ счастливаго,
А ты что разсказалъ?
«Дослушай! будетъ счастіе!»
— Да въ чемъ же, говори!
«А вотъ въ чемъ. Мнѣ на родинѣ,
Какъ всякому крестьянину,
Хотѣлось умереть.
Изъ Питера, разслабленный,
Шальной, почти безъ памяти,
Я на машину сѣлъ.
Ну, вотъ, мы и поѣхали.
Въ вагонѣ лихорадочныхъ,
Горячечныхъ работничковъ
Насъ много набралось;
Всѣмъ одного желалося,
Какъ мнѣ: попасть на родину,
Чтобъ дома помереть.
Однако нужно счастіе
И тутъ: мы лѣтомъ ѣхали;
Въ жарищѣ, въ духотѣ,
У многихъ помутилися
Въ конецъ больныя головы,
Въ вагонѣ адъ пошелъ:
Тотъ стонетъ, тотъ катается,
Какъ оглашенный, по полу,
Тотъ бредитъ женкой, матушкой...
Ну, на ближайшей станціи
Такого и долой!
Глядѣлъ я на товарищей,
Самъ весь горѣлъ, подумывалъ—
Не сдобровать и мнѣ.
Въ глазахъ кружки багровые,
И все мнѣ, братецъ, чудится

Что рѣжу пѣуновъ
(Мы тоже пѣунятники:
Случалось въ годъ откармливать
До тысячи зобовъ).
Гдѣ вспомнились, проклятые!
Ужъ я молиться пробовалъ,
Нѣтъ, все съ ума нейдутъ!
Повѣришь ли? вся партія
Передо мной трепещется!
Гортани перерѣзаны,
Кровь хлещетъ, а поютъ!
А я съ ножомъ: «Да полно вамъ!»
Ужъ какъ Господь помиловалъ,
Что я не закричалъ?
Сижу, крѣплюсь... по счастію,
День кончился! а къ вечеру
Похолодало, — сжалился
Надъ сиротами Богъ!
Ну, такъ мы и доѣхали,
И я добрелъ на родину,
А здѣсь, по Божьей милости,
И легче стало мнѣ...»
— Чего вы тутъ расхвастались
Своимъ мужицкимъ счастіемъ?
Кричитъ разбитый на ноги
Дворовый человѣкъ:
А вы меня попотчуйте:
Я счастливъ, видитъ Богъ!
У перваго боярина,
У князя Переметьева,
Я былъ любимый рабъ.
Жена — раба любимая,
А дочка вмѣстѣ съ барышней
Училась и французскому
И всякимъ языкамъ;
Садиться позволялось ей
Въ присутствіи княжны...
Ой! какъ кольнуло!.. батюшки!..
(И началъ ногу правую
Ладонями тереть).
Крестьяне разсмѣялися.
— Чего смѣетесь, глупые!
Озлившись неожиданно,
Дворовый закричалъ:
Я боленъ; а сказать ли вамъ,
О чемъ молюсь я Господу,
Вставая и ложась?
Молюсь: «Оставь мнѣ, Господи,
Болѣзнь мою почетную:
По ней я дворянинъ!»
Не вашей подлой хворостью,
Не хрипотой, не грыжею —
Болѣзнью благородною,
Какая только водится
У первыхъ лицъ въ имперіи,
Я боленъ, мужичье!
По-да-грой именуется!
Чтобъ получить ее —
Шампанское, бургонское,
Токайское, венгерское
Лѣтъ тридцать надо пить...
За стуломъ у свѣтлѣйшаго
У князя Переметьева
Я сорокъ лѣтъ стоялъ,
Съ французскимъ лучшимъ трюфелемъ
Тарелки я лизалъ,
Напитки иностранные
Изъ рюмокъ допивалъ...
Ну, наливай!
— Проваливай!
У насъ вино мужицкое,
Простое, не заморское —
Не по твоимъ губамъ!
Желтоволосый, сгорбленный
Подкрался робко къ странникамъ
Крестьянинъ-бѣлоруссъ.
Туда же, къ водкѣ тянется:
«Налей и мнѣ маненечко,
Я счастливъ!» говоритъ.
— А ты не лѣзь съ ручищами!
Докладывай, доказывай
Сперва, чѣмъ счастливъ ты?
«А счастье наше — въ хлѣбушкѣ:
Я дома, въ Бѣлоруссіи,
Съ мякиною, съ кострикою
Ячменный хлѣбъ жевалъ;
Бывало, вопишь голосомъ,
Какъ роженица корчишься,
Какъ схватитъ животы.
А нынѣ, милость Божія! —
Досыта у Губонина
Даютъ ржаного хлѣбушка,
Жую — не нажуюсь!»
Пришелъ какой-то пасмурный
Мужикъ, съ скулой свороченной,
Направо все глядитъ:
«Хожу я за медвѣдями,
И счастье мнѣ великое:
Троихъ моихъ товарищей
Сломали мишуки,
А я живу, Богъ милостивъ!»
— А ну-ка, влѣво глянь!
Не глянулъ, какъ ни пробовалъ,
Какія рожи страшныя
Ни корчилъ мужичокъ:
«Свернула мнѣ медвѣдица
Маненечко скулу!»
— А ты съ другой помѣряйся:
Подставь ей щеку правую —
Поправитъ... — Посмѣялися,

Однако поднесли.
Оборванные нищіе,
Послышавъ запахъ пѣннаго, —
И тѣ пришли доказывать,
Какъ счастливы они:
«Насъ у порога лавочникъ
Встрѣчаетъ подаяніемъ,
А въ домъ войдемъ, такъ изъ дому
Проводятъ до воротъ...
Чуть запоемъ мы пѣсенку,
Бѣжитъ къ окну хозяюшка
Съ краюхою съ ножомъ,
А мы-то заливаемся:
«Давай, давай — весь коровай
Не мнется и не крошится,
Тебѣ скорѣй, а намъ спорѣй...»

---

Смекнули наши странники,
Что даромъ водку тратили,
Да кстати и ведерочку
Конецъ. «Ну, будетъ съ васъ!
Эй, счастіе мужицкое!
Дырявое съ заплатами,
Горбатое съ мозолями,
Проваливай домой!»
«А вамъ бы, други милые,
Спросить Ермилу Гирина»,
Сказалъ, подсѣвши къ странникамъ,
Деревни Дымоглотова
Крестьянинъ Ѳедосей:
Коли Ермилъ не выручитъ,
Счастливцемъ не объявится,
Такъ и шататься нечего...»
— А кто такой Ермилъ?
Князь, что ли, графъ сіятельный?
«Не князь, не графъ сіятельный,
А просто онъ — мужикъ!»
— Ты говори толковѣе,
Садись, а мы послушаемъ,
Какой такой Ермилъ?
«А вотъ какой: сиротскую
Держалъ Ермило мельницу
На Унжѣ. По суду
Продать рѣшили мельницу:
Пришелъ Ермило съ прочими
Въ палату на торги.
Пустые покупатели
Скоренько отвалилися,
Одинъ купецъ Алтынниковъ
Съ Ермиломъ въ бой вступилъ.
Не отстаетъ, торгуется,
Наноситъ по копеечкѣ;
Ермило, какъ разсердится —
Хвать сразу пять рублей!
Купецъ опять копеечку;
Пошло у нихъ сраженіе:
Купецъ его копейкою,
А тотъ его рублемъ
Не устоялъ Алтынниковъ!
Да вышла тутъ оказія:
Тотчасъ же стали требовать
Задатковъ третью часть,
А третья часть—до тысячи.
Съ Ермиломъ денегъ не было:
Ужъ самъ ли онъ сплошалъ,
Схитрили ли подьячіе,
А дѣло вышло дрянь!
Повеселѣлъ Алтынниковъ:
«Моя, выходитъ, мельница!
— «Нѣтъ!» говоритъ Ермилъ.
Подходитъ къ предсѣдателю:
«Нельзя ли вашей милости
Помѣшкать полчаса?»
— Что въ полчаса ты сдѣлаешь?
«Я деньги принесу!»
— А гдѣ найдешь? въ умѣ ли ты?
Верстъ тридцать пять до мельницы,
А черезъ часъ присутствію
Конецъ, любезный мой!
«Такъ полчаса позволите?»
— Пожалуй, часъ промѣшкаемъ! —
Пошелъ Ермилъ; подьячіе
Съ купцомъ переглянулися,
Смѣются, подлецы!
На площадь на торговую
Пришелъ Ермило (въ городѣ
Тотъ день базарный былъ),
Сталъ на возъ, видимъ: крестится,
На всѣ четыре стороны
Поклонъ, — и громкимъ голосомъ
Кричитъ: «Эй, люди добрые!
Притихните, послушайте,
Я слово вамъ скажу!»
Притихла площадь людная,
И тутъ Ермилъ про мельницу
Народу разсказалъ:
«Давно купецъ Алтынниковъ
Присватывался къ мельницѣ,
Да не плошалъ и я;
Разъ пять справлялся въ городѣ,
Сказали: съ переторжкою
Назначены торги.
Безъ дѣла, сами знаете,
Возить казну крестьянину
Проселкомъ не рука:
Пріѣхалъ я безъ грошика,
Анъ, глядь—они спроворили
Безъ переторжки торгъ!
Схитрили души подлыя,
Да и смѣются, нехристи:

«Что часомъ ты подѣлаешь?
Гдѣ денегъ ты найдешь?»
Авось, найду, Богъ милостивъ!
Хитры, сильны подьячіе,
А міръ ихъ посильнѣй;
Богатъ купецъ Алтынниковъ,
А все не устоять ему
Противъ мірской казны —
Ее, какъ рыбу изъ моря,
Вѣка ловить — не выловить.
Ну, братцы! видитъ Богъ,
Раздѣлаюсь въ ту пятницу!
Не дорога мнѣ мельница,
Обида велика!
Коли Ермила знаете,
Коли Ермилу вѣрите,
Такъ выручайте, что ль!..»
И чудо сотворилося:
На всей базарной площади
У каждаго крестьянина,
Какъ вѣтромъ полу лѣвую
Заворотило вдругъ!
Крестьянство раскошелилось,
Несутъ Ермилу денежки,
Даютъ, кто чѣмъ богатъ.
Ермило парень грамотный,
Да некогда записывать, —
Успѣй пересчитать!
Наклали шляпу полную
Цѣлковиковъ, лобанчиковъ,
Прожженной, битой, трепаной
Крестьянской ассигнаціи;
Ермило бралъ—не брезговалъ
И мѣднымъ пятакомъ.
Еще бы сталъ онъ брезговать,
Когда тутъ попадалася
Иная гривна мѣдная
Дороже ста рублей!
Ужъ сумма вся исполнилась,
А щедрота народная
Росла: «бери, Ермилъ Ильичъ,
Отдашь, не пропадетъ!»
Ермилъ народу кланялся
На всѣ четыре стороны,
Въ палату шелъ со шляпою,
Зажавши въ ней казну.
Сдивилися подьячіе,
Позеленѣлъ Алтынниковъ,
Какъ онъ сполна всю тысячу
Имъ выложилъ на столъ!..
Не волчій зубъ, такъ лисій хвость,—
Пошли юлить подьячіе,
Съ покупкой поздравлять!
Да не таковъ Ермилъ Ильичъ:
Не молвилъ слова лишняго,
Копейки не далъ имъ!
Глядѣть весь городъ съѣхался,
Какъ въ день базарный—пятницу,
Черезъ недѣлю времени,
Ермилъ на той же площади
Разсчитывалъ народъ.
Упомнить гдѣ же всякаго?
Въ ту пору дѣло дѣлалось
Въ горячкѣ, второпяхъ!
Однако споровъ не было,
И выдать гроша лишняго
Ермилу не пришлось.
Еще—онъ самъ разсказывалъ—
Рубль лишній, чей—Богъ вѣдаетъ!
Остался у него.
Весь день съ мошной раскрытою
Ходилъ Ермилъ, допытывалъ,
Чей рубль, да не нашелъ.
Ужъ солнце закатилося,
Когда съ базарной площади
Ермилъ послѣдній тронулся,
Отдавъ тотъ рубль слѣпымъ...
Такъ вотъ каковъ Ермилъ Ильичъ».
—Чуденъ! сказали странники:
Однако знать желательно—
Какимъ же колдовствомъ
Мужикъ надъ всей округою
Такую силу взялъ?
«Не колдовствомъ, а правдою.
Слыхали про Адовщину,
Юрлова-князя вотчину?»
— Слыхали, ну, такъ что жъ?
«Въ ней главный управляющій
Былъ корпуса жандармскаго
Полковникъ, со звѣздой;
При немъ пять-шесть помощниковъ,
А нашъ Ермило писаремъ
Въ конторѣ состоялъ.
«Лѣтъ двадцать было малому;
Какая воля писарю?
Однако для крестьянина
И писарь человѣкъ.
Къ нему подходишь къ первому,
А онъ и посовѣтуетъ,
И справку наведетъ;
Гдѣ хватитъ силы — выручитъ,
Не спроситъ благодарности,
И дашь, такъ не возьметъ!
Худую совѣсть надобно
Крестьянину съ крестьянина
Копейку вымогать.
«Такимъ путемъ вся вотчина
Въ пять лѣтъ Ермилу Гирина
Узнала хорошо,
А тутъ его и выгнали...

Жалѣли крѣпко Гирина,
Трудненько было къ новому,
Хапугѣ, привыкать;
Однако дѣлать нечего,
По времени приладились
И къ новому писцу.
Тотъ ни строки безъ трешника,
Ни слова безъ семишника,
Прожженный, изъ кутейниковъ —
Ему и Богъ велѣлъ!
«Однако волей Божіей,
Недолго онъ поцарствовалъ, —
Скончался старый князь,
Пріѣхалъ князь молоденькій,
Прогналъ того полковника,
Прогналъ его помощника,
Контору всю прогналъ;
А намъ велѣлъ изъ вотчины
Бурмистра изобрать.
Ну, мы не долго думали:
Шесть тысячъ душъ, всей вотчиной
Кричимъ: «Ермилу Гирина!»
Какъ человѣкъ единъ!
Зовутъ Ермилу къ барину.
Поговоривъ съ крестьяниномъ,
Съ балкона князь кричитъ:
«Ну, братцы! будь по-вашему!
Моей печатью княжеской
Вашъ выборъ утвержденъ:
Мужикъ проворный, грамотный,
Одно скажу: не молодъ ли?..»
А мы: «нужды нѣтъ, батюшка,
И молодъ, да уменъ!»
Пошелъ Ермило царствовать
Надъ всей княжою вотчиной, —
И царствовалъ же онъ!
Въ семь лѣтъ мірской копеечки
Подъ ноготь не зажалъ;
Въ семь лѣтъ не тронулъ праваго,
Не попустилъ виновному,
Душой не покривилъ...»
— Стой! крикнулъ укоризненно
Какой-то попикъ сѣденькій
Разсказчику — грѣшишь!
Шла борона прямехонько,
Да вдругъ махнула въ сторону —
На камень зубъ попалъ!
Коли взялся разсказывать,
Такъ слова не выкидывай
Изъ пѣсни: или странникамъ
Ты сказку говоришь?..
Я зналъ Ермилу Гирина...
— «А я, небось, не зналъ?
Одной мы были вотчины,
Одной и той же волости,
Да насъ перевели...»
— А коли зналъ ты Гирина,
Такъ зналъ и брата Митрія;
Подумай-ка, дружокъ.
Разсказчикъ призадумался
И, помолчавъ, сказалъ:
— «Совралъ я: слово лишнее
Сорвалось на маху!
Былъ случай, — и Ермилъ мужикъ
Свихнулся: изъ рекрутчины
Меньшого брата Митрія
Повыгородилъ онъ.
Молчимъ: тутъ спорить нечего.
Самъ баринъ брата старосты
Забрить бы не велѣлъ;
Одна Ненила Власьевна
По сынѣ горько плачется,
Кричитъ: не нашъ чередъ!
Извѣстно, покричала бы,
Да съ тѣмъ бы и отъѣхала.
Такъ что же? Самъ Ермилъ,
Покончивши съ рекрутчиной,
Сталъ тосковать, печалиться,
Не пьетъ, не ѣстъ: тѣмъ кончилось,
Что въ денникѣ съ веревкою
Засталъ его отецъ. —
Тутъ сынъ отцу покаялся:
«Съ тѣхъ поръ, какъ сына Власьевны
Поставилъ я не въ очередь,
Постылъ мнѣ бѣлый свѣтъ!»
А самъ къ веревкѣ тянется.
Пытали уговаривать
Отецъ его и братъ,
Онъ все одно: «преступникъ я!
Злодѣй! вяжите руки мнѣ,
Ведите въ судъ меня!»
Чтобъ хуже не случилося,
Отецъ связалъ сердечнаго,
Приставилъ караулъ.
«Сошелся міръ, шумитъ, галдитъ:
Такого дѣла чуднаго
Во вѣкъ не приходилося
Ни видѣть ни рѣшать.
Ермиловы семейные
Ужъ не о томъ старалися,
Чтобъ мы имъ помирволили,
А строже разсуди —
Верни парнишку Власьевнѣ,
Не то Ермилъ повѣсится,
За нимъ не углядишь!
Пришелъ и самъ Ермилъ Ильичъ,
Босой, худой, съ колодками,
Съ веревкой на рукахъ;
Пришелъ, сказалъ: «была пора,
Судилъ я васъ по совѣсти,

Теперь я самъ грѣшнѣе васъ:
Судите вы меня!»
И въ ноги поклонился намъ.
Ни дать ни взять—юродивый,
Стоитъ, вздыхаетъ, крестится;
Жаль было намъ глядѣть,
Какъ онъ передъ старухою,
Передъ Ненилой Власьевной,
Вдругъ на колѣни палъ!
«Ну, дѣло все обладилось!
У господина сильнаго
Вездѣ рука: сынъ Власьевны
Вернулся, сдали Митрія,
Да, говорятъ, и Митрію
Не тяжело служить:
Самъ князь о немъ заботится;
А за провинность съ Гирина
Мы положили штрафъ:
Штрафныя деньги—рекруту,
Часть небольшая—Власьевнѣ,
Часть—міру на вино...
«Однако послѣ этого
Ермилъ не скоро справился:
Съ годъ, какъ шальной, ходилъ.
Какъ ни просила вотчина, —
Отъ должности уволился,
Въ аренду снялъ ту мельницу
И сталъ онъ пуще прежняго
Всему народу любъ:
Бралъ за помолъ по совѣсти,
Народу не задерживалъ —
Приказчикъ, управляющій,
Богатые помѣщики
И мужики бѣднѣйшіе —
Всѣ очереди слушались,
Порядокъ строгій велъ!
Я самъ ужъ въ той губерніи
Давненько не бывалъ,
А про Ермилу слыхивалъ:
Народъ имъ не нахвалится!
Сходите вы къ нему».
— Напрасно вы проходите,
Сказалъ, ужъ разъ заспорившій,
Сѣдоволосый попъ:
Я зналъ Ермилу Гирина;
Попалъ я въ ту губернію
Назадъ тому лѣтъ пять.
Я въ жизни много странствовалъ,
(Преосвященный нашъ
Переводить священниковъ
Любилъ)... Съ Ермилой Гиринымъ
Сосѣди были мы.
Да! былъ мужикъ единственный!
Имѣлъ онъ все, что надобно
Для счастья: и спокойствіе,
И деньги, и почетъ,
Почетъ завидный, истинный,
Не купленный ни деньгами
Ни страхомъ: строгой правдою,
Умомъ и добротой!
Да только, повторяю вамъ,
Напрасно вы проходите:
Въ острогѣ онъ сидитъ...
— Какъ такъ?
«А воля Божія!
Слыхалъ ли кто изъ васъ,
Какъ бунтовалась вотчина
Помѣщика Обрубкова,
Испуганной губерніи,
Уѣзда Недыханьева,
Деревня Столбняки?..
Какъ о пожарахъ пишется
Въ газетахъ (я ихъ читывалъ):
«Осталась неизвѣстною
Причина»—такъ и тутъ
До сей поры невѣдомо
Ни земскому исправнику,
Ни высшему правительству,
Ни Столбнякамъ самимъ,
Съ чего стряслась оказія,
А вышло дѣло дрянь.
Потребовалось воинство;
Самъ государевъ посланный
Къ народу рѣчь держалъ:
То руганью попробуетъ
И плечи съ эполетами
Подыметъ высоко,
То лаской попробуетъ, —
Да брань была тутъ лишняя,
А ласка непонятная:
«Крестьянство православное!
Русь-матушка! царь-батюшка!»
И больше ничего!
Побившись такъ достаточно,
Хотѣли ужъ солдатикамъ
Скомандовать: пали!
Да волостному писарю
Пришла тутъ мысль счастливая:
Онъ про Ермилу Гирина
Начальнику сказалъ:
«Народъ повѣритъ Гирину,
Народъ его послушаетъ...»
— Позвать его живѣй!...
Вдругъ крикъ: «ай, ай! помилуйте!»
Раздавшись неожиданно,
Нарушилъ рѣчь священника.
Всѣ бросились глядѣть:
У валика дорожнаго
Сѣкутъ лакея пьянаго —
Попался въ воровствѣ!

Гдѣ пойманъ, тутъ и судъ ему;
Судей сошлось десятка три
Рѣшили дать по лозочкѣ,
И каждый далъ лозу!
Лакей вскочилъ и, шлепая
Худыми сапожишками,
Безъ слова тягу далъ.
«Вишь, побѣжалъ, какъ встрепанный!»
Шутили наши странники,
Узнавши въ немъ балясника,
Что хвастался какою-то
Особенной болѣзнію
Отъ иностранныхъ винъ!
«Откуда прыть явилася!
Болѣзнь ту благородную
Вдругъ сняло, какъ рукой!»
— Эй, эй! куда жъ ты, батюшка?
Ты доскажи исторію,
Какъ бунтовалась вотчина
Помѣщика Обрубкова,
Деревня Столбняки?
«Пора домой, родимые.
Богъ дастъ опять мы встрѣтимся,
Тогда и доскажу!»

1873 г.

## Элегія.

Посвящено другу моему

*Александру Николаевичу Еракову.*

Пускай намъ говоритъ измѣнчивая мода,
Что тема старая —«страданія народа»,
И что поэзія забыть ее должна,—
Не вѣрьте, юноши! не старѣетъ она!
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвѣлъ бы Божій міръ!.. Увы! пока народы
Влачатся въ нищетѣ, покорствуя бичамъ,
Какъ тощія стада по выжженнымъ лугамъ,
Оплакивать ихъ рокъ, служить имъ будетъ муза,
И въ мірѣ нѣтъ святѣй, прекраснѣе союза!..
Толпѣ напоминать, что бѣдствуетъ народъ
Въ то время, какъ она ликуетъ и поетъ,
Къ народу возбуждать вниманье сильныхъ міра—
Чему достойнѣе служить могла бы лира?..
Я лиру посвятилъ народу своему.
Быть-можетъ, я умру невѣдомый ему,
Но я ему служилъ — и я умру спокоенъ!
Пускай наноситъ вредъ врагу не каждый воинъ,
Но каждый въ бой иди! А бой рѣшитъ судьба...
Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ раба!
И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьѣ...
«Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьѣ»,
Шепнула Муза мнѣ. «Пора итти впередъ:
Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?..»
Внимаю ль пѣснѣ жницъ надъ жатвой золотою,
Старикъ ли медленный шагаетъ за сохою,
Бѣжитъ ли по лугу, играя и свистя,
Съ отцовскимъ завтракомъ довольное дитя,
Сверкаютъ ли серпы, звенятъ ли дружно косы,—
Отвѣта я ищу на тайные вопросы,
Кипящіе въ умѣ: «Въ послѣдніе года
Сноснѣй ли стала ты, крестьянская «страда»?
И рабству долгому пришедшая на смѣну
Свобода, наконецъ, внесла ли перемѣну
Въ народныя судьбы, въ напѣвы сельскихъ дѣвъ?
Иль такъ же горестенъ нестройный ихъ напѣвъ?..»
Ужъ вечеръ настаетъ. Волнуемый мечтами,
По нивамъ, по лугамъ, уставленнымъ стогами,
Задумчиво брожу въ прохладной полутьмѣ,
И пѣснь сама собой слагается въ умѣ —
Недавнихъ тайныхъ думъ живое воплощенье:
На сельскіе труды зову благословенье,
Народному врагу проклятія сулю,
А другу у небесъ могущество молю,
И пѣснь моя громка!.. Ей внемлятъ долы, нивы,
И эхо дальнихъ горъ ей шлетъ свои отзывы,
И лѣсъ откликнулся... Природа внемлетъ мнѣ,
Но тотъ, о комъ пою въ вечерней тишинѣ,
Кому посвящены мечтанія поэта —
Увы! не внемлетъ онъ и не даетъ отвѣта...

**Яковъ Петровичъ Полонскій.**
(1820—1898).

## 1. Въ альбомъ К. Ш.

Писатель, если только онъ
Волна, а океанъ—Россія,
Не можетъ быть не возмущенъ,
Когда возмущена стихія.
Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена—свобода.

## 2. Литературный врагъ.

Господа! я нынче все бранить готовъ—
Я не въ духѣ — и не въ духѣ потому,
Что одинъ изъ самыхъ злыхъ моихъ врамоихъ враговъ
Изъ-за фразы осужденъ итти въ тюрьму...
Признаюсь вамъ, не изъ нѣжности пустой
Чуть не плачу я, а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда во мнѣ, кипѣвшая къ нему.
Онъ язвилъ меня и въ прозѣ и въ стихахъ;
Но мы бились не за старые долги,
Не за барыню въ фальшивыхъ волосахъ,
Нѣтъ!—мы были безкорыстные враги!
Вольной мысли то владыка, то слуга,
Я сбирался безпощаднымъ быть врагомъ,
Поражая безпощаднаго врага;
Но тюрьма его прикрыла, какъ щитомъ.
Передъ этою защитой я — пигмей...
Или вы еще не знаете, что мы
Легче вѣруемъ подъ музыку цѣпей
Всякой мысли, выходящей изъ тюрьмы?
Иль не знаете, что даже злая ложь
Облекается въ сіяніе добра,
Если ей грозитъ насилья острый ножъ,
А не сила неподкупнаго пера?
Я вчера еще перо мое точилъ,
Я вчера еще кипѣлъ и возражалъ;
А сегодня умъ мой крылья опустилъ,
Потому что я боецъ, а не нахалъ.
Я краснѣлъ бы передъ вами и собой,
Если бъ узника да вздумалъ уличать!
Поневолѣ онъ замолкъ передо мной,
И я долженъ поневолѣ замолчать.
Онъ страдаетъ оттого, что есть семья,—
Я страдаю оттого, что слышу смѣхъ;
Но что значитъ гордость личная моя,
Если истина страдаетъ больше всѣхъ!

Нѣтъ борьбы, и — ничего не разберешь —
Мысли спутаны случайностью слѣпой,—
Стала свѣтомъ недосказанная ложь,
Недоказанная правда стала тьмой.
Что же дѣлать, и кого теперь винить?
Господа! во имя правды и добра—
Не за счастье буду пить я—буду пить
За свободу мнѣ враждебнаго пера.

### 3. Что мнѣ она.

Что мнѣ она?—не жена, не любовница
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея доля проклятая
Спать не даетъ мнѣ всю ночь?
Спать не даетъ, оттого что мнѣ грезится
Молодость въ душной тюрьмѣ:
Вижу я своды... окно за рѣшеткою,
Койку въ сырой полутьмѣ...
Съ койки глядятъ лихорадочно знойныя
Очи безъ мысли и слезъ,
Съ койки висятъ чуть не до полу темныя
Космы тяжелыхъ волосъ.
Не шевелятся ни губы ни блѣдныя
Руки на блѣдной груди,
Слабо прижатыя съ сердцу безъ трепета
И безъ надеждъ впереди...
Что мнѣ она?—не жена, не любовница
И не родная мнѣ дочь!
Такъ отчего жъ ея образъ страдальческій
Спать не даетъ мнѣ всю ночь?

### 4. Тишь.

Душный зной надъ океаномъ,
Небеса безъ облаковъ;
Сонный воздухъ не колышетъ
Ни волны ни парусовъ.
Мореплаватель, сердито
Въ даль пустую не гляди:
Въ тишинѣ, быть-можетъ, буря
Притаилась... погоди!

### 5. Въ ребяческіе дни.

Въ ребяческіе дни любилъ я край родной,
Какъ векша—сумракъ бора,
Какъ цапля—илъ береговой,
Какъ воронъ—кучу сора.
Въ дни юности любилъ я родину, какъ сынъ —
Родную мать, поэтъ—природу,
Женихъ—невѣсту, гражданинъ—
Права или свободу
Но буду ль я по гробъ мечтательно любить
Родной мой край?—не знаю.
Мать можетъ сына оскорбить,
Невѣста можетъ измѣнить,
Народъ свободу погубить,
Все можетъ быть...
Но нѣтъ, не дай мнѣ Богъ простыть—
Простыть къ родному краю!

### 6. Дѣтское геройство.

Когда я былъ совсѣмъ дитя,
На палочкѣ скакалъ я;
Тогда героемъ, не шутя,
Себя воображалъ я.
Порой разсказы я читалъ
Про битвы да походы
И, восторгаясь, повторялъ
Торжественныя оды.
Мнѣ говорили, что сильнѣй
Нѣтъ нашего народа;
Что всѣхъ ученѣй и умнѣй
Попъ нашего прихода;
Что всѣхъ храбрѣе генералъ
Тотъ самый, что всѣхъ раньше
На чай съ ученья прїѣзжалъ
Къ какой-то капитаншѣ.
Въ парадный день, я помню, былъ
Разводъ передъ соборомъ—
Коня онъ ловко осадилъ
Передъ тамбуръ-мажоромъ.
И съ музыкой прошли полки...
А генералъ въ коляскѣ
Проѣхалъ, кончикомъ руки
Дотронувшись до каски.
Попъ былъ наставникомъ моимъ
Первѣйшимъ изъ мудрѣйшихъ,
А генералъ съ конемъ своимъ—
Храбрѣйшимъ изъ первѣйшихъ.
Я вѣрилъ славѣ — и кричалъ:
Дрожите, супостаты!
Себѣ враговъ изобрѣталъ
И братьевъ бралъ въ солдаты.
Богатыри почти всегда
Дѣтьми боготворимы,
И гордо думалъ я тогда,
Что всѣ богатыри мы.
И ничего я не щадилъ
(Такой ужъ былъ затѣйникъ!),
Колосьямъ головы рубилъ,
Въ защиту бралъ репейникъ.
Потомъ трубилъ въ бумажный рогъ,
Кичась неравнымъ боемъ.
О! для чего всю жизнь не могъ
Я быть такимъ героемъ?

**Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ.**

(1825 — 1893).

## 1. Впередъ.

Впередъ! безъ страха и сомнѣнья
На подвигъ доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Ужъ въ небесахъ завидѣлъ я!
Смѣлѣй! дадимъ другъ другу руки
И вмѣстѣ двинемся впередъ,
И пусть подъ знаменемъ науки
Союзъ нашъ крѣпнетъ и растетъ!
Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ
Глаголомъ истины карать,
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ,
И поведемъ на битву рать!
Не сотворимъ себѣ кумира
Ни на землѣ ни въ небесахъ;
За всѣ дары и блага міра
Мы не падемъ предъ нимъ во прахъ!..
Провозглашать любви ученье
Мы будемъ нищимъ, богачамъ,
И за него снесемъ гоненье,
Простивъ озлобленнымъ врагамъ!
Блаженъ, кто жизнь въ борьбѣ кровавой,
Въ заботахъ тяжкихъ истощилъ;
Какъ рабъ, лѣнивый и лукавый,
Талантъ свой въ землю не зарылъ!
Пусть намъ звѣздою путеводной
Святая истина горитъ;
И вѣрьте, голосъ благородный
Не даромъ въ мірѣ прозвучитъ!
Внемлите жъ, братья, слову брата:
Пока мы полны юныхъ силъ,
Впередъ, впередъ и безъ возврата,
Что бъ рокъ вдали намъ ни сулилъ!

## 2. Отчизна.

Природа скудная родимой стороны!
Ты дорога душѣ моей печальной;
Когда-то въ дни моей умчавшейся весны
Манилъ меня чужбины берегъ дальній...
И пылкая мечта, бывало, предо мной
Рисуетъ все блестящія картины:

Я вижу сводъ небесъ прозрачно-голубой,
Громадныхъ горъ зубчатыя вершины...
Облиты золотомъ полуденныхъ лучей,
Казалось, миртъ, платаны и оливы
Зовутъ меня подъ сѣнь раскидистыхъ вѣтвей,
И розы мнѣ киваютъ молчаливо...
То были дни, когда о цѣли бытія
Мой духъ, среди житейскихъ обольщеній,
Еще не помышлялъ... И, легкомысленъ, я
Лишь требовалъ у жизни наслажденій.
Но быстро та пора исчезла безъ слѣда,
И скорбь меня нежданно посѣтила...
И многое, чему душа была чужда,
Вдругъ стало ей и дорого и мило.
Покинулъ я тогда завѣтную мечту
О сторонѣ волшебной и далекой
И въ родинѣ моей узрѣлъ я красоту,
Незримую для суетнаго ока...
Поля изрытыя, колосья желтыхъ нивъ,
Просторъ степей, безмолвно величавый;
Весеннею порой широкихъ рѣкъ разливъ,
Таинственно шумящія дубравы.
Святая тишина убогихъ деревень,
Гдѣ труженикъ, задавленный невзгодой,
Молился небесамъ, чтобъ новый, лучшій день
Надъ нимъ взошелъ—великій день свободы.
Васъ понялъ я тогда, и сердцу такъ близка
Вдругъ стала пѣснь моей страны родимой—
Звучала ль въ пѣснѣ той глубокая тоска,
Иль слышался разгулъ неудержимый.
Отчизна! не плѣнишь ничѣмъ ты чуждый взоръ...
Но ты мила красой своей суровой
Тому, кто самъ рвался на волю и просторъ,
Чей духъ носилъ гнетущія оковы...

## 3. Двѣ дороги.

(Посв. И. С. Аксакову).

1.

Двѣ легли дороги, братья, передъ нами,
А какая лучше, разсудите сами.
Первая дорога—широка, привольна;
Всякаго народу ходитъ тутъ довольно;
Глаже, веселѣе не сыскать дороги:
Не изрѣжутъ камни пѣшеходу ноги;
По бокамъ все рощи съ темною листвою;
Есть гдѣ пріютиться отъ дождя и зною.
И въ садахъ роскошныхъ недостатка нѣту,
И гулять въ нихъ можетъ всякій безъ запрету.
Тамъ плоды, на солнцѣ наливаясь, зрѣютъ,
Тамъ цвѣты въ зеленой муравѣ пестрѣютъ,
Какъ богатой ткани яркіе узоры,—
Любоваться ими не устанутъ взоры;
И ведетъ не къ горю, не къ нуждѣ гнетущей,
А къ счастливой долѣ этотъ путь цвѣтущій.
Въ роскоши да въ нѣгѣ, весело, богато
Заживетъ счастливецъ въ расписныхъ палатахъ;
Передъ нимъ холопы будутъ изгибаться,
Отъ него подачки жадно добиваться...
Золотомъ пресыщенъ и пресыщенъ властью,
Попривыкнувъ къ лести и къ подобострастью,
Онъ совсѣмъ забудетъ, что на бѣломъ свѣтѣ
Есть нужды и горя страждущія дѣти,
Что они не знаютъ счастья до могилы,
А чела не клонятъ рабски передъ силой.
Славная дорога! Хоть кого заманитъ,
Околдуетъ сердце, разумъ отуманитъ!

2.

Но другой есть путь, кремнистый,
По горамъ крутымъ идетъ;
Не шумитъ здѣсь садъ тѣнистый,
И не зрѣетъ сочный плодъ.
Только острые каменья
Чья-то щедрая рука
Разбросала на мученье
Пѣшехода-бѣдняка.
Тернъ колючій то и дѣло
Вырастаетъ изъ земли,
И ему вонзаетъ въ тѣло
Иглы острыя свои.
И идущимъ по такому
Безотрадному пути—
Въ золоченыя хоромы
Къ наслажденью не прійти!
И не ждутъ они веселья,
На пирахъ имъ мѣста нѣтъ:
Въ путь они пустились съ цѣлью
Проложить въ пустынѣ слѣдъ.
Хоть угрюма та дорога
И не къ радостямъ ведетъ,
Но по ней за ними много
Новыхъ путниковъ пойдетъ
Съ упованьемъ, что желанный
Часъ придетъ когда-нибудь,

Что на край обѣтованный
Будетъ имъ дано взглянуть;
И съ душою умиленной,
Въ этотъ часъ, съ крутыхъ высотъ,
Солнца-правды надъ вселенной
Встрѣтятъ путники восходъ!..
Такъ-то, братья! Передъ нами
Пролегаютъ два пути:
Разсудите же вы сами,
По какому намъ итти.

## 4. Отдохну-ка, сяду...

Отдохну-ка, сяду у лѣсной опушки;
Вонъ вдали — соломой крытыя избушки.
И бѣгутъ надъ ними тучи вперегонку
Изъ родного края въ дальную сторонку.
Бѣлыя березы, жидкія осины,
Пашни да овраги — грустныя картины;
Не пройдешь безъ думы безъ тяжелой мимо?
Что же къ нимъ все тянетъ такъ неодолимо?
Вѣдь на свѣтѣ бѣломъ всякихъ странъ довольно.
Гдѣ и солнце ярко, гдѣ и жить привольно;
Но и тамъ, при блескѣ голубаго моря,
Наше сердце ноетъ отъ тоски и горя,
Что не видятъ взоры ни березъ плакучихъ
Ни избушекъ этихъ сѣренькихъ, какъ тучи;
Что же въ нихъ такъ сердцу дорого и мило?
И какая манитъ тайная къ нимъ сила?

## 5. Родное.

Свѣсилась уныло
Надъ оврагомъ ива,
И все дно оврага
Поросло крапивой.
Въ сторонѣ могила
Сиротѣетъ въ полѣ:
Кто-то самъ покончилъ
Съ горемычной долей!
Вонъ вдали чернѣютъ,
Словно пни, избушки;
Не изъ той ли былъ онъ
Бѣдной деревушки?
Тамъ, чай, трудъ да горе,
Горе безъ исхода...
И кругомъ такая
Скудная природа!
Рытвины да кочки,
Даль полей нѣмая;
И летитъ надъ ними
Съ крикомъ галокъ стая...
Надрываетъ сердце
Этотъ видъ знакомый...
Грустно на чужбинѣ,
Тяжело и дома!

## 6. Старики.

Вотъ и опять мы, какъ въ прежніе годы,
Старый товарищъ, бесѣду ведемъ,
И прожитыя когда-то невзгоды
Смутнымъ какимъ-то намъ кажутся сномъ.
Сколько мы лѣтъ не видались съ тобою!
Сколько воды съ той поры утекло...
Старость, подкравшись къ намъ тихой стопою,
Избороздила обоимъ чело.
Пламень, горѣвшій въ глазахъ, потушила,
Снѣгомъ обсыпала волосы намъ.
Гдѣ наша бодрость, отвага и сила?
Видно, онѣ не подъ стать сѣдинамъ!
Помнишь, товарищъ, минуту разлуки?
Весело вдаль мы глядѣли тогда;
Жали другъ другу съ улыбкой мы руки,
Грозная насъ не страшила бѣда.
Мы говорили другъ другу, прощаясь:
Скоро желанное время придетъ;
Сбудется все, что толпа, издѣваясь,
Бредомъ, мечтаньемъ нелѣпымъ зоветъ.
Что же ты вдругъ покачалъ головою?
Что улыбнулись такъ горько уста?
Молодость насъ обманула съ собою...
Совѣсть зато у обоихъ чиста.
Бѣдны мы оба, въ потертой одеждѣ;
Много отъ насъ отшатнулось друзей.
Пусть ихъ! Но сердце въ насъ бьется, какъ прежде,
Вѣрой горячей въ добро и людей.
Пылъ нетерпѣнья въ душѣ охладили,
Свергли немало кумировъ года;
Но и кумирамъ толпы не кадили
Въ чаяньи благъ мы земныхъ никогда.
Съ пѣной у рта не бросали каменья
Въ юность кипучую, если, полна
Гордой отваги, въ пылу увлеченья,
Насъ за ошибки корила она.
Знаемъ мы оба, какъ время настанетъ
Намъ отъ житейскихъ трудовъ отдохнуть,
Лихомъ она стариковъ не помянетъ,
Скажетъ: они пролагали намъ путь.
Такъ-то, товарищъ! Разбитымъ и хилымъ,
Намъ остается глядѣть въ сторонѣ,
Какъ нарождаются новыя силы,
Какъ на борьбу выступаютъ онѣ.
Да, вспоминая прожитые годы,
Въ сердцѣ суровое небо молить,

Чтобъ миновали всѣ наши невзгоды
Тѣхъ, кто пришелъ насъ, отжившихъ, смѣнить.

## 7. Блаженны вы, кому дано...

Блаженны вы, кому дано
Посѣять въ юныя сердца
Любви и истины зерно.—
Свершайте жъ честно до конца
Свой подвигъ трудный и благой,
И нѣтъ награды выше той,
Что васъ за этотъ подвигъ ждетъ:
Роскошный цвѣтъ, обильный плодъ
При жизни вашей принесетъ
Добро, посѣянное вами.
Когда жъ пробьетъ прощальный часъ,
Съ благоговѣньемъ и слезами
Опуститъ въ землю юность васъ.
Но горе вамъ, коль захотите
Умы вы ложью омрачить:
Позора вы не избѣжите,
Пятна вамъ съ совѣсти не смыть!
Кто жаждетъ знанья, жаждетъ свѣта,
Тѣмъ не ужиться долго съ тьмой.
Придетъ пора, спадетъ долой
Съ ихъ глазъ повязка, что надѣта
Была предательской рукой;
Оковы рабства, бездну зла,
Къ которой ваша ложь вела;
Увидѣвъ, юность содрогнется,
Полна и скорби и стыда.
Отъ лжеучителей тогда
Она съ проклятьемъ отшатнется;
И имена ихъ презирать
Своихъ дѣтей научитъ мать!

## 8. 1-е января 1886 г.

Всѣмъ трудящимся на благо
Стороны своей родной;
Всѣмъ ее ведущимъ къ свѣту
И безтрепетной рукой
Высоко несущимъ знамя
Правды вѣчной и святой;
Всѣмъ, кто избралъ подвигъ трудный
И не ждетъ себѣ вѣнца,—
Пожелаемъ нынче, братья,
Чтобъ остались до конца
Вѣрны чистымъ идеаламъ
Въ битвѣ жизни ихъ сердца!
Пожелаемъ, чтобъ не меркнулъ
Правды лучъ въ краю родномъ,
Чтобъ волной широкой знанье
Разлилось повсюду въ немъ,
И чтобъ мира кроткій геній
Осѣнилъ его крыломъ!

## 9. Изъ Виктора Гюго.

Въ судѣ онъ слушалъ приговоръ,
Его галеры ожидали,
Онъ былъ бѣднякъ, и былъ онъ воръ.—
Недѣлю дѣти голодали,
И, нищетой удручена,
Глядѣла въ гробъ его жена;
Труды, заботы, огорченья,
Знать, не по силамъ были ей;
И поддался онъ искушенью:
Укралъ на хлѣбъ семьѣ своей.
И осужденіе безстрастно
Прочелъ ему синедріонъ;
Казалось, нищетой ужасной
Никто изъ нихъ не пораженъ;
Примѣръ не новъ, да и напрасно
Жалѣть—неумолимъ законъ!
Лишь одному людское горе
Доступно было въ этотъ мигъ,
Любовь въ одномъ свѣтилась взорѣ:
Глядѣлъ, и кротокъ и великъ,
Среди безмолвной тишины
Христосъ распятый со стѣны...

## 10. Съ венгерскаго.

Ахъ! сколько, сколько пало ихъ
    Въ бою за край родной!
Отважныхъ, гордыхъ, молодыхъ,
    Съ кипучею душой.
Ахъ! сколько, сколько сгибло ихъ
    Подъ гнетомъ нищеты,—
Кому дороже благъ земныхъ
    Казались ихъ мечты,
Кто на чужбинѣ чашу бѣдъ
    Всю осушилъ до дна;
Дѣяній чьихъ не знаетъ свѣтъ,
    Чьи темны имена..
Но не погибъ тотъ идеалъ,
    Что возвышалъ ихъ духъ!
И пламень тотъ, что въ нихъ пылалъ,
    Съ ихъ жизнью не потухъ!
Завѣщанъ честнымъ онъ сердцамъ...
    И если бъ край родной
Опять воззвалъ къ своимъ сынамъ,—
    Они готовы въ бой!

**Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.**

(1821 — 1897).

## 1. Клермонтскій соборъ.

Не свадьбу праздновать, не пиръ,
Не на воинственный турниръ
Блеснуть оружьемъ и конями
Въ Клермонтъ нагорный притекли
Богатыри со всей земли.
Что лугъ, усѣянный цвѣтами,
Вся площадь, полная гостей,
Вздымалась массою людей,
Какъ перекатными волнами.
Лучъ солнца ярко озарялъ
Знамена, шарфы, перья, ризы,
Гербы, и ленты, и девизы,
Лазурь, и пурпуръ, и металлъ.
Подъ златотканнымъ балдахиномъ,
Средь духовенства властелиномъ
Въ тіарѣ папа возсѣдалъ.
У трона—герцоги, бароны,
И красныхъ кардиналовъ рядъ;
Вокругъ ихъ—сирыхъ обороны—
Толпою рыцари стоятъ:
Въ узорныхъ латахъ итальянцы,
Тяжелый швабъ и рыжій бриттъ,
И галлъ, отважный сибаритъ,
И въ шлемахъ съ перьями испанцы;
И отдаленъ отъ всѣхъ старикъ,
Дерзавшій свергнуть папства узы:
То обращенный еретикъ
Изъ фанатической Тулузы;
Здѣсь строй норманновъ удалыхъ,
Какъ въ маскахъ, въ шлемахъ пудовыхъ,
Съ своей тяжелой алебардой...
На крыши взгромоздясь, народъ
Всѣхъ поименно ихъ зоветъ:
Все это львы да леопарды,
Орлы, медвѣди, ястреба—
Какъ будто грозныя прозванья

Сама сковала ихъ судьба,
Чтобъ обезсмертить ихъ дѣянья!
Надъ ними стаей лебедей,
Слетѣвшихъ на берегъ зеленый,
Изъ ложъ кругомъ сіяютъ жены
Въ шелку, въ зубчатыхъ кружевахъ,
Въ алмазахъ, въ млечныхъ жемчугахъ.
Лишь шопотъ слышится въ собраньѣ.
Необычайная молва
Давно чудесныя слова
И непонятныя сказанья
Носила въ мірѣ. Виденъ крестъ
Былъ въ небѣ. Несся стонъ съ Востока.
Заря кроваваго потока
Имѣла видъ. Межъ блѣдныхъ звѣздъ,
Какъ человѣческое, было
Лицо луны и слезы лило,
И вкругъ клубился дымъ и мгла...
Чего-то страшнаго ждала
Толпа, внимать готовясь Богу,
И били грозную тревогу
Со всѣхъ церквей колокола.
Вдругъ звонъ затихъ—и на ступени
Престола папы преклонилъ
Убогій пилигримъ колѣни;
Его съ любовью осѣнилъ
Святымъ крестомъ первосвященникъ;
И, помоляся небесамъ,
Пустынникъ говорилъ къ толпамъ:
«Смиренный нищій, бѣглый плѣнникъ
Предъ вами, сильные земли!
Темна моя, ничтожна доля;
Но движетъ мной иная воля.
Не мнѣ внимайте, короли:
Самъ Богъ, державствующій нами,
Къ моей склонился нищетѣ
И повелѣлъ мнѣ стать предъ вами
И вамъ въ сердечной простотѣ
Сказать про плѣнъ, про тѣ мученья,
Что испыталъ и видѣлъ я.
Вся плоть истерзана моя,
Спина хранитъ слѣды ремня,
И язвамъ нѣту исцѣленья!
Взгляните: на рукахъ моихъ
Оковъ кровавыя запястья.
Въ темницахъ душныхъ и сырыхъ,
Безъ утѣшенья, безъ участья,
Провелъ я юности лѣта;
Копалъ я рвы, бряцая цѣпью,
Влачилъ я камни знойной степью
За то, что вѣровалъ въ Христа!
Вотъ эти руки... Но въ молчаньѣ
Вы потупляете глаза;
На грозныхъ лицахъ состраданья,
Я вижу, катится слеза...
О люди, люди! язвы эти
Смутили васъ на краткій часъ!
О впечатлительныя дѣти!
Какъ слезы дешевы у васъ!
Ужель, чтобъ тронуть васъ, страдальцамъ
Къ вамъ надо нищими предстать?
Чтобъ васъ увѣрить, надо дать
Ощупать язвы вашимъ пальцамъ!
Тогда лишь бѣдствіямъ земнымъ,
Тогда неслыханнымъ страданьямъ,
Безчеловѣчнымъ истязаньямъ
Вы сердцемъ внемлете своимъ!..
А тѣхъ страдальцевъ милліоны,
Которыхъ вамъ не слышны стоны,
Къ которымъ мусульманинъ злой,
Что къ агнцамъ трепетнымъ, приходитъ
И безпрепятственно уводитъ
Изъ нихъ рабовъ себѣ толпой;
Въ глазахъ у брата душитъ брата,
И неродившихся дѣтей
Во чревѣ рѣжетъ матерей,
И вырываетъ для разврата
Изъ ихъ объятій дочерей...
Я видѣлъ: блѣдныхъ, безоружныхъ,
Толпами гнали по пескамъ,
Отсталыхъ старцевъ, женъ недужныхъ
Бичомъ стегали по ногамъ;
И турокъ рыскалъ по пустынѣ,
Какъ передъ стадомъ гуртовщикъ,
Но мигъ—мнѣ памятный донынѣ,
Благословенный жизни мигъ,
Когда окованнымъ, средь дыма
Прозрачныхъ утреннихъ паровъ,
Предстали намъ Ерусалима
Святые храмы безъ крестовъ!
Замолкли стоны и тревога,
И, позабывши прахъ и тлѣнъ,
Возславословили мы Бога
Въ виду Сіонскихъ древнихъ стѣнъ,
Гдѣ ждали насъ позоръ и плѣнъ!
Породнены тоской, чужбиной,
Латинецъ съ грекомъ обнялись;
Всѣ, какъ сыны семьи единой,
Страдать безропотно клялись.
И грекъ намъ далъ примѣръ великій:
Ерея, пѣвшаго псаломъ,
Съ коня спрыгнувши, турокъ дикій
Ударилъ взвизгнувшимъ бичомъ:
Тотъ пѣлъ и бровію не двинулъ!
Злодѣй страдальца опрокинулъ
И вырвалъ бороду его...
Рванули съ воплемъ мы цѣпями,—
А онъ Евангелья словами
Господне славилъ торжество!
Въ куски изрубленное тѣло

Злодѣи побросали въ насъ:
Мы сохранили ихъ всецѣло,
И, о душѣ его молясь,
Въ темницѣ, гдѣ страдали сами,
Могилу вырыли руками,
И на груди святой земли
Его останки погребли.
«И онъ не встанетъ вѣдь предъ вами
Вамъ язвы обнажить свои
И выпросить у васъ слезами
Слезу участья и любви!
Увы, не разверзаютъ гробы
Святыя жертвы адской злобы!
Нѣтъ, и живое не придетъ
Къ вамъ одновѣрцевъ вашихъ племя—
Христу молящійся народъ:
Одинъ креста несетъ онъ бремя,
Одинъ онъ тернъ Христовъ несетъ!
Какъ рабъ евангельскій, израненъ,
Въ степи лежитъ, больной, безъ силъ...
Иль ждете вы, чтобъ напоилъ
Его чужой самаритянинъ,
А вы, съ кошницей яствъ, бойцы,
Пройдете мимо, какъ слѣпцы?
О нѣтъ, для васъ еще священны
Любовь и правда на землѣ!
Я вижу ужасъ вдохновенный
На вашемъ доблестномъ челѣ!
Возстань, о воинство Христово,
На мусульманъ войной суровой!
Да съ громомъ рушится во прахъ—
Созданье злобы и коварства—
Ихъ тяготѣющее царство
На христіанскихъ раменахъ!
Разбейте съ чадъ Христа оковы,
Дохнуть имъ дайте жизнью новой;
Они васъ ждутъ, чтобъ васъ обнять,
Край вашихъ ризъ облобызать!
Идите ангелами мщенья!
Изъ храма огненнымъ мечомъ
Изгнавъ невѣрныхъ поколѣнья,
Отдайте Богу Божій домъ!
Тамъ благодарственные псалмы
Для васъ народы воспоютъ,
А падшимъ—мучениковъ пальмы
Вѣнцами ангелы сплетутъ!..»
Умолкъ. Въ отвѣтъ какъ будто громы
Перекатилися въ горахъ.
То кликъ одинъ во всѣхъ устахъ:
«Идемъ, оставимъ женъ и домы!»
И въ умиленіи святомъ
Вокругъ желѣзные бароны
Въ восторгѣ плакали, какъ жены;
Врагъ лобызался со врагомъ,
И руку жалъ герой герою,
Какъ левъ косматый, алча бою;
На общій подвигъ дамы съ рукъ
Снимали злато и жемчугъ;
Свой грошъ и нищіе бросали;
И радость всѣхъ была свѣтла—
Ее литавры возвѣщали,
И въ небесахъ распространяли
Со всѣхъ церквей колокола.

## 2. Приговоръ.

(Легенда о Констанцскомъ соборѣ).

На соборѣ на Констанцскомъ,
Богословы засѣдали:
Осудивъ Іогана Гуса,
Казнь ему изобрѣтали.

Въ длинной рѣчи докторъ черный,
Перебравъ всѣ истязанья,
Предлагалъ ему соборно
Присудить колесованье;

Сердце, зла источникъ, кинуть
На съѣденье псамъ поганымъ,
А языкъ, какъ зла орудье,
Дать склевать нечистымъ вранамъ;

Самый трупъ—предать сожженью,
Напередъ проклявъ трикраты,
И на всѣ четыре вѣтра
Бросить прахъ его проклятый...

Такъ, по пунктамъ, на цитатахъ,
На соборныхъ уложеньяхъ,
Приговоръ свой докторъ черный
Строилъ въ твердыхъ заключеньяхъ;

И, дивясь, какъ все онъ взвѣсилъ
Въ безпристрастномъ приговорѣ,
Восклицали: «bene, bene!»
Люди, опытные въ спорѣ;
Каждый чувствовалъ, что смута
Многихъ лѣтъ къ концу приходитъ,
И что докторъ изъ сомнѣній
Ихъ, какъ изъ лѣсу, выводитъ...
И не чаяли, что тутъ же
Ждетъ еще ихъ испытанье...
И соблазнъ великій вышелъ!
Такъ гласитъ повѣствованье:
Былъ при кесарѣ въ тотъ вечеръ
Пажикъ розовый, кудрявый;
Въ рѣчи доктора немного
Онъ нашелъ себѣ забавы;
Онъ глядѣлъ, какъ мракъ густѣетъ
По готическимъ карнизамъ;
Какъ скользятъ лучи заката
Вкругъ по мантіямъ и ризамъ;

Какъ рисуются на мракѣ,
Краснымъ свѣтомъ облитые,
Усъ задорный, черепъ голый,
Лица добрыя и злыя...
Вдругъ въ открытое окошко
Онъ взглянулъ и—оживился;
За пажомъ невольно кесарь
Поглядѣлъ, развеселился.
За владыкой—рядъ за рядомъ,
Словно нива отъ дыханья
Вѣтерка, оборотилось
Тихо къ саду все собранье:
Грозный сонмъ князей имперскихъ,
Изъ Сорбонны депутаты,
Трирскій, люттихскій епископъ,
Кардиналы и прелаты.
Оглянулся даже папа! —
И суровый ликъ дотолѣ
Мягкой, старческой улыбкой
Озарился поневолѣ.
Самъ ораторъ, докторъ черный,
Началъ путаться, сбиваться,
Вдругъ умолкнулъ и въ окошко
Сталъ глядѣть и—улыбаться!
И чего жъ они такъ смотрятъ?
Что могло привлечь ихъ взоры?
Развѣ небо голубое?
Или розовыя горы?
Но они таятъ дыханье
И, отдавшись сладкимъ грезамъ,
Точно слѣдуютъ душою
За искуснымъ виртуозомъ...
Дѣло въ томъ, что въ это время
Вдругъ запѣлъ въ кусту сирени
Соловей предъ темнымъ за̀мкомъ,
Вечеръ празднуя весенній.

Онъ запѣлъ—и каждый вспомнилъ
Соловья такого жъ точно,
Кто въ Неаполѣ, кто въ Прагѣ,
Кто надъ Рейномъ, въ часъ урочный,

Кто—таинственную маску,
Блескъ луны и блескъ залива,
Кто—трактировъ швабскихъ Гебу,
Разливательницу пива...

Словомъ—всѣмъ пришли на память
Золотые сердца годы,
Золотыя грезы счастья,
Золотые дни свободы.

И исторія не знаетъ,
Сколько длилося молчанье,
И въ какихъ странахъ витали
Души чернаго собранья...

Былъ въ собраньи этомъ старецъ,
Изъ пустыни вызванъ папой
И почтенъ за строгость жизни
Кардинальской красной шляпой,—
Вспомнилъ онъ, какъ тамъ, въ пустынѣ,
Миръ природы, птичекъ пѣнье
Укрѣпляли въ серцѣ силу
Примиренья и прощенья;
И, какъ шопотъ раздается
По пустой, огромной залѣ,
Такъ въ душѣ его два слова:
«Жалко Гуса»—прозвучали.
Машинально, безотчетно
Поднялся онъ—и, объятья
Всѣмъ присущимъ открывая,
Со слезами молвилъ: «братья!»
Но, какъ будто перепуганъ
Звукомъ собственнаго слова,
Костылемъ ударилъ объ полъ
И упалъ на мѣсто снова.
«Пробудитесь!» возопилъ онъ,
Блѣдный, ужасомъ объятый:
«Дьяволъ, дьяволъ обошелъ насъ!
Это гласъ его, проклятый!..
Каюсь вамъ, отцы святые!
Льстивой пѣснью обаянный,
Позабылъ я пребыванье
На молитвѣ неустанной —
«И вошелъ въ меня нечистый!—
Къ вамъ простеръ мои объятья,
Изъ меня хотѣлъ воскликнуть:
«Гусъ невиненъ!»—Горе, братья!..»
Ужаснулося собранье,
Встало съ мѣстъ своихъ, и хоромъ
«Да воскреснетъ Богъ» запѣло
Духовенство всѣмъ соборомъ.
И, очиствивъ духъ отъ бѣса
Покаяньемъ и проклятьемъ,
Всѣ упали на колѣни
Предъ серебрянымъ распятьемъ,—
И, возставъ, Іогана Гуса,
Церкви Божьей во спасенье,
Въ назиданье христіанамъ,
Осудили на сожженье...
Такъ святая ревность къ вѣрѣ
Побѣдила ковы ада!
Отъ соборнаго проклятья
Дьяволъ вылетѣлъ изъ сада,
И надъ озеромъ Констанцскимъ,
Въ видѣ огненнаго змѣя,
Пролетѣлъ онъ надъ землею,
Въ лютой злобѣ искры сѣя.
Это видѣли: три стража,
Двѣ монахини-старушки
И одинъ констанцскій ратманъ,
Возвращавшійся съ пирушки.

1860.

## 3. Савонарола.

Въ столицѣ Медичи счастливой
Справлялся странный карнавалъ.
Всѣ въ бѣломъ, съ вѣтвію оливы,
Шли дѣвы, юноши; бѣжалъ
Народъ за ними изъ собора,
Подъ звукъ торжественнаго хора,
Распятье иноки несли
И стройно со свѣчами шли.
Усыпанъ путь ихъ былъ цвѣтами,
Ковры висѣли изъ оконъ,
И воздухъ былъ колоколами
До горъ далекихъ потрясенъ.
Они на площадь направлялись.
Туда жъ по улицамъ другимъ,
Пестрѣя, маски собирались
Съ обычнымъ говоромъ своимъ:
Паяцъ, и, съ лавкой разныхъ склянокъ,
На колесницѣ шарлатанъ,
И грандъ, и дьяволъ, и султанъ,
И Вакхъ со свитою вакханокъ.
Но, будто волны въ берегахъ,
Вдругъ останавливались маски,
И прекращались смѣхъ и пляски:
На площади, на трехъ кострахъ,
Монахи складывали въ груды
Все то, что тѣшитъ рѣзвый свѣтъ
Приманкой нѣги и суетъ.
Тутъ были жемчугъ, изумруды,
Великолѣпные сосуды,
И кучи бархатовъ, парчей,
И картъ игральныхъ, и костей,
И сладострастныя картины,
И бюсты фавновъ и сиренъ,
Литавры, арфы, мандолины,
И ноты страстныхъ кантиленъ,
И кучи масокъ и корсетовъ,
Румяна, мыло и духи,
И эротическихъ поэтовъ
Соблазна полные стихи...
Надъ этой грудою стояло,
Верхомъ на маленькомъ конькѣ,
Изображенье карнавала —
Паяцъ въ дурацкомъ колпакѣ.
Сюда процессія вступила.
На помостъ всталъ монахъ сѣдой,
И чудно солнцемъ озарило
Его фигуру надъ толпой.
Онъ крестъ держалъ, главу склоняя
И указуя въ небеса...
Въ глубокихъ впадинахъ сверкая,
Его свѣтилися глаза.
Народъ внималъ ему угрюмо
И рвалъ бѣсовскіе костюмы,
И, маски сбросивши тайкомъ,
Рыдали женщины кругомъ.
Монахъ училъ, какъ древле жили
Общины первыхъ христіанъ,
«А вы, сказалъ, вы воскресили
Разбитый ими истуканъ!
Забыли въ шумѣ сатурналій
Молчанье строгое постовъ!
Святую библію отцовъ
На мудрость вѣка промѣняли;
Пустынной маннѣ предпочли
Пиры египетской земли!
До знаній жадны, вѣрой скупы,
Понять вы тщитесь бытіе,
Анатомируете трупы—
А сердце знаете ль свое?..
О, Матерь Божія! Тебя ли,
Мое прибѣжище въ печали,
Въ чертахъ блудницы вижу я!
Съ блудницъ художникъ маловѣрный
Чертитъ, исполненъ всякой скверны,
И выдаетъ намъ за Тебя!..
Развратъ повсюду лицемѣрный!
Васъ тѣшитъ пестрый маскарадъ —
Бѣсъ ходитъ возлѣ каждой маски
И въ сердце намъ вливаетъ ядъ.
Въ винѣ, въ наукѣ, въ женской ласкѣ
Вамъ сѣти ставитъ хитрый адъ,
И, какъ безсмысленныя дѣти,
Вы слѣпо падаете въ сѣти!..
Пора! зову я васъ на брань.
Изъ-за трапезы каждый встань,
Гдѣ бѣсъ пируетъ! Бросьте яству!
Спѣшите! Пастырю во длань
Веду вернувшуюся паству!
Здѣсь искупленіе грѣхамъ!
Проклятье играмъ и костямъ!
Проклятье льстивымъ чарамъ ада!
Проклятье мудрости людской,
Въ которой овцы Божья стада
Теряютъ вѣру и покой!
Господь, услышь мои моленья:
Въ сей день великій искупленья
Свои намъ молніи пошли
И разрази тельца златого!
Во имя чистое Христово
Весь домъ грѣха испепели!»
Умолкъ—и факеломъ зажженнымъ
Взмахнулъ надъ праздничнымъ костромъ;
Раздался пушекъ страшный громъ;
Сливаясь съ колокольнымъ звономъ,
Te Deum грянулъ мрачный хоръ —
Столбомъ всталъ огненный костеръ.
Толпы народа оробѣли,

Молились, набожно глядѣли,
Святого ужаса полны,
Какъ грозно пирамидой жаркой
Трещали, вспыхивали ярко
Изобрѣтенья сатаны,
И какъ фигура карнавала, —
Его колпакъ и дѣтскій конь—
Качалась, тлѣла, обгорала
И съ шумомъ рухнула въ огонь.

———

Прошли года. Монахъ крутой,
Какъ геній смерти, воцарился
Въ столицѣ шумной и живой—
И городъ весь преобразился.
Облекся трауромъ народъ,
Вездѣ вериги, власяница,
Постомъ измученныя лица,
Молебны, звонъ да крестный ходъ.
Монахъ, какъ будто львиной лапой,
Толпу угрюмую сжималъ,
И дерзко ссорился онъ съ папой,
Въ безвѣрьи папу уличалъ...
Но съ папой спорить было рано:
Неравенъ былъ строптивый споръ,
И главъ вѣнчанныхъ Ватикана
Еще могучъ былъ приговоръ...
И вотъ опять костеръ багровый
На той же площади пылалъ;
Палачъ у висѣлицы новой
Спокойно жертвы новой ждалъ,
И грозный папскій трибуналъ
Стоялъ на помостѣ высокомъ.
На казнь монаховъ привели
Они, въ молчаніи глубокомъ,
На смерть, какъ мученики, шли.
Одинъ изъ нихъ былъ тотъ же самый,
Къ кому народъ стекался въ храмы,
Кто отворялъ свои уста
Лишь съ чистымъ именемъ Христа;
Христомъ былъ духъ его напитанъ,
И за Него на казнь онъ шелъ;
Христа же именемъ прочитанъ
Монаху смертный протоколъ,
И то же имя повторяла
Толпа, смотря со всѣхъ сторонъ,
Какъ рухнулъ съ висѣлицы онъ,
И пламя вмигъ его объяло,
И, задыхаясь, произнесъ
Онъ въ самомъ пламени: «Христосъ!»
Христосъ! Христосъ! Но, умирая
И по слѣдамъ Твоимъ ступая,
Твой подвигъ сердцемъ возлюбя,
Христосъ! онъ понялъ ли Тебя?
О, нѣтъ! скорбящихъ утѣшая,
Ты чистыхъ радостей не гналъ
И, Магдалину возрождая,
Дѣтей на жизнь благословлялъ!
И человѣкъ, въ твоемъ ученьѣ
Познавъ себя, въ Твоихъ словахъ
Съ любовью видитъ откровенье,
Чѣмъ можетъ быть онъ святъ и благъ...
Своею кровью жизни слово
Ты освятилъ,—и возросло
Оно могуче и свѣтло;
Доминиканца жъ ликъ суровый
Былъ чуждъ любви—и самъ онъ палъ
Безплодной жертвою . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

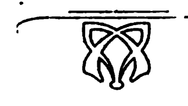
1851.

## Поля.

Въ телѣгѣ ѣду по холмамъ;
Порой для взора нѣтъ границъ...
И все поля по сторонамъ,
И надъ полями стаи птицъ...
Я ѣду день, я ѣду два —
И все поля кругомъ, поля!
Мелькнетъ жилье, мелькнетъ едва,
А тамъ поля, опять поля...
Порой ручей, порой оврагъ,
А тамъ поля, опять поля!
И въ золотыхъ опять волнахъ
Съ холма на холмъ взлетаю я...
Но гдѣ же люди? Ни души
Среди безмолвныхъ деревень...
Не вѣрится такой глуши!
Хотя бы встрѣча въ цѣлый день!
Лишь утромъ сѣрый четверикъ
Передо мною пролетѣлъ...
Въ пыли лишь красный воротникъ
Да черный усъ я разглядѣлъ...
Вотъ, наконецъ, бредетъ старикъ...
Остановился, шляпу снялъ,
Бормочетъ что-то... «Стой, ямщикъ!
Эй, дядя! съ чѣмъ Господь послалъ?»
— «Осмѣлюсь, баринъ, попросить —
Не подвезете ль старика?»
— «Садись! Зачѣмъ не услужить!
Услуга жъ такъ не велика!»
«Садись!»—«Я здѣсь, на облучокъ»...
— «Да мѣсто есть: садись рядкомъ!»
Но тутъ ужъ взять никто бъ не могъ:
Старикъ уперся на своемъ;
Твердилъ, что въ людяхъ онъ пожилъ
И къ обращенію привыкъ,
И знаетъ свѣтъ; иначе бъ былъ
«Необразованный мужикъ!»
У старика былъ хмурый видъ,
Цвѣтисто-вычурная рѣчь;

Одѣтъ былъ бѣдно, но обритъ,
И бакенбардъ висѣлъ до плечъ.
— «Я былъ дворовый человѣкъ»,
Онъ говорилъ: «у князя Б.!
Да вотъ, пришлось кончать свой вѣкъ
На волѣ! самъ ужъ по себѣ!»
— «И слава Богу!» — «Какъ кому!
И какъ кто разумѣетъ свѣтъ!
А по понятью моему,
Отъ всей ихъ воли—толку нѣтъ!
«Еще я нонѣшнихъ князей,
Выходитъ, дѣдушкѣ служилъ...
Князь различать умѣлъ людей:
Я въ домѣ, можетъ, первый былъ!
«Да вотъ, настали времена!
Теперь иди, хоть волкомъ вой!
Стара собака, не годна,
Ѣстъ даромъ хлѣбъ,—такъ съ глазъ долой!
«Еще скажу: добры князья!
— Съ тебя оброку не хотимъ;
А хочешь землю, молъ,—такъ я:
— Покорно васъ благодаримъ!—
«Жаль ихъ самихъ!»—И тутъ старикъ
Повелъ разсказъ, какъ врозь идетъ
Весь княжій дворъ: шалитъ мужикъ,
Заброшенъ сахарный заводъ,
Слѣда ужъ нѣтъ оранжерей,
Охота, птичникъ и пруды,
И всѣ забавы для гостей,
И карусели, и сады—
Все въ запущеньи, все гніетъ...
Усадьба—прежде городокъ
Была! Вездѣ присмотръ, народъ!
И пей и ѣшь! Все было впрокъ!
«Да, вспомянешь про старину!»
Онъ заключилъ: «былъ складъ да ладъ!
Э, ну ихъ съ волей! право, ну!
Да что она? Одинъ развратъ!
«Одинъ развратъ!» онъ повторялъ...
Отжившій міръ въ его лицѣ,
Казалось, силы напрягалъ,
Какъ пламя, вспыхнуть при концѣ...
«Вотъ парень вамъ изъ молодыхъ»,
Сказалъ онъ, кинувъ грозный взглядъ
На ямщика: «спросите ихъ,
Куда глядятъ? чего хотятъ?»
Тотъ поглядѣлъ ему въ лицо,
Но за отвѣтомъ сталъ втупикъ:
Никакъ желанное словцо
Не попадало на языкъ...
«Чего...» онъ началъ было вслухъ...
Да вдругъ какъ кудрями встряхнетъ,
Да вдругъ какъ свистнетъ во весь духъ,—
И тройка ринулась впередъ!
Впередъ—въ пространство безъ конца!
Впередъ—не внемля ничему!
То былъ отвѣтъ ли молодца,
И кони ль вторили ему,—
Но мы неслись, какъ отъ волковъ,
Какъ изъ-подъ тучи грозовой,
Какъ бы мучителей-бѣсовъ
Погоню слыша за собой...
Неслись... а вкругъ по сторонамъ
Поля мелькали, и не разъ
Овечье стадо здѣсь и тамъ
Кидалось въ сторону отъ насъ...
Неслись... «Куда жъ те дьяволъ мчитъ?»
Вдругъ сорвалось у старика.
А тотъ летитъ, лишь вдаль глядитъ,
А даль-то, даль—какъ широка!..

1862.



**Иванъ Захаровичъ Суриковъ.**

(1840 — 1880).

## 1. Темна, темна моя дорога.

Темна, темна моя дорога,
Все ночь да ночь, — когда жъ разсвѣтъ?
Убилъ я силъ душевныхъ много,
А все изъ тьмы исхода нѣтъ.
Къ чему жъ борьба, къ чему стремленья?
Мнѣ нѣтъ надежды впереди,
И тяготятъ меня сомнѣнья
На полупройденномъ пути.
Куда иду? и гдѣ святая
Цѣль неусыпнаго труда?..
И ноетъ грудь моя больная,
Что жизнь проходитъ безъ слѣда;
Что даромъ гибнетъ сила воли,
Безплодна долгая борьба;
Что не дождусь я лучшей доли,
Не дастъ мнѣ свѣтлыхъ дней судьба.

## 2. У могилы матери.

Спишь ты, спишь, моя родная,
Спишь въ землѣ сырой.
Я пришелъ къ твоей могилѣ
Съ горемъ и тоской.
Я пришелъ къ тебѣ, родная,
Чтобъ тебѣ сказать,
Что теперь уже другая
У меня есть мать;
Что твой мужъ, тобой любимый,
Мой отецъ родной,
Твоему бѣднягѣ-сыну
Сталъ совсѣмъ чужой.
Никогда твоихъ, родная,
Словъ мнѣ не забыть:
«Безъ меня тебѣ, сыночекъ,
Горько будетъ жить!
Много, много встрѣтишь горя,
Мой родимый, ты;
Много вынесешь несчастья,
Бѣдъ и нищеты!»
И слова твои сбылися, —
Всѣ сбылись они.
Встань ты, встань, моя родная,
На меня взгляни!
Съ неба дождикъ льетъ осенній,
Холодомъ знобитъ;
У твоей сырой могилы
Сынъ-бѣднякъ стоитъ,
Въ старомъ, рваномъ сюртучишкѣ,
Въ ветхихъ сапогахъ;
Но все такъ же твердъ, какъ прежде,
Слезъ нѣтъ на глазахъ.

Знаютъ то судьба-злодѣйка,
Горе и бѣда,
Что отъ нихъ твой сынъ не плакалъ
Въ жизни никогда.
Нѣтъ, въ груди моей горячей
Кровь еще горитъ,
На борьбу съ судьбой суровой
Много силъ кипитъ.
А когда я эти силы
Всѣ убью въ борьбѣ,
И когда меня, родная,
Принесутъ къ тебѣ,—
Пріюти тогда меня ты
Тутъ, въ землѣ сырой;
Буду спать я, спать покойно
Рядышкомъ съ тобой.
Будетъ солнце надо мною
Жаркое сіять;
Будутъ звѣзды золотыя
Во всю ночь блистать;
Будетъ вѣтеръ безпокойный
Пѣсни свои пѣть,
Надъ могилой—серебристой
Тополью шумѣть;
Будетъ вьюга надо мною
Плакать, голосить...
Но напрасно,—силъ погибшихъ
Ей не разбудить.

## 3. Труженикъ.

(Памяти А. В. Кольцова).

«Мнѣ грустно, больно, тяжело...
Что принесли мнѣ эти строки?
Я въ жизни видѣлъ только зло
Да слышалъ горькіе упреки.
Вотъ трудъ прошедшей жизни всей!..
Тутъ много думъ и пѣсенъ стройныхъ.
Онѣ мнѣ стоили ночей,
Ночей безсонныхъ, безпокойныхъ.
Всегда задумчивъ, грустенъ, тихъ,
Я ихъ писалъ отъ всѣхъ украдкой,
И сталъ для ближнихъ я своихъ
Неразрѣшимою загадкой.
За искру чистаго огня,
Что въ грудь вложилъ мнѣ Всемогущій,
Они преслѣдуютъ меня
Своею злобою гнетущей.
Меня гнетутъ въ своей семьѣ,
Въ глуши родной я погибаю!..
Когда жъ достичь удастся мнѣ,
Чего такъ пламенно желаю?
Иль къ свѣту мнѣ дороги нѣтъ
За то, что я правдивъ и честенъ?»
Такъ думалъ труженикъ-поэтъ,
Склонясь съ тоской надъ книгой пѣсенъ.
Жизнь безъ свободы для него
Была тяжка,—онъ жаждалъ воли.
И надрывалась грудь его
Отъ горькой скорби и отъ боли.
Передъ собой онъ видѣлъ тьму,
Въ прошедшемъ море зла лежало;
Но мысль безсмертная ему
Успокоительно шептала:
«На свѣтѣ ты для всѣхъ чужой,
Твой трудъ считаютъ за пустое;
Тебя все близкое, родное
Возненавидѣло душой.
Но не робѣй! Могучей мысли
Горитъ свѣтильникъ предъ тобой.
Пусть тучи черныя нависли
Надъ терпѣливой головой.
Трудись и вѣруй въ дарованье,—
Оно спасетъ тебя всегда;
Людская злоба не бѣда
Для тѣхъ, кто чтитъ свое призванье.
Пусть люди, близкіе тебѣ,
Съ тобою борются сурово;
Хотя погибнешь ты въ борьбѣ,—
Но не погубятъ люди слова.
Придетъ пора, они поймутъ
Что не напрасно ты трудился,
И тотъ, кто надъ тобой глумился,
Благословитъ твой честный трудъ!»
И мысли вѣровалъ онъ свято;
Переносилъ и скорбь и гнетъ
И неуклонно шелъ впередъ
Дорогой жизни, тьмой объятой.
Упорно бился онъ съ судьбой,
И пѣсню пѣлъ въ часъ тяжкой муки,
И воплощалъ онъ въ пѣснѣ той
Всѣ стоны сердца, боли звуки.
И умеръ онъ, тоской томимъ,
Въ неволѣ, плача о свободѣ —
Но пѣсня, созданная имъ,
Жива и носится въ народѣ.

## 4. Пѣсня.

Если бъ легкой птицы
Крылья я имѣла,
Въ частый бы кустарникъ
Я не полетѣла.
Если бъ я имѣла
Голосъ соловьиный,
Я бы не носилась
Съ пѣсней надъ долиной.
Я бы не летала
На разсвѣтѣ въ поле
Косарямъ усталымъ

Пѣть о лучшей долѣ.
Я бы не кружилась
Вечеромъ надъ хаткой,
Чтобъ ребенка пѣсней
Убаюкать сладкой.
Нѣтъ! я полетѣла бъ
Съ пѣсней въ городъ дальній:
Есть тамъ домъ обширный,
Всѣхъ домовъ печальнѣй.
У стѣны высокой
Ходятъ часовые:
Въ окна смотрятъ люди
Блѣдные, худые.
Имъ никто не скажетъ
Ласковаго слова,—
Только вѣтеръ пѣсни
Имъ поетъ сурово.
Отъ окна къ другому
Тамъ бы я летала,
Узниковъ привѣтной
Пѣсней утѣшала.
Я бъ имъ навѣвала
Золотыя грезы
И изъ глазъ потухшихъ
Вызывала слезы,
Чтобы эти слезы
Щеки ихъ смочили,
Полную печали
Душу облегчили.

## 5. Не грусти, что листья...

Не грусти, что листья
Съ дерева валятся,—
Будущей весною
Вновь они родятся,—
  А грусти, что силы
  Молодости таютъ,
  Что черствѣетъ сердце,
  Думы засыпаютъ...
Только лишь весною
Теплою повѣетъ —
Дерево роскошно
Вновь зазеленѣетъ...
  Силы жъ молодыя
  Сгибнутъ — не вернутся,
  Сердце очерствѣетъ —
  Думы не проснутся!

## 6. Казнь Стеньки Разина.

Точно море въ часъ прибоя,
Площадь Красная гудитъ.
Что за говоръ? Что тамъ противъ
Мѣста лобнаго стоитъ?
Плаха черная далеко
Отъ себя бросаетъ тѣнь.
Нѣтъ ни облачка на небѣ.
Блещутъ главы. Ясенъ день.
Ярко съ неба свѣтитъ солнце
На кремлевскіе зубцы,
И вокругъ высокой плахи
Въ два ряда стоятъ стрѣльцы.
Вотъ толпа заколыхалась,—
Проложилъ дорогу кнутъ;
Той дороженькой на площадь
Стеньку Разина ведутъ.
Съ головы казацкой сбриты
Кудри черные, какъ смоль;
Но лица не измѣнили
Казни страхъ и пытки боль.
Такъ же мрачно и сурово,
Какъ и прежде, смотритъ онъ,—
Передъ нимъ былое время
Возстаетъ, какъ яркій сонъ:
Дона тихаго приволье,
Волги-матушки просторъ,
Гдѣ съ судовъ большихъ и малыхъ
Бралъ онъ съ вольницей поборъ;
Какъ онъ съ силою казацкой
Рыскалъ вихоремъ степнымъ,
И кичливое боярство
Трепетало передъ нимъ.
Душитъ злоба удалого,
Жжетъ огнемъ и давитъ грудь,
Но тяжелыя колодки
Съ ногъ не въ силахъ онъ смахнуть.
Съ болью тяжкою оставилъ
Въ это утро онъ тюрьму:
Жаль не жизни, а свободы,
Жалко волюшки ему.
Не придется Стенькѣ кликнуть
Кличъ казацкой голытьбѣ
И призвать ее на помощь
Съ Дона тихаго къ себѣ.
Не удастся съ этой силой
Силу ратную тряхнуть,—
Воеводъ, бояръ московскихъ
Въ три погибели согнуть.
«Какъ подъ городомъ Симбирскомъ
(Думу думаетъ Степанъ)
Рать казацкая побита,
Не побитъ лишь атаманъ.
Знать, ужъ долюшка такая,
Что не палъ казакъ въ бою
И сберегъ для черной плахи
Буйну голову свою.
Знать, ужъ долюшка такая,
Что на Донъ казакъ бѣжалъ,
На родной своей сторонкѣ
Во поиманье попалъ.

Не больна мнѣ та обида,
Та истома не горька,
Что московскіе бояре
Заковали казака;
Что на помостѣ высокомъ
Поплачусь я головой
За разгульныя потѣхи
Съ разудалой голытьбой.
Нѣтъ, мнѣ та больна обида,
Мнѣ горька истома та,
Что измѣнною неправдой
Голова моя взята!
Вотъ сейчасъ на смертной плахѣ
Срубятъ голову мою,
И казацкой алой кровью
Черный помостъ я полью...
Ой, ты Донъ ли мой родимый!
Волга-матушка рѣка!
Помяните добрымъ словомъ
Атамана-казака!..»
Вотъ и помостъ передъ Стенькой...
Разинъ бровью не повелъ,
И наверхъ онъ по ступенямъ
Бодрой поступью взошелъ.
Поклонился онъ народу,
Помолился на соборъ,—
И палачъ, въ рубахѣ красной,
Высоко взмахнулъ топоръ...
«Ты прости, народъ крещеный!
Ты прости-прощай, Москва!..»
И скатилась съ плечъ казацкихъ
Удалая голова.

## 7. Наши пѣсни.

I.

Мы родились для страданій,
Но душой въ борьбѣ не пали:
Въ темной чащѣ испытаній
Наши пѣсни мы слагали.
Сила духа, сила воли
Въ этой чащѣ насъ спасала;
Но зато душевной боли
Испытали мы немало.
На просторъ изъ этой чащи
Мы упорно выбивались;
Чѣмъ труднѣй былъ путь, тѣмъ чаще
Наши пѣсни раздавались.
Всюду пѣсенъ этихъ звуки
Эхо громко откликало,
И съ тоскою нашей мукѣ
Человѣчество внимало.
Наши пѣсни не забава,
Пѣли мы не отъ бездѣлья:
Въ нихъ святая наша слава,
Наше горе и веселье.
Въ этихъ пѣсняхъ милліоны
Мукъ душевныхъ мы считаемъ;
Наши пѣсни, наши стоны
Мы счастливымъ завѣщаемъ.

II.

Много спѣли горькихъ пѣсенъ
Въ этой жизни мы тяжелой.
Легкій смѣхъ намъ неизвѣстенъ,
Пѣсни нѣтъ у насъ веселой.
Большинство людей суровыхъ
Отъ пѣвцовъ печали старой
Просятъ думъ и пѣсенъ новыхъ
Иль сатиры злой и ярой.
Наше пѣнье имъ не любо,—
Свѣтлой радости въ немъ мало.
Что за диво? Очень грубо
Горе въ лапахъ насъ сжимало.
Изъ когтей его могучихъ
Вышли мы, порядкомъ смяты
И запасомъ слезъ горючихъ,
Думъ мучительныхъ богаты.
Для изнѣженнаго слуха
Наше пѣнье не годится:
Наши пѣсни рѣжутъ ухо,—
Горечь сердца въ нихъ таится!

**Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ.**

(Род. въ 1821 г.)

## 1. Нищая.

Съ ней встрѣтились мы средь открытаго поля
Въ трескучій морозъ. Не лѣта
Ее истомили; но горькая доля,
Но голодъ, болѣзнь, нищета,
Ярмо крѣпостное, работа безъ прока
Въ ней юную силу сгубили до срока.
Лоскутья одеждъ на ней были надѣты:
Спеленатый грубымъ тряпьемъ,
Ребенокъ, заботливо ею пригрѣтый,
У сердца покоился сномъ...
Но если не сжалятся добрые люди,
Проснувшись, найдетъ ли онъ пищи у груди?
Шептали мольбу ея блѣдныя губы,
Рука подаянья ждала...
Но плотно мы были укутаны въ шубы:
Насъ тройка лихая несла,
Снѣгъ мерзлый взметая, какъ облако пыли...
Тогда въ монастырь мы къ вечернѣ спѣшили.

1857 г.

## 2. Тяжелое признаніе.

Я—грубой силы врагъ заклятый
И не пойму ее никакъ,
Хоть всѣмъ намъ часто снится сжатый,
Висящій въ воздухѣ кулакъ;
Поклонникъ знанья и свободы,
Я эти блага такъ цѣню,
Что даже въ старческіе годы,
Быть-можетъ, имъ не измѣню;
Хотя бъ укоръ понесъ я въ лести

И восхваленьи сильныхъ лицъ,
Предъ подвигомъ гражданской чести
Готовъ повергнуться я ницъ;
Мнѣ жить нельзя безъ женской ласки,
Какъ міру безъ лучей весны;
Поэмы, звуки, формы, краски,
Какъ хлѣбъ насущный, мнѣ нужны;
Я посѣщать люблю тѣ страны,
Гдѣ, при побѣдныхъ звукахъ лиръ,
Съ челомъ вѣнчаннымъ великаны
Царятъ—Бетховенъ и Шекспиръ;
Бродя въ лугахъ иль въ темной рощѣ,
Гляжу съ любовью на цвѣты,
И словомъ—выражусь я проще—
Въ мнѣ есть чувство красоты.
Но если такъ, то я загадка
Для психолога. Почему жъ,
Когда при мнѣ красно и сладко
Рѣчь поведетъ чиновный мужъ
О пользѣ, о любви къ отчизнѣ,
О чести, правдѣ,—обо всемъ,
Что намъ такъ нужно въ нашей жизни,
Хоть и безъ этого живемъ;
О томъ, какъ юнымъ патріотамъ
Служитъ примѣромъ онъ готовъ
По государственнымъ заботамъ,
По неусыпности трудовъ;
О томъ, что Русь въ державахъ значитъ,
О томъ, какъ Богъ ее хранитъ,
И вдругъ, растроганный, заплачетъ,—
Меня при этомъ не тошнитъ?..

1859 г.

### 3. Свѣтло, какъ въ полдень.

Свѣтло, какъ въ полдень,—лампы, свѣчи;
Изященъ свѣтскій видъ мужчинъ;
Открыли дамы грудь и плечи;
И за столомъ, средь яствъ и винъ,
Они ведутъ пустыя рѣчи...
А небо хмуро и черно;
Въ тиши зловѣщей зрѣетъ буря;
Бѣда сбирается давно...
Но имъ покуда все равно,—
Они смѣются, балагуря...

1859 г.

### 4. Осенніе журавли.

Сквозь вечерній туманъ мнѣ подъ небомъ стемнѣвшимъ
Слышенъ крикъ журавлей все яснѣй и яснѣй...
Сердце къ нимъ понеслось, издалека летѣвшимъ,
Изъ холодной страны, съ обнаженныхъ степей,
Вотъ ужъ близко летятъ и все громче рыдая,
Словно скорбную вѣсть мнѣ они принесли...
Изъ какого же вы непривѣтнаго края
Прилетѣли сюда на ночлегъ, журавли?..

Я ту знаю страну, гдѣ ужъ солнце безъ силы,
Гдѣ ужъ савана ждетъ, холодѣя, земля,
И гдѣ въ голыхъ лѣсахъ воетъ вѣтеръ унылый,—
То родимый мой край, то отчизна моя.
Сумракъ, бѣдность, тоска, непогода и слякоть,
Видъ угрюмый людей, видъ печальный земли...
О, какъ больно душѣ, какъ мнѣ хочется плакать!..
Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..

28 окт. 1871 г.
Югенгеймъ, близъ Рейна.

### 5. О, скоро ль минетъ...

О, скоро ль минетъ это время,
Весь этотъ нравственный хаосъ,
Гдѣ прочность убѣжденій—бремя,
Гдѣ подвигъ доблести—доносъ;
Гдѣ, послѣ свалки безобразной,
Которой кончилась борьба,
Не отличишь въ толпѣ безсвязной
Ни чистой личности отъ грязной,
Ни вольнодумца отъ раба;
Гдѣ быта стараго оковы
Уже поржавѣли на насъ,
А свѣточъ, путь искавшій новый,
Чуть озаривъ его, погасъ;
Гдѣ то, что прежде создавала
Живая мысль, идетъ пока
Какъ бы снарядъ, идущій вяло
И силой прежняго толчка;
Гдѣ стыдъ и совѣсть убаюкать
Мы всѣ желаемъ чѣмъ-нибудь,
И только бъ намъ ладонью стукать
Въ «патріотическую» грудь!..

1870 г.

**Петръ Исаевичъ Вейнбергъ.**

(Род. въ 1830 г.).

## 1. Морскія мелодіи.

I.

(А. Н. Плещееву).

При блескѣ молніи, при грохотѣ громовомъ,
Стою у моря я. Бушуетъ предо мной
Въ своемъ величіи, и грозномъ и суровомъ,
Необозримое, гоня волну волной
И вдругъ сливая ихъ въ одну сплошную гору...
И ужасомъ охваченному взору
Все чудится, что мигъ одинъ —
И разъяренная стихія
Ворвется въ области чужія,
Какъ полновластный господинъ,
И побѣдителемъ, не знающимъ пощады,
Смететъ все встрѣчное, разрушитъ всѣ преграды!..
Напрасный ужасъ: береговъ
Достигнутъ волны - исполины —
И съ ропотомъ глухимъ назадъ, въ свои пучины,
Бѣгутъ, какъ будто бы наткнувшись на враговъ...

О море! знаю я, что значитъ ропотъ гнѣвный,
Мятежно-гордый говоръ твой,
И стонъ болѣзненно плачевный,
И изступленья дикій вой!
Я знаю: звуки тѣ — природѣ
Неумолкаемый укоръ
За то, что и твоей свободѣ
Предѣлъ нашли; и твой просторъ
Насильно вдвинули въ границы;
И этой силѣ, что, кажись,
Вольнѣе воздуха и птицы,
Сказали: дальше не катись!
О море! и тебѣ съ ничтожными сынами
Твоей сестры-земли единый жребій данъ:
Всему предѣлъ!.. Но мы смиряемся — и съ нами
Смирись и ты, закованный титанъ!..
Гроза прошла. Вновь голубой равниной
Лежало море предо мной,
Не потрясаясь ни единой
Разбунтовавшейся волной;
И только всплесками немолчнаго отлива
Отъ стѣнъ своей тюрьмы — суровыхъ береговъ
Оно шептало мнѣ страдальчески тоскливо
Про муки тяжкія подъ гнетомъ злыхъ оковъ...

II.

Безконечной пеленою
Развернулось предо мною
Старый другъ мой — море.
Сколько власти благодатной
Въ этой шири необъятной,
Въ царственномъ просторѣ!
Я пришелъ на берегъ милый,
Истомленный и унылый,
Съ ношею старинной
Всѣхъ надеждъ моихъ разбитыхъ,
Всѣхъ сомнѣній ядовитыхъ,
Всей тоски змѣиной.
Я пришелъ повѣдать морю,
Что съ судьбой ужъ я не спорю;
Что бороться долѣ
Силы нѣтъ; что я смирился
И позорно покорился
Безобразной долѣ.
Но когда передо мною
Безконечной пеленою
Развернулось море,
И, отваги львиной полны,
Вдругъ запѣли пѣсню волны
Въ исполинскомъ хорѣ —
Пѣсню мощи и свободы,
Пѣсню грозную природы,
Жизнь берущей съ бою —
Все во мнѣ затрепетало,
И такъ стыдно, стыдно стало
Предъ самимъ собою —
За унынье, за усталость,
За болѣзненную вялость,
За утрату силы
Ни предъ чѣмъ не преклоняться
И съ врагомъ-судьбой сражаться
Смѣло до могилы.
Отряхнулъ съ себя я снова
Малодушія пустого
Пагубное бремя
И врагу съ отвагой твердой
Снова кинулъ вызовъ гордый,
Какъ въ былое время.
А сѣдыя волны моря,
Пробужденью духа вторя
Откликомъ природы,
Все быстрѣй впередъ летѣли,
Все грознѣе пѣсню пѣли
Мощи и свободы!

## 2. Рѣка тронулась.

Горделиво сбросивъ снова
Ненавистныя оковы,
Радостна, легка,
Вновь катитъ свободно воды
Средь воскреснувшей природы
Чудная рѣка.
Со своей лазури чистой
Посылаетъ богъ лучистый
Ей привѣтъ любви
И огнемъ весны волнуемъ,
Шепчетъ съ жаркимъ поцѣлуемъ:
«Радуйся! живи!»
Горькій ядъ воспоминаній
О суровыхъ дняхъ страданій
Подъ цѣпями льда,
Всѣ слѣды недавней боли —
Чувство жизни, чувство воли
Гонитъ навсегда.
А межъ тѣмъ, изъ мертвой дали,
Міра злобы и печали,
Царства вѣчныхъ льдинъ —
На чудесный пиръ весенній
Гнѣвно смотритъ тѣхъ владѣній
Мрачный господинъ.
И въ устахъ царя Мороза
Ядовитая угроза,
Мщенья полонъ взоръ,
И злорадно онъ смѣется,
Видя, какъ рѣка несется
Въ милый свой просторъ.
«Погоди! — съ недобрымъ смѣхомъ
Говоритъ, — твоимъ утѣхамъ,
Гордости твоей
Вѣкъ не долгій: жизни сила
Не надолго побѣдила —
Смерть ея сильнѣй.
Погулять тебѣ на волѣ,
Насладиться въ новой долѣ
Дамъ немного я,
А потомъ тебя опять я
Стисну въ мощныя объятья,
Плѣнница моя.
Ты не справишься со мною:
Всею грудью ледяною
Я на грудь твою
Лягу властно, лягу смѣло
И бунтующее тѣло
Снова закую.
Изъ весны въ весну всѣ годы
Этимъ призракомъ свободы
Буду я дразнить,
То на волю выпуская,
То опять пересѣкая
Жизненную нить...»
Но средь блеска и движенья
Дикій крикъ ожесточенья
Злого старика

Тонетъ въ воздухѣ безплодно,
И красиво, благородно
Все бѣжитъ рѣка.
Что за дѣло ей, что снова,
Безпросвѣтна и сурова,
Явится зима!
Что за дѣло ей, что скоро
Смѣнитъ радости простора
Страшная тюрьма!
Пусть приходитъ! Мракъ могилы,
Гнетъ слѣпой и грубой силы —
Все не тяжело,
Если добрый, свѣтлый геній
Хоть на нѣсколько мгновеній
Побѣждаетъ зло!..

## 3. Нашей молодежи.

Друзья! съ прекраснымъ упованьемъ
На юность я, старикъ, смотрю
И, вашимъ радостямъ, надеждамъ и страданьямъ
Внимая, горячо привѣтствую зарю
Грядущаго...
Мнѣ говорятъ слѣпые
Итрусы, что, увы, отъ васъ не быть добру,
Что вы мечтатели больные,
Что въ лихорадочномъ, безсмысленномъ жару
Стремитесь вы къ тому, о чемъ подумать даже
И страшно и смѣшно... Все та же
Пѣснь старая... Пускай поютъ ее!
Но тотъ, въ комъ есть сердечное чутье
И опытъ, злобою слѣпой не затемненный—
Тотъ радостно спокоенъ, убѣжденный,
Что безъ броженья нѣтъ хорошаго вина;
Что не гроза весенняя страшна,
А спячка зимняя... Лишь падали бы зерна
На почву знанья и труда —
И чрезъ немногіе года
Распустится цвѣтокъ роскошно, благотворно.
Да, знаніе и трудъ! Въ нихъ намъ святой залогъ
Безповоротнаго движенья.
Держитесь только ихъ — и Богъ
Благословитъ душевныя волненья,
Унылыхъ ободритъ, смятеннымъ дастъ покой --
И потечетъ широкою рѣкой
То, что теперь бѣжитъ струями,
Порою мутными, тревожными...
Иди,
О молодость, неся весь міръ въ своей груди!
А мы, слѣдя за юными друзьями
Съ любовной нѣжностью, на склонѣ нашихъ дней,
Вздохнемъ, я вѣрую, и чище и вольнѣй...

## 4. Н. К. Михайловскому.

Когда среди недвижности унылой.
Среди тупой покорности судьбѣ,
По временамъ несется съ гордой силой
Призывный кличъ къ безтрепетной борьбѣ;
Когда на все, что зло, нелѣпо, лживо,
То здѣсь, то тамъ встаетъ рука бойца
Свидѣтелемъ, что въ человѣкѣ живо
Еще добро, что есть еще сердца,
Что есть умы, въ которыхъ мощно, стройно
Бьютъ свѣтлыхъ чувствъ и мыслей родники, —
Тогда во тьму грядущаго спокойно,
Съ отрадою глядимъ мы, старики,
И сходимъ въ гробъ съ блаженнымъ упованьемъ,
Что рано ли, иль поздно, но придетъ
Побѣдный день — и сокрушится гнетъ
Враждебныхъ силъ, и умъ, въ союзѣ съ знаньемъ,
Властительно свѣтильникъ свой зажжетъ.
Пусть эта мысль лишь греза золотая;
Но только съ ней, нося ее въ себѣ,
Возможно жить и, ею духъ питая,
Не изнемочь въ страданьяхъ и борьбѣ.

## 5. Блаженъ, кто вѣритъ...

Блаженъ, кто вѣритъ въ наше время,
Что не настолько одряхлѣлъ
Нашъ жалкій міръ, чтобъ не сумѣлъ
Въ концѣ-концовъ онъ сбросить бремя
Всесокрушающаго зла,
Той страшной ржавчины рутины,
Что крѣпко въѣлась къ намъ въ тѣла
И гнетъ позорно наши спины.
Блаженъ, кто вѣрою такой
Въ себѣ питаетъ духъ и тѣло
И, въ жертву ей убивъ покой,
Идетъ впередъ наивно смѣло;
Идетъ и рѣзко судитъ тѣхъ,
Въ комъ эти пылкія стремленья
Встрѣчаютъ слово сожалѣнья
Иль недовѣрья горькій смѣхъ.

Блаженъ... Но тщетно ищешь всюду
Такихъ блаженныхъ въ наши дни...
Когда встрѣчаются они,
Имъ удивляешься, какъ чуду,
Среди несмѣтности такой
Больныхъ, разбитыхъ, утомленныхъ
И тяжкимъ опытомъ склоненныхъ
На все и всѣхъ махнуть рукой...

## 6. Уныніе.

(Памяти Некрасова).

> Уныніе въ душѣ моей усталой,
> Уныніе — куда ни погляжу!
>
> *Некрасовъ.*

О, да, ты правъ, поэтъ!
Уныніе вездѣ.
Унынье въ той степи, печальной и угрюмой,
Гдѣ ты бродилъ одинъ съ твоей тяжелой думой,
Внимая горестямъ, страданьямъ и нуждѣ.
Унынье въ городѣ — въ его свинцовомъ небѣ,
Озлобленномъ врагѣ живительныхъ лучей,
На улицахъ его, средь этихъ всѣхъ людей,
Снуютъ ли, хлопоча о барышахъ и хлѣбѣ,
Безцѣльно ли гранятъ каменья мостовой,
Сойдутся ль погулять на праздникѣ народномъ,
На чинномъ раутѣ ль толпятся въ залѣ модномъ,
Рѣшаютъ ли «вопросъ» въ бесѣдѣ дѣловой...
Унынье въ старикѣ передъ дверьми могилы,
Унынье въ молодомъ во всемъ избыткѣ силы,
Унынье въ мальчикѣ на школьничьей скамьѣ,
Унынье въ обществѣ, уныніе въ семьѣ...
Хотя бъ малѣйшій взрывъ веселья, горя, злобы,
Хотя бъ единый крикъ живого чувства... Нѣтъ,
Все мрачно, все мертво — какъ будто только гробы
Остались на землѣ...
О, да, ты правъ, поэтъ!..

## 7. Тьма.

Въ золотое время, въ молодые годы,
Я на свѣтлый праздникъ жизни и свободы
Бодро выходилъ;
Предо мной вставали люди-великаны,
Вѣрилось мнѣ сладко въ ихъ надежды, планы,
Въ крѣпость свѣжихъ силъ;
Вѣрилось, что въ битву за святое дѣло
Ринемся мы вмѣстѣ бѣшено и смѣло;
Что пройдутъ года —
И земля окрѣпнетъ въ сотрясеньѣ бурномъ,
И засвѣтитъ ярко на небѣ лазурномъ
Новая звѣзда.
Предо мною гордо развѣвались флаги;
Клики горделивой, доблестной отваги
Поражали слухъ;
Все къ борьбѣ великой грозно призывало,
Мыслью о побѣдѣ сладко волновало
Напряженный духъ...
Свѣтлыя надежды, радужныя грезы!
Ѣдкіе туманы, жгучіе морозы
Сокрушили васъ;
Яркій лучъ высокихъ, гордыхъ ожиданій
Въ мракѣ ядовитомъ гнета и страданій
Навсегда угасъ.
Эти великаны — жалкіе пигмеи,
Подъ ярмо покорно протянули шеи
И, цѣпьми звеня,
Предъ врагомъ могучимъ пали ницъ послушно
И изъ новыхъ рамокъ тупо, равнодушно
Смотрятъ на меня.
Сломанныя копья, свернутые флаги,
Спячка, вмѣсто кликовъ доблестной отваги,
Мелкія дѣла —
Все свидѣтель грустный, что людское племя
Съ плечъ своихъ не можетъ смѣло сбросить бремя
Мірового зла...
И порою только этотъ мракъ глубокій
Свѣтомъ озарится... Голосъ одинокій
Крикнетъ вдругъ: пора!
И уснувшимъ людямъ онъ напомнитъ смѣло
Про борьбу святую за святое дѣло
Правды и добра.
И какъ будто снова встрепенутся люди,
И кой-гдѣ какъ будто снова дрогнутъ груди,
Мигъ — и все прошло,
И тоскливо замеръ голосъ благородный,
И опять повсюду властелинъ свободный —
Міровое зло!..

---

## 8. Похороны Тургенева.

(27 сентября 1883 г. въ С.-Петербургѣ).

Несмѣтная толпа. Какъ будто вся столица
Поднялась на ноги — въ рукахъ вѣнки, цвѣты,
Глубокой горестью омрачены всѣ лица,
Глаза слезами налиты.
И не она одна... Во всѣхъ концахъ отчизны,
Во всѣхъ углахъ чужихъ сторонъ
Благоговѣйно правятъ тризны
По опочившемъ...
Кто же онъ?
Кого такъ дружно до могилы
Собрались проводить навѣкъ
И немощный старикъ, и молодыя силы,
И скромный труженикъ, и знатный человѣкъ?
Кто въ гробѣ? доблестный воитель?
Администраторъ славный? Нѣтъ —
Тутъ просто скромный сочинитель,
Безпритязательный поэтъ.
Была пора: неслышно и незримо
Свершалъ свой путь писатель нашъ. Слѣпа,
Безмолвна, проходила мимо
Непросвѣщенная толпа.
Пришла пора — и въ обществѣ созрѣло
Сознаніе, что человѣкъ пера
Великое свершаетъ дѣло
На почвѣ высшаго добра;
Что творческая рѣчь поэта —
Гражданскій подвигъ; что она —
Источникъ воздуха и свѣта;
Что ею движется страна;
Что этотъ человѣкъ не громкій,
Работникъ въ скромной тишинѣ —
Одинъ изъ тѣхъ, кого и дальніе потомки
Глубоко чтить должны съ героемъ наравнѣ...
И благо той землѣ, гдѣ это убѣжденье
Вошло народу въ плоть и кровь!
Оно — залогъ, что, разъ начавъ движенье,
Онъ вспять не обратится вновь;
Что въ жизни этого народа
Часъ возмужалости торжественно пробилъ,
Что для него навѣкъ упрочена свобода
Развитья полнаго всѣхъ благородныхъ силъ...
А вы, виновники такого просвѣтлѣнья.
Вы, вѣщіе учителя —
Вы можете теперь въ пріютъ успокоенья
Съ той мыслью отходить, что русская земля
Къ творцамъ-художникамъ любовью вся согрѣта.
Что рукоплещетъ имъ разумная толпа.
И къ ихъ могиламъ многи лѣта —
По вдохновенному пророчеству поэта —
«Не зарастетъ народная тропа».

## 9. Смѣхъ.

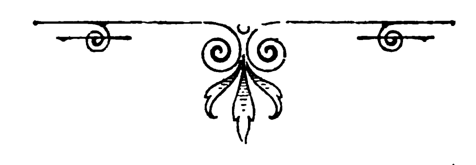
(Къ пятидесятилѣтнему юбилею „Ревизора").

Въ безстрашной дерзости нахально торжествуя,
Гуляли по свѣту порокъ, уродство, грѣхъ—
И вдругъ встревоженно попрятались, почуя
Опаснаго врага: то былъ всесильный смѣхъ.
Не ядовитый смѣхъ слѣпого озлобленья—
Нѣтъ, тотъ, въ чьей глубинѣ бѣжитъ чиста, свѣтла
Струя широкая любви и сожалѣнья
О братьяхъ, гибнущихъ въ оковахъ духа зла.
Какъ божьи вѣстники, спасительныя грозы,
Сметаютъ прочь съ небесъ ряды зловѣщихъ тучъ,
Такъ этотъ чудный смѣхъ, «всѣмъ видимый сквозь слезы,
Никѣмъ незримыя» понесся смѣлъ, могучъ.
И съ этихъ поръ все то, что не страшится кары
Ни божьей ни людской, блѣднѣетъ и дрожитъ,
Когда, неся съ собой смертельные удары,
Вдругъ этотъ мощный смѣхъ побѣдно загремитъ.
Съ нимъ сдѣлокъ никакихъ, не знаетъ онъ пощады.
И смотрятъ на него всѣ эти слуги зла
Съ безсильной злобою, какъ изъ болота гады —
На царственный полетъ богатыря-орла.
Слава смѣху благородному,
Слава храброму воителю,
Прямодушному, свободному,
Тьмы и кривды разрушителю!
Слава творческому генію —
Этой силы воплощенію
Межъ соотчичей своихъ,
Рѣзкимъ «словомъ отрицанія»
Въ царство свѣта, мира, знанія
Призывающему ихъ!

## 10. Я боролся.

Я боролся — видитъ Богъ,
Я боролся, сколько могъ...
Все, что было твердой воли,
И энергіи, и силъ —
Все въ борьбу я положилъ.
Но своей проклятой доли
Не сломилъ и на краю
Ожидающей могилы,
Безъ энергіи, безъ силы,
Апатически стою.

И одна лишь мысль во мнѣ
Въ эти тяжкія мгновенья
Свѣтитъ свѣтомъ утѣшенья
Въ мрачной сердца глубинѣ:
Мысль, что долгу моему
Свято преданный, покорный,
Я измѣнникомъ ему
Не былъ въ трусости позорной;
Что я выпилъ всю свою
Чашу горькую до краю,
И, какъ жилъ всегда въ бою,
Такъ въ бою и умираю...



**Андрей Осиповичъ Новодворскій.**

(1853 — 1882).

## Эпизодъ изъ жизни ни павы ни вороны.

(Въ сокращеніи).

Прежде всего—нѣсколько словъ о моихъ предкахъ: я увѣренъ, что вы, «прекрасная читательница», имѣете объ нихъ самыя сбивчивыя понятія.

Мой дѣдушка—«духъ отрицанья, духъ сомнѣнья» или, просто, «Демонъ»—умеръ естественною смертью, у себя въ постели, соскучившись, вѣроятно, летаньемъ безъ толку надъ вершинами Кавказа и нелѣпымъ препровожденіемъ времени — побѣждать сердца прекрасныхъ дамъ... Бѣдный дѣдушка! Онъ, въ сущности, былъ чрезвычайно добръ. Его «отрицанья и сомнѣнья» потому только казались ужасными нашей покойной бабушкѣ, что она, съ непривычки, склонна была видѣть величайшіе ужасы во всякомъ сомнѣньи; а между тѣмъ дѣдушка не отрицалъ и не сомнѣвался даже въ крѣпостномъ правѣ.

Доброе старое время! Вы, конечно, его не помните. Ваша добрѣйшая бабушка была тогда еще очень молодою дѣвушкой, воспитывалась въ институтѣ, мечтала о конногвардейцахъ, съ «огнемъ ва глазахъ и думой на челѣ», и проливала слезы надъ извѣстной поэмой Лермонтова, гдѣ разсказывалось о моемъ дѣдушкѣ, тщательно прятала книжку отъ «возлюбленной maman», а на ночь помѣщала ее подъ подушку... Какіе сны ей снились! Сколько сладостныхъ грезъ, волнующихъ, подзадаривающихъ, уносящихъ воображеніе далеко - далеко, за вершины Кавказа, подъ облака, гдѣ въ безпорядочной массѣ смѣшивались огненные глаза, шелковистые усы, блестящіе эполеты, цѣлыя идиллическія картины жизни, исполненной любви—все, что могло вырасти въ душной, сжатой атмосферѣ института и жизни на алчущей воздуха и свободы душѣ!

Тогда Аѳанасій Ивановичъ, какъ вамъ извѣстно, былъ еще молодцомъ, носилъ бѣлый жилетъ и только что похитилъ Пульхерію Ивановну.

Все это прошло. Ваша бабушка вышла замужъ за вашего уважаемаго дѣдушку и сдѣлалась примѣрной хозяйкой. Многіе еще до сихъ поръ помнятъ ея безподобныя наливки, маринованные грибки, безподобныя варенья. Вамъ ужъ не сдѣлать такихъ... Вы помните, какъ она угощала

гостей на балконѣ, что выходилъ въ большой тѣнистый садъ? Ваша матушка сидѣла за самоваромъ, гости весело бесѣдовали, а вы, наскучивъ играть съ подругами, пріютились въ уголкѣ.

Славный былъ вечеръ. Солнце садилось, жаръ свалилъ; дышалось легко и свободно; въ пахучемъ воздухѣ носились майскіе жуки; вдали раздавалось блеяніе деревенскаго стада и мелодическое кваканье лягушекъ. Ваша бабушка тихонько отошла въ сторону, сѣла въ густой тѣни и долго-долго глядѣла на медленно потухавшую зорю; а вы вдругъ подбѣжали къ ней, взяли ея руку и спросили съ трогательнымъ участіемъ:

— О цомъ ты, бабуска, плацесь?

Мой дѣдушка тогда умиралъ.

У его постели собрались мы всѣ: отецъ-Печоринъ, я, мои братья: Рудинъ и Базаровъ. Я прекрасно помню эту минуту. У двери почтительно вытянулся крѣпостной лакей, во фракѣ и бѣлыхъ перчаткахъ; у изголовья сидѣлъ отецъ, холодный и безстрастный, словно происходившее вовсе не къ нему относилось; мы, ребята, стояли. Базаровъ былъ угрюмъ и недоволенъ. Онъ, кажется, ругался про себя, что «заставляютъ торчать тутъ и слушать всякую чепуху отцовъ». Рудинъ навзрыдъ рыдалъ, а я испытывалъ нѣчто неопредѣленное: то зареву во все горло, то вдругъ затихну и употребляю усилія, чтобы не расхохотаться; то тоска какая-то найдетъ, то безпричинная злость разбирать станетъ — и все это въ одну и ту же минуту.

Васъ, «прекрасная читательница», можетъ-быть, удивляетъ, что мы не назывались одною фамиліей? Это, конечно, вина біографовъ, окрестившихъ одного такъ, а другихъ иначе; но надобно сознаться, что избѣжать этого разъединенія было довольно трудно: одна фамилія неизбѣжно привела бы къ нѣкоторой сбивчивости; да притомъ, благодаря извѣстной вѣтрености батюшки, мы, т.-е. я и братья, произошли отъ разныхъ матерей, чѣмъ, можетъ статься, и объясняется нѣкоторое несходство нашихъ характеровъ.

Въ комнатѣ, кромѣ упомянутыхъ лицъ, никого не было. Не было Онѣгина, потому что онъ—вовсе не братъ отца, какъ утверждали нѣкоторые, а только далекій родственникъ, десятая вода на киселѣ; отсутствовалъ также Обломовъ по той простой причинѣ, что онъ—сынъ Онѣгина, а не Печорина. Заявляю это торжественно въ виду возникшихъ было недоразумѣній и выдумокъ.

Старикъ вовсе не походилъ на обыкновенныхъ умирающихъ; онъ какъ будто по своей волѣ, по принципу умиралъ. Лицо, правда, было очень блѣдно и исхудало, но глаза (какъ разъ такіе же, какъ и у отца) свѣтились ровнымъ блескомъ, голосъ былъ твердъ и спокоенъ, только тише обыкновеннаго. Онъ долго молчалъ, какъ бы желая дать Рудину время выплакаться. Ждать пришлось недолго. Рудинъ вдругъ пересталъ хныкать, скрестилъ на груди дѣтскія ручонки, опустилъ на грудь свою красивую кудрявую головку и печально уставилъ на дѣда глаза, полные необыкновенной нѣжности. Въ комнатѣ сдѣлалось тихо. Отчетливо постукивалъ часовой маятникъ («глаголъ временъ, металла звонъ», помню, вертѣлось у меня въ головѣ); также неподвижно стоялъ лакей у двери, также безстрастно сидѣлъ отецъ.

Дѣдъ откашлялся, улыбнулся и началъ тихимъ голосомъ, ясно отчеканивая каждое слово:

— Ну, ребята, вы видите, что мнѣ пора ad patres... Я, конечно, могъ бы это устроить и безъ всякихъ церемоній, не заставляя васъ скучать здѣсь, но мнѣ хочется сказать вамъ нѣсколько словъ на прощанье... Не хнычь, малый!—обратился онъ къ Рудину:—нечего плакать при финалѣ комедіи!...

Онъ засмѣялся какимъ-то глухимъ, короткимъ смѣхомъ, отъ котораго я вздрогнулъ, словно изъ-за могилы хохотъ раздавался. Съ нашей стороны—ни звука ни движенія; даже Базаровъ пересталъ ворчать подъ носъ и съ любопытствомъ прислушивался.

— Да, это была комедія, довольно плохая комедія! — продолжалъ Демонъ. — Я имѣю полное право сказать... Чьими-бишь словами? Ну, все равно! Память, что-то плоха стала... Что-то въ родѣ слѣдующаго:

„Ахъ, какъ я жилъ, какъ шибко жилъ!
Могу сказать—двѣ жизни прожилъ!
Жизнь, такъ сказать, на жизнь помножилъ
И нуль въ итогѣ получилъ“...

Дѣдъ довольно живо продекламировалъ этотъ теперь общеизвѣстный отрывокъ (интересно знать: онъ сочиненъ до или

послѣ смерти дѣдушки?) и снова захохоталъ замогильнымъ голосомъ.

— Вы, мальцы, — обратился къ намъ умирающій,—едва ли много смекаете въ томъ, что я говорю, но все равно — слушайте: послѣ пригодится... Да!.. Всякія тамъ дамы доставляли мнѣ только мимолетное наслажденіе, и вся моя жизнь— безконечная скука... Скука—это пустота. За тобою—пустота, передъ тобою—пустота, кругомъ — пустота! Это совсѣмъ чортъ знаетъ что!.. И знаете, отчего вышелъ такой скандальный итогъ жизни? (Дѣдъ воодушевился и привсталъ на постели). Оттого, что я потерялъ свой raison d'être!

Ему словно трудно было выговорить это слово; онъ снова упалъ на подушку и продолжалъ уже спокойнѣе:

— Что такое я?..

— «Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья!» — восторженно продекламировалъ Рудинъ.— Ты, дѣдушка,—сила!

Старикъ серьезно взглянулъ на мальчика, отецъ какъ-то печально улыбнулся, а Базаровъ проворчалъ: «дуракъ!»

— «Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья»,— медленно повторилъ умирающій:—а что же я отрицалъ? Я *все* отрицалъ, т.-е., говоря другими словами, *ничего* не отрицалъ, а такъ, интересничалъ, баловался... И не признавалъ, впрочемъ, ничего. Это было просто полнѣйшее равнодушіе ко всему на свѣтѣ... (Дѣдъ зѣвнулъ).—О, если бъ я могъ отрицать, т.-е. со смысломъ отрицать! Если бъ я зналъ, что отрицать!.. Ты, сынъ мой,— Печоринъ повернулъ къ нему голову,—ты находишься въ болѣе счастливыхъ условіяхъ. Въ тебѣ больше мускуловъ, крови; ты не можешь летать, какъ я въ дни юности; ты, по необходимости, прикованъ къ человѣческому обществу, предметъ твоихъ отрицаній и сомненій опредѣленнѣе... Но ты пошелъ по ложной дорогѣ, и я хочу тебя предостеречь: затѣмъ и призналіе это затѣялъ... Посмотри на своихъ пострѣлятъ: это—живой укоръ твоей легкомысленности... Передай имъ, по край-ней мѣ-рѣ... Уй-ди въ пусты-ню...

Дѣдъ умеръ.

Рудинъ бросился къ трупу, припалъ къ исхудалой, еще теплой рукѣ и сталъ бормотать какую-то чепуху. Можно было разобрать:

— Бѣдный, благородный духъ! Никѣмъ непризнанный и одинокій... Я возьму... на себя твою задачу...

Бѣдный мальчикъ не зналъ, къ чему приведетъ его эта задача; не зналъ также, что никакой задачи у Демона не было, а было только извѣстное нравственное настроеніе, доставшееся и намъ въ наслѣдство. Изъ этого настроенія каждый изъ насъ построилъ для себя тѣ или другія задачи, смотря по личнымъ силамъ и сообразно окружавшимъ обстоятельствамъ.

Базаровъ сталъ разжимать палецъ у трупа, съ цѣлью изслѣдовать, насколько въ немъ сохранилась упругость; я стоялъ неподвижно, совсѣмъ растерявшись отъ множества самыхъ разнородныхъ чувствъ и мыслей. Отецъ посмотрѣлъ нѣсколько секундъ на покойника, потомъ круто повернулся и вышелъ изъ комнаты, замѣтивши мимоходомъ лакею:

— Убери.

Лакей взвалилъ себѣ на плечи легкое тѣло дѣдушки и унесъ его къ мосту, что на рѣчкѣ Летѣ, откуда и бросилъ въ воду бренные останки когда-то мощнаго духа... Sic transit gloria mundi.

Дѣдъ скончался въ с. Небываловкѣ, въ имѣніи Печорина (скоро, впрочемъ, оно было продано за долги), послѣ дуэли отца съ злополучнымъ Грушницкимъ, послѣ романа съ княжною Мэри. Поговаривали въ нашемъ околоткѣ, что княжна—моя мать, что очень вѣроятно, хотя въ біографіи отца, какъ вы знаете, объ этомъ ни слова не упоминается.

Не знаю, почувствовалъ ли потерю Печоринъ, или нѣтъ—по лицу ничего нельзя было разобрать—но черезъ нѣсколько дней послѣ смерти Демона онъ приказалъ запрячь лошадей, уложить вещи и объявилъ намъ, что уѣзжаетъ навсегда, объявилъ въ ту минуту, когда уже надо было садиться въ экипажъ.

— Куда ты, батя? — спросилъ Рудинъ голосомъ, полнымъ слезъ.

Печоринъ, сидя въ повозкѣ, неопредѣленно какъ-то махнулъ рукою. Кучеръ сталъ подбирать вожжи.

— Да говори толкомъ, куда?—подскочилъ къ отцу Базаровъ.

— Въ пустыню!—послышалось намъ за грохотомъ колесъ.

Мы, какъ говорится, остолбенѣли.

— Если человѣку нечего дѣлать въ Европѣ, то онъ поступаетъ очень умно, отправляясь въ Азію.

Базаровъ проговорилъ про себя эту фразу и спокойно пошелъ въ комнату. За нимъ послѣдовалъ Рудинъ съ инстинктивною торопливостью слабаго человѣка, покорно слѣдующаго за сознающей себя силой. Я остался на мѣстѣ, глядя на далекій холмъ, за которымъ скрылся экипажъ отца. Въ головѣ у меня начало мутиться, къ горлу подступили рыданія, но заплакать я все-таки не могъ; наконецъ въ глазахъ потемнѣло—и я упалъ безъ чувствъ.

Я очнулся, послѣ двухнедѣльной горячки, въ чужой семьѣ. Братьевъ со мною не было. Ихъ отвезли тоже къ названнымъ отцамъ и матерямъ. Дальнѣйшая исторія того и другого вамъ извѣстна изъ превосходныхъ біографій, написанныхъ г. Тургеневымъ.

---

Дождь, слякоть, словно снова начало марта вернулось... Тоска смертная; уроки шли вяло... Да! Вы, «прекрасная читательница», конечно, зададите мнѣ вопросъ: почему я называю себя домашнимъ учителемъ, когда вовсе не намѣренъ говорить о своей педагогической дѣятельности?— Очень просто: потому, что я — дѣйствительно домашній учитель. Ни пава ни ворона—домашній учитель—такое же опредѣленное выраженіе, какъ, напримѣръ, «читатель»; только слово «читатель» обнимаетъ собою болѣе или менѣе всего человѣка, тогда какъ «учитель», въ примѣненіи къ ни павѣ ни воронѣ, есть только извѣстный моментъ, точка поворота. Тогда ни пава ни ворона или отдыхаетъ послѣ какой-нибудь «исторіи», или приготовляется къ ней, или просто, какъ, напримѣръ, я, приводитъ себя къ одному знаменателю.

---

Грязь, сѣрое небо, кислятина какая-то... Цѣлый день прохандрилъ. До обѣда, по обыкновенію, занимался уроками. Мальчуганъ, какъ на зло, учился отвратительно. Ни за что не могу добиться, чтобъ онъ держалъ тетрадь по-человѣчески. И, главное, совсѣмъ вѣдь неудобно: туловище гнется въ три погибели, буквы лежатъ, словно спать захотѣли... Мамаша тоже лимономъ выглядѣла сегодня... А она положительно недурна: пухленькая, маленькая блондинка... Гмъ, «блондинка,—это масло»... Кто, бишь, это сказалъ?.. Эхъ, выпить бы, что ли! Въ воспоминанія, въ воспоминанія!

---

Это было въ Балаклавѣ. Я находился въ періодѣ скандала... Я думаю, мнѣ ненужно много распространяться объ этомъ скандалѣ, чтобы сдѣлать его понятнымъ для васъ, «прекрасная читательница»: вѣдь и съ вами тоже случился скандалъ... Такъ ужъ, для разнообразія — лучше объ васъ.

Вы тогда—помните? — только-что окончили институтъ, распрощались со слезами на глазахъ съ обожаемою maman, не менѣе обожаемыми подругами, съ нѣжно-любимыми классными дамами—Богъ съ ними! Онѣ бывали, по временамъ, немножко злы, немножко «пронзительны», но кто будетъ вспоминать объ этомъ въ торжественный «разлуки часъ»!—Обѣщали никогда не забывать ихъ, писать очень, очень часто— и пріѣхали домой, въ деревню, гдѣ васъ встрѣтили счастливые, торжествующіе родители, устроившіе по этому случаю балъ...

Ахъ, какое это было время!..

Лѣто стояло прекрасное. Къ вамъ пріѣхала погостить подруга. Вы читали романы, ходили гулять въ лѣсъ, ѣздили верхомъ, катались въ лодкѣ, въ сопровожденіи сосѣдей-помѣщиковъ и молодыхъ людей, что изъ города пріѣзжали — прекраснаго народа, въ перчаткахъ и безъ оныхъ, съ консервативными и либеральными убѣжденіями, но вообще такъ же невинно-чистою душою, какъ были вы и ваша уважаемая подруга. И все кругомъ гармонировало съ этой невинностію и чистотой. Воды пруда были такъ прозрачны, такъ благоухали цвѣты въ саду, такъ беззаботно пѣли птички... Сколько было смѣху, споровъ!

Въ теплую душистую ночь, когда звѣзды задумчиво теплились на темномъ небѣ, а луна то выглядывала изъ-за облачка, то снова пряталась въ него, какъ бы сконфуженная поэтами прежнихъ дней и мечтающими барышнями, вы, въ легкихъ, воздушныхъ платьяхъ, обнявшись съ подругою дѣтства, тихо скользили по усыпаннымъ дорожкамъ сада и жарко разговаривали. Ваши прекрасныя лица, освѣщенныя серебрянымъ свѣтомъ луны, были торжественно спокойны, и только расширенные, потемнѣвшіе глаза свидѣтельствовали о внутреннемъ возбужденіи. Вы бесѣдовали и мечтали вслухъ о будущемъ, о счастьи, строили планы жизни, въ которыхъ нѣсколько не сходились съ подругою: она больше уважала блондиновъ. вы—

брюнетовъ... Да, блондиновъ и брюнетовъ, почему бы не такъ? Во-первыхъ, глядя на жизнь съ этой точки зрѣнія, вы это дѣлали не серьезно, а такъ, больше изъ снисхожденія къ подругѣ (она то же самое думала относительно васъ); во-вторыхъ, если отбросить частности, то что такое, собственно говоря, жизнь, какъ не прогулка рука объ руку съ избраннымъ сердца къ нѣкоторой туманной и неопредѣленной цѣли—въ родѣ «истины, добра, красоты»—прогулка съ пріятными остановками для отдыха, болѣе и болѣе частыми, при чемъ подъ рукою всегда имѣется услужливый лакей, чтобы поставить стулья, между тѣмъ какъ волосы ваши начнутъ серебриться, силы слабѣть, а вокругъ появится румяное потомство, которое сначала пойдетъ съ вами рядомъ, а потомъ закроетъ вамъ глаза въ одномъ прекрасномъ мѣстѣ и будетъ продолжать то же шествіе дальше?.. Право—отчего не сказать правды?—Это было очень мило... И зачѣмъ вспоминать Аѳанасія Ивановича и Пульхерію Ивановну? Развѣ все это исключаетъ возможность труда, болѣе широкихъ, даже либеральныхъ воззрѣній? Развѣ, если бы Аѳанасій Ивановичъ получилъ другое воспитаніе...

Ахъ, какое это было время!..

Гуляли вы такимъ образомъ съ подругою, спорили ли вы и хохотали ли съ молодежью, взгрустнулось ли вамъ и вы садились за фортепіано, изъ-подъ вашихъ нѣжныхъ пальцевъ вылетали печальныя, стонавшія нотки, а на глазахъ появлялись непрошенныя слезы, Богъ вѣсть о чемъ,—вы всегда были вполнѣ безопасны: вы знали, что надъ вами распростерты заботливыя руки нѣжныхъ родителей, составляющія границу—отъ сихъ до сихъ—вашимъ шалостямъ и печалямъ, чтобы со временемъ уступить свое мѣсто другимъ рукамъ, которыя и оберегали бы васъ до гробовой доски...

И что же? Какъ только сталъ желтѣть листъ на деревѣ, только что послышалось первое дуновеніе осени, вы почувствовали, что съ вами происходитъ скандалъ... Это былъ скандалъ такого же типа, какъ тотъ, что вышелъ со мною.

Вы стали тосковать, задумываться по цѣлымъ часамъ, сдѣлались раздражительны... Помните, какъ разъ утромъ вы разбили вдребезги клѣтку, что висѣла надъ окномъ въ столовой? Бѣдная клѣтка! Ярко раскрашенная, съ ваточными гнѣздами по угламъ и крышкою, въ видѣ колпака, что придавало ей уморительно-веселый видъ.

Черезъ мѣсяцъ вы были въ Петербургѣ.

Вы разбили клѣтку, потому что сравнивали съ нею окружавшую васъ обстановку, хотя васъ никто и не думалъ задерживать насильно. Поплакали, правда, родители, но все-таки благословили васъ въ путь. Да и какъ было имъ не плакать? Какъ любили они васъ, «прекрасную читательницу!» И кто знаетъ будущее? Кто можетъ сказать, во что вы превратитесь черезъ нѣсколько лѣтъ въ дальней сторонѣ: въ паву ли и въ какую паву? или въ ни паву ни ворону—и тогда опять въ какую?

Вы поступили на медицинскіе курсы, а я отправился, какъ говорится, куда глаза глядятъ, и очутился такимъ манеромъ въ Крыму.

---

Итакъ—въ Балаклавѣ. Я нанялъ небольшую комнату, рядомъ съ переполненной жильцами кухней, у одного грека, но домой приходилъ только ночевать, всѣ же дни проводилъ на берегу моря, т.-е. не то, чтобы на берегу: берегъ у Балаклавы очень высокъ, не слышно даже плеска, ежели камнемъ бросить въ воду... Такъ тамъ, на крутой горѣ, возлѣ развалинъ прежнихъ укрѣпленій, сиживалъ я, «думъ великихъ полнъ», въ виду необходимости перейти Рубиконъ и сжечь свои корабли...

Дѣло было весною. Свѣжая трава, еще не успѣвшая пожелтѣть, покрывала зеленью склоны холмовъ; море, какъ всегда, море—великолѣпно. Въ ясный солнечный день оно украшается чудными переливами цвѣтовъ, улыбается, какъ будто заигрываетъ съ берегомъ, лижетъ его утесы, словно цѣлуя, и беззаботно предается созерцанію голубого неба, отражая его въ своей величественной глубинѣ. Какой-то лаской, добротой вѣетъ отъ него. Съ одинаковою привѣтливостью освѣжаетъ и моетъ оно и богатыря идеи, и мытаря, и проститутку... А то, затуманится небо, по горамъ, совсѣмъ низко, ползутъ тучи, вѣтеръ усилится—гнѣвно тогда море. Глухо волнуется оно, со сдержаннымъ, страстнымъ гуломъ атакуетъ утесы и со стономъ отступаетъ, разбиваясь о скалы и оставляя на нихъ безсильную пѣну. Страшно тогда подходить къ нему: оно можетъ хладно-

кровно схватить даже невиннаго младенца и разбить его о камень.

Старый дуракъ!—обращался я тогда къ морю съ рѣчью: — и охота тебѣ кипятиться, бушевать зря и превращаться въ чудовище только изъ-за того, что легкомысленнымъ облакамъ угодно скопиться въ тучу и низко повиснуть надъ тобою! Вѣдь эти облака и тучи—твое же созданіе! Не понимаешь ты этого, или силы въ тебѣ нѣтъ? Нѣтъ силы, бѣдное! Ты можешь ломать скалы, но не имѣешь ни малѣйшей власти надъ самымъ маленькимъ облачкомъ. Ты ихъ рождаешь, но не ты распредѣляешь ихъ по голубому небу!..

Уже изъ этой рѣчи, «прекрасная читательница», вы можете заключить, что я былъ не столько логиченъ, сколько великолѣпенъ. Чего-чего не передумалъ я, не пережилъ въ это время! Такъ же, какъ море, глухо клокотало у меня въ груди, такъ же жутко-неопредѣленно было на сердцѣ. По временамъ все это смѣнялось какимъ-то замираніемъ, словно я хотѣлъ броситься съ этой громадной высоты туда, въ море...

Да, я былъ великолѣпенъ.

Но не всегда это было кисло-сентиментальное великолѣпіе. По временамъ, на меня находило такое обиліе энергіи, вѣры, силы нравственной и физической, что мнѣ казалось, я могъ бы опрокинуть весь міръ... Я порывисто вскакивалъ и швырялъ камни, по крайней мѣрѣ, въ полпуда вѣсомъ... Какіе дикіе мощные звуки импровизированной пѣсни вылетали тогда изъ моей груди!..

Если еще принять во вниманіе, что я обладаю очень интересною наружностью, то нѣтъ ничего удивительнаго, что *она* онѣмѣла отъ восторга, увидѣвши меня въ подобную минуту...

---

Она была не одна. Не успѣлъ я сконфузиться и поздороваться, какъ къ намъ подошла цѣлая компанія кавалеровъ и дамъ, весело смѣясь и добродушно подшучивая надъ моими геркулесовскими упражненіями. Я очень обрадовался встрѣчѣ со старыми знакомыми. Одинокая, экзальтированная жизнь сильно утомила меня за послѣдніе дни, а отправиться самому куда-нибудь въ человѣческое общество мнѣ почему-то и въ голову не приходило.

Тамъ былъ N., учитель исторіи въ одной изъ нашихъ гимназій, Р., мужъ *ея*, съ сестрою, и нѣсколько незнакомыхъ лицъ обоего пола.

Представленія, взаимные разспросы и разсужденія на тему: гора съ горою не сойдется, а человѣкъ съ человѣкомъ можетъ завсегда. Они пріѣхали ins Grüne, поблагодушествовать; Р.—больше для ученыхъ изслѣдованій (онъ — натуралистъ). Остановились въ Севастополѣ. Ни однѣ развалины въ мірѣ не производятъ такого грандіознаго впечатлѣнія. А стотысячное кладбище! Жаль, что по Сѣверной извозчиковъ нѣтъ; пока дойдешь до церкви—самъ не свой отъ усталости. Я тоже пріѣхалъ *такъ*. Крымъ — прелесть. А дорога изъ Бахчисарая! Никогда не надобно забывать также потребностей плоти: духъ бодръ, сколько угодно восхищаться можетъ, а плоть безъ подкрѣпленія не дѣйствуетъ. Не переѣду ли я съ ними въ Севастополь? О, конечно.

То былъ чрезвычайно пріятный кружокъ. Уютно какъ-то и тепло чувствовалось въ немъ, по крайней мѣрѣ, на первыхъ порахъ.

Р. — маленькій бѣлокурый человѣкъ, лѣтъ 30-ти, съ небольшою темною бородкой, нѣжнымъ, какъ у барышни, цвѣтомъ кожи, кроткими голубыми глазами и ласковой улыбкой на миловидномъ лицѣ. Онъ былъ, такъ сказать, сама «цивилизація», мягкими, ласкающими лучами освѣщавшая наше маленькое избранное общество. Говорилъ онъ нѣсколько слабымъ, но очень чистымъ и пріятнымъ tenore, и говорилъ такъ умно и задушевно, что, слушая его, невольно начинаешь оглядываться по сторонамъ и задаешь себѣ вопросъ: «что же это чаю не даютъ?» Такія рѣчи особенно хорошо гармонируютъ съ напѣвами самовара, когда за столомъ, накрытымъ чистою скатертью, усядется компанія хорошихъ знакомыхъ, а хозяйка, въ простомъ, но изящномъ платьѣ — вся привѣтливость и грація—разливаетъ чай... Онъ занимался спеціально ботаникой и постоянно возился съ микроскопомъ.

N.—брюнетъ средняго роста, съ длинными, гладко причесанными назадъ волосами и умнымъ энергическимъ выраженіемъ, лица. Худощавъ, безъ бороды и усовъ, но съ чрезвычайно трезвыми воззрѣніями и громаднымъ трудолюбіемъ. По-

силъ фуражку съ кокардой и «сердце имѣлъ на лѣвой, либеральной сторонѣ». Пѣлъ рѣзко, говорилъ много и хорошо. Рѣчь напоминала обѣдъ.

Впрочемъ, ни его рѣчей ни нашихъ разговоровъ вообще я приводить не буду, не потому, чтобъ у меня были отъ васъ тайны, «прекрасная читательница» — о, напротивъ! мнѣ такъ хочется раскрыть предъ вами всю свою душу, что, если бы не врожденное чувство правдивости, то я наговорилъ бы даже много такого, чего вовсе не было, а просто потому, что эти разговоры были убійственно-либеральны, а слѣдовательно, и убійственно скучны.

Но душою нашего кружка была все-таки *она*, Доминика Павловна, разливавшая чай и предсѣдательствовавшая за обѣдомъ. Всѣ невольно подчинялись обаятельному вліянію этого прелестнаго лица. Хотя она почти никогда не участвовала въ нашихъ спорахъ, но намъ какъ-то особенно пріятно было переливать изъ пустого въ порожнее именно въ ея присутствіи, словно мы затѣмъ и спорили, затѣмъ только и переливали, чтобы заслужить благосклонный взглядъ ея большихъ черныхъ, какъ уголь, чарующихъ глазъ, чтобы вызвать сочувственную улыбку на эти восхитительнѣйшія губки. Подъ вліяніемъ этихъ глазъ, подъ вліяніемъ кроткихъ напѣвовъ «цивилизаціи», мы какъ-то размякали, расплывались, чувствовали себя такими развитыми, добрыми, дѣятельными, полезными. Въ ея присутствіи мысль человѣка (по крайней мѣрѣ, молодого человѣка) никогда не суживалась, не опускалась, а держалась, такъ сказать, на высотѣ обоихъ полушарій...

А какъ же она-то себя чувствовала? Была ли она счастлива? Увы! То не черныя тучи скопились на душѣ чиновника, обойденнаго наградой, то не звѣзды блестѣли на груди благосклоннаго начальства — то омрачалось ея прекрасное чело, то сверкали, какъ двѣ жемчужины, слезы на ея божественныхъ глазахъ... И никто, повидимому, кромѣ меня, этого не замѣтилъ. Бѣдная женщина очень страдала...

---

Мы ѣхали верхомъ. N. рядомъ съ m-lle P. (ея братъ остался дома); я—впереди, рядомъ съ *нею*. Въ этотъ разъ она была особенно печальна и сосредоточенно молчала; вдругъ лошадь ея поднялась слегка на дыбы и затѣмъ помчалась во всю прыть...

Позвольте мнѣ сдѣлать маленькій пропускъ, «прекрасная читательница»: вы вѣдь знаете, что я поскакалъ вслѣдъ за своей дамой, что мы неслись такъ, сломя голову, черезъ рвы и камни, пока не очутились въ укромномъ уголкѣ, со всѣхъ сторонъ закрытомъ отъ любопытныхъ глазъ вообще, а отъ глазъ отставшей пары въ особенности, такъ какъ до нашего убѣжища можно было добраться только въ объѣздъ, а слѣдовать за нами они, плохіе наѣздники, не могли, да притомъ этотъ случай былъ и имъ какъ нельзя болѣе на руку... Вы знаете также, что между нами должно было произойти «объясненіе».

Но какое это было объясненіе! «О, моя юность! О, моя глупость»...

Наши лошади стояли привязанными къ кустарнику. Мы сидѣли у гладкой скалы, на зеленой травѣ, пестрѣвшей цвѣтами. Воздухъ былъ тихъ и ароматиченъ; заходящее солнце багровыми огнями зажгло облака и весело играло на скалахъ; вдали виднѣлись голубыя горы. Все кругомъ дышало весной, любовью...

Она склонилась ко мнѣ на грудь и тихонько всхлипывала... Она не можетъ жить *такъ;* она мечтала о дѣятельности, о самоотверженіи и рѣшилась посвятить себя человѣку, казавшемуся ей великимъ; она ошиблась... Т.-е. *онъ*, конечно, прекрасный, добрый, благородный... но она ему не нужна... а *онъ* такъ привѣтливъ, предупредителенъ къ ней... Ей *это* не по силамъ; она пойдетъ за мною...

Тихое, мелодическое жужжаніе, прерываемое слезами и ласками.

Я нѣжно поддерживалъ ее, не прерывалъ, далъ выплакаться въ волю. Наконецъ она успокоилась, выпрямилась и проговорила, улыбаясь *юмористически*, т.-е. сквозь слезы:

— Не правда ли, какая я слабая, негодная?.. О, отчего у меня нѣтъ *твоей* силы!.. Но вѣдь ты — скала! — прибавила она черезъ минуту.

Какъ она на меня посмотрѣла!..

Во всякомъ случаѣ «скала» почувствовала себя весьма тоскливо...

Если до этой минуты я еще сомнѣвался сколько-нибудь въ существованіи струнъ въ сердцѣ артистическаго вѣнца творенія, то теперь всякія сомнѣнія исчезли такъ же

мгновенно, какъ туманъ съ лица печальнаго «человѣка», получившаго гривенникъ на водку: всѣмъ существомъ своимъ ощутилъ я ихъ дрожаніе-взвизгиваніе, нѣжное piano и бурное fortissimo. Это былъ цѣлый оркестръ, цѣлый концертъ.

Начало, помню, кроткое, мечтательное контральто.

Жаркій полдень. Кругомъ и душно и пыльно, но у меня въ саду, въ каштановой аллеѣ, какъ въ раю: и прохладно, и свѣжо, и пахуче. Я иду подъ руку съ *нею*. На ней бѣлый, какъ снѣгъ, сарафанъ, съ открытой шеей и широкими рукавами, такъ что руки по локоть обнажены. Передъ нами бѣжитъ прелестный ребенокъ, бѣлокурый, въ накрахмаленной широкой юбочкѣ, панталончикахъ, съ тюлевыми крылышками за плечами... амурчикъ во всѣхъ статьяхъ! Сзади стоитъ старушка-няня и держитъ какія-то необходимыя принадлежности домашняго обихода; горничная прошмыгнула черезъ лужайку и начала разставлять на самомъ видномъ мѣстѣ тоже необходимые въ домашнемъ обиходѣ сосуды... Снова дѣти, снова сосуды—чортъ знаетъ что! Я отворачиваюсь отъ этого зрѣлища, смотрю на *нее* и самъ чувствую, что взглядъ мой напоминаетъ оловянныя пуговицы. *Ей* душно. Она наклонила прекрасную, чуть-чуть вспотѣвшую головку на бокъ, полураскрыла ротикъ и, напротивъ того, полузакрыла глазки, что, однако, не мѣшало присутствію на ея очаровательномъ лбу, надъ бровями, той складки, гдѣ, по увѣренію г. Гончарова, сидитъ мысль. Мнѣ показалось, что эта складка и эта мысль обнаруживаютъ тревогу.

— Что съ тобою, ангелъ мой?—тревожусь я, въ свою очередь:—если эти сосуды...

— Ахъ, нѣтъ!.. она растягиваетъ слова, какъ бы засыпая.

— А что же? Можетъ быть, хочешь кофейку или ветчины?

Я, конечно, говорю глупости: когда дѣло касается кофейку или ветчинки, то скорѣе она можетъ предлагать ихъ мнѣ, чѣмъ наоборотъ; но она такъ поглощена мыслями, что и не замѣчаетъ этого нарушенія своихъ естественныхъ правъ.

— Мнѣ пришло въ голову, что ты... ужасный филистеръ!

Это меня нисколько не смущаетъ, словно этого и слѣдовало ожидать, и нѣсколько фальшивой фистулой я произношу рѣчь, тоже растягивая слова и трепля *ее* по рукѣ.

— Другъ мой! ты ошибаешься... Это, конечно, не бѣда: человѣку свойственно заблуждаться, но не давай злымъ языкамъ выводить неправильныя заключенія о нашемъ счастьѣ, потому что нравственность и безъ того падаетъ кругомъ насъ... Положимъ, публика не признаетъ законности нашего союза, и мы принуждены были ограничиться обществомъ другъ друга, но это уединеніе укрѣпило насъ, а не ослабило. Я не только пріобрѣлъ счастье, не только сдѣлалъ тебя счастливою, но не пожертвовалъ за это ни одной копейки изъ своего душевнаго капитала: я вполнѣ сохранился и далеко не филистеръ. Если же мои глаза напоминаютъ оловянныя пуговицы, то, спрашиваю тебя: чѣмъ олово хуже всякаго другого металла, висмута тамъ, что ли? Это—самый кроткій металлъ! Блеститъ ли онъ, въ видѣ пряжки, на башмакѣ, въ видѣ пуговицы на панталонахъ, или глядитъ изъ-подъ бровей человѣка—онъ всегда внушаетъ невольное довѣріе; чувствуешь, что человѣкъ весь тутъ, что у него ничего тамъ, за душой, нѣтъ...

Я становлюсь все болѣе и болѣе краснорѣчивымъ и до того увлекаюсь, что и не замѣчаю своего одиночества. Она ушла; сдѣлалось почему-то темно, раздался вдругъ трескъ чего-то разбивающагося, и рѣзкое сопрано, Богъ вѣсть откуда, нѣсколько разъ прокричало: «филистеръ, филистеръ!»...

« А! филистеръ? Такъ вотъ же тебѣ!»

Подъ покровительствомъ сильнаго баса, съ аккомпанементомъ самоотверженнаго tenore dolce, я сразу погружаюсь въ грязь по колѣни и начинаю что-то расчищать, во главѣ цѣлой арміи рабочихъ...

«Филистеръ? Смотри же теперь: видишь эти мозолистыя руки? Видишь, какъ моему голосу повинуются тысячи народа? Да какого народа! Всѣ мрачны и силачи, словно изъ бронзы вылиты, а какъ говорятъ! Хочешь любой изъ нихъ заговоритъ такимъ образцовымъ мужицкимъ нарѣчіемъ, что какую угодно книжку за поясъ заткнетъ?

И я расчищаю, командую, работаю...

Каждая изъ этихъ бронзовыхъ фигуръ обладаетъ бабой, которая не упрекаетъ, а только любитъ его; а я одинокъ... Ничего; мнѣ это, можно сказать, даже незамѣтно: другая идея у меня въ головѣ...

И я все командую, командую; покурю и снова командую...

Къ нимъ приходятъ ихъ жены, съ дѣтьми на рукахъ и ласкою въ любящихъ глазахъ. По этимъ суровымъ лицамъ пробѣгаетъ какая-то теплая, задушевная игра, какъ бы отъ освѣщенія изнутри; а я все одинокъ, и нѣтъ никому до меня дѣла...

О, приди, покажись, желанная! Хоть одинъ взглядъ!... не выдерживаю, наконецъ, я и восклицаю такимъ трогательнымъ, даже слезливымъ теноромъ, что стоящая поблизости фигура насмѣшливо рявкаетъ и катитъ низкой октавой:

— Не хнычь, паря, не дури! Ишь, словно баба, размякъ... мякъ... мякъ...

Меня выводитъ изъ непріятнаго положенія начавшійся въ эту минуту стройный, торжественный концертъ, подъ вліяніемъ котораго я начинаю сознавать, что совершенно напрасно протягиваю руки, куда не слѣдуетъ, или откуда не слѣдуетъ: если бы *она* спрыгнула ко мнѣ въ грязь, я, кажется, самъ немедленно ушелъ бы оттуда. Я не могу допустить, чтобъ эти атласныя руки копались во всякой гадости, чтобы на этомъ изящномъ тѣлѣ, вмѣсто элегантнаго платья съ кружевами, появился неуклюжій рабочій передникъ... Нѣтъ, я лучше всю ее изукрашу кружевами, обсыплю розами, приду измученный съ работы и буду приносить ей жертвы... Экая чепуха!..

Такъ какъ, благодаря любезности кавалеровъ, составившихъ спеціально для васъ руководство физики, вы, «прекрасная читательница», знаете, съ какою скоростью колеблются струны, то мнѣ нечего объяснять, что все описанное я перечувствовалъ въ чрезвычайно малое время и именно въ то мгновеніе, когда дальнѣйшее молчаніе могло бы показаться продолжительнымъ и страннымъ моей дамѣ, во мнѣ уже созрѣло ясное понятіе о нашемъ положеніи, и готовъ былъ планъ дѣйствія.

Я взялъ ее руку и произнесъ глубоко прочувствованную рѣчь, примѣрно такого содержанія:

— Другъ мой, я — вовсе не скала; я скорѣе слабъ, чѣмъ силенъ; но во мнѣ есть кое-какой огонекъ, кой-какія желанія и планы, и я хочу ихъ осуществить. Я не имѣю права на личное счастье, хотя бы на счастье съ тобою: я его не заслужилъ... Я долженъ итти, куда ты не можешь слѣдовать за мною; а если бы ты пошла, то это принесло бы только вредъ: меня связывала бы любовь къ тебѣ... Если силы мои окажутся достаточно большими, чтобы вести насъ обоихъ, и если въ твоемъ сердцѣ не угаснетъ любовь ко мнѣ, то я приду и упаду къ твоимъ ногамъ; если же...

Она упала въ обморокъ...

Я старался помочь ей, какъ могъ и умѣлъ; къ счастью, скоро она начала приходить въ себя. Ея обезсиленное, гибкое тѣло лежало у меня на рукахъ; я осыпалъ его поцѣлуями...

Какъ разъ во-время подъѣхали наши отставшіе спутники, тоже, очевидно, сдѣлавшіе привалъ; и, благодаря дружнымъ усиліямъ, больная окончательно оправилась. Ее пожурили за отчаянную скачку, и мы шагомъ вернулись въ городъ.

Часа черезъ два я уѣхалъ изъ Севастополя.

---

Выдался сѣренькій, дождливый денекъ, какіе очень рѣдко бываютъ весною. Я шелъ къ рѣкѣ. Городъ еще дремалъ (это было въ городѣ К.). По пустыннымъ улицамъ то тамъ, то сямъ торопливо шнырялъ лишь рабочій людъ, а я смотрѣлъ на него любящими глазами и переживалъ, можно сказать, тысячу жизней. Я переносился съ каждымъ рабочимъ къ мѣсту его тяжелаго труда, возвращался съ нимъ домой, видѣлъ, какъ онъ, желчный, раздражительный, отпускалъ тумака неумѣвшей угодить женѣ; какъ, испуганные гнѣвомъ отца и слезами матери, робко жались въ углу голодные ребята; какъ онъ, угрюмый и мрачный, сидѣлъ нѣсколько минутъ неподвижно, ни на кого не глядя, ни съ кѣмъ не заговаривая, и мучился угрызеніями совѣсти, а потомъ вдругъ вскакивалъ, схватывалъ шапку и почти бѣгомъ отправлялся въ кабакъ... Для меня не существовало крышъ на домахъ; всѣ они раскрыли предо мною свое нутро, сверху донизу, и презентовали картину мученій, стоновъ, вопля, тупого терпѣнія и нѣмого отчаянія... Безпріютно какъ-то, сѣро и печально смотрѣло все вокругъ.

А безпріютно-то и сиротливо было, собственно, у меня на сердцѣ. Отсырѣвшія на дождливой погодѣ струны звучали такъ печально, какъ рожокъ на похоронахъ солдата, и напѣвали образы, не имѣвшіе никакой точки опоры въ дѣйствительности.

На самомъ дѣлѣ, дома выглядѣли не только не печально, но, напротивъ, были до того приличны, что и не согласились бы обнаружить свое нутро въ такую раннюю пору, когда столько непорочныхъ дѣвицъ и цѣломудренныхъ супруговъ, невинныхъ младенцевъ и почтенныхъ старцевъ предавались безмятежному отдыху, видѣли сны, и когда, вслѣдствіе этого, тамъ царствовалъ нѣкоторый безпорядокъ..

Все это я зналъ, но не хотѣлъ дать себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ. Я былъ наполненъ любовью—и довольно... О «прекрасная читательница!» какъ любилъ я *ее*, Доминику Павловну! Сколько уловокъ пускалъ я въ ходъ, чтобъ убѣдить себя въ правѣ обладать ею, въ правѣ на наслажденіе!

Нѣсколько послѣднихъ дней я провелъ въ лѣсу, старомъ сосномъ лѣсу, что за городомъ. На небольшой лужайкѣ тамъ лежало сломанное бурей дерево; я взбирался на него, усаживался между вѣтвями и думалъ, думалъ... А она все стояла передъ глазами, блѣдная, въ обморокѣ...

Должно-быть, я очень похудѣлъ. Въ моемъ углу, въ подвальномъ этажѣ одного большого дома, не было зеркала, да я, впрочемъ, и не глядѣлся бы въ него; но руки сдѣлались очень прозрачными и платье мѣшковатымъ.

Я настойчиво силился подольше удержать въ воображеніи ея образъ въ обморокѣ, но мнѣ это не всегда удавалось. Она приходила въ себя, оглядывалась кругомъ большими недоумѣвающими глазами, потомъ всматривалась въ меня внимательнѣе и внимательнѣе, потомъ вдругъ вскакивала съ мѣста и убѣгала, а я долго рыдалъ... на груди доброй старушки-матери.

У меня есть мать, «прекрасная читательница». Конечно, настоящая моя мать—княжа Мэри, но я ея не помню. Меня усыновила и воспитала вдова сельскаго священника, Ѳеоктиста Елеазаровна Преображенская (также и моя фамилія). Она живетъ въ маленькомъ хуторѣ въ Харьковской губерніи. Я никакъ не могъ добиться, какимъ образомъ попалъ къ ней, и какія отношенія связывали ее съ княжною Мэри. Всякій разъ, какъ объ этомъ заходила рѣчь, Ѳеоктиста Елеазаровна отмалчивалась и заговаривала о другомъ. Мнѣ извѣстно только, что княжна оставила ей тысячу рублей на мое воспитаніе, и что эти деньги издержаны были до копейки на наемъ квартиры и плату за мое ученье въ гимназіи. Два года университетской жизни я пробивался уже самъ, уроками.

Бѣдная старушка! Она умерла нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ нашей послѣдней встрѣчи.

Я посѣтилъ ее, по дорогѣ изъ Севастополя, чтобы заодно сжечь ужъ и этотъ корабль...

Маленькій, весь потонувшій въ зелени домикъ, съ ветхою соломенною крышею. Въ одной половинѣ — кухня, въ другой, черезъ сѣни, — двѣ комнаты. Всегда тщательно вымытый некрашеный полъ, чистыя коленкоровыя занавѣски на окнахъ, бѣлыя, съ голубою бахромкою, горшки съ цвѣтами на каждомъ подоконникѣ, цвѣты передъ зеркаломъ на столикѣ, вышитая подушка на жесткомъ клеенчатомъ диванѣ — все это обнаруживало присутствіе «заботливой женской руки». То не была рука Ѳеоктисты Елеазаровны, всегда занятой или шитьемъ, или по хозяйству; моей доброй матери некогда да и невдомекъ такъ было устроить «залу». Она заботилась только о томъ, чтобы все было опрятно, чтобъ ярко горѣли золоченыя рамки иконы, что въ переднемъ углу, чтобы подлить масла въ лампадку и зажечь въ праздникъ или воскресенье.

Я засталъ старуху на дворѣ. Съ засученными по-локти рукавами, въ сѣрой ситцевой юбкѣ и такой же кофтѣ, съ вѣчнымъ черным платочкомъ на головѣ, какіе носятъ попадьи стараго покроя, Ѳеоктиста Елеазаровна показалась олицетвореніемъ домовитости, хозяйства. Одною рукой она придерживала тяжелое рѣшето съ зерномъ, а другою разбрасывала кормъ уткамъ, курамъ, индѣйкамъ и дружески разговаривала съ птицами, шумною толпою окружившими заботливую хозяйку и на ей одной понятномъ языкѣ выражавшими свою благодарность.

— Ну, ну, ты, мохнатая! Успѣешь еще, всѣмъ хватитъ... Ишь—старая, а туда же обижать... Но, на, пиль, пиль, пиль... Ѣшь, касатикъ, ѣшь... Ты чего, пучеглазый? Благодарить хочешь, да не умѣешь?.. Охъ, знаю я твою благодарность: налопался—да въ камышъ...

Тутъ Өеоктиста Елеазаровна замѣтила меня, выпустила рѣшето изъ рукъ, къ величайшему изумленію своихъ слушателей, и бросилась мнѣ на шею.

— Свѣтъ ты мой ясный, солнышко ты мое красное! — бормотала она и плача и смѣясь:—вотъ не чаяла, не гадала!.. Да какъ это ты такъ тихо? Да ты—пѣшкомъ?.. Ахъ ты, болѣзный мой! Поди, голубчикъ, отдохни: усталъ, чай? Гдѣ ужъ не устать!.. А я-то, старая, раскудахталась...

И она взяла меня за руку, какъ маленькаго ребенка, и торопливо повела къ домику. Все лицо ея сіяло полнѣйшимъ счастьемъ. Въ черныхъ ласковыхъ глазахъ теплился огонекъ, а морщинки, какъ лучи, разнесли его по всему лицу и зажгли яркій румянецъ на дряблыхъ старческихъ щекахъ.

— Лиза! Поди-ко сюды! Кого я привела?

Изъ кухни къ намъ выбѣжала молодая дѣвушка съ голыми, обсыпанными мукой руками, въ рубашкѣ, низко спустившейся на не совсѣмъ еще сформировавшіяся плечи и подобранной до колѣнъ юбкѣ.

Она совсѣмъ растерялась, покраснѣла до ушей и съ крикомъ убѣжала назадъ въ кухню, захлопнувъ за собою дверь.

Мы расхохотались.

Что, какова? — обратилась ко мнѣ Өеоктиста Елеазаровна:—невѣста! Семнадцатый годокъ съ Пасхи пошелъ... Я тебѣ мигомъ постель устрою! Все равно, ужъ солнце садится, скоро и совсѣмъ спать пора, а Лиза самоварчикъ поставитъ... Да, да! Какъ есть невѣста...

Мать оставила меня въ «залѣ», а сама юркнула въ спальню, принесла оттуда подушки, одѣяло, бѣлье и принялась устраивать постель на диванѣ, тщательно прилаживая простыни, разглаживая всякую складку, всякую неровность, и не на минуту не умолкала. Отъ времени до времени она останавливалась и съ любовью посматривала на меня.

Оказалось, что въ позапрошломъ году было много фруктовъ въ садикѣ; что для меня приготовили цѣлыхъ четыре банки варенья, которое потомъ пришлось выбросить, потому что я, недобрый, не являлся, и оно испортилось; что околѣла корова Машка; что мнѣ вышили рубашку и т. д.

— Ну, готово! Поди, лягъ, родной! Дай я съ тебя сапоги сниму!

— Полно, мама! Что я, барыня какая, что ли? Самъ могу...

— Ну, ну, не смѣй перечить! Былъ бы барыня, не предложила бъ, не безпокойся...

И она стала на колѣни и, пыхтя, таки стащила съ моихъ нѣсколько припухшихъ отъ ходьбы ногъ сильно запыленные смазные сапоги.

— Ты все такая же добрая!—поцѣловалъ я ее:—совсѣмъ избаловала меня. Ну, садись вотъ тутъ, отдохни и ты.

— Лежи знай, обо мнѣ не заботься... Сейчасъ самоваръ принесу.

Я остался одинъ, сладко растянулся на пуховикѣ и соображалъ, что нѣтъ ничего въ мірѣ пріятнѣе отечества, родного дома и теплой постели послѣ усталости. Въ голову, впрочемъ, лѣзла какая-то чепуха: «И дымъ отечества намъ сладокъ»... «Значеніе *одѣяла* въ общественной жизни»... «Что играетъ большую роль въ общественной жизни: идеалъ или одѣяло?»... На пузатомъ комодѣ стояли старинные часы съ фарфоровыми столбиками и какъ-то укоризненно чикали: «лежи, лежи!»

Черезъ минуту я былъ нагруженъ чаемъ, хлѣбомъ, масломъ, яйцами, вареньемъ, ветчиной и курилъ съ наслажденіемъ человѣка, самоотверженно исполнившаго тягостную обязанность. Өеоктиста Елеазаровна помѣстилась на стулѣ возлѣ дивана и гладила рукою мои волосы; у ея ногъ, на скамеечкѣ, сидѣла Лиза и шила.

Лиза, какъ и я—круглая сирота. Когда я былъ еще маленькимъ мальчикомъ, Өеоктиста Елеазаровна привезла разъ съ собою изъ города семилѣтнюю дѣвочку, худенькую, робкую, съ густыми золотистыми волосами и большими темными глазами, какъ-то не по-дѣтски серьезно глядѣвшими изъ-подъ почти черныхъ бровей. Мнѣ приказано было называть ее сестрою; она называла меня братомъ. Меня скоро отдали въ гимназію, но на праздники и каникулы я пріѣзжалъ домой; мы очень весело проводили время вдвоемъ и очень полюбили другъ друга. Я училъ Лизу всей премудрости, какою обладалъ самъ; она была очень понятлива, и дѣла у насъ шли ладно. Потомъ Өеоктиста Елеазаровна опредѣлила дѣвочку въ городскую прогимназію, гдѣ она и кончила курсъ. На какія средства нанимали ей квартиру, покупали платье и учебники—я не зналъ. Нѣсколько деся-

тинъ земли, что при хуторѣ, были сданы въ аренду сосѣднимъ мужикамъ, но этотъ доходъ составлялъ очень маленькую сумму, которою едва покрывались домашнія издержки. Черпать изъ этого источника не было, конечно, никакой возможности.

Умное, энергическое лицо. Если бы хоть чуточка того, что французы называютъ кокетствомъ, она была бы красавица. Отсутствіе всякаго жеманства. Мы не видались года четыре, но она просто, какъ и прежде, поцѣловала меня, только покраснѣла немного. Роскошные, въ двѣ косы заплетенные волосы; рѣсницы сдѣлались какъ будто еще длиннѣе, еще чернѣе.

«Вотъ *эта*,—размышлялъ я, глядя на ея сильные, проворные пальцы,—можетъ пачкаться сколько угодно, и грязь къ ней не пристанетъ... Да и стремленія, поди, не таковскія: тихая какая-то, загадочная... Объ женихахъ, чай, больше мечтаетъ?»

— Что жъ, голубчикъ,—говорила, между тѣмъ, Ѳеоктиста Елеазаровна, — долго ли тебѣ въ ученьи-то еще быть? Кончай скорѣе, помоги тебѣ Господь, поможешь намъ... Стара я, милый, становлюсь, силъ ужъ нѣтъ...

— Нѣтъ, матушка, никогда ужъ я не кончу: я давно бросилъ университетъ.

Начиналось «сжиганіе», и, признаюсь, мнѣ сдѣлалось крайне непріятно, что оно началось такъ скоро: жаль было разрушать идиллію; я располагалъ повести дѣло исподволь.

— Что жъ такъ-то?

Она приняла руку, только-что перебиравшую мои волосы, и поблѣднѣла, словно я объявилъ ей смертный приговоръ. Лиза перестала шить и глядѣла на меня съ любопытствомъ.

Дѣлать нечего, надо было начинать.

— Послушай, голубушка!—Я взялъ ея руку и заговорилъ какъ можно нѣжнѣе:— я затѣмъ и пришелъ къ тебѣ, чтобы поговорить объ этомъ. Выслушай меня спокойно и пойми...

Я произнесъ длинную, болѣе или менѣе краснорѣчивую рѣчь, которой здѣсь въ подлинникѣ приводить не буду, такъ какъ она имѣетъ частный, семейный интересъ и, слѣдовательно, для вашего терпѣнія, «прекрасная читательница», неудобна.

Я ухожу навсегда, и она, Ѳеоктиста Елеазаровна, какъ добрая, любящая натура, сама скажетъ, что дѣлаю хорошо. Вотъ и она призрѣла меня и Лизу. Дѣлать добро—себя счастливымъ дѣлать; но посвятить себя одному, двумъ лицамъ, въ ущербъ всему человѣчеству—нечестно. Она знаетъ, что разставаться съ нею мнѣ не легко, и не припишетъ этого черствости...

Должно-быть, я говорилъ очень хорошо. Часы вдругъ остановились и перестали настукивать: «лежи, лежи!» Лиза съ раскраснѣвшимися щеками, блистающими глазами смотрѣла на меня съ сосредоточеннымъ вниманіемъ; по блѣднымъ, какъ-то вдругъ осунувшимся щекамъ Ѳеоктисты Елеазаровны текли обильныя слезы... Но не отъ умиленія плакала бѣдная женщина.

— Охъ, знаю я, куда ты мѣтишь, знаю!.. Повѣтріе ужъ теперь такое пошло... Только выдумываешь ты все это, — оживилась вдругъ она:—ну, станешь ты, умная голова, баснями заниматься? Выросли у тебя крылья, летать на свободѣ хочется; надоѣла тебѣ старуха—вотъ что! Ну, что жъ? Скатертью дорога... Охъ, грѣхи мои тяжкіе! Только-то у меня и радости и надежды было... Своего-то вѣдь нѣтъ: умеръ, свѣтикъ мой; ровесникъ бы тебѣ былъ... *Тотъ* не бросилъ бы, какъ тряпку какую.

И она снова залилась слезами.

— Мама!—тихо проговорила Лиза.

Ѳеоктиста Елеазаровна подняла голову, посмотрѣла на меня и сразу перестала плакать. Она торопливо вытерла слезы, взяла мою руку и прильнула къ ней губами.

— Ахъ, прости меня, дуру-старуху, дорогой мой! Вздоръ все это я говорила... Постой, не отнимай! Дай душу отвести!.. Родной мой! Не о себѣ хлопочу: тебя мнѣ жаль... Я жъ тебя вспоила, вскормила, души я въ тебѣ не чаяла...

Напрасныя усилія не плакать снова.

— Лизанька, поди, родная, приготовь мнѣ постельку. Устала я, измучилась...

Лиза немедленно вышла. Ѳеоктиста Елеазаровна подошла на цыпочкахъ къ двери, тихонько притворила ее, потомъ вернулась ко мнѣ и наклонилась къ самому лицу, какъ бы желая заглянуть въ душу.

— Я должна тебѣ сознаться... —начала она:—подумай о Лизѣ, милый. У меня было сотни три послѣ покойнаго, такъ этого не хватило на ея ученіе: я долговъ надѣлала... Говорилъ адвокатъ въ городѣ, хуторъ-то продавать будутъ... Хоть бы нѣсколько годковъ еще, можетъ-быть, хорошій человѣкъ

подыскался, замужъ бы выдали... А обо мнѣ ты не безпокойся: это я сгоряча наговорила и то и се, а я еще за молодую постою и всегда могу работу найти, не привыкать стать...

Съ моей стороны, конечно—полная непоколебимость; но мнѣ было такъ невыносимо тяжело на душѣ, нервы до того расходились, что я готовъ былъ разревѣться.

— Что ты блѣдный такой?—обезпокоилась бѣдная старушка, кладя руку мнѣ на голову:—голова болитъ? Измучила я тебя... Ну, прости меня, старую, засни.

Она крестила меня и говорила такимъ спокойнымъ тономъ, что только мое музыкальное ухо могло подмѣтить въ немъ рыданіе.

Я не могъ заснуть: нервы и струны. Мерещился летающій дѣдъ въ лаптяхъ; нѣсколько разъ прокричалъ пѣтухъ; гдѣ-то завыла собака; гдѣ-то долгій, протяжный стонъ. Это мать стонетъ въ сосѣдней комнатѣ, *она* приходитъ и доказываетъ, что я—скала. Она вся въ бѣломъ, какъ привидѣніе. Нѣтъ, это не *она;* это—Лиза въ одной рубашкѣ, босая, съ накинутымъ на плечи платкомъ...

То была, дѣйствительно, Лиза. Она тихонько дотронулась до моей руки; я привсталъ.

— Это ты, Лиза? Чего тебѣ?

Я чрезвычайно ей обрадовался: живой человѣкъ избавлялъ меня отъ тяжелаго кошмара и возвращалъ къ дѣйствительности.

— Я, я, тише, не разбуди маму, только что заснула...

Она сѣла на постель и низко наклонилась ко мнѣ.

— Я все думала...—начала она тихимъ шопотомъ:—не могу спать... слышу, ты стонешь... Пожалуйста, не удивляйся, что я такъ... Я пришла тебѣ сказать: ты слушайся мамы; она—добрая, но не понимаетъ тебя... Ты объ ней не безпокойся: у меня въ городѣ знакомые есть; даютъ въ долгъ швейную машину, очень дешево, и заказовъ много обѣщали. Я прекрасно умѣю шить, проживемъ безъ нужды... У мамы долги есть; она скрываетъ отъ меня, но мнѣ въ городѣ сказали. Хуторъ, говорятъ, продавать будутъ... Если мама тебѣ объ этомъ скажетъ, ты это такъ и знай—совсѣмъ пустяки: и такъ толку отъ него мало, притомъ же намъ гораздо удобнѣе будетъ въ городѣ жить...

Она вся дрожала, какъ въ лихорадкѣ, говорила съ остановками, безпорядочно, въ очевидномъ волненіи. Я взялъ ея руку и горячо поцѣловалъ; рука была холодна, какъ ледъ.

— Ты нездоровъ, голубчикъ?—Дай я тебѣ закутаю ноги...

Я сдернулъ съ себя одѣяло и хотѣлъ укутать ее, но она оттолкнула мою руку и наклонилась еще ниже, такъ что я почувствовалъ ея жаркое дыханіе.

— Я хочу просить тебя... Ты придешь за мною? Маму я устрою...

«Когда? Куда? Зачѣмъ? Какъ?» мысленно выбиралъ я самый подходящій изъ безчисленнаго множества вертѣвшихся въ головѣ вопросовъ, но она не дала мнѣ прійти къ окончательному рѣшенію.

— Придешь? Да?.. Говори!

Потомъ крѣпко поцѣловала меня и убѣжала, прежде чѣмъ я успѣлъ опомниться.

«Вотъ такъ дѣвушка!» радостно подумалъ я, поворачиваясь къ стѣнѣ, и заснулъ богатырскимъ сномъ.

На слѣдующій день, утромъ, я ушелъ. Ѳеоктиста Елеазаровна лѣтъ на пять постарѣла за эту ночь, но ни словомъ ни слезою не вспомнила про вчерашнее, только при прощаньи не выдержала и разрыдалась. Въ Лизѣ не замѣтно было значительной перемѣны; щеки были немного блѣдны, и глаза блестѣли больше обыкновеннаго. Простилась она со мною просто, какъ съ человѣкомъ, уѣзжающимъ ненадолго по дѣламъ. Хороша эта простота въ ней!

И *она*, и Лиза, и Ѳеоктиста Елеазаровна, и открытое нутро домовъ—все это смѣшивалось безпорядочною массою въ моей бѣдной головѣ въ это достопамятное для меня утро. Я почти бѣжалъ и въ нѣсколько минутъ прошелъ добрыхъ двѣ версты отъ своего угла до пристани.

У пристани стояла барка со строевыми бревнами, готовая къ разгрузкѣ. По берегу ходилъ взадъ и впередъ полненькій, кругленькій человѣкъ въ синей чуйкѣ и что-то записывалъ карандашикомъ въ книжку. Это, по моимъ соображеніямъ, былъ приказчикъ, и я подошелъ къ нему... Чего, кажется, проще? Пришелъ человѣкъ на работу наняться—и только, а между тѣмъ я невольно прижалъ руку къ груди, чтобы

сдержать удары сердца, и почувствовалъ такое волненіе, что не могъ произнести ни слова.

— Тебѣ чего?—круто повернулась вдругъ ко мнѣ чуйка.

— Хочу... на работу наняться, насилу выговорилъ я, снимая въ замѣшательствѣ шапку.

Онъ окинулъ меня бѣглымъ взглядомъ; я былъ въ полушубкѣ и большихъ сапогахъ.

— Гм! 30 коп... А бумаги у тебя есть? Ну, ладно, послѣ покажешь. Ступай, вонъ рабочіе... Да постой! Какъ тебя звать-то?

Я назвалъ себя и пошелъ на барку, къ рабочимъ.

Ихъ было человѣкъ двѣнадцать. Приказчикъ чего-то ждалъ, и работы не приказано было начинать. Занимались — кто чѣмъ. На носу сидѣли молча два жиденькихъ бѣлорусса; одинъ чинилъ полушубокъ, другой съ лаптемъ возился. У мачты расположился сѣденькій русскій мужичокъ въ лаптяхъ и полинялой красной рубахѣ; онъ сосредоточенно ѣлъ хлѣбъ съ солью и поминутно крестился. Шагахъ въ двухъ отъ него завтракалъ, стоя, высокій малороссъ, въ черной свиткѣ, красивый брюнетъ, съ серьезнымъ, умнымъ лицомъ; онъ также ѣлъ хлѣбъ съ солью, но накрошилъ его въ кружку съ водою и не безъ важности употреблялъ въ дѣло ложку. На кормѣ человѣкъ шесть слушали чтеніе. Я направился къ нимъ и помѣстился невдалекѣ. Это были, казалось, штундисты. Читалъ высокій худощавый человѣкъ среднихъ лѣтъ, въ бѣломъ суконномъ платьѣ обыкновеннаго малороссійскаго покроя, узкогрудый, съ продолговатымъ, обрамленнымъ небольшою черною бородкою лицомъ оливковаго цвѣта и прилизанными на лобъ и виски волосами, остриженными по-солдатски; фигура елейная, голосъ восковой, человѣкъ скорѣе умственнаго, чѣмъ мускульнаго труда, съ сильными, повидимому, мистическими наклонностями. Онъ возлежалъ на палубѣ, облокотившись на котомку, и держалъ въ рукѣ евангеліе; читалъ нѣсколько на-распѣвъ, медленно, но съ чувствомъ необыкновеннымъ. Почти послѣ всякаго стиха останавливался и комментировалъ прочитанное—самъ или кто-нибудь изъ слушателей. Прямо противъ чтеца сидѣлъ на толстомъ обрубкѣ, упершись локтями въ колѣни и глядя въ землю, бодрый старикъ съ сѣдыми курчавыми волосами, безпорядочною, густою массой закрывавшими лобъ; лицо изборождено глубокими морщинами, словно на мѣди высѣченными, глаза со стальнымъ отливомъ, короткая, щетинистая борода, дырявая порыжѣвшая бурка въ-накидку. Онъ мнѣ напомнилъ дядю Власа.

...«И вдругъ, послѣ скорби дней тѣхъ, солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются».

Власъ застоналъ; чтецъ, а за нимъ и прочіе перекрестились.

...«Тогда явится знаменіе Сына человѣческаго на небѣ; и тогда восплачутся всѣ племена земныя, и увидятъ Сына человѣческаго грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою»...

— О Боже! Власъ поднялъ глаза къ небу:—на облакахъ, съ силою и славою!.. Отъ тамъ-то счастье, отъ тамъ-то святе отечество!..

Подъ вліяніемъ чтенія слова его получили какую-то церковную окраску. Слушатели сочувственно кивали головою.

Никогда еще въ жизни не слыхалъ я такого чтенія, не видѣлъ такой вѣры и сочувствія. Все это было для меня совершенною неожиданностью, указывало на какую-то самобытную, оригинальную струю, присутствія которой я не подозрѣвалъ до сихъ поръ. Скверное чувство одиночества, отчужденности, непутности начало закрадываться въ душу.

«И соберутся предъ Нимъ всѣ народы,— продолжалось чтеніе,—и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ».

Городъ, между тѣмъ, проснулся. Оттуда доносилось дребезжаніе дрожекъ, глухой, однообразный гулъ каретъ, звонъ колоколовъ; вѣяло дѣятельностью и суетой, чудились хохотъ и стоны. По небу плыли разорванныя, сѣрыя облака; подувалъ рѣзкій вѣтерокъ; свинцовыя волны большой рѣки съ мѣрнымъ плескомъ ударялись о берегъ. Я пересѣлъ на край барки и сталъ глядѣть въ воду.

— Бо якъ человікові тяжко, хвороба, чи несчасте яке—кто ему поможе? «Господи, поможи міні!» вінъ вдаеця до Бога... Богъ скаже въ серци добраго человіка: «іди, поможи!» Сполня чоловікъ приказъ

Божій—Богу служитъ. Отъ для чого сказано: «Ибо алкалъ *Я*, и вы дали *Мнѣ* ѣсть; жаждалъ, и вы напоили *Меня*»...

«Это—о страшномъ судѣ. Съ одной стороны пропасти — плачъ и скрежъ зубовный, съ другой—блаженство праведныхъ... Въ пропасть падаютъ съ обѣихъ сторонъ какія-то странныя блѣдныя личности «и думаютъ получить отъ этого результаты»...

Моя душа начала настраивать сердце, пробуя то ту, то другую струну и располагая сыграть комаринскую, но въ эту минуту раздался рѣзкій крикъ съ берега:

— Эй, вы, принимайся!

Рабочіе встали, перекрестились, скинули съ себя верхнюю одежду и принялись за работу. Два бѣлорусса подавали бревна, остальные—каждый по одному—носили ихъ по перекинутой съ барки доскѣ на берегъ.

Въ какомъ-то сладострастномъ опьянѣніи подошелъ и я къ полѣну, но... въ этой минутѣ, казалось, сосредоточились, какъ въ фокусѣ, всѣ предшествовавшіе разрозненные элементы скандала: полѣно было очень тяжело,—такъ тяжело, что, при попыткѣ поднять его, меня всего бросило въ жаръ...

«Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту», плаксиво притворился я, якобы хладнокровно размышляю, но собственно никакихъ мыслей въ головѣ не было: было только одно чувство...

Ахъ, какое это было чувство, «прекрасная читательница!..» Если бы съ молодой дѣвушки, въ первый разъ выѣхавшей въ *свѣтъ*, въ самый разгаръ бала свалилось платье; если бы только-что обвѣнчавшійся, страстно влюбленный юноша, выводя изъ церкви новобрачную, вдругъ почувствовалъ, что на ласки любимой женщины можетъ отвѣчать только слезами отчаянія— ни та, ни другой, навѣрное, не испытали бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю.

— Ну, ну!..— раздавались ободрительные голоса.

Я употребилъ нечеловѣческое усиліе и поднялъ. Въ спинѣ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелѣе. У меня не хватило силъ донести его; я пошатнулся, выпустилъ свою ношу и самъ повалился на скользкія доски барки...

— Э, да что ты!..

— Ха-ха! Небось. не сладко?—слышались голоса товарищей.

Я смутно сознавалъ все, происходившее вокругъ. Мнѣ было невыносимо жутко.

— Ну, парень,—серьезно проговорилъ старикъ-рабочій, тотъ самый сѣденькій мужичокъ, въ красной рубахѣ, что сидѣлъ у мачты:—это, видно, не твое дѣло; тебѣ бы сюды не соваться... Дай помогу, что ли!

Но мнѣ не нужна была его помощь. Я всталъ, молча поднялъ упавшую съ головы шапку и тихо, шатаясь, пошелъ прочь...

— Утікъ, хлопци, ей-Богу...ха-ха-ха!— слышалось сзади.

— Ишь, щелкоперъ!

— Чего зубы скалишь? Ну, извѣстно, парень хворый... Изъ лакеевъ, должно быть.

Полнѣйшій хаосъ въ головѣ. Я брелъ на удачу, едва различая предметы: въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось: «хворый, хворый»... «Бѣдный, несчастный, тряпка!» Мною вдругъ овладѣло бѣшенство. «Отдайте мнѣ мое здоровье, варвары!» крикнулъ я, сжавъ кулаки. Къ кому я обращался? Кого винилъ? Я и самъ не сознавалъ. Голосъ мой, т.-е. не мой, а какое-то тончайшее сопрано, прозвучалъ весьма мирно и заставилъ меня опомниться. Проходившая мимо баба съ корзиною въ рукѣ остановилась и сосредоточенно уставилась на меня удивленными глазами; пепельный салопъ, сѣрый платокъ, вся какая-то сѣрая, лицо морщинистое, доброе, съ выраженіемъ: «хворый, бѣдняжка!..» Пробѣжала куцая собака, съ глазами, говорившими какъ нельзя болѣе ясно: «проходи, знай, проходи, не трону: найдемъ и получше, ежели зубы почистить захочется».

Я очутился на мосту, оперся о перила и сталъ глядѣть внизъ. «Ты — скала... Придешь за мною? Я вѣдь ничего не боюсь... Нѣтъ, лучше не приходи, несчастный: куда тебѣ!»...

Пронеслась лодка, проплыла доска, отъ барки, должно-быть: гвозди торчали, щепа какая-то... Я тупо смотрѣлъ на все это. «А что, если бъ этакъ шарахнуться?..»

Какая-то сладострастная судорога, последнее ясное ощущеніе и послѣдняя ясная мысль...

1877 г.

**Глѣбъ Ивановичъ Успенскій.**

(1840 — 1902).

## Нужда пѣсенки поетъ.

Было блестящее лѣтнее утро.

По случаю праздника въ церквахъ шелъ громкій звонъ, среди котораго особенно ярко выдавались вѣскіе и тягучіе удары соборнаго колокола; на улицѣ, куда выходили окна моего нумера, по обоимъ тротуарамъ валилъ народъ; мѣщане въ новыхъ синихъ чуйкахъ, въ новыхъ картузахъ съ сверкавшими козырьками и въ блиставшихъ на солнцѣ сапогахъ съ бураками; чиновники съ женами въ «фильдекосовыхъ» перчаткрхъ, и проч. Общее оживленіе праздничнаго дня пополнялось суматохой, происходившей посреди улицы: ѣсь опрометью мчались порожняки съ подгулявшими мужиками и расфранченными бабами; шло хлестанье лошадей, слышалась брань, скрипъ колесъ, изнемогавшихъ подъ тяжестью громаднаго воза сѣна, слышалось мычанье теленка съ прикрученной къ телѣгѣ головой...

Я сидѣлъ на подоконникѣ раскрытаго окна, любуясь этой утренней суматохой. На столѣ у меня кипѣлъ самоваръ. Въ эту минуту дверь въ мою комнату слегка пріотворилась, и вслѣдъ за тѣмъ высунулась рука съ бумагой, сложенной въ формѣ прошенія. Я только что хотѣлъ было встать, чтобы разсмотрѣть таинственнаго обладателя таинственной руки, какъ въ коридорѣ раздался строгій голосъ коридорнаго, дверь захлопнулась, и рука исчезла.

— Куда прешь? Куда прешь-то?—бушевалъ коридорный... Нѣтъ у тебя языка спроситься?

— Будьте такъ добры, извините!—кротко говорилъ неизвѣстный посѣтитель.

— Видишь, никого нѣту, а прешь... Вашего брата здѣсь много шатается... 1.ъ столовыя ложки пропали...

— Помилуйте-съ! Мы не воры! Сохрани Богъ!..

— Ну, этого намъ разбирать некогда— воръ ты или нѣтъ,—сердито говорилъ коридорный, поплевывая на сапогъ и шаркая по немъ щеткой. Намъ этого,—продолжалъ онъ,—разбирать не время... У насъ вонъ двѣнадцать нумеровъ въ одной половинѣ. Всякому принеси самоваръ да сапоги вычисти. У насъ этого, братъ...

— Доложите по крайности! Сдѣлайте вашу милость!

— Такъ-то!.. У насъ этого нѣтъ, чтобы... А то претъ не знамо куда. У насъ благородные останавливаются... На каждой соринкѣ взыскиваютъ... День денской, какъ лошадь, прости, Господи, ни тебѣ уснуть ни тебѣ...

— Ива-а-анъ!—закричали на дворѣ.

— Тфу, чтобъ вамъ! Расхватываетъ же ихъ, чертей!

— Ива-а-анъ! Ты оглохъ?..

— Сей-часъ! О-о, чтобъ васъ разорвало!..Сей-ча-асъ-съ!..Давай бумагу-то!— швырнувъ сапогъ въ уголъ, заключилъ Иванъ и торопливо вошелъ въ мой нумеръ.

— Вонъ бумагу принесъ,—сказалъ онъ, сунувъ ее въ мои руки.—Почитайте-ко-сь... Надо быть, на бѣдность проситъ... А ты, любезный,—говорилъ онъ въ коридорѣ,— ты въ другой разъ сказывайся... Намъ этого нельзя... Шутъ тебя знаетъ, кто ты такой? Сейча-асъ!—отвѣтилъ онъ на голосъ со двора и бросился по коридору.

Я развернулъ бумагу и прочиталъ слѣдующее:

«Господинъ Ивановъ, пиро-и-гидро-техникъ, на короткое время прибывшій въ г. Н., честь имѣетъ доложить высокопочтеннѣйшей публикѣ, что, имѣя искусство въ египетской, арабской, ѳіопской, индѣйской, халдейской и другихъ магіяхъ и состоящей изъ новыхъ фантастическихъ опытовъ и призраковъ тайной и натуральной увеселительной магіи, что, давая оныя представленія въ высокоблагородныхъ домахъ, по весьма умѣреннымъ цѣнамъ, съ аппаратами и безъ аппаратовъ, попури изъ міра чудесъ, кабалистика и чревоувѣщеваніе по весьма сходнымъ цѣнамъ; также индійское ескамотированіе, гирлянда розъ, невозможность въ дѣйствіи, обезглавленіе головы, носа и другихъ частей тѣла и проч., и проч., и проч...»

Въ концѣ было прибавлено: «льстя себя надеждой» и красовалась подпись: «Пиро-и-гидро-техникъ Капитонъ Ивановъ. Сего числа...»

Фокусовъ въ подобномъ родѣ было насчитано очень много, и мнѣ очень захотѣлось поскорѣе и покороче познакомиться съ ихъ авторомъ; кромѣ того, мнѣ было весьма интересно видѣть соотечественника, подымающагося *на такія штуки*, просто, какъ бѣдняка и, слѣдовательно, человѣка несчастнаго, много видѣвшаго на своемъ вѣку, и, наконецъ, потому даже, что этого Капитона Иванова можно просто усадить на диванъ и напоить его, бѣднягу, чаемъ...

Я такъ и сдѣлалъ. Капитонъ Ивановъ, робко и поминутно раскланиваясь, вошелъ въ мою комнату. Таинственный магъ весьма походилъ на мѣщанина, о чемъ, главнымъ образомъ, свидѣтельствовала серебряная сережка въ ухѣ; лицо его не носило ни одной черты той плутоватости и даже подловатости, которая непремѣнно оттѣняетъ физіономіи всѣхъ маговъ, начиная отъ извѣстнаго волшебника и мага Кречинскаго, вплоть до воришекъ копеечныхъ, съ одной стороны, и вплоть до воришекъ сотенныхъ—съ другой. У всѣхъ ихъ, при самой мастерской игрѣ физіономіи, всегда можно примѣтить въ глазахъ что-то такое, что заставляетъ думать: «Нѣтъ, врешь, братъ!» У господина же Иванова, кромѣ высокой кротости и робости, я ничего не замѣтилъ въ глазахъ. Чародѣй былъ маленькая фигурка съ птицевидною физіономіей и клинообразнымъ лбомъ, на который поминутно свѣшивалась прядь намасленныхъ, ради праздника, волосъ. Костюмъ, состоявшій изъ сюртука, застегнутаго на всѣ пуговицы, и синихъ панталонъ, засунутыхъ въ сапоги, не говорилъ въ пользу его благосостоянія. Робость, проглядывавшая въ глазахъ мага, скоро совершенно овладѣла имъ, когда я предложилъ ему сѣсть и выпить стаканъ чаю. Онъ взялъ стаканъ и помѣстился съ нимъ у двери. Стоило

громадныхъ усилій, чтобы, наконецъ, усадить его. Кое-какъ, послѣ продолжительныхъ увѣщаній, онъ согласился и сѣлъ на кончикъ стула. Во все это время онъ не забывалъ покашливать, закрывая ротъ рукою, и поминутно потрогивалъ шею, запихивая за галстукъ мохры истерзанныхъ воротничковъ.

Надо было о чемъ-нибудь говорить.

— Давно вы занимаетесь этимъ?..—сказалъ я, не зная, какъ назвать его профессію.

— Да ужъ болѣе, пожалуй, пятнадцати лѣтъ,—покашливая и потрогивая шею, заговорилъ магъ...—Д-да-съ! Пожалуй, что поболѣ пятнадцати-то годовъ будетъ, все этимъ же мастерствомъ-съ продолжаю... Плохое, вашскобродіе, наше занятіе-съ! Въ прежнее время точно что... Ну, а теперь!..

Гость остановился, тряхнулъ головой.

— Теперь, вашскобродіе, тихо-съ!.. И даже такъ тихо, что вотъ какъ-съ,—хуже нѣтъ! Да что ни возьмите, вѣдь и повсюду такъ-съ. Тишина бѣдовая.

Ивановъ поднесъ ко рту полное блюдечко, откусилъ маленькій кусокъ сахару, отряхнулъ его надъ чаемъ, хлебнулъ и заговорилъ:

— Въ прежнее время-съ! Въ прежнее время, бывало, господа, которые случатся пріѣзжающіе или хоть и изъ жителей здѣшнихъ, въ прежнее-то время они вотъ какъ: «сдѣлай милость!» «Съ великимъ удовольствіемъ!..» Да что ему? Онъ швырнетъ ассигнацію и получай... Рубль ли, два ли, ему это и вниманія не стоитъ... Ну, а ужъ теперь тихо... тихо! Теперь, я такъ считаю, господамъ много дано заботъ-съ! Хлопоты-съ! все надо «самимъ» расчесть: въ кое мѣсто! Въ теперешнее время посовѣстишься и рожу-то свою къ господамъ совать: стыдъ! Ежели вотъ теперь я къ вашей милости достигъ, то ужъ истинно—вотъ куда подошло! Ей-ей-съ!

Гость мой вздохнулъ.

— Н-нѣтъ-съ! Это не то-съ! Въ прежнее-то время, я такъ замѣчаю, было веселѣе... Всякій желалъ, чтобы гдѣ какъ пріятнѣе. Купецъ ли, дворянинъ ли, чиновникъ ли, все онъ нюхаетъ, гдѣ бы увеселенія-то есть докопаться... Бывало, зайдешь въ лавку, купцы промежду себя балуются, кто въ шашки, а кто простымъ манеромъ, ноги за ноги заплетутъ—да объ земь! Увидятъ меня: «А! шушвара, дескать, египетская (обыкновенно въ шутку) показывай живо!...» Втѣпоры услышишь это-то, да, бывало, еще заломаешься!.. Потому твое не уйдетъ: купцы эти безъ тебя на вожжахъ перевѣшаются отъ скуки. Всю эту исторію понимаешь, и, бывало, еще заломаешься.—«Показать мы можемъ, да вѣдь, господа, разному показанью разная цѣна!..»—«Показывай, кричатъ, лучшева!» А я, бывало, опять: «Лучшева! и этого, скажешь, можно, да опять и то надо знать, какой сортъ; есть, говорю, одно, есть и другое, а есть еще, говорю, и такое, что ужъ лучше его нѣту!»—«Этого, кричатъ, самаго! Какого нѣтъ опаснѣй! Дѣлай! Помудренѣй!...»—«Не будетъ ли, скажешь, господа, накладно? Пять серебра, менѣе не беру?..»—«Дѣлай!» кричатъ; ну, и дѣлаешь.

Я налилъ гостю другой стаканъ чаю; онъ подвинулъ его къ себѣ, вытеръ ладонью запотѣлый лобъ и спряталъ за ухо свѣсившуюся прядь волосъ.

— Бывало,—продолжалъ онъ,—какое ото всѣхъ почтеніе! Истинно говорю, умереть не лгу, идешь, бывало, по улицѣ-то,—только шапку сымаешь, только сымаешь: «А! Ивановъ! Капитоша! зайди, долбони рюмочку!»—«Эй! другъ! сдѣлай штучку...»—«Что дашь?»—«Что угодно!» Ей-ей-съ! Иные и господа, а обращались въ лучшемъ видѣ... У купца, у Псунова, у одного сколько я денегъ перебралъ, кажется, смѣты нѣтъ!.. Въ прежнее время у него въ домѣ—Садомъ-Гаморъ: турокъ ли, арапъ ли какой, паномарщикъ, всякій, всякій къ нему шелъ... И что только творилось!.. Музыканты играютъ, обезьяны ученыя скачутъ, кто на флейтѣ, кто на кларнетѣ, кто фокусы показываетъ, кто колесомъ ходитъ—ну, то-есть, столпотвореніе было!.. А Псуновъ-то этотъ лежитъ, бывало, въ одной рубахѣ на диванѣ, только покрикиваетъ: «Эй, ребята, проворнѣй!» И я тутъ же толкусь... Нѣтъ-нѣтъ и на мою ладонь что-нибудь капнетъ,—все дай сюда! Все робятишкамъ...

— Вы женаты?—спросилъ я.

— Какъ же-съ!—сказалъ гость, и, къ удивленію моему, сказалъ какъ бы даже съ удовольствіемъ. Какъ же-съ, ужъ у меня, слава Богу, старшему сыну четырнадцатый годъ, какъ же-съ! Слава Богу... Изволили читать бумагу-то? Афишку мою?

Все они-съ!.. И преотличнѣйшій почеркъ!.. Да-съ, благодаренъ за это! Одно только и утѣшенье, что семья... По крайности за нее отбиваешься... Ну и жена, дай Богъ ей здоровья, любитъ меня... Д-да! И даже такъ любитъ, что—на рѣдкость!.. Собили было мнѣ невѣсту и съ деньгами и изъ чиновничьяго званія, да подумалъ-подумалъ я, что я съ ней, съ благородной-то, буду дѣлать? Думаю—Богъ съ ними и съ деньгами!.. Взялъ простенькую, сироту, и слава тебѣ, Господи, благодарю моего Бога, живемъ дружно... Да опять всегда ужъ у меня дома горшокъ щей-то найдется, съ голоду не умру... «Когда же это, говоритъ, Капитоша, мы съ тобой разбогатѣемъ?» — «А вотъ, говорю, погоди... Скоро!..»—Разсказчикъ усмѣхнулся и прибавилъ:—Да вѣдь, что будешь дѣлать-то? Откуда взять? Ну, и посмѣемся, пошутимъ съ горя-то?.. И какое ей, то-есть супругѣ-то, Господь далъ терпѣніе, — ей-ей! Теперь вы возьмите наше житье: вотъ эдакую конурку мы вчетверомъ занимаемъ; стряпущей печки у насъ нѣту, лежанка; понадобится иной разъ что-нибудь съѣдобное, идемъ просить хозяйку... «Позвольте, дескать, намъ горшечекъ въ вашей печи поставить...» Такъ они, хозяева-то, жену мою—ужъ они ее! И нищая, и когда вы передохнете; вы, говоритъ, съ дьяволомъ знакомы... Та все молчитъ. Только отъ хозяевъ намъ и названіе одно: «труболеты». Дѣвчонки у хозяевъ-то есть, такъ и тѣхъ разнымъ словамъ научаютъ... Идетъ сынъ мой, а онѣ ему: «труболетъ, труболетъ!» Жена моя подзываетъ его и говоритъ: «А ты ей скажи...» Онъ и скажи!.. «Ты труболетъ!» А сынъ-то: «А ты, говоритъ...» Прибѣжали хозяева — ва-ай-на! «Какъ вы смѣете такимъ пакостнымъ словамъ дѣтей учить? Долой изъ нашего дому...» А долой—такъ долой!

Гость мой вздохнулъ.

— И съѣхали!.. Да нешто въ первый разъ?.. Ну, а какъ же, позвольте васъ спросить, неужто жъ за свое кровное-то не заступиться? Вѣдь это вонъ и животная какая-нибудь —и та любитъ свое нарожденіе! А ужъ мы-то съ женой сами не ѣдимъ, да имъ даемъ!..

— И-и, да сколько я защиты отъ супруги моей видѣлъ, кажется, и пересказать нельзя! Только за ея сердцемъ и живу. И что только не перемучилась она! Однажды, помню, объ Рождествѣ, объявляютъ наборъ... Военное время было втѣпоры, на военномъ положеніи. Я этого ничего не знаю; приглашаютъ меня къ купцу Тюрину — вечерокъ увеселить. Перекрестился, поблагодарилъ Бога, пошелъ къ нему. Все благополучно. Играю я, такъ-то, фокусы; очень мною господа довольны, хозяинъ два рубля серебромъ дали. Я ничего не знаю, продолжаю свое дѣло, только подходитъ ко мнѣ господинъ Премудровъ, чиновникъ. «А тебя, говоритъ, Капитонъ, вѣдь въ солдаты...»—«Какъ такъ?» говорю... Задрожалъ я весь, себя не помню. «Я, говорю, вашескородіе одиночка».—«Общество, говоритъ, опредѣлило...» Помутилось у меня въ глазахъ, хочу-хочу фокусъ показать, пальцы окоченѣли, языкъ, какъ палка, ничего не могу! Принужденъ я объявить: «Такъ и такъ, говорю, почтеннѣйшіе господа, не могу далѣе продолжать. Прошу васъ, будьте такъ добры, извините... По болѣзни...» Собралъ кой-какую механику (это для фокусовъ надобна она), собралъ механику, бѣгу домой... Разсказалъ женѣ. Плачемъ мы, горюемъ: какъ быть, куда дѣться? Надумали мы къ ея брату сходить; говоримъ такъ и такъ. Жена въ ноги. Я за ней. «Надо намъ, говорю, братецъ, охотника нанять: я жену оставить не могу. Женщина больная, безъ мужчины ей быть трудно». Началъ братъ думать; думали - думали, придумали домъ заложить. Прошло времени дни съ два. Изъ управы присланъ будочникъ: требуютъ черезъ полицію въ губернское правленіе... Пошелъ я тутъ къ одному знакомому попросить: нельзя ли какое-нибудь пособіе оказать? Знакомые купцы говорятъ: «Не робѣй, Ивановъ, выкупимъ! Пущай, говорятъ, тебя и забреютъ, все же тѣмъ временемъ ты подъискивай охотника, мы его окупимъ; что будетъ больше сотни—наше!» Порѣшили мы съ жениньмъ братомъ къ закладчику ѣхать; надо жъ на первое-то время, пока съ охотникомъ сладить, хоть сколько нибудь капиталу. Да опять и сто серебромъ надобно раздобыть. Порѣшили мы съ нимъ ѣхать, а денегъ-то на дорогу ни у него ни у меня нѣту. А ѣхать надо было за четырнадцать верстъ, въ засѣку. Засѣчный сторожъ подъ залогъ денегъ дать обѣщался... Ѣхать, ѣхать — а ѣхать

ме съ чѣмъ. Сейчасъ жена—самоваръ по боку, приноситъ три серебра, зелененькую... Наняли мужика, поѣхали. Къ вечеру добрались къ закладчику, начинаемъ разговоръ: «Такъ и такъ, говоритъ братъ, не возьмете ли домъ подъ залогъ? Домъ новый, всего десятый годъ строенъ».— «Надо, говоритъ, поглядѣть.» — «Да помилуйте, говоритъ братъ, вотъ купчая здѣсь, говоритъ, и прописано, въ которомъ году и въ платѣ сказано... А ѣхать ежели угодно, то и ѣхать можно, только нельзя ли намъ сколько-нибудь подъ залогъ этого планту и купчей?.. Намъ, говоритъ, завтрешняго числа въ присутствіе къ пріему надо, такъ потребуются деньги...»— «Нѣтъ, говоритъ, надо посмотрѣть... Я такъ огроду подъ бумагу денегъ не давалъ»...

«Что ты будешь дѣлать? Поѣхали обратно. Назавтре мнѣ и лобъ забрили! Прихожу домой некрутомъ! Ахъ, вашекобродіе, какъ въ то время сердце мое разрывалось!.. Вѣрите ли?.. Н-но, думаю, все Богъ! Пошелъ къ этимъ купцамъ, что помочь-то собирались мнѣ дать, пошелъ къ нимъ: «Вотъ, говорю, господа купцы, каковъ я сталъ!.. на солдатскую шинель указываю... Неужто жъ не будетъ у васъ никакой защиты?»—«Будетъ, будетъ, говорять, Ивановъ: ищи охотника...» Стала жена рыскать — охотника искать. Я тѣмъ временемъ ужъ и на перекличку началъ ходить и артикулъ солдатскій справлять; приду, бывало, подъ вечеръ домой-то, вѣрите ли, какъ сердце замретъ: поглядишь кругомъ — бѣдность, а жилъ бы не разстался!.. Ей-ей! Подходитъ время къ походу, двѣ недѣли сроку осталось, подходитъ время изъ дому уходить, а охотника нѣтъ какъ нѣтъ!.. Наконецъ того, подъискали! Дешевисть необыкновенная: три дня гулять и пятьдесятъ серебра при походѣ... Пошелъ къ этимъ купцамъ знакомымъ, прихожу къ одному, говорю: «Нашелъ охотника!.. Не будетъ ли отъ вашей милости, что пообѣщали?»—«Изволь, говоритъ!» и подаетъ красную... Я говорю: «Что жъ это такое? Я говорю: на одно гулянье сто-то серебромъ долженъ исхарчить, гдѣ жъ, говорю, вашскобродіе, еще-то добуду?.. Вѣдь не сегодня—завтра походъ?..»—«Толкнись, говоритъ, другъ, къ другимъ!..» Пошелъ я къ другимъ: у одного «деньги не дома»; другой говоритъ: «я думалъ, говоритъ, мѣсяца черезъ два»; третій проситъ: «подожди»! Нѣтъ мнѣ ниоткуда пособій!.. Были десять цѣлковыхъ; охотникъ пристаетъ съ гуляньемъ: истратилъ ихъ до копеечки! Гдѣ-то, ужъ Господь знаетъ, женинъ братъ — дай ему, Господи, много лѣтъ здравствовать, и всякаго ему отъ Бога благополучія!—гдѣ-то раздобылъ онъ сотенную; сейчасъ мы охотнику пятьдесятъ по уговору, и три дня съ нимъ гуляли... И какая у насъ съ женой радость была въ ту пору!.. Радовались мы такъ-то, однакоже подходитъ время охотника къ пріему вести, а онъ и глазомъ не моргнетъ. «Какъ это такъ? Ты, говорю, деньги взялъ, уговоръ былъ охотой... За это, говорю, и начальство вступится. Силой возьмутъ да представятъ въ присутствіе...»—«Ну, это, говоритъ, наврядъ!.. Меня, говоритъ, и по закону въ охотники нанимать нельзя: я дьячокъ! Съ семейтвомъ! У меня семья!.. За меня ты, говоритъ, самъ еще тысячу разъ въ солдаты пойдешь!..» Стали у чиновниковъ спрашивать:—такъ и есть, нельзя! а подошло время, черезъ два дни походъ... Царь небесный! Ревемъ мы съ бабой, какъ ребята малые: чисто-начисто пропадать приходится... И что жъ вы думаете вышло? На другой день, къ вечеру, наканунѣ, значитъ, быть походу, стало мнѣ легче! Вѣдь вотъ чудо-то какое! Легче, легче, и совсѣмъ повеселѣлъ! «Маша, говорю, семъ я къ господину откупщику схожу, фокусовъ сыграть, и можетъ-быть, между прочимъ, Господь мнѣ поможетъ»... Дѣло было на масленицу; надѣваю я, для забавы, турецкое челмо и этакой балахонъ,— туркой наряжаюсь. Смотритъ на меня супруга и говоритъ: «—Семъ, говоритъ, Иванычъ, я и себѣ челмо надѣну? Можетъ-быть, говоритъ, господинъ откупщикъ сжалятся надъ нами, когда увидятъ, что мужъ и жена однимъ мастерствомъ живутъ; можетъ, онъ и не захочетъ насъ, говоритъ, разлучить?..»—«Матушка моя, говорю, ты въ такомъ теперича положеніи (она въ то время въ этакомъ положеніи была-съ), ты, говорю, въ такомъ положеніи, для чего тебѣ натруждать себя?..»— «Ну, говоритъ, заодно! Либо, говоритъ, жизнь, либо смерть!..» Надѣваетъ она на себя челмо турецкое, шаль (платокъ этакой, ковровой-съ), шаль эту черезъ плечо, по-цыгански. Пошли!.. Идемъ,

идемъ да заплачемъ оба, въ челмахъ-то этихъ! Идутъ люди, глядятъ на насъ и говорятъ: «Съ чего это два турки плачутъ?» Приходимъ къ откупщику. «Какъ объ васъ доложить?»—«Ивановъ, говорю, съ супругой!..»—«Принять!» Входимъ мы въ залу, гости... Страсть гостей!.. Откупщика, Родивонъ Игнатьича, я зналъ, и онъ меня тоже знавалъ... «А, говоритъ, ну, дѣлай!» Начинаю я дѣлать фокусы, сердце такъ и стучитъ: завтра въ солдаты!.. Дѣлаю фокусы, господа смѣются, довольны. А это кто же съ тобой?» Радивонъ-то Игнатьичъ говоритъ. «А это-съ, говорю, жена моя, супруга...»—«Что же, говоритъ, и она по этой части можетъ?..» Я молчу. «Можете вы, душенька?» у жены спрашиваетъ. «Могу - съ, говоритъ... (Вижу бѣ-ѣлая вся!)—«Такъ пройдитесь, говоритъ, «По улицѣ мостовой». Маша сейчасъ голову книзу, руки надъ головой согнула и поплыла... Да вѣдь какъ-съ! Откуда что взялось!.. Барышня по фортопьянамъ ударила, а она-то плыветъ, извивается... Ахъ! замерло у меня сердце! Тутъ зачали господа трепать въ ладоши. «Преотлично, кричатъ, превосходно! еще! еще!..» А она и еще того лучше... Не удержался я: такъ у меня слезы-то полились, полились, капъ, капъ... Родивонъ Игнатьичъ кричитъ: «Это что? на масленицѣ-то? У меня въ домѣ?..» Я въ ноги! Маша, гдѣ плясала, тутъ на колѣни и повалилась! «Что что? какъ какъ?» Разсказали мы. «Одна надежда на вашу милость!.. Завтра на войну... жена... дѣти».—«Не робѣй, говоритъ. Вотъ тебѣ... И выноситъ двѣсти серебромъ! Поминай на молитвѣ».

«Чуть я въ то время съ ума не сошелъ... Бѣжимъ по улицѣ, ровно угорѣлые... Люди идутъ: «Вонъ, говорятъ, турки побѣжали. Эко у насъ, ребята, турокъ развелось тьма-тьмущая... Это, говорятъ, плѣнные!» (А это мы съ супругой весь городъ обѣгали!) Бѣжимъ, земли не слышимъ... Исторія было случилась на дорогѣ, въ другой разъ въ полицію бы потащили, а тутъ только шибче побѣгъ».

— Какая исторія?—спросилъ я.

— Да такъ-съ, свинство, необразованность... Бѣжимъ это мы съ женой, какъ я вамъ докладывалъ. Попадаются двое пьяныхъ, прямо противъ насъ уставились. Одинъ подходитъ ко мнѣ: «Въ какомъ вы, говоритъ, правѣ турецкія челмы носите?..» Я ему шуткой въ отвѣтъ: «А потому, говорю, какъ мы турецкаго нарѣчія».—«А въ какой вы, говоритъ, землѣ находитесь, въ православной, или въ какой?»—«Мы, говорю, здѣсь плѣнные».—«А когда, говоритъ, вы наши плѣнные, то...» Да съ этими словами ка-а-къ!... вотъ въ эту самую кость! (Гость показалъ на собственный високъ.) Мы съ женой во всю мочь! Ну, вотъ-съ и все! Тѣмъ и пошабашили!.. А на другой день и вольникъ подвернулся, мигомъ сдали...

Гость потеръ скомканнымъ ситцевымъ платкомъ собственный носъ и, запихнувъ платокъ въ боковой карманъ, продолжалъ:

— Вотъ-съ такъ и живемъ! Только черезъ семью и дышу... И точно: не оставляетъ Господь! Въ холерѣ былъ—живъ остался. Въ солдаты было взяли, нашлись добрые люди—выкупили. Слава Богу! Не пожалуюсь! Благодарю! И теперь ужъ, на что время, сами знаете какое!.. а живу сытъ!.. Что дальше,— Богу извѣстно. А пока ничего, слава Богу и за это!.. А что, вашескородіе, вижу я у васъ на окнѣ посуду одну... Семъ я ее трону маленечко!

Я изъявилъ полное согласіе. Гость мой выпилъ стаканъ вина, отеръ рукавомъ губы и сѣлъ на прежнее мѣсто.

— Нѣтъ-съ, трудно, трудно нашему брату въ теперешнюю пору... Ой, тяжело!..

— Отчего жъ вы, — спросилъ я,—выбрали такое занятіе, фокусы?..

— Да вѣдь выберешь и не такое, коли сюда подойдетъ (гость указалъ на горло): родители-то наши объ насъ не думали, когда на свѣтъ нарождали. Но я не ропщу! Видитъ Богъ!.. Маменька тоже и свою чистоту должна соблюдать... Извольте видѣть, какъ было: маменька-то были дѣвицы... А у нихъ на квартирѣ семинаристы жили... Вотъ одинъ былъ, Иваномъ звали... Черезо все это и вышелъ Капитонъ Иванычъ... Извольте понимать? Нусъ, такъ вотъ они меня и отдали на воспитаніе въ чужіе люди. Помню, десяти годовъ я былъ, мать меня отъ чужихъ взяли и къ себѣ въ домъ помѣстили... И жалко-то ей и опасно. Въ ту пору за нее женихъ сватался. Ну, и неловко. Призоветъ, бывало, меня съ улицы, хочетъ азбукѣ поучить, скажетъ: «азъ, буки». А калитка стукъ, — женихъ идетъ... Меня вонъ. «Спрячься на погребицу...» И си-

дишь. Да не одинъ женихъ мѣшалъ: чуть кто-нибудь и изъ своихъ ежели случится, все опасаются и вонъ посылаютъ... Вижу: и горько-то ей, и не можетъ никакъ пособить... Разъ гостила у насъ полгода тетка матушкина, такъ меня цѣлые полгода изо двора во дворъ гоняли. Какъ видишь, стемнѣло, — домой; а матушка ужъ въ саду, у забора, дожидается и ѣду принесла. Ѣмъ я, а она стоитъ да заливается, а потомъ уложитъ въ банѣ спать, перекреститъ, посидитъ еще, поплачетъ и пойдетъ... А чуть-свѣтъ — опять драла; гдѣ-гдѣ не шатаюсь! Вотъ тутъ-то я и въ искусство началъ входить... Настоящей науки-то, то-есть читать-писать, не имѣлъ, мастерства никакого не зналъ, а во всемъ нуждался. Вотъ я и рѣшилъ по волшебному мастерству пойти... А тутъ маменька въ скорости замужъ вышла, ну, ужъ тутъ мнѣ надо было совсѣмъ прочь уходить; вотъ я и сталъ со всякими проѣзжающими артистами знакомства заводить, сталъ примѣчать... Они меня куда-нибудь пошлютъ, я, замѣсто того, прошу секретъ мнѣ растолковать. Вотъ такъ и началось... По перву-то началу трудно мнѣ было. Разговоръ у этихъ, у иностранцевъ, чудной, ничего не разберешь. Ну, а потомъ сталъ привыкать, помаленьку да помаленьку, да теперь и достигъ... Съ кѣмъ вамъ будетъ угодно, могу разговаривать. Нѣмецъ ли, французъ ли, арапъ ли...

— Съ арапомъ-то какъ же?

— Съ арапомъ-то? Да какъ же съ ними говорить?.. говоришь обыкновенно ужъ кой-какъ, какъ-нибудь тамъ разговариваешь: гара-дара, кара-бара, ну, онъ и понимаетъ... «А что, скажешь, семъ мы по рюмочкѣ кольнемъ?»—«Бара-бара!» Ну и выпьемъ... все едино! И можно даже сказать, что въ нашей землѣ эти разные языки ничего не стоютъ; ежели въ нашу сторону попалъ, то свой языкъ долженъ прекратить. Потому у насъ первое дѣло: начальство, ты ему хоть по-каковски разсуждай, а прошеніе пиши по-нашему — на гербовой бумагѣ. Это разъ. И опять же Ивану Филиппычу два съ полтиной ты отдай. На какомъ языкѣ ни лопочи, а ужъ онъ съ тебя стребуетъ; у него разбору нѣтъ—арапъ ты или же ты нашъ, православный. Цѣна одна для всѣхъ. Такъ-то-съ!

Разсказчикъ на время пріостановился.

— Такъ, докладываю вамъ,—продолжалъ онъ, вздохнувъ, такъ вотъ я отъ дому поотбился... На семнадцатомъ годикѣ началъ я въ первый разъ отъ себя представленія давать; черезъ два года женился. Да такъ и живу! У маменьки-то теперь уже дочери замужнія — за благородныхъ выдала двухъ, третья дѣвушка при ней... Одинъ сынъ въ Санктпетербургѣ, въ военной службѣ, офицеръ. Кое-когда слухи доходятъ: къ маменькѣ иной разъ зайдешь съ задняго крыльца: пирога вынесетъ, поцалуетъ въ лобъ, заплачетъ и скажетъ— «ступай!» Сестры-то и знаютъ, кто я, но виду не показываютъ. И я на это не обижаюсь, истиннымъ Богомъ говорю. Кто я? Сказано: «непѣтый куличъ никто ѣсть не станетъ», такъ и я... Ежели они со мной передъ людьми знакомство выкажутъ, тотчасъ же мораль объ нихъ пойдетъ. Лучше же я ихъ оставлю. Дай имъ, Господи, всякаго благополучія! Сказывали ужъ и за младшей женихъ присватывался, дай ей Богъ!.. Истинно — отъ души! И родителя тоже рѣдко вижу. (Давно ужъ въ камилавкѣ!) Издали только голову качнетъ, когда видитъ, что я ему кланяюсь... Чуетъ мое сердце, хочется ему мнѣ словечко сказать, ну, да санъ ему не дозволяетъ. Такъ я вотъ все одинъ съ семьей и треплюсь! Однажды только военный-то братъ, что въ Санктпетербургѣ, забѣжалъ ко мнѣ... Ужъ истинно осчастливилъ: какъ же-съ, сами посудите, благородный человѣкъ, и разыскивалъ меня по всему городу!!. Только и это дѣло у насъ не поладилось. Обрадовался я ему и послалъ тихонько за водкой. Надо же чѣмъ-нибудь человѣка принять!

— Сидимъ мы съ нимъ въ саду, толкуемъ. «Позвольте, говорю, жену я вамъ свою покажу...»—«Я ее, говоритъ, видѣть не могу... Она погубила тебя... опустился, упалъ... Я, говоритъ, и шелъ за тѣмъ, чтобы тебѣ это сказать... Ты долженъ, говоритъ, бросить жену... Ты самородокъ, она дубина!» Я руками и ногами. А въ это время несутъ водку. Братецъ мой осерчалъ и весьма осерчалъ... «Ты, говоритъ, пьяница! Я хотѣлъ, говоритъ, тебя поднять, а ты свинья»... — «Помилуйте, говорю, братецъ! Вѣрьте Богу, истинно отъ души!»— «Нѣтъ, нѣтъ, говоритъ, я вижу... Это въ васъ самихъ, говоритъ, сидитъ под-

лость-то! Хочешь разъяснить ему, а онъ водку!.. Свинья!..» —«Да, братецъ, говорю...» — «Нѣтъ, ты, просто, говоритъ, свинья, свинья и свинья... До свиданья! Прощай!» хлопнулъ калиткой — и былъ таковъ.

Такъ я больше никого и не видалъ изъ родныхъ у себя... Точно, грустно иной разъ бываетъ, всѣми оставленъ, ну, да зато жена, дай ей Богъ...»

---

Черезъ нѣсколько минутъ, стоя у окна, я видѣлъ, какъ господинъ Ивановъ плелся по тротуару. Шелъ онъ тихо, заглядывая во внутренность лавокъ, и остановился у дверей фруктоваго магазина. Я видѣлъ, какъ лысый купецъ взялъ у него изъ рукъ бумагу, посмотрѣлъ и опять возвратилъ, махнувъ рукой. Ивановъ вѣжливо раскланялся и поплелся дальше.

## Неизлѣчимый.

### I. Глухой городокъ.

...Лѣтніе мѣсяцы прошлаго года мнѣ пришлось провести въ одномъ маленькомъ уѣздномъ городкѣ средней полосы Россіи. Жилъ я у моего стараго знакомаго, занимавшаго въ этомъ городкѣ должность уѣзднаго врача... Скучное было это житье... Если бы не частыя поѣздки въ уѣздъ, которыя моему пріятелю по обязанностямъ службы приходилось дѣлать чуть не каждую недѣлю,—поѣздки, въ которыхъ и я принималъ постоянное участіе въ качествѣ простого наблюдателя, я не знаю, помянулъ ли бы я добромъ эти лѣтніе мѣсяцы, проведенные «въ гостяхъ у друга».

Городокъ принадлежалъ къ числу самыхъ заброшенныхъ, самыхъ бѣдныхъ и глухихъ провинціальныхъ угловъ, въ которомъ, кромѣ всѣхъ видовъ бѣдности и всѣхъ видовъ неразлучнаго съ бѣдностью невѣжества—то забитаго, робкаго, безпомощнаго, то самодовольнаго и поэтому еще болѣе, чѣмъ другіе сорта, отвратительнаго, помимо всего этого, хорошо и давно знакомаго всѣмъ знающимъ русскія захолустья, городокъ этотъ поражалъ всякаго, даже посторонняго зрителя, и поражалъ очень непріятно явными признаками вымиранія тѣхъ ничтожныхъ крупицъ жизненной силы, которая въ прежнее время давала ему хоть и «кой-какую», но все-таки «возможность существовать, жить, имѣть хоть и крошечныя, но все-таки дѣйствительныя цѣли, побуждавшія его, перебиваясь изо дня въ день, надѣяться на что-то въ будущемъ»... Новыя времена сразу убили эти крошечныя цѣли существованія, оставили городокъ внѣ круга желѣзныхъ дорогъ, а слѣдовательно, и внѣ принесенныхъ ими денегъ, внѣ новыхъ родовъ заработка, новыхъ пунктовъ труда. Инстинктивное сознаніе собственнаго всегдашняго безсилія подсказало городку, что ни этимъ новымъ дорогамъ ни этимъ новымъ деньгамъ и заработкамъ не зачѣмъ и никогда не придется итти въ этакую глушь, и вслѣдствіе этого сознанія, все, что было побойчѣй, помоложе, ушло изъ города, покинувъ свои дѣдовскіе, почернѣлые, съ переломленной пополамъ высокой гнилой крышей дома, и оставило въ нихъ доживать свой вѣкъ тѣхъ, кто не умѣлъ жить и наживать деньги «по-новому», кто отчаялся и махнулъ рукой...

### II. Разсказъ.

Въ одинъ изъ первыхъ дней послѣ моего пріѣзда въ городокъ, когда мы, отобѣдавъ, отдыхали—одинъ въ одной, другой въ другой комнатѣ—и когда въ домѣ, на дворѣ и на улицѣ царствовала невозмутимая тишина, въ пустомъ залѣ вдругъ раздался голосъ:

— Иванъ Иванычъ, а Иванъ Иванычъ!

— Что вамъ?—отвѣчалъ мой пріятель изъ своего кабинета.

— Да мнѣ бы два словечка хотѣлось...

Говорившій, повидимому, стоялъ на улицѣ или на дворѣ и говорилъ въ отворенное окно.

— Что такое, какія словечки?—шлепая туфлями и направляясь къ окну, говорилъ мой пріятель. — Здравствуйте, отецъ дьяконъ! Какія словечки?..

— Добраго здоровья!.. Да я было хотѣлъ...

— Вы вотъ что скажите прежде всего, перебилъ его Иванъ Иванычъ: — бросили вы пить или нѣтъ, и принимаете ли желѣзо?

— Бросаю...

— Бросаете? Прекрасно... А желѣзо?

— Да вотъ я объ этомъ и хочу съ вами потолковать.

— Что же такое?
— Да вступаетъ ли?
— Что вступаетъ ли?
Какъ ни прискорбно, а надо сказать, что пріятель мой, попавъ въ такую непроходимую глушь, какъ этотъ несчастный городокъ, и видя постоянную бѣдность и невѣжество самыя поразительныя, сталъ чувствовать себя и по своимъ знаніямъ и по средствамъ неизмѣримо выше всего этого люда и усвоилъ себѣ нѣкоторую покровительственную развязность въ обращеніи со всѣмъ этимъ народомъ. Не знаю, виноватъ ли онъ въ этомъ.
— Что такое,—продолжалъ онъ, усаживаясь у окна,—что такое «вступаетъ»? Что вы тутъ толкуете? Куда «вступаетъ»?
— Да желѣзо-то... Точно ли, молъ, вступаетъ въ это... какъ его?..
— Въ кровь, что ль? Въ организмъ?
— Вотъ-вотъ... въ это самое... Точно ли, молъ?..
— Ахъ, отецъ Аркадій, или какъ тамъ васъ, отецъ вы или кто, ужъ не знаю... Сколько разъ я вамъ говорилъ—да! да! вступаетъ! И именно вступаетъ въ кровь! За какимъ же чортомъ, спрашивается, я вамъ его прописывалъ? Ну, скажите ради Бога, за какимъ чортомъ?
Отецъ дьяконъ кашлянулъ.
— Вы,—продолжалъ докторъ, отдѣляя каждое слово,—вы пили, кровь у васъ теперь не кровь, а сусло... Понимаете?.. Сусло, а не кровь!..
— Позвольте, — перебилъ дьяконъ. — Господи помилуй! Да развѣ я объ этомъ? Конечно, пьешь... да нешто я объ этомъ? Сусло! Я и самъ знаю, что сусло.
— Ну такъ что же тутъ, о чемъ же тутъ разговаривать? Принимайте желѣзо—и все!
— И, то-есть, ужъ въ самый корень вступитъ?
— Я не знаю, что это за корень... Вамъ куда надо-то?
— Да по мнѣ бы въ самую настоящую точку...
— Еще куда?.. Въ корень, въ точку, еще куда?
— То-есть, чтобъ въ сам-мую, напримѣръ, въ жилу?..
Дьяконъ ждалъ отвѣта.
— Знаете, что я вамъ скажу, отецъ дьяконъ,—довольно строгимъ тономъ заговорилъ докторъ.—Такъ говорить нельзя... Помилуйте! Да этакаго разговора самъ чортъ не разберетъ... Что это значитъ: въ самую точку? Гдѣ самая жила, а гдѣ не самая? Вѣдь это просто чортъ знаетъ что такое! Что такое вы говорите?
Дьяконъ и самъ засмѣялся.
— Чортъ ее знаетъ, въ самомъ дѣлѣ, плетешь языкомъ невѣсть что!..
— Ей-Богу, вѣдь это невозможно!.. Въ точку да въ жилу...
— Ха-ха-ха!..—хохоталъ дьяконъ.
— Ей-Богу, невозможно!..
Послѣ незначительнаго молчанія, во время котораго докторъ, надо думать, смягчился, разговоръ возобновился вновь.
— Я вамъ говорю,—началъ докторъ спокойно и категорически,—желѣзо вступаетъ въ кровь! разъ!
— Такъ!
— Поправляетъ и укрѣпляетъ нервы!
— Два!—тоже категорически отчеканивалъ дьяконъ.—Далѣе?
— Да чего жъ вамъ еще?
— А въ душу?
— Что въ душу?
— Да въ душу-то вступаетъ ли?
Этотъ вопросъ снова какъ будто встревожилъ доктора.
— Знаете, батюшка, что я вамъ скажу... Мнѣ кажется, что вы—большой охотникъ разговаривать! Вы сначала попробуйте—перестаньте пить да полѣчитесь, а потомъ и увидите, что будетъ съ душой...
— И возобновляетъ?
— Нѣтъ, отецъ Аркадій! Это невозможно! Это... Это... Такъ вы хотите, чтобъ я вамъ душу возобновилъ, что ли? Такъ? Да?...
Докторъ, очевидно, озлился.
— Да какой же мнѣ, помилуйте,—тоже, повидимому, ощетинившись, заговорилъ дьяконъ,—какой мнѣ расчетъ тамъ нервы эти самые, ежели оно не попадаетъ въ самую точку?
Докторъ бѣгалъ по комнатѣ въ очевидномъ гнѣвѣ и молчалъ.
— Никакого мнѣ нѣтъ расчету его пить, ежели оно только обаполо болѣзни ходить, тамъ, въ эти въ нервы въ разные, а въ самую, значитъ, суть-то—и нѣтъ!..
— Нѣтъ! Ради Бога, оставьте! Я не могу. Я не могу больше разговаривать такъ... Дѣлайте, что хотите!
Дьяконъ замолкъ и кашлянулъ. Взволнованный пріятель мой, большими шагами

ходившій по комнатѣ, вдругъ повернулъ въ мою сторону и проговорилъ:

— Какъ тебѣ нравится такого рода разговоръ? Слышалъ?

— Да,—отвѣчалъ я.—Кто это такой?

— Не въ томъ дѣло, — перебилъ меня озлобленный другъ,—но представь себѣ, какова пытка каждый Божій день слушать объясненія въ такомъ родѣ: «Нельзя ли въ самую жилу».—«Не пущаетъ» и такъ далѣе. Извольте ихъ лѣчить!.. У одного не пущаетъ, у другого какой-то, извольте видѣть, растетъ въ сердцѣ горохъ... Что такое? Что за чертовщина? а это—порокъ сердца... такъ въ Москвѣ сказали—горохъ, говорятъ...

Нечего сказать, любитъ провинціальный дѣятель, поймавъ терпѣливаго слушателя, поразсказать о своемъ самоотверженіи, терпѣніи и о множествѣ другихъ достоинствъ, которыхъ не видятъ и не цѣнятъ. Добрыя четверть часа слушалъ я эту похвалу собственнымъ достоинствамъ моего пріятеля, излагаемую имъ въ видѣ фактовъ невѣжества окружающихъ—невѣжества, переносимаго имъ вотъ ужъ пятый годъ и за такое ничтожное жалованье (и объ этомъ была рѣчь). Наконецъ онъ какъ будто усталъ, потому что остановился.

— Ты спрашивалъ, кажется, кто это такой?—вспомнивъ мой вопросъ, переспросилъ онъ и, принявшись возиться съ своими карманными часами, заводить ихъ, прикладывать къ уху, продолжалъ, — это какой-то сельскій дьяконъ. Теперь онъ подъ судомъ за что-то. Кажется, за пьянство—хорошенько не знаю. Когда мнѣ съ ними пускаться въ откровенность? Н-ну, знаю, т.-е., по крайней мѣрѣ, слышалъ, что жена ушла отъ него и, кажется, гдѣ-то учится въ родильномъ домѣ, или что-то въ этомъ родѣ. Потомъ отлично знаю, что пьянствуетъ и поминутно лѣзетъ съ разными нелѣпыми разговорами, съ точками съ разными да съ жилами. Надоѣлъ онъ мнѣ ужасно!

— Иванъ Иванычъ! а Иванъ Иванычъ!—робко послышался опять голосъ дьякона.

— Какъ? вы еще здѣсь? — совершенно утихнувъ и успокоившись, изумился докторъ и пошелъ въ залу. — Что вы тутъ дѣлаете? Я думалъ, вы уже ушли.

— Не сердитесь Бога ради, Иванъ Иванычъ! Что жъ такое! Мнѣ надо разузнать, въ чемъ дѣло...

— Я вовсе не сержусь,—мягко заговорилъ Иванъ Иванычъ,—а повторяю вамъ, что такъ нельзя говорить, и всякій вамъ скажетъ то же.

— Ну, я больше не буду. Слѣдовательно, на томъ дѣло стало—принимать?

— Что такое?

— То-есть желѣзо-то, принимать, стало-быть?

— Конечно, принимать...

— Превосходно! Стало-быть, такъ и будетъ. Только я васъ хотѣлъ еще спросить объ одномъ,—робко прибавилъ дьяконъ.

— Сдѣлайте милость, спрашивайте.

— Извольте видѣть,—тихо, убѣдительно заговорилъ дьяконъ.—Теперь вы говорите порошки тамъ, нервы, напримѣръ, органы и все этакое—вѣдь это физика?

— То-есть какъ физика? Я не понимаю, что вы хотите сказать?

— То-есть матерія, но не духъ; вотъ какъ я думаю?

— Порошки-то не духъ?

— Не порошки, а, напримѣръ, все прочее, весь составъ?

— А-а, ну, хорошо, ну, матерія.

— Извольте видѣть... даже и въ «*Русскомъ Словѣ*» не сказано прямо такъ, что, молъ, это все одно... Ежели бы такъ, то взять палку—вотъ тебѣ хребетъ, обмоталъ бечевкой—нервы, еще чего-нибудь наддалъ—и хоть въ мировые посредники выбирай, только шапку съ краснымъ околышемъ одѣть...

— Ишь какъ у насъ, отецъ дьяконъ-то! Остроты пускаетъ!

— Да ей-Богу, ежели такъ-то.

— Продолжайте, продолжайте... Н-ну матерія? Ну?..

— Ну, а духъ, я говорю, слѣдовательно, часть особая, изволите видѣть?

— Положимъ, особая. Далѣе?

— А далѣе, вотъ я и сомнѣваюсь, чтобы оно на пользу было... напримѣръ, для духа...

— Это, кажется, вы опять начинаете старую пѣсню?—перебилъ Иванъ Иванычъ и, должно-быть, такъ ясно выразилъ нежеланіе слушать эту пѣсню, что собесѣдникъ его почти тотчасъ же и во всю мочь своего голоса заговорилъ:

— Нѣтъ! Ей-Богу, нѣтъ! Иванъ Иванычъ! Сдѣлайте одолженіе! не о порошкахъ...

Онъ какъ будто останавливалъ этими торопливыми и крикливыми фразами намѣревавшагося уйти доктора.

— Какъ не о порошкахъ? Вѣдь опять договорились до того, что «вступаетъ» и такъ далѣе?

— Передъ Богомъ, не объ этомъ! Куплю, ей-ей куплю, сію минуту...

— Такъ объ чемъ же въ такомъ случаѣ? Я, ей-Богу, васъ не понимаю!

— Два словечка! Позвольте, дайте мнѣ досказать, я сію минуту объясню вамъ. Сдѣлайте ваше одолженіе!

Коротко и рѣзко стукнулъ стулъ: докторъ, очевидно, сѣлъ и рѣшился слушать.

— Какъ матерія,—съ разстановкою и тономъ отвѣчающаго на экзаменѣ ученика, началъ дьяконъ,—какъ матерія имѣетъ на свою пользу разныя специи, такъ равно и духъ ихъ имѣетъ...

И замолкъ.

— Все?

— Все.

— Очень пріятно, по крайней мѣрѣ, коротко.

— И такъ какъ...—началъ было дьяконъ тѣмъ же тономъ.

— Да вѣдь все?

— Только еще полслова! Сдѣлайте ваше одолженіе! то-есть чуть-чуть... И такъ какъ для тѣла, слѣдовательно, есть разные порошки или тамъ примочки, то для духа они пользы не даютъ. То, слѣдовательно...

— То, что то?

— То, что духъ имѣетъ свои, напримѣръ...

— Примочки?

— Примочки не примочки, а тоже средства... Порошки для тѣла, а для духа надо другое... Вотъ какое дѣло! Я, какъ передъ Богомъ, вамъ говорю, сейчасъ куплю желѣза этого, а для духа-то нѣтъ!..

Надоѣло ли доктору слушать все это, только онъ на этотъ разъ не придирался къ собесѣднику, а довольно кротко сказалъ:

— Что жъ такое для духа, по-вашему, надо?

— То-то и мудрено, «что»? Объ этомъ-то и разговоръ.

— Ну, объ этомъ вы посовѣтуйтесь съ кѣмъ-нибудь другимъ, я тутъ ужъ—пасъ!

— Съ кѣмъ же мнѣ совѣтоваться? Да тутъ во всемъ городѣ ни одинъ человѣкъ не знаетъ, что у него есть духъ и есть тѣло... Имъ бы только жалованье получать... Мнѣ спрашивать объ этомъ некого...

— Ну, и я вамъ тоже не могу помочь.

— А чтеніе, напримѣръ? Какъ вы думаете?

Докторъ барабанилъ пальцемъ по подоконнику и молчалъ.

— Ежели, напримѣръ, основательное чтеніе?.. Вѣдь, я думаю, оно возстановляетъ? А? Какъ вы думаете?

— Конечно... — совершенно разсѣянно отвѣчаетъ докторъ.

— Ее-ей! Я такъ и думалъ!.. Порошки—для тѣла, книги—для духа? Да пить перестану?

— Это-то самое было бы лучшее...

— Ей-ей перестану. Будь я проклятъ! Вотъ какъ! А? какъ вы думаете? И порошки, напримѣръ, и чтеніе, анъ, можетъ-быть, и возстановится?

— Очень можетъ быть!—вовсе не интересуясь этимъ разговоромъ и думая о чемъ-то другомъ, пробормоталъ докторъ.

— Ей-Богу? Ну, и отлично!.. Иванъ Иванычъ! будьте отцомъ роднымъ! батюшка!—жалобно заговорилъ дьяконъ.

— Что такое?

— Одолжите книжечекъ! Сдѣлайте милость!

— Какія есть, берите, хоть сейчасъ.

— Я сейчасъ, и желѣзо сейчасъ...

— Заходите.

Скоро въ комнату вошелъ тщедушный, худенькій человѣкъ, въ истасканномъ подрясникѣ, и робко, на цыпочкахъ, направился вслѣдъ за Иваномъ Иванычемъ въ его кабинетъ; проходя заломъ, онъ обернулся въ мою сторону, и я увидѣлъ прежде всего крайне странные, не то восторженные, не то испуганные, даже сумасшедшіе глаза, ярче всего выдававшіеся на худомъ, блѣдномъ, еще не старомъ лицѣ съ жидкими, длинными бѣлокурыми волосами и маленькой бородкой, которую онъ постоянно щипалъ, пробираясь на цыпочкахъ въ кабинетъ. Тщедушное, робко согнувшееся тѣло, это больное, испуганное лицо и глаза, полные чего-то пугливаго и неопредѣленно оживленнаго, производили впечатлѣніе чего-то жалкаго и хилаго.

— Вотъ все, что есть, выбирайте!.. Вамъ какія книги надо?—спрашивалъ мой

пріятель, когда они очутились въ кабинетѣ.

— Да мнѣ бы пофундаментальнѣе...

— Ну, вотъ, выбирайте... Вотъ журналъ не хотите ли?

— Нѣтъ, это все мимолетное.

— А вамъ надо не мимолетнаго? Да?

— Да ужъ что-нибудь по... того, поздоровѣй.

— Поздоровѣй?..

Роясь въ книгахъ, болталъ докторъ:

— Поздоровѣй вамъ? Не хотите ли взять вотъ Шлоссера, это, я думаю, будетъ довольно здорово...

— Это что такое—Шлоссеръ?

— Исторія.

— Сдѣлайте милость, это мнѣ въ самый разъ...

— Ну, такъ вотъ и берите...

— Мнѣ бы только, Иванъ Иванычъ, ужъ съ самаго начала... что-нибудь...

— Да вотъ что тутъ? «Греки»... вотъ тутъ съ самаго начала...

— Очень вамъ благодаренъ... То-есть, какъ вы говорите—съ самаго начала? Съ самаго начала только греческая исторія?

— Только одна греческая... А вамъ что же?

— А раньше грековъ нѣтъ ли чего?

— Разумѣется, есть. Вотъ исторія Индіи... Это раньше грековъ.

— А еще чего не было ли раньше?

— Ужъ я, ей-Богу, не знаю... Да зачѣмъ вамъ?

— Да мнѣ бы хотѣлось ужъ, чтобы начать, напримѣръ, съ самаго корня...

— Опять самые корни?

— Да ей-Богу, Иванъ Иванычъ, что жъ мнѣ хватать верхушки? Ужъ ежели поправляться, такъ надо какъ слѣдуетъ... Вновь... Съ самаго, напримѣръ, съ кор... съ корня... Что вы смѣетесь? Ей-Богу, право... Что жъ такъ-то?..

— Да такъ, такъ... Только я не знаю, что жъ бы такое?.. Не хотите ли «До человѣка»?

— Это книга такая?

— Книга... Понимаете—до!.. Ужъ тутъ самый корень.

— Вотъ, вотъ, вотъ! — какъ-то даже сладострастно зашепталъ дьяконъ, — до! Это самое и есть—«до» всего еще?

— То-есть до всего на свѣтѣ!..

— Ну, ну, ну... Это мнѣ и надо... Съ самаго...

— Съ самаго, съ самаго! — На-те, с... рите!

— Ну, дай вамъ Богъ здоровья... С... часъ примусь! Вотъ это мнѣ и нужно...

— Очень радъ.

— Очень вамъ благодаренъ! А то... жъ мнѣ, ей-Богу,—журналы тамъ?.. ... ужъ надо все наново... Иначе что ... такъ-то? Ужъ ежели...

— Ну, ладно, ладно!

Поблагодаривъ и бормоча все то ... то-есть, что «ежели поправляться, та... надо не какъ-нибудь»,—дьяконъ поспѣш... съ явнымъ намѣреніемъ сейчасъ же п... няться за дѣло, вышелъ изъ кабин... перебѣжалъ залъ и направился въ б... держа подъ самымъ носомъ разверну... книгу.

— И представь себѣ,—заговорилъ пр... тель, вновь появляясь въ моей комнатѣ,— вѣдь такіе разговоры у насъ съ ни... идутъ чуть не каждый Божій день... « вступаетъ ли?» «а что душа», «въ душу»— чортъ знаетъ что... Часа по два би... тиранитъ меня, а кончится ничѣмъ... В... тотъ же вечеръ напьется и надѣла... разныхъ гадостей.

— Онъ какой-то чудной!

— Пьетъ... куралеситъ, дѣла разстр... ены, да и жена бросила, ну вотъ и хочет... «все вновь...» То порошками, то кни... ками... Да изволите видѣть, чтобъ въ са... мую жилу... въ точку... Надоѣло. А что, не пойти ли намъ погулять?

Скоро мы отправились за городъ и во... ротились очень поздно. Былъ душны... лѣтній вечеръ. Во время нашей долго... загородной прогулки меня не покида... мысль объ этомъ бѣдномъ человѣкѣ, ду... мающемъ вылѣчить свою душевную бол... книгами и порошками. Что это за душев... ная рана? Что это за боль? Какъ? откуд... нанесло ее на бѣднягу? Все это очень за... нимало меня. Я рѣшилъ непремѣнно найти случай поговорить съ нимъ, разспросить его.

### III. Вечеркомъ въ глухомъ уголкѣ.— Разсказъ.

Два или три дня, слѣдовавшихъ за раз... говоромъ подъ окномъ, я почти не ви... далъ дьякона. Онъ сидѣлъ въ своей б...нѣ, должно-быть, прилежно занимаясь чтені...мъ сочиненія «До человѣка», сидя до позд...ей

ночи, и только разъ или два во всё эти дни, и то на минуту, подбѣгалъ къ спальнѣ моего пріятеля, чтобы задать вопросъ и уйти...

— Хиліасты, Иванъ Иванычъ, что такое?—спрашивалъ онъ.

— Хиліасты?

— Вотъ тутъ сказано «*такъ же, какъ тысячелѣтнее царство для хиліастовъ*»...

— То-есть, какъ же это «такъ же»? Надо прочесть всю фразу...

Дьяконъ прочелъ какой-то очень сложный періодъ, спотыкаясь на каждомъ шагу—точно плелся онъ безъ дороги по какому-то изрытому полю, не зная, что сзади, что впереди.

По прочтеніи этой фразы, докторъ принялся соображать, а дьяконъ стоялъ и ждалъ молча.

— Чортъ ее знаетъ! — наконецъ, произнесъ мой пріятель. — Да вы это просто пропускайте...

— Ну ужъ что жъ это—пропускъ!..

— Ну, я не знаю... Читайте дальше, тамъ будетъ видно...

— Гм!—сдѣлалъ дьяконъ, помолчалъ и пошелъ.

Въ другой разъ онъ поймалъ Ивана Иваныча въ ту самую минуту, когда тотъ совсѣмъ было ушелъ на практику.

— Вотъ,—прямо началъ онъ, входя и держа раскрытую книгу,—«*или, почему взрослое животное лучше новорожденнаго?*» Почему, Иванъ Иванычъ?

— Что такое? Какое животное?

— Вообще, тутъ сказано, напримѣръ, такъ, что яйцо, напримѣръ... да вотъ: «*или, что лучшаго въ новорожденномъ животномъ?..*»

— Дайте сюда книгу! Гдѣ это?

Дьяконъ подалъ книгу, указалъ и ждалъ.

Минутъ пять читалъ Иванъ Иванычъ указанное мѣсто, перевертывая страницы и впередъ и назадъ, и, наконецъ, сказалъ:

— Вѣдь я такъ не могу—выхватить прямо изъ середки и объяснить. Чортъ его знаетъ, что это такое? Такъ нельзя!

— Гм!—опять сдѣлалъ дьяконъ.

— Я долженъ прочесть, по крайней мѣрѣ, нѣсколько страницъ, чтобы знать... Яйцо какое-то!.. Вы придите завтра, послѣ обѣда, мы прочтемъ.

Дьяконъ помолчалъ, перелистовалъ нѣсколько страницъ и задалъ было еще вопросъ:

— А что вотъ еще означаетъ «комбинаціи формъ»?

— Не теперь, — перебилъ докторъ.—Я сейчасъ ухожу. Приходите завтра на цѣлый вечеръ, мы все это разберемъ.

— Ну, ладно... Ужъ и трудно же написано!..

— Ничего, послѣ!..—торопясь уходить, говорилъ Иванъ Иванычъ.—Приходите!

Дьяконъ помолчалъ, повертѣлъ страницы и пошелъ, сказавъ, впрочемъ, что придетъ, «непремѣнно придетъ».

Въ назначенный для ученаго разговора вечеръ произошло, однако, совсѣмъ не то, что должно было произойти. Отправившись по обыкновенію за городъ, мы совершенно забыли, что «сегодня вечеромъ» долженъ прійти дьяконъ, и спохватились только тогда, когда на дворѣ была почти ночь.

Спохватившись, мы торопливо пошли домой.

Въ комнатахъ нашей квартиры было темно, окна отворены и со двора доносился какой-то шумъ.

Оказалось, что «*ругаются*»!

Въ будничной жизни глухого русскаго уголка нѣтъ, какъ мнѣ кажется, другихъ болѣе тягостныхъ минутъ въ теченіе цѣлаго дня, какъ тѣ, которыя опредѣляются словами «посидѣть вечеркомъ на крылечкѣ», «отдохнуть вечеркомъ»,—словомъ, побыть *такъ*, ничего не дѣлая, нѣсколько вечернихъ часовъ. Вездѣ, гдѣ есть настоящая жизнь, хоть и трудная и неприглядная, въ самыхъ глухихъ уголкахъ европейскихъ большихъ городовъ, на каторжныхъ фабрикахъ, вечеръ—дѣйствительное время отдыха, потому что день—дѣйствительно время тяжелаго труда, время устали, и какъ ни труденъ этотъ рабочій день, но вечеръ веселъ или, по крайней мѣрѣ, тихъ... Совсѣмъ не то въ глухомъ русскомъ уголкѣ. Притворяясь, по чьему-то приказанію городомъ, уголокъ заставляетъ невольно притворяться все, что ни живетъ въ немъ. Притворяется начальствомъ исправникъ и все чиновное, все распоряжающееся, — притворяется потому, что не надъ чѣмъ въ сущности начальствовать и нечѣмъ распоряжаться. Притворяется учитель, знающій очень хорошо, что наука его плоха и проку отъ нея мало,

и т. д. И вотъ все это, не могущее по совѣсти не сознать, что прожитый день былъ «одна канитель», «помаявшись» этотъ день кое-какъ, чувствуетъ вечеркомъ, когда прекращается эта «тягота маяты», потребность облегчить душу отъ ига призрачной дѣятельности, призрачной жизни... Повсюду тихо, вездѣ заперты ворота и ставни, нигдѣ не видно огня, и кажется, что глухой уголокъ спитъ мертвымъ сномъ. Ничуть не бывало — напротивъ: вездѣ, въ темныхъ спальняхъ, на «крылечкахъ», куда обыватель выползъ «посидѣть» послѣ ужина, идетъ шопотомъ, во имя потребности облегчить душу, сваливаніе душевной дряни другъ на друга... «Завезъ въ какую гибель!—шепчетъ молодая жена.—Да что это? Да лучше я въ монастырь уйду. Али у меня жениховъ не было?..» «А изъ-за кого бьюсь? Изъ-за васъ, чертей, все жъ и бьюсь-то!.. Былъ бы я одинъ,—сердито шепчетъ отецъ семейства,—такъ сталъ бы я тутъ торчать, въ этакой пропасти?» Тамъ, въ темнотѣ, кто-нибудь пьетъ и проклинаетъ свою участь; въ другомъ темномъ, какъ смоль, углу кто-нибудь пьетъ и молчитъ... И вездѣ за этими запертыми ставнями, въ темныхъ душныхъ спальняхъ, подъ темнымъ душнымъ небомъ, на крылечкахъ уѣздный людъ пилитъ другъ друга, пилитъ тихо, чуть слышно, какъ чуть слышно зудитъ пила, которою перепиливаютъ человѣческія кости.

Вотъ именно такого рода «отдохновеніе» происходило и на нашемъ дворѣ, гдѣ на крылечкѣ отдыхала послѣ ужина вся подсудимая семья госпожи Антоновой!.. И— увы!—въ общемъ шипѣньи этихъ звѣрей другъ на друга громче всѣхъ раздавался голосъ дьякона, голосъ въ которомъ не было ни тѣни недавняго подобострастія и робости. Напротивъ, нагло, грубо и до послѣдней степени пьяно звучалъ онъ теперь, ругательствами обрушиваясь на всѣхъ и на вся...

— Что это?—заслышавъ знакомый голосъ произнесъ Иванъ Иванычъ, появляясь въ моей комнатѣ.—Пьянъ?

Чтобъ убѣдиться въ этомъ, онъ сталъ прислушиваться. Дьяконъ ругалъ госпожу Антонову и зятьевъ благочиннаго, свою жену, книги, журналы,—словомъ, все въ ужаснѣйшемъ, невообразимомъ безпорядкѣ осаждавшее его пьяную голову...

— Акушерство!—кричалъ онъ...—Акушерство! Нѣтъ, взять бы хорошую дубину... Как-кая силоамская купель, скажите пожалуйста!.. Эхъ, вы-ы... акушерки!..

— Отецъ дьяконъ! — перебилъ рѣчь Иванъ Иванычъ. — Вы что жъ это? Опять?

— Да!—твердо и вызывающе отвѣчалъ дьяконъ.

— Отлично!

— Превосходно! А вы полагали, что дурака нашли? Передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ по порошку? На-ко вотъ, съѣшь!..

Сконфузило это Ивана Иваныча. Онъ такъ и не отвѣтилъ ему ни слова, а стоялъ и молчалъ.

— Эхъ вы-ы,—продолжалъ между тѣмъ дьяконъ,—ученые!.. Что ни спросишь— ничего не знаете... Какого вы чорта смыслите?.. Порошки... Дубье вы со всѣми вашими книгами... У человѣка душа болитъ, а вы, прохво...

— Затворите окно! — сказалъ Иванъ Иванычъ, очевидно, совершенно разгнѣванный.—Пусть его! Это постоянно... А завтра опять приплетется...

Долго за запертымъ окномъ слышался голосъ ругавшагося дьякона... «Эхъ, вы, акушерки-молодки...» «Порошковъ бы вамъ, ворамъ, принять желѣзныхъ, авось, вы перестане красть...» «Хиліасты поганые!» «Почитай-ко, что у Бокля сказано — свинья!» «Охъ, если бъ Бисмаркъ васъ распалилъ!»

— Только ужъ больше я съ нимъ разговаривать не буду! Нѣтъ! — говорилъ Иванъ Иванычъ. — Нѣтъ, это мнѣ надоѣло...

На слѣдующій день, какъ того ожидалъ Иванъ Иванычъ, готовившійся отдѣлать дьякона за вчерашнее, послѣдній не показывалъ глазъ. Не было видно его и вечеромъ, при чемъ семейство Антоновой ругалось одно, собственными средствами. И только черезъ два дня, вечеромъ, я снова увидѣлъ его.

Онъ былъ худъ, еле живъ, грустенъ, боленъ. Долго сидѣлъ онъ молча, на приступкѣ дверей своей бани, не отвѣчая ни одного слова на остроты, направленныя изъ полчища отдыхавшихъ на крылечкѣ подсудимыхъ, хотя послѣдніе, видя, что онъ совершенно безсиленъ сегодня, направили на него весь запасъ ненависти,

которую должны бы были сегодня израсходовать другъ на друга. Вслѣдствіе этого обстоятельства они были очень веселы.

— Принять бы и мнѣ порошокъ!—говорилъ кто-то на крыльцѣ,—авось, меня изъ-подъ суда освободятъ...

— Что жъ, попробуй. Вонъ отецъ дьяконъ принимаетъ... говоритъ—совсѣмъ, говоритъ, поправлюсь...

— Да, ловко онъ третьяго дня поправился!..

— Не ту положилъ препорцію... Надо бы: полштофъ—и порошокъ, полштофъ—и порошокъ. А онъ полштофовъ-то выпилъ штукъ шесть, а порошокъ-то одинъ... Вонъ оно и...

— Да-да-да! А то бы и ничего?

— Чего жъ лучше! Вполнѣ облегчаетъ... Даже такъ, что и жена опять возвращается къ мужу...

— О-о-о! Какое чудесное лѣкарство...

— Не вѣришь! Ей-Богу!.. Отецъ дьяконъ! Сдѣлайте милость, скажите... Что ежели, напримѣръ, заняться чтеніемъ и, напримѣръ, штофа четыре?..

Смѣхъ не даетъ говорить. Долго хохочутъ. Дьяконъ молчитъ и третъ лобъ.

— А что, супруга опять же къ вамъ возвратится?

— Чего-съ? — сиплымъ голосомъ спросилъ дьяконъ.

— Супруга, говорю, возвратится къ вамъ?

— А зачѣмъ ей въ этомъ хлѣву быть, позвольте узнать?

— Вы, значитъ, это ее колотили, чтобъ она въ хлѣву не была?

— Значитъ, изъ хлѣву гнали по шеѣ-то ее?

— Да замолчите ли вы, мерзавцы, наконецъ,—внѣ себя вдругъ больнымъ, надорваннымъ голосомъ заговорилъ дьяконъ, вскакивая. — Что это такое? Когда меня Господь вынесетъ отсюда!.. Господи! Билъ, билъ я! Мерзавцы этакіе! Отъ этого я и боле-енъ! О-о, Господи! Да это—омутъ!

Хохотъ не прекращался. Омутъ чувствовалъ, что онъ, дѣйствительно, омутъ и, сознавая въ себѣ это качество, былъ безжалостенъ.

— Колотитъ жену по шеѣ, а самъ боленъ! Какая удивительная болѣзнь!

— О Господи! Изверги!..

— Ха-ха-ха...

— Отецъ дьяконъ!—не вытерпѣлъ я.— Подите сюда, пожалуйста!

Участіе посторонняго человѣка сразу прекратило сцену. Омутъ ужасно пугливъ; заслышавъ чей-то чужой голосъ, увидавъ чье-то постороннее вмѣшательство, онъ сразу струсилъ, притихъ и помаленьку-помаленьку сталъ расползаться.

— Это вы животныя, — кричалъ дьяконъ, направляясь ко мнѣ,—не понимаете, что вы—свиньи, я-то знаю!.. Вотъ ужъ именно животныя... Да помилуйте,—торопливо вбѣгая ко мнѣ въ комнату, весь блѣдный и дрожавшій, продолжалъ онъ,— помилуйте! Я и боленъ отъ свинства, отчего жъ это я лѣчусь-то, какъ не отъ свинова элемента? Господи помилуй! Да не только билъ, не вѣсть, что творилъ! Вспомню только — и моря водки мало, чтобъ залить это... А они, негодные, еще разжигаютъ...

— Отдохните, отецъ дьяконъ! Сядьте!..— сказалъ я.

— О Господи... Я и не поздоровался!.. Да что! Совсѣмъ пропадаю... Ей-Богу... Ничего не подѣлаешь!

Онъ сѣлъ къ столу, устало наклонивъ голову и тяжело дыша.

— Что жъ такое?

— Да совѣсти ужасть сколько надо... а душа-то у нашего брата свиная, вотъ и разрываешься на части!.. Это зачѣмъ я порошки требую? все для этого!.. И книжки тоже, все для того же...

— Для чего?

— Да душу-то хочу свою изъ свиной въ человѣчью обратить... вотъ для чего!.. Ну и начнешь... Индія, обезьяны какія-то... горшки подземные... нѣтъ, не убавляетъ свинова элементу!.. Примешься лѣчиться, пьешь-пьешь, и передъ обѣдомъ и послѣ обѣда, и вдругъ пожелаешь сдѣлать гадость—ну и кончено, и все бросишь и... вонъ какъ третьяго дня—напьешься и проклянешь всѣхъ... О-охъ! Странное дѣло—совѣсть!.. И сколько она теперешнее время народу ѣстъ!.. Страсть!

— Какъ теперешнее время, а прежде?

— Прежде этого не было. Это только теперь стало.

— Будто?

— Вѣрно вамъ говорю. Что такое новое время, позвольте узнать, какъ по-вашему?

— Говорите вы!

— По-моему такъ—правда во всемъ, чтобы по чистой совѣсти, вотъ!.. а прежнее—кривда, кривая струя... вотъ какъ... Ну и помираешь!..

— Почему же?

— Да не прямъ, а кривъ, и душа крива, и совѣсть—туда-сюда... и къ свинству любовь...

— Будто любовь?

— А то что же! И я это все вижу и ничего сдѣлать не могу... А отчего? Отъ совѣсти! Совѣсть проснулась въ душѣ и, какъ ключъ подъ навозной кучей, развезла эту кучу по всему двору, стало все расползаться—грязь! Умирай! И мрутъ, страсть какъ мрутъ...

— Отецъ дьяконъ!—перебилъ я его.— Не можете ли вы разсказать мнѣ, какъ все это случилось съ вами?

— Какъ случилось?—переспросилъ онъ и задумался.—То-есть, какъ совѣсть-то проснулась, и какъ куча-то расползлась?

— Да! все, что было съ вами?

— То-есть, вообще про болѣзнь?

— Ну, да!

— Извольте! Видите, какъ я заболѣлъ-то... Видите, какъ... Надо вамъ сказать, что случилось это со мной годовъ пять тому назадъ. Былъ я въ то время не такимъ прохвостомъ, какъ теперь, не пьяницей, не распутникомъ, не запрещеннымъ; былъ я тогда, какъ слѣдуетъ быть отцу дьякону: степенно, солидно ходилъ въ рясѣ, имѣя молодую, здоровую жену, и читалъ съ полнымъ удовольствіемъ многолѣтія,—словомъ, жилъ и во снѣ не видалъ стать пропащимъ человѣкомъ... Было у меня въ дѣтствѣ въ семинаріи, когда я былъ мальчикомъ, лѣтъ семнадцати, было у меня что-то грустное, тяжелое на душѣ, что-то какъ будто саднило... Тянуло меня куда-то прочь; но что-то другое, чего я еще не зналъ, и что потомъ оказалось свинымъ элементомъ, держало и не пускало... Саднило, говорю, отъ этого на душѣ, и такъ даже было однажды, что купался я, схватила меня судорога, пошелъ я ко дну и думаю: «вотъ-вотъ этого мнѣ... какъ хорошо не жить!..» Ну вытащили. Помню, принесли меня на квартиру чуть живого—и, какъ на грѣхъ, въ ту самую минуту пріѣхалъ изъ деревни мой отецъ, тоже дьяконъ, старый, престарый... Какъ увидѣлъ я слезы его (когда онъ узналъ, что я тонулъ), какъ представилъ я всю его жизнь, съ пирогами, крестинами, со всѣми мученіями его ни съ чѣмъ не сообразной жизни, мнѣ стало такъ совѣстно, что я хотѣлъ умереть, что и сказать не могу! И не то, чтобы жить мнѣ захотѣлось или жалко стало отца—нѣтъ, у меня только перестало саднить на душѣ и перестало меня тянуть куда-то, и мнѣ представилось, когда я припомнилъ жизнь отца, что и мнѣ почему-то нужно тянуть ту же лямку, что она для меня почему-то неизбѣжна... Мнѣ стало покойно, и я сталъ тянуть эту лямку... Первымъ долгомъ, женился я такъ, кой-какъ; любви тутъ не было никакой, а свинство было. Когда я увидалъ невѣсту—мнѣ не понравилось ея лицо. Какая-то тѣнь мечтаній зашевелилась у меня въ головѣ: не такою невѣсту представлялъ я свою... Но это было недолго... «У нея домъ!» сказали мнѣ, и мнѣ стало легче... И стало мнѣ легче, и пробудилось во мнѣ что-то еще: не понравилось мнѣ у невѣсты лицо, глаза, но стали нравиться мясистыя плечи, шея бѣлая и толстая... Я вамъ говорю ужъ все по чести.

— Пожалуйста...

— Ужъ что жъ... Я даже не говорилъ съ ней, а ужъ чувствовалъ, что могу обнять ее, и что-то жадное пріятно текло въ крови... словомъ, свиной человѣкъ преоборолъ и побѣдилъ... Это — первое. Второе явленіе свинова элементу было въ посвященіи въ дьяконы, и тутъ на первомъ планѣ болѣе важнымъ и существеннымъ казались мнѣ такія вещи, какъ то, что мнѣ достанется «домъ» и «садъ», что доходъ хорошъ, чѣмъ то, что налагаетъ на меня санъ, чѣмъ мои нравственныя обязанности... Помню, когда посвящали меня, мнѣ пришло въ голову: «Не грѣхъ ли это? Не безсовѣстно ли?» Но домъ, да садъ, да жирный бокъ жены... онъ представлялся мнѣ во время посвященія, въ церкви... упругій, молодой бокъ эдакій—и сомнѣнія исчезли... Видите, какъ было мало совѣсти-то у меня! Да у всѣхъ-то больше ли ея было? Все, что жило тогда вокругъ меня, было воспитано уважать домъ, землю, деньги больше, чѣмъ правду своей души. «По крайности, домъ, по крайности, деньги», говорилъ всякій, оправдывая какой-нибудь глубочайшій проступокъ противъ своей совѣсти. И никому это не казалось удивительнымъ. Теперь пошло какъ разъ на

выворотъ... Ну, да что... буду разсказывать, какъ было!.. Вотъ какъ попралъ я такимъ манеромъ свою совѣсть-то, сталъ я жить поистинѣ припѣваючи. Правда, когда я ѣхалъ съ молодой женой послѣ посвященія въ село, случилось со мной что-то въ родѣ прежняго, засаднило будто опять. Оглянулся я такъ-то на нее (сидѣли мы въ телѣгѣ) и думаю: зачѣмъ? Хочу сказать ей что-нибудь—и вижу, что нечего... потому что совсѣмъ чужой человѣкъ со мной сидитъ... Хотѣлъ подумать объ этомъ, тяжело какъ-то стало, страсть какъ тяжело, заломило во всѣхъ суставахъ... взялъ и обнялъ ее... и легче... Это случилось только разъ... А потомъ, какъ только поѣхали, устроились—все пошло, какъ по маслу. Мой начальникъ—отецъ Иванъ, священникъ—сильно успокоилъ меня и сразу установилъ меня на настоящей точкѣ... Рубъ, гривенникъ, «бумажка»,—словомъ, деньги во всѣхъ видахъ и качествахъ; это былъ его Богъ, это была его подлинная вѣра, надежда, любовь и Софія-премудрость—все! Онъ, отецъ Иванъ, есть не болѣе, какъ кошелекъ—я думаю, онъ и самъ такъ представлялъ себя—кошелекъ одушевленный. Это былъ кошелекъ, да и самъ онъ, если не считалъ себя кошелькомъ, то не отказался бы отъ этого прозванія, а вся вселенная, все, что есть между небомъ и землей,—все это не болѣе, какъ вмѣстилище разнаго рода крупныхъ и мелкихъ денегъ, которыя частью должны перейти въ кошелекъ отца Ивана. И какъ только какая-нибудь монета, вращавшаяся во всей вселенной, попадала къ нему, онъ былъ счастливъ и доволенъ, и цѣль его жизни поддерживалась какъ нельзя лучше. Любо было смотрѣть на его маленькіе глазки, когда въ рукахъ его оказывался рубъ, гривенникъ... Онъ самъ былъ маленькій, грязненькій, толстенькій и неряшливый человѣкъ; но когда ему попадала бумажка, все грязцо и сало и масло, которыми онъ былъ пропитанъ и пахнулъ, таяло, сверкало и расплывалось отъ тепла душевнаго. Уже одна эта искренняя радость при видѣ денегъ необычайно успокоительно дѣйствовала на меня; міросозерцаніе дѣлалось опредѣленнымъ, особливо если принять въ расчетъ, что разговоры отца Ивана, разговоры искренніе, безъ сомнѣній и колебаній, тоже были исключительно о деньгахъ и дѣйствовали поэтому не менѣе сильно... «Вотъ онъ червь-то!»—говорилъ онъ пряча рубль, полученный съ мужиковъ за молебствіе противъ червя, и, добродушно улыбаясь, звонкимъ поворотомъ ключа запиралъ его въ столикъ. И мнѣ было такъ легко, когда я глядѣлъ на него въ это время. Въ самомъ дѣлѣ, что же могло выйти изъ всей исторіи о червѣ? Кто правъ въ ней? Мужики ли, которые служили молебенъ, или отецъ Иванъ, запиравшій рубль? Разумѣется, онъ... Я теперь ни за что, кажется, не сумѣю пересказать вамъ, какъ онъ изощрилъ свой умъ на то, чтобы знать, видѣть, гдѣ и какъ, и у кого можно получить копейку... И какъ онъ былъ приспособленъ достать ее!.. Какъ онъ извивался передъ помѣщикомъ, какъ грустно упрекалъ мужика въ нерадѣніи къ храму Божію, какъ искусно притворялся передъ начальствомъ, выпрашивая пособіе на учебныя принадлежности, какъ добродушно и ядовито улыбался, запирая въ столикъ деньги, полученныя отъ барина, какъ самодовольно поглаживалъ бороду, когда растроганный мужикъ, радѣя къ храму Божію, цѣлый день возилъ, напримѣръ, изъ лѣсу дрова на дворъ къ отцу Ивану. Всего не перескажешь; но по совѣсти скажу, что этотъ человѣкъ съ такими опредѣленными, непоколебимыми взглядами на Божій свѣтъ, какъ на рубль или гривенникъ, а главное, искренность этого взгляда произвели на меня самое успокоительное впечатлѣніе. Мало-по-малу я сталъ терять возможность иначе смотрѣть на бѣлый свѣтъ: все устроено, чтобы намъ получать, и не намъ однимъ, а всѣмъ. Тревоги этого полученія—трудъ, а жизнь—это отдыхъ съ женой, ѣда, сонъ... Вотъ и все! Положеніе мое въ денежномъ отношеніи было недурное: у жены былъ домъ и деньги; жили мы одни, потому что вдовый отецъ ея пошелъ въ монастырь доживать свой вѣкъ. Жажды къ копейкѣ у меня не было, да я и не нуждался въ ней... Я даже могъ, какъ бы сказать, либеральничать надъ теоріей отца Ивана, но что теорія эта настоящая, я не могъ или пересталъ сомнѣваться.

Стало мнѣ очень покойно...

Любо мнѣ было, завалившись съ женой на кровать, проспать до утра, потомъ отправиться съ требой, поѣсть, попить и воротиться съ деньгами... Серьезно вамъ

говорю — ѣсть, знаете ли, жрать — было пріятно. Выпьешь водки, поѣшь и ляжешь... Вотъ какое животное... Разговаривать идешь къ отцу Ивану и тутъ тоже хорошо проводишь время... Сидитъ какой-нибудь гость съ загорѣлымъ лицомъ, съ таліей, перетянутой ремнемъ, человѣкъ, очевидно, практическій (у отца Ивана знакомые все практичные люди) и ведетъ какой-нибудь разговоръ, ну, напримѣръ, такой...

— И сталъ онъ, какъ полая вода, ѣздить на лодкѣ по моему лугу и рыбу ловить... Думаю, вѣдь лугъ-то мой... да и вода-то, стало-быть, хошь она и полая — тоже моя, ежели она на моей землѣ, а слѣдовательно, и рыба вѣдь тоже моя... Такъ ли я говорю?

— Тва-ая! чистое дѣло, твоя! — глубоко убѣжденно вторитъ отецъ Иванъ.

— Н-ну, — продолжаетъ собесѣдникъ, — ну, судари мои, думаю, вѣдь надо бы мнѣ съ него взыскать?.. За рыбу-то... Думалъ, думалъ — нѣтъ! Поймать ежели — насильство!.. Честью говорить — не дастъ ни копейки!.. Что же ты думаешь?

Замирали мы съ отцомъ Иваномъ въ такія минуты. Ожидаешь какого-то чуда, чего-то восхитительнаго... А восхищалъ насъ процессъ поимки рубля, который, повидимому, совершенно не дается...

— Что жъ ты думаешь? Вѣдь придумалъ!..

Тутъ обыкновенно разсказчикъ останавливался; онъ зналъ, что доставляетъ намъ удовольствіе, что длить это удовольствіе — вещь пріятная, и пріостанавливался. Вся потная отъ жару и отъ чаю, попадья наливала новыя чашки; батюшка вскочилъ и захлопнулъ дверь, чтобы не мѣшали цыплята, и все приготовилось слушать, у всѣхъ настоящая жажда, даже въ горлѣ саднитъ отъ предстоящаго удовольствія. Наконецъ разсказчикъ начинаетъ, но не сразу:

— Думалъ, думалъ, — говоритъ онъ опять, — ничего не придумалъ, не выходитъ! Такъ ежели взять — попадешься, а такъ — промахнешь!.. Что тутъ дѣлать?.. Совѣтовался тамъ-сямъ... Заплатилъ одному адвокату три рубля... Помямлилъ-помямлилъ — путеваго ничего нѣтъ... Погоди жъ, думаю!..

Опять перерывъ съ самымъ напряженнымъ ожиданіемъ.

— Взялъ я... — по словечку, точно по золотому даря насъ, медленно и отчетливо говорилъ разсказчикъ: — взялъ я и засадилъ лугъ-то яблонями... пять яблонечекъ посадилъ.

— А-а-а-а... — шипитъ отецъ Иванъ, прищуривая глазъ и догадываясь.

— И вышелъ у меня, — тоже шопотомъ, тихо-тихо и тоже прищуривая глазъ, захлебывается разсказчикъ: — и выш-шелъ у меня садъ!

— Хха! — точно къ студеному ручью припадая въ жгучей жаждѣ, узнаетъ отецъ Иванъ.

— Да какъ пришла полая-то вода, — возвышая голосъ съ каждымъ слѣдующимъ словомъ, продолжаетъ разсказчикъ: — да какъ поѣхалъ онъ, судари вы мои, по лугу-то лодкой, и наткнись на дерево, да и сломай!..

Это слово разсказчикъ кричитъ, потому что это означаетъ побѣду!..

— Ну, и...

Разсказчикъ не продолжаетъ. Мы и такъ уже понимаемъ, въ чемъ дѣло. «Ну, и...» Это значитъ — ну, и подалъ къ мировому, что въ фруктовомъ саду поломано деревьевъ на сумму, примѣрно, до полутораста рублей пятидесяти трехъ копеекъ, и т. д.

Договаривать этого нечего и не зачѣмъ.

— И много ли жъ? — спрашиваетъ отецъ Иванъ.

— Пять-де-ся-тъ рубликовъ!..

— Барзо! — говоритъ отецъ Иванъ.

И смѣемся мы потомъ за чайкомъ довольно весело. Любо намъ толковать о томъ, какъ «*онъ*» не хотѣлъ платить, вертѣлся, изворачивался, а все-таки заплатилъ... Любо было знать, что мало того, что заплатилъ, да и еще сколько денегъ извелъ — бѣда!.. Иной разъ, вѣрите ли? вспомнишь теперь, такъ просто страшно!.. Точно разбойники собрались или волки — такіе у насъ бывали звѣриные разговоры...

— Да заплатитъ ли? — спрашиваетъ отецъ Иванъ.

— Запла-атитъ.

— Да есть ли деньги-то у *него?*

— Пятнадцать тысячъ въ банкѣ!

— Справку, что ли, дѣлалъ?

— А то какъ же? Извѣстно, справился...

— А ну, какъ упрется?

— А въ острогъ не хочешь? Вѣдь онъ — надворный совѣтникъ, неужто захочетъ на

старости лѣтъ подъ арестомъ сидѣть? Отдастъ!

— Много ли съ него кладешь?

— Пятьсотъ!

— Ничего... Хорошо, какъ отдастъ-то...

— Отдастъ! Подведу подъ обухъ, такъ отдастъ!.. У меня шрамъ-то, какъ ударилъ, посейчасъ цѣлъ... Отдастъ!

— Дѣло хорошее!..

«Вотъ такимъ-то родомъ звѣринствовали мы. И говорю вамъ, что въ это время, по совѣсти, потому что совѣсть-то моя оказалась свиною, по совѣсти, полагалъ я, что только рубль — настоящее дѣло; что только кусокъ въ желудкѣ да жена ночью рядомъ — настоящее удовольствіе, а все остальное *только такъ*... Какъ ни совѣстно, а скажу вамъ, что и на свои служебныя обязанности я смотрѣлъ только такъ... Для виду, казалось мнѣ, устроена школа, ибо чувствовалось мнѣ, что никакой науки не надо, и все это — средство только «получить со школы» что-нибудь.

«Только такъ» разъѣзжаетъ посредникъ и другое начальство, а что крестьянинъ, мужикъ работалъ, воротилъ и зябъ, такъ это мнѣ казалось вполнѣ законнымъ. Я ни капельки не думалъ объ этомъ, потому что мужикъ такъ былъ самъ пропитанъ сознаніемъ своихъ обязанностей, что не давалъ труда подумать о немъ, особливо человѣку съ такими свиными наклонностями, какъ у меня. Я не приневоливалъ его давать мнѣ свои деньги, своихъ куръ, свои пироги, не приневоливалъ его служить молебенъ отъ червя; онъ не обижался на меня, если молебенъ не помогалъ ему. Отслуживъ и получивъ съ него деньги, я въ случаѣ неудачи ничуть не чувствовалъ на душѣ укора, потому что ни разу не слышалъ я отъ мужика упрека себѣ въ этой неудачѣ моей молитвы. Напротивъ, онъ, мужикъ, приписывалъ неудачу своему грѣху, считалъ себя виновнымъ, недостойнымъ милости Божіей, а я, дьяконъ, вмѣстѣ съ отцомъ Иваномъ, мы ходатайствовали за него. «Не умолили Царицу небесную!» говорилъ съѣдаемый червемъ крестьянинъ.—«Да, грустно говорилъ ему отецъ Иванъ, прогнѣвался на васъ Господь — и отчего? прибавлялъ онъ.— Все оттого, что не радѣете къ храму Божію. Ты бы вотъ, ежели бы, конечно, былъ въ васъ Богъ, взялъ бы да подсобилъ когда-нибудь отцу-то твоему духовному. Анъ бы и зачлось у Бога... А то вотъ тогда только и приходите въ сознаніе, когда уже Господь совершенно разгнѣвается и нашлетъ кару».—«Это вѣрно!» говоритъ мужикъ. — «Ну то-то и есть, поди-ко вонъ да перевози мнѣ дубки изъ Егоркиной рощи, анъ и легче будетъ».— «Съ моимъ удовольствіемъ!» говоритъ мужикъ и дѣйствительно съ великою охотою принимается возить дубки, вѣря, что черезъ это онъ угождаетъ Богу. Поглядишь на эту непритворную охоту, желаніе возить дубы и ворочать камни для тебя, посредника между деревней и небомъ, и, право, повѣришь, будто все это такъ и надо.

«Коротко вамъ сказать, черезъ пять-шесть лѣтъ и совѣсть и сердце мое сильно позатянулись толстымъ слоемъ равнодушія ко всему... Уважать я уже почти никого не уважалъ, зная, что почти всѣ плутуютъ, норовятъ поддѣть другъ друга, чтобы больше захватить самому. Былъ доволенъ, что и мнѣ отведенъ на землѣ уголокъ и дана возможность не оставаться съ пустыми руками. И болѣе не думалъ ни о чемъ и не вѣрилъ ничему, что не было простымъ свинствомъ... И въ такой-то дѣвственной душѣ вдругъ проснулась совѣсть... Не чистое ли это наказаніе Божіе?»

### IV. Учительница.

«Случилось это совершенно неожиданно. Еще бы годикъ-другой—и на моей совѣсти наросла бы такая кора, которой не прошибить бы никакими пулями. Но вышло иначе. Дѣло произошло самымъ простымъ манеромъ. Пріѣхала къ намъ въ село учительница въ земскую школу, госпожа Абрикосова. Фигурка изъ себя довольно поджарая, хлябковатая... и *изъ новыхъ*. Очень это насъ смѣшило съ отцомъ Иваномъ. Привыкнувъ смотрѣть на всѣ людскія дѣла и помышленія, какъ на средство получить кому-нибудь съ кого-нибудь рубль, мы не могли безъ смѣха видѣть того, кто думалъ иначе. Кромѣ того, все *новое*, само по себѣ, намъ уже казалось глупостью. У насъ были примѣры помѣщиковъ, затѣвавшихъ въ своемъ хозяйствѣ новые порядки и кончавшихъ разореніемъ, при всеобщемъ смѣхѣ сосѣдей и всѣхъ опытныхъ людей. У насъ были передъ глазами тысячи нововведеній правительственныхъ, ко-

торыя оканчивались ничѣмъ или подтверждали только нашу теорію, т.-е. нововведеніе было *только такъ*, а суть состояла въ умѣньи, во имя этого нововведенія, какъ можно больше получить пособій, прибавокъ, разъѣздныхъ, подъемныхъ и, наконецъ, награду, конечно, если можно, денежную. *Только такъ* смотрѣли мы и на крестьянскую школу. «Все рубликовъ пять дай сюда», говорилъ отецъ Иванъ, опредѣляя этими словами и цѣль существованія школы, и личныя къ ней отношенія. Судите теперь, какъ было намъ смѣшно смотрѣть на госпожу Абрикосову, которая на нашихъ одеревянѣлыхъ, свинцовыхъ глазахъ стала добиваться чего-то отъ сельскаго общества, суетилась, бѣгала изъ угла въ уголъ и роптала. Очевидно, она хотѣла произвести какое-то нововведеніе, а мы, глядя на то, какъ къ ней относилось сельское общество, тоже смотрѣвшее на ея нововведеніе *только такъ,* какъ оно надувало ее и сердило, могли только хохотать, сидя за чайкомъ, и удивляться вновь прибывшей учительницѣ.

— Получала бы себѣ свои десять рублей да сидѣла бы смирно,—говорили мы.

— Чего еще?—говорилъ отецъ Иванъ.— Десять рублей—хорошія деньги!

— Еще бы!.. Задаромъ-то!..

— Это и я бы, пожалуй, взялся такъ-то... Право... да что же? — говорилъ отецъ Иванъ.—Все *«дай сюда!»*

Вотъ эдакимъ манеромъ смотрѣли мы на госпожу Абрикосову. Кромѣ того, и изъ себя она, какъ я уже говорилъ, была не очень, чтобы... Такъ что вообще была она у насъ въ полномъ равнодушіи.

Не помню, какъ, когда и по какому случаю, только однажды зашелъ я къ ней. Общество отвело ей сырую и разоренную избу; ни лавокъ ни скамеекъ не было, ничего еще не приготовлено, хотя давно было все обѣщано. Засталъ я ее въ такомъ видѣ: сидитъ на полу — разостланъ платокъ этакой, ковровый на полу—закутана отъ холоду въ какія-то тряпочки, а кругомъ ея штукъ десять ребятъ—и мальчики и дѣвочки. Тоже укутаны кой-чѣмъ; должно-быть, это госпожа Абрикосова ихъ укрыла, потому тряпки-то не деревенскія были. Сидятъ они такимъ манеромъ и учатся. — «Что вамъ, говоритъ, угодно, отецъ дьяконъ?»—Я, молъ, *такъ*.—«Ну извините, говоритъ, теперь мнѣ некогда». И продолжаетъ. Это меня озадачило. Все же таки, какъ бы тамъ ни было, пришелъ человѣкъ, очевидно, въ гости и этакъ... хорошій человѣкъ, по-нашему, сейчасъ бы разогналъ всѣхъ этихъ мальчишекъ и дѣвчонокъ, сейчасъ самоваръ бы, да передъ чаемъ по рюмочкѣ. А тутъ какъ-то довольно сухо, и этакъ... непріятно... Даже я заскучалъ отъ этого. Сѣлъ, самъ не знаю зачѣмъ, на полъ и сижу. Сконфузился я весьма. Такъ вѣдь что жъ вы думаете? Битыхъ два часа ни словечка съ гостемъ не сказала—все учитъ. Толкуетъ, толкуетъ, разъ двадцать одно и то же повторитъ, да разсказываетъ-то все что-то непонятное. Утомился я, себя не помню. Голодъ сталъ чувствовать: захотѣлось закусить, водочки, селедочки, на желудкѣ ворчитъ, а она все ду-ду-ду... Встать, уйти — не могу, ужъ очень я сконфузился отъ пріему, а слушать устанешь, не привыкъ долго быть безъ угощенія! Просто смерть! Разломило всего, въ бокахъ боль, ногъ!.. Такая меня взяла досада на ребятишекъ на этихъ — такъ бы всѣхъ и разогналъ по шеямъ. Наконецъ ужъ кое-какъ кончили.—«Ну, говоритъ, идите теперь по домамъ, а вечеромъ опять приходите, кто хочетъ— сказку буду читать!» — «Всѣ придемъ!» закричали и стали съ ней цѣловаться, говорятъ: «милая Марья Васильевна», «желанная». Точно родная семья. И это мнѣ очень непріятно показалось, очень нехорошо. То-есть, хорошо-то хорошо, я вижу, что такъ и надо, а н-непріятно какъ-то... И даже какъ будто не въ душѣ, а на желудкѣ у меня стало непріятно — у меня тогда все на желудкѣ больше обозначалось. Что-то въ родѣ какъ саднитъ... Ушли всѣ. — «Вотъ теперь, говоритъ, пожалуйте ко мнѣ!» Пошелъ. За перегородкой столъ и кровать. На столѣ книги. Окно все въ снѣгу.—«Вотъ, говоритъ, тутъ я сама работаю!»—«Дурное, говорю, у васъ помѣщеніе. Вы бы, говорю, сударыня, жалобу *на нихъ* (на мужиковъ, конечно)». Засмѣялась. Стало мнѣ нѣсколько легче. Оправился я, почувствовалъ въ себѣ развязность, говорю: «Да, въ самомъ дѣлѣ, что *на нихъ* смотрѣть?.. *Имъ*, говорю, смотри въ зубы-то!.. Вотъ какъ пріѣдетъ посредникъ да разузнаетъ, какъ слѣдуетъ, такъ и явится все. Нѣтъ, сударыня, говорю, тутъ безъ палки ничего не будетъ». Смѣется все. А у меня еще

болѣе прибавилось развязанности, и сталъ я въ юмористическомъ этакомъ родѣ описывать ей, какъ мы Христа славимъ; изобразилъ этакъ ей, что вотъ, молъ, и въ нашемъ духовномъ дѣлѣ нельзя безъ этого обойтись. Придешь къ иному, отславишь—хвать, въ избѣ никого нѣтъ: хозяинъ спрятался, за дверью гдѣ-нибудь стоитъ, вытянулся. «А, говоришь, другъ любезный, ты что жъ это, такъ-то почитаешь отца своего духовнаго?»—«Прости, говоритъ, батюшка, ей-ей ничего нѣтъ». А, между прочимъ, курица по сѣнямъ бѣгаетъ, что уже явный обманъ... Естественно—ухватишь курицу и уйдешь; только такимъ манеромъ съ нимъ и можно».

— Излагаю я это все въ юмористическомъ этакомъ видѣ, въ насмѣшливомъ, веселомъ тонѣ, и вижу: таращитъ на меня глаза и ужъ не смѣется.—«Неужели, говоритъ, это правда?»—«Истинная правда, говорю, да и еще ей этакимъ же манеромъ, въ юмористическомъ же, въ этакомъ игривомъ тонѣ, изобразилъ ей нѣсколько шутливыхъ анекдотовъ. Заключеніе вывелъ ей такое, что смотрѣть *имъ* въ зубы—невозможно, что надо съ ними не очень чтобы тонко!..» И вдругъ, не давши мнѣ окончить, «батюшка, говоритъ, да вѣдь вы проповѣдуете прямой разбой!.. И встала, вся зеленая. «Это—денной грабежъ», говоритъ. И забѣгала по горницѣ. У меня въ зобу ровно колъ засѣлъ отъ этого. «Какъ разбой?» Разинулъ я ротъ и не понимаю. Главное, въ совершенно шутливомъ и юмористическомъ тонѣ происходилъ разсказъ, и такъ непріятно поразить человѣка съ этакою неделикатностью прямо ему, можно сказать, въ морду.—«Какъ, говорю, разбой?»—«А какъ же, говоритъ: вы проповѣдуете просто грабежъ. Рекомендуете мнѣ жаловаться посреднику, чтобы съ нихъ взыскать силой—мнѣ, которой они изъ послѣднихъ копеекъ платятъ жалованье, когда, говоритъ, имъ приходится работать, работать на всѣхъ, платить въ сотни мѣстъ, когда еще отецъ ихъ духовный придетъ и возьметъ послѣднюю курицу. Неужели же это не денной грабежъ?»—«Какъ же иначе-то? Какъ же, какимъ манеромъ, говорю, получить за труды? Ежели человѣкъ за свои труды не получаетъ, то какимъ же родомъ иначе? Слѣдовательно, говорю, если описываютъ по приказанію начальства имущество неплательщиковъ—и это грабежъ? Да ежели бы не этакимъ манеромъ, такъ и вы бы, говорю, вашего жалованья, сударыня, не получили вовѣки. Ежели бы, т.-е., безъ понужденія...»—«Да неужели жъ, говоритъ, вы думаете, что у меня руки подымутся взять съ нихъ хотя мѣдный грошъ? Я сама готова отдать имъ все, что у меня есть—и это жалованье и все, что я заработаю. Брать съ нихъ! съ этихъ босыхъ дѣтей, съ этихъ отцовъ, которые прячутся за дверь отъ духовнаго отца! Брать съ нихъ!.. Да неужели это возможно?.. Неужели серьезно, въ самомъ дѣлѣ, вы можете схватить курицу? Вы шутите, батюшка, не правда ли?..»—«Къ прискорбію, говорю, хватаемъ и куръ... когда видишь уклоненіе».—«Отъ чего уклоненіе?»—«Отъ вознагражденія».—«За что?»—«Да за трудъ, сударыня, за трудъ...»—«Да что такое именно вы дѣлаете, за что вамъ надо платить?» И опять у меня отъ этого вопроса стало очень непріятно, какъ-то даже досадно. Отчего и самъ не знаю. Даже взбѣсило это меня. Да, въ самомъ дѣлѣ, неужели не трудно человѣку встать до свѣту, къ заутренѣ? Иной бы преотлично почивалъ съ супругой, а тутъ изъ теплой-то постели да на морозъ... Да съ требой по холоду, да «къ боли», ночью, въ слякоть. Какъ же не брать за труды? Попробовала бы, молъ, ты сама этакъ-то, такъ и узнала бы, какъ это куръ ловятъ. Разозлила меня.—«Какъ знаете, говорю, сударыня. Очень непріятно, что огорчилъ васъ». И ушелъ. И такъ мнѣ было непріятно. Главное, что внезапно случилось. Шелъ себѣ человѣкъ *такъ*, просто попить чаю, напримѣръ, и вдругъ ему этакъ... чуть не «воръ»! Поплелся я отъ нея въ этакомъ разстроенномъ положеніи: и такъ, будто стыдно и сердиться. Въ очень скверномъ былъ я отъ этого визита состояніи. Но какъ только разсказалъ я отцу Ивану, такъ все и прошло—и не стыдно ничего, и опять очень весело. Отецъ Иванъ сразу разобралъ это дѣло такъ: во-первыхъ, все это—не болѣе какъ *штука*. Денегъ она брать не будетъ, положимъ,—бывали такіе примѣры,—но это только подвохъ, чтобы быть на виду, потомъ забрать въ руки что-нибудь почище, выскочить въ прогимназію и ужъ тамъ зацапывать сколько хватитъ. Во-вторыхъ, это земство дѣлаетъ контру начальству; посредникъ Гамлетовъ самъ бу-

детъ платить учительницѣ, чтобы она отказывалась отъ жалованья, чтобы тѣмъ пробраться... И тутъ отецъ Иванъ сплелъ удивительный, тонкій, какъ кружево, планъ, по которому посредникъ, по его мнѣнію, долженъ былъ путемъ разныхъ штукъ пробираться къ чему-то такому, гдѣ можно зацапывать сколько влѣзетъ. Наконецъ ужъ ей-ей не могу вамъ теперь разсказать, какъ, на какомъ основаніи, только всѣ мы—я, отецъ Иванъ, жена отца Ивана и моя жена — всѣ мы поняли и рѣшили, что учительница—просто любовница мироваго посредника. Почему? Да потому, что *изъ-за чего же* ему платить ей свои деньги? *Изъ-за чего же* ей отказываться отъ своего жалованья, если у ней съ посредникомъ нѣтъ стачки, помощью которой онъ и она вытаскиваютъ другъ друга къ какимъ-то выгоднымъ мѣстамъ? Такъ тонко плутуютъ только преданныя любовницы. На этомъ мы и порѣшили. Намъ необходимо было порѣшить на чемъ-нибудь такомъ, отчего бы намъ было попрежнему покойно. Непремѣнно намъ хотѣлось и на душѣ и на желудкѣ сохранить то же благополучіе и ту же ясность, что была у насъ всегда, и намъ надо было придумать что-нибудь, чтобы непріятный фактъ былъ подлаженъ подъ наши взгляды. Подладили мы его, какъ сами видите, очень топорно; но для насъ было и это хорошо. Правда, въ ту же ночь, когда мнѣ случалось проснуться, мнѣ, несмотря на составленную нами насчетъ госпожи Абрикосовой теорію, становилось какъ-то неловко. Точно сонъ какой-то дурной видѣлъ. Припомнилась она мнѣ въ ту минуту, когда, позеленѣвъ отъ гнѣва, сказала: «да это грабежъ...» Припоминался ея горькій вопросъ: «да неужели вы хватаете куръ?» и другой вопросъ: «да точно ли вы, въ самомъ дѣлѣ, дѣло дѣлаете? Точно ли, молъ, вамъ надо платить?..» Становилось мнѣ отъ этого какъ-то очень и очень тоскливо, тяжело, какъ будто что-то мелькало въ глубинѣ совѣсти, что-то начинало чуть-чуть свѣтиться тамъ, едва обрисовывая какія-то неопредѣленныя, безобразныя фигуры. Я торопился улечься опять въ постель подъ горячій, неподвижный, какъ каменная стѣна, бокъ жены и, чтобы успокоиться, задавалъ себѣ вопросъ: *изъ-за чего же она-то?* И такъ какъ вопроса этого *я не могъ*, положительно *не могъ*, разрѣшить чѣмъ-нибудь, кромѣ выгоды, то и возраженія госпожи Абрикосовой на мои мнѣнія о понужденіи мужиковъ и ея гнѣвъ на курицу, и безкорыстіе казались мнѣ не болѣе, какъ штуками. Если это не штуки, думалъ я, такъ *изъ-за чего же* бьется она съ утра до ночи съ мальчишками и дѣвчонками; *изъ-за чего* она не требуетъ себѣ хорошаго помѣщенія, а зябнетъ въ какомъ-то хлѣву; *изъ-за чего* не беретъ жалованья?..

И вотъ этого-то «*изъ-за чего*» я тогда уже не былъ въ состояніи понимать. Сердце-то мое ужъ обухло и совѣсть-то попримерла... Порѣшивъ такимъ манеромъ, мы съ полнымъ спокойствіемъ продолжали смотрѣть на продолженіе учительницею ея штукъ. Скоро мы даже забыли и о томъ, изъ-за чего все это происходитъ, хотя на нашихъ глазахъ штуки ея завоевывали на ея сторону все крестьянское населеніе, хотя на нашихъ глазахъ не умѣющіе ничего сдѣлать безъ палки крестьяне устроили ей школу въ новомъ помѣщеніи и снабдили всѣмъ необходимымъ. «Хитра штучка», говорилъ отецъ Иванъ, и я думалъ то же, т.-е. что хитра, должно-быть. Въ такомъ положеніи было состояніе моего духа, когда случилось новое неожиданное обстоятельство, заставившее всѣхъ насъ снова обратить вниманіе на госпожу Абрикосову...

Сплетничали мы разъ такъ-то съ отцомъ Иваномъ и съ какимъ-то практическимъ гостемъ за чайкомъ, и, между прочимъ, зашелъ разговоръ и объ учительницѣ. Всѣ мы посмѣялись надъ ней и порядочно-таки загадили своими соображеніями ея поступки...

— Да какая это Абрикосова госпожа?— спросилъ гость.—У насъ въ губернскомъ городѣ былъ купецъ Абрикосовъ...

— Это не тѣхъ! — сказалъ батюшка.— Тѣ Абрикосовы—извѣстные богачи, я ихъ довольно хорошо знаю... Одинъ изъ нихъ женатъ на молодой, тоже богачкѣ, дочери купца Овсяникова Василья Иванова, извѣстнаго мошенника и кулака... Это не тѣхъ, тѣ—богачи... Куда тѣмъ въ учительницы...

— Охъ,—сказалъ гость,—не тѣхъ ли? Овсяникова-то, про которую говорите, что выдана была замужъ за Абрикосова, вѣдь она отъ мужа-то ушла...

— Что жъ такое? Ужъ навѣрное же она ушла съ любовникомъ и съ капиталомъ... У той капиталу тысячъ пятьдесятъ

своихъ... А у этой одинъ шишъ... Станетъ этакая госпожа да сидѣть въ конурѣ... Нѣтъ, это не тѣхъ Абрикосовыхъ, это—такъ какая-то, должно-быть, изъ проходимокъ.

— Охъ,—говоритъ гость — не та ли?.. Что-то мнѣ чудится, что она и есть... Какъ звать-то ее?

— Марья Васильевна.

— Охъ, что-то какъ будто она самая и есть!.. Ей-Богу, право...

— Нѣтъ, быть не можетъ, — говоритъ отецъ Иванъ.—Изъ-за чего ей итти въ этакую трущобу? Посуди самъ! Или какимъ манеромъ уйдетъ она безъ капиталу, кто можетъ бросить свои деньги? Спрашивается, *изъ-за чего* я брошу пятьдесятъ тысячъ и пойду къ мужикамъ работать за десять рублей? Посуди самъ! Вѣдь это только съ ума сойдешь, такъ тогда развѣ... Да нѣтъ, не можетъ быть... Это не та Абрикосова, эта какая-нибудь изъ мелкихъ...

— Такъ-то такъ, — твердилъ гость:—а что-то мнѣ чудится...

— Нѣтъ, нѣтъ...

— Можетъ, и нѣтъ... Да вотъ я въ городѣ буду, поспрошу...

— Ну, вотъ спроси... Увидишь, что не та!..

Каково же было наше удивленіе, когда, недѣли черезъ двѣ, тотъ же самый гость, снова посѣтивъ насъ, привезъ намъ извѣстіе, что госпожа Абрикосова, теперешняя наша деревенская учительница, есть именно та самая Абрикосова, о которой онъ думалъ, та самая Марья Васильевна Овсяникова, дочь богача, вышедшая нѣсколько лѣтъ тому назадъ замужъ тоже за богатаго купеческаго сына Абрикосова... Мы знали, что, поживъ съ мужемъ годъ или два, она ушла отъ него, ушла не къ родителямъ, богатымъ купцамъ, а въ какое-то чиновничье семейство, и не только не захватила съ собой денегъ, но не взяла даже ни одной тряпки... Узнали мы, что у нея есть и деньги и домъ, и что все она бросила и ушла.

— Да не можетъ быть! — совершенно изумленный, даже поблѣднѣвшій отъ изумленія, говорилъ батюшка. — Это что-нибудь не такъ... Собственный домъ, говоришь?

— Двухъэтажный каменный домъ и лавки.

— Это невозможно! Это что-нибудь неправильно. Домъ, лавки .. Нѣтъ, тутъ штука какая нибудь... Домъ!.. Неужто домъ?..

— Передъ истиннымъ Богомъ... Каменный двухъэтажный, лавки, напримѣръ, и питейные дома...

— И не касается!..

— Ни-ни, ни Боже мой!..

— Да это не та Абрикосова! Это ты не то.

— То, та самая!

— Да нѣтъ, не та... Изъ-за чего, посуди ты самъ, бросить ей домъ и биться изъ-за куска хлѣба?.. Лавки! Питейные дома!.. Нѣтъ, это неправильно... Это не та...

Несмотря на недовѣріе батюшки къ словамъ гостя, послѣдній уѣхалъ, упорно утверждая, что это—та самая Абрикосова, которая имѣла богача-отца, потомъ богача-мужа, и которая, бросивъ теперь и богатыхъ родителей, и богатства супруга, и доходные кабаки, сидитъ въ бѣдной деревенской школѣ и учитъ деревенскихъ ребятъ.

— Нѣтъ! — очевидно, ничего не умѣя сообразить, говорилъ отецъ Иванъ по уходѣ гостя.—Нѣтъ, это не тѣхъ Абрикосовыхъ, это не та...

И, помолчавъ, прибавилъ:

— Нѣтъ, это что-нибудь не такъ. Иначе изъ-за чего же... Нѣтъ, это не такъ...

Почти ужъ вполнѣ согласный со взглядами отца Ивана на вещи, я тоже думалъ, что это была не та Абрикосова... Я тоже не понималъ, изъ-за чего это можно бросить домъ, деньги, лавки и сидѣть въ деревенской школѣ... Но увѣренность гостя, утверждавшаго, что это именно та самая Абрикосова, невольно заставляла меня задумываться надъ труднѣйшимъ для меня вопросомъ: изъ-за чего?... И опять что-то, въ родѣ какихъ-то зарницъ, пробѣгало у меня въ темной ночи моей совѣсти. Бросить домъ, деньги, питейные дома, итти въ бѣдную деревенскую избу, сидѣть день и ночь въ душной атмосферѣ, съ полураздѣтыми ребятишками, отдавать имъ свое трудовое жалованье, негодовать на захватъ куръ во время христославленья, называть это грабежомъ... все это вмѣстѣ не одинъ разъ припомнилось мнѣ, и стало мнѣ думаться...

Вотъ съ этого самаго времени, должно-быть, я и заболѣлъ. Стало мнѣ думаться, что есть на свѣтѣ люди, которые живутъ

не изъ-за своей только выгоды, какъ мы съ отцомъ Иваномъ, что есть что-то другое, кромѣ нашихъ утробъ и кошельковъ. Стало мнѣ очень тяжело отъ этого: главная причина—думать совершенно отвыкъ, то-есть собственно и не привыкалъ думать-то. И ужъ такъ-то мнѣ стало тяжело! Словно вотъ камни ворочаешь двадцатипудовые, когда начнешь думать — болитъ все, ей-ей, и въ поясницу хватаетъ и на желудкѣ саднитъ. Такъ что всѣми мѣрами ухитряешься не думать, либо какъ-нибудь такъ отдѣлаться отъ этого всего... Водки, напримѣръ, выпьешь рюмокъ шесть, ну и уснешь.

Полегчало мнѣ немного, когда отецъ Иванъ придумалъ еще новую исторію для объясненія поведенія госпожи Абрикосовой. Изобразилъ онъ это дѣло такъ, что якобы она ушла отъ мужа съ любовникомъ и зацѣпила при этомъ деньги. Любовникъ же деньги отъ нея, конечно, взялъ, а самое госпожу Абрикосову прогналъ: вотъ она и поджала хвостъ на десяти рубляхъ, ибо къ мужу боится ужъ показать носъ. По нашимъ свинымъ взглядамъ, объясненіе это было очень, можно сказать, удовлетворительнымъ, такъ что день или два, благодаря ему, я вновь какъ бы вошелъ въ настоящіе мои аппетиты: и на желудкѣ стало спокойно, и ночью стало спокойно, и ночью спалъ хорошо. Но «домъ, лавки» вдругъ припомнились мнѣ и все разстроили. Припомнились они мнѣ какъ-то вдругъ, ночью, впросонкахъ... «Ужъ ежели бы госпожа Абрикосова была распутница, то не только бы не оставила втуне собственнаго дома, а зацѣпила бы съ помощью любовника и чужихъ домовъ и лавокъ столько, сколько бы можно было захватить...» И припомнилось мнѣ ея лицо худое, больное, ужъ вовсе не распутное; и припомнилась мнѣ первая встрѣча, когда я засталъ ее на полу въ избѣ, окруженную ребятами. И припомнился мнѣ ея гнѣвъ за христославную курицу, и сразу такъ опять стало скверно, такъ скверно, что даже злость взяла меня за сердце. Разозлился я на отца Ивана за глупость, которую онъ сочинилъ, разозлился на курицу, которая заставляетъ силою хватать себя, разозлился на то, что вотъ ночь, добрые люди спятъ, а ты вотъ тутъ, чортъ знаетъ отчего, лежишь съ вытаращенными глазами, думаешь обо всякой дряни... Всталъ я съ кровати, выпилъ рюмки три водки, походилъ, поглядѣлъ въ сѣни, заглянулъ на дворъ,— а на дворѣ кучи навозу, и въ сѣняхъ кучи сору, и корыто съ помоями, и грязь повсюду. Въ первый разъ я это замѣтилъ и удивился: зачѣмъ, молъ, вокругъ нашего брата такая гибель навозу? Ей-ей, въ первый разъ подумалъ: точно свиньи, молъ. И еще больше огорчился... Выпилъ даже еще рюмки четыре— заснулъ и проснулся злѣе злого чорта... потому что пилъ не отъ удовольствія. Цѣлый день потомъ я бѣсновался: оралъ на работниковъ, на жену, придирался ко всему. И вѣдь что вышло-то: сталъ ругаться за навозъ, за нечистоту; гляжу, что ни шагъ, все больше и больше грязи. Платье на женѣ—хуже грязной тряпки. Въ чаю волосы попались, кровать — и не говори!.. Вижу—дѣйствительно, свиной хлѣвъ!.. А и не замѣчалъ этого, такъ пригрѣлся къ навозу! А за этою грязью, гляжу, лѣзетъ другая. «Авось, мы не господа!» возражаетъ мнѣ жена, то-есть насчетъ того, что только у господъ все вылизано и вытерто, на то тамъ и лакеи... «Авось, мы не господа!» Эти слова показались мнѣ столь глупыми, что жена вдругъ какъ бы совершенно мнѣ опротивѣла. Главное, что при свиной моей жизни никогда мнѣ не было надобности ни въ умѣ ни во взглядахъ жены... Нуженъ былъ только теплый бокъ. А тутъ, какъ коснулся я этого предмета, напримѣръ, ума и вдругъ сообразилъ, что въ умѣ этомъ, Богъ знаетъ, сколько всякой дряни. Одна фраза сразу припомнила мнѣ всю умственную дичь и чушь, господствовавшую между нами, и я свѣту не взвидѣлъ отъ отвращенія. Въ первый разъ я жестоко поругался съ женой, и она не уступила мнѣ въ умѣньи отвѣтить значительнымъ запасомъ всякой словесной грязи. Хорошо, что во время этой перепалки позвали служить напутственный молебенъ отъѣзжавшей за границу нашей помѣщицѣ. Это меня отвлекло. А то бы я и опился бы со зла и изозлился бы въ конецъ. На молебнѣ я ралъ и металъ; отецъ Иванъ и помѣщица нѣсколько разъ оглядывались на меня, какъ я швырялъ кадиломъ чуть не по мордасамъ присутствовавшихъ... Но какъ вы думаете, что меня усмирило? Деньги! Ощутивъ въ рукѣ двѣ рублевыя бумажки, я почувствовалъ вдругъ какую-то нѣжность въ душѣ. Тепло

какое-то... И почти сразу опомнился. Думаю: «Что это я натворилъ? Изъ-за чего?..» И затихъ. И съ женой помирился... Правда, воротясь, я засталъ ее хоть и злою, но уже въ чистомъ платьѣ и въ прибранной комнатѣ. И на ней отозвались добромъ эти лавки и домъ, покинутые Абрикосовой!.. Вотъ какое умиротворяющее вліяніе имѣли на меня матеріальныя блага!.. На недѣлю или даже больше вновь освинѣлъ и успокоился я благодаря этимъ двумъ рублевымъ бумажкамъ.

Но—увы!—какъ бы я ни желалъ этого, совсѣмъ успокоиться и освинѣть въ той мѣрѣ, какъ это было недавно, я уже не могъ. Меня побуждала думать на этотъ разъ та грязь домашняя, которую я разрылъ совершенно случайно, благодаря тоскѣ, заброшенной въ мою душу небывалою потребностью понять небывалый фактъ. Тысячи разнаго рода мелочей, на которыя я уже совершенно привыкъ смотрѣть, какъ на неизбѣжное, стали вдругъ почему-то тревожить меня. «Иди, что ль, спать-то, до котораго часу будешь сидѣть!» скажетъ мнѣ изъ-за перегородки жена, и, самъ не знаю отчего, станетъ ужасно скверно какъ-то... А прежде этого совсѣмъ не бывало... Стала захватывать мою душу какая-то пустота... Какая-то слабость въ тѣлѣ одолѣла меня, зѣвота... Ни спать, ни ѣсть, ни пить не хочется. Кто что ни скажетъ—все не такъ, не по мнѣ. А какъ именно надобно — не знаю!.. И стало со мной съ каждымъ днемъ все хуже и хуже. Разъ такъ пришло, что думаю, «хоть почитать что-нибудь!» Надумалъ пойти къ учительницѣ книжечки попросить. Коекакъ собрался, пошелъ. Прихожу. Сидитъ, пишетъ. «Помѣшалъ, молъ?» — «Нѣтъ, говоритъ, успѣю, я устала. Давайте, говоритъ, пить чай...» Принялась ставить самоваръ, и у меня какъ-то хорошо стало на душѣ. Вижу, и она не имѣетъ злобы. Ставила самоваръ и говорила: «Я, говоритъ, сегодня очень довольна, можно и покутить». — «Чѣмъ же такъ?» спрашиваю. — «А, говоритъ, очень много поработала: на четвертную, кажется, наработала-то; рублей, слѣдовательно, на двадцать на пять, этакъ вотъ». — «Деньги, говорю, хорошія!»—«Я рада, говоритъ, что моимъ ребятишкамъ будутъ и книги и карты, да гостинцевъ немножко купимъ. Ахъ, если бы, говоритъ, можно было еще работы достать! То-то бы мы зажили съ ребятами. Чулки бы у насъ, говоритъ, были бы и сапоги, и рубашекъ бы мы нашили себѣ.» И стала тутъ убиваться, что нѣтъ работы, окромѣ что съ иностраннаго, да и ту, говорила, расхватываютъ... еле-еле ухватишь, говоритъ, какой клочокъ, и то хорошо, что знакомые есть въ Москвѣ — присылаютъ кой - когда хоть немножко, а то бы и совсѣмъ ничего не было. «И не знаю, какъ бы тогда я на ребятишекъ смотрѣла. Я бы, говоритъ, не вынесла ихъ нищеты». Тѣмъ временемъ поспѣлъ самоваръ. Пьемъ мы чай, и говоритъ она: «разскажите, говоритъ, отецъ дьяконъ, что - нибудь про крестьянъ. Вы, говоритъ, должны ихъ знать». — «Да что это, говорю, сударыня у васъ за охота до всего до этого? Вы ужъ очень, говорю, убиваетесь».—«Ахъ, говоритъ, батюшка, по-моему, такъ всѣмъ, въ коемъ есть совѣсть, надобно только объ этомъ объ одномъ и убиваться. Изъ-за чего же жить, говоритъ?»—«Какъ изъ-за чего? говорю. Вотъ, говорю, разсказываютъ, не знаю правда ли, нѣтъ ли, будто бы домъ у васъ каменный и лавки... и, напримѣръ, нужды, слѣдовательно, мало, собственное хозяйство». И разъясняю ей такъ, что и въ хозяйствѣ хлопотъ довольно, окромѣ что съ мальчишками (чуть было не брякнулъ «съ этими, съ поросятами»). Засмѣялась она на эти слова и вздохнула. — «Нѣтъ, говоритъ, батюшка, думать о своемъ хозяйствѣ, это будетъ чистый грѣхъ, когда...» — «Да вашъ ли, говорю, домъ-то?»—«Мой!»—«И лавки?»— «И лавки, говоритъ, и кабаки, и лабазы». — «Такъ что же вы, говорю, этакъ-то?» У меня даже подъ ложечкой заболѣло отъ зависти. — «Какъ же я, говоритъ, могу взять чужое? Все это мой отецъ и отецъ моего мужа нажили чужими трудами, какъ же я могу взять для себя грошъ?.. Вѣдь это—кровь и потъ»... И тутъ загорѣлись у нея глаза, и вся она ровно бы въ лихорадкѣ какой принялась объяснять... И что жъ? Часъ, по малой мѣрѣ, толковала она, и, ей-ей, такъ явно увидалъ я, что это правда... — «Гдѣ же, говоритъ, у людей совѣсть-то послѣ этого? А безсовѣстно я поступать не могу... Вотъ я и бросила всѣ эти лавки»... Такъ вѣрно объяснила она мнѣ, что я не могъ ни единаго слова возразить ей.—«А супругъ,

говорю, вашъ?»—«А супруга, говоритъ, я оставила потому, что не любила его».— «Ну, говорю, а бракъ-то?»—«Что жъ, говоритъ... Бракъ требуетъ любви... Что жъ мнѣ дѣлать, если я не люблю, а лгать я не могу».—«Такъ и ушли?»—«Такъ, говоритъ, и ушла».—«И отъ приданаго отказались?»—«Да, отъ всего отказалась».— «Отъ всего?»—«Да, все оставила мужу, лишь бы онъ не трогалъ меня. Кромѣ того, говоритъ, онъ наживаетъ деньги тоже не честнымъ трудомъ, и, стало-быть, онъ — мой врагъ».—«Такъ неужели, говорю, изъ-за этого?»—«Да, изъ-за этого! Я не могу притворяться... Я не люблю мужа и ушла отъ него; мнѣ страшны деньги, нажитыя неправдой—и я бросила ихъ... Я сознаю, что всю душу надо отдать на помощь бѣдному, и что могу, дѣлаю для него... Но я, говоритъ, почти ничего не могу сдѣлать, а если бы вы знали, какъ это меня мучаетъ...» — «То-есть, изъ-за чего же мучаетесь?» спрашиваю.— «Да мнѣ больно смотрѣть на бѣдныхъ, и я такъ мало могу сдѣлать для нихъ».— «Собственно изъ-за этого?»—«Да!.. Да вы думаете, это не стоитъ мукъ?» Въ первый разъ у меня заныло сердце... Все, что она разсказывала, я видалъ сотни разъ, но никогда не пришло мнѣ въ голову подумать о томъ, точно ли это все такъ должно быть... А тутъ она все мнѣ вывернула наизнанку... Я сидѣлъ и слушалъ, точно пойманный воръ, и не знаю, когда бы я ушелъ отъ нея, если бы на грѣхъ не позвали «къ боли». Именно случилось это на грѣхъ. Наслушавшись ея разговоровъ, я чуть не заревѣлъ въ мужицкой избѣ, гдѣ помиралъ старикъ. Вся семья ждала смерти его, съ трудомъ дѣлая плаксивыя физіономіи и думая о томъ, кто изъ наслѣдниковъ возьметъ новыя ременныя вожжи, кому достанутся ульи и кто захватитъ гнѣдого жеребца. Отецъ Иванъ притворно-умиленнымъ тономъ читалъ отходную и думалъ о томъ (я это зналъ, какъ дважды-два), сколько ему перепадетъ въ руку. И, тяжело дыша, лежалъ труженикъ, всю жизнь работавшій, не разгибая спины, всю жизнь прикованный къ землѣ цѣпями нужды. Хрипѣло у него ужъ въ груди, и дыханіе по временамъ почти прекращалось, остатки мысли еще не совсѣмъ угасли, и по временамъ старикъ что-то шепталъ. «А хо-мутъ... Ивану...» открывая полумертвые глаза, хрипѣлъ старикъ: «а мерина... чтобъ безъ ссоры... безъ свары...» И на этомъ старикъ умеръ. Эта смерть, которыхъ я видѣлъ сотни на своемъ вѣку, ударила меня ножомъ въ сердце. Сколько умираетъ тружениковъ съ мыслью о хомутѣ, о меринѣ, какъ о чемъ-то глубоко дорогомъ, доставшемся неусыпными трудами!.. Вспомнились мнѣ эти неусыпные труды, изъ которыхъ и я, на ряду съ множествомъ другого рода охотниковъ до готоваго, тоже рвалъ куски и на свою долю. Вспомнилось мнѣ все это и захватило дыханіе. Даже деньги не порадовали меня. Я чувствовалъ тяжесть въ карманѣ, гдѣ лежали онѣ, хотя это были только два серебряныхъ двугривенныхъ. Я унылъ глубоко и, сидя съ отцомъ Иваномъ въ телѣгѣ, всю дорогу молчалъ. Теперь тоска моя была уже не на желудкѣ: я теперь ясно уже видѣлъ *изъ-за чего*!.. Да, милостивый государь, госпожа Абрикосова живетъ во имя правды, а нашъ братъ жилъ во имя утробы... Это я теперь очень хорошо понялъ!

## V. Болѣзнь.

«...Вотъ, такимъ-то манеромъ и настигла меня, милостивый государь, бѣда, мученія и болѣзнь... Нежданно, негаданно въ освинѣлую мою душу вдругъ влетѣло что-то божеское — и стала мнѣ чистая смерть отъ этого... И откуда бы этому всему взяться? Что такое эта госпожа Абрикосова? Истинно говорю вамъ — никакого она не представляла для меня интересу, и нехороша, и все... А вотъ поди жъ!.. Нѣтъ, ужъ это, надо думать, время такое настало, что совѣсть начала просыпаться даже и совсѣмъ въ непоказанныхъ мѣстахъ... Примѣрно, взять ежели мою душу: мѣсто тутъ для чистой совѣсти весьма неудобное—ни стать ни сѣсть, а вѣдь пришла же! И на г-жу Абрикосову тоже какъ-нибудь нашло. Этакимъ манеромъ, хоть какъ и на меня... И ее выгнало изъ каменныхъ палатъ... Такое время... судебное...

Какъ бы тамъ ни было, а засѣла у меня мысль о правдѣ... И сталъ я по ночамъ не спать—думать... Даже безъ ужина ложился. А это въ нашемъ, свиномъ, обиходѣ очень много означаетъ — не поужинавши лечь... По ночамъ не спишь... Че-

шешься безпрерывно... Что значитъ, напримѣръ — мысль!.. И надумалъ я такъ, что нѣтъ во мнѣ правды ни на единый волосъ... По совѣсти ли я взялся за духовную часть?—Нѣтъ. По совѣсти ли вступилъ въ бракъ? — Нѣтъ... Исполнилъ ли обязанности мои, какъ лица духовнаго да и просто какъ человѣка, которому Господь далъ сердце и совѣсть — исполнилъ ли, говорю, ихъ относительно своего ближняго? — Нѣтъ и нѣтъ... Заныло, заболѣло мое сердце — отроду не чувствовалъ я такой боли. И съ каждой минутой все сильнѣй становилась эта боль, потому что думалось все дальше и больше... Радъ бы, всей бы душой радъ былъ я думать меньше, даже бы совсѣмъ не думать — еще того было бы превосходнѣе— нѣтъ! Лѣзетъ вотъ все дальше и дальше, безъ всякой жалости... Что говорятъ—не слышу, поддакиваю, въ церкви стою съ кадиломъ, какъ сумасшедшій, и не понимаю, — что это у меня въ рукахъ такое мѣдное... Ей-ей!.. Страсть, какъ я мучился въ ту пору...

Долго ли шло это, коротко ли—только почти безъ остановки думалъ я до самаго корня: выходило такъ, что надо бросить все—домъ, имущество, духовное званіе — и во вретищѣ итти въ потѣ лица своего вырабатывать хлѣбъ... Вышло это совершенно для меня явственно и обстоятельно, т.-е. вотъ какъ на ладони. Оставалось только взять котомку на плечи, сдѣлать все, какъ слѣдуетъ, какъ по мыслямъ, то-есть, выходило—и шабашъ. Вотъ тутъ-то и проснулся во мнѣ свиной человѣкъ... Какъ сталъ я думать, что придется мнѣ съ тачкой, напримѣръ, гдѣ-нибудь на пристани возиться—тутъ свиной-то человѣкъ и объявился...

— Да что ты, говоритъ, очумѣлъ, что ли? У насъ теперь домъ, покой, все слава Богу, а ты бросишь все, да и въ поденщики... Да такъ смѣшно мнѣ представилъ, что просто - напросто покатился я со смѣху... Ха-ха-ха!.. Что я, въ самомъ дѣлѣ, за дуракъ!.. Да за что же это я спокою-то своего лишусь? И стало мнѣ представляться, какъ это хорошо дома, съ женой, и все прочее такое... И отецъ Иванъ вдругъ представился чистый агнецъ (а то я его видѣть не могъ), и все прежнее такъ мнѣ понравилось, что не разстаться— да и полно! Повеселѣлъ я такъ-то, аппетитъ получилъ, и ужъ такъ - то весело было мнѣ у отца Ивана, что и сказать не могу.

Вышло такимъ образомъ, что сильна была совѣсть, измучила она меня въ какую - нибудь недѣлю, а свиной человѣкъ былъ во мнѣ еще сильнѣе ея. Такъ и пошло. Только было я обрадовался, что не думаю, что нѣту такого безпокойства, какое бываетъ у человѣка, ежели зашумитъ совѣсть; только было сталъ думать, что все пойдетъ постарому, что пусть *это* дѣлаетъ кто-нибудь другой, а я, молъ, отказываюсь, — а на дѣлѣ-то стало выходить еще хуже да хуже... Труднѣй да труднѣй.

Не бросилъ я ни должности ни семейства, какъ выходило по совѣсти, и сталъ поэтому притворствовать. Теперь уже я зналъ, что поступаю безсовѣстно, а все-таки поступалъ... Сталъ я поэтому чувствовать себя не просто свинымъ человѣкомъ, а обманщикомъ — обманщикомъ и правды и кривды — и такая завелась на душѣ у меня гадость, что и пересказать вамъ ее, право, нѣтъ никакой возможности... И съ каждымъ часомъ становилось все гаже и хуже, потому что совѣсть стала кричать все громче и громче, да и свиной человѣкъ тотъ сталъ наравнѣ съ совѣстью неистовствовать... Совѣсть-то меня вонъ куда вознесетъ, а свиной человѣкъ низвергнетъ... Больно мнѣ, мучительно, несказанно было больно!.. Кажется, чего бы проще — взялъ да и сдѣлалъ бы по правдѣ, вотъ какъ госпожа Абрикосова: не выходитъ по совѣсти — взяла и бросила все!.. Нѣтъ! Свиной человѣкъ такіе мнѣ аппетиты разожжетъ, что и не пошевельнешься свернуть съ дороги. Совѣсть-то ужъ очень коротка. — А вѣдь больно, передъ Богомъ, больно было, жестоко больно... Что же дѣлать-то? Какъ облегчить?.. Естественно, начинаешь извинять себя, валишь на кого-нибудь. Вотъ такимъ манеромъ я и сталъ валить все «на сосѣда». Во-первыхъ, ближе всего жена—на нее; потомъ на отца Ивана, на мужиковъ... Но на жену, конечно, валилъ я больше всѣхъ. А такъ какъ чувствуешь, что виноватъ-то самъ, что, если они животныя, то ты только посодѣйствовалъ имъ быть ими, а не что-либо другое сдѣлалъ—чувствуешь это и пьешь, конечно... Вотъ откуда и пьянство началось. Ну, а

потомъ меня и жена бросила. Тутъ ужъ я совсѣмъ потерялся. Надо вамъ сказать, что между пьянствомъ и ругательствомъ частенько-таки бѣгалъ я къ госпожѣ Абрикосовой, жаловался на свою участь. Принимала она во мнѣ участіе, и такъ какъ мнѣ очень грустно было жить на свѣтѣ, то вотъ я къ ней и хаживалъ... Жена жъ, съ которою я ежеминутно почти ссорился, принимала это за любовь. Бѣсновалась и была для меня въ тысячу разъ хуже, чѣмъ прежде. Ужъ и мучилъ ее я — надо мнѣ отдать честь. Все, что въ самомъ скверно, все это я открылъ въ ней и за все это ругалъ. Впослѣдствіи оказалось это ей на пользу; но тутъ какъ-то вышла она изъ всякаго терпѣнія и пришла въ неистовство, грозилась жалобой архіерею и обѣщалась изуродовать госпожу Абрикосову собственноручно. Вражда поэтому была между нами смертная, ибо я заступался за госпожу Абрикосову, что еще болѣе разжигало нашу взаимную ненависть. Вотъ разъ, послѣ хорошей схватки, супруга, не долго думая, и въ самомъ дѣлѣ явилась къ госпожѣ Абрикосовой. Явилась она съ намѣреніемъ драться, но, вѣроятно, оробѣла, зато осыпала ее всякими ругательствами. Главное, разумѣется, «отбиваешь мужа» и «архіерею...» и этакое... Та, т.-е. госпожа Абрикосова, тоже взбѣсилась... Потому ужъ очень было все это несправедливо — и погнала мою жену вонъ... Та не пошла, а ревмя заревѣла. Стала жаловаться на свою участь, на меня, на мои неистовства и звѣрства, и госпожа Абрикосова такъ этими ея разсказами растрогалась, что и сама заревѣла и стала ее цѣловать и успокаивать.

Съ этихъ поръ пошла между ними неразрывная дружба... Обѣ онѣ отшатнулись отъ меня — и остался я одинъ со своими свинскими наклонностями да съ водкой... Жена моя, которой очень много досталось отъ меня горя, стала даже благодарить меня за эти ругательства мои, обличенія ея дикости и грубости... Это ее подготовило понимать то, что ей стала толковать госпожа Абрикосова. А какъ только она поняла все, то и ушла отъ меня... Она моложе, въ ней меньше грязи, да и то, что есть, жестоко обличено мною. Вотъ она и ушла — учиться... Ну, тутъ я совсѣмъ ослабѣлъ и упалъ... Тяжело это даже разсказывать.

Оставаться среди общества отца Ивана и его практическихъ знакомыхъ — мнѣ было не по себѣ, скверно... Уйти — коротка душа. Поэтому остаюсь — и лгу. Напьюсь — высказываю все и ругаюсь. А главное, послѣ того, какъ ушла жена — мнѣ еще виднѣе стало, что я-то и не уйду, что именно не могу уйти.

Захотѣлось умирать...

А какъ только увидалъ я, что надо мнѣ умирать — тотчасъ страсть какъ захотѣлось мнѣ жить. И тутъ я, очертя голову, пустился во всѣ тяжкіе. За бабами, напримѣръ...

Пошли доносы: въ пьяномъ видѣ сбругалъ отца Ивана, ругался въ храмѣ, безчинничалъ на свадьбѣ съ бабой... Ну и выгнали и засудили...

Подъ началомъ, въ монастырѣ я отрезвѣлъ какъ будто, и стало мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, ясно, что либо помирать мнѣ, либо — все вновь. Вотъ я и думаю: возможно ли какими-либо манерами фундаментально излѣчить и душу и тѣло? Тѣло, напримѣръ, возстановлять медицинскими специями, а душу — одновременно, чтеніемъ?.. Какъ вы полагаете, не возможно ли будетъ этими средствами себя возобновить, дабы вновь ужъ жить честно и благородно?»

---

На этомъ вопросѣ окончился разсказъ дьякона. Предоставляя рѣшеніе его знатокамъ, я, какъ простой наблюдатель нравовъ современной жизни, могу обратить вниманіе читателей на существованіе въ этой глуши небывалой доселѣ болѣзни. Эта болѣзнь — мысль. Тихими-тихими шагами, незамѣтными, почти непостижимыми путями, пробирается она въ самые мертвые углы русской земли, залегаетъ въ самыя неприготовленныя къ ней души. Среди, повидимому, мертвой тишины въ этомъ кажущемся безмолвіи и снѣ, по песчинкѣ, по кровинкѣ, медленно, неслышно перестраивается на новый ладъ запуганная, забитая и забывшая себя русская душа, а главное — перестраивается во имя самой строгой правды.

## Изъ очерка „Будка“.

На углу двухъ весьма глухихъ и бѣдныхъ переулковъ уѣзднаго города стояла будка; физіономія ея походила на тѣ бе-

сѣдки съ колоннами и куполомъ, которыя встрѣчаются въ лубочныхъ изображеніяхъ иностранныхъ виллъ, при чемъ обыкновенно впереди виллы, въ водѣ, плаваютъ два лебедя другъ противъ друга, сзади видны деревья, а по дорожкамъ прогуливаются господа въ шляпахъ набекрень, въ черныхъ фракахъ, дѣти съ обручами и дамы съ зонтиками на плечѣ; походила она также на тѣ храмы музъ, которые обыкновенно изображаютъ на занавѣсахъ провинціальныхъ театровъ; такому сходству весьма способствовала старинная архитектура будки; она дѣйствительно была съ колоннами, куполомъ, а каменныя ободранныя стѣны ея были круглы; но нѣкоторыя, повидимому, весьма ничтожныя вещи, какъ, напримѣръ, измазанная дверь съ клоками истерзанной рогожи и войлока, приземистая черная труба, вѣнчавшая вершину купола, и въ особенности жестяная алебарда, виднѣвшаяся всегда у колоннъ, весьма краснорѣчиво доказывали наблюдателю, что видимое имъ зданіе не есть храмъ музъ, но есть кутузка, или сибирка; тѣмъ болѣе, что громадныя калоши будочника Мымрецова, набитыя для тепла соломой и постоянно торчавшія передъ будкой на улицѣ, ни въ какомъ случаѣ не могли напоминать лебедей, плавающихъ передъ иностранною виллой.

На тоненькихъ почернѣвшихъ колонкахъ будки всегда трепетали по вѣтру какіе-то писанные и печатные лоскутки, на которыхъ значилось, что такого-то числа военные и гражданскіе чиновники приглашаются пожаловать въ парадной формѣ... Что того же числа въ мѣщанской управѣ будетъ происходить торгъ и переторжка на имущество мѣщанки Степаниды, состоящее изъ утюга и кровати, оцѣненныхъ въ тридцать копеекъ... Что въ залѣ дворянскаго собранія имѣетъ быть балъ, почему благоволятъ надѣть бѣлые жилеты тѣ, кои и т. д. Но страна, гдѣ стояла будка, не имѣла ни парадной формы ни тридцати копеекъ, чтобы овладѣть обольстительнымъ имуществомъ Степаниды, ни, наконецъ, бѣлыхъ жилетовъ; и поэтому-то пропаганда будочника Мымрецова по исчисленнымъ вопросамъ была совершенно ничтожна; закутавшись въ казённую шубу, онъ, правда, постоянно торчалъ около той или другой колонки и, повидимому, сторожилъ эти писанные и печатные лоскутки, но въ сущности, смыслъ и содержаніе ихъ были ему извѣстны ровно столько же, сколько и жестяной алебардѣ, которая тоже торчала рядомъ съ Мымрецовымъ, только у другой колонки... Оба они пропагандировали нѣчто другое и, слѣдовательно, не даромъ мерзли на вѣтру...

Будочникъ Мымрецовъ принадлежалъ къ числу «неспособныхъ», т.-е. людей, совершенно негодныхъ въ войскѣ. Эти неспособные большею частію происходятъ или изъ обдѣленныхъ природою бѣлоруссовъ, или изъ русачковъ сѣверныхъ безхлѣбныхъ и холодныхъ губерній. Мачеха - природа и лебеда пополамъ съ древесной корой, питающей ихъ, загодя, со дня рожденія, обрекаетъ ихъ быть идіотами и Богомъ убитыми людьми; она надѣляетъ ихъ непостижимою умственною неповоротливостію и всѣ почти задавленныя стремленія человѣческой природы сводитъ на жажду водки, которую они поглощаютъ въ громадныхъ размѣрахъ; они умѣютъ напиваться молча, не произнося не единаго слова; молча дерутся въ кровь и, валяясь гдѣ-нибудь въ глухомъ и безлюдномъ переулкѣ, почти въ безпамятствѣ умѣютъ бормотать только одно: «виноватъ», ни на минуту не выпуская изъ скуднаго и запуганнаго воображенія образъ грознаго начальства.

Начальство вообще панически дѣйствуетъ на нихъ; при видѣ его несчастные «неспособные» вытягиваются въ струнку, замираютъ и задыхаются въ воротникѣ, стянутомъ туго-натуго; виски, намазанные для праздника свинымъ саломъ, начинаютъ потѣть, а глаза получаютъ способность пускать слезы. Кромѣ мачехи-природы послѣдніе признаки человѣческаго существа изъ нихъ выколачиваетъ военная муштровка; въ древнія времена результы ея отдавались у неспособныхъ на скулахъ, подъ скулами, на спинѣ и далѣе. «Муштра» комкала ихъ, переламывала въ нѣсколькихъ направленіяхъ, какъ какую-нибудь палку или доску, и, оставивъ въ живыхъ только косицы, намазанныя свинымъ саломъ, сдавала въ провинціи на разныя должности: въ «хожалые», пожарные и проч. Воины эти, вступая на новый постъ, непремѣнно имѣли разныя увѣчья и вывихи: разорванную въ дракѣ губу, выломанное ребро, ухабы и ямы въ головѣ и спинѣ; соединивъ эти пріобрѣтенія съ тѣмъ наслѣдіемъ природы, о которомъ уже упомянуто, они

представлялись субъектами самаго страннаго свойства: никто никогда не могъ вдолбить имъ въ голову что-нибудь неотносящееся до ихъ пожарной спеціальности, и, въ свою очередь, тоже и отъ нихъ нельзя было добиться чего-нибудь. Самый краткій разговоръ съ такимъ существомъ всегда оканчивается тѣмъ, что начавшій разговаривать прерывалъ рѣчь, съ ожесточеніемъ восклицая:

— Да что ты? Ты оглохъ, что ли?..

Но субъектъ не оглохъ, онъ просто былъ «неспособный».

Будочникъ Мымрецовъ обладалъ всѣми упомянутыми увѣчьями въ полномъ объемѣ; всѣ эти вывихи, переломы имѣлись у него даже въ сверхкомплектномъ количествѣ, дѣлая изъ него угрюмую, неповоротливую фигуру, весьма походившую на корень дерева, глубоко сидѣвшій въ землѣ и вывернутый оттуда силою бури; видно было, что тутъ происходило и упорство, съ одной стороны, и сокрушительная сила—съ другой; корень вывернутъ изъ земли, изувѣченный и бездушный.

Несмотря на то, изувѣченность и умственное оскудѣніе были главною причиною того блистательнаго успѣха, съ котонымъ Мымрецовъ занималъ предназначенрый ему постъ; можно даже сказать навѣрное, что успѣхъ этотъ могъ увеличиваться и возрастать по мѣрѣ того, какъ теченіе времени и дракъ будетъ выхватывать у него новыя ребра и дѣлать новыя ямы въ головѣ. Только при такихъ условіяхъ раскраденный умственный капиталъ его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, могъ сосредоточиться и даже впиться въ главныя его обязанности; обязанности эти состояли въ томъ, чтобы, во-первыхъ, «*тащить*», а во-вторыхъ, «*не пущать*»; тащилъ онъ обыкновенно туда, куда рѣшительно не желали попасть, а не пускалъ туда, куда этого смертельно желали. Словомъ, гдѣ только человѣкъ находился въ положеніи, опредѣляемомъ фразою «ни назадъ ни впередъ», тамъ навѣрное Мымрецовъ принималъ живѣйшее участіе; говорятъ что съ теченіемъ времени Мымрецовъ до того въѣлся въ это тасканіе, что въ людяхъ началъ замѣчать только шивороты, и этимъ отличалъ людей отъ безсловесныхъ животныхъ и неодушевленныхъ предметовъ: поэтому-то Мымрецовъ и жестяная алебарда были представителями животной пропаганды и, слѣдовательно, не даромъ мерзли на вѣтру.

Забота о шиворотахъ поглотила все его существо, такъ что въ ней, какъ въ бездонной пропасти, почти безслѣдно исчезала послѣдовательная нить его философіи и свойства его какъ семьянина; о семейныхъ отношеніяхъ къ его супругѣ можно сказать, что онъ и жена жили не такъ, какъ живутъ кошка съ собакой, потому что несходныя качества этихъ животныхъ совмѣщались въ одной супругѣ. И Мымрецову осталась роль безчувственнаго пня, на который могутъ брехать собаки и царапать лапами кошки, не надѣясь получить въ отвѣтъ ничего, кромѣ мертваго равнодушія и поплевываній въ уголъ, и то вслѣдствіе пріятнаго ощущенія, доставляемаго махоркой. Гробовое молчаніе и угрюмость рѣшительно не давали возможности разглядѣть въ подробности всѣ личныя особенности Мымрецова; несокровеннымъ было то, что онъ очень любилъ тютюнъ, услаждавшій его въ минуты отдыха, и что три денежки въ сутки да ковриги казеннаго хлѣба съ нумерами на верхней коркѣ, написанными мѣломъ, поддерживали его изувѣченное существованіе на славу множества шивороговъ, и только; мракъ угрюмости и молчанія непроглядною пеленою покрывалъ тайну происхожденія его другихъ желаній и убѣжденій. Такъ, намъ уже извѣстно, что онъ умѣлъ, въ качествѣ илота, напиваться молча; по праздничнымъ днямъ онъ угрюмо шатался изъ двора во дворъ и вездѣ лилъ въ себя водку, не зная рѣшительно границъ этому литью и не подозрѣвая, что желудокъ его не бездонная пропасть. Цѣлыя недѣли послѣ этого онъ мучился грудью, поясницей, головой, но на слѣдующій праздникъ исторія повторялась въ томъ же порядкѣ. Такою же таинственностью покрыта его страсть копить серебряные пятачки. Почему онъ съ лихорадочною жадностію завертываетъ тихомолкомъ каждый пятачокъ въ тысячи тряпокъ? Зачѣмъ такъ далеко прячетъ ихъ въ шерстяной чулокъ и засовываетъ потомъ подъ крыльцо? Неужели онъ думаетъ нажить богатства и сокровища? Неужели объ этихъ сокровищахъ онъ такъ усердно молитъ Бога, оставшись вечеркомъ одинъ, не спускаетъ съ крошечнаго образочка своихъ глазъ, падаетъ на колѣни и такъ

крѣпко, крѣпко бьетъ себя кулакомъ въ грудь?..

Мымрецовъ объясняетъ эти молитвы и собираніе пятачковъ тѣмъ, что скоро онъ пойдетъ въ свою сторону: онъ дожидается только времени, когда перестанутъ у него ныть кости, руки, ноги... Онъ ждетъ, пока у него отойдетъ хрипота въ груди, мѣшающая ему свободно дышать, и тогда онъ непремѣнно уйдетъ къ своимъ...

II.

Вообще таинственныя свойства души Мымрецова совершенно необъяснимы, и мы, не имѣя права умозаключать о нихъ, прямо переходимъ къ его дѣятельности.

Дѣятельность эта, т.-е. таскание и хватание за шивороты, не прекращалась у Мымрецова ни на одну минуту: утромъ онъ обыкновенно отправлялся въ часть и рапортовалъ начальству о своихъ успѣхахъ, излагая рѣчь сообразно съ своею изувѣченностью и искалѣченностью.

— Ну, — спрашивалъ его квартальный, перелистывая какія-то бумаги: — ты что же это тамъ съ бабами-то воюешь?

— Помилуйте, вашскобродіе, я только что отпихнулъ ее отъ себя.

— Кого?

— Эту самую даму... Смоленскую...

— Какую Смоленскую?

— Да которая, напримѣръ, шельма самая... Гордеиха приказываетъ ее узять, а она говоритъ: «я, говоритъ, съ эстой дрянью не пойду». Она, вашскобродіе, меня дрянью назвала...

— Ну?

— Ну, я ее отпихнулъ... Говорю: «ты мнѣ не нужна!» А разодравши онѣ были прежде... Я подбѣгъ, онѣ ужъ разодравши были... и ужъ глазъ расшибли... въ томъ числѣ...

— Въ какомъ числѣ?

— Въ числѣ драки-съ.

— Чортъ тебя знаетъ, что ты городишь!.. Посадилъ?

— Помилуйте!

— Ступай!

[О]быкновенно дѣла шли такимъ образомъ, чт[о] Мымрецовъ не успѣвалъ возвратиться до[м]ой, какъ гдѣ-нибудь на пути къ будкѣ ем[у] навертывалась практика; но иногда пр[я]мо изъ части онъ приходилъ въ будку, ра[с]стегивалъ шинель и, сладостно поплевывая, курилъ тютюнъ. Въ эти минуты онъ не слыхалъ, какъ жена его, орудовавшая у печи, костила его по какому-то случаю и замахивалась на него ухватомъ: угрюмо и безмолвно наслаждался онъ махоркой; но когда махорка выгорала въ трубкѣ, и Мымрецову предстояла необходимость ограничиться созерцаніемъ возносимыхъ надъ его головой ухватовъ, ему вдругъ дѣлалось скучно и тоскливо; выйдя на крыльцо, онъ тревожно поглядывалъ въ одну и другую сторону, ища поживы, снова возвращался въ будку и начиналъ чувствовать, что у него болятъ руки, ноги, ноютъ кости... Ему непремѣнно нужно было куда-нибудь торопиться, ловить что-нибудь или кого-нибудь. Судьба обыкновенно недолго держала его въ такомъ томительномъ состояніи.

Вотъ отворилась дверь, въ будку понесло холодомъ, и вслѣдъ за тѣмъ появилась фигура женщины въ истертой синей шубейкѣ, съ лицомъ, облитымъ слезами и покрытымъ темными, словно чернильными, пятнами. Слезъ и пятенъ достаточно Мымрецову, чтобы увидѣть подъ ними шиворотъ. Онъ начинаетъ торопливо застегивать шинель и говоритъ:

— Гдѣ? — намекая тѣмъ на мѣстопребываніе шиворота.

Ему не нужно знать, почему и что; онъ давно убѣдился, что въ этихъ слезахъ и синякахъ ничего не разберетъ самъ чортъ.

— Охъ, да недалечко, родной, — говоритъ старуха. — Тутъ-отъ-ко вотъ... къ полю... Ужъ и наказалъ Господь... О-охъ!

— Потому, намъ нельзя допущать дебошу, — торопливо говоритъ Мымрецовъ, надѣвая шапку. — Гдѣ тесакъ?

— Сократи ты его! Сдѣлай твою милость...

— Палка гдѣ? Потому, мы не допущаемъ, коли ежели шумъ, напримѣръ... Намъ этого нельзя!..

Палка найдена, и Мымрецовъ исчезаетъ, куда призываетъ его долгъ, а будочница, отъ нечего дѣлать, занимается изслѣдованіемъ причины синяковъ и слезъ; она знаетъ все, что ни дѣлается въ окружности.

## Изъ очерка „Чудакъ-баринъ“.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, совершенно случайно пришлось намъ познакомиться съ отсутствующимъ теперь въ

неизвѣстности добрымъ бариномъ Михаиломъ Михайловичемъ, и теперь иной разъ, сидя на крыльцѣ его мызы (приведенной въ порядокъ однимъ моимъ знакомымъ) и толкуя съ обывателями обо всякой всячинѣ, до нѣкоторой степени могу себѣ представить поистинѣ трагическое состояніе духа, въ которомъ долженъ былъ находиться добрый Михаилъ Михайловичъ...

Добрый *баринъ!* Что можетъ быть ужаснѣе для человѣка съ его направленіемъ мыслей! Онъ, въ ту пору молодой, двадцатипятилѣтній барченокъ, только что оставившій университетскую скамью, пріѣхалъ сюда вовсе не для того, чтобы величаться капиталами, барствомъ и довольствоваться всеобщимъ раболѣпіемъ. Для охотниковъ ко всему этому есть другія поприща, а не лядинская трущоба. Онъ явился здѣсь именно въ увѣренности, что онъ *порвалъ связи* какъ съ своимъ семействомъ, такъ и съ городскимъ обиходомъ жизни, съ своекорыстнымъ употребленіемъ своего капитала, знанія и т. д. и т. д. Все это онъ бросилъ позади себя и явился нарочно въ трущобу, въ бесплодное дикое мѣсто, гдѣ человѣкъ терпитъ, нуждается, бьется... Михаилъ Михайловичъ пришелъ сюда съ тѣмъ, чтобы «на новомъ мѣстѣ» совершенно «по новому» начать жить,—жить такъ, чтобы каждый кусокъ, который попадетъ ему въ ротъ, не пахнулъ чужимъ трудомъ, чужимъ потомъ. Онъ пришелъ трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ нажитыя общимъ трудомъ (такъ былъ М. М. въ этомъ глубоко увѣренъ въ то время юношескихъ фантазій), должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентныхъ людей. Что среди крестьянъ онъ непремѣнно отыщетъ людей, которые всецѣло не только поймутъ, но еще и разовьютъ его мысли — въ этомъ онъ былъ совершенно увѣренъ. Крестьянинъ — это одѣтый въ полушубокъ живой памятникъ всего, чего не упишешь въ 26-ти томахъ исторіи Соловьева. Мало того, въ то прекрасное время къ фигурѣ крестьянина какъ-то невольно примыкало, кромѣ 26-ти томовъ Соловьева, еще все мучительно передуманное и пережитое европейскою жизнью.

Сообразивъ все это и соединивъ все такъ безобразно-трудно пережитое человѣчествомъ въ лицѣ крестьянина, которому, наконецъ, настало время вздохнуть свободно, Михаилъ Михайловичъ не могъ не подозрѣвать, что такое существо, какъ крестьянинъ, бѣдный, измученный, забитый, испытавшій и пережившій Богъ знаетъ какія невзгоды, несущій на своихъ плечахъ опытъ тысячелѣтнихъ трудовъ, долженъ, *непремѣнно долженъ* питать ненасытную жажду устроить жизнь по новому; у него въ горлѣ пересохло отъ этой жажды, онъ ждетъ не дождется, онъ страстно хочетъ вздохнуть полной грудью. Предъ этимъ величіемъ Михаилъ Михайловичъ—пигмей; онъ ничего не имѣетъ права желать, какъ только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знаніе, трудъ. Больше Михаилу Михайловичу ничего не нужно. Онъ пришелъ униженнымъ и смиреннымъ работникомъ. Такъ Михаилу Михайловичу казалось... Онъ готовъ былъ простить всякую грубость, невѣжество, всякую непріятность со стороны его народныхъ сотоварищей; онъ зналъ, что иначе не можетъ быть, что не изъ чего выработаться было тонкостямъ и деликатностямъ; онъ былъ готовъ все простить и все претерпѣть... Но—увы!—народъ никакимъ образомъ не могъ простить Михаилу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное—какъ не могъ забыть и своего крѣпостного прошлаго. Этотъ крѣпостной опытъ крестьянъ, съ одной стороны, и съ другой—то, что Михаилъ Михайловичъ былъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ баринъ, и сокрушило и планы и деньги Михаила Михайловича безъ остатка.

Да и какія бы другія представленія могъ имѣть только что вышедшій «изъ крѣпости» крестьянинъ о людяхъ, подобныхъ Михаилу Михайловичу? Развѣ было что-нибудь и когда-нибудь подобное? А что Михаилъ Михайловичъ—баринъ, это мѣстный обыватель заключилъ по тысячѣ мелочей, которыя для Михаила Михайловича казались ничтожными, не имѣющими никакого значенія въ томъ серьезномъ дѣлѣ, какъ то, за которое онъ брался. Ужъ одно то, что онъ пріѣхалъ въ деревню со станціи въ тарантасѣ, а не пришелъ пѣшкомъ съ котомкой за плечами и босыми ногами, не попро-

силъ Христа ради испить—ужъ это доказывало, что онъ не мужикъ. Онъ щедро далъ на водку, далъ столько мелочи, сколько попалось въ руку въ карманѣ— «и карьера его была рѣшена!» А когда къ Михаилу Михайловичу стали пріѣзжать его пріятели, все люди простые, честные, добрые, тогда мѣстные обыватели, нимало не сомнѣвавшіеся въ томъ, что люди эти—*господа*, окончательно убѣдились еще въ томъ, что они и добрые. Одинъ послалъ за газетой на станцію и далъ рубль серебра за хлопоты,—заработокъ небывалый и новый,—что немедленно же убѣдило обывателей въ добротѣ господъ и въ томъ, что они—чудаки.

Вотъ почему разсужденія Михаила Михайловича и его пріятелей о томъ, зачѣмъ они сюда пріѣхали, что будутъ дѣлать и какъ это выгодно и прекрасно для всѣхъ, какъ это все справедливо и т. д., мѣстные обыватели не только не понимали, но не желали понимать. Пожелай они—поймутъ отлично; вся задача въ томъ и состоитъ, чтобы пожелать! Но они считали своимъ долгомъ поддакивать. Своему брату или вообще человѣку, который бы пришелъ съ деньгами въ эту трясину и объявилъ бы, что онъ хочетъ здѣсь жить и кормиться, они бы прямо сказали: «ступай отсюда,—пропадешь!» Но разъ передъ ними баринъ съ деньгами и съ своей повадкой (фантазія Михаила Михайловича не болѣе какъ *повадка*), то дѣло другое: тутъ только «потрафляй». Вотъ почему разсужденія Михаила Михайловича, разсужденія, которыхъ крестьяне даже не считали нужнымъ внимательно выслушивать (хотя дѣлали самый внимательный видъ), получили отъ всѣхъ ихъ полнѣйшее одобреніе.

— Вѣдь и эта земля, которая вотъ, кажется, никуда не годится, вѣдь она, посмотрите, какая будетъ, если сдѣлать вотъ то-то и то-то.

— Это ужъ само собой! Этой землѣ цѣны не будетъ! Одно слово...

— Вотъ я вамъ разскажу,—робко начиная поучать, говорилъ Михаилъ Михайловичъ:—напримѣръ, въ Америкѣ...

И разсказывалъ исторію какой-нибудь американской общины, которая на безлюднѣйшихъ мѣстахъ сумѣла развести цвѣтущія довольствомъ поселенія, и только благодаря знаніямъ и опредѣленности цѣли.

— Цѣль... вотъ главное.

— Само собой! Это ужъ первымъ долгомъ!

Словомъ, какія бы невозможно-идеальныя, фантастическія идеи не развивалъ въ это время Михаилъ Михайловичъ передъ мѣстными обывателями, всѣ онѣ безъ исключенія принимались послѣдними безъ малѣйшаго протеста и возраженія и всегда, напротивъ, съ величайшимъ одобреніемъ: «Само собой!» «Чего лучше?» «Первое дѣло!» «Первымъ долгомъ!»

Если бы Михаилъ Михайловичъ въ это время не былъ помѣшанъ на своихъ фантазіяхъ, то онъ и теперь ужъ могъ бы услышать изъ устъ своихъ крестьянъ-сотоварищей (такъ онъ думалъ) нѣчто потрясающее всѣ его иллюзіи. Такъ, одобряя и соглашаясь, нѣкоторые изъ крестьянъ проговаривались весьма неосторожно, вставляя что-нибудь вродѣ: «мы завсегда хорошимъ господамъ съ охотой готовы... Что нашихъ силъ... Для господъ!» Но Михаилъ Михайловичъ въ эту пору никого и ничего не слыхалъ, занятый новымъ дѣломъ, какъ и мужики не слышали, что онъ толкуетъ, занятые своимъ старымъ. Онъ полагалъ, что всѣ разсужденія—сущая правда и неопровержимы, и мужики думали, что они ловко потрафляютъ барину, поддакивая — и не ошиблись. Баринъ оказался—«рубаха!»

---

Начавъ *общее* дѣло съ взаимнаго и совершенно основательнаго нежеланія слушать другъ друга, добрый баринъ и добрый мужикъ такъ это дѣло и продолжать стали. Баринъ «гналъ *свою* линію», всячески угождая мужикамъ и относясь къ нимъ съ полнымъ почтеніемъ; мужики погнали свою линію, также всячески угождая барину и относясь къ нему съ полнымъ почтеніемъ. Все это, говоря обывательскимъ языкомъ, произошло въ полной мѣрѣ «само собой!» И не прошло трехъ-четырехъ мѣсяцевъ послѣ того, какъ Михаилъ Михайловичъ вступилъ во владѣніе лядинской пустыней, какъ однажды, проснувшись утромъ въ наскоро сколоченномъ мужиками сараѣ, не безъ нѣкотораго ужаса почувствовалъ, что въ его житьѣ-бытьѣ что-то не ладно...

— Канавы прикажете, Михаилъ Михайловичъ, гнать аль мосты наводить?—спросилъ его крестьянинъ, снявъ шапку.

Михаилъ Михайловичъ молчалъ.

Онъ былъ пораженъ.

«Что жъ это, думалъ онъ, вѣдь я, кажется, *приказываю... командую*»...

Однако, собравшись съ духомъ, онъ все-таки отдалъ какое-то приказаніе. Но, поднявшись съ сѣна, на которомъ спалъ, наскоро напялилъ рваное пальтишко, въ которомъ ходилъ по пріобрѣтенной трясинѣ, грязные сырые сапоги, вытащилъ изъ-подъ подушки и надѣлъ на голову смятую шляпу и почему-то немедленно уѣхалъ въ Петербургъ.

Недѣли двѣ онъ бѣгалъ по петербургскимъ пріятелямъ, не замѣчая своего страннаго костюма и грязи, толстымъ слоемъ лежавшей на лицѣ и рубахѣ, и предаваясь все это время непрестаннымъ разглагольствованіямъ, при чемъ обсуждалась на тысячу ладовъ справедливость дѣлаемаго Михаиломъ Михайловичемъ дѣла. Уже въ это время его начинали одолѣвать припадки острой и мрачной тоски. Думаетъ-думаетъ, остановится на улицѣ съ вытаращеннымъ неподвижнымъ взоромъ, постоитъ и, какъ сонный, войдетъ въ портерную, спроситъ кружку, выпьетъ, спроситъ другую-третью, и не замѣчаетъ, что его одолѣваетъ хмель...

Такъ онъ долго промаялся въ Питерѣ; но когда воротился въ трясину, то былъ уже не тѣмъ, чѣмъ въ первый пріѣздъ. Онъ ужъ не разглагольствовалъ, увѣрившись, что его не слушаютъ; онъ ужъ не панибратствовалъ, убѣдившись, что въ братья мужику онъ не годится, хотя и продолжалъ вмѣстѣ спать и вмѣстѣ ѣсть. Длиннымъ рядомъ всевозможныхъ разсужденій о своей задачѣ онъ пришелъ къ тому, что только примѣръ, результатъ видимый, осязательный, доступенъ будетъ пониманію теперешняго крестьянина и научитъ его лучше всякихъ многословныхъ разсужденій. Стало-быть, надо не разглагольствовать, а взять все дѣло на себя, на свою отвѣтственность. Теперь роются канавы, осушаются сырыя мѣста; но когда будетъ, назло всѣмъ преградамъ, полученъ первый урожай,—словомъ, когда получатся плоды трудовъ и знаній, Михаилъ Михайловичъ на дѣлѣ покажетъ, что значитъ справедливость. Теперь же онъ просто будетъ «пока» распоряжаться.

Рѣшивъ такъ, Михаилъ Михайловичъ почувствовалъ себя спокойнѣе, да и въ самомъ дѣлѣ отношенія сдѣлались между нимъ и мужиками естественнѣе. Онъ сталъ приказывать, а они стали исполнять.— «Рой тутъ канаву!» скажетъ Михаилъ Михайловичъ, и ужъ не разглагольствуетъ о будущемъ благополучіи, а молчитъ и молча думаетъ: «потомъ сами увидите, что это значитъ!» Ставъ на эту точку, онъ уже началъ отвыкать отъ сплошного взгляда на весь толкавшійся вокругъ него народъ: онъ уже не могъ смотрѣть на всѣхъ ихъ одинаково, какъ смотрѣлъ еще недавно, полагая, что предъ нимъ въ каждомъ полушубкѣ ходятъ всѣ 26 томовъ исторіи Соловьева, а сталъ различать въ одномъ экземплярѣ 26 томовъ—хитрость, въ другомъ—глупость, въ третьемъ—самодурство, въ четвертомъ—ловкость, понятливость и умъ.

Появились, такимъ образомъ, любимцы, приближенные, довѣренные.

Такимъ образомъ, если ужъ во то время, когда Михаилъ Михайловичъ былъ предъ мужикомъ тише воды, ниже травы, если, повторяемъ, и въ то уже время въ немъ не трудно было разыскать и разсмотрѣть барина, барскую повадку, то теперь-то и подавно. Полагая, что онъ только временно, такъ сказать, надѣлъ на себя шкуру барина, Михаилъ Михайловичъ незамѣтно, въ силу того же, что онъ былъ *баринъ въ самомъ дѣлѣ*, сталъ сбиваться съ равноправной ноги, и воспитанное долголѣтнимъ прошлымъ барство стало, сначала понемногу, выступать въ его умѣ и сердцѣ и душѣ, а потомъ и очень скоро вылилось во всей своей прелести.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ въ Михаилѣ Михайловичѣ сталъ проступать ужъ *не прикрашенный баринъ*, въ крестьянинѣ (который, просимъ не забывать, только что вышелъ изъ крѣпости) сталъ навстрѣчу барину выступать *не прикрашенный рабъ*.

Баринъ началъ повелѣвать, а крестьянинъ принялся его надувать.

Началась самая утонченная борьба двухъ естественныхъ враговъ, и надо отдать мужикамъ справедливость—молодцы они въ этой борьбѣ. Лаской, угожденіемъ, потрафленіемъ, предупрежденіемъ еще не родившихся, но имѣющихъ, рано ли, поздно ли, родиться желаній,—вотъ какъ они, и самые талантливые изъ нихъ, принялись дѣйствовать...

У Михаила Михайловича стало обр[illegible]ювываться все больше и больше празднаго

времени, ему становилось все легче и беззаботнѣе, точно кто по-матерински заботился о немъ. Онъ даже лесть сталъ слушать какъ должное, поддался на похвалу, на удивленіе его уму, знанію. Невѣдомо какъ и откуда взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тутъ вокругъ да около лебезить. И другая и третья...

---

Михаилъ Михайловичъ вновь очнулся, опамятовался и совершенно упалъ духомъ. Сначала, когда какое-то ничтожное обстоятельство заставило его прійти въ себя, онъ мгновенно (барская привычка) ожесточился на мужиковъ. Все въ нихъ показалось ему отвратительнымъ: и эти бороды, и лица, но пуще всего эти улыбки, эти снятыя шапки. «Холопье!»—возопилъ онъ всѣмъ нутромъ. Противными ему показались всѣ эти: «Будьте покойны!» «Дѣло явное, чего лучше!» «Само собой!» «Въ аккуратѣ!» и множество другихъ ничего не значащихъ словъ, которыми такой мастеръ отдѣлываться русскій человѣкъ, когда онъ не хочетъ ничего сказать или когда желаетъ сказать не то, что думаетъ.

Бывали у Михаила Михайловича минуты суроваго ожесточенія противъ всѣхъ и вся. Бывало такъ, что, ожесточившись рѣшительно на всѣхъ толкавшихся вокругъ него на работахъ и постройкахъ людей, ожесточившись на всѣхъ огуломъ и на каждаго поодиночкѣ, Михаилъ Михайловичъ прекращалъ всякія приказанія и распоряженія, упорно молчалъ, не давалъ ни на что никакихъ отвѣтовъ. Тогда народъ, толпившійся вокругъ него, немедленно же начиналъ разбредаться; никому не было расчета терять минуты времени даромъ. Всякій зналъ: «понадобится—пришлютъ», и, взваливъ котомку на плечи, расползались по лѣснымъ тропинкамъ къ новому заработку.

Но по мѣрѣ того, какъ равнодушіе этихъ разбредавшихся людей (лично къ Михайлу Михайловичу, а не къ заработку) становилось все яснѣе и яснѣе, ожесточеніе его противъ этихъ людей ослабѣвало, а перспектива не сегодня, такъ завтра остаться одинокимъ въ этой трясинѣ совершенно уничтожала въ немъ гнѣвъ и ненависть. Такъ же быстро, какъ и въ началѣ хандры, ненависть его съ мужиковъ переносилась на самого себя, а мужикъ, напротивъ, начиналъ вырастать, вырастать... въ чемъ же? — въ прямотѣ и правдѣ... Начинало оказываться, что во всемъ поведеніи мужика,—поведеніи, которое возмущало такъ недавно до глубины души, не было ничего, кромѣ самой сущей искренности и глубочайшей правды. Михаилъ Михайловичъ въ эти минуты ясно видѣлъ собственную свою дрянность, гнилость, негодность, негодность во всѣхъ смыслахъ—въ физической силѣ, въ твердости убѣжденій, въ силѣ мысли, въ прочности, нравственности и т. д. И во всемъ этомъ мужикъ несравненно выигрывалъ. Какое необычайное преимущество мужика предъ нимъ ужъ въ одномъ томъ, что цѣль его проста, мала—какая-нибудь коровенка, недоимка! Купить коровенку, уплатить недоимку, а сколько онъ тратитъ на это силы, не сердясь, не бѣснуясь, не хвалясь, не чванясь?.. Ему все простительно, онъ все изъ-за хлѣба...

---

Въ такія минуты Михаилъ Михайловичъ мрачно пилъ и подъ хмелькомъ ворочалъ мужиковъ назадъ, вновь пилъ «на мировую», подъ хмелькомъ ѣхалъ въ деревню въ гости, вновь пилъ въ гостяхъ... И тутъ уже съ нимъ стали поступать безъ церемоніи... Тутъ-то вотъ Мишутка сѣлъ подъ образа въ шапкѣ, наклалъ сахару въ чашку до верху и на столъ грозился сѣсть. Въ эту-то пору стали у него брать деньги почти изъ рукъ и почти безъ церемоніи... Не препятствовалъ Михаилъ Михайловичъ этому, убѣдившись, что другого назначенія для него нѣтъ, какъ быть расхищеннымъ на пользу ближнему...

«По - настоящему, думалъ онъ, надо бы просто послушать совѣта: отдай имѣніе свое—и ступай!.. Бери, ребята, бери!»...

Онъ ужъ совершенно въ это время не разсуждалъ и не фантазировалъ, а изрекалъ гдѣ-нибудь въ крестьянской избѣ за бутылкой водки краткія изреченія, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго:

— Нѣтъ, ребята, мы съ вами одного поля ягода... И много, много въ васъ и въ насъ разныхъ блохъ крѣпостныхъ сидитъ... И долго-долго, ребята, выбивать изъ насъ этихъ блохъ-то придется...

— Само собой!—откликается кто-нибудь на эту рѣчь.

— Да перестань ты болтать, чортъ знаетъ что!—раздражительно восклицаетъ Михаилъ Михайловичъ.—Ну что это зна-

читъ «само собой»?—какой тутъ смыслъ? Что значитъ «въ аккуратѣ», «къ примѣру», «первымъ долгомъ»? Зачѣмъ болтать вздоръ? Неужели, наконецъ, послѣ всего, ты прямо не можешь сказать, что тебѣ отъ меня нужно? Корову? Лошадь? Тесу? Овцу? Телѣгу? Вѣдь непремѣнно же что-нибудь подобное, а ты какое-то «само собой», а потомъ «въ аккуратѣ»... Чего тебѣ нужно?..

— Да лошадку бы точно что...

— Ну вотъ и прекрасно... а то «первымъ долгомъ», «въ томъ числѣ». Еррунда!..

— Михаилъ Михайловичъ! — восклицаетъ востроглазая солдатка, появляясь въ избѣ. — Ты что жъ солдатку-то забылъ? Чего жъ чайку-то не зайдешь напиться?..

— Забылъ? Нѣтъ, я зайду, непремѣнно зайду...

— Ты думаешь, солдаткѣ тоже пить-ѣсть не надо?..

— Какъ можно! Я-то думаю?.. Что это ты?.. Отлично понимаю... Именно пить-ѣсть...

— То-то, заходи, стало-быть, въ гости-то...

— Непремѣнно... Тебѣ чего, тесу или чего?..

. . . . . . . . . . . . . . . .

А уѣхалъ Михаилъ Михайловичъ потому, что денегъ у него не осталось ни копейки.

## Изъ очерковъ „Власть земли."

### I. Иванъ Босыхъ.

Иванъ Петровъ принадлежитъ къ тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, какъ Россія, классу деревенскихъ людей—классу, народившемуся въ послѣднія двадцать лѣтъ, который волей-неволей приходится назвать «деревенскимъ пролетаріатомъ».

Этотъ новорожденный пролетаріатъ рѣшительно могъ бы не существовать на нашей землѣ, если бы милліоны мѣропріятій, направленныхъ въ сторону народа, дорожили народнымъ міросозерцаніемъ, по малой мѣрѣ, въ такихъ же размѣрахъ, какъ и его платежною силой. Для того, чтобы махнуть рукой на землю и предпочесть своему дому домъ питейный, вполнѣ достаточно хотя бы только той нелѣпицы въ крестьянскихъ «правахъ», вслѣдствіе которой крестьянинъ, сегодня бывшій присяжнымъ, судьей и великодушно оправдавшій несчастнаго человѣка, давшій ему жизнь словами «нѣтъ, не виновенъ», на другой же день послѣ свободнаго проявленія такого большого «права», можетъ быть выпоротъ въ волостномъ правленіи *до крови* за то, что, встрѣтившись подъ хмелькомъ со старшиной, нанесъ ему оскорбленіе словами: «ахъ ты, курносый заяцъ!»

Чтобы молча и безропотно вращаться только между такими полюсами крестьянскихъ «правовъ», и то надо отказаться отъ всякой нравственности, отъ всякой духовной жизни, отъ всякой возможности жить по своему разуму. Но этотъ примѣръ только капля въ морѣ того *коренного* разстройства, которое размываетъ самыя коренныя основы народнаго міросозерцанія, вырабатываетъ человѣка «безъ перспективы», «безъ завтрашняго дня», стремится сдѣлать работника и раба изъ человѣка, который, по самому существу своей природы, *не можетъ* существовать иначе, какъ съ сознаніемъ, что онъ «самъ хозяинъ».

Посмотрите вотъ на этого Ивана Петрова, по прозванію Босыхъ: онъ человѣкъ сильной породы, онъ легокъ, ловокъ и умѣлъ къ работѣ, жена его—умная, сильная и ловкая работница, когда-то красавица; земли онъ можетъ имѣть сколько понадобится; но, кромѣ «хозяйства», онъ еще и плотникъ, весьма хорошій для деревни, и сапожникъ; да и просто какъ поденщикъ — колоть ли дрова, прессовать ли сѣно и пр.—онъ могъ бы, получая не менѣе семидесяти копеекъ въ сутки на хозяйскихъ харчахъ, существовать безбѣдно, а онъ вотъ бросилъ хозяйство, бьетъ жену, жена ходитъ жаловаться, плачетъ; дѣти его, трое ребятъ, по цѣлымъ днямъ шляются въ грязныхъ лохмотьяхъ по деревнѣ безъ всякаго призора, и неизвѣстно, кормитъ ли ихъ кто-нибудь. Изба его, въ ряду тѣхъ новыхъ «крестьянскихъ» избъ, въ которыхъ вы видите кисейныя занавѣски, вѣнскую мебель и часы подъ колпакомъ, представляетъ собою верхъ безобразія,—она вся почти развалилась; вмѣсто стеколъ—тряпки и какіе-то лохмотья; а по постройкѣ избы и службъ вы видите, что домъ былъ «богатый»; сараи протянулись саженъ на тридцать; столбы вездѣ дубовые, аршина по два въ обхватѣ... А самъ хозяинъ? Спросите о немъ у авторитетныхъ дере-

венскихъ людей, всѣ отзовутся о немъ самымъ неодобрительнымъ образомъ: онъ три раза продалъ одно и то же сѣно тремъ разнымъ лицамъ, а деньги пропилъ; онъ набралъ «подъ телушку» въ трехъ лавкахъ и не отдалъ нигдѣ—телушку продалъ на сторону, а деньги по обыкновенію пропилъ. Его сѣкли въ волости нѣсколько разъ—и за грубости передъ начальствомъ, и за недоимки, и по жалобѣ жены, которую онъ послѣ этого суда жестоко избилъ въ полѣ, возвращаясь домой.—«Не давайте ему денегъ, ни Боже мой, не давайте впередъ!» совѣтуетъ вамъ экономный деревенскій житель.—«Ни на волосъ не вѣрьте!» говоритъ другой житель, уже обманутый Иваномъ. А между тѣмъ, когда Иванъ «очувствуется» на недѣлю, на двѣ, что это за славный, добрый, умный человѣкъ! Сколько у него юмора, наблюдательности, нѣжности, великодушія, насмѣшки надъ самимъ собой, сколько юношеской душевной свѣжести! Что же валитъ его пьянымъ съ опухшимъ лицомъ, ничкомъ въ мокрую, грязную канаву, безъ сапогъ, безъ одежи и заставляетъ цѣлыя ночи подставлять свою широкую спину подъ дождь и вѣтеръ? Вся деревня помнитъ его родителей, всѣ говорятъ, что когда-то Босыхъ были первые хозяева, что Иванъ и жена жили прежде дружно, работали «за первый сортъ»; всѣ согласны, что очнись онъ, ему цѣны не будетъ, что у него «золотыя руки»; а онъ точно умышленно махнулъ на все рукой, обманываетъ, буянитъ и, какъ нищій, шляется въ поденщикахъ, да и то только для того, чтобы выработанное пропить въ кабакѣ.

## II. Разсказъ Ивана Босыхъ.

Теперь пьянство Ивана превратилось уже въ болѣзнь, а эту болѣзнь, угнетающую не одного Ивана, а цѣлыя массы такихъ же, какъ и онъ, непостижимыхъ въ русской землѣ деревенскихъ пролетаріевъ, самъ народъ охарактеризовалъ словомъ «ослабъ». Вотъ о причинахъ этой-то «слабости», «ослабленія» и бывали у насъ съ Иваномъ весьма частые разговоры, долгое время не приводившіе ни къ какимъ благопріятнымъ результатамъ, а иногда прямо сбивавшіе съ толку, особливо такого человѣка, который привыкъ и пріучился объяснять народное разстройство почти исключительно матеріальными несчастіями, бѣдностью, налогами и т. д. Приведу для примѣра одинъ изъ такихъ разговоровъ.

— Скажи, пожалуйста, Иванъ, отчего ты пьянствуешь?—спрашиваю я Ивана въ одну изъ тѣхъ ясныхъ и свѣтлыхъ минутъ, когда онъ приходитъ въ себя, раскаивается въ своихъ безобразіяхъ и самъ раздумываетъ о своей горькой долѣ.

Иванъ вздыхаетъ глубокимъ вздохомъ и съ сокрушеніемъ произноситъ почти шепотомъ:

— Такъ избаловался, такъ избаловался... и не знаю даже, что и думать... И лучше не говорить!.. Одумаешься, станешь думать—не глядѣлъ бы на свѣтъ, передъ Богомъ вамъ говорю!

— Да отчего же это, скажи, пожалуйста?

— Отчего?.. Да все оттого, что.. *воля!* Вотъ отчего... своевольство!

Такъ какъ отвѣтъ этотъ ставитъ меня въ недоумѣніе, и я рѣшительно не могу понять, почему «воля» можетъ губить человѣка, то Иванъ, чтобы разсѣять мое недоумѣніе и объясниться обстоятельнѣе, прибавляетъ:

— Отъ жизни отъ свободной—вотъ отъ чего!

— Что же это значитъ?—спрашиваю я въ полномъ недоумѣніи.

— А то значитъ, какъ жилъ я на вокзалѣ, получалъ я тридцать пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, народу имѣлъ подъ начальствомъ десять человѣкъ, доходу мнѣ каждый Божій день съ вагону ужъ безпремѣнно рубль серебра, а сочтите-ка сколько въ зиму-то вагоновъ отправимъ?.. Ну, вотъ тутъ-то я, значитъ, и забаловалъ...

Слово «забаловалъ» до такой степени не подходитъ къ сорокалѣтнему, мужественному, бородатому мужику, что не понимаешь даже, какъ онъ можетъ въ объясненіе своего поведенія употреблять такія выраженія, приличныя только развѣ малому ребенку. Но Иванъ не находитъ другого точнаго выраженія.

— Вотъ и сталъ баловаться... При покойникѣ тятенькѣ, бывало, капли въ ротъ не бралъ. Убьетъ, если узнаетъ, на смерть уколотитъ своими руками... Да и послѣ тятеньки, когда ужъ оженился, своимъ

хозяйствомъ сталъ жить, и то дозволялъ себѣ—когда угостятъ, да на праздникахъ, да иной разъ со скуки—стаканчикъ. Все опасался и покуда чего было—берегся... Ну, а ужъ тутъ, на вокзалѣ, какъ стала мнѣ воля, стало мнѣ, значитъ, раздолье, сталъ я—однимъ словомъ, коротко сказать—баринъ, тутъ-то я и пошелъ... Жрешь бывало цѣлыя сутки, а все доверху не хватаетъ... Я какъ сейчасъ помню, съ чего началъ: у дорожнаго мастера Ивана Родіоновича именины были на Ивана Постнаго. Ну онъ мнѣ и налилъ винограднаго стаканъ—«портвинъ» прозывается... Я какъ двинулъ его—понравилось. Я и давай... А тамъ и коньякъ, лимонадъ... Вотъ съ этихъ самыхъ поръ и завелъ себѣ язву. А отчего?—Все отъ воли!.. Все отъ непривычки, отъ легкой жизни... Вотъ отъ чего!.. Бывало, денегъ полны карманы набью... Ну, и сталъ черезъ это самое въ родѣ послѣдней свиньи...

Такимъ образомъ оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обиліе денегъ», т.-е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобъ устроиться, причиняетъ ему, напротивъ, крайнее разстройство до того, что онъ дѣлается «въ родѣ послѣдней свиньи».

— Отчего же ты деньги-то на хозяйство не тратилъ, а на пьянство?—спрашиваю я.

— То-то и есть, не привычны мы... Какое тутъ хозяйство, когда совсѣмъ стало жить свободно?.. Дѣлай, что хочешь—никто не препятствуетъ... Тутъ, однимъ словомъ, можно въ конецъ избаловаться...

Такъ какъ Иванъ видитъ, что объясненія его ничего не объясняютъ и что я все-таки не могъ взять въ толкъ, отчего хорошая жизнь превращаетъ человѣка въ свинью, то онъ старается пояснить мнѣ свою мысль примѣромъ, къ чему въ разговорѣ вообще довольно часто прибѣгаютъ крестьяне. Привожу этотъ примѣръ, зная, что онъ едва ли что уяснитъ читателю.

— Потому что,—говоритъ онъ,—природа наша мужицкая не та... Природа-то у насъ, сударь, трудовая... Я скажу вамъ примѣромъ. Былъ у насъ тутъ по сосѣдству баринъ, господинъ Подсолнуховъ, хозяйствовалъ... Вотъ хозяйствовалъ, хозяйствовалъ, видитъ онъ, что доходу ему нѣту, задумалъ онъ молочнымъ дѣломъ заняться. Наша скотина ему не по нраву пришлась—коровенки наши, точно, худы, шершавы—дай, думаетъ, заграничную корову выпишу. Выписалъ. Идетъ телеграмма: ѣдетъ корова изъ-за границы, нѣмецъ ученый провожаетъ... Видимъ, ведутъ, чуть не на цѣпяхъ—этакая верзила, сажень вверхъ, да полторы вдоль. Урядникъ даже шапку снялъ... Что рога, что глаза, что прочее все—страсти Господни! Великанъ, Ерусланъ Лазаревичъ... Очистили ей скотникъ, настлали соломы, пришла она и легла, эдакъ, на бокъ. А нѣмецъ лампу потребовалъ на ночь. Вотъ хорошо, лежитъ она такимъ манеромъ и ѣстъ. Только бабы подкладываютъ ей подъ морду кормъ. Ѣстъ, а молока не даетъ. «Что же это, говорю нѣмцу, она молока-то не даетъ?»—«А это, говоритъ, она отдыхаетъ, такъ какъ, говоритъ, изъ-за границы и все въ вагонѣ, то она утомлена и поправляется своимъ здоровьемъ»...—«А долго ли, молъ, она будетъ поправляться?»—Наконецъ ужъ, видно, совѣсть ее взяла, даетъ молока, и цѣлое ведро. Вотъ баринъ и говоритъ: «Видишь, говоритъ, Иванъ, какое же сравненіе съ нашими коровенками».—«Ну, нѣтъ, говорю, баринъ, по ейному корму наша скотина много способнѣй».—«Какъ такъ?»—«А вотъ какъ: сосчитайте, сколько она у васъ съѣла и много ли по корму молока дала? Она хоть и ведро даетъ, да ведро-то это больно много стоитъ... А кабы вы кормъ-то, что она одна съѣла, роздали нашимъ десяти коровенкамъ, такъ всѣ-то вмѣстѣ онѣ вамъ въ десять разъ больше этой одной верзилы дали бъ». Тутъ нѣмецъ и говоритъ: «Она, говоритъ, не такой породы, чтобы только о молокѣ думать; она и объ себѣ думаетъ, она ѣстъ для своего удовольствія—посмотри-кось, какое у нея мясо-то»... Вотъ послѣ этихъ словъ я и говорю барину: «Видите, говорю, господинъ, анъ и оказывается, что наши коровенки какъ разъ по нашей природѣ и породѣ приходятся... Мясо намъ не требуется, своего удовольствія она знать не знаетъ, а живетъ только изъ-за работы; что ѣстъ, то отдаетъ, а объ себѣ не думаетъ. Родилась она для работы и живетъ весь вѣкъ въ ней—вотъ вся и жизнь ея»... Вотъ и человѣкъ этакъ же бываетъ разный. И вотъ наша крестьянская порода то же самое: мы круглый годъ и всю жизнь не по-задаючи работаемъ, да такъ въ работѣ и

живемъ... Я вотъ пробовалъ отъ крестьянства отбиться — чуть было не опился... А другому что легче, то лучше; что ничего не дѣлать, то и пріятно... Вотъ у насъ на станціи еврейчикъ былъ Шнапъ... Все онъ тамъ толкался въ разныхъ мѣстахъ и все на пустомъ норовилъ рублишко нажить: тамъ барыню провожаетъ, тамъ мужику укажетъ, какъ и куда пройти... Ну и даютъ—кто рубль, кто гривенникъ... А онъ все прячетъ, все копитъ. «На что, говорю, копишь?» — «Карьеръ хочу дѣлать».—«Какой такой?»—«Деньги наживать!»—«Зачѣмъ?»—«Лавку открывать!»—«А какъ откроешь?»—«Опять деньги наживать!» — «А какъ наживешь?» — «Еще больше буду наживать!»— «А какъ совсѣмъ ужъ много будетъ?»—«Опять буду еще больше стараться»... Вотъ и гляди на него.—«Пойдемъ выпьемъ!» Не идетъ, копейки не истратитъ. А по-нашему, по крестьянству, для хозяйства еще, пожалуй, можно понажить деньжонокъ, а такъ... наживать да наживать—такъ это я даже и въ понятіе-то не возьму... Шнапъ-то вонъ этотъ изъ грошей капиталъ дѣлаетъ, а вотъ я, какъ позабылъ крестьянство-то, отъ трудовъ крестьянскихъ освободился, сталъ на волѣ жить, такъ и деньги-то мнѣ стали все одно что щепки... Только и думаешь, куда бы дѣвать, и кромѣ, какъ кабака, ничего не придумаешь... Чего! Я ужъ вамъ во всемъ буду каяться... (Иванъ говоритъ шепотомъ). Законъ забылъ!.. Передъ Богомъ говорю... Воля! Свобода! Только и думаешь, какъ бы что... Тьфу! До такого дошелъ забвенія, даже сталъ нашихъ, своихъ же братій, мужиковъ притѣснять... И съ чего?—Просто совѣсти не осталось... Придутъ, бывало, со холоду, разыщутъ въ трактирѣ, кланяются, просятъ сѣно отправить—второй, молъ, день ждемъ, проѣлись, а концовъ не сыщемъ... Мнѣ бы, кажется, только сказать подручному: «Михайло, дай имъ вагонъ!» а меня точно нечистая сила начнетъ разламывать... Сидишь за бутылкой, ломаешься и говоришь: «Изыскивайте способовъ».—«Да какихъ же, батюшка, способовъ-то искать? Ходили, ходили, вездѣ машины свистятъ, дымъ дымитъ, того и гляди раздавятъ... Ужъ мы и такъ измучились».—«Изыскивайте! говорю, сумѣйте понять, кто вамъ надобенъ»...—«Да ты, отецъ родной, ты!»... Ломаешься, ломаешься, бывало, ужъ кто-нибудь изъ публики вступится, скажетъ мужикамъ: «Да всуньте вы ему, подлецу, три цѣлковыхъ въ горло... Какихъ ему еще способовъ надо!» Ну, ужъ тутъ поневолишься, сдѣлаешь... Жена придетъ, бывало,— облаешь... По крестьянству она мнѣ нужна... Что мнѣ съ ней, съ мужичкой, дѣлать?.. Вѣдь вотъ до какого дошелъ своевольства! И вѣрите, какъ распьянствовался я до послѣдняго предѣла, какъ дошло дѣло до начальства, да какъ пріѣхалъ начальникъ дистанціи, да ка-а-акъ далъ мнѣ (лицо разсказчика вдругъ просіяло) хо-о-орошаго леща, да какъ начальникъ эксплуатаціи набавилъ мнѣ (дѣтская радость разлилась по лицу его) въ загривокъ, да какъ въ подвижномъ составѣ наколотили мнѣ бока—такъ я, братецъ ты мой, сотворилъ крестное знаменіе, да точно какъ изъ могилы выскочилъ, воскресъ, да по морозу, въ чемъ былъ, безъ шапки—домой!.. По полямъ, по сугробамъ, по задворкамъ, какъ птица, двадцать пять верстъ безъ остановки пропорхалъ и не видалъ, какъ середь своего двора очутился. Очутился я на дворѣ голъ и нагъ, и все у меня въ разореніи, а радъ былъ—истинно, какъ изъ мертвыхъ воскресъ. Слава тебѣ, Господи! Слава тебѣ, Царица Небесная! Опять я—человѣкомъ, опять я самъ себя отыскалъ... Палъ женѣ въ ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работать, хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану человѣкомъ»... И ужъ принялся же я въ ту пору! И все-то мнѣ мило—и пашня, и соха, и борона, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и заборъ, и колода... Все точно родные друзья дорогіе, кровные... Гляну, гляну—страсть какое разореніе, а у меня только духъ бодрѣй... Что вижу, сколь много работы, что вижу — работать не переработать, то мнѣ и охоты больше, то и силы прибываетъ... Такъ вотъ какая наша крестьянская природа! А тамъ и работы не было, и всякое удовольствіе, и деньги, а точно безумный сдѣлался, всю душу-то по грязи истаскалъ, какъ свинья свое брюхо... А отчего?—Все воля!»

Этимъ непонятнымъ сопоставленіемъ словъ «воля» и «нравственное паденіе» Иванъ и начиналъ и оканчивалъ свои бесѣды со мною и, какъ видите, не только не разъяснялъ моихъ недоумѣній, но значительно ихъ преувеличивалъ. 1882 г.

**Илья Александровичъ Саловъ.**

(1843 — 1902).

# Ѣдетъ!

(Разсказъ).

## I.

Какъ-то въ первыхъ числахъ мая зашелъ ко мнѣ однажды приходскій священникъ, отецъ Герасимъ. Войдя въ комнату, онъ оглядѣлъ углы ея и, увидавъ образокъ, принялся креститься. Затѣмъ отеръ со лба крупными каплями выступившій потъ, провелъ раза два по волосамъ ладонью, пощипалъ небольшую рѣденькую бородку и, поздоровавшись со мною, проговорилъ задыхавшимся голосомъ:

— А я къ вамъ...

— Что прикажете?

— Постойте, дайте отдохнуть маленько...

И, вынувъ изъ кармана полукафтанья пестрый ситцевый платокъ, сперва высморкался въ него, потомъ помахалъ на пылавшее лицо, лоснившееся отъ пота и жара, и затѣмъ присѣлъ на кончикъ стула.

— Задохнулся было!—проговорилъ онъ, отдуваясь.

— Почему?

— Бѣгомъ почти... съ утра все бѣгаю.

— Случилось развѣ что-нибудь?

— Эхъ! не говорите!

— Что же?

— Ѣдетъ!

— Кто?

— Владыка.

И онъ махнулъ рукой.

— Что же тутъ такого важнаго?—спросилъ я.

— Вамъ-то—ничего!

— Да и вамъ тоже.

— Ничего-то, ничего...

— Начальство свое посмотрите.

— Такъ-то такъ...

— Конечно. Когда же онъ пріѣдетъ?

— Завтра. Сегодня онъ въ Алексѣевкѣ ночуетъ, заутреню простоитъ тамъ, а къ литургіи сюда.

— Кто же сообщилъ вамъ это?

— Отецъ благочинный увѣдомилъ съ нарочнымъ. Нарочный этотъ въ третьемъ часу ночи пріѣхалъ, принялся въ окна колотить. Я думалъ пожаръ случился, анъ вонъ что!

— И отлично.

Но отецъ Герасимъ только въ затылкѣ поскребъ.

— Ужъ вы того... — заговорилъ онъ, немного погодя, покрякивая и охая, — дозвольте намъ рыбки-то половить...

— Сдѣлайте одолженіе.

— Эхъ, бѣда! — проговорилъ онъ въ раздумьи.

— Какая же бѣда-то?

— Угощать-то чѣмъ? Святой, святой, а пищу-то, поди, какъ и мы, грѣшные, принимаетъ!

— Что жъ такое? Наловите рыбы, сварите уху.

— А кто ловить-то будетъ?

— Какъ кто? Пригласите кого-нибудь, никто не откажется.

— Это вы такъ говорите!

— И каждый то же самое скажетъ.

— Ходилъ ужъ я, приглашалъ, все село обѣгалъ.

— И что же?

— Нѣтъ ни болячки!

— Старосту попросите, старшину.

— И ихъ просилъ, полштофъ даже ставилъ.

— Ну?

— Полштофъ-то выпили, а народу все-таки не дали. «Это, говоритъ, не наше дѣло!» Да чего!—вскрикнулъ, батюшка:—насилу у фершала приволочку выпросилъ! Вѣдь вотъ народъ какой! Не даетъ да и поди!—«У меня, говоритъ, приволочка новенькая, только что куплена, рвать ее не дамъ. Коли уху хлебать любишь, такъ свою бы и заводилъ!»—«Да чудачина, говорю, нешто я для себя хлопочу! Вѣдь владыка, говорю, ѣдетъ; пойми ты это! Вѣдь его, говорю, бараниной да курятиной не накормишь!» Бился, бился и... опять полштофъ поставилъ!

— Далъ?

— Ну, какъ выпилъ, такъ и подобрѣе сталъ.—«Только смотри, говоритъ, коли разорвешь, такъ ты со мной дешево не раздѣлаешься. Я, говоритъ, за приволочку тысячи рублей съ тебя не возьму». Вонъ вѣдь куда махнулъ-то!

— Отчего же народъ-то не пошелъ? недосугъ, что ли?

— Страхъ Божій забыли, какой тамъ недосугъ! Поди, сегодня праздникъ!

— Какой это?

— Какъ какой? Апостола Іоанна Богослова, забыли нешто?

— Можетъ-быть, не празднуютъ его.

— Какъ это не празднуютъ! Всѣ у кабака сидятъ!.. Праздникъ!

— Отчего же у васъ обѣдни не было?

— Духомъ смущенъ—вотъ и не было.

И вслѣдъ за тѣмъ, покачавъ головой и какъ-то захихикавъ, онъ прибавилъ:

— Сейчасъ слесарь Ларіонъ Николаичъ встрѣтился и тоже про обѣдню спрашивалъ.—«Что же это у васъ, батюшка, службы, говоритъ, сегодня не было: ни заутрени, ни обѣдни, ничего не съэтажили, хоть бы старенькую какую разогрѣли!»

И, добродушно засмѣявшись, батюшка замѣтилъ:

— Чудакъ-голова!

Но веселое настроеніе это продолжалось не долго, и отецъ Герасимъ снова впалъ въ уныніе.

— Вотъ и лавочникъ тоже,—проговорилъ онъ:—молодецъ, нечего сказать! Во всемъ отказалъ. Хотѣлъ было у него винца столоваго выпросить бутылочку, другую, балычку... «Владыка, говорю, ѣдетъ, не откажите! Купить, говорю, достатковъ нѣтъ!», а онъ хошь бы что-нибудь! Даже рису на пирогъ не далъ.—«Это, говоритъ, до меня не касается. Вотъ ежели бъ исправникъ или становой, такъ это точно, говоритъ, соприкосновеніе имѣютъ, а владыки—это дѣло духовное... Это, говоритъ, вы сами, какъ знаете, такъ и расквитывайтесь!»—«Да вѣдь архипастырь!» говорю.—«Это, говоритъ, мы очень хорошо понимаемъ, только главная причина соприкосновенія нѣтъ!»—«А ты забылъ, говорю: *предъ лицемъ сѣдаго возстани!..*»—«Нѣтъ, говоритъ, мы очень хорошо помнимъ все это и архипастырское благословеніе завтра принять придемъ». Такъ я ни съ чѣмъ и пошелъ! А того сообразить не хочетъ, что намъ-то гдѣ же взять? Тоже, почитай, впроголодь живемъ...

И, проговоривъ это, батюшка, кряхтя и охая, привсталъ со стула.

— Что вы кряхтите-то?—спросилъ я.

— Поясница! — отвѣтилъ батюшка и махнулъ рукой.—Однако я съ вами заговорился... Рыболовы-то, поди, заждались меня...

— Какіе же рыболовы? Вѣдь вы говорите—не пошелъ никто...

— Кое-какихъ набралъ! Дьякона, дьячка, ктитора, сторожа церковнаго, мальчугановъ изъ школы...

— Такъ вотъ вамъ, чего же вы жалуетесь!

— Да вѣдь приволочка-то большая, съ берегу на берегъ... нешто ее легко тащить-то... Съ такой приволочкой быстрота необходима, а то и рыба-то вся уйдетъ...

— Такъ вы бы бреднемъ.

— Да нѣтъ ни одного.

— Посмотрѣть развѣ на вашу рыбную ловлю?—проговорилъ я.

— Что же, пойдемте, день отличный, прогуляетесь.

— А гдѣ васъ рыболовы-то ждутъ?— спросилъ я.

— Да вотъ тутъ сейчасъ же, возлѣ мельницы.

Я взялъ шляпу, но батюшка словно запнулся и не двигался съ мѣста.

— Ну что же, идемте!—проговорилъ я.

— Идемъ-то, идемъ... Только у меня просьба къ вамъ есть.

— Что такое?

— Да все насчетъ винца для владыки. Водку-то нашу, пожалуй, кушать не станетъ, а у меня нѣтъ ничего... Какъ бы не огнѣвался!

И, переступивъ съ ноги на ногу, добавилъ:

— Хошь хереску, аль мадерцы, да этого бы красненькаго-то... какъ бишь оно прозывается-то... алфитъ, что ли?

— Лафитъ то-есть...

— Вотъ, вотъ.

И, состряпавъ умильную улыбку, онъ вопросительно поглядѣлъ на меня.

— Ну, ладно; пришлю.

— Да хлѣбца бѣленькаго, а то у меня баранки, да такъ засохли, что не угрызешь.

— Хорошо, пришлю и хлѣба.

Но батюшка все еще стоялъ и продолжалъ умильно смотрѣть на меня.

— А повара не отпустите? — спросилъ онъ.

— Однако вы угощеніе-то не на шутку затѣяли!

— Какъ же быть-то!.. Вѣдь надо же принять... *почти лице старче*... Можетъ, угожу этимъ...

— А вамъ хочется?

— Еще бы! Тоже вѣдь люди; не безъ слабостей и мы.

Я обѣщалъ отпустить повара, и батюшка просіялъ отъ удовольствія.

Немного погодя, мы шли уже вдоль опушки лѣса, направляясь къ мельницѣ, возлѣ которой, по словамъ батюшки, его ожидали рыболовы съ приволочкой.

## II.

Отцу Герасиму было лѣтъ сорокъ пять, не болѣе. Это былъ человѣкъ средняго роста, весьма плотный, крѣпкаго сложенія и съ кругленькимъ брюшкомъ, значительно поднимавшимъ передъ его рясы. Если посмотрѣть на отца Герасима съ боку, то, благодаря этому брюшку, фигура его представляла нѣчто, напоминающее беременную женщину, въ особенности когда волосы его, весьма густые, были заплетены въ косу. Это былъ самый добродушнѣйшій, тихій и безобидный человѣкъ, какого только можно встрѣтить. Никогда никого не обижавшій, никогда не сказавшій никому ни единаго дерзкаго слова, онъ заслужилъ любовь не только своего прихода, но и всего околотка. Его не любилъ только причтъ и не любилъ за то, что отецъ Герасимъ не былъ алчнымъ. — «Нешто такъ съ мужиками возможно обращаться!— говорилъ дьяконъ:—трюшникъ за молебенъ!.. Эгакъ вѣдь не жрамши насидишься, у насъ дѣти!»—«А коли и мужикамъ-то жрать нечего!» возражалъ батюшка.—«А пьянствовать, небось, есть деньги!»—«А ты-то не пьянствуешь?» И тѣмъ дѣло кончалось.

Ходилъ отецъ Герасимъ тихо, съ перевалочкой, по-утиному; постоянно улыбался, постоянно эхалъ (именно: эхалъ, а не охалъ), жаловался на поясницу, которую поминутно растиралъ то одной, то другой рукой и, садясь, непремѣнно кряхтѣлъ.— «Что съ вами?» спросишь его. — «Эхъ, поясница!» Много разговаривать отецъ Герасимъ не любилъ; говорилъ едва слышно, какими-то отрывчатыми фразами, словно только намекалъ, но намекалъ такъ удачно, что его понимали лучше любого говоруна.— «Эхъ!—скажетъ бывало:—обѣдня завтра!» и всякому становилось ясно, что отцу Герасиму служить обѣдню лѣнь, и что если бы возможно было не служить, то онъ съ удовольствіемъ бы это сдѣлалъ. Дѣйствительно, служить обѣдни отецъ Герасимъ былъ лѣнивъ. Ужъ онъ, бывало, тенькаетъ, тенькаетъ въ разбитый колоколъ своей церкви, начнетъ часовъ съ семи тенькать и только часамъ къ девяти явится въ церковь. Однако служилъ онъ хотя и скоро, но не торопливо; зычно и четко провозглашалъ возгласы, и все шло у него, какъ по маслу. Примется кадить, такъ полну церковь напуститъ дыму. Кадитъ, бывало, а самъ переваливается съ боку на бокъ и какъ-то бокомъ раскланивается. Бывало, только что кончитъ: «Благословенно царство Отца и Сына и Св.

Духа», какъ ужъ дьячокъ пѣлъ «аминь», а дьяконъ, растопыривъ ноги и запрокинувшись назадъ, подхватывалъ: «миромъ Господу помолимся!» и такъ далѣе, вплоть до конца обѣдни. Глядишь, въ три четверти часа все уже кончено. Отецъ Герасимъ разоблачился, дьяконъ тоже, дьячокъ побросалъ въ шкапъ книги, и только одинъ трезвонъ во всѣ колокола, жиденькій, тоненькій, какъ шаловливая болтовня бубенчиковъ, возвѣщалъ о происходившемъ богослуженіи. Отецъ Герасимъ принадлежалъ къ числу поповъ средней руки, т.-е. не походилъ ни на старыхъ ни на молодыхъ. На старыхъ онъ не походилъ потому, что не спрашивалъ у своихъ исповѣдниковъ:— «По-родительску не ругался ли? Пьяный по улицамъ не ходилъ ли?», а на молодыхъ потому, что не носилъ ни воротничковъ, ни рукавчиковъ, а главное, не жаловался на каноническія правила, запрещающія священникамъ стричь волосы и брить бороды. Я сказалъ уже выше, что жадности отецъ Герасимъ не имѣлъ никакой и довольствовался тѣмъ, что ему давали. Поэтому онъ не вводилъ въ своемъ приходѣ ни таксъ за совершеніе требъ ни какихъ-либо сборовъ и натуральныхъ повинностей; онъ не собиралъ на Пасху яйцами и пирогами и даже конфузился за дьякона и дьячка, ходившихъ въ это время съ карманами, наполненными яйцами, стянутыми со столовъ прихожанъ. Держалъ себя отецъ Герасимъ скромно, одинаково со всѣми: какъ съ богатымъ, такъ и съ бѣднымъ; любилъ выпить водочки, но допьяна не напивался. Выпьетъ, бывало, сколько нужно — и довольно. Чтеніемъ книгъ отецъ Герасимъ не занимался; даже «Епархіальныя Вѣдомости» оставались у него нераспечатанными, тѣмъ не менѣе, однако, любилъ разспрашивать про политическія новости и охотно ихъ выслушивалъ.— «Тоже и чтеніе,—говорилъ онъ:—на кого какъ дѣйствуетъ. Иному оно въ пользу, а иной изъ прочитаннаго только и почерпнетъ самое что ни на есть негодящее; мысли-то не пойметъ, а верхушку подхватитъ. Вонъ, въ бывшемъ моемъ приходѣ, барышня одна была... та читала, читала, да и кончила тѣмъ, что изъ родительскаго дома съ какимъ-то пьянымъ актеромъ убѣжала!» Лицо у отца Герасима было доброе, веселое, съ выраженіемъ нѣкоторой ироніи, но подшучивать и подсмѣиваться онъ дозволялъ себѣ рѣдко, подъ веселую руку, и то въ самыхъ деликатныхъ выраженіяхъ. Зато матушка отца Герасима нисколько не походила на своего мужа. Это была женщина высокаго роста, съ грубыми чертами лица, съ рѣзкими манерами, съ дерзкимъ взглядомъ, но эффектная и видная. Король-баба! какъ говорится. Насколько отецъ Герасимъ былъ тихъ, скроменъ и неразговорчивъ, настолько матушка была бойка, шумлива и болтлива. По милости ея, въ домѣ отца Герасима никто не уживался: ни работники ни кухарки. Крикъ ея слышался постоянно, и только когда матушка спала, въ домѣ было тихо и смирно, зато когда просыпалась, то хоть вонъ изъ дому бѣги. Всѣмъ была она недовольна, хотя сама ничѣмъ положительно не занималась, даже собственныхъ своихъ дѣтей не няньчила. Ребенокъ лежитъ, бывало, въ люлькѣ, оретъ во всю глотку, а матушка еще пуще. — «Эй, попъ! кричитъ: — оглохъ, что ли, ты!.. Возьми ребенка-то, поняньчай!» И отецъ Герасимъ спѣшилъ къ люлькѣ, бралъ ребенка и, словно нянька, ходилъ съ нимъ изъ угла въ уголъ, а матушка сидитъ себѣ подъ окошкомъ да галокъ считаетъ. Случалось даже такъ, что когда работницы убѣгали изъ дома, то отцу Герасиму приходилось самому доить коровъ, гонять ихъ въ стадо и самому мѣсить и печь хлѣбы и пироги. Матушка палецъ о палецъ не ударитъ. Вставала она часовъ въ десять, не раньше, расфранчивалась и, если погода была хорошая, шла гулять, а если дурная, то садилась въ кресло и весь день злилась.— «Чего не помолишься-то!—кричала она на мужа:—не видишь развѣ, что дожди совсѣмъ залили, носа изъ дома высунуть нельзя!» Она даже обыкновеннымъ женскимъ рукодѣліемъ не занималась: платья свои заказывала мѣстнымъ портнихамъ и тѣмъ же портнихамъ отдавала шить и дѣтское бѣлье. Легкомысліе матушки доходило до того, что она ѣздила на станцію желѣзной дороги, отстоящую отъ села Вертуновки верстъ на тридцать, единственно съ тою только цѣлью, чтобы встрѣтить и проводить поѣздъ. Бывало, батюшкѣ бороновать или пахать надо, а матушка на станцію лошадей угнала.—«Эхъ!» вздохнетъ онъ, бывало, потретъ поясницу, поскребетъ въ макушкѣ, да тѣмъ и кончится. Вслѣдствіе такой безхарактерности отца Ге-

расима, прихожане надавали ему не мало прозваній. Одни называли его «тряпкой», другіе «бабой», третьи «мокрой курицей», а одинъ шутникъ-управляющій далъ ему кличку «попадьинъ подмастерье». Мѣткое названіе это подходило къ нему, какъ нельзя лучше. Шуткамъ не было конца. Тенькаютъ, бывало, къ обѣднѣ въ ожиданіи батюшки, а народъ стоитъ и зубы скалитъ.—«Ну, говоритъ, недосугъ: пироги, мотри, ставитъ!..» Однако возвратимся къ разсказу.

## III.

Не успѣли мы дойти до конца лѣса, за которымъ тотчасъ же находилась и мельница, какъ до насъ долетѣли уже шумные крики нѣсколькихъ голосовъ.

— Ну! — проговорилъ батюшка: — ужъ они никакъ забрели... Эхъ!

— Что же такое! Пускай ихъ!

— Все-таки неловко маленько... подождать бы разрѣшенія слѣдовало...

Дѣйствительно, рыбная ловля была уже къ полномъ разгарѣ. Длинная приволочка, опущенная въ воду громаднымъ полукругомъ, медленно ползла по рѣкѣ, поддерживаемая дощатыми поплавками. Видно было по всему, что народу недоставало. Дьячокъ, ктиторъ и церковный сторожъ тянули по одному берегу, а человѣкъ шесть мальчугановъ—по другому. Дьяконъ, на обязанности котораго лежало «заводить» приволочку, т.-е. перевозить для заброда веревку съ одного берега на другой, стоя въ крошечномъ челнокѣ, плылъ какъ разъ передъ приволочкой. На немъ было рыжее нанковое полукафтанье, подоткнутое за кушакъ, и рваная шляпенка, въ видѣ стараго разбрюзглаго гриба, до того надѣтая на затылокъ, что весь лобъ и вся передняя часть головы были наружи. Его сапоги и онучи валялись на берегу. Это былъ совершенный атлетъ: съ широкими плечами, густыми львинообразными волосами, высокаго роста, могучими руками. Огребаясь, онъ вздымалъ весломъ такія волны, какъ будто по рѣкѣ плылъ не человѣкъ, а цѣлый пароходъ. При видѣ дьякона, батюшка даже руками всплеснулъ

— Дьяконъ! — крикнулъ онъ,—да ты что это, съ ума, что ли, спятилъ?

— А что?—крикнулъ тотъ, да такимъ басомъ и такъ громко, что голосъ его, словно буря, загремѣлъ по лѣсу и разъ пять повторился эхомъ.

— Какъ что! Да кто же впереди приволочки-то плаваетъ...

— А ужъ вы молчите, когда не смыслите ничего!

— Ты и рыбу-то всю разгонишь. Нешто такъ можно!..

— Небось не разгоню.

И, обратясь къ тянувшимъ, дьяконъ заоралъ:

— Ну, чего губы-то развѣсили! Тяни, тяни веселѣй, тяни! Какъ лямку-то тянутъ! Не видали нешто! Тяни, тяни!

— Да не кричи ты, ради Господа!

— Стой!—кричалъ дьяконъ, не обращая вниманія на батюшку и замѣтивъ, что приволочка, несмотря на всѣ усилія тянувшихъ, не подвигалась: — стой, стой, зацѣпила!..

И, круто повернувъ челнокъ, при чемъ пѣна и волны завертѣлись воронкой, онъ шумно переплылъ черезъ приволочку и, достигнувъ мотни, бросилъ съ громомъ весло въ челнокъ, сталъ на колѣни и, засучивъ рукава, принялся что-то тянуть...

— Ну,—кричалъ онъ: — подавайся!

Батюшка только рукой махнулъ.

— Что вы?— спросилъ я.

— Никакого толку не будетъ!

— Почему?

— Вѣдь рыба-то, поди, не съ ума сошла! Вѣдь это, прости Господи, точно дикій звѣрь,—прибавилъ онъ, досадливо кивнувъ головой на дьякона, все еще продолжавшаго возиться руками въ водѣ.—Нешто этакъ возможно!

— Пошелъ! — закричалъ вдругъ дьяконъ,—пошелъ!

И, вскочивъ на ноги, онъ схватилъ весло, замахалъ имъ въ водѣ и, переплывъ черезъ приволочку, снова очутился впереди подвигавшагося полукруга.

— Пошелъ, пошелъ!—гремѣлъ онъ.

— Да не кричи ты! — разсердился батюшка.

Дьяконъ тоже обидѣлся.

— А вы не очень!—кричалъ онъ, вытаращивъ на насъ бѣлые глаза свои.— Коли такъ, то вѣдь я возьму да брошу.

— Да ужъ лучше бросить. Толкъ-отъ одинъ будетъ!

— Вы, можетъ, впервой приволочкой-то ловите, — продолжалъ между тѣмъ дьяконъ,—а ужъ я-то ихъ на своемъ вѣку

съ сотню перервалъ... Вотъ что-съ! На Волгѣ ловилъ! Такъ вы и молчите!

— А, ну тебя! Съ тобой натощакъ-то нешто столкуешь?

— То-то и есть.

И, обратясь къ тянувшимъ, прибавилъ:

— Ну, чего стали! Обѣдать, что ли, собрались!

— Плохо дѣло! — проговорилъ батюшка и, потеревъ поясницу, кряхтя и охая, опустился на песчаный берегъ.

Усѣлся съ нимъ рядомъ и я.

День былъ до того жаркій, что песокъ, на который мы сѣли, словно только-что изъ горячей печки былъ высыпанъ. Больно было смотрѣть, такъ весь воздухъ былъ переполненъ солнечнымъ блескомъ, рѣка горѣла зеркаломъ, тянуло въ воду, въ прохладу. Видно было, что и рыбакамъ было не легче. Дьячокъ весь обливался потомъ. Онъ былъ въ одной рубашкѣ, съ заплетенной косичкой, подогнутой подъ шляпу, и рубашка на немъ была мокрехонька. Только ктиторъ да сторожъ словно не чувствовали жары. Во все время ловли они не проронили ни слова, тянули приволочку, прислонясь другъ къ другу плечами, и ни на минуту не разъединялись. Словно тѣ птицы, которыя сидятъ постоянно бокъ-о-бокъ. Меня даже поразили эти двѣ сухія и поджарыя фигуры съ острыми носами и тонкими губами.

— Стой! — закричалъ опять дьяконъ. — Выбраживать пора!

— Рано, куда это съ этихъ поръ! — вступился батюшка.

— Что жъ вамъ! Сто верстъ, что ли, тянуть!

— Не сто верстъ, а все-таки вонъ до того затончика дотянуть слѣдуетъ... Тамъ и выбраживать способно.

— А здѣсь неспособно нешто? — осердился дьяконъ.

— Извѣстно, неспособно; крутобережье!

— А вы знаете, — проговорилъ онъ, — злобно метнувъ взглядомъ, — что курицу яйца не учатъ.

Раздался общій хохотъ, только ктиторъ да сторожъ хоть бы бровями повели и остановились, прислонившись другъ къ другу.

— Зарапортовался дьяконъ! — замѣтилъ дьячокъ и поправилъ ошибку дьякона.

— Зарапортуешься! Вѣдь языкъ-отъ одинъ поди!

И дьяконъ, достигнувъ противоположнаго берега, выхватилъ у тянувшихъ веревку, схватилъ ее зубами и отправился обратно къ нашему берегу.

— Ну, дружнѣй беритесь! — кричалъ онъ.

Выскочивъ на берегъ, онъ принялся тянуть веревку. Взялись и мы за нее съ «батюшкой».

— Дружнѣй, дружнѣй! — кричалъ дьяконъ, — дружнѣй! Не разводи широко-то!.. дружнѣй!

Но поощрять насъ было совершенно напрасно, ибо приволочка, согнувшись кольцомъ, шла и безъ того весьма легко. Наконецъ клячи были уже въ нашихъ рукахъ. — Дьяконъ быстро вскочилъ въ середку и принялся сводить нижнюю часть приволочки.

— Что-то легко! — замѣтилъ дьячокъ: — видно, нѣтъ ни рожна!

— Больно ты глубоко видишь! — огрызнулся дьяконъ. — Валяй, валяй!

Между тѣмъ батюшка, стоявшій какъ разъ позади дьякона, замѣтивъ высунувшуюся изъ его кармана бутылку, осторожно вытащилъ ее, понюхалъ, далъ мнѣ понюхать, и спряталъ къ себѣ въ карманъ. Въ бутылкѣ была водка.

— То-то онъ и шумитъ! — прошепталъ онъ мнѣ.

Дьяконъ ничего не замѣтилъ и продолжалъ свою команду.

— Валяй, валяй! — кричалъ онъ.

Наконецъ приволочка была вытащена, и — о ужасъ! — половины мотни какъ не бывало!

Батюшка даже руками развелъ.

— Видишь, что ты надѣлалъ! — кричалъ онъ (я никогда еще не видалъ его въ такомъ отчаяніи). — Вотъ ты теперь и расплачивайся съ фершаломъ, какъ знаешь!..

— Я-то тутъ при чемъ! — удивился дьяконъ. — Нешто это я оборвалъ!

— А кто же? Вѣдь ты отцѣплялъ-то!

Но дьяконъ нашелся и тутъ.

— *Се не рьенъ!* — крикнулъ онъ вдругъ по французски: — ничего!

И, вытащивъ на берегъ всю приволочку, обратился къ сторожу.

— Бѣги скорѣй въ лавочку, возьми пучокъ бечевы англійской. Мы сейчасъ же всю эту прорву зачинимъ. Ну, бѣги скорѣй...

— Вы вонъ лучше дьячка пошлите,— пропищалъ сторожъ птичьимъ голосочкомъ и, отойдя вмѣстѣ съ ктиторомъ въ сторону, усѣлся рядомъ съ нимъ на горячій песокъ.

— Ну, ты бѣги! — обратился дьяконъ къ дьячку.

— А дастъ ли онъ безъ денегъ-то?— спросилъ дьячокъ.

— Ну, какъ не дастъ! Скажи, что батюшка, молъ, прислалъ.

— Съ какой же стати батюшка?—вступился отецъ Герасимъ:—ты разорвалъ, ты и чини.

— Да я починю — только бечевы давайте.

— Фу, ты, Господи! — вскрикнулъ «батюшка» и, опустивъ по самый локоть руку въ карманъ (извѣстно, что у поповъ карманы глубокіе), загремѣлъ мѣдными деньгами.—Сколько надо? — спросилъ онъ у дьякона.

— Копеекъ тридцать.

— Серебромъ?

— Нынѣ ассигнаціями-то бросили считать!—пробурчалъ дьяконъ и, выхвативъ изъ рукъ «батюшки» деньги, передалъ дьячку.

— Катай!

Дьячокъ бросился въ лавку, а дьяконъ, какъ будто что-то вспомнивъ, побѣжалъ въ лѣсъ. Но не прошло и двухъ минутъ, какъ дьяконъ, ощупывая карманы, вылетѣлъ изъ кустовъ, подбѣжалъ къ челноку, вскочилъ въ него и переѣхалъ на противоположный берегъ, къ тому самому мѣсту, къ которому причаливалъ, отправляясь за веревкой. Тщательно осмотрѣвъ берегъ и внутренность челнока, онъ опять вскочилъ въ него, принялся работать весломъ и поспѣшно направился туда, гдѣ отцѣплялъ мотню приволочки. Достигнувъ этого мѣста, онъ остановилъ челнокъ, приложилъ ко лбу руку козырькомъ, пригнулся къ водѣ и принялся разсматривать дно рѣки. Онъ даже сбросилъ съ себя полукафтанье и рубаху и обнаженной рукой опустился въ воду. Шарилъ онъ долго, наконецъ что-то вытащилъ.

— Вотъ она, мотня-то!—прокричалъ онъ, потрясая въ воздухѣ кускомъ мотни аршина въ полтора.—Вотъ она! За корягу зацѣпила!..

Но видно было по всему, что мотня попалась ему подъ руку случайно, и что искалъ онъ совсѣмъ не мотню, а что-то другое, ибо, бросивъ мотню на дно челнока, онъ поспѣшно надѣлъ на себя рубаху и поплылъ еще куда-то, въ другое мѣсто. Минутъ черезъ десять онъ вернулся мрачный и суровый, молча усѣлся на берегъ и поджалъ подъ себя ноги.

— Что,—спросилъ батюшка, — али потерялъ что?

Дьяконъ тутъ же смекнулъ, въ чемъ дѣло.

— У васъ?—крикнулъ онъ весело и подбѣжалъ къ батюшкѣ.

— Что?

— Да у васъ! Я по глазамъ вижу!..

— Да что такое, я не знаю...

— Ну, будетъ вамъ... Отдайте!

— На, на возьми ужъ, Богъ съ тобой!

И отецъ Герасимъ подалъ дьякону вытащенную имъ бутылку съ водкой.

— *Мерси боку!*—крикнулъ дьяконъ.

— Смотри, не быть бы тебѣ на боку!— сострилъ батюшка.

Дьяконъ захохоталъ.

— *Вуле ву?*—спросилъ онъ меня.

— Нѣтъ, благодарю.

— Напрасно. А вы?—обратился онъ къ батюшкѣ.

— Эхъ!—вздохнулъ онъ и, закряхтѣвъ, принялся тереть поясницу.

— Выпьете, что ли?

Батюшка выпилъ, а послѣ него приложился къ бутылкѣ и дьяконъ, да такъ долго булькалъ, что почти всю бутылку осушилъ.

## IV.

Вскорѣ вернулся дьячокъ съ пучкомъ англійской бечевы, и дьяконъ въ ту же минуту принялся за починку приволочки. Минутъ черезъ двадцать оторванный кусокъ былъ снова прикрѣпленъ къ своему мѣсту, и мы опять принялись за рыбную ловлю. Тоней десять сдѣлали мы, исходили всю рѣку, а рыба, какъ нарочно, не попадалась. Даже въ самыхъ лучшихъ затонахъ дѣло оканчивалось одними только раками.

— Жарко больно,—говорилъ дьяконъ:— теперь вся рыба на днѣ, въ омутахъ.

Отчаянію батюшки не было границъ.

— Чѣмъ же кормить-то!—шепталъ онъ.

— Чего же теперь дѣлать! — кричалъ дьяконъ.—Такъ и скажите: хоть тресни

молъ, ваше преосвященство, а рыба не ловится.

И дьяконъ захохоталъ во все горло.

— Эхъ, легкомысленный ты человѣкъ!— замѣтилъ батюшка:—тебѣ хорошо, а каково мнѣ глазами-то хлопать?

— А то такъ сдѣлайте, какъ одинъ священникъ, старичокъ. Изжарьте поросенка и скажите:—«Ну, молъ, владыка, рыбы нѣтъ, купить не на что, пусть порося превратится въ карася!»

— Глупый анекдотъ!—проговорилъ батюшка съ досадой, а дьяконъ опять захохоталъ.

Такъ ни одной рыбки и не поймали.

Вечеромъ, часовъ въ десять, отецъ Герасимъ снова пришелъ ко мнѣ.

— Къ вамъ опять!—проговорилъ онъ.

— Все насчетъ архіерея?

— Насчетъ архіерея.

— Что такое?

— Поваръ масла прованскаго требуетъ.

— Возьмите.

— Еще... огурчики свѣженькіе, вишь, есть у васъ...

— Есть.

— Ботвинью хотимъ сдѣлать... ужъ не откажите!

— Берите; съ удовольствіемъ.

— Бѣда! Насилу ноги таскаю! Съ четырехъ часовъ утра бѣгаю... Какъ стадо выгонять стали...

— Какъ же вы съ рыбой-то сдѣлались?

— Купилъ немножко... И, усѣвшись на кончикъ стула, прибавилъ:

— А теперь другое горе.

— Какое еще?

— Команда вся запьянствовала, медвѣдями нарядилась: и дьяконъ и дьячокъ. Связались это съ писаремъ съ волостнымъ и теперь въ кабакѣ такіе ранты разводятъ, что близко не подходи! Не знаю, что и дѣлать! Пожалуй, къ службѣ не будутъ годиться.

— Проспятся!—утѣшилъ я батюшку.

— Дьяконъ оретъ на все село и все по-французски.

— Да у кого это выучился?

— Такъ кругъ господъ нахватался коечему и коверкаетъ по-своему.

— А вы бы въ кабакъ-то сходили, усовѣстили бы ихъ.

— Нешто ихъ усовѣстишь! Отъ дьячкато отъ нашего самъ владыка отступился.

— Какъ это?

— Такъ и отступился. Былъ онъ, дьячокъ-то, въ крестовую взятъ на исправленіе; на клиросѣ читалъ и разныя черныя работы исправлялъ: печи топилъ, дрова рубилъ, за водой ѣздилъ. Вотъ однажды и послали его за водой на архіерейской лошади. Поѣхалъ онъ съ бочкой да и пропалъ. Недѣли двѣ искали его, наконецъ, нашли гдѣ-то. Оказывается, что лошадь онъ продалъ, бочку тоже и деньги всѣ прокутилъ. Доложили владыкѣ, а преосвященный только рукой махнулъ!—«Видно, говоритъ, горбатаго только могила исправитъ! Отпустить, говоритъ, его домой, а то мнѣ, пожалуй, ѣздить не на чемъ будетъ!» Только и всего.

И, помолчавъ немного, отецъ Герасимъ прибавилъ:

— Ну ужъ и народъ только у насъ! Насилу у старосты бабъ выпросилъ, чтобы полы въ церкви помыть... не идетъ никто! А ужъ алтарь самъ вымылъ.

— Чего же ктиторъ-то смотритъ? Это его дѣло!

— Мужикъ онъ, такъ мужикъ и есть. Тоже тамъ съ дьякономъ въ кабакѣ...

— И ктиторъ тамъ?

— Тамъ, рядомъ со сторожемъ сидитъ.

Немного погодя, забравъ все нужное, батюшка сталъ прощаться.

— А вы смотрите,—проговорилъ я:— повару водки не давайте, а то онъ вамъ такихъ кушаній настряпаетъ, что не рады будете.

— Нѣтъ, я только рюмочку поднесъ.

— Напрасно.

— Божится, что изготовитъ! «Кой изъ чего, говоритъ, а такой обѣдъ изготовлю, что въ носу зачешется. Я, говоритъ, всѣ архіерейскія кушанья до тонкости знаю!»

— Хвалиться-то онъ мастеръ!

И мы съ батюшкой распростились.

## V.

На слѣдующій день вокругъ церкви села Вертуновки собралась такая масса, что, глядя на народъ этотъ, можно было подумать, что въ Вертуновкѣ происходила ярмарка. Звонъ къ обѣднѣ начался съ семи часовъ утра, тотчасъ же послѣ заутрени, и такъ какъ архіерея все еще не было, то и рѣшено было звонить вплоть до его прибытія. Народъ стекался со всѣхъ сторонъ. Сморщенныя дряхлыя старушонки

сидѣли на землѣ, вдоль церковнаго фундамента (въ церковь, вымытую и вычищенную, никого не впускали), прислонившись къ нему и обнявши сухими руками согнутыя колѣна. Старушки эти были въ чистомъ бѣльѣ, темныхъ сарафанахъ, съ бѣлыми платками на головахъ и искренно радовались, что Господь приведетъ ихъ принять святительское благословеніе—«и помирать, родимая, легче будетъ!»—увѣряли онѣ другъ друга и набожно крестились. Молодежь была настроена нѣсколько иначе; ее болѣе занимало зрѣлище. Посмѣиваясь и весело болтая, молодежь эта раздѣлялась на группы и устроила какое-то гулянье. Народъ былъ вездѣ: и въ оградѣ, и за оградой, и даже на кладбищѣ, расположенномъ въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ церкви. Кладбище пестрѣло праздничными нарядами и преимущественно женскими. Одна молодая баба, вся въ красномъ, склонивши надъ могильнымъ курганомъ голову и, кулакомъ прижимая грудь, выла и причитывала на всю окрестность:—«Ой, ты, мой родимый,—распѣвала она,—на кого ты меня покинулъ, на кого ты меня бросилъ! Не милъ мнѣ свѣтъ безъ тебя, ключезая вода горькая, хлѣбъ насущный камня черствѣй, не пила бы, не ѣла, на Божій бы свѣтъ не глядѣла!» Но прошло двѣ-три минуты, и та же молодица весело смѣялась уже съ подругами, болтала и скалила бѣлые, какъ сахаръ, зубы. Что жъ означалъ вопль этотъ? Былъ ли онъ искреннимъ изліяніемъ горя или простою только формальностью,—рѣшить не берусь, но думаю, что въ немъ была доля того и другого. Набѣжала минута щемящей тоски, облегчилось горе слезами, люди похвалили эти слезы и довольно, къ чему же ныть долго?

Но не одни только мужики и бабы собрались на встрѣчу архіерея. Собралась и вся интеллигенція прихода: два-три купца-землевладѣльца съ своими женами и дѣтьми, волостной старшина со знакомъ на груди, урядникъ съ женой и нагайкой, волостной писарь тоже съ женой, учитель, судебный приставъ, земскій фельдшеръ, тотъ самый, приволочкой котораго мы тщетно ловили вчера рыбу, и еще нѣсколько дамъ и дѣвицъ. Фельдшеръ, молодой человѣкъ съ развязными и бойкими манерами, первый танцоръ во всемъ приходѣ, съ желтыми волосами на головѣ и усахъ, пестрившій свою рѣчь французскими словами: *пардонъ, мерси, dos-à-dos* (это была любимая его фраза), прогуливался съ «матушкой», покручивалъ усы и разсыпался передъ нею любезностями и каламбурами. Расфранченъ онъ былъ въ пухъ и прахъ. На немъ была сѣренькая визитка, бѣлый жилетъ и клѣтчатые панталоны, а на головѣ—фуражка съ двумя козырьками (фуражки эти только-что вошли у насъ въ моду, и мужики прозвали ихъ: *„здравствуй и прощай“*, такъ какъ одинъ козырекъ былъ спереди, а другой сзади). Матушка была положительно царицей всего сборища. Величавая и гордая даже въ будни, она казалась теперь еще величественнѣе и гордѣй. Она была совершенно декольте, и только какой-то до крайности прозрачный газъ словно окуривалъ легкимъ фиміамомъ ея обнаженныя плечи и вздымавшуюся грудь. Голова матушки была увѣнчана вѣнкомъ изъ блестящихъ колосьевъ, а на косѣ, свернутой короной, красовался пунцовый бантъ, длинные концы котораго роскошно развѣвались по вѣтру. Легкое кисейное платье, здѣсь и тамъ перехваченное букетами и бантами, пріятно шуршало, скользя по зеленой муравѣ. Фельдшеръ на этотъ разъ былъ особенно любезенъ. Закинувъ руки назадъ и похлопывая себя сзади перчатками, онъ пріятно улыбался, глядя на грудь матушки, и все говорилъ о какихъ-то изобрѣтенныхъ имъ пилюляхъ, придающихъ лицу дѣтскую свѣжесть, а глазамъ—блескъ нѣги и сладострастія. Матушка просила дать ей этихъ пилюль «на пробу», и фельдшеръ согласился съ тѣмъ, однако, чтобы матушка dos-à-dos осчастливила его какимъ-нибудь сувениромъ.

Глядя на эту многочисленную толпу, собравшуюся вокругъ церкви, мѣстный торговецъ Кузьма Васильевичъ Ферапонтовъ рѣшился воспользоваться случаемъ и «поддернулъ» къ церкви цѣлый возъ ящиковъ, наполненныхъ всевозможными орѣхами и пряниками; разбилъ на скорую руку палатку и въ палаткѣ этой такъ искусно разложилъ товаръ, что на него заглядывались не только крестьянскіе парни и дѣвки, но даже и такія дамы, какъ, напримѣръ, жены урядника и волостного писаря. Дамы эти хотя и дѣлали равнодушныя физіономіи, проходя мимо палатки, но по всему было замѣтно, что онѣ съ большимъ наслажденіемъ запустили бы свои

руки, украшенныя перстнями и кольцами, въ эти соблазнительные ящики, если бы не боялись подобной невоздержанностью повредить своему достоинству. Глядя на торговца Ферапонтова, возлѣ церкви расположился и какой-то проѣзжавшій мимо *шабольникъ* и въ какихъ-нибудь полчаса распродалъ цѣлый возъ колецъ, серегъ, бусъ и т. п. женскихъ украшеній. Словомъ, вокругъ церкви села Вертуновки было такое стеченіе народа, какого не запомнятъ самые дряхлые вертуновскіе старожилы. Все словно пробудилось и поспѣшило навстрѣчу его преосвященства. Даже мѣстная молодежь мужскаго пола, и та не осталась равнодушною и наскоро составила хоръ, долженствовавшій встрѣтить владыку партейнымъ пѣніемъ. Въ описываемую минуту хоръ этотъ спѣвался въ церковной сторожкѣ, и звуки его, несмотря на двойныя оконныя рамы и крѣпко-накрѣпко запертыя двери, все-таки вырывались наружу и, сливаясь съ дребезжаніемъ потрясаемыхъ стеколъ, еще болѣе оживляли и безъ того уже оживленную картину.

Между тѣмъ было уже извѣстно, что въ сосѣднее село Алексѣевку владыка прибылъ вчера часовъ въ девять вечера, что остановился онъ въ домѣ священника, котораго засталъ въ совершенно трезвомъ видѣ, что преосвященнаго еще на выгонѣ встрѣтили крестьяне села Алексѣевки съ хлѣбомъ и солью, а потомъ цѣлой гурьбой подвалили къ дому священника и подали владыкѣ коллегіальное прошеніе (подъ которымъ, по недосмотру волостного писаря, подписались даже и давно умершіе), кончавшееся слѣдующими словами: «а потому просимъ нашего попа, пьяницу и плясуна, отъ насъ принять и поставить намъ такого, который бы къ занятіямъ симъ былъ болѣе равнодушенъ». Было извѣстно уже, что прошеніе это преосвященный принялъ, обѣщалъ разобрать дѣло и долго журилъ попа. Вѣсть обо всемъ этомъ, дошедшая до села Вертуновки еще вчера вечеромъ, весьма смутила отца Герасима, и онъ всю ночь не могъ заснуть.

## VI.

Преосвященнаго ждали съ минуты на минуту.

Духовенство въ полномъ облаченіи, ярко горѣвшемъ на солнцѣ, стояло на церковной паперти и не сводило глазъ съ извивавшейся по лугамъ дороги, по которой приходилось прослѣдовать его преосвященству и по которой только-что проскакалъ какой-то неизвѣстный верховой. Верховой этотъ, скрывшійся въ улицѣ села, заставилъ вздрогнуть не только смущенное духовенство, но и всю собравшуюся толпу. Каждый догадывался, что верховой этотъ былъ непремѣнно «нарочный», посланный отцомъ благочиннымъ съ предувѣдомленіемъ о выѣздѣ преосвященнаго изъ села Алексѣевки. Болѣе всѣхъ былъ смущенъ отецъ Герасимъ. Блѣдный, какъ полотно, и болѣзненно переминаясь съ ноги на ногу, онъ, казалось, силился проникнуть взглядомъ сквозь длинный рядъ избъ и соломенныхъ крышъ, спрятавшихъ верхового.

— Провалился словно!—ворчалъ онъ.

— Не видать! — отозвалось нѣсколько голосовъ.

— А пора бы ужъ и проѣхать улицу-то.

— Можетъ, такъ кто-нибудь, изъ мужиковъ, ѣхалъ!—замѣтилъ дьяконъ хриплымъ басомъ.

Какъ видно, вчерашній медвѣдь все еще не вышелъ изъ него.

Батюшка даже разсердился.

— Будетъ тебѣ болтать-то! — замѣтилъ онъ:—ну, развѣ станетъ мужичокъ такъ лошадь мучать! Понятное дѣло, что это былъ нарочный отъ благочиннаго.

— Теперь намъ, со страху-то, корова проскачи, такъ и та за благочиннаго покажется!—проговорилъ дьяконъ, сплюнувъ.

Въ толпѣ раздался хохотъ.

— Будетъ, будетъ вамъ!—замѣтилъ батюшка.

— Квасу бы теперь холоднаго!—ворчалъ дьяконъ.—Внутри словно пожаръ идетъ.

— Зато вчера весело было.

— Вотъ онъ, вотъ онъ! — крикнула толпа.

И дѣйствительно, изъ-за скирды полугнилой и почернѣвшей соломы выскакалъ верховой и, повернувъ по направленію къ церкви (церковь стояла поодаль отъ села, на довольно крутой горѣ), пустился скакать въ гору. Оказалось, что верховой былъ алексѣевскій дьячокъ. Въ старой рваной шляпѣ, съ большими полями, изъ-подъ которой развѣвались густые волосы, въ нанковомъ полукафтанѣ, трепавщемся по вѣтру, дьячокъ этотъ представлялъ изъ

себя крайне комичную фигуру. Сидѣлъ онъ, пригнувшись къ шеѣ лошади, съѣхавъ ей почти на холку и нахлестывая кнутомъ справа и слѣва, точно барабанилъ ногами по ребрамъ своего Россинанта. Словно жидъ-контрабандистъ, улепетывавшій отъ преслѣдованія казаковъ, мчался дьячокъ по направленію къ церкви. Въ другое время самъ отецъ Герасимъ расхохотался бы, глядя на дьячка, но теперь было не до смѣха. Дьячокъ, между тѣмъ, подскакалъ къ церкви, словно упалъ съ лошади и, едва переводя духъ, объявилъ, что владыка сѣлъ уже въ карету и «вотъ-вотъ сейчасъ прикатитъ!»

И точно. Не успѣлъ дьячокъ объявить это, какъ по дорогѣ показалась сначала скакавшая телѣжка, а немного позади ея—карета, запряженная шестеркою лошадей.

— Ѣдетъ!—гаркнула толпа, и все заколыхалось.

Отецъ Герасимъ чуть не упалъ отъ страха.

— Все ли готово?—спросилъ онъ дьякона.

— Извѣстно, все!—отвѣтилъ тотъ.

— Платъ на престолѣ откинулъ?

— Откинулъ.

— А антиминсъ развернулъ?

— Развернулъ.

— Ты бы хоть ладану пожевалъ, а то отъ тебя такъ и разитъ водкой.

— Это можно!

— А ты чинъ встрѣчи-то помнишь?

— Еще бы! — проговорилъ дьяконъ:— какъ только изъ кареты вылѣзетъ, такъ сейчасъ: *исполла эти деспота!..*

— Вотъ и не такъ!—перебилъ его батюшка.

— Какъ же?

— Мы становимся на «солею», я подаю на блюдцѣ крестъ, а ты кадишь. Владыка беретъ крестъ, идетъ въ алтарь и преклоняется престолу. Клиръ поетъ тропарь храму... потомъ ты возглашаешь краткую сугубую ектенію: «помилуй мя, Боже»...

Дьяконъ даже по лбу себя хлопнулъ.

— Вѣрно, вѣрно!—проговорилъ онъ:— теперь наполовину припомнилъ, а то какъ вѣтромъ изъ головы выдуло. Ну, да и то сказать: и на Машку бываетъ промашка!

— Ты, смотри, съ пьяныхъ-то глазъ «Рцемъ вси» не запали!

— Небось, не запалю.

На колокольнѣ раздался трезвонъ во всѣ колокола, и духовенство поспѣшило въ церковь занять свои мѣста.

— Ближе, ближе подвигайся! — говорилъ батюшка, становясь на солею (такъ называется мѣсто передъ царскими вратами) съ крестомъ, возложеннымъ на блюдце, и обращаясь къ дьякону, раздувавшему угли въ кадилѣ.

Дьяконъ подвинулся.

— А тебя, Константинъ Иванычъ,— прибавилъ батюшка, обращаясь къ дьячку,— я Христомъ Богомъ прошу не бормотать, когда начнешь сорокъ разъ *Господи, помилуй* читать.

Ввалилъ въ церковь хоръ любителей и, ставъ на клиросъ, принялся откашливаться.

Между тѣмъ телѣжка и карета все приближались и приближались. Вотъ миновали онѣ только что распустившуюся березовую рощу, какъ-то желтѣвшую среди изумрудной зелени луговъ; вотъ спустились въ небольшую западинку, скрылись на минуту, а потомъ опять показались и быстро покатили по гладкой луговой дорогѣ. Пыль, какъ дымокъ, поднималась изъ-подъ колесъ, но, благодаря утренней влагѣ, тутъ же опускалась на дорогу. Можно было разсмотрѣть уже, что всѣ лошади, какъ въ телѣжкѣ, такъ и въ каретѣ, скакали галопомъ. Народъ глазъ не сводилъ съ этихъ двухъ экипажей, а на колокольнѣ, между тѣмъ, трезвонъ шелъ: маленькіе колокола заливались, какъ мелкія пташки, средніе глухо бормотали, а главный, треснутый, колоколъ словно кашлялъ сухимъ груднымъ кашлемъ. Всѣхъ даже голубей распугалъ съ колокольни этотъ звонъ.

Но вотъ экипажи, прокатившись по лугамъ, въѣхали въ улицу и скрылись. Народъ хлынулъ въ ограду и, разступившись, коридоромъ наполнилъ собою пространство между церковью и воротами ограды. По краямъ этого коридора пестрѣли костюмы вертуновскихъ дамъ, а посрединѣ разгуливалъ урядникъ съ нагайкой и, водворяя порядокъ, кричалъ и шумѣлъ больше всѣхъ. Старушки сгрудились въ притворѣ, охали и набожно крестились. Матушка помѣстилась на паперти, на самомъ видномъ мѣстѣ, и продолжала бесѣдовать съ фельдшеромъ.

Но вотъ экипажи снова выкатили изъ улицы, поднялись на гору и направились къ церкви. Народъ снялъ шапки. Благочинный, въ фіолетовой камилавкѣ и съ золотымъ наперснымъ крестомъ на груди, соскочилъ съ телѣжки у калитки ограды, подобралъ рясу и, пробѣжавъ бѣгомъ по коридору, остановился у крыльца. Карета, съ испуганно прижавшимися пристяжными лошадьми, словно втискалась въ ворота ограды и, подъѣхавъ къ крыльцу, остановилась. Лакей соскочилъ съ козелъ, быстро отворилъ дверцу, и преосвященный, поддерживаемый съ одной стороны лакеемъ, а съ другой отцомъ благочиннымъ, вышелъ изъ кареты. Панагія и двѣ звѣзды такъ и блеснули на солнцѣ. «Господи, батюшка ты нашъ!» шептали старухи, а преосвященный поднялся, между тѣмъ, на ступени крыльца, взошелъ на паперть и, медленно и торжественно обернувшись лицомъ къ народу, благословилъ его обѣими руками. Затѣмъ онъ снова повернулся, осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и тою же медленной и величавой походкой, перебирая янтарными четками, вошелъ въ растворенныя двери храма. Благочинный шмыгнулъ за нимъ какъ-то бокомъ и придерживая крестъ на груди. *Архистратизи Божіи, служителіе божественной славы,* грянулъ хоръ любителей, дьяконъ замахалъ кадиломъ, а преосвященный, подойдя къ священнику, взялъ поднесенный ему на блюдѣ крестъ (причемъ батюшка, чмокнувъ руку архіерея, отошелъ въ сторону), поцѣловавъ его, и, войдя въ растворенныя царскія врата, сдѣлалъ земной поклонъ передъ престоломъ и приложился къ антиминсу. *Помилуй насъ, Боже, по велицѣй милости Твоей и по множеству щедротъ Твоихъ!..* гудѣлъ дьяконъ, высоко поднявъ правую руку, а хоръ подхватывалъ: *Господи, помилуй.* Когда ектенія была окончена, преосвященный обернулся къ народу и, держа крестъ въ рукахъ, проговорилъ мягкимъ, едва слышнымъ голосомъ: *Яко подобаетъ Тебѣ слава, честь и поклоненіе Отцу и Сыну и Св. Духу. — Аминь,* хватилъ хоръ, такъ что преосвященный даже вздрогнулъ, а дьяконъ ревѣлъ уже: *Благоденственное и мирное житіе,* затѣмъ раздалось многолѣтіе, и преосвященный, стоя на амвонѣ, осѣнялъ крестомъ народъ. *Исполла эти деспота,* загремѣлъ, наконецъ, хоръ, владыка удалился въ алтарь, и обѣдня началась.

По окончаніи обѣдни матушка первая подлетѣла къ кресту. Приложившись и поцѣловавъ руку преосвященнаго, она обратилась къ нему съ слѣдующими словами:

— Ваше преосвященство! Осчастливьте! Пожалуйте къ намъ на чашку чая...

— Съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить? — спросилъ владыка тѣмъ же мягкимъ, бархатнымъ голосомъ, не сводя маленькихъ узенькихъ глазъ съ костюма матушки.

— Я... я здѣшняя попадья...

— Супруга отца Герасима Мизерандова?

— Точно такъ-съ, ваше преосвященство...

— Благодарствую, весьма благодарствую,—проговорилъ владыка,—но извиняюсь, заѣхать къ вамъ не могу...

— Осчастливьте! — забормоталъ было батюшка, польщенный, что владыкѣ извѣстно его имя и даже фамилія, но его преосвященство перебилъ его:

— Извиняюсь, вторично извиняюсь... Не могу никакъ. Далъ слово быть въ двѣнадцать часовъ у князя Проглядова-Рукавицына...

«Еще двадцать разъ поспѣете!» хотѣла было сказать матушка, но преосвященный, поклонившись ей, принялся благословлять прихлынувшій къ нему народъ, и матушкѣ пришлось отойти.

— Батюшка нашъ, Господи!—шептали старухи, крестясь и плача. — Привелъ Господь... Слава тебѣ, Царица небесная, Мать Богородица святая, удостоила насъ грѣшныхъ... Слава Тебѣ, Господи!

Владыка не пропускалъ никого и благословлялъ всѣхъ, подходившихъ къ нему. На головы дѣтей онъ возлагалъ руку и ласкалъ ихъ. Нѣкоторые подходили по нѣскольку разъ даже, кланялись въ ноги и цѣловали полы его коричневой муаровой рясы. Долго чернѣлъ клобукъ владыки, колыхаясь надъ головами благоговѣйно тѣснившагося вокругъ него народа. Наконецъ, благословивъ всѣхъ, преосвященный снова вошелъ на амвонъ, приложился къ иконамъ Спасителя и Божіей Матери, трижды обѣими руками осѣнилъ крестнымъ знаменіемъ народъ (хоръ снова запѣлъ *Исполла эти деспота*) и, ведомый

подъ руки отцомъ благочиннымъ и батюшкой, вышелъ изъ церкви.

— Посторонись, посторонись! — кричалъ урядникъ, разгоняя народъ.—Посторонись... вотъ я васъ!..

Дверца захлопнулась, благочинный вскочилъ въ телѣжку, лакей крикнулъ: «Пошелъ!», и, шагомъ спустившись съ горы, карета снова умчалась, сопровождаемая благожеланіями растроганной и умиленной толпы.

VII.

Изъ церкви я пошелъ къ больному сосѣду, у котораго провелъ весь день, и только вечеромъ отправился домой. Мнѣ приходилось опять пройти Вертуновкой, какъ разъ мимо домовъ причта, переулкомъ, носившимъ названіе «поповскаго околотка». Были уже густыя сумерки, но всходившая луна настолько свѣтила ярко, что всѣ встрѣчавшіеся предметы обрисовывались весьма ясно. Большой я охотникъ до такихъ ночей, особенно майскихъ, когда вмѣстѣ съ мягкимъ свѣтомъ луны и мягкій ароматъ расцвѣтающей природы. Прохладно, ароматично; все дышитъ, упивается, живетъ...

Поровнявшись съ домомъ отца Герасима, я увидалъ его, одиноко сидящимъ на ступенькѣ крыльца. На этотъ разъ батюшка не растиралъ поясницы, а сидѣлъ, схвативъ себя руками за животъ, пригнувшись и болѣзненно стеня.

— Что съ вами?—спросилъ я.

Онъ только рукой махнулъ.

— Что случилось?

— Животъ! — простоналъ онъ.

— Что же именно?

— Какъ есть съ самаго обѣда и до сей поры рѣзь стоитъ... Словно кто ножами кишки мнѣ распарываетъ.

— Отчего же это?

— Съ кушанья съ архіерейскаго, должно-быть!

И вдругъ, застонавъ, онъ согнулся въ крючокъ.

— Охъ!

Лицо его было блѣдно, болѣзненно перекошено. Крупный потъ катился ручьями.

— Вы бы капель иноземцевыхъ приняли.

— Принималъ ужъ.

— Что же?

Батюшка головой замоталъ.

— Съ водкой бы.

— Пилъ и съ водкой.

— Можетъ-быть, это со страху?

— Ну!

— Что же вы ѣли-то?

— Да весь обѣдъ съѣлъ... Все, что было изготовлено. Попадья въ гости ушла, я все одинъ и съѣлъ... А теперь вотъ и катаетъ. И, простонавъ нѣсколько разъ, онъ прибавилъ:

— А тутъ еще фершалъ растревожилъ.

— Чѣмъ это?

— Да вонъ, видите!—проговорилъ «батюшка», указывая на валявшуюся возлѣ крыльца приволочку, которою мы вчера ловили рыбу. — Принесъ, да и бросилъ. «Мнѣ, говоритъ, такой не надо! Ты, говоритъ, новую бралъ, новую и подавай, а не дашь—къ мировому!» Я было рубль серебра за порчу давалъ, такъ куда тебѣ! Носъ воротитъ! Придется покупать.

И батюшка снова застоналъ.

— А дороги такія приволочки?

— Двадцать рублей, вишь, заплатилъ. Эхъ, бѣда! Все одно къ одному...

— Еще-то что же?

— А еще... просвирку уронилъ!—прокряхтѣлъ батюшка.

— Это какъ?

— Сталъ послѣ литургіи владыкѣ просвирку на маломъ блюдцѣ подавать, руки-то трясутся, она и упади на полъ...

— Что же?

— «Подыми», говоритъ.

— И больше ничего?

— Ничего, а все-таки конфузно.

— А зачѣмъ онъ пріѣзжалъ-то?

— Извѣстно зачѣмъ. Ревизію производилъ.

— Въ чемъ же состояла ревизія?

— Мало ли въ чемъ! Антиминсъ осмотрѣлъ, муро святое, дарохранительницу, въ которой у насъ запасныя частицы хранятся, посмотрѣлъ, не вплѣснѣли ли частицы... Мало ли что! Спрашивалъ о приличіи и неприличіи причта.

— Что же вы сказали?

— Извѣстно что! Все, молъ, слава Богу, прилично! Эхъ, все бы это ничего,— прибавилъ онъ, вздохнувъ, — одно только грустно...

— Что?

— Не осчастливилъ!

И печальная, страшно печальная нотка зазвучала въ этомъ словѣ.

«Вотъ она гдѣ самая суть!» — подумалъ я.

Вдругъ дьяконъ, сидѣвшій на крылечкѣ своего дома, рядомъ съ домомъ отца Герасима, заоралъ на весь «поповскій околотокъ».

Ахъ, бонжуръ, ма шармантъ, ма тре бонъ...

— Господи! — застоналъ батюшка и, повернувшись въ сторону дьякона, прибавилъ плаксивымъ голосомъ: — Ну, какъ тебѣ не совѣстно... Тутъ рѣзь въ животѣ, сердце кровью обливается, а ты глотку дерешь! Умираю я, слышишь ли, умираю совсѣмъ!

— Ужъ очень пѣсня-то хороша!—пробасилъ дьяконъ, подходя къ намъ (отъ него такъ и разило водкой).—Собственнаго перевода, самолично на французскій діалектъ переложилъ...

— Какая же это пѣсня?— спросилъ я.

— Нешто не поняли?

— Нѣтъ.

— Вотъ тѣ здравствуй! Такъ неужто вы не знаете:

Здравствуй, милая, хорошая моя...

— Знаю.

— Ну, такъ вотъ эту самую я и перевелъ.

Вдругъ въ домѣ напротивъ распахнулось окно, и дьячокъ, высунувшись въ него по поясъ, крикнулъ:

— Дьяконъ! Это ты?

— Я.

— Дергай сюда.

— Зачѣмъ?

— Вонзимъ по рюмочкѣ.

— Можно.

И дьяконъ направился къ дому дьячка.

«Исполла эти деспота», кричалъ дьячокъ, встрѣчая дьякона.

— Ну, — проговорилъ батюшка, — всѣ взбѣсились!

И, черезъ силу поднявшись на ноги, прибавилъ:

— Нѣтъ, не могу. Моченьки моей нѣту... Пойду, въ постель лягу!

Мы распростились, и батюшка, больной и убитый, скрылся въ сѣняхъ своего дома.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ «поповскаго околотка» помѣщался и домъ земскаго фельдшера, весь утонувшій въ палисадникѣ, засаженномъ кустами сирени и черемухи. Проходя мимо, я услыхалъ голосъ матушки. Она стояла въ палисадникѣ подъ окномъ, возлѣ котораго, живописно раскинувшись и съ папиросой въ зубахъ, сидѣлъ фельдшеръ.

— Что же пилюли? — спрашивала матушка.

— Нѣтъ, ужъ *пардонъ-съ*,—раздался голосъ фельдшера,—теперь не дамъ.

— Почему это? Вы вѣдь обѣщали...

— Мало ли что было! Вы бы вотъ запретили своему мужу приволочки чужія рвать... Вотъ что-съ.

— Я-то чѣмъ же виновата?

— А это называется по нашему: dos-à-dos!

И фельдшеръ грубо захлопнулъ окно.

Подходя къ дому, я чуть не упалъ, наткнувшись на что-то черное, валявшееся поперекъ дороги. Я нагнулся, сталъ разсматривать и въ лежавшемъ узналъ своего повара...

---

Боль живота прошла у батюшки на другой же день, но онъ долго ходилъ грустный и печальный, часто вздыхалъ и еще чаще задумывался...

«А можетъ быть и къ лучшему!» шепталъ онъ иногда. Но я не разспрашивалъ, въ чемъ именно состояло это лучшее.

1882 г.

**Николай Михайловичъ Астыревъ.**

(1857—1894).

## ИЗЪ ОЧЕРКОВЪ «ВЪ ВОЛОСТНЫХЪ ПИСАРЯХЪ».

### Ѣду на службу народу.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1881 года я оставлялъ Петербургъ, направляясь въ одинъ изъ уѣздовъ Воронежской губерніи искать мѣста волостного писаря. Нѣкоторыя обстоятельства сложились относительно меня такимъ образомъ, что жизнь въ городѣ, въ «культурной» средѣ, стала мнѣ просто ненавистна: перспектива продолженія и окончанія курса въ высшемъ (спеціальномъ) учебномъ заведеніи, куда я попалъ безъ всякаго «призванія» къ будущей дѣятельности своей,— эта перспектива нисколько мнѣ не улыбалась; необезпеченный матеріально, я не могъ вполнѣ покинуть житейскаго омута, чтобы съ большей или меньшей для себя пользой и пріятностью пережидать непогоду, но долженъ былъ непрестанно работать изъ-за куска хлѣба. Конторскія занятія,— единственныя для меня доступныя,— были мнѣ въ конецъ противны, благодаря своей сухости и безжизненности; хотѣлось живого дѣла, хотѣлось общенія съ живыми людьми, хотѣлось доказать самому себѣ свою пригодность на служеніе истиннымъ общественнымъ нуждамъ, а не на одну только службу интересамъ различныхъ «компаній» и «товариществъ»; наконецъ, думалось, что такое служеніе можетъ имѣть мѣсто единственно въ деревнѣ. Къ сожалѣнію, выборъ обусловленныхъ этимъ обстоятельствомъ поприщъ дѣятельности былъ не великъ: учительство и писарство; но въ то время, чтобы стать сельскимъ учителемъ, необходимо было лицу, хотя бы и съ высшимъ образованіемъ, сдать сперва спеціальный экзаменъ на учителя, и этого одного было уже для меня достаточно, чтобъ отказаться отъ несовсѣмъ завидной перспективы всю жизнь возиться съ ребятишками, обучая ихъ такой грамотѣ, въ цѣлесообразность которой я и самъ плохо вѣрилъ. Взвѣсивъ всѣ эти обстоятельства, я рѣшился искать мѣсто волостного писаря, какъ представлявшее, по моему мнѣнію, большій просторъ для дѣятельности. Долгое время исканія мои оставались безуспѣшны; я обращался и къ вліятельнымъ землевладѣльцамъ, и къ чиновникамъ, и къ

лицамъ, въ деревнѣ власть имѣющимъ,— но всѣ они или прямо отказывали въ своемъ содѣйствіи, находя желаніе мое въ данное время, по меньшей мѣрѣ, — страннымъ, или же ограничивались одними обѣщаніями. Наконецъ одинъ изъ товарищей моихъ, тогда еще студентъ, землевладѣлецъ Воронежской губерніи, предложилъ мнѣ свою помощь, не ручаясь, однако, за успѣхъ. Я такъ обрадовался появившейся надеждѣ на какой бы то ни было исходъ изъ моего томительнаго положенія, что обѣими руками ухватился за его предложеніе, — и вотъ я на пути къ обѣтованному краю, гдѣ я долженъ былъ поселиться у этого товарища, впредь до рѣшенія моей участи.

Въ—скомъ уѣздѣ, какъ и въ прочихъ уѣздахъ нашего отечества, самую видную роль играетъ уѣздный предводитель дворянства, который, какъ таковой, состоитъ членомъ или предсѣдателемъ множества учрежденій, въ числѣ коихъ чуть ли не первое мѣсто занимаетъ уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе. Всѣ должностныя лица крестьянскаго самоуправленія, какъ выборныя, такъ и наемныя — старшины, старосты, писаря — всѣ они состоятъ подъ непосредственнымъ началомъ предводителя, какъ предсѣдателя присутствія, и въ его власти—ихъ карать и миловать, а слѣдовательно, увольнять отъ должностей и назначать на оныя. О всѣхъ порядкахъ и о лицахъ, соблюдающихъ эти порядки, я буду впослѣдствіи говорить обстоятельно; теперь же я упомянулъ о власти предводителя лишь для того, чтобы не вполнѣ знакомымъ съ крестьянскимъ «самоуправленіемъ» читателямъ стало понятно, почему мой товарищъ, — назовемъ его хоть Ковалевымъ, — всю надежду на благопріятный исходъ нашего предпріятія возлагалъ на предводителя, котораго — также къ примѣру — назовемъ Столбиковымъ. Нужно сказать, что Столбиковъ, когда не состоялъ еще въ предводителяхъ, былъ или, по крайней мѣрѣ, слылъ за человѣка «радикальнаго» образа мыслей, такъ что мѣстные консерваторы даже всполошились по случаю его избранія; имъ, однако, не долго пришлось безпокоиться, такъ какъ оказалось, что, по избраніи, у Столбикова осталось краснаго — только сафьяновые отвороты его лакированныхъ сапогъ. Но чтобы не отстать отъ вѣка, онъ и въ предводителяхъ не отказывался при случаѣ чуть-чуть полиберальничать, щегольнуть, напримѣръ, своими «симпатіями» къ «безотвѣтному труженику-народу», къ «трезвой» части молодого поколѣнія, къ народнической литературѣ и т. п., благо все это не вредило его карьерѣ, и всѣ эти симпатіи ограничивались на дѣлѣ... изданными имъ картинками къ одному некрасовскому стихотворенію изъ народнаго быта. Но обо всемъ этомъ какъ-нибудь послѣ; теперь же я буду вести рѣчь по порядку.

Ковалеву удалось увидѣть предводителя на именинномъ обѣдѣ, данномъ однимъ изъ ихъ общихъ сосѣдей-землевладѣльцевъ. Разными дипломатическими ухищреніями пріятель мой достигъ того, что заинтересовалъ моей личностью и моимъ намѣреніемъ поступить въ писаря — «для изученія народнаго быта» — какъ все собравшееся общество, такъ и самого Столбикова; подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія и изъ желанія показать себя покровителемъ всякихъ благихъ начинаній, Столбиковъ обѣщалъ Ковалеву дать мнѣ мѣсто писаря, но не иначе, какъ по личномъ со мною знакомствѣ, для чего и просилъ Ковалева передать мнѣ, чтобъ я явился къ нему въ непродолжительномъ времени. Возвратясь домой, пріятель мой сообщилъ мнѣ, что ему удалось сдѣлать по моему дѣлу.

— Ты постарайся попасть ему въ тонъ,— это—главное.—Если не попадешь, пропало твое дѣло!.. Онъ сумѣетъ подъ какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ отказаться отъ своего обѣщанія. Полиберальничай, но крайне умѣренно, восхищайся народными порядками, общиной, но осторожно. А главное, напирай на литературу и на свои, хотя бы и небольшія, «литературныя» знакомства.

Такъ обучалъ меня Ковалевъ, засыпая; я же долго ворочался съ боку на бокъ, обдумывая, что и какъ я стану говорить завтра моему будущему начальнику.

## Предводитель дворянства Столбиковъ.

Отъ имѣнія Ковалева до Борокъ было верстъ 15; я выѣхалъ часовъ въ 10 утра на бѣговыхъ дрожкахъ по незнакомой мнѣ совсѣмъ дорогѣ; меня, однако, увѣрили, что заблудиться я не могу, такъ какъ до-

рога одна, и всякій встрѣчный укажетъ мнѣ Борки.

— А какъ подъѣдешь версты за двѣ къ нимъ, то и самъ не ошибешься. Столбиковъ, братъ, выстроилъ себѣ такую дивную штуку, въ такомъ невиданномъ стилѣ, что изъ всѣхъ россійскихъ построекъ это, вѣроятно, единственная въ своемъ родѣ. Впрочемъ, самъ увидишь, — говорилъ Ковалевъ.

Я ѣхалъ, держась все на сѣверъ, и, наконецъ, увидѣлъ большое село съ двумя, какъ мнѣ издали показалось, церквами. Одна, повидимому, каменная, бѣлѣлась посреди села; другая, темная и мрачная, напоминала скорѣе нѣмецкую кирку и стояла въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ села, саженяхъ въ двухстахъ. Мнѣ показалось страннымъ, что церковь стоитъ въ такомъ отдаленіи отъ села (въ Воронежской губ. почти нѣтъ столь обычныхъ на сѣверѣ погостовъ), и я принялся разглядывать постройки, группирующіяся около нея. То не могли быть, однако, дома причта: они были черезчуръ велики; а въ особенности меня смущалъ громадный квадратъ скотнаго двора, расположеннаго налѣво отъ церкви, и тѣнистый, старинный паркъ — направо отъ нея; сама же она стояла на юру, и около нея виднѣлись лишь какіе-то кустики. Но тутъ я замѣтилъ десятка два рабочихъ, ѣхавшихъ съ сохами по направленію къ постройкамъ около церкви; подъѣхавъ, они остановились и стали отпрягать коней... Я догадался, что это помѣщичья усадьба, а не церковь, — и кого же могла быть эта усадьба, если не Столбикова? Меня вѣдь предупреждалъ уже Ковалевъ, что архитектура главнаго зданія нѣсколько странна, но я никакъ не ожидалъ, что она будетъ въ такомъ родѣ. Деревянный двухъэтажный домъ, одинъ конецъ котораго замыкается полукруглою башней въ три этажа съ большимъ шпилемъ наверху; окна въ родѣ готическихъ, съ откосами по бокамъ и снизу; вдоль гребня высокой и крутой кровли фестончатая рѣшетка; манерно выпяченный балконъ во второмъ этажѣ и стеклянный разноцвѣтный подъѣздъ внизу; отъ башни шло нѣчто въ родѣ оранжереи, покрытой некрупными стеклами въ рамахъ; кругомъ дома дорожки, усыпанныя бѣлымъ пескомъ, клумбы съ цвѣтами и чахлыя, плохо принявшіяся, молодыя деревца. Шпиль, крыша и странной формы окна дѣлали зданіе очень похожимъ на церковь, и, какъ передавали мнѣ, богомолки, мимо ходящія каждой весной въ Кіевъ, набожно останавливались и крестились на обѣ церкви въ с. Боркахъ. Въ паркѣ, о которомъ я уже упоминалъ, имѣется отличный двухъэтажный каменный домъ, весь окруженный живописными куртинами деревъ; въ немъ жили дѣдъ и отецъ Столбикова, но когда, за смертію ихъ, имѣніе перешло въ его руки, то онъ не захотѣлъ жить «въ трущобѣ», и изъ хозяйственныхъ, какъ онъ объяснилъ, цѣлей поселился на юру, чтобъ имѣть возможность безпрепятственно окидывать взоромъ свои три тысячи десятинъ земли, изъ которыхъ, впрочемъ, половина сдана была въ аренду. Башня служила остроумному хозяину обсерваторіей, и онъ съ подзорною трубой въ рукахъ высматривалъ, пашетъ ли какой-нибудь Кузька или куритъ трубку, лежа на брюхѣ въ тѣни телѣги, и если Кузька оказывалъ наклонность къ лежанію на брюхѣ въ неурочное время, то, по возвращеніи съ поля, къ ужасу своему, узнавалъ, что уже оштрафованъ конторой имѣнія на полтинникъ. Все это я узналъ уже впослѣдствіи, но никогда не узналъ, во сколько лѣтъ Столбиковъ расчелъ вернуть штрафными полтинниками съ разныхъ Кузекъ тѣ тридцать тысячъ рублей, которыя онъ убилъ на устройство своего фантастическаго жилья, — совершенно излишняго при наличности дѣдовскаго, расположеннаго въ прекрасномъ мѣстѣ.

Я подъѣхалъ къ хлопотавшимъ около сохъ рабочимъ, попросилъ одного изъ нихъ привязать куда-нибудь лошадь, а самъ направился къ барскому дому и, послѣ нѣкотораго колебанія, рѣшилъ пойти чрезъ разноцвѣтный подъѣздъ. Только что я взялся за стеклянную изящную ручку, какъ гдѣ-то надъ моей головой поднялся рѣзкій звонъ; я посмотрѣлъ наверхъ, переставъ нажимать на ручку — и звонъ прекратился. «Несомнѣнные признаки цивилизаціи», подумалъ я, и при новой трели электрическаго звонка вошелъ въ переднюю; но тутъ ожидалъ меня немалый сюрпризъ: вмѣсто лакея или горничной, я увидѣлъ датскаго дога огромной величины. Это чудовище степенно подошло ко мнѣ и своими страшными глазами уста-

вилось на меня... Такъ простояли мы нѣсколько минутъ, и никто не являлся ко мнѣ на выручку; наконецъ я сталъ взывать: «Послушайте, нѣтъ ли тамъ кого-нибудь?» На зовъ выпорхнула откуда-то дѣвочка, лѣтъ девяти, вся въ кисеѣ, и, увидавъ меня, спросила: «Вамъ папу?»

— Да,— отвѣтилъ я:— но потрудитесь, милая барышня, отозвать сначала эту собачку, иначе я не въ состояніи буду итти къ вашему папѣ.

Милордъ, ісі,—позвала она моего пріятеля, и тотъ величественно удалился въ боковую дверь.

— Вы идите наверхъ по лѣстницѣ, папа тамъ,— говорила дѣвочка. — А горничной у насъ нѣтъ, вчера ушла, а новая еще не пріѣзжала.

Вся лѣстница, по которой я поднялся, была завѣшана различными гравюрами и олеографіями, крайне разнообразными и по содержанію и по качеству: рядомъ съ старинной, хорошею вещью, висѣла чуть не лубочная картина; верхняя площадка была также увѣшана картинами, но писанными масляными красками; такимъ образомъ, лѣстница была превращена въ домашнюю картинную галлерею.

Первая комната, куда я вошелъ, была прелестно убрана: противъ дверей стоялъ бильярдъ подъ чехломъ; налѣво отъ него, у окна, фисгармонія съ кучей нотъ, покрытыхъ пылью; въ другомъ концѣ комнаты нѣсколько диванов, столовъ и креселъ, разбросанныхъ группами тамъ и сямъ, и, наконецъ, въ углу — громадный каминъ. По стѣнамъ висѣли картины, гравюры, оленьи рога, ружья, удочки; на столахъ разбросаны были альбомы и иллюстрированные журналы. Въ комнатѣ никого не было, но большая массивная дверь указывала, что рядомъ есть и еще помѣщеніе. Я сталъ кашлять; послышался голосъ, спрашивавшій: «кто тамъ?»—и когда я отвѣтилъ: «А—въ отъ Ковалева»,— ко мнѣ вышелъ мужчина, лѣтъ тридцати пяти, невысокаго роста, съ золотыми очками на носу Онъ былъ одѣтъ въ легкую тиковую поддевку, голубую шелковую рубаху, широкія полосатыя шаровары изъ какой-то восточной матеріи и въ высокіе лакированные сапоги съ сафьяновыми красными отворотами. Окинувъ меня взглядомъ, онъ подалъ мнѣ руку и жестомъ пригласилъ въ сосѣднюю комнату; эта оказалась такой же величины, какъ и первая, но гораздо свѣтлѣе; помѣщавшіеся въ ней предметы дѣлали изъ нея какую-то кунсткамеру. По стѣнамъ шли шкапы съ книгами; на шкапахъ—бюсты различныхъ знаменитостей; у окна — столъ съ химическими и физическими аппаратами: колбы, склянки съ веществами были перемѣшаны съ лейденскими банками, химическіе вѣсы стояли рядомъ съ электрическою машиной, и все это, казалось, успѣло уже заплѣсневѣть отъ мертвеннаго продолжительнаго покоя. Рядомъ — другой столъ: на немъ географическія карты, чертежи, краски—и опять все въ полномъ хаосѣ. Еще столъ: на немъ дюжины полторы тарелокъ съ различными сѣменами — я не успѣлъ разглядѣть — какими. Наконецъ письменный столъ, весь загаленный газетами, журналами и разными изящными письменными принадлежностями; около него, на полу, куча книгъ; въ углу комнаты — чучела медвѣдя и двухъ волковъ; подъ потолкомъ парило чучело орла. На одномъ изъ дивановъ лежалъ какой-то большой альбомъ въ великолѣпномъ переплетѣ, а на немъ, пуская слюни, отдыхала старая легавая собака; еще въ одномъ углу, дальнемъ отъ входа, стояла какая-то штука съ колесами, подъ чехломъ... Безпорядокъ въ комнатѣ царилъ ужасный: ни системы ни вкуса. Видно было, что хозяинъ хватался за все рукой дилетанта и затѣмъ быстро бросалъ, а разъ бросивши, не скоро ужъ возвращался къ брошенному. Я съ любопытствомъ осматривался кругомъ, пока хозяинъ освобождалъ подъ меня стулъ изъподъ груды книгъ.

— Прошу садиться. Мнѣ Ковалевъ говорилъ о васъ. Вы хотите поступить въ волостные писаря?

— Да, желалъ бы.

— Что васъ побуждаетъ на этотъ эксцентричный шагъ?

Я постарался, какъ можно убѣдительнѣе, доказать, что теперь, въ виду назрѣвшихъ крестьянскихъ вопросовъ, требующихъ разрѣшенія, и правительству и обществу необходимы точныя свѣдѣнія о крестьянскомъ бытѣ, а имѣть таковыя возможно лишь при ближайшемъ общеніи съ крестьянскою средой; затѣмъ я сказалъ про себя, что я лично чувствую потребность въ осмысленной работѣ на пользу своего ближняго, и т. д. и т. п. Все это,

моль, заставило меня оставить городъ и перейти въ деревню, но такъ какъ я человѣкъ безъ средствъ, то мнѣ необходимо какое-нибудь занятіе въ деревнѣ—преимущественно по письменной, мнѣ извѣстной, части. А такое мѣсто имѣется лишь одно: мѣсто волостного писаря.

— Это очень хорошо,—и ваше стремленіе служить на пользу младшаго брата и... и проч. Но знаете ли вы, что вамъ предстоитъ?

— Т.-е., въ какомъ смыслѣ?..

— Въ смыслѣ жизненной обстановки. Вы будете получать рублей 30 жалованья,—не больше; вы должны будете вести знакомство со всякою дрянью — со старшинами, писарями и кабатчиками; я да и всѣ прочіе... начальники, при встрѣчѣ съ вами, руки вамъ не будемъ подавать, и вы должны стоять въ моемъ присутствіи... Правда, въ нашихъ засѣданіяхъ я велѣлъ ставить старшинамъ и писарямъ стулья—прежде они стояли—но когда васъ будутъ спрашивать, вы должны будете вставать... Словомъ, вы совершенно выйдете изъ... изъ интеллигентной сферы...

Я отвѣтилъ на это, что надѣюсь безъ особаго труда приноровиться къ новой обстановкѣ.

— Да, это, конечно,—говорилъ онъ въ раздумьѣ и потомъ внезапно оживился.—Но не пожелаете ли вы лучше занять мѣсто приказчика или конторщика въ чьей-нибудь экономіи? Я бы могъ похлопотать...

— Нѣтъ, благодарю васъ. Сельское хозяйство мнѣ незнакомо, и занятія въ конторѣ не представляютъ ничего привлекательнаго.

— Но вамъ незнакомо и писарство!.. Вы не знаете, какъ много въ волости самыхъ разнообразныхъ дѣлъ; это очень сложная и отвѣтственная работа.

— Надѣюсь справиться. А чтобы познакомиться съ дѣломъ, я покорнѣйше просилъ бы васъ назначить меня предварительно помощникомъ писаря въ какую-либо волость.

— Да, это будетъ необходимо, — отвѣтилъ онъ, закуривая сигару.—Скажите жъ мнѣ, пожалуйста, — спросилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія, — что вы, однако, думаете: учить народъ или учиться у народа?

Мнѣ ужъ начало становиться неловко отъ его допроса, и потому я коротко отвѣтилъ.

— Изъ моихъ отвѣтовъ вы могли понять,—что ни того ни другого; я желаю лишь наблюдать и изучать, но не учиться и не учить.

Онъ смаковалъ сигару, поводя глазами по стѣнѣ; потомъ взялъ клочокъ бумаги и написалъ въ Демьяновское волостное правленіе записку — принять меня въ помощники писаря.

— Вотъ съ этой запиской поѣзжайте въ с. Демьяновское; это недалеко отсюда; васъ тамъ примутъ... Да постойте, я вамъ дамъ экземпляръ «Общаго Положенія» съ примѣчаніями; вамъ его надо изучить.

Онъ сталъ рыться въ хаосѣ книгъ, лежавшихъ на столахъ, стульяхъ, въ шкапахъ и просто на полу, — но все безуспѣшно.

— Не трудитесь, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ... Я гдѣ-нибудь достану, — замѣтилъ я.

— Нѣтъ, нѣтъ, постойте!.. Вѣдь вотъ тутъ она лежала, куда жъ она могла дѣться? Ну, видно до другого раза; я прикажу поискать. Прощайте!..

— Ну, что?—спросилъ меня Ковалевъ, когда я вернулся домой, — благополучно?

— Не знаю, право,—это покажетъ будущее. Во всякомъ случаѣ—завтра ѣду въ Демьяновское.

И я передалъ ему свой разговоръ со Столбиковымъ.

## Волостной сходъ.

Въ одинъ прекрасный августовскій вечеръ обыкновенно безлюдная площадка передъ волостнымъ правленіемъ кишѣла народомъ: это собирался обычный въ это время года волостной сходъ для производства полугодового учета денежныхъ суммъ, обращавшихся въ кассѣ правленія (для не совсѣмъ знакомыхъ съ порядками крестьянскаго самоуправленія поясню, что волостной сходъ составляется изъ всѣхъ сельскихъ старостъ по волости и сборщиковъ податей и изъ выборныхъ крестьянъ, по одному отъ каждыхъ десяти дворовъ). Это былъ первый сходъ, на которомъ я присутствовалъ, и меня сильно интересовало имѣющее на немъ происходить. Группы выборныхъ, по три и по пяти

человѣкъ, расположились въ тѣни растущихъ возлѣ зданія правленія акацій и лѣниво перекидывались отрывочными словами; у пожарнаго сарая стояли телѣги и лошади пріѣхавшихъ изъ дальнихъ деревень; хозяева задавали лошадямъ корму, не разсчитывая, очевидно, скоро возвратиться во-свояси; день былъ праздничный, нерабочій, и никто, по крайней мѣрѣ, громко не ропталъ на невольный прогулъ. Лѣниво отдыхали измученные на лѣтней работѣ члены мужицкихъ тѣлъ, съ удовольствіемъ лежали владѣльцы ихъ на спинѣ и поглядывали на чистое голубое небо, сулившее славную уборку проса... Картина была бы идиллическою, если бы не группа въ нѣсколько человѣкъ, очевидно, побывавшихъ уже въ бѣлой харчевнѣ, и теперь задорно о чемъ-то переругивавшихся между собою. Старосты, съ значками на груди, толпились въ канцеляріи и нетерпѣливо переминались съ ноги на ногу. Ястребовъ (писарь) уже нѣсколько разъ спрашивалъ: «ну, всѣ?» — на что слышались отвѣты: «Подтыкинскаго старосты еще нѣтъ... пѣтуховскій не пріѣзжалъ, кажись»... «Что врешь-то! пѣтуховскій здѣсь!» — «И то? Ку-быть нѣтъ»... «Анъ здѣсь въ трактирѣ!» Противникъ умолкалъ, не находя ничего страннымъ въ томъ обстоятельствѣ, что пѣтуховскій староста одновременно можетъ присутствовать и здѣсь, и въ трактирѣ. Наконецъ старшина, нѣсколько разъ уже вспотѣвшій въ душной комнатѣ, измученный долгимъ ожиданіемъ подтыкинскаго старосты, возгласилъ: «ну, выходите, да собирайтесь живѣе!», и всѣ стали выходить наружу. Послѣднимъ вышелъ Ястребовъ съ кучею книгъ подъ мышкою: это были денежныя книги, которыя слѣдовало провѣрить. На крыльцѣ поставлены были столъ и два стула — для писаря и старшины. Ястребовъ сталъ громко выкликать имена и фамиліи выборныхъ, отмѣчая по списку отсутствующихъ; по окончаніи переклички, сосчитавъ количество явившихся, онъ объяснилъ, что сходъ полонъ, — иначе сказать, что на немъ присутствуетъ болѣе половины всѣхъ лицъ, имѣющихъ право голоса на волостномъ сходѣ.

— Теперь, господа старички, — продолжалъ онъ, — намъ надо провѣрить, т.-е. учесть, суммы за полгода, съ 1 января по 1 іюля. Такъ слушайте же!

— Эй, вы! Слушайте всѣ! — эхомъ повторилъ за нимъ старшина.

Ястребовъ сталъ читать заранѣе приготовленный приговоръ, въ которомъ, послѣ обычнаго вступленія, говорилось:... «производили учетъ денежныхъ суммъ, обращавшихся въ нашемъ волостномъ правленіи, при семъ оказалось: къ 1 января 1881 года налицо состояло волостныхъ суммъ 643 р. $23^{1}/_{2}$ к., съ 1 января по 1 іюля поступило на приходъ 1.024 р. 89 к.; за это время израсходовано 1.430 р. 65 к., такъ что къ 1 іюля и т. д.»; въ томъ же родѣ — относительно переходящихъ суммъ, мірского капитала, штрафныхъ суммъ и проч. Въ концѣ приговора значилось: «нашли произведенный расходъ правильнымъ, а потому постановили: утвердить его, въ чемъ и подписуемся»... По прочтеніи этого документа, Ястребовъ громко спросилъ: «согласны? такъ, что ли?» И старшина поддержалъ: «согласны?» — Десятка два голосовъ крикнуло: «согласны!»

— Може, кто хочетъ книги али суммы провѣрить? — спросилъ опять старшина, и на этотъ разъ Ястребовъ его поддержалъ:

— Подходите, господа, кто желаетъ!

— Ну, гдѣ тамъ!.. Стоитъ возжаться... Са-агласны!..

— Такъ подымайте руки, — крикнулъ старшина, и сотня рукъ, какъ бы принося какую-то клятву, поднялась къ голубому, безоблачному небу.

Такъ происходилъ учетъ, и, какъ послѣ я на личномъ опытѣ узналъ, онъ почти всегда и всюду такъ происходитъ; да это и понятно; гдѣ же выискаться изъ числа совершенно безграмотныхъ крестьянъ охотнику повѣрить шесть денежныхъ книгъ съ тысячными приходами и расходами? Это совершенно невозможно, и это отлично извѣстно какъ самому сходу, такъ и волостнымъ, предлагающимъ сходу — «для формы» — учесть ихъ. Дѣйствительные же учеты хотя и бываютъ, но, въ большинствѣ случаевъ, лишь при смѣнѣ одного старшины другимъ: тогда затрогиваются интересы вновь поступающаго старшины, и онъ, а не сходъ, съ помощью писаря, а иногда и посторонняго счетчика, которому довѣряетъ, старается точно опредѣлить ту сумму, которую ему слѣдуетъ получить съ рукъ-на-руки; вотъ при этихъ-то не фиктивныхъ

учетахъ и раскрываются растраты, влекущія за собою скамью подсудимыхъ и арестантскія роты. Обыкновенные же полугодовые учеты — одна формальность, и никогда для чтенія заранѣе написаннаго приговора и «дачи на него рукъ» нейдутъ. Конечно, явленіе это довольно печально, такъ какъ указываетъ на отсутствіе сознанія общественной солидарности и на господство начала — «моя хата съ краю» и «лишь бы мое при мнѣ»; но, чтобы не слишкомъ сурово относиться къ демьяновцамъ, я просилъ бы читателя сгруппировать на мгновеніе въ своей памяти все то, что было имъ читано или слышано объ «учетахъ» въ нашихъ земствахъ, думахъ, акціонерныхъ компаніяхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ... Читатель непремѣнно долженъ припомнить и согласиться, что часто и очень часто учеты производятся въ указанныхъ учрежденіяхъ такъ же, какъ и на крестьянскихъ сходахъ: демьяновцы, не желая (и, замѣтьте, — почти не умѣя) контролировать своего начальства, поднимаютъ руки, изъявляя этимъ согласіе на все, написанное въ приговорѣ; а мы—пайщики, гласные или члены-благотворители — тоже не находимъ возможнымъ нанести стоящему во главѣ дѣла Петру Иванычу или Ивану Петровичу личное оскорбленіе—провѣркой его счетовъ и отчетовъ: подписано—и съ плечъ долой!.. «Пожалуйте хлѣба-соли откушать!..» А демьяновцамъ говорятъ: «ставлю ведро!..» Вотъ и вся существенная разница между нашими и ихъ сходками...

Послѣ учета произошелъ нѣкоторый перерывъ: стали шутки шутить и о своихъ дѣлахъ толковать; Ястребовъ любезничалъ съ десяткомъ выборныхъ, столпившихся около его стола.

— Вотъ сколько ихъ, книгъ, — все денежныя.

— Поди жъ ты! Извѣстно, а мы что знаемъ?..

— Да, большія тысячи берегу; потому что старшина вѣдь мною только и держится. Хоть сумма и у него въ рукахъ, а онъ ее и счесть порядкомъ не можетъ.

— Куда ужъ!.. Извѣстно, тутъ вѣдь тоже надо съ умомъ, а такъ пойди — сунься-ка!..

— Пріѣзжалъ намедни самъ губернаторъ, спрашиваетъ «книги»! Я ему и выволокъ вотъ эту кучу, говорю «денежныя», потомъ еще и еще кучу, — онъ смотритъ, а я все таскаю...

— Хо-хо-хо-хо!.. Такъ-то!.. И смотритъ, говоришь?.. Должно, думалъ, то-ись про себя... а у насъ вѣдь не какъ-нибудь: въ аккуратѣ, значитъ... Ну, ловко!

— То-то, въ аккуратѣ! Я стараюсь, ну и вамъ хорошо.

— Это конечно... Что и говорить!

— Я всегда ваше добро соблюдаю. Вотъ, теперь скоро зима подойдетъ, опять училище топить надо будетъ, — а сколько вы соломы въ него пожжете? И напрасно совсѣмъ: въ немъ двѣ комнаты совсѣмъ лишнія, и печка въ нихъ особая, — ее тоже зиму-то протопить чего-нибудь стоитъ! А вотъ пустили бы меня въ эти комнаты жить, пока еще домишко мой строится,— я бы и печь эту топилъ: и вамъ бы барышъ, и меня бы уважили!..

— Это что! Это пустое!.. Намъ что,— убытка нѣтъ. Извѣстно, коли лишнія, отчего же не жить?.. Только ты намъ, Григоръ Ѳедорычъ, поднести могорычикъ, хоть полведра...

— Много, старички, не изъ чего: топка тамъ большая будетъ, убытокъ одинъ. Четверточку могу...

— Ну что изъ нея дѣлать,—бороды не обмочишь. Ты ужъ не жмись, поднеси старикамъ! Уважь, и мы тебя не забудемъ.

— Ну что жъ, такъ — и такъ. Только какъ общество?..

Одинъ изъ выборныхъ, уже на-веселѣ, шепнулъ что то на ухо Ястребову, а потомъ, что есть силы, заоралъ:

— Старички, господа пятидворные! Послухайте сюда!

Шумный говоръ нѣсколько затихъ. Старшина, все время тоже бесѣдовавшій съ другой группой, съ неудовольствіемъ спросилъ кричавшаго:

— Ты чего глотку дерешь, идолъ! Чего надыть?..

— Я сейчасъ, Матвѣй Иванычъ. Я одно словечко... Такъ вотъ, старички, что я думаю: училища наша намъ одинъ убытокъ, — соломы кажинную зиму травимъ копенъ триста; шутъ ее знаетъ, куда идетъ такая прорва!.. А все потому, что хороминъ въ ней много залишнихъ; а на кой ихъ лядъ зря топить? Учительша, извѣстно, рада, что ей простору много,— ну, а намъ это не антиресъ! Теперь Гри-

горій Өедорычъ, писарь, отъ себя желаетъ всю зиму двѣ хоромины отапливать,—ну, чтобы ему и жить тамъ,—такъ какъ, старички, согласны будете? Полведра жертвуетъ!..—особенно громко выкрикнулъ въ заключеніе ораторъ.

— Жалаимъ, жалаимъ!..—крикнуло съ полсотни человѣкъ и громче прочихъ тѣ избранные, которые передъ этимъ торговались съ Ястребовымъ.

Но тутъ внезапно вмѣшался въ дѣло старшина; онъ мгновенно стряхнулъ съ себя свою апатію и азартно сталъ выкрикивать, жестикулируя руками:

— Старики! Это не въ порядкѣ, такъ нельзя!.. Какъ же теперь общественное зданіе, учоба тамъ, начальство разное наѣзжаетъ, и, къ примѣру, писарь поросятъ заведетъ, либо куръ?.. Не хорошо будетъ. Учительшѣ опять стѣсненіе — хоромину у ней отнять надо... Это не дѣло, я такъ и печать прикладывать не буду! А въ мысляхъ у меня — надо сдѣлать вотъ какъ: у насъ теперь два магазея: новый ежели пустить подъ хлѣбъ, а старый перечинить и училище изъ него сдѣлать,—онъ какъ разъ выйдетъ въ четыре покоя; а энто училище продать съ аукціона, да на деньги, что выручимъ, починить магазею. Такъ ли я говорю?..

— Такъ; это что жъ!.. И такъ можно,—поддержало его съ десятокъ голосовъ.

— Не надо, не надо,—кричали въ другой сторонѣ. — Опять деньги гноить на чинку!.. Знаемъ ужъ, наслышались объ этихъ штукахъ довольно!..

— Дубина ты неотесаная! Ты пойми, чинить эвто училище тоже вѣдь надо? А гдѣ денегъ возьмемъ?..

— А ну те и съ училищемъ! Такъ вовсе его къ ляду!..

— Дубина, такъ дубина и есть!..

— Самъ съѣшь!..

— Брось его, что съ нимъ толковать...

— Старики! Григоръ Өедорыча пустить?

— Пустить!.. Продать!.. Ну ихъ въ болото, пусть по старому остается!.. Пустить!.. Не надо!.. Прода-ать!..

Писарь отошелъ въ это время въ сторону съ недавнимъ ораторомъ; они меня не замѣчали и жарко шептались:

— Ты не сумлѣвайся, Өедорычъ,—али впервые?.. Ставь, говорю, полведра и вся недолга...

— Поставить не долго, да что выйдетъ-то?

— То и выйдетъ, что всѣ къ ней потянутся, а ты всѣхъ и пиши къ приговору.

— Ну, ладно; а вамъ потомъ, кто понужнѣй, особливый могорычъ.

— На этомъ спасибо...

Шепчущіе уходятъ. Черезъ минуту я начинаю замѣчать, что крики постепенно стихаютъ, но не потому, что мужичьи глотки охрипли, а потому, что толпа стала быстро рѣдѣть, устремляясь по направленію къ «заведенію», гдѣ поставлена была выговоренная водка. Старшина гнѣвно махнулъ рукой и пошелъ въ волость; сходъ, такимъ образомъ, кончился.

## Выборы волостныхъ судей.

— Петровичъ!—взываю я почти каждое воскресенье между тремя и четырьмя часами пополудни:—сажай судей.

Это значитъ, что старостъ я отпустилъ, просителей всѣхъ удовлетворилъ и теперь намѣреваюсь приступить къ отправленію правосудія. Петровичъ отставной солдатъ, семидесяти-пяти лѣтъ отроду, но бодрый и свѣжій, съ зычнымъ голосомъ и представительною наружностью; онъ—сторожъ при волостномъ правленіи, получаетъ шесть рублей жалованья въ мѣсяцъ; въ будни вставляетъ свѣчи въ подсвѣчники, «соблюдаетъ» сидящихъ въ арестантской и спитъ по ночамъ на денежномъ сундукѣ правленія; по воскресеньямъ же его главная обязанность заключается въ извлеченіи, по мѣрѣ надобности, изъ «Центральной Бѣлой Харчевни» то старшины, то судей, то тяжущихся... Ахъ, эта «Бѣлая Харчевня!» Сколько она мнѣ крови испортила за эти три года!.. Расположена она какъ разъ напротивъ волости, саженяхъ въ двадцати отъ нея (есть законъ, что кабаки не могутъ быть ближе 40 саж. отъ волости, а бѣлыя харчевни, т.-е. тѣ же кабаки, но съ продажей горячаго чая— это ничего), флаги надъ ней такъ весело полощутся, а въ открытыя двери несется такой заманчивый гулъ, что рѣдкій посѣтитель волости утерпитъ не заглянуть и въ «Харчевню», считая ее какимъ-то необходимымъ дополненіемъ къ волостному правленію. Просовывается, напримѣръ, ко

мнѣ въ дверь канцеляріи чья-нибудь кудластая голова и спрашиваетъ:

— Яковъ Иваныча, старшины, нѣтъ тута?

— Нѣтъ,—отвѣчаешь съ сердцемъ, потому что приходится въ это утро въ десятый разъ отвѣчать на подобный вопросъ. Посѣтитель, ничего больше не разспрашивая, твердыми стопами направляется въ «Центральную» и, пробывъ тамъ болѣе или менѣе долгое время, возвращается уже съ румянцемъ на лицѣ, предшествуемый обезпокоеннымъ старшиной, который, торопясь, открываетъ денежный сундукъ, вынимаетъ требуемую гербовую марку или паспортъ и вновь спѣшитъ въ «Центральную», гдѣ такъ внезапно была прервана его дружеская съ кѣмъ-нибудь бесѣда... И такъ ежедневно, по десяти и болѣе разъ. По воскресеньямъ же «Харчевня» рѣшительно отравляетъ мое существованіе...

— Петровичъ! Гдѣ Петровичъ?—взываю я во всю глотку до тѣхъ поръ, пока кто-либо изъ десятскихъ не сжалится надо мной и не объяснитъ, что «Петровичъ въ трактирѣ-съ».

— Бѣги скорѣй, тащи его сюда, да и судей захвати.

Я очень боюсь, чтобы Петровичъ не напился, потому что онъ незамѣнимъ въ роли судебнаго пристава для вызыванія тяжущихся и свидѣтелей и водворенія между ними порядка. Онъ такъ зычно покрикиваетъ, такъ энергично поворачиваетъ и выпроваживаетъ изъ комнаты какого-нибудь забредшаго «на огонекъ» пьянчужку, что публика боится его гораздо больше, чѣмъ самого старшины. Вообще Петровичъ—рѣдкій и крайне симпатичный типъ стараго служаки, всѣмъ существомъ своимъ преданнаго начальству... Миръ праху его, этого вѣрнаго слуги, нашедшаго разъ пачку съ деньгами до пятисотъ рублей, забытую старшиною на столѣ, и возвратившаго ее безъ всякаго промедленія: за этотъ подвигъ онъ получилъ отъ старшины рубль серебра... Исполнителенъ онъ былъ замѣчательно; бывало, скажешь ему: «пришли мнѣ завтра въ $4^1/_2$ часа утра лошадей на квартиру»,— и ужъ вполнѣ увѣренъ, что лошади ни на пять минутъ не опоздаютъ, ни на четверть часа ранѣе назначеннаго срока не пріѣдутъ... Былъ однажды на судѣ такой случай: тягались два мужика о запроданной лошади; свидѣтелемъ у одного изъ тяжущихся былъ священникъ изъ сосѣдняго села, который очень тянулъ руку своего кліэнта и даже съ азартомъ наскакивалъ на судей, покрикивая такъ: «да чего вы думаете?—тутъ и думать нечего! Пишите прямо: отказать» и проч. Между тѣмъ я замѣтилъ, что дѣло попова кліэнта неправое, да и судьи, хотя поддакивали «батюшкѣ», но тоже что-то мялись; необходимо было имъ дать поговорить между собой, но никакъ не въ присутствіи полуначальственнаго лица, т.-е. священника. Поэтому я, по обыкновенію, предложилъ всѣмъ присутствующимъ оставить комнату, «такъ какъ судьи будутъ совѣщаться». Всѣ вышли, кромѣ священника, преважно разсѣвшагося на диванѣ, съ видимымъ намѣреніемъ производить «давленіе» на судей.

— Батюшка,—говорю я ему,—предложеніе мое—на время удалиться изъ этой комнаты—относилось къ вамъ въ той же степени, какъ и ко всѣмъ прочимъ.

— А вы что жъ не уходите?—придирчиво спрашиваетъ онъ меня.

— Моя обязанность быть здѣсь въ качествѣ секретаря суда. Постороннимъ же здѣсь нѣтъ мѣста.

— Я уйду только въ томъ случаѣ, если и вы уйдете,—настойчиво твердитъ расходившійся пастырь.

— Петровичъ,—говорю я,—попроси батюшку оставить эту комнату.

Несмотря на свою набожность и полное уваженіе къ духовенству, Петровичъ мигомъ подскочилъ къ священнику и, взявъ его легонько за рукавъ рясы, вѣжливо но настойчиво просилъ удалиться; тотъ во избѣжаніе пущаго скандала, покорился... Я потомъ спрашивалъ Петровича, какъ это онъ рѣшился вывести священника?— «Мнѣ покойный предводитель Сафоновъ говорилъ,—отвѣчалъ онъ:—старикъ, ты знай только старшину да писаря,—ихъ только и слушайся; а становые, урядники и прочая шушера—для тебя не начальники. Вотъ я теперь и знаю, что старшина или писарь сказалъ, такъ тому и быть. Онъ, батюшка-то, у себя въ церкви хозяйствуй, а здѣсь онъ не хозяинъ...» Такъ вотъ каковъ былъ Петровичъ.

Возвращаюсь къ прерванному разсказу. Десятскій бѣжитъ въ харчевню, но судей безпокоить не рѣшается, а приглашаетъ

только «дяденьку Петровича» — такъ всѣ его называютъ — «сходить къ писарю». Этотъ послѣдній на полусловѣ обрываетъ рѣчь и мгновенно является въ дверяхъ канцеляріи, вопрошая: что прикажете?

— Ты, другъ мой, который счетомъ шкаликъ пропустилъ?.. Только говори по совѣсти!

— Врать не буду, Н. М.,—четвертый.

— Ну, это ничего; только больше до конца суда—ни-ни!.. Зови же судей.

— Слушаю-съ.

Онъ дѣлаетъ налѣво кругомъ и бѣглымъ шагомъ отправляется въ харчевню... Жду пять, десять минутъ, — наконецъ появляются и судьи.

— Ужъ вы простите великодушно, Н. М., — признаться, чайкомъ съ морозу побаловались. Морозецъ нынѣ важный, благодаря Создателю!

— Добраго здоровьица, Н. М., съ праздничкомъ-съ! Все ли по-добру себѣ, по-здорову?

— Слава Богу, благодарю... Садитесь, пожалуйста, пора начинать, а то поздно засидимся: нынче восемнадцать дѣлъ.

— Господи, Создатель милосердный! Да откуда жъ ихъ такая пропасть?.. Нѣтъ, вы ужъ насъ не держите, Н. М., выпустите поскорѣе: нельзя ли кой-какія до будущаго воскресенья отложить?..

— Къ будущему воскресенью опять наберется десятка два дѣлъ,—ужъ сейчасъ семь жалобъ новыхъ записано. Садитесь, начнемъ поскорѣе, чего народъ зря держать...

Крестясь и покряхтывая, залѣзаютъ судьи на свои мѣста, позади длиннаго стола, покрытаго зеленымъ сукномъ. Ихъ четверо. Но позвольте мнѣ сначала разсказать, кто сейчасъ сидитъ со мной за этимъ судейскимъ столомъ, и какимъ путемъ они достигли высокаго званія народныхъ судей.

На самомъ дальнемъ концѣ стола, противъ того мѣста, гдѣ обыкновенно стоятъ тяжущіеся, сидитъ Петръ Колесовъ, мужикъ изъ средне-состоятельнаго дома, лѣтъ около сорока, живой и юркій, любящій вести допросы и ежеминутно перебивающій какъ свидѣтелей, такъ и тяжущихся своими восклицаніями и замѣчаніями. Колесовъ всегда съ живѣйшимъ интересомъ слушаетъ дѣло, задаетъ вопросы, очень остроумные, хотя подчасъ къ дѣлу не относящіеся, а имѣющіе только цѣлью уяснить лично Колесову какое-нибудь непонятное ему побочное обстоятельство, о которомъ кто-либо упомянулъ на судѣ. Когда дѣло доходитъ до постановки рѣшенія, то онъ всегда первый предлагаетъ что-нибудь, но зачастую отказывается отъ своего мнѣнія подъ вліяніемъ разсужденій сосѣда, Дениса Черныхъ. Денисъ, безспорно, мужикъ умный, разсудительный; несмотря на свои 60 лѣтъ, онъ еще крѣпокъ и не покидаетъ сохи, хотя у него трое взрослыхъ сыновей. Говоритъ Денисъ мало, слушаетъ тяжущихся, опустивъ глаза въ землю и сохраняя безстрастное выраженіе лица; онъ, несомнѣнно, предсѣдатель нашего суда, хотя такой должности въ дѣйствительности и нѣтъ; но его авторитетъ настолько великъ, что при постановкѣ рѣшенія очень рѣдкіе осмѣливаются перечить ему. Колесовъ уступаетъ ему охотно, хотя и позволяетъ себѣ иногда задать нѣсколько вопросовъ или хотя бы сдѣлать нѣсколько восклицаній, долженствующихъ выразить его удивленіе и сомнѣніе. Совершенно иначе относится къ Черныхъ другой его сосѣдъ, Василій Пузанкинъ, или, какъ его попросту называютъ лишь только онъ выйдетъ изъ-за судейскаго стола, — Васька Голопузъ. Этотъ Васька — типъ деревенскаго прохвоста, на все готоваго за рубль и за полштофъ водки; въ судьи онъ попалъ благодаря поддержкѣ подобныхъ ему, которымъ онъ «стравилъ» рубля полтора на водку, — и вотъ теперь онъ старается «вернуть свое». Онъ совершенно продаженъ; съ упорствомъ, достойнымъ лучшей участи, отстаиваетъ онъ кругомъ неправаго, если этотъ неправый посулилъ ему могорычъ; онъ со злостью уступаетъ только соединеннымъ усиліямъ Дениса и Петра, подкрѣпляемымъ и моимъ писарскимъ авторитетомъ, и часто имѣетъ нахальство, уступивъ, приговаривать: «смотрите, дѣло ваше; человѣка, извѣстно, не долго обидѣть... А нужно такъ, чтобы, то-есть, по правдѣ...» Въ эти минуты великолѣпенъ Черныхъ, бросающій на озлобленнаго взяточника мрачно-презрительные взгляды; подъ вліяніемъ этихъ взглядовъ причитанія Васьки становятся все тише и тише и, наконецъ, переходятъ въ невнятный шопотъ про себя. На судъ Васька является

всегда нѣсколько зарумянившимся отъ трехъ, четырехъ выпитыхъ «въ задатокъ» стаканчиковъ; выпить сверхъ этого онъ не рѣшается до суда—съ того времени, какъ я однажды потребовалъ, чтобъ онъ вышелъ изъ-за судейскаго стола, такъ какъ онъ былъ окончательно пьянъ; Васька было запротествовалъ, не желая оставлять теплаго мѣстечка, но я объявилъ, что не буду продолжать дѣла и покину судейскую комнату на все то время, покуда тамъ будетъ засѣдать пьяный Васька. Это подѣйствовало: онъ вышелъ изъ-за стола и впослѣдствіи остерегался уже «перепускать» лишній стаканчикъ, изъ боязни вновь осрамиться; зато, по окончаніи судовъ, Пузанкинъ переставалъ стѣсняться и напивался съ тяжущимися до положенія ризъ. Любопытнѣе всего, что его угощали даже тѣ изъ судившихся, которые, несмотря на его заступничество въ судѣ, проигрывали тяжбы; дѣлалось это изъ благодарности за подмогу: все-таки, молъ, старался человѣкъ, а и такъ сказать надо,—можетъ-быть, и хуже безъ него было бы... Но большею частью Васька доилъ имѣющихъ еще только судиться въ будущемъ, застращивая однихъ и суля другимъ всякую благодать, а зачастую не стѣснялся выпить и съ противной стороны стаканчикъ-другой, при чемъ склонялъ ее на мировую съ уступкою, стращая всякими ужасами... Словомъ, это былъ въ полномъ смыслѣ негодяй.

Четвертый судья, Ѳедька-ямщикъ, былъ дѣйствительно ямщикомъ и попалъ въ судьи именно потому, что онъ былъ ямщикъ. Свою судейскую обязанность онъ отправлялъ, какъ натуральную повинность; во время дѣлопроизводства обыкновенно дремалъ, во всемъ соглашался съ мнѣніемъ большинства, по нѣскольку разъ мѣняя свои рѣшенія, и думалъ только объ одномъ: какъ бы скорѣе отпустили его ко «двору». Это онъ-то всегда и проситъ меня передъ началомъ засѣданія,—нельзя ли нѣсколько дѣлъ отложить до другого раза? Такимъ образомъ Ѳедька сидѣлъ только для счета, никакого вліянія на ходъ дѣла не оказывая.

И вотъ за однимъ столомъ сидятъ такія разнохарактерныя личности, каковы: Петруха Колесовъ и Ѳедька-ямщикъ, Денисъ Черныхъ и Васька Голопузъ. Какъ же они попали сюда, кто и какъ уполномочилъ ихъ отправлять функціи народнаго правосудія?

Начало января мѣсяца; большая комната сборни при волостномъ правленіи биткомъ набита выборными на волостной сходъ, явившимися для составленія смѣты волостныхъ расходовъ на начинающійся годъ и для производства выборовъ двѣнадцати волостныхъ судей, полномочія которыхъ простираются также на одинъ годъ. Смѣту уже составили, жалованье всѣмъ назначили, при чемъ выторговали съ волостныхъ ямщиковъ ведро, со сторожа и съ десятскаго (которымъ положили—первому шесть и второму—четыре рубля въ мѣсяцъ)—по четверти, да отъ старшины,—коли его милость будетъ,—ожидается полуведерка. Такимъ образомъ въ перспективѣ имѣется два ведра водки, т.-е. по полтора шкалика на человѣка, потому что собравшихся всего около ста сорока душъ. Понятно, что всѣ горятъ нетерпѣніемъ приступить къ даровому угощенію и поэтому съ явнымъ неудовольствіемъ выслушиваютъ мое предложеніе избрать изъ своей среды двѣнадцать человѣкъ на должность волостныхъ судей. Слышится даже нѣсколько восклицаній: «да чего тамъ выбирать, назначай кого-нибудь, все равно отходятъ!» но восклицанія эти все-таки подавляются крикомъ большинства: «Нѣтъ, такъ нельзя,—дѣлать нечего, надо по закону! Ужъ мы сами назначимъ, какъ допрежь было!..»

— Ну, такъ выбирайте, господа; кого желаете?—повторяю я.

— Да вы разложите по душамъ, много ли на каждое общество приходится судей-то?

— Это не по закону будетъ, господа; надо, чтобы весь сходъ производилъ выборы, а не каждое общество отдѣльно.

— Да изъ кого же, лѣшій ихъ возьми, будемъ выбирать-то, коли, примѣромъ сказать, никольскіе никого изъ нашихъ не знаютъ, а мы никольскихъ впервое въ глаза видимъ? Кабы всѣ изъ одного села были, ну тамъ другъ дружку все-таки знаемъ, а тутъ за пятнадцать-то верстъ поселки наши лежатъ,—намъ никогда и бывать-то у нихъ не приходилось!..

— Все это такъ, господа, но я не могу раскладку судейской повинности по душамъ дѣлать; мнѣ законъ не разрѣшаетъ.

— Дозвольте намъ выйти, пообдуетъ насъ маленько вѣтеркомъ-то, а то дюж

ужъ запотѣли... Выходи, ребята, на улицу, тамъ столкуемся!..

Толпа выходитъ на «вѣтерокъ», но нѣсколько человѣкъ забѣгаютъ предварительно въ канцелярію, гдѣ сидитъ мой помощникъ, и просятъ его сдѣлать неофиціальную раскладку—по многу ли судей на каждое общество приходится соотвѣтственно числу его ревизскихъ душъ. Оказывается, что изъ Кочетова должно быть выбрано четыре человѣка, изъ Никольскаго двое, изъ Осиновки двое, изъ Надгорнаго и Троицкаго [1]) вмѣстѣ—одинъ, и т. д. Справлявшіеся выходятъ къ ожидающей ихъ у крыльца толпѣ, которой и передаютъ результатъ раскладки; тогда общая толпа распадается на кучки односельчанъ, и начинаются оживленные толки. Я прислушиваюсь къ тому, что происходитъ въ самой многочисленной группѣ, состоящей изъ представителей села Кочетова.

— Такъ какъ же мы надумаемся теперь дѣлать-то, господа?—ведетъ пренія Иванъ Моисеичъ.—Давайте двоихъ изъ нашего прихода выберемъ, а двоихъ изъ энтаго, чтобы поровну было.

— Ладно, валяй...

— У насъ, я думаю, Петруху Колесова можно да Прохора Дубоваго... Ладно, что ли, будетъ?

— Чего лучше!.. Отходятъ!.. Валяй теперь, ребята, своихъ!

— У насъ Гаврикова Илюху да Ваську Пузанкина!—авторитетно заявляетъ Парфенъ.

— На кой лядъ Пузанкина-то?..—восклицаетъ одинъ скептикъ.

— Какъ на кой лядъ? Да чѣмъ же онъ хуже другихъ-то?..

— Да я, то-ись, къ слову.

— Къ слову!.. Нѣтъ, ты мнѣ скажи, чѣмъ онъ плохъ?.. Не сумѣетъ нешто разсудить, думаешь?.. Да онъ лучше твоего разсудитъ, небось!..

— Да я ничего, я только, то-ись, про себя мекаю... А ну-те къ ляду, отвяжись ты совсѣмъ!—внезапно озлобляется скептикъ.

— Ваську, Ваську Пузанкина!—поддерживаютъ Парфена человѣкъ пять сторонниковъ Пузанкина, только-что распившихъ три полштофа на его, Пузанкина, счетъ.

Иванъ Моисеичъ безмолвствуетъ. Онъ свое дѣло сдѣлалъ, своихъ двухъ кандидатовъ (Колесовъ ему сватъ, а Дубовый—пріятель-сосѣдъ) провелъ, а до другихъ ему дѣла нѣтъ... Но тутъ мое вниманіе отвлекается другой группой избирателей.

— Конаться, вотъ что! Иначе никакъ нельзя...

— И чудакъ же ты, братецъ мой!.. Вѣдь прошлымъ годомъ нашъ надгоренскій Тимоха отходилъ, теперь вашему троицкому чередъ...

— Ладно, толкуй Захаръ съ бабой!.. А позапрошлымъ годомъ опять-таки нашъ Андрюха ходилъ?.. А душъ-то у васъ сто сорокъ, а у насъ сто пятнадцать,—вотъ и нѣтъ никакого расчета намъ съ вами наравнѣ чередоваться: душъ-то у васъ побольше...

— Ну, шутъ съ тобой, конайся, коли такъ!..

— Живетъ! такъ на слѣдующій годъ опять вашъ надгоренскій будетъ, а нонѣ кому достанется!.. Такъ, что ли, старички?..

— Такъ, такъ!.. Кому жъ конаться?..

— Ну, у насъ опричь тебя, Фролушка, некому быть,—ты здѣсь одинъ отъ трехъ душъ. Конайся ты! А у васъ кто будетъ?

— Да у насъ вотъ Игнатъ Мартынычъ.

— Эхъ, сватъ, лучше бы ужъ тебѣ; старъ я сталъ, пора бы и на покой.

— Вотъ-та! Намъ стариковъ-то и надо, которые насъ бы уму-разуму по-старински учили... Такъ-то. Походишь, небось, не умрешь!.. А умрешь, все почетнѣе упоминать будутъ! Судьей былъ, скажутъ... хо-хо!..

— Охъ, не хотѣлось бы мнѣ!..—продолжалъ упираться старикъ, но, легонько подталкиваемый сзади сватомъ, придвигается къ кандидату «противной партіи», Фролушкѣ, и берется съ нимъ за кнутовище: чья рука придется, при послѣдовательномъ перемѣщеніи ихъ къ противоположному концу кнутовища,—тотъ, значитъ, и судья... Судьба оказалась милостива на этотъ разъ къ Игнату Мартынычу и опредѣлила въ судьи Фролушку, развеселаго малаго, лѣтъ тридцати-трехъ, четырехъ.

А вотъ и еще одна группа, привлекшая мое вниманіе.

---

[1]) Кстати, считаю долгомъ замѣтить, что всѣ названія мѣстъ и имена лицъ, которыя приведены въ этихъ очеркахъ,—вымышлены.

— Ѳедя, а Ѳедя, да что тѣ стоитъ, не упрямься, — выручи ты насъ, сдѣлай милость!..

Оказывается, что очередь выставить судью пала на селеніе Хуторки, отстоящее отъ Кочетова на 30 верстъ; это выселки изъ села Гладкаго, которое во время VIII ревизіи получило прирѣзку на излишнее количество душъ въ отдѣльномъ участкѣ, потому что поблизости свободныхъ казенныхъ земель уже не было. Но Хуторки, хотя и составляютъ отдѣльное, самостоятельное селеніе и даже избираютъ своего старосту, все-таки остались причисленными къ кочетовской волости, потому что владѣнная запись на землю у нихъ общая съ метрополіей—селомъ Гладкимъ; отсюда крайне отяготительная обязанность для хуторянъ—ѣздить въ Кочетово на суды, сходы и проч. Они нанимаютъ особаго ямщика, Ѳедьку, платя ему 90 рублей въ годъ, чтобы онъ доставлялъ по воскресеньямъ старосту въ волость и отвозилъ бы его обратно; теперь же, когда до хуторянъ дошла очередь «выставить своего судью», они и пришли въ крайнее затрудненіе, потому что никто изъ четырехъ выборныхъ не хочетъ каждое воскресенье дѣлать прогулку въ 60 верстъ. Просили они кочетовскихъ ослобонить ихъ, взять на себя лишнюю судейскую должность, да тѣ заломили ведро водки, а они давали только четверть... Ну, насмѣялись надъ ними только: «ладно, отходите, разжирѣли тамъ, сидя въ углу-то! А вы вотъ съ наше походите-ка!..»

— Да что, ребята, подумаю я,—говоритъ одинъ изъ выборныхъ,—Ѳедькѣ все равно кажинное воскресенье забиваться сюда со старостой, такъ его и выберемъ въ судьи. Онъ посидитъ, посидитъ да и отходитъ, такъ-то, Господи благослови.

Нужно сказать, что Ѳедька попалъ и въ выборные на волостной сходъ на томъ же основаніи, т.-е., что ему ужъ все равно забиваться въ волость со старостой, такъ и въ выборныхъ, молъ, за одно отходитъ.

Всѣ отлично понимали, что Ѳедька ни на какую общественную должность, кромѣ старостинаго ямщика, не годится, потому что Богъ его умомъ обидѣлъ, не говоря ужъ про то, что онъ до страсти жаденъ на вино; но стремленіе съэкономить одного человѣка при отбываніи общественной повинности натолкнуло хуторскій міръ на мысль сдѣлать Ѳедьку однимъ изъ своихъ представителей. Ѳедька, послѣ легкаго протеста, получивъ полштофъ мірского вина, согласился принять на себя обязанности выборнаго на волостной сходъ, такъ какъ всѣ обязанности могли заключаться лишь въ томъ, чтобы при перекличкѣ на сходкѣ онъ сказалъ бы «здѣсь», а потомъ до самой минуты отъѣзда онъ могъ уже безпрепятственно хранить глубокое молчаніе и дремать, прислонившись спиной къ жарко натопленной печкѣ. Но перспектива судейскихъ обязанностей испугала Ѳедьку, и онъ энергично сталъ открещиваться отъ сдѣланнаго ему предложенія.

— Да что вы, почтенные, помилуйте, какой же я судья! Опять мнѣ за лошадью присматривать надо, а тамъ сиди за столомъ... Нѣтъ, ужъ вы ослобоните!..

— Пустое ты болтаешь! Прикажешь десятскому за лошадью посмотрѣть,—на то онъ и десятскій, а ты судья... А тамъ себѣ будешь смирнехонько въ теплѣ сидѣть, отсидишь, да и поѣдешь съ Господомъ...

— Никакъ это невозможно, старички.

— Ѳедька, будь другъ! Уважь міръ!.. Мы те и въ караульные цѣлый годъ выгонять не будемъ...

— Это вѣрно,—не будемъ!—поддерживаетъ «міръ» и староста.

— И два полштофа сейчасъ выставимъ тебѣ!..

Ѳедька колеблется.

— Да что толковать! — замѣчаетъ еще одинъ выборный:—насъ пятеро — цѣлую четверть мірскую выпьемъ, во какъ!..

— Выпьемъ!.. Это что и говорить!.. Такъ какъ же, Ѳедька? А?..

У Ѳедьки слюнки текутъ...

Сборная начинаетъ вновь наполняться; выборные столковались и спѣшатъ теперь объявить результаты своихъ совѣщаній.

— Кого же, господа - старички, желаете въ судьи?—спрашиваетъ старшина.

— Петруху Колесова! — объявляетъ Иванъ Моисеевичъ.

— Всѣ... Желаемъ!..— какъ одинъ человѣкъ отвѣчаютъ сто сорокъ выборныхъ.

— Прохора Дубоваго...

— Всѣ желаете?..

— Всѣ...—и т. д., покуда не будутъ провозглашены судьями всѣ двѣнадцать кандидатовъ, въ числѣ коихъ значатся и Илюха Гавриковъ, и Васька Пузанкинъ,

и Фролъ Бородинъ, и Өедоръ Ягодкинъ, т.-е. по обиходному—Өедька-ямщикъ...

— Господа, заканчиваю я выборы: у насъ издавна ведется, чтобы всѣ судьи разбивались на три очереди, по четыре человѣка въ каждой, при чемъ каждая очередь обязана «отходить» по четыре мѣсяца; первая очередь съ января по апрѣль включительно, вторая—съ мая по августъ, третья—съ сентября по декабрь. Дозволите вы мнѣ со старшиной распредѣлить новыхъ судей по очередямъ, или сами будете назначать, когда кому ходить?

— Чего тамъ!.. Стоитъ толковать изъ пустяковъ!.. Сами назначайте, вамъ виднѣе!..—слышатся со всѣхъ сторонъ восклицанія.

Сходъ кончается. Всѣ спѣшатъ къ «распивочному и на выносъ»—пить могорычи и разныя отступныя; волость мгновенно пустѣетъ,—остаемся только мы съ старшиной, потому что даже Петровичъ съ десятскимъ убѣжали, чтобъ изъ своихъ четвертей хоть по стаканчику выпить.

— Ну, какъ же, Яковъ Ивановичъ, надо вѣдь разсортировать судей? Я многихъ еще не знаю, такъ ты ужъ помоги мнѣ.

— Что жъ, это можно: вотъ Ваську Пузанкина надо пріобщить къ Черныху; этотъ окорачивать будетъ, а то Васька—дюже плутъ-мужикъ...

— Какой это Васька? Я что-то не припомню...

— А вотъ, что намедни приходилъ жаловаться на Воробьева Ивана, будто тотъ у него сѣно на гумнѣ потравилъ...

— А-а! Это что еще просилъ пять рублей за потраву, а на полтинникѣ сошелся?

— Ну, вотъ, этотъ самый, выжига такой, бѣда! Онъ ворочать теперь пойдетъ, посмотри-ка... Безпремѣнно къ нему Черныха приспособить надо.

— Ладно, записалъ. А вотъ Прохоръ Дубовый, этотъ каковъ изъ себя будетъ?

— Это Иванъ Моисеича сватъ? Что жъ, мужикъ хорошій, трезвый мужикъ. Про него дурного ничего сказать нельзя. Его хоть во вторую очередь запиши, онъ тамъ будетъ головой...

Такимъ путемъ и произошла разсортировка судей; послѣдствіемъ этого совѣщанія было, что въ знакомой уже намъ очередной группѣ находились такія разнохарактерныя личности, каковы Пузанкинъ, Черныхъ, Колесовъ и Ягодкинъ, взаимно дополнявшіе или нейтрализовавшіе другъ друга.

Посмотримъ, однако, что и какъ дѣлается этими судьями на этихъ народныхъ судахъ.

## Типичное засѣданіе волостного суда.

Итакъ, мы усаживаемся за столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; судьи сидятъ у стѣны по длинѣ стола, я—съ боку, за узкимъ концомъ его. Петровичъ мнѣ порадѣлъ, поставилъ единственное имѣющееся у насъ кресло; онъ это дѣлаетъ каждое воскресенье, несмотря на мои протесты: «вы больше ихъ работаете—пишете, а они только языкомъ болтаютъ; вамъ и отдохнуть надо, а на креслѣ и мягче и откинуться можно»,—говоритъ онъ; судьи сидятъ на разнокалиберныхъ стульяхъ. Засѣданіе наше носитъ вначалѣ офиціально-торжественный характеръ: судьи сидятъ въ застегнутыхъ наглухо полушубкахъ, туго перепоясанныхъ праздничными домоткаными кушаками; но по мѣрѣ того, какъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы засѣдаемъ, становится все душнѣе,—полушубки разстегиваются, позы становятся свободнѣе, на лицахъ сказывается утомленіе, рѣчь принимаетъ болѣе домашній характеръ. Но вначалѣ, какъ я сказалъ, всѣ держатся чопорно, глубоко вздыхаютъ, шепчутся другъ съ другомъ вполголоса, какъ бы боясь нарушить торжественность обстановки; Петровичъ стоитъ у дверей на вытяжку; на диванѣ сидятъ два офиціальныхъ свидѣтеля, при которыхъ читаются постановленія суда, что и отмѣчается въ книгѣ такимъ образомъ: «рѣшеніе это объявлено такого-то числа при свидѣтеляхъ, крестьянахъ такихъ-то». Такъ какъ комнатка наша мала, и къ тому же случается, что публика не ведетъ себя достаточно чинно, то, кромѣ этихъ двухъ свидѣтелей, присутствовать при допросахъ допускается лишь избраннымъ, изрѣдка приходящимъ «скуки ради» послушать суды: учителю, священникамъ, мѣстнымъ торговцамъ, Ивану Моисеичу и нѣкоторымъ другимъ лицамъ, составляющимъ сливки кочетовскаго общества. Для прочей, «черной» публики двери нашей

залы засѣданій растворяются только въ моментъ объявленія рѣшенія суда.

— Василій Коняхинъ!—вызываю я по жалобной книгѣ истца по первому, состоящему на очереди, дѣлу.

— Василій Коняхинъ!—гремитъ Петровичъ въ полуотворенныя двери, ведущія въ сборню.—Коняхинъ!

— Гдѣ Коняхинъ?.. Аль въ трактиръ ушелъ?

— Здѣся, чего кричишь!..

— Чего жъ ты не отзываешься, коли тебя зовутъ?—допекаетъ его нашъ судебный приставъ.

— Для-ча мнѣ отзываться?.. Ты зовешь,—я и иду, а отзываться мнѣ не для-ча...

— Ну-ну, не разговаривай, а становись вонъ къ печкѣ!..

Вошедшій мужикъ, сутуловатый и широкоплечій, съ угрюмымъ выраженіемъ лица, нѣсколько разъ истово крестится на икону, дѣлаетъ глубокій поклонъ судьямъ и, тряхнувши волосами, становится на указанное мѣсто.

— Вы Василій Ивановъ Коняхинъ?—спрашиваю я.

— Я самый.

— Въ чемъ ваша жалоба? Разсказывайте суду.

— Въ чемъ?.. Извѣстно, въ чемъ: Гришка побилъ!

— Чей это Гришка?—вмѣшивается Колесовъ.

— Волковъ.

— А-а... Волковъ? Это Матвѣя Ивановича зять? Ну, такъ, такъ... Побилъ, говоришь ты, и больно?

— Лучше не надо. Глазъ во-какъ раздуло, почернѣлъ совсѣмъ; теперь зажило.

— Такъ-съ. Гдѣ же у васъ дѣло-то было?

— Да около кабака. Я домой хотѣлъ ѣхать, а онъ догналъ и давай бить...

— Такъ ни за что и побилъ?

— Ни за что... Съ празднику мы ѣхали, отъ гудовскихъ. Праздникъ у нихъ былъ.

— Да что жъ у тебя языкъ-то, прости Господи, словно жерновъ ворочается! Сказывай веселѣе, какъ у васъ дѣло было?

— Сказывать-то нечего: побилъ да и только. Безъ глазу двѣ недѣли ходилъ...

— Н. М.!—обращается ко мнѣ Колесовъ, потерявъ охоту допрашивать такого неразговорчиваго субъекта,—зовите виновника: послушаемъ, что онъ скажетъ, а отъ этого никакого толку не добьешься.

На выкликъ Петровича, въ комнату быстро входитъ, очевидно, ожидавшій у дверей отвѣтчикъ Григорій Волковъ, юркій, вертлявый мужиченка, на видъ гораздо слабѣе коренастаго Коняхина. Онъ начинаетъ говорить, не дожидаясь вопроса.

— Не вѣрьте, господа судейскіе, ему, онъ навретъ со злобы, ей-Богу, навретъ, какъ пить дастъ..

— Ты не мели!—осаживаетъ его Денисъ Ивановичъ,—а говори дѣломъ, что и какъ у васъ было?

— Изволите видѣть, господа судейскіе: были мы, значитъ, у праздника, въ Годовкѣ, значитъ... Тамъ на Введеніе завсегда престолъ бываетъ...

— Знаемъ, какъ не знать; сами не однова были!—не утерпѣлъ, чтобы не вставить своего слова, Колесовъ.

— Вотъ, вотъ, это я говорю... Хорошо-съ; ѣдемъ мы оттелева съ нимъ, я на его лошади—потому, первымъ дѣломъ, лошади у меня нѣтъ—еще около Покрова увели; може, слыхали?...

— Съ озимей?—участливо замѣчаетъ Колесовъ.

— Съ озимей, съ озимей; какъ пить дали, увели... А добрый меренокъ былъ,—хоть и въ годахъ, а грѣхъ покорить... Ладно; такъ я и говорю: кумъ (а онъ мнѣ и кумомъ еще доводится)!—поѣдемъ къ празднику вмѣстѣ! «Ну, что жъ, говоритъ, поѣдемъ...»

— Вы покороче говорите,—останавливаю словоохотливаго разсказчика, опасаясь, что мы принуждены будемъ выслушать подробное повѣствованіе о всѣхъ ихъ похожденіяхъ на праздникѣ.—Сказывайте прямо, съ чего у васъ драка вышла? Тамъ, что ли, подрались?..

— Упаси Богъ, зачѣмъ тамъ! Мы тамъ, то-ись, во-какъ, душа въ душу были и вмѣстѣ по гостямъ ходили; а это ужъ какъ мы назадъ ѣхали, неудовольствіе-то промежъ насъ приключилось. Чтой-то, говорю, кумъ, прозябъ я будто маленько?—«И то, говоритъ, холодно что-то къ ночи».—Заѣдемъ, говорю, въ Шепталину, она намъ по дорогѣ будетъ, по стаканчику и выпьемъ. Заѣхали. Спросилъ я у цѣловальника Ивана Митрича, косушку, да и говорю: меня вѣдь, кумъ, денегъ-то нѣту, ужъ видно, ты заплатишь.—Въ ту пору онъ

промолчалъ; только какъ выпили по стаканчику, онъ и сталъ ко мнѣ приставать, чтобъ я ему на свои деньги поднесъ косушку. Я ему божусь, что денегъ нѣту, а онъ, видно, опять захмелѣлъ — ругаться сталъ: «такой да сякой, на моей лошади ѣдетъ да еще мою водку пьетъ; иди же, говоритъ, пѣшкомъ, а я не повезу». И пошелъ садиться на телѣгу. Я за нимъ: кумъ,—говорю,— да что ты очумѣлъ, родимый, что ли? Тутъ еще пять верстъ до дому, а ужъ ночь на дворѣ: куда я пойду въ этакую темь?.. А кумъ мой распрелюбезный быдто меня и не слышитъ, и ухомъ не ведетъ, знай понукаетъ лошадь; ну, я тутъ и схватился за вожжу—попридержать его маленько... Ка-акъ онъ мнѣ въ тую пору дастъ леща прямо въ ухо, ажъ звонъ у меня въ головѣ пошелъ!.. Ну, въ этотъ разъ и я ужъ не стерпѣлъ, прыгъ къ нему въ телѣгу, и пошло у насъ тутъ неудовольствіе... Да мнѣ гдѣ жъ было бы съ нимъ справиться, кабы онъ пьянъ не былъ, сами изволите, господа судьи, посмотрѣть на него и на меня...

— А глазъ ты ему точно подбилъ?— допрашиваетъ Колесовъ.

— Врать не хочу,—случился такой грѣхъ: маленько не ладно потрафилъ. Да теперь у него, слава Богу, зажило.

— Вотъ что, почтенный,—прерываетъ свое молчаніе Черныхъ, обращаясь къ жалобщику:—брось это дѣло, ничего не получишь; самъ виноватъ, первый зачалъ, потому оба подрались,—о чемъ же жаловаться?

— Это, т.-е., какъ же?.. Ни съ чѣмъ?

— Ахъ, кумъ, кумъ!..—подхватываетъ обидчикъ, ободренный заступничествомъ судьи. — Я жъ тебѣ еще полуштофъ на мировую поставить хотѣлъ, а ты, поди жъ, что выдумалъ!.. Въ судъ итти, судейныхъ утруждать такимъ пустякомъ!..

— Ну, вотъ это первое дѣло!—восклицаетъ Колесовъ.—Пойдите-ка, выпейте на мировую, да чтобъ ни на комъ...

— Миритесь, говорю вамъ, — заключаетъ Черныхъ,—миритесь скорѣй, не то обоихъ въ холодную на сутки.

— Дровецъ мнѣ подможете наколоть!— подхватываетъ Петровичъ. — А то нѣтъ моей моченьки: на двѣ печки-то каждый день, сколько ихъ наготовить надо?..

— Что жъ, кончаете дѣло мировой?— вставляю и я свое словечко.

— Кумъ, брось, пра слово, брось. А?..

— Да ну-те къ лѣшему! Поѣдемъ!.. Прощенья просимъ, господа судейскіе.

— Вотъ это превосходно, на что ужъ лучше!—одобряютъ и Колесовъ, и Пузанкинъ, и даже успѣвшій уже задремать «въ теплѣ» Ѳедька Ягодкинъ. Одинъ Денисъ Иванычъ угрюмо молчитъ.

— Сторожу-то за хлопоты не забудьте приберечь стаканчикъ! — вдогонку уходящимъ кумовьямъ кричитъ Петровичъ, тоже довольный состоявшейся мировой, хотя надежда на помощь при колкѣ дровъ и остается тщетной.

— Ладно, оставимъ. Подходи!..—отвѣчаетъ уже изъ другой комнаты Гришка.

— И съ чего это вздумалось Коняхину жаловаться на кума? — полувопросительно замѣчаю я.—Мужики оба, кажется, хорошіе; ну, подрались, такъ это не въ диво.

— Обидно очень стало Василію-то ходить съ подбитымъ глазомъ: кабы не глазъ — ничего бы и не было, а то засмѣяли его вовсе онамеднись въ трахтирѣ... Вотъ онъ съ пьяну-то и пошелъ жалобу записывать, а потомъ ужъ поопасался отступиться, какъ бы за это что не было,— объяснилъ судья Пузанкинъ, знающій почти всю подноготную житья-бытья кочетовскихъ обывателей.

Выступаетъ на сцену истецъ по второму дѣлу, старикъ лѣтъ шестидесяти. Онъ жалуется, что сынъ его пересталъ слушаться, бранится, бросается съ кулаками на мачеху — его, старика, вторую жену... Старикъ проситъ судъ «постращать» сына, всыпать ему десятокъ горячихъ. Зовемъ парня; входитъ малый лѣтъ двадцати-пяти, самъ ужъ отецъ двоихъ дѣтей; за его спиной становится его жена, а съ боку старика — мачеха. Бабы эти вторглись къ намъ, несмотря на протесты Петровича; я оставляю ихъ, однако, въ покоѣ, думая, что изъ имѣющей произойти семейной сцены скорѣе выяснится, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ.

— Батюшки мои, заступитесь, родные!..—причитаетъ мачеха.—Житья мнѣ не стало, со свѣта сгоняетъ...

— Кто тебя сгоняетъ? Сама всѣхъ изъ дому выгоняешь, поѣдомъ меня ѣшь,— замѣчаетъ молодая.

Отецъ съ сыномъ молчатъ, не глядя другъ на друга.

— Ты что жъ это, молодецъ, дѣлаешь? А? Нешто годится это отца родного да мать забижать?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Отца я не обижаю, а она—какая же мнѣ она мать!—нехотя замѣчаетъ бунтовщикъ.

Судьи молчатъ: съ двухъ словъ становится для всѣхъ понятной семейная драма тяжущихся: мачеха не уживается съ молодой и натравляетъ на нее старика, а сынъ заступается за свою жену и отстаиваетъ ее передъ стариками. «Отцы» не ладятъ съ «дѣтьми», исторія далеко не новая.

— Проси, чего жъ ты не просишь?—слышу я шопотъ старухи.

— Такъ какъ же, господа судейскіе, постращайте малаго-то!.. Совсѣмъ отъ рукъ отбился.

— Старикъ! ты не дарма ли просишь на него? Не твоя ли хозяйка тебя подбиваетъ свое дѣтище тѣснить?—строго спрашиваетъ Черныхъ.

— Да разрази меня Мать Пресвятая Богородица!.. Да провались я на этомъ мѣстѣ, — начала-было причитать старуха, но быстро умолка при грозномъ жестѣ Петровича. Старикъ ничего на вопросъ не отвѣтилъ.

— Эй, молодецъ, слухай сюда, — говоритъ Черныхъ.—Можетъ, тутъ и не вся вина твоя, а все жъ ты супротивъ отца родного не долженъ итти, не смѣешь ругаться, это великій грѣхъ!.. Проси прощенья: онъ, може, и проститъ, а то, не прогнѣвайся, отстегаемъ.

— «Молодецъ» угрюмо молчитъ, не поднимая глазъ съ полу.

— Дѣдушка! а то, на первый разъ, вы бы простили его!—дѣлаю я слабую, что и самъ замѣчаю, попытку смягчить старика.

— Какъ же мнѣ прощать, коли онъ не проситъ? — говоритъ онъ и этимъ порываетъ всякую надежду на мирный исходъ дѣла.

По предложенію Петровича (онъ понялъ кивокъ головой, сдѣланный Денисомъ Иванычемъ), вся группа тяжущихся выходитъ изъ комнаты.

Наступаетъ моментъ рѣшенія участи малаго, почему-то пріобрѣвшаго мою симпатію. Я выжидаю, что скажетъ Денисъ Иванычъ: мнѣнія прочихъ не имѣютъ для меня такого значенія. Первымъ, по обыкновенію, начинаетъ говорить Колесовъ.

— Что жъ, господа-товарищи, — всыпать ему десяточекъ или много?

— Чего много!—поддерживаетъ Пузанкинъ, не воспользовавшійся ничѣмъ отъ обвиняемаго и поэтому сохраняющій суровый ригоризмъ: чего много, въ самый разъ! Имъ гляди въ зубы-то, они живо осѣдлаютъ...

— Такъ, такъ, это первымъ дѣломъ!—поддакиваетъ и Ѳедька, всегда согласный съ чужимъ авторитетно-высказаннымъ мнѣніемъ. Въ эту минуту Ѳедька даже забылъ, какъ въ прошлый праздникъ, напившись въ кабакѣ, пришелъ домой и такъ саданулъ въ бокъ своего родного батюшку, начавшаго дѣлать ему выговоръ, что тотъ дня два кряхтѣлъ и грозилъ итти жаловаться въ судъ на драчливаго судью...

Денисъ Ивановичъ все молчитъ; я начинаю надѣяться, что онъ несогласенъ съ мнѣніями прочихъ, и стараюсь расчистить ему путь, указывая на выяснившееся на судѣ обстоятельство — злющій характеръ мачехи, притѣсняющей, по всей вѣроятности, жену обвиняемаго, что и послужило поводомъ къ открытой ссорѣ между «отцами и дѣтьми». Я намекаю, что не худо бы на первый разъ все дѣло оставить безъ послѣдствій, предупредивъ отвѣтчика, что если на него еще будутъ жалобы, то онъ въ слѣдующій разъ будетъ подвергнутъ тяжелому взысканію.

— Нѣтъ, вовсе прощать ку-бытъ не годится, — замѣчаетъ Черныхъ.— А дать ему одинъ лозанъ—для острастки...

Но я окончательно возстаю противъ тѣлеснаго наказанія. Парень, доказываю я, кажется, хорошій и долженъ теперь пропасть изъ-за ехидной старушонки. Если пороть, то разница между однимъ и двадцатью ударами — только въ относительной боли, а послѣдствія для осужденнаго одни и тѣ же: онъ лишается многихъ правъ, не можетъ быть выбранъ старостой, старшиной и проч. Я горячо защищаю жертву семейныхъ неурядицъ и, какъ крайнее средство, предлагаю остановиться на арестѣ, если судъ найдетъ окончательно невозможнымъ совершенно простить обвиняемаго... Прежде всѣхъ со мной соглашается Ѳедька-ямщикъ, такъ какъ онъ — изъ уваженія къ моему писарскому званію—считаетъ необходимымъ соглашаться съ моими взглядами даже въ ущербъ авторитету Дениса Ивановича; но остальные

молчать, упорно отстаивая права родительской власти. Совѣщаніе наше тянется около получаса; Колесовъ и Пузанкинъ начинають, наконецъ, сдаваться и говорятъ Черныху: «а то, ну его къ лѣшему!.. давай его въ холодную сутокъ на пять посадимъ, коли закона нѣтъ пороть?» — на что Черныхъ отрывисто отвѣчаетъ: «дѣлайте, какъ знаете». Я ухватываюсь за эту полууступку съ его стороны и пишу рѣшеніе: арестовать такого-то при волостномъ правленіи на пять сутокъ... Денисъ Ивановичъ устранилъ себя отъ рѣшенія вопроса, не осмѣливаясь измѣнить ветхозавѣтнымъ традиціямъ, по которымъ въ данномъ случаѣ требовалось выдать сына головой отцу, т.-е. сдѣлать съ нимъ все, что пожелаетъ отецъ; но новыя времена съ такой неудержимой силой разрушаютъ всѣ отцовскіе и дѣдовскіе обычаи, что Денисъ Ивановичъ иногда въ полномъ недоумѣніи,—гдѣ же ложь и гдѣ истина, и, не умѣя разрѣшить этихъ жгучихъ вопросовъ, вовсе отстраняется отъ активнаго вмѣшательства, ограждая себя словами: «дѣлайте, какъ знаете...»

Недоразумѣніямъ, возникшимъ по поводу этого дѣла, не суждено было, однако, кончиться на этомъ: когда я прочелъ постановленіе суда о «подвергнутіи Порфирія Алексѣевича пятидневному аресту за неповиновенія родительской власти», то старикъ вдругъ завопилъ.

— Батюшки, господа судейные!.. Да что жъ это вы со мной дѣлаете? Намъ съ нимъ завтра ѣхать надо къ Сысоеву дрова возить,— я договорился и задатки на три подводы взялъ, — а вы его въ холодную посадить хотите!.. Да гдѣ жъ мнѣ одному, старику, справиться? Вѣдь онъ у меня одинъ, какъ перстъ!.. Ослобоните, родимые, не зорите...

Я пытаюсь успокоить старика, увѣряя, что его сына арестуютъ не сейчасъ, а по истеченіи тридцатидневнаго срока, и что онъ самъ можетъ явиться, какъ посвободнѣе будетъ,—но старикъ и на этотъ компромиссъ нейдетъ.

— Завсегда работа около дома найдется: помолотиться, сѣчки скотинѣ нарѣзать; гдѣ жъ мнѣ одному пять-то дней справляться со всѣмъ хозяйствомъ?.. Нѣтъ, господа судейные, ужъ вы его лучше постегайте, да и отпустите домой!

Черныхъ глубоко вздыхаетъ; Колесовъ ерзаетъ на стулѣ; Пузанкинъ шепчетъ: «я говорилъ постегать...» Подсудимый все время стоитъ, потупивъ глаза, и только изрѣдка нетерпѣливо встряхиваетъ волосами, когда стоящая позади его молодуха шепчетъ ему что-то на ухо. Я объявляю, что постановленіе суда уже сдѣлано и измѣнено быть не можетъ; недовольные же имъ имѣютъ право обратиться съ жалобой въ уѣздное присутствіе.

— Коли такъ,—съ сердцемъ объявляетъ старикъ,—не надо жъ мнѣ вашего суда!.. Ничего не хочу—помарайте, ку-быть я и не судился!.. Видно, нонѣ законъ такой есть: сыновьямъ на шеѣ отцовской ѣздить!.. Прощенья просимъ, что обезпокоили васъ.

И онъ величественно—не подберу другого слова — уходитъ, шмыгая избитыми лаптями; сынъ тоже молча поворачивается къ выходу, одна только молодуха низко кланяется намъ и говоритъ: «Дай вамъ, Господи!.. Помоги, Царица Небесная!..» Петровичъ ласково толкаетъ ее къ двери... Мы сидимъ, словно воды въ ротъ набрали; всѣмъ тяжело, даже и Ѳедькѣ, — про Дениса Ивановича я и не говорю: онъ, видимо, даже въ лицѣ измѣнился... Не суду возстановлять дискредитированную власть «отцовъ» надъ «дѣтьми!»

Слѣдующее за этимъ дѣломъ нѣсколько разгоняетъ мрачное настроеніе нашего духа. Тяжущіеся: мужъ, плюгавый мужиченка, горбатый, со слезящимися глазами, и жена — по городскому одѣтая женщина, лѣтъ 32—34, все еще довольно красивая, несмотря на отпечатокъ бурной жизни на лицѣ; она держитъ себя модно, говоритъ по «благородному» и вообще смахиваетъ на горничную средней руки. Истица проситъ судъ заставить отвѣтчика выдать ей паспортъ для проживанія въ городѣ.

— Я вотъ уже шесть годовъ по господамъ живу, хорошія мѣста имѣю, и вдругъ онъ требуетъ меня къ себѣ, господину старшинѣ не дозволяетъ документъ мнѣ выдать...

— Не хочу, чтобъ болталась: иди ко мнѣ жить.

— Никакъ это невозможно-тъ, господа!.. Очченно прошу принять въ резонъ, что если бъ у него хозяйство было, если бъ онъ меня, какъ должно, соблюдать могъ, то это разговоръ иной былъ бы; а то домишко у него весь развалился, самъ онъ

въ пастухахъ живетъ... Развѣ у него достатка хватитъ соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и еще дочь при себѣ имѣю,—ничего отъ него не прошу, только дай мнѣ документъ.

— А вотъ не дамъ! Иди ко мнѣ, ѣшь мой хлѣбъ!..

— Да есть ли онъ у васъ-то еще, надо перво-наперво спросить?..— презрительно спрашиваетъ городская.

— Вотъ что, другъ, покайся-ка: ты вѣдь самъ ее спервоначалу отпустилъ въ городъ?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Извѣстно, самъ,—мрачно отвѣчаетъ «другъ».

— И все время пачпорта давалъ?

— Давалъ...

— Вотъ и разбаловалъ бабу! Самъ виноватъ, теперь и кайся. Что ты съ ней теперь дѣлать будешь, коли ежели теперь она къ тебѣ придетъ? Вѣдь она чаи-сахары любитъ, а ты гдѣ ей возьмешъ?

— И безъ чаевъ поживетъ...

— Господа судьи!.. Сдѣлайте вы такую милость, уговорите его! Я ему пять рублей въ годъ буду давать, чтобы только онъ не нудилъ меня...

— Не надо мнѣ денегъ, иди жить.

— Нѣтъ, Ѳедулычъ, это не дѣло теперь бабу кругомъ обрѣзать... Куда она теперь годится? Никуда... Она только тебя по рукамъ, по ногамъ свяжетъ; она теперь тебѣ ужъ не жена!..

Пастухъ молчитъ. Меня все больше начинаютъ интересовать мотивы, заставившіе его вдругъ измѣнить отношенія къ пущенной давно на вольную жизнь дрожайшей половинѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ серьезно сталъ тосковать объ своей бобыльской жизни и вздумалъ свить себѣ вновь гдѣздо, не принявъ только въ расчетъ полнаго разлада между всей своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдьте,—говоритъ Колесовъ разнокалиберной четѣ.

— Что намъ съ ними дѣлать? — обращается онъ къ Денису Черныхъ.—Отпустить ее: пусть беретъ хвостъ въ зубы и убирается, куда глаза глядятъ?

— Тоже баловать-то не годится ихнюю сестру: онѣ такъ-то всѣ поразбѣгутся.

— Ну, этой дряни всегда хватитъ... На кой лядъ она ему, — вѣдь она теперь ему не жена и не хозяйка!

— Извѣстно — городская...

— Н. М! а можемъ мы ей пачпортъ-то дать?.. Какъ тамъ въ законахъ-то?..

— Въ законѣ о томъ, что нельзя давать — ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А не доволенъ, бери «скопію»,—пусть тамъ высшее начальство разбираетъ ихъ, намъ и того пріятнѣе будетъ!.. Пиши, Н. М.,—дать ей билетъ.

Мужъ остается этимъ рѣшеніемъ недоволенъ и требуетъ «скопію», но въ назначенный день за полученіемъ ея не является: за два дня, протекшіе съ воскресенья, онъ, видно, помирился съ своей судьбой—доживать вѣкъ одинокимъ бобылемъ.

— Андрей и Егоръ Петровы!

Входятъ два брата; старшему, Андрею— 30 лѣтъ, младшему, Егору—26 лѣтъ. Они рѣшили подѣлиться, благодаря семейнымъ неурядицамъ: бабы, т.-е. ихъ жены, вздурили и никакъ ужиться не могутъ; ни старшаго ни старшей въ домѣ нѣту, а молодухи другъ другу подчиняться не хотятъ, ну и не стало житья самимъ братьямъ, — лучше ужъ отъ грѣха разойтись. Но и разойтись не такъ-то легко: помѣстье у нихъ маленькое, двумъ дворамъ не умѣститься: надобно которому-нибудь изъ нихъ удаляться съ родительскаго гнѣзда. Конечно, никому изъ нихъ нѣтъ охоты садиться на выгонѣ-пустырѣ; спорили, спорили, раза два до драки доходило, — а толку нѣтъ никакого... Селеніе ихъ небольшое; всѣ прочіе домохозяева— родня имъ: ни на чью сторону и не тянутъ; вотъ и порѣшили они разобраться на судѣ: что чужіе умственные люди скажутъ, — такъ тому и быть.

— Ну, какъ тутъ съ этимъ дѣломъ быть, Денисъ Ивановичъ? — спрашиваетъ Петруха Колесовъ, и всѣ взоры обращаются на Дениса Ивановича, ибо несомнѣнно, что изъ всѣхъ засѣдающихъ судей онъ одинъ только вполнѣ компетентенъ въ области дѣдовскихъ обычаевъ, нынѣ по наслышкѣ развѣ извѣстныхъ молодому поколѣнію, возросшему подъ сѣнью писаннаго закона.

— А вотъ какъ, — говоритъ Денисъ Ивановичъ послѣ минутной паузы:— итти тебѣ, Андрей, на новое мѣсто и отцовскую избу оставить Егоркѣ, а самъ возьмешь, во что старики положатъ взамѣнъ ея, клѣтку съ амбаромъ или еще что...

— Это мы очень понимаемъ; только почему же это и помѣстье ему и изба, а мнѣ однѣ клѣтки?—говоритъ Андрей.

— А потому, молодецъ, что это еще дѣдами нашими заведено такъ: всегда старшій братъ уходитъ отъ младшаго. Не будь этого, старшіе-то всегда спихивали бы молодшихъ на выгона; знамо, они посильнѣе будутъ, они въ годахъ, ну, и потяжелѣе жеребей имъ долженъ итти. Не дѣлись, а сталъ дѣлиться, начинай хозяйство сызнова; такъ-то!..

Андрей покоряется и остается доволенъ рѣшеніемъ: видно, онъ «не дошелъ» еще до отрицанія власти стариковъ.

Истецъ по слѣдующему дѣлу предъявляетъ ко взысканію расписку въ 90 руб., засвидѣтельствованную въ волостномъ правленіи; срокъ уплаты давно истекъ.

— Сколько же вы взыскиваете?—спрашиваю я, чтобъ оформить дѣло.

— Пятьдесятъ два рубля съ полтиной,— къ удивленію моему отвѣчаетъ истецъ.

— Какъ такъ? А расписка на 90 руб.?

— Это точно-съ. Только я ужъ получилъ по ней тридцать рублей землицей, да осьмину ржи, да четверть овса, да поросенка, да пахалъ онъ на меня день... Вотъ мы сочлись: какъ разъ на тридцать семь съ полтиной вышло. Остальные ищу, какъ собственно срокъ давно ужъ прошелъ.

— Должны вы ему?—спрашиваю отвѣтчика.

— Что зря болтать—долженъ.

— А много ли?

— Да подсчитывались, ку-быть пятьдесятъ два рубля.

— Анъ, съ полтиной! — вмѣшивается истецъ.

— Анъ, нѣтъ!

— Врешь!..

— Анъ, не вру. Перекрестись, коль съ полтиной?..

— И перекрещусь... А ты думаешь, что и не перекрещусь?..

— А слеги-то забылъ, что бралъ у меня десятокъ о заговѣньѣ? По пятачку положили?

— Такъ онѣ за кортошку пошли...

— Разуй глаза-то!.. За картошку даве пофиталисъ, какъ за землю-то усчитывались!

— А ну-те къ Богу въ рай!.. — говоритъ истецъ упавшимъ голосомъ, должно-быть, смутно припоминая, что слеги точно не шли за картошку, но все-таки не желая признать своей ошибки.—Пятьдесятъ два, такъ пятьдесятъ два... Не обѣдняю съ полтинника.

— Да не разживешься...

— Ну, вотъ что, почтенные, — вступается Колесовъ,—чего браниться? Честь-честью столковались, и слава Богу, зачѣмъ Его, Батюшку, гнѣвить... Такъ какъ же, милушка, отчего деньги-то не отдаешь?

— Да у насъ уговоръ былъ землей расплачиваться, по двѣ десятины ему каждый годъ отдаю; только больно ужъ обидную цѣну онъ кладетъ—десять съ полтиной; вотъ я и сталъ покупщика искать, съ четырнадцатью рублями за десятину ужъ набиваются...

— А ты денежки-то умѣлъ брать, а отдавать-та не любо?.. А что я второй годъ жду на тебѣ, это ты въ счетъ не кладешь?..

— А ты не кладешь, что поросенка-то у меня за два рубля зачелъ, а онъ на худой конецъ четыре стоитъ?..

— Да не ты ли кланялся, Христомъ Богомъ просилъ просеца на сѣмена?.. Это ты забылъ?..

Долго препираются такимъ образомъ пріятели; ихъ денежныя отношенія такъ запутаны, что крайне мудрено опредѣлить, кто изъ нихъ больше пользовался услугами другого; но что должнику услуги, оказанныя кредиторомъ, обошлись не дешево, это внѣ всякаго сомнѣнія, и симпатія Черныха и Колесова, какъ я замѣчаю, лежитъ къ нему, потому что они общими усиліями стараются сбить истца на мировую, что имъ, наконецъ, и удается послѣ получасового усовѣщеванія. Тяжущіеся кончаютъ дѣло миромъ: десятина идетъ за тринадцать безъ четверти, а уплата остального долга отсрочивается до будущей осени.

Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ дѣлъ о взысканіи за землю, о недожитіи въ работникахъ и проч. Это дѣла заурядныя, составляющія самый значительный процентъ всѣхъ тяжбъ, разбираемыхъ въ волостномъ судѣ. Прослушаемъ еще двѣ финальныхъ тяжбы.

— Еще позалѣтошнимъ годомъ бралъ у меня этотъ молодецъ двѣ десятины подъ яровое по 18 руб. за десятину; рубль далъ задатку, да какъ возить время пришло, и

я снопы на полѣ пріостановилъ, онъ 15 руб. мнѣ далъ и въ ногахъ валялся—просилъ остальные подождать на немъ. Я сдуру и повѣрилъ, да вотъ по сію пору и жду: «нынѣ да завтра», только и слышишь. Прикажите ему, господа-старички, остаточные 20 руб. додать.

Это говоритъ старикъ, лѣтъ шестидесяти, хозяйствующій по-кулацки, снимающій землю у нуждающихся по осени и раздающій ее по веснѣ, наживая за «коммиссію» отъ 25 до 75%. Но у старика этого есть еще гоноръ нынѣ исчезающаго уже типа коренного сына деревни, ведущаго безъ всякихъ расписокъ тысячныя дѣла.

— Ты что жъ не отдаешь Ефиму Степанычу денегъ?—спрашиваетъ по обыкновенію Колесовъ.

— Да я ему отдалъ,—говоритъ отвѣтчикъ, малый лѣтъ 24-хъ.

— Отдалъ, да не всѣ...

— Нѣтъ, всѣ отдалъ.

— И языкъ у тебя не отсохнетъ такъ врать-то? Бога хоть побойся!..—говоритъ старикъ.

— Чего мнѣ еще бояться, я и такъ боюсь.

— Ахъ ты, поскуда, поскуда!.. Да смѣешь ли такъ говорить-то?.. А ну, перекрестись, коли отдалъ?..

Я спѣшу вмѣшаться въ дѣло, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: отвѣтчикъ, не дрогнувъ и нахально посматривая на старика, кладетъ широкій крестъ...

— Тфу ты, окаянный! — плюетъ старикъ въ негодованіи.—Пропади ты пропадомъ и съ двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грѣхъ на душу принимать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мнѣ ничего, господа-старички, отъ своихъ денегъ отказываюсь, не хочу объ него мараться... Ни на комъ...

И старикъ уходитъ, дѣлая крестныя знаменія.

— А нельзя ему подъ портки десятка два всыпать?—говоритъ Колесовъ, со злобой глядя на небрежно стоящаго «молодца».

— Никакъ нельзя,—говорю я, и чувствую, что краснѣю, потому что не прочь былъ бы въ данномъ случаѣ нарушить законъ и допустить подвергнуть отвѣтчика по гражданскому дѣлу уголовному взысканію.

— Петровичъ! бери его!..—приказываетъ Колесовъ, и я увѣренъ, что онъ чувствуетъ нѣкоторое удовлетвореніе, когда «молодецъ» подъ мощной рукой Петровича турманомъ вылетаетъ изъ «залы засѣданія».

А вотъ старуха-черничка на сценѣ. Вся она брызжетъ злостью, накопившейся у нея на сердцѣ за полстолѣтіе ея невольнаго дѣвства... Она уже много лѣтъ въ ссорѣ со своими сосѣдями, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ другу. Случилось черничкину цыпленку залетѣть черезъ плетень на дворъ къ сосѣдямъ; мальчишка съ того двора немедленно свернулъ цыпленку шею и трупъ его перебросилъ обратно къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣлу: черничка взыскиваетъ за цыпленка рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились: истица, отвѣтчикъ—отецъ провинившагося мальчонки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпленка и такимъ образомъ засвидѣтельствовала совершонное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, господа судіи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хотятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выживешь своимъ языкомъ безстыжимъ,—говоритъ отецъ мальчонки.

— Я безстыжая? Я?.. Праведные судьи! Помилосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лѣтъ такое поношеніе...

— Да вы постойте!.. Вы разскажите намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Писклака у меня задушилъ его змѣенышъ... Они у меня такъ всѣхъ куръ передушатъ.

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался, такъ я ему за это вихры надралъ.

— Сколько жъ вы за цыпленка вашего получить желаете?—останавливаю я ихъ препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, потому они у меня канехинскаго заводу. Еще упокойная барыня, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Такъ рубль просите?

— Да-съ, рубликъ-съ. А что сверхъ этого положите, коли ваша милость

деть, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!.. — прерываетъ ее Черныхъ. — Ты, Игнатичъ, сына, говоришь поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Иванычъ, какъ же,—въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлорусыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздается жалобный пискъ: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!»...

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Иванычъ экзекуцію. — Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка? А?

— Не буду, дяденька!..

— То-то жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ не такъ раздѣлаетъ... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что жъ, Денисъ Иванычъ,—я цѣну настоящую завсегды отдать готовъ... А то вдругъ—рупь!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятиалтынничекъ мнѣ на убожество пожаловали? — алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-навсего пятиалтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ насмѣшку вы мнѣ это дѣлаете?—такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна, два раза по восьми верстъ проѣздила...

— А кто жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акаѳисты читала да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Скопію мнѣ пожалуйте, господинъ писарь: я дѣла кончать не буду, я завтра жъ къ господину становому приставу... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копіей приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстъ переть?.. Понимаю-съ, очень даже преотлично понимаю-съ, что все это вы въ насмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

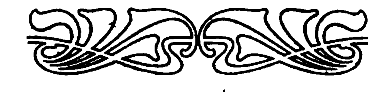
И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромѣ Черныха), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

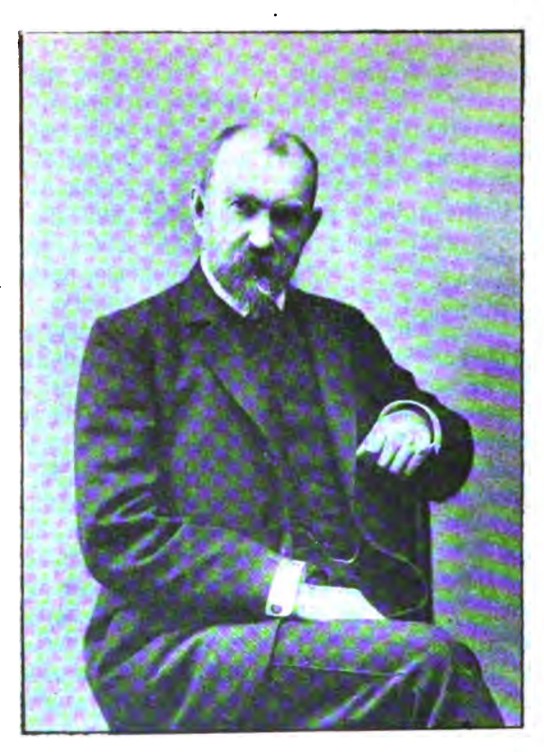
— Никого тамъ больше на судъ нѣту?— спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполнѣ понятно, ибо уже одиннадцать часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва семь часовъ, и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальныя пять дѣлъ, назначенныя въ этотъ день «къ слушанію», пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ — не явились истцы, въ одномъ—не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ — состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава Тебѣ, Создатель Милосердный!.. — шепчутъ судьи, дѣлая истовые поклоны передъ иконой. Однако я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ крестъ машинально, по привычкѣ: Черныхъ благоговѣйно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Ѳедька — за то, что наконецъ-то настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ — за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи «разводной» отъ мужа...





**Александръ Ивановичъ Эртель.**

(Род. въ 1855 г.).

## ИЗЪ «ЗАПИСОКЪ СТЕПНЯКА».

### Степная сторона.

Не отличается живописнымъ разнообразіемъ природа степного края. Нѣтъ тамъ высокихъ горъ, красиво увѣнчанныхъ многолюдными селами и торговыми городами, потонувшими въ густой зелени садовъ; нѣтъ и многоводныхъ рѣкъ, съ ранней весны до поздней осени горделиво несущихъ и дерзко-свистящіе пароходы, и неуклюжіе дощаники, и граціозныя расшивы... Нѣтъ и стекловидныхъ озеръ, поэтично-сверкающихъ среди тихихъ, лѣсистыхъ береговъ, — озеръ, усѣянныхъ веселыми островами, богатыхъ рыбою, чистыхъ и глубокихъ... Нѣтъ ничего этого. Ни красою Поволжья, ни угрюмою прелестью за-московскаго сѣвернаго края, ни дикимъ величіемъ глухого Полѣсья не влечетъ къ себѣ моя родина. Куда ни глянешь — все поля да поля... Мелькнетъ осиновый кустъ, засинѣетъ далекій лѣсъ, зачернѣютъ на горизонтѣ два-три кургана, блеснетъ на солнышкѣ степной прудокъ или поросшая коблами рѣчка, бросится въ глаза барская усадьба съ ярко-зелеными и красными кровлями своихъ построекъ, вспыхнутъ тамъ и сямъ позолоченные кресты сельскихъ церквей, выглянетъ сѣрымъ пятнышкомъ купеческій хуторъ — и опять поля, поля...

И народъ не изъ бойкихъ населяетъ эти поля. Угрюмая низменность и томительное однообразіе края словно отозвались на немъ. Нѣтъ въ немъ той разбитной юркости бывалаго человѣка, которою щеголяетъ ярославецъ, нѣтъ и смышленности подмосковнаго жителя; не блещетъ онъ смѣткою и талантливостью наторѣвшаго въ отхожихъ промыслахъ рязанца, не обладаетъ находчивостью костромича, оборотливостью владимирца, стойкостью и энергіей сибиряка. Онъ не поетъ тѣхъ историческихъ пѣсенъ, которыми славится Поволжье; онъ не помнитъ ни Стеньки Разина ни Ермака Тимоѳеевича; въ его пѣсняхъ и сказкахъ нѣтъ тѣхъ преданій, которыми такъ богаты украинскія думы, олонецкія былины, поволжскія пѣсни. Вель-

ная-воля, богатырская сила, молодецкая удаль, насколько онѣ выразились въ коренномъ, старо-русскомъ эпосѣ, неизвѣстны ему. Его преданія не поэтичны. Въ нихъ, повторяю, и помину нѣтъ ни о Владимирѣ Красномъ-Солнышкѣ, съ его сильно-могучими богатырями, ни о Новгородскихъ укшуйникахъ, то разбивавшихъ богатыя торговыя суда, то ретиво ратовавшихъ за вѣче, за свободу, то заселявшихъ суровое Поморье,—ни о понизовой вольницѣ съ ея отчаянными атаманами и удалыми есаулами, разъѣзжающими въ разукрашенныхъ косныхъ лодочкахъ вдоль по матушкѣ по Волгѣ...

Зато онъ помнитъ всѣ ужасы крѣпостного права. Помнитъ волостныхъ головъ, окружныхъ, засѣдателей. Помнитъ времена заселенія края, когда на цѣлыя сотни верстъ тянулись дѣвственныя степи, когда по берегамъ изобилующихъ рыбою рѣкъ и рѣчонокъ высились дремучіе лѣса, въ которыхъ водились косматые медвѣди и шаловливыя бѣлки; но татарскихъ наѣздовъ, безпрестанно тревожившихъ новую «украйну», уже не помнитъ онъ. Не вспоминаетъ онъ въ своихъ пѣсняхъ ни о подвигахъ молодецкой удали ни о милостивомъ божескомъ заступленіи, несомнѣнно имѣвшемъ мѣсто при оборонѣ молодыхъ поселеній. Вѣчный недосугъ, вѣчное чиновничье и помѣщичье ярмо какъ бы обезцвѣтили его фантазію, притупили его память на все необычное, на все выходящее изъ уровня сѣренькой, прозаической дѣйствительности.

Онъ прежде всего землепашецъ. Не уважаетъ новшествъ, презираетъ городскіе нравы, плохо вѣритъ начальству. Онъ тихъ, страшно терпѣливъ, добродушенъ, но любитъ разгулъ, питаетъ склонность къ веселой бесѣдѣ и въ пору этого разгула, во время этой бесѣды, становится раздражительнымъ и буйнымъ.

Въ немъ тьма противоположностей, и поэтъ, скорбно обратившійся къ нему съ вопросомъ:

Такъ кто жъ ты, наконецъ?..

вѣроятно, не скоро дождется отвѣта.

Онъ добродушно вѣритъ въ чорта, съ замѣчательной подробностью представляя не только его козни, но даже и наружность; онъ цѣлыми массами стекается на поклоненіе къ святымъ мѣстамъ, въ Кіевъ, Задонскъ, Воронежъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ цѣлые годы не говѣетъ, лѣниво посѣщаетъ свой приходскій храмъ и не любитъ попа. Онъ основываетъ секты, идущія по пути раціонализма дальше протестантства, и на ряду съ этимъ бьетъ оглоблями колдуновъ, становитъ капканы на вѣдьмъ и оборотней, косо глядитъ на «скоромниковъ». Онъ въ большинствѣ плохой мірянинъ, а между тѣмъ не можетъ себѣ представить иной формы землевладѣнія, какъ общинная. Съ рѣдкимъ единодушіемъ дерется «всѣмъ міромъ» за спорные покосы съ сосѣдями, стойко отстаиваетъ интересы міра въ волости, съ замѣчательной аккуратностью дѣлаетъ раскладки, дѣлитъ «мірской» лѣсъ, «мірскія» тяготы... А въ земскіе гласные выбираетъ «міроѣда», оставляетъ безъ призора сиротъ и увѣчныхъ, и, что главное, оказывается совершенно несостоятельнымъ тамъ, гдѣ требуется не одно только математическое распредѣленіе тяготы или пользованіе старыми правами и угодьями по старымъ дѣдовскимъ обычаямъ, а *мірская* инициатива, *мірская* предпріимчивость и *мірское* единодушіе. А это требованіе, конечно, предъявилось и предъявляется ему безпрестанно новыми порядками, воздвигнутыми на новой, еще не извѣданной имъ, почвѣ, — почвѣ, созданной послѣреформенными экономическими и нравственными отношеніями...

Своеобразенъ, противорѣчивъ онъ (какъ и во всемъ) въ своихъ понятіяхъ о нравственности и правдѣ. Прощая волостнымъ старшинамъ тысячныя растраты, благодушно мотивируя ихъ «человѣческою слабостью», онъ совершенно безчеловѣчно, съ какою-то варварскою холодною жестокостью мучитъ, а иногда забиваетъ и до смерти, мелкаго воришку, попавшагося съ хомутомъ или холстами; разводя безъ помощи Св. Синода, по одной только «своей мужицкой» совѣсти, мужа съ женою, народъ этотъ въ то же время поретъ розгами сноху, обругавшую распутника-свекра «чернымъ словомъ».

Онъ таковъ, какимъ его воспитало многовѣковое ярмо.

Край пересѣкли желѣзныя дороги, въ селахъ водворились кабатчики, въ усадьбѣ—кулаки. Вѣяніе трактирной цивилизаціи тлетворно пронеслось надъ тихими степными деревнями. На ряду съ страшнымъ развитіемъ хищничества, появился отхо-

жій промыселъ. Зашаталась община подъ напоромъ тысячи плотоядныхъ инстинктовъ, зашевелившихся въ степной глуши.

Степной мужикъ тихъ, страшно-терпѣливъ, добродушенъ... Тридцать лѣтъ тому назадъ и съ этими только качествами ему жилось хорошо:—земля рожала, хлѣба до новины доставало съ избыткомъ, подати выплачивались; теперь онъ копитъ недоимки, истощаетъ землю, пьянствуетъ и нищенствуетъ... Прежнихъ трехъ добродѣтелей оказывается недостаточно. Откуда же придутъ къ нему тѣ, которыя однѣ только въ силахъ противостать все-разлагающему духу времени?..

Я не знаю, откуда придутъ онѣ, эти другія добродѣтели, и мнѣ страшно за мой край — степную сторону, и позабыть мнѣ ее хочется, не думать о ней...

Но отчего же эта безконечная ширь полей, эта уныло - однообразная равнина, гдѣ - гдѣ перемежаемая едва замѣтными возвышенностями, эти тамъ и сямъ разсѣянные села, хутора и усадьбы, этотъ убогій народъ,—съ такимъ непобѣдимымъ очарованіемъ влекутъ меня къ себѣ? Отчего мнѣ вѣчно мерещится моя бѣдная родина съ ея безбрежными полями, вѣчно вспоминается ея захватывающій душу просторъ, ея синѣющая даль? Почему передо мною неотступно встаютъ кусты и курганы, бѣлѣютъ высокія колокольни, и уныло звенитъ тоскливая мужицкая пѣсня?..

Вотъ и теперь, когда тусклый свѣтъ петербургскаго полудня тускло брезжитъ въ мою тѣсную, затхлую квартирку, когда въ запыленныя окна виднѣется лишь узкій, какъ колодецъ, дворъ да клочокъ сѣраго холоднаго неба, когда съ улицы доносится назойливый трескъ экипажей, лязгъ лошадиныхъ копытъ и возгласы кучеровъ — вспоминаю я далекую родину... И кажется мнѣ, что изъ какой - то едва досягаемой, чудно - таинственной дали съ чарующей ясностью выступаютъ и всецѣло заполоняютъ меня родныя картины...

И тоскливая печаль обнимаетъ мое сердце,—печаль, мучительно, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и невыразимо-сладко колеблющая какія-то странныя, болѣзненно-чуткія, болѣзненно - отзывчивыя струны въ моей груди...

---

## Серафимъ Ежиковъ.

Стоялъ февраль.

Съ самаго Крещенья держалась ясная погода безъ вѣтровъ и метелей, съ крѣпкими, сердитыми морозами.

Но постоянной погодѣ этой близился конецъ, и на Срѣтеніе, второго февраля, по небу забродили робкія тучки, а въ морозномъ воздухѣ повѣяло мягкостью. Вечеромъ, подавая самоваръ, Семенъ доложилъ мнѣ, что настъ ослабъ и не только человѣка, какъ прежде, но и собаки не сдерживаетъ—проваливается.

— Неужель оттепель будетъ?

— Безпремѣнно будетъ, споконъ-вѣка вокругъ Срѣтенья отпускаетъ.

Четвертаго, въ день чудотворца Кирилла, съ самаго ранняго утра потянуло оттепелью. Влажный вѣтеръ медленно гналъ съ юга длинныя вереницы тяжелыхъ тучъ. Темная синева протянулась по кругозору и повисла надъ лѣсами и деревнями. Дороги и тропинки пожелтѣли. Снѣгъ уже не рѣзалъ глаза сверкающей бѣлизной, какъ то бываетъ въ яркій солнечный день, но отдавалъ мягкими теплыми тонами.

Къ вечеру еще ниже свѣтились тучи надъ полями. Казалось, стоило бросить шапку кверху, и она застряла бы въ тучахъ. Повалилъ мокрый пухлый снѣгъ. Дали сначала завѣсились метелью, какъ будто кисеею, затѣмъ потонули въ мутномъ, медленно зыблющемся морѣ, сквозь которое только смутно синѣли лѣса и чернѣлись поселки. Но скоро море это сгустилось и, споспѣшествуемое наступающей тьмою, покрыло непроницаемой завѣсой и дали, и лѣса, и деревни. Хуторъ остался лицомъ къ лицу съ снѣжною бездной, тихо, но неудержимо падающей съ неба.

Когда стемнѣло, вѣтеръ превратился въ бурю. Онъ загудѣлъ и заигралъ съ снѣжинками, закрутилъ ихъ вихремъ, понесъ поземкою. Мертвенно-тихое поле проснулось: заревѣло и застонало. Началась пурга.

— Нну-у, разгулялась погодка! — воскликнулъ Семенъ, черезъ силу добравшійся изъ кухни до дома, и долго кряхтѣлъ и отплевывался, протирая лицо, обивая сапоги и очищая одежду отъ липкаго снѣга.

Дѣйствительно, загуляла погода шальнымъ, безобразнымъ разгуломъ.

Семенъ напоилъ меня чаемъ, напился самъ и, накинувъ на плечи полушубокъ,

отправился было затворять ставни. Но буря воротила его, и ужъ натянувъ полушубокъ на рукава, онъ снова отправился бороться съ нею. И долго онъ возился съ дверями и гремѣлъ желѣзными затворами ставней. Мнѣ слышно было, какъ вьюга буйно вырывала изъ его рукъ ставни, порывисто хлопая ими по стѣнѣ, и въ то время, когда онъ усиливался притворить ихъ, она, словно поспѣшая, ударяла въ стекла непрерывными волнами звенящаго снѣга. Когда же, наконецъ, удалось Семену затворить ставни, звенящіе звуки превратились въ глухой и смутный, слегка завывающій шумъ, на который утлыя доски ставней отвѣчали жалобнѣйшимъ скрипомъ.

— Диво творится! — съ нѣкоторымъ даже ужасомъ объявилъ мнѣ Семенъ, тяжело отдуваясь и отряхаясь отъ снѣга.— Зги Божіей не видно въ полѣ!—добавилъ онъ, отдохнувши, и, взлѣзая на лежанку, съ сокрушеніемъ произнесъ: — упаси Господи, злого татарина...

Я сѣлъ за книгу, но читать мнѣ не хотѣлось. Я всталъ и сталъ ходить по комнатѣ. Что-то смутно волновало меня, повергая не то въ тоску, не то въ какую-то нервную тревогу. Слабое пламя свѣчи, печально бросавшее круглый отсвѣтъ на бѣлый потолокъ, трескъ половицъ подъ моими ногами, непрестанный лязгъ маятника и тѣнь, тихо двигающаяся за мною, смутный шумъ вьюги за стѣнами и легкое поскрипываніе ставней—все это уносило меня въ какой-то щемящій міръ мечтательныхъ грезъ и сказочныхъ представленій...

...Я вздрогнулъ и взглянулъ въ окно. Ставень распахнулся, хлопнулъ и хрипло загремѣлъ на желѣзныхъ петляхъ. Вьюга, подобно косматому чудовищу, лѣзла въ стекла и сердито лизала ихъ. Я взглянулъ на часы: стрѣлка приближалась къ двѣнадцати. Хлопнулъ съ визгомъ въ другой разъ ставень; затрещала непрочная рама. Буйно метнулся вѣтеръ въ трубу и заголосилъ тамъ, точно баба надъ покойникомъ.

Я подошелъ къ окну и прислонился къ стекламъ. Мутная бездна угрюмо глядѣла оттуда на меня.

Мнѣ почудился стукъ. Я прислушался: ничего, кромѣ Семенова храпа да завыванія вьюги. Но какое-то неопредѣленное безпокойство овладѣло мною. Я подошелъ къ передней и снова прислушался. Немного спустя, стукъ раздался явственно и торопливо.

Я разбудилъ Семена и окликнулъ: «кто тамъ?» Въ отвѣтъ послышался какой-то крикъ, почти заглушенный вѣтромъ, и снова посыпались удары въ двери. Несомнѣнно, за дверьми былъ человѣкъ. Семенъ отворилъ входъ въ сѣни, я распахнулъ дверь въ комнаты. Въ сѣняхъ завизжала ворвавшаяся буря, заскрипѣлъ снѣгъ подъ ногами Семена; въ комнаты сначала бросилась студеная струя, сильно заколебавшая пламя свѣчи, бывшей въ моихъ рукахъ, а затѣмъ ввалилось что-то бѣлое и холодное. Это *бѣлое* шумно вздохнуло, испустило какой-то неопредѣленный возгласъ и стремительно бросилось на коникъ. Это *бѣлое* — былъ человѣкъ, укутанный въ нѣкоторое подобіе тулупа и съ громаднымъ треухомъ на головѣ. Съ ногъ до головы онъ былъ занесенъ снѣгомъ.

— Шабашъ!.. хоть издыхай!..— отрывисто произнесъ онъ и уставилъ на меня мутный взглядъ.—Говорю, хоть издыхай!— настоятельно повторилъ онъ и въ изнеможеніи закрылъ глаза.

— Ты чей?—спросилъ я.

— Лѣсковскій, — отвѣтилъ онъ, вяло поднимая вѣки и съ какимъ-то удивленіемъ снова устремляя взглядъ свой на меня.

— Съ какихъ Лѣсковъ?

— Съ Малыхъ.

— Откуда ѣдешь?

— Съ города.

— Одинъ?

— Съ учителемъ.

— Съ какимъ учителемъ? Гдѣ онъ?— вскрикнулъ я въ ужасѣ.

— Въ саняхъ.

Семенъ выскочилъ на дворъ.

— Чей учитель?

— Лѣсковскій. Серафимъ Миколаичъ.

— Что же онъ не слѣзаетъ?

— Нейдетъ!

— Что такъ?

— Сумлѣвается.

— Въ чемъ?

— Насчетъ ночевки сумлѣвается.

— Какъ сомнѣвается?

— Такъ. Допрежъ, говоритъ, спросись поди...

Дверь снова отворилась, и въ ней опять показалось что-то бѣлое.

— Извините, ради Бога... Необходимость... По необходимости... Не обезпокою ли?..—говорило *оно*. Голосъ дрожалъ и прерывался.

Мужикъ преспокойно сталъ совлекать съ себя какое-то отрепье и взбираться на лежанку.

— Мнѣ хошь околѣвай теперь! — воскликнулъ онъ,—и меренъ пущай околѣваетъ и ты... Околѣвайте всѣ—мнѣ теперь все едино!..

Семенъ побѣжалъ прибирать лошадь. Я принялся разоблачать учителя. Онъ весь дрожалъ отъ стужи, но стыдливо отстранялъ отъ себя мои руки.

— Вы ужъ, пожалуйста...—лепеталъ онъ,—пожалуйста, не безпокойтесь... Не нужно бы... право не нужно бы хлопотать... Я бы въ избу... Намъ бы въ избу съ нимъ... Выпилъ онъ немного... холодно... Простите... Я, право, не знаю... Мнѣ бы въ избу...

— Куда въ избу—здѣсь ночуете.

— Ахъ, право бы не надо... Зачѣмъ здѣсь!.. Мы здѣсь намараемъ... Безпокойство вамъ... Въ избу бы... Мы утречкомъ бы завтра... Не взыщите... Чѣмъ свѣтъ бы... Не хлопочите, сдѣлайте милость!..

— Нѣтъ, ужъ меня коломъ отселѣ не выпрешь!—заявилъ мужикъ.

Серафимъ Николаичъ съ какимъ-то усиліемъ засмѣялся и снова сконфузился, и смущенно залепеталъ:

— Право мнѣ совѣстно... Вы ужъ простите его... Архипъ Лукичъ, ты ужъ не дебоширь, пожалуйста... Видите, выпилъ онъ... Согрѣваетъ оно, знаете ли... Есть научныя данныя... Алкоголь... Вамъ, вѣроятно, извѣстно?.. Холодно, знаете!.. Видите—одежда... рубище... Мнѣ вотъ можно не пить... Я одѣтъ...

И снова попытался засмѣяться и снова переконфузился. Все это время онъ что-то начиналъ разстегивать, что-то развязывать, но руки его не дѣйствовали. Наконецъ я убѣдилъ его не препятствовать мнѣ и началъ производить раздѣванье. Изъ покрововъ на немъ только и было солиднаго, что валенки; все остальное могло быть носимо только по необходимости. Ватное пальтишко, увязанное большимъ женскимъ платкомъ, достигало лишь до колѣнъ (колѣни эти страшно дрожали). Дешевая барашковая шапка была глубоко надвинута на лицо. Кромѣ шапки, лицо это скрывалось и поднятымъ воротникомъ, изъ-за котораго торчала судорожно дрожавшая бородка, сплошь забитая инеемъ.

Онъ все не переставалъ проситься въ избу и извиняться за безпокойство. Насилу убѣдилъ я его, что никакого безпокойства онъ мнѣ не причинитъ и доставитъ лишь одно удовольствіе.

По совлеченіи платка, пальто и иныхъ верхнихъ одеждъ, учитель оказался маленькимъ, узкогрудымъ человѣчкомъ въ «твиновомъ» пиджачкѣ и въ ситцевой, достаточно уже позаношенной рубашкѣ. Отрекомендовался онъ мнѣ Серафимомъ Ежиковымъ. Лицо его было не безъ пріятности. Въ разговорѣ онъ часто и внезапно краснѣлъ, при чемъ лицо его получало выраженіе чрезвычайно пріятной застѣнчивости и какого-то совершенно дѣвичьяго цѣломудрія. Часто также пытался онъ предупредительно улыбаться и смѣяться какимъ-то, какъ бы заискивающимъ, смѣхомъ, но только *пытался*, ибо ни улыбки, какой слѣдуетъ, ни смѣха у него не выходило; его темные глубокіе глаза при этихъ попыткахъ постоянно оставались серьезными и даже грустными.

Впослѣдствіи замѣтилъ я, что стоило его оставить самому себѣ, то-есть не занимать его разговоромъ, не угощать и вообще не утруждать галантностью обхожденія,—онъ весь преображался: лобъ его тогда мучительно стягивался морщинами, на всемъ лицѣ замирала тоскливая гримаса, и худые прозрачные пальцы нервно щипали рѣденькую русую бородку. Казалось, какая-то упорная мысль постоянно буравила его голову.

Когда поданъ былъ самоваръ, мнѣ все-таки удалось внушить Ежикову нѣкоторую безцеремонность: онъ уже почти не отказывался отъ чая и съ замѣтнымъ удовольствіемъ выпилъ нѣсколько стакановъ.

— Зачѣмъ вы въ городъ-то ѣздили?—спросилъ я его за чаемъ.

— Знаете — увѣдомленіе было отъ управы...

— Это насчетъ чего же?

Онъ нѣсколько замялся.

— А видите ли:—наставникамъ нѣкоторое вознагражденіе полагается...

Слово «вознагражденіе» произнесъ онъ послѣ стыдливаго колебанія.

— А! Такъ за жалованьемъ, значитъ, ѣздили?

— Да, да... Съ одной стороны, это вѣрно... Невозможно, знаете... (Онъ какъ бы оправдывался).

— Что же, получили?

— О, да!.. Оно, видите, не совсѣмъ получили... Я, напримѣръ, не получилъ... Но нѣкоторые получили... и даже многіе получили... Очень многіе!—добавилъ онъ поспѣшно и такимъ тономъ, какъ бы просилъ у меня извиненія за гг. раздавателей «вознагражденія».

— Какъ же это вы-то?

Ежиковъ покраснѣлъ.

— Право, не знаю, какъ вамъ сказать... Впрочемъ, оно, пожалуй, и понятно... Даже очень понятно!.. Я, знаете ли, опоздалъ нѣсколько. Другіе успѣли, пріѣхали во-время, ну а я опоздалъ... Согласитесь сами, нельзя же ждать!

— Денегъ, стало-быть, недостало въ управѣ?

— Да, но видите... Видите, это такое дѣло... такое... Нужда вездѣ... Какъ хотите—обременительно!.. Очень обременительно... Вы знаете, вѣдь на *нихъ* очень много наложено... А была засуха... Они называютъ это *недородъ* (онъ застѣнчиво улыбнулся)... Это, знаете ли, все нужно... обсудить бы нужно!.. Налоги тамъ... Вообще...—тяжело!

Онъ вдругъ заволновался и вскочилъ со стула, но тотчасъ же опять усѣлся, не преминувъ и на этотъ разъ покрыться стыдливымъ румянцемъ.

— Изъ города вы рано выѣхали?—перемѣнилъ я разговоръ.

— А нѣтъ, не очень рано... Да вотъ...—онъ задумался,—да, да, метель ужъ была, и порядочная-таки была метель...

— Зачѣмъ же вы въ такую погоду выѣзжали?

— А какъ вамъ сказать... Это надо объяснить, видите... (Онъ окончательно переконфузился). Овесъ, знаете, и притомъ опять пища... О пищѣ тоже необходимо объяснить... Ужасно неудобно въ городѣ!.. И такъ, знаете ли... ужасно все дорого!.. Да, очень дорого. Ну, я, видите, не успѣлъ въ управу... Другіе успѣли... Очень многіе успѣли... Многіе ужасно нуждались... О, какъ нуждались!.. Знаете ли, Венчуткинъ есть, Михей Иванычъ... Онъ семинаристъ, изъ учительской семинаріи... Жена у него больная такая, слабая, дѣти... Очень маленькія дѣти!.. Ну, и ни копейки... а?.. О, ужасно нуждались Венчуткины!.. И вдругъ, что же?—пріѣзжаетъ, знаете ли, Михей Иванычъ,—онъ, впрочемъ, пѣшкомъ пришелъ, но это все равно...—итакъ, является онъ, ему прямо за три мѣсяца... (Намъ за три мѣсяца не выдавали... но это не важно!..) Итакъ, за три мѣсяца,—это съ чѣмъ-то тридцать шесть рублей... И вообразите, прямо-таки тридцать шесть рублей и получилъ!.. О, онъ ужасно теперь счастливъ... И все это очень удачно, знаете...

Глаза Серафима Николаича засвѣтились чисто-дѣтской радостью. Говорилъ онъ торопливо и часто задыхался отъ волненія, особенно сильно овладѣвавшаго имъ во время разговора о чьей-либо нуждѣ или о какомъ-нибудь горѣ.

— Ну, да, такъ вотъ видите...(я ровно ничего не видѣлъ и только смутно догадывался, что изъ города выжилъ Ежикова голодъ)... выѣхали мы, и вдругъ буря эта... Знаете ли, у Кольцова есть...—какъ-то необычайно просіявъ, неожиданно воскликнулъ онъ и задыхающимся голосомъ продекламировалъ (голосъ его при напряженіи оказался какимъ-то нервно звенящимъ и какъ будто надтреснутымъ):

Выходи жъ ты, туча,
Съ темною грозою—
Обойми свѣтъ бѣлый,
Закрой темнотою...
Молодецъ удалый
Соловьемъ засвищетъ,
Безъ пути, безъ свѣта
Свою долю сыщетъ...

Послѣ этого, для меня неожиданнаго порыва, Серафимъ Николаичъ тотчасъ же смутился и низко нагнулся надъ стаканомъ, но не утерпѣлъ и, улыбнувшись дѣтски-восторженной улыбкой, снова заговорилъ:

— Не правда ли, сила какая?.. Тутъ, знаете ли, есть что-то... Ужасно гордое что-то есть!.. И главное, могущественное... О, это главное!.. Видите ли, это не Байронъ... Тамъ немудрено, знаете: онъ на уровнѣ многихъ знаній стоялъ... Тамъ, видите ли, стонъ какой-то, озлобленіе этакое... А тутъ такое... такое непосредственное... и свѣжее... Чувство тутъ, а не сплинъ... Конечно, не сплинъ!.. Я, знаете ли, о чемъ... здѣсь вѣдь народъ

въ пастухахъ живетъ... Развѣ у него достатка хватитъ соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и еще дочь при себѣ имѣю,—ничего отъ него не прошу, только дай мнѣ документъ.

— А вотъ не дамъ! Иди ко мнѣ, ѣшь мой хлѣбъ!..

— Да есть ли онъ у васъ-то еще, надо перво-наперво спросить?..—презрительно спрашиваетъ городская.

— Вотъ что, другъ, покайся-ка: ты вѣдь самъ ее спервоначалу отпустилъ въ городъ?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Извѣстно, самъ,—мрачно отвѣчаетъ «другъ».

— И все время пачпорта давалъ?

— Давалъ...

— Вотъ и разбаловалъ бабу! Самъ виноватъ, теперь и кайся. Что ты съ ней теперь дѣлать будешь, коли ежели теперь она къ тебѣ придетъ? Вѣдь она чаи-сахары любитъ, а ты гдѣ ей возьмешъ?

— И безъ чаевъ поживетъ...

— Господа судьи!.. Сдѣлайте вы такую милость, уговорите его! Я ему пять рублей въ годъ буду давать, чтобы только онъ не нудилъ меня...

— Не надо мнѣ денегъ, иди жить.

— Нѣтъ, Ѳедулычъ, это не дѣло теперь бабу кругомъ обрѣзать... Куда она теперь годится? Никуда... Она только тебя по рукамъ, по ногамъ свяжетъ; она теперь тебѣ ужъ не жена!..

Пастухъ молчитъ. Меня все больше начинаютъ интересовать мотивы, заставившіе его вдругъ измѣнить отношенія къ пущенной давно на вольную жизнь дрожайшей половинѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ серьезно сталъ тосковать объ своей бобыльской жизни и вздумалъ свить себѣ вновь гдѣздо, не принявъ только въ расчетъ полнаго разлада между всей своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдьте,—говоритъ Колесовъ разнокалиберной четѣ.

— Что намъ съ ними дѣлать? — обращается онъ къ Денису Черныхъ.—Отпустить ее: пусть беретъ хвость въ зубы и убирается, куда глаза глядятъ?

— Тоже баловать-то не годится ихнюю сестру: онѣ такъ-то всѣ поразбѣгутся.

— Ну, этой дряни всегда хватитъ... На кой лядъ она ему, — вѣдь она теперь ему не жена и не хозяйка!

— Извѣстно — городская...

— Н. М! а можемъ мы ей пачпорта дать?.. Какъ тамъ въ законахъ-то?..

— Въ законѣ о томъ, что нельзя давать — ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А не доволенъ, бери «скопію»,—пусть тамъ высшее начальство разбираетъ ихъ, намъ и того пріятнѣе будетъ!.. Пиши, Н. М.,—дать ей билетъ.

Мужъ остается этимъ рѣшеніемъ недоволенъ и требуетъ «скопію», но въ назначенный день за полученіемъ ея не является: за два дня, протекшіе съ воскресенья, онъ, видно, помирился съ своей судьбой—доживать вѣкъ одинокимъ бобылемъ.

— Андрей и Егоръ Петровы!

Входятъ два брата; старшему, Андрею— 30 лѣтъ, младшему, Егору—26 лѣтъ. *Они* рѣшили подѣлиться, благодаря семейнымъ неурядицамъ: бабы, т.-е. ихъ жены, вздурили и никакъ ужиться не могутъ; ни старшаго ни старшей въ домѣ нѣту, а молодухи другъ другу подчиняться не хотятъ, ну и не стало житья самимъ братьямъ, — лучше ужъ отъ грѣха разойтись. Но и разойтись не такъ-то легко: помѣстье у нихъ маленькое, двумъ дворамъ не умѣститься: надобно которому-нибудь изъ нихъ удаляться съ родительскаго гнѣзда. Конечно, никому изъ нихъ нѣтъ охоты садиться на выгонѣ-пустырѣ; спорили, спорили, раза два до драки доходило, — а толку нѣтъ никакого... Селеніе ихъ небольшое; всѣ прочіе домохозяева— родня имъ: ни на чью сторону и не тянутъ; вотъ и порѣшили они разобраться на судѣ: что чужіе умственные люди скажутъ, — такъ тому и быть.

— Ну, какъ тутъ съ этимъ дѣломъ быть, Денисъ Ивановичъ? — спрашиваетъ Петруха Колесовъ, и всѣ взоры обращаются на Дениса Ивановича, ибо несомнѣнно, что изъ всѣхъ засѣдающихъ судей онъ одинъ только вполнѣ компетентенъ въ области дѣдовскихъ обычаевъ, нынѣ по наслышкѣ развѣ извѣстныхъ молодому поколѣнію, возросшему подъ сѣнью писаннаго закона.

— А вотъ какъ, — говоритъ Денисъ Ивановичъ послѣ минутной паузы:—итти тебѣ, Андрей, на новое мѣсто и отцовскую избу оставить Егоркѣ, а самъ возьмешь, во что старики положатъ взамѣнъ ея, клѣтку съ амбаромъ или еще что...

молчать, упорно отстаивая права родительской власти. Совѣщаніе наше тянется около получаса; Колесовъ и Пузанкинъ начинаютъ, наконецъ, сдаваться и говорятъ Черныху: «а то, ну его къ лѣшему!.. давай его въ холодную сутокъ на пять посадимъ, коли закона нѣтъ пороть?» — на что Черныхъ отрывисто отвѣчаетъ: «дѣлайте, какъ знаете». Я ухватываюсь за эту полууступку съ его стороны и пишу рѣшеніе: арестовать такого-то при волостномъ правленіи на пять сутокъ... Денисъ Ивановичъ устранилъ себя отъ рѣшенія вопроса, не осмѣливаясь измѣнить ветхозавѣтнымъ традиціямъ, по которымъ въ данномъ случаѣ требовалось выдать сына головой отцу, т.-е. сдѣлать съ нимъ все, что пожелаетъ отецъ; но новыя времена съ такой неудержимой силой разрушаютъ всѣ отцовскіе и дѣдовскіе обычаи, что Денисъ Ивановичъ иногда въ полномъ недоумѣніи,—гдѣ же ложь и гдѣ истина, и, не умѣя разрѣшить этихъ жгучихъ вопросовъ, вовсе отстраняется отъ активнаго вмѣшательства, ограждая себя словами: «дѣлайте, какъ знаете...»

Недоразумѣніямъ, возникшимъ по поводу этого дѣла, не суждено было, однако, кончиться на этомъ: когда я прочелъ постановленіе суда о «подвергнутіи Порфирія Алексѣевича пятидневному аресту за неповиновенія родительской власти», то старикъ вдругъ завопилъ.

— Батюшки, господа судейные!.. Да что жъ это вы со мной дѣлаете? Намъ съ нимъ завтра ѣхать надо къ Сысоеву дрова возить,— я договорился и задатки на три подводы взялъ, — а вы его въ холодную посадить хотите!.. Да гдѣ жъ мнѣ одному, старику, справиться? Вѣдь онъ у меня одинъ, какъ перстъ!.. Ослобоните, родимые, не зорите...

Я пытаюсь успокоить старика, увѣряя, что его сына арестуютъ не сейчасъ, а по истеченіи тридцатидневнаго срока, и что онъ самъ можетъ явиться, какъ посвободнѣе будетъ,—но старикъ и на этотъ компромиссъ нейдетъ.

— Завсегда работа около дома найдется: помолотиться, сѣчки скотинѣ нарѣзать; гдѣ жъ мнѣ одному пять-то дней справляться со всѣмъ хозяйствомъ?.. Нѣтъ, господа судейные, ужъ вы его лучше постегайте, да и отпустите домой!

Черныхъ глубоко вздыхаетъ; Колесовъ ерзаетъ на стулѣ; Пузанкинъ шепчетъ: «я говорилъ постегать...» Подсудимый все время стоитъ, потупивъ глаза, и только изрѣдка нетерпѣливо встряхиваетъ волосами, когда стоящая позади его молодуха шепчетъ ему что-то на ухо. Я объявляю, что постановленіе суда уже сдѣлано и измѣнено быть не можетъ; недовольные же имъ имѣютъ право обратиться съ жалобой въ уѣздное присутствіе.

— Коли такъ,—съ сердцемъ объявляетъ старикъ,—не надо жъ мнѣ вашего суда!.. Ничего не хочу—помарайте, ку-быть я и не судился!.. Видно, нонѣ законъ такой есть: сыновьямъ на шеѣ отцовской ѣздить!.. Прощенья просимъ, что обезпокоили васъ.

И онъ величественно—не подберу другого слова — уходитъ, шмыгая избитыми лаптями; сынъ тоже молча поворачивается къ выходу, одна только молодуха низко кланяется намъ и говоритъ: «Дай вамъ, Господи!.. Помоги, Царица Небесная!..» Петровичъ ласково толкаетъ ее къ двери... Мы сидимъ, словно воды въ ротъ набрали; всѣмъ тяжело, даже и Ѳедькѣ, — про Дениса Ивановича я и не говорю: онъ, видимо, даже въ лицѣ измѣнился... Не суду возстановлять дискредитированную власть «отцовъ» надъ «дѣтьми!»

Слѣдующее за этимъ дѣломъ нѣсколько разгоняетъ мрачное настроеніе нашего духа. Тяжущіеся: мужъ, плюгавый мужиченка, горбатый, со слезящимися глазами, и жена — по городскому одѣтая женщина, лѣтъ 32—34, все еще довольно красивая, несмотря на отпечатокъ бурной жизни на лицѣ; она держитъ себя модно, говоритъ по «благородному» и вообще смахиваетъ на горничную средней руки. Истица проситъ судъ заставить отвѣтчика выдать ей паспортъ для проживанія въ городѣ.

— Я вотъ уже шесть годовъ по господамъ живу, хорошія мѣста имѣю, и вдругъ онъ требуетъ меня къ себѣ, господину старшинѣ не дозволяетъ документъ мнѣ выдать...

— Не хочу, чтобъ болталась: иди ко мнѣ жить.

— Никакъ это невозможно-тъ, господа!.. Очненно прошу принять въ резонъ, что если бъ у него хозяйство было, если бъ онъ меня, какъ должно, соблюдать могъ, то это разговоръ иной былъ бы; а то домишко у него весь развалился, самъ онъ

я снопы на полѣ пріостановилъ, онъ 15 руб. мнѣ далъ и въ ногахъ валялся—просилъ остальные подождать на немъ. Я сдуру и повѣрилъ, да вотъ по сію пору и жду: «нынѣ да завтра», только и слышишь. Прикажите ему, господа-старички, остаточные 20 руб. додать.

Это говоритъ старикъ, лѣтъ шестидесяти, хозяйствующій по-кулацки, снимающій землю у нуждающихся по осени и раздающій ее по веснѣ, наживая за «коммиссію» отъ 25 до 75%. Но у старика этого есть еще гоноръ нынѣ исчезающаго уже типа коренного сына деревни, ведущаго безъ всякихъ расписокъ тысячныя дѣла.

— Ты что жъ не отдаешь Ефиму Степанычу денегъ?—спрашиваетъ по обыкновенію Колесовъ.

— Да я ему отдалъ,—говоритъ отвѣтчикъ, малый лѣтъ 24-хъ.

— Отдалъ, да не всѣ...

— Нѣтъ, всѣ отдалъ.

— И языкъ у тебя не отсохнетъ такъ врать-то? Бога хоть побойся!..—говоритъ старикъ.

— Чего мнѣ еще бояться, я и такъ боюсь.

— Ахъ ты, поскуда, поскуда!.. Да смѣешь ли такъ говорить-то?.. А ну, перекрестись, коли отдалъ?..

Я спѣшу вмѣшаться въ дѣло, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: отвѣтчикъ, не дрогнувъ и нахально посматривая на старика, кладетъ широкій крестъ...

— Тфу ты, окаянный! — плюетъ старикъ въ негодованіи.—Пропади ты пропадомъ и съ двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грѣхъ на душу принимать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мнѣ ничего, господа-старички, отъ своихъ денегъ отказываюсь, не хочу объ него мараться... Ни на комъ...

И старикъ уходитъ, дѣлая крестныя знаменія.

— А нельзя ему подъ портки десятка два всыпать?—говоритъ Колесовъ, со злобой глядя на небрежно стоящаго «молодца».

— Никакъ нельзя,—говорю я, и чувствую, что краснѣю, потому что не прочь былъ бы въ данномъ случаѣ нарушить законъ и допустить подвергнуть отвѣтчика по гражданскому дѣлу уголовному взысканію.

— Петровичъ! бери его!..—приказываетъ Колесовъ, и я увѣренъ, что онъ чувствуетъ нѣкоторое удовлетвореніе, когда «молодецъ» подъ мощной рукой Петровича турманомъ вылетаетъ изъ «залы засѣданія».

А вотъ старуха-черничка на сценѣ. Вся она брызжетъ злостью, накопившейся у нея на сердцѣ за полстолѣтіе ея невольнаго дѣвства... Она уже много лѣтъ въ ссорѣ со своими сосѣдями, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ другу. Случилось черничкину цыпленку залетѣть черезъ плетень на дворъ къ сосѣдямъ; мальчишка съ того двора немедленно свернулъ цыпленку шею и трупъ его перебросилъ обратно къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣлу: черничка взыскиваетъ за цыпленка рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились: истица, отвѣтчикъ—отецъ провинившагося мальчонки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпленка и такимъ образомъ засвидѣтельствовала совершонное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, господа судіи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хотятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выживешь своимъ языкомъ безстыжимъ,—говоритъ отецъ мальчонки.

— Я безстыжая? Я?.. Праведные суды! Помилосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лѣтъ такое поношеніе...

— Да вы постойте!.. Вы разскажите намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Писклака у меня задушилъ его змѣенышъ... Они у меня такъ всѣхъ куръ передушатъ.

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался, такъ я ему за это вихры надралъ.

— Сколько жъ вы за цыпленка вашего получить желаете?—останавливаю я ихъ препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, потому они у меня канехинскаго завода. Еще упокойная барыня, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Такъ рубль просите?

— Да-съ, рубликъ-съ. А что сверхъ этого положите, коли ваша милость бу-

детъ, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!.. — прерываетъ ее Черныхъ. — Ты, Игнатичъ, сына, говоришь поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Иванычъ, какъ же,—въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлорусыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздается жалобный пискъ: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!»...

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Иванычъ экзекуцію. — Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка? А?

— Не буду, дяденька!..

— То-то жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ не такъ раздѣлаетъ... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что жъ, Денисъ Иванычъ,—я цѣну настоящую завсегды отдать готовъ... А то вдругъ—рупь!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятиалтынничекъ мнѣ на убожество пожаловали? — алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-навсего пятиалтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ насмѣшку вы мнѣ это дѣлаете?—такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна, два раза по восьми верстъ проѣздила...

— А кто жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акаѳисты читала да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Скопію мнѣ пожалуйте, господинъ писарь: я дѣла кончать не буду, я завтра жъ къ господину становому приставу... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копіей приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстъ переть?.. Понимаю-съ, очень даже преотлично понимаю-съ, что все это вы въ насмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

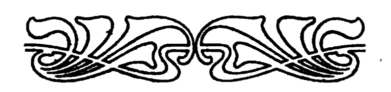
И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромѣ Черныха), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

— Никого тамъ больше на судъ нѣту?—спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполнѣ понятно, ибо уже одиннадцать часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва семь часовъ, и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальныя пять дѣлъ, назначенныя въ этотъ день «къ слушанію», пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ — не явились истцы, въ одномъ—не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ — состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава Тебѣ, Создатель Милосердный!.. — шепчутъ судьи, дѣлая истовые поклоны передъ иконой. Однако я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ крестъ машинально, по привычкѣ: Черныхъ благоговѣйно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Ѳедька — за то, что наконецъ-то настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ — за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи «разводной» отъ мужа...



— Ѳедя, а Ѳедя, да что тѣ стоитъ, не упрямься, — выручи ты насъ, сдѣлай милость!..

Оказывается, что очередь выставить судью пала на селеніе Хуторки, отстоящее отъ Кочетова на 30 верстъ; это выселки изъ села Гладкаго, которое во время VIII ревизіи получило прирѣзку на излишнее количество душъ въ отдѣльномъ участкѣ, потому что поблизости свободныхъ казенныхъ земель уже не было. Но Хуторки, хотя и составляютъ отдѣльное, самостоятельное селеніе и даже избираютъ своего старосту, все-таки остались причисленными къ кочетовской волости, потому что владѣнная запись на землю у нихъ общая съ метрополіей—селомъ Гладкимъ; отсюда крайне отяготительная обязанность для хуторянъ—ѣздить въ Кочетово на суды, сходы и проч. Они нанимаютъ особаго ямщика, Ѳедьку, платя ему 90 рублей въ годъ, чтобы онъ доставлялъ по воскресеньямъ старосту въ волость и отвозилъ бы его обратно; теперь же, когда до хуторянъ дошла очередь «выставить своего судью», они и пришли въ крайнее затрудненіе, потому что никто изъ четырехъ выборныхъ не хочетъ каждое воскресенье дѣлать прогулку въ 60 верстъ. Просили они кочетовскихъ ослобонить ихъ, взять на себя лишнюю судейскую должность, да тѣ заломили ведро водки, а они давали только четверть... Ну, насмѣялись надъ ними только: «ладно, отходите, разжирѣли тамъ, сидя въ углу-то! А вы вотъ съ наше походите-ка!..»

— Да что, ребята, подумаю я,—говоритъ одинъ изъ выборныхъ,—Ѳедькѣ все равно кажинное воскресенье забиваться сюда со старостой, такъ его и выберемъ въ судьи. Онъ посидитъ, посидитъ да и отходитъ, такъ-то, Господи благослови.

Нужно сказать, что Ѳедька попалъ и въ выборные на волостной сходъ на томъ же основаніи, т.-е., что ему ужъ все равно забиваться въ волость со старостой, такъ и въ выборныхъ, молъ, за одно отходитъ.

Всѣ отлично понимали, что Ѳедька ни на какую общественную должность, кромѣ старостинаго ямщика, не годится, потому что Богъ его умомъ обидѣлъ, не говоря ужъ про то, что онъ до страсти жаденъ на вино; но стремленіе съэкономить одного человѣка при отбываніи общественной повинности натолкнуло хуторскій міръ на мысль сдѣлать Ѳедьку однимъ изъ своихъ представителей. Ѳедька, послѣ легкаго протеста, получивъ полштофъ мірскаго вина, согласился принять на себя обязанности выборнаго на волостной сходъ, такъ какъ всѣ обязанности могли заключаться лишь въ томъ, чтобы при перекличкѣ на сходкѣ онъ сказалъ бы «здѣсь», а потомъ до самой минуты отъѣзда онъ могъ уже безпрепятственно хранить глубокое молчаніе и дремать, прислонившись спиной къ жарко натопленной печкѣ. Но перспектива судейскихъ обязанностей испугала Ѳедьку, и онъ энергично сталъ открещиваться отъ сдѣланнаго ему предложенія.

— Да что вы, почтенные, помилуйте, какой же я судья! Опять мнѣ за лошадью присматривать надо, а тамъ сиди за столомъ... Нѣтъ, ужъ вы ослобоните!..

— Пустое ты болтаешь! Прикажешь десятскому за лошадью посмотрѣть,—на то онъ и десятскій, а ты судья... А тамъ себѣ будешь смирнехонько въ теплѣ сидѣть, отсидишь, да и поѣдешь съ Господомъ...

— Никакъ это невозможно, старички.

— Ѳедька, будь другъ! Уважь міръ!.. Мы те и въ караульные цѣлый годъ выгонять не будемъ...

— Это вѣрно,—не будемъ!—поддерживаетъ «міръ» и староста.

— И два полштофа сейчасъ выставимъ тебѣ!..

Ѳедька колеблется.

— Да что толковать! — замѣчаетъ еще одинъ выборный:—насъ пятеро — цѣлую четверть мірскую выпьемъ, во какъ!..

— Выпьемъ!.. Это что и говорить!.. Такъ какъ же, Ѳедька? А?..

У Ѳедьки слюнки текутъ...

Сборная начинаетъ вновь наполняться; выборные столковались и спѣшатъ теперь объявить результаты своихъ совѣщаній.

— Кого же, господа - старички, желаете въ судьи?—спрашиваетъ старшина.

— Петруху Колесова! — объявляетъ Иванъ Моисеевичъ.

— Всѣ... Желаемъ!..— какъ одинъ человѣкъ отвѣчаютъ сто сорокъ выборныхъ.

— Прохора Дубоваго...

— Всѣ желаете?..

— Всѣ...—и т. д., покуда не будутъ провозглашены судьями всѣ двѣнадцать кандидатовъ, въ числѣ коихъ значатся и Илюха Гавриковъ, и Васька Пузанкинъ,

и Фролъ Бородинъ, и Θедоръ Ягодкинъ, т.-е. по обиходному—Θедька-ямщикъ...

— Господа, заканчиваю я выборы: у насъ издавна ведется, чтобы всѣ судьи разбивались на три очереди, по четыре человѣка въ каждой, при чемъ каждая очередь обязана «отходить» по четыре мѣсяца; первая очередь съ января по апрѣль включительно, вторая—съ мая по августъ, третья—съ сентября по декабрь. Дозволите вы мнѣ со старшиной распредѣлить новыхъ судей по очередямъ, или сами будете назначать, когда кому ходить?

— Чего тамъ!.. Стоитъ толковать изъ пустяковъ!.. Сами назначайте, вамъ виднѣе!..—слышатся со всѣхъ сторонъ восклицанія.

Сходъ кончается. Всѣ спѣшатъ къ «распивочному и на выносъ»—пить могорычи и разныя отступныя; волость мгновенно пустѣетъ,—остаемся только мы съ старшиной, потому что даже Петровичъ съ десятскимъ убѣжали, чтобъ изъ своихъ четвертей хоть по стаканчику выпить.

— Ну, какъ же, Яковъ Ивановичъ, надо вѣдь разсортировать судей? Я многихъ еще не знаю, такъ ты ужъ помоги мнѣ.

— Что жъ, это можно: вотъ Ваську Пузанкина надо пріобщить къ Черныху; этотъ окорачивать будетъ, а то Васька—дюже плутъ-мужикъ...

— Какой это Васька? Я что-то не припомню...

— А вотъ, что намедни приходилъ жаловаться на Воробьева Ивана, будто тотъ у него сѣно на гумнѣ потравилъ...

— А-а! Это что еще просилъ пять рублей за потраву, а на полтинникѣ сошелся?

— Ну, вотъ, этотъ самый, выжига такой, бѣда! Онъ ворочать теперь пойдетъ, посмотри-ка... Безпремѣнно къ нему Черныха приспособить надо.

— Ладно, записалъ. А вотъ Прохоръ Дубовый, этотъ каковъ изъ себя будетъ?

— Это Иванъ Моисеича сватъ? Что жъ, мужикъ хорошій, трезвый мужикъ. Про него дурного ничего сказать нельзя. Его хоть во вторую очередь запиши, онъ тамъ будетъ головой...

Такимъ путемъ и произошла разсортировка судей; послѣдствіемъ этого совѣщанія было, что въ знакомой уже намъ очередной группѣ находились такія разнохарактерныя личности, каковы Пузанкинъ, Черныхъ, Колесовъ и Ягодкинъ, взаимно дополнявшіе или нейтрализовавшіе другъ друга.

Посмотримъ, однако, что и какъ дѣлается этими судьями на этихъ народныхъ судахъ.

## Типичное засѣданіе волостного суда.

Итакъ, мы усаживаемся за столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; судьи сидятъ у стѣны по длинѣ стола, я—съ боку, за узкимъ концомъ его. Петровичъ мнѣ порадѣлъ, поставилъ единственное имѣющееся у насъ кресло; онъ это дѣлаетъ каждое воскресенье, несмотря на мои протесты: «вы больше ихъ работаете—пишете, а они только языкомъ болтаютъ; вамъ и отдохнуть надо, а на креслѣ и мягче и откинуться можно»,—говоритъ онъ; судьи сидятъ на разнокалиберныхъ стульяхъ. Засѣданіе наше носитъ вначалѣ офиціально-торжественный характеръ: судьи сидятъ въ застегнутыхъ наглухо полушубкахъ, туго перепоясанныхъ праздничными домоткаными кушаками; но по мѣрѣ того, какъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы засѣдаемъ, становится все душнѣе,—полушубки разстегиваются, позы становятся свободнѣе, на лицахъ сказывается утомленіе, рѣчь принимаетъ болѣе домашній характеръ. Но вначалѣ, какъ я сказалъ, всѣ держатся чопорно, глубоко вздыхаютъ, шепчутся другъ съ другомъ вполголоса, какъ бы боясь нарушить торжественность обстановки; Петровичъ стоитъ у дверей на вытяжку; на диванѣ сидятъ два офиціальныхъ свидѣтеля, при которыхъ читаются постановленія суда, что и отмѣчается въ книгѣ такимъ образомъ: «рѣшеніе это объявлено такого-то числа при свидѣтеляхъ, крестьянахъ такихъ-то». Такъ какъ комнатка наша мала, и къ тому же случается, что публика не ведетъ себя достаточно чинно, то, кромѣ этихъ двухъ свидѣтелей, присутствовать при допросахъ допускается лишь избраннымъ, изрѣдка приходящимъ «скуки ради» послушать суды: учителю, священникамъ, мѣстнымъ торговцамъ, Ивану Моисеичу и нѣкоторымъ другимъ лицамъ, составляющимъ сливки кочетовскаго общества. Для прочей, «черной» публики двери нашей

залы засѣданій растворяются только въ моментъ объявленія рѣшенія суда.

— Василій Коняхинъ!—вызываю я по жалобной книгѣ истца по первому, состоящему на очереди, дѣлу.

— Василій Коняхинъ!—гремитъ Петровичъ въ полуотворенныя двери, ведущія въ сборню.—Коняхинъ!

— Гдѣ Коняхинъ?.. Аль въ трактиръ ушелъ?

— Здѣся, чего кричишь!..

— Чего жъ ты не отзываешься, коли тебя зовутъ?—допекаетъ его нашъ судебный приставъ.

— Для-ча мнѣ отзываться?.. Ты зовешь,—я и иду, а отзываться мнѣ не для-ча...

— Ну - ну, не разговаривай, а становись вонъ къ печкѣ!..

Вошедшій мужикъ, сутуловатый и широкоплечій, съ угрюмымъ выраженіемъ лица, нѣсколько разъ истово крестится на икону, дѣлаетъ глубокій поклонъ судьямъ и, тряхнувши волосами, становится на указанное мѣсто.

— Вы Василій Ивановъ Коняхинъ?—спрашиваю я.

— Я самый.

— Въ чемъ ваша жалоба? Разсказывайте суду.

— Въ чемъ?.. Извѣстно, въ чемъ: Гришка побилъ!

— Чей это Гришка?—вмѣшивается Колесовъ.

— Волковъ.

— А - а... Волковъ? Это Матвѣя Ивановича зять? Ну, такъ, такъ... Побилъ, говоришь ты, и больно?

— Лучше не надо. Глазъ во-какъ раздуло, почернѣлъ совсѣмъ; теперь зажило.

— Такъ-съ. Гдѣ же у васъ дѣло-то было?

— Да около кабака. Я домой хотѣлъ ѣхать, а онъ догналъ и давай бить...

— Такъ ни за что и побилъ?

— Ни за что... Съ празднику мы ѣхали, отъ гудовскихъ. Праздникъ у нихъ былъ.

— Да что жъ у тебя языкъ-то, прости Господи, словно жерновъ ворочается! Сказывай веселѣе, какъ у васъ дѣло было?

— Сказывать-то нечего: побилъ да и только. Безъ глазу двѣ недѣли ходилъ...

— Н. М.! — обращается ко мнѣ Колесовъ, потерявъ охоту допрашивать такого неразговорчиваго субъекта, — зовите виновника: послушаемъ, что онъ скажетъ, а отъ этого никакого толку не добьешься.

На выкликъ Петровича, въ комнату быстро входитъ, очевидно, ожидавшій у дверей отвѣтчикъ Григорій Волковъ, юркій, вертлявый мужиченка, на видъ гораздо слабѣе коренастаго Коняхина. Онъ начинаетъ говорить, не дожидаясь вопроса.

— Не вѣрьте, господа судейскіе, ему, онъ навретъ со злобы, ей-Богу, навретъ, какъ пить дастъ..

— Ты не мели! — осаживаетъ его Денисъ Ивановичъ,—а говори дѣломъ, что и какъ у васъ было?

— Изволите видѣть, господа судейскіе: были мы, значитъ, у праздника, въ Годовкѣ, значитъ... Тамъ на Введеніе завсегда престолъ бываетъ...

— Знаемъ, какъ не знать; сами не однова были!—не утерпѣлъ, чтобы не вставить своего слова, Колесовъ.

— Вотъ, вотъ, это я говорю... Хорошо-съ; ѣдемъ мы оттелева съ нимъ, я на его лошади—потому, первымъ дѣломъ, лошади у меня нѣтъ—еще около Покрова увели; може, слыхали?...

— Съ озимей? — участливо замѣчаетъ Колесовъ.

— Съ озимей, съ озимей; какъ пить дали, увели... А добрый меренокъ былъ,— хоть и въ годахъ, а грѣхъ покорить... Ладно; такъ я и говорю: кумъ (а онъ мнѣ и кумомъ еще доводится)! — поѣдемъ къ празднику вмѣстѣ! «Ну, что жъ, говоритъ, поѣдемъ...»

— Вы покороче говорите,—останавливаю словоохотливаго разсказчика, опасаясь, что мы принуждены будемъ выслушать подробное повѣствованіе о всѣхъ ихъ похожденіяхъ на праздникѣ. — Сказывайте прямо, съ чего у васъ драка вышла? Тамъ, что ли, подрались?..

— Упаси Богъ, зачѣмъ тамъ! Мы тамъ, то-ись, во-какъ, душа въ душу были и вмѣстѣ по гостямъ ходили; а это ужъ какъ мы назадъ ѣхали, неудовольствіе-то промежъ насъ приключилось. Чтой-то, говорю, кумъ, прозябъ я будто маленько?— «И то, говоритъ, холодно что-то къ ночи».— Заѣдемъ, говорю, въ Шепталину, она намъ по дорогѣ будетъ, по стаканчику и выпьемъ. Заѣхали. Спросилъ я у цѣловальника Ивана Митрича, косушку, да и говорю: у меня вѣдь, кумъ, денегъ-то нѣту, ужъ, видно, ты заплатишь.—Въ ту пору онъ

промолчалъ; только какъ выпили по стаканчику, онъ и сталъ ко мнѣ приставать, чтобъ я ему на свои деньги поднесъ косушку. Я ему божусь, что денегъ нѣту, а онъ, видно, опять захмелѣлъ — ругаться сталъ: «такой да сякой, на моей лошади ѣдетъ да еще мою водку пьетъ; иди же, говоритъ, пѣшкомъ, а я не повезу». И пошелъ садиться на телѣгу. Я за нимъ: кумъ,—говорю,— да что ты очумѣлъ, родимый, что ли? Тутъ еще пять верстъ до дому, а ужъ ночь на дворѣ: куда я пойду въ этакую темь?.. А кумъ мой распрелюбезный быдто меня и не слышитъ, и ухомъ не ведетъ, знай понукаетъ лошадь; ну, я тутъ и схватился за вожжу—попридержать его маленько... Ка-акъ онъ мнѣ въ тую пору дастъ леща прямо въ ухо, ажъ звонъ у меня въ головѣ пошелъ!.. Ну, въ этотъ разъ и я ужъ не стерпѣлъ, прыгъ къ нему въ телѣгу, и пошло у насъ тутъ неудовольствіе... Да мнѣ гдѣ жъ было бы съ нимъ справиться, кабы онъ пьянъ не былъ, сами изволите, господа судьи, посмотрѣть на него и на меня...

— А глазъ ты ему точно подбилъ?— допрашиваетъ Колесовъ.

— Врать не хочу,—случился такой грѣхъ: маленько не ладно потрафилъ. Да теперь у него, слава Богу, зажило.

— Вотъ что, почтенный,—прерываетъ свое молчаніе Черныхъ, обращаясь къ жалобщику:—брось это дѣло, ничего не получишь; самъ виноватъ, первый зачалъ, потому оба подрались,—о чемъ же жаловаться?

— Это, т.-е., какъ же?.. Ни съ чѣмъ?

— Ахъ, кумъ, кумъ!..—подхватываетъ обидчикъ, ободренный заступничествомъ судьи. — Я жъ тебѣ еще полуштофъ на мировую поставить хотѣлъ, а ты, поди жъ, что выдумалъ!.. Въ судъ итти, судейныхъ утруждать такимъ пустякомъ!..

— Ну, вотъ это первое дѣло!—восклицаетъ Колесовъ.—Пойдите-ка, выпейте на мировую, да чтобъ ни на комъ...

— Миритесь, говорю вамъ, — заключаетъ Черныхъ,—миритесь скорѣй, не то обоихъ въ холодную на сутки.

— Дровецъ мнѣ подможете наколоть!— подхватываетъ Петровичъ. — А то нѣтъ моей моченьки: на двѣ печки-то каждый день, сколько ихъ наготовить надо?..

— Что жъ, кончаете дѣло мировой?— вставляю и я свое словечко.

— Кумъ, брось, пра слово, брось. А?..

— Да ну-те къ лѣшему! Поѣдемъ!.. Прощенья просимъ, господа судейскіе.

— Вотъ это превосходно, на что ужъ лучше!—одобряютъ и Колесовъ, и Пузанкинъ, и даже успѣвшій уже задремать «въ теплѣ» Ѳедька Ягодкинъ. Одинъ Денисъ Иванычъ угрюмо молчитъ.

— Сторожу-то за хлопоты не забудьте приберечь стаканчикъ! — вдогонку уходящимъ кумовьямъ кричитъ Петровичъ, тоже довольный состоявшейся мировой, хотя надежда на помощь при колкѣ дровъ и остается тщетной.

— Ладно, оставимъ. Подходи!..—отвѣчаетъ уже изъ другой комнаты Гришка.

— И съ чего это вздумалось Коняхину жаловаться на кума? — полувопросительно замѣчаю я.—Мужики оба, кажется, хорошіе; ну, подрались, такъ это не въ диво.

— Обидно очень стало Василію-то ходить съ подбитымъ глазомъ: кабы не глазъ — ничего бы и не было, а то засмѣяли его вовсе онамеднись въ трахтирѣ... Вотъ онъ съ пьяну-то и пошелъ жалобу записывать, а потомъ ужъ поопасался отступиться, какъ бы за это что не было,— объяснилъ судья Пузанкинъ, знающій почти всю подноготную житья-бытья кочетовскихъ обывателей.

Выступаетъ на сцену истецъ по второму дѣлу, старикъ лѣтъ шестидесяти. Онъ жалуется, что сынъ его перестaлъ слушаться, бранится, бросается съ кулаками на мачеху — его, старика, вторую жену... Старикъ проситъ судъ «постращать» сына, всыпать ему десятокъ горячихъ. Зовемъ парня; входитъ малый лѣтъ двадцати-пяти, самъ ужъ отецъ двоихъ дѣтей; за его спиной становится его жена, а съ боку старика — мачеха. Бабы эти вторглись къ намъ, несмотря на протесты Петровича; я оставляю ихъ, однако, въ покоѣ, думая, что изъ имѣющей произойти семейной сцены скорѣе выяснится, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ.

— Батюшки мои, заступитесь, родные!..—причитаетъ мачеха.—Житья мнѣ не стало, со свѣта сгоняетъ...

— Кто тебя сгоняетъ? Сама всѣхъ изъ дому выгоняешь, поѣдомъ меня ѣшь,— замѣчаетъ молодая.

Отецъ съ сыномъ молчатъ, не глядя другъ на друга.

— Ты что жъ это, молодецъ, дѣлаешь? А? Нешто годится это отца родного да мать забижать?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Отца я не обижаю, а она—какая же мнѣ она мать!—нехотя замѣчаетъ бунтовщикъ.

Судьи молчатъ; съ двухъ словъ становится для всѣхъ понятной семейная драма тяжущихся: мачеха не уживается съ молодой и натравляетъ на нее старика, а сынъ заступается за свою жену и отстаиваетъ ее передъ стариками. «Отцы» не ладятъ съ «дѣтьми», исторія далеко не новая.

— Проси, чего жъ ты не просишь?—слышу я шопотъ старухи.

— Такъ какъ же, господа судейскіе, постращайте малаго-то!.. Совсѣмъ отъ рукъ отбился.

— Старикъ! ты не дарма ли просишь на него? Не твоя ли хозяйка тебя подбиваетъ свое дѣтище тѣснить?—строго спрашиваетъ Черныхъ.

— Да разрази меня Мать Пресвятая Богородица!.. Да провались я на этомъ мѣстѣ, — начала-было причитать старуха, но быстро умолка при грозномъ жестѣ Петровича. Старикъ ничего на вопросъ не отвѣтилъ.

— Эй, молодецъ, слухай сюда, — говоритъ Черныхъ.—Можетъ, тутъ и не вся вина твоя, а все жъ ты супротивъ отца родного не долженъ итти, не смѣешь ругаться, это великій грѣхъ!.. Проси прощенья: онъ, може, и проститъ, а то, не прогнѣвайся, отстегаемъ.

— «Молодецъ» угрюмо молчитъ, не поднимая глазъ съ полу.

— Дѣдушка! а то, на первый разъ, вы бы простили его!—дѣлаю я слабую, что и самъ замѣчаю, попытку смягчить старика.

— Какъ же мнѣ прощать, коли онъ не проситъ? — говоритъ онъ и этимъ порываетъ всякую надежду на мирный исходъ дѣла.

По предложенію Петровича (онъ понялъ кивокъ головой, сдѣланный Денисомъ Иванычемъ), вся группа тяжущихся выходитъ изъ комнаты.

Наступаетъ моментъ рѣшенія участи малаго, почему-то пріобрѣвшаго мою симпатію. Я выжидаю, что скажетъ Денисъ Иванычъ: мнѣнія прочихъ не имѣютъ для меня такого значенія. Первымъ, по обыкновенію, начинаетъ говорить Колесовъ.

— Что жъ, господа - товарищи, — всыпать ему десяточекъ или много?

— Чего много!—поддерживаетъ Пузанкинъ, не воспользовавшійся ничѣмъ отъ обвиняемаго и поэтому сохраняющій суровый ригоризмъ: чего много, въ самый разъ! Имъ гляди въ зубы-то, они живо осѣдлаютъ...

— Такъ, такъ, это первымъ дѣломъ!—поддакиваетъ и Ѳедька, всегда согласный съ чужимъ авторитетно-высказаннымъ мнѣніемъ. Въ эту минуту Ѳедька даже забылъ, какъ въ прошлый праздникъ, напившись въ кабакѣ, пришелъ домой и такъ саданулъ въ бокъ своего родного батюшку, начавшаго дѣлать ему выговоръ, что тотъ дня два кряхтѣлъ и грозилъ итти жаловаться въ судъ на драчливаго судью...

Денисъ Ивановичъ все молчитъ; я начинаю надѣяться, что онъ несогласенъ съ мнѣніями прочихъ, и стараюсь расчистить ему путь, указывая на выяснившееся на судѣ обстоятельство — злющій характеръ мачехи, притѣсняющей, по всей вѣроятности, жену обвиняемаго, что и послужило поводомъ къ открытой ссорѣ между «отцами и дѣтьми». Я намекаю, что не худо бы на первый разъ все дѣло оставить безъ послѣдствій, предупредивъ отвѣтчика, что если на него еще будутъ жалобы, то онъ въ слѣдующій разъ будетъ подвергнутъ тяжелому взысканію.

— Нѣтъ, вовсе прощать ку-быть не годится, — замѣчаетъ Черныхъ.— А дать ему одинъ лозанъ—для острастки...

Но я окончательно возстаю противъ тѣлеснаго наказанія. Парень, доказываю я, кажется, хорошій и долженъ теперь пропасть изъ-за ехидной старушонки. Если пороть, то разница между однимъ и двадцатью ударами — только въ относительной боли, а послѣдствія для осужденнаго одни и тѣ же: онъ лишается многихъ правъ, не можетъ быть выбранъ старостой, старшиной и проч. Я горячо защищаю жертву семейныхъ неурядицъ и, какъ крайнее средство, предлагаю остановиться на арестѣ, если судъ найдетъ окончательно невозможнымъ совершенно простить обвиняемаго... Прежде всѣхъ со мной соглашается Ѳедька-ямщикъ, такъ какъ онъ— изъ уваженія къ моему писарскому званію—считаетъ необходимымъ согласоваться съ моими взглядами даже въ ущербъ авторитету Дениса Ивановича; но остальные

молчать, упорно отстаивая права родительской власти. Совѣщаніе наше тянется около получаса; Колесовъ и Пузанкинъ начинаютъ, наконецъ, сдаваться и говорятъ Черныху: «а то, ну его къ лѣшему!.. давай его въ холодную сутокъ на пять посадимъ, коли закона нѣтъ пороть?»—на что Черныхъ отрывисто отвѣчаетъ: «дѣлайте, какъ знаете». Я ухватываюсь за эту полууступку съ его стороны и пишу рѣшеніе: арестовать такого-то при волостномъ правленіи на пять сутокъ... Денисъ Ивановичъ устранилъ себя отъ рѣшенія вопроса, не осмѣливаясь измѣнить ветхозавѣтнымъ традиціямъ, по которымъ въ данномъ случаѣ требовалось выдать сына головой отцу, т.-е. сдѣлать съ нимъ все, что пожелаетъ отецъ; но новыя времена съ такой неудержимой силой разрушаютъ всѣ отцовскіе и дѣдовскіе обычаи, что Денисъ Ивановичъ иногда въ полномъ недоумѣніи,—гдѣ же ложь и гдѣ истина, и, не умѣя разрѣшить этихъ жгучихъ вопросовъ, вовсе отстраняется отъ активнаго вмѣшательства, ограждая себя словами: «дѣлайте, какъ знаете...»

Недоразумѣніямъ, возникшимъ по поводу этого дѣла, не суждено было, однако, кончиться на этомъ: когда я прочелъ постановленіе суда о «подвергнутіи Порфирія Алексѣевича пятидневному аресту за неповиновенія родительской власти», то старикъ вдругъ завопилъ.

— Батюшки, господа судейные!.. Да что жъ это вы со мной дѣлаете? Намъ съ нимъ завтра ѣхать надо къ Сысоеву дрова возить,—я договорился и задатки на три подводы взялъ,—а вы его въ холодную посадить хотите!.. Да гдѣ жъ мнѣ одному, старику, справиться? Вѣдь онъ у меня одинъ, какъ перстъ!.. Ослобоните, родимые, не зорите...

Я пытаюсь успокоить старика, увѣряя, что его сына арестуютъ не сейчасъ, а по истеченіи тридцатидневнаго срока, и что онъ самъ можетъ явиться, какъ посвободнѣе будетъ,—но старикъ и на этотъ компромиссъ нейдетъ.

— Завсегда работа около дома найдется: помолотиться, сѣчки скотинѣ нарѣзать; гдѣ жъ мнѣ одному пять-то дней справляться со всѣмъ хозяйствомъ?.. Нѣтъ, господа судейные, ужъ вы его лучше постегайте, да и отпустите домой!

Черныхъ глубоко вздыхаетъ; Колесовъ ерзаетъ на стулѣ; Пузанкинъ шепчетъ: «я говорилъ постегать...» Подсудимый все время стоитъ, потупивъ глаза, и только изрѣдка нетерпѣливо встряхиваетъ волосами, когда стоящая позади его молодуха шепчетъ ему что-то на ухо. Я объявляю, что постановленіе суда уже сдѣлано и измѣнено быть не можетъ; недовольные же имъ имѣютъ право обратиться съ жалобой въ уѣздное присутствіе.

— Коли такъ,—съ сердцемъ объявляетъ старикъ,—не надо жъ мнѣ вашего суда!.. Ничего не хочу—помарайте, ку-быть я и не судился!.. Видно, нонѣ законъ такой есть: сыновьямъ на шеѣ отцовской ѣздить!.. Прощенья просимъ, что обезпокоили васъ.

И онъ величественно—не подберу другого слова—уходитъ, шмыгая избитыми лаптями; сынъ тоже молча поворачивается къ выходу, одна только молодуха низко кланяется намъ и говоритъ: «Дай вамъ, Господи!.. Помоги, Царица Небесная!..» Петровичъ ласково толкаетъ ее къ двери... Мы сидимъ, словно воды въ ротъ набрали; всѣмъ тяжело, даже и Ѳедькѣ,—про Дениса Ивановича я и не говорю: онъ, видимо, даже въ лицѣ измѣнился... Не суду возстановлять дискредитированную власть «отцовъ» надъ «дѣтьми!»

Слѣдующее за этимъ дѣломъ нѣсколько разгоняетъ мрачное настроеніе нашего духа. Тяжущіеся: мужъ, плюгавый мужиченка, горбатый, со слезящимися глазами, и жена—по городскому одѣтая женщина, лѣтъ 32—34, все еще довольно красивая, несмотря на отпечатокъ бурной жизни на лицѣ; она держитъ себя модно, говоритъ по «благородному» и вообще смахиваетъ на горничную средней руки. Истица проситъ судъ заставить отвѣтчика выдать ей паспортъ для проживанія въ городѣ.

— Я вотъ уже шесть годовъ по господамъ живу, хорошія мѣста имѣю, и вдругъ онъ требуетъ меня къ себѣ, господину старшинѣ не дозволяетъ документъ мнѣ выдать...

— Не хочу, чтобъ болталась: иди ко мнѣ жить.

— Никакъ это невозможно-тъ, господа!.. Оченно прошу принять въ резонъ, что если бъ у него хозяйство было, если бъ онъ меня, какъ должно, соблюдать могъ, то это разговоръ иной былъ бы; а то домишко у него весь развалился, самъ онъ

въ пастухахъ живетъ... Развѣ у него достатка хватитъ соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и еще дочь при себѣ имѣю,—ничего отъ него не прошу, только дай мнѣ документъ.

— А вотъ не дамъ! Иди ко мнѣ, ѣшь мой хлѣбъ!..

— Да есть ли онъ у васъ-то еще, надо перво-наперво спросить?..— презрительно спрашиваетъ городская.

— Вотъ что, другъ, покайся-ка: ты вѣдь самъ ее спервоначалу отпустилъ въ городъ?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Извѣстно, самъ,—мрачно отвѣчаетъ «другъ».

— И все время пачпорта давалъ?

— Давалъ...

— Вотъ и разбаловалъ бабу! Самъ виноватъ, теперь и кайся. Что ты съ ней теперь дѣлать будешь, коли ежели теперь она къ тебѣ придетъ? Вѣдь она чаи-сахары любитъ, а ты гдѣ ей возьмешъ?

— И безъ чаевъ поживетъ...

— Господа судьи!.. Сдѣлайте вы такую милость, уговорите его! Я ему пять рублей въ годъ буду давать, чтобы только онъ не нудилъ меня...

— Не надо мнѣ денегъ, иди жить.

— Нѣтъ, Ѳедулычъ, это не дѣло теперь бабу кругомъ обрѣзать... Куда она теперь годится? Никуда... Она только тебя по рукамъ, по ногамъ свяжетъ; она теперь тебѣ ужъ не жена!..

Пастухъ молчитъ. Меня все больше начинаютъ интересовать мотивы, заставившіе его вдругъ измѣнить отношенія къ пущенной давно на вольную жизнь дрожайшей половинѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ серьезно сталъ тосковать объ своей бобыльской жизни и вздумалъ свить себѣ вновь гдѣздо, не принявъ только въ расчетъ полнаго разлада между всей своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдьте,—говоритъ Колесовъ разнокалиберной четѣ.

— Что намъ съ ними дѣлать? — обращается онъ къ Денису Черныхъ.—Отпустить ее: пусть беретъ хвостъ въ зубы и убирается, куда глаза глядятъ?

— Тоже баловать-то не годится ихнюю сестру: онѣ такъ-то всѣ поразбѣгутся.

— Ну, этой дряни всегда хватитъ... На кой лядъ она ему,— вѣдь она теперь ему не жена и не хозяйка!

— Извѣстно — городская...

— Н. М! а можемъ мы ей пачпортъ-то дать?.. Какъ тамъ въ законахъ-то?..

— Въ законѣ о томъ, что нельзя давать — ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А не доволенъ, бери «скопію»,—пусть тамъ высшее начальство разбираетъ ихъ, намъ и того пріятнѣе будетъ!.. Пиши, Н. М.,—дать ей билетъ.

Мужъ остается этимъ рѣшеніемъ недоволенъ и требуетъ «скопію», но въ назначенный день за полученіемъ ея не является: за два дня, протекшіе съ воскресенья, онъ, видно, помирился съ своей судьбой—доживать вѣкъ одинокимъ бобылемъ.

— Андрей и Егоръ Петровы!

Входятъ два брата; старшему, Андрею— 30 лѣтъ, младшему, Егору—26 лѣтъ. Они рѣшили подѣлиться, благодаря семейнымъ неурядицамъ: бабы, т.-е. ихъ жены, вздурили и никакъ ужиться не могутъ; ни старшаго ни старшей въ домѣ нѣту, а молодухи другъ другу подчиняться не хотятъ, ну и не стало житья самимъ братьямъ, — лучше ужъ отъ грѣха разойтись. Но и разойтись не такъ-то легко: помѣстье у нихъ маленькое, двумъ дворамъ не умѣститься: надобно которому-нибудь изъ нихъ удаляться съ родительскаго гнѣзда. Конечно, никому изъ нихъ нѣтъ охоты садиться на выгонѣ-пустырѣ; спорили, спорили, раза два до драки доходило, — а толку нѣтъ никакого... Селеніе ихъ небольшое; всѣ прочіе домохозяева— родня имъ: ни на чью сторону и не тянутъ; вотъ и порѣшили они разобраться на судѣ: что чужіе умственные люди скажутъ, — такъ тому и быть.

— Ну, какъ тутъ съ этимъ дѣломъ быть, Денисъ Ивановичъ? — спрашиваетъ Петруха Колесовъ, и всѣ взоры обращаются на Дениса Ивановича, ибо несомнѣнно, что изъ всѣхъ засѣдающихъ судей онъ одинъ только вполнѣ компетентенъ въ области дѣдовскихъ обычаевъ, нынѣ по наслышкѣ развѣ извѣстныхъ молодому поколѣнію, возросшему подъ сѣнью писаннаго закона.

— А вотъ какъ, — говоритъ Денисъ Ивановичъ послѣ минутной паузы:—итти тебѣ, Андрей, на новое мѣсто и отцовскую избу оставить Егоркѣ, а самъ возьмешь, во что старики положатъ взамѣнъ ея, клѣтку съ амбаромъ или еще что...

— Это мы очень понимаемъ; только почему же это и помѣстье ему и изба, а мнѣ однѣ клѣтки?—говоритъ Андрей.

— А потому, молодецъ, что это еще дѣдами нашими заведено такъ: всегда старшій братъ уходитъ отъ младшаго. Не будь этого, старшіе-то всегда спихивали бы молодшихъ на выгона; знамо, они посильнѣе будутъ, они въ годахъ, ну, и потяжелѣе жеребей имъ долженъ итти. Не дѣлись, а сталъ дѣлиться, начинай хозяйство сызнова; такъ-то!..

Андрей покоряется и остается доволенъ рѣшеніемъ: видно, онъ «не дошелъ» еще до отрицанія власти стариковъ.

Истецъ по слѣдующему дѣлу предъявляетъ ко взысканію расписку въ 90 руб., засвидѣтельствованную въ волостномъ правленіи; срокъ уплаты давно истекъ.

— Сколько же вы взыскиваете?—спрашиваю я, чтобъ оформить дѣло.

— Пятьдесятъ два рубля съ полтиной,—къ удивленію моему отвѣчаетъ истецъ.

— Какъ такъ? А расписка на 90 руб.?

— Это точно-съ. Только я ужъ получилъ по ней тридцать рублей землицей, да осьмину ржи, да четверть овса, да поросенка, да пахалъ онъ на меня день... Вотъ мы сочлись: какъ разъ на тридцать семь съ полтиной вышло. Остальные ищу, какъ собственно срокъ давно ужъ прошелъ.

— Должны вы ему?—спрашиваю отвѣтчика.

— Что зря болтать—долженъ.

— А много ли?

— Да подсчитывались, ку-быть пятьдесятъ два рубля.

— Анъ, съ полтиной! — вмѣшивается истецъ.

— Анъ, нѣтъ!

— Врешь!..

— Анъ, не вру. Перекрестись, коль съ полтиной?..

— И перекрещусь... А ты думаешь, что не перекрещусь?..

— А слеги-то забылъ, что бралъ у меня десятокъ о заговѣньѣ? По пятачку положили?

— Такъ онѣ за кортошку пошли...

— Разуй глаза-то!.. За картошку даве софитались, какъ за землю-то усчитывались!

— А ну-те къ Богу въ рай!.. — говоритъ истецъ упавшимъ голосомъ, должно-быть, смутно припоминая, что слеги точно не шли за картошку, но все-таки не желая признать своей ошибки.—Пятьдесятъ два, такъ пятьдесятъ два... Не обѣдняю съ полтинника.

— Да не разживешься...

— Ну, вотъ что, почтенные, — вступается Колесовъ,—чего браниться? Честь-честью столковались, и слава Богу, зачѣмъ Его, Батюшку, гнѣвить... Такъ какъ же, милушка, отчего деньги-то не отдаешь?

— Да у насъ уговоръ былъ землей расплачиваться, по двѣ десятины ему каждый годъ отдаю; только больно ужъ обидную цѣну онъ кладетъ—десять съ полтиной; вотъ я и сталъ покупщика искать, съ четырнадцатью рублями за десятину ужъ набиваются...

— А ты денежки-то умѣлъ брать, а отдавать-та не любо?.. А что я второй годъ жду на тебѣ, это ты въ счетъ не кладешь?..

— А ты не кладешь, что поросенка-то у меня за два рубля зачелъ, а онъ на худой конецъ четыре стоитъ?..

— Да не ты ли кланялся, Христомъ Богомъ просилъ просеца на сѣмена?.. Это ты забылъ?..

Долго препираются такимъ образомъ пріятели; ихъ денежныя отношенія такъ запутаны, что крайне мудрено опредѣлить, кто изъ нихъ больше пользовался услугами другого; но что должнику услуги, оказанныя кредиторомъ, обошлись не дешево, это внѣ всякаго сомнѣнія, и симпатія Черныха и Колесова, какъ я замѣчаю, лежитъ къ нему, потому что они общими усиліями стараются сбить истца на мировую, что имъ, наконецъ, и удается послѣ получасового усовѣщеванія. Тяжущіеся кончаютъ дѣло миромъ: десятина идетъ за тринадцать безъ четверти, а уплата остального долга отсрочивается до будущей осени.

Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ дѣлъ о взысканіи за землю, о недожитіи въ работникахъ и проч. Это дѣла заурядныя, составляющія самый значительный процентъ всѣхъ тяжбъ, разбираемыхъ въ волостномъ судѣ. Прослушаемъ еще двѣ финальныхъ тяжбы.

— Еще позалѣтошнимъ годомъ бралъ у меня этотъ молодецъ двѣ десятины подъ яровое по 18 руб. за десятину; рубль далъ задатку, да какъ возить время пришло, и

я снопы на полѣ пріостановилъ, онъ 15 руб. мнѣ далъ и въ ногахъ валялся—просилъ остальные подождать на немъ. Я сдуру и повѣрилъ, да вотъ по сію пору и жду: «нынѣ да завтра», только и слышишь. Прикажите ему, господа-старички, остаточные 20 руб. додать.

Это говоритъ старикъ, лѣтъ шестидесяти, хозяйствующій по-кулацки, снимающій землю у нуждающихся по осени и раздающій ее по веснѣ, наживая за «комиссію» отъ 25 до 75%. Но у старика этого есть еще гоноръ нынѣ исчезающаго уже типа коренного сына деревни, ведущаго безъ всякихъ расписокъ тысячныя дѣла.

— Ты что жъ не отдаешь Ефиму Степанычу денегъ?—спрашиваетъ по обыкновенію Колесовъ.

— Да я ему отдалъ,—говоритъ отвѣтчикъ, малый лѣтъ 24-хъ.

— Отдалъ, да не всѣ...

— Нѣтъ, всѣ отдалъ.

— И языкъ у тебя не отсохнетъ такъ врать-то? Бога хоть побойся!..—говоритъ старикъ.

— Чего мнѣ еще бояться, я и такъ боюсь.

— Ахъ ты, поскуда, поскуда!.. Да смѣешь ли такъ говорить-то?.. А ну, перекрестись, коли отдалъ?..

Я спѣшу вмѣшаться въ дѣло, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: отвѣтчикъ, не дрогнувъ и нахально посматривая на старика, кладетъ широкій крестъ...

— Тфу ты, окаянный! — плюетъ старикъ въ негодованіи.—Пропади ты пропадомъ и съ двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грѣхъ на душу принимать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мнѣ ничего, господа-старички, отъ своихъ денегъ отказываюсь, не хочу объ него мараться... Ни на комъ...

И старикъ уходитъ, дѣлая крестныя знаменія.

— А нельзя ему подъ портки десятка два всыпать?—говоритъ Колесовъ, со злобой глядя на небрежно стоящаго «молодца».

— Никакъ нельзя,—говорю я, и чувствую, что краснѣю, потому что не прочь былъ бы въ данномъ случаѣ нарушить законъ и допустить подвергнуть отвѣтчика по гражданскому дѣлу уголовному взысканію.

— Петровичъ! бери его!..—прика[зы]ваетъ Колесовъ, и я увѣренъ, что о[нъ] чувствуетъ нѣкоторое удовлетвореніе, ког[да] «молодецъ» подъ мощной рукой Петрови[ча] турманомъ вылетаетъ изъ «залы засѣданія».

А вотъ старуха-черничка на сценѣ. В[ся] она брызжетъ злостью, накопившейся [у] нея на сердцѣ за полстолѣтіе ея невол[ь]наго дѣвства... Она уже много лѣтъ в[ъ] ссорѣ со своими сосѣдями, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ дру[гу]. Случилось черничкину цыпленку залетѣ[ть] черезъ плетень на дворъ къ сосѣдямъ; мальчишка съ того двора немедленно свер[]нулъ цыпленку шею и трупъ его перебр[о]силъ обратно къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣ[лу]: черничка взыскиваетъ за цыпленка рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились истица, отвѣтчикъ—отецъ провинившагося мальчонки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпленка и такимъ образомъ засвидѣтельствовала совершонное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, госпо[да] судіи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хо[]тятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выж[и]вешь своимъ языкомъ безстыжимъ,—говоритъ отецъ мальчонки.

— Я безстыжая? Я?.. Праведные суди! Помилосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лѣтъ такое понощеніе...

— Да вы постойте!.. Вы разскажит[е] намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Писклака у меня задушилъ его звѣ[ре]нышъ... Они у меня такъ всѣхъ ку[ръ] передушатъ.

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался, такъ [я] ему за это вихры надралъ.

— Сколько жъ вы за цыпленка ваше[го] получить желаете?—останавливаю я их[ъ] препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, п[о]тому они у меня канехинскаго заво[да]. Еще упокойная барыня, Надежда Яковлев[на] когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Такъ руб[ль] просите?

— Да-съ, рубликъ-съ. А что свер[хъ] этого положите, коли ваша милость бу[]

деть, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!.. — прерываетъ ее Черныхъ. — Ты, Игнатичъ, сына, говоришь поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Иванычъ, какъ же,—въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлорусыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздается жалобный пискъ: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!»...

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Иванычъ экзекуцію. — Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка? А?

— Не буду, дяденька!..

— То-то жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ не такъ раздѣлаетъ... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что жъ, Денисъ Иванычъ,—я цѣну настоящую завсегды отдать готовъ... А то вдругъ—рупь!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятиалтынничекъ мнѣ на убожество пожаловали? — алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-навсего пятиалтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ насмѣшку вы мнѣ это дѣлаете?—такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна, два раза по восьми верстъ проѣздила...

— А кто жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акаѳисты читала да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Скопію мнѣ пожалуйте, господинъ писарь: я дѣла кончать не буду, я завтра жъ къ господину становому приставу... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копіей приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстъ переть?.. Понимаю-съ, очень даже преотлично понимаю-съ, что все это вы въ насмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

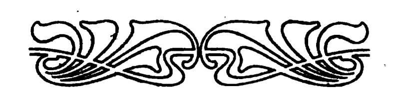
И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромѣ Черныха), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

— Никого тамъ больше на судъ нѣту?— спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполнѣ понятно, ибо уже одиннадцать часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва семь часовъ, и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальныя пять дѣлъ, назначенныя въ этотъ день «къ слушанію», пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ — не явились истцы, въ одномъ—не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ — состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава Тебѣ, Создатель Милосердный!.. — шепчутъ судьи, дѣлая истовые поклоны передъ иконой. Однако я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ крестъ машинально, по привычкѣ: Черныхъ благоговѣйно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Ѳедька — за то, что наконецъ-то настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ — за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи «разводной» отъ мужа...



я снопы на полѣ пріостановилъ, онъ 15 руб. мнѣ далъ и въ ногахъ валялся—просилъ остальные подождать на немъ. Я сдуру и повѣрилъ, да вотъ по сію пору и жду: «нынѣ да завтра», только и слышишь. Прикажите ему, господа-старички, остаточные 20 руб. додать.

Это говоритъ старикъ, лѣтъ шестидесяти, хозяйствующій по-кулацки, снимающій землю у нуждающихся по осени и раздающій ее по веснѣ, наживая за «комиссію» отъ 25 до 75%. Но у старика этого есть еще гоноръ нынѣ исчезающаго уже типа кореннаго сына деревни, ведущаго безъ всякихъ расписокъ тысячныя дѣла.

— Ты что жъ не отдаешь Ефиму Степанычу денегъ?—спрашиваетъ по обыкновенію Колесовъ.

— Да я ему отдалъ,—говоритъ отвѣтчикъ, малый лѣтъ 24-хъ.

— Отдалъ, да не всѣ...

— Нѣтъ, всѣ отдалъ.

— И языкъ у тебя не отсохнетъ такъ врать-то? Бога хоть побойся!..—говоритъ старикъ.

— Чего мнѣ еще бояться, я и такъ боюсь.

— Ахъ ты, поскуда, поскуда!.. Да смѣешь ли такъ говорить-то?.. А ну, перекрестись, коли отдалъ?..

Я спѣшу вмѣшаться въ дѣло, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: отвѣтчикъ, не дрогнувъ и нахально посматривая на старика, кладетъ широкій крестъ...

— Тфу ты, окаянный! — плюетъ старикъ въ негодованіи.—Пропади ты пропадомъ и съ двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грѣхъ на душу принимать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мнѣ ничего, господа-старички, отъ своихъ денегъ отказываюсь, не хочу объ него мараться... Ни на комъ...

И старикъ уходитъ, дѣлая крестныя знаменія.

— А нельзя ему подъ портки десятка два всыпать?—говоритъ Колесовъ, со злобой глядя на небрежно стоящаго «молодца».

— Никакъ нельзя, — говорю я, и чувствую, что краснѣю, потому что не прочь былъ бы въ данномъ случаѣ нарушить законъ и допустить подвергнуть отвѣтчика по гражданскому дѣлу уголовному взысканію.

— Петровичъ! бери его!..—приказываетъ Колесовъ, и я увѣренъ, что онъ чувствуетъ нѣкоторое удовлетвореніе, когда «молодецъ» подъ мощной рукой Петровича турманомъ вылетаетъ изъ «залы засѣданія».

А вотъ старуха-черничка на сценѣ. Вся она брызжетъ злостью, накопившейся у нея на сердцѣ за полстолѣтіе ея невольнаго дѣвства... Она уже много лѣтъ въ ссорѣ со своими сосѣдями, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ другу. Случилось черничкину цыпленку залетѣть черезъ плетень на дворъ къ сосѣдямъ: мальчишка съ того двора немедленно свернулъ цыпленку шею и трупъ его перебросилъ обратно къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣлу: черничка взыскиваетъ за цыпленка рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились: истица, отвѣтчикъ—отецъ провинившагося мальчонки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпленка и такимъ образомъ засвидѣтельствовала совершонное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, господа судіи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хотятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выживешь своимъ языкомъ безстыжимъ,—говоритъ отецъ мальчонки.

— Я безстыжая? Я?.. Праведные судьи! Помилосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лѣтъ такое поношеніе...

— Да вы постойте!.. Вы разскажите намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Писклака у меня задушилъ его змѣенышъ... Они у меня такъ всѣхъ куръ передушатъ.

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался, такъ я ему за это вихры надралъ.

— Сколько жъ вы за цыпленка вашего получить желаете?—останавливаю я ихъ препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, потому они у меня канехинскаго завода. Еще упокойная барыня, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Такъ рубль просите?

— Да-съ, рубликъ-съ. А что сверхъ этого положите, коли ваша милость бу-

деть, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!.. — прерываетъ ее Черныхъ. — Ты, Игнатичъ, сына, говоришь поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Иванычъ, какъ же,—въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлорусыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздается жалобный пискъ: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!»...

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Иванычъ экзекуцію. — Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка? А?

— Не буду, дяденька!..

— То-то жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ не такъ раздѣлаетъ... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что жъ, Денисъ Иванычъ,—я цѣну настоящую завсегды отдать готовъ... А то вдругъ—рупь!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятиалтынничекъ мнѣ на убожество пожаловали? — алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-навсего пятиалтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ насмѣшку вы мнѣ это дѣлаете?—такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна, два раза по восьми верстъ проѣздила...

— А кто жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акаѳисты читала да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Скопію мнѣ пожалуйте, господинъ писарь: я дѣла кончать не буду, я завтра жъ къ господину становому приставу... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копіей приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстъ переть?.. Понимаю-съ, очень даже преотлично понимаю-съ, что все это вы въ насмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

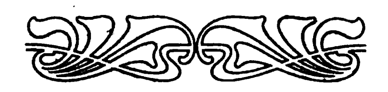
И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромѣ Черныха), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

— Никого тамъ больше на судъ нѣту?—спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполнѣ понятно, ибо уже одиннадцать часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва семь часовъ, и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальныя пять дѣлъ, назначенныя въ этотъ день «къ слушанію», пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ — не явились истцы, въ одномъ—не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ — состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава Тебѣ, Создатель Милосердный!.. — шепчутъ судьи, дѣлая истовые поклоны передъ иконой. Однако я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ крестъ машинально, по привычкѣ: Черныхъ благоговѣйно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Ѳедька — за то, что наконецъ-то настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ — за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи «разводной» отъ мужа...



жій промыселъ. Зашаталась община подъ напоромъ тысячи плотоядныхъ инстинктовъ, зашевелившихся въ степной глуши.

Степной мужикъ тихъ, страшно-терпѣливъ, добродушенъ... Тридцать лѣтъ тому назадъ и съ этими только качествами ему жилось хорошо:—земля рожала, хлѣба до новины доставало съ избыткомъ, подати выплачивались; теперь онъ копитъ недоимки, истощаетъ землю, пьянствуетъ и нищенствуетъ... Прежнихъ трехъ добродѣтелей оказывается недостаточно. Откуда же придутъ къ нему тѣ, которыя однѣ только въ силахъ противостать все-разлагающему духу времени?..

Я не знаю, откуда придутъ онѣ, эти другія добродѣтели, и мнѣ страшно за мой край — степную сторону, и позабыть мнѣ ее хочется, не думать о ней...

Но отчего же эта безконечная ширь полей, эта уныло - однообразная равнина, гдѣ - гдѣ перемежаемая едва замѣтными возвышенностями, эти тамъ - и сямъ разсѣянные села, хутора и усадьбы, этотъ убогій народъ,—съ такимъ непобѣдимымъ очарованіемъ влекутъ меня къ себѣ? Отчего мнѣ вѣчно мерещится моя бѣдная родина съ ея безбрежными полями, вѣчно вспоминается ея захватывающій душу просторъ, ея синѣющая даль? Почему передо мною неотступно встаютъ кусты и курганы, бѣлѣютъ высокія колокольни, и уныло звенитъ тоскливая мужицкая пѣсня?..

Вотъ и теперь, когда тусклый свѣтъ петербургскаго полудня тускло брезжитъ въ мою тѣсную, затхлую квартирку, когда въ запыленныя окна виднѣется лишь узкій, какъ колодецъ, дворъ да клочокъ сѣраго холоднаго неба, когда съ улицы доносится назойливый трескъ экипажей, лязгъ лошадиныхъ копытъ и возгласы кучеровъ — вспоминаю я далекую родину... И кажется мнѣ, что изъ какой-то едва досягаемой, чудно-таинственной дали съ чарующей ясностью выступаютъ и всецѣло заполоняютъ меня родныя картины...

И тоскливая печаль обнимаетъ мое сердце,—печаль, мучительно, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и невыразимо-сладко колеблющая какія-то странныя, болѣзненно-чуткія, болѣзненно-отзывчивыя струны въ моей груди...

---

## Серафимъ Ежиковъ.

Стоялъ февраль.

Съ самаго Крещенья держалась ясн погода безъ вѣтровъ и метелей, съ кр кими, сердитыми морозами.

Но постоянной погодѣ этой близи конецъ, и на Срѣтеніе, второго февра по небу забродили робкія тучки, а въ м розномъ воздухѣ повѣяло мягкостью. Ве черомъ, подавая самоваръ, Семенъ до жилъ мнѣ, что настъ ослабъ и не толь человѣка, какъ прежде, но и собаки н сдерживаетъ—проваливается.

— Неужель оттепель будетъ?

— Безпремѣнно будетъ, споконъ-вѣ вокругъ Срѣтенья отпускаетъ.

Четвертаго, въ день чудотворца Кирил съ самаго ранняго утра потянуло отт пелью. Влажный вѣтеръ медленно гнал съ юга длинныя вереницы тяжелыхъ туч Темная синева протянулась по кругозо и повисла надъ лѣсами и деревнями. До роги и тропинки пожелтѣли. Снѣгъ уж не рѣзалъ глаза сверкающей бѣлизно какъ то бываетъ въ яркій солнечный день но отдавалъ мягкими теплыми тонами.

Къ вечеру еще ниже свѣтились туч надъ полями. Казалось, стоило брос шапку кверху, и она застряла бы в тучахъ. Повалилъ мокрый пухлый снѣг Дали сначала завѣсились метелью, как будто кисеею, затѣмъ потонули въ му номъ, медленно зыблющемся морѣ, ск которое только смутно синѣли лѣса и че нѣлись поселки. Но скоро море это сгу стилось и, споспѣшествуемое наступающ тьмою, покрыло непроницаемой завѣсой и дали, и лѣса, и деревни. Хуторъ остал лицомъ къ лицу съ снѣжною бездно тихо, но неудержимо падающей съ неба.

Когда стемнѣло, вѣтеръ превратился въ бурю. Онъ загудѣлъ и заигралъ съ снѣ жинками, закрутилъ ихъ вихремъ, понес поземкою. Мертвенно-тихое поле просну лось: заревѣло и застонало. Началась пург

— Нну-у, разгулялась погодка!—во кликнулъ Семенъ, черезъ силу добравшійс изъ кухни до дома, и долго кряхтѣлъ и отплевывался, протирая лицо, обивая с поги и очищая одежду отъ липкаго снѣг

Дѣйствительно, загуляла погода шаль нымъ, безобразнымъ разгуломъ.

Семенъ напоилъ меня чаемъ, напилс самъ и, накинувъ на плечи полушубокъ

отправился было затворять ставни. Но буря воротила его, и ужъ натянувъ полушубокъ на рукава, онъ снова отправился бороться съ нею. И долго онъ возился съ дверями и гремѣлъ желѣзными затворами ставней. Мнѣ слышно было, какъ вьюга буйно вырывала изъ его рукъ ставни, порывисто хлопая ими по стѣнѣ, и въ то время, когда онъ усиливался притворить ихъ, она, словно поспѣшая, ударяла въ стекла непрерывными волнами звенящаго снѣга. Когда же, наконецъ, удалось Семену затворить ставни, звенящіе звуки превратились въ глухой и смутный, слегка завывающій шумъ, на который утлыя доски ставней отвѣчали жалобнѣйшимъ скрипомъ.

— Диво творится! — съ нѣкоторымъ даже ужасомъ объявилъ мнѣ Семенъ, тяжело отдуваясь и отряхаясь отъ снѣга.— Зги Божіей не видно въ полѣ!—добавилъ онъ, отдохнувши, и, взлѣзая на лежанку, съ сокрушеніемъ произнесъ: — упаси Господи, злого татарина...

Я сѣлъ за книгу, но читать мнѣ не хотѣлось. Я всталъ и сталъ ходить по комнатѣ. Что - то смутно волновало меня, повергая не то въ тоску, не то въ какую-то нервную тревогу. Слабое пламя свѣчи, печально бросавшее круглый отсвѣтъ на бѣлый потолокъ, трескъ половицъ подъ моими ногами, непрестанный лязгъ маятника и тѣнь, тихо двигающаяся за мною, смутный шумъ вьюги за стѣнами и легкое поскрипываніе ставней—все это уносило меня въ какой - то щемящій міръ мечтательныхъ грезъ и сказочныхъ представленій...

...Я вздрогнулъ и взглянулъ въ окно. Ставень распахнулся, хлопнулъ и хрипло загремѣлъ на желѣзныхъ петляхъ. Вьюга, подобно косматому чудовищу, лѣзла въ стекла и сердито лизала ихъ. Я взглянулъ на часы: стрѣлка приближалась къ двѣнадцати. Хлопнулъ съ визгомъ въ другой разъ ставень; затрещала непрочная рама. Буйно метнулся вѣтеръ въ трубу и заголосилъ тамъ, точно баба надъ покойникомъ.

Я подошелъ къ окну и прислонился къ стекламъ. Мутная бездна угрюмо глядѣла оттуда на меня.

Мнѣ почудился стукъ. Я прислушался: ничего, кромѣ Семенова храпа да завыванія вьюги. Но какое-то неопредѣленное безпокойство овладѣло мною. Я подошелъ къ передней и снова прислушался. Немного спустя, стукъ раздался явственно и торопливо.

Я разбудилъ Семена и окликнулъ: «кто тамъ?» Въ отвѣтъ послышался какой-то крикъ, почти заглушенный вѣтромъ, и снова посыпались удары въ двери. Несомнѣнно, за дверьми былъ человѣкъ. Семенъ отворилъ входъ въ сѣни, я распахнулъ дверь въ комнаты. Въ сѣняхъ завизжала ворвавшаяся буря, заскрипѣлъ снѣгъ подъ ногами Семена; въ комнаты сначала бросилась студеная струя, сильно заколебавшая пламя свѣчи, бывшей въ моихъ рукахъ, а затѣмъ ввалилось что-то бѣлое и холодное. Это *бѣлое* шумно вздохнуло, испустило какой-то неопредѣленный возгласъ и стремительно бросилось на коникъ. Это *бѣлое* — былъ человѣкъ, укутанный въ нѣкоторое подобіе тулупа и съ громаднымъ треухомъ на головѣ. Съ ногъ до головы онъ былъ занесенъ снѣгомъ.

— Шабашъ!.. хоть издыхай!..— отрывисто произнесъ онъ и уставилъ на меня мутный взглядъ.—Говорю, хоть издыхай!— настоятельно повторилъ онъ и въ изнеможеніи закрылъ глаза.

— Ты чей?—спросилъ я.

— Лѣсковскій, — отвѣтилъ онъ, вяло поднимая вѣки и съ какимъ-то удивленіемъ снова устремляя взглядъ свой на меня.

— Съ какихъ Лѣсковъ?

— Съ Малыхъ.

— Откуда ѣдешь?

— Съ города.

— Одинъ?

— Съ учителемъ.

— Съ какимъ учителемъ? Гдѣ онъ?— вскрикнулъ я въ ужасѣ.

— Въ саняхъ.

Семенъ выскочилъ на дворъ.

— Чей учитель?

— Лѣсковскій. Серафимъ Миколаичъ.

— Что же онъ не слѣзаетъ?

— Нейдетъ!

— Что такъ?

— Сумлѣвается.

— Въ чемъ?

— Насчетъ ночевки сумлѣвается.

— Какъ сомнѣвается?

— Такъ. Допрежъ, говоритъ, спросись поди...

Дверь снова отворилась, и въ ней опять показалось что-то бѣлое.

— Извините, ради Бога... Необходимость... По необходимости... Не обезпокою ли?..—говорило *оно*. Голосъ дрожалъ и прерывался.

Мужикъ преспокойно сталъ совлекать съ себя какое-то отрепье и взбираться на лежанку.

— Мнѣ хошь околѣвай теперь! — воскликнулъ онъ,—и меренъ пущай околѣваетъ и ты... Околѣвайте всѣ—мнѣ теперь все едино!..

Семенъ побѣжалъ прибирать лошадь. Я принялся разоблачать учителя. Онъ весь дрожалъ отъ стужи, но стыдливо отстранялъ отъ себя мои руки.

— Вы ужъ, пожалуйста...—лепеталъ онъ,—пожалуйста, не безпокойтесь... Не нужно бы... право не нужно бы хлопотать... Я бы въ избу... Намъ бы въ избу съ нимъ... Выпилъ онъ немного... холодно... Простите... Я, право, не знаю... Мнѣ бы въ избу...

— Куда въ избу—здѣсь ночуете.

— Ахъ, право бы не надо... Зачѣмъ здѣсь!.. Мы здѣсь намараемъ... Безпокойство вамъ... Въ избу бы... Мы утречкомъ бы завтра... Не взыщите... Чѣмъ свѣтъ бы... Не хлопочите, сдѣлайте милость!..

— Нѣтъ, ужъ меня коломъ отселѣ не выпрешь!—заявилъ мужикъ.

Серафимъ Николаичъ съ какимъ-то усиліемъ засмѣялся и снова сконфузился, и смущенно залепеталъ:

— Право мнѣ совѣстно... Вы ужъ простите его... Архипъ Лукичъ, ты ужъ не дебоширь, пожалуйста... Видите, выпилъ онъ... Согрѣваетъ оно, знаете ли... Есть научныя данныя... Алкоголь... Вамъ, вѣроятно, извѣстно?.. Холодно, знаете!.. Видите—одежда... рубище... Мнѣ вотъ можно не пить... Я одѣтъ...

И снова попытался засмѣяться и снова переконфузился. Все это время онъ что-то начиналъ растегивать, что-то развязывать, но руки его не дѣйствовали. Наконецъ я убѣдилъ его не препятствовать мнѣ и началъ производить раздѣванье. Изъ покрововъ на немъ только и было солиднаго, что валенки; все остальное могло быть носимо только по необходимости. Ватное пальтишко, увязанное большимъ женскимъ платкомъ, достигало лишь до колѣнъ (колѣни эти страшно дрожали). Дешевая барашковая шапка была глубоко надвинута на лицо. Кромѣ шапки, лицо это скрывалось и поднятымъ воротникомъ, изъ-за котораго торчала судорожно дрожавшая бородка, сплошь забитая инеемъ.

Онъ все не переставалъ проситься въ избу и извиняться за безпокойство. Насилу убѣдилъ я его, что никакого безпокойства онъ мнѣ не причинитъ и доставитъ лишь одно удовольствіе.

По совлеченіи платка, пальто и иныхъ верхнихъ одеждъ, учитель оказался маленькимъ, узкогрудымъ человѣчкомъ въ «твиновомъ» пиджачкѣ и въ ситцевой, достаточно уже позаношенной рубашкѣ. Отрекомендовался онъ мнѣ Серафимомъ Ежиковымъ. Лицо его было не безъ пріятности. Въ разговорѣ онъ часто и внезапно краснѣлъ, при чемъ лицо его получало выраженіе чрезвычайно пріятной застѣнчивости и какого-то совершенно дѣвичьяго цѣломудрія. Часто также пытался онъ предупредительно улыбаться и смѣяться какимъ-то, какъ бы заискивающимъ, смѣхомъ, но только *пытался*, ибо ни улыбки, какой слѣдуетъ, ни смѣха у него не выходило; его темные глубокіе глаза при этихъ попыткахъ постоянно оставались серьезными и даже грустными.

Впослѣдствіи замѣтилъ я, что стоило его оставить самому себѣ, то-есть не занимать его разговоромъ, не угощать и вообще не утруждать галантностью обхожденія,—онъ весь преображался: лобъ его тогда мучительно стягивался морщинами, на всемъ лицѣ замирала тоскливая гримаса, и худые прозрачные пальцы нервно щипали рѣденькую русую бородку. Казалось, какая-то упорная мысль постоянно буравила его голову.

Когда поданъ былъ самоваръ, мнѣ все-таки удалось внушить Ежикову нѣкоторую безцеремонность: онъ уже почти не отказывался отъ чая и съ замѣтнымъ удовольствіемъ выпилъ нѣсколько стакановъ.

— Зачѣмъ вы въ городъ-то ѣздили?—спросилъ я его за чаемъ.

— Знаете — увѣдомленіе было отъ управы...

— Это насчетъ чего же?

Онъ нѣсколько замялся.

— А видите ли:—наставникамъ нѣкоторое вознагражденіе полагается...

Слово «вознагражденіе» произнесъ онъ послѣ стыдливаго колебанія.

— А! Такъ за жалованьемъ, значитъ, ѣздили?

— Да, да... Съ одной стороны, это вѣрно... Невозможно, знаете... (Онъ какъ бы оправдывался).

— Что же, получили?

— О, да!.. Оно, видите, не совсѣмъ получили... Я, напримѣръ, не получилъ... Но нѣкоторые получили... и даже многіе получили... Очень многіе!—добавилъ онъ поспѣшно и такимъ тономъ, какъ бы просилъ у меня извиненія за гг. раздавателей «вознагражденія».

— Какъ же это вы-то?

Ежиковъ покраснѣлъ.

— Право, не знаю, какъ вамъ сказать... Впрочемъ, оно, пожалуй, и понятно... Даже очень понятно!.. Я, знаете ли, опоздалъ нѣсколько. Другіе успѣли, пріѣхали во-время, ну а я опоздалъ... Согласитесь сами, нельзя же ждать!

— Денегъ, стало-быть, недостало въ управѣ?

— Да, но видите... Видите, это такое дѣло... такое... Нужда вездѣ... Какъ хотите—обременительно!.. Очень обременительно... Вы знаете, вѣдь на *нихъ* очень много наложено... А была засуха... Они называютъ это *недородъ* (онъ застѣнчиво улыбнулся)... Это, знаете ли, все нужно... обсудить бы нужно!.. Налоги тамъ... Вообще...—тяжело!

Онъ вдругъ заволновался и вскочилъ со стула, но тотчасъ же опять усѣлся, не преминувъ и на этотъ разъ покрыться стыдливымъ румянцемъ.

— Изъ города вы рано выѣхали?—перемѣнилъ я разговоръ.

— А нѣтъ, не очень рано... Да вотъ...—онъ задумался,—да, да, метель ужъ была, и порядочная-таки была метель...

— Зачѣмъ же вы въ такую погоду выѣзжали?

— А какъ вамъ сказать... Это надо объяснить, видите... (Онъ окончательно переконфузился). Овесъ, знаете, и притомъ опять пища... О пищѣ тоже необходимо объяснить... Ужасно неудобно въ городѣ!.. И такъ, знаете ли... ужасно все дорого!.. Да, очень дорого. Ну, я, видите, не успѣлъ въ управу... Другіе успѣли... Очень многіе успѣли... Многіе ужасно нуждались... О, какъ нуждались!.. Знаете ли, Венчуткинъ есть, Михей Иванычъ... Онъ семинаристъ, изъ учительской семинаріи... Жена у него больная такая, слабая, дѣти... Очень маленькія дѣти!.. Ну, и ни копейки... а?.. О, ужасно нуждались Венчуткины!.. И вдругъ, что же?—пріѣзжаетъ, знаете ли, Михей Иванычъ,—онъ, впрочемъ, пѣшкомъ пришелъ, но это все равно...—итакъ, является онъ, ему прямо за три мѣсяца... (Намъ за три мѣсяца не выдавали... но это не важно!..) Итакъ, за три мѣсяца,—это съ чѣмъ-то тридцать шесть рублей... И вообразите, прямо-таки тридцать шесть рублей и получилъ!.. О, онъ ужасно теперь счастливъ... И все это очень удачно, знаете...

Глаза Серафима Николаича засвѣтились чисто-дѣтской радостью. Говорилъ онъ торопливо и часто задыхался отъ волненія, особенно сильно овладѣвавшаго имъ во время разговора о чьей-либо нуждѣ или о какомъ-нибудь горѣ.

— Ну, да, такъ вотъ видите... (я ровно ничего не видѣлъ и только смутно догадывался, что изъ города выжилъ Ежикова голодъ)... выѣхали мы, и вдругъ буря эта... Знаете ли, у Кольцова есть...—какъ-то необычайно просіявъ, неожиданно воскликнулъ онъ и задыхающимся голосомъ продекламировалъ (голосъ его при напряженіи оказался какимъ-то нервно звенящимъ и какъ будто надтреснутымъ):

Выходи жъ ты, туча,
Съ темною грозою—
Обойми свѣтъ бѣлый,
Закрой темнотою...
Молодецъ удалый
Соловьемъ засвищетъ,
Безъ пути, безъ свѣта
Свою долю сыщетъ...

Послѣ этого, для меня неожиданнаго порыва, Серафимъ Николаичъ тотчасъ же смутился и низко нагнулся надъ стаканомъ, но не утерпѣлъ и, улыбнувшись дѣтски-восторженной улыбкой, снова заговорилъ:

— Не правда ли, сила какая?.. Тутъ, знаете ли, есть что-то... Ужасно гордое что-то есть!.. И главное, могущественное... О, это главное!.. Видите ли, это не Байронъ... Тамъ немудрено, знаете: онъ на уровнѣ многихъ знаній стоялъ... Тамъ, видите ли, стонъ какой-то, озлобленіе этакое... А тутъ такое... такое непосредственное... и свѣжее... Чувство тутъ, а не сплинъ... Конечно, не сплинъ!.. Я, знаете ли, о чемъ... здѣсь вѣдь народъ

въ пастухахъ живетъ... Развѣ у него достатка хватитъ соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и еще дочь при себѣ имѣю,—ничего отъ него не прошу, только дай мнѣ документъ.

— А вотъ не дамъ! Иди ко мнѣ, ѣшь мой хлѣбъ!..

— Да есть ли онъ у васъ-то еще, надо перво-наперво спросить?..—презрительно спрашиваетъ городская.

— Вотъ что, другъ, покайся-ка: ты вѣдь самъ ее спервоначалу отпустилъ въ городъ?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Извѣстно, самъ,—мрачно отвѣчаетъ «другъ».

— И все время пачпорта давалъ?

— Давалъ...

— Вотъ и разбаловалъ бабу! Самъ виноватъ, теперь и кайся. Что ты съ ней теперь дѣлать будешь, коли ежели теперь она къ тебѣ придетъ? Вѣдь она чаи-сахары любитъ, а ты гдѣ ей возьмешъ?

— И безъ чаевъ поживетъ...

— Господа судьи!.. Сдѣлайте вы такую милость, уговорите его! Я ему пять рублей въ годъ буду давать, чтобы только онъ не нудилъ меня...

— Не надо мнѣ денегъ, иди жить.

— Нѣтъ, Ѳедулычъ, это не дѣло теперь бабу кругомъ обрѣзать... Куда она теперь годится? Никуда... Она только тебя по рукамъ, по ногамъ свяжетъ; она теперь тебѣ ужъ не жена!..

Пастухъ молчитъ. Меня все больше начинаютъ интересовать мотивы, заставившіе его вдругъ измѣнить отношенія къ пущенной давно на вольную жизнь дражайшей половинѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ серьезно сталъ тосковать объ своей бобыльской жизни и вздумалъ свить себѣ вновь гдѣздо, не принявъ только въ расчетъ полнаго разлада между всей своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдьте,—говоритъ Колесовъ разнокалиберной четѣ.

— Что намъ съ ними дѣлать?—обращается онъ къ Денису Черныхъ.—Отпустить ее: пусть беретъ хвостъ въ зубы и убирается, куда глаза глядятъ?

— Тоже баловать-то не годится ихнюю сестру: онѣ такъ-то всѣ поразбѣгутся.

— Ну, этой дряни всегда хватитъ... На кой лядъ она ему,—вѣдь она теперь ему не жена и не хозяйка!

— Извѣстно—городская...

— Н. М! а можемъ мы ей пачпортъ-то дать?.. Какъ тамъ въ законахъ-то?..

— Въ законѣ о томъ, что нельзя давать—ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А не доволенъ, бери «скопію»,—пусть тамъ высшее начальство разбираетъ ихъ, намъ и того пріятнѣе будетъ!.. Пиши, Н. М.,—дать ей билетъ.

Мужъ остается этимъ рѣшеніемъ недоволенъ и требуетъ «скопію», но въ назначенный день за полученіемъ ея не является: за два дня, протекшіе съ воскресенья, онъ, видно, помирился съ своей судьбой—доживать вѣкъ одинокимъ бобылемъ.

— Андрей и Егоръ Петровы!

Входятъ два брата; старшему, Андрею—30 лѣтъ, младшему, Егору—26 лѣтъ. Они рѣшили подѣлиться, благодаря семейнымъ неурядицамъ: бабы, т.-е. ихъ жены, вздурили и никакъ ужиться не могутъ; ни старшаго ни старшей въ домѣ нѣту, а молодухи другъ другу подчиняться не хотятъ, ну и не стало житья самимъ братьямъ,—лучше ужъ отъ грѣха разойтись. Но и разойтись не такъ-то легко: помѣстье у нихъ маленькое, двумъ дворамъ не умѣститься: надобно которому-нибудь изъ нихъ удаляться съ родительскаго гнѣзда. Конечно, никому изъ нихъ нѣтъ охоты садиться на выгонѣ-пустырѣ; спорили, спорили, раза два до драки доходило,—а толку нѣтъ никакого... Селеніе ихъ небольшое; всѣ прочіе домохозяева—родня имъ: ни на чью сторону и не тянутъ; вотъ и порѣшили они разобраться на судѣ: что чужіе умственные люди скажутъ,—такъ тому и быть.

— Ну, какъ тутъ съ этимъ дѣломъ быть, Денисъ Ивановичъ?—спрашиваетъ Петруха Колесовъ, и всѣ взоры обращаются на Дениса Ивановича, ибо несомнѣнно, что изъ всѣхъ засѣдающихъ судей онъ одинъ только вполнѣ компетентенъ въ области дѣдовскихъ обычаевъ, нынѣ по наслышкѣ развѣ извѣстныхъ молодому поколѣнію, возросшему подъ сѣнью писаннаго закона.

— А вотъ какъ,—говоритъ Денисъ Ивановичъ послѣ минутной паузы:—итти тебѣ, Андрей, на новое мѣсто и отцовскую избу оставить Егоркѣ, а самъ возьмешь, во что старики положатъ взамѣнъ ея, клѣтку съ амбаромъ или еще что...

— Это мы очень понимаемъ; только почему же это и помѣстье ему и изба, а мнѣ однѣ клѣтки?—говоритъ Андрей.

— А потому, молодецъ, что это еще дѣдами нашими заведено такъ: всегда старшій братъ уходитъ отъ младшаго. Не будь этого, старшіе-то всегда спихивали бы молодшихъ на выгона; знамо, они посильнѣе будутъ, они въ годахъ, ну, и потяжелѣе жеребей имъ долженъ итти. Не дѣлись, а сталъ дѣлиться, начинай хозяйство сызнова; такъ-то!..

Андрей покоряется и остается доволенъ рѣшеніемъ: видно, онъ «не дошелъ» еще до отрицанія власти стариковъ.

Истецъ по слѣдующему дѣлу предъявляетъ ко взысканію расписку въ 90 руб., засвидѣтельствованную въ волостномъ правленіи; срокъ уплаты давно истекъ.

— Сколько же вы взыскиваете?—спрашиваю я, чтобъ оформить дѣло.

— Пятьдесятъ два рубля съ полтиной,—къ удивленію моему отвѣчаетъ истецъ.

— Какъ такъ? А расписка на 90 руб.?

— Это точно-съ. Только я ужъ получилъ по ней тридцать рублей землицей, да осьмину ржи, да четверть овса, да поросенка, да пахалъ онъ на меня день... Вотъ мы сочлись: какъ разъ на тридцать семь съ полтиной вышло. Остальные ищу, какъ собственно срокъ давно ужъ прошелъ.

— Должны вы ему?—спрашиваю отвѣтчика.

— Что зря болтать—долженъ.

— А много ли?

— Да подсчитывались, ку-быть пятьдесятъ два рубля.

— Анъ, съ полтиной! — вмѣшивается истецъ.

— Анъ, нѣтъ!

— Врешь!..

— Анъ, не вру. Перекрестись, коль съ полтиной?..

— И перекрещусь... А ты думаешь, что и не перекрещусь?..

— А слеги-то забылъ, что бралъ у меня десятокъ о заговѣньѣ? По пятачку положили?

— Такъ онѣ за кортошку пошли...

— Разуй глаза-то!.. За картошку даве пофитались, какъ за землю-то усчитывались!

— А ну-те къ Богу въ рай!.. — говоритъ истецъ упавшимъ голосомъ, должно-быть, смутно припоминая, что слеги точно не шли за картошку, но все-таки не желая признать своей ошибки.—Пятьдесятъ два, такъ пятьдесятъ два... Не обѣдняю съ полтинника.

— Да не разживешься...

— Ну, вотъ что, почтенные, — вступается Колесовъ,—чего браниться? Честь-честью столковались, и слава Богу, зачѣмъ Его, Батюшку, гнѣвить... Такъ какъ же, милушка, отчего деньги-то не отдаешь?

— Да у насъ уговоръ былъ землей расплачиваться, по двѣ десятины ему каждый годъ отдаю; только больно ужъ обидную цѣну онъ кладетъ—десять съ полтиной; вотъ я и сталъ покупщика искать, съ четырнадцатью рублями за десятину ужъ набиваются...

— А ты денежки-то умѣлъ брать, а отдавать-та не любо?.. А что я второй годъ жду на тебѣ, это ты въ счетъ не кладешь?..

— А ты не кладешь, что поросенка-то у меня за два рубля зачелъ, а онъ на худой конецъ четыре стоитъ?..

— Да не ты ли кланялся, Христомъ Богомъ просилъ просеца на сѣмена?.. Это ты забылъ?..

Долго препираются такимъ образомъ пріятели; ихъ денежныя отношенія такъ запутаны, что крайне мудрено опредѣлить, кто изъ нихъ больше пользовался услугами другого; но что должнику услуги, оказанныя кредиторомъ, обошлись не дешево, это внѣ всякаго сомнѣнія, и симпатія Черныха и Колесова, какъ я замѣчаю, лежитъ къ нему, потому что они общими усиліями стараются сбить истца на мировую, что имъ, наконецъ, и удается послѣ получасового усовѣщеванія. Тяжущіеся кончаютъ дѣло миромъ: десятина идетъ за тринадцать безъ четверти, а уплата остального долга отсрочивается до будущей осени.

Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ дѣлъ о взысканіи за землю, о недожитіи въ работникахъ и проч. Это дѣла заурядныя, составляющія самый значительный процентъ всѣхъ тяжбъ, разбираемыхъ въ волостномъ судѣ. Прослушаемъ еще двѣ финальныхъ тяжбы.

— Еще позалѣтошнимъ годомъ бралъ у меня этотъ молодецъ двѣ десятины подъ яровое по 18 руб. за десятину; рубль далъ задатку, да какъ возить время пришло, и

я снопы на полѣ пріостановилъ, онъ 15 руб. мнѣ далъ и въ ногахъ валялся—просилъ остальные подождать на немъ. Я сдуру и повѣрилъ, да вотъ по сію пору и жду: «нынѣ да завтра», только и слышишь. Прикажите ему, господа-старички, остаточные 20 руб. додать.

Это говоритъ старикъ, лѣтъ шестидесяти, хозяйствующій по-кулацки, снимающій землю у нуждающихся по осени и раздающій ее по веснѣ, наживая за «комиссію» отъ 25 до 75%. Но у старика этого есть еще гоноръ нынѣ исчезающаго уже типа кореннаго сына деревни, ведущаго безъ всякихъ расписокъ тысячныя дѣла.

— Ты что жъ не отдаешь Ефиму Степанычу денегъ?—спрашиваетъ по обыкновенію Колесовъ.

— Да я ему отдалъ,—говоритъ отвѣтчикъ, малый лѣтъ 24-хъ.

— Отдалъ, да не всѣ...

— Нѣтъ, всѣ отдалъ.

— И языкъ у тебя не отсохнетъ такъ врать-то? Бога хоть побойся!..—говоритъ старикъ.

— Чего мнѣ еще бояться, я и такъ боюсь.

— Ахъ ты, поскуда, поскуда!.. Да смѣешь ли такъ говорить-то?.. А ну, перекрестись, коли отдалъ?..

Я спѣшу вмѣшаться въ дѣло, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: отвѣтчикъ, не дрогнувъ и нахально посматривая на старика, кладетъ широкій крестъ...

— Тфу ты, окаянный! — плюетъ старикъ въ негодованіи.—Пропади ты пропадомъ и съ двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грѣхъ на душу принимать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мнѣ ничего, господа-старички, отъ своихъ денегъ отказываюсь, не хочу объ него мараться... Ни на комъ...

И старикъ уходитъ, дѣлая крестныя знаменія.

— А нельзя ему подъ портки десятка два всыпать?—говоритъ Колесовъ, со злобой глядя на небрежно стоящаго «молодца».

— Никакъ нельзя,—говорю я, и чувствую, что краснѣю, потому что не прочь былъ бы въ данномъ случаѣ нарушить законъ и допустить подвергнуть отвѣтчика по гражданскому дѣлу уголовному взысканію.

— Петровичъ! бери его!..—приказываетъ Колесовъ, и я увѣренъ, что онъ чувствуетъ нѣкоторое удовлетвореніе, когда «молодецъ» подъ мощной рукой Петровича турманомъ вылетаетъ изъ «залы засѣданія».

А вотъ старуха-черничка на сценѣ. Вся она брызжетъ злостью, накопившейся у нея на сердцѣ за полстолѣтіе ея невольнаго дѣвства... Она уже много лѣтъ въ ссорѣ со своими сосѣдями, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ другу. Случилось черничкину цыпленку залетѣть черезъ плетень на дворъ къ сосѣдямъ: мальчишка съ того двора немедленно свернулъ цыпленку шею и трупъ его перебросилъ обратно къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣлу: черничка взыскиваетъ за цыпленка рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились: истица, отвѣтчикъ—отецъ провинившагося мальчонки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпленка и такимъ образомъ засвидѣтельствовала совершонное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, господа судіи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хотятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выживешь своимъ языкомъ безстыжимъ,—говоритъ отецъ мальчонки.

— Я безстыжая? Я?.. Праведные судьи! Помилосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лѣтъ такое поношеніе...

— Да вы постойте!.. Вы разскажите намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Писклака у меня задушилъ его змѣёнышъ... Они у меня такъ всѣхъ куръ передушатъ.

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался, такъ я ему за это вихры надралъ.

— Сколько жъ вы за цыпленка вашего получить желаете?—останавливаю я ихъ препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, потому они у меня канехинскаго завода. Еще упокойная барыня, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Такъ рубль просите?

— Да-съ, рубликъ-съ. А что сверхъ этого положите, коли ваша милость бу-

детъ, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!.. — прерываетъ ее Черныхъ. — Ты, Игнатичъ, сына, говоришь поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Иванычъ, какъ же,—въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлорусыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздается жалобный пискъ: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!»...

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Иванычъ экзекуцію. — Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка? А?

— Не буду, дяденька!..

— То-то жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ не такъ раздѣлаетъ... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что жъ, Денисъ Иванычъ,—я цѣну настоящую завсегды отдать готовъ... А то вдругъ—рупь!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятиалтынничекъ мнѣ на убожество пожаловали? — алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-навсего пятиалтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ насмѣшку вы мнѣ это дѣлаете?—такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна, два раза по восьми верстъ проѣздила...

— А кто жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акаѳисты читала да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Скопію мнѣ пожалуйте, господинъ писарь: я дѣла кончать не буду, я завтра жъ къ господину становому приставу... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копіей приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстъ переть?.. Понимаю-съ, очень даже преотлично понимаю-съ, что все это вы въ насмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

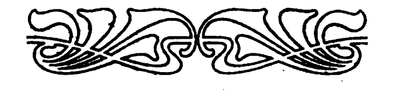
И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромѣ Черныха), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

— Никого тамъ больше на судъ нѣту?— спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполнѣ понятно, ибо уже одиннадцать часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва семь часовъ, и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальныя пять дѣлъ, назначенныя въ этотъ день «къ слушанію», пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ — не явились истцы, въ одномъ—не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ — состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава Тебѣ, Создатель Милосердный!.. — шепчутъ судьи, дѣлая истовые поклоны передъ иконой. Однако я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ крестъ машинально, по привычкѣ: Черныхъ благоговѣйно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Ѳедька — за то, что наконецъ-то настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ — за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи «разводной» отъ мужа...



— Ѳедя, а Ѳедя, да что тѣ стоитъ, не упрямься, — выручи ты насъ, сдѣлай милость!..

Оказывается, что очередь выставить судью пала на селеніе Хуторки, отстоящее отъ Кочетова на 30 верстъ; это выселки изъ села Гладкаго, которое во время VIII ревизіи получило прирѣзку на излишнее количество душъ въ отдѣльномъ участкѣ, потому что поблизости свободныхъ казенныхъ земель уже не было. Но Хуторки, хотя и составляютъ отдѣльное, самостоятельное селеніе и даже избираютъ своего старосту, все-таки остались причисленными къ кочетовской волости, потому что владѣнная запись на землю у нихъ общая съ метрополіей—селомъ Гладкимъ; отсюда крайне отяготительная обязанность для хуторянъ—ѣздить въ Кочетово на суды, сходы и проч. Они нанимаютъ особаго ямщика, Ѳедьку, платя ему 90 рублей въ годъ, чтобы онъ доставлялъ по воскресеньямъ старосту въ волость и отвозилъ бы его обратно; теперь же, когда до хуторянъ дошла очередь «выставить своего судью», они и пришли въ крайнее затрудненіе, потому что никто изъ четырехъ выборныхъ не хочетъ каждое воскресенье дѣлать прогулку въ 60 верстъ. Просили они кочетовскихъ ослобонить ихъ, взять на себя лишнюю судейскую должность, да тѣ заломили ведро водки, а они давали только четверть... Ну, насмѣялись надъ ними только: «ладно, отходите, разжирѣли тамъ, сидя въ углу-то! А вы вотъ съ наше походите-ка!..»

— Да что, ребята, подумаю я,—говоритъ одинъ изъ выборныхъ,—Ѳедькѣ все равно кажинное воскресенье забиваться сюда со старостой, такъ его и выберемъ въ судьи. Онъ посидитъ, посидитъ да и отходитъ, такъ-то, Господи благослови.

Нужно сказать, что Ѳедька попалъ и въ выборные на волостной сходъ на томъ же основаніи, т.-е., что ему ужъ все равно забиваться въ волость со старостой, такъ и въ выборныхъ, молъ, за одно отходитъ.

Всѣ отлично понимали, что Ѳедька ни на какую общественную должность, кромѣ старостинаго ямщика, не годится, потому что Богъ его умомъ обидѣлъ, не говоря ужъ про то, что онъ до страсти жаденъ на вино; но стремленіе съэкономить одного человѣка при отбываніи общественной повинности натолкнуло хуторскій міръ на мысль сдѣлать Ѳедьку однимъ изъ своихъ представителей. Ѳедька, послѣ легкаго протеста, получивъ полштофъ мірского вина, согласился принять на себя обязанности выборнаго на волостной сходъ, такъ какъ всѣ обязанности могли заключаться лишь въ томъ, чтобы при перекличкѣ на сходкѣ онъ сказалъ бы «здѣсь», а потомъ до самой минуты отъѣзда онъ могъ уже безпрепятственно хранить глубокое молчаніе и дремать, прислонившись спиной къ жарко-натопленной печкѣ. Но перспектива судейскихъ обязанностей испугала Ѳедьку, и онъ энергично сталъ открещиваться отъ сдѣланнаго ему предложенія.

— Да что вы, почтенные, помилуйте, какой же я судья! Опять мнѣ за лошадью присматривать надо, а тамъ сиди за столомъ... Нѣтъ, ужъ вы ослобоните!..

— Пустое ты болтаешь! Прикажешь десятскому за лошадью посмотрѣть,—на то онъ и десятскій, а ты судья... А тамъ себѣ будешь смирнехонько въ теплѣ сидѣть, отсидишь, да и поѣдешь съ Господомъ...

— Никакъ это невозможно, старички.

— Ѳедька, будь другъ! Уважь міръ!.. Мы те и въ караульные цѣлый годъ выгонять не будемъ...

— Это вѣрно,—не будемъ!—поддерживаетъ «міръ» и староста.

— И два полштофа сейчасъ выставимъ тебѣ!..

Ѳедька колеблется.

— Да что толковать! — замѣчаетъ еще одинъ выборный:—насъ пятеро — цѣлую четверть мірскую выпьемъ, во какъ!..

— Выпьемъ!.. Это что и говорить!.. Такъ какъ же, Ѳедька? А?..

У Ѳедьки слюнки текутъ...

Сборная начинаетъ вновь наполняться; выборные столковались и спѣшатъ теперь объявить результаты своихъ совѣщаній.

— Кого же, господа - старички, желаете въ судьи?—спрашиваетъ старшина.

— Петруху Колесова! — объявляетъ Иванъ Моисеевичъ.

— Всѣ... Желаемъ!..— какъ одинъ человѣкъ отвѣчаютъ сто сорокъ выборныхъ.

— Прохора Дубоваго...

— Всѣ желаете?..

— Всѣ...—и т. д., покуда не будутъ провозглашены судьями всѣ двѣнадцать кандидатовъ, въ числѣ коихъ значатся и Илюха Гавриковъ, и Васька Пузанкинъ.

и Фролъ Бородинъ, и Θедоръ Ягодкинъ, т.-е. по обиходному—Θедька-ящикъ...

— Господа, заканчиваю я выборы: у насъ издавна ведется, чтобы всѣ судьи разбивались на три очереди, по четыре человѣка въ каждой, при чемъ каждая очередь обязана «отходить» по четыре мѣсяца; первая очередь съ января по апрѣль включительно, вторая—съ мая по августъ, третья—съ сентября по декабрь. Дозволите вы мнѣ со старшиной распредѣлить новыхъ судей по очередямъ, или сами будете назначать, когда кому ходить?

— Чего тамъ!.. Стоитъ толковать изъ пустяковъ!.. Сами назначайте, вамъ виднѣе!..— слышатся со всѣхъ сторонъ восклицанія.

Сходъ кончается. Всѣ спѣшатъ къ «распивочному и на выносъ»—пить могорычи и разныя отступныя; волость мгновенно пустѣетъ,—остаемся только мы съ старшиной, потому что даже Петровичъ съ десятскимъ убѣжали, чтобъ изъ своихъ четвертей хоть по стаканчику выпить.

— Ну, какъ же, Яковъ Ивановичъ, надо вѣдь разсортировать судей? Я многихъ еще не знаю, такъ ты ужъ помоги мнѣ.

— Что жъ, это можно: вотъ Ваську Пузанкина надо пріобщить къ Черныху; этотъ окорачивать будетъ, а то Васька—дюже плутъ-мужикъ...

— Какой это Васька? Я что-то не припомню...

— А вотъ, что намедни приходилъ жаловаться на Воробьева Ивана, будто тотъ у него сѣно на гумнѣ потравилъ...

— А-а! Это что еще просилъ пять рублей за потраву, а на полтинникѣ сошелся?

— Ну, вотъ, этотъ самый, выжига такой, бѣда! Онъ ворочать теперь пойдетъ, посмотри-ка... Безпремѣнно къ нему Черныха приспособить надо.

— Ладно, записалъ. А вотъ Прохоръ Дубовый, этотъ каковъ изъ себя будетъ?

— Это Иванъ Моисеича сватъ? Что жъ, мужикъ хорошій, трезвый мужикъ. Про него дурного ничего сказать нельзя. Его хоть во вторую очередь запиши, онъ тамъ будетъ головой...

Такимъ путемъ и произошла разсортировка судей; послѣдствіемъ этого совѣщанія было, что въ знакомой уже намъ очередной группѣ находились такія разнохарактерныя личности, каковы Пузанкинъ, Черныхъ, Колесовъ и Ягодкинъ, взаимно дополнявшіе или нейтрализовавшіе другъ друга.

Посмотримъ, однако, что и какъ дѣлается этими судьями на этихъ народныхъ судахъ.

## Типичное засѣданіе волостного суда.

Итакъ, мы усаживаемся за столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; судьи сидятъ у стѣны по длинѣ стола, я—съ боку, за узкимъ концомъ его. Петровичъ мнѣ порадѣлъ, поставилъ единственное имѣющееся у насъ кресло; онъ это дѣлаетъ каждое воскресенье, несмотря на мои протесты: «вы больше ихъ работаете—пишете, а они только языкомъ болтаютъ; вамъ и отдохнуть надо, а на креслѣ и мягче и откинуться можно»,—говоритъ онъ; судьи сидятъ на разнокалиберныхъ стульяхъ. Засѣданіе наше носитъ вначалѣ офиціально-торжественный характеръ: судьи сидятъ въ застегнутыхъ наглухо полушубкахъ, туго перепоясанныхъ праздничными домоткаными кушаками; но по мѣрѣ того, какъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы засѣдаемъ, становится все душнѣе,—полушубки разстегиваются, позы становятся свободнѣе, на лицахъ сказывается утомленіе, рѣчь принимаетъ болѣе домашній характеръ. Но вначалѣ, какъ я сказалъ, всѣ держатся чопорно, глубоко вздыхаютъ, шепчутся другъ съ другомъ вполголоса, какъ бы боясь нарушить торжественность обстановки; Петровичъ стоитъ у дверей на вытяжку; на диванѣ сидятъ два офиціальныхъ свидѣтеля, при которыхъ читаются постановленія суда, что и отмѣчается въ книгѣ такимъ образомъ: «рѣшеніе это объявлено такого-то числа при свидѣтеляхъ, крестьянахъ такихъ-то». Такъ какъ комнатка наша мала, и къ тому же случается, что публика не ведетъ себя достаточно чинно, то, кромѣ этихъ двухъ свидѣтелей, присутствовать при допросахъ допускается лишь избраннымъ, изрѣдка приходящимъ «скуки ради» послушать суды: учителю, священникамъ, мѣстнымъ торговцамъ, Ивану Моисеичу и нѣкоторымъ другимъ лицамъ, составляющимъ сливки кочетовскаго общества. Для прочей, «черной» публики двери нашей

залы засѣданій растворяются только въ моментъ объявленія рѣшенія суда.

— Василій Коняхинъ!—вызываю я по жалобной книгѣ истца по первому, состоящему на очереди, дѣлу.

— Василій Коняхинъ!—гремитъ Петровичъ въ полуотворенныя двери, ведущія въ сборню.—Коняхинъ!

— Гдѣ Коняхинъ?.. Аль въ трактиръ ушелъ?

— Здѣся, чего кричишь!..

— Чего жъ ты не отзываешься, коли тебя зовутъ?—допекаетъ его нашъ судебный приставъ.

— Для-ча мнѣ отзываться?.. Ты зовешь,—я и иду, а отзываться мнѣ не для-ча...

— Ну-ну, не разговаривай, а становись вонъ къ печкѣ!..

Вошедшій мужикъ, сутуловатый и широкоплечій, съ угрюмымъ выраженіемъ лица, нѣсколько разъ истово крестится на икону, дѣлаетъ глубокій поклонъ судьямъ и, тряхнувши волосами, становится на указанное мѣсто.

— Вы Василій Ивановъ Коняхинъ?—спрашиваю я.

— Я самый.

— Въ чемъ ваша жалоба? Разсказывайте суду.

— Въ чемъ?.. Извѣстно, въ чемъ: Гришка побилъ!

— Чей это Гришка?—вмѣшивается Колесовъ.

— Волковъ.

— А-а... Волковъ? Это Матвѣя Ивановича зять? Ну, такъ, такъ... Побилъ, говоришь ты, и больно?

— Лучше не надо. Глазъ во-какъ раздуло, почернѣлъ совсѣмъ; теперь зажило.

— Такъ-съ. Гдѣ же у васъ дѣло-то было?

— Да около кабака. Я домой хотѣлъ ѣхать, а онъ догналъ и давай бить...

— Такъ ни за что и побилъ?

— Ни за что... Съ празднику мы ѣхали, отъ гудовскихъ. Праздникъ у нихъ былъ.

— Да что жъ у тебя языкъ-то, прости Господи, словно жерновъ ворочается! Сказывай веселѣе, какъ у васъ дѣло было?

— Сказывать-то нечего: побилъ да и только. Безъ глазу двѣ недѣли ходилъ...

— Н. М.!—обращается ко мнѣ Колесовъ, потерявъ охоту допрашивать такого неразговорчиваго субъекта,—зовите виновника: послушаемъ, что онъ скажетъ, а отъ этого никакого толку не добьешься.

На выкликъ Петровича, въ комнату быстро входитъ, очевидно, ожидавшій у дверей отвѣтчикъ Григорій Волковъ, юркій, вертлявый мужиченка, на видъ гораздо слабѣе коренастаго Коняхина. Онъ начинаетъ говорить, не дожидаясь вопроса.

— Не вѣрьте, господа судейскіе, ему, онъ навретъ со злобы, ей-Богу, навретъ, какъ пить дастъ..

— Ты не мели!—осаживаетъ его Денисъ Ивановичъ,—а говори дѣломъ, что и какъ у васъ было?

— Изволите видѣть, господа судейскіе: были мы, значитъ, у праздника, въ Годовкѣ, значитъ... Тамъ на Введеніе завсегда престолъ бываетъ...

— Знаемъ, какъ не знать; сами не однова были!—не утерпѣлъ, чтобы не вставить своего слова, Колесовъ.

— Вотъ, вотъ, это я говорю... Хорошо-съ; ѣдемъ мы оттелева съ нимъ, я на его лошади—потому, первымъ дѣломъ, лошади у меня нѣтъ—еще около Покрова увели; може, слыхали?...

— Съ озимей?—участливо замѣчаетъ Колесовъ.

— Съ озимей, съ озимей; какъ пить дали, увели... А добрый меренокъ былъ,—хоть и въ годахъ, а грѣхъ покорить... Ладно; такъ я и говорю: кумъ (а онъ мнѣ и кумомъ еще доводится)!—поѣдемъ къ празднику вмѣстѣ! «Ну, что жъ, говоритъ, поѣдемъ...»

— Вы покороче говорите,—останавливаю словоохотливаго разсказчика, опасаясь, что мы принуждены будемъ выслушать подробное повѣствованіе о всѣхъ ихъ похожденіяхъ на праздникѣ. — Сказывайте прямо, съ чего у васъ драка вышла? Тамъ, что ли, подрались?..

— Упаси Богъ, зачѣмъ тамъ! Мы тамъ, то-ись, во-какъ, душа въ душу были и вмѣстѣ по гостямъ ходили; а это ужъ какъ мы назадъ ѣхали, неудовольствіе-то промежъ насъ приключилось. Чтой-то, говорю, кумъ, прозябъ я будто маленько?—«И то, говоритъ, холодно что-то къ ночи».—Заѣдемъ, говорю, въ Шепгалину, она намъ по дорогѣ будетъ, по стаканчику и выпьемъ. Заѣхали. Спросилъ я у цѣловальника, Ивана Митрича, косушку, да и говорю: у меня вѣдь, кумъ, денегъ-то нѣту, ужъ, видно, ты заплатишь.—Въ ту пору онъ

промолчалъ; только какъ выпили по стаканчику, онъ и сталъ ко мнѣ приставать, чтобъ я ему на свои деньги поднесъ косушку. Я ему божусь, что денегъ нѣту, а онъ, видно, опять захмелѣлъ — ругаться сталъ: «такой да сякой, на моей лошади ѣдетъ да еще мою водку пьетъ; иди же, говоритъ, пѣшкомъ, а я не повезу». И пошелъ садиться на телѣгу. Я за нимъ: кумъ,—говорю,— да что ты очумѣлъ, родимый, что ли? Тутъ еще пять верстъ до дому, а ужъ ночь на дворѣ: куда я пойду въ этакую темь?.. А кумъ мой распрелюбезный быдто меня и не слышитъ, и ухомъ не ведетъ, знай понукаетъ лошадь; ну, я тутъ и схватился за вожжу—попридержать его маленько... Ка-акъ онъ мнѣ въ тую пору дастъ леща прямо въ ухо, ажъ звонъ у меня въ головѣ пошелъ!.. Ну, въ этотъ разъ и я ужъ не стерпѣлъ, прыгъ къ нему въ телѣгу, и пошло у насъ тутъ неудовольствіе... Да мнѣ гдѣ жъ было бы съ нимъ справиться, кабы онъ пьянъ не былъ, сами изволите, господа судьи, посмотрѣть на него и на меня...

— А глазъ ты ему точно подбилъ?— допрашиваетъ Колесовъ.

— Врать не хочу,—случился такой грѣхъ: маленько не ладно потрафилъ. Да теперь у него, слава Богу, зажило.

— Вотъ что, почтенный,—прерываетъ свое молчаніе Черныхъ, обращаясь къ жалобщику:—брось это дѣло, ничего не получишь; самъ виноватъ, первый зачалъ, потому оба подрались,—о чемъ же жаловаться?

— Это, т.-е., какъ же?.. Ни съ чѣмъ?

— Ахъ, кумъ, кумъ!..—подхватываетъ обидчикъ, ободренный заступничествомъ судьи. — Я жъ тебѣ еще полуштофъ на мировую поставить хотѣлъ, а ты, поди жъ, что выдумалъ!.. Въ судъ итти, судейныхъ утруждать такимъ пустякомъ!..

— Ну, вотъ это первое дѣло!—восклицаетъ Колесовъ.—Пойдите-ка, выпейте на мировую, да чтобъ ни на комъ...

— Миритесь, говорю вамъ, — заключаетъ Черныхъ,—миритесь скорѣй, не то обоихъ въ холодную на сутки.

— Дровецъ мнѣ подможете наколоть!— подхватываетъ Петровичъ. — А то нѣтъ моей моченьки: на двѣ печки-то каждый день, сколько ихъ наготовить надо?..

— Что жъ, кончаете дѣло мировой?— вставляю и я свое словечко.

— Кумъ, брось, пра слово, брось. А?..

— Да ну-те къ лѣшему! Поѣдемъ!.. Прощенья просимъ, господа судейскіе.

— Вотъ это превосходно, на что ужъ лучше!—одобряютъ и Колесовъ, и Пузанкинъ, и даже успѣвшій уже задремать «въ теплѣ» Ѳедька Ягодкинъ. Одинъ Денисъ Иванычъ угрюмо молчитъ.

— Сторожу-то за хлопоты не забудьте приберечь стаканчикъ! — вдогонку уходящимъ кумовьямъ кричитъ Петровичъ, тоже довольный состоявшейся мировой, хотя надежда на помощь при колкѣ дровъ и остается тщетной.

— Ладно, оставимъ. Подходи!..—отвѣчаетъ уже изъ другой комнаты Гришка.

— И съ чего это вздумалось Коняхину жаловаться на кума? — полувопросительно замѣчаю я.—Мужики оба, кажется, хорошіе; ну, подрались, такъ это не въ диво.

— Обидно очень стало Василію-то ходить съ подбитымъ глазомъ: кабы не глазъ — ничего бы и не было, а то засмѣяли его вовсе онамеднись въ трахтирѣ... Вотъ онъ съ пьяну-то и пошелъ жалобу записывать, а потомъ ужъ поопасался отступиться, какъ бы за это что не было,— объяснилъ судья Пузанкинъ, знающій почти всю подноготную житья-бытья кочетовскихъ обывателей.

Выступаетъ на сцену истецъ по второму дѣлу, старикъ лѣтъ шестидесяти. Онъ жалуется, что сынъ его перестатъ слушаться, бранится, бросается съ кулаками на мачеху — его, старика, вторую жену... Старикъ проситъ судъ «постращать» сына, всыпать ему десятокъ горячихъ. Зовемъ парня; входитъ малый лѣтъ двадцати-пяти, самъ ужъ отецъ двоихъ дѣтей; за его спиной становится его жена, а съ боку старика — мачеха. Бабы эти вторглись къ намъ, несмотря на протесты Петровича; я оставляю ихъ, однако, въ покоѣ, думая, что изъ имѣющей произойти семейной сцены скорѣе выяснится, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ.

— Батюшки мои, заступитесь, родные!..—причитаетъ мачеха.—Житья мнѣ не стало, со свѣта сгоняетъ...

— Кто тебя сгоняетъ? Сама всѣхъ изъ дому выгоняешь, поѣдомъ меня ѣшь,— замѣчаетъ молодая.

Отецъ съ сыномъ молчатъ, не глядя другъ на друга.

— Ты что жъ это, молодецъ, дѣлаешь? А? Нешто годится это отца родного да мать забижать?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Отца я не обижаю, а она—какая же мнѣ она мать!—нехотя замѣчаетъ бунтовщикъ.

Судьи молчатъ; съ двухъ словъ становится для всѣхъ понятной семейная драма тяжущихся: мачеха не уживается съ молодой и натравляетъ на нее старика, а сынъ заступается за свою жену и отстаиваетъ ее передъ стариками. «Отцы» не ладятъ съ «дѣтьми», исторія далеко не новая.

— Проси, чего жъ ты не просишь?—слышу я шопотъ старухи.

— Такъ какъ же, господа судейскіе, постращайте малаго-то!.. Совсѣмъ отъ рукъ отбился.

— Старикъ! ты не дарма ли просишь на него? Не твоя ли хозяйка тебя подбиваетъ свое дѣтище тѣснить?—строго спрашиваетъ Черныхъ.

— Да разрази меня Мать Пресвятая Богородица!.. Да провались я на этомъ мѣстѣ, — начала-было причитать старуха, но быстро умолкла при грозномъ жестѣ Петровича. Старикъ ничего на вопросъ не отвѣтилъ.

— Эй, молодецъ, слухай сюда, — говоритъ Черныхъ.—Можетъ, тутъ и не вся вина твоя, а все жъ ты супротивъ отца родного не долженъ итти, не смѣешь ругаться, это великій грѣхъ!.. Проси прощенья: онъ, може, и проститъ, а то, не прогнѣвайся, отстегаемъ.

— «Молодецъ» угрюмо молчитъ, не поднимая глазъ съ полу.

— Дѣдушка! а то, на первый разъ, вы бы простили его!—дѣлаю я слабую, что и самъ замѣчаю, попытку смягчить старика.

— Какъ же мнѣ прощать, коли онъ не проситъ? — говоритъ онъ и этимъ порываетъ всякую надежду на мирный исходъ дѣла.

По предложенію Петровича (онъ понялъ кивокъ головой, сдѣланный Денисомъ Иванычемъ), вся группа тяжущихся выходитъ изъ комнаты.

Наступаетъ моментъ рѣшенія участи малаго, почему-то пріобрѣвшаго мою симпатію. Я выжидаю, что скажетъ Денисъ Иванычъ: мнѣнія прочихъ не имѣютъ для меня такого значенія. Первымъ, по обыкновенію, начинаетъ говорить Колесовъ.

— Что жъ, господа-товарищи, — всыпать ему десяточекъ или много?

— Чего много!—поддерживаетъ Пузанкинъ, не воспользовавшійся ничѣмъ отъ обвиняемаго и поэтому сохраняющій суровый ригоризмъ: чего много, въ самый разъ! Имъ гляди въ зубы-то, они живо осѣдлаютъ...

— Такъ, такъ, это первымъ дѣломъ!—поддакиваетъ и Ѳедька, всегда согласный съ чужимъ авторитетно-высказаннымъ мнѣніемъ. Въ эту минуту Ѳедька даже забылъ, какъ въ прошлый праздникъ, напившись въ кабакѣ, пришелъ домой и такъ саданулъ въ бокъ своего родного батюшку, начавшаго дѣлать ему выговоръ, что тотъ дня два кряхтѣлъ и грозилъ итти жаловаться въ судъ на драчливаго судью...

Денисъ Ивановичъ все молчитъ; я начинаю надѣяться, что онъ несогласенъ съ мнѣніями прочихъ, и стараюсь расчистить ему путь, указывая на выяснившееся на судѣ обстоятельство — злющій характеръ мачехи, притѣсняющей, по всей вѣроятности, жену обвиняемаго, что и послужило поводомъ къ открытой ссорѣ между «отцами и дѣтьми». Я намекаю, что не худо бы на первый разъ все дѣло оставить безъ послѣдствій, предупредивъ отвѣтчика, что если на него еще будутъ жалобы, то онъ въ слѣдующій разъ будетъ подвергнутъ тяжелому взысканію.

— Нѣтъ, вовсе прощать ку-бытъ не годится, — замѣчаетъ Черныхъ.— А дать ему одинъ лозанъ—для острастки...

Но я окончательно возстаю противъ тѣлеснаго наказанія. Парень, доказываю я, кажется, хорошій и долженъ теперь пропасть изъ-за ехидной старушонки. Если пороть, то разница между однимъ и двадцатью ударами — только въ относительной боли, а послѣдствія для осужденнаго одни и тѣ же: онъ лишается многихъ правъ, не можетъ быть выбранъ старостой, старшиной и проч. Я горячо защищаю жертву семейныхъ неурядицъ и, какъ крайнее средство, предлагаю остановиться на арестѣ, если судъ найдетъ окончательно невозможнымъ совершенно простить обвиняемаго... Прежде всѣхъ со мной соглашается Ѳедька-ямщикъ, такъ какъ онъ— изъ уваженія къ моему писарскому званію—считаетъ необходимымъ согласоваться съ моими взглядами даже въ ущербъ авторитету Дениса Ивановича; но остальные

молчать, упорно отстаивая права родительской власти. Совѣщаніе наше тянется около получаса; Колесовъ и Пузанкинъ начинають, наконецъ, сдаваться и говорятъ Черныху: «а то, ну его къ лѣшему!.. давай его въ холодную сутокъ на пять посадимъ, коли закона нѣтъ пороть?»— на что Черныхъ отрывисто отвѣчаетъ: «дѣлайте, какъ знаете». Я ухватываюсь за эту полууступку съ его стороны и пишу рѣшеніе: арестовать такого-то при волостномъ правленіи на пять сутокъ... Денисъ Ивановичъ устранилъ себя отъ рѣшенія вопроса, не осмѣливаясь измѣнить ветхозавѣтнымъ традиціямъ, по которымъ въ данномъ случаѣ требовалось выдать сына головой отцу, т.-е. сдѣлать съ нимъ все, что пожелаетъ отецъ; но новыя времена съ такой неудержимой силой разрушаютъ всѣ отцовскіе и дѣдовскіе обычаи, что Денисъ Ивановичъ иногда въ полномъ недоумѣніи,—гдѣ же ложь и гдѣ истина, и, не умѣя разрѣшить этихъ жгучихъ вопросовъ, вовсе отстраняется отъ активнаго вмѣшательства, ограждая себя словами: «дѣлайте, какъ знаете...»

Недоразумѣніямъ, возникшимъ по поводу этого дѣла, не суждено было, однако, кончиться на этомъ: когда я прочелъ постановленіе суда о «подвергнутіи Порфирія Алексѣевича пятидневному аресту за неповиновенія родительской власти», то старикъ вдругъ завопилъ.

— Батюшки, господа судейные!.. Да что жъ это вы со мной дѣлаете? Намъ съ нимъ завтра ѣхать надо къ Сысоеву дрова возить,— я договорился и задатки на три подводы взялъ, — а вы его въ холодную посадить хотите!.. Да гдѣ жъ мнѣ одному, старику, справиться? Вѣдь онъ у меня одинъ, какъ перстъ!.. Ослобоните, родимые, не зорите...

Я пытаюсь успокоить старика, увѣряя, что его сына арестуютъ не сейчасъ, а по истеченіи тридцатидневнаго срока, и что онъ самъ можетъ явиться, какъ посвободнѣе будетъ,—но старикъ и на этотъ компромиссъ нейдетъ.

— Завсегда работа около дома найдется: помолотиться, сѣчки скотинѣ нарѣзать; гдѣ жъ мнѣ одному пять-то дней справляться со всѣмъ хозяйствомъ?.. Нѣтъ, господа судейные, ужъ вы его лучше постегайте, да и отпустите домой!

Черныхъ глубоко вздыхаетъ; Колесовъ ерзаетъ на стулѣ; Пузанкинъ шепчетъ: «я говорилъ постегать...» Подсудимый все время стоитъ, потупивъ глаза, и только изрѣдка нетерпѣливо встряхиваетъ волосами, когда стоящая позади его молодуха шепчетъ ему что-то на ухо. Я объявляю, что постановленіе суда уже сдѣлано и измѣнено быть не можетъ; недовольные же имъ имѣютъ право обратиться съ жалобой въ уѣздное присутствіе.

— Коли такъ,—съ сердцемъ объявляетъ старикъ,—не надо жъ мнѣ вашего суда!.. Ничего не хочу—помарайте, ку-быть я и не судился!.. Видно, нонѣ законъ такой есть: сыновьямъ на шеѣ отцовской ѣздить!.. Прощенья просимъ, что обезпокоили васъ.

И онъ величественно—не подберу другого слова — уходитъ, шмыгая избитыми лаптями; сынъ тоже молча поворачивается къ выходу, одна только молодуха низко кланяется намъ и говоритъ: «Дай вамъ, Господи!.. Помоги, Царица Небесная!..» Петровичъ ласково толкаетъ ее къ двери... Мы сидимъ, словно воды въ ротъ набрали; всѣмъ тяжело, даже и Ѳедькѣ, — про Дениса Ивановича я и не говорю: онъ, видимо, даже въ лицѣ измѣнился... Не суду возстановлять дискредитированную власть «отцовъ» надъ «дѣтьми!»

Слѣдующее за этимъ дѣломъ нѣсколько разгоняетъ мрачное настроеніе нашего духа. Тяжущіеся: мужъ, плюгавый мужиченка, горбатый, со слезящимися глазами, и жена — по городскому одѣтая женщина, лѣтъ 32—34, все еще довольно красивая, несмотря на отпечатокъ бурной жизни на лицѣ; она держитъ себя модно, говоритъ по «благородному» и вообще смахиваетъ на горничную средней руки. Истица проситъ судъ заставить отвѣтчика выдать ей паспортъ для проживанія въ городѣ.

— Я вотъ уже шесть годовъ по господамъ живу, хорошія мѣста имѣю, и вдругъ онъ требуетъ меня къ себѣ, господину старшинѣ не дозволяетъ документъ мнѣ выдать...

— Не хочу, чтобъ болталась: иди ко мнѣ жить.

— Никакъ это невозможно-тъ, господа!.. Оченно прошу принять въ резонъ, что если бъ у него хозяйство было, если бъ онъ меня, какъ должно, соблюдать могъ, то это разговоръ иной былъ бы; а то домишко у него весь развалился, самъ онъ

въ пастухахъ живетъ... Развѣ у него достатка хватитъ соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и еще дочь при себѣ имѣю,—ничего отъ него не прошу, только дай мнѣ документъ.

— А вотъ не дамъ! Иди ко мнѣ, ѣшь мой хлѣбъ!..

— Да есть ли онъ у васъ-то еще, надо перво-наперво спросить?..—презрительно спрашиваетъ городская.

— Вотъ что, другъ, покайся-ка: ты вѣдь самъ ее спервоначалу отпустилъ въ городъ?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Извѣстно, самъ,—мрачно отвѣчаетъ «другъ».

— И все время пачпорта давалъ?

— Давалъ...

— Вотъ и разбаловалъ бабу! Самъ виноватъ, теперь и кайся. Что ты съ ней теперь дѣлать будешь, коли ежели теперь она къ тебѣ придетъ? Вѣдь она чаи-сахары любитъ, а ты гдѣ ей возьмешъ?

— И безъ чаевъ поживетъ...

— Господа судьи!.. Сдѣлайте вы такую милость, уговорите его! Я ему пять рублей въ годъ буду давать, чтобы только онъ не нудилъ меня...

— Не надо мнѣ денегъ, иди жить.

— Нѣтъ, Ѳедулычъ, это не дѣло теперь бабу кругомъ обрѣзать... Куда она теперь годится? Никуда... Она только тебя по рукамъ, по ногамъ свяжетъ; она теперь тебѣ ужъ не жена!..

Пастухъ молчитъ. Меня все больше начинаютъ интересовать мотивы, заставившіе его вдругъ измѣнить отношенія къ пущенной давно на вольную жизнь дражайшей половинѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ серьезно сталъ тосковать объ своей бобыльской жизни и вздумалъ свить себѣ вновь гдѣздо, не принявъ только въ расчетъ полнаго разлада между всей своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдьте,—говоритъ Колесовъ разнокалиберной четѣ.

— Что намъ съ ними дѣлать?—обращается онъ къ Денису Черныхъ.—Отпустить ее: пусть беретъ хвостъ въ зубы и убирается, куда глаза глядятъ?

— Тоже баловать-то не годится ихнюю сестру: онѣ такъ-то всѣ поразбѣгутся.

— Ну, этой дряни всегда хватитъ... На кой лядъ она ему,—вѣдь она теперь ему не жена и не хозяйка!

— Извѣстно—городская...

— Н. М! а можемъ мы ей пачпортъ-то дать?.. Какъ тамъ въ законахъ-то?..

— Въ законѣ о томъ, что нельзя давать—ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А не доволенъ, бери «скопію»,—пусть тамъ высшее начальство разбираетъ ихъ, намъ и того пріятнѣе будетъ!.. Пиши, Н. М.,—дать ей билетъ.

Мужъ остается этимъ рѣшеніемъ недоволенъ и требуетъ «скопію», но въ назначенный день за полученіемъ ея не является: за два дня, протекшіе съ воскресенья, онъ, видно, помирился съ своей судьбой—доживать вѣкъ одинокимъ бобылемъ.

— Андрей и Егоръ Петровы!

Входятъ два брата; старшему, Андрею—30 лѣтъ, младшему, Егору—26 лѣтъ. Оня рѣшили подѣлиться, благодаря семейнымъ неурядицамъ: бабы, т.-е. ихъ жены, вздурили и никакъ ужиться не могутъ; ни старшаго ни старшей въ домѣ нѣту, а молодухи другъ другу подчиняться не хотятъ, ну и не стало житья самимъ братьямъ,—лучше ужъ отъ грѣха разойтись. Но и разойтись не такъ-то легко: помѣстье у нихъ маленькое, двумъ дворамъ не умѣститься: надобно которому-нибудь изъ нихъ удаляться съ родительскаго гнѣзда. Конечно, никому изъ нихъ нѣтъ охоты садиться на выгонѣ-пустырѣ; спорили, спорили, раза два до драки доходило,—а толку нѣтъ никакого... Селеніе ихъ небольшое; всѣ прочіе домохозяева—родня имъ: ни на чью сторону и не тянутъ; вотъ и порѣшили они разобраться на судѣ: что чужіе умственные люди скажутъ,—такъ тому и быть.

— Ну, какъ тутъ съ этимъ дѣломъ быть, Денисъ Ивановичъ?—спрашиваетъ Петруха Колесовъ, и всѣ взоры обращаются на Дениса Ивановича, ибо несомнѣнно, что изъ всѣхъ засѣдающихъ судей онъ одинъ только вполнѣ компетентенъ въ области дѣдовскихъ обычаевъ, нынѣ по наслышкѣ развѣ извѣстныхъ молодому поколѣнію, возросшему подъ сѣнью писаннаго закона.

— А вотъ какъ,—говоритъ Денисъ Ивановичъ послѣ минутной паузы:—итти тебѣ, Андрей, на новое мѣсто и отцовскую избу оставить Егоркѣ, а самъ возьмешь, во что старики положатъ взамѣнъ ея, клѣтку съ амбаромъ или еще что...

— Это мы очень понимаемъ; только почему же это и помѣстье ему и изба, а мнѣ однѣ клѣтки?—говоритъ Андрей.

— А потому, молодецъ, что это еще дѣдами нашими заведено такъ: всегда старшій братъ уходитъ отъ младшаго. Не будь этого, старшіе-то всегда спихивали бы молодшихъ на выгона; знамо, они посильнѣе будутъ, они въ годахъ, ну, и потяжелѣе жеребей имъ долженъ итти. Не дѣлись, а сталъ дѣлиться, начинай хозяйство сызнова; такъ-то!..

Андрей покоряется и остается доволенъ рѣшеніемъ: видно, онъ «не дошелъ» еще до отрицанія власти стариковъ.

Истецъ по слѣдующему дѣлу предъявляетъ ко взысканію расписку въ 90 руб., засвидѣтельствованную въ волостномъ правленіи; срокъ уплаты давно истекъ.

— Сколько же вы взыскиваете?—спрашиваю я, чтобъ оформить дѣло.

— Пятьдесятъ два рубля съ полтиной,—къ удивленію моему отвѣчаетъ истецъ.

— Какъ такъ? А расписка на 90 руб.?

— Это точно-съ. Только я ужъ получилъ по ней тридцать рублей землицей, да осьмину ржи, да четверть овса, да поросенка, да пахалъ онъ на меня день... Вотъ мы сочлись: какъ разъ на тридцать семь съ полтиной вышло. Остальные ищу, какъ собственно срокъ давно ужъ прошелъ.

— Должны вы ему?—спрашиваю отвѣтчика.

— Что зря болтать—долженъ.

— А много ли?

— Да подсчитывались, ку-быть пятьдесятъ два рубля.

— Анъ, съ полтиной! — вмѣшивается истецъ.

— Анъ, нѣтъ!

— Врешь!..

— Анъ, не вру. Перекрестись, коль съ полтиной?..

— И перекрещусь... А ты думаешь, что и не перекрещусь?..

— А слеги-то забылъ, что бралъ у меня десятокъ о заговѣньѣ? По пятачку положили?

— Такъ онѣ за кортошку пошли...

— Разуй глаза-то!.. За картошку даве пофитались, какъ за землю-то усчитывались!

— А ну-те къ Богу въ рай!..—говоритъ истецъ упавшимъ голосомъ, должно-быть, смутно припоминая, что слеги точно не шли за картошку, но все-таки не желая признать своей ошибки.—Пятьдесятъ два, такъ пятьдесятъ два... Не обѣдняю съ полтинника.

— Да не разживешься...

— Ну, вотъ что, почтенные,—вступается Колесовъ,—чего браниться? Честь-честью столковались, и слава Богу, зачѣмъ Его, Батюшку, гнѣвить... Такъ какъ же, милушка, отчего деньги-то не отдаешь?

— Да у насъ уговоръ былъ землей расплачиваться, по двѣ десятины ему каждый годъ отдаю; только больно ужъ обидную цѣну онъ кладетъ—десять съ полтиной; вотъ я и сталъ покупщика искать, съ четырнадцатью рублями за десятину ужъ набиваются...

— А ты денежки-то умѣлъ брать, а отдавать-та не любо?.. А что я второй годъ жду на тебѣ, это ты въ счетъ не кладешь?..

— А ты не кладешь, что поросенка-то у меня за два рубля зачелъ, а онъ на худой конецъ четыре стоитъ?..

— Да не ты ли кланялся, Христомъ Богомъ просилъ просеца на сѣмена?.. Это ты забылъ?..

Долго препираются такимъ образомъ пріятели; ихъ денежныя отношенія такъ запутаны, что крайне мудрено опредѣлить, кто изъ нихъ больше пользовался услугами другого; но что должнику услуги, оказанныя кредиторомъ, обошлись не дешево, это внѣ всякаго сомнѣнія, и симпатія Черныха и Колесова, какъ я замѣчаю, лежитъ къ нему, потому что они общими усиліями стараются сбить истца на мировую, что имъ, наконецъ, и удается послѣ получасового усовѣщеванія. Тяжущіеся кончаютъ дѣло миромъ: десятина идетъ за тринадцать безъ четверти, а уплата остальнаго долга отсрочивается до будущей осени.

Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ дѣлъ о взысканіи за землю, о недожитіи въ работникахъ и проч. Это дѣла заурядныя, составляющія самый значительный процентъ всѣхъ тяжбъ, разбираемыхъ въ волостномъ судѣ. Прослушаемъ еще двѣ финальныхъ тяжбы.

— Еще позалѣтошнимъ годомъ бралъ у меня этотъ молодецъ двѣ десятины подъ яровое по 18 руб. за десятину; рубль далъ задатку, да какъ возить время пришло, и

я снопы на полѣ пріостановилъ, онъ 15 руб. мнѣ далъ и въ ногахъ валялся—просилъ остальные подождать на немъ. Я сдуру и повѣрилъ, да вотъ по сію пору и жду: «нынѣ да завтра», только и слышишь. Прикажите ему, господа-старички, остаточные 20 руб. додать.

Это говоритъ старикъ, лѣтъ шестидесяти, хозяйствующій по-кулацки, снимающій землю у нуждающихся по осени и раздающій ее по веснѣ, наживая за «комиссію» отъ 25 до 75%. Но у старика этого есть еще гоноръ нынѣ исчезающаго уже типа кореннаго сына деревни, ведущаго безъ всякихъ расписокъ тысячныя дѣла.

— Ты что жъ не отдаешь Ефиму Степанычу денегъ?—спрашиваетъ по обыкновенію Колесовъ.

— Да я ему отдалъ,—говоритъ отвѣтчикъ, малый лѣтъ 24-хъ.

— Отдалъ, да не всѣ...

— Нѣтъ, всѣ отдалъ.

— И языкъ у тебя не отсохнетъ такъ врать-то? Бога хоть побойся!..—говоритъ старикъ.

— Чего мнѣ еще бояться, я и такъ боюсь.

— Ахъ ты, поскуда, поскуда!.. Да смѣешь ли такъ говорить-то?.. А ну, перекрестись, коли отдалъ?..

Я спѣшу вмѣшаться въ дѣло, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: отвѣтчикъ, не дрогнувъ и нахально посматривая на старика, кладетъ широкій крестъ...

— Тфу ты, окаянный! — плюетъ старикъ въ негодованіи.—Пропади ты пропадомъ и съ двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грѣхъ на душу принимать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мнѣ ничего, господа-старички, отъ своихъ денегъ отказываюсь, не хочу объ него мараться... Ни на комъ...

И старикъ уходитъ, дѣлая крестныя знаменія.

— А нельзя ему подъ портки десятка два всыпать?—говоритъ Колесовъ, со злобой глядя на небрежно стоящаго «молодца».

— Никакъ нельзя,—говорю я, и чувствую, что краснѣю, потому что не прочь былъ бы въ данномъ случаѣ нарушить законъ и допустить подвергнуть отвѣтчика по гражданскому дѣлу уголовному взысканію.

— Петровичъ! бери его!..—приказываетъ Колесовъ, и я увѣренъ, что онъ чувствуетъ нѣкоторое удовлетвореніе, когда «молодецъ» подъ мощной рукой Петровича турманомъ вылетаетъ изъ «залы засѣданія».

А вотъ старуха-черничка на сценѣ. Вся она брызжетъ злостью, накопившейся у нея на сердцѣ за полстолѣтіе ея невольнаго дѣвства... Она уже много лѣтъ въ ссорѣ со своими сосѣдями, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ другу. Случилось черничкину цыпленку залетѣть черезъ плетень на дворъ къ сосѣдямъ; мальчишка съ того двора немедленно свернулъ цыпленку шею и трупъ его перебросилъ обратно къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣлу: черничка взыскиваетъ за цыпленка рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились: истица, отвѣтчикъ—отецъ провинившагося мальчонки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпленка и такимъ образомъ засвидѣтельствовала совершонное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, господа судіи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хотятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выживешь своимъ языкомъ безстыжимъ,—говоритъ отецъ мальчонки.

— Я безстыжая? Я?.. Праведные судьи! Помилосердствуйте! Будьте заступниками! На старости лѣтъ такое поношеніе...

— Да вы постойте!.. Вы разскажите намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Писклака у меня задушилъ его змѣенышъ... Они у меня такъ всѣхъ куръ передушатъ.

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальчонка, точно, побаловался, такъ я ему за это вихры надралъ.

— Сколько жъ вы за цыпленка вашего получить желаете?—останавливаю я ихъ препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, потому они у меня канехинскаго завода. Еще упокойная барыня, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Такъ рубль просите?

— Да-съ, рубликъ-съ. А что сверхъ этого положите, коли ваша милость бу-

деть, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!.. — прерываетъ ее Черныхъ. — Ты, Игнатичъ, сына, говоришь поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Иванычъ, какъ же,—въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлорусыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздается жалобный пискъ: «Батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!»...

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Иванычъ экзекуцію. — Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка? А?

— Не буду, дяденька!..

— То-то жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ не такъ раздѣлаетъ... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что жъ, Денисъ Иванычъ,—я цѣну настоящую завсегды отдать готовъ... А то вдругъ—рупь!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятиалтынничекъ мнѣ на убожество пожаловали? — алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-навсего пятиалтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ насмѣшку вы мнѣ это дѣлаете?—такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна, два раза по восьми верстъ проѣздила...

— А кто жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акаѳисты читала да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Скопію мнѣ пожалуйте, господинъ писарь: я дѣла кончать не буду, я завтра жъ къ господину становому приставу... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копіей приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстъ переть?.. Понимаю-съ, очень даже преотлично понимаю-съ, что все это вы въ насмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

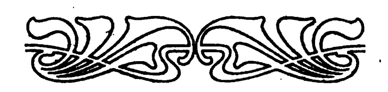
И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромѣ Черныха), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

— Никого тамъ больше на судъ нѣту?— спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполнѣ понятно, ибо уже одиннадцать часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва семь часовъ, и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальныя пять дѣлъ, назначенныя въ этотъ день «къ слушанію», пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ — не явились истцы, въ одномъ—не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ — состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава Тебѣ, Создатель Милосердный!.. — шепчутъ судьи, дѣлая истовые поклоны передъ иконой. Однако я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ крестъ машинально, по привычкѣ: Черныхъ благоговѣйно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Ѳедька — за то, что наконецъ-то настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ — за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи «разводной» отъ мужа...



Это лицо—тоже вполнѣ архаическое и вымирающее, которое можно еще изрѣдка встрѣтить въ такихъ архаическихъ и вымирающихъ улицахъ, какъ та, въ которую завелъ я читателя; въ другихъ же мѣстахъ въ наше время нивелировки общественныхъ типовъ, когда иного ученаго мужа по обличію можно принять за буфетчика, а юнаго отпрыска старопечатнаго «тятеньки» за attache изъ посольства — вы, головою ручаюсь, днемъ съ огнемъ не найдете.

Это тотъ вѣчный, исконный типъ, потерявшій немного изъ своихъ внѣшнихъ специфическихъ чертъ, но навсегда сохранившій тотъ отпечатокъ, по которому узнается петербургскій чиновникъ. Онъ уже не носитъ, правда, фуражки съ кокардой, даже либераленъ по части бороды и прически, но зато уже обязательно къ тридцати годамъ своей жизни успѣваетъ нажить себѣ геморой. Пока онъ въ мелкихъ чинахъ — онъ неукоснительно холостъ. Пугливый ко всякому новшеству, онъ врагъ всевозможныхъ „chambres garnies"; будучи бѣденъ и одинокъ, онъ снимаетъ себѣ комнату не иначе, какъ въ какомъ-нибудь солидномъ семействѣ, лелѣя главную мечту своей жизни— имѣть свою собственную квартиру, въ которой онъ могъ бы обставиться хозяйственнымъ образомъ. Буде мечта эта достигнута, онъ тотчасъ свиваетъ гнѣздо.

Если бы вы заглянули сюда, въ квартиру сидящаго теперь передъ вами господина Брусницына, на васъ непремѣнно повѣяло бы тѣмъ ветхозавѣтнымъ патріархальнымъ добродушіемъ, которое издаютъ, такъ сказать, изъ себя всѣ эти старомодные диваны краснаго дерева, громоздкія пудовыя кресла, жесткія, какъ камень, подушки, съ полинялыми, шитыми гарусомъ, изображеніями собакъ и охотниковъ, литографіи по стѣнамъ, либо идиллическаго содержанія, въ видѣ улыбающейся декольтированной дамы, держащей въ рукѣ цвѣтокъ или птичку, либо воинственнаго, въ родѣ Трафальгарскаго боя, или иного въ этомъ вкусѣ сюжета. Уже по одной обстановкѣ вы выведете безошибочно такое заключеніе о хозяинѣ всей этой прелести, что онъ, невзирая на то, что имѣетъ еще права считать себя «женихомъ» — однако человѣкъ вполнѣ положительный, патріотъ своему отечеству и врагъ всякихъ завиральныхъ идей. Самыя развлеченія господина Брусницына до крайности невинны и просты. Вѣрный традиціямъ, онъ имѣетъ гитару, которою и услаждаетъ по временамъ свой одинокій досугъ. Въ этомъ отношеніи, однако, онъ не могъ избѣгнуть вліянія прогресса. Онъ все-таки, какъ ни на есть, человѣкъ современный и потому не любитъ старыхъ романсовъ, въ родѣ такихъ, напр., какъ «Черная шаль» или «Въ одной знакомой улицѣ», а исповѣдуетъ себя поклонникомъ каскадныхъ мотивовъ.

Г. Брусницынъ ударилъ по струнамъ гитары и заигралъ изъ «Корневильскихъ колоколовъ» (знакомыхъ ему по трактирнымъ органамъ, много пополнившимъ его музыкальное образованіе), подтягивая игрѣ теноркомъ:

„Въ своихъ скита-а-аньяхъ вокругъ свѣта
Я научился хра-а-абрымъ быть..."

Но въ этотъ разъ музыка ему почему-то не шла на умъ. Душу его облегала тихая меланхолія. Онъ замолкъ, погрузившись мечтательнымъ взоромъ въ пространство... Вокругъ жужжали неугомонныя мухи. Одна съ размаху брякнулась въ его стаканъ съ простывшимъ чаемъ и безпомощно забарахталась лапками. Онъ машинально слѣдилъ за ея затруднительнымъ положеніемъ, потомъ перевелъ свой взоръ не пейзажъ, видный ему изъ окна. Вонъ, на той сторонѣ, показался изъ подвальнаго помѣщенія длиннаго одноэтажнаго дома, украшеннаго вывѣской съ изображеніемъ фруктовъ и головы сахару и съ надписью «Овощная и мелочная лавка», высокій тучный мужчина, въ розовой ситцевой рубахѣ, атласномъ жилетѣ, съ длинною серебряной цѣпью поверхъ его, и усѣлся на лавочкѣ, благодушно позѣвывая, крестя ротъ и почесывая себя подъ мышками... Зарывшіеся въ пыль два воробья, нахохлившись, сладостно млѣли въ теплыни...

«Эхъ, чортъ, тощища какая!—воскликнулъ внутри себя г. Брусницынъ: — хорошо бы теперь... А что бы теперь хорошо бы?..»

Его вниманіе было внезапно развлечено видомъ нѣкоей толстой дамы въ косыночкѣ, которая появилась изъ-за дома и медленно, съ сосредоточеннымъ, отчасти даже озабоченнымъ видомъ прошлась мимо

его оконъ взадъ и впередъ, подняв вверху голову, какъ бы желая проникнуть взоромъ чрезъ окно мезанина; затѣмъ она постояла, прислушалась и опять прошлась взадъ и впередъ, все съ тѣмъ же озабоченнымъ видомъ... Это была сама владѣтельница этого дома, вдова мѣщанина, Ѳедосья Ивановна Столбикова.

— Здравствуйте, Ѳедосья Ивановна! — окликнулъ ее г. Брусницынъ.

Ѳедосья Ивановна отвѣчала однимъ безмолвнымъ поклономъ, отошла на середину улицы, опять взглянула на окно мезанина, и затѣмъ уже приблизилась къ г. Брусницыну.

— Гуляете?—спросилъ тотъ.

Ѳедосья Ивановна съ унылымъ видомъ махнула рукой, какъ бы желая сказать:— «Какое гулянье! Не до гулянья тутъ мнѣ!»

— Дивная погода какая!—воскликнулъ г. Брусницынъ.

Ѳедосья Ивановна не отвѣчала. Видъ ея выражалъ полнѣйшее разстройство. Это тотчасъ же замѣтилъ ея собесѣдникъ. Какъ разъ въ эту минуту она опять подняла голову, съ тѣмъ же выраженіемъ затаенной тревоги, сдѣлавъ попытку проникнуть взоромъ въ окно мезанина...

— Да на что вы тамъ все посматриваете, Ѳедосья Ивановна?—заинтересовался теперь ужъ и самъ г. Брусницынъ.

Онъ высунулся изъ окна и тоже взглянулъ наверхъ, по направленію взоровъ Ѳедосьи Ивановны, но подозрительнаго ничего не замѣтилъ.

— Что вы тамъ такое видите? Я не понимаю!

— Нишкните-ка... Ничего вы не слышите?

Г. Брусницынъ сосредоточенно вытаращилъ глаза и прислушался.

— Ничего не слышите?

— Ничего не слышу!—помоталъ отрицательно головой г. Брусницынъ.

— Да я не то... Не слышите, наверху разговариваютъ?

— Н-да... разговариваютъ...

— Ну, а мужчины не слышите?..

— Мужчины?.. Н-да, какъ будто и голосъ мужчины...

— Да вѣрно ли вы слышите? Есть тамъ мужчина?

— Ужъ, право, не могу вамъ навѣрно сказать... Кажется, будто... Да что вамъ за забота такая?

— Ну, вотъ, такъ и есть! Значитъ ещё не ушелъ!.. Ахъ ты, Господь милосердный!.. Ну, а не видали вы, не проходилъ онъ тутъ, мимо васъ?

— Кто проходилъ?

— Мужчина!

— Не знаю. Не видалъ никакого мужчины...

— Ну, да! Сидитъ еще, значитъ... Ахъ, Господи, Боже ты мой! Не успокоиться мнѣ!.. Какъ увидала я только, что онъ къ намъ идетъ, даже у меня сердце упало! И сама не знаю, чего я дрожу!.. И теперь вотъ дрожу... Пока не уйдетъ, такъ все и буду дрожать!..

— Да скажите вы мнѣ Христа ради, что это значитъ? Про какого мужчину вы говорите?.. Я не знаю... Я, ей-Богу, вотъ и самъ начинаю какъ будто теперь безпокоиться... — взволновался г. Брусницынъ.

— Да вамъ-то что! А я вѣдь хозяйка! Я за все отвѣчаю! Стрясись какая бѣда— все на мнѣ взыщется... Какъ же мнѣ не бояться?

— Ѳедосья Ивановна... Я... я... ей-Богу, не знаю... Не понимаю, про что вы?.. Вы ужъ, пожалуйста, меня не пугайте!—поблѣднѣлъ, какъ полотно, и даже попятился отъ окна г. Брусницынъ.

— Да знаете ли, кто теперь тамъ, у Канарѣевой-то сидитъ!—пониженнымъ голосомъ спросила Ѳедосья Ивановна.

— Кто?—такимъ же пониженнымъ голосомъ переспросилъ, въ свою очередь, г. Брусницынъ.

— Сынъ ейный! Канарѣевой-то!.. Никогда его не видали?

— Не видалъ никогда.

— И ничего про него не слыхали?

— Ничего не слыхалъ.

— Ну, вотъ то-то и есть! А вы знаете ли, кто онъ таковъ, этотъ самый Канарѣихинъ сынъ-то?

— Ну-те?—наклонился къ Ѳедосьѣ Ивановнѣ г. Брусницынъ.

Ѳедосья Ивановна бросила осторожный взглядъ вверхъ, на окно мезанина, затѣмъ еще два-три такихъ же осторожныхъ взгляда черезъ то и другое плечо, близко придвинулась къ окошку г. Брусницина (который совсѣмъ изъ него высунулся и, прижимая къ груди гитару, пожиралъ Ѳедосью Ивановну жаднымъ, встревоженнымъ взоромъ) и начала таинственнымъ шопотомъ:

— А вотъ кто онъ таковъ... Нѣтъ, погодите, лучше ужъ я вамъ все по порядку... Вы вѣдь никогда ея не видали, Канарѣевой-то?

— Никогда. Знаю только, что старуха, слѣпая...

— Ну да, и на ноги разбита... Шагу не можетъ сдѣлать. Вдова! Золовка у ней есть, мужнина сестра, значитъ, Натальей Андреевной звать—такъ та за нее и пенцыонъ получаетъ... И ничего-то она дѣлать не можетъ, только все вяжетъ... чулки этта, шарфы... Да вотъ еще слушаетъ, что ей Наталья Андреевна вслухъ читаетъ... Смолоду, говоритъ, очень книжки любитъ... Ахъ, ужъ такъ-то мнѣ ее жалко, я вамъ и сказать не могу! Подумайте только: десять лѣтъ уже слѣпа!.. Иной разъ подумаешь этакъ, доведись это мнѣ... Ну, да ладно! Такъ о чемъ бишь я? Да, такъ вотъ... Живетъ она у меня пять лѣтъ скоро будетъ... Сами небось замѣчали, какое у нея поведеніе? Тихо, смирно, совсѣмъ ея не слыхать, будто и нѣтъ ея вовсе... Монашенка, чисто!.. Сынъ у нея вотъ теперь... Грѣшница, каюсь, приведись мнѣ, я ужъ не знаю, что бы я надъ нимъ ни сдѣлала! Кажется, своими бы руками тутъ вотъ его и задушила! Чтобы мнѣ завтрашняго дня не видать, коли лгу, не побоялась бы взять грѣха на душу! И какъ передъ Истиннымъ, вамъ говорю, почему? Ничего онъ мнѣ не сдѣлалъ худого... Только лишь потому, что ее ужъ очень жалѣю! И что онъ такое, если бы вы знали? Михрютка, мозглякъ, ни кожи ни рожи! А представьте вотъ, даже тетка души въ немъ не слышитъ, а сама—такъ про ту ужъ и говорить ничего не остается... На него чуть не молится. Ну да, мать, ужъ извѣстно... Эхъ-хти-хти!... А чѣмъ онъ за любовь ихъ отплачиваетъ? Въ кои-то вѣки носъ къ нимъ сунетъ на вышку, сидитъ этта важно, фу-ты, ну-ты, словно какой-нибудь прынецъ, подумаешь! Чѣмъ бы мать успокоить, что онъ дѣлаетъ? Бѣсъ его знаетъ, служитъ онъ, нѣтъ ли, не могу сказать ужъ доподлинно, только одѣтъ чистенько всегда, не нуждается, значитъ, а чѣмъ онъ помогъ хоть бы матери? Лютый врагъ ейный того бы не сдѣлалъ, чѣмъ онъ отплатилъ!.. Всегда я его терпѣть не могла, чувствую этта, бывало—не лежитъ, ну вотъ не лежитъ къ нему сердце, что вы хотите! Все мнѣ сдавалось, что онъ въ мысляхъ какое-нибудь ехидство питаетъ... И вѣдь, подите же, вышло по-моему! Да какъ еще вышло-то! Ужъ на что я всякой пакости отъ него ожидала, а тутъ, какъ узнала, что онъ за гусь такой есть, такъ даже у меня руки тогда опустились... Ужъ подлинно могу сказать, несчастная, несчастная эта Канарѣева, одно слово—мученица! И вотъ сейчасъ даже, какъ вспомню про тотъ самый случай, когда Алешенька ейный безцѣнный въ настоящемъ своемъ естествѣ объявился, такъ все-то во мнѣ такъ и повертывается!.. Представьте, случай какой... Нѣтъ, погодите. Вы вѣдь на Страшной ко мнѣ переѣхали?.. Ну, да, на Страшной, а этакъ за мѣсяцъ вотъ что случилось у насъ... Ночью ужъ этакъ, часу, такъ бы сказать, во-второмъ (спимъ ужъ мы всѣ), слышу, вдругъ у насъ на дворѣ: динь-динь-динь!.. Колокольчикъ! Это что отъ калитки... Сперва, спросонья-то, думаю: знать, это во-сняхъ, кому звониться къ намъ, спрашивается, въ этаку пору?.. Только нѣтъ, погодя немного, опять: динь-дили-динь-динь-динь! Да пронзительно такъ!.. Что за притча? Разбудила Марью.—Поди, посмотри, говорю, знать, пьяный какой... Одѣлась этта Марья, пошла... Только, смотрю, бѣжитъ назадъ ко мнѣ опрометью, трясется, а на самой лица нѣтъ! «Полиція, говоритъ, тамъ, Ѳедосья Ивановна! Васъ спрашиваютъ!»—Какъ? Что такое? Какая полиція? Опалѣла ты, вѣрно, со сна-то?! (А чувствую, сама тоже трясусь...). Однако, какъ-никакъ, свѣчку зажгла, платчишко поскорѣе накинула... Смотрю—а они ужъ и входятъ! Такъ и есть: околоточный нашъ, Иванъ Еремѣичъ, городовой съ нимъ (того не знаю совсѣмъ), жандары...—«Такъ и такъ, говорятъ, извините, что безпокоимъ. По службѣ. Вдова Канарѣева у васъ проживаетъ?»—У меня, говорю (а у самой въ глазахъ даже мутится... Господи!! думаю,—что же это такое?!). Да только, говорю, она теперь спитъ ужъ, поди...—«Это, говорятъ, намъ совсѣмъ безразлично!..» Показала я имъ, какъ пройти въ мезанинъ, а сама ни жива ни мертва: никогда этакаго сраму еще не видала, чтобы у меня вдругъ жандары!.. Подымаются это они въ мезанинъ, а я Ивана Еремѣича сейчасъ за рукавъ.—Иванъ Еремѣичъ,—его умоляю, — скажите вы мнѣ, успокойте

меня, ради Господа, что за причина такая, зачѣмъ вамъ Канарѣева? — «Этого, говоритъ, Ѳедосья Ивановна, я вамъ сказать не могу, права на то не имѣю. Только, говоритъ, плохія, плохія у васъ дѣла завелись!..» И пошелъ. Ну, я ужъ тутъ за него уцѣпилась, держу, не пускаю. Слезы у самой на глазахъ, вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ, не лгу, и со слезами его умоляю:—Иванъ Еремѣичъ (его умоляю), не губите меня, сироту, успокойте, скажите, объясните вы мнѣ, ради самого Бога небеснаго!! — «Да вы, говоритъ, не тревожьтесь, ваше дѣло стороннее, только, говоритъ, плохо, плохо у васъ наверху! (Опять повторилъ!). Старуха-то, вѣрно, говоритъ, сама не при чемъ, а сынокъ ея напрокудилъ...»—Какъ напрокудилъ?! Что напрокудилъ?! Обворовалъ, что ли, кого?—«Да, знать, обворовалъ», говоритъ... Засмѣялся самъ и пошелъ въ мезанинъ... Отправилась я къ себѣ, сижу, дрожу... Спать не ложусь—до сна ли ужъ тутъ?.. Только съ полчаса такъ времени пробыли они въ мезанинѣ, назадъ возвращаются... Я опять Ивана Еремѣича сейчасъ за бока.—Ну, что, говорю, нашли вы украденное?—«Нѣтъ, не нашли», говоритъ...—Ну, говорю, слава Богу! Значитъ, больше ко мнѣ уже не придете?—«Нѣтъ, не придемъ, говоритъ, успокойтесь». И опять засмѣялся... Ну, слава Богу, слава Богу, молюсь про себя. Раздѣлась это, легла, только никакъ заснуть не могу: жаль, ну вотъ просто и сказать вамъ не могу, до чего мнѣ жаль Канарѣеву!.. Только утро настало, не утерпѣла, признаться, пошла къ ней въ мезанинъ... Вижу, сидитъ она въ своемъ креслицѣ, только что встала, должно-быть, и, вѣрно, всю ночь не спала... Слѣпа она, такъ и не видитъ, что вошли въ комнату-то... Сидитъ такая словно убитая, ни кровинки въ лицѣ и какъ будто даже осунулась. Самоваръ передъ ней, чашка чаю налита, и тетка тутъ же, презлющая-злющая... Только я голосъ ей подала:—Здравствуйте, говорю, Пелагея Петровна!.. Какъ вздрогнетъ она вся!! «Кто тутъ, кто тутъ?» говоритъ (а сама даже вся затряслась).—Это я, отвѣчаю, хозяйка ваша домовая, Ѳедосья Ивановна.—«А, здравствуйте, говоритъ, Ѳедосья Ивановна, садитесь, пожалуйста!» Я сѣла. Молчу. Она тоже молчитъ. Тетка—ни-гу-гу, даже не смотритъ... Ну, я понемножечку сама тутъ рѣчь и завела.—Удивительно, говорю, какія это бываютъ ошибки! И какъ это грубо, говорю, полиція иногда поступаетъ: не разузнавши хорошенько, въ чемъ дѣло, по ночамъ безпокоитъ... — Сказала я такъ да и молчу... Та ничего, все ни слова... Я, погодивши немного, опять:—Конечно, говорю, очень жалко Алексѣя Иваныча, что такъ это случилось. Я, говорю, никогда не позволяла себѣ, чтобы о немъ что-нибудь дурное подумать, и, вѣрно, тутъ что-нибудь наплели, только ужъ, надо полагать, съ его стороны какая-нибудь неосторожность была... А старуха тутъ вдругъ: «Какая неосторожность?—спрашиваетъ:—про что вы говорите?»—Да вотъ, отвѣчаю, изъ-за чего сегодня ночью полиція-то сюда приходила... (И говорю это ей совсѣмъ-таки просто!). Смотрю — та хоть бы слово на это; голову только такъ опустила — и вижу вдругъ: слезы, слезы такъ у нея и бѣгутъ по лицу... Ну, сударь, хотите вѣрьте вы мнѣ, или нѣтъ—легче бы, кажется, если бъ меня въ ту пору пронзили чѣмъ ни на есть, чѣмъ видѣть только эти слезы старухины!.. Жаль, ну, жаль, ну, просто я вамъ и сказать не могу, до чего мнѣ жаль ее стало!.. И въ головѣ въ моей въ то же время: изъ-за чего, молъ, бѣдняжка такъ убивается? Добро бы стоящій былъ человѣкъ, а то идолъ вѣдь сущій, а она вотъ слезы изъ-за него проливаетъ... Не утерпѣла я тутъ да и брякнула: — Извините меня, говорю, Пелагея Петровна, только вчужѣ мнѣ даже досадно за васъ на Алексѣя Иваныча. Я его, говорю, не виню, только прямо скажу: стыдно, стыдно ему, что онъ, при своемъ безразсудствѣ, вотъ до чего васъ доводитъ... Только всего я и успѣла сказать... Какъ она привскокнетъ! Да какъ крикнетъ!! Сперва-то была бѣлая-бѣлая, а тутъ вся налилась, словно вишня... «Какъ вы смѣете!? — кричитъ. Да какъ вы можете такъ дурно говорить про Алешу?! Онъ лучше всѣхъ, — кричитъ;— лучше васъ, — кричитъ; — чтобы смѣли такъ о немъ отзываться!» (А что, спрашивается, я про него и сказала?). Сама трясется, захлебывается... Тутъ ужъ и тетка на меня замахала. «Уйдите, шепчетъ, уйдите, не раздражайте ея...» Ну, я, видя, въ какомъ она положеніи, уже не сказала ни слова, повернулась да и але маширъ

налѣво кругомъ! Сперва-то, признаться, разсердилась немного, что такъ она слова мои приняла, а потомъ разсудила, что чѣмъ же она виновата? Извѣстно, мать... Сама же еще потомъ ругала себя, что не сумѣла совладать со своимъ сердцемъ дуранкимъ... Ну, хорошо. Такъ этимъ и кончилось. Я уже перестала и заглядывать къ нимъ. Встрѣтилась только какъ-то съ теткой, не утерпѣла, спросила, какъ, молъ, дѣло Алексѣя Иваныча?.. А она мнѣ съ сердцемъ такимъ: «Отстаньте, говоритъ, ничего я не знаю!..» Ну, вижу, не хочетъ разсказывать! Тоже больше уже и не разспрашивала. Увидала потомъ какъ-то Ивана Еремѣича, пристала къ нему—ну и узнала: засадили въ тюрьму его, сокола яснаго...

Г. Брусницынъ, все время напряженно слушавшій шептанье Ѳедосьи Ивановны, боясь проронить хоть единое слово, воспользовался наступившей тутъ паузой и спросилъ:

— Что жъ, значитъ, теперь уже выпустили?

— Выпустить-то выпустили, положимъ, да что жъ, легче ль отъ этого? Ходитъ попрежнему къ ней, только раньше все норовилъ, чтобы попозднѣй, а сегодня вотъ среди бѣла дня припожаловалъ...

— Значитъ, не онъ воръ оказался?..

— Воръ?.. Да оно было бы еще ничего, если бы онъ только воръ оказался... Я сама сперва думала, что его только въ воровствѣ обвиняютъ... Хуже!.. Хорошо еще, кабы воръ только онъ былъ!

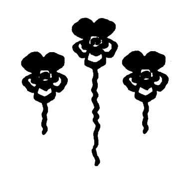
— Неужели? Да кто жъ онъ такой?

— Кто онъ такой?.. А вотъ кто онъ такой, коли знать вы хотите...

Тутъ Ѳедосья Ивановна совсѣмъ приблизила губы къ уху своего постояльца, высунувшагося почти по поясъ изъ окошка, и произнесла одно только короткое слово...

Дѣйствіе этого слова было ужасно. Г. Брусницынъ чуть не выронилъ гитары на улицу и быстро отпрянулъ назадъ, точно передъ нимъ разорвало торпеду, а было произнесено одно только слово, и притомъ шопотомъ, тихимъ, какъ дуновеніе вѣтра:

— *Си-ци-листъ*...



**Сергѣй Михайловичъ Кравчинскій-Степнякъ.**

(1852—1895).

## Домикъ на Волгѣ.

(Въ сокращеніи).

I.

Ночной курьерскій поѣздъ пролеталъ послѣднюю сотню верстъ до С—, одного изъ приволжскихъ губернскихъ городовъ. Огни въ деревняхъ были давно потушены, и вся необозримая поляна волжскаго побережья превратилась въ одно сплошное море мрака. Утонули въ немъ поля, луга; утонули черныя громады лѣсовъ; утонули деревни. Какъ большія муравьиныя кучи, стояли, разсыпанныя то тамъ, то сямъ, группы низенькихъ избъ съ высокими соломенными крышами, убогимъ жильемъ поволжскаго крестьянина. На задахъ, поодаль отъ жильевъ, стояли другія, болѣе правильныя кучи скирдъ только-что убраннаго хлѣба, которыя въ темнотѣ можно было принять за деревню, а деревню— за скирды. Луна еще не всходила. Легкій ночной вѣтерокъ, дувшій съ могучей рѣки, лѣниво гналъ сѣрыя тучи, которыя заволакивали небосклонъ, не давая звѣздному лучу проникать ихъ густую ткань. Моросилъ мелкій дождь. Запоздавшій торговецъ, возвращавшійся изъ города, едва видѣлъ извилистую дорогу и, бросивъ вожжи, предоставилъ коню самому отыскивать путь. И умный конь шелъ твердой поступью, косясь отъ времени до времени на низенькое, едва поднимавшееся надъ поверхностью земли, полотно желѣзной дороги, которое прошло по этой зеленой пустынѣ.

Тонкіе, блестящіе и ровные, какъ стрѣла, рельсы на широкихъ шпалахъ, вонзившіеся обоими концами въ непроницаемый мракъ, уже жужжали неслышимо для человѣческаго уха, предвѣщая приближеніе поѣзда. Гдѣ-то, въ безконечной дали, раздался мягко и протяжно свистъ локомотива. Конь мотнулъ ушами и фыркнулъ, нюхая воздухъ. Хозяинъ подобралъ вожжи, понемногу своротачивая въ сторону. Прошло нѣсколько минутъ, и на горизонтѣ показались два огненныхъ глаза. Ближе, ближе. Рельсы задребезжали, и вскорѣ, кокетливо скользя по гладкому пути, какъ конькобѣжецъ по льду, вихремъ пронесся въ клубахъ дыма грохочущій поѣздъ, освѣтивъ на минуту поляну и бросая багровое зарево на низкія облака, засматривавшія сверху въ его огненную утробу. Было что-то праздничное, ликующее въ этомъ длинномъ рядѣ ярко освѣщенныхъ подвижныхъ палатъ, которыя безъ усилія, точно по мановенію волшебнаго жезла.

неслись мимо спящихъ деревень, черныхъ полей и лѣсовъ, смѣясь надъ пространствомъ, надъ мракомъ и непогодою. Такъ глядитъ снаружи сверкающій огнями и позолотою бальный залъ, когда гремитъ оркестръ, и разодѣтыя пары мелькаютъ въ зеркальныхъ окнахъ. И зритель, стоящій въ темнотѣ и на холодѣ, невольно думаетъ тогда о счастьѣ, весельѣ, довольствѣ. Но на балахъ часто льются невидимыя слезы, и въ этомъ летучемъ дворцѣ разыгрывалась въ эту минуту тяжелая драма.

Въ отдѣльномъ купэ перваго класса въ одномъ изъ переднихъ вагоновъ сидѣло трое пассажировъ. Двое было военныхъ—въ нихъ по синимъ мундирамъ съ бѣлымъ приборомъ легко можно было узнать жандармовъ. Третій былъ статскій—молодой человѣкъ, насколько можно было судить по тонкой, стройной фигурѣ, русой, курчавой - бородкѣ и усамъ, виднѣвшимся изъ-подъ надвинутой на лицо шляпы.

Одинъ изъ жандармовъ спалъ, растянувшись на скамейкѣ. Другой, неестественно выпрямившись, сидѣлъ въ углу и дѣлалъ отчаянныя усилія, чтобы преодолѣть сонъ. Однако отъ времени до времени онъ клевалъ носомъ, и тогда онъ энергично встряхивался и строго посматривалъ на молодого человѣка. Это, очевидно, былъ конвоируемый ими политическій арестантъ.

Прислонившись къ углу и вытянувъ наискось ноги, тотъ, повидимому, крѣпко спалъ. Грудь его поднималась медленно и равномѣрно, и тихое, сонное дыханіе слышно было въ промежуткахъ между лязгомъ поѣзда. Но если бы кто-нибудь неожиданно заглянулъ подъ широкія поля его войлочной шляпы, то увидѣлъ бы пару сѣрыхъ глазъ, исполненныхъ такого жгучаго, напряженнаго вниманія, которое ясно показывало, что молодому человѣку было не до сна. Въ головѣ его созрѣлъ планъ побѣга, дерзкій, отчаянный планъ, —и теперь его участь зависѣла отъ того, заснетъ или нѣтъ этотъ неуклюжій, краснорожій жандармъ. Изъ-подъ надвинутой на брови шляпы онъ не переставалъ ни на минуту слѣдить за нимъ.

Жандармъ покачивался, какъ длинный маятникъ передъ тѣмъ, какъ остановиться. Потомъ онъ вдругъ чуть не клюнулъ своего товарища въ голову, разомъ упавши впередъ, и встрепенулся, посмотрѣвъ внимательно на арестанта. Тотъ все лежалъ въ той же позѣ. Тогда жандармъ успокоился и, выпучивъ глаза, смотрѣлъ въ стѣну, стараясь не моргнуть.

Прошло нѣсколько минутъ. Поѣздъ быстро несся впередъ. Мѣрно, точно въ тактъ, гремѣла машина. Жидко, какъ-то жалостно дребезжали окна. Мелкіе, непрерывные толчки, передававшіеся чрезъ мягкія, пружинныя подушки, дѣйствовали какъ непреодолимое усыпительное средство на тяжелый, не привыкшій ни къ какой работѣ, мозгъ. Все чаще и чаще приходилось жандарму встряхиваться, и замиравшій отъ волненія арестантъ считалъ минуты, когда его стражъ окончательно свалится и захрапитъ.

Но вдругъ тотъ оживился: ему вспомнилось, что лучшее средство разогнать сонъ—трубка. Онъ вынулъ кисетъ, основательно набилъ коротенькую деревянную носогрѣйку и, расположившись поудобнѣе въ углу, взялъ трубку въ зубы и чиркнулъ спичкой. Арестантъ закрылъ съ отчаянія глаза.

— Проклятый! — простоналъ онъ про себя: разрушалась послѣдняя его надежда.

Но въ эту самую минуту что-то упало на полъ. Онъ бросилъ быстро взглядъ по направленію звука и увидѣлъ подъ противоположной скамейкой трубку, выпавшую изъ рукъ жандарма. Тотъ спалъ крѣпкимъ сномъ съ тѣмъ самымъ блаженнымъ выраженіемъ лица, которое принялъ, умащиваясь, чтобы покурить поудобнѣе.

Радость, почти столь же болѣзненная, какъ прежнее отчаяніе, охватила душу молодого арестанта. Какъ будто свобода уже открылась передъ нимъ. Какъ будто между нимъ и ею не стояло страшнаго препятствія, которое только при отчаянной смѣлости и слѣпомъ счастьѣ можно было надѣяться преодолѣть.

Переждавъ нѣсколько минутъ, онъ осторожно всталъ, поправилъ шляпу и сдѣлалъ два шага по узкому проходу. При свѣтѣ фонаря теперь можно было разсмотрѣть его подробнѣе. На видъ ему можно было дать года двадцать четыре, двадцать пять. Онъ былъ выше средняго роста и очень пропорціональнаго, хотя не сильнаго сложенія. Мелкія, чрезвычайно подвижныя черты небольшого лица съ высокимъ, немного стиснутымъ на вискахъ лбомъ, к

кіе бываютъ у музыкантовъ; гладкая, чисто женская шея и тонкія бѣлыя руки съ длинными правильными пальцами — все обличало натуру нервную, порывистую, страстную, отвѣчающую скорѣе представленію объ артистѣ, чѣмъ о бойцѣ. Такія физіономіи попадаются нерѣдко между русскими такъ называемыми «нигилистами», и притомъ далеко не всегда среди людей умѣренныхъ фракцій: скорѣе, наоборотъ. Общее впечатлѣніе нервности и какой-то женственности дополнялось парою красивыхъ сѣрыхъ глазъ, которые то потухали подъ длинными рѣсницами, то вспыхивали какимъ-то жгучимъ блескомъ. Эти глаза не ручались за упорство и постоянство воли, но они обнаруживали способность къ огромной мгновенной энергіи, которой отличаются очень нервные люди.

Молодой человѣкъ стукнулъ каблукомъ объ землю, чтобъ испытать крѣпость сна своего стража, и устремилъ на него свои жгучіе сѣрые глаза. Подъ вліяніемъ этого упорнаго взгляда жандармъ зашевелился во снѣ. Молодой арестантъ быстро отвелъ отъ него опасный взглядъ и, давъ ему успокоиться, подошелъ къ своему окошку.

Времени терять было нечего. Еще часъ ѣзды, и передъ нимъ раскроется черная пасть тюрьмы, откуда ему, быть-можетъ, вовѣки не выбраться на свѣтъ Божій. Онъ попался подъ чужой фамиліей. Полиція не подозрѣвала, кто онъ. Но въ тюрьмѣ, куда его везли, сидѣлъ предатель Харинъ, когда-то его товарищъ, который тотчасъ его узнаетъ, и тогда его пѣсенка будетъ спѣта. Планъ его былъ столь же простымъ, какъ и отчаяннымъ: выброситься изъ вагона на всемъ ходу и, если онъ не расшибется на-смерть и не переломаетъ себѣ ногъ, добраться до города, укрыться, переждать первую горячку погони, и затѣмъ вернуться въ Петербургъ. По счастью, ему удалось скрыть отъ глупой уѣздной полиціи всѣ свои деньги, которыя остались зашитыми у него въ платьѣ.

Обѣ дверцы были заперты, онъ это зналъ. Но окно было для него достаточно широко. Онъ спустилъ стекло. Шумъ и грохотъ поѣзда ворвался въ вагонъ вмѣстѣ съ струей свѣжаго воздуха.

Оба жандарма не пошевельнулись. Молодой человѣкъ высунулъ голову и сталъ всматриваться впередъ въ темноту. Верхушки кустовъ замелькали у него передъ глазами. Поѣздъ несся по молодой орѣховой поросли, пересыпанной кое-гдѣ темными кустами сорной травы, изъ-подъ которыхъ виднѣлась бѣлесоватая песчаная почва.

«Какъ разъ подходимъ», подумалъ онъ.

Но когда онъ опустилъ голову и взглянулъ прямо подъ поѣздъ, то пришелъ въ ужасъ. Быстро уплывавшая спереди почва здѣсь неслась съ одуряющей быстротой. Камни, шпалы,—все сливалось въ одинъ непрерывный, бѣшеный, смертоносный потокъ. Въ его разстроенномъ долгой безсонницей мозгу живо встала картина, въ которой онъ видѣлъ себя самого разбитаго, растерзаннаго въ клочья этими сучьями, бревнами, камнями. Вздохъ, похожій на стонъ, вырвался у него изъ груди: слабое тѣло сопротивлялось и малодушно молило о пощадѣ.

Но это продолжалось только минуту.

— Теперь или никогда!— проговорилъ онъ и, вставъ на подушку сидѣнья, онъ скользнулъ на окно, свѣсивши обѣ ноги наружу.

— Ну, держи... А ту его... Лови!—раздалось вдругъ за его спиной.

Онъ съ ужасомъ оглянулся, — то говорилъ спросонья жандармъ подъ вліяніемъ какого-то смутнаго ощущенія дѣйствительности.

Не теряя ни минуты болѣе, молодой человѣкъ скользнулъ внизъ и повисъ на правомъ локтѣ надъ черной стремительной бездной. У него закружилась голова отъ страшнаго грохота, вихря, душившаго его дыма и бившаго ему въ лицо мелкими горячими угольками. Поѣздъ въ эту минуту заворачивалъ вправо. Его отрывало отъ окошка. Еще мгновеніе, и онъ лишился бы чувствъ. Но въ головѣ его твердо держались инструкціи, которыя онъ самъ себѣ давалъ, обдумывая свой отчаянный планъ. Нащупавъ правой ногой точку опоры и держась по возможности лицомъ по направленію движенія поѣзда, онъ разомъ оттолкнулся впередъ рукой и ногой и полетѣлъ въ пространство.

Ему казалось, что онъ летитъ долго, безъ конца. Вихрь прекратился, а онъ все летѣлъ. Онъ думалъ, что никогда не долетитъ. Полно, точно ли онъ спрыгнулъ? Не сонъ ли это все?

Вдругъ что-то ударило его подъ ноги, точно огромная коса оторвала ему конечности, и страшный толчокъ въ спину растянулъ его ничкомъ. Изъ глазъ его посыпались искры, и онъ лишился чувствъ.

## II.

Поѣздъ давно пронесся мимо, и мертвая тишина воцарилась въ полѣ. Дождь пересталъ. Узкій серпъ луны показался на горизонтѣ, освѣщая тусклымъ свѣтомъ влажную землю, и деревни, и кусты, и неподвижную фигуру, лежавшую у дороги. Подулъ свѣжій вѣтерокъ. На востокѣ побѣлѣли облака, предвѣщая зарю, а темная масса все лежала неподвижно, и теперь, при блѣдномъ свѣтѣ утра, на бѣломъ пескѣ у головы можно было замѣтить кровавое пятно.

Вотъ на горизонтѣ показался бѣлый, быстро вытягивающійся дымокъ, подъ которымъ виднѣлась черная полоска. Это ѣхалъ другой, ранній товарный поѣздъ. Вотъ обозначилась длинная цѣпь сѣрыхъ вагоновъ. Ближе, ближе, и съ тяжелымъ, оглушительнымъ грохотомъ, отъ котораго дрожала земля, поѣздъ пронесся мимо. Машинистъ выпустилъ паръ, и пронзительный свистокъ прорѣзалъ влажный утренній воздухъ.

Неподвижная человѣческая масса заметалась, заерзала, и при послѣднемъ рѣзкомъ звукѣ лежавшій замертво человѣкъ вскочилъ на ноги и, гонимый какимъ-то паническимъ страхомъ, бросился бѣжать, перепрыгивая черезъ кусты и спотыкаясь. Поѣздъ быстро удалялся. Шумъ стихъ, и бѣглецъ понемногу пришелъ въ себя и остановился.

«Зачѣмъ бѣжать? — подумалъ онъ. — Вѣдь никто не гонится».

Въ первую минуту онъ былъ увѣренъ, что поѣздъ, заставившій его очнуться, былъ тотъ самый, изъ котораго онъ такъ счастливо выскочилъ. Только посмотрѣвъ на небо и замѣтивши, что уже обутрѣло, онъ сообразилъ, что этого не можетъ быть, и что онъ, должно-быть, долго лежалъ безъ чувствъ.

Онъ вынулъ изъ бокового кармана часы. Но они были разбиты вдребезги, ударившись о камень при паденіи. Судя по цвѣту небосклона, теперь должно было быть часовъ пять утра.

Что-то теплое струилось по его виску. Онъ пощупалъ рукою: кровь. Все лицо его было липкое отъ запекшейся крови.

«Куда покажешься съ такой образиной?»— подумалъ онъ.

Но какъ остановить кровь? Рана была неопасная, но очень неудобная въ данную минуту. Онъ открылъ маленькій сачокъ, висѣвшій у него черезъ плечо, который онъ забылъ сбросить; но тамъ, кромѣ носового платка да письменныхъ принадлежностей, ничего не оказалось. Къ счастью, кругомъ росли пучки молочая. Сорвавъ нѣсколько стеблей, онъ выжалъ изъ нихъ на ранку вяжущій, липкій бѣлый сокъ. Кровь остановилась.

«Сойдетъ!»—весело подумалъ онъ.

Онъ вымылъ себѣ кое-какъ лицо мокрой травою и вытерся чистымъ платкомъ.

Теперь пора была поскорѣе убраться съ опаснаго мѣста. Итти въ городъ нечего было и думать: онъ не дойдетъ туда раньше полудня, когда вся полиція уже будетъ на ногахъ, и его схватятъ, какъ куропатку.

Онъ рѣшился итти на удачу вглубь до перваго жилья. Тамъ будетъ видно.

Онъ быстро перешелъ черезъ полотно на ту сторону и пошелъ прямикомъ по направленію къ югу. Онъ пересѣкъ проселокъ, бѣжавшій параллельно желѣзной дорогѣ, и съ наслажденіемъ углубился въ кусты, которые такъ ласково укрыли его въ своихъ нѣдрахъ.

Онъ шелъ съ полчаса, посматривая отъ времени до времени на забѣлѣвшій востокъ, чтобы не сбиться съ направленія.

За рощей пошло чистое открытое поле. Здѣсь человѣка за пять верстъ видно было. Послѣ лѣса ему стало итти какъ-то не по себѣ. Видъ у него былъ совсѣмъ не мѣстнаго человѣка. Да къ тому же эта дорожная сумка... Онъ пожалѣлъ, что не бросилъ сумку въ лѣсу: въ чистомъ полѣ оставлять ее было опасно.

Онъ шелъ долго, часа два. Лѣсокъ смѣнился полями. Потомъ опять пошелъ лѣсъ. Онъ освободился отъ своего сака, забросивъ его въ лѣсную чащу. Теперь не особенно внимательный наблюдатель могъ бы принять его за двороваго безъ мѣста, идущаго по бѣдности на своихъ на двоихъ искать куда-нибудь счастья.

Едва переступая утомленными ногами, молодой бѣглецъ плелся впередъ, не обращая вниманія на окружающее, какъ вдругъ горизонтъ просвѣтлѣлъ, лѣсъ разступился, и онъ увидѣлъ передъ собою всю залитую косыми лучами огромную поверхность воды, тихую, какъ озеро въ безвѣтреный день.

То была Волга-матушка, великая русская рѣка, которую онъ такъ любилъ и на которой прошло его дѣтство.

## III.

Онъ не прошелъ и получаса, какъ рѣка сдѣлала излучину, огибая маленькій лѣситый мысикъ. Взойдя на него, онъ увидѣлъ передъ собой лодку. Но она была не пустая. Ни отнимать ни нанимать ее не предстояло возможности, потому что въ ней сидѣла дѣвушка, въ которой съ перваго разу можно было узнать барышню.

Она, очевидно, только-что выкупалась. Мокрые свѣтлорусые волосы были связаны тяжелымъ узломъ подъ бѣлой соломенной шляпой-матроской съ узенькими полями, изъ-подъ которой виднѣлось молодое хорошавое лицо съ правильными и твердыми чертами. Она была одѣта въ ситцевую свѣтло-сѣрую блузочку, перехваченную на таліи широкимъ кожанымъ поясомъ, и въ обнаженныхъ до локтя крѣпкихъ рукахъ держала весло, которымъ тихо гребла къ берегу. Она уже пригнала лодку къ песчаной отмели и встала, покачивая судно ногами, собираясь выскочить на землю, когда молодой человѣкъ спустился къ водѣ и, выйдя изъ-за кустовъ, кашлянулъ, чтобъ обратить на себя вниманіе.

— Извините, сударыня...—сказалъ онъ.

Дѣвушка съ испугомъ вскинула на него большіе голубые глаза и быстрымъ движеніемъ весла оттолкнула лодку назадъ.

— Не бойтесь. Я ничего вамъ не сдѣлаю... Остановитесь... — говорилъ ей молодой человѣкъ.

Но дикарка его не слушала. Усѣвшись на корму, она заворачивала, гребя и правя весломъ.

— Подождите. Мнѣ вамъ нужно что-то сказать... Ради Бога...—вскричалъ молодой человѣкъ.

Дѣвушка остановилась.

— Что вамъ отъ меня нужно, ради Бога?—сказала она, продолжая держаться на почтительномъ разстояніи.

Голосъ ея былъ грудной, низкій. Она слегка картавила.

— Мнѣ необходимо переѣхать на ту сторону, вонъ въ ту деревню... Дайте мнѣ вашу лодку. Я вамъ ее назадъ отошлю. Перевезите меня сами. Чего вамъ это стоитъ?..

Предложеніе ѣхать вдвоемъ съ этимъ незнакомымъ, страшнаго вида человѣкомъ перепугало ее окончательно.

— Я не перевозчица! — сказала она и съ рѣшительнымъ видомъ направила лодку въ глубь, усердно гребя весломъ. Легкое судно стрѣлой разсѣкало тихую поверхность рѣки.

Отплывши шаговъ на двѣсти и почувствовавъ себя въ совершенной безопасности, она обернулась. Молодой человѣкъ стоялъ у дерева, отчаянно цѣпляясь за вѣтви, чтобы не упасть. Послѣднія силы оставили его. Онъ готовъ былъ лишиться сознанія.

Сердце молодой дикарки сжалось. Не долго думая, она повернула сильной рукой лодку, погнала ее назадъ и прямо врѣзалась носомъ въ песокъ. Она выскочила на землю.

— Что съ вами? Вы больны?—спросила она съ участіемъ, подходя къ нему.—Ваше лицо въ крови. Васъ ограбили? Вы ранены?

Онъ взглянулъ ей въ добрые голубые глаза. Надежда снова оживила его. Онъ не сомнѣвался теперь, что дѣвушка, которую послала ему судьба, поможетъ ему. Но что-то мѣшало ему притворяться, воспользоваться ею самой подсказанной басней.

— Нѣтъ,—проговорилъ онъ.—Меня не ограбили. Я бѣжалъ. Я соскочилъ съ поѣзда и самъ себя ранилъ.

— Съ поѣзда? Ахъ, Боже мой! Какъ это ужасно. Зачѣмъ же...

Она хотѣла спросить, зачѣмъ же онъ сдѣлалъ такую отчаянную вещь.

— Я политическій. Слыхали?

Слыхала ли? Ея Ваня, ея милый Ваня, по которомъ она томилась вотъ уже годъ и котораго оплакивала, какъ погибшаго, развѣ не былъ тоже политическимъ?

— Вы политическій? Чего же вы мнѣ прямо не сказали?—воскликнула она.

Молодой человѣкъ улыбнулся.

— Вы мнѣ не дали времени,—сказалъ онъ.

Она тоже засмѣялась, истолковавъ свой нелѣпый страхъ.

Этотъ смѣхъ сразу сблизилъ ихъ.

— Скажите, не встрѣчались ли мы когда-нибудь? — вдругъ спросилъ молодой человѣкъ, всматриваясь въ свою новую знакомую. Мнѣ что-то кажется, будто я васъ гдѣ-то видѣлъ.

— Нѣтъ, мы никогда не встрѣчались. Я не выѣзжала вотъ ужъ три года изъ усадьбы. Но все равно, я для васъ все сдѣлаю, точно мы давно знакомы. Ради Вани...—прибавила она, какъ будто про себя. Скажите, что вамъ нужно?

— Мнѣ нужно на тотъ берегъ,—повторилъ молодой человѣкъ.

— Хорошо. Садитесь.

Она вскочила въ лодку. Онъ послѣдовалъ за ней.

— Дайте мнѣ весло,—сказалъ онъ.— Я умѣю грести. Вамъ еще обратный путь предстоитъ. Вы устанете.

— О, нѣтъ. Я не разъ переплывала рѣку.

Нѣсколько времени они плыли молча.

— У васъ лицо въ крови,—сказала дѣвушка.—Тамъ, на носу, въ корзинѣ есть полотенце.

Онъ досталъ полотенце, омочилъ его въ воду и вытерся.

— Сядьте глубже, на самое дно. Вамъ будетъ покойнѣе,—совѣтовала дѣвушка.

Онъ повиновался, какъ ребенокъ.

— Кто же у васъ тамъ есть, въ той деревнѣ?—спросила дѣвушка. — Знакомые? Родные, можетъ-быть?

— У меня никого тамъ нѣтъ,—отвѣчалъ онъ.

— Какъ никого? Зачѣмъ же вы туда ѣдете?

Они плыли на серединѣ огромной рѣки, совершенно одни между небомъ и землею. Берега виднѣлись надъ поверхностью воды. Деревья и избушки казались крошечными, точно были нарисованы на картинкѣ. Съ берега ихъ лодка должна была казаться орѣховой скорлупкой, которую гонитъ вѣтромъ по водѣ.

Это полное одиночество сближало ихъ, скрадывая странность встрѣчи и знакомства.

Въ отвѣтъ на простодушный вопросъ своей спутницы молодой человѣкъ, въ свою очередь, спросилъ улыбаясь:

— Знаете ли вы, что называется заметать слѣдъ?

— Нѣтъ, не знаю!

— Ну, такъ и не желаю вамъ когда-нибудь это узнать.

Онъ не сталъ объяснять подробнѣе. Онъ чувствовалъ такую усталость, что ему трудно было даже говорить.

— А, понимаю,—догадалась дѣвушка.— Это, значитъ, такъ сдѣлать, чтобы васъ труднѣе было нагнать?

Онъ кивнулъ головой.

— Но какъ же вы будете уходить дальше, когда вамъ даже сидѣть трудно?—спросила дѣвушка.

— Ничего, я отдыхаю. На томъ берегу я оживу снова.

Она недовѣрчиво посмотрѣла на него и покачала головой.

— Не вѣрите? Вотъ увидите.

— Да вѣдь вы больны совсѣмъ,—сказала она.

— Ничего. Это пустяки, — спокойно сказалъ онъ.

Дѣвушка ничего не отвѣчала и о чемъ-то задумалась, слегка хмуря брови, и ея лицо приняло хорошее смѣлое выраженіе.

— Что это вы не туда правите?—сказалъ онъ, замѣтивъ, что она повернула лодку и пустила ее внизъ по теченію.

— Я васъ везу къ себѣ, былъ простой отвѣтъ.

Молодой человѣкъ не вѣрилъ своимъ ушамъ.

— Что вы? Зачѣмъ? Знаете ли, что вы дѣлаете? Вѣдь вамъ за это грозитъ...

— Знаю. Ну такъ что жъ? — отвѣчала дѣвушка.

Она потупилась, точно чего-то конфузясь и чего-то избѣгая. Но глаза ея блестѣли подъ опущенными рѣсницами. Грудь дышала быстрѣй, и ровный прозрачный румянецъ вспыхнулъ на ея щекахъ. Она очень похорошѣла въ эту минуту.

— Послушайте, да вы наша!—шопотомъ проговорилъ молодой человѣкъ.

— Нѣтъ,—отвѣчала дѣвушка, поднимая на него честные, довѣрчивые глаза. Развѣ безъ этого нельзя? Я это ради Вани... Почемъ знать, можетъ, и ему придется быть въ такой же нуждѣ, какъ и вамъ. Такъ,

можетъ, ему за меня Богъ пошлетъ кого-нибудь,—сказала она съ убѣжденіемъ.

«Милая, простая дѣвушка», не могъ не подумать ея спутникъ. Ему было невыразимо сладко отдаться подъ ея покровительство. Но онъ боролся съ собой.

— Подождите, — сказалъ онъ, наклоняясь къ ней и останавливая рукою весло. Вы вѣдь живете не одна. Знаете ли, чему вы подвергаете всю вашу семью, укрывая меня?

Дѣвушка на минуту опѣшила и задумалась.

— Ничего,—сказала она, — освобождая весло. Я все возьму на себя. Мои ничего не должны знать. Какъ васъ звать?

Молодой человѣкъ не сразу отвѣтилъ.

— Зачѣмъ вамъ знать мое имя? Ваша вина удесятерится, если вы будете знать, кто я,—сказалъ онъ.

— Извините, вы меня не поняли,—сказала она.—Я знаю отъ Вани, что ваши скрываютъ свои имена. Мнѣ не нужно вашего имени. Скажите, какъ мнѣ васъ назвать моимъ? Нельзя же вамъ жить совсѣмъ безъ имени!

Она весело, по-дѣтски засмѣялась.

— Ну, хорошо. Зовите мену Волгинымъ на память о нашей встрѣчѣ,—сказалъ онъ задумчиво. А имя мое Владимиръ, по отцу Петровичъ. Это ужъ мое настоящее,—прибавилъ онъ серьезно.

— Значитъ, Владимиръ Петровичъ Волгинъ? Буду помнить. Вы мой знакомый изъ С. Я васъ встрѣтила въ лѣсу и пригласила къ себѣ въ гости. Хорошо такъ? Нѣтъ, — поправилась она, что - то вспомнивши. Не въ лѣсу, а въ Ермиловкѣ,—въ той деревнѣ, что на той сторонѣ. Такъ лучше. Нужно замести слѣдъ.

Она опять засмѣялась.

— Да вы совсѣмъ конспираторъ!—сказалъ онъ, улыбаясь ей въ отвѣтъ.

Но она приняла его слова серьезно.

— Нѣтъ, и никогда не буду!—отвѣтила она и энергичнѣе налегла на весло.

Молодой человѣкъ посмотрѣлъ на нее долгимъ и проницательнымъ взглядомъ.

«Не загадывай впередъ, барышня!» подумалъ онъ про себя съ юношеской самонадѣянностью.

Онъ правду сказалъ ей, что ему стоитъ только отдохнуть нѣсколько минутъ, чтобъ ожить снова. Онъ успѣлъ оправиться за дорогу, и вмѣстѣ съ физическими силами къ нему вернулись инстинкты вербовщика.

— Ну, вотъ мы и дома!—прервала дѣвушка молчаніе.

Она стала заворачивать лодку къ правому берегу.

На крутомъ берегу виднѣлся на половину закрытый зеленью бѣленькій домикъ съ высокой тесовой крышей, какіе бываютъ у помѣщиковъ средней руки. Справа виднѣлся флигелекъ, слѣва—сарай, а въ глубинѣ, поднимаясь выше по скату, тянулся обширный фруктовый садъ.

Причаливъ къ берегу, Владимиръ вытащилъ лодку на песокъ, и они стали подниматься по узенькой тропинкѣ къ дому.

Въ передней имъ встрѣтилась старуха въ темной кичкѣ, которая съ удивленіемъ посмотрѣла на незнакомца.

— Няня, что мама встала уже?—спросила дѣвушка

— Какъ же, встали. Кофей кушаютъ. Васъ дожидаются.

— Хорошо. Я сейчасъ. А ты проведи Владимира Петровича во флигель. Я къ вамъ сію минуту,—обратилась она къ послѣднему.

Владимиръ пошелъ за старухою, которая, бормоча что-то себѣ подъ носъ, провела его, куда ей было приказано. Переступивъ съ гостемъ порогъ флигеля, старуха перестала ворчать.

— Что вы, батюшка, по дѣлу или знакомый Катерины Васильевны будете?—спросила она, чтобы завести разговоръ.

— Знакомый, — односложно отвѣчалъ Владимиръ и повернулся къ окошку, чтобъ избѣжать дальнѣйшихъ разспросовъ.

Старуха низко поклонилась ему въ спину и ушла, осторожно затворивъ за собой дверь.

Владимиръ привелъ себя, насколько могъ, въ порядокъ и вымылъ голову холодной водой. Рана успѣла запечься, и крови больше не показывалось. Чтобы чѣмъ-нибудь занять время, пока рѣшалась его судьба, онъ подошелъ къ этажеркѣ и вынулъ первую попавшуюся ему подъ руку книгу, раскрывъ ее наудачу. Это оказалась какая-то дѣтская повѣсть. Онъ открылъ первую страницу, чтобы посмотрѣть заглавіе, и увидѣлъ выведенныя четкимъ писарскимъ почеркомъ слова: «Дѣвицѣ Екатеринѣ Прозоровой за благонравіе и успѣхи въ наукахъ».

— Прозоровой! Такъ она Прозорова!— вскричалъ Владимиръ. И Ваню вспоминала. Такъ, такъ. Теперь понимаю, отчего мнѣ ея лицо показалось знакомымъ. Да нѣтъ, не можетъ быть! Впрочемъ, вотъ, кажется, и она...

Онъ заслышалъ быстрые шаги. Дѣвушка входила въ дверь.

— Мама зоветъ васъ. Пойдемте,—сказала она.—Я съ ней переговорила.

Онъ поднесъ ей книгу.

— Это ваша? Вы Прозорова? У васъ есть братъ Иванъ?

— Да, да. А что?

— Да мы съ нимъ друзья, — сказалъ Владимиръ.

Катя всплеснула руками.

— Какъ? Ваня! Да гдѣ же онъ, что съ нимъ? Живъ? Здоровъ? Мы ужъ годъ какъ отъ него не имѣемъ вѣстей. Вотъ-то мама обрадуется! И какъ это я, глупая, раньше не догадалась васъ спросить! Ну, что же онъ, говорите!

— Я уже три мѣсяца, какъ изъ Петербурга, — сказалъ Владимиръ.—Передъ отъѣздомъ я съ нимъ видѣлся. Онъ былъ живъ и здоровъ.

— Отчего же онъ не писалъ?—удивлялась Катя.

— Ему давно это неудобно,—уклончиво отвѣчалъ Владимиръ.

— Ну, да идемъ къ мамѣ скорѣй,— прервала его Катя. Тамъ все раскроется.

Она быстро отворила дверь и почти бѣгомъ направилась къ дому. Владимиръ съ трудомъ поспѣвалъ за нею.

## IV.

Въ столовой онъ засталъ мать, женщину лѣтъ пятидесяти съ буклями, какія носили встарину, очень похожую на дочь, но рыхлую и толстую. Она казалась сильно встревоженной и встрѣтила его строгимъ, внимательнымъ взглядомъ, отъ котораго Владимиръ весь съежился и рѣшилъ, что онъ не пробудетъ въ этомъ домѣ ни часу дольше.

— Мама, — вскричала Катя, не давши ей выговорить ни слова,—Владимиръ Петровичъ другъ нашего Вани! Онъ намъ отъ него вѣсточку принесъ.

Прозорова разомъ преобразилась. Она радушно протянула руку, усадила его рядомъ, стала осыпать вопросами, на которые онъ едва успѣвалъ отвѣчать. Позв[...] няню, которая выняньчила и брата [...] сестру. Позвали дворню. Всѣмъ б[...] сообщена радостная вѣсть, что молодой [...] ринъ, котораго они уже считали [...] шимъ, благополучно живетъ въ Пет[...] бургѣ, и вотъ его пріятель проѣз[...] нарочно завернулъ къ нимъ въ усад[...] чтобъ объ этомъ сообщить.

Владимиръ послѣ завтрака загов[...] рилъ, что ему нужно ѣхать, и спросил[...] гдѣ бы достать подводу. Прозорова за[...] хала руками.

— Что вы, батюшка, обидѣть насъ х[...] тите?—сказала она.—Ничего, почитай, [...] не разсказали, и ужъ уѣзжать со[...] раетесь! Поживите. Когда еще такого го[...] дождемся?

— Въ самомъ дѣлѣ, Владимиръ Пет[...] вичъ, чего вамъ спѣшить? — сдержан[...] присоединилась къ ней Катя.

Этого пожеланія было достаточно, чтоб[...] заставить его тотчасъ же согласиться. П[...] чему, въ самомъ дѣлѣ, не остаться н[...] сколько дней съ этой милой дѣвушкой [...] не попытаться завербовать ее? Такъ, [...] крайней мѣрѣ, онъ старался объясни[...] себѣ самому то удовольствіе, съ каки[...] онъ принялъ приглашеніе.

Онъ водворился во флигелькѣ, и перв[...] три дня былъ совершенно счастливъ. [...] столомъ онъ разговаривалъ съ матерью [...] сынѣ, припоминая всѣ подробности, как[...] могъ, о его петербургской жизни. Потом[...] онъ уходилъ къ себѣ и читалъ, что попа[...] далось подъ руку, а больше прислушивался [...] не раздастся ли по песку дорожки зна[...] мый звукъ легкихъ шаговъ. Катя въ пер[...] вый день была за него въ большой тр[...] вогѣ. Она нѣсколько разъ забѣгала къ нему [...] на минутку, какъ будто, чтобъ удостов[...] риться, цѣлъ ли онъ, не унесли ли е[...] жандармы въ трубу. Потомъ она успокои[...] лась и заходила къ нему запросто, иногд[...] приносила съ собой вышиваніе и тогд[...] засиживалась подолгу. Она привыкла к[...] деревенской простотѣ, и послѣ того, как[...] узнала о дружбѣ Владимира съ братомъ [...] перестала его дичиться и держала себя с[...] нимъ, какъ съ обыкновеннымъ хорошим[...] знакомымъ. Они много говорили о брат[...] и Владимиру не нужно было напрягат[...] память, чтобы говорить съ нею на э[...] тему. Ей онъ могъ разсказывать о т[...] сторонѣ жизни брата, которая была у нихъ

общей и которую одну онъ хорошо зналъ: о его взглядахъ, убѣжденіяхъ и дѣятельности, о чемъ нужно было умалчивать при матери. Потомъ разговоръ незамѣтно переходилъ къ ней самой.

— Мы были очень дружны съ Иваномъ,—сказалъ онъ ей разъ послѣ обѣда;—удивляюсь, какъ это онъ мнѣ о васъ никогда не говорилъ?

— Что жъ ему было обо мнѣ говорить?—сказала она, не поднимая головы отъ вышиванія.—Онъ зналъ, что изъ меня ничего не выйдетъ.

— То-есть, онъ это думалъ,—Владимиръ поправилъ ее.—Я всегда замѣчалъ, что родные хуже всего умѣютъ цѣнить другъ друга.

Катя улыбнулась.

— Вы думаете?—сказала она, поднимая на него смѣющіеся глаза.—А я такъ думаю, что Ваня зналъ меня отлично. Я у него почти на рукахъ выросла. Послѣ отца я вѣдь совсѣмъ маленькой осталась. Конечно, онъ зналъ меня, и то, что онъ обо мнѣ думалъ,—правда.

— Если вы такъ говорите, значить, вы сами себя не знаете,—сказалъ Владимиръ просто и искренно.—Посудите сами: что вы сдѣлали для меня, чѣмъ рисковали для меня, чужого, неизвѣстнаго вамъ человѣка! А тутъ вокругъ васъ томится и страдаетъ народъ, который вы знаете и, я увѣренъ, любите. Какъ же я могу повѣрить, чтобы вы не хотѣли ему помочь?

— Да, я часто хожу на деревню и люблю здѣшній народъ. Это правда,—сказала она.—И вы не думайте, что мы съ мамой только о себѣ заботимся; мы помогаемъ, чѣмъ можемъ,—прибавила она потупившись.

— Ахъ, не говорите мнѣ, ради Бога, о филантропіи!—воскликнулъ Владимиръ.—Развѣ это помощь? Это лишнія крохи отъ сытаго стола.

— Что же слѣдуетъ дѣлать? Раздать все имущество бѣднымъ, какъ Христосъ велѣлъ?—спросила дѣвушка безъ малѣйшей ироніи.

— Можно и раздать, коли есть охота!—сказалъ Владимиръ.—Это не такъ трудно. Да только мало и этого, и не въ этомъ дѣло.

— А въ чемъ же?—спросила Катя, вскинувъ на него удивленный взглядъ.

Владимиръ посмотрѣлъ не нее, и его сѣрые глаза загорѣлось.

— Въ томъ, чтобы отречься отъ себя,—сказалъ онъ.—Не имѣть ни днемъ ни ночью другой думы, кромѣ блага этихъ вашихъ меньшихъ братьевъ. Душу за нихъ положить! Вотъ это будетъ любовь, это будетъ помощь!

Онъ заговорилъ о народѣ, о его нуждахъ и страданіяхъ, объ его правахъ и возможномъ будущемъ. Говорилъ онъ хорошо, одушевленно. Онъ умѣлъ увлекать. Никогда молодая дѣвушка такихъ рѣчей не слыхала. Братъ высказывалъ ей тѣ же мысли. Но у него это выходило сухо, наставительно: можетъ-быть, потому, что она привыкла видѣть въ немъ учителя. Этотъ свалившійся съ облаковъ таинственный гость открывалъ ей двери въ какой-то новый, невѣдомый, волшебный міръ. Его рѣчи волновали ее, но не удовлетворяли: въ нихъ было для нея что-то неполное, недосказанное, и она старалась побороть свое волненіе, но не могла. Работа выпала у нея изъ рукъ. Краска залила ея лицо. Притаивъ дыханіе, она слушала.

— Кто бы не отдалъ жизнь, чтобы всѣ люди стали счастливы!—проговорила Катя задумчиво, какъ бы про себя, когда Владимиръ замолчалъ.

— Что жъ,—спокойно сказалъ Владимиръ,—путь ясенъ. Мы не увидимъ обѣтованной земли. Но мы идемъ къ ней. Опояшите свои чресла, какъ сказано въ Евангеліи, оставьте домъ и семью и идите къ намъ, къ брату.

Она покачала головой.

— Нѣтъ, я не пойду къ вамъ. Я не хочу крови,—сказала она послѣ нѣкотораго молчанія.

— Мы зовемъ людей не на кровь, а на жертву,—отвѣчалъ Владимиръ.—Не наша вина, что въ мірѣ ничего не совершается безъ страданій.

— Не то, нѣтъ, не то, и никогда не пойду я съ вами,—повторяла дѣвушка.—Вотъ вы помянули Евангеліе. По-моему, вся правда въ немъ. Нужно, чтобы люди стали такими, какъ Христосъ училъ, и тогда всѣмъ будетъ хорошо на свѣтѣ, и всѣ станутъ жить, какъ братья, и не нужно для этого драться и убивать... Вотъ видите, мы никогда не сойдемся,—закончила она, наклонясь надъ своей работой.

Ихъ позвали ужинать. Разговоръ на этомъ прекратился. Владимиръ возобновлялъ его не разъ въ слѣдующіе дни, но

встрѣтилъ такой упрямый отпоръ, какого не ожидалъ. Катя даже не волновалась болѣе отъ его рѣчей, точно его слова утратили для нея прежнее очарованіе. Возраженія ея стали тверже. Она не была особенно одарена отъ природы, и мысль ея работала медленно и трудно. Но она думала серьезно и добросовѣстно и продумывала вещи до конца и уже держалась крѣпко. Она, очевидно, внимательно обсудила все, что говорилъ ей ея гость, и даже усвоила себѣ его терминологію и тѣмъ тверже стояла на своемъ.

— Мы расходимся въ путяхъ, былъ ея выводъ.

Она не прибавляла болѣе: «и никогда не сойдемся». Но теперь самому Владиміру эта прибавка показалась бы излишней.

На другой день, — это было къ концу недѣли,—Катя собиралась итти послѣ обѣда въ деревню и пригласила своего гостя проводить ее. Послѣ перваго преувеличеннаго страха за его безопасность, у нея наступилъ теперь періодъ преувеличенной увѣренности.

Владиміръ, понимавшій лучше ея опасность, отказался. Но когда она ушла, ему сдѣлалось такъ тоскливо, такъ жалко, что онъ не пошелъ съ ней, такъ страшно захотѣлось догнать ее, что онъ изумился и встревожился.

«Неужели же это?»... мелькнуло у него въ головѣ.

Онъ не рѣшался самому себѣ высказать ясно внезапную догадку. «Да нѣтъ, вздоръ!— подумалъ онъ, тряхнувъ головою.—Просто прижился, привыкъ. Больно ужъ я тутъ засидѣлся!»

Онъ рѣшился уѣхать на другой день.

Вечеромъ, противъ обыкновенія, онъ пошелъ въ домъ къ хозяйкѣ, чтобы провести съ ней вечеръ и распрощаться. Но онъ ушелъ, ничего не сказавши. Катя была такъ мила, а хозяйка такъ радушна, что онъ рѣшилъ отложить отъѣздъ на одинъ день.

«Оно даже безопаснѣе, — оправдывался онъ передъ самимъ собою.—Послѣзавтра воскресенье, а по праздникамъ всегда слѣдятъ слабѣе».

Но онъ долго не могъ заснуть въ эту ночь и всталъ поздно.

## V.

Онъ засталъ хозяекъ въ столовой и по лицамъ ихъ тотчасъ же замѣтилъ, что онѣ о чемъ-то оживленно спорили. На столѣ лежало открытое письмо, написанное крупнымъ и четкимъ мужскимъ почеркомъ.

— Вотъ отъ Павла Александровича письмо пришло,—начала Прозорова.—Будетъ къ обѣду. Онъ у насъ всѣ праздники проводитъ,—пояснила она.

Владиміръ полюбопытствовалъ, кто этотъ Павелъ Александровичъ, котораго онъ не имѣлъ чести знать.

— Крутиковъ, коллежскій совѣтникъ,—отвѣчала старуха.—Онъ чиновникъ особыхъ порученій при губернаторѣ. Отличный молодой человѣкъ и на виду. Лучшей партіи для моей Кати я и не желаю...

Владиміръ сдѣлалъ удивленное лицо.

— Онъ мой женихъ,—проговорила Катя, потупившись.

У Владиміра рѣзнуло ножомъ по сердцу. Лицо его вытянулось. У Кати есть женихъ, и притомъ чиновникъ! Онъ этого никакъ не ожидалъ.

Прозорова продолжала между тѣмъ перечислять достоинства жениха, и это дало Владиміру время оправиться. «Мнѣ-то что?» сказалъ онъ самъ себѣ, пожавъ плечомъ.

Ровно въ двѣнадцать часовъ къ крыльцу подкатилъ экипажъ. Владиміръ слышалъ звукъ колесъ изъ своего флигеля. Но онъ увидѣлъ Крутикова, только когда его позвали къ столу. Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати, брюнетъ, одѣтый хорошо, но безъ претензіи и вовсе не прилизанный. Густые, черные, какъ смоль, волосы были острижены щеткой. Тяжелый подбородокъ былъ гладко выбритъ и отливалъ синевою. Крупныя черты лица были правильны и внушительны, но когда онъ улыбался, то носъ его какъ-то приплющивался, что придавало его лицу плоское, вульгарное выраженіе. Впрочемъ, онъ зналъ за собой этотъ недостатокъ и улыбался рѣдко. Катя представила ихъ другъ другу.

Передъ пріѣздомъ жениха Катя хотѣла сказать ему, кто такой, ихъ гость. Но, оставшись съ нимъ наединѣ, она ничего ему не сказала и отрекомендовала Владиміра просто какъ друга Вани.

Крутиковъ окинулъ его быстрымъ взглядомъ. Владиміръ имѣлъ довольно приличный видъ: на другой же день послѣ своего водворенія онъ черезъ приказчика Прозоровой купилъ себѣ изъ города немного бѣлья и нѣкоторыя другія необходимыя вещи. Но во всемъ его обличьи было что-то, сразу заставившее Крутикова причислить его къ той категоріи людей, которыхъ онъ особенно ненавидѣлъ и къ которымъ принадлежалъ его будущій своякъ.

«Одного поля ягода!»—рѣшилъ онъ про себя. — «Какъ только онъ сюда попалъ?»

— Въ Петербургѣ изволите проживать?—любезно освѣдомился онъ.

— Какъ придется,—уклончиво отвѣчалъ Владиміръ.—Больше въ Петербургѣ; бываю, впрочемъ, и въ другихъ городахъ.

— Такъ, такъ. По службѣ, значитъ, ѣздить изволите?

— Конечно, по службѣ. А то съ чего бы мыкаться? — отвѣчалъ Владиміръ съ едва замѣтной ироніей.—Нельзя человѣку безъ службы по нынѣшнимъ временамъ.

Крутиковъ хотѣлъ было спросить гостя, гдѣ онъ служитъ, но удержался. У Владиміра былъ такой явно неслужилый видъ, что Крутикову стало очевидно, что онъ либо вретъ, либо смѣется.

— Давно изволили пожаловать въ наши палестины?—любезно спросилъ онъ, чтобы перемѣнить разговоръ.

— Съ недѣлю, — отвѣчалъ Владиміръ.

— Прекрасное время выбрать изволили. Теперь у насъ на Волгѣ благодать. Вы пароходомъ изволили пріѣхать, осмѣлюсь спросить?

— Нѣтъ, я изволилъ ѣхать по желѣзной дорогѣ,—съ усмѣшкой отвѣчалъ Владиміръ.

Его раздражалъ этотъ неформальный допросъ, но вмѣстѣ ему забавно было представить себѣ, какую рожу скорчилъ бы этотъ самодовольный помпадуръ, если бъ узналъ, какимъ образомъ онъ «изволилъ» сюда пропутешествовать. Пока онъ, очевидно, ничего не зналъ, и Владиміръ былъ очень благодаренъ за это Катѣ.

Крутикова покоробило отъ шутливаго тона гостя, который онъ считалъ дерзостью. Онъ устремилъ на Владиміра пронизывающій сыщическій взглядъ.

У него уже нѣсколько времени мелькала въ головѣ догадка, ставшая понемногу увѣренностью, что этотъ жиденькій молодой человѣкъ не кто иной, какъ бѣжавшій съ дороги политическій, котораго такъ усердно разыскивали въ городѣ. Время его появленія и примѣты—все подходило. Но какъ онъ сюда попалъ? Какъ Катя ему ничего не сказала? Неужели она въ заговорѣ противъ него съ этимъ молодцомъ? Или сама ничего не знаетъ?

Онъ рѣшилъ продолжать свой легонькій допросецъ. Но Катя позвала всѣхъ къ столу. Она была все время, какъ на иголкахъ, и воспользовалась первымъ предлогомъ, чтобы прервать разговоръ, грозившій сдѣлаться опаснымъ.

Крутиковъ повелъ свою невѣсту къ столу и сѣлъ съ ней рядомъ. Владиміръ помѣстился насупротивъ съ матерью. За столомъ Крутиковъ разговаривалъ почти одинъ, разсказывая про службу, про губернатора, при чемъ явно хвастался своею близостью къ нему. Старуха Прозорова совсѣмъ таяла, слушая эти разсказы.

Но вдругъ Крутиковъ съ самымъ невиннымъ видомъ спросилъ ее.

— А слышали ли вы, матушка, новость: у насъ политическій отъ жандармовъ убѣжалъ, выскочивши изъ вагона?

— Какъ же, слышала. Катя мнѣ что-то разсказывала, — сказала старуха совершенно просто.

Крутиковъ пересолилъ. Онъ задалъ свой вопросъ такъ небрежно, что онъ только усыпилъ Прозорову, а не встревожилъ.

— Какъ, и вы уже слышали? — обратился онъ къ Катѣ съ наивнымъ видомъ.

— Да, слышала,—хмуро отвѣчала Катя, вставая изъ-за стола.—Идемте пить кофе въ гостиную. Здѣсь душно. Терпѣть не могу, когда за столомъ... спорятъ,—прибавила она, хотя никто въ этотъ разъ не спорилъ.

Крутиковъ посмотрѣлъ на нее съ боку. «Она все знаетъ и въ заговорѣ противъ меня», стало для него несомнѣнно.

Онъ опѣшилъ и замолчалъ. Въ гостиной онъ сидѣлъ угрюмый; потомъ подошелъ къ своей невѣстѣ и отвелъ ее въ сторону. Они о чемъ-то оживленно стали разговаривать.

«Мирятся!» рѣшилъ про себя Владиміръ.

Отпивъ свою чашку, онъ ушелъ къ себѣ.

Оставаться далѣе въ этомъ домѣ ему было невыносимо, отвратительно. Нужно

уйти, бѣжать сейчасъ, сію минуту. Ему непріятно было уйти, точно тайкомъ отъ Кати. Но она пойметъ. Онъ ей оставитъ письмо.

Тотчасъ же онъ сталъ писать. Письмо ему не понравилось. Онъ его сжегъ. Потомъ написалъ другое и тоже сжегъ и кончилъ тѣмъ, что оставилъ три строчки.

«Благодарю горячо за все, что вы для меня сдѣлали, и прошу извинить, что вынужденъ покинуть вашъ кровъ, не простившись съ вами».

Онъ подписалъ: «Вашъ Владимиръ Волгинъ» и вложилъ эту записку въ ту самую книгу на этажеркѣ, которая такъ помогла ихъ сближенію, и поставилъ ее на полку.

«Если она обо мнѣ вспомнитъ, то догадается, гдѣ искать», подумалъ онъ. Затѣмъ онъ вышелъ въ садъ, а оттуда чрезъ калитку на тропинку, которая вела къ рѣкѣ. Никто его не замѣтилъ. Спустившись внизъ по знакомой тропинкѣ, онъ увидѣлъ пристань и ту самую лодку, въ которой совершилъ свое достопамятное путешествіе.

Какъ недавно все это было, а сколько за это время онъ передумалъ и перечувствовалъ!

Задумчиво онъ пошелъ по дорогѣ, внизъ по рѣкѣ. Все, что произошло за эту недѣлю, было для него прошлымъ, какъ онъ думалъ, невозможнымъ прошлымъ, которое уже окрашивалось нѣжными цвѣтами убѣгающаго воспоминанія.

На заворотѣ дороги онъ остановился и повернулся назадъ, чтобы взглянуть въ послѣдній разъ на домикъ, гдѣ жила дѣвушка, которая—теперь онъ готовъ былъ въ этомъ сознаться—заполнила было его сердце и воображеніе. Онъ мысленно прощался съ ней навсегда, какъ вдругъ его окликнулъ знакомый мужской голосъ.

Передъ нимъ стоялъ Крутиковъ подъ руку съ Катей. Они вышли гулять на Волгу и теперь возвращались домой.

— Вотъ и вы тоже гулять вышли, — проговорилъ Крутиковъ, улыбаясь своей плоской улыбкой.

Онъ былъ теперь гораздо любезнѣе, чѣмъ за обѣдомъ, въ угоду Катѣ, съ которой у него, очевидно, произошло чистосердечное объясненіе.

— Да, я вышелъ погулять... — вынужденъ былъ сказать Владимиръ.

Онъ посмотрѣлъ на Катю.

— Въ такую прекрасную погоду кто же можетъ усидѣть дома?—сказала она.

Тонкая улыбка чуть-чуть змѣилась на ея губахъ. Но ея глаза и все милое, живое лицо, казалось, искрились и трепетали отъ внутренняго смѣха.

Она тотчасъ догадалась о цѣли Владимировой прогулки, и эта нечаянная поимка бѣглеца смѣшила ее ужасно.

— Ну что жъ, хотите продолжать прогулку одинъ и бросить насъ на произволъ судьбы? — сказала Катя шутливымъ, ему одному понятнымъ, тономъ.

— Нѣтъ, благодарю, ужъ я погуляю въ другой разъ, — отвѣчалъ Владимиръ, улыбаясь ей въ отвѣтъ.—А теперь я лучше провожу васъ.

## VI.

Они пошли обратно. Въ почтительномъ разстояніи отъ нихъ слѣдовалъ разсыльный съ чернымъ кожанымъ портфелемъ. Онъ только что прибылъ изъ города съ экстренными бумагами отъ губернатора.

— Вотъ, батюшка,—весело сказалъ Крутиковъ, указывая головой въ сторону своего сателита.—Не легкое наше дѣло. И въ этомъ мирномъ убѣжищѣ, посвященномъ музамъ и купидону,—неуклюже шутилъ онъ, — дѣла носятся за нами въ образѣ вотъ этого Гермеса.

Они вошли въ гостиную. Старухи тамъ не было; она еще не спустилась изъ спальни, куда уходила соснуть часокъ послѣ обѣда.

Крутиковъ ушелъ тоже наверхъ, въ свою комнату, разобраться съ бумагами. Катя осталась съ Владимиромъ наединѣ.

— Ну что, очень вы огорчены тѣмъ, что мы помѣшали вашему бѣгству? — со смѣхомъ спросила она.

— Огорченъ, но не очень, — отвѣчалъ Владимиръ.—Я все равно уйду сегодня ночью, и теперь имѣю возможность лично попрощаться съ вами, Катерина Васильевна.

— И вовсе вамъ нѣтъ надобности такъ спѣшить убѣжать отсюда. Вы безопаснѣе теперь здѣсь, чѣмъ когда-либо. Я все разсказала Павлу Александровичу, и можете быть увѣрены, что вашъ секретъ въ хорошихъ рукахъ.

— Вполнѣ вѣрю и благодарю его за великодушіе, — холодно сказалъ Влади-

миръ.—Но все-таки позвольте съ вами распрощаться.

Катя пожала плечами и надулась.

— Знаете, что я вамъ скажу?—проговорила она послѣ небольшой паузы.—Это нехорошо.

— Что нехорошо? Что я не хочу на всю жизнь остаться вашимъ нахлѣбникомъ?—капризно сказалъ Владимиръ.

— Нѣтъ, не то... — прервала Катя. — Нехорошо, что вы такъ нетерпѣливы. Я вѣдь знаю...

Ее прервалъ Крутиковъ, вошедшій въ эту минуту въ гостиную. Обыкновенно невозмутимое, самодовольное лицо выражало тревогу и какое-то унылое недоумѣніе. Въ рукахъ онъ держалъ открытое письмо.

— Что такое? Что случилось? — вскрикнула Катя.

— Да вотъ извѣстіе пришло насчетъ Вани,—неохотно сказалъ Крутиковъ.

— Что же, говорите скорѣй. Не томите! — умоляла его Катя.

— Бѣда стряслась, — сказалъ Крутиковъ, — хотя, конечно, это нужно было рано или поздно предвидѣть, потому что всѣ эти, какъ тамъ... мечтанія до добра не доводятъ.—Онъ кинулъ искоса взглядъ на Владимира.—Однимъ словомъ, Ваня арестованъ.

Слова эти были, какъ ударъ грома.

Катя вскрикнула и бросилась не къ жениху, а къ Владимиру. Инстинктъ подсказалъ ей, что онъ ближе ей въ этомъ горѣ. Она опустилась на стулъ съ нимъ рядомъ и, припавъ къ спинкѣ, истерически зарыдала.

Владимиръ наклонился надъ ней.

— Успокойтесь,— говорилъ онъ.— Можетъ-быть, все кончится пустяками. Не всякій арестъ означаетъ гибель. Нужно узнать подробности... Будьте любезны, позвольте взглянуть на письмо, — обратился онъ дѣловымъ тономъ къ Крутикову, который, нахмурившись, смотрѣлъ на эту сцену.

— Нѣтъ, я лучше самъ прочту,— сказалъ онъ.—Это всего нѣсколько строкъ.

«Получено также извѣстіе, — началъ онъ,— что одинъ изъ дворянъ нашей губерніи, Иванъ Прозоровъ, братъ вашей невѣсты, арестованъ въ Петербургѣ. Это обстоятельство, въ виду вашего отношенія къ семьѣ арестованнаго, не можетъ не огорчить васъ. Но никто не можетъ быть отвѣтственнымъ»... Крутиковъ пробѣжалъ глазами нѣсколько строкъ.— Это къ дѣлу не относится,—пробормоталъ онъ. «Виновникомъ ареста и гибели молодого Прозорова, какъ и многихъ другихъ, называютъ нѣкоего Муринова, недостойнаго сына извѣстнаго сенатора, бывшаго когда-то начальникомъ нашей губерніи. Кто бы могъ подумать...»

— Дальше не интересно,—сказалъ Крутиковъ,—кладя письмо въ карманъ.

— Ну что, — спросила Катя, поднимая на Владимира взглядъ, полный тоски и ожиданія, какимъ смотрятъ на доктора у постели умирающаго.

Владимиръ былъ блѣденъ, какъ смерть. Муриновъ — это былъ онъ.

— Нѣтъ надежды? Ваня погибъ? Мы никогда его больше не увидимъ?— вскричала Катя, хватая его за руку.

Въ это время въ сосѣдней комнатѣ раздался шумъ, и что-то грузно грохнулось на полъ.

Старуха Прозорова, выспавшись, шла къ гостямъ и сквозь открытую дверь услышала слова дочери.

Старуху унесли въ постель. Катя съ няней хлопотали около нея.

Крутикову нужно было уѣхать въ тотъ же день. Губернаторъ требовалъ его по экстренному дѣлу. Катя вышла на секунду отъ больной и тотчасъ же ушла, такъ что Владимиру одному пришлось провожать ея жениха.

На прощанье Крутиковъ крѣпко пожималъ ему руку, улыбался своей плоской улыбкой и съ особеннымъ чувствомъ говорилъ:

— До свиданья! Надѣюсь увидѣться съ вами при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Но когда черезъ минуту Владимиръ повернулъ къ нему голову, то поймалъ взглядъ, полный такой ненависти, который сказалъ ему все. Владимиръ уже задавалъ самому себѣ не безынтересный для него вопросъ: донесетъ на него этотъ только что оперяющійся помпадуръ или нѣтъ? «Донесетъ», рѣшилъ онъ въ эту минуту. Пріятная встрѣча, о которой тотъ говорилъ, значила встрѣча въ тюрьмѣ, у слѣдственнаго стола! Удовольствіе такого свиданія было бы не совсѣмъ обоюднымъ, и Владимиръ рѣшилъ помѣшать ему.

Вдругъ что-то ударило его подъ ноги, точно огромная коса оторвала ему конечности, и страшный толчокъ въ спину растянулъ его ничкомъ. Изъ глазъ его посыпались искры, и онъ лишился чувствъ.

## II.

Поѣздъ давно пронесся мимо, и мертвая тишина воцарилась въ полѣ. Дождь пересталъ. Узкій серпъ луны показался на горизонтѣ, освѣщая тусклымъ свѣтомъ влажную землю, и деревни, и кусты, и неподвижную фигуру, лежавшую у дороги. Подулъ свѣжій вѣтерокъ. На востокѣ побѣлѣли облака, предвѣщая зарю, а темная масса все лежала неподвижно, и теперь, при блѣдномъ свѣтѣ утра, на бѣломъ пескѣ у головы можно было замѣтить кровавое пятно.

Вотъ на горизонтѣ показался бѣлый, быстро вытягивающійся дымокъ, подъ которымъ виднѣлась черная полоска. Это ѣхалъ другой, ранній товарный поѣздъ. Вотъ обозначилась длинная цѣпь сѣрыхъ вагоновъ. Ближе, ближе, и съ тяжелымъ, оглушительнымъ грохотомъ, отъ котораго дрожала земля, поѣздъ пронесся мимо. Машинистъ выпустилъ паръ, и пронзительный свистокъ прорѣзалъ влажный утренній воздухъ.

Неподвижная человѣческая масса заметалась, заерзала, и при послѣднемъ рѣзкомъ звукѣ лежавшій замертво человѣкъ вскочилъ на ноги и, гонимый какимъ-то паническимъ страхомъ, бросился бѣжать, перепрыгивая черезъ кусты и спотыкаясь. Поѣздъ быстро удалялся. Шумъ стихъ, и бѣглецъ понемногу пришелъ въ себя и остановился.

«Зачѣмъ бѣжать? — подумалъ онъ.— Вѣдь никто не гонится».

Въ первую минуту онъ былъ увѣренъ, что поѣздъ, заставившій его очнуться, былъ тотъ самый, изъ котораго онъ такъ счастливо выскочилъ. Только посмотрѣвъ на небо и замѣтивши, что уже обутрѣло, онъ сообразилъ, что этого не можетъ быть, и что онъ, должно-быть, долго лежалъ безъ чувствъ.

Онъ вынулъ изъ бокового кармана часы. Но они были разбиты вдребезги, ударившись о камень при паденіи. Судя по цвѣту небосклона, теперь должно было быть часовъ пять утра.

Что-то теплое струилось по его виску. Онъ пощупалъ рукою: кровь. Все лицо его было липкое отъ запекшейся крови.

«Куда покажешься съ такой образиной?»— подумалъ онъ.

Но какъ остановить кровь? Рана была неопасная, но очень неудобная въ данную минуту. Онъ открылъ маленькій сачокъ, висѣвшій у него черезъ плечо, который онъ забылъ сбросить; но тамъ, кромѣ носового платка да письменныхъ принадлежностей, ничего не оказалось. Къ счастью, кругомъ росли пучки молочая. Сорвавъ нѣсколько стеблей, онъ выжалъ изъ нихъ на ранку вяжущій, липкій бѣлый сокъ. Кровь остановилась.

«Сойдетъ!»—весело подумалъ онъ.

Онъ вымылъ себѣ кое-какъ лицо мокрой травою и вытерся чистымъ платкомъ.

Теперь пора была поскорѣе убраться съ опаснаго мѣста. Итти въ городъ нечего было и думать: онъ не дойдетъ туда раньше полудня, когда вся полиція уже будетъ на ногахъ, и его схватятъ, какъ куропатку.

Онъ рѣшился итти на удачу вглубь до перваго жилья. Тамъ будетъ видно.

Онъ быстро перешелъ черезъ полотно на ту сторону и пошелъ прямикомъ по направленію къ югу. Онъ пересѣкъ проселокъ, бѣжавшій параллельно желѣзной дорогѣ, и съ наслажденіемъ углубился въ кусты, которые такъ ласково укрыли его въ своихъ нѣдрахъ.

Онъ шелъ съ полчаса, посматривая отъ времени до времени на забѣлѣвшій востокъ, чтобы не сбиться съ направленія.

За рощей пошло чистое открытое поле. Здѣсь человѣка за пять верстъ видно было. Послѣ лѣса ему стало итти какъ-то не по себѣ. Видъ у него былъ совсѣмъ не мѣстнаго человѣка. Да къ тому же эта дорожная сумка... Онъ пожалѣлъ, что не бросилъ сумку въ лѣсу: въ чистомъ полѣ оставлять ее было опасно.

Онъ шелъ долго, часа два. Лѣсокъ смѣнился полями. Потомъ опять пошелъ лѣсъ. Онъ освободился отъ своего сака, забросивъ его въ лѣсную чащу. Теперь не особенно внимательный наблюдатель могъ бы принять его за двороваго безъ мѣста, идущаго по бѣдности на своихъ на двоихъ искать куда-нибудь счастья.

Едва переступая утомленными ногами, ıодой бѣглецъ плелся впередъ, не общая вниманія на окружающее, какъ ругъ горизонтъ просвѣтлѣлъ, лѣсъ разупился, и онъ увидѣлъ передъ собою ю залитую косыми лучами огромную порхность воды, тихую, какъ озеро въ звѣтреный день.

То была Волга-матушка, великая русая рѣка, которую онъ такъ любилъ и которой прошло его дѣтство.

III.

Онъ не прошелъ и получаса, какъ рѣка ѣлала излучину, огибая маленькій лѣситый мысикъ. Взойдя на него, онъ увиѣлъ передъ собой лодку. Но она была е пустая. Ни отнимать ни нанимать ее е предстояло возможности, потому что ъ ней сидѣла дѣвушка, въ которой съ ерваго разу можно было узнать барышню.

Она, очевидно, только-что выкупалась. окрые свѣтлорусые волосы были связаны яжелымъ узломъ подъ бѣлой соломенной іляпой-матроской съ узенькими полями, зъ-подъ которой виднѣлось молодое хуощавое лицо съ правильными и твердыми ертами. Она была одѣта въ ситцевую вѣтло-сѣрую блузочку, перехваченную на аліи широкимъ кожанымъ поясомъ, и въ бнаженныхъ до локтя крѣпкихъ рукахъ ержала весло, которымъ тихо гребла къ ерегу. Она уже пригнала лодку къ песаной отмели и встала, покачивая судно огами, собираясь выскочить на землю, огда молодой человѣкъ спустился къ одѣ и, выйдя изъ-за кустовъ, кашлянулъ, тобъ обратить на себя вниманіе.

— Извините, сударыня...—сказалъ онъ.

Дѣвушка съ испугомъ вскинула на него большіе голубые глаза и быстрымъ движеніемъ весла оттолкнула лодку назадъ.

— Не бойтесь. Я ничего вамъ не сдѣлаю... Остановитесь... — говорилъ ей молодой человѣкъ.

Но дикарка его не слушала. Усѣвшись на корму, она заворачивала, гребя и правя весломъ.

— Подождите. Мнѣ вамъ нужно что-то сказать... Ради Бога...—вскричалъ молодой человѣкъ.

Дѣвушка остановилась.

— Что вамъ отъ меня нужно, ради Бога?—сказала она, продолжая держаться на почтительномъ разстояніи.

Голосъ ея былъ грудной, низкій. Она слегка картавила.

— Мнѣ необходимо переѣхать на ту сторону, вонъ въ ту деревню... Дайте мнѣ вашу лодку. Я вамъ ее назадъ отошлю. Перевезите меня сами. Чего вамъ это стоитъ?..

Предложеніе ѣхать вдвоемъ съ этимъ незнакомымъ, страшнаго вида человѣкомъ перепугало ее окончательно.

— Я не перевозчица! — сказала она и съ рѣшительнымъ видомъ направила лодку въ глубь, усердно гребя весломъ. Легкое судно стрѣлой разсѣкало тихую поверхность рѣки.

Отплывши шаговъ на двѣсти и почувствовавъ себя въ совершенной безопасности, она обернулась. Молодой человѣкъ стоялъ у дерева, отчаянно цѣпляясь за вѣтви, чтобы не упасть. Послѣднія силы оставили его. Онъ готовъ былъ лишиться сознанія.

Сердце молодой дикарки сжалось. Не долго думая, она повернула сильной рукой лодку, погнала ее назадъ и прямо врѣзалась носомъ въ песокъ. Она выскочила на землю.

— Что съ вами? Вы больны?—спросила она съ участіемъ, подходя къ нему.—Ваше лицо въ крови. Васъ ограбили? Вы ранены?

Онъ взглянулъ ей въ добрые голубые глаза. Надежда снова оживила его. Онъ не сомнѣвался теперь, что дѣвушка, которую послала ему судьба, поможетъ ему. Но что-то мѣшало ему притворяться, воспользоваться ею самой подсказанной басней.

— Нѣтъ,—проговорилъ онъ.—Меня не ограбили. Я бѣжалъ. Я соскочилъ съ поѣзда и самъ себя ранилъ.

— Съ поѣзда? Ахъ, Боже мой! Какъ это ужасно. Зачѣмъ же...

Она хотѣла спросить, зачѣмъ же онъ сдѣлалъ такую отчаянную вещь.

— Я политическій. Слыхали?

Слыхала ли? Ея Ваня, ея милый Ваня, по которомъ она томилась вотъ уже годъ и котораго оплакивала, какъ погибшаго, развѣ не былъ тоже политическимъ?

— Вы политическій? Чего же вы мнѣ прямо не сказали?—воскликнула она.

Это лицо—тоже вполнѣ архаическое и вымирающее, которое можно еще изрѣдка встрѣтить въ такихъ архаическихъ и вымирающихъ улицахъ, какъ та, въ которую завелъ я читателя; въ другихъ же мѣстахъ въ наше время нивелировки общественныхъ типовъ, когда иного ученаго мужа по обличію можно принять за буфетчика, а юнаго отпрыска старопечатнаго «тятеньки» за attache изъ посольства — вы, головою ручаюсь, днемъ съ огнемъ не найдете.

Это тотъ вѣчный, исконный типъ, потерявшій немного изъ своихъ внѣшнихъ специфическихъ чертъ, но навсегда сохранившій тотъ отпечатокъ, по которому узнается петербургскій чиновникъ. Онъ уже не носитъ, правда, фуражки съ кокардой, даже либераленъ по части бороды и прически, но зато уже обязательно къ тридцати годамъ своей жизни успѣваетъ нажить себѣ гeморой. Пока онъ въ мелкихъ чинахъ — онъ неукоснительно холостъ. Пугливый ко всякому новшеству, онъ врагъ всевозможныхъ „chambres garnies“; будучи бѣденъ и одинокъ, онъ снимаетъ себѣ комнату не иначе, какъ въ какомъ-нибудь солидномъ семействѣ, лелѣя главную мечту своей жизни— имѣть свою собственную квартиру, въ которой онъ могъ бы обставиться хозяйственнымъ образомъ. Буде мечта эта достигнута, онъ тотчасъ свиваетъ гнѣздо.

Если бы вы заглянули сюда, въ квартиру сидящаго теперь передъ вами господина Брусницына, на васъ непремѣнно повѣяло бы тѣмъ ветхозавѣтнымъ патріархальнымъ добродушіемъ, которое издаютъ, такъ сказать, изъ себя всѣ эти старомодные диваны краснаго дерева, громоздкія пудовыя кресла, жесткія, какъ камень, подушки, съ полинялыми, шитыми гарусомъ, изображеніями собакъ и охотниковъ, литографіи по стѣнамъ, либо идиллическаго содержанія, въ видѣ улыбающейся декольтированной дамы, держащей въ рукѣ цвѣтокъ или птичку, либо воинственнаго, въ родѣ Трафальгарскаго боя, или иного въ этомъ вкусѣ сюжета. Уже по одной обстановкѣ вы выведете безошибочно такое заключеніе о хозяинѣ всей этой прелести, что онъ, невзирая на то, что имѣетъ еще права считать себя «женихомъ» — однако человѣкъ вполнѣ положительный, патріотъ своему отечеству и врагъ всякихъ завиральныхъ идей. Самыя развлеченія господина Брусницына до крайности невинны и просты. Вѣрный традиціямъ, онъ имѣетъ гитару, которою и услаждаетъ по временамъ свой одинокій досугъ. Въ этомъ отношеніи, однако, онъ не могъ избѣгнуть вліянія прогресса. Онъ все-таки, какъ ни на есть, человѣкъ современный и потому не любитъ старыхъ романсовъ, въ родѣ такихъ, напр., какъ «Черная шаль» или «Въ одной знакомой улицѣ», а исповѣдуетъ себя поклонникомъ каскадныхъ мотивовъ.

Г. Брусницынъ ударилъ по струнамъ гитары и заигралъ изъ «Корневильскихъ колоколовъ» (знакомыхъ ему по трактирнымъ органамъ, много пополнившимъ его музыкальное образованіе), подтягивая игрѣ теноркомъ:

„Въ своихъ скита-а-аньяхъ вокругъ свѣта
Я научился хра-а-абрымъ быть...“

Но въ этотъ разъ музыка ему почему-то не шла на умъ. Душу его облегала тихая меланхолія. Онъ замолкъ, погрузившись мечтательнымъ взоромъ въ пространство... Вокругъ жужжали неугомонныя мухи. Одна съ размаху брякнулась въ его стаканъ съ простывшимъ чаемъ и безпомощно забарахталась лапками. Онъ машинально слѣдилъ за ея затруднительнымъ положеніемъ, потомъ перевелъ свой взоръ не пейзажъ, видный ему изъ окна. Вонъ, на той сторонѣ, показался изъ подвальнаго помѣщенія длиннаго одноэтажнаго дома, украшеннаго вывѣской съ изображеніемъ фруктовъ и головы сахару и съ надписью «Овощная и мелочная лавка», высокій тучный мужчина, въ розовой ситцевой рубахѣ, атласномъ жилетѣ, съ длинною серебряной цѣпью поверхъ его, и усѣлся на лавочкѣ, благодушно позѣвывая, крестя ротъ и почесывая себя подъ мышками... Зарывшіеся въ пыль два воробья, нахохлившись, сладостно млѣли въ теплыни...

«Эхъ, чортъ, тощища какая!—воскликнулъ внутри себя г. Брусницынъ: — хорошо бы теперь... А что бы теперь хорошо бы?..»

Его вниманіе было внезапно развлечено видомъ нѣкоей толстой дамы въ косыночкѣ, которая появилась изъ-за дома и медленно, съ сосредоточеннымъ, отчасти даже озабоченнымъ видомъ прошлась мимо

его окомъ взадъ и впередъ, поднявъ кверху голову, какъ бы желая проникнуть взоромъ чрезъ окно мезанина; затѣмъ она постояла, прислушалась и опять прошлась взадъ и впередъ, все съ тѣмъ же озабоченнымъ видомъ... Это была сама владѣтельница этого дома, вдова мѣщанина, Ѳедосья Ивановна Столбикова.

— Здравствуйте, Ѳедосья Ивановна! — окликнулъ ее г. Брусницынъ.

Ѳедосья Ивановна отвѣчала однимъ безмолвнымъ поклономъ, отошла на середину улицы, опять взглянула на окно мезанина, и затѣмъ уже приблизилась къ г. Брусницыну.

— Гуляете?—спросилъ тотъ.

Ѳедосья Ивановна съ унылымъ видомъ махнула рукой, какъ бы желая сказать:— «Какое гулянье! Не до гулянья тутъ мнѣ!»

— Дивная погода какая!—воскликнулъ г. Брусницынъ.

Ѳедосья Ивановна не отвѣчала. Видъ ея выражалъ полнѣйшее разстройство. Это тотчасъ же замѣтилъ ея собесѣдникъ. Какъ разъ въ эту минуту она опять подняла голову, съ тѣмъ же выраженіемъ затаенной тревоги, сдѣлавъ попытку проникнуть взоромъ въ окно мезанина...

— Да на что вы тамъ все посматриваете, Ѳедосья Ивановна?—заинтересовался теперь ужъ и самъ г. Брусницынъ.

Онъ высунулся изъ окна и тоже взглянулъ наверхъ, по направленію взоровъ Ѳедосьи Ивановны, но подозрительнаго ничего не замѣтилъ.

— Что вы тамъ такое видите? Я не понимаю!

— Нишкните-ка... Ничего вы не слышите?

Г. Брусницынъ сосредоточенно вытаращилъ глаза и прислушался.

— Ничего не слышите?

— Ничего не слышу!—помоталъ отрицательно головой г. Брусницынъ.

— Да я не то... Не слышите, наверху разговариваютъ?

— Н-да... разговариваютъ...

— Ну, а мужчины не слышите?..

— Мужчины?.. Н-да, какъ будто и голосъ мужчины...

— Да вѣрно ли вы слышите? Есть тамъ мужчина?

— Ужъ, право, не могу вамъ навѣрно сказать... Кажется, будто... Да что вамъ за забота такая?

— Ну, вотъ, такъ и есть! Значитъ ещё не ушелъ!.. Ахъ ты, Господь милосердный!.. Ну, а не видали вы, не проходилъ онъ тутъ, мимо васъ?

— Кто проходилъ?

— Мужчина!

— Не знаю. Не видалъ никакого мужчины...

— Ну, да! Сидитъ еще, значитъ... Ахъ, Господи, Боже ты мой! Не успокоиться мнѣ!.. Какъ увидала я только, что онъ къ намъ идетъ, даже у меня сердце упало! И сама не знаю, чего я дрожу!.. И теперь вотъ дрожу... Пока не уйдетъ, такъ все и буду дрожать!..

— Да скажите вы мнѣ Христа ради, что это значитъ? Про какого мужчину вы говорите?.. Я не знаю... Я, ей-Богу, вотъ и самъ начинаю какъ будто теперь безпокоиться... — взволновался г. Брусницынъ.

— Да вамъ-то что! А я вѣдь хозяйка! Я за все отвѣчаю! Стрясись какая бѣда— все на мнѣ взыщется... Какъ же мнѣ не бояться?

— Ѳедосья Ивановна... Я... я... ей-Богу, не знаю... Не понимаю, про что вы?.. Вы ужъ, пожалуйста, меня не пугайте!—поблѣднѣлъ, какъ полотно, и даже попятился отъ окна г. Брусницынъ.

— Да знаете ли, кто теперь тамъ, у Канарѣевой-то сидитъ!—пониженнымъ голосомъ спросила Ѳедосья Ивановна.

— Кто?—такимъ же пониженнымъ голосомъ переспросилъ, въ свою очередь, г. Брусницынъ.

— Сынъ ейный! Канарѣевой-то!.. Никогда его не видали?

— Не видалъ никогда.

— И ничего про него не слыхали?

— Ничего не слыхалъ.

— Ну, вотъ то-то и есть! А вы знаете ли, кто онъ таковъ, этотъ самый Канарѣихинъ сынъ-то?

— Ну-те?—наклонился къ Ѳедосьѣ Ивановнѣ г. Брусницынъ.

Ѳедосья Ивановна бросила осторожный взглядъ вверхъ, на окно мезанина, затѣмъ еще два-три такихъ же осторожныхъ взгляда черезъ то и другое плечо, близко придвинулась къ окошку г. Брусницина (который совсѣмъ изъ него высунулся и, прижимая къ груди гитару, пожиралъ Ѳедосью Ивановну жаднымъ, встревоженнымъ взоромъ) и начала таинственнымъ шопотомъ:

— А вотъ кто онъ таковъ... Нѣтъ, погодите, лучше ужъ я вамъ все по порядку... Вы вѣдь никогда ея не видали, Канарѣевой-то?

— Никогда. Знаю только, что старуха, слѣпая...

— Ну да, и на ноги разбита... Шагу не можетъ сдѣлать. Вдова! Золовка у ней есть, мужнина сестра, значитъ, Натальей Андреевной звать—такъ та за нее и пенцыонъ получаетъ... И ничего-то она дѣлать не можетъ, только все вяжетъ... чулки этта, шарфы... Да вотъ еще слушаетъ, что ей Наталья Андреевна вслухъ читаетъ... Смолоду, говоритъ, очень книжки любитъ... Ахъ, ужъ такъ-то мнѣ ее жалко, я вамъ и сказать не могу! Подумайте только: десять лѣтъ уже слѣпа!.. Иной разъ подумаешь этакъ, доведись это мнѣ... Ну, да ладно! Такъ о чемъ бишь я? Да, такъ вотъ... Живетъ она у меня пять лѣтъ скоро будетъ... Сами небось замѣчали, какое у нея поведеніе? Тихо, смирно, совсѣмъ ея не слыхать, будто и нѣтъ ея вовсе... Монашенка, чисто!.. Сынъ у нея вотъ теперь... Грѣшница, каюсь, приведись мнѣ, я ужъ не знаю, что бы я надъ нимъ ни сдѣлала! Кажется, своими бы руками тутъ вотъ его и задушила! Чтобы мнѣ завтрашняго дня не видать, коли лгу, не побоялась бы взять грѣха на душу! И какъ передъ Истиннымъ, вамъ говорю, почему? Ничего онъ мнѣ не сдѣлалъ худого... Только лишь потому, что ее ужъ очень жалѣю! И что онъ такое, если бы вы знали? Михрютка, мозглякъ, ни кожи ни рожи! А представьте вотъ, даже тетка души въ немъ не слышитъ, а сама—такъ про ту ужъ и говорить ничего не остается... На него чуть не молится. Ну да, мать, ужъ извѣстно... Эхъ-хти-хти!... А чѣмъ онъ за любовь ихъ отплачиваетъ? Въ кои-то вѣки носъ къ нимъ сунетъ на вышку, сидитъ этта важно, фу-ты, ну-ты, словно какой-нибудь прынецъ, подумаешь! Чѣмъ бы мать успокоить, что онъ дѣлаетъ? Бѣсъ его знаетъ, служитъ онъ, нѣтъ ли, не могу сказать ужъ доподлинно, только одѣтъ чистенько всегда, не нуждается, значитъ, а чѣмъ онъ помогъ хоть бы матери? Лютый врагъ ейный того бы не сдѣлалъ, чѣмъ онъ отплатилъ!.. Всегда я его терпѣть не могла, чувствую этта, бывало—не лежитъ, ну вотъ не лежитъ къ нему сердце, что вы хотите! Все мнѣ сдавалось, что онъ въ мысляхъ какое-нибудь ехидство питаетъ... И вѣдь, подите же, вышло по-моему! Да какъ еще вышло-то! Ужъ на что я всякой пакости отъ него ожидала, а тутъ, какъ узнала, что онъ за гусь такой есть, такъ даже у меня руки тогда опустились... Ужъ подлинно могу сказать, несчастная, несчастная эта Канарѣева, одно слово—мученица! И вотъ сейчасъ даже, какъ вспомню про тотъ самый случай, когда Алешенька ейный безцѣнный въ настоящемъ своемъ естествѣ объявился, такъ все-то во мнѣ такъ и повертывается!.. Представьте, случай какой... Нѣтъ, погодите. Вы вѣдь на Страшной ко мнѣ переѣхали?.. Ну, да, на Страшной, а этакъ за мѣсяцъ вотъ что случилось у насъ... Ночью ужъ этакъ, часу, такъ бы сказать, во-второмъ (спимъ ужъ мы всѣ), слышу, вдругъ у насъ на дворѣ: динь-динь-динь!.. Колокольчикъ! Это что отъ калитки... Сперва, спросонья-то, думаю: знать, это во-сняхъ, кому звониться къ намъ, спрашивается, въ этаку пору?.. Только нѣтъ, погодя немного, опять: динь-дили-динь-динь-динь! Да пронзительно такъ!.. Что за притча? Разбудила Марью.—Поди, посмотри, говорю, знать, пьяный какой... Одѣлась этта Марья, пошла... Только, смотрю, бѣжитъ назадъ ко мнѣ опрометью, трясется, а на самой лица нѣтъ! «Полиція, говоритъ, тамъ, Ѳедосья Ивановна! Васъ спрашиваютъ!»—Какъ? Что такое? Какая полиція? Ошалѣла ты, вѣрно, со сна-то?! (А чувствую, сама тоже трясусь...). Однако, какъ-никакъ, свѣчку зажгла, платчишко поскорѣе накинула... Смотрю—а они ужъ и входятъ! Такъ и есть: околоточный нашъ, Иванъ Еремѣичъ, городовой съ нимъ (того не знаю совсѣмъ), жандары...—«Такъ и такъ, говорятъ, извините, что безпокоимъ. По службѣ. Вдова Канарѣева у васъ проживаетъ?»—У меня, говорю (а у самой въ глазахъ даже мутится... Господи!! думаю,—что же это такое?!). Да только, говорю, она теперь спитъ ужъ, поди...—«Это, говорятъ, намъ совсѣмъ безразлично!..» Показала я имъ, какъ пройти въ мезанинъ, а сама ни жива ни мертва: никогда этакаго сраму еще не видала, чтобы у меня вдругъ жандары!.. Подымаются это они въ мезанинъ, а я Ивана Еремѣича сейчасъ за рукавъ.—Иванъ Еремѣичъ,—его умоляю, — скажите вы мнѣ, успокойте

меня, ради Господа, что за причина такая, зачѣмъ вамъ Канарѣева? — «Этого, говоритъ, Өедосья Ивановна, я вамъ сказать не могу, права на то не имѣю. Только, говоритъ, плохія, плохія у васъ дѣла завелись!..» И пошелъ. Ну, я ужъ тутъ за него уцѣпилась, держу, не пускаю. Слезы у самой на глазахъ, вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ, не лгу, и со слезами его умоляю:—Иванъ Еремѣичъ (его умоляю), не губите меня, сироту, успокойте, скажите, объясните вы мнѣ, ради самого Бога небеснаго!! — «Да вы, говоритъ, не тревожьтесь, ваше дѣло стороннее, только, говоритъ, плохо, плохо у васъ наверху! (Опять повторилъ!). Старуха-то, вѣрно, говоритъ, сама не при чемъ, а сынокъ ея напрокудилъ...»—Какъ напрокудилъ?! Что напрокудилъ?! Обворовалъ, что ли, кого?—«Да, знать, обворовалъ», говоритъ... Засмѣялся самъ и пошелъ въ мезанинъ... Отправилась я къ себѣ, сижу, дрожу... Спать не ложусь—до сна ли ужъ тутъ?.. Только съ полчаса такъ времени пробыли они въ мезанинѣ, назадъ возвращаются... Я опять Ивана Еремѣича сейчасъ за бока.—Ну, что, говорю, нашли вы украденное?—«Нѣтъ, не нашли», говоритъ...—Ну, говорю, слава Богу! Значитъ, больше ко мнѣ уже не придете?—«Нѣтъ, не придемъ, говоритъ, успокойтесь». И опять засмѣялся... Ну, слава Богу, слава Богу, молюсь про себя. Раздѣлась это, легла, только никакъ заснуть не могу: жаль, ну вотъ просто и сказать вамъ не могу, до чего мнѣ жаль Канарѣеву!.. Только утро настало, не утерпѣла, признаться, пошла къ ней въ мезанинъ... Вижу, сидитъ она въ своемъ креслицѣ, только что встала, должно-быть, и, вѣрно, всю ночь не спала... Слѣпа она, такъ и не видитъ, что вошли въ комнату-то... Сидитъ такая словно убитая, ни кровинки въ лицѣ и какъ будто даже осунулась. Самоваръ передъ ней, чашка чаю налита, и тетка тутъ же, презлющая-злющая... Только я голосъ ей подала:—Здравствуйте, говорю, Пелагея Петровна!.. Какъ вздрогнетъ она вся!! «Кто тутъ, кто тутъ?» говоритъ (а сама даже вся затряслась).—Это я, отвѣчаю, хозяйка ваша домовая, Өедосья Ивановна.—«А, здравствуйте, говоритъ, Өедосья Ивановна, садитесь, пожалуйста!» Я сѣла. Молчу. Она тоже молчитъ. Тетка—ни-гу-гу, даже не смотритъ... Ну, я понемножечку сама тутъ рѣчь и завела.—Удивительно, говорю, какія это бываютъ ошибки! И какъ это грубо, говорю, полиція иногда поступаетъ: не разузнавши хорошенько, въ чемъ дѣло, по ночамъ безпокоитъ... — Сказала я такъ да и молчу... Та ничего, все ни слова... Я, погодивши немного, опять:—Конечно, говорю, очень жалко Алексѣя Иваныча, что такъ это случилось. Я, говорю, никогда не позволяла себѣ, чтобы о немъ что-нибудь дурное подумать, и, вѣрно, тутъ что-нибудь наплели, только ужъ, надо полагать, съ его стороны какая-нибудь неосторожность была... А старуха тутъ вдругъ: «Какая неосторожность?—спрашиваетъ:—про что вы говорите?»—Да вотъ, отвѣчаю, изъ-за чего сегодня ночью полиція-то сюда приходила... (И говорю это ей совсѣмъ-таки просто!). Смотрю — та хоть бы слово на это; голову только такъ опустила — и вижу вдругъ: слезы, слезы такъ у нея и бѣгутъ по лицу... Ну, сударь, хотите вѣрьте вы мнѣ, или нѣтъ—легче бы, кажется, если бъ меня въ ту пору пронзили чѣмъ ни на есть, чѣмъ видѣть только эти слезы старухины!.. Жаль, ну, жаль, ну, просто я вамъ и сказать не могу, до чего мнѣ жаль ее стало!.. И въ головѣ въ моей въ то же время: изъ-за чего, молъ, бѣдняжка такъ убивается? Добро бы стоящій былъ человѣкъ, а то идолъ вѣдь сущій, а она вотъ слезы изъ-за него проливаетъ... Не утерпѣла я тутъ да и брякнула: — Извините меня, говорю, Пелагея Петровна, только вчужѣ мнѣ даже досадно за васъ на Алексѣя Иваныча. Я его, говорю, не виню, только прямо скажу: стыдно, стыдно ему, что онъ, при своемъ безразсудствѣ, вотъ до чего васъ доводитъ... Только всего я и успѣла сказать... Какъ она привскокнетъ! Да какъ крикнетъ!! Сперва-то была бѣлая-бѣлая, а тутъ вся налилась, словно вишня... «Какъ вы смѣете!? — кричитъ. Да какъ вы можете такъ дурно говорить про Алешу?! Онъ лучше всѣхъ, — кричитъ;— лучше васъ, — кричитъ; — чтобы смѣли такъ о немъ отзываться!» (А что, спрашивается, я про него и сказала?). Сама трясется, захлебывается... Тутъ ужъ и тетка на меня замахала. «Уйдите, шепчетъ, уйдите, не раздражайте ея...» Ну, я, видя, въ какомъ она положеніи, уже не сказала ни слова, повернулась да и але маширъ

**Григорій Александровичъ Мачтетъ.**

(1852—1901).

## Воевода изъ Чернаго замка.

(Легенда).

Давно это было, очень давно... Вымерли люди, прахомъ разсыпался пышный и могучій замокъ, а память все еще живетъ въ народѣ, все не умираетъ. Послушайте разсказы стариковъ, прислушайтесь къ пѣснѣ слѣпого лирника, который поетъ въ праздничный день у церковной паперти, за что добрые люди подносятъ ему то грошъ, то бубликъ, а то и цѣлый кнышъ, и много интереснаго услышите про воеводу изъ «Чернаго замка». Могучъ и грозенъ былъ воевода, а другого такого неприступнаго замка, съ такими высокими башнями и безчисленными бойницами, говорятъ, и найти нельзя было на свѣтѣ...

При поворотѣ изъ Жванца быстрый Днѣстръ врывается стрѣлою въ узкое ущелье и кипитъ тамъ и реветъ, весь одѣтый бѣлой пѣной, точно ложе его не песокъ и щебень, а раскаленное добѣла желѣзо. Высокіе отроги Карпатовъ давятъ его выпяченною грудью, одѣтою каменною броней утесовъ, и мечется Днѣстръ, прыгая съ камня на камень, съ гряды на гряду, пока не вырвется въ болѣе широкое ложе. Но и выбравшись, долго ворчитъ еще и сердится, старый... Хорошо знаютъ это мѣсто плотовщики, что гонятъ лѣсъ изъ Буковины, и всегда крестятся и тепло молятся Богу, подплывая къ нему. Много смѣлости и искусства нужно тутъ кормчему, много труда и пота выпадаетъ на долю плотовщиковъ... Ну, да кому охота на свѣтѣ считать чужой трудъ и потъ, пронесло бы только...

Вотъ въ этомъ-то мѣстѣ, на самой высокой кручѣ, и выстроилъ свой замокъ воевода. Много Божьяго свѣта открывалось глазамъ съ высокихъ башенъ, во всѣ четыре стороны глядѣли зубчатые бойницы... Въ одну сторону разстилалась земля турецкаго султана, занятая невѣрными, по которой бродила хищная орда, въ другую тянулись коренныя земли Польши, гдѣ въ то время входили въ силу отцы-іезуиты, а между той и другой, точно клинъ, входила Русь съ ея вольнолюбивымъ казацкимъ народомъ, поднимавшимъ уже грозную борьбу съ шляхетствомъ и ненавистными ксендзами. Черный замокъ стоялъ, точно сторожевой постъ на распутьи. Сердцемъ глядѣлъ оттуда въ шляхетскую Польшу, а своими страшными

бойницами онъ грозилъ прямо въ очи «схизматикамъ», казакамъ и «поганымъ» невѣрнымъ.

Страшная молва ходила про грознаго воеводу по свѣту, такая, такая молва, что и поминать ее къ вечеру неладно... Гуляка и безбожникъ былъ старый воевода въ молодости, и запродалъ онъ,—говорили,—чорту свою душу за разныя утѣхи. Повезло ему послѣ того неслыханное счастье на свѣтѣ: чортъ служилъ ему вѣрнѣе собаки... Но зато, какъ подошла старость, когда сталъ приближаться срокъ расчета, жутко, ей, жутко стало воеводѣ. Эхъ, въ томъ-то и бѣда, что люди не всегда знаютъ и помнятъ цѣну своей человѣческой души, размѣниваютъ ее на всякую пакость и только поздно спохватываются, что цѣннѣе она и удачи. Каялся старый воевода, молился, весь отдался отцамъ-іезуитамъ, ни на шагъ не отпускалъ отъ себя ксендза и чего-чего только ни дѣлалъ: и съ невѣрными дрался и жидовъ вѣшалъ, а сильнѣе всего на православныхъ налегъ. Убѣдили его іезуиты, что въ этомъ его спасенье, и сталъ онъ гнать казаковъ, запирать святые храмы, насильно сгонять народъ въ костелы, бить и мучить упорныхъ. Страшная слава пошла про Черный замокъ, хуже турка ненавидѣлъ народъ воеводу...

— Ничего, ничего...—говорилъ ему старый іезуитъ:—пусть тебя ненавидитъ народъ: ненависть схизматовъ твое спасенье...

Ой, только не такъ дѣло было... За недѣлю до условленнаго срока, ровно въ полночь, въ темную глухую полночь, когда воевода сидѣлъ въ угрюмомъ раздумьи, придумывая новыя муки мужичью-схизматамъ, кто-то, хвать, и хлопни его по плечу. Обернулся воевода да такъ и обмеръ со страха.

А шельма рогатый стоитъ себѣ, ухмыляется и подмигиваетъ ему рыбьимъ глазомъ, какъ ни въ чемъ не бывало...

— Здравствуй,— говоритъ. — Призналъ меня?.. А?.. Вѣдь по условію за недѣлю я долженъ напомнить тебѣ о срокѣ...

— Дудки, поганая рожа, — отвѣчаетъ блѣдный воевода, а самъ такъ и дрожитъ съ ногъ до головы. — Дудки, кончено. Отняли меня у тебя отцы-іезуиты, и ты и коснуться не смѣешь...

Усмѣхнулся проклятый, снова подмигнулъ рыбьимъ глазомъ...

— Никто тебя не отнималъ у меня, и пока у меня твоя расписка, — ты мой... А вотъ она,—видишь?.. То-то, братъ воевода, не взыщи, ничего не подѣлаешь, самъ вѣдь расписался... Такъ вотъ же и помни: черезъ недѣлю ровно, въ сочельникъ, и мнѣ и тебѣ конецъ гулять по свѣту... Мнѣ по положенію, тебѣ по условію...

Сказалъ и провалился проклятый. Едва очнулся бѣдный воевода; зубъ на зубъ не попадаетъ, дрожитъ, какъ осиновый листъ, а самъ бѣлѣе полотна. Кинулся къ духовнику-іезуиту и заломилъ въ отчаяніи руки. Ужасный страхъ объялъ грѣшника, призадумались и патеры... Долго совѣщались «отцы» и, наконецъ, сказали воеводѣ:

— Правъ,—говорятъ,—нечистый: пока расписка у него, ты принадлежишь ему... Но есть еще и другой выходъ, можно уничтожить расписку въ разведенномъ огнѣ: для этого устрой громадный костеръ и сожги на немъ всѣхъ схизматовъ своего воеводства, тогда сгоритъ и расписка...

И пошли падать вѣковые лѣса подъ ударами топоровъ для необъятнаго костра, который долженъ былъ запылать къ полуночи сочельника. И пошелъ по землѣ людской стонъ, потекли людскія слезы, какъ ручьи весною...

Прошла и послѣдняя ночь, наступилъ сочельникъ. Измучился отъ хлопотъ и отъ страха за день воевода. Проснулся онъ рано, осмотрѣлъ приготовленные костры, оглядѣлъ несмѣтныя толпы согнаннаго народа, и все ему кажется еще мало, все еще боится и трепещетъ душа... Заперся въ своей опочивальнѣ, дрожитъ и думаетъ страшную думу: что-то будетъ ночью?.. Стала клонить его отъ усталости дремота, но не сдается воевода, выѣзжаетъ онъ съ разными людьми сдѣлать объѣздъ, посмотрѣть, не найдется ли еще гдѣ-нибудь хоть одного схизмата... Ѣхалъ, ѣхалъ да и наткнись на цѣлую сотню казаковъ, которые пробирались въ Запорожье. Поднялась горячая свалка, и палъ воевода: угодила ему въ бѣлую грудь острая казацкая сабля...

Чувствуетъ воевода, что сталъ онъ вдругъ легче малой пушинки, не держитъ его больше земля, и быстро несется онъ вмѣстѣ съ легкимъ вѣтромъ куда-то далеко... далеко... въ необъятную даль...

Мимо проносится онъ рѣзвыхъ бѣлыхъ тучекъ, мимо звѣздъ золотыхъ, и чуть-чуть не задѣлъ даже рогатую свѣтлую луну. Не боится онъ никого и ничего, легко ему и хорошо, не страшитъ его теперь страшная расписка... Несутся съ нимъ и за нимъ, и впереди, и съ боковъ, несмѣтныя толпы другихъ тѣней, и всѣ несутся въ одну сторону, точно къ одной точкѣ... Сколько онъ летѣлъ, сколько пролетѣлъ, не знаетъ воевода; потерялъ онъ всякое представленіе о часѣ и разстояніи. Но вотъ и конецъ... Смотритъ, какъ будто двѣ громадныя двери: одна направо, другая налѣво... Въ правую входятъ свѣтлыя и радостныя тѣни, въ лѣвую—черныя и мрачныя... Подошелъ воевода къ правой и тоже постучался.

— Кто это стучитъ?—спрашиваетъ изъ-за двери чей-то могучій, но ласковый голосъ.

— Я стучу... воевода...

— Скажи мнѣ свое право войти въ эту дверь, куда входятъ только тѣ, кто искупилъ земные грѣхи...

— Я погибъ въ бою за вѣру, — отвѣчаетъ смѣло воевода.—Моя сабля еще дымится вражеской кровью... Меня сразила рука схизмата-казака...

Взялся онъ за запоръ, нажалъ, но не поддается дверь... И видитъ воевода, полный недоумѣнія, видитъ: смотрятъ на него сквозь тяжелую дверь два чьихъ-то свѣтлыхъ, любящихъ глаза.

— Сядь, воевода,—слышитъ онъ вдругъ тотъ же голосъ:—посиди у этой двери, пока не надумаешься...

Сѣлъ воевода, крутитъ усъ, недоумѣваетъ; сидитъ, долго сидитъ и видитъ, какъ мимо проходятъ въ закрытую дверь тѣни одна за другой. Скучно и тяжело ждать невѣдомо чего, нетерпѣніе разбираетъ старика; только видитъ онъ—вдругъ идетъ казакъ-схизматъ съ простреленною грудью и тоже сталъ у двери.

— Я казакъ и погибъ въ бою за вѣру... Меня сразила ляшская пуля.—Пропустите...

— Сядь и ты, казакъ, рядомъ съ воеводой,—отвѣчаетъ ему тотъ же невѣдомый чудный голосъ: — посиди, пока у этой двери.

Сѣлъ казакъ рядомъ; сидятъ другъ на друга не глядятъ, такъ бы и сцѣпились, такъ бы и заходили острыя сабли, кабы руки были живыя; только вдругъ видятъ—плетется къ дверямъ и жидъ съ веревкой на шеѣ...

— Я еврей,—говоритъ онъ смѣло:—я ревностно соблюдалъ святой законъ, преподанный чрезъ Моисея... Я погибъ за вѣру,—меня повѣсили казаки...

— Тамъ уже ждутъ двое...—отвѣчаетъ ему голосъ.—Сядь съ ними рядомъ и подожди у двери...

Вспыхнули и воевода и казакъ, когда еврей сѣлъ рядомъ, но нечего было дѣлать... И вотъ видятъ они: тащится бритый татаринъ. Проситъ пустить его въ дверь; — говоритъ, что пуля казацкаго мушкета уложила его въ правомъ бою.

— Погибъ я во славу Аллаха въ бою за свою вѣру...

— Сядь и жди,—сказалъ тотъ же чудный голосъ.

Сидятъ всѣ четверо, сидятъ и ждутъ, только другъ на друга косятся... Хоть бы слово другъ другу, — ни-ни, такъ и пышутъ гнѣвомъ и злобой: у каждаго болитъ своя рана... Тѣни проходятъ въ двери одна за другой, время летитъ, а тѣ все сидятъ и сидятъ. И всѣмъ скучно, и всѣмъ невесело, даже вотъ и дремота клонить стала.

Но вотъ кто-то изъ нихъ запѣлъ, воздавая хвалу Всевышнему. Немного погодя, запѣлъ и другой по-своему; сталъ пѣть потомъ и третій... И одинъ за другимъ запѣли всѣ хвалу невидимому великому Богу, каждый по-своему, кто какъ умѣлъ съ дѣтства. Дрогнулъ прозрачный эѳиръ гимномъ общей хвалы, и отдѣльные звуки этого хора потонули въ полномъ гармоніи аккордѣ, сливаясь другъ съ другомъ. Золотыя звѣзды вспыхнули ярче, луна улыбнулась, а свѣтлыя тѣни, спѣшившія къ завѣтной двери, засвѣтились счастьемъ...

— Эхъ, люди, люди! — зазвучалъ изъ двери тотъ же таинственный ласковый голосъ со вздохомъ:—собрались вы здѣсь, наконецъ, хватились Бога вмѣстѣ, согласно и дружно... Вернитесь вы назадъ, на землю, и поживите такъ на землѣ...

Точно вихрь подхватилъ воеводу,—такъ и грохнулся онъ о землю и... проснулся...

Глядитъ—онъ у себя въ опочивальнѣ; надъ нимъ склонился грозный патеръ, тормошитъ его и будитъ...

— Встань же, воевода, — давно пора зажигать костры схизматовъ, — говоритъ

патеръ. — Очнись… близится святое утро.

Всталъ воевода молча, вышелъ на крыльцо, оглядѣлъ костры и трепетно ждавшія казни толпы народа, вздрогнулъ и вдругъ поклонился въ ноги связаннымъ схизматамъ.

— Размечите сложенные костры!—приказываетъ.—Простите меня, божьи люди,—говоритъ толпѣ.—Давайте вмѣстѣ воспоемъ хвалу единому Богу…

И грянулъ многотысячный хоръ святую хвалу… И разнеслось святое пѣніе во всѣ стороны свѣта, поднялось до зенита, и свѣтлый голубой эѳиръ задрожалъ ему въ отвѣтъ розовымъ трепещущимъ свѣтомъ святого утра… Навстрѣчу розовымъ лучамъ понеслись съ земли веселые колокольные звуки… Прошла роковая полночь. Перекрестился воевода, глянулъ, — а въ рукѣ у него лежитъ его собственная расписка.

## Именемъ закона.

(Изъ забытаго прошлаго).

### I.

… Все это было давно, очень давно, но никто не станетъ спорить противъ истины, что подъ луною собственно ничто не ново, что жизнь любитъ повторять зады, что она, какъ пресловутый заклятый мужикъ въ малороссійской баснѣ, попеременно толчетъ то «просо», то «жито»; сегодня «просо», завтра «жито», тамъ опять «просо», а затѣмъ снова «жито» и т. д. и т. д., до безконечности. А если это такъ, то вспоминать свое прошлое, помнить его—далеко не лишнее дѣло;—не лишнее уже по тому одному, что въ моменты унынія это даетъ бодрость пережить уныніе, дождаться «жита» съ вѣрой въ жизнь, въ будущее и работать, работать, не покладая разочарованно рукъ.

Очень можетъ быть, что все это вступленіе и совершенно лишнее для читателя, но для меня оно необходимо, какъ оправданіе, почему именно я не избираю въ данномъ случаѣ болѣе современной темы. Въ этомъ прошломъ я помню одну чудесную сцену, которая до сихъ поръ согрѣваетъ мое испепелившееся въ попеременной толчеѣ жизни сердце такимъ благодатнымъ, хорошимъ тепломъ, что читатель, навѣрное, не посѣтуетъ на меня за нее, а, можетъ-быть, чего добраго, скажетъ еще и спасибо. Эта сценка, повторяю, случилась давно, очень давно, еще въ самомъ началѣ введенія судебной реформы, которой ждали тогда—одни, какъ манны небесной, способной исцѣлить, заживить наши наболѣвшія раны, другіе—съ нескрываемой злобой и страхомъ за свои насиженныя мѣста, за прошлые грѣхи, благополучно таившіеся до сихъ поръ подъ спудомъ въ тысячи пудовъ исписанной въ канцеляріяхъ бумаги, — за все то, чему такъ или иначе угрожалъ новый кодексъ, угрожала эта новая, эта «ужасная» гласность.

Интересно было это время, но говорить о немъ я не буду… Мало сказать о немъ нельзя, много—не пришелъ еще часъ. Все это еще слишкомъ близко, слишкомъ ярко стоитъ въ личныхъ воспоминаніяхъ. Да, слишкомъ ярко! Ясно увидѣть абрисъ солнца можно только сквозь очень тусклое, очень закопченое стекло… Конечно, со временемъ, когда цѣлый рядъ лѣтъ, какъ тусклое стекло, протянется между художникомъ и тою эпохой, она явится въ рельефныхъ картинахъ и образахъ. Тогда станетъ понятнымъ, откуда взялись этотъ характеризующій ее подъемъ духа, эта святая вѣра, этотъ идеализмъ, широкой волной хлеснувшій отъ края до края, откуда, наконецъ, взялись какъ-то разомъ, вдругъ, эти небывалые характеры, умы, типы… Теперь же… теперь я лучше вернусь къ тому, что хотѣлъ разсказать.

Реформа была уже введена, но насъ, нашего глухого захолустья, она еще не коснулась. У насъ ее только ждали, ждали навѣрняка, несмотря на исключительное положеніе края, но ожиданіе это тянулось довольно долго. Понятно, захолустье кипятилось, волновалось, спорило, предугадывая то тѣ, то другія послѣдствія «новшествъ», каждый на свой ладъ, позабывъ на время карты, сплетни, — все то, что до сихъ поръ только и волновало мутною рябью тихій омутъ сонной жизни. Исправникъ, напримѣръ, окончившій впослѣдствіи свои дни въ отставкѣ подъ судомъ, увѣрялъ всѣхъ, что «честнымъ» людямъ скоро совсѣмъ не будетъ мѣста; его зять, проводившій линію желѣзной дороги, инженеръ Жонгловичъ, вздыхалъ, что съ

рабочими теперь не будетъ - де сладу. Уѣздный судья, оставшійся за штатомъ, сулилъ грабежи и убійства, потому что «мерзавцы» непремѣнно-де будутъ бродить на просторѣ... Ихъ дамы о реформѣ собственно ничего не думали, интересуясь всецѣло лишь будущими дѣятелями ея, въ ожиданіи которыхъ шили новыя платья. Масса, народъ, какъ всегда, молчалъ про себя не то тупо, не то безучастно, не то выжидая, прислушиваясь. Мы, нашъ небольшой, очень юный еще кружокъ идеалистовъ, жившій молодыми, свѣтлыми порывами къ правдѣ, мы, мѣстные либералы, ликуя, сгорали отъ нетерпѣнія.

И вотъ, послѣ долгаго, томительнаго ожиданія, въ одинъ свѣтлый, весенній день въ городкѣ пронеслась тревожная и жгучая вѣсть: пріѣхали! На почтовой тройкѣ, окутанные тучей сѣрой пыли, пріѣхали къ намъ назначенные изъ столицы мировой судья и товарищъ прокурора, еще совсѣмъ, совсѣмъ молодые люди. У исправника немедленно открылся мучительный геморой, судья потерялъ аппетитъ, инженеръ зачѣмъ-то полетѣлъ на линію; дамы бо-монда заслонили собой узкіе деревянные мостки, замѣнявшіе тротуары. Кажется, всѣ ждали какихъ-то особенныхъ явленій, знаменій, но ничего такого, понятно, не являлось. Проходилъ день за днемъ, все оставалось попрежнему, и тревога мало-по-малу стала улегаться. Пріѣхавшіе, вмѣсто какихъ-нибудь небывалыхъ дѣйствій, всецѣло погрузились въ пріемъ и разборъ старыхъ «дѣлъ», нигдѣ не показываясь, не дѣлая визитовъ, и только по вечерамъ, въ кургузыхъ столичныхъ пиджакахъ, выходили подышать пыльнымъ воздухомъ уѣзднаго городишки.

«Интересность» исчезла, и кругомъ наступило разочарованіе, для однихъ, можетъ-быть, очень пріятное, для другихъ—больное... Исправникъ справился съ геморроемъ и сталъ, кажется, допускать, что, чего добраго, и теперь еще «честнымъ» людямъ можетъ найтись мѣсто. Бомондъ негодовалъ, возмущался, убійственно иронизировалъ, такъ какъ новыя платья оказались сшитыми напрасно, ожиданія не сбылись, «кавалеры» не визитировали, а все только возились со своими «противными» дѣлами, не обращая, повидимому, ни малѣйшаго вниманія на всѣ амуры. Однѣ кричали, что это «гордецы», на которыхъ «вовсе не стоитъ обращать вниманія»; другія успокаивали кричавшихъ увѣреніями: «ахъ, ma chère, они совсѣмъ не похожи на столичныхъ,—это совсѣмъ не кавалеры, а какіе-то, вѣроятно, фи! Мы, разочарованные, невеселые,—мы возмущались и негодовали тоже... Мы ждали не того и не такихъ!

Во-первыхъ: «товарищъ прокурора»! Обвинитель и только!.. Никакихъ другихъ функцій прокуратуры мы знать не желали, не признавали, не хотѣли видѣть... Въ общемъ онъ показался намъ тѣмъ же стариннымъ, пріѣвшимся стряпчимъ, обязаннымъ лишь гласно обвинять каждаго, кто такъ или иначе будетъ заподозрѣнъ въ томъ или другомъ нарушеніи, а эти нарушенія и обвиненія въ нихъ давно уже истомили, измозолили наши души. Словомъ, ничего, казалось, новаго, отраднаго, исцѣляющаго «товарищъ прокурора» внести намъ не могъ и являлся лишь прежнею, только въ новой формѣ, угрозой всѣмъ нашимъ дѣяніямъ, хотѣніямъ и т. д., которыя такъ легко всегда подвести формально подъ ту или другую статью. О прокурорѣ, какъ блюстителѣ закона и общественнаго права, мы ничего, конечно, не знали, ибо самый законъ мы видѣли лишь въ шкапахъ канцелярій, подъ замкомъ, а слово «право» въ умахъ многихъ и многихъ до сихъ поръ имѣло самое превратное значеніе.

— Пра-во?! Ишь ты, правъ захотѣлъ!.. Да я тебѣ, сякой-такой сынъ, такое право покажу, что ты и своихъ-то не узнаешь!..

Вотъ и все, что мы знали до сихъ поръ о правѣ.

Во-вторыхъ: внѣшность!.. Мы ждали чего-то степеннаго, чуть ли не грандіознаго, но, во всякомъ случаѣ, внушительнаго, важнаго, чего-то импонирующаго... и вдругъ: эти кургузые пиджачки, тросточки, лорнетки, эти изможденныя столичныя лица, почти еще безусыя, эти столичныя манеры, напоминавшія намъ юркихъ губернскихъ чиновниковъ особыхъ порученій, носящихъ букеты и шали за своими начальницами. Что могли, казалось, внести новаго люди съ такими лицами и манерами? эмблемами какихъ идей могли служить эти гибкія красивыя тросточки, перчатки и монокли?! Конечно, ничего и никакихъ, и лучшимъ подтвержденіемъ этого служило, казалось, то, что

кругомъ ничто не измѣнилось, что пріѣзжіе рылись только въ дѣлахъ, ничѣмъ точно не интересуясь, а исправникъ и его присные попрежнему продолжали летать на «парахъ съ отлетомъ».

— Я вамъ, меррр-завцы!!..

Все это звучало постарому.

II.

Инженеръ Жонгловичъ вернулся съ линіи блѣдный, растерянный и прямо, конечно, бросился къ тестю. Его опередили слухи, что на линіи неспокойно, что рабочіе, до сихъ поръ только глухо ворчавшіе на надувательства при расчетахъ и гнилую пищу, вдругъ заговорили громче, выведенные положительно изъ терпѣнія. Жонгловичу, правда, не разъ уже доставалось на линіи, но при содѣйствіи всемогущаго тестя все улаживалось благополучно, — «мерзавцамъ, толковавшимъ о правахъ», эти права прописывались въ соотвѣтствовавшей формѣ, и непріятныя дѣла, такимъ образомъ, всегда оканчивались къ выгодѣ инженера, бумажникъ котораго все надувался, какъ всосавшійся клещъ. Всѣ это знали, видѣли, давно съ этимъ почти примирились, но теперь, съ пріѣздомъ новыхъ, чего добраго, дѣло могло принять другой оборотъ и повести къ нежелательнымъ разоблаченіямъ. Понятно, было отъ чего встревожиться, поблѣднѣть и растеряться, тѣмъ болѣе, что слухи гласили о цѣлыхъ тысячахъ рублей, преспокойно остававшихся въ бумажникѣ инженера, вмѣсто того, чтобы перейти по принадлежности къ рабочимъ на линіи. Нужно было все предупредить, пресѣчь, чтобы виновные получили свою обычную мзду, а Жонгловичъ — свои тысячи.

Городокъ опять всполошился, пошли всякіе толки, слухи, сплетни, передававшіяся то громко, то шопотомъ, съ подмигиваніемъ, съ намеками, всѣмъ понятными, подчасъ остроумными и злыми. Говорили за вѣрное: такъ какъ претензіи неоспоримы, то все дѣло направлено будетъ къ тому, чтобы вызвать толпу, несдержанную, выведенную изъ терпѣнія, голодную, на шумъ, крикъ, буйство, дать ей расходиться, а затѣмъ, затѣмъ... нагрянуть... и... Всѣмъ становилось понятнымъ, что слѣдовало за этимъ *и*,— прецедентовъ въ прошломъ было не мало,—и всѣ склонялись къ тому, что дѣло именно такъ и кончится. Пріѣзжіе, которыхъ такъ опасались, все продолжали рыться въ бумагахъ, ни къ чему, повидимому, не прислушиваясь, ни на что не обращая вниманія.

Мы уже не кипятились, не волновались,—мы просто негодовали. Это непозволительное безучастіе, бросавшееся въ глаза, какъ бы подчеркиваемое даже нежеланіе видѣть и слышать возмущали насъ до глубины души. Вотъ тебѣ и реформа, вотъ тебѣ и дѣятели! Мы кричали, шумѣли, нарочно собираясь въ ресторанѣ, гдѣ пріѣзжіе упражнялись по вечерамъ на бильярдѣ, но тѣ и ухомъ не вели... Насъ, очевидно, они смѣшивали со всѣми и даже не прислушивались, казалось, къ нашимъ рѣчамъ, стуча своими шарами. Это, естественно, обижало насъ, сердило, и разъ мы не выдержали.

— Вы, кажется, прокуроръ?—обратился къ пріѣзжему, послѣ долгихъ и напрасныхъ усилій обратить на свои рѣчи вниманіе, самый пылкій изъ насъ; ему было всего восемнадцать лѣтъ.—Если не ошибаюсь, прокуроръ, да?!

Тотъ опустилъ кій.

— Товарищъ прокурора... — вѣжливо поправилъ онъ съ сдержаннымъ полупоклономъ.

— Это все равно... Такъ позвольте, если это не нескромно... если... позволите...

— Къ вашимъ услугамъ, — перебилъ тотъ также сдержанно:—что вамъ угодно?..

— Видите ли... Мы всѣ, — вотъ мои товарищи и я, — мы всѣ, словомъ, если позволите...

Онъ смѣшался, но мы всѣ бросились къ нему на помощь.

— Мы считали бы своимъ долгомъ обратить ваше вниманіе,—кричали мы въ перебой,—на то, что дѣлается на линіи... Неужели вы ничего не слышали?.. Неужели вы не знаете слуховъ?.. Слухи гласятъ, что...

Тотъ пожалъ плечами.

— Господа,—перебилъ онъ насъ уклончиво:—вѣдь слухи—только слухи... Можно ли руководствоваться слухами?.. Нужны факты, а гдѣ же они?..

— Но развѣ вы не знаете, что говорятъ въ городѣ про инженера и исправника?

— Господа, у васъ ни про кого не говорятъ хорошо въ городѣ... Всѣ обвиняютъ другъ друга...

Это, положимъ, была чистая правда, но для насъ мало убѣдительная.

— А домъ, что нажилъ инженеръ, а рысаки, а пиры?!—кричали мы, стараясь поскорѣе выложить все накипѣвшее.—Вѣдь это все грабежъ!..

Прокуроръ нахмурился, поднялъ глаза въ упоръ.

— Вы можете подтвердить это офиціально?—спросилъ онъ сухо и строго.

— Конечно, нѣтъ!..

— То-то!

— Но vox populi!..

— Vox populi, господа, обвинялъ христіанъ въ пожарѣ Рима, если помните,—наставительно продолжалъ прокуроръ.

— Значитъ, — растерянно бормотали мы, не зная, что сказать,—значитъ...

— Значитъ,—подхватилъ прокуроръ,—нужны факты... Я цѣню ваше рвеніе... Вы честно, какъ и должна молодежь, возмущаетесь нехорошимъ, но вѣдь все это только слухи...

Онъ взялъ кій и повернулся къ бильярду, за которымъ стоялъ его товарищъ, мировой судья, оглядывавшій насъ все время изъ-подъ очковъ любопытнымъ взглядомъ, а мы, сконфуженные, растерянные, сбитые съ позиціи, разошлись, порѣшивъ разъ навсегда ни за чѣмъ и ни съ чѣмъ къ нимъ не обращаться. Мы были убѣждены, что реформы не будетъ, что все пропало, и махнули рукой на всѣ свои золотые сны и надежды.

— Эхъ, эти столичные гуси...

Будь у насъ еще хоть малѣйшая доля колебанія въ такомъ рѣшеніи, она разсѣялась бы, какъ дымъ, отъ однихъ любезныхъ раскланиваній «столичныхъ гусей» (иначе мы ужъ не звали пріѣзжихъ) съ инженеромъ и исправникомъ, свидѣтелями которыхъ мы не разъ бывали на улицѣ. Послѣдніе мило улыбались, дѣлали всякіе подходцы, проявляли необычайное заискиваніе, на что первые отвѣчали хотя сдержанно, но всегда крайне вѣжливо, точно вполнѣ порядочнымъ людямъ. Это приводило насъ въ злобную радость, мы зло хохотали и иронизировали, подмигивая другъ другу... «Уже спѣлись!» — говорили наши взоры, и мы ждали только самыхъ ничтожныхъ фактовъ, чтобы выступить съ горячей обличительной корреспонденціей, полной самыхъ ядовитыхъ намековъ на тему «рука руку моетъ». Факты эти, казалось, были не за горами... Слухи о ропотѣ на линіи все росли, а вмѣстѣ съ тѣмъ росли улыбочки исправника, какія-то темныя угощенья кого-то на заднемъ дворѣ исправницей, — росла подозрительная суета разныхъ десятскихъ на линіи... Разъ мы даже слышали, какъ исправникъ увѣрялъ въ ресторанѣ «столичныхъ гусей», что «съ рабочими совсѣмъ нѣтъ сладу», что не будь его зять инженеръ такъ уступчиво - добродушенъ, такъ мягокъ и безумно щедръ,—давно не миновать бы безпорядка. Тѣ слушали невозмутимо, точно соглашаясь, и продолжали тянуть вино изъ своихъ стакановъ, какъ ни въ чемъ не бывало... Мы, понятно, вознегодовали еще больше и разъ, когда прокуроръ вздумалъ намъ поклониться, какъ старымъ знакомымъ, мы отвернулись, сдѣлавъ видъ, что не замѣчаемъ поклона.

— Еще кланяться вздумалъ!.. Ишь ты!..

А тревожные слухи, распространявшіеся все больше и больше, перешли, наконецъ, въ дѣйствительность. Въ одно прекрасное утро съ быстротой молніи облетѣла городокъ жгучая вѣсть, что подъ самымъ городомъ нѣсколько тысячъ человѣкъ бросили работу и «бунтуютъ», т.-е. требуютъ къ себѣ инженера, выдачи заработной платы и вѣрнаго расчета. Весь городокъ моментально поднялся на ноги, засуетился, задвигался, зашумѣлъ. Исправникъ созвалъ команду, что-то крича о бунтахъ и стачкахъ; инженеръ увѣрялъ встрѣчныхъ и поперечныхъ, что онъ тутъ ни при чемъ, что рабочіе врутъ, и т. д. Одни вѣрили ему, другіе не вѣрили; одни ругали его, другіе—толпу, но всѣ почти бросились за городъ, къ мѣсту дѣйствія. Цѣлый рядъ экипажей, поднимая тучи пыли, поднялъ всѣхъ скучавшихъ, всѣхъ обрадованныхъ «случаемъ» на интересное зрѣлище съ моноклями, биноклями, даже съ виномъ и закусками. За городомъ, — можно было подумать,—шелъ какой-то веселый праздникъ, живой, веселый пикникъ.

А тамъ, на солнцепекѣ, густо усѣявъ земляную насыпь, воздвигнутую своимъ же трудомъ, собралась громадная, что-то глухо галдѣвшая толпа, одѣтая въ ново-

образимые лохмотья. Даже яркое солнце, даже блескъ чуднаго весенняго утра не скрашивали ея угрюмаго, тяжелаго вида. Она все кричала, шумѣла, но что—разобрать было пока трудно, — до насъ долетали только обрывки, какіе-то неопредѣленные выкрики: «по правдѣ», «расчетъ», «отдай»!.. Все это дополнялось жестами лихорадочными, возбужденными движеніями рукъ, какою-то общей суетой, характеризующей всегда большое, возбужденное сборище людей. Чуялась гроза,—вдали уже виднѣлась команда, и жутко, какъ-то до слезъ больно становилось за этотъ людъ, за его обиду, которую онъ не сумѣетъ ни выяснить ни отстоять. Жутко становилось, потому что мы знали, какъ и къ чему будетъ направлено дѣло; жутко было и за себя. за свое безсиліе помочь... Мы знали все и, предвидя поруганіе закона и права, дрожали отъ безсильной злобы, отъ обиднаго до боли сознанія своего безсилія...

III.

А гроза приближалась,—толпа, казалось, выходила изъ себя...

Эти крики и угрозы, этотъ видъ команды, выведенный противъ толпы, пришедшей искать себѣ правды, просить только своего права и защиты закона, усиливали ея раздраженіе. Было очевидно, что вся она, какъ одинъ человѣкъ, собралась сразу, двинутая одними общими побужденіями, желаніями, потребностями,—собралась стихійно, какъ сбираются въ кучу песчинки, поднятыя вихремъ, а отъ нея требывали вдругъ указанія зачинщиковъ, которыхъ она не знала, не видала, потому что таковыхъ, конечно, и не было вовсе. Не имѣя ни малѣйшаго понятія о легальныхъ и нелегальныхъ формахъ, чувствуя себя на почвѣ своего права и закона, не понимая, не зная, что сборище ея само по себѣ можетъ быть уже нарушеніемъ извѣстныхъ постановленій, она просила справедливости, суда, просила разобрать ея нужды, но ея не слушали, ей кричали: «расходись!» Она считала себя представительницей правды и законности, нарушенныхъ другими, она вся была проникнута вѣрой въ возможность найти и правый судъ и справедливость, была строго лойяльна, — ей кричали: «бунтовщики!» И все это, конечно, только увеличивало ея раздраженіе, усиливало недоразумѣніе, приводило къ тому, что сама она, строго лойяльная въ душѣ и понятіяхъ, безусловно преданная отвлеченной идеѣ строго справедливой власти, считала бунтовщиками, нарушителями закона тѣхъ, кто разгонялъ ее и не слушалъ.

— Рррас-хо-дись!..

— Мы найдемъ судъ!.. Мы и дальше пойдемъ!.. Къ министрамъ пойдемъ!..—кричала толпа.

— Куда угодно!.. Рррас-хо-дись!

Этотъ насмѣшливый, холодный отвѣтъ зажегъ негодованіемъ и насъ и толпу, но она еще сдержалась... Инстинктивно ли чуя, или понимая, что ее хотятъ вывести изъ себя, она сама успокаивала болѣе строптивыхъ...

— Шш... шш... — унимала толпа отдѣльные крики и взрывы:—шш... тише... Солдатъ, выходи... говори!

Старый николаевскій солдатъ вынырнулъ изъ передней кучи.

— Ты кто?

— Богу, государю двадцать-пять лѣтъ служилъ!.. Подъ Севаст...

— Бунтовщикъ!..

— Я-то?! Двадцать - пять лѣтъ Богу, государю... Подъ Сев...

— Вонъ!

— По закону мы хотимъ,—не унимался солдатъ,—по закону... Какъ законъ говоритъ... Деньги отдайте...

— Взять его, зачинщика!—раздался приказъ, но солдатъ юркнулъ въ ряды.

— Деньги отдайте! Ѣсть нечего!—заголосила вдругъ толпа, какъ одинъ человѣкъ.

Жонгловичъ выглянулъ изъ-за тестя.

— Нѣтъ денегъ... Въ лавочкахъ берите,—я кредитъ приказалъ открыть...

— Ишь ты... въ лавочкахъ. Тамъ съ насъ рубахи сдираютъ, въ твоихъ лавочкахъ...—вспыхнула толпа.—Деньги отдай...

— Нѣтъ денегъ... Вы и такъ перебрали...

Онъ совралъ, можетъ-быть, необдуманно, не разсчитавъ послѣдствій, а можетъ-быть, и съ тѣмъ, чтобы поднести, такъ сказать, фитиль къ готовой минѣ... Толпа дрогнула... До сихъ поръ неразочарованная въ возможности получить, можетъ - быть, хоть что-нибудь, и поэтому все-таки коекакъ сдержанная, она увидѣла теперь, что надежды нѣтъ, что она не получитъ ни-

чего, что она обманута, и, точно пораженная этимъ, на моментъ вдругъ замолкла... Наступила страшная, напряженная тишина, въ которой все, казалось, застыло, мертво и неподвижно... Но эта была та роковая тишина передъ бурей, роковымъ ударомъ, передъ страшнымъ стихійнымъ взрывомъ,— тишина, что страшнѣе самой катастрофы, болѣзненнѣй, жутче... Секунды такой тишины сходятъ подчасъ за годы... У меня захватило дыханіе, ноги задрожали,—я забылъ, казалось, и свое негодованіе и злобу,—я весь былъ охваченъ однимъ страшнымъ и острымъ, какъ отточенная сталь, ожиданіемъ... Всѣ зрители, всѣ сбѣжавшіеся и съѣхавшіеся горожане вытянулись, блѣдные, затаивъ дыханіе, вперивъ въ толпу неподвижные испуганные взгляды.

А страшно молчавшая толпа дрогнула еще разъ, дрогнула какъ-то конвульсивно, и по ней, по ея густымъ, плотно стиснутымъ рядамъ, пробѣжалъ какой-то неясный шопотъ, не то шелестъ, точно легкій вѣтеръ поднялъ гдѣ-то слежавшуюся кучу сухихъ осеннихъ листьевъ... Моментально этотъ шелестъ выросъ въ глухой звукъ точно близкаго морского прибоя,—нераздѣльный, неясный, смутный... Еще моментъ—и все кругомъ разлилось цѣлымъ ревомъ, неудержимымъ, бѣшенымъ ревомъ, въ которомъ тонули, какъ тонутъ въ морѣ дождевыя капли, и слова, и возгласы, и отдѣльные крики...

Исправникъ отскочилъ.

— Бей, гони!..

Мною овладѣлъ ужасъ, который мѣшалъ мнѣ видѣть, понимать, отъ котораго я дрожалъ, какъ листъ. Все спуталось, слилось у меня въ глазахъ; я слышалъ только этотъ отчаянный ревъ... я видѣлъ какую-то суету и смятеніе... Еще только моментъ, казалось, одинъ только моментъ... но вдругъ все смолкло, остановилось, замерло,—какое-то неясное движеніе, какъ судорога, какъ легкая струйка на зеркальной водяной глади отъ всплеснувшей рыбы, и въ ясномъ воздухѣ застыли и люди, и поднятыя руки, и сжатые кулаки... Кто-то пробрался въ толпу, на которую, казалось, слетѣлъ вдругъ голубь мира съ масличною вѣтвью, но кто и съ чѣмъ—различить сразу было нельзя...

— Именемъ закона!..

Да, только два этихъ слова, всего два слова раздались въ наступившемъ, точно мертвомъ безмолвіи, и все продолжало оставаться также неподвижно, точно пораженное магическимъ жезломъ, точно очарованное или изумленное... Кто, какой волшебникъ унялъ вдругъ внезапно вспыхнувшую, разъяренную стихію, какая нечеловѣческая сила моментально остановила готовую разразиться бурю?.. Я увидѣлъ, какъ съежился Жонгловичъ, какъ поблѣднѣлъ исправникъ, какъ, вздрогнувъ, отхлынула толпа, какъ странно блеснули ея глаза,—но я еще не понималъ ничего, не могъ разглядѣть, почти не вѣрилъ себѣ, весь охваченный очарованіемъ этой дивной непередаваемой картины.

— Именемъ закона!

Теперь я все понялъ, разглядѣлъ, увидѣлъ... Туда, гдѣ кипѣли и бушевали страсти, вошелъ представитель закона и права,—вошелъ неожиданно прокуроръ съ своимъ товарищемъ, судьей, и это онъ произнесъ эти два волшебныя слова... Да полно, онъ ли это,—это человѣкъ, отъ котораго повѣяло на всѣхъ такой силой и мощью, такою особенною человѣческою красотою? Мы колебались, мы не вѣрили себѣ... Мнѣ, намъ всѣмъ онъ показался теперь и выше и стройнѣе,—его глаза сверкали, лицо было блѣдно, губы, казалось, дрожали отъ волненія или негодованія,—не знаю, но онъ стоялъ ровно, смѣло и гордо...

— Именемъ закона!

Всякое волненіе исчезло, поднятыя руки опустились, заступы и ломы исчезли... Толпа дрогнула вновь, по ней вновь пробѣжалъ какой-той неясный шопотъ, точно шелестъ, но уже не предвѣстникъ бури, а яснаго ведра, мира, покоя... Не знаю, что чувствовалось тамъ, въ толпѣ, но у меня что-то свалилось, я вздохнулъ вдругъ глубоко и вольно, въ глазахъ у меня блеснули какія-то теплыя благодатныя слезы... Какая-то странная волна тепла хлынула вдругъ на душу, точно изъ оковъ вырвавшуюся отъ давившихъ ее злобы и негодованія, и хотѣлось улыбнуться, хорошо, счастливо улыбнуться, и по-дѣтски счастливо заплакать... Исчезли, провалились куда-то безслѣдно и злоба, и негодованіе, и боль,—все, все исчезло, кромѣ одного безграничнаго, человѣческаго счастья отъ сознанія торжества права. Я вытянулся,—мнѣ показалось, что я вдругъ выросъ, что я не нуль, не ничто, не без-

сильное, ничтожное, существо, ни съ чѣмъ не связанное, никому не нужное, съ одною больною обидой въ душѣ, — я почувствовалъ себя гражданиномъ, человѣкомъ, у котораго есть и родина, и законъ, и право.

— По предоставленному мнѣ закономъ праву, я открываю здѣсь засѣданіе!..

Это произнесъ уже судья, и сквозь туманъ, застилавшій мнѣ глаза, я увидѣлъ, какъ ярко сверкнула на солнцѣ его золотая судейская цѣпь... Кругомъ царило безмолвіе, какъ въ храмѣ, и то же благоговѣніе, мирное, торжественное, покойное,— благоговѣніе, которое охватываетъ какъ-то невольно, неудержимо, всецѣло,—охватило всѣхъ. Только жаворонки, кружась гдѣ-то высоко-высоко въ безмятежной, ясной лазури, разливались тамъ звонкою трелью, точно радуясь и людямъ, и солнцу, и царившему миру, да зеленые листья вѣчно непокойныхъ придорожныхъ осинъ что-то тихо, почти безшумно шептали...

## IV.

Судья что-то говорилъ, что-то спрашивалъ, но что и какъ —теперь я не помню. Да и врядъ ли я слышалъ что-нибудь тогда, переживая такъ много и такъ глубоко въ короткія, быстролетныя минуты, охваченный такимъ сильнымъ, такимъ острымъ ощущеніемъ счастья. Я, кажется, больше чувствовалъ, чѣмъ понималъ и видѣлъ, угадывалъ, чѣмъ ловилъ слова и выраженія. Помню, что въ толпѣ пронесся точно вздохъ облегченія, вырвавшійся изъ тысячныхъ человѣческихъ грудей; помню, что блѣдный, дрожащій, перепуганный Жонгловичъ громко увѣрялъ судью, что непремѣнно удовлетворитъ всѣ претензіи и немедленно приступитъ къ расчету. Онъ вынулъ туго набитый бумажникъ и положилъ его на грубый дощатый столъ, явившійся, вѣроятно, изъ рабочихъ бараковъ, за которымъ судья что-то писалъ. Сконфуженный, блѣдный исправникъ дѣлалъ усилія мило улыбаться прокурору, но тотъ стоялъ невозмутимо, гордо, сдвинувъ сердито брови, точно не видя этихъ подходцевъ...

Вдругъ судья поднялся.

— По указу...—началъ онъ,—и толпа, какъ одинъ человѣкъ, грохнулась на колѣни, слушая, затаивъ дыханіе.

Чтеніе кончилось, и наступилъ моментъ напряженнаго безмолвія... Но вотъ что-то дрогнуло, поднялось, что-то шевельнулось, что-то большое, тысячегрудое вздохнуло или зашептало... Молитву или что-то другое зашептала толпа, — не знаю, но она крестилась, — я это видѣлъ... И вдругъ страстное, громкое «ура» потрясло воздухъ, и вдругъ эта толпа, еще незадолго передъ тѣмъ разъяренная, буйная, ожесточенная толпа, которой неминуемо угрожалъ, казалось, впереди острогъ, ликуя, въ страстномъ волненіи, проливая счастливыя слезы, вся охваченная восторгомъ, подняла на руки высоко-высоко представителей закона и права...

Мы тоже бросились къ нимъ и схватили ихъ руки... Наши уста хотѣли сказать имъ много, но какая-то судорога мѣшала намъ говорить, и мы только безмолвно жали ихъ руки... Впрочемъ, и они тоже жали наши руки безмолвно, только хорошо улыбаясь... Имъ тоже что-то мѣшало говорить,—они оба задыхались, и по блѣднымъ щекамъ ихъ тоже текли слезы...

# Жидъ.

## V.

Гурвейсъ былъ однимъ изъ бѣднѣйшихъ въ университетѣ, но эта бѣдность ничуть не мѣшала ему считаться однимъ изъ лучшихъ студентовъ по работамъ и знаніямъ. Онъ шелъ лучше и впереди многихъ и многихъ, обезпеченныхъ и большимъ досугомъ и довольствомъ, даже комфортомъ, снабженныхъ массою книгъ и руководствъ, несмотря на то, что громадную часть сутокъ ему приходилось отдавать репетиторству, бѣганью по грошевымъ урокамъ, которыми онъ снискивалъ себѣ свое скудное студенческое пропитаніе. Не однѣми врожденными способностями, конечно, обусловливалось это,—громадную роль играла тутъ врожденная, унаслѣдованная отъ отца и дѣдовъ привычка, способность къ труду, выносливость и выдержка въ работѣ. Не избалованный ничѣмъ съ дѣтства, съ дѣтства пріученый уважать трудъ, глядѣть на него, какъ на долгъ, святую обязанность человѣка, пролетарій, пріученный полагаться во всемъ только на свои собственныя руки, свою голову,—онъ и на ученье смотрѣлъ, естественно, не какъ на прихоть, средство получить дипломъ, а съ нимъ

извѣстное положеніе, или необходимый искусъ, требуемый законами свѣта, какъ смотрѣли, напримѣръ, многіе и многіе изъ насъ, балованныхъ «маменькиныхъ» сынковъ, а какъ на тотъ же долгъ, при чемъ сама наука становилась для него чѣмъ-то въ родѣ культа. «Это въ крови у меня,— говаривалъ онъ намъ, часто удивлявшимся его выносливости, работѣ, терпѣнью, недоумѣвавшимъ, откуда черпаетъ онъ, худой, полуголодный, изможденный, такую силу,— это въ крови у меня. Весь нашъ жидовскій родъ—пролетаріи... Прадѣдъ, дѣдъ, отецъ, не разгибая спины, выкармливали поколѣніе за поколѣніемъ иголкой... Это родовая иголка такимъ меня сдѣлала... Я въ гербъ свой всадилъ бы ее, кабы былъ у меня гербъ». Иголка-то, положимъ, иголка, но и человѣкъ, думаю я, державшій эту иголку изъ году въ годъ, изъ рода въ родъ на благо и пользу людямъ, что-нибудь тутъ да значитъ.

Отецъ его, какъ и дѣдъ, какъ и прадѣдъ, не совершалъ походовъ, не бралъ никого въ плѣнъ; если усмирялъ кого, то только шуструю дѣтвору, черезчуръ безцеремонно обращавшуюся съ иголками и нитками и, можетъ-быть, немного легкомысленно относившуюся къ приказу сидѣть смирно и долбить книги,— вообще никакихъ подвиговъ и доблестей не проявилъ. Старый Мойшъ, какъ нѣкогда его дѣдъ и отецъ, работалъ иголкой на весь захолустный уѣздый городокъ, обшивалъ въ немъ всѣхъ, начиная съ городичнаго, разгонявшаго зачастую хандру нападеніями на еврейскіе пейсы,—то было вѣдь доброе старое время,—до франта стряпчаго включительно, носившаго узкія брюки, лайковыя перчатки и напѣвавшаго всѣмъ захолустнымъ дѣвицамъ: «ты не повѣришь». Что дѣлали бы львы и не львы городка, чѣмъ бы прельщали городскія дамы и дѣвы кавалеровъ, не будь старика Мойша съ его «парижскими фасонами» изъ Берлина, право, не знаю, но думаю, что не одно сердце помогла притянуть его иголка, не одну свадьбу она сшила. Много работала эта иголка, очень много; давала только мало, плохо защищала отъ голода и холода семью портного, который, какъ истый жидъ, не роптала на лишніе рты, а все просилъ Бога о приращеніи все новыхъ и новыхъ. И новые рты все прибывали и прибывали. Мойшъ радовался и, радуясь, все сильнѣе, все страстнѣе работалъ своей иголкой.

Но если иголка плохо спасала отъ нищеты, зато она давала много досуга головѣ, а досугъ этотъ, какъ извѣстно, ведетъ часто къ страннымъ мыслямъ. Сидитъ, напримѣръ, Мойшъ скрючившись на своемъ табуретѣ за городническими фалдами или капотомъ интендантши,— сидитъ за полночь, когда вся семья уже давнымъ давно храпитъ вповалку,— а странныя мысли такъ и лѣзутъ, такъ и ползутъ, отгоняя сонъ и способствуя такимъ образомъ работѣ.

Тускло свѣтитъ огарокъ; шибко, механически ходитъ въ привычной рукѣ иголка: тихо, какъ-то визгливо-жалобно звучитъ крѣпко натягиваемая нитка, а Мойшъ все думаетъ о томъ, какъ бы хорошо было, люби люди больше другъ друга, уважай они человѣка, не справляясь о его родѣ и племени, о его достаткѣ.

Много еще разныхъ другихъ странныхъ мыслей толпится, наполняетъ его склоненную, отекшую надъ работой голову, но всѣ онѣ, точно у центра, вертятся около одного вопроса: какъ бы уберечь первенца, любимца Давида, отъ всѣхъ бѣдъ и напастей жизни, какъ бы спасти его отъ общаго презрѣнія и третированія, сопряженныхъ съ его жидовствомъ, съ этой обидной кличкой «жидъ»? Конечно,—думаетъ онъ,— будь онъ Ротшильдъ,—да что Ротшильдъ,— будь онъ простой банкиръ или хоть богатый купецъ, откупщикъ,—дѣло стояло бы иначе: Давидъ былъ бы Давидомъ, и никто не сомнѣвался бы въ томъ, что онъ такой же человѣкъ, съ такою же душой, сердцемъ, головой, какъ и всѣ. Доступа къ нему добивались бы самые знатные люди и жали бы ему руку, заискивающе улыбаясь. Но Давидъ, сынъ Мойша портного,— это не Давидъ, а только Дудь, жидочекъ. а потомъ жидъ, надъ которымъ можно и потѣшиться, котораго можно и выругать и побить, и сдѣлать безнаказанно всякую пакость. Что ужъ,— вздыхаетъ бывало Мойшъ,— большому кораблю большое море,— на то онъ и корабль, а челноку рѣчка,—на то и челнокъ онъ,—вздыхаетъ, а странныя мысли все лѣзутъ, все лѣзутъ и лѣзутъ, все твердятъ ему свое неизмѣнное: отчего бы и Давиду не быть кораблемъ и не плавать въ большомъ морѣ?— Нѣтъ у тебя богатства,—шепчетъ ему какой-то назойливый голосъ,—сдѣлай боль-

шимъ его сердце, развей его умъ, его силы... Пусть блеснетъ въ немъ человѣкъ во всей его красотѣ и мощи, и не гнать, а радоваться на него будутъ люди. Будетъ онъ ученымъ или докторомъ, и никогда не узнаетъ всего того, что выпадало дѣду и отцу за ихъ иголку. Тускло свѣтитъ огарокъ, жалобно воетъ въ трубѣ вѣтеръ, тихо, точно плачучи, звучитъ крѣпко натягиваемая нитка, а портной все думаетъ, сидя склонившись надъ своей работой, и слышитъ, какъ то же самое трещитъ ему свѣча, поетъ нитка, напѣваетъ вольный вѣтеръ.

Думалъ такъ Мойшъ, думалъ, — въ то далекое время это были еще еретическія мысли въ захолустьи, — изъ еврейскихъ дѣтей учились только единицы: дѣти богачей, крупныхъ тузовъ, почти отрекавшихся отъ еврейства,— думалъ и... надумалъ... Сшилъ изъ тончайшаго сукна вицъ-мундиръ и пошелъ съ нимъ къ директору въ школу съ поклономъ.

—Ваше-ство... — началъ онъ, переминаясь:—я и васъ обшивалъ и дѣтей вашихъ... Сдѣлайте мнѣ милость.

— Какую милость?—спросилъ его благосклонно старикъ-директоръ, оглянувъ новенькій вицмундиръ.

Кашлянувъ, Мойшъ собрался съ духомъ и выпалилъ вдругъ:

— Сына учить хочу. Пусть будетъ человѣкомъ, ваше-ство. Зачѣмъ и ему знать мою бѣду? Зачѣмъ ему, какъ и мнѣ, быть темнымъ? Примите, ваше-ство...

Помолчалъ старикъ-директоръ, подумалъ, вынулъ табакерку, щелкнулъ по ней пальцами, понюхалъ и протянулъ ее оробѣвшему Мойшу.

— Умный ты человѣкъ, Мойшъ, — сказалъ онъ, — и умное дѣло надумалъ.. Ученье—свѣтъ, неученье—тьма... Пусть ходитъ Давидъ учиться.

Такъ и сталъ Давидъ школьникомъ, а потомъ и студентомъ. Правда, много стоило этому старому Мойшу, много иступилъ онъ ради этого лишнихъ иголокъ, много перешилъ онъ лишнихъ нитокъ, да что за бѣда, — зато сынъ учился на славу и не только учился, а учась, умѣлъ еще и помогать семьѣ. Еще въ школѣ, съ четвертаго класса, онъ уже содержалъ самъ себя, а въ университетѣ грошевыми уроками умѣлъ не только зарабатывать на свое ученье, а и отсылалъ еще каждый мѣсяцъ что-нибудь домой, на помощь безчисленнымъ братьямъ и сестрамъ, чего не умѣли и не сумѣли бы никогда многіе и многіе изъ насъ. Для всего молодого еврейства своего захолустья студентъ Гурвейсъ сталъ живымъ фокусомъ, въ которомъ концентрировались всѣ ихъ симпатіи, надежды, смутные порывы къ свѣту, къ выходу изъ своего обособленнаго, замкнутаго тинистаго круга,—онъ вносилъ туда новыя понятія, новые взгляды, будилъ сонную, дремавшую отъ вѣка мысль. Все, что нѣкогда играло съ нимъ на улицѣ, валялось въ пыли, наполняя воздухъ характернымъ гамомъ еврейскихъ улицъ и переулковъ,—теперь, выросши, ждало отъ него, студента, а это слово отдавало тогда чѣмъ-то недосягаемо-высокимъ, чистымъ, чуть ли не святымъ въ душѣ не одного портного Мойша,— ждало отъ него указаній, совѣтовъ, наставленій, примѣра во всемъ. Однимъ онъ давалъ читать книги, указывалъ, что и какъ читать для самообразованія, другимъ помогалъ поступать въ школы, убѣждая родителей не стѣснять путь дѣтямъ старыми предразсудками, не бояться иновѣрныхъ школъ, высылалъ программы, велъ переписку съ тѣми, кто нуждался въ нравственной поддержкѣ,— вообще помогалъ всѣмъ, чѣмъ и какъ могъ. Захолустье вдругъ начало пробуждаться: изъ него молодежь потянулась въ школы, на курсы, даже за границу подъ ворчанье стариковъ, а имя Давида Гурвейса, къ счастью стараго Мойша, стало самымъ популярнымъ. Молодежь произносила его съ гордостью, съ свѣтлою улыбкой, которую даетъ только вѣра въ жизнь и свои силы; старики—съ плохо скрываемой боязнью, съ досадой за разбитые кумиры, порванные, разбитые впрахъ традиціи, завѣты сонной старины.

## VI.

Къ концу нашего ученья въ университетѣ маленькая Сербія, написавъ на своемъ знамени «независимость и свобода», бодро выступила войной противъ громадной и сильной тогда Турціи. Всѣмъ памятно еще, думаю, то лихорадочное возбужденіе, то страстное оживленіе, почти энтузіазмъ, съ какимъ отнеслись наше интеллигентное общество и печать къ этому факту, всѣмъ памятно, какимъ ореоломъ было окружено

имя генерала Черняева... Сочувствіе и интересъ къ борющимся «братьямъ» проникли даже въ народъ, который несъ имъ свои трудовые гроши; для всякихъ же «бо» и «гомондовъ» они стали почти обязательны, какъ послѣднее слово моды, какъ новенькій «рюшикъ» на оборкахъ прелестныхъ юбокъ. Предводительши, секретарши, казначейши и т. д. и т. д.—всѣ, занимавшіяся до сихъ поръ только ферлакурствомъ и вздохами, почуяли вдругъ необычайный приливъ нѣжности къ этимъ «милымъ братьямъ», щипали для нихъ своими розовыми пальчиками корпію и очень граціозно носили у бюстовъ неуклюжія кружки «для подаянія». Правда, немного спустя, многія изъ нихъ съ такимъ же энтузіазмомъ и пыломъ относились и къ плѣннымъ турецкимъ офицерамъ, но что же, спрашивается, дѣлать пылкому сердцу, горящему неугасимымъ пламенемъ, когда время ничего другого, кромѣ черноглазаго турка, ему не подноситъ?

Въ университетской же средѣ, всегда искренней, чуткой, самоотверженной, это увлеченіе было, конечно, не только неизмѣримо искреннѣе, но и сильнѣе. Тамъ для многихъ душъ, томившихся сомнѣніями, не знавшихъ, куда дѣвать себя, что съ собою дѣлать, сербское возстаніе явилось точно выходомъ, поданнымъ самою жизнью. Турецкая пуля страшила меньше, чѣмъ царившая въ душѣ путаница и разнорѣчіе, чѣмъ неопредѣленное прозябаніе безъ ясной цѣли, идеала и вѣры въ жизнь. И тамъ это увлеченіе, конечно, приняло иныя формы, чѣмъ корпія и «кружка» у бюста: тамъ люди записывались въ добровольцы, цвѣтъ нашего народа съ счастливою улыбкой шелъ на «чужой бранный пиръ», и именно какъ на пиръ. Правда, многіе изъ нихъ не держали до этого въ рукахъ оружія, многіе только теперь учились стрѣлять, но зато они всѣ умѣли умирать такъ, какъ только умѣетъ умирать наша юность. Горсть этихъ неумѣвшихъ стрѣлять юношей сдерживала цѣлую орду, заставляла ее терять голову, напрягать всѣ силы, опрокидывала регулярные батальоны, брала батареи. Смерть студента Ярошенко или учителя Гольдштейна, съ папироской въ зубахъ и револьверомъ въ рукѣ, продолжавшаго защищать батарею, вся прислуга и прикрытіе которой были перебиты, смерть многихъ и многихъ другихъ. лучше всего показываютъ, что и какъ умѣли дѣлать эти неумѣвшіе стрѣлять юноши..

Давидъ Гурвейсъ былъ въ числѣ многихъ другихъ, отправившихся прямо изъ университета на театръ войны въ распоряженіе генерала Черняева. Двинули его на этотъ путь, во-первыхъ, симпатія къ маленькому племени, храбро возставшему противъ сильнаго врага, симпатія къ его знамени, во-вторыхъ,—чувство товарищества: лучшіе его друзья записались въ добровольцы; въ-третьихъ,—убѣжденіе, что, какъ врачъ, онъ всего необходимѣе и полезнѣе будетъ именно тамъ, гдѣ больныхъ, искалѣченныхъ, изувѣченныхъ будетъ, несомнѣнно, больше, чѣмъ гдѣ бы то ни было. «Красный Крестъ» принялъ его въ одинъ изъ своихъ санитарныхъ отрядовъ, снабдивъ прекраснымъ хирургическимъ наборомъ, одинъ видъ котораго приводилъ Гурвейса въ неописуемый восторгъ,—онъ даже бредилъ имъ.

— Нѣтъ, вы посмотрите только,—кричалъ онъ намъ,—вынимая свои ножички, ланцеты, пинцеты и прочіе ужасы, отъ которыхъ упаси Богъ всякаго, любуясь ими, при чемъ какъ-то сладострастно щелкалъ языкомъ, — вы посмотрите только: отдѣлка-то, отдѣлка какая. Роскошь!

— Ты бы эту отдѣлку для себя приберегъ,—шутливо сердились мы, что ему очень нравилось,—живорѣзъ, костоломъ... Небось, на нашемъ братѣ думаешь отдѣлку-то эту пробовать...

— Придется, и на васъ попробуемъ,—шутилъ онъ въ тонъ, подергивая плечами.

— Ишь ты... Погоди, что-то запоешь. какъ попадешься въ плѣнъ къ туркамъ? Небось, отдѣлку-то эту забудешь...

— Отчего?.. Я и турокъ лѣчить буду. На нихъ буду пробовать...

— Ишь ты, перебѣжчикъ. Врагу ты на помощь придешь?

Этимъ шутливымъ замѣчаніемъ мы затрогивали его любимую тему и давали ему возможность вылиться цѣлыми потоками восклицаній. Онъ сейчасъ же разсыпался въ доказательствахъ, что больные не враги, а только больные, что врачъ не имѣетъ права имѣть враговъ.

— Такъ я и факультету присягалъ.—И онъ сейчасъ же цитировалъ слово въ слово эту гуманную присягу.

Все время войны Гурвейсъ провелъ не въ лазаретахъ, а на перевязочныхъ пунктахъ, подъ огнемъ, подъ выстрѣлами, всецѣло занятый своимъ дѣломъ. Правда, въ первое время, въ началѣ каждаго боя, онъ постукивалъ зубами, блѣднѣлъ, даже синѣлъ и какъ-то комично подергивалъ плечами, но мало-по-малу свыкся и работалъ спокойно, какъ самый обстрѣлянный врачъ. Звуки выстрѣловъ, которыхъ, по правдѣ говоря, онъ терпѣть не могъ, отъ которыхъ въ первое время вѣчно вздрагивалъ, жмуря глаза, очень скоро перестали его пугать и безпокоить совершенно.

— Ну-ну,—ворчалъ онъ только,—какая глупость эта война,—и дѣлалъ свое дѣло. Иногда, когда работа была особенно упорная, и его «прелестный наборъ» даже тупѣлъ отъ человѣческаго мяса, онъ забывался до того, что ничего не сознавалъ, не слышалъ, не видѣлъ, не понималъ, зато ругался и ворчалъ, какъ старая злющая баба. Ворчалъ и на себя, и на свой «прелестный наборъ», и на «глупую войну», и на «глупыхъ людей, которые дѣлаютъ такія глупыя раны»,—на все, что ни попадалось подъ руку, при чемъ неизмѣнно повторялъ: «чортъ». Въ концѣ-концовъ онъ свыкся до того, что могъ сойти за самаго отчаяннаго храбреца. Мнѣ не разъ приходилось слышать разсказы о томъ, какъ онъ, забывшись совсѣмъ за работой, кипятился, сердился и ворчалъ, когда отдавали приказъ перемѣнить мѣсто перевязочнаго пункта, становившееся опаснымъ, благодаря долетавшимъ пулямъ. «Вы мнѣ только мѣшаете съ своими приказаніями,— кричалъ онъ передававшему приказъ:— тутъ отлично работать... Пули я, ей-Богу, ни одной еще не видѣлъ».

«Увидѣть» пулю... Бѣдный малый, онъ только впослѣдствіи узналъ, какъ это можно «увидѣть» пулю, теперь пока онъ только ихъ слышалъ, но довольно гармоничный свистъ ихъ, повидимому, нимало не мѣшалъ его работѣ.

Разъ во время жаркаго боя на перевязочный пунктъ принесли раненаго въ ногу сербскаго полковника, извѣстнаго храбреца, старика, посѣдѣвшаго въ бояхъ съ турками, и большого друга Гурвейса. Тотъ, взволнованный донельзя, немедленно принялся извлекать пулю при помощи фельдшера, державшаго раненую ногу, но именно въ этотъ моментъ взвизгнула граната и лопнула недалеко, разбросавъ кругомъ щебень и песокъ. Перепуганный фельдшеръ выпустилъ ногу и, почти не дыша, упалъ на землю.

— Развѣ вы убиты?—нетерпѣливо и страстно крикнулъ Гурвейсъ, не оборачиваясь и возясь у раны.

— Нѣтъ, но... но...—отвѣчалъ фельдшеръ, съ трудомъ переводя дыханіе.

— Такъ зачѣмъ же вы выпустили ногу?

— Но граната, г. докторъ... граната...

— Да не гранату, а ногу,—говорю я, чортъ побери...

Раненый, какъ самъ онъ передавалъ послѣ, не могъ при этомъ удержаться отъ смѣха. Онъ готовъ былъ клясться, что Гурвейсъ за работой и своимъ волненьемъ не слышалъ лопнувшей гранаты.

Неудивительно, что его полюбили въ арміи всѣ, кто только имѣлъ съ нимъ какое-нибудь дѣло, что имя его пользовалось громадной популярностью. Одинъ гарибальдіецъ, старый ворчунъ, рубака, говоря о немъ, всегда вставлялъ неизмѣнное: «Corpo di Bacco», что въ вольномъ переводѣ могло значить, конечно, только одно: «молодецъ». «Corpo di Bacco» такъ намъ понравилось, что мы всѣ замѣнили прежнія школьныя прозвища Гурвейса сокращеннымъ «корпо». Это «корпо» усвоили скоро всѣ, и многіе въ наивности приняли даже за собственное имя, такъ что солдаты стали звать Гурвейса «докторъ Корпа», при чемъ уморительно склоняли это новое имя; а самъ Гурвейсъ быстро освоился съ нимъ, какъ и съ прежними.

— Ну, братцы, супротивъ Корпы ни одинъ дохтуръ не выстоитъ,—часто слышалъ я разсужденія нашихъ солдатъ и унтеръ-офицеровъ, попавшихъ въ добровольцы.

— Изъ отчаянныхъ... Сопитъ все да знай себѣ перевязываетъ... Вотъ только чорта все поминаетъ...

— Поминаетъ-то, поминаетъ, что и говорить... знать, привычка такая. А молодецъ парень... Совсѣмъ въ емъ какъ будто и страху нѣтъ...

— Да его, Корпу-то, и пуля не беретъ. Такъ мимо только и финтятъ кругомъ да около, а ни одна не беретъ. Знать, слово такое знаетъ...

Но онъ не зналъ такого слова, «и пуля все-таки взяла его»... Это случилось уже подъ конецъ войны, когда турки, разбивъ наголову нашу армію, благодаря непростительной

ошибкѣ штаба, какъ тогда говорили, съ яростью, неудержимо преслѣдовали ея разбитыя части. Отступленіе походило уже на бѣгство, но, отступая, все-таки дрались, и добровольцы, составляя авангардъ, какъ всегда, прикрывали штыками отступавшихъ. Турки тѣснили насъ со всѣхъ сторонъ и нѣсколько разъ чуть совсѣмъ не отрѣзали тылъ... Смятеніе было полное, паника почти неудержимая. Все смѣшалось въ какую-то безпорядочную, бѣгущую кучу: артиллерія, обозъ, пѣхота,—и все это толкало, тѣснило другъ друга, увеличивая смятеніе, превращая отступленіе въ паническое бѣгство, усугубляя общій безпорядокъ. Казалось, самъ адъ вынырнулъ изъ глубокихъ нѣдръ и затѣялъ на землѣ свою адскую оргію, въ которой стоны, крики, вопли замѣняли музыку, а смерть, вездѣ носившаяся смерть,—веселье. Визжа, какъ-то пронзительно ноя, летали гранаты, то тамъ, то сямъ лопавшіяся съ сухимъ особеннымъ грохотомъ въ воздухѣ и на землѣ, порою въ густой человѣческой кучѣ, раня, калѣча, уродуя падавшихъ людей; жужжали пули, какъ пчелы на солнцѣ у цвѣтущаго куста, укладывая человѣка за человѣкомъ. Самые хладнокровные, выдержанные, обстрѣлянные люди теряли головы, никакія увѣщанія не дѣйствовали, команды никто не слушалъ...

Въ это время Гурвейсъ возился на одномъ изъ перевязочныхъ пунктовъ, за холмомъ, откуда ничего не было видно, куда долеталъ только гулъ этой отчаянной человѣческой бойни. Къ нему тащили жертву за жертвой, и онъ, по обычаю, ворча и ругаясь, ходилъ между рядами несчастныхъ, облитыхъ кровью, искалѣченныхъ людей, перевязывая, ампутируя и въ то же время успокаивая, поддерживая добрымъ, участливымъ словомъ. Съ нимъ было только два молодыхъ фельдшера, которыхъ онъ ругалъ на чемъ свѣтъ стоитъ за неловкость. Самъ онъ, кажется, не зналъ усталости, какъ не зналъ страха, и работалъ, что называется, не покладая рукъ, весь облитый потомъ, весь обрызганный, измазанный кровью. Я былъ въ числѣ носильщиковъ, но не могъ даже пожать ему руку, — до того они были у него заняты; мы кивнули другъ другу головами и улыбнулись тою хорошею, товарищескою улыбкою, какою улыбаются только въ рѣдкія, опасныя для всѣхъ минуты. Это не веселая улыбка, это улыбка участія, поддержки, улыбка взаимнаго поощренія.

— Бѣгите... непріятель.

Такъ прокричалъ намъ одинъ изъ штабныхъ, прискакавшій внезапно на взмыленной лошади, блѣдный и задыхавшійся. На моментъ мы остановились, какъ вкопанные, застывъ отъ этого страшнаго окрика, но оба фельдшера, сербы, бросились бѣжать, и мы, точно возбужденные ихъ паническимъ бѣгствомъ, повинуясь какому-то странному, точно стадному инстинкту или влеченію, безсознательно бросились за ними, перескакивая черезъ раненыхъ, искалѣченныхъ людей. Сначала мы двигались безсознательно, не ощущая даже паническаго страха, который охватывалъ насъ только постепенно и росъ быстро съ каждымъ шагомъ. Помню, что раненые подняли вопль, прося не бросать ихъ, умоляя всѣми святыми спасти ихъ отъ турокъ, съ невѣроятными для нихъ усиліями хватая наши ноги, платье, ловя наши руки... Можетъ - быть, именно эти ихъ вопли подѣйствовали на насъ, не помню,— все это прошло, какъ сонъ, предо мною,— но мы вдругъ почему-то опомнились и остановились, блѣдные, дрожащіе, задыхающіеся...

И, растерянные, испуганные, мы всѣ стояли молча, въ тревожномъ, жуткомъ ожиданіи, не зная, что дѣлать, за что приняться, и какъ будто стыдясь въ то же время малодушнаго побѣга при отчаянныхъ воплхяхъ и крикахъ о спасеніи со стороны раненыхъ.

— Бѣгите же, говорю я вамъ...

— А раненые?—обернулся опомнившійся Гурвейсъ къ офицеру, еле переводя духъ, почти синій, съ широко вытаращенными глазами.

Тотъ пожалъ плечами въ отвѣтъ.

— Слѣзайте...—крикнулъ онъ ему, все больше приходя въ себя, хотя лихорадочная дрожь паническаго ужаса все трясла его фигуру.

— Да непріятель на носу, — торопилъ офицеръ, колеблясь.

— Слѣзайте. Они несчастнѣй насъ съ вами...—указалъ Гурвейсъ на раненыхъ: — ваша помощь нужна...

Онъ злился отъ страха...

Его слова, его примѣръ вернули намъ самообладаніе. Офицеръ слѣзъ, и мы всѣ вмѣстѣ, подъ крики Гурвейса: «тише, осто-

рожнѣе», — быстро укладывали раненыхъ въ фуру, но ихъ оказалось слишкомъ много. Когда биткомъ набитая фура двинулась, нѣсколько человѣкъ оставалось еще на землѣ, продолжая громко молить спасти ихъ.

— Ну, скачите,—лихорадочно обратился Гурвейсъ къ офицеру, — приведите еще фуру...

— Да вы съ ума сошли... Я говорю вамъ: бѣгите...—разсердился тотъ.

— Не могу,—понимаете?.. не могу...

— И фуры взять негдѣ... Гдѣ ее теперь достанешь?

— Гдѣ хотите... Телѣгу, лафетъ — все равно...

— Бѣгите, говорю вамъ...

— Бѣгите себѣ... я... я... — задыхаясь говорилъ Гурвейсъ,—я не оставлю больныхъ. И, блѣдный, дрожащій, съ плотно, почти судорожно, сжатыми зубами, онъ усѣлся на землю, развернувъ флагъ съ краснымъ крестомъ.

Это былъ великій моментъ побѣды сознанія надъ безсознательнымъ чувствомъ,— побѣды великаго человѣческаго духа надъ врожденнымъ слѣпымъ инстинктомъ. Офицеръ покраснѣлъ. Ему, очевидно, стало неловко: Гурвейсъ напомнилъ ему о долгѣ и мужествѣ. Вскочивъ на лошадь, онъ нерѣшительно потянулъ поводья...

— Хорошо, я постараюсь... но врядъ ли...

Прошла минута, двѣ въ молчаніи,—не больше, но эти двѣ минуты сошли бы за добрую недѣлю. Я съ товарищемъ стоялъ въ большой нерѣшительности: у насъ были ружья, и мы моглибы присоединиться къ любому отряду, но уйти отсюда, гдѣ мы теперь были почти совсѣмъ лишніе, казалось все-таки и жутко и стыдно. Какъ-то неловко и больно оставлять человѣка въ такомъ положеніи одного, что-то невольно удерживало насъ, и мы стояли, колеблясь. Гурвейсъ это замѣтилъ.

— А вы идите... Что вамъ тутъ дѣлать?—процѣдилъ онъ сквозь плотно сжатые зубы.

— А ты?

— Я не воинъ. Я врачъ,—меня съ этимъ флагомъ не тронутъ... Да и телѣгу офицеръ привезетъ сейчасъ... Онъ не трусъ, я его знаю.

Мы взглянули на наши ружья, даже взяли ихъ въ руки. Впереди слышался уже грохотъ какой-то приближающейся громадной массы, и оттуда сыпались выстрѣлы, какъ сухая дробь гигантскаго барабана. Слышался, казалось, и топотъ. Но въ это самое время на холмѣ показался офицеръ верхомъ, изо всей мочи гнавшій телѣгу.

Скорѣй, скорѣй...—кричалъ онъ задыхаясь:—торопитесь!..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Когда мы въѣхали на холмъ, вся долина влѣво была занята уже непріятельскою пѣхотою. Залпъ за залпомъ раздавался сзади, и какая-то шальная пуля задѣла Гурвейса въ ногу... Закачавшись, онъ грохнулся наземь.

— Ничего...—поблѣднѣвъ, какъ смерть, сказалъ онъ намъ, ощупывая ногу, — пустяки... кость цѣла... мускулишко-то только проклятый задѣтъ.

— Проклятая пуля,—ворчали мы всѣ, укладывая и его на телѣгу.—Увидалъ ты ее, наконецъ...

— Стихія... Что ее ругать?—возразилъ онъ, морщась отъ боли и силясь улыбнуться.—А вотъ моихъ фельдшеровъ я привлеку къ военному суду...

Онъ никакъ не могъ забыть ихъ побѣга.

— Это за что?—спросилъ офицеръ.

— За побѣгъ и оставленіе раненыхъ...

Офицеръ махнулъ рукой.

— Если судить ихъ, то придется начать съ доброй половины нашего штаба,— сказалъ онъ съ досадой и презрѣніемъ храбраго, обстрѣляннаго солдата.

## VII.

Послѣ войны я долго не встрѣчался съ Гурвейсомъ. Слышалъ я только, что онъ служилъ земскимъ врачомъ, но, принимая слишкомъ близко къ сердцу земскіе интересы, скоро поссорился съ управой, которая отказала ему отъ мѣста подъ предлогомъ, будто народу нужны не врачи, а фельдшера... Слышалъ я, что затѣмъ онъ поселился въ N, женился тамъ, ростилъ дѣтей и занялся практикой исключительно среди бѣдноты, что дѣлало его самымъ популярнымъ человѣкомъ въ городѣ. Бѣднота относилась къ нему почти благоговѣйно, звала не иначе, какъ «нашъ» докторъ, а это сильно не нравилось врачамъ мѣстнаго бомонда. Тѣ смѣялись надъ нимъ, относились какъ-то презрительно, звали «пятачковымъ» докторомъ за то,

что онъ довольствуется «пятачками» вмѣсто ассигнаціи, а послѣднее объясняли, конечно, «жидовской жадностью». Но онъ этимъ не смущался, дѣлалъ свое дѣло,— лѣчилъ, бралъ свои «пятаки», а въ часы досуга любовно няньчилъ черноволосую дѣтвору, которой, по примѣру дѣдовъ, просилъ у судьбы все больше и больше.

Я встрѣтился съ нимъ опять при ужасныхъ условіяхъ. Мнѣ и теперь страшно вспомнить нашу встрѣчу, главнымъ образомъ, все то, что ее обусловливало. Въ одинъ поистинѣ ужасный день я получилъ телеграмму, извѣщавшую, что мой лизкій другъ, молодой, очень умный, очень развитой человѣкъ, укушенный бѣшеной собакой, заболѣлъ бѣшенствомъ, что его, больного, везутъ въ больницу, ординаторомъ которой былъ Гурвейсъ. Я немедленно поѣхалъ въ N, и случилось такъ, что съ больнымъ мы прибыли въ городъ почти въ одно время.

Когда я вошелъ въ больничную палату, Гурвейса еще не было, — онъ пришелъ позже, вызванный по телефону. Вечерній сумракъ накладывалъ на все густыя, темныя тѣни, въ которыхъ какъ-то терялись очертанія предметовъ. Лампъ еще зажигали, но я все-таки сразу увидѣлъ страшную, непередаваемо - страшную картину. Прижавшись къ стѣнѣ, взволнованные, перепуганные, стояли рослые, здоровые дѣтины — больничные служителя—и какъ-то тупо, нерѣшительно, не зная, что дѣлать, и робѣя, смотрѣли въ противоположный уголъ, гдѣ стояла больничная койка. Тамъ, крѣпко и грубо связанный веревками по рукамъ и ногамъ, плотно вмѣстѣ съ тѣмъ привязанный къ кровати, при полномъ сознаніи, бился въ неописуемыхъ судорогахъ человѣкъ, обливаясь рвотой, задыхаясь, испуская какіе-то нечеловѣческіе крики и стоны.

У меня буквально поднялись отъ ужаса волосы,—ничего подобнаго я не видѣлъ въ своей жизни. Койка дрожала и прыгала, буквально прыгала вверхъ отъ этихъ судорогъ связаннаго и привязаннаго къ ней человѣка, сжимавшагося и разжимавшагося, несмотря на веревки, съ невѣроятной силой... Каждую секунду можно было ждать, что веревки лопнутъ, или что больной задохнется... И къ тому же его взглядъ, этотъ сознательный взглядъ, полный невыразимой муки, боли, тоски, полный страха, звѣрской злобы и жгучихъ человѣческихъ слезъ, — взглядъ, въ которомъ сквозили вмѣстѣ и мольба, и проклятье, и угрозы, и что-то такое, что дышало вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкомъ, жизнью, мыслью... Нѣтъ, я не могу, у меня нѣтъ словъ, нѣтъ силъ передать этотъ взглядъ, нѣтъ мужества припомнить, представить себѣ его такъ ясно, чтобы передать словами.

Тотъ, кто видѣлъ безсмертную картину Рѣпина, кто помнитъ его «Грознаго», кто помнитъ эти страшные бѣлки и зрачки, еще не остывшіе отъ звѣрскаго бѣшенства, въ которыхъ великій мастеръ неуловимыми чертами заставилъ теплиться въ то же время и человѣческое горе, невыразимое страданіе, страстную боль, боль до безумія,—кто помнитъ эти искаженныя злобой черты звѣря, въ которыхъ художникъ, несмотря на самые ужасные аксессуары:— кровь, судорогу смерти и проч., заставляетъ зрителя все-таки видѣть и понимать человѣка, только тотъ пойметъ этотъ невѣроятный, неописуемый взглядъ. Я стоялъ не дыша, не двигаясь, точно въ столбнякѣ, безъ мысли, безъ сознанія, околдованный этимъ взглядомъ, прикованный къ мѣсту, и чувствовалъ только, какъ къ горлу у меня подступаютъ безсильныя, больныя слезы, какъ ужасъ охватываетъ меня все сильнѣй.

Еще немного, и я, право, не ручаюсь, что самъ не упалъ бы въ судорогахъ. Но тутъ какъ разъ вошелъ Гурвейсъ, и я бросился къ нему точно за помощью, а не съ привѣтомъ,—не до привѣтствій было. Наскоро пожавъ мою руку, онъ быстро обернулся къ служителямъ:

— Это вы его привязали?

Точно такъ.

— Зачѣмъ?

— Боязно было,—служители тоже пріободрились съ его приходомъ.

— Эхъ вы! Четверо одного...

Онъ, тщедушный, хилый на видъ, быстро подошелъ къ больному и самъ сталъ развязывать веревки. Развязывая, онъ въ то же время успокаивалъ его, ласкалъ, убѣждалъ крѣпиться, и—странное дѣло!—его ласковый, спокойный тонъ, точно на самомъ дѣлѣ, сталъ успокаивать страдальца. Ослабѣвалъ ли пароксизмъ, ласковый ли, участливый голосъ дѣйствовалъ тутъ, или все вмѣстѣ, но больной сталъ тише, его судороги—слабѣй. Развязавъ ему руки и ноги, успокаивая, гладя по головѣ,

Гурвейсъ безстрашно сталъ вытирать ему лицо полотенцемъ. Больной успокаивался все больше и больше, судороги прекратились, стоны и хрипы исчезли, и глаза его,—его страшные, бѣшеные глаза,—засвѣтились вдругъ человѣческой лаской. Онъ глядѣлъ на добраго, безстрашнаго врача взглядомъ, полнымъ любви, благодарности и глубокой, сосредоточенной грусти.

— Откройте ротъ... голубчикъ, откройте ротъ...

Больной послушно открылъ ротъ, и Гурвейсъ сталъ вычищать ему десна и зубы. Несчастный глядѣлъ на него, и тихія человѣческія слезы капали изъ его открытыхъ глазъ одна за другой. По временамъ легкія судороги, какъ молніи, бороздили его лицо, отражаясь въ глазахъ не то страхомъ, не то угрозой... Вотъ, вотъ, казалось, сомкнутся челюсти,—и страхъ за копавшагося въ этихъ страшныхъ, ядовитыхъ зубахъ нѣсколько разъ чуть не вырвалъ у насъ всѣхъ громкаго крика. Но больной крѣпился, сознательно крѣпился, и все также любовно, все также плача глядѣлъ на него... Онъ боролся съ собой, боролся съ безсознательнымъ порывомъ, съ судорогой, и мы ясно видѣли, какихъ неимовѣрныхъ усилій, какого нечеловѣческаго напряженія воли стоила ему эта борьба...

— Ахъ!

Этотъ крикъ вырвался у всѣхъ насъ внезапно, невольно, и, не помня себя, мы бросились къ койкѣ. Больной вдругъ не совладѣлъ съ собой,—челюсти сомкнулись помимо воли...

— Вынь палецъ... Разомкни челюсть силой,—вырвалось у меня, наконецъ, изъ задохнувшейся груди.

— Нельзя. Это обезпокоитъ больного,— какъ бы колеблясь, отвѣтилъ Гурвейсъ.

— Но ты можешь заразиться...

Блѣдный, но не терявшій самообладанія, онъ привычнымъ образомъ повелъ плечами.

— Если могу, то я все равно уже зараженъ. Но успокойся,—наука не знаетъ ни одного факта передачи этой заразы человѣкомъ человѣку.

Я задрожалъ отъ этого ледяного тона, я похолодѣлъ, меня трясла лихорадка, зубы стучали, какъ въ пароксизмѣ, но Гурвейсъ продолжалъ сидѣть все такъ же, повидимому, спокойно, осторожно держа на-вѣсу руку съ ущемленнымъ пальцемъ у сведеннаго судорогой рта, успокаивая и гладя несчастнаго другою, свободною рукою. А тотъ глядѣлъ на него взглядомъ, полнымъ мольбы, и стономъ и слезами прося себѣ прощенія. Это была безмолвная, тихая драма, трагедія,—что хотите, но во всякомъ случаѣ что-то небывалое, поражавшее своей крайней неестественностью. Передо мной лежалъ живой, умный человѣкъ, глубоко сознающій и весь ужасъ своего положенія, и все зло, причиняемое имъ другому, на котораго онъ глядѣлъ съ такою мольбою, съ такою любовью,—и безсильный въ то же время совладать съ собою, съ этимъ невольно причиняемымъ зломъ. Я понималъ его жгучія слезы, понималъ мольбу его взгляда, его ужасный стонъ; я видѣлъ, какъ онъ дѣлалъ усилія разомкнуть челюсти и не могъ. И то, что онъ не могъ, увеличивало его страданія, его ужасъ, приводило его въ ярость.

Когда онѣ разомкнулись наконецъ, и ущемленный палецъ выскользнулъ, я бросился къ Гурвейсу съ крикомъ: «прижигай, прижигай скорѣе!» Онъ обмылъ кровь какимъ-то растворомъ и прижегъ.

— Повторяю тебѣ: наука еще не знаетъ случая передачи бѣшенства человѣкомъ человѣку...—какъ-то вскользь пробормоталъ онъ мнѣ ради успокоенія:—не волнуйся.

Агонія длилась всю ночь и добрую часть слѣдующаго утра. Больной зналъ, что ему нѣтъ спасенія, что наука лѣченія безсильна,—онъ это понималъ и сознавалъ вполнѣ ясно. Онъ молилъ только объ одномъ, чтобъ его не оставляли одного, чтобы хоть кто-нибудь сидѣлъ у его постели и глядѣлъ на него такимъ добрымъ, человѣческимъ взглядомъ. По временамъ, однако, въ рѣдкіе промежутки покоя между пароксизмами, которые становились все сильнѣе и сильнѣе, къ нему слетала иногда тихая надежда, и съ невообразимо-грустною мольбою, съ отчаянно жгучей мольбою онъ поднималъ вдругъ полные слезъ глаза и какъ-то нерѣшительно, какъ-то робко спрашивалъ: неужели такъ-таки нѣтъ спасенія? Блѣдный, растроганный до глубины души, Гурвейсъ блѣднѣлъ еще больше, успокаивалъ его, говорилъ что-то о природѣ и ея тайнахъ, приводилъ какіе-то примѣры, но вотъ-вотъ, казалось, готовъ былъ разрыдаться. Самообладаніе стоило ему неимовѣрныхъ усилій, тѣмъ не менѣе онъ оста-

вался все время съ больнымъ, такъ какъ я, обезсиленный, измученный, разбитый всею этою тяжелою картиной, волей-неволею принужденъ былъ уйти въ другую комнату, чтобы не заболѣть самому.

И Гурвейсъ, какъ мать, какъ сестра, сидѣлъ все время съ несчастнымъ съ глазу на глазъ и, какъ нѣжная мать, какъ сестра, дѣлилъ съ нимъ его ужасныя послѣднія минуты. Припадки становились все сильнѣе, человѣкъ все больше уступалъ звѣрю, разсудокъ, сознаніе, мысль все властнѣе подчинялись недугу, духъ слабѣлъ, но, слабѣя, все-таки отчаянно боролся. Иногда самъ больной, чувствуя приближеніе припадка, кричалъ, вопилъ: «уходите, уходите!»—и затѣмъ, уже не помня себя, метался и бился такъ, съ такими стонами и криками, что ихъ слышали даже на улицѣ, что окна и полъ дрожали даже у меня. И въ эти страшныя минуты, — минуты полной, казалось, побѣды недуга надъ духомъ,—до меня долеталъ тихій, ровный, спокойный и ласкающій голосъ врача, которымъ онъ успокаивалъ, уговаривалъ больного, напоминалъ ему о другихъ видѣнныхъ имъ страданіяхъ, напоминалъ героевъ-мучениковъ. И чудо свершалось: побѣжденный, казалось, духъ человѣка воскресалъ, оживалъ отъ этого магическаго слова человѣческой любви, отъ этого тона нѣжной матери, отъ этихъ великихъ, приводимыхъ примѣровъ любви и самоотверженія, и, воскресая, хоть на моментъ, но побѣждалъ недугъ, пробуждалъ человѣка во всей его человѣческой красотѣ и мощи. И пробуждавшійся на моментъ человѣкъ полнымъ скорби и страданія голосомъ молилъ себѣ прощенія за свою слабость, благодарилъ за участіе и, хватая и цѣлуя руки Гурвейса, страстно и громко рыдая, просилъ у него смерти...

— Братъ, другъ, мать,—молилъ онъ, задыхаясь отъ слезъ,—именемъ всего святого, что есть въ человѣкѣ, во имя любви и состраданія, дайте мнѣ яду... Я хочу умереть *человѣкомъ*, а не звѣремъ...

— Развѣ я могу убивать?—долеталъ до меня дрожащій голосъ:—я—врачъ, обязанный лѣчить и спасать людей.

— Но спасенья вѣдь все равно нѣтъ вѣдь?—не то спрашивалъ, не то утверждалъ, колеблясь, страдалецъ...

— Я дѣлаю все, что велитъ наука... Природа для нея—еще мало раскрытая книга,—отвѣчалъ все также ласково Гурвейсъ, только голосъ его дрожалъ все больше:—успокойтесь и не теряйте вѣры...

— Нѣтъ,—вздыхалъ больной,—въ жизнь у меня уже нѣтъ вѣры... Но, умирая, я вѣрю въ человѣка...

И я слышалъ страстные поцѣлуи и лобзанья, которыми бѣшеный осыпалъ руки и платье врача, давшаго ему возможность умереть съ такою великою и святою вѣрой.

## VIII.

А въ это самое время на улицахъ носилась та страшная стихійная человѣческая буря, безсознательная, какъ и всякая стихія, какъ она же, безжалостная, жестокая, ничего не разбирающая, какъ она, роковая,—та буря, что, зарождаясь незамѣтно, исподволь, гдѣ-то глубоко и тихо, вдругъ внезапно, подъ вліяніемъ какого-нибудь самаго незначительнаго фактора, волнуетъ спокойное на видъ море человѣческой жизни. Такія стихійныя-бури отличаются отъ сознательнаго движенія человѣчества тѣмъ, что всецѣло лишены созидающаго, творческаго элемента, что онѣ представляютъ собою только взрывъ накопившейся годами страсти. Вообще онѣ имѣютъ много общаго съ катаклизмами въ мертвой, неорганической природѣ. Тамъ, какъ и тутъ, постепенно, тихо, годами и незамѣтно накопляются скрытыя въ потенціи силы и, скопившись, ждутъ только незначительнаго толчка, малѣйшаго движенія, чтобы вдругъ, внезапно произвести катастрофу. Громадная лавина, ломающая лѣса и засыпающая цѣлыя деревни, срывается съ горъ отъ дѣтскаго плача.

Въ такихъ явленіяхъ неорганическаго міра мы видимъ нѣчто роковое, мы складываемъ передъ ними руки, мы не бранимъ ихъ, не хвалимъ, мы признаемъ ихъ за нѣчто, стоящее внѣ нашей воли, и стремимся только понять ихъ и постигнуть. Къ стихійнымъ явленіямъ человѣческой жизни, къ такимъ ея бурямъ мы относимся иначе; ихъ мы любимъ или не любимъ, бранимъ или хвалимъ, такъ или иначе прилагаемъ къ нимъ мѣрку нашихъ личныхъ симпатій. А между тѣмъ по своей природѣ и тѣ и другія тождественны, и тѣ и другія носятъ характеръ, одинаково роковой, одинаково безсозна-

тельный, и стоятъ внѣ нашей личной воли. Крестовые походы дѣтей, напримѣръ, въ средніе вѣка были, въ сущности, не чѣмъ инымъ, какъ тою же катящеюся съ горъ лавиной.

Бушующія волны такихъ бурь направляются сначала обыкновенно туда, гдѣ онѣ встрѣчаютъ или могутъ встрѣтить меньше всего отпора или сопротивленія, почему онѣ и сметаютъ только тѣхъ, кто въ данный историческій моментъ является *слабѣйшимъ*—слабѣйшимъ не только въ физическомъ, но и въ соціальномъ правовомъ смыслѣ. Оттого и кажется такъ, будто онѣ всецѣло имѣли въ виду только такихъ *слабѣйшихъ* и только на нихъ направлялись. Это тоже законъ мертвой, безсознательной, неорганической природы,—законъ стихій. Котелъ, черезчуръ переполненный парами, разрывается въ точкѣ наименьшаго сопротивленія.

Разверните исторію, эпическія сказанья, басню, въ которыхъ человѣческое творчество формулировало въ образахъ свои вѣковыя воззрѣнія, свой опытъ, и вы увидите, что при стихійныхъ буряхъ за вины всѣхъ платится слабѣйшій, что накопившіяся страсти направляются только на него и дѣлаютъ его отвѣтственнымъ за все, что такъ или иначе способствовало аихъ накопленію.

Въ данномъ случаѣ эта была еврейская бѣднота, на которую направилась стихійно-вспыхнувшая уличная буря. Расходившаяся, наэлектризованная толпа, сама не отдавая себѣ отчета: зачѣмъ, почему?—повинуясь одному неодолимому побужденію разрушать, рвать, уничтожать, съ какой-то стихійной страстью, въ какомъ-то болѣзненномъ, какъ пароксизмъ бѣшенствѣ, экстазѣ разбивала еврейскія квартиры и лачуги. Человѣкъ заражался этимъ экстазомъ, этой вспыхнувшей страстью къ разрушенію отъ человѣка, группа отъ группы, а всякая новая разрушенная лачуга увеличивала и общее возбужденіе и вспыхнувшую страсть. Во всемъ этомъ не было ни мысли, ни сознанія, ни ясной цѣли—ничего, кромѣ вспыхнувшей страсти... Толпа била, ломала, уничтожала, казалось, только для того, чтобы слышать звукъ и трескъ ломаемаго и разбиваемаго, и каждый ловкій ударъ, куда бы онъ ни приходился, каждый трескъ и звонъ, былъ ли то звонъ зеркальнаго окна или крошечнаго тусклаго оконнаго стеклышка,—все равно, будилъ ея восторгъ и ликованіе... Просто-напросто катилась лавина и сметала на своемъ пути то, что было ей по силамъ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мы шли съ Гурвейсомъ къ нему, оба разбитые, измученные, усталые, изъ больницы, гдѣ только что закрылы глаза несчастному страдальцу. Гурвейсъ жилъ въ самомъ центрѣ бѣдноты. Намъ приходилось итти, такимъ образомъ, переулками, гдѣ больше всего бушевала стихія, и печальный видъ разрушенія: разбитыя окна, вещи, носившійся въ воздухѣ пухъ, вездѣ валявшійся хламъ, и стоны, и вопли бѣдняковъ-ремесленниковъ, превращенныхъ въ одинъ моментъ въ безусловныхъ нищихъ безъ всякаго крова, усугублялъ то глубокое горе, что мы несли съ собой. Вездѣ кричали дѣти, рыдали женщины, вездѣ стоялъ стонъ и содомъ... Гурвейсъ молчалъ, онъ только дышалъ порывисто... Глубокая обида за *своихъ*, за несчастныхъ, пострадавшихъ только за свой языкъ и обычаи—безъ личной вины съ своей стороны, зря,—обида, понятная каждому, кто можетъ перенестись въ душу другого, сжала плотно его губы, заставила поблѣднѣть еще больше, почти посинѣть его блѣдныя щеки. Вѣдь и онъ, отдавшій себя всецѣло другимъ, былъ такой же «жидъ», а это значитъ, и противъ него въ общей массѣ направлялась эта слѣпая стихія, и онъ бы долженъ былъ стоять рядомъ съ этими рыдавшими нищими, дѣлить ихъ участь, помогать имъ въ самозащитѣ. Гдѣ и въ чемъ граница между ними, когда онъ самъ не хотѣлъ знать ее, самъ не отдѣлялъ себя отъ другихъ? Эти мысли жгли меня точно каленымъ желѣзомъ, а вѣдь я не могъ чувствовать все это *такъ* страстно и сильно, какъ онъ, несомнѣнно, чувствовалъ; не могъ, органически не могъ и принимать все это такъ же близко къ сердцу. И потому я понималъ, какая глубокая буря должна волновать его грудь, какія жгучія, обидныя слезы наполняютъ его душу, отчего онъ дрожитъ такъ и дышитъ. Я самъ, казалось, стыдился себя, стыдился итти съ нимъ рядомъ, стыдился, что не дѣлю съ нимъ одной доли и обиды, что такъ или иначе принадлежу къ тѣмъ, что нанесли ему,—эту больную, невыразимо больную обиду.

— Вотъ она стадность... Помнишь,—у Михайловскаго, въ его статьѣ «Герои и

толпа»? — вырвалось у него какимъ-то больнымъ крикомъ при видѣ одной буквально разбитой лачуги, на развалинахъ которой рыдали оборванные нищіе-дѣти.— Вотъ она стихійная справедливость. Нищета—нищету... Свой—своего... за другой кафтанъ, за другой обычай. Умно.

Онъ бросилъ дѣтямъ денегъ и пошелъ, все также молча, плотно сжавъ губы, дрожа отъ волненія, а я шелъ за нимъ, какъ виноватый, не находя ни словъ, ни возраженій, ни мысли... Я чувствовалъ, точно вина *своихъ* ложится и на меня, и еще яснѣе понималъ, какъ должна быть ему больна обида его *своихъ*... Въ сущности, отношенія каждаго изъ насъ къ нашимъ, *своимъ*, было одинако... Гурвейсъ во многомъ былъ настолько же чуждъ массѣ еврейства, насколько я бушевавшей противъ нищихъ евреевъ толпѣ. Тѣмъ не менѣе, теперь тутъ эта непонятная сразу, неуловимая связь каждаго съ *своимъ* чувствовалась особенно остро. Помню, что, не выдержавъ, я схватилъ его руку, пожалъ и затѣмъ обнялъ. Онъ обнялъ меня, дрожа, задыхаясь, и мнѣ показалось, что что-то влажное, теплое упало изъ его глазъ на мои щеки.

Не знаю, что думалъ Гурвейсъ, но мнѣ, конечно, не приходило въ голову, чтобы разрушеніе, погромъ могли коснуться и его квартиры,—квартиры самаго популярнаго врача. Ни на одинъ моментъ страхъ за его гнѣздо, въ которомъ онъ отдыхалъ среди своей рѣзвой дѣтворы отъ своей тяжелой работы, не омрачилъ еще больше моихъ мыслей, не усугубилъ моей душевной боли. Гурвейсъ, правда, все прибавлялъ и прибавлялъ шаги, но я не придавалъ этому никакого значенія... Мнѣ казалось, что онъ просто хочетъ убѣжать скорѣе отъ этихъ скверныхъ, глубоко-печальныхъ картинъ, стоновъ и рыданій. Я забылъ, что стихія слѣпа, что она ничего не разбираетъ...

И я ахнулъ, искренно ахнулъ, когда картина повальнаго разрушенія и его гнѣзда предстала передо мною. Погромъ былъ въ полномъ разгарѣ, толпа бушевала еще у него въ домѣ, и, не помня себя отъ негодованія, отъ вспыхнувшей злобы, я бросился стремглавъ вверхъ по лѣстницѣ. Все, что до сихъ поръ волновало меня, мучило, давило, — все больное, щемящее чувство вылилось, перешло въ одно бѣшенство, такое же стихійное, можетъ быть, какъ и буйство разбивавшихъ... Можетъ-быть, это была та же психическая зараза, принявшая только иное направленіе, направившаяся иначе, которой заражались на улицѣ люди другъ отъ друга, по крайней мѣрѣ, я себя не помнилъ, не сознавалъ, я дѣйствовалъ не разсуждая, не думая... Тамъ, на площадкѣ лѣстницы, прижавшись другъ къ другу, стояли испуганныя дѣти, стояла жена Гурвейса, закрывавшая ихъ собою, и бросилась къ намъ, ломая руки, съ криками и плачемъ...

Гурвейсъ схватилъ младшаго ребенка на руки и обнялъ бившуюся въ истерикѣ жену, что-то шепча, говоря какіе-то неясные, спутанные обрывки мыслей, фразъ, которыми силился успокоить семью, а я бросился въ разбитыя двери къ бушевавшей толпѣ и въ тотъ же моментъ услышалъ близкую дробь барабана...

Было ли это дѣйствіе моего нечеловѣческаго крика, вырвавшагося изъ пересохшаго горла, какъ вырывается рычаніе у разъяреннаго звѣря, бѣшеный ли видъ мой бросившагося впередъ съ сжатыми кулаками,—оружія у меня не было,—дробь ли барабана подѣйствовала, или все вмѣстѣ,— не знаю, но бушевавшая толпа, остановившись, точно въ изумленіи, на моментъ, стремглавъ бросилась вонъ, увлекая и меня съ собой. Эта была паника, чистѣйшая паника, въ которую такъ легко переходитъ стихійное возбужденіе, не поддержанное сознаніемъ и волей. Разъ я видѣлъ кулачный бой, гдѣ «стѣна на стѣну» шли люди, ничего не имѣвшіе другъ противъ друга, увлеченные только общимъ примѣромъ, зараженные общимъ настроеніемъ. Никто имъ не мѣшалъ, ничто не угрожало... Вдругъ грянулъ выстрѣлъ,—инженеры недалеко взорвали скалу, и вся толпа, одинъ за другимъ, бросилась врассыпную, сама не зная зачѣмъ и почему. Этотъ грохотъ выстрѣла явился только диссонансомъ въ общей атмосферѣ, что ли, тишины и покоя, при которой совершался бой, и этого было достаточно, чтобы все измѣнилось и разлетѣлось.

Толпа бѣжала,—нѣтъ, летѣла вѣрнѣй,— внизъ по лѣстницѣ, какъ вспуганное стадо, безсознательно, точно такъ, какъ за минуту передъ тѣмъ все разрушала... Съ каждымъ шагомъ она ускоряла свое бѣгство, съ каждой секундой росла, казалось,

ея паника... Одинъ наскакивалъ на другого, каждый толкалъ другъ друга, точно пьяные, точно сонные люди... И вдругъ одинъ изъ нихъ, толкнутый сверху, споткнувшись и потерявъ равновѣсіе, полетѣлъ черезъ перила внизъ, на каменный полъ, со второго этажа...

До насъ всѣхъ донесся глухой звукъ этого паденья и отчаянный, раздиравшій душу крикъ, дикій стонъ, за которымъ сразу наступило напряженное безмолвіе. Все точно застыло въ этомъ стонѣ... Гурвейсъ стоялъ все также неподвижно, задыхаясь, какъ статуя блѣдный, держа ребенка и обнимая жену. Судорога бороздила его лицо, а глаза свѣтились тусклымъ, холоднымъ и жесткимъ блескомъ. Но, заслышавъ этотъ звукъ и крикъ, онъ, какъ и всѣ, вздрогнулъ весь съ головы до ногъ, и опустилъ обнимавшую руку... Еще моментъ, одинъ моментъ какого-то нерѣшительнаго колебанія, какое-то движеніе, неуловимое, непередаваемое движеніе внутренней борьбы, и врачъ-человѣкъ одержалъ верхъ надъ обиженнымъ, невыразимо обиженнымъ отцомъ и гражданиномъ. Онъ опустилъ вдругъ ребенка и привычнымъ, совсѣмъ машинальнымъ жестомъ нащупалъ свой прелестный наборъ. Тотъ, конечно, былъ на мѣстѣ, и Гурвейсъ бросился внизъ...

Безмолвно, не разжимая рта, безъ одного звука, все также блѣдный, все съ тѣмъ же, казалось, тусклымъ, холоднымъ взглядомъ, онъ, точно механически, ощупалъ пульсъ упавшаго, сердце, перевязалъ его голову и ногу, обмылъ отъ крови его лицо. Сбѣжавшаяся со всего дома прислуга и нѣсколько товарищей несчастнаго окружили насъ тоже безмолвно, тѣснымъ кругомъ, тѣсной толпой. Что свѣтилось въ ихъ взорахъ, что стояло въ ихъ лицахъ,—я не знаю; я глядѣлъ только на Гурвейса, полный благоговѣнія и какого-то особенно хорошаго человѣческаго чувства. Помню, что меня тяготило это безмолвіе; мнѣ хотѣлось что-нибудь сказать ему, сказать ласковое, теплое, и очень можетъ быть, что то же испытывала окружающая толпа... Говорятъ, женщина меньше всего справляется съ такою потребностью, — она не можетъ противостоять этому влеченію... По крайней мѣрѣ, такъ было тутъ,—женщина не выдержала.

— Батюшка ты нашъ... отецъ родной.... заступникъ, — вырвалось у одной какъ-то невольно, вмѣстѣ со слезами:—злодѣя своего самъ же и лѣчишь... Праведникъ ты, какъ есть заступникъ...

Этого было уже слишкомъ для Гурвейса: онъ не выдержалъ, какъ не выдерживаютъ дѣти и взрослые, когда имъ жалостливо подчеркиваютъ и напоминаютъ сдерживаемую черезъ силу боль. Эта жалостливость бередитъ душевную рану больше новой обиды, она не успокаиваетъ, не исцѣляетъ, она обостряетъ ощущеніе страданія у дѣтей, возбуждаетъ законную человѣческую гордость у взрослаго, для котораго жалость всегда обидное чувство... Зачѣмъ ему эта жалость, когда и подъ сильнымъ ударомъ онъ не склоняется и гордо держитъ голову, зачѣмъ она ему съ ея слезами, когда онъ, страдающій неизмѣримо больше, потрясенный неизмѣримо глубже, плотно сжимаетъ свои губы и молчитъ, не издавая ни одного стона? Гурвейсъ не выдержалъ,—онъ поднялся на эти причитанья блѣдный, дрожащій, негодующій и окинулъ взглядомъ окружавшихъ.

— Неправда,—рѣзко крикнулъ онъ въ упоръ:—неправда. Я—*жидъ*.

Это все, что вырвалось у него изъ плотно сжатыхъ устъ за это время, это все, что онъ кинулъ людямъ въ лицо, какъ укоръ. И, склонивъ ко мнѣ на плечо свою усталую, измученную голову, онъ вдругъ зарыдалъ, какъ ребенокъ...

**Николай Максимовичъ Виленкинъ-Минскій.**

(Род. въ 1855 г.).

## 1. Вакханкой молодой.

I.

Вакханкой молодой ко мнѣ она вошла,
Въ одной рукѣ поднявъ бокалъ съ кипящей влагой,
Въ другой—вѣнокъ изъ розъ, и вся она цвѣла
Грѣхомъ и красотой, весельемъ и отвагой.
Кудрями свѣтлыми былъ низкій лобъ вѣнчанъ,
Изъ длинныхъ глазъ сверкалъ горячій взоръ и томный,
Въ послушныхъ складкахъ шелкъ, какъ тайну другъ нескромный,
Скрывалъ и выдавалъ богини грудь и станъ.
— За мной!—звала она. За мной, мечтатель юный!—
И голосъ у нея пѣвучъ былъ и глубокъ.—
— Испей мой сладкій ядъ, надѣнь живой вѣнокъ,
Блаженству посвяти мечты свои и струны.
Опутанный судьбой, забвенья жаждетъ міръ,
И всѣхъ превыше благъ онъ цѣнитъ, благодарный,
Объятья грѣшныя, и виноградъ янтарный,
И вдохновенное безумье громкихъ лиръ.
Пой счастье и любовь счастливымъ и влюбленнымъ.
Изъ всѣхъ даровъ земныхъ лишь лучшіе бери:
У суетнаго дня—безпечный лучъ зари,
У мрачной ночи—блескъ луны надъ міромъ соннымъ.
У сердца—жаръ страстей, у времени—весну,
У матери-земли—цвѣтущія дубравы,
И вмѣстѣ все сплоти въ гармонію одну,
И будутъ дни твои—дни радости и славы!

II.

Такъ рѣчь ея текла, и вѣялъ страсти зной
Отъ словъ и устъ ея, мнѣ душу зажигая.
Я руки къ ней простеръ, но въ этотъ мигъ другая
Богиня, строгая, явилась предо мной,—
Со взоромъ, мечущимъ вражды и гнѣва пламя,
Въ доспѣхахъ воина, сильна и молода,
Съ руками, грубыми отъ тяжкаго труда,
И мечъ свѣтился въ нихъ, и развѣвалось знамя.
— За мной!—звала она,—и, какъ призывъ трубы,
Былъ голосъ у нея,—властительный и зычный.
—Туда, на тѣсный путь лишеній и борьбы,
Гдѣ счастье—рѣдкій гость, гдѣ горе—гость привычный.
Буди огонь въ сердцахъ, усталыхъ ободряй!
Какъ музыкантъ въ бою предъ строемъ утомленнымъ,
Ступай передъ толпой со словомъ окрыленнымъ,
Съ ней вмѣстѣ и живи и вмѣстѣ умирай!

И радость высшую тебѣ я дамъ въ награду,—
Что передъ ней миражъ веселья и утѣхъ!
Твой стихъ, какъ Божій духъ, пролетъ съ сердца отраду
И братьевъ и друзей создастъ тебѣ во всѣхъ.
Въ минуты счастія и въ бѣдствіи тяжеломъ,—
Надъ гробомъ друга другъ, надъ колыбелью мать,—
Твоими пѣснями, какъ лучшихъ чувствъ символомъ,
Всѣ будутъ скорбь свою и радость выражать...

III.

Такъ рѣчь ея лилась, и страстное волненье
Мнѣ сердце потрясло. Я руки къ ней простеръ,
Хотѣлъ сказать: я твой!—И вдругъ упалъ мой взоръ
На Музу новую. Блѣдна, какъ привидѣнье,
Недвижная она стояла и съ тоской
Глядѣла въ очи мнѣ безумными очами.
У ней въ одной рукѣ тлѣлъ факелъ, а въ другой
Мерцало зеркало холодными лучами.
— Я не зову тебя,—она шепнула мнѣ,—
И этотъ шопотъ былъ такъ слабъ необычайно,
Что я не зналъ сперва, звучитъ ли онъ извнѣ,
Иль собственной души внимаю голосъ тайный.
— Я не зову тебя,—меня призвалъ ты самъ.
Я—жажда истины, я—совѣсть мірозданья.
За мною вьются вслѣдъ сомнѣнья и страданья,
Какъ желтые пески за вихремъ по слѣдамъ.
И знай: когда во мнѣ ты обрѣтешь богиню,
Я благами земли тебя не награжу,
Но въ душу скорбную свой факелъ водружу
И озарю всѣхъ чувствъ, всѣхъ думъ твоихъ пустыню.
И ощутишь въ душѣ отчаянія дрожь,
И въ зеркалѣ моемъ, какъ вѣчность, неподкупномъ,
Во всемъ, что ты считалъ добромъ, увидишь ложь
И неизбѣжное—въ порочномъ и преступномъ.
Я поведу тебя въ пучину дѣлъ мірскихъ
И сокровенное въ сердцахъ людей открою,
И ложь своей души увидишь ты и въ нихъ,
И не повѣришь ты пророку и герою.
Не опьянятъ тебя символы и слова,—
Ни битвы грозный шумъ ни нѣжный плачъ свирѣли.
Въ безцѣльной суетѣ искать ты будешь цѣли,
И рваться къ небесамъ, и жаждать божества.
Промчатся дни твои въ томленьи одинокомъ,
И будетъ пѣснь твоя досугъ твой отравлять.
Но я ей силу дамъ печалью уязвлять
Сердца, застывшія въ безвѣріи глубокомъ.
И шопотъ Истины, какъ бы онъ ни былъ слабъ,
Въ ней будетъ слышаться сквозь крики отрицанья.—
Такъ молвила она. И, удержавъ рыданья,
Молчалъ я, какъ молчитъ передъ царицей рабъ.

## 2. Поэту.

Не до пѣсенъ, поэтъ, не до нѣжныхъ пѣвцовъ!
Нынѣ нужно отважныхъ и грубыхъ бойцовъ.
Родъ людской пополамъ раздѣлился,
Закипѣла борьба, всякій стройся въ ряды.
Въ комъ не умерло чувство священной вражды.
Слишкомъ рано, поэтъ, ты родился!
Подожди,—и разсѣется сумракъ вѣковъ,
И не будетъ господъ, и не будетъ рабовъ,—
Стихнетъ бой, что столѣтія длился.
Родъ людской возмужаетъ и станетъ уменъ,
И спокоенъ, и честенъ, и сытъ, и ученъ...
Слишкомъ поздно, поэтъ, ты родился!

## 3. Въ безчисленныхъ огняхъ.

Въ безчисленныхъ огняхъ сверкаетъ душный храмъ.
Клубами синими восходитъ ѳиміамъ,
Блистаютъ ризы золотыя.
Толпа въ неясный гулъ мольбы свои слила,
А тамъ, надъ сводами, какъ вѣстники святые,
Въ безмолвіи ночномъ гудятъ колокола.

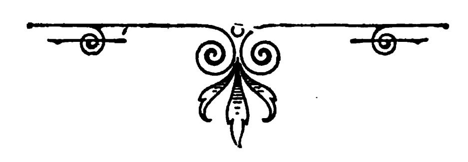
Вотъ громко хоръ запѣлъ о дивномъ искупленьи,
И дрогнули сердца, и дрогнули колѣни.
Какъ бы слетѣвшіе съ небесъ,
Въ сердца раскрытыя бальзамомъ льются звуки.
Имъ вторятъ всѣ: «Христосъ воскресъ!
Искуплены грѣхи, и позабыты муки!»
Той пѣснѣ лишь одинъ мечтатель молодой
Не внемлетъ: на гранитъ поникъ онъ головой,
И снится сонъ ему отрадный.
Раздался темный сводъ, распался душный храмъ,
И храмъ иной, и храмъ громадный
Предсталъ восторженнымъ очамъ.
Не куполъ сумрачный и тѣсный,—
Его объемлетъ сводъ небесный.
И, вмѣсто свѣчекъ восковыхъ,
Горятъ на сводахъ вѣковыхъ
Неугасимые узоры.
И, вмѣсто каменныхъ колоннъ,
Ушли въ лазурный небосклонъ
Снѣгами блещущія горы.
И снится юношѣ: на праздникъ міровой,
Ликуя, въ этотъ храмъ собрался родъ людской.
Грѣхи и страсти злобы дикой
На алтарѣ любви онъ жертвой сжегъ навѣкъ,
И праздникъ новый и великій
Встрѣчаетъ новый человѣкъ.

Вотъ громко хоръ запѣлъ о дивномъ искупленьи,
И дрогнули сердца, и дрогнули колѣни.
Какъ бы слетѣвшіе съ небесъ,
Въ сердца раскрытыя бальзамомъ льются звуки.
Всѣ вторятъ: «Человѣкъ воскресъ!
Искуплены грѣхи, и позабыты муки!»

## 4. Предъ зарею.

Приближается утро, но еще ночь.
Исаія, г. 21, 12.

Не тревожься, недремлющій другъ,
Если стало темнѣе вокругъ,
Если гаснетъ звѣзда за звѣздою,
Если скрылась луна въ облакахъ,
И клубятся туманы въ лугахъ:
Это стало темнѣй—предъ зарею...
Не пугайся, неопытный братъ,
Что изъ норъ своихъ гады спѣшатъ
Завладѣть беззащитной землею,
Что бѣгутъ пауки, что, шипя,
На болотѣ проснулась змѣя:
Это гады бѣгутъ—предъ зарею...
Не грусти, что во мракѣ ночномъ
Люди мертвымъ покоятся сномъ,
Что въ безмолвіи слышны порою
Только глупый напѣвъ пѣтуховъ
Или злое ворчаніе псовъ:
Это—сонъ, это—лай предъ зарею...



**Семенъ Григорьевичъ Фругъ.**

(Род. въ 1860 г.).

## 1. Рай.

Съ тоской и страхомъ покидая
Эдемъ, потерянный навѣкъ,
На колыбель былого счастья
Глядѣлъ со скорбью человѣкъ.
Онъ видѣлъ: ночь—ясна, прекрасна,
Какъ въ міросзданья первый день—
На кущи райскія наводитъ
Свою мерцающую тѣнь;
Въ тиши ночной, въ сіяньи лунномъ,
Обрызганъ свѣжею росой,
Эдемъ безгрѣшный тихо дремлетъ,
Сіяя дѣвственной красой;
Изъ темныхъ гротовъ нѣжно льется
Волшебныхъ звуковъ стройный хоръ;
Имъ вторятъ плескомъ водометы,
Имъ вторитъ гуломъ эхо горъ...
То чья-то тѣнь мелькнетъ въ сіяньи,
То вспыхнетъ искорка въ тѣни...
Неувядающія розы...
Неугасимые огни...
Все той же прелестью волшебной
Обитель райская полна,—
Но чѣмъ-то грустнымъ и пустыннымъ
Ужъ вѣетъ на душу она:
Свѣтлы, но мертвы эти звѣзды,
Что блещутъ въ синей вышинѣ;
Нѣтъ страсти въ пѣснѣ соловьиной
И грезъ въ полночной тишинѣ.
Лишь блѣдный страхъ съ нѣмою тайной
Пугливой бродятъ тамъ четой.
Эдемъ во мглѣ ночной мерцаетъ,
Какъ ликъ царевны молодой
На ложѣ пышномъ и прекрасномъ,
Среди цвѣтовъ, среди лучей,
Но съ взоромъ тусклымъ и холоднымъ
Навѣки гаснущихъ очей...
Чего жъ лишился рай, нетлѣнный,
Неувядающей вовѣкъ?
И слышитъ смертный голосъ тайный:
— Тебя разумный человѣкъ!
Тебя, души твоей пытливой,
Броженья чувствъ, огня страстей,
Твоей мечты, твоихъ порывовъ
И мысли пламенной твоей—
Того, что мертвымъ очертаньямъ
Нѣмой, недвижной красоты
Даетъ и смыслъ, и цѣль, и силу
Движеньемъ творческой мечты.
Уйди, оставь, изгнанникъ бѣдный,
Цвѣтущій рай, пустынный рай.
Возстань, иди въ пустыню міра,
Работай, мысли, созидай,—
И высшей славы ты достигнешь:
Въ ея сверкающихъ лучахъ
Померкнетъ блескъ свѣтилъ полночныхъ;
Пустынный рай падетъ во прахъ;
Обитель новую, прекраснѣй,
Свѣтлѣй и выше, обрѣтешь.

Въ эмблемы, въ лозунги нѣмые
Живую душу ты вдохнешь;
Крупинкѣ каждой, каждой каплѣ
Отдашь ты долгіе года
Тоски, лишеній, гнѣва, боли,
Борьбы, сомнѣній и труда,—
И будетъ каждая песчинка
Хранить вовѣки яркій слѣдъ
Твоихъ заботъ, твоихъ мученій,
Твоихъ немеркнущихъ побѣдъ...
Оставь же, смертный, не жалѣя,
Обитель мертвой красоты;
Возстань, иди въ пустыню міра—
Рай будетъ тамъ, гдѣ будешь ты!..

## 2. Давидъ и Голіаѳъ.

Ты говоришь:
«—Неравенъ бой...
Тебѣ ли съ пѣснею побѣдной
Рукою немощной и блѣдной
Сразить враговъ могучій строй?..
Ты слышишь ли?.. То не со скалъ
Бѣжитъ потока мощный валъ
И брызжетъ пѣною кипучей...
То не съ грозою лѣсъ дремучій
Ведетъ свой дикій, злобный споръ
И будитъ эхо дальнихъ горъ...
То не орлы, шумя крылами,
Взвились высоко надъ горами,
Въ обитель грозныхъ облаковъ,
Навстрѣчу молній и громовъ...
То звонъ мечей... То шумъ знаменъ...
Со всѣхъ концовъ, со всѣхъ сторонъ,
За ратью рать, за строемъ строй—
Идутъ враги къ тебѣ на бой...
Земля дрожитъ подъ ихъ ногами,
И пыль за ними облаками
Клубится къ тучамъ громовымъ...
Орлы и львы покорны имъ,
Покорно все: земля и воды...
Они—цари! Они—народы!
А ты, безумный!»...
— «Да, ты правъ...
Толпа племенъ... Союзъ державъ...
Топоръ и ножъ... Неравенъ бой!..
Но, гордый силой полчищъ дикихъ
И кровью вскормленный герой!
Мнѣ, властелину думъ великихъ,
Питомцу истины святой,
Мнѣ не завиденъ жребій твой!..
Мнѣ не завиденъ жребій твой,—
Затѣмъ, что путь твой кривъ и ложенъ,
Затѣмъ, что злобой онъ проложенъ,
Утоптанъ завистью и зломъ.
О, ты безсиленъ и ничтоженъ
Во всемъ могуществѣ своемъ,—
Затѣмъ, что честь тобой забыта,
Какъ рабъ, ты бросилъ въ прахъ ее,
Затѣмъ, что тьма—твоя защита,
И ложь—оружіе твое!..
А мнѣ легко бороться съ ложью
И передъ тьмою страха нѣтъ:
Мое оружье—правда Божья,
Моя защита—Божій свѣтъ...
И я готовъ... Въ устахъ—молитва,
Въ душѣ—надежда, жаръ—въ крови...
Мнѣ пиръ—борьба, мнѣ праздникъ—битва
Во имя правды и любви!»

## 3. Когда вечернею прохладой.

Когда вечернею прохладой
Повѣетъ съ дремлющихъ полей,
И, неземной исполнена отрадой,
Ты склонишься предъ тихою лампадой
Съ молитвой чистою своей,—
Мой другъ, на мигъ продливъ свои моленья,
Въ святую урну искупленья
Ты лишнюю слезинку урони
И друга, брата бѣднаго, больного,
Поникшаго среди пути земного,
Въ своей молитвѣ помяни.
Молись, чтобъ вѣрой, гордой и свободной,
Господь согрѣлъ мою больную грудь,
Чтобъ яркій факелъ мысли благородной
Свѣтилъ звѣздою путеводной
На мой печальный, трудный путь;
Чтобъ я успѣлъ, съ судьбой тяжелой споря,
Хотя одну слезу тоски и горя
Стереть съ лица народа моего,
Чтобъ хоть одинъ листокъ лавровый
Я могъ вплести въ вѣнецъ терновый,
Вѣнецъ страдальческій его.

## 4. Пѣвцовъ былыхъ временъ.

Пѣвцовъ былыхъ временъ, минувшихъ поколѣній
Живые образы встаютъ передо мной.
Страницы вѣщія безсмертныхъ ихъ твореній
Прочитываю я,—и жгучею тоской
Мнѣ жжетъ и давитъ мозгъ тяжелое сознанье:
Гдѣ въ мірѣ тотъ народъ, чья рѣчь была бы — стонъ,
Молитва — горькій плачъ, мечта — одно терзанье,

И пѣсня жалобна, какъ погребальный звонъ?
Гдѣ тотъ пѣвецъ, кому не выпало бъ на долю
Завѣтныхъ грезъ своихъ желанный плодъ узрѣть,
Побѣдой гордою хоть разъ упиться вволю,
Отрадную одну, одну хоть пѣсню спѣть?..
Бывали годы бѣдъ у всякаго народа,
Рыдали ихъ пѣвцы, но каждому вдали
Сіяли, какъ заря, грядущая свобода
И счастье дальнее родной его земли.
Но тщетно для тебя, народъ мой, въ Божьемъ мірѣ
По мукамъ и скорбямъ искалъ я двойника,
Искалъ пѣвца, на чьей найти могла бы лирѣ
Отзывный стонъ моя глубокая тоска.
Я находилъ пѣвца съ рукою ополченной,
Пѣвца съ кошницею и мирною сохой,
А у меня въ рукѣ лишь факелъ похоронный
Да заступъ роковой...
Иди, безъ устали все рой да рой могилы,
Надежды тщетныя изъ сердца изгони,
Убитыя мечты, замученныя силы
Навѣки хорони!
И безъ просвѣта ночь... И безъ конца неволя...
Рыдать и все рыдать... О, какъ же ты горька,
Какъ ненавистна ты, мучительная доля
Пѣвца-гробовщика!

## 5. Не ключевой водой.

Не ключевой водой, но токомъ слезъ горючимъ
Я садъ мой поливалъ, и нѣтъ ни алыхъ розъ
Ни лилій нѣжныхъ въ немъ, — заглохъ онъ и заросъ
Полынью горькою и терніемъ колючимъ.
Одинъ лишь дубъ стоитъ среди глухихъ куртинъ,
Столѣтній, крѣпкій дубъ, угрюмый и косматый,
Стоитъ недвижимо, какъ древній исполинъ,
Волшебной чарою объятый.
Изрыли молніи кору его ствола,
Гроза съ тяжелыми громами
И ливнемъ бѣшенымъ не разъ по немъ прошла
И глубоко въ него слѣды свои вожгла
Неизгладимыми чертами...
И любо мнѣ порой, въ мучительные дни,
Когда заноетъ грудь, отъ скорби замирая,
Съ печальной лирою сидѣть въ его тѣни
Вѣнки изъ терніевъ сплетая...
Мнѣ любо тамъ сидѣть и любо мнѣ внимать
Развѣсистыхъ вѣтвей таинственному шуму
И въ тихій, стройный звукъ струны переливать
Вечерней звѣздочкой мерцающую думу...
Я слышу, какъ листва столѣтняя шумитъ,
И слышу я корней могучихъ прозябанье,
И въ глубинѣ души, какъ яркій лучъ, горитъ
И крѣпнетъ гордое и свѣтлое сознанье:
Пускай шумитъ гроза и мечетъ по вѣтвямъ
Губительный потокъ неистоваго гнѣва, —
Не уступить тебѣ ни бурямъ, ни громамъ,
Не умереть вовѣкъ твоимъ живымъ корнямъ,
Мое могучее, мое родное древо!..
И дни придутъ, придутъ — они должны прійти! —
Въ тѣни твоихъ вѣтвей потомокъ отдаленный
Нарветъ душистыхъ розъ и лилій, чтобъ сплести
Вѣнокъ цвѣтущій, благовонный.
Онъ вспомнитъ дней былыхъ тяжелый, страшный гнетъ,
Веселый взоръ его затмится грустной думой,
Но тихо и легко, какъ тѣнь, она пройдетъ, —
И пѣсню новую онъ громко запоетъ
Подъ шумъ листвы твоей угрюмой...

## 6. Не упрекай меня.

Не упрекай меня... Не говори: «Твой умъ
Измучился, усталъ отъ скорби и сомнѣній,
И нѣтъ въ душѣ твоей ни прежнихъ свѣтлыхъ думъ
Ни прежнихъ чистыхъ вдохновеній»...
Не говори... Не мнѣ, рожденному въ грозу,
Вспоенному волной мятежной, гордой силы,
Въ отчаяньи ронять безсильную слезу
На обветшалыя могилы.
То горе, что меня родило, та печаль,
Что пѣла у моей убогой колыбели,
Еще зовутъ меня въ плѣнительную даль,
Зовутъ къ великой, славной цѣли...
Но есть мгновенія: я робко обернусь,
Взгляну на прошлое, — и жгучею тоскою

вался все время съ больнымъ, такъ какъ я, обезсиленный, измученный, разбитый всею этою тяжелою картиной, волей-неволею принужденъ былъ уйти въ другую комнату, чтобы не заболѣть самому.

И Гурвейсъ, какъ мать, какъ сестра, сидѣлъ все время съ несчастнымъ съ глазу на глазъ и, какъ нѣжная мать, какъ сестра, дѣлилъ съ нимъ его ужасныя послѣднія минуты. Припадки становились все сильнѣе, человѣкъ все больше уступалъ звѣрю, разсудокъ, сознаніе, мысль все властнѣе подчинялись недугу, духъ слабѣлъ, но, слабѣя, все-таки отчаянно боролся. Иногда самъ больной, чувствуя приближеніе припадка, кричалъ, вопилъ: «уходите, уходите!»—и затѣмъ, уже не помня себя, метался и бился такъ, съ такими стонами и криками, что ихъ слышали даже на улицѣ, что окна и полъ дрожали даже у меня. И въ эти страшныя минуты,—минуты полной, казалось, побѣды недуга надъ духомъ,—до меня долеталъ тихій, ровный, спокойный и ласкающій голосъ врача, которымъ онъ успокаивалъ, уговаривалъ больного, напоминалъ ему о другихъ видѣнныхъ имъ страданіяхъ, напоминалъ героевъ-мучениковъ. И чудо свершалось: побѣжденный, казалось, духъ человѣка воскресалъ, оживалъ отъ этого магическаго слова человѣческой любви, отъ этого тона нѣжной матери, отъ этихъ великихъ, приводимыхъ примѣровъ любви и самоотверженія, и, воскресая, хоть на моментъ, но побѣждалъ недугъ, пробуждалъ человѣка во всей его человѣческой красотѣ и мощи. И пробуждавшійся на моментъ человѣкъ полнымъ скорби и страданія голосомъ молилъ себѣ прощенія за свою слабость, благодарилъ за участіе и, хватая и цѣлуя руки Гурвейса, страстно и громко рыдая, просилъ у него смерти...

— Братъ, другъ, мать,—молилъ онъ, задыхаясь отъ слезъ,—именемъ всего святого, что есть въ человѣкѣ, во имя любви и состраданія, дайте мнѣ яду... Я хочу умереть *человѣкомъ*, а не звѣремъ...

— Развѣ я могу убивать?—долеталъ до меня дрожащій голосъ:—я—врачъ, обязанный лѣчить и спасать людей.

— Но спасенья вѣдь все равно нѣтъ вѣдь?—не то спрашивалъ, не то утверждалъ, колеблясь, страдалецъ...

— Я дѣлаю все, что велитъ наука... Природа для нея—еще мало раскрытая книга,—отвѣчалъ все также ласково Гурвейсъ, только голосъ его дрожалъ все больше:—успокойтесь и не теряйте вѣры...

— Нѣтъ,—вздыхалъ больной,—въ жизнь у меня уже нѣтъ вѣры... Но, умирая, я вѣрю въ человѣка...

И я слышалъ страстные поцѣлуи и лобзанья, которыми бѣшеный осыпалъ руки и платье врача, давшаго ему возможность умереть съ такою великою и святою вѣрой.

## VIII.

А въ это самое время на улицахъ носилась та страшная стихійная человѣческая буря, безсознательная, какъ и всякая стихія, какъ она же, безжалостная, жестокая, ничего не разбирающая, какъ она, роковая,—та буря, что, зарождаясь незамѣтно, исподволь, гдѣ-то глубоко и тихо, вдругъ внезапно, подъ вліяніемъ какого-нибудь самаго незначительнаго фактора, волнуетъ спокойное на видъ море человѣческой жизни. Такія стихійныя-бури отличаются отъ сознательнаго движенія человѣчества тѣмъ, что всецѣло лишены созидающаго, творческаго элемента, что онѣ представляютъ собою только взрывъ накопившейся годами страсти. Вообще онѣ имѣютъ много общаго съ катаклизмами въ мертвой, неорганической природѣ. Такъ, какъ и тутъ, постепенно, тихо, годами и незамѣтно накопляются скрытыя въ потенціи силы и, скопившись, ждутъ только незначительнаго толчка, малѣйшаго движенія, чтобы вдругъ, внезапно произвести катастрофу. Громадная лавина, ломающая лѣса и засыпающая цѣлыя деревни, срывается съ горъ отъ дѣтскаго плача.

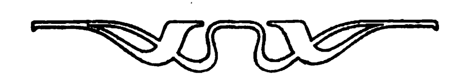
Въ такихъ явленіяхъ неорганическаго міра мы видимъ нѣчто роковое, мы складываемъ передъ ними руки, мы не бранимъ ихъ, не хвалимъ, мы признаемъ ихъ за нѣчто, стоящее внѣ нашей воли, и стремимся только понять ихъ и постигнуть. Къ стихійнымъ явленіямъ человѣческой жизни, къ такимъ ея бурямъ мы относимся иначе; ихъ мы любимъ или не любимъ, бранимъ или хвалимъ, такъ или иначе прилагаемъ къ нимъ мѣрку нашихъ личныхъ симпатій. А между тѣмъ по своей природѣ и тѣ и другія тождественны, и тѣ и другія носятъ характеръ, одинаково роковой, одинаково безсозна-

Орлицы молодой, души моей коснулись...
Родимый уголокъ мнѣ тихо говорилъ:
«Прощай, дитя мое!.. Я много, много силъ
Вскормилъ въ твоей груди... Иди безъ сожалѣнья,
Куда влекутъ тебя завѣтныя стремленья,—
Бойцомъ свободы и добра;
Живи, борись, люби!.. Когда жъ придетъ пора,
И ты, измученный тяжелою борьбою,
Поникнешь бѣдною, усталой головою,—
Тогда вернись ко мнѣ»... О родина моя,
Прими меня, прими дитя свое больное!
Ты много силъ дала, — по каплѣ, какъ змѣя,
Ихъ высосала скорбь и горе роковое.
Я за себя страдалъ, боролся за себя
И устоялъ въ борьбѣ, страдая и любя,
Но горе новое, невѣдомое горе,
Безбрежное, какъ міръ, бездонное, какъ море,
Изъ тысячъ стонущихъ грудей
Проникло въ грудь мою; въ больной душѣ моей
Безумный, страшный крикъ отчаянья раздался—
И заглушить его напрасно я старался...
Но я вернулся къ вамъ, родимыя поля,
И божья благодать живительной волною
Струится въ грудь мою... Полна душа моя
Той тихой радостью, той свѣтлой тишиною,
Что вѣютъ въ сумракѣ душистыхъ вечеровъ
Со скатовъ и низинъ днѣпровскихъ береговъ...
Шуми, шуми же, Днѣпръ, прохладой водъ зеркальныхъ
Обвѣй больную грудь и бурю думъ печальныхъ
Въ умѣ тоскливомъ утиши!
Зажгись, заря, во мглѣ измученной души,—
И пусть я встану вновь, на бой враговъ скликая,
Страдая и любя, молясь и проклиная!..

## 9. Зачѣмъ отравили вы пѣсню мою.

Зачѣмъ отравили вы пѣсню мою?..
На свѣтломъ просторѣ полей
Я вышелъ навстрѣчу весенему дню
Со скромною лирой своей,
Чтобъ у вѣтровъ степныхъ,
У потоковъ лѣсныхъ
Взять созвучья живыя для пѣсенъ моихъ.
Я видѣлъ, какъ гасла звѣзда за звѣздой
На пологѣ темныхъ небесъ,
Туманы клубились надъ свѣтлой водой,
Задумчиво хмурился лѣсъ,
И по нивамъ порой
Подъ румяной зарей
Пробѣгалъ и сверкалъ переливъ золотой.
Я слышалъ, какъ вѣтры летятъ по волнамъ,
Какъ вешнія грозы гремятъ,
Орлы, подымаясь со скалъ къ облакамъ,
Крылами въ пространствѣ шумятъ.—
И лились и текли
По широкой степи,
Полны жизни и радости, пѣсни мои...
Теперь... Предо мною раздольная степь
Все также свѣтла, широка...
И горъ изумрудныхъ зубчатая цѣпь,
И лентой сребристой рѣка...
И шумя и блестя,
Золотыя поля
Вѣютъ жизнью и волей былой на меня.
Но тщетно ищу я душою больной
Отрады исчезнувшихъ дней...
И стонетъ и рвется струна за струной
Подъ слабой рукою моей...
Чьи-то слезы блестятъ,
Чьи-то стоны звучатъ:
«Братъ нашъ! блѣдный, измученный братъ!
Намъ душно... намъ страшно... Ты видишь ли, братъ,
Какъ врагъ нашъ ликуетъ кругомъ?..
Ты слышишь, какъ наши оковы гремятъ?..
Мы гибнемъ во мракѣ глухомъ...
Ни зари, ни пути,
Ни луча впереди»...
О, зачѣмъ отравили вы пѣсни мои!..

1881—1889 гг.



толпа»?—вырвалось у него какимъ-то больнымъ крикомъ при видѣ одной буквально разбитой лачуги, на развалинахъ которой рыдали оборванные нищіе-дѣти.—Вотъ она стихійная справедливость. Нищета—нищету... Свой—своего... за другой кафтанъ, за другой обычай. Умно.

Онъ бросилъ дѣтямъ денегъ и пошелъ, все также молча, плотно сжавъ губы, дрожа отъ волненія, а я шелъ за нимъ, какъ виноватый, не находя ни словъ, ни возраженій, ни мысли... Я чувствовалъ, точно вина *своихъ* ложится и на меня, и еще яснѣе понималъ, какъ должна быть ему больна обида его *своихъ*... Въ сущности, отношенія каждаго изъ насъ къ нашимъ, *своимъ*, было одинако... Гурвейсъ во многомъ былъ настолько же чуждъ массѣ еврейства, насколько я бушевавшей противъ нищихъ евреевъ толпѣ. Тѣмъ не менѣе, теперь тутъ эта непонятная сразу, неуловимая связь каждаго съ *своимъ* чувствовалась особенно остро. Помню, что, не выдержавъ, я схватилъ его руку, пожалъ и затѣмъ обнялъ. Онъ обнялъ меня, дрожа, задыхаясь, и мнѣ показалось, что что-то влажное, теплое упало изъ его глазъ на мои щеки.

Не знаю, что думалъ Гурвейсъ, но мнѣ, конечно, не приходило въ голову, чтобы разрушеніе, погромъ могли коснуться и его квартиры,—квартиры самаго популярнаго врача. Ни на одинъ моментъ страхъ за его гнѣздо, въ которомъ онъ отдыхалъ среди своей рѣзвой дѣтворы отъ своей тяжелой работы, не омрачилъ еще больше моихъ мыслей, не усугубилъ моей душевной боли. Гурвейсъ, правда, все прибавлялъ и прибавлялъ шаги, но я не придавалъ этому никакого значенія... Мнѣ казалось, что онъ просто хочетъ убѣжать скорѣе отъ этихъ скверныхъ, глубоко-печальныхъ картинъ, стоновъ и рыданій. Я забылъ, что стихія слѣпа, что она ничего не разбираетъ...

И я ахнулъ, искренно ахнулъ, когда картина повальнаго разрушенія и его гнѣзда предстала передо мною. Погромъ былъ въ полномъ разгарѣ, толпа бушевала еще у него въ домѣ, и, не помня себя отъ негодованія, отъ вспыхнувшей злобы, я бросился стремглавъ вверхъ по лѣстницѣ. Все, что до сихъ поръ волновало меня, мучило, давило,—все больное, щемящее чувство вылилось, перешло въ одно бѣшенство, такое же стихійное, можетъ быть, какъ и буйство разбивавшихъ... Можетъ-быть, это была та же психическая зараза, принявшая только иное направленіе, направившаяся иначе, которой заражались на улицѣ люди другъ отъ друга, по крайней мѣрѣ, я себя не помнилъ, не сознавалъ, я дѣйствовалъ не разсуждая, не думая... Тамъ, на площадкѣ лѣстницы, прижавшись другъ къ другу, стояли испуганныя дѣти, стояла жена Гурвейса, закрывавшая ихъ собою, и бросилась къ намъ, ломая руки, съ криками и плачемъ...

Гурвейсъ схватилъ младшаго ребенка на руки и обнялъ бившуюся въ истерикѣ жену, что-то шепча, говоря какіе-то неясные, спутанные обрывки мыслей, фразъ, которыми силился успокоить семью, а я бросился въ разбитыя двери къ бушевавшей толпѣ и въ тотъ же моментъ услышалъ близкую дробь барабана...

Было ли это дѣйствіе моего нечеловѣческаго крика, вырвавшагося изъ пересохшаго горла, какъ вырывается рычаніе у разъяреннаго звѣря, бѣшеный ли видъ мой бросившагося впередъ съ сжатыми кулаками,—оружія у меня не было,—дробь ли барабана подѣйствовала, или все вмѣстѣ,—не знаю, но бушевавшая толпа, остановившись, точно въ изумленіи, на моментъ, стремглавъ бросилась вонъ, увлекая и меня съ собой. Эта была паника, чистѣйшая паника, въ которую такъ легко переходитъ стихійное возбужденіе, не поддержанное сознаніемъ и волей. Разъ я видѣлъ кулачный бой, гдѣ «стѣна на стѣну» шли люди, ничего не имѣвшіе другъ противъ друга, увлеченные только общимъ примѣромъ, зараженные общимъ настроеніемъ. Никто имъ не мѣшалъ, ничто не угрожало... Вдругъ грянулъ выстрѣлъ,—инженеры недалеко взорвали скалу, и вся толпа, одинъ за другимъ, бросилась врассыпную, сама не зная зачѣмъ и почему. Этотъ грохотъ выстрѣла явился только диссонансомъ въ общей атмосферѣ, что ли, тишины и покоя, при которой совершался бой, и этого было достаточно, чтобы все измѣнилось и разлетѣлось.

Толпа бѣжала,—нѣтъ, летѣла вѣрнѣй,—внизъ по лѣстницѣ, какъ вспуганное стадо, безсознательно, точно такъ, какъ за минуту передъ тѣмъ все разрушала... Съ каждымъ шагомъ она ускоряла свое бѣгство, съ каждой секундой росла, казалось,

И робкихъ бѣглецовъ насмѣшкою клеймитъ;
Пусть онъ ведетъ насъ въ бой съ неправдою и тьмою,
Въ суровый, грозный бой за истину и свѣтъ,—
И упадемъ тогда мы ницъ передъ тобою,
И скажемъ мы тебѣ съ восторгомъ: «ты—поэтъ!..»
Пусть пѣснь твоя звучитъ, какъ тихое журчанье
Ручья, звенящаго серебряной струей;
Пусть въ ней ключомъ кипятъ надежды и желанья,
И сила слышится, и смѣхъ звучитъ живой;
Пусть мы забудемся подъ молодые звуки
И въ міръ фантазіи умчимся за тобой,—
Въ тотъ чудный міръ, гдѣ нѣтъ ни жгучихъ слезъ ни муки,
Гдѣ красота, любовь, забвенье и покой;
Пусть насладимся мы безъ думъ и размышленья
И снова проживемъ мечтами юныхъ лѣтъ,—
И мы благословимъ тогда твои творенья,
И скажемъ мы тебѣ съ восторгомъ: «ты—поэтъ!..»

1879 г.

## 4. Слово.

О, если бъ огненное слово
Я въ даръ отъ музы получилъ,
Какъ безпощадно бъ, какъ сурово
Порокъ и злобу я клеймилъ!..
Я бъ поднялъ всѣхъ на бой со мглою,
Я бъ знамя свѣта развернулъ
И въ міръ бы пѣснею живою
Стремленье къ истинѣ вдохнулъ!
Какимъ бы смѣхомъ я смѣялся,
Какой слезой бы прожигалъ!..
Опять бы надъ землей поднялся
Святой, забытый идеалъ...
Міръ испугался бъ, и проснулся,
И, какъ преступникъ, задрожалъ,
И на былое оглянулся,
И робко приговора ждалъ!..
И въ этомъ гробовомъ молчаньи
Гремѣлъ бы смѣлый голосъ мой,
Звуча огнемъ негодованья,
Звеня правдивою слезой!..
Мнѣ не дано такого слова...
Безсиленъ слабый голосъ мой.
Моя душа къ борьбѣ готова,
Но нѣтъ въ ней силы молодой...
Въ груди—безплодное рыданье,
Въ устахъ—мучительный упрекъ,
И давитъ сердце мнѣ сознанье,
Что я—я рабъ, а не пророкъ!

1879 г.

## 5. Окрыленнымъ мечтой сладкозвучнымъ стихомъ.

Окрыленнымъ мечтой сладкозвучнымъ стихомъ
Никогда не игралъ я отъ скуки.
Только то, что грозой пронеслась надъ челомъ,
Выливалъ я въ покорные звуки.
Какъ недугомъ, я каждою пѣснью болѣлъ,
Каждой творческой думой терзался;
И нерѣдко пѣвца благодатный удѣлъ
Непосильнымъ крестомъ мнѣ казался.
И нерѣдко клялся я навѣкъ замолчать,
Чтобъ съ толпою въ забвеніи слиться, —
Но Эолова арфа должна зазвучать,
Если вихрь по струнамъ ея мчится.
И невластенъ весною гремучій ручей
Со скалы не свергаться къ долинѣ,
Если солнце потоками жгучихъ лучей
Растопило снѣга на вершинѣ!..

1883 г.

## 6. Умерла моя муза.

Умерла моя муза!.. Недолго она
Озаряла мои одинокіе дни;
Облетѣли цвѣты, догорѣли огни,
Непроглядная ночь, какъ могила, темна!..
Тщетно въ сердцѣ, уставшемъ отъ мукъ и тревогъ,
Исцѣляющихъ звуковъ я жадно ищу:
Онъ растоптанъ и смятъ, мой душистый вѣнокъ,
Я безъ пѣсни борюсь и безъ пѣсни грущу!..
А въ былые года сколько тайнъ и чудесъ
Совершалось въ убогой каморкѣ моей:
Захочу — и сверкающій куполъ небесъ
Надо мной развернется въ потокахъ лучей,
И раскинется даль серебристыхъ озеръ,
И блеснутъ колоннады роскошныхъ дворцовъ,
И подымутъ въ лазурь свой зубчатый узоръ

Снѣговыя вершины гранитныхъ хребтовъ!..
А теперь — я одинъ... Непріютно, темно
Опустѣвшій мой уголъ въ глаза мнѣ глядитъ;
Словно черная птица, пугливо въ окно
Непогодная полночь крылами стучитъ...
Мраморъ пышныхъ дворцовъ разлетѣлся въ туманъ,
Величавыя горы разсыпались въ прахъ—
И истерзано сердце отъ скорби и ранъ,
И безсильныя слезы сверкаютъ въ очахъ!..
Умерла моя муза!.. Недолго она
Озаряла мои одинокіе дни;
Облетѣли цвѣты, догорѣли огни,
Непроглядная ночь, какъ могила, темна!..
1885 г.

## 7. Завѣса сброшена.

Завѣса сброшена: ни новыхъ увлеченій,
Ни тайнъ заманчивыхъ, ни счастья впереди;
Покой оправданныхъ и сбывшихся сомнѣній,
Мгла безнадежности въ измученной груди...
Какъ мало прожито — какъ много пережито!
Надежды свѣтлыя, и юность, и любовь...
И все оплакано... осмѣяно... забыто,
Погребено — и не воскреснетъ вновь!
Я въ братство вѣровалъ, но въ черный день невзгоды
Не могъ я отличить собратьевъ отъ враговъ;
Я жаждалъ для людей познанья и свободы, —
А міръ — все тотъ же міръ безсмысленныхъ рабовъ;
На грозный бой со зломъ мечталъ я встать сурово
Огнемъ и правдою карающихъ рѣчей, —
И въ храмѣ истины, въ священномъ храмѣ слова,
Я слышу оргію крикливыхъ торгашей!..
Любовь на мигъ... любовь — забава отъ бездѣлья,
Любовь — не жаръ души, а только жаръ въ крови,
Любовь—больной кошмаръ, тяжелый чадъ похмелья —
Нѣтъ, мнѣ не жаль ея, промчавшейся любви!..
Я не о ней мечталъ безсонными ночами,
И не она тогда являлась предо мной,
Вся — мысль, вся — красота, увитая цвѣтами,
Съ улыбкой дѣвственной и дѣвственной душой!..
Бѣдна, какъ нищая, и, какъ рабыня, лжива.
Въ лохмотья яркіе пестро наряжена —
Жизнь только издали нарядна и красива.
И только издали влечетъ къ себѣ она.
Но чуть вглядишься ты, чуть встанетъ предъ тобою
Она лицомъ къ лицу — и ты поймешь обманъ
Ея величія, подъ ветхой мишурою,
И красоты ея—подъ маскою румянъ.
1882 г.

## 8. Наше поколѣнье.

Наше поколѣнье юности не знаетъ.
Юность стала сказкой миновавшихъ лѣтъ:
Рано въ наши годы дума отравляетъ
Первыхъ силъ размахъ и первыхъ чувствъ расцвѣтъ.
Кто изъ насъ любилъ, весь міръ позабывая?
Кто не отрекался отъ своихъ боговъ?
Кто не падалъ духомъ, рабски унывая.
Не бросалъ щита передъ лицомъ враговъ?
Чуть не съ колыбели сердцемъ мы дряхлѣемъ,
Насъ томитъ безвѣрье, насъ грызетъ тоска...
Даже пожелать мы страстно не умѣемъ,
Даже ненавидимъ мы исподтишка!..
О, проклятье сну, убившему въ насъ силы!
Воздуха, простора, пламенныхъ рѣчей, —
Чтобы жить для жизни, а не для могилы.
Всѣмъ біеньемъ нервовъ, всѣмъ огнемъ страстей!
О, проклятье стонамъ рабскаго безсилья!
Мертвыхъ дней унынья послѣ не вернуть!
Загоритесь взоры, развернитесь крылья,
Закипи порывомъ, трепетная грудь!
Дружно за работу, на борьбу съ порокомъ,
Сердце съ братскимъ сердцемъ и съ рукой рука, —
Пусть никто не можетъ вымолвить съ упрекомъ:
«Для чего я не жилъ въ прошлые вѣка!»...

## 9. Мать.

Тяжелое дѣтство мнѣ пало на долю:
Изъ прихоти взятый чужою семьей.

По темнымъ угламъ я наплакался вволю,
Извѣдавъ всю тяжесть подачки людской.
Меня окружало довольство... Лишеній
Не зналъ я; зато и любви я не зналъ.
И въ тихія ночи отрадныхъ моленій
Никто надъ кроваткой моей не шепталъ.
Я росъ одиноко, я росъ позабытымъ,
Пугливымъ ребенкомъ, — угрюмый, больной,
Съ умомъ не по-дѣтски печалью развитымъ,
И съ чуткой, болѣзненно-чуткой душой;
И стали слетать ко мнѣ свѣтлыя грезы,
И стали мнѣ дивныя рѣчи шептать,
И дѣтскія слезы, безвинныя слезы,
Съ рѣсницъ моихъ тихо крылами свѣвать!..
Ночь... Въ комнатѣ душно... Сквозь шторы струится
Таинственный свѣтъ серебристой луны...
Я глубже стараюсь въ подушки зарыться,
А сны надо мной ужъ, завѣтные сны!..
Чу! Шорохъ шаговъ и шумящаго платья...
Несмѣлые звуки слышнѣй и слышнѣй...
Вотъ нѣжное «здравствуй», и чьи-то объятья
Кольцомъ обвилися вкругъ шеи моей!..
«Ты здѣсь, ты со мной, о моя дорогая,
О милая мама!.. Ты снова пришла...
Какіе жъ дары изъ далекаго рая
Ты бѣдному сыну съ собой принесла?
Какъ въ прошлыя ночи, взяла ль ты съ собою
Съ луговъ его яркихъ, какъ день, мотыльковъ,
Изъ рѣкъ его рыбокъ съ цвѣтной чешуею,
Изъ темныхъ садовъ — ароматныхъ плодовъ?
Споешь ли ты райскія пѣсни мнѣ снова,
Разскажешь ли снова, какъ въ блескѣ лучей
И въ синихъ струяхъ ѳиміама святого
Тамъ носятся тѣни безгрѣшныхъ людей?
Какъ ангелы въ полночь на землю слетаютъ,
И бродятъ вокругъ поселеній людскихъ,
И чистыя слезы молитвъ собираютъ,
И нижутъ жемчужныя нити изъ нихъ?
Сегодня, родная, я стою награды,
Сегодня... о, какъ ненавижу я ихъ, —
Опять они сердце мое безъ пощады
Измучили злобой упрековъ своихъ...
Скорѣй же, скорѣй!..»
И подъ тихія ласки
Обвѣянъ блаженствомъ нахлынувшихъ грезъ,
Я сладко смыкалъ утомленные глазки,
Прильнувши къ подушкѣ, намокшей отъ слезъ!..

1886 г.

## 10. Іуда.

### I.

Христосъ молился... Потъ кровавый
Съ чела поникшаго бѣжалъ...
За родъ людской, за родъ лукавый,
Христосъ моленья возсылалъ;
Огонь святого вдохновенья
Сверкалъ въ чертахъ Его лица.
И Онъ съ улыбкой сожалѣнья
Сносилъ послѣднія мученья
И боль терноваго вѣнца.
Вокругъ креста толпа стояла,
И грубый смѣхъ звучалъ порой...
Слѣпая чернь не понимала,
Кого насмѣшливо пятнала
Своей безсильною враждой.
Что сдѣлалъ Онъ? За что на муку
Онъ осужденъ, какъ рабъ, какъ тать,
И кто дерзнулъ безумно руку
На Бога своего поднять?
Онъ въ міръ вошелъ съ святой любовью,
Училъ, молился и страдалъ —
И міръ Его невинной кровью
Себя навѣки запятналъ!..
Свершилось!..

### II.

Полночь голубая
Горѣла кротко надъ землей;
Въ лазури ласково сіяя,
Поднялся мѣсяцъ золотой.
Онъ то задумчивымъ мерцаньемъ
За дымкой облака сверкалъ,
То снова трепетнымъ сіяньемъ
Голгоѳу ярко озарялъ.
Внизу, окутанный туманомъ,
Виднѣлся городъ съ высоты.
Надъ нимъ, подобно великанамъ,
Чернѣли грозные кресты.
На двухъ изъ нихъ еще висѣли
Казненные; лучи луны
Въ ихъ лица блѣдныя глядѣли
Съ своей безбрежной вышины.
Но третій крестъ былъ пустъ. Друзьями
Христосъ былъ снятъ и погребенъ,

И ихъ прощальными слезами
Гранитъ надгробный орошенъ.

III.

Чье затаенное рыданье
Звучитъ у средняго креста?
Кто этотъ человѣкъ? Страданье
Горитъ въ чертахъ его лица.
Быть можетъ, съ жаждой исцѣленья
Онъ изъ далекихъ странъ спѣшилъ,
Чтобъ Іисусъ его мученья
Всесильнымъ словомъ облегчилъ?
Ужъ онъ готовился съ мольбою
Упасть къ ногамъ Христа—и вотъ,
Вдругъ отовсюду узнаетъ,
Что Тотъ, Кого народъ толпою
Недавно, какъ царя, встрѣчалъ,
Что Тотъ, Кто свѣтъ зажегъ надъ міромъ,
Кто не кадилъ земнымъ кумирамъ
И зло открыто обличалъ,—
Погибъ, забросанный презрѣньемъ,
Измятый пыткой и мученьемъ!..
Быть-можетъ, тайный ученикъ,
Склонясь усталой головою,
Къ кресту Учителя приникъ
Съ тоской и страстною мольбою?
Быть-можетъ, грѣшникъ непрощенный
Сюда, измученный, спѣшилъ,
И здѣсь, колѣнопреклоненный,
Свое раскаянье излилъ?
Нѣтъ, то Іуда!.. Не съ мольбой
Пришелъ онъ—онъ не смѣлъ молиться
Своей порочною душой;
Не съ тѣломъ Господа проститься
Хотѣлъ онъ—онъ и самъ не зналъ,
Зачѣмъ и какъ сюда попалъ.

IV.

Когда на муку обреченный,
Толпой народа окруженный,
На мѣсто казни шелъ Христосъ
И крестъ, изнемогая, несъ,
Іуда, притаившись, видѣлъ
Его страданья и сознаъ,
Кого безумно ненавидѣлъ,
Чью жизнь на деньги промѣнялъ.
Онъ понялъ, что ему прощенья
Нѣтъ въ безпристрастныхъ небесахъ,—
И страхъ, безсильный, рабскій страхъ,
Угрюмый спутникъ преступленья,
Вселился въ грудь его. Всю ночь
Въ его больномъ воображеньи
Вставалъ Христосъ. Напрасно прочь
Онъ гналъ докучное видѣнье;
Напрасно думалъ онъ уснуть,
Чтобъ все забыть и отдохнуть
Подъ кровомъ молчаливой ночи:
Предъ нимъ, едва сомкнетъ онъ очи,
Все тотъ же призракъ роковой
Встаетъ во мракѣ, какъ живой! —

V.

Вотъ Онъ, истерзанный мученьемъ
Апостолъ истины святой,
Измятый пыткой и презрѣньемъ,
Распятый буйною толпой;
Богъ, осужденный приговоромъ
Слѣпыхъ, подкупленныхъ судей!
Вотъ Онъ!.. Горитъ нѣмымъ укоромъ
Небесный взоръ Его очей.
Вѣнецъ любви, вѣнецъ терновый
Чело Спасителя язвитъ,
И, мнится, приговоръ суровый
Въ устахъ разгнѣванныхъ звучитъ...
«Прочь, непорочное видѣнье,
Уйди, не мучь больную грудь!..
Дай хоть на часъ, хоть на мгновенье
Не жить... не помнить... отдохнуть...
Смотри: предатель твой рыдаетъ
У ногъ твоихъ... О, пощади!..
Твой взоръ мнѣ душу разрываетъ...
Уйди... исчезни... не гляди!..
Ты видишь: я готовъ слезами
Мой поцѣлуй коварный смыть...
О, дай минувшее забыть,
Дай душу облегчить мольбами...
Ты Богъ... Ты можешь все простить!
. . . . . . . . . . . . . . . .
А я? я зналъ ли сожалѣнье?
Мнѣ нѣтъ пощады, нѣтъ прощенья!»

VI.

Куда уйти отъ черныхъ думъ?
Куда бѣжать отъ наказанья?
Устала грудь, истерзанъ умъ,
Въ душѣ—мятежныя страданья.
Безмолвно въ тишинѣ ночной,
Какъ изваянье, безъ движенья,
Все тотъ же призракъ роковой
Стоитъ залогомъ осужденья...
А здѣсь, вокругъ, горя луной,
Дыша весеннимъ обаяньемъ,
Ночь разметалась надъ землей
Своимъ задумчивымъ сіяньемъ.
И спитъ серебряный Кедронъ,
Въ туманъ прозрачный погруженъ...

VII.

Бѣги, предатель, отъ людей
И знай: нигдѣ душѣ твоей
Ты не найдешь успокоенья:
Гдѣ бъ ни былъ ты, вездѣ съ тобой
Пойдетъ твой призракъ роковой
Залогомъ мукъ и осужденья.
Бѣги отъ этого креста,
Не оскверняй его лобзаньемъ:
Онъ святъ, онъ освященъ страданьемъ
На немъ распятаго Христа!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
И онъ бѣжалъ!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII.

Полнебосклона
Заря пожаромъ обняла
И горы дальняго Кедрона
Волнами блеска залила.
Проснулось солнце за холмами
Въ вѣнцѣ сверкающихъ лучей.
Все ожило... шумитъ вѣтвями
Лѣсъ, гордый великанъ полей,
И въ глубинѣ его струями
Гремитъ серебряный ручей...
Въ лѣсу, гдѣ вѣчно мгла царитъ,
Куда заря не проникаетъ,
Качаясь мрачный трупъ виситъ;
Надъ нимъ безмолвно разстилаетъ
Осина свой покровъ живой,
И изумрудною листвой
Его, какъ друга, обнимаетъ.
Погибъ Іуда... Онъ не снесъ
Огня глухихъ своихъ страданій,
Погибъ безъ примиренныхъ слезъ,
Безъ сожалѣній и желаній.
Но до послѣдняго мгновенья
Все тотъ же призракъ роковой
Живымъ упрекомъ преступленья
Предъ нимъ вставалъ во тьмѣ ночной.
Все тотъ же приговоръ суровый,
Казалось, съ устъ Его звучалъ,
И на челѣ вѣнецъ терновый,
Вѣнецъ страданія лежалъ!

1879 г.

## 11. Чу, кричитъ буревѣстникъ.

Чу, кричитъ буревѣстникъ!.. Крѣпи паруса!
И грозна и окутана мглою,
Буря гнѣвнымъ челомъ уперлась въ небеса
И на волны вступила пятою.
Въ ризѣ тучъ, озаренная бѣглымъ огнемъ
Яркихъ молній, обвитыхъ вкругъ стана,
Мощно сыплетъ она свой рокочущій громъ
На свинцовый просторъ океана.
Какъ прекрасенъ и грозенъ нѣмой ея ликъ!
Какъ сильны ея черныя крылья!
Будь же, путникъ, какъ врагъ твой, безстрашно-великъ!..

1884 г.

## 12. На могилѣ Герцена.

I.

На полдень отъ нашего скуднаго края,
Подъ небомъ цвѣтущей страны,
Гдѣ въ желтыя скалы стучитъ, не смолкая,
Прибой средиземной волны,
Гдѣ лѣсъ апельсиновъ изломы и склоны
Зубчатыхъ холмовъ осѣнилъ,
И Ницца на солнцѣ купаетъ балконы
Своихъ бѣломраморныхъ виллъ, —
Есть хмурый утесъ: словно чуткая стая
На отдыхъ слетѣвшихся птицъ,
Бѣлѣетъ на немъ, въ цвѣтникахъ утопая,
Семья молчаливыхъ гробницъ.

II.

Едва на востокѣ заря просіяетъ
За синею цѣпью холмовъ,
Туда она первый свой отблескъ роняетъ —
На мраморъ могильныхъ крестовъ.
А ночью тамъ дремлютъ туманы и тучи,
Волнами клубящейся мглы,
Какъ флеромъ, окутавъ изрытыя кручи
Косматой и мрачной скалы.
И видно оттуда, какъ даль горизонта
Сливается съ зыбью морской,
И какъ серебрится на Альпахъ Пьемонта
Въ лазури покровъ снѣговой.
И городъ оттуда видать: подъ ногами
Онъ весь, какъ игрушка, лежитъ,
Тѣснится къ волнамъ, зеленѣетъ садами,
И дышитъ, и жизнью кипитъ!..

III.

Шумна многолюдная Ницца зимою:
Движенья и блеска полна,

Вдоль стройныхъ бульваровъ нарядной толпою
 За полночь пестрѣетъ она.
Гремятъ экипажи, снуютъ пѣшеходы,
 Звенятъ мандолины пѣвцовъ,
Взметаютъ фонтаны жемчужныя воды
 Въ таинственномъ мракѣ садовъ.
И только скалистый утесъ, наклоненный
 Надъ буйнымъ прибоемъ волны,
Какъ сказочный витязь, стоитъ погруженный
 Въ свои одинокіе сны...
Стоитъ онъ и мрачныя тѣни бросаетъ
 На радостно-свѣтлый заливъ,
И знойный мистраль шелеститъ и вздыхаетъ
 Въ листвѣ ея пышныхъ оливъ.

IV.

Пришлецъ, сѣверянинъ, еще съ колыбели
 Привыкнувъ въ отчизнѣ моей,
Къ тоскливымъ напѣвамъ декабрьской метели
 И шуму осеннихъ дождей, —
На роскошь изнѣженной южной природы
 Глядѣлъ я съ холодной тоской,
И городъ богатства, тщеславья и моды
 Казался мнѣ душной тюрьмой...
Но былъ уголокъ въ немъ, гдѣ я забывался:
 Безсильно смолкая у ногъ,
Докучливымъ шумомъ туда не врывался
 Веселья и жизни потокъ.
То былъ уголокъ на утесѣ угрюмомъ:
 Подъ сѣнь его мирныхъ могилъ
Я часто, отдавшись излюбленнымъ думамъ,
 Отъ праздной толпы уходилъ.

V.

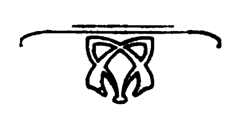
Среди саркофаговъ и урнъ погребальныхъ,
 Среди обветшалыхъ крестовъ
И мраморныхъ женщинъ, красиво-печальныхъ
 Въ оградахъ своихъ цвѣтниковъ,—
Тамъ ждалъ меня кто-то, какъ я, одинокій.

 Какъ я, на чужихъ берегахъ
Страдальческій образъ отчизны далекой
 Хранившій въ завѣтныхъ мечтахъ.
Отлитый изъ мѣди, тяжелой пятою
 На мраморный цоколь ступивъ,
Какъ будто живой, онъ вставалъ предо мною
 Подъ темнымъ наметомъ оливъ.
Въ чертахъ—величавая грусть вдохновенья,
 Раздумье во взорѣ нѣмомъ,
И руки на мѣдной груди безъ движенья
 Прижаты широкимъ крестомъ...

VI.

Такъ вотъ гдѣ, боецъ, утомленный борьбою,
Послѣдній пріютъ ты нашелъ!
Сюда не нагрянетъ жестокой грозою
Душившій тебя произволъ.
Изъ скорбной отчизны къ тебѣ не домчится
Бряцанье позорныхъ цѣпей...
Скажи жъ мнѣ: легко ли, спокойно ли спится
Тебѣ межъ свободныхъ людей?
Тебя я узналъ... Ты въ минувшіе годы
Такъ долго, такъ гордо страдалъ!
Какъ колоколъ правды, добра и свободы,
Съ чужбины твой голосъ звучалъ.
Онъ совѣсть будилъ въ насъ, онъ звалъ на работу,
Онъ звалъ насъ сплотиться тѣснѣй...
И былъ ненавистенъ насилью и гнету.
Языкъ твоихъ смѣлыхъ рѣчей.

1886 г.



**Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ.**
(1855 — 1888).

## Четыре дня.

Я помню, какъ мы бѣжали по лѣсу, какъ жужжали пули, какъ падали отрываемыя ими вѣтки, какъ мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрѣлы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее тамъ и сямъ. Сидоровъ, молоденькій солдатикъ первой роты («какъ онъ попалъ въ нашу цѣпь?» мелькнуло у меня въ головѣ), вдругъ присѣлъ къ землѣ и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Изо рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, какъ уже почти на опушкѣ, въ густыхъ кустахъ, я увидѣлъ... *его*. Онъ былъ огромный, толстый турокъ, но я бѣжалъ прямо на него, хотя я слабъ и худъ. Что-то хлопнуло, что-то, какъ мнѣ показалось, огромное пролетѣло мимо; въ ушахъ зазвенѣло. «Это онъ въ меня выстрѣлилъ», подумалъ я. А онъ съ воплемъ ужаса прижался спиною къ густому кусту боярышника. Можно было обойти кустъ, но отъ страха онъ не помнилъ ничего и лѣзъ на колючія вѣтви. Однимъ ударомъ я вышибъ у него ружье, другимъ воткнулъ куда-то свой штыкъ. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потомъ я побѣжалъ дальше. Наши кричали «ура», падали, стрѣляли. Помню, и я сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ, уже выйдя изъ лѣсу, на полянѣ. Вдругъ «ура» раздалось громче, и мы всѣ сразу двинулись впередъ. Т.-е. не мы, а наши, потому что я остался. Мнѣ это показалось страннымъ. Еще страннѣе было то, что вдругъ все исчезло; всѣ крики и выстрѣлы смолкли. Я не слышалъ ничего, а видѣлъ только что-то синее; должно-быть, это было небо. Потомъ и оно исчезло.

---

Я никогда не находился въ такомъ странномъ положеніи. Я лежу, кажется, на животѣ и вижу передъ собою только маленькій кусочекъ земли. Нѣсколько тра-

какой-то маленькій человѣкъ, котораго онъ могъ бы убить однимъ ударомъ своего чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему штыкъ въ сердце.

Чѣмъ же онъ виноватъ?

И чѣмъ виноватъ я, хотя я и убилъ его? Чѣмъ я виноватъ? За что меня мучитъ жажда? Жажда! Кто знаетъ, что значитъ это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румыніи, дѣлая въ ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верстъ, тогда я не чувствовалъ того, что чувствую теперь. Ахъ, если бы кто-нибудь пришелъ!

Боже мой, да у него въ этой огромной флягѣ, навѣрно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будетъ стоить! Все равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабѣвшія руки едва двигаютъ неподвижное тѣло. До трупа сажени двѣ, но для меня это больше— не больше, а хуже десятковъ верстъ. Все-таки нужно ползти. Горло горитъ, жжетъ, какъ огнемъ. Да и умрешь безъ воды скорѣе. Все-таки, можетъ-быть...

И я ползу. Ноги цѣпляются за землю, и каждое движенье вызываетъ нестерпимую боль. Я кричу, кричу съ воплями, а все-таки ползу. Наконецъ вотъ и онъ. Вотъ фляга... Въ ней есть вода и какъ много! Кажется, больше полфляги. О! воды мнѣ хватитъ надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва. Я началъ отвязывать флягу, опершись на одинъ локоть и вдругъ, потерявъ равновѣсіе, упалъ лицомъ на грудь своего спасителя. Отъ него уже былъ слышенъ сильный трупный запахъ.

---

Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и притомъ ея было много. Я проживу еще нѣсколько дней. Помнится, въ «Физіологіи обыденной жизни» сказано, что безъ пищи человѣкъ можетъ прожить больше недѣли, лишь бы была вода. Да, тамъ еще разсказана исторія самоубійцы, уморившаго себя голодомъ. Онъ жилъ очень долго, потому что пилъ.

Ну, и что же? Если я проживу еще дней пять-шесть, что будетъ изъ этого? Наши ушли, болгары разбѣжались. Дороги близко нѣтъ. Все равно—умирать. Только, вмѣсто трехдневной агоніи, я сдѣлалъ себѣ недѣльную. Не лучше ли кончить? Около моего сосѣда лежитъ его ружье, отличное англійское произведеніе. Стоитъ только протянуть руку; потомъ одинъ мигъ и—конецъ. Патроны валяются тутъ же, кучею. Онъ не успѣлъ выпустить всѣхъ.

Такъ кончать или—ждать? Чего? Избавленія? Смерти? Ждать, пока пріѣдутъ турки и начнутъ сдирать кожу съ моихъ раненыхъ ногъ? Лучше ужъ самому...

Нѣтъ, не нужно падать духомъ; буду бороться до конца, до послѣднихъ силъ. Вѣдь если меня найдутъ, я спасенъ. Быть можетъ, кости не тронуты; меня вылѣчатъ. Я увижу родину, мать, Машу...

Господи, не дай имъ узнать всю правду! Пусть думаютъ, что я убитъ наповалъ. Что будетъ съ ними, когда онѣ узнаютъ, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествіе къ сосѣду меня совершенно измучило. А тутъ еще этотъ ужасный запахъ! Какъ онъ почернѣлъ... что будетъ съ нимъ завтра или послѣзавтра. И теперь я лежу здѣсь только потому, что нѣтъ силъ оттащиться. Отдохну и поползу на старое мѣсто; кстати, вѣтеръ дуетъ оттуда и будетъ относить отъ меня зловоніе.

Я лежу въ совершенномъ изнеможеніи. Солнце жжетъ мнѣ лицо и руки. Накрыться нечѣмъ. Хоть бы ночь поскорѣе: это, кажется, будетъ вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

---

Я спалъ долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все попрежнему: раны болятъ, сосѣдъ лежитъ, такой же огромный и неподвижный.

Я не могу не думать о немъ. Неужели я бросилъ все милое, дорогое, шелъ сюда тысячеверстнымъ походомъ, голодалъ, холодалъ, мучался отъ зноя; неужели, наконецъ, я лежу теперь въ этихъ мукахъ только ради того, чтобы этотъ несчастный пересталъ жить? А вѣдь развѣ я сдѣлалъ что-нибудь полезное для военныхъ цѣлей, кромѣ этого убійства?

Убійство, убійца... И кто же? Я!

Когда я затѣялъ итти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослѣпленный идеею, я не видѣлъ этихъ слезъ. Я не понималъ (теперь я понялъ), что я дѣлалъ съ близкими мнѣ существами.

Да вспоминать ли? Прошлаго не воротишь.

А какое странное отношеніе къ моему поступку явилось у многихъ знакомыхъ

благодать!» А самъ Ришаръ только плачетъ въ умиленіи: «Да, на меня сошла благодать! Прежде я все дѣтство и юность мою радъ былъ корму свиней, а теперь сошла и на меня благодать, умираю во Господѣ!» — «Да, да, Ришаръ, умри во Господѣ, ты пролилъ кровь и долженъ умереть во Господѣ. Пусть ты не виновенъ, что не зналъ совсѣмъ Господа, когда завидовалъ корму свиней и когда тебя били за то, что ты кралъ у нихъ кормъ (что ты дѣлалъ очень нехорошо, ибо красть не позволено), но ты пролилъ кровь и долженъ умереть». И вотъ наступаетъ послѣдній день. Разслабленный Ришаръ плачетъ и только и дѣлаетъ, что повторяетъ ежеминутно: «Это лучшій изъ дней моихъ, я иду къ Господу!» — «Да,—кричатъ пасторы, судьи и благотворительныя дамы,—это счастливѣйшій день твой, ибо ты идешь къ Господу!» Все это двигается къ эшафоту, вслѣдъ за позорною колесницей, въ которой везутъ Ришара, въ экипажахъ, пѣшкомъ. Вотъ достигли эшафота: «Умри, братъ нашъ,—кричатъ Ришару,—умри во Господѣ, ибо и на тебя сошла благодать!» И вотъ, покрытаго поцѣлуями братьевъ, брата Ришара втащили на эшафотъ, положили на гильотину и оттяпали-таки ему, по-братски, голову за то, что и на него сошла благодать. Нѣтъ, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшаго общества и разослана для просвѣщенія народа русскаго при газетахъ и другихъ изданіяхъ даромъ. Штука съ Ришаромъ хороша тѣмъ, что національна. У насъ хоть нелѣпо рубить голову брату потому только, что онъ сталъ намъ братъ и что на него сошла благодать, но, повторяю, у насъ есть свое, почти что не хуже. У насъ историческое, непосредственное и ближайшее наслажденіе истязаніемъ битья. У Некрасова есть стихи о томъ, какъ мужикъ сѣчетъ лошадь кнутомъ по глазамъ, «по кроткимъ глазамъ». Этого кто жъ не видалъ, это руссизмъ. Онъ описываетъ, какъ слабосильная лошаденка, на которую навалили слишкомъ, завязла съ возомъ и не можетъ вытащить. Мужикъ бьетъ ее, бьетъ съ остервенѣніемъ, бьетъ, наконецъ, не понимая, что дѣлаетъ, въ опьянѣніи битья сѣчетъ больно, безчисленно: «Хоть ты и не въ силахъ, а вези, умри, да вези!» Кляченка рвется, и вотъ онъ начинаетъ сѣчь ее, беззащитную, по плачущимъ, по «кроткимъ глазамъ». Внѣ себя, она рванула и вывезла, и пошла, вся дрожа, не дыша, какъ-то бокомъ, съ какою-то припрыжкою, какъ-то неестественно и позорно, — у Некрасова это ужасно. Но вѣдь это всего только лошадь, лошадей и самъ Богъ далъ, чтобъ ихъ сѣчь. Такъ татары намъ растолковали и кнутъ на память подарили. Но можно вѣдь сѣчь и людей. И вотъ интеллигентный, образованный господинъ и его дама сѣкутъ собственную дочку, младенца семи лѣтъ, розгами, — объ этомъ у меня подробно записано. Папенька радъ, что прутья съ сучками, «садче будетъ», говоритъ онъ, и вотъ начинаетъ «сажать» родную дочь. Я знаю навѣрно, есть такіе сѣкущіе, которые разгорячаются съ каждымъ ударомъ до сладострастія, до буквальнаго сладострастія, съ каждымъ послѣдующимъ ударомъ все больше и больше, все прогрессивнѣе. Сѣкутъ минуту, сѣкутъ, наконецъ, пять минутъ, сѣкутъ десять минутъ, дальше, больше, чаще, садче. Ребенокъ кричитъ, ребенокъ, наконецъ, не можетъ кричать, задыхается: «папа, папа, папочка, папочка!» Дѣло какимъ-то чортовымъ неприличнымъ случаемъ доходитъ до суда. Нанимается адвокатъ. Русскій народъ давно уже назвалъ у насъ адвоката—«аблакатъ—нанятая совѣсть». Адвокатъ кричитъ въ защиту своего кліэнта. «Дѣло, дескать, такое простое, семейное и обыкновенное, отецъ посѣкъ дочку и вотъ, къ стыду нашихъ дней, дошло до суда!» Убѣжденные присяжные удаляются и выносятъ оправдательный приговоръ. Публика реветъ отъ счастья, что оправдали мучителя.—Э-эхъ, меня не было тамъ, я бы рявкнулъ предложеніе учредить стипендію въ честь имени истязателя!.. Картинки прелестныя. Но о дѣткахъ есть у меня и еще получше, у меня очень, очень много собрано о русскихъ дѣткахъ, Алеша. Дѣвчоночку маленькую, пятилѣтнюю, возненавидѣли отецъ и мать, «почтеннѣйшіе и чиновные люди, образованные и воспитанные». Видишь, я еще разъ положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многихъ въ человѣчествѣ—это любовь къ истязанію дѣтей, но однихъ дѣтей. Ко всѣмъ другимъ субъектамъ человѣческаго рода эти же самые истязатели

мѣчаю даже запаха трупа, хотя онъ нисколько не ослабѣлъ.

И вдругъ на переходѣ черезъ ручей показываются казаки! Синіе мундиры, красные лампасы, пики. Ихъ цѣлая полусотня. Впереди на превосходной лошади чернобородый офицеръ. Только что полусотня перебралась черезъ ручей, онъ повернулся на сѣдлѣ всѣмъ тѣломъ назадъ и закричалъ:

«Р-ы-ы-сью, ма-аршъ!»

— Стойте, стойте, Бога ради! Помогите, помогите, братцы! — кричу я; но топотъ дюжихъ коней, стукъ шашекъ и шумный казачій говоръ громче моего хрипѣнья— и меня не слышатъ!

О проклятіе! Я въ изнеможеніи падаю лицомъ къ землѣ и начинаю рыдать. Изъ опрокинутой мною фляжки течетъ вода— моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замѣчаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла въ жадную сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцѣпенѣніе, которое овладѣло мною послѣ этого ужаснаго случая? Я лежалъ неподвижно, съ полузакрытыми глазами. Вѣтеръ постоянно перемѣнялся и то дулъ на меня свѣжимъ и чистымъ воздухомъ, то снова обдавалъ меня вонью. Сосѣдъ въ этотъ день сдѣлался страшнѣе всякаго описанія. Разъ, когда я открылъ глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло съ костей. Страшная костяная улыбка, вѣчная улыбка, показалась мнѣ такой отвратительной, такой ужасной, какъ никогда, хотя мнѣ случалось не разъ держать черепа въ рукахъ и препарировать цѣлыя головы. Этотъ скелетъ въ мундирѣ съ свѣтлыми пуговицами привелъ меня въ содроганіе. «Это—война,— подумалъ я.—Вотъ ея изображеніе».

А солнце жжетъ и печетъ попрежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпилъ всю. Жажда мучила такъ сильно, что, рѣшившись выпить маленькій глотокъ, я залпомъ проглотилъ все. Ахъ, зачѣмъ я не закричалъ казакамъ, когда они были такъ близко отъ меня! Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучали бы часъ-два, а тутъ я и не знаю, еще сколько времени придется валяться здѣсь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои сѣдыя косы, ударишься головою объ стѣну, проклянешь тотъ день, когда родила меня, весь міръ проклянешь, что выдумалъ на страданіе людямъ войну!

Но вы съ Машей, должно-быть, и не услышите о моихъ мукахъ. Прощай, мать! прощай, моя невѣста, моя любовь! Ахъ, какъ тяжко, горько! Подъ сердце подходитъ что-то.

Опять эта бѣленькая собачка! Дворникъ не пожалѣлъ ея, стукнулъ головою объ стѣну и бросилъ въ яму, куда бросаютъ соръ и льютъ помои. Но она была жива. И мучилась еще цѣлый день. А я несчастнѣе ея, потому что мучаюсь цѣлые три дня. Завтра — четвертый, потомъ—пятый, шестой... Смерть, гдѣ ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходитъ и не беретъ меня. И я лежу подъ этимъ страшнымъ солнцемъ, и нѣтъ у меня глотка воды, чтобъ освѣжить воспаленное горло, и трупъ заражаетъ меня. Онъ совсѣмъ расплылся. Миріады червей падаютъ изъ него. Какъ они копошатся! Когда онъ будетъ съѣденъ, и отъ него останутся однѣ кости и мундиръ, тогда—моя очередь. И я буду такимъ же.

Проходитъ день, проходитъ ночь. Все то же. Наступаетъ утро. Все то же. Проходитъ еще день...

Кусты шевелятся и шелестятъ, точно тихо разговариваютъ. «Вотъ ты умрешь, умрешь, умрешь», шепчутъ они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» — отвѣчаютъ кусты съ другой стороны.

— Да тутъ ихъ и не увидишь!—громко раздается около меня.

Я вздрагиваю и разомъ прихожу въ себя. Изъ кустовъ глядятъ на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

— Лопаты!— кричитъ онъ.—Тутъ еще двое: нашъ да ихній!

— Не надо лопатъ, не надо зарывать меня, я живъ!—хочу я закричать, но только слабый выходитъ стонъ изъ запекшихся губъ.

— Господи! Да никакъ онъ живъ? Баринъ Ивановъ! Ребята! Вали сюда, нашъ баринъ живъ! Да доктора зови!

---

Черезъ полминуты мнѣ льютъ въ ротъ воду, водку и еще что-то. Потомъ все исчезаетъ.

Мѣрно качаясь, двигаются носилки. Это мѣрное движеніе убаюкиваетъ меня. Я то

проснусь, то снова забудусь. Перевязанныя раны не болятъ; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всемъ тѣлѣ...

— Сто-о-ой! О-опуска-а-й! Санитары, четвертая смѣна, маршъ! За носилки! Берись, подыма-ай!

Это командуетъ Петръ Иванычъ, нашъ лазаретный офицеръ, высокій, худой и очень добрый человѣкъ. Онъ такъ высокъ, что, обернувъ глаза въ его сторону, я постоянно вижу его голову съ рѣдкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несутъ на плечахъ четыре рослыхъ солдата.

— Петръ Иванычъ!—шепчу я.

— Что, голубчикъ?

Петръ Иванычъ наклоняется надо мною.

— Петръ Иванычъ, что вамъ сказалъ докторъ? Скоро я умру?

— Что вы, Ивановъ, полноте! Не умрете вы. Вѣдь у васъ всѣ кости цѣлы. Этакій счастливецъ! Ни кости ни артеріи. Да какъ вы выжили эти трое съ половиною сутокъ? Что вы ѣли?

— Ничего.

— А пили?

— У турка взялъ флягу. Петръ Иванычъ, я не могу говорить теперь. Послѣ.

— Ну, Господь съ вами, голубчикъ, спите себѣ.

Снова сонъ, забытье...

Я очнулся въ дивизіонномъ лазаретѣ. Надо мною стоятъ доктора, сестры милосердія, и, кромѣ нихъ, я вижу еще знакомое лицо знаменитаго петербургскаго профессора, наклонившагося надъ моими ногами. Его руки въ крови. Онъ возится у моихъ ногъ недолго и обращается ко мнѣ:

— Ну, счастливъ вашъ Богъ, молодой человѣкъ! Живы будете. Одну ножку-то мы отъ васъ взяли; ну, да вѣдь это— пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и разсказываю имъ все, что здѣсь написано.

1877 г.

## Attalea princeps.

Въ одномъ большомъ городѣ былъ ботаническій садъ, а въ этомъ саду—огромная оранжерея изъ желѣза и стекла. Она была очень красива: стройныя витыя колонны поддерживали все зданіе; на нихъ опирались легкія узорчатыя арки, переплетенныя между собою цѣлой паутиной желѣзныхъ рамъ, въ которыя были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освѣщало ее краснымъ свѣтомъ. Тогда она вся горѣла, красные отблески играли и переливались, точно въ огромномъ мелко-отшлифованномъ драгоцѣнномъ камнѣ.

Сквозь толстыя прозрачныя стекла виднѣлись заключенныя растенія. Несмотря на величину оранжереи, имъ было въ ней тѣсно. Корни переплелись между собою и отнимали другъ у друга влагу и пищу. Вѣтви деревъ мѣшались съ огромными листьями пальмъ, гнули и ломали ихъ, и сами, налегая на желѣзныя рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрѣзали вѣтви, подвязывали проволоками листья, чтобъ они не могли расти, куда хотятъ, но это плохо помогало. Для растеній нуженъ былъ широкій просторъ, родной край и свобода. Они были уроженцы жаркихъ странъ, нѣжныя, роскошныя созданія; они помнили свою родину и тосковали о ней. Какъ ни прозрачна стеклянная крыша, но она—не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда въ оранжереѣ становилось совсѣмъ темно. Гудѣлъ вѣтеръ, билъ въ рамы и заставлялъ ихъ дрожать. Крыша покрывалась наметеннымъ снѣгомъ. Растенія стояли и слушали вой вѣтра и вспоминали иной вѣтеръ, теплый, влажный, дававшій имъ жизнь и здоровье. И имъ хотѣлось вновь почувствовать его вѣяніе, хотѣлось, чтобъ онъ покачалъ ихъ вѣтвями, поигралъ ихъ листьями. Но въ оранжереѣ воздухъ былъ неподвиженъ; развѣ только иногда зимняя буря выбивала стекло, и рѣзкая холодная струя, полная инея, влетала подъ сводъ. Куда попадала эта струя, тамъ листья блѣднѣли, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническимъ садомъ управлялъ отличный ученый директоръ и не допускалъ никакого безпорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводилъ въ занятіяхъ съ микроскопомъ въ особой стеклянной будочкѣ, устроенной въ главной оранжереѣ.

Была между растеніями одна пальма, выше всѣхъ и красивѣе всѣхъ. Директоръ, сидѣвшій въ будочкѣ, называлъ ее по латыни Attalea. Но это имя не было ея роднымъ именемъ: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на бѣлой

дощечкѣ, прибитой къ стволу пальмы. Разъ пришелъ въ ботаническій садъ пріѣзжій изъ той жаркой страны, гдѣ выросла пальма; когда онъ увидѣлъ ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

— А! — сказалъ онъ: — я знаю это дерево. И онъ назвалъ его роднымъ именемъ.

— Извините,—крикнулъ ему изъ своей будочки директоръ, въ это время внимательно разрѣзывавшій бритвою какой-то стебелекъ: — вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существуетъ. Это Attalea princeps, родомъ изъ Бразиліи.

— О, да, — сказалъ бразильянецъ: — я вполнѣ вѣрю вамъ, что ботаники называютъ ее Attalea, но у нея есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое дается наукой, — сухо сказалъ ботаникъ и заперъ дверь своей будочки, чтобъ ему не мѣшали люди, не понимающіе даже того, что ужъ если что-нибудь сказалъ человѣкъ науки, то нужно молчать и слушаться.

А бразильянецъ долго стоялъ и смотрѣлъ на дерево, и ему становилось все грустнѣе и грустнѣе. Вспомнилъ онъ свою родину, ея солнце и небо, ея роскошные лѣса съ чудными звѣрями и птицами, ея пустыни, ея чудныя южныя ночи. И вспомнилъ еще, что нигдѣ онъ не бывалъ счастливъ, кромѣ родного края, а онъ объѣхалъ весь свѣтъ. Онъ коснулся рукою пальмы, какъ будто бы прощаясь съ нею, и ушелъ изъ сада, а на другой день уже ѣхалъ на пароходѣ домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелѣе, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсѣмъ одна. На пять саженъ возвышалась она надъ верхушками всѣхъ другихъ растеній, и эти другія растенія не любили ея, завидовали ей и считали гордою. Этотъ ростъ доставлялъ ей только одно горе; кромѣ того, что всѣ были вмѣстѣ, а она была одна, она лучше всѣхъ помнила свое родное небо и больше всѣхъ тосковала о немъ, потому что ближе всѣхъ была къ тому, что замѣняло имъ его: къ гадкой стеклянной крышѣ. Сквозь нее ей виднѣлось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое и блѣдное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растенія болтали между собою, Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о томъ, какъ хорошо было бы постоять даже и подъ этимъ блѣдненькимъ небомъ.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли насъ будутъ поливать?—спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляютъ ваши слова, сосѣдушка, — сказалъ пузатый кактусъ. — Неужели вамъ мало того огромнаго количества воды, которое на васъ выливаютъ каждый день? Посмотрите на меня: мнѣ даютъ очень мало влаги, а я все-таки свѣжъ и сочень.

— Мы не привыкли быть черезчуръ бережливыми,—отвѣчала саговая пальма.— Мы не можемъ расти на такой сухой и дрянной почвѣ, какъ какіе-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить какъ-нибудь. И, кромѣ всего этого, скажу вамъ еще, что васъ не просятъ дѣлать замѣчанія.

Сказавъ это, саговая пальма обидѣлась и замолчала.

— Что касается меня,—вмѣшалась корица,—то я почти довольна своимъ положеніемъ. Правда, здѣсь скучновато, но ужъ я, по крайней мѣрѣ, увѣрена, что меня никто не обдеретъ.

— Но вѣдь не всѣхъ же насъ обдирали,—сказалъ древовидный папоротникъ.— Конечно, многимъ можетъ показаться раемъ и эта тюрьма послѣ жалкаго существованія, которое они вели на волѣ.

Тутъ корица, забывъ, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Нѣкоторыя растенія вступились за нее, нѣкоторыя—за папоротникъ, и началась горячая перебранка. Если бъ они могли двигаться, то непремѣнно бы подрались.

— Зачѣмъ вы ссоритесь?—сказала Attalea.—Развѣ вы поможете себѣ этимъ? Вы только увеличиваете свое несчастіе злобою и раздраженіемъ. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о дѣлѣ. Послушайте меня! Растите выше и шире, раскидывайте вѣтви, напирайте на рамы и стекла; наша оранжерея разсыплется въ куски, и мы выйдемъ на свободу. Если одна какая-нибудь вѣтка упрется въ стекло, то, конечно, ее отрѣжутъ, но что сдѣлаютъ съ сотней сильныхъ и смѣлыхъ стволовъ? Нужно только работать дружнѣе, и побѣда за нами.

Сначала никто не возражалъ пальмѣ: всѣ молчали и не знали, что сказать. Наконецъ саговая пальма рѣшилась.

— Все это глупости, — заявила она.

— Глупости! глупости! — заговорили деревья и всѣ разомъ начали доказывать Attale'ѣ, что она предлагаетъ ужасный вздоръ. — Несбыточная мечта! — кричали они, — вздоръ! нелѣпость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаемъ ихъ, да если бы и сломали, такъ что жъ такое? Прійдутъ люди съ ножами и съ топорами, отрубятъ вѣтви, задѣлаютъ рамы, и все пойдетъ по-старому. Только и будетъ, что отрѣжутъ отъ насъ цѣлые куски...

— Ну, какъ хотите! — отвѣчала Attalea. — Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Я оставлю васъ въ покоѣ: живите, какъ хотите, ворчите другъ на друга, спорьте изъ-за подачекъ воды и оставайтесь вѣчно подъ стекляннымъ колпакомъ. Я и одна найду себѣ дорогу. Я хочу видѣть небо и солнце не сквозь эти рѣшетки и стекла, — и я увижу!

И пальма гордо смотрѣла зеленой вершиной на лѣсъ товарищей, раскинутый подъ нею. Никто изъ нихъ не смѣлъ ничего сказать ей; только саговая пальма тихо сказала сосѣдкѣ-цикадѣ:

— Ну, посмотримъ, посмотримъ, какъ тебѣ отрѣжутъ твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальныя хоть и молчали, но все-таки сердились на Attale'ю за ея гордыя слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обидѣлась ея рѣчами. Это была самая жалкая и презрѣнная травка изъ растеній оранжереи: рыхлая, блѣдненькая, ползучая, съ вялыми толстенькими листьями. Въ ней не было ничего замѣчательнаго, и она употреблялась въ оранжереѣ только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собою подножіе большой пальмы, слушая ее, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздухъ и свободу. Оранжерея и для нея была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, такъ страдаю безъ своего сѣренькаго неба, безъ блѣднаго солнца и холоднаго дождя, то что должно испытывать въ неволѣ это прекрасное и могучее дерево!» Такъ думала она и нѣжно обвивалась около пальмы и ласкалась къ ней. «Зачѣмъ я не большое дерево? Я послушалась бы совѣта. Мы росли бы вмѣстѣ и вмѣстѣ вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидѣли бы, что Attalea права».

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нѣжнѣе обвиться около ствола Attale'и и прошептать ей свою любовь и желаніе счастья въ попыткѣ.

— Конечно, у насъ вовсе не такъ тепло, небо не такъ чисто, дожди не такъ роскошны, какъ въ вашей странѣ, но все-таки и у насъ есть и небо, и солнце, и вѣтеръ. У насъ нѣтъ такихъ пышныхъ растеній, какъ вы и ваши товарищи, съ такими огромными листьями и прекрасными цвѣтами, но и у насъ растутъ очень хорошія деревья: сосны, ели и березы. Я—маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но вѣдь вы такъ велики и сильны! Вашъ стволъ твердъ, и вамъ уже не долго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божій свѣтъ. Тогда вы разскажете мнѣ, все ли тамъ такъ же прекрасно, какъ было. Я буду довольна и этимъ.

— Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вмѣстѣ со мною? Мой стволъ твердъ и крѣпокъ: опирайся на него, ползи по мнѣ. Мнѣ ничего не значитъ снести тебя.

— Нѣтъ ужъ, куда мнѣ! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей вѣточки. Нѣтъ, я вамъ не товарищъ. Растите, будьте счастливы. Только прошу васъ, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленькаго друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посѣтители оранжереи удивлялись ея огромному росту, а она становилась съ каждымъ мѣсяцемъ все выше и выше. Директоръ ботаническаго сада приписывалъ такой быстрый ростъ хорошему уходу и гордился знаніемъ, съ какимъ онъ устроилъ оранжерею и велъ свое дѣло.

— Да-съ, взгляните-ка на Attalea princeps, — говорилъ онъ. — Такіе рослые экземпляры рѣдко встрѣчаются и въ Бразиліи. Мы приложили все наше знаніе, чтобы растенія развивались въ теплицѣ совершенно такъ же свободно, какъ и на волѣ, и, мнѣ кажется, достигли нѣкотораго успѣха.

При этомъ онъ съ довольнымъ видомъ похлопывалъ твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжереѣ. Листья пальмы вздрагивали отъ этихъ ударовъ. О, если бъ она могла стонать, какой вопль гнѣва услышалъ бы директоръ!

— Онъ воображаетъ, что я расту для его удовольствія, — думала Attalea. — Пусть воображаетъ.

И она росла, тратя всѣ соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая ихъ свои корни и листья. Иногда ей казалось, что разстояніе до свода не уменьшается. Тогда она напрягала всѣ силы. Рамы становились все ближе и ближе, и, наконецъ, молодой листъ коснулся холоднаго стекла и желѣза.

— Смотрите, смотрите, — заговорили растенія, — куда она забралась! Неужели рѣшится?

— Какъ она страшно выросла, — сказалъ древовидный папоротникъ.

— Что жъ, что выросла! Эка невидаль! Вотъ если бъ она съумѣла растолстѣть такъ, какъ я, — сказала толстая цикада, со стволомъ, похожимъ на бочку. — И чего тянется? Все равно ничего не сдѣлаетъ. Рѣшетки прочны, и стекла толсты.

Прошелъ еще мѣсяцъ. Attalea подымалась. Наконецъ она плотно уперлась въ рамы. Расти дальше было некуда. Тогда стволъ началъ сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась, молодые прутья рамы впились въ нѣжные холодные листья, перерѣзали и изуродовали ихъ, но дерево было упрямо, не жалѣло листьевъ, несмотря ни на что, давило на рѣшетки, и рѣшетки уже подавались, хотя были сдѣланы изъ крѣпкаго желѣза.

Маленькая травка слѣдила за борьбой и замирала отъ волненія.

— Скажите мнѣ, неужели вамъ не больно? Если рамы ужъ такъ прочны, не лучше ли отступить? — спросила она пальму.

— Больно? Что значитъ больно, когда я *хочу* выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня? — отвѣтила пальма.

— Да, я ободряла, но не знала, что это такъ трудно. Мнѣ жаль васъ. Вы такъ страдаете.

— Молчи, слабое растенье! Не жалѣй меня! Я умру или освобожусь!

И въ эту минуту раздался звонкій ударъ. Лопнула толстая желѣзная полоса. Посыпались и зазвенѣли осколки стеколъ. Одинъ изъ нихъ ударилъ въ шляпу директора, выходившаго изъ оранжереи.

— Что это такое? — воскликнулъ онъ, вздрогнувъ, увидя летящіе по воздуху куски стекла. Онъ отбѣжалъ отъ оранжереи и посмотрѣлъ на крышу. Надъ стекляннымъ сводомъ гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.

— Только-то? — думала она. — И это все, изъ-за чего я томилась и страдала такъ долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею цѣлью?

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину въ пробитое отверстіе. Моросилъ мелкій дождикъ пополамъ съ снѣгомъ; вѣтеръ низко гналъ сѣрыя клочковатыя тучи. Ей казалось, что онѣ охватываютъ ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснахъ да на еляхъ стояли темнозеленыя хвои. Угрюмо смотрѣли деревья на пальму. «Замерзнешь! — какъ будто говорили ей. — Ты не знаешь, что такое морозъ. Ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вышла изъ своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для нея все было кончено. Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодномъ вѣтрѣ, чувствовать его порывы и острое прикосновенье снѣжинокъ, смотрѣть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задній дворъ ботаническаго сада, на скучный огромный городъ, виднѣвшійся въ туманѣ, и ждать, пока люди, тамъ, внизу, въ теплицѣ, не рѣшать, что дѣлать съ нею.

Директоръ приказалъ спилить дерево. «Можно бы надстроить надъ нею особенный колпакъ, — сказалъ онъ, — но надолго ли это? Она опять выростетъ и все сломаетъ. И притомъ это будетъ стоить черезчуръ дорого. Спилить ее».

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стѣнъ оранжереи, и низко, у самаго корня, перепилили ее. Маленькая травка, обвившая стволъ дерева, не хотѣла разстаться съ своимъ другомъ, и тоже попала подъ пилу. Когда пальму вытащили изъ оранжереи, на отрѣзѣ оставшагося пня валялись размозженные пилою, истерзанные стебельки и листья.

— Вырвать эту дрянь и выбросить, — сказалъ директоръ.— Она уже пожелтѣла, да и пила очень попортила ее. Посадить здѣсь что-нибудь новое.

Одинъ изъ садовниковъ ловкимъ ударомъ заступа вырвалъ цѣлую охапку травы. Онъ бросилъ ее въ корзину, вынесъ и выбросилъ на задній дворъ, прямо на мертвую пальму, лежавшую въ грязи и уже полузасыпанную снѣгомъ.

1880 г.

## Красный цвѣтокъ.

(Памяти Ивана Сергѣевича Тургенева).

### I.

— Именемъ его императорскаго величества, государя императора Петра Перваго объявляю ревизію сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громкимъ, рѣзкимъ, звенящимъ голосомъ. Писарь больницы, записывавшій больного въ большую истрепанную книгу на залитомъ чернилами столѣ, не удержался отъ улыбки. Но двое молодыхъ людей, сопровождавшіе больного, не смѣялись: они едва держались на ногахъ послѣ двухъ сутокъ, проведенныхъ безъ сна, наединѣ съ безумнымъ, котораго они только-что привезли по желѣзной дорогѣ. На предпослѣдней станціи припадокъ бѣшенства усилился; гдѣ-то достали сумасшедшую рубаху и, позвавъ кондукторовъ и жандарма, надѣли на больного. Такъ привезли его въ городъ, такъ доставили и въ больницу.

Онъ былъ страшенъ. Сверхъ изорваннаго во время припадка въ клочья сѣраго платья, куртка изъ грубой парусины съ широкимъ вырѣзомъ обтягивала его станъ; длинные рукава прижимали его руки къ груди накрестъ и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (онъ не спалъ десять сутокъ) горѣли неподвижнымъ, горячимъ блескомъ; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лобъ; онъ быстрыми тяжелыми шагами ходилъ изъ угла въ уголъ конторы, пытливо осматривая старые шкапы съ бумагами и клеенчатые стулья и изрѣдка взглядывая на своихъ спутниковъ.

— Сведите его въ отдѣленіе. Направо.

— Я знаю, знаю. Я былъ уже здѣсь съ вами въ прошломъ году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будетъ трудно обмануть,—сказалъ больной.

Онъ повернулся къ двери. Сторожъ растворилъ ее передъ нимъ; тою же быстрою, тяжелою и рѣшительною походкою, высоко поднявъ безумную голову, онъ вышелъ изъ конторы и почти бѣгомъ пошелъ направо, въ отдѣленіе душевно-больныхъ. Провожавшіе едва успѣвали итти за нимъ.

— Позвони. Я не могу. Вы связали мнѣ руки.

Швейцаръ отворилъ двери, и путники вступили въ больницу.

Это было большое каменное зданіе старинной казенной постройки. Два большіе зала, одинъ — столовая, другой — общее помѣщеніе для спокойныхъ больныхъ, широкій коридоръ со стеклянною дверью, выходившей въ садъ съ цвѣтникомъ, и десятка два отдѣльныхъ комнатъ, гдѣ жили больные, занимали нижній этажъ; тутъ же были устроены двѣ темныя комнаты, одна обитая тюфяками, другая — досками, въ которыя сажали буйныхъ, и огромная мрачная комната со сводами — ванная. Верхній этажъ занимали женщины. Нестройный шумъ, прерываемый завываніями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесятъ человѣкъ, но такъ какъ она одна служила на нѣсколько окрестныхъ губерній, то въ ней помѣщалось до трехсотъ. Въ небольшихъ каморкахъ было по четыре и по пяти кроватей; зимою, когда больныхъ не выпускали въ садъ, и всѣ окна за желѣзными рѣшетками бывали наглухо заперты, въ больницѣ становилось невыносимо душно.

Новаго больного отвели въ комнату, гдѣ помѣщались ванны. И на здороваго человѣка она могла произвести тяжелое впечатлѣніе, а на разстроенное, возбужденное воображеніе дѣйствовала тѣмъ болѣе тяжело. Это была большая комната со сводами, съ липкимъ каменнымъ поломъ, освѣщенная однимъ сдѣланнымъ въ углу окномъ; стѣны и своды были выкрашены темно-красною масляною краскою; въ почернѣвшемъ отъ грязи полу, въ уровень съ нимъ, были вдѣланы двѣ каменныя ванны, какъ двѣ овальныя наполненныя водою ямы. Огромная мѣдная печь съ

цилиндрическимъ котломъ для нагрѣванія воды и цѣлой системой мѣдныхъ трубокъ крановъ занимала уголъ противъ окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастическій для разстроенной головы характеръ, и завѣдывавшій ваннами сторожъ, толстый, вѣчно молчавшій хохолъ, своею мрачною физіономіею увеличивалъ впечатлѣніе.

И когда больного привели въ эту страшную комнату, чтобы сдѣлать ему ванну и, согласно съ системой лѣченія главнаго доктора больницы, наложить ему на затылокъ большую мушку, онъ пришелъ въ ужасъ и ярость. Нелѣпыя мысли, одна чудовищнѣе другой, завертѣлись въ его головѣ. Что это? Инквизиція? Мѣсто тайной казни, гдѣ враги его рѣшили покончить съ нимъ? можетъ-быть, самый адъ? Ему пришло, наконецъ, въ голову, что это какое-то испытаніе. Его раздѣли, несмотря на отчаянное сопротивленіе. Съ удвоенною отъ болѣзни силою онъ легко вырывался изъ рукъ нѣсколькихъ сторожей, такъ что они падали на полъ; наконецъ четверо повалили его и, схвативъ за руки и за ноги, опустили въ теплую воду. Она показалась ему кипяткомъ, и въ безумной головѣ мелькнула безсвязная, отрывочная мысль объ испытаніи кипяткомъ и каленымъ желѣзомъ. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которыя его крѣпко держали сторожа, онъ, задыхаясь, выкрикивалъ безсвязную рѣчь, о которой невозможно имѣть представленія, не слышавъ ея на самомъ дѣлѣ. Тутъ были и молитвы и проклятія. Онъ кричалъ, пока не выбился изъ силъ, и, наконецъ, тихо, съ горячими слезами, проговорилъ фразу, совершенно невязавшуюся съ предыдущею рѣчью:

— Святый великомученикъ Георгій! въ руки твои предаю тѣло мое. А духъ— нѣтъ, о, нѣтъ!..

Сторожа все еще держали его, хотя онъ и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдомъ, положенный на голову, произвели свое дѣйствіе. Но когда его, почти безчувственнаго, вынули изъ воды и посадили на табуретъ, чтобы поставить мушку, остатокъ силъ и безумныя мысли снова точно взорвало.

— За что? За что!? кричалъ онъ. — Я никому не хотѣлъ зла. За что убивать меня? О-о-о! О Господи! О вы, мучимые раньше меня! васъ молю, избавьте...

Жгучее прикосновеніе къ затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла съ нимъ справиться и не знала, что дѣлать.—Ничего не подѣлаешь,—сказалъ производившій операцію солдатъ. — Нужно стереть.

Эти простыя слова привели больного въ содроганіе. Стереть!.. Что стереть? Кого стереть? Меня! подумалъ онъ и въ смертельномъ ужасѣ закрылъ глаза. Солдатъ взялъ за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провелъ имъ по затылку, сорвавъ съ него и мушку и верхній слой кожи, оставивъ обнаженную красную ссадину. Боль отъ этой операціи, невыносимая и для спокойнаго и здороваго человѣка, показалась больному концомъ всего. Онъ отчаянно рванулся всѣмъ тѣломъ, вырвался изъ рукъ сторожей, и его нагое тѣло покатилось по каменнымъ плитамъ. Онъ думалъ, что ему отрубили голову. Онъ хотѣлъ крикнуть и не могъ! Его отнесли на койку въ безпамятствѣ, которое перешло въ глубокій, мертвый и долгій сонъ.

## II.

Онъ очнулся ночью. Все было тихо; изъ сосѣдней большой комнаты слышалось дыханіе спящихъ больныхъ. Гдѣ-то далеко монотоннымъ, страннымъ голосомъ разговаривалъ самъ съ собою больной, посаженный на ночь въ темную комнату, да сверху, изъ женскаго отдѣленія, хриплый контральто пѣлъ какую-то дикую пѣсню. Больной прислушивался къ этимъ звукамъ. Онъ чувствовалъ страшную слабость и разбитость во всѣхъ членахъ; шея его сильно болѣла.

— Гдѣ я? Что со мной?—пришло ему въ голову. И вдругъ съ необыкновенною яркостью ему представился послѣдній мѣсяцъ его жизни, и онъ понялъ, что онъ боленъ и чѣмъ боленъ. Рядъ нелѣпыхъ мыслей, словъ и поступковъ вспомнился ему, заставляя содрогаться всѣмъ существомъ.—По это кончено, слава Богу, это кончено!—прошепталъ онъ и снова уснулъ.

Открытое окно съ желѣзными рѣшетками выходило въ маленькій закоулокъ между большими зданіями и каменной оградой; въ этотъ закоулокъ никто ни-

когда не заходилъ, и онъ весь густо заросъ какимъ-то дикимъ кустарникомъ и сиренью, пышно цвѣтшею въ то время года... За кустами, прямо противъ окна, темнѣла высокая ограда; высокія верхушки деревьевъ большого сада, облитыя и проникнутыя луннымъ свѣтомъ, глядѣли изъ-за нея. Справа подымалось бѣлое зданіе больницы съ освѣщенными изнутри окнами съ желѣзными рѣшетками; слѣва — бѣлая, яркая отъ луны, глухая стѣна мертвецкой. Лунный свѣтъ падалъ сквозь рѣшетку окна внутрь комнаты, на полъ, и освѣщалъ часть постели и измученное блѣдное лицо больного съ закрытыми глазами; теперь въ немъ не было ничего безумнаго. Это былъ глубокій тяжелый сонъ измученнаго человѣка, безъ сновидѣній, безъ малѣйшаго движенія и почти безъ дыханія. На нѣсколько мгновеній онъ проснулся въ полной памяти, какъ будто бы здоровымъ, затѣмъ, чтобы утромъ встать съ постели прежнимъ безумцемъ.

III.

— Какъ вы себя чувствуете?—спросилъ его на другой день докторъ.

Больной, только-что проснувшись, еще лежалъ подъ одѣяломъ.

— Отлично!—отвѣчалъ онъ, вскакивая. надѣвая туфли и хватаясь за халатъ. — Прекрасно! Только одно: вотъ!

Онъ показалъ себѣ на затылокъ.

— Я не могу повернуть шеи безъ боли. Но это ничего. Все хорошо, если его понимаешь; а я понимаю.

— Вы знаете, гдѣ вы?

— Конечно, докторъ! Я въ сумасшедшемъ домѣ. Но вѣдь, если понимаешь, это рѣшительно все равно. Рѣшительно все равно.

Докторъ пристально смотрѣлъ ему въ глаза. Его красивое, холеное лицо, съ превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотрѣвшими сквозь золотыя очки, было неподвижно и непроницаемо. Онъ наблюдалъ.

— Что вы такъ пристально смотрите на меня? — Вы не прочтете того, что у меня въ душѣ,—продолжалъ больной, — а я ясно читаю въ вашей! Зачѣмъ вы дѣлаете зло? Зачѣмъ вы собрали эту толпу несчастныхъ и держите ее здѣсь? Мнѣ все равно: я все понимаю и спокоенъ; но они? Къ чему эти мученья? Человѣку, который достигъ того, что въ душѣ его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, гдѣ жить, что чувствовать. Даже жить и не жить... Вѣдь такъ?

— Можетъ-быть, — отвѣчалъ докторъ, садясь на стулъ въ углу комнаты такъ, чтобы видѣть больного, который быстро ходилъ изъ угла въ уголъ, шлепая огромными туфлями изъ конской кожи и размахивая полами халата изъ бумажной матеріи съ широкими красными полосами и крупными цвѣтами. Сопровождавшіе доктора фельдшеръ и надзиратель продолжали стоять на вытяжку у дверей.

— И у меня она есть!— воскликнулъ больной. — И когда я нашелъ ее, я почувствовалъ себя переродившимся. Чувства стали острѣе, мозгъ работаетъ, какъ никогда. Что прежде достигалось длиннымъ путемъ умозаключеній и догадокъ, теперь я познаю интуитивно. Я достигъ реально того, что выработано философіей. Я переживаю самимъ собою великія идеи о томъ, что пространство и время суть фикціи. Я живу во всѣхъ вѣкахъ. Я живу безъ пространства, вездѣ или нигдѣ, какъ хотите. И поэтому мнѣ все равно, держите ли вы меня здѣсь, или отпустите на волю, свободенъ я или связанъ. Я замѣтилъ, что тутъ есть еще нѣсколько такихъ же. Но для остальной толпы такое положеніе ужасно. Зачѣмъ вы не освободите ихъ? Кому нужно...

— Вы сказали, — перебилъ его докторъ,—что вы живете внѣ времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы съ вами въ этой комнатѣ, и что теперь,—докторъ вынулъ часы,— половина одиннадцатаго, 6 мая 18** года. Что вы думаете объ этомъ?

— Ничего. Мнѣ все равно, гдѣ ни быть и когда ни жить. Если *мнѣ* все равно, не значитъ ли это, что *я* вездѣ и всегда?

Докторъ усмѣхнулся.

— Рѣдкая логика,—сказалъ онъ, вставая. — Пожалуй, вы правы. До свиданья. Не хотите ли вы сигарку?

— Благодарю васъ.— Онъ остановился, взялъ сигару и нервно откусилъ ея кончикъ. — Это помогаетъ думать, — сказалъ онъ. — Это міръ, микрокосмъ. На одномъ

концѣ щелочи, на другомъ — кислоты... Таково равновѣсіе и міра, въ которомъ нейтрализуются противоположныя начала. Прощайте, докторъ!

Докторъ отправился дальше. Большая часть больныхъ ожидала его, вытянувшись у своихъ коекъ. Никакое начальство не пользуется такимъ почтеніемъ отъ своихъ подчиненныхъ, какимъ докторъ-психіатръ отъ своихъ помѣшанныхъ,

А больной, оставшись одинъ, продолжалъ порывисто ходить изъ угла въ уголъ камеры. Ему принесли чай; онъ, не присаживаясь, въ два пріема опорожнилъ большую кружку и почти въ одно мгновеніе съѣлъ большой кусокъ бѣлаго хлѣба Потомъ онъ вышелъ изъ комнаты и нѣсколько часовъ, не останавливаясь, ходилъ своею быстрой и тяжелой походкой изъ конца въ конецъ всего зданія. День былъ дождливый, и больныхъ не выпускали въ садъ. Когда фельдшеръ сталъ искать новаго больного, ему указали на конецъ коридора; онъ стоялъ здѣсь, прильнувши лицомъ къ стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрѣлъ на цвѣтникъ. Его вниманіе привлекъ необыкновенно яркій алый цвѣтокъ, одинъ изъ видовъ мака.

— Пожалуйте взвѣситься, — сказалъ фельдшеръ, трогая его за плечо. И когда тотъ повернулся къ нему лицомъ, онъ чуть не отшатнулся въ испугѣ: столько дикой злобы и ненависти горѣло въ безумныхъ глазахъ. Но, увидавъ фельдшера, онъ тотчасъ же перемѣнилъ выраженіе лица и послушно пошелъ за нимъ, не сказавъ ни одного слова, какъ будто погруженный въ глубокую думу. Они прошли въ докторскій кабинетъ; больной самъ сталъ на платформу небольшихъ десятичныхъ вѣсовъ; фельдшеръ, свѣсивъ его, отмѣтилъ въ книгѣ противъ его имени 109 фунтовъ. На другой день было 107, на третій 106.

— Если такъ пойдетъ дальше, онъ не выживетъ,—сказалъ докторъ и приказалъ кормить его какъ можно лучше.

Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетитъ больного, онъ худѣлъ съ каждымъ днемъ, и фельдшеръ каждый день записывалъ въ книгу все меньшее и меньшее число фунтовъ. Больной почти не спалъ и цѣлые дни проводилъ въ непрерывномъ движеніи.

## IV.

Онъ сознавалъ, что онъ въ сумасшедшемъ домѣ; онъ сознавалъ даже, что онъ боленъ. Иногда, какъ въ первую ночь, онъ просыпался среди тишины послѣ цѣлаго дня буйнаго движенія, чувствуя ломоту во всѣхъ членахъ и страшную тяжесть въ головѣ, но въ полномъ сознаніи. Можетъ-быть, отсутствіе впечатлѣній въ ночной тишинѣ и полусвѣтѣ, можетъ быть, слабая работа мозга только-что проснувшагося человѣка дѣлали то, что въ такія минуты онъ ясно понималъ свое положеніе и былъ какъ будто бы здоровъ. Но наступалъ день; вмѣстѣ со свѣтомъ и пробужденіемъ жизни въ больницѣ, его снова волною охватывали впечатлѣнія; больной мозгъ не могъ справиться съ ними, и онъ снова былъ безумнымъ. Его состояніе было странною смѣсью правильныхъ сужденій и нелѣпостей. Онъ понималъ, что вокругъ него все больные, но въ то же время въ каждомъ изъ нихъ видѣлъ какое-нибудь тайное, скрывающееся или скрытое лицо, которое онъ зналъ прежде или о которомъ читалъ или слыхалъ. Больница была населена людьми всѣхъ временъ и всѣхъ странъ. Тутъ были и живые и мертвые. Тутъ были знаменитые и сильные міра, и солдаты, убитые въ послѣднюю войну, и воскресшіе. Онъ видѣлъ себя въ какомъ-то волшебномъ, заколдованномъ кругу, собравшемъ въ себя всю силу земли, и въ горделивомъ изступленіи считалъ себя за центръ этого круга. Всѣ они, его товарищи по больницѣ, собрались сюда затѣмъ, чтобы исполнить дѣло, смутно представлявшееся ему гигантскимъ предпріятіемъ, направленнымъ къ уничтоженію зла на землѣ. Онъ не зналъ, въ чемъ оно будетъ состоять, но чувствовалъ въ себѣ достаточно силъ для его исполненія. Онъ могъ читать мысли другихъ людей; видѣлъ въ вещахъ всю ихъ исторію; большіе вязы въ больничномъ саду разсказывали ему цѣлыя легенды изъ пережитаго; зданіе, дѣйствительно, построенное довольно давно, онъ считалъ постройкой Петра Великаго и былъ увѣренъ, что царь жилъ въ немъ въ эпоху полтавской битвы. Онъ прочелъ это на стѣнахъ, на обвалившейся штукатуркѣ, на кускахъ кирпича и изразцовъ, находимыхъ имъ въ саду; вся исторія дома и

сада была написана на нихъ. Онъ населилъ маленькое зданіе мертвецкой десятками и сотнями давно умершихъ людей и пристально вглядывался въ оконце, выходившее изъ ея подвала въ уголъ сада, видя въ неровномъ отраженіи свѣта въ старомъ радужномъ и грязномъ стеклѣ знакомыя черты, видѣнныя имъ когда-то въ жизни на портретахъ.

Между тѣмъ наступила ясная, хорошая погода; больные цѣлые дни проводили на воздухѣ въ саду. Ихъ отдѣленіе сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было вездѣ, гдѣ только можно, засажено цвѣтами. Надзиратель заставлялъ работать въ немъ всѣхъ сколько-нибудь способныхъ къ труду; цѣлые дни они мели и посыпали пескомъ дорожки, пололи и поливали грядки цвѣтовъ, огурцовъ, арбузовъ и дынь, вскопанныя ихъ же руками. Уголъ сада заросъ густымъ вишнякомъ; вдоль него тянулись аллеи изъ вязовъ; посрединѣ, на небольшой искусственной горкѣ, былъ разведенъ самый красивый цвѣтникъ во всемъ саду; яркіе цвѣты росли по краямъ верхней площадки, а въ центрѣ ея красовалась большая, крупная и рѣдкая, желтая, съ красными крапинками далія. Она составляла центръ и всего сада, возвышаясь надъ нимъ, и можно было замѣтить, что многіе больные придавали ей какое-то таинственное значеніе. Новому больному она казалась тоже чѣмъ-то не совсѣмъ обыкновеннымъ, какимъ-то палладіумомъ сада и зданія. Всѣ дорожки были также обсажены руками больныхъ. Тутъ были всевозможные цвѣты, встрѣчающіеся въ малороссійскихъ садикахъ: высокія рожи, яркія петуніи, кусты высокаго табаку съ небольшими розовыми цвѣтами, мята, бархатцы, настурціи и макъ. Тутъ же, недалеко отъ крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; онъ былъ гораздо меньше обыкновеннаго и отличался отъ него необыкновенною яркостью алаго цвѣта. Этотъ цвѣтокъ и поразилъ больного, когда онъ въ первый день послѣ поступленія въ больницу смотрѣлъ въ садъ сквозь стеклянную дверь.

Выйдя въ первый разъ въ садъ, онъ прежде всего, не сходя со ступень крыльца, посмотрѣлъ на эти яркіе цвѣты. Ихъ было всего только два; случайно они росли отдѣльно отъ другихъ и на невыполотомъ мѣстѣ, такъ что густая лебеда и какой-то бурьянъ окружили ихъ.

Больные одинъ за другимъ выходили изъ дверей, у которыхъ стоялъ сторожъ и давалъ каждому изъ нихъ толстый бѣлый вязаный изъ бумаги колпакъ съ краснымъ крестомъ на лбу. Колпаки эти побывали на войнѣ и были куплены на аукціонѣ. Но больной, само собою разумѣется, придавалъ этому красному кресту особое, таинственное значеніе. Онъ снялъ съ себя колпакъ и посмотрѣлъ на крестъ, потомъ на цвѣты мака. Цвѣты были ярче.

— Онъ побѣждаетъ, — сказалъ больной:—но мы посмотримъ.

И онъ сошелъ съ крыльца. Осмотрѣвшись и не замѣтивъ сторожа, стоявшаго сзади него, онъ перешагнулъ грядку и протянулъ руку къ цвѣтку, но не рѣшился сорвать его. Онъ почувствовалъ жаръ и колотье въ протянутой рукѣ, а потомъ и во всемъ тѣлѣ; какъ будто бы какой-то сильный токъ неизвѣстной ему силы исходилъ отъ красныхъ лепестковъ и пронизывалъ все его тѣло. Онъ придвинулся ближе и протянулъ руку къ самому цвѣтку, но цвѣтокъ, какъ ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыханіе. Голова его закружилась; онъ сдѣлалъ послѣднее, отчаянное усиліе и уже схватился за стебелекъ, какъ вдругъ тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторожъ схватилъ его.

— Нельзя рвать,—сказалъ старикъ хохолъ.—И на грядку не ходи. Тутъ много васъ, сумасшедшихъ, найдется: каждый по цвѣтку, весь садъ разнесутъ, — убѣдительно сказалъ онъ, все держа его за плечо.

Больной посмотрѣлъ ему въ лицо, молча освободился отъ его руки и въ волненіи пошелъ по дорожкѣ. «О, несчастные!—думалъ онъ.—Вы не видите, вы ослѣплены до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало, я покончу съ нимъ. Не сегодня, такъ завтра мы помѣряемся силами. И если я погибну, не все ли равно».

Онъ гулялъ по саду до самаго вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, въ которыхъ каждый изъ собесѣдниковъ слышалъ только отвѣты на свои безумныя мысли, выражавшіяся нелѣпо-таинственными словами. Больной ходилъ

то съ однимъ товарищемъ, то съ другимъ, и къ концу дня еще болѣе убѣдился, что «все готово», какъ онъ сказалъ самъ себѣ. Скоро, скоро распадутся желѣзныя рѣшетки, всѣ эти заточенные выйдутъ отсюда и помчатся во всѣ концы земли, и весь міръ содрогнется, сброситъ съ себя ветхую оболочку и явится въ новой чудной красотѣ. Онъ почти забылъ о цвѣткѣ, но, уходя изъ сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидѣлъ въ густой потемнѣвшей и уже начинавшей роситься травѣ точно два красныхъ уголька. Тогда больной отсталъ отъ толпы и, ставъ позади сторожа, выждалъ удобное мгновенье. Никто не видѣлъ, какъ онъ перескочилъ черезъ грядку, схватилъ цвѣтокъ и торопливо спряталъ его на своей груди, подъ рубашкой. Когда свѣжіе росистые листья коснулись его тѣла, онъ поблѣднѣлъ, какъ смерть, и въ ужасѣ широко раскрылъ глаза. Холодный потъ выступилъ у него на лбу.

Въ больницѣ зажгли лампы; въ ожиданіи ужина большая часть больныхъ улеглась на постели, кромѣ нѣсколькихъ безпокойныхъ, торопливо ходившихъ по коридору и заламъ. Больной съ цвѣткомъ былъ между ними. Онъ ходилъ, судорожно сжавъ руки у себя на груди крестомъ: казалось, онъ хотѣлъ раздавить, размозжить спрятанное на ней растеніе. При встрѣчѣ съ другими онъ далеко обходилъ ихъ, боясь прикоснуться къ нимъ краемъ одежды. — «Не подходите, не подходите!» кричалъ онъ. Но въ больницѣ на такіе возгласы мало кто обращалъ вниманіе. И онъ ходилъ все скорѣе и скорѣе, дѣлалъ шаги все больше и больше, ходилъ часъ, два съ какимъ-то остервенѣніемъ.

— Я утомлю тебя. Я задушу тебя!— глухо и злобно говорилъ онъ. Иногда онъ скрежеталъ зубами.

Въ столовую подали ужинать. На большіе столы безъ скатертей поставили по нѣскольку деревянныхъ крашеныхъ и золоченыхъ мисокъ съ жидкою пшенною кашицею; больные усѣлись на лавки; имъ роздали по ломтю чернаго хлѣба. Ѣли деревянными ложками человѣкъ по восьми изъ одной миски. Нѣкоторымъ, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдѣльно. Нашъ больной, быстро проглотивъ свою порцію, принесенную сторожемъ, который позвалъ его въ его комнату, не удовольствовался этимъ и пошелъ въ общую столовую.

— Позвольте мнѣ сѣсть здѣсь, — сказалъ онъ надзирателю.

— Развѣ вы не ужинали?—спросилъ надзиратель, разливая добавочныя порціи каши въ миски.

— Я очень голоденъ. И мнѣ нужно сильно подкрѣпиться. Вся моя поддержка въ пищѣ: вы знаете, что я совсѣмъ не сплю.

— Кушайте, милый, на здоровье. Тарасъ, дай имъ ложку и хлѣба.

Онъ подсѣлъ къ одной изъ чашекъ и съѣлъ еще огромное количество каши.

— Ну, довольно, довольно, — сказалъ, наконецъ, надзиратель, когда всѣ кончили ужинать, а нашъ больной еще продолжалъ сидѣть надъ чашкой, черпая изъ нея одной рукой кашу, а другой крѣпко держась за грудь.—Объѣдитесь.

— Ахъ, если бы вы знали, сколько силъ мнѣ нужно, сколько силъ! Прощайте, Николай Николаичъ, — сказалъ больной, вставая изъ-за стола и крѣпко сжимая руку надзирателю.—Прощайте!

— Куда же вы?—спросилъ съ улыбкой надзиратель.

— Я? Никуда. Я остаюсь. Но, можетъ-быть, завтра мы не увидимся. Благодарю васъ за вашу доброту.

И онъ еще разъ крѣпко пожалъ руку надзирателю. Голосъ его дрожалъ, на глазахъ выступили слезы.

— Успокойтесь, милый, успокойтесь,— отвѣчалъ надзиратель. — Къ чему такія мрачныя мысли? Подите, лягте, да засните хорошенько. Вамъ больше спать слѣдуетъ: если будете спать хорошо, скоро и поправитесь.

Больной рыдалъ. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожамъ поскорѣе убирать остатки ужина. Черезъ полчаса въ больницѣ все уже спало, кромѣ одного человѣка, лежавшаго нераздѣтымъ на своей постели въ угловой комнатѣ. Онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и судорожно стискивалъ себѣ грудь, всю пропитанную, какъ ему казалось, неслыханно смертельнымъ ядомъ.

## V.

Онъ не спалъ всю ночь. Онъ сорвалъ этотъ цвѣтокъ, потому что видѣлъ въ такомъ поступкѣ подвигъ, который онъ былъ

обязанъ сдѣлать. При первомъ взглядѣ сквозь стеклянную дверь, алые лепестки привлекли его вниманіе, и ему показалось, что онъ съ этой минуты вполнѣ постигъ, что именно долженъ онъ совершить на землѣ. Въ этотъ яркій красный цвѣтокъ собралось все зло міра. Онъ зналъ, что изъ мака дѣлается опіумъ; можетъ-быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищныя формы, заставила его создать страшный фантастическій призракъ. Цвѣтокъ въ его глазахъ осуществлялъ собою все зло; онъ впиталъ въ себя всю невинно пролитую кровь (оттого онъ и былъ такъ красенъ), всѣ слезы, всю желчь человѣчества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариманъ, принявшій скромный и невинный видъ. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало,—нужно было не дать ему при издыханіи излить все свое зло въ міръ. Потому-то онъ и спряталъ его у себя на груди. Онъ надѣялся, что къ утру цвѣтокъ потеряетъ всю свою силу. Его зло перейдетъ въ его грудь, его душу и тамъ будетъ побѣждено или побѣдитъ — тогда самъ онъ погибнетъ, умретъ, но умретъ, какъ честный боецъ и какъ первый боецъ человѣчества, потому что до сихъ поръ никто не осмѣливался бороться разомъ со всѣмъ зломъ міра.

— Они не видѣли его. Я увидѣлъ. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть.

И онъ лежалъ, изнемогая въ призрачной, несуществующей борьбѣ, но все-таки изнемогая. Утромъ фельдшеръ засталъ его чуть живымъ. Но, несмотря на это, черезъ нѣсколько времени возбужденіе взяло верхъ, онъ вскочилъ съ постели и попрежнему забѣгалъ по больницѣ, разговаривая съ больными и самъ съ собою громче и несвязнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Его не пустили въ садъ; докторъ, видя, что вѣсъ его уменьшается, а онъ все не спитъ и все ходитъ и ходитъ, приказалъ впрыснуть ему подъ кожу большую дозу морфія. Онъ не сопротивлялся: къ счастію, въ это время его безумныя мысли какъ-то совпали съ этой операціей. Онъ скоро заснулъ: бѣшеное движеніе прекратилось, и постоянно сопутствовавшій ему, создавшійся изъ такта его порывистыхъ шаговъ, громкій мотивъ исчезъ изъ ушей. Онъ забылся и пересталъ думать обо всемъ и даже о второмъ цвѣткѣ, который нужно было сорвать.

Однако онъ сорвалъ его черезъ три дня на глазахъ у старика, неуспѣвшаго предупредить его. Сторожъ погнался за нимъ. Съ громкимъ, торжествующимъ воплемъ больной вбѣжалъ въ больницу и, кинувшись въ свою комнату, спряталъ растеніе на груди.

— Ты зачѣмъ цвѣты рвешь?—спросилъ прибѣжавшій за нимъ сторожъ. Но больной, уже лежавшій на постели въ привычной позѣ со скрещенными руками, началъ говорить такую чепуху, что сторожъ только молча снялъ съ него забытый имъ въ поспѣшномъ бѣгствѣ колпакъ съ краснымъ крестомъ и ушелъ. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовалъ, что изъ цвѣтка длинными, похожими на змѣи, ползучими потоками извивается зло; онѣ опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тѣло своимъ ужаснымъ содержаніемъ. Онъ плакалъ и молился Богу въ промежутки между проклятіями, обращенными къ своему врагу. Къ вечеру цвѣтокъ завялъ. Больной растопталъ почернѣвшее растеніе, подобралъ остатки съ пола и понесъ въ ванную. Бросивъ безформенный комочекъ зелени въ раскаленную каменнымъ углемъ печь, онъ долго смотрѣлъ, какъ его врагъ шипѣлъ, съеживался и, наконецъ, превратился въ нѣжный, снѣжно-бѣлый комочекъ золы. Онъ дунулъ, и все исчезло.

На другой день больному стало хуже. Страшно блѣдный, съ ввалившимися щеками, съ глубоко ушедшими внутрь глазныхъ впадинъ горящими глазами, онъ, уже шатающеюся походкой и часто спотыкаясь, продолжалъ свою бѣшеную ходьбу и говорилъ, говорилъ безъ конца.

— Мнѣ не хотѣлось бы прибѣгать къ насилію,— сказалъ своему помощнику старшій докторъ.

— Но вѣдь необходимо остановить эту работу. Сегодня въ немъ 93 фунта вѣса. Если такъ пойдетъ дальше, онъ умретъ черезъ два дня.

Старшій докторъ задумался. — Морфій? Хлоралъ?—сказалъ онъ полувопросительно.

— Вчера морфій уже не дѣйствовалъ.

— Прикажите связать его. Впрочемъ, я сомнѣваюсь, чтобы онъ уцѣлѣлъ.

## VI.

И больного связали. Онъ лежалъ, одѣтый въ сумасшедшую рубаху, на своей постели, крѣпко привязанный широкими полосами холста къ желѣзнымъ перекладинамъ кровати. Но бѣшенство движеній не уменьшилось, а скорѣе возросло. Въ теченіе многихъ часовъ онъ упорно силился освободиться отъ своихъ путъ. Наконецъ, однажды, сильно рванувшись, онъ разорвалъ одну изъ повязокъ, освободилъ ноги и, выскользнувъ изъ-подъ другихъ, началъ со связанными руками расхаживать по комнатѣ, выкрикивая дикія, непонятныя рѣчи.

— О щобъ тоби!..—закричалъ вошедшій сторожъ.—Якій тоби бісъ помогае! Грицко! Иванъ! Идить швидче, бо винъ розвязавсь.

Они втроемъ накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавшихъ и мучительная для защищавшагося человѣка, тратившаго остатокъ истощенныхъ силъ. Наконецъ его повалили на постель и скрутили крѣпче прежняго.

— Вы не понимаете, что вы дѣлаете!—кричалъ больной, задыхаясь.—Вы погибаете! Я видѣлъ третій, едва распустившійся. Теперь онъ уже готовъ. Дайте мнѣ кончить дѣло! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будетъ кончено, все спасено. Я послалъ бы васъ, но это могу сдѣлать только одинъ я. Вы умерли бы отъ одного прикосновенія.

— Молчите, панычъ, молчите!—сказалъ старикъ-сторожъ, оставшійся дежурить около постели.

Больной вдругъ замолчалъ. Онъ рѣшился обмануть сторожей. Его продержали связаннымъ цѣлый день и оставили въ такомъ положеніи и на ночь. Накормивъ его ужиномъ, сторожъ постлалъ что-то около постели и улегся. Черезъ минуту онъ спалъ крѣпкимъ сномъ, а больной принялся за работу.

Онъ изогнулся всѣмъ тѣломъ, чтобы коснуться желѣзной продольной перекладины постели и, нащупавъ ее спрятанной въ длинномъ рукавѣ сумасшедшей рубахи кистью руки, началъ быстро и сильно тереть рукавъ объ желѣзо. Черезъ нѣсколько времени толстая парусина подалась, и онъ высвободилъ указательный палецъ. Тогда дѣло пошло скорѣе. Съ совершенно невѣроятной для здороваго человѣка ловкостью и гибкостью онъ развязалъ сзади себя узелъ, стягивавшій рукава, расшнуровалъ рубаху, и послѣ этого долго прислушивался къ храпѣнію сторожа. Но старикъ спалъ крѣпко. Больной снялъ рубаху и отвязался отъ кровати. Онъ былъ свободенъ. Онъ попробовалъ дверь; она была заперта изнутри, и ключъ, вѣроятно, лежалъ въ карманѣ у сторожа. Боясь разбудить его, онъ не посмѣлъ обыскивать карманы и рѣшился уйти изъ комнаты черезъ окно.

Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто; звѣзды блестѣли на черномъ небѣ. Онъ смотрѣлъ на нихъ, отличая знакомыя созвѣздія и радуясь тому, что онѣ, какъ ему казалось, понимаютъ его и сочувствуютъ ему. Мигая, онъ видѣлъ безконечные лучи, которые онѣ посылали ему, и безумная рѣшимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прутъ желѣзной рѣшетки, пролѣзть сквозь узкое отверстіе въ закоулокъ, заросшій кустами, перебраться черезъ высокую каменную ограду. Тамъ будетъ послѣдняя борьба, а послѣ—хоть смерть.

Онъ попробовалъ согнуть толстый прутъ голыми руками, но желѣзо не подавалось. Тогда, скрутивъ изъ крѣпкихъ рукавовъ сумасшедшей рубахи веревку, онъ зацѣпилъ ею за выкованное на концѣ прута копье и повисъ на немъ всѣмъ тѣломъ. Послѣ отчаянныхъ усилій, почти истощившихъ остатокъ его силъ, копье согнулось; узкій проходъ былъ открытъ. Онъ протискался сквозь него, ссадивъ себѣ плечи, локти и обнаженныя колѣни, пробрался сквозь кусты и остановился передъ стѣной. Все было тихо; огни ночниковъ слабо освѣщали изнутри окна огромнаго зданія; въ нихъ не было видно никого. Никто не замѣтитъ его; старикъ, дежурившій у его постели, вѣроятно, спитъ крѣпкимъ сномъ. Звѣзды ласково мигали лучами, проникавшими до самаго его сердца.

— Я иду къ вамъ,—прошепталъ онъ, глядя на небо.

Оборвавшись послѣ первой попытки, съ оборванными ногтями, окровавленными руками и колѣнями, онъ сталъ искать удобнаго мѣста. Тамъ, гдѣ ограда сходилась со стѣной мертвецкой, изъ нея и изъ

стѣны выпало нѣсколько кирпичей. Больной нащупалъ эти впадины и воспользовался ими. Онъ взлѣзъ на ограду, ухватился за вѣтки вяза, росшаго по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю.

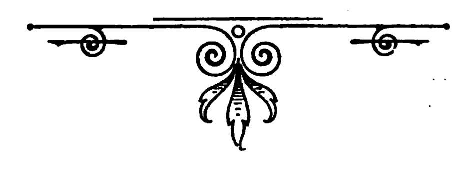
Онъ кинулся къ знакомому мѣсту около крыльца. Цвѣтокъ темнѣлъ своей головкой, свернувъ лепестки и ясно выдѣляясь на росистой травѣ.

— Послѣдній!—прошепталъ больной.— Послѣдній. Сегодня побѣда или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите,— сказалъ онъ, глядя на небо:—я скоро буду съ вами.

Онъ вырвалъ растеніе, истерзалъ его, смялъ и, держа его въ рукѣ, вернулся прежнимъ путемъ въ свою комнату. Старикъ спалъ. Больной, едва дойдя до постели, рухнулъ на нее безъ чувствъ.

Утромъ его нашли мертвымъ. Лицо его было спокойно и свѣтло; истощенныя черты съ тонкими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цвѣтокъ. Но рука закоченѣла, и онъ унесъ свой трофей въ могилу.

1883 г.



**Θедоръ Михайловичъ Достоевскій.**

(1821 — 1881).

## ИЗЪ РОМАНА «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».

### Бунтъ.

— Я тебѣ долженъ сдѣлать одно признаніе,—началъ Иванъ:—я никогда не могъ понять, какъ можно любить своихъ ближнихъ. Именно ближнихъ-то, по-моему, и невозможно любить, а развѣ лишь дальнихъ. Я читалъ вотъ какъ-то и гдѣ-то про «Іоанна Милостиваго» (одного святого), что онъ, когда къ нему пришелъ голодный и обмерзшій прохожій и попросилъ согрѣть его, легъ съ нимъ вмѣстѣ въ постель, обнялъ его и началъ дышать ему въ гноящійся и зловонный отъ какой-то ужасной болѣзни ротъ его. Я убѣжденъ, что онъ это сдѣлалъ съ надрывомъ, съ надрывомъ лжи, изъ-за заказанной долгомъ любви, изъ-за натащенной на себя епитиміи. Чтобы полюбить человѣка, надо чтобы тотъ спрятался, а чуть лишь покажетъ лицо свое—пропала любовь.

— Объ этомъ не разъ говорилъ старецъ Зосима,—замѣтилъ Алеша:—онъ тоже говорилъ, что лицо человѣка часто многимъ еще неопытнымъ въ любви людямъ мѣшаетъ любить. Но вѣдь есть и много любви въ человѣчествѣ, и почти подобной Христовой любви, это я самъ знаю, Иванъ...

— Ну, я-то пока еще этого не знаю и понять не могу, и безчисленное множество людей со мной тоже. Вопросъ вѣдь въ томъ, отъ дурныхъ ли качествъ людей это происходитъ, или ужъ оттого, что такова ихъ натура. По-моему, Христова любовь къ людямъ есть въ своемъ родѣ невозможное на землѣ чудо. Правда, Онъ былъ Богъ. Но мы-то не боги. Положимъ, я, напримѣръ, глубоко могу страдать, но другой никогда вѣдь не можетъ узнать, до какой степени я страдаю, потому что онъ другой, а не я, и, сверхъ того, рѣдко человѣкъ согласится признать другого за страдальца (точно будто это чинъ). Почему не согласится, какъ ты думаешь? Потому, напримѣръ, что отъ меня дурно

пахнетъ, что у меня глупое лицо, потому что я разъ когда-то отдавилъ ему ногу. Къ тому же страданіе и страданіе: унизительное страданіе, унижающее меня, голодъ, напримѣръ, еще допустить во мнѣ мой благодѣтель, но чуть повыше страданіе, за идею, напримѣръ, нѣтъ, онъ это въ рѣдкихъ развѣ случаяхъ допуститъ, потому что онъ, напримѣръ, посмотритъ на меня и вдругъ увидитъ, что у меня вовсе не то лицо, какое по его фантазіи должно бы быть у человѣка, страдающаго за такую-то, напримѣръ, идею. Вотъ онъ и лишаетъ меня сейчасъ же своихъ благодѣяній и даже вовсе не отъ злого сердца. Нищіе, особенно благородные нищіе, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрезъ газеты. Отвлеченно еще можно любить ближняго и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было какъ на сценѣ, въ балетѣ, гдѣ нищіе, когда они появляются, приходятъ въ шелковыхъ лохмотьяхъ и рваныхъ кружевахъ и просятъ милостыню, граціозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно объ этомъ. Мнѣ надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотѣлъ заговорить о страданіи человѣчества вообще, но лучше ужъ остановимся на страданіяхъ однихъ дѣтей. Это уменьшитъ размѣры моей аргументаціи разъ въ десять, но лучше ужъ про однихъ дѣтей. Тѣмъ не выгоднѣе для меня, разумѣется. Но, во-первыхъ, дѣтокъ можно любить даже и вблизи, даже и грязныхъ, даже дурныхъ лицомъ (мнѣ, однакоже, кажется, что дѣтки никогда не бываютъ дурны лицомъ). Во-вторыхъ, о большихъ я и потому еще говорить не буду, что, кромѣ того, что они отвратительны и любви не заслуживаютъ, у нихъ есть и возмездіе: они съѣли яблоко, и познали добро и зло, и стали «яко бози». Продолжаютъ и теперь ѣсть его. Но дѣточки ничего не съѣли и пока еще ни въ чемъ не виновны. Любишь ты дѣтокъ, Алеша? Знаю, что любишь, и тебѣ будетъ понятно, для чего я про нихъ однихъ хочу теперь говорить. Если они на землѣ тоже ужасно страдаютъ, то ужъ, конечно, за отцовъ своихъ, наказаны за отцовъ своихъ, съѣвшихъ яблоко,—но вѣдь это разсужденіе изъ другого міра, сердцу же человѣческому здѣсь, на землѣ, непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша: я тоже ужасно люблю дѣточекъ. И замѣть себѣ, жестокіе люди, страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любятъ дѣтей. Дѣти, пока дѣти, до семи лѣтъ, напримѣръ, страшно отстоятъ отъ людей: совсѣмъ будто другое существо и съ другою природой. Я зналъ одного разбойника въ острогѣ: ему случалось въ свою карьеру, избивая цѣлыя семейства въ домахъ, въ которые забирался по ночамъ для грабежа, зарѣзать заодно нѣсколько и дѣтей. Но, сидя въ острогѣ, онъ ихъ до странности любилъ. Изъ окна острога онъ только и дѣлалъ, что смотрѣлъ на играющихъ на тюремномъ дворѣ дѣтей. Одного маленькаго мальчика онъ пріучилъ приходить къ нему подъ окно, и тотъ очень сдружился съ нимъ... Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня какъ-то голова болитъ, и мнѣ грустно.

— Ты говоришь съ страннымъ видомъ, съ безпокойствомъ замѣтилъ Алеша, — точно ты въ какомъ безуміи.

— Кстати, мнѣ недавно разсказывалъ одинъ болгаринъ въ Москвѣ,—продолжалъ Иванъ Ѳедоровичъ, какъ бы и не слушая брата, — какъ турки и черкесы тамъ у нихъ въ Болгаріи повсемѣстно злодѣйствуютъ, опасаясь поголовнаго возстанія славянъ, — то-есть жгутъ, рѣжутъ, насилуютъ женщинъ и дѣтей, прибиваютъ арестантамъ уши къ забору гвоздями и оставляютъ такъ до утра, а поутру вѣшаютъ— и проч., всего и вообразить невозможно. Въ самомъ дѣлѣ, выражаются иногда про «звѣрскую» жестокость человѣка, но это страшно несправедливо и обидно для звѣрей: звѣрь никогда не можетъ быть такъ жестокъ, какъ человѣкъ, такъ артистически, такъ художественно жестокъ. Тигръ просто грызетъ, рветъ и только это и умѣетъ. Ему и въ голову не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями, если бъ онъ даже и могъ это сдѣлать. Эти турки, между прочимъ, съ сладострастіемъ мучили и дѣтей, начиная съ вырѣзыванія ихъ кинжаломъ изъ чрева матери, до бросанія вверхъ грудныхъ младенцевъ и подхватыванія ихъ на штыкъ въ глазахъ матерей. На глазахъ-то матерей и составляло главную сладость. Но вотъ, однако, одна меня сильно заинтере-

совавшая картинка. Представь: грудной младенчикъ на рукахъ трепещущей матери, кругомъ—вошедшіе турки. У нихъ затѣялась веселая штучка: они ласкаютъ младенца, смѣются, чтобъ его разсмѣшить, имъ удается, младенецъ разсмѣялся. Въ эту минуту турокъ наводитъ на него пистолетъ въ четырехъ вершкахъ разстоянія отъ его лица. Мальчикъ радостно хохочетъ, тянется ручонками, чтобъ схватить пистолетъ, и вдругъ артистъ спускаетъ курокъ прямо ему въ лицо и раздробляетъ ему головку... Художественно, не правда ли? Кстати, турки, говорятъ, очень любятъ сладкое.

— Братъ, къ чему это все?—спросилъ Алеша.

— Я думаю, что если дьяволъ не существуетъ, и, стало-быть, создалъ его человѣкъ, то создалъ онъ его по своему образу и подобію.

— Въ такомъ случаѣ, равно какъ и Бога.

— А ты удивительно какъ умѣешь оборачивать словечки, какъ говоритъ Полоній въ *Гамлетѣ*,—засмѣялся Иванъ. — Ты поймалъ меня на словѣ; пусть, я радъ. Хорошъ же твой Богъ, коль Его создалъ человѣкъ по образу своему и подобію. Ты спросилъ сейчасъ, для чего я это все: я, видишь ли, любитель и собиратель нѣкоторыхъ фактиковъ и, вѣришь ли, записываю и собираю изъ газетъ и разсказовъ, откуда попало, нѣкотораго рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекція. Турки, конечно, вошли въ коллекцію, но это все иностранцы. У меня есть и родныя штучки и даже получше турецкихъ. Знаешь, у насъ больше битье, больше розга и плеть, и это національно: у насъ прибитые гвоздями уши немыслимы, мы все-таки европейцы, но розги, но плеть, это нѣчто уже наше и не можетъ быть у насъ отнято. За границей теперь какъ будто и не бьютъ совсѣмъ, нравы, что ли, очистились, али ужъ законы такіе устроились, что человѣкъ человѣка какъ будто ужъ и не смѣетъ посѣчь, но зато они вознаградили себя другимъ и тоже чисто національнымъ, какъ и у насъ, и до того національнымъ, что у насъ оно какъ будто и невозможно, хотя, впрочемъ, кажется, и у насъ прививается, особенно со времени религіознаго движенія въ нашемъ высшемъ обществѣ. Есть у меня одна прелестная брошюрка, переводъ съ французскаго, о томъ, какъ въ Женевѣ очень недавно, всего лѣтъ пять тому, казнили одного злодѣя и убійцу, Ришара, двадцатитрехлѣтняго, кажется, малаго, раскаявшагося и обратившагося къ христіанской вѣрѣ предъ самымъ эшафотомъ. Этотъ Ришаръ былъ чей-то незаконнорожденный, котораго еще младенцемъ, лѣтъ шести, *подарили* родители какимъ-то горнымъ швейцарскимъ пастухамъ, и тѣ его взростили, чтобъ употреблять въ работу. Росъ онъ у нихъ, какъ дикій звѣренокъ, не научили его пастухи ничему, напротивъ, семи лѣтъ уже посылали пасти стадо въ мокредь и въ холодъ, почти безъ одежды и почти не кормя его. И ужъ, конечно, такъ дѣлая, никто изъ нихъ не задумывался и не раскаивался, напротивъ, считалъ себя въ полномъ правѣ, ибо Ришаръ подаренъ имъ былъ, какъ вещь, и они даже не находили необходимымъ кормить его. Самъ Ришаръ свидѣтельствуетъ, что въ тѣ годы онъ, какъ блудный сынъ въ Евангеліи, желалъ ужасно поѣсть хоть того мѣсива, которое давали откармливаемымъ на продажу свиньямъ, но ему не давали даже и этого и били, когда онъ кралъ у свиней; и такъ провелъ онъ все дѣтство свое и всю юность, до тѣхъ поръ, пока возросъ и, укрѣпившись въ силахъ, пошелъ самъ воровать. Дикарь сталъ добывать деньги поденною работой въ Женевѣ, добытое пропивалъ, жилъ какъ извергъ и кончилъ тѣмъ, что убилъ какого-то старика и ограбилъ. Его схватили, судили и присудили къ смерти. Тамъ вѣдь не сентиментальничаютъ. И вотъ въ тюрьмѣ его немедленно окружаютъ пасторы и члены разныхъ Христовыхъ братствъ, благотворительныя дамы и проч. Научили они его въ тюрьмѣ читать и писать, стали толковать ему Евангеліе, усовѣщивали, убѣждали, напирали, пилили, давили, и вотъ онъ самъ торжественно сознается, наконецъ, въ своемъ преступленіи. Онъ обратился, онъ написалъ самъ суду, что онъ извергъ и что, наканецъ-таки, онъ удостоился того, что и его озарилъ Господь и послалъ ему благодать. Все взволновалось въ Женевѣ, вся благотворительная и благочестивая Женева. Все, что было высшаго и благовоспитаннаго, ринулось къ нему въ тюрьму; Ришара цѣлуютъ, обнимаютъ: «Ты братъ нашъ, на тебя сошла

благодать!» А самъ Ришаръ только плачетъ въ умиленіи: «Да, на меня сошла благодать! Прежде я все дѣтство и юность мою радъ былъ корму свиней, а теперь сошла и на меня благодать, умираю во Господѣ!» — «Да, да, Ришаръ, умри во Господѣ, ты пролилъ кровь и долженъ умереть во Господѣ. Пусть ты не виновенъ, что не зналъ совсѣмъ Господа, когда завидовалъ корму свиней и когда тебя били за то, что ты кралъ у нихъ кормъ (что ты дѣлалъ очень нехорошо, ибо красть не позволено), но ты пролилъ кровь и долженъ умереть». И вотъ наступаетъ послѣдній день. Разслабленный Ришаръ плачетъ и только и дѣлаетъ, что повторяетъ ежеминутно: «Это лучшій изъ дней моихъ, я иду къ Господу!» — «Да,—кричатъ пасторы, судьи и благотворительныя дамы,—это счастливѣйшій день твой, ибо ты идешь къ Господу!» Все это двигается къ эшафоту, вслѣдъ за позорною колесницей, въ которой везутъ Ришара, въ экипажахъ, пѣшкомъ. Вотъ достигли эшафота: «Умри, братъ нашъ,—кричатъ Ришару,—умри во Господѣ, ибо и на тебя сошла благодать!» И вотъ, покрытаго поцѣлуями братьевъ, брата Ришара втащили на эшафотъ, положили на гильотину и оттяпали-таки ему, по-братски, голову за то, что и на него сошла благодать. Нѣтъ, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшаго общества и разослана для просвѣщенія народа русскаго при газетахъ и другихъ изданіяхъ даромъ. Штука съ Ришаромъ хороша тѣмъ, что національна. У насъ хоть нелѣпо рубить голову брату потому только, что онъ сталъ намъ братъ и что на него сошла благодать, но, повторяю, у насъ есть свое, почти что не хуже. У насъ историческое, непосредственное и ближайшее наслажденіе истязаніемъ битья. У Некрасова есть стихи о томъ, какъ мужикъ сѣчетъ лошадь кнутомъ по глазамъ, «по кроткимъ глазамъ». Этого кто жъ не видалъ, это руссизмъ. Онъ описываетъ, какъ слабосильная лошаденка, на которую навалили слишкомъ, завязла съ возомъ и не можетъ вытащить. Мужикъ бьетъ ее, бьетъ съ остервенѣніемъ, бьетъ, наконецъ, не понимая, что дѣлаетъ, въ опьянѣніи битья сѣчетъ больно, безчисленно: «Хоть ты и не въ силахъ, а вези, умри, да вези!» Кляченка рвется, и вотъ онъ начинаетъ сѣчь ее, беззащитную, по плачущимъ, по «кроткимъ глазамъ». Внѣ себя, она рванула и вывезла, и пошла, вся дрожа, не дыша, какъ - то бокомъ, съ какою-то припрыжкою, какъ-то неестественно и позорно, — у Некрасова это ужасно. Но вѣдь это всего только лошадь, лошадей и самъ Богъ далъ, чтобъ ихъ сѣчь. Такъ татары намъ растолковали и кнутъ на память подарили. Но можно вѣдь сѣчь и людей. И вотъ интеллигентный, образованный господинъ и его дама сѣкутъ собственную дочку, младенца семи лѣтъ, розгами, — объ этомъ у меня подробно записано. Папенька радъ, что прутья съ сучками, «садче будетъ», говоритъ онъ, и вотъ начинаетъ «сажать» родную дочь. Я знаю навѣрно, есть такіе сѣкущіе, которые разгорячаются съ каждымъ ударомъ до сладострастія, до буквальнаго сладострастія, съ каждымъ послѣдующимъ ударомъ все больше и больше, все прогрессивнѣе. Сѣкутъ минуту, сѣкутъ, наконецъ, пять минутъ, сѣкутъ десять минутъ, дальше, больше, чаще, садче. Ребенокъ кричитъ, ребенокъ, наконецъ, не можетъ кричать, задыхается: «папа, папа, папочка, папочка!» Дѣло какимъ-то чортовымъ неприличнымъ случаемъ доходитъ до суда. Нанимается адвокатъ. Русскій народъ давно уже назвалъ у насъ адвоката—«аблакатъ—нанятая совѣсть». Адвокатъ кричитъ въ защиту своего кліэнта. «Дѣло, дескать, такое простое, семейное и обыкновенное, отецъ посѣкъ дочку и вотъ, къ стыду нашихъ дней, дошло до суда!» Убѣжденные присяжные удаляются и выносятъ оправдательный приговоръ. Публика реветъ отъ счастья, что оправдали мучителя.—Э-эхъ, меня не было тамъ, я бы рявкнулъ предложеніе учредить стипендію въ честь имени истязателя!.. Картинки прелестныя. Но о дѣткахъ есть у меня и еще получше, у меня очень, очень много собрано о русскихъ дѣткахъ, Алеша. Дѣвчоночку маленькую, пятилѣтнюю, возненавидѣли отецъ и мать, «почтеннѣйшіе и чиновные люди, образованные и воспитанные». Видишь, я еще разъ положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многихъ въ человѣчествѣ—это любовь къ истязанію дѣтей, но однихъ дѣтей. Ко всѣмъ другимъ субъектамъ человѣческаго рода эти же самые истязатели

относятся даже благосклонно и кротко, какъ образованные и гуманные европейскіе люди, но очень любятъ мучить дѣтей, любятъ даже самихъ дѣтей въ этомъ смыслѣ. Тутъ именно незащищенность-то этихъ созданій и соблазняетъ мучителей, ангельская довѣрчивость дитяти, которому некуда дѣться и не къ кому итти,—вотъ это-то и распаляетъ гадкую кровь истязателя. Во всякомъ человѣкѣ, конечно, таится звѣрь,—звѣрь гнѣвливости, звѣрь сладострастной распаляемости отъ криковъ истязуемой жертвы, звѣрь безъ, удержу спущеннаго съ цѣпи, звѣрь нажитыхъ въ развратѣ болѣзней, подагръ, больныхъ печенокъ и проч. Эту бѣдную пятилѣтнюю дѣвочку эти образованные родители подвергали всевозможнымъ истязаніямъ. Они били, сѣкли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тѣло ея въ синяки; наконецъ дошли и до высшей утонченности: въ холодъ, въ морозъ запирали ее на всю ночь въ отхожее мѣсто и за то, что она не просилась ночью (какъ будто пятилѣтній ребенокъ, спящій своимъ ангельскимъ крѣпкимъ сномъ, еще можетъ въ эти лѣта научиться проситься)—за это обмазывали ей все лицо ея же каломъ и заставляли ее ѣсть этотъ калъ, и это мать, мать заставляла! И это мать могла спать, когда ночью слышались стоны бѣднаго ребеночка, запертаго въ подломъ мѣстѣ! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умѣющее даже осмыслить, что съ ней дѣлается, бьетъ себя въ подломъ мѣстѣ, въ темнотѣ и въ холодѣ, крошечнымъ своимъ кулачкомъ въ надорванную грудку и плачетъ своими кровавыми незлобивыми, кроткими слезками къ «Боженькѣ», чтобы Тотъ защитилъ его,—понимаешь ли ты эту ахинею, другъ мой и братъ мой, послушникъ ты мой Божій и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея такъ нужна и создана!? Безъ нея, говорятъ, и пробыть бы не могъ человѣкъ на землѣ, ибо не позналъ бы добра и зла. Для чего познавать это чортово добро и зло, когда это столькаго стоитъ? Да вѣдь весь міръ познанія не стоитъ тогда этихъ слезокъ ребеночка къ «Боженькѣ». Я не говорю про страданія большихъ, тѣ яблоко съѣли и чортъ съ ними, и пусть бы ихъ всѣхъ чортъ взялъ, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты какъ будто бы не въ себѣ. Я перестану, если хочешь.

— Ничего, я тоже хочу мучиться,—пробормоталъ Алеша.

— Одну, только одну еще картинку, и то изъ любопытства, очень ужъ характерная, и, главное, только что прочелъ въ одномъ изъ сборниковъ нашихъ древностей, въ *Архивѣ*, въ *Старинѣ*, что ли, надо справиться, забылъ даже, гдѣ и прочелъ. Это было въ самое мрачное время крѣпостного права, еще въ началѣ столѣтія, и да здравствуетъ освободитель народа! Былъ тогда въ началѣ столѣтія одинъ генералъ, генералъ со связями большими и богатѣйшій помѣщикъ, но изъ такихъ (правда, и тогда уже, кажется, очень немногихъ), которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали увѣрены, что выслужили себѣ право на жизнь и смерть своихъ подданныхъ. Такіе тогда бывали. Ну, вотъ живетъ генералъ въ своемъ помѣстьи въ двѣ тысячи душъ, чванится, третируетъ мелкихъ сосѣдей, какъ приживальщиковъ и шутовъ своихъ. Псарня съ сотнями собакъ и чуть не сотня псарей,—всѣ въ мундирахъ, всѣ на коняхъ. И вотъ дворовый мальчикъ, маленькій мальчикъ, всего восьми лѣтъ, пустилъ какъ-то играя камнемъ и зашибъ ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя любимая охромѣла?» Докладываютъ ему, что вотъ, дескать, этотъ самый мальчикъ камнемъ въ нее пустилъ и ногу ей зашибъ. «А, это ты,—оглядѣлъ его генералъ,— взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидѣлъ въ кутузкѣ; на утро, чѣмъ свѣтъ, выѣзжаетъ генералъ во всемъ парадѣ на охоту, сѣлъ на коня, кругомъ него приживальщики, собаки, псари, ловчіе,—всѣ на коняхъ. Вокругъ собрана дворня для назиданія, а впереди всѣхъ мать виновнаго мальчика. Выводятъ мальчика изъ кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенній день, знатный для охоты. Мальчика генералъ велитъ раздѣть, ребеночка раздѣваютъ всего, донага; онъ дрожитъ, обезумѣлъ отъ страха, не смѣетъ пикнуть... «Гони его!»—командуетъ генералъ, «бѣги, бѣги!»—кричатъ ему псари, мальчикъ бѣжитъ... «Ату его!» — вопитъ генералъ и бросаетъ на него всю стаю борзыхъ собакъ. Затравилъ въ глазахъ матери, и псы растерзали ребенка въ

клочки!.. Генерала, кажется, въ опеку взяли. Ну... что же его? Разстрѣлять? Для удовлетворенія нравственнаго чувства разстрѣлять? Говори, Алешка!

— Разстрѣлять! — тихо проговорилъ Алеша, съ блѣдною, перекосившеюся какою-то улыбкой поднявъ взоръ на брата.

— Браво!—завопилъ Иванъ въ какомъ-то восторгѣ,—ужъ коли ты такъ сказалъ, значитъ... Ай да схимникъ! Такъ вотъ какой у тебя бѣсенокъ въ сердечкѣ сидитъ, Алешка Карамазовъ.

— Я сказалъ нелѣпость, но...

— То-то и есть, что но... — кричалъ Иванъ.—Знай, послушникъ, что нелѣпости слишкомъ нужны на землѣ. На нелѣпостяхъ міръ стоитъ, и безъ нихъ, можетъ-быть, въ немъ совсѣмъ ничего бы и не произошло. Мы знаемъ, что знаемъ!

— Что ты знаешь?

— Я ничего не понимаю,—продолжалъ Иванъ, какъ бы въ бреду, я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при фактѣ. Я давно рѣшилъ не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчасъ же измѣню факту, а я рѣшилъ оставаться при фактѣ...

— Для чего ты меня испытуешь?—съ надрывомъ, горестно воскликнулъ Алеша.— Скажешь ли мнѣ, наконецъ?

— Конечно, скажу, къ тому и велъ, чтобы сказать. Ты мнѣ дорогъ, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосимѣ.

Иванъ помолчалъ съ минуту, лицо его стало вдругъ очень грустно.

— Слушай меня: я взялъ однихъ дѣтокъ, для того, чтобы вышло очевиднѣе. Объ остальныхъ слезахъ человѣческихъ, которыми пропитана вся земля, отъ коры до центра, я ужъ ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузилъ. Я клопъ и признаю со всѣмъ приниженіемъ, что ничего не могу понять, для чего все такъ устроено. Люди сами, значитъ, виноваты: имъ данъ былъ рай, они захотѣли свободы и похитили огонь съ небеси, сами зная, что станутъ несчастны, значитъ, нечего ихъ жалѣть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страданіе есть, что виновныхъ нѣтъ, что все одно изъ другого выходитъ прямо и просто, что все течетъ и уравновѣшивается,—но вѣдь это лишь эвклидовская дичь, вѣдь я знаю же это, вѣдь жить по ней я не могу же согласиться! Что мнѣ въ томъ, что виновныхъ нѣтъ, и что все прямо и просто одно изъ другого выходитъ, и что я это знаю— мнѣ надо возмездіе, иначе вѣдь я истреблю себя. И возмездіе не въ безконечности гдѣ-нибудь и когда-нибудь, а здѣсь уже, на землѣ, и чтобъ я его самъ увидалъ. Я вѣровалъ, я хочу самъ и видѣть, а если къ тому часу буду уже мертвъ, то пусть воскресятъ меня, ибо если все безъ меня произойдетъ, то будетъ слишкомъ обидно. Не для того же я страдалъ, чтобы собой, злодѣйствами и страданіями моими унавозить кому-то будущую гармонію. Я хочу видѣть своими глазами, какъ лань ляжетъ подлѣ льва, и какъ зарѣзанный встанетъ и обнимется съ убившимъ его. Я хочу быть тутъ, когда всѣ вдругъ узнаютъ, для чего все такъ было. На этомъ желаніи зиждутся всѣ религіи на землѣ, а я вѣрую. Но вотъ, однакоже, дѣтки, и что я съ ними стану тогда дѣлать? Это вопросъ, который я не могу рѣшить. Въ сотый разъ повторяю, — вопросовъ множество, но я взялъ однихъ дѣтокъ, потому что тутъ неотразимо ясно то, что мнѣ надо сказать. Слушай: если всѣ должны страдать, чтобы страданіемъ купить вѣчную гармонію, то при чемъ тутъ дѣти, скажи мнѣ, пожалуйста? Совсѣмъ непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачѣмъ имъ покупать страданіями гармонію? Для чего они-то тоже попали въ матеріалъ и унавозили собою для кого-то будущую гармонію? Солидарность въ грѣхѣ между людьми я понимаю, понимаю солидарность и въ возмездіи, но не съ дѣтками же солидарность въ грѣхѣ, и если правда въ самомъ дѣлѣ въ томъ, что и они солидарны съ отцами ихъ во всѣхъ злодѣйствахъ отцовъ, то ужъ, конечно, правда эта не отъ міра сего и мнѣ непонятна. Иной шутникъ скажетъ, пожалуй, что все равно дитя выростетъ и успѣетъ нагрѣшить, но вотъ же онъ не выросъ, его восьмилѣтняго затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясеніе вселенной, когда все на небѣ и подъ землею сольется въ одинъ хвалебный гласъ, и все живое и жившее воскликнетъ: «Правъ Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!» Ужъ когда мать обнимется съ му-

чителемъ, растерзавшимъ псами сына ея, и всѣ трое возгласятъ со слезами: «Правъ Ты, Господи», то ужъ, конечно, настанетъ вѣнецъ познанія, и все объяснится. Но вотъ тутъ-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на землѣ, я спѣшу взять свои мѣры. Видишь ли, Алеша, вѣдь, можетъ-быть, и дѣйствительно такъ случится, что когда я самъ доживу до того момента, али воскресну, чтобъ увидать его, то и самъ я, пожалуй, воскликну со всѣми, смотря на мать, обнявшуюся съ мучителемъ ея дитяти. «Правъ Ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спѣшу оградить себя, а потому отъ высшей гармоніи совершенно отказываюсь. Не стоитъ она слезинки хотя бы одного только того замученнаго ребенка, который билъ себя кулачонкомъ въ грудь и молился въ зловонной конурѣ своей неискупленными слезками своими къ «Боженькѣ!» Не стоитъ, потому что слезки его остались неискупленными. Онѣ должны быть искуплены, иначе не можетъ быть и гармоніи. Но чѣмъ, чѣмъ ты искупишь ихъ? Развѣ это возможно? Неужто тѣмъ, что они будутъ отомщены? Но зачѣмъ мнѣ ихъ отмщеніе, зачѣмъ мнѣ адъ для мучителей, что тутъ адъ можетъ поправить, когда тѣ уже замучены? И какая же гармонія, если адъ: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страданія дѣтей пошли на пополненіе той суммы страданій, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранѣе, что вся истина не стоитъ такой цѣны. Не хочу я, наконецъ, чтобы мать обнималась съ мучителемъ, растерзавшимъ ея сына псами! Не смѣетъ она прощать ему! Если хочетъ, пусть проститъ за себя, пусть проститъ мучителю материнское безмѣрное страданіе свое; но страданія своего растерзаннаго ребенка она не имѣетъ права простить, не смѣетъ простить мучителя, хотя бы самъ ребенокъ простилъ ихъ ему! А если такъ, если они не смѣютъ простить,—гдѣ же гармонія? Есть ли во всемъ мірѣ существо, которое могло бы и имѣло право простить? Не хочу гармоніи, изъ-за любви къ человѣчеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданіями неотомщенными. Лучше ужъ я останусь при неотомщенномъ страданіи моемъ и неутоленномъ негодованіи моемъ, *хотя бы я былъ и не правъ*. Да и слишкомъ дорого оцѣнили гармонію, не по карману нашему вовсе столько платить за входъ. А потому свой билетъ на входъ спѣшу возвратить обратно. И если только я честный человѣкъ, то обязанъ возвратить его какъ можно заранѣе. Это и дѣлаю. Не Бога я не принимаю, Алеша: я только билетъ Ему почтительнѣйше возвращаю.

— Это бунтъ, — тихо и потупившись проговорилъ Алеша.

— Бунтъ? Я бы не хотѣлъ отъ тебя такого слова, — проникновенно сказалъ Иванъ. — Можно ли жить бунтомъ, а я хочу жить. Скажи мнѣ самъ прямо, я зову тебя, — отвѣчай: представь, что это ты самъ возводишь зданіе судьбы человѣческой съ цѣлью въ финалѣ осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вотъ того самаго ребеночка, бившаго себя кулачонкомъ въ грудь, и на неотомщенныхъ слезкахъ его основать это зданіе, согласился ли бы ты быть архитекторомъ на этихъ условіяхъ, скажи и не лги!

— Нѣтъ, не согласился бы,—тихо проговорилъ Алеша.

— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которыхъ ты строишь, согласились бы сами принять свое счастіе на неоправданной крови маленькаго замученнаго, а принявъ, остаться навѣки счастливыми?

— Нѣтъ, не могу допустить. Братъ,— проговорилъ вдругъ съ засверкавшими глазами Алеша, — ты сказалъ сейчасъ: есть ли во всемъ мірѣ Существо, которое могло бы и имѣло право простить? Но Существо это есть, и Оно можетъ все простить, всѣхъ и вся *и за все*, потому что Само отдало неповинную кровь Свою за всѣхъ и за все. Ты забылъ о Немъ, а на Немъ-то и созиждется зданіе, и это Ему воскликнутъ: «Правъ Ты, Господи, ибо открылись пути Твои».

— А, это «Единый безгрѣшный» и Его кровь! Нѣтъ, не забылъ о Немъ и удивлялся, напротивъ, все время, какъ ты Его долго не выводишь, ибо обыкновенно въ спорахъ всѣ ваши Его выставляютъ прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смѣйся, я когда-то сочинилъ поэму, съ годъ назадъ. Если можешь потерять со

мной еще минутъ десять, то я бъ ее тебѣ разсказалъ.

— Ты написалъ поэму?

— О, нѣтъ, не написалъ, — засмѣялся Иванъ, — и никогда и въ жизни я не сочинилъ даже двухъ стиховъ. Но я поэму эту выдумалъ и запомнилъ. Съ жаромъ выдумалъ. Ты будешь первый мой читатель, то-есть слушатель. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, автору терять хоть единаго слушателя, — усмѣхнулся Иванъ. — Разсказывать или нѣтъ?

— Я очень слушаю, — произнесъ Алеша.

— Поэма моя называется «Великій инквизиторъ», — вещь нелѣпая, но мнѣ хочется ее тебѣ сообщить.

## Великій инквизиторъ.

Вѣдь вотъ и тутъ безъ предисловія невозможно, то-есть безъ литературнаго предисловія, тфу! — засмѣялся Иванъ, — а какой ужъ я сочинитель! Видишь, дѣйствіе у меня происходитъ въ шестнадцатомъ столѣтіи, а тогда, — тебѣ, впрочемъ, это должно быть извѣстно еще изъ классовъ, — тогда какъ разъ было въ обычаѣ сводить въ поэтическихъ произведеніяхъ на землю горнія силы. Я ужъ про Данта не говорю. Во Франціи судейскіе клерки, а тоже и по монастырямъ монахи давали цѣлыя представленія, въ которыхъ выводили на сцену Мадонну, ангеловъ, святыхъ, Христа и Самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. Въ Notre Dame de Paris у Виктора Гюго въ честь рожденія французскаго дофина, въ Парижѣ, при Людовикѣ XI, въ залѣ ратуши дается назидательное и даровое представленіе народу подъ названіемъ: «Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie», гдѣ и является Она сама лично и произноситъ свой bon jugement. У насъ въ Москвѣ, въ до-Петровскую старину, такія же почти драматическія представленія, изъ Ветхаго завѣта особенно, тоже совершались по временамъ; но, кромѣ драматическихъ представленій, по всему міру ходило тогда много повѣстей и «стиховъ», въ которыхъ дѣйствовали, по надобности, святые, ангелы и вся сила небесная. У насъ по монастырямъ занимались тоже переводами, списываніемъ и даже сочиненіемъ такихъ поэмъ, да еще когда — въ татарщину. Есть, напримѣръ, одна монастырская поэмка (конечно, съ греческаго): *Хожденіе Богородицы по мукамъ*, съ картинами и со смѣлостью не ниже Дантовскихъ. Богоматерь посѣщаетъ адъ и руководитъ ее «по мукамъ» архангелъ Михаилъ. Она видитъ грѣшниковъ и мученія ихъ. Тамъ есть, между прочимъ, одинъ презанимательный разрядъ грѣшниковъ въ горящемъ озерѣ: которые изъ нихъ погружаются въ это озеро такъ, что ужъ и выплыть болѣе не могутъ, то «тѣхъ уже забываетъ Богъ» — выраженіе чрезвычайной глубины и силы. И вотъ, пораженная и плачущая, Богоматерь падаетъ предъ престоломъ Божіимъ и проситъ всѣмъ во адѣ помилованія, всѣмъ, которыхъ Она видѣла тамъ, безъ различія. Разговоръ Ея съ Богомъ колоссально интересенъ. Она умоляетъ, Она не отходитъ, и когда Богъ указываетъ Ей на пригвожденныя руки и ноги Ея Сына и спрашиваетъ: «Какъ Я прощу Его мучителей то Она велитъ всѣмъ святымъ, всѣмъ мученикамъ, всѣмъ ангеламъ и архангеламъ пасть вмѣстѣ съ Нею и молить о помилованіи всѣхъ безъ разбора. Кончается тѣмъ, что Она вымаливаетъ у Бога остановку мукъ на всякій годъ отъ Великой пятницы до Троицына дня, а грѣшники изъ ада тутъ же благодарятъ Господа и вопіютъ къ Нему: «Правъ Ты, Господи, что такъ судилъ». Ну вотъ и моя поэмка была бы въ томъ же родѣ, если бъ явилась въ то время. У меня на сценѣ является Онъ. Правда, Онъ ничего и не говоритъ въ поэмѣ, а только появляется и проходитъ. Пятнадцать вѣковъ уже минуло тому, какъ Онъ далъ обѣтованіе притти во царствіи Своемъ, пятнадцать вѣковъ, какъ пророкъ Его написалъ: «Се гряду скоро». «О днѣ же семъ и часѣ не знаетъ даже и Сынъ, токмо лишь Отецъ Мой небесный», какъ изрекъ Онъ и Самъ еще на землѣ. Но человѣчество ждетъ Его съ прежнею вѣрой и съ прежнимъ умиленіемъ. О, съ бо́льшею даже вѣрой, ибо пятнадцать вѣковъ уже минуло съ тѣхъ поръ, какъ прекратились залоги съ небесъ человѣку:

> Вѣрь тому, что сердце скажетъ:
> Нѣтъ залоговъ отъ небесъ.

И только одна лишь вѣра въ сказанное сердцемъ! Правда, было тогда и много

чудесъ. Были святые, производившіе чудесныя исцѣленія; къ инымъ праведникамъ, по жизнеописаніямъ ихъ, сходила сама Царица Небесная. Но дьяволъ не дремлетъ, и въ человѣчествѣ началось уже сомнѣніе въ правдивости этихъ чудесъ. Какъ разъ явилась тогда на сѣверѣ, въ Германіи, страшная новая ересь. Огромная звѣзда, «подобная свѣтильнику» (то-есть церкви), «пала на источники водъ, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тѣмъ пламеннѣе вѣрятъ оставшіеся вѣрными. Слезы человѣчества восходятъ къ Нему попрежнему, ждутъ Его, любятъ Его, надѣются на Него, жаждутъ пострадать и умереть за Него, какъ и прежде... И вотъ столько вѣковъ молило человѣчество съ вѣрой и пламенемъ: «Богъ, Господи, явися намъ», столько вѣковъ взывало къ Нему, что Онъ, въ неизмѣримомъ состраданіи Своемъ, возжелалъ снизойти къ молящимъ. Снисходилъ, посѣщалъ Онъ до этого иныхъ праведниковъ, мучениковъ и святыхъ отшельниковъ еще на землѣ, какъ и записано въ ихъ «житіяхъ». У насъ Тютчевъ, глубоко вѣровавшій въ правду словъ своихъ, возвѣстилъ, что

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ, благословляя.

Что непремѣнно и было такъ, это я тебѣ скажу. И вотъ Онъ возжелалъ появиться хоть на мгновенье къ народу,—къ мучающемуся, страдающему, смрадно-грѣшному, но младенчески любящему Его народу. Дѣйствіе у меня въ Испаніи, въ Севильѣ, въ самое страшное время инквизиціи, когда во славу Божію въ странѣ ежедневно горѣли костры, и

Въ великолѣпныхъ автодафе
Сжигали злыхъ еретиковъ.

О, это, конечно, было не то сошествіе, въ которомъ явится Онъ, по обѣщанію Своему, въ концѣ временъ, во всей славѣ небесной, и которое будетъ внезапно, «какъ молнія, блистающая отъ востока до запада». Нѣтъ, Онъ возжелалъ, хоть на мгновенье, посѣтить дѣтей Своихъ и именно тамъ, гдѣ какъ разъ затрещали костры еретиковъ. По безмѣрному милосердію Своему, Онъ проходитъ еще разъ между людей въ томъ самомъ образѣ человѣческомъ, въ которомъ ходилъ три года между людьми пятнадцать вѣковъ назадъ. Онъ снисходитъ на «стогны жаркіе» южнаго города, какъ разъ въ которомъ всего лишь наканунѣ въ «великолѣпномъ автодафе», въ присутствіи короля, двора, рыцарей, кардиналовъ и прелестнѣйшихъ придворныхъ дамъ, при многочисленномъ населеніи всей Севильи, была сожжена кардиналомъ, великимъ инквизиторомъ, разомъ чуть не цѣлая сотня еретиковъ ad majorem gloriam Dei. Онъ появился тихо, незамѣтно, и вотъ всѣ — странно это — узнаютъ Его. Это могло бы быть однимъ изъ лучшихъ мѣстъ поэмы, то-есть почему именно узнаютъ Его. Народъ непобѣдимою силой стремится къ Нему, окружаетъ Его, нарастаетъ кругомъ Него, слѣдуетъ за Нимъ. Онъ молча проходитъ среди нихъ и съ тихою улыбкой безконечнаго состраданія. Солнце любви горитъ въ Его сердцѣ, лучи Свѣта, Просвѣщенія и Силы текутъ изъ очей Его и, изливаясь на людей, сотрясаютъ ихъ сердца отвѣтною любовью. Онъ простираетъ къ нимъ руки, благословляетъ ихъ, и отъ прикосновенія къ Нему, даже лишь къ одеждамъ Его, исходитъ цѣлящая сила. Вотъ изъ толпы восклицаетъ старикъ, слѣпой съ дѣтскихъ лѣтъ: «Господи, исцѣли меня, да и я Тебя узрю», и вотъ какъ бы чешуя сходитъ съ глазъ его, и слѣпой Его видитъ. Народъ плачетъ и цѣлуетъ землю, по которой идетъ Онъ. Дѣти бросаютъ предъ нимъ цвѣты, поютъ и вопіютъ Ему: «Осанна!» «Это Онъ это Самъ Онъ,— повторяютъ всѣ,—это долженъ быть Онъ это никто, какъ Онъ». Онъ останавливается на паперти Севильскаго собора въ ту самую минуту, когда во храмъ вносятъ съ плачемъ дѣтскій открытый бѣлый гробикъ: въ немъ семилѣтняя дѣвочка, единственная дочь одного знатнаго гражданина. Мертвый ребенокъ лежитъ весь въ цвѣтахъ. «Онъ воскреситъ твое дитя», — кричатъ изъ толпы плачущей матери. Вышедшій на встрѣчу гроба соборный патеръ смотритъ въ недоумѣніи и хмуритъ брови. Но вотъ раздается вопль матери умершаго ребенка. Она повергается къ ногамъ Его: «Если это Ты, то воскреси дитя мое!» — восклицаетъ она, простирая къ Нему руки. Процессія останавливается,

гробикъ опускаютъ на паперть къ ногамъ Его. Онъ глядитъ съ состраданіемъ и, уста Его тихо и еще разъ произносятъ: «Талифа куми»—«и возста дѣвица». Дѣвочка подымается въ гробѣ, садится и смотритъ, улыбаясь удивленными раскрытыми глазками кругомъ. Въ рукахъ ея букетъ бѣлыхъ розъ, съ которымъ она лежала въ гробѣ. Въ народѣ смятеніе, крики, рыданія, и вотъ въ эту самую минуту вдругъ проходитъ мимо собора по площади самъ кардиналъ, великій инквизиторъ. Это девяностолѣтній почти старикъ, высокій и прямой, съ изсохшимъ лицомъ, со впалыми глазами, но изъ которыхъ еще свѣтится, какъ огненная искорка, блескъ. О, онъ не въ великолѣпныхъ кардинальскихъ одеждахъ своихъ, въ какихъ красовался вчера предъ народомъ, когда сжигали враговъ римской вѣры, — нѣтъ, въ эту минуту онъ лишь въ старой, грубой монашеской своей рясѣ. За нимъ въ извѣстномъ разстояніи слѣдуютъ мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Онъ останавливается предъ толпой и наблюдаетъ издали. Онъ все видѣлъ, онъ видѣлъ, какъ поставили гробъ у ногъ Его, видѣлъ, какъ воскресла дѣвица, и лицо его омрачилось. Онъ хмуритъ сѣдыя густыя брови свои, и взглядъ его сверкаетъ зловѣщимъ огнемъ. Онъ простираетъ перстъ свой и велитъ стражамъ взять Его. И вотъ, такова его сила и до того уже пріученъ, покоренъ и трепетно послушенъ ему народъ, что толпа немедленно раздвигается предъ стражами, и тѣ, среди гробового молчанія, вдругъ наступившаго, налагаютъ на Него руки и уводятъ Его. Толпа моментально, вся какъ одинъ человѣкъ, склоняется головами до земли предъ старцемъ - инквизиторомъ, тотъ молча благословляетъ народъ и проходитъ мимо. Стража приводитъ Плѣнника въ тѣсную и мрачную сводчатую тюрьму въ древнемъ зданіи Святого судилища и запираетъ въ нее. Проходитъ день, настаетъ темная, горячая и «бездыханная севильская ночь». Воздухъ «лавромъ и лимономъ пахнетъ». Среди глубокаго мрака вдругъ отворяется желѣзная дверь тюрьмы, и самъ старикъ великій инквизиторъ со свѣтильникомъ въ рукѣ медленно входитъ въ тюрьму. Онъ одинъ, дверь за нимъ тотчасъ же запирается. Онъ останавливается при входѣ и долго, минуту или двѣ, всматривается въ лицо Его. Наконецъ тихо подходитъ, ставитъ свѣтильникъ на столъ и говоритъ Ему:

— Это Ты? Ты? — Но, не получая отвѣта, быстро прибавляетъ:— Не отвѣчай, молчи. Да и что бы Ты могъ сказать? Я слишкомъ знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имѣешь ничего прибавлять къ тому, что уже сказано Тобой прежде. Зачѣмъ же Ты пришелъ намъ мѣшать? Ибо Ты пришелъ намъ мѣшать и Самъ это знаешь. Но знаешь ли, что будетъ завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это, или только подобіе Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на кострѣ, какъ злѣйшаго изъ еретиковъ, и тотъ самый народъ, который сегодня цѣловалъ Твои ноги, завтра же, по одному моему мановенію, бросится подгребать къ Твоему костру угли, знаешь Ты это? Да, Ты, можетъ-быть, это знаешь,—прибавилъ онъ въ проникновенномъ раздумьи, ни на мгновеніе не отрываясь взглядомъ отъ своего Плѣнника.

— Я не совсѣмъ понимаю, Иванъ, что это такое? — улыбнулся все время молча слушавшій Алеша,—прямо ли безбрежная фантазія, или какая - нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное qui pro quo?

— Прими хоть послѣднее,—разсмѣялся Иванъ,—если ужъ тебя такъ разбаловалъ современный реализмъ, и ты не можешь вынести ничего фантастическаго—хочешь qui pro quo, то пусть такъ и будетъ. Оно правда,—разсмѣялся онъ опять,—старику девяносто лѣтъ, и онъ давно могъ сойти съ ума на своей идеѣ. Плѣнникъ же могъ поразить его Своею наружностью. Это могъ быть, наконецъ, просто бредъ, видѣніе девяностолѣтняго старика предъ смертью, да еще разгоряченнаго вчерашнимъ автодафе во сто сожженныхъ еретиковъ. Но не все ли равно намъ съ тобою, что qui pro quo, что безбрежная фантазія? Тутъ дѣло въ томъ только, что старику надо высказаться, что, наконецъ, за всѣ девяносто лѣтъ онъ высказывается и говоритъ вслухъ то, о чемъ всѣ девяносто лѣтъ молчалъ.

— А Плѣнникъ тоже молчитъ? Глядитъ на него и не говоритъ ни слова?

— Да такъ и должно быть, во всѣхъ даже случаяхъ,—опять засмѣялся Иванъ.— Самъ старикъ замѣчаетъ Ему, что Онъ и

права не имѣетъ ничего прибавлять къ тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, такъ въ этомъ и есть самая основная черта римскаго католичества, по моему мнѣнію, по крайней мѣрѣ: «все, дескать, передано Тобою папѣ, и все, стало-быть, теперь у папы, а Ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мѣшай до времени, по крайней мѣрѣ». Въ этомъ смыслѣ они не только говорятъ, но и пишутъ, іезуиты, по крайней мѣрѣ. Это я самъ читалъ у ихъ богослововъ. «Имѣешь ли Ты право возвѣстить намъ хоть одну изъ тайнъ того міра, изъ котораго Ты пришелъ?»— спрашиваетъ его мой старикъ, и самъ отвѣчаетъ Ему за Него. — «нѣтъ, не имѣешь, чтобы не прибавлять къ тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую Ты такъ стоялъ, когда былъ на землѣ. Все, что Ты вновь возвѣстишь, посягнетъ на свободу вѣры людей, ибо явится, какъ чудо, а свобода ихъ вѣры Тебѣ была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лѣтъ назадъ. Не Ты ли такъ часто тогда говорилъ: «Хочу сдѣлать васъ свободными». Но вотъ Ты теперь увидѣлъ этихъ «свободныхъ» людей,—прибавляетъ вдругъ старикъ со вдумчивою усмѣшкой. — «Да, это дѣло намъ дорого стоило, — продолжалъ онъ, строго смотря на Него, — но мы докончили, наконецъ, это дѣло, во имя Твое. Пятнадцать вѣковъ мучились мы съ этою свободой, но теперь это кончено и кончено крѣпко. Ты не вѣришь, что кончено крѣпко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодованія? Но знай, что теперь, и именно нынѣ, эти люди увѣрены болѣе, чѣмъ когда-нибудь, что свободны вполнѣ, а между тѣмъ сами же они принесли намъ свободу свою и покорно положили ее къ ногамъ нашимъ. Но это сдѣлали мы, а того ль Ты желалъ, такой ли свободы?»

— Я опять не понимаю, прервалъ Алеша,—онъ иронизируетъ, смѣется?

— Нимало. Онъ именно ставитъ въ заслугу себѣ и своимъ, что, наконецъ-то, они побороли свободу и сдѣлали такъ для того, чтобы сдѣлать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то-есть онъ, конечно, говоритъ про инквизицію) стало возможнымъ помыслить въ первый разъ о счастіи людей». Человѣкъ былъ устроенъ бунтовщикомъ; развѣ бунтовщики могутъ быть счастливыми? «Тебя предупреждали, говоритъ онъ Ему, — Ты не имѣлъ недостатка въ предупрежденіяхъ и указаніяхъ, но Ты не послушалъ предостереженій, Ты отвергъ единственный путь, которымъ можно было устроить людей счастливыми, но, къ счастью, уходя, Ты передалъ дѣло намъ. Ты обѣщалъ, Ты утвердилъ своимъ словомъ, Ты далъ намъ право связывать и развязывать, и ужъ, конечно, не можешь и думать отнять у насъ это право теперь. Зачѣмъ же Ты пришелъ намъ мѣшать?»

— А что значитъ: не имѣлъ недостатка въ предупрежденіи и указаніи?— спросилъ Алеша.

— А въ этомъ-то и состоитъ главное, что старику надо высказать.

— Страшный и умный духъ,—духъ самоуничтоженія и небытія,—продолжаетъ старикъ, — великій духъ говорилъ съ Тобой въ пустынѣ, и намъ передано въ книгахъ, что онъ будто бы «искушалъ» Тебя. Такъ ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннѣе того, что онъ возвѣстилъ Тебѣ въ трехъ вопросахъ, и что Ты отвергъ, и что въ книгахъ названо «искушеніями»? А между тѣмъ, если было когда-нибудь на землѣ совершено настоящее, громовое чудо, то это въ тотъ день,—въ день этихъ трехъ искушеній. Именно въ появленіи этихъ трехъ вопросовъ и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примѣра, что три эти вопроса страшнаго духа безслѣдно утрачены въ книгахъ, и что ихъ надо возстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять въ книги, и для этого собрать всѣхъ мудрецовъ земныхъ — правителей, первосвященниковъ, ученыхъ, философовъ, поэтовъ, и задать имъ задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такіе, которые мало того, что соотвѣтствовали бы размѣру событія, но и выражали бы, сверхъ того, въ трехъ словахъ, въ трехъ только фразахъ человѣческихъ, всю будущую исторію міра и человѣчества—то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вмѣстѣ соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силѣ и по глубинѣ тѣмъ тремъ вопросамъ, которые дѣйствительно были предложены Тебѣ тогда могучимъ и умнымъ духомъ въ пустынѣ? Ужъ по однимъ вопросамъ этимъ, лишь по чуду ихъ по-

явленія, можно понимать, что имѣешь дѣло не съ человѣческимъ текущимъ умомъ, а съ вѣковѣчнымъ и абсолютнымъ. Ибо въ этихъ трехъ вопросахъ какъ бы совокуплена въ одно цѣлое и предсказана вся дальнѣйшая исторія человѣческая и явлены три образа, въ которыхъ сойдутся всѣ неразрѣшимыя историческія противорѣчія человѣческой природы на всей землѣ. Тогда это не могло быть еще такъ видно, ибо будущее было невѣдомо, но теперь, когда прошло пятнадцать вѣковъ, мы видимъ, что все въ этихъ трехъ вопросахъ до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить къ нимъ или убавить отъ нихъ ничего нельзя болѣе.

Рѣши же Самъ, кто былъ правъ: Ты или тотъ, который тогда вопрошалъ Тебя? Вспомни первый вопросъ; хоть и не буквально, но смыслъ его тотъ: «Ты хочешь итти въ міръ и идешь съ голыми руками, съ какимъ-то обѣтомъ свободы, котораго они, въ простотѣ своей и въ прирожденномъ безчинствѣ своемъ, не могутъ и осмыслить, котораго боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человѣка и для человѣческаго общества невыносимѣе свободы! А видишь ли сіи камни въ этой нагой и раскаленной пустынѣ? Обрати ихъ въ хлѣбы, и за Тобой побѣжитъ человѣчество, какъ стадо, благодарное и послушное, хотя и вѣчно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою, и прекратятся имъ хлѣбы Твои». Но Ты не захотѣлъ лишить человѣка свободы и отвергъ предложеніе, ибо какая же свобода, разсудилъ Ты, если послушаніе куплено хлѣбами? Ты возразилъ, что человѣкъ живъ не единымъ хлѣбомъ, но знаешь ли, что во имя этого самаго хлѣба земного и возстанетъ на Тебя духъ земли, и сразится съ Тобою, и побѣдитъ Тебя,—и всѣ пойдутъ за нимъ, восклицая: «Кто подобенъ звѣрю сему? онъ далъ намъ огонь съ небеси!» Знаешь ли Ты, что пройдутъ вѣка, и человѣчество провозгласитъ устами своей премудрости и науки, что преступленія нѣтъ, а стало - быть, нѣтъ и грѣха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай съ нихъ добродѣтели!» вотъ что напишутъ на знамени, которое воздвигнутъ противъ Тебя и которымъ разрушится храмъ Твой. На мѣстѣ храма Твоего воздвигнется новое зданіе, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, какъ и прежняя, но все же Ты бы могъ избѣжать этой новой башни и на тысячу лѣтъ сократить страданія людей,—ибо къ намъ же вѣдь придутъ они, промучившись тысячу лѣтъ со своею башней! Они отыщутъ насъ тогда опять подъ землей, въ катакомбахъ, скрывающихся (ибо мы будемъ вновь гонимы и мучимы), найдутъ насъ и возопіютъ къ намъ: «Накормите насъ, ибо тѣ, которые обѣщали намъ огонь съ небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроимъ ихъ башню, ибо достроитъ тотъ, кто накормитъ, а накормимъ лишь мы, во имя Твое, и солжемъ, что во имя Твое. О, никогда, никогда безъ насъ они не накормятъ себя! Никакая наука не дастъ имъ хлѣба, пока они будутъ оставаться свободными, но кончится тѣмъ, что они принесутъ свою свободу къ ногамъ нашимъ и скажутъ намъ: «лучше поработите насъ, но накормите насъ». Поймутъ, наконецъ, сами, что свобода и хлѣбъ земной вдоволь для всякаго вмѣстѣ немыслимы, ибо никогда, никогда не сумѣютъ они раздѣлиться между собою! Убѣдятся тоже, что не могутъ быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обѣщалъ имъ хлѣбъ небесный, но, повторяю опять, можетъ ли онъ сравниться въ глазахъ слабаго, вѣчно порочнаго и вѣчно неблагороднаго людского племени съ земнымъ? И если за Тобою, во имя хлѣба небеснаго, пойдутъ тысячи и десятки тысячъ, то что станется съ милліонами и съ десятками тысячъ милліоновъ существъ, которыя не въ силахъ будутъ пренебречь хлѣбомъ земнымъ для небеснаго? Иль Тебѣ дороги лишь десятки тысячъ великихъ и сильныхъ, а остальные милліоны, многочисленные, какъ песокъ морской, слабыхъ, но любящихъ Тебя, должны лишь послужить матеріаломъ для великихъ и сильныхъ? Нѣтъ, намъ дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но подъ конецъ они-то станутъ и послушными. Они будутъ дивиться на насъ и будутъ считать насъ за боговъ за то, что мы, ставъ во главѣ ихъ, согласились выносить свободу, которой они испугались, и надъ ними господствовать,— такъ ужасно имъ станетъ подъ конецъ быть свободными! Но мы скажемъ, что

послушны Тебѣ и господствуемъ во имя Твое. Мы ихъ обманемъ опять, ибо Тебя мы ужъ не пустимъ къ себѣ. Въ обманѣ этомъ и будетъ заключаться наше страданіе, ибо мы должны будемъ лгать. Вотъ что значилъ этотъ первый вопросъ въ пустынѣ, вотъ что Ты отвергъ во имя свободы, которую поставилъ выше всего. А между тѣмъ въ вопросѣ этомъ заключалась великая тайна міра сего. Принявъ «хлѣбы», Ты бы отвѣтилъ на всеобщую и вѣковѣчную тоску человѣческую какъ единоличнаго существа, такъ и цѣлаго человѣчества вмѣстѣ—это: «предъ кѣмъ преклониться?» Нѣтъ заботы безпрерывнѣе и мучительнѣе для человѣка, какъ, оставшись свободнымъ, сыскать поскорѣе того, предъ кѣмъ преклониться. Но ищетъ человѣкъ преклониться предъ тѣмъ, что уже безспорно, столь безспорно, чтобы всѣ люди разомъ согласились на всеобщее предъ нимъ преклоненіе. Ибо забота этихъ жалкихъ созданій не въ томъ только состоитъ, чтобы сыскать то, предъ чѣмъ мнѣ или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобъ и всѣ увѣровали въ него и преклонились предъ нимъ, и чтобы непремѣнно *всѣ вмѣстѣ*. Вотъ эта потребность *общности* преклоненія и есть главнѣйшее мученіе каждаго человѣка единолично и какъ цѣлаго человѣчества съ начала вѣковъ. Изъ-за всеобщаго преклоненія они истребляли другъ друга мечомъ. Они созидали боговъ и взывали другъ къ другу: «Бросьте вашихъ боговъ и придите поклониться нашимъ, не то смерть вамъ и богамъ вашимъ!» И такъ будетъ до скончанія міра, даже и тогда, когда исчезнутъ въ мірѣ и боги: все равно, падутъ предъ идолами. Ты зналъ, Ты не могъ не знать эту основную тайну природы человѣческой, но Ты отвергъ единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебѣ, чтобы заставить всѣхъ преклониться предъ Тобою безспорно, — знамя хлѣба земного, и отвергъ во имя свободы и хлѣба небеснаго. Взгляни же, что сдѣлалъ Ты далѣе. И все опять во имя свободы! Говорю Тебѣ, что нѣтъ у человѣка заботы мучительнѣе, какъ найти того, кому бы передать поскорѣе тотъ даръ свободы, съ которымъ это несчастное существо рождается. Но овладѣваетъ свободой людей лишь тотъ, кто успокоитъ ихъ совѣсть. Съ хлѣбомъ Тебѣ давалось безспорное знамя; дашь хлѣбъ, и человѣкъ преклонится, ибо ничего нѣтъ безспорнѣе хлѣба, но если въ то же время кто-нибудь овладѣетъ его совѣстью помимо Тебя, — о, тогда онъ даже броситъ хлѣбъ Твой и пойдетъ за тѣмъ, который обольститъ его совѣсть. Въ этомъ Ты былъ правъ. Ибо тайна бытія человѣческаго не въ томъ, чтобы только жить, а въ томъ, для чего жить. Безъ твердаго представленія себѣ, для чего ему жить, человѣкъ не согласится жить и скорѣй истребитъ себя, чѣмъ останется на землѣ, хотя бы кругомъ его все были хлѣбы. Это такъ, но что же вышло: вмѣсто того, чтобъ овладѣть свободой людей, Ты увеличилъ имъ ее еще больше! Или Ты забылъ, что спокойствіе и даже смерть человѣку дороже свободнаго выбора въ познаніи добра и зла? Нѣтъ ничего обольстительнѣе для человѣка, какъ свобода его совѣсти, но нѣтъ ничего и мучительнѣе. И вотъ, вмѣсто твердыхъ основъ для успокоенія совѣсти человѣческой разъ навсегда, Ты взялъ все, что есть необычайнаго, гадательнаго и неопредѣленнаго, взялъ все, что было не по силамъ людей, а потому поступилъ какъ бы и не любя ихъ вовсе, — и это кто же: Тотъ, который пришелъ отдать за нихъ жизнь Свою! Вмѣсто того, чтобъ овладѣть людскою свободой, Ты умножилъ ее и обременилъ ея мученіями душевное царство человѣка вовѣки. Ты возжелалъ свободной любви человѣка, чтобы свободно пошелъ онъ за Тобою, прельщенный и плѣненный Тобою. Вмѣсто твердаго древняго закона, — свободнымъ сердцемъ долженъ былъ человѣкъ рѣшать впредь самъ, что добро и что зло, имѣя лишь въ руководствѣ Твой образъ предъ собою, — но неужели Ты не подумалъ, что онъ отвергнетъ же, наконецъ, и оспоритъ даже и Твой образъ и Твою правду, если его угнетутъ такимъ страшнымъ бременемъ, какъ свобода выбора? Они воскликнутъ, наконецъ, что правда не въ Тебѣ, ибо невозможно было оставить ихъ въ смятеніи и мученіи болѣе, чѣмъ сдѣлалъ Ты, оставивъ имъ столько заботъ и неразрѣшимыхъ задачъ. Такимъ образомъ Самъ Ты и положилъ основаніе къ разрушенію Своего же царства и не вини никого въ этомъ болѣе. А между тѣмъ то ли предлагалось Тебѣ? Есть три силы, единственныя три силы на землѣ, могущія навѣки

побѣдить и плѣнить совѣсть этихъ слабосильныхъ бунтовщиковъ, для ихъ счастія, — эти силы: чудо, тайна и авторитетъ. Ты отвергъ и то, и другое, и третье и Самъ подалъ примѣръ тому. Когда страшный и премудрый духъ поставилъ Тебя на вершинѣ храма и сказалъ Тебѣ: «Если хочешь узнать, Сынъ ли Ты Божій, то верзись внизъ, ибо сказано про Того, что ангелы подхватятъ и понесутъ Его, и не упадетъ и не расшибется, и узнаешь тогда, Сынъ ли Ты Божій, и докажешь тогда, какова вѣра Твоя въ Отца Твоего», но Ты, выслушавъ, отвергъ предложеніе, и не поддался, и не бросился внизъ. О, конечно, Ты поступилъ тутъ гордо и великолѣпно, какъ Богъ, но люди-то, но слабое бунтующее племя это—они-то боги ли? О, Ты понялъ тогда, что, сдѣлавъ лишь шагъ, лишь движеніе броситься внизъ, Ты тотчасъ бы и искусилъ Господа, и вѣру въ Него всю потерялъ, и разбился бы о землю, которую спасать пришелъ, и возрадовался бы умный духъ, искушавшій Тебя. Но, повторяю, много ли такихъ, какъ Ты? И неужели Ты въ самомъ дѣлѣ могъ допустить хоть минуту, что и людямъ будетъ подъ силу подобное искушеніе? Такъ ли создана природа человѣческая, чтобъ отвергнуть чудо, и въ такіе страшные моменты жизни, моменты самыхъ страшныхъ основныхъ и мучительныхъ душевныхъ вопросовъ своихъ, оставаться лишь со свободнымъ рѣшеніемъ сердца? О, Ты зналъ, что подвигъ Твой сохранится въ книгахъ, достигнетъ глубины временъ и послѣднихъ предѣловъ земли, и понадѣялся, что, слѣдуя Тебѣ, и человѣкъ останется съ Богомъ, не нуждаясь въ чудѣ. Но Ты не зналъ, что чуть лишь человѣкъ отвергнетъ чудо, то тотчасъ отвергнетъ и Бога, ибо человѣкъ ищетъ не столько Бога, сколько чудесъ. И такъ какъ человѣкъ оставаться безъ чуда не въ силахъ, то насоздастъ себѣ новыхъ чудесъ, уже собственныхъ, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы онъ сто разъ былъ бунтовщикомъ, еретикомъ и безбожникомъ. Ты не сошелъ со креста, когда кричали Тебѣ, издѣваясь и дразня Тебя: «Сойди со креста, и увѣруемъ, что это Ты». Ты не сошелъ потому, что, опять-таки, не захотѣлъ поработить человѣка чудомъ, и жаждалъ свободной вѣры, а не чудесной. Жаждалъ свободной любви, а не рабскихъ восторговъ невольника предъ могуществомъ, разъ навсегда его ужаснувшимъ. Но и тутъ Ты судилъ о людяхъ слишкомъ высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди; вотъ прошло пятнадцать вѣковъ, поди, посмотри на нихъ: кого Ты вознесъ до Себя? Клянусь, человѣкъ слабѣе и ниже созданъ, чѣмъ Ты о немъ думалъ! Можетъ ли, можетъ ли онъ исполнить то, что и Ты? Столь уважая его, Ты поступилъ, какъ бы переставъ ему сострадать, потому что слишкомъ много отъ него и потребовалъ,— и это кто же? Тотъ, который возлюбилъ его болѣе Самого Себя! Уважая его менѣе, менѣе бы отъ него и потребовалъ, а это было бы ближе къ любви, ибо легче была бы ноша его. Онъ слабъ и подлъ. Что въ томъ, что онъ теперь повсемѣстно бунтуетъ противъ нашей власти и гордится, что онъ бунтуетъ? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькія дѣти, взбунтовавшіяся въ классѣ и выгнавшія учителя. Но придетъ конецъ и восторгу ребятишекъ, онъ будетъ дорого стоить имъ. Они ниспровергнутъ храмы и зальютъ кровью землю. Но догадаются, наконецъ, глупыя дѣти, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственнаго своего бунта не выдерживающіе. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконецъ, что создавшій ихъ бунтовщиками, безъ сомнѣнія, хотѣлъ посмѣяться надъ ними. Скажутъ это они въ отчаяніи, и сказанное ими будетъ богохульствомъ, отъ котораго они станутъ еще несчастнѣе, ибо природа человѣческая не выноситъ богохульства, и въ концѣ-концовъ сама же себѣ всегда и отмститъ за него. Итакъ, неспокойство, смятеніе и несчастіе — вотъ теперешній удѣлъ людей послѣ того, какъ Ты столь претерпѣлъ за свободу ихъ! Великій пророкъ Твой въ видѣніи и въ иносказаніи говоритъ, что видѣлъ всѣхъ участниковъ перваго воскресенія и что было ихъ изъ каждаго колѣна по двѣнадцати тысячъ. Но если было ихъ столько, то были и они какъ бы не люди, а боги. Они вытерпѣли крестъ Твой, они вытерпѣли десятки лѣтъ голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями,— и, ужъ конечно, Ты можешь съ гордостью указать на этихъ дѣтей свободы, свободной любви, свободной и великолѣпной жертвы

ихъ во имя Твое. Но вспомни, что ихъ было всего только нѣсколько тысячъ, да и то боговъ, а остальные? И чѣмъ виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпѣть того, что могучіе? Чѣмъ виновата слабая душа, что не въ силахъ вмѣстить столь страшныхъ даровъ? Да неужто же и впрямь приходилъ Ты лишь къ избраннымъ и для избранныхъ? Но если такъ, то тутъ тайна, и намъ не понять ея. А если тайна, то и мы въ правѣ были проповѣдывать эту тайну и учить ихъ, что не свободное рѣшеніе сердецъ ихъ важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слѣпо, даже мимо ихъ совѣсти. Такъ мы и сдѣлали. Мы исправили подвигъ Твой и основали его на *чудѣ, тайнѣ* и *авторитетѣ*. И люди обрадовались, что ихъ вновь повели, какъ стадо, и что съ сердецъ ихъ снятъ, наконецъ, столь страшный даръ, принесшій имъ столько муки. Правы мы были, уча и дѣлая такъ, скажи? Неужели мы не любили человѣчества, столь смиренно сознавъ его безсиліе, съ любовію облегчивъ его ношу и разрѣшивъ слабосильной природѣ его хотя бы и грѣхъ, но съ нашего позволенія? Къ чему же теперь пришелъ намъ мѣшать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами Своими? Разсердись, я не хочу любви Твоей, потому что самъ не люблю Тебя. И что мнѣ скрывать отъ Тебя? Или я не знаю, съ кѣмъ говорю? То, что имѣю сказать Тебѣ, все Тебѣ уже извѣстно, я читаю это въ глазахъ Твоихъ. И я ли скрою отъ Тебя тайну нашу? Можетъ-быть, Ты именно хочешь услышать ее изъ устъ моихъ, слушай же: Мы не съ Тобой, а съ *нимъ*, вотъ наша тайна! Мы давно уже не съ Тобою, а съ *нимъ*, уже восемь вѣковъ. Ровно восемь вѣковъ назадъ, какъ мы взяли отъ него то, что Ты съ негодованіемъ отвергъ, тотъ послѣдній даръ, который онъ предлагалъ Тебѣ, показавъ Тебѣ всѣ царства земныя: мы взяли отъ него Римъ и мечъ Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и донынѣ не успѣли еще привести наше дѣло къ полному окончанію. Но кто виноватъ? О, дѣло это до сихъ поръ лишь въ началѣ, но оно началось. Долго еще ждать завершенія его, и еще много выстрадаетъ земля, но мы достигнемъ и будемъ кесарями, и тогда уже помыслимъ о всемірномъ счастіи людей. А между тѣмъ Ты бы могъ и тогда взять мечъ Кесаря. Зачѣмъ ты отвергъ этотъ послѣдній даръ? Принявъ этотъ третій совѣтъ могучаго духа, Ты восполнилъ бы все, чего ищетъ человѣкъ на землѣ, т.-е. предъ кѣмъ преклониться, кому вручить совѣсть и какимъ образомъ соединиться, наконецъ, всѣмъ въ безспорный общій и согласный муравейникъ, ибо потребность всемірнаго соединенія есть третье и послѣднее мученіе людей. Всегда человѣчество въ цѣломъ своемъ стремилось устроиться непремѣнно всемірно. Много было великихъ народовъ съ великою исторіей, но чѣмъ выше были эти народы, тѣмъ были и несчастнѣе, ибо сильнѣе другихъ сознавали потребность всемірности соединенія людей. Великіе завоеватели, Тимуры и Чингисъ-ханы, пролетѣли, какъ вихрь, по землѣ, стремясь завоевать вселенную, но и тѣ, хотя безсознательно, выразили ту же самую великую потребность человѣчества ко всемірному и всеобщему единенію. Принявъ міръ и порфиру Кесаря, основалъ бы всемірное царство и далъ всемірный покой. Ибо кому же владѣть людьми, какъ не тѣмъ, которые владѣютъ ихъ совѣстью и въ чьихъ рукахъ хлѣбы ихъ. Мы и взяли мечъ Кесаря, а взявъ его, конечно, отвергли Тебя и пошли за *нимъ*. О, пройдутъ еще вѣка безчинства свободнаго ума, ихъ науки и антропофагіи, потому что, начавъ возводить свою Вавилонскую башню безъ насъ, они кончатъ антропофагіей. Но тогда-то и приползетъ къ намъ звѣрь, и будетъ лизать ноги наши, и обрызжетъ ихъ кровавыми слезами изъ глазъ своихъ. И мы сядемъ на звѣря и воздвигнемъ чашу, и на ней будетъ написано: «Тайна!» Но тогда лишь и тогда настанетъ для людей царство покоя и счастія. Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоимъ всѣхъ. Да и такъ ли еще: сколь многіе изъ этихъ избранниковъ, изъ могучихъ, которые могли бы стать избранниками, устали, наконецъ, ожидая Тебя, и понесли и еще понесутъ силы духа своего и жаръ сердца своего на иную ниву и кончатъ тѣмъ, что на Тебя же и воздвигнутъ *свободное* знамя свое. Но Ты самъ воздвигъ это знамя. У насъ же всѣ будутъ счастливы и не будутъ болѣе ни бунтовать ни истреблять другъ друга, какъ въ свободѣ Твоей, повсе-

мѣстно. О, мы убѣдимъ ихъ, что они тогда только и станутъ свободными, когда откажутся отъ свободы своей для насъ и намъ покорятся. И что же, правы мы будемъ или солжемъ? Они сами убѣдятся, что правы, ибо вспомнятъ, до какихъ ужасовъ рабства и смятенія доводила ихъ свобода Твоя. Свобода, свободный умъ и наука заведутъ ихъ въ такія дебри и поставятъ предъ такими чудами и неразрѣшимыми тайнами, что одни изъ нихъ, непокорные и свирѣпые, истребятъ себя самихъ, другіе, непокорные, но малосильные, истребятъ другъ друга, а третьи, оставшіеся, слабосильные и несчастные, приползутъ къ ногамъ нашимъ и возопіютъ къ намъ: «Да, вы были правы, вы одни владѣли тайной Его, и мы возвращаемся къ вамъ, спасите насъ отъ себя самихъ». Получая отъ насъ хлѣбы, конечно, они ясно будутъ видѣть, что мы ихъ же хлѣбы, ихъ же руками добытые, беремъ у нихъ, чтобы имъ же раздать, безо всякаго чуда, увидятъ, что не обратили мы камней въ хлѣбы, но воистину болѣе, чѣмъ самому хлѣбу, рады они будутъ тому, что получаютъ его изъ рукъ нашихъ! Ибо слишкомъ будутъ помнить, что прежде, безъ насъ, самые хлѣбы, добытые ими, обращались въ рукахъ ихъ лишь въ камни, а когда они воротились къ намъ, то самые камни обратились въ рукахъ ихъ въ хлѣбы. Слишкомъ, слишкомъ оцѣнятъ они, что значитъ разъ навсегда подчиниться! И пока люди не поймутъ сего, они будутъ несчастны. Кто болѣе всего способствовалъ этому непониманію, скажи? Кто раздробилъ стадо и разсыпалъ его по путямъ невѣдомымъ? Но стадо вновь соберется, и вновь покорится, и уже разъ навсегда. Тогда мы дадимъ имъ тихое, смиренное счастье, счастье слабосильныхъ существъ, какими они и созданы. О, мы убѣдимъ ихъ, наконецъ, не гордиться, ибо Ты вознесъ ихъ и тѣмъ научилъ гордиться; докажемъ имъ, что они слабосильны, что они только жалкія дѣти, но что дѣтское счастье слаще всякаго. Они станутъ робки, и станутъ смотрѣть на насъ, и прижиматься къ намъ въ страхѣ, какъ птенцы къ насѣдкѣ. Они будутъ дивиться и ужасаться на насъ и гордиться тѣмъ, что мы такъ могучи и такъ умны, что могли усмирить такое буйное тысячемилліонное стадо. Они будутъ разслабленно трепетать гнѣва нашего; умы ихъ оробѣютъ, глаза ихъ станутъ слезоточивы, какъ у дѣтей и женщинъ, но столь же легко будутъ переходить они по нашему мановенію къ веселью и къ смѣху, свѣтлой радости и счастливой дѣтской пѣсенкѣ. Да, мы заставимъ ихъ работать, но въ свободные отъ труда часы мы устроимъ имъ жизнь, какъ дѣтскую игру, съ дѣтскими пѣснями, хоромъ, съ невинными плясками. О, мы разрѣшимъ имъ и грѣхъ, они слабы и безсильны, и они будутъ любить насъ, какъ дѣти, за то, что мы имъ позволимъ грѣшить. Мы скажемъ имъ, что всякій грѣхъ будетъ искупленъ, если сдѣланъ будетъ съ нашего позволенія; позволяемъ же имъ грѣшить потому, что ихъ любимъ, наказаніе же за эти грѣхи, такъ и быть, возьмемъ на себя. И возьмемъ на себя, а насъ они будутъ обожать, какъ благодѣтелей, понесшихъ на себѣ ихъ грѣхи предъ Богомъ. И не будетъ у нихъ никакихъ отъ насъ тайнъ. Мы будемъ позволять или запрещать имъ жить съ ихъ женами и любовницами, имѣть или не имѣть дѣтей,—все судя по ихъ послушанію,—и они будутъ намъ покоряться съ весельемъ и радостью. Самыя мучительныя тайны ихъ совѣсти, — все, все понесутъ они намъ, и мы все разрѣшимъ, и они повѣрятъ рѣшенію нашему съ радостію, потому что оно избавитъ ихъ отъ великой заботы и страшныхъ теперешнихъ мукъ рѣшенія личнаго и свободнаго. И всѣ будутъ счастливы, всѣ милліоны существъ, кромѣ сотни тысячъ управляющихъ ими. Ибо лишь мы, мы, хранящіе тайну, только мы будемъ несчастны. Будетъ тысячи милліоновъ счастливыхъ младенцевъ и сто тысячъ страдальцевъ, взявшихъ на себя проклятіе познанія добра и зла. Тихо умрутъ они, тихо угаснутъ во имя Твое, и за гробомъ обрящутъ лишь смерть. Но мы сохранимъ секретъ, и для ихъ же счастія будемъ манить ихъ наградой небесною и вѣчною. Ибо если бъ и было что на томъ свѣтѣ, то ужъ, конечно, не для такихъ, какъ они. Говорятъ и пророчествуютъ, что Ты придешь и вновь побѣдишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажемъ, что они спасли лишь самихъ себя, а мы спасли всѣхъ. Говорятъ, что опозорена будетъ блудница, сидящая на звѣрѣ и держащая въ рукахъ своихъ *тайну*, что взбунтуются вновь малосиль-

ные, что разорвутъ порфиру ея и обнажатъ ея «гадкое» тѣло. Но я тогда встану и укажу Тебѣ на тысячи милліоновъ счастливыхъ младенцевъ, не знавшихъ грѣха. И мы, взявшіе грѣхи ихъ для счастья ихъ на себя, мы станемъ предъ Тобой и скажемъ: «Суди насъ, если можешь и смѣешь». Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я былъ въ пустынѣ, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлялъ свободу, которою Ты благословилъ людей, и я готовился стать въ число избранниковъ Твоихъ, въ число могучихъ и сильныхъ съ жаждой «восполнить число». Но я очнулся и не захотѣлъ служить безумію. Я воротился и примкнулъ къ сонму тѣхъ, которые *исправили подвигъ Твой*. Я ушелъ отъ гордыхъ и воротился къ смиреннымъ для счастья этихъ смиренныхъ. То, что я говорю Тебѣ, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю Тебѣ, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое, по первому мановенію моему, бросится подгребать горячіе угли къ костру Твоему, на которомъ сожгу Тебя за то, что пришелъ намъ мѣшать. Ибо если былъ, кто всѣхъ болѣе заслужилъ нашъ костеръ, то это Ты. Завтра сожгу тебя. Dixi».

Иванъ остановился. Онъ разгорячился, говоря, и говорилъ съ увлеченіемъ; когда же кончилъ, то вдругъ улыбнулся.

Алеша, все слушавшій его молча, подъ конецъ же, въ чрезвычайномъ волненіи, много разъ пытавшійся перебить рѣчь брата, но видимо себя сдерживавшій, вдругъ заговорилъ, точно сорвался съ мѣста.

— Но... это нелѣпость! вскричалъ онъ, краснѣя.—Поэма твоя есть хвала Іисусу, а не хула... какъ ты хотѣлъ того. И кто тебѣ повѣритъ о свободѣ? Такъ ли, такъ ли надо ее понимать! То ли понятіе въ православіи... Это Римъ, да и Римъ не весь, это неправда,—это худшіе изъ католичества, инквизиторы, іезуиты!.. Да и совсѣмъ не можетъ быть такого фантастическаго лица, какъ твой инквизиторъ. Какіе это грѣхи людей, взятые на себя? Какіе это носители тайны, взявшіе на себя какое-то проклятіе для счастія людей? Когда они виданы? Мы знаемъ іезуитовъ, про нихъ говорятъ дурно, но то ли они, что у тебя? Совсѣмъ они не то, вовсе не то... Они просто римская армія для будущаго всемірнаго земного царства, съ императоромъ—римскимъ первосвященникомъ во главѣ... Вотъ ихъ идеалъ, но безо всякихъ тайнъ и возвышенной грусти... Самое простое желаніе власти, земныхъ грязныхъ благъ, порабощенія... въ родѣ будущаго крѣпостного права, съ тѣмъ, что они станутъ помѣщиками... вотъ и все у нихъ. Они и въ Бога не вѣруютъ, можетъ быть. Твой страдающій инквизиторъ—одна фантазія...

— Да стой, стой,—смѣялся Иванъ, —какъ ты разгорячился. Фантазія, говоришь ты, пусть! Конечно, фантазія. Но позволь, однако: неужели ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что все это католическое движеніе послѣднихъ вѣковъ есть и въ самомъ дѣлѣ одно лишь желаніе власти для однихъ только грязныхъ благъ? Ужъ не отецъ ли Паисій такъ тебя учитъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, напротивъ, отецъ Паисій говорилъ однажды что-то въ родѣ даже твоего... но, конечно, не то, совсѣмъ не то,—спохватился вдругъ Алеша.

— Драгоцѣнное, однакоже, свѣдѣніе, несмотря на твое: «совсѣмъ не то». Я именно спрашиваю тебя, почему твои іезуиты и инквизиторы совокупились для однихъ только матеріальныхъ скверныхъ благъ? Почему среди нихъ не можетъ случиться ни одного страдальца, мучимаго великою скорбью и любящаго человѣчество? Видишь: предположи, что нашелся хотя одинъ изъ всѣхъ этихъ желающихъ однихъ только матеріальныхъ и грязныхъ благъ,—хоть одинъ только такой, какъ мой старикъ инквизиторъ, который самъ ѣлъ коренья въ пустынѣ и бѣсновался, побѣждая плоть свою, чтобы сдѣлать себя свободнымъ и совершеннымъ, но однакоже всю жизнь свою любившій человѣчество и вдругъ прозрѣвшій и увидавшій, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли съ тѣмъ, чтобы въ то же время убѣдиться, что милліоны остальныхъ существъ Божіихъ остались устроенными лишь въ насмѣшку, что никогда не въ силахъ они будутъ справиться со своею свободой, что изъ жалкихъ бунтовщиковъ никогда не выйдетъ великановъ для завершенія башни, что не для такихъ гусей великій Идеалистъ мечталъ о своей гармоніи. Понявъ все это, онъ воротился и примкнулъ... къ умнымъ людямъ. Неужели этого не могло случиться?

— Къ кому примкнулъ, къ какимъ умнымъ людямъ?—почти въ азартѣ воскли-

нулъ Алеша.—Никакого у нихъ нѣтъ такого ума и никакихъ такихъ тайнъ и секретовъ... Одно только развѣ безбожіе, вотъ и весь ихъ секретъ. Инквизиторъ твой не вѣруетъ въ Бога, вотъ и весь его секретъ!

— Хотя бы и такъ! Наконецъ-то ты догадался. И дѣйствительно такъ, дѣйствительно только въ этомъ и весь секретъ, но развѣ это не страданіе, хотя бы для такого, какъ онъ, человѣка, который всю жизнь свою убилъ на подвигъ въ пустынѣ и не излѣчился отъ любви къ человѣчеству? На закатѣ дней своихъ онъ убѣждается ясно, что лишь совѣты великаго страшнаго духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить въ сносномъ порядкѣ малосильныхъ бунтовщиковъ, «недодѣланныя пробныя существа, созданныя въ насмѣшку». И вотъ, убѣдясь въ этомъ, онъ видитъ, что надо итти по указанію умнаго духа, страшнаго духа смерти и разрушенія, а для того принять ложь и обманъ, и вести людей уже сознательно къ смерти и разрушенію и притомъ обманывать ихъ всю дорогу, чтобъ они какъ-нибудь не замѣтили, куда ихъ ведутъ, для того, чтобы хоть въ дорогѣ-то жалкіе эти слѣпцы считали себя счастливыми. И замѣть себѣ, обманъ во имя Того, въ идеалъ котораго столь страстно вѣровалъ старикъ во всю свою жизнь! Развѣ это не несчастье! И если бы хоть одинъ такой очутился во главѣ всей этой арміи, «жаждущей власти для однихъ только грязныхъ благъ»,—то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедія? Мало того: довольно и одного такого, стоящаго во главѣ, чтобы нашлась, наконецъ, настоящая руководящая идея всего римскаго дѣла, со всѣми его арміями и іезуитами, высшая идея этого дѣла. Я тебѣ прямо говорю, что я твердо вѣрую, что этотъ единый человѣкъ и не оскудѣвалъ никогда между стоящими во главѣ движенія. Кто знаетъ, можетъ-быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знаетъ, можетъ-быть, этотъ проклятый старикъ, столь упорно и столь по-своему любящій человѣчество, существуетъ и теперь въ видѣ цѣлаго сонма многихъ таковыхъ единыхъ стариковъ и не случайно вовсе, а существуетъ, какъ согласіе, какъ тайный союзъ, давно уже устроенный для храненія тайны, для храненія ея отъ несчастныхъ и малосильныхъ людей, съ тѣмъ, чтобы сдѣлать ихъ счастливыми. Это непремѣнно есть да и должно такъ быть. Мнѣ мерещится, что даже у масоновъ есть что-нибудь въ родѣ этой же тайны въ основѣ ихъ, и что потому католики такъ и ненавидятъ масоновъ. что видятъ въ нихъ конкурентовъ, раздробленіе единства идеи, тогда какъ должно быть едино стадо и единъ пастырь... Впрочемъ, защищая мою мысль, я имѣю видъ сочинителя, не выдержавшаго твоей критики. Довольно объ этомъ.

— Ты, можетъ-быть, самъ масонъ!—вырвалось вдругъ у Алеши.— Ты не вѣришь въ Бога,—прибавилъ онъ, но уже съ чрезвычайною скорбью. Ему показалось къ тому же, что братъ смотритъ на него съ насмѣшкой. — Чѣмъ же кончается твоя поэма?—спросилъ онъ вдругъ, смотря въ землю,—или ужъ она кончена?

— Я хотѣлъ ее кончить такъ: когда инквизиторъ умолкъ, то нѣкоторое время ждетъ, что Плѣнникъ его ему отвѣтитъ. Ему тяжело его молчаніе. Онъ видѣлъ, какъ Узникъ все время слушалъ его, проникновенно и тихо смотря ему прямо въ глаза, и видимо не желая ничего возражать. Старику хотѣлось бы, чтобы тотъ сказалъ ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но Онъ вдругъ молча приближается къ старику и тихо цѣлуетъ его въ его безкровныя девяностолѣтнія уста. Вотъ и весь отвѣтъ. Старикъ вздрагиваетъ. Что-то шевельнулось въ концахъ губъ его; онъ идетъ къ двери, отворяетъ ее и говоритъ Ему: ступай и не приходи болѣе... не приходи вовсе... никогда, никогда! И выпускаетъ его на «темныя стогна града». Плѣнникъ уходитъ.

— А старикъ?

— Поцѣлуй горитъ на его сердцѣ, но старикъ остается въ прежней идеѣ.

— И ты вмѣстѣ съ нимъ, и ты!—горестно воскликнулъ Алеша.

Иванъ засмѣялся.

— Да вѣдь это же вздоръ, Алеша!—вѣдь это только безтолковая поэма безтолковаго студента, который никогда двухъ стиховъ не написалъ. Къ чему ты въ такой серіозъ берешь? Ужъ не думаешь ли ты, что я прямо поѣду теперь туда, къ іезуитамъ, чтобы стать въ сонмѣ людей, поправляющихъ Его подвигъ? О Господи, какое мнѣ дѣло! Я вѣдь тебѣ сказалъ: мнѣ бы только

до тридцати лѣтъ дотянуть, а тамъ,—кубокъ объ полъ!

— А клейкіе листочки, а дорогія могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Какъ же жить-то будешь, чѣмъ ты любить-то ихъ будешь?—горестно восклицалъ Алеша.—Съ такимъ адомъ въ груди и въ головѣ развѣ это возможно? Нѣтъ, именно ты ѣдешь, чтобы къ нимъ примкнуть... а если нѣтъ, то убьешь себя самъ, а не выдержишь!

— Есть такая сила, что все выдержитъ! съ холодною уже усмѣшкою проговорилъ Иванъ.

— Какая сила?

— Карамазовская... сила низости Карамазовской.

— Это потонуть въ развратѣ, задавить душу въ растлѣніи, да, да?

— Пожалуй, и это... только до тридцати лѣтъ, можетъ-быть, и избѣгну, а тамъ...

— Какъ же избѣгнешь? Чѣмъ избѣгнешь? Это невозможно съ твоими мыслями.

— Опять-таки по Карамазовски.

— Это чтобы «все позволено»? Все позволено, такъ ли, такъ ли?

Иванъ нахмурился и вдругъ странно какъ-то поблѣднѣлъ.

— Да, пожалуй: «все позволено», если ужъ слово произнесено. Не отрекаюсь.

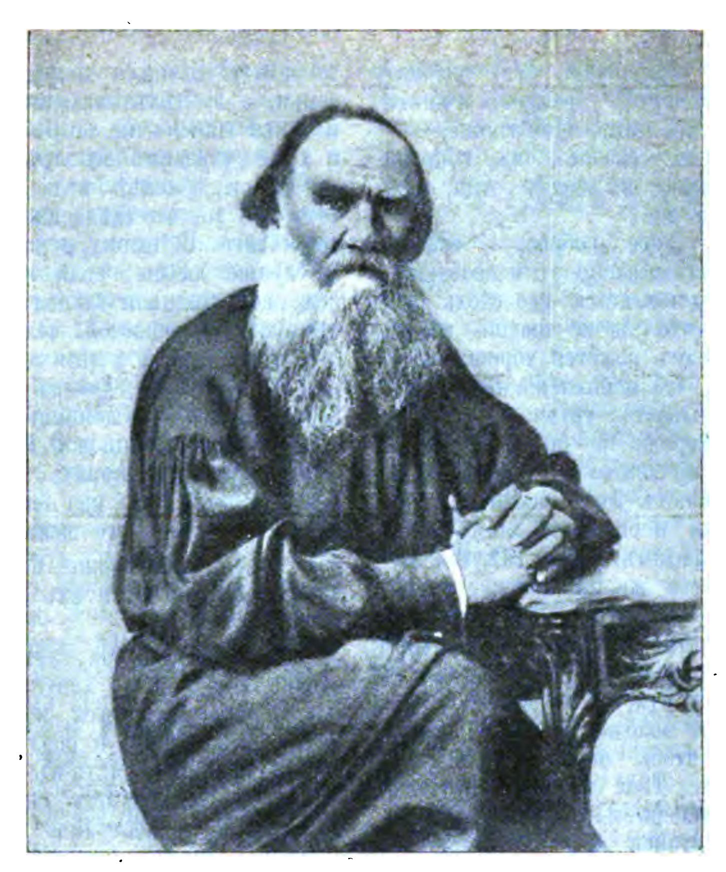
Алеша молча глядѣлъ на него.

— Я, братъ, уѣзжая, думалъ, что имѣю на всемъ свѣтѣ хоть тебя,—съ неожиданнымъ чувствомъ проговорилъ вдругъ Иванъ,—а теперь вижу, что и въ твоемъ сердцѣ мнѣ нѣтъ мѣста, мой милый отшельникъ. Отъ формулы: «все позволено» я не отрекусь, ну и что же? За это ты отъ меня отречешься, да, да?

Алеша всталъ, подошелъ къ нему, и молча, тихо поцѣловалъ его въ губы.

— Литературное воровство!—вскричалъ Иванъ, переходя вдругъ въ какой-то восторгъ.—Это ты укралъ изъ моей поэмы! Спасибо, однако. Вставай, Алеша, идемъ, пора и мнѣ и тебѣ.

1879—1880 г.



**Графъ Левъ Николаевичъ Толстой.**
(Род. 1828).

## Бесѣда досужихъ людей.

Собрались разъ въ богатомъ домѣ гости. И случилось такъ, что завязался серьезный разговоръ о жизни.

Говорили про отсутствующихъ и про присутствующихъ и не могли найти ни одного человѣка, довольнаго своей жизнью.

Мало того, что никто не могъ жаловаться счастіемъ, но не было ни одного человѣка, который бы считалъ, что онъ живетъ такъ, какъ должно жить христіанину. Признавались всѣ, что живутъ мірской жизнью въ заботахъ только о себѣ и своихъ семейныхъ, а не думаютъ никто о ближнемъ и ужъ тѣмъ меньше о Богѣ.

Такъ говорили гости между собою, и всѣ были согласны, обвиняя самихъ себя въ безбожной, нехристіанской жизни.

— Такъ зачѣмъ же мы живемъ такъ,— вскричалъ юноша,— зачѣмъ дѣлаемъ то, что сами не одобряемъ? Развѣ мы не властны измѣнить свою жизнь? Мы сами сознаемъ, что губитъ насъ наша роскошь, изнѣженность, наше богатство, а главное— наша гордость, наше отдѣленіе себя отъ братьевъ. Чтобы быть знатнымъ и богатымъ, мы должны лишить себя всего, что даетъ радость жизни человѣку, мы скучиваемся въ городахъ, изнѣживаемъ себя, губимъ свое здоровье и, несмотря на всѣ наши увеселенія, умираемъ отъ скуки и отъ сожалѣнія, что жизнь наша не такая, какая она должна быть.

Зачѣмъ же жить такъ, зачѣмъ губить такъ свою жизнь, все то благо, которое дано намъ отъ Бога? Не хочу жить по-прежнему. Брошу начатое ученіе, — оно вѣдь приведетъ меня ни къ чему другому, какъ къ той же мучительной жизни, на которую мы всѣ теперь жалуемся. Откажусь отъ своего имѣнія и пойду жить въ деревню съ бѣдными; буду работать съ ними, научусь работать руками и, если нужно

права не имѣетъ ничего прибавлять къ тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, такъ въ этомъ и есть самая основная черта римскаго католичества, по моему мнѣнію, по крайней мѣрѣ: «все, дескать, передано Тобою папѣ, и все, стало-быть, теперь у папы, а Ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мѣшай до времени, по крайней мѣрѣ». Въ этомъ смыслѣ они не только говорятъ, но и пишутъ, іезуиты, по крайней мѣрѣ. Это я самъ читалъ у ихъ богослововъ. «Имѣешь ли Ты право возвѣстить намъ хоть одну изъ тайнъ того міра, изъ котораго Ты пришелъ?»— спрашиваетъ его мой старикъ, и самъ отвѣчаетъ Ему за Него. — «нѣтъ, не имѣешь, чтобы не прибавлять къ тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую Ты такъ стоялъ, когда былъ на землѣ. Все, что Ты вновь возвѣстишь, посягнетъ на свободу вѣры людей, ибо явится, какъ чудо, а свобода ихъ вѣры Тебѣ была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лѣтъ назадъ. Не Ты ли такъ часто тогда говорилъ: «Хочу сдѣлать васъ свободными». Но вотъ Ты теперь увидѣлъ этихъ «свободныхъ» людей,—прибавляетъ вдругъ старикъ со вдумчивою усмѣшкой. — «Да, это дѣло намъ дорого стоило, — продолжалъ онъ, строго смотря на Него, — но мы докончили, наконецъ, это дѣло, во имя Твое. Пятнадцать вѣковъ мучились мы съ этою свободой, но теперь это кончено и кончено крѣпко. Ты не вѣришь, что кончено крѣпко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодованія? Но знай, что теперь, и именно нынѣ, эти люди увѣрены болѣе, чѣмъ когда-нибудь, что свободны вполнѣ, а между тѣмъ сами же они принесли намъ свободу свою и покорно положили ее къ ногамъ нашимъ. Но это сдѣлали мы, а того ль Ты желалъ, такой ли свободы?»

— Я опять не понимаю, прервалъ Алеша,—онъ иронизируетъ, смѣется?

— Нимало. Онъ именно ставитъ въ заслугу себѣ и своимъ, что, наконецъ-то, они побороли свободу и сдѣлали такъ для того, чтобы сдѣлать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то-есть онъ, конечно, говоритъ про инквизицію) стало возможнымъ помыслить въ первый разъ о счастіи людей». Человѣкъ былъ устроенъ бунтовщикомъ; развѣ бунтовщики могутъ быть счастливыми? «Тебя предупреждали, говоритъ онъ Ему, — Ты не имѣлъ недостатка въ предупрежденіяхъ и указаніяхъ, но Ты не послушалъ предостереженій, Ты отвергъ единственный путь, которымъ можно было устроить людей счастливыми, но, къ счастью, уходя, Ты передалъ дѣло намъ. Ты обѣщалъ, Ты утвердилъ своимъ словомъ, Ты далъ намъ право связывать и развязывать, и ужъ, конечно, не можешь и думать отнять у насъ это право теперь. Зачѣмъ же Ты пришелъ намъ мѣшать?»

— А что значитъ: не имѣлъ недостатка въ предупрежденіи и указаніи?— спросилъ Алеша.

— А въ этомъ-то и состоитъ главное, что старику надо высказать.

— Страшный и умный духъ,—духъ самоуничтоженія и небытія,—продолжаетъ старикъ, — великій духъ говорилъ съ Тобой въ пустынѣ, и намъ передано въ книгахъ, что онъ будто бы «искушалъ» Тебя. Такъ ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннѣе того, что онъ возвѣстилъ Тебѣ въ трехъ вопросахъ, и что Ты отвергъ, и что въ книгахъ названо «искушеніями»? А между тѣмъ, если было когда-нибудь на землѣ совершено настоящее, громовое чудо, то это въ тотъ день,—въ день этихъ трехъ искушеній. Именно въ появленіи этихъ трехъ вопросовъ и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примѣра, что три эти вопроса страшнаго духа безслѣдно утрачены въ книгахъ, и что ихъ надо возстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять въ книги, и для этого собрать всѣхъ мудрецовъ земныхъ — правителей, первосвященниковъ, ученыхъ, философовъ, поэтовъ, и задать имъ задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такіе, которые мало того, что соотвѣтствовали бы размѣру событія, но и выражали бы, сверхъ того, въ трехъ словахъ, въ трехъ только фразахъ человѣческихъ, всю будущую исторію міра и человѣчества—то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вмѣстѣ соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силѣ и по глубинѣ тѣмъ тремъ вопросамъ, которые дѣйствительно были предложены Тебѣ тогда могучимъ и умнымъ духомъ въ пустынѣ? Ужъ по однимъ вопросамъ этимъ, лишь по чуду ихъ по-

явленія, можно понимать, что имѣешь дѣло не съ человѣческимъ текущимъ умомъ, а съ вѣковѣчнымъ и абсолютнымъ. Ибо въ этихъ трехъ вопросахъ какъ бы совокуплена въ одно цѣлое и предсказана вся дальнѣйшая исторія человѣческая и явлены три образа, въ которыхъ сойдутся всѣ неразрѣшимыя историческія противорѣчія человѣческой природы на всей землѣ. Тогда это не могло быть еще такъ видно, ибо будущее было невѣдомо, но теперь, когда прошло пятнадцать вѣковъ, мы видимъ, что все въ этихъ трехъ вопросахъ до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить къ нимъ или убавить отъ нихъ ничего нельзя болѣе.

Рѣши же Самъ, кто былъ правъ: Ты или тотъ, который тогда вопрошалъ Тебя? Вспомни первый вопросъ; хоть и не буквально, но смыслъ его тотъ: «Ты хочешь итти въ міръ и идешь съ голыми руками, съ какимъ-то обѣтомъ свободы, котораго они, въ простотѣ своей и въ прирожденномъ безчинствѣ своемъ, не могутъ и осмыслить, котораго боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человѣка и для человѣческаго общества невыносимѣе свободы! А видишь ли сіи камни въ этой нагой и раскаленной пустынѣ? Обрати ихъ въ хлѣбы, и за Тобой побѣжитъ человѣчество, какъ стадо, благодарное и послушное, хотя и вѣчно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою, и прекратятся имъ хлѣбы Твои». Но Ты не захотѣлъ лишить человѣка свободы и отвергъ предложеніе, ибо какая же свобода, разсудилъ Ты, если послушаніе куплено хлѣбами? Ты возразилъ, что человѣкъ живъ не единымъ хлѣбомъ, но знаешь ли, что во имя этого самаго хлѣба земного и возстанетъ на Тебя духъ земли, и сразится съ Тобою, и побѣдитъ Тебя,—и всѣ пойдутъ за нимъ, восклицая: «Кто подобенъ звѣрю сему? онъ далъ намъ огонь съ небеси!» Знаешь ли Ты, что пройдутъ вѣка, и человѣчество провозгласитъ устами своей премудрости и науки, что преступленія нѣтъ, а стало-быть, нѣтъ и грѣха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай съ нихъ добродѣтели!» вотъ что напишутъ на знамени, которое воздвигнутъ противъ Тебя и которымъ разрушится храмъ Твой. На мѣстѣ храма Твоего воздвигнется новое зданіе, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, какъ и прежняя, но все же Ты бы могъ избѣжать этой новой башни и на тысячу лѣтъ сократить страданія людей,—ибо къ намъ же вѣдь придутъ они, промучившись тысячу лѣтъ со своею башней! Они отыщутъ насъ тогда опять подъ землей, въ катакомбахъ, скрывающихся (ибо мы будемъ вновь гонимы и мучимы), найдутъ насъ и возопіютъ къ намъ: «Накормите насъ, ибо тѣ, которые обѣщали намъ огонь съ небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроимъ ихъ башню, ибо достроитъ тотъ, кто накормитъ, а накормимъ лишь мы, во имя Твое, и солжемъ, что во имя Твое. О, никогда, никогда безъ насъ они не накормятъ себя! Никакая наука не дастъ имъ хлѣба, пока они будутъ оставаться свободными, но кончится тѣмъ, что они принесутъ свою свободу къ ногамъ нашимъ и скажутъ намъ: «лучше поработите насъ, но накормите насъ». Поймутъ, наконецъ, сами, что свобода и хлѣбъ земной вдоволь для всякаго вмѣстѣ немыслимы, ибо никогда, никогда не сумѣютъ они раздѣлиться между собою! Убѣдятся тоже, что не могутъ быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обѣщалъ имъ хлѣбъ небесный, но, повторяю опять, можетъ ли онъ сравниться въ глазахъ слабаго, вѣчно порочнаго и вѣчно неблагороднаго людского племени съ земнымъ? И если за Тобою, во имя хлѣба небеснаго, пойдутъ тысячи и десятки тысячъ, то что станется съ милліонами и съ десятками тысячъ милліоновъ существъ, которыя не въ силахъ будутъ пренебречь хлѣбомъ земнымъ для небеснаго? Иль Тебѣ дороги лишь десятки тысячъ великихъ и сильныхъ, а остальные милліоны, многочисленные, какъ песокъ морской, слабыхъ, но любящихъ Тебя, должны лишь послужить матеріаломъ для великихъ и сильныхъ? Нѣтъ, намъ дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но подъ конецъ они-то станутъ и послушными. Они будутъ дивиться на насъ и будутъ считать насъ за боговъ за то, что мы, ставъ во главѣ ихъ, согласились выносить свободу, которой они испугались, и надъ ними господствовать,— такъ ужасно имъ станетъ подъ конецъ быть свободными! Но мы скажемъ, что

послушны Тебѣ и господствуемъ во имя Твое. Мы ихъ обманемъ опять, ибо Тебя мы ужъ не пустимъ къ себѣ. Въ обманѣ этомъ и будетъ заключаться наше страданіе, ибо мы должны будемъ лгать. Вотъ что значилъ этотъ первый вопросъ въ пустынѣ, вотъ что Ты отвергъ во имя свободы, которую поставилъ выше всего. А между тѣмъ въ вопросѣ этомъ заключалась великая тайна міра сего. Принявъ «хлѣбы», Ты бы отвѣтилъ на всеобщую и вѣковѣчную тоску человѣческую какъ единоличнаго существа, такъ и цѣлаго человѣчества вмѣстѣ—это: «предъ кѣмъ преклониться?» Нѣтъ заботы безпрерывнѣе и мучительнѣе для человѣка, какъ, оставшись свободнымъ, сыскать поскорѣе того, предъ кѣмъ преклониться. Но ищетъ человѣкъ преклониться предъ тѣмъ, что уже безспорно, столь безспорно, чтобы всѣ люди разомъ согласились на всеобщее предъ нимъ преклоненіе. Ибо забота этихъ жалкихъ созданій не въ томъ только состоитъ, чтобы сыскать то, предъ чѣмъ мнѣ или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобъ и всѣ увѣровали въ него и преклонились предъ нимъ, и чтобы непремѣнно *всѣ вмѣстѣ*. Вотъ эта потребность *общности* преклоненія и есть главнѣйшее мученіе каждаго человѣка единолично и какъ цѣлаго человѣчества съ начала вѣковъ. Изъ-за всеобщаго преклоненія они истребляли другъ друга мечомъ. Они созидали боговъ и взывали другъ къ другу: «Бросьте вашихъ боговъ и придите поклониться нашимъ, не то смерть вамъ и богамъ вашимъ!» И такъ будетъ до скончанія міра, даже и тогда, когда исчезнутъ въ мірѣ и боги: все равно, падутъ предъ идолами. Ты зналъ, Ты не могъ не знать эту основную тайну природы человѣческой, но Ты отвергъ единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебѣ, чтобы заставить всѣхъ преклониться предъ Тобою безспорно, — знамя хлѣба земного, и отвергъ во имя свободы и хлѣба небеснаго. Взгляни же, что сдѣлалъ Ты далѣе. И все опять во имя свободы! Говорю Тебѣ, что нѣтъ у человѣка заботы мучительнѣе, какъ найти того, кому бы передать поскорѣе тотъ даръ свободы, съ которымъ это несчастное существо рождается. Но овладѣваетъ свободой людей лишь тотъ, кто успокоитъ ихъ совѣсть. Съ хлѣбомъ Тебѣ давалось безспорное знамя; дашь хлѣбъ, и человѣкъ преклонится, ибо ничего нѣтъ безспорнѣе хлѣба, но если въ то же время кто-нибудь овладѣетъ его совѣстью помимо Тебя, — о, тогда онъ даже броситъ хлѣбъ Твой и пойдетъ за тѣмъ, который обольститъ его совѣсть. Въ этомъ Ты былъ правъ. Ибо тайна бытія человѣческаго не въ томъ, чтобы только жить, а въ томъ, для чего жить. Безъ твердаго представленія себѣ, для чего ему жить, человѣкъ не согласится жить и скорѣй истребитъ себя, чѣмъ останется на землѣ, хотя бы кругомъ его все были хлѣбы. Это такъ, но что же вышло: вмѣсто того, чтобъ овладѣть свободой людей, Ты увеличилъ ихъ ее еще больше! Или Ты забылъ, что спокойствіе и даже смерть человѣку дороже свободнаго выбора въ познаніи добра и зла? Нѣтъ ничего обольстительнѣе для человѣка, какъ свобода его совѣсти, но нѣтъ ничего и мучительнѣе. И вотъ, вмѣсто твердыхъ основъ для успокоенія совѣсти человѣческой разъ навсегда, Ты взялъ все, что есть необычайнаго, гадательнаго и неопредѣленнаго, взялъ все, что было не по силамъ людей, а потому поступилъ какъ бы и не любя ихъ вовсе, — и это кто же: Тотъ, который пришелъ отдать за нихъ жизнь Свою! Вмѣсто того, чтобъ овладѣть людскою свободой, Ты умножилъ ее и обременилъ ея мученіями душевное царство человѣка вовѣки. Ты возжелалъ свободной любви человѣка, чтобы свободно пошелъ онъ за Тобою, прельщенный и плѣненный Тобою. Вмѣсто твердаго древняго закона, — свободнымъ сердцемъ долженъ былъ человѣкъ рѣшать впредь самъ, что добро и что зло, имѣя лишь въ руководствѣ Твой образъ предъ собою, — но неужели Ты не подумалъ, что онъ отвергнетъ же, наконецъ, и оспоритъ даже и Твой образъ и Твою правду, если его угнетутъ такимъ страшнымъ бременемъ, какъ свобода выбора? Они воскликнутъ, наконецъ, что правда не въ Тебѣ, ибо невозможно было оставить ихъ въ смятеніи и мученіи болѣе, чѣмъ сдѣлалъ Ты, оставивъ имъ столько заботъ и неразрѣшимыхъ задачъ. Такимъ образомъ Самъ Ты и положилъ основаніе къ разрушенію Своего же царства и не вини никого въ этомъ болѣе. А между тѣмъ то ли предлагалось Тебѣ? Есть три силы, единственныя три силы на землѣ, могущія навѣки

побѣдить и плѣнить совѣсть этихъ слабосильныхъ бунтовщиковъ, для ихъ счастія, — эти силы: чудо, тайна и авторитетъ. Ты отвергъ и то, и другое, и третье и Самъ подалъ примѣръ тому. Когда страшный и премудрый духъ поставилъ Тебя на вершинѣ храма и сказалъ Тебѣ: «Если хочешь узнать, Сынъ ли Ты Божій, то верзись внизъ, ибо сказано про Того, что ангелы подхватятъ и понесутъ Его, и не упадетъ и не расшибется, и узнаешь тогда, Сынъ ли Ты Божій, и докажешь тогда, какова вѣра Твоя въ Отца Твоего», но Ты, выслушавъ, отвергъ предложеніе, и не поддался, и не бросился внизъ. О, конечно, Ты поступилъ тутъ гордо и великолѣпно, какъ Богъ, но люди-то, но слабое бунтующее племя это—они-то боги ли? О, Ты понялъ тогда, что, сдѣлавъ лишь шагъ, лишь движеніе броситься внизъ, Ты тотчасъ бы и искусилъ Господа, и вѣру въ Него всю потерялъ, и разбился бы о землю, которую спасать пришелъ, и возрадовался бы умный духъ, искушавшій Тебя. Но, повторяю, много ли такихъ, какъ Ты? И неужели Ты въ самомъ дѣлѣ могъ допустить хоть минуту, что и людямъ будетъ подъ силу подобное искушеніе? Такъ ли создана природа человѣческая, чтобъ отвергнуть чудо, и въ такіе страшные моменты жизни, моменты самыхъ страшныхъ основныхъ и мучительныхъ душевныхъ вопросовъ своихъ, оставаться лишь со свободнымъ рѣшеніемъ сердца? О, Ты зналъ, что подвигъ Твой сохранится въ книгахъ, достигнетъ глубины временъ и послѣднихъ предѣловъ земли, и понадѣялся, что, слѣдуя Тебѣ, и человѣкъ останется съ Богомъ, не нуждаясь въ чудѣ. Но Ты не зналъ, что чуть лишь человѣкъ отвергнетъ чудо, то тотчасъ отвергнетъ и Бога, ибо человѣкъ ищетъ не столько Бога, сколько чудесъ. И такъ какъ человѣкъ оставаться безъ чуда не въ силахъ, то насоздастъ себѣ новыхъ чудесъ, уже собственныхъ, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы онъ сто разъ былъ бунтовщикомъ, еретикомъ и безбожникомъ. Ты не сошелъ со креста, когда кричали Тебѣ, издѣваясь и дразня Тебя: «Сойди со креста, и увѣруемъ, что это Ты». Ты не сошелъ потому, что, опять-таки, не захотѣлъ поработить человѣка чудомъ, и жаждалъ свободной вѣры, а не чудесной. Жаждалъ свободной любви, а не рабскихъ восторговъ невольника предъ могуществомъ, разъ навсегда его ужаснувшимъ. Но и тутъ Ты судилъ о людяхъ слишкомъ высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди; вотъ прошло пятнадцать вѣковъ, поди, посмотри на нихъ: кого Ты вознесъ до Себя? Клянусь, человѣкъ слабѣе и ниже созданъ, чѣмъ Ты о немъ думалъ! Можетъ ли, можетъ ли онъ исполнить то, что и Ты? Столь уважая его, Ты поступилъ, какъ бы переставъ ему сострадать, потому что слишкомъ много отъ него и потребовалъ,— и это кто же? Тотъ, который возлюбилъ его болѣе Самого Себя! Уважая его менѣе, менѣе бы отъ него и потребовалъ, а это было бы ближе къ любви, ибо легче была бы ноша его. Онъ слабъ и подлъ. Что въ томъ, что онъ теперь повсемѣстно бунтуетъ противъ нашей власти и гордится, что онъ бунтуетъ? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькія дѣти, взбунтовавшіяся въ классѣ и выгнавшія учителя. Но придетъ конецъ и восторгу ребятишекъ, онъ будетъ дорого стоить имъ. Они ниспровергнутъ храмы и зальютъ кровью землю. Но догадаются, наконецъ, глупыя дѣти, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственнаго своего бунта не выдерживающіе. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконецъ, что создавшій ихъ бунтовщиками, безъ сомнѣнія, хотѣлъ посмѣяться надъ ними. Скажутъ это они въ отчаяніи, и сказанное ими будетъ богохульствомъ, отъ котораго они станутъ еще несчастнѣе, ибо природа человѣческая не выноситъ богохульства, и въ концѣ-концовъ сама же себѣ всегда и отмститъ за него. Итакъ, неспокойство, смятеніе и несчастіе — вотъ теперешній удѣлъ людей послѣ того, какъ Ты столь претерпѣлъ за свободу ихъ! Великій пророкъ Твой въ видѣніи и въ иносказаніи говоритъ, что видѣлъ всѣхъ участниковъ перваго воскресенія и что было ихъ изъ каждаго колѣна по двѣнадцати тысячъ. Но если было ихъ столько, то были и они какъ бы не люди, а боги. Они вытерпѣли крестъ Твой, они вытерпѣли десятки лѣтъ голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями,— и, ужъ конечно, Ты можешь съ гордостью указать на этихъ дѣтей свободы, свободной любви, свободной и великолѣпной жертвы

— Все говори, ты не свои слова, а ихнія говорить будешь. Правду скажешь, я тебя награжу, а покроешь ихъ, не взыщи, выпорю. Эй, Катюша, подай ему водки стаканъ для смѣлости.

Пошла кухарка, поднесла старостѣ. Поздравилъ староста, выпилъ, обтерся и сталъ говорить. «Все одно, думаетъ, не моя вина, что не хвалятъ его; скажу правду, коли онъ велитъ». И осмѣлился староста и сталъ говорить.

— Ропщутъ, Михаилъ Семенычъ, ропщутъ.

— Да что говорятъ? Сказывай.

— Одно говорятъ: онъ Богу не вѣруетъ.

Засмѣялся приказчикъ.

— Это, говоритъ, кто сказалъ?

— Да всѣ говорятъ. Говорятъ: онъ, молъ, нечистому покорился.

Смѣется приказчикъ.

— Это, говоритъ, хорошо; да ты порознь разскажи, что кто говоритъ. Васька что говоритъ?

Не хотѣлось старостѣ сказывать на своихъ, да съ Василіемъ у нихъ давно вражда шла.

— Василій, говоритъ, пуще всѣхъ ругаетъ.

— Да что говоритъ-то, ты сказывай.

— Да и сказать страшно. Не миновать, говоритъ, ему безпокаянной смерти.

— Ай молодецъ, говоритъ; что же онъ зѣваетъ-то—не убиваетъ? видно, руки не доходятъ. Ладно, говоритъ, Васька, посчитаемся мы съ тобой. Ну, а Тишка—собака, тоже, я чай?

— Да всѣ худо говорятъ.

— Да что говорятъ-то?

— Да повторять-то гнусно.

— Да что гнусно-то. Ты не робѣй, сказывай.

— Да говорятъ, чтобъ у него пузо лопнуло, и утроба вытекла.

Обрадовался Михаилъ Семеновичъ, захохоталъ даже.

— Посмотримъ, у кого прежде вытечетъ. Это кто же? Тишка?

— Да никто добраго не сказалъ, всѣ ругаютъ, всѣ грозятся.

— Ну, а Петрушка Михеевъ что? Что онъ говоритъ? Тоже ругается, я чай?

— Нѣтъ, Михаилъ Семенычъ, Петра не ругается.

— Что жъ онъ?

— Да онъ изъ всѣхъ мужиковъ одинъ ничего не говорилъ. И мудреный онъ мужикъ. Подивился я на него, Михаилъ Семенычъ.

— А что?

— Да что онъ сдѣлалъ, и всѣ мужики дивятся.

— Да что сдѣлалъ-то?

— Да ужъ чудно очень. Сталъ я подъѣзжать къ нему. Онъ на косой десятинѣ, у Туркина верха, пашетъ. Сталъ я подъѣзжать къ нему, слышу—поетъ кто-то, выводитъ тонко, хорошо такъ, а на сохѣ, промежъ обжей, что-то свѣтится.

— Ну?

— Свѣтится, ровно огонекъ. Подъѣхалъ ближе, свѣчка восковая 5-тикопеечная приклеена къ распоркѣ и горитъ, и вѣтромъ не задуваетъ. А онъ въ новой рубахѣ ходитъ, пашетъ и поетъ стихи воскресные. И заворачиваетъ и отряхаетъ, а свѣчка не тухнетъ. Отряхнулъ онъ при мнѣ, переложилъ палицу, завелъ соху, все свѣчка горитъ, не тухнетъ.

— А сказалъ что?

— Да ничего не сказалъ, только увидалъ меня, похристосовался и запѣлъ опять.

— Что же, говорилъ ты съ нимъ?

— Я не говорилъ, а подошли тутъ мужики, стали ему смѣяться: вонъ, говоритъ, Михеичъ ввѣкъ грѣха не отмолитъ, что онъ на Святой пахалъ.

— Что жъ онъ сказалъ?

— Да онъ только сказалъ: «на землѣ миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе». Опять взялся за соху, тронулъ лошадь и запѣлъ тонкимъ голосомъ, и свѣчка горитъ и не тухнетъ.

Пересталъ смѣяться приказчикъ, поставилъ гитару, опустилъ голову и задумался. Посидѣлъ, посидѣлъ, прогналъ кухарку, старосту, и пошелъ за занавѣсь, легъ на постель и сталъ вздыхать, сталъ стонать, ровно возъ съ снопами ѣдетъ. Пришла къ нему жена, стала его разговаривать: не далъ ей отвѣта. Только и сказалъ:

— Побѣдилъ онъ меня. Дошло теперь и до меня.

Стала жена его уговаривать.

— Да ты поѣзжай, говоритъ, отпусти ихъ. Авось, ничего. Какія дѣла дѣлалъ, не боялся, а теперь чего же такъ оробѣлъ?

— Пропалъ я, говоритъ, побѣдилъ онъ меня. Уйди ты пока цѣла, не твоего ума это дѣло.

Такъ и не всталъ.

На утро всталъ, взялся за прежнее, да ужъ не тотъ сталъ Михаилъ Семенычъ; видно, чуяло его сердце. Сталъ тосковать и не сталъ ни до чего доходить. Все дома сидитъ. Не долго послѣ того и поцарствовалъ. Пріѣхалъ петровками баринъ. Нынче позоветъ—приказчикъ боленъ, говорятъ; завтра позоветъ—боленъ. Дозналъ баринъ, что пьянствуетъ, ссадилъ его съ приказчиковъ. Сталъ Михаилъ Семеновичъ на дворнѣ безъ дѣла жить. Еще больше заскучалъ, обовшивѣлъ весь, что было пропилъ, обнизился такъ, что у жены платки кралъ, въ кабакъ носилъ. Даже мужики жалѣли, похмелиться давали. И году не прожилъ послѣ того. Отъ вина и померъ.

1885 г.

## Сказка объ Иванѣ-дуракѣ.

### I.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ-былъ богатый мужикъ. И было у богатаго мужика три сына: Семенъ-воинъ, Тарасъ-брюханъ и Иванъ-дуракъ, и дочь Маланья-вѣкоуха, нѣмая. Пошелъ Семенъ-воинъ на войну, царю служить, Тарасъ-брюханъ пошелъ въ городъ—къ купцу, торговать, а Иванъ-дуракъ съ дѣвкою остался дома работать, горбъ наживать. Выслужилъ себѣ Семенъ-воинъ чинъ большой и вотчину и женился на барской дочери. Жалованье большое было, и вотчина большая, а все концы съ концами не сводилъ: что мужъ соберетъ, все жена-барыня рукавомъ растрясетъ; все денегъ нѣтъ. И пріѣхалъ Семенъ-воинъ въ вотчину доходы собирать. Приказчикъ ему и говоритъ:

— Не съ чего взять; нѣтъ у насъ ни скотины ни снасти: ни лошади, ни коровы, ни сохи, ни бороны, надо всего завести. Тогда доходы будутъ.

И пошелъ Семенъ-воинъ къ отцу:

— Ты, говоритъ, батюшка, богатъ, а мнѣ ничего не далъ. Отдѣли мнѣ третью часть, я въ свою вотчину переведу. Старикъ и говоритъ:

— Ты мнѣ въ домъ ничего не подавалъ, за что тебѣ третью часть давать? Ивану съ дѣвкой обидно будетъ.

А Семенъ говоритъ:

— Да вѣдь онъ дуракъ, а она вѣкоуха нѣмая, чего имъ надо? Старикъ и говоритъ: «какъ Иванъ скажетъ».

А Иванъ говоритъ: «Ну, что жъ, пускай беретъ».

Взялъ Семенъ-воинъ часть изъ дома, перевелъ въ свою вотчину, опять уѣхалъ къ царю служить.

Нажилъ и Тарасъ-брюханъ денегъ много,—женился на купчихѣ, да все ему мало было, пріѣхалъ къ отцу и говоритъ:

— Отдѣли мнѣ мою часть.

Не хотѣлъ старикъ и Тарасу давать часть:

— Ты, говоритъ, намъ ничего не подавалъ, а что въ домѣ есть, то Иванъ наложилъ. Тоже и его съ дѣвкой обидѣть нельзя.

А Тарасъ говоритъ:

— На что ему? Онъ дуракъ, жениться ему нельзя, никто не пойдетъ, а дѣвкѣ нѣмой тоже ничего не нужно. Давай, говоритъ, Иванъ, мнѣ хлѣба половинную часть; я снасти брать не буду, а изъ скотины только жеребца сиваго возьму—тебѣ онъ пахать не годится.

Засмѣялся Иванъ.

— Ну, что жъ, говоритъ, я пойду обротаю.

Отдали и Тарасу часть. Увезъ Тарасъ хлѣбъ въ городъ, увелъ жеребца сиваго, и остался Иванъ съ одной кобылой старой попрежнему крестьянствовать — отца съ матерью кормить.

### II.

Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились въ дѣлежкѣ братья, а разошлись по любви. И кликнулъ онъ трехъ чертенятъ.

— Вотъ, видите, говоритъ, три брата живутъ: Семенъ-воинъ, Тарасъ-брюханъ и Иванъ-дуракъ. Надо бы имъ всѣмъ перессориться, а они мирно живутъ: другъ съ дружкой хлѣбъ-соль водятъ. Дуракъ мнѣ всѣ дѣла испортилъ. Подите вы втроемъ, возьмитесь за троихъ и смутите ихъ такъ, чтобы они другъ дружкѣ глаза повыдрали. Можете ли это сдѣлать?

— Можемъ, говорятъ.

— Какъ же вы дѣлать будете?

— А такъ, говорятъ, сдѣлаемъ: разоримъ ихъ сперва, чтобъ имъ жрать не-

чего было, а потомъ собьемъ въ одну кучу, они и передерутся.

— Ну, ладно, говоритъ: я вижу, вы дѣло знаете. Ступайте, и ко мнѣ не ворочайтесь, пока всѣхъ троихъ не смутите, а то со всѣхъ троихъ шкуру спущу.

Пошли чертенята всѣ въ болото, стали судить, какъ за дѣло браться: спорили, спорили,—каждому хочется полегче работу выгодать, и порѣшили на томъ, что жеребей кинуть, какой кому достанется. А коли кто раньше другихъ отдѣлается, чтобъ приходилъ другимъ пособлять. Кинули жеребей чертенята и назначили срокъ, опять когда въ болотѣ собраться—узнать, кто отдѣлался и кому подсоблять итти.

Пришелъ срокъ, и собрались по уговору чертенята въ болотѣ. Стали толковать, какъ у кого дѣла. Сталъ разсказывать первый чертенокъ—отъ Семена-воина.

— Мое дѣло, говоритъ, ладится. Завтра, говоритъ, мой Семенъ къ отцу придетъ.

Стали его товарищи спрашивать: «какъ ты, говорятъ, сдѣлалъ?»

— А я, говоритъ, первымъ дѣломъ, храбрость такую на Семена навелъ, что онъ обѣщалъ своему царю весь свѣтъ завоевать, и сдѣлалъ царь Семена начальникомъ, послалъ его воевать индѣйскаго царя. Сошлись воевать. А я въ ту же ночь въ Семеновомъ войскѣ весь порохъ подмочилъ и пошелъ къ индѣйскому царю, изъ соломы солдат надѣлалъ видимо-невидимо. Увидали Семеновы солдаты, что на нихъ со всѣхъ сторонъ соломенные солдаты зоходятъ — заробѣли. Велѣлъ Семенъ палить: пушки, ружья не выходятъ. Испугались Семеновы солдаты и побѣжали, какъ бараны. И побилъ ихъ индѣйскій царь. Осрамился Семенъ,— отняли у него вотчину и завтра казнить хотятъ. Только мнѣ на день и дѣла осталось, изъ темницы его выпустить, чтобы онъ домой убѣжалъ. Завтра отдѣлаюсь, такъ сказывайте, кому изъ двухъ помогать приходить?

Сталъ и другой чертенокъ, отъ Тараса, разсказывать про свои дѣла:

— Мнѣ, говоритъ, помогать не нужно, мое дѣло тоже на ладъ пошло, больше недѣли не проживетъ Тарасъ. Я, говоритъ, первымъ дѣломъ, отростилъ ему брюхо и навелъ на него зависть. Такая у него зависть на чужое добро сдѣлалась, что, что ни увидитъ, все ему купить хочется. Накупилъ онъ видимо - невидимо на всѣ свои деньги и все еще покупаетъ. Теперь ужъ сталъ на заемныя покупать. Ужъ много на шею набралъ и запутался такъ, что не распутается. Черезъ недѣлю сроки подойдутъ отдавать, а я изъ всего товара его навозъ сдѣлаю—не расплатится и пріѣдетъ къ отцу.

Стали спрашивать и третьяго чертенка,— отъ Ивана. А твое дѣло какъ?

— Да что, говоритъ, мое дѣло не ладится. Наплевалъ я ему первымъ дѣломъ въ кувшинъ съ квасомъ, чтобы у него животъ болѣлъ, и пошелъ на его пашню, сбилъ землю, какъ камень, чтобъ онъ не осилилъ. Думалъ я, что онъ не вспашетъ, а онъ, дуракъ, пріѣхалъ съ сохой, началъ драть. Кряхтитъ отъ живота, а самъ все пашетъ. Изломалъ я ему одну соху,—поѣхалъ онъ домой, переладилъ другую, подвои новые подвязалъ и опять принялся пахать. Залѣзъ я подъ землю, сталъ за сошники держать, не удержишь никакъ,— налегаетъ на соху, а сошники вострые: изрѣзалъ мнѣ руки всѣ. Почти все допахалъ, одна только полоска осталась. Приходите, говоритъ, братцы, помогать, а то, какъ мы его одного не осилимъ, всѣ наши труды пропадутъ. Если дуракъ останется да крестьянствовать будетъ, они нужды не увидятъ: онъ обоихъ братьевъ кормить будетъ.

Пообѣщалъ чертенокъ отъ Семена-воина назавтра приходить помогать, и разошлись на томъ чертенята.

## III.

Вспахалъ Иванъ весь паръ, только одна полоска осталась. Пріѣхалъ допахивать. Болитъ у него животъ, а пахать надо. Выхлеснулъ гужи, перевернулъ соху и поѣхалъ пахать. Только завернулся разъ, поѣхалъ назадъ—ровно за корень зацѣпило—волочитъ. А это чертенокъ ногами вокругъ разсохи заплелъ, — держитъ.— «Что за чудо!—думаетъ Иванъ,—корней тутъ не было, а корень». Запустилъ Иванъ руку въ борозду, ощупалъ—мягкое. Ухватилъ что-то, вытащилъ. Черное, какъ корень, а на корнѣ что-то шевелится. — Глядь — чертенокъ живой. «Ишь ты, говоритъ, пакость какая!» Замахнулся Иванъ, хотѣлъ о приголовокъ пришибить его, да запищалъ чертенокъ.—«Не бей меня, говоритъ, а я тебѣ что хочешь сдѣлаю».

— Что жъ ты мнѣ сдѣлаешь?

— Скажи только, чего ты хочешь.

Почесался Иванъ. — Брюхо, говоритъ, болитъ у меня, поправить можешь?

— Могу, говоритъ.

— Ну, лѣчи.

Нагнулся чертенокъ въ борозду,—пошарилъ, пошарилъ когтями, выхватилъ корешокъ-тройчатку, подалъ Ивану.

— Вотъ, говоритъ, кто ни проглотитъ одинъ корешокъ—всякая боль пройдетъ.

Взялъ Иванъ, разорвалъ корешки, проглотилъ одинъ. Сейчасъ животъ прошелъ.

Запросился опять чертенокъ:

— Пусти, говоритъ, теперь меня, я въ землю проскочу,—больше ходить не буду.

— Ну, что жъ, говоритъ, Богъ съ тобой! И какъ только сказалъ Иванъ про Бога — юркнулъ чертенокъ подъ землю, какъ камень въ воду, только дыра осталась. Засунулъ Иванъ два остальныхъ корешка въ шапку и сталъ допахивать. Запахалъ до конца полосу, перевернулъ соху и поѣхалъ домой. Отпрягъ, пришелъ въ избу. А старшій братъ, Семенъ-воинъ, сидитъ съ женой — ужинаютъ. Отняли у него вотчину,—насилу изъ тюрьмы ушелъ и прибѣжалъ къ отцу жить.

Увидалъ Семенъ Ивана:

— Я, говоритъ, къ тебѣ жить пріѣхалъ; корми насъ съ женой, пока мѣсто новое выйдетъ.

— Ну, что жъ, говоритъ, живите.

Только хотѣлъ Иванъ на лавку сѣсть:— не понравился барынѣ духъ отъ Ивана. Она и говоритъ мужу:

— Не могу я, говоритъ, съ вонючимъ мужикомъ вмѣстѣ ужинать.

Семенъ-воинъ и говоритъ:

— Моя барыня говоритъ: отъ тебя духъ нехорошъ, ты бы въ сѣняхъ поѣлъ.

— Ну, что жъ, говоритъ. Мнѣ и такъ въ ночное пора—кобылу кормить.

Взялъ Иванъ хлѣба, кафтанъ и поѣхалъ въ ночное.

## IV.

Отдѣлался въ эту ночь чертенокъ отъ Семена-воина и пришелъ по уговору Иванова чертенка искать, ему помогать, дурака донимать. Пришелъ на пашню: поискалъ, поискалъ товарища, — нѣтъ нигдѣ, только дыру нашелъ. «Ну, думаетъ, видно, съ товарищемъ бѣда случилась, надо на его мѣсто становиться. Пашня допахана,—надо будетъ дурака на покосѣ донимать».

Пошелъ чертенокъ въ луга, напустилъ на Ивановъ покосъ паводокъ; затянуло весь покосъ грязью. Вернулся на зорькѣ Иванъ изъ ночного, отбилъ косу, пошелъ луга косить. Пришелъ Иванъ, сталъ косить: махнетъ разъ, махнетъ другой — затупится коса, не рѣжетъ—точить надо. Бился, бился Иванъ,— «нѣтъ, говоритъ, пойду домой, отбой принесу да хлѣба ковригу. Хоть недѣлю пробьюсь, а не уйду, пока не выкошу». Услыхалъ чертенокъ— задумался: — «колянъ, говоритъ, дуракъ этотъ, не проймешь его. Надо на другія штуки подниматься».

Пришелъ Иванъ, отбилъ косу, сталъ косить. Залѣзъ чертенокъ въ траву, сталъ косу за пятку ловить, носомъ въ землю тыкать. Трудно Ивану, однако выкосилъ покосъ,—осталась одна дѣлянка въ болотѣ. Залѣзъ чертенокъ въ болото, думаетъ себѣ: «хоть лапы перерѣжу, не дамъ выкосить». Зашелъ Иванъ въ болото; трава смотрѣть — не густая, а не проворотить косы. Разсердился Иванъ, началъ во всю мочь махать: сталъ чертенокъ подаваться,— не поспѣваетъ отскакивать, видитъ, дѣло плохо — забился въ кустъ. Размахнулся Иванъ, шаркнулъ по кусту, отхватилъ чертенку половину хвоста. Докосилъ Иванъ покосъ, велѣлъ дѣвкѣ грести, а самъ пошелъ рожь косить.

Вышелъ съ крюкомъ, а кургузый чертенокъ ужъ тамъ, перепуталъ рожь, такъ что на крюкъ нейдетъ. Вернулся Иванъ; взялъ серпъ и принялся жать: выжалъ всю рожь.

— Ну, теперь, говоритъ, надо за овесъ браться. Услыхалъ чертенокъ,—думаетъ: «на ржи не донялъ, такъ на овсѣ дойму,— дай только утра дождаться». Прибѣжалъ чертенокъ утромъ на овсяное поле, а овесъ уже скошенъ. Иванъ его ночью скосилъ, чтобъ меньше сыпался. Разсердился чертенокъ: «изрѣзалъ, говоритъ, меня и замучилъ дуракъ. И на войнѣ такой бѣды не видѣлъ. Не спитъ проклятый, за нимъ не поспѣешь. Пойду, говоритъ, теперь въ копны, прогною ему всѣ».

И пошелъ чертенокъ въ ржаную копну, залѣзъ между снопами — сталъ гноить: согрѣлъ ихъ и самъ согрѣлся, и задремалъ.

А Иванъ запрягъ кобылу и поѣхалъ съ дѣвкой возить. Подъѣхалъ къ копнѣ, сталъ кидать на возъ; — скинулъ два снопа, сунулъ прямо чертенку въ задъ, поднялъ—глядь на вилахъ чертенокъ живой, да еще кургузый, барахтается, ужимается, соскочить хочетъ.

— Ишь ты, говоритъ, пакость какая! Ты опять тутъ?

— Я, говоритъ, другой, то мой братъ былъ. А я у твоего брата Семена былъ.

— Ну, говоритъ, какой ты тамъ ни будь, и тебѣ то же будетъ!—Хотѣлъ его объ грядку пришибить, да сталъ его просить чертенокъ:

— Отпусти, говоритъ, больше не буду,— а я тебѣ, что хочешь, сдѣлаю.

— Да что ты сдѣлать можешь?

— А я, говоритъ, могу, изъ чего хочешь, солдатъ надѣлать.

— Да на что ихъ?

— А на что, говоритъ, хочешь; поверни ихъ: они все могутъ.

— Пѣсни играть могутъ?

— Могутъ.

— Ну, что жъ, говоритъ, сдѣлай.

И сказалъ чертенокъ:

— Возьми ты вотъ снопъ ржаной, тряхни его о землю гузомъ и скажи только: «Велитъ мой холопъ, чтобъ былъ не снопъ, а сколько въ тебѣ соломинокъ, столько бы солдатъ».

Взялъ Иванъ снопъ, тряхнулъ оземь и сказалъ, какъ велѣлъ чертенокъ. И расскочился снопъ, и сдѣлались солдаты, и впереди барабанщикъ и трубачъ играютъ. Засмѣялся Иванъ.

— Ишь ты, говоритъ, какъ ловко. Это говоритъ, хорошо,—дѣвокъ веселить.

— Ну,—говоритъ чертенокъ,—пусти же теперь.

— Нѣтъ, говоритъ, это я изъ старновки дѣлать буду, а то даромъ зерно пропадаетъ. Научи, какъ опять въ снопъ поворотить. Я его обмолочу.

Чертенокъ и говоритъ:

— Скажи: сколько солдатъ, столько соломинокъ. Велитъ мой холопъ, будь опять снопъ. Сказалъ такъ Иванъ, и сталъ опять снопъ.

И сталъ опять проситься чертенокъ: пусти, говоритъ, теперь.

— Ну, что жъ! Зацѣпилъ его Иванъ за грядку, придержалъ рукой, сдернулъ съ вилъ.—Съ Богомъ, говоритъ; и только сказалъ про Бога, — юркнулъ чертенокъ подъ землю, какъ камень въ воду, только дыра осталась.

Пріѣхалъ Иванъ домой, а дома и другой братъ, Тарасъ, съ женой — сидятъ, ужинаютъ. Не расчелся Тарасъ-брюханъ, убѣжалъ отъ долговъ и пришелъ къ отцу. Увидалъ Ивана:

— Ну, говоритъ, Иванъ, пока я расторгуюсь, корми насъ съ женой.

— Ну, что жъ, говоритъ, живите. Снялъ Иванъ кафтанъ, сѣлъ къ отцу.

А купчиха говоритъ:

— Я, говоритъ, съ дуракомъ кушать не могу. Отъ него, говоритъ, потомъ воняетъ.

Тарасъ-брюханъ и говоритъ:

— Отъ тебя, говоритъ, Иванъ, духъ нехорошъ—поди въ сѣняхъ поѣшь.

— Ну, что жъ, говоритъ, взялъ хлѣба, ушелъ на дворъ. Мнѣ, говоритъ, кстати, въ ночное пора—кобылу кормить.

## V.

Отдѣлался въ эту ночь и отъ Тараса чертенокъ, пришелъ по уговору товарищамъ помогать, Ивана-дурака донимать. Пришелъ на пашню, поискалъ, поискалъ товарищей — нѣтъ никого, только дыру нашелъ; пошелъ на луга, — въ болотѣ хвостъ нашелъ, а на ржаномъ жнивѣ и другую дыру нашелъ. «Ну, думаетъ, видно, надъ товарищами бѣда случилась, надо на ихъ мѣсто становиться, за дурака приниматься».

Пошелъ чертенокъ Ивана искать. А Иванъ ужъ съ поля убрался, въ рощѣ лѣсъ рубитъ.

Стало братьямъ тѣсно жить вмѣстѣ; велѣли дураку себѣ на избы лѣсъ рубить, новые дома строить.

Прибѣжалъ чертенокъ въ лѣсъ, залѣзъ въ сучья, сталъ мѣшать Ивану деревья валить. Подрубилъ Иванъ дерево, какъ надо, чтобъ на чистое мѣсто упало, сталъ валить—дуромъ пошло дерево, повалилось куда не надо, на сукахъ застряло. Вырубилъ Иванъ рычагъ, началъ отворачивать— насилу свалилъ дерево. Сталъ Иванъ рубить другое — опять то же. Бился, бился, насилу выпросталъ. Взялся за третье, — опять то же. Думалъ Иванъ хлыстовъ полсотни срубить, и десятка не срубилъ, а ужъ ночь на дворѣ. И измучился Иванъ.

Валитъ отъ него паръ, какъ туманъ по лѣсу пошелъ, а онъ все не бросаетъ. Подрубилъ онъ еще дерево, и заломило ему спину такъ, что мочи не стало:—воткнулъ топоръ и присѣлъ отдохнуть. Услыхалъ чертенокъ, что затихъ Иванъ, обрадовался. «Ну, думаетъ, выбился изъ силъ—броситъ; отдохну теперь и я»; сѣлъ верхомъ на сукъ и радуется. А Иванъ поднялся, вынулъ топоръ, размахнулся, да какъ тяпнетъ съ другой стороны, сразу затрещало дерево—грохнулось. Не спопашился чертенокъ, не успѣлъ ногъ выпростать, сломался сукъ и защемилъ чертенка за лапу. Сталъ Иванъ очищать—глядь: чертенокъ живой. Удивился Иванъ.

— Ишь ты, говоритъ, пакость какая! Ты опять тутъ!

— Я, говоритъ, другой. Я у твоего брата Тараса былъ.

— Ну, какой бы ты ни былъ, и тебѣ то же будетъ. Замахнулся Иванъ топоромъ, хотѣлъ его обухомъ пристукнуть.

Взмолился чертенокъ:

— Не бей, говоритъ, меня, я тебѣ, что хочешь, сдѣлаю.

— Да что же ты сдѣлать можешь?

— А я, говоритъ, могу тебѣ денегъ, сколько хочешь, надѣлать.

— Ну, что жъ, говоритъ, надѣлай. И научилъ его чертенокъ.

— Возьми ты, говоритъ, листу дубоваго съ этого дуба и потри въ рукахъ. Наземь золото падать будетъ.

Взялъ Иванъ листьевъ, потеръ—посыпалось золото.

— Это, говоритъ, хорошо, когда на гулянкахъ съ ребятами играть.

— Пусти же, говоритъ чертенокъ.

— Ну, что жъ! Взялъ Иванъ рычагъ, выпросталъ чертенка. — Богъ съ тобой, говоритъ; и какъ только сказалъ про Бога, юркнулъ чертенокъ подъ землю, какъ камень въ воду, только дыра осталась.

## VI.

Построили братья дома и стали жить порознь. А Иванъ убрался съ поля, пива наварилъ и позвалъ братьевъ гулять. Не пошли братья къ Ивану въ гости: не видали, мы, говорятъ, мужицкаго гулянья!

Угостилъ Иванъ мужиковъ, бабъ и самъ выпилъ — захмелѣлъ и пошелъ на улицу въ хороводы. Подошелъ Иванъ къ хороводамъ, велѣлъ бабамъ себя величать.

— Я, говоритъ, вамъ того дамъ, чего вы въ жизнь не видали.—Посмѣялись бабы и стали его величать. Отвеличали и говорятъ:

— Ну, что жъ, давай.

— Сейчасъ, говоритъ, принесу. Ухватилъ сѣвалку, побѣжалъ въ лѣсъ. Смѣются бабы: то-то дуракъ! И забыли про него. Глядь — бѣжитъ Иванъ назадъ, несетъ сѣвалку полну чего-то.

— Одѣлять, что ли?

— Одѣляй.

Захватилъ Иванъ горсть золота—кинулъ бабамъ. Батюшки! Бросились бабы подбирать; вскочили мужики, другъ у друга рвутъ, отнимаютъ. Старуху одну чуть до смерти не задавили. Смѣется Иванъ.

— Ахъ вы, дурачки, говоритъ, зачѣмъ вы бабушку задавили. Вы полегче, а я вамъ еще дамъ.—Сталъ еще швырять. Сбѣжался народъ.— расшвырялъ Иванъ всю сѣвалку. Стали просить еще. А Иванъ говоритъ: «Вся. Другой разъ еще дамъ. Теперь давайте плясать—играйте пѣсни».

Заиграли бабы пѣсни.

— Нехороши, говоритъ, ваши пѣсни.

— Какія же, говорятъ, лучше?

— А я, говоритъ, вотъ вамъ покажу сейчасъ. Пошелъ на гумно, выдернулъ снопъ, обилъ его, поставилъ на гузо — стукнулъ.—Ну, говоритъ, сдѣлай холопъ, чтобы былъ не снопъ, а каждая соломинка—солдатъ.—Разскочился снопъ, стали солдаты:—заиграли барабаны, трубы. Велѣлъ Иванъ солдатамъ пѣсни играть, — вышелъ съ ними на улицу. Удивился народъ. Поиграли солдаты пѣсни, и увелъ ихъ Иванъ назадъ на гумно, а самъ не велѣлъ никому за собой ходить и сдѣлалъ опять солдатъ снопомъ, бросилъ на одонье. Пришелъ домой и легъ спать въ закуту.

## VII.

Узналъ на утро про эти дѣла старшій братъ Семенъ - воинъ, приходитъ къ Ивану.

— Открой ты мнѣ, говоритъ, откуда ты солдатъ проводилъ и куда увелъ.

— А на что, говоритъ, тебѣ?

— Какъ на что? Съ солдатами все сдѣлать можно. Можно себѣ царство добыть.

Удивился Иванъ.

— Ну? Что жъ ты, говоритъ, давно не сказалъ? Я тебѣ, сколько хочешь, надѣлаю. Благо мы съ дѣвкой много насторновали. Повелъ Иванъ брата на гумно и говоритъ: «смотри же, я ихъ дѣлать буду, а ты ихъ уводи, а то, коли ихъ кормить, такъ они въ одинъ день всю деревню слопаютъ». Обѣщалъ Семенъ-воинъ увести солдатъ, и началъ Иванъ ихъ дѣлать. Стукнетъ по току снопомъ — рота; стукнетъ другимъ — другая: надѣлалъ ихъ столько, что все поле захватили.

— Что жъ, будетъ, что ли?

Обрадовался Семенъ и говоритъ:

— Будетъ. Спасибо, Иванъ.

— То-то, говоритъ.—Коли тебѣ еще надо, ты приходи, я еще надѣлаю. Соломы нынче много.

Сейчасъ распорядился Семенъ-воинъ войскомъ, собралъ ихъ, какъ слѣдуетъ, и пошелъ воевать.

Только ушелъ Семенъ-воинъ, приходитъ Тарасъ-брюхана — тоже узналъ про вчерашнее дѣло, сталъ брата просить:

— Открой мнѣ, откуда ты золотыя деньги берешь? Кабы у меня такія вольныя деньги были, я бы къ этимъ деньгамъ со всего свѣта деньги собралъ.

Удивился Иванъ. — Ну? Ты бы давно, говоритъ, мнѣ сказалъ. Я тебѣ, сколько хочешь, натру.

Обрадовался братъ: «дай мнѣ хоть сѣвалки три».

— Ну, что жъ, говоритъ, пойдемъ въ лѣсъ, а то лошадь запряги—не унесешь.

Поѣхали въ лѣсъ, — сталъ Иванъ съ дуба листья натирать. Насыпалъ кучу большую.

— Будетъ, что ли?

Обрадовался Тарасъ:

— Пока будетъ, говоритъ. — Спасибо, Иванъ.

— То-то, говоритъ, коли тебѣ еще надо — приходи, я натру еще, — листу много осталось.—Набралъ Тарасъ-брюханъ денегъ возъ цѣлый и уѣхалъ торговать.

Уѣхали оба брата. И сталъ Семенъ воевать, а Тарасъ торговать. И завоевалъ себѣ Семенъ-воинъ царство, а Тарасъ-брюханъ наторговалъ денегъ кучу большую.

Сошлись братья вмѣстѣ и открылись другъ другу: откуда у Семена — солдаты, а у Тараса деньги.

Семенъ-воинъ и говоритъ брату:

— Я, говоритъ, царство себѣ завоевалъ, и мнѣ жить хорошо, только у меня денегъ нехватка—солдатъ кормить.

А Тарасъ-брюханъ говоритъ:

— А я, говоритъ, нажилъ денегъ бугоръ большой, только одно, говоритъ, горе: караулить денегъ некому.

Семенъ-воинъ и говоритъ:

— Пойдемъ, говоритъ, къ брату, я велю ему еще солдатъ надѣлать — тебѣ отдамъ твои деньги караулить, а ты вели ему мнѣ денегъ натереть, чтобъ было чѣмъ солдатъ кормить.

И поѣхали они къ Ивану. Пріѣзжаютъ къ Ивану. Семенъ и говоритъ:

— Мнѣ мало, братецъ, моихъ солдатъ, сдѣлай мнѣ, говоритъ, еще солдатъ, хоть копны двѣ передѣлай.

Замоталъ головой Иванъ.—Даромъ, говоритъ, не стану больше тебѣ солдатъ дѣлать.

— Да какъ же, говоритъ, ты обѣщалъ?

— Обѣщалъ, говоритъ, да не стану больше.

— Да отчего жъ ты, дуракъ, не станешь?

— А оттого, что твои солдаты человѣка до смерти убили. Не дамъ больше.— Такъ и уперся, не сталъ больше дѣлать солдатъ.

Сталъ и Тарасъ-брюханъ просить Ивана-дурака, чтобъ онъ ему еще золотыхъ денегъ надѣлалъ.

Замоталъ головой Иванъ.—Даромъ, говоритъ, не стану больше тереть.

— Да какъ же ты, говоритъ, обѣщалъ?

— Обѣщалъ, говоритъ, да не стану больше.

— Да отчего же ты, дуракъ, не станешь?

— А оттого, что твои золотые у Михайловны корову отняли.

— Какъ отняли?

— Такъ отняли. Была у Михайловны корова, ребята молоко хлебали, а намедни пришли ея ребята ко мнѣ молока просить. Я и говорю имъ: — А ваша корова гдѣ? Говорятъ: «Тараса-брюхана приказчикъ пріѣзжалъ, мамушкѣ три золотыя штучки далъ, а она ему и отдала корову, намъ теперь хлебать нечего». Я думалъ, ты золотыми штучками играть хочешь, а ты у

ребятъ корову отнялъ:—не дамъ больше.— И уперся дуракъ, не далъ больше. Такъ и уѣхали братья.

Уѣхали братья и стали судить, какъ имъ своему горю помочь. Семенъ и говоритъ:

— Давай, вотъ что сдѣлаемъ. Ты мнѣ денегъ дай солдатъ кормить, а я тебѣ половину царства съ солдатами отдамъ твои деньги караулить.

Согласился Тарасъ. Подѣлились братья, и стали оба царями, и оба богаты.

## VIII.

А Иванъ дома жилъ, отца съ матерью кормилъ, съ нѣмой дѣвкой въ полѣ работалъ.

Только случилось разъ, заболѣла у Ивана собака дворная, старая, опаршивѣла, стала издыхать. Пожалѣлъ ее Иванъ: взялъ хлѣба у нѣмой, положилъ въ шапку, вынесъ собакѣ, — кинулъ ей. А шапка продралась, и выпалъ съ хлѣбомъ одинъ корешокъ. Слопала его съ хлѣбомъ собака старая. — И только проглотила корешокъ, вскочила собака, заиграла, залаяла, хвостомъ замахала—здорова стала.

Увидали отецъ съ матерью — удивились.—Чѣмъ ты, говорятъ, собаку вылѣчилъ?

А Иванъ и говоритъ:

— У меня два корешка были—отъ всякой боли лѣчатъ. Такъ она и слопала одинъ.

И случилось въ это время, что заболѣла у царя дочь, и повѣстилъ царь по всѣмъ городамъ и селамъ, кто вылѣчитъ ее, того онъ наградитъ, и, если холостой, — за того и дочь замужъ отдастъ. Повѣстили и у Ивана въ деревнѣ.

Позвали отецъ съ матерью Ивана и говорятъ ему:

— Слышалъ ты, что царь повѣщаетъ?— Ты сказывалъ, что у тебя корешокъ есть; поѣзжай, вылѣчи царскую дочь. Ты навѣкъ счастье получишь.

— Ну, что жъ,—говоритъ.

И собрался Иванъ ѣхать: одѣли его. Выходитъ Иванъ на крыльцо — видитъ: стоитъ побирушка косорукая.

— Слышала я, говоритъ, что ты лѣчишь. Вылѣчи мнѣ руку, а то и обуться сама не могу.

Иванъ и говоритъ:

— Ну, что жъ! — Досталъ корешокъ, далъ побирушкѣ—велѣлъ проглотить. Проглотила побирушка и выздоровѣла, сейчасъ стала рукой махать. Вышли отецъ съ матерью Ивана къ царю провожать, услыхали, что Иванъ послѣдній корешокъ отдалъ и нечѣмъ царскую дочь лѣчить, стали его отецъ съ матерью ругать.

— Побирушку, говорятъ, пожалѣлъ, а царскую дочь не жалѣешь.—Жалко стало Ивану и царскую дочь. Запрягъ онъ лошадь, кинулъ соломы въ ящикъ и сѣлъ ѣхать.

— Да куда же ты, дуракъ?

— Царскую дочь лѣчить.

— Да вѣдь тебѣ лѣчить нечѣмъ?

— Ну, что жъ, говоритъ, и погналъ лошадь.

Пріѣхалъ на царскій дворъ и только ступилъ на крыльцо, выздоровѣла царская дочь.

Обрадовался царь, велѣлъ звать къ себѣ Ивана, одѣлъ его, нарядилъ.—Будь, гововоритъ, ты мнѣ зятемъ.

— Ну, что жъ, говоритъ. И женился Иванъ на царевнѣ. А царь вскорѣ померъ. И сталъ Иванъ царемъ.

Такъ стали царями всѣ три брата.

## IX.

Жили три брата — царствовали.

Хорошо жилъ старшій братъ Семенъ-воинъ. Набралъ онъ съ своими соломенными солдатами настоящихъ солдатъ. И всѣхъ обучилъ.

И стали его всѣ бояться.

Хорошо жилъ и Тарасъ-брюханъ. Онъ свои деньги, что забралъ отъ Ивана, не растерялъ, а большой приростъ имъ сдѣлалъ.

Деньги держалъ онъ у себя въ сундукахъ, а съ народа взыскивалъ деньги.

За денежки къ нему всего несутъ и работать идутъ, потому что всякому деньги нужны.

Не плохо жилъ и Иванъ-дуракъ. Какъ только похоронили тестя, снялъ онъ все царское платье—женѣ отдалъ въ сундукъ спрятать; — опять надѣлъ посконную рубаху, портки и лапти обулъ и взялся за работу.

— Скучно, говоритъ, мнѣ: брюхо расти стало, и ѣды и сна нѣтъ.

Привезъ отца съ матерью и дѣвку нѣмую и сталъ опять работать.

Узнали всѣ, что Иванъ— дуракъ. Жена ему и говоритъ:

— Про тебя говорятъ, что ты дуракъ.

— Ну, что жъ, говоритъ.

Подумала-подумала жена Иванова, а она тоже дура была.—Что же мнѣ, говоритъ, противъ мужа итти? Куда иголка, туда и нитка!—посняла царское платье, положила въ сундукъ, пошла къ дѣвкѣ нѣмой работѣ учиться. Научилась работать, стала мужу пособлять.

И ушли изъ Иванова царства всѣ умные, остались одни дураки. — Денегъ ни у кого не было. Жили—работали, сами кормились и людей добрыхъ кормили.

X.

Ждалъ - ждалъ старый дьяволъ вѣстей отъ чертенятъ о томъ, какъ они трехъ братьевъ разорили — нѣтъ вѣстей никакихъ: пошелъ самъ провѣдать. Искалъ-искалъ, нигдѣ не нашелъ, только три дыры отыскалъ.—«Ну, думаетъ, видно, не осилили—надо самому приниматься».

Пошелъ разыскивать, а братьевъ на старыхъ мѣстахъ уже нѣтъ. Нашелъ онъ ихъ въ разныхъ царствахъ. Всѣ три живутъ — царствуютъ. Обидно показалось старому дьяволу.

— Ну, говоритъ, возьмусь-ка я самъ за дѣло.

Пошелъ онъ прежде всего къ Семену-царю. Пошелъ онъ не въ своемъ видѣ, а оборотился воеводой, пріѣхалъ къ Семену-царю.

— Слышалъ я, говоритъ, что ты, Семенъ-царь—воинъ большой, а я этому дѣлу твердо наученъ, хочу тебѣ послужить. Сталъ его разспрашивать Семенъ-царь, видитъ: человѣкъ умный, — взялъ на службу.

Сталъ новый воевода Семена-царя научать, какъ сильное войско собрать, ружья и пушки новыя завести.—Я тебѣ такія ружья заведу, что будутъ сразу по сту пуль выпускать, какъ горохомъ будутъ сыпать. А пушки заведу такія, что онѣ будутъ огнемъ жечь. Человѣка ли, лошадь ли, стѣну ли — все сожжетъ.

Послушался Семенъ-царь воеводы новаго—велѣлъ всѣхъ подъ рядъ молодыхъ ребятъ въ солдаты брать и заводы новые завелъ: надѣлалъ ружей, пушекъ новыхъ и сейчасъ же на сосѣдняго царя войною пошелъ. Только вышло навстрѣчу войско, велѣлъ Семенъ - царь своимъ солдатамъ пустить по немъ пулями и огнемъ изъ пушекъ; сразу перекалѣчилъ, пережегъ половину войска. Испугался сосѣдній царь, покорился и царство свое отдалъ. Обрадовался Семенъ-царь.—«Теперь, говоритъ, я индѣйскаго царя завоюю». А индѣйскій царь услыхалъ про Семена-царя и перенялъ отъ него всѣ выдумки, да еще свои выдумалъ. Сталъ индѣйскій царь не однихъ молодыхъ ребятъ въ солдаты брать, а и всѣхъ бабъ холостыхъ въ солдаты забралъ, и стало у него войска еще больше, чѣмъ у Семена-царя; а ружья и пушки всѣ отъ Семена-царя перенялъ да еще придумалъ по воздуху летать и бомбы разрывныя сверху кидать.

Пошелъ Семенъ-царь войной на индѣйскаго царя, — думалъ, какъ и прежняго, повоевать, да рѣзала коса, да нарѣзалась. Не допустилъ царь индѣйскій Семенова войска до выстрѣла, а послалъ своихъ бабъ по воздуху на Семеново войско разрывныя бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, какъ буру на тараканов, бомбы посыпать, разбѣжалось все войско Семеново, и остался Семенъ-царь одинъ. Забралъ индѣйскій царь Семеново царство, а Семенъ-воинъ убѣжалъ, куда глаза глядятъ.

Обдѣлалъ этого брата старый дьяволъ и пошелъ къ Тарасу-царю. Оборотился онъ въ купца и поселился въ Тарасовомъ царствѣ, сталъ заведенье заводить, сталъ денежки выпускать. Сталъ купецъ за всякую вещь дорого платить, и бросился весь народъ къ купцу деньги добывать. И завелось у народа денегъ такъ много, что всѣ недоимки выплатили и въ срокъ всѣ подати подавать стали. Обрадовался Тарасъ. «Спасибо, думаетъ, купцу, теперь у меня денегъ еще прибавится — житье мое еще лучше станетъ».—И сталъ Тарасъ новый домъ строить: — повѣстилъ народу, чтобъ везли ему лѣсъ, камень и шли работать, назначилъ за все цѣны высокія. Думалъ Тарасъ, что попрежнему за его денежки повалитъ къ нему народъ работать. Глядь, весь лѣсъ и камень къ купцу везутъ, и весь рабочій народъ къ нему валитъ. Прибавилъ Тарасъ цѣну, а купецъ еще накинулъ. У Тараса денегъ много, а у купца еще больше, и перебилъ купецъ цѣну. Сталъ домъ Тарасовъ, не строится.

Затѣянъ былъ у Тараса-царя садъ. Пришла осень. Повѣщаетъ Тарасъ, чтобъ народъ шелъ къ нему садъ сажать. Не выходитъ никто, — весь народъ купцу прудъ копаетъ. Пришла зима; задумалъ Тарасъ мѣховъ собольихъ купить на шубу новую, посылаетъ покупать; — приходитъ посолъ, говоритъ: «нѣту соболей; всѣ мѣха у купца, онъ дороже далъ, и изъ соболей коверъ сдѣлалъ». Понадобилось Тарасу себѣ жеребцовъ купить — послалъ покупать; приходятъ послы: всѣ жеребцы хорошіе у купца, ему воду возятъ, прудъ наливать. Стали всѣ дѣла Тараса; ничего ему не дѣлаютъ, а все дѣлаютъ купцу, а ему только купцовы деньги несутъ.

И набралось у Тараса денегъ столько, что класть некуда, а житье плохое стало. Пересталъ ужъ Тарасъ затѣи затѣвать, только бы ужъ какъ-нибудь прожить, и того не можетъ. Во всемъ стѣсненье стало. Стали отъ него и повара, и кучера, и слуги къ купцу отходить. Стало ужъ и ѣды недоставать. Пошлетъ на базаръ купить что — ничего нѣтъ: все купецъ перекупилъ, а ему только денежки несутъ.

Разсердился Тарасъ и выслалъ купца за границу, а купецъ на самой границѣ сѣлъ—все то же дѣлаетъ: все такъ же за купцовы денежки отъ него тащатъ все къ купцу. Совсѣмъ плохо царю стало: по цѣлымъ днямъ не ѣстъ, да еще слухъ прошелъ, что купецъ хвалится, что онъ и самого Тараса купить хочетъ. Заробѣлъ царь Тарасъ и не знаетъ, какъ быть.

Пріѣзжаетъ къ нему Семенъ-воинъ и говоритъ: «поддержи, говоритъ, меня,—меня индѣйскій царь повоевалъ». А Тарасу самому ужъ узломъ дошло.

— Я, говоритъ, самъ два дня не ѣлъ.

## XI.

Обдѣлалъ старый дьяволъ обоихъ братьевъ и пошелъ къ Ивану. Оборотился старый дьяволъ въ воеводу, пришелъ къ Ивану и сталъ его уговаривать, чтобъ онъ у себя войско завелъ.

— Царю, говоритъ, не годится безъ войска жить. Ты мнѣ прикажи только, а я соберу изъ твоего народа солдатъ и войско заведу.

Отслушалъ его Иванъ. — Ну, что жъ говоритъ, заведи да пѣсни ихъ научи играть половчѣе, я это люблю.—Сталъ старый дьяволъ по Иванову царству ходить, солдатъ по волѣ собирать: — объявилъ, чтобъ шли всѣ лбы брить — каждому штофъ водки и красная шапка будетъ.

Посмѣялись дураки.—Вино, говорятъ, у насъ вольное, мы сами купимъ, а шапки намъ бабы, какія хочешь, хоть пестрыя, сошьютъ, да еще съ мохрами.

Такъ и не пошелъ никто. Приходитъ старый дьяволъ къ Ивану.

— Не идутъ, говоритъ, твои дураки охотой—надо ихъ силомъ пригонять.

— Ну, что жъ, говоритъ, пригоняй силомъ.

И повѣстилъ старый дьяволъ, чтобъ шли всѣ дураки въ солдаты записываться, а кто не пойдетъ, того Иванъ смерти предастъ.

Пришли дураки къ воеводѣ и говорятъ:

— Говоришь ты намъ, что коли мы въ солдаты не пойдемъ, насъ царь смерти предастъ, а не сказываешь, что съ нами въ солдатствѣ будетъ. Сказываютъ, и солдатъ до смерти убиваютъ.

— Да, не безъ того.

Услыхали это дураки — уперлись.

— Не пойдемъ, говорятъ. Ужъ лучше, пускай дома смерти предадутъ. Ея и такъ не миновать.

— Дураки вы, дураки,—говоритъ старый дьяволъ:— солдата еще убьютъ ли, нѣтъ ли, а не пойдешь—Иванъ-царь навѣрно смерти предастъ.

Задумались дураки — пошли къ Ивану-дураку спрашивать:

— Проявился, говорятъ, воевода, велитъ намъ всѣмъ въ солдаты итти. Коли пойдете, говоритъ, въ солдаты, такъ васъ убьютъ ли нѣтъ ли, а не пойдете, такъ васъ царь Иванъ навѣрно смерти предастъ. Правда ли это?

Засмѣялся Иванъ.

— Какъ же, говоритъ, я одинъ васъ всѣхъ смерти предамъ? Кабы не дуракъ былъ, я бы вамъ растолковалъ, а то я и самъ не пойму.

— Такъ мы, говорятъ, не пойдемъ.

— Ну, что жъ, говоритъ, не ходите.

Видитъ старый дьяволъ—не беретъ его дѣло:—пошелъ къ тараканскому царю; поддѣлался.

— Пойдемъ, говоритъ, войной, завоюемъ Ивана-царя. У него только денегъ нѣтъ, а хлѣба, и скота, и всякаго добра много.

Пошелъ тараканскій царь войною: собралъ войско большое, ружья, пушки наладилъ, вышелъ за границу, сталъ въ Иваново царство входить.

Пришли къ Ивану и говорятъ:

— На насъ тараканскій царь войной идетъ.

— Ну, что жъ, говоритъ, пускай идетъ.

Перешелъ тараканскій царь съ войскомъ границу, послалъ передовыхъ разыскивать Иваново войско. Искали-искали — нѣтъ войска. Ждать-пождать—не окажется ли гдѣ? И слуха нѣтъ про войско, не съ кѣмъ воевать. Послалъ тараканскій царь захватить деревни. Пришли солдаты въ одну деревню—выскочили дураки, дуры, смотрятъ на солдатъ—дивятся. Стали солдаты отбирать у дураковъ хлѣбъ, скотину: — дураки отдаютъ, и никто не обороняется. Пошли солдаты въ другую деревню — все то же. Походили солдаты день, походили другой — вездѣ все то же: все отдаютъ никто не обороняется, и зовутъ къ себѣ жить: «коли вамъ, сердешные, говорятъ, на вашей сторонѣ житье плохое, приходите къ намъ совсѣмъ жить». Походили, походили солдаты — нѣтъ войска; а все народъ живетъ—кормится и людей кормитъ, и не обороняется, и зоветъ къ себѣ жить.

Скучно стало солдатамъ. Пришли къ своему тараканскому царю.

— Не можемъ мы, говорятъ, воевать, отведи насъ въ другое мѣсто: — добро бы война была, а это что,—какъ кисель рѣзать. Не можемъ больше тутъ воевать.

Разсердился тараканскій царь, велѣлъ солдатамъ по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлѣбъ сжечь, скотину перебить.—Не послушаете, говоритъ, моего приказа — всѣхъ, говоритъ, васъ расказню.

Испугались солдаты, стали дома, хлѣбъ жечь, скотину бить. Все не обороняются дураки, только плачутъ. Плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята.

— За что, говорятъ, вы насъ обижаете? Зачѣмъ, говорятъ, вы добро дурно губите? Коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите.

Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше, и все войско разбѣжалось.

## XII.

Такъ и ушелъ старый дьяволъ — не пронялъ Ивана солдатами.

Оборотился старый дьяволъ въ господина чистаго и пріѣхалъ въ Иваново царство жить, хотѣлъ его такъ же, какъ Тараса-брюхана, деньгами пронять.

— Я, говоритъ, хочу вамъ добро сдѣлать, — уму-разуму научить. Я, говоритъ, у васъ домъ построю и заведенье заведу.

— Ну, что жъ, говорятъ,—живи.

Переночевалъ господинъ чистый и на утро вышелъ на площадь, вынесъ мѣшокъ большой золота и листъ бумаги, и говоритъ: «живете вы, говоритъ, всѣ, какъ свиньи,—хочу я васъ научить, какъ жить надо. Стройте мнѣ, говоритъ, домъ по плану по этому; вы работайте, а я показывать буду и золотыя деньги буду платить». И показалъ имъ золото. Удивились дураки: — у нихъ денегъ въ заводѣ не было, а они другъ дружкѣ вещь за вещь мѣняли и работой платили. Подивились они на золото, — хороши, говорятъ, штучки. И стали господину за золотыя штучки вещи и работу мѣнять. Сталъ старый дьяволъ, какъ и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякія вещи мѣнять и всякія работы работать. Обрадовался старый дьяволъ—думаетъ: «пошло мое дѣло на ладъ: разорю теперь дурака, какъ и Тараса, и куплю его съ потрохомъ совсѣмъ». Только забрались дураки золотыми деньгами, роздали всѣмъ бабамъ на ожерелья, всѣ дѣвки въ косы вплели; и ребята ужъ на улицѣ въ штучки играть стали: у всѣхъ много стало, и не стали больше брать. А у господина чистаго еще хоромы наполовину не отстроены, и хлѣба и скотины еще не запасено на годъ. И повѣщаетъ господинъ, чтобъ шли къ нему работать, чтобъ ему хлѣбъ везли, скотину вели; за всякую вещь и за всякую работу золотыхъ много давать будетъ. Нейдетъ никто работать, и не несутъ ничего. Только забѣжитъ когда мальчикъ или дѣвочка, яичко на золотой промѣняетъ; а то нѣтъ никого, и ѣсть ему стало нечего. Проголодался господинъ чистый, пошелъ по деревнѣ, себѣ на обѣдъ купить! Сунулся на одинъ дворъ, даетъ золотой за курицу, не беретъ хозяйка. — «У меня, говоритъ, много и такъ». Сунулся къ бобылкѣ—селедку купить, даетъ золо-

той.—«Не нужно мнѣ, говоритъ, милый человѣкъ, у меня, говоритъ, дѣтей нѣтъ, играть некому, а я и то три штучки для рѣдкости взяла». Сунулся къ мужику за хлѣбомъ: не взялъ и мужикъ денегъ. — «Мнѣ не нужно, говоритъ. Нешто ради Христа, говоритъ, такъ подожди, я велю бабѣ отрѣзать». Заплевалъ даже дьяволъ, убѣжалъ отъ мужика. Не то что взять ради Христа, а и слышать-то ему это слово—хуже ножа.

Такъ и не добылъ хлѣба. Забрались всѣ:—куда пойдетъ старый дьяволъ — никто не даетъ ничего за деньги, а всѣ говорятъ: «что-нибудь другое принеси, или приходи работать, или ради Христа возьми». А у дьявола нѣтъ ничего, кромѣ денегъ, работать неохота; а ради Христа нельзя ему взять. Разсердился старый дьяволъ.

— Чего, говоритъ, вамъ еще нужно, когда я вамъ деньги даю? Вы за золото все купите и всякаго работника наймете.

Не слушаютъ его дураки.

— Нѣтъ, говорятъ, намъ не нужно,— куда намъ деньги?

Легъ, не ужинавши, спать старый дьяволъ.

Дошло это дѣло до Ивана-дурака. — Пришли къ нему, спрашиваютъ: «Что намъ дѣлать? Проявился у насъ господинъ чистый — ѣсть, пить любитъ сладко, одѣваться любитъ чисто, а работать не хочетъ и Христа ради не проситъ, только золотыя штучки всѣмъ даетъ. Давали ему прежде всего, пока не забрались, а теперь не даютъ больше. Что намъ съ нимъ дѣлать? Какъ бы не померъ съ голода».

Отслушалъ Иванъ.

— Ну, что жъ, говоритъ. Кормить надо. Пускай по дворамъ, какъ пастухъ, ходитъ.

Нечего дѣлать, сталъ старый дьяволъ по дворамъ ходить. Дошла очередь и до Иванова двора. Пришелъ старый дьяволъ обѣдать, а у Ивана дѣвка нѣмая обѣдать собирала. Обманывали ее часто тѣ, кто полѣнивѣе. Не работамши придутъ раньше къ обѣду—всю кашу поѣдятъ. И исхитрилась дѣвка нѣмая лодырей по рукамъ узнавать:—у кого мозоли на рукахъ, того сажаетъ, а у кого нѣтъ, тому объѣдки даетъ. Полѣзъ старый дьяволъ за столъ, а нѣмая дѣвка ухватила его за руки, посмотрѣла—нѣтъ мозолей, и руки чистыя, гладкія, и когти длинные. — Замычала нѣмая и вытащила дьявола изъ-за стола.

А Иванова жена ему и говоритъ:

— Не взыщи, господинъ чистый: золовка у насъ безъ мозолей на рукахъ за столъ не пускаетъ. Вотъ дай срокъ, люди поѣдятъ, тогда доѣдай, что останется.

Обидѣлся старый дьяволъ, что его у царя со свиньями кормить хотятъ. Сталъ Ивану говорить:

— Дурацкій, говоритъ, у тебя законъ въ царствѣ, чтобы всѣмъ людямъ руками работать. Это вы по глупости придумали! Развѣ однѣми руками люди работаютъ? Ты думаешь, чѣмъ умные люди работаютъ?

А Иванъ говоритъ:

— Гдѣ намъ, дуракамъ, знать, мы все норовимъ руками да горбомъ.

— Это оттого, что вы дураки. А я, говоритъ, научу васъ, какъ головой работать,—тогда вы узнаете, что головой работать спорѣе, чѣмъ руками.

Удивился Иванъ.

— Ну? говоритъ: не даромъ насъ дураками зовутъ!

И сталъ старый дьяволъ говорить:

— Только не легко, говоритъ, и головой работать.—Вы вотъ мнѣ ѣсть не даете оттого, что у меня нѣтъ мозолей на рукахъ, а того не знаете, что головой во сто разъ труднѣе работать. Другой разъ и голова трещитъ.

Задумался Иванъ.

— Зачѣмъ же, говоритъ, сердечный, такъ себя мучаешь? Развѣ легко, какъ голова затрещитъ? Ты бы ужъ лучше легкую дѣлалъ работу — руками да горбомъ.

А дьяволъ говоритъ:

— Затѣмъ я себя такъ мучаю, что я васъ, дураковъ, жалѣю. Кабы я себя не мучилъ, вы бы вѣкъ дураками были. А я головой поработалъ, теперь и васъ научу.

Подивился Иванъ:

— Научи, говоритъ, а то другой разъ руки уморятся, такъ ихъ головой перемѣнить.

И обѣщался дьяволъ научить.

И повѣстилъ Иванъ всему царству, что проявился господинъ чистый и будетъ всѣхъ учить, какъ головой работать, и что головой можно выработать больше, чѣмъ руками,—чтобъ приходили учиться.

Была въ Ивановомъ царствѣ каланча высокая построена, и на нее лѣстница прямая, а наверху — вышка. И свелъ Иванъ туда господина, чтобы ему на виду быть.

Сталъ господинъ на каланчу и началъ оттуда говорить. А дураки собрались смотрѣть. Дураки думали, что господинъ станетъ на дѣлѣ показывать, какъ безъ рукъ головой работать. А старый дьяволъ только на словахъ училъ, какъ, не работамши, прожить можно.

Не поняли ничего дураки. Посмотрѣли, посмотрѣли и разошлись по своимъ дѣламъ.

Простоялъ старый дьяволъ день на каланчѣ, простоялъ другой — все говорилъ. Захотѣлось ему ѣсть. А дураки и не догадались ему на каланчу хлѣбца принесть. Они думали, что если онъ головой можетъ лучше рукъ работать, такъ хлѣба-то себѣ шутя головой добудетъ. Простоялъ и другой день старый дьяволъ на вышкѣ, все говорилъ. А народъ подойдетъ, посмотритъ-посмотритъ и разойдется.

Спрашиваетъ Иванъ:

— Ну, что, господинъ началъ ли головой работать?

— Нѣтъ еще, говорятъ, все лопочетъ.

Простоялъ еще день старый дьяволъ на вышкѣ и сталъ слабѣть.—Пошатнулся разъ и стукнулся головой объ столбъ. Увидалъ одинъ дуракъ, сказалъ Ивановой женѣ, а Иванова жена прибѣжала къ мужу на пашню.

— Пойдемъ, говоритъ, смотрѣть: говорятъ, господинъ зачинаетъ головой работать.—Подивился Иванъ.

— Ну? — говоритъ. Завернулъ лошадь, пошелъ къ каланчѣ. Приходитъ къ каланчѣ, а старый дьяволъ ужъ вовсе съ голоду ослабѣлъ, сталъ пошатываться, головой объ столбы постукивать. Только подошелъ Иванъ, спотыкнулся дьяволъ, упалъ и загремѣлъ подъ лѣстницу торчмя головой,—всѣ ступеньки пересчиталъ.

— Ну, говоритъ Иванъ,—правду сказалъ господинъ чистый, что другой разъ и голова затрещитъ, это не то, что мозоли; отъ такой работы желваки на головѣ будутъ.—Свалился старый дьяволъ подъ лѣстницу и уткнулся головой въ землю. Хотѣлъ Иванъ подойти посмотрѣть, много ли онъ наработалъ—вдругъ разступилась земля, и провалился старый дьяволъ сквозь землю,—только дыра осталась.

Почесался Иванъ.

— Ишь ты, говоритъ, пакость какая! Это опять онъ. Должно, батька тѣмъ,— здоровый какой!

Живетъ Иванъ и до сихъ поръ, и народъ весь валитъ въ его царство, и братья пришли къ нему, и ихъ онъ кормитъ. Кто придетъ — скажетъ: «корми насъ».—«Ну, что жъ, говоритъ, живите, у насъ всего много». Только одинъ обычай у него и есть въ царствѣ: у кого мозоли на рукахъ — полѣзай за столъ, а у кого нѣтъ — тому объѣдки.

1885 г.

# ПЛОДЫ ПРОСВѢЩЕНІЯ.

## КОМЕДІЯ ВЪ 4-хъ ДѢЙСТВІЯХЪ.

---

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

**Леонидъ Ѳедоровичъ Звѣздинцевъ**, отставной поручикъ конной гвардіи, владѣтель 24 тысячъ десятинъ въ разныхъ губерніяхъ. Свѣжій мужчина, около 60 лѣтъ, мягкій, пріятный джентльменъ. Вѣритъ въ спиритизмъ и любитъ удивлять другихъ своими разсказами.

**Анна Павловна Звѣздинцева**, его жена, полная, молодящаяся дама, озабоченная свѣтскими приличіями, презирающая своего мужа и слѣпо вѣрящая доктору. Дама раздражительная.

**Бетси**, ихъ дочь, свѣтская дѣвица, лѣтъ 20-ти, съ распущенными манерами, подражающими мужскимъ, въ pince-nez. Кокетка и хохотунья. Говоритъ очень быстро и очень отчетливо, поджимая губы, какъ иностранка.

**Василій Леонидычъ**, ихъ сынъ, 25-ти лѣтъ, кандидатъ юридическихъ наукъ, безъ опредѣленныхъ занятій, членъ общества велосипедистовъ, общества конскихъ ристалищъ и общества поощренія борзыхъ собакъ. Молодой человѣкъ, пользующійся прекраснымъ здоровьемъ и несокрушимой самоувѣренностью. Говоритъ громко и отрывисто. Либо вполнѣ серьезенъ, почти мраченъ, либо шумно-веселъ и хохочетъ громко.

**Алексѣй Владимировичъ Кругосвѣтловъ, профессоръ.** Ученый, лѣтъ 50-ти, съ спокойными, пріятно самоувѣренными манерами и такою же медлительною, пѣвучею рѣчью. Охотно говоритъ. Къ несоглашающимся съ собой относится кротко-презрительно. Много куритъ. Худой, подвижной человѣкъ.

**Докторъ**, лѣтъ 40, здоровый, толстый, красный человѣкъ. Громогласенъ и грубъ. Постоянно самодовольно посмѣивается.

**Марья Константиновна**, дѣвица лѣтъ 20-ти, воспитанница консерваторіи, учительница музыки, съ махрами на лбу, въ преувеличенно - модномъ туалетѣ, заискивающая и конфузящаяся.

**Петрищевъ**, лѣтъ 28, кандидатъ филологическихъ наукъ, ищущій дѣятельности, членъ тѣхъ же обществъ, какъ и Василій Леонидычъ, и, кромѣ того, общества устройства ситцевыхъ и коленкоровыхъ баловъ. Плѣшивый, быстрый въ движеніяхъ и рѣчи и очень учтивый.

**Графиня**, древняя дама, насилу движущаяся, съ фальшивыми буклями и зубами.

**Гросманъ**, брюнетъ еврейскаго типа, очень подвижный, нервный, говоритъ очень громко.

**Толстая барыня, Марья Васильевна Толбухина**, очень важная, богатая и добродушная дама, знакомая со всѣми замѣчательными людьми, прежними и теперешними. Очень толстая, говоритъ поспѣшно, стараясь переговорить другихъ. Куритъ.

**Баронъ Клингенъ** (Коко), кандидатъ Петербургск. университета, камеръ-юнкеръ, служащій при посольствѣ. Вполнѣ correct и потому спокоенъ душою и тихо веселъ.

**Сахатовъ**, Сергѣй Ивановичъ, лѣтъ 50-ти, бывшій товарищъ министра, элегантный господинъ, широкаго европейскаго образованія, ничѣмъ не занятъ и всѣмъ интересуется. Держитъ себя достойно и даже нѣсколько строго.

**Ѳедоръ Иванычъ**, камердинеръ, лѣтъ подъ 60-тъ. Образованный и любящій образованіе человѣкъ, злоупотребляющій употребленіемъ pince-nez и носового платка, который медленно развертываетъ. Слѣдитъ за политикой. Человѣкъ умный и добрый.

**Григорій**, лакей лѣтъ 28, красавецъ собой, развратный, завистливый и смѣлый.

**Яковъ**, лѣтъ 40, буфетчикъ, суетливый, добродушный, живущій только деревенскими семейными интересами.

**Семенъ**, буфетный мужикъ, лѣтъ 20. Здоровый, свѣжій деревенскій малый, бѣлокурый, безъ бороды еще, спокойный, улыбающійся.

**Швейцаръ**, отставной солдатъ.

**Таня**, горничная, лѣтъ 19-ти, энергическая, сильная, веселая и быстро измѣняющая настроеніе дѣвушка. Въ минуты сильнаго возбужденія радости взвизгиваетъ.

**1-й мужикъ**, лѣтъ 60-ти, ходилъ старшиной, полагаетъ, что знаетъ обхожденіе съ господами, и любитъ себя послушать.

**2-й мужикъ**, лѣтъ 45, хозяинъ, грубый и правдивый, не любитъ говорить лишняго. Отецъ Семена.

**3-й мужикъ**, лѣтъ 70-ти, въ лаптяхъ, нервный, безпокойный, торопится, робѣетъ и разговоромъ заглушаетъ свою робость.

**1-й выѣздной лакей** графини. Старикъ стараго завѣта, съ лакейской гордостью.

**2-й выѣздной лакей**, огромный, здоровый, грубый.

**Артельщикъ** изъ магазина. Въ синей поддевкѣ, съ чистымъ румянымъ лицомъ. Говоритъ твердо, внушительно и ясно.

*Дѣйствіе происходитъ въ столицѣ, въ домѣ Звѣздинцевыхъ.*

---

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ переднюю богатаго дома въ Москвѣ. Три двери: наружныя, въ кабинетъ Леонида Ѳедоровича и въ комнату Василья Леонидыча. Лѣстница на верхъ, во внутренніе покои; сзади нея проходъ въ буфетъ.

### ЯВЛЕНІЕ I.

**Григорій** (*молодой и красивый лакей, глядится въ зеркало и прихорашивается*).

Григорій. А жаль усовъ! Не годится, говоритъ, лакею усы! А отчего? Чтобы видно было, что ты лакей. А то какъ бы не превзошелъ сынка ея любезнаго. И есть кого! Хоть и безъ усовъ, а далеко ему... (*Вглядывается съ улыбкой.*) И сколько ихъ за мной волочатся? Только никто вотъ не нравится, какъ Таня эта! Простая горничная! Н-да! А вотъ лучше барышни. (*Улыбается.*) Да и мила! (*Прислушивается.*) Вотъ, она и есть! (*Улыбается.*) Вишь постукиваетъ каблучками... в-ва!..

### ЯВЛЕНІЕ II.

**Григорій и Таня** (*съ шубкой и ботинками*).

Григорій. Татьянѣ Марковнѣ мое почтеніе!

Таня. Что, смотритесь все? Думаете, очень изъ себя хороши?

Григ. А что, непріятенъ?

Таня. Такъ, ни пріятенъ ни непріятенъ, а середка на половину. Что же это у васъ шубы-то понавѣшаны?

Григ. Сейчасъ, сударыня, уберу. (*Снимаетъ шубу и накрываетъ ею Таню, обнимая ее.*) Таня, что я тебѣ скажу...

Таня. Ну васъ совсѣмъ! И къ чему это пристало! (*Сердито вырывается.*) Говорю же, оставьте!

Григ. (*оглядывается*). Поцѣлуйте же.

Таня. Да что вы въ самомъ дѣлѣ пристали? Я васъ такъ поцѣлую!.. (*Замахивается*).

Василій Леон. *(за сценой слышенъ звонокъ и потомъ крикъ).* Григорій!

Таня. Вонъ, идите. Василій Леонидычъ зоветъ.

Григ. Подождетъ; онъ только глаза продралъ. Слушай-ка, отчего не любишь?

Таня. И какія такія любови выдумали! Я никого не люблю.

Григ. Неправда, Семку любишь. И нашла же кого, буфетнаго мужика сиволапаго!

Таня. Ну, какой ни-на-есть, да вотъ вамъ завидно.

Василій Леон. *(за сценой).* Григорій!

Григ. Поспѣешь!.. Есть чему завидовать! Вѣдь ты только начала образовываться и съ кѣмъ связываешься? То ли дѣло меня бы полюбила... Таня...

Таня *(сердито и строго).* Говорю, не будетъ вамъ ничего.

Васил. Леон. *(за сценой).* Григорій!!

Григ. Ужъ очень строго себя ведете.

Васил. Леон. *(за сценой, упорно, ровно, во всю мочь кричитъ).* Григорій! Григорій! Григорій! *(Таня и Григорій смѣются.)*

Григ. Меня вѣдь какія любили! *(Звонокъ.)*

Таня. Ну, и идите къ нимъ, а меня оставьте.

Григ. Глупая ты, посмотрю. Вѣдь я не Семенъ.

Таня. Семенъ жениться хочетъ, а не глупости.

ЯВЛЕНІЕ III.

**Григорій, Таня и артельщикъ** *(несетъ большой картонъ съ платьемъ).*

Артел. Съ добрымъ утромъ!

Григ. Здравствуйте. Отъ кого?

Артел. Отъ Бурде, съ платьемъ, да вотъ записка барынѣ.

Таня *(беретъ записку).* Посидите тутъ, я подамъ. *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНІЕ IV.

**Григорій, артельщикъ и Василій Леонидычъ.** *(высовывается изъ двери въ рубашкѣ и туфляхъ).*

Вас. Леон. Григорій!

Григ. Сейчасъ.

Вас. Леон. Григорій! Развѣ не слышишь?

Григ. Я только пришелъ.

Вас. Леон. Воды теплой и чаю.

Григ. Сейчасъ Семенъ принесетъ.

Вас. Леон. А это что? Отъ Бурде?

Артел. Такъ точно-съ. *(Василій Леонидычъ и Григорій уходятъ.— Звонокъ.)*

ЯВЛЕНІЕ V.

**Артельщикъ и Таня** *(вбѣгаетъ на звонокъ и отворяетъ дверь).*

Таня *(артельщику).* Подождите.

Артел. И такъ дожидаюсь.

ЯВЛЕНІЕ VI.

**Артельщикъ, Таня и Сахатовъ** *(входитъ въ дверь).*

Таня. Извините, сейчасъ вышелъ лакей. Да вы пожалуйте. Позвольте! *(Снимаетъ шубу.)*

Сахат. *(оправляясь).* Дома Леонидъ Ѳедоровичъ? Встали? *(Звонокъ.)*

Таня. Какъ же, давно ужъ.

ЯВЛЕНІЕ VII.

**Артельщикъ, Таня и Сахатовъ.** *Входитъ* **докторъ.**

Докт. *(ищетъ лакея. Увидавъ Сахатова, съ развязностью).* А! мое почтеніе!

Сахат. *(пристально вглядывается).* Докторъ, кажется?

Докт. А я думалъ, что вы за границей. Къ Леониду Ѳедоровичу?

Сахат. Да. А вы что же? Боленъ, развѣ, кто?

Докт. *(посмѣиваясь).* Не то, чтобы боленъ, а знаете, съ этими барынями бѣда! До трехъ часовъ каждый день сидитъ за винтомъ, а сама тянется въ рюмку. А барыня сырая, толстая, да и годочковъ то не мало.

Сахат. Вы такъ и Аннѣ Павловнѣ высказываете вашъ діагнозъ? Ей не нравится, я думаю.

Докт. *(смѣясь).* Что же, правда. Всѣ эти штуки продѣлываютъ, а потомъ разстройство пищеварительныхъ органовъ, давленіе на печень, нервы,—ну, и пошла писать, а ты ее подправляй. Бѣда съ ними! *(Посмѣивается).* А вы что? Вы, кажется, спиритъ тоже?

Сахат. Я? Нѣтъ, я не спиритъ тоже... Ну, мое почтеніе! *(Хочетъ итти, но докторъ останавливаетъ.)*

Докт. Нѣтъ, вѣдь я тоже не отрицаю вполнѣ, когда такой человѣкъ, какъ Кругосвѣтловъ, принимаетъ участіе. Нельзя же! Профессоръ, европейская извѣстность. Что-нибудь да есть. Хотѣлось какъ-нибудь посмотрѣть, да все некогда, другое дѣло есть.

Сахат. Да, да. Мое почтеніе. *(Уходитъ съ легкимъ поклономъ.)*

Докт. *(Танѣ).* Встали?

Таня. Въ спальнѣ. Да вы пожалуйте. *(Сахатовъ и докторъ расходятся въ разныя стороны.)*

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

**Артельщикъ, Таня и Ѳедоръ Иванычъ** *(входитъ съ газетой въ рукахъ).*

Ѳед. Ив. *(къ артельщику).* Вы что?

Артел. Отъ Бурде съ платьемъ да съ запиской. Велѣли подождать.

Ѳед. Ив. А, отъ Бурде! *(Къ Танѣ).* Кто это прошелъ?

Таня. Сахатовъ, Сергѣй Иванычъ, и еще докторъ. Они тутъ постояли, поговорили. Все о спиритичествѣ.

Ѳед. Ив. *(поправляя).* Объ спиритизмѣ.

Таня. Да и я говорю объ спиритичествѣ. А вы слышали, Ѳедоръ Иванычъ, какъ прошлый разъ удалось хорошо? *(Смѣется).* И стучало, и вещи перелетали.

Ѳед. Ив. А ты почемъ знаешь?

Таня. А Лизавета Леонидовна сказывали.

## ЯВЛЕНІЕ IX.

**Таня, Ѳедоръ Иванычъ, артельщикъ и Яковъ буфетчикъ** *(бѣжитъ съ стаканомъ чаю).*

Яковъ *(къ артельщику).* Здравствуйте!

Артел. *(грустно).* Здравствуйте.

*(Яковъ стучитъ въ дверь къ Василью Леонидычу.)*

## ЯВЛЕНІЕ X.

**Тѣ же и Григорій.**

Григ. Давай.

Яковъ. А стаканы вчерашніе все не принесли да и подносъ отъ Василья Леонидыча. Вѣдь съ меня спросятъ.

Григ. Подносъ занятъ у него съ сигарками.

Яковъ. Такъ вы переложите. Вѣдь съ меня взыскиваютъ.

Григ. Принесу, принесу!

Яковъ. Вы говорите принесу, а его нѣтъ. Намедни хватились, а подавать не на чемъ.

Григ. Да принесу, говорю. Эка суета!

Яковъ. Вамъ хорошо такъ говорить, а я вотъ третій чай подавай да завтракать собирай. Треплешься, треплешься день денской. Есть ли у кого въ домѣ больше моего дѣла? А все нехорошъ!

Григ. Да ужъ чего лучше? Вишь, какъ хорошъ!

Таня. Вамъ всѣ нехороши, только вы одинъ...

Григ. *(къ Танѣ).* Тебя не спросили! *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XI.

**Таня, Яковъ, Ѳедоръ Иванычъ и артельщикъ.**

Яковъ. Да что, я не обижаюсь... Татьяна Марковна, барыня не говорила ничего про вчерашнее?

Таня. Это объ лампѣ-то?

Яковъ. И какъ это она вырвалась изъ рукъ, Богъ ее знаетъ. Только сталъ обтирать, хотѣлъ перехватить, — вышмыгнула какъ-то... Въ мелкіе кусочки! Все мое несчастіе! Ему хорошо, Григорію-то Михайлычу, говорить, какъ онъ одинъ голо-ловой, а вотъ какъ семья? Вѣдь тоже надо обдумать да прокормить. Я на труды не смотрю... Такъ ничего не говорила? Ну, и слава Богу!.. А ложечки у васъ, Ѳедоръ Иванычъ, одна или двѣ?

Ѳед. Ив. Одна, одна. *(Читаетъ газету.)*

*(Яковъ уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XII.

**Таня, Өедоръ Иванычъ и артельщикъ.** *Слышенъ звонокъ. Входятъ* **Григорій** *съ подносомъ* **и швейцаръ.**

Швейц. *(Григорію).* Доложите барину, мужики изъ деревни.

Григ. *(указывая на Өедора Иваныча).* Дворецкому доложи, а мнѣ некогда. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XIII.

**Таня, Өедоръ Иванычъ, швейцаръ и артельщикъ.**

Таня. Откуда мужики?

Швейц. Изъ Курской, кажется.

Таня *(взвизгиваетъ).* Они... Это Семеновъ отецъ о землѣ. Пойду — встрѣчу. *(Бѣжитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XIV.

**Өедоръ Иванычъ, швейцаръ и артельщикъ.**

Швейц. Такъ какъ скажете: пустить ихъ сюда или какъ? Они говорятъ—объ землѣ, баринъ знаетъ.

Өед. Ив. Да, о покупкѣ земли. Такъ, такъ. Гость у него теперь. Ты вотъ что: скажи, чтобъ подождали.

Швейц. Гдѣ жъ ждать?

Өед. Ив. Пусть на дворѣ подождутъ; я тогда вышлю. *(Швейцаръ уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XV.

**Өедоръ Иванычъ, Таня,** *за ней* **три мужика, Григорій и артельщикъ.**

Таня. Направо. Сюда, сюда!

Өед. Ив. Я не велѣлъ пускать было сюда.

Григ. То-то, егоза!

Таня. Да ничего, Өедоръ Иванычъ, они тутъ съ краюшка.

Өед. Ив. Натопчутъ.

Таня. Они ноги обтерли, да я и подотру. *(Мужикамъ).* Вотъ тутъ и станьте. *(Мужики входятъ, несутъ гостинцы въ платкахъ: куличъ, яйца, полотенца, ищутъ, на что креститься. Крестятся на лѣстницу, кланяются Өедору Иванычу и становятся твердо.)*

Григ. *(Өедору Иванычу).* Өедоръ Иванычъ! вотъ говорили, отъ Пироне фасонисты щиблетки, ужъ это чего лучше у энтаго-то? *(Показываетъ на третьяго мужика въ чуняхъ.)*

Өед. Ив. Все вамъ только пересмѣивать людей! *(Григорій уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XVI.

**Таня, Өедоръ Иванычъ** *и* **три мужика.**

Өед. Ив. *(встаетъ и подходитъ къ мужикамъ).* Такъ вы самые курскіе. о покупкѣ земли?

1-й муж. Такъ точно. Происходитъ, примѣрно, насчетъ свершенія продажи земли мы. Доложить бы какъ?

Өед. Ив. Да, да, знаю, знаю. Подождите здѣсь, я сейчасъ доложу. *(Уходитъ).*

## ЯВЛЕНІЕ XVII.

**Таня** *и* **три мужика. Василій Леонидычъ** *(за сценой). Мужики оглядываются, не знаютъ, куда дѣть гостинцы.*

1-й муж. Какъ же, значитъ, это, не знаю, какъ назвать, на чемъ бы подать? Хворменно, чтобъ предметъ исдѣлать. Блюдце бы, что ли?

Таня. Сейчасъ, сейчасъ. Давайте сюда: покамѣстъ вотъ такъ. *(Ставитъ на диванчикъ.)*

1-й муж. Это какого званія, примѣрно, почтенный подходилъ-то къ намъ?

Таня. Это камердинъ.

1-й муж. Прямое дѣло, камардинъ. Въ распоряженіи, значитъ, тоже. *(Къ Танѣ.)* А вы, примѣрно, тоже при услуженіи будете?

Таня. Въ горничныхъ я. Вѣдь я тоже Деменская. Я вѣдь васъ знаю, и васъ знаю, только энтого дяденьку не знаю. *(Указываетъ на третьяго мужика.)*

3-й муж. Тѣхъ вознала, а меня не вознала?

Таня. Вы Ефимъ Антонычъ?

1-й муж. Двистительно.

Таня. А вы Семеновъ родитель, Захаръ Трифонычъ?

2-й муж. Вѣрно!

3-й муж. А я, скажемъ, Митрій Чиликинъ. Вознала теперь?

Таня. Теперь и васъ знать будемъ.

2-й муж. Ты чья жъ будешь?

Таня. А Аксиньи солдатки, сирота.

1-й и 3-й мужики *(съ удивленіемъ.)* Ну-у?!

2-й муж. Не даромъ говорится: дай за поросенка грошъ, посади въ рожь, онъ и будетъ хорошъ.

1-й муж. Двистительно. Сходственно, въ родѣ какъ мамзель.

3-й муж. Это какъ есть. О Господи!

Вас. Леон. *(за сценой звонитъ, а потомъ кричитъ).* Григорій! Григорій!

1-й муж. Кто жъ это такъ очень себя безпокоитъ, примѣрно?

Таня. Молодой баринъ это.

3-й муж. О Господи! Сказывалъ, покачто, лучше бы наружу подождали. *(Молчаніе.)*

2-й муж. Тебя-то Семенъ замужъ беретъ?

Таня. А развѣ онъ писалъ? *(Закрывается фартукомъ.)*

2-й муж. Стало, писалъ! Да не дѣло задумалъ. Избаловался, вижу, малый.

Таня *(живо).* Нѣтъ, онъ ничего не избаловался. Послать его вамъ?

2-й муж. Чего посылать-то. Дай срокъ. Успѣемъ! *(Слышны отчаянные крики* Василья Леонидыча: Григорій! Чортъ тебя возьми!)

## ЯВЛЕНІЕ XVIII.

**Тѣ же.** *И изъ двери* **Василій Леонидычъ** *(въ рубашкѣ, надѣваетъ pince-nez).*

Вас. Леон. Вымерли всѣ?

Таня. Нѣтъ его, Василій Леонидычъ... Сейчасъ я пошлю. *(Направляется къ двери).*

Вас Леон. Вѣдь я слышу, что разговариваютъ. Это что за чучелы явились? А, что?

Таня. Это мужички изъ курской деревни, Василій Леонидычъ.

Вас. Леон. *(на артельщика).* А это кто? А, да, отъ Бурдье! *(Мужики кланяются.)*

*(Василій Леонидычъ не обращаетъ на нихъ вниманія; Григорій встрѣчается съ Таней въ дверяхъ; Таня остается).*

## ЯВЛЕНІЕ XIX.

**Тѣ же** *и* **Григорій.**

Вас. Леон. Я тебѣ говорилъ, — тѣ ботинки. Не могу я эти носить!

Григ. Да и тѣ тамъ же стоятъ.

Вас. Леон. Да гдѣ же тамъ?

Григ. Да тамъ же.

Вас. Леон. Врешь!

Григ. Да вотъ увидите. *(Василій Леонидычъ и Григорій уходятъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XX.

**Таня, три мужика** *и* **артельщикъ.**

3-й муж. А може, скажемъ, не время теперь, пошли бы на фатеру, обождали бы пока-что.

Таня. Нѣтъ, ничего, подождите. Вотъ я вамъ сейчасъ тарелки для гостинцевъ принесу. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXI.

**Тѣ же, Сахатовъ, Леонидъ Ѳедоровичъ** *и за ними* **Ѳедоръ Иванычъ.**

*(Мужики берутъ гостинцы и становятся въ позы).*

Леон. Ѳед. *(Мужикамъ).* Сейчасъ, сейчасъ, подождите. *(На артельщика).* А это кто?

Артельщ. Отъ Бурде.

Леон. Ѳед. А, отъ Бурдье!

Сах. *(улыбаясь).* Да я не отрицаю; но согласитесь, что, не видавъ всего того, что вы говорите, нашему брату, непосвященному, трудно вѣрить.

Леон. Ѳед. Вы говорите: я не могу вѣрить. Но мы и не требуемъ вѣры. Мы требуемъ изслѣдованія. Вѣдь не могу же я вѣрить этому кольцу. А кольцо получено мною оттуда.

Сах. Какъ *оттуда?* Откуда?

Леон. Ѳед. Изъ того міра. Да.

Сах. *(улыбаясь).* Очень интересно, очень интересно!

Леон. Ѳед. Но, положимъ, вы думаете, что я увлекающійся человѣкъ, воображающій себѣ то, чего нѣтъ, но вѣдь вотъ Алексѣй Владимировичъ Кругосвѣтловъ, кажется, не кто-нибудь, а профессоръ, и вотъ признаетъ то же. Да не онъ одинъ. А Круксъ? А Валласъ?

Сах. Да вѣдь я не отрицаю. Я говорю только, что это очень интересно. Интересно знать, какъ Кругосвѣтловъ объясняетъ?

Леон. Ѳед. У него своя теорія! Да вотъ пріѣзжайте нынче вечеромъ; онъ будетъ непремѣнно. Сначала Гросманъ будетъ... знаете, извѣстный угадыватель мыслей.

Сах. Да, я слышалъ, но ни разу не случалось видѣть.

Леон. Ѳед. Ну, такъ пріѣзжайте. Сначала Гросманъ, а потомъ Капчичъ, и нашъ сеансъ медіумическій... *(Ѳедору Иванычу.)* Не вернулся посланный отъ Капчича?

Ѳед. Иван. Нѣтъ еще.

Сах. Такъ какъ же бы мнѣ узнать?

Леон. Ѳед. Да вы пріѣзжайте, все равно — пріѣзжайте. Если Капчича и не будетъ, мы найдемъ своего медіума. Марья Игнатьевна — медіумъ; не такой сильный, какъ Капчичъ, но все-таки...

## ЯВЛЕНІЕ XXII.

**Тѣ же** *и* **Таня** *(входитъ съ тарелками для гостинцевъ. Прислушивается къ разговору).*

Сах. *(улыбаясь).* Да, да. Но только вотъ обстоятельство: почему медіумы всегда изъ такъ называемаго образованнаго круга? И Капчичъ и Марья Игнатьевна. Вѣдь если это особенная сила, то она должна бы встрѣчаться вездѣ въ народѣ, въ мужикахъ.

Леон. Ѳед. Такъ и бываетъ. Такъ часто бываетъ, что у насъ въ домѣ одинъ мужикъ, и тотъ оказался медіумомъ. Надняхъ мы позвали его во время сеанса. Нужно было передвинуть диванъ — и забыли про него. Онъ, вѣроятно, и заснулъ. И представьте себѣ, нашъ сеансъ ужъ кончился, Капчичъ проснулся, и вдругъ мы замѣчаемъ, что въ другомъ углу комнаты около мужика начинаются медіумическія явленія: столъ двинулся и пошелъ.

Таня *(въ сторону).* Это когда я изъ-подъ стола лѣзла.

Леон. Ѳед. Очевидно, что онъ тоже медіумъ. Тѣмъ болѣе, что онъ лицомъ очень похожъ на Юма... Вы помните Юма? — бѣлокурый, наивный.

Сах. *(пожимая плечами).* Вотъ какъ! Это очень интересно! Такъ вотъ вы его бы и испытали.

Леон. Ѳед. И испытаемъ. Да и не онъ одинъ. Медіумовъ бездна. Мы только не знаемъ ихъ. Вотъ на-дняхъ больная старушка передвинула каменную стѣну.

Сах. Передвинула каменную стѣну?

Леон. Ѳед. Да, да, лежала въ постели и совсѣмъ не знала, что она медіумъ. Уперлась рукой о стѣну, а стѣна и отодвинулась.

Сах. И не завалилась?

Леон. Ѳед. И не завалилась.

Сах. Странно! Ну, такъ я пріѣду вечеромъ.

Леон. Ѳед. Пріѣзжайте, пріѣзжайте! Сеансъ будетъ во всякомъ случаѣ.

*(Сахатовъ одѣвается. Леонидъ Ѳедоровичъ провожаетъ его.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXIII.

**Тѣ же, безъ Сахатова.**

Артел. *(Танѣ).* Доложите же барынѣ! Что же, мнѣ ночевать, что ли?

Таня. Подождите. Онѣ ѣдутъ съ барышней, такъ скоро сами выйдутъ. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXIV.

**Тѣ же, безъ Тани.**

Леон. Ѳед. *(подходитъ къ мужикамъ, тѣ кланяются и подаютъ гостинцы).* Не надо это!

1-й муж. *(улыбаясь).* Да ужъ это первымъ долгомъ происходитъ. Какъ и міръ намъ предлегалъ.

2-й муж. Ужъ это какъ водится.

3-й муж. И не толкуй! Потому, какъ мы много довольны... Какъ родители наши, скажемъ, вашимъ родителямъ, скажемъ, служили, такъ и мы желаемъ отъ души, а не то, чтобы какъ... *(Кланяется.)*

Леон. Ѳед. Да что вы? Чего вы именно желаете?

1-й муж. Къ вашей милости, значитъ.

## ЯВЛЕНІЕ XXV.

**Тѣ же** *и* **Петрищевъ** *(быстро вбѣгаетъ въ шинели).*

Петрищ. Василій Леонидычъ проснулся? *(Увидавъ Леонида Ѳедоровича, кланяется ему одной головой).*

Леон. Ѳед. Вы къ сыну?

Петрищ. Я? — Да, я на минутку къ Вово.

Леон. Ѳед. Пройдите, пройдите.

*(Петрищевъ снимаетъ шинель и скоро идетъ).*

## ЯВЛЕНІЕ XXVI.

**Тѣ же,** *безъ* **Петрищева.**

Леон. Ѳед. *(къ мужикамъ).* Да-съ. Ну, такъ вы что жъ?

2-й муж. Прими гостинцы-то.

1-й муж. *(улыбаясь).* Значитъ, деревенскія предложенія.

3-й муж. И не толкуй,—что тамъ! Мы желаемъ, какъ отцу родному. И не толкуй.

Леон. Ѳед. Ну, что жъ... Ѳедоръ, прими.

Ѳед. Иван. Ну, давайте сюда. *(Беретъ гостинцы.)*

Леон. Ѳед. Такъ въ чемъ же дѣло?

1-й муж. Да къ вашей милости мы.

Леон. Ѳед. Вижу, что ко мнѣ; да чего же вы желаете?

1-й муж. А насчетъ совершенія продажи земли движеніе исдѣлать. Происходитъ...

Леон. Ѳед. Что же, вы покупаете землю, что ли?

1-й муж. Двистительно, это какъ есть. Происходитъ... значитъ, насчетъ покупки собственной земли. Такъ міръ насъ, примѣрно, и вполномочилъ, чтобы взойтить, значитъ, какъ полагается, черезъ государственную банку съ приложеніемъ марки узаконеннаго числа.

Леон. Ѳед. То-есть, вы желаете купить землю черезъ посредство банка, — такъ, что ли?

1-й муж. Это какъ есть, какъ лѣтось вы намъ предлогъ исдѣлали. Происходитъ, значитъ, всей суммы полностью 32.864 р. въ покупки собственной земли.

Леон. Ѳед. Это такъ, но какъ же приплату?

1-й муж. А приплату предлегаетъ міръ, чтобъ, какъ лѣтось говорено, разсрочитъ, значитъ, въ полученіи въ наличностяхъ, по законамъ положеній 4.000 рублей полностью.

2-й муж. Четыре тысячи получи денежки теперь, значитъ, а остальныя чтобъ обождать.

3-й муж. *(пока развертываетъ деньги).* Ужъ это будь въ надеждѣ, себя заложимъ, а того не сдѣлаемъ, чтобъ какъ-нибудь, а скажемъ, какъ-никакъ, а чтобы, скажемъ, того... какъ должно.

Леон. Ѳед. Да вѣдь я писалъ вамъ, что я согласенъ только въ такомъ случаѣ, коли соберете всѣ деньги.

1-й муж. Это двистительно, пріятнѣе бы, да не въ возможностяхъ, значитъ.

Леон. Ѳед. Такъ что же дѣлать?

1-й муж. Міръ, примѣрно, на то упѣвалъ, что какъ лѣтось предлогъ исдѣлали въ отсрочкѣ платежа...

Леон. Ѳед. То было прошлаго года; тогда я соглашался, а теперь не могу...

2-й муж. Да какъ же такъ? Обнадежилъ,—мы и бумагу выправили и деньги собрали.

3-й муж. Помилосердствуй, отецъ. Земля наша малая, не то что скотину,— курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда. *(Кланяется.)* Не грѣши, отецъ! *(Кланяется.)*

Леон. Ѳед. Это, положимъ, правда, что прошлаго года я соглашался отсрочить, да тутъ вышло обстоятельство... Такъ что мнѣ теперь это неудобно.

2-й муж. Намъ безъ этой земли надо жизни рѣшиться.

1-й муж. Двистительно, безъ земли наше жительство должно ослабнуть и въ упадокъ произойти.

3-й муж. *(кланяется).* Отецъ! земля малая, не то что скотину,—куренка, скажемъ, и того выпустить некуда. Отецъ! помилосердствуй. Прими денежки, отецъ.

Леон. Ѳед. *(просматриваетъ пока бумагу).* Я понимаю, мнѣ самому хотѣлось бы вамъ сдѣлать доброе. Вы подождите. Я вамъ черезъ полчаса отвѣтъ дамъ... Ѳедоръ, скажи, чтобъ никого не принимать.

Ѳед. Иван. Очень хорошо. *(Леонидъ Ѳедоровичъ уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXVII.

**Тѣ же,** *безъ* **Леонида Ѳедоровича.** *(Мужики въ уныніи).*

2-й муж. Ишь ты дѣло-то! Всѣ, говоритъ, подавай. А гдѣ ихъ возьмешь?

1-й муж. Кабы лѣтось не обнадежилъ насъ. А то мы такъ упѣвали, двистительно, что какъ лѣтось говорено.

3-й муж. О Господи! Я, было, деньги раскуталъ. *(Завертываетъ деньги.)* Теперь что станемъ дѣлать?

Ѳед. Иван. Да у васъ въ чемъ дѣло состоитъ?

1-й муж. Дѣло у насъ, почтенный, зависитъ, примѣрно, вотъ въ чемъ: предлегалъ онъ намъ лѣтось разсрочить. Міръ на то и взошелъ мнѣніемъ, и насъ вполномочилъ; а таперь онъ, примѣрно, предлегаетъ, чтобы всю сумму полностью. А выходитъ дѣло никакъ неспособно.

Ѳед. Иван. Денегъ-то много ль?

1-й муж. Всей суммы въ поступленіи четыре тысячи рублей, значитъ.

Ѳед. Иван. Такъ что жъ? — Понатужьтесь, соберите еще.

1-й муж. И такъ натурно собирали. Пороху въ этихъ смыслахъ, господинъ, не хватаетъ.

2-й муж. Какъ ихъ нѣтъ, зубами не натянешь.

3-й муж. Мы бы всей душой, да, скажемъ, и такъ подъ метелочку и эти-то собрали.

## ЯВЛЕНІЕ XXVIII.

**Тѣ же, Василій Леонидычъ** *и* **Петрищевъ** *(въ дверяхъ оба съ папиросами).*

Вас. Леон. Да ужъ я сказалъ—буду стараться. Такъ буду стараться, что какъ только возможно. А, что?

Петрищ. Ты пойми, что если ты не достанешь, то это чортъ знаетъ какая гадость!

Вас. Леон. Да ужъ сказалъ — буду стараться и буду. А, что?

Петрищ. Да ничего. Я только говорю, что добудь непремѣнно. Я подожду. *(Уходитъ, запирая дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXIX.

**Тѣ же,** *безъ* **Петрищева.**

Вас. Леон. *(махая рукой).* Чортъ знаетъ, что такое. *(Мужики кланяются.)*

Вас. Леон. *(смотритъ на артельщика. Ѳедору Иванычу).* Что это вы этого отъ Бурдье не отпустите? Онъ ужъ совсѣмъ жить къ намъ переѣхалъ. Смотрите, онъ заснулъ. А, что?

Ѳед. Иван. Да подали записку... Велѣли подождать, когда Анна Павловна выйдутъ.

Вас. Леон. *(смотритъ на мужиковъ и воззривается на деньги).* А это что? Деньги? Это кому? Намъ деньги? *(Къ Ѳедору Иванычу.)* Это кто такіе?

Ѳед. Иван. Это крестьяне курскіе землю покупаютъ.

Вас. Леон. Что жъ, продали?

Ѳед. Иван. Да нѣтъ, не сошлись еще. Вотъ скупятся они.

Вас. Леон. А? Это надо ихъ уговорить. *(Къ мужикамъ).* Вы что жъ, покупаете? А?

1-й муж. Двистительно, мы предлегаемъ, чтобы какъ пріобрѣсть собственность владѣнія земли.

Вас. Леон. А вы не скупитесь. Вы знаете, я вамъ скажу, какъ земля мужичку нужна! А, что? Очень нужна!

1-й муж. Двистительно, земля мужику пристекаетъ первая статья. Это какъ есть.

Вас. Леон. Ну, вотъ, вы и не скупитесь. Вѣдь земля что? Можно, вѣдь, на ней пшеницу рядами, я вамъ скажу, посѣять. Триста пудовъ можно взять, по рублю за пудъ, триста рублей. А, что?.. А то мяту, такъ тысячу рублей, я вамъ скажу, можно съ десятины слупить!

1-й муж. Двистительно, это вполнѣ, всѣ продухты можно въ дѣйствіе произвесть, кто понятіе имѣетъ.

Вас. Леон. Такъ непремѣнно мяту. Вѣдь я учился про это. Это въ книгахъ напечатано. Я вамъ покажу. А, что?

1-й муж. Двистительно, что касающее вамъ по книгамъ виднѣе. Умственность, значитъ.

Вас. Леон. Такъ покупайте, не скупитесь, а давайте деньги. *(Ѳедору Иванычу.)* Папа гдѣ?

Ѳед. Иван. Дома. Они просили не безпокоить ихъ теперь.

Вас. Леон. Что жъ, вѣроятно, у духа спрашиваетъ — продать ли землю, или нѣтъ? А, что?

Ѳед. Иван. Этого не могу сказать. Знаю, что пошли въ нерѣшительности.

Вас. Леон. Какъ ты думаешь, Ѳедоръ Иванычъ, есть у него деньги? А, что?

Ѳед. Иван. Ужъ не знаю. Едва ли. А вамъ зачѣмъ? Вѣдь вы на прошлой недѣлѣ взяли кушъ не маленькій.

Вас. Леон. Да вѣдь я за собакъ отдалъ. Я теперь вѣдь ты знаешь: наше новое общество, и Петрищевъ выбранъ, а я бралъ у Петрищева деньги, а теперь надо внести за него и за себя. А, что?

Ѳед. Иван. Это какое ваше новое общество? Велосипедистовъ?

Вас. Леон. Нѣтъ, я тебѣ сейчасъ скажу: это новое общество. Очень, я тебѣ скажу, серьезное общество! И ты знаешь, кто предсѣдатель? А, что?

Ѳед. Иван. Въ чемъ же это новое общество?

Вас. Леон. Общество поощренія разведенія старинныхъ русскихъ густопсовыхъ собакъ. А, что? И я тебѣ скажу: нынче первое засѣданіе и завтракъ. А вотъ денегъ-то нѣтъ! Пойду къ нему, попытаюсь. *(Уходитъ въ дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXX.

**Мужики, Ѳедоръ Иванычъ** *и* **артельщикъ.**

1-й муж. *(Ѳедору Иванычу)*. Это кто же, почтенный, будетъ?

Ѳед. Иван. *(улыбаясь)*. Молодой баринъ.

3-й муж. Наслѣдникъ, скажемъ. О Господи! *(Прячетъ деньги.)* Прибрать, видно, пока-что.

1-й муж. А намъ сказывали, что военный, въ заслугѣ кавалеріи, примѣрно.

Ѳед. Иван. Нѣтъ; онъ, какъ единственный сынъ, уволенъ отъ воинской повинности.

3-й муж. Для прокорму, скажемъ, родителямъ оставленъ. Это правильно.

2-й муж. *(качаетъ головой)*. Этотъ прокормитъ, что и говорить!

3-й муж. О Господи!

## ЯВЛЕНІЕ XXXI.

**Ѳедоръ Иванычъ, три мужика, Василій Леонидычъ** *и за нимъ въ дверяхъ* **Леонидъ Ѳедоровичъ.**

Вас. Леон. Вотъ это всегда такъ. Право, удивительно. То говорятъ мнѣ, отчего я ничѣмъ не занятъ, а вотъ когда я нашелъ дѣятельность и занятъ, основалось общество серьезное, съ благородными цѣлями, тогда жалко какихъ-нибудь триста рублей!..

Леон. Ѳед. Сказалъ, что не могу и не могу. Нѣтъ у меня.

Вас. Леон. Да вѣдь вотъ продали землю.

Леон. Ѳед. Во-первыхъ, не продалъ, и главное — оставь меня въ покоѣ. Вѣдь тебѣ сказали, что мнѣ некогда. *(Захлопываетъ дверь).*

## ЯВЛЕНІЕ XXXII.

**Тѣ же,** *безъ* **Леонида Ѳедоровича.**

Ѳед. Иван. Я вамъ говорилъ, что теперь не время.

Вас. Леон. Вотъ, я вамъ скажу, положеніе, а? Пойду къ мама,—одно спасенье. А то сумасшествуетъ съ своимъ спиритизмомъ и всѣхъ забылъ. *(Идетъ наверхъ.)*

*(Ѳедоръ Иванычъ садится было за газету).*

## ЯВЛЕНІЕ XXXIII.

**Тѣ же.** *Сверху сходятъ* **Бетси** *и* **Марія Константиновна.** *За ними* **Григорій.**

Бетси. Карета готова?

Григ. Выѣзжаетъ.

Бетси. *(Марьѣ Константиновнѣ)*. Пойдемте, пойдемте! Я видѣла, что это онъ.

Мар. Конст. Кто онъ?

Бетси. Очень хорошо знаете, что Петрищевъ.

Мар. Конст. Такъ гдѣ же онъ?

Бетси. У Вово сидитъ. Вотъ увидите.

Мар. Конст. А вдругъ не онъ? *(Мужики и артельщикъ кланяются.)*

Бетси *(къ артельщику)*. А, вы отъ Бурдье, съ платьемъ?

Арт. Такъ точно. Прикажите отпустить.

Бетси. Да я не знаю. Это мама.

Арт. Не могу знать, кому. Намъ приказано снести и деньги получить.

Бетси. Ну такъ подождите.

Мар. Конст. Это все тотъ же костюмъ для шарады?

Бетси. Да, прелестный костюмъ. А мама не беретъ и не хочетъ платить.

Мар. Конст. Отчего же?

Бетси. А вотъ спросите у мама. Для Вово за собакъ заплатить 500 рублей не-

дорого, а платье 100 рублей дорого. А не могу же я играть чучелой! *(На мужиковъ).* А это кто такіе?

Григ. Мужики, землю покупаютъ какую-то.

Бетси. А я думала охотники. Вы не охотники?

1-й муж. Никакъ нѣтъ-съ, госпожа. Мы насчетъ свершенія продажи акта земли, къ Леониду Өедоровичу.

Бетси. Какъ же къ Вово должны были притти охотники? Да вы навѣрное не охотники? *(Мужики молчатъ.)* Какіе глупые! *(Подходитъ къ двери.)* Вово! *(Хохочетъ.)*

Мар. Конст. Да вѣдь мы его встрѣтили сейчасъ.

Бетси. Охота вамъ помнить!.. Вово, ты здѣсь?

## ЯВЛЕНІЕ XXXIV.

**Тѣ же *и* Петрищевъ.**

Петрищ. Вово нѣтъ, но я готовъ исполнить за него все, что потребуется. Здравствуйте! Здравствуйте, Марья Константиновна! *(Трясетъ руку сильно и долго Бетси, а потомъ Марьѣ Константиновнѣ.)*

2-й муж. Вишь, ровно воду накачиваетъ.

Бетси. Замѣнить не можете, но все-таки лучше, чѣмъ ничего. *(Хохочетъ.)* Какія это у васъ дѣла съ Вово?

Петрищ. Дѣла? Дѣла фи-нансовыя, то-есть они, дѣла наши—фи! и вмѣстѣ съ тѣмъ нансовыя, и кромѣ еще финансовыя.

Бетси. Что же значитъ нансовыя?

Петрищ. Вотъ вопросъ! Въ томъ-то и штука, что ничего не значитъ!

Бетси. Ну, это не вышло, совсѣмъ не вышло! *(Хохочутъ.)*

Петрищ. Нельзя вѣдь, чтобы всякій разъ выходило. Это въ родѣ аллегри. Аллегри, аллегри, а потомъ и выигрышъ. *(Өедоръ Иванычъ уходитъ въ кабинетъ Леонида Өедоровича; Бетси, Марья Константиновна и Петрищевъ уходятъ въ комнату Василія Леонидыча.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXXV.

**Григорій, три мужика *и* артельщикъ.**

1-й муж. Это чьи же?

Григ. Одна — барышня, а другая — мамзель, музыки учитъ.

1-й муж. Въ науку производитъ, значитъ. А какъ аккуратна. Настоящій патретъ.

2-й муж. Что же замужъ не выдаютъ? Года-то ужъ, небось, вышли?

Григ. Развѣ какъ у васъ, пятнадцати лѣтъ?

1-й муж. А мущинка-то тотъ, примѣрно, изъ музыканщиковъ?

Григ. *(передразнивая).* Изъ музыканщиковъ!.. Ничего-то вы не понимаете!

1-й муж. Это двиствительно, глупость наша, значитъ, не образованность.

3-й муж. О, Господи! *(Слышно пѣніе цыганскихъ пѣсенъ съ гитарой изъ комнаты Василія Леонидыча.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXXVI.

**Григорій, три мужика, артельщикъ, *входитъ* Семенъ *и вслѣдъ за нимъ* Таня.** *(Таня наблюдаетъ за встрѣчей отца съ сыномъ).*

Григ. *(къ Семену).* Ты чего?

Сем. Къ господину Капчичу посылали.

Григ. Ну, что?

Сем. На словахъ приказали сказать: нынче никакъ быть не могутъ.

Григ. Хорошо, я доложу. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXXVII.

**Тѣ же, *безъ* Григорія.**

Сем. *(отцу).* Здорово, батюшка! Дядѣ Ефиму, дядѣ Митрію—почтеніе! Дома здоровы ли?

2-й муж. Здорово, Семенъ.

1-й муж. Здорово, братецъ.

3-й муж. Здорово, малый. Живъ ли?

Сем. *(улыбаясь).* Что жъ, батюшка, пойдемъ, что ли, чайку попить?

2-й муж. Погоди, отдѣлаемся, — развѣ не видишь, недосугъ теперь?

Сем. Ну, ладно, я у крыльца ждать буду. *(Уходитъ.)*

Таня *(бѣжитъ за нимъ).* Ты что жъ ничего не сказалъ?

Сем. Какъ же теперь говорить при народѣ? Дай срокъ, пойдемъ чай пить, я и скажу. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXXVIII.

**Тѣ же,** *безъ* **Семена.**

Ѳедоръ Иванычъ *выходитъ и садится къ окну съ газетой.*

1-й муж. Ну, что жъ, почтенный, какъ дѣло наше происходитъ?

Ѳед. Иван. Погодите, сейчасъ выйдетъ, кончаетъ.

Таня *(къ Ѳедору Иван.)* А вы почемъ, Ѳедоръ Иванычъ, знаете, что кончаетъ?

Ѳед. Иван. А я знаю, когда онъ вопросы окончитъ, то онъ вслухъ перечитываетъ вопросъ и отвѣтъ.

Таня. Неужели жъ правда, что блюдечкомъ можно разговаривать съ духами?

Ѳед. Иван. Стало-быть, можно.

Таня. Ну, что жъ, они ему скажутъ подписать—онъ и подпишетъ?

Ѳед. Иван. А то какъ же?

Таня. Да вѣдь они словами не говорятъ?

Ѳед. Иван. Азбукой. Противъ какой буквы остановится, онъ и замѣчаетъ.

Таня. Ну, а если въ сіансѣ?..

## ЯВЛЕНІЕ XXXIX.

**Тѣ же** *и* **Леонидъ Ѳедоровичъ.**

Леон. Ѳед. Ну, друзья мои, не могу. Очень бы желалъ, но никакъ не могу. Если всѣ деньги, то другое дѣло.

1-й муж. Это двистительно, чего бъ лучше. Да маломоченъ народъ, никакъ невозможно.

Леон. Ѳед. Не могу, не могу никакъ. Вотъ и бумага ваша. Не могу подписать.

3-й муж. А ты пожалѣй, отецъ, помилосердствуй!

2-й муж. Что жъ такъ дѣлать? Обида это.

Леон. Ѳед. Обиды, братцы, нѣту. Я вамъ тогда лѣтомъ говорилъ: коли хотите, дѣлайте. Вы не захотѣли, а теперь мнѣ нельзя.

3-й муж. Отецъ, смилосердуйся! Какъ жить таперича? Земля малая, не то, что скотину, — курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда.

*(Леонидъ Ѳедоровичъ идетъ и останавливается въ дверяхъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XL.

**Тѣ же, барыня** *и* **докторъ** *сходятъ сверху. За ними* **Василій Леонидычъ,** *въ веселомъ настроеніи духа, укладываетъ деньги въ бумажникъ.*

Бар. *(затянутая, въ шляпкѣ).* Такъ принять?

Докт. Коли повторныя явленія будутъ, непремѣнно принять. А главное — ведите себя лучше. А то какъ же вы хотите, чтобъ густой сиропъ прошелъ чрезъ тоненькую волосяную трубочку, когда еще мы эту трубочку зажмемъ? Нельзя? Такъ и желче-проводъ. Все вѣдь это очень просто.

Бар. Ну, хорошо, хорошо.

Докт. То-то хорошо, а все постарому; а такъ, барыня, нельзя, нельзя. Ну, прощайте!

Бар. Не прощайте, а до свиданья. Вечеромъ я васъ все-таки жду; безъ васъ я не рѣшусь.

Докт. Ладно, ладно. Коли время будетъ, заверну. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XLI.

**Тѣ же,** *безъ* **доктора.**

Бар. *(увидавъ мужиковъ).* Это что? Что это? Что это за люди? *(мужики кланяются).*

Ѳед. Иван. Это крестьяне изъ Курской о покупкѣ земли къ Леониду Ѳедоровичу.

Бар. Я вижу, что крестьяне, да кто ихъ пустилъ?

Ѳед. Иван. Леонидъ Ѳедоровичъ приказали. Они съ ними сейчасъ говорили о продажѣ земли.

Бар. И какая продажа? Совсѣмъ не нужно продавать. А главное — какъ же пускать людей съ улицы въ домъ! Какъ пускать людей съ улицы! Нельзя пускать въ домъ людей, которые ночевали Богъ знаетъ гдѣ... *(Разгорячается все болѣе и болѣе).* Въ одеждахъ, я думаю, всякая складка полна микробъ: микробы скарлатины, микробы оспы, микробы дифтерита! Да вѣдь они изъ Курской, изъ Курской

губерніи, гдѣ повальный дифтеритъ!.. Докторъ, докторъ! Воротите доктора!

*(Леонидъ Ѳедоровичъ уходитъ, закрывая дверь. Григорій выходитъ за докторомъ.)*

ЯВЛЕНІЕ XLII.

**Тѣ же,** *безъ* **Леонида Ѳедоровича** *и* **Григорія.**

Вас. Леон. *(куритъ на мужиковъ).* Ничего, мама, хотите я ихъ окурю такъ, что всѣмъ микробамъ капутъ? А, что? *(Барыня строго молчитъ, ожидая возвращенія доктора).*

Вас. Леон. *(къ мужикамъ).* А вы свиней выкармливаете? Вотъ выгодно-то!

1-й муж. Двистительно, пускаемъ когда и по свиной части.

Вас. Леон. Такихъ... Іу, іу! *(Хрюкаетъ поросенкомъ).*

Бар. Вово, Вово! Перестань!

Вас. Леон. Похоже? А, что?

1-муж. Двистительно, сходственно.

Бар. Вово, перестань, я тебѣ говорю!

2-й муж. Это къ чему же?

3-й муж. Сказывалъ, на фатеру бы пока-что.

ЯВЛЕНІЕ XLIII.

**Тѣ же, докторъ** *и* **Григорій.**

Докт. Ну, что еще? Что такое?

Бар. Да вотъ вы говорите, чтобы не волноваться. Ну какъ тутъ быть спокойной? Я сестру не вижу два мѣсяца, я остерегаюсь всякаго сомнительнаго посѣтителя. И вдругъ люди изъ Курска, прямо изъ Курска, гдѣ повальный дифтеритъ — въ серединѣ моего дома!

Докт. То-есть вотъ эти молодцы-то?

Бар. Ну, да, прямо изъ дифтеритной мѣстности!

Докт. Да, коли изъ дифтеритной мѣстности, то, разумѣется, неосторожно, но все-таки очень-то волноваться не зачѣмъ.

Бар. Да вѣдь вы сами же предписываете осторожность?!

Докт. Ну, да, ну, да, только волноваться-то очень не зачѣмъ.

Бар. Да вѣдь какъ же? Полную дезинфекцію надо.

Докт. Нѣтъ, что жъ полную, это дорого слишкомъ, — рублей триста, а то и больше станетъ. А я вамъ дешево и сердито устрою. Возьмите-ка на большую бутылку воды...

Бар. Отварной?

Докт. Все равно. Отварной лучше... Такъ на бутылку воды столовую ложку салициловой кислоты, да и велите перемыть все, чего касались даже, а ихъ самихъ, молодцовъ этихъ, разумѣется, вонъ. Вотъ и все. Тогда смѣло. Да того же состава черезъ пульверизаторъ въ воздухъ пропустите стаканчика два-три и посмотрите, какъ хорошо будетъ. Совершенно безопасно!

Бар. Таня гдѣ? Позовите Таню.

ЯВЛЕНІЕ XLIV.

**Тѣ же** *и* **Таня.**

Таня. Что прикажете?

Бар. Знаешь большую бутылку въ уборной?

Таня. Изъ которой прачку вчера брызгали?

Бар. Ну, да, а то какая же! Такъ вотъ возьми ты эту бутыль и вымой прежде, гдѣ они стоятъ, мыломъ, потомъ этимъ...

Таня. Слушаю-съ. Я знаю какъ.

Бар. Да потомъ возьми пульверизаторъ... Впрочемъ, я вернусь, сама сдѣлаю.

Докт. Такъ и сдѣлайте и не бойтесь. Ну, такъ до свиданья, до вечера.

*(Уходитъ).*

ЯВЛЕНІЕ XLV.

**Тѣ же,** *безъ* **доктора.**

Бар. А ихъ вонъ, вонъ, чтобъ ихъ духу не было. Вонъ, вонъ. Идите, что смотрите?

1-й муж. Двистительно, мы какъ по глупости, какъ намъ предлегаить...

Григ. *(выпроваживаетъ мужиковъ).* Ну, ну, идите, идите.

2-й муж. Платокъ-то мой дай.

3-й муж. О Господи! Говорилъ я — на фатеру бы покуда-что.

*(Григорій выталкиваетъ его.)*

ЯВЛЕНІЕ XLVI.

**Барыня, Григорій, Ѳедоръ Иванычъ, Таня, Василій Леонидычъ** *и* **артельщикъ.**

Арт. *(нѣсколько разъ порывавшійся говорить).* Будетъ отвѣтъ какой?

Бар. А, это отъ Бурдье? *(Горячась).* Никакого, никакого, и несите назадъ. Я ей говорила, что я такого костюма не заказывала и дочери своей носить не позволю.

Арт. Не могу знать, меня послали.

Бар. Ступайте, ступайте и несите назадъ. Я сама заѣду.

Вас. Леон. *(торжественно).* Господинъ посланникъ отъ Бурдье, ступайте!

Арт. Давно бы сказали. Что жъ я пять часовъ сидѣлъ.

Вас. Леон. Посланецъ Бурдье, ступайте!

Бар. Перестань, пожалуйста. *(Артельщикъ уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XLVII.

**Тѣ же,** *безъ* **артельщика.**

Бар. Бетси! Гдѣ она? Вѣчно ее ждать!

Вас. Леон. *(кричитъ во все горло).* Бетси! Петрищевъ! Идите скорѣй! Скорѣй! Скорѣй! А, что?

## ЯВЛЕНІЕ XLVIII.

**Тѣ же, Петрищевъ, Бетси** *и* **Марья Константиновна.**

Барыня. Вѣчно тебя ждешь!

Бетси. Напротивъ, я васъ жду.

*(Петрищевъ кланяется одной головой и цѣлуетъ руку барынѣ).*

Бар. Здравствуйте! *(Къ Бетси).* Всегда отвѣчать!

Бетси. Если вы, мама, не въ духѣ, такъ лучше я не поѣду.

Бар. Ѣдемъ или не ѣдемъ?

Бетси. Да ѣдемте, что жъ дѣлать?

Бар. Видѣла отъ Бурдье?

Бетси. Видѣла и очень была рада. Я заказывала костюмъ и надѣну, когда заплатятъ за него деньги.

Бар. Я не заплачу и не позволю надѣть неприличный костюмъ.

Бетси. Отчего онъ сталъ неприличный? То былъ приличенъ, а то на васъ pruderie нашла.

Бар. Не pruderie, а передѣлать весь лифъ, тогда можно.

Бетси. Мама, право, это невозможно!

Бар. Ну, одѣвайся же. *(Садятся. Григорій надѣваетъ ботинки.)*

Вас. Леон. Марья Константиновна! А вы видите, какая пустота въ передней?

Мар. Конст. А что? *(Впередъ смѣется.)*

Вас. Леон. А отъ Бурдье ушелъ. А, что? Хорошо? *(Хохочетъ громко.)*

Бар. Ну, ѣдемъ. *(Выходитъ въ дверь и тотчасъ же возвращается.)* Таня!

Таня. Что прикажете?

Бар. Фифку безъ меня чтобъ не простудить. Если будетъ проситься выпускать, то непремѣнно надѣть капотецъ желтенькій. Она не совсѣмъ здорова.

Таня. Слушаю-съ.

*(Барыня, Бетси и Григорій уходятъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XLIX.

**Петрищевъ, Василій Леонидычъ, Таня** *и* **Ѳедоръ Иванычъ.**

Петрищ. Ну что же, добылъ?

Вас. Леон. Я тебѣ скажу, съ трудомъ. Сначала сунулся къ родителю,— зарычалъ и прогналъ. Я къ родительницѣ,—ну, и добился. Тутъ! *(Хлопаетъ по карману.)* Ужъ если я возьмусь, отъ меня не уйдешь... Мертвая хватка. А, что? А нынче вѣдь приведутъ моихъ волкодавовъ.

*(Петрищевъ и Василій Леонидычъ одѣваются и уходятъ. Таня идетъ за ними.)*

## ЯВЛЕНІЕ L.

**Ѳедоръ Иванычъ** *одинъ.*

Ѳед. Иван. Да, все непріятности. И какъ это они не могутъ въ согласіи жить? Да и правду сказать, молодое поколѣнье— не то. А царство женщинъ? Какъ, давеча, Леонидъ Ѳедоровичъ хотѣли было вступиться, да увидали, что она въ экстазѣ, захлопнули дверь. Рѣдкой доброты человѣкъ! Да, рѣдкой доброты... Это что? Таня-то ихъ опять ведетъ.

## ЯВЛЕНІЕ LI.

**Ѳедоръ Иванычъ, Таня** *и* **три мужика.**

Таня. Идите, идите, дяденьки, ничего.

Ѳед. Иван. Зачѣмъ же ты ихъ опять привела?

**Таня.** Да какъ же, Өедоръ Иванычъ, батюшка, надо же какъ-нибудь похлопотать за нихъ. А я ужъ вымою заодно.

**Өед. Иван.** Да вѣдь не сойдется дѣло, я ужъ вижу.

**1-й муж.** Какъ же, поштенный, наше дѣло въ дѣйствіе произвесть? Вы, ваше степенство, побезпокойтесь какъ-нибудь, а ужъ мы въ награжденіе хлопотъ отъ міру благодарность представить можемъ вполнѣ.

**3-й муж.** Постарайся, соколикъ, жить намъ нельзя. Земля малая, — не то, что скотину, а курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда. *(Кланяются.)*

**Өед. Иван.** И жалко мнѣ васъ, да не знаю, братцы. Я вѣдь очень понимаю. Да вѣдь отказалъ [онъ. Теперь какъ же? Да и барыня еще несогласна. Едва ли! Ну, да давайте бумагу, — пойду, попытаюсь, попрошу его. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ LII.

**Таня** *и* **три мужика** *(вздыхаютъ).*

**Таня.** Да вы мнѣ скажите, дяденьки, въ чемъ дѣло-то стало?

**1-й муж.** Да вотъ только бы подписомъ приложенія руки.

**Таня.** Только чтобъ баринъ бумагу подписалъ? Да?

**1-й муж.** Только всего приложить руку и деньги взять, вотъ бы и развязка.

**3-й муж.** Написалъ бы только: какъ мужички, скажемъ, жалаютъ, такъ, скажемъ, и я жалаю. И всего дѣла: взялъ, подписалъ и крышка.

**Таня.** Только подписать? На бумагѣ только чтобъ баринъ подписалъ? *(Задумывается.)*

**1-й муж.** Двистительно, только всего и зависитъ дѣло. Подписалъ, значитъ, и больше никакихъ.

**Таня.** Вы погодите, что вотъ Өедоръ Иванычъ скажетъ. Если онъ не уговоритъ, я попытаю одну штуку.

**1-й муж.** Объегоришь?

**Таня.** Попытаю.

**3-й муж.** Ай, дѣвушка, хлопотать хочетъ. Только выхлопочи ты дѣло, всю жизнь, скажемъ, кормить міромъ обвяжемся. Во какъ!

**1-й муж.** Кабы въ дѣйствіе произвесть такое дѣло, двистительно, озолотить можно.

**2-й муж.** Да ужъ что говорить!

**Таня.** Вѣрно не обѣщаю, какъ это говорится: попытка—не шутка, а...

**1-й муж.** А спросъ—не бѣда. Это двистительно.

## ЯВЛЕНІЕ LIII.

**Тѣ же** *и* **Өедоръ Иванычъ.**

**Өед. Иван.** Нѣтъ, братцы, не выходитъ ваше дѣло, не согласился и не согласится. Берите бумагу. Идите, идите.

**1-й муж.** *(беретъ бумагу, къ Танѣ).* Такъ ужъ на тебя, примѣрно, упѣвать станемъ.

**Таня.** Сейчасъ, сейчасъ. Вы идите, на улицѣ подождите, а я сію минуту выбѣгу, скажу что.

*(Мужики уходятъ).*

## ЯВЛЕНІЕ LIV.

**Өедоръ Иванычъ** *и* **Таня.**

**Таня.** Өедоръ Иванычъ, голубчикъ, доложите барину, чтобъ онъ ко мнѣ вышелъ. Мнѣ ему словечко сказать надо.

**Өед. Иван.** Это что за новости?

**Таня.** Да нужно, Өедоръ Иванычъ. Доложите, пожалуйста, худого ничего, ей-Богу,

**Өед. Иван.** Какое такое дѣло?

**Таня.** Да секретъ маленькій. Я вамъ послѣ открою. Вы доложите только.

**Өед. Иван.** *(улыбаясь).* И что ты строишь, не пойму! Да ну, скажу, скажу. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ LV.

**Таня** *одна.*

**Таня.** Право, сдѣлаю. Вѣдь онъ самъ говорилъ, что сила въ Семенѣ есть, а вѣдь я все знаю, какъ дѣлать. Тогда никто не догадался. А теперь научу Семена. А не выйдетъ дѣло—не бѣда. Развѣ грѣхъ какой?

## ЯВЛЕНІЕ LVI.

**Таня, Леонидъ Өедоровичъ** *и за ними* **Өедоръ Иванычъ.**

**Леон. Өед.** *(улыбаясь).* Вотъ просительница-то! Что это у тебя за дѣло?

Таня. Секретъ маленькій, Леонидъ Өедоровичъ. Позвольте мнѣ одинъ-на-одинъ сказать.

Леон. Өед. Что такъ? Өедоръ, выдь на минутку.

## ЯВЛЕНІЕ LVII.

**Леонидъ Өедоровичъ** *и* **Таня.**

Таня. Какъ я жила, выросла въ вашемъ домѣ, Леонидъ Өедоровичъ, и какъ благодарна вамъ за все, я какъ отцу родному откроюсь. Живетъ у насъ Семенъ, и хочетъ онъ на мнѣ жениться.

Леон. Өед. Вотъ какъ!

Таня. Открываюсь передъ вами, какъ передъ Богомъ. Посовѣтоваться мнѣ не съ кѣмъ, какъ сирота я.

Леон. Өед. Что жъ, отчего же! Онъ, кажется, малый хорошій.

Таня. Это точно, онъ все бы ничего, только одно я сумлѣваюсь. И спросить хотѣла васъ, что есть за нимъ одно дѣло, а я и понять не могу... какъ бы не худое что.

Леон. Өед. Что же, онъ пьетъ?

Таня. Нѣтъ, помилуй Богъ! А какъ я знаю, что спиритичество есть...

Леон. Өед. Знаешь?

Таня. Какъ же-съ! Я очень понимаю. Другіе, точно, по необразованію не понимаютъ этого...

Леон. Өед. Ну, такъ что жъ?

Таня. Да вотъ опасаюсь насчетъ Семена. Съ нимъ это бываетъ.

Леон. Өед. Что бываетъ?

Таня. Да вотъ въ родѣ какъ спири... тичество. Это у людей спросите. Какъ только онъ задремлетъ у стола, сейчасъ столъ затрясется, весь заскрипитъ такъ: тукъ, ту...тукъ! Всѣ и люди слышали.

Леон. Өед. Вотъ какъ разъ то, что я утромъ Сергѣю Ивановичу говорилъ. Ну?..

Таня. А то... когда это было?.. Да, въ середу. Сѣли обѣдать. Только онъ сѣлъ за столъ, а ложка сама къ нему въ руки— прыгъ!

Леон. Өед. А, это интересно! И въ руку прыгъ? Что жъ, онъ задремалъ?

Таня. Вотъ ужъ не примѣтила. Кажется, что задремалъ.

Леон. Өед. Ну?..

Таня. Ну, вотъ, я и опасаюсь и объ этомъ спросить хотѣла, что не будетъ ли отъ этого вреда? Тоже вѣкъ жить, а въ немъ такое дѣло.

Леон. Өед. *(улыбаясь)*. Нѣтъ, не бойся, тутъ худого ничего нѣтъ. А это значитъ только то, что онъ *медіумъ* — просто медіумъ. Я и прежде зналъ, что онъ медіумъ.

Таня. Вотъ что... А я-то боялась!

Леон. Өед. Нѣтъ, не бойся, ничего. *(Самъ съ собой.)* Вотъ и прекрасно. Капчича не будетъ, мы его нынче и испытаемъ... Нѣтъ, ты, милая, не бойся, онъ и хорошій мужъ будетъ, и все... А это особенная сила, она во всѣхъ есть. Только въ однихъ слабѣй, въ другихъ сильнѣй.

Таня. Покорно васъ благодаря. Я теперь и думать не буду. А то я боялась... Что значитъ неученье-то наше!

Леон. Өед. Нѣтъ, нѣтъ, не бойся... Өедоръ!

## ЯВЛЕНІЕ LVIII.

**Тѣ же** *и* **Өедоръ Иванычъ.**

Леон. Өед. Я пойду со двора. Къ вечеру приготовить все для сеанса.

Өед. Иван. Да вѣдь Капчичъ не изволитъ быть.

Леон. Өед. Ничего, все равно. *(Надѣваетъ шинель.)* Пробный сеансъ будетъ съ своимъ медіумомъ. *(Уходитъ. Өедоръ Иванычъ провожаетъ его.)*

## ЯВЛЕНІЕ LIX.

**Таня** *одна.*

Таня. Повѣрилъ, повѣрилъ! *(Взвизгиваетъ, прыгаетъ.)* Ей-Богу, повѣрилъ! Вотъ чудо-то! *(Взвизгиваетъ.)* Теперь сдѣлаю, только бы Семенъ не сробѣлъ.

## ЯВЛЕНІЕ LX.

**Таня** *и* **Өедоръ Иванычъ** *(возвращается).*

Өед. Иван. Ну, что же, сказала свой секретъ?

Таня Сказала. Да я вамъ открою, только послѣ... А у меня и къ вамъ, Өедоръ Иванычъ, просьба есть.

Өед. Иван. Какая же это ко мнѣ-то просьба?

Таня. *(стыдливо).* Вы мнѣ какъ второй отецъ были, я вамъ какъ передъ Богомъ откроюсь.

Ѳед. Иван. Да ты не виляй, прямо къ дѣлу.

Таня. Да что дѣло? Дѣло — то, что Семенъ на мнѣ жениться хочетъ.

Ѳед. Иван. Вотъ какъ! То-то я примѣчаю...

Таня. Да что жъ мнѣ скрываться? Мое дѣло сиротское, а вы сами знаете здѣшнее городское заведеніе: всякій пристаетъ; хоть бы Григорій Михайлычъ, проходу отъ него нѣту. Тоже и этотъ... знаете? Они думаютъ, что у меня души нѣтъ; что я только имъ для забавы далась...

Ѳед. Иван. Умница, хвалю! Ну, такъ что жъ?

Таня. Да Семенъ писалъ отцу, а онъ, отецъ-то, нынче меня увидалъ, да сейчасъ и говоритъ: избаловался,—про сына-то... Ѳедоръ Иванычъ! *(Кланяется.)* Будьте мнѣ замѣсто отца, поговорите съ старикомъ, съ Семеновымъ отцомъ. Я бы ихъ въ кухню провела, а вы бы зашли да и поговорили старику.

Ѳед. Иван. *(улыбаясь).* Это сватомъ я, значитъ, буду? Что жъ, можно.

Таня. Ѳедоръ Иванычъ, голубчикъ, будьте замѣсто отца родного, а я вѣкъ за васъ буду Бога молить.

Ѳед. Иван. Хорошо, хорошо; пройду ужо. Обѣщаю — такъ сдѣлаю. *(Беретъ газету.)*

Таня. Второй отецъ мнѣ будете.

Ѳед. Иван. Хорошо, хорошо.

Таня. Такъ я буду въ надеждѣ... *(Уходитъ.)*

### ЯВЛЕНІЕ LXI.

**Ѳедоръ Иванычъ** *одинъ.*

Ѳед. Иван. *(киваетъ головой).* А ласковая дѣвочка, хорошая. А вѣдь сколько ихъ такихъ пропадаетъ, подумаешь! Только вѣдь промахнись разъ одинъ,—пошла по рукамъ... Потомъ въ грязи ее ужъ не сыщешь. Не хуже какъ Наталья сердечная... А тоже была хорошая, тоже мать родила, лелѣяла, выращивала... *(Беретъ газету.)* Ну-ка, что Фердинандъ нашъ, какъ изворачивается...

*Занавѣсъ.*

---

## ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Дѣйствіе происходитъ вечеромъ того же дня въ маленькой гостиной, гдѣ всегда производятся у Леонида Ѳедоровича опыты.

### ЯВЛЕНІЕ VII.

**Таня** *(одна, выходитъ изъ-за двери).*

Таня. Ахъ, удалось бы только! *(Завязываетъ нитки.)*

### ЯВЛЕНІЕ VIII.

**Таня** *и* **Бетси** *(входитъ поспѣшно).*

Бетси. Папа нѣтъ тутъ? *(Вглядываясь въ Таню.)* Ты что тутъ?

Таня. А я такъ, Лизавета Леонидовна. взошла, хотѣла... только взошла... *(Смущается.)*

Бетси. Да вѣдь тутъ сеансъ сейчасъ будетъ? *(Замѣчаетъ, что Таня собираетъ нитки, пристально смотритъ на нее и вдругъ заливается хохотомъ.)* Таня! Это вѣдь ты все дѣлаешь? Да ужъ не отпирайся. И тотъ разъ ты? Вѣдь ты, ты?

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка!

Бетси *(въ восторгѣ).* Ахъ, какъ это хорошо! Вотъ не ожидала! Зачѣмъ же ты это дѣлала?

Таня. Барышня, милая, да вы не выдайте!

Бетси. Да нѣтъ, ни за что. Я ужасно рада! Да какъ же ты дѣлаешь?

Таня. Да такъ и дѣлаю: спрячусь, а потомъ, какъ потушатъ, вылѣзу и дѣлаю.

Бетси *(показывая на нитку).* А это зачѣмъ? Да не говори, понимаю— задѣваешь...

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка. я только вамъ откроюсь! Прежде я такъ шалила, а теперь дѣло хочу сдѣлать.

Бетси. Какъ? Что? Какое дѣло?

Таня. Да вотъ, видѣли, мужики пришли, хотятъ землю купить, а папаша не продаютъ, и бумагу не подписали, и имъ назадъ отдали. Ѳедоръ Иванычъ говоритъ: духи ему запретили. Вотъ я и вздумала.

Бетси. Ахъ, какая же ты умница! Дѣлай, дѣлай, дѣлай... Да какъ же ты будешь дѣлать?

Таня. Да я такъ придумала: какъ они свѣтъ потушатъ, сейчасъ я начну стучать, швырять, ниткой ихъ по головамъ, а подъ

конецъ бумагу объ землѣ,—она у меня,— и брошу на столъ.

Бетси. Ну, и что жъ?

Таня. А какъ же? Они удивятся. Бумага была у мужиковъ и вдругъ здѣсь. А тутъ же велю...

Бетси. Да вѣдь Семенъ нынче медіумъ!

Таня. Такъ я ему велю... *(Не можетъ говорить отъ смѣха)* велю давить руками, кто подъ рукой будетъ. Только не папашу,—это онъ не посмѣетъ,—и пусть давитъ кого другихъ, пока подпишутъ.

Бетси *(смѣется)*. Да вѣдь такъ не дѣлаютъ. Медіумъ самъ ничего не дѣлаетъ.

Таня., Да ничего—это все одно,—авось, и такъ выйдетъ.

## ЯВЛЕНІЕ IX.

**Таня** *и* **Ѳедоръ Иванычъ.**

*(Бетси дѣлаетъ знаки Танѣ и уходитъ.)*

Ѳед. Ив. *(Танѣ)*. Ты что тутъ?

Таня. Да я къ вамъ, Ѳедоръ Иванычъ, батюшка!..

Ѳед. Ив. Чего же ты?

Таня. Да объ дѣлѣ моемъ, къ вамъ, что я просила.

Ѳед. Ив. *(смѣясь)*. Сосваталъ, сосваталъ, и по рукамъ ударили, только не пили.

Таня *(взвизгиваетъ)*. Неужто заправду?

Ѳед. Ив. Да ужъ я тебѣ говорю. Онъ говоритъ: съ старухой посовѣтуюсь да и съ Богомъ.

Таня. Такъ и сказалъ?.. *(Взвизгивая.)* Ахъ, голубчикъ, Ѳедоръ Иванычъ, вѣкъ за васъ буду Бога молить!

Ѳед. Ив. Ну, ладно, ладно! Теперь некогда. Велѣно убирать для сеанса.

Таня. Дайте я вамъ подсоблю. Какъ же убирать?

Ѳед. Ив. Да какъ?—Да вотъ: столъ посреди комнаты, стулья, гитару, гармонію. Лампу не надо—свѣчи.

Таня *(устанавливаетъ все съ Ѳедоромъ Иванычемъ)*. Такъ, что ли? Сюда гитару, сюда чернильницу... *(Ставитъ.)* Такъ?

Ѳед. Ив. Да неужели, въ самомъ дѣлѣ, Семена посадятъ?

Таня. Должно-быть.

Ѳед. Ив. Удивленіе. *(Надѣваетъ pince-nez.)* Да чистъ ли онъ?

Таня. Почемъ я знаю.

Ѳед. Ив. Такъ ты вотъ что...

Таня. Что, Ѳедоръ Иванычъ?

Ѳед. Ив. Поди ты, возьми щеточку ногтяную и мыла Тридасъ, хоть у меня возьми... И всѣ ты ему остриги когти и вымой чисто-начисто.

Таня. Онъ и самъ вымоетъ.

Ѳед. Ив. Ну, такъ скажи только. Да бѣлье вели надѣть чистое.

Таня. Хорошо, Ѳедоръ Иванычъ. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ X.

**Ѳедоръ Иванычъ** *одинъ, садится въ кресло.*

Ѳед. Ив. Учены, учены, хоть бы Алексѣй Владимировичъ, профессоръ онъ, а все другой разъ сильно сомнѣніе беретъ. Народныя суевѣрія, грубыя, истребляются, суевѣрія домовыхъ, колдуновъ, вѣдьмъ... А вѣдь если вникнуть, вѣдь это такое же суевѣріе. Ну, развѣ возможно это, чтобы души умершихъ и говорили бы и на гитарѣ играли бы? А дурачитъ ихъ кто-нибудь или сами себя. А ужъ это съ Семеномъ и не поймешь что. *(Разсматриваетъ альбомъ.)* Вѣдь вотъ ихъ альбомъ спиритическій. Ну, возможное ли это дѣло, чтобы фотографію съ духа снять? А вотъ изображеніе—турокъ и Леонидъ Ѳедоровичъ сидятъ... Удивительна слабость человѣческая!

## ЯВЛЕНІЕ XI.

**Ѳедоръ Иванычъ** *и* **Леонидъ Ѳедоровичъ.**

Леон. Ѳед. *(входя)*. Что, готово?

Ѳед. Ив. *(встаетъ не торопясь)*. Готово. *(Улыбаясь.)* Только не знаю, какъ бы вашъ новый медіумъ не скомпрометировалъ васъ, Леонидъ Ѳедоровичъ.

Леон. Ѳед. Нѣтъ, удивительно сильный медіумъ!

Ѳед. Ив. Ужъ этого не знаю. Только чистъ ли онъ? Вы вотъ не позаботились руки ему велѣть вымыть. А то все-таки неудобно.

Леон. Ѳед. Руки? Ахъ, да! Нечисты, ты думаешь?

Ѳед. Ив. Да какъ же, мужикъ. А тутъ дамы, и Марья Васильевна.

Леон. Ѳед. Ну, и прекрасно.

Ѳед. Ив. Да еще я хотѣлъ вамъ доложить: Тимоѳей, кучеръ, приходилъ жаловаться, что нельзя ему чистоту соблюсти отъ собакъ.

Леон. Ѳед. *(устанавливая предметы на столъ, разсѣянно)*. Какихъ собакъ?

Ѳед. Ив. Да Василью Леонидычу нынче борзыхъ привели тройку, въ кучерскую помѣстили.

Леон. Ѳед. *(досадливо)*. Скажи Аннѣ Павловнѣ, какъ она хочетъ, а мнѣ и некогда.

Ѳед. Ив. Да вѣдь вы знаете ихъ пристрастіе...

Леон. Ѳед. Ну, какъ хочетъ она, такъ и дѣлаетъ. А отъ него, кромѣ непріятностей... Да и некогда.

## ЯВЛЕНІЕ XII—XIII.

**Тѣ же** *и* **Семенъ** *(въ поддевкѣ, входитъ, улыбается)*.

Сем. Приказывали притти?

Леон. Ѳед. Да, да. Покажи руки. Ну, и прекрасно, прекрасно! Такъ и не смущайся и будь свободнѣе.

Сем. Нешто поддевку снять, оно свободнѣе будетъ.

Лен. Ѳед. Поддевку?—Нѣтъ, нѣтъ, не надо. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІХ XV.

**Семенъ** *и* **Таня** *(входитъ безъ ботинокъ, въ платьѣ цвѣта обой, Семенъ хохочетъ.)*

Таня *(шикаетъ)*. Шш!.. Услышатъ! Вотъ на пальцы спички наклей. *(Наклеиваетъ)*. Что же, все помнишь?

Сем. *(загибая пальцы)*. Перво-наперво спички намочить. Махать — разъ. Другое дѣло — зубами трещать, вотъ такъ...—два. Вотъ третье забылъ.

Таня. А третье-то пуще всего. Ты помни: какъ бумага на столъ падетъ, — я еще въ колокольчикъ позвоню,—такъ ты сейчасъ же руками вотъ такъ... Разведи шире и захватывай. Кто возлѣ сидитъ, того и захватывай. А какъ захватишь, такъ жми. *(Хохочетъ.)* Баринъ ли, барыня ли, знай—жми, все жми, да и не выпускай, какъ будто во снѣ, а зубами скрыпи али рычи, вотъ такъ... *(Рычитъ.)* А какъ я на гитарѣ заиграю, такъ какъ будто просыпайся, потянись, знаешь, такъ и проснись... Все помнишь?

Сем. Все помню, только смѣшно больно.

Таня. А ты не смѣйся. А засмѣешься— это еще не бѣда. Они подумаютъ, что во снѣ. Одно только — взаправду не засни, какъ они свѣтъ-то потушатъ.

Сем. Небось, я себя за уши щипать буду.

Таня. Такъ ты смотри, Семочка, голубчикъ. Только дѣлай все, не робѣй. Подпишетъ бумагу. Вотъ увидишь. Идутъ... *(Лѣзетъ подъ диванъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XVI.

**Семенъ** *и* **Таня**. *Входятъ* **Гросманъ, профессоръ, Леонидъ Ѳедоровичъ, толстая барыня, докторъ, Сахатовъ, барыня. Семенъ** *стоитъ у двери.*

Леон. Ѳед. Милости просимъ, всѣ невѣрующіе! Несмотря на то, что медіумъ новый, случайный, я нынче жду очень знаменательныхъ проявленій.

Сахат. Очень, очень интересно.

Толст. бар. *(на Семена)*. Mais il est très bien.

Барыня. Какъ буфетный мужикъ, да, но только...

Сахат. Жены всегда не вѣрятъ въ дѣло своихъ мужей. Вы совсѣмъ не допускаете?

Барыня. Разумѣется, нѣтъ. Въ Капчичѣ, правда, есть что-то особенное, но ужъ это Богъ знаетъ что такое!

Толст. бар. Нѣтъ, позвольте, Анна Павловна, это нельзя такъ рѣшать. Когда я еще была не замужемъ, видѣла одинъ замѣчательный сонъ. Сны, знаете, бываютъ такіе, что вы не знаете, когда начинается, когда кончается; такъ я видѣла именно такой сонъ...

## ЯВЛЕНІ XVII.

**Тѣ же. Василій Леонидычъ** *и* **Петрищевъ** *входятъ.*

Толст. бар. И мнѣ многое было открыто этимъ сномъ. Нынче ужъ эти молодые люди *(указывая на Петрищева

*и на Василія Леонидыча)* все отрицаютъ.

Вас. Леон. А я никогда, я вамъ скажу, ничего не отрицаю. А, что?

## ЯВЛЕНІЕ XVIII.

**Тѣ же.** *Входятъ* **Бетси** *и* **Марья Константиновна** *и вступаютъ въ разговоръ съ Петрищевымъ.*

Толст. бар. А какъ же можно отрицать сверхъестественное? Говорятъ: не согласно съ разумомъ. Да разумъ-то, можетъ-быть, глупый, тогда что? Вѣдь вотъ на Садовой,—вы слышали?—каждый вечеръ являлось. Братъ моего мужа, — какъ это называется?.. не beau-frère, а по-русски,— не свекоръ, а еще какъ-то?.. Я никогда не могу запомнить этихъ русскихъ названій,— такъ онъ ѣздилъ три ночи сряду и все-таки ничего не видалъ, такъ я и говорю...

Леон. Ѳед. Такъ кто же да кто остается?

Толст. бар. Я, я!

Сахат. Я!

Барыня *(къ доктору).* Неужели вы остаетесь?

Докт. Да, надо хоть разъ посмотрѣть, что тутъ Алексѣй Владимировичъ находитъ. Отрицать бездоказательно тоже нельзя.

Барыня. Такъ рѣшительно принять нынче вечеромъ?

Докт. Кого принять?.. Ахъ, да, порошокъ. Да, примите, пожалуй. Да, да, примите... Да я зайду.

Барыня. Да, пожалуйста. *(Громко.)* Когда кончите, messieurs et mesdames, милости просимъ ко мнѣ отдохнуть отъ эмоцій да винтъ докончимъ.

Толст. бар. Непремѣнно.

Сахат. Да, да! *(Барыня уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XIX.

**Тѣ же,** *безъ* **барыни.**

Бетси *(Петрищеву).* Я вамъ говорю, оставайтесь. Я вамъ обѣщаю необыкновенныя вещи. Хотите пари?

Мар. Конст. Да развѣ вы вѣрите?

Бетси. Нынче вѣрю.

Мар. Конст. *(Петрищеву).* А вы вѣрите?

Петрищ. «Не вѣрю, не вѣрю обѣтамъ коварнымъ». Ну, да если Елизавета Леонидовна велитъ...

Вас. Леон. Останемся, Марья Константиновна. А, что? Я что-нибудь такое épatant придумаю.

Мар. Конст. Нѣтъ, вы не смѣшите. Я вѣдь не могу удержаться.

Вас. Леон. *(громко).* Я—остаюсь!

Леон. Ѳед. *(строго).* Прошу только тѣхъ, кто остается, не дѣлать изъ этого шутки. Это дѣло серьезное.

Петрищ. Слышишь? Ну, такъ останемся. Вово, садись сюда, да смотри, не робѣй.

Бетси. Да вы смѣетесь, а вотъ увидите, что будетъ.

Вас. Леон. А что, какъ въ самомъ дѣлѣ? Вотъ штука-то будетъ? А, что?

Петрищ. *(дрожитъ).* Ой, боюсь, боюсь! Марья Константиновна, боюсь!.. Ножки дрожатъ.

Бетси *(смѣется).* Тише!

*Всѣ садятся.*

Леон. Ѳед. Садитесь, садитесь. Садись, Семенъ!

Сем. Слушаю-съ. *(Садится на край стула.)*

Леон. Ѳед. Садись хорошенько.

Проф. Садитесь правильно на середину стула, совершенно свободно. *(Усаживаетъ Семена.)*

*(Бетси, Марья Константиновна и Василій Леонидычъ хохочутъ).*

Леон. Ѳед. *(возвышая голосъ).* Прошу тѣхъ, кто остается, не шалить и относиться къ дѣлу серьезно. Могутъ быть дурныя послѣдствія. Вово, слышишь? Если не будешь сидѣть смирно, уйди.

Вас. Леон. Смирно! *(Прячется за спину толстой барыни.)*

Леон. Ѳед. Алексѣй Владимировичъ, вы усыпите.

Проф. Нѣтъ, зачѣмъ же я, когда Антонъ Борисовичъ тутъ? У него гораздо больше и практики въ этомъ отношеніи и силы... Антонъ Борисовичъ!

Гросм. Господа! я, собственно, не спиритъ. Я только изучалъ гипнозъ. Гипнозъ я изучалъ, правда, во всѣхъ его извѣстныхъ проявленіяхъ. Но то, что называется спиритизмомъ, мнѣ совершенно неизвѣстно. Отъ усыпленія субъекта я могу ожидать извѣстныхъ мнѣ явленій гипноза: летаргіи, абуліи, анэстезіи, анэлгезіи, каталепсіи и всякаго рода внушеній. Здѣсь же предполагаются къ изслѣдованію не эти, а другія явленія, и потому желательно бы было

знать, какого рода эти ожидаемыя явленія и какое они имѣютъ научное значеніе.

Сахат. Вполнѣ присоединяюсь къ мнѣнію г-на Гросмана. Такое разъясненіе было бы очень интересно.

Леон. Ѳед. *(къ профессору).* Я думаю, Алексѣй Владимировичъ, вы не откажетесь объяснить вкратцѣ.

Проф. Отчего жъ, я могу объяснить, если этого желаютъ. *(Къ доктору.)* А вы, пожалуйста, измѣрьте температуру и пульсъ. Объясненіе мое будетъ, неизбѣжно, поверхностно и кратко.

Леон. Ѳед. Да, вкратцѣ, вкратцѣ...

Докт. Сейчасъ. *(Вынимаетъ термометръ и подаетъ.)* Ну-ка, молодецъ!.. *(Устанавливаетъ.)*

Сем. Слушаю-съ.

Проф. *(вставая и обращаясь къ толст. барынѣ, а потомъ садясь).* Господа! явленіе, которое мы изслѣдуемъ, представляется обыкновенно, съ одной стороны, какъ нѣчто новое, съ другой стороны, какъ нѣчто выходящее изъ ряда естественныхъ условій. Ни то ни другое несправедливо. Явленіе это не ново, а старо, какъ міръ, и не сверхъестественно, а подлежитъ все тѣмъ же вѣчнымъ законамъ, которымъ подлежитъ и все существующее. Явленіе это опредѣлялось обыкновенно, какъ общеніе съ міромъ духовнымъ. Опредѣленіе это не точно. По опредѣленію этому, міръ духовный противополагается міру матеріальному, но это несправедливо: противоположенія этого нѣтъ. Оба міра такъ тѣсно соприкасаются, что нѣтъ никакой возможности провести демаркаціонную линію, отдѣляющую одинъ міръ отъ другого. Мы говоримъ: матерія слагается изъ молекулъ...

Петрищ. Скучная матерія! *(Шопотъ, хохотъ.)*

Проф. *(остановившись и потомъ продолжая).* Молекулы — изъ атомовъ, но атомы, не имѣя протяженія, суть въ сущности не что иное, какъ точки приложенія силъ. Т.-е., строго говоря, не силъ, а энергіи, — той самой энергіи, которая такъ же едина и неуничтожима, какъ и матерія. Но какъ матерія одна, а виды ея различны, такъ точно и энергія. До послѣдняго времени намъ были извѣстны только четыре, превращающіеся одинъ въ другой, вида энергіи. Намъ извѣстны энергіи: динамическая, термическая, электрическая и химическая. Но четыре вида энергіи далеко не исчерпываютъ всего разнообразія ея проявленій. Виды проявленія энергіи многообразны, и одинъ изъ такихъ новыхъ, мало извѣстныхъ видовъ энергіи и изслѣдуется нами. Я говорю объ энергіи медіумизма.

*(Опять шопотъ и хохотъ въ углу молодежи).*

Проф. *(останавливается и, строго оглянувшись, продолжаетъ).* Медіумическая энергія извѣстна человѣчеству давнымъ-давно: предсказанія, предчувствія, видѣнія и многія другія — все это не что иное, какъ проявленія медіумической энергіи. Явленія, производимыя ею, извѣстны давнымъ-давно. Но самая энергія не признавалась таковою до самаго послѣдняго времени, до тѣхъ поръ, пока не было признано той среды, колебанія которой и производятъ медіумическія явленія. И точно такъ же, какъ явленія свѣта были необъяснимы до тѣхъ поръ, пока не было признано существованіе невѣсомаго вещества, эѳира,—точно такъ же и медіумическія явленія казались таинственными до тѣхъ поръ, пока не была признана та, несомнѣнная теперь, истина, что въ промежуткахъ частицъ эѳира находится другое, еще болѣе тонкое, чѣмъ эѳиръ, невѣсомое вещество, не подлежащее закону трехъ измѣреній...

*(Опять шопотъ, хохотъ и повизгиваніе.)*

Проф. *(опять оглядывается строго).* И точно такъ же, какъ математическія вычисленія подтвердили неопровержимо существованіе невѣсомаго эѳира, дающаго явленія свѣта и электричества, точно такъ же блестящій рядъ самыхъ точныхъ опытовъ геніальнаго Германа, Шмита и Іосифа Шмацофена несомнѣнно подтвердили существованіе того вещества, которое наполняетъ вселенную и можетъ быть названо духовнымъ эѳиромъ.

Толст. бар. Да, теперь я понимаю. Какъ я благодарна...

Леон. Ѳед. Да, но нельзя ли, Алексѣй Владимировичъ, нѣсколько... сократить?

Проф. *(не отвѣчая).* Итакъ, рядъ строго-научныхъ опытовъ и изслѣдованій, какъ я имѣлъ честь сообщить вамъ, выяснили намъ законы медіумическихъ явленій. Опыты эти выяснили намъ то, что погруженіе нѣкоторыхъ личностей въ гип-

нотическое состояніе, отличающееся отъ обыкновеннаго сна только тѣмъ, что при погруженіи въ этотъ сонъ дѣятельность физіологическая не только не понижается, но всегда повышается, какъ это мы сейчасъ видѣли—оказалось, что погруженіе въ это состояніе какого бы то ни было субъекта неизмѣнно влечетъ за собой нѣкоторыя пертурбаціи въ духовномъ эѳирѣ,—пертурбаціи, совершенно подобныя тѣмъ, которыя производитъ погруженіе твердаго тѣла въ жидкое. Пертубаціи же эти и суть то, что мы называемъ медіумическими явленіями...

*(Хохотъ, шопотъ).*

Сахат. Это совершенно справедливо и понятно; но позвольте спросить: если, какъ вы изволите говорить, погруженіе медіума въ сонъ производитъ пертурбаціи духовнаго эѳира, то почему же эти пертурбаціи выражаются всегда, какъ это подразумѣвается обыкновенно въ спиритическихъ сеансахъ, проявленіемъ дѣятельности душъ умершихъ личностей?

Проф. А потому, что частицы этого духовнаго эѳира суть не что иное, какъ души живыхъ, умершихъ и не родившихся, такъ что всякое сотрясеніе этого духовнаго эѳира неизбѣжно вызываетъ извѣстное движеніе его частицъ. Частицы же эти суть не что иное, какъ души людей, входящія этимъ движеніемъ въ общеніе между обою.

Толст. бар. *(къ Сахатову).* Что же тутъ не понимать? Это такъ просто... Очень, очень благодарю васъ!

Леон. Ѳед. Мнѣ кажется, что теперь все ясно, и мы можемъ приступить.

Докт. Малый въ самыхъ нормальныхъ условіяхъ: температура 37 и 2; пульсъ 74.

Проф. *(вынимаетъ книжку и записываетъ).* Подтвержденіемъ того, что я имѣлъ честь сообщить, можетъ служить то, что погруженіе медіума въ сонъ неизбѣжно, какъ мы сейчасъ и увидимъ, вызоветъ подъемъ температуры и пульса, точно такъ же, какъ и при гипнозѣ.

Леон. Ѳед. Да, да, виноватъ, я только хотѣлъ сказать Сергѣю Иванычу на то, что онъ спрашивалъ: почему мы узнаемъ, что съ нами общаются души умершихъ?—Мы узнаемъ это потому, что тотъ духъ, который приходитъ, прямо намъ говоритъ,—просто, какъ я говорю,—говоритъ намъ, кто онъ и зачѣмъ пришелъ, и гдѣ онъ, и хорошо ли ему. Послѣдній сеансъ былъ испанецъ донъ-Кастильосъ, и онъ все сказалъ намъ. Онъ сказалъ намъ, кто онъ, и когда умеръ, и то, что ему тяжело за то, что онъ участвовалъ въ инквизиціи. Мало того, онъ сообщилъ намъ то, что съ нимъ случилось въ то самое время, какъ онъ говорилъ съ нами, а именно то, что въ то самое время, какъ онъ говорилъ съ нами, онъ долженъ былъ вновь рождаться на землю и потому не могъ докончить начатаго съ нами разговора... Да вотъ вы сами увидите...

Толст. бар. *(перебивая).* Ахъ, какъ интересно! Можетъ-быть испанецъ у насъ въ домѣ родился и маленькій теперь.

Леон. Ѳед. Очень можетъ быть.

Проф. Я думаю—пора бы начинать.

Леон. Ѳед. Я только хотѣлъ сказать...

Проф. Поздно ужъ.

Леон. Ѳед. Ну, хорошо. Такъ можемъ приступить. Пожалуйста, Антонъ Борисовичъ, усыпите медіума...

Гросм. Какъ вы желаете, чтобъ я усыпилъ субъекта? Есть много употребительныхъ пріемовъ. Есть способъ Бреда, есть египетскій символъ, есть способъ Шарко.

Леон. Ѳед. *(къ профессору).* Это все равно, я думаю.

Проф. Безразлично.

Гросм. Такъ я употреблю свой способъ, который я демонстрировалъ въ Одессѣ.

Леон. Ѳед. Пожалуйста!

*(Гросманъ машетъ руками надъ Семеномъ.—Семенъ закрываетъ глаза и потягивается).*

Гросм. *(приглядывается).* Засыпаетъ, заснулъ. Замѣчательно быстрое наступленіе гипноза. Очевидно, субъектъ уже вступилъ въ анэстетическое состояніе. Замѣчательно, необыкновенно воспріимчивый субъектъ и могъ бы быть подвергнутъ интереснымъ опытамъ!.. *(Садится, встаетъ, опять садится.)* Теперь можно бы проколоть ему руки. Если желаете...

Проф. *(къ Леониду Ѳедоровичу).* Замѣчаете, какъ сонъ медіума дѣйствуетъ на Гросмана? Онъ начинаетъ вибрировать.

Леон. Ѳед. Да, да... Теперь можно тушить?

Сахат. Но почему же нужна темнота?

Проф. Темнота? А потому, что темнота есть одно изъ условій, при которыхъ проявляется медіумическая энергія, такъ же, какъ извѣстная температура есть условіе

извѣстныхъ проявленій химической или динамической энергіи.

Леон. Ѳед. И не всегда. Многимъ, и мнѣ, являлись и при свѣчахъ и при солнцѣ.

Проф. *(перебивая)*. Можно тушить?

Леон. Ѳед. Да, да *(тушитъ свѣчи)*. Господа! теперь прошу вниманія.

*(Таня вылѣзаетъ изъ-подъ дивана и беретъ въ руки нитку, привязанную къ бра.)*

Петрищ. Нѣтъ, мнѣ понравился испанецъ. Какъ онъ, въ серединѣ разговора, внизъ головой... что называется piquer une tête.

Бетси. Нѣтъ, вы подождите, посмотрите, что будетъ!

Петрищ. Я одного боюсь, какъ бы Вово не захрюкалъ поросенкомъ.

Вас. Леон. Хотите? Я хвачу...

Леон. Ѳед. Господа! Прошу не разговаривать, пожалуйста...

*(Тишина.—Семенъ лижетъ палецъ, мажетъ имъ косточки на рукѣ и машетъ ими).*

Леон. Ѳед. Свѣтъ! Видите свѣтъ?

Сахат. Свѣтъ! Да, да вижу; но позвольте...

Толст. бар. Гдѣ, гдѣ? Ахъ, не видала! Вотъ онъ. Ахъ!..

Проф. *(къ Леониду Ѳедоровичу шопотомъ, указывая на Гросмана, который двигается)*. Вы замѣтьте, какъ онъ вибрируетъ. Двойная сила. *(Опять показывается свѣтъ.)*

Леон. Ѳед. *(къ профессору)*. А вѣдь это онъ.

Сахат. Кто онъ?

Леон. Ѳед. Грекъ Николай. Его свѣтъ. Не правда ли, Алексѣй Владимировичъ?

Сахат. Что такое грекъ Николай?

Проф. Нѣкій грекъ, монашествовавшій при Константинѣ въ Царьградѣ и посѣщавшій насъ послѣднее время.

Толст. бар. Гдѣ же онъ, гдѣ же онъ? Я не вижу.

Леон. Ѳед. Его нельзя еще видѣть... Алексѣй Владимировичъ, онъ всегда особенно благосклоненъ къ вамъ. Спросите его.

Проф. *(особеннымъ голосомъ)*. Николай! ты это?

*(Таня стучитъ два раза объ стѣну.)*

Леон. Ѳед. *(радостно)*. Онъ! онъ!

Толст. бар. Ай, ай! Я уйду!

Сахат. Почему же предполагается, что это онъ?

Леон. Ѳед. А два удара. Утвердительный отвѣтъ; иначе было бы молчаніе.

*(Молчаніе. Сдержанный хохотъ въ углу молодежи. Таня бросаетъ на столъ колпакъ съ лампы, карандашъ, утиралку перьевъ).*

Леон. Ѳед. *(шопотомъ)*. Замѣчайте, господа, вотъ колпакъ съ лампы. Еще что-то. Карандашъ!.. Алексѣй Владимировичъ, карандашъ!

Проф. Хорошо, хорошо. Я слѣжу и за нимъ и за Гросманомъ. Вы замѣчаете? *(Гросманъ встаетъ и оглядываетъ предметы, упавшіе на столъ.)*

Сахат. Позвольте, позвольте! Я бы желалъ посмотрѣть, не производитъ ли всего этого самъ медіумъ?

Леон. Ѳед. Вы думаете? Такъ сядьте подлѣ, держите его за руки. Но будьте увѣрены, онъ спитъ.

Сахат. *(подходитъ, задѣваетъ головой за нитку, которую спускаетъ Таня, и испуганно нагибается)*. Да... а-а!.. Странно, странно. *(Подходитъ, беретъ за локоть Семена. Семенъ рычитъ.)*

Проф. *(къ Леониду Ѳедор.)*. Слышите, какъ дѣйствуетъ присутствіе Гросмана? Новое явленіе, — надо записать... *(выбѣгаетъ и записываетъ, потомъ возвращается)*.

Леон. Ѳед. Да... Но нельзя же оставлять Николая безъ отвѣта, надо начинать...

Гросм. *(встаетъ, подходитъ къ Семену, поднимаетъ и опускаетъ его руку)*. Теперь интересно бы произвести контрактуру. Субъектъ въ полномъ гипнозѣ.

Проф. *(къ Леон. Ѳедор.)*. Вы видите, видите?

Гросм. Если вы желаете...

Докт. Да ужъ позвольте, батюшка, Алексѣю Владимировичу распорядиться. штука-то выходитъ серьезная!

Проф. Оставьте его. Онъ говоритъ уже во снѣ.

Толст. бар. Какъ я рада теперь, что рѣшилась присутствовать. Страшно, но все-таки я рада, потому что я мужу всегда говорила...

Леон. Ѳед. Прошу помолчать. *(Таня проводитъ ниткой по головѣ толстой барыни).*

Толст. бар. Ай!

Леон. Ѳед. Что? что?

Толст. бар. Онъ меня за волосы взялъ.

Леон. Ѳед. *(шопотомъ).* Не бойтесь, ничего, подайте ему руку. Рука бываетъ холодная, но я это люблю.

Толст. бар. *(прячетъ руки).* Ни за что!

Сахат. Да, странно, странно!

Леон. Ѳед. Онъ здѣсь и ищетъ общенія. Кто хочетъ спросить что-нибудь?

Сахат. Позвольте, я спрошу.

Проф. Сдѣлайте одолженіе.

Сахат. Вѣрю я или нѣтъ? *(Таня стучитъ два раза.)*

Проф. Отвѣтъ утвердительный.

Сахат. Позвольте, я еще спрошу. Есть у меня въ карманѣ десятирублевая бумажка? *(Таня стучитъ много разъ и проводитъ ниткой по головѣ Сахатова).*

Сахат. Ахъ!.. *(Хватаетъ нитку и обрываетъ ее).*

Проф. Я бы просилъ присутствующихъ не дѣлать неопредѣленныхъ и шутливыхъ вопросовъ. Ему непріятно.

Сахат. Нѣтъ, позвольте у меня въ рукѣ нитка.

Леон. Ѳед. Нитка? Держите ее. Это часто бываетъ; не только нитки, но шелковые шнурки, самые древніе.

Сахат. Нѣтъ, однако, откуда же нитка? *(Таня бросаетъ въ него подушкой.)*

Сахат. Позвольте, позвольте! Что-то мягкое ударило меня въ голову. Позвольте свѣтъ,—тутъ что-нибудь...

Проф. Мы просимъ васъ не нарушать проявленія.

Толст. бар. Ради Бога, не нарушайте! И я хочу спросить. Можно?

Леонт. Ѳед. Можно, можно. Спрашивайте.

Толст. бар. Я хочу спросить о своемъ желудкѣ. Можно? Я хочу спросить, что мнѣ принимать — аконитъ или белладонну. *(Молчаніе, шопотъ въ сторонѣ молодыхъ людей, и вдругъ Василій Леонидычъ кричитъ, какъ грудной ребенокъ: уа! уа!—Хохотъ. Захватывая носы и рты и фыркая, дѣвицы съ Петрищевымъ убѣгаютъ.)*

Толст. бар. Ахъ, это вѣрно, и этотъ монахъ опять родился!

Леон. Ѳед. *(въ бѣшенствѣ, гнѣвнымъ шопотомъ).* Кромѣ глупости отъ тебя ничего! Если не умѣешь держать себя прилично, то уйди.

*(Василій Леонидычъ уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XX.

**Леонидъ Ѳедоровичъ, профессоръ, толстая барыня, Сахатовъ, Гросманъ, докторъ, Семенъ** *и* **Таня**. *Темнота и молчаніе.*

Толст. бар. Ахъ, какъ жаль! Теперь ужъ нельзя спрашивать. Онъ родился.

Леон. Ѳед. Нисколько. Это глупости Вово. А *онъ* тутъ. Спрашивайте.

Проф. Это часто бываетъ; эти шутки, насмѣшки — самое обыкновенное явленіе. Я полагаю, что *онъ* здѣсь еще. Впрочемъ, мы можемъ спросить. Леонидъ Ѳедоровичъ, вы?

Леон. Ѳед. Нѣтъ, пожалуйста, вы. Меня это разстроило. Такъ непріятно! Эта безтактность!..

Проф. Хорошо, хорошо!.. Николай! ты здѣсь еще? *(Таня стучитъ два раза и звонитъ въ колокольчикъ.—Семенъ начинаетъ рычать и разводить руками. Захватываетъ Сахатова и профессора и давитъ ихъ).*

Проф. Какое неожиданное проявленіе! Воздѣйствіе на самого медіума. Этого не бывало. Леонидъ Ѳедоровичъ, наблюдайте, мнѣ неловко. Онъ давитъ меня. Да смотрите, что Гросманъ? Теперь нужно полное вниманіе. *(Таня бросаетъ мужицкую бумагу на столъ).*

Леон. Ѳед. Что-то упало на столъ.

Проф. Смотрите, что упало.

Леон. Ѳед. Бумага! Сложенный листъ бумаги. *(Таня бросаетъ дорожную чернильницу).*

Леон. Ѳед. Чернильница! *(Таня бросаетъ перо).*

Леон. Ѳед. Перо! *(Семенъ рычитъ и давитъ).*

Проф. *(задавленный).* Позвольте, позвольте, совершенно новое явленіе: не вызванная медіумическая энергія дѣйствуетъ, а самъ медіумъ. Однако откройте чернильницу и положите на бумагу перо: онъ напишетъ. *(Таня заходитъ сзади

*Леонида Өедоровича и бьетъ его по головѣ гитарой.)*

Леон. Өед. Ударилъ меня по головѣ! *(Смотритъ на столъ).* Перо не пишетъ еще, и бумага сложена.

Проф. Посмотрите, что за бумага, дѣлайте скорѣй; очевидно, двойная сила — его и Гросмана — производитъ пертурбаціи.

Леон. Өед. *(выходитъ съ бумагой въ дверь и тотчасъ возвращается).* Необычайно! Бумага эта — договоръ съ крестьянами, который я нынче утромъ отказался подписать и отдалъ назадъ крестьянамъ. Вѣроятно, *онъ* хочетъ, чтобъ я подписалъ его?

Проф. Разумѣется! Разумѣется! Да вы спросите.

Леон. Өед. Николай! или ты желаешь... *(Таня стучитъ два раза).*

Проф. Слышите? Очевидно, очевидно! *(Леонидъ Өедоровичъ беретъ перо и выходитъ.—Таня стучитъ, играетъ на гитарѣ и гармоніи и лѣзетъ опять подъ диванъ. — Леонидъ Өедоровичъ возвращается.—Семенъ потягивается и прокашливается.)*

Леон. Өед. Онъ просыпается. Можно зажечь свѣчи.

Проф. *(поспѣшно).* Докторъ, докторъ, пожалуйста, температуру и пульсъ! Вы увидите, что сейчасъ обнаружится повышеніе.

Леон. Өед. *(зажигаетъ свѣчи).* Ну что, господа невѣрующіе?

Докт. *(подходя къ Семену и вставляя термометръ).* Ну-ка, молодецъ. Что, поспалъ? Ну-ка это вставь и давай руку. *(Смотритъ на часы).*

Сахат. *(пожимаетъ плечами).* Могу утверждать, что медіумъ не могъ дѣлать всего того, что происходило. Но нитка?.. Я бы желалъ объясненіе нитки.

Леон. Өед. Нитка, нитка! Тутъ были явленія посерьезнѣе.

Сахат. Не знаю. Во всякомъ случаѣ— je réserve mon opinion.

Толст. бар. *(къ Сахатову).* Нѣтъ, какъ же вы говорите: je réserve mon opinion. А младенецъ-то съ крылышками? Развѣ вы не видали? Я сначала подумала, что это кажется; но потомъ ясно, ясно, какъ живой...

Сахат. Могу говорить только о томъ, что видѣлъ. Я не видалъ этого, не видалъ.

Толст. бар. Ну какъ же! Совсѣмъ ясно было видно. А съ лѣвой стороны монахъ въ черномъ одѣяніи еще нагнулся къ нему...

Сахат. *(отходитъ).* Какое преувеличеніе!

Толст. бар. *(обращается къ доктору).* Вы должны были видѣть. Онъ съ вашей стороны поднимался. *(Докторъ, не слушая ея, продолжаетъ считать пульсъ.)*

Толст. бар. *(къ Гросману).* И свѣтъ, свѣтъ отъ него, особенно вокругъ личика. И выраженіе такое кроткое, нѣжное, что-то вотъ этакое небесное! *(Сама нѣжно улыбается.)*

Гросм. Я видѣлъ свѣтъ фосфорическій, предметы измѣняли мѣсто, но болѣе я ничего не видѣлъ.

Толст. бар. Ну, полноте! Это вы такъ. Это оттого, что вы, ученые школы Шарко, не вѣрите въ загробную жизнь. А меня никто теперь, никто въ мірѣ не разувѣритъ въ будущей жизни. *(Гросманъ уходитъ отъ нея.)*

Толст. бар. Нѣтъ, нѣтъ, что ни говорите, а это одна изъ самыхъ счастливыхъ минутъ моей жизни. Когда Саразате игралъ и эта... Да! *(Никто ея не слушаетъ. Она подходитъ къ Семену.)* Ну, ты мнѣ скажи, дружокъ, ты что чувствовалъ? Очень тебѣ было тяжело?

Сем. *(смѣется).* Такъ точно.

Толст. бар. Все-таки терпѣть можно?

Сем. Такъ точно. *(Къ Леониду Өедоровичу).* Прикажете итти?

Леон. Өед. Иди, иди.

Докт. *(профессору).* Пульсъ тотъ же, но температура понизилась.

Проф. Понизилась? *(Задумывается и вдругъ догадывается).* Такъ и должно было быть, — должно было быть пониженіе! Двойная энергія, пересѣкаясь, должна была произвести нѣчто въ родѣ интерференціи. Да, да.

*(Говорятъ всѣ вмѣстѣ, уходя).*

Леон. Өед. Мнѣ одно жалко, что полной матеріализаціи не было. Но все-таки... Господа, милости просимъ въ гостиную.

Толст. бар. Особенно меня поразило, когда онъ взмахнулъ крылышками, и видно было, какъ онъ поднимается.

Гросм. *(Сахатову).* Если бы держаться одного гипноза, можно бы произ-

вести полную эпилепсію. Успѣхъ могъ бы быть совершенный.

Сахат. Интересно, но не вполнѣ убѣдительно!—Все, что могу сказать.

### ЯВЛЕНІЕ XXI.

**Леонидъ Өедоровичъ** *съ бумагой. Входитъ* **Өедоръ Иванычъ**.

Леон. Өед. Ну, Өедоръ, какой сеансъ былъ — удивительный! Оказывается, что землю-то надо уступить крестьянамъ на ихъ условіяхъ.

Өед. Иван. Вотъ какъ!

Леон. Өед. Да какъ же? *(Показываетъ бумагу.)* Представь, бумага, которую я имъ отдалъ, оказалась на столѣ. Я подписалъ.

Өед. Иван. Какъ же она попала сюда?

Леон. Өед. Да вотъ попала. *(Уходитъ.)*

*(Өедоръ Иванычъ уходитъ за нимъ.)*

### ЯВЛЕНІЕ XXII.

**Таня** *одна вылѣзаетъ изъ-подъ дивана и смѣется.*

Таня. Батюшки мои! Голубчики! Набралась я страху, какъ онъ за нитку поймалъ. *(Визжитъ).* Ну, да все-таки вышло—подписалъ!

### ЯВЛЕНІЕ XXIII.

**Таня** *и* **Григорій**.

Григ. Такъ это ты ихъ дурачила?

Таня. А вамъ что?

Григ. А что жъ, думаешь, барыня за это похвалитъ? Нѣтъ, шалишь, теперь попалась. Разскажу твои плутни, коли по-моему не сдѣлаешь.

Таня. И по-вашему не сдѣлаю, и ничего вы мнѣ не сдѣлаете.

*Занавѣсъ.*

---

## ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Театръ представляетъ декорацію 1-го дѣйствія.

### ЯВЛЕНІЕ I.

**Два выѣздныхъ лакея** *въ ливреяхъ,* **Өедоръ Иванычъ**.

1-й лакей *(съ сѣдыми бакенбардами).* Нынче къ вамъ къ третьимъ. Спасибо, въ одной сторонѣ пріемные дни. У васъ прежде по четвергамъ было.

Өед. Иван. Затѣмъ перемѣнили на субботу, чтобы заодно: у Головкиныхъ, у Граде-фонъ-Грабе...

2-й лакей. У Щербаковыхъ такъ-то хорошо, что, какъ балъ, такъ лакеямъ угощеніе.

### ЯВЛЕНІЕ XV.

**Өедоръ Иванычъ, 1-й лакей** *и* **барыня** *провожаетъ* **старую графиню** *съ фальшивыми волосами и зубами.* **Графиню** *одѣваетъ* **1-й лакей**.

Барыня. Непремѣнно, какъ же? Я такъ истинно тронута.

Графиня. Кабы не нездоровье, я бы чаще у васъ бывала.

Барыня. Право, возьмите Петра Петровича. Онъ грубъ, но никто такъ не можетъ успокоить; такъ просто, ясно у него все.

Графиня. Нѣтъ, ужъ я привыкла.

Барыня. Осторожнѣе.

Графиня. Merci, mille fois merci.

### ЯВЛЕНІЕ XVI.

**Тѣ же** *и* **Григорій** *растрепанный, въ волненіи, выскакиваетъ изъ буфета. За нимъ виденъ* **Семенъ**.

Сем. А ты къ ней не приставай.

Григ. Я тебя, мерзавца, научу, какъ драться! Ахъ ты, негодяй!

Барыня. Что это такое? Что вы, въ кабакѣ, что ли?

Григ. Не могу жить отъ этого мужика грубаго.

Барыня *(съ досадой).* Вы съ ума сошли, развѣ вы не видите? *(Къ графинѣ)* Merci, mille fois merci. A mardi.

*(Графиня и 1-й лакей уходятъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XVII.

**Өедоръ Иванычъ, барыня, Григорій** *и* **Семенъ.**

Барыня *(къ Григорью).* Что такое?

Григ. Я хоть въ должности лакея, но я имѣю свою гордость и не позволю всякому мужику себя толкать.

Барыня. Да что такое случилось?

Григ. Да вотъ Семенъ вашъ набрался храбрости, что онъ съ господами сидѣлъ. Драться лѣзетъ.

Барыня. Что такое? За что?

Григ. А Богъ его знаетъ.

Барыня *(къ Семену).* Что это такое значитъ?

Сем. Что жъ онъ къ ней пристаетъ?

Барыня. Да что у васъ было?

Сем. *(улыбаясь).* Да такъ, онъ Таню, горничную, все хватаетъ, а она не хочетъ. Вотъ я его отстранилъ рукой... такъ маленечко...

Григ. Хорошо отстранилъ, чуть ребра не сломалъ. И фракъ разорвалъ. Да вѣдь онъ что говоритъ: «на меня, говоритъ, по-вчерашнему, сила нашла», и началъ давить.

Барыня *(къ Семену).* Какъ ты смѣешь драться въ моемъ домѣ?

Өед. Иван. Позвольте доложить, Анна Павловна, надо вамъ сказать, что Семенъ имѣетъ чувства къ Танѣ, и какъ они теперь сосватаны, а Григорій, — что жъ, надо правду сказать, — обращается нехорошо, неблагородно. Ну, вотъ Семенъ, я полагаю, и обидѣлся на него.

Григ. Совсѣмъ нѣтъ; это изъ-за злобы, что я плутовство ихъ все открылъ.

Барыня. Какое плутовство?

Григ. А въ сеансѣ. Всѣ вчерашнія штуки не Семенъ, а Татьяна дѣлала. Я самъ видѣлъ, какъ она изъ-подъ дивана лѣзла.

Барыня. Что такое? Изъ-подъ дивана лѣзла?

Григ. Честное слово могу дать. Она и бумагу принесла и кинула на столъ. Кабы не она, бумагу не подписали бы и мужикамъ землю не продали бы.

Барыня. Вы сами видѣли?

Григ. Своими глазами. Прикажите позвать ее, она не отопрется.

Барыня. Позовите ее.

*(Григорій уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XVIII.

**Тѣ же,** *безъ* **Григорья.** *За сценой шумъ, голосъ* **швейцара:** Нельзя, нельзя! *Показывается* **швейцаръ,** *мимо него врываются* **3 мужика.** *Впереди* **2-й муж.;** **3-й муж.** *спотыкается, падаетъ и хватается за носъ.*

Швейц. Нельзя, идите!

2-й муж. Авось, не бѣда. Развѣ мы за худымъ чѣмъ?—Мы денежки отдать.

1-й муж. Двистительно, какъ за подписью руки приложенья, дѣло въ окончаніи, мы только денежки предоставить съ нашей благодарностью.

Барыня. Погодите, погодите благодарить, все это былъ обманъ. Еще не кончено. Не продано еще... Леонидъ!.. Позовите Леонида Өедоровича. *(Швейцаръ уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XIX.

**Тѣ же и Леонидъ Өедоровичъ** *выходитъ, но, увидавъ* **барыню и мужиковъ,** *хочетъ уйти назадъ.*

Барыня. Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйте сюда! Я говорила вамъ, что нельзя продавать землю въ долгъ, и всѣ вамъ говорили. А васъ обманываютъ, какъ самаго глупаго человѣка.

Леон. Өед. То-есть въ чемъ? Я не понимаю, какой обманъ.

Барыня. Стыдились бы вы! Вы сѣдой, а васъ, какъ мальчишку, обманываютъ и смѣются надъ вами. Жалѣете для сына какіе-нибудь 300 рублей для его общественнаго положенія, а самихъ васъ, какъ дурака, проводятъ на тысячи.

Леон. Өед. Да ты, Annette, успокойся.

1-й муж. Мы только въ полученіи суммы, значитъ...

3-й муж. *(достаетъ деньги).* Отпусти ты насъ, ради Христа!

Барыня. Погодите, погодите.

## ЯВЛЕНІЕ XX.

**Тѣ же, Григорій** *и* **Таня.**

Барыня *(строго къ Танѣ).* Ты была вчера вечеромъ во время сеанса въ

маленькой гостиной? *(Таня, вздыхая, оглядывается на Өедора Иваныча, Леонида Өедоровича и Семена.)*

Григ. Да ужъ нечего вилять, когда я самъ видѣлъ...

Барыня. Говори, была? Я знаю все, признавайся. Я тебѣ ничего не сдѣлаю. Мнѣ только хочется уличить вотъ его *(указываетъ на Леонида Өедоровича)*, барина... Ты кинула бумагу на столъ?

Таня. Я не знаю, что и отвѣчать. Одно, что нельзя ли меня домой отпустить?

Барыня *(къ Леониду Өедоровичу)*. Вотъ видите, васъ дурачатъ.

ЯВЛЕНІЕ XXI.

**Тѣ же.** *Входитъ* **Бетси** *въ началѣ явленія и стоитъ незамѣченная.*

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна!

Барыня. Нѣтъ, милая! Ты вѣдь, можетъ-быть, убытку сдѣлала на нѣсколько тысячъ. Продали землю, которую не надо было продавать.

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна.

Барыня. Нѣтъ, ты отвѣтишь. Плутовать нельзя. Къ мировому судьѣ подамъ.

Бетси *(выступая)*. Отпустите ее, мама. А коли вы хотите ее судить, то и меня вмѣстѣ съ ней,—я съ ней вмѣстѣ вчера все дѣлала.

Барыня. Ну, да ужъ когда ты, то, кромѣ самаго гадкаго, ничего и быть не могло.

ЯВЛЕНІЕ XXII.

**Тѣ же** *и* **профессоръ.**

Проф. Здравствуйте, Анна Павловна! Здравствуйте, барышня! А я вамъ несу, Леонидъ Өедоровичъ, отчетъ о 13-мъ съѣздѣ спиритуалистовъ въ Чикаго. Удивительная рѣчь Шмита.

Леон. Өед. А, очень интересно!

Барыня. Я вамъ гораздо интереснѣе разскажу. Оказывается, что и васъ и мужа дурачила эта дѣвчонка. Бетси на себя говоритъ, но это чтобъ дразнить меня, а дурачила васъ безграмотная дѣвчонка, а вы вѣрите. Вчера никакихъ вашихъ медіумическихъ явленій не было, а это она *(указывая на Таню)* все дѣлала.

Проф. *(раздѣваясь)*. Какъ, т.-е.?

Барыня. Да такъ, что она въ темнотѣ и на гитарѣ играла, и мужа по головѣ била, и всѣ глупости ваши дѣлала, и сейчасъ призналась.

Проф. *(улыбаясь)*. Такъ что же это доказываетъ?

Барыня. Доказываетъ, что вашъ медіумизмъ—вздоръ! Вотъ что доказываетъ.

Проф. Оттого, что эта дѣвушка хотѣла обманывать, отъ этого медіумизмъ—вздоръ, какъ вы изволите выражаться? *(Улыбаясь.)* Странное заключеніе! Очень можетъ быть, что дѣвушка эта хотѣла обманывать: это часто бываетъ; можетъ-быть, она что-нибудь и дѣлала, но то, что она дѣлала— дѣлала она, а то, что было проявленіемъ медіумической энергіи, было проявленіемъ медіумической энергіи. Даже весьма вѣроятно, что то, что дѣлала эта дѣвушка, вызывало, соллицитировало, такъ сказать, проявленіе медіумической энергіи, давало ей опредѣленную форму.

Барыня. Опять лекція!..

Проф. *(строго)*. Вы говорите, Анна Павловна, что эта дѣвушка, можетъ-быть, и эта милая барышня что-то дѣлали, но свѣтъ, который мы всѣ видѣли, а въ первомъ случаѣ пониженіе, а во-второмъ— повышеніе температуры, а волненіе и вибрированіе Гросмана,—что же, это тоже дѣлала эта дѣвушка? А это факты, факты, Анна Павловна! Нѣтъ, Анна Павловна, есть вещи, которыя надо изслѣдовать и вполнѣ понимать, чтобы говорить о нихъ,—вещи слишкомъ серьезныя, слишкомъ серьезныя...

Леон. Өед. А дитя, которое ясно видѣла Марья Васильевна? Да и я видѣлъ... Это не могла же сдѣлать эта дѣвушка.

Барыня. Вы думаете, что вы умны? а вы—дуракъ!

Леон. Өед. Ну, я уйду... Алексѣй Владимировичъ, пойдемте ко мнѣ. *(Уходитъ въ кабинетъ.)*

Проф. *(пожимая плечами, идетъ за нимъ)*. Да, какъ еще мы далеки отъ Европы!

ЯВЛЕНІЕ XXIII.

**Барыня, три мужика, Өедоръ Иванычъ, Таня, Бетси, Григорій, Семенъ** *и* **Яковъ** *(входятъ)*.

Барыня *(вслѣдъ Леониду Өедоровичу)*. Обманули его, какъ дурака, а онъ ничего не видитъ. *(Якову.)* Тебѣ что?

Яковъ. На много ли персонъ прикажете накрывать?

Барыня. На много ли?.. Өедоръ Иванычъ! принять отъ него серебро! Вонъ сейчасъ! Отъ него все. Этотъ человѣкъ меня въ гробъ сведетъ. Вчера чуть-чуть не заморилъ собачку, которая ничего ему не сдѣлала. Мало ему этого, онъ же зараженныхъ мужиковъ вчера въ кухню завелъ, и опять они здѣсь. Отъ него все! Вонъ, сейчасъ вонъ! Расчетъ, расчетъ! *(Семену.)* А если ты себѣ впередъ позволишь шумѣть въ моемъ домѣ, я тебя, сквернаго мужика, выучу!

2-й муж. Да что же, коли онъ скверный мужикъ, такъ и держать его нечего, а давай расчетъ, вотъ и все.

Барыня *(слушая его, вглядывается въ третьяго мужика)*. Да смотрите: у этого сыпь на носу, сыпь! Онъ больной, онъ резервуаръ заразы!! Вѣдь я вчера говорила, чтобы ихъ не пускать, и вотъ они опять тутъ. Гоните ихъ вонъ!

Өед. Иван. Что же, не прикажете деньги принять?

Барыня. Деньги? Деньги возьми, но ихъ, особенно этого больного, вонъ, сію минуту вонъ! Онъ совсѣмъ гнилой!

3-й муж. Напрасно ты, мать, ей-Богу, напрасно. У моей старухи, скажемъ, спроси. Какой я гнилой? Я какъ стеклушко, скажемъ.

Барыня. Еще разговариваетъ!.. Вонъ, вонъ! Все назло!.. Нѣтъ, я не могу, не могу!.. Пошлите за Петромъ Петровичемъ. *(Убѣгаетъ, всхлипывая.)*

*(Яковъ и Григорій уходятъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXIV.

**Тѣ же, *безъ* барыни, Якова *и* Григорія.**

Таня *(къ Бетси)*. Барышня, голубушка, какъ же мнѣ быть теперь?

Бетси. Ничего, ничего. Поѣзжай съ ними, я устрою. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXV.

**Өедоръ Иванычъ, три мужика, Таня *и* швейцаръ.**

1-й муж. Какъ же, почтенный, полученіе суммы теперича?

2-й муж. Отпусти ты насъ.

3-й муж. *(мнется съ деньгами)*. Кабы знать, я ни въ жисть не взялъ бы. Это засушитъ хуже лихой болѣсти.

Өед. Иван. *(швейцару)*. Проводи ихъ ко мнѣ, тамъ и счеты есть. Тамъ и получу. Идите, идите.

Швейц. Пойдемте, пойдемте.

Өед. Иван. Да благодарите Таню. Кабы не она, быть бы вамъ безъ земли.

1-й муж. Двиствительно, какъ издѣлала предлогъ, такъ и въ дѣйствіе произвела.

3-й муж. Она насъ людьми издѣлала; а то бы что? Земля малая, не то что скотину,—курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда. Прощевай, умница! Пріѣдешь на село, приходи медъ ѣсть.

2-й муж. Дай домой пріѣду, свадьбу готовить стану, пиво варить. Только пріѣзжай.

Таня. Пріѣду, пріѣду! *(Визжитъ.)* Семенъ! то-то хорошо-то! *(Мужики уходятъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XXVI.

**Өедоръ Иванычъ, Таня *и* Семенъ.**

Өед. Иван. Съ Богомъ. Ну, смотри, Таня, когда домкомъ заживешь, я пріѣду къ тебѣ погостить. Примешь?

Таня. Голубчикъ ты мой, какъ отца родного примемъ! *(Обнимаетъ и цѣлуетъ его.)*

*Занавѣсъ.*

**Антонъ Павловичъ Чеховъ.**

(1860 — 1904).

## Унтеръ Пришибеевъ.

— Унтеръ - офицеръ Пришибеевъ! Вы обвиняетесь въ томъ, что 3 сего сентября оскорбили словами и дѣйствіемъ урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотскаго Ефимова, понятыхъ Иванова и Гаврилова и еще шестерыхъ крестьянъ, при чемъ первымъ тремъ было нанесено вами оскорбленіе при исполненіи ими служебныхъ обязанностей. Признаете вы себя виновнымъ?

Пришибеевъ, сморщенный унтеръ съ колючимъ лицомъ, дѣлаетъ руки по швамъ и отвѣчаетъ хриплымъ, придушеннымъ голосомъ, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородіе, господинъ мировой судья! Стало-быть, по всѣмъ статьямъ закона выходитъ причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновенъ не я, а всѣ прочіе. Все это дѣло вышло изъ - за, царствіе ему небесное, мертваго трупа. Иду я третьяго числа съ женой Анфисой тихо, благородно, смотрю— стоитъ на берегу куча разнаго народа людей. По какому полному праву тутъ народъ собрался? — спрашиваю. Зачѣмъ? Нешто въ законѣ сказано, чтобъ народъ табуномъ ходилъ? Кричу: разойдись! Сталъ расталкивать народъ, чтобъ расходились по домамъ, приказалъ сотскому гнать взашей...

— Позвольте, вы вѣдь не урядникъ, не староста,—развѣ это ваше дѣло народъ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса изъ разныхъ угловъ камеры.—Житья отъ него нѣту, вашескородіе! Пятнадцать лѣтъ отъ него терпимъ! Какъ пришелъ со службы, такъ съ той поры хоть изъ села бѣги. Замучилъ всѣхъ!

— Именно такъ, вашескородіе! — говоритъ свидѣтель староста. — Всѣмъ міромъ жалимся. Жить съ нимъ никакъ невозможно! Съ образами ли ходимъ, свадьба

ли, или, положимъ, случай какой, вездѣ онъ кричитъ, шумитъ, все порядки вводитъ. Ребятамъ уши деретъ, за бабами подглядываетъ, чтобъ чего не вышло, словно свекоръ какой... Намеднись по избамъ ходилъ, приказывалъ, чтобъ пѣсней не пѣли и чтобъ огней не жгли. Закона, говоритъ, такого нѣтъ, чтобъ пѣсни пѣть.

— Погодите, вы еще успѣете дать показаніе, — говоритъ мировой, — а теперь пусть Пришибеевъ продолжаетъ. Продолжайте, Пришибеевъ!

— Слушаю-съ! — хрипитъ унтеръ. — Вы, ваше высокородіе, изволите говорить, не мое это дѣло народъ разгонять... Хорошо-съ.. А ежели безпорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народъ безобразилъ? Гдѣ это въ законѣ написано, чтобъ народу волю давать? Я не могу дозволять-съ. Ежели я не стану ихъ разгонять да взыскивать, то кто же станетъ? Никто порядковъ настоящихъ не знаетъ, во всемъ селѣ только я одинъ, можно сказать, ваше высокородіе, знаю, какъ обходиться съ людями простого званія, и, ваше высокородіе, я могу все понимать. Я не мужикъ, я унтеръ-офицеръ, отставной каптенармусъ, въ Варшавѣ служилъ, въ штабѣ-съ, а послѣ того, изволите знать, какъ въ чистую вышелъ, былъ въ пожарныхъ-съ, а послѣ того по слабости болѣзни ушелъ изъ пожарныхъ и два года въ мужской классической прогимназіи въ швейцарахъ служилъ... Всѣ порядки знаю-съ. А мужикъ—простой человѣкъ, онъ ничего не понимаетъ и долженъ меня слушать, потому—для его же пользы. Взять хоть это дѣло къ примѣру... Разгоняю я народъ, а на берегу, на песочкѣ, утоплый трупъ мертваго человѣка. По какому такому основанію, спрашиваю, онъ тутъ лежитъ? Нешто это порядокъ? Что урядникъ глядитъ? Отчего ты, говорю, урядникъ, начальству знать не даешь? Можетъ, этотъ утоплый покойникъ самъ утопъ, а можетъ, тутъ дѣло Сибирью пахнетъ. Можетъ, тутъ уголовное смертоубійство... А урядникъ Жигинъ никакого вниманія, только папироску куритъ. «Что это, говоритъ, у васъ за указчикъ такой? Откуда, говоритъ, онъ у васъ такой взялся? Нешто мы безъ него, говоритъ, не знаемъ нашего поведенія?» Сталобыть, говорю, ты не знаешь, дуракъ этакой, коли тутъ стоишь и безъ вниманія. «Я, говоритъ, еще вчера далъ знать становому приставу». Зачѣмъ же, спрашиваю, становому приставу? По какой статьѣ свода законовъ? Нешто въ такихъ дѣлахъ, когда утопшіе или удавившіе и прочее тому подобное,—нешто въ такихъ дѣлахъ становой можетъ? Тутъ, говорю, дѣло уголовное, гражданское... Тутъ, говорю, скорѣй посылать эстафетъ господину слѣдователю и судьямъ-съ. И перво-наперво ты долженъ, говорю, составить актъ и послать господину мировому судьѣ. А онъ, урядникъ, все слушаетъ и смѣется. И мужики тоже. Всѣ смѣялись, ваше высокородіе. Подъ присягой могу показать. И этотъ смѣялся, и вотъ этотъ, и Жигинъ смѣялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядникъ и говоритъ: «мировому, говоритъ, судьѣ такія дѣла не подсудны». Отъ этихъ самыхъ словъ меня даже въ жаръ бросило. Урядникъ, вѣдь ты это сказывалъ?—обращается унтеръ къ уряднику Жигину.

— Сказывалъ.

— Всѣ слыхали, какъ ты это самое при всемъ простомъ народѣ. «Мировому судьѣ такія дѣла не подсудны». Всѣ слыхали, какъ ты это самое... Меня, ваше высокородіе, въ жаръ бросило, я даже сробѣлъ весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказалъ! Онъ опять эти самыя слова... Я къ нему. Какъ же, говорю, ты можешь такъ объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейскій урядникъ, да противъ власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господинъ мировой судья, ежели пожелаютъ, могутъ тебя за такія слова въ губернское жандармское управленіе по причинѣ твоего неблагонадежнаго поведенія? Да ты знаешь, говорю, куда за такія политическія слова тебя угнать можетъ господинъ мировой судья? А старшина говоритъ: — «Мировой, говоритъ, дальше своихъ предѣловъ ничего обозначить не можетъ. Только малыя дѣла ему подсудны». Такъ и сказалъ, всѣ слышали... Какъ же, говорю, ты смѣешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шутокъ, а то дѣло, братъ, плохо. Бывало, въ Варшавѣ, или когда въ швейцарахъ былъ въ мужской классической прогимназіи, то какъ заслышу какія неподходящія слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма; «поди, говорю, сюда, кавалеръ»,—и все ему докладываю. А тутъ, въ деревнѣ, кому скажешь?.. Взяло меня

зло. Обидно стало, что нынѣшній народъ забылся въ своеволіи и неповиновеніи, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а такъ, правильно, полегоньку, чтобъ не смѣлъ про ваше высокородіе такія слова говорить... За старшину урядникъ вступился. Я, стало-быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородіе, ну да вѣдь безъ того нельзя, чтобъ не побить. Ежели глупаго человѣка не побьешь, то на твоей же душѣ грѣхъ. Особливо, ежели за дѣло... ежели безпорядокъ...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядѣть. На это есть урядникъ, староста, сотскій...

— Уряднику за всѣмъ не углядѣть, да урядникъ и не понимаетъ того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дѣло!

— Чего-съ? Какъ же это не мое? Чудно-съ... Люди безобразятъ—и не мое дѣло! Что-жъ мнѣ хвалить ихъ, что ли? Они вотъ жалятся вамъ, что я пѣсни пѣть запрещаю... Да что хорошаго въ пѣсняхъ-то? Вмѣсто того, чтобъ дѣломъ какимъ заниматься, они пѣсни... А еще тоже моду взяли вечера съ огнемъ сидѣть. Нужно спать ложиться, а у нихъ разговоры да смѣхи. У меня записано-съ!

— Что у васъ записано?

— Кто съ огнемъ сидитъ.

Пришибеевъ вынимаетъ изъ кармана засаленную бумажку, надѣваетъ очки и читаетъ:

— Которые крестьяне сидятъ съ огнемъ: Иванъ Прохоровъ, Савва Микифоровъ, Петръ Петровъ. Солдатка Шустрова, вдова, живетъ въ развратномъ беззаконіи съ Семеномъ Кисловымъ. Игнатъ Сверчокъ занимается волшебствомъ, и жена его Мавра есть вѣдьма, по ночамъ ходитъ доить чужихъ коровъ.

— Довольно!—говоритъ судья и начинаетъ допрашивать свидѣтелей.

Унтеръ Пришибеевъ поднимаетъ очки на лобъ и съ удивленіемъ глядитъ на мирового, который, очевидно, не на его сторонѣ. Его выпученные глаза блестятъ, носъ становится ярко-краснымъ. Глядитъ онъ на мирового, на свидѣтелей и никакъ не можетъ понять, отчего это мировой такъ взволнованъ, и отчего изъ всѣхъ угловъ камеры слышится то ропотъ, то сдержанный смѣхъ. Непонятенъ ему и приговоръ: на мѣсяцъ подъ арестъ!

— За что?!—говоритъ онъ, разводя въ недоумѣніи руками.—По какому закону?

И для него ясно, что міръ измѣнился, и что жить на свѣтѣ уже никакъ не возможно. Мрачныя, унылыя мысли овладѣваютъ имъ. Но, выйдя изъ камеры и увидѣвъ мужиковъ, которые толпятся и говорятъ о чемъ-то, онъ по привычкѣ, съ которой уже совладать не можетъ, вытягиваетъ руки по швамъ и кричитъ хриплымъ, сердитымъ голосомъ:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домамъ!

## Въ судѣ.

Въ уѣздномъ городѣ N—скѣ, въ казенномъ коричневомъ домѣ, гдѣ, чередуясь, засѣдаютъ земская управа, мировой съѣздъ, крестьянское, питейное, воинское и многія другія присутствія, въ одинъ изъ пасмурныхъ, осеннихъ дней разбирало наѣздомъ свои дѣла отдѣленіе окружнаго суда. Про названный коричневый домъ одинъ мѣстный администраторъ сострилъ:

— Тутъ и юстиція, тутъ и полиція, тутъ и милиція—совсѣмъ институтъ благородныхъ дѣвицъ.

Но, вѣроятно, по пословицѣ, что у семи нянекъ дитя бываетъ безъ глаза, этотъ домъ поражаетъ и гнететъ свѣжаго, нечиновнаго человѣка своимъ унылымъ, казарменнымъ видомъ, ветхостью и полнымъ отсутствіемъ какого бы то ни было комфорта какъ снаружи, такъ и внутри. Даже въ самые яркіе весенніе дни онъ кажется покрытымъ густою тѣнью, а въ свѣтлыя, лунныя ночи, когда деревья и обывательскіе домишки, слившись въ одну сплошную тѣнь, погружены въ тихій сонъ, онъ одинъ какъ-то нелѣпо и не кстати давящимъ камнемъ высится надъ скромнымъ пейзажемъ, портитъ общую гармонію и не спитъ, точно не можетъ отдѣлаться отъ тяжелыхъ воспоминаній о прошлыхъ, не прощенныхъ грѣхахъ. Внутри все сарайно и крайне непривлекательно. Странно бываетъ видѣть, какъ всѣ эти изящные прокуроры, члены, предводители, дѣлающіе у себя дома сцены изъ-за легкаго чада или пятнышка на полу, легко мирятся здѣсь съ жужжащими вентиляціями, противнымъ

запахомъ курительныхъ свѣчекъ и съ грязными, вѣчно потными стѣнами.

Засѣданіе окружнаго суда началось въ десятомъ часу. Къ разбирательству было приступлено немедленно, съ замѣтной спѣшкой. Дѣла замелькали одно за другимъ и кончались быстро, какъ обѣдня безъ пѣвчихъ, такъ что никакой умъ не смогъ бы составить себѣ цѣльнаго, картиннаго впечатлѣнія отъ всей этой пестрой, бѣгущей, какъ полая вода, массы лицъ, движеній рѣчей, несчастій, правды, лжи... Къ двумъ часамъ было сдѣлано много: двоихъ присудили къ арестантскимъ ротамъ, одного привилегированнаго лишили правъ и приговорили къ тюрьмѣ, одного оправдали. одно дѣло отложили...

Ровно въ два часа предсѣдательствующій объявилъ къ слушанію дѣло «по обвиненію крестьянина Николая Харламова въ убійствѣ своей жены». Составъ суда остался тотъ же, что былъ и на предыдущемъ дѣлѣ, только мѣсто защитника заняла новая личность—молодой безбородый кандидатъ на судебныя должности въ сюртукѣ со свѣтлыми пуговицами.

— Введите подсудимаго!—распорядился предсѣдатель.

Но подсудимый, заранѣе приготовленный, уже шелъ къ своей скамьѣ. Это былъ высокій, плотный мужикъ, лѣтъ 55, совершенно лысый, съ апатичнымъ волосатымъ лицомъ и съ большой рыжей бородой. За нимъ слѣдовалъ маленькій, тщедушный солдатикъ съ ружьемъ.

Почти у самой скамьи съ конвойнымъ произошла маленькая непріятность. Онъ вдругъ споткнулся и выронилъ изъ рукъ ружье, но тотчасъ же поймалъ его на лету, при чемъ сильно ударился колѣномъ о прикладъ. Въ публикѣ послышался легкій смѣхъ. Отъ боли или, быть-можетъ, отъ стыда за свою неловкость солдатъ густо покраснѣлъ.

Послѣ обычнаго опроса подсудимаго, перетасовки присяжныхъ, переклички и присяги свидѣтелей, началось чтеніе обвинительнаго акта. Узкогрудый блѣднолицый секретарь, сильно похудѣвшій для своего мундира и съ пластыремъ на щекѣ, читалъ негромкимъ, густымъ басомъ, быстро, по-дьячковски, не повышая и не понижая голоса, какъ бы боясь натрудить свою грудь; ему вторила вентиляція, неугомонно жужжавшая за судейскимъ столомъ, и въ общемъ получался звукъ, придававшій зальной тишинѣ усыпляющій, наркотическій характеръ.

Предсѣдатель, не старый человѣкъ, съ до крайности утомленнымъ лицомъ и близорукій, сидѣлъ въ своемъ креслѣ, не шевелясь и держа ладонь около лба, какъ бы заслоняя глаза отъ солнца. Подъ жужжаніе вентиляціи и секретаря онъ о чемъ-то думалъ. Когда секретарь сдѣлалъ маленькую передышку, чтобы начать съ новой страницы, онъ вдругъ встрепенулся и оглядѣлъ посовѣлыми глазами публику, потомъ нагнулся къ уху своего сосѣда-члена и спросилъ со вздохомъ:

— Вы, Матвѣй Петровичъ, остановились у Демьянова?

— Да-съ, у Демьянова, — отвѣтилъ членъ, тоже встрепенувшись.

— Въ слѣдующій разъ, вѣроятно, и я у него остановлюсь. Помилуйте, у Типякова совсѣмъ нельзя останавливаться! Шумъ, гвалтъ всю ночь! Стучатъ, кашляютъ, дѣтишки плачутъ... Невозможно.

Товарищъ прокурора, полный, упитанный брюнетъ, въ золотыхъ очкахъ и съ красивой, выхоленной бородой, сидѣлъ неподвижно, какъ статуя, и, подперевъ щеку кулакомъ, читалъ Байроновскаго «Каина». Его глаза были полны жаднаго вниманія, брови удивленно приподнимались все выше и выше... Изрѣдка онъ откидывался на спинку кресла, минуту безучастно глядѣлъ впередъ себя и затѣмъ опять погружался въ чтеніе. Защитникъ водилъ по столу тупымъ концомъ карандаша и, склонивъ голову на бокъ, думалъ... Его молодое лицо не выражало ничего, кромѣ неподвижной, холодной скуки, какая бываетъ на лицахъ школьниковъ и людей служащихъ, изо дня въ день обязанныхъ сидѣть на одномъ и томъ же мѣстѣ, видѣть все тѣ же лица, тѣ же стѣны. Предстоящая рѣчь его нисколько не волновала. Да и что такое рѣчь? По приказанію начальства, по давно заведенному шаблону, чувствуя, что она безцвѣтна и скучна, безъ страсти и огня выпалитъ онъ ее передъ присяжными, а тамъ дальше — скакать по грязи и подъ дождемъ на станцію, а оттуда въ городъ, чтобы вскорѣ получить приказъ опять ѣхать куда-нибудь въ уѣздъ, читать новую рѣчь... Скучно!

Подсудимый сначала нервно покашливалъ въ рукавъ и блѣднѣлъ, но скоро ти-

шина, общая монотонность и скука сообщились и ему. Онъ тупо-почтительно глядѣлъ на судейскіе мундиры, на утомленныя лица присяжныхъ и покойно мигалъ глазами. Судебная обстановка и процедура, ожиданіе которыхъ такъ томило его душу, когда онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, теперь подѣйствовали на него самымъ успокаивающимъ образомъ. Онъ встрѣтилъ здѣсь совсѣмъ не то, что могъ ожидать. Надъ нимъ тяготѣло обвиненіе въ убійствѣ, а между тѣмъ онъ не встрѣтилъ здѣсь ни грозныхъ лицъ, ни негодующихъ взоровъ, ни громкихъ фразъ о возмездіи, ни участія къ своей необыкновенной судьбѣ; ни одинъ изъ судящихъ не остановилъ на немъ долгаго, любопытнаго взгляда... Пасмурныя окна, стѣны, голосъ секретаря, поза прокурора — все это было пропитано канцелярскимъ равнодушіемъ и дышало холодомъ, точно убійца составлялъ простую канцелярскую принадлежность, или судили его не живые люди, а какая-то невидимая, Богъ знаетъ кѣмъ заведенная машинка...

Успокоившійся мужикъ не понималъ, что къ житейскимъ драмамъ и трагедіямъ здѣсь такъ же привыкли и присмотрѣлись, какъ въ больницѣ къ смертямъ, и что именно въ этомъ-то машинномъ безстрастіи и кроется весь ужасъ и вся безвыходность его положенія. Кажется, не сиди онъ смирно, а встань и начни умолять, взывать со слезами къ милосердію, горько каяться, умри онъ съ отчаянія и—все это разобьется о притупленные нервы и привычку, какъ волна о камень.

Когда секретарь кончилъ, предсѣдатель для чего-то погладилъ передъ собою столъ, долго щурилъ глаза на подсудимаго и потомъ ужъ спросилъ, лѣниво двигая языкомъ:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что въ вечеръ 9-го іюня убили вашу жену?

— Никакъ нѣтъ, — отвѣтилъ подсудимый, поднимаясь и придерживая на груди халатъ.

Вслѣдъ за этимъ судъ торопливо приступилъ къ допросу свидѣтелей. Были допрошены двѣ бабы, пять мужиковъ и урядникъ, производившій дознаніе. Всѣ они, обрызганные грязью, утомленные пѣшимъ хожденіемъ и ожиданіемъ въ свидѣтельской комнатѣ, унылые и пасмурные, показали одно и то же. Они показали, что Харламовъ жилъ со своею старухой «хорошо», какъ всѣ: билъ ее только тогда, когда напивался. 9-го іюня, когда сѣло солнце, старуха была найдена въ сѣняхъ съ пробитымъ черепомъ; около нея въ лужѣ крови валялся топоръ. Когда хватились Николая, чтобы сообщить ему о несчастіи, его не было ни въ избѣ ни на улицѣ. Стали бѣгать по селу и искать, избѣгали всѣ кабаки и избы, но его не нашли. Онъ исчезъ и дня черезъ два самъ явился въ контору, блѣдный, оборванный, съ дрожью во всемъ тѣлѣ. Его связали и посадили въ холодную.

— Подсудимый, — обратился предсѣдатель къ Харламову, — не можете ли вы объяснить суду, гдѣ вы находились въ эти два дня послѣ убійства?

— По полю ходилъ... Не ѣвши, не пивши...

— Зачѣмъ же вы скрылись, если не вы убивали?

— Испужался... Боялся, чтобъ не засудили...

— Ага... Хорошо, садитесь!

Послѣднимъ былъ допрошенъ уѣздный врачъ, вскрывавшій покойную старуху. Онъ сообщилъ суду все, что помнилъ изъ своего протокола вскрытія и что успѣлъ придумать, идя утромъ въ судъ. Предсѣдатель щурилъ глаза на его новую, лоснящуюся черную пару, на щегольской галстукъ, на двигавшіяся губы, слушалъ, и въ его головѣ какъ-то сама-собою шевелилась лѣнивая мысль: «Теперь всѣ ходятъ въ короткихъ сюртукахъ, зачѣмъ же онъ сшилъ себѣ длинный? Почему именно длинный, а не короткій?»

Сзади предсѣдателя послышался осторожный скрипъ сапогъ. Это товарищъ прокурора подошелъ къ столу, чтобы взять какую-то бумагу.

— Михаилъ Владимировичъ,—нагнулся прокуроръ къ уху предсѣдателя,—удивительно неряшливо этотъ Корейскій велъ слѣдствіе. Родной братъ не допрошенъ, староста не допрошенъ, изъ описанія избы ничего не поймешь...

— Что дѣлать... что дѣлать! — вздохнулъ предсѣдатель, откидываясь на спинку кресла.—Развалина... песочные часы.

— Кстати,—продолжалъ шептать товарищъ прокурора, — обратите ваше вниманіе—въ публикѣ, на передней лавкѣ, третій справа... актерская физіономія... Это мѣстный денежный тузъ. Имѣетъ около пятисотъ тысячъ наличнаго капитала.

— Да? По фигурѣ незамѣтно... Что, голубушка, не сдѣлать ли намъ перерывъ?

— Кончимъ слѣдствіе, тогда ужъ.

— Какъ знаете... Ну-съ?—поднялъ предсѣдатель глаза на врача.—Такъ вы находите, что смерть была моментальная?

— Да, вслѣдствіе значительнаго поврежденія мозгового вещества...

Когда врачъ кончилъ, предсѣдатель поглядѣлъ въ пространство между прокуроромъ и защитникомъ и предложилъ:

— Не имѣете ли что спросить?

Товарищъ, не отрывая глазъ отъ «Каина», отрицательно мотнулъ головой; защитникъ же неожиданно зашевелился и, откашлявшись, спросилъ:

— Скажите, докторъ, по размѣрамъ раны можно ли бываетъ судить о... о душевномъ состояніи преступника? Т.-е. я хочу спросить, размѣръ поврежденія даетъ ли право думать, что подсудимый находился въ состояніи аффекта?

Предсѣдатель поднялъ свои сонные, равнодушные глаза на защитника. Прокуроръ оторвался отъ «Каина» и поглядѣлъ на предсѣдателя. Только поглядѣли, но ни улыбки, ни удивленія, ни недоумѣнія—ничего не выражали ихъ лица.

— Пожалуй, — замялся врачъ: — если принимать въ расчетъ силу, съ какой... э-э-э... преступникъ наноситъ ударъ... Впрочемъ... извините, я не совсѣмъ понялъ вашъ вопросъ...

Защитникъ не получилъ отвѣта на свой вопросъ, да и не чувствовалъ въ немъ надобности. Для него самого ясно было, что этотъ вопросъ забрелъ въ его голову и сорвался съ языка только подъ вліяніемъ тишины, скуки, жужжащей вентиляціи.

Отпустивъ врача, судъ занялся осмотромъ вещественныхъ доказательствъ. Первымъ былъ осмотрѣнъ кафтанъ, на рукавѣ котораго темнѣло бурое кровяное пятно. О происхожденіи этого пятна спрошенный Харламовъ показалъ:

— Дня за три до смерти старухи Пеньковъ своей лошади кровь бросалъ... Я тамъ былъ, ну, извѣстно, помогавши, и... и умазался...

— Однако, Пеньковъ показалъ сейчасъ, что онъ не помнитъ, чтобы вы присутствовали при кровопусканіи...

— Не могу знать.

— Садитесь!

Приступили къ осмотру топора, которымъ была убита старуха.

— Это не мой топоръ,—заявилъ подсудимый.

— Чей же?

— Не могу знать... У меня не было топора...

— Крестьянинъ одного дня не можетъ обойтись безъ топора. И вашъ сосѣдъ, Иванъ Тимоѳеичъ, съ которымъ вы починяли сани, показалъ, что это именно вашъ топоръ...

— Не могу знать, а только я, какъ передъ Богомъ (Харламовъ протянулъ впередъ себя руку и растопырилъ пальцы)... какъ передъ истиннымъ Создателемъ. И время того не помню, чтобы у меня свой топоръ былъ. Былъ у меня такой же, словно какъ будто поменьше, да сынъ потерялъ, Прохоръ. Года за два передъ тѣмъ, какъ ему на службу идтить, поѣхалъ за дровами, загулялъ съ ребятами и потерялъ...

— Хорошо, садитесь!

Это систематическое недовѣріе и нежеланіе слушать, вѣроятно, раздражили и обидѣли Харламова. Онъ замигалъ глазами, и на скулахъ его выступили красныя пятна.

— Какъ передъ Богомъ!—продолжалъ онъ, вытягивая шею.—Ежели не вѣрите, то извольте сына Прохора спросить. Прошка, гдѣ топоръ? — вдругъ спросилъ онъ грубымъ голосомъ, рѣзко повернувшись къ конвойному.—Гдѣ?

Это было тяжелое мгновеніе! Всѣ какъ будто присѣли или стали ниже... Во всѣхъ головахъ, сколько ихъ было въ судѣ, молніей блеснула одна и та же страшная, невозможная мысль, мысль о могущей быть роковой случайности, и ни одинъ человѣкъ не рискнулъ и не посмѣлъ взглянуть на лицо солдата. Всякій хотѣлъ не вѣрить своей мысли и думалъ, что онъ ослушался.

— Подсудимый, говорить со стражей не дозволяется...—поспѣшилъ сказать предсѣдатель.

Никто не видалъ лица конвойнаго, и ужасъ пролетѣлъ по залѣ невидимкой, какъ бы въ маскѣ. Судебный приставъ тихо поднялся съ мѣста и на цыпочкахъ, балансируя рукой, вышелъ изъ залы. Черезъ полминуты послышались глухіе шаги и звуки, какіе бываютъ при смѣнѣ часовыхъ.

Всѣ подняли головы и, стараясь глядѣть такъ, какъ будто бы ничего и не было, продолжали свое дѣло.

# ИВАНОВЪ.

## ДРАМА ВЪ 4-ХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

**Ивановъ, Николай Алексѣевичъ,** непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія.
**Анна Петровна,** его жена, урожденная Сарра Абрамсонъ.
**Шабельскій, Матвѣй Семеновичъ,** графъ, его дядя по матери.
**Лебедевъ, Павелъ Кириллычъ,** предсѣдатель земской управы.
**Зинаида Савишна,** его жена.
**Саша,** дочь Лебедевыхъ, 20-ти лѣтъ.
**Львовъ, Евгеній Константиновичъ,** молодой земскій врачъ.
**Бабакина, Марѳа Егоровна,** молодая вдова, помѣщица, дочь богатаго купца.
**Косыхъ, Дмитрій Никитичъ,** акцизный.
**Боркинъ, Михаилъ Михайловичъ,** дальній родственникъ Иванова и управляющій его имѣніемъ.
**Авдотья Назаровна,** старуха съ неопредѣленною профессіей.
Гости обоего пола, лакеи.

Дѣйствіе происходитъ въ одномъ изъ уѣздовъ средней полосы Россіи.

## ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Садъ въ имѣніи Иванова. Слѣва фасадъ дома съ террасой. Одно окно открыто. Передъ террасой широкая полукруглая площадка, отъ которой въ садъ, прямо и вправо, идутъ аллеи. На правой сторонѣ садовые диванчики и столики. На одномъ изъ послѣднихъ горитъ лампа. Вечерѣетъ. При поднятіи занавѣса слышно, какъ въ домѣ разучиваютъ дуэтъ на роялѣ и віолончели.

### ЯВЛЕНІЕ I.

**Ивановъ *и* Боркинъ.**

Ивановъ сидитъ за столомъ и читаетъ книгу. Боркинъ, въ большихъ сапогахъ, съ ружьемъ, показывается въ глубинѣ сада; онъ навеселѣ; увидѣвъ Иванова, на цыпочкахъ идетъ къ нему и, поровнявшись съ нимъ, прицѣливается въ его лицо.

Ивановъ *(увидѣвъ Боркина, вздрагиваетъ и вскакиваетъ)*. Миша, Богъ знаетъ что... вы меня испугали... Я и такъ разстроенъ, а вы еще съ глупыми шутками... *(Садится.)* Испугалъ и радуется...

Боркинъ *(хохочетъ)*. Ну, ну... виноватъ, виноватъ. *(Садится рядомъ.)* Не буду больше, не буду... *(Снимаетъ фуражку.)* Жарко. Вѣрите ли, душа моя, въ какіе-нибудь три часа 17 верстъ отмахалъ... замучился... Пощупайте-ка, какъ у меня сердце бьется...

Ивановъ *(читая)*. Хорошо, послѣ...

Боркинъ. Нѣтъ, вы сейчасъ пощупайте. *(Беретъ его руку и прикладываетъ къ груди.)* Слышите? Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Это значитъ у меня порокъ сердца. Каждую минуту могу скоропостижно умереть. Послушайте, вамъ будетъ жаль, если я умру?

Ивановъ. Я читаю... послѣ...

Боркинъ. Нѣтъ, серьезно, вамъ будетъ жаль, если я вдругъ умру? Николай Алексѣевичъ, вамъ будетъ жаль, если я умру?

Ивановъ. Не приставайте!

Боркинъ. Голубчикъ, скажите: будетъ жаль?

Ивановъ. Мнѣ жаль, что отъ васъ водкой пахнетъ. Это, Миша, противно.

Боркинъ *(смѣется)*. Развѣ пахнетъ? Удивительное дѣло... Впрочемъ, тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Въ Плѣсникахъ я встрѣтилъ слѣдователя, и мы, признаться, съ нимъ рюмокъ по восьми стукнули. Въ сущности говоря, пить очень вредно. Послушайте, вѣдь вредно? А? вредно?

Ивановъ. Это, наконецъ, невыносимо... Поймите, Миша, что это издѣвательство...

Боркинъ. Ну, ну... виноватъ, виноватъ!.. Богъ съ вами, сидите себѣ... *(Встаетъ и идетъ.)* Удивительный народъ, даже и поговорить нельзя. *(Возвращается)*. Ахъ, да! Чуть-было не забылъ... Пожалуйте 82 рубля!..

Ивановъ. Какіе 82 рубля?

Боркинъ. Завтра рабочимъ платить.

Ивановъ. У меня нѣтъ.

Боркинъ. Покорнѣйше благодарю! *(Дразнитъ.)* У меня нѣтъ... Да вѣдь нужно платить рабочимъ? Нужно?

Ивановъ. Не знаю. У меня сегодня ничего нѣтъ. Подождите до перваго числа, когда жалованье получу.

Боркинъ. Вотъ и извольте разговаривать съ такими субъектами!.. Рабочіе

придутъ за деньгами не перваго числа, а завтра утромъ!..

Ивановъ. Такъ что же мнѣ теперь дѣлать? Ну, рѣжьте меня, пилите... И что у васъ за отвратительная манера приставать ко мнѣ именно тогда, когда я читаю, пишу или...

Боркинъ. Я васъ спрашиваю: рабочимъ нужно платить или нѣтъ? Э, да что съ вами говорить!.. *(Машетъ рукой.)* Помѣщики тоже, чортъ подери, землевладѣльцы... Раціональное хозяйство... Тысяча десятинъ земли — и ни гроша въ карманѣ... Винный погребъ есть, а штопора нѣтъ... Возьму вотъ и продамъ завтра тройку! Да-съ!.. Овесъ на корню продалъ, а завтра возьму и рожь продамъ. *(Шагаетъ по сценѣ.)* Вы думаете, я стану церемониться? Да? Ну, нѣтъ-съ, не на такого напали...

## ЯВЛЕНІЕ II.

**Тѣ же, Шабельскій** *(за сценой)* *и* **Анна Петровна.**

Голосъ Шабельскаго за окномъ: „Играть съ вами нѣтъ никакой возможности... Слуха у васъ меньше, чѣмъ у фаршированной щуки, а туше возмутительное".

Анна Петровна *(показывается въ открытомъ окнѣ)*. Кто здѣсь сейчасъ разговаривалъ? Это вы, Миша? Что вы такъ шагаете?

Боркинъ. Съ вашимъ Nicolas—voila еще не такъ зашагаешь.

Анна Петровна. Послушайте, Миша, прикажите принести на крокетъ сѣна.

Боркинъ *(машетъ рукой)*. Оставьте вы меня, пожалуйста...

Анна Петровна. Скажите, какой тонъ... Къ вамъ этотъ тонъ совсѣмъ не идетъ. Если хотите, чтобы васъ любили женщины, то никогда при нихъ не сердитесь и не солидничайте... *(Мужу.)* Николай, давайте на сѣнѣ кувыркаться!..

Ивановъ. Тебѣ, Анюта, вредно стоять у открытаго окна. Уйди, пожалуйста... *(Кричитъ.)* Дядя, закрой окно! *(Окно закрывается.)*

Боркинъ. Не забывайте еще, что черезъ два дня нужно проценты платить Лебедеву.

Ивановъ. Я помню. Сегодня я буду у Лебедева и попрошу его подождать... *(Смотритъ на часы.)*

Боркинъ. Вы когда туда поѣдете?

Ивановъ. Сейчасъ.

Боркинъ *(живо)*. Постойте, постойте!.. Вѣдь сегодня, кажется, день рожденія Шурочки... Те-те-те-те... А я забылъ... Вотъ память, а? *(Прыгаетъ.)* Поѣду, поѣду... *(Поетъ.)* Поѣду... Поѣду выкупаюсь, пожую бумаги, приму три капли нашатырнаго спирта и — хоть сначала начинай... Голубчикъ, Николай Алексѣевичъ, мамуся моя, ангелъ души моей, вы все нервничаете, ноете, постоянно въ мерлехлюндіи, а вѣдь мы вмѣстѣ чортъ знаетъ какихъ дѣловъ могли бы надѣлать! Для васъ я на все готовъ... Хотите, я для васъ на Мароушкѣ Бабакиной женюсь? Половина приданаго ваша... То-есть не половина, а все берите, все!..

Ивановъ. Будетъ вамъ вздоръ молоть...

Боркинъ. Нѣтъ, серьезно! Хотите, я на Мароушѣ женюсь? Приданое пополамъ... Впрочемъ, зачѣмъ я это вамъ говорю? Развѣ вы поймете? *(Дразнитъ.)* «Будетъ вздоръ молоть». Хорошій вы человѣкъ, умный, но въ васъ не хватаетъ этой жилки, этого, понимаете ли, взмаха. Этакъ бы размахнуться, чтобы чертямъ тошно стало... Вы психопатъ, нюня, а будь вы нормальный человѣкъ, то черезъ годъ имѣли бы милліонъ. Напримѣръ, будь у меня сейчасъ 2.300 рублей, я бы черезъ двѣ недѣли имѣлъ 20 тысячъ. Не вѣрите? И это, по-вашему, вздоръ? Нѣтъ, не вздоръ... Вотъ дайте мнѣ 2.300 рублей, и я черезъ недѣлю доставлю вамъ 20 тысячъ. На томъ берегу Овсяновъ продаетъ полоску земли, какъ разъ противъ насъ, за 2.300 рублей. Если мы купимъ эту полоску, то оба берега будутъ наши. А если оба берега будутъ наши, то, понимаете ли, мы имѣемъ право запрудить рѣку. Вѣдь такъ? Мы мельницу будемъ строить, и, какъ только мы объявимъ, что хотимъ запруду сдѣлать, такъ всѣ, которые живутъ внизъ по рѣкѣ, подымутъ гвалтъ, а мы сейчасъ: комменъ зииръ, — если хотите, чтобы плотины не было, заплатите. Понимаете? Заревская фабрика дастъ пять тысячъ. Корольковъ три тысячи, монастырь дастъ пять тысячъ...

Ивановъ. Все это, Миша, фокусы... Если не хотите со мною ссориться, то держите ихъ при себѣ.

Боркинъ (*садится за столъ*). Конечно!.. Я такъ и зналъ!.. И сами ничего не дѣлаете и меня связываете...

## ЯВЛЕНІЕ III.

**Тѣ же, Шабельскій *и* Львовъ.**

Шабельскій (*выходя со Львовымъ изъ дома*). Доктора—тѣ же адвокаты, съ тою только разницей, что адвокаты только грабятъ и убиваютъ... Я не говорю о присутствующихъ. (*Садится на диванчикъ.*) Шарлатаны, эксплуататоры... Можетъ-быть, въ какой-нибудь Аркадіи попадаются исключенія изъ общаго правила, но... я въ свою жизнь пролѣчилъ тысячъ двадцать и не встрѣтилъ ни одного доктора, который не казался бы мнѣ патентованнымъ мошенникомъ.

Боркинъ (*Иванову*). Да, сами ничего не дѣлаете и меня связываете. Оттого у насъ и денегъ нѣтъ...

Шабельскій. Повторяю, я не говорю о присутствующихъ... Можетъ-быть, есть исключенія, хотя, впрочемъ... (*зѣваетъ*).

Ивановъ (*закрывая книгу*). Что, докторъ, скажете?

Львовъ (*оглядываясь на окно*). То же, что и утромъ говорилъ: ей немедленно нужно въ Крымъ ѣхать. (*Ходитъ по сценѣ.*)

Шабельскій (*прыскаетъ*). Въ Крымъ!... Отчего, Миша, мы съ тобою не лѣчимъ? Это такъ просто... Стала перхать или кашлять отъ скуки какая-нибудь мадамъ Анго или Офелія, бери сейчасъ бумагу и прописывай по правиламъ науки: сначала молодой докторъ, потомъ поѣздка въ Крымъ, въ Крыму татаринъ...

Ивановъ (*графу*). Ахъ, не зуди ты, зуда! (*Львову.*) Чтобы ѣхать въ Крымъ, нужны средства. Допустимъ, что я найду ихъ, но вѣдь она рѣшительно отказывается отъ этой поѣздки.

Львовъ. Да, отказывается. (*Пауза.*)

Боркинъ. Послушайте, докторъ, развѣ Анна Петровна ужъ такъ серьезно больна, что необходимо въ Крымъ ѣхать?..

Львовъ (*оглядывается на окно*). Да, чахотка...

Боркинъ. Псс!.. не хорошо... Я самъ давно уже по лицу замѣчалъ, что она не протянетъ долго.

Львовъ. Но... говорите потише... въ домѣ слышно... (*Пауза.*)

Боркинъ (*вздыхая*). Жизнь наша... Жизнь человѣческая подобна цвѣтку, пышно произрастающему въ полѣ: пришелъ козелъ, съѣлъ и—нѣтъ цвѣтка...

Шабельскій. Все вздоръ, вздоръ и вздоръ!.. (*Зѣваетъ.*) Вздоръ и плутни. (*Пауза*).

Боркинъ. А я, господа, тутъ все учу Николая Алексѣевича деньги наживать. Сообщилъ ему одну чудную идею, но мой порохъ, по обыкновенію, упалъ на влажную почву. Ему не втолкуешь... Посмотрите, на что онъ похожъ: меланхолія, сплинъ, тоска, хандра, грусть...

Шабельскій (*встаетъ и потягивается*). Для всѣхъ ты, геніальная башка, изобрѣтаешь и учишь всѣхъ, какъ жить, а меня хоть бы разъ поучилъ... Поучи-ка, умная голова, укажи выходъ...

Боркинъ (*встаетъ*). Пойду купаться... Прощайте, господа... (*графу*) У васъ двадцать выходовъ есть... На вашемъ мѣстѣ я черезъ недѣлю имѣлъ бы тысячъ двадцать. (*Идетъ.*)

Шабельскій (*идетъ за нимъ*). Какимъ это образомъ? Ну-ка, научи.

Боркинъ. Тутъ и учить нечему. Очень просто... (*Возвращается.*) Николай Алексѣевичъ, дайте мнѣ рубль! (*Ивановъ молча даетъ ему деньги*).

Боркинъ. Merci! (*графу*). У васъ еще много козырей на рукахъ.

Шабельскій (*идя за нимъ*). Ну, какіе же?

Боркинъ. На вашемъ мѣстѣ я черезъ недѣлю имѣлъ бы тысячъ тридцать, если не больше (*уходитъ съ графомъ*).

Ивановъ (*послѣ паузы*). Лишніе люди, лишнія слова, необходимость отвѣчать на глупые вопросы, — все это, докторъ, утомило меня до болѣзни. Я сталъ раздражителенъ, вспыльчивъ, рѣзокъ, мелоченъ до того, что не узнаю себя. По цѣлымъ днямъ у меня голова болитъ, безсонница, шумъ въ ушахъ... А дѣваться положительно некуда... Положительно...

Львовъ. Мнѣ, Николай Алексѣевичъ, нужно серьезно поговорить съ вами.

Ивановъ. Говорите.

Львовъ. Я объ Аннѣ Петровнѣ. (*Садится.*) Она не соглашается ѣхать въ Крымъ, но съ вами она поѣхала бы.

Ивановъ *(подумавъ)*. Чтобы ѣхать вдвоемъ, нужны средства. Къ тому же, мнѣ не дадутъ продолжительнаго отпуска. Въ этомъ году я уже бралъ разъ отпускъ...

Львовъ. Допустимъ, что это правда. Теперь далѣе. Самое главное лѣкарство отъ чахотки — это абсолютный покой, а ваша жена не знаетъ ни минуты покоя. Ее постоянно волнуютъ ваши отношенія къ ней. Простите, я взволнованъ и буду говорить прямо. Ваше поведеніе убиваетъ ее. *(Пауза.)* Николай Алексѣевичъ, позвольте мнѣ думать о васъ лучше!..

Ивановъ. Все это правда, правда... Вѣроятно, я страшно виноватъ, но мысли мои перепутались, душа скована какою-то лѣнью, и я не въ силахъ понимать себя. Не понимаю ни людей ни себя... *(Взглядываетъ на окно.)* Насъ могутъ услышать, пойдемте пройдемся. *(Встаютъ.)* Я, милый другъ, разсказалъ бы вамъ съ самаго начала, но исторія длинная и такая сложная, что до утра не разскажешь. *(Идутъ.)* Анюта замѣчательная, необыкновенная женщина... Ради меня она перемѣнила вѣру, бросила отца и мать, ушла отъ богатства, и, если бы я потребовалъ еще сотню жертвъ, она принесла бы ихъ, не моргнувъ глазомъ. Ну-съ, а я ничѣмъ не замѣчателенъ и ничѣмъ не жертвовалъ. Впрочемъ, это длинная исторія... Вся суть въ томъ, милый докторъ *(мнется)*, что... короче говоря, женился я по страстной любви и клялся любить вѣчно, но... прошло пять лѣтъ, она все еще любитъ меня, а я... *(Разводитъ руками.)* Вы вотъ говорите мнѣ, что она скоро умретъ, а я не чувствую ни любви ни жалости, а какую-то пустоту, утомленіе. Если со стороны поглядѣть на меня, то это, вѣроятно, ужасно; самъ же я не понимаю, что дѣлается съ моей душой... *(Уходятъ по аллеѣ.)*

## ЯВЛЕНІЕ IV.

**Шабельскій,** *потомъ* **Анна Петровна.**

Шабельскій *(входитъ и хохочетъ)*. Честное слово, это не мошенникъ, а мыслитель, виртуозъ! Памятникъ ему нужно поставить. Въ себѣ одномъ совмѣщаетъ современный гной во всѣхъ видахъ: и адвоката, и доктора, и кукуевца, и кассира. *(Садится на нижнюю ступень террасы.)* И вѣдь нигдѣ, кажется, курса не кончилъ, вотъ что удивительно... Стало-быть, какимъ былъ бы геніальнымъ подлецомъ, если бы еще усвоилъ культуру, гуманитарныя науки! «Вы, говоритъ, черезъ недѣлю можете имѣть 20 тысячъ. У васъ, говоритъ, еще на рукахъ козырный тузъ—вашъ графскій титулъ. *(Хохочетъ.)* За васъ любая дѣвица пойдетъ съ приданымъ»...

*(Анна Петровна открываетъ окно и глядитъ внизъ.)*

Шабельскій. «Хотите, говоритъ, посватаю за васъ Мареушу?» Qui est ce que c'est Мареуша? Ахъ, эта та, Балабалкина... Бабакалкина... Эта, что на прачку похожа.

Анна Петровна. Это вы, графъ?

Шабельскій. Что такое?

*(Анна Петровна смѣется).*

Шабельскій *(еврейскимъ акцентомъ)*. Зачиво вы шмѣетесь?

Анна Петровна. Я вспомнила одну вашу фразу. Помните, вы говорили за обѣдомъ? Воръ прощеный, лошадь... Какъ это?

Шабельскій. Жидъ крещеный, воръ прощеный, конь лѣченый — одна цѣна.

Анна Петровна *(смѣется)*. Вы даже простого каламбура не можете сказать безъ злости. Злой вы человѣкъ. *(Серьезно)*. Не шутя, графъ, вы очень злы. Съ вами жить скучно и жутко. Всегда вы брюзжите, ворчите, всѣ у васъ подлецы и негодяи. Скажите мнѣ, графъ, откровенно: говорили вы когда-нибудь о комъ хорошо?

Шабельскій. Это что за экзаменъ?

Анна Петровна. Живемъ мы съ вами подъ одною крышей уже пять лѣтъ, и я ни разу не слыхала, чтобы вы отзывались о людяхъ спокойно, безъ желчи и безъ смѣха. Что вамъ люди сдѣлали худого? И неужели вы думаете, что вы лучше всѣхъ?

Шабельскій. Вовсе я этого не думаю. Я такой же мерзавецъ и свинья въ ермолкѣ, какъ всѣ. Моветонъ и старый башмакъ. Я всегда себя браню. Кто я? Что я? Былъ богатъ, свободенъ, немного счастливъ, а теперь... нахлѣбникъ, приживалка, обезличенный шутъ. Я негодую, презираю, а мнѣ въ отвѣтъ смѣются; я смѣюсь,—на меня печально киваютъ головой и говорятъ: спятилъ старикъ... А

чаще всего меня не слышатъ и не замѣчаютъ...

Анна Петровна *(спокойно)*. Опять кричитъ...

Шабельскій. Кто кричитъ?

Анна Петровна. Сова. Каждый вечеръ кричитъ.

Шабельскій. Пусть кричитъ. Хуже того, что уже есть, не можетъ быть. *(Потягивается.)* Эхъ, милѣйшая Сарра, выиграй я сто или двѣсти тысячъ, показалъ бы я вамъ, гдѣ раки зимуютъ!.. Только бы вы меня и видѣли. Ушелъ бы я изъ этой ямы, отъ даровыхъ хлѣбовъ, и ни ногой бы сюда до самаго страшнаго суда...

Анна Петровна. А что бы вы сдѣлали, если бы вы выиграли?

Шабельскій *(подумавъ)*. Я прежде всего поѣхалъ бы въ Москву и цыганъ послушалъ. Потомъ... потомъ махнулъ бы въ Парижъ. Нанялъ бы себѣ тамъ квартиру, ходилъ бы въ русскую церковь...

Анна Петровна. А еще что?

Шабельскій. По цѣлымъ днямъ сидѣлъ бы на жениной могилѣ и думалъ. Такъ бы я и сидѣлъ на могилѣ, пока не околѣлъ. Жена въ Парижѣ похоронена... *(Пауза.)*

Анна Петровна. Ужасно скучно. Сыграть намъ дуэтъ еще, что ли?

Шабельскій. Хорошо, приготовьте ноты.

## ЯВЛЕНІЕ V.

**Шабельскій, Ивановъ, Львовъ.**

Ивановъ *(показывается на аллеѣ со Львовымъ)*. Вы, милый другъ, кончили курсъ только въ прошломъ году, еще молоды и бодры, а мнѣ тридцать пять. Я имѣю право вамъ совѣтовать. Не женитесь вы ни на еврейкахъ, ни на психопаткахъ, ни на синихъ чулкахъ, а выбирайте себѣ что-нибудь заурядное, сѣренькое, безъ яркихъ красокъ, безъ лишнихъ звуковъ. Вообще всю жизнь стройте по шаблону. Чѣмъ сѣрѣе и монотоннѣе фонъ, тѣмъ лучше. Голубчикъ, не воюйте вы въ одиночку съ тысячами, не сражайтесь съ мельницами, не бейтесь лбомъ о стѣны... Да хранитъ васъ Богъ отъ всевозможныхъ раціональныхъ хозяйствъ, необыкновенныхъ школъ, горячихъ рѣчей... Запритесь себѣ въ свою раковину и дѣлайте свое маленькое, Богомъ данное дѣло... Это теплѣе, честнѣе и здоровѣе. А жизнь, которую я пережилъ,—какъ она утомительна! Ахъ, утомительна!.. Сколько ошибокъ, несправедливостей, сколько нелѣпаго!.. *(Увидѣвъ графа, раздраженно.)* Всегда ты, дядя, передъ глазами вертишься, не даешь поговорить наединѣ!

Шабельскій *(плачущимъ голосомъ)*. А чортъ меня возьми, нигдѣ пріюта нѣтъ! *(Вскакиваетъ и идетъ въ домъ.)*

Ивановъ *(кричитъ ему вслѣдъ)*. Ну, виноватъ, виноватъ! *(Львову.)* За что я его обидѣлъ? Нѣтъ, я рѣшительно развинтился. Надо будетъ съ собою что-нибудь сдѣлать. Надо...

Львовъ *(волнуясь)*. Николай Алексѣевичъ, я выслушалъ васъ и... и, простите, буду говорить прямо, безъ обиняковъ. Въ вашемъ голосѣ, въ вашей интонаціи, не говоря ужъ о словахъ, столько бездушнаго эгоизма, столько холоднаго безсердечія... Близкій вамъ человѣкъ погибаетъ оттого, что онъ вамъ близокъ, дни его сочтены, а вы... вы можете не любить, ходить, давать совѣты, рисоваться... Не могу я вамъ высказать, нѣтъ у меня дара слова, но... но вы мнѣ глубоко не симпатичны!..

Ивановъ. Можетъ-быть, можетъ-быть... Вамъ со стороны виднѣе... Очень возможно, что вы меня понимаете... Вѣроятно, я очень, очень виноватъ... *(Прислушивается.)* Кажется, лошадей подали. Пойду одѣваться... *(Идетъ къ дому и останавливается.)* Вы, докторъ, не любите меня и не скрываете этого. Это дѣлаетъ честь вашему сердцу...

*(Уходитъ въ домъ.)*

Львовъ *(одинъ)*. Проклятый характеръ... Опять упустилъ случай и не поговорилъ съ нимъ, какъ слѣдуетъ... Не могу говорить съ нимъ хладнокровно! Едва раскрою ротъ и скажу одно слово, какъ у меня вотъ тутъ *(показываетъ на грудь)* начинаетъ душить, переворачиваться, и языкъ прилипаетъ къ горлу. Ненавижу этого Тартюфа, возвышеннаго мошенника, всею душой... Вотъ уѣзжаетъ... У несчастной жены все счастье въ томъ, чтобы онъ былъ возлѣ нея, она дышитъ имъ, умоляетъ его провести съ нею хоть одинъ вечеръ, а онъ... онъ не можетъ... Ему, видите ли, дома душно и тѣсно.

Если онъ хоть одинъ вечеръ проведетъ дома, то съ тоски пулю себѣ пуститъ въ лобъ. Бѣдный... ему нуженъ просторъ, чтобы затѣять какую-нибудь новую подлость... О, я знаю, зачѣмъ ты каждый вечеръ ѣздишь къ этимъ Лебедевымъ! Знаю!

## ЯВЛЕНІЕ VI.

**Львовъ, Ивановъ** *(въ шляпѣ и пальто),* **Шабельскій** *и* **Анна Петровна.**

Шабельскій *(выходя съ Ивановымъ и съ Анной Петровной изъ дому).* Наконецъ, Nicolas, это безчеловѣчно!.. Самъ уѣзжаешь каждый вечеръ, а мы остаемся одни. Отъ скуки ложимся спать въ 8 часовъ. Это безобразіе, а не жизнь! И почему это тебѣ можно ѣздить, а намъ нельзя? Почему?

Анна Петровна. Графъ, оставьте его! Пусть ѣдетъ, пусть...

Ивановъ *(женѣ).* Ну, куда ты, больная, поѣдешь? Ты больна и тебѣ нельзя послѣ заката солнца быть на воздухѣ... Спроси вотъ доктора. Ты не дитя, Анюта, нужно разсуждать... *(Графу.)* А тебѣ зачѣмъ туда ѣхать?

Шабельскій. Хоть къ чорту въ пекло, хоть къ крокодилу въ зубы, только чтобъ не здѣсь оставаться. Мнѣ скучно! Я отупѣлъ отъ скуки! Я надоѣлъ всѣмъ. Ты оставляешь меня дома, чтобы ей не было одной скучно, а я ее загрызъ, заѣлъ!

Анна Петровна. Оставьте его, графъ, оставьте! Пусть ѣдетъ, если ему тамъ весело.

Ивановъ. Аня, къ чему этотъ тонъ? Ты знаешь, я не за весельемъ туда ѣду! Мнѣ нужно поговорить о векселѣ.

Анна Петровна. Не понимаю, зачѣмъ ты оправдываешься? Поѣзжай! Кто тебя держитъ?

Ивановъ. Господа, не будемте ѣсть другъ друга! Неужели это такъ необходимо?

Шабельскій *(плачущимъ голосомъ).* Nicolas, голубчикъ, ну, я прошу тебя, возьми меня съ собою! Я погляжу тамъ мошенниковъ и дураковъ и, можетъ-быть, развлекусь. Вѣдь я съ самой Пасхи нигдѣ не былъ!

Ивановъ *(раздраженно).* Хорошо, поѣдемъ! Какъ вы мнѣ всѣ надоѣли!

Шабельскій. Да? Ну, merci, merci... *(Весело беретъ его подъ руку и отводитъ въ сторону.)* Твою соломенную шляпу можно надѣть?

Ивановъ. Можно, только поскорѣй, пожалуйста!

*(Графъ бѣжитъ въ домъ.)*

Ивановъ. Какъ вы всѣ надоѣли мнѣ! Впрочемъ, Господи, что я говорю? Аня, я говорю съ тобою невозможнымъ тономъ. Никогда этого со мною раньше не было. Ну, прощай, Аня, я вернусь къ часу.

Анна Петровна. Коля, милый мой, останься дома.

Ивановъ *(волнуясь).* Голубушка моя, родная моя, несчастная, умоляю тебя, не мѣшай мнѣ уѣзжать по вечерамъ изъ дому. Это жестоко, несправедливо съ моей стороны, но позволяй мнѣ дѣлать эту несправедливость! Дома мнѣ мучительно-тяжело! Какъ только прячется солнце, душу мою начинаетъ давить тоска. Какая тоска! Не спрашивай, отчего это. Я самъ не знаю. Клянусь, не знаю! Здѣсь тоска, а поѣдешь къ Лебедевымъ, тамъ еще хуже; вернешься оттуда, а здѣсь опять тоска, и такъ всю ночь... Просто отчаяніе!..

Анна Петровна. Коля... а то остался бы! Будемъ, какъ прежде, разговаривать... Поужинаемъ вмѣстѣ, будемъ читать... Я и брюзга разучили для тебя много дуэтовъ... *(Обнимаетъ его.)* Останься!.. *(Пауза.)* Я тебя не понимаю. Это ужъ цѣлый годъ продолжается. Отчего ты измѣнился?

Ивановъ. Не знаю, не знаю...

Анна Петровна. А почему ты не хочешь, чтобы я уѣзжала вмѣстѣ съ тобою по вечерамъ?

Ивановъ. Если тебѣ нужно, то, пожалуй, скажу. Немножко жестоко это говорить, но лучше сказать... Когда меня мучаетъ тоска, я... я начинаю тебя не любить. Я и отъ тебя бѣгу въ это время. Однимъ словомъ, мнѣ нужно уѣзжать изъ дому.

Анна Петровна. Тоска? Понимаю, понимаю... Знаешь что, Коля? Ты попробуй, какъ прежде, пѣть, смѣяться, сердиться... Останься, будемъ смѣяться, пить наливку, и твою тоску разгонимъ въ одну минуту. Хочешь я буду пѣть? Или пойдемъ, сядемъ у тебя въ кабинетѣ, въ потемкахъ, какъ прежде, и ты мнѣ про свою тоску разскажешь... У тебя такіе страдальческіе

глаза! Я буду глядѣть въ нихъ и плакать, и намъ обоимъ станетъ легче... *(Смѣется и плачетъ.)* Или, Коля, какъ? Цвѣты повторяются каждую весну, а радости — нѣтъ? Да? Ну, поѣзжай, поѣзжай...

Ивановъ. Ты помолись за меня Богу, Аня! *(Идетъ, останавливается и думаетъ.)* Нѣтъ, не могу! *(Уходитъ.)*

Анна Петровна. Поѣзжай... *(Садится у стола.)*

Львовъ *(ходитъ по сценѣ)*. Анна Петровна, возьмите себѣ за правило: какъ только бьетъ шесть часовъ, вы должны итти въ комнаты и не выходить до самаго утра. Вечерняя сырость вредна вамъ.

Анна Петровна. Слушаю-съ.

Львовъ. Что «слушаю-съ». Я говорю серьезно.

Анна Петровна. А я не хочу быть серьезною. *(Кашляетъ.)*

Львовъ. Вотъ видите, — вы уже кашляете...

## ЯВЛЕНІЕ VII.

**Львовъ, Анна Петровна *и* Шабельскій.**

Шабельскій *(въ шляпѣ и пальто выходитъ изъ дому)*. А гдѣ Николай? Лошадей подали? *(Быстро идетъ и цѣлуетъ руку Аннѣ Петровнѣ.)* Покойной ночи, прелесть! *(Гримасничаетъ.)* Гевалтъ! Жвините, пожалуйста! *(Быстро уходитъ.)*

Львовъ. Шутъ!

*(Пауза; слышны далекіе звуки гармоники.)*

Анна Петровна. Какая скука!.. Вонъ кучера и кухарки задаютъ себѣ балъ, а я... я—какъ брошенная... Евгеній Константиновичъ, гдѣ вы тамъ шагаете? Идите сюда, сядьте!..

Львовъ. Не могу я сидѣть. *(Пауза.)*

Анна Петровна. На кухнѣ «чижика» играютъ. *(Поетъ.)* «Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ? Подъ горою водку пилъ». *(Пауза.)* Докторъ, у васъ есть отецъ и мать?

Львовъ. Отецъ умеръ, а мать есть.

Анна Петровна. Вы скучаете по матери?

Львовъ. Мнѣ некогда скучать.

Анна Петровна *(смѣется)*. Цвѣты повторяются каждую весну, а радости — нѣтъ. Кто мнѣ сказалъ эту фразу? Дай Богъ память... Кажется, самъ Николай сказалъ. *(Прислушивается.)* Опять сова кричитъ!

Львовъ. Ну, и пусть кричитъ!

Анна Петровна. Я, докторъ, начинаю думать, что судьба меня обсчитала. Множество людей, которые, можетъ-быть, и не лучше меня, бываютъ счастливы и ничего не платятъ за свое счастье. Я же за все платила, рѣшительно за все!.. И какъ дорого! За что брать съ меня такіе ужасные проценты?.. Душа моя, вы всѣ осторожны со мною, деликатничаете, боитесь сказать правду, но думаете, я не знаю, какая у меня болѣзнь? Отлично знаю. Впрочемъ, скучно объ этомъ говорить... *(Еврейскимъ акцентомъ.)* Жвините, пожалуста! Вы умѣете разсказывать смѣшные анекдоты?

Львовъ. Не умѣю.

Анна Петровна. А Николай умѣетъ. И начинаю я также удивляться несправедливости людей: почему за любовь не отвѣчаютъ любовью и за правду платятъ ложью? Скажите: до какихъ поръ будутъ ненавидѣть меня отецъ и мать? Они живутъ за 50 верстъ отсюда, а я день и ночь, даже во снѣ, чувствую ихъ ненависть. А какъ прикажете понимать тоску Николая? Онъ говоритъ, что не любитъ меня только по вечерамъ, когда его гнететъ тоска. Это я понимаю и допускаю, но представьте, что онъ разлюбилъ меня совершенно! Конечно, это невозможно, ну,—а вдругъ? Нѣтъ, нѣтъ, объ этомъ и думать даже не надо. *(Поетъ).* «Чижикъ, чижикъ, гдѣ ты былъ?»... *(Вздрагиваетъ.)* Какія у меня страшныя мысли!.. Вы, докторъ, не семейный и не можете понять многаго...

Львовъ. Вы удивляетесь... *(Садится рядомъ).* Нѣтъ, я... я удивляюсь, удивляюсь вамъ! Ну, объясните, растолкуйте мнѣ, какъ это вы, умная, честная, почти святая, позволили такъ нагло обмануть себя и затащить васъ въ это совиное гнѣздо? Зачѣмъ вы здѣсь? Что общаго у васъ съ этимъ холоднымъ, бездушнымъ... но оставимъ вашего мужа! — Что у васъ общаго съ этою пустою, пошлою средой? О Господи, Боже мой!.. Этотъ вѣчно

брюзжащій, заржавленный, сумасшедшій графъ, этотъ пройдоха, мошенникъ изъ мошенниковъ, Миша, со своею гнусною физіономіей... Объясните же мнѣ, къ чему вы здѣсь? Какъ вы сюда попали?..

Анна Петровна *(смѣется)*. Вотъ точно такъ же и онъ когда-то говорилъ... Точь-въ-точь... Но у него глаза больше, и, бывало, какъ онъ начнетъ говорить о чемъ-нибудь горячо, такъ они какъ угли... Говорите, говорите!..

Львовъ *(встаетъ и машетъ рукой)*. Что мнѣ говорить? Идите въ комнаты...

Анна Петровна. Вы говорите, что Николай то да сё, пятое, десятое. Откуда вы его знаете? Развѣ за полгода можно узнать человѣка? Это, докторъ, замѣчательный человѣкъ, и я жалѣю, что вы не знали его года два-три тому назадъ. Онъ теперь хандритъ, молчитъ, ничего не дѣлаетъ, но прежде... Какая прелесть!.. Я полюбила его съ перваго взгляда. *(Смѣется.)* Взглянула, а меня мышеловка хлопъ! Онъ сказалъ: пойдемъ... Я отрѣзала отъ себя все, какъ, знаете, отрѣзаютъ гнилые листья ножницами, и пошла... *(Пауза.)* А теперь не то... Теперь онъ ѣдетъ къ Лебедевымъ, чтобы развлечься съ другими женщинами, а я... сижу въ саду и слушаю, какъ сова кричитъ... *(Стукъ сторожа.)* Докторъ, а братьевъ у васъ нѣтъ?

Львовъ. Нѣтъ.

*(Анна Петровна рыдаетъ.)*

Львовъ. Ну, что еще? Что вамъ?

Анна Петровна *(встаетъ)*. Я не могу, докторъ, я поѣду туда...

Львовъ. Куда это?

Анна Петровна. Туда, гдѣ онъ... Я поѣду... Прикажите заложить лошадей. *(Бѣжитъ въ домъ.)*

Львовъ. Нѣтъ, я рѣшительно отказываюсь лѣчить при такихъ условіяхъ! Мало того, что ни копейки не платятъ, но еще душу выворачиваютъ вверхъ дномъ!.. Нѣтъ, я отказываюсь! Довольно!.. *(Идетъ въ домъ.)*

*Занавѣсъ.*

---

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

**Залъ въ домѣ Лебедевыхъ; прямо выходъ въ садъ; направо и налѣво двери. Старинная дорогая мебель. Люстра, канделябры и картины—все это въ чехлахъ.**

### ЯВЛЕНІЕ VI.

**Ивановъ** *и* **Саша.**

Саша *(входя съ Ивановымъ изъ правой двери)*. Всѣ ушли въ садъ.

Ивановъ. Такія-то дѣла, Шурочка. Прежде я много работалъ и много думалъ, но никогда не утомлялся; теперь же ничего не дѣлаю и ни о чемъ не думаю. а усталъ тѣломъ и душой. День и ночь болитъ моя совѣсть, я чувствую, что глубоко виноватъ, но въ чемъ собственно моя вина, не понимаю. А тутъ еще болѣзнь жены, безденежье, вѣчная грызня, сплетни, лишніе разговоры, глупый Боркинъ... Мой домъ мнѣ опротивѣлъ, и жить въ немъ для меня хуже пытки. Скажу вамъ откровенно, Шурочка, для меня стало невыносимо даже общество жены, которая меня любитъ. Вы — мой старый пріятель, и вы не будете сердиться за мою искренность. Пріѣхалъ я вотъ къ вамъ развлечься, но мнѣ скучно и у васъ, и опять меня тянетъ домой. Простите, я сейчасъ потихоньку уѣду.

Саша. Николай Алексѣевичъ, я понимаю васъ. Ваше несчастіе въ томъ, что вы одиноки. Нужно, чтобы около васъ былъ человѣкъ, котораго бы вы любили и который васъ понималъ бы. Одна только любовь можетъ обновить васъ.

Ивановъ. Ну, вотъ еще, Шурочка! Недостаетъ, чтобъ я, старый, мокрый пѣтухъ, затянулъ новый романъ! Храни меня Богъ отъ такого несчастія! Нѣтъ, моя умница, не въ романѣ дѣло. Говорю, какъ предъ Богомъ, я снесу все: и тоску, и психопатію, и разоренье, и потерю жены, и свою раннюю старость, и одиночество, но не снесу, не выдержу я своей насмѣшки надъ самимъ собою. Я умираю отъ стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человѣкъ, обратился не то въ Гамлета, не то въ Манфреда, не то въ лишніе люди... самъ чортъ не разберетъ! Есть жалкіе люди, которымъ льститъ, когда ихъ называютъ Гамлетами или лишними, но для меня

это — позоръ! Это возмущаетъ мою гордость, стыдъ гнететъ меня, и я страдаю...

Саша *(шутя, сквозь слезы)*. Николай Алексѣевичъ, бѣжимте въ Америку.

Ивановъ. Мнѣ до этого порога лѣнь дойти, а вы въ Америку... *(Идутъ къ выходу въ садъ.)* Въ самомъ дѣлѣ, Шура, вамъ здѣсь трудно живется! Какъ погляжу я на людей, которые васъ окружаютъ, мнѣ становится страшно: за кого вы тутъ замужъ пойдете? Одна только надежда, что какой-нибудь проѣзжій поручикъ или студентъ украдетъ васъ и увезетъ...

## ЯВЛЕНІЕ VII.

**Зинаида Савишна** *(выходитъ изъ лѣвой двери съ банкой варенья)*.

Ивановъ. Виноватъ, Шурочка, я догоню васъ...

*(Саша уходитъ въ садъ.)*

Ивановъ. Зинаида Савишна, я къ вамъ съ просьбой...

Зинаида Савишна. Что вамъ, Николай Алексѣевичъ?

Ивановъ *(мнется)*. Дѣло, видите ли, въ томъ, что послѣзавтра срокъ моему векселю. Вы премного бы обязали меня, если бы дали отсрочку или позволили приписать проценты къ капиталу. У меня теперь совсѣмъ нѣтъ денегъ...

Зинаида Савишна *(испуганно)*. Николай Алексѣевичъ, да какъ это можно? Что же это за порядокъ? Нѣтъ, и не выдумывайте вы, Бога ради, не мучьте меня, несчастную...

Ивановъ. Виноватъ, виноватъ... *(Уходитъ въ садъ.)*

Зинаида Савишна. Фуй, батюшки, какъ онъ меня встревожилъ!.. Я вся дрожу... вся дрожу... *(Уходитъ въ правую дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

Косыхъ *(входитъ изъ лѣвой двери и идетъ черезъ сцену)*. У меня на бубнахъ: тузъ, король, дама, коронка, самъвосемь, тузъ пикъ и одна... одна маленькая червонка, а она, чортъ ее возьми совсѣмъ, не могла объявить маленькаго шлема! *(Уходитъ въ правую дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ IX.

**Авдотья Назаровна** *и* **1-й гость.**

Авдотья Назаровна *(выходя съ 1-мъ гостемъ изъ сада)*. Вотъ такъ бы я ее и растерзала, сквалыгу, такъ бы и растерзала! Шутка ли, съ пяти часовъ сижу, а она хоть бы ржавою селедкой попотчевала!.. Ну, домъ!.. Ну, хозяйство!..

1-й гость. Такая скучища, что просто разбѣжался бы и головой объ стѣну! Ну, люди, Господи помилуй!.. Со скуки да съ голоду волкомъ завоешь и людей грызть начнешь...

Авдотья Назаровна. Такъ бы я ее и растерзала, грѣшница.

1-й гость. Выпью, старая, и — домой! И невѣстъ мнѣ твоихъ не надо. Какая тутъ, къ нечистому, любовь, ежели съ самаго обѣда ни рюмки.

Авдотья Назаровна. Пойдемъ, поищемъ, что ли...

1-й гость. Тсс!.. Потихоньку! Шнапсъ, кажется, въ столовой, въ буфетѣ стоитъ. Мы Егорушку за бока... Тсс!.. *(Уходятъ въ лѣвую дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ X.

**Анна Петровна** *и* **Львовъ** *(выходятъ изъ правой двери)*.

Анна Петровна. Ничего, намъ рады будутъ. Никого нѣтъ. Должно-быть, въ саду.

Львовъ. Ну, зачѣмъ, спрашивается, вы привезли меня сюда, къ этимъ коршунамъ? Не мѣсто тутъ для насъ съ вами! Честные люди не должны знать этой атмосферы!

Анна Петровна. Послушайте, господинъ честный человѣкъ! Нелюбезно провожать даму и всю дорогу говорить съ нею только о своей честности! Можетъ-быть, это и честно, но, по меньшей мѣрѣ, скучно. Никогда съ женщинами не говорите о своихъ добродѣтеляхъ. Пусть онѣ сами поймутъ. Мой Николай, когда былъ такимъ, какъ вы, въ женскомъ обществѣ только пѣлъ пѣсни и разсказывалъ небылицы, а между тѣмъ каждая знала, что онъ за человѣкъ.

Львовъ. Ахъ, не говорите мнѣ про вашего Николая, я его отлично понимаю.

Анна Петровна. Вы хорошій человѣкъ, но ничего не понимаете. Пойдемте въ садъ. Онъ никогда не выражался такъ: «Я честенъ! Мнѣ душно въ этой атмосферѣ! Коршуны! Совиное гнѣздо! Крокодилы!» Звѣринецъ онъ оставлялъ въ покоѣ, а когда, бывало, возмущался, то я отъ него только и слышала: «Ахъ, какъ я былъ несправедливъ сегодня!» или: «Анюта, жаль мнѣ этого человѣка». Вотъ какъ, а вы... *(Уходятъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ XI.

**Авдотья Назаровна** *и* **1-й гость.**

1-й гость *(выходя изъ лѣвой двери).* Въ столовой нѣтъ, такъ, стало-быть, гдѣ-нибудь въ кладовой. Надо бы Егорушку пощупать. Пойдемъ чрезъ гостиную.

Авдотья Назаровна. Такъ бы я ее и растерзала!.. *(Уходятъ въ правую дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ XII.

**Бабакина, Боркинъ** *и* **Шабельскій**. *(Бабакина и Боркинъ со смѣхомъ выбѣгаютъ изъ сада; за ними, смѣясь и потирая руки, сѣменитъ Шабельскій).*

Бабакина. Какая скука!*(Хохочетъ.)* Какая скука! Всѣ ходятъ и сидятъ, какъ будто аршинъ проглотили! Отъ скуки всѣ косточки застыли. *(Прыгаетъ.)* Надо размяться!.. *(Боркинъ хватаетъ ее за талію и цѣлуетъ въ щеку.)*

Шабельскій *(хохочетъ и щелкаетъ пальцами).* Чортъ возьми! *(Крякаетъ.)* Нѣкоторымъ образомъ...

Бабакина. Пустите, пустите руки, безстыдникъ, а то графъ Богъ знаетъ, что подумаетъ! Отстаньте!..

Боркинъ. Ангелъ души моей, карбункулъ моего сердца!.. *(Цѣлуетъ.)* Дайте взаймы 2.300 рублей!..

Бабакина. Нѣ-нѣ-нѣтъ, какъ хотите, а насчетъ денегъ очень вамъ благодарна... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!.. Ахъ, да пустите руки!..

Шабельскій *(сѣменитъ около).* Помпончикъ... Имѣетъ свою пріятность...

Боркинъ *(серьезно).* Но, довольно. Давайте говорить о дѣлѣ. Будемъ разсуждать прямо, по-коммерчески. Отвѣчайте мнѣ прямо, безъ субтильностей и безъ всякихъ фокусовъ: да или нѣтъ? Слушайте! *(Указываетъ на графа.)* Вотъ ему нужны деньги, минимумъ три тысячи годового дохода. Вамъ нуженъ мужъ. Хотите быть графиней?

Шабельскій *(хохочетъ).* Удивительный циникъ!

Боркинъ. Хотите быть графиней? Да или нѣтъ?

Бабакина *(взволнованная).* Выдумываете, Миша, право... И эти дѣла не дѣлаются такъ, съ бухты-барахты... Если графу угодно, онъ самъ можетъ и... и я не знаю, какъ это вдругъ, сразу...

Боркинъ. Ну, ну, будетъ тѣнь наводить! Дѣло коммерческое... Да или нѣтъ?

Шабельскій *(смѣясь и потирая руки).* Въ самомъ дѣлѣ, а? Чортъ возьми, развѣ устроить себѣ эту гнусность? А? Помпончикъ... *(Цѣлуетъ Бабакину въ щеку.)* Прелесть!.. Огурчикъ!..

Бабакина. Постойте, постойте, вы меня совсѣмъ встревожили... Уйдите, уйдите... Нѣтъ, не уходите!..

Боркинъ. Скорѣй! Да или нѣтъ? Намъ некогда...

Бабакина. Знаете что, графъ? Вы пріѣзжайте ко мнѣ въ гости дня на три... У меня весело, не такъ, какъ здѣсь... Пріѣзжайте завтра... *(Боркину.)* Нѣтъ, вы это шутите?

Боркинъ *(сердито).* Да кто же станетъ шутить въ серьезныхъ дѣлахъ?

Бабакина. Постойте, постойте... Ахъ, мнѣ дурно! Мнѣ дурно! Графиня... Мнѣ дурно!.. Я падаю!..

*(Боркинъ и графъ со смѣхомъ берутъ ее подъ руки и, цѣлуя въ щеки, уводятъ въ правую дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ XIII.

**Ивановъ, Саша,** *потомъ* **Анна Петровна** *(Ивановъ и Саша вбѣгаютъ изъ сада).*

Ивановъ *(въ отчаяніи хватая себя за голову).* Не можетъ быть! Не надо, не надо, Шурочка!.. Ахъ, не надо!..

Саша *(съ увлеченіемъ).* Люблю я васъ безумно... Безъ васъ нѣтъ смысла моей жизни, нѣтъ счастья и радости! Для меня вы все...

Ивановъ. Къ чему, къ чему! Боже мой, я ничего не понимаю... Шурочка, не надо!..

Саша. Въ дѣтствѣ моемъ вы были для меня единственною радостью; я любила васъ и вашу душу, какъ себя, а теперь... я васъ люблю, Николай Алексѣевичъ... Съ вами не то что на край свѣта, а куда хотите, хоть въ могилу, только ради Бога скорѣй, иначе я задохнусь...

Ивановъ *(закатывается счастливымъ смѣхомъ)*. Это что же такое? Это, значитъ, начинать жизнь сначала? Шурочка, да?.. Счастье мое! *(Привлекаетъ ее къ себѣ.)* Моя молодость, моя свѣжесть... *(Анна Петровна входитъ изъ сада и, увидѣвъ мужа и Сашу, останавливается, какъ вкопанная.)*

Ивановъ. Значитъ, жить? Да? Снова дѣло?

*(Поцѣлуй. Послѣ поцѣлуя Ивановъ и Саша оглядываются и видятъ Анну Петровну.)*

Ивановъ *(въ ужасѣ)*. Сарра!

*Занавѣсъ.*

---

## ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Кабинетъ Иванова. Письменный столъ, на которомъ въ безпорядкѣ лежатъ бумаги, книги, казенные пакеты, бездѣлушки, револьверы; возлѣ бумагъ лампа, графинъ съ водкой, тарелка съ селедкой, куски хлѣба и огурцы. На стѣнахъ ландкарты, картины, ружья, пистолеты, серпы, нагайки и проч.—Полдень.

### ЯВЛЕНІЕ VI.

Ивановъ *(одинъ)*. Нехорошій, жалкій и ничтожный я человѣкъ. Надо быть тоже жалкимъ, истасканнымъ, испитымъ, какъ Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Какъ я себя презираю, Боже мой! Какъ глубоко ненавижу я свой голосъ, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. Ну, не смѣшно ли, не обидно ли? Еще года нѣтъ, какъ былъ здоровъ и силенъ, былъ бодръ, неутомимъ, горячъ, работалъ этими самыми руками, говорилъ такъ, что трогалъ до слезъ даже невѣждъ, умѣлъ плакать, когда видѣлъ горе, возмущался, когда встрѣчалъ зло. Я зналъ, что такое вдохновеніе, зналъ прелесть и поэзію тихихъ ночей, когда отъ зари до зари сидишь за рабочимъ столомъ или тѣшишь свой умъ мечтами. Я вѣровалъ, въ будущее глядѣлъ, какъ въ глаза родной матери... А теперь, о Боже мой! Утомился, не вѣрю, въ бездѣльѣ провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозгъ, ни руки, ни ноги. Имѣніе идетъ прахомъ, лѣса трещатъ подъ топоромъ. *(Плачетъ.)* Земля моя глядитъ на меня, какъ сирота. Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожитъ отъ страха передъ завтрашнимъ днемъ... А исторія съ Саррой? Клялся въ вѣчной любви, пророчилъ счастье, открывалъ передъ ея глазами будущее, какое ей не снилось даже во снѣ. Она повѣрила. Во всѣ пять лѣтъ я видѣлъ только, какъ она угасала подъ тяжестью своихъ жертвъ, какъ изнемогала въ борьбѣ съ совѣстью, но, видитъ Богъ, ни косого взгляда на меня ни слова упрека!.. И что же? Я разлюбилъ ее... Какъ? Почему? За что? Не понимаю. Вотъ она страдаетъ, дни ея сочтены, а я, какъ послѣдній трусъ, бѣгу отъ ея блѣднаго лица, впалой груди, умоляющихъ глазъ... Стыдно, стыдно! *(Пауза.)* Сашу, дѣвочку, трогаютъ мои несчастія. Она мнѣ, почти старику, объясняется въ любви, а я пьянѣю, забываю про все на свѣтѣ, обвороженный какъ музыкой, и кричу: «Новая жизнь! счастье!» А на другой день вѣрю въ эту жизнь и въ счастье такъ же мало, какъ въ домового... Что же со мною? Въ какую пропасть толкаю я себя? Откуда во мнѣ эта слабость? Что стало съ моими нервами? Стоитъ только больной женѣ уколоть мое самолюбіе, или не угодитъ прислуга, или ружье дастъ осѣчку, какъ я становлюсь грубъ, золъ и не похожъ на себя... *(Пауза.)* Не понимаю, не понимаю, не понимаю! Просто, хоть пулю въ лобъ!..

Львовъ *(входитъ)*. Мнѣ нужно съ вами объясниться, Николай Алексѣевичъ!

Ивановъ. Если мы, докторъ, будемъ каждый день объясняться, то на это силъ никакихъ не хватитъ.

Львовъ. Вамъ угодно меня выслушать?

Ивановъ. Выслушиваю я васъ каждый день и до сихъ поръ никакъ не могу понять: что собственно вамъ отъ меня угодно?

Львовъ. Говорю я ясно и опредѣленно, и не можетъ меня понять только тотъ, у кого нѣтъ сердца...

Ивановъ. Что у меня жена при смерти — я знаю; что я непоправимо виноватъ передъ нею—я тоже знаю; что вы честный, прямой человѣкъ — тоже знаю! Что же вамъ нужно еще?

Львовъ. Меня возмущаетъ человѣческая жестокость... Умираетъ женщина. У нея есть отецъ и мать, которыхъ она любитъ и хотѣла бы видѣть передъ смертью; тѣ знаютъ отлично, что она скоро умретъ и что все еще любитъ ихъ, но—проклятаяжестокость!—они точно хотятъ удивить своимъ религіознымъ закаломъ: все еще проклинаютъ ее! Вы человѣкъ, которому она пожертвовала всѣмъ—и роднымъ гнѣздомъ и покоемъ совѣсти, вы откровеннѣйшимъ образомъ и съ самыми откровенными цѣлями каждый день катаетесь къ этимъ Лебедевымъ!

Ивановъ. Ахъ, я тамъ уже двѣ недѣли не былъ...

Львовъ (*не слушая его*). Съ такими людьми, какъ вы, надо говорить прямо, безъ обиняковъ, и если вамъ не угодно слушать меня, то не слушайте. Я привыкъ называть вещи настоящимъ ихъ именемъ... Вамъ нужна эта смерть для новыхъ подвиговъ; пусть такъ, но неужели вы не могли бы подождать? Если бы вы дали ей умереть естественнымъ порядкомъ, не долбили бы ее своимъ откровеннымъ цинизмомъ, то неужели бы отъ васъ ушла Лебедева со своимъ приданымъ? Не теперь, такъ черезъ годъ, черезъ два, вы, чудный Тартюфъ, успѣли бы вскружить голову дѣвочкѣ и завладѣть ея приданымъ такъ же, какъ и теперь... Къ чему же вы торопитесь? Почему вамъ нужно, чтобы ваша жена умерла теперь, а не черезъ мѣсяцъ, черезъ годъ?..

Ивановъ. Мученіе... Докторъ, вы слишкомъ плохой врачъ, если предполагаете, что человѣкъ можетъ сдерживать себя до безконечности. Мнѣ страшныхъ усилій стоитъ не отвѣчать вамъ на ваши оскорбленія.

Львовъ. Полноте, кого вы хотите одурачить? Сбросьте маску.

Ивановъ. Умный человѣкъ, подумайте: по-вашему, нѣтъ ничего легче, какъ понять меня! Да? Я женился на Аннѣ, чтобы получить большое приданое... Приданаго мнѣ не дали, я промахнулся и теперь сживаю ее со свѣта, чтобы жениться на другой и взять приданое... Да? Какъ просто и несложно... Человѣкъ такая простая и немудрая машина... Нѣтъ, докторъ, въ каждомъ изъ насъ слишкомъ много колесъ, винтовъ и клапановъ, чтобы мы могли судить другъ о другѣ по первому впечатлѣнію или по двумъ-тремъ внѣшнимъ признакамъ. Я не понимаю васъ, вы меня не понимаете, и сами мы себя не понимаемъ. Можно быть прекраснымъ врачомъ—и въ то же время совсѣмъ не знать людей. Не будьте же самоувѣренны и согласитесь съ этимъ.

Львовъ. Да неужели же вы думаете, что вы такъ непрозрачны, и у меня такъ мало мозга, что я не могу отличить подлости отъ честности.

Ивановъ. Очевидно, мы съ вами никогда не споемся... Въ послѣдній разъ я спрашиваю, и отвѣчайте, пожалуйста, безъ предисловій: что собственно вамъ нужно отъ меня? Чего вы добиваетесь? (*Раздраженно.*) И съ кѣмъ я имѣю честь говорить: съ моимъ прокуроромъ или съ врачомъ моей жены?

Львовъ. Я врачъ и, какъ врачъ, требую, чтобы вы измѣнили ваше поведеніе... Оно убиваетъ Анну Петровну!

Ивановъ. Но что же мнѣ дѣлать? Что? Если вы меня понимаете лучше, чѣмъ я самъ себя понимаю, то говорите опредѣленно: что мнѣ дѣлать?

Львовъ. По крайней мѣрѣ, дѣйствовать не такъ откровенно.

Ивановъ. А, Боже мой! Неужели вы себя понимаете? (*Пьетъ воду.*) Оставьте меня. Я тысячу разъ виноватъ, отвѣчу передъ Богомъ, а васъ никто не уполномочивалъ ежедневно пытать меня...

Львовъ. А кто васъ уполномочивалъ оскорблять во мнѣ мою правду? Вы измучили и отравили мою душу. Пока я не попалъ въ этотъ уѣздъ, я допускалъ существованіе людей глупыхъ, сумасшедшихъ, увлекающихся, но никогда я не вѣрилъ, что есть люди преступные осмысленно, сознательно направляющіе свою волю въ сторону зла... Я уважалъ и любилъ людей, но, когда увидѣлъ васъ...

Ивановъ. Я уже слышалъ объ этомъ!

Львовъ. Слышали? (*Увидѣвъ входящую Сашу; она въ амазонкѣ*). Теперь ужъ, надѣюсь, мы отлично понимаемъ другъ друга! (*Пожимаетъ плечами и уходитъ.*)

## ЯВЛЕНІЕ VII.

Ивановъ (*испуганно*). Шура, это ты?

Саша. Да, я. Здравствуй. Не ожидалъ? Отчего ты такъ долго не былъ у насъ?

Ивановъ. Шура, ради Бога, это неосторожно! Твой пріѣздъ можетъ страшно подѣйствовать на жену.

Саша. Она меня не увидитъ. Я прошла чернымъ ходомъ. Сейчасъ уѣду. Я безпокоюсь: ты здоровъ? Отчего не пріѣзжалъ такъ долго?

Ивановъ. Жена и безъ того ужъ оскорблена, почти умираетъ, а ты пріѣзжаешь сюда. Шура, Шура, это легкомысленно и безчеловѣчно!

Саша. Что же мнѣ было дѣлать? Ты двѣ недѣли не былъ у насъ, не отвѣчалъ на письма. Я измучилась. Мнѣ казалось, что ты тутъ невыносимо страдаешь, боленъ, умеръ. Ни одной ночи я не спала покойно. Сейчасъ уѣду... По крайней мѣрѣ, скажи: ты здоровъ?

Ивановъ. Нѣтъ, замучилъ я себя, люди мучаютъ меня безъ конца... Просто силъ моихъ нѣтъ! А тутъ еще ты! Какъ это нездорово, какъ ненормально! Шура, какъ я виноватъ, какъ виноватъ!..

Саша. Какъ ты любишь говорить страшныя и жалкія слова! Виноватъ ты? Да? Виноватъ? Ну, такъ говори же: въ чемъ?

Ивановъ. Не знаю, не знаю...

Саша. Это не отвѣтъ. Каждый грѣшникъ долженъ знать, въ чемъ онъ грѣшенъ. Фальшивыя бумажки дѣлалъ, что ли?

Ивановъ. Не остроумно!

Саша. Виноватъ, что разлюбилъ жену? Можетъ-быть, но человѣкъ не хозяинъ своимъ чувствамъ, ты не хотѣлъ разлюбить. Виноватъ ты, что она видѣла, какъ я объяснялась тебѣ въ любви? Нѣтъ, ты не хотѣлъ, чтобы она видѣла...

Ивановъ *(перебивая)*. И такъ далѣе, и такъ далѣе... Полюбилъ, разлюбилъ, не хозяинъ своимъ чувствамъ — все это общія мѣста, избитыя фразы, которыми не поможешь...

Саша. Утомительно съ тобою говорить. *(Смотритъ на картину)*. Какъ хорошо собака нарисована! Это съ натуры?

Ивановъ. Съ натуры. И весь этотъ нашъ романъ—общее, избитое мѣсто; онъ палъ духомъ и утерялъ почву. Явилась она, бодрая духомъ, сильная, и подала ему руку помощи. Это красиво и похоже на правду только въ романахъ, а въ жизни...

Саша. И въ жизни то же самое.

Ивановъ. Вижу, тонко ты понимаешь жизнь! Мое нытье внушаетъ тебѣ благоговѣйный страхъ, ты воображаешь, что обрѣла во мнѣ второго Гамлета, а, по-моему, эта моя психопатія, со всѣми ея аксессуарами, можетъ служить хорошимъ матеріаломъ только для смѣха и больше ничего! Надо бы хохотать до упаду надъ моимъ кривляньемъ, а ты—караулъ! Спасать, совершать подвигъ! Ахъ, какъ я золъ сегодня на себя! Чувствую, что сегодняшнее мое напряженіе разрѣшится чѣмъ-нибудь... Или я сломаю что-нибудь, или...

Саша. Вотъ, вотъ, это именно и нужно. Сломай что-нибудь, разбей или закричи. Ты на меня сердитъ, я сдѣлала глупость, что рѣшилась пріѣхать сюда. Ну, такъ возмутись, закричи на меня, затопай ногами. Ну? Начинай сердиться... *(Пауза.)* Ну?

Ивановъ. Смѣшная.

Саша. Отлично! Мы, кажется, улыбаемся! Будьте добры, соблаговолите еще разъ улыбнуться!

Ивановъ *(смѣется)*. Я замѣтилъ: когда ты начинаешь спасать меня и учить уму-разуму, то у тебя дѣлается лицо наивное-пренаивное, а зрачки большіе, точно ты на комету смотришь. Постой, у тебя плечо въ пыли. *(Смахиваетъ съ ея плеча пыль.)* Наивный мужчина — это дуракъ. Вы же, женщины, умудряетесь наивничать такъ, что это у васъ выходитъ и мило, и здорово, и тепло, и не такъ глупо, какъ кажется. Только что у васъ у всѣхъ за манера? Пока мужчина здоровъ, силенъ и веселъ, вы не обращаете на него никакого вниманія, но какъ только онъ покатилъ внизъ по наклонной плоскости и сталъ Лазаря пѣть, вы вѣшаетесь ему на шею. Развѣ быть женой сильнаго и храбраго человѣка хуже, чѣмъ быть сидѣлкой у какого-нибудь слезоточиваго неудачника?

Саша. Хуже.

Ивановъ. Почему же? *(Хохочетъ.)* Не знаетъ объ этомъ Дарвинъ, а то бы онъ задалъ вамъ на орѣхи! Вы портите человѣческую породу. По вашей милости на свѣтѣ скоро будутъ рождаться одни только нытики и психопаты.

Саша. Мужчины многаго не понимаютъ. Всякой дѣвушкѣ скорѣе понравится неудачникъ, чѣмъ счастливецъ, потому что каждую соблазняетъ любовь дѣятельная... Понимаешь? Дѣятельная. Мужчины заняты дѣломъ, и потому у нихъ любовь на третьемъ планѣ. Поговорить съ женой, погулять съ

нею по саду, пріятно провести время, на ея могилкѣ поплакать — вотъ и все. А у насъ любовь — это жизнь. Я люблю тебя, это значитъ, что я мечтаю, какъ я излѣчу тебя отъ тоски, какъ пойду съ тобою на край свѣта... Ты на гору—и я на гору; ты въ яму—и я въ яму. Для меня, напримѣръ, было бы большимъ счастьемъ всю ночь бумаги твои переписывать, или всю ночь сторожить, чтобы тебя не разбудилъ кто-нибудь, или итти съ тобою пѣшкомъ верстъ сто. Помню, года три назадъ, ты разъ, во время молотьбы, пришелъ къ намъ, весь въ пыли, загорѣлый, измученный, и попросилъ пить. Принесла я тебѣ стаканъ, а ты ужъ лежишь на диванѣ и спишь, какъ убитый. Спалъ ты у насъ полсутокъ, а я все время стояла за дверью и сторожила, чтобы кто не вошелъ. И такъ мнѣ было хорошо! Чѣмъ больше труда, тѣмъ любовь лучше, то-есть она, понимаешь ли, сильнѣй чувствуется.

Ивановъ. Дѣятельная любовь... Гм... Порча это, дѣвическая философія, или, можетъ, такъ оно и должно быть... *(Пожимаетъ плечами.)* Чортъ его знаетъ! *(Весело.)* Шура, честное слово, я порядочный человѣкъ!.. Ты посуди: я всегда любилъ философствовать, но никогда въ жизни я не говорилъ: «наши женщины испорчены», или: «женщина вступила па ложную дорогу». Я былъ только благодаренъ и больше ничего! Больше ничего! Дѣвочка моя, хорошая, какая ты забавная! А я-то какой смѣшной болванъ! Православный народъ смущаю, по цѣлымъ днямъ Лазаря пою. *(Смѣется.)* Бу-у! бу-у! *(Быстро отходитъ.)* Но уходи, Саша! Мы забылись...

Саша. Да, пора уходить. Прощай! Боюсь, какъ бы твой честный докторъ изъ чувства долга не донесъ Аннѣ Петровнѣ, что я здѣсь. Слушай меня: ступай сейчасъ къ женѣ и сиди, сиди, сиди... Годъ понадобится сидѣть—годъ сиди. Десять лѣтъ—сиди десять лѣтъ. Исполняй свой долгъ. И горюй, и прощенія у нея проси, и плачь,—все это такъ и надо. А, главное, не забывай дѣла.

Ивановъ. Опять у меня такое чувство, какъ будто я мухомору объѣлся. Опять!

Саша. Ну, храни тебя Создатель! Обо мнѣ можешь совсѣмъ не думать! Недѣли черезъ двѣ черкнешь строчку—и на томъ спасибо. А я тебѣ буду писать...

*(Боркинъ выглядываетъ въ дверь.)*

## ЯВЛЕНІЕ VIII.

Боркинъ. Николай! Алексѣевичъ, можно? *(Увидѣвъ Сашу.)* Виноватъ, я не вижу...*(Входитъ.)* Бонжуръ! *(Раскланивается.)*

Саша *(смущенно)*. Здравствуйте...

Боркинъ. Вы пополнѣли, похорошѣли.

Саша *(Иванову)*. Такъ я ухожу, Николай Алексѣевичъ... Я ухожу. *(Уходитъ).*

Боркинъ. Чудное видѣніе! Шелъ за прозой, а наткнулся на поэзію... *(Поетъ.)* «Явилась ты, какъ пташка къ свѣту»...

*(Ивановъ взволнованно ходитъ по сценѣ.)*

Боркинъ *(садится)*. А въ ней, Nicolas, есть что-то такое, этакое, чего нѣтъ въ другихъ. Не правда ли? Что-то особенное... фантасмагорическое... *(Вздыхаетъ.)* Въ сущности, самая богатая невѣста во всемъ уѣздѣ, но маменька такая рѣдька, что никто не захочетъ связываться. Послѣ ея смерти все останется Шурочкѣ, а до смерти дастъ тысячъ десять, плойку и утюгъ, да еще велитъ въ ножки поклониться. *(Роется въ карманахъ.)* Покурить де-лосъ-махоросъ. Не хотите ли? *(Протягиваетъ портсигаръ.)* Хорошія... Курить можно.

Ивановъ *(подходитъ къ Боркину, задыхаясь отъ гнѣва)*. Сію же минуту, чтобъ ноги вашей не было у меня въ домѣ! Сію же минуту!

*(Боркинъ приподнимается и роняетъ сигару.)*

Ивановъ. Вонъ, сію же минуту!

Боркинъ. Nicolas, что это значитъ? За что вы сердитесь?

Ивановъ. За что? А откуда у васъ эти сигары? И вы думаете, что я не знаю, куда и зачѣмъ вы каждый день возите старика?

Боркинъ *(пожимаетъ плечами)*. Да вамъ-то что за надобность?

Ивановъ. Негодяй вы этакій! Ваши подлые проекты, которыми вы сыплете по всему уѣзду, сдѣлали меня въ глазахъ людей безчестнымъ человѣкомъ! У насъ нѣтъ ничего общаго, и я прошу васъ

сію же минуту оставить мой домъ! *(Быстро ходитъ.)*

Боркинъ. Я знаю, все это вы говорите въ раздраженіи, а потому не сержусь на васъ. Оскорбляйте, сколько хотите... *(Поднимаетъ сигару.)* А меланхолію пора бросить. Вы не гимназистъ...

Ивановъ. Я вамъ что сказалъ? *(Дрожа.)* Вы играете мною?

*(Входитъ Анна Петровна.)*

## ЯВЛЕНІЕ IX.

Боркинъ. Ну, вотъ, Анна Петровна пришла... Я уйду. *(Уходитъ).*

*(Ивановъ останавливается возлѣ стола и стоитъ, поникнувъ головой.)*

Анна Петровна *(послѣ паузы)*. Зачѣмъ она сейчасъ сюда пріѣзжала? *(Пауза.)* Я тебя спрашиваю: зачѣмъ она сюда пріѣзжала?

Ивановъ. Не спрашивай, Анюта... *(Пауза.)* Я глубоко виноватъ. Придумывай, какое хочешь, наказаніе, я все снесу, но... не спрашивай... Говорить я не въ силахъ.

Анна Петровна *(сердито)*. Зачѣмъ она здѣсь была? *(Пауза.)* А, такъ вотъ ты какой! Теперь я тебя понимаю. Наконецъ-то я вижу, что ты за человѣкъ. Безчестный, низкій... Помнишь, ты пришелъ и солгалъ мнѣ, что ты меня любишь... Я повѣрила и оставила отца, мать, вѣру и пошла за тобою... Ты лгалъ мнѣ о правдѣ, о добрѣ, о своихъ честныхъ планахъ, я вѣрила каждому слову...

Ивановъ. Анюта, я никогда не лгалъ тебѣ...

Анна Петровна. Жила я съ тобою пять лѣтъ, томилась и болѣла, но любила тебя и не оставляла ни на одну минуту... Ты былъ моимъ кумиромъ... И что же? Все это время ты обманывалъ меня самымъ наглымъ образомъ...

Ивановъ. Анюта, не говори неправды. Я ошибался, да, но не солгалъ ни разу въ жизни... Въ этомъ ты не смѣешь попрекнуть меня...

Анна Петровна. Теперь все понятно... Женился ты на мнѣ и думалъ, что отецъ и мать простятъ меня, дадутъ мнѣ денегъ... Ты это думалъ...

Ивановъ. О Боже мой! Анюта, испытывать такъ терпѣніе... *(Плачетъ.)*

Анна Петровна. Молчи! Когда увидѣлъ, что денегъ нѣтъ, повелъ новую игру... Теперь я все помню и понимаю *(Плачетъ.)* Ты никогда не любилъ меня и не былъ мнѣ вѣренъ... Никогда!..

Ивановъ. Сарра, это ложь!.. Говори, что хочешь, но не оскорбляй меня ложью...

Анна Петровна. Безчестный, низкій человѣкъ... Ты долженъ Лебедеву и теперь, чтобы увильнуть отъ долга, хочешь вскружить голову его дочери, обмануть ее такъ же, какъ меня. Развѣ не правда?

Ивановъ *(задыхаясь)*. Замолчи, ради Бога! Я за себя не ручаюсь... Меня душитъ гнѣвъ, и я... я могу оскорбить тебя...

Анна Петровна. Всегда ты нагло обманывалъ, и не меня одну... Всѣ безчестные поступки сваливалъ ты на Боркина, но теперь я знаю—чьи они...

Ивановъ. Сарра, замолчи, уйди, а то у меня съ языка сорвется слово! Меня такъ и подмываетъ сказать тебѣ что-нибудь ужасное, оскорбительное... *(Кричитъ.)* Замолчи, жидовка!..

Анна Петровна. Не замолчу... Слишкомъ долго ты обманывалъ меня, чтобы я могла молчать...

Ивановъ. Такъ ты не замолчишь? *(Борется съ собою.)* Ради Бога...

Анна Петровна. Теперь иди и обманывай Лебедеву...

Ивановъ. Такъ знай же, что ты... скоро умрешь... Мнѣ докторъ сказалъ, что ты скоро умрешь...

Анна Петровна *(садится, упавшимъ голосомъ)*. Когда онъ сказалъ? *(Пауза.)*

Ивановъ *(хватая себя за голову)*. Какъ я виноватъ! Боже, какъ я виноватъ! *(Рыдаетъ.)*

*Занавѣсъ.*

---

**Между третьимъ и четвертымъ дѣйствіями проходитъ около года.**

---

## ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

### ЯВЛЕНІЕ I.

Одна изъ гостиныхъ въ домѣ Лебедева. Впереди арка, отдѣляющая гостиную отъ зала, направо и налѣво—двери. Старинная бронза, фамильные портреты. Праздничное убранство. Піанино, на немъ скрипка, возлѣ стоитъ віолончель. — Въ продолженіе всего дѣйствія по залу ходятъ гости, одѣтые по-бальному.

Львовъ *(входитъ, смотритъ на часы)*. Пятый часъ. Должно-быть, сейчасъ начнется благословеніе... Благословятъ и повезутъ вѣнчать. Вотъ оно торжество добродѣтели и правды! Сарру не удалось ограбить, замучилъ ее и въ гробъ уложилъ, теперь нашелъ другую. Будетъ и передъ этою лицемѣрить, пока не ограбитъ ея и, ограбивши, не уложитъ туда же, гдѣ лежитъ бѣдная Сарра. Старая, кулаческая исторія... *(Пауза.)* На седьмомъ небѣ отъ счастья, прекрасно проживетъ до глубокой старости, а умретъ со спокойною совѣстью. Нѣтъ, я выведу тебя на чистую воду! Когда я сорву съ тебя проклятую маску, и когда всѣ узнаютъ, что ты за птица, ты полетишь у меня съ седьмого неба внизъ головой въ такую яму, изъ которой не вытащитъ тебя сама нечистая сила! Я—честный человѣкъ, мое дѣло вступиться и открыть глаза слѣпымъ. Исполню свой долгъ и завтра же вонъ изъ этого проклятаго уѣзда! *(Задумывается.)* Но что сдѣлать? Объясняться съ Лебедевыми — напрасный трудъ. Вызвать на дуэль? Затѣять скандалъ? Боже мой, я волнуюсь, какъ мальчишка, и совсѣмъ потерялъ способность соображать. Что дѣлать? Дуэль?

### ЯВЛЕНІЕ II.

Косыхъ *(входитъ, радостно Львову)*. Вчера объявилъ маленькій шлемъ на трефахъ, а взялъ большой. Только опять этотъ Барабановъ мнѣ всю музыку испортилъ! Играемъ. Я говорю безъ козырей. Онъ пасъ. Два трефы. Онъ пасъ. Я два бубны... три трефы... и представьте, можете себѣ представить: я объявляю шлемъ, а онъ не показываетъ туза. Покажи онъ, мерзавецъ, туза, я объявилъ бы большой шлемъ на безкозыряхъ.

Львовъ. Простите, я въ карты не играю и потому не сумѣю раздѣлить вашего восторга. Скоро благословеніе?

Косыхъ. Должно, скоро. Зюзюшку въ чувство приводятъ. Бѣлугой реветъ, приданаго жалко.

Львовъ. А не дочери?

Косыхъ. Приданаго. Да и обидно. Женится, значитъ, долга не заплатитъ. Зятевы векселя не протестуешь.

### ЯВЛЕНІЕ III.

Бабакина *(разодѣтая, важно проходитъ чрезъ сцену мимо Львова и Косыхъ; послѣдній прыскаетъ въ кулакъ; она оглядывается)*. Глупо! *(Косыхъ касается пальцемъ ея таліи и хохочетъ.)*

Бабакина. Мужикъ! *(Уходитъ.)*

Косыхъ *(хохочетъ)*. Совсѣмъ спятила баба! Пока въ сіятельство не лѣзла— была баба, какъ баба, а теперь приступу нѣтъ. *(Дразнитъ.)* Мужикъ!

Львовъ *(волнуясь)*. Слушайте, скажите мнѣ искренно: какого вы мнѣнія объ Ивановѣ?

Косыхъ. Ничего не стоитъ. Играетъ, какъ сапожникъ. Въ прошломъ году, въ посту, былъ такой случай. Садимся мы играть: я, графъ, Боркинъ и онъ. Я сдаю...

Львовъ *(перебивая)*. Хорошій онъ человѣкъ?

Косыхъ. Онъ-то? Жохъ-мужчина! Пройда, сквозь огонь и воду прошелъ. Онъ и графъ — пятакъ пара. Нюхомъ чуютъ, гдѣ что плохо лежитъ. На жидовкѣ нарвался, съѣлъ грибъ, а теперь къ Зюзюшкинымъ сундукамъ подбирается. Объ закладъ бьюсь, будь я трижды анаѳема, если черезъ годъ онъ Зюзюшку по міру не пуститъ. Онъ — Зюзюшку, а графъ — Бабакину. Заберутъ денежки и будутъ жить-поживать да добра наживать. Докторъ, что это вы сегодня такой блѣдный? На васъ лица нѣтъ.

Львовъ. Ничего, это такъ. Вчера лишнее выпилъ.

### ЯВЛЕНІЕ IV.

Лебедевъ *(входя съ Сашей)*. Здѣсь поговоримъ. *(Львову и Косыхъ.)* Сту-

пайте, зулусы, въ залу къ барышнямъ. Намъ по секрету поговорить нужно.

Косыхъ *(проходя мимо Саши, восторженно щелкаетъ пальцами)*. Картина! Козырная дама!

Лебедевъ. Проходи, пещерный человѣкъ, проходи!

*(Львовъ и Косыхъ уходятъ.)*

Лебедевъ. Садись, Шурочка, вотъ такъ... *(садится и оглядывается.)* Слушай внимательно и съ должнымъ благоговѣніемъ. Дѣло вотъ въ чемъ: твоя мать приказала мнѣ передать тебѣ слѣдующее... Понимаешь? Я не отъ себя буду говорить, а мать приказала.

Саша. Папа, покороче!

Лебедевъ. Тебѣ въ приданое назначается пятнадцать тысячъ рублей серебромъ. Вотъ... Смотри, чтобъ потомъ разговоровъ не было! Постой, молчи! Это только цвѣтки, а будутъ еще ягодки. Приданаго тебѣ назначено пятнадцать тысячъ, но, принимая во вниманіе, что Николай Алексѣевичъ долженъ твоей матери 9 тысячъ, изъ твоего приданаго дѣлается вычитаніе... Ну-съ, а потомъ, кромѣ того...

Саша. Для чего ты мнѣ это говоришь?

Лебедевъ. Мать приказала!

Саша. Оставьте меня въ покоѣ! Если бы ты хотя немного уважалъ меня и себя, то не позволилъ бы себѣ говорить со мною такимъ образомъ. Не нужно мнѣ вашего приданаго! Я не просила и не прошу!

Лебедевъ. За что же ты на меня набросилась? У Гоголя двѣ крысы сначала понюхали, а потомъ ужъ ушли, а ты эмансипэ, не понюхавши, набросилась.

Саша. Оставьте вы меня въ покоѣ, не оскорбляйте моего слуха вашими грошевыми расчетами.

Лебедевъ *(вспыливъ)*. Тфу! Всѣ вы то сдѣлаете, что я себя ножомъ пырну или человѣка зарѣжу! Та день-денской ревмя реветъ, зудитъ, пилитъ, копейки считаетъ, а эта, умная, гуманная, чортъ подери, эмансипированная, не можетъ понять родного отца! Я оскорбляю слухъ! Да вѣдь прежде чѣмъ прійти сюда оскорблять твой слухъ, меня тамъ *(указываетъ на дверь)* на куски рѣзали, четвертовали. Не можетъ она понять! Голову вскружили и съ толку сбили... ну васъ! *(Идетъ къ двери и останавливается.)* Не нравится мнѣ, все мнѣ въ васъ не нравится!

Саша. Что тебѣ не нравится?

Лебедевъ. Все мнѣ не нравится! Все!

Саша. Что все?

Лебедевъ. Такъ вотъ я разсядусь передъ тобою и стану разсказывать. Ничего мнѣ не нравится, а на свадьбу твою я и смотрѣть не хочу! *(Подходитъ къ Сашѣ и ласково.)* Ты меня извини, Шурочка, можетъ-быть, твоя свадьба умная, честная, возвышенная, съ принципами, но что-то въ ней не то, не то! Не походитъ она на другія свадьбы. Ты—молодая, свѣжая, чистая, какъ стеклышко, красивая, а онъ — вдовецъ, истрепался, обносился. И не понимаю я его. Богъ съ нимъ. *(Цѣлуетъ дочь.)* Шурочка, прости, но что-то не совсѣмъ чисто. Ужъ очень много люди говорятъ. Какъ-то такъ у него эта Сарра умерла, потомъ какъ-то вдругъ почему-то на тебѣ жениться захотѣлъ... *(Живо.)* Впрочемъ, я баба, баба. Обабился, какъ старый кринолинъ. Не слушай меня. Никого, себя только слушай.

Саша. Папа, я и сама чувствую, что не то... Не то, не то, не то. Если бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело! Невыносимо! Мнѣ неловко и страшно сознаваться въ этомъ. Папа, голубчикъ, ты меня подбодри, ради Бога... научи, что дѣлать.

Лебедевъ. Что такое? Что?

Саша. Такъ страшно, какъ никогда не было! *(Оглядывается.)* Мнѣ кажется, что я его не понимаю и никогда не пойму. За все время, пока я его невѣста, онъ ни разу не улыбнулся, ни разу не взглянулъ мнѣ прямо въ глаза. Вѣчно жалобы, раскаяніе въ чемъ-то, намеки на какую-то вину, дрожь... Я утомилась. Бываютъ даже минуты, когда мнѣ кажется, что я... я его люблю не такъ сильно, какъ нужно. А когда онъ пріѣзжаетъ къ намъ или говоритъ со мною, мнѣ становится скучно. Что это все значитъ, папочка? Страшно!

Лебедевъ. Голубушка моя, дитя мое единственное, послушай стараго отца. Откажи ему.

Саша. *(испуганно)*. Что ты, что ты!

Лебедевъ. Право, Шурочка. Скандалъ будетъ, весь уѣздъ языками затрезвонитъ, но вѣдь лучше пережить скандалъ, чѣмъ губить себя на всю жизнь.

Саша Не говори, не говори, папа! И слушать не хочу. Надо бороться съ мрачными мыслями. Онъ хорошій, несчастный, непонятый человѣкъ; я буду его любить,

пойму, поставлю его на ноги. Я исполню свою задачу. Рѣшено!

Лебедевъ. Не задача это, а психопатія.

Саша. Довольно. Я покаялась тебѣ, въ чемъ не хотѣла сознаться даже самой себѣ. Никому не говори. Забудемъ.

Лебедевъ. Ничего я не понимаю. Или я отупѣлъ отъ старости, или всѣ вы очень ужъ умны стали, а только я, хоть зарѣжьте, ничего не понимаю.

## ЯВЛЕНІЕ V.

Шабельскій (*входя*). Чортъ бы побралъ всѣхъ и меня въ томъ числѣ! Возмутительно!

Лебедевъ. Тебѣ что?

Шабельскій. Нѣтъ, серьезно, нужно во что бы то ни стало устроить себѣ какую-нибудь гнусность, подлость, чтобъ не только мнѣ, но и всѣмъ противно стало. И я устрою. Честное слово! Я ужъ сказалъ Боркину, чтобы онъ объявилъ меня сегодня женихомъ. (*Смѣется.*) Всѣ подлы, и я буду подлъ.

Лебедевъ. Надоѣлъ ты мнѣ! Слушай, Матвѣй, договоришься ты до того, что тебя, извини за выраженіе, въ желтый домъ свезутъ.

Шабельскій. А чѣмъ желтый домъ хуже любого бѣлаго или краснаго дома? Сдѣлай милость, хоть сейчасъ меня туда вези. Сдѣлай милость. Всѣ подленькіе, маленькіе, ничтожные, бездарные, самъ я гадокъ себѣ, не вѣрю ни одному своему слову...

Лебедевъ. Знаешь что, братъ? Возьми въ ротъ паклю, зажги и дыши на людей. Или еще лучше: возьми свою шапку и поѣзжай домой. Тутъ свадьба, всѣ веселятся, а ты кра-кра, какъ ворона. Да, право...

(*Шабельскій склоняется къ піанино и рыдаетъ.*)

Лебедевъ. Батюшки!.. Матвѣй!.. графъ!.. Что съ тобою? Матюша, родной мой... ангелъ мой... Я обидѣлъ тебя? Ну, прости меня, старую собаку... Прости пьяницу... Воды выпей...

Шабельскій. Не нужно. (*Поднимаетъ голову.*)

Лебедевъ. Чего ты плачешь?

Шабельскій. Ничего, такъ...

Лебедевъ. Нѣтъ, Матюша, не лги... Отчего? Что за причина?

Шабельскій. Взглянулъ я сейчасъ на эту віолончель и... и жидовочку вспомнилъ...

Лебедевъ. Эва, когда нашелъ вспоминать! Царство ей небесное, вѣчный покой, вспоминать не время...

Шабельскій. Мы съ нею дуэты играли... Чудная, превосходная женщина!

(*Саша рыдаетъ.*)

Лебедевъ. Ты еще что? Будетъ тебѣ! Господи, ревутъ оба, а я... я... Хоть уйдите отсюда, гости увидятъ!

Шабельскій. Паша, когда солнце свѣтитъ, то и на кладбищѣ весело. Когда есть надежда, то и въ старости хорошо. А у меня ни одной надежды, ни одной!

Лебедевъ. Да, дѣйствительно, тебѣ плоховато... Ни дѣтей у тебя, ни денегъ, ни занятій... Ну, да что дѣлать! (*Сашѣ.*) А ты-то чего?

Шабельскій. Паша, дай мнѣ денегъ. На томъ свѣтѣ мы поквитаемся. Я съѣзжу въ Парижъ, погляжу на могилу жены. Въ своей жизни я много давалъ, роздалъ половину своего состоянія, а потому имѣю право просить. Къ тому же я прошу у друга...

Лебедевъ (*растерянно*). Голубчикъ, у меня ни копейки! Впрочемъ, хорошо, хорошо! То-есть, я не обѣщаю, а понимаешь ли... отлично, отлично! (*Въ сторону.*) Замучили!

## ЯВЛЕНІЕ VI.

Бабакина (*входитъ*). Гдѣ же мой кавалеръ? Графъ, какъ вы смѣете оставлять меня одну? У; противный! (*Бьетъ графа вѣеромъ по рукѣ.*)

Шабельскій (*брезгливо*). Оставьте меня въ покоѣ! Я васъ ненавижу!

Бабакина (*оторопѣло*). Что?.. А?..

Шабельскій. Отойдите прочь!

Бабакина (*падаетъ въ кресло*). Ахъ! (*Плачетъ.*)

Зинаида Савишна (*входитъ плача*). Тамъ кто-то пріѣхалъ... Кажется, жениховъ шаферъ. Благословлять время... (*Рыдаетъ.*)

Саша (*умоляюще*). Мама!

Лебедевъ. Ну, всѣ заревѣли! Квартетъ! Да будетъ вамъ сырость разводить!

Матвѣй! Марѳа Егоровна!.. Вѣдь этакъ и я... я заплачу... *(Плачетъ.)* Господи!

Зинаида Савишна. Если тебѣ мать не нужна, если безъ послушанія... то сдѣлаю тебѣ такое удовольствіе, благословлю...

*(Входитъ Ивановъ; онъ во фракѣ и перчаткахъ.)*

### ЯВЛЕНІЕ VII.

Лебедевъ. Этого еще не доставало! Что такое?

Саша. Зачѣмъ ты?

Ивановъ. Виноватъ, господа, позвольте мнѣ поговорить съ Сашей наединѣ.

Лебедевъ. Это не порядокъ, чтобъ до вѣнца къ невѣстѣ пріѣзжать! Тебѣ пора ѣхать въ церковь!

Ивановъ. Паша, я прошу...

*(Лебедевъ пожимаетъ плечами; онъ, Зинаида Савишна, графъ и Бабакина уходятъ.)*

### ЯВЛЕНІЕ VIII.

Саша *(сурово)*. Что тебѣ нужно?

Ивановъ. Меня душитъ злоба, но я могу говорить хладнокровно. Слушай. Сейчасъ я одѣвался къ вѣнцу, взглянулъ на себя въ зеркало, а у меня на вискахъ... сѣдины. Шура, не надо! Пока еще не поздно нужно прекратить эту безсмысленную комедію... Ты молода, чиста, у тебя впереди жизнь, а я...

Саша. Все это не ново, слышала я уже тысячу разъ, и мнѣ надоѣло! Поѣзжай въ церковь, не задерживай людей.

Ивановъ. Я сейчасъ уѣду домой, а ты объяви своимъ, что свадьбы не будетъ. Объясни имъ какъ-нибудь. Пора взяться за умъ. Поигралъ я Гамлета, а ты возвышенную дѣвицу—и будетъ съ насъ.

Саша *(вспыхнувъ)*. Это что за тонъ? Я не слушаю.

Ивановъ. А я говорю и буду говорить.

Саша. Ты зачѣмъ пріѣхалъ? Твое нытье переходитъ въ издѣвательство.

Ивановъ. Нѣтъ, ужъ я не ною! Издѣвательство? Да, я издѣваюсь. И если бы можно было издѣваться надъ самимъ собою въ тысячу разъ сильнѣе и заставить хохотать весь свѣтъ, то я бы это сдѣлалъ! Взглянулъ я на себя въ зеркало— и въ моей совѣсти точно ядро лопнуло! Я надсмѣялся надъ собою и отъ стыда едва не сошелъ съ ума *(смѣется)*. Меланхолія! Благородная тоска! Безотчетная скорбь! Недостаетъ еще, чтобы я стихи писалъ. Ныть, пѣть Лазаря, нагонять тоску на людей, сознавать, что энергія жизни утрачена навсегда, что я заржавѣлъ, отжилъ свое, что я поддался слабодушію и по уши увязъ въ этой гнусной меланхоліи,—сознавать это, когда солнце ярко свѣтитъ, когда даже муравей тащитъ свою ношу и доволенъ собою, — нѣтъ, слуга покорный! Видѣть, какъ одни считаютъ тебя за шарлатана, другіе сожалѣютъ, третьи протягиваютъ руку помощи, четвертые, — что всего хуже, — съ благоговѣніемъ прислушиваются къ твоимъ вздохамъ, глядятъ на тебя, какъ на второго Магомета, и ждутъ, что вотъ-вотъ ты объявишь имъ новую религію... Нѣтъ, слава Богу, у меня еще есть гордость и совѣсть! Ѣхалъ я сюда, смѣялся надъ собою, и мнѣ казалось, что надо мною смѣются птицы, смѣются деревья...

Саша. Это не злость, а сумасшествіе!

Ивановъ. Ты думаешь? Нѣтъ, я не сумасшедшій. Теперь я вижу вещи въ настоящемъ свѣтѣ, и моя мысль такъ же чиста, какъ твоя совѣсть. Мы любимъ другъ друга, но свадьбѣ нашей не быть! Я самъ могу бѣситься и киснуть, сколько мнѣ угодно, но я не имѣю права губить другихъ! Своимъ нытьемъ я отравилъ женѣ послѣдній годъ ея жизни. Пока ты моя невѣста, ты разучилась смѣяться и постарѣла на пять лѣтъ. Твой отецъ, для котораго было все ясно въ жизни, по моей милости пересталъ понимать людей. Ѣду ли я на съѣздъ, въ гости, на охоту, куда ни пойду, всюду вношу съ собою скуку, уныніе, недовольство. Постой, не перебивай! Я рѣзокъ, свирѣпъ, но, прости, злоба душитъ меня, и иначе говорить я не могу. Никогда я не лгалъ, не клеветалъ на жизнь, но, ставши брюзгой, я, противъ воли, самъ того не замѣчая, клевещу на нее, ропщу на судьбу, жалуюсь, и всякій, слушая меня, заражается отвращеніемъ къ жизни и тоже начинаетъ клеветать. А какой тонъ! Точно я дѣлаю одолженіе природѣ, что живу. Да чортъ меня возьми!

Саша. Постой... Изъ того, что ты сейчасъ сказалъ, слѣдуетъ, что нытье тебѣ надоѣло, и что пора начать новую жизнь!.. И отлично!..

Ивановъ. Ничего я отличнаго не вижу. И какая тамъ новая жизнь? Я погибъ безвозвратно! Пора намъ обоимъ понять это. Новая жизнь!

Саша. Николай, опомнись! Откуда видно, что ты погибъ? Что за цинизмъ такой? Нѣтъ, не хочу ни говорить ни слушать... Поѣзжай въ церковь!

Ивановъ. Погибъ!

Саша. Не кричи такъ, гости услышатъ!

Ивановъ. Если неглупый, образованный и здоровый человѣкъ безъ всякой видимой причины сталъ пѣть Лазаря и покатилъ внизъ по наклонной плоскости, то онъ катитъ уже безъ удержа, и нѣтъ ему спасенія! Ну, гдѣ мое спасеніе? Въ чемъ? Пить я не могу—голова болитъ отъ вина; плохихъ стиховъ писать—не умѣю, молиться на свою душевную лѣнь и видѣть въ ней нѣчто превыспренное — не могу. Лѣнь и есть лѣнь, слабость есть слабость,—другихъ названій у меня нѣтъ. Погибъ, погибъ — и разговоровъ быть не можетъ *(оглядывается)*. Намъ могутъ помѣшать. Слушай. Если ты меня любишь, то помоги мнѣ. Сію же минуту, не медля, откажись отъ меня! Скорѣе...

Саша. Ахъ, Николай, если бы ты зналъ, какъ ты меня утомилъ! Какъ измучилъ ты мою душу! Добрый, умный человѣкъ, посуди: ну, можно ли задавать такія задачи? Что ни день, то задача, одна труднѣе другой... Хотѣла я дѣятельной любви, но вѣдь это мученическая любовь!

Ивановъ. А когда ты станешь моей женой, задачи будутъ еще сложнѣй. Откажись же! Пойми: въ тебѣ говоритъ не любовь, а упрямство честной натуры. Ты задалась цѣлью во что бы то ни стало воскресить во мнѣ человѣка, спасти; тебѣ льстило, что ты совершаешь подвигъ... Теперь ты готова отступить назадъ, но тебѣ мѣшаетъ ложное чувство. Пойми!

Саша. Какая у тебя странная, дикая логика! Ну, могу ли я отъ тебя отказаться? Какъ я откажусь? У тебя ни матери, ни сестры, ни друзей... Ты разоренъ, имѣніе твое растащили, на тебя кругомъ клевещутъ...

Ивановъ. Глупо я сдѣлалъ, что сюда пріѣхалъ. Мнѣ нужно было бы поступить такъ, какъ я хотѣлъ...

*(Входитъ Лебедевъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ IX.

Саша *(бѣжитъ навстрѣчу отцу)*. Папа, ради Бога, прибѣжалъ онъ сюда, какъ бѣшеный, и мучаетъ меня! Требуетъ, чтобы я отказалась отъ него, не хочетъ губить меня. Скажи ему, что я не хочу его великодушія! Я знаю, что дѣлаю.

Лебедевъ. Ничего не понимаю... Какое великодушіе?

Ивановъ. Свадьбы не будетъ!

Саша. Будетъ! Папа, скажи ему, что свадьба будетъ!

Лебедевъ. Постой, постой!.. Почему же ты не хочешь, чтобы была свадьба?

Ивановъ. Я объяснилъ ей почему, но она не хочетъ понимать.

Лебедевъ. Нѣтъ, ты не ей, а мнѣ объясни, да такъ объясни, чтобы я понялъ! Ахъ, Николай Алексѣевичъ! Богъ тебѣ судья! Столько ты напустилъ туману въ нашу жизнь, что я точно въ кунсткамерѣ живу: гляжу и ничего не понимаю... Просто наказаніе... Ну, что мнѣ прикажешь, старику, съ тобою дѣлать? На дуэль тебя вызвать, что ли?

Ивановъ. Никакой дуэли не нужно. Нужно имѣть только голову на плечахъ и понимать русскій языкъ.

Саша *(ходитъ въ волненіи по сценѣ)*. Это ужасно, ужасно! Просто какъ ребенокъ!

Лебедевъ. Остается только руками развести и больше ничего. Послушай, Николай! По-твоему, все это у тебя умно, тонко, по всѣмъ правиламъ психологіи, а по-моему, это скандалъ и несчастіе. Выслушай меня, старика, въ послѣдній разъ! Вотъ что я тебѣ скажу: успокой свой умъ. Гляди на вещи просто, какъ всѣ глядятъ. На этомъ свѣтѣ все просто. Потолокъ бѣлый, сапоги черные, сахаръ сладкій. Ты Сашу любишь, она тебя любитъ. Коли любишь—оставайся, не любишь — уходи, въ претензіи не будемъ. Вѣдь это такъ просто! Оба вы здоровые, умные, нравственные, и сыты, слава Богу, и одѣты... Что жъ тебѣ еще нужно? Денегъ нѣтъ? Велика важность! Не въ деньгахъ счастье... Конечно, я понимаю... имѣніе у тебя за-

ложено, процентовъ нечѣмъ платить, но я — отецъ, я понимаю... Мать, какъ хочетъ, Богъ съ ней; не даетъ денегъ—не нужно. Шурка говоритъ, что не нуждается въ приданомъ. Принципы Шопенгауэра... Все это чепуха... Есть у меня въ банкѣ завѣтныя 10 тысячъ. *(Оглядывается)*. Про нихъ въ домѣ ни одна собака не знаетъ... Бабушкины... Это вамъ обоимъ... Берите, только уговоръ лучше денегъ: Матвѣю дайте тысячи двѣ...

*(Въ залѣ собираются гости.)*

Ивановъ. Паша, разговоры ни къ чему. Я поступаю такъ, какъ велитъ мнѣ моя совѣсть.

Саша. И я поступаю такъ, какъ велитъ мнѣ моя совѣсть. Можешь говорить, что угодно, я тебя не отпущу. Пойду, позову маму. *(Уходитъ.)*

## ЯВЛЕНІЕ X.

Лебедевъ. Ничего не понимаю...

Ивановъ. Слушай, бѣдняга... Объяснять тебѣ, кто я—честенъ или подлъ, здоровъ или психопатъ, я не стану. Тебѣ не втолкуешь. Былъ я молодымъ, горячимъ, искреннимъ, неглупымъ; любилъ, ненавидѣлъ и вѣрилъ не такъ, какъ всѣ, работалъ и надѣялся за десятерыхъ, сражался съ мельницами, бился лбомъ объ стѣны; не соразмѣривъ своихъ силъ, не разсуждая, не зная жизни, я взвалилъ на себя ношу, отъ которой сразу захрустѣла спина и потянулись жилы; я спѣшилъ расходовать себя на одну только молодость, пьянѣлъ, возбуждался, работалъ; не зналъ мѣры. И скажи: можно ли было иначе? Вѣдь насъ мало, а работы много, много! Боже, какъ много! И вотъ какъ жестоко мститъ мнѣ жизнь, съ которою я боролся! Надорвался я! Въ 30 лѣтъ уже похмелье, я старъ, я уже надѣлъ халатъ. Съ тяжелою головой, съ лѣнивою душой, утомленный, надорванный, надломленный, безъ вѣры, безъ любви, безъ цѣли, какъ тѣнь, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачѣмъ живу, чего хочу? И мнѣ уже кажется, что любовь—вздоръ, ласки приторны, что въ трудѣ нѣтъ смысла, что пѣсня и горячія рѣчи пошлы и стары. И всюду я вношу съ собою тоску, холодную скуку, недовольство, отвращеніе къ жизни... Погибъ безвозвратно! Передъ тобою стоитъ человѣкъ, въ 35 лѣтъ уже утомленный, разочарованный, раздавленный своими ничтожными подвигами; онъ сгораетъ со стыда, издѣвается надъ своею слабостью... О, какъ возмущается во мнѣ гордость, какое душитъ меня бѣшенство! *(Пошатываясь.)* Эка, какъ я уходилъ себя! Даже шатаюсь... Ослабѣлъ я. Гдѣ Матвѣй? Пусть онъ свезетъ меня домой.

Голоса въ залѣ. Жениховъ шаферъ пріѣхалъ!

## ЯВЛЕНІЕ XI.

Шабельскій *(входя)*. Въ чужомъ, поношенномъ фракѣ... безъ перчатокъ... и сколько за это насмѣшливыхъ взглядовъ, глупыхъ остротъ, пошлыхъ улыбокъ... Отвратительные людишки!

Боркинъ *(быстро входитъ съ букетомъ; онъ во фракѣ, съ шаферскимъ цвѣткомъ)*. Уфъ! Гдѣ же онъ? *(Иванову)*. Васъ въ церкви давно ждутъ, а вы тутъ философію разводите. Вотъ комикъ! Ей-Богу, комикъ! Вѣдь вамъ надо не съ невѣстой ѣхать, а отдѣльно со мною, за невѣстой же я пріѣду изъ церкви. Неужели вы даже этого не понимаете? Положительно, комикъ!

Львовъ *(входитъ, Иванову)*. А, вы здѣсь? *(Громко.)* Николай Алексѣевичъ Ивановъ, объявляю во всеуслышаніе, что вы подлецъ!

Ивановъ *(холодно)*. Покорнѣйше благодарю.

*(Общее замѣшательство.)*

Боркинъ *(Львову)*. Милостивый государь, это низко! Я вызываю васъ на дуэль!

Львовъ. Господинъ Боркинъ, я считаю для себя унизительнымъ не только драться, но даже говорить съ вами! А господинъ Ивановъ можетъ получить удовлетвореніе, когда ему угодно.

Шабельскій. Милостивый государь, я дерусь съ вами!..

Саша *(Львову)*. За что? За что вы его оскорбили? Господа, позвольте, пусть онъ мнѣ скажетъ: за что?

Львовъ. Александра Павловна, я оскорблялъ не голословно. Я пришелъ сюда, какъ честный человѣкъ, чтобы раскрыть вамъ глаза, и прошу васъ выслушать меня.

Саша. Что вы можете сказать? Что вы честный человѣкъ? Это весь свѣтъ знаетъ! Вы лучше скажите мнѣ по чистой

совѣсти: понимаете вы себя или нѣтъ? Вошли вы сейчасъ сюда, какъ честный человѣкъ, и нанесли ему страшное оскорбленіе, которое едва не убило меня: раньше, когда вы преслѣдовали его, какъ тѣнь, и мѣшали ему жить, вы были увѣрены, что исполняете свой долгъ, что вы честный человѣкъ. Вы вмѣшивались въ его частную жизнь, злословили и судили его; гдѣ только можно было, забрасывали меня и всѣхъ знакомыхъ анонимными письмами,— и все время вы думали, что вы честный человѣкъ. Думая, что это честно, вы, докторъ, не щадили даже его больной жены и не давали ей покоя своими подозрѣніями. И какое бы насиліе, какую жестокую подлость вы ни сдѣлали, вамъ все бы казалось, что вы необыкновенно честный и передовой человѣкъ!

Ивановъ *(смѣясь)*. Не свадьба, а парламентъ! Браво, браво!..

Саша *(Львову)*. Вотъ теперь и подумайте: понимаете вы себя или нѣтъ? Тупые, безсердечные люди! *(беретъ Иванова за руку)*. Пойдемъ отсюда, Николай! Отецъ, пойдемъ!

Ивановъ. Куда тамъ пойдемъ? Постой; я сейчасъ все это кончу! Проснулась во мнѣ молодость, заговорилъ прежній Ивановъ! *(Вынимаетъ револьверъ.)*

Саша *(вскрикиваетъ)*. Я знаю, что онъ хочетъ сдѣлать! Николай, Бога ради!

Ивановъ. Долго катилъ внизъ по наклону, теперь стой! Пора и честь знать! Отойдите! Спасибо, Саша!

Саша *(кричитъ)*. Николай, Бога ради! Удержите!

Ивановъ. Оставьте меня! *(Отбѣгаетъ въ сторону и застрѣливается.)*

1888 г.

*Занавѣсъ.*

## Человѣкъ въ футлярѣ.

На самомъ краю села Мироносицкаго, въ сараѣ старосты Прокофія, расположились на ночлегъ запоздавшіе охотники. Ихъ было только двое: ветеринарный врачъ Иванъ Иванычъ и учитель гимназіи Буркинъ. У Ивана Иваныча была довольно странная двойная фамилія—Чимша-Гималайскій, которая совсѣмъ не шла ему, и его во всей губерніи звали просто по имени и отчеству; онъ жилъ около города, на конскомъ заводѣ, и пріѣхалъ теперь на охоту, чтобы подышать чистымъ воздухомъ. Учитель же гимназіи Буркинъ каждое лѣто гостилъ у графовъ П. и въ этой мѣстности давно уже былъ своимъ человѣкомъ.

Не спали. Иванъ Иванычъ, высокій, худощавый старикъ съ длинными усами, сидѣлъ снаружи, у входа, и курилъ трубку; его освѣщала луна. Буркинъ лежалъ внутри на сѣнѣ, и его не было видно въ потемкахъ.

Разсказывали разныя исторіи. Между прочимъ говорили о томъ, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигдѣ не была дальше своего родного села, никогда не видѣла ни города ни желѣзной дороги, а въ послѣднія десять лѣтъ все сидѣла за печью и только по ночамъ выходила на улицу.

— Что же тутъ удивительнаго! — сказалъ Буркинъ.— Людей, одинокихъ по натурѣ, которые, какъ ракъ-отшельникъ или улитка, стараются уйти въ свою скорлупу, на этомъ свѣтѣ не мало. Быть-можетъ, тутъ явленіе атавизма, возвращеніе къ тому времени, когда предокъ человѣка не былъ еще общественнымъ животнымъ и жилъ одиноко въ своей берлогѣ, а можетъ-быть, это просто одна изъ разновидностей человѣческаго характера, — кто знаетъ? Я не естественникъ, и не мое дѣло касаться подобныхъ вопросовъ; я только хочу сказать, что такіе люди, какъ Мавра, явленіе не рѣдкое. Да вотъ, не далеко искать, мѣсяца два назадъ умеръ у насъ въ городѣ нѣкій Бѣликовъ, учитель греческаго языка, мой товарищъ. Вы о немъ слышали, конечно. Онъ былъ замѣчателенъ тѣмъ, что всегда, даже въ очень хорошую погоду, выходилъ въ калошахъ и съ зонтикомъ и непремѣнно въ тепломъ пальто на ватѣ. И зонтикъ у него былъ въ чехлѣ, и часы въ чехлѣ изъ сѣрой замши, и когда вынималъ перочинный ножъ, чтобъ очинить карандашъ, то и ножъ у него былъ въ чехольчикѣ, и лицо, казалось, тоже было въ чехлѣ, такъ какъ онъ все время пряталъ его въ поднятый воротникъ. Онъ носилъ темныя очки, фуфайку, уши закладывалъ ватой, и когда садился на извозчика, то приказывалъ поднимать верхъ. Однимъ словомъ, у этого человѣка наблюдалось постоянное и неопреодолимое стремленіе

окружить себя оболочкой, создать себѣ, такъ сказать, футляръ, который уединилъ бы его, защитилъ бы отъ внѣшнихъ вліяній. Дѣйствительность раздражала его, пугала, держала въ постоянной тревогѣ и, быть-можетъ, для того, чтобъ оправдать эту свою робость, свое отвращеніе къ настоящему, онъ всегда хвалилъ прошлое и то, чего никогда не было; и древніе языки, которые онъ преподавалъ, были для него въ сущности тѣ же калоши и зонтикъ, куда онъ прятался отъ дѣйствительной жизни.

— О, какъ звученъ, какъ прекрасенъ греческій языкъ!— говорилъ онъ со сладкимъ выраженіемъ; и, какъ бы въ доказательство своихъ словъ, прищуривъ глазъ и поднявъ палецъ, произносилъ:—Антропосъ!

И мысль свою Бѣликовъ также старался запрятать въ футляръ. Для него были ясны только циркуляры и газетныя статьи, въ которыхъ запрещалось что-нибудь. Когда въ циркулярѣ запрещалось ученикамъ выходить на улицу послѣ девяти часовъ вечера, или въ какой-нибудь статьѣ запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, опредѣленно; запрещено— и баста. Въ разрѣшеніи же и позволеніи скрывался для него всегда элементъ сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда въ городѣ разрѣшали драматическій кружокъ, или читальню, или чайную, то онъ покачивалъ головой и говорилъ тихо:

— Оно, конечно, такъ-то такъ, все это прекрасно, да какъ бы чего не вышло.

Всякаго рода нарушенія, уклоненія, отступленія отъ правилъ приводили его въ уныніе, хотя, казалось бы, какое ему дѣло? Если кто изъ товарищей опаздывалъ на молебенъ, или доходили слухи о какой-нибудь проказѣ гимназистовъ, или видѣли классную даму поздно вечеромъ съ офицеромъ, то онъ очень волновался и все говорилъ, какъ бы чего не вышло. А на педагогическихъ совѣтахъ онъ просто угнеталъ насъ своею осторожностью, мнительностью и своими чисто-футлярными соображеніями насчетъ того, что вотъ-де въ мужской и женской гимназіяхъ молодежь ведетъ себя дурно, очень шумитъ въ классахъ,— ахъ какъ, бы не дошло до начальства, ахъ, какъ бы чего не вышло,— и что если бъ изъ второго класса исключить Петрова, а изъ четвертаго— Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьемъ, своими темными очками на блѣдномъ, маленькомъ лицѣ,—знаете, маленькомъ лицѣ, какъ у хорька,—онъ давилъ насъ всѣхъ, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову баллъ по поведенію, сажали ихъ подъ арестъ и, въ концѣ-концовъ, исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновеніе—ходить по нашимъ квартирамъ. Придетъ къ учителю, сядетъ и молчитъ, и какъ будто что-то высматриваетъ. Посидитъ, этакъ, молча, часъ-другой, и уйдетъ. Это называлось у него «поддерживать добрыя отношенія съ товарищами», и, очевидно, ходить къ намъ и сидѣть было для него тяжело, и ходилъ онъ къ намъ только потому, что считалъ это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директоръ боялся. Вотъ подите же, наши учителя народъ все мыслящій, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневѣ и Щедринѣ, однакоже этотъ человѣчекъ, ходившій всегда въ калошахъ и съ зонтикомъ, держалъ въ рукахъ всю гимназію цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ! Да что гимназію? Весь городъ! Наши дамы по субботамъ домашнихъ спектаклей не устраивали, боялись, какъ бы онъ не узналъ; и духовенство стѣснялось при немъ кушать скоромное и играть въ карты. Подъ вліяніемъ такихъ людей, какъ Бѣликовъ, за послѣднія десять-пятнадцать лѣтъ въ нашемъ городѣ стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бѣднымъ, учить грамотѣ...

Иванъ Иванычъ, желая что-то сказать, кашлянулъ, но сначала закурилъ трубку, поглядѣлъ на луну и потомъ уже сказалъ съ разстановкой:

— Да. Мыслящіе, порядочные, читаютъ и Щедрина и Тургенева, разныхъ тамъ Боклей и прочее, а вотъ подчинились же, терпѣли... То-то вотъ оно и есть.

— Бѣликовъ жилъ въ томъ же домѣ, гдѣ и я,— продолжалъ Буркинъ, — въ томъ же этажѣ, дверь противъ двери, мы часто видѣлись, и я зналъ его домашнюю жизнь. И дома та же исторія: халатъ, колпакъ, ставни, задвижки, цѣлый рядъ всякихъ запрещеній, ограниченій, и—ахъ, какъ бы чего не вышло! Постное ѣсть вредно, а скоромное нельзя, такъ какъ,

пожалуй, скажутъ, что Бѣликовъ не исполняетъ постовъ, и онъ ѣлъ судака на коровьемъ маслѣ, — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги онъ не держалъ изъ страха, чтобъ о немъ не думали дурно, а держалъ повара Аѳанасія, старика лѣтъ шестидесяти, нетрезваго и полоумнаго, который когда-то служилъ въ денщикахъ и умѣлъ кое-какъ стряпать. Этотъ Аѳанасій стоялъ обыкновенно у двери, скрестивъ руки, и всегда бормоталъ одно и то же, съ глубокимъ вздохомъ:

— Много ужъ *ихъ* нынче развелось!

Спальня у Бѣликова была маленькая, точно ящикъ, кровать была съ пологомъ. Ложась спать, онъ укрывался съ головой; было жарко, душно, въ закрытыя двери стучался вѣтеръ, въ печкѣ гудѣло; слышались вздохи изъ кухни, вздохи зловѣщіе...

И ему было страшно подъ одѣяломъ. Онъ боялся, какъ бы чего не вышло, какъ бы его не зарѣзалъ Аѳанасій, какъ бы не забрались воры, и потомъ всю ночь видѣлъ тревожные сны, а утромъ, когда мы вмѣстѣ шли въ гимназію, былъ скученъ, блѣденъ, и было видно, что многолюдная гимназія, въ которую онъ шелъ, была страшна, противна всему существу его, и что итти рядомъ со мной ему, человѣку по натурѣ одинокому, было тяжко.

— Очень ужъ шумятъ у насъ въ классахъ, — говорилъ онъ, какъ бы стараясь отыскать объясненіе своему тяжелому чувству.—Ни на что не похоже.

И этотъ учитель греческаго языка, этотъ человѣкъ въ футлярѣ, можете себѣ представить, едва не женился.

Иванъ Иванычъ быстро оглянулся въ сарай и сказалъ:

— Шутите!

— Да, едва не женился, какъ это ни странно. Назначили къ намъ новаго учителя исторіи и географіи, нѣкоего Коваленко, Михаила Саввича, изъ хохловъ. Пріѣхалъ онъ не одинъ, а съ сестрой Варенькой. Онъ молодой, высокій, смуглый, съ громадными руками, и по лицу видно, что говоритъ басомъ, и въ самомъ дѣлѣ, голосъ какъ изъ бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лѣтъ тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, — однимъ словомъ, не дѣвица а мармеладъ, и такая разбитная, шумная, все поетъ малороссійскіе романсы и хохочетъ. Чуть что, такъ и зальется голосистымъ смѣхомъ: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство съ Коваленками у насъ, помню, произошло на именинахъ у директора. Среди суровыхъ, напряженно скучныхъ педагоговъ, которые и на именины-то ходятъ по обязанности, вдругъ видимъ, новая Афродита возродилась изъ пѣны: ходитъ подбоченясь, хохочетъ, поетъ, пляшетъ... Она спѣла съ чувствомъ «Віютъ витры», потомъ еще романсъ, и еще, и всѣхъ насъ очаровала, — всѣхъ, даже Бѣликова. Онъ подсѣлъ къ ней и сказалъ, сладко улыбаясь:

— Малороссійскій языкъ своею нѣжностью и пріятною звучностью напоминаетъ древне-греческій.

Это польстило ей, и она стала разсказывать ему съ чувствомъ и убѣдительно, что въ Гадячскомъ уѣздѣ у нея есть хуторъ, а на хуторѣ живетъ мамочка, и тамъ такія груши, такія дыни, такіе кабаки! У хохловъ тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варятъ у нихъ борщъ съ красненькими и съ синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто—ужасъ!»

Слушали мы слушали, и вдругъ всѣхъ насъ осѣнила одна и та же мысль.

— А хорошо бы ихъ поженить,— тихо сказала мнѣ директорша.

Мы всѣ почему-то вспомнили, что нашъ Бѣликовъ не женатъ, и намъ теперь казалось страннымъ, что мы до сихъ поръ какъ-то не замѣчали, совершенно упускали изъ виду такую важную подробность въ его жизни. Какъ вообще онъ относится къ женщинѣ, какъ онъ рѣшаетъ для себя этотъ насущный вопросъ? Раньше это не интересовало насъ вовсе; быть - можетъ, мы не допускали даже и мысли, что человѣкъ, который во всякую погоду ходитъ въ калошахъ и спитъ подъ пологомъ, можетъ любить.

— Ему давно уже за сорокъ, а ей тридцать... — пояснила свою мысль директорша. — Мнѣ кажется, она бы за него пошла.

Чего только не дѣлается у насъ въ провинціи отъ скуки, сколько ненужнаго, вздорнаго! И это потому, что совсѣмъ не дѣлается то, что нужно. Ну, вотъ къ чему намъ вдругъ понадобилось женить этого Бѣликова, котораго даже и вообразить

нельзя было женатымъ? Директорша, инспекторша и всѣ наши гимназическія дамы ожили, даже похорошѣли, точно вдругъ увидѣли цѣль жизни. Директорша беретъ въ театрѣ ложу, и смотримъ—въ ея ложѣ сидитъ Варенька съ этакимъ вѣеромъ, сіяющая, счастливая, и рядомъ съ ней Бѣликовъ, маленькій, скрюченный, точно его изъ дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуютъ, чтобъ я непремѣнно пригласилъ и Бѣликова и Вареньку. Однимъ словомъ, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замужъ. Жить ей у брата было не очень-то весело: только и знали, что по цѣлымъ днямъ спорили и ругались. Вотъ вамъ сцена: идетъ Коваленко по улицѣ, высокій, здоровый верзила, въ вышитой сорочкѣ, чубъ изъ-подъ фуражки падаетъ на лобъ; въ одной рукѣ пачка книгъ, въ другой—толстая суковатая палка. За нимъ идетъ сестра, тоже съ книгами.

— Да ты же, Михайликъ, этого не читалъ!—споритъ она громко.—Я же тебѣ говорю, клянусь, ты не читалъ же этого вовсе!

— А я тебѣ говорю, что читалъ! — кричитъ Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ахъ же, Боже жъ мой! Минчикъ! Чего же ты сердишься, вѣдь у насъ же разговоръ принципіальный.

— А я тебѣ говорю, что я читалъ! — кричитъ еще громче Коваленко.

А дома, какъ кто посторонній, такъ и перепалка. Такая жизнь, вѣроятно, наскучила, хотѣлось своего угла, да и возрастъ принять во вниманіе; тутъ ужъ перебирать некогда, выйдешь, за кого угодно, даже за учителя греческаго языка. И то сказать, для большинства нашихъ барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Какъ бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Бѣликову явную благосклонность.

А Бѣликовъ? Онъ и къ Коваленку ходилъ такъ же, какъ къ намъ. Придетъ къ нему, сядетъ и молчитъ. Онъ молчитъ, а Варенька поетъ ему «Віютъ витры», или глядитъ на него задумчиво своими темными глазами, или вдругъ зальется:

— Ха-ха-ха!

Въ любовныхъ дѣлахъ, а особенно въ женитьбѣ, внушеніе играетъ большую роль. Всѣ—и товарищи и дамы—стали увѣрять Бѣликова, что онъ долженъ жениться, что ему ничего больше не остается въ жизни, какъ жениться; всѣ мы поздравляли его, говорили съ важными лицами разныя пошлости, въ родѣ того-де, что бракъ есть шагъ серьезный; къ тому же Варенька была не дурна собой, интересна, она была дочь статскаго совѣтника и имѣла хуторъ, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась къ нему ласково, сердечно,—голова у него закружилась, и онъ рѣшилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ нужно жениться.

— Вотъ тутъ бы и отобрать у него калоши и зонтикъ, — проговорилъ Иванъ Иванычъ.

— Представьте, это оказалось невозможнымъ. Онъ поставилъ у себя на столѣ портретъ Вареньки и все ходилъ ко мнѣ и говорилъ о Варенькѣ, о семейной жизни, о томъ, что бракъ есть шагъ серьезный, часто бывалъ у Коваленковъ, но образа жизни не измѣнилъ нисколько. Даже наоборотъ, рѣшеніе жениться подѣйствовало на него какъ-то болѣзненно: онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ и, казалось, еще глубже ушелъ въ свой футляръ.

— Варвара Саввишна мнѣ нравится,— говорилъ онъ мнѣ со слабой кривой улыбочкой: — и я знаю, жениться необходимо каждому человѣку, но... все это, знаете ли, произошло какъ-то вдругъ... Надо подумать.

— Что же тутъ думать?—говорю ему.— Женитесь, вотъ и все.

— Нѣтъ, женитьба — шагъ серьезный, надо сначала взвѣсить предстоящія обязанности, отвѣтственность... чтобы потомъ чего не вышло. Это меня такъ безпокоитъ, я теперь всѣ ночи не сплю. И признаться, я боюсь: у нея съ братомъ какой-то странный образъ мыслей, разсуждаютъ они какъ-то, знаете ли, странно, и характеръ очень бойкій. Женишься, а потомъ, чего добраго, попадешь въ какую-нибудь исторію.

И онъ не дѣлалъ предложенія, все откладывалъ, къ великой досадѣ директорши и всѣхъ нашихъ дамъ; все взвѣшивалъ предстоящія обязанности и отвѣтственность, и между тѣмъ почти каждый день гулялъ съ Варенькой, быть-можетъ, думалъ, что это такъ нужно въ его положеніи, и приходилъ ко мнѣ, чтобы поговорить о семейной жизни. И по всей вѣроятности, въ концѣ-концовъ онъ сдѣ-

лалъ бы предложеніе, и совершился бы одинъ изъ тѣхъ ненужныхъ, глупыхъ браковъ, какихъ у насъ отъ скуки и отъ нечего дѣлать совершаются тысячи, если бы вдругъ не произошелъ kolossalische Scandal. Нужно сказать, что братъ Вареньки, Коваленко, возненавидѣлъ Бѣликова съ перваго же дня знакомства и терпѣть его не могъ.

— Не понимаю,— говорилъ онъ намъ, пожимая плечами,—не понимаю, какъ вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эхъ, господа, какъ вы можете тутъ жить! Атмосфера у васъ удушающая, поганая. Развѣ вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у васъ не храмъ науки, а управа благочинія, и кислятиной воняетъ, какъ въ полицейской будкѣ. Нѣтъ, братцы, поживу съ вами еще немного и уѣду къ себѣ на хуторъ и буду тамъ раковъ ловить и хохлятъ учить. Ѣду, а вы оставайтесь тутъ со своимъ іудой, нехай винъ лопне.

Или онъ хохоталъ, хохоталъ до слезъ то басомъ, то тонкимъ писклявымъ голосомъ и спрашивалъ меня, разводя руками:

— Шо онъ у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.

Онъ даже названіе далъ Бѣликову «глитай абожъ паукъ». И понятно, мы избѣгали говорить съ нимъ о томъ, что сестра его Варенька собирается за «абожъ паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солиднаго, всѣми уважаемаго человѣка, какъ Бѣликовъ, то онъ нахмурился и проворчалъ:

— Не мое это дѣло. Пускай она выходитъ хоть за гадюку, а я не люблю въ чужія дѣла мѣшаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказникъ нарисовалъ карикатуру: идетъ Бѣликовъ въ калошахъ, въ подсученныхъ брюкахъ, подъ зонтомъ, и съ нимъ подъ руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропосъ». Выраженіе схвачено, понимаете ли, удивительно. Художникъ, должно-быть, проработалъ не одну ночь, такъ какъ всѣ учителя мужской и женской гимназій, учителя семинаріи, чиновники,— всѣ получили по экземпляру. Получилъ и Бѣликовъ. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатлѣніе.

Выходимъ мы вмѣстѣ изъ дому,— это было какъ разъ первое мая, воскресенье, и мы всѣ, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназіи и потомъ вмѣстѣ итти пѣшкомъ за городъ, въ рощу,— выходимъ мы, а онъ зеленый, мрачнѣе тучи.

— Какіе есть нехорошіе, злые люди!— проговорилъ онъ, и губы у него задрожали.

Мнѣ даже жалко его стало. Идемъ и вдругъ, можете себѣ представить, катитъ на велосипедѣ Коваленко, а за нимъ Варенька, тоже на велосипедѣ, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы, — кричитъ она, — впередъ ѣдемъ! Уже жъ такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужасъ!

И скрылись оба. Мой Бѣликовъ изъ зеленаго сталъ бѣлымъ и точно оцѣпенѣлъ. Остановился и смотритъ на меня...

— Позвольте, что же это такое?—спросилъ онъ.—Или, быть-можетъ, меня обманываетъ зрѣніе? Развѣ преподавателямъ гимназіи и женщинамъ прилично ѣздить на велосипедѣ?

— Что же тутъ неприличнаго? — сказалъ я. — И пусть катаются себѣ на здоровье.

— Да какъ же можно?—крикнулъ онъ, изумляясь моему спокойствію. — Что вы говорите?!

И онъ былъ такъ пораженъ, что не захотѣлъ итти дальше и вернулся домой.

На другой день онъ все время нервно потиралъ руки и вздрагивалъ, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И съ занятій ушелъ, что случилось съ нимъ первый разъ въ жизни. И не обѣдалъ. А подъ вечеръ одѣлся потеплѣе, хотя на дворѣ стояла совсѣмъ лѣтняя погода, и поплелся къ Коваленкамъ. Вареньки не было дома, засталъ онъ только брата.

— Садитесь, покорнѣйше прошу,—проговорилъ Коваленко холодно и нахмурилъ брови; лицо у него было заспанное, онъ только-что отдыхалъ послѣ обѣда и былъ сильно не въ духѣ.

Бѣликовъ посидѣлъ молча минутъ десять и началъ:

— Я къ вамъ пришелъ, чтобъ облегчить душу. Мнѣ очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянтъ нарисовалъ въ смѣшномъ видѣ меня и еще одну особу, намъ обоимъ близкую. Считаю долгомъ увѣрить васъ, что я тутъ ни при чемъ... Я не подавалъ никакого повода къ такой на-

смѣшкѣ, — напротивъ же, все время велъ себя, какъ вполнѣ порядочный человѣкъ.

Коваленко сидѣлъ, надувшись, и молчалъ. Бѣликовъ подождалъ немного и продолжалъ тихо, печальнымъ голосомъ:

— И еще я имѣю кое-что сказать вамъ. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгомъ, какъ старшій товарищъ, предостеречь васъ. Вы катаетесь на велосипедѣ, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросилъ Коваленко басомъ.

— Да развѣ тутъ надо еще объяснять, Михаилъ Саввичъ, развѣ это не понятно? Если учитель ѣдетъ на велосипедѣ, то что же остается ученикамъ? Имъ остается только ходить на головахъ! И разъ это не разрѣшено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидѣлъ вашу сестрицу, то у меня помутилось въ глазахъ. Женщина или дѣвушка на велосипедѣ—это ужасно!

— Что же собственно вамъ угодно?

— Мнѣ угодно только одно—предостеречь васъ, Михаилъ Саввичъ. Вы—человѣкъ молодой, у васъ впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же такъ манкируете, охъ, какъ манкируете! Вы ходите въ вышитой сорочкѣ, постоянно на улицѣ съ какими-то книгами, а теперь вотъ еще велосипедъ. О томъ, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипедѣ, узнаетъ директоръ, потомъ дойдетъ до попечителя... Что же хорошаго?

— Что я и сестра катаемся на велосипедѣ, никому нѣтъ до этого дѣла! — сказалъ Коваленко и побагровѣлъ.—А кто будетъ вмѣшиваться въ мои домашнія и семейныя дѣла, того я пошлю къ чертямъ собачьимъ.

Бѣликовъ поблѣднѣлъ и всталъ.

— Если вы говорите со мной такимъ тономъ, то я не могу продолжать, — сказалъ онъ. — И прошу васъ никогда такъ не выражаться въ моемъ присутствіи о начальникахъ. Вы должны съ уваженіемъ относиться къ властямъ.

— А развѣ я говорилъ что дурное про властей? — спросилъ Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ. Я честный человѣкъ и съ такимъ господиномъ, какъ вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискаловъ.

Бѣликовъ нервно засуетился и сталъ одѣваться быстро, съ выраженіемъ ужаса на лицѣ. Вѣдь это первый разъ въ жизни онъ слышалъ такія грубости.

— Можете говорить, что вамъ угодно, — сказалъ онъ, выходя изъ передней на площадку лѣстницы. — Я долженъ только предупредить васъ: быть-можетъ, насъ слышалъ кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я долженъ буду доложить господину директору содержаніе нашего разговора... въ главныхъ чертахъ. Я обязанъ это сдѣлать.

— Доложить? Ступай, докладывай!

Коваленко схватилъ его сзади за воротникъ и пихнулъ, и Бѣликовъ покатился внизъ по лѣстницѣ, гремя своими калошами. Лѣстница была высокая, крутая, но онъ докатился до низу благополучно; всталъ и потрогалъ себя за носъ: цѣлы ли очки? Но какъ разъ въ то время, когда онъ катился по лѣстницѣ, вошла Варенька и съ нею двѣ дамы; онѣ стояли внизу и глядѣли—и для Бѣликова это было ужаснѣе всего. Лучше бы, кажется, сломать себѣ шею, обѣ ноги, чѣмъ стать посмѣшищемъ; вѣдь теперь узнаетъ весь городъ, дойдетъ до директора, попечителя, — ахъ, какъ бы чего не вышло! — нарисуютъ новую карикатуру, и кончится все это тѣмъ, что прикажутъ подать въ отставку...

Когда онъ поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смѣшное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, въ чемъ дѣло, полагая, что это онъ упалъ самъ нечаянно, не удержалась и захохотала на весь домъ:

— Ха-ха-ха!

И этимъ раскатистымъ, заливчатымъ «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство и земное существованіе Бѣликова. Уже онъ не слышалъ, что говорила Варенька, и ничего не видѣлъ. Вернувшись къ себѣ домой, онъ прежде всего убралъ со стола портретъ, а потомъ легъ и уже больше не вставалъ.

Дня черезъ три пришелъ ко мнѣ Аѳанасій и спросилъ, не надо ли послать за докторомъ, такъ какъ-де съ бариномъ что-то дѣлается. Я пошелъ къ Бѣликову. Онъ лежалъ подъ пологомъ, укрытый одѣяломъ, и молчалъ; спросишь его, а

онъ только да или нѣтъ — и больше ни звука. Онъ лежитъ, а возлѣ бродитъ Аѳанасій, мрачный, нахмуренный, и вздыхаетъ глубоко; а отъ него водкой, какъ изъ кабака.

Черезъ мѣсяцъ Бѣликовъ умеръ. Хоронили мы его всѣ, то-есть обѣ гимназіи и семинарія. Теперь, когда онъ лежалъ въ гробу, выраженіе у него было кроткое, пріятное, даже веселое, точно онъ былъ радъ, что, наконецъ, его положили въ футляръ, изъ котораго онъ уже никогда не выйдетъ. Да, онъ достигъ своего идеала! И какъ бы въ честь его, во время похоронъ, была пасмурная, дождливая погода, и всѣ мы были въ калошахъ и съ зонтами. Варенька тоже была на похоронахъ и, когда гробъ опускали въ могилу, всплакнула. Я замѣтилъ, что хохлушки только плачутъ или хохочутъ, средняго же настроенія у нихъ не бываетъ.

Признаюсь, хоронить такихъ людей, какъ Бѣликовъ, это большое удовольствіе. Когда мы возвращались съ кладбища, то у насъ были скромныя, постныя физіономіи; никому не хотѣлось обнаружить этого чувства удовольствія, — чувства, похожаго на то, какое мы испытывали давно-давно, еще въ дѣтствѣ, когда старшіе уѣзжали изъ дому, и мы бѣгали по саду часъ-другой, наслаждаясь полною свободой. Ахъ, свобода, свобода! Даже намекъ, даже слабая надежда на ея возможность даетъ душѣ крылья, не правда ли?

Вернулись мы съ кладбища въ добромъ расположеніи. Но прошло не больше недѣли, и жизнь потекла попрежнему, такая же суровая, утомительная, безтолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрѣшенная вполнѣ; не стало лучше. И въ самомъ дѣлѣ, Бѣликова похоронили, а сколько еще такихъ человѣковъ въ футлярѣ осталось, сколько ихъ еще будетъ!

— То-то вотъ оно и есть, — сказалъ Иванъ Иванычъ и закурилъ трубку.

— Сколько ихъ еще будетъ! — повторилъ Буркинъ.

Учитель гимназіи вышелъ изъ сарая. Это былъ человѣкъ небольшого роста, толстый, совершенно лысый, съ черной бородой чуть не по-поясъ; и съ нимъ вышли двѣ собаки.

— Луна-то, луна! — сказалъ онъ, глядя вверхъ.

Была уже полночь. Направо видно было все село; длинная улица тянулась далеко, верстъ на пять. Все было погружено въ тихій, глубокій сонъ; ни движенія ни звука; даже не вѣрится, что въ природѣ можетъ быть такъ тихо.

— То-то вотъ оно и есть, — повторилъ Иванъ Иванычъ. — А развѣ то, что мы живемъ въ городѣ въ духотѣ, въ тѣснотѣ, пишемъ ненужныя бумаги, играемъ въ винтъ — развѣ это не футляръ? А то, что мы проводимъ всю жизнь среди бездѣльниковъ, сутягъ, глупыхъ, праздныхъ женщинъ, говоримъ и слушаемъ разный вздоръ — развѣ это не футляръ? Вотъ если желаете, то я разскажу вамъ одну очень поучительную исторію.

— Нѣтъ, ужъ пора спать, — сказалъ Буркинъ. — До завтра!

Оба пошли въ сарай и легли на сѣнѣ. И уже оба укрылись и задремали, какъ вдругъ послышались легкіе шаги: тупъ, тупъ... Кто-то ходилъ недалеко отъ сарая; пройдетъ немного и остановится, а черезъ минуту опять: тупъ, тупъ... Собаки заворчали.

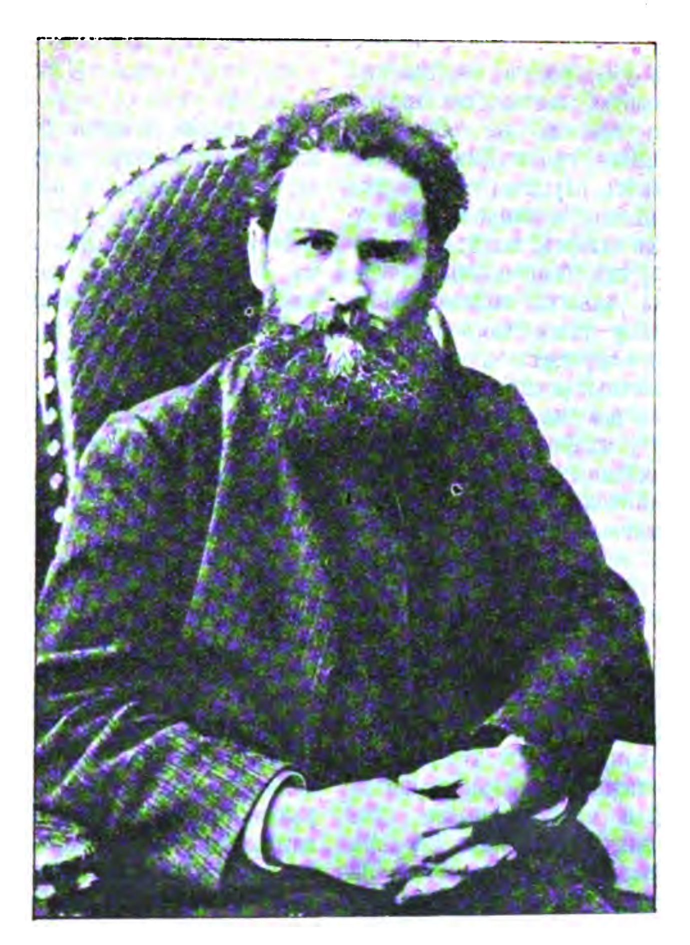
— Это Мавра ходитъ, — сказалъ Буркинъ.

Шаги затихли.

— Видѣть и слышать, какъ лгутъ, — проговорилъ Иванъ Иванычъ, поворачиваясь на другой бокъ, — и тебя же называютъ дуракомъ за то, что ты терпишь эту ложь, сносить обиды, униженія, не смѣть открыто заявить, что ты на сторонѣ честныхъ, свободныхъ людей, и самому лгать, улыбаться, и все это изъ-за куска хлѣба, изъ-за теплаго угла, изъ-за какого-нибудь чинишка, которому грошъ цѣна, — нѣтъ, больше жить такъ невозможно!

— Ну, ужъ это вы изъ другой оперы, Иванъ Иванычъ, — сказалъ учитель. — Давайте спать.

И минутъ черезъ десять Буркинъ уже спалъ. А Иванъ Иванычъ все ворочался съ боку на бокъ и вздыхалъ, а потомъ всталъ, опять вышелъ наружу и, сѣвши у дверей, закурилъ трубочку.



**Владиміръ Галактіоновичъ Короленко.**

(Род. въ 1853 г.).

## Рѣка играетъ.

(Эскизы изъ дорожнаго альбома).

### I.

Проснувшись, я долго не могъ сообразить, гдѣ я.

Надо мной разстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинувъ нѣсколько голову, я могъ видѣть въ вышинѣ темную деревянную церковку, наивно глядѣвшую на меня изъ-за зеленыхъ деревьевъ, съ высокой кручи. Вправо, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ меня, стоялъ какой-то незнакомый шалашъ, влѣво — сѣрый неуклюжій столбъ съ широкою дощатою крышей, съ кружкой и съ доской, на которой было написано:

„Пожертвуйте проходящіи
на колоколо господне".

А у самыхъ моихъ ногъ плескалась рѣка...

Этотъ-то плескъ и разбудилъ меня отъ сладкаго сна. Давно уже онъ прорывался къ моему сознанію безпокоящимъ шопотомъ, точно ласкающій, но вмѣстѣ безпощадный голосъ, который подымаетъ на зарѣ для неизбѣжнаго трудового дня. А вставать такъ не хочется...

Я опять закрылъ глаза, чтобъ отдать себѣ, не двигаясь, отчетъ въ томъ, какъ это я очутился здѣсь, подъ открытымъ небомъ, на берегу плещущей рѣчки, въ сосѣдствѣ этого шалаша и этого столба съ простодушнымъ обращеніемъ къ проходящимъ.

Понемногу въ умѣ моемъ возстановились предшествующія обстоятельства. Предъидущія сутки я провелъ на «Святомъ озерѣ», у невидимаго града Китежа, толкаясь между народомъ, слушая гнусавое пѣніе нищихъ-слѣпцовъ, останавливаясь у импровизованныхъ алтарей, подъ развѣсистыми деревьями, гдѣ безпоповцы, скитники и скитницы разныхъ толковъ пѣли свои службы, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ, въ густыхъ кучкахъ народа, кипѣли страстные религіозные споры. Ночь я простоялъ всю на ногахъ, сжатый въ густой толпѣ у старой часовни. Мнѣ вспомнились утомленныя лица миссіонера и двухъ священниковъ, кучи книгъ на аналоѣ, огни восковыхъ свѣчей, при помощи которыхъ спорившіе разыскивали нужные тексты въ толстыхъ фоліантахъ, возбужденныя лица раскольниковъ и православныхъ, встрѣчавшихъ многоголосымъ говоромъ каждое удачное возраженіе. Вспомнилась старая часовня съ раскрытыми дверями, въ которыя виднѣлись желтые огоньки у иконъ, между тѣмъ какъ по синему небу ясная луна тихо плыла и надъ часовней и надъ темными, спокойно шептавшимися деревьями. На зарѣ я съ трудомъ протолкался изъ толпы на просторъ и, усталый, съ головой, отяжелѣвшей отъ безплодной схоластики этихъ споровъ, съ сердцемъ, сжимавшимся отъ безотчетной тоски и разочарованія, поплелся полевыми дорогами по направленію къ синей полосѣ приветлужскихъ лѣсовъ, вслѣдъ за вереницами расходившихся богомольцевъ. Тяжелыя, нерадостныя впечатлѣнія уносилъ я отъ береговъ Святого озера, отъ невидимаго, но страстно взыскуемаго народомъ града... Точно въ душномъ склепѣ, при тускломъ свѣтѣ угасающей лампадки, провелъ я всю эту безсонную ночь, прислушиваясь, какъ гдѣ-то за стѣной кто-то читаетъ мѣрнымъ голосомъ заупокойныя молитвы надъ заснувшей навѣки народною мыслью.

Солнце встало уже надъ лѣсами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около 15 верстъ лѣсными тропами, вышелъ къ рѣкѣ и тотчасъ же свалился на песокъ, точно мертвый, отъ усталости и вынесенныхъ съ озера суровыхъ впечатлѣній.

Вспомнивъ, что я уже далеко отъ нихъ, я бодро отряхнулся отъ остатковъ дремоты и привсталъ на своемъ песчаномъ ложѣ.

## II.

Дружескій шопотъ рѣки оказалъ мнѣ настоящую услугу. Когда, часа три назадъ, я укладывался на берегу, въ ожиданіи ветлужскаго парохода, вода была далеко, за старой лодкой, которая лежала на берегу кверху днищемъ; теперь ее уже взмывало и покачивало приливомъ. Вся рѣка торопилась куда-то, пѣнилась по всей своей ширинѣ и приплескивала почти къ самымъ моимъ ногамъ. Еще полчаса, — будь мой сонъ еще нѣсколько крѣпче,—и я очутился бы въ водѣ, какъ и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, взыграла. Нѣсколько дней назадъ шли сильные дожди; теперь изъ лѣсныхъ дебрей выкатился паводокъ, и вотъ рѣка вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Рѣзвыя струи бѣжали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять, и опять бѣжали дальше, отчего по всей рѣкѣ вперегонку неслись клочья желтовато-бѣлой пѣны. По берегамъ зеленый лопухъ, схваченный водою, тянулся изъ нея, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тѣмъ какъ въ нѣсколькихъ шагахъ, на большой глубинѣ, и лопухъ, и мать-мачеха, и вся зеленая братія стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивнякъ, съ зелеными нависшими вѣтвями, вздрагивалъ отъ ударовъ зыби.

На томъ берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячокъ и ветлы. За ними темныя ели рисовались зубчатой чертой; далѣе высились красивые осокори и величавыя сосны. Въ одномъ мѣстѣ, на вырубкѣ, бѣлѣли клади досокъ, свѣжіе бревна и срубы, а въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ нихъ торчала изъ воды верхушка затонувшихъ перевозныхъ мостковъ... И весь этотъ мирный пейзажъ на моихъ глазахъ какъ будто оживалъ, переполняясь шорохомъ, плескомъ и звономъ буйной рѣки. Плескались шаловливыя струи на стрежнѣ, звенѣла зыбь, ударяя въ борта старой лодки, а шорохъ стоялъ по всей рѣкѣ отъ лопавшихся то и дѣло пушистыхъ клочьевъ пѣны, или, — какъ ее называютъ на Ветлугѣ,—рѣчного «цвѣту».

И казалось мнѣ, что все это когда-то я уже видѣлъ, что все это такое родное, близкое, знакомое: рѣка съ кудрявыми

берегами, и простая сельская церковка надъ кручей, и шалашъ, и даже приглашеніе къ пожертвованію на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядѣвшее со столба...

Все это ужъ было когда-то,
Но только не помню когда...

невольно вспомнились мнѣ слова поэта.

III.

— Гляжу я, братецъ, вовсе тебя заплескиватъ рѣка-те. Этто домой ходилъ. Иду назадъ, а самъ думаю: чай, проходящаго-те у меня поняла ужъ Ветлуга. Крѣпко же спалъ ты, добрый человѣкъ!

Говоритъ сидящій у шалаша, на скамеечкѣ, мужикъ среднихъ лѣтъ, и звуки его голоса тоже мнѣ какъ-то пріятно знакомы. Голосъ басистый, грудной, немного осипшій, будто съ сильнаго похмелья, но въ немъ слышатся ноты, такія же непосредственныя и наивныя, какъ эта рѣка, и эта церковь, и этотъ столбъ, и на столбѣ надпись.

— И чего только дѣлаетъ, гляди-ко-ся, чего только дѣлаетъ Ветлуга-те наша... Ахъ ты! Бѣды вѣдь это, право, бѣды...

Это перевозчикъ Тюлинъ. Онъ сидитъ у своего шалаша, понуривъ голову и какъ-то весь опустившись. Одѣтъ онъ въ ситцевой грязной рубахѣ и синихъ пестрядинныхъ портахъ. На босу ногу надѣты старые отопки. Лицо моложавое, почти безъ бороды и усовъ, съ выразительными чертами, на которыхъ очень ясно выдѣляется особая ветлужская складка, а теперь, кромѣ того, видна сосредоточенная угрюмость добродушнаго, но душевно угнетеннаго человѣка.

— Унесетъ у меня лодку-те...—говоритъ онъ, не двигаясь и взглядомъ знатока изучая положеніе дѣла.—Безпремѣнно утащитъ!

— А тебѣ бы, говорю я, разминаясь,—вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что вытащить. Вишь, чего дѣлатъ, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагиваетъ, приподнимается, дѣлаетъ какое-то судорожное движеніе и опять безпомощно ложится попрежнему.

— Тю-ю-ю-ли-нъ!—доносится съ другого берега призывной кличъ какого-то путника. На вырубкѣ, у съѣзда къ рѣкѣ, виднѣется маленькая-маленькая лошаденка, и маленькій мужикъ, спустившись къ самой водѣ, отчаянно машетъ руками и вопитъ тончайшею фистулой:

— Тю-ю-ю-ли-инъ!..

Тюлинъ все съ тѣмъ же мрачнымъ видомъ смотритъ на вздрагивающую лодку и качаетъ головой.

— Вишь, вишь ты—опять!.. А вечоръ еще, глико-ся, дальше мостковъ была вода-те... Погляди, за ночь чего еще надѣлатъ. Бѣды, озорная рѣчушка! Этто учнетъ играть, и учнетъ играть, братецъ ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-инъ, лѣш-ша-ай!—звенитъ и обрывается на томъ берегу голосъ путника, но на Тюлина этотъ призывъ не производитъ ни малѣйшаго впечатлѣнія. Точно этотъ отчаянный вопль — такая же обычная принадлежность рѣки, какъ игривые всплески зыби, шелестъ деревьевъ и шорохъ рѣчного «цвѣту».

— Тебя вѣдь это зовутъ?—говорю я Тюлину.

— Зовутъ,—отвѣчаетъ онъ невозмутимо тѣмъ же философски-объективнымъ тономъ, какимъ говорилъ о лодкѣ и проказахъ рѣки.—Иванко, а Иванко! Иванко-о-о!

Иванко, свѣтловолосый парнишка, лѣтъ десяти, копаетъ червей подъ крутояромъ и такъ же мало обращаетъ вниманіе на зовъ отца, какъ тотъ—на вопли мужика съ того берега.

Въ это время по крутой тропинкѣ отъ церкви спускается баба съ ребенкомъ на рукахъ. Ребенокъ кричитъ, завернутый съ головой въ тряпки. Другой — дѣвочка лѣтъ пяти—бѣжитъ рядомъ, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлинъ становится сразу какъ-то еще угрюмѣе и серьезнѣе.

— Баба идетъ,—говоритъ онъ мнѣ, глядя въ другую сторону.

— Ну?—говоритъ баба злобно, подходя вплоть къ Тюлину и глядя на него презрительнымъ и сердитымъ взглядомъ. Отношенія, очевидно, опредѣлились уже давно: для меня ясно, что безпечный Тюлинъ и озабоченная, усталая баба съ двумя дѣтьми—двѣ воюющія стороны.

— Чё еще нукаешь? Что тебѣ, бабѣ, нужно?—спрашиваетъ Тюлинъ.

— Чё-ино, спрашиватъ еще... Лодку давай! Чай, черезъ рѣку ходу-те нѣту мнѣ,

а то бы не стала съ тобой, съ путаникомъ, и баять...

— Ну-ну!—съ негодованіемъ возражаетъ перевозчикъ. — Что ты кака сильна пришла? Разговаривашь...

— А что мнѣ не разговаривать! Залилъ шары-те... Чего только міръ смотритъ, пьяницы-те наши, давно бы тебя, негодя пьянаго, съ перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвонъ парень тебя перемахнетъ... Иванко, а Иванко, слышь, Иванко-о... А вотъ я сейчасъ вицей его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящій?..

Тюлинъ поворачивается ко мнѣ.

— Ну-ко ты мнѣ, проходящій, вицю дай, хар-ро-шую!

И онъ съ тяжелымъ усиліемъ дѣлаетъ видъ, что хочетъ приподняться. Иванко мгновенно кидается въ лодку и хватаетъ весла.

— Двѣ копейки съ нее. Дѣвку такъ!—командуетъ Тюлинъ лѣниво и опять обращается ко мнѣ:

— Бѣда моя: голову всеё разломило.

— Тю-ю-ли-инъ!—стонетъ опять противоположный берегъ.—Перево-о-озъ!..

— Тятька, а тятька! поромъ кричать, вить,—говоритъ Иванко, у котораго, очевидно, явилась надежда на освобожденіе отъ обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно ужъ зѣвать,—спокойно констатируетъ Тюлинъ.—Сговорись тамъ. Можетъ, еще и не надо ему... Можетъ, еще и не поѣдетъ... Отчего бы такое голову ломитъ? — обращается онъ опять ко мнѣ тономъ самаго трогательнаго довѣрія.

Угадать причину не трудно: отъ бѣдняги Тюлина водкой несетъ точно изъ полуштофа, и даже до меня, на разстояніи двухъ саженей, то и дѣло доносятся острыя струйки перегару, смѣшиваясь съ запахомъ рѣки и береговой зелени.

— Кабы выпилъ я,—говоритъ Тюлинъ въ раздумьѣ,—а то не пилъ.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положимъ, вчера выпилъ...

И опять Тюлинъ погружается въ глубокое раздумье.

— Кабы много... Положимъ, довольно я выпилъ вчера... Такъ вѣдь сегодня не пилъ!

— Такъ это у тебя, видно, съ похмелья,—пробую я навести его на настоящую дорогу.

Тюлинъ смотритъ на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишенною основанія.

— Развѣ либо отъ этого. Нонче немного же выпилъ я.

Пока такимъ образомъ Тюлинъ медленнымъ, мучительнымъ, но зато вѣрнымъ путемъ подходилъ къ истинной причинѣ своихъ страданій, мужикъ на той сторонѣ окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю...—чуть слышно летѣло оттуда изъ-за шороха рѣчныхъ струекъ.

— Развѣ либо отъ этого. Это ты, братецъ, должно-быть, вѣрно сказалъ. Пью я винище это, лакаю, братецъ, лакаю...

## IV.

Между тѣмъ тщетно вопившій мужикъ смолкаетъ и, оставивъ лошадь съ телѣгой на томъ берегу, переправляется къ намъ, вмѣстѣ съ Иванкомъ, для личныхъ переговоровъ. Къ удивленію моему, онъ самымъ благодушнымъ образомъ здоровается съ Тюлинымъ и садится рядомъ на скамейку. Онъ значительно старше Тюлина, у него сѣрая борода, голубые, выцвѣтшіе, какъ и у Тюлина, глаза, на головѣ грешневикъ, а на лицѣ, гдѣ-то около губъ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь?—спрашиваетъ онъ у перевозчика съ улыбкой, почти сатирическою.

— Голову, братецъ, всеё разломило. И отчего бы?

— Винища поменьше пей.

— Развѣ либо отъ этого? Вотъ и проходящій то же баетъ.

— А лодку у тебя, гляди, унесетъ.

— Какъ не унести. Просто таки и унесетъ.

Оба смотрятъ нѣсколько времени, какъ вздрагиваетъ, точно въ агоніи, опрокинутая лодка.

— Давай поромъ, што ли, — ѣхать надо.

— Да тебѣ надо ли еще ѣхать-то? Чай, въ Красиху пьянствовать?..

— А ты ужъ накрасился...

— Выпито. Голову всеё разломило, бѣды! А ты, можетъ, лучше не ѣздій.

— Чудакъ! Чай, у меня дочка тамъ выдана. Звали къ празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, такъ, стало-быть, не миновать, ѣхать, видно. Э-эхъ, шестовъ нѣтъ!

— Какъ нѣтъ? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиватъ Ветлуга-те.

— А ты что же, чудакъ, шестовъ не запасъ, коли видишь, что приплескиватъ?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

— Сходилъ бы самъ, — говоритъ Тюлинъ,—тяжелы, вить.

— Ты сходи,—твое дѣло!

— Не мнѣ ѣхать,—тебѣ!

И оба мужика, да и Иванко—третій спокойно остаются на мѣстахъ.

— Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну...—опять произноситъ Тюлинъ, дѣлая новый опытъ примѣрнаго вставанья.— Проходящій, да-ко ты мнѣ вицю...

Иванко съ громкимъ гнусавымъ ревомъ снимается съ мѣста и бѣжитъ трусцой на гору, къ селу.

— Не донесетъ,—говоритъ мужикъ.

— Тяжелы, вить!—подтверждаетъ Тюлинъ.

— А ты бы добѣжалъ хоть встрѣчу-те,—совѣтуетъ мужикъ, глядя на усилія муравья-Иванка, появляющагося на верху угора съ длинными шестами.

— И то хотѣлъ сказать тебѣ: добѣги-ко-сь.

Оба сидятъ и глядятъ.

— Естигне-е-ей! Лѣшай!.. — слышится съ той стороны пронзительный и желчный бабій голосъ.

— Баба кричитъ, — говоритъ мужикъ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ.

Тюлинъ сохраняетъ равнодушіе,—баба далеко.

— А какъ у меня меринъ сорвется, да мальчонку съ бабой ушибетъ...—говоритъ Евстигней.

— А рѣзва лошадь-те?

— Бѣды.

— Ну, такъ очень просто можетъ ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назадъ бы. Что тебѣ ѣхать-те, кака надобность?

— Ахъ, чудакъ! Да нежто не видишь: съ бабой собрался. Какъ можно, что не ѣхать?

Иванко, выбиваясь изъ силъ, приволакиваетъ, наконецъ, шесты и съ ревомъ кидаетъ ихъ на берегъ. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

—Эй, проходящій!—обращается онъ ко мнѣ какъ-то ободрительно.—Ну-ко, послушай, и ты съ нами на поромъ! А то, видишь вотъ, больно ужъ рѣка-те наша рѣзва.

Мы всѣ взошли на скрипучій дощатый поромъ; Тюлинъ—послѣдній. Повидимому, онъ размышлялъ нѣсколько секундъ, поддаваясь соблазну: уже не достаточно ли народу и безъ него. Однако, все-таки, взошелъ, шлепая по водѣ, потомъ съ глубокою грустью посмотрѣлъ на колья, за которые были зачалены чалки, и сказалъ съ кроткой укоризной, обращенною ко всѣмъ вообще:

— Э-эхъ! Чалки-те, чалки никто и не отвязалъ. Н-ну!

— Да вѣдь ты, Тюлинъ, послѣдній взошелъ на поромъ. Тебѣ бы и надо отвязать,—протестую я.

Онъ не отвѣчаетъ, косвенно признавая, быть-можетъ, всю справедливость этого замѣчанія, и такъ же лѣниво, съ тою же безпросвѣтною скорбью, спускается въ воду, чтобъ отвязать чалки.

Поромъ заскрипѣлъ, закачался и поплылъ отъ берега. Перевозный шалашъ, опрокинутая лодка, холмикъ съ церковью мгновенно, будто подхваченные невѣдомою силой, уносятся отъ насъ, а мысокъ съ зеленою подмытою ивой летитъ намъ навстрѣчу. Тюлинъ поглядѣлъ на мелькающій берегъ, почесалъ густую шапку своихъ волосъ и пересталъ пихаться шестомъ.

— Несетъ, вить.

— Несетъ,—отвѣтилъ мужикъ, съ натугой налегая на чегень правымъ плечомъ.

— Пылко несетъ.

— Да ты что сталъ? Что не пхаешься?

— Поди, пхнись. Съ лѣваго-те борту не маячитъ.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужикъ ожесточенно сунулъ свой шестъ и чуть не бултыхнулся въ воду,—его чегень тоже не досталъ до дна. Евстигней остановился и сказалъ выразительно:

— Подлецъ ты, Тюлинъ!

— Самъ такой! Пошто лаешься?

— За што тебѣ деньги плочены, подлая фигура?

— Поговори!

— Пошто длинныхъ шестовъ не завелъ?

— Заведены.

— Да што нѣту ихъ?

— Дома. Нешто мальчонко приволокетъ двадцати-то четвертей?

— Говорю: подлой ты человѣкъ.

— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствіе Тюлина, видимо, смиряетъ возмущеннаго Евстигнея. Онъ снимаетъ грешневикъ и скребетъ голову.

— Куда жъ мы тепереча? Къ Козьмѣ-Демьяну (въ Козьмодемьянскъ) сплывемъ, аль ужъ какъ?..

## V.

Дѣйствительно, рѣзвое теченіе, будто шутя и насмѣхаясь надъ нашимъ поромомъ, уноситъ неуклюжее сооруженіе все дальше и дальше. Кругомъ, обгоняя насъ, бѣгутъ, лопаются и пузырятся хлопья цвѣту. Передъ глазами мелькаетъ мысокъ съ подмытой ивой и остается назади. Назади далеко осталась вырубка съ новенькою избушкой изъ свѣжаго лѣсу, съ маленькою телѣгой, которая теперь стала еще меньше, и съ бабой, которая стоитъ на самомъ берегу, кричитъ что-то и машетъ руками.

— Куда жъ мы теперича? Эхъ, бѣды, право, бѣды,—безнадежно, глядя на бабу, говоритъ Евстигней.

Положеніе, дѣйствительно, довольно критическое. Шестъ уходитъ вглубь, не маяча, т.-е. не доставая дна.

Тюлинъ, не обращая вниманія на причитанья Евстигнея, серьезно смотритъ на рѣку. Для него опасность—всѣхъ больше, потому что придется непремѣнно подымать поромъ противъ теченія. Онъ, видимо, подтянулся, его взглядъ становится разумнѣе, тверже.

— Иванко, держи по плёсу! — командуетъ онъ сыну.

Мальчишка на этотъ разъ быстро исполняетъ приказъ.

— Садись въ греби, Евстигней!

— Да у тея еще есть греби-то? — сомнѣвается тотъ.

— Поговори со мной!

На этотъ разъ слова Тюлина звучатъ такъ твердо, что Евстигней покорно лѣзетъ съ помоста и прилаживается къ весламъ, которыя оказываются лежащими на днѣ.

— Проходящій, лѣзь и ты... въ тую жъ фигуру.

Я сажусь «въ тую жъ фигуру», т.-е. къ правому веслу. Команда нашего судна, такимъ образомъ, готова. Иванко, на лицѣ котораго совершенно исчезло выраженіе нѣсколько гнусавой безпечности, смотритъ на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлинъ суетъ шестъ въ воду и ободряетъ сына: «Держи, Иванко, не зѣвай мотри». На мое предложеніе — замѣнить мальчика у руля — онъ совершенно не обращаетъ вниманія. Очевидно, они полагаются другъ на друга.

Поромъ начинаетъ какъ-то вздрагивать... Вдругъ шестъ Тюлина касается дна. Небольшой «огрудокъ» даетъ возможность «пихаться» на разстояніи десятка саженъ.

— Вались на перевалъ, Иванко, вались на перевалъ!—быстро, сдавленнымъ голосомъ командуетъ Тюлинъ, ложась плечомъ на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянетъ руль на себя. Поромъ дѣлаетъ оборотъ, но вдругъ рулевое весло взмахиваетъ въ воздухѣ, и Иванко падаетъ на дно. Судно «рыскнуло», но черезъ секунду Иванко, со страхомъ глядя на отца, сидитъ на мѣстѣ.

— Крѣпи!—командуетъ Тюлинъ.

Иванко завязываетъ руль бечевкой, поромъ окончательно «ложится на перевалъ», мы налегаемъ на весла. Тюлинъ могучимъ толчкомъ подаетъ поромъ на перерѣзъ теченію, и черезъ нѣсколько мгновеній мы ясно чувствуемъ ослабѣвшій напоръ воды. Поромъ «ходомъ» подается кверху.

Глаза Иванка сверкаютъ отъ восторга. Евстигней смотритъ на Тюлина съ видимымъ уваженіемъ.

— Эхъ, парень,—говоритъ онъ, мотая головой,—кабы на тебя да не винище,— цѣны бы не было. Винище тебя омманывать...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь онъ размякъ.

— Греби, греби... Загребывай, проходящій, поглубже, не спи!— говоритъ онъ лѣниво, а самъ вяло тычетъ шестомъ съ разстановкой и съ прежнимъ уныло-апа-

тичнымъ видомъ. По ходу порома мы чувствуемъ, что теперь его шестъ мало погаетъ нашимъ весламъ. Критическая минута, когда Тюлинъ былъ на высотѣ своего признаннаго перевозническаго таланта, миновала, и искра въ глазахъ Тюлина угасла вмѣстѣ съ опасностью.

Около двухъ часовъ поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлинъ не воспользовался послѣднимъ «огрудкомъ», поромъ унесло бы на узкій прямой плесъ, и его не достать бы оттуда въ двое сутокъ. Такъ какъ пристать въ обычномъ мѣстѣ было невозможно, — мостки давно затопило,—то Тюлинъ пристаетъ къ глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спускъ телѣги. Мы съ Евстигнеемъ хлопочемъ около этого дѣла, Тюлинъ равнодушно смотритъ на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на вѣтеръ всѣ негодующія слова, сидитъ, не двигаясь, на возу, точно окаменѣлая, и старается не смотрѣть на насъ, какъ будто всѣ мы опостылѣли ей до самой послѣдней крайности. Она точно застыла въ своемъ злобномъ презрѣніи къ «негодямъ-мужикамъ» и даже не даетъ себѣ труда сойти съ ребенкомъ съ телѣги.

Лошадь пугается, закидываетъ уши и пятится назадъ.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, рѣзвую, по заду, — совѣтутъ Тюлинъ, нѣсколько оживляясь.

Горячая лошадь подбираетъ задъ и прыгаетъ съ берега. Минута треска, стукотни грохота, какъ будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась въ рѣку, изломавъ тонкую загородку, но, наконецъ, возъ установленъ на качающемся и дрожащемъ поромѣ.

— Что, цѣла?—спрашиваетъ Тюлинъ у Евстигнея, озабоченно разсматривающаго телѣгу.

— Цѣла!—съ радостнымъ изумленіемъ отвѣчаетъ тотъ.

Баба сидитъ, какъ изваяніе.

— Ну?—недоумѣваетъ и Тюлинъ. — А думалъ я: безпремѣнно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, кака крутоярина.

— Чё-ино! Самая такая круча, что ей бы сломаться надо.—Э-хъ, а чалки-те опять никто не отвязалъ!—кончаетъ Тюлинъ съ тою же унылой укоризной и лѣниво ступаетъ на берегъ, чтобъ отвязать чалки.— Ну, загребывай, проходящій, загребывай, не спи!

Черезъ полчаса тяжелой работы веслами, криковъ: «навались», «ложись на перевалъ» и «крѣпи»,—мы, наконецъ, подходимъ къ шалашу. Съ меня потъ льетъ отъ непривычки градомъ.

— Проси съ Тюлина косушку,—говоритъ, полушутя, Евстигней.

Но Тюлинъ, видимо, не расположенъ къ шуткамъ. Долговременное пребываніе на берегу безлюдной рѣки, продолжительныя, унылыя размышленія о причинахъ никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости—все это, очевидно, располагаетъ къ серьезному взгляду на вещи. Поэтому онъ уставился на меня своими тусклыми глазами, въ которыхъ начинаетъ медленно проблескивать что-то въ родѣ глубокаго размышленія, и сказалъ радушно:

— Причалимъ,— поднесу... И не одну, слышь, поднесу,— добавляетъ онъ конфиденціально, понижая голосъ, при чемъ въ лицѣ его явственно проступаетъ если не удовольствіе, то, во всякомъ случаѣ, мгновенное забвеніе тяжелыхъ похмельныхъ страданій...

А съ горы, по неудобной дорогѣ, уже сползаютъ два воза.

— Ѣдутъ... — скорбно говоритъ перевозчикъ.

— Да еще, можетъ-быть, не поѣдутъ,— утѣшаю я,—можетъ-быть, у нихъ не важное дѣло.

Я иронизирую, но Тюлинъ не понимаетъ ироніи, быть-можетъ, потому, что самъ онъ весь проникнутъ какимъ-то особеннымъ безсознательнымъ юморомъ. Онъ какъ будто раздѣляетъ его съ этими простодушными кудрявами березами, съ этими корявыми ветлами, со взыгравшею рѣкой, съ деревянною церковкой на пригоркѣ, съ надписью на столбѣ, со всею этой наивною ветлужскою природой, которая все улыбается мнѣ своею милою, простодушною и какъ будто давно знакомою улыбкой...

Какъ бы то ни было, но на мое насмѣшливое замѣчаніе Тюлинъ отвѣчаетъ совершенно серьезно:

— Ежели безъ товару, само собою обождутъ. Неужто повезу?—Голову всеё разломило.

VI.

Парохода все нѣтъ. Говорятъ, за часъ до прихода онъ будетъ еще «кричать» гдѣ-то, на одной изъ вышележащихъ пристаней, но когда, часа черезъ три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять къ берегу, о немъ ничего неизвѣстно. Рѣка продолжаетъ играть и даже разыгралась совсѣмъ не на шутку. Тюлинъ тащится къ своему шалашу по колѣни въ водѣ, лѣниво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей травѣ; онъ весь мокрый, широкія штаны липнутъ къ его ногамъ, мѣшая итти; сзади, на чалкѣ, тащится за Тюлинымъ давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанію знатока-перевозчика, унесло-таки теченіемъ.

— Что, Тюлинъ, здоровъ ли?

— Слава Богу. Не крѣпко чтой-то. Давай на ту сторону поѣдемъ.

— Зачѣмъ?

— Вишь, склёка вышла. Плоты Ивахински рѣка разметывать хочетъ.

— Тебѣ-то что же?.. Развѣ забота?

— А гляди-ко, Ивахинъ четвертуху волокетъ. Да что четвертуха! Тутъ, братъ, и полуведромъ поступишься...

Къ берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина, лѣтъ сорока пяти, въ костюмѣ деревенскаго торговца, съ острыми, безпокойными глазами. Вѣтеръ развѣвалъ полы его чуйки, въ рукѣ сверкала посудина съ водкой. Подойдя къ намъ, онъ прямо обратился къ Тюлину:

— Что, приплескиватъ?

— Бѣды! — отвѣтилъ Тюлинъ. — Чай, самъ видишь.

— А плотишки у меня поняла ужъ?

— Подхватыватъ, да еще не подъ силу. А гляди подыметъ. Лодку у меня даве слизнула,—въ силу, въ силу бѣгомъ догналъ за перелѣскомъ...

— Ну?

— То-то. Вишь, вымокъ весь до нитки.

— Ахъ ты!—отчаянно сказалъ купецъ, ударивъ себя по бедру свободною рукой. — Не оглянешься,—плоты у меня размечетъ. Что убытку-то, что убытку! Ну, и подлецъ народъ у насъ живетъ! — обратился онъ ко мнѣ.

— Чего бы я напрасно лаялъ православныхъ, — заступился за своихъ Тюлинъ.—Чай, у васъ ряда была...

— Была.

— На песокъ возить?

— То-то, на песокъ.

— Ну-къ на пескѣ и есть, не въ другимъ мѣстѣ.

— Да вѣдь подлецы вы этакіе, рѣка песокъ-то ужъ покрывать!

— Какъ не покрыть, — покроетъ. Къ утру, что есть, слѣду не оставитъ.

— Вотъ видишь! А имъ бы, подлецамъ, только пѣсни горланить. Ишь, орутъ! Имъ горюшка мало, что хозяину убытокъ...

Оба смолкли. Съ того берега, съ вырубки, отъ новаго домика неслись нестройныя пѣсни. Это аргель васюхинцевъ куражилась надъ мелкимъ лѣсоторговцемъ-хозяиномъ. Вчера у нихъ былъ расчетъ, при чемъ Ивахинъ обсчиталъ ихъ рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своихъ дѣтокъ и взыграла на руку артели. Теперь хозяинъ униженно кланялся, а артель не ломила шапокъ и куражилась.

— Ни за сто рублевъ! Узнаешь, какъ жить съ артелью! Мы тя научимъ...

Рѣка прибывала. Ивахинъ струсилъ. Кинувшись въ село, онъ наскоро добылъ четверть и поклонился артели. Онъ не ставилъ при этомъ никакихъ условій, не упоминалъ о плотахъ, и только кланялся и умолялъ, чтобъ артель не попомнила на немъ своей обиды и согласилась испить «даровую».

— Да ты, такой-сякой, не финти,—говорили артельщики.—Не заманишь!

— Ни за сто рублевъ не полѣземъ въ рѣку.

— Пущай она, матушка, порѣзвится да поиграть на своей волюшкѣ.

— Пущай покидатъ бревнушки, пущай поразмечетъ. Поди, собирай!

Но четверть, все-таки, выпили и завели пѣсни. Голоса неслись изъ-за рѣки нестройные, дикіе, разудалые, и къ нимъ примѣшивался плескъ и говоръ буйной рѣки.

— Важно поютъ!—сказалъ Тюлинъ съ восторгомъ и завистью.

Ивахину, кажется, пѣсня нравилась меньше. Онъ слушалъ безпокойно, и глаза его смотрѣли растерянно и тоскливо. Пѣсня шумѣла бурей и, казалось, не обѣщала ничего хорошаго.

— Много ли не додалъ вчера?—спросилъ Тюлинъ просто.

Ивахинъ почесался и, не отрывая безпокойнаго взгляда съ того мѣста, откуда неслись нестройные звуки, отвѣтилъ такъ же просто.

— Объ двухъ красныхъ спорились.

— Много же, мотри! Какъ бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположеніе не кажется ему невѣроятнымъ.

— Хошь бы плоты-те повыволокли,— сказалъ онъ съ глубокою тоской.

— Чать, выволокутъ,— успокоилъ Тюлинъ.

— Поговори имъ,— заискивающе сказалъ торговецъ.—Молъ, болѣ не приплескиватъ, назадъ, молъ, къ ночи пойдетъ.

Тюлинъ отвѣтилъ не сразу; взглядъ его приковался къ посудинѣ, и, помолчавъ, онъ сказалъ сластолюбиво:

— Другую четверть волокешь!

— Другую.

— Споишь и третью. Перевезти, что ль?

— Вези!

Лодка была на серединѣ, когда ее замѣтили съ того берега. Пѣсня сразу грянула еще сильнѣе, еще нестройнѣе, отражаясь отъ зеленой стѣны крупнаго лѣса, къ которому вплоть подошла вырубка. Черезъ нѣсколько минутъ, однако, пѣсня прекратилась, и съ вырубки слышался только громкій и такой же нестройный говоръ. Вскорѣ Ивахинъ опять стрѣлой летѣлъ къ нашему берегу и опять устремился съ новою посудиной на ту сторону. Лицо у него было злое, но, все-таки, въ глазахъ проглядывала радость.

Къ закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Подъ звуки унылой «дубинушки» бревна выкатывали наберегъ и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинскій лѣсъ высился въ клади на крутоярѣ, недоступный для шаловливой рѣки.

Потомъ опять загремѣла пѣсня. Мокрые, усталые артельщики допивали послѣднюю четверть. Ивахинъ, потный, злой, но все-таки еще болѣе довольный, переправился въ послѣдній разъ на нашу сторону и умчался къ селу; вѣтеръ размахивалъ полами его сибирки, а въ обѣихъ рукахъ были посудины, на этотъ разъ пустыя.

Тюлинъ, еще болѣе унылый, провожалъ его долгимъ взглядомъ.

— Ну, что, побили?— спросилъ я у него.

Онъ перевелъ взглядъ на меня и спросилъ:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Нѣ, что его бить...

Я съ удивленіемъ посмотрѣлъ на Тюлина, и въ моемъ умѣ блеснула внезапная и неожиданная догадка: физіономія Тюлина припухла, а подъ глазомъ стоялъ фонарь, очевидно, новѣйшаго происхожденія.

— Тюлинъ, голубчикъ!

— Ну, что?

— Отчего у тебя синякъ?

— Синякъ... Да отчего ему быть, синяку?

— Да вѣдь тебя, Тюлинъ, должно-быть, били.

— Кто меня билъ?

— Артельщики.

Тюлинъ задумчиво посмотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза и сказалъ

— Развѣ либо отъ этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взглядъ на меня, и во взглядѣ мелькающая догадка.

— Развѣ либо не Парѳенъ ли это меня саданулъ?..

— Пожалуй, что и Парѳенъ,— опять помогаю я медленному процессу новаго приближенія къ истинѣ.

— Безпремѣнно Парѳенъ. Такой, скажу тебѣ, вредный мужичишко,— завсегда норовитъ какъ бы нибудь человѣка испортить...

Вопросъ оказался достаточно разъясненнымъ. Мнѣ, правда, очень хотѣлось еще разузнать, какимъ образомъ гнѣвъ артели такъ неожиданно измѣнилъ свое направленіе, и артельная гроза, вмѣсто Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физіономію, но въ это время съ другого берега опять послышался призывъ.

— Тю-ю-юли-инъ!..

Тюлинъ не повернулъ даже головы и лѣниво направился къ шалашу, сказавъ мнѣ на ходу:

— Кличутъ. Смахать бы тебѣ, а? Живымъ бы духомъ.

Но вдругъ онъ насторожился, повернулся и ожилъ. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядѣть красныя рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется,

самымъ заманчивымъ образомъ махали руками.

— Зовутъ, вѣдь?—радостно сказалъ онъ, вопросительно глядя на меня.

— Разумѣется, зовутъ. Опять побьютъ, пожалуй...

— Нѣ, што ты, Богъ съ тобой. Не можетъ быть! Угостить меня артели желательно, вотъ што!

И Тюлинъ съ удивительною живостью кинулся къ берегу. Связавъ зачѣмъ-то двѣ лодки, — носъ къ кормѣ,—онъ сѣлъ въ переднюю и быстро отпихнулся отъ берега, не оставивъ на этой сторонѣ ни одной.

## VII.

Я понялъ эту невинную хитрость, когда услышалъ въ сумеркахъ скрипъ воза, съѣзжавшаго съ горы. Возъ неторопливо подъѣхалъ къ рѣкѣ. Лошадь фыркнула нѣсколько разъ и, откинувъ уши, уставилась съ удивленнымъ видомъ на измѣнившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

Отъ воза отдѣлился мужикъ, подошелъ къ самой водѣ, посмотрѣлъ, почесался и обратился ко мнѣ:

— Перевозчикъ гдѣ?

— Вонъ...—указалъ я на свѣтлую полоску, взрѣзавшую темную поверхность рѣки уже на срединѣ.

Онъ вглядѣлся туда, опять помоталъ головой, прислушался къ пѣснямъ васюхинцевъ и сталъ поворачивать возъ.

— И подлый же мужичокъ здѣшній перевозчикъ живетъ, — сказалъ онъ, впрочемъ, довольно спокойно.—Гляди, вѣдь, и лодки всѣ уволокъ... Всю ночь его теперь оттеда не достанешь.

Отведя лошадь, онъ подошелъ ко мнѣ и поклонился.

— Проходящіе будете?

— Проходящій.

— Не съ озера ли?

— Съ озера.

— Такъ. Много теперича народу идетъ. Завтра, что-есть, и то еще пойдутъ... Эхъ, какъ рѣка-те пылитъ, бѣды! Ежели теперь намъ съ вами на поромъ... да нѣтъ не управиться... Ночевать, видно. А вы не къ пароходу ли?

— Къ пароходу.

— Ну, на зарѣ, раньше не будетъ. Ночевать, видно, и вамъ.

Онъ поставилъ за шалашомъ телѣгу и пустилъ на береговой откосъ стреноженную лошадь. Черезъ нѣсколько минутъ за шалашомъ закурился дымокъ.

Тюлинъ, очевидно, пріучилъ свою публику къ терпѣнію.

Солнце давно спряталось за горами и лѣсами, надъ Ветлугой опустились сумерки: синія, теплыя, тихія. Нашъ огонекъ разгорался, дымъ подымался прямо кверху. Было какъ-то даже странно это спокойствіе воздуха, на ряду съ торопливымъ и буйнымъ движеніемъ на рѣкѣ, которая все продолжала приплескивать. Съ того берега все неслись пѣсни, и мнѣ казалось, что я различаю фистулу Тюлина въ общей разноголосицѣ. На одномъ изъ недальнихъ холмовъ, одинъ за другимъ, вспыхивали огни сосѣдней деревеньки. Днемъ я не замѣчалъ ея,—такъ ея сѣрыя избы и темныя крыши сливались съ общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивою стайкой огоньковъ на темной верхушкѣ холма, и кое-гдѣ четыреугольники крышъ вырѣзывались въ синевѣ неба.

Это—деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, отъ нечего дѣлать, разсказалъ мнѣ нѣкоторыя небезынтересныя черты изъ жизни ея обитателей. Народъ въ Соловьихѣ живетъ предпріимчивый и гордый; въ окрестностяхъ соловьихинцы слывутъ «коришканами». Случилось разъ моему новому знакомому остановиться въ селѣ Благовѣщеніи, у дьячка. Дѣло было зимой, къ вечеру. Сидятъ за столомъ. Вдругъ кто-то стукъ-стукъ въ оконце. Выглянулъ дьячокъ: стоитъ за окномъ Иванъ Семеновъ, сосѣдъ-старичокъ, и на ночлегъ просится. «Да что ты, чай, тебѣ до дому всего съ версту?»—«Съ версту, молъ, съ версту, да мимо Соловьихи итти. Какъ бы опять къ пролуби не свели».

Оказалось, что между этимъ старичкомъ и соловьихинцами установились совершенно своеобразныя отношенія. Какъ только старикъ разживется деньгами, такъ непремѣнно напьется на селѣ, а какъ напьется, такъ и начнетъ хвастать: имѣю у себя «катеньку» въ карманѣ. Пойдетъ послѣ этого домой, его соловьихинцы и перейму тъ на рѣкѣ да прямо къ проруби.

— Хошь въ пролубь?

Ну, разумѣется, не хочетъ. Они и неволятъ,—отдай только имъ «катеньку». Онъ отдаетъ, дѣлать нечего.

Они опять:

— Хошь въ пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Такъ никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтобъ мнѣ, говоритъ, на симъ мѣстѣ провалиться, коли скажу единой душѣ.

И не говоритъ. Сколько разъ этакъ его ловили, надоѣло ему, пересталъ вечеромъ мимо Соловьихи ходить, особливо когда выпивши, а не сказалъ никому. «Водили, говоритъ, къ пролуби соловьихинцы», а кто именно—ни за что не скажетъ.

Послѣ этого разсказа я съ особымъ любопытствомъ взглянулъ на деревеньку «воришкановъ». Ну, гдѣ, думалось мнѣ, кромѣ Ветлуги, встрѣтите вы такую непосредственность и простоту пріемовъ, и такое благородное довѣріе къ чужому слову, и такую простодушную увѣренность въ возможности «провалиться на симъ мѣстѣ», въ случаѣ нарушенія клятвы?.. Мой новый знакомый, самъ «ветлугай», увѣрялъ, что другой этакой деревни нѣтъ нигдѣ больше по всей рѣкѣ. Въ Марьинѣ промышляли года три назадъ «красноярками» [1],— ну, это дѣло другое. А положите въ незапертой избѣ деньги и уходите на сутки,—никто не тронетъ.

— Какъ же, все-таки, соловьихинцы?

— Такой у нихъ, позвольте сказать, обычай...

«Ну, гдѣ еще, — думалось мнѣ опять, — найдется такая терпимость къ чужимъ обычаямъ?..» И огоньки Соловьихи мигали мнѣ привѣтливо и простодушно: «нигдѣ, нигдѣ...»

— Вотъ и у Тюлина,—сказалъ я, улыбаясь,—тоже обычай.

— Вѣрно! Подлецъ мужичокъ, будь онъ проклятъ! А и то надо сказать: дѣло свое знаетъ. Вотъ пойдетъ осень или опять весна: тутъ онъ себя покажетъ... Другому бы ни за что въ водополь съ перевозомъ не управиться. Для этого случая больше и держимъ...

— Миръ бесѣдѣ!

— Милости просимъ!

Къ нашему огоньку, съ берестяными кошолками за спиной, съ посошками въ рукахъ, подошли два странника. Одинъ изъ нихъ, скинувъ котомку, внимательно поглядѣлъ на меня и сказалъ:

— Этого мы человѣка видѣли.

— Не мудрено, — отвѣтилъ я.

— На Люндѣ были?

— Былъ.

— Тамъ и видѣли. По усердію или обѣтъ былъ даденъ Владычицѣ?

— А вы?

— Мы къ празднику ходили, стало-быть, къ сродникамъ.

— Что жъ, садитесь къ огоньку.

— Да намъ бы на перевозъ — до дому недалече. Къ утру и дошелъ бы я.

— Да, на перевозъ!.. — вмѣшался мой знакомый. — Тюлинъ послѣднюю лодью уволокъ. На поромѣ развѣ?..

— Гдѣ!.. Больно рѣка взыграла.

— Да и шестовъ длинныхъ нѣтъ..

Другой изъ новоприбывшихъ подошелъ усталымъ шагомъ къ берегу, и тотчасъ же надъ рѣкой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-инъ!.. Лодку давай-а-ай!..

Окликъ покатился по рѣкѣ, будто подхваченный быстрымъ теченіемъ. Игривая рѣка, казалось, несетъ его съ собой, перекидывая съ одной стороны на другую межъ заснувшими во мглѣ берегами. Отголоски убѣгали куда-то въ вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно,— такъ грустно, что, прислушавшись, странникъ не рѣшился въ другой разъ потревожить это отдаленное вечернее эхо.

— Шабашъ!—сказалъ онъ и, махнувъ рукой, вернулся къ нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать,—сказалъ первый изъ моихъ знакомыхъ, — и всего-то версты четыре, изъ Песошной! Слыхали про песочинцевъ? — спросилъ онъ съ лукавою усмѣшкой.

— Нѣтъ, я въ здѣшнихъ мѣстахъ не бывалъ.

— У нихъ, у песочинцевъ, тоже опять свой нравъ. Что ни городъ, то, говорятъ люди, норовъ, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы, — я вотъ разсказывалъ,— любятъ такъ, чтобъ чужое взять, а ужъ песочинцы—тѣ свое беречь мастера. Этто, годовъ, можетъ, пять назадъ, пошли семеро песочинцевъ въ село Благовѣщеніе желѣзо чинить: лемеха тамъ, сошники, серпы и прочее деревенское орудіе. Ну, починили, идутъ назадъ къ рѣкѣ и сумы

---

[1] „Красноярками“ называютъ фальшивыя „бумажки“.

съ желѣзомъ въ рукахъ несутъ. А рѣка, какъ вотъ и теперь же, приплескиватъ сильно, играетъ, да еще вѣтеръ по рѣкѣ ходитъ, волну раскачалъ. А лодка-те, извѣстно, верткая. «А что, братцы вы мое,— говоритъ одинъ,—какъ лодку у насъ ковырнетъ, вѣдь желѣзо-то, пожалуй, утопнетъ. Давай, робяты, кошели къ себѣ привяжемъ, кабы желѣзо не потопить».—«И то, молъ, дѣло!» Такъ и сдѣлали. Къ рѣкѣ шли—желѣзо въ рукахъ несли; въ лодку садиться—давай на себя навязывать. Выѣхали на середину, рѣка лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, желѣзо-то крѣпко къ спинамъ привязано,— не потерялось. Такъ вмѣстѣ съ желѣзомъ хозяева ко дну и пошли, всѣ семеро!.. Что, парень, аль неправду я баю?

Песочинецъ не возражалъ, и при свѣтѣ огонька на всѣхъ трехъ лицахъ моихъ собесѣдниковъ лежала одна и та же добродушно-насмѣшливая улыбка, съ особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мнѣ Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда?—спросилъ я у старика, который видѣлъ меня въ Люндѣ.

— А я, господинъ, самъ по себѣ. Безъ роду, племени, бездомный человѣкъ, солдатская кость.

— А все-таки родомъ съ Ветлуги?

— Съ нее, матушки. Не одну путину сгонялъ по ней смолоду. Да и послѣ царской службы вотъ ужъ пятнадцатый годъ околачиваюсь.

Солдатскаго въ этомъ старикѣ было очень мало: только развѣ нѣкоторая спокойная увѣренность рѣчи да еще старый засаленный картузъ съ какими-то едва замѣтными кантами и большимъ надорваннымъ козыремъ. Изъ-подъ козыря глядѣли и искрились порой сѣрые глаза, а около усовъ ютилась чуть замѣтная улыбка. Голосъ у стараго солдата былъ очень пріятный, грудной, съ «перекатцемъ», выдававшимъ прежняго лихого пѣсельника, но теперь уже значительно осипшимъ отъ старости, отъ рѣчной сырости, а можетъ, и отъ «винища». Какъ бы то ни было, слушать этотъ голосъ съ юмористическою ноткой и глядѣть на ветлужскую усмѣшку стараго солдата было очень пріятно, и я вспомнилъ теперь, что дѣйствительно мы встрѣчались съ нимъ на озерѣ. Въ разгаръ самаго горячаго спора на тему: «съ татемъ, съ разбойникомъ, кольми паче съ еретикомъ не общайся»,— когда обѣ стороны засыпали другъ друга текстами и разными тонкостями начетчицкой діалектики,—этотъ старичокъ съ надорваннымъ козыремъ и искрящимися глазами, вынырнувъ внезапно въ самой серединѣ, испортилъ всю бесѣду, разсказавъ очень просто и безъ всякихъ текстовъ простой житейскій случай. Разсказъ произвелъ на большинство сильное, отрезвляющее впечатлѣніе; начетчики отнеслись къ нему съ явнымъ пренебреженіемъ. Какъ бы то ни было, бесѣда была совершенно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть-можетъ, не одно проснувшееся сомнѣніе...

— Помилуйте, бабій разговоръ, просторѣчіе!—сказалъ мнѣ съ неудовольствіемъ одинъ изъ начетчиковъ.—Нешто это отъ писанія?

— Да это кто такой, не Ефимъ ли?— спросилъ другой, подошедшій къ концу разговора.

— Онъ.

— Пустой мужичонко, ветлугай. Въ работникахъ у насъ живалъ. Писанія не знаетъ, Евангеліе одно читалъ...—и говорившій махнулъ рукой.

Ефимъ-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвѣстно къ чему относящеюся: къ предмету ли разговора, къ слушателямъ, или, быть-можетъ, къ самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточкѣ... Какъ бы то ни было, мнѣ казалось, что въ разсказѣ ветлугая я слышалъ первое еще на Свѣтлоярѣ живое слово.

Теперь мы опять завели разговоръ на ту же тему: о Люндѣ, о Свѣтлоярѣ и Китежѣ, объ уреневцахъ. Среди многочисленныхъ и разновѣрныхъ группъ, собирающихся на Свѣтлоярѣ, приносящихъ туда каждая свои книги, свои напѣвы и свою вѣру, въ особенности выдѣляются уреневскіе начетчики, устраивающіе каждый годъ свой импровизованный алтарь подъ однимъ и тѣмъ же старымъ дубомъ, на склонѣ холма. Въ то время, какъ около австрійскаго священника, въ полуманатейкѣ и съ длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десятокъ молящихся, — около уреневскаго дуба стоитъ тѣсная, большая толпа. Меня поразили суровыя, надменныя лица этихъ начетчиковъ. Тутъ были женщины въ темныхъ скитскихъ платьяхъ, какой-то очень длинный субъектъ съ рѣз-

кими чертами, молодой мальчишка съ сумой нищаго, съ лицомъ, покрытымъ оспой, лохматый, юродивый. Они читали и пѣли по очереди, однообразными гнусавыми голосами, совершенно, притомъ, не обращая вниманія на все окружающее. Между тѣмъ какъ представители другихъ толковъ охотно вступали въ споры,—уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсѣмъ не отвѣчали. Казалось, для нихъ во всемъ мірѣ не существовало уже ничего, заслуживающаго хотя бы малѣйшаго снисхожденія, и вся святость сосредоточивалась на этомъ небольшомъ островкѣ, занятомъ ихъ тѣсно сомкнутыми «стрижеными гуменцами» и оглашаемомъ ихъ унылыми напѣвами.

— Очень ужъ высоко сами себя держатъ,—говорилъ Ефимъ.—Народъ, нечего сказать, просужій, трезвый народъ, а только нашему брату у нихъ неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вѣра, прямо сказать, много веселѣе,—отвѣтилъ за Ефима хозяинъ воза.

Молчавшій до́ сихъ поръ песочинецъ при этихъ словахъ улыбнулся какъ-то весело и сказалъ:

— Бывалъ вѣдь я у нихъ. Больно, братцы, чудно!

— А что?

— Да такъ. Этто нанялся я у нихъ зиму-сь къ одному: брусу изъ лѣсу выволокчи. Пріѣхали мы съ молодымъ хозяиномъ на моей лошади ночью. На утро проснулся я, а темно еще,—дѣло зимнее. Гляжу: старуха свѣтецъ засвѣчаетъ, потомъ молитьця хочетъ образамъ. Образа-те хорошіе, крашо̀ные. Ну, думаю, и мнѣ пора, помолюсь, дай-ка, и я, да лошадь пойду снаряжать. Лѣзу тихонько съ полатей, сталъ за ей, давай себѣ креститьця. Какъ тутъ она и обернись. Увидѣла меня и руками замахала: «Ты,—говоритъ,—что это дѣлаешь?»—«А что, молъ,—молитьця было похотѣлъ».—«Погоди»,—говоритъ.—«Чего, годить?—самая пора».—«Погоди, молъ, послѣ». Ну, послѣ, дакъ и послѣ, опять я полѣзъ на полати. Отмолилась она, свѣчки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погодя, старче съ печки лѣзетъ, свою икону тащитъ на божницю, свою и свѣчку зажигатъ. Я опять съ полатей. Думаю: теперь и мнѣ можно. Только нацѣлился лобъ перекрестить, старичишка меня за руку лапъ! «Ты што это?»—«На вотъ!.. да я, молъ, было молитьця цѣлился».—«Погоди,—говоритъ,—не годится тебѣ». Вотъ оказія! Опять, видно, на полати лѣзть. Ну, чего будетъ!.. Тутъ опять молодица слѣзатъ съ молодымъ хозяиномъ, въ боковушкѣ свѣчку затеплили. У тѣхъ иконъ нѣту, — одно распятьё. Я живымъ духомъ къ нимъ, опять себѣ нацѣливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятьё помолюсь.

— Ну, допустили, что ль? — спросилъ одинъ изъ заинтересованныхъ слушателей, видя, что разсказчикъ остановился.

— Нѣ! Што вы думаете? и тутъ не допустили! Отмолились сами, потомъ зовутъ: теперь, говорятъ, иди молись себѣ. Взошелъ я въ боковушку, а тамъ голыя стѣны. Они и распятьё-то уволокли... Ахъ ты, шутъ васъ задави! Что мнѣ тутъ съ вами грѣшить,—думаю себѣ.—Не надо! Я лучше, коли такъ, дорогой поѣду, на солнышко Господне помолюсь.

— Три вѣры въ однымъ дому!—замѣтилъ солдатъ.

— Три и есть. Обѣдать время пришло. Ну, посадили меня, добраго молодця, честь-честью. Опять старики съ дочкой вмѣстѣ, намъ съ молодымъ хозяиномъ на особицю, да еще, слышь, обоимъ чашки-те разныя. Тутъ ужъ мнѣ за бѣду стало. Ахъ вы, говорю, такіе не эдакіе, вы не то, што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете. «А потому, — старуха баетъ, — и бракуемъ, што онъ по Русѣ ходитъ, съ вашимъ братомъ, со всякимъ поганымъ народомъ, нахлёбается»... Вотъ и поди ты, какъ они объ насъ понимаютъ!

— Д-да, — подтвердилъ хозяинъ воза, лежавшій уже съ руками, заложенными за голову.—Видишь ты, каке грозны живутъ... А сами-те безстыдники! Тепериче у насъ, поблизу, въ деревнѣ два брата; одинъ, стало-быть, въ солдаты ушелъ, другой его бабу къ себѣ взялъ. Это невѣстку-те, стало-быть, да ещѐ чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думалъ: родну-те сестру прежней жены къ себѣ. Да слышь: два брата на двухъ сестрахъ женаты, да мальчонкѣ-те солдатъ и дядей роднымъ, да чуть ли и тятькой не приходится. Такъ вотъ этимъ не брезгуютъ. Охо-хо-хо-о... Не спать ли пора?..

Водворилось не надолго молчаніе.

— Смѣшиця по Русѣ пошла,—раздался черезъ минуту простодушный голосъ песочинца.

— Давно ужъ это, — сказалъ, укладываясь, солдатъ, — не со вчерашняго дни.

— Чё недавно! Вотъ теперича молокана опять...

— Ну, эти иная статья, другого рода. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинецъ, объятый размышленіемъ о «смѣшицѣ», которая пошла «по святой Русѣ», долго еще не могъ улечься. Онъ сидѣлъ, ковырялъ вѣткой въ огнѣ и, увидя, что я тоже не сплю, кивнулъ лукаво въ сторону Ефима и произнесъ:

— Особа статья, говоритъ... Чего не особа статья! Самъ съ ними водитця, богамъ нашимъ молитьця не сталъ, молоко по пятницамъ жретъ. Самъ видывалъ, а то бы и баять не надо...

И онъ тоже сталъ прилаживаться на песочкѣ.

## VIII.

Я поднялся и посмотрѣлъ кругомъ.

Рѣка скрылась въ темной синевѣ вечера. Луна еще не подымалась; звѣзды тихо, задумчиво мигали надъ Ветлугой. Берега стояли во мглѣ, неясные, таинственные, какъ будто прислушиваясь къ немолчному шороху все прибывающей рѣки. Поверхность ея была темна, не видно было даже «цвѣту», только кое-гдѣ мерцали, растягивались и тотчасъ исчезали на бѣгущихъ струяхъ дрожащія отраженія звѣздъ, да порой игривая волна вскакивала на берегъ и бѣжала къ намъ, сверкая въ темнотѣ пѣной, точно животное, которое рѣзвится, пробѣгая мимо человѣка...

Артель все еще бушевала на другомъ берегу, но пѣсня, видимо, угасала, какъ нашъ костеръ, въ который никто не подбрасывалъ больше хворосту. Голосовъ становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна ужъ удалая головушка полегла на вырубкѣ и въ кустарникѣ. Порой какой-нибудь дикій голосина выносился далѣе и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальныхъ, и пѣсня гасла.

Я тоже улегся рядомъ со спящими ветлугаями, любуясь звѣзднымъ небомъ, начинавшимъ загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А съ горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый возъ, подходили пѣшеходы и, постоявъ на берегу или безнадежно выкрикнувъ раза два лодку, безропотно присоединялись къ нашему табору, задержанному военною хитростью перевозчика Тюлина.

Огни въ деревушкѣ на холмѣ давно погасли одинъ за другимъ. Столбъ съ надписью то выдѣлялся, окрашенный огнемъ костра, то утопалъ въ темнотѣ.

Вдали, за рѣкой, запѣвалъ соловей...

---

— Перево-озъ!

— Перевозъ, перевозъ, перррево-о-озъ!

— Эй, перевоз-чикъ, живѣй-э-эй!

— Го-го-го-го-о-о!..

Громкіе крики, раздавшіеся шумно, внезапно, рѣзко и звонко, точно труба на зарѣ, разбудили меня и весь нашъ таборъ, пріютившійся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь въ мирно-спавшихъ лощинахъ и заводяхъ Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинецъ, котораго вчера такъ сконфузилъ его собственный скромный окликъ заснувшей рѣки, теперь глядѣлъ съ какимъ-то испугомъ и спрашивалъ:

— Что такое? Съ нами крестная сила! Что такое?

Начинало свѣтать, рѣка туманилась, нашъ костеръ потухъ. Въ сумеркахъ по берегу виднѣлись странныя группы какихъ-то людей. Одни стояли вокругъ насъ, другіе у самой воды кричали перевозчика. Невдалекѣ стояла телѣга, запряженная круглою сытою лошадью, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчасъ же узналъ уреневцевъ... Тутъ были и третьягодняшія скитницы въ темныхъ одеждахъ, и длинный субъектъ съ мрачнымъ лицомъ, и рябой нищій, и лохматый «юродъ», и еще какія-то личности въ томъ же родѣ.

Теперь они стояли вокругъ нашего, лежавшаго въ повалку, табора, глядя на насъ съ безцеремоннымъ любопытствомъ и явнымъ пренебреженіемъ. Мои спутники какъ-то сконфуженно пожимались и, въ свою очередь, глядѣли на новоприбывшихъ не безъ робости. Мнѣ почему-то вдругъ вспомнились англійскіе пуритане и индепенденты временъ Кромвеля. Вѣроятно, эти святые такъ же надменно смотрѣли на простодушныхъ грѣшниковъ своей страны,

а тѣ отвѣчали имъ такими же сконфуженными и безотвѣтными взглядами.

— Эй, вы, ветлугаи-водохлебы! гдѣ перевозчикъ?

— Перевозъ, перевозъ, перре-во-озъ!..

Можно было подумать, что цѣлая армія вторглась въ мирныя владѣнія безпечнаго перевозчика. Голоса уреневцевъ гремѣли и раскатывались надъ рѣкой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убѣгала отъ погрома, вся опять бѣлая отъ цвѣту. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка,—думалось мнѣ,—устоитъ ли и теперь тюлинскій стоицизмъ?»

Къ моему удивленію, взглянувъ на рѣку, я увидѣлъ въ утренней мглѣ лодочку Тюлина уже на срединѣ. Очевидно, философъ-перевозчикъ тоже находился подъ обаяніемъ грозныхъ уреневскихъ богатырей и теперь гребъ изо всѣхъ силъ. Когда онъ присталъ къ берегу, то на лицѣ его виднѣлись сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помѣшало ему, однако, быстро побѣжать на гору за длинными шестами.

Нашъ таборъ тоже зашевелился. Хозяева ночевавшихъ возовъ вели за чолки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станутъ дожидаться, и они опять останутся на жертву тюлинскаго самовластія.

Черезъ полчаса нагруженный поромъ отвалилъ отъ берега.

У потухшаго костра мы остались вдвоемъ съ Ефимомъ, который разгребалъ пальцами золу, чтобы закурить уголькомъ носогрѣйку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну ихъ, не люблю,—отвѣтилъ онъ, раскуривая. — Мнѣ не къ спѣху, — пойду себѣ по росѣ... А вотъ вамъ такъ, пожалуй, пора собираться: слышите, пароходъ сверху бѣжитъ.

Черезъ минуту и я могъ уже различить гулкіе удары пароходныхъ колесъ, а черезъ четверть часа надъ мысомъ появился бѣлый флагъ, и «Николай» плавно выбѣжалъ на плесо, мигая блѣднѣющими на разсвѣтѣ огнями и ведя зачаленную съ боку большую баржу.

Солдатъ услужливо подалъ меня въ тюлинской лодочкѣ на бортъ парохода и тотчасъ же самъ вынырнулъ въ ней изъ-за кормы, направляясь къ тому берегу, гдѣ грузный поромъ высаживалъ уреневцевъ.

Солнце давно золотило верхушки приветлужскихъ лѣсовъ, а я, безсонный, сидѣлъ на верхней палубѣ и любовался все новыми и новыми уголками, которые съ каждымъ поворотомъ щедро открывала красавица-рѣка, еще окутанная кое-гдѣ синеватою мглой.

И я думалъ: отчего же это такъ тяжело было мнѣ тамъ, на озерѣ, среди книжныхъ народныхъ разговоровъ, среди «умственныхъ» мужиковъ и начетчиковъ, и такъ легко, такъ свободно на этой тихой рѣкѣ, съ этимъ стихійнымъ безалабернымъ, распущеннымъ и вѣчно страждущимъ отъ похмельнаго недуга перевозчикомъ Тюлинымъ? Откуда это чувство тяготы и разочарованія съ одной стороны и облегченія — съ другой? Отчего на меня, тоже книжнаго человѣка, отъ *тѣхъ* вѣетъ такимъ холодомъ и отчужденностью, а этотъ кажется такимъ близкимъ и такъ хорошо знакомымъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ

Все это ужъ было когда-то.
Но только не помню когда...

Милый Тюлинъ, милая, веселая, шаловливая, взыгравшая Ветлуга! гдѣ же это и когда я видѣлъ васъ раньше?

1891 г.

## Сонъ Макара.

(Святочный разсказъ).

Этотъ сонъ видѣлъ бѣдный Макаръ, который загналъ своихъ телятъ въ далекія угрюмыя страны, — тотъ самый Макаръ, на котораго, какъ извѣстно, валятся всѣ шишки.

Его родина—глухая слободка Чалганъ—затерялась въ далекой якутской тайгѣ. Отцы и дѣды Макара отвоевали у тайги кусокъ промерзшей землицы, и хотя угрюмая чаща все еще стояла вокругъ враждебною стѣной, они не унывали. По расчищенному мѣсту побѣжали изгороди, стали скирды и стога, разростались маленькія дымныя юртенки; наконецъ, точно побѣдное знамя, на холмикѣ изъ середины поселка выстрѣлила къ небу колокольня. Сталъ Чалганъ большою слободой.

Но пока отцы и дѣды Макара воевали съ тайгой, жгли ее огнемъ, рубили желѣзомъ, сами они незамѣтно дичали. Женясь на якуткахъ, они перенимали якутскій языкъ и якутскіе нравы. Характеристическія черты великаго русскаго племени стирались и исчезали.

Какъ бы то ни было, все же мой Макаръ твердо помнилъ, что онъ коренной чалганскій крестьянинъ. Онъ здѣсь родился, здѣсь жилъ, здѣсь же предполагалъ умереть. Онъ очень гордился своимъ званіемъ и иногда ругалъ другихъ «погаными якутами», хотя, правду сказать, самъ не отличался отъ якутовъ ни привычками ни образомъ жизни. По-русски онъ говорилъ мало и довольно плохо, одѣвался въ звѣриныя шкуры, носилъ на ногахъ «тарбаса», питался въ обычное время одною лепешкой съ настоемъ кирпичнаго чая, а въ праздники и въ другихъ экстренныхъ случаяхъ съѣдалъ топленаго масла именно столько, сколько стояло передъ нимъ на столѣ. Онъ ѣздилъ очень искусно верхомъ на быкахъ, а въ случаѣ болѣзни призывалъ шамана, который, бѣснуясь, со скрежетомъ кидался на него, стараясь испугать и выгнать изъ Макара засѣвшую хворь.

Работалъ онъ страшно, жилъ бѣдно, терпѣлъ холодъ и голодъ. Были же у него какія-нибудь мысли, кромѣ непрестанныхъ заботъ о лепешкѣ и чаѣ? — Да, были.

Когда онъ бывалъ пьянъ, онъ плакалъ. «Какая наша жизнь, — говорилъ онъ, — Господи Боже!» Кромѣ того, онъ говорилъ иногда, что желалъ бы все бросить и уйти на «гору». Тамъ онъ не будетъ ни пахать ни сѣять, не будетъ рубить и возить дрова, не будетъ даже молоть зерно на ручномъ жерновѣ. Онъ будетъ только спасаться. Какая это гора, гдѣ она, онъ точно не зналъ; зналъ только, что гора эта есть, во-первыхъ, а во-вторыхъ, что она гдѣ-то далеко, — такъ далеко, что оттуда его нельзя будетъ добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, онъ также не будетъ...

Трезвый онъ оставлялъ эти мысли, быть-можетъ, сознавая невозможность найти такую чудную гору, но пьяный становился отважнѣе. Онъ допускалъ, что можетъ не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», говорилъ онъ, но все-таки собирался; если же не приводилъ этого намѣренія въ исполненіе, то, вѣроятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоянную, для крѣпости, на махоркѣ, отъ которой онъ вскорѣ впадалъ въ безсиліе и становился боленъ.

———

Дѣло было въ канунъ Рождества, и Макару было извѣстно, что завтра большой праздникъ. По этому случаю его томило желаніе выпить, но выпить было не на что: хлѣбъ былъ въ исходѣ; Макаръ уже задолжалъ у мѣстныхъ купцовъ и у татаръ. Между тѣмъ завтра большой праздникъ, работать нельзя, — что же онъ будетъ дѣлать, если не напьется? Эта мысль дѣлала его несчастнымъ. Какая его жизнь! Даже въ большой зимній праздникъ онъ не выпьетъ одной бутылки водки!

Ему пришла въ голову счастливая мысль. Онъ всталъ и надѣлъ свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крѣпкая, жилистая, замѣчательно сильная и столь же замѣчательно безобразная женщина, знавшая насквозь всѣ его нехитрыя помышленія, угадала и на этотъ разъ его намѣреніе.

— Куда, дьяволъ? Опять одинъ водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вмѣстѣ выпьемъ.

Онъ хлопнулъ ее по плечу такъ сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнулъ. Таково женское сердце! Она знала, что Макаръ непремѣнно ее надуетъ, но поддалась обаянію супружеской ласки.

Онъ вышелъ, поймалъ въ *аласѣ* стараго Лысанку, привелъ его за гриву къ санямъ и сталъ запрягать. Вскорѣ Лысанка вынесъ своего хозяина за ворота. Тутъ онъ остановился и, повернувъ голову, вопросительно поглядѣлъ на погруженнаго въ задумчивость Макара. Тогда Макаръ дернулъ лѣвою вожжей и направилъ коня на край слободы.

На самомъ краю слободы стояла небольшая юртёнка. Изъ нея, какъ и изъ другихъ юртъ, поднимался высоко-высоко дымъ камелька, застилая бѣлою волнующеюся массой холодныя звѣзды и яркій мѣсяцъ. Огонь весело переливался, отсвѣчивая сквозь матовыя льдины. На дворѣ было тихо.

Здѣсь жили чужіе, дальніе люди. Какъ попали они сюда, какая непогода кинула ихъ въ далекія дебри, Макаръ не зналъ и не интересовался, но онъ любилъ вести съ ними дѣла, такъ какъ они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя въ юрту, Макаръ тотчасъ же подошелъ къ камельку и протянулъ къ огню свои озябшія руки.

— Ча! — сказалъ онъ, выражая тѣмъ ощущеніе холода.

Чужіе люди были дома. На столѣ горѣла свѣча, хотя они ничего не работали. Одинъ лежалъ на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво слѣдилъ за его завитками, видимо, связывая съ ними длинныя нити собственныхъ думъ. Другой сидѣлъ противъ камелька и тоже вдумчиво слѣдилъ, какъ перебѣгали огни по нагорѣвшему дереву.

— Здорово, — сказалъ Макаръ, чтобы прервать тяготившее его молчаніе.

Конечно, онъ не зналъ, какое горе лежало на сердцѣ чужихъ людей, какія воспоминанія тѣснились въ ихъ головахъ въ этотъ вечеръ, какіе образы чудились имъ въ фантастическихъ переливахъ огня и дыма. Къ тому же у него была своя забота.

Молодой человѣкъ, сидѣвшій у камелька, поднялъ голову и посмотрѣлъ на Макара смутнымъ взглядомъ, какъ будто не узнавая его. Потомъ онъ тряхнулъ головой и быстро поднялся со стула.

— А, здоро́во, здоро́во, Макаръ! Вотъ и отлично. Напьешься съ нами чаю?

Макару предложеніе понравилось.

— Чаю?—переспросилъ онъ.—Это хорошо!.. Вотъ, братъ, хорошо, отлично!

Онъ сталъ живо разоблачаться. Снявъ шубу и шапку, онъ почувствовалъ себя развязнѣе, а увидавъ, что въ самоварѣ запылали уже горячіе угли, обратился къ молодому человѣку съ изліяніемъ:

— Я васъ люблю, вѣрно!.. Такъ люблю, такъ люблю! Ночи не сплю...

Чужой человѣкъ повернулся, и на лицѣ его появилась горькая улыбка.

— А, любишь?—сказалъ онъ.—Что же тебѣ надо?

Макаръ замялся.

— Есть дѣло,—отвѣтилъ онъ.—Да ты почемъ узналъ? Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Такъ какъ чай былъ предложенъ Макару самими хозявами, то онъ счелъ умѣстнымъ пойти далѣе.

— Нѣтъ ли жаренаго? Я люблю,—сказалъ онъ.

— Нѣтъ.

— Ну, ничего,—сказалъ Макаръ успокоительнымъ тономъ, — съѣмъ въ другой разъ... Вѣрно? — переспросилъ онъ, — въ другой разъ.

— Ладно.

Теперь Макаръ считалъ за чужими людьми въ долгу кусокъ жаренаго мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Черезъ часъ онъ опять сѣлъ въ свои дровни. Онъ добылъ цѣлый рубль, продавъ впередъ пять возовъ дровъ на сходныхъ сравнительно условіяхъ. Правда, онъ клялся и божился, что не пропьетъ этихъ денегъ сегодня, а самъ намѣревался сдѣлать это немедленно. Но что за дѣло? Предстоящее удовольствіе заглушало укоры совѣсти. Онъ не думалъ даже о томъ, что пьяному ему предстоитъ жестокая трепка отъ обманутой вѣрной супруги.

— Куда же ты, Макаръ? — крикнулъ, смѣясь, чужой человѣкъ, видя, что лошадь Макара, вмѣсто того, чтобы ѣхать прямо, свернула влѣво, по направленію къ татарамъ.

— Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда ѣдетъ!—оправдывался Макаръ, все-таки крѣпко натягивая лѣвую вожжу и незамѣтно подхлестывая Лысанку правой.

Умный конекъ, помахивая укоризненно хвостомъ, тихо поковылялъ въ требуемомъ направленіи, и вскорѣ скрипъ полозьевъ затихъ у татарскихъ воротъ.

---

У татарскихъ воротъ стояли на привязи нѣсколько коней съ высокими якутскими сѣдлами.

Въ тѣсной избѣ было душно. Рѣзкій дымъ махорки стоялъ цѣлою тучей, медленно втягиваемый камелькомъ. За столами и на скамейкахъ сидѣли пріѣзжіе якуты; на столахъ стояли чашки съ водкой; кое-гдѣ помѣщались кучки играющихъ въ карты. Лица были потны и красны. Глаза игроковъ дико слѣдили за картами. Деньги вынимались и тотчасъ же прятались по карманамъ. Въ углу, на со-

ломѣ, пьяный якутъ покачивался, сидя, и тянулъ безконечную пѣсню. Онъ выводилъ горломъ дикіе скрипучіе звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздникъ, а сегодня онъ пьянъ.

Макаръ отдалъ деньги—и ему дали бутылку. Онъ сунулъ ее за пазаху и незамѣтно для другихъ отошелъ въ темный уголъ. Тамъ онъ наливалъ чашку за чашкой и тянулъ ихъ одна за другою. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой болѣе, чѣмъ на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалѣли. У Макара каждый разъ захватывало на минуту дыханіе, и въ глазахъ ходили какіе-то багровые круги.

Вскорѣ онъ опьянѣлъ. Онъ тоже опустился на солому и, обхвативъ руками колѣни, положилъ на нихъ отяжелѣвшую голову. Изъ его горла сами собой полились тѣ же нелѣпые скрипучіе звуки. Онъ пѣлъ, что завтра праздникъ, и что онъ выпилъ пять возовъ дровъ.

Между тѣмъ въ избѣ становилось все тѣснѣе и тѣснѣе. Входили новые посѣтители якуты, пріѣхавшіе молиться и пить татарскую водку. Хозяинъ увидѣлъ, что скоро не хватитъ всѣмъ мѣста. Онъ всталъ изъ-за стола и окинулъ взглядомъ собраніе. Взглядъ этотъ проникъ въ темный уголъ и увидѣлъ тамъ якута и Макара.

Онъ подошелъ къ якуту и, взявъ его за шиворотъ, вышвырнулъ вонъ изъ избы. Потомъ подошелъ къ Макару. Ему, какъ мѣстному жителю, татаринъ оказалъ больше почета. Широко отворивъ двери, онъ поддалъ бѣднягѣ сзади ногою такого леща, что Макаръ вылетѣлъ изъ избы и ткнулся носомъ прямо въ сугробъ снѣга.

Трудно сказать, былъ ли онъ оскорбленъ подобнымъ обращеніемъ. Онъ чувствовалъ, что въ рукавахъ у него снѣгъ, снѣгъ на лицѣ. Кое-какъ выбравшись изъ сугроба, онъ поплелся къ своему Лысанкѣ.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медвѣдица стала опускать хвостъ книзу. Морозъ крѣпчалъ. По временамъ на сѣверѣ, изъ-за темнаго полукруглаго облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшагося сѣвернаго сіянія.

Лысанка, видимо, понимавшій положеніе хозяина, осторожно и разумно поплелся къ дому. Макаръ сидѣлъ на дровняхъ, покачиваясь, и продолжалъ свою пѣсню. Онъ пѣлъ, что выпилъ пять возовъ дровъ, и что старуха будетъ его колотить. Звуки, вырывавшіеся изъ его горла, скрипѣли и стонали въ вечернемъ воздухѣ такъ уныло и жалобно, что у чужого человѣка, который въ это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало отъ Макаровой пѣсни еще тяжелѣе на сердцѣ. Между тѣмъ Лысанка вынесъ дровни на холмикъ, откуда видны были окрестности. Снѣга ярко блестѣли, облитые луннымъ сіяніемъ. Временами свѣтъ луны какъ будто таялъ, снѣга темнѣли, и тотчасъ же на нихъ переливался отблескъ сѣвернаго сіянія. Тогда казалось, что снѣжные холмы и тайга на нихъ то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднѣлась подъ самою тайгой снѣжная плѣшь Ямалахскаго холмика, за которымъ въ тайгѣ у него поставлены были ловушки для всякаго лѣсного звѣря и птицы.

Это измѣнило ходъ его мыслей. Онъ запѣлъ, что въ ловушку его попала лисица. Онъ продастъ завтра шкуру, и старуха не станетъ его колотить.

Въ морозномъ воздухѣ раздался первый ударъ колокола, когда Макаръ вошелъ въ избу. Онъ первымъ словомъ сообщилъ старухѣ, что у нихъ въ плашку попала лисица. Онъ совсѣмъ забылъ, что старуха не пила вмѣстѣ съ нимъ водки, и былъ сильно удивленъ, когда, невзирая на радостное извѣстіе, она немедленно нанесла ему ногою жестокій ударъ. Затѣмъ, пока онъ повалился на постель, она еще успѣла толкнуть его кулакомъ въ спину.

Надъ Чалганомъ, между тѣмъ, несся, разливаясь далеко - далеко, торжественный праздничный звонъ...

---

Онъ лежалъ въ постели. Голова у него горѣла. Внутри жгло, точно огнемъ. По жиламъ разливалась крѣпкая смѣсь водки и табачнаго настоя, по лицу текли холодныя струйки талаго снѣга; такія же струйки стекали и по спинѣ.

Старуха думала, что онъ спитъ. Но онъ не спалъ. Изъ головы у него не шла лисица. Онъ успѣлъ вполнѣ убѣдиться, что она попала въ ловушку; онъ даже зналъ, въ которую именно. Онъ ее видѣлъ, — видѣлъ, какъ она, прищемленная тяжелою плахой, роетъ снѣгъ когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь

чащу, играли на золотой шерсти. Глаза звѣря сверкали ему навстрѣчу.

Онъ не выдержалъ и, вставъ съ постели, направился къ своему вѣрному Лысанкѣ, чтобъ ѣхать въ тайгу.

Что это? Неужели сильныя руки старухи схватили за воротникъ его *соны*, и онъ опять брошенъ въ постель?

Нѣтъ, вотъ онъ уже за слободою. Полозья ровно поскрипываютъ по крѣпкому снѣгу. Чалганъ остался сзади. Сзади несется торжественный гулъ церковнаго колокола, а надъ темною чертой горизонта, на свѣтломъ небѣ, мелькаютъ цѣлыя вереницы черныхъ силуэтовъ якутскихъ всадниковъ въ высокихъ остроконечныхъ шапкахъ. Якуты спѣшатъ въ церковь.

Между тѣмъ луна опустилась, а вверху, въ самомъ зенитѣ, стало бѣлесоватое облачко и засіяло переливчатымъ фосфорическимъ блескомъ. Потомъ оно какъ будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и отъ него быстро потянулись въ разныя стороны полосы разноцвѣтныхъ огней, между тѣмъ какъ полукруглое темное облачко на сѣверѣ еще болѣе потемнѣло. Оно стало черно, чернѣе тайги, къ которой приближался Макаръ.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо подымались холмы, налѣво—также. Чѣмъ далѣе, тѣмъ выше становились деревья. Тайга густѣла. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голыя вѣтви лиственницъ были опушены серебрянымъ инеемъ. Мягкій свѣтъ сполоха, продираясь сквозь ихъ вершины, ходилъ по ней, кое-гдѣ открывая то снѣжную полянку, то лежащіе трупы разбитыхъ лѣсныхъ гигантовъ, запушенныхъ снѣгомъ... Мгновеніе—и все опять тонуло во мракѣ, полномъ молчанія и тайны.

Макаръ остановился. Въ этомъ мѣстѣ, почти на самую дорогу, выдвигалось начало цѣлой системы ловушекъ. При фосфорическомъ свѣтѣ ему была явственно видна невысокая городьба изъ валежника; онъ видѣлъ даже первую плаху—три тяжелыя длинныя бревна, упертыя на отвѣсномъ колу и поддерживаемыя довольно хитрою системой рычаговъ съ волосяными веревочками.

Правда, это были чужія ловушки; но вѣдь лисица могла попасть и въ чужія. Макаръ торопливо сошелъ съ дровней, оставилъ умнаго Лысанку на дорогѣ и чутко прислушивался.

Въ тайгѣ—ни звука. Только изъ далекой, невидной теперь слободы несся попрежнему торжественный звонъ.

Можно было не опасаться. Владѣлецъ ловушекъ, Алешка Чалгановъ, сосѣдъ и кровный врагъ Макара, навѣрное, былъ теперь въ церкви. Не было видно ни одного слѣда на ровной поверхности недавно выпавшаго снѣга.

Онъ пустился въ чащу — ничего. Подъ ногами хруститъ снѣгъ. Плахи стоятъ рядами, точно ряды пушекъ съ открытыми жерлами, въ безмолвномъ ожиданіи.

Онъ прошелъ взадъ и впередъ — напрасно. Онъ направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкій шорохъ... Въ тайгѣ мелькнула красноватая шерсть, на этотъ разъ въ освѣщенномъ мѣстѣ, такъ близко. Макаръ ясно видѣлъ острыя уши лисицы; ея пушистый хвостъ вилялъ изъ стороны въ сторону, какъ будто заманивая Макара въ чащу. Она исчезла между стволами, въ направленіи Макаровыхъ ловушекъ, и вскорѣ по лѣсу пронесся глухой, но сильный ударъ. Онъ прозвучалъ сначала отрывисто, глухо, потомъ какъ будто отдался подъ навѣсомъ тайги и тихо замеръ въ далекомъ оврагѣ.

Сердце Макара забилось. Это упала плаха.

Онъ бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодныя вѣтви били его по глазамъ, сыпали въ лицо снѣгомъ. Онъ спотыкался; у него захватывало дыханіе.

Вотъ онъ выбѣжалъ на просѣку, которую нѣкогда самъ прорубилъ. Деревья, бѣлыя отъ инея, стояли по обѣимъ сторонамъ, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и въ концѣ ея насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вотъ на дорожкѣ, около плахи, мелькнула фигура,—мелькнула и скрылась. Макаръ узналъ Алешку Чалганова: ему ясно была видна его небольшая, коренастая фигура, согнутая впередъ, съ походкой медвѣдя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнѣе, а большіе зубы оскалились еще болѣе, чѣмъ обыкновенно.

Макаръ чувствовалъ искреннее негодованіе. «Вотъ подлецъ!.. Онъ ходитъ по моимъ ловушкамъ». Правда, Макаръ и

самъ сейчасъ только прошелъ по плахамъ Алешки, но тутъ была разница... Разница состояла именно въ томъ, что когда онъ самъ ходилъ по чужимъ ловушкамъ, онъ чувствовалъ страхъ быть застигнутымъ; когда же по его плахамъ ходили другіе, онъ чувствовалъ негодованіе и желаніе самому настигнуть нарушителя его правъ.

Онъ бросился наперерѣзъ къ упавшей плахѣ. Тамъ была лисица. Алешка своею развалистою, медвѣжьей походкой направлялся туда же. Надо было поспѣвать ранѣе.

Вотъ и лежачая плаха. Подъ нею краснѣетъ шерсть прихлопнутаго звѣря. Лисица рылась въ снѣгу когтями именно такъ, какъ она ему видѣлась прежде, и такъ же смотрѣла ему навстрѣчу своими острыми, горящими глазами.

— *Тытыма* (не тронь)!.. Это мое! — крикнулъ Макаръ Алешкѣ.

— *Тытыма*! — отдался, точно эхо, голосъ Алешки.—Мое!

Они оба побѣжали въ одно время и торопливо, на перебой стали подымать плаху, освобождая изъ-подъ нея звѣря. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сдѣлала прыжокъ, потомъ остановилась, посмотрѣла на обоихъ чалганцевъ какимъ-то насмѣшливымъ взглядомъ, потомъ, загнувъ морду, лизнула прищемленное бревномъ мѣсто и весело побѣжала впередъ, привѣтливо виляя хвостомъ.

Алешка бросился было за нею, но Макаръ схватилъ его сзади за полу *соны*.

— *Тытыма*! — крикнулъ онъ. — Это мое!—и самъ побѣжалъ вслѣдъ за лисицей.

— *Тытыма*! — опять эхомъ отдался голосъ Алешки, и Макаръ почувствовалъ, что тотъ схватилъ его, въ свою очередь, за *сону*, и въ одну секунду выбѣжалъ вновь впередъ.

Макаръ обозлился. Онъ забылъ про лисицу и стремился за Алешкой, который обратился въ бѣгство.

Они бѣжали все быстрѣе. Вѣтка лиственницы сдернула шапку съ головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макаръ уже настигалъ его съ яростнымъ воплемъ. Но Алешка всегда былъ хитрѣе бѣднаго Макара. Онъ вдругъ остановился, повернулся и нагнулъ голову. Макаръ ударился въ нее животомъ и кувыркнулся въ снѣгъ. Пока онъ падалъ, проклятый Алешка схватилъ съ головы Макара шапку и скрылся въ тайгѣ.

Макаръ медленно поднялся. Онъ чувствовалъ себя окончательно побитымъ и несчастнымъ. Нравственное состояніе было отвратительно. Лисица была въ рукахъ, а теперь... Ему казалось, что въ потемнѣвшей чащѣ она насмѣшливо вильнула еще разъ хвостомъ и окончательно скрылась.

Потемнѣло. Бѣлесоватое облачко чуть-чуть виднѣлось въ зенитѣ. Оно какъ будто тихо таяло, и отъ него, какъ-то устало и томно, лились еще замиравшіе лучи сіянія.

По разгоряченному тѣлу Макара бѣжали цѣлые потоки острыхъ струекъ талаго снѣга. Снѣгъ попалъ ему въ рукава, за воротникъ *соны*, стекалъ по спинѣ, лился за торбаса. Проклятый Алешка унесъ съ собой его шапку. Рукавицы онъ потерялъ гдѣ-то на бѣгу. Дѣло было плохо. Макаръ зналъ, что лютый морозъ не шутитъ съ людьми, которые уходятъ въ тайгу безъ рукавицъ и безъ шапки.

Онъ шелъ уже долго. По его расчетамъ, онъ давно долженъ бы уже выйти изъ Ямалаха и увидѣть колокольню, но онъ все не выходилъ изъ тайги. Чаща, точно заколдованная, держала его въ своихъ объятіяхъ. Издали доносился все тотъ же торжественный звонъ. Макару казалось, что онъ идетъ на него, но звонъ все удалялся и, по мѣрѣ того, какъ его переливы доносились все тише и тише, въ сердце Макара вступало тупое отчаяніе.

Онъ усталъ. Онъ былъ подавленъ. Ноги подкашивались. Его избитое тѣло ныло тупою болью. Дыханіе въ груди захватывало. Руки и ноги коченѣли. Обнаженную голову стягивало, точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» все чаще и чаще мелькало у него въ головѣ. Но онъ все шелъ.

Тайга молчала. Она только смыкалась за нимъ съ какимъ-то враждебнымъ упорствомъ и нигдѣ не давала ни просвѣта, ни надежды.

«Пропадать буду , однако!» все думалъ Макаръ.

Онъ совсѣмъ ослабъ. Теперь молодыя деревья прямо, безъ всякихъ стѣсненій, били его по лицу, издѣваясь надъ его безпомощнымъ положеніемъ. Въ одномъ мѣстѣ на прогалину выбѣжалъ бѣлый ушканъ (заяцъ), сѣлъ на заднія лапки,

повелъ длинными ушами съ черными отмѣтинками на концахъ и сталъ умываться, дѣлая Макару самыя дерзкія рожи. Онъ давалъ ему понять, что онъ отлично знаетъ его, Макара,—знаетъ, что онъ и есть тотъ самый Макаръ, который настроилъ въ тайгѣ хитрыя машины для его, зайца, погибели. Но теперь онъ надъ нимъ издѣвался.

Макару стало горько. Между тѣмъ тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальнія деревья протягивали длинныя вѣтви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазамъ, по лицу. Тетерева выходили изъ тайныхъ логовищъ и уставлялись въ него любопытными круглыми глазами, а косачи бѣгали между ними, съ распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко разсказывали самкамъ про него, Макара, и про его козни. Наконецъ въ дальнихъ чащахъ замелькали тысячи лисьихъ мордъ. Онѣ тянули воздухъ и насмѣшливо смотрѣли на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились передъ ними на заднія лапки и хохотали, докладывая о Макаровыхъ злоключеніяхъ.

Это было уже слишкомъ.

«Пропадать буду!» подумалъ Макаръ и рѣшилъ сдѣлать это немедленно.

Онъ легъ въ снѣгъ.

Морозъ крѣпчалъ. Послѣдніе переливы сіянія слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая къ Макару сквозь вершины тайги. Послѣдніе отголоски колокола доносились съ далекаго Чалгана.

Сіяніе полыхнуло и погасло. Звонъ стихъ.

И Макаръ умеръ...

---

Какъ это случилось, онъ не замѣтилъ. Онъ зналъ, что изъ него должно что-то выйти, и ждалъ, что вотъ-вотъ оно выйдетъ... Но ничего не выходило.

Между тѣмъ онъ сознавалъ, что уже умеръ, и потому лежалъ смирно, безъ движенія. Лежалъ онъ долго,—такъ долго, что ему надоѣло.

Было совершенно темно, когда Макаръ почувствовалъ, что его кто-то толкнулъ ногою. Онъ повернулъ голову и открылъ сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли надъ нимъ смиренныя, тихія, точно стыдясь прежнихъ проказъ. Мохнатыя ели вытягивали свои широкія, снѣгомъ покрытыя лапы и тихо, тихо качались. Въ воздухѣ такъ же тихо садились лучистыя снѣжинки.

Яркія добрыя звѣзды заглядывали съ синяго неба сквозь частыя вѣтви и какъ будто говорили: «вотъ видите, бѣдный человѣкъ умеръ».

Надъ самымъ тѣломъ Макара, толкая его ногою, стоялъ старый попикъ Иванъ. Его длинная ряса была покрыта снѣгомъ; снѣгъ виднѣлся на мѣховомъ *бергесъ* (шапкѣ), на плечахъ, въ длинной бородѣ попа Ивана. Всего удивительнѣе было то обстоятельство, что это былъ тотъ самый попикъ Иванъ, который умеръ назадъ тому четыре года.

Это былъ добрый попикъ. Онъ никогда не притѣснялъ Макара насчетъ руги, никогда не требовалъ даже денегъ за требы. Макаръ самъ назначалъ ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдомъ вспомнилъ, что иногда платилъ маловато, а порой не платилъ вовсе. Попъ Иванъ не обижался; ему требовалось одно: всякій разъ надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денегъ, попъ Иванъ самъ посылалъ за бутылкой, и они пили вмѣстѣ. Попикъ напивался непремѣнно до положенія ризъ, но при этомъ дрался очень рѣдко и не сильно. Макаръ доставлялъ его, безпомощнаго и беззащитнаго, домой на попеченіе матушки-попадьи.

Да, это былъ добрый попикъ, но умеръ онъ нехорошею смертью. Однажды, когда всѣ вышли изъ дому, и пьяный попикъ остался одинъ лежать на постели, ему вздумалось покурить. Онъ всталъ и, шатаясь, подошелъ къ огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Онъ былъ слишкомъ ужъ пьянъ, покачнулся и упалъ въ огонь. Когда пришли домочадцы, отъ попа оставались лишь ноги.

Всѣ жалѣли добраго попа Ивана; но такъ какъ отъ него остались однѣ только ноги, то вылѣчить его не могъ уже ни одинъ докторъ въ мірѣ. Ноги похоронили, а на мѣсто попа Ивана назначили другого.

Теперь этотъ попикъ, въ цѣломъ видѣ, стоялъ надъ Макаромъ и поталкивалъ его ногою.

— Вставай, Макарушко, — говорилъ онъ. — Пойдемъ-ка.

— Куда я пойду? — спросилъ Макаръ съ неудовольствіемъ.

Онъ полагалъ, что разъ онъ «пропалъ», его обязанность — лежать спокойно, и ему нѣтъ надобности итти опять по тайгѣ, бродя безъ дороги. Иначе зачѣмъ было ему пропадать?

— Пойдемъ къ *большому Тойону* [1]).

— Зачѣмъ я пойду къ нему?—спросилъ Макаръ.

— Онъ будетъ тебя судить, — сказалъ попикъ скорбнымъ и нѣсколько умиленнымъ голосомъ.

Макаръ вспомнилъ, что дѣйствительно послѣ смерти надо предстать куда-то на судъ. Это онъ слышалъ когда-то въ церкви. Значитъ, попикъ былъ правъ. Приходилось подняться.

И Макаръ поднялся, ворча про себя, что даже послѣ смерти не даютъ человѣку покоя.

Попикъ шелъ впереди, Макаръ за нимъ. Шли они все прямо. Лиственницы смирно сторонились, давая дорогу. Шли на востокъ.

Макаръ съ удивленіемъ замѣтилъ, что послѣ попа Ивана не остается слѣдовъ на снѣгу. Взглянувъ себѣ подъ ноги, онъ также не увидѣлъ слѣдовъ: снѣгъ былъ чистъ и гладокъ, какъ скатерть.

Онъ подумалъ, что теперь ему очень удобно ходить по чужимъ ловушкамъ, такъ какъ никто объ этомъ не можетъ узнать; но попикъ, угадавшій, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся къ нему и сказалъ:

— *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебѣ достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — отвѣтилъ недовольно Макаръ. — Ужъ нельзя и подумать! Что ты нынче такой сталъ строгій? Молчи ужо!..

Попикъ покачалъ головой и пошелъ дальше.

— Далеко ли итти?—спросилъ Макаръ.

— Далеко, — отвѣтилъ попикъ сокрушенно.

— А чего будемъ ѣсть?—спросилъ опять Макаръ съ безпокойствомъ.

— Ты забылъ, — отвѣтилъ попикъ, повернувшись къ нему, — что ты умеръ и что теперь тебѣ не надо ни ѣсть ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо въ томъ случаѣ, когда нечего ѣсть, но тогда ужъ надо бы лежать такъ, какъ онъ лежалъ тотчасъ послѣ своей смерти. А итти, да еще итти далеко, и не ѣсть ничего, это казалось ему ни съ чѣмъ не сообразнымъ. Онъ опять заворчалъ.

— Не ропщи! — сказалъ попикъ.

— Ладно! — отвѣтилъ онъ обиженнымъ тономъ, но самъ продолжалъ жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человѣка заставляютъ ходить, а ѣсть ему не надо! Гдѣ это слыхано?»

Онъ былъ весьма недоволенъ все время, слѣдуя за попомъ. А шли они, повидимому, долго. Правда, Макаръ не видѣлъ еще разсвѣта, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже цѣлую недѣлю: такъ много они оставили за собой падей и сопокъ [1]), рѣкъ и озеръ, такъ много прошли они лѣсовъ и равнинъ. Когда Макаръ оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убѣгаетъ отъ нихъ назадъ, а высокія снѣжныя горы точно таяли въ сумракѣ ночи и быстро скрывались за горизонтомъ.

Они какъ будто подымались все выше. Звѣзды становились все больше и ярче. Потомъ изъ-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешекъ закатившейся луны. Она какъ будто торопилась уйти, но Макаръ съ попикомъ ее нагоняли. Наконецъ она вновь стала подыматься надъ горизонтомъ. Они пошли по ровному, сильно приподнятому мѣсту.

Теперь стало свѣтло,—гораздо свѣтлѣе, чѣмъ при началѣ ночи. Это происходило, конечно, отъ того, что они были гораздо ближе къ звѣздамъ. Звѣзды, величиною каждая съ яблоко, такъ и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сіяла, какъ солнце, освѣщая равнину отъ края и до края.

На равнинѣ совершенно явственно виднѣлась каждая снѣжинка. По ней пролегало множество дорогъ, и всѣ онѣ сходились къ одному мѣсту на востокѣ. По дорогамъ шли и ѣхали люди въ разныхъ одѣяніяхъ и разнаго вида.

Вдругъ Макаръ, внимательно всматривавшійся въ одного всадника, свернулъ съ дороги и побѣжалъ за нимъ.

---

[1]) *Тойонъ*—господинъ, хозяинъ, начальникъ.

[1]) *Падь* — ущелье, оврагъ между горами; *сопка* — остроконечная гора.

— Постой, постой! — кричалъ попикъ, но Макаръ даже не слышалъ. Онъ узналъ знакомаго татарина, который шесть лѣтъ назадъ увелъ у него пѣгаго коня, а пять лѣтъ назадъ скончался. Теперь татаринъ ѣхалъ на томъ же пѣгомъ конѣ. Конь такъ и взвивался. Изъ-подъ копытъ его летѣли цѣлыя тучи снѣжной пыли, сверкавшей разноцвѣтными переливами звѣздныхъ лучей. Макаръ удивлялся, при видѣ этой бѣшеной скачки, какъ могъ онъ, пѣшій, такъ легко догнать татарина. Впрочемъ, завидѣвъ Макара въ нѣсколькихъ шагахъ, татаринъ съ большою готовностью остановился. Макаръ запальчиво напалъ на него.

— Пойдемъ къ старостѣ! — кричалъ онъ. — Это мой конь! Правое ухо у него разрѣзано... Смотри, какой ловкій!.. Ѣдетъ на чужомъ конѣ, а хозяинъ идетъ пѣшкомъ, точно нищій!

— Постой,—сказалъ на это татаринъ.— Не надо къ старостѣ. Твой конь, говоришь?.. Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый годъ ѣду на ней, и все какъ будто ни съ мѣста... Пѣшіе люди то и дѣло обгоняютъ меня; хорошему татарину даже стыдно.

И онъ занесъ ногу, чтобы сойти съ сѣдла, но въ это время запыхавшійся попикъ подбѣжалъ къ нимъ и схватилъ Макара за руку.

— Несчастный!—вскрикнулъ онъ,—что ты дѣлаешь? Развѣ не видишь, что татаринъ хочетъ тебя обмануть?

— Конечно, обманываетъ, — кричалъ Макаръ, размахивая руками,—конь былъ хорошій, настоящая хозяйская лошадь... Мнѣ давали за нее сорокъ рублей еще по третьей травѣ... Нѣ-ѣтъ, братъ! Если ты испортилъ коня, я его зарѣжу на мясо, а ты заплатишь мнѣ чистыми деньгами... Думаешь, что татаринъ, такъ и нѣтъ на тебя управы?

Макаръ горячился и кричалъ нарочно, чтобы собрать вокругъ себя побольше народу, такъ какъ онъ привыкъ бояться татаръ. Но попикъ остановилъ его порывы.

— Тише, тише, Макаръ! Ты все забываешь, что ты уже умеръ... Зачѣмъ тебѣ конь? Да, притомъ, развѣ ты не видишь, что пѣшкомъ ты подвигаешься гораздо быстрѣе татарина? Хочешь, чтобъ тебѣ пришлось ѣхать цѣлыхъ тысячу лѣтъ?

Макаръ смекнулъ, почему татаринъ такъ охотно уступалъ ему лошадь.

«Хитрый народъ!» подумалъ онъ и обратился къ татарину.

— Ладно ужо! Поѣзжай на конѣ, а я, братъ, сдѣлаю на тебя прошеніе.

Татаринъ сердито нахлобучилъ шапку и хлеснулъ коня. Конь взвился, клубы снѣга посыпались изъ-подъ копытъ, но пока Макаръ съ попомъ не тронулись, татаринъ не уѣхалъ отъ нихъ и пяди.

Онъ сердито плюнулъ и обратился къ Макару:

— Послушай, *догоръ* (пріятель), нѣтъ ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табакъ я выкурилъ уже четыре года назадъ.

— Собака тебѣ пріятель, а не я!—сердито отвѣтилъ Макаръ.—Видишь ты: укралъ коня и проситъ табаку! Пропадай ты совсѣмъ, мнѣ и то не будетъ жалко.

И съ этими словами Макаръ тронулся далѣе.

— А вѣдь напрасно ты не далъ ему листокъ махорки, — сказалъ ему попъ Иванъ.—За это на судѣ Тойонъ простилъ бы тебѣ не менѣе сотни грѣховъ.

— Такъ что жъ ты не сказалъ мнѣ этого ранѣе?—огрызнулся Макаръ.

— Да ужъ теперь поздно учить тебя. Ты долженъ былъ узнать объ этомъ отъ своихъ поповъ при жизни.

Макаръ осердился. Отъ поповъ онъ не видалъ никакого толку: получаютъ ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листокъ табаку, чтобы получить отпущеніе грѣховъ. Шутка ли: сто грѣховъ... и всего за одинъ листочекъ!.. Это вѣдь чего-нибудь стоитъ!

— Постой, — сказалъ онъ.—Будетъ съ насъ одного листочка, а остальные четыре я отдамъ сейчасъ татарину. Это будетъ четыре сотни грѣховъ.

— Оглянись,—сказалъ попикъ.

Макаръ оглянулся. Сзади разстилалась только бѣлая пустынная равнина. Татаринъ мелькнулъ на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что онъ увидѣлъ, какъ бѣлая пыль летитъ изъ-подъ копытъ его пѣгашки, но черезъ секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну!—сказалъ Макаръ.—Будетъ татарину и безъ табаку ладно. Вишь ты испортилъ коня, проклятый!

— Нѣтъ, — сказалъ попикъ, — онъ не испортилъ твоего коня, но конь этотъ краденый. Развѣ ты не слыхалъ отъ стариковъ, что на краденомъ конѣ далеко не уѣдешь?

Макаръ дѣйствительно слышалъ это отъ стариковъ, но такъ какъ во время своей жизни видѣлъ нерѣдко, что татары уѣзжали на краденыхъ коняхъ до самаго города, то, понятно, онъ старикамъ не давалъ вѣры. Теперь же онъ пришелъ къ убѣжденію, что и старики говорятъ иногда правду.

И онъ сталъ обгонять на равнинѣ множество всадниковъ. Всѣ они мчались такъ же быстро, какъ и первый. Кони летѣли, какъ птицы; всадники были въ поту, а между тѣмъ Макаръ то и дѣло обгонялъ ихъ и оставлялъ за собою.

Большею частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; нѣкоторые изъ послѣднихъ сидѣли на краденыхъ быкахъ и подгоняли ихъ талинками.

Макаръ смотрѣлъ на татаръ враждебно и каждый разъ ворчалъ, что это имъ еще мало. Когда же онъ встрѣчался съ чалганцами, то останавливался и благодушно бесѣдовалъ съ ними: все-таки это были пріятели, хоть и воры. Порой онъ даже выражалъ свое участіе тѣмъ, что, поднявъ на дорогѣ талинку, усердно подгонялъ сзади быковъ и коней; но лишь только самъ онъ дѣлалъ нѣсколько шаговъ, какъ уже всадники оставались сзади чуть замѣтными точками.

Равнина казалась безконечною. Они то и дѣло обгоняли всадниковъ и пѣшихъ людей, а между тѣмъ вокругъ все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали какъ будто цѣлыя сотни или даже тысячи верстъ.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старикъ; онъ былъ, очевидно, чалганецъ; это было видно по лицу, по одеждѣ, даже по походкѣ, но Макаръ не могъ припомнить, чтобъ онъ когда-либо прежде его видѣлъ. На старикѣ была рваная *сона*, большой ухастый *бергесъ*, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса. Но что хуже всего,—несмотря на свою старость,— онъ тащилъ на плечахъ еще болѣе древнюю старуху, ноги которой волочились по землѣ. Старикъ трудно дышалъ, заплетался и тяжело налегалъ на палку. Макару стало его жалко. Онъ остановился. Старикъ остановился тоже.

— *Капсе* (говори)! — сказалъ Макаръ привѣтливо.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ старикъ.

— Что слышалъ?

— Ничего не слыхалъ.

— Что видѣлъ?

— Ничего не видалъ.

Макаръ помолчалъ немного и тогда уже счелъ возможнымъ разспросить старика, кто онъ, откуда плетется.

Старикъ назвался. Давно уже, — самъ онъ не знаетъ, сколько лѣтъ назадъ,—онъ оставилъ Чалганъ и ушелъ на «гору» спасаться. Тамъ онъ ничего не дѣлалъ, ѣлъ только морошку и корни, не пахалъ, не сѣялъ, не мололъ на жерновѣ хлѣба и не платилъ податей. Когда онъ умеръ, то пришелъ къ Тойону на судъ. Тойонъ спросилъ, кто онъ и что дѣлалъ. Онъ разсказалъ, что ушелъ на «гору» и спасался. «Хорошо, — сказалъ Тойонъ, — а гдѣ же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху». И онъ пошелъ за старухой, а старуха передъ смертію побиралась, и ее некому было кормить, и у нея не было ни дома, ни коровы, ни хлѣба. Она ослабѣла и не можетъ волочить ногъ. И онъ теперь долженъ тащить къ Тойону старуху на себѣ.

Старикъ заплакалъ, а старуха ударила его ногой, точно быка, и сказала слабымъ, но сердитымъ голосомъ:

— Неси!

Макару стало еще болѣе жаль старика, и онъ порадовался отъ души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднѣе. А если бы, вдобавокъ, она стала пинать его ногою, какъ быка, то, навѣрное, скоро заѣздила бы до второй смерти.

Изъ сожалѣнія, онъ взялъ было старуху за ноги, чтобы помочь догору, но едва сдѣлалъ два-три шага, какъ долженъ былъ быстро выпустить старухины ноги, чтобъ онѣ не остались у него въ рукахъ. Въ одну минуту старикъ съ своей ношей исчезъ изъ виду.

Въ дальнѣйшемъ пути не встрѣчалось болѣе лицъ, которыхъ Макаръ удостоилъ бы своимъ особеннымъ вниманіемъ. Тутъ были воры, нагруженные, какъ вьючная скотина, краденымъ добромъ и подвигавшіеся

шагъ за шагомъ; толстые якутскіе тойоны тряслись, сидя на высокихъ сѣдлахъ, точно башни, задѣвая за облака высокими шапками. Тутъ же, рядомъ, въ припрыжку бѣжали бѣдные *комночиты* (работники), поджарые и легкіе, какъ зайцы. Шелъ мрачный убійца, весь въ крови, съ дико блуждающимъ взоромъ. Напрасно кидался онъ въ чистый снѣгъ, чтобы смыть кровавыя пятна. Снѣгъ мгновенно обагрялся кругомъ, какъ кипень, а пятна на убійцѣ выступали яснѣе, и въ его взорѣ виднѣлись дикое отчаяніе и ужасъ. И онъ все шелъ, избѣгая чужихъ испуганныхъ взоровъ.

А маленькія дѣтскія души то и дѣло мелькали въ воздухѣ, точно птички. Онѣ летали большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельковъ и холодные сквозняки юртъ выживали ихъ изъ одного Чалгана чуть не сотнями. Поровнявшись съ убійцей, онѣ испуганной стаей кидались далеко въ сторону, и долго еще послѣ того слышался въ воздухѣ быстрый, тревожный звонъ ихъ маленькихъ крыльевъ.

Макаръ не могъ не замѣтить, что онъ подвигается сравнительно съ другими довольно быстро, и поспѣшилъ приписать это своей добродѣтели.

— Слушай, *агабытъ* (отецъ),—сказалъ онъ,—какъ ты думаешь? Я хоть и любилъ при жизни выпить, а человѣкъ былъ хорошій. Богъ меня любитъ...

Онъ пытливо взглянулъ на попа Ивана. У него была задняя мысль: вывѣдать коечто отъ стараго попика. Но тотъ сказалъ кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь самъ.

Макаръ и не замѣтилъ раньше, что на равнинѣ какъ будто стало свѣтать. Прежде всего, точно первые удары могучаго оркестра, изъ-за горизонта выбѣжали нѣсколько свѣтлыхъ лучей. Они быстро пробѣжали по небу и потушили яркія звѣзды. И звѣзды погасли, а луна закатилась. И снѣжная равнина потемнѣла.

Тогда надъ нею поднялись туманы и стали кругомъ равнины, какъ почетная стража.

И въ одномъ мѣстѣ, на востокѣ, туманы стали свѣтлѣе, точно воины, одѣтые въ золото.

И потомъ туманы заколыхались, и золотые воины наклонились долу.

И изъ-за нихъ вышло солнце, и стало на ихъ золотистыхъ хребтахъ, и оглянуло равнину.

И равнина вся засіяла, невиданнымъ, ослѣпительнымъ свѣтомъ.

И туманы торжественно поднялись огромнымъ хороводомъ, разорвались на западѣ и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что онъ слышитъ чудную пѣсню. Это была какъ будто та самая, давно знакомая пѣсня, которою земля каждый разъ привѣтствуетъ солнце. Но Макаръ никогда еще не обращалъ на нее должнаго вниманія и только въ первый разъ понялъ, какая это чудная пѣсня.

Онъ стоялъ, и слушалъ, и не хотѣлъ итти далѣе, а хотѣлъ вѣчно стоять здѣсь и слушать...

Но попъ Иванъ тронулъ его за рукавъ.

— Войдемъ,—сказалъ онъ.—Мы пришли.

Тогда Макаръ увидѣлъ, что они стоятъ у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотѣлось итти, но, тѣмъ не менѣе, онъ повиновался.

---

Они вошли въ хорошую просторную избу, и, только войдя сюда, Макаръ замѣтилъ, что на дворѣ былъ сильный морозъ. Посрединѣ избы стоялъ камелекъ чудной рѣзной работы, изъ чистаго серебра, и въ немъ пылали золотыя полѣнья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тѣло. Огонь этого чуднаго камелька не рѣзалъ глазъ, не жегъ, а только грѣлъ, и Макару опять захотѣлось вѣчно стоять и грѣться. Попъ Иванъ также подошелъ къ камельку и протянулъ къ нему иззябшія руки.

Въ избѣ было четверо дверей, изъ которыхъ только одна вела наружу, а въ другія то и дѣло входили и выходили какіе-то молодые люди въ длинныхъ бѣлыхъ рубахахъ. Макаръ подумалъ, что это, должно-быть, работники здѣшняго Тойона. Ему казалось, что онъ гдѣ-то ихъ уже видѣлъ, но не могъ вспомнить, гдѣ именно. Не мало удивляло его то обстоятельство, что у каждаго работника на спинѣ болтались большія бѣлыя крылья, и онъ подумалъ, что, вѣроятно, у Тойона есть еще другіе работники, такъ какъ эти, навѣрное, не могли бы съ своими крыльями пробираться

сквозь чащу тайги для рубки дровъ или жердей.

Одинъ изъ работниковъ подошелъ тоже къ камельку и, повернувшись къ нему спиною, заговорилъ съ попомъ Иваномъ:

— Говори!

— Нечего,—отвѣчалъ попикъ.

— Что ты слышалъ на свѣтѣ?

— Ничего не слыхалъ.

— Что видѣлъ?

— Ничего не видалъ.

— Оба помолчали, и тогда попъ сказалъ:

— Привелъ, вотъ, одного.

— Это чалганецъ? — спросилъ работникъ.

— Да, чалганецъ.

— Ну, значитъ, надо приготовить большіе вѣсы.

И онъ ушелъ въ одну изъ дверей, чтобы распорядиться, а Макаръ спросилъ у попа, зачѣмъ нужны вѣсы и почему именно большіе.

— Видишь,—отвѣтилъ попъ нѣсколько смущенно,—вѣсы нужны, чтобы взвѣсить добро и зло, какіе ты сдѣлалъ при жизни. У всѣхъ остальныхъ людей зло и добро приблизительно уравновѣшиваютъ чашки; у однихъ чалганцевъ грѣховъ такъ много, что для нихъ Тойонъ велѣлъ сдѣлать особые вѣсы съ громадною чашкой грѣховъ.

Отъ этихъ словъ у Макара какъ будто скребнуло по сердцу. Онъ ощутилъ робость.

Работники внесли и поставили большіе вѣсы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая—деревянная, громадныхъ размѣровъ. Подъ послѣдней вдругъ открылось глубокое черное отверстіе.

Макаръ подошелъ и тщательно осмотрѣлъ вѣсы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочемъ, онъ не вполнѣ понималъ ихъ устройство и предпочелъ бы имѣть дѣло съ безменомъ, на которомъ въ теченіе долгой жизни онъ отлично выучился и продавать и покупать съ большою выгодой для себя.

— Тойонъ идетъ, — сказалъ вдругъ попъ Иванъ и сталъ быстро обдергивать свою рясу.

Средняя дверь отворилась, и вошелъ старый-престарый Тойонъ, съ большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Онъ былъ одѣтъ въ богатые, неизвѣстные Макару мѣха и ткани, а на ногахъ у него были теплые сапоги, обшитые плисомъ, какіе Макаръ видѣлъ на старомъ иконописцѣ.

И при первомъ же взглядѣ на стараго Тойона Макаръ узналъ, что это тотъ самый старикъ, котораго онъ видѣлъ нарисованнымъ въ церкви. Только тутъ съ нимъ не было сына; Макаръ подумалъ, что, вѣроятно, послѣдній ушелъ по дѣламъ. Зато голубь влетѣлъ въ комнату и, покружившись у старика надъ головой, сѣлъ къ нему на колѣни. И старый Тойонъ гладитъ голубя рукою, сидя на особо приготовленномъ для него стулѣ.

Лицо стараго Тойона было доброе, и когда у Макара становилось слишкомъ ужъ тяжело на сердцѣ, онъ смотрѣлъ на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердцѣ у него становилось тяжело потому, что онъ вспомнилъ вдругъ всю свою жизнь до послѣднихъ подробностей, вспомнилъ каждый свой шагъ, и каждый ударъ топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обманъ, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянувъ въ лицо стараго Тойона, онъ ободрился.

А ободрившись, подумалъ, что, быть можетъ, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойонъ посмотрѣлъ на него и спросилъ, кто онъ и откуда, и какъ зовутъ, и сколько ему лѣтъ отроду.

Когда Макаръ отвѣтилъ, старый Тойонъ спросилъ:

— Что сдѣлалъ ты въ своей жизни?

— Самъ знаешь,—отвѣтилъ Макаръ.— У тебя должно быть записано.

Макаръ испытывалъ стараго Тойона, желая узнать, дѣйствительно ли у него записано все.

— Говори самъ,—сказалъ старый Тойонъ.

И Макаръ ободрился.

Онъ сталъ перечислять свои работы, и хотя онъ помнилъ каждый ударъ топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохою, но онъ прибавлялъ цѣлыя тысячи жердей, и сотни возовъ дровъ, и сотни бревенъ, и сотни пудовъ посѣва.

Когда онъ все перечислилъ, старый Тойонъ обратился къ попу Ивану.

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макаръ увидѣлъ, что попъ Иванъ служитъ у Тойона *суруксутомъ* (писаремъ), и очень осердился, что тотъ попріятельски не сказалъ ему объ этомъ раньше.

Попъ Иванъ принесъ большую книгу, развернулъ ее и сталъ читать.

— Загляни-ка, — сказалъ старый Тойонъ,—сколько жердей?

Попъ Иванъ посмотрѣлъ и сказалъ съ горестью:

— Онъ прибавилъ цѣлыхъ три тысячи.

— Вретъ онъ! — крикнулъ Макаръ запальчиво. — Онъ, вѣрно, ошибся, потому что онъ пьяница и умеръ нехорошею смертью!

— Замолчи ты! — сказалъ старый Тойонъ. — Бралъ ли онъ съ тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогалъ ли онъ ругу?

— Что говорить напрасно! — отвѣтилъ Макаръ.

— Вотъ видишь,—сказалъ Тойонъ,—я знаю и самъ, что онъ любилъ выпить...

И старый Тойонъ осердился.

— Читай теперь его прегрѣшенія по книгѣ, потому что онъ обманщикъ, и я ему не вѣрю,—сказалъ онъ попу Ивану.

А между тѣмъ работники кинули на золотую чашку и Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось такъ много, что золотая чашка вѣсовъ опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетѣли на своихъ крыльяхъ и цѣлая сотня тянула его веревками внизъ.

Тяжела была работа чалганца!

А попъ Иванъ сталъ вычитывать обманы, и оказалось, что обмановъ было— двадцать одна тысяча девятьсотъ тридцать три обмана; и попъ сталъ вычитывать, сколько Макаръ выпилъ бутылокъ водки, и оказалось четыреста бутылокъ,—и попъ читалъ далѣе, а Макаръ видѣлъ, что деревянная чашка вѣсовъ перетягиваетъ золотую, и что она опускается уже въ яму, и пока попъ читалъ, она все опускалась.

Тогда Макаръ подумалъ про себя, что его дѣло плохо, и, подойдя къ вѣсамъ, попытался незамѣтно поддержать чашку ногою. Но одинъ изъ работниковъ увидѣлъ это, и у нихъ вышелъ шумъ.

— Что тамъ такое?—спросилъ старый Тойонъ.

— Да вотъ онъ хотѣлъ поддержать вѣсы ногою,—отвѣтилъ работникъ.

Тогда Тойонъ гнѣвно обратился къ Макару и сказалъ:

— Вижу, что ты обманщикъ, лѣнивецъ и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и попъ за тобой считаетъ ругу, и исправникъ грѣшитъ изъ-за тебя, ругая тебя каждый разъ скверными словами!..

И, обратясь къ попу Ивану, старый Тойонъ спросилъ:

— Кто въ Чалганѣ кладетъ на лошадей болѣе всѣхъ клади и кто гоняетъ ихъ всѣхъ больше?

Попъ Иванъ отвѣтилъ:

— Церковный трапезникъ. Онъ гоняетъ почту и возитъ исправника.

Тогда старый Тойнъ сказалъ:

— Отдать этого лѣнивца трапезнику въ мерины, и пусть онъ возитъ на немъ исправника, пока не заѣздитъ... А тамъ мы посмотримъ...

И только-что старый Тойонъ сказалъ это слово, какъ дверь отворилась, и въ избу вошелъ сынъ стараго Тойона и сѣлъ отъ него по правую руку.

И сынъ сказалъ:

— Я слышалъ твой приговоръ... Я долго жилъ на свѣтѣ и знаю тамошнія дѣла: тяжело будетъ бѣдному человѣку возить исправника! Но... да будетъ!.. Только, можетъ-быть, онъ еще что-нибудь скажетъ. Говори, *барахсанъ* (бѣдняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макаръ, тотъ самый Макаръ, который никогда въ жизни не произносилъ болѣе десяти словъ къ ряду, вдругъ ощутилъ въ себѣ даръ слова. Онъ заговорилъ и самъ изумился. Стало какъ бы два Макара: одинъ говорилъ, другой слушалъ и удивлялся. Онъ не вѣрилъ своимъ ушамъ. Рѣчь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другимъ вперегонку и потомъ становились длинными стройными рядами. Онъ не робѣлъ. Если ему и случалось запнуться, то тотчасъ же оправлялся и кричалъ вдвое громче. А главное—онъ чувствовалъ самъ, что говорилъ убѣдительно.

Старый Тойонъ, немного осердившійся сначала за его дерзость, сталъ потомъ слушать съ большимъ вниманіемъ, какъ бы убѣдившись, что Макаръ не такой ужъ дуракъ, какимъ казался сначала. Попъ Иванъ въ первую минуту даже испугался

и сталъ дергать Макара за полу *соны*, но Макаръ отмахнулся и продолжалъ попрежнему. Потомъ и попикъ пересталъ пугаться и даже расцвѣлъ улыбкой, видя, что его прихожанинъ рѣжетъ правду, и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди въ длинныхъ рубахахъ и съ бѣлыми крыльями, жившіе у стараго Тойона въ работникахъ, приходили изъ своей половины къ дверямъ и съ удивленіемъ слушали рѣчь Макара, подталкивая другъ друга локтями.

Онъ началъ съ того, что не желаетъ итти къ трапезнику въ мерины. И не потому не желаетъ, что боится тяжелой работы, а потому, что это рѣшеніе неправильно. А такъ какъ это рѣшеніе неправильно, то онъ ему не подчинится и не поведетъ даже ухомъ, не двинетъ ногою. Пусть съ нимъ дѣлаютъ, что хотятъ! Пусть даже отдадутъ чертямъ въ вѣчные *комночиты*,—онъ не будетъ возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думаютъ, что ему страшно положеніе мерина: трапезникъ гоняетъ мерина, но кормитъ его овсомъ, а его гоняли всю жизнь, но овсомъ никогда не кормили.

— Кто тебя гонялъ?—спросилъ старый Тойонъ съ сердцемъ.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, засѣдатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голодъ; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняли промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идетъ впередъ и смотритъ въ землю, не зная, куда ее гонятъ... И онъ также... Развѣ онъ зналъ, что попъ читаетъ въ церкви, и за что идетъ ему руга? Развѣ онъ зналъ, зачѣмъ и куда увезли его старшаго сына, котораго взяли въ солдаты, и гдѣ онъ умеръ, и гдѣ теперь лежатъ его бѣдныя кости?

Говорятъ, онъ пилъ много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылокъ?

— Четыреста,—отвѣтилъ попъ Иванъ, заглянувъ въ книгу.

Хорошо! Но развѣ это была водка? Три четверти было воды, и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало-быть, триста бутылокъ надо скинуть со счета.

— Правду ли онъ говоритъ все это?—спросилъ старый Тойонъ у попа Ивана, и видно было, что онъ еще сердится.

— Чистую правду,—торопливо отвѣтилъ попъ, а Макаръ продолжалъ:

— Онъ прибавилъ три тысячи жердей? Пусть такъ! Пусть онъ нарубилъ только шестнадцать тысячъ! А развѣ этого мало? И притомъ, двѣ тысячи онъ рубилъ, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердцѣ, и онъ хотѣлъ сидѣть у своей старухи, а нужда гнала его въ тайгу... И въ тайгѣ онъ плакалъ, и слезы мерзли у него на рѣсницахъ, и отъ горя холодъ проникалъ до самаго сердца. А онъ рубилъ!

А послѣ старуха умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денегъ. И онъ нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за старухинъ домъ на томъ свѣтѣ... А купецъ увидѣлъ, что ему нужда, и далъ только по десяти копеекъ... И старуха лежала одна въ нетопленой мерзлой избѣ, а онъ опять рубилъ и плакалъ. Онъ полагаетъ, что эти возы надо считать впятеро и даже болѣе.

У стараго Тойона показались на глазахъ слезы, и Макаръ увидѣлъ, что чашки вѣсовъ колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макаръ продолжалъ: у нихъ все записано въ книгѣ... Пусть же они поищутъ: когда онъ испыталъ отъ когонибудь ласку, привѣтъ или радость? Гдѣ его дѣти? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда выростали, то уходили отъ него, чтобы въ одиночку биться съ тяжелою нуждой. И онъ состарился одинъ со своею второю старухой и видѣлъ, какъ его оставляютъ силы, и подходитъ злая, безпріютная дряхлость. Они стояли одинокіе, какъ стоятъ въ степи двѣ сиротливыя елки, которыхъ бьютъ отовсюду жестокія метели.

— Правда ли?—спросилъ опять старый Тойонъ.

И попъ поспѣшилъ отвѣтить:

— Чистая правда!

И тогда вѣсы опять дрогнули... Но старый Тойонъ задумался.

— Что же это?—сказалъ онъ:—вѣдь есть же у меня на землѣ настоящіе праведники... Глаза ихъ ясны, и лица свѣтлы, и ризы безъ пятенъ... Сердца ихъ мягки, какъ добрая почва: принимаютъ доброе

сѣмя и возращаютъ кринъ сельный и благовонные всходы, запахъ которыхъ угоденъ передо мною. А ты посмотри на себя...

И всѣ взгляды устремились на Макара, и онъ устыдился. Онъ почувствовалъ, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти онъ все собирался купить сапоги, чтобы предстать на судъ, какъ подобаетъ настоящему крестьянину, но все пропивалъ деньги, и теперь стоялъ передъ Тойономъ, какъ послѣднiй якутъ, въ дрянныхъ торбасишкахъ... И онъ пожелалъ провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темно,—продолжалъ старый Тойонъ,—глаза мутны и одежда изорвана. А сердце твое поросло бурьяномъ, и терніемъ, и горькою полынью. Вотъ почему я люблю моихъ праведныхъ и отвращаю лицо отъ подобныхъ тебѣ нечестивцевъ...

Сердце Макара сжалось. Онъ чувствовалъ стыдъ собственнаго существованія. Онъ было понурилъ голову, но вдругъ поднялъ ее и заговорилъ опять:

— О какихъ это праведникахъ говоритъ Тойонъ? Если о тѣхъ, что жили на землѣ въ одно время съ Макаромъ въ богатыхъ хоромахъ, то Макаръ ихъ знаетъ... Глаза ихъ ясны, потому что не проливали слезъ столько, сколько ихъ пролилъ Макаръ, и лица ихъ свѣтлы, потому что обмыты духами, а чистыя ризы сотканы чужими руками.

Макаръ опять понурилъ голову, но тотчасъ же опять поднялъ ее.

А между тѣмъ, развѣ онъ не видитъ, что и онъ родился, какъ другіе, — съ ясными, открытыми очами, въ которыхъ отражались земля и небо, и съ чистымъ сердцемъ, готовымъ раскрыться на все прекрасное въ мірѣ? И если теперь онъ желаетъ скрыть подъ землею свою мрачную и позорную фигуру, то въ этомъ вина не его... А чья же? Этого онъ не знаетъ... Но онъ знаетъ одно, что въ сердцѣ его истощилось терпѣніе.

---

Конечно, если бы Макаръ могъ видѣть, какое дѣйствіе производила его рѣчь на стараго Тойона, если бъ онъ видѣлъ, что каждое его гнѣвное слово падало на золотую чашку, какъ свинцовая гиря, онъ усмирилъ бы свое сердце. Но онъ всего этого не видѣлъ, потому что въ его сердце вливалось слѣпое отчаяніе.

Вотъ онъ оглядѣлъ всю свою горькую жизнь. Какъ могъ онъ до сихъ поръ выносить то ужасное бремя? Онъ несъ его потому, что впереди все еще маячила звѣздочкой въ туманѣ — надежда. Онъ живъ, стало-быть, можетъ, долженъ еще испытать лучшую долю... Теперь онъ стоялъ у конца, и надежда угасла...

Тогда въ его душѣ стало темно, и въ ней забушевала ярость, какъ буря въ пустой степи глухою ночью. Онъ забылъ, гдѣ онъ, предъ чьимъ лицомъ предстоитъ,— забылъ все, кромѣ своего гнѣва...

Но старый Тойонъ сказалъ ему:

— Погоди, *барахсанъ!* Ты не на землѣ... Здѣсь и для тебя найдется правда...

И Макаръ дрогнулъ. На сердце его пало сознаніе, что его жалѣютъ, и оно смягчилось; а такъ какъ передъ его глазами все стояла его бѣдная жизнь, отъ перваго дня до послѣдняго, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И онъ заплакалъ...

И старый Тойонъ тоже плакалъ... И плакалъ старый попикъ Иванъ, и молодые божьи работники лили слезы, утирая ихъ широкими бѣлыми рукавами.

А вѣсы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!

1883 г.

## Огоньки.

Какъ-то давно, темнымъ осеннимъ вечеромъ, случилось мнѣ плыть по угрюмой сибирской рѣкѣ. Вдругъ, на поворотѣ рѣки, впереди, подъ темными горами мелькнулъ огонекъ.

Мелькнулъ ярко, сильно, совсѣмъ близко...

— Ну, слава Богу!—сказалъ я съ радостью,—близко ночлегъ!

Гребецъ повернулся, посмотрѣлъ черезъ плечо на огонь и опять апатично налегъ на весло.

— Далече!

Я не повѣрилъ: огонекъ такъ и стоялъ, выступая впередъ изъ неопредѣленной тьмы. Но гребецъ былъ правъ: оказалось, дѣйствительно, далеко.

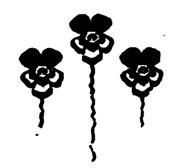
Свойство этихъ ночныхъ огней — приближаться, побѣждая тьму, и сверкать, и обѣщать, и манить своею близостью. Кажется, вотъ-вотъ еще два-три удара весломъ — и путь конченъ... А между тѣмъ— далеко!

И долго еще мы плыли по темной, какъ чернила, рѣкѣ. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь позади и теряясь, казалось, въ безконечной дали, а огонекъ все стоялъ впереди, переливаясь и маня,—все такъ же близко, и все такъ же далеко...

Мнѣ часто вспоминается теперь и эта темная рѣка, затѣненная скалистыми горами, и этотъ живой огонекъ. Много огней и раньше и послѣ манили не одного меня своей близостью. Но—жизнь течетъ все въ тѣхъ же угрюмыхъ берегахъ, а огни еще далеко И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди—огни!..

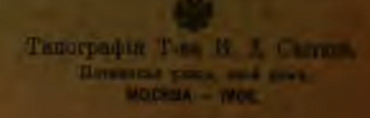
1900 г.



# ОГЛАВЛЕНІЕ.

К Л РИККЕР

Цѣна 2 рубля.



Типографія Т-ва И. Д. Сытина.
Пятницкая улица, свой домъ.
МОСКВА — 1906.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.